

**КЫРГЫЗСКО-РОССИЙСКИЙ СЛАВЯНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
КАФЕДРА МЕЖДУНАРОДНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ**

**1917-2017**

***К 100-ЛЕТИЮ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ***

**РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ДЕРЖИТЕ ШАГ...**

**БИШКЕК 2017**

Авторы-составители: доктор филологических наук, профессор *А. С. Кацев*,  
кандидат филологических наук, доцент *А.Т. Омурканова*

Рецензенты: доктор филологических наук, профессор Б. Т. Койчуев,  
кандидат филологических наук, доцент Н. Л. Слободянюк

Революционный держите шаг... Учебник-хрестоматия. /Сост. А. С. Кацев, А.Т.  
Омурканова. – Бишкек: КРСУ, 2017

В хрестоматию вошли литературные манифесты, публицистика, критика и художественные произведения, появившиеся после Октября 1917 года (1917-1924) как отклик на революционные и послереволюционные события и явления. Эти эмоциональные, часто эпатажные выступления были опубликованы в прессе тех лет и вызывали бурные обсуждения и споры читателей.

В этой хрестоматии соседствуют произведения непримиримых оппонентов, идеологических противников и людей из разных, как выразались в дореволюционной России, сословий. А собранные вместе они создают представление о масштабах и последствиях Октябрьской революции, как для России, так и для Кыргызстана и о той творческой энергии, которую, выражаясь языком советских газет, «высвободила революция».

Хрестоматия адресована студентам-журналистам и будущим специалистам по связям с общественностью.

## СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ.....

### **ЛИТЕРАТУРНЫЕ ГРУППИРОВКИ И ОРГАНИЗАЦИИ:**

ЛЕФ.

*Н. ЧУЖАК.* ПИСАТЕЛЬСКАЯ ПАМЯТКА. ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ КАЖДОМУ МОЛОДОМУ ПИСАТЕЛЮ.....

ПРОЛЕТКУЛЬТ И ПРОЛЕТАРСКИЕ ПИСАТЕЛИ

*А. БОГДАНОВ.* ПРОЛЕТАРИАТ И ИСКУССТВО (Резолюция, предложенная на Первой Всероссийской Конференции Пролетарских культурно-просветительных организаций)

*А. ГАСТЕВ.* КОНТУРЫ ПРОЛЕТАРСКОЙ КУЛЬТУРЫ

*А. БОГДАНОВ.* ПУТИ ПРОЛЕТАРСКОГО ТВОРЧЕСТВА

ДЕКЛАРАЦИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ «ЛИТЕРАТУРНЫЙ ФРОНТ»

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ «КУЗНИЦА»

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПЛАТФОРМА ГРУППЫ ПРОЛЕТАРСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ «ОКТЯБРЬ»

КОНСТРУКТИВИЗМ

*О. ЧИЧАГОВА.* КОНСТРУКТИВИЗМ

*А. ЧИЧЕРИН, Э. СЕЛЬВИНСКИЙ.* КЛЯТВЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ КОНСТРУКТИВИСТОВ-ПОЭТОВ

СЕРАПИОНОВЫ БРАТЯ

*ЛЕВ ЛУНЦ.* ПОЧЕМУ МЫ СЕРАПИОНОВЫ БРАТЯ .....

### **ПУБЛИЦИСТИКА**

*В. ЛЕНИН.* К ГРАЖДАНАМ РОССИИ. ДОКЛАД О ЗАДАЧАХ ВЛАСТИ СОВЕТОВ.

В ЗАЩИТУ СВОБОДЫ СЛОВА Газета-протест Союза Русских Писателей

Ф. К. Сологуб. Идеи не поддеваются на штыки

З. Н. Гиппиус. Красная стена

П. А. Сорокин. Мы возвратились к средним векам

В. И. Засулич. Слова не убить

В. Г. Короленко. Протест

М. В. Ватсон. В дни постыдного насилия...

А. В. Тыркова. Опасный враг

*М. ГОРЬКИЙ.* НЕСВОЕВРЕМЕННЫЕ МЫСЛИ ("Новая Жизнь" N 205, 19 декабря 1917 г.)

*М. ГОРЬКИЙ.* РЕЧЬ НА МОСКОВСКОМ ПУБЛИЧНОМ СОБРАНИИ ОБЩЕСТВА "КУЛЬТУРА И СВОБОДА"

А. БЛОК. ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ И РЕВОЛЮЦИЯ

И. ЭРЕНБУРГ. ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ И РЕВОЛЮЦИЯ (Ответ Александру Блоку)

А. БЛОК. КАТИЛИНА. ИЗ ИСТОРИИ МИРОВОЙ РЕВОЛЮЦИИ

*В.Г. КОРОЛЕНКО.* ПИСЬМА К ЛУНАЧАРСКОМУ А.В. (ПИСЬМО ПЕРВОЕ)

Е. ЗАМЯТИН. Я БОЮСЬ

В. ХОДАСЕВИЧ. ВСЕ – НА ПИСАТЕЛЕЙ!

А.В. ЛУНАЧАРСКИЙ. АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ГЕРЦЕН

А.В. ЛУНАЧАРСКИЙ. ЛЕВ ДАВИДОВИЧ ТРОЦКИЙ

М. ЛЕВИДОВ. ОРГАНИЗОВАННОЕ УПРОЩЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

В.ПОЛОНСКИЙ. ЗАМЕТКИ О КУЛЬТУРЕ И НЕКУЛЬТУРНОСТИ

*И. БУНИН.* МИССИЯ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ

### **ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА**

А.БЕЛЫЙ. РЕЧЬ НА ВЕЧЕРЕ ПАМЯТИ А.БЛОКА В ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ МУЗЕЕ

А.К.ВОРОНСКИЙ. ЛИТЕРАТУРНЫЕ СИЛУЭТЫ

Борис Пильняк

Всеволод Иванов

Памяти Есенина

Евгений Замятин

Владимир Маяковский

В.ШКЛОВСКИЙ. И.БАБЕЛЬ (КРИТИЧЕСКИЙ РОМАНС)

В.ШКЛОВСКИЙ. О ПИСАТЕЛЕ И ПРОИЗВОДСТВЕ

К. ЧУКОВСКИЙ. АЛЕКСАНДР БЛОК КАК ЧЕЛОВЕК И ПОЭТ. ВВВЕДЕНИЕ В ПОЭЗИЮ БЛОКА

Л. ТРОЦКИЙ. ЛИТЕРАТУРА И РЕВОЛЮЦИЯ. ЧАСТЬ I. СОВРЕМЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА

### **ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА**

А. БЛОК. ДВЕНАДЦАТЬ

А.БЛОК. СКИФЫ

Е. ЗАМЯТИН. ВЕЛИКИЙ АССЕНИЗАТОР

В. ЗАЗУБРИН. ДВА МИРА

В. ЗАЗУБРИН. ЩЕПКА

В. ЗАЗУБРИН. ОБЩЕЖИТИЕ

П. БЛЯХИН. КРАСНЫЕ ДЬЯВОЛЯТА

В.ШКЛОВСКИЙ. ЗОО ИЛИ ПИСЬМА НЕ О ЛЮБВИ

И.БАБЕЛЬ. НОВЫЙ БЫТ

И.БАБЕЛЬ. МОЗАИКА

И.БАБЕЛЬ. О ГРУЗИНЕ, КЕРЕНКЕ И ГЕНЕРАЛЬСКОЙ ДОЧКЕ (Нечто современное)

Л. СЕЙФУЛИНА. ПРАВОНАРУШИТЕЛИ

В.ВЕРЕСАЕВ. В ТУПИКЕ

Б. ПИЛЬНЯК. МАТЬ СЫРА ЗЕМЛЯ

В. КАВЕРИН. КОНЕЦ ХАЗЫ

### **КЫРГЫЗСКАЯ ПЕЧАТЬ ПОСЛЕ ОКТЯБРЯ**

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

ЭШЕНААЛЫ АРАБАЙ УУЛУ. ЭРКИН-ТОО. КЫРГЫЗ КАЛКЫ (СВОБОДНЫЕ ГОРЫ. КЫРГЫЗСКИЙ НАРОД)

СЫДЫК КАРАЧЕВ. УУЛУ ОКТЯБРЬ КҮНҮ (ДЕНЬ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ)

СЫДЫК КАРАЧЕВ. ОКУУ ХАМ ЭЛ МЕКТЕПТЕРИ (ОБ УЧЕНИИ И НАРОДНЫХ ШКОЛАХ)

КАТЫН-КЫЗДАР ТЕҢДИГИ (О РАВЕНСТВЕ ЖЕНЩИН)

### **ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА**

АЛДАШ МОЛДО.ҮРКҮН

К. ТЫНЫСТАНОВ. СЕГОДНЯ

К. ТЫНЫСТАНОВ. СПРОСИ-КА, ДРУГ МОЙ, СПРОСИ!

К. ТЫНЫСТАНОВ. ДЖАНЫЛ МЫРЗА

А.ТОКОМБАЕВ. ОКТЯБРДЫН КЕЛГЕН КЕЗИ (ВРЕМЯ ПРИХОДА ОКТЯБРЯ)

### **Предисловие**

Революция не могла не родить новое искусство. Оно как бы состояло из двух не равнозначных частей: предошущение народного возмущения и революция во всех ее ипостасиях – неслучайно она воспринимается современниками как новая религия.

Многообразие талантов, художественных направлений, объединений, школ. Эмиграция еще не набрала энергии и скорости, поэтому схлестнулись две эстетические стихии – старые мастера и молодые бунтари (разрушители классического и эстетического наследия...)

Теоретические ристалища, книги тех, кто имел писательский опыт и тех, кто только научился складывать буквы в слова. Такая литературная сечь – будни революционного творчества, которое опровергает закономерности, создаваемые самим творчеством. Например, литературные манифесты – своеобразная квинтэссенция теоретизирования

собственных художественных опытов, как оказалось позже, есть творчество в особой форме, т.к. сами основоположники литературных течений-направлений были в своих произведениях – литературной практике – самыми большими нарушителями канонов ими же и сформированными.

Манифесты, воспроизведенные в этой книге, имеют не только исторический интерес; они своеобразный опыт исследования личной и коллективной психологии творчества, как позже писал поэт по-другому поводу: «Сам себе привил чуму, последний опыт кончив раньше срока».

Как только устанавливается закономерность в творчестве века минувшего, написание которого римскими цифрами похоже на надолбы (XX), стоящие на пути различного рода запретов и сохраняющие право на эксперимент (не только в русской литературе).

А в ней, например, после 1917 года, если говорить о том, что постепенно в границах России – Советского Союза большевики устанавливают рамки дозволенного: 1920 – 1925 – 1932 – 1946, 1948 и пр. – даты партийных регламентаций творчества, в это же время формируется и утверждается литература эксперимента. Конечно, эпоха трагической участи отца и сына Гумилевых, Есенина-Маяковского, Мандельштама, Цветаевой, Ахматовой; талантов и гениев, которых не счесть.

Одновременно, или по недосмотру, или каким другим способом, в 1937 году публикуется том «Литературного Наследства», посвященный символистам, в 50-е годы появляется на свет «Доктор Живаго», в очередной раз доказавший и текстом, и жизнью и судьбой его автора, что «мы дети страшных лет России». А Блок, а Гроссман, а ...

Это будет позже.

Книга же посвящена историческому явлению, объединяющему разных, непохожих, стремящихся осознать и воссоздать то, что стало поэтической строкой «революционный держите шаг...»

Это явление можно по-разному оценивать, но нельзя отрицать его мощный эстетический потенциал.

В книге представлены теория и практика тех, кто в муках рождал новое искусство.

На гребне гнева и бури в российской и киргизской художественно-публицистической словесности. Одни фамилии на слуху, другие лишь на книжных полках.

Тексты от эротического до трагического мироощущения преимущественно даются по первым изданиям, не скорректированным последующими цензурными правками.

Надежда, как известно, умирает последней, поэтому, она не оставляет авторов-составителей и авторов, чьи произведения вошли в книгу, в том, что она, эта книга, будет не только полезна, но и интересна ее открывшим.

## ЛИТЕРАТУРНЫЕ ГРУППИРОВКИ И ОРГАНИЗАЦИИ<sup>1</sup>

### ЛЕФ.

**Левый фронт искусств (ЛЕФ)** – литературная группа, возникшая в конце 1922 года в Москве и существовавшая до 1929 года. Возглавлял ЛЕФ В.Маяковский. Членами группы были писатели и теоретики искусства Н.Асеев, С.Третьяков, В.Каменский, Б.Пастернак (порвал с Лефом в 1927), А.Крученых, П.Незнамов, О.Брик, Б.Арватов, Н.Чужак (Насимович), С.Кирсанов (начинал в Юго-Лефе, с центром в Одессе), В.Перцов, художники – конструктивисты А.Родченко, В.Степанова, А.Лавинский. Близок к Лефу был В.Шкловский.

Формально ЛЕФ не был общественной организацией, не имел устава, закрепленного членства и не был зарегистрирован в соответствующих органах, однако рассматривался в качестве такового литературной общественностью.

Леф, по мнению его создателей, был новым этапом в развитии футуризма. «Леф – есть объединение работников левого фронта, ведущих свою линию от старых футуристов», писал В. Маяковский.

Теоретики Лефа полагали, что после Октября, была уничтожена вековая грань между искусством и действительностью. Теперь стало возможным принципиально новое искусство – «искусство-жизнестроение».

Именно в лефовской среде родился термин – «социальный заказ», взятый на вооружение многими критиками и литературоведами 1920-х годов. Это понятие было противопоставлено «идеалистическому» представлению о свободной воле художника. лефовцы, как «работники левого революционного искусства», собирались выполнять «социальный заказ» пролетариата.

### **Н.ЧУЖАК. ПИСАТЕЛЬСКАЯ ПАМЯТКА. ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ КАЖДОМУ МОЛОДОМУ ПИСАТЕЛЮ<sup>2</sup>**

Была когда-то «Солдатская памятка», которую усердно распространяли большевики. Сейчас приходится распространять «Писательскую памятку». Что нужно знать каждому рабочему и советскому писателю?

Всегда было так, что когда выступала впервые в истории какая-нибудь новая общественная группа, а тем более новый класс, их охватывала на известное время как бы строительская лихорадка. Люди с упоением принимались переделывать лицо земли по образу и подобию своих представлений о социальной правде, и самая литература этих людей приобретала характер земляной, упрямо актуальный, действенный. Менялось социальное назначение литературы; классово заострялась целевая установка писателя; увязывалось с непосредственными злобами творимого дня каждое произведение; изобреталась, говоря условно, максимально ударяющая в цель, революционная форма. (Условно потому, что ни текучесть форм, ни их преемственность, ни кажущаяся перебрасываемость их из эпохи в эпоху — этим совсем не отрицаются.) Вот то, что мы, лефы, называем литературой становления (т. е. процесса становления) новой культуры, жизнестроения тож, и что на языке разных эпох и критиков всегда носило разные, отнюдь не более точные, наименования.

---

<sup>1</sup> Тексты этого раздела печатаются по: От символизма к октябрю: Сборник материалов / Сост. Н.Л. Бродский, В. Львов-Рогачевский, Н.П. Сидоров. М., 1929. // [http://teatr-lib.ru/Lit\\_manifest/manif\\_24/#\\_Точ285384856](http://teatr-lib.ru/Lit_manifest/manif_24/#_Точ285384856) (Театральная библиотека - авторский проект Антона Сергеева)

Совсем иначе чувствуют себя общественная группа или класс, когда они прочно обставятся на земле, закончат строительную свою миссию и мирно вообще стабилизируются, еще не слыша приближения насменного хозяина и режиссера новой жизни. Ясно, что печатью большой отобразительской успокоенности (классицизм), прославления разумно сущего задним числом (натурализм) и откровенного отрыва от конкретной злобы дня (монументальный реализм) отмечено и все искусство этих классов. В частности — литература. То, что вчера еще звучало очень временно и утилитарно-подсобно (как памфлет, как надпись, как текучий фельетон), отныне утверждается как безусловная, большая форма, презирующая «малый жанр» и явно претендующая на права гегемона. Это и есть литература стабилизации, как бы точнее ее ни называли. Критики приписывают ей цели жизнепознания, но как же познавать действительность по «зеркалу», которое всегда чуть-чуть кривое?

Есть наконец и третья фаза в цепи развития той или иной группы и класса, которую можно охарактеризовать как стадию социального истощения и прямого упадка. Сам по себе этот период в жизни каждой группы или класса может быть и в меру длителен и, соответственно характеру отмирания, многовиден. Предчувствие ли близкой гибели, непосредственное ли осознание противника — все это неизбежно порождает в отмирающей группе всякого рода мистико-мечтательные настроения, тревогу, худо прикрываемую псевдогероической бравадой, жажду забыться в изощренностях и всяческое бегство от реальности вообще. Литература умирания — вот точное определение литературы данных групп, как бы она по-разному в разные моменты ни именовалась (романтизм, модернизм, декадентство, психологизм и т. д.). Важно лишь помнить, что зараза литгниения может перебрасываться и на соседние участки.

#### В ПОИСКАХ НЕОБХОДИМОЙ ФОРМЫ

Ленин как-то сказал, что легче сделать революцию, чем удержать ее завоевания без соответствующей культуры. Это целиком, по-видимому, приложимо и к литературе. Революцию в литературе осуществить гораздо труднее, чем просто бросить литературу в поток революции.

По некультурности и по другим причинам наши молодые советские писатели шарахаются в поисках необходимой новой формы с одного соседнего участка на другой, явно желая осчастливить революцию потоком дедовской литературы, но меньше всего думая о самой революции в литературе. Объявляют учебу у Толстого и Достоевского; прихватывают сюда же Жуковского и Эдгара По; изобретают свой особенный «пролетарский реализм»; и вообще — очень заботятся о том, как бы не исчезли из советской литературы буржуазно-феодально стабилизационные формы и как бы не забыть чего-нибудь перенять и из последышной, гнилой литературы. Впечатление такое, что товарищи играют в литературу, и — это было бы не так уж плохо, если б жили мы в усадебные времена и нечего бы нам было бы больше делать, как любовно созерцать содеянное, помышляя о загробностях, и... если бы не втягивалась в эту недешевую игру наша лучшая молодежь.

Вот ради этой-то последней мы и завели нашу беседу — о «солдатской»... то бишь писательской, памятке.

#### РОЛЬ БЕЛЛЕТРИСТИКИ КОГДА-ТО

Да, мы хотели бы, чтоб каждый неиспорченный писатель был действительно «солдатом» нового строительства и не пускался бы по линии наименьшего сопротивления, культивируя приемы-формы, органически несвойственные нашей эпохе. Вот почему нам определенно не нравится это вредное, в плане последовательного развертывания задач нашей эпохи, отвлечение нескольких



наличных тысяч пролетарского литературного молодняка от их прямой работы над реальностью и столь же вредное натаскивание их внимания в сторону литературного вымысла. Мы — против литературы вымысла, именуемой беллетристикой; мы — за примат литературы факта. Писатели слишком долго «преображали» мир, уводя пассивного и эстетически одурманенного читателя в мир представлений, — когда же, как не сейчас, перестраивать этот мир, внося в него совершенно конкретные и нужные пролетариату изменения?

Лефы не выдумали теорию литературы факта, как не выдумали и лозунг искусства-жизнестроения. Заслуга их только в том, что они уловили величайшую потребность нашего времени и первые попытались уложить носившуюся в воздухе идею в несколько простых и, может быть, отпугивающих этой простотой положений.

Нам говорят: упрощенность. Это неверно. Мы вовсе не против условного признания момента выдумки как некоего диалектического предвидения, связующего и толкающего отложившиеся факты, — мы только против выдумки как абсолюта. Мы думаем, что точно так же вредно фетишизировать идею фактографии, как и «творить себе кумир» из представленческой литературы.

«Все хорошо в свое время», — сказал покойный Г. В. Плеханов.

Было время, когда простая историческая необходимость обращала активистов общества на путь культуры беллетристических именно форм, как максимально по тому времени жизнедейственных. Скучность научного исследования вообще, ничтожное количество весьма еще примитивных по заданию газет и полное почти отсутствие статистики — все это естественно наталкивало писателя на мысль широкого использования приемов литературного отвлечения как неких условных средств не только нового познания, но — отдаленно! — и строительства. Учтите еще такие «достоинства» беллетристики, как туманная ее символика, недоговоренность, эзоповщина, произвольность построений и т. д., дававшие возможность писателю проводить кое-какие запретные идейки даже при наличии свирепой николаевской цензуры, и — вам ясны будут не только головокружительный успех беллетристизма у людей старой культуры, но и то, между прочим, почему пресловутый расцвет романной формы приходится на николаевские времена.

«Скучность действительной жизни есть источник жизни в воображении», — обмолвился один из наших недоклассиков (Писемский), написавший бесчисленное количество повестей и романов. Строительство путем представлений (воображения тож) было уделом не одного поколения наших предков. Вся теория так называемого «художественного творчества» — от Чернышевского до Бельтова-Плеханова — построена на этом несчастье. Люди переживали «действительную жизнь» в романах, и это было для них утешением.

Та же скучность научно-исследовательского, журнально-обозревательского и просто информационно-газетного оборудования, а главное — полное отсутствие 13 какого бы то ни было коллективного руководства (пусть даже парламент, не говоря уже о социальной организации наших дней), рождали спрос и на такого индивида и «творца», который бы не только собирал-записывал необходимый жизненный материал (рабкор, по-нашему), но он же бы, путем какого-то интуитивного предвосхищения (монтаж, по-нашему), по-своему и трансформировал и обобщал бы этот материал, являясь таким образом более или менее признанным шаманом... то бишь учителем жизни. Индивид этот туманно загадывает те или иные проблемы; другой индивид, именуемый критиком, старается их не менее туманно (помни о цензуре!) отгадать; а лучшие люди своего времени, в результате чтения того и другого, волнуются, пытаются перестроить свою жизнь... хотя бы «в уме».

Замечательна эта вынужденная игра целого ряда поколений в имитацию жизни. Жизнь строилась не на фактической, реальной правде, а на каком-то, существующем лишь в представлении, псевдореальном правдоподобии. Люди как будто молчаливо сговорились считать эту невинную подделку за действительную жизнь, и каждый в сущности делал «про себя» какую-то условную скидку на вымысел. Так называемый реализм (так называемый потому, что был он в действительности идеализмом) — так называемый реализм был для них определенно условным языком, который позволял им обходить противные рогадки их времени, — а между тем, ведь вся наша реалистическая критика, не исключая и Плеханова, построена на этом языке, и никто еще до сих пор не вскрыл его условности. Напротив: лаврами всегда венчался тот литературный критик, который ловчее оперировал с вымыслом...

## А ВРЕМЯ ПОДВИГАЕТСЯ

Да, время подвигается...

Бывшая когда-то явлением исторически вынужденным и общественно-функциональным, несшая кое-какую социальную нагрузку и, значит, в меру исторически полезная, — литература вымысла перестает, однако, быть явлением условно-прогрессивным, по мере изменения общественной обстановки: утрачивает постепенно свою гибкость, эстетически стабилизуется и всячески вообще обрастает абсолютизмом. С выдвиганием на сцену молодых хозяйственных слоев, с ростом научного познания и общественности — отпадает мало-помалу и учительная роль писателя как «познавателя» и «строителя» одновременно. Не отпадает лишь претензия условности — на самоцельность. Без серьезных оснований канонизируется вымысел. «Легальная возможность» николаевщины объявляется формой вневременной. Явно навязчивый оттенок приобретает учительный роман.

Следует недолгий сравнительно период буржуазного влияния, но он не подорвал очень серьезно престиж беллетристизма. Потускнела, правда, роль писателя, и самая литература больше потребляется как отдых, но — основы остаются те же.

## КАК ЖЕ ДАЛЬШЕ?

Дальше, казалось бы, по-другому. Дальше очень изменились времена. Революция в корне упразднила те предпосылки, которые отгоняли писателя от факта и толкали его к вымыслу. Отпала всякая надобность в вымысле и выросла, наоборот, потребность в факте. Революция вот уже двенадцатый год перестраивает жизнь по-новому, а ведь на вымысле ничего не построишь. Нет, казалось бы, предпосылок для «отвлечения». Нет никаких «законных причин». А вот поди ж ты: вымысел не исчезает, отвлечение от фактов существует незаконно!

Что это? «Тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман»? Так ведь нет этих «низких истин» налицо, и незачем бежать советскому писателю в лагерь «обмана». В чем же дело? Сила ли спасительной (от революций) инерции? Сила ли глупости распространенных критиков, толкающих писателя на путь «обмана»? Не мотив ли уж, чего доброго — «о, дай мне забвенья, родная»? Или, может, недоделки самой революции? Не знаем. Нас и так частенько попрекают предумышленностью, — ну, а жизнь, мол, строится не по линейке.

Вот это верно, братья-писатели, — жизнь строится не по линейке. Но — не нужно забывать одного: линейка, если очень от нее отступать, за себя мстит. В результате, например, отступлений от линейки в области литературной грамоты приходится потом выписывать из заграницы признанных учителей, которые публично учат нас по голове линейкой.

Мы — не сторонники того, чтоб нас учили заграничные учителя, — да еще по азбуке «времен Очакова», — и...

Мы хотели бы учиться сами.

## НОВАЯ ЛИТЕРАТУРА

Новая литература — это и есть литература утверждения факта. Дело это довольно сложное, и нашим мудрым теоретикам искусства все как-то некогда им заняться. У нас нет ни методики литературы факта, ни даже простейших рассказов о том, как сами фактисты ее понимают. Опыт когдатощних писателей-очеркистов теоретически не закреплен. Двухлетний опыт Лефа в этой области уже дает возможность зафиксировать кое-какие положения, но — только в плане ориентировочном. Для мудрецов — это лишь «малый жанр»; для нас — это вопрос жизни и смерти...

В старых журналах был отдел — «литература и жизнь». Жизнь противопоставлялась литературе; литература — жизни. Мы так сейчас вопрос не ставим. Литература есть такой же осколок жизни, как и всякий другой участок. Мы не мыслим себе отрыва писателя от того предмета, о котором он пишет. Нам смешно сейчас всякое воспевание со стороны, и нас не убеждает даже та сатира, объект которой не подвергался предварительно определенному воздействию со стороны сатирика. Мы требуем строительной увязки писателя с темой.

Отрицательный пример — А. Безыменский.

Когда поэт описывал конкретные явления, он был и полезен и интересен (поскольку и вещи, им описываемые, были по-новому интересны). В «Комсомолии» — уже привкус воспевания. В «Войне этажей» — полный отрыв. Как было дело?

Московский Совет РИКД вынес постановление о том, что членами московских жилищных товариществ могут быть только лица, имеющие общеполитические избирательные права. Вот тут-то и началась прославленная «война этажей», на которую тотчас же откликнулся повышенно-восторженной поэмой Безыменский. Казалось бы — отлично (это не то, что Маяковский, который воспел Курскую аномалию спустя девять месяцев после ее открытия). Но в том-то и беда сторонних воспевателей, что сами они никак не связаны с предметом воспеваний, поскольку только наблюдают, но не участвуют в строении жизни. Если бы Безыменский как-то сам был связан с той войной, которая пошла по домам, он очень скоро убедился бы, что дело было вовсе не в патетике, в которой никто тогда не нуждался (драка и без музыки шла хорошо), а в непосредственном и ежедневном преодолении тех нудных и отвратных трудностей, которые сейчас же принялись рассеивать на этом... вот уж воистину «тернистом» пути чьи-то невидимые, но упорные, руки.

Начинается с того, что юрисконсульты самых влиятельных газет печатно разъясняют обиженным «гражданам» их права: к какому бы союзу им приписаться, какому судье лучше пожаловаться и по какой статье. Следует разъяснение какой-то комиссии, ограничивающее самое применение постановления (процентная условность). Выясняется неожиданно, что граждан нетрудовых в Москве почти нет, а самые сомнительные в доме граждане числятся в иждивенцах. Судьи разрешают споры, руководствуясь только формальными приметами. В результате, от прекрасного постановления остался лишь один приятный жест, война же этажей если и продолжалась, то едва ли не под знаком перевеса верхних над нижними.

Пишущему эти строки пришлось целых три года стоять во главе одной такой войны, и он помнит, каким ненужным раздражающим диссонансом прозвучали вовсе не плохие «сами по себе» строчки Безыменского. Нам нужен был тогда рабкор — в стихах или в прозе, безразлично, — который бы был так или этак с нами, ежедневно отмечал нашу борьбу и наши незадачи, «вдохновлял» бы нас, черт возьми, — это ведь тоже нужно! — и всячески вообще в стихах и в прозе продвигал бы с нами нашу драку, вплоть до полного одоления. Это не было бы, вероятно, поэмой, но... лучше маленькая рыбка, чем большой таракан. Безыменский же бросил нам свой шумный марш и — дезертировал!

И всякое такое воспевание со стороны сейчас, когда нужно работать, — есть дезертирство.

### НУЖНО ПЕРЕСМОТРЕТЬ ПРИЕМЫ

Переходя на новую литературу, мы все же учимся на старой. Нужно же у кого-нибудь перенимать — нельзя же так, совсем без наследства. Лучше всего, конечно, перенимать у близких — следует отталкиваться от чужих. Радищев с его «Путешествием из Петербурга в Москву», Пушкин с «Путешествием в Эрзерум», Гончаров с «Фрегат Палладой», Аксаков с «Записками ружейного охотника», Достоевский с «Дневником писателя» и другие — все это наши более или менее отдаленные, хотя и «формальные» только, родственники. Их приемы нужно взять и приумножить. Нужно взять кое-что и от литературы выдумки, — поскольку стопроцентного разрыва между жанрами нет, — и приспособить это взятое к месту и времени, т. е. в порядке условного использования.

История литературы знает случаи превращения случайных и подсобных жанров в жанры длительного пользования и внеутилитарные, — вполне законно и обратное явление. «Путешествие Гулливера» делалось, как в меру конкретный памфлет, — время канонизировало этот подсобный жанр в литературу вневременно-сказочную. Мыслится опять такой момент, когда эта забава для детей окажется игрушкой острожалящей. Вчерашняя сатира «Дон Кихот» становится предметом эстетического потребления, — отчего бы и нам не отобрать у эстетики то или это из ее орудий, обратив их на потребу наших дней — в плане условности? Нет абсолютов на земле, и всякое явление приобретает ту или иную значимость — только в связи с местом и временем.

То же и относительно литературного наследства.

### ДИАЛЕКТИКА ПРИЕМОВ

Старая литература держалась на нескольких прочных китах. Одним их главнейших китов был образ. Критик Белинский даже выразился так: «Художник мыслит образами». Устанавливая этим если не полный абсолют образа в искусстве, в частности в литературе, то уж во всяком случае примат его.

Отрицаем ли мы теорию образа начисто? Никоим образом. Мы только против абсолютного, и даже не за примат. Мы признаем огромно-вспомогательную роль уподобления как фактора, предвосхищающего мысль, это во-первых, и наводящего на точное понятие, во-вторых. Но мы отнюдь не склонны возводить это определенно подсобное — и очень преходящее — орудие мышления в какую-то литературную доминанту. Главное же, мы стремимся максимально рационализировать этот прием, усиленно подчеркивая относительность его значения в ряду других литературных приемов. Старые писатели слишком уж всерьез приняли положение об обязательности мыслить образно, и они старались измышлять свои образы даже там, где вещь

воспринимается элементарным глазом. Вся старая поэзия построена на этой мистификации, и — сколько и сейчас еще есть чудаков, которые живут наследственным очковтирательством!

Новая литература впервые ставит образ на ноги. (Здесь, в частности, отметим колоссальную роль Маяковского, освободившего поэзию от мистицизма.) Новая литература на три четверти рациональна. Путь воздействия ее — через сознание. Не образность, а точность. Не дешевая символика, а правда живого факта. Художники слишком долго извращали действительность во имя призраков — пора объявить войну художеству!

## ЕЩЕ О НЕСКОЛЬКИХ КИТАХ ХУДОЖЕСТВА

Вот — типизация и обобщение.

Как относимся мы к обобщению? Очень неплохо относимся к обобщению. Без обобщения немислима ни старая, ни новая литература.

Только — разница.

Чем руководствовался классик-романист, сводя измышленную им действительность к какому-то единству? Классовым инстинктом в первую очередь, конечно, — хотя этот инстинкт и отрицался. Каждый измышлял действительность так, как она ему была милее. Но не за классовый инстинкт охаиваем мы старую литературу (наоборот: все лучшие произведения разных эпох, от «Капитанской дочки» до «Обрыва», от «Отцы и дети» до «Война и мир» — и явно классовы и максимально в рамках беллетристики актуальны), а за это вот как раз отрицание классовости, за подмену разума и воли интуицией, за объявление процесса «творчества» произвольным и таинственным. Мы плохо верим в этот таинственно организованный обман, именуемый объективизмом, и мы стремимся строить наше классовое обобщение вне всякого дурмана. Обобщение, т. е. монтаж, в литературе факта — это есть научное предвидение фактов на завтра, которое называется диалектическим материализмом. Последнее никак не исключает классовости. Наоборот. Оно научно обнажает классовость под флагом исторической условности: смотри — какой же класс; и что с собой несет; не отклоняется ли данный класс от разрешения возложенной задачи, — можешь действием вносить поправки!

Действенность есть первый вывод из идеи (нашего) обобщения. Старая литература строила свои выводы на песке — литература факта мыслится как побудитель к действию. (В наших газетах мало действенного обобщения, и — это минус.)

Теперь — о типизации. Типизация, по-старому — явление того же порядка, что и обобщение. Типизировать — это сводить всю сумму разнороднейших оттенков к одному явлению.

Не зная ли организованных путей к переустройству общества, лишены ли воли к действию, люди искали выхода из «роковых» неразрешенностей путем шараханья от химеры к химере. Нащупав разрешение в одной какой-либо точке (тип), панически устремлялись к другой, столь же на время единоначальной и столь же, увы, социально беспомощной. В результате мы имеем такие сумасшедшие волновавшие человечество «художественные» монады, как — «ревность», возведенная в извечное начало, как «любовь», ведущая весь мир, как «преданность», «измена», «скудость» и тому подобные властительные штампы, докатившиеся и до наших дней под псевдонимом «мировые проблемы». Особенно сказалась эта первобытная беспомощность образымышления в странах, — как Россия, — где буржуазные революции надолго оттянулись, а культура феодальная чуть не непосредственно смыкалась с древностью. Подобно тому, как

художник «мыслит образами», — целые поколения так называемого мыслящего общества России мыслили... типами. Сочиняется штамп «Обломов», и — вся Россия уже ходит под знаком «обломовщины»; критики, т. е. попы дворянско-разночинских лет, проводят нити от Онегина к Обломову и «лишним людям», а более решительные из недомарксистов нащупывают даже смычку барина Обломова с толстовским мужиком Платоном Каратаевым. Так «познавалась» жизнь классической литературой, так оперировал старый «внеклассовый» учитель жизни типами. Новейшие советские «осознаватели» пытаются смягчить эту традиционную «внеклассовость»... новой тематикой, — но дело же, конечно, не в тематике, — дело в порочном применении явно изжитого приема.

Как относимся мы к типизации? Плохо относимся мы к типизации. Без должного почтения и — очень, главное, условно.

Мыслить придуманными типами мы, к счастью, уже не можем. Хорошо было нашим отцам мыслить «обломовщиной», например, чуть ли не целое десятилетие. Как можем мыслить мы навязчивыми «щинами», когда каждое газетное (буквально) утро приносит нам какую-нибудь новую «щину»?! Предоставим эти «щины» соответствующим учреждениям (ЦСУ, например) и — снизим типизацию, как литприем, до «малого жанра»!

Еще Щедрин использовал работу «типями» для нужд злободневной сатиры. «Новый Лев Толстой» (см. статью Третьякова) дельно приспособил литтипаж для целей маленького фельетона. Зорич и Сосновский «мыслят типами», — не правда ли, это по-своему звучит даже гордо?

#### К МЕТОДИКЕ ЛИТЕРАТУРЫ ФАКТА

Методику еще нужно строить. И ясно, что построят ее не беллетристы. И не те, что в академиях художеств заседают («потому что»?..). Первые слова должны бы исходить от новых очеркистов, от работников газетных, от рабкоров. Но товарищи фактисты, к сожалению, молчат. Приходится — от умозрения. И ощупью.

Вот — главные как будто методические положения, которые по практике фактописателей первой же намечаются:

Первое — решительная переустановка всей новой, подлинно советской литературы на действенность. Писатель не пописывает больше, а читатель не почитывает. Долой отрыв писателя от производства, долой совращение хороших рабкоров в делателей литературного обмана. Литература — только определенный участок жизнестроения. Об этом мы уже довольно писали.

Второе — полная конкретизация литературы. Никаких «вообще». Долой бесплотность, беспредметность, абстракцию. Все вещи именуются собственными именами и научно классифицируются. Только так возможно познавать и строить жизнь. Мы — злейшие враги номинализма; мы — за именованность.

Третье — перенесение центра внимания литературы с человеческих переживаний на организацию общества. Старая литература сплошь индивидуалистична — в том смысле, что строилась на внутреннем мире индивида («личности»). Она же и сплошь идеалистична, — поскольку ценит только преломление «процесса» борьбы за новую материю сквозь человека, игнорируя (как таковую) самую «материю». В результате — мы, плохо ли, хорошо ли, знаем «душу» человека, но совершенно не знаем подлежащего его переработке мира.

От этого страдает человечество.

От некоего же «сжатия психологизма» дело продвижки человечества только выиграет.

## ПОСЛЕДНИЙ — «РОКОВОЙ ВОПРОС»

И тоже — методического свойства.

Виктор Шкловский в одной из своих статей задается таким примерно вопросом: ну, вот, разрушили мы фабульную прозу, а чем же мы будем скреплять внесюжетные вещи? Вопрос действительно не пустяковый. И не только потому, что, борясь с сюжетной прозой, нам приходится выталкивать ее чем-то столь же «завлекательным», — но и потому еще, что сюжет являлся до сих пор действительной и главной скрепой прозаической литературы. Без сюжета, как стихи без рифмы, проза рассыпается, — что же заменит сюжет?

Тут прежде всего, товарищи, нужно устранить одно недоразумение. Никакого сюжета мы нарочито не разрушаем: сюжет разлагается сам собою. Разлагается потому, что разлагается традиционный роман. И кроме того, говоря условно о разрушении сюжета, мы имеем в виду искусственный сюжет, т. е. фабулу, а не сюжет вообще. Фабулу давайте предоставим для отдохновенческой литературы, читаемой в вагоне и «на сон грядущий». Она же мыслится и в качестве подсобно-используемой — в утопической литературе (новая фантастика), в сатире, в маленьком фельетоне, в детской книжке и т. д. А о сюжете побеседуем — о внеискусственном.

Сюжет невыдуманный есть во всякой очерково-описательной литературе. Мемуары, путешествия, человеческие документы, биографии, история — все это столь же натурально-сюжетно, как сюжетна и сама действительность. Такой сюжет мы разрушать не собираемся, да и разрушить его нельзя. Жизнь — очень неплохая выдумщица, а мы — всячески за жизнь, мы только против выдумки «под жизнь». Напротив: нужно приветствовать такую натуральную сюжетность, и — чем сюжетнее, т. е. натурально-сюжетнее, вещь, тем натурально-интереснее она, а значит — и легче для восприятия, и в смысле результатов ощутимее.

Речь сводится — выходит — к тому, чем заменить естественную сюжетность там, где ее нет или она скудна; вернее же всего — как вскрыть эту сюжетность там, где она невъедчивому глазу не заметна. Вот это-то, товарищи, и будет искусство (т. е. умение): искусство видеть, во-первых, и искусство передать, во-вторых. Искусство увидеть скрытый от невооруженного взгляда сюжет — это значит искусство продвижки факта; а искусство изложить такой сюжет будет литература продвижки факта (для краткости мы просто говорим — литература факта), т. е. изложение скрытосцепляющихся фактов в их внутренней диалектической установке.

Как же вскрыть эту внутреннюю зависимость (точнее — целеустремленность) фактов; как же сделать так, чтобы факты эти не рассыпались; как сделать всю литературу факта натурально-сюжетной?

Достаточно исчерпывающий ответ на этот вопрос уже дает наличная литература факта. Просматривая лучшее в этой литературе, приходим к следующим заключениям:

Во-первых. Не нужно бояться «неинтересных» моментов как предмета изложения. Неинтересного в природе не бывает. Нужно только это «неинтересное» подать. У нас существует еще мнение, что целый ряд предметов для писательства «не подходит». Не подходит все простое, обыденное. Жизнь начинается тогда, когда кончается работа, служба. Как идет эта работа или служба, быт

работы или службы, не говоря уже об оплате ежедневного труда, — все это «не тема». Тема — что «переживает» человек на службе. Самая-то служба существует в представлении писателя лишь в качестве территории для переживаний. Служба не живет, не действует. Ее только отбывают, как и все обыденное. Нужно ли долго пояснять, откуда идет такая точка зрения?

Практика лучших очеркистов свидетельствует о том, что этот-то взгляд на «тему» как раз никуда и не годится. Очеркист Семен Сибиряков («В борьбе за жизнь») ни о чем другом не говорит, как только о работах ссыльно-поселенца и об их оплате, а «работы» в его очерке насквозь сюжетны. Очеркист М. Адамович («На Черном море») рассказывает о проведении судовой забастовки; романист на его месте, а то и плохой фактист, построил бы повествование на психологии персонажей, — Адамович же только и говорит, что о технике: технике конспирации, технике подхода к массе, технике ведения стачки, технике выработки условий. Последнее даже по пунктам. Персонажей у него «нет», есть только дело, которое они строят. Почему же драматизм его определенно «технического» сюжета так захватывает, а самым потрясающим моментом является «сухая», бессюжетная формулировка требований, лишенная даже и тени патетики? Фактист В. Шкловский («Сентиментальное путешествие») говорит только о том, как он возится с автомобилями, с теорией сюжета, с грязью, с колкой дров, с переоценкой Стерна и со вшами, и нигде не «чувствует», — а ведь гелертерская проза Шкловского волнует больше специальной лирики!

Секрет скрытой сюжетности, оказывается, вовсе не в бегстве от тем «неинтересных», а — совсем наоборот — в бесстрашном углублении в это «неинтересное», «простое», «обыденное» до дна, — до выявления процесса «обыденного» (процесса ли труда, процесса забастовки, процесса починки штанов, черт возьми), до самого нутра его, — до техники! Секрет в огромной напряженности, в динамике, в стремлении преодолеть среду. Нужно заострить внимание на тяге к вещи, на организации ее, — нужно, как мы уже говорили, перенести центр тяжести интереса писателя с переживаний героя на переживания процессов. Герой от этого не пострадает, — он только будет говорить без слов, — а вещи оживут и много лучше заработают на человека. Процесс преодоления материи — вот лучшая скрыто-сюжетная героика наших дней. Он же — и лучшая внесюжетная скрепа. Это все во-первых.

Во-вторых: характер установки самого писателя. Наши писатели подходят в большинстве к предмету как чужие, — нужно, чтобы они подходили как свои. У лучших очеркистов это опять-таки есть. Б. Кушнер («103 дня на Западе») смотрит на мир глазами хозяина, притом — советского хозяина, слегка голодного: нельзя ли, мол, чего извлечь? И термины его — тоже хозяйские. Эти-то жадные на вещь глаза и делают книжку Кушнера по-своему сюжетной. С. Третьяков в замечательной своей автокорреспонденции «Сквозь не протертые очки» насквозь специфичен. Это — писатель-спец, поставивший себя в положение как бы вбирающего в себя аппарата, испытующий все мыслимые точки зрения и искренно желающий учиться видеть. Эта-то специфическая напряженность и делает теоретический в сущности очерк Третьякова «занимательным, как беллетристика».

Огромная внимательность к вещи и ее специфике присуща и тому же В. Шкловскому. Для него «всякая блоха — блоха», и нет вещей «неинтересных». Не в обиду будь писателю сказано, он обнюхивает весь мир, как впервые прозревший кутенок (такое принюхивание к вещи есть только у рабкора М. Горького). Стерн ему интересен также, как умышленно испорченный кем-то автомобиль. И Стерна и автомобиль он тут же починает. Даже о вшах на фронте Шкловский отзывается, как большой специалист (позвольте не цитировать). И в шутку, и всерьез — он мастер производственного подхода. Вот — мелочь: автор удирает в Штеттин, по профессии же он шофер, — читайте: «Ехал потом на пароходе в Штеттин. Чайки летели за нами. По-моему, они



устроили слежку за пароходом. Крылья у них гнутся, как жесь. Голос у них, как у мотоциклетки...»

Не потому ли, что товарищи не боятся специфики, — они читабельны и изнутри сюжетны?

Шкловский беспокоится о лоскутности своей книжки, и тут же признается: «И вся моя жизнь из кусков, связанных одними моими привычками». Разве плохая скрепа?

Нужно понять любую вещь в ее специфике и подходить к вещам «как свой»; нужно не только уметь, но и хотеть «видеть вещь»; нужно хозяйственно стремиться приспособить вещи на потребу человека, и тогда — можно не беспокоиться о сюжете.

## КТО НАШИ ВРАГИ

Стоит ли говорить о внешних врагах? К счастью, они отмирают. Гораздо интереснее поговорить о... прилипших. Да, литература факта так уже сильна, что может уже, кажется, позволить себе роскошь — иметь своих «примазавшихся»! Кто они? Гурманы старого художества, обьевшия «красотой»; эстеты, потребители приевшегося вымысла, которых потянуло на «кисленькое». Один из них в «Вечерней Москве» (номер 203, 1928 года) так прямо и выбалтывается: «Мы уже достаточно пресытились фабулистическими хитросплетениями. Нас уже перестала интриговать запутанно-сложная приключенческая интрига. Подлинные события и истинные происшествия, даже простая хроника их, бесхитростное (!) воспоминание — вытесняют так называемую беллетристику». Отличное признание! Что же «им» нужно? «Интерес за последнее время к литературе фактов так возрос, что»... Ну, и? «Разве не заманчиво написать такие увлекательные романы, как биографии — берем почти наугад — Чернышевского, Добролюбова, Некрасова, Полежаева? История их жизни стоит (!) выдумки беллетриста. Факты их биографий ярче всякого вымысла». (Юр. Соболев. «Романы без лганья»).

Поняли, чего «им» хочется? То, что мы ставим на ноги, им хотелось бы прокатить на головах. Граждане, берегите карманы!..

Кроме прилипших, есть еще наивные. Они хотели бы работать с фактом, но организм их отравлен усадебной эстетикой. Их очень много. Вот — хороший юноша и коммунист, тов. Евгений Чернявский («Блики древнего города», изд. Московского т-ва писателей, 1928). Говоря о новом Самарканде, он жеманничает: «Зато растет новое, неожиданное»... «Но есть в нем что-то необычное, необыденное»... «Что придает ему какое-то особое очарование»... «Не правда ли, есть что-то любопытное в том облике Востока и приятное»... «И в этом доме, немного странном, но прекрасном, есть одна комната, почти зал, самая странная и самая прекрасная»...

Друг Евгений, не говори красиво!..

Кроме наивных, есть еще срывающиеся. Их тоже много. Вот — к примеру: автор прекрасного очерка «Начало», И. Жига (Москва, 1928). Работая определенно с фактами, он нет-нет да и сорвется в низкопробный беллетризм. «Когда подъезжаешь к Питеру, всегда тебя что-то волнует. Всегда ожидаешь встретить что-нибудь необыкновенное. Словно едешь на переговоры к великому человеку и думаешь: а как-то он встретит, что-то скажет!» Автор хотел бы прямо сказать, к какому именно «великому» (великие всегда наперечет), да остерегся. А подумайте, как заиграло бы это неумело-типизированное «вообще», если бы подставить в эту алгебру конкретную фигуру!.. Или: только что точнее передав по пунктам принятую в Смольном резолюцию,

товарищ ученически сбивается на прописные символы: «Черное осеннее небо сурово и холодно обнимало все. Окна плакали...» (Это еще от «море смеялось»?)...

Будем бороться с охвостьями беллетристизма!..

Кроме срывающихся, есть еще экзотики. Слово это звучит почти как «наркотики», и — вовсе не зря. Нет, оказывается, такого предмета, из которого нельзя было бы сделать средства для эстет-запоя. Есть два вида экзотики. Первый: для того, чтобы увидеть «факт», люди забираются куда-нибудь подальше, по возможности за сине море, за далеки горы, где не виданные раньше «факты» валяются так, что стоит только нагнуться... Мы не о таких уже «фактистах» говорим, как ленинградский журналист Евг. Шуан («В Аргентину на паруснике Товарищ», Гиз, Москва, 1928), объехавший полсвета только для того, чтоб описать потом душе-Тряпичкину, в каких домах терпимости и как советских матросов принимают. Есть, к сожалению, и среди лучших наших очеркистов это тяготение к легкой добыче. Детская болезнь очеркизма?..

Второй случай экзотики: побольше нанизать местных словечек. «Женщина, преступившая грозный закон шариата, женщина, снявшая паранджу и чачван, бежала по сонным улицам кишлака...» (Чернявский).

Братья писатели! Будем о том, что ближе!..

Кроме экзотики, есть еще легкомыслие. По-деликатному это называется — дилетантизм. Стало уже модой, кажется — съездить на три недели за границу, осмотреть ее «в окно своей кареты» и выпустить потом такую книжку, которая дает все основания нашим врагам (из внешних) праздновать дешевые победы над очеркизмом.

Ох, дилетантизм — большой порок! И легкомыслие — также...

Есть ли еще враги? Есть. И серьезные.

Отсутствие определенной целевой установки очеркиста все еще имеет место кое-где в наших писаниях. Факты фиксируются ради фактов. А это уж похоже на «пописывание» и ничего общего с необходимым очеркизмом не имеет...

Есть еще кое-где и вульгаризация. Явления берутся вне динамики. Отсюда — и бездейственность и подозрительный эпизм...

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Литература русская — на трудном переломе. Гальванизируемый труп поучительной беллетристики все еще камнем виснет над сознанием наших издателей. Но правильный уже прокладывает путь литература факта. Молодым нашим товарищам писателям необходимо разобраться:

— С кем идти?

Ответ на этот вопрос был бы не очень труден, если б можно было подходить к нему чисто умозрительно, исходя лишь из потребностей времени и игнорируя тяжелый груз традиций и писательских навыков. А тут еще потребности мещанского читателя! Воистину, легче мещанину 28 войти в царство небесное отвлекающей выдумки, нежели развращенному зиф'ами [т. е.

«мещанскими», по мнению ЛЕФа, издательствами вроде «Земли и фабрики»] писателю облечься в верблюжью шкуру строителя. Вот тут-то и начинается отыгрывание на тематике. Товарищи думают, что стоит только революцию подать не по-пильничьи, как революция в литературе тотчас осуществится. Нет, это дело все же труднее.

Кто хоть сколько-нибудь знаком с диалектикой литературных жанров, может засвидетельствовать, что всякая исторически необходимая форма ощущается впервые как факт, во второй же раз она работает только как пародия. Форма неотделима от социальной функции. Вот почему, перетаскивая чужую форму, мы естественно заимствуем нечто и от функции. Тут нужно прямо сказать: чем пародийно-откровеннее используем мы старую форму, тем менее опасность функционального заражения, и — чем серьезнее играют зиф'ы в беллетристику, тем лучше для... поповства.

Беллетристика — опиум для народа. Противозифие — в литературе факта.

Только решительный переход на новые, рационально-действенные приемы спасет нашу литературу от гниения. Одними тематическими привнесениями делу не поможешь. Нужно перевести самое дело литучебы на новые рельсы. Нужно решительно покончить с шаманством литературных попов.

Борьба литературных жанров есть такая же борьба общественных групп и классов, как и всякое иное столкновение надстроек. Действенным призывом к низвержению чуждых приемов начинается и кончается «писательская памятка».

## **ПРОЛЕТКУЛЬТ И ПРОЛЕТАРСКИЕ ПИСАТЕЛИ**

### **А. БОГДАНОВ. ПРОЛЕТАРИАТ И ИСКУССТВО (Резолюция, предложенная на Первой Всероссийской Конференции Пролетарских культурно-просветительных организаций)**

1) Искусство организует посредством живых образов социальный опыт не только в сфере познания, но также в сфере чувства и стремлений. Вследствие этого оно самое могущественное орудие организации коллективных сил, в обществе классовом — сил классовых.

2) Пролетариату для организации своих сил в социальной работе, борьбе и строительстве необходимо свое классовое искусство. Дух этого искусства — трудовой коллективизм: оно воспринимает и отражает мир с точки зрения трудового коллектива, выражает связь его чувства, его боевой и творческой воли.

3) Сокровища старого искусства не должны приниматься пассивно: тогда они воспитывали бы рабочий класс в духе культуры господствующих классов и тем самым в духе подчинения созданному ими строю жизни. Сокровища старого искусства пролетариат должен брать в своем критическом освещении, в своем новом истолковании, раскрывающем их скрытые коллективные основы и их организационный смысл. Тогда они явятся драгоценным наследием для пролетариата, оружием в его борьбе против того же старого мира, который их создал, и орудием в устройствах нового мира. Передачу этого художественного наследия должна выполнять пролетарская критика.

4) Все организации, все учреждения, посвященные развитию дела нового искусства и новой критики, должны быть построены на товарищеском сотрудничестве, которое непосредственно воспитывает их работников в направлении социалистического идеала.

Принята единогласно при 1 воздержавшемся.

Ежемес. журн. «Пролетарская культура», № 5. Москва, 1918. «Горн». Книга первая. Московский Пролеткульт, 1918.

#### *А. ГАСТЕВ.* КОНТУРЫ ПРОЛЕТАРСКОЙ КУЛЬТУРЫ

К определению пролетарской культуры надо подходить с величайшей осторожностью. Храбрость некоторых мыслителей в этом вопросе большей частью венчается лишь банальностью.

Говорят, что это, прежде всего, культура труда. Но труд существует с сотворения мира. Это психология труда наемного. Но и здесь трудно отличить рабскую психологию от пролетарской. Психология борьбы, восстания, революции... Но разве мало прошло в общей исторической процессии революционных классов? Наконец, последняя, решающая характеристика – коллективизм. И опять же «но». Коллективы – артели, коллективы – коммуны, коллективы религиозные, коллективы политические, социальные... Их было тысячи...

Напрасно стали бы мы черпать материал для пролетарской культуры в различных формах рабочих организаций политических, профессиональных и кооперативных. Ведь эти организации свое организационное проявление находят лишь в одной форме – демократии, парламентарной или прямой в виде референдумов. Не надо думать, что тип «советской» организации открывает нам какие-либо новые горизонты для раскрытия пролетарской культуры. Ведь «советская» конституция есть не что иное, как демократия с избирательными ограничениями для имущих классов, и, кроме того, ведь советы это – политический блок пролетариата, крестьянской бедноты и даже крестьян «средняков». Куда-то вдаль, куда-то ввысь от этих временных образований надо идти, чтобы прощупать восходящую культуру пролетариата.

Для нового индустриального пролетариата, для его психологии, для его культуры прежде всего характерна сама индустрия. Корпуса, трубы, колонны, мосты, краны и вся сложная конструктивность новых построек и предприятий, катастрофичность и неумолимая динамика – вот что пронизывает обыденное сознание пролетариата. Вся жизнь современной индустрии пропитана движением, катастрофой, вделанной в то же время в рамки организованности и строгой закономерности. Катастрофа и динамика, скованные грандиозным ритмом, – вот основные, осеняющие моменты пролетарской психологии.

Методическая, все растущая точность работы, воспитывающая мускулы и нервы пролетариата, придает психологии особую настороженную остроту, полную недоверия ко всякого рода человеческим ощущениям, доверяющуюся только аппарату, инструменту, машине.

Машинизирование не только жестов, не только рабоче-производственных методов, но машинизирование обыденно-бытового мышления, соединенное с крайним объективизмом, поразительно нормализует психологию пролетариата. Смело

утверждаем, что ни один класс ни старого, ни современного мира не проникнут такой нормализованной психологией, как пролетариат. Где бы он ни работал: в Германии, в Сан-Франциско, в Австралии, в Сибири, – у него есть только общие психологические формулы, которые воспринимают с быстротой электрического тока первый производственный намек и завершают его в сложный шаблонный комплекс. Пусть нет еще международного языка, но есть международные жесты, есть международные психологические формулы, которыми обладают миллионы. Вот эта-то черта и сообщает пролетарской психологии поразительную анонимность, позволяющую квалифицировать отдельную пролетарскую единицу как А, В, С или как 325,075 и 0 и т. д. В этой нормализованности психологии и в ее динамизме – ключ к величайшей стихийности пролетарского мышления. Это не значит, что пролетариат элементарно стихийен, как крестьянская масса, артельная, шальная, слепая, – нет, это значит, что в его психологии из края в край мира гуляют мощные, грузные психологические потоки, для которых как будто уже нет миллиона голов, есть одна мировая голова. В дальнейшем эта тенденция незаметно создаст невозможность индивидуального мышления, претворяясь в объективную психологию целого класса с системами психологических включений, выключений, замыканий.

Рядом с отмеченной, нормализованной психологией надо отметить ее особую социальную конструктивность.

Пролетариат, постепенно разбиваемый новой индустрией на определенные «типы», «виды», на людей определенной «операции», на людей определенного жеста, с другой стороны, впитывает в свою психологию весь тот грандиозный монтаж предприятия, который проходит перед его глазами. Это, главным образом, открытый и всем видимый монтаж самого завода, последовательность и соподчиненность операций и фабрикаций, наконец, генеральный монтаж всего производства, выражающийся в подчинении и контроле одной операции – другой, одной фабрикации – другой, одного «типа» – другому и т. д. Психология пролетариата здесь уже превращается в новую социальную психологию, где один человеческий комплекс работает под контролем другого и где часто «контролер» в смысле трудовой квалификации стоит ниже контролируемого и очень часто персонально совершенно неизвестен. Эта психология раскрывает новый рабочий коллективизм, который проявляется не только в отношениях человека к человеку, но и в отношении целостных групп людей к целостным группам механизмов. Такой коллективизм можно назвать механизированным коллективизмом. Проявления этого механизированного коллективизма настолько чужды персональности, настолько анонимны, что движение этих коллективов-комплексов приближается к движению вещей, в которых как будто уже нет человеческого индивидуального лица, а есть ровные, нормализованные шаги, есть лица без экспрессии, душа, лишенная лирики, эмоция, измеряемая не криком, не смехом, а манометром и таксометром.

Не ясно ли, что в лице пролетариата мы имеем растущий класс, который развертывает одновременно и живую рабочую силу, и железную механику своего нового коллектива, и новый массовый инженеризм, превращающий пролетариат в невиданный социальный автомат.

Все это не так просто, как хотелось бы думать многим специалистам по *пролетарской культуре*.

Не с такой простотой мы хотели бы подойти и к проблеме *пролетарского искусства*.

Обыкновенно, говоря о пролетарском искусстве, идеологи не только просто разрешают самый вопрос, но и главной характеристикой пролетарского искусства считают его нарочитую простоту. Такой подход к величайшей проблеме современности нам представляется большим недоразумением. Если даже говорить не о пролетариате, а о современном народе вообще, прошедшем через горнило техники, войны, революции, то к нему теперь не подойдешь с той нетронутой простотой, которой характеризуются наши народные художники-классики. Что же касается пролетариата, то подходить к нему с простотой, значит, с нашей точки зрения, проповедовать ханжество.

Конечно, не надо умышленно кривляться и заниматься стилизацией, но не надо упиваться и лубком.

Со стороны внутреннего содержания нового пролетарского искусства придется подойти к раскрытию всех сложных растущих психологических переживаний, посильно нами раскрытых выше. И если бы мы были только благочестивыми лубочниками, то, конечно, постарались бы только лишь влить «новое вино» в меха старые. Но такое предприятие будет обречено на неудачу. Класс, раскрывающий невиданную психологию, потребует рано или поздно новых методов раскрытия, он потребует нового художественного стиля.

Мы не хотим быть пророками, но, во всяком случае, с пролетарским искусством мы должны связать ошеломляющую революцию художественных приемов. В частности, художникам слова придется разрешить уже не такую задачу, какую поставили себе футуристы, а гораздо выше. Если футуризм выдвинул проблему «словотворчества», то пролетариат неизбежно ее тоже выдвинет, но самое слово он будет реформировать не грамматически, а он рискнет, так сказать, на технизацию слова. Слово, взятое в его бытовом выражении, уже явно недостаточно для рабоче-производственных целей пролетариата. Будет ли оно достаточно для такого тонкого и такого нового творчества, как пролетарское искусство? Мы не предпрещаем формы технизирования слова, но ясно, что это будет не только звуковым усилением, оно будет постепенно отделяться от живого его носителя – человека. Здесь мы вплотную подходим в какому-то действительно новому комбинированному искусству, где отступят на задний план чисто человеческие демонстрации, жалкие современные лицедейства и камерная музыка. Мы идем к невиданно объективной демонстрации вещей, механизированных толп и потрясающей, открытой грандиозности, не знающей ничего интимного и лирического.

А. Гастев, «Пролетарская культура», 1919, № 9-10.

## ***А. БОГДАНОВ. ПУТИ ПРОЛЕТАРСКОГО ТВОРЧЕСТВА***

### Тезисы

1. Творчество, всякое – техническое, социально-экономическое, политическое, бытовое, научное, художественное, – представляет разновидность труда и точно так же слагается из организующих (или дезорганизующих) человеческих усилий. Это не что иное как труд, продукт которого не является воспроизведением готового образца, есть нечто «новое». Нет и не может быть строгой границы между творчеством и просто трудом; не только имеются все переходные ступени, но часто нельзя даже уверенно сказать, которое из двух обозначений более применимо.

Человеческий труд, всегда опираясь на коллективный опыт и пользуясь коллективно выработанными средствами, в этом смысле всегда коллективен, как бы ни были в частных случаях узко индивидуальны его цели и его внешняя, непосредственная форма (т. е. и тогда, когда это труд одного лица и только для себя). Таково же и творчество.

Творчество – высший, наиболее сложный вид труда. Поэтому его методы исходят из методов труда.

Старый мир не сознавал ни этой общей социальной природы труда и творчества, ни связи их методов. Он одевал творчество фетишизмом таинственного.

2. Все методы труда – а с ним и творчество – лежат, в одних и тех же рамках. Его первая фаза – комбинирующее усилие, вторая – подбор его результатов, устранение неподходящего. В труде «физическом» комбинируются материальные вещи, в «духовном» – образы; но как показывает новейшая психофизиология, природа усилий, комбинирующих и подбирающих, одна и та же – нервно-мышечная.

Творчество комбинирует материалы наново, не по привычному образцу, что ведет и к подбору более сложному, более интенсивному. Комбинирование и подбор образов происходит несравненно легче и быстрее, чем материальных вещей. Поэтому творчество чаще протекает в виде «духовного» труда, – но отнюдь не исключительно. Все почти открытия «случайные» и «незаметные» получились путем подбора материальных комбинаций, а не через предварительное сочетание и подбор образов.

3. Методы пролетарского творчества имеют свою основу в методах пролетарского труда, т. е. того типа работы, который характерен для рабочих новейшей крупной индустрии.

Особенности этого типа: 1) соединение элементов «физического» и «духовного» труда; 2) прозрачный, ничем не скрытый и не замаскированный коллективизм самой его формы. Первое зависит от научного характера новейшей техники, в частности – от передачи механической стороны усилий машине: работник все более превращается в «руководителя» железных рабов, а его труд в возрастающей доле сводится к «духовным» усилиям – внимания, соображения, контроля, инициативы, роль же мышечных напряжений относительно сокращается. Второе зависит от концентрации рабочей силы в массовом сотрудничестве и от сближения специализированных видов труда силою машинного производства, которое во все большей мере непосредственную, физическую специализацию рабочих переносит на машины. Объективная и субъективная однородность труда возрастает, уничтожая перегородки между работниками; а при этой однородности фактическая совместимость труда становится основой товарищеских, т. е. сознательно-коллективистических отношений между ними. Эти отношения с их результатами – взаимным пониманием, взаимным сочувствием и стремлением заодно действовать – расширяются, переходя пределы фабрики, профессии, производства, на рабочий класс в национальном, а затем и мировом масштабе. Коллективизм борьбы человечества с природою впервые осознается.

4. Таким образом, методы пролетарского труда развиваются в направлении монистичности и осознанного коллективизма. В таком же направлении складываются, естественно, и методы пролетарского творчества.

5. Эти черты успели уже ясно выразиться в методах тех областей, где пролетарское творчество до сих пор проявлялось преимущественно – в экономической и политической борьбе и в научном мышлении. В первых двух областях это сказывалось постоянно в

единстве строения организаций, которые пролетариат создавал, – партийных, профессиональных, кооперативных: один и тот же тип, один и тот же принцип – товарищеский, т. е. сознательно-коллективистический; сказывалось и в развитии программном, которое во всех них неуклонно тяготело к одному идеалу, именно социалистическому. В науке и философии марксизм явился воплощением и монизма метода и осознанно коллективистической тенденции. Дальнейшее развитие на основе тех же методов должно выработать всеобщую организационную науку, монистически объединяющую весь организационный опыт человечества в его социальном труде и борьбе.

6. Творчество бытовое, поскольку оно выходит из пределов экономической и политической борьбы, до сих пор у пролетариата шло стихийно, – тем не менее по той же линии; о том свидетельствует и развитие пролетарской семьи от авторитарного строения крестьянской или мещанской к товарищеским отношениям, и всемирно установившаяся пролетарская форма вежливости – «товарищ». Поскольку это творчество в дальнейшем будет идти сознательно, вполне очевидно, что его методы будут проникаться теми же самыми принципами: это будет творчество гармонически целостного; осознанно-коллективистического быта.

7. В сфере *художественного творчества* старая культура характеризуется неопределенностью и неосознанностью методов («вдохновение» и т. п.), их оторванностью от методов трудовой практики, от методов творчества в других областях. Хотя пролетариат делает здесь еще только первые шаги, но уже ясно намечаются общие, свойственные ему тенденции. Монизм сказывается в стремлении слить искусство с трудовой жизнью, сделать искусство орудием ее активно-эстетического преобразования по всей линии. Коллективизм, вначале стихийный, а потом все более сознательный, выступает ярко в содержании художественных произведений и даже в форме художественного восприятия жизни, освещая изображение не только человеческой жизни, но и жизни природы: природа, как поле коллективного труда; ее связи и гармонии, как зародыши и прообразы организованности коллектива.

8. Технические методы старого искусства развивались обособленно от методов других сфер жизни; техника пролетарского искусства должна сознательно искать и использовать материал и всех тех методов. Например, фотография, стереография, кинофотография, спектральные цвета, фонография и пр. должны найти свое определенное место в системе художественной техники как ее средства. Из принципа монизма методов вытекает, что не может быть методов практики и науки, которые не могли бы найти прямого или косвенного применения в искусстве, – и обратно.

9. Осознанный коллективизм преобразует весь смысл работы художника, давая ей новые стимулы. Прежний художник видел в своем труде выявление своей индивидуальности; новый поймет и почувствует, что в нем и через него творит великое целое – коллектив. Для первого оригинальность есть выражение самооценности его «я», средство его возвеличения; для второго она означает глубокий и широкий захват коллективного опыта и есть выражение его доли активного участия в творчестве и развитии жизни коллектива. Первый может полусознательно стремиться к жизненной правде – или уклоняться от нее; второй должен сознавать, что истина, объективность – это опора для коллектива в его труде и борьбе. Первый может ценить или не ценить художественную ясность; для второго она есть не что иное, как доступность коллективу, в котором живой смысл усилий художника.



10. Осознание коллективизма, углубляя взаимное понимание людей и связь чувства между ними, делает возможным несравненно более широкое, чем до сих пор, развитие также и непосредственного коллективизма в творчестве, т. е. прямого сотрудничества в нем многих, вплоть до массового.

11. В искусстве прошлого, как и в его науке, есть очень много скрытых элементов коллективизма. Раскрывая их, пролетарская критика дает возможность творческого восприятия лучших произведений старой культуры в новом свете и с огромным обогащением их ценности.

12. Основное отличие нового творчества от прежнего то, что здесь оно впервые понимает себя и свою роль в жизни.

А. Богданов, «Пролетарская Культура», 1920, № 15–16.

### **ДЕКЛАРАЦИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ «ЛИТЕРАТУРНЫЙ ФРОНТ»**

В связи с неоспоримыми победами пролетариата в широких слоях русской интеллигенции, доселе в массе враждебной пролетарской революции, происходит перелом настроения, иногда даже мировоззрения.

Характерно для пролетарской революции, что мнившие себя передовыми силами интеллигенции ее духовные вожди, в частности, художники слова, плетутся сейчас в хвосте обывательских масс. Насколько мы приветствуем духовный перелом интеллигенции в целом, настолько должно осторожно и строго критически отнестись к деятельности ее прежних вождей. Эти люди, в лучшем случае стоявшие в стороне в черные дни Советской России, теперь быстро меняют свои маски и краски и, чтобы не проиграть в дальнейшем, стараются заговорить чуждым им коммунистическим языком.

Так вырастает на наших глазах новая опасность – опасность засилья в области художественной литературы со стороны духовного мещанства. В свое время под флагом борьбы с мещанством в искусстве шли многие представители интеллигентских групп, проводя присущие им узкоиндивидуалистические, беспредметно революционные тенденции. Организация борьбы с буржуазной идеологией во всех ее видах должна перейти в руки тех, кто твердо стоит на платформе революционного марксизма. Углубление и расширение влияния революционного марксизма в искусстве – основа всей работы «Литературного Фронта».

*«Литературный Фронт»* не ставит на своем знамени огульного отрицания всего дореволюционного искусства, но стремится освободить искусство от тех методов, форм и настроений, которые несоответствуют новому восприятию жизни, поддерживая все виды художественного творчества, отвечающие по содержанию и форме новому коммунистическому строительству.

Для этого «Литературный Фронт» исследует все уже сложившиеся и еще намечающиеся течения в искусстве и использует выработанные ими элементы, жизненного, здорового творчества. С этой точки зрения «Литературный Фронт» воспользуется и долгим опытом классической литературы и достижениями всех последних течений в искусстве.

Мы являемся лишь зачинщиками, инициативной группой будущего союза художников слова.

Не ставя никаких рамок в выборе форм, мы выдвигаем определенную цель: организованная, в отличие от партизанщины, борьба единым фронтом за коммунизм. Все вступающие в наш союз будут сплочены крепкой дисциплиной общей цели.

Призывая в наши ряды всех писателей-коммунистов и сочувствующих, мы особенно рассчитываем на могучие, еще только пробуждающиеся самобытные силы рабочих и крестьян, будущих творцов художественного слова.

В. Фриче, Н. Мещеряков, А. Луначарский, Н. Бухарин, Мих. Покровский, Ангарский, В. Полонский, В. Попов (Дубовской), В. Мордвинкин, К. Новицкий, Ив. Филиппченко, В. Вешнев, Е. Херсонская, Мих. Шимкевич, К. Лаврова, В. Кириллов, М. В. Морозов, Российский, Н. Кузько-Музин, О. Литовский, С. Басов-Верхоянцев, А. Серафимович, П. Коган, М. Герасимов, В. Мейерхольд, С. Лопашев, И. Касаткин, Г. Устинов, Чижевский, Н. Поваров.

1920 г. «Горн», книга 5, с. 94.

## **ДЕКЛАРАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ «КУЗНИЦА»**

### **I. Диалектика.**

Всякое явление в процессе развития таит внутри себя зародыш своего же собственного отрицания. Этот закон противоречия пронизывает красной осью как всю природу в ее бесконечном разнообразии движения, так и жизнь человеческого общества со всеми его надстройками.

### **II. Скачок в царство свободы.**

Рабочий класс в капиталистическом обществе есть противоречие этого общества. Фактом своего существования он отрицает его, развитием подтачивает изнутри и, созрев в его недрах, разрывает железное кольцо старого строя. Обездоленные множества, объединенные в процессе труда и борьбы за переустройство основ жизни, своим напором пересоздают и свою психику.

### **III. Динамика форм.**

Пролетарская революция, обусловленная факторами экономическими и политическими, разбивает старые формы общественной жизни. Революционное разрушение хоронит системы отживших идеологий, чувств, представлений. Новая психика завеществляется в новых формах общественной деятельности, общественная деятельность отливается в его художнике в новые формы искусства.

Так смена форм общества определяет формы искусства.

### **IV. Искусство как особое орудие.**

Пролетариату искусство так же необходимо, как армии транспорт, фабрики и заводы. Далекие горизонты новой эпохи, беспредельные перспективы деятельности, невиданная панорама революционного быта стоят перед новым искусством. Освобожденное от служения целям забавы и эксплуатации буржуазным классом, оно делается особым зрячим орудием организации грядущего коммунистического общества.

## V. Стиль – это класс.

Художники, откристаллизованные дореволюционным бытием, бессильны оформить творческий материал, вывернутый землетрясением Октябрьской революции. Для глыб грандиозных событий, созданных с любовью и энтузиазмом множествами, нет у этих художников собственного мировосприятия, мироема. И нет соответствующих орудий обработки, словесной техники, стиля. Стиль вообще – это внешняя маска произведения, за которой таится дух содержания; не только раковина, в которой прячется, как улитка, бытие и быт; не только почерк класса, где все открыто и ничего скрыть нельзя, это – живой волеобраз сращенных, органически законченных множеств класса. Буржуазные и мелкобуржуазные писатели в прошлом не имели связи с пролетариатом, чужды его практике, его устремлениям, его идеологии. А стиль – это класс.

## VI. Осужденные историей.

Символизм, футуризм и имажинизм как литературные течения единоутробные вскормленцы капиталистического строя.

Символизм был порожден страхом упадочного буржуазного общества перед революцией завтрашнего дня. Он всегда знаменует оборону, защиту и никогда – нападение. Он, как иннок в келье, одновременно ненавидит и благоговееет.

Футуризм вырос из крайнего, гипертрофически развитого и в последнем счете сложившегося интеллигентского индивидуализма. Футуризм – значило смертницизм, будущий мертвицизм. Для него идти вперед – идти к собственной гибели, стоять на месте – значит окопаться в крепости техницизма и всяческой заумности. Отступать – некуда. Имажинизм – явление последних предсмертных конвульсий старого мелкобуржуазного общества (1918 г.), у которого осталось времени только на аналогию, бессвязную образологию происходящему. Вчерашнее искусство слова выродилось во всеобщее уродство и бессильно коснуться рабочего класса, как рука трупа пожать руку живому.

## VII. Искусство мертвецкой.

*Техника искусства*, его изобразительные средства давно уже сделались самоцелью у художников предсмертной агонии капитализма. Пишутся громадные поэмы, исключительно чтобы выявить «ритм»; делаются стихотворения ради «небывалой» рифмы, извергаются фонтаны строф, вызывающие «аллитерацию», «образ» звука; строятся пьесы – удивить трепакон образного языка. Дробятся размеры (ямб, хорей и т. д.), дробится строчка стиха на, 1/2 строчки; 1/2 строчки на 1/4 строчки и т. д. Слова дробятся на слоги и пишутся один под другим, слоги делятся на отдельные буквы. Мир, из которого черпается литературный материал, – это неслыханный культ индивидуализма, близкого к умопомешательству, порнография, физиологические отправления, плохо прикрытая революционной фразой барковщина «серапионов», бессмысленные выкрики «слов с чужими брюхами» и т. п. Искусство старого строя вступило в фазу окончательного распада. И мы поднимаем тяжелый рабочий молот заколотить наглухо дверь этой жуткой «храмины», мы вбиваем последний гвоздь в крышку этой раскрашенной гробницы искусства.

## VIII. Красный флаг в пустыне.

НЭП как этап революции оказался в окружении искусства, похожего на искусничанье горилов. Художник-обезьяна как бы передразнивает своего предшественника,

создававшего вдохновенно и в соответствии со своим временем непосредственно необходимое. В наши дни ненужное, пустое подражание, холодное жонглирование порожными формами ставятся в задачу дня – оживить упадочным техницизмом, вдохнуть жизнь в мумию искусства. На все это отпускаются средства. Ведется агитация. Рабочая молодежь, прорвавшаяся к знанию и художественному творчеству, в недоумении. Белинских нет. Над пустыней искусства – сумерки.

И мы возвышаем свой голос и поднимаем красный флаг платформы – декларации пролетарского искусства.

#### IX. Поросль в октябрь.

Искусство восходящего к власти пролетариата есть отрицание упадочного буржуазного искусства. Пролетариат в прошлом не имел собственного художника, а стоял перед глазами художника сочувствующего. И давно уже из недр капитализма прорастала алая поросль.

Возникают его ростки во всех странах: Англии – Эллиот, Морис, Томас Гуд; Франции – Дюпон, Потье, Жюль Ромен, Верхарн; Бельгии – Менье, Экоут; Германии – Фрейлиграт, Штерн, Деммель, отчасти Гауптман; Италии – Ада-Негри; Америке – отчасти Уитмен, отчасти Лондон и Синклер; Украине – Франко, отчасти Шевченко; Венгрии – Петефи, Стефаник, Безруч; Латвии – Ян Рапнис; России – Некрасов, отчасти Горький. Пролетарские поэты и писатели вместе со своим классом, пережившим революцию 905 года, пришли как-то вдруг. Их искусство – искусство-антитеза молодого материалистического класса, – искусство, призванное заменить и заместить всякие мистические культы, уходящие в необратимость.

#### X. Мы.

Мы провозглашаем искусство как здоровый, согласованный с самим собой и окружающей социальной средой организм, формирующий кристаллы художественных потребностей. В нашем понимании художественное творчество – функция общественной идеологии, эмоциологии, психики вообще. Его база: состояние производительных сил страны и обусловленные ими экономические отношения; далее – социально-политический строй, выросший на данной экономической основе; затем определяемая частью непосредственно экономикой, а частью выросшим на ней социально-политическим строем психика классового человека; и, наконец, идеология, отражающая в себе свойства этой психики. Труд и борьба за организацию коммунистического общества – первоосновы рабочего класса и первоосновы нашего творчества. Воздух для его дыхания – это массы. Связь с ними – открытые окна в психическую лабораторию художника.

#### XI. Поэзия – это практика пролетариата.

Класс Октября вздыбил социальную практику рабочего человечества на головокружительные высоты, откуда видно, что делать завтра, сделанное сегодня и вчера, – обратив эту практику в поэзию. Взгромождены горные вершины строительного материала; этаж за этажом вскинута невиданные перестройки начал новой жизни, затканые в подмостки и леса; черные провалы разрушенных суеверий и всяческой дикости; кольцо огня, накалившее докрасна горизонты небосклона, и орудийный грохот товарищеской защиты своего рабочего государства. Этот ежедневный творческий труд, ежечасное приспособление мирных условий к себе и приспособление себя как строителя к

ним, это изумительное, виртуозное мастерство организовать, разрушать, эта практика созидать и есть поэзия пролетариата. Его практика – его поэзия.

## ХII. Художник – медиум своего класса.

Каково мироощущение класса, таково и мироощущение его художника. Каков мир пролетариата, таков и мир его функции – художника. Сколько может вдохнуть в свою грудь класс для жизнестроительства, сколько может вместить, чтобы дать форму воспринятому, – он выдыхает и формует через своего художника. Пролетарское искусство – это призма, где концентрируется лицо класса, зеркало, куда рабочие массы смотрятся на себя, на ими пройденное и созданное, на создаваемое и грядущее. Наша цель и задача осознать и выявить образ строителя коммунистического общества. Выковать революционные типы нового человека. Поднять орудием трудового слова девственную целину, на которой он возвращает условия нового существования, красную действительность. Показать этот новый быт не кинематографически, не жестиком, методами «Великого Немого», по-«серапионовски», бездушно, – но пронизать штурмом чувства и мысли, установить аккумуляторы для собирания, пока разрозненных, но уже включенных волю и сознаний в революционное жизнестроительство. Дать художественные образы научного революционно-марксистского миропонимания, художественно разрушить буржуазную идеологию наследственных переживаний первобытного собственника. Подвести итоги революции и наметить пути будущего. Оглянуться назад и снова вперед. Художник пролетариата есть творящий медиум своего класса.

## ХIII. Содержание и форма.

Бытие подсказывает и определяет форму и само показывается и определяется ею. Содержание угадывает изобразительные средства и само разгадывается и изображается ими. Стихия творческого материала и стихии: 1) ритма, 2) композиции и 3) смысловая – должны быть единым органическим целым. И далее: 1) картина произведения; 2) его пафос, напряженность процесса, 3) его музыка, словесный звукозвон – должны составлять единый органический образ и его атмосферу, – будь то поэма, драма, роман, небольшое стихотворение. Наше творчество должно захватывать не точкоподобные пятна жизни, а всю ее площадь. Соответственных средств, изобретательной техники у закатной буржуазии в ее упадочном искусстве нет, и мы должны искать их в мировых литературах, восходящих к жизни и власти исторических классов. И в жизни нашей эры Октября.

Мы – против бессодержательности и бессюжетности.

Мы – против пустозвонства, стихачества и рифмачества.

Мы – против словесных бездушных фокусов.

Мы – против индивидуалистических миггов и настроений.

У пролетариата слишком здоров организм и крепки нервы, чтобы обращать внимание на эти мигги, – когда перед ним стоят века, вдаваться в настроения, будучи в процессе исторических устремлений.

«Кузница» будет искать художественные формы, соответственные объему нашей эпохи, работать над ними, но не подражать и копировать упадочников.

#### XIV. Пролетарское искусство.

*Пролетарское искусство* – это искусство, которое охватывает трехмерную площадь творческого материала в соответственную классу ясную, точную, синтетическую форму, – проводит сквозь него линию устремлений к конечным целям пролетариата. Это искусство по самой своей природе – искусство большого полотна, большого стиля – монументальное искусство.

Класс коллективного единодушия, всеобщего товарищества, рабочего содружества в труде, борьбе и поражении, класс единых интересов, чувств, переживаний, – от практических мелочей до взлетов к вершинам идеалов, – класс монолит, из которого история выграницила монумент Мемнона, возвещающий зарю нового дня; такой класс творит искусство только по своему образу и подобию. Его особенный язык, многосложный, многокрасочный, многообразный, богатством своего словаря выявляя бытие от пласта темного биозоологического существования до пласта сложнейших представлений и величественных идей, – способствует своей простотой, ясностью, точностью могуществу большого стиля.

#### XV. Заглушение сорной травы.

Пролетарское творчество, освобождаясь от влияния упадочного искусства нашего времени, крепнет и все теснее связывается красными нитями с трудящимися и втягивает в сферу своего влияния не только пролетарские круги, но и примыкающие к революции мелкобуржуазные слои. Формы многих литературных течений уже испытывают на себе воздействие пролетарского искусства. Пробуют обрабатывать наш материал нашими же методами. Эти опыты нередко приводят к положительным результатам. Но некоторые товарищи-публицисты из наших рядов, привыкшие дирижировать оглоблей, часто по недосмотру вредят первым, но уже заглушающим сорную траву всходам нового искусства.

#### XVI. Смычка.

Мы открываем к нам доступ всем поэтам, писателям, художникам, музыкантам, кто тяготеет к пролетариату, его устремлениям и идеологии. Мы не боимся принимать их в свою среду и обработку. И в первую очередь – писателей из крестьянской среды. Ядро «Кузницы» крепко. Кузница углубляется и расширяется, молотов у диктатуры пролетариата хватит на всех.

#### XVII. Ударный отряд.

Объединение рабочих писателей «Кузница» – есть единственное объединение, стоящее всецело на программе революционного авангарда рабочего класса и Р. К. П. В деле укрепления диктатуры и осуществления рабоче-крестьянской демократии в путях к коммунистическому обществу, оно осознает себя ударным отрядом на передовых позициях идеологического фронта.

#### XVIII. О международной «Кузнице».

Группа «Кузница» в организационной и творческой работе сплачивает ряды рабочих, писателей всей СССР, и выковывает основное ядро единого пролетарского искусства в целях международного объединения кузнецов рабочего искусства всех стран.

## XIX. Заключение.

Буржуазное искусство выродилось во всеобщее уродство и бессильно коснуться рабочего класса, как рука трупа пожать руку живому. Мы поднимаем тяжелый рабочий молот, вбить последний гвоздь в крышку этой гробницы искусства.

Смена форм общества меняет формы искусства. Мы провозглашаем искусство как здоровый, согласованный с самим собой и окружающей социальной средой организм. В нашем понимании художественное творчество – функция общественной идеологии, эмоциологии, классовой психики вообще. Пролетарское искусство, охватывая трехмерную площадь творческого материала в соответствующую классу ясную, точную, синтетическую форму, проводит сквозь него линию устремлений к конечным целям пролетариата. Труд и борьба за организацию коммунистического общества – первоосновы рабочего класса и первоосновы нашего творчества.

Бытие определяет форму и само показывается и определяется через нее. Содержание угадывает изобразительные средства и само разгадывается и изображается ими. Стихия: 1) ритма, 2) композиции и 3) смысловая – должны быть единым, органическим целым. 1) Картина, 2) пафос, 3) звукозвон произведения должны составлять единый органический образ. Стиль – это класс. Художник – функция этого класса и его творящий медиум, и творчество поэзии – практика пролетариата.

Объединение рабочих писателей «Кузница» стоит на точке зрения Р. К. П. и осознает себя ударным отрядом на передовых позициях идеологического и художественного фронта. Группа «Кузница» в своей творческой работе сплачивает ряды рабочих-писателей всей СССР, и выковывает ядро кузнецов пролетарского искусства всех стран.

Председатель «Кузницы» Ив. Филиппченко.

Заместитель Н. Ляшко.

Секретарь Г. Санников.

Члены правления: Г. Айкуни, В. Кириллов.

Газ. «Правда», 1923 г., № 186.

### **ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПЛАТФОРМА ГРУППЫ ПРОЛЕТАРСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ «ОКТЯБРЬ»**

Принята по докладу тов. Сем. Родова «Современный момент и задачи пролетарской литературы» в качестве платформы Московской Ассоциации Пролетарских Писателей.

#### § 1

Эпоха социалистических революций, являющаяся переходом от классового к бесклассовому, коммунистическому обществу, началась Октябрьской революцией, установившей в России диктатуру пролетариата при системе Советов, что только и дает пролетариату возможность стать организатором и переустроителем общества во всех отношениях.

#### § 2

Оформив в процессе классовой борьбы революционно-марксистское понимание в области экономики и политики, пролетариат в остальных областях еще не вполне освободился от многовекового идейного воздействия со стороны господствовавших классов. Ныне, по окончании гражданской войны и в процессе углубления борьбы на экономическом фронте, выдвинулся фронт культурный, особенно важный в условиях НЭП'а и начавшегося идеологического наступления буржуазии, в связи с чем перед пролетариатом встает, в качестве первоочередной, задача строительства своей культуры, а, следовательно, и своей художественной литературы как могучего средства глубокого воздействия на чувственные восприятия масс.

### § 3

Пролетарская литература как движение только в результате Октябрьской революции получила необходимые условия для своего выявления и развития. Однако культурная отсталость русского пролетариата, вековой гнет буржуазной идеологии, упадочная полоса русской литературы последних лет и десятилетий перед революцией – все это вместе взятое влияло, влияет и создает возможность дальнейшего влияния буржуазной литературы на пролетарское творчество. Кроме того, на нем не могло не сказаться и влияние идеалистической мелкобуржуазной революционности, обусловленное стоявшей перед российским пролетариатом параллельной задачей завершения буржуазно-демократической революции. В силу этих условий пролетарская литература до сих пор неизбежно носила и часто носит эклектический характер как в области идеологии, так, следовательно, и в области формы.

### § 4

Между тем с началом планомерного социалистического строительства во всех областях методами НЭП'а и с переходом Р. К. П. (б) от агитации к систематической и глубокой пропаганде в широких пролетарских массах выявилась необходимость и в пролетарскую литературу ввести определенную систему.

### § 5

Исходя из всего вышеизложенного, группа пролетарских писателей «Октябрь», как часть пролетарского авангарда, проникнутая диалектически-материалистическим мировоззрением, стремится к созданию такой системы и считает достижение этого возможным лишь при условии создания единой художественной программы, идеологической и формальной, которая должна послужить основой дальнейшего развития пролетарской литературы.

Полагая, что такая программа окончательно оформится в процессе практической творческой работы и борьбы на идеологическом фронте, группа «Октябрь», при своем возникновении, в основу своей деятельности кладет следующие исходные положения:

### § 6

В классовом обществе художественная литература, наряду с остальным, служит задачам определенного класса и только через класс – всему человечеству. Отсюда, пролетарской является такая литература, которая организует психику и сознание рабочего класса и широких трудовых масс в сторону конечных задач пролетариата как переустроителя мира и создателя коммунистического общества.



## § 7

В процессе распространения и укрепления диктатуры пролетариата и приближения к коммунистическому обществу пролетарская литература, оставаясь глубоко классовой, не только организует психику и сознание рабочего класса, но и все более влияет на остальные слои общества, этим самым выбивая последнюю почву из-под ног буржуазной литературы.

## § 8

Пролетарская литература противопоставляет себя буржуазной как ее антипод. Буржуазная литература, обреченная вместе со своим классом, старается затушевать свою сущность отрывом от жизни, уходом в мистику, в область «чистого искусства», форму как самоцель и т. д. Пролетарская литература, наоборот, кладет в основу творчества революционно-марксистское миропонимание и берет творческим материалом современную действительность, творцом которой является пролетариат, а также революционную романтику жизни и борьбы пролетариата в прошлом и его завоевания в перспективе грядущего.

## § 9

В связи с ростом общественного значения пролетарской литературы перед ней встает основная задача создания широких полотен, монументальных произведений с развернутым сюжетом, главным образом из жизни пролетариата. Группа пролетарских писателей «Октябрь» считает возможным выполнение этих требований лишь при условии, когда наряду с лирикой, господствовавшей последнее пятилетие в пролетарской литературе, в основу будет положен эпический и драматический подход к творческому материалу. В соответствии с этим и форма произведений будет стремиться к наибольшей широте, простоте и экономии художественных средств.

## § 10

Группа «Октябрь» утверждает примат содержания. Само содержание пролетарского литературного произведения дает словесно-художественный материал и подсказывает форму. Содержание и форма – диалектические антитезы: содержание определяет форму и художественно оформляется через нее.

## § 11

Разнообразие форм классовой борьбы в переходный период требует от пролетарского писателя разработки самых различных тем, что ставит его перед необходимостью всестороннего использования художественных форм и приемов прозы и поэзии, созданных предыдущей историей литературы.

Поэтому группа не пойдет по пути увлечения какой-либо одной художественной формой и размежевания по формальному признаку, по которому до сих пор размежевывались буржуазные литературные школы, что по существу является перенесением идеализма и метафизики в процесс литературного творчества.

## § 12

Считаясь с тем, что литературные школы декаданса раздробили на составные элементы единые по существу художественные формы, созданные в эпохи исторического восхождения господствовавших классов, и продолжают это дробление до мельчайших частиц, выделяя какой-нибудь из этих элементов в самодовлеющий принцип, а также считаясь с фактом влияния этих школ на пролетарское творчество и с опасностью их дальнейшего влияния, группа «Октябрь» в принципе отвергает:

а) вырождение понятия творческого образа в самодовлеющий раздробленный живописный орнамент (имажинизм)

и стоит за единый, цельный динамический образ, развивающийся на протяжении всего произведения, в зависимости от его общественно-необходимого содержания;

б) отвергает выделение слова-ритма, как такового, в самоцель, в результате чего художник часто уходит в область чисто словесных, не имеющих общественного смысла упражнений, выдавая их за настоящие художественные произведения (футуризм)

и стоит за цельный ритм, организованно-развивающийся в зависимости от развития содержания художественного произведения в едином творческом образе;

в) а также отвергает фетиширование звука, возникшее в период упадка буржуазии и выросшее на почве нездоровой мистики (символизм)

и стоит за органическое слияние звуковой стороны художественного произведения с творческим образом и ритмом.

Только беря предмет художественного произведения в целом, в его конкретном значении и в процессе закономерного развития, можно достигнуть исторически наивысшего художественного синтеза.

## § 13

Таким образом, задачей группы является не культивирование форм, существующих в буржуазной литературе или эклектически привнесенных отсюда в пролетарскую, а разработка и выявление новых принципов и типов формы путем практического овладения старыми литературными формами и преобразования их новым классово-пролетарским содержанием, а также путем критического осмысливания богатого опыта прошлого и произведений пролетарской литературы, в результате чего должна создаваться новая синтетическая форма пролетарской литературы.

## **КОНСТРУКТИВИСТЫ**

### **О. ЧИЧАГОВА. КОНСТРУКТИВИЗМ**

Конструктивизм не есть течение в искусстве, как думают многие. По существу своему конструктивизм отрицает искусство, как продукт буржуазной культуры. Конструктивизм — это идеология, возникшая в пролетарской России, во время революции, и как всякая идеология, — конструктивизм только тогда может быть жизнеспособным и не построеным на песке, когда создает себе потребителя; а потому — задачей конструктивизма является организация коммунистического быта через создание конструктивного человека. Средствами к этому является интеллектуальное производство — изобретательство, и совершенствующее производство — техника.

Интеллектуально-материальное производство формируется из трех элементов: тектоники, конструкции и фактуры.

Тектоника — идеологическая часть конструктивизма — исходит, с одной 322 стороны, из свойств коммунизма, с другой стороны — из целесообразного использования материала.

Конструкция — организующая функция, доводящая до предела каждую данность.

Фактура — целесообразное использование материала, не ограничивающее тектоники.

Конструктивизм по своей природе динамичен; принципы сегодняшнего дня отпадают завтра, в связи с новыми достижениями техники. Критерием для этого служит целесообразность. Целесообразность не следует путать с утилитарностью. То, что утилитарно, — не есть еще целесообразно. Мы — конструктивисты — отрицаем искусство, так как оно не целесообразно: оно всегда было и есть достояние немногих.

Искусство по своему существу пассивно, оно только отражает действительность. Конструктивизм — активен, он не только отражает действительность, а действует сам.

Для расширения нашей деятельности мы, конструктивисты, должны стремиться войти во все области человеческой культуры и, разрушив изнутри старые мещанские устои, организовать новые формы бытия через воспитание нового конструктивного человека.

«Корабль», № 1 – 2 (7 – 8), январь 1923.

### **А.ЧИЧЕРИН, Э.СЕЛЬВИНСКИЙ. КЛЯТВЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ КОНСТРУКТИВИСТОВ-ПОЭТОВ**

Человеку свойственно развиваться — «духовно» расти. Рост его (жизненный опыт) кристаллизуется в зародыши индивидуальных творческих схем. Схемы эти объективируются (организуются) в том или ином материале потенциальным давлением (паром внутренним); 323 значит: «содержание» человек, естественное и различное, — толчок к материализации, материализация же зависит от объективных законов материала и произвола формовщика. Вот почему мы говорим только о «форме» из кусков скованных схем — кристаллов опыта-роста — искусстве.

Потенциальный схематический сгусток — эмбрион «содержания» — в силу основного закона человеческой психики — экономии сил, в каждом отдельном случае своего оформления требует себе соответствующих, и материалу, в котором организуется он, свойственных, закономерных приемов. Поэтому для передачи каких бы то ни было впечатлений и их комбинаций, в практически-жизненных приспособлениях или художественных концепциях, необходимы: подготовка и разрешение в фокусе (лучение ядра схемы), способами, функционально вытекающими из организуемого и того, что непосредственно связано с ним.

Подготовка и разрешение в фокусе без стороннего (неумышленного) заданию элемента достигается посредством *локализованного приема*.

*Локализованным приемом* мы называем центростремительную организацию материала.

Организованный *таким* образом материал мы называем *конструкцией, организатора* — *конструктивистом*, а принцип организации — *конструктивизмом*.

*Конструктивизм есть центростремительное иерархическое распределение материала, акцентированного (сведенного в фокус) в предустановленном месте конструкции.*

Принцип конструктивного распределения материала — *максимальная нагрузка потребности на единицу его*, т. е. — коротко сжато, в малом — многое, в точке — все.

324 Конструкция состоит из частей, нами названных *конструэмами*. *Конструэмы* стелятся вдоль стержня конструкции, но вынутые из нее они в себе замкнуты — целостны, каждая суть конструкция с иерархией своих конструэм; таким образом, каждая конструэма — законченная форма, принесящая себя в жертву стойкости целого.

Конструэмы бывают: *главные, вспомогательные и орнаментальные*.

*Главная конструэма* — задание; в ячейке ее находится матка конструкций.

*Вспомогательные конструэмы* — подготавливают к главной — ведущие.

*Орнаментальные* — подобно древним песнопевческим «Аненейкам» — вводятся якобы для украшения. Цель их, размещенных в конструкции расчетливо-целесообразно, — ввести умысел в кровь ворожкой. Орнаментальные — «опаснее» и надежнее всех остальных.

*Главная* или *магистральная конструэма*, в зависимости от характера организуемого, определяет строй всей конструкции. Подчиняясь объективным, законным свойствам материала, *магистрат* (ядро будущей матки) влияет на удельный вес остальных. Конструкция держится на упоре в него. Сдвиг его изменяет строй конструкции.

*Примечание:* Прекрасным примером сказанному может быть закон равнения по ударному слогу Московского слова: перемещение в конструкции — этом слове, — главной конструэмы — ударения на слоге, — изменяет удельный вес всех вспомогательных, артикуляционно и экспираторно, иерархически соподчиненных слогов и дает новое слово.

Конструкция — монолит; выпад «песчинки» рушит целое.

Гиблая теория «разорванного сознания» и ублюдыш ее — теория «смещения планов», растлив легковерных поэтиков, усугубили в них волевое гниение; в результате ацентрических крошев и оползней развал русской поэзии достиг небывалых размеров 98 % нынешних произведений можно читать вкривь и вкось. Этот распад превратил современных поэтов в спецов узкой квалификации, сующих мандаты и патенты на: звук, ритм, образ, заумь и т. д. безотносительно к целому.

Стать конструкции может потребовать ряда разнообразных, характерных для нее стилистических ходов; конструктивист, чтобы сделать задание, должен все знать, всем владеть в совершенстве; у нас нет двух одинаковых произведений — конструкций, мы отвергаем формальный канон.

Конструктивизм, как абсолютно творческая (мастерская) школа, утверждает универсальность поэтической техники; если современные школы, порознь, вопят: — звук, ритм, образ, заумь и т. д., мы, акцентируя И, говорим: И звук, И ритм, И образ, И заумь, И всякий новый возможный прием, в котором встретится действительная необходимость при установке конструкции.

Мы знаем, что Мир необъемлем, несчетен и неповторим. Жизнь и цель человечества — бесповоротное достижение — творчество; творчество: актуальность — движение — жизнь. Основа нашего творчества — организация жизни — организация локализаций.

Конструктивизм есть высшее мастерство, глубинное, исчерпывающее знание всех возможностей материала и умение сгущаться в нем.

Конструктивизм — это организация Конструктивистом себя в *форме форм*.

326 В машине винт винту помогает. Построенные на объективных, природных, открытых наукой законах, машины напоминают нам необходимость, естественность, наконец, — просто выгоду дружелюбной совместности.

Конструктивизм — школа, стоящая на твердом, научном, машинном фундаменте, — по существу своему коммунистичен. Организацией конструкций он воспитывает солидарность товарищескую и братскую спайку. Конструкция — яркий пример того, как «форма» может «содержать» необходимость и силу единства.

Мастера всех веков *предчувствовали* конструктивизм, и только *мы осознали* его как локализацию материала; мы сквозь форму идем *в форму форм* — мы растем. Содержание в нас естественно: природные свойства нудят материализовать его *в слове, в нем* конструируем мы пути *нашего* роста; мы клянемся: небывалые формы тесать — дальше некуда... Наш залог: воля, хитрость, верность и знания железобетонный упор.

Ноябрь 1922 — Март 1923. Москва. *Знаем*. Клятвенная Конструкция (Декларация) Конструктивистов-поэтов. М., 1923. К. П.

## СЕРАПИОНОВЫ БРАТЬЯ

Группа "Серапионовы братья" возникла в начале 1921 г. в Петрограде. Ядром группы явилась литературная молодежь, занимавшаяся в студии переводчиков при издательстве "Всемирная литература": И. Груздев, М. Зощенко, В. Каверин, Л. Лунц, Н. Никитин, В. Познер, Е. Полонская, М. Слонимский, Н. Тихонов, К. Федин. О формировании группы М. Слонимский писал: "Решили собраться вольно, без устава, и новых членов принимать руководствуясь только интуицией. То же — и в отношении "гостишек" Все, что писали, читалось на собраниях. То, что нравилось, признавалось хорошим, что не нравилось — плохим. Пуще всего боялись потерять независимость, чтобы не оказалось вдруг "Общество Серапионовых братьев при Наркомпросе". В 1922 году петроградский журнал «Литературные записки» отвел большую часть своего третьего номера Серапионам, предложив каждому из них рассказать о себе. Лев Лунц ответил: «Глупо писать автобиографию, не напечатав своих произведений... И не лучше ли будет, если я, вместо того чтобы говорить о себе, напишу о братстве?». Далее следовала статья, ставшая своего рода манифестом, «Почему мы Серапионовы братья?». Статья Лунца вызвала острую дискуссию и в кругу Серапионовых братьев, и в печати. Лунц участвовал в дискуссии, и в Москве напечатали его ответную статью «Об идеологии и публицистике».

## ЛЕВ ЛУНЦ. ПОЧЕМУ МЫ СЕРАПИОНОВЫ БРАТЬЯ

"Серрапионовы Братья" - роман Гофмана. Значит, мы пишем под Гофмана, значит, мы - школа Гофмана.

Этот вывод делает всякий, услышавший о нас. И он же, прочитав наш сборник или отдельные рассказы братьев, недоумевает: "Что у них от Гофмана? Ведь, вообще, единой школы, единого направления нет у них. Каждый пишет по-своему".

Да, это так. Мы не школа, не направление, не студия подражания Гофману.

И поэтому-то мы назвались Серрапионовыми Братьями. Лотар издевается над Отмаром: "Не постановить ли нам, о чем можно и о чем нельзя будет говорить? Не заставить ли каждого рассказать непременно три острых анекдота или определить неизменный салат из сардинок для ужина? Этим мы погрузимся в такое море филистерства, какое может процветать только в клубах. Неужели ты не понимаешь, что всякое определенное условие влечет за собою принуждение и скуку, в которых тонет удовольствие?.."

Мы назвались Серрапионовыми Братьями, потому что не хотим принуждения и скуки, не хотим, чтобы все писали одинаково, хотя бы и в подражание Гофману.

У каждого из нас свое лицо и свои литературные вкусы, у каждого из нас можно найти следы самых различных литературных влияний. "У каждого свой барабан" - сказал Никитин на первом нашем собрании.

Но ведь и Гофманские шесть братьев не близнецы, не солдатская шеренга по росту. Сильвестр - тихий и скромный, молчаливый, а Винцент - бешеный, неуправляемый, непостоянный, шипучий. Лотар - упрямый ворчун, брюзга, спорщик, и Киприан - задумчивый мистик. Отмар - злой насмешник, и, наконец, Теодор хозяин, нежный отец и друг своих братьев, неслышно руководящий этим диким кружком, зажигающий и тушащий споры.

А споров так много. Шесть Серрапионовых Братьев тоже не школа и не направление. Они нападают друг на друга, вечно несогласны друг с другом, и поэтому мы назвались Серрапионовыми Братьями.

В феврале 1921 года, в период величайших регламентаций, регистрации и казарменного упорядочения, когда всем был дан один железный и скучный устав, мы решили собираться без уставов и председателей, без выборов и голосований. Вместе с Теодором, Отмаром и Киприаном мы верили, что "характер будущих собраний обрисовывается сам собой, и дали обет быть верными до конца уставу пустытника Серрапиона".

2

А устав этот, вот он.

Граф П\* объявил себя пустынником Серрапионом, тем самым, что жил при императоре Деции. Он ушел в лес, там выстроил себе хижину вдали от изумленного света. Но он не был одинок. Вчера его посетил Ариосто, сегодня он беседовал с Данте. Так прожил безумный поэт до глубокой старости, смеясь над умными людьми, которые пытались убедить его, что он граф П\*. Он верил своим виденьям... Нет, не так говорю я: для него они были не виденьями, а истиной.

Мы верим в реальность своих вымышленных героев и вымышленных событий. Жил Гофман, человек, жил и Щелкунчик, кукла, жил своей особой, но также настоящей жизнью.

Это не ново. Какой самый захудалый, самый низколобый публицист не писал о живой литературе, о реальности произведений искусства?

Что ж! Мы не выступаем с новыми лозунгами, не публикуем манифестов и программ. Но для нас старая истина имеет великий практический смысл, непонятый или забытый, особенно у нас, в России.

Мы считаем, что русская литература наших дней удивительно чинна, чопорна, однообразна. Нам разрешается писать рассказы, романы и нудные драмы, - в старом ли, в новом ли стиле, - но непременно бытовые и непременно на современные темы. Авантюрный роман есть явление вредное; классическая и романтическая трагедия - архаизм или стилизация; бульварная повесть безнравственна. Поэтому: Александр Дюма (отец) - макулатура; Гофман и Стивенсон - писатели для детей. А мы полагаем, что наш гениальный патрон, творец невероятного и неправдоподобного, равен Толстому и Бальзаку; что Стивенсон, автор разбойничьих романов, - великий писатель; и что Дюма классик, подобно Достоевскому.

Это не значит, что мы признаем только Гофмана, только Стивенсона. Почти все наши братья как раз бытовики. Но они знают, что и другое возможно. Произведение может отражать эпоху, но может и не отражать, от этого оно хуже не станет. И вот Всев. Иванов, твердый бытовик, описывающий революционную, тяжелую и кровавую деревню, признает Каверина, автора бестолковых романтических новелл. А моя ультраромантическая трагедия уживается с благородной, старинной лирикой Федина.

Потому что мы требуем одного: произведение должно быть органичным, реальным, жить своей особой жизнью.

Своей особой жизнью. Не быть копией с натуры, а жить наравне с природой. Мы говорим: Щелкунчик Гофмана ближе к Челкашу Горького, чем этот литературный босяк к босяку живому. Потому что и Щелкунчик и Челкаш выдуманы, созданы художником, только разные перья рисовали их.

3

И еще один великий практический смысл открывает нам устав пустытника Серапиона.

Мы собрались в дни революционного, в дни мощного политическою напряжения "Кто не с нами, тот против нас! - говорили нам справа и слева. С кем же вы, Серапионовы Братья? С коммунистами или против коммунистов? За революцию или против революции?"

С кем же мы, Серапионовы Братья?

Мы с пустынником Серапионом.

Значит, ни с кем? Значит - болото? Значит - эстетствующая интеллигенция? Без идеологии, без убеждений, наша хата с краю?

Нет.

У каждого из нас есть идеология, есть политические убеждения, каждый хату свою в свой цвет красит. Так в жизни. И так в рассказах, повестях, драмах. Мы же вместе, мы - братство - требуем одного: чтобы голос не был фальшив. Чтоб мы верили в реальность произведения, какого бы цвета оно ни было.

Слишком долго и мучительно правила русской литературой общественность. Пора сказать, что некоммунистический рассказ может быть бездарным, но может быть и гениальным. И нам все равно, с кем был Блок – п о э т, автор "Двенадцати", Бунин - п и с а т е л ь, автор "Господина из Сан-Франциско".

Это азбучные истины, но каждый день убеждает нас в том, что это надо говорить снова и снова. С кем же мы, Серапионовы Братья? Мы с пустынным Серапионом. Мы верим, что литературные химеры особая реальность, и мы не хотим утилитаризма. Мы пишем не для пропаганды. Искусство реально, как сама жизнь. И как сама жизнь, оно без цели и без смысла: существует, потому что не может не существовать.

4

Братья!

К вам мое последнее слово.

Есть еще нечто, что объединяет нас, чего не докажешь и не объяснишь, наша братская любовь.

Мы не сочлены одного клуба, не коллеги, не товарищи, а Б р а т ь я!

Каждый из нас дорог другому, как писатель и как человек. В великое время, в великом городе мы нашли друг друга, авантюристы, интеллигенты и просто люди, - как находят друг друга братья. Кровь моя говорила мне: "Вот твой брат!" И кровь твоя говорила тебе: "Вот твой брат!" И нет той силы в мире, которая разрушит единство крови, разорвет союз родных братьев.

И теперь, когда фанатики-политиканы и подслеповатые критики справа и слева разжигают в нас рознь, бьют в наши идеологические расхождения и кричат: "Разойдитесь по партиям!" - мы не ответим им. Потому что один брат может молиться Богу, а другой Дьяволу, но братьями они останутся. И никому в мире не разорвать единства крови родных братьев.

Мы не товарищи, а Братья!

«Литературные записки». Литературно-общественный и критико-библиографический журнал, № 3, 1 авг. 1922 г. Петербург.

ПУБЛИЦИСТИКА

В. ЛЕНИН. К ГРАЖДНАМ РОССИИ. ДОКЛАД О ЗАДАЧАХ ВЛАСТИ СОВЕТОВ<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> Печатается по: В.И. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 35. Октябрь 1917 – март 1918 // [http://fictionbook.ru/author/vladimir\\_lenin\\_ulyanov/polnoe\\_sobranie\\_sochineniyi\\_tom\\_35\\_oktya/read\\_online.ht](http://fictionbook.ru/author/vladimir_lenin_ulyanov/polnoe_sobranie_sochineniyi_tom_35_oktya/read_online.ht)



## **К гражданам России!**

Временное правительство низложено. Государственная власть перешла в руки органа Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов – Военно-революционного комитета, стоящего во главе петроградского пролетариата и гарнизона.

Дело, за которое боролся народ: немедленное предложение демократического мира, отмена помещичьей собственности на землю, рабочий контроль над производством, создание Советского правительства, это дело обеспечено.

Да здравствует революция рабочих, солдат и крестьян!

*Военно-революционный комитет при Петроградском Совете рабочих и солдатских депутатов*

25-го октября 1917 г., 10 ч. утра.

*«Рабочий и Солдат» № 8, 25 октября (7 ноября) 1917 г.*

*Печатается по тексту газеты «Рабочий и Солдат», сверенному с рукописью*

**Заседание Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов 25 октября (7 ноября) 1917 г.**

### **1. Доклад о задачах власти Советов. Газетный отчет**

Товарищи! Рабочая и крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась.

Какое значение имеет эта рабочая и крестьянская революция? Прежде всего, значение этого переворота состоит в том, что у нас будет Советское правительство, наш собственный орган власти, без какого бы то ни было участия буржуазии. Угнетенные массы сами создадут власть. В корне будет разбит старый государственный аппарат и будет создан новый аппарат управления в лице советских организаций.

Отныне наступает новая полоса в истории России, и данная, третья русская революция должна в своем конечном итоге привести к победе социализма.

Одной из очередных задач наших является необходимость немедленно закончить войну. Но для того, чтобы кончить эту войну, тесно связанную с нынешним капиталистическим строем, – ясно всем, что для этого необходимо побороть самый капитал.

В этом деле нам поможет то всемирное рабочее движение, которое уже начинает развиваться в Италии, Англии и Германии.

Справедливый, немедленный мир, предложенный нами международной демократии, повсюду найдет горячий отклик в международных пролетарских массах. Для того, чтобы

укрепить это доверие пролетариата, необходимо немедленно опубликовать все тайные договоры.

Внутри России громадная часть крестьянства сказала: довольно игры с капиталистами, — мы пойдем с рабочими. Мы приобретем доверие со стороны крестьян одним декретом, который уничтожит помещичью собственность. Крестьяне поймут, что только в союзе с рабочими спасение крестьянства. Мы учредим подлинный рабочий контроль над производством.

Теперь мы научились работать дружно. Об этом свидетельствует только что происшедшая революция. У нас имеется та сила массовой организации, которая победит все и доведет пролетариат до мировой революции.

В России мы сейчас должны заняться постройкой пролетарского социалистического государства.

Да здравствует всемирная социалистическая революция! (*Бурные аплодисменты.*)

## **2. Резолюция**

Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов приветствует победную революцию пролетариата и гарнизона Петрограда. Совет в особенности подчеркивает ту сплоченность, организацию, дисциплину, то полное единодушие, которое проявили массы в этом на редкость бескровном и на редкость успешном восстании.

Совет, выражая непоколебимую уверенность, что рабочее и крестьянское правительство, которое, как Советское правительство, будет создано революцией и которое обеспечит поддержку городскому пролетариату со стороны всей массы беднейшего крестьянства, что это правительство твердо пойдет к социализму, единственному средству спасения страны от неслыханных бедствий и ужасов войны.

Новое рабочее и крестьянское правительство немедленно предложит справедливый демократический мир всем воюющим народам.

Оно немедленно отменит помещичью собственность на землю и передаст землю крестьянству. Оно создаст рабочий контроль над производством и распределением продуктов и установит общенародный контроль над банками, вместе с превращением их в одно государственное предприятие.

Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов призывает всех рабочих и все крестьянство со всей энергией беззаветно поддержать рабочую и крестьянскую революцию. Совет выражает уверенность, что городские рабочие, в союзе с беднейшим крестьянством, проявят непреклонную товарищескую дисциплину, создадут строжайший революционный порядок, необходимый для победы социализма.

Совет убежден, что пролетариат западноевропейских стран поможет нам довести дело социализма до полной и прочной победы.

*«Известия ЦИК» № 207, 26 октября 1917 г.*

*Печатается по тексту газеты «Известия ЦИК»*

Петроград, воскресенье, 26 ноября 1917 г.

*Однодневная газета под указанным названием, вышедшая в Петрограде 26 ноября 1917 года, — редчайший и яркий документ, свидетельствующий о противостоянии русских писателей и публицистов надвинувшемуся цензурному террору. Не случайно она приурочена к месяцу со дня выхода большевистского «Декрета о печати», о котором речь шла выше. В середине первого листа жирным шрифтом набрано: «Сегодня, 26 ноября, в помещении кинематографа „SOLEIL“ (Невский пр., 48, Пассаж) состоится МИТИНГ в защиту свободы печати. Речи произнесут: В. А. Базаров, М. Горький, Ф. И. Дан, А. М. Калмыкова, В. Лебедев, Д. С. Мережковский, В. Д. Набоков, П. Неведомский, А. В. Пешехонов, А. И. Потресов, Ф. И. Родичев, Ф. К. Сологуб, Н. В. Чайковский и представители печатного дела». Последний лист заканчивается лозунгом, набранным большими жирными буквами: «ДА ЗДРАВСТВУЕТ СВОБОДА ПЕЧАТИ!». Весьма красноречивы и названия рубрик и отдельных статей, помещённых в газете: «Слова не убить», «Осквернение идеала», «Насильникам», «Красная стена», «Протесты против насилия над печатью» и т. п.*

*В газете помещён также ряд других материалов: «Резолюции Союза печатников» и «Союза писателей»; под общей «шапкой» «Протесты против насилия над печатью» напечатана большая статья «Печать в наши дни» — о массовом закрытии «контрреволюционных» кадетских и социалистических газет, о том, что все они объявлены «вне закона», об арестах редакторов и т. д. В статье Петра Рысса «Крайности сходятся», в которой проводится аналогия между самодержавной и большевистской властью, говорится, в частности: «Царское самодержавие приветствует большевистское самодержавие. Покойные Д. Толстой и Плеве пожимают руки ученикам своим: Ленину, Троцкому, Бонч-Бруевичу. Крайности сошлись и на этот раз».*

*Далее публикуются лишь некоторые, наиболее выразительные тексты, принадлежащие перу писателей. Частично они были републикованы в подборке газеты «Совершенно секретно». 1990. № 5 (12). С. 5–6.*

**Ф. К. Сологуб Идеи не поддеваются на штыки**

Пути истории, как прежде, очень скользки,

И как судьбы страны ни проклинай, —

Что из того, что он сидит в Тобольске, —

Он царствует, безликий Николай!

И вот опять, как и во время оно,

Как в мантию царей, одет во тьму,

Над словом он поставил фараона,

Наполнил несогласными тюрьму.

---

<sup>4</sup> Печатается по: Блюм А.В. От неолита до главлита // <http://coollib.com/b/187054/read>

\* \* \*

На что ему ничтожный Протопопов!  
Его жандармский голубой мундир!  
Нашлись толпы совсем иных холопов,  
Чтобы давить усердием весь мир.

\* \* \*

Но ты опять, растоптанное слово,  
Бессмертное, свободное живёшь,  
И мщение готовишь ты сурово,  
И стрелы смертоносные куёшь!

### 3. Н. Гиппиус Красная стена <sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Зинаида Николаевна Гиппиус (1869–1945) — поэт, прозаик, публицист, литературный критик (псевдоним Антон Крайний). Вместе с мужем, Д. С. Мережковским, эмигрировала в начале 1920 года. До 1990 года произведения Гиппиус у нас не издавались и находились под запретом. Занимала с самого начала резко враждебное отношение к октябрьскому перевороту как к «предательству» и «святотатству».

В Рукописном отделе Российской национальной библиотеки хранится несколько иной вариант статьи «Красная стена», но мы публикуем текст в первоначальном его варианте — таком, каким увидели его читатели 1917 года. Наиболее значительные дополнения и вставки, отсутствующие в опубликованном тексте: 1) После слов «самая реальная винтовка»: «Два ноября — „два орешка под единой скорлупой“, а то различие, что в нынешнем уже льются не чернила и не клюквенный сок, — показывает лишь, что орешек-то нынешний — погорче и потвёрже». 2) После слов «зверство красное»: «Любого цвета „державие“, со всеми его железно-логическими следствиями и зверствами, считается только революцией. Только сила побеждает насилие. Есть такие явления, бывают такие моменты в истории, когда лишь сила внешнего удара пробуждает силу внутреннего...» Изменена и концовка в позднейших редакциях: «Да, наши протесты против удушения свободной печати, наши жалобы, наши возмущения, в каких бы горячих и убедительных словах они ни выражались, прямой своей цели не достигнут. В этом смысле они бесполезны. Так что же, молчать? Сидеть под подушками, вернее, под досками лежать, на которых сидят пирующие татары, и ждать? Нет! Уже потому нет, что молчать мы всё равно не можем. Когда режут — человек кричит, хотя бы это было бесцельно. Нас режут, и мы кричим, и будем кричать. Вот и всё. А может быть, и не дорежут. Может быть, не успеют...»

В ряде других сочинений Гиппиус не раз касается положения писателя и печатного слова после октября 1917 года. См., в частности, её «Чёрные тетради (1917–1919)».

Хотелось бы мне знать, кто в наше время так прямо и скажет: «А я против свободы слова». Сам Бонч-Бруевич — спросите его! — непременно заявит, что он «всегда принципиально стоял за свободное слово». И верноподданные его с убеждением заявят, что Бонч — за всяческую волю. Да, пожалуй, так оно и есть. Мы можем оговориться, можем возразить Бончу тихим пушкинским стихом:

*«Ты для себя лишь хочешь воли...»*

Но и эта существенная поправка ничего не внесёт, и никаких изменений в действиях того же Бонча не может воспоследовать, ибо они, как действия и всех Троцких с Мстиславскими на придачу, — железно-логичны. Троцкие говорят и действуют со своего места. А место — обязывает. У каждого места — своя логика. Запрещение газет, отмена всей печати, кроме большевицкой, — одно из тысячи крайне положительных действий со стороны наших «властителей тел». Поведи они тут как-нибудь иначе, как-нибудь по-человечески, — нам, пожалуй, на этот беспорядок глядя, самим пришлось бы сказать, что случилось неладное: или логика их подвела, или они-логику. Пожалуй, и мы, на этот беспорядок глядя, спутались. А теперь, слава Богу, всё идёт хорошо. Всё ясно. Раз мы поняли, что наше «правительство» должно запрещать всё, не может, не изменяя себе, действовать по-человечески, мы самое его существо поняли.

По-человечески!

Вот три строки из моей «Современной записи» от 4 ноября 16-го года: «...сегодня буквально всем закрыли рот. Даже правым; даже попытки сказать что-нибудь окольными словами — всё было истреблено. Вечером из цензуры позвонили: „вы поменьше присылайте: нам приказ поступать по-зверски“».

И год минул. Завершается круг. Правда, год тому назад «зверство» было не такое реальное. Перед нынешним оно кажется несколько платоническим, щенячьим. Белую бумажку позволяли выпускать. Красными чернилами орудовали. Нынче не до чернил, когда у горла каждого редактора, почти каждую ночь — самая реальная винтовка. Но, по существу, два ноября — «два орешка под единой скорлупой», это надо помнить, что ж, что сегодняшний — погорче.

Хорошее дело — протест. Святое дело. Впрочем, нет, святой порыв, а не дело; потому что дела-то из протестов никогда, при наличии известного желания, не выходило. Мы, пишущие, всегда протестовали против насилия над словом. Я даже не знаю, когда мы не протестовали. Разве уж так прихлопнут, так прихлопнут, что дух займётся и язык отнимется. А отдышимся — опять протестуем. Мы десятки лет стояли перед белой стеной, десятки лет били по ней «горячим словом убеждения», а стена... Да вот всего за два месяца до падения своего (уж не от наших протестов!) на ту же печать спокойно глядела «по-зверски». И не могло быть иначе. Такое свойство стены.

Совершенно та же стена стоит перед нами и сейчас. Не похожая, а именно та же самая, хотя окрашена не в белый, а в красный цвет. Истребление свободы слова — есть лишь частность, лишь одно из множества следствий, непобедимо вытекающее из первопричины. Из факта — стоит стена. От белодержавия — зверство белое над словом; от красnodержавия — зверство красное. Будем же трезвы, будем же мудры, перестанем обманывать себя: смягчилось ли зверство белое от «горячих слов» наших? Или для протеста против красного мы надеемся найти слова убеждения ещё более горячие? Нет. И

---

больше скажу. Я дальше скажу. Наши протесты, наши святые требования свободы для слова — неисполнимы, пока стоит стена. Все частные свободы обусловлены свободой общей, первой. Но даже если бы мы, поняв это, обратили наши протесты, наши негодования от частного к общему, если б наши горячие слова стали бросать прямо в стену — если б! То и тут я скажу: бесполезно. Мы не дети. И жизнь чему-нибудь научила же нас, — всех нас, не писателей, а всю русскую интеллигенцию? Или мы не помним, что не побеждается насилие цветами слов?

Или мы не знаем, что «насилие силой побеждается...»?

Но возвращаюсь к частному, к нашему, к нам — рабочим пера. Что же нам делать сегодня, сию минуту? Лежать, не шевелясь, под досками, на которых сидят пирующие татары? Нет, нет! Уже потому нет, что молчать мы всё равно не можем. Когда режут — человек кричит, не раздумывая, что из этого выйдет. Нас режут, и мы кричим. Вот и всё.

А может быть, и не дорежут. Может быть, не успеют...

«Насилие силой побеждается...»

## **П. А. Сорокин <sup>6</sup>**

Мы возвратились к средним векам. Свобода мысли распята большевиками и топчется каблуками красногвардейцев и матросов, едва ли «ведающих, что они творят». Единственное утешение — что «на штыки идеи не уловляются», что идею каблуками нельзя раздавить и нельзя посадить её под арест. Так было в прошлом. Так есть теперь. И так будет в будущем. Да здравствует свободная человеческая мысль и её воплощение — свободная печать!

---

<sup>6</sup> Питирим Александрович Сорокин (1869–1968) — социолог с мировым именем. Принимал активное участие в партии эсеров. С 1918 года преподавал в Петроградском университете, в 1922 году был вместе с другими виднейшими деятелями культуры насильственно выслан из России на знаменитом «философском пароходе». Жил в США. Несмотря на определённые иллюзии в отношении советской власти, возникшие у Сорокина после Второй мировой войны, первые публикации его произведений на родине стали возможны лишь в горбачёвскую «перестройку».

## **В. И. Засулич Слова не убить**<sup>7</sup>

(...) Неустанной борьбой русские люди докажут — самим себе докажут, а это очень важно, — что, кроме деспотов и рабов, в России есть граждане, много граждан, дорожащих достоинством и честью своей страны, её свободой — больше, чем своим личным спокойствием, повседневным благополучием. В частности, свободу печати только так и можно защищать, как она теперь защищается. Несмотря на все закрытия, снова и снова возрождаются газеты и неустанно обличают всю ложь и злодейства нового деспотизма.

Я думаю, что Ленину и К<sup>о</sup> скоро надоест так закрывать газеты, чтобы через день-другой они снова появлялись под другим именем. Он будет — и уже начинает — придумывать другие способы. Но другие способы должны изобретать и газеты, хотя бы пришлось в конце концов дойти и до подполья. Около них должны создаваться целые фаланги пособников и укрывателей, не пренебрегающих никакой работой.

В России, прожившей 7 месяцев на полной свободе, свободное слово не будет убито, и Ленину и Бонч-Бруевичу его не dokonать.

## **В. Г. Короленко Протест**<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Вера Ивановна Засулич (1849–1919) — публицист, критик, активная участница революционного движения народников в шестидесятые-семидесятые годы. Неоднократно подвергалась арестам. В 1878 году совершила покушение на петербургского градоначальника Ф. Ф. Трепова. Была оправдана судом присяжных под председательством А. Ф. Кони. Долгое время жила в эмиграции. Вернулась в Россию в 1905 году. После переворота 1917 года обвиняла большевиков в узурпации власти, заняла резко непримиримую позицию, называя новое правительство «шайкой Ленина».

<sup>8</sup> *Владимира Галактионовича Короленко (1853–1921) современники называли «нравственным гением». Всегда выступая против произвола и подавления мысли, писатель после октябрьского переворота остался верен своим гуманистическим убеждениям. Характерно, что первый его отклик на это событие — заметка «Опять цензура» (Вестник Полтавского губернского общественного комитета. 1917. 1 ноября) с протестом против введения предварительной цензуры. Второй — статья «Торжество победителей» (Русские ведомости. 1917. 3 декабря), направленная против подавления свободной мысли и слова. Живя в годы гражданской войны в Полтаве, Короленко неоднократно выступал с резкой критикой большевистской власти. После встречи с народным комиссаром просвещения А. В. Луначарским написал, по просьбе последнего, шесть писем, которые Луначарский обещал опубликовать. Обещание выполнено не было. Впервые «полтавские письма», в которых Короленко опять-таки не раз касается бессудного и несправедливого положения печатного слова, были опубликованы в парижских «Современных записках» (1922, т. 9). «Правительства погибают от лжи, — писал он в них. — Может быть, есть ещё время вернуться к правде». В России «Письма Луначарскому» смогли впервые появиться только в 1988 году.*

Мне, профессиональному писателю, кровь бросилась в лицо от стыда и негодования, когда я увидел номер «Полтавского Дня» с белыми полосами, в которых так ясно почувствовалась властная «рука-владыка», считающая себя вправе стать между гласностью и населением нашего края.

Я спрашиваю: по какому праву это сделано и в чьих интересах? Ответ ясен: без всякого права и в интересах узкопартийных и односторонних. В Полтаве истинно неисповедимыми путями водворилась худшая и самая унижительная из цензур, потому что эта цензура партийная, во-первых, и самозванная, во-вторых. Это — не прежний гнёт, полный и бессмысленный, ложившийся равномерно на весь народ и на все партии, как стихия. Это — просто попытка одной партии наложить печать молчания на остальные, иначе мыслящие и не разделяющие её ожиданий.

В последнее время я по личным обстоятельствам держусь в стороне от местной политики. Но в такие дни, как нынешние, нельзя молчать. А постыдное зрелище газетного листа, изуродованного послереволюционными цензурными пробелами, наложенными неизвестно в каких видах и целях, меня, старого писателя, всю жизнь отстаивавшего свободу слова, побуждает к горячему протесту.

И я спрашиваю опять: кто и по какому праву лишил меня, как читателя и члена местного общества, возможности знать, что происходит в столице в эти трагические минуты? И кто заявляет притязание закрыть мне, как писателю, возможность свободно высказывать согражданам свои мысли об этих событиях без цензорской указки? И во имя каких государственных или общественных интересов я обязан этому подчиниться?

У меня нет к этому желания, у гг. цензоров права. Но если речь идёт не о праве, а только о фактической возможности принудить меня подчиниться предварительной цензуре, то я жду от неё по меньшей мере того приёма, который практиковала хотя бы позорной памяти цензура губернаторских чиновников: вычёркивая «преступное» содержание, она не посягала на заглавие и подпись. Пусть будет ясна причина молчания. Явление дикое, странное, парадоксальное, но... водворившееся в Полтаве как торжествующий факт.

### **М. В. Ватсон<sup>9</sup>**

В дни постыдного насилья,

В дни гоненья мысли, слова —

Палачам свободы юной

Шлю проклятья я сурово.

Но гоненья произвола

Пламя мысли, пламя слова

---

<sup>9</sup> Мария Валентиновна Ватсон (1848–1932) — поэтесса, переводчица. С молодости была близка народническим и либеральным кругам, что и чувствуется в этом стихотворении, исполненном «гражданских» чувств.



Погасить не смогут так же,  
Как огни светил небесных  
Погасить вовек не могут  
Ядовитые туманы.  
В храме мысли, в храме слова  
Свет горит неугасимый,  
Озаряя жизни путь.

### **А. В. Тыркова Опасный враг<sup>10</sup>**

Так легко перестать верить в силу слова.

Какие тут слова, какие речи, когда ежеминутно подносят к вашему лицу кулак. Всё чаще слышишь от писателей:

Мы их статьями, а они нас штыками...

Детская игра...

Мелькали и у меня порой эти малодушные мысли. Но спасибо большевикам: они поддержали во мне писательское упрямство.

Ярость их борьбы с печатью лучше всего показывает, какая страшная сила — сила мысли, сила слова.

---

<sup>10</sup> *Ариадна Владимировна Тыркова-Вильямс (1869–1962) — публицист, общественный деятель, прозаик, литературовед. До революции — член ЦК кадетской партии. В ноябре 1917 года вместе с А. С. Изгоевым редактировала и издавала антибольшевистскую газету «Борьба». В марте 1918 года уехала в Англию, приняв там активное участие в лондонском Комитете освобождения России. В 1919 году вернулась в Россию, возглавила Отдел пропаганды при правительстве Деникина. С 1920 года жила во Франции, Англии и США.*

*В своих поздних мемуарах А. В. Тыркова-Вильямс, переосмысляя своё революционное прошлое, напишет: «Мы уверяли себя и других, что мы задыхаемся в тисках самодержавия. На самом деле в нас играла вольность, мы были свободны телом и духом. Многого нам не позволяли говорить вслух. Но никто не заставлял нас говорить то, что мы не думали. Мы не знали страха, этой унижительной, разрушительной, повальной болезни XX в., посеянной коммунистами. Нашу свободу мы оценили только тогда, когда большевики закрепостили всю Россию. В царские времена мы её не сознавали».*

Физически Смольный и его руководители — не называю их по имени, потому что точный список подлинных руководителей мне неизвестен, завоевали Петроград. Что хотят, то и творят, не только здесь, но и на фронте.

Казалось бы, что такое газетные обличения и проклятия для победителей, да ещё опирающихся на «весь народ». Кричите сколько хотите. От слова не станется...

Но есть у человеческой мысли своя, тайная мощь. Есть у слова острота раскалённого железа, и присвоение его приводит врагов свободы в бессильную ярость, оставляет на их лицах следы нестираемые и беспощадные.

Никакими декретами-запретами не зальёшь пламя правдивого слова. Печатается оно обыкновенной типографской краской, на плохой газетной бумаге, а всё-таки, как в библейские времена, выводит на стенах дворцов своё вещее:

Мане... фэжел... фарес...<sup>11</sup>

Хотя дворец этот не вавилонский, а Смольный, то древние слова переводятся на газетный русский язык. Но смысл остаётся тот же... И такую же смертельную, злую тревогу поднимают они среди больших и малых Валтасаров наших дней.

Значит, даже и они верят в вечную и непобедимую силу слова.

## **М.ГОРЬКИЙ. НЕСВОЕВРЕМЕННЫЕ МЫСЛИ<sup>12</sup>**

"Новая Жизнь" N 205, 19 декабря 1917 г. (/января 1918 г.)

Революция углубляется...

Бесшабашная демагогия людей, "углубляющих" революцию, дает свои плоды, явно гибельные для наиболее сознательных и культурных представителей социальных интересов рабочею класса. Уже на фабриках и заводах постепенно начинается злая борьба чернорабочих с рабочими квалифицированными; чернорабочие начинают утверждать, что слесари, токари, литейщики и г. д. суть "буржуи".

Революция все углубляется во славу людей, производящих опыт над живым телом рабочего народа.

А рабочие, сознающие трагизм момента, испытывают величайшую тревогу за судьбу революции.

---

<sup>11</sup> Исчислено, взвешено, разделено. — Слова, появившиеся на стене дворца во время пиршества царя Валтасара (Даниил, V, 25–28).

<sup>12</sup> *Особое место в наследии Горького занимают статьи, печатавшиеся в газете "Новая жизнь", которая выходила в Петрограде с апреля тысяча девятисот семнадцатого по июнь 1918 года. После победы Октября "Новая жизнь" бичевала издержки революции, ее "теневые стороны" (грабежи, самосуды, расстрелы). За это ее остро критиковала партийная печать. Кроме того, газету дважды приостанавливали, и в июне 1918 года закрыли совсем. В "Несвоевременных мыслях" Горький подходил к революции с морально-нравственных позиций, страхась неоправданного кровопролития. Он понимал, что при коренной ломке общественного строя вооруженных столкновений не избежать, но при этом выступал против бессмысленной жестокости, против торжества разнузданной массы, которая напоминает зверя, почуявшего запах крови.*

Печатается по: М. Горький. Несвоевременные мысли//

[http://az.lib.ru/g/gorkij\\_m/text\\_1918\\_nesvoevremennye\\_mysli.shtml](http://az.lib.ru/g/gorkij_m/text_1918_nesvoevremennye_mysli.shtml)

"Боюсь, - пишет мне один из них - что недалек уже тот день, когда массы, не удовлетворившись большевизмом, навсегда разочаруются в лучшем будущем, навсегда потеряют веру в социализм и повернут все взоры опять к прошлому, к черному монархизму, и тогда дело освобождения народов погибнет на сотни лет.

Я думаю, что это будет, ибо большевизм не осуществит всех чаяний некультурных масс, и вот, я не знаю, что нам, находящимся среди этих масс, делать для того, чтоб не дать угаснуть вере в социализм и в лучшую жизнь на земле".

"Положение мало-мальски развитого рабочего в среде обалдевшей массы становится похоже на то, как бы ты стал чужой для своих же", - сообщает другой.

Эти жалобы, слышатся все чаще, предвещая возможность глубокого раскола в недрах рабочего класса. А иные рабочие говорят и пишут мне:

- "Вам бы, товарищ, радоваться, пролетариат победил!"

Радоваться мне нечему, пролетариат ничего и никого не победил. Как сам он не был побежден, когда полицейский режим держал его за глотку, так и теперь, когда он держит за глотку буржуазию - буржуазия еще не побеждена. Идеи не побеждают приемами физического насилия. Победители обычно - великодушны, - может быть, по причине усталости, - пролетариат не великодушен, как это видно по делу С. В. Паниной, Болдырева, Коновалова, Бернацкого, Карташева, Долгорукого и других, заключенных в тюрьму неизвестно за что.

Кроме названных людей в тюрьмах голодают тысячи, - да, тысячи! - рабочих и солдат.

Нет, пролетариат не великодушен и не справедлив, а ведь революция должна была утвердить в стране возможную справедливость.

Пролетариат не победил, по всей стране идет междоусобная бойня, убивают друг друга сотни и тысячи людей. В "Правде" сумасшедшие люди науськивают: бей буржуев, бей калединцев! Но буржуи и калединцы ведь это все те же солдаты - мужики, солдаты - рабочие, это их истребляют, и это они расстреливают красную гвардию.

Если б междоусобная война заключалась в том, что Ленин вцепился в мелкобуржуазные волосы Милюкова, а Милюков трепал бы пышные кудри Ленина.

- Пожалуйста! Деритесь, паны!

Но дерутся не паны, а холопы, и нет причин думать, что эта драка кончится скоро. И не возрадуешься, видя, как здоровые силы страны погибают, взаимно истребляя друг друга. А по улицам ходят тысячи людей и, как будто бы сами над собой издеваясь, кричат: "Да здравствует мир!"

Банки захватили? Это было бы хорошо, если б в банках лежал хлеб, которым можно досыта накормить детей. Но хлеба в банках нет, и дети изо дня в день недоедают, среди них растет истощение, растет смертность.

Междоусобная бойня окончательно разрушает железные дороги; - если бы мужики дали хлеба, его не скоро подвезешь.

Но всего больше меня и поражает, и пугает то, что революция не несет в себе признаков духовного возрождения человека, не делает людей честнее, прямодушнее, не повышает их самооценки и моральной оценки их труда.

Есть, конечно, люди, которые ходят "гоголем", напоминая циркового борца, успешно положившего противника своего "на обе лопатки", - о этих людях не стоит говорить. Но в общем, в массе - не заметно, чтоб революция оживляла в человеке это социальное чувство. Человек оценивается так же дешево, как и раньше. Навыки старого быта не исчезают. "Новое начальство" столь же грубо, как старое, только еще менее внешне благовоспитанно. Орут и топают ногами в современных участках, как и прежде орали. И взятки хапают, как прежние чинуши хапали, и людей стадами загоняют в тюрьмы. Все старенькое, скверненькое пока не исчезает.

Это плохой признак: он свидетельствует о том, что совершилось только перемещение физической силы, но это перемещение не ускоряет роста сил духовных.

А смысл жизни и оправдание всех мерзостей ее только в развитии всех духовных сил и способностей наших.

"Об этом - преждевременно говорить, сначала мы должны взять в свои руки власть".

Нет яда более подлого, чем власть над людьми, мы должны помнить это, дабы власть не отравила нас, превратив в людоедов еще более мерзких, чем те, против которых мы всю жизнь боролись.

## **М. ГОРЬКИЙ. РЕЧЬ НА МОСКОВСКОМ ПУБЛИЧНОМ СОБРАНИИ ОБЩЕСТВА "КУЛЬТУРА И СВОБОДА"**

"Новая Жизнь" N 126 (341), 30(17) июня 1918 г.

Доказывать необходимость культурно-просветительной работы излишне, эта необходимость очевидна, о ней красноречиво взывают и грязный камень наших мостовых, и вековая грязь сердца и мозга людей. Теперь более ясно, чем когда-либо раньше, мы видим, до чего глубоко заражен русский народ невежеством, до какой жуткой степени ему чужды интересы своей страны, какой он дикарь в области гражданской и как младенчески неразвито в нем чувство истории, понимание своего места в историческом процессе.

Говоря "русский народ", я отнюдь не подразумеваю только рабоче-крестьянскую, трудящуюся массу, нет, я говорю вообще о народе, о всех его классах, ибо, - невежественность и некультурность свойственны всей русской нации. Из этой многомиллионной массы темных людей, лишенных представления о ценности жизни, можно выделить лишь незначительные тысячи так называемой интеллигенции, т. е. людей, сознающих значение интеллектуального начала в историческом процессе. Эти люди, несмотря на все их недостатки, самое крупное, что создано Русью на протяжении всей ее трудной и уродливой истории, эти люди были и остаются поистине мозгом и сердцем нашей страны. Их недостатки объясняются почвой России, неплодородной на таланты интеллектуального характера. Мы все талантливо чувствуем - мы талантливо добры, талантливо жестоки, талантливо несчастны, среди нас немало героев, но - мало умных и сильных людей, способных мужественно исполнять свой гражданский долг - тяжелый долг в русских условиях. Мы любим героев - если они не против нас - но нам не ясно, что героизм требует эмоционального напряжения на один час или на день, тогда как мужество - на всю жизнь.

Культурная работа в условиях русской жизни требует не героизма, а именно мужества - длительного и непоколебимого напряжения всех сил души. Сеять "разумное, доброе, вечное" на зыбучих болотах русских - дело необычайной трудности, и мы уже знаем, что посевы лучшей нашей крови, лучшего сока нервов дают на равнинах российских небогатые, печальные всходы. А, тем не менее, сеять надо, и это дело интеллигента, того самого, который ныне насильно отторгнут от жизни и даже объявлен врагом народа. Однако, именно он должен продолжать давно начатую им работу духовного очищения и возрождения страны, ибо кроме него другой интеллектуальной силы - нет у нас.

Спросят: а пролетариат, передовой революционный класс? А - крестьянство?

Я думаю, что нельзя серьезно говорить о всей массе пролетариата как о силе культурной, интеллектуальной. Может быть, это удобно для полемики с буржуазией, для застраивания ее и для самоободрения, но это излишне здесь, где, как я думаю, собрались люди, искренно и глубоко озабоченные будущим страны. Пролетариат в массе его - только физическая сила, не более; точно также и крестьянство. Иное дело, молодая исторически, рабочая и крестьянская интеллигенция, это, конечно, сила духовно-творческая и, как таковая, ныне она так же отколота от своей массы, так же одинока среди

нее, как одинока и отколота от всей массы трудящихся наша старая, каторжная интеллигенция - каторжная не потому только, что часть ее бывала на казенной каторге, а по всем условиям ее существования в России, по всей ее жизни и работе.

Мне кажется, что первым должным делом следует признать необходимость объединения интеллектуальных сил старой опытной интеллигенции с силами молодой рабоче-крестьянской интеллигенции. Схема Всероссийской культурно-просветительной работы рисуется предо мною в таких линиях:

Прежде всего - самоорганизация всей интеллигенции, которая ныне поняла и почувствовала, что на одних политических программах, на политической пропаганде невозможно воспитать нового человека, что путь углубления вражды и ненависти ведет людей к полному озверению и одичанию, что для возрождения страны необходима немедленная напряженная культурная работа и что только это освободит нас от врагов внутренних и внешних.

Концентрация сил - первейшая задача дня и, концентрируя интеллектуальные силы страны, следует вовлечь в массу интеллектуальных работников весь запас рабоче-крестьянской интеллигенции, всех рабочих и крестьян, которые ныне бессильно и одиноко бьются среди родной им физически, но уже духовно чуждой, развращенной цинической демагогией искренних фанатиков или замаскированных авантюристов. Эти силы имеют огромное значение железного звена, посредством которого старая интеллигенция будет прочно соединена с массой и получит возможность непосредственного влияния на нее.

Концентрируя силы, объединив их со свежими силами рабоче-крестьянской интеллигенции, деятели культуры должны озаботиться координированием своей работы - это необходимо в целях экономии энергии, которой не так много у нас, это необходимо и для устранения параллелизма в работе.

Покрыв всю страну сеть культурно-просветительных обществ, собрав в них все духовные силы страны, мы зажжем повсюду костры огня, который даст стране и свет, и тепло, поможет ей оздороветь и встать на ноги бодрой, сильной и способной к строительству и творчеству. Речь идет не о внешнем и механическом соединении людей, разно мыслящих, но о внутреннем и живом слиянии едино чувствующих. Только так и только этим путем мы выйдем к действительной культуре и свободе.

Предвижу возражения: - а политика?

Надо встать над политикой, надо научиться и уметь ограничивать свои политические эмоции. При желании - это возможно. Политика является чем-то подобным низшим физиологическим потребностям, с тою неприятною разницей, что потребности политические неизбежно совершаются публично.

Политика, кто бы ее ни делал, всегда отвратительна, ибо ей неизбежно сопутствуют ложь, клевета и насилие. И так, как это правда, ее все должны знать, а это знание, в свою очередь, должно внушить сознание преимущества культурной работы над политической.

Более серьезной помехой культурной работе является наблюдаемое на почве голода и разочарований понижение жизнеспособности интеллигенции, апатия, все более угнетающая ее.

С голодом надо бороться развитием взаимопомощи среди лиц интеллектуального труда, а что касается до "разочарований" в народе, в социализме, в России - думаю, что я не сумею ничего сказать по этому поводу.

Конечно, лучше бы не поддаваться в свое время очарованию, ибо решительно ничего очаровательного в русском народе никогда не было, но уж если увлеклись и разочаровались, - тут ничего не скажешь. Очарование - дело веры, разочарование - возмездие за слепую веру. От разочарования хорошо помогает знание, и это единственное, что можно рекомендовать разочарованным. Лично я всю жизнь во всех моих чувствах, и мыслях, и делах отправлялся от человека, будучи навсегда и непоколебимо убежден, что существует только человек, все же остальное есть его мнение и его деяние.

И в эти дни, страшные для всех, для всей страны, созданной множеством поколений, воспитавших нас таковыми, каковы мы есть, в эти дни безумия, ужаса, торжества глупости и пошлости, я помню одно: все это от человека идет, все это он творит...

И он же сотворил все прекрасное на земле, всю поэзию ее, все великолепные подвиги мужества и чести, все радости и праздники жизни, всю прелесть ее, ее смешное и великое, ее красивые мечты и чудесные науки, он создал свой дерзкий разум и непреклонную волю к счастью.

И это он, человек, всегда во все дни трагедий, страданий, мук - упрямо верующий в победу новых добрых начал над старыми и злыми, это он, непобедимый ничем, соединил нас здесь для дружеской человеческой беседы.

Пойдемте же к человеку, который и грязно, и много грешен, но - искупает грязь и грех величайшими, невыносимыми страданиями.

Можем ли мы создать атмосферу, в которой человеку дышалось бы легче?

И можем, и должны.

### **АЛЕКСАНДР БЛОК. ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ И РЕВОЛЮЦИЯ<sup>13</sup>**

*Впервые опубликовано: "Знамя труда", 1918, 19 января.*

"Россия гибнет", "России больше нет", "вечная память России", слышу я вокруг себя.

Но передо мной - Россия: та, которую видели в устрашающих и пророческих снах наши великие писатели; тот Петербург, который видел Достоевский; та Россия, которую Гоголь назвал несущейся тройкой.

Россия - буря. Демократия приходит "опоясанная бурей", говорит Карлейль.

России суждено пережить муки, унижения, разделения; но она выйдет из этих унижений новой и - по-новому - великой.

В том потоке мыслей и предчувствий, который захватил меня десять лет назад, было смешанное чувство России: тоска, ужас, покаяние, надежда.

То были времена, когда царская власть в последний раз достигла, чего хотела: Витте и Дурново скрутили революцию веревкой; Столыпин крепко обмотал эту веревку о свою нервную дворянскую руку. Столыпинская рука слабела. Когда не стало этого последнего дворянина, власть, по выражению одного весьма сановного лица, перешла к "поденщикам"; тогда веревка ослабла и без труда отвалилась сама.

Все это продолжалось немного лет; но немногие годы легли на плечи как долгая, бессонная, наполненная призраками ночь.

Распутин - всё, Распутин - всюду; Азефы разоблаченные и неразоблаченные; и, наконец, годы европейской бойни; казалось минуту, что она очистит воздух; казалось нам, людям чрезмерно впечатлительным; на самом деле она оказалась достойным венцом той лжи, грязи и мерзости, в которых купалась наша родина.

Что такое война?

Болота, болота, болота; поросшие травой или занесенные снегом; на западе - унылый немецкий прожектор - шарит - из ночи в ночь; в солнечный день появляется немецкий фоккер; он упрямо

---

<sup>13</sup> Печатается по: Александр Блок. Интеллигенция и Революция  
[//http://az.lib.ru/b/blok\\_a\\_a/text\\_1918\\_intelligentzia\\_i\\_revolutzia.shtml](http://az.lib.ru/b/blok_a_a/text_1918_intelligentzia_i_revolutzia.shtml)

летит одной и той же дорожкой; точно в самом небе можно протоптать и загадить дорожку; вокруг него разбегаются дымки: белые, серые, красноватые (это мы его обстреливаем, почти никогда не попадая; так же, как и немцы - нас); фоккер стесняется, колеблется, но старается держаться своей поганой дорожки; иной раз методически сбросит бомбу; значит, место, куда он целит, истыкано на карте десятками рук немецких штабных; бомба упадет иногда - на кладбище, иногда - на стадо скотов, иногда - на стадо людей; а чаще, конечно, в болото; это - тысячи народных рублей в болоте.

Люди глазают на все это, изнывая от скуки, пропадая от безделья; сюда уже успели переташить всю гнусность довоенных квартир: измены, картеж, пьянство, ссоры, сплетни.

Европа сошла с ума: цвет человечества, цвет интеллигенции сидит годами в болоте, сидит с убеждением (не символ ли это?) на узенькой тысячеверстной полоске, которая называется "фронт".

Люди - крошечные, земля - громадная. Это вздор, что мировая война так заметна: довольно маленького клочка земли, опушки леса, одной полянки, чтобы уложить сотни трупов людских и лошадиных. А сколько их можно свалить в небольшую яму, которую скоро затянет трава или запорошит снег! Вот одна из осязаемых причин того, что "великая европейская война" так убога.

Трудно сказать, что тошнотворнее: то кровопролитие или то *безделье*, та *скука*, та *пошлятина*; имя обоим - "великая война", "отечественная война", "война за освобождение угнетенных народностей", или как еще? Нет, под этим знаком - никого не освободишь.

Вот, под игом грязи и мерзости запустения, под бременем сумасшедшей скуки и бессмысленного безделья, люди как-то рассеялись, замолчали и ушли в себя: точно сидели под колпаками, из которых постепенно выкачивался воздух. Вот когда действительно хамело человечество, и в частности - российские патриоты.

Поток предчувствий, прошумевший над иными из нас между двух революций, также ослабел, заглох, ушел где-то в землю. Думаю, не я один испытывал чувство болезни и тоски в годы 1909 - 1916. Теперь, когда весь европейский воздух изменен русской революцией, начавшейся "бескровной идиллией" февральских дней и растущей безостановочно и грозно, кажется иногда, будто и не было тех недавних, таких древних и далеких годов; а поток, ушедший в землю, протекавший бесшумно в глубине и тьме, - вот он опять шумит, и в шуме его - новая музыка.

Мы любили эти диссонансы, эти ревы, эти звоны, эти неожиданные переходы... в оркестре. Но, если мы их *действительно любили*, а не только щекотали свои нервы в людном театральном зале после обеда, мы должны слушать и любить те же звуки теперь, когда они вылетают из мирового оркестра; и, слушая, понимать, что это - о том же, все о том же.

Музыка ведь не игрушка; а та *бестия*, которая полагала, что музыка - игрушка, - и веди себя теперь как бестия: дрожи, пресмыкайся, береги свое добро!

Мы, русские, переживаем эпоху, имеющую немного равных себе по величину. Вспоминаются слова Тютчева:

Блажен, кто посетил сей мир  
В его минуты роковые,  
Его призвали все благие,  
Как собеседника на пир,  
Он их высоких зрелищ зритель...

Не дело художника - смотреть за тем, как исполняется задуманное, печься о том, исполнится оно или нет. У художника - все бытовое, житейское, быстро сменяющееся - найдет свое выражение потом, когда перегорит в жизни. Те из нас, кто уцелеет, кого не "изомнет с налету вихорь шумный", окажутся властителями неисчислимых духовных сокровищ. Овладеть ими, вероятно, сможет только новый гений, пушкинский Арион; он, "выброшенный волною на берег", будет петь "прежние гимны" и "ризу влажную свою" сушить "на солнце, под скалою".

Дело художника, *обязанность* художника - видеть то, *что* задумано, слушать ту музыку, которой гремит "разорванный ветром воздух".

Что же задумано?

*Переделать все.* Устроить так, чтобы все стало новым; чтобы лживая, грязная, скучная, безобразная наша жизнь стала справедливой, чистой, веселой и прекрасной жизнью.

Когда *такие* замыслы, искони таящиеся в человеческой душе, в душе народной, разрывают сковывавшие их путы и бросаются бурным потоком, доламывая плотины, обсыпая лишние куски берегов, это называется революцией. Меньшее, более умеренное, более низменное - называется мятежом, бунтом, переворотом. Но *это* называется *революцией*.

Она сродни природе. Горе тем, кто думает найти в революции исполнение только своих мечтаний, как бы высоки и благородны они ни были. Революция, как грозовой вихрь, как снежный буран, всегда несет новое и неожиданное; она жестоко обманывает многих; она легко калечит в своем водовороте достойного; она часто выносит на сушу невредимыми недостойных; но - это ее частности, это не меняет ни общего направления потока, ни того грозного и оглушительного гула, который издает поток. Гул этот, все равно, всегда - *о великом*.

Размах русской революции, желающей охватить весь мир (меньшего истинная революция желать не может, исполнится это желание или нет, - гадать не нам), таков: она лелеет надежду поднять мировой циклон, который донесет в заметенные снегом страны - теплый ветер - и нежный запах апельсиновых рош; увлажнит спаленные солнцем степи юга - прохладным северным дождем.

"Мир и братство народов" - вот знак, под которым проходит русская революция. Вот о чем ревет ее поток. Вот музыка, которую имеющий уши должен слышать.

Русские художники имели достаточно "предчувствий и предвестий" для того, чтобы ждать от России именно таких заданий. Они никогда не сомневались в том, что Россия - большой корабль, которому суждено большое плаванье. Они, как и народная душа, их вспоившая, никогда не отличались расчетливостью, умеренностью, аккуратностью: "все, все, что гибелью грозит", таило для них "неизъяснимы наслажденья" (Пушкин). Чувство неблагополучия, незнание о завтрашнем дне, сопровождало их повсюду. Для них, как для народа, в его самых глубоких мечтах, было *все или ничего*. Они знали, что только о прекрасном стоит думать, хотя "прекрасное трудно", как учил Платон.

Великие художники русские - Пушкин, Гоголь, Достоевский, Толстой - погружались во мрак, но они же имели силы пребывать и таиться в этом мраке: ибо они верили в свет. Они знали свет. Каждый из них, как весь народ, выносивший их под сердцем, скрежетал зубами во мраке, отчаянье, часто - злобе. Но они знали, что, рано или поздно, *все будет по-новому*, потому что *жизнь прекрасна*.

Жизнь прекрасна. Зачем жить тому народу или тому человеку, который втайне разуверился во всем? Который разочаровался в жизни, живет у нее "на подаянии", "из милости"? Который думает, что жить "не особенно плохо, но и не очень хорошо", ибо "все идет своим путем": путем...



эволюционным; люди же так вообще плохи и несовершенны, что дай им только бог прокряхтеть свой век кое-как, сколачиваясь в общества и государства, ограждаясь друг от друга стенками прав и обязанностей, условных законов, условных отношений...

Так думать не стоит; а тому, кто так думает, ведь и жить не стоит. Умереть легко: умереть можно безболезненно; сейчас в России - как никогда: можно даже без попа; поп не обидит отпевальной взяткой...

Жить стоит только так, чтобы предъявлять безмерные требования к жизни: все или ничего; ждать неожиданного; верить не в "то, чего нет на свете", а в то, что должно быть на свете; пусть сейчас этого нет и долго не будет. Но жизнь отдаст нам это, ибо она - прекрасна.

Смертельная усталость сменяется животной бодростью. После крепкого сна приходят свежие, умытые сном мысли; среди бела дня они могут показаться *дурацкими*, эти мысли. Лжет белый день.

Надо же почуять, откуда плывут такие мысли. Надо вот сейчас понять, что народ русский, как Иванушка-дурачок, только что с кровати схватился и что в его мыслях, для старших братьев если не враждебных, то дурацких, есть великая творческая сила.

Почему "учредилка"? (Между прочим, это вовсе не так обидно. У крестьян есть обычное - "потребилка".) - Потому, что мы сами рядили о "выборных агитациях", сами судили чиновников за "злоупотребления" при этих агитациях; потому, что самые цивилизованные страны (Америка, Франция) сейчас захлебнулись в выборном мошенничестве, выборном взятничестве

Потому, что (я по-дурацки) самому все хочется "проконтролировать", сам все хочу, не желаю, чтоб меня "представляли" (в этом - великая жизненная сила: сила Фомы Неверного); потому еще, что некогда в многоколонном зале раздастся трубный голос весьма сановного лица: "Законопроект такой-то в тридцать девятом чтении отклоняется"; в этом трубном голосе будет такой тупой, такой страшный сон, такой громовой зевок "организованной общественности", такой ужас без имени, что опять и опять наиболее чуткие, наиболее музыкальные из нас (русские, французы, немцы - все одинаково) бросятся в "индивидуализм", в "бегство от общественности", в глухую и одинокую ночь. Потому, наконец, что бог один ведает, как выбирала, кого выбирала, куда выбирала неграмотная Россия сегодняшнего дня; Россия, которой нельзя втолковать, что Учредительное Собрание - не царь.

Почему "долой суды"? - Потому, что есть томы "уложений" и томы "разъяснений", потому, что судья-барин и "аблакат"-барин толкуют промеж себя о "деликте"; происходит "судоговорение"; над несчастной головой *жулика* оно происходит. Жулик - он жулик и есть; уж согрешил, уж потерял душу; осталась одна злоба или одни покаянные слезы: либо удрать, либо на каторгу; только бы с глаз долой. Чего же еще над ним, напакостившим, измываться?

Либерального "аблаката" описал Достоевский; Достоевского при жизни травили, а после смерти назвали "певцом униженных и оскорбленных". Описал еще то, о чем я говорю, Толстой. А кто обносил решоточкой могилу этого чудака? Кто теперь голосит о том, как бы над этой могилой не "надругались"? А почему вы знаете, может быть, рад бы был Лев Николаевич, если б на его могиле поплевали и побросали окурков? Плевки - Божьи, а решоточка - не особенно.

Почему дырявят древний собор? - Потому, что сто лет здесь ожиревший поп, икая, брал взятки и торговал водкой.

Почему гадят в любезных сердцу барских усадьбах? - Потому, что там насиловали и пороли девок: не у того барина, так у соседа.

Почему валят столетние парки? - Потому, что сто лет под их ' развесистыми липами и кленами господа показывали свою власть: тыкали в нос нищему - мощной, а дураку - образованностью.

Всё так.

Я знаю, что говорю. Конем этого не объедешь. Замалчивать этого нет возможности; а все, однако, замалчивают.

Я не сомневаюсь ни в чьем личном благородстве, ни в чьей личной скорби; но ведь за прошлое - отвечаем мы? Мы - звенья единой цепи. Или на нас не лежат грехи отцов? - Если этого не чувствуют все, то это должны чувствовать "лучшие".

Не беспокойтесь. Неужели может пропасть хоть крупинка истинно-ценного? Мало мы любили, если трусим за любимое. "Совершенная любовь изгоняет страх". Не бойтесь разрушения кремлей, дворцов, картин, книг. Беречь их для народа надо; но, потеряв их, народ не все потеряет. Дворец разрушаемый - не дворец. Кремль, стираемый с лица земли, - не кремль. Царь, сам свалившийся с престола, - не царь. Кремли у нас в сердце, цари - в голове. Вечные формы, нам открывшиеся, отнимаются только вместе с сердцем и с головой.

Что же вы думали? Что революция - идиллия? Что творчество ничего не разрушает на своем пути? Что народ - паинька? Что сотни обыкновенных жуликов, провокаторов, черносотенцев, людей, любящих погреть руки, не постараются ухватить то, что плохо лежит? И, наконец, что так "бескровно" и так "безболезненно" и разрешится вековая распря между "черной" и "белой" костью, между "образованными" и "необразованными", между интеллигенцией и народом?

Не вас ли надо будить теперь от "векового сна"? Не вам ли надо крикнуть: "Noli tangere circulos meos" ("Не тронь моих кругов" (лат.))? Ибо вы мало любили, а с вас много спрашивается, больше, чем с кого-нибудь. В вас не было этого хрустального звона, этой музыки любви, вы оскорбляли художника - пусть художника, - но через него вы оскорбляли самую душу народную. Любовь творит чудеса, музыка завораживает зверей. А вы (все мы) жили без музыки и без любви. Лучше уж молчать сейчас, если нет музыки, не слышат музыки. Ибо все, кроме музыки, все, что без музыки, всякая "сухая материя" - сейчас только разбудит и озлит зверя. До человека без музыки сейчас достучаться нельзя.

А лучшие люди говорят: "Мы разочаровались в своем народе"; лучшие люди ехидничают, надмеваются, злобствуют, не видят вокруг ничего, кроме хамства и зверства (а человек - тут, рядом); лучшие люди говорят даже: "никакой революции и не было"; те, кто места себе не находил от ненависти к "царизму", готовы опять броситься в его объятия, только бы забыть то, что сейчас происходит; вчерашние "пораженцы" ломают руки над "германским засильем", вчерашние "интернационалисты" плачутся о "Святой Руси"; безбожники от рождения готовы ставить свечки, молясь об одолении врага внешнего и внутреннего.

Не знаю, что страшнее: красный петух и самосуды в одном стане или эта гнетущая немзыкальность - в другом?

Я обращаюсь ведь к "интеллигенции", а не к "буржуазии". Той никакая музыка, кроме фортепьян, не снилась. Для той все очень просто: "в ближайшем будущем наша возьмет", будет "порядок", и все - по-старому; гражданский долг заключается в том, чтобы беречь добро и шкуру; пролетарии - "мерзавцы"; слово "товарищ" - ругательное; свое уберег - и сутки прочь: можно и посмеяться над дураками, задумавшими всю Европу взбаламутить, потрясти брюхом, благо удалось урвать где-нибудь лишний кусок.

С этими не поспоришь, ибо дело их - бесспорное: брюшное дело. Но ведь это - "полупросвещенные" или совсем "непросвещенные" люди; слышали они разве только о том, что нахрюкали им в семье и школе. Что нахрюкали, то и спрашивается:

*Семья:* "Слушайся папу и маму". "Прикапливай деньги к старости". "Учись, дочка, играть на рояли, скоро замуж выйдешь". "Не играй, сынок, с уличными мальчишками, чтобы не опорочить родителей и не изорвать пальто".

*Низшая школа:* "Слушайся наставников и почитай директора". "Ябедничай на скверных мальчишек". "Получай лучшие отметки". "Будь первым учеником". "Будь услужлив и угодлив". "Паче всего - закон божий".

*Средняя школа:* "Пушкин - наша национальная гордость". "Пушкин обожал царя". "Люби царя и отечество". "Если не будете исповедоваться и причащаться, вызовут родителей и сбавят за поведение". "Замечай за товарищами, не читает ли кто запрещенных книг". "Хорошенькая горничная - гы".

*Высшая школа:* "Вы - соль земли". "Существование Бога доказать невозможно". "Человечество движется по пути прогресса, а Пушкин воспевал женские ножки". "Вам еще рано принимать участие в политической жизни". "Царю показывайте кукиш в кармане". "Заметьте, кто говорил на сходке".

*Государственная служба:* "Враг внутренний есть студент". "Бабенка недурна". "Я тебе покажу, как рассуждать". "Сегодня придет его превосходительство, всем быть на местах". "Следите за Ивановым и доложите мне".

Что спрашивать с того, кто все это добросовестно слушал и кто всему этому поверил? Но ведь интеллигенты, кажется, "переоценили" все эти ценности? Им приходилось ведь слышать и другие слова? Ведь их просвещали наука, искусство и литература? Ведь они пили из источников не только загаженных, но также - из источников прозрачных и головокружительно бездонных, куда взглянуть опасно и где вода поет неслыханные для непосвященных песни?

У буржуа - почва под ногами определенная, как у свиньи - навоз: семья, капитал, служебное положение, орден, чин, бог на иконе, царь на троне. Вытащи это - и все полетит вверх тормашками.

У интеллигента, как он всегда хвалился, такой почвы никогда не было. Его ценности невещественны.

Его царя можно отнять только с головой вместе. Уменье, знанье, методы, навыки, таланты - имущество кочевое и крылатое. Мы бездомны, бессемейны, бесчинны, нищи, - что же нам терять?

Стыдно сейчас надмеваться, ухмыляться, плакать, ломать руки, ахать над Россией, над которой пролетает революционный циклон.

Значит, рубили тот сук, на котором сидели? Жалкое положение: со всем сладострастьем ехидства подкладывали в кучу отсыревших под снегами и дождями коряг - сухие полешки, стружки, щепочки; а когда пламя вдруг вспыхнуло и взвилось до неба (как знамя), - бегать кругом и кричать: "Ах, ах, сгорим!"

Я не говорю о политических деятелях, которым "тактика" и "момент" не позволяют показывать душу. Думаю, не так уж мало сейчас в России людей, у которых на душе весело, которые хмурятся по обязанности.

Я говорю о тех, кто политики не делает; о писателях, например (если они делают политику, то грешат против самих себя, потому что "за двумя зайцами погонишься - ни одного не поймаешь": политики не сделают, а свой голос потеряют). Я думаю, что не только право, но и обязанность их состоит в том, чтобы быть нетактичными, "бестактными": слушать ту великую музыку будущего, звуками которой наполнен воздух, и не выискивать отдельных визгливых и фальшивых нот в величавом реве и звоне мирового оркестра.

Русской интеллигенции - точно медведь на ухо наступил: мелкие страхи, мелкие словечки. Не стыдно ли издеваться над безграмотностью каких-нибудь объявлений или писем, которые писаны доброй, но неуклюжей рукой? Не стыдно ли гордо отмалчиваться на "дурацкие" вопросы? Не стыдно ли прекрасное слово "товарищ" произносить в кавычках?

Это - всякий лавочник умеет. Этим можно только озлобить человека и разбудить в нем зверя.

Как аукнется - так и откликнется. Если считаете всех жуликами, то одни жулики к вам и придут. На глазах - сотни жуликов, а за глазами - миллионы людей, пока "непросвещенных", пока "темных". Но просветятся они не от вас.

Среди них есть такие, которые сходят с ума от самосудов, не могут выдержать крови, которую пролили в темноте (своей); такие, которые бьют себя кулаками по несчастной голове: мы - глупые, мы понять не можем; а есть и такие, в которых еще спят творческие силы; они могут в будущем сказать такие слова, каких давно не говорила наша усталая, несвежая и кичливая литература.

Надменное политиканство - великий грех. Чем дольше будет гордиться и ехидствовать интеллигенция, тем страшнее и кровавее может стать кругом. Ужасна и опасна эта эластичная, сухая, невкусная "адогматическая догматика", приправленная снисходительной душевностью. За душевностью - кровь. Душа кровь притягивает. Бороться с ужасами может лишь дух. К чему загораживать душевностью пути к духовности? Прекрасное и без того трудно.

А дух есть музыка. Демон некогда повелел Сократу слушаться духа музыки.  
Всем телом, всем сердцем, всем сознанием - слушайте Революцию.

*9 января 1918*

## **ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ. ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ И РЕВОЛЮЦИЯ<sup>14</sup>**

Напечатано в газете "Труд" - органе Московского комитета эсеров - 27.01.1918.

ЕЩЁ ОДИН писатель выступил с прославлением большевизма. На сей раз не вздох о субсидии нищестанца Ясинского, не рассказы о зверстве офицеров (за приличное вознаграждение) Серафимовича - раздался искренний, пламенный голос большого русского поэта Александра Блока. В статье \*, напечатанной в газете левых социалистов-революционеров "Знамя Труда", Блок прославляет "рабоче-крестьянскую революцию" и обличает интеллигенцию, которая, по его словам, ныне идет против народа. Речь идет о статье А. Блока "Интеллигенция и революция". Усмехаясь при известиях об "обращении" разных Ясинских, все мы, интеллигенты, в частности русские писатели, к которым обращается А. Блок, с глубокой скорбью читаем его исступленные и недостойные обвинения. Не только потому, что Блок истинный поэт, но потому что большой и многострадальной любовью любит он Россию. Во всей его поэзии главное место принадлежит России. Она появляется еще давно в туманном облике Прекрасной Дамы, она мелькает в снежных вьюгах, она дремлет в вековечном снегу, она - отроческая и жертвенная - бьется на Куликове, пьяная мечется, темная плачет, нищая поет, страдает, любит, верует.

---

<sup>14</sup>Печатается по: И.Эренбург. Интеллигенция и революция (ответ Александру Блоку)// <http://www.proza.ru/2012/01/26/999>

И теперь А.Блок всецело исходит из любви к России, в отличие от многих иных его мало интересуется, насколько различные эксперименты над живой плотью родины выгодно отразятся на опыте и развитии германской социал-демократии. Но, любя Россию, Блок ее не видит, не хочет видеть. Ему мнится, что она ныне ветер, что она несется с силой бури к новому, к иному. Мчись! и нашу болящую родину, изнемогающую мать нашу, голодную духом и телом, днем творящую самосуды, вечером от стыда ревущую, вьющуюся от муки червем с единым стоном "доживу ль до завтра", - он представляет в роли мировой акробатки, с юным задором прыгающей в новый мир.

Блок зовет нас понять происходящее, прислушаться к музыке революции, к ритму ее. Мне кажется, что я сейчас, закрыв глаза, слушаю. Вот крики убиваемых, пьяный смех, треск револьверов, винтовок, пулеметов, плач "подайте хлебушка, милостивец", - целых губерний и бодрый гимн марсельцев, запеваемый чисто по-русски на похоронный лад... Я слышу, как поют, стреляют, хоронят... Кто? Кого?.. "Товарищи красногвардейцы" - большевики Пресненского района РСДРП расстреливают "товарищей" меньшевиков Пресненского района РСДРП... Я слышу много голосов, но нет среди них радостного, кроме разве сентиментального чириканья германских радиотелеграмм, над всем слышу один крик - всех, всех, большевиков, меньшевиков, просто людей:

"Доколе?Доколе?"

Блок говорит, что ныне старое сменяется новым, истинным, справедливым. Надо лишь понять... Разогнана "учредилка", но сколько предвыборных махинаций, как гнусен парламентаризм на Западе, и, наконец, Бог знает "кого выбирала темная Русь".

А Советы? Или туда выборы происходят не подсчетом голосов, а сошествием Св. Духа? Или та же "солдатская, рабочая и батрацкая Русь" перестает быть темной, просветляется, выбирая в Советы? Конечно, много темного и отрицательного не только в парламентах, но в существе демократического государства, но все же лучше избирательная система французской палаты, чем прусского ландтага. А выборы в Советы тем отличаются от выборов в презренную "учредилку", что это выборы, как в прусский ландтаг, классовые, а не всеобщие. Старое заменится не новым, справедливым, а лишь карикатурой на старое. Дальше Блок говорит - "долгой суды!" Разве это не понятный клич? Суд, правосудие чуждо духу русского народа. Но разве суды отменены? (Только разве для проворовавшихся комиссаров.) Конечно, мы теперь любим слова благородные, иностранные. Вот иностранцы для определения законов самодура употребляют русское "слово" "Oukase", а мы не закон - декрет, не суд - трибунал. Разве не злые карикатуры на суд разыгрываются в Митрофаньевском зале? Суд как суд, только судьи подобраны по партийной принадлежности, защитников арестовывают и пр. Это ли. Блок, замена старого новым? "Мир и братство народов" - вот как определяет Блок смысл происходящего. Да, эти слова часто раздаются в речах большевистских ораторов и пестреют на "заборных" воззваниях. Но разве не великие слова: "Братство, Свобода, Равенство" значатся над воротами парижских тюрем, на тысячефранковых билетах, на левом уголке смертных приговоров! "Мир, братство народов", Гофман, Кюльман, карта и палец Гофмана, показывающий услужливому Троцкому судьбы племен. Разгром татар в Крыму, поход на Дон, завоевание Украины... Бедные мы! Слова "мир", "братство" звучат для нас непостижимым, и на говорящего смотрим с опаской: не убьет ли...

Р. Кюльман - дипломат, глава немецкой делегации на мирных переговорах в Брест-Литовске. М. Гофман - немецкий генерал, участник этих же переговоров. Л.Д. Троцкий (Бронштейн) - глава советской делегации на переговорах с немцами.

Мне все равно, как это вы делаете, мне важно, что, - откровенно заявляет Блок. Но разве от "как" не зависит "что"? Во имя Христово и для насаждения Его учения гибли плотью первые мученики, каждым предсмертным хрипом укрепляя веру истинную, и во имя Христово и для насаждения Его учения сжигали кротких индейцев в Мексике, гонимых марранов в Испании, гуситов в Богемии, всюду, - сжигая и губя веру. Разве "как" не меняло "что"?.. Сам Блок, описывая в статье ужасы и пошлости европейской войны,

заявляет - ее зовут освободительной войной, но так нельзя никого освободить. Но разве "так" могут дать мир - не Европе, не России, хотя бы одной Великороссии, разве можно насадить братство хотя бы меж меньшевиками и большевиками Пресненского района?

РУССКИЙ народ жаждет подлинной правды, хочет построить жизнь по-своему, лучше, справедливее прежней. Интеллигенция, "просвещение" (в понимании XVIII века), "культура" (поверхностная) за это объявили ему войну. Писатель А. Блок это заявляет под одобрителный гул молодцов, чинящих быстрый суд над "саботажниками" ...

Нет, не в прививке простой "просвещения" видела спасение русская интеллигенция десятками лет. Она томилась и верила в душу России. Не только о "четырёххвостке" и хороших порядках она тосковала. Не та же ли тоска о родной правде сжигала Гоголя, искажала усмешкой отчаянья и слезами умиления лицо Достоевского, гнала из норы умирающего старца Толстого? Ради России, правды народной, любви ради пролилась на желтый петроградский снег кровь декабристов, любви ради стриженные, выращенные в холе, такие беспомощные девушки тысячами умирали на каторге, любви ради - да, да! взяв на себя тяжелый крест любви - шли убить и умереть Каляев, Сазонов, иные.

Революционеры-террористы.

Вы скажете - это было! Нет! тот же крест вы могли видеть на плечах гимназистиков в октябрьские дни, 5 января - когда на флагах было "Да здравствует Учред. Собрание!", а в сердце - "умираем за Россию и за правду", тот же крест приняли умученные Шингарев и Кокошкин . "Буржуй"? Кадет? конституция и пр. А вот прочтите недавно напечатанные письма Кокошкина из Германии - сколько в них отвращения к благоустроенной буржуазной стране, сколько веры в великую, еще нераскрывшуюся душу России.

Лидеры кадетской партии, депутаты Учредительного собрания. Убиты революционными матросами.

Блок заверяет - народ хочет "все или ничего". Интеллигенция - по-мещански трезво рассуждает. Поэт Блок будет прекрасен, если в своей жизни сотворит нелепое страшное безумие. Но этого ли хочет народ? Миллионы крестьян, хотят они гибельного и прекрасного безрассудства - или земли, дешевых товаров, порядка? Опыт делается без их ведома, но за их счет. Делается кучкой интеллигентов, которым интересы доктрины важнее жизни России.

Вся остальная интеллигенция и мы, писатели (кроме Ясинского, Серафимовича и, увы, Блока), отвергнутые, затравленные, оплеванные, кричим: "Что вы делаете?" Мещанская мораль? отвратительное благоразумие? Нет, отчаянье зрячих среди слепцов, губящих себя и то, что не их, не наше, а общее - Россию. Или матери, которая хватает падающего в воду ребенка, вы тоже скажете - "не будь мещанкой! Он бы упал и погиб бы в сем водопаде". Сам Блок подтверждает, что не ради "земных благ" борется с большевистской волной интеллигенция... У нас нет сейфов, и не о новом Галифе мы мечтаем. Мы боремся за народную душу, против течения идем. "А! в воротничках! буржуи! саботажники", и, повседневно распинаемые, мы приняли и ваш гвоздь, Александр Блок! Вы грозите - если не уступите, будет еще хуже! Может быть, но этого мы уступить не можем, ибо надо через години смуты пронести те источники, из которых пила и будет вновь пить, возжаждав, Россия.

Французский генерал, подавивший Парижскую коммуну.

Вы правы, когда говорите, что ужасны те, кто ныне отрекаются от России. Разлюбить страдающую мать нельзя, ибо "любовь все покрывает". Правы и когда верите, что Россия будет вопреки всему жить, что она не может умереть. Мы все помним прекрасные строки к России, написанные вами давно, задолго до революции:

...Какому хочешь чародею

Отдай разбойную красу!

Пускай заманит и обманет, -

Не пропадешь, не сгинешь ты,  
И лишь забота затуманит  
Твои прекрасные черты...  
Ну что ж? Одной заботой боле -  
Одной слезой река шумней,  
А ты все та же - лес, да поле,  
Да плат узорный до бровей...  
Не пропадет, не сгинет Россия, хоть отдала свою разбойную красу ныне "чародею" - не Стеньке Разину, не Бронштейну даже, а деловитому Германцу.  
Опомнится она, опомнитесь и вы, Блок, и мне горько и страшно за вас.  
Вы увидите, не "одной слезой река шумней" - кровью русской, не "одной заботой боле" - рабами германцев будем - вы увидите обманутую Россию и далеко непоэтическую, скорее коммивояжерскую улыбку чародея. Вы скажете себе - в судный час, когда Россию тащили с песнями на казнь, и я! и я! тащил, и я кричал тем, что хотели удержать, боролись, молились, плакали.  
А вы не с нами?  
Враги народа!

## **АЛЕКСАНДР БЛОК. КАТИЛИНА. СТРАНИЦА ИЗ ИСТОРИИ МИРОВОЙ РЕВОЛЮЦИИ<sup>15</sup>**

### **1.**

Люций Сергий Катилина, римский революционер, поднял знамя вооруженного восстания в Риме за 60 лет до рождения Иисуса Христа.

Ученые нового времени полагают, что жизнь Катилины не получила до сих пор справедливой оценки. Правы они в этом или нет, мы посмотрим.

Во всяком случае, они правы по отношению к ученым филологам; эти -- действительно не умели справедливо оценить Катилину; в руках у них были источники, принадлежащие перу его яростных врагов: историка Саллюстия и оратора Цицерона; источники, к тому же, весьма талантливые; а собственное соображение и собственная группировка фактов, как известно, доступны очень немногим филологам. Так и случилось то, что филологи хватились переоценивать слишком поздно, когда переоценка уже давно была произведена--только не ими.

Прежде, чем говорить о самом Катилине, я хочу коротко сказать о Риме его времени.

То было время давно непрекращавшихся внешних войн и гражданских раздоров. Внешние завоевания старой республики (Рим был республикой с V века) все расширялись. С III века Рим стал перерастать сам себя, выходя далеко за пределы Италии. К тому времени, о котором идет речь, были уже завоеваны Сицилия, Цизальпинская Галлия, Сардиния, Корсика, Испания, Иллирия, Кареагенская область, Греция, Македония. Рим готовился овладеть на востоке Сирией, Малой Азией, Иудеей, Египтом, на западе Галлией Трансальпийской; все это досталось

---

<sup>15</sup> Впервые опубликовано в 1919 г. в издательстве «АЛКОНОСТ». Петербург. Печатается по: [http://az.lib.ru/b/blok\\_a\\_a/text\\_1918\\_katilina.shtml](http://az.lib.ru/b/blok_a_a/text_1918_katilina.shtml)

ценою потери республики, что произошло за 30 лет до Р. Хр.; после этого, великая держава, все продолжавшая внешним образом шириться и расти, стала погружаться в тени и уплывать из мира. "Падение римской империи" совершалось столетиями, медленно и неуклонно, преисполненное житейской пестроты и сутолоки, как все в мире; но ослепительный луч, предъуказавший это падение, сверкнул именно в это время, предопределив ход "человеческой трагикомедии" на столетия раньше.

Иисус Христос родился за четыре с половиной столетия до гибели Римской Империи; через несколько десятков лет после Христа, Тациту уже выпало на долю оплакать падение старого мира и больной цивилизации и воспеть мощь и свежесть грядущих в мир варваров; а за несколько десятков лет до Христа бедному Катилине выпало на долю восстать против старого мира и попытаться взорвать растленную цивилизацию изнутри.

Итак, Рим, счастливый обладатель республиканских вольностей и великодержавный завоеватель почти всего известного в то время мира, уже сам, как это всегда бывает, не имел власти сдержать размах собственных притязаний на окончательное мировое владычество и свои империалистические аппетиты; он продолжал воевать. Войны эти порождали бесконечные внутренние затруднения в области продовольствия, финансов, военного дела; правительство было не в силах справиться с такими затруднениями. Власть непрерывно переходила из рук одного диктатора в руки другого. Между тем, солдаты, которые набирались из беднейших классов, были изнурены войной, требовали огромных денег и просто отказывались воевать; так что, всеобщая воинская повинность сделалась невозможной; военачальники стремились к удовлетворению личных честолюбий; большинство граждан беднело, а в руках немногих сосредоточивались громадные капиталы, нажитые военными грабежами, спекуляциями, взятками; рост городского пролетариата усиливался с непомерной быстротой, так как землю в разоренных и разграбленных наместниками-казнокрадами провинциях поделить не могли; однако, несмотря на то, что в столице, в течение ряда годов, происходила резня буржуазии, у власти продолжали оставаться олигархи, т. е. небольшая кучка лиц, соблазнявших народ даровой раздачей хлеба и богатыми зрелищами, но неспособных улучшить продовольствие и суды, искоренить взяточничество, справедливо распределить землю, которую богатые по-прежнему скупали, или просто отбирали даром у бедных.

Историк Саллюстий, живший в это время, рассказывает о нем так:

"Оптиматы начали обращать свое достоинство в надменность, а народ свою свободу в необузданность. Каждая сторона все, что могла, тащила себе, рвала, грабила. Все разделилось на две партии, и они раздирали государство, лежавшее между ними. Олигархи были, впрочем, могущественнее, как одна дружная партия, народ же имел менее значения, ибо здесь не было такой связи, и его сила терялась в массе. Государство управлялось во время мира и войны по произволу немногих. В их руках была казна, провинции, должности, слава и триумфы; остальные граждане были удручены бедностью, отягощены службой в легионах; полководцы делили



военную добычу с немногими, а между тем, родители и дети воинов изгонялись из своих поместий, ежели по несчастию, их участок находился близ имения могущественного соседа. Олигархи все оскверняли и опустошали; ни до чего им не было дела, ничего для них не было святого дотоле, покуда они не рухнули в бездну, которую сами себе подготовили. Ибо, когда нашлись в самой олигархии люди, которые предпочли истинную славу незаконному своему могуществу, тогда зашатался город, и поднялся, как хаос, раздор гражданский".

Автор этого талантливое и высоконравственного описания сам занимал довольно высокий пост в провинции, причем оставил по себе очень плохую память: ему удалось выжать все соки из богатой страны взятками и поборами; размеры этих взяток были так исключительны, что на них обратили внимание даже в то время, когда такой способ обогащения считался делом обыкновенным и общепринятым. Саллюстия предали суду; пришлось обратиться к протекции Цезаря; Цезарь ходатайствовал перед судьями за своего верноподданного; суд оправдал чиновника; ведь никакие республиканские вольности не освобождают людей от уважения к влиятельным лицам! Что же случилось с народными деньгами, расхищенными Саллюстием? Их употребили на покупку дачи для Цезаря около Тибура и на разбивку великолепных садов при даче Саллюстия в Риме.

Саллюстий покался. Когда не стало его могущественного покровителя, которому Саллюстий был всем обязан, он уединился в собственной вилле и здесь, в тени вышеупомянутых садов, предался литературным занятиям. Первым его трудом был "Катилина"; здесь историк лишь пробовал перо на легком деле: он изобличал всеми признанного революционера и негодяя; далее, перо Саллюстия разошлось, и он написал блестящую историю войны с Югуртой; здесь он выместил все свои личные обиды; действительно, изображение грязи и болезней, разъедавших господствующую партию, ярко и сильно, о чем свидетельствует вышеприведенная страница; правда, не все разделяют симпатии Саллюстия, которые отданы полководцу Марию, но надо войти в положение обиженного бюрократа из плебеев, для того чтобы понять, что думать иначе он не мог.

Марий был человек, созданный войной и для войны; т. е., создание бессмысленное и вредное. Это был человек огромной личной храбрости, хвастун, "любимец солдат" и городской черни и принципиальный невежда, питавший глубокое презрение ко всякому образованию -- презрение, свойственное людям неразвитым. Плебей по происхождению, как и Саллюстий, он достиг высших военных должностей без протекции; из солдата и центуриона (унтер-офицера) скоро превратился в полководца. Как же мог не отдать такому человеку всех своих симпатий Саллюстий, который и сам воевал когда то, хотя и неудачно, и был тоже не знатного происхождения; в обоих была "военная косточка"; оба презирали и ненавидели чуждых и непонятных им "образованных аристократов", вроде Суллы, счастливого соперника Мария; Саллюстий не пожалел красок для того, чтобы изобразить в лице Суллы всю глубину падения аристократии. Историк преуспел в этом деле, потому что материал был, действительно, богатый.

В противоположность суровому, тяжеловесному, молчаливому и жестокому солдату Марию, который не брал взятки даже тогда, когда их брали все офицеры и все нижние чины, подрывая этим последнюю дисциплину в войсках,--Сулла был человеком свободным и легким. Родом он был очень знатен; сорил деньгами, любил славу и удовольствия. Неповоротливый старик Марий таскал за собой всюду какую то еврейскую гадалку Мареу, которой слепо слушался во всех своих начинаниях; Сулла, бегавший за танцовщицами, был красноречив и быстр во всех своих делах. Он обладал большими дипломатическими способностями; ему легко удалось втереться в доверие к Марию, заслужить одобрение солдат, одалживая деньги направо и налево, и -- вырвать победу у Мария из под носу: единственно, при помощи ловкости и проворства рук, он добился того, чего не удавалось сделать железом: хитростью заманил он в ловушку и забрал в плен вороватого и кровожадного африканского царька Югурту.

Хотя триумф по окончании этой войны достался Марию, последний не мог простить Сулле того, что произошло; борьба между этими двумя людьми разгорелась; борьба, стоившая жизни Марию, кончилась торжеством Суллы; естественно, что всего этого никогда не мог простить Сулле обойденный аристократами Саллюстий, который скорбит по этому случаю и о падении старинной римской доблести, и об уничтожении дисциплины в войсках; вообще обо всем, о чем свойственно скорбеть чиновникам, которые всю жизнь грели руки около правых убеждений и вдруг оказались не у дел, по случаю победы партии, им враждебной.

Слаб человек, и все ему можно простить, кроме хамства; так и Саллюстию можно, пожалуй простить и разврат, и взяточничество, и подхалимство; все это ему и простил уже один английский историк -- за его "талант"; нельзя только простить ему одного: принятого им нравственного и патриотического тона. "От стыда ли, от досады ли, я не хочу терять слов на описание того, что делал Сулла", ломается Саллюстий; вот это ломание даровитому стилисту и взяточнику простить трудно.

Если грабеж и взяточничество были распространены в такой мере и даже возведены в систему среди представителей власти, то естественно, что мелкие жулики тоже не отставали; они образовали, где только возможно, банды "пиратов" и грабителей. Век отличался, вообще, как принято говорить среди филологов, повсеместным падением нравов и ростом самого ужасного разврата.

На профессорском языке развратом называется все: и мелкое взяточничество, и низкие похоти, и великие мечты и страсти, иногда находящие исход в преступлении и приводящие к гибели. Эта гибель вспыхивает пламенем дымного факела над обреченной головой. Мрачный свет этого факела падает в грядущие столетия, и они умеют оценить по новому того, кто погиб жертвою неотступной мечты и непреодолимой страсти. Так и в тот великий век; он создал взяточника Саллюстия и честного законника Цицерона; оба они сошлись, однако, на непримиримой злобе к "изменнику родины" Катилине; но тот же век создал царицу цариц Клеопатру, и битву при Акциуме, в которой римский триумвир отдал весь

флот великой державы за любовь египтянки; он же создал, наконец, и революционный порыв промотавшегося беззаконника и убийцы -- Катилины.

## 2.

Катилина принадлежал к знатной и разорившейся семье. У него было устроенное тело и устроенная голова. Он был красноречив и образован; таким рисует его история.

Каково было образование Катилины, мы не знаем. Но мы знаем, каково было образование римлян его времени и его сословия.

Государство разбухало неудержимо. Чем дальше заходили его успехи, тем труднее становилось жить людям, тем ожесточеннее становилась борьба их за существование; и народ, который от природы был народом-практиком, устремил все силы и все способности на практическую жизнь. Оттого и воспитание и образование детей было устремлено на то же. Эта картина опять таки очень нам знакома; так ведь воспитывается всякий средний человек в современной Европе: упражнять волю, не падать духом, сохранять всегда бодрость, готовиться стать хорошим пушечным мясом и гражданином.

Это воспитание prepares к чему угодно, кроме самого главного и единственно нужного человеку; результат его был на глазах у всего Рима, он на глазах и у нас: большинство -- тупеет и звереет, меньшинство -- хиреет, опустошается, сходит с ума. Глаза Рима, как и наши глаза, не видели этого; а если кто и видел, то не умел предупредить страшной болезни, которая есть лучший показатель дряхлости цивилизации: болезни вырождения. За этим опошленным словом стоит довольно жуткое содержание.

Катилина начал службу в войсках Суллы. Если Марий, пополняя недостаток в людях, который становился все ощутительнее, набирал в свои войска последнюю сволочь, то Сулла дошел в этом отношении до крайних пределов. Вся цель его заключалась в том, чтобы завлечь людей в войско; он льстил солдатам и платил им огромные деньги. Дисциплина была совершенно подорвана, солдаты в походах пьянствовали и развратничали; эти люди, отвыкшие от земледельческого труда, были грозой для столицы; едва какому-нибудь богачу надо было получить лишний голос в сенате, он подольщался к солдатам; солдаты являлись по первому его знаку в Рим, наводняли город, ночуя около храмов на улицах, и отстаивали своего кандидата не одним голосованием, но и оружием. Недовольство среди них, вечный спутник праздной и бессмысленной военной жизни, росло; с ним вместе готова была разразиться гражданская война.

В такой-то среде жил Катилина, который выделялся среди всех храбростью, физической силой и выносливостью. Он умел сносить голод, холод и жар. Наружность Катилины, по описанию, представляется такой: его взгляд был дик и неприятен; его походка была то ленивая, то торопливая. Катилина предавался

крайним порокам; он убил своего брата, жену и сына; последнего он убил за то, что тот был против его связи с кокоткой Орестиллой; кроме того, говорят, что Катилина был в связи с весталкой и с родной дочерью. Если даже три четверти всего этого -- злобная сплетня, то и остающейся четверти довольно.

Проходя ряд государственных должностей, Катилина проявил склонность к корыстолюбию; при управлении Африкой, он был обвинен в лихоимстве; защищал его тогда Цицерон, впоследствии -- его злейший враг. Однако, Цицерон признавал обаяние Катилины; он говорил, что тот, кто раз сойдется с Катилиной, уж не оставляет его и совершенно подпадает его влиянию.

Катилина увлекал своими громадными замыслами, которыми он блистал среди развратной золотой молодежи, окружавшей его и составлявшей его гвардию; он пировал с ними, таскался по улицам и притонам, сорил деньгами; слухов о преступлениях этих людей, сидевших, как и сам Катилина, по уши в долгах, не перечить. Самая ужасная сплетня (пущенная позже Плутархом) заключалась в том, что они поклялись в верности Катилине и, в подтверждение клятвы, принесли в жертву человека, причем съели по куску человеческого мяса.

Благодаря такой ужасной и соблазнительной славе, Катилина был любимцем римской аристократии, в особенности -- женщин. Однако, когда он стал искать консульства, его не выбрали, ибо нашлись люди, которые понимали всю его опасность для государства; нашлись также люди, которые помнили его дела в Африке. Тут-то Катилина и составил свой первый заговор, набрав себе в соратники до четырехсот человек. В заговоре участвовали не одни головорезы; по некоторым данным, к нему примыкал умный, осторожный и вкрадчивый Цезарь. Многие из этих людей надеялись, при помощи Катилины, устроить собственное благополучие и удовлетворить свое честолюбие. Точно так же смотрел на заговор Помпей, в те годы воевавший в стороне от Рима, и вся его партия. Беспорядки и анархия в Риме были выгодны Помпею.

Весь Рим ждал, что заговор вспыхнет в определенный день. Были вызваны на этот случай войска, но, в сущности, никаких решительных мер принято не было; никто и не думал арестовать Катилину. Анархия уже царствовала в Риме, не принимая пока определенной формы, а правительство было совершенно слабо и лишено власти; к тому же, многие из членов правительства -- или были сами причастны, или относились сочувственно к заговору против сената.

О целях заговора и размерах участия в нем Катилины ученые спорят. Все согласны, разумеется, только в одном, -- что у Катилины были неоплатные долги, и что он надеялся при помощи восстания поправить свои денежные дела; но, так как даже филологам кажется, что это объяснение недостаточно, они рассуждают о том, чего искал Катилина: искал диктатуры; хотел быть "вторым Суллой"; добивался "проскрипций" (известный в то время способ -- истребить часть граждан с тем, чтобы забрать их имена в государственную, т. е. в личную собственность); некоторые полагают, что Катилина был только вовлечен в этот заговор; хотя он и принимал в нем энергичное участие, но был только орудием Цезаря и Красса.

Истинные же цели Катилины признаются не совсем ясными, так как известия об этом первом заговоре скудны и противоречивы. О том, что Катилина был народолюбом, или мечтал о всеобщем равенстве, речи, конечно, быть не может. Катилина был революционером всем духом и всем телом; он был сыном жестокого и практического народа; никакая отвлеченная теория, или кабинетная мысль не могли одушевлять его. Но, если отсутствие в его голове уравнивательных идей неоспоримо, то также неоспоримо и то, что он был создан социальным неравенством, вскормлен в его удушливой атмосфере. Это не значит, конечно, что Катилина бичевал пороки современного общества; напротив, он соединил все эти пороки в своем лице и довел их до легендарного уродства. Он имел несчастье и честь принадлежать к числу людей, которые "среди рабов чувствуют себя рабами"; многие умеют говорить об этом красно, но почти никто не подозревает, какой простой и ужасный строй души и мысли порождает такое чувство, когда оно достигает действительно человеческой силы, когда оно наполняет все существо человека; едва начнут подозревать, как уже с отвращением, или с презрением, отшатываются от таких людей.

Простота и ужас душевного строя обреченного революционера заключается в том, что из него как бы выброшена длинная цепь диалектических и чувственных посылок, благодаря чему выводы мозга и сердца представляются дикими, случайными и ни на чем не основанными. Такой человек -- безумец, маниак, одержимый. Жизнь протекает, как бы, подчиняясь другим законам причинности, пространства и времени; благодаря этому, и весь состав-- и телесный и духовный -- оказывается совершенно иным, чем у "постепеновцев"; он применяется к другому времени и к другому пространству. Когда-то в древности явление превращения, "метаморфозы" было известно людям; оно входило в жизнь, которая была еще свежа; не была осквернена государственностью и прочими наростами, порожденными ею; но в те времена, о которых у нас идет речь, метаморфоза давно уже "вышла из жизни"; о ней стало "трудно думать"; она стала метафорой, достоянием литературы; поэт Овидий, например, живший немного позже Катилины, знал, очевидно, состояние превращения; иначе, едва ли, ему удалось бы написать свои пятнадцать книг "Метаморфоз"; но окружающие Овидия люди уже опустили на дно жизни: произведения Овидия были для них, в лучшем случае, предметом эстетической забавы, рядом красивых картинок, где их занимали сюжет, стиль и прочие постылые достоинства, но где самих себя они уже не узнавали.

Так как мы все находимся в тех же условиях, в каких были римляне, т. е., все запылены государственностью, и восприятие природы кажется нам восприятием трудным, то я и не стану навязывать своего объяснения темперамента революционера при помощи метаморфозы. Сколь убедительным ни казалось бы мне это объяснение, я не в силах сделать его жизненным. Поэтому я и не прибегаю к нему и обращаюсь к другим способам, может быть, более доступным.

Двадцать столетий, протекавшие со дня заговора Катилины, не дали филологам достаточного количества рукописей; зато, они дали нам большой внутренний опыт. Мы уже можем смело сказать, что у иных людей, наряду с материальными и корыстными целями, могут быть цели очень высокие -- нелегко определяемые и

осязаемые. Этому нас, русских, научил, например, Достоевский. Поведение подобных людей выражается в поступках, которые диктуются темпераментом каждого: одни -- таятся и не проявляют себя во внешнем действии, сосредоточивая все силы на действии внутреннем; таковы -- писатели, художники; другим, напротив, необходимо бурное, физическое, внешнее проявление; таковы -- активные революционеры. Те и другие одинаково наполнены бурей и одинаково "сеют ветер", как полупрезрительно привык о них выражаться "старый мир"; не тот "языческий" старый мир, где действовал и жил Катилина, а этот, "христианский" старый мир, где живем и действуем мы.

Выражение "сеять ветер" предполагает "человеческое, только человеческое" стремление разрушить правильность, нарушить порядок жизни. Вот почему к этому занятию относится пренебрежительно, иронически, холодно, недружелюбно, а, в иных случаях, с ненавистью и враждою -- та часть человечества, которая создавала правильность и порядок и держится за него.

Но напрасно думать, что "сеяние ветра" есть только человеческое занятие, внушаемое одной лишь человеческой волей. Ветер поднимается не по воле отдельных людей; отдельные люди чувствуют и как бы только собирают его: одни дышат этим ветром, живут и действуют, надышавшись им; другие бросаются в этот ветер, подхватываются им, живут и действуют, несомые ветром. Катилина принадлежал к последним. В его время подул тот ветер, который разросся в бурю, истребившую языческий старый мир. Ибо подхватил ветер, который подул перед рождением Иисуса Христа, вестника нового мира.

Только имея такую предпосылку, стоит разбираться в темных мирских целях заговора Катилины; без нее они становятся глубоко неинтересными, незначительными, ненужными; исследование их превращается в историческое гробокопательство филологов.

### 3.

Первый заговор Катилины не удался. Были ли тому причиной несогласия в среде заговорщиков, или их неосторожность, неизвестно. Вопрос этот столь же туманен для науки, сколь мало интересен для нас; мы знаем, что "всему свое время под солнцем", что воплощается лишь то, что созрело для воплощения.

Катилина не оставил своих замыслов; через год он вновь начал добиваться консульства. Тут-то ему пришлось, наконец, столкнуться вплотную с Цицероном, с которым они, до поры до времени, друг друга взаимно охаживали. Прежде, чем рассказать, кто из них вышел победителем из этой борьбы, посмотрим, что за человек был Цицерон.

Цицерон принадлежал к культурнейшим людям своего времени. Человек незнатного происхождения, он сумел получить весьма разнообразное образование и посвятил себя законоведению. Он был, как сказали бы у нас, "помощником

знаменитого присяжного поверенного" (Муция Сцеволы); некоторое время он отбывал воинскую повинность, но скоро оставил это занятие и предался жизни интеллигентной, полагая, что "воинская служба уступает гражданской, и лавр -- красноречию". Конечно, он не был тем, что в наше время называется словом "пораженец"; он не был им, почему ему и не пришлось произвести такого гигантского и не совсем ловкого прыжка от "пораженчества" к "оборончеству", и даже еще гораздо дальше, какой пришлось недавно произвести многим умеренным русским интеллигентам. Нет, он рассуждал гораздо последовательнее; я думаю, не потому, чтобы он был головой выше многих русских интеллигентов; нет, Цицероны есть в России и в наше время; может быть, это можно объяснить тем, что в Риме был уже четыреста лет республиканский образ правления, и римская интеллигенция, развиваясь более естественно, не была так оторвана от почвы; она не надорвалась так, как наша, в непрерывных сражениях с чем-то полусуществующим, тупым, бюрократически идиотским.

Как бы то ни было, Цицерон остался штатским в то время, когда в моде были военные, ибо римский империализм был ненасытен, и его размаха хватило еще века на три после описываемого мной времени.

Первая "защита" Цицерона была блестяща. Отчаянное честолюбие помогло ему победить недостатки в произношении и неуклюжесть телодвижений и добиться адвокатской славы.

После этого ему удалось показать и административные таланты. Во время непомерной дороговизны съестных припасов, он управлял Сицилией, откуда приходилось грузить хлеб на Рим; тут проявились твердость и добросовестность Цицерона; ему удалось прижать сицилианцев не мало и не много, -- ровно настолько, что ни сицилианцы, ни римляне не померли с голоду; к тому же, он сумел, обладая умеренным состоянием, и отказываться от взяток и не показаться от того дураком, для чего тоже требовалось всегда не малое искусство.

Возвратясь в Рим, Цицерон ушел, как говорят, с головой в общественность, выиграл еще один блестящий процесс (Верра) и прошел ряд административных должностей, достигнув, наконец, консульского достоинства, в получении которого ему одинаково способствовали и дворяне, и "народ"; главным образом, говорит история, первые.

До сих пор, Цицерон принадлежал к так называемой "народной партии"; но поддержка олигархов вызвала перемену в его воззрениях, и он присоединился к партии сената; разумеется, поправению либерального адвоката способствовали причины самые "уважительные": рост римской разрухи, все возрастающая дороговизна съестных припасов, а, главное, возникновение заговора Катилины, как раз с этим временем совпавшее: надо ведь было спасать свое отечество, т. е. безмерно разбухающее и начинающее выказывать явные призраки разложения государственное тело Рима; надо было спасать ту "великую культуру", которая породила и еще должна была породить так много ценностей, но которой через

несколько десятков лет был произнесен навеки и бесповоротно приговор на другом суде -- на суде нелицемерном, на суде Иисуса Христа.

Итак, римская знать, забыв всякие раздоры и несогласия, сплотилась теперь вокруг чуждого ей до сих пор Цицерона, и они принялись вместе защищать свое громадное, расплывшееся отечество от маленькой кучки людей, которая вся помещалась в нескольких домах Рима и провинции, но во главе которой стоял далеко не расплывшийся, а собранный и острый человек -- Катилина. Тут-то нашла себе выражение настоящая деловитость Цицерона, его увертливость, его дипломатическая тонкость. Началось с того, что он, как впоследствии юристы всех веков, взялся защищать Катилину тогда, когда, по его собственному выражению, "не признать его виновным значило бы признать, что среди бела дня темно". Защита касалась обвинений Катилины в лихоимстве во время управления африканскими провинциями, а цель ее состояла в том, чтобы Катилина, в случае оправдания, оказался сговорчивее на следующих выборах в сенат. Защитить Катилину Цицерону удалось; но тут-то Катилина, против ожиданий, и не смирился.

Катилина все еще думал, что удача на его стороне, что многие сенаторы ему сочувствуют; он дерзко отвечал Цицерону: "Какое я делаю зло, если из двух тел, одно из которых тоще и слабо, но с головою, а другое -- велико и сильно, но без головы, выбираю последнее, для того, чтобы дать ему голову, которой у него нет?"

Цицерон понял иносказание; оно относилось к сенату и народу. В день выборов Цицерон надел латы и вышел на Марсово поле в сопровождении знатной молодежи, причем умышленно показал часть лат, чтобы дать этим понять, какой опасности он подвергается. "Народ" (так называет Плутарх собравшуюся здесь толпу римской публики) выразил свое негодование и окружил Цицерона. Катилина вторично не был выбран в консулы.

Тогда Катилина собрал своих молодцов и распределил роли: одни должны были поджечь город с двенадцати концов; другие -- перерезать всех сенаторов и столько граждан, сколько будет возможно; в доме одного из заговорщиков устроили склад оружия и серы. В разных частях города было назначено дежурство; часть людей была назначена к водопроводам, чтобы убивать всех, кто придет на водой.

Однако, среди заговорщиков нашлись доносчики, а, может быть, и провокаторы. Некий знатный развратник Квинт Курий, когда-то исключенный из сената за порочное поведение, был в связи с аристократкой Фульвией. Фульвия собралась его бросить (он надоел ей, потому что не мог делать дорогих подарков); Курий неожиданно стал сулить ей золотые горы; она легко выпытала все подробности заговора и сама разболтала о них по всему Риму.

С другой стороны, Цицерону были вручены друзьями подметные письма от неизвестного человека; в этих письмах также заключались подробности о заговоре.

Цицерон провел ночь в обсуждении тех материалов, которые попали к нему в руки, а утром собрал заседание сената, в котором письма были прочитаны вслух.



Сенат проникся сознанием того, что отечество находится в опасности, и провозгласил Цицерона диктатором. Цицерон ежедневно ходил по улицам, охраняемый вооруженной толпой. Людей, которые должны были его убить, до него не допустили. В те места Италии, где зрел заговор, были отправлены надежные чиновники с большими полномочиями. Консулу Антонию, который склонялся на сторону Катилины, Цицерон заткнул рот, отдав ему одну из лучших провинций -- Македонию. Однако, арестовать Катилину было все еще невозможно, ибо не хватало улик. Тогда Цицерон решил избрать путь словесных разоблачений, на которые он был великим мастером. Он собрал заседание сената в храме (Юпитера Статора) и произнес здесь свою знаменитую речь против Катилины.

Катилина, присутствовавший на заседании, обратился к сенаторам с речью со своей стороны. Тут он, по-видимому, унился (слаб человек), стараясь доказать, что он -- аристократ, что он, как и предки его, неоднократно оказывал услуги отечеству и не мог желать его гибели, а Цицерон -- даже не римский гражданин.

Речь Катилины все время прерывали; никто не хотел его слушать; отказались даже сидеть с ним рядом на той скамье, которую он занял.

Катилина продолжал ругать Цицерона. В храме поднялся ропот. Кто-то обозвал Катилину преступником и врагом отечества. Цицерон повелительно приказал Катилине выйти из города, говоря: "Нас должны разделять стены, потому что я, при отправлении моей должности, употребляю только слово, а ты -- оружие".

Тут Катилина увидал, что его дело проиграно, и что все против него. Его обуяла ярость, которая не знает пределов. "Если так, закричал он, я потушу развалинами пожар моего жилища!"

В ту же ночь Катилина вышел из Рима с тремястами товарищей. Он надеялся, что город ночью будет подожжен, что враги его будут убиты, что сенат будет запуган быстротой его действий.

Катилина шел, заставляя нести перед собою связки прутьев, секиры и римские знамена, как то приличествовало консулу. По дороге к нему примыкали люди, и он набрал двадцать тысяч человек войска. Революционные надежды его, однако, не оправдались.

Римские приверженцы Катилины не подумали поджигать город. По распоряжению Цицерона, были произведены обыски, и склад оружия был открыт. Одному из заговорщиков было обещано прощение, если он выдаст остальных; выданные заговорщики были отданы под надзор сенаторов; на следующий день уже обсуждался вопрос о смертной казни.

Цезарь склонялся к помилованию; чувствовалось, что он в этом деле -- не без греха; по настояниям Цицерона и Катона, мятежники были, однако, приговорены к смерти.

Чернь все время толпилась и любопытствовала. Заговорщиков вывели тайком, по одиночке, и казнили; Цицерон присутствовал при всех этих казнях, распоряжаясь,

кого прежде предать в руки палача. Возвращаясь домой к ночи, он встретил толпу народа и крикнул: "Они мертвы!" Чернь сопровождала Цицерона рукоплесканиями и криками: "Спаситель!" "Отец отечества!"

Что касается самого Катилины, то против него были посланы надежные войска под начальством Целера и Антония. Часть банд Катилины из взбунтовавшихся рабов разбежалась; другая часть была окружена в горных проходах. Во время жестокой битвы, Катилина бросился в середину врагов и погиб.

#### 4.

Я вспоминаю довольно известную страницу древней истории. Это -- одна из многочисленных неудавшихся революций, одно из многих подавленных восстаний. Я старался только рассказать об этом такими словами, которые дали бы возможность сделать некоторые сопоставления, которые показали бы, что узоры человеческой жизни расшиваются по вечной канве. Никаких схем, никаких отвлеченных теорий я не хочу навязывать.

Я думаю, что навязывание мертвых схем, вроде параллелей, проводимых между миром языческим и миром христианским, между Венерой и Богородицей, между Христом и Антихристом -- есть занятие книжников и мертвецов; это -- великий грех перед нравственно измученными и сбитыми с толку людьми, каковы многие из современных людей; ведь надо иметь мощные лебединые крылья, чтобы взлететь на них, долго держаться в воздухе и вернуться назад неопаленным и неповрежденным тем мировым пожаром, которого все мы -- свидетели и современники, который разгорается и будет еще разгораться долго и неудержимо, перенося свои очаги с востока на запад и с запада и на восток, пока не запыхает и не сгорит весь старый мир дотла.

И так, я не навязываю схем. Но я хотел бы, чтобы сами читатели сделали некоторые выводы из приведенных мною фактов. Чтобы помочь в этом, я старался набросать образ живого Катилины и очертить тени покойников: Саллюстия, Мария, Суллы, Цицерона. С той же целью, я хочу сейчас привлечь еще несколько соображений и фактов.

Катилина погиб, большинство его товарищей также погибло. Что же случилось с остальными действующими лицами развернувшейся перед нами трагедии?

Юлий Цезарь вышел из заговора невредимым; он не только сумел замести этот чуть заметный след за собою; он раздул над своей до гениальности хитрой головой пламя славы. Это была земная, житейская слава; она докатилась и до нашего времени; пути славы неисповедимы, но, если мы начнем разбирать те события, на которых основана слава Цезаря, мы увидим, что во главе этих событий стоит знаменитый поход против варваров, война с галлами, германцами и другими народами; в комментариях к этой войне, которым учили и учат каждого христианского школьника нашей эпохи, автор уделяет большое внимание

оправданию своих войн, доказательству необходимости торжества римского империализма.

Кабинетный стратег действительно удивил мир гениальностью своей военной тактики; хладнокровнейший честолюбец достиг действительной вершины почестей; но он все-таки пал -- в ту самую минуту, когда его должны были провозгласить царем всех римских провинций; и рука, сразившая его, принадлежала к той самой "народной партии", в делах которой когда-то тайно, как заговорщик, Цезарь сам принимал участие.

Так кончил Цезарь -- военный сообщник и тайный враг Катилины. Иначе кончил его штатский противник и открытый враг -- Цицерон. Цицерону не была прощена казнь участников заговора Катилины. Это -- один из редких примеров того, как "белый террор", обыкновенно безнаказанный, не остался без наказания. Друзья Катилины преследовали Цицерона несколько лет, и он принужден был, наконец, удалиться в добровольную ссылку для того, чтобы избежать ссылки административной. Правда, через год его вернули в Рим, и римская чернь опять встретила его ликованием; но решительность его была надломлена; он принимал меньше участия в государственных делах; говорят даже, что его мучили упреки совести. Во всяком случае, этот непрозорливый интеллигент продолжал упорно и тупо "любить отечество" в то время, когда римская империя поживала последние дни, когда готов был прозвучать из Назарета беспощадный приговор старой цивилизации; он продолжал руководиться старой, провинциальной, мещанской, позитивной моралью (мы видели, какая это была мораль) накануне того времени, когда в мир пришла новая мораль, -- мораль, как "огнь поедающий"; он продолжал верить в политическое строительство в то время, когда государство, в котором он состоял присяжным адвокатом, обрекло само себя на гибель собственным ростом, неудержимым распуханием, напоминающим распухание трупа. Он посвятил, наконец, большую часть своей жизни, своей серенькой философии, которой он предавался в виде отдыха от государственных забот. Это была эклектическая философия, никому не обидная, приноровленная к потребностям Рима: немножко теории познания -- для того, чтобы подчеркнуть скептическое отношение к метафизике; предпочтение морали всем физическим проблемам; центр тяжести -- в скромном изяществе изложения; Цицерон собрал жалкие остатки меда с благоуханных цветов великого греческого мышления; с цветов, беспощадно раздавленных грубым колесом римской телеги.

В философии, изложенной Цицероном, задохнулись средние века. Люди пили эту мертвую воду до тех пор, пока Возрождение не открыло источников живой воды. Над сочинениями Цицерона теряли время школьники всех цивилизованных стран, в том числе, как все знают, и русские школьники.

Сам Цицерон только на год пережил Цезаря; он был убит, несмотря на все свои способности приспособляться к партиям, ибо затесался, против воли, в одну из бесчисленных политических авантюр.

Это утомительное мелькание авантюры, беспрестанная смена политических комбинаций и лиц, каковы бы они ни были по своим умственным и нравственным качествам, десятки других признаков -- все это само по себе могло бы убедить людей прозорливых и чутких в том, что в мире творится нечто особенное; что старыми мерами мира уже не измерить; что старые понятия уже переросли сами себя, выродились и умерли. Однако, если такой чуткостью и прозорливостью не обладали культурнейшие книжники того времени, вроде Цицерона, то что же можно было требовать с римских патрициев, с римских дам, с римских лавочников, с римских чиновников?

Заговор Катилины -- бледный предвестник нового мира -- вспыхнул на минуту; его огонь залили, завалили, растоптали; заговор потух. Тот фон, на котором он вспыхнул, остался, по-видимому, прежним, окраска не изменилась. Республикой по-прежнему управлял никуда негодный, подкупный и дряхлый сенат. Рабы, число и бедственное положение которых росло с каждым новым триумфом римского оружия, вся эта безлика, лукавая и несчастная римская беднота (столь галантно названная филологами -- "пиратами") -- по-прежнему дезертировала, спекулировала, продавалась за деньги; сегодня -- члену одной партии, а завтра -- его врагу; аристократическая сволочь, сурмившая брови красной краской, по-прежнему лорничала с любопытством рослых и здоровых варваров, купленных в рабство по сходной цене; римские барыни по-прежнему красили волосы желтой краской, так как германский цвет волос был в моде. Состоятельные буржуа по-прежнему держали у себя в доме комнатную собачку и грека; то и другое тоже было в моде. При этом, все эти граждане великого государства имели смелость сокрушаться о древней римской доблести; у них хватало духу говорить о "любви к отечеству и народной гордости", у них хватало бесстыдства быть довольными собой и своим отечеством: триумфально гниющим Римом.

Я не хочу множить картин бесстыдства и уродства. Я хотел бы, чтобы читатели сами дополнили их, при помощи воображения; в этом пусть поможет им наша европейская действительность. Рим был таким же студнем из многих государств, как и современная нам Европа. Одни из этих государств были при последнем издыхании; другие еще бились в агонии, целое же полагало, что оно есть великое целое, а не студень; все были также слеплены друг с другом, как нынешние; расцепить их уже не могла никакая историческая, человеческая сила; все это грызлось между собой, грабило друг друга, старалось додушить друг друга; огромное умирающее тело государственного зверя придавило миллионы людей -- почти всех людей того мира; только несколько десятков вырожденцев дотанцовывали на его спине свой бесстыдный, вырожденный, патриотический танец. Все это, вместе взятое, называлось величественным зрелищем римской государственной мощи.

В числе задушенных людей был и Катилина вместе со всеми своими сообщниками. Между людьми того старого мира, также как и между людьми нашего старого мира, была круговая порука, безмолвное согласие, передаваемое по наследству от одних мещан к другим: эта порука заключалась и заключается в том, чтобы делать вид, будто ничего не произошло и все осталось по старому: был

заговор, была революция; но революция подавлена, заговор раскрыт -- и все опять обстоит благополучно; так случилось, конечно, и с восстанием Катилины. Рим, насторожившийся в предчувствии опасности, распоясался, как только ему удалось уничтожить Катилину; жизнь вошла в свои берега -- до следующего раза. Мы и не могли бы, пожалуй, восстановить ритма римской жизни во время революции, если бы нам не помогла в этом наша современность и еще один небольшой памятник той эпохи. Во времена Катилины в Риме жил "латинский Пушкин", поэт Валерий Катулл. Среди многих его стихотворений, дошедших до нас, сохранилось одно, не похожее на другие ни содержанием, ни размером. Год написания этого стихотворения филологам неизвестен.

Я говорю о 63-м стихотворении Катулла, озаглавленном "Аттис". Содержание его следующее: Аттис, прекрасный юноша, впал в неистовство от великой ненависти к Венере; он покинул родину, переплыл море и, вступив в священную рощу великой богини Кибелы (Magna Mater) во Фригии, оскотил себя. Тут, почувствовав себя легким, она (поэт сразу начинает говорить об Аттис-женщине, показывая тем, что превращение совершилось просто и мгновенно) подняла белоснежными руками тимпан и, дрожа, созвала жриц богини -- оскотенных, как и она, "галлов" -- сбросить "тупую медлительность и мчаться в божественные рощи.

Достигнув рощ богини, измученные голодом ("без Цереры") Аттис и ее спутницы погрузились в ленивый сон. Когда взошло солнце, и они проснулись, неистовство прошло. Аттис вышла на морской берег и стала горько плакать о покинутой отчизне, сокрушаясь о том, что она над собой сделала.

Тогда разгневанная богиня послала двух свирепых львов вернуть Аттис назад. Испуганная львами нежная Аттис вновь обезумела и на всю жизнь осталась прислужницей богини.

Стихотворение Катулла написано древним и редким размером--галлиамбом; это - размер иступленных оргийных плясок. На русском языке есть перевод Фета, к сожалению, настолько слабый, что я не решаюсь пользоваться им и позволяю себе цитировать несколько стихов по латыни для того, чтобы дать представление о размере, о движении стиха, о том внутреннем звоне, которым проникнут каждый стих.

Super alta vectus Atys celeri rate maria,  
Phrygium nemus citato cupide pede tetigit,  
Adiit que opaca silvis redimita loca Deae  
Stimuiatus ubi furenti rabie, vagus animi,  
Devolvit ilia acuta sibi pondera silice.

В этих пяти строках описано, как Аттис переплыл море и как он оскотил себя. С этой минуты, стих, как сам Аттис, меняется; прерывность покидает его; из трудного и мужественного он становится более легким, как бы, женственным: Аттис подняла тимпан и созывает жриц богини:

Itaque ut relictā sensit sibi membra sine viro,  
Et jam recente terrae sola sanguine maculans,  
Niveis citata cepit manibus leve tympanum,  
Tympanum, tubam, Cybelle, tua, mater, initia  
Quatiensque terga tauri teneris cava digitis,  
Canere haec suis adorta est tremebunda comitibus:  
A gite, ite ad alta, Gallae, Cybeles nemora simul, Simul ite.  
Dindymenae dominae vaga Decora...

Далее, стих претерпевает вновь ряд изменений; он становится непохожим на латинские стихи; он как бы растекается в лирических слезах, свойственных христианской душе, в том месте, где Аттис оплакивает родину, себя, своих друзей, своих родителей, свою гимназию, свое отрочество, свою возмужалость.

Последние три строки стихотворения показывают, что поэт сам испугался того, что он описал. Катулл взывает: *Dea, magna Dea, Cybelle, Didyrai Dea domina, Procul a mea tuus sit furor omnis, hera, domo: Alios age incitatos, alios age rabidos.*

Т. е.: "Великая богиня, да минует меня твое неистовство, своди с ума других, а меня оставь в покое".

Что такое стихотворение Катулла? Филологи полагают, что поэт вспомнил древний миф о праматери богов. В этом не может быть сомнения, но говорить об этом не стоит, потому что это явствует из самого содержания стихотворения. Кроме того, художники хорошо знают: стихотворения не пишутся по той причине, что поэту захотелось нарисовать историческую и мифологическую картину. Стихотворения, содержание которых может показаться совершенно отвлеченным и не относящимся к эпохе, вызываются к жизни самыми неотвлеченными и самыми злободневными событиями.

В таком случае, поправляются филологи, это -- описание одной из фаз знаменитого и несчастного романа Катулла и Лезбии; может быть, та фаза, когда Лезбия стала открыто развратничать, а Катулл продолжал ее любить со страстью и ревностью, доходящими до ненависти?

Я не спорю с тем, что это вероятно; но этого тоже мало. Я думаю, что предметом этого стихотворения была не только личная страсть Катуллы, как принято говорить; следует сказать наоборот: личная страсть Катуллы, как страсть всякого поэта, была насыщена духом эпохи; ее судьба, ее ритмы, ее размеры, так же, как ритм и размеры стихов поэта, были внушены ему его временем; ибо в поэтическом ощущении мира нет разрыва между личным и общим; чем более чуток поэт, тем неразрывнее ощущает он "свое" и "не свое"; поэтому, в эпохи бурь и тревог, нежнейшие и интимнейшие стремления души поэта также преисполняются бурей и тревогой.

Катулла никто еще, кажется, не упрекал в нечуткости. Я считаю себя вправе утверждать, что Катулл, в числе других римских поэтов (которых, кстати, тогда так же мало читали, как поэтов нынешних), не был таким чурбаном и дубиной, чтобы воспевать какие то покойные римские гражданские и религиозные доблести в угоду меценатам и императорам (как склонны полагать филологи); право, иногда может показаться, что ученых филологов преследует одна забота: во что бы то ни стало, скрыть сущность истории мира, заподозрить всякую связь между явлениями культуры, с тем, чтобы в удобную минуту разорвать эту связь и оставить своих послушных учеников бедными скептиками, которым никогда не увидеть леса за деревьями.

Дело художника -- истинного врага такой филологии -- восстанавливать связь, расчищать горизонты от той беспорядочной груды ничтожных фактов, которые, как бурелом, загораживают все исторические перспективы.

Я верую, что мы не только имеем право, но и обязаны считать поэта связанным с его временем. Нам все равно, в каком именно году Катулл написал "Аттиса"; тогда ли, когда заговор Катилины только созрел, или когда он вспыхнул или, когда он только что был подавлен. О том, что это было именно в эти годы, спору нет, потому что Катулл писал именно в эти годы. "Аттис" есть создание жителя Рима, раздираемого гражданской войной. Таково для меня объяснение и размера стихотворения Катуллы и даже -- его темы.

Представьте себе ту нечеловеческую ярость, которая охватила озлобленного и унизившегося Катилину в храме Юпитера Статора. Продажные сенаторы не пожелали сидеть с ним на одной скамье и повернулись к нему спиной. Инициатор всей этой пышной церемонии избрал нарочно ее местом храм, как будто храм есть именно то место, где можно и должно оскорблять и травить человека, каков бы этот человек ни был. Вся церемония была инсценирована. В нужную минуту были оглашены анонимные письма. В заключение, самый унижаемый и самый ученый муж города, не погнушавшийся связаться с сенаторами во имя спасения отечества, разыграв всю эту унижительную комедию, кончил тем, что вылил на отравленного человека ушат блестящего адвокатского красноречия; Катилине оставалось, как будто, одно: захлебнуться в море уничтожающих цицероновских слов. Но Катилина отряхнулся. Он довольно таскался по грязным притонам и достаточно огрубел; брань не повисла у него на вороту; ему помогло стряхнуть тяжесть и

обуявшее его неистовство; он, как бы, подвергся метаморфозе, превращению. Ему стало легко, ибо он "отрекся от старого мира" и "отряс прах" Рима от своих ног.

Представьте себе теперь темные улицы большого города, в котором часть жителей развратничает, половина спит, немногие мужи совета бодрствуют, верные своим полицейским обязанностям, и большая часть обывателей, как всегда и везде, не подозревает о том, что в мире что-нибудь происходит. Большая часть людей всегда ведь просто не может себе представить, что бывают события. В этом заключается один из величайших соблазнов нашего здешнего существования. Мы можем спорить и расходиться друг с другом во взглядах до ярой ненависти, но нас все же объединяет одно: мы знаем, что существует религия, наука, искусство; что происходят события в жизни человечества: бывают мировые войны, бывают революции; рождается Христос. Все это, или хоть часть этого, для нас -- аксиома; вопрос лишь в том, как относиться к этим событиям. Но те, кто так думает, всегда -- в меньшинстве. Думает меньшинство и переживает меньшинство, а людская масса -- вне всего этого; для нее нет такой аксиомы; для нее -- событий не происходит.

Вот на этом-то черном фоне ночного города (революция, как все великие события, всегда подчеркивает черноту) -- представьте себе ватагу, впереди которой идет обезумевший от ярости человек, заставляя нести перед собой знаки консульского достоинства. Это -- тот же Катилина, недавний баловень львиц римского света и полусвета, преступный предводитель развратной банды; он идет все той же своей -- "то ленивой, то торопливой" походкой; но ярость и неистовство сообщили его походке музыкальный ритм; как будто, это уже не тот -- корыстный и развратный Катилина; в поступи этого человека -- мятеж, восстание, фурии народного гнева.

Напрасно стали бы мы искать у историков отражений этого гнева, воспоминаний о революционном неистовстве Катилины, описаний той напряженной грозовой атмосферы, в которой жил Рим этих дней. Мы не найдем об этом ни слова ни в разглагольствованиях Саллюстия, ни в болтовне Цицерона, ни в морализировании Плутарха. Но мы найдем эту самую атмосферу у поэта -- в тех галлиямбах Катулла, о которых мы говорили.

Вы слышите этот неровный, торопливый шаг обреченного, шаг революционера, шаг, в котором звучит буря ярости, разрешающаяся в прерывистых музыкальных звуках?

Слушайте его:

*Super alta vectus Attis celeri rate maria,*

*Phrygium nemus citato cupide pede tetigit...*



От дальнейших сопоставлений я воздержусь; они завели бы меня слишком далеко и соблазнили бы на построение схем, которое, повторяю, кажется мне самым нежелательным приемом -- подсовываньем камня вместо хлеба. Я хочу указать только, что приемы, которыми я (удачно или неудачно) пользовался, кажутся мне единственным путем, идя по которому можно восстановить разрушенную филологами историю культуры. Эти приемы отличаются двумя особенностями: 1) я обращаюсь не к академическому изучению первой попавшейся исторической эпохи, а выбираю ту эпоху, которая наиболее соответствует в историческом процессе моему времени. Сквозь призму моего времени я вижу и понимаю яснее те подробности, которые не могут не ускользнуть от исследователя, подходящего к предмету академически; 2) я прибегаю к сопоставлениям явлений, взятых из областей жизни, казалось бы, не имеющих между собой ничего общего; в данном случае, например, я сопоставляю римскую революцию и стихи Катутлла. Я убежден, что только при помощи таких и подобных таким сопоставлений можно найти ключ к эпохе, Можно почувствовать ее трепет, уяснить себе ее смысл.

## 5.

Итак, римский "большевик" Катилина погиб. Римские граждане радовались; они решили, что "собаке -- собачья смерть". Знаменитые писатели разделили мнение своих сограждан в своих сочинениях.

Когда родился Христос, перестало биться сердце Рима. Организм монархии был так громаден, что потребовались века для того, чтобы все члены этого тела перестали судорожно двигаться; на периферии почти никто не знал о том, что совершилось в центре. Знали об этом только люди в катакомбах.

Но века прошли; империя прекратила не только бытие, но и существование. Варварский вихрь занес многое землей и развалинами; в том числе -- сочинения знаменитых римских писателей.

Прошла тысяча лет. Вихрь Возрождения снес земляные пласты и обнаружил остатки римской цивилизации, в том числе -- сочинения Саллюстия.

К чему же послужили эти сочинения? -- К воскрешению грозного духа Катилины. Какие-то итальянские юноши замыслили убить миланского тирана Галеаццо Сфорца.

Они устроили настоящий заговор, упражнялись в искусстве наносить смертельный удар кинжалом и, действительно, убили тирана в церкви. По собственному их признанию (в Летописи города Сиены) оказалось, что они научали Саллюстия и находились под влиянием заговора Катилины.

Юношей, конечно, подвергнули пыткам и умертвили. Но дух римского "большевизма" продолжал жить. Катилина исстари поминался в итальянских народных легендах. В цивилизованном обществе представление о Катилине

раздвоилось: гласно, легально, в школах, в ученых сочинениях -- Катилина изображался гнусным злодеем; негласно, нелегально, в художественной литературе и в жизни молодежи -- образ Катилины принимал иные очертания. Даже во Франции первой половины XVIII века, казалось бы, совершенно неожиданно появилась трагедия Кребильона "Катилина". Впрочем, автор и сам почувствовал неловкость, когда ему пришлось несколько принизить Цицерона для того, чтобы лучше изобразить Катилину. Чтобы исправить свою ошибку, Кребильон принялся за сочинение новой трагедии, по настоянию своей придворной покровительницы -- Madame de Pompadour.

Новая и достойная человечества оценка Катилины была произведена, однако, только в половине прошлого века. После этого филологи могут не беспокоиться; оценка сделана одним из величайших писателей XIX века.

## 6.

Через девятнадцать столетий после гибели Катилины, двадцатилетний юноша, аптекарский помощник, а впоследствии -- великий писатель Генрих Ибсен, вдохновленный всемирной революцией 1848 года, показал истинные побуждения римского революционера -- Катилины.

"Без чтения Цицерона и Саллюстия поэт, вероятно напал бы на этот сюжет", верно говорит об Ибсене один из его критиков. Сам Ибсен рассказывает, как он "с жадностью проглотил" "Катилину" Саллюстия и речи Цицерона: "через несколько месяцев у меня уже была готова драма. Как видно из нее, я в то время не разделял воззрений двух этих древних писателей на характер и поступки Катилины, да и до сих пор склонен думать, что должен же был представлять из себя нечто великое или значительное человек, с которым неутомимый адвокат Цицерон не считал удобным сразиться до тех пор, пока обстоятельства не приняли такого оборота, что нападки на него уже перестали грозить какой-либо опасностью. Надо также помнить, что в истории найдется мало лиц, чья память находилась бы и большей зависимости от врагов, чем память Катилины".

Это пишет Ибсен о своей драме почти через 30 лет; это -- Ибсен уже давно возмужалый, получивший всеобщее признание, прославившийся и потому -- устающий: тот Ибсен, которого прилежные критики изо всех сил стараются спасти от обвинений в революционности.

Доказывать, что Ибсен был социалистом, едва ли придет кому-нибудь в голову. Но едва ли могут быть сомнения в том, что Ибсен был революционером. Его пресловутый "аристократизм" и "индивидуализм" суть та полуложь, полуправда, при помощи которых толкователи не раз приспособляли писателя к пониманию обывательскому, оказывая ему тем хорошую личную услугу (в смысле, например, хорошего сбыта его произведений на книжном рынке, пока этот рынок находится в руках буржуазии); не знаю, очень ли плоха та услуга, которую они оказали Ибсену и многим другим, сузив смысл их произведений; думаю, что это лишь временный

ущерб, дело десятков лет, или столетий -- все равно. Дело Катилины гласно считалось проигранным в течение девятнадцати столетий, и однако, по прошествии их, миру пришлось вспомнить о Катилине, потому, между прочим, что о нем ему напомнил великий художник.

Устающий и уставший Ибсен не сопротивлялся толкованиям критиков; но дело совсем не в том, что он оставил "революционные бредни" своей молодости; Ибсен многократно настаивал на том, что все его творения представляют одно целое: "я не желал бы, чтобы хоть что-нибудь из оставшегося теперь позади было выброшено из моей жизни" (1875); "лишь восприняв и усвоив себе мою литературную деятельность во всей ее совокупности, как одно последовательно развившееся целое, возможно получить и от отдельных его частей верное, соответствующее моим намерениям, впечатление" (1898).

Стареющий художник отличается от молодого только тем, что замыкается в себе, углубляется в себя. Изменить самому себе художник никак не может, даже, если бы он этого хотел. Я говорю об этом вовсе не затем, чтобы оправдывать художника, не нуждающегося в оправдании; да и кощунственно было бы так оправдывать художника, ибо сама эта истина нередко заключает в себе источник личной трагедии для него.

Вернемся к "Катилине".

Пока филологи предаются кропотливым изысканиям о том, в каком году, каким способом и кого именно убил Катилина, пока они анализируют обстоятельства, под влиянием которых он вступил на революционный путь, художник дает синтетический образ Катилины.

Катилина следует долгу, как "повелевает ему тайный голос из глубины души". "Я должен!" -- таково первое слово Катилины и первое слово драматурга Ибсена. -- Катилина ищет, чем утолить "страстную душевную тоску" в мире, где "властвуют корысть и насилие" и потому, Катилина -- "друг свободы".

"Единственное, что я ценю в свободе, это -- борьбу за нее; обладание же ею меня не интересует", писал Ибсен к Брандесу уже во время следующей революции (1871 года). "Вы делаете меня ненавистником свободы. Вот петух! Дело в том, что душевное равновесие остается у меня довольно неизменным, так как я считаю нынешнее несчастье французов (*т. е., поражение! А. Б.*) величайшим счастьем, какое только могло выпасть на долю этого народа...

То, что вы называете свободой, я зову вольностями; а то, что я зову борьбой за свободу, есть ни что иное, как постоянное живое усвоение идеи свободы. Всякое иное обладание свободой, исключаящее постоянное стремление к ней, мертво и бездушно. Ведь само понятие свободы тем и отличается, что все расширяется по мере того, как мы стараемся усвоить его себе. Поэтому, если кто во время борьбы за свободу остановится и скажет: вот, я обрел ее, тот докажет как раз то, что ее утратил. Такой-то мертвый застой, такое пребывание на одном известном пункте

свободы и составляет характерную черту наших государств, и это я не считаю за благо". Устами Катилины говорит в драме Ибсена демоническая весталка Фурия:

Я ненавижу этот храм вдвойне  
За то, что жизнь течет здесь так спокойно,  
В стенах его опасностям нет места.  
О, эта праздная, пустая жизнь,  
Существование тусклое, как пламя  
Лампады, угасающей без масла!..  
Как тесно здесь для полноты моих  
Широких целей, пламенных желаний!..  
Мысль в дело не стремится перейти!

Ибсеновскому Катилине свойственны: великодушие, кротость и мужество, которых нет у окружающих его людей; цель его, "пожалуй, выше, чем кто либо указывает здесь". Перед ним "проносились великие виденья", он мечтал, что "вознесся к небесам на крыльях, как Икар".

Когда мечты эти рушились, так как вокруг царствовали только измена, низость, шпионство, стремления к господству и богатству и женские обиды, Катилина восклицает:

Пусть так! Моя рука восстановить  
Не в силах Рима древнего, так пусть же  
Она погубит современный Рим!  
Перед смертью Катилина говорит:  
И я -- глупец с затеями своими!  
Хотел я Рим -- змеиное гнездо--  
Разрушить, раздавить; а Рим давно --  
Лишь куча мусора...

Рядом с Катилиной, через всю его жизнь, проходят две женщины -- демоническая и тихая -- те самые, которые проходят через жизнь всех героев Ибсеновских драм. Одна, соблазненная им когда-то, неотступно следует за ним по пятам; внешним образом она -- носительница призыва к восстанию; в глубине, напротив, она ищет только его гибели. Другая -- "утренняя звезда" Катилины и зовет его к тишине; он убивает ее своей рукой за то, что она, как ему кажется, "хотела его обречь на ужас полужизни".

Убивший свою утреннюю звезду и с нею имеете "все сердца земные, все живое и все, что зеленеет и цветет", и сам убитый другою женщиной, Катилина ждет пути "налево, в мрачный ад", но душа его попадает, вместе с душою убитой жены, "направо, в Элизиум". Это (несколько неумелое и наивное) окончание юношеской драмы и дало критике один из поводов считать Ибсена не демократом.

Сама наивная схематичность этого заключения говорит о его большой внутренней сложности, которой двадцатилетний юноша не мог преодолеть. Мало того, ее не преодолел, может быть, Ибсен и во всем своем дальнейшем творчестве. У меня нет ни времени, ни места, ни сил, ни права для того, чтобы развивать сейчас эту тему. Скажу только, что речь здесь идет не о демократии и не об аристократии, а о совершенно ином; вследствие того, критикам не надлежало бы особенно радоваться тому, что Катилина идет "направо". Вряд ли, это -- та спасительная "правость", которая дает возможность сохранить разные "вольности"; Ибсеновский Катилина, как мы видели, был другом не свалившихся с неба прочных и позитивных "вольностей"; он был другом вечно улетающей свободы.

Критикам надлежало бы, однако, обратить свое внимание на то, что Ибсен, на 48-м году своей многотрудной жизни, вне всяких революций, обработал, "вовсе не касаясь идей, образов и развития действия", и переиздал свою юношескую драму, которая заканчивается отнюдь не либерально: достойным Элизиума и сопричтенным любви оказывается именно бунтовщик и убийца самого святого, что было в ж и з н и, -- К а т и л и н а.

*Апрель 1918.*

## **Приложения**

### **ИЗ РЕЦЕНЗИЙ НА "КАТИЛИНУ"**

**Н. Лернер**

#### **"Катилина" А. Блока**

*Александр Блок. Катилина. Страница из истории мировой революции. Изд. "Алконост". Петербург, 1919 г. Цена 3 р. 50 коп.*

Новое произведение А. Блока экскурс в область не столько самой истории, сколько психологии истории. Катилина дал ему лишь канву, на которой он вышел

узры своих мыслей о природе революционера, этой истинной стихии революции. "Филологи", к которым автор относится с незаслуженным пренебрежением, давно уже подвергли строгой критике исторические материалы, где партийные враги знаменитого бунтовщика не поскупились на темные краски для портрета Катилины, но так и остается неясным, к чему стремится этот человек. Блок также не дает объяснения, но, впрочем, не это было его целью. "Я выбираю, говорит он, ту эпоху, которая наиболее соответствует в историческом процессе моему времени". Этот выбор нисколько автором не мотивирован и, конечно, не более обоснован, чем всевозможные аналогии "филологов", но не в нем дело: "Я думаю, что навязывание мертвых схем, вроде параллелей, проводимых между миром языческим и миром христианским есть занятие книжников и мертвецов; это великий грех перед нравственно измученными и сбитыми с толку людьми, каковы многие из современных людей. Ведь надо иметь мощные лебединые крылья, чтобы взлететь на них, долго держаться в воздухе и вернуться назад не опаленным и не поврежденным тем мировым пожаром, которого все мы свидетели..."

Чего хочет сам автор? Его, как поэта, пленяет полноводное кипение жизни. Он описывает "великий век", создавший "взяточника Саллюстия и честного законника Цицерона", которого обвиняют в мелочном и недалновидном политическом интриганстве, "но (!) тот же век создал царицу цариц Клеопатру, битву при Акциуме, в которой римский триумvir отдал весь флот великой державы за любовь египтянки; он же создал, наконец, и революционный порыв промотавшегося беззаконника и убийцы Катилины". Улыбка Клеопатры и порыв Катилины в глазах поэта равноценны, к моральному и эстетическому принципу он относится одинаково равнодушно... Но это лишь свидетельствует о его художественно психологической объективности, и мы узнаем автора "Двенадцати" в характеристике прирожденного революционера, создающего <так!> революционным неравенством не народолюбца, не теоретика, а существа, обуреваемого духом революции. "Простота и ужас душевного строя обреченного революционера заключается в том, что из него как бы выброшена длинная цепь диалектических и чувственных посылок, благодаря чему выводы мозга и сердца представляются дикими, случайными, ни на чем не основанными. Такой человек безумец, маниак, одержимый. Жизнь протекает, как бы подчиняясь другим законам причинности, пространства и времени... У иных людей, наряду с материальными и корыстными целями могут быть цели очень высокие нелегко определяемые и осязаемые. Этому нас, русских, научил, например, Достоевский. Поведение подобных людей выражается в поступках, которые диктуются темпераментом каждого: они таятся и не проявляют себя во внешнем действии, сосредоточивая все силы на действии внутреннем; таковы писатели, художники; другим, напротив, необходимо бурное, физическое, внешнее проявление; таковы активные революционеры. Те и другие одинаково наполнены бурей и одинаково "сеют ветер"... Напрасно думать, что "сеяние ветра" есть только человеческое занятие, внушаемое одной лишь человеческой волей. Ветер поднимается не по воле отдельных людей; отдельные люди чувят и как бы только собирают его: одни дышат этим ветром, живут и действуют, надышавшись им; другие бросаются в этот

ветер, подхватываются им, живут и действуют, несомые Ветром. Катилина принадлежал к последним".

### **Роман Гуль**

*Александр Блок. "Катилина" (страница из истории мировой революции), изд. Алконостъ. Петербург, 1921 г.*

Блок берет полузабытый эпизод неудавшегося восстания Катилины за четыре с половиной века до падения Античного Мира и свободно трактует патриция Люция Сергия Катилину "римским большевиком", а между старой Римской империей и современной Европой проводит параллели сходства.

"Старый мир", величественный и могучий извне, загнивал и разваливался изнутри. На этом фоне выступает фигура Катилины.

"О том, что Катилина был народолюбом или мечтал о всеобщем равенстве, речи быть не может. Он был революционером всем духом, всем телом, он был создан социальным неравенством, вскормлен в его удушливой атмосфере, он соединил в себе все пороки современного ему общества, доведя их до легендарного уродства".

Катилина инстинктивный разрушитель, он задохнулся в загнивающей атмосфере "старого мира", и его охватила страсть разрушения этого "старого", во имя неведомого ему, но молодого.

"Но напрасно думать, что "сеяние ветра" есть только человеческое занятие, внушаемое одной человеческой волей. Ветер поднимается не по воле отдельных людей, отдельные люди чувствуют и как бы только собирают его; одни дышат этим ветром, другие бросаются в этот ветер, подхватываются им, живут и действуют несомые ветром. Катилина принадлежал к последним. В его время подул ветер разросшийся в бурю, истребившую старый языческий мир. Его подхватил ветер, подувший перед рождением Христа, вестника Нового мира".

Книга имеет интерес не столько исторический для понимания "страницы мировой революции" (экскурс Блока в эту область слишком дилетантский), сколько психологический, для понимания настроений самого поэта Блока.

## **КОРОЛЕНКО В.Г. ПИСЬМА К ЛУНАЧАРСКОМУ А.В. (ПИСЬМО ПЕРВОЕ)<sup>16</sup>**

Анатолий Васильевич.

Я, конечно, не забыл своего обещания написать обстоятельное письмо, тем более что это было и мое искреннее желание. Высказывать откровенно свои взгляды о важнейших мотивах общественной жизни давно стало для меня, как и для многих искренних

---

<sup>16</sup> Печатается по: Письма к Луначарскому А.В. Короленко В.Г. – Луначарскому А.В., (письмо первое) // <http://korolenko.lit-info.ru>

писателей, насущнейшей потребностью. Благодаря установившейся ныне "свободе слова", этой потребности нет удовлетворения. Нам, инакомыслящим, приходится писать не статьи, а докладные записки. Мне казалось, что с вами мне это будет легче. Впечатление от вашего посещения укрепило во мне это намерение, и я ждал времени, когда я сяду за стол, чтобы обменяться мнениями с товарищем писателем о болящих вопросах современности.

Но вот кошмарный эпизод с расстрелами во время вашего приезда<sup>1</sup> как будто лег между нами такой преградой, что я не могу говорить ни о чем, пока не разделаюсь с ним. Мне невольно приходится начинать с этого эпизода.

Уже приступая к разговору с вами (вернее, к ходатайству) перед митингом, я нервничал, смутно чувствуя, что мне придется говорить напрасные слова над только что зарытой могилой. Но -- так хотелось поверить, что слова начальника Чрезв. комиссии имеют же какое-нибудь основание и пять жизней еще можно спасти. Правда, уже и по общему тону вашей речи чувствовалось, что даже и вы считали бы этот кошмар в порядке вещей... но... человеку свойственно надеяться...

И вот на следующий день, еще до получения вашей записки, я узнал, что мое смутное предчувствие есть факт: пять бессудных расстрелов, пять трупов легли между моими тогдашними впечатлениями и той минутой, когда я со стесненным сердцем берусь за перо. Только два-три дня назад мы узнали из местных "Известий" имена жертв. Перед свиданием с вами я видел родных Аронова и Миркина, и это отблеск личного драматизма на эти безвестные для меня тени. Я привез тогда на митинг, во-первых, копию официального заключения лица, ведающего продовольствием. В нем значилось, что в десятиях Аронова продовольственные власти не усмотрели нарушения декретов. Во-вторых, я привез ходатайство мельничных рабочих, доказывающее, что рабочие не считали его грубым эксплуататором и спекулянтом. Таким образом, по вопросу об этих двух жизнях были разные, даже официальные, мнения, требовавшие во всяком случае осторожности и проверки. И действительно, за полторы недели до этого в Чрезвычайную комиссию поступило предложение губисполкома, согласно заключению юрисконсульта, освободить Аронова или передать его дело в революционный трибунал.

Вместо этого он расстрелян в административном порядке.

Вы знаете, что в течение своей литературной жизни я "сеял не одни розы" (\* Выражение ваше в одной из статей обо мне. *(Здесь и далее -- примеч. В. Г. Короленко.)*). При царской власти я много писал о смертной казни и даже отвоевал себе право говорить о ней печатно много больше, чем это вообще было дозволено цензурой. Порой мне удавалось даже спасать уже обреченные жертвы военных судов, и были случаи, когда после приостановления казни получались доказательства невинности и жертвы освобождались (напр., в деле Юсупова<sup>2</sup>), хотя бывало, что эти доказательства приходили слишком поздно (в деле Глускера<sup>3</sup> и др.).

Но казни без суда, казни в административном порядке -- это бывало величайшей редкостью даже и тогда. Я помню только один случай, когда озверевший Скалон (варшавский генерал-губернатор) расстрелял без суда двух юношей. Но это возбудило такое негодование даже в военно-судных сферах, что только "одобрение" после факта неумного царя спасло Скалона от предания суду. Даже члены главного военного суда уверяли меня, что повторение этого более невозможно.



Много и в то время и после этого творилось невероятных безобразии, но прямого признания, что позволительно соединять в одно следственную власть и власть, постановляющую приговоры (к смертной казни), даже тогда не бывало. Деятельность большевистских Чрезвычайных следственных комиссий представляет пример -- может быть, единственный в истории культурных народов. Однажды один из видных членов Всеукраинской ЧК, встретив меня в полтавской Чрезвычайной комиссии, куда я часто приходил и тогда с разными ходатайствами, спросил меня о моих впечатлениях. Я ответил: если бы при царской власти окружные жандармские управления получили право не только ссылать в Сибирь, но и казнить смертью, то это было бы то самое, что мы видим теперь.

На это мой собеседник ответил:

-- Но ведь это для блага народа.

Я думаю, что не всякие средства могут действительно обращаться на благо народа, и для меня несомненно, что административные расстрелы, возведенные в систему и продолжающиеся уже второй год, не принадлежат к их числу. Однажды, в прошлом году, мне пришлось описать в письме к Христ. Георг. Раковскому<sup>4</sup> один эпизод, когда на улице чекисты расстреляли несколько так называемых контрреволюционеров. Их уже вели темной ночью на кладбище, где тогда ставили расстреливаемых над открытой могилой и расстреливали в затылок без дальних церемоний. Может быть, они действительно пытались бежать (немудрено), и их пристрелили тут же на улице из ручных пулеметов. Как бы то ни было, народ, съезжавшийся утром на базар видел еще лужи крови, которую лизали собаки, и слушал в толпе рассказы окрестных жителей о ночном происшествии. Я тогда спрашивал у Х. Г. Раковского: считает ли он, что эти несколько человек, будь они даже деятельнейшие агитаторы, могли бы рассказать этой толпе что-нибудь более яркое и более возбуждающее, чем эта картина? Должен сказать, что тогда и местный губисполком, и центральная киевская власть немедленно прекращали (два раза) попытки таких коллективных расстрелов и потребовали передачи дела революционному трибуналу. Суд одного из обреченных Чрезвычайной комиссии к расстрелу оправдал, и этот приговор был встречен рукоплесканиями всей публики. Аплодировали даже часовые красноармейцы, отложив ружья. После, когда пришли деникинцы, они вытащили из общей ямы 16 разлагающихся трупов и положили их напоказ<sup>5</sup>. Впечатление было ужасное, но -- к тому времени они сами расстреляли уже без суда несколько человек, и я спрашивал у их приверженцев: думают ли они, что трупы расстрелянных ими, извлеченные из ям, имели бы более привлекательный вид? Да, обоюдное озверение достигло уже крайних пределов, и мне горько думать, что историку придется отметить эту страницу "административной деятельности" ЧК в истории первой Российской Республики, и притом не в XVIII, а в XX столетии.

Не говорите, что революция имеет свои законы. Были, конечно, взрывы страстей революционной толпы, обагрявшей улицы кровью даже в XIX столетии. Но это были вспышки стихийной, а не систематизированной ярости. И они надолго оставались (как расстрел заложников коммунарами) кровавыми маяками, вызывавшими не только лицемерное негодование версальцев, которые далеко превосходили в жестокости коммунаров, но и самих рабочих и их друзей... Надолго это кидало омрачающую и заглушающую тень и на самое социалистическое движение.

В сообщении по поводу расстрела Аронова и Миркина, появившемся наконец 11 и 12 июня в "Известиях", говорится, что они казнены за хлебную спекуляцию. Пусть даже так, хотя все-таки невольно вспоминается, что продовольственные власти не усмотрели нарушения декретов, и это разногласие заслуживало хотя [бы] судебной проверки.

Вообще, все это мрачное происшествие напоминает общественный эпизод Великой французской революции. Тогда тоже была дороговизна. Объяснялось это также самым близоруким образом -- происками аристократов и спекулянтов и возбуждало слепую ярость толпы. Конвент "пошел навстречу народному чувству", и головы тогдашних Ароновых и Миркиных летели десятками под ножом гильотины. Ничто, однако, не помогало, дороговизна только росла. Наконец парижские рабочие первые очнулись от рокового угара. Они обратились к конвенту с петицией, в которой говорили: "Мы просим хлеба, а вы думаете нас накормить казнями". По мнению Мишле, историка-социалиста, из этого утомления казнями в С. -Антуанском предместье взметнулись первые взрывы контрреволюции.

Можно ли думать, что расстрелы в административном порядке могут лучше нормировать цены, чем гильотина?

В сообщении официальной газеты приведены только четыре имени расстрелянных 30 мая, тогда как определенно говорилось о пяти. Из этого встревоженное население делает заключение, что список неполон. Называют еще другие имена... Между тем если есть что-нибудь, где гласность всего важнее, то это именно в вопросах человеческой жизни. Здесь каждый шаг должен быть освещен. Все имеют право знать, кто лишен жизни, если уж это признано необходимым, за что именно, по чьему приговору. Это самое меньшее, что можно требовать от власти. Теперь население живет под давлением кошмара. Говорят, будто только часть [казненных] приводится в списке. Доходят до чудовищных слухов, будто даже прежняя процедура еще упрощается до невозможного отсутствия всяких форм, говорят, что теперь можно обходиться даже без допроса подсудимого. Думаю, что это только испуганный бред... Но -- как выбить из голов населения мысль, что теперь бредит порой и сама действительность?..

Мне горько думать, что и вы, Анатолий Васильевич, вместо призыва к отрезвлению, напоминания о справедливости, бережного отношения к человеческой жизни, которая стала теперь так дешева,-- в своей речи высказали как будто солидарность с этими "административными расстрелами". В передаче местных газет это звучит именно так. От души желаю, чтобы в вашем сердце зазвучали опять отголоски настроения, которое когда-то роднило нас в главных вопросах, когда мы оба считали, что движение к социализму должно опираться на лучшие стороны человеческой природы, предполагая мужество в прямой борьбе и человечность даже к противникам. Пусть зверство и слепая несправедливость остаются целиком на долю прошлого, отжившего, не проникая в будущее...

Вот, я теперь высказал все, что камнем лежало на моем сознании, и теперь, думаю, моя мысль освободилась от мрачной завесы, которая мешала мне исполнить свое желание -- высказаться об общих вопросах.

До следующего письма.

*19 июня 1920 года*

### **Е.ЗАМЯТИН. Я БОЮСЬ<sup>17</sup>**

Впервые // Дом Искусств. Пб., 1921. No 1. С. 43--45; впоследствии // Вестн. литературы, 1923. Март. С. 14—15

---

<sup>17</sup> Печатается по: [http://az.lib.ru/z/zamjatin\\_e\\_i/text\\_1921\\_ya\\_bous.shtml](http://az.lib.ru/z/zamjatin_e_i/text_1921_ya_bous.shtml)

Я боюсь, что мы слишком бережно и слишком многое храним из того, что нам досталось в наследство от дворцов. Вот все эти золоченые кресла -- да, их надо сберечь: они так грациозны и так нежно лобызают любое сиденье. И пусть бесспорно, что придворные поэты грацией и нежностью похожи на прелестные золоченые кресла. Но не ошибка ли, что институт придворных поэтов мы сохраняем не менее заботливо, чем золоченые кресла? Ведь остались только дворцы, но двора уже нет.

Я боюсь, что мы слишком уж добродушны и что французская революция в разрушении всего придворного была беспощадней. В 1794 году 11 мессидора Пэян, председатель комитета по Народному Просвещению, издал декрет -- и вот что, между прочим, говорилось в этом декрете:

"Есть множество юрких авторов, постоянно следящих за злобой дня; они знают моду и окраску данного сезона; знают, когда надо надеть красный колпак и когда скинуть... В итоге они лишь развращают вкус и принижают искусство. Истинный гений творит вдумчиво и воплощает свои замыслы в бронзе, а посредственность, притаившись под эгидой свободы, похищает ее именем мимолетное торжество и срывает цветы эфемерного успеха..."

Этим презрительным декретом -- французская революция гильотинировала переряженных придворных поэтов. А мы -- своих "юрких авторов, знающих, когда надеть красный колпак и когда скинуть", когда петь сретение царя и когда молот и серп, -- мы их преподносим народу как литературу, достойную революции. И литературные кентавры, давя друг друга и брыкаясь, мчатся в состязании на великолепный приз: монопольное право писания од, монопольное право рыцарски швырять грязью в интеллигенцию. Я боюсь -- Пэян прав: это лишь развращает и принижает искусство. И я боюсь, что если так будет и дальше, то весь последний период русской литературы войдет в историю под именем юркой школы, ибо неюркие вот уже два года молчат.

Что же внесли в литературу те, которые не молчали?

Наиюрчайшими оказались футуристы: не медля ни минуты -- они объявили, что придворная школа -- это, конечно, они. И в течение года мы ничего не слышали, кроме их желтых, зеленых и малиновых торжествующих кликов. Но сочетание красного санкюлотского колпака с желтой кофтой и с не стертым еще вчерашним голубым цветочком на щеке -- слишком кощунственно резало глаза даже неприхотливым: футуристам любезно показали на дверь те, чьими самозванными герольдами скакали футуристы. Футуризм сгинул. И по-прежнему среди плоско-жестяного футуристического моря один маяк -- Маяковский. Потому что он -- не из юрких: он пел революцию еще тогда, когда другие, сидя в Петербурге, обстреливали дальнобойными стихами Берлин. Но и этот великолепный маяк пока светит старым запасом своего "Я" и "Простого, как мычание". В "Героях и жертвах революции", в "Бубликах", в стихах о бабе у Врангеля -- уже не прежний Маяковский, Эдисон, пионер, каждый шаг которого -- просека в дебрях: из дебрей он вышел на ископченный большак, он занялся усовершенствованием казенных сюжетов и ритмов. Впрочем, что же: Эдисон тоже усовершенствовал изобретение Грэхема Белла.

Лошадизм московских имажинистов -- слишком явно придавлен чугушной тенью Маяковского. Но как бы они ни старались дурно пахнуть и вопить -- им не перепахнуть и не перевопить Маяковского. Имажинистская Америка, к сожалению, давненько открыта. И еще в эпоху Серафино один считавший себя величайшим поэт писал: "Если бы я не боялся смутить воздух вашей скромности золотым облаком почестей, я не мог бы удержаться от того, чтобы не убрать окна здания славы теми светлыми одеждами, которыми руки похвалы украшают спину имен, даруемых созданиям превосходным..." (из письма Пиетро Аретино к герцогине Урбинской). "Руки похвалы" и "спина имен" -- это ли не имажинизм? Отличное и острое средство -- image -- стало целью, телега потащила коня.

Пролетарские писатели и поэты -- усердно пытаются быть авиаторами, оседлав паровоз. Паровоз пыхтит искренне и старательно, но непохоже, чтобы он поднялся на воздух. За малыми исключениями (вроде Михаила Волкова в московской "Кузнице") -- у всех пролеткультцев революционнейшее содержание и реакционнейшая форма. Пролеткультское искусство -- пока шаг назад, к шестидесятым годам. И я боюсь -- аэропланы, из числа юрких, всегда будут обгонять честные паровозы и, "притаившись под эгидой свободы, похищать ее именем мимолетное торжество".

К счастью, у масс -- чутье тоньше, чем думают. И поэтому торжество юрких--только мимолетно. Так мимолетно было торжество футуристов. Так же мимолетно проторжествовал Клюев, после патриотических стихов о подлом Вильгельме -- восторгавшийся "окриком в декретах" и пулеметом (восхитительная рифма: пулемет -- мед!). И, кажется, не торжествовал даже мимолетно Городецкий: на вечере в Думском зале он был принят холодно, а на его вечер в Доме Искусства -- не пришло и десяти человек.

А неуркие молчат. Два года тому назад пробило "Двенадцать" Блока -- и с последним, двенадцатым, ударом Блок замолчал. Еле замеченные -- давно уже -- промчались по темным, бестрамвайным улицам "Скифы". Одинокое белеют в темном вчера прошлогодние "Записки мечтателя" Алконоста. И мы слышим, как жалуется там Андрей Белый: "Обстоятельства жизни -- рвут на части: автор подчас падает под бременем работы, ему чуждой; он месяцами не имеет возможности сосредоточиться и окончить недописанную фразу. Часто за это время перед автором вставал вопрос, нужен ли он кому-нибудь, то есть нужен ли "Петербург", "Серебряный Голубь"? Может быть, автор нужен, как учитель "стиховедения"? Если бы это было так, автор немедленно положил бы перо и старался бы найти себе место среди чистильщиков улиц, чтобы не изнасиловать свою душу суррогатами литературной деятельности..."

Да, это одна из причин молчания подлинной литературы. Писатель, который не может стать юрким, должен ходить на службу с портфелем, если он хочет жить. В наши дни -- в театральном отделе с портфелем бегал бы Гоголь; Тургенев во "Всемирной Литературе", несомненно, переводил бы Бальзака и Флобера; Герцен читал бы лекции в Балтфлоте; Чехов служил бы в Комздраве. Иначе, чтобы жить -- жить так, как пять лет назад жил студент на сорок рублей,-- Гоголю пришлось бы писать в месяц по четыре "Ревизора", Тургеневу каждые два месяца по трое "Отцов и детей", Чехову -- в месяц по сотне рассказов. Это кажется нелепой шуткой, но это, к несчастью, не шутка, а настоящие цифры. Труд художника слова, медленно и мучительно-радостно "воплощающего свои замыслы в бронзе", и труд словоблуда, работа Чехова и работа Брешко-Брешковского,-- теперь расцениваются одинаково: на аршины, на листы. И перед писателем -- выбор: или стать Брешко-Брешковским -- или замолчать. Для писателя, для поэта настоящего -- выбор ясен.

Но даже и не в этом главное: голодать русские писатели привыкли. И не в бумаге дело: главная причина молчания -- не хлебная и не бумажная, а гораздо тяжелее, прочнее, железней. Главное в том, что настоящая литература может быть только там, где ее делают не исполнительные и благонадежные чиновники, а безумцы, отшельники, еретики, мечтатели, бунтари, скептики. А если писатель должен быть благоразумным, должен быть католически-правовверным, должен быть сегодня полезным, не может хлестать всех, как Свифт, не может улыбаться над всем, как Анатолий Франс,-- тогда нет литературы бронзовой, а есть только бумажная, газетная, которую читают сегодня и в которую завтра завертывают глиняное мыло.

Пытающиеся строить в наше необычайное время новую культуру часто обращают взоры далеко назад: к стадиону, к театру, к играм афинского демоса. Ретроспекция правильная. Но не надо забывать, что афинская  $\alpha$  γορὰ -- афинский народ -- умел слушать не только оды: он не боялся и жестоких бичей Аристофана. А мы... где нам думать об Аристофане,

когда даже невиннейший "Работяга Словотеков" Горького снимается с репертуара, дабы охранить от соблазна этого малого несмышленища -- демос российский!

Я боюсь, что настоящей литературы у нас не будет, пока не перестанут смотреть на демос российский, как на ребенка, невинность которого надо оберегать. Я боюсь, что настоящей литературы у нас не будет, пока мы не излечимся от какого-то нового католицизма, который не меньше старого опасается всякого еретического слова. А если неизлечима эта болезнь -- я боюсь, что у русской литературы одно только будущее: ее прошлое.

1921

### **В. ХОДАСЕВИЧ. ВСЕ -- НА ПИСАТЕЛЕЙ!<sup>18</sup>**

Впервые: Голос России. Берлин. 1922. № 1060. 16 сентября; под псевд.: Л. Боровиковский

Член президиума Московского совдепа Ангарский однажды выразился:

-- Рядовой коммунист не способен мыслить.

Однако это не его личный взгляд. То же самое, в разных формах, много раз говорили другие представители партийного "верха". Партия для них -- стадо баранов.

И так как ЦК партии бессилён руководить каждым бараном в отдельности, то директивы даются не "к сведению и руководству", а к немедленному исполнению. Погонщики и овчарки разом сгоняют все стадо к одному месту, и оно валит сплошной массой: на это оно способно.

-- Все на трудовой фронт! -- и все принимаются за судорожную выработку трех пар клещей. Суд бездействует, школа забыта, клещи никуда не годятся.

Потом: -- Все на борьбу с мешочниками! -- Бараны с волчьей жадностью кидаются на мешочников.

Потом: -- Все за хлебом! -- и все сами становятся мешочниками. Фабрики, комячейки, даже исполкомы пустуют: все уехали за хлебом.

За хлебом идет внешняя торговля, очистка железнодорожных путей, электрофикация и т.д. Так объясняется тот изумительный феномен, что вся многомиллионная страна, вдруг, гонимая погонщиками, которых гонят другие, высшего ранга погонщики, -- вся, как один человек, принимается за какое-нибудь дело, бросив другие дела недоделанными. Это называется: "двинуться стройными массами".

Без приказа коммунистическая мелкота не знает, что ей делать. Поэтому приказы идут один за другим. Повальные моды сменяются непрерывно. В последнее время занимались: Кронштадтом, нэпом, ограблением церквей, травлей священников, травлей эсеров, травлей меньшевиков.

Последняя мода -- травля интеллигенции вообще и писателей -- в частности. Она не нова, но прежде проходила "неорганизованно". Теперь дан приказ -- "вот навалились, насели" -- "стройными массами под предводительством горячо любимых вождей". Писателей массами сажают в тюрьмы, массами шлют в Сибирь, выбрасывают за границу, не давая им виз. Одних разлучают с семьями, оставляя жен и детей заложниками, гарантирующими их "лояльное" поведение за границей; других с женами и детьми гонят в Сибирь, где они лишены возможности заработать хоть что-нибудь.

---

<sup>18</sup> Это первое выступление Ходасевича в эмигрантской прессе после выезда из России в конце июня 1922 г. Ежедневная газета "Голос России", "орган русской демократической мысли", просуществовала в Берлине недолго (с февраля 1919 по 15 октября 1922 г.); издавалась при участии П. Н. Милюкова (с марта 1921 г.), М. Зензинова, С. П. Постникова, В. М. Чернова, М. Л. Слонима. Печатается по: [http://az.lib.ru/h/hodasewich\\_w\\_f/text\\_0740.shtml](http://az.lib.ru/h/hodasewich_w_f/text_0740.shtml)

Но, повторяю, здесь нов лишь масштаб, размах. По существу, то же самое длилось все эти годы. Стеклов в своих "стекловицах", как называют его передовицы в Кремле, не уставал травить интеллигенцию. Дегенеративное ничтожество, человек в футляре, коммунистический Кассо, похожий лицом на Победоносцева, замнаркомпрос Покровский прижимал, припирал, душил профессоров и писателей. Мелюзга не отставала.

Дружными усилиями уничтожили книгопечатание. Газеты и журналы прихлопнули. Получить "наряд" на печатание книги было почти невозможно. Ссылались на отсутствие бумаги и занятость типографий. В действительности бумага изводилась на агитационную ложь. Если же удавалось книгу отпечатать -- ее негде было продать: магазины уничтожены. Книга поступала в "распределительные органы", то есть гнила на складах или выкуривалась в волостных исполкомах. Отсутствие заработка гнало писателей на советскую службу: заседать в канцеляриях и комиссиях, бездарных и нудных. Можно было также читать лекции, например -- матросам (благонадежным). Но за "направлением" лекторов следили, и о Лермонтове надо было говорить с марксистской точки зрения. Под лекции о классовых взаимоотношениях Демона и Тамары слушатели -- какие-нибудь красные командиры -- играли в шашки. Писатели обалдевали, гоняли из конца в конец города, при раздаче красноармейских пайков их обкрадывали комиссары курсов.

Наконец, стараниями Горького и Луначарского, добились ученых пайков для писателей. Пайков не хватало. Выдавались они не в полном объеме. Продовольствие, присылаемое из-за границы в подарок писателям и ученым, Петрокоммуна пыталась присваивать. Прибавьте к этому, что самый процесс получения продуктов унижен и физически изнурителен, что половину продуктов иной раз приходится выбрасывать, потому что они гнилые, что процентов на 25 обвешивают почти всегда и что даже на целый паек с трудом может прокормиться один человек, -- и вы поймете, как и чем питались писатели с семьями. И притом -- писатели наиболее "видные", "удостоенные" пайков. Прочие просто голодали начистоту.

С изобретением нэпа стало полегче. Явилась бумага, заработали типографии. Но "правящая партия" нашла способы продолжать борьбу. Во-первых, была введена цензура, безграмотная и глупая, как всякая цензура, ни больше ни меньше. Московская (ближе к начальству) работала особенно рьяно. Цензор Лебедев-Полянский, литературный неудачник, ущемленный собственной бездарностью и задыхающийся от зависти к настоящим писателям, надрывался и надрывается. Правда, Луначарский, после бесчисленных жалоб, сказал: "На днях я его выгоню". Но -- не выгонит. За Лебедева-Полянского -- партия. Он начал с того, что сделался заведующим Литературно-издательским отделом Наркомпроса. Действительно, Луначарский выгнал его за глупость. Лебедев стал начальником всех пролеткультов. Тогда из пролеткультов бежали все пролетарские писатели. Пролеткульты провалились -- Лебедев-Полянский вынырнул в цензуре. Столкнуть его отсюда будет труднее.

Но сильнее цензуры второе средство, придуманное начальством. На прошлогоднем съезде РКП кто-то возопил, что коммунистическая литература не находит читателей, потому что не может выдержать конкуренции с литературой грамотной. Грамотную же можно уничтожить, пришибив ее экономическим обухом. И вот президиум союза печатников, состоящий из назначенных коммунистов, принялся непомерно вздуть типографские ставки. Книги стали роскошью, доступной только нэпманам, но они их не покупают, ибо вся мудрость им известна без книг. Так кончился золотой век книгопечатания. Писатели получили обратно свое разбитое корыто.

Однако всего этого оказалось мало. Сквозь голод, холод, болезнь, сквозь периодические отсидки в ЧК литература дышала и даже "давала ростки". Понадобился новый удар по ней. Новая увесистая лапа размахнулась и хлопнула. Она принадлежит г. Зиновьеву, уже не Кассо, а воистину Трепову от революции. Ибо кто ж как не Трепов, этот петроградский градоначальник, довольно потрудившийся сперва над распровоцированием Кронштадта, а после -- не пожалевший патронов, чтобы унять бунтарей.

В старину палачи, перед тем как ударить плетью, кричали: "Поберегись, ожгу!" Свое "берегись, ожгу" прокричал Зиновьев еще во время эсеровского процесса, на последнем съезде коммунистической партии. Но плетку опустил позже, ибо он -- тонкий политик и расчетливый царедворец.

Как всё в Советской России, последние преследования писателей имеют свою закулисную придворную логику и историю.

Коммунистическому зверинцу, так называемому левому крылу партии, нужны время от времени кровавые подачки, чтобы звери не разнесли клетку, именуемую Совнаркомом. Такие подачки и швыряются. Но -- против кормления интеллигентским мясом восстают обычно Луначарский и Горький, люди, имеющие влияние на Ленина. Но -- Горького нет, Луначарский опешил, должно быть, сам от того, что натворил в процессе эсеров, и тоже уехал, -- а главное, ни Горькому, ни Луначарскому сейчас некому жаловаться: Ленин болен и не у дел. И вот тихохонько, ползунком, исподтишка подкрался Зиновьев к исконному недругу всех градоначальников: хлопнул по литературе. Дескать, "я свое дело сделаю, а там видно будет: хоть день да мой. Да, кстати, уж если простили кронштадтскую провокацию, так писателей, "щелкоперов, бумагомарак", простят и подавно. И ведь я не просто ленинский лакей, а председатель III Интернационала, без пяти минут Император Всея Планеты, лицо куда позначительней папы Римского".

Писатели же надоели давно Зиновьеву. Надоел ему "петроградский Дом Литераторов", подлое гнездо, где недавно провалился г. Кирдецов и где делали самое крамольное дело: не давали писателям умирать с голоду. Дом же Литераторов существовал фактически благодаря усилиям Б. О. Харитона и Н. М. Волковыского. Оба они высылаются за границу. Правильный расчет: всех писателей поголовно не пересажаяешь, а закрытие Дома Литераторов (неизбежное последствие этой высылки) -- не роковой, но увесистый удар по всей петроградской литературе сразу. Да и по всей петроградской интеллигенции, для которой Дом Литераторов был единственным культурным прибежищем. Словом: директивы даны, стадо всей массой повалило на интеллигенцию, -- и кто знает, о каких высылках и арестах узнаем мы еще завтра? В России начался террор против интеллигенции как таковой, неприкрытый поход на культурные силы России. Раньше сажали в ЧК по обвинению в тех или иных деяниях, направленных против господствующей партии. Теперь откровенно, без всяких обвинений, начинают преследовать за культурность. И ждать, что волна преследований схлынет, -- трудно. К несчастью, *корни* этих событий сидят исторически глубже, чем кажется. Зиновьевские "мероприятия" -- только внешние проявления болезни. При существующем положении вещей систематическое изничтожение культурной России неизбежно. Из чего оно проистекает, когда началось и при каких условиях может быть остановлено, -- об этом скажу спокойнее -- не сегодня.

## ЛУНАЧАРСКИЙ А.В.<sup>19</sup>. АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ГЕРЦЕН

\* Последующее представляет собою стенограмму речи на чествовании Герцена по поводу пятидесятилетнего юбилея в Москве в 1920 г. [Примечание 1923 г.]

---

<sup>19</sup> Анатолий Васильевич Луначарский (1875,-1933) – российский революционер, советский государственный деятель, писатель, переводчик, публицист, критик, искусствовед. С октября 1917 года по сентябрь 1929-го — первый нарком просвещения РСФСР. Печатается по: [http://az.lib.ru/l/lunacharskij\\_a\\_w/text\\_1920\\_hertzen.shtml](http://az.lib.ru/l/lunacharskij_a_w/text_1920_hertzen.shtml)

В течение долгого времени значительная часть русской интеллигенции знала о Герцене только понаслышке. Я помню даже, как удивлялись некоторые вполне образованные люди, прочитавшие у Толстого в его отзыве о великих русских писателях, что едва ли не самым влиятельным из них был в его глазах Герцен<sup>35</sup>. Что касается народных масс, то до них в большинстве случаев не доходило даже имя Герцена. Настоящим образом воскресает он только теперь, после революции. Только теперь с достаточной для нашего тяжелого в материальном отношении времени быстротой том за томом выходит полное, хорошо проверенное собрание его сочинений<sup>36</sup>, и Герцен выступает перед нами как своеобразный наш современник.

Что же представляет собою позднее воскресение? Отдадим ли мы ему дань уважения, как одному из отцов наших, оставим ли его сочинения на полках книжных шкафов как украшение, от времени до времени поглядывая на старика с чувством известной почтительности? Ведь такова судьба очень и очень многих так называемых классиков.

Умереть 50 лет тому назад и не устареть в наше быстротечное время -- бесконечно трудно. Но, конечно, я не буду оспаривать тех, кто станет указывать на многое устарелое в Герцене.

Но это устарелое так неважно. При бурной жизненности Герцена, при его пьянящем темпераменте, при его фейерверчной многоцветности, увлекательном благородстве, его чувстве, широте его обхвата -- эти устарелые черты в области его философского или политического мышления придают ему только как бы еще больше интереса, заставляя читателя спорить с ним, сравнивать его мысли со своим *credo* и лучше, чем на каком-нибудь другом примере, чувствовать протекшее время и ценность приобретенных за этот период новых методов, знаний и лозунгов.

Нет, Герцен, из своей официально отодвинутой куда-то подальше могилы, встает перед нами, полный такой молодости и такой красоты, что, право, он во сто раз живее и во сто раз более подходящ к пожарному фону нашего революционного времени, чем многие, многие живые полумертвецы нашей недавней вообще довольно полумертвой литературы, ошеломленной сейчас неудобной для нее, слишком острой, слишком горячей атмосферой.

Был бы тысячу раз неправ тот герценист, который хотел бы навязать Герцена пролетариату в качестве его непререкаемого учителя, который пытался бы выправить, а на самом деле искалечить те или другие соотношения герценовского духа, дабы приблизить его к современной доктрине пролетариата. Искать в Герцене систему, стараться создать герценизм -- было бы нелепо.

Но, конечно, еще менее прав был бы тот, кто, согласившись, пожалуй, со мной относительно жизненной силы Герцена, старался бы превратить его в своего рода беллетриста, которого можно не без восхищения почитать от времени до времени.

Нет, конечно, Герцен является великим учителем жизни. Герцен -- это целая стихия, его нужно брать всего целиком, с его достоинствами и недостатками, с его пророчествами и ошибками, с его временным и вечным, но не для того, чтобы так целиком возлюбить и воспринять, а для того, чтобы купать свой собственный ум и свое собственное сердце в многоцветных волнах этого кипучего и свежего потока. Одним вы восхититесь, другое сильнейшим образом вас оттолкнет, третье вам что-то напомнит, четвертое заставит вновь и вновь критически пересмотреть какое-нибудь ваше убеждение, вы все время будете волноваться за чтением Герцена, и вы всегда после этого чтения выйдете освеженным и более сильным. Согласно свидетельству греческих легенд, даже боги перед всевластным временем чужали себя иногда ослабленными, тогда они бросались в пенный, жизненно-мощный поток Ихор.

Вот таким целебным потоком, играющим на солнце, всегда представляются мне сочинения Герцена.

Пролетариат не отказывается от культуры прошлого. Нет такой черты в этой культуре, к которой пролетариат был бы, смел бы быть равнодушным. Пролетариат должен овладеть прошлым, вникнуть в прошлое, но, конечно, в этом прошлом есть разноценные



материалы: есть отталкивающие плоды, выросшие из корней эксплуататорства, есть безразличные обветшавшие вещи, характерные только для своей эпохи, есть непреходящие сокровища, которые словно ждали в пластах прошлого, чтобы их отрыли настоящие люди.

Как в эпоху Возрождения люди, в коих вновь проснулось понимание красоты, жажда живой жизни и земного счастья, с восторгом отрывали старых Венер и Аполлонов, которых деды их толкли на цемент для конюшен, -- так и пролетариат в прошлом отыщет целую массу книг, произведений искусства, чувств и мыслений, которые спали, как спящая царевна, ожидая прихода своего царевича.

Буржуазные ученые приходили тоже, выкапывали, классифицировали и изучали, снабжали комментариями -- и честь, им за это, но красавицы прошлого оставались мумиями. Они воскресают только от прикосновения героя утреннего, героя весеннего -- свободного человека.

Так и Герцен спал, как великое забытое озеро, посещаемое от времени до времени туристами. А теперь вокруг него закипит жизнь, он будет втянут в эту жизнь как органическая ее часть. Наши дети с десяти -- двенадцати лет уже будут читать избранные страницы Герцена. Душа каждого из нас будет некоторыми гранями своими шлифоваться об алмазно-многогранную душу Александра Ивановича Герцена.

Передадим вкратце биографию Герцена, впрочем, в настоящее время почти общеизвестную.

Герцен родился в Москве 25 марта 1812 года. Конечно, характерным является, что Герцен был незаконнорожденным сыном большого барина. С барством Герцен до известной степени навсегда остался связан, аристократические черты запали в него глубоко; кое в чем они были ему вредны и сыграли не последнюю роль в некотором разладе между ним и той волной вполне демократической разночинской интеллигенции, которая пришла ему на смену, кое в чем, наоборот, они были для него чрезвычайно полезны. Они помогли ему чутко понимать весь ужас буржуазного мещанства и внушили ему ко всей капиталистической полосе непобедимую брезгливость.

Но еще больше помогло ему то обстоятельство, что он был сыном незаконнорожденным. Гордый и до крайности впечатлительный, он еще ребенком на себе самом испытал коренную несправедливость нашего общественного строя. Быть может, ему было бы гораздо труднее стать в пока еще немом конфликте между рабами и господами на сторону рабов, если бы в мире господ положение его не было неопределенным и порою мучительным.

События 14 декабря 1825 года и позднее казнь декабристов застали Герцена 14-летним мальчиком. Он обливался слезами, слушая эту печальную повесть, и еще тогда клялся отомстить за этих первых борцов за свободу.

Вообще мальчик развивался быстро и главным образом на великих писателях Запада: Шиллер, Гёте, Вольтер были его любимцами. В общем ему повезло и относительно учителей. У колыбели его разума стояли две чрезвычайно символических фигуры: француз Бушо -- энтузиаст, хранивший в себе светлый огонь лучших традиций Великой французской революции, и русский семинарист Протопопов, предвестник великой серии наших ясных разумом, чистых сердцем, близких народу разночинцев 60-х и 70-х годов.

К этому же времени относится то событие, которое явилось как бы кульминационным пунктом ранней молодости Герцена, -- знаменитая клятва на Воробьевых горах. "Садилось солнце, купола блестели, город стлался на необозримое пространство под горой, свежий ветерок подувал на нас, постояли мы, постояли, оперлись друг на друга и, вдруг обнявшись, присягнули, в виду всей Москвы, пожертвовать нашей жизнью на избранную нами борьбу".

Университетское время Герцена было временем могучего кипения чувств и мыслей. Уже в это время он перешагнул через то политическое свободомыслие, которое явилось отражением либерального движения послереволюционной эпохи, перешагнул и через

чистый якобинизм, восторженно приветствуя прекрасное, как заря, учение Сен-Симона. Небольшой кружок студентов, обсуждавший великие идеи своего времени, обратил на себя неблагосклонное внимание начальства, и в ночь на 20 июня 1834 года 22-летний Герцен был арестован<sup>37</sup>.

Ввиду принадлежности его к знатному дворянству, бичи и скорпионы правительства были для него смягчены, и ссылка его была, в сущности говоря, только скучной канителью, в то же время, быть может, давшей ему возможность сосредоточиться, узнать лучше провинциальную жизнь. Серьезным страданием или серией лишений она, конечно, не была<sup>38</sup>.

Относящаяся к этому времени переписка между юным Герценом и Н. А. Захарьиной -- его невестой -- одарила русскую литературу нежным и благоуханнейшим шедевром, написанным не для публики, но в настоящее время обогащающим каждую молодую душу, которая захочет погрузиться в этот ароматный дуэт любви двух исключительных натур<sup>39</sup>.

Наступают 40-е годы, Герцен вступает в русскую литературу с громом и блеском. Он чувствует, что "назначен для трибуны, форума, как рыба для воды"<sup>40</sup>. Но в России душно, огни, горящие над Европой, кажутся более ослепительными, чем они есть на самом деле. Хочется вольно подышать более свободным воздухом, и Герцен, испытывая необыкновенно счастливое волнение, уезжает за границу в 1847 году.

В Россию он больше вернуться не смог.

Накануне взрывов революционных сил 48 года, накануне страшной катастрофы, которая погребла под собою большую часть надежд революционеров того времени, мучительнейшим образом пережил Герцен эту катастрофу. Он пересмотрел многое и многое в своей душе. В значительной мере потерял он веру в революционность Запада. Ему казалось, что страшное время трезвенного либерализма и лжедемократии восторжествует надолго, а торжество это вызвало у него тошнотворное чувство.

Как прежде с нашего тусклого северо-востока обращал он тоскливые взоры на Запад, откуда ждал ослепительных молний, оживления мира, так теперь постепенно западник Герцен, живущий на Западе, все с большей тоскою смотрит в туманы покинутой им России. Постепенно эта надежда на Россию, эта вера в нетронутость ее сил превращается в целую своеобразную систему какого-то анархо-социалистического патриотизма, сближающего Герцена с Михаилом Бакуниным.

Как всякий великий человек, как всякий настоящий исторический деятель, Герцен соединял в себе способность видеть самые далекие дали, верить в самые огромные цели и идеалы и вместе с тем, когда нужно, быть оппортунистом и делать то дело, которое укажется временем.

Когда в июне 1857 года Герцен стал издавать "Колокол", он преследовал, главным образом, цели времени, он хотел стать чернорабочим своей эпохи, он хотел влиять непосредственно на действительность, а не летать над нею с песней о еще далекой весне.

Писательский гений Герцена, возвышенность его духа сделали из "Колокола" перл публицистики, но, несомненно, все первое время журнал велся в таком направлении, чтобы реально повлиять на волю власть имущих: помещиков, честных бюрократов и даже самого правительства. Это обеспечило за "Колоколом" часто странное влияние в разных высокопоставленных кругах, но это же с самого начала оттолкнуло от Герцена некоторые группы революционно настроенной интеллигенции.

Если начиная с 60-х годов Герцен придает "Колоколу" все более революционный характер, то не потому, что он хотел подладиться ко вкусам бурно вступившего тогда на общественную арену разночинства, -- скорей потому, что он изверился окончательно в способности высших кругов хотя бы к сколько-нибудь рациональному улучшению жизни. Но тут Герцен попал в какую-то щель между правыми и левыми. С ужасом оттолкнулись от "Колокола", когда он стал звучать революционным набатом, его розово-либеральные поклонники, и с недоверием прислушивались к его слишком серебристому, слишком

музыкальному тону те, которые самоотверженно ринулись в самую гущу кровавой борьбы с правительством.

Герцен умер 21 января 1870 года, 50 лет тому назад, несколько разочарованный, как будто оттертый от жизни, потерявший власть над ней. Герцен умер, оставив величайшее наследие. Этим наследием является не публицистическая деятельность Герцена, а весь клад его идей и чувств, вложенный в многочисленные его сочинения, в особенности в непревзойденные воспоминания "Былое и думы".

Герцен -- величайший художник слова. Когда мы говорим "художник", мы не впадаем в те вырожденские суждения, согласно которым художник есть что-то вроде особенно талантливого обойщика или развлекателя. А ведь к этому в конце концов сводятся многие высокие слова об искусстве для искусства. Художником не может быть человек, за формой теряющий содержание. Художник есть, прежде всего, многосодержательный человек. Первое условие художественного дарования -- громадная чуткость к жизни, второе условие -- умение все богатство восприятий организовать, третье -- умение выразить этот организованный материал с величайшей простотой, силой и убедительностью. Только к этому и сводится понятие "художник", и вне этого никаких художников быть не может, вне этого могут быть только ремесленники или ловкачи, рутинеры или фокусники, но не художники.

Бросается в глаза, что поэзия, например, есть способ особенно сильного, убедительного и простого выражения духовного богатства поэта.

Но поэзия может быть разной, она может восходить до эпической объективности, автор теряет за своим образом, на первый план выступают сами картины; и наоборот, поэт может быть настолько лириком, что и личные и гражданские чувства, и любовь и ненависть прорываются в нем с клокочущей силой и приобретают характер проповеди, исповеди, призыва, пророчества. Великие публицисты являются великими поэтами с этой точки зрения<sup>41</sup>.

Но как революционер-практик -- Герцен гораздо ниже. Это не значит, чтобы он не был интересен и в этом отношении. В высшей степени поучительно, как это большое, благородное сердце, как этот широкий, светлый ум гигантскими шагами поднимался по лестнице общественного сознания, быстро оставляя под ногами так называемую демократию. Не менее поучительно, быть может, это страстное стремление Герцена при всей общественной широте своих идеалов отдаться строительству сегодняшнего дня, применяясь ко всей его ограниченности, чуть ли не готовый повторять щедринское: "наше время не время великих задач", опять-таки по-щедрински почти применяясь к подлости<sup>42</sup>, -- не иначе объясняются разные заигрывания его с Александром II.

Раз ты не чувствуешь под ногами никакой силы, то ты должен понять, что нет тебе спасения, и должен ты или покончить с собою для того, чтобы не жить жизнью бесполезной, или как-то суметь хотя что-нибудь вырвать у окружающих тебя чудовищ.

Но Герцен не способен был, намечая свою программу-максимум, связать ее с действительными живыми силами своего-времени. Он понимал, он догадывался, какую роль сыграет пролетариат, он присматривался к концу своей жизни к тому, как Маркс закладывал исполинский фундамент для научно-революционного социализма, но, преданно любящий свой идеал, всем сердцем к нему устремленный, Герцен как будто не ясновидел пути, к нему ведущие. Равным образом, как деятель своей эпохи, эпохи, впрочем, слишком безотрадной, Герцен часто не проявляет того чутья, такта, той интуиции, которые нужны вождю, непосредственно шествующему во главе колонны слабой, окруженной врагами.

Но если Герцен не был вождем, руководителем революции, ни как тактик, ни как теоретик, то он был одним из величайших пророков революции. Здесь самое лучшее будет просто прочесть вам некоторые из этих пророчеств, тем более что никакое ораторское искусство не может сравниться с яркостью герценовского стиля.

"Вся Европа выйдет из фуг своих, будет втянута в общий разгром; пределы стран изменятся, народы соединятся другими группами, национальности будут сломлены и оскорблены. Города, взятые приступом, ограбленные, обеднеют, образование падет, фабрики останутся, в деревнях будет пусто, земля останется без рук, как после Тридцатилетней войны; усталые, заморенные народы покорятся всему, военный деспотизм заменит всякую законность и всякое управление. Тогда победители начнут драку за добычу. Испуганная цивилизация, индустрия побегут в Англию, в Америку, унося с собой от гибели -- кто деньги, кто науку, кто начатый труд. Из Европы сделается нечто вроде Богемии после гуситов. И тут -- на краю гибели и бедствий -- начнется другая война -- домашняя, своя -- расправа неимущих с имущими"<sup>43</sup>.

Эта расправа будет еще более жестокой. Герцен не сомневается в том, что пролетарий будет мерить в ту же меру, в какую ему мерили.

"Коммунизм пронесется бурно, страшно, кроваво, несправедливо, быстро. Среди грома и молний, при зареве горящих дворцов, на развалинах фабрик и присутственных мест -- явятся новые заповеди, крупно набросанные черты нового символа веры. Они сочетаются на тысячи ладов с историческим бытом; но как бы ни сочетались они, основной тон будет принадлежать социализму; современный государственный быт со своей цивилизацией погибнут -- будут, как учтиво выражается Прудон, ликвидированы. Вам жаль цивилизации? Жаль ее и мне. Но ее не жаль массам, которым она ничего не дала, кроме слез, невежества и унижения"<sup>44</sup>.

"Или вы не видите новых христиан, идущих страдать; новых варваров, идущих разрушать? -- Они готовы, они, как лава, тяжело шевелятся под землю, внутри гор. Когда настанет их час -- Геркуланум и Помпея исчезнут, хорошее и дурное, правый и виноватый погибнут рядом. Это будет не суд, не расправа, а катаклизм, переворот... Эта лава, эти варвары, этот новый мир, эти назареи, идущие покончить дряхлое и бессильное и расчистить место свежему и новому, -- ближе, нежели вы думаете. Ведь это они умирают от голода, они ропщут над нашей головой и под нашими ногами, на чердаках и в подвалах, в то время когда мы с вами, шампанским вафли запивая, толкуем о социализме"<sup>45</sup>.

Россия, по мнению Герцена, должна сыграть при этом какую-то исключительную роль.

"Я жду великого от вашей родины -- у вас поле чище, у вас попы не так сильны, предрассудки не так закоснели... а сил-то... а сил-то!"<sup>46</sup>

Итак, Герцен с трепетом предвидел наступление великой коммунистической революции. В этих словах: "Вам жаль цивилизации? Жаль ее и мне. Но ее не жаль массам" -- вы видите страшную боязнь культурного человека перед наступающими "варварами". Он всей душой с этими варварами, ибо он сознает гниение культуры, сознает, как запачкана она своими владельцами, сознает, как гнусно то, что самое лучшее в ней отдается ничтожному меньшинству, но он сознает в то же время то, чего, как он думает, не в состоянии сознать эти варвары, а именно: неисчерпаемого величия тех сокровищ, которые созданы в прошлом человеческим родом и которых временными, часто равнодушными, владельцами являлось привилегированное сословие.

С великим ужасом спрашивает себя Герцен о перевороте будущего: "Будет ли он культурным, будет ли он согрет порывом к творчеству в области истинной красоты и человеческих взаимоотношений? А вдруг коммунистическая революция оставит по себе только раздробление всех больших имуществ на мелкие?" Результатом этого, говорит Герцен, "будет то, что всем на свете будет мерзко, мелкий собственник -- худший буржуй из всех". И мы знаем, что эта опасность самым реальным образом грозит, кто знает, быть может, и сейчас еще нам. Чисто крестьянская революция, на которую в России только и мог рассчитывать Герцен, почти неминуемо низверглась бы в эту бездну.

Пролетариат обеспечивает нас от нее. Пролетариат не может быть сторонником раздачи машин и железных дорог по частям на слом и пропой, не может быть сторонником разрыва на мелкие клочки образцовых имений. Пролетариат -- сторонник еще большего

единства хозяйств, не разрознивать, не разламывать, а создавать, слагать в одно гигантское, в последнем счете всю землю обнимающее, хозяйство. Таков инстинкт, такова воля, такова мысль рабочего класса.

Но ведь и социализм централизованный и планомерный может быть бездушным. Царство сытых лучше, чем царство голодных, но царство сытых не есть идеал подлинно человеческий, а на Герцена эта перспектива всеобщего довольства, это зрелище человека, облизывающего жирные губы и прислушивающегося к урчанию в собственном своем накормленном желудке, производило омерзительное впечатление.

"Горе бедному духом и тощему художественным смыслом перевороту", -- пророчествовал он. Горе тому перевороту, который из всего великого и нажитого "сделает скучную мастерскую, которой вся выгода будет состоять в одном пропитании, и только в пропитании"<sup>47</sup>.

Напрасны, однако, опасения Герцена. Кто не поймет, что после предсказанного им военного разрушения, разрушения, вызываемого гражданской войной, культура не может не покачнуться, не может не понизиться? Но мы смело отвечаем всем нынешним врагам коммунизма, которые готовы, превратив в клевету благородные слова Герцена, бросать их нам в качестве ядовитого упрека, мы можем с гордостью ответить им, что ни на минуту не грызло нас сомнение в неизбежности огромного культурного подъема тотчас же вслед за действительной победой пролетариата.

Какое счастье, что мы празднуем 50-летие Герцена не тогда, когда железное кольцо реакции душило нам горло, не тогда, когда мы, отбиваясь из последних сил, и думать не могли о правильно поставленной культурной работе, когда мы могли опасаться, что злые силы прошлого расстроят наши планы и что нам так и не дотянуться до той цели, ради которой произошла революция и которая заключается не в простом человеческом благосостоянии, а в бесконечном росте человеческой природы во всех ее возможностях.

Мы празднуем 50-летие Герцена в момент, когда враги почти чудесным образом разбиты сильной рукой вооруженного рабочего и крестьянина, мы празднуем его в тот момент, когда западноевропейская и американская буржуазия, ненавидящая нас органически, как хищный зверь ненавидит охотника, вынуждена, тем не менее, склониться перед нами и признать нас неизбежной бедой своей.

Мы празднуем его в тот момент, когда мы можем уже с уверенностью повторить слова товарища Ленина на 7-м съезде: самое страшное позади, задачи мирного строительства выдвигаются на первый план<sup>48</sup>.

Мы докажем теперь, что мы вовсе не варвары. Правда, у нас мало знаний, мало навыков у пролетариев, у крестьян, но зато какая у нас жажда знания, зато как быстро мы все воспринимаем, и как хотим мы учиться. Мы докажем, что сделали революцию не для грабежа и хищения, мы и сейчас с великим усилием сохранили все главное в художественном и научном достоянии, мы докажем, что способны, восприняв все живое из прошлого, начать творить наше будущее.

Как народный комиссар по просвещению, я, выражая эту мою уверенность, в то же время жутко чувствую, какую ответственность возлагает на нас время, какая неслыханная работа должна лечь на плечи тех доверенных лиц пролетариата, которым он вручил руль своего культурного корабля; велики будут требования, с которыми обратятся к нам пославшие нас, то есть трудящийся народ.

Мы не сомневаемся, что интеллигенция, пережив свою дурную болезнь скептицизма, саботажа и белогвардейства, придет к нам посильно на помощь, ее знания, ее навыки пригодятся нам как нельзя больше, но мы знаем также, что она внесет немало своей рутины и своего малодушия. Трудности, окружающие нас, бесконечно велики, главную помощь приходится ожидать от зреющих снизу сил. Но, оглядываясь вокруг, ища поддержки, мы невольно обращаем взоры в этот день больше, чем когда-нибудь, к великанам прошлого, которые предвидели наши проблемы, которые создали вечно живые

ценности, которые начали музыку победного марша, создающую живой воздух вокруг борцов.

Мы зовем на помощь тебя, великий писатель, великое сердце, великий ум, мы зовем на помощь тебя, воскресающего ныне из своей могилы, помоги нам в годину грандиозных событий, которые ты предвидел, обогнуть мели и рифы, которые рисовались уже твоему пророческому духу, помоги нам, чтобы торжество справедливости, наступление великого нового жизненного уклада, без которого, как ты говорил, всякая революция остается пустой и обманчивой, означали бы собою также великую победу культуры, как ты понимал ее, -- культуры как великого торжества человека.

Карл Маркс говорил: "Все события могут быть расцениваемы только с точки зрения последнего критерия -- наиболее богатого раскрытия всех возможностей, заложенных в человеческой природе"<sup>49</sup>. Такова внутренняя сущность животворящей борьбы за справедливое распределение благ и за планомерное их производство.

Людям настоящего часа великую помощь оказывают идеалы -- путеводные звезды, которые блещут перед нами; великую помощь оказывают им гиганты прошлого. Высоко подняв факелы, они, как исполинские маяки, освещают перед нами путь горением своего сердца и сиянием своей мысли.

Пусть вечно горит и освещает нам путь наш великий революционный пророк России, Александр Иванович Герцен.

### **ЛУНАЧАРСКИЙ А.В. ЛЕВ ДАВИДОВИЧ ТРОЦКИЙ<sup>20</sup>**

Троцкий в истории нашей партии явился несколько неожиданно и сразу с блеском. Насколько я слышал, он начал свою социал-демократическую деятельность, подобно мне, еще с гимназической скамейки, и, кажется, ему не было еще 18 лет, когда он был сослан.

Это случилось, однако, значительно позже первых революционных событий в моей жизни, так как Троцкий на 5 или 6 лет моложе меня. Из ссылки он, кажется, бежал. Во всяком случае, впервые заговорили о нем, когда он явился на II съезд партии, на тот, на котором произошел раскол. По-видимому, заграничную публику Троцкий поразил своим красноречием, значительным для молодого человека образованием и апломбом. Передавали анекдот, вероятно неверный, но, пожалуй, характерный, будто бы Вера Ивановна Засулич, со своей обычной экспансивностью, после знакомства с Троцким

---

<sup>20</sup>В 1934 г. Л. Троцкий писал: «В 1923 году Луначарский выпустил томик "Силуэты", посвященный характеристике вождей революции. Книжка появилась на свет крайне несвоевременно: достаточно сказать, что имя Сталина в ней даже не называлось. Уже в следующем году "Силуэты" были изъяты из оборота, и сам Луначарский чувствовал себя полуопальным. Но и тут его не покинула его счастливая черта: покладистость. Он очень скоро примирился с переворотом в руководящем личном составе, во всяком случае, полностью подчинился новым хозяевам положения. И тем не менее он до конца оставался в их рядах инородной фигурой. Луначарский слишком хорошо знал прошлое революции и партии, сохранил слишком разносторонние интересы, был, наконец, слишком образован, чтобы не составлять неуместного пятна в бюрократических рядах. Снятый с поста народного комиссара, на котором он, впрочем, успел до конца выполнить свою историческую миссию, Луначарский оставался почти не у дел, вплоть до назначения его послом в Испанию. Но нового поста он занять уже не успел: смерть застигла его в Ментоне. Не только друг, но и честный противник не откажет в уважении его тени». Печатается по: [http://az.lib.ru/l/lunacharskij\\_a\\_w/text\\_1922\\_trotsky.shtml](http://az.lib.ru/l/lunacharskij_a_w/text_1922_trotsky.shtml)

воскликнула в присутствии Плеханова: "Этот юноша, несомненно, гений", и будто бы Плеханов, уходя с того собрания, сказал кому-то: "Я никогда не прощу этого Троцкому". Действительно, Плеханов всегда ненавидел Троцкого; думается, однако, что не за признание его гением со стороны доброй В. И. Засулич, а за то, что Троцкий с необыкновенной ретивостью атаковал его непосредственно на II съезде, высказываясь о нем довольно непочтительно. Плеханов в то время считал себя абсолютно неприкосновенным величеством в социал-демократической среде, даже сторонние люди в полемике подходили к нему без шапок, и подобная резкость Троцкого должна была вывести его из себя. Вероятно, в Троцком того времени было много мальчишеского задора. В сущности говоря, очень серьезно к нему не относились по его молодости, но все решительно признавали за ним выдающийся ораторский талант и, конечно, чувствовали, что это не цыпленок, а орленок.

Я встретился с ним сравнительно позднее, именно в 1905 году, после январских событий. Он приехал тогда, не помню уже откуда, в Женеву, должен был выступить вместе со мною на большом митинге, созванном по поводу этой катастрофы. Троцкий был тогда необыкновенно элегантен, в отличие от всех нас, и очень красив. Эта его элегантность и особенно какая-то небрежная свысока манера говорить с кем бы то ни было меня очень неприятно поразили. Я с большим недоброжелательством смотрел на этого франта, который, положив ногу на ногу, записывал карандашом конспект того экспромта, который ему пришлось сказать на митинге. Но говорил Троцкий очень хорошо. Выступал он и на международном митинге, где я первый раз в жизни говорил по-французски, а он по-немецки; иностранные языки мешали нам обоим, но кое-как мы вышли из этой беды. Потом, помню, мы были назначены -- я от большевиков, а он от меньшевиков -- в какую-то комиссию для раздела каких-то общих сумм, и там у Троцкого был сухой и надменный тон. Больше я его до возвращения в Россию после первой революции не встречал. Мало встречал я его и в течение революции: он держался отдельно не только от нас, но и от меньшевиков. Его работа протекала главным образом в Совете рабочих депутатов, и вместе с Парвусом он организовал как бы какую-то отдельную группу, которая издавала очень бойкую, очень хорошо отредактированную, маленькую дешевую газету. Я помню, как кто-то сказал при Ленине:

"Звезда Хрусталева закатывается, и сейчас сильный человек в Совете -- Троцкий". Ленин как будто омрачился на мгновение, а потом сказал: "Что же, Троцкий завоевал это своей неустанной работой и яркой агитацией".

Из меньшевиков Троцкий был тогда ближе всех к нам, но я не помню, участвовал ли он хотя раз в тех довольно длинных переговорах, которые велись между нами и меньшевиками по поводу соглашения. К Стокгольмскому же съезду он уже был арестован.

Популярность его среди петербургского пролетариата ко времени ареста была очень велика и еще увеличилась в результате его необыкновенно картинного и героического поведения на суде. Я должен сказать, что Троцкий из всех социал-демократических вождей 1905--1906 годов, несомненно, показал себя, несмотря на свою молодость, наиболее подготовленным, меньше всего на нем было печати некоторой эмигрантской узости, которая, как я уже сказал, мешала в то время даже Ленину; он больше других чувствовал, что такое широкая государственная борьба. И вышел он из революции с наибольшим приобретением в смысле популярности; ни Ленин, ни Мартов не выиграли, в сущности, ничего. Плеханов очень много проиграл вследствие появившихся в нем полукadetских тенденций. Троцкий же с этих пор стал в первый ряд.

Во время второй эмиграции Троцкий поселился в Вене, вследствие чего встречи мои с ним были нечасты.

Я уже говорил о роли, которую он играл в Штутгарте: он держался там скромно и нас призывал к тому же, считая нас всех выбитыми, а потому и не могущими импонировать конгрессу.

Затем Троцкий увлекся примиренческой линией и идеей единства партии. Он больше всех хлопотал по этому поводу на разных пленарных заседаниях, и свою газету "Правда", и свою группу он посвятил на 2/3 именно этой работе по совершенно безнадежному объединению партии.

Единственный успех, которого он в этом отношении добился, был тот пленум, который отбросил от партии ликвидаторов, почти отбросил впередовцев и сшил белыми нитками очень непрочным швом на некоторое время ленинцев и мартовцев. Этот ЦК отправил, между прочим, в качестве всестороннего надзирателя за Троцким товарища Каменева (кстати, его зятя), но между Каменевым и Троцким произошел такой бурный разрыв, что Каменев очень скоро вернулся назад в Париж. Скажу здесь сразу, что Троцкому очень плохо удавалась организация не только партии, но хотя бы небольшой группы. Никаких прямых сторонников у него никогда не было, если он импонировал в партии, то исключительно своей личностью, а то, что он никак не мог уместиться в рамках меньшевиков, заставляло их относиться к нему как к какому-то практиканту-анархисту и крайне их раздражало, о полном же сближении с большевиками тогда не могло бы быть и речи. Троцкий казался ближе к мартовцам, да и все время держался так.

Огромная властность и какое-то неумение или нежелание быть сколько-нибудь ласковым и внимательным к людям, отсутствие того очарования, которое всегда окружало Ленина, осуждали Троцкого на некоторое одиночество. Подумать только, даже немногие его личные друзья (я говорю, конечно, о политической сфере) превращались в его заклятых врагов; так, например, было с его главным адъютантом Семковским, так было потом с его чуть ли не любимым учеником Скобелевым.

Для работы в политических группах Троцкий казался мало приспособленным, зато в океане исторических событий, где совершенно не важны такие личные организации, на первый план выступали положительные стороны Троцкого.

Сблизился я с Троцким во время Копенгагенского съезда. Явившись туда, Троцкий почему-то посчитал нужным опубликовать в Vorwarts'e статью, в которой он, охая огулом все русское представительство, заявил, что оно, в сущности, никого, кроме эмигрантов, не представляет. Это взбесило и меньшевиков, и большевиков. Плеханов, жгучей ненавистью ненавидевший Троцкого, воспользовался таким обстоятельством и устроил нечто вроде суда над Троцким. Мне казалось это несправедливым, я довольно энергично высказался за Троцкого и вообще способствовал (вместе с Рязановым) тому, что план Плеханова совершенно расстроился... Отчасти поэтому, отчасти, может быть, по более случайным причинам мы стали часто встречаться с Троцким во время конгресса: вместе отдыхали, много беседовали на всякие, главным образом политические, темы и разъехались в довольно приятных отношениях.

Вскоре после Копенгагенского конгресса мы организовали нашу вторую партийную школу в Болонье и пригласили Троцкого приехать к нам для ведения практических занятий по журналистике и для чтения курса, если не ошибаюсь, по парламентской практике германской и австрийской социал-демократии и, кажется, по истории социал-демократической партии в России. Троцкий любезно согласился на это предложение и прожил в Болонье почти месяц. Правда, все это время он вел свою линию и старался столкнуть наших учеников с их крайней левой точки зрения на точку зрения среднюю и примирительную, которую, однако, он лично считал весьма левой. Но эта политическая игра его не имела никакого успеха, зато чрезвычайно талантливые лекции нравились очень ученикам, и вообще в течение всего этого своего пребывания Троцкий был необыкновенно весел, блестящ, чрезвычайно лоялен по отношению к нам и оставил по себе самые лучшие воспоминания. Он оказался одним из самых сильных работников этой нашей второй школы.

Последние встречи мои с Троцким были еще длительнее и еще интимнее. Это относится уже к 1915 году в Париже. Троцкий вошел, как я уже писал, в редакцию "Наше слово", и тут, конечно, не обошлось без некоторых интриг и неприятностей: кое-кто был испуган



таким вхождением,-- боялись, что такая сильная личность приберет газету к рукам. Но эта сторона дела была все-таки на самом заднем плане. Гораздо более выпуклыми были отношения Троцкого к Мартову. Нам искренне хотелось действительно на новой почве интернационализма наладить полное объединение всего нашего фронта от Ленина до Мартова. Я ораторствовал за это самым энергичным образом и был в некоторой мере инициатором лозунга: долой оборонцев, да здравствует единение всех интернационалистов! Троцкий вполне к этому присоединился. Это лежало в давних его мечтах и как бы оправдывало всю его предшествовавшую линию.

С большевиками у нас не было никаких разногласий, по крайней мере крупных; с меньшевиками же дело шло худо: Троцкий всеми мерами старался убедить Мартова отказаться от связи с оборонцами. Заседания редакции превращались в длиннейшие дискуссии, во время которых Мартов с изумительной гибкостью ума, почти с каким-то софистическим пронырством избегал прямого ответа на то, рвет ли он со своими оборонцами, а Троцкий наступал на него порою очень гневно. Дело дошло до почти абсолютного разрыва между Троцким и Мартовым, к которому, между прочим, как к политическому уму, Троцкий всегда относился с огромным уважением, а вместе с тем между нами, левыми интернационалистами, и мартовской группой.

За это время между мной и Троцким оказалось столько политических точек соприкосновения, что, пожалуй, мы были ближе всего друг к другу; всякие переговоры от его лица, а с ним от лица других редакторов приходилось вести мне. Мы очень часто выступали вместе с ним на разных эмигрантских студенческих собраниях, вместе редактировали различные прокламации,-- словом, были в самом тесном союзе. И эта линия связала нас так, что именно с этих пор продолжают наши дружественные отношения. Оговорюсь, однако, что эта близость наша, которой я, конечно, горжусь, базировалась и базируется исключительно на тождественности политической позиции и на подкупающей широкой талантливости Троцкого.

Что касается других сторон духовной жизни Троцкого, то здесь, наоборот, я никак не мог нащупать ни малейшей возможности сближения с ним: к искусству отношение у него холодное, философию он считает вообще третьестепенной, широкие вопросы мирозерцания он как-то обходит, и, стало быть, многое из того, что является для меня центральным, не находило в нем никогда никакого отклика. Темой наших разговоров была почти исключительно политика. Так это остается и до сих пор.

Я всегда считал Троцкого человеком крупным. Да и кто же может в этом сомневаться? В Париже он уже сильно вырос в моих глазах как государственный ум и в дальнейшем рос все большие, не знаю, потому ли, что я лучше его узнавал и он лучше мог показать всю меру своей силы в широком масштабе, который отвела нам история, или потому, что действительно испытание революции и ее задачи реально вырастили его и увеличили размах его крыльев.

Агитационная работа весной 1917 года относится уже к главной сущности моей книги, но я должен сказать, что под влиянием ее огромного размаха и ослепительного успеха некоторые близкие Троцкому люди даже склонны были видеть в нем подлинного вождя русской революции. Так, покойный М. С. Урицкий, относившийся к Троцкому с великим уважением, говорил как-то мне и, кажется, Мануильскому: "Вот пришла великая революция, и чувствуется, что как ни умен Ленин, а начинает тускнеть рядом с гением Троцкого". Эта оценка оказалась неверной не потому, что она преувеличивала дарования и мощь Троцкого, а потому, что в то время еще неясны были размеры государственного гения Ленина. Но действительно, в тот период, после первого громового успеха его приезда в Россию и перед июльскими днями, Ленин несколько ступшевался, не очень часто выступал, не очень много писал, а руководил, главным образом, организационной работой в лагере большевиков, между тем как Троцкий гремел в Петрограде на митингах.

Главными внешними дарованиями Троцкого являются его ораторский дар и его писательский талант. Я считаю Троцкого едва ли не самым крупным оратором нашего

времени. Я слышал на своем веку всяких крупнейших парламентских и народных трибунов социализма и очень много знаменитых ораторов буржуазного мира и затруднился бы назвать кого-либо из них, кроме Жореса (Бебеля я слышал только стариком), которого я мог бы поставить рядом с Троцким.

Эффектная наружность, красивая широкая жестикуляция, могучий ритм речи, громкий, совершенно не устающий голос, замечательная складность, литературность фразы, богатство образов, жгучая ирония, парящий пафос, совершенно исключительная, поистине железная по своей ясности логика-- вот достоинства речи Троцкого. Он может говорить лапидарно, бросить несколько необычайно метких стрел и может произносить те величественные политические речи, какие я слышал до него только от Жореса. Я видел Троцкого говорящим по 2 1/2--3 часа перед совершенно безмолвной, стоящей притом же на ногах аудиторией, которая как зачарованная слушала этот огромный политический трактат. То, что говорил Троцкий, в большинстве случаев было мне знакомо, да притом же, конечно, всякому агитатору приходится очень много своих мыслей повторять вновь и вновь перед новыми массами, но Троцкий одну и ту же идею каждый раз преподносит в новом одеянии. Я не знаю, много ли говорит теперь Троцкий в качестве военного министра великой державы,-- очень вероятно, что организационная работа и неутомимые разъезды по всему необъятному фронту отвлекли его от ораторства,-- но все же прежде всего Троцкий -- великий агитатор. Его статьи и книги представляют собой, так сказать, застывшую речь,-- он литературен в своем ораторстве и оратор в своей литературе.

Поэтому ясно, что и публицист Троцкий выдающийся, хотя, конечно, часто очарование, которое придает его речи непосредственное исполнение, теряется у писателя.

Что касается внутренней структуры Троцкого как вождя, то, как я уже сказал, он, в малом масштабе партийной организации, которая, однако, страшно сказалась в будущем, так как ведь именно результаты работы в подполье таких людей, как Ленин, как Чернов, как Мартов, дали потом партиям возможность оспаривать гегемонию в России и возможность оспаривать ее в мире,-- был неискусен, несчастлив. Я не знаю вообще, может ли быть Троцкий хорошим организатором. Мне кажется, что и в роли военного министра он должен действовать больше как агитатор и политический ум, чем как организатор в собственном смысле слова. Мешает же крайняя определенность граней его личности.

Троцкий -- человек колючий, нетерпимый, повелительный, и я представляю себе, а очень часто и знаю, что отсюда возникает и сейчас немало трений и столкновений, которые при более уживчивом характере могли бы быть вполне избегнуты.

Зато как политический муж совета Троцкий стоит на той же высоте, что и в ораторском отношении. Да и как иначе -- самый искусный оратор, речь которого не освещается мыслью, не более как праздный виртуоз, и все его ораторство -- кимвал бряцающий. Любовь, о которой говорит апостол Павел, может быть, и не так нужна для оратора, ибо он может быть исполнен и ненавистью, но мысль нужна необходимо. Великим оратором может быть только великий политик. Так как Троцкий по преимуществу оратор политический, то, конечно, в речах его сказывается именно политическая мысль.

Мне кажется, что Троцкий несравненно более ортодоксален, чем Ленин, хотя многим это покажется странным; политический путь Троцкого как будто несколько извилист, он не был ни меньшевиком, ни большевиком, искал средних путей, потом влил свой ручей в большевистскую реку, а между тем на самом деле Троцкий всегда руководился, можно сказать, буквою революционного марксизма. Ленин чувствует себя творцом и хозяином в области политической мысли и очень часто давал совершенно новые лозунги, которые нас всех ошарашивали, которые казались нам дикостью и которые потом давали богатейшие результаты. Троцкий такую смелость мысли не отличается: он берет революционный марксизм, делает из него все выводы, применительные к данной ситуации; он бесконечно смел в своем суждении против либерализма, против полусоциализма, но не в каком-нибудь новаторстве. Ленин в то же время гораздо более оппортунист в самом глубоком смысле слова.

Опять странно, разве Троцкий не был в лагере меньшевиков, этих заведомых оппортунистов? Но оппортунизм меньшевиков -- это просто политическая дряблость мелкобуржуазной партии. Я говорю не о нем, я говорю о том чувстве действительности, которая заставляет порою менять тактику;

о той огромной чуткости к запросу времени, которая побуждает Ленина то заострять оба лезвия своего меча, то вложить его в ножны.

Троцкий менее способен на это. Троцкий прокладывает свой революционный путь прямолинейно. Эти особенности сказываются в знаменитом столкновении обоих вождей великой русской революции по поводу Брестского мира.

О Троцком принято говорить, что он честолюбив. Это, конечно, совершенный вздор. Я помню одну очень значительную фразу, сказанную Троцким по поводу принятия Черновым министерского портфеля: "Какое низменное честолюбие -- за портфель, принятый в неудачное время, покинуть свою историческую позицию". Мне кажется, в этом весь Троцкий. В нем нет ни капли тщеславия, он совершенно не дорожит никакими титулами и никакой внешней властью; ему бесконечно дорога, и в этом он честолюбив, его историческая роль. Здесь он, пожалуй, личник, как и в своем естественном властолюбии.

Ленин тоже нисколько не честолюбив, еще гораздо меньше Троцкого; я думаю, что Ленин никогда не оглядывается на себя, никогда не смотрится в историческое зеркало, никогда не думает даже о том, что о нем скажет потомство, -- он просто делает свое дело. Он делает это дело властно, и не потому, что власть для него сладостна, а потому, что он уверен в своей правоте и не может терпеть, чтобы кто-нибудь портил его работу. Его властолюбие вытекает из его огромной уверенности в правильности своих принципов и, пожалуй, из неспособности (очень полезной для политического вождя) становиться на точку зрения противника.

Спор никогда не является для него просто дискуссией, это для него столкновение разных классов, разных групп, так сказать, разных человеческих пород. Спор для него всегда борьба, которая при благоприятных условиях может перейти в бой. Ленин готов приветствовать, когда спор переходит в бой.

В отличие от него Троцкий, несомненно, часто оглядывается на себя. Троцкий чрезвычайно дорожит своей исторической ролью и готов был бы, вероятно, принести какие угодно личные жертвы, конечно, не исключая вовсе и самой тяжелой из них -- жертвы своей жизнью, для того, чтобы остаться в памяти человечества в ореоле трагического революционного вождя. Властолюбие его носит тот же характер, что и у Ленина, с тою разницей, что он чаще способен ошибаться, не обладая почти непогрешимым инстинктом Ленина, и что, будучи человеком вспыльчивым и по темпераменту своему холериком, он способен, конечно, хотя бы и временно, быть ослепленным своей страстью; между тем как Ленин, ровный и всегда владеющий собою, вряд ли может хотя когда-нибудь впасть в раздражение.

Не надо думать, однако, что второй великий вождь русской революции во всем уступает своему коллеге; есть стороны, в которых Троцкий бесспорно превосходит его: он более блестящ, он более ярк, он более подвижен. Ленин как нельзя более приспособлен к тому, чтобы, сидя на председательском кресле Совнаркома, гениально руководить мировой революцией, но, конечно, не мог бы справиться с титанической задачей, которую взвалил на свои плечи Троцкий, с этими молниеносными переездами с места на место, этими горячечными речами, этими фанфарами тут же отдаваемых распоряжений, этою ролью постоянного электризатора то в том, то в другом месте ослабевающей армии. Нет человека, который мог бы заменить в этом отношении Троцкого.

Когда происходит истинно великая революция, то великий народ всегда находит на всякую роль подходящего актера, и одним из признаков величия нашей революции является, что Коммунистическая партия выдвинула из своих недр или позаимствовала из

других партий, крепко внедрив их в свое тело, столько выдающихся людей, как нельзя более подходящих к той или другой государственной функции.

Более же всего сливаются со своими ролями именно два сильнейших среди сильных -- Ленин и Троцкий.

### **М. ЛЕВИДОВ. ОРГАНИЗОВАННОЕ УПРОЩЕНИЕ КУЛЬТУРЫ<sup>21</sup>**

Опубликовано: Красная новь. 1923. N1. С примечанием: "В дискуссионном порядке".

#### **I. Некролог.**

Основной тезис таков: революция, в отношении духовного быта, есть организованное упрощение культуры, и особенно русская революция, и особенно русской культуры. И лозунг: это упрощение есть величайшее завоевание, подлинный прогресс, уверенный и настойчивый знак плюса.

Но, давайте, условимся о терминологии. Ибо доказательство тезиса и иллюстрация лозунга требуют терминологии отчеканенной и недвусмысленной.

Культура мыслится, как совокупность благ духовного быта, т.-е. благ, удовлетворяющих потребности не первой необходимости, отвечающих и соответствующих усложненным и обогащенным потребностям. От этого определения не уйдешь: при всей банальности его, оно не мертво, не стационарно, оно таит в себе необходимую диалектическую динамичность. Ибо меняются, и развиваются - пусть даже противоречиво - потребности, и соответственно этим изменениям функционирует аппарат культуры, соответственно меняется выбрасываемый этим аппаратом на рынок "набор продуктов второй необходимости", т.-е. комплекс благ духовного быта. И таким образом, культура - т.-е. комплекс, набор благ духовного быта - в отличие от набора благ материального быта (и только в этом аспекте имеет смысл ходячее противоположение культуры и цивилизации), итак, культура остается неизменной, как логическая формула, постоянно меняя свое жизненное содержание.

Несомненно, для каждого ясно, что революция российская выявлялась, как процесс, воздействующий на судьбу комплекса благ материального быта, на его создание и распределение. Не так несомненно, не так ясно, что таковую же роль она играла по отношению к комплексу благ духовного быта. Об этой роли пойдёт речь в дальнейших строках. А также и о том, что отношение революции к культуре, т.-е. её роль в процессе создания и распределения набора благ духовного быта, было, есть и будет сознательным, другими словами, организованным, т.-е. в конечном счёте - телеологическим, целевым, пусть иногда эта цель застилалась суетливым маячением проходимых по пути вех. И, наконец, пойдёт речь о том, что эта цель - быть упрощением. Организованное отношение революции к культуре - было, есть и будет - отношением упрощения. Революция есть

---

<sup>21</sup> *Михаил Юльевич Левидов* (настоящая фамилия *Левит*; 1891 –1942) — русский советский писатель, драматург и журналист. С первых дней Октябрьской революции стал работать в советской печати. В 1918—1920 заведовал иностранным отделом РОСТА и отделом печати Народного комиссариата иностранных дел. В качестве корреспондента неоднократно выезжал за границу (Ревель, Лондон, Гаага, Берлин). Выступал как политический фельетонист в газетах «Правда», «Труд», «Рабочая газета», «Ленинградская правда», печатал статьи по вопросам культуры, литературы и театра в журналах, преподавал литературу в первом институте журналистики. Сотрудничал с авангардистским журналом «ЛЕФ» (Левый фронт искусства). Создатель теории «организованного упрощения культуры». Был знаменит своим остроумием — отсюда прозвище «советский Бернард Шоу».

организованное упрощение культуры. Так рождается - методологически и терминологически - тезис и лозунг.

\* \* \*

Я начну с иллюстрации лозунга: лучший путь к доказательству тезиса.

И прекрасно. Прекрасно, что революция выявилась как организованное упрощение культуры. Эстетически прекрасно. Прекрасно, что исчезнет, наконец, с лица земли русской это безобразное зрелище: мужик, на которого кто-то, когда-то и почему-то напялил шёлковый цилиндр. Прекрасно, наконец, что процесс организованного упрощения культуры реализовался грубыми и резкими явлениями: насильственным сбрасыванием шёлкового цилиндра с мужичьей головы ударом опорками по цилиндру. Стояла изба: вшивая, грязная изба, тускло освещённая коптящим ночником, а то и лучиной, - но - с редкостными гобеленами на стенах. Эта изба была уродством - непозволительным, оскорбляющим, как всё противоестественное, уродством. В музее бы место этому уродству, и в музее, в банке со спиртом было место российской культуре - культуре небывалого уродства и извращения. Подлинно извращением было то, что неумытая и безграмотная, чеховская и бунинская Руси позволила себе роскошь иметь Чехова и Бунина, и более того - Скрябина, Врубеля и Блока. Из них троих только он, последний, дожил до великой радости - восстания подлинной России против гобеленов, цилиндров и самого себя, восстания, настолько величественного в своей закономерности, что он - как и первые два, - его предчувствовал, предсказывал, предугадывал. И он, последний, успел благословить величественный удар опорками по цилиндру, как подлинный гладиатор приветствовал цезаря, умирая: ибо тогда умер Блок, после "Двенадцати", а в 192 году лишь мертвец умер. Однако - это в скобках. Лирику оставим. Возьмём твёрдый, брутальный факт. А он в том, что хозяин избы содрал гобелены со вшивых стен. Один из ткачей гобеленов, Белинский, писал: "На великое явление Петра народ через полутора года ответил не менее великим явлением Пушкина".

Транспортируем эту цитату на современность, и прочтём: "На великое явление Пушкина, т.-е. пышной культуры на гнилых стенах избы - народ ответил через сотню лет ещё более великим явлением военного коммунизма. Военный коммунизм был протестом, закономерным, социально-необходимым, а потому и радостно-прогрессивным, против явления Пушкина в стране с 90 проц. безграмотных". Этого не могут, конечно, понять современные блоковские витии. Не могут понять, что оскорбительно-социально и эстетически - для народа быть удобением, в котором так нуждаются пышные цветы культуры для немногих. Оскорбительно быть аморфным моллюском, дающим жизнь жемчужине. Быть опытным полем для художественно-эстетических опытов и достижений, материалом для оранжереи. Парником. Полтора года после Петра - один Пушкин. И 90 проц. безграмотных. Ещё сто лет, Врубель, Скрябин и Блок. И 70 проц. безграмотных. Нет, довольно. Противоестественное уродство пора прекратить. Вопиющему уродству не должно быть более места. Банку музейную, где в поту, слезах и крови, - как лебедь, горделивая и белоснежная, - плавала безмятежно культура - нужно разбить.

Так обосновывается эстетически наш лозунг: да здравствует уничтожение уродства, да здравствует революция, как организованное упрощение культуры. Теперь к тезису.

\* \* \*

Итак, вот формула: если в области материального быта революция есть уничтожение отжившего класса помещиков и незаконнорожденного, выкидышного, искусственно взращенного, от руки вскормленного класса буржуазии, то в области духовного быта упрощающее воздействие революции выявляется в первую голову в подлинном уничтожении некоторых, подчеркнуто тепличных, отраслей культуры. Это не значит,

конечно, удар по Блоку и гобеленам, это значит только удар по той среде, тем группам, которые производили и потребляли Блоков и гобелены. Кто эти группы и слои? Вопрос этот отнюдь не гамлетовского свойства. Ни для кого не секрет, что борьба "внеклассового" класса российской интеллигенции с революцией происходила, да и происходит, под псевдонимом "борьбы за культуру". Но тут не в Блоке с Врубелем дело. Подобно тому, как помещики защищали от революции земли, и капиталисты защищали заводы, т.-е. оба эти класса защищали своё право управлять и руководить производством и распределением материального быта, так и интеллигенция защищала от революции своё право управлять и руководить производством и распределением благ духовного быта, и в первую очередь, своё право заведывать тем специфически российским благом, которое именуется "идеологиями", "внеклассовым мировоззрением". Откуда появилось это благо? Методом какого отбора формировались защитники его? Вопросы не праздные: без выяснения роли интеллигенции в революции нельзя говорить об отношении революции к культуре.

\* \* \*

Издавна так повелось на Руси.

Всякий, окончивший юридический факультете, именовался не только юристом, но и интеллигентом. Окончивший медицинский факультет - не только медиком, но и интеллигентом. Но более того: каждый, заработавший себе пропитание за прилавком магазина, за конторкой банка, за судейским столом, или адвокатским пюпитром, в редакционном кабинете, или в суфлёрской будке театра, на блестящей театральной сцене или в пыльном архиве министерства, - это можно было бы продолжить бесконечно, - одним словом, каждый, кто не занимался физическим трудом - рабочим и крестьянским, торговлей и промышленной деятельностью в тесном смысле слова, - именовался не только соответственно своей профессии, но и гордым наименованием интеллигента. То-есть получал, так-себе, здорово живёшь, - этот ярлычок симпатичный, образующий нечто вроде своеобразной прибавочной стоимости к нормальной его общественной стоимости. И он получал, и жена его получала, и свояченица получала, и все чада и домочадца его получали, и собачка его получала, - разве нет в русском языке речения: какая интеллигентная собачка?..

В материальном быту эта прибавочная стоимость, - благодаря политическим условиям самодержавия, - не могла реализоваться. И естественно, что реализация её осуществилась в области духовного быта. Поскольку прибавочная стоимость эта не давала материальных прав (за исключением права на высшую расценку на рынке труда - но это уже не право, а факт), постольку она представляла владельцам её безграничные почти моральные права, на которые, кстати сказать, ведь никто другой не покушался. Коротко говоря, каждый, именовавший себя интеллигентным человеком, подразумевал этим самым, что он находится на верху социальной пирамиды, поскольку она взята в разрезе духовного быта. Этот разрез не совпадал с разрезом материального быта - и отсюда проистекает иллюзия о "внеклассовости" интеллигенции и "суб'ективные методы" в социологии. И так как, - тут следует последний силлогизм, - источник и монополия *власти* принадлежали в силу исторических судеб ясно очерченному социологическому дворянству и чиновничеству, источник и монополия *идеологии власти* отошли в нераздельную собственность этого своеобразного "суб'ективного класса". Этот класс - вернее наиболее активные слои его - стали монопольными поставщиками не только идеологии искусства, например, но и идеологии в области социальных взаимоотношений. И с железной необходимостью эта идеология - будь то идеология западничества или славянофильства, народничества или кадетизма, приводила в последних, главных своих выводах - к формуле: мы, поставщики данной идеологии, обладаем особыми правами - выражать не только своё мнение, а мнение народа, быть представителями за народ, представителями его. А говоря простой

прозой, - быть источником власти и контролёром власти в смысле чисто групповом и персональном. Чем осуществимее казалась эта цель, тем более дифференцировался "суб'ективный класс" (иногда вплоть до острой вражды: - народничество и кадетизм), сохраняя однако единым основной свой признак: мы добиваемся власти не для себя, а для народа через нас.

Поскольку домогательства эти и притязания основывались на учёте исторического опыта - они были правильны. Если бы российская революция явилась, как этого ожидали, революцией, осуществлённой буржуазией, при молчаливом сочувствии крестьянства - на французский манер, то, естественно, буржуазия контр-ассигновала бы, передоверила часть завоёванных прав и власти - именно этой группе, и обязательно, как внеклассовой группе: так гораздо удобнее буржуазии. Ведь как было во Франции: едва ли не три четверти Жиронды состояли из адвокатов и литераторов, и не даром у Родзянки фигура, как у Мирабо, а у Авксентьева голос не хуже, чем у Дантона (впрочем, дальше параллель никак не удастся провести, ибо Керенский оказался куда оборотистее Камилла Демулена, который не догадался прибегнуть к помощи тогдашнего Черчилля-Питта, а Теруань-де-Мерикор была гораздо, гораздо красивее Зинаиды Гиппиус).

Увы, история обманула. Правда, март уже успел передоверить права источника, контролёра и поставщика власти внеклассовым адвокатам, профессорам и литераторам: прибавочная стоимость Милюковых, Керенских, Гессенов и Авксентьевых успела реализоваться в период март-октябрь. Но октябрь аннулировал передоверие. Октябрь выяснил, что революцию российскую сделал пролетариат в союзе с активным крестьянством, и эту революцию сделал не только против экономической, но и духовной прибавочной стоимости, против незавоёванных прав, против "внеклассовой" идеологии, против "суб'ективного класса" интеллигенции. Этот класс свирепо бросился в борьбу: не даром самый ожесточённый бой не только идеологически, но и фактически дали революции - социалисты-революционеры - наиболее активные представители владельцев духовной прибавочной стоимости. Сила нападения родила силу отпора: революция раздавила и уничтожила их, быстро и безжалостно.

Конечно, сражаясь за свою прибавочную стоимость, интеллигенция не могла и тут вылезти из шкуры своей, не могла не опьяниться самообманом. Ведь она воспиталась в иллюзии "внеклассовости", ведь питалась она нектаром жертвенности и амброзией самоотвержения. И потому: не своё бытие она защищала, о нет. Она выдвинула иную формулу: отчётливую, эффектную, яркую:

- Мы боремся против революции за демократизм, свободу, культуру.

Характерная ирония судьбы: суб'ективно-лживая, объективно эта формула была правдивой. Ведь именно эта группа была потребительницей и производительницей благ духовного быта, и таким вот образом, самую силою вещей в порядок дня революции стала борьба с интеллигентской культурой, или, что то же, организованное упрощение культуры, развал прежнего духовного быта. Тем легче было этот развал остановить, что те производители и потребители благ духовного быта, те деятели науки, литературы и искусства, которые не могли активно выступить против революции, молчаливый, но тем не менее злобный оттого, объявили ей бойкот. И заполнили ряды внутренней эмиграции. Или бежали за границу. Конечно, не все. Некоторые, честно и смело, сами отказали себе в праве на жизнь. Александр Блок сам отказал себе в праве на жизнь в революции. Он, возгласивший - "всем сердцем, всей душой своей слушайте революцию", горьким пониманием понял, что лишь отдалённые раскаты бури и грозы можно слушать - и слышать, а когда она пришла, революция в грозе и буре, то её нужно делать: грязно, кроваво делать или против неё делать, - но не слушать. И он более не слушал. Понял. Ушёл. В смерть. Не в мерзость бунинско-гессенского бытия, не в слякотность прозябания питерского Дома Литераторов. Он ушёл, поистине нежный, блеклый гобелен. Другие, из племени Мережковских и Милюковых, грязно и гадко бежали, спасая культуру, бриллианты и шкуру. Продают сейчас остатки цилиндра - засаленного и поношенного -

знатным иностранцам. По дешёвой цене торгуют русским искусством по берлинским кабакам.

Так вот смысл происшедшего: русская интеллигенция пошла против воли истории, выступила против революции, была побеждена ею, эмигрировала внутри и во-вне, и унесла с собой в небытие русскую культуру, то-есть свою, интеллигентскую культуру. Русская интеллигенция более не воскреснет. Её культура более не воскреснет. И подобно тому, как в сфере материального быта революция, разрушив производственную машину, стала воссоздавать её методами организованного упрощения, подобно тому, как в сфере политического быта революция, разрушив государственную машину, стала воссоздавать её методами организованного упрощения, - так будет и в области духовного быта: революция, разрушив старую культуру - будет, - ещё не начала - тут она запоздала, по сравнению с экономикой и политикой, - лишь будет воссоздавать её методами организованного упрощения. Об этом, то-есть о материальном содержании тезиса - организованное упрощение, - пойдёт в дальнейшем речь. Но не сейчас ещё. Ибо, после *некролога* над прошлым и перед *прогнозом* будущего, совершенно необходимо дать *анализ* настоящего, т.-е. рассмотреть те случайные, несмелые, противоречивые, но всегда неудачные, всегда ложные попытки воссоздания культуры в это революционное пятилетие.

## II. Анализ.

Да, с первых дней своих революция почувствовала потребность в созвучных ей благах духовного быта. Прежние производители и потребители этих благ ушли, эмигрировали. Осталось пустое место, которое было заполнено немедленно, но не целиком, а лишь в части своей. Истекшее пятилетие не знает революционной науки, чуть-чуть ознакомилось с революционной техникой, но оно насыщено было звуками, красками, образами и словами, так называемого, революционного искусства, или левого искусства.

Поговорим о нём, исполнявшем должность культуры за эти пять лет. О революционных поэтах, художниках и музыкантах. О Маяковских, Татлиных и Мейрхольдах. О футуристах, имажинистах, конструктивистах. Об этих трагично обманувшихся, обманывавших себя дольше, чем других.

\* \* \*

Маяковский первый пришёл к октябрю. Смело и радостно. Он, изгой, напоенный духом ненависти и разрушения, мрачный таран, взламывавший стены темницы буржуазного искусства, ломавший рифму и ритм, - о, как высоко поднял он голову в октябре, насколько своим он осознал октябрь. И естественно: ведь таким понятным и нужным казался союз левого искусства с левой революцией. За Маяковским пришла горсточка таких же как он, отринутых, пьяных пафосом мести и разрушения. Несколько художников, музыкантов, скульпторов, теоретиков. Сверкал красным огнём медовый месяц радостного союза. "Пушкина к стенке, по музеям пулям тенькать", восклицал Маяковский в Приказе по искусству. Татлин в Питере сооружал из битых стёкол синтез всех искусств - башню Третьего Интернационала, панно и фресками на стенах Красного Петуха, что был на Кузнецком в Москве; воспевал Якулов октябрь; дисхроматическими гаммами мыслил революцию отщепенец Артур Лурье, о Городе-Театре грезил трагический неудачник Мейерхольд, лился пот с перьев упорных схематиков, Бриков и Кушнеров, метафизических инженеров, натужно сооружавших их призрачных материалов призрачный путь от коммунизма к футуризму. И венцом достижения, долгожданным первенцем "такого понятного и нужного союза" появился офутуризованный Охотный Ряд, торговавший в те времена пшённой кашей и поштучно ирисом.



Больше года длился медовый месяц, до середины 1919 тянулась социологически необходимая, но всё же ошибка. Ошибка, обусловленная мышлением по аналогии, упрощенным, элементарным: левизна в политике, в экономике - предполагает коррелятивом в области духовного быта - левизну в искусстве. Она была социологически необходима эта ошибка: ведь никто, кроме деятелей левого искусства, горсточку отринутых, к революции не пришёл. Их нужно было взять, время было такое, каждый союзник был дорог. Взяли. Нехотя взяли. Ибо сознавали те, кому это полагалось, что "не то". И на поверку оказалось, что очень не то. Мышление по аналогии обанкротилось с треском, и опытным путём и теоретически. На опыте вышло, что из левого искусства ничего не вышло, и, увы, по такой прозаической причине: потребитель потенциальный вообще не захотел искусства в эти годы, а тем более левого. Да, Мистерия-Буфф понравилась. Да, "Зори" понравились. Но, о ирония революции! Этот успех был успехом d'. Ибо революционный потребитель в этом не нуждался: на фронтах гражданской войны он находил и Мистерию, и Буфф, и соборное творчество "Зорь". И соответственно меценатствующее государство поняло, что оно в этом не нуждается. После первого припадка нежности - так сказать, нежности по долгу, - государство попятилось. Теоретически, это правильно объяснялось: в рабоче-крестьянском государстве - примат и государственная поддержка рабоче-крестьянскому искусству, а не мелко-буржуазным беспочвенникам, анархистам и изгоям. Теория, конечно, справедливейшая, но и психология за ней крылась характернейшая. Мольеровский коммунисты "malgre eux" (есть и такие) должны были на чём-нибудь отыграться: левизна политике, левизна в экономике - это само собой, но позвольте нам роскошь не иметь левизны в искусстве. Какое естественное, человеческое, психологически оправданное рассуждение... Нет нужды, что, будучи подсознательным, оно облекалось в иные слова и фразы: оно выпирало наружу, кричало. Так не нужно удивляться, что Маяковский потратил больше труда на постановку Мистерии-Буфф, нежели на создание её; не нужно удивляться, что расплылось левое искусство, встреченное кисло-сладким государством и равнодушно либо враждебно потребителем; что октябрь в искусстве оказался всего только неудачным июльским лево-эс-эровским бунтом, что разложился этот бунт в гниющем анархизме махновцев левого искусства - имажинистов, что с приятным чувством хорошо выполненного и нужного долга был снесён с лица Москва гнусно выцветший и жалко облезлый футуристический Охотный Ряд. Частушка и плакат остались от левого искусства. Революция рассудила: взяла и с жадностью проглотила частушку и плакат, - взрывавшие белые фронты, - отбросило претензию меценатов и изгоев, обманывающих себя чаще, чем других - создать искусство по аналогии с революцией, революционное по существу, а не по приложению. Революция сказала: революционно лишь то искусство, которое можно революционно приложить, революционно использовать. А потому - да здравствует теория относительности, долой абсолютные истины левого искусства. И революция была права.

\* \* \*

Опыт с левым искусством, комфутуризмом - не удался. Это была неудача быстрая, резкая, ударная. Но параллельно с ней развивалась другая неудача, в противовес ей - медленная, тягучая, затянувшаяся до нынешнего момента и на своём длинном пути разбавленная блёстками отдельных удач.

Речь идёт о пролеткультуре, о пролетарском искусстве, вернее пролетарской поэзии.

Опять кажущаяся такой простой, потрясающе верной и соблазнительно реальной логика: рабоче-крестьянское государство нуждается в своей культуре, так пусть путём организованного отбора, найдёт оно потенциальных производителей этой культуры и поставит их в условия, гарантирующие ценность и эффективность производства.

И опять жизнь внесла поправку. Коварную поправку. Таковую незначительную, казалось бы...

Пролетарское искусство было незаметно как-то подменено пролетарской поэзией. А вместо пролетарских драматургов пролетстудии дали пролетарских актёров.

Не нужно уходить в дебри словесности, чтоб отчётливо и категорически понять: поэзия в искусстве - это оперная ария в музыке. Лёгкая кавалерия в современной армии. Но ещё не искусство. Но ещё не музыка. Но ещё не армия.

Отнюдь не намерен я отрицать наличность больших талантов среди двух или трёх десятков пролетарских поэтов. Но разве это важно? Разве цель была в том, чтобы найти талантливых крестьян и рабочих?..

Отнюдь не намерен я отрицать, что произведения талантов этих иногда революционны по форме, почти всегда по существу. Но и не в этом дело. Дело в том, что автобиографию и лирику нельзя положить краеугольным камнем здания новой культуры. А пролетарская поэзия не может не быть, как и всякая поэзия - лирикой, а разве всякая лирика, в последнем счёте, не есть противопоставление индивида коллективу? И пролетарская поэзия упёрлась, как обречена всякая поэзия - в автобиографию, - где гордо выпяченное "я" сменило - требование времени - квази-коллективным "мы". Бальмонты, Гиппиусы говорили - наше гордое "я", - Кирилловы, Родовы говорят - наше гордое "мы", а подлинные творцы пролетарского искусства скажут, просто, но убедительно: они, мир, космос.

Тут произошло выявление личности через класс. А предполагалось: выявить класс через личность.

Это по существу. А рассуждая чисто имманентно: разве можно спрятаться от того факта, что, отбрасываемые от Сциллы дилетантизма к Харибде профессионализма, пролетарские поэты тоскуют по студии, находясь на заводе, благословляют завод, когда в студии. Место в жизни утеряно.

\* \* \*

Таковы две, донэповские попытки создать культуру, - вернее искусство, созвучное революции. Обе исходили от государства, и от обоих государство отказалось с приходом нэпа. Но каприз истории - при нэпе, левое искусство, почти разложившееся в 1920 году - неожиданно воскресло в формах производственного искусства, конструктивизма, биомеханики. И опять со знаменем, на котором написано: левый фронт искусства, т.-е. единственное искусство, имеющее право на существовании при революции, единственное искусство, могущее явиться базисом революционной культуры.

Специальное рассмотрение будет иметь место в дальнейшем, на тему о том, поскольку, вообще говоря, искусство может являться базисом культуры. Но и без специальных рассматриваний ясно, что лишь фронт смятенных, горячечных и неудачных исканий можно открыть в самодовлеющем эстетизме и фетишизировании тела (специально на злобу старому театру) мейерхольдовских и форегговских постановок... Что лишь фронт одиночек, - объединенных одинаковостью своего одиночества и это психологическое родство претворяющих путём чисто словесных построений в созвучно-звенную цепь, - можно найти в группе Асеева-Маяковского-Третьякова и их периферии... Что, стоя на правильном пути, вхутесмасосцы только стоят на нём, но не движутся, ибо путь этот, в данной его стадии - многоугольная площадь с разветвляющимися дорогами, и неизвестно, куда идти... Что, наконец, "левый фронт" в искусстве, в данный момент, вообще говоря, имманентная нелепость, ибо нет правого фронта, ибо совсем нет фронтов, как и нет теоретического осмысления искусства: и недаром единственная сейчас действенная группа молодых производителей беллетристики, с парадоксальностью времени объединяются лишь тем, что принципиально отрицают лозунги, направления и школы в искусстве, утвердители хаоса, и, каковы бы ни были их личные симпатии и отталкивания,

- подлинные дети нэпа. Согласен: деятели "левого искусства" в искусстве пасынки нэпа. Согласен: их попытки взнуздать идеологический хаос, порождённый нэпом, - героичны. Согласен: отверженные и буржуазной культурой, и революционным государством, и воинствующим нэпом, - они великолепны в своём трагизме одиночек. Но увы, этого всего ещё мало, чтоб на них строить прогноз грядущей культуры Новой России.

### III. Прогноз.

Не знаю, обратил ли внимание читающий эти строки на некую странность: и в нашем "Некрологе" и в нашем "Анализе", говоря о культуре, мы всё время подменяли этот термин словом искусство. Это приходилось делать по необходимости: и до революции, и в первое пятилетие революции, культура русская, т.-е. совокупность благ духовного быта, на 90% заполнялась материалом искусства. Причины тому ясны, о них шла речь в "Некрологе": квалифицированные потребители культуры в дореволюционную эпоху требовали духовных благ высшей расценки, и прекрасно сознавали, что по табели о духовных рангах театр "выше" кинематографа, а рассказ Андреява "интеллигентнее" детективного романа. Голоса мёртвых, посмертное влияние производителей и потребителей духовных ценностей буржуазной эпохи отразились, залегли подсознательным комплексом в психике строителей культуры истёкшего пятилетия. Не только за истекшее пятилетие комплекс духовных благ понимался как литература, поэзия, театр, живопись. Но потребитель запротестовал. Но нэп поставил точку. И вот теперь только наступает момент - он растянется на десятки лет - когда революция сможет приступить к выполнению своей подлинной задачи относительно культуры - к организованному упрощению культуры.

И тут пора остановиться на материальном содержании этого тезиса, анализированного до сих пор лишь формально. Оно весьма элементарно это содержание: организованное упрощение, это означает, во-первых, отведение минимального места в комплексе ценностей духовного быта - ценностям высшей расценки - литературе, поэзии, театру, живописи, музыке, т.-е. в совокупности своей - искусству, и, во-вторых, максимальное удешевление этих ценностей.

\* \* \*

Да, низведение на своё место самого дорогого - в смысле несоответствия издержек производства и результата - элемента культуры, а именно искусства, есть задача дня. Не только в том дело, что искусство дорого: - оно, кроме того, капризно и анархично. И, наконец, никогда не предмет массового потребления. Культура, построенная на искусстве - всегда для немногих. Производство же его равномерной тяжестью ложится на всех. Техника и наука, высвобождаемые из-под власти Далай-лам и бонз, должны на 90% заполнить содержание упрощенной культуры. Не Белинского и Гоголя должен мужик с базара понести, а популярное руководство по травосеянию. Не стихосложению нужно обучать рабфаковца, вне обычного его курса, а стенографии. Не театральные студии нужно открывать в деревнях, а студии скотоводства. И, наконец, обобщив всё это единой формулой: не эстетическое удовольствие, пассивное по существу своему, а импульс к действию и волю к творчеству должны давать потребителю блага духовного быта. Таков должен быть их характер, чтобы они возбуждали в каждом потребителе их волю стать производителем и предоставляли возможность производства. А это достижимо лишь путём замены в комплексе культуры ценностей искусства - ценностей науки и техники. Нет нужды говорить о том, какую активную роль может сыграть в этом процессе государство, и особенно государство наше, преодолевшее буржуазную идеологию "свободной игры стихийных сил". Таково наше, во-первых.

\* \* \*

И, во-вторых, организованное упрощение культуры предполагает максимальное удешевление ценностей искусства. Не боясь слов, нужно сказать: замена их суррогатами.

Ну, конечно же, в новой России забавной сказкой прозвучит рассказ о том, что была такая эпоха, когда литература, беллетристика считалась "учительной", "святой", "героической", "страдательной", когда поставщик этой литературы был "властителем дум", "светочем". Забавной и нелепой сказкой. Будущий читатель - ныне уже нарождающийся - не станет искать в романах и рассказах "прямого ответа на проклятые вопросы". Литература для него займёт её подлинное место: не поучения, не обличения, а только и исключительно развлечения. Качественно ничем не отличающегося от всякого другого развлечения. И сейчас уже чувствуется, что будущая русская литература - лет этак на пятьдесят - будет литературой широкого, размашистого, красочного репортажа - без всяких, заметьте, "мировых скорбей", либо увлекательной, сочной, островолнующей авантюрной литературой. Не чтения - с трепетом душевным и благоговением, будет искать новый читатель, а занятого, отдых дающего читателя.

Или вот. То, что именовалось в теории российской словесности - общей публицистикой, когда время от времени появлялись такие Мессии и пророки, "жегшие сердца людей", "ударявшие в набат". И это не нужно будет новому читателю. Ведь, предполагаем мы, новый читатель, новый гражданин России, прекрасно будет знать и своё место в жизни и отчётливо сознавать интересы той группы, к которой он принадлежит, и совсем ему будет не нужно, чтоб кто-нибудь со стороны о нём заботился. Эпоха пророков и благодетельствуемой ими паствы - слава богу - прошла в России. Поэзия - корь современной России. Ничего, эта корь пройдёт - болезнь возраста. Конечно, группа подростков в жизни всегда будет существовать, но её потребности целиком будет осуществлять "Общество изучения поэтического языка" - "Опояз". Но не думаю, что Опояз будет занимать в области духовного быта место более видное, чем фабрика леденцов в области быта материального.

И наконец, театр. Этот колоссальный блеф, именующийся гордо "проблемой театра" - будет, в конце концов, разоблачён. Будет, в конце концов, понятно, что подлинный потребитель театра имеет лишь один подход к театру: как к отдыху после трудового дня, и предъявляет лишь одно требование к нему - развлекать, а не утомлять, при чём ему глубоко безразлично, как это развлечение осуществляется: методами ли реалистическими, символическими или биомеханическими, лишь бы это было хорошо сделано и хорошо подано. Но не подлежит сомнению, что в табели о рангах духовных ценностей упрощённой организованно культуры - место театра будет за кинематографом, особенно, если ведущаяся ныне на Западе работа комбинации кинематографа со звуковыми эффектами даст достижения.

Да, всё это будет гораздо проще. Но здоровее. Меньше издержек производства и больше общедоступных результатов. Дешевле, но общественно полезнее. Таков лозунг, такова цель упрощённой организованной культуры, таковы будут плоды революции в области духовного быта.

\* \* \*

Это много, это важно, но это ещё не всё. Организованное упрощение культуры имеет ещё общественно-гигиеническое значение. В смысле оздоровления психики производителя и потребителя ценностей культуры.

А именно: при новой культуре немислимо будет зарождение прибавочной стоимости у производителей и потребителей.

Возьмём потребителей. Совершенно естественно, что поскольку литература была "учительной", то поскольку те, кто "учились" - механически переходили в высшую

категорию, становились "интеллигентами". Существовало нелепое явление - об этом шла речь в "Некрологе": был класс спецпотребителей духовных ценностей. За двенадцать рублей годовых подписчик "Мира Божьего", к примеру, получал вечный патент на некое вечное благородство душевное. Потреблявший "Журнал для Всех" получал патент рангом пониже. Нужно ли говорить, что такое явление немыслимо при организованно упрощённой культуре, потребление ценностей которой не может создать прибавочной стоимости, ибо ценности-то эти принципиально равны не только одна другой, но и ценностям культуры материальной. Никаких патентов на благородство. Потребитель симфонии Бетховена удовольствуется наслаждением, полученным от симфонии, отнюдь не объективируя этого своего наслаждения как признака некоей особой своей общественной ценности. А эта последняя определится не характером его потребления - типичная черта буржуазного строя - а степенью его производительности в той отрасли производства, коей он занимается.

Тут нужно повторить: *степенью производительности, а не отраслью производства*. Ибо, при новой культуре, немыслимо будет появление прибавочной стоимости по *признаку* производства.

Ибо лишь при организованном упрощении культуры засияет вечной жизнью классическая формула социализма: всякий труд одинаково почётен, поскольку он общественно полезен. Все производители-спецы равноценны; разница между спецами-производителями, лишь в степени талантливости их спецовства. Нет неравенства профессий, есть лишь неравенство талантов, которое тоже, в конце концов, сглаживается методами коллективного производства.

И вот это уничтожение психологического неравенства - величайшее достижение общественной гигиены - возможно лишь на почве организованно упрощённой культуры.

\* \* \*

Так будет. Будет не скоро, но в значительной части ещё не наших глазах. Ибо уже начинается процесс организованного упрощения культуры.

Уже исчезло из обихода молодого поколения это проклятое слово "интеллигент", это бескостное, мягкое, унылое, кокрокурицыное слово, подобного которому не найти ни в дном человеческом языке. Исчезло, и заменилось бойким, красочным, подчёркнутым термином - спец.

Уже исчезает тяга а незаработанной прибавочной стоимости.

У зубного врача в приёмной уже не валяются книжки Уайльда, а провизор ухаживает за барышней без помощи цитат из Вейнингера.

Правда, я знаю, хотя уже благополучно в Берлине сидят Степуны, но ещё водятся в России самодельные Шпенглеры и всякие Гершензоны.

Доживающие свой век интеллигенты не так скоро доживут его. Но они последние могики. Но они доживут. И через 20-30 лет исчезнет племя интеллигентов с лица земли русской. Племя археологов, гробокопателей. Недавно была у них великая радость. Открыли план "Жития великого грешника" и неизданную главу "Бесов". Может быть, и радость. Когда археологи курган раскапывают и утварь каменного века находят, - это тоже радость... для археологов. И мне кажется, что для новой России, с организованно упрощённой культурой - Достоевский будет от каменного века. Не нужна новой России утварь каменного века, самая наидрагоценнейшая. В музей её, под стекло.

Достоевского в музей, а Россию из музея, из банки со спиртом, в живую жизнь. Вот где смысл и значение организованного упрощения культуры, которое осуществит революция. Быть может, в этом, а значит и в том, что у интеллигента отнята прибавочная стоимость - и есть величайшее революции достижение.

Через смерть - к жизни. Да здравствует тот недалёкий день, когда вымрет окончательно, физически и духовно, эмиграция внутри России и во-вне!

## В.ПОЛОНСКИЙ. ЗАМЕТКИ О КУЛЬТУРЕ И НЕККУЛЬТУРНОСТИ<sup>22</sup>

Опубликовано: Красная Новь. 1923. Л3. Отзыв на опубликованную двумя номерами ранее статью Михаила Левидова "Организованное упрощение культуры".

### I.

В первой книге "Красной Нови" за нынешний год была помещена статья т. Мих. Левидова под интригующим заглавием "Организованное упрощение культуры". Речь в этой статье идет о том, что хорошего принесла русской культуре русская революция. На поставленный вопрос автор не колеблясь отвечает: революция (и особенно русская революция) принесла культуре (и особенно русской культуре) организованное упрощение. "Революция есть организованное упрощение культуры". И это упрощение, добавляет он, "есть величайшее завоевание, подлинный прогресс, уверенный и настойчивый знак плюса".

Если кто вздумает упрекнуть Мих. Левидова в бесталанности его статьи, - он сможет ответить: "пусть статья бесталанна, - моя тема талантлива". И будет прав: вопрос, им задетый, важности первостепенный. Это обстоятельство и заставляет нас привлечь к статье Мих. Левидова внимание читателей. В самом ли деле революция есть упрощение культуры, да ещё организованное? И что вообще мыслит Мих. Левидов под этим, далеко не ясным выводом? Каковы, наконец, его доводы - ибо голый тезис, не одетый в крепкие одежды аргументации, - подобен погремушке: ею можно забавляться, но убедить погремушкою никого ни в чем не возможно. Другими словами - сумел ли т. Мих. Левидов *доказать* нам, что его утверждение имеет под собой какие-нибудь логические основания?

Займемся этими вопросами.

### II.

Начнем с апологии, которую наш автор, не скрывающий удовольствия по поводу своего открытия, воздает приведенному тезису. Революция упростила культуру - и прекрасно, заявляет он. "Прекрасно, что исчезнет, наконец, с лица земли это безобразное зрелище: мужик, на которого кто-то, когда-то и почему-то напялил шелковый цилиндр".

Таково "образное" определение старой буржуазной культуры. По сравнению с новой, по-революционной, старая культура - такова мысль нашего автора - является более сложной, и, конечно, развитой более высоко. Итак, усложненную старую культуру революция упростила. Как произошло это упрощение и в чем собственно оно заключалось? Не удовлетворяясь бедным языком публициста, т. Левидов дает "образные" определения. Извлекаем следующее описание воздействия революции на культуру: революция, по Мих. Левидову, относительно культуры реализовывалась "грубыми и резкими явлениями: насильственного сбрасывания шелкового цилиндра с мужицкой головы ударом опорками по цилиндру". Таким образом картина получается следующая: существовала высокой марки буржуазная культура, которая в виде шелкового цилиндра

---

<sup>22</sup> Вячеслав Павлович Полонский (1886 –1932) — российский, советский критик, редактор, журналист, историк. Был редактором журналов «Красная нива», «Красный архив» и «Прожектор», главный редактор журналов «Новый мир» (1926—1931), «Печать и революция» (1921—1929). Печатается по: [http://samlib.ru/t/tjagur\\_m\\_i/polonskii.shtml](http://samlib.ru/t/tjagur_m_i/polonskii.shtml)

сидела на голове вшивого мужика. Пришла революция и вдохновила "носителя" культуры, который поднял ногу, обутую в опорок, и этим опорком сбросил с своей головы шелковый цилиндр, т.-е. старую, сложную, высокую буржуазную культуру. Произошло явное упрощение культуры. Так говорит Мих. Левидов.

Это походе на пародию, - но авторские права закреплены за Мих. Левидовым. Все это черным по белому написал он в своей статье. Чтобы не дать повода для обвинений в легкомысленном отношении к "силлогизмам" тов. Левидова, попытаемся углубить наше знакомство с его замечательным открытием.

### III.

Мих. Левидов прекрасно понимает, что, прежде чем заняться каким-нибудь явлением, надо это явление изучить и определить его существенное содержание. Поэтому мы не без удовольствия прочли замечание нашего автора, что "терминология должна быть отчеканенной и недвусмысленной". Его, очевидно, тревожили эти две опасности. К сожалению, он не подозревал третьей: терминология может быть отчеканенной, она может не иметь двух смыслов - она может вообще не иметь никакого смысла, или иметь смысл неверный, ложный, неправильный. К несчастью - он попал в лапы именно той опасности, которой не подозревал. Пообещав нам "отчеканенную" и "недвусмысленную" терминологию - он в статье своей оперирует понятием "культура" - и из приведенных выше положений читатель может заключить, что это за "понятие".

Решив доказать нам свой "тезис" - он начинает манипулировать с "шелковым цилиндром" в качестве "отчеканенного" и "недвусмысленного" понятия культуры. Далее, в качестве дополняющего определения, присоединяется еще "гобелен". Удачна ли эта "образная" терминология? Вряд ли могут быть два мнения на этот счет. Она никуда не годится. Причина этой неудачи заключается в том, что к культуре наш автор подходит с точек зрения этической и эстетической. Это обстоятельство и отвлекает его внимание от самой культуры, о которой он хочет говорить [*Так в тексте - Т. М.*], к тому контрасту, какой представляло сосуществование роскоши и нищеты, утонченных достижений цивилизации рядом с вшивой избой. Этот контраст является характерной чертой культуры капиталистического общества, *но это еще не есть культура капиталистического общества*. А на место понятия "культура" Мих. Левидов подставляет понятие указанного контраста и, не замечая этого происшествия, бьет по медному тазу, воображая, что занимается логическим процессом. Увлекаемый самыми добрыми побуждениями, он приводит следующие доводы в пользу своего тезиса: "Эта изба была уродством - читаем мы - непозволительным, оскорбляющим, как все противоестественное, уродством. В музее было место этому уродству, и в музее, в банке со спиртом, было место российской культуре - культуре небывалого уродства и извращения. Подлинным извращением было, что неумытая и безграмотная, чеховская и бунинская Русь позволила себе роскошь иметь Чехова и Бунина и, более того, Скрябина, Врубеля и Блока".

В одном анекдоте рассказывается о поваре, который, обещая соорудить кушанье, предупреждал: "за вкус не ручаюсь, но горячо будет". Да простит нам тов. Левидов - но, читая приведённую тиражу, мы вспомнили весёлого кулинара. Рассуждения нашего автора, можно сказать, обжигают, но вкуса - никакого. О чём идёт речь? О культуре, т.-е. о той сумме всяческих благ, которыми располагает определённое общество в известный период своего развития. В капиталистическом обществе культура творится с помощью сил и средств поработённого большинства, поступают же культурные блага в распоряжение господствующего класса, класса-поработителя. Это - закон капиталистического общества. И то обстоятельство, что трудящееся большинство, творящее культуру, является ограбленным, от этой культуры

отстранённым, вызывает к жизни действие другого закона, *закона борьбы* ограбленного большинства за овладение этой культурой. Этическое и эстетическое негодование при созерцании социальных контрастов естественно, похвально, благородно, и так далее - ведь это же банальщина, о которой не стоит говорить, но откуда является "благородная" мысль о музее, о банке со спиртом, куда надо "сдать" культуру, о противоестественном "уродстве" именно русской культуры. Где, в какой капиталистической стране Мих. Левидов видел что-нибудь менее "противоестественное"? Всё это очень благородно, но совсем не логично. А т. Левидов обеими ногами стоит именно на этом своём открытии: все блага культуры были противоестественно напялены на голову мужика, и мужик, восстав, первым делом - опорком по культуре. Это даже не Иловайский. Или, если позволите, Иловайский, пришедший в забвение чувств - вероятно от избытка благородства.

Но прежде всего внесём несколько фактических поправок.

#### IV.

Приведя своё "образное" определение воздействия революции на культуру, - наш автор восклицает: "И это прекрасно". И это неправда - с сокрушением должны охладить мы его благородный пыл. Мы не хотим сейчас спорить о том, прекрасно или не прекрасно восстание народа против культуры вообще - эстетическая оценка несуществовавших событий является занятием по меньшей мере бесплодным. Потому-то нас удивляет не имеющий никаких оснований восторг Мих. Левидова. Внимая его патетическим тирадам, мы пожимаем плечами и спрашиваем с недоумением: "Что произошло с этим джентльменом? Ведь того обстоятельства, которое столь его восхитило, в природе не существовало. Восстание невежественного народа против Пушкина и Белинского, против театра и книгохранилищ - в нашей революции места не имело. Это - пустое измышление, мыльный пузырь, который не играет даже цветами радуги. И тов. Левидов не докажет нам обратного. Это, по его выражению, "твёрдый, брутальный факт", перед которым - хочет он того или не хочет - ему придётся снять шляпу.

А тов. Левидов не в шутку убеждён, что для первого знакомства наша революция "скинула" с себя культуру. Это, так сказать, революционная интродукция к симфонии "организованного упрощения", разыгрываемой нашим автором с тонким искусством барабанщика, насилующего скрипку. Что мы не приписываем т. Левидову утверждений, им не высказанных, можно видеть из прочих его рассуждений.

Перечислив имена Чехова, Бунина и других, - мы выше привели фразу, - т. Левидов заявляет, что только Блок "дожил до последней радости" - *восстания подлинной России против гобеленов, цилиндров и против него, Блока* (Курсив мой. Вяч. П.). Можно было бы, конечно, попытаться защитить т. Левидова от него самого. Можно предположить, что мысль его заключалась в том, что Россия восстала против несправедливого соотношения - автор, ведь, до глубины души, до "глубины души" возмущён противоестественным существованием культуры для немногих рядом с невежеством большинства. Но целесообразно ли брать на себя непрошенную защиту, тем более, что наш автор - не новичок в литературе, а, как он себя называет, "спец", - предупредил нас насчёт "отчужденности и недвусмысленности" своей терминологии. Нет, как хотите, читатель, а обижать т. Левидова я не берусь. Тем более, что он в других местах ещё более "отчеканивает" свою мысль.

Дальше он иллюстрирует её следующим образом: один из "ткачей гобеленов" (так Мих. Левидов обзывает Белинского) выразился: "На великое явление Петра наш народ через полтора года ответил не менее великим явлением Пушкина". К этому изречению "ткача гобеленов" Мих. Левидов, разумеется, относится неуважительно. Ещё бы: ведь,



Белинский - это именно то самое, что скинуто опорком с мужицкой головы. И изречению посрамлённого Белинского ещё не посрамлённый Мих. Левидов противопоставляет своё, Левидовское, изречение: "На великое явление Пушкина, т.-е. пышной культуры на гнилых стенах избы - народ ответил через сотню лет ещё более великим явлением военного коммунизма. Военный коммунизм был протестом, закономерным, социально необходимым, а потому и радостно-прогрессивным, против явления Пушкина в стране с 90% неграмотных". *Военный коммунизм - протест против Пушкина!* - вот до чего может договориться человек, страдающий избытком "благородных чувств" и недостатком логики... А логика - ревнивая дама; она жестоко мстит, когда ей изменяют.

## V.

На этих страницах мы не будем сейчас заниматься анализом понятия "культура". Но для ясности наметим, всё-таки, его общие контуры. От каждодневного языка, языка неточного, полного ложных формулировок ("солнце восходит и заходит" - хотя ничего подобного солнце не делает - и так далее), мы не можем, конечно, требовать точности выражений. Но когда мы сталкиваемся с автором, который берётся сообщить нам нечто оригинальное, который при этом предуведомляет нас насчёт "отчужденности" и "недвусмысленности" его терминологии, - мы вправе требовать ясности определений. Всякий спор в конце концов сводится к спору о понятиях. Взглянув открыт нам глаза на взаимодействие между культурой и революцией, он не потрудился - потому ли, что не захотел, или потому, что не сумел - дать "отчужденную" и "недвусмысленную" формулировку этого понятия. А не дав такой формулировки, он, разумеется, не мог вообще ничему нас поучать. Как можешь мы прояснить мозги ближнего своего, когда в голове у тебя сумбур? Тов. Левидов оперирует понятиями "культура материальная" и "культура духовная" - и этим обнаруживает своё не критическое отношение к словесному материалу, который ни в какой мере нельзя почитать "отчужденным". Ходячая терминология, делящая культуру на материальную и духовную никуда не годится, когда ею пытаются пользоваться в работе, претендующей на логическую обязательность. Мы не станем здесь подробно обосновывать наше положение, что культура есть понятие, включающее в себя *вообще* всевозможные достижения науки, искусства и техники. Всякое явление культуры, которое на обывательском языке называется "материальным", может быть с полным правом отнесено к явлениям культуры, называемым "духовными", и наоборот: любое явление "духовной" культуры есть вместе с тем и явление культуры "материальной". Попробуйте решить: к "материальной" или "духовной" культуре следует отнести изобретения Эдисона, радио-музыку или деятельности химика, изобретающего взрывчатую смесь.

Нам понятно, откуда возникло такое разделение культуры. Это - пережиток старого дуалистического воззрения на мир и на человека. "Бог" и "человек", "душа" и "тело", "материя" и "дух". Отсюда и вкоренилось: культура материальная (очевидно, собрание вещей) и культура духовная (некие сверхматериальные ценности). И так как обыватель, особенно если он ещё не освободился от страха божия, "дух" ставит выше грубой и пошлой "материи" ("царство небесное" и "царство земное"), - то он, а вслед за ним и т. Левидов (да и не один Левидов, заметим в скобках) ценности так называемой "духовной культуры" считает более "высокими", чем ценности низкой, плотской, "материальной" культуры. Наш автор обеими ногами стоит на почве дуалистического мировоззрения и пользуется обветшалыми, неточными, мёртвыми приёмами названия вещей. Но если даже мы согласимся на минуту, что есть культура материальная ("низкие ценности" - Эдисон) и культура духовная ("высокие ценности" - Белинский) и что вшивый мужик, освобождённый революцией, прежде всего разделался с "высокими" ценностями, скинув

их с своей головы, - то, ведь, фактическая история "восстания подлинной России" ещё не исчезла из нашей памяти. Совершив революцию, вшивый мужик прежде всего позаботился о "цилиндре": не опорками скинул его с головы, но заботливо поставил в самое безопасное место и страшную внимательность проявил к этому самому старому цилиндру. Отдельные случаи, когда "дырявился" Серов или крестьяне расколачивали помещичью усадьбу - в счёт не идут - мы, ведь, знаем, в чём здесь было дело. Именно в эпоху военного коммунизма, когда, по слову тов. Троцкого, во имя спасения трудящихся от порабощения, вся страна была "ограблена", чтобы одеть, накормить и вооружить Красную армию (вот что представляла из себя эпоха военного коммунизма, т. Левидов!) - в это самое время заботливо оберегались и пополнялись Эрмитаж и библиотеки, субсидировались театры и консерватории и создавались всяческие благоприятные условия для популяризации тех именно "высоких" ценностей, которые Мих. Левидов именуется "духовными". После октябрьской революции в интересах массового распространения был национализирован Пушкин, а вместе с ним и Белинский и прочие "ткачи гобеленов" 0 это факт, который могут отрицать лишь те люди, не только щеголяющие без "цилиндра", но не имеющие, к несчастью, и основания, на который можно "цилиндр" надеть. Другой вопрос: стоило ли популяризовать Пушкина. Допустим, что не стоило. Но, ведь он, всё-таки, *был популяризован*. А сейчас нас интересует установление именно этого обстоятельства. По терминологии Мих. Левидова, электричество - тоже "гобелен". Ведь в то самое время, когда во "вшивой" избе чадила лучина, - буржуазные дворцы освещались электрическими солнцами. И только революция поставила себе задачу электрифицировать деревню, т.-е. (будем говорить языком нашего автора) каждого мужика обрядить в "цилиндр" - культуру тож. Пусть укажет нам Мих. Левидов какую-нибудь область культуры, за исключением областей культурного декаданса, в которой революция не поставила бы своей целью сделать доступными народным массам все культурные достижения нашего времени. Революция делала совершенно обратное тому, что утверждает Мих. Левидов.

## VI.

Но дело, конечно, не в эмпирических неточностях, которые допускает наш автор. Эти неточности явились следствием некоторых органических пороков его идеологического подхода к вопросу - а в этом всё дело.

Тов. Левидов с запозданием, примерно, на два поколения почувствовал вдруг эстетическое несоответствие между культурным существованием "немногих" и некультурным существованием большинства. Это ощущение само по себе похвально - но беда т. Левидова в том, что этическая и эстетическая точки зрения являются его методологическим пунктом. А это значит, что вся его методология никуда не годится. В истории нашей интеллигенции этические и эстетические резиньяции сыграли в своё время большую и полезную роль. Такие резиньяции были постоянным элементом в интеллигентских идеологиях, рождённых по преимуществу дворянской средой. Выходцы же из народных низов не воспринимали социальных контрастов "этически" или "эстетически". Они воспринимали их *революционно*. "Все блага культуры добыты *нашим*, рабочим, потом и кровью - рассуждал, примерно, передовой рабочий. - Великолепное здание культуры построено на *наших* плечах. Но это здание захвачено нашими врагами, экспроприаторами нашего труда. Мы должны его завоевать, сделать *нашим*" (но ни в коем случае не "опорками" по этому зданию: оно слишком дорого стоило "вшивым" мужикам). А вот какой-нибудь кающийся дворянин, помещичий сын или сантиментальный интеллигент - эти обязательно декламировали: "как неэстетично! о, как это безнравственно!". К таким резиньяциям в отдельных случаях присоединялись и более

основательные мотивы, явившиеся результатами не наблюдения *поверхности* явлений, а глубокого изучения самого *механизма* их создания и исторически-закономерного их развития в сторону овладения трудящимися большинством всех благ культуры. Такие дворяне и разночинцы делались революционерами и боролись против социального контраста, но никогда не боролись против культуры вообще, за всеобщее так сказать поравнение в невежестве и нищете, а всегда за всеобщность, за демократизацию культуры. Именно здесь, в этом стремлении разрушить не самую культуру, а лишь привилегию немногих на её обладание - и заложен пафос революции.

Лишь однажды в произведении одного парадоксального и беспутного русского писателя прозвучала нота, которая ныне запоздало вибрирует в размышлениях т. Левидова. Читатель помнит, конечно, заключительные аккорды рассказа Леонида Андреева "Тьма":

"Зрячие, - возглашает "революционер" Леонида Андреева: - выколем себе глаза, ибо стыдно - он стукнул кулаком по столику, - ибо стыдно зрячим смотреть на слепых от рождениям. Если нашим фонарикам не можем осветить всю тьму, так погасим же огни и полезем в тьму. Если нет рая для всех, то и для меня его не надо - это уже не рай девицы, а просто-на-просто свинство. Выпьем за то девицы, чтоб все огни погасли. Пей, темнота".

О, разумеется, т. Левидов не произнесёт такого ужасного тоста. Но это потому, что у интеллигента из рассказа "Тьма" были последовательность и мужество, а у автора разбираемой статьи ни того, ни другого не имеется. Но отсутствие логики характерно для них обоих.

"Оскорбительно социально и эстетически, - декламирует Мих. Левидов, - для народа быть удобрением, в котором так нуждаются цветы культуры для немногих. Оскорбительно быть аморфным моллюском, дающим жизнь жемчужине. Быть опытным полем для художественно эстетических опытов и достижений, материалом для оранжереи. Парником". - То есть просто удивительно, до чего всё это великолепно! В полном смысле губит человека его благородство. Вы подумайте только, о чём здесь речь: "*Оскорбительно быть парником*". Кому оскорбительно? - Левидову или парнику? Если оскорбительно Левидову, то нам на [*Так в тексте - Т. М.*] совсем понятна его щепетильность. Если же наш автор говорит с точки зрения *парника*, и не ему, Левидову, а парнику *оскорбительно быть парником*, то и в последнем случае мы разведём руками от недоумения: вот ведь до каких "столпов" может довести езда на эстетическом Росинанте! Ведь если бы т. Левидов продолжил ряд примеров, он с одинаковым успехом мог быть скандировать: о, как оскорбительно быть ржаным полем и производить хлеб! о, как оскорбительно социально и эстетически быть курицей и нести яйца! - и многое множество подобных остроумных вещей мог бы наговорить нам т. Левидов, если бы он умел быть последовательным.

Правда, до "парника" договорился он начав с "народа", которому "оскорбительно" быть удобрением для культуры [**Подстрочное примечание:** Здесь мы отметим лишний логический грех т. Левидова: народ-парник-моллюск.] Но мы уже заметили выше, в чём ошибочность такого подхода к положению народа, эксплуатируемого господствующими классами. Этическая и эстетическая точки зрения здесь бесплодны и ненужны. Вот эти именно "точки зрения" восстание подлинной России и сдало в архив, выкинуло из головы. И, восстав, Россия не уподобилась Андреевскому герою, как то хочет показать тов. Левидов. После своего замечательного "парника" он продолжает: "Полтора года после Петра - один Пушкин. И 90% безграмотных. Ещё сто лет - Врубель, Скрябин и Блок и 70% безграмотных. Нет, довольно! Противоестественное уродство надо прекратить! Вопиющему уродству не должно быть более места! Банку музейную, где в поту, слезах и крови, - как лебедь, горделивая и бесснежная, - плавала безмятежно культура - нужно разбить".

Невероятно, читатель? Удостоверьтесь. Чем не Леонид Андреев? И вслед за этим робким переложением (не можем предоставить т. Левидову патента на оригинальность) наш автор с самодовольством, которому нельзя не завидовать, заявляет:

"Так обосновывается эстетически наш лозунг: да здравствует уничтожение уродства, да здравствует революция, как организованное упрощение культуры".

Нечего сказать: хорошее обоснование!

## VII.

Спешим, впрочем, успокоить читателя: культура в безопасности. Столь победоносно "обосновав" свой тезис, Мих. Левидов начинает в спешном беспорядке отступление по всей линии.

Оказывается: "в области духовного быта упрощающее воздействие революции выявляется в первую очередь в подлинном уничтожении"... - культуры? - ничего подобного: "...в подлинном уничтожении некоторых, подчёркнуто тепличных отраслей культуры". Только-то?! А как же насчёт парника, которому оскорбительно? А на счёт "цилиндров" и "гобеленов"? Двух страниц было достаточно нашему автору, чтобы пере забыть всё, что говорил он ранее. Нисколько не меняя своего "вразумительного" тона, он продолжает: "Это не значит, конечно, удар по Блоку и по гобеленам. Это значит только удар по той среде, тем группам, которые производили и потребляли Блоков и гобелены". Таковы выводы, которые делает Мих. Левидов из своих собственных посылок. Если *это* логика, я не знаю, что такое абракадабра...

Длинной речи краткий смысл заключается в следующем: "организованное упрощение - это означает, во-первых, отведение минимального места в комплексе ценностей духовного быта - ценностям *высшей* (курсив той. Вяч. П.) расценки - литературе, поэзии, театру, живописи, музыке, т.-е. в совокупности своей - искусству, и, во-вторых, максимальное удешевление этих ценностей".

Вот из-за этого самого и городил огород (парники! моллюски! лебеди!) Мих. Левидов. Мысль, как видим, действительно "элементарная". Но элементарность мысли нисколько не гарантирует её доброкачественность. И в своём упрощённом и элементарном виде она неверна насквозь.

Прежде всего: начав разговаривать о "культуре" вообще, Мих. Левидов свёл разговор на одну отрасль - искусство. "Тезис" его изменяется таким образом: революция есть организованное упрощение искусства. Происходит это потому, что революция отводит *минимальное* место ценностям *высшей* расценки. Но откуда Мих. Левидов взял, что революция отводит ценностям искусства *минимальное* место, это, во-первых, а во-вторых, как возникло его утверждение, будто поэзия, театр, живопись являются в культурном обиходе ценностями *высшей* расценки? Тот факт, что наша комнатная, эстетствовавшая интеллигенция, оторванная от подлинного творчества жизни, жила в ограниченном мире этих ценностей, не даёт ей никаких оснований почитать эти ценности *самыми высокими*. Мих. Левидов оказался в плену интеллигентского эстетства. Если вообще говорить об относительном весе культурных ценностей, то можно взвешивать, скажем, Пушкина и Пастернака, как ценности одного порядка и решать: кто выше - Пушкин или Пастернак. Но "сравнивать" Пушкина и Рамзая, Врубеля и Дарвина нельзя - ибо это ценности несоизмеримые, но одинаково "высокие" в общем творчестве культуры.

Это наше первое замечание. Вторым будет следующее?: Мих. Левидов повторяет в иной форме те стоны, которые несутся из среды нашей старой, сходящей со сцены интеллигенции. Эта интеллигенция, чуждая и враждебная революции, с отчаянием взирает на то, что происходит сейчас в России. Всё, чем она жила, всё, что почитала она высочайшими ценностями - ныне потеряло в глазах новой России всякий приоритет. Это не значит, что ценностям этим грозит гибель. Это не значит также, будто ценностям этим грозит гибель. Это значит только, что они теряют своё право первородства, что наше общество освобождается от навязанного ему интеллигенцией фетишизма по

отношению к продуктам творчества этой профессиональной группы. Эти ценности попросту находят своё подлинное место в новом культурном обиходе, не ниже, но и не выше других. И психологически понятно, что, видя свои ценности разжалованными в ряды ценностей необходимых, но рядовых эта старая интеллигенция, не забывшая ещё своих претензий на руководство, учительство и т. п., обвиняет новую Россию в разрушении культуры. Мих. Левидов в этом вопросе не с нами, людьми сегодняшнего дня, а с ними, людьми дня вчерашнего. Он пользуется их оценками, формулу, выдвинутую ими, он объявляет "объективно правдивой" (но "субъективно ложной", - предупреждает он - нам не совсем ясно, в чём здесь дело), хотя и отличается от них весёлостью нрава: они плачут, он радуется. Но если вопрос по существу, то нам станет ясно, что "уходящие" интеллигенты и прогуливающийся Мих. Левидов - одного поля ягода.

Вот как *практически* "обосновывает" Мих. Левидов свой тезис. "Не Белинского и Гоголя должен мужик с базара принести, а популярное руководство по травосеянию. Не стихосложению надо обучать рабфаковца, вне обычного его курса, а стенографии. Не театральные студии надо открывать в деревне, а студии скотоводства". На первый взгляд это кажется резонным. В самом деле: нужна ли свердловцу студия по стихосложению, когда страна стонет от недостатка скота? Для чего мужику тащить с базара "Белинского", когда он не знаком с усовершенствованными способами травосеяния? И выходит так: "долой Белинского, да здравствует скотоводство". А как докажешь т. Левидову, что по сравнению с скотоводством литература и искусство - ценности не высшего порядка. Скотоводство вытесняет творчество искусства! Ясное дело: зарубежные плакальщики правы кругом.

Но в том-то и дело, что, рассуждая столь здраво, т. Левидов грешит против здравого смысла. Он самый вопрос ставит именно так, как могут ставить люди из-за рубежа: *или Белинский, или скотоводство*. Пусть он нам докажет, что так именно вопрос стоит у нас, что так именно его ставить надо, - мы сложим оружие. Но доказать нам этого он не сумеет, ибо вопрос так не стоит, и стоять не может.

Если бы, скажем, в Госплане, мы обсуждали очередной бюджет государства, то мог возникнуть такой вопрос: в состоянии ли государство на текущий год ассигновать средства на содержание театральных и прочих студий в размере, превышающем размеры ассигнований на развитие сельского хозяйства? И вопрос, вероятно, решён был бы (при протесте Наркомпроса) в том смысле, что кредиты на искусство урезать, а на скотоводство увеличить. Но если бы даже Госплан состоял из одних скотоводов, которую в силу, так сказать, патриотизма, скотоводство, в пику т. Левидову, объявили бы "высшей" ценностью, то, и с таком случае, исключительно скотоводческий Госплан не вычеркнул бы начисто кредитов на студии по изучению искусства. Ему это не позволили бы сделать, потому что такая точка зрения чужда пролетарской революции. А т. Левидов так именно вопрос и ставит: Белинского не заменить [*Так в тексте - Т. М.*] руководством по травосеянию, ибо мужику Белинский е нужен, а сено ему необходимо. В свердловском университете *взамен поэтики* обучать стенографии. Другими словами: если бы товарищу Левидову поручили организовать бюджет нашего государства, он стал бы выполнять ту программу "организованного упрощения" культуры, которую навязывают нам белогвардейские печальники культуры и которую ни в каком случае не намеревались выполнять мы, коммунисты.

Если бы переутонченному, до краев переполненному всякими "высокими" ценностями интеллигенту задали вопрос:

- Вы какую студию предпочитаете: театральную или по скотоводству? -

Насквозь протейтеатризованный интеллигент, который без репетиций может сыграть Хлестакова и с закрытыми глазами отшлёпать фокс-тротт - без запинки ответит:

- конечно, по скотоводству -

ибо это будет как раз то, чего ему не хватает.

Но если тот же вопрос мы зададим рабочему или крестьянину, - ответ получит, примерно, следующий:

- Оно, конечно, студия по скотоводству нам очень полезна, но нельзя ли так, чтобы и по театру?

И последняя постановка вопроса будет "нашей", правильной, именно той постановкой, какой не хочет видеть Мих. Левидов. А при такой постановке не может быть и речи о замене Белинского руководством по травосеянию. Это так элементарно, что не хочется даже и говорить более подробно.

### VIII.

В "тезисе" Левидова явно слышен запах презрительного отношения буржуазного сноба к так называемой "мужицкой" способности творить культуру. Какая там культура, когда "творец" ничего в этом деле не понимает. Зачем ему, лохматому, Пушкин! Он в Пушкине ни уха ни рыла не смыслит. Дать ему в зубы учебник, как разводить свиней - хватит с него! От такого сноба Левидов отличается разве тем, что ему это даже нравится: - свиноводство, так свиноводство! - он с лёгким сердцем может повернуться задом к "Белинскому". Но это говорит лишь о том, что очень неглубокие корни в его сознании пустили те "высокие" ценности, которые "образно" определил он в виде "тончайших гобеленов". Что ему Гекуба? И он махнул на неё рукой, всерьёз поверив, будто в Р.С.Ф.С.Р. культурное творчество предположено ограничить постройкой просторных конюшен.

Отметим ещё один штрих в рассуждениях нашего автора. Он отводит литературе и искусству в культурном обиходе будущего (правда, только лет на пятьдесят. Почему?) место "развлечения". Разве "нэп" дочиста проглотит нас без остатка и кроме нэпа ничего в мире не останется? Ведь "развлечение" - это истинно-нэповская точка зрения. Это именно то, чего жаждет упитанный обыватель. Это именно та черта, которая характеризует буржуазное, наслажденское, гурманское отношение "покупателей" к "высоким" ценностям "духовной" культуры. Место ли пустого развлечения предназначаем мы искусству в культурном обиходе будущего? Мы хотим весь мир превратить в произведение искусства, а т. Левидов полагает, что это будет мюзик-холл. И столь неосторожно обнажив корни своих умозаключений, Мих. Левидов с укоризной бросает в сторону "серапионов": "подлинные дети нэпа". Над кем смеетесь?

Беда Левидова в том, что он не сумел охватить всей сложности вопроса, о котором взялся нас поучать. Не сумел же сделать этого потому, что оказался в крепком плену буржуазных воззрений на культуру, как на собрание вещей разной ценности, при чем более "высокими" оказались те самые, из которых буржуазия извлекала "эстетические" наслаждения. Но культура - не собрание вещей, не эрмитаж и не библиотека, не поэзия и не беллетристика, это - многосторонний творческий процесс с возникающими и разрешающимися внутри него противоречиями, процесс, непрерывно идущий вперёд. Этот процесс можно правильно понять только в его движении, в диалектическом столкновении и примирении его противоречий. В отсутствии такого подхода к пониманию культуры коренятся все ошибки и промахи Мих. Левидова. Временное он принимает за постоянное, видимую грань предмета считает за самый предмет. Потому-то среди отдельных отраслей культуры он оказался в положении пошехонца, не сумевшего связать концов с концами. На одной странице он прокламировал революцию восстанием против культуры вообще, на следующей объявил, что никакого восстания не было; дальше оказалось, что дело идёт не о культуре, а лишь об искусстве, при чем на поверку выяснилось, что и против искусства никто не восставал, но что полезно завести студии по скотоводству, бросить в печку Белинского и заняться случкой.

Отрицание старой культуры он понимает не как "преодоление" её, а как уничтожение вчерашнего дня, совершенно не подозревая, что в культурном синтезе завтрашнего дня будет "примерено" сегодняшнее отрицание культуры посредством возведения её на более высокую ступень совершенства, т. е. в сторону организованного усложнения, обогащения, расширения и углубления. "Отрицание" коммунистами старой буржуазной культуры он понял превратно, и, как это частенько бывает с неопитами, перепрыгнул через лошадь, желая сесть на неё верхом. Буржуазный до кончиков ногтей, он предстал нам в великолепной позе ликвидатора "высоких" ценностей буржуазной культуры, провозгласив: "скотоводство выше Белинского и да здравствует скотоводство", как высшую ценность новой, коммунистической, революционной культуры. Будущая культура представляется ему в упрощённом, элементаризованном, приспособленной для "бедных" виде - куда уж нам мечтать о достижениях, подобных "высочайшим" достижениям великолепного прошлого!

Будет ли "будущая" культура, ныне творимая в советской России, по сравнению с старой культурной буржуазией - более простой, менее красочной, менее богатой теми ценностями, которые Мих. Левидов именует "высокими"?

Процесс культурного развития движется двумя путями: путём расширения, путём вовлечения в поле своего влияния всё более широких масс - это путь, так сказать, экстенсификации культуры. Рядом с нами, следом за ним, вместе с ним происходит углубление культурной работы, интенсификация её. Когда один из этих путей закрывается, она становится обречённой. Это именно и произошло с культурой буржуазии, которая в силу положения охранителя классового своего господства не могла не препятствовать экстенсификации культуры, ибо культура - могучее орудие борьбы и защиты. Вся работа буржуазии ушла в "углубление", превратившись в "переутончённость", "рафинированность", "снобизм", культурное вырождение. Из явления всечеловеческого, каким культура должна быть, она превратилась в достояние господствующего класса, в частную собственность, в собрание вещей, пользование которыми оказалось ограниченным. И революция, разгромив класс, присвоивший себе монополию на творчество и пользование культурными благами, прежде всего разрушает обособленность культуры, из монополии немногих превращая её в достояние всех. Это первый шаг, который сделал революция: она разлила культуру по широчайшим пространствам нашей республики - и это было величайшей победой, величайшим завоеванием мирового прогресса, ибо основным условием, обеспечивающим дальнейший рост культуры в глубину и высоту.

Мих. Левидов презрительно "фыркает" на Гершензона. Но пусть он внимательно перечитает те "письма", которые из своего "угла" посылал Вячеславу Иванову этот старый идеалист - он встретит в них много такого, что в форме, далёкой от совершенства, обретается на его собственных страницах. Левидов, как и Гершензон, "отказывается" от старой культуры. Но Гершензон знает, что сделать это "просто" - нельзя. Он мечтает "окунуться" в Лету, чтобы выйти из неё молодым, освежённым, наивным варваром. Тов. Левидову купаться в холодных струях не улыбается, ибо он полагает, что варваром "обернуться" очень не трудно, стоит лишь захотеть. Что ж! Не станем спорить. Тов. Левидову такое предприятие удалось без особого труда, с той лишь оговоркой, что он остался прежним буржуазным интеллигентом, только без "шёлкового цилиндра" культуры.

## **И. БУНИН. МИССИЯ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ<sup>23</sup>**

---

<sup>23</sup> Печатается по: Бунин И. Миссия русской эмиграции// <http://bunin.niv.ru/bunin/bio/missiya-emigracii.htm>

(Речь, произнесенная в Париже 16 февраля 1924 года)

Соотечественники.

Наш вечер посвящен беседе о миссии русской эмиграции.

Мы эмигранты,- слово "emigrer" к нам подходит, как нельзя более. Мы в огромном большинстве своем не изгнанники, а именно эмигранты, то есть люди, добровольно покинувшие родину. Миссия же наша связана с причинами, в силу которых мы покинули ее. Эти причины на первый взгляд разнообразны, но в сущности сводятся к одному; к тому, что мы так или иначе не приняли жизни, воцарившейся с некоторых пор в России, были в том или ином несогласии, в той или иной борьбе с этой жизнью и, убедившись, что дальнейшее сопротивление наше грозит нам лишь бесплодной, бессмысленной гибелью, ушли на чужбину.

Миссия - это звучит возвышенно. Но мы взяли и это слово вполне сознательно, памятуя его точный смысл. Во французских толковых словарях сказано: "миссия есть власть (pouvoir), данная делегату идти делать что-нибудь". А делегат означает лицо, на котором лежит поручение действовать от чьего-нибудь имени. Можно ли употреблять такие почти торжественные слова в применении к нам? Можно ли говорить, что мы чьи-то делегаты, на которых возложено некое поручение, что мы представляем за кого-то? Цель нашего вечера - напомнить, что не только можно, но и должно. Некоторые из нас глубоко устали и, быть может, готовы, под разными злостными влияниями, разочароваться в том деле, которому они так или иначе служили, готовы назвать свое пребывание на чужбине никчемным и даже зазорным. Наша цель - твердо сказать: подымите голову! Миссия, именно миссия, тяжкая, но и высокая, возложена судьбой на нас.

Нас, рассеянных по миру, около трех миллионов. Исключите из этого громадного числа десятки и даже сотни тысяч попавших в эмигрантский поток уже совсем несознательно, совсем случайно; исключите тех, которые, будучи противниками (вернее, соперниками) нынешних владык России, суть, однако, их кровные братья; исключите их пособников, в нашей среде пребывающих с целью позорить нас перед лицом чужеземцев и разлагать нас: останется все-таки нечто такое, что даже одной своей численностью говорит о страшной важности событий, русскую эмиграцию создавших, и дает полное право пользоваться высоким языком. Но численность наша еще далеко не все. Есть еще нечто, что присваивает нам некое назначение. Ибо это нечто заключается в том, что поистине мы некий грозный знак миру и посильные борцы за вечные, божественные основы человеческого существования, ныне не только в России, но и всюду пошатнувшиеся.

Если бы даже наш исход из России был только инстинктивным протестом против душегубства и разрушительства, воцарившегося там, то и тогда нужно было бы сказать, что легла на нас миссия некоего указания: "Взгляни, мир, на этот великий исход и осмысли его значение. Вот перед тобой миллион из числа лучших русских душ, свидетельствующих, что далеко не вся Россия приемлет власть, низость и злодеяния ее захватчиков; перед тобой миллион душ, облаченных в глубочайший траур, душ, коим было дано видеть гибель и срам одного из самых могущественных земных царств и знать, что это царство есть плоть и кровь их, дано было оставить дома и гробы отчие, часто поруганные, оплакать горчайшими слезами тысячи и тысячи безвинно убиенных и замученных, лишиться всякого человеческого благополучия, испытать врага столь подлого и свирепого, что нет имени его подлости и свирепству, мучиться всеми казнями

---



египетскими в своем отступлении перед ним, воспринять все мыслимые унижения и заушения на путях чужеземного скитальчества: взгляни, мир, и знай, что пишется в твоих летописях одна из самых черных и, быть может, роковых для тебя страниц!"

Так было бы, говорю я, если бы мы были просто огромной массой беженцев, только одним своим наличием вопиющих против содеянного в России,- были, по прекрасному выражению одного русского писателя, ивиковыми журавлями, разлетевшимися по всему поднебесью, чтобы свидетельствовать против московских убийц. Однако это не все: русская эмиграция имеет право сказать о себе гораздо больше. Сотни тысяч из нашей среды восстали вполне сознательно и действительно против врага, ныне столицу свою имеющего в России, но притязующего на мировое владычество, сотни тысяч противоборствовали ему всячески, в полную меру своих сил, многими смертями запечатлели свое противоборство - и еще неизвестно, что было бы в Европе, если бы не было этого противоборства. В чем наша миссия, чьи мы делегаты? От чьего имени дано нам действовать и представлять? Поистине действовали мы, несмотря на все наши человеческие падения и слабости, от имени нашего Божеского образа и подобия. И еще - от имени России: не той, что предала Христа за тридцать сребренников, за разрешение на грабеж и убийство и погрязла в мерзости всяческих злодеяний и всяческой нравственной проказы, а России другой, подъяремной, страждущей, но все же до конца не покоренной. Мир отвернулся от этой страждущей России, он только порою уподоблялся тому римскому солдату, который поднес к устам Распятого губку с уксусом. Европа мгновенно задавила большевизм в Венгрии, не пускает Габсбургов в Австрию, Вильгельма в Германию. Но когда дело идет о России, она тотчас вспоминает правило о невмешательстве во внутренние дела соседа и спокойно смотрит на русские "внутренние дела", то есть на шестилетний погром, длящийся в России, и вот дошла даже до того, что узаконяет этот погром. И вновь, и вновь исполнилось таким образом слово Писания: "Вот выйдут семь коров тощих и пожрут семь коров тучных, сами же от того не станут тучнее... Вот темнота покроет землю и мрак - народы... И лицо поколения будет собачье..." Но тем важнее миссия русской эмиграции.

Что произошло? Произошло великое падение России, а вместе с тем и вообще падение человека. Падение России ничем не оправдывается. Неизбежна была русская революция или нет? Никакой неизбежности, конечно, не было, ибо, несмотря на все эти недостатки, Россия цвела, росла, со сказочной быстротой развивалась и видоизменялась во всех отношениях. Революция, говорят, была неизбежна, ибо народ жаждал земли и таил ненависть к своему бывшему господину и вообще к господам. Но почему же эта будто бы неизбежная революция не коснулась, например, Польши, Литвы? Или там не было барина, нет недостатка в земле и вообще всяческого неравенства? И по какой причине участвовала в революции и во всех ее зверствах Сибирь с ее допотопным обилием крепостных уз? Нет, неизбежности не было, а дело было все-таки сделано, и как и под каким знаменем? Сделано оно было ужасающе и знамя их было и есть интернациональное, то есть претендующее быть знаменем всех наций и дать миру, взамен синайских скрижалей и Нагорной проповеди, взамен древних божеских уставов, нечто новое и дьявольское. Была Россия, был великий, ломившийся от всякого скарба дом, населенный огромным и во всех смыслах могучим семейством, созданный благословенными трудами многих и многих поколений, освященный богопочитанием, памятью о прошлом и всем тем, что называется культом и культурой. Что же с ним сделали? Заплатили за свержение домоправителя полным разгромом буквально всего дома и неслышанным братоубийством, всем тем кошмарно-кровавым балаганом, чудовищные последствия которого неисчислимы и, быть может, вовеки непоправимы. И кошмар этот, повторяю, тем ужаснее, что он даже всячески прославляется, возводится в перл создания и годами длится при полном

попустительстве всего мира, который уж давно должен был бы крестовым походом идти на Москву.

Что произошло? Как не безумна была революция во время великой войны, огромное число будущих белых ратников и эмигрантов приняло ее. Новый домоправитель оказался ужасным по своей всяческой негодности, однако чуть не все мы грудью защищали его. Но Россия, поджигаемая "планетарным" злодеем, возводящим разнузданную власть черни и все самые низкие свойства ее истинно в религию, Россия уже сошла с ума,- сам министр-президент на московском совещании в августе 17 года заявил, что уже зарегистрировано,- только зарегистрировано! - десять тысяч зверских и бессмысленных народных "самосудов". А что было затем? Было величайшее в мире попрание и бесчестие всех основ человеческого существования, начавшегося с убийства Духонина и "похабного мира" в Бресте и докатившееся до людоедства. Планетарный же злодей, осененный знаменем с издевательским призывом к свободе, братству и равенству, высоко сидел на шее русского дикаря и весь мир призывал в грязь топтать совесть, стыд, любовь, милосердие, в прах дробить скрижали Моисея и Христа, ставить памятники Иуде и Каину, учить "Семь заповедей Ленина". И дикарь все дробил, все топтал и даже дерзнул на то, чего ужаснулся бы сам дьявол: он вторгся в самые Святая святых своей родины, в место страшного и благословенного таинства, где века почивал величайший Зиждитель и Заступник ее, коснулся раки Преподобного Сергия, гроба, перед коим веками повергались целые сонмы русских душ в самые высокие мгновения их земного существования. Боже, и это вот к этому самому дикарю должен я идти на поклон и служение? Это он будет державным хозяином всея новой Руси, осуществившим свои "заветные чаяния" за счет соседа, зарезанного им из-за полдесятины лишней "земельки"? В прошлом году, читая лекцию в Сорбонне, я приводил слова великого русского историка, Ключевского: "Конец русскому государству будет тогда, когда разрушатся наши нравственные основы, когда погаснут лампы над гробницей Сергия Преподобного и закроются врата Его Лавры". Великие слова, ныне ставшие ужасными! Основы разрушены, врата закрыты и лампы погашены. Но без этих лампад не бывать русской земле - и нельзя, преступно служить ее тьме.

Да, колеблются устои всего мира, и уже представляется возможным, что мир не двинулся бы с места, если бы развернулось красное знамя даже и над Иерусалимом и был бы выкинут самый Гроб Господень: ведь московский Антихрист уже мечтает о своем узаконении даже самим римским наместником Христа. Мир одержим еще небывалой жадной корысти и равнением на толпу, снова уподобляется Тиру и Сидону, Содому и Гоморе. Тир и Сидон ради торгашества ничем не побрезгуют. Содом и Гомора ради похоти ни в чем не постесняются. Все растущая в числе и все выше поднимающая голову толпа сгорает от страсти к наслаждению, от зависти ко всякому наслаждающемуся. И одни (жаждущие покупателя) ослепляют ее блеском мирового базара, другие (жаждущие власти) разжиганием ее зависти. Как приобрести власть над толпой, как прославиться на весь Тир, на всю Гомору, как войти в бывший царский дворец или хотя бы увенчаться венцом борца якобы за благо народа? Надо дурачить толпу, а иногда даже и самого себя, свою совесть, надо покупать расположение толпы угодничеством ей. И вот образовалось в мире уже целое полчище провозвестников "новой" жизни, взявших мировую привилегию, концессию на предмет устройства человеческого блага, будто бы всеобщего и будто бы равного. Образовалась целая армия профессионалов по этому делу - тысячи членов всяческих социальных партий, тысячи трибунов, из коих и выходят все те, что в конце концов так или иначе прославляются и возвышаются. Но, чтобы достигнуть всего этого, надобна, повторяю, великая ложь, великое угодничество, устройство волнений, революций, надо от времени до времени по колено ходить в крови. Главное же надо лишить толпу "опиума религии", дать вместо Бога идола в виде тельца, то есть, проще говоря, скота. Пугачев! Что мог сделать Пугачев? Вот "планетарный" скот-другое дело.

Выродок, нравственный идиот от рождения, Ленин явил миру как раз в самый разгар своей деятельности нечто чудовищное, потрясающее; он разорил величайшую в мире страну и убил несколько миллионов человек - и все-таки мир уже настолько сошел с ума, что среди бела дня спорят, благодетель он человечества или нет? На своем кровавом престоле он стоял уже на четвереньках; когда английские фотографы снимали его, он поминутно высовывал язык: ничего не значит, спорят! Сам Семашко брякнул сдуру во всеуслышание, что в черепе этого нового Навуходносора нашли зеленую жижу вместо мозга; на смертном столе, в своем красном гробу, он лежал, как пишут в газетах, с ужаснейшей гримасой на серо-желтом лице: ничего не значит, спорят! А соратники его, так те прямо пишут: "Умер новый бог, создатель Нового Мира, Демиург!" Московские поэты, эти содержанцы московской красной блудницы, будто бы родящие новую русскую поэзию, уже давно пели:

Иисуса на крест, а Варраву -  
Под руки и по Тверскому...  
Кометой по миру вытяну язык,  
До Египта раскорячу ноги...  
Богу выщиплю бороду,  
Молюсь ему матерщиной...

И если все это соединить в одно - и эту матерщину и шестилетнюю державу бешеного и хитрого маньяка и его высовывающийся язык и его красный гроб и то, что Эйфелева башня принимает радио о похоронах уже не просто Ленина, а нового Демиурга и о том, что Град Святого Петра переименовывается в Ленинград, то охватывает поистине библейский страх не только за Россию, но и за Европу: ведь ноги-то раскорячиваются действительно очень далеко и очень смело. В свое время непременно падет на все это Божий гнев,- так всегда бывало. "Се Аз встану на тя, Тир и Сидон, и низведу тя в пучину моря..." И на Содом и Гомору, на все эти Ленинграды падает огонь и сера, а Сион, Божий Град Мира, пребудет вовеки. Но что же делать сейчас, что делать человеку вот этого дня и часа, русскому эмигранту?

Миссия русской эмиграции, доказавшей своим исходом из России и своей борьбой, своими ледяными походами, что она не только за страх, но и за совесть не приемлет Ленинских градов, Ленинских заповедей, миссия эта заключается ныне в продолжении этого неприятия. "Они хотят, чтобы реки текли вспять, не хотят признать совершившегося!" Нет, не так, мы хотим не обратного, а только иного течения. Мы не отрицаем факта, а расцениваем его,- это наше право и даже наш долг,- и расцениваем с точки зрения не партийной, не политической, а человеческой, религиозной. "Они не хотят ради России претерпеть большевика!" Да, не хотим - можно было претерпеть ставку Батыя, но Ленинград нельзя претерпеть. "Они не прислушиваются к голосу России!" Опять не так: мы очень прислушиваемся и - ясно слышим все еще тот же и все еще преобладающий голос хама, хищника и комсомольца да глухие вздохи. Знаю, многие уже сдались, многие пали, а сдадутся и падут еще тысячи и тысячи. Но все равно: останутся и такие, что не сдадутся никогда. И пребудут в верности заповедям Синайским и Галилейским, а не планетарной матерщине, хотя бы и одобренной самим Макдональдом. Пребудут в любви к России Сергия Преподобного, а не той, что распевала: "Ах, ах, тра-та-та, без креста!" и будто бы мистически пылала во имя какого-то будущего, вящего воссияния. Пылала! Не пора ли оставить эту бессердечную и жульническую игру словами, эту политическую риторику, эти литературные пошлости? Не велика радость пылать в сыпном тифу или под пощечинами чекиста! Целые города рыдали и целовали землю, когда их освобождали от этого пылания. "Народ не принял белых..." Что же, если это так, то это только лишнее доказательство глубокого падения народа. Но, слава Богу, это не

совсем так: не принимали хулиган, да жадная гадина, боявшаяся, что у нее отнимут назад ворованное и грабленное.

Россия! Кто смеет учить меня любви к ней? Один из недавних русских беженцев рассказывает, между прочим, в своих записках о тех забавах, которым предавались в одном местечке красноармейцы, как они убили однажды какого-то нищего старика (по их подозрениям, богатого), жившего в своей хибарке совсем одиноко, с одной худой собачонкой. Ах, говорится в записках, как ужасно металась и выла эта собачонка вокруг трупа и какую лютую ненависть приобрела она после этого ко всем красноармейцам: лишь только завидит вдали красноармейскую шинель, тотчас же вихрем несется, захлебывается от яростного лая! Я прочел это с ужасом и восторгом, и вот молю Бога, чтобы Он до моего последнего издыхания продлил во мне подобную же собачью святую ненависть к русскому Каину. А моя любовь к русскому Авелю не нуждается даже в молитвах о поддержании ее. Пусть не всегда были подобны горнему снегу одежды белого ратника,- да святится вовеки его память! Под триумфальными воротами галльской доблести неугасимо пылает жаркое пламя над гробом безвестного солдата. В дикой и ныне мертвой русской степи, где почит белый ратник, тьма и пустота. Но знает Господь, что творит. Где те ворота, где то пламя, что были бы достойны этой могилы. Ибо там гроб Христовой России. И только ей одной поклонюсь я, в день, когда Ангел отвалит камень от гроба ее.

Будем же ждать этого дня. А до того, да будет нашей миссией не сдаваться ни соблазнам, ни окрикам. Это глубоко важно и вообще для несправедливого времени сего, и для будущих праведных путей самой же России.

А кроме того, есть еще нечто, что гораздо больше даже и России и особенно ее материальных интересов. Это - мой Бог и моя душа. "Ради самого Иерусалима не отрекись от Господа!" Верный еврей ни для каких благ не отступится от веры отцов. Святой Князь Михаил Черниговский шел в Орду для России; но и для нее не согласился он поклониться идолам в ханской ставке, а избрал мученическую смерть.

Говорили - скорбно и трогательно - говорили на древней Руси: "Подождем, православные, когда Бог переменит орду".

Давайте подождем и мы. Подождем соглашаться на новый "похабный" мир с нынешней ордой.

Париж, 29 марта 1924 г. Ив. БУНИН

## ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

### А.К. ВОРОНСКИЙ<sup>24</sup>. ЛИТЕРАТУРНЫЕ СИЛУЭТЫ<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> *Воронский Александр Константинович* (1884--1943) -- публицист, литературный критик, писатель-прозаик, редактор. Участник революционного движения в России; с 1904 -- член партии большевиков. В 1918--1921 редактировал газету "Рабочий край" (Иваново-Вознесенск). В 1921 по решению правящего партийного руководства организовал и возглавил в Москве первый в Советской России толстый литературный журнал "Красная новь". Одновременно руководил издательством писателей "Круг". С 1923 редактировал также иллюстрированный еженедельный журнал "Прожектор". А. Воронский -- автор книг

## БОРИС ПИЛЬНЯК

### I.

Каков подлинный лик жизни людской?

Над оврагом, в глухом сосновом лесу, в корнях свили себе гнездо две большие, серые, хищные птицы, самка и самец.

Самец. "Зимами он жил, чтобы есть, чтобы не умереть. Зимы были холодны и страшны. Веснами же он родил. И тогда по жилам его текла горячая кровь, было тихо, светило солнце, и горели звезды, и ему все время хотелось потянуться, закрыть глаза, бить крыльями воздух и ухать беспричинно и радостно". ("Былье". Рассказы. "Над оврагом").

Самка сидела в гнезде, отдавалась самцу, родила детей и тогда становилась "заботливой, нахохленной и сварливой".

Так прожили они тринадцать лет. Потом самец умер. Пришла старость. Новый, молодой самец овладел самкой. Старый был побежден в бою.

Жизнь человеческая - такая же. Сущность ее - в зверином, в древних инстинктах, в ощущениях голода, в потребности любви и рождения.

В рассказе "Год их жизни" в лесу живут трое: охотник Демид, жена его Марина и медведь Макар. Живут в одном доме. Демид похож на медведя, медвежья сила, медвежьи хватки, от него пахнет тайгой. "Они, человек и зверь, понимают друг друга". Такая же и Марина. Когда рожала она первого ребенка, медведь подошел к кровати и "особенно, понимающе и строго смотрел добродушно-сумрачными своими глазами". У них - общая родина - глухая тайга, весны, зимы, зори, росы, общая жизнь, крепкая, лесная, грубая, свободная, одинокая, непосредственная, с глазу на глаз с небом, землей и лесом.

Деревня. Русь перелесков, овинов, полей, мужиков и баб.

"Жили с рожью, - с лошадьё, с коровой, с овцами, - с лесом и травами. Знали: как рожь, упав семенами в землю, родит новые семена и многие, так и скотина, и птица родит, и рождаясь снова родит, чтобы в рождении умереть, - знали, - что таков же удел и людской: родить и в рождении смерть утолить, как рожь, как волчашник, как лошадь, как свиньи, - все одинаково" ("Проселки").

Из романа "Голый год": "Бабы домолачивали на гумнах, и девки после летней страды, перед свадьбами огуливаясь, не уходили вечерами с гумен, ночевали в овинах... орали до петухов ядренные свои сборные, стало быть (наша разбивка. А.В.) и парни, что днем ходили пилить дрова, вечерами тискались у овинов".

К этой звериной, из века данной жизни тянется человек, о ней он тоскует как о потерянном рае - и грехопадения и недовольство, и нестроения его начинаются с момента, когда силой вещей и обстоятельств он почему-либо отрывается от этой жизни.

---

критики "Искусство и жизнь" (1924), "Литературные типы" (1925), "Литературные портреты" (1928) и др.

<sup>25</sup> Воронский А.К. Литературные силуэты. Печатается по // [http://az.lib.ru/w/woronskij\\_a\\_k](http://az.lib.ru/w/woronskij_a_k)

Крестьянин Иван Колотуров, председатель совета, поселяется в княжеском реквизированном доме. И тут "вдруг очень жалко стало самого себя и бабу, захотелось домой на печь". В рассказе "Наследники" в старинном дворянском доме Ростовых живут последние ростовского рода. Живут скучно, сиротливо, злобно, ненужно, мелко, - потому, что пришла революция и поставила их вне жизни, вырвала их с корнями и вот засыхают, гниют, валяются, как старые бумажки, выброшенные за ненадобностью.

Интеллигентка Ирина знает, что гуманизм - сказки, что настоящее - это борьба за жизнь, тело, инстинкты, и она бросает свою среду с умными разговорами о Дарвине, о принципах, - уходит в степь к сектантам, становится женой ушкуйника - повольника, конокрада Марка - и начинает жить мужицкой жизнью. Руки ее покрываются мозолями, научается она петь и повязываться по-бабьи, ей некогда "размышлять", она становится рабой мужа и именно поэтому так счастлива и радостна.

Пильняк - писатель "физиологический". Люди у него похожи на зверей, звери как люди. И для тех и других часто одни и те же краски, слова, образы, подход. Оттого Пильняк с таким знанием и мастерством рассказывает о волках, медведях, филинах.

Пильняк очень чуток к природе. Он любит, знает ее. Умеет подмечать оттенки, характерные мелочи, не бросающиеся обычно в глаза. Для леса, неба, зимы и осени, метелей у него много слов и сравнений. "Бабым летом, когда черствеющая земля пахнет, как спирт, едет над полями Добрыня-Златопояс-Никитич - днем блестят его латы киноварью осин, золотом берез, синью небесной (синью - крепкой, как спирт), а ночью потускнели латы его, как вороненая сталь, поржавевшая лесами, посеребрившая туманами и все же черствая, четкая, гулкая первыми льдинками, блестящая звездами спаек". "Весна, лето, осень, зима в человеческом сознании приходят как-то сразу" и т. д.

Пильняк тянется к природе как к праматери, к первообразу звериной правды жизни. И природа у него звериная, буйная, жестокая, безжалостная, древняя, исконная, почти всегда лишенная мягких, ласковых тонов. "Зима. Декабрь. Святки. Делянки. Деревья. Закутанные инеем и снегом, взблескивают синими алмазами. В сумерках кричит последний снегирь, костяной трещеткой трещит сорока. И тишина. Свалены огромные сосны... Ползет ночь... Кругом стоят скрытые от можжевельника и угрюмые елки, сцепившиеся, спутавшиеся тонкими своими прутьями. Ровно и жутко набегают лесной шум. Желтые поленницы безмолвны. Месяц, как уголь, поднимается над дальним концом делянки. И ночь. Небо низко, месяц красен... Гудит ветер, и кажется, что это шумят ржавые засовы... И тогда на дальнем конце делянки, в ежах сосен, в лунном свете завыл волк и волки играют звериные свои святки... (разбивка наша. А.В.). ("Голый Год"). Или: "ночь шла черная, черствая, осенняя; шла над пустой, холодной, дикой степью". (Былье. "Именье Балконское"). Тут нелеп гудок автомобильного рожка и ровный шум пропеллера, заставляющий к небу поднимать глаза. "Небо низко, месяц красен... завыл волк"... Так было, когда складывалось "Слово о полку Игореве". Так и осталась Русь лесной нежити, леших, домовых, русалок, водяных, волков, медведей, наговоров. Не жизнь, а биология. И показывать эту жизнь должен человек большого роста, с размашистыми движениями и лесными, немного дремучими, как у медведя, глазами. И нужно много еще потрудиться и многое испытать и перенести новым людям в кожаных куртках, чтобы в лесах, где шуркают лешие, были проложены железные дороги и природа сменила свой дикий, доисторический лик на более современный, - чтобы народ этой Руси перестал верить в наговоры, петь "ядренные сборные" и свадебные песни, в которых - мохнатая древность, лесная глушь, дикое поле, - чтобы вместо сказок о коврах-самолетах, где все "по щучьему велению" делается, поверил бы он - народ этот - в фантазмы завоевания неба и земли стальными машинами, в фантазмы, завтра воплощающиеся в жизнь, чтобы создал новую сказку о стальных волшебниках - чудодеях, покорных человеку, - научился бы мечтать не о таинственном граде Китеже, а о

преображениях жизни упорным, плодотворным трудом, путем преодоления стихий, дерзкого проникновения в их тайны.

В сущности и природа, и эта звериная жизнь у Пильняка скорбны. Недаром арабский учитель, Ибн-Садиб, говорит об этой древней жизни: "скорбь, скорбь"! ("Тысяча лет"). В рассказе "Смертельное манит" мать говорит дочери: "смертельное манит, манит полая вода к себе, манит земля к себе, с высоты, с церковной колокольни, манит под поезд и с поезда, манит кровь". Это лежит "в природе вещей", в существе жизни. Такой же скорбью, идущей от самого существа жизни, от корней ее обвеяны страницы "Голого года", где дана смерть старика Архипова. То же в "Простых рассказах". Вообще этот мотив у Пильняка не случайный. Есть некоторая приглушенность и горечь во всех его вещах, в стиле, в писательской манере. Пильняк двойственен в своих настроениях. Наряду с бодрым, свежим, задорным - то и дело выглядывает иное: горькое, тоскливое. И кто знает, какое настроение возьмет в художнике в конце концов верх! Пока только следует отметить, что русская революция сказывается на его вещах благотворно. И в ней единственное спасение для современного писателя. Иначе: скорбь, мистика, уныние, слякоть, безвольная романтика.

В тесной связи с "физиологией" и "биологией" у Пильняка находится любовь, женщина. Женщине и любви Пильняк уделяет очень много места, до чрезмерности. И здесь исключительно почти выступает физиологическая сторона. Есть у Пильняка в этом много сходного с Арцыбашевым; нет, пожалуй, в отличие от Арцыбашева смакования сладострастного: более просто, по деревенски. Но иногда рассказы его о любви граничат с явной патологией. Чекистка Ксения Ордынина говорит:

"Я думала, Карл Маркс сделал ошибку. Он учел только голод физический. Он не учел другого двигателя мира: любви... пол, семья, род, - человечество не ошибалось, обоготворяя пол... Я иногда до боли физической реально начинаю чувствовать, осязаю, как весь мир, вся культура, все человечество, все вещи, стулья, кресла, комоды, платья, пронизаны полом, - нет, - не точно, пронизаны половыми органами; даже не род, нация, государство, а вот носовой платок, хлеб, ремень... и я чувствую, что вся революция - вся революция - пахнет половыми органами" ("Иван-да-Марья").

Карл Маркс приплетен тут ни к селу, ни к городу. Маркс и не ставил никчемного для него вопроса о том, какую роль играют в истории голод и любовь. Но не в Марксе дело. Кому и для чего нужна вся эта патология? Получается не то Розановская мистика пола, не то превращение мира в дом терпимости. Хуже же всего то, что произведения, благодаря такому "символу веры", перегружаются изнасилованиями, половыми актами, а женщины у Пильняка, за некоторыми исключениями, все на один лад скроены. Вполне понятно, - если к ним подходить с "социологией" Ксении Ордыниной и видеть в них рабу, мать, и любовницу, а не женщину с ее женственно-человечным. Оттого, например, в повести "Иван-да-Марья" есть какой-то неприятный привкус. У читателя рождается холодок, что-то враждебное и неприятное, несмотря на ряд превосходнейших мест (уездный с'езд советов и т.д.).

В разных статьях и по разному поводу нам неоднократно приходилось отмечать тяготение современных писателей, художников, поэтов, публицистов к первобытному, к упрощенной, не усложненной жизни. У Пильняка этот мотив лежит в основе его художественных писаний, выражен сильнее и ярче, чем у других. Здесь - отправная, исходная точка, ключ к его художественной деятельности. Разочарование в ценностях современной буржуазной культуры, сознание ее тупика; тупик, в который зашла наша художественная жизнь за последние десять-пятнадцать лет со всей своей издерганностью (эгоцентризмом, психологизмом, андреевщиной и достоевщиной и одновременно внутренней опустошенностью); чувство дисгармонии и тоска по

выпрямленной, "правильной" жизни; усталость ото всех этих психологических утонченностей и усложненностей; русская революция, вскрывшая недра стихийных сил, выбросившая на арену истории мужика, рабочего, людей из тайги, из лесов, степей, с их здоровым, свежим, нутряным отношением к окружающему; война и революция, показавшие современному интеллигентному человеку значение вещи, как таковой и ценность жизни в ее простом, грубом, примитивном; наконец, усталость от бурных дней революции - вот чем питаются эти современные настроения. У одних из художников преобладают мотивы актуального порядка (В. Иванов, Илья Эренбург, Маяковский), других приводит это к возведению "в перл создания" обывательщины (А. Белый, отчасти Замятин). Как, по какой линии идут эти умонастроения у Пильняка - увидим дальше и прежде всего из его отношения к русской революции.

## II.

Русскую октябрьскую революцию Пильняк принял прежде всего не как порыв в стальное будущее, а по бунтарскому. Искал и нашел в ней звериный, доисторический лик. Это совершенно гармонирует с биологичностью его отношения к жизни. Октябрь хорош тем, что обращен к прошлому. Революция освободила народ от царя, попов, чиновников, от ненужной интеллигенции, и вот Русь "ушла в XVII-й век". В рассказе о Петре и Петр I, и его детище - Петербург - изображены как злое навождение, ненужная издевка над Россией, как нечто, глубоко противное ей, наносное. Вся деятельность Петра представлена сплошным дебошем, озорством, насилием над "физиологией народной жизни". Петр I - гениальный игрок, маниак, не знавший никогда подлинной России, всегда пьяный сифилитик, деспот, убийца, человек с идеалами казармы. Такова и его реформаторская деятельность, дикая, необузданная, бессмысленная и насквозь чуждая народу. И в то время, как Петр сгонял "людишек" на топкие болота и заставлял их, как илотов, работать над возведением нового "парадиза", "старая, канонная, умная Русь, с ее укладом, былинами, песнями, монастырями, казалось, замыкалась, пряталась, - затаилась на два столетия". От Петра пошли города, Запад, интеллигенция, ненужная, оторванная от жизни народной, церковь, как придаток к самодержавию, деспотизм "самовластительных злодеев", все это налегло, придушило народ, вампирствовало, извращало и искажало избяную Русь. Русская революция освободила ее от этого кошмара, от этой наносности, сора и цивилизаторского мусора. Из Петербурга октябрь увел Россию в Москву. Революцию делал народ, вылезший из изб, деревень, лесов, от полей диких и аржаных, черная кость, мужик. И никакого Интернационала нет, а есть народная, национальная, чисто-русская революция, в которой народ в первую очередь сосчитался со всем наносным, ненужным, с помещиком, с интеллигенцией, с деспотизмом. "Чай - вон, кофий - вон! Брага. Попы избранные. Верь во что хошь, хоть в чурбан". ("У Николы, что на Белых Колодезях").

К теме о национальном характере русской революции Пильняк возвращается постоянно. В романе "Голый год" Глеб преподносит целую историософию, - в которой нетрудно увидеть излюбленные взгляды автора.

"Была русская народная живопись, архитектура, музыка, сказание Иулиании Лазаревой. Пришел Петр, - и невероятной глыбой стал Ломоносов с одой о стекле, и исчезло подлинно-народное искусство... В России не было радости, а теперь она есть... Интеллигенция русская не пошла за октябрем. И не могла пойти. С Петра повисла над Россией Европа, а внизу, под конем на дыбах, жил наш народ, как тысячу лет, а интеллигенция - верные дети Петра. Говорят, что родоначальник русской интеллигенции Радищев. Неправда - Петр. С Радищева интеллигенция стала каяться...

И Глебу (в этом) вторит "попик":



"Когда пришла власть, забунтовали, засектанствовали, побежали на Дон, на Украину, на Яик, - а оттуда пошли в бунтах на Москву. И теперь дошли до Москвы, власть свою взяли, государство свое строить начали, - и выстроют, так выстроют, чтобы друг другу не мешать, не стеснять, как грибы в лесу... А православное христианство вместе с царями пришло, с чужой властью... Ну-ка сыщи, чтобы в сказках про православие было? - лешие, ведьмы, водяные, никак не Господь Саваоф... А теперь пришла мужицкая власть, православие поставлено как любая секта... Жило православие тысячу лет, а погибнет, погибнет лет в двадцать, вчистую, как попы перемрут. И пойдет по России Егорий гулять, водяные, да ведьмы, либо Лев Толстой, а то, гляди, и Дарвин... (Голый год. "Две беседы").

Даже Маркс Пильняку кажется похожим на водяного.

Мужики в освещении Пильняка за революцию потому, что она освободила их от городов, буржуев, чугунок; что вернула она Русь старую, допетровскую, настоящую, мужицкую, былинную, сказочную.

Чугунка нужна господам, чтобы ездить по начальству, либо в гости. Мужики она не нужна. Мужик за советы, за большевиков, но против коммунистов, против города. "У нас Петербург давно прикончен. Жили без него и проживем, сударь". (Донат). ..."Советская власть - городам, значит, крышка... мы сами, к примеру, без буржуев, значит"... (Никон Борисович). ..."Говорю на собрании: нет никакого интернационала, а есть народная русская революция, бунт и больше ничего. По образцу Степана Тимофеевича". "А Карла Марксов?" спрашивают. - Немец, говорю, а стало быть дурак. "А Ленин?" - Ленин, говорю, из мужиков, большевик, а вы, должно, коммунисты..." (Дед Егорки).

В "историософии" Б. Пильняка, таким образом, мирно уживаются: мужицкий анархизм, большевизм 18-го года и своеобразное революционное славянофильство, и народничество. Слабая сторона этой "историософии" легко обнаруживается, как только мы обратимся к перво-истокам, ее питающим. Прежде всего явственно звучит разочарование в западно-европейской буржуазной культуре:

"Я много был за границей, и мне было сиротливо там. Люди в котелках, сюртуки, смокинги, фраки, трамваи, автобусы, метро, небоскребы, лоск, блеск, отели со всяческими удобствами, с ресторанами, барами, ваннами, с тончайшим бельем, - с ночной женской прислугой, которая приходит совершенно открыто удовлетворять неестественные мужские потребности, - и какое социальное неравенство, какое мещанство нравов и правил! И каждый рабочий мечтает об акциях, и крестьянин. И все мертво, сплошная механика, техника, комфортабельность. Путь к европейской культуре шел к войне... Механическая культура забыла о культуре духа, духовной... Европейская культура - путь в тупик".

Это говорит Глеб ("Голый год"), но в контексте иных художественных вещей Б. Пильняка совершенно очевидно, что устами Глеба говорит сам автор.

Европейская буржуазная культура зашла в тупик. Это так. Она - сплошная механика. В значительной мере верно. Но были лучшие времена: Кант, Гегель, Маркс, Шиллер, Гете, Ибсен - нужно ли перечислять имена всех, обогативших сокровищницы именно человеческого духа! Да и сейчас можно ли сказать, что "все мертво"? Буржуазная культура на Западе обладает еще большой силой сопротивляемости и в области духовной она еще продолжает бороться за свое господство. Культура Запада "на закате", она обречена, но и в области техники, и в области духа есть огромное наследство, которое нужно воспринять новому миру, а утверждения, что "все мертво", совсем не идут по линии этой преемственности. Да и победить эту культуру можно только ее оружием: сталью и бетоном. Европейское искусство падает стремительно. Но все-таки... Уэльс мечтает о

стальных волшебниках, о преобразении миров умом человеческим, а у нас еще бредят лешаками, русалками, лесной нежитью.

Дальше. Почему от механичности западно-европейской культуры делается этот скачок в такое глубокое прошлое, в допетровскую Русь, а не в лицо будущему смотрит автор? "Там" - сплошная механика, а здесь богатство духа? Где, в чем? Песни, былины, сказки? Но, ведь, это уже не действенное, отжившее. Действенное, живое - в мечтах, преобразующих мир, завоевывающих небо, земные недра, океаны. Поэзия и правда крестьянского труда, правда непосредственной жизни? Но она показана Пильняком в конце романа опять-таки с точки зрения обычаев, наговоров, любви в овинах. А тиф, голод, а вши, а покорная пассивность, а эта эпическая деловитая закупка гробов? А эта "скорбь, скорбь, разлитая повсюду в "тысячелетней" исконной жизни"? Все тут - сплошной тупик. Никаким богатством духа тут и не пахнет. "Пусть в России перестанут ходить поезда, - разве нет красоты в лучине, голоде, болезнях" (Андрей). Конечно, нет. Какая красота, когда человек извивается как червь, как последняя "дрожащая тварь"!

Властью человека над природой измеряется поступательное движение человеческого духа и, если "сплошная механика" сейчас гасит его, - ключ - в социальном неравенстве, в упадке и в распаде строя, основанного на господстве человека над человеком, а не в том, что техника, как таковая, вытравила все духовное. Неумение отделить семена от плевел явствует из положения: "каждый рабочий мечтает об акциях". Из чего это вытекает, какие факты могут это подтвердить? В массе своей рабочий на западе был лишен возможности мечтать об акциях, ибо для массы подобные мечтания были пустопорожними и бессмысленными. Об акциях могли мечтать только отдельные тонкие прослойки рабочих. И уж во всяком случае говорить об этом после войны 1914 года совсем не приходится. С Пильняком случилось то, что теперь нередко случается с чуткими интеллигентными людьми. Западная буржуазная культура разлагается и отталкивает от себя. Это видят многие, не имеющие отношения к непосредственной классовой борьбе, ни к коммунизму. Неумение найти выход, сторожкое отношение к политике, к борьбе рабочих за новое заставляет этих чутких и искренних людей - искать выхода из тупика в прошлом, в странных компромиссах (Уэльс и др.).

Естественно далее, что Пильняк утверждает, что "нет никакого интернационала" и что наша октябрьская революция национальна. В самом деле, какой может быть интернационал, если там, на западе "каждый рабочий мечтает об акциях"? Впрочем, национальный характер русской революции утверждается, главным образом из того, что она вскрыла и освободила от всего постороннего старую избяную, кононную Русь. Это только отчасти и только по виду соответствует тому, что было. Была - анархо-махновская борьба, при чем анархо-махновцы повторяли почти буквально, что им чугушка не нужна, что не нужны им заводы, почта, города, буржуи и пр. Были такие же движения в Сибири и в других местах. Было, что деревня замыкалась, уходила в себя, отгораживалась враждебно от города, видела во всем городском беду для себя. Такое русло было. Оно питалось косностью, аполитизмом, отсталостью деревни; сказывались тут результаты союзной политики, сознательно стремившейся изолировать деревню от города, - ошибки Советской власти и всяческие нелепости, коих было очень много - а в целом это движение возглавлялось и питалось кулацкими, хозяйственными элементами деревни. Наконец, "в XVII-й век" русская деревня ушла из-за голода, мора, бестоварья, разрухи, болезней. Как художник-бытописатель Пильняк схватил верно существенные черты крестьянских настроений, но он делает несомненную ошибку, обобщая указанные черты и выводя отсюда своеобразную "историософию". В общем это были центробежные, а не центростремительные силы русской революции, и ими деревенские настроения не исчерпывались. Если Красную армию коммунистической партии удавалось подчинить дисциплине и своей идейной гегемонии, то происходило это в первую голову потому, что коммунисты, несмотря на разнообразные трудности, находили общий язык с молодой новой деревней, с ее наиболее передовой частью. Насколько ограничительное значение

имели в русской революции настроения Кононовых, видно, между прочим, из того, чем становится деревня теперь. Едва ли бытописателю современной деревни придется сейчас серьезно считаться с идеологией Кононова, деда Егорки, в том виде, в каком они исповедуются Пильняком. Все это - далекое прошлое. В деревне - американизм, новая буржуазия и беднота, жажда знания, паровых плугов в деревне - многие другие сложные процессы. Все это бесконечно далеко от взглядов - город и чугунок нам ни к чему. И не преподносит ли нам Б. Пильняк, сам не зная того, под видом патриархальной, избяной, кононной, допетровской Руси с ее сказками и наговорами - в сущности эту новую американизированную, жадную, рваческую, богатеющую деревню, обряженную им в старые кокошники, сарафаны, поющую старые былинные песни и справляющую истово старые обряды? Бывает это в истории, когда в старое любит рядиться новое и в старые мехи вливается новое вино. Очень подозрительна семья сектанта-конокрада Доната и Марка. Тут и вольница, и степь, и обряды, и простота дикой жизни, и в то же время хитрость и своекорыстие. "Себе на уме" семейка. Или: "ну, а вера будет мужичья" ("Голый год"). Какая? В этом все дело.

Пильняк писатель не отстоявшийся и сложный. К старому, допетровскому тянется Пильняк и тянет читателя еще в силу ярко пробудившегося национального чувства. Этот революционный национализм, национал-большевизм в вещах Пильняка выявлен как ни у кого из современных писателей и поэтов, работающих в Советской России. Явление широкое, глубокое и действительно связанное с тягой к старине, с пробудившейся любовью к нему.

Закордонные писатели из белого лагеря стремятся доказать, что это вода на их мельницу. Глубокое заблуждение. Вещи Пильняка очень отчетливо выявляют основные мотивы этого настроения. Тут не тоска по старой России, ее укладу, иконам, храмам и т. д. Об этом и речи нет у Пильняка. Это мы докажем ниже. Русь старая сгинула, распалась, и пахнуло Русью новой, настоящей, Русью рабочего и мужика. Впервые почувствовала себя эта Русь, осознала как великую свободную силу, хозяйном увидела себя. Пришибленный, веками увечимый раб с октябрём встал в рост, человеком - и отсюда его гордость, его национальное сознание, его патриотизм и связанная с ним любовь к историческому, поскольку он в этой истории проявлял себя в качестве самостоятельной силы. Новой настоящей Русью пахнуло. В этом освещении "историософия" Б. Пильняка теряет свою славянофильскую окраску, получает некое символическое, фигуральное выражение, отражая то, что есть в молодой республике советов, что обще не только людям склада Пильняка, но и нам, ибо "мы с октября тоже оборонцы".

Повторяем, однако, что к этому мотиву нельзя свести "историософию" Пильняка. В ней есть, действительно, черты славянофильства, идущего от сознания "заката" Запада и неумения найти иного выхода; и от своеобразной, однобокой художественной переработки деревенских настроений во время революций анархо-махновского порядка.

У Пильняка нет цельности, он часто как бы расщепляется, он еще не нашел точки опоры, оттого его мысли и образы сталкиваются, не согласуются и даже противоречат друг другу. И если мы затеяли здесь с ним политический спор, то потому прежде всего, что он имеет существенное отношение к Пильняку как к художнику, самому талантливому бытописателю революции, ибо отсутствие цельности очень заметно отражается на его вещах. К этому мы переходим.

### III.

Лучшим и несомненно пока самым значительным произведением Б. Пильняка (из напечатанного) является недавно вышедший из печати роман "Голый год". В сущности это не роман. В нем и в помине нет единства построения, фабулы и прочего, что обычно требует читатель, беря в руки роман. Широкими мазками набросаны картины провинциальной жизни 19-

го года. Лица связаны не фабулой, а общим стилем, духом пережитых дней. Получается впечатление, что автор не может сосредоточиться на одном, выбрать отдельную сторону взбаломученной действительности. Его приковывает к себе она вся, вся ее новая сложность. И, может быть, так и нужно. Революция перевернула весь уклад целиком, все поставила вверх ногами, и художник прав, когда он стремится захватить как можно шире, дать цельную, полную картину сдвига и катастрофы.

Город Б. Пильняка - наша окурковская, чеховская провинция в условиях новой советской действительности. Ее былой - дореволюционный, сонный, нелепый, застойный быт мастерски очерчен автором. Революция испепелила здесь одних, выхолостав из них последние остатки жизни, выбросила за борт, - и произвела полный хаос в головах других аборигенов-обывателей. Князь Ордынин всю свою жизнь развратничал, а с первых дней революции из пьяницы сделался аскетом и мистиком. Купец Ратчин приходит каждый день к месту, где была торговля, и так сидит, иссохший как мумия, целый день до вечера и т.д. "Потеряла закон" городская интеллигенция. Егор Ордынин пьет и развратничает: "когда потеряешь закон, хочешь фиглярничать. Хочешь издеваться над собой... Нет закона у меня. Но не могу правду забыть. Не могу через себя перейти. Все погибло. А какая правда пришла!"... Брат его Борис тоже "закон потерял". Изнасиловал прислугу-Марфутку, но это ему кажется пустяками: "Я большую мерзость сделал с самим собой! Понимаешь - святое потерял! Мы все потеряли".... И дальше поясняет, в чем заключалось это святое: "Я тогда (до революции. А.В.) думал, что я - центр, от которого расходятся радиусы, что я - все. Потом я узнал, что в жизни нет никаких радиусов и центров, что вообще революция и все лишь пешки в лапах жизни"....

Замечательно верно схвачена суть внутреннего интеллигентского краха. Думали, что "я - все", "центры", а на поверку вышло - есть "вообще революция" и все в лапах жизни. Об этих центрах, об этих павлинах, распускающих хвосты, много было написано томов, исследований, поэм, повестей, изысков и пр., и пр., пока не пришел новый хозяин и не вымел всю эту шваль в мусорную яму.

Глеб Ордынин - юноша - мучительно колеблется, ищет ответов, чистоты и правды, ему претит кровь, насилие, не знает, что делать с собой. Сестры: кокаинистки, вырожденки и только одна Наталья - при деле, но она с коммунистами - о них после.

Когда читаешь главу о доме Ордыниных, невольно думаешь: "дать бы эту темку обсосать зарубежникам нашим: сколько бы было пролито слез, стенаний, негодования благородного по поводу "этих, распявших родину" и т.д., - сколько бы осенних скрипок прорыдало! Выказано отменного патриотизма, психологических "изысков" насчет "центров", рядом с воспоминаниями о барах и ресторациях!..

А у автора романа - скупость, холодок, протокольность, подход со стороны, ибо это - чужое, прошлое, отошедшее, ненужное, увядшее.

Так же "потеряли закон" и такие интеллигентные обыватели, как приспособляющийся, трусливо и подло хихикающий в кулак Сергей Сергеич. Разумеется, он желчно выкрикивает: "известное дело - хамодержавие, голод, разбой... Свинина семьдесят пять"... Разумеется, он кричит о погибшей России и варит себе кофе, "притворив поплотнее дверь" и доставая "из потаенного места кусочек сахара и кусочек сыра". И уж всенепременно он служит в одном из советских учреждений, где аккуратно пишет в "Ведомостях", что операций за истекший месяц не происходило и вкладов не поступало.

Сбиты с толку и окончательно потеряли духовное равновесие провинциальные умственники из разряда тех, кто раньше любил до всего "своим умом доходить". Известно, что таких окурковцев и

растеряевцев в нашей провинции было не мало. Семен Матвеев Зилотов. У него война, революция, масонство, Запад, Россия, старые книги взбаломутили ум и вот теория: "Надо Россию скрестить с Западом, смешать кровь, должен притти человек - через 20 лет". Спасет пентаграмма - красноармейская звезда. "Бога попрать. Черт, а не Бог". Практически: нужный человек подыскивается в лице Лайтиса, начальника охраны. Он должен скреститься в монастыре с девственницей Оленькой Кунц. От них должно притти спасение миру. Об этом вычитано в старых масонских книгах и дан "знак". Кончается все так. Лайтис получил, что требуется, Оленька Кунц совсем не девственница, но бедный Зилотов, потерпевший крушение замыслов, погибает в пожаре.

Помимо быта тут еще - злая ирония над нашим русопятским мистицизмом. Мистические теории о "скрещении" России и Запада, как известно, теперь довольно в ходу и очень иногда напоминают бред иссушенных и из'еденных старыми книгами мозгов Матвея Зилотова (Евразийство, Шпенглеризм и пр.).

Другой провинциальный "философ", сбитый с толку окружающим дьякон, засел в баню, не выходит из нее и ищет настоящего слова, чтобы "мир поставить иначе". В частности, его очень интересует вопрос, когда начали корову доить и как это было и почему начали. Гипотезы, сомнения и вопросы неожиданно разрешает некто Драбе, уверив дьякона, что корову начали доить впервые парни от озорства. Дьякон ошеломлен. "Стало быть, и весь мир от озорства"... Дьякон решает... записаться в коммунистическую партию и служить ей верой и правдой. ("Мягель").

Потеряла стержень и коммуна анархистов, устроившаяся в провинции. Она гибнет из-за денежных передразг.

Новой Русью пахнуло. Вопреки уверениям относительно устойчивости психического быта, в романе и других вещах Пильняка русская революция все поставила вверх дном. Его провинция глубоко чувствует, что старое ушло. У Пильняка почти все главные персонажи говорят о том, как "мир поставить иначе": архиепископ Сильвестр, дьякон, Матвей Зилотов, правду нового мира и революции ощущают: Глеб, Борис, Егор, Андрей, Драбе, мужики, парни, старики. Они не творят ее активно, но пришествие ее каждый по своему пережил и перечувствовал.

Творят новую жизнь другие. Кожаные куртки. Большевики.

"В доме Ордыниных, в Исполкоме собирались наверху люди в кожаных куртках, большевики. Эти вот, в кожаных куртках, каждый в статью, кожаный красавец, каждый крепкий, и кудри кольцом под фуражкой на затылок, у каждого крепко обтянуты скулы, складки у губ, движения у каждого утюжны. Из русской рыхлой народности - отбор. В кожаных куртках - не подмочишь. Так вот знаем, так вот хотим, так вот поставим - и баста".

Архип Архипов - председатель Исполкома. "Днем сидел в Исполкоме, бумаги писал, потом мотался по городу и заводу"... "Русское слово могут - выговаривал магут"... "перо держал топором"... просыпался с зарей и от всех потихоньку книги зубрил: алгебру Киселева... "Капитал" Маркса, финансовую науку Озерова...

Пильняк рассказывает дальше, как пустили завод, который нельзя было пустить: разгромлен был во время войны с белыми, "ибо нет такого, чего нельзя сделать, - ибо нельзя не сделать".

"Энегрично фукцировать". Вот что такое большевики.

Энегрично фукцирует: Архип Архипов, рабочий Лукич, Донат, Наталья. Наталья Ордынина говорит брату:

- Все, кто жив, должно итти.

- Куда итти?

- В революцию. Эти дни не вернутся еще раз... без хлеба и мастерового умрешь ты, умрут все теории. А хлеб дают мужики. Пусть мужики и мастеровые сами распорядятся своими ценностями.

Это "энергично фукцировать" у большевиков на фоне разложившегося старого уклада Б. Пильняк отмечает всюду:

- Гей, товарищ Борис, отпирайте.

Это пришли коммунисты... Товарищ Елена кричала в мятели:

- Мятель. Мы гуляем. Разве можно уснуть такой ночью! Мятель.

В дом, со снегом, с мятелью, с морозом ввалились военные люди. Дом - старый хрыч - зашумел, загудел, зазвенел в этажерке посудой...

- Товарищ Борис, милый философ: над землей мятель, над землей свобода, над землей революция! Как же можно спать?! Как хорошо! Как хорошо! Это товарищ Елена!" ("Мятель").

Мне не большевику, - говорит о себе автор, - вообще легче вести кампанию с большевиками: у них есть бодрость и радость" ("Три брата").

Перс, член Ц.К. Иранской Комм. Партии весь напоен новой правдой. "Нищая, раздетая, голодная прекрасная Россия стала против всего мира и всему земному шару... несет ослепительную правду... Моря и вулканы переместились"... И точно подчеркивая силу этих слов серой, тусклой обывательщиной, некий инженер отвечает ему: "у меня башмак прорвался и хочется за границей посидеть в ресторане"... ("Иван-да-Марья").

"Совнарком - что-то крепкое, ночное, свиное... Московский кремль - сед во мхах. На Спасских воротах бьют часы.

"- Кто-там-за-спал-на-спас-башне...

"И вся Москва в дыму, ибо кругом горят леса - это стою там, где стоял Грозный, - я писатель, - и рядом со мной стоит человек, писатель и большевик. Автомобиль, уставший стоять, весь день кроил Москву, но человек устал, и вот он стоит в нижней рубашке, с расстегнутым воротом, сутулясь. Над Москвой, над Россией, над миром - ре-во-лю-ция! Какой черт, вопреки черта и Бога, махнул Земным шаром в межпланетную Этну? Что такое мистика? - Если зондом хирурга покопосить в язве спаса-на-кладбище в Рязани и Богоматери Яри, - что такое мистика?! Голодом и вошью к прекрасной радости - махнуть в межпланетную Этну?! Мхи на каменной груди бабы!.. Встать в рост бабе с зондом хирурга, - а ведь этим бабам молились вотичи" ("Рязань-Яблоко").

С зондом хирурга против мистики - такие мысли приходят автору в свином, крепком Совнаркоме-Кремле!

Борис Пильняк знает, что есть и "товарищи Лайтисы", и военкомы, издающиеся зря над обывателями ("Рязань-Яблоко"), и есть страшное в нашем быту. Оголено до натурализма темное, кошмарное повествование о "Разезде Мар" и "смешанном поезде N 58" с голодными мешечниками, откупающимися от продотрядов партией баб покрасивее на потребу продотрядников. Горькие, тяжелые страницы, написанные с исключительной художественной силой. Но не в этом, как говорится, суть. Главное в этих, кто "энергично фукцирует", для кого нет

слова нельзя, у кого - бодрость и радостность, в ком есть совиное, крепкое, ночное. От них пахнуло новой Русью, они навсегда покончили с чеховской, окуровской, растеряевской Русью Ратчиных, Ордынина, Глебов, Борисов, Зилотовых, Сергей Сергеевичей. И потому так легко бросается автором по адресу всех этих граждан - "и чорт с вами со всеми, - слышите ли вы - лимонад кислосладкий", - а в серых скучных, мерзлых провинциальных буднях Пильняк ощущает, что революция продолжается: "день белый, день будничней. Утро пришло в тот день синим снегом. Скучно. Советский рабочий день. А оказывается: этот скучный рабочий день и есть - подлинная - революция. Революция продолжается" ("Мятедь").

От романа Пильняка и других вещей остается привкус горечи, полыни, но этот запах крепок, бодрящ, "сказочен". Это привносится людьми в кожаных куртках.

Б. А. Пильняк художник - молодой, не отстоявшийся. Много у него не согласуется, лезет куда-то в сторону, мысли и образы невозможно свести к одному целостному мироощущению. В среде "потерявших закон", в людской исторической пыли "кожаные куртки" выглядят особенно свежо, по-новому, бодро, нужно и жизненно. И уж совсем странными кажутся эти новые люди, железные и радостные, как бы слетевшие с другой планеты в старую, тихую, бездеятельную Русскую Азию, - рядом с избяной, допетровской Русью, которую воскрешает Пильняк и величает ее, как провозвестницу новой свободной жизни. Автор в конце романа сделал все - и наговоры, и свадьбы, и девки в овинах с парнями, - чтобы привлечь симпатии читателя к избяной, кононной Руси, - а читатель все-таки смотрит на нее глазами посторонними, и Кононовы остаются людьми времен до-исторических. Тут автор не убеждает, не побеждает, несмотря на все свое мастерство. Кожаные куртки и Русь XVII-го века. Это - из двух эпох. Вместе им не ужиться. Одни "энегрично фуцкируют", пуская заводы, которые "нельзя пустить", говорят о тракторах и электрификации, другие живут как птица, как дерево, зоологической в сущности жизнью с лешими, домовыми, наговорами. У Пильняка как-то пока мирно уживаются и любовь к кожаным курткам, и любовь к зоологической Руси. "И пойдут по России Егорий гулять, водяные да ведьмы, либо Лев Толстой, а то, гляди, и Дарвин". Автору еще неясно, кто будет "гулять по Руси". А между тем едва ли можно в этом сомневаться. "Ведьмам" враждебен весь революционный, новый уклад, а с Дарвиным он связан органически. Дарвин уже гуляет по Руси. Недаром Архиповы по ночам втихомолку зубрят его в числе иных прочих. По сути же нет никакой допетровской Руси, она вся выветрилась, сгинула, а есть Русь кожаных курток и бедноты и Русь новой буржуазии городской и деревенской, и между ними вражда и борьба.

Спорить с Пильняком о допетровской Руси - трудно, как с человеком, который утверждает, что черное есть белое.

Речь, однако, идет сейчас не столько о теоретической верности той или иной "историософии", сколько о самом художнике, крупнейшем из молодых, с большим дерзанием и самостоятельностью, с несомненными художественными данными, - о художнике, знающем и принявшем новый быт, поставившем задачей своей дать целостную картину революции. Трудности здесь очень большие. Проторенных путей нет; старые образы, типы подновлять, перекрашивать и перелицовывать на новый лад нельзя - этим не пробавишься, - а сколько писательской братии пробавлялось этим "рукоделом". Приходится поднимать целину, итти своей дорогой. Но кому многое дано, с того многое и взыщется. Пильняку дано многое, и требования к нему должны быть повышенные. Ни в "Голом году", ни в других вещах автора нет внутренней целостности, нет цельной картины ни 19-го года, ни революции, и образ писателя двоится; из разных, причудливо переплетающихся и противоречивых настроений сотканы его вещи. Кожаные куртки, Дарвин - и ведьмы, и Кононовы, мистика пола и злая ирония над мистикой вообще, биология, звериное и тут же поэма о большевиках, которые ведут нещадную борьбу со звериным и сталью хотят оковать землю; XVI-е и XVII-е столетия и век - XX-й, горечь и радостность. Что-то не сведенное к одному

мировосприятию, художественно не законченное и недодуманное есть во всем этом. Как будто автор стоит по середине на перекрестке двух дорог: по этой пойдешь - одно потеряешь, по другой - другое. Есть внутренняя несогласованность и дисгармоничность в самом художнике, в нутре его. И не потому ли у него такая тяга к зоологическому, биологическому, непосредственно данному, простому, что хочется, что нужно преодолеть эту раздвоенность? Органическое и биологически-простое ищет автор в жизни, с такими запросами подошел он и к русской революции и даже в кожаных куртках постарался найти "утюжное", "пугачевское", "крепкое", "ночное", "совиное". В этом он по своему целен, последователен. Но целостной картины революционных дней Пильняк не дал. Нам кажется потому, что помешала эта несогласованность и дисгармоничность в художественном опыте писателя. Не ясно общее художественное мировоззрение автора. Может быть для 19-го года было достаточно сказать себе: революция - стихия, бунт, Пугачев и т.д. Теперь этого явно недостаточно, да и тогда этого было недостаточно. Нужно более углубленное, органическое проникновение в нашу эпоху, чтобы связать все в одно, единое. И тут вопросы об интернациональном и национальном, о Дарвине и Егории, о курной избе и электрификации нужно решать, а не сталкивать и не сбивать их в одну кучу.\* Это совсем не безразлично для нынешнего художника и для художественного творчества - иметь или не иметь единое эмоциональное, широкое проникновение в существо, в душу нашей революции, иметь или нет одну сердцевину и соответствующую теоретическую ясность, ибо все это самым жизненным образом отражается на художественных произведениях.

/\* Недавно в "Утреннике" № 2 Б. Пильняк, по поводу своего ухода из газеты "Накануне", заявил между прочим: "сам я, должно быть, сменовеходец". Мы думаем, что это - ошибка. Никаких вех, как будто, Б. Пильняк не сменял; здесь, однако, уместно сделать одну оговорку. Повидимому, Б. Пильняк за последнее время несколько изменил свое отношение к Интернационалу, усвоив формулу: Интернационал нам нужен для Запада (в вещах еще не напечатанных), и это приближает Пильняка в некотором роде одной стороной к сменовеховцам: для них Интернационал является орудием для достижения чисто национальных целей. Противопоставление тоже неправильное от начала до конца.

В конце концов: кожаные куртки: Архипов, Наталья, Лукич, Донат, Елена и пр. превосходны у Б. Пильняка. Верно и хорошо отмечены свежесть и покоряющая бодрость, но ведь это не все. Это только существенные внешние признаки. "Энегрично фукцировать"... Но во имя чего, куда, зачем, что дальше внутри у этих людей? В какую даль идут они? Какую роль они играли в русской революции? Что дадут России, что дают? Они ведь живые люди. То же и с деревней. Пильняк искал звериные следы - он любит и знает звериные тропы. Он нашел их в деревне. Но это тоже не все, тут только кусок, часть жизни.

Вопрос о единой сердцевине автора приобретает сейчас решающее значение не только потому, что роль художественного слова в наши дни приобретает в общем водовороте жизни совершенно исключительное значение, но еще и главным образом потому, что мы вступили в полосу настоящей, подлинной переработки и внутреннего осмысливания всего пережитого за последнее пятилетие. Художник, который этого не поймет, быстро окажется позади "духа времени". Место оратора на митинге занимает художник, ученый. И они должны быть трибунами, пророками "с божественным глаголом" на устах.

#### IV.

Несколько замечаний о писательской манере Пильняка. Пильняк безусловно свеж, самостоятелен и оригинален. Конечно, не трудно проследить влияние некоторых старых писателей на него: в описании, например, Ордынина-города, сказывается Чехов и Горький, дьякон в "Мятели" напоминает "Соборян", на конструкцию последних вещей повлияли несомненно



Андрей Белый и Ремизов. Все это, однако, не существенно: слишком своеобразен и индивидуален автор.

Очень затейлив и оригинален прежде всего стиль. Построение речи отходит от обычных норм. Обороты совершенно неожиданные и непривычные. Старый грамматик должен притти от них в ужас. Речь раскидистая, ухабистая, слова бросаются широким, вольным взмахом, веером, врассыпную, либо сыпаются разом ворохом. Слово любит Пильняк. Любит его историю, его первоначальный, коренной смысл, его ядро. "Слова мне - как монета нумизмату". И здесь Пильняк верен себе, своему основному художественному методу: искать первичное, девственное, не замутненное позднейшим. Часто грешит автор по части сказуемого и подлежащего. Часто - тире: нужно догадываться, перечитать фразу. Бросается намеком слово, за ним целый круг мыслей. В сущности разговорная, но манерная красочная речь. Печатное слово - слышное: слышишь как выговаривает автор и кому оно принадлежит: громко, размашисто, без системы и внешней связанности и стройности, увесисто бросаются слова, бульжниками. От предложения к предложению - переходы в силу контраста: "третьим интернационалом провода трубили по тракту Рязань. Повозка на двух колесах - беда называется". Много вводных слов, пояснений, вставок. Повторения упорные. При видимой щедрости и размашистости - большая экономия. В предложении втискивается целая система образов, понятий.

Не только глава от главы, но абзац от абзаца обрубается. Стилизованная манера думать, - пишет как думает, - когда человек перебрасывается с одного на другой, особенно характерная для произвольного мышления - мысли плывут хаотично, вольно как облака по небу. Мазок в одну сторону, мазок в другую, в третью, десятую, потом в конце еще какими-то штрихами воссоздается целая картина. Иногда Пильняк явно злоупотребляет этой манерой, и читателю приходится преодолевать страницы и связывать усиленно самому. Когда это чрезмерно, как в повести "Иван-да-Марья", это утомляет. В отличие от Серапионовых братьев и большинства молодых писателей, занимательной, интересной фабулы у Пильняка нет, да и вообще фабулы нет. Не рассказы, не повести, не романы, а поэмы в прозе. Мозаика, механическое сцепление глав. Из самостоятельных этюдов составлен роман "Голый год". Такому же легкому расцеплению поддаются и некоторые другие вещи: "Мятедь", "Рязань-Яблоко" и пр.

Кстати о "Голом годе" с точки зрения экономии. В романе 142 страницы, не очень большого формата. В эти полтора ста страниц втиснуто столько художественно обработанного материала, что свободно хватило бы на столько романов, сколько в "Голом годе" глав. Как все это далеко ушло не только от времен "Обрыва" Гончарова, но и от времен более поздних, например, кануна войны и революции? В этом - стиль нашей эпохи. Даже Чехов и Бунин кажутся по сравнению с этой насыщенностью и экономией разжиженными.

В общем все - взбаломученное, шумное, постоянно выходящее из границ, трубное, с восклицаниями, с большим нервным напряжением и концентрацией, как вода морская в лиманах. Пильняк пишет не сердцем, прежде всего, а нервами.

Образы, сравнения не затасканы, свои, свежие, тоже повторяются упорно. Резко индивидуальны и врезаются четко фигуры отдельных персонажей: дьякона, Сергея Сергеича, Зилотова, старика Архипова и других. Очерчены всегда импрессионистски. А вот таких мест следует избегать: Семен Семеныч говорит на собрании анархистов: "Я закрываю собрание, товарищи. Я хочу поделиться с вами другим фактом. Товарищ Андрей женится на тов. Ирине. Я думаю, это разумно. Кто-нибудь имеет сказать что-либо? Никто ничего не сказал..." ("Голый год"). Это - фельетонно и досадно выпирает из романа (поэма ведь). Такие места встречаются у Пильняка не редко.

Пильняк писатель, недавно выдвинувшийся, а между тем заметна большая проделанная над собой работа. И у него есть уже не один подражатель. Следы этого влияния все чаще и чаще

приходится встречать особенно в среде литературной молодежи - лучшее доказательство, что в лице его мы имеем большого и самостоятельного художника.

Талант Пильняка быстро крепнет. Особенно это заметно по вещам последним, связанным с впечатлениями, полученными от поездки за границу. Но они еще не появились в печати, а это лучшее по нашему, из всего, написанного им доселе. И как будто, допетровская Русь убрана куда-то в сторону.

Вообще же очень безалаберный и талантливый человек. Если верно, что у каждого настоящего художника должен быть непременно свой дурак, то у Пильняка их несколько. От некоторых следовало бы освободиться.

Говоря проще и прямей: нужно сказать окончательно и бесповоротно тем, которые говорят о добре и справедливости сухо и зло: "и чорт с вами со всеми, - слышите ли вы, лимонад кислосладкий!" - и примкнуть всецело, от кого Русью новой пахнуло. (Допетровскую Русь - вон романтику, пока - вон, излишества натурализма - вон и т. д.). Почему? Потому, что только здесь слушают "всерьез и надолго", по настоящему, по совести, а не так, как в литературных особняках, с улыбочками деликатными, сдержанными, - тонно, а по сути сухо и зло. Почему? Потому, что - революция, кожаные куртки, большевики. Потому, что "революция продолжается". И потому, что у Пильняка настоящий талант, и потому, что талант и революция сейчас неразрывны. И потому еще, что теперь настоящим большим художником может быть только пророк-художник, художник-водитель, художник-трибун.

## **А.БЕЛЫЙ**

### **Речь на вечере памяти Блока в Политехническом музее<sup>26</sup>**

*Москва, 26 сентября 1921 г.*

Товарищи, мы собрались чествовать память А. Блока. Вот по поводу характера этого чествования хотел бы я, открывая заседание, сказать несколько слов. Много раз уже повторялись вечера, посвященные памяти Блока. Многообразны подходы к опочившему поэту. Блок как поэт - отчего же не тема? Но, товарищи, поэзия есть целая планета со своими материками, со своими странами света. Чествовать Блока, как поэта вообще, можно, но это общо. Еще более неудовлетворительны те формы чествования, которые целостность творчества Блока раскрамсывают на части. То, что нас, участников собрания, объединяет, является отношением к Блоку, как к поэту - "нашему", народному, любимому. Мы не являемся какой-нибудь литературной, или политической, или даже идейной организацией. Среди участников сегодняшнего вечера находятся представители Вольной Философской Ассоциации, стало быть вольные философы; находятся и представители левого народничества; находятся и представители того идеологического течения, которое прорастает в страшных годах русской жизни и которое медленно ошупывает свое самосознание, находя в образе "скифа" символ своих устремлений. Из этого вовсе не следует заключать, что мы, люди Вольной Ассоциации, являемся какой-то организацией. Наоборот: мы работаем в разных плоскостях. В сегодняшних речах мы будем подходить к поэту с различных точек зрения, мы не ответственны друг за друга. Мы ответственны, может быть, только в одном - поскольку мы Блока считаем нашим. И я думаю, что выражу мнение наших товарищей, здесь собравшихся, если я

---

<sup>26</sup> Печатается по: [http://az.lib.ru/b/belyj\\_a/text\\_0480.shtml](http://az.lib.ru/b/belyj_a/text_0480.shtml)

скажу, что мы считаем Блока народным поэтом. Это не значит - поэтом из народа, это не значит - поэтом национальным. Это не значит - поэтом народническим. Поэт из народа может быть и народным, и национальным поэтом; он может быть и народническим поэтом, но он может и не быть ни тем и ни другим. Кольцов есть поэт из народа; в Кольцове чувствуется дух целого. Он в каком-то отношении возвышается до народа Некрасов же - поэт-интеллигент народнического направления; но, опять-таки, в Некрасове есть нота, которая возвышает его над определенной тенденцией; можно говорить о Некрасове, как о поэте народном. Поэт национальный - что есть? Национализм есть абстракция; это - рассудочное ощупывание задач народа; и - писание в духе этих задач. Таким поэтом можно назвать А. Толстого. Вот национальный поэт, но он не народник, не поэт из народа; и менее всего - народный поэт. Когда я говорю - народный поэт, я разумею нечто большее, чем обычно влагается в эти слова. Я разумею того, кто выражает не отдельный класс, не отдельные части, а целый народ. Среди таких народных поэтов, связанных с душой народа, могут быть и поэты, превышающие народ (поэты мирового масштаба), и поэты, отображающие лишь душу народа. Таким поэтом был А. Блок. Имя его - вне партий, вне литературных течений сегодняшнего, вчерашнего или завтрашнего дня, вне эстетических критериев, вне истории литературы; он - связывается с душой народа; и можно сказать: имя Блока становится нашим родным именем, таким же родным, как имена Льва Толстого, Достоевского, Тютчева, Пушкина. С этим масштабом, думается мне, хотели бы мы подойти к Блоку. Вот то единственно кровное, что нас объединяет в сегодняшнем собрании. Вот то, что я хотел бы сказать, открывая заседание.

Когда рассматриваешь творчество поэта в его целом, надо прежде всего нащупать то основное зерно, из которого выветвляются все творчество, все образы; тот поэт не выдерживает разбора, который не обнаруживает внутреннего зерна; тот критик оказывается поверхностным, который в поэте не вскрыет зерна. Подходя к Блоку, следует взглянуть с птичьего полета на все стадии его творчества, обозреть многообразие или даже взаимную несоизмеримость всех его тем; и сквозь них нащупать зерно. Ныне иные говорят: Блок когда-то был поэтом; потом - перестал им быть; также говорили о Пушкине, когда Пушкин писал свои лучшие произведения. Или говорят: мы берем Блока революционной эпохи. Мы берем Блока "Двенадцати" и "Скифов". Мы не считаемся со "Стихами о Прекрасной Даме"; когда-то же он был мистиком; после же сбросил с себя романтизм, углубился в конкретность; и в нем, наконец, пробудились гражданские ноты революционной поэзии. Кто так говорит о Блоке, тот не понимает поэта. Надо поставить себе вопрос так: Блок мог написать несколько гражданских стихотворений, которые в свое время были выразителями огромных моментов в жизни России, именно потому, что он некогда написал стихи о "Прекрасной Даме". Блок потому-то и мог написать "Скифов", что им написано "Куликово Поле". Подходя с таким себе поставленным требованием к поэту, невольно видишь, что эти истоки его творчества коренятся не только в сумме напечатанных в 3-х томах стихов, а в том целом, что их подстилает. Блок не был поэтом в обычном смысле этого слова; он был одновременно и конкретным философом: очень многие из вас, вероятно, читали "Стихи о Прекрасной Даме", но очень немногие знают: за этой книгой стоит сложная идеология, искавшая с каким-то мечтательным дерзновением своего осознания. Я вижу: собравшиеся здесь - главным образом молодежь; им трудно переноситься в эпоху возникновения "Стихов о Прекрасной Даме". Кто сознательно и глубоко переживал перелом в душевном и отчасти общественном настроении между 98 - 99 и 900 - 901 гг., тот знает: весь стиль жизни изменился тогда; изменился и стиль исканий, стиль красок полотен художников, стиль слова, каким поэты старались конкретизировать свои переживания. Поэты суть выразители коллективов; надо поставить вопрос: какой коллектив выразил Блок, когда писал стихотворения вроде:

Предчувствую Тебя. Года проходят мимо -  
Все в облике одном предчувствую Тебя.

Весь горизонт в огне - и ясен нестерпимо,  
И молча жду, - тоскуя и любя.

Весь горизонт в огне, и близко появленье,  
Но страшно мне: изменишь облик Ты,

И дерзкое возбудишь подозренье,  
Сменив в конце привычные черты.

О, как паду - и горестно, и низко,  
Не одолев смертельныя мечты!

Как ясен горизонт! И лучезарность близко.  
Но страшно мне: изменишь облик Ты.

Что это было - религиозная идеология, или вообще лирическая невнятица, или стилизация, повторение стиля старинных сонетов Данте? Нет, товарищи, нет. Именно в то время в передовых слоях русского общества происходила глубочайшая смена мироощущений эпохи пессимизма, мировой скорби, эпохи пассивности и некоторого разложения, которые инспирировали Чехова, серенькие тона в его драмах, которые инспирировали Левитана и Бальмонта в его первых книгах. Полный разрыв между духовными и внутренними переживаниями и окружающей действительностью - вот чем определялся стиль эпохи. В 900 г. все изменяется. Чувствуется, что идет какое-то будущее, какая-то огромная эпоха, чувствуется тревога и неизвестность в атмосфере. "Скучно жить, и завтра - как вчера", - вот стиль эпохи царствования Николая II. "Что день грядущий нам готовит" - вот стиль 900, 901 и 902 гг. И вы видите, как на поверхности искусства - в красках, в словах - все это меняется. Вы видите, когда вы идете на картинные выставки, как меланхолические пейзажи русских передвижников сменяются какими-то напряженными ожиданиями, Васнецов выставляет своих "Богатырей". Бальмонт после "Тишины" и "В безбрежности" пишет "Горящие здания". Влад. Соловьев углубляется в свои заостренные религиозные искания, и чувствуется, что вместо прозаической жизни идет "Дионис".

И вот впервые этот мир ощущений прорывается и находит отклик в русской интеллигенции, чувство напряженности обостряется, и будущая политическая борьба в поэзии начинает по-разному отражаться. Если мы возьмем Блока 1898 г. - то что мы увидим? Что эти серенькие тона, это чувство безнадежности и тоски доминируют в его стихотворениях.

Пусть светит месяц - ночь темна.

Пусть жизнь приносит людям счастье, -

В моей душе любви весна  
Не сменит бурного ненастья.  
Ночь распростерлась надо мной  
И отвечает мертвым взглядом  
На тусклый взор души больной,  
Облитой острым, сладким ядом.  
И тщетно, страсти затая,  
В холодной мгле передрагсветной  
Среди толпы блуждаю я  
С одной лишь думою заветной:  
Пусть светит месяц - ночь темна.  
Пусть жизнь приносит людям счастье, -  
В моей душе любви весна  
Не сменит бурного ненастья.

И потом, в 1900 году, когда наиболее чуткие и, быть может, лучшие выразители духа времени почувствовали эмпирически, физиологически какие-то поднимающиеся тучи из будущего, когда будущее стало ощущаться каким-то особым физиологическим органом, то сразу это ощущение тревоги и сквозь нее растущих зорь стало прорываться и прорывать серенькие пейзажи. Картины меланхолические, серенькие сменились картинами с ослепительными зорями. И в поэтическом пейзаже того времени произошло то же: по-разному оформились эпизоды, они оформились и в философских и моральных исканиях, которые так или иначе хотели связать вечность. Это была эпоха образования первых религиозно-философских обществ. С одной стороны группировались ницшеанцы; с другой - росли политические партии, марксизм получал все большую устойчивость. Эта активность возрастала, и вместе с тем возрастали требования. И Блок 1899-го года пишет стихи на тему "Гамаюн, птица вещая". В этих стихах на заре нового столетия уже проходят в эмбриональном виде все его искания.

На гладях бесконечных вод,  
Закатом в пурпур облеченных,  
Она вещает и поет,  
Не в силах крыл поднять смятенных...  
Вещает иго злых татар,  
Вещает казней ряд кровавых,  
И трус, и голод, и пожар,

Злодеев силу, гибель правых...  
Предвечным ужасом объят,  
Прекрасный лик горит любовью,  
Но вещей правдою звучат  
Уста, запекшиеся кровью!..

Если принять во внимание, что это стихотворение написано в 99-м году, то можно сказать, что в этом стихотворении поэт предощущал заранее и зори, и страшные годы, которые потом развертывались в пятилетия. Здесь все: и какая-то особая притягательная сила в этой птице - Гамаюне, которая зовет к чему-то новому. И чувствуется, что это новое сквозь тернии, сквозь испытания будет прорасти. И характерно, что это был год, в который Вл. Соловьев написал свою "Деву обиду". Здесь Блок перекликнулся с Соловьевым. И вот наступает 900-й год. Блок в заметке, оставленной им после смерти, бросает такую фразу, что в 1899-м году он в последний раз отдавался стихиям, и пишет, что он вообще отдавался стихийно, т. е. целиком, переживая время. И вот в 900-м году Блок с той же стихийностью входит в дух времени, он чувствует, что оканчивается старая эра, что новая заря поднимается, что какое-то громадное культурное единство идет из будущего. Но как он оформляет это культурное единство? Товарищи! В 1901 г. скончался Влад. Соловьев, оставивший огромную религиозную философию, где с высоты древней гностики он пытался сделать разрез нашей действительности. В то время эта философия была чрезвычайно оригинальной и многим она казалась совершенно неприемлемой. В то время некоторые из так называемых первых соловьевцев поняли, что эта система не есть отвлеченная, метафизическая, что эта система пытается ответить на вопрос - как органически оформить жизнь в свете религиозных исканий. Соловьев делает целый ряд добавлений и поправок. Он выдвигает даже новые догмы, он пытается вскрыть, что София-Премудрость, что новая мудрость исходит с неба на землю: человек соединяется со стихией мудрости, и эта стихия мудрости приурочивается человеческим сознанием к невесте, как тот образ философии, к которому обращен был Данте и о котором он писал, что у нее глаза полны лазури. И вот об этом образе Вечности, сходящем с неба на землю, Соловьев писал: "Знай же: вечная женственность ныне в теле нетленном на землю идет. В свете немеркнущем новой богини Небо слилось с пучиною вод" и. Друзья Соловьева не обратили внимания на то, что из этого вытекают совершенно конкретные следствия. И вот Блок в этом смысле первый конкретизатор философии Соловьева. Блок как поэт в своих темах является действительно единственным выразителем требований Соловьева. В то время как академические друзья философа начинают брать его в плоскости метафизической, Блок подхватывает тему стихов у Соловьева и ощущает Душу мира, как бы спускающуюся в человечество новой эпохи. Мы можем под ней разуметь разное - всякий может вкладывать свое; Блок видит это новое в образе "Прекрасной Дамы". Блок сознательно изучил философию Соловьева и конкретно пытался провести ее в жизнь, сделать из нее максимум революционных выводов. Об этом явствует целый ряд его писем и целый ряд теоретических рассуждений о том, как понимает он "Прекрасную Даму". В переписке со мною подробнейшим образом характеризует он, что та муза его, к которой он обращается, - "Россия" с большой буквы, - в плоскости религиозной может являться в двух аспектах: "Софии", конкретной Премудрости, сходящей в человечество, и в догматически историческом разрезе - она есть Богоматерь. И вот, если мы возьмем все творчество Блока, мы увидим, как этот образ раскрывается, так сказать, в трех плоскостях. Человек есть дух, и внешне духовным этот образ у Блока себя отражает в первом томе. Конечно, товарищи, для того, чтобы понять всю серьезность тогдашних исканий Блока, надо быть посвященным в очень сложные

философские темы! Я хочу сказать, что у Блока этот образ его музы отображался, как образ Софии-Премудрости. В душевном мире эта София-Премудрость, как у древних гностиков и у Вл. Соловьева, отображалась в образе Души мира; и в плане физическом она отображалась как чистая девушка, как Беатриче Данте. Когда мы берем Данте, мы видим, что Данте в Чистилище встречает девушку - Премудрость, которая ведет его в высокие сферы. Это девушка, в которую он был влюблен. И Фауст Гёте, который во 2-й части вырывается из рук Мефистофеля, посвящается в духовном мире в тайны божественной, вечной женственности, встречает там образ Маргариты, той Маргариты, которую он искал в жизни и с которой в прошлом имел самый легкомысленный, внешний роман. Все равно - Маргарита ли, не узнанная Фаустом, Беатриче ли Данте в образе невесты, чистой девушки, в которой отражается как в зеркале сияние мировой души. Мы видим: вся лирика Блока обращена к ней. В первом томе его стихов мы имеем какой-то луч божественности, и эта космическая душа открывается в индивидуальном сознании. Письма Блока опять-таки говорят об этом: Блок писал, что противоположности сходятся и она есть новое откровение новой эры. Она скорее в отдельных душах, говорит через индивидуальное сознание, так что трудно нам осознать ее как коллектив, как народ. Впоследствии, как мы увидим, Блок приходит к другому, но вначале он так говорит: вот человек, и вот какое-то мировое единство, которое мистически открывается индивидуальному сознанию в образе Прекрасной Дамы. Позднее это мировое единство в душевном мире открывается в образе Богоматери. Это - "Божья Мать "Утоли мои печали"". Это отражается и в войне, который, предчувствуя будущие грозы России, символически отображенные в гуле далекого нашествия татар, просыпается и вокруг слышит гул и говорит:

И с туманом над Непрядвой спящей,

Прямо на меня

Ты сошла, в одежде свет струящей,

Не спугнув коня.

Серебром волны блеснула другу

На стальном мече,

Освежила пыльную кольчугу

На моем плече.

И когда, наутро, тучей черной

Двинулась орда,

Был в щите Твой лик нерукотворный

Светел навсегда.

В 3-м томе она отображается уже не как душа мира. Блок начинает понимать, что без осознания более мелких коллективов, каковым является народ, конкретно пережить ее невозможно, и поэтому в 3-м томе она открывается как душа народа, как Россия, но так, что в этой России есть действительно некое органическое единство, которое вклиняет себя, свою жизнь в отдельных русских. И вот он, Блок, прислушивается к ее голосу, она ему - мать, невеста, жена. Он Россию

называет женой, и так же, как Гоголь, он с совершенно единственной нотой обращается к народу, и притом он становится народником внутренним в очень глубоком смысле слова, не в духе политическом, но в духе ощущений - как говорил Достоевский - матери сырой земли, т. е. она действительно отображение какого-то законченного внутреннего лика. Нельзя прийти ко всему человечеству, нельзя прийти к интернационализму, к братству, содружеству наций, минуя народ. [Это та точка зрения, которая полагает национальное единство не как интернационал, а как конационал.] Эта точка зрения требует, чтобы действительно душа народная была внутренне отображена. Блок становится именно потому народным поэтом, что к душе народа он подходит с огромной высоты, с философского задания вопроса: Что такое душа народа? В чем ее суть? Может ли она пониматься этнологически? Или душа народа есть действительно некоторая органическая основа, органическая целостность, в которую каждый русский вплетен, как ее член, в какое-то целое, имеющее свой собственный лик. И, наконец, в 3-м томе отображается эта душа народа в каждой русской женщине. Поэтому в 3-м томе звучат ноты исключительной нежности, исключительной трогательности, любви и жалости, когда Блок подходит - все равно к кому - к той ли, которая задавлена жизненным колесом, к цыганке ли в ресторане, к проститутке ли - все равно он чувствует в каждой русской женщине отображение русской народной души, и в отображении народной души - отображение самого женственного начала - Божества, то отображение, которым кончается великая драма Гёте, великая мистерия - "Фауст".

Возникает вопрос: почему же Блок переменялся, почему он не остался один и тот же. И тут и там, и народник и мистик, он имеет один центр, один лик своей Музы, и если мы возьмем персонажи его стихов, то опять-таки увидим, что эти персонажи всегда какой-то "он", какая-то "она" и какое-то третье лицо, какое-то хоровое начало. Как бы ни переживались эти персонажи, они вычеканиваются из всех стихов Блока. Блок именно потому большой поэт, что независимо от вопроса, хорошо ли он писал или дурно, он потому поэт, что эти 3 тома суть 3 акта, связанные внутренней драмой, что от первого до последнего мы видим развитие все той же темы, все той же углубляющейся драмы, жертвой которой пал он сам. И теперь мне хотелось бы бросить взгляд на этого поэта и в двух словах проследить основные этапы и метаморфозы этой единственной темы, от стихотворений "О Прекрасной Даме" до "12-ти" и "Скифов". Именно в ту эпоху, когда рождались молодые надежды, новое художественное направление, когда многие лозунги идеологически впервые выбросились, именно в ту пору, в год смерти Соловьева, который до Блока был наиболее ярким выразителем темы Блока, именно в этот год, даже месяц смерти Соловьева, первый из русских поэтов подхватывает эту тему. Еще в 1899 г. он пишет "Земля мертва, но вдали рассвет...", а уже в 1900 г. звучат такие ноты:

На небе зарево. Глухая ночь мертва.

Толпится вокруг меня лесных деревьев громада,

Но явственно доносится молва

Далекого, неведомого града.

Ты различишь домов тяжелый ряд,

И башни, и зубцы бойниц его суровых,



И темные сады за камнями оград,  
И стены гордые твердынь многовековых.

Так явственно из глубины веков  
Пытливый ум готовит к возрожденью  
Забытый гул погибших городов  
И бытия возвратное движенье.

Вскоре после этого он в первый раз пишет: "То бесконечность пронесла над падшим духом ураганы, то Вечно-Юная сошла в неозаренные туманы", т. е. вечный дух спускается в неозаренный туман, и, стало быть, впереди нас ожидает какое-то новое время с новыми заданиями. Уже в конце осени 900-го года нарастает это настроение тревоги и кончается:

Там сходишь Ты с далеких светлых гор.  
Я ждал Тебя. Я дух к Тебе простер.  
В Тебе - спасенье!

В 1901 г. эпоха нарастания и высшего напряжения этой темы. 4-го июня 901 г. он пишет стихотворение, которое открывает его знаменитый цикл, посвященный "Прекрасной Даме":

Предчувствую Тебя. Года проходят мимо -  
Все в облике одном предчувствую Тебя.

Весь горизонт в огне - и ясен нестерпимо,  
И молча жду, - тоскуя и любя.

Весь горизонт в огне, и близко появленье,  
Но страшно мне: изменишь облик Ты,

И дерзкое возбудишь подозренье,

Сменив в конце привычные черты.

О, как паду - и горестно, и низко,  
Не одолев смертельныя мечты!

Как ясен горизонт! И лучезарность близко.

Но страшно мне: изменишь облик Ты.

И вот начинается этот знаменитый цикл. Когда мы изучаем пейзаж и краски, как он рисует, мы видим, что и краски и пейзаж отвечают краскам и пейзажу Вл. Соловьева. Но у Соловьева не пейзаж, а изображение, символ каких-то чаяний. Это есть отображение целого сложного душевного мира, под которым таится организация будущих образов. Когда мы анализируем слова и краски поэта, мы поступаем, как врач, который ощупывает пульс. Какие-то признаки внешние соответствуют какому-то органическому процессу. Вот об этом органическом процессе творчества Блока я и хочу сказать два слова. [...] Мы видим, что Соловьев является его инспиратором и философски-поэтическим возбудителем в этот период. Но Блок идет дальше. Он говорит, что раз Она идет и спускается на землю, то Она раскроется в ближайших годах. Он ждет ее схождения. И вот ожидание новых слов, новых событий сглаживает перспективу, и вместо золотой краски у него является сгущение.

Бегут неверные дневные тени.

Высок и внятен колокольный зов.

Озарены церковные ступени,

Их камень жив - и ждет твоих шагов.

Ты здесь пройдешь, холодный камень тронешь,

Одетый страшной святостью веков,

И, может быть, цветок весны уронишь

Здесь, в этой мгле, у строгих образов.

Растут невнятно розовые тени,

Высок и внятн колокольный зов,

Ложится мгла на старые ступени...

Я озарен - я жду твоих шагов.

В этом приближении, в этом экстазе чувствуется какое-то подчас хлыстовское настроение. Вот в этом преждевременном приближении образа, который для него является образом новой культуры, чувствуется, что предстоят испытания. Потому что в самом деле, с одной стороны, она спускается на землю, с другой стороны, Беатриче рисуется все более и более мистически, как будто наступает момент, когда "она" с маленькой буквы станет Она с большой; когда Она с большой буквы станет так, как стоит образ Беатриче. В том, что Блок предупредил время, пережил, преждевременно, может быть, далекие горизонты, которые в столетиях будут разворачиваться, лежит начало того кризиса, той катастрофы, которая составляет переход. Потому что вслед за этой нотой начинается нота раздвоения:

Сбежал с горы и замер в чаще.

Кругом мелькают фонари...

Как бьется сердце - злей и чаще!..

Меня проищут до зари.

Огонь болотный им неведом.

Мои глаза - глаза совы.

Пускай бегут за мною следом

Среди запутанной травы.

Мое болото их затянет,

Сомкнется мутное кольцо,

И, опрокинувшись, заглянет

Мой белый призрак им в лицо.

Какая-то часть сознания Блока сбежала с горы, другая же часть осталась на горе, но потеряла какую-то конкретность, и с этого момента действительно в лирике Блока, в его мужских персонажах начинается раздвоение, я бы сказал образно: одна часть бежит в мглу мутной жизни и, прикоснувшись ко всем благам, начинает конкретизировать их, а другая половина сознания теряет духовную конкретность и становится абстрактной. Об этом мы все время читаем у Блока. Абстракция и чувственность - вот на что разрывается конкретность мистики Блока, и это душевное раздвоение мы можем проследить через все три тома. Мы видим это в целом ряде стихотворений трех томов. То является это в прожигателе жизни, который на Елагином мосту проскакивает на тройке и потом горестно опохмеляется, а другой не верит в конкретность мечты и называет ее прекрасной дамой. Пейзаж второго тома - туман, ржавые болота, гнилая вода, осень, увядание. В этом пейзаже, где ее образа нет в раздвоенном сознании Блока, она ушла в область мечты, которая никогда не спустится на землю. О ней поэт говорит:

Ты в поля отошла без возврата.

Да святится Имя Твое!

Снова красные копыа заката

Протянули ко мне острие.

Лишь к Твоей золотой свирели

В черный день устами прильну.

Если все мольбы отзвенели,

Угнетенный, в поле усну.

Ты пройдешь в золотой порфире -

Уж не мне глаза разомкнуть.

Дай вздохнуть в этом сонном кире,

Целовать излученный путь...

О, исторгни ржавую душу!

Со святыми меня упокой, Ты,

Держащая море и сушу

Неподвижно тонкой Рукой!

Это говорит тот, кто прежнюю духовную конкретность рассматривает как мечту. А другой, тот, у кого глаза совы и кто сбежал с горы, кто бегают по ресторанам, кто мчится на тройке, он говорит:

Ты смела! Так еще будь бесстрашной!

Я - не муж, не жених твой, не друг!

Так вонзай же, мой ангел вчерашний,

В сердце - острый французский каблук!

Вот это звучит уже незнакомкой со страусовыми перьями, и эта незнакомка неизвестно кто. Мы видим, что Блок раздваивается, что он не может жить без этой мечты, что она не может быть доступна внутреннему восприятию человека. И по мере того как заканчивается для Блока внутреннее восприятие этого организующего единства мировой души, по мере того как человечество во внешнем мире вычерчивается перед ним все больше и больше, мы видим, что он становится рыцарем интеллигенции, он приветствует революцию, и в его революционных стихах описывается интеллигент-"революционер".

Но Блок не удовлетворен. Социально-политическая революция вне духовной революции - такой же сон пустой. Еще долго до 1908 г. он слишком остро переживал это единство, как открывающееся во внутреннем мире. Теперь он переживает это единство не как мировую душу, не как человечество, но идет дальше. В его внутреннем мире раздвоение этих частей расколовшегося сознания доходит до ужасных пределов. Незнакомка, это странное образование промежуточной эпохи, видоизменяется и является Блоку все в более страшном образе. Она является как мертвая невеста, но, умирая, она продолжает после смерти свою странную жизнь, и он видит образ ее в Клеопатре, в музее паноптикум. Она становится образом его страшной музыки. На внутреннем пути человека встречаются испытания, его душа предстает в самом страшном женском образе, его губящем. И Блок понимает, что это есть сошедшая с ума панна Катерина. И это есть Россия. Здесь мы чувствуем, как Блок подходит к восприятию души народа, и что же Блок делает, как он поступает. Он встречает ее дикий образ и отвечает ей глубоко замечательным образом. Мы знаем его цыганские стихи, но мы не понимаем, что это такое.

Внешним образом рисуется сценка в ресторане. Это есть жена, которую он любит, это есть та Россия, в которую он вкладывает душу. Тут начинается изумительнейший цикл стихотворений. Я скажу, что все прежние его пожелания заостряются, и в своей идеологии от Вл. Соловьева он подходит неизбежно к новому, быть может, восприятию тем философии Герцена, Бакунина. Блок становится чем-то кровно связанным с ними в левых революционных нотках. Связь его с левым народничеством не случайная, но не случайно Блок в 1908 г., написавший "Куликово Поле", где он предвидит опасности, грозящие России, перекликается и с Вл. Соловьевым. Тут и там ноты Востока и Запада, и тут и там он чувствует страшного колдуна русской жизни, и он - Русский с большой

буквы, в котором душа народа выковала себя. Действительно, он выковывает то, что является внутренней жизнью России. В 1908 г. он пишет, кончая "Куликово Поле" и предчувствуя тучи будущего:

Но узнаю тебя, начало  
Высоких и мятежных дней!  
Над вражьим станом, как бывало,  
И плеск, и трубы лебедей.

Не может сердце жить покоем,  
Недаром тучи собрались.  
Доспех тяжел, как перед боем.  
Теперь твой час настал. - Молись!

В 1913г. это для него уже факт. С Запада идет [государственный социализм. Товарищество, но не братство] какая угодно революция, но не духовная. С Востока идут гунны, и вот он обращается к Западу сперва.

И вот его предложение - идите на Урал, о, неужели вы не откликнитесь на братский зов любви и мира. Все духовные переживания, все им вложено в переживания общественные. Будет ли Россия тем, чем она будет. Он кончает:

Идите все, идите на Урал!  
Мы очищаем место бою  
Стальных машин, где дышит интеграл,  
С монгольской дикою ордою!

Мы - скифы, которые любим и протягиваем объятия в последний раз, но сами мы отныне вам не щит. Стальной интеграл всякой государственности вдвинулся уже в пределы России, и дикая монгольская орда идет к границам России. Все столкнувшиеся противоречия Востока и Запада, которые показывают, что товарищи еще не стали братьями, что какой-то рок России скрыт. И тут Блок встает как скиф, который предвидит в катастрофических годах русской жизни разрез линии всеобщей мировой катастрофы, как раз переходящей в русское сердце до дна, поднимая в нем

давно забытые звуки, которые должны войти в современное сознание, чтобы это сознание пришло к последнему, чтобы Россия действительно была той Россией с большой буквы, к которой Блок обращается так молитвенно, которая есть душа народа и отражает в себе душу человечества, душу мира. Так в Блоке соединялся мистик и поэт "Прекрасной Дамы". Но ноты обрываются.

[Страшные годы России продолжаются. Самого Блока с нами нет, и встает перед нами вопрос - что есть скифы Блока, что есть душа русского народа, каковы задачи этого скифства, этого нового осознания России, какая связь его с народничеством и как в нем вопросы Востока и Запада стоят...]

## **А.К.ВОРОНСКИЙ. ВСЕВОЛОД ИВАНОВ**

### **I. "Идет с 1917 года одна моя дорога смертная".**

Дан ему большой, крепкий, сильный и радостный талант. Он вышел из низовой, безымянной, рабочей, трудовой, беспокойной, взыскующей Руси. Опаленный революционными сполохами, выросший в нынешний складывающийся быт, в смертоносные, гражданские войны, он по новому, по своему рассказывает о революции, о недавно бывшем, - надолго, навсегда врезавшемся в память нам, современникам.

Из молодых беллетристов, выдвинувшихся за последние 1 1/2 - 2 года, Всев. Иванов наиболее решительно и безоговорочно принял Советскую Революционную Россию, и выходит это у него просто, молодо, легко, художественно, правдиво и цельно. Он не осматривается по сторонам прицеливающимся, сомневающимся взглядом, не расходует себя на двусмысленности, недоговоренности, не боится, что его будут считать большевиком в литературе, не играет под сурдинку "на всякий случай" из опасений, что неизвестно, мол, "чем все это кончится". В равной мере далек писатель и от тех безвкусных, добродетельных, выхолощенных агиток, где все хорошо: революция победила по всему фронту, и граждане благоденствуют, славословя предержавшие власти. Таких, не в меру ревнивых, советских суздальских богомазов от литературы у нас не мало, и бывает подчас плохо: читатель либо со скукой отбрасывает напечатанное, либо вопит: обман.

С общего отношения к революции нужно начинать вообще и теперь в особенности, и, в частности, раз речь заходит о поэте, беллетристе, потому, что волей неволей, но каждое их слово, каждая вещь падает прежде всего на чаши весов революции и контр-революции, что нет никакого искусства вообще, чистого искусства, искусства в себе и для себя, и не может быть, особенно в годы, когда еще недавно звучали только сталь и железо, когда люди вгрызались друг другу в горло, когда все и по сию пору идет под знаком этой войны, - потому, наконец, что в области художественной жизни чрезвычайно сильны предрассудки о всемирном, самоценном искусстве, и встречаются они даже там, где им совсем не место.

\* \* \*

Всев. Иванов - наглядный аргумент революции. Глубочайший смысл октября - в том, что он выдвинул подлинный демос. В государственные и хозяйственные органы, в Красную армию, во все поры России с октябрём, хлынули сотни тысяч рабочих, крестьян, мелкого служилого люда, подпольной, наиболее демократической и необеспеченной интеллигенции, о ком с яркой ненавистью, как об охлосе, о хамах твердила и твердит буржуа и "большая" интеллигенция, с солидным, в недавнем, положением, интеллигенция хороших гостиных, ресторанов, высоких заработков и гонораров. Красная армия уже показала и доказала этим "бывшим людям" жизненную крепость "охлоса". Гораздо сложнее дело обстоит в области хозяйственной и особенно идеологической, в тесном и узком понимании этого термина. Овладеть наукой, искусством куда

трудней, чем взять и держать власть. Кроме того, гражданская война явилась огромной помехой при выработке своей идеологии послеоктябрьским демосом. Только теперь можно наблюдать первые победы, видеть первые ростки, начатки новой культуры. Это - не пролетарская, не коммунистическая культура. Нам далеко до этого, ибо пролетариат вышел из войны чрезвычайно ослабленным. Но это - и не старая императорская культура, довоенная, разбавленная новой нэпмановской идеологией. Это - советская, промежуточная, переходная культура. В ней больше от крестьянина, от "демократического" интеллигента, чем от рабочего, да, ведь, и рабочий еще только в пути. Она вся неустойчива, расплывчата, обращенная своим лицом к тому, что в будущем явится подлинной культурой пролетариата, - и она органически враждебна, четка и ясна в этой своей враждебности к старой буржуазно-помещичьей культуре.

Всеволод Иванов - один из первых, свежих и крепких ростков послеоктябрьской советской культуры в области художественного слова. Он кровно связан с "охлосом", наполняющим рабфаки, студии, командные курсы, академии, университеты и пр. Он - их по происхождению, по прошлому, участию в революции, по своему психическому складу и облику. Пришел он из тайги, с тундр, со степей, гор и рек сибирских, весь обвеянный ими. Отец был приисковый рабочий, самоучкой сдал экзамен на школьного учителя. "С 14 лет, - рассказывает о себе Иванов, - начал шляться. Был пять лет типографским наборщиком, матросом, клоуном, факиром - "дервиш Бен-Али-Бей" (глотал шпаги, прокалывался булавками, прыгал через ножи и факелы, фокусы показывал); ходил по Томску с шарманкой; актерствовал в ярмарочных балаганах, куплетистом в цирках, даже борцом. С 1917 года участвовал в революции. После взятия чехами Омска (был я тогда в Красной гвардии), когда одношاپочников моих перестреляли и перевешали, - бежал в голодную степь и, после смерти отца, - дальше за Семипалатинск к Монголии. Ловили меня изрядно, потому что приходилось мне участвовать в коммунистических заговорах. Так от Урала до Читы всю колчаковщину и скитался"... (Автобиография). Два раза Иванова собирались расстреливать: один раз партизаны, в другой - новониколаевский че-ка, по недоразумению. Болел тифом. Словом, жизнеописание совершенно определенное. В. Иванов - не старый подпольный революционер, он вообще беспартийный, - революция подняла его на своем могучем гребне вместе с сотнями тысяч другой молодежи, которая до того работала в типографиях, а в периоды безработицы "шлялась", пробиваясь, чем бог пошлет.

Теперь эта молодежь идеологически оформляется, - раньше некогда было - дрались, - и закрепляется на занятых во время революции позициях. Всеволод Иванов наглядный показатель того, как далеко шагнул вперед этот демос, как много творческих, свежих сил таит он в себе. За ним и с ним - тысячи и десятки тысяч, пишущих стихи, рассказы, драмы (вся Красная армия, - говорят, - пишет теперь), "проглатывающих" учебники и книги. В литературе он тоже не одинок. С ним довольно значительная, с каждым месяцем растущая группа художников слова. Все они - из одного гнезда, от одной матери. Зарубежные витии - Бурцевы, Мережковские, Бунины, Черновы - могут сколько угодно вопить о хамодержавии, сколько угодно могут свистать и заливаться соловьями о западно-европейском парламентаризме и демократизме, не в пример "русской советской азиатчине", - факт тот, что, именно, большевизм и "советизм" расчистили и проторили дорогу подлинной рабоче-крестьянской демократии, - факт тот, что в среде этой демократии выкристаллизовывается новая интеллигенция, со свежей кровью и что она, - интеллигенция эта, - шагает семимильными шагами, завоевывая себе надлежащее, господствующее место "на пиру жизни". Господа Мережковские покинули Россию в мыслях, что она без них пропадом пропадет. - Они только освободили путь свежим и здоровым...

**II. "И тому, что жив, - радуюсь" ...**



Основной темой рассказов и повестей В. Иванова является гражданская война партизан в Сибири с колчаковскими войсками. Тема сама по себе тяжкая, кровавая. Зверски расправлялись колчаковцы с рабочими, крестьянами, красногвардейцами, - и не давали пощады белым отрядам партизаны со своей стороны. В. Иванов - непосредственный участник этой войны, - сумел пронести и сохранить через всю кровавую эпопею большое, любовное, теплое, жизнепринимаящее чувство, радость, опьяненность дарами жизни. Словно после грозы, ливня и бури, когда солнце особенно жгуче, весело и молодо льет свет свой, вещи В. Иванова освещены этим чувством и ощущением теплой, светлой и материнской ласки жизни: тайги, степей, сопки, ветров, партизан. В передаче этого настроения - главная изюминка произведений В. Иванова, основной мотив его творчества, то, с чем остается писатель на всю свою жизнь, что является "душой" произведения, сообщает ему тон и дает окраску. "У всякого человека есть внутри свой соловей", - говорит маслодельный мастер в "Партизанах". Тем более, такой соловей должен быть у писателя "божьей милостью". Замолкает такой соловей, - и писатель становится скучным и серым, перепевает себя и о нем говорят: "исписался", "отпел", "кончился". Таким соловьем у Всева Иванова является глубокая, мягкая и, в то же время, сильная, звериная и непосредственная радость. Ее особенность - в том, что она выношена, а может быть, и рождена в кровавые, смертоносные дни в мытарствах и скитаниях.

В "Бронепоезде" есть эпизодическая фигура - "солдатик в голубых обмотках и в шинели, похожей на грязный больничный халат". Шляется и присматривается ко всему.

"Солдатик прошел мимо, с любопытством и с скрытой радостью оглядываясь, посмотрел в бочку, наполненную пахнувшей, похожей на ржавую медь, водой.

" - Житьишко! - сказал он любовно"...

В. Иванов в своих вещах очень напоминает этого солдатика. Он, как-будто в стороне, ко всему присматривается, но читатель чувствует, что каждой написанной своей страницей автор говорит любовно и с скрытой радостью: житьишко! - идет ли речь о сопках и степях, или партизанах и китайце Син-Бин-У.

И не мешает ему густая, липкая человеческая кровь кругом. Дал автор сцену расстрела начальником партизан Никитиным молодого слесаря, у которого, при пробе бомбы не разорвались, и тут же рядом - лирическая глава, кончающаяся гимном жизни:

" - Эх, земли вы мои, земли тучные!

" - Эх, радость - любовь моя, горная птица над белками!

"Верую! - ". ("Цветные ветра", стр. 72).

Только что он рассказал в "Бронепоезде", как мужики сотнями, "как спелые плоды от ветра падали... и целовали смертельным, последним поцелуем землю", - и новый гимн:

"... - пахнет земля - из-за стали слышно, хоть и двери настезь. Пахнет она травами осенними, тонко, радостно и благословляюще. Леса нежные, ночные, идут к человеку, дрожат и радуются, - он господин.

"Знаю!

"Верю!

"Человек дрожит, - он тоже лист на дереве огромном и прекрасном. Его небо и его земля, и он - небо и земля. Тьма густая и синяя, душа густая и синяя, земля радостная и опьяненная. Хорошо, хорошо - всем верить, все знать и любить!" (стр. 73).

По старым добрым традициям, тут "слезу пустить надо", сделать панихидное лицо, либо нагромоздить всяких настроений, размышлений, стенаний. А тут - гимны! Никакого благообразия литературного нет. Ах, какой примитивизм, какая некультурность и грубость нервов!

Автор настолько переполнен гимнами жизни, что обычные рамки рассказа, повести ему тесны. Он постоянно их раздвигает, вставляя лирические главы, отступления, обращения - целые рапсодии. Подобно скальду Ибсена, он на могилах сынов и братьев своих по борьбе, слагает песни:

Язвы все врачует

Песнь волшебной силы,

Так греми ж сильнее

Над сынов могилой!

В автобиографии (см. "Литер. Записки" N 3) Иванов, между прочим, рассказал, как его два раза расстреливали. Повествование о расстрелах кончается там заявлением, обычным для писателя: "идет с 1917 года одна моя дорога, - смертная. И тому, что жив, - радуюсь".

Знаменательней же всего то, что во всем этом у Всеволода Иванова нет ни тени усталости, разочарования, издерганности, размагничности. Здесь не тяга к обывательской размягченности, к подушкам и перинам, от перенесенных невзгод, что теперь очень часто встречается, не ренегатство и отход, - а действительно глубокая, здоровая радость. Большая она, широкая, всеобъемлющая, всепокоряющая. Велики дары жизни и тонут в них кровавейшие человеческие дела, кажутся отдельными эпизодами, а надо всем "земля радостная и опьяненная", господин ее - человек.

Пришел писатель из степей, гор, лесов, где все напоено могучей первобытной жизненностью, красотой, девственной нетронутостью и цельностью, где и люди, как окружающая их природа, по первобытному сильны и здоровы. Вместе с ними боролся писатель и была эта борьба, по своему содержанию такова, что не обессилила, не измотала, а еще крепче связала его с красотой и зовами жизни, зовами таинственными и прекрасными.

Такова Сибирь у В. Иванова; густой, жирный, теплый, тучный, радостный, медоносный, жизненный, густо-пахнувший, тугой, крепкий, смоляной, жаркий, красно-оранжевый, синий, упругий, великий, сладостный, острый, стальной, зеленый, бурый, спелый, сладко-пахучий, нежный, тягучий, радужный, кровавый и т. д. Все сильное, пахучее, цветистое, яркое, буйное, крупное. Даже ветра у него цветные, голос - розовый. "Азиат тело любит крашеное", - это он про себя, прежде всего, так написал. Бледных красок на палитре В. Иванова нет. От этого и горы, и степи, и леса, и реки выступают полные цветов, буйной жизни, зовут и манят к себе своей звериной красотой и пестротой красок, как малявинский хоровод, как яркие сарафаны и платки деревенских женщин в праздники.

А партизаны? Все они у него здоровые, свежие, кряжистые, дубовые. Больных, с надрывом у Иванова нет. Он их не изображает, не любит, они - не герои его романа. Дикой, непреодолимой силой и властью земли напоены до краев его мужики-партизанщики, соками жизни, соками густыми и пахучими, как деревья весной. Селезнев: - "у него была широкая, лошадиная спина, с

заметным желобком посредине", "ступал грузно". Соломиных говорит про него: "медвежья душа у человека". Сам Соломиных "походил на выкорчеванный пенёк, - черный, пахнущий землей и какими-то влажными соками". Горбулин: - "широкорожий, скуластый, с тонкими прорезами глаз". Вершинин: - "широкие, с мучной куль, синие плисовые шаровары плотно обтянулись на больших, в конское копыто, коленях... высокий, мясистый, похожий на вздыбленную лошадь... с тяжелыми сапогами, как у идола". Каллистрат Ефимыч: - "тело широкое, тяжелое, и длинная тяжелая в проседь борода... огромные руки". Ему под шестьдесят, сыновья семейные, а он тянется к молодой Настасье, как 17-летний. Все у них нутряное, исподнее, неподдельное и простое. Слова выговариваются с трудом и всегда отвечают внутренним движениям. Так же прямы и непосредственны их действия.

Городские большевики у Иванова тоже полны энергии и движения. Председатель подпольного ревкома Пеклеванов - с впалой грудью, говорит слабым голосом, кожа на щеках у него нездоровая, "но глубоко где-то хлещет радость и толчки ее, как ребенок во чреве роженицы, пятнами румянят щеки". Комиссар Васька Запус: - "волос у него под золото, волной, растрепанной на шапочку. А шапочка - пирожек, без козырька и наверху - алый каемчатый разрубек. На боку, как у казаков, - шашка в чеканном серебре... Слова у Запуста розовые, крепкие, как просмоленные веревки, и теплые... Глядит из-под шапочки - пильменчиком, веселым глазком... маленькие усики над розовой девичьей губой"... - Даже у Никитина, который дает только кровь, внутри спрятаны ласковость и "ухмылка". Матрос из "Бронепоезда", Васька Окорок - тоже веселые, хохочущие люди.

Атмосфера партизанщины бодрая, веселая, уверенная, героическая.

Вот откуда радостность, пронизывающая писания В. Иванова.

Сим победиши!

Если прав Гинденбург, что побеждает тот, у кого крепче нервы, то партизаны и большевики: Никитины, Васьки Запусы, Пеклевановы должны были победить, так как на их стороне была не только крепость нервов, но и сама жизнь, ее стихийная сила, ее радость. Эта сила дала возможность марксистскому большевизму не только разбить Колчака, Врангеля и Деникина, но и разорвать кольцо блокады, но и отбить нападения могущественной Антанты. Большевизм сумел соединить себя с этим могучим и мощным потоком жизни, с этой миллионной первобытностью. И потому он устоял и победил. Вещи В. Иванова, в числе прочего - чудесный, художественный документ нашей эпохи, выясняющий с внутренней, психологической стороны, почему мы, большевики, оказались победителями в гражданской войне.

Сейчас за рубежом печатается тьма тьмущая воспоминаний, повествований, мемуаров, фельетонов о недавней гражданской войне в Сибири, в Крыму, на Дону. Все они окрашены, во-первых, воплями, - эти мерзавцы лишили нас сытой жизни, ресторанов, кабаков и автомобилей, во-вторых, - полным неверием в себя и в дело, за которое недавно распинались, - истерикой, и пессимизмом. Очень любопытно сравнить это зарубежное творчество с художественными вещами В. Иванова. Вывод общий один: одни сумели, через всю тяжесть гражданской войны сохранить и даже накопить "элексир жизни", выйти здоровыми духовно и благословляющими жизнь, другие - стекали, как гной, на окраины, все потеряли, во все изверились, оказались внутренне опустошенными. Судите сами, на чьей стороне была правда истории.

Широкая радостность и упоенность жизнью, освещающая творчество молодого писателя, дает ему ключ к действительно художественному подходу и обработке материала. Благодаря наличию этого основного настроения, В. Иванов обнаруживает ту художественную пронизательность,

правдивость и нелицеприятие, без каких-либо произведений непременно делаются ходульными, тенденциозными, лишенными плоти и крови.

Верно ли это в отношении к вещам Иванова?

Остановимся подробнее на его мужиках-партизанах.

### **III. "Заметь, хорошие парни были".**

"Нам с этой властью (колчаковской. А. В.) не венчаться. Наша власть советская, крестьянская" (Селезнев)...

"Только я говорю, без большецкого правления, - наша погибель. Давай, мол, из камню большевиков к восстанью тащить" (Краснобородый)...

Не сразу, однако, сибирские мужики пришли к мысли, что без "большецкого" правления - погибель их. В "Партизанах" Иванов отмечает, что этих самых "большеков" крестьяне вылавливали и предавали колчаковским отрядам. Понадобился некий поучительный, жизненный опыт, чтобы мужики изменили свое отношение к большевикам и пошли к ним с "истомленными, виновными лицами".

В результате этой жизненной практики мужики, прежде всего, убедились, что "Толчак" непременно оставит их без земли.

" - Парней-то призывают к Толчаку этому самому служить, а они не хотят. А ну его к праху, чех, собака, и земли все хочет отбирать.

" - Отберет, - уверенно прогудели мужики" ("Цветные ветра", стр. 62).

Из "Бронепоезда":

"Вершинин, с болью во всем теле, точно его подкидывал на штыки этот бессловный рев, оглушая себя нутряным криком, орал:

" - Не давай землю японсу! Все отыдем! Не давай...

"...Как рыба, попавшая в невод, туго бросается в мотню, так кинулись все на одно слово:

" - Не-е-да-а-вай!!!" (стр. 31 - 32).

Сюжет повести "Цветные ветра" разворачивается из того, что колчаковские офицеры обещают киргизам кабинетские земли, а крестьяне этих земель отдавать не хотят.

В сущности особых, а тем более помещичьих угодий, в Сибири нет и мужики вкладывают в лозунг - землю не отдадим - свою особую мысль, свое понимание.

Партизан Горбулин говорит:

" - Одуришь без работы-то. Мается, мается народ и сам не знает пошто" ... ("Парт.", стр. 80).

В "Бронепоезде" Знобов подтверждает:

" - Народ робить хочет.

" - Ну?

" - А робить не дают. Объяростил. Гонют" (стр. 26).

Наумыч, мужик, жалуется Каллистрату Ефимычу:

" - Мается люд. Для близиру хоть пруд гонит. Душа мутится с войны... Робить..." ("Цветные ветра", стр. 177).

Робить охота. Держит земля мужика, требует его пашня. А робить не дают: "Толчак", атамановцы, чехи, американцы, японцы, милиционеры. Селезнев - самый "справный" хозяин, богатый, церковный староста, а его вынуждают обстоятельства сделаться начальником партизанского отряда: в праздник приехали милиционеры, "накрыли" Селезнева с самогонкой, разбили самогонный куб и были "случайно" убиты "случайными" плотниками.

"Случайные обстоятельства" то-и-дело врываются в трудовую жизнь сибирского мужика: то парней гонят по мобилизации к Колчаку, то начинают бесчинствовать атамановские банды, то колчаковские офицеры тревожат крестьян обещаниями отдать кабинетские земли киргизам, то беспокоят японцы, чехи, американцы.

"Польские уланы отправляются в "поход".

"Некоторые из улан, проезжая знакомые деревни, раскланивались с крестьянами. Крестьяне молча дивовались на их красные штаны и синие, расшитые белыми снурками, куртки.

"Но чем дальше отъезжали они от города и углублялись в поля и леса, тем больше и больше менялся их характер. Они с гиканьем проносились по деревне, иногда стреляя в воздух, и им временами казалось, что они в неизвестной, завоеванной стране, - такие были испуганные лица у крестьян, и так все замирало, когда они приближались" ("Парт.", стр. 58).

Дальше начиналась ловля "большевиков", изнасилования женщин, расстрелы.

Огромное озлобление отмечает у мужиков автор к иноземным войскам.

Партизаны взяли в плен американского солдата, сгрудились вокруг него:

" - Жгут, сволочи!

" - Распоряжаются!

" - Будто у себя!

" - Ишь забрались!

" - Просили их!"

Дальше они убеждают пленного:

" - Ты им там раз'ясни. Подробно. Не хорошо, мол. Зачем нам мешать?"

Вообще крестьяне у В. Иванова с первого взгляда пламенные патриоты. Они за "Рассею", за "хрестьян", за "православных", против иноземцев. Пришедши к Никитину, мужики подозрительно выспрашивают, каких он земель, крещеный ли и т. д. Рассказ "Дите" - один из лучших - целиком посвящен теме, как интернациональная русская революция преломляется в мужицком национализме. Партизаны убили офицера и женщину с ним в степи, нашли в кузове тележки грудного ребенка и решили его выкормить. С этой целью делается набег на киргиз, умыкается молодая киргизка тоже с ребенком; ее заставляют кормить приемыша и, когда партизаны замечают, что она лучше кормит своего, то убивают его: "нельзя хрестьянскому пареньку как животине пропадать".

В национализме мужиков Вс. Иванова есть одна странность: никто из партизан ни разу не обмолвился ни единым словом о войне с немцами. Колчаковцы, как известно, своим главным лозунгом сделали "единую, великую, неделимую Россию". На всех перекрестках они твердили о

позоре брестского мира, о предателях родины и т. д. В их распоряжении были газеты, устная агитация и пр. Казалось бы, мужики, настроенные столь "по крещенному", должны были легко поддаваться воздействию колчаковской пропаганды. Между тем об единой, великой, неделимой среди партизан ни звука. Наоборот, именно власть Колчака считали они инородческой, а большевиков - "хрестьянской". В чем дело?

Дело в том, что мужицкий национализм, как и вера - земляные, от власти земли. Корни здесь. Чехи, американцы, японцы не давали "робить". В этом и разгадка и ключ к мужицкому национализму. Большевизм сумел свой интернационализм связать с землей, с основным, исконным требованием мужиков. Свой национализм русские белогвардейцы должны были, наоборот, в силу классовой своей природы, противопоставить этому требованию. Больше того, они связались с чехами, японцами и вместе с ними мешали "робить". Отсюда - равнодушие мужицкого национализма к национализму белогвардейцев и сочувствие интернационализму большевиков, которые дают помощь "чужих земель".

У нас до сих пор, особенно за рубежом, продолжают еще долбить об единой, великой и пр. Следовало бы внимательней присмотреться к партизанам В. Иванова - тут много поучительного, художественного материала и для Милюкова, Бурцева и К®.

Робить не давали.

Разбитые колчаковцами, партизаны отступают в горы.

"Партизаны, как стадо кабанов от лесного пожара, кинув логовище, в смятении и злобе рвались в горы. А родная земля сладостно прижимала своих сынов, итти было тяжело... Вершинину, начальнику отряда, думать было тяжело; хотелось повернуть назад и стрелять в японцев, американцев, атамановцев, в это сытое море, присылающее со всех сторон людей, умеющих только убивать" ("Бронеп.", стр. 14 - 15).

Поднимались тяжело, - все, богатеи, старосты. И воевали. А земля звала к себе. Тосковали мужики. "Мозги, не привыкшие к сторонней, не связанной с хозяйством, мысли, слушались плохо и каждая мысль вытаскивалась наружу с болью, с мясом изнутри, как вытаскивают крючок из глотки попавшейся рыбы". И тут с особой силой говорила о себе земля. Тут впервые многие партизаны испытали жизненную мудрость Кубди: - "Нет, ты, курва, прожгись через работу-то, да выплачься, - вот и поймешь, на какое место заплатку ставить надо". Поливая обильно своей кровью землю, партизаны с новой, неизведанной силой начинали ощущать ее таинственную, сладкую и мучительную власть над собой. Вершинин, бывший рыбак, не обрабатывавший раньше землю, впервые в партизанщине почувствовал эту власть. С Окорком, парнем из рабочих, у него происходит такой разговор:

Вершинин: " - Кабы настоящи ключи были. А вдруг, паре, не теми ключьями двери-то открывать надо.

" - Зачем идешь?

" - Землю жалко. Японец отымет.

"Окорок беспутно захохотал:

" - Эх, вы, землехранители, ядрена-зелена!

" - Чего ржешь? - с тугой злостью проговорил Вершинин: - кому море, а кому землю. Земля-то, парень, тверже. Я сам рыбацкого роду...

" - Ну, пророк!

" - Рыбалку брошу теперь.

" - Пошто?

" - Зря я мучился, чтоб опять в море итти. Пахотой займусь. Город-то только оманывает, пузырь мыльный, в карман не сунешь" ("Бронеп.", 33 - 34 стр.).

Каллистрат Ефимыч тоже впервые почувствовал эту тягу к земле в партизанщине и кончил тем, что оставил отряд и ушел в хлебопашество. В. Иванов художественно, верно и точно схватил и передал один из самых характерных и замечательных процессов в деревне, - возросшую после гражданской войны власть земли над мужиками, - вскрыв ее психологические корни. Действительно, деревня уходит теперь в землю с особой силой: земля тянет к себе даже таких, кто недавно к ней был равнодушен. Жажда и жадность земли, стремление "робить" - огромные.

На Каллистрате Ефимыче следует остановиться. Он искатель "праведной земли", настоящей "веры", странник. "По баптистам ходил, всем богам молился... ране-то до войны этой шли селами странники. Рассказывали чудеса все... Пошел. Такая же земля, народ такой же везде злой. Прошел я пешком до Катирибургга почти, может три тысячи верст, плюнул и вернулся... Будто и не был нигде"... Старую веру потерял, новую не нашел. Мужиков не любил. Казалась ему их работа и жизнь с землей пчелиной, бессмысленной. Случайно попал он к партизанам, захватила его борьба и даже 16 волостей поднял на восстание, но и здесь не нашел веры: "За пашню по кишкам рвал... нету покоя, ну?" Спокой он, однако, нашел. Однажды ощутил в себе "силу тугую, неумную", оставил партизан и ушел к пашне.

Каллистрат у Всеv. Иванова самая интересная и большая фигура. Каллистратом В. Иванов вскрывает прежде всего истинную подоплеку мужицкой веры, мужицких исканий, смутных порывов и алканий. Это - деревня, которая создала сказание о сокровенном граде Китеже, бродила по Руси из края в край в поисках праведной Земли и жизни, - странная, бродячая Русь, снаряжавшая ходоков, выделявшая своеобразных лишних людей. Такие искатели то-и-дело проходят пред читателем у Всеv. Иванова; таков Ерма в "Синем Зверюшке", об этом же говорится в "Жаровне архангела Гавриила". Во всех этих вещах писатель вскрывает корни мужицкой веры, мужицких упований и исканий. Корни эти в земле. Разные "обстоятельства" мешали мужику вплотную подойти к земле, создавали помехи, рогатки - отсюда искания, Китежград, странники, лишние люди. Концом Каллистрата писатель как бы хочет сказать: с революцией эта странная, взыскующая деревня нашла свое место. Китежград найден, обретена настоящая вера; конец странниками, искателями Земли праведной. Она найдена. Ее дала русская революция, обильная кровь, коей смочили мужики поля и леса. Пашня освобождена от тех, кто ее не давал мужику, мешал на ней робить, свободно ей распоряжаться. Один на один теперь свободный мужик со свободной пашней. Кончилась старая деревенская Русь паломников, лишних людей, взыскующих града.

Каллистрат нашел, понял, на какое место следует заплатку ставить. Понял и Вершинин. Об этой заплате в сущности мечтал в партизанах и Селезнев.

Что несет с собой эта новая, деревенская, успокоившаяся, обретшая Русь? Городу, рабочему, социализму?

Об этом не говорит ни автор, молчит Каллистрат.

Голосом низким, протяжным, точно межа, ответил:

" - Микитину-то? Скажи...

"Отрезал ломоть... Медленно, как лошадь, жуя, проговорил что-то неясное.

"Из мешка густо пахнуло на Павла хлебом"... ("Цветные ветра", стр. 185).

Молчат Каллистраты. Пахнет только от них хлебом, хлебом, хлебом...

Каллистрат - большое художественное обобщение у писателя. О нем серьезно нужно говорить. Каллистрат войдет в русскую литературу как новое значительное художественное слово, на-ряду с Иваном Ермолаичем Г. И. Успенского и "Мужиками" А. П. Чехова. К сожалению, печать некоторой художественной незаконченности, недоработанности лежит на нем. Всев. Иванов поторопился и местами только слегка мазнул там, где требовалась тщательная зарисовка и углубленная работа. Такой незавершенностью страдает одно из главных в повести мест, где Каллистрат почувствовал в руках "силу тугую, неумную". Место как-то смято, есть какая-то недоговоренность. Не всегда "остранение" сюжета приводит к положительным результатам. Здесь этот прием дал у В. Иванова осечку. А жаль. Взята и введена в русскую литературу большая фигура, схвачено очень важное явление и у писателя были все данные справиться с задачей: как-никак Каллистрат врезывается в глаза живо, остро и убедительно.

Вообще мужики у Иванова великолепны и художественно правдивы. Писатель не подслащивает, не подкрашивает их. Там, где следует, они выглядят во всей их зоологической жестокости. Таковы они в рассказе "Дите". В "Логах" курчавый казак кормит голодных, умирающих киргиз вволю хлебом, чтобы посмотреть, как они умирают. Отвратителен Семен в "Цветных ветрах" в своей жестокой тупости и жадности; беспутен Дмитрий; жадны, ограничены, с куриным кругозором, мужики, пришедшие к Никитину с просьбой стать во главе их. Жутка по своей кровавой развязке их тяжба и вырезывание несчастных, обманутых киргиз, доведенных отчаянием до кражи "русских богов", - свои не помогают. В качестве партизан мужики грудями устилают землю в боях с бронепоездом Колчака, но героизм их стадный, сплошной; индивидуально они не герои.

В подходе к мужику у В. Иванова есть много от Горького, Чехова и Бунина. Но не следует слишком увлекаться сопоставлениями в этой области, по той простой причине, что в конце концов у писателя есть своя собственная расценка мужиков. Каким-то особым теплом, человечностью и мягким, ласкающим светом сумел писатель облить корявые, звериные, мужичьи фигуры, - добродушием и юмором. Поэтому и выглядят у него партизаны не зверями, лишенными "образа и подобия божьего", как, например, у Бунина, а подлинными, живыми, страдающими, радующимися, алчущими и жаждущими человеками.

Обо всем следует судить относительно. Теперь вошло в моду, является признаком хорошего литературного тона изображать мужика, как чудище, "обло, озорно, стозевно и лайй". Повелось это задолго до революции; с революцией в известных литературных кругах о народе, особенно о мужике, иначе не говорили как о хаме, животном грязном, нечистоплотном и кровавом. Не говорим о таких писателях как Бунин, - даже М. Горький недавно отдал дань этому умонастроению в его статьях "Русская жестокость". За периодом народнической идеализации мужика и обсахаривания его, наступил период развенчания. Прикрывалось это якобы-марксистским подходом к деревне, на деле же это являлось отходом от социализма, от народа и революции широких слоев русской интеллигенции. Марксизм и большевизм всегда твердо знали, что две души у мужика: одна - от хозяйчика, забира - жадная она, жестокая, тупая; другая - от трудового человека, веками угнетавшегося помещиками, урядниками, становыми и пр.

Всеv. Ивановым и его некоторыми молодыми сверстниками в русскую литературу вводится это единственно справедливое, верное отношение к мужику. Получается это потому, что Ивановы



сами плоть от плоти этого мужицкого моря. Читатель все время чувствует, что мужики близки писателю, родные ему, что не со стороны он судит о них, а как свой, из их среды вышедший, с ними деливший самые тяжкие, опасные, смертоносные моменты. Мужики Ивановым взяты в восстании, в кровавой борьбе, в их жертвенности, в исканиях свободы и земли, в их высших духовных напряжениях, в страданиях и пафосе партизанщины, т.-е. в том состоянии, когда русский крестьянин со всей невиданной силой показал, что он не только собственник, но и трудовой, угнетенный человек, что поэтому он может идти рука об руку с Пеклевановым, Никитиными, с матросами, с рабочими и с Интернационалом, несмотря на свой земляной национализм и земляную веру.

Шли, боролись, умирали, побеждали, верили!

- Заметь, хорошие парни были!..

#### IV. "Есть у него своя блоха на уме".

"Сказал Каллистрат Ефимыч:

" - Любовь надо к люду. Без любви не проживут.

" - Не надо любви, - отрывисто, точно кидая камни, отозвался Никитин...

" - Вот к тебе спрашивают, приходят, жалуются... ты что им отвечаешь?

" - Знаю, что ответить.

" - Всем? Без любви?

" - Без...

" - Крепкий ты парень, чудно таких-то видеть! Не видал таких-то, не водилось.

" - Есть" ("Цветные ветра").

У большевика Никитина, начальника партизан, все - в одной точке: бей, только. Пришло такое время - нужно бить. И он бьет, без оглядки. Подобно Каллистрату он тоже "скучает". По человеку, а не по вере скучает. По будущему, выпрямленному человеку. Он знает: "мужик - тесто". Нужно его сковать железными обручами дисциплины. И он сковывает, твердо, без послаблений. Он понимает также, что мужик поднялся, хочет бить, убивать. Это - стихия: перечить ей бесполезно и вредно и он дает волю этой стихии: бей! Он расстреливает сына Каллистрата, Дмитрия, невинного, за вину брата Семена, зная, что он неповинен: "Звери все, зверям - крови!" Он не сопротивляется, когда мужики двигаются на киргиз и истребляют их: "я даю кровь".

Великая любовь рождает великую ненависть. У Никитина ненависть поглотила, заглушила любовь. Во имя дальнего, бей ближнего. Он не считается с индивидуальной виной, он знает вину только классов. "Кто-то убил, кого-то надо убить. Убьем!" Никакой справедливости, никаких категорических императивов, все подчинено целесообразности, а она сейчас дает только одну заповедь: убивай!

Ненависть, холодная, сжатая, расчетливая, умная. Через никитинскую ненависть и заповедь: убивай, - напоминают о себе миллионы убитых, искалеченных на войне, во время революции, умученных в тюрьмах, на каторге. В наше российское тесто - это как квашня. Без таких рассыпались бы партизанские отряды, проигрывались бы восстания, сражения, невозможны бы были красный террор, раскрытие заговоров, Красная армия, война с Антантой, штурм Сиваша и

Перекопа. Вздыбить трудовую Русь, поднять ее, сосредоточить все помыслы в одном высшем напряжении, иметь силу и смелость дать простор звериному в человеке, где это необходимо, и где необходимо сковать сталью и железом - все это невозможно без Никитиных.

Изверг, красных дел мастер, садист, сухая гильотина?

Есть такой разговор между Каллистратом и Никитиным: "Достал из кармана (Никитин. А. В.) черный камешек. Всплыла неподвижная ухмылка.

" - Пласт горы - нашел. Уголь каменный. Слышал?

" - Баят, жгут. Горюч камень, выходит. Куды его, здесь лес вольный, жги. Угар, баят, с камня-то...

"Дробя камень пальцами, - смытым, ласковым голосом говорил Никитин:

" - Руды - хребты. Угля - горы. Понимаешь, старик? Заводов-то! Я сейчас мастерскую. Город возьмем..." (стр. 180).

"Я даю кровь", - а где-то глубже запряваны и ласковость, и "ухмылка". Ибо кровь льется во имя будущего, земли и ее господина - человека. Вот что дает право Никитиным быть гильотиной и кровавым орудием времени. И гильотина - и подвижник со скрытым пламенем внутри.

Мужики-партизаны его уважают, подчиняются ему, но не понимают и смотрят на него с опаской, но чувствуют, что он их не выдаст, что он понял их нутряной, звериный лозунг: бей, и что без него - их погибель...

Председатель подпольного ревкома в городе, Пеклеванов - интеллигент со впалой грудью и в очках. Профессиональный революционер. Весь в деле, в работе, в подготовке восстания. Городской с головы до ног. Суховат. У мужика Знобова, явившемуся к нему от партизан на явку, сначала недоверие и туча сомнений: и начальник-то он, должно, плохой, и еда-то у него "птичья". Однако общий язык находится быстро через водку, разговоры о колбасе, о восстании и т. д. И кончает Знобов тем, что весело обзывает Пеклеванова: "предыдущий ты человек". Пеклеванов тоже восстанщик, из него тоже "хлещет радость" и потому так нетрудно устанавливается контакт у него с мужиками. (Кстати: совсем нет ничего об эс-эрах у Иванова: а они, ведь, трубят до сих пор, что во главе партизан были они, эс-эры).

В романе, еще далеко не законченном, "Голубые пески", дан большевик, комиссар Васька Запус, одна из самых удачных и ярких фигур у Всева Иванова. Хороший комиссар, чудесный. Удачный, беззаботный, беспечный, веселый, смешливый, немного озорной, юный, бабник, задорный, здоровый; какая-то легкость и уверенность в себе и в деле - и дело спорится, делается с шуточками и прибауточками, с коленцем, походя, просто, само собой. Человек, которому везет и в восстании, и в любви. "Серебро - как зубы, зубы - молодость", поет про него киргиз песню. Кругом он, как в кольце, в тупой, зверски и животной злобой обывательщине, готовится контр-революционное восстание, - а он хоть бы что. Посмеивается, бренчит сабелькой. У него все хорошо, все с ним.

" - Здесь, старик, - говорит Кириллу Михеичу, - Монголия. Наша! Туда - Китай - пятьсот миллионов. Ничего не боятся. На смерть наплевать. Для детей - жизнь ценят. Пятьсот миллионов... Дядя, а Туркестан - а, о! Все - наше! Красная Азия! Ветер... Спать хочу! Хоро-о-ошо, дьяволы, ей-богу".

Так и видишь его с серебряной саблей, с девичьей розовой губой, с шапочкой, из-под которой торчит хохолок. Сам повольник и с ним повольница, когда не было Красной армии и приходилось защищать революцию на-скоро, на-спех сколачивать отряды и драться.

И у Никитина, и у Пеклеванова, и у Васьки Запуса среди партизан есть свои особые проводники их идей, через которых они закреплялись и овладевали мужицкой массой. Плотники: Кубдя, Беспалых, Горбулин и др. У всех у них своя, особая блоха на уме.

" - Робите? - полунасмешливо спрашивает их Селезнев.

" - Робим.

" - Так... Али дома места нету? Земля высохла?

"Беспалых стукнул себя кулаком в грудь.

- "Потому мы - странники... Разжевал, Антон Семеныч?" (стр. 44).

Странники. Странствовал Каллистрат, Ерма пытался, рыбак Вершинин странствовал по морям. Кубдя, Беспалых и Горбулин - странники особые. Кубдя объясняет Селезневу по поводу своих странствований:

" - Сам знаешь, с каких доходов на работу идешь... Потому, тоска! Был, я скажу тебе, в германску войну, в Польше был, в Германии был... Посмотрели - во-от народ!.. Живут, скажу тебе, рбют. Чисто, сухо, кругом машины... Недовольны мы, понял?.. Желаем жить - чтобы в одно со всеми, а не у свиньи хвост лизать"...

Вершинин, Селезнев рвутся к земле. Плотник же Беспалых убежден, что бог ее дал в наказание: "трудитесь, мол, мать вашу так"...

Такими "странниками"-помощниками у Никитина являются серб Микеш, австриец Шлоссер. У Пеклеванова - Васька Окорок, веселый человек (у В. Иванова почти все веселые), матрос, который "весь плескался, как море у лодки, рубаха, широчайшие штаны, гибкие рукава". У Васьки Запуса - корабельная повольница. Все они, так называемые, стихийные социалисты, они недовольны, странствуют и взыскуют, чтобы всем в одно жить и с машинами. Упорно, шаг за шагом, в постоянном общении и жизненном обиходе вдалбливают они в тугие мужицкие головы свой стихийный социализм. И через них мужики по своему смутно ощущают трудящихся иных стран и их поддержку. И хотя "корявый мужиченко" и шепчет Вершинину: " - А интернасынал-то? Я ведь знаю - там ничего нету. За таким мудренным словом никогда доброго не найдешь. Слово должно быть простое, скажем - пашня"... но все-таки мужики чувствуют себя уверенней и знают смутно, что им кто-то издалека сочувствует и помогает: " - потому за нас Питер... наци... нал!.. и все чужие земли"...

Особняком нужно упомянуть китайца Син-Бин-У.

В русской литературе это пока единственная фигура, как и шаман Апо. Этого молчаливого, почти неговорящего человека, далекого и загадочного В. Иванов сумел приблизить и сделать понятным, близким и своим. Син-Бин-У люто возненавидел японцев с тех пор, как они разрушили его очаг, убили жену. Тогда он ушел к русским и пошел с ними по дороге Красного Знамени, уверовав, что хороша только русская Красная Сов. Республика. Рассказ о гибели китайца на рельсах, исключителен по своей свежести, простоте и трагичности. На читателя дышит тысячелетняя далекая Азия, страна, где люди привыкли умирать непонятно нам, мудро, просто и обыденно. Собственно положили китайца и заставили его умереть мужики, - огромная, невесомая

сила коллектива, тысяча глаз, более принудительная, чем приказы, угрозы, увещания, личные побуждения.

" - Син-Бин-У был один. Плоская изумрудо-глазая, как у кобры, голова пощипала шпалы, оторвалась от них и, качаясь, поднялась над рельсами... Оглянулась.

"Подняли кусты молчаливые мужицкие головы со ждущими голодными глазами.

"Син-Бин-У опять лег.

"И еще потянулась изумрудо-глазая кобра - вверх и еще несколько сот голов зашевелили кустами и взглянули на него.

"Китаец лег опять..." (курсив всюду А. В.).

Так приказал умереть китайцу коллектив - и он умер.

Как хорошо, что нашелся уже талант, который дал Син-Бин-У и его смерть! Это нужно.

Китайские отряды, охраняющие Кремль и умиротворяющие рабочих и крестьян...

Ах, мерзавцы!..

#### V. "Стекаем... гной из раны"...

Мужики-партизаны, "странники" и недовольные Кубди, революционеры-большевики лучше всего удаются Всев. Иванову. Происходит это, видимо, оттого, что этих людей любит писатель, они ему близки, через них он говорит свое "осанна" жизни. Их ощущаешь почти физически, видишь и обоняешь. Своеобразный добродушный юмор писателя, легкий и веселый, еще больше приближает их и роднит с читателем.

Художественно слабей у Иванова выходит другой лагерь, против которого ведут борьбу партизаны. Начальник бронепоезда Незеласов, например, воспринимается ту же, а местами образ расплывается. То же с прапорщиком Обабом. Видно, что душа писателя к ним не лежит: Иванов тяготеет исключительно к людям здоровым и морально крепким. И принадлежит он к таким художникам, для которых стоять в стороне и со стороны зарисовывать хуже. Ему со стороны не видней, он - субъективист и непременно вкладывает в изображаемые лица свое, интимное, в очень большей дозе.

Мы не хотим сказать, однако, что Незеласов и Обаб плохи.

Кроме того, они - правдоподобны.

Незеласов говорит о себе и белых:

" - Что ж?.. Стекаем: гной из раны... на окраины... Мы... Все... - и беженцы, и утонувшие в снегу правительства... Родина нас... вышвырнула... Думали все нужны, очень нужны, до зарезу нужны, а вдруг расчет получайте... И не расчет даже, а в шею, в шею! В шею!"...

В другом месте:

" - Сталь не лечат, переливать надо... Это ту... движется если... работает... А если заржавела... Я всю жизнь, на всю жизнь убежден был в чем-то, а... ошибка оказывается"...

Никакой веры у Незеласова нет. Он уже знает, что дело проиграно. Бронепоезд его мотается без толку, без толку стреляет, бессмысленно убивает, Незеласов не знает даже, от имени какого правительства он действует.

Обаб с виду крепче. - Не моя обязанность... думать, - бормочет он. Он знает одно: приказано. Но в сущности в нем все подорвано. Только он укрывается от "проклятых вопросов" жратвой, исполнительностью, нежеланием размышлять. Однако, когда Незеласов начинает рассказывать ему о доме, семье, Обаба бесится и теряет равновесие, впадает в истерику, так что Незеласов не без основания говорит ему: - я думал... камень, про вас-то. А тут... леденец... в жару распустился...

Известно, что белые не понимали революции. Но они также не понимали и друг друга. Незеласов и Обаба говорят о разном, как люди с разных планет. Нет у них ничего общего, объединяющего. Даже в смертельном деле они бесконечно далеки и враждебны друг другу. Как русская эмиграция сейчас, они орут друг на друга, ссорятся, обзывают взаимно последними словами. Тут духовная опустошенность и гниение выступают с особой, кричащей отчетливостью. Когда люди, по виду, по форме, призванные творить одно дело, перестают понимать и уважать друг друга, значит - строят они вавилонскую башню. Это последнее - хуже всего.

Одна из последних вещей В. Иванова, роман "Голубые пески" далеко еще не закончен, напечатана из трех частей только первая. Роман несколько растянут, следовало бы сжать. В первой части дана сибирская провинция в революцию - город Павлодар. Помимо прекрасно удавшегося комиссара Васьки Запуса тут есть несколько колоритных персонажей: подрядчик Кирилл Михеич, архитектор Шмуро, протоиерей Смирнов, семья Саженовых. Передана животная тупость, страх и непонимание переживаемого. Октябрь уже прошел, корабельная повольница, комиссар Васька Запус, а Кирилл Михеич высчитывает будущие барыши, намерен строить новые церкви, рассуждает о торговых перспективах, о кирпичах и т. п. И для него, и для Саженовых, и для прочей сибирской окурочки революция - разбой; ждут варфоломеевских ночей, поголовного истребления и т. д. Жена К. М., Фиоза - другая. От побоев в семье, от тупой, жвачной жизни она делается странницей, убегает к Запусу в степь и там записывается в его отряд. С живым интересом читаются страницы, где корабельная вольница и совет взимает контрибуцию с купцов, сильно переданы: захват белыми красного парохода, зверская расправа над вольницей со стороны казаков и обывателей.

В. Иванов этим романом впервые выступает в качестве бытописателя города. До сих пор у него действия развивались в степях, в горах, в лесах. Начало - удачное. Провинциальная Сибирь, Сибирь подрядчиков, протопопов, церковей и поднявшейся революционной гольты даны в истинно художественных зарисовках. И надо всем по обыкновению радостный и добродушный голос писателя. И легкая усмешка.

#### **IV. В заключение.**

Утверждают, что Всев. Иванов - бытовик. Конечно, он пишет о том, что было недавно. Но очень ошибается, кто примет за чистый быт то, что дано писателем в его повестях и рассказах. Прежде всего у него очень большая широта художественного обобщения, чего нет обычно в подлинных бытовых произведениях. Последние ограничены в смысле обобщения; в них, правда, схватывается типичное, но оно всегда очень ограничено временем, обстановкой, всегда протокольно, фактично, фотографично. Фигуры же В. Иванова не просто выхвачены из гуши жизни, а подверглись довольно основательной обобщающей творческой обработке. Каллистрат Ефимыч вобрал в себя сотни и тысячи Каллистратов, у которых искание "веры" и т. д. тоже были в наличности, но в разжиженном, разбавленном виде. Каллистрат Ефимыч такой же тип, как Иван Ермолаевич, т.-е. он создавался тем же, в основном, художественным путем. В Син-Бин-У раскрыта душа китайского красного партизана, а не просто зафиксирован случайно подвернувшийся под руку

любопытный индивид, взятый в объектив художником. То же с Кубдей, Селезевым, шаманом Апо и другими персонажами В. Иванова.

Далее, автор несомненно "вложил", выражаясь в терминах Маха и Авенариуса, свои собственные настроения в своих персонажах. Он отыскал, усилил, подчеркнул то, что нашел в себе. Большинство его "героев" странствуют, ищут, испытывают духовный голод; Кубдя, Беспалых, Каллистрат Ефимыч, Селезнев, Вершинин, Никитин, Ерма, Син-Бин-У, Олимпиада, - они странники, одержимые, влекомые куда-то; их беспокоит своя блоха на уме. Просмотрите бегло автобиографию В. Иванова и вы убедитесь, откуда это идет - от самого автора, который странствовал и "шлялся" с 14 лет. Тут невольно напрашивается аналогия с Горьким, оказавшем большое духовное влияние на молодого писателя. У того тоже - странники, искатели; тоже насквозь сочинены они им, выдуманы и отражают в первую голову духовный облик самого Алексея Максимыча.

Наконец, как уже отмечалось выше, вещи Иванова неизменно освещены одним ровным светом: радостью жизни, ее самоценностью, лаской ее. Словом, Иванов несомненно субъективен.

Он - лукавый писатель, т.-е. настоящий. Легко можно поддаться одному обману: его герои слишком по бытовому ведут себя и слишком от быта их язык: бяда, понимаешь, колды, хрестьянин, немаканный и т. д. А тут еще прибавляется масса областных наречий, своеобразная обстановка, экзотическая, Майн-Ридовская: Сопки, Монголия, степи, белки и т. д. Все это, однако, только средства, чтобы читатель поверил, что все так было, как написано. Было то оно было, но не совсем, повидимому, так.

То же и с событиями. Был, конечно, бронепоезд, были партизаны и брали его, но, конечно, все это было по иному.

Искусство есть то, что лучше жизни и больше похоже на правду, чем сама жизнь - этому правилу Иванов свято следует, потому что он настоящий талантливый художник "божьей милостью".

Мы не хотим этим сказать, что вещи В. Иванова лишены бытового значения: их бытовая ценность несомненна; мы только хотим отметить, что бытовой материал переработан писателем в соответствии с художественными требованиями.

Еще несколько слов о быте. Из тех литературных кругов, которые создают "Утренники", нередко слышится, что наш быт контр-революционный. Творчество В. Иванова живое тому опровержение. А В. Иванов - не одинок.

Печатью уже отмечалось, что В. Иванов - писатель рисовальщик. Это верно и у него прежде всего цвета, затем запахи. Слабее - слух. Бой мужиков с бронепоездом описан так, что не слышно ни грохота, ни пулеметной, ни ружейной стрельбы. За то сколько эпитетов зрительного и обонятельного порядков! Внешне подходит беллетрист к своим персонажам. Дается представление о фигуре, затем диалоги и действия, поступки. Почти никакого психо-анализа, полный антипсихологизм. Внешность героев дается в такой манере, что, если бы художник-живописец решил бы последовать за автором и дать в рисунках коллекцию ивановских персонажей, получились бы рисунки футуристического характера, вроде тех, что дает Влад. Маяковский в своих талантливых плакатах. Для примера: "голый Незеласов - костляв, похож на смятую жестянку из-под консервов - углы и серая гладкая кожа". Учитель Кобелев-Миклашевский: "у него все было плоское, и лицо, и грудь, и рваные брюки на выпуск, и голос у него был ровный"... Или: "шел похожий на новое стальное перо, чистенький учитель". (Между прочим - интеллигенты у В. Иванова почти все плоские.) Описания наружности партизан даны

выше. Всюду одна манера: резкие мазки, выпячивание двух-трех черт, резкое заострение и преувеличение - плакатная манера наших дней.

Антипсихологизм В. Иванова несомненно является в существе своем здоровой реакцией против ковыряки в душе, Пшибышевщины и Андреевщины, заполнивших русскую литературу кануна революции. Кроме того, это вполне соответствует изображению звериных, здоровых духовно и физически людей, данных писателем. Протоколно, просто, прозаически описывает автор самые драматические события, без лишних слов.

Вот картина пробы бомб в мастерской и расстрел.

"Слесарь тонкий, с девичьим розовым лицом, весело улыбаясь, подал бомбу. Царапнул железо капсюль. Кругло метнулась рука и круглые взметнулись слова:

" - Раз-два-три!

"Молчит крапива. Несет из-за бани порохом, землей, Никитин схватил другую бомбу, кинул. Подождали. Уже не порох пахнет; земля густая, по осеннему распухшая.

"Никитин кинул третью бомбу. Ничего.

"Шумно, как стадо коров от волка, колыхнулись идохнули мужики.

" - Ы-ы-х... ты-ы!..

"Никитин, вытянув руку, взял винтовку. Резко, немного присвистывая в зубах, сказал:

" - Становись!

"Слесарь с девичьими, пухлыми губами мелко закрестился. Подошел к сутункам банной стены. Никитин приподнял фуражку с бровей, приложился и выстрелил" ("Цветные ветра", стр. 71).

По добрым старым временам, сколько бы тут было нагнетено психологии, а тут все внешне, буднично, почти фотографично. По мужицкому. Так же, как у мужика, который докладывал Вершинину: " - всех убили? Усех, Никита Егорыч. Пятеро - царствие небесное!.." - В чем тут дело? В грубости и тупости восприятия? Нет, описание само говорит за себя. Все дело в том, что писатель не чувствует потребности пугать зря читателя и себя: и так страшно. Андреевский прием был бы для него фальшив, ложен, вреден.

Диалог у В. Иванова временами своеобразный. Собеседник часто отвечает не на вопрос, а какому-то своему внутреннему состоянию, словно ведет при помощи другого разговор с собой. Прием этот, заставляя подставлять соответствующие переживания и "вкладывать" их в изображаемое лицо, приводит читателя нередко к тому, что он спотыкается и вынужден разгадывать "загадки". Нужно очень осторожно им пользоваться, что не всегда соблюдает автор.

Немного злоупотребляет автор простонародными словами: колды, усех, здесь и т. д. Едва ли это нужно в таком количестве, как у автора. Много излишних грубостей-излишеств натурализма. Тут следовало бы быть более разборчивым. Впрочем, особенно это не претит: слишком глубоко опускает читателя писатель в гущу мужицкой жизни.

В. Иванов - сюжетен, если так позволительно выразиться. В его вещах есть занимательность фабулы. Отчасти он напоминает Джека Лондона. Приходилось слышать в связи с этим упреки в анекдотичности. Неизвестно, что собственно точно при этом имеется в виду. Анекдотичен бой

партизан с бронепоездом, смерть Син-Бин-У, похищение киргизами православных икон, бой "батарей"? Такие "анекдоты" останутся в литературе.

Недостатком следует считать некоторую растянутость. Есть она и в "Партизанах" и в "Бронепоезде" и в "Голубых песках": Рассказы у Иванова в этом отношении строже и выдержанней. В таких вещах как "Дите", "Полая арапия" - нет ничего лишнего.

К остраниению сюжета В. Иванов прибегает меньше, чем другие серапионовы братья, - чаще в последних вещах, чем в первых. Пуская в ход такое вуалирование, нужно, однако, иметь в виду того массового читателя из низов, который является единственно стоящим, ибо за ним будущее. Сдается, что, например, описание смерти капитана Незеласова выиграло бы в глазах этого читателя, если бы была дана более ясно, четко и просто.

Порой у автора чувствуется спешка, незаконченность, некоторая неряшливость, свежая талантливая неотесанность и неприглаженность. Вывозит обычно одаренность. А все-таки... следовало внимательней, тщательней и строже относиться к печатаемым вещам. И надо - учиться, учиться, учиться, обогащать себя всеми приобретениями науки, искусства и культуры, да простит нас за такую дидактику товарищ Иванов!..

Сила и прелесть таланта В. Иванова с особой полнотой звучит в его желтые цыплята, похожие на кусочки масла, выкатились из-под навеса"... сравнениях. Они свежи, сочны, метки и сильны. Берем наудачу: "маленькие "Дни-то какие - насквозь душу просвечивают"... "Емолин опалил постройку взглядом"... "Звенели дрожью, отсвечивая на солнце, большие, похожие на играющих рыб, топоры. Бледножелтые, смолисто-пахнущие щепы летали в воздухе, как птицы"... "Мужики молчали так, словно вели большой и важный разговор"... "с плеском и грохотом скачет вода, вскидываясь, белыми блестящими лапами кверху"... "- Назад! - оглушительно заорал Селезнев. И, как цыплята под насадку, пригибаясь, мужики побежали в тайгу"... "как племя злых рыб, пойманных в сети, билась в камнях вода"... "Горели медленно розовые, нежные и тягучие, как мед, дни"... "Отвечал Апо: мысли мои засохли как степь летом... сердце у меня бьется как священный бубен"... "Закрыв прозрачные веки шаман и за ними глаз просвечивает, как огонь в золе"... "Не отвечает Каллистрат Ефимыч. А глаз, глубоко как сом в водах, незаметен"... "Глаз у кошки золотой и легкий, как пыль"... "Осанка у всех партизан стала слегка сгорбленная" (это понятно особенно, нам, подпольным революционерам. А. В.)... "Лыс как курган, хитер и слово бережет, словно клады - земля"... "С морды по шерсти текла вода и глаза у скота были тоже как огромные темные капли"... "Звери у меня на душе бегают"... "Бог для ночи нужен. С ним дневать не приходится... Здоровый черт, и есть у него своя блоха на уме"... "Беспалых, словно охмелев от боли, начал заплетаться языком"... "Как лемех в черной земле, блестели у него зубы"... "Заходили проворные, как блохи, глазенки"... "Партизаны, как стадо кабанов от лесного пожара, кинув логовище, в смятении и злобе рвались в горы"... "За озером в высокое, бледное небо с белыми клыками упирались белки"... И наконец: "всех земель усталые пальцы спускаются, а спустятся в море и засыпают. Усталые путники всех земель - дни"...

Усталые путники всех земель - дни! На жизнь это запоминается.

Щедрой рукой, легко, без натуги берет свои чудесные сравнения писатель, собирая их по горам, полям, степям, среди мужиков, народа крепкого и меткого. Можно, конечно, выудить в вещах В. Иванова несколько неудачных сравнений, промахов, но если к этому сводить все дело - значит, либо нужно быть тупым, либо иметь задние мысли. Рассказы и повести В. Иванова прямо перегружены сравнениями; видно, как через край льются они у автора, иногда даже тесно среди них, все кругом заставлено, как цветами в цветнике.

-----



Тридцать лет тому назад в русскую литературу вошел А. М. Горький (Пешков). Он был первым буреви́стником русской революции. Он вышел тоже из низовой, взыскающей града Руси. Он внес в литературу романтику первых дней революции, свежесть поднимающихся низов, их духовную жажду и неудовлетворенность. В. Иванов идет от Горького, он его продолжатель. Его вещи написаны под сильным влиянием Горького. Он так же "шлялся" по Руси, измерил ее, также рассказывает о странниках и скитальцах. Но время другое. "Странники" и скитальцы толкли и ворота отверзлись. Волей истории на Руси они уже выступают не только в качестве ищущих бунтарей, а и строителей, созидателей новой жизни. Всеволодом Ивановым эти строители свидетельствуют воочию, что не даром рабочие, мужики-партизаны, красноармейцы - кровью поливали землю и целовали ее последними смертельными поцелуями.

## **А.К. ВОРОНСКИЙ. ПАМЯТИ ЕСЕНИНА**

*(Из воспоминаний)*

Осенью 1923 года в редакционную комнату "Красной нови" вошел сухощавый, стройный, немного выше среднего роста человек лет двадцати шести -- двадцати семи. На нем был совершенно свежий, серый, тонкого английского сукна костюм, сидевший как-то удивительно приятно. Перекинутое через руку пальто блестело подкладкой. Вошедший неторопливо огляделся, поставил в угол палку со слоновым набалдашником и, стягивая перчатки, сказал тихим, приглушенным голосом:

-- Сергей Есенин. Пришел познакомиться.

Хозяйственный и культурный подъем тогда еле-еле намечался. Люди еще не успели почиститься и приодеться. Поэтам и художникам жилось совсем туго, как, впрочем, живется многим и теперь, и потому весь внешний вид Есенина производил необычайное и непривычное впечатление. И тогда же отметилось: правильное, с мягким овалом, простое и тихое его лицо освещалось спокойными, но твердыми голубыми глазами, а волосы невольно заставляли вспоминать о нашем поле, о соломе и ржи. Но они были завиты, а на щеках слишком открыто был наложен, как я потом убедился, обильный слой белил, веки же припухли, бирюза глаз была замутнена и оправа их сомнительна. Образ сразу раздвоился: сквозь фатоватую внешность городского уличного повесы и фланера проступал простой, задумчивый, склонный к печали и грусти, хорошо знакомый облик русского человека средней нашей полосы. И главное: один облик подчеркивал несхожесть и неправдоподобие своего сочетания с другим, словно кто-то насильственно и механически соединил их, непонятно зачем и к чему. Таким Есенин и остался для меня до конца дней своих не только по внешности, но и в остальном.

Есенин рассказал, что он недавно возвратился из-за границы, побывал в Берлине, в Париже и за океаном, но когда я стал допытываться, что же он видел и вынес оттуда, то скоро убедился, что делиться своими впечатлениями он или не хочет, или не умеет, или ему не о чем говорить. Он отвечал на расспросы односложно и как бы неохотно. Ему за границей не понравилось, в Париже в ресторане его избili русские белогвардейцы, он потерял тогда цилиндр и перчатки, в Берлине были скандалы, в Америке тоже. Да, он выпивал от скуки, -- почти ничего не писал, не было настроения. Встречаясь с ним часто позже, я тщетно пытался узнать о мыслях и чувствах, навеянных пребыванием за рубежом: больше того, что услышал я от него в первый день нашего знакомства, он ничего не сообщил и потом. Фельетон его, помещенный, кажется, в "Известиях", на эту тему был бледен и написан нехотя<sup>1</sup>. Думаю, что это происходило от скрытности поэта.

Тогда же запомнилась его улыбка. Он то и дело улыбался. Улыбка его была мягкая, блуждающая, неопределенная, рассеянная, "лунная".

Казался он вежливым, смиренным, спокойным, рассудительным и проникновенно тихим. Говорил Есенин мало, больше слушал и соглашался. Я не заметил в нем никакой рисовки,

но в его обличье теплилось подчиняющее обаяние, покоряющее и покорное, согласное и упорное, размягченное и твердое.

Прощаясь, он заметил:

-- Будем работать и дружить. Но имейте в виду: я знаю -- вы коммунист. Я -- тоже за Советскую власть, но я люблю Русь. Я -- по-своему. Намордник я не позволю надеть на себя и под дудочку петь не буду. Это не выйдет.

Он сказал это улыбаясь, полушутя, полусерьезно.

Еще от первого знакомства осталось удивление: о нетрезвых выходках и скандалах Есенина уже тогда наслышано было много. И представлялось непонятным и неправдоподобным: как мог не только буйствовать и скандалить, но и сказать какое-либо неприветливое, жесткое слово этот обходительный, скромный и почти застенчивый человек!

-----

Недели через две я принимал участие в одной писательской вечеринке, когда появился Есенин. Он пришел, окруженный ватагой молодых поэтов и случайно приставших к нему людей. Он был пьян, и первое, что от него услышали, была ругань последними, отборными словами. Он задирали, буянил, через несколько минут с кем-то подрался, кричал, что он -- лучший в России поэт, что все остальные -- бездарности и тупицы, что ему нет цены. Он был несносен, и трудно становилось терпеть, что он делал и говорил. Он оскорблял первых подвернувшихся под руку, кривлялся, передразнивал, бил посуду. Вечер был сорван. Писатель, читавший свой рассказ, свернул рукопись и безнадежно махнул рукой. Сразу обнаружилось много пьяных, как будто Есенин с собой принес и гам и угар. Кое-кто поспешил одеться и уйти. Тщетно пытались выпроводить Есенина. Но кто-то предложил уговорить поэта читать стихи. Есенин с готовностью взобрался на стул, произнес сначала заносчивую, бессвязную, бахвальную "речь", а потом начал читать "Москву кабацкую". Он читал на память, покачиваясь, осипшим и охрипшим от перепоя голосом, скандируя и растягивая по-пьяному слова. Но это было мастерское чтение. Есенин был одним из лучших декламаторов в России. Чтение шло от самого естества, надрыв был от сердца, он умел выделять и подчеркивать ударное и держал слушателей в напряжении. Больше же всего поражало на том вечере, что он вопреки своему состоянию ничего не забыл, не спутался, не запнулся. Память ни разу не изменила ему. Неоднократно я убеждался и позже, в последующие годы, что стихи он мог читать в самом нетрезвом состоянии почти всегда без запинок и заминок. Только в самые последние месяцы, незадолго до конца, он как будто стал сдавать. Но, может быть, это происходило оттого, что читал он еще не вполне отделанные вещи.

Окончив чтение, Есенин снова забуянил.

Пил он еще дня два. За это время к обычным протоколам милиции прибавился новый.

-----

Морозной зимней ночью, кажется, у "Стойла Пегаса" на Тверской, я увидел его вылезавшим из саней. На нем был цилиндр и пушкинская крылатка, свисающая с плеч почти до земли. Она расплзлась, и Есенин старательно закутывался в нее. Он был еще трезв. Пораженный необыкновенным одеянием, я спросил:

-- Сергей Александрович, что все это означает и зачем такой маскарад?

Он улыбнулся рассеянной, немного озорной улыбкой, просто и наивно ответил:

-- Хочу походить на Пушкина, лучшего поэта в мире. -- И расплатившись с извозчиком, прибавил: -- Очень мне скучно.

Он показался мне капризным и обиженным ребенком.

-----

Любимым прозаиком его был Гоголь. Гоголя он ставил выше всех, выше Толстого, о котором отзывался сдержанно. Увидев однажды у меня в руках "Мертвые души", он спросил:

-- Хотите, прочту вам место, которое я больше всего люблю у Гоголя, -- и прочитал наизусть начало шестой главы первой части.

Напомню главу в отрывке и с пропусками:

"Прежде, давно, в лета моей юности, в лета невозвратно мелькнувшего моего детства, мне было весело подъезжать в первый раз к незнакомому месту: все равно, была ли то деревушка, бедный уездный городишка, село ли, слободка, -- любопытного много открывал в нем детский любопытный взгляд. Всякое строение, все, что носило только на себе напечатление какой-нибудь заметной особенности, -- все останавливало меня и поражало...

...Теперь равнодушно подъезжаю ко всякой незнакомой деревне и равнодушно гляжу на ее пошлую наружность; моему охлажденному взору неприятно, мне не смешно, и то, что пробудило бы в прежние годы живое движение в лице, смех и немолчные речи, то скользит теперь мимо, и безучастное молчание хранят мои неподвижные уста. О моя юность! о моя свежесть!.."

Эти слова из Гоголя, думается, могли бы служить лучшим эпитафием ко всему написанному Есениным.

Очень ценил он Клюева и считал себя его учеником. Из молодых прозаиков я удержал в памяти высокую оценку вещей Всеволода Иванова. Как будто больше всего ему у него нравилось "Дитё" и "Цветные ветра".

Иронически Есенин рассказывал о Гиппиус и Мережковском. В первые годы своей поэтической деятельности он посещал их литературные вечера.

-- Попал я как-то к ним на вечер в валенках. Ко мне подошла Гиппиус и спросила:

-- Вы, кажется, в новых гетрах?

-- Нет, это -- простые деревенские валенки... -- Знала ведь, что на мне валенки...

-----

О технике в поэзии Есенин отзывался в последние годы неодобрительно и враждебно:

-- Знаем мы все эти штуки. Они думают, что все эти формальные приемы и ухищрения нам неизвестны. Не меньше их понимаем и в свое время обучились достаточно всему этому. Писать надобно как можно проще. Это трудней.

Его "простое" мастерство было высоким. Поэтический лексикон Есенина с первого взгляда незатейлив и даже беден, но проследите, что он делает в своих стихах с черемухой, с садом, с березкой: они у него всегда наши, родные и всегда выглядят по-иному. Даже избитое, шаблонное и трафаретное освежалось у него напором чувств и подкупающей искренностью.

-----

Ранней весной 1925 года мы встретились в Баку. Есенин собирался в Персию: ему хотелось посмотреть сады Ширази и подышать воздухом, каким дышал Саади. Вид у Есенина был совсем не московский: по дороге в Баку, в вагоне у него украли верхнее платье, и он ходил в обтрепанном с чужих плеч пальтишке. Ботинки были неуклюжие, длинные, нечищенные, может быть, тоже с чужих ног. Он уже не завивался и не пудрился. Друзей, бережно и любовно относившихся к нему, у него было довольно. Жил он у тов.

Чагина, следившего за его лечением, но показался в те дни одиноким, заброшенным, случайным гостем, неведомо зачем и почему очутившимся в этом городе нефти, копоти и пыли, словно ему было все равно куда приткнуться и причалить.

Мы расстались на набережной. Небо было свинцовое. С моря дул резкий и холодный ветер, поднимая над городом едкую пыль. Немотно, как древний страж веков, стояла Девичья башня. Море скалилось, показывая белые клыки, и гул прибоя был бездушен и неприятен. Есенин стоял, рассеянно улыбался и мял в руках шляпу. Пальтишко распахнулось и неуклюже свисало, веки были воспалены. Он простудился, кашлял, говорил надсадным шепотом и запахивал то и дело шею черным шарфом. Вся фигура его казалась обреченной и совсем ненужной здесь. Впервые я остро почувствовал, что жить ему недолго и что он догорает.

-----

На загородной даче, опившийся, он сначала долго скандалил и ругался. Его удалили в отдельную комнату. Я вошел и увидел: он сидел на кровати и рыдал. Все лицо его было залито слезами. Он комкал мокрый платок.

-- У меня ничего не осталось. Мне страшно. Нет ни друзей, ни близких. Я никого и ничего не люблю. Остались одни лишь стихи. Я все отдал им, понимаешь, все. Вон церковь, село, даль, поля, лес. И это отступилось от меня.

Он плакал больше часа.

"Пусть вся жизнь за песню продана"<sup>2</sup>, -- это из последних его стихов.

-----

Озорное в нем было. Только в обычном, то есть в трезвом состоянии оно походило на остроумную шутку. Рассказывают, что совсем незадолго до своей смерти он навестил своего старого приятеля. Заметив теплящуюся перед иконами лампадку, он вынул папиросу и, не найдя спичек, попросил разрешения прикурить от "божьего огонька". Хозяин предложил ему этого не делать и ушел зачем-то в другую комнату, возможно, за спичками. Есенин поднялся, прикурил от лампадки, а потом попросил своего знакомого, с которым пришел, потушить ее:

-- Вот увидишь -- не заметит, честное слово. Это он так, задается.

Приятель возвратился и в самом деле не заметил, что лампадка потушена<sup>3</sup>.

В одно из более ранних посещений он принес ему же в подарок... живого петуха.

Иногда он говаривал по поводу своих заграничных скандалов: "Ну, да, скандалил, но ведь я скандалил хорошо, я за русскую революцию скандалил". И повторял рассказ о том, как в Берлине на вечере белых писателей он требовал "Интернационал", а в Париже стал издеваться над врангелевцами и деникинцами, в отставке ставшими ресторанными "шестерками". И там и здесь его били<sup>4</sup>.

Некоторые шутки его в последнее время были странны и непонятны. Явившись как-то ко мне навеселе, он принес с собой пачку коробок со спичками, бросил их на стол и сказал улыбаясь:

-- Иду и думаю: чего бы купить в подарок. Понимаешь, оказывается, воскресенье, все закрыто. Вот нашел на лотке только спички, бери -- пригодятся. Или лучше: отдай своей дочурке, пусть поиграет.

-----

Есенин был дальновиден и умен. Он никогда не был таким наивным ни в вопросах политической борьбы, ни в вопросах художественной жизни, каким он представлялся иным простакам. Он умел ориентироваться, схватывать нужное, он умел обобщать и делать выводы. И он был сметлив и смотрел гораздо дальше других своих поэтических сверстников. Он взвешивал и рассчитывал. Он легко добился успеха и признания не только благодаря своему мощному таланту, но и благодаря своему уму.

О нашем "мужичке" он иногда говорил с хитрецей и с намеками: не так, мол, просто, товарищи коммунисты: около мужичка вам придется попыхтеть да попыхтеть, не все у вас с ним благополучно. Возвратившись из родной деревни, он жаловался, что город обижает деревню: за сапоги и несколько аршин мануфактуры и за налоги идет весь урожай. Обижают крестьян и местные власти. Он собирался идти к М. И. Калинину искать заступы. Но основное впечатление было иное: после этой поездки Есенин некоторое время ходил притихший и как будто потерявший что-то в родимых краях.

-- Все новое и непохожее. Все очень странно.

Впрочем, об этом лучше рассказал сам поэт в своих стихах.

-----

В последние два года Есенин все собирался поехать в деревню и как следует пожить там. Он знал, что болен, и казалось, что болезни своей он серьезно боялся. Он тосковал по простой и несложной жизни, по простым людским отношениям и простым вещам. Хорошо бы заняться житейским, обычным, каждодневным, явственным и ощутимым, чтобы был сад, липы, разговоры о сенокосе, об урожае, чтобы был вечер тихий и благостный. Или уехать куда-нибудь, в Ленинград, что ли, и зажить по-новому, работать регулярно, заняться журналом, романом, повестью, сидеть дома, изредка видаться с друзьями. У него был замысел -- написать повесть в восемь-десять листов. Тема -- уличные мальчишки бездомные и беспризорные, дети-хулиганы. Однажды он показал мне несколько листков из этой повести, правда, было всего две-три страницы, но через некоторое время Есенин сознался, что "не пишется" и "не выходит"<sup>5</sup>.

Писатель Никитин сказал в личном разговоре: "Сережа жил в последнее время с зажмуренными глазами, зажмурившись, он пьянствовал и скандалил". Это очень верно и метко. Он часто жмурился, особенно в нетрезвом состоянии.

И я сам, опустьясь головою,  
Заливаю глаза вином,  
Чтоб *не видеть* в лицо роковое.  
Чтоб подумать на миг об ином<sup>6</sup>.

Это "иное" было простое, интимное, личное, а кругом было сложное, запутанное, общественное и далекое. И он знал, что возврата нет. Когда его убеждали по-серьезному взяться за лечение, он с неизменной своей улыбкой ссылался на то, что вот ему нужно подготовить для Госиздата собрание своих сочинений и тогда он возьмется как следует за лечение. Потом оказалось, что никакой серьезной работы над этим собранием он не проделал. И в отговорки свои он едва ли верил.

Перед последним отъездом в Ленинград я спрашивал его по телефону, зачем он едет туда, но внятного ответа не получил. Правда, он был нетрезв.

О самоубийстве со мной Есенин никогда не вел разговора. Я думал, что жить Есенину оставалось мало, но никогда не предполагал, что он может наложить на себя руки: он очень любил жизнь. Надо еще раз сказать, что Есенин был очень скрытен.

-----

Несомненно, он болел манией преследования. Он боялся одиночества. И еще: передают - и это проверено, -- что в гостинице "Англетер", перед своей смертью, он боялся оставаться один в номере. По вечерам и ночью, прежде чем зайти в номер, он подолгу оставался и одиноко сидел в вестибюле. Но лучше об этом не думать, ибо кто знает, что скрывалось у Есенина за этой манией преследования и что это была за болезнь. <...>

-----

Конец каждого человека переживается по-особому. Смерть Есенина пробуждает великое чувство, которое источает мать, сестра, брат и о котором сказано: "Глас в Раме слышан бысть: Рахиль плачет о детях своих и не может утешиться, ибо нет ей утешения"<sup>7</sup>.

В Раме российской его проводили как свое дитя, родное и любимое.

<1926>

## КОММЕНТАРИИ

Александр Константинович Воронский (1884--1943) -- литературный критик и публицист. В годы встреч с Есениным был редактором журналов "Красная новь" и "Прожектор", возглавлял издательство "Круг". Член РСДРП с 1904 года. В 1925--1928 годах примыкал к троцкистской оппозиции, в связи с чем был исключен из партии. Впоследствии отошел от оппозиции и был восстановлен в партии.

Есенин познакомился с А. К. Воронским осенью 1923 г. Его сотрудничество в журнале "Красная новь" началось раньше. После того как во втором номере журнала за 1922 год было напечатано стихотворение "Не жалею, не зову, не плачу...", это издание стало одним из основных, где предпочитал публиковаться Есенин. В 1923--1925 годах в нем было напечатано более сорока его произведений.

А. К. Воронский высоко ценил творчество Есенина. В статье "Об отошедшем", открывавшей его посмертное собрание сочинений, он писал: "Стихи и песни Есенина были хорошо известны читающей России. Даже те, кому наиболее чуждыми казались его основные поэтические настроения, не могли равнодушно отнестись к его творчеству: его стихи доходили, цеплялись за сердце и находили отклик у каждого по-своему. <...> Есенин сумел свою любовь к родимому краю передать в стихе, простом, доступном и захватывающем искренностью, напряжением и лиризмом. <...> И если теперь в нашей молодой советской литературе у целых групп поэтической молодежи находим почти вещное чувство нашей природы, орнамент, примитив, склонность к народному сказу в прозе, к выпуклой образности и изобразительности, тягу к деревне, к простоте и ясности в поэзии, которые особенно усиливаются за последнее время, то нетрудно заметить, что эта художественная линия в значительной степени идет от названной группы писателей, в среде которых Есенин в поэзии занял по праву первое место". Однако в таких

произведениях Есенина, как "Стансы" и др., критик необоснованно усматривал неискренность (см. об этом подробнее во вступ. ст.).

Несмотря на эти расхождения, Есенин с большим интересом относился к критическим суждениям А. К. Воронского. Когда осенью 1924 года возникло предположение об уходе А. К. Воронского из "Красной нови", Есенин писал сестре: "Мне страшно будет неприятно, если напостовцы его съедят" (VI, 154). Подробнее см. примеч. 12 к воспоминаниям Г. А. Бениславской.

Есенин посвятил А. К. Воронскому свое крупнейшее произведение последнего периода - поэму "Анна Снегина". К сожалению, до нас не дошли письма Есенина к критику (то, что они были, -- установлено документально).

Воспоминания были впервые опубликованы в журн. "Красная новь", М.--Л., 1926, N 2, февраль, с. 207--214. Печатаются по тексту кн.: Воронский А. Литературные записи. М., 1926, с. 146--155. Датируются по первой публикации.

<sup>1</sup> Речь идет об очерке "Железный Миргород", напечатанном в газ. "Известия". М., 1924, 22 августа и 16 сентября.

<sup>2</sup> Неточная цитата из стихотворения "Голубая да веселая страна...". В статье "Об отошедшем" А. К. Воронский рассказывает: "В Баку за несколько месяцев до своей смерти на дружеской вечеринке Есенин читал персидские стихи. Среди других их слушал тюркский собиратель и исполнитель народных песен старик Джабар. У него было иссеченное морщинами-шрамами лицо, он пел таким высоким голосом, что прижимал к щеке ладонь левой руки, а песни его были древни, как горы Кавказа, фатальны и безотрадны своей восточной тоской и печалью. Он ни слова не знал по-русски. Он спокойно и бесстрастно смотрел на поэта и только шевелил в ритм стиха сухими губами. Когда Есенин окончил чтение. Джабар поднялся и сказал по-тюркски, как отец говорит сыну: "Я старик. Тридцать пять лет я собираю и пою песни моего народа. Я поклоняюсь пророку, но больше пророка я поклоняюсь поэту: он открывает всегда новое, неведомое и недоступное пока многим. Я не понимаю, что ты читал нам, но я почувствовал и узнал, что ты большой, очень большой поэт. Прими от старика поэта преклонение пред высоким даром твоим".

<sup>3</sup> Об этом случае, происшедшем во время встречи Есенина с Н. А. Клюевым, рассказывает в своих воспоминаниях В. И. Эрлих.

<sup>4</sup> См. прим. 4 к воспоминаниям И. И. Шнейдера.

<sup>5</sup> Эти наброски Есенина не сохранились.

<sup>6</sup> Неточная цитата из стихотворения "Снова пьют здесь, дерутся и плачут...", написанного в 1922 г. Курсив автора воспоминаний.

<sup>7</sup> Это библейское выражение, приведенное автором в свободном изложении (см.: Матф., II, 18), означает безутешный плач матери по своим детям.

## **А.К. ВОРОНСКИЙ. ЕВГЕНИЙ ЗАМЯТИН.**

### **I.**

На примере Замятина прекрасно подтверждается истина, что талант и ум, как бы ни был ими одарен писатель, недостаточны, если потерян контакт с эпохой, если изменило внутреннее чутье, и художник или мыслитель чувствуют себя среди современности пассажирами на корабле, либо туристами, враждебно и неприветливо озирающимися вокруг.

"Уездным" Замятин в 1913 году сразу поставил себя в разряд крупных художников и мастеров слова. "Уездное" - наша царская дореволюционная провинция, с обывателем сонным, спокойным, плодущим, серьезным, домовитым, богомольным. Уездное хорошо знакомо читателю и лично, и по художественным несравненным образцам классиков, начиная от Гоголя и кончая Горьким. Не раз встречались в этих вещах и герань душистая,

и фикусы, и злые цепные собаки, и сонная одурь, и оголтелость, и навозный уют, и заборная психология. Тем не менее "Уездное" Замятина читается с живейшим вниманием и интересом. Уже тогда Замятин определился как исключительный словопоклонник и словесный мастер. Язык - свеж, оригинален, точен. Отчасти это - народный сказ, разумеется, стилизованный и модернизированный, - отчасти - простая разговорная провинциальная речь пригородов, посадов, растеряевых улиц. Из этого сплава у Замятина получилось свое, индивидуальное. Непосредственность и эпичность сказа осложнилась ироническим и сатирическим настроением автора; его сказ не-спроста, он только по внешности прямодушен у автора; на самом деле тут все - "с подсищем", со скрытой насмешкой, ухмылкой и ехидством. Оттого эпичность сказа выветривается и вещь живет и вдвигается в современное и злободневное. Провинциализм языка облагорожен, продуман. Больше всего он служит яркости, свежести и образности, обогащая язык словами не примелькавшимися, не замызганными - как будто перед вами только что отчеканенные монеты, а не стертые, тусклые, долго ходившие по рукам. Большая строгость и экономия. Ничего не пускается на ветер; все пригнано друг к другу, никаких срывов. Повесть с точки зрения формы - как монолит, из одного куска. Словопоклонничество не перешло еще границ, как случилось это с некоторыми вещами у Замятина позднее. Нет перегруженности, излишней манерности, игры словами, литературного щегольства и жонглерства. Читается легко, без напряжения, что отнюдь не мешает цепкости содержания. Уже здесь сказалось высокое умение художника одним штрихом, мазком врезать образ в память.

Новых персонажей Замятин не дал, но старое, знакомое дано в новом своеобразном освещении. Мирное житие уездного воплощено в сочной фигуре Анфима Барыбы. На глазах читателей Анфим из мальчонка вырастает в уездного урядника. Путь этот длинен, тяжел и богат злоключениями. Анфим - четырехугольный. "Не зря прозвали его утюгом ребята уездники. Тяжкие, железные челюсти, широченный четырехугольный рот и узенький лоб: как есть, носиком кверху. Да и весь Барыба какой-то широкий, громоздкий, громыхающий, весь из жестких прямых углов". Звериное, крепкое тело, звериная душа, и все сосредоточено в одном: жрать, - ибо челюсти у Анфима свободно крошат камни в песок. Выгнали из училища, Барыба домой не пошел, а поселился в коровьей закуте, голодал, крал и попался по этому случаю в руки семипудовой купчихи Чеботарихи. Смиловилась она, однако, над Барыбой, увидав его звериное тело, и уже Барыба - не Барыба из коровьей закуты, а правая у Чеботарихи рука: "сапоги - бутылкой, часы серебряные" и ото всех почет, а прежде всего от самой Чеботарихи, богомольной и ненасытной по ночам. Счастье не бывает, однако, долговечным. Чеботариха выгнала Барыбу из-за прислуги Польки. Опять - голодная жизнь. Но Барыба "круто заквашен". Подвертывается монашек Евсей, Барыба обворовывает его, засим лжесвидетельствует по найму на суде у адвоката уездного Моргунова. Докатилась в городишко, краешком заглянула революция 1905 года. Была экспроприация, произведенная подростками, успевшими скрыться, за исключением одного, и на беду вящую исправника, полковник, прикативший судить, желудком страдал, и никак ему исправник угодить не мог; а тут еще - злоумышленников не найти. Из беды выручил тот же Барыба: за шесть четвертных доказал, что в числе злоумышленников был портной Тимоша - друг Барыбы верный и закадычный. Жалко друга, но Барыба стерпел и достиг уездных эмпирей: дали ему серебряные пуговицы и золотые жгуты, козыряет ему будочник. А Тимоху повесили.

"Хорошо жить на белом свете".

Анфим - символ уездного. Оно - утробное, жвачное, толстомордое, жирное, прожорливое. В уездном - бог с'едобный. Положить живот в еду, до-отвалу, чтобы челюсти сладострастно перемалывали, чтобы спать до-одури, плодить детей телами потными и липкими. Сам по себе Барыба случаен: мог родиться, мог не родиться. Но его выпирает, выдвигает вперед уездное. Он неповоротлив, туп, почти идиот, по-звериному хитр. Но он нужен - Чеботарихе, монаху Евсею, адвокату Моргунову, исправнику,



прокурору, полковнику, поэтому он без усилий, без борьбы достигает "вершин". Они тоже утробные. Анфим вобрал их в себя, он сделан из них, он - их сгусток. Это с'едобное подчеркнуто и дано автором с исключительной силой.

"Уездное" только отчасти бытовая вещь. Больше, это - сатира и не просто сатира, а сатира политическая, ярко окрашенная и смелая для 1913 года. В отличие от ряда художников, писавших об уездном, Замятин связал российскую окуривщину с царским укладом, с политическим бытом, и в этом его несомненная заслуга. Но, странное дело, талант Замятина здесь достигает только полуцели. Недостает чего-то большого, проникновенного, всеосвещающего, что находит читатель у Гоголя, в сатирах Щедрина, у Успенского, Горького и даже у Чехова. Повесть, несмотря на свою цельность в стиле и форме, как бы распадается у читателя на кусочки. Мастерски рассказано, прелестно сделано, но именно сделано, за сердце не берет, в нутро не проникает, хотя Барыба, Чеботариха, Моргунов, Евсей, Тимоха, исправник стоят перед глазами.

К уездному с иной стороны подошел Замятин в другой повести "Алатырь". Еще Гоголь отметил маниловщину нашей провинции. Живут люди ни шатко, ни валко, казалось бы, райское житье, но человек так устроен, что должен, непременно должен о чем-то мечтать, чего не бывает и, может быть, никогда не будет. У Манилова все есть, а все-таки фантазирует. Если же у Маниловых не все благополучно, и они ущемлены чем ни на есть, то тем более. Об этих своеобразных фантазерах повествует писатель в "Алатыре". Алатырь - город. "У жителей тех - видимое дело - от грибов принаследно, пошло плодородие прямо буйное. Крестили ребят оптом, дюжинами. Проезжая осталась только одна улица: вышел указ - по прочим не ездить, не подавить бы младенцев, в изобилии ползающих по травке". Однако благодать однажды миновала: была война турецкая, народу перебили очень много и остались алатырки без женихов. Отсюда и пошли алатырские сновидения на-яву. Дочь исправника Глафира стонет по женихам и ждет письма любовного от прекрасного незнакомца; исправник после неудачных попыток выдать замуж Глафиру еще крепче засел в кабинете; он изобретал; последние открытия: секрет печь хлебы не на дрожжах, а на помете голубином, или: как из обыкновенной холстины приготовить непромокаемое... сукно. Протопоп о. Петр в подпитии и в трезвом виде беседует с чертями; дочь его Варвара тоже осатанела от отсутствия женихов. Родивон Родивоныч, инспектор, услаждается чтением "Готского альманаха"; а то есть Костя Едыткин, служит на почте. У него заветная тетрадь. Написано: "Сочинения Конст. Едыткина, то-есть мои". И стихи: "В моей груди мечта стоит, а милая Глафира - ко мне презрит". По ночам пишет в волнении и любви великой. Словом, у каждого свои сновидения. Еще князь приехал в должности почтмейстера. Князь он, правда, такой: нос с горбинкой и подбородка нет - восточный князь, но князь все-таки. И вот пошло: Глафира, Варвара, девицы - все с ума сходят. А князь - тоже с мечтой, самой благородной: на одном великом языке эсперанто все должны говорить, и тогда не будет войн и настанет братство народов. У князя все учатся: исправник, инспектор, Глафира, Варвара, девицы другие. Кончаются сновидения плачевно: Глафира и Варвара устраивают взаимную потасовку, Костя терпит жесточайший крах с сочинением: "Внутренний женский догмат божества", в любви тоже. Терпит крах князь со своим эсперанто, исправник с опытами и т. д.

Тоже уездное, утробное, с'едобное, но над этим - фантазмы, миражи, сновидения; жалкие, искривленные, заводящие в тупик, но все же фантазмы. Так между зоологией и нелепым фантазерством протекает скудная и нудная алатырская жизнь. От маниловщины фантазерство алатырцев, однако, отличается своим драматизмом; оно, несмотря на свою нелепость, в'едается и коверкает жизнь, разлетаясь прахом при первом соприкосновении с жизнью. И, может быть, оттого обитатели тысяч российских алатырей не верят в выполнимость великих порывов человеческого духа: ведь воочию у них только эти нескладные, ненужные сновидения.

В "Алатыре" основные черты художественного дарования Замятина, сказавшиеся в "Уездном", остаются прежние. Повесть немного бледней, но то же в ней

словопоклонничество, мастерство, наблюдательность со стороны, ухмылочка и усмешка, анекдотичность (в "Алатыре", пожалуй, больше, чем в "Уездном"), заостренность, резкость и ударность приема, подбор тщательный слов и фраз, большая сила изобразительности, неожиданность сравнений, выделение одной-двух черт, скупость.

Об утробном - и в рассказе "Чрево". Анфимья, баба крепкая, молодая, в соку, из-за потребности иметь ребенка идет на убийство мужа, солит его труп. Но здесь сила чрева дается в другом освещении. В рассказе много лиризма, и утробное у Анфимьи другое, не барыбинское, - ему сочувствуешь. Утробное двойится: оно уже не в образе Барыбы, а в образе Анфимьи, трогательно жаждущей оплодотворения.

К "Уездному" и "Алатырю" по содержанию и теме тесно примыкает повесть "На куличках". Написанная в начале русско-германской войны, она была конфискована царским правительством, а автор, в качестве большевика, был посажен в тюрьму за анти-милитаристскую пропаганду. (Повесть напечатана в Альманахе артели писателей "Круг" № 1). На кулички, к берегам Тихого океана заброшена военная часть, на какой-то всеми забытый и никому не нужный сторожевой пост. Забитые, оболваненные российские мужички, очень сметливые в делах хозяйственных, сельских, но непроходимо-тупые в службе, приспособлены по своим надобностям "господами офицерами"; надобности весьма своеобразного свойства: одного учат по-французски говорить, другой превращен в мамку и няньку девяти ребят, третий существует на кухне для генеральских оплеух, - и все они доведены до потери человеческого облика, и недаром солдат Аржаной походя убивает китайца - в такой обстановке это очень естественно. Внимание автора, однако, сосредоточено не на Аржаных, а на небольшой группе офицеров. "Поединок" Куприна бледнеет перед картиной нравственной гили и разложения, нарисованной писателем: яма выгребная на задворках! Тут и генерал - обжора исключительный, трус, бабник, сластолюбец и пакостник; и ограниченный педант Шмит - на шарнирах, по-своему справедливый, превращающийся в несчастного садиста; и капитан Нечеса, выпестывающий девятерых, в сущности чужих, ребят; и безвольный, рыхлый, российский интеллигент в офицерском мундире Андрей Иванович; и долговязый, нелепый Тихмень, тщетно разрешающий загадку, его или нет "Петяшка", родившийся у жены Нечесы; и тихая полупомешанная генеральша; и полковая дама, жена Нечесы - вся кругленькая, у которой дети - живая хронология. Как и в "Алатыре" и "Уездном", на куличках до смерти скучно, сонно, нелепо. Но не столько скучно, сколько страшно. Это страшное подчеркнуто автором в повести особенно сильно, и на нем - на страшном - в отличие от "Уездного" и "Алатыря" сосредоточено главное внимание... Страшное есть и в этих вещах, но там больше об утробном, о провинциальном фантазерстве, здесь оно основное. Под покровом скучной, мелочной жизни Замятин увидел это страшное и показал читателям, не то незаметное серое, медленно обволакивающее, о чем в свое время писал Чехов, а подлинно кровавое, безобразно зверское, трагичное. Правда, на куличках его часто не замечают, но это потому, что оно вошло в быт. Кончают жизнь самоубийством Тихмень и прямоугольный Шмит, становятся "нашим" Андрей Иванович, до звериного доведены солдаты, генерал насилует нежную и хрупкую Марусю, подло, сюсюкающе и слюняво. Как и "Уездное", "На куличках" - политическая художественная сатира. Она делает понятным многое из того, что случилось потом, после 1914 года. Своего рода это, пожалуй, оправдавшееся предсказание, но она выявляет также еще одну черту художественного дарования Замятина, - больше чем ранее написанные им вещи: повесть овееяна подлинным, высоким и трогательным лиризмом. Лиризм Замятина особый. Женственный. Он всегда - в мелочах, в еле уловимом: какая-нибудь осенняя паутинка - богородицына пряжа, и тут же слова Маруси: "об одной, самой последней секундочке жизни, тонкой - как паутинка. Самая последняя, вот оборвется сейчас, - и все будет тихо..."; или - незначительный намек "о дремлющей на снежном дереве птице, синем вечере". Так всюду у Замятина и в позднейшем. Об его лиризме можно сказать словами автора: не значущий, не особенный, но запоминается. Может быть, от этого у Замятина

так хорошо, интимно и нежно удаются женские типы: они у него все особенные, не похожие друг на друга, и в лучших любимых из них автором, трепещет это маленькое, солнечное, дорогое, памятное, что едва улавливается ухом, но ощущается всем существом.

И все-таки... когда читаешь "На куличках", то-и-дело вспоминаются старые знакомые: "Поединок" Куприна, "Кукушка" Сергеева-Ценского, чеховская живая хронология, гоголевский петух и т. д.

Отметим пока, что во всех этих вещах: в "Уездном", в "На куличках" борьба против косного, тупого, застоявшегося носит только личный характер. Тимоха, Маруся, Андрей Иванович - протестанты разрозненные, не объединенные ни с каким коллективом, группой. У автора это не случайно, подробней об этом, однако, ниже.

## II.

Из Англии, после двухлетнего пребывания в годы войны, Замятин привез "Островитян" и "Ловца человеков". От "Уездного" - к Лондону, к Джесмонду. От пыли, свиней, грязи невылазной - к камням, бетону, железу, стали, цеппелинам, подземным дорогам. От Чеботарих, Барыбы, исправников - к чопорной английской жизни, механизированной, расписанной заранее в мелочах. У викария Дьюли, автора книги "Завет принудительного спасения" - все по часам: "расписание часов приема пищи; расписание дней покаяния (два раза в неделю); расписание пользования свежим воздухом; расписание занятий благотворительностью; и, наконец, в числе прочих - одно расписание, из скромности не озаглавленное и специально касавшееся миссис Дьюли, где были выписаны субботы каждой третьей недели".

Жизнь - машина, механизм, все проинтегрировано, все одинаковые, с одинаковыми тросточками, цилиндрами и вставными зубами.

В "Островитянах" и в "Ловце человеков" - сатира на английскую буржуазную жизнь, едкая, острая, эффектная, отделанная до мелочей, до скрупулезности. Но чем более вчитываешься и в повесть и в рассказ, тем сильнее крепнет впечатление, что захвачена не гуща жизни, не недра ее, а ее поверхность. Филигранная работа производится художником, в сущности, над легковесным материалом. Тут мелочи британской жизни; правда, эти мелочи доводят человека до плахи, но это не меняет дела. Омеханизированная жизнь по расписанию, поблескивающие пенснэ миссис Дьюли, джентльмены со вставными зубами, мать Кембла, леди Кембл - "каркас в старом, сломанном ветром, зонтике" со своей чопорностью и извивающимися, как черви, губами, проповеди о насильственном спасении, посещение храмов, фарисейство, шпионаж, английская толпа, требующая казни, и казнь - прекрасно, хорошо, умно, талантливо, - но очень похоже на рассказы побывавших за границей Андрей Ивановичей о мещанских нравах добродетельных швейцарских хозяек, приходящих в ужас при виде мужских галош, забытых на ночь у комнаты русской эмигрантки. Занимательны и интересны они, и может случиться, что какой-нибудь Андрей Иванович через галоши эти попадет в тюрьму, там натворит еще что-нибудь неподобающее, его повесят или посадят на электрический стул. Все же преподносить подобные казусы в виде итоговых художественных обобщений маловато и недостаточно. Да еще в наши дни, после войны, во время социальных сильнейших катаклизмов. В Англии, как и повсюду - не одна, а две нации, два народа, две расы, и тот, кто этого не понимает, и тот, кто глазами одной нации хоть на минуту в наше время не сумеет посмотреть на другую нацию, взвесить ее и оценить, - никогда не почувствует подлинных недр общественной жизни, ее глубочайших противоречий, ее "сути". А Замятин смотрит глазами адвоката О'Келли, кокотки Диди, отчасти Кембла, и у него в помине нет тех, других глаз, без которых теперь - ни шагу. О'Келли и Диди - "потрясатели основ" благонамеренной английской жизни. Основы "потрясаются" в гостинице почтенного викария, за обедом у леди Кембл - О'Келли явился к обеду в визитке,

предпочтение отдавал виски, а не ликеру, и затеял разговор об Оскаре Уайльде, - в цирке в комнате Диди и пр. Точь-в-точь, как русский эмигрант "потрясывает" основы в прихожей цюрихской хозяйки, оставляя по забывчивости галоши. Сдается, что другие глаза другой нации в Англии, с верфей, с каменноугольных копей, заметили бы что-нибудь посерьезнее и посущественнее, да и выводы сделали бы поосновательнее.

Можно возразить, что тут писателем употреблен особый художественный прием: мелочами, их несоизмеримостью с кровавой развязкой как бы подчеркивается нестерпимое удушье обстановки, в коей находятся аборигены Лондона и Джесмонда. Но в том-то и дело, что здесь не художественный только прием, а нечто более глубокое, интимное, связанное с художественным "credo" Замятина корнями крепкими и неразрывными. По художественному мирозерцанию автора, в мире - две силы: одна, стремящаяся к покою, другая, вечно бунтующая, динамическая. В ненапечатанном последнем фантастическом романе "Мы" одна из героинь говорит: "Две силы в мире: энтропия и энергия. Одна - к блаженному покою, к счастливому равновесию, другая - к разрушению равновесия, к мучительно-бесконечному движению". "Уездное", "Алатырь", "На куличках" - это равновесие, энтропия. Но и здесь действует хотя бы в искаженном виде другая противоборствующая сила: Тимошка, нелепые фантазмы Кости и других алатырцев, Маруся, Сеня в рассказе "Непутевый" - вечный студент, пьянчуга, легкомысленный, безалаберный, разбрасывающийся, веселое и беспардонное житье которого кончается на баррикадах. В рассказе "Кряжи" эта буйная сила заставляет долго итти друг против друга Ивана и Марью, они "кряжи", а в кряжах должно быть это тугое, упругое, своенравное, непутевое. Все напечатанные Замятиным вещи - в этом мы убедимся еще больше ниже - символизируют борьбу этих двух начал. И Замятин с этой точки зрения безусловно символист, поставивший себе целью одеждой живой жизни одеть законы физики и химии. Аналитическим путем добытые результаты он пытается синтезировать как художник. Оттого и стиль его таков: живой народный сказ, модернизированная разговорная речь и квадратность образов: четырехугольный, квадратный, прямой, уютный и т. д.

Две силы ведут нескончаемую борьбу: но одна - сила инерции, традиции, покоя, равновесия - тяжелыми пластами придавила другую, разрушающую, - как земная кора, облегающая и сковывающая расплавленную огненную стихию. Покой, равновесие - в сонном "Уездном", в жизни Краггсов, четы Дьюли. Только в известные редкие миги открываются клапаны, разрывается кора и тогда, как лава из вулкана, бьет буйная подземная сила разрушения. Обычно же - царит застывшее, оцепеневшее, омертвевшее. Только такие моменты ценны и полновесны. О них рассказывает главным образом Замятин. Это - ось его художественного творчества. Принимает эта сила и "миги" у Замятина самые разнообразные образы, виды, формы. Маруся со своими незначущими разговорами о паутинке и смерти, навсегда запавшими в душу Андрея Ивановича, своенравная Диди, огненно-рыжая Пелька в "Севере", героиня за номером таким-то в романе "Мы". Они олицетворяют самое нужное, ценное: от них идет, через них говорит подлинная сила жизни, ее чрево, самое святое святых. От них - бунты и разрывы в размеренном, обросшем мохом. В рассказе "Землемер" герой никак не может сказать, что он любит Лизавету Петровну. "Миг" приходит, когда собачку "Фунтика" парни из озорства вымазали краской. Жалко стало девушке собачку, полились слезы и - тогда "забыл землемер обо всем и стал гладить волосы Лизаветы Петровны". Потом пришлось было землемеру ночевать с девушкой в одном номере в монастыре и - случись это - так бы и остались они вдвоем, но приехала няня и все кончилось: "так было надо". В "Ловце человеков" таким моментом являются цеппелины над Лондоном. В проинтегрированную жизнь Краггсов врываются топающие бомбы и рушится обычный, уравновешенный, отстоявшийся уклад, раздвигается "занавес" на губах миссис Лори, и пианист, непутевый Бейли, целует ее губами "нежными, как у жеребенка", и миссис отвечает ему тем же. Но это только миг: "чугунные ступни затихли где-то на юге. Все кончилось". В "Сподручнице

грешных" мужики пробираются во время революции в некий монастырь к игуменье с целью грабежа, но в самый решительный момент "матушка" по особому трогательно угощает пирогами и еще чем-то злоумышленников, и кровавое дело расстраивается. В "Дракон" драконо-человек (красноармеец) только что рассказал в трамвае, как он отправил какую-то "интеллигентную морду" "без пересадки - в царствие небесное" - и вдруг - воробей, замерзающий в углу трамвая - и винтовка уже валяется на полу, дракон изо всех сил отогревает его, а когда тот улетает, "дракон" скалит рот до ушей. Мир - как собака ("Глаза"): на нем шелудивый тулуп, у него нет слов, а один брех, ретиво стережется хозяйское добро, за черепушку с гнилым мясом оберегается оно; сорвется с цепи и опять медленно, жалко и виновато, поджав хвост, плетется в хозяйскую конуру. Но... "такие прекрасные глаза? И в глазах, на дне такая человечья грустная мудрость"...

Иногда - это потемкинские матросы ("Три дня"), но чаще Диди, О'Келли, Сеня и др. Потемкинские матросы вообще вне поля зрения Замятина. Родился и вырос он в "Уездном"; народ у него большей частью - в образах Аржаных, Тимох, Непротошных, пьяниц Гуслиякиных, парней, от скуки поливающих водой до полусмерти мальчонка, либо проделывающих эксперименты с краской и собакой, или - мужиков, бунтующих против сыра ("мы это самого мыла тогда фунтов пять приели"). Крестьянина, который по-иному выглядит, например, в записях С. Федорченко или в партизанских рассказах В. Иванова, у Замятина нет. Глазами этих матросов, мужиков, рабочих Замятин не может смотреть на то, что кругом. Интересно, что в своих воспоминаниях о потемкинских днях автор свое внимание сосредоточивает тоже только на миге - три дня, - когда все, казалось, рушится, выходит из берегов. Поэтому момент ему и ценен. Общей связи этих дней с революцией в рассказе совершенно не чувствуется. Автору это и не нужно.

Вот почему в "Островитянах" и в "Ловце человек" в проинтегрированную жизнь Краггсов и Дьюли вносят бунтующее Диди, О'Келли и даже Кембл. Бунт получается не очень опасный, ибо берутся не корешки, а верхки. Остро, но допустимо. Бунт - благонамеренный, не тот, на который способны матросы, рабочие, крестьяне. В конце концов здесь только непутевость, узко-индивидуальный протест, от него основы потрясаться не будут. Да писатель и не о том заботится: ему нужно противопоставить проинтегрированной жизни миги, индивидуальное бунтарство, то малое и незначительное и интимное, которое, однако, запоминается и ценится автором превыше всего. В "Уездном", в "На куличках" протесты и борьба тоже личные, в одиночку; других форм борьбы писатель вообще не видит, не отмечает, не ценит. Поэтому у него всегда борьба кончается поражением. Иначе и быть не может, когда во главу угла ставится исключительно индивидуальное. В наше время, повторяем, это мало и поверхностно. А когда художник склоняется к политическому памфлету, можно заранее предвидеть, что у него будут неудачи.

За всем тем и "Островитяне", и "Ловец человек" остаются мастерскими художественными памфлетами, несмотря на их ограниченное значение. Как и "Уездное", "На куличках", "Алатырь", лондонские вещи писателя останутся в литературе. Нужно еще помнить, что "Островитяне" вышли из печати, когда многие из братьев-писателей, почитавшие себя хранителями заветов старой русской литературы, узрели в викариях Дьюли и мистерах Краггсах носителей человечности и гуманности, прогресса и иных добродетелей не в пример злокозненным большевикам. Замятин впоследствии не удержался на своей благородной, истинно и единственно по-настоящему "бунтарской" позиции, но об этом речь ниже.

Художественные достоинства "Островитян" и "Ловца" - несомненны. Способность одним приемом дать образ, характер закреплена в отвердевшей форме. Викарий Дьюли, мистер Краггс - как выкованные. Замятин художник-экспериментатор, но экспериментатор особый. У него эксперимент доведен до крайности, до предела, так сказать, эксперимент в чистом виде. В стиле Замятин ушел от народного модернизированного сказа - это так и нужно в повести о Лондоне. Впервые художником дан тот отчеканенный, сгущенный

стиль с тире, пропусками, намеками, недосказами, та кружевная работа над словом и поклонение слову, тот полу-имажинизм, которые впоследствии сильно отразились на творчестве большинства серапионов. До мелочи тщательная работа, столь кропотливая, что приходится все время держать себя в напряжении, вчитываться в каждую строку. Это утомляет, даже подчас доходит до манерности, до пресыщенности, словно автор играет своим мастерством. Особенно переделан "Ловец человеков".

### III.

В рассказе "Непутевый" между конспиратором и подпольщиком Исавом и Сеней-непутевым происходит такой разговор:

Исав говорил:

- И как можно верить во что-нибудь? Я допускаю только и действую. Рабочая гипотеза, понимаете?

Петр Петрович к Сене обернулся:

- Ну, а ты?

- Я-а? Да что ты, чтоб я... да глаза бы мои не глядели на программы все ихние.

Слава Богу, в кои-то веки из берегов вышли, а они опять в берега вогнать хотят. По мне уж половодье, так половодье, во-всю, как на Волге...

В соответствии с этим непутевому Сене дается явный моральный перевес: Сеня героически гибнет на баррикадах, а Исав резонерствует по поводу его бессмысленной гибели, хотя в холодном, даже враждебном уважении своем автор не отказывает Исаву.

Положение - глаза бы мои не смотрели на программы все ихние - органически вытекает из всего художественного мировоззрения писателя. Как мы видели выше, Замятин подошел к сложным явлениям общественной жизни с физической теорией о двух силах в мире: энтропии и энергии. Вышло у него при этом так, что начало разрушительное действует "в мигах", "случаях", в индивидуальных, интимных порывах человеческого духа. С этой же меркой художник подошел и к русской революции. Получилось то, что должно получиться в этих случаях. Теория о двух силах в приложении к обществу не то, что не верна, а прежде всего отвлеченна, а следовательно и не верна. Это - общие, ничего не значущие места, не заполненные ничем конкретным; живая жизнь тут вытекает, как вода между пальцами. Есть по сути дела мертвая схема, прикладываемая к чему, где, как и когда угодно; отвлеченное бунтарство, революционизм, еретичество во имя еретичества. "Половодье", "мучительно-бесконечное движение", "непутевость", "отшельничество", - все это очень пусто, незначуще, абстрактно. В "Островитянах", да и в "Уездном", в "На куличках" это отвлеченное бунтарство в большой мере обессилило художника. В отношениях писателя к русской революции оно привело к органическому ее непониманию. Так и должно было случиться: как только "еретик во имя еретичества" попытался с горних высот спуститься на землю, получился большой разлад. На земле "бунтующей" тоже оказались "программы ихние", мужики, рабочие, массы; на земле ставились конкретные, "земляные" цели. Очень мало интересовались интимным, личным бунтарством вообще, зато подготавливали и пускали в действие огромнейшие коллективы: коммунистов, Красную армию и пр. Исторически и социологически отвлеченный революционизм и так называемый духовный максимализм выражали предреволюционную розовую интеллигентскую романтику и еще до революции указывали на существенный разлад идеала и действительности в сознании широких кругов интеллигенции. Ликвидация самодержавия мыслилась необходимой и желанной, но с другой стороны, уже тогда интеллигенция опасливо оглядывалась на стихийный рабоче-крестьянский большевизм. Отсюда - желание увидеть революцию благородной, сделанной не корявой рукой мужика и рабочего, а чистыми руками с отшлифованными ногтями. Как только обнаружилось, что этого не будет, что революция будет корявой - бунтарство русских О'Келли и Сенек быстрейшим манером развеялось, подобно дыму. Духовный

максимализм и свирепейшее еретичество остались вдруг где-то за пределами революции, обнаружилось, что у максимализма "душа видом малая и отнюдь не бессмертная", что всесветный революционизм выглядит очень уж, даже до чрезмерности, культурным, умеренным и аккуратным, что посягает он завоевать небеса, а не землю грешную, - что это говорилось о революции духа, в каком-то особом огненном преображении, а совсем не об этой, как ее бишь, "республике этой", - о мигах интимных и всеочищающих, а не то, чтобы усадьбы грабили, фабрики отбирали и культурные ценности растаскивали по хатам и т. д., и т. д.

У Замятина мы видим: и это якобы-непримиримое бунтарство, принципиальное и неугомонное, - и народ в образах Аржаных и Гусляйкиных, - и взгляд на идеал, как на нечто неисправимо оторванное от земли, - признание революции в духе, в мигах интимных, - и отчужденность, холодную отдаленность от подлинного лика революции и враждебность к ней.

Как бы то ни было, после Октября Замятин написал ряд рассказов, сказок, доставивших несомненное удовлетворение самым ярким врагам Октября и большое искреннее огорчение и негодование знавшим и ценившим его талант: "Дракон", "Мамай", "Пещера", "Церковь божия", "Арапы", "Сподручница грешных" и, наконец, роман "Мы". Из них самой талантливой вещью является "Пещера" и самой серьезной "Мы".

Приходилось слышать возражение, что очень поспешно и преждевременно окрашивать в белый цвет художественные вещи Замятина последнего времени: не всякая сатира есть белая агитка и не все, что рядится в красный цвет, есть настоящая революция. Это так. У нас действительно есть боязнь коснуться язв советского быта, против чего всемерно следует бороться - и часто бывает так: молчат, молчат, да и начнут бухать потом в набат (пример: взятка хотя бы). И бесхребетных найдется не мало. Если бы Замятин писал свои едкие вещи, оставаясь на почве революции, его можно было бы только приветствовать. К сожалению, дело обстоит совсем не так. Замятин подошел к октябрьской революции со стороны, холодно и враждебно: чужда она ему не в деталях, хотя бы и существенно важных, а в основном.

"В странном незнакомом городе - Петрограде - растерянно бродили пассажиры. Так чем-то похоже - и так не похоже - на Петербург, откуда отплыли уже почти год и куда, Бог весть, вернутся ли когда-нибудь?.. Австралийские воины в странных лохмотьях, оружие на веревочках за плечами... австралийцы на пролом краснороже перли с огромными торбами" ("Мамай").

Еще: "На трамвайной площадке временно существовал дракон с винтовкой, несясь в неизвестное. Картуз налезал на нос и, конечно, проглотил бы голову дракона, если бы не уши: на оттопыренных ушах картуз засел... и дыра в тумане: рот" ("Дракон") В "Арапах" драконы и австралийцы именуется краснокожими. Так может писать только гражданин-пассажир республики, который на республиканском корабле в сильнейшую качку исходит зеленью от морской болезни. Слов нет, морская болезнь - пренеприятная болезнь, но если пассажир переносит свое состояние на матросов, на корабельную команду, до-упада работающую во время сильнейшего шторма, чтобы довести корабль до гавани, - это уже совсем нехорошо и несправедливо. Так нехорошо и несправедливо и ведет себя наш пассажир в отношении корабельной команды и матросов: и австралийцы-то они, и оружие у них на веревочках, и рты, как дыра, все ему не нравится. Положение еще осложняется тем, что пассажир попал на корабль неожиданно, нежданно, и не знает, куда несется корабль, к какой гавани пристанет, да и пристанет ли. Тут уже и зелень от морской болезни и иные неудобства являются совершенно неоправданными, бессмысленными. В самом деле, во имя чего претерпеваются все эти муки и неудобства? Не лучше ли было сидеть у себя дома, в гостиной: "моя синенькая комната, и пианино в чехле, и на пианино - деревянный конек-пепельница". Из "Пещеры" это. Рассказ прекрасно выписан и передает то, что было. Были эти дни, когда комнаты превращались в ледяные пещеры и надо всем царил жадный пещерный бог: печка. Мартын Мартыныч жалко и неловко крал дрова,

чтобы согрелась Маша. И Маша была исхудавшая и не встававшая с постели. Вспоминала о синей комнате, просто и быстро брала флакон с ядом, чтобы умереть, по-будничному отсылала Мартына Мартыныча посмотреть на луну, чтобы не видел, как она умирать будет, и тот покорно шел. Все было. Но как рассказано, в каком освещении дана вещь? О драконах-большевиках - ни слова, но весь рассказ заострен против них. Искусной рукой направляет автор каждую мелочь против них: они виновны в пещерной жизни, и в кражах, и в смерти Маши. Особенно становится это ясным в контексте иных замятинских вещей. Достаточно сопоставить описание дракона с мягким лиризмом, которым обвеял писатель воспоминания Маши о пианино, деревянном коньке, открытом окне и пр.

Раз не известно, куда несется корабль, и не понятно, почему на нем пассажиры, - все плаванье, вся борьба с вражескими стихиями кажется дикой и бессмысленной. Как будто арапы дерутся: то черные искрывают и зажарят краснокожих, то краснокожие поджарят черных, да еще в придачу возмущаются черными: как черные осмелились увечить нас?.. ("Арапы"). С особой наглядностью здесь обнаруживается, что автор - в стороне, что он - холодный и враждебный наблюдатель. Так писать может только тот, кто не был активным участником событий и борьбы. Борьба же была такова, что к ней подходить со старыми интеллигентскими мерками было не только невозможно, но прямо преступно. Единственно в гуще этой борьбы, в кровавой и огненной купели ее, познавалось, что можно и чего нельзя. Можно ли принять и оправдать убийство связанного человека? Можно ли прибегать к шпионажу? Дано это знать тем, кто борется, ненавидит, любит, живет в пылу, в огне стихии, а не плавающим и путешествующим. Можно ли? Можно и должно, если враг сам ничем не брезгует, если дошел он до животного остервенения, если прибегает он к худшему из худшего, если он продажен и играет роль наймита и шпиона у викариев Дьюли и мистеров Крагтсов. Не отвлеченно решаются эти и подобные вопросы в интеллигентских закутах, а на поле брани, когда имеют дело с реальным врагом, когда известно, что он предпринимает и практикует сам. Иная постановка вопроса - моральная астрология, беспомощное умничанье, и только на руку врагу. Таким духом пропитаны "Сказка", "Церковь божия". Божия церковь оказалась с душком, да еще с каким, а все оттого, что построил ее Иван на денежки купца, зарезанного им и ограбленного. Мораль: нельзя хорошее дело строить на трупах. А кстати и другой вывод: не нужно грабить купца - нехорошее дело, нечистое. И третий: пусть купец живет, да поживает, т.-е. грабит. Едва ли автор согласен на последний вывод, но не согласится он единственно в силу своей непоследовательности. Практически, выходит так, пусть грабит купец; общественная борьба классов имеет свою логику. Получился же последний вывод оттого, что "сказочка" страдает, помимо прочего, одной неправильностью: купец представлен лицом страдательным, на самом же деле он - первеющий грабитель, и прежде чем его обчистил Иван, он облапошил до нитки сотни, а может быть, и тысячи Иванов, тех самых Иванов, которые его потом ограбили. Положение-то получается совсем иное. На наших глазах духовный максимализм, еретичество во имя еретичества, принципиальное бунтарство превращаются мало-по-малу в какую-то мутную, подслащенную идейную жижу, которую проповедывали Иванам с амвона при поощрении Чеботарих и их сынков. В рассказе "Сподручница грешных" ("Мамаша, слова-то какие"), как уже упоминалось выше, мужики с разрешения их совета совсем уже сладили дело с ограблением игуменьи в монастыре. Дело расстроилось оттого, что игуменья оказалась очень доброй, именинницей и очень уж хорошо обошлась с мужиками.

Встал Сикидин, лоб нагнул - бык брухучий. Руками об стол оперся, правая - тряпкой замотана.

- Батюшка мой, это что ж у тебя рука-то? Дай я тебе чистенькой завяжу, а то еще болеть прикинется...

Поднял руку Сикидин. На игуменью - на руку - запнулся...

Очень умилительно. Прямо душеполезное чтение, в духовную хрестоматию годится. По крайней мере, если б существовали сейчас "Епархиальные Ведомости", то в части



неофициальной рассказ мог явиться настоящим украшением, мироточиво, а стиль - не чета борисоглебским и алатырским Едыткиным, пописывавшим когда-то в "Ведомостях".

Читая подобные вещи, невольно думаешь: восстало бы из гроба хоть на минутку старое царское правительство, в умиление бы пришло: бунтари-то стали многие какими: не то что запрещать или сажать, как раньше, за повесть "На куличках", а размножай для народного чтения без числа, не жалея денег. А вот эти драконы, австралийцы, краснокожие, или как их там еще, - большевики словом, толкуют о какой-то классовой борьбе, определяемой законом каким-то, а все дело в том, чтобы посадить Сикидиных за один стол с матушками, да пусть эти матушки сумеют во время улыбнуться по-особому, да пирожок подсунуть, да ручку перевязать: какая там борьба, истинное в этом - в нечаянных, но особых жестах, словах, взгляде, в том невесомом, незначущем, но запоминающемся, что ценнее всего. Вот только краснокожих этих не убедишь: упрямые. Не верят "в обстоятельства в разрез наших ожиданий" и не проникаются исключительными, редчайшими моментами.

Об этих моментах и мигах нужно сказать еще несколько слов. Очень хорошо, когда Маруся у автора говорит Андрею Ивановичу о паутинке и смерти, или землемеру помогает "Фунтик": уместно, лирично, художественно-правдиво, потому что тут личное, интимное и только. Но когда художник "паутинкой", мгновенными прозрениями и т. п. пытается разрешить сложнейшие социальные проблемы и сказать свое слово в общественной борьбе - получаются пустяки, сплошной сахарин, липкая патока, политическая маниловщина, по той простой причине, что "паутинкой" тут ничего не поделаешь, что добродушные жесты и порывы монахинь и прочих героев и героинь ни в малейшей степени не определяют хода и исхода борьбы. Замятин думает иначе.

В статье об Уэльсе Замятин пишет:

"Социализм для Уэльса, несомненно, путь к излечению рака, в'евшегося в организм старого мира. Но медицина знает два пути для борьбы с этой болезнью: один путь - это нож, хирургия, который, может быть, либо вылечит пациента радикально, либо убьет; другой путь - более медленный - это лечение радиом, рентгеновскими лучами. Уэльс предпочитает этот бескровный путь"...

Все это крайне неудачно, но характерно для Замятина. Маркс говорил, что новое общество рождается из недр старого, подобно бабочке, выходящей из куколки (из гусеницы, собственно говоря). Это в тысячу раз правильней, чем рассуждения писателя о каком-то организме, который нужно подлечить, хотя и основательно. Речь в эти моменты скорее идет о накладывании щипцов и прочих акушерских обязанностях, чем об излечении организма: его нечего и незачем лечить: куколка и бабочка. Приходится ли накладывать щипцы и пр. или нет - зависит от обстоятельств, а совсем не от доброй воли акушера. Но Замятин пишет: предпочитает... лечить... организм... бескровно. Детские пустяки. Но в этом весь социализм Замятина. Он тоже "предпочитает" бескровный путь воздействия на человека: нужно только открыть людям окна душ своих, и тогда Сикидин опустит зверскую лапу, а игуменья останется в монастыре, что ли?

Так духовное босячество, еретичество и максимализм превратились на наших глазах в обычные мещанские рассуждения - мы все социалисты, но предпочитаем бескровный путь и прочее.

Повесть Замятина "Север" вскрывает еще одну немаловажную черту его современного творчества. Где-то, тоже у чертей на куличках, где "сквозь тысячеверстный синий лед - светит мерзлое солнце на дно" (прекрасно сказано) живут: хозяин и лавочник Картома, рыболов-работник Картомы Морей и рыжая чудесная Пелька. Картома шарит по земле, обвешивает, покупает "женок" за тухлятину, набивает карманы, пьянствует, - Морей глядит в небо. С детства это у него с того дня, как тонул в реке. Откачали тогда, "только балухманной какой-то стал, все один, и глядит не глядит на тебя - мимо, и кто его знает, что видит?". Вышло так, что полюбил Морей Пельку, и она его, и было им хорошо, пока фонарь не засланил совсем Пельку. О фонаре упомянул - соврал Картома: светит будто бы

в Питере громадный фонарина, и от него светло кругом, как днем. "Морея осенила благодать: фонарь устроить, как в Питере: запалить над становищем - и ни ночи, ни чего: вся жизнь по-новому". Голодует Морей с Пелькой, но Морею не до этого: он фонарь мастерит. А Пельку в это время взял Картома, а из строительства ничего не вышло: не осветил фонарь тысячеверстной мерзлой тьмы. Но и Пелька не могла забыть Морея. Повесть кончается гибелью обоих: Пелька устроила так, что подмял их на охоте под себя медведь.

Мотив знакомый, разработанный раньше в повести "Алатырь". И если сопоставить "Север" с "Алатырью", станет очевидным, откуда навеян этот взгляд автора на идеал и действительность: от уездного это. Верная и правильная, в условном и ограниченном смысле и для известной обстановки, мысль писателя становится неверной в качестве художественного обобщения. Но художник нигде не попытался дать другого разрешения вопроса об отношении идеала к действительности, поэтому надо считать, что другого решения для него и нет. Идеал всегда оторван от жизни и душит ее. Такой подход в наши дни прямой дорогой ведет к усталым обывательским настроениям (вспомним А. Белого с его недавней проповедью: долой великие принципы - хочу лягушечьей жизни, хочу обывателем быть).

Наконец, о последней вещи Замятина о романе "Мы", еще не напечатанном.

Недавно в одной из своих речей тов. Ленин заметил: "социализм уже теперь не есть вопрос отдаленного будущего, или какой-нибудь отвлеченной картины, или какой-либо иконы". В этом - главное нашей эпохи.

Социализм перестал быть идеалом в том смысле, в каком он был раньше, скажем, лет 20-30 тому назад. Он - не призывная звезда, сияющая в далеких и чистых небесах, он стал вопросом тактики, практики и воплощения в непосредственно-данную жизнь. И это заставляет одних радостно и трепетно заглядывать куда-то выше, стараться приподнять следующую завесу и дерзко мечтать о дальнейших завоеваниях, - и великим, неподдельным страхом наполняет других, страхом перед тем социализмом, который уже входит, так сказать, в обиход, ибо исторический приговор приводится уже в исполнение. Роман Замятина интересен именно в этом отношении: он целиком пропитан неподдельным страхом перед социализмом, из идеала остановившимся практической, будничной проблемой. Роман о будущем, фантастический роман. Но это не утопия, это художественный памфлет о настоящем и вместе с тем попытка прогноза в будущее. В этом будущее все проинтегрировано на земле и строится великий интеграл для того, чтобы завоевать всю вселенную и дать ей математически-безошибочное счастье. Нерушимой стеной отделено человеческое культурное общество от остального мира и со времени 200-летней великой войны - а прошло с этих пор 1.000 лет - никто не заглядывает за эту стену и никто не знает, что там. Все остеклянено, все на виду, на учете. Стеклопанное небо, стеклянные дома; нету "Я" - есть "Мы", в один час встают, работают, под команду едят нефтяную пищу, в определенные часы любят по розовым талончикам, и надо всем - единое государство и благодетель человеческого рода, мудро пекущийся о безошибочно-математическом счастье. Однако не все проинтегрировано: есть у человека мохнатые руки и "душа" и это глупое "хочу по своей воле жить". Не у всех, но все же такие и не одиночки. И вот возникает мысль: разрушить стену, свергнуть благодетель, уничтожить математику в жизни. Руководит всем этим женщина, героиня за номером. Вместе с ней и с группой других разрушителей один из строителей Интеграла - от его имени ведется повествование (записи), - попадает через подземный ход за стену. Там: "Земля, пьяная, веселая, легкая, плывет" и люди без одежды, покрытые блестящей шерстью, трава, солнце, птицы. Подготавливается восстание, где-то разрушена стена, делается попытка использовать Интеграл при полете для тех, кто за стеной.

Но бюро хранителей раскрывает заговор; производятся аресты, героиня подвергается казни, а у строителя, как и у всех, производят операцию: вырезают фантазию.

Роман производит тяжелое и странное впечатление. Написать художественную пародию и изобразить коммунизм в виде какой-то сверх-казармы под огромным стеклянным колпаком не ново: так издревле упражнялись противники социализма - путь торный и бесславный. А если прибавить сюда рассуждения о носах, - а это тоже - есть, - которые должны быть непременно у всех одинаковыми, то станет ясным характер и направление памфлета.

И все здесь неверно. Коммунизм не стремится покорить общество под ноzi единого государства, наоборот, он стремится к его уничтожению, к тому, чтобы оно отмерло. Коммунизм не ставит целью поглощение "Я" - "Мы", он ведет к синтезу личности с общественным коллективом; в его задачу не входит также проинтегрированная, омеханиченная и омашинизированная жизнь в том виде, как это представлено художником - в коммунистическом обществе не будет ни города в его настоящем, ни деревни с ее "идиотизмом" - мыслится соединение города с деревней. Если художник имел в виду наш коммунизм военного времени, то и здесь памфлет бьет мимо цели: практику военного коммунизма можно понять, только приняв во внимание, что нужно было воевать, воевать, воевать с могущественным врагом, что Сов. Россия была осажденной крепостью; об этом в романе - ни слова. Противопоставлять коммунизму травку, своеволие человеческое и людей, обросших волосами, значит - не понимать сути вопроса. Еще Глеб Успенский отметил, что травоядная жизнь имеет один существенный недостаток: от пустого случая зависит. Ворвется в жизнь такой случай, - а он врывается постоянно и непрерывно - и вся удивительная травоядная гармония идет на смарку. Потому-то и отказался человек от этого райского первобытного блаженства и захотел устроить свой рай с машинами, электричеством, аэропланами. Что же касается формулы: по своей глупой воле жить хочу, то ведь это только кажется людям, обросшим волосами, что они живут по своей воле; при социализме эта зависимость человека от стихии и незнание этой зависимости будут заменены знанием и планомерным научным освобождением от нее (прыжок из царства необходимости в царство свободы).

Замятин написал памфлет, относящийся не к коммунизму, а к государственному, бисмарковскому, реакционному, рихтеровскому социализму. Не даром он перелицевал своих "Островитян" и перенес оттуда в роман главные черты Лондона и Джесмонда, и не только это, но и фабулу. Иногда это доходит до мелочей (носы и проч.). И как будто чувствуя, что не все в романе на месте, Замятин вкладывает в уста своей героини N 1, слова, совершенно не ожидаемые и не вяжущиеся с общим духом романа. Отвечая строителю, N 1 говорит, что герои двухсотлетней войны (читай - большевики) были правы, так как разрушали старое. Их ошибка в одном: они решили потом, что они последнее число, а такового нет, т.-е. из разрушителей они сделались консерваторами. Если это так, если "герои двухсотлетней войны" были правы в свое время, то спрашивается, переживаем ли мы теперь это время, время разрушения старого мира? Всякий, находясь в здравом уме и твердой памяти, скажет: да, переживаем, - по той простой причине, что старый мир еще не разрушен и стоит пока что довольно крепко. А раз так, то на каком основании художник находит своевременным бороться с "коммунистическим консерватизмом", оставляя в последнее время в тени другой, старый мир? Или он полагает, что мы уже победили вконец? Мы, конечно, уверены, что победим окончательно и бесповоротно, но считать это совершившимся фактом - легкомысленно. Роман-то, следственно, бьет не туда, куда следует.

В романе протест и восстание свое начало ведут от любви строителя к женщине за номером таким-то. Мотив - замятинский, узко-индивидуальный. Не мудрено, что конец - пессимистический. Единое государство раздавило восставших, а к тому же и героиня в ее отношениях к строителю оказалась сама проинтегрированной: она имела в виду использовать его как нужного и полезного человека. Другого конца и не может быть, когда коммунизму противопоставляется травка, люди без одежд и узко-исключительно личный протест.

Замятин вообще пессимист. У него сила косности, инерции всегда побеждает, сила разрушения только на миг преодолевает ее, хотя и ведет борьбу нескончаемую. От уездного это. Уездное легло на творчество Замятина всей своей неподвижностью и застойностью, своими кажущимися постоянством и нарушимостью.

С художественной стороны роман написан превосходно. Замятин достиг здесь полной самостоятельности и зрелости. Тем хуже, ибо все это идет на служение злему делу...

-----

В прекрасной во многих отношениях статье своей об Уэльсе Замятин касается книги Уэльса "Россия во мгле" и приводит его мнение о русских коммунистах, которые по автору можно взять эпиграфом ко всей книге: "Я не верю, - говорит Уэльс, - в веру коммунистов, мне смешно их Маркс, но я уважаю и ценю их дух, я понимаю его".

По поводу этих строк Замятин пишет:

"... Уэльс... не мог сказать иначе. Еретик, которому нестерпима всякая оседлость, всякий катехизис - не мог иначе сказать о катехизисе марксизма и коммунизма, неугомонный авиатор, которому ненавистней всего старая, обросшая мохом традиций земля, не мог иначе сказать о попытке оторваться от этой старой земли на некоем гигантском аэроплане - пусть даже и неудачной конструкции".

Очень неудачно и невнятно в конце концов и о коммунизме: то "церковь божия", построенная на кровушке и с запахом скверным, то единое проинтегрированное государство, где людей гонят, к счастью, кнутом, а то вдруг - здорово живешь - гигантский аэроплан, пусть неудачной конструкции, но пытающийся оторваться от земли, обросшей мхом традиций. Не продумано, не доделано, сталкивается друг с другом, нет цельности, нет единого широкого обхвата, "изюминки" нет.

И еще: "еретик" - любит это слово Замятин - "еретик" Уэльс внутренним чутьем понял как-то по-своему современных коммунистических еретиков буржуазной цивилизации и сказал: уважаю, ценю, понимаю... а вот автор "Уездного", "На куличках", "Алатыря", "Островитян", проповедник принципиального еретичества и максимализма не нашел для себя лучшей доли в годы тягчайшей борьбы со старым миром, как выписывать вещи, которым по справедливости следует дать общий подзаголовок: долой коммунизм, коммунистов и Октябрь.

"Еретик" до сих пор не почувствовал и не дал почувствовать читателю ни одной вещью своею, что самые опасные еретики из еретиков в отношении к старому миру - мы, коммунисты. Самые опасные, самые верные, самые закаленные и твердые до конца. Станный еретизм, странный максимализм. Он так по сердцу и обывательской улице, зачиревевшей в своих рассуждениях об одинаковых носках по декрету, - и мистерам Краггсам, для которых Советская Россия - вроде чугунных ступней, бомб над Лондоном.

На очень опасном и бесславном пути Замятин.

Нужно это сказать прямо и твердо.

И еще раз из Уэльса. Замятин сочувственно цитирует слова Питера-Уэльса: "мы должны жить теперь как фанатики. Если большинство из нас не будут жить как фанатики - этот наш шатающийся мир не возродится". Мы не знаем, что имел точно в виду Питер, но это золотые слова, если их применить к социальной борьбе наших дней. И мы, коммунисты, помним их твердо: мы должны жить теперь как фанатики. А если так, то какую роль играет здесь то узко-индивидуальное, что особенно ценит автор? Вредную, обывательскую, реакционную. В великой социальной борьбе нужно быть фанатиками. Это значит: подавить беспощадно все, что идет от маленького зверушечьего сердца, от личного, ибо временно оно вредит, мешает борьбе, мешает победе. Все - в одном, - только тогда побеждают.

Наша статья будет неполной, если не отметить влияния Замятина на современную художественную жизнь, его удельного веса. Он несомненно значителен. Достаточно сказать, что Замятин определил во многом характер и направление кружка серапионовых братьев. И хотя серапионы утверждают, что они собрались просто по принципу содружества, что у них и в помине нет единства художественных приемов, и, кажется, также они "не имеют отношения к Замятину" - в этом все-таки позволительно усумниться. От Замятина у них словоупотребление, увлечение мастерством, формой; по Замятину вещи не пишутся, а делаются. От Замятина стилизация, эксперимент, доведенный до крайности, увлечение сказом, напряженность образов, полу-имажинизм их. От Замятина - подход к революции созерцательный, внешний. Не хочу этим сказать, что отношение их к революции такое же, хотя и здесь замятинский душок у некоторых чувствуется. И если среди серапионов есть течение, что художник, подобно Иегове библейскому, творит для себя, - а такие мнения среди серапионов совсем не случайны - это тоже от Замятина. Может быть тут, впрочем, не столько влияние, сколько совпадение, но совпадение разительное.

## ВОРОНСКИЙ А.К. В. МАЯКОВСКИЙ

### I. "Весь из мяса, человек весь"

У значительного писателя всегда есть свое "самое главное". У Маяковского главным служит его человек. Человек -- основная тема произведений поэта от "Флейты позвоночника" до "Ленина". Даже там, где на первый взгляд Маяковский как будто говорит о другом, он остается верен своему герою. Герой и тема у него есть. Этим он отличается от многих и многих современных художников, у которых есть материал, глаз, слух, талант, но нет героя. Присутствие его выводит Маяковского из порочной золотой серединки, из ряда так называемых обещающих натур. Своеобразие Маяковского -- от его героя. Здесь истоки его пафоса, основных его мотивов. Иногда писатель напоминает каторжника, прикованного к тачке: тщетно он старается освободиться -- цепи крепки иковка прочна. Недаром поэт пригвоздил своего человека к невскому мосту и заставляет его стоять из года в год: "Семь лет я стою. Я смотрю в эти воды, к перилам прикручен канатами строк. Семь лет с меня глаз эти воды не сводят. Когда ж, когда ж избавления срок?" Человек -- поэтическое бремя и пленение, радость и надежда, тень, неутомонно и неотвязно следующая за писателем, двойник, друг детства и поверенный, враг и надоедливый, постылый, постоянный гость.

Как же выглядит этот герой, каков он, чего хочет, откуда и куда идет?

Прежде всего он прост, "как мычание". В своей подоплеке он примитивен, первобытен. Человек Маяковского -- сплошная физиология. Он -- из мяса, костей, крови, мускулов. Вспомните широко известные строчки из "Человека":

Две стороны обойдите.

В каждой

Дивитесь пятилучию,

Называются "руки"

Пара прекрасных рук!

Заметьте:

Справа налево двигать могу!

И слева направо.

Заметьте:

Лучшую

Шею выбрать могу

И обовью вокруг.

Черепу шкатулку вскройте,

Сверкнет

Драгоценнейший ум.

Есть ли,

Чего б не мог я!

Хотите, --

Новое выдумать могу

Животное?

Будет ходить

Двуххвостое

Или треногое

Кто целовал меня,

скажет,

есть ли

слаще слюны моей сока.

Покоится в нем у меня

Прекрасный

Красный язык,

"О-го-го" могу

Зальется высоко, высоко

"О-го-го" могу

И охоты поэта сокол

Голос

Мягко сойдет на низы.  
Всего не сочтешь.  
Наконец,  
Чтоб в лето  
Зимы  
воду в вино превращать чтоб мог,  
у меня  
под шерстью жилета  
бьется  
необычайнейший комок.  
Ударит вправо -- направо свадьбы,  
Налево грохнет -- дрожат миражи...

Герой Маяковского упоен и несказанно рад, что у него есть две руки, что он может ими двигать слева направо, что язык может крикнуть "о-го-го". Звериная радость звериному. В человеке Маяковскому приметно биологическое, непосредственно данное. Он -- наивный реалист. Правда, у героя-поэта драгоценнейший ум -- может даже выдумать животное, -- но, надо полагать, кошка, собака, лошадь, пантера, любое из четвероногих тоже "выдумывают". В "Человеке" дальше рассказывается, как на глазах у всех герой Маяковского может у булок загнуть грифы скрипок, превратить головки в подвале сапожника в арфы, но и здесь четвероногие едва ли уступят ему.

Говорят: человек -- добр, человек -- зол, человек -- общественное животное, человек -- Бог, носитель, сосуд потустороннего, нездешнего. Маяковский говорит: человек прост, как мычание. У него руки, ноги, язык, он может передвигаться, и это самое удивительное, самое ценное, самое прекрасное и важное, он груб, герой Маяковского, жаден, вгрызается зубами за свое, он не хочет пропустить ничего, что дано ему природой, отдать, пожертвовать, -- он эгоистичен и своенравен, он -- дитя и дикарь, он зоологичен. У поэта в числе его сатирических вещей есть рассказ, как он сделался... собакой: вырос клык, потом появился хвост, человек стал на четвереньки и залаял зло на толпу. Герою Маяковского в самом деле нетрудно пережить это чудесное перевоплощение: есть для этого несомненные данные. Очень естественно, что поэт отмечает свою любовь к зверю: "Я люблю зверье -- увидишь собачонку -- тут у булочной одна -- сплошная плешь из себя, и то готов достать печенку. Мне не жалко, дорогая -- ешь!" Иван в "150.000.000" для одоления Вильсона начинает себя зверьем.

Человека Маяковский поставил на четвереньки.

Желания, грезы, мечты, идеалы тоже от четверенек.

В стихах "Гимн судье" перуанцы грезят о бананах, об ананасах, о вине, о птицах, о танцах, о бабах и баобабах, о померанцах. Об этом же грезит и герой Маяковского. "Тело твое просто прошу, как просят христиане", -- обращается он к возлюбленной. "Отчего ты не выдумал, чтоб было без мук целовать, целовать, целовать?" -- заклинает он Бога. "Нам надоели небесные сласти -

- хлебище дайте жрать ржаной. Нам надоели бумажные страсти -- дайте жить с живой женой". Мечтания его о будущем земном рае, об освобожденной, обетованной земле совпадают вполне с перуанскими грезами. Он хотел бы, чтоб в этом раю залы ломились от мебели, чтоб труд не мозолил руки; там шесть раз в году будут расти ананасы, будут ходить всякие яства: "берите сегодня, режьте и ешьте". "Пустыни смыты у мира с хари, деревья за стволом расфеерили ствол..." "и поет, и благоухает, и пестрое сразу... моря мурлыча легли у ног". Авто, метро, дирижабли, броненосцы без пушек, марсиане. Герой Маяковского провидит, что в будущем научатся воскрешать людей по выбору, кого найдут нужным -- и он просит за себя: "воскреси -- свое дожить хочу".

Разумеется, наш перуанец живет в XX веке, он побывал в фешенебельных залах, оценил благую силу электричества, поплавал на дирижаблях. Но по-прежнему, по-древнему, как наивный материалист, он думает исключительно вещами, о вещах, об ананасах, о бабах и померанцах. К ним прибавлены стильная мебель, электричество, авто. Здесь все дело в количестве, а не в качестве. Качественно в этих мечтах наш герой ничем не отличим от доподлинного перуанца.

Перуанец Маяковского не одобряет ничего небесного, он земнороден, он язычник и атеист. Небо... там нет ничего осязаемого, осязаемого. Платон, Кант, Гегель, Толстой, Руссо, Христос, Сократ, сложнейшие системы идеализма, христианская культура, нравственное самоусовершенствование, царство Божие внутри вас есть, усилия гигантов человеческой мысли распутать идеалистические тенета и опустить человека на землю, Дидро, Гольбах, Фейербах, Дарвин, Маркс, Ленин, философские книги и трактаты... герою Маяковского все это ни к чему, его аргументы против "небесного", духовного, идеалистического несложны и просты до обнаженности; так, наверное, рассуждает реалист-перуанец: "нет тебе ни угла ни одного, ни чаю, ни к чаю газет", там "постнички лижут чай без сахару". Не рай, а сушая нора: негде шей похлепать и лифта нет. "Жилы и мускулы молитв верней". От бестелого, эфирного, невесомого скучно, серо и тоскливо. "Ядовитое войско идей" идет на потребу одним только Вильсонам. Мечников снимает нагар с подсвечников в отеле Вильсонов, философия талмудит голову; книжки загружают пустые головы "для веса". Духовное, душевное лишает человека наслаждения красным своим языком, мускулами, оно уводит его в выдуманные, в миражные Арараты, которых нет и не будет. В своей автобиографии Маяковский рассказывает: на экзамене при поступлении в гимназию священник спросил его, что такое "око"? "Я ответил -- "три фунта" (так по-грузински). Мне объяснили любезные экзаменаторы, что "око" -- это "глаз" по-древнему, церковнославянскому. Из-за этого чуть не провалился. Поэтому возненавидел сразу -- все древнее, все церковное и все славянское. Возможно, что отсюда пошли и мой футуризм, и мой атеизм, и мой интернационализм" ("Я сам"). "Духовное", а не грузинское объяснение "ока" пришлось не по нраву поэту, -- также не по нраву ему приходится, когда жизни, которая есть ананасы, лифты, хлеб, чай, газеты, вино, дают "духовное" толкование и направление. Поэт решительно предпочитает грузинское объяснение: "Мельчайшая пылинка живого ценнее всего, что сделаю и сделал".

Человек Маяковского -- *большой* не в переносном, духовном смысле, а в буквальном, в физическом. У него здоровенный рост, руки, ноги, все выше среднего. Он так рассказывает о себе: "Я же ладно сложен... громада -- любовь, громада -- ненависть..."

На мне ж

с ума сошла аномалия --

Сплошное сердце --



Гудит повсеместно.

О сколько их,

одних только весен

за 20 лет в распаленного ввалено.

Их груз нерастраченный -- просто не сносен.

Не сносен не так для стиха,

А буквально... ("Люблю")

Человека Маяковского распирает от желаний, от мускулов, от гуда крови. "Что может хотеться этакой глыбе? А глыбе многое хочется". Порой он готов выскочить из себя, упрямо вырваться из своего "я". Он готов опереться на ребра для этого, но "не выскочишь из сердца". От себя не уйдешь, земля имеет свое иго, свои законы.

Отсюда "рев и рык" в поэзии Маяковского, его необузданность, отсутствие художественной меры, преувеличенность, непомерность и огромность образов, эмоциональная сгущенность и насыщенность стиха, космополитизм. Для его человека мир тесен, как клетушка. Земля сжимается в маленький комочек, становится знаемой, плоской и скучной, беспредельные небесные пространства теряют свою беспредельность. "Оглядываюсь -- эта вот зализанная гладь и есть хваленое небо?" Вещи уменьшаются в размерах до песчинок, а герой Маяковского на глазах у всех растет, ширится, наполняет собой вселенную, шагает по странам, по морям и океанам, спускается вмиг в ад, поднимается нехотя на небо, переносится в прошлое, в будущее, и сама вечность теряет свою жуткую, мертвую и глухую безбрежность: "и по мне насквозь излаская катятся вечности моря".

Оттого Маяковский воюет со вселенной, с землей и выбрасывает лозунг: "долой природы наглое иго". Ему надобно подчинить ее себе, заставить служить своей громаде, своему сплошному сердцу... "Солнце моноклем вставляю в широко растопыренный глаз", "Наполеона поведу, как мопса", "вся земля поляжет женщиной". Человеку Маяковского хочется раздвинуть безгранично рамки природы, обладать свободно ее дарами и вещами до предельной полноты, до преизбытка. В этом бунтарстве -- стремление преобразовать мир при помощи науки, техники, знания. Поэт готов забыть, что Мечниковы снимают только нагар с подсвечников Вильсонов, что философия талмудит голову. В автобиографии рассказано: "Лет семь. Отец стал брать в верховые объезды лесничества. Перевал. Ночь. Обстигло туманом. Даже отца не видно. Тропка узейшая. Отец, очевидно, отдернул рукавом ветку шиповника. Ветка с размаху шипами в мою щеку. Чуть повизгивая, вытаскиваю колючки. Сразу пропали и туман и боль. В расступившемся тумане под ногами -- ярче неба. Это электричество. Клепачный завод князя Накашидзе. После электричества совершенно бросил интересоваться природой. Неусовершенствованная вещь".

Верит ли герой Маяковского, что природу можно сделать усовершенствованной вещью?

Из ранних произведений поэта не видно, чтоб он прочно верил в это. Наоборот, "Флейта позвоночника", "Люблю", "Человек" пропитаны чувством судорожной тоски, отчаяния и безвыходности. Бунтарство безрадостно, сила и крепость протеста срываются в истерический крик. Поэт то и дело говорит о своем "земном" сумасшествии. Нигилизм лишен бодрости, и, главное, нет уверенности в победе.

Под хохотливое  
"Ага"  
бреду по бреду жара.  
Гремит  
Приковано к ногам  
Ядро земного шара.  
Замкнуло золото ключом  
Глаза.  
Кому слепого весть?  
Навек теперь я  
Заключен  
в бессмысленную повесть.

И этот удивительный грандиозный образ:

Глухо.  
Вселенная спит,  
Положив на лапу  
С клещами звезд огромное ухо.

Глухо. Мир не отвечает на вопли, на крики поэта. "Земной загон" не разрывает своих перегородок. "Наглое иго" остается непоколебленным, и "страсти Маяковского" разрешаются в отчаянном смертоносном порыве: "а сердце рвется к выстрелу, а горло бредит бритвою, в бессвязный бред о демоне растет моя тоска". Позднее, с революцией, восстание Маяковского против природы оформилось, осмыслилось, отвлеченное бунтарство нашло более конкретное выражение в поддержке, в присоединении поэта к великой социальной борьбе пролетариата, но и тут Маяковский со своим героем остался в сущности одиноким на одиноком пути, а целевая установка пролетарской борьбы была им усвоена больше умом, чем чувством, часто в прямой ущерб его поэтической непосредственности и эмоциональному полководью. Конечные идеалы социализма не прошли "от сердца до виска". Достаточно вспомнить поэму "Про это". Она перекликается с "Человеком". В ней мало бодрой уверенности и больше разъедающего скепсиса.

## II. "Зараженная земля"

В Маяковском поражает одно противоречие: его здоровое, нутряное, наивно-грубоватое "о-го-го", преклонение и возведение им "в перл создания" дикарского, физиологического начала сталкиваются непрестанно и неотвязно с нервозностью, с тоской, с бессилием, с мрачными и тяжелыми полубредовыми настроениями, с крайней взвинченностью и размагниченностью. Казалось бы, жить бы да жить его герою: он наделен прекрасными руками, языком, драгоценнейшим умом, и все это отпущено сверх меры. И в вещах Маяковского, особенно первого периода, вложена огромная сила. Они захватывают и подчиняют. Те, кто утверждает, что все это деланное, рассчитанное или, еще хуже, нарочитое, -- а такое мнение приходится слышать, -- глубоко заблуждаются. В основе поэтические чувства Маяковского неподдельны. При такой "кровище", "голосище", "ручище", "головище" как будто остается петь могучие и радостные гимны праматери-природе, благословлять ее денно и нощно. Вот он, новый Микула, играючи поднимает сумочку переметную, как Бова, повергает единым взмахом в прах своих врагов, играет и озорует, как Васька Буслаев, а если и томится, то только от этой невыносимой, несметной, дремучей силушки, которая по жилушкам течет. Откуда же смертная маята поэта, почему бритва у горла, бред и тоска вселенская, истеричность, это бессилие и истошный крик, переплетающиеся с громыхающим "о-го-го"?

У героя Маяковского есть непримиримый враг, жестоко преследующий его по пятам, враг неотступный и всесильный -- современный властелин и хозяин земли. Он покорил, подчинил, заставил служить себе природу и вещи, обложил землю статьями, даже у колибри выбрил перья, превратил девственные цветущие места "в долины для некурящих", всюду разбросал, насорил окурками, консервными коробками, возвел каменные чудища -- города и над всем Богом земли поставил доллар. В звоне его "тонут гении, курицы, лошади, скрипки. Тонут слоны, мелочи тонут. В горлах, в ноздрях, в ушах звон его липкий. "Спасите!" Места нет недоступного стону".

Земля стала зараженной, она гниет: властелин всего замызгал, испакостил ее, залапал ее потными, жирными руками. Земля "обжирела, как любовница, которую вылюбил Ротшильд", сделалась грязной и продажной. Камень, бетон, железо и сталь утрамбовали ее, залили, стиснули в мертвой хватке. "Город дорогу мраком запер". Современный Вавилон протянул свои щупальцы к селам, к деревням и полям.

Сразу

железо рельс всочило по жиле

в загар деревень городов заразу

где пели птицы -- тарелок лязги.

Где бор был -- площадь стодомым содомом.

Шестиэтажными фавнами ринулись в пляски

Публичный дом за публичным домом.

Обычно ходячая молва безоговорочно причисляет Маяковского к урбанистам. Он -- урбанист, но весьма, как видим, своеобразный.

В творчестве поэта обращает внимание подчеркнутая грубость и извращенность образов. У него: "тучи оборванные беженцы точно", "пузатая заря", "вселенная -- бутафория, центральная станция, путаница штепселей, рычагов и ручек", "туч выпотрашатывает туши кровавый закат мясник", "слова выбрасываются, как голая проститутка из горящего публичного дома", "вздрагивая околевал закат", "небо опять иудит", "тревожного моря бред", "плевокми, снявши башмаки, вступаю на ступеньки", "был вором-ветром мальчишка обласкан", "бритва луча", "тополя возносят в небо мертвость", "небо -- зализанная гладь", "земля поляжет женщиной, заерзав мясами, хотя отдаться" и т. п. Подобные образы навеяны современным Вавилоном. Публичные дома, городские скотобойни, мусор, кабаки, кафе, ночлежки, желтый мертвый свет фонаря, камень и кирпич, копоть, пыль заслоняют чистую прозрачность воздуха, приволье полей, лазурь и синюю ласку небес, пахучую свежесть лесов. Но Маяковский знает и другие образы. Для новой, обновленной земли, освобожденной от Вильсонов и Вильсончиков, у поэта находятся иные слова. В "Войне и мире" он пишет и о поющей и благоухающей земле, о лицах, разгорающихся костром, о зверях, франтовато завивших руно, о морях, мурлыкающих у ног. В "150.000.000" он приглашает слушать "мира торжественный реквием", а в "Мистерии-Буфф" машинист возглашает: "мы реки миров расплещем в мёде, земные улицы звездами вымостим". Однако в этих позднейших произведениях, написанных под диктовку Октября, Маяковский далеко не всегда поднимается до очищенных образов -- старое гонится и преследует по пятам.

Зараженная земля заразила и человека Маяковского. С его любимым героем случилось то, что было с павлином в Перу, попавшим в руки судьи:

Попал павлин оранжево-синий  
под глаз его строгий, как пост,  
и вылинял моментально павлиний  
великолепный хвост.

Перуанец XX века со всеми своими мясами, с глоткой, со сплошным сердцем оказался втиснутым в современный Содом и Гоморру, в окружении гниющей и больной земли. Вот что делают там с необыкновеннейшим комком:

На сердце тело надето,  
На теле рубаха,  
Но и этого мало  
один --  
Идиот! --  
манжеты наделал  
и груди стал заливать крахмалом.  
Под старость спохватятся --  
Женщина мажется,

Мужчина по Мюллеру мельницей машется.

Но поздно

Морщинами множится кожа.

Любовь поцветет

Поцветет

И скукожится.

Нынешний Вавилон превратил перуанцев в каторжан, оторвал их от полей и деревень, лишил даров природы; вместо любви, большой и настоящей, он дает "миллионы любвят": "сползаются друг на друге потеть". И еще хуже: современный вампир высасывает силу и свежесть самых лучших, самых жизненных и прекрасных человеческих инстинктов, желаний. Человек "моментально" линяет, утрачивает свое натуральное богатство, сердце "скукоживается" и становится жестяным. Прекрасные руки сохнут, и сильное "о-го-го" надламывается в истерике. И вот он уже неврастеник, развинченный нигилист, он ни во что не верит и даже тогда, когда сквозь муть и мрак современных туманов начинают проступать очертания иного грядущего, он не в силах освободиться от злых чар прошлого.

Буржуазная культура нашего времени -- культура сверхимпериализма. Она с чудовищной быстротой и силой захватывает и включает в орбиту своего влияния самые отсталые, варварские страны и народы: Азия и Африка, Китай и Индия, негры и арабы уже втянуты в золотой водоворот и испытывают на себе все прелести нынешней "цивилизации". Звон доллара, свист и грохот машин, военная муштровка, казарменные порядки, строгие чиновники и "неподкупные" судьи, религиозные ханжи и изуверы, неустрашимые капиталистические "мореплаватели", дельцы, уголовные типы и игроки облепили всю землю и старательно обучают и "культивируют" диких перуанцев. В своем известном очерке "С человеком -- тихо" Г. И. Успенский когда-то писал: "Совершенно частные интересы -- банковые, акционерные, интересы рубля -- с пушками вторгаются в страну за получением недоимок... Представитель английских мироедов с пушками и бомбами лезет через моря и океаны и кричит: "отдай купон!.." Что же означает после этого тот человек, с которым расправляются, -- феллах?.. "отдай купон, не то убью", а что касается там какого-то твоего "личного" счастья, какого-то национального достоинства, каких-то семейных и общественных обязанностей, каких-то умственных и нравственных недоумений, жизненных задач -- наплевать! Отдай, а сам хоть провалился сквозь землю..." Написано это было давно, но только теперь эти слова приобрели жгучий, вещей и жуткий смысл. Г. И. Успенский имел в виду феллаха со всеми его умственными и нравственными недоумениями. Маяковский взял его грубее, со стороны "физиологии". Феллах и перуанец гибнут и вырождаются физически, как биологические особи. Современный сверхимпериализм лишает их плоти, крови и мускулов, он со страшной "моментальностью" сушит их щеки, кожу, отравляет кровь водкой, вином, кокаином, опиумом, в железные удила он берет самые простые, животные отправления человеческого организма. Камень гложет человечье сердце, и грохот мочалит нервы. Могучая правда природных инстинктов продается за чечевичную похлебку крахмала, побрякушек, запонок, кабаков и публичных домов.

То, что делает господин Купон с феллахом в его стране, ничто, однако, в сравнении с его другими цивилизаторскими подвигами. "Настоящее" начинается, когда феллаха и перуанца гражданин Купон бросает и закупоривает в свои Лондоны, Парижи, Нью-Йорки; здесь-то именно феллах и перуанец и скукоживаются моментально. Современные Вавилоны растут со сказочной

быстротой, и с такой же невероятной быстротой растут, усиливаются все их качества, от которых линяют павлиньи хвосты, и если раньше они сгоняли и глотали десятки тысяч феллахов, перуанцев, то теперь они проглатывают их сотнями тысяч и миллионами, и если прежде они давили на них с силой примерно в 100 единиц, то теперь давят с силой в десятки тысяч. Не успел "феллах" оглядеться -- и уже крошатся зубы, мутнеют глаза, как у мертвого судака, простота и непосредственность "страстей" превратились уже в повышенную, издерганную чувственность.

Но феллах и перуанец сидит во всех нас, ибо у нас тоже руки, ноги, язык, голова. И никогда с такой обостренностью, с такой очевидностью не ощущалась эта грозная опасность, как в нашу ультракапиталистическую эпоху.

Поэзия Маяковского есть крик человека с "большой физиологией", которого каменный осьминог по рукам и по ногам опутал своими колоссальными щупальцами и высасывает плоть и кровь. Маяковский отразил трагедию перуанского в нас, изначально природой данного, гибнущего в объятиях каменных удавов. Его стихи -- сигнал гибели "SOS" с корабля, который гибнет и где мечутся бедные перуанцы и феллахи, пойманные в благословенных лесах и степях и насильно посаженные. Это -- тоска по звериному, по телу, по мускулам, сознание, что прекрасное "о-го-го" превращается в хриплый крик, вой и стон. Этот "SOS" Маяковский бросил с необычайной силой, ибо его герой на свою беду, быть может, не в пример остальным -- "сажень ростом", с огромной пятерней, с громадой всех чувств и инстинктов.

Но Маяковский, как уже отмечалось, кричит и неистовствует с надрывом, с тоской, с истерикой. Его человек уже во многом "скукожился" и вылинял. Он начинает с низких, грудных, властных и полных звуков, но тут же срывается. Он уже сын и дитя Вавилона, он отравлен им.

"Как провести любовь к живому?" Как сохранить в этом каменном бреду богатство, свежесть и силу человека, чтобы он не был "двуногим бессилием"? Как пронести "простое как мычание"? -- эти вопросы поставил поэт. Их острота усугубляется тем, что герой Маяковского становится двуногим бессилием "моментально" вопреки всей его незаурядности, крепости мышц и "необычайнейшему" комку. Зараженная земля, перуанец в сажень ростом, превращенный современным волшебником в демона в желтых ботинках, истерически проклинающего мир, -- тут есть над чем задуматься. Где выход?

### III. Человек и вещь. Не сотвори себе кумира

Маркс утверждал, что в товарном обществе общественные отношения между людьми представляются как *общественные* отношения между вещами. Вещи фетишизируются. Поэзия Маяковского с замечательной наглядностью иллюстрирует эту глубокую мысль Маркса. Маяковский -- фетишист вещи. Выход из каменного лабиринта для своего "о-го-го" он видит исключительно в обладании вещами. Природа -- неусовершенствованная вещь. Город превращает человека в двуногое бессилие, но это происходит лишь потому, что вещи, продукты городской культуры, захвачены "повелителем всего, соперником и неодолимым врагом!". Выход -- в уничтожении господства "соперника", в освобождении вещей из-под его ига. Тогда человек создаст свой совершенный рай, в нем вещи покорно и радостно будут ему служить, и он снова вернет себе зычное "о-го-го". В "Войне и мире", в "Мистерии-Буфф", в "150.000.000" будущее обрисовывается, главным образом, с этой вещной точки зрения. Вещи оживают, ходят, у них -- руки, ноги, они приветствуют "нечистых", покорно толпятся вокруг них, разъясняют, что раньше служили жирным хозяевам и приносили трудящимся только бесчисленные беды, зовут воспользоваться ими в досталь и всласть, обещая счастье: "без хлеба нет человеческой власти, без сахара нет человеческой сласти". Что вещи живут, ходят, говорят, -- это поэтическая вольность, но

она упорно повторяется писателем, и не случайно: он прибегает к ней потому, что для него вещи имеют *самоценное, самодовлеющее* значение; они как бы действительно живут своей особой жизнью, в них вдувана своя душа. В метафоре поэта есть свой смысл.

Если в Филиппинах против современного Вавилона Маяковский бунтует во имя природного, биологического, то в своих прославлениях городской вещи -- машины, мебели, сахара -- он становится певцом города. Тут нет противоречия: его герой хочет освободиться и от "наглого ига природы" и от темных сторон нынешнего Вавилона. Признанием ценности для человека продуктов городской культуры Маяковский отделяет себя от поэзии крестьянствующих интеллигентов, для которых машина, завод, фабрика несут одну черную гибель, а социализм представляется торжеством голой механики и математики. Маяковский не боится индустриального социализма; в своей автобиографии он признается: "на всю жизнь поразила способность социалистов распутывать факты, систематизировать мир". Маяковский остро и зло ненавидит Вильсонов и Вильсончиков, буржуа, он задыхается в быту липкого, потного, мелкого и тупого благополучия, и это приближает его к современным борцам за торжество новой общечеловеческой правды. Поэт искренно старается шагать нога в ногу с рабочим классом, уловить и отразить в своей поэзии ритм нашей эпохи.

Но и за всем тем социализм Маяковского остается особым его, Маяковского, социализмом, на его индивидуальный лад и образец. Совпадения, слияния с коммунизмом тут нет. Научный коммунизм Маркса и Ленина тоже полагает, что "без хлеба нет человеческой власти", но он утверждает также, что завоевание "хлеба" всем человечеством откроет невиданные и неслыханные возможности для развития, для расцвета не только биологического в людях, но и умственных, но и нравственных и эстетических свойств, заложенных в нем. "Не о хлебе едином будет жив человек" -- эту формулу мы принимаем, очищая ее от всего метаэмпирического, мистического, поповского, придавая ей насквозь земное, земнородное толкование.

Маяковский презирает все "духовное", подразумевая под духовным не только Божественное и потустороннее, но и продукты человеческого ума. Для него идеи -- только ядовитое войско Вильсонов; книги, философия нагружают голову мусором, Мечников снимает нагар, Лувр -- труха, искусство -- мерехлюндия и канитель. Во имя сластей, обладания телом любимой, во имя вещей он готов все это разгромить, пустить по ветру. Да здравствует человек и вещь, пусть сгинет все остальное. С первого взгляда это звучит ужасно революционно, но взгляды немного пристальней в эту революционность. Ветчину, сласти, "еды", лифты, чай надо во что бы то ни стало отдать всему человечеству, но когда для ради ветчины, сластей, чая выбрасывается с легким сердцем Мечников, Руссо, Толстой, Гегель, вся умственная "культуришка", то не проступают ли в этом черты того же самого ограниченного мещанства, которое громит Маяковский? Во имя сластей похерить Мечникова -- да ведь это ежедневно, ежечасно делает любой современный мещанин! Он "делает дела", он признает только то, что дает доллар, марку, корону, рубль; для него священны обед, кофе, "еда", кровать, кабаре, вина, кино, театр, авто, метро и т. д. Все остальное -- Кант, Дарвин, Мечников, Гомер, Толстой -- чудачество, гиль, труха, ненужное праздное препровождение; никто из них доллара не даст и дома не построит. Впрочем, он готов снисходительно признать их, ежели они содействуют его материальному узкому благополучию. Он -- крайний утилитарист в науке и в искусстве, ибо признает только, что непосредственно реализуется в полезные для него вещи. Он не видит, не понимает наслаждения от продуктов чисто умственного труда -- от книги, от философской, научной системы -- это дело каких-то мечтателей, вырожденков, дурачков, сумасшедших и непонятных людей. Он с удовольствием подмечает, когда великие представители "духовной" культуры подвержены бывают "сластям": "Толстой-то проповедовал, проповедовал, а между прочим... а Достоевский -- знаете про него" и т. д. {Эти стороны художественного мировоззрения Маяковского при известных условиях могут пышно расцвести в идеологию мещанина нового времени. Достаточно вспомнить следующие

превосходные строки из статьи т. Бухарина "Енчмениада" о новом "советском" торгаше: "Он, этот торгаш, -- индивидуалист до мозга костей. Он прошел огонь, воду и медные трубы. Он был бит бичами и скорпионами Чека, надевал иногда красную мантию, становился и на "Советскую площадку", получал рекомендации, сидел во узилище, теперь всплыл на снежную вершину своей лавки. Собственными локтями протолкался он и вышел "в люди". Своим умом, энергией, проницательностью, ловкостью, меняя костюмы, приспособляясь к обстоятельствам, энергично шел по своему пути он, Единственный, "homo novus". Не на гербах предков, не на наследствах, не на старых традициях рос он: он всходил, как на дрожжах, на революционной пене, и не раз его поднимала кверху сама революционная волна. Конечно, он "приемлет революцию". Ведь он, в некотором роде, -- ее сын, хотя и побочный. Но от этого у него нисколько не меньше самоуверенности, нахальства, саморекламы. Он, Единственный, питает даже надежду оттереть законных детей от революционного наследства и, пролезая через щель советского купца, думает еще раз переодеться, прочно осев в качестве самого настоящего, самого обыкновенного, уже обросшего жирком представителя торгового капитала. Эти надежды окрыляют его. Пройдя все испытания, он мало похож на рассудительные типы Замоскворечья: он шутит, он хвастается, он форсит, он пророчествует о самом себе: "Да придет царствие Мое". Этого царствия ждет сейчас наш *крайний индивидуалист*, побочный сын революции, *новый торгаш*.

Этот новый торгаш, с одной стороны, вульгарный материалист; в обычных житейских делишках для него нет ничего "святого" и "возвышенного": он привык смотреть на вещи трезво: он не связан никакими традициями в прошлом, не отягощен фолиантами премудрости и грудями старых реликвий -- их выбросила за борт революция. Сам он вышел не из "духовной аристократии", -- нет, он пришел сам из низов; он -- чумазый, быстро пролезший наверх, он -- российско-американский новый буржуй, без интеллигентских предрассудков. Он все хочет понюхать, пощупать, лизнуть. Он доверяет только своим собственным глазам; он, в известном смысле, весьма "физичен". Отсюда его *вульгарно-материалистическая поверхностность*. Но в то же время он, как всякий буржуа, ходит по *рыночной "тропинке бедствий"*: спекулирует ли он мылом или валютой -- неумолимые законы рынка часто хватают его за шиворот и заставляют вспоминать о Боге и сатане. Бог ему нужен хороший, такой же хороший, как оптимум рыночных цен, Бог прочный, западноевропейский, но не расслабленный Бог времен упадка, а именно "оптимальный" Бог, у которого еще жизнь не выщипала всех перьев. Этот Бог должен выражать "радостность" его, Единственного, на котором почиет Дух святой. Такой оптимальный цивилизованный Бог -- не какой-нибудь дикарский -- весьма по вкусу *нашему торгашу*. Его рыночное нутро -- идеалистично и Божественно.

Наконец, новый торгаш *грубо "практичен" и вульгарен*, он -- великий упрости́тель. Он ведь еще не находится в такой стадии своего собственного общественного влияния, когда ему нужны "всякие науки". Его задачи более элементарны. Ему нужны сейчас весьма простые "правила поведения"; он на практике своей должен быть грубым эмпириком".

Было сказано выше, что поэзия Маяковского отразила перуанское в нас, ущемленное теперешним Содомом и Гоморрой. Это верно, но требует дополнения. Протестуя, "рвя и оря" и грома современных хозяев жизни, Маяковский искажил свой протест, примешав к нему значительную дозу современного, европеизированного мещанства. Налет этот довольно заметен. Социализм Маяковского с возведением вещей в единственную ценность, с его отрицанием всюю "духовного" -- не наш социализм. В его социализме есть элементы марксизма, но они -- под густым налетом идеологии мещанина, лишенного обладания вещами более удачливыми хозяевами жизни, Вильсончик столкнулся с Вильсоном. Революция приблизила поэта к коммунизму, но органически не спаяла его поэзию с ним.

В социализме Маяковского есть другая сторона.



Коммунизм ведет борьбу и знает, что завоевание хлеба и "сластей" дает человечеству возможность устроить новое *общезитие*. *Социализм -- это новые общественные отношения между людьми на базе обобществленных средств производства, где не будут вставать между людьми вещи, где жизнь коллектива людей не будет отражаться в кривом зеркале, отношения между вещами, где, словом, фетишизму вещей будет положен конец и общественные человеческие отношения найдут свое прямое, непосредственное и простое, незатемненное выражение.* В социализме Маяковского пропали и провалились *общественные* отношения. Грядущее ему представляется как наслаждение вещами. В современном Вавилоне он увидел, как вещи "псами лаяли с витрин магазинов". И он по-дикарскому, по-перуанскому, по-детскому потянулся, привороженный их блеском и яркостью. Общая нынешняя атмосфера города покорила и подчинила его себе. Вещи оказались в руках врага, и поэт возненавидел хозяина их неистово и бешено. Но вещи смотрят не только из витрин магазинов; прежде чем попасть туда, они делаются, производятся. *Маяковский в своей поэзии никогда не заглядывал -- это очень характерно -- в лаборатории труда, где вещи производятся, он их видел только в витринах.* В противном случае он почувствовал бы и узнал, что в современном обществе вещи выражают очень многое: они *общественно, а не индивидуально* полезны, на них затрачен *общественно* необходимый труд в таком-то количестве и т. д. Он увидел бы за вещами живой коллектив людей, искалеченный анархией, конкуренцией, но все же коллектив, а не просто сумму самодовлеющих, замкнутых производственных единиц, -- он вскрыл бы за ними, за вещами, богатую общественную, хотя и искривленную жизнь, целую сеть сложнейших взаимоотношений между людьми. И он понял бы, что "суть" заключается не в вещах, самих по себе, а в этих общественных отношениях, которые скрыты, спрятаны за отношениями между вещами. Вещь -- таинственный общественный иероглиф. Почему вещь такой иероглиф? У Маркса это разъяснено с гениальной мудростью: "Отдельные частные работы фактически реализуются лишь как звенья совокупного общественного труда, реализуются в тех отношениях, которые обмен устанавливает между продуктами труда, а при их посредстве и между самими производителями. Поэтому общественные отношения их частных работ кажутся именно тем, что они представляют на самом деле, -- т. е. не непосредственно общественными отношениями самих лиц и их работ, а, напротив, вещными отношениями лиц и общественными отношениями вещей" ("Капитал", т. I, стр. 40).

Вещь имеет "лик скрытый". Если бы Маяковский открыл это "лицо", он, повторяем, увидел бы за ним общественные отношения людей. Тогда и социализм представился бы ему не как только счастливое обладание вещами, а как новое *общественное* устройство. Но поэт оказался фетишистом вещей. Вещи вперлись, оказались единственными в поле его зрения, приняли самодовлеющий вид, поэт вдунул в них самостоятельную жизнь, душу, как это делает любой фетишист с куском камня, дерева. И как фетишист он приписал вещам чудодейственную, исцеляющую силу, дарующую человеку и горе и счастье.

Почему это случилось? Почему Маяковский оказался в плену у вещей и проглядел за ними общественные людские отношения?

Маяковский очень одинок и далек от людей. Он не любит толпы, коллектива. Он -- трибун и оратор в стихах -- в толпе обособлен. Он -- крайний индивидуалист и эгоцентрист. Он правильно называет себя демоном в американских ботинках: на нем почил дух изгойства, изгнания, отрезанности и отрешенности. С людьми ему скучно, и он не уважает их. Современных хозяев он ненавидит, а угнетенных не знает и далек от них по своему складу. Толпе не верит и презирает ее. Свое одиночество поэт отмечает постоянно:

Я говорил

одними домами  
одни водокачки мне собеседниками.

Надеваете лучшее платье,  
Другой отдыхает на женах и вдовах.  
Меня  
Москва душила в объятиях .  
Кольцом своих бесконечных Садовых.

Значит опять  
темно и понуро  
сердце возьму  
слезами окапав  
нести как собаке,  
которая в конуру  
несет  
перееханную поездом лапу.

Поэма "Про это" написана в 1923 году, когда Маяковский давно уже причислил себя к барабанщикам революции. Поэма пронизана холодом великого одиночества. Маяковский нигде не находит себе места; любимая, родные, мать, друзья, знакомые, товарищи, встречные -- чужие ему, чужой и он им. Он мечется среди них, задыхается. Одиночество настолько глубоко и сильно, что поэт видит себя белым медведем, плывущим на льдине. Еще более жутким и символическим является образ человека, семь лет прикрученного к перилам моста. От этих страниц несет пустынями, льдами, безмолвием и безлюдием полюсов. Как говорится, дальше идти некуда.

Эгоцентризм у Маяковского необычайный. Маяковский, Маяковский, Маяковский, я, я, я, меня, мною, обо мне -- голова идет кругом. При таком "ячестве" трудно стать вровень с массой, хотя бы и трудовой, увидеть себя равным, ощутить тот же пульс жизни, проникнуться людскими нуждами.

Встряхивают революции царств тельца  
меняет погонщиков *человечий табун*,  
Но тебя непокоренного сердец владельца  
Ни один не трогает бунт.

В "Мистерии-Буфф" главным действующим лицом является как будто пролетарская революционная масса, но стоит лишь присмотреться к булочнику, сапожнику, батраку, машинисту, рыбаку, фонарщику, "нечистым", и легко убеждаешься, что они не живые типы, а абстрактные схемы. Они не наполнены ничем конкретным, в них нет ничего от "о-го-го" Маяковского. Они похожи друг на друга, как игрушки в массовом производстве, их можно с успехом и без ущерба подставлять одного вместо другого, и они не менее бесплотны, не менее "духовны", чем его райские аборигены -- Мафусаил, ангелы, святые, боги. Они ни холодны, ни горячи, так как поэт в изображении их был тоже ни холодным, ни горячим, а чуть-чуть тепловатым.

Из папье-маше сделан героический Иван в "150.000.000". Какой-то он весь громоздкий, несуразный, неубедительный, вымученный, надуманный и неестественный -- этот человек-конь, вместившей в себя дома, людей, зверей, с рукой, заткнутой за пояс, путешествующий "яко по суху" по тихоокеанскому лону без карты, без компасной стрелки. "Чемпионат всемирной классовой борьбы" поражает своей ходухольностью: Вильсон ткнул Ивана саблей, а из раны полезли броненосцы, люди, вещи и задавили Вильсона, -- аллегория, ни в какой мере не напоминающая реальную классовую войну. И сколько ненужного самомнения в утверждении: "150.000.000 говорит губами моими". Гордо, но неубедительно уже потому, что людская трудовая масса поэту никак не дается: она ему не близка.

По силе сказанного, общественные отношения людей ускользают от Маяковского, уступая место фетишизму вещей. По этой же причине почти *во всех своих произведениях поэт вместо общественных отношений описывает вещи.*

В Чикаго

14.000 улиц

солнц площадей лучи

от каждой --

700 переулков

длиною поезду на год.

Чудно человеку в Чикаго... и т. д.

Электрическая тяга, железные дороги, горы съестного, бары, Чаплъ-Стронг-Отель, "за седьмое небо зашли флюгера". И Вильсон, хозяин всего, изображен не человеком, а исполинским истуканом, он под стать этим необыкновенным улицам, площадям. "Люди мелочь одна, люди ходят внизу..." Но настоящий Чикаго построен именно этой мелочью, в настоящем Чикаго у Вильсона и его прислужников сотни тысяч рабочих, служащих, женщин, детей. Упомянуто количество улиц, переулков, и забыта "мелочь", а она трудится, переплетена сетью взаимоотношений. Об этом у Маяковского ни звука. Естественно, ему кажется, что вся задача в том, чтобы подчинить, овладеть грудой вещей.

Но сказано в Писании: не хорошо быть человеку единому. В древнем раю, где плоды, деревья, звери и птицы были в полном распоряжении первого человека, понадобилось, по образу и подобию его, создать Еву. Скучно, тоскливо и одиноко человеку с одними вещами. В одиночестве вечеров и ночей, когда "стоит неподвижная полночь", в неприкаянности проплеванных улиц и

комнатушек, посреди давящей груды нагроможденных вещей так легко и неотвратно создаются фантомы и феерии, и к ним прочно прилепляется человек. У демонов в американских ботинках есть своя Тамара. Она совсем иная, непохожая на лермонтовскую, но и современный демон не тот, он другой. У Маяковского есть еще одна прочная, постоянная тема -- любовь.

В этой теме  
и личной  
и мелкой,  
перепетой не раз  
и не пять,  
Я кружил поэтической белкой  
и хочу кружиться опять.

Этой теме Маяковский отдал свои лучшие, самые вдохновенные и сильные страницы. Он нашел горящие, жгучие, большие, огромные слова и образы, Он ни разу не надел, касаясь ее, желтой кофты, ни разу не покривил, не сфальшивил. Во всей нашей отечественной поэзии едва ли найдутся стихи с такой страстностью, с такой мукой, такие голые и обнаженные по чувству. Воистину это сплошное сердце, призыв и пригвождение себя, просьба и покаяние.

Может сначала показаться, что у Маяковского и тут господствует перуанское, "телесное озлобление".

...А я  
весь из мяса,  
человек весь,  
тело просто прошу,  
как просят христиане:  
"Хлеб наш насущный  
даждь нам днесь".

Это звучит страстно и по-язычески, и языческое в "этом теле" у поэта сильно и непосредственно. Но дальше тоже про тело:

Тело твое  
Я буду беречь и любить

как солдат,  
обрубленный войной,  
ненужный,  
ничей,  
бережет свою единственную ногу.

Обрубленный, ненужный, ничей солдат к своей единственной ноге относится иначе, чем здоровый. Единственную ногу он бережет по-особому, любит и следит за ней болезненно, ревниво. Сравнение на любовь героя Маяковского бросает очень своеобразный свет, языческое заслоняется другим. Мотив -- ничей, ненужный -- в этой теме упорно повторяется:

Ведь для себя неважно  
и то, *что бронзовый,*  
*и то, сердце -- холодной железкой --*  
Ночью хочется *звон свой* {\*}  
Спрятать в мягкое  
в женское.

Птица  
Побирается песней, --  
Поет  
Голодна и звонка,  
А я человек, Мария,  
простой  
*выхарканный чахоточной ночью в*  
*грязную руку Пресни.*

{\* Курсив в стихах В. Маяковского везде А. Воронского. -- *Ред.* }

И, наконец, в последней поэме "Про это" мотив остался неизменным:

Приди  
разотзовись на стих  
*Я всех обегав -- тут.*

*Теперь лишь ты могла бы спасти...*

Уже отмечалось, что поэма пропитана чувством ледяного одиночества. Заключительная глава, "Прощение на имя", -- одна из самых лучших в творчестве Маяковского -- напоена тоской и "непролазным горем".

Сердце мне вложи,  
кровищу --  
до последних жил  
В череп мысль вдолби.  
Я свое, земное, не дожил  
на земле,  
свое не долюбил.  
Был я сажень ростом  
А на что мне сажень?  
Для таких работ годна и тля.  
Перышком скрипел я в комнатенку всажен.  
Вплющился очками в комнатный футляр.  
Что хотите буду делать даром --  
Чистить  
мыть  
стеречь  
мотаться  
мечь.  
Я могу служить у вас  
Хотя б швейцаром.  
Швейцары у вас есть.  
  
Воскреси  
Хотя б за то  
что я

поэтом

ждал тебя,

откинул будничную чушь.

Воскреси меня

Хотя б за это!

Воскреси --

свое дожить хочу! --

так заклинает поэт химика и любимую.

Тут не одна физиология. Любовь превращена в кумир, стала религиозным чувством. Из любимой создан фантом, мираж. Одиночество, отсутствие социальных скрепов с людьми, голый эгоцентризм заставляют бежать в царство феерий, обожествлять "человеческое и простое". Не будь герой Маяковского "сажень ростом", не обладай он зычным "о-го-го" -- он, наверное, нашел бы выход из своего смертного, могильного одиночества в потустороннем мире, сочинил себе подходящего бога и поместил бы его подальше от земли. Но он слишком прирос к земле, слишком любит жизнь, как она есть, и он создает фантом, кумир из своей земной любви. Поразительное дело. Ухающая, ревушая, рвущая, трубная, площадная поэзия Маяковского с открытым и грубым эгоцентризмом, с подчеркнутым презрением ко всем величайшим авторитетам и культурным ценностям, с небрежением, с равнодушием и позевотой "к табуну", как только касается "этой темы", становится кроткой, целомудренной, робкой, неуверенной, нежной, лирической, покорной, просящей и молитвенной. Герой, поставивший надо всеми nihil, ненавидящий все бытовое, сложившееся, вдруг теряет свой нигилизм, бунтарство, свою "нахальность", панибратское, снисходительное похлопывание по плечу кого угодно -- Толстого, Руссо, революцию, вселенную - и становится неуклюжим и застенчивым, угловатым гимназистом 6 класса:

Я бегал от зова разинутых окон.

Любя убегал --

пуская однобоко,

пусть лишь стихами

лишь шагами ночными.

Строчишь

и становятся души строчными.

И любишь стихом,

а в прозе немею.

Ну вот не могу сказать,

не умею

Но где любимая,

где моя милая,  
где  
-- в песне!  
Любви моей изменил я?  
Здесь  
каждый звук  
чтоб признаться,  
чтоб крикнуть,  
А только из песни -- ни слова не выкинуть...  
...Скажу:  
смотри  
даже здесь, дорогая,  
стихами грома обыденщины жуть  
имя любимое оберегая  
тебя  
в проклятьях моих обхожу  
("Про это").

Лев укрощен, посажен в клетку, стал покорным. Голодная тоска, страстная иступленность, необузданность желаний, нетерпеливое -- хочу, сейчас, полностью, для меня, для одного -- уступило место стиху -- молитве. Крайний индивидуализм переплавился в чувство самоотверженности. Укрощенный строптивый готов ждать годы, всю жизнь, ограничивать себя, он просит лишь "раз отозваться на стих" -- не больше. И если бы любимая предложила бунтарю завести герань душистую, повесить клетку с канарейкой и веселенькие занавесочки на окнах -- кто знает -- он сделал бы это и многое подобное не хуже других, вросших по уши в тину быта. К счастью, любимая лишила героя Маяковского этой муки, когда большого бунтаря покорно приводят в комнату с геранью и кенаром. Она вложила в него другую муку неразделенной, "немыслимой" любви. И он вымаливает, просит, как нищий, боится признаться, немеет. Это про "немыслимую" любовь написано им: "и когда мой голос похабно ухает от часа к часу целые сутки, может быть, Иисус Христос нюхает моей души незабудки".

"Эта тема" вводит нас в психологию творчества. Почему человек делается поэтом? При каких условиях разворачиваются его поэтические потенции? Отчего душа становится "строчной"? Психологические мотивы бывают различные, одного ответа нет и быть не может. В "Воителях Гельгоганда" у Ибсена старик воин становится скальдом после того, как он потерял в битве семь своих прекрасных сынов. Первую сагу он создал на их могиле: волшебная сила стиха оказалась необходимой, чтобы врачевать душевные и сердечные язвы. Маяковский, подобно скальду, тоже ищет в стихе, в поэзии врачевания своих язв; он "немел в прозе" -- тем пышнее он говорил в



стихах. По существу -- это своеобразный уход от жизни. Любимая у Маяковского -- фокус его дум и эмоций. В ней для поэта собрано все языческое, земное и ненависть к "повелителю", и к быту, и одиночество, тоска, и неврастения и "незабудки души" -- вся гамма душевных движений.

Нехорошо быть человеку единому. Маяковский, убегая от сирости и современного Вавилона, превратил земное чувство в небесную незабудку для Иисуса Христа. Но Божество его живет здесь, на земле, окружено тем самым бытом, который так ненавистен поэту, докучными друзьями, приятелями и знакомыми. И вот, чтобы это бытовое не накладывало своих красок и теней на "небесное", Маяковский старательно и пугливо избегает в стихах посмотреть на свой фетиш раскрытыми глазами; "громя обыденщины ложь", он оберегает имя любимой ничем не хуже, чем любой христианнейший из христиан -- имя своего Бога. Так всегда делают, создавая религиозные фантазмы. Иначе нельзя; иначе фантом легко развеется и растает.

Удается ли поэту охранить святое имя от настойчивых вторжений земного? Поэзия Маяковского не дает на этот вопрос прямого и ясного ответа, но надо полагать, что поэт далеко не удовлетворен своей "верой". Он слишком прикован к живой жизни. Богов все-таки следует помещать куда-то повыше и подальше и даже здесь, на земле, для них строят особые капища. Наши предки недаром отдаляли своих богов от себя. Нужно или поместить их в потусторонней сфере, или совсем разбить во имя естества *общественного* человека, а не изолированного индивида. У Маяковского была предпосылка для последнего выхода; как будто он иногда находит его, но лабиринты кривых и узких улиц и переулков, но отравы замкнутого в себе человека то и дело пугают его и сбивают с пути.

Нелегко живется человеку в современных Вавилонах, если герой Маяковского большой, огромный, с небывалым запасом сил, "медведь-коммунист" создает себе культик и Божество, "видом малое и отнюдь не бессмертное"!

Творчество Маяковского с громадной силой и искренностью вскрывает пред нами одну из самых глубоких трагедий нашего века.

#### IV. "Левый марш". О формальном и футуризме

Октябрьская революция основательно потрянула Маяковского. С первых дней Октября он старается слиться с победным революционным потоком. Маяковский пишет поэмы, мистерию, сатиры, марши, боевые песни, плакаты, вплоть до реклам в Моссельпроме. Его голос наполняет аудитории рабфаков, комсомольцев, клубов. Он стремится приспособить свое творчество к уровню не отдельных эстетических кружков, а масс, -- заботится о том, чтобы поэзия сознательно стала утилитарной, пошла на нужды, на потребу новому властителю. В наших коммунистических кругах есть скептики (Сосновский и др.), полагающие, что Маяковский подделывается под революцию и коммунизм. Это -- досадное недоразумение. Маяковский искренен. В его дореволюционном творчестве нетрудно отметить ряд мотивов, созвучных победному маршу пролетариата: ненависть к прежним хозяевам жизни, к Вильсонам, желание социалистически преобразовать, "систематизировать" мир, освободив его от капиталистической заразы, отвращение к романтике, к небесному и т. д. С революции четче стал определяться "человек" Маяковского. В "Мистерии", в "150.000.000" он попытался приблизить его к рабочему. Меньше стало "ячества", образы, язык сделались проще, очистились значительно от богемского налета и т. д. Но верно, что голос Маяковского, как уже выше отмечалось, сохранил свою обособленность, и несомненная правда, что коммунизм поэта далек от марксистского, ленинского коммунизма.

тебя доконаем  
мир романтик!  
Вместо вер  
в душе  
электричество,  
пар.  
Вместо нищих --  
всех миров богатство прикарманьте!  
Стар -- убивать,  
На пепельницы черепа!

Тут что ни слово -- то поэтический провал: коммунисты намерены изгнать "веры" из душ, но отнюдь не имеют в виду превратить души в пар и электричество. "Прикарманьте", стар -- убивать, на пепельницы -- черепа -- звучит по-апашски. Правда, Маяковский дальше поправляется, он уверяет даже: "будет наша душа любовных Волг слиянных устьем". Это не похоже на уничтожение души, но такие места не характерны для Маяковского, ибо для него существо социализма во владении вещами.

Маяковский не чувствует революцию как организованный процесс борьбы и победы со всеми трудностями и препятствиями. Очень знаменательно, что *он проглядел крестьянина*, о нем у него ни слова. Его Иван кто угодно, но крестьянского в нем ничего нет. Можно ли художественно правдоподобно писать об Октябре, хотя бы в вековом, дальне-историческом плане, в планетарном масштабе, скинув с поэтических счетов русского, китайского, турецкого крестьянина? Вполне естественно, что наша революция воспринята была Маяковским как сплошной левый марш. Кто-то там немного спутал, шагая правой, но это -- пустяк, мелочь. Бьет барабан -- левой, левой. Революция марширует левой, но она на парад не похожа. Она лежит также в тифу, во вшах, в окопах, отстреливается из осажденной крепости, терпит поражения, а главное -- у нее есть спутники и союзники, их много, очень много и с ними нужно съесть не один пуд соли, чтобы они тоже шагали левой, левой.

Отсюда схематизм, отвлеченность в революционной поэзии Маяковского, преобладание грандиозных символических образов, но лишенных плоти и крови, их надуманность, наивный кое-как скроенный примитивизм. Для примера. В "Мистерии-Буфф" есть сцена, в которой "нечистые" с целью закалить себя ставят собственные груди на наковальни: "Подходят один за другим, работает кузнец. Стальные и выправленные идут от горна, рассаживаются на палубе". Плохо. Таких провалов у Маяковского не один и не два.

Не по-нашему звучат постоянные похвальбы, как футуристы единым взмахом "прошлое разгромили, пустив по ветру культуришки конфетти", как уничтожают они всякие "измы" и т. д. Подобные заявления звучат непростительно легкомысленно. Для левого марша, для революционера, отважно зачеркнувшего крестьянство, "культуришка", может быть, ничего не стоит, а вот тов. Ленин, весьма доходчивый до мужика, советовал неизменно и упорно для начала,

не смущаясь, усваивать эту культуришку, дабы пребороть с ее помощью неграмотность, темь и жуть.

Уже отмечалось, что рабочий класс в его конкретности остался Маяковскому далеким.

В силу всего этого вещи, написанные поэтом после Октября, бледней, суше, малокровней, рассудочней "Флейты", "Люблю", "Человека". Несмотря на растущее и крепнущее мастерство в области формы, революционные произведения Маяковского проигрывают в своей непосредственности.

Планетарное отвлеченное отношение к Октябрю сказалось с особой наглядностью, как только наступили "будни". Окончание гражданской войны, спад революционной волны на Западе, нэп, культурничество заметно отразились на лево-маршевом творчестве Маяковского. Поэма "Про это" есть возвращение к теме и "узкой и мелкой", она -- переплеск с "Человеком". Победное и громыхающее: "бей, барабан" уступило место тяжелому и мрачному чувству "медведя-коммуниста", задыхающегося в рамках мелкого быта:

Столетия

жили своими домками

и ныне зажили своим домкомом.

Октябрь прогремел,

карающий

судный.

Вы

под его огнеперым крылом

расставились разложили посуды...

Лучшие страницы в поэме относятся не к революции, а к "ней" и к "нему". Словесной бодрости не верится. Господствующее настроение передано в подзаголовках: "Баллада Редингской тюрьмы", "Спасите!", "Боль была", "Ничего не поделаешь", "Бессмысленные просьбы", "Деваться некуда", "Только бы не ты", "Полусмерть", "Повторение пройденного" и пр.

В другой большой поэме, "Ленин", Маяковский вновь пытается утвердиться на революционных позициях. В "Ленине" хорошо введение, похороны -- лучшее, что есть в нашей поэзии о Ленине, есть другие выигрышные места, а в основном тема не удалась поэту. Нет Ленина. Ленин -- международен, но он также и наш национальный гений. У него много почвенного, "российского", у него лукавый прищуренный глаз, мужицкая сметка, и практицизм, и железо, и сталь пролетарской сплоченности и дисциплины. Он деловит, волеупорен и одновременно никогда не забывает "человеческое слишком человеческое". Ленин Маяковского окаменел, застыл, стал плакатным, он не шагает, а шествует, не действует, а священнодействует. Поэт волен преобразовать, создавать своего Ленина, Маркса и других по образу и подобию своему, но, создавая его по-своему, он обязан добиться, чтобы читатель поверил в творческое создание поэта. В Ленина Маяковского не верится, он не убеждает. Может быть, слишком жив еще в нас Владимир Ильич, и его живая подвижная фигура заслоняет еще Ленина в стихах, и поэмах, и в прозе; скорей, однако, Маяковский мало прочувствовал Ленина.

Скучноваты и длинноваты страницы, где в стихах пересказывается развитие капитализма.

Маяковский художественно находится на перепутье. Его огромный талант потерял необходимую установку. Перепевать "Человека" долго, безнаказанно нельзя, "Левый марш" отгремел в его стихах, "Ленин" не покоряет, агитки и сатиры обычны и не выделяются. "Деваться некуда" и "Ничего не поделаешь" ощущается во многом, что пишет он в последнее время. Но Маяковский упорно ищет путей к новому массовому читателю; такие главы из поэмы, как "Похороны Ленина", показывают, что поиски производятся не впустую. Во всяком случае тянуть за упокой его душу таланта нет оснований. Новые времена -- новые песни. А их не так легко сложить, сразу они не слагаются. У нас привыкли хоронить писателей. Лучше бы подумали, как им помочь. Не нужно забывать, что писатели и пролетарские, и непролетарские переживают в наше время довольно тяжкие кризисы, хотя талантами мы не оскудеваем.

-----

О формальной стороне поэзии Маяковского писалось и говорилось много. Можно поэтому ограничиться несколькими соображениями. Ведется спор: разговорный ли стих у Маяковского. Арватов отвечает утвердительно; Сосновский утверждает, что помимо кривляний, порчи русского языка, вредной зауми в стихах Маяковского нет ничего путного. Истина лежит посредине. Маяковский в своей футуристической форме, в словотворчестве отразил основные свойства и противоречия своей природы. Он -- помесь "перуанца", "большого" человека "из мяса" с неврастенической богемой огромных городов. У него площадное "о-го-го" неизменно срывается в истерический фальцет. Стих Маяковского носит на себе все следы и "о-го-го" и этого фальцета. Несомненно, Маяковский стремится вывести поэзию из салонов и гостиных на площадь, на улицу, на митинг. Его стих враждебен бальмонтловщине, слащавости и изнеженности, скандирующему и расслабленному эстетизму "поэз" кануна революции. Слово Маяковского грубое, осязаемое, материальное, его нельзя сюсюкать, его надо выкрикивать, бросать в тысячи; оно строчит, как пулемет, летит тяжелым снарядом, рассыпается дробью барабана, ухает молотом, -- оно дебоширит, неистовствует, ломает, орет; ему тесно в отлитой форме, и оно старается выплеснуться, разрушить, раздвинуть рамки. Оно не с пробором, а лохматое, оно издевается и хулиганит над маэстрами и жрецами искусства.

Примитивность и грандиозность образа рассчитаны опять-таки на то, чтобы поразить, захватить самого неискушенного слушателя, массу, а не пресыщенных пенкоснимателей поэзии, врезаться этому слушателю в память без особого с его стороны напряжения -- где же на площади, в аудитории заниматься проникновением в эстетические прелести.

Стих Маяковского, далее, приспособлен более к произношению, к декламации, чем к чтению "про себя". В таком чтении он явно проигрывает. Он не боится обыденных "непоэтических" слов, речений, оборотов: "никаких гвоздей", "вот это", "хотя б", "чтоб", "который", "нынче". Он -- лозунговой с постоянными восклицаниями: "эй, вы", "сюда", "ахнем", "эй, века!". Любимыми знаками препинания у Маяковского являются вопросительный и восклицательный. Точку, запятую он не любит, не признает и поразительно к ним небрежен.

Но разговорный, митинговый язык Маяковского отягчен такой расстановкой и увязкой слов, таким сложным построением предложения, что часто теряет свою простоту и становится туго воспринимаемым. Маяковский прошел долгий курс литературных школ, направлений и надыхался гнилыми испарениями современного Вавилона. Произошла порча неподдельно-жизненного примитива. Дело зашло очень далеко:

Каждое слово

даже шутка  
которое изрыгает обгорающим ртом он  
выбрасывается как голая проститутка  
из горящего публичного дома!

Образ нередко извращается, от него разит кафе и кабаре. Предложение начинает родниться с тредьяковщиной, делается неуклюжим, манерным. Самая заправская литературщина входит в свои права. Митинговый, площадный, разговорный Маяковский есть в то же время и самый плененный этой литературщиной. Это противоречие лежит и во всей практике футуристов: никто так громко не воюет с эстетством, с кружковщиной, никто так яростно не зовет поэзию на улицу, к производству, и никто так не увлечен формальной стороной, никто так не гоняется за свежестью рифмы в ущерб содержанию и никто так не подвержен кружковщине, как именно футуризм. Футуризм более, чем кто-либо, повинен в иллюзиях лабораторным путем "построить" литературу.

Отрицательные, слабые стороны поэзии Маяковского с особой силой сказываются у его менее одаренных литературных спутников. Словотворчество превращается в крученотворчество, "энергичная словообработка" в вымученное изобретательство, а мастерство в звукосочетании приобретает самодовлеющее значение.

Слово, язык, стиль Маяковского являются шагом вперед к разговорному, митинговому, но они испорчены литературными "изысканиями". Это в полном смысле переходная форма. Закрепиться на слове Маяковского нельзя. Оно волнующе сильно и уже рахитично. Оно не приспособившееся, не стройное, оно все в процессе становления, а не в данности. В нем нет устойчивости. Оно походит в некотором смысле на допотопных животных, чудовищных, огромных, с необычайными органами, но неуклюжими и мало приспособленными к окружающей среде. Маяковский не хочет слушаться и повиноваться языку, пусть язык слушается и служит ему. Он берет и мнет его, как глину, коверкает и гнет по-своему. Но слово -- организм. Оно поддается далеко не всякой операции.

Самое опасное подражать Маяковскому. Когда он пишет: рвя, оря, жря, поя и т.д., это не диссонирует, не режет слух: тут рвется "сплошное сердце", большая глотка, ручище, язычище, головище и т. д., но если это начинают проделывать эпигоны, у которых ни язычища, ни ручищи нет, выходит визгливо, безграмотно и ненужно.

Маяковского спасает бездна таланта, только благодаря наличию его он часто справляется со "словотворчеством", и оно у него далеко не всегда выглядит ходульным. Наоборот, с его насилием над словом сживаешься, ибо оно связано с "нутром" поэта. Даже в шаблоне он не шаблонен. Умелым звуковым подбором, чем Маяковский владеет в совершенстве, он достигает того, что шаблонные слова начинают звучать по-новому.

Несмотря на ряд надуманных и нарочитых образов, искаженных городской клоакой, Маяковский и здесь большой мастер: "в гниющем вагоне на сорок человек четыре ноги", "ревность метну в ложи мрущим глазом быка", "ямами двух могил вырылись в лице твоём глаза", "гвоздями слов прибит к бумаге я", "упал двенадцатый час, как с плахи голова казненного", "а сердце рвется к выстрелу, а горло бредит бритвою" и т. д. -- это целит и попадает в цель.

Безусловны энергия и стремительность языка Маяковского. В частности, поэт равнодушен к носовым и мягким звукам и явное предпочтение отдает губным и шипящим. Любимыми буквами в его алфавите являются: *б, в, ж, ш, щ.*

Маяковский не только в содержании, но и в форме все больше отходит от футуристических крайностей. Его язык теряет экстравагантность и крученность и явно идет по пути приспособления к аудиториям рабфаков и комсомола. И все же народным поэтом, поэтом миллионов Маяковский не будет; слишком индивидуалистична его поэзия, слишком много в ней ненужного футуристического груза, словесной эквилибристики, жонглерства, формалистических "уклонов", литературщины. Кто-то иной, -- вероятно, иные, -- более счастливо приспособит к нуждам и вкусам масс его митинговость, разговорность, вещность и материальность слова, плакатность и кричащую яркость образа, энергетику языка, напряженность и силу его. Несомненно, что положительные стороны формального творчества Маяковского контактируют во многом с нашей эпохой, но поэзии его недостает простоты и общности, и эти недостатки, по-видимому, органические. Впрочем, Маяковский еще молод, он усиленно ищет новых путей. И потом громада таланта.

И один совет, если хотите: Маяковскому очень, очень полезно и своевременно присмотреться к крестьянину. Маяковский оставил его за бортом своего творчества и за это жестоко порой платится. И не оттого ли у павлина моментально вылинял великолепный хвост, что поэт слишком легко забыл поле, землю, лес и рожь?

"Лицом к деревне" -- это неплохой лозунг и для Маяковского.

Наша статья -- о Маяковском, а не о футуризме. Но Маяковский -- лидер русского футуризма и наиболее яркий его представитель. Сказанное о Маяковском целиком почти нужно отнести к футуризму. Остается лишь немного добавить.

Футуризм был реакцией против символизма, салонности в поэзии и против безыдейной, бескрылой, созерцательной художественной прозы, господствовавших в нашей литературе перед появлением футуризма.

Символизм за видимым, осязаемым, здешним старался узреть "туманный ход иных миров". Реальный мир -- только символ другого таинственного, неведомого, потустороннего. Вещи, явления, события -- тайнопись невидимого и непостижимого умом. Символизм, таким образом, был насквозь идеалистичен и мистичен. В поэзии он соответствовал богоискательству и теософским системам, пышно расцветшим у нас в интеллигентской среде, отряхнувшей прах от завиральных революционных идей.

С другой стороны, быстрым темпом шло приспособление музыки к вянущим, пресыщенным, "утонченным" вкусам господствующих классов, уже ущемленных.

Мало отрадного было в реалистическом направлении, за исключением небольшой группы писателей, стремившейся найти выход в растущем и крепнущем пролетарском движении. Реализм того времени был плоек, внутренне пуст и бесплоден. У него не было перспектив. Он был скучен и убийственно сер. Он старчески дряхлел. Бунин, Андреев, Арцыбашев, Винниченко и пр. стояли в тупиках. Еще более безнадежна была русско-богатственная проза. Тупик этот с особой наглядностью был вскрыт войной, когда в нестерпимом ура-шовинизме увязла почти вся "большая" литература.

Футуризм начал фактически с протеста против символистических и иных исканий "иных миров". Если отбросить его кривляния, желтую кофту, жонглирование словами без смысла, крик и гвалт, то именно в этом бунте надобно искать истоков футуристического напора. Против всего романтического "духовного", христианского, потустороннего во имя мяса, вещей, во имя мира,

как он есть, против небесных сладостей за хлеб, за тело, за жизнь с ее примитивными инстинктами, против расслабленного эстетства, против созерцания и глазения.

Футуризм объявил также войну быту и бескрылому реализму. Он возвел бунтарство в принцип, в самоцель, объявил крестовый поход против всего, что стоит на одном месте, сделав "бег дней" своим богом. Быт, утверждали футуристы, сам по себе является реакционной силой, всякий быт -- он пошл, дрябл. Он враждебен поступательному движению человечества. Он формируется современными хозяевами жизни, поставившими надо всем доллар. Искусство, упирающееся в быт, тоже косо, бесхребетно, мелко. Оно не видит, не может увидеть грядущего, а только для него и во имя его и стоит работать художнику.

Казалось бы, что выступление футуризма могло рассчитывать на горячую поддержку со стороны всех, кто боролся в рядах пролетариата за переделку старого общества на новых началах. Между тем футуризм был встречен марксистской критикой более, чем холодно. Футуристы объяснили и объясняют это тем, что революционные марксисты, мол, в области искусства оставались и остаются консерваторами. Однако дело не в этом. Причины гораздо глубже. Их надо искать в самом футуризме.

Футуризм выговаривал часто нужные слова, но выговаривал их косноязычным языком. Борьба против мистики в искусстве была очень ко времени. Провозглашение права на хлеб и сласти, на удовлетворение так называемых животных потребностей некоторым образом совпадало с движением низовой массы, реалистической и материалистической по духу. Но реализм футуристов был наивным, дикарским реализмом, не переплавленным в диалектике Маркса. Отсюда -- заносчивое самохвальство и пренебрежение к старому культурному духовному наследству, умаление умственных и нравственных запросов. Борьба против быта приводила к отрицанию всякой данности; диалектический процесс истолковывался зеноновски, софистически. Протест против современного мещанства обессиливался густым налетом мещанского индивидуализма. Потребность в новом массовом, хлещущем слове удовлетворялась на деле часто крученотворчеством и т. д. Футуризм с головы до пят был окутан кружковщиной, эстетством. Он вышел из тех же самых кругов, он был сродни тем самым литературным группировкам, которые блуждали, оторванные от земли. Он был не исподним движением поднимающихся на борьбу масс, а делом кучки интеллигентов, социально оторвавшихся от пуповины буржуазного общества, но далеких от нового демоса. Он был протестом одиночек, ревниво оберегавших свои маленькие индивидуалистические мирки. Он рос и развивался в стороне от мощного революционного пролетарского потока, не знал и не любил этого нового демоса. И протестантство футуризма висло в воздухе, обрывалось на полукрике, здоровое, сильное срывалось в индивидуалистический демонизм.

Надо полагать, что футуризм сказал свое слово. Он -- прошлое. Собственно, это признают и сами футуристы: ненароком они переименовали себя в "Лефов", в левый фронт искусства. Судьба их журнала "Леф" еще более убеждает в этом. "Леф" остался журналом очень небольшого кружка читателей и писателей. Массового читателя он не собрал. Он не собрал даже своих, не сказал никакого нового слова, не дал ни одного образца своей лефовской прозы, а в стихах перепевал свое старое. В области критики "Леф" покорно пошел за формальной школой, игнорирующей содержание (это в наши-то дни!). "Леф" захирел не случайно и не от тяжелой руки Госиздата.

Но у футуризма есть свои заслуги. О них мы говорили. Претензии футуристов говорить от имени коммунистического искусства по меньшей мере неосновательны, но в создающееся с таким невероятным трудом новое революционное искусство переходного периода футуризм вставляет свои слова. Этого не следует забывать. Недаром у футуристов есть последователи среди писателей

комсомольского и пролетарского лагеря, недаром Безыменский, Жаров и многие другие вышли из Маяковского.

"Лефы" на распутьи. На распутьи и Маяковский. Но Маяковский шире и больше и футуризма и "Лефа". Если футуризм и "Леф" -- в прошлом, то Маяковский весь еще в настоящем и, может быть, в будущем.

В наших марксистских коммунистических кругах о Маяковском принято думать, что в поэзии он является исключительно представителем интеллигентской, индивидуалистической богемы периода снижения, упадка и разложения буржуазной культуры. Наш анализ во многом подтверждает такое воззрение. Тем не менее его следует ограничить. В творчестве Маяковского отразилась наша эпоха и в более широком масштабе. В его поэзии и кусок того "общечеловеческого", без которого нет большого поэта и писателя. "Перуанец", низкое и здоровое "о-го-го", гибнущее и замирающее в каменных склепах современного Вавилона, человек в сажень ростом, превращенный "моментально" в демона в американском пиджаке и в истерика, -- это проблема, во всей сложности и остроте поставленная сверхимпериализмом новейшего покроя и далеко выходящая за пределы узкого богемского литературного кружка, его интересов и психологии.

Но "человеку" Маяковского нужно больше материализоваться и приобрести суровые, но отважные черты человека, расковывающего мир. У Маяковского человек, несмотря на голосище, ручище и т. д., слишком отвлечен и бледен, может быть, оттого, что Вавилон выпил и высосал у него слишком много крови и жизненных соков.

## ПРИМЕЧАНИЯ

### В. Маяковский

Впервые: Красная новь (М.). 1925. No 2. Февраль. С. 249--276. Неоднократно перепечатывалось в авторских книгах Воронского.

Печатается по тексту журнала.

*Семь лет я стою. Я смотрю в эти воды...* -- образ из поэмы "Про это" (строки 504--509).

*...прост, "как, мычание"...* -- образ из ВМТ (строки 39--40, Пролог); также использован Маяковским для названия своего поэтического сборника -- "Простое как мычание" (Пг., 1916).

*Я люблю зверье -- увидишь собачонку...* -- образы из поэмы "Про это" (строки 1754--1761).

*Тело твое просто прощу, как просят христиане... Отчего ты не выдумал, чтоб было без мук целовать, целовать, целовать...* -- образы из ОВШ (строки 620--621, 696--698).

*Нам надоели небесные сласти...* -- образы из МБ (строки 32--35; Пролог).

*Пустыни смыты у мира с хари, деревья за стволом расфеерили ствол...* -- образы из поэмы "150 000 000" (строки 1627--1628).



*...и поет, и благоухает, и пестрое сразу... моря мурлыча легли у ног...* -- образы из ВИМ (строки 991 -- 1004).

*...воскреси -- свое дожить хочу...* -- образ из поэмы "Про это" (строки 1789--1790).

*...нет тебе ни угла ни одного, ни чаю, ни к чаю газет...* -- образы из ЧВ (строки 505--510; гл. "Маяковский в небе").

*Жилы и мускулы молитв верней...* -- образ из ОВШ (строка 323).

*Мечников снимает нагар с подсвечников в отеле Вильсонов...* -- образ из поэмы "150 000 000" (строки 747--748).

*Мельчайшая пылинка живого ценнее всего, что сделаю и сделал...* -- образ из ОВШ (строки 302--303).

*Что может хотеться этакой глыбе? А глыбе многое хочется...* -- образы из ОВШ (строки 49--50).

*Оглядываюсь -- эта вот зализанная гладь и есть хваленое небо?..* -- образ из ЧВ (строки 472--475; гл. "Маяковский в небе").

*...и по мне, насквозь излаская, катятся вечности моря...* -- образ из ЧВ (строки 585--587; глава "Маяковский в небе").

*Под хохотливое / "Ага" / бреду по бреду жара...* -- строки 204--216 из ЧВ (глава "Жизнь Маяковского").

*Глухо. / Вселенная спит, / положив на лапу / с клещами звезд огромное ухо.* -- Заключительные строки (721--724) из ОВШ.

*Земной загон... Наглое иго... Страсти Маяковского... а сердце рвется к выстрелу, а горло бредит бритвою...* -- образы из ЧВ (строки 183--184; 361--366; гл. "Жизнь Маяковского", "Страсти Маяковского", "Вознесение Маяковского").

*...тонут гении, курицы, лошади, скрипки. Тонут слоны, мелочи тонут...* -- образы из ЧВ (строки 237--244; гл. "Жизнь Маяковского").

*Сразу / железо рельс вскочило по жиле...* -- строки 181--187 из ВИМ.

*Попал павлин оранжево-синий / под глаз его строгий, как пост...* -- из стихотворения "Гимн судьбе" (1915).

*На сердце тело надето, / на теле -- рубаха...* -- строки 7--21 из поэмы "Люблю" (1922).

*...вещи... захвачены "повелителем всего, соперником и неодолимым врагом..."* -- образы из ЧВ (строки 250--253; гл. "Жизнь Маяковского").

*"Не о хлебе едином будет жив человек"* -- Втор 8: 3; Мф 4: 4; Лк4:4.

*"Да придет царствие Мое"* -- перефразированные в духе эгоизма, индивидуализма слова молитвы "Отче наш" ("...царствие Твое" -- Мф6:10; Лк11:2).

*Я говорил / одними домами... Надеваете лучшее платье...* -- строки 123--126, 146--150 из поэмы "Люблю" (гл. "Мой университет", "Взрослое").

*Значит опять / темно и понуро...* -- строки 642--650 из ОВШ.

*Встрясывают революции царств тельца...* -- строки 309--313 из ЧВ (гл. "Жизнь Маяковского").

*В этой теме / и личной / и мелкой...* -- начальные строки (1--8) поэмы "Про это" (1923).

*... А я / весь из мяса, человек весь... Тело твоё / я буду беречь и любить... Ведь для себя неважно и то, что бронзовый... Птица / побирается песней...* -- строки 617--623, 631--637, 51--56, 576--582 из ОВШ.

*И когда мой голос похабно ухает...* -- образы из ОВШ (строки 528--533).

*Мы / тебя доконаем / мир романтик... Будет наша душа любовных Волг слянным устьем... футуристы прошлое разгромили, пустив по ветру культуришки конфетти...* -- образы из поэмы "150 000 000" (строки 344--354, 383--385, 1562--1564).

*Каждое слово / даже шутка...* -- образы из ОВШ (строки 171-- 175).

*В гниющем вагоне на сорок человек четыре ноги... ревность метну в ложи мрущим глазом быка... Ямами двух могил вырылись в лице твоём глаза... гвоздями слов прибит к бумаге я... Упал двенадцатый час, как с плахи голова казненного... А сердце рвется к выстрелу...* -- образы из ВИМ (строки 575--577), ФП (строки 158--159, 228--229, 315--316), ОВШ (строки 78--79), ЧВ (строки 363--364).

*Еще более безнадежна была русско-богатственная проза...* -- имеется в виду проза журнала "Русское богатство" (издавался с 1876 по 1918). С 1890-х идейно возглавлялся Н. К. Михайловским и В. Г. Короленко, с середины 1900-х -- также А. В. Пешехоновым, В. Я. Мякотинным. В журнале печатались Гарин-Михайловский, Засодимский, Златовратский, Мамин-Сибиряк, Станюкович, Куприн, Вересаев и др.

## **В. ШКЛОВСКИЙ. О БАБЕЛЕ (КРИТИЧЕСКИЙ РОМАНС)**

*Мне как-то жалко рассматривать Бабеля в упор*

Нужно уважать писательскую удачу и давать читателю время полюбить автора, еще не разгадав ее.

Мне совестно рассматривать Бабеля в упор. У Бабеля есть такой отрывок в рассказе "Сын ребби": "Девицы, уперши в пол кривые ноги незатейливых самок, сухо наблюдали его половые части, эту чахлую, нежную и курчавую мужественность исчахшего семита". И я беру для статьи о Бабеле лирический разгон. Была старая Россия, огромная, как расплывшаяся с распаханными склонами гора.

Были люди, которые написали на ней карандашом "гора эта будет спасена".

Еще не было революции.

Часть людей, писавших карандашом, работала в "Летописи". Там недавно приехавший

Горький, ходил сутулым, недовольным, больным и писал статью: "Две души". Статью совершенно неправильную.

Там ходила девочка Лариса Рейснер, (еще до взятия ею Петропавловской крепости). Там ходил Брик с Жуковской улицы 7 и я, в кожаных штанах и куртке из автороты. Журнал был полон рыхлой и слоистой, даже на старое сено непохожей беллетристической. В нем писали люди, которые отличались друг от друга только фамилиями. Но тут же писал Базаров, слепнем язвил Суханов и здесь печатался Маяковский.

#### *В одной книжке был напечатан рассказ Бабеля*

В нем говорилось о двух девочках, которые не умели делать аборта. Папа их жил прокурором на Камчатке. Рассказ все заметили и запомнили. Увидел самого Бабеля. Рост средний, высокий лоб, большая голова, лицо не писательское, одет темно, говорит занятно.

Произошла революция и гора была убрана. Некоторые еще бежали за ней с карандашем. Им не на чем было больше писать.

Тогда то и начал писать Суханов. Семь томов воспоминаний. Написал он их, говорят, сразу и наперед, потому, что он все предвидел.

#### *Приехал я с фронта*

Была осень. Еще издавалась "Новая Жизнь".

Бабель писал в ней заметки "Новый Быт". Он один сохранил в революции стилистическое хладнокровие.

Там писалось о том, как сейчас пашут землю. Я познакомился тогда с Бабелем ближе. Он оказался человеком с заинтересованным голосом, никогда не взволнованным и любящим пафос. Пафос был ему необходим, как дача.

#### *В третий раз я встретился с Бабелем в Питере в 1919 году*

Зимой Питер был полон снегом. Как-будто он сам стоял на дороге заноса, только как решетчатый железнодорожный щит. Летом Питер прикрыт был синим небом. Трубы не дымили, солнце стояло над горизонтом, никем не перебиваемое. Питер был пуст - питерцы были на фронтах. Вокруг камней мостовой выкручивалась и вырывалась к солнцу зеленым огнем трава.

Переулки уже заросли.

Перед Эрмитажем, на звонких в том месте, на выбитых торцах играли в городки. Город заростал, как оставленный войсками лагерь.

#### *Бабель жил на Проспекте 25-го Октября, в доме N 86*

В меблированных комнатах, в которых он жил, жил он один, остальные приходили и уходили. За ним уносили служанки, убирали комнаты, ведра с плавающими об'едками.

Бабель жил, неторопливо рассматривая голодный блуд города. В комнате его было чисто. Он рассказывал мне, что женщины сейчас отдаются главным образом до 6-ти часов, так как позже перестает ходить трамвай.

У него не было отчуждения от жизни. Но мне казалось, что Бабель, ложась спать, подписывает прожитый им день, как рассказ. Ремесло накладывало на человека следы его инструментов.

*У Бабеля на столе всегда был самовар и часто хлеб. А это было в редкость*

Принимал Бабель гостей всегда охотно. В его комнате водился один бывший химик, он же толстовец, он же рассказчик невероятных анекдотов, он же человек оскорбивший герцога Баденского и явившийся потом на суд из Швейцарии, чтобы поддержать свое обвинение, (но признанный ненормальным и наказанный только конфискацией лаборатории). Он же плохой поэт и неважный рецензент, невероятнейший человек Петр Сторицын. Сторицыным Бабель дорожил. Сюда же ходил Кондрат Яковлев, еще кто-то, я, и заезжали совершенно готовые для рассказа одесситы-инвалиды и другие разные одесситы и рассказывали то, что в них было написано.

*Бабель писал мало, но упорно. Все одну и ту же повесть о двух китайцах в публичном доме*

Повесть эту он любил как Сторицына. Китайцы и женщины изменялись. Они молодели, старели, били стекла, били женщину, устраивали и так и эдак.

Получилось очень много рассказов, а не один. В осенний солнечный день, так и не устроив своих китайцев, Бабель уехал, оставив мне свой серый светер и кожаный саквояж. Саквояж у меня позже зачитал Юрий Анненков. От Бабеля не было никаких слухов, как будто он уехал на Камчатку рассказывать прокурору про его дочерей.

Раз приезжий одессит, проиграв всю ночь в карты в знакомом доме, утром занявши свой проигрыш, рассказал в знак признательности, что Бабель не то переводит с французского, не то делает книгу рассказов из книги анекдотов.

Потом в Харькове, проезжая раненым, услышал я, что Бабеля убили в Конной Армии. Судьба не спеша сделала из всех нас сто перестановок.

*В 1924 году я снова встретил Бабеля. От него я узнал, что его не убили, хотя и били очень долго*

Он остался тем же. Еще интереснее начал рассказывать.

Из Одессы и с фронта он привез две книги. Китайцы были забыты и сами разместились в каком-то рассказе.

Новые вещи написаны мастерски. Вряд ли сейчас у нас кто-нибудь пишет лучше.

Их сравнивают с Мопассаном, потому что чувствуют французское влияние, и торопятся назвать достаточно похвальное имя.

Я предлагаю другое имя - Флобер. И Флобер из "Саламбо".

*Из прекраснейшего либретто к опере*

Самые начищенные ботфорты, похожие на девушек, самые яркие галифэ, яркие как штандарт в небе; даже пожар, сверкающий как воскресенье, - несравним со стилем Бабеля.

Иностранец из Парижа, одного Парижа без Лондона, Бабель увидел Россию, так как мог увидеть ее француз-писатель, прикомандированный к армии Наполеона.

Больше не нужно китайцев, их заменили казаки с французских иллюстраций. Знатоки в ласках говорят, что хорошо ласкать бранными словами.

"Смысл и сила такого употребления слова с лексической окраской, противоположной интонационной окраске - именно в ощущении этого несовпадения" (Юр. Тынянов, -

"Проблема стихотворного языка"). Смысл приема Бабеля состоит в том, что он одним голосом говорит и о звездах и о триппере.

*Лирические места не удаются Бабелю*

Его описания Брод, заброшенного еврейского кладбища, не очень хороши.

Для описания Бабель берет высокий тон и называет много красивых вещей. Он говорит:

"Мы ходим с вами по саду очарования, в неопишемом брынском лесу. До последнего нашего часа мы не узнаем ничего лучшего. И вот вы не видите обледенелых и розовых краев водопада, вы не видите ее японской резьбы. Красные стволы сосен осыпаны снегом. Зернистый блеск родится в снегах. Он начинается мертвенной линией, прильнувшей к дереву и на поверхности волнистой, как линия Леонардо, увенчан отражением пылающих облаков. А шелковый чулок фрекен Кирсти и линия ее уже зрелой ноги"...

Правда, этот отрывок кончается так: "Купите очки, Александр Федорович, умоляю вас" ("Линия и цвет").

*Умный Бабель умеет иронией, во-время обозначенной, оправдать красоту своих вещей*

Без этого было бы стыдно читать.

И он предупреждает наше возражение и сам надписывает над своими картинами - опера.

"Обгорелый город, переломленные колонны и врытые в землю крючки злых старушечьих мизинцев - он казался мне поднятым на воздух, удобным и небывалым, как сновидение. Голый блеск луны лился на него с неистекаемой силой. Серая плесень развалин цвела, как мрамор оперной скамьи. И я ждал, потревоженный душой, выхода Ромео из-за туч, атласного Ромео, поющего о любви в то время, как за кулисами понурый электротехник держит палец на выключателе луны".

Я сравнивал "Коннармию" с "Тарасом Бульбой". Есть сходство в отдельных приемах. Само "письмо" с убийством сыном отца перелицовывает Гоголевский сюжет. Применяет Бабель и Гоголевский прием перечисления фамилий, может быть идущий от классической традиции. Но концы перечислений у Бабеля кончаются переломом. Вот как пишет казак Мельников.

"Тринадцатые сутки бьюсь арьергардом, заграждая непобедимую Первую Конную, и находясь под действительным ружейным, артиллерийским и аэропланым огнем неприятеля. Убит Гардый, убит Лухманников, убит Лыкошенко, убит Гулевой, убит Трупов, и белого жеребца нет подо мною, так что, согласно перемене военного счастья, не дожидай увидеть любимого начдива Тимошенку, тов. Мельников, а увидимся, прямо сказать, в царствии небесном, но, как по слухам, у старика на небесах не царствие, а бордель по всей форме, а трипперов и на земле хватает, то, может быть, и не увидимся. С тем прощай, тов. Мельников".

Все казаки у Бабеля красивы нестерпимо и несказанно. "Несказанно" любимое Бабелевское слово. И ко всем ним намеком дан другой фон.

*Бабель пользуется двумя противоречиями, которые у него заменяют роль сюжета: 1) стиль и быт, 2) быт и автор*

Он чужой в армии, он иностранец с правом удивления. Он подчеркивает при описании военного быта "слабость и отчаяние" зрителя.

У Бабеля, кроме "Коннармии" есть еще "Одесские рассказы". Они наполнены описанием бандитов. Бандитский пафос и пестрое бандитское барахло так нужно Бабелю, как оправдание своего стиля.

Если начдив, имеет "ботфорты похожие на девушек", то "аристократы молдованки - они были затянуты в малиновые жилеты, их стальные плечи охватывали рыжие пиджаки, а на мясистых ногах с костяками лопалась кожа цвета небесной лазури" ("Король"). И в обоих странах Бабель иностранец. Он иностранец даже в Одессе. Здесь ему говорят "...забудьте на время, что на носу у вас очки, а в душе осень.

Перестаньте скандалить за вашим письменным столом и заикаться на людях. Представьте себе на мгновение, что вы скандалите на площадях и заикаетесь на бумаге". Конечно, это не портрет Бабеля. Сам Бабель не такой, он не заикается. Он храбр, я думаю, даже, что "он может переночевать с русской женщиной, и русская женщина останется им довольна".

Потому что русская женщина любит красноречие. Бабель прикидывается иностранцем, потому что этот прием, как и ирония, облегчали письмо.

*На пафос без иронии не решается даже Бабель*

Бабель пишет, утаивая музыку при описании танца и в то же время давая вещь в высоком регистре. Вероятно, из эпоса он заимствовал прием ответов с повторением вопроса. Этот прием он применяет всюду. Бенья Крик в "Одесских рассказах" говорит так.

"Грач спросил его:

- Кто ты, откуда ты идешь и чем ты дышешь?

- Попробуй меня, Фроим, - ответил Бенья, - и перестанем размазывать белую кашу по чистому столу.

- Перестанем размазывать кашу, - ответил Грач, - я тебя попробую".

Так же говорят казаки в "Письме".

"И Сенька спросил Тимофей Родионыча:

- Хорошо вам, папаша, в моих руках?

Нет, - сказал папаша, - худо мне.

Тогда Сенька спросил:

- А Феде, когда вы его резали, хорошо было в ваших руках?

- Нет, сказал папаша - худо было Феде.

Тогда Сенька спросил:

- А думали ли вы, папаша, что и вам худо будет?

- Нет, - сказал папаша, - не думал я, что мне худо будет".

*Книги Бабеля, хорошие книги*

Русская литература сера как чижик, ей нужны малиновые галифэ и ботинки из кожи цвета небесной лазури.

Ей нужно и то, что понял Бабель, когда он оставил своих китайцев устраиваться, как они хотят, и поехал в "Коннармию".

Литературные герои, девушки, старики, молодые люди и все положения их уже изношены.

Литературе нужна конкретность и скрещивание с новым бытом для создания новой формы.

## **ВИКТОР ШКЛОВСКИЙ. О ПИСАТЕЛЕ И ПРОИЗВОДСТВЕ**

В Организации ВАПП - три тысячи писателей; это очень много. Когда Льву Николаевичу Толстому уже было 56 лет, то он написал жене следующее письмо: "Я сломал себе руку и, пока лежал, почувствовал себя профессиональным писателем". К этому времени уже была написана "Война и Мир".

Современный писатель старается стать профессионалом с 18-ти лет, старается не иметь другой профессии, кроме литературы. Это очень неудобно, потому что жить ему при этом нечем; в Москве он живет у знакомых, или в доме Герцена, на лестнице; а некоторые в уборной, так человек 6; но даже уборная не может вместить всех желающих, потому что, как сказано, их три тысячи.

Это не большое несчастье, потому что можно было бы построить специальные казармы для писателей; - находим же мы, где разместить допризывников, - но дело в том, что писателям в этих казармах писать будет не о чем.

Для того, чтобы писать - нужно иметь другую профессию, кроме литературы, потому, что профессиональный человек - человек, имеющий профессию - описывает вещи так, какое он имеет к ним отношение. У Гоголя кузнец Вакула осматривает дворец Екатерины с точки зрения кузнеца и маляра и, может быть, опишет дворец Екатерины. Бунин, описывая Римский форум, описывает его с точки зрения русского человека из деревни.

Лев Николаевич Толстой писал как профессионал-военный артиллерист и как профессионал-земледелец; он шел по линии своих профессиональных и классовых интересов для создания художественных произведений. Например, "Хозяин и работник" написан тогдашним хозяйственником и мог бы быть прочитан на тогдашнем производственном совещании дворян, если бы такие были.

Если взять переписку Толстого и Фета, можно установить, что Толстой - это мелкий помещик, который интересуется своим маленьким хозяйством; хотя помещик, на самом деле, он был не настоящий, и свиньи у него все время дохли, но это поместье заставило его изменить формы своего искусства.

Если бы Лев Николаевич Толстой 18-ти лет пошел бы жить в дом Герцена, то он Толстым никогда не сделался бы, потому что писать ему было бы не о чем.

Пушкин представляет пример более профессионального писателя; он живет литературным заработком, но движется он вперед, отходя от литературы, например, к истории.

Заниматься только одной литературой это даже не трехполье, а просто изнурение земли. Литературное произведение не происходит от другого литературного произведения непосредственно, а нужно ему еще папу со стороны. Это давление времени является прогрессивным фактом, без него нельзя создать новые художественные формы.

---

Роман Диккенса "Записки Пиквикского Клуба" был написан по заказу, как подписи к картинкам неудачи спортсменов. Величина глав Диккенса определилась необходимостью печататься отдельными кусками. Вот это умение использовать давление материала сказалось и в работах Микель-Анджело, который любил брать для работы испорченный кусок мрамора, потому что он давал неожиданные позы его статуэткам, - так сделан

Давид. Театральная техника давит на драматурга, и технику Шекспира нельзя понять, не зная устройства Шекспировской сцены.

Писатель должен иметь вторую профессию не для того, чтобы не умирать с голода, а для того, чтобы писать литературные вещи. И эту, вторую профессию не должен забывать, а должен ею работать; он должен быть кузнецом или врачом, или астрономом. И эту профессию нельзя забывать в прихожей, как галоши, когдаходишь в литературу.

Я знал одного кузнеца; он принес мне стихи; в этих стихах он дробил молотком чугун рельс. Я ему на это сделал следующие замечания: во-первых, - рельсы не куют, а прокатывают, во-вторых, - рельсы не чугунные, а стальные, в-третьих, - при ковке не дробят, а куют, и, в-четвертых, он сам кузнец и должен сам знать лучше меня. На это он мне ответил: "Великолепно, - да ведь это стихи".

Для того, чтобы быть поэтом нужно в стихи втащить свою профессию, потому что произведение искусства начинается со своеобразного отношения к вещам, не старолитературного отношения к вещам. Создавая литературное произведение, нужно стараться не избежать давления своего времени, а использовать его так, как корабль пользуется парусами. Пока современный писатель будет стараться как можно скорее попасть в писательскую среду, пока он будет уходить от своего производства, до тех пор мы будем заниматься каракулевым овцеводством; а это овцеводство состоит в том, что овцу бьют - она делает выкидыш, и с мертвого ягненка сдирают шкуру.

Самое важное для писателя, который начинает писать, - это иметь собственное отношение к вещам и видеть вещи как неописанные и ставить их в ненаписанное прежде отношение. Очень часто в литературных произведениях рассказывается о том, как иностранец или наивный человек приехал в город и ничего в нем не понимает. Писатель не должен быть этим наивным человеком, но он должен быть человеком, заново видящим вещи.

На самом деле происходит другое; люди не умеют видеть окружающего, поэтому средний современник, начинающий писать, не может написать обыкновенную корреспонденцию в газету; получается, что корреспондент имеет сведения о своей деревне из газеты - он читает газету, использует ее, как анкету, и потом заполняет ее событиями своей деревни; если в анкете события не упоминается, то он их не ставит; в результате, мы не знаем, усиливается кулачество в деревне или нет.

Конечно, корреспонденции сейчас с лесопильного, с швейного завода, из Донбасса не отличаются ни чем: "Нужно подтянуться, пора поставить вентилятор, и течет крыша".

Я не говорю, что нужно в корреспонденции рассказывать анекдоты. Но не нужно корреспонденту и писателю описывать те же самые вещи, только в обмолвках проговариваясь о реальных вещах. Кроме того, иногда он и не корреспондент и не писатель, а садится за стол и начинает писать роман листов в восемь и потом присылает с запиской "что, может быть, вышло". Конечно, выйти не может потому, что писать роман в восемь листов сразу также невозможно, как, не смотря ни разу в телескоп, начертить карту звездного неба.

Леонид Андреев много лет проработал судебным корреспондентом в газете. Судебным корреспондентом в газете работал Чехов; Горький работал в газете под псевдонимом. Диккенс работал в газете много лет.

Из современных писателей многие работали в газетах, в типографиях метранпажами, в мелких журналах и т. д. и т. д.

И вот после того, когда накапливается опыт и умение рассказывать вещи, как они происходили, только тогда человек через рассказ может дойти до писания романов, если человек может вообще писать романы. Поэтому настоящая литературная школа состоит в том, чтобы научиться описывать вещи, процессы. Например, очень трудно описать словами, без рисунка, как завязать узел на веревке. Описать вещи точно так, чтобы их



можно было представить и только одним способом, тем самым, которым они описаны. И нужно не лезть в большую литературу, потому что большая литература окажется там, где мы будем спокойно стоять и настаивать, что это место самое важное.

Представьте себе, что Буденый захотел бы выслужиться в царской армии, - он бы дослужился до прапорщика; но участвуя вместе с другими в революции и изменяя тактику боя, он сделался Буденым.

Часто бывает, что писатель, работающий в таких, казалось бы, низких отраслях литературы, сам не знает, что он создает большое произведение. Боккачио, итальянский писатель времен возрождения, который написал "Декамерон" - собрание рассказов, стыдился этой вещи и даже не сообщил о ней своему другу Петрарке и в список "Декамерон" не попал. Боккачио занимался латинскими стихами.

Достоевский не уважал романы, которые писал, а хотел писать другие и ему казалось, что его романы газетные; он писал в письмах, "если бы мне платили столько, сколько Тургеневу, я бы не хуже его писал". Но ему не платили столько, и он писал лучше.

Большая литература это не та литература, которая печатается в толстых журналах, а это литература, которая правильно использует свое время, которая пользуется материалом своего времени.

Положение современного писателя труднее положения писателя прежних времен, потому что старые писатели фактически учились друг у друга. Горький учился у Короленко и очень внимательно учился у Чехова, Мопассан учился у Флобера.

Нашим же современникам учиться не у кого, потому что они попали на завод с брошенными станками и не знают, который станок строгают, который сверлит; поэтому они не учатся часто, а подражают и хотят написать такую вещь, какая была написана прежде, но только про свое. Это неправильно.

Каждое произведение пишется один раз, и все произведения большие, как "Мертвые Души", "Война и Мир", "Братья Карамазовы", все они написаны неправильно, не так, как писалось прежде. Они были написаны по другим заданиям, чем те, которые были заданы старым писателям. Эти задания давно прошли, и умерли люди, которые обслуживались этими заданиями, а вещи остались, и то, что было жалобой на современников, обвинением их, как в "Божественной Комедии" Данте или в "Бесах" Достоевского, стало литературным произведением, которое могут читать люди совершенно не заинтересованные в отношениях, создавших вещь.

Литературные произведения не создаются почкованием - так, как низшие животные - тем, что один роман делится на два романа, а создаются от скрещивания разных особей, как у высших животных.

Есть целый ряд писателей, которые стараются взять старые произведения, встряхнуть из них имена и события и заменить своими; они пользуются в стихотворениях чужим построением фраз, чужой манерой рифмовать - из этого ничего не выходит - это тупик.

Если вы хотите научиться писать, то прежде всего хорошо знайте свою профессию. Научитесь глазами мастера смотреть на чужую профессию и поймите, как сделаны вещи. Не верьте обычным отношениям к вещам, не верьте привычной целесообразности вещей - это первое.

Второе - научитесь читать, медленно читать произведения автора и понимать: что для чего, как связаны фразы и для чего вставлены отдельные куски. Попробуйте потом из какой-нибудь страницы автора выбросить кусок.

Например, у Толстого описывается сцена между княжной Мари и ее стариком-отцом; во время этой сцены визжит колесо; вот вычеркните это колесо - посмотрите, что получится. Посмотрите, чем можно было заменить это колесо, хорошо ли было бы поставить тут пейзаж за окном, описание дождя или "кто-то прошел по коридору". Сделайтесь сознательным читателем.

Когда писал Пушкин, то его дворянская среда в среднем умела писать стихи, т.-е. почти каждый товарищ Пушкина по лицу писал стихи и конкурировал с Пушкиным в альбомах

и т. д., т.-е. было такое же умение писать стихи, как у нас сейчас умение читать. Но это не были поэты-профессионалы. В этой среде людей, понимающих технику писания, и мог создаться Пушкин.

Мы нуждаемся сейчас в создании понимающего читателя; читателя, который может оценить вещь и понимает ее устройство.

Таких читателей должны быть сотни тысяч, и из этих сотен тысяч читателей выделится группа непрофессиональных писателей, и из этой группы непрофессиональных писателей сможет, не выделяясь, произойти писатель - гениальный.

Поэтому современному писателю очень опасно сразу научиться что-нибудь писать, потому что короткое умение писать, умение делать рассказы, писать статьи - это плохая выучка. Для того, чтобы научить человека работать шаблоном - достаточно нескольких недель, если человек умный.

Литературный работник не должен избегать ни профессиональной работы вообще, ни занятия каким-нибудь ремеслом, ни газетной корреспондентской работы, при чем техника производства везде одна и та же. Нужно научиться писать корреспонденции, хронику, потом статьи, фельетоны, небольшие рассказы, театральные рецензии, бытовой очерк и то, что будет заменять роман; т.-е. нужно учиться работать на будущее - на ту форму, которую вы сами должны создать. Обучать же людей просто литературным формам, т.-е. умению решать задачи, а не математике - это значит обкрадывать будущее и создавать пошляков.

## АЛЕКСАНДР БЛОК КАК ЧЕЛОВЕК И ПОЭТ<sup>27</sup>

### Часть первая. А. А. Блок как человек (Отрывки из воспоминаний о Блоке)

Такой любви  
И ненависти люди не выносят  
Какие я в себе ношу...  
*Александр Блок*

I

Блок любил ощущать себя бездомным бродягой, а между тем, казалось бы, русская жизнь давно уже никому не давала столько уюта и ласки, сколько дала она Блоку.

С самого раннего детства -  
Он был заботой женщин нежной  
От грубой жизни огражден.

Так и стояли вокруг него теплой стеной прабабушка, бабушка, мама, няня, тетя Катя - не слишком ли много обожающих женщин? Вспоминая свое детство, он постоянно подчеркивал, что то было детство дворянское, - "золотое детство, елка, дворянское баловство", и называл себя в поэме "Возмездие" то "баловнем судеб", то "баловнем и любимцем семьи". Для своей семьи у него был единственный эпитет - дворянская. Настойчиво твердит он об этом в "Возмездии":

В те дни под петербургским небом  
Живет дворянская семья.

---

<sup>27</sup> Впервые опубликовано в 1924 г. Печатается по: К. Чуковский. Сочинения в 2-х томах. Том II. Критические рассказы. - М.: Издательство «Правда» // <https://profilib.com/chtenie/121336/korney-ivanovich-kriticheskie-rasskazy.php>

Свою мать он именует в этой поэме "нежной дворянской девушкой", в отце отмечает "дворянский склад старинный", а гостеприимство деда и бабки называет "стародворянским".

- "Прекрасная семья, - пишет он. - Гостеприимство - стародворянское, думы - светлые, чувства - простые и строгие",

И не просто дворянской, а стародворянской ощущал он свою семью, "в ней старина еще дышала и жить по-новому мешала". Он даже писал о ней старинным слогом, на старинный лад:

Сия старинная ладья.

Рядом с ним мы, все остальные, - подкидыши без предков и уюта. У нас не было подмосковной усадьбы, где под столетними дворянскими липами варилось бесконечное варенье; у нас не было таких локонов, таких дедов и прадедов, такой кучи игрушек, такого белого и статного коня. Не предками мы сильны, но потомками, а Блок был весь в предках - и как человек, и как поэт. Он был последний поэт-дворянин, последний из русских поэтов, кто мог бы украсить свой дом портретами дедов и прадедов.

Барские навыки его стародворянской семьи были облагорожены высокой культурностью всех ее членов, которые из поколения в поколение труженически служили наукам, но самая эта преимуществом духовной культуры была в ту пору привилегией дворянских семейств - таких, как Аксаковы, Бекетовы, Майковы. Образование Блок получил тоже стародворянское, какого теперь не получить никому. В России только в пушкинскую пору поэты были так хорошо образованны. Судьба словно нарочно устроила так, что и его дед был профессор, и его отец был профессор, и его тесть был профессор, а все его тетки и мать - все были писательницы, жили книгами, молились на книги. От этой наследственной семейной культуры он не отрывался до последнего дня. Разночинец подростком уйдет из семьи, да так и не оглянется ни разу, а Блок до самой смерти дружил со своей замечательной матерью Александрой Андреевной, переживал вместе с нею почти все события своей внутренней жизни, словно еще не порвалась пуповина, соединявшая сына и мать. Трогательно было слышать, как он, сорокалетний человек, постоянно говорит мама и тетя даже среди малознакомых людей. [\[329\]](#) Когда по просьбе проф. С. А. Венгерова он написал краткий автобиографический очерк, он счел необходимым написать не столько о себе, сколько о литературных трудах своих предков. Я шутя сказал ему, что вместо своей биографии он дал биографию родственников. Он, не улыбаясь, ответил:

- Очень большую роль они играли в моей жизни.

И обличье у него было барское: чинный, истовый, немного надменный. Даже в последние годы - без воротника и в картузе - он казался переодетым патрицием. Произношение слов у него было тоже дворянское - слишком изящное, книжное, причем слова, которые обрусели недавно, он произносил на иностранный манер: не мебель, но мэбль (meuble), не тротуар, но trottoir (последние две гласные сливал он в одну). [\[330\]](#) Слово крокодил произносил он тоже как иностранное слово, строго сохраняя два о. Теперь уж так никто не говорит. Однажды я сказал ему, что в знаменитом стихотворении "Пора смириться, сэр" слово сэр написано неверно, что нельзя рифмовать это слово со словом ковер. Он ответил после долгого молчания:

- Вы правы, но для меня это слово звучало тургеневским звуком, вот как бы мой дед произнес его - с французским оттенком - по стародворянски.

Его дед был до такой степени старосветским баринком, что при встрече с мужиком говорил:

- Eh bien, mon petit.

Блок написал о нем в поэме "Возмездие", что "язык французский и Париж ему своих, пожалуй, ближе".

Блока с детства называли царевичем. Отец его будущей жены так и говорил его няне:

- Ваш принц что делает? А наша принцесса уже пошла гулять.

По свидетельству Белого, Блок рядом со своею женою был и правда как царевич с царевной.

Свадьба его была барская - не в приходской церкви, но в старинной, усадебной. По выходе молодых из церкви, их, как помещиков, встретили мужики, поднесшие им по старинному белых гусей и хлеб-соль. Разряженные бабы и девки собрались во дворе и во время свадебного пира величали жениха и невесту, за что им, как на всякой помещичьей свадьбе, высылали денег и гостинцев.

Женитьба Блока положила конец его "Стихам о Прекрасной Даме": женился он в августе 1903 года, а последнее его стихотворение, входящее в этот цикл, помечено декабрем того же года. "Стихи о Прекрасной Даме" могли создаваться только в такой идиллической стародворянской семье: нельзя представить себе, чтобы у разночинца, раздираемого суетами мещанского быта, влюбленность была таким длительным, нечеловечески-возвышенным чувством. После женитьбы жизнь Блока потекла почти без событий. Как многие представители дворянского периода нашей словесности, как Боткин, Тургенев, Майков, Блок часто бывал за границей - на немецких и французских курортах, в Испании, скитался по итальянским и нидерландским музеям - посещал Европу, как образованный русский барин, как человек сороковых годов.

## II

Казалось бы, это была самая идиллическая, мирная и светлая жизнь.

Но странно: стоит только вместо биографии Блока прочесть любое из его стихотворений, как вся идиллия рассыплется вдребезги, будто кто-то швырнул в нее бомбу. Куда денется весь этот дворянский уют со всеми своими флер д'оранжами, форелями и французскими фразами! Его благодушный биограф, например, говорит, что осень 1913 года он прожил у себя в своей усадьбе, причем по-детски развлекался шарадами, "сотрясаясь от хохота и сияя от удовольствия".[\[331\]](#) А между тем из его стихотворений мы знаем, что если он и сотрясался в эту осень, то отнюдь не от хохота: в эту осень он писал такое:

Милый друг, и в этом тихом доме  
Лихорадка бьет меня.  
Не найти мне места в тихом доме  
Возле мирного огня!  
Голоса поют, взывает вьюга,  
Страшен мне уют.  
Даже за плечом твоим, подруга,  
Чьи-то очи стерегут!

Его биография безмятежна, а в стихах - лихорадка ужаса. Даже в тишине чуял он катастрофу. Это предчувствие началось у него в самые ранние годы. Еще юношей Блок писал:

Увижу я, как будет погибать  
Вселенная, моя отчизна.  
Говоря о своей музе, он указал раньше всего, что все ее песни - о гибели!  
Есть в напевах твоих сокровенных  
Роковая о гибели весть.

Всю жизнь он ощущал себя обреченным на гибель, выброшенным из родного уюта, и в одной из первых своих статей говорил:

- Что же делать? Что же делать? Нет больше домашнего очага... Двери открыты на вьюжную площадь.

И тогда же, или даже раньше, он, баловень доброго дома, обласканный "нежными женщинами", почувствовал себя бессемейным бродягой, и почти все свои стихи стал писать от имени этого отчаянного, бесприютного, пронизанного ветром человека. Читая его стихи, никогда не подумаешь, что они создавались под столетними липами, в тихой стародворянской семье. В этих стихах нет ни одной идиллической строчки - в них либо гнев, либо тоска, либо отчаяние, либо "попиранье заветных святынь". Если не в своей биографии, то в творчестве он отринул все благополучное и с юности сделался поэтом неуюта, неблагополучия, гибели.

Всмотритесь в одну из его фотографий. Он сидит за самоваром, с семьей, в саду, окруженный стародворянской идиллией, среди ласковых улыбок и роз, но лицо у него страшное, бездомное, лермонтовское, - чуждое этим улыбкам и розам. Он отвернулся от всех, и кажется, что у него в этом доме нет ни семьи, ни угла. Таков он и был в своем творчестве: жил неуютно и губительно. Все его творчество было насыщено апокалипсическим чувством конца - конца неминуемого, находящегося уже "при дверях". Трепетно отозвался он на гибель Мессины: это землетрясение, разрушившее столько уютов, соответствовало чувству конца, которым он был охвачен всю жизнь. Комета Галлея и какая-то другая комета с ядовитым хвостом тоже вдохновили его, потому что и они были губельны. Никакого благополучия его душа не вмещала и отзывалась только на трагическое: недаром его Вечными Спутниками были такие неблагополучные, губельные, лишенные уюта скитальцы, как Аполлон Григорьев, Гоголь, Врубель, Катилина. Этим людей Блок полюбил за то, что они были "проклятые", за то, что их фигуры "грозили кораблекрушением", за то, что все они могли бы сказать: "наше дело пропащее". Все статьи его седьмого тома, напечатанного после его смерти,[\[332\]](#) о чем бы он там ни писал, внушены ему предчувствием какой-то страшной беды. Это только так кажется, что в одной статье он говорит об Аполлоне Григорьеве, в другой о Врубеле, в третьей о Гоголе: каждая из них есть крик о неотвратимой опасности.

На стр. 81-й читаем:

"Не совершается ли уже, пока мы говорим здесь, какое-то страшное и безмолвное дело? Не обречен ли кто-нибудь из нас бесповоротно на гибель?"

На стр. 93-й:

"Мы бросаемся прямо под ноги бешеной тройке, на верную гибель..."

На стр. 94-й:

- "Я думаю, что в сердцах людей последних поколений залегло неотступное чувство катастрофы..."

На стр. 147-й:

"Гибель неизбежна..."

На стр. 194-й:

"Или нам суждена та гибель..?"

Где ни откроешь книгу, всюду - это чувство идущего на нас уничтожения. Даже скитаясь в 1909 году в Италии по мирным монастырям и музеям, он с уверенностью, безо всяких колебаний, пророчит, что скоро все это будет разрушено:

- "Уже при дверях то время, когда неслыханному разрушению подвергнется и искусство. Возмездие падет и на него".

Таких цитат можно выбрать десятки и сотни. С 1905 года Блок все двенадцать лет только и твердил о катастрофе. И замечательно, что он не только не боялся ее, но чем дальше, тем страстнее призывал. Только в революции он видел спасение от своей "острожной тоски". Революцию призывал он громко и требовательно:

Эй, встань и загорись, и жги!

Эй, подними свой верный молот,

Чтоб молнией живой расколот

Был мрак, где не видать ни зги!

(1907)

Никто так не верил в мощь революции, как Блок. Она казалась ему всемогущей. Он предъявлял к ней огромные требования, но он не усумнился ни на миг, что она их исполнит. Только бы она пришла, а уж она не обманет. Этой оптимистической, безмерною верою в спасительную роль революции исполнены статьи всего седьмого тома. В одной из этих статей говорится: "рано или поздно - все будет по-новому, потому что жизнь прекрасна". Эти слова можно поставить эпиграфом ко всей его книге. Жизнь втайне прекрасна, мы не видим ее красоты, потому что она загажена всякою дрянью. Революция сожжет эту дрянью, и жизнь предстанет пред нами красавицей. Меньшего Блок не хотел. Никаких половинных даров: всё или ничего. "Жить стоит только так, - говорил он, - чтобы предъявлять безмерные требования к жизни: все или ничего; ждать неожиданного; пусть сейчас этого нет и долго не будет. Но жизнь отдаст нам это, ибо она - прекрасная".

В другой, более ранней статье он писал, что он с полным правом и ясной надеждой ждет нового света от нового века. [\[333\]](#)  
Чего же он хотел от революции?

### III

Раньше всего он хотел, чтобы она преобразила людей. Чтобы люди сделались людьми.

Таково было его первое требование.

Никто, кажется, до сих пор не заметил, как мучился Блок всю жизнь оттого, что люди - не люди. Однажды, сидя со мною в трамвае, он сказал: "Я закрываю глаза, чтобы не видеть этих обезьян". - Я спросил: "Разве они обезьяны?" - Он сказал: "А вы разве не знаете этого?"

- "Груды человеческого шлака", - говорит он о людях, - "человеческие ростбифы", "серые виденья мокрой скуки".

Еще восемнадцатилетним подростком он высокомерно написал:  
Смеюсь над жалкою толпою,  
Но вздохов ей не отдаю.

Большинство людей для него было - чернь, которая только утомляла его своей пошлостью.

"Чернь петербургская глазела подобострастно на царя". "А чернь старалась, как могла". В своей речи о Пушкине он дает такое определение черни: "они - люди; это не особенно лестно; люди - дельцы и пошляки, духовная глубина которых безнадежно и прочно заслонена "заботами суетного света"".

Только те, чья духовная глубина не заслонилась суетами и заботами, получали от него наименование людей. Но таких было мало. Остальные - двуногая тварь. Сколько их заклеяно презрением в прозе и стихотворениях Блока: "пузатые иереи", всевозможные "Жоржи и Аркадии Романовичи" (из "Незнакомки"), "испытанные остряки", "презрительные эстеты", мистики (из пьесы "Балаганчик"), придворные (из "Розы и Креста"), "толпа зевак и модниц", английские туристы (из "Молний Искусства"), - все это для него человеческий шлак, - груды отвратительного мусора.

Их-то и должна была преобразить катастрофа. Блок был твердо уверен, что, пережив катастрофу, все человекоподобные станут людьми. Предзнаменованием этого трагического катарсиса, этого перерождения путем катастрофы - служило для Блока землетрясение в Калабрии. Статья Блока, посвященная этой катастрофе, не печальна, но радостна: катастрофа показала поэту, что очищенные великой грозой-люди становятся бессмертно прекрасны.

"Так вот каков человек, - пишет Блок. - Беспомощней крысы, но прекраснее и выше самого призрачного, самого бесплотного видения. Таков обыкновенный человек. Он не Передонов и не насильник, не развратник и не злодей... Он поступает страшно просто, и в этой простоте только сказывается драгоценная жемчужина его духа. А истинная ценность жизни и смерти определяется только тогда, когда дело доходит до жизни и смерти".

Эта вера делала Блока таким оптимистом, когда он призывал революцию. Он был уверен, что революция сумеет обнаружить в этом человеческом мусоре "драгоценные жемчужины духа".

В огне революции чернь преобразится - в народ. Блуждая по Италии, он с отвращением твердил об итальянцах, что это - "стрекошущие коротконогие подобия людей", [334] но стоило разразиться над Италией грозе, и Блок о тех же "коротконогих подобиях людей" написал: "Какая красота скорби, самоотвержения, даже самого безумия".

Знаменательно здесь это слово "красота". Блок относился к истории и к революции как художник. Он постоянно твердил: "мы, художники", "я, как художник"... - Все не отмеченное революцией казалось ему антихудожественным, но он верил, что когда придет революция, это уродство превратится в красоту.

"Рано или поздно всё будет по-новому, потому что жизнь прекрасна".

В начале поэмы "Возмездие", обращаясь к художнику, Блок говорил:  
Сотри случайные черты,  
И ты увидишь: мир прекрасен.

И в конце поэмы повторял то же самое, говоря, что умудренный художник, несмотря на всю свою тоску, может в минуту прозрения постичь, что Мир прекрасен, как всегда.

Мир прекрасен, но его загаживает человеческий шлак. Стоит только этому шлаку перегореть в революции, и красота мира будет явлена всем.

Порою охватывало Блока отчаяние: ему казалось, что даже революция бессильна переделать нашу загаженную жизнь в прекрасную.

В такие минуты он писал своей матери: "Более чем когда-либо я вижу, что ничего в жизни современной я до смерти не приму и ничему не покорюсь. Ее позорный строй внушает мне отвращение. Переделать уж ничего нельзя - не переделает никакая революция". [335]

Но эти минуты отчаяния лишь сильнее оттеняли его веру, В эти минуты было видно с особой отчетливостью, как ненавистен ему весь "старый мир" - со всеми своими дредноутами, Вильгельмами, отелями, курортами, газетами, кокотками. Этого "старого мира" он не мог принять никогда. В другом письме из-за границы (1911 г.) он писал: "Здесь ясна чудовищная бессмыслица, до которой дошла цивилизация, ее подчеркивают напряженные лица и богатых, и бедных, шныряние автомобилей, лишенное всякого внутреннего смысла, и пресса - продажная, талантливая, свободная и голосистая".

С омерзением говорил он в том же письме о самой демократической стране - Англии, "где рабочие доведены до иступления 12-часовым рабочим днем (в доках) и низкой платой, и где все силы идут на держание в кулаке колоний и на постройку "супердредноутов".

Вообще его статьи и письма полны проклятий подлому европейскому строю, который, вместо людей, фабрикует какую-то позорную дрянь. Презрением, яростью, болью, тоскою звучат знаменитые вступительные строки "Возмездия", где Блок в могучих, но усталых стихах прокликает свою страшную предгрозовую эпоху:

Двадцатый век... Еще бездомней  
Еще страшнее жизни мгла  
(Еще чернее и огромнее  
Тень люциферова крыла).  
Пожары дымные заката  
(Пророчества о нашем дне).  
Кометы грозной и хвостатой  
Ужасный призрак в вышине.  
Безжалостный конец Мессин  
(Стихийных сил не превозмочь)

И неустанный рев машины  
Кующей гибель день и ночь.

Здесь опять это слово гибель, преследующее Блока повсюду: не было вокруг него такого явления жизни, в котором ему не почудилась бы "роковая о гибели весть". И свой родной дом, и свою личную жизнь, и всю цивилизацию мира он только и оправдывал гибелью. Только гибелью была освящена в его глазах вся наша несправедливая эпоха, готовящая сама для себя катастрофу. Блок один из первых почувствовал, что наша гибельная кровь:

Сулит нам, раздувая вены,  
Все разрушая рубежи,  
Неслыханные перемены,  
Невиданные мятежи...

(1910)

Он был весь в мятеже, с юности, с той самой минуты, когда впервые столкнулся с черным человеческим бытом. В нем, в его творчестве, не было ни одного волоска от той идиллии, среди которой он жил, - от семейного уюта, от стародворянской усадьбы. Его творчество было во вражде с его бытом. То, чем он жил в своей жизни, он сжигал дотла в своем творчестве.

IV

Говоря, что катастрофическое творчество Блока было во вражде с его бытом, я отнюдь не хочу сказать, что стародворянский быт не наложил отпечатка на его катастрофическое творчество.

Напротив, я заранее согласен с теми, кто, изучив его книги, рано или поздно докажут:

что, в сущности, даже революционные чувства были у него стародворянскими;

что производимое им деление человечества на две неравные части. - на чернь и не чернь (хотя бы по признаку духовной просветленности) - есть особенность мышления феодального;

что отличавшая Блока ненависть к цивилизации и ко "всевозможным теориям прогресса" могла зародиться лишь в старобарском, усадебном, яснополянском быту;

что даже в тех огромных, непомерных требованиях, которые Блок предъявлял к революции, презируя ее компромиссы и будни, мечтая, чтобы она стала огненным преобразованием всего человечества, - даже в этом максимализме отразился патрицизм, чрезвычайно далекий от той "груды человеческого шлака", которая, при всей кажущейся своей неприглядности, есть истинный материал революции;

что даже его патетическая поэзия гибели имеет корни в той же стародворянской культуре, так как эта обреченная на гибель культура не могла не воспитать в своих гениях присущее ей трагическое чувство конца.

Но, говоря о гении, попытаемся хоть в самой малой мере пережить его гениальные думы и чувства, взволноваться его мученической и пророческой лирикой. Все эти схемы, быть может, и правильны, но где тот всеобъемлющий дух, который мог бы одновременно и классифицировать поэтов по ярусам социального строя и мучительно переживать их лирику? Либо то, либо другое, но одновременно - этого почти никогда не бывает. [\[336\]](#)

V

Как все другие произведения Блока, его поэма "Возмездие" есть поэма о гибели. Блок изображает в ней свой родительский дом, который понемногу разрушается. Этот дом и есть герой поэмы, - не отдельный человек, но весь дом.

- "Гостеприимный старый дом", - говорит о нем Блок. - "Гостеприимный добрый дом".

В этом добром доме жили его милые, слабые, книжные, наивные деды, которые издали кажутся поэту прекрасными:



Всем ведомо, что в доме этом  
И обласкают, и поймут,  
И благородным, мягким светом  
Всё осветят и обольют.

Но дому этому суждено быть разрушенным. Вся поэму можно назвать "Дом, который рухнул". Блок, как истинный поэт катастроф, четко отмечает каждый новый удар, расшатывающий эту твердыню.

С середины девятнадцатого века со всех сторон на стены доброго дома напирают сокрушительные силы, и каждая зовется революцией. Дом стоит и не подозревает, что он обречен. Он уютен и светел, его обитатели благодущны и радостны, но Блок видит, что дом окружен катастрофами, но Блок знает, что те кровавые зори, которые обагрят мирные окна уютного дома, есть зарево идущей революции. Изображая - гениальными чертами - глухую пору Александра Третьего, Блок и ее озаряет такой же кровавой зарей:

Раскинулась необозримо  
Уже кровавая заря  
Гроза Артуром и Цусимой,  
Гроза девятым января.. [\[337\]](#)

Разрушение дома шло исподволь. В шестидесятых годах на него сделал набег разночинец, "нигилист в косоворотке". Дом дрогнул, но не рухнул, устоял. Это был первый прибой революции.

В семидесятых годах дом был весь потрясен террористами; в поэме сочувственно изображаются и Желябов, и Софья Перовская - люди "с обреченными глазами".

Грянул взрыв  
С Екатеринина канала.

Дом дрогнул, но опять устоял. И стоял бы, быть может, до нашего времени, если бы, к началу восьмидесятых годов, в его дверь не ворвался самый страшный разрушитель - "хищник", "ястреб", "демон", "вампир" - отец Александра Блока. Это предвестник революции внутренней, сокрушитель всех духовных дворянских уютов. Он окончательно испепелил ту идиллию, которую соорудили - над бездной - обитатели доброго дома, он вынул из дома его душу, оставил дом без уюта и быта, чем и подготовил его последнюю гибель.

"Возмездие" - поэма пророческая, с широким всемирно-историческим захватом, многими своими чертами близкая "Медному Всаднику". Она осталась незаконченной. Но то, что недосказано в этой поэме, мы знаем из других стихотворений Блока: в добром доме явился ребенок; юность - это возмездие. Сын страшного демона, - который только и умел, что разрушать, - родился обреченным на гибель и всю жизнь чувствовал себя бессемейным бродягой, выброшенным на вьюжную площадь. Дома у него уже не было. Правда, стены стояли по-прежнему, но, по выражению Блока, они уже были "пропитаны ядом". В душе уже не осталось ни елки, ни няни, ни лампадки, ни Пушкина, все благополучное и ясное заменилось - "иронией", "вестью о гибели", "поруганием счастья" и другими неютами бездомного. В доме уже не стало очага, - только ветер:

Как не бросить все на свете,  
Не отчаяться во всем  
Если в гости ходит ветер,  
Только дикий, черный ветер,  
Сотрясающий мой дом.

Что ж ты, ветер,  
Стекла гнешь?  
Ставни с петель  
Дико рвешь?

Вся лирика Блока с 1905 года - это бездомность и ветер.

Бездомность он умел изображать виртуозно, бездомность оголтелую, предсмертную. Есть она и в "Возмездии", в третьей главе, где "баловень дворянского дома", только что похоронивший отца, скитается ночью над Вислой.

Сколько бы ни повторяли биографы, что дом у Блока был уютный и светлый, с замечательной библиотекой, со старинной мебелью, мы, читатели, знаем о его доме иное: Старый дом мой пронизан мятелью,  
И остыл одинокий очаг.

Он великолепно умел ощущать свой уют неуютом. И когда, наконец, его дом был и вправду разрушен, когда во время революции было разгромлено его имение Шахматово, он словно и не заметил утраты. Помню, рассказывая об этом разгроме, он махнул рукой и с улыбкой сказал: "Туда ему и дорога". В душе у него его дом давно уже был грудой развалин.

VI

Когда пришла революция, Блок встретил ее с какой-то религиозною радостью, как праздник духовного преображения России.

Много нужно было мужества ему, аристократу, "эстету", чтобы в том кругу, где он жил, заявить себя "большевиком". Он знал, что это значило для него отречься от друзей, остаться одиноким, быть оплеванным теми, кого он любил; отдать себя на растерзание бешеной своре газетных борзых, которые вчера еще так угодливо виляли хвостами. Но он принял этот крест без колебания, так как привык - и в литературе, и в жизни - мужественно служить своей правде, подчиняясь лишь ее велениям, не считаясь ни с любовью, ни со злобой.

Этим мужеством Блок отличался всегда. Когда в 1903 году он выступил на литературное поприще, газетчики глумились над ним, как над спятившим с ума декадентом. Из близких (кроме жены и всепонимающей матери) никто не воспринимал его лирики. [\[338\]](#) Но он не сделал ни одной уступки, он шел своим путем до конца.

Позже, в 1908 году, он тоже выступил один против всех, приветствуя народную интеллигенцию, только что тогда намечавшуюся, - он безбоязненно противопоставил ей интеллигенцию так называемого культурного общества и пророчил, что между этими двумя интеллигенциями неизбежна кровавая встреча, что победа суждена - не нам. Многих это рассердило тогда, лучшие друзья порвали с ним, но Блок остался верен своей правде.

То же и теперь: он стоял под ураганом клевет и обид - ясный, счастливый и верующий. Сбылось долгожданное, то, о чем пророчествовали ему кровавые зори. Он радостно вышел один против всех, так как чувствовал себя в полной гармонии с хаосом. Как-то в начале января 1918 года он был у знакомых и в шумном споре защищал революцию октябрьских дней. Его друзья никогда не видели его таким возбужденным. Прежде спорил он спокойно, истово, а здесь жестикулировал и даже кричал. В споре он сказал между прочим:

- А я у каждого красногвардейца вижу ангельские крылья за плечами.

Это заявление вызвало много сарказмов. Блок ушел - и написал "Двенадцать". Казалось, что это только начало долгой, героической борьбы. Но прошел еще месяц - и Блок замолчал. Не то чтобы он разлюбил революцию или разуверился в ней. Нет, но в революции он любил только экстаз, а ему показалось, что экстатический период русской революции кончился. Правда, ее вихри и пожары продолжались, но в то время, как многие кругом жаждали, чтобы они прекратились, Блок, напротив, требовал, чтобы они были бурнее и огненнее. Он до конца не изменил революции. Он только невзлюбил в революции то, что не считал революцией: все обывательское, скопидомное, оглядчивое, рабье, уступчивое. Он остался до конца максималистом, но максимализм его был не от мира сего и требовал от людей невозможного: чтобы они только и жили трагическим, чтобы они только и жаждали гибели, чтобы они были людьми. Это был максимализм

созерцателя, смотрящего на революцию издали. Он не хотел позволить человечеству, чтобы, пережив катастрофу, оно снова превратилось в "грудю шлака". Ему казалось, что после великой грозы все должно быть иное, что люди, очистив свою жизнь грозой, не смеют быть блудливыми и пошлыми. Он разочаровался не в революции, но в людях: их не переделать никакой революцией. Чего же он ждал столько лет? Неужели напрасно пылали для него красные зори? Неужели те зори пророчили это? Поэт и в революции оказался бездомным, не прилепившимся ни к какому гнезду; он не мог простить революции до конца своих дней, что она не похожа на ту, о которой он мечтал столько лет. Но она и не обещала ему, что она будет похожа. Это была подлинная революция - в ней был и огонь, и дым, она была и безумная, и себе на уме. Он же хотел, чтобы она была только безумная.

Отсюда его страшная тоска в последние предсмертные годы. Он оказался вне революции, вне ее праздников, побед, поражений, надежд и почувствовал, что ему осталось одно - умереть.

Однажды в Москве - в мае 1921 года - мы сидели с ним за кулисами Дома Печати и слушали, как на подмостках какой-то "вития", которых так много в Москве, весело доказывал толпе, что Блок, как поэт, уже умер:

"Я вас спрашиваю, товарищи, где здесь динамика? Эти стихи - мертвечина и написал их мертвец". - Блок наклонился ко мне и сказал:

- Это правда.

И хотя я не видел его, я всею спиною почувствовал, что он улыбается.

- Он говорит правду: я умер.

Тогда я возражал ему, но теперь вижу, что все эти последние годы, когда я встречался с ним особенно часто и наблюдал его изо дня в день, были годами его умирания. Заболел он лишь в марте 1921 года, но начал умирать гораздо раньше, еще в 1918 году, сейчас же после написания "Двенадцати" и "Скифов". День за днем умирал великий поэт в полном расцвете своего дарования, и, что бы он ни делал, куда бы ни шел, он всегда ощущал себя мертвым. У него еще хватало силы таскать на спине из дальних кооперативов капусту, дежурить по ночам у ворот, рубить обледенелые дрова, но даже походка его стала похоронная, как будто он шел за своим собственным гробом. Нельзя было смотреть без тоски на эту страшную неторопливую походку, такую величавую и такую печальную.

Он умер сейчас же после написания "Двенадцати" и "Скифов", потому что именно тогда с ним случилось такое, что, в сущности, равносильно смерти. Он онемел и оглох. То есть он слышал и говорил, как обыкновенные люди, но тот изумительный слух и тот серафический голос, которыми обладал он один, покинули его навсегда. Все для него вдруг стало беззвучно, как в могиле. Он рассказывал, что, написав "Двенадцать", несколько дней подряд слышал непрекращающийся не то шум, не то гул, но после замолкло и это. Самую, казалось бы, шумную, крикливую и громкую эпоху он вдруг ощутил как беззвучие.

В марте 1921 года мы проходили с ним по Дворцовой площади и слушали, как громяют орудия.

- Для меня и это - тишина, - сказал он. - Меня клонит в сон под этот грохот...

Вообще в последние годы мне дремлется.

Самое страшное было то, что в этой тишине перестал он творить. Едва только он ощутил себя в могиле, он похоронил даже самую мысль о творчестве. То есть он писал, и писал много, но уже не стихи, а протоколы, казенные бумаги, заказанные статьи.

Ему говорили:

- Составьте список ста лучших писателей.

И он покорно составлял не один, а даже несколько списков и шел своей похоронной походкой бог знает куда на заседание, где эти списки обсуждались и гибли.

Ему говорили:

- Напишите пьесу из быта древних египтян.

И он покорно брал Масперо и садился за выполнение заказа.

Ему говорили:

- Проредактируйте сочинения Гейне.

И он на целые месяцы погружался в кропотливую работу сверки текстов, читал множество бездарных переводов и, выбрав из них наименее бездарные, переделывал и перекраивал их, и писал переводчикам длинные письма о том, что такая-то строка подлежит переделке, а в такой-то не хватает слога.

Ему говорили:

- Дайте отзыв о рукописях, которые надлежало бы возможно скорее издать.

он с той же добросовестностью гения писал несколько рецензий подряд о случайных, первых попавшихся книгах. Помню, на одном из заседаний редакционной коллегии Дейтелей Художественного Слова он читал написанные им по заказу статьи о Дмитрие Цензоре, Георгии Иванове, Мейснере, Долинове, и таких статей было много, и работал он над ними усидчиво, но стихов уже не писал.

Еще в 1918 году, в ноябре, когда он служил в Театральном Отделе, он говорил мне, что теперь у него нет ничего, даже снов:

- Всю жизнь видел отличные сны, а теперь нет снов. Либо не снится ничего, либо снится служба: телефоны, протоколы, заседания.

Но творчество его прекратилось не потому, что у него не было времени, и не потому, что условия его жизни стали чересчур тяжелы, а по другой, более грозной причине. Конечно, его жизнь была тяжела: у него даже не было отдельной комнаты для занятий; в квартире не было прислуги; часто из-за отсутствия света он по неделям не прикасался к перу. И едва ли ему было полезно ходить почти ежедневно пешком такую страшную даль - с самого конца Офицерской на Моховую, во "Всемирную Литературу". Но не это тяготило его. Этого он даже не заметил бы, если бы не та тишина, которую он вдруг ощутил.

Когда я спрашивал у него, почему он не пишет стихов, он постоянно отвечал одно и то же:

- Все звуки прекратились. Разве вы не слышите, что никаких звуков нет?

Однажды он написал мне письмо об этом беззвучии: "Новых звуков давно не слышно, - писал он. - Все они притушены для меня, как, вероятно, для всех нас... Было бы кощунственно и лживо припоминать рассудком звуки в беззвучном пространстве".

До той поры пространство звучало для него так или иначе, и у него была привычка говорить о предметах: "это музыкальный предмет" или это "немузыкальный предмет". Даже об одном юбилее он писал мне однажды, что этот день был "не пустой, а музыкальный".

Он всегда не только ушами, но всей кожей, всем существом ощущал окружающую его "музыку мира". В предисловии к поэме "Возмездие" он пишет, что в каждую данную эпоху все проявления этой эпохи имеют для него один музыкальный смысл, создают единый музыкальный напор. Вслушиваться в эту музыку эпох он умел, как никто. Поистине, у него был сейсмографический слух: задолго до войны и революции он уже слышал их музыку.

Эта-то музыка и прекратилась теперь... "И поэт умирает, потому что дышать ему нечем".

## VII

Это было тем более страшно, что перед тем, как затихнуть, он был весь переполнен музыкой. Он был из тех баловней музыки, для которых творить - значило вслушиваться, которые не знают ни натуги, ни напряжения в творчестве. Не поразительно ли, что всю поэму "Двенадцать" он написал в два дня? Он начал писать ее с середины, со слов:

Уж я ножичком

Полосну, полосну!

- потому что, как рассказывал он, эти два "ж" в первой строчке показались ему весьма выразительными. Потом перешел к началу и в один день написал почти все: восемь песен, до того места, где сказано:

Упокой, Господи, душу рабы твоя.

Скучно.

Почти всю поэму - в один день! Необыкновенная энергия творчества! За полгода до смерти он показывал мне ее черновик, и я с удивлением смотрел на опрятные, изящные, небольшие листочки, где в такое короткое время, так легко и свободно, карандашиком, почти без помарок, он начертал эту великую поэму. Никакой натуги, никаких лишних затрат вдохновения! Творить ему было так же легко, как дышать. Написать в один день два, три, четыре, пять стихотворений подряд было для него делом обычным. За десять лет до того января, когда он написал свои "Двенадцать", выдался другой такой январь, когда в пять дней он создал двадцать шесть стихотворений, - почти всю свою "Снежную Маску". Третьего января 1907 года он написал шесть стихотворений, четвертого - четыре, восьмого - четыре, девятого - шесть, тринадцатого - шесть. В сущности, как я уже писал, не было отдельных стихотворений Блока, а было одно, сплошное, неделимое стихотворение всей его жизни; его жизнь и была стихотворением, которое лилось непрерывно, изо дня в день, - двадцать лет, с 1898-го по 1918-й.

Оттого так огромен и многознаменателен факт, что это стихотворение вдруг прекратилось. Никогда не прекращалось, а теперь прекратилось. Человек, который мог написать об одной только Прекрасной Даме, на одну только тему восемьсот стихотворений подряд, восемьсот любовных гимнов одной женщине, - невероятный молитвенник! - вдруг замолчал совсем и в течение нескольких лет не может написать ни строки!

Оттого я и говорю, что конец его творчества, наступивший три года назад, в сущности, и был его смертью.

Написав "Двенадцать", он все эти три с половиною года старался уяснить себе, что же у него написалось.

Многие помнят, как пытливо он вслушивался в то, что говорили о "Двенадцати" кругом, словно ждал, что найдется такой человек, который, наконец, объяснит ему значение этой поэмы, не совсем понятной ему самому. Словно он не был виноват в своем творчестве, словно поэму написал не он, а кто-то другой, словно он только записал ее под чужую диктовку.

Однажды Горький сказал ему, что считает его поэму сатирой. "Это самая злая сатира на все, что происходило в те дни". - "Сатира? - спросил Блок и задумался. - Неужели сатира? Едва ли. Я думаю, что нет. Я не знаю".

Он и в самом деле не знал, его лирика была мудрее его. Простодушные люди часто обращались к нему за объяснениями, что он хотел сказать в своих "Двенадцати", и он, при всем желании, не мог им ответить. Он всегда говорил о своих стихах так, словно в них сказались чья-то посторонняя воля, которой он не мог не подчиниться, словно это были не просто стихи, но откровение свыше. [\[339\]](#)

Помню, как-то в июне в 1919 году Гумилев, в присутствии Блока, читал в Институте Истории Искусств лекцию о его поэзии и между прочим сказал, что конец поэмы "Двенадцать" (то место, где является Христос) кажется ему искусственно приклеенным, что внезапное появление Христа есть чисто литературный эффект.

Блок слушал, как всегда, не меняя лица, но по окончании лекции сказал задумчиво и осторожно, словно к чему-то прислушиваясь:

- Мне тоже не нравится конец "Двенадцати". Я хотел бы, чтобы этот конец был иной.

Когда я кончил, я сам удивился: почему Христос? Но чем больше я вглядывался, тем яснее я видел Христа. И я тогда же записал у себя: к сожалению, Христос.

Гумилев смотрел на него со своей обычной надменностью: сам он был хозяином и даже командиром своих вдохновений и не любил, когда поэты ощущали себя

безвольными жертвами собственной лирики. Но мне признание Блока казалось бесценным: поэт до такой степени был не властен в своем даровании, что сам удивлялся тому, что у него написано, боролся с тем, что у него написано, сожалел о том, что у него написано, но чувствовал, что написанное им есть высшая правда, не зависящая от его желаний, и уважал эту правду больше, чем свои личные вкусы и верования. [340]

Эта правда была для него вне литературы, и он именно за то не любил литературу, что видел в ней умаление этой правды. Он не любил в себе литератора и считал это слово ругательным. Только в минуты крайнего недовольства собою называл он себя этим именем.

Был он только литератор модный

Только слов кощунственных творец -

осудительно сказал он о ком-то. Я спросил у него: о ком? Он ответил: о себе. Была такая полоса его жизни, когда он чуть не стал литератором. Он всегда ощущал ее как падение.

Он не из книг, а на опыте всего своего творчества знал, что поэзия - не только словесность, и то обстоятельство, что нынешним молодым поколением она ощущается именно так, казалось ему зловещим знаменем нашей эпохи. Нынешние подходы к поэзии с чисто формальным анализом поэтической техники казались ему смертью поэзии. Он ненавидел появившиеся именно теперь всякие студии для формального изучения поэзии, потому что и в них ему чудилось то самое веяние смерти, которое он чувствовал вокруг...

### VIII

...Мне часто приходилось слышать и читать, что лицо у Блока было неподвижное. Многим оно казалось окаменелым, похожим на маску, но я, вглядываясь в него изо дня в день, не мог не заметить, что, напротив, оно всегда было в сильном, еле уловимом движении. Что-то вечно зыбилось и дрожало возле рта, под глазами, и всеми порами как бы втягивало в себя впечатления. Его спокойствие было кажущимся. Тому, кто долго и любовно всматривался в это лицо, становилось ясно, что это лицо человека чрезмерно, небывало впечатлительного, переживающего каждое впечатление, как боль или радость. Бывало, скажешь какое-нибудь случайное слово и сейчас же забудешь, а он придет домой и, спустя час или два, звонит по телефону! - Я всю дорогу думал о том, что вы сказали сегодня. И потому хочу вас спросить... и т. д.

В присутствии людей, которых он не любил, он был мучеником, потому что всем телом своим ощущал их присутствие: оно причиняло ему физическую боль. Стоило войти такому нелюбимому в комнату, и на лицо Блока ложились смертные тени. Казалось, что от каждого предмета, от каждого человека к нему идут невидимые руки, которые царапают его.

Когда весною этого года мы были в Москве и он должен был выступать перед публикой со своими стихами, он вдруг заметил в толпе одного неприятного слушателя, который стоял в большой шапке неподалеку от кафедры. Блок, через силу прочитав два-три стихотворения, ушел из зала и сказал мне, что больше не будет читать. Я умолял его вернуться на эстраду, я говорил, что этот в шапке - один, что из-за этого в шапке нельзя же наказывать всех, но глянул на лицо Блока и замолчал. Все лицо дрожало мелкой дрожью, глаза выцвели, морщины углубились.

- И совсем он не один, - говорил Блок. - Там все до одного в таких же шапках!

Его все-таки уговорили выйти. Он вышел хмурый и вместо своих стихов прочел, к великому смущению собравшихся, латинские стихи Полициана:

Conditus hic ego sum picture fama Philippus

Nulli ignota mee gratia mira manu

Artificis potui digitis animare colore

Sperataque animos fallere voce Diu...

Многие сердились, но я видел, что иначе он не мог поступить, что это - не каприз, а болезнь.

Именно эта гипертрофия чувствительности сделала его великим поэтом, но она же погубила его, потому что можно ли существовать в наше время с такой необычайной восприимчивостью? Можно ли, например, так мучительно ощущать тишину, как ощущал ее он? - всем телом, всей поверхностью кожи, - как мы ощущаем тепло или холод. Порою, когда он говорил о России, мне казалось, что и Россию он чувствует всем телом, как боль.

IX

...И как всегда бывало с ним в пору тоски, он в последнее время много смеялся, но был ли еще у кого такой печальный и понурый смех?

Именно понурый, тот самый, который сказался в его "Балаганчике" и "Незнакомке" - смех над собственной болью. Лирический дар погиб, но дар иронии остался, и это было единственное, что осталось у него до конца.

Наклонится ко мне во время заседания и расскажет с улыбкой, что вчера, когда он дежурил у ворот своего дома, какой-то насмешливый прохожий увидел его и сказал:

И каждый вечер в час назначенный  
(Иль это только снится мне?)...

Или возьмет мою тетрадь "Чукоккалу" и впишет в нее шуточный стихотворный экспромт, который сочинил по дороге. Однажды он прислал мне целую пьесу в стихах об одном из наших заседаний. 28 декабря 1919 года, в ответ на мои стихотворные строки, обращенные к нему и Гумилеву, он прислал мне длинное стихотворение, которое я и хочу привести здесь. В этом стихотворении поэт говорит о тех преходящих мелочах революционного быта, которые ныне для нас являются древней историей. (Причем необходимо сказать, что упоминаемая в этом стихотворении Роза есть небезызвестная в литературных кругах продавщица папирос и хлеба.)

Нет, клянусь, довольно Роза

Истошала кошелек!

Верь, безумный, он - не проза,

Свыше данный нам паек!

Без него теперь и Поза

Прострелил бы свой висок

Вялой прозой стала роза

Соловьиный сад поблек,

Пропитанию угроза -

Уж железных нет дорог,

Даже (вследствие мороза?)

Прекращен трамвайный ток,

Ввоза, вывоза, подвоза -

Ни на юг, ни на восток, -

В свалку всякого навоза

Превратится городок, -

Где же дальше Совнархоза

Голубой искать цветок?

Повторение одних и тех же рифм и смешило и угнетало, как однообразная боль. Блок говорил, что он сочинил это стихотворение по пути из "Всемирной Литературы" домой, что множество таких же рифм стучало у него в голове, что он записал только малую долю.

Замечательно, что он не побоялся ввести в эту шутку свои любимые романтические образы: соловьиный сад, голубой цветок, Незнакомку. О голубом цветке он писал:

В этом мире, где так пусто,

Ты ищи его, найди,

И, найдя, зови капустой,

Ежедневно в щи клади,

Не взыщи, что щи не густы,  
Будут жиже впереди.  
Не ропщи, когда в Прокруста  
Превратят - того гляди...  
И когда придет Локуста,  
К ней в объятья упади.

Тогда он чувствовал себя еще не окончательно погибшим и потому в конце стихотворения взял мажорный и задорный тон:

Имена цветка не громки,  
Реквизируют - как раз,  
Но носящему котомки  
И капуста - ананас  
Как с прекрасной незнакомки  
Он с нее не сводит глаз,  
А далекие потомки  
И за то похвалят нас,  
Что не хрупки мы, не ломки,  
Здравствуем и посейчас.  
(Да-с.)  
Иль стихи мои не громки?  
Или плохо рвет постромки  
Романтический Пегас,  
Запряженный в тарантас?

Но это был лишь временный приступ веселья, и вскоре он понял, что не ему похвалиться живучестью. В своем последнем письме ко мне он, как мы увидим, отрекается от этой бодрой строки.

Остальные стихотворения гораздо мрачнее. Как-то зимою мы шли с ним по рельсам трамвая и говорили, помню, о "Двенадцати".

Он говорил мне, что строчка:

Шоколад Миньон жрала

принадлежит не ему, а его жене, Любови Дмитриевне. - У меня было гораздо хуже, - говорил он, - у меня было:

Юбкой улицу мела,-

но Люба (жена) напомнила мне, что Катька не могла мести улицу юбкой, так как юбки теперь носят короткие, и сама придумала строчку о шоколаде Миньон.

Я сказал ему, что теперь, когда Катька ушла из публичного дома и, сделавшись "барышней", поступила на казенную службу, его "Двенадцать" уже устарели.

Он ничего не ответил, и мы заговорили о другом. Но через несколько дней он принес мне листочек, где, в виде пародии на стихотворение Брюсова, была изображена эта новая Прекрасная Дама - последняя из воспетых им женщин. Женщины, которых он пел, всегда были для него не только женщинами, но огромными символами чего-то иного. После Прекрасной Дамы он пел Белую Даму, Мэри, Фаину, Сольвейг, Незнакомку, Снежную Деву, Деву Звездной Пучины, Кармен, Девушку из Сполето, Катьку, - и вот, в конце этого длинного ряда, появилась у него новая Женщина:

Вплоть до колен текли ботинки,

Являли икры вид колен,

Взгляд обольстительной кретинк

Светился, как ацетилен.



Стихотворение было длинное. Поэт рассказывал, что, возвращаясь со службы, он нес в руке бутылку с керосином. Обольстительная кретинка была не одна: ее сопровождал некий тигроподобный молодой человек:

Когда мы очутились рядом,  
Какой-то дерзкий господин  
Обжег ее столь жарким взглядом,  
Что чуть не сжег мой керосин.  
А я, предчувствием взволнован,  
В ее глазах прочел ответ,  
Что он давно деклассирован  
И что ему пощады нет.  
И мы прошли по рвам и льдинам,  
Она - туда, а я - сюда.  
Я знал, что с этим господином  
Не встречусь больше никогда.

Поэт пробовал смеяться над этой обольстительной кретинкой, но она оказалась сильнее его и вскоре посмеялась над ним. В мае 1921 года я получил от него страшное письмо, - о том, что она победила:

"...Сейчас у меня ни души, ни тела нет, я болен, как не был никогда еще: жар не прекращается, и все всегда болит... Итак, здравствуем и посеичас - сказать уже нельзя: слопала таки поганая, гугнивая, родимая матушка Россия, как чушка своего поросенка". Он ни за что не хотел уезжать из России, как бы тяжело ему ни было в ней, и только перед смертью, по внушению врачей, стал мечтать о заграничной больнице. Покинуть Россию теперь - казалось ему изменой России. Он заучил наизусть недавно изданное стихотворение Анны Ахматовой и с большим сочувствием читал его мне и Алян-скому в вагоне, по дороге в Москву:

Мне голос был. Он звал утешно,  
Он говорил: иди сюда,  
Оставь свой край глухой и грешный,  
Оставь Россию навсегда...  
Но равнодушно и спокойно  
Руками я замкнула слух,  
Чтоб этой речью недостойной  
Не осквернился скорбный дух.

- Ахматова права, - говорил он. - Это недостойная речь. Убежать от русской революции - позор.

Сам он не боялся революции, очень любил ее, и лишь одно тревожило его:

- Что, если эта революция - поддельная? Что, если и не было подлинной? Что, если подлинная только приснилась ему?

Чувствовалось, что здесь для него важнейший вопрос. Ссылаясь на какую-то мне неизвестную статью московского философа Б., он в последнее время отвечал на этот вопрос отрицательно. О причинах этих тревог и сомнений, столь чуждых истинному революционеру-плебею, было сказано выше, на первых страницах.

Х

К тем писателям, которые, убежав из России, клеветают на оставшихся в ней, он относился с не свойственным ему раздражением и говорил о них так горячо, как, кажется, не говорил ни о ком.

Когда в феврале 1921 года Всероссийский Союз Писателей рассматривал в особом заседании те небылицы и вздоры, которые в заграничных газетах распространяли обо мне мои друзья, Блок, вместе с покойным Гумилевым, принял это дело до странности близко к сердцу, и только тогда я увидел, как измучила его самого трехлетняя травля, которую вели против него соотечественники. И думалось:

"Должно быть, у России много Блоков, если этого она так весело топчет ногами".

И становилась понятна та жестокая злоба, с которой он говорил об этих заграничных ругателях. Когда весной 1921 года у Союза Писателей возникла мысль об издании "Литературной Газеты", Блок написал небольшую статью об эмигрантской печати и предлагал мне, как одному из редакторов, поместить ее в нашей газете без подписи, в качестве редакционной статьи.

Вот эта статья (цитирую по рукописи):

"Зарубежная русская печать разрастается. Следует отметить значительное изменение ее тона по отношению к России и к литературным собратьям, которые предпочли остаться у себя на родине. Впрочем, это естественно. Первые бежавшие за границу были из тех, кто совсем не вынес ударов исторического молота; когда им удалось ускользнуть (удалось ли еще? Не настигнет ли их и там история? Ведь спрятаться от нее невозможно), они унесли с собой самые сливки первого озлобления; они стали визгливо лаять, как мелкие шавки из-за забора; разносить, вместе с обрывками правды, самые грязные сплетни и небылицы. Теперь голоса этих господ и госпож "Даманских" всякого рода замолкают; разумеется, отдельные сплетники еще не унимаются, но их болтовня - обыкновенный уличный шум; появляется все больше настоящих литературных органов, сотрудникам которых понятно, что с Россией и со всем миром случилось нечто гораздо более важное и значительное, чем то, что г-жам Даманским приходилось читать лекции проституткам, есть капусту и т. п. Русские за рубежом понимают все яснее, что одним "скверным анекдотом" ничего не объяснишь, что жалобы, вздохи и подвизгивания ничему не помогут... "Литературная Газета" намерена в будущем, по мере возможности, освещать этот перелом, наступивший в области русской мысли. Она радуется тому, что в Европе раздались, наконец, настоящие русские голоса, что с людьми можно, наконец, спорить или соглашаться серьезно. Возражать всякой литературной швали, на которой налипла, кроме всех природных пошлостей, еще и пошлость обывательской эмигрантщины, у нас никогда не было потребности, но разговаривать свободно, насколько мы сможем, с людьми, говорящими по-человечески, мы хотим..."

- Это не статья, это только схема статьи, - говорил мне Блок. - А статью напишите вы. Но политические разногласия не мешали ему любить своих старых друзей. В 1918 году, когда за свою поэму "Двенадцать" он подвергся бойкоту Мережковского и Гиппиус, он говорил о них по-прежнему любовно. Вот отрывок из его письма ко мне от 18 декабря 1919 года:

"Если пойдет речь, скажите З. Н. (Гиппиус), что я не думаю, чтобы она сделала верные выводы из моих этих стихов; что я ее люблю по-прежнему, а иногда - и больше прежнего".

Проезжая со мною в трамвае (по дороге из Смольного) неподалеку от квартиры Мережковского, Блок сказал: - Зайти бы к ним, я люблю их по-прежнему. Прав В. А. Зоргенфрей, сказавший в своих прекрасных "Воспоминаниях о Блоке", что, имея недоброжелателей, сам Блок вовсе не знал чувства недоброжелательства. Когда-то, лет 12 назад, В. В. Розанов напечатал в "Русском Слове", что Блок будто бы женился на богатой ради большого приданого; Блок всегда вспоминал об этом с ясной улыбкой и, в своей статье об Аполлоне Григорьеве, прославил В. В. Розанова, как большого писателя, наперекор тогдашним газетным нападкам.

Деликатность у него была необычайная. Весною 1921 года мы затеяли устроить вечер Блока, где выступил бы он со своими стихами, а я прочитал бы о его поэзии лекцию. Эта затея показалась ему привлекательной, но он ставил невозможное условие: чтобы три четверти всего сбора шло мне, а ему, Блоку, лишь - четверть. Напрасно я доказывал ему, что мне довольно и десятой доли; он упрямо стоял на своем. Лишь через несколько дней, и то из деликатной боязни обидеть меня, он взял свое невозможное условие назад.

Вечер Блока состоялся в конце апреля в Большом Драматическом (бывшем Суворинском) театре.

Моя лекция о нем провалилась. Я читал и при каждом слове чувствовал, что не то, не так, не о том, Блок стоял за кулисой и слушал, и это еще больше угнетало меня. Он почему-то верил в эту лекцию и многого ждал от нее. Скомкав ее кое-как, я, чтобы не попасться ему на глаза, убежал в чью-то уборную. Он разыскал меня там и утешал, как опасно больного. Привел артистов и артисток театра, которые ласково аплодировали мне. Сам он имел грандиозный успех, но всею душою участвовал в моем неуспехе: подарил мне цветок из поднесенных ему и предложил сняться на одной фотографии. Так мы и вышли на снимке - я с убитым лицом, а он - с добрым, очень сочувственным: врач у постели больного. Это был его последний портрет, снятый Наппельбаумом через несколько минут после того снимка, который ныне приложен к третьему тому "Стихотворений Александра Блока" (Пб., изд. "Алконост", 1921 г.).

Когда мы шли домой, он утешал меня очень, но замечательно, - и не думал скрывать, что лекция ему не понравилась. Он так и говорил:

- В вашей лекции много неверного. Моей жене она совсем не понравилась.

Такова была его особенность: в вопросах искусства он не лгал никогда; даже желая утешить, не мог уклониться от правды, говорил ее с трудом, как принуждаемый кем-то, но всегда без обиняков, откровенно. Один избалованный и преуспевающий автор подошел к нему в театре и спросил, как ему понравилась его последняя пьеса. Блок ничего не ответил. Он долго думал, молчал и, наконец, произнес сокрушенно:

- Не нравится.

И через несколько времени еще сокрушеннее:

- Очень не нравится.

Как будто он чувствовал себя виноватым, что пьеса оказалась плохой.

Обо многих моих писаниях он говорил укоризненно:

- Талантливо, очень талантливо.

И в его устах это было всегда порицанием.

XI

...Большой Драматический театр, где состоялся последний "вечер Блока", был не чужой для поэта. Блок уже два года (с 1919-го) был одним из директоров Большого театра, председателем его управления. Может быть, я ошибаюсь, но мне казалось, что для Блока в ту страшную пору этот театр был как бы спасительной гаванью. Всею душой он прилепился к театру, радостно работал для него: объяснял исполнителям их роли, истолковывал готовящиеся к постановке пьесы, произносил вступительные речи перед началом спектаклей, неизменно возвышал и облагораживал работу актеров, призывал их не тратить себя на неврастенические "искания" и пустозвонные "новшества", а учиться у Шекспира и Шиллера.

"- Дорогие друзья, - говорил он им в одной из своих речей (5 мая 1920 года), - в сладострастии "исканий" нельзя не устать; горный воздух, напротив, сберегает силы. Дышите же, дышите им, пока можно; в нем наша защита... Вы вашим скромным служением Великому сбережете это Великое; вы, как ни страшно это сказать, вашей самоотверженной работой спасаете то небольшое, что должно быть и будет спасено в человеческой культуре".

Актеры набожно любили своего вдохновителя. "Блок - наша совесть", - говорил мне А. Н. Лаврентьев. - "Мы читали его по третьей заповеди", - недавно сказал мне Н. Ф. Монахов. Блок чувствовал, что эта любовь - непритворная, и предпочитал среду актеров завистливой и предательской среде литераторов. Особенно любил он Монахова. "Монахов - великий художник, - сказал он мне во время поездки в Москву (в устах Блока это была величайшая похвала, какую может воздать человек человеку). - Монахов - железная воля. Монахов - это вот" (и он показывал крепко сжатый кулак). Я помню его тихое восхищение игрою Монахова в "Царевиче Алексее" и в "Слуге двух господ". Мы были с ним в ложе, и он простодушно оглядывался: нравится ли и нам? понимаем ли? - и видя, что мы тоже в

восторге, успокоенно и даже благодарно кивал нам. Успехи актеров он принимал очень близко к сердцу и так радовался, когда им аплодировали, словно аплодируют ему. Театр с детских лет был для него одною из любимейших форм искусства; еще гимназистом он серьезно мечтал о карьере актера. В "Розе и Кресте" он показал себя изумительным мастером сцены. (Почему "Роза и Крест" до сих пор не ставится на сцене? Это - единственная русская трагедия; ее театральный успех несомненен: она доступна самым элементарным умам.)

...В любовном письме к Монахову поразительно признание Блока: "слов неправды говорить мне не приходилось". Многие ли могли бы сказать это на сорок первом году своей жизни?

Для меня эта прямота и правдивость Блока была связана с другой его особенностью, которая почему-то даже пугала меня, - с необыкновенной его чистоплотностью. В комнате и на столе у него был такой страшный порядок, что хотелось хоть немного намусорить. В его библиотеке даже старые книги казались новыми, сейчас из магазина. Вещи, окружавшие его, никогда не располагались беспорядочным ворохом, а казалось, сами собою выстраивались по геометрически-правильным линиям. Я не раз говорил ему, что, стоит ему только подержать в руках какую-нибудь замусоленную книгу, и она сама собою станет чистой. Портфелей он не любил и никогда не носил, а все рукописи, нужные для заседаний, обертывал необыкновенно изящно бумагой и перевязывал ленточкой.

С изумлением перелистывал я издававшийся им в детстве "Вестник", в который он так аккуратно вклеивал картинки, вырезанные им из "Нивы" и "Нови". Ножницами и клеем он владел мастерски, всякую бумажку норовил вырезать и наклеить. В юности, желая сделать своей маме подарок, он вырезал из журналов и газет ее переводные стихи и наклеил их на страницы альбомной бумаги, для которых изготовил особый роскошный футляр. Этот альбом сохранился и теперь, - такой аккуратный и чистенький, словно он сделан вчера.

Все письма, получаемые им от кого бы то ни было, сохранялись им в особых папках, под особым номером, в каком-то сверхъестественном порядке, и, повторяю, в этом порядке было что-то пугающее. В этой чрезмерной аккуратности я всегда ощущал хаос.

## XII

Что сказать о его последней, предсмертной поездке в Москву? Как-то, в разговоре, он сказал мне с печальной усмешкой, что стены его дома отравлены ядом, и я подумал, что, может быть, поездка в Москву отвлечет его от домашних печалей. Ехать ему очень не хотелось, но я настаивал, надеясь, что московские триумфы подействуют на него благотворно. В вагоне, когда мы ехали туда, он был весел, разговорчив, читал свои и чужие стихи, угощал куличом и только иногда вставал с места, расправлял больную ногу и, улыбаясь, говорил: болит! (Он думал, что у него подагра.)

В Москве болезнь усилилась, ему захотелось домой, но надо было каждый вечер выступать на эстраде. Это угнетало его. - "Какого черта я поехал?" - было постоянным рефреном всех его московских разговоров. Когда из Дома Печати, где ему сказали, что он уже умер, он ушел в Итальянское Общество, в Мерзляковский переулок, часть публики пошла вслед за ним. Была Пасха, был май, погода была южная, пахло черемухой. Блок шел в стороне от всех, вспоминая свои "Итальянские стихотворения", которые ему предстояло читать. Никто не решался подойти к нему, чтобы не помешать ему думать. В этом было много волнующего: по озаренным луною переулкам молча идет одинокий печальный поэт, а за ним, на большом расстоянии, с цветами в руках, благоговейные любящие, которые словно чувствуют, что это последние проводы. В Итальянском Обществе Блока встретили с необычайным радушием, и он читал свои стихи упоительно, как еще ни разу не читал их в Москве: медленно, певучим, густым, страдающим голосом. На следующий день произошло одно печальное событие, которое и показало мне, что

болезнь его тяжела и опасна. Он читал свои стихи в Союзе Писателей, потом мы пошли в ту тесную квартиру, где он жил (к проф. П. С. Когану), сели пить чай, а он ушел в свою комнату и, вернувшись через минуту, сказал:

- Как странно! До чего все у меня перепуталось. Я совсем забыл, что мы были в Союзе Писателей, и вот сейчас хотел сесть писать туда письмо, извиниться, что не мог прийти.

Это испугало меня: в Союзе Писателей он был не вчера, не третьего дня, а сегодня, десять минут назад, - как же мог он забыть об этом - он, такой точный и внимательный! А на следующий день произошло нечто, еще больше испугавшее меня. Мы сидели с ним вечером за чайным столом и беседовали. Я что-то говорил, не глядя на него, и вдруг, нечаянно подняв глаза, чуть не крикнул: предо мною сидел не Блок, а какой-то другой человек, совсем другой, даже отдаленно не похожий на Блока. Жесткий, обглоданный, с пустыми глазами, как будто паутиной покрытый. Даже волосы, даже уши стали другие. И главное: он был явно отрезан от всех, слеп и глух ко всему человеческому.

- Вы ли это, Александр Александрович? - крикнул я, но он даже не посмотрел на меня.

Я и теперь, как ни напрягаюсь, не могу представить себе, что это был тот самый человек, которого я знал двенадцать лет.

Я взял шляпу и тихо ушел. Это было мое последнее свидание с ним.

### XIII

Теперь, когда я перебираю в уме наши встречи, я вспоминаю только - заседания. Как будто тянется одно заседание - без начала, без конца - три года, и то, что я сейчас напишу, можно было бы озаглавить чудовищно: "Блок, как заседатель".

Я помню самые мелкие эпизоды нашего трехлетнего сидения в Союзе Деятели Художественной Литературы, в Правлении Союза Писателей, в редакционной коллегии издательства Гржебина, в коллегии "Всемирной Литературы", в Высшем Совете "Дома Искусств", в Секции Исторических Картин, всюду мы заседали вместе и садились обычно рядом. Вот он сидит и рассматривает портрет Лермонтова, напечатанный в книге, потом показывает мне и говорит:

- Не правда ли, Лермонтов только такой? Только на этом портрете? На остальных - не он. И опять умолкает, как будто и не говорил ничего. А однажды наклонился и сказал:

- Говорят, Буренин голодает, Буренин из "Нового Времени". Нужно собрать для него деньги, я тоже дам.

Это удивило меня, Буренин лет пятнадцать подряд величал его в своих статьях "идиотом". Через полчаса Блок наклонился опять и сказал:

- У него была хорошая пародия на мои "Шаги командора".

В последнее время он очень тяготился заседаниями, так как те, с кем он заседал (особенно двое из них), возбуждали в нем чувство вражды. Началось это с весны 1920 года, когда он редактировал сочинения Лермонтова.

Он исполнил эту работу по-своему и написал такое предисловие, какое мог написать только Блок: о вещих снах у Лермонтова, о Лермонтове-боговидце.

Помню, он был очень доволен, что привелось поработать над любимым поэтом, и вдруг ему сказали на одном заседании, что его предисловие не годится, что в Лермонтове важно не то, что он видел какие-то сны, а то, что он был "деятель прогресса", "большая культурная сила", и предложили написать по-другому, в более популярном, "культурно-просветительном" тоне. Блок не сказал ничего, но я видел, что он оскорблен. Если нужен "культурно-просветительный" тон, зачем же было обращаться к Блоку? Разве у нас недостаточно литературных ремесленников?

Чем больше Блоку доказывали, что надо писать иначе ("дело не в том, что Лермонтов видел сны, а в том, что он написал на смерть Пушкина"), тем грустнее, надменнее, замкнутее становилось его лицо.

С тех пор и началось его отчуждение от тех, с кем он был принужден заседать. Это отчуждение с каждой неделей росло.

Когда Блок понял, что, как Блек, он никому не нужен, он отстранился от всякого участия в нашей работе, только заседал и молчал.

Если же говорил, - то о своем, и не на заседаниях, а в антрактах между двумя заседаниями. В одном и том же помещении на Моховой мы заседали иногда весь день сплошь: сперва - в качестве правления Союза Писателей, потом - в качестве коллегии "Всемирной Литературы", потом - в качестве Секции Исторических Картин, и т. д. Чаще всего Блок говорил с Гумилевым. У обоих поэтов шел нескончаемый спор о поэзии. Гумилев со своим обычным бесстрашием нападал на символизм Блока:

- Символисты - просто аферисты. Взяли гирию, написали на ней десять пудов, но выдолбили середину, швыряют гирию и так, и смяк, а она - пустая.

Блок однотонно отвечал:

- Но ведь это делают все последователи и подражатели - во всяком течении. Символизм здесь ни при чем. Вообще же то, что вы говорите, для меня не русское. Это можно очень хорошо сказать по-французски. Вы слишком литератор, и притом французский.

Эти откровенные споры завершились статьей Блока об акмеизме, где было сказано много язвительного о теориях Н. Гумилева. Статье не суждено было увидеть свет, так как "Литературная Газета" не вышла.

Спорщики не dokonчили спора. Россия не разбирала, кто из них - акмеист, кто символист...

#### XIV

Когда Блок говорил о своей поэзии, он говорил о ней либо торжественно, либо насмешливо.

У него была привычка, сказавшаяся во многих его пьесах и стихах, - относиться к себе и ко всему своему иронически. Вспомним хотя бы его статью "О любви, поэзии и государственной службе". Он мог горячо защищать символистов, но, например, в своем списке "Ста лучших писателей" он отвел им очень мало места, и когда я спросил его, почему, он ответил:

- Не люблю этих молодых людей.

И, спустя некоторое время, прибавил:

- Я в этих молодых людях ничего не понимаю, - именуя молодыми людьми пятидесятилетних и шестидесятилетних поэтов.

О программе, которую составил Гумилев, он сказал:

- Николай Степанович хочет дать только хорошее, абсолютное. Тогда нужно дать Пушкина, Лермонтова, Толстого, Достоевского - и больше никого. Все остальные писатели - спорные.

Я напомнил ему о его любимом Тютчеве, и он, к моему удивлению, ответил:

- Ну, что такое Тютчев? Коротко, мало, всё отрывочки. К тому же его поэзия - немецкая.

В таком тоне он часто говорил о самом любимом, например - о Прекрасной Даме, и если бы в нем не было этого тона, он не написал бы "Балаганчика". Сергей Городецкий рассказывает в "Воспоминаниях о Блоке", что Блок в шутку назвал свою "Нечаянную Радость" - "Отчаянной Гадостью", а себя - Александром Клоком.<sup>[341]</sup> Его тянуло смеяться над тем, что было пережито им, как святыня. Ему действительно нравилась пародия В. П. Буренина, в которой тот втоптывал в грязь его высокое стихотворение "Шаги Командора". Показывая "Новое Время", где была напечатана эта пародия, он сказал:

- Посмотрите, не правда ли, очень смешно:

В спальне свет.

Готова ванна.

Ночь, как тетерев, глуха.  
Спит, раскинув руки, донна Анна,  
И по Анне прыгает блоха.

Мне показалось, что такое откровенное хрюкание было ему милее, чем похвалы и приветы многих презираемых им тонких эстетов.

Я уже упоминал о моей тетради "Чукоккала", которую Блок любил рассматривать во время заседаний. Туда он вписывал всё, что приходило ему в голову.

Я счастлив, что у меня осталось от него такое наследство: эпиграммы, экспромты, послания, отрывки из дневника и даже шуточные протоколы заседаний.

Замечательно стихотворение, посвященное встрече с дочерью Кропоткина, Александрой Петровной. Мы встретили Кропоткину в одном учреждении, куда ходили вместе - по официальному делу. Дня через три, видя, что для Блока невыносима тоска заседания, я в шутку заказал ему стихи о Кропоткиной. Он взял мою тетрадь и 17 минут сидел над нею неподвижно, думая, а потом сразу написал восьмистишие:

Как всегда, были смутны чувства  
Таял снег и Кронштадт палил.  
Мы из лавки Дома Искусства  
На Дворцовую площадь шли.  
Вдруг среди приемной советской,  
Где все могут быть сожжены,[\[342\]](#)  
Взгляд и брови и говор светский  
Этой древней Рюриковны.

В этих записях отразилось его малоизвестное качество - юмор. Люди, знающие его только по книгам, не могут даже представить себе, сколько мальчишеского смеха было в этом вечно печальном поэте. Он любил всякие литературные игры, шарады, буримэ, и я уверен, что впоследствии можно будет собрать целый томик его юмористики. Вот, например, отрывок из его изумительной пародии на мексиканские стихотворения Бальмонта, относящейся к 1905 году.

Пародия была озаглавлена "Корреспонденция К. Д. Бальмонта из Мексики".

Увлеченный, упоенный, обнаженный, совлеченный  
Относительно одежд,[\[343\]](#)

Я искал других надежд,  
Озираясь,  
Упиваясь,  
С мексиканкой обнимаясь,  
Голый, голый - и веселый,  
Мексиканские глаголы  
Воспевал,  
Мексиканские подолы  
Целовал,  
Взор метал  
Из-под пьяных, красных, страстных,  
Воспаленных и прекрасных  
Вежд...  
Сдвинул на ухо сомбреро, -  
Думал встретить кабалеро,  
Стал искать  
Рукоять  
Сабли, шпаги и кинжала... -  
Не нашел (Вечно гол).  
Мексиканка убежала  
В озаренный тихий дол

И подобная лианам  
Выгибала тонкий стан,  
Как над девственным туманом,  
Вечно странным  
И желанным -  
Зыбким,  
Липким,  
Красной кровью окропленный караван.  
Пал туман.  
Я же вмиг, подобен трупу,  
Прибыл утром в Гваделупу  
И почил  
В сладкой дреме  
И в истоме  
На соломе  
В старом доме,  
Набираясь новых сил,  
И во сне меня фламинго  
В Сан-Доминго  
Пригласил.

Но это было давно. Теперь его юмор стал жестче и обратился на другие предметы. Приведу в небольших отрывках одно его стихотворение о заседании во "Всемирной Литературе".

Происхождение этого стихотворения такое: однажды я обещал ему написать - для редактируемого им собрания сочинений Гейне - статью о влиянии Гейне на английских писателей, но за недосугом не исполнил обещания. Он напоминал раза два, но напрасно... Тогда он прибег к последнему средству - к стихам. Перед этим Амфитеатров читал нам свою пьесу о Васке Буслаеве, и в стихах Блока сохранились кое-где отзвуки этой утрированно русской пьесы. Для ясности нужно сказать, что в издательстве "Всемирной Литературы" проф. Лозинский, упоминаемый в этих стихах, ведал испанскую литературу, Волынский - итальянскую, Гумилев - французскую, я - английскую, а Тихонов управлял всем издательством. Стихи начинаются речью Блока:

В конце ж шестого тома Гейне, там,  
Где Englishе кончаются Fragmente,  
Необходимо поместить статью  
О Гейне в Англии: его влиянье  
На эту нацию и след, который  
Оставил он в ее литературе.

**Тихонов**

Кому ж такую поручить статью?

**Блок**

Немало здесь различных специалистов,  
Но каждый мыслит только о своем:  
Лозинский только с богом говорит,  
Волынский - о любви лишь; Гумилев -  
Лишь с королями. С лошадьми в конюшне  
Привык один Чуковский говорить,[\[344\]](#)

**Чуковский (запальчиво)**

Мне некогда! Я принципы[\[345\]](#) пишу!  
Я гржебинские списки составляю!  
Персея инсценирую! Некрасов  
Еще не сдан! Веденский, Диккенс, Уитмэн



Еще загромождают стол! Шевченко,  
Воздухоплавание...

### **Блок**

Корней Иваныч!  
Не вы один. Иль - не в подъем? Натужьтесь!  
Кому же, как не вам?

### **Замятин**

Ему! Вестимо...

И так дальше - несколько страниц, очень веселых. Все эти нарочито русские выражения "вестимо", "натужьтесь", "не в подъем", - являются тонкой пародией на вульгарную псевдорусскую пьесу, которую мы только что прослушали. Свои стихи Блок снабдил таким примечанием:

"Насколько известно, статья Чуковского "Гейне в Англии" действительно была сдана в набор после Рождества 1919 года. Она заключала в себе около 10.000 печатных знаков, ждала очереди в типографии около 30 лет и вышла в свет 31 вентоза 1949 года, причем, по недосмотру 14 ответственных, квалифицированных и забронированных корректоров, заглавие ее было напечатано с ошибкой, именно: "Гей не в ангелы".

### **XV**

В 1919 году Блок еще мог смеяться, но потом перестал и его последнее стихотворение - совершенно иное. Это стихотворение посвящено памяти Пушкина; многие помнят ту великолепную речь, которую он произнес на чествовании Пушкина в Доме Литераторов в феврале 1921 года; придя к нему через несколько дней, я узнал, что он посвятил Пушкину также и стихи.

- Но, кажется, очень плохие. Кто-то позвонил по телефону и сказал, что Пушкинский Дом просит написать ему в альбом какие-нибудь строки о Пушкине. Я написал, но кажется, вышло плохо. Я отвык от стихов, не писал уже несколько лет.

И Блок прочитал мне такие стихи:

Имя Пушкинского Дома  
В Академии Наук!  
Звук понятный и знакомый,  
Не пустой для сердца звук!  
Это - звоны ледохода  
На торжественной реке,  
Переключка парохода  
С пароходом вдалеке.  
Это - древний Сфинкс, глядящий  
Вслед медлительной волне,  
Всадник бронзовый, летящий,  
На недвижимом скакуне.  
Наши страстные печали  
Над таинственной Невой,  
Как мы черный день встречали  
Белой ночью огневой.  
Что за пламенные дали  
Открывала нам река!  
Но не эти дни мы звали,  
А грядущие века.  
Пропускали дней гнетущих  
Кратковременный обман,  
Прозревали дней грядущих  
Сине-розовый туман.  
Пушкин! Тайную свободу

Пели мы вослед тебе!  
Дай мне руку в непогоду,  
Помоги в немой борьбе!  
Не твоих ли звуков сладость  
Вдохновляла в те года?  
Не твоя ли, Пушкин, радость  
Окрыляла нас тогда?  
Вот зачем такой знакомый  
И родной для сердца звук -  
Имя Пушкинского Дома  
В Академии Наук.  
Вот зачем в часы заката,  
Уходя в ночную тьму,  
С белой площади Сената  
Тихо кланяюсь ему.

Если не считать черновых набросков к поэме "Возмездие", это были последние стихи Блока. В них меня тогда же поразила строка: "Уходя в ночную тьму"...

Он действительно "уходил в ночную тьму", и перед тем, как уйти, отдал последний прощальный поклон - Пушкину.

Умирал он мучительно. Вскоре после его кончины одна девушка, бывшая близким другом Блока и его семьи, прислала мне в деревню описание его последних дней; заимствую из этого письма отрывки:

"Болезнь развивалась как-то скачками, бывали периоды улучшения, в начале июня стало казаться, что он поправится. Он не мог уловить и продумать ни одной мысли, а сердце причиняло все время ужасные страдания, он все время задыхался. Числа с двадцать пятого наступило резкое ухудшение; думали его увезти за город, но доктор сказал, что он слишком слаб и переезда не выдержит. К началу августа он уже почти все время был в забытии, ночью бредил и кричал страшным криком, которого во всю жизнь не забуду. Ему впрыскивали морфий, но это мало помогало. Все-таки мы думали, что надо сделать последнюю попытку и увезти его в Финляндию. Отпуск был подписан, но 5-го августа выяснилось, что какой-то Московский Отдел потерял анкеты, и поэтому нельзя было выписать паспортов... 7 августа я с доверенностями должна была ехать в Москву... Ехать я должна была в вагоне NN, но NN, как и его секретарь, оказались при переговорах пьяными. На другое утро, в семь часов, я побежала на Николаевский вокзал, оттуда на Конюшенную, потом опять на вокзал, потом опять на Конюшенную, где заявила, что все равно поеду, хоть на буфере... Перед отъездом я по телефону узнала о смерти и побежала на Офицерскую... В первую минуту я не узнала его (Ал. Блока). Волосы черные, короткие, седые виски; усы, маленькая бородка; нос орлиный. Александра Андреевна (мать Блока) сидела у постели и гладила его руки... Когда Александру Андреевну вызывали посетители, она мне говорила: "Пойдите к Сашеньке", и эти слова, которые столько раз говорились при жизни, отнимали веру в смерть... Место на кладбище я выбрала сама - на Смоленском, возле могилы деда, под старым кленом... Гроб несли на руках, открытый, цветов было очень много. Отпевали в церкви Воскресения, на Смоленском"...

## **Часть вторая. Александр Блок как поэт**

Первая книга стихов [\[346\]](#)

I

В ранних стихотворениях Блока были нередки такие слова:

- Кто-то ходит, кто-то плачет... - Кто-то зовет, кто-то бежит... - Кто-то крикнул... кто-то бьется... - Кто-то долго и бессмысленно смеялся... - Кто-то ласковый... - Кто-то

сильный... - Кто-то белый... - Кто-то в красном платье... - Недвижный кто-то, черный кто-то...

Кто-то, а кто, неизвестно. Будто приснилось во сне. Вместо точных подлежащих, - туманные.

А если и сказано кто, то невнятно:

- *Белый* смотрит в морозную даль...

- *Красный* с козел спрыгнул...

- Не откроет уст *Темнолицый*...

А иногда еще безличнее:

*Прискакала* дикой степью

На вспененном скакуне.

Прискакала, а кто, неизвестно. Подлежащего не было. Не то, чтоб оно было спрятано, а его не было совсем. Поэт мыслил одними сказуемыми, которые и стояли в начале стиха. У него получалось такое:

*Блеснуло* в глазах, *Метнулось* в мечте.

*Прильнуло* к дрожащему сердцу.

А что блеснуло, метнулось, прильнуло, это оставалось несказанным. Такие бесподлежащие, бессубъектные строки отлично затуманивали речь. Здесь явное влияние Фета, начавшего одно свое стихотворение так:

*Прозвучало* над ясной рекою,

*Прозвенело* в померкшем лугу.

*Прокатилось* над рощей немой,

*Засветилось* на том берегу.

Но у Фета это было редко, а у Блока на многих страницах:

- Входили, главы обнажив. - Говорили короткие речи. - Суетились, поспешно крестясь. -

Поднимались из тьмы погребов. - Встала в сиянии. - Встала в легкой полутени. -

Поднялась стезею млечной. - Завела в очарованный круг. - Клубилось в красной пыли.

Подлежащее было предоставлено нашему творчеству. Мы, читатели, должны были

воссоздать его сами. Это придавало повествованию дремотную смутность, в чем и заключалась тогда неосознанная задача поэтики Блока: затуманить стихотворную речь.

Самое это слово туманный было его излюбленным словом. В его стихах говорилось и про туманные руки, и про туманные песни, и про туманную пену, и даже про факел - туманный. К туманам он чувствовал тогда большое пристрастие. Обычные рифмы в его тогдашних стихах:

раны - туманы, ураганы - туманы, океаны - туманы, обман - туман, Корана - тумана, стана

- тумана, рано - тумана, стран - туман. Вечно он изображал себя погруженным в туман, и

все вещи вокруг - затуманенными. Вообще в его ранних стихах - никаких отчетливых

форм, но клочки видений, отрывки событий, дымчатость и разрозненность образов,

словно видения смутного сна.

Об этой поэзии давно уже сказано, что она есть поэзия сонного сознания.<sup>[347]</sup> "Это сны твоей дремоты" - вот точное определение его первоначальных стихов. Они, как говорится у Шекспира, "из того вещества, из которого сделаны сны", such stuff as dreams are made of, и невозможно представить себе, что стало бы с тогдашними стихами Блока без этого слова - сон. Оно требовалось ему в огромном количестве случаев, и какие только сны не являлись у него на страницах, особенно во втором его томе: и звездный сон, и электрический сон, и жемчуговый сон, и самодержавный сон, и невский сон, и зачумленный сон, и снежный сон, и серый сон, и черный сон, и алый сон, и сон голубой. И часто мы читали у него, что он вдыхал эти сны, что он ловил эти сны, что он уходил в эти сны, что он серебрил эти сны, что он весь обвеян снами. О чем бы он ни говорил, всегда казалось, будто он рассказывает сон. Он и действительно любил изображать свои сны:

- Мне *снилась* смерть любимого созданья...

- Мне *снилась* снова ты...

- Мне *снились* веселые думы...

Вся его поэма "Ночная Фиалка" есть изложение длинного и сложного сна. И все вокруг казалось ему сонным: и тучи, и птицы, и улицы, и ветер, и пруд. Слово сонный было его любимым эпитетом. Сонный мир, сонный звук, сонная струна, сонный вздох, сонная мысль, сонная тропа, сонный плен.

- Эллины, эллины *сонные*...

- И пришла ты *сонно*-белая...

- *Сонноокая* прошла...

Сны были его неизбежными рифмами: сны - глубины, сны - весны, глубины - сны, весны - сны, сны - весны...

Он был единственный мастер смутной, неотчетливой речи. Никто, кроме него, не умел быть таким непонятным. Ему отлично удавались недомолвки. Говорить непонятно - искусство нелегкое, доступное очень немногим, и кто из символистов в те годы, на рубеже двух веков, не пытал себя в этом труднейшем искусстве, но удалось оно одному только Блоку. Остальные - сфинксы без загадок - как ни старались, всегда оставались понятны, а у Блока было множество способов затуманить свою поэтическую речь. Нередко он скрывал от читателей самый предмет своей речи и впоследствии был вынужден писать комментарии к этим затуманенным стихам. Например, во втором его томе были такие непонятные строки:

И *латник* в черном не даст ответа,

Пока не застигнет его заря.

Что за латник, было непонятно, покуда Блок не изъяснил в примечании, что это черная статуя на крыше Зимнего Дворца, в Петербурге. Блок писал об этом латнике в день манифеста 1905 года и ясно знал, о чем он говорит, но читатель не знал и не мог знать, и Блок нисколько не заботился об этом. Таких криптограмм у него было много. Читая его первый том, я, как ни старался, не мог догадаться, кому посвящены его стихи о карлике, сидящем за ширмой:

Сижу за ширмой. У меня

Такие крохотные ножки...

Я обратился к поэту, и поэт объяснил мне, что стихи написаны о Канте и его "Критике чистого разума". Тогда стихотворение стало понятно, но кто же из читателей мог догадаться, что оно написано о Канте?[\[348\]](#)

Все эти приемы и навыки были в совершенстве приспособлены для затемнения речи.

Только таким сбивчивым и расплывчатым языком он мог повествовать о той тайне, которая долгие годы была его единственной темой. Этот язык был как бы создан для тайн.

Недаром самое слово таинственный играет такую огромную роль в ранних стихотворениях Блока. Он прилагал это слово ко многим предметам и скрашивал им свои ранние стихи. Таинственный сумрак, таинственный мол, таинственное дело, таинственные соцветия - всюду были у него тайны и таинства:

- "Мгновенья тайн", - "Таинство зари". - "Вечная тайна". - "Древняя тайна". -

"Непостижимаятайна".

И тайной тайн была для него та Таинственная, которой он посвятил свою первую книгу и которую величал в этой книге Вечной Весной, Вечной Надеждой, Вечной Женой, Вечно-Юной, Недостижимой, Непостижимой, Несравненной, Владычицей, Царевной, Хранительницей, Закатной Таинственной Девой. Таинственность была ее главное свойство. Мы не знали, кто она, где она, какая она, знали только, что она таинственна.

Лишите ее этой таинственности, и она перестанет быть.

- Ты лишь Одна сохранила древнюю Тайну Свою.

- Слышал твой голос таинственный...

Словом, и голос ее - тайна, и взор ее - тайна, и вся она - тайна. Ее образ вечно зыблется, клубится, двоится, на каждой странице иной: не то она звезда, не то женщина, не то икона, не то скала, озаренная солнцем. Только та уклончивая, сбивчивая, невнятная, непонятная, дремотная речь, которую Блок овладел с таким непревзойденным искусством на 20 или 21 году своей жизни, могла быть применена к этой теме. Только из недр такого зыбкого расплывчатого стиля мог возникнуть этот зыбкий расплывчатый миф. Если бы Блоку не было дано говорить непонятно, его тема иссякла бы на первой же странице. Всякое отчетливое слово убило бы его Прекрасную Даму. Но он всегда говорил о ней так, будто он уже за чертой человеческой речи, будто он пытается рассказать несказанное, будто все слова его - только намеки на какую-то неизреченную тайну. [349]

## II

Все было хаотично в этих дремотных стихах, словно мир еще не закончен творением; но с самого начала в них четко и резко выделились два слова, два образа, повторявшиеся чуть не на каждой странице: свет и тьма, так что в сущности всю первую книгу Блока - Стихи о Прекрасной Даме можно было назвать "Книгой о Свете и Тьме".

Первая же строка в этой книге говорила о свете и тьме:

Пусть светит месяц - ночь темна.

И если перелистать ее всю, в ней не найдешь ни человеческих лиц, ни вещей, а только светлые и темные пятна, бегущие по ней беспрестанно. Следить за этими светлыми и темными пятнами было почти единственной заботой поэта. Он был тогда как те полуслепые, которые не различают очертаний, а только светлые и темные пятна.

Замечательно, что себя самого он постоянно чувствовал во мраке:

Ступаю вперед - навстречу мрак,

Ступаю назад - слепая мгла.

Этим мраком было для него затушено все разнообразие мира. И оттого слово темный играло в его ранней поэтике такую огромную роль. Все вокруг казалось ему темным:

- Темная ограда. - Темные ворота. - Темные ступени. - Темный порог. - Темный храм.

Тут был не случайный, а главный эпитет, поглощающий собою остальные. Слово сумрак было его любимейшим словом. А также - сумерки, мгла, тьма. Чернота была фоном его тогдашних стихов. Наступление этой черноты казалось ему чрезвычайным событием:

- Ложится *мгла*...

- Спустилась *мгла*...

- Подошла непроглядная *тьма*.

- Сгущался *мрак*...

- *Потемнели*, поблекли залы...

- *Почернели* решетки окна...

- Весенний день сменила *тьма*.

С однообразной интонацией, жалобно, как о болезни, он говорил об этой ночной черноте; и замечательно, что все эти жалобы кончались монотонным звуком а:

- Ах, ночь длинна... - Здесь ночь мертва... - Заря бледна и ночь долга. - Близка разлука, ночь темна... - Глухая ночь мертва... - Земли не видно, ночь глубока... - Земля пустынна, ночь бледна...

Эти повторяемые а производили впечатление стога. И единственным огнем его ночи была та, кого он называл Лучезарная.

Все, что есть в природе огневого и огненного, было связано для него с ее образом, а все, что не она, было тьма. Стоило ему упомянуть о ней, возникало видение огня: либо светильника, либо горящего куста, либо зари, либо маяка, либо пожара, либо звезды, либо пламени.

Он часто говорил о ней, как о чем-то горящем: "ты горишь над высокой горою", "зажгутся лучи твой", и называл ее: Ясная, озаренная, Светлая,

Золотая,

Ярким солнцем залитая,

Заря, Купина и т. д. Она всегда была для него не только женщина, но и световое явление. Поучительно следить, как постепенно из неясного светового пятна создается этот огненный миф. Стихи, написанные до ее появления, он называл Ante Lucera, то есть "Перед появлением света", потому что она действительно была единственный Lux (свет), единственное солнце его мироздания. Изю дня в день много лет он пел лишь о ней одной, пел в сущности одну и ту же песнь, потому что почти все его тогдашние песни были одна нескончаемая песнь о Ней. О чем бы он ни пел, он пел о Ней. Он пел о закатах, облаках и лесах, но это были знаки и намеки о Ней. "Меня тревожили знаки, которые я видел в Природе", - вспоминал он впоследствии, потому что вся природа существовала для него лишь постольку, поскольку вещала о Ней. Он мог называть свое стихотворение "Поле за Петербургом", но ни поля, ни Петербурга там не было; дико показалось бы тогдашнему Блоку изображать какой-то Петербург и какое-то поле, если бы в них не было вести о Ней. И к звукам он прислушивался только к таким, которые говорили о Ней; все другие звуки казались ему докучливым шумом, мешающим слушать Ее:

Кругом о злате и о хлебе

Народы шумные кричат.

Но что ему до шумных народов! Бывший ангел, брошенный из зазвездного края на землю, разжалованный серафим, чужой среди чужих на чужбине, он брезгливо озирался вокруг, смутно вспоминая свою зазвездную родину, свои "родные", как он говорил, "берега", и воистину его тогдашние стихи были мемуарами бывшего ангела:

Словно бледные в прошлом мечты

Мне лица сохранились черты

И отрывки неведомых слов,

Словно отклики прежних миров.

Он только и жил этой памятью о прежних мирах, О прошлой вечности, о своем премирном бытии, и какое ему было дело до каких-то "шумных народов", которые так громко кричат о своих назойливых нуждах! К людям он относился не то, что враждебно, но холодно. У него было стихотворение о том, что он еле следит за их суетными мирскими делами - "среди видений, сновидений, голосов миров иных". Вся жизнь человечества казалась ему "суетными мирскими делами", от которых чем дальше, тем лучше. "Я к людям не выйду навстречу", говорил он в январе 1903 года. А когда однажды ему пришлось оторваться на миг от "видений, сновидений" и взглянуть на суетливые мирские дела, он увидел в них только бессмысленную боль, которую и отразил в конце книги. Но вообще он был вполне равнодушен к юдоли, куда его, серафима, швырнула чья-то злая рука. Он так и выражался юдоль, и еще подростком, полумальчиком, повторял надменно и наивно:

- Утратил я давно с юдолью связь.

И такое же пренебрежение к юдоли угадывал в своей любимой деве:

- Ты уходишь от земной юдоли... - Ты безоблачно светла, но лишь в бессмертии, не в юдоли.

Весь мир был разделен для него пополам: на черную половину и белую. В черной помещалась юдоль со всеми ее людьми и делами, а в светлой - неземное, нездешнее. Это была элементарная антитеза, бедная схема; если он говорил, например, слово там, то на следующей строке было здесь.

Все лучи моей свободы

Заалели там.

Здесь снега и непогоды

Окружали храм,

той черты, разрезающей мир пополам, он так и не стер до конца своей жизни, и в последней поэме "Возмездие" по-прежнему требовал, чтобы каждый художник отделял земное от небесного, свет от тьмы и святость от греха. [\[350\]](#)

### Ш

Святость его возлюбленной была для него непререкаемым догматом. Он так и называл ее святая. "О, святая, как ласковы свечи". "В ризах целомудрия; о, святая, где ты?" Ее образ часто являлся ему в окружении церковных святынь и был связан с колокольными звонами, хорами ангелов, иконами, аналоями, скитами, соборами. Вообще его первая книга была самая религиозная книга изо всех за десятки лет. В ней, особенно на ее первых страницах, чувствовалась еще сохранившаяся детская вера:

С глубокою верою в Бога  
Мне и темная церковь светла -

простодушно говорил он тогда, а если порою на него и нападало безверие, он шел в "высокий собор" и молился. Это у него называлось "ищу защиты у Христа".

Неверующему он говорил:

Внимай словам церковной службы,  
Чтоб грани страха перейти.

Так что, когда в 1903 году на страницах религиозно-философского журнала "Новый путь" появились первые стихотворения Блока, они оказались в полной гармонии с теми иконами благовещения девы Марии, которые были напечатаны тут же, на соседних страницах, и тем как бы воочию сливались образ воспеваемой им девы с богородицей девой Марией.

Но христианство Блока было почти без Христа. Даже в тех стихах его первого тома, где сказались его надежды на второе пришествие, внушенные ему Влад. Соловьевым и Андреем Белым, не было упоминания о Христе. Христос хоть и присутствовал в книге, но еле угадывался где-то в тумане, а на его месте озаренная всеми огнями сияла во всей своей славе Она. И Блок умел молиться только ей, именно потому, что Она была женщина. Божество, как мужское начало, было для него не божество; только влюбившись в божество, как влюбляются в женщину, он мог преклониться перед ним.

Божественно-женственное было для него божественно-девственное. Если иногда он и звал свою милую вечной женой, это была жена - приснодева. Девственность являлась ее неизменным эпитетом. Блок постоянно твердил, что и рассвет ее девственный, и риза на ней девственная, и грудь у нее девственная:

Огонь нездешних вождлений  
Вздымает девственную грудь.

И естественно, с этим образом девственницы сочеталась у него в ту пору - лазурь:

- Ты лазурью сильна... - Вдруг расцвела в лазури торжествуя... - В объятия лазурных сновидений, невнятных нам, себя ты отдаешь...

Небесно-голубое так шло к этой беспорочной любви. Сколько бы другие символисты ни славил "выпуклые, вечно не сытые груди", "выгибы алчущих тел", его любовь не знала сладострастия. А если иногда и пробуждалась в нем похоть, он ощущал ее как что-то греховное и просил у своей Светлой прощения:

Я знаю, не вспомнишь Ты, Светлая, зла,  
Которое билось во мне,  
Когда подходила Ты, стройно-бела,  
Как лебедь к моей глубине,  
Но я возмущал Твою гордую лень -  
То чуждая сила его.  
Холодная туча смущала мой день -  
Твой день был светлей моего.

Замечательно, что никогда он не чувствовал ее слишком близкой к себе - а напротив, ему неизменно казалось, что она неблагосклонна и сурова; ему чудилась в ней какая-то надменная строгость. Она была скорее зла, чем добра. "Ты смотришь тихая и строгая", "величава, тиха и строга", "дольнему стуку чужда и строга".

А себя рядом с нею он чувствовал убогим рабом, не смеющим и взглянуть на нее, и говорил, что он, безвестный раб, поет ее в пыли, в унижении. Это слово Она он всегда писал с большой буквы, и не только Она, а все слова, имеющие к ней отношение: ее Очи - большое О, ее Розы - большое Р, ее Тайна - большое Т. Его влекло унижаться перед нею, ему хотелось любить ее застенчивой, робкой, почти безнадежной любовью. "Раб", "безвестный раб", "я черный раб проклятой крови", "я тварь дрожащая" - любил он повторять о себе. Это рабство не только не тяготило его, но казалось ему высшей свободой.

Я знал, задумчивый поэт,  
Что ни один не ведал гений  
Такой свободы, как обет  
Моих невольничьих служении.

Servus - Reginae озаглавил он одно стихотворение, то есть "Раб - Царице". Мог бы озаглавить так всю книгу, потому что вся его книга была выражением этой просительной, коленопреклоненной любви. Он был похож на влюбленного, который пришел на свидание, хоть и знает, что Строгая забыла о нем и что его надежды безумны. Она забыла о нем, но он медлит, прислушивается, шепчет: приди. Этим приди была охвачена вся его первая книга.

Один я жду, я жду - тебя, тебя, тебя...  
И я живу, живу, живу - сомненьем о тебе.  
Приди, приди, приди - душа истомлена.  
Один - я жду, я жду, - тебя, тебя одну.

Это я жду чувствовалось в каждой строке. Ждать стало его многолетней привычкой. Вся его книга была книгой ожиданий, призывов, гаданий, сомнений, томлений, предчувствий: Не замечу ль по былинкам  
Потаенного следа?

Только об этом он и пел - изо дня в день шесть лет: с 1898-го по 1904-й и посвятил этой теме 687 стихотворений. 687 стихотворений одной теме! Не меньше восьми тысяч стихов. Этого, кажется не было ни в русской, ни в какой другой литературе. Такая однострунность души! Владимир Соловьев, его учитель, написал о своей лучезарной Подруге лишь пять или шесть стихотворений, а у Блока свободным потоком текла безостановочная песня о Ней.

В этой изумительной непрерывности творчества было его великое счастье. Выпадали такие блаженные дни, когда он, одно за другим, писал по три, по четыре стихотворения подряд. Раз возникнув, лирические волны, несущие его на себе, не отхлынывали, а увлекали все дальше. Отсюда слитность всех его стихотворений, их живая, органическая цельность. Их нужно читать подряд, потому что одно переливается в другое, одно как бы растет из другого. Нет, в сущности, отдельных стихотворений Блока, а есть одно сплошное неделимое стихотворение всей его жизни. Оно лилось, как река, начавшись тонкой, еле приметной струей, и с каждым годом разливаясь все шире. Именно как река, потому что никому из поэтов не была в такой мере присуща влажность и длительная текучесть стиха. Его стихи были влага. Он не строил, не склеивал их из твердых частиц, как например, Ив. Бунин, но давал им волю струиться. И всегда казалось, что этот поток сильнее его самого, что даже если бы он хотел, он не мог бы ни остановить, ни направить его.

Покраснели и гаснут ступени!  
Ты сказала сама: - Приду.  
У входа в сумрак молений  
Я открыл мое сердце. - Жду.

Все шесть лет - об этом, об одном. Ни разу за все это время у него не нашлось ни единого слова - иного. Вокруг были улицы, женщины, рестораны, газеты, но ни к чему он не



привязался, а так и прошел серафимом мимо всей нашей человеческой сутолоки, без конца повторяя осанну. Ни слова не сказал он о нас, ни разу даже не посмотрел в нашу сторону, а все туда, - в голубое и розовое.

#### IV

Голубое и розовое - благополучные, идиллически-мирные краски. И вся первая книга Блока - благополучная, идиллически-мирная. Но есть в ней два стихотворения, которые нарушают ее благолепие. Странно, что их никто не заметил, а между тем они до такой степени не в ладу со всей книгой, что поневоле привлекают внимание. В одном из них, написанном в 1904 году, говорится, что, кроме Лучезарной, есть какая-то другая, Безликая, которая колдует в тиши, а в другом - еще более странном, - говорится такое, что в сущности уничтожает собою всю книгу, все стихи о "Прекрасной Даме". Вдруг в апреле 1902 года у Блока написались стихи:

Боюсь души моей двуликой  
И осторожно хороню  
Свой образ дьявольский и дикий  
В сию священную броню.

Признание чрезвычайное! Оказалось, что ангел давно уже ощущал в себе дьявола, но только прятал его под священной броней. Он так и говорит о себе, как о лицемерном обманщике:

В своей молитве суеверной  
Ищу защиты у Христа,  
Но из-под маски лицемерной  
Смеются лживые уста.

Замечательно здесь слово: смеются. Потом об этом кощунственном смехе Блок напишет немало стихов и статей, но тогда это случилось впервые: впервые он почувствовал себя лицемером, смеющимся над своей святыней. Это случилось на 21 году его жизни, но так и мелькнуло почти незаметно, и дальше следовали привычные жесты:

Я отрок, зажигаю свечи,  
Огонь кадильный берегу.

Но все же промелькнуло, все же откуда-нибудь да взялось это чувство. Тут не было литературы и позы. Ни у Соловьева, ни у Полонского он не мог это вычитать, а Верлена, Сологуба или Гиппиус он тогда еще не знал.

Это было в нем свое, органическое. Он и сам говорит в "Автобиографической справке", напечатанной у Венгерова в "Литературе XX века", что он ощутил в себе приступы иронии и отчаяния, когда ему не было шестнадцати лет. Оказывается, отрок, зажигающий свечи, ощущал в себе и серафима, и Дьявола, и часто боялся своей "двуликой души".

Потом, через несколько лет, эта двуликость души станет его главной и почти единственной темой: сочетание веры с безверием, осанны с кощунством.

В этом раннем стихотворении - пророчество о будущих "темных" произведениях Блока.

Отсюда протянутся нити к "Балаганчику", к "Незнакомке", к "Ночным Часам" и т. д. Скоро борьба с этой темной силою станет для Блока, как и для его любимого Аполлона Григорьева, борьбою с самим собой, борьбою "смирного" начала с "хищным", с "беспощадной иронической казнью".

Но все это случилось потом. А тогда он все еще был - и надолго остался - отроком, зажигающим свечи, непорочно влюбленным в свою Непорочную.

#### V

Принято думать, что этой любви научил его Влад. Соловьев. Сам Блок повторял не раз, что поэзия Влад. Соловьева имела на него влияние огромное.

Соловьев, как поэт, был беднее и схематичнее Блока; он был почти совершенно лишен той лирической влаги, которая так обильно и вольно струилась у Блока даже в его слабейших стихах. Но он был для Блока Иоанном предтечей, первым из русских поэтов,

возвестившим о боге-жене. Другие только смутно лепетали о ней, а он, Влад. Соловьев, возгласил:

Знай­те же, вечная жен­ствен­ность ны­не

В теле нет­лен­ном на зем­лю идет.

В этом *знай­те* же была непоколебимая вера.

Соловьев не только воспевал свою Вечную Подругу в стихах, но и писал о Ней в прозе, в богословских и метафизических терминах, до странности мертво и догматично. Вслед за гностиками, создавшими учение о Pislis Софии, он говорил, что для бога его другое (т. е. вселенная) имеет от века образ совершенной женственности, но бог, будто бы, хочет, чтобы этот образ был не только для него одного, а и для каждого, кто способен с этим образом слиться. К такому слиянию стремится, будто бы, и сама вечная женственность, которая, по словам Соловьева, не есть только бездейственный образ в уме божества, а живое духовное существо, обладающее всей полнотой сил и действий, воспринявшее от бога полноту божественной жизни и нетленное сияние красоты.

К счастью, эти схемы остались Блоку чужды. Его ощущение женственности было непосредственно-живое. Он жаждал воплотить свою метафизику в лирике, а не в этой окостенелой схоластике. Отсюда его увлечение не прозой, а стихами Соловьева.

Эти стихи были близки ему раньше всего тем аскетическим, монашеским пренебрежением к миру, которое так обескровило их. Ни у какого другого поэта дуализм здешнего и нездешнего мира не проведен с такой прямолинейностью и жесткостью, как именно в стихах Соловьева. О здешнем мире он всегда говорил, что это:

- "грубая кора вещества",
- "призрак, ложь и обман",
- "царство заблуждений",
- "тьма житейских зол",
- "злая сила тьмы",
- "мимо­лет­ный дым",
- "темница" и "пустыня",—

и вообще для этого "здешнего мира" не нашел ни единого доброго слова. А самое слово "нездешний" было у него всегда похвалой, и когда он говорил "нездешние цветы", "нездешняя встреча", "нездешние страны", "нездешние сны", это значило: очень хорошие сны, очень хорошие страны...

Блок, как мы видели, усвоил себе то же ощущение, так что тема была у обоих поэтов одна: борьба этого здешнего с нездешним. Иной темы не знали ни тот, ни другой. И вообще в первых стихотворениях Блока Соловьев присутствовал на каждой странице: слова Соловьева, цитаты из Соловьева, эпиграфы из Соловьева. Даже имена, даваемые Блоком возлюбленной, были заимствованы им у Соловьева: Лучезарная, Таинственная, Вечная. Даже то ощущение лазури и золота, с которым Блок всегда сочетал ее образ, было ощущением Соловьева, потому что Соловьев постоянно, изображая ее, говорил: "Вдруг золотой лазурью все полно"... "Вся в лазури сегодня явилась"... "Пронизана лазурью золотистой"... "Лазурь кругом, лазурь в душе моей".

Но на этом сходство и кончается, - чисто внешнее и почти случайное сходство. Та, которую они так величали была для каждого из них - иная, и любили они ее оба по-разному.

Как любил ее Владимир Соловьев? Весь его роман с Лучезарной изложен им в поэме "Три свидания". Он увидел ее впервые девятилетним мальчиком, в церкви, в Москве, над алтарем, в синем кадильном дыме, за 20 лет до рождения Блока, в 1862 году; она явилась ему на мгновение и исчезла.

Прошло 13 лет. 31 мая 1875 года он, в качестве доцента Московского университета, был командирован за границу с ученою целью на один год и три месяца. Он отправился в Лондон для занятий в Британском Музее и через полгода с ним случилось такое, что не

часто происходит с доцентами, командированными в Британский Музей - ему явилось ее лицо:

Вдруг золотой лазурью все полно;  
И предо мной она сияет снова,  
Одно ее лицо, оно одно.

Только лицо без тела. Он пожелал увидеть ее всю, и она повелела ему покинуть Лондон и отправиться в Египет, где обещала явиться опять. Доцент, командированный в Лондон для научных занятий в Британском Музее, тотчас же помчался в Египет, а оттуда (в элегантном лондонском цилиндре) в Сахару, где его чуть не убили бедуины.

"И вот повеяло: усни мой бедный друг. И я уснул; когда ж проснулся чутко - дышали розами земля и неба круг. И в пурпуре небесного блистанья очами, полными лазурного огня, глядела ты, как первое сиянье всемирного и творческого дня. Что есть, что было, что грядет вовеки, все обнял тут один недвижный взор, сияют надо мной моря и реки, и дальний лес, и выси снежных гор, все видел я и все одно лишь было, один лишь образ женской красоты, безмерное в его размер входило, передо мной, во мне одна лишь ты". Сколько времени длилось видение, не знаем, так как времени не было. Время исчезло. Настоящее, прошедшее и будущее как бы слились воедино:

Что есть, что было, что грядет вовеки,  
Все обнял тут один недвижный взор.

Человек приобщился вечности. "Прямо смотрю я из времени в вечность", - мог бы он сказать о себе. Едва он отрешился от юдоли, от грубой коры вещества, как цепь времени распалась для него, и он почувствовал себя победителем смерти. Не только время "погасло у него в уме", но и пространство. В пустыне он увидел всю вселенную: Все видел я, и все одно лишь было.

Радостное приобщение к какой-то вневременной и вне-пространственной сущности, победа над пространством и временем - вот чем была дорога Соловьеву его Лучезарная Дева. После ее появления он уже не верил в иллюзию времени: "Царству времени все я не верю!", "Смерть и время царят на земле, ты владыками их не зови".

Экстатические озарения Блока, связанные с образом Девы, были иного характера. Он не говорил ни о времени, ни о пространстве, а лишь о снах, туманах и молитвах. Его хаотически-дремотные чувства не вмещали таких четких категорий, как пространство и время. И вообще у Соловьева отношения к Деве были определительнее, проще и - интимнее. Соловьев, например, постоянно именовал ее своей подругой. "Подруга вечная!" - повторял он ей. - "Я вновь Таинственной Подруги услышал гаснущий призыв". - "Только имя одно Лучезарной Подруги угадаешь ли ты?"

Пусть она для него царица, но и он рядом с нею - царь.

Ты станешь сам, безбрежен и прекрасен,  
Царем всего.-

говорил он, обращаясь к себе. А у Блока этой близости не было. Он и помыслить не смел о таком приятельстве с владычицей. Как мы видели, рядом с нею он чувствовал себя не царем, а рабом, и радовался своему унижению. Во всем своем первом томе он только раз назвал ее Подругой, да и то это была случайная обмолвка, лютотому что ни о какой дружбе между рабом и владычицей не могло быть и речи. А Соловьев ни разу не назвал себя ее рабом именно потому, что ощущал ее своей подругой. Тут величайшая разница. Один в пыли на коленях, к другой рядом, как равный, и даже порою - с улыбкой; какой юмористический тон у поэмы Соловьева "Три свидания"! Соловьев никогда не ощущал свою Лучезарную - строгой. Напротив, в этой поэме он даже смеялся вместе с нею, когда она смеялась над ним:

Смеюсь с тобой: богам и людям сродно  
Смеяться бедам, раз они прошли.

А Блок постоянно твердил, что она суровая и строгая, и смеяться вместе с нею показалось бы ему фамильярностью. Вообще в его отношениях к ней было слишком много торжественности. Она всегда была ему чужая. А для Соловьева она была своя, добрая, нестрашная. Блок никогда не чувствовал ее доброты. Кажется, он перестал бы любить ее, если бы она стала добра. Ему нужно было любить - равнодушно.

Соловьев неизменно верил в свою Лучезарную, и, как верующий, исповедывал веру. У Блока же - не вера, а надежда, часто почти безнадежная. Оттого-то все его любовные мысли были о будущих свиданиях и встречах, а у Соловьева - о прошлых. Нигде у Соловьева нет этих Блоковских жду и приди. Различие между Соловьевым и Блоком есть различие между верой и надеждой. Блок в своей ранней поэзии был ожидающий любовник, а Соловьев был дождавшийся муж. Блок стремился, Соловьев достиг. Оттого у Соловьева и нет этого любовного напряжения, томления, всей этой музыки предчувствий и молений, которой была исполнена ранняя поэзия Блока. Оттого-то и мог Соловьев говорить о Прекрасной Даме в таких точных, определительных терминах, как египетский офит или средневековый схоласт, а Блок умел только молиться, гадать и любить. Так что, если всмотреться внимательно, сходство между Соловьевым и Блоком лишь кажущееся.

## VI

И есть еще одно различие, - огромное, - которое окончательно уничтожает легенду о влиянии Соловьева на Блока: Соловьев прославлял идеальную бесплотную женщину, а Блок - живую, которую видел и знал.

Соловьев считал величайшим грехом приписывать какой-нибудь женщине здешнего мира не свойственные ей небесные черты, а Блок поступал именно так.

Если вчитаться в его первую книгу внимательно, видишь, что это подлинная повесть о том, как один подросток столь восторженно влюбился в соседку, что создал из нее Лучезарную Деву, и весь окружающий ее деревенский пейзаж преобразил в неземные селенья. Это было то самое, что сделал Данте с дочерью соседа Портинари, а в наши дни Андрей Белый - с московской барыней Надеждой Зариной. [\[351\]](#) Соловьеву это было чуждо и враждебно.

Когда читаешь в первой книге Блока о красных лампадках в терему у царевны, о голубях, которые слетаются к ее узорчатой двери, о высокой горе, на которой стоит ее терем, и т. д., и т. д. - за всеми этими торжественными образами угадываешь знакомое русское: помещичью усадьбу на холме, голубятню, речку, церковку, молодой березняк.

Можно так расшифровать все самые выпренные образы "Стихов о Прекрасной Даме", что получится бытовая (и вполне реалистическая) повесть.

В том-то и было своеобразие поэзии Блока, что он, пользуясь криптографическим стилем, перевел весь тогдашний свой жизненный опыт из одной атмосферы в другую. Это было возможно лишь при том смутном, дремотном восприятии мира, которое сказалось в его ранних стихах. Поэт постоянно преображал окружающее, делал обыденное выпренным. Тут было его главное призвание с юности до конца его дней. Для Владимира Соловьева житейское было проклято раз навсегда и ни во что иное преобразиться не могло, а Блок во всех своих творениях, в "Незнакомке", "За гробом", "Над озером", в драме "Песня Судьбы", в поэме "Двенадцать" - всюду опять и опять преображал житейское в Иное. Он не только говорил о преображении мира, но преображал его творчески. Оттого-то его образы двойственны. Каждый из них - о двух бытиях.

Но если бы, ограничив влияние Соловьева на Блока столь тесными рамками, мы непременно захотели причислить поэта к какой-нибудь поэтической школе, нам пришлось бы, мне кажется, обратиться в Германию, на целое столетие вспять, к так называемым Иенским романтикам. Во многом между ними и Блоком сходство разительное: те же мысли, те же приемы, те же слова, те же образы.

Если поэтика Блока есть поэтика тайны, то в чем же, как не в откровении тайн, видели сущность искусства молодые романтики Иены? Если Блок отвергает земное, во имя

неземной благодати, то разве не таково же было отношение к земному у Вакенродера, Тика, Новалиса? Если он видит в поэзии религию, откровение бесконечного в конечном, то разве не таково же было отношение к поэзии у них?

Если он певец сновидений, то разве Новалис не был певец сновидений? На первых же страницах его "Офтердингена" такое количество снов, что книга похожа на сонник. Бесформенность и путанность сонных видений была поэтическим каноном Иенских романтиков и, как мы видели, стала каноном Блока.

Даже то тяготение к бледно-синему цвету, к лазури, которым отмечены первоначальные стихотворения Блока, даже оно отличало романтиков, ибо кто же не знает, что именно романтики, как сказал Веселовский, "имели предилекцию" к этому цвету: к голубым далям, голубому цветку, голубому томлению.

Словом, если бы летом 1799 года Блок прочитал свои первоначальные стихи за столом у Каролины Шлегель - ей, Фридриху Шлегелю и Фридриху Шеллингу, - они почувствовали бы в нем своего. Какое письмо написала бы о нем Каролина своей удивительной дочери Августе! Его томление по Прекрасной Даме было бы сочувственно понято теми, кто лишь за год до того наблюдал, как из умершей девочки Софии фон Кюн ее неутешный возлюбленный создал себе вечную святыню, воплощение мирового блаженства, ту самую Weltseele, которая, по ощущению Шеллинга, составляет нерасторжимую связь между юдолью и богом.

Не было бы ничего удивительного, если бы оказалось, что Блок слушал в Иенском университете осенью 1799 года лекции о системе трансцендентального идеализма и гулял по окрестным холмам с двадцатилетним Brentano. С каким умилением читал бы его гимны Прекрасной Даме благочестивый Захария Вернер! В Блоке чувствовался мистик именно германского склада души, соотечественник Мейстера Экгардта, Иоганна Таулера, Якоба Беме. Его боговидение было чисто тевтонское. Вообще в русском символизме Блок, как и Андрей Белый, - представитель германских, а не латинских литературных традиций. Замечательно, что те предчувствия близкого светопреставления, которые в 1799 году волновали Иенских романтиков, через сто лет взволновали и Блока. Близок срок, возгремит труба, разверзнутся черные склепы –

И тогда - в гремящей сфере

Небывалого огня -

Светлый меч нам вскрыет двери

Ослепительного дня.

Это мог бы написать Шлейермахер. Блок, как и Шлейермахер, за сто лет до него ждал со дня на день второго пришествия, веруя, что не Христос, а жена, облеченная в солнце, спасет его от тлетворного хаоса:

Сторожим у входа в терем,

Верные рабы.

Страстно верим, выси мерим,

Вечно ждем трубы.

## VII

Словом, можно легко доказать, что чуть не в каждом своем стихотворении Блок был продолжателем и как бы двойником тех немецких не слишком даровитых писателей, которые в 1798 и 1799 годах жили на известковом берегу реки Заале. Можно проследить все их влияния, отражения, веяния и написать весьма наукообразную книгу, в которой будет много эрудиции, но не будет одного: Блока ибо Блок, как и всякий поэт, есть явление единственное, с душой непохожей ни на чью, и если мы хотим понять его душу, мы должны следить не за тем, чем он случайно похож на других, а лишь за тем, чем он ни на кого не похож. Лишь вне течений, направлений, влияний, отражений, традиций, школ вскрывается нам творчество поэта. Чуть мы осознали его, как представителя такого-то течения, его поэзия умирает для нас, делается для нас посторонней - и значит, перестает быть поэзией. Поэзия существует не для того, чтобы мы изучали ее или критиковали ее, а

для того, чтобы мы ею жили. И какое мне дело, был ли Блок символист, акмеист или неоромантик, если я хочу, чтобы его стихи волновали меня, хочу позволить себе эту роскошь, для критиков почти невозможную - тревожиться ими, а не регистрировать их по заранее подготовленным рубрикам? Что прибавится к нашему знанию о Блоке, если нам будет указано, что с конца 1902 года на него, кроме Соловьева, Полонского, Фета, стали влиять модернисты, что с тех пор он осознал себя, как приверженца символической школы, что у него стали появляться стихи, внушенные Бальмонтом и Брюсовым? Разве мы не стремимся увидеть в нем именно то, чего никто кроме него не имеет, то редкое и странное нечто, которое носит наивное, всеми забытое, конфузное, скомпрометированное имя: душа. Знаю, что теперь непристойно это старомодное, провинциальное слово, что, по нынешним литературным канонам, критик должен говорить либо о течениях, направлениях, школах, либо о композиции, фонетике, стилистике, эйдологии, - о чем угодно, но не о душе, но что же делать, если и в композиции, и в фонетике, и в стилистике Блока - душа! Странная вещь душа: в ней, только в ней одной, все формы, все стили, все музыки, и нет такой техники, которая могла бы подделать ее, потому что литературная техника есть тоже - душа. Знаю, что неуместно говорить о душе, пока существуют такие благополучные рубрики, как символизм, классицизм, романтизм, байронизм, неоромантизм и проч., так как для классификации поэтов по вышеуказанным рубрикам понятие о душе и о творческой личности не только излишне, но даже мешает, нарушая стройность этих критико-бюрократических схем. Знаю, что если бы, например, у Байрона не было вовсе души, это было бы гораздо удобнее для бесчисленных доцентов всего мира, пишущих о нем диссертации. Как будто он жил и творил для того, чтобы у целой армии благополучных доцентов было о чем писать диссертации. Но есть же у поэта душа, которая живет лишь однажды - религиозной, торжественной жизнью - для себя, а не для заполнения готовой графы:

- Символист неоромантической школы.

- Акмеист реалистического толка.

Эта душа ускользнет от всех скопцов-классификаторов и откроется только - душе. Та гимназистка, которая разрезывает шпилькой "Стихотворения Блока", и не знает, что такое Ante Lucem, может воспринять его поэзию жизненнее, свежее, полнее, ввести ее в свою кровь, забеременеть ею и постичь ее более творчески, нежели целый факультет обездушенных, которые так ретиво следят за всякими течениями и веяниями, что забыли о таком пустяке, как душа. Есть у нас, в нашей критике, целая плеяда таких обездушенных, которые принимают свою слепоту за достоинство и даже похваляются ею. Если бы они писали о Блоке, они стали бы душителями Блока: их отношение к стихам, исключительно как к материалу, убило бы эти стихи. Спорить с ними или порицать их - жестоко. Они и без того уже наказаны богом. "Они не видят и не слышат, живут в сем мире, как впотьмах". Блок всегда ревниво оберегал свою душу от них.

Молчите, проклятые книги!

Я вас не писал никогда!

- воскликнул он в позднейших стихах, едва только ему представился тот внушительный труд, который благополучно напишет о его неблагополучной душе какой-нибудь ученый историк:

Печальная доля - так сложно,  
Так трудно и празднично жить.  
И стать достоянием доцента,  
И критиков новых плодить.

Он заранее презирает того, кто превратит его трудную и праздничную жизнь в мертвый учебник словесности:

Вот только замучит, проклятый.

Ни в чем неповинных ребят

Годами рожденья и смерти  
И ворохом скверных цитат.

Так защищал он свою душу от бездушных, которым ничего не стоит нагромоздить целую гору исследований о его стилистике и ритмике, о влиянии на него Фета, Жуковского, Лермонтова, александрийских Гностиков, московских мистиков, йенских романтиков, - обо всем, о чем угодно, только не о той "трудной и праздничной жизни", без которой его книги были бы пылью и гнилью, а не насущным хлебом для всего поколения.

Прекрасно говорит об этом сам Блок в одной из своих давних статей о поэзии: "Группировка поэтов по школам, по "мироотношению", по "способам восприятия" - труд праздный и неблагодарный... Лирика нельзя покрыть крышкой, нельзя разграфить страничку и занести имена лириков в разные графы. Лирик того и гляди перескочит через несколько граф и займет то место, которое разграфлявший бумажку критик тщательно охранял от его вторжения".[\[352\]](#)

Правда, Блока здесь занимает другое: стремление навязать поэту те или иные внелитературные тенденции, но сказанное им можно отнести вообще ко всяким группировкам поэтов.

Блок требовал, чтобы, говоря о поэте, мы пережили вместе с ним его душу, а не отделялись от него мертвыми схемами.

Вторая книга стихов[\[353\]](#)

### VIII

С Блоком именно то и случилось, о чем он писал в только что упомянутой статье: вскоре он неожиданно разрушил все рамки, в которых, по ощущению критиков, было заключено его творчество, и явил нам новое лицо, никем не предвиденное, изумившее многих.

Это новое лицо запечатлелось во втором его томе и в трех драматических пьесах: "Балаганчик", "Король на площади" и "Незнакомка".

Странно читать после первого тома второй. Другая атмосфера, другой запах. Вообще у каждого его тома всё совершенно иное. Три тома - три разных лица. И, если после первого тома сейчас же открыть второй - не ладаном пахнет, а сивухой. "Я нищий бродяга, посетитель ночных ресторанов" - стал он говорить о себе, как будто он и не был никогда "отроком, зажигающим свечи". Теперь слово кабака стало повторяться у него столь же часто, как некогда слово храм. Говорить от лица пьяных гуляк стало его постоянной потребностью.

- И на щеке моей блеснула, сверкнула пьяная слеза.
- И все души моей излучины пронзило терпкое вино.
- Хоть нет звезды счастливой более с тех пор, как запил я!

О пьянстве, о попойках, о запое он стал говорить так же часто, как некогда о молитвах перед Девой:

- Хорошо прислониться к дверному косяку после ночной попойки моей.

Весь его второй том пьяный, мутный, - не горные высоты, но низменности. Недаром в этом томе столько стихов о болоте. Все стихи, помещенные на его первых страницах, изображают именно болото: чахлые болотные кочки, ржавые трясины, болотные впадины, болотные огоньки, болотную стоячую воду. В книге нет ясности, нет той пушкинской, мудрой, предсмертной, хрустальной отчетливости мыслей и чувств, которая появится у Блока позднее, в третьем его томе, начиная с 1909 года. Теперь же он весь с головою в трясине, в мартовской мутной воде, потому что эта книга есть март его жизни, тот "весенний и тлетворный дух", которым была тогда напоена его кровь. Ясность придет потом, осенняя, без мартовских дурманов. Теперь же его "небо упало в болото", и перед ним, как пузыри на трясине, возникли какие-то болотные бесы, ведьмы, карлики, попики,

- и болотная Ночная Фиалка.
- Это шутит над вами болото.
- Это манит вас темная сила.

Стихи о болоте служат как бы введением в книгу. В них никакого ветра, болотная тишина и сонь. И никакого неба - только чахлая полоска зари. То лазурное, золотое и розовое, что осеняло поэта в первой его книге, исчезло. Осталась именно полоска зари, которая проходит через всю его книгу. "Стоит полукруг зари", "Таинство зари", "С тобою смотрел я на эту зарю", "Я буду смотреть на Зарю!"... "В высь изверженные дымы застилали свет зари". И много зловещих слов появилось в этой новой книге: "хаос", "судороги", "корчи", "злое голодное Лихо", "могилы жизни", "земная забота", "нужда", "зловонье", "проклятье", "заплеванный пол". В первой книге ничего этого не было; теперь же это стало неизбежно, потому что у Блока появилась новая тема: город. Блок стал поэтом города - вначале под влиянием Брюсова и его апокалиптической поэмы "Конь Бледный", а потом в своем собственном дремотно-хаотическом стиле, который так отлично подходил к этой теме. Город, изображенный им, был всегда и неизменно - Петербург; петербургские ночи, петербургские женщины, петербургские революции, петербургские кабаки, петербургские вьюги. Не то чтобы Блок воспевал Петербург, - нет, но в нем каждая строчка была петербургская, словно соткана из петербургского воздуха. И заря, к которой он теперь так пристрастился, тоже была петербургская. Не знающему Петербурга никогда не понять ни "Незнакомки", ни "Снежной Маски", ни "Снежной Девы", - ни одной из его подлинно петербургских возлюбленных, которых создало петербургское болото и небо. О Снежной Деве он сам говорил:

И город мой железно-серый.  
Где ветер, дождь, и зыбь, и мгла,  
С какой-то непонятной верой  
Она, как царство, приняла.

.....  
Она узнала зыбь и дымы,  
Огни, и мраки, и дома -  
Весь город мой непостижимый -  
Непостижимая сама.

Замечательно, что в его стихах нет Москвы: Кремль упоминается только дважды и то мимоходом. Блок наименее московский из всех русских поэтов. И революция, которую он отразил в этой книге, тоже была петербургская: 9 января ("Шли на приступ"), митинг ("Митинг"), забастовка рабочих ("Сытые"), - петербургские революционные образы. Вторая книга почти вся в Петербурге: серафим из своего беспредметного мира прямо упал в петербургскую ночь.

И с ним случилось чудо: он увидел людей.

В жизни Блока это было событие огромное. Шесть лет он пел свои песни, - и ни слова не сказал о человеке. Если бы на свете не было ни одного человека, в "Стихах о Прекрасной Даме" не пришлось бы изменить ни строки, потому что он пел их в безлюдном и беспредметном пространстве. Теперь же, в городе, он понял впервые, что существуют не только он сам и его Небесная Дева, но - и люди. Это произошло с ним еще в конце его первого тома, в ноябре 1903 года, когда он написал свое стихотворение "Фабрика".

Человеческих лиц он еще не увидел, лица были еще в тумане, но он увидел главное: спины. Люди явились ему раньше всего как спины, отягощенные бременем:

Я слышу все с моей вершины;  
Он медным голосом зовет  
Согнуть измученные спины  
Внизу собравшийся народ.

И следующее четверостишие - снова о спинах:

Они войдут и разбредутся,  
Навалят на спины кули.



И в желтых окнах засмеются,  
Что этих нищих провели.

Согнутые спины - это было его открытие. Прежде, у себя на вершине, он и не знал, что у нас согнуты спины. Теперь он повествует, как из храма, из своего радостного сада, он прошел зловонными городскими дворами к городскому труду и проклятью - и впервые увидел спины.

Мы миновали все ворота  
И в каждом видели окне,  
Как тяжело лежит работа  
На каждой согнутой спине.

Это было первое, что узнал он о людях: им больно. И в целом ряде стихов у него появились люди, раздавленные непосильною ношею: женщина, которая заперла дома детей, а сама легла на рельсы, под поезд; больной, человек, который надорвался под тяжестью, упал и умер в пути; уличная девушка, которая размозжила себе голову о ступу. И поэт вопрошал в изумлении:

- Господь, ты слышишь? Господь, простишь ли?

Это было для него ново: он как будто был слеп и прозрел. Эти петербургские зловонные "колодцы дворов", крыши, желоба, чердаки привели его к созданию особого образа - человека, истертого городом, городского неудачника, чердачного жителя, от лица которого он и написал такие стихи, как "В октябре", "После ночной попойки", "Окна во двор", "Хожу, брожу понурый", "На чердаке" - и т. д., где великолепно уловлены интонации этих городских неудачников:

Да и меня без всяких поводов  
Загнали на чердак.  
Никто моих не слушал доводов  
И вышел мой табак.

Здесь первые проблески живых человеческих лиц. Блок впервые вошел в нашу жизнь, и стих его стал более живым: метафоры, которые в первом томе были закоряченные, неподвижные, традиционно-привычные, здесь ожили, зашевелились, смешались с реальными образами. Все дальше уходил серафим от своего зазвездного мира и понемногу у него появилось такое чувство, которого никто не мог предвидеть: ненависть к этому зазвездному миру, какая-то злая жажда посмеяться над ним, опорочить его, обвинить. Он стал ренегатом мистики, отступником прежней веры. Полагают, что это произошло оттого, что в то мутное время, в 1906 и 1907 гг., когда мистика сделалась литературной дешевкой, достоянием третьестепенных писак - он из гордости отрекся от нее, чтобы не быть с этой мистической чернью. Но, конечно, кроме этой причины, были и более глубокие. Чувствовалась в нем какая-то обида на мистику, жажда отомстить ей за что-то. Не сказался ли в нем тот давно им ощущаемый двойник, тот дьявольский и дикий дух, который был в нем всегда, но которого он, по его словам, "хоронил" под "священной броней" серафима? Теперь он дал этому дьяволу волю и в начале 1906 года, к великому смущению многих, стал демонстративно издеваться над своими святынями. Особенно изумили всех его театральные пьесы, написанные в том же году: "Балаганчик" и "Незнакомка". Все увидели в них измену былому. Андрей Белый был так возмущен, что предал поэта анафеме. В "Балаганчике" поэт не пощадил ни себя, ни своей "Прекрасной Дамы", ни своих единоверцев-мистиков. Мистиков он изобразил идиотами, которые сидят за столом и шепчут то самое, что недавно шептал он сам, о шелестах, вздохах, глубинах, вершинах и о близком прибытии Девы. Тот пафос ожидания, которым недавно был охвачен он сам, теперь для него только смешон. Мистики сидят и твердят:

- Ты ждешь?

- Я жду.

- Уж близко прибытие.

И вскоре к ним действительно является Прекрасная Дама, но оказывается, что это не Жизнь, а Смерть. У нее за плечами коса.

- Это смерть!

Если Прекрасная Дама - смерть, что же такое иные миры? Это просто бумага, размалеванная синею краскою. Едва только арлекин возгласил: "здравствуй, мир!" и кинулся в голубое окно, бумага порвалась, и он вверх ногами полетел в пустоту.

Так Блок издевался над Блоком.

В следующей пьесе "Незнакомка" он вывел себя самого в виде смешного поэта, который в пошлейшем салоне декламирует для светских пошляков Стихи о Прекрасной Даме.

Неудержимо было его странное стремление окарикатурить себя самого. Вместо Прекрасной Дамы он изображает теперь другое полубожество, Незнакомку, - звезду, которая упала на землю и, воплотившись в женщину, захотела не молить, но вина и объятий. К чему ей смешные лунатики, поющие перед нею псалмы? Ей нужен мужчина, который обнимет ее и поведет в отдельный кабинет.

Кого в отдельный кабинет? Мироправительницу? Деву Радужных Ворот? Богоматерь? Ту самую Невесту невестную, по которой из века в век, тоскуя и любя, томились Филон, Плотин, Петрарка, Шелли, Лермонтов, Владимир Соловьев?

Нет, та ушла без возврата, но взамен появилась другая, ее странный двойник, полуженщина-полуженщина, и он стал относиться к ней двойственно: набожно и в то же время цинически, молясь перед нею и в то же время презирая ее.

Вообще во второй его книге появилось слишком много женщин.

Уйдя от своей Лучезарной, он как будто впервые узнал, что на свете есть отнюдь не лучезарные женщины. "Бешенство объятий", "ночные желания" - эти слова появились у него только теперь. В 1904 г. в его стихах впервые появляется слово "блудница" и с тех пор уже не сходит со страниц:

- Женщина блудница с ложа пьяного желанья...

- Пляшут огненные бедра проститутки площадной...

IX

Поглубже в земное, в грязь, чтобы не было и мысли об ином! Изменить иному миру до конца. Принять все похоти и пошлости жизни.

Но в том-то и особенность Блока, что, при всем его стремлении загрязниться, житейское не прилипало к нему. Серафиму ли быть ренегатом? Каких бы язвительных и цинических слов ни говорил он о своих святынях, обличения звучали как молитвы. В них не было свойственной кощунствам пронзительной едкости, а была, против его воли, гармония.

Кощунство проявлялось лишь в сознании, а бессознательно, в лирике, он по-прежнему оставался религиозным поэтом Иного. Его лирика была сильнее его самого. Пусть в "Балаганчике" он смеялся над любовью и верой, его ирония была так поэтична, певуча, изящна, что оставалось впечатление нежности. Как бы ни смеялся он над глупым Пьеро, влюбленным в картонную деву, но те стихи, где Пьеро изливает свою смешную любовь, так упоительны, неотразимо-лиричны, что, слушая их, забываешь смеяться над ним.

Таковы всегда бывали кощунства у Блока: против воли гармоничны и нежны. Вместо проклятий - музыка. Как бы ни хотел он отречься от своего небесного наследия, он оставался серафимом поневоле.

В самые безумные минуты ему была свойственна серафическая, золоторунная грусть, преображавшая кощунство в гармонию.

Серафим поневоле, сколько бы он ни твердил, что принимает и приветствует нашу земную юдоль, он никак не умел принять ее, если она была только земная. Он мог повторять без конца:

Принимаю пустынные веси

И колодцы земных городов,

но это был самообман иностранца, старавшегося примириться с чужбиной, ибо жизнь всегда была священна для него не сама по себе, а тем, что скрывалось за нею. Остаться

надолго в нашем реальном мире он, при всем своем желании, не мог: всегда к реальным образам примешивались у него иррациональные и фантастические.

Это яснее всего в его тогдашних стихах о любви. Сколько бы он ни твердил, что женщины, которых мы любим, - картонные, он, вопреки своей воле, видел в них небо и звезды, чувствовал в них нездешние дали, и - сколько бы сам ни смеялся над этим, - каждая женщина в его любовных стихах сочеталась для него с облаками, закатами, зорями, каждая открывала просветы в Иное. Проследите в его тогдашних стихах, как часто образ женщины связан у него со звездным небом, как упрямо называет он то одну, то другую - звездой, причем иногда это только метафора, а иногда - живое ощущение, почти религиозная вера:

Звезда, ушедшая от мира,  
Ты над равниной далеко -

обращался он к одной своей возлюбленной, и вот его обращение к другой:

Кокетка! я прочел в светилах  
Всю повесть раннюю твою,  
И лживый блеск созвездий милых  
Под черным шелком узнаю!

Это стало у него привычкой: сплестать с женскими плечами, руками, губами - созвездия:  
Ты путям открыта млечным,  
Скрыта в тучах грозových.

Как бы он ни подавлял это чувство, оно пробивалось опять и опять:

Ты надо мной  
Опрокинула свод  
Голубой.

И странными кажутся те редкие его стихотворения, где женщина только женщина, в четырех стенах, за которыми не видно просторов. Это было несвойственно эротике Блока. Сколько бы он ни старался, он не мог полюбить - без звезд. Все еще осталась в нем привычка к небесному. Он мог относиться к любимой враждебно, но все же, наперекор всему, чувствовал ее причастность к Иному. Он был и кощунствуя - набожен.

Х

Здесь та изумительная двойственность, в которой было главное обаяние лирики Блока: пафос, разьедаемый иронией; ирония, побеждаемая лирикой; хула и хвала одновременно. Все двоилось у него в душе, и причудливы были те сочетания веры с безверием, которые сделали его столь близким современной душе. Он и веруя - не верил, что верует, и насмехаясь над мечтами - мечтал.

Он утверждая отрицал,  
И утверждал он отрицая.

Не хуже нас он видел, что Иное - это только бумага, размалеванная синею краскою, но тем жгучее были его молитвы Иному.

Не хуже других он знал, что женщины, которых он Целует, картонные, но все же воспевал их так сладостно, что его любовные песни стали для всего поколения молитвословием любви. Кто из нас не помнит, что, влюбившись, мы прибегали к поэзии Блока, потому что Блок и любовь были для нас неразлучны. Именно то, что эти гимны люб-си сочетались с осмеянием, делало их нашими любимыми. Блок не был бы нашим поэтом, если бы он не был двойным. Он был двойной, и все его темы, и все его произведения были двойные, начиная "Балаганчиком" и кончая "Двенадцатью".

Поэтому неправы были те, кто искали в его позднейших стихах какое-нибудь одно определенное чувство. В них было и то и другое, оба сразу, противоположные. В "Двенадцати" искали либо да, либо нет, и до сих пор никто не постиг, что там да и нет одновременно, и обвинение и восхваление сразу. Блок сам не всегда понимал свою

сложность, часто становился перед нею в тупик, и напрасно было спрашивать у него самого, что означают его песнопения. Он сам –  
не понял, не измерил,  
Кому он песни посвятил,  
В какого бога страстно верил.  
Какую девушку любил.

Двоеверие в себе и других он заметил еще в 1904 году:  
Каждый душу разбил пополам  
И поставил двойные законы.

И тогда же впервые заговорил о своем Двойнике:  
Но в туманный вечер - нас двое,  
Я вдвоем с Другим по ночам.

Этот двойник не оставлял его с тех пор никогда, - насмешливый и ни во что не верящий циник, привязавшийся к боговидцу-романтику. Он до странности любил в себе этого циника и, если побеждал его, то всегда против воли: в лирике, но не в сознании. Когда мы читали у него во втором его томе, что нет ничего приятнее, чем утрата лучших друзей, что лучшие из нас - проститутки, что жизнь - балаганчик для веселых и славных детей, это был голос его двойника. Этот голос звучал у него постоянно, но его заглушал тот, другой, серафический голос: так и звучали в одно и то же время Эти два столь несхожих голоса, странно сливаясь друг с другом.

- "Двойственные видения посещают меня", - говорил он в 1907 г. [\[354\]](#)

Отсюда многие двусложные образы Блока и прототип их всех - Незнакомка. Стихи о Незнакомке наше поколение сделало своим символом веры именно потому, что в них набожная любовь к этой Женщине Очарованных Далей сливается с ясным сознанием, что она просто публичная женщина. Замечательно, что через несколько лет после написания этих стихов Блок написал их опять, по-другому, и в новом варианте усилил ее неприглядность: придал ей мелкие черты лица, мещанскую вуаль и пьяное бесстыдство дешевой кокошки. И все же воспел ее набожно.

Такой двойственности еще не было в русской поэзии, и нужно быть великим поэтом, чтобы выразить эту двойственность в лирике. В стихотворении "На островах", написанном позже - в 1909 году, он именуется своего лирического двойника геометром любви, который со строгою четкостью наблюдает за своими поцелуями, зная, что его любовь - на минуту, что она вздор, что завтра же он забудет ее, что он целует не первую, что ему не нужно от этой любви ничего, чем обычно украшают любовь: ни ревности, ни клятв, ни тайны. И все же он любит, целует, оставаясь до конца геометром любви. [\[355\]](#)

В его пьесе "Незнакомка" всё двойное, все двойники, все двоится между двумя бытиями: между геометрией и небом.

Звездочет, внемлющий астральным ритмам, есть в то же время чиновник в голубом вицмундире.

Поэт-богоvideц есть в то же время свихнувшийся пьяница.

Даже слова в этой пьесе двойные. Когда звездочет говорит:

- Астрономия. Для других это звучит:

- Гастрономия.

И бывали такие минуты, когда Блок не верил ни в ту, ни в другую, когда и геометрия и небо казались ему одинаково ложью: вдруг стены кабачка вертелись, ныряли в пустоту и пропадали. То же случилось и с небом: та голубая очарованная даль, где голубая звезда, голубой поэт и голубой звездочет, затягивалась голубыми снегами и преображалась в петербургский салон.

Но это чувство находило на него лишь минутами. В ту пору он свободно преображал геометрию в небо, если не в сознании, то в лирике, потому что его лирика была воистину магией.

## XI[356]

Такого по крайней мере ощущало ее наше поколение. Она действовала на нас, как луна на лунатиков. Блок был гипнотизер огромной силы, а мы были отличные медиумы. Он делал с нами все, что хотел, потому что власть его лирики коренилась не столько в словах, сколько в ритмах. Слова могли быть неясны и сбивчивы, но они являлись носителями таких неотразимо-заразительных ритмов, что, замороженные и одурманенные ими, мы подчинялись им почти против воли.

И не только ритмы, а вся его звукопись, вся совокупность его пауз, аллитераций, ассонансов, пэонов так могуче влияли на наш организм (именно на организм, на кровь и мускулы), как музыка или гашиш, - и кто не помнит того отравления Блоком, когда казалось, что дурман его лирики всосался в поры и отравил кровь?

В чем тайна этих звуков, мы не знаем. Она умерла вместе с Блоком. Может быть, будущее поколение уже не услышит в его книгах той музыки, которую слышали мы, и скажет, что просто он был тенором русской поэзии, пленявшим своих современников слишком сладкозвучными романсами. И пожалуй, это будет правда, но правда поверхностная, ибо истинную правду о поэте знают только его современники. Его стихи, и в самом деле, бывали романсами; даже сонеты, которых у него всего два или три, звучали у него, как романсы. Когда в самых первых стихах еще полуробенком он писал:

Мне снилась снова ты, в цветах на шумной сцене,  
Безумная, как страсть, спокойная, как сон...

здесь слышался даже очень раздребезженный романс.

Недаром учителем Блока был в ту пору такой гений романсов, как Фет. Недаром в юности Блок увлекался Апухтиным. И "Стихи о Прекрасной Даме" нередко звучали романсами:

Поклоненьем горда,

И теперь и всегда,

Ты без мысли смотрела вперед.

Это был ничем не прикрытый и довольно дешевый романс - равно как, например, и такие стихи:

Мне страшно с Тобой встречаться.

Страшнее Тебя не встречать.

Но взяв у романса его залихватость, его текучесть, его паузы, его рифмы и даже иногда его слова ("Очи девы чародейной" и проч.),[357] Блок каким-то чудом так облагородил его формы, что он стал звучать, как высокий трагический гимн, хотя и остался романсом. Тут та же двойственность, которая во всем присуща Блоку, то же преобразование вульгарного в неизреченно-прекрасное.

Я сказал, что тайна мелодики Блока навсегда останется тайной. Наши дети никогда не поймут, чем она волновала нас. Все, что мы можем, это подметить немногие внешние, отнюдь не главные особенности его поэтической техники.

Мы можем, например, указать, что у него, особенно во втором его томе, наблюдалось чрезмерное тяготение к аллитерациям и ассонансам, все более, впрочем, обуздываемое к концу его поэтической деятельности.

Без удержу предавался он этому сладкому упоению многократно-повторяемыми звуками:

Что только звенящая снится

И душу палящая тень...

Что сердце - летящая птица...

Что в сердце - щемящая лень...

Иногда эти звуковые узоры были у него чрезвычайно изысканны:

ае-све-ве Утихает светлый ветер,

ае-се-ве Наступает серый вечер,

рон-ану-на-ну Ворон канул на сосну.

рону-онну-ну. Тронул сонную струну.

Иногда же, напротив, назойливо выпячены:

Там воля всех вольнее воля

Не приневолит вольного,

И болей всех больнее боль...

Каждое его стихотворение было полно этими многократными эхами, переключками внутренних звуков, внутренних рифм, полурифм и рифмоидов. Каждый звук будил в его уме множество родственных отзвуков, которые словно жаждали возможно дольше остаться в стихе, то замирая, то возникая опять. Это опьянение звуками было главное условие его творчества. Его мышление было чисто звуковое, иначе он и не мог бы творить. Даже в третьем его томе, когда его творчество стало строже и сдержаннее, он часто предавался этой инерции звуков. Напр., в стихотворении "Есть минуты": ённы - уны - ённо - оне - ённы - уны - ённо.

И напев заглушённый и юный

В затаённой затронет тиши

Усыпленные жизнью струны

Напряжённой, как арфа, души.

В том же третьем томе бывали нередки такие, например, звуковые узоры:

Я ломаю слоистые скалы

В час отлива на илистом дне,

И таскает осел мой усталый

Их куски на мохнатой спине.

То есть:

ла-ла-ал-ли-ли

аю-аи-ае

ст-ск-ст-ск-ст-ск,

причем эти последние звуки были расположены в строфе симметрически:

ст-ск

ст

ск-ст

ск.

Но почему эта повторяемость звуков казалась нам такой упоительной? Почему в другой строфе из того же "Соловьиного Сада" нас волновали такие, например, сочетания звуков, как кай, - кой, - кай, - как, - ска, - скай:

И, вникая в напев беспокойный,

Я гляжу, понукая осла,

Как на берег скалистый и знойный

Опускается синяя мгла.

Иногда этой инерции звуков подчинялось целое слово: оно не сразу уходило из стиха, а повторялось опять и опять, как, напр., слово "черный" в стихотворении "Русь моя":

Кинулась из степи черная мгла...

За море Черное, за море Белое,

В черные ночи и белые дни...

Его семантика была во власти фонетики. Ему было трудно остановиться, эти звуковые волны казались сильнее его. Едва у него прозвучало какое-нибудь слово, его тянуло повторить это слово опять, хотя бы несколько изменив его форму.

Приближений, сближений, сгораний...

Все померкло, прошло, отошло.

Средь видений, сновидений...

Заплетаем, расплетаем...

Так с посвистел, да с присвистом...

Многодумный, многотрудный лоб...

Блок любил эти песенные повторения слов:

- И чайка птица, чайка дева...

- По вечерам - по вечерам...

- Я сквозь ночи, сквозь долгие ночи, я сквозь темные ночи - в венце.

Пленительно было повторение слов "отшумела" и "дело" в четверостишии третьего тома:

Что ж, пора приниматься за дело,

За старинное дело свое. -

Неужели и жизнь отшумела,

Отшумела, как платье твое?

Иногда, подчиняясь этой инерции звуков, повторялись чуть не целые строки:

О, весна без конца и без краю, -

Без конца и без краю мечта!

или

И круженьем и пеньем зовет.

И в призывном круженье и пенье...

или

Да, я возьму тебя с собою

И вознесу тебя туда,

Где кажется земля звездой,

Землею кажется звезда.

Было в этих повторениях что-то шаманское. Кружилась голова от обилия непрерывных созвучий, которые слышались и в начале и в середине стихов.

Авось, хоть за чайным похмельем

Ворчливые речи мои

Затеплят случайные весельем

Сонливые очи твои.

Не слишком ли много этих внутренних рифм? Но когда поэту удавалось сдержать себя и соблюсти необходимую меру, выходило изумительно грациозно и скромно:

Снежинка легкою пушинкою

Порхает на ветру,

И елка слабенькой вершинкою

Мотает на юру.

Лучшим примером этих повторений и внутренних параллельных рифм, применяемых часто с необыкновенной изысканностью, служат знаменитые стихи из "Снежной Маски":

И на вьюжном море тонут

Корабли.

И над южным морем стонут

Журавли.

Верь мне, в этом мире солнца

Больше нет.

Верь лишь мне, ночное сердце,

Я - поэт!

Я, какие хочешь, сказки

Расскажу

И, какие хочешь, маски

Приведу.

Изысканность его слуха сказалась хотя бы в том, что в последней строке он не дал рифмы: сдержал себя вовремя. Если бы, например, он сказал:

Я, какие хочешь, сказки

Расскажу

И, какие хочешь, маски

Покажу -

все четверостишие стало бы дешевой бальмонтщиной. Теперь же это - не тот механический и внутренне ничем неоправданный перезвон дешевых ассонансов, которым так неумеренно предавался Бальмонт; - это ненавязчивое сочетание глубоко осердеченных звуков, доступное лишь высокому лирику. Между Блоком и Бальмонтом та же разница, что между Шопеном и жестяным вентилятором. Правда, и Блок в свое время отдал бальмонтизмам мимолетную дань, но в детстве это неизбежная корь. Следы этой кори нередки в первоначальных стихотворениях Блока:

Но уж твердь разрывало. И земля отдыхала.

Под дождем умолкала песня дальних колес.

И толпа грохотала. И гроза хохотала.

Ангел белую девушку в Дом Свой унес.

Или еще более назойливо:

Нас море примчало к земле одичалой,

А ветер крепчал, и над морем звучало.

Таких элементарных бальмонтизмов было у Блока в ту пору много: лихие подхваты случайных созвучий, без всякой эмоциональной логики.

- И страстно круженье, и сладко паденье...

- Вечно прекрасна, но сердце бесстрастно...

← Ctrl [Предыдущая](#) [1](#) [2](#) [3](#) ... [110](#) [111](#)

- Обстанут вдруг, смыкая круг...

И даже в последней книге он иногда срывался в бальмонтизм:

Нам вольно, нам больно, нам сладко вдвоем.

Бальмонтщина так мертва и механична, что ее не мог оживотворить даже Блок, и мы, конечно, говорили не о ней, когда именовали его звукопись магией.

Часто его сладкозвучие бывало чрезмерно: например, в мелодии "Соловьиного Сада". Но побороть эту мелодию он не мог. Он вообще был не властен в своем даровании и слишком безвольно предавался звуковому мышлению, подчиняясь той инерции звуков, которая была сильнее его самого. В предисловии к поэме "Возмездие" Блок так и выразился о себе, что он был "гоним по миру бичами ямба". Не он гнал бичами свой ямб (ощущение Пушкина, выраженное хотя бы в "Домике в Коломне"), но ямб гнал его. И дальше, в том же предисловии говорится, что его, поэта "повлекло отдаться упругой волне этого ямба". Отдаться волне - точное выражение его звукового пассивизма.

Звуковой пассивизм: человек не в силах совладать с теми музыкальными волнами, которые несут его на себе, как былинку. В безвольном непротивлении звукам, в женственной покорности им и было очарование Блока. Блок был не столько владеющий, сколько владимый звуками, не жрец своего искусства, не жертва, - особенно во второй своей книге, где деспотическое засилье музыки дошло до необычайных размеров. В этой непрерывной, слишком медовой мелодии было что-то расслабляющее мускулы. Показательно для его звукового безволия, сказавшегося главным образом во втором его томе, что в своих стихах он яснее всего ощущал гласные, а не согласные звуки, то есть именно те, в которых вся динамика напева и темпа. Ни у какого другого поэта не было такого повышенного ощущения гласных. [\[358\]](#) То напевное струение гласных, которое присуще ему одному, достигается исключительно гласными. Это та влага, которая придает его стихам текучесть. Замечательно его пристрастие к длительному непрерывному а:



О весна, без конца и без краю,  
Без конца и без краю мечта.

Здесь столько ударений, сколько а.

- Нам казалось, мы кратко блуждали...
- Долетали слова от окна...
- За снегами, лесами, степями...
- В небеса улетает мольба...
- Роковая, родная страна...
- Но над нами хмельная мечта...
- Ты все та, что была, и не та...
- И ограда была не страшна...
- И сама та душа, что пылая ждала...

Эти а, проходящие через весь его стих, поглощали все другие элементы стиха. То чувство безвольного расслабления мускулов, которое было связано с лирикой Блока, не вызывалось ли этим однообразно повторяющимся звуком?

Я, не спеша, собрал бесстрастно Воспоминанья и дела; И стало беспощадно ясно: Жизнь прошумела и ушла.

Из десяти ударений - девять на звуке а. [\[359\]](#)

Весь стих течет по одному-единственному звуку - сочетаясь иногда с текучим л:

И приняла, и обласкала,  
И обняла,  
И в вешних далях им качала  
Колокола.

В рифмах у него то же пристрастие к а. Например, в стихотворении "Поединок" почти все мужские рифмы такие:

она - весна.  
Петра - вечера,  
озарена - жена,  
голова - Москва.  
коня - меня,  
терема - сама.

В стихотворении "В синем небе" такие:

тишина - весна,  
весна - она,  
сплела - привела,  
колокола - купола,  
весна - она,  
тишина - весна.

А-а-а-а-а-а. Здесь нет натуги или предвзятости. Стих сам собою течет, как бы независимо от воли поэта по многократно повторяющимся гласным. Кажется, если бы Блок даже захотел, он не мог бы создать непевучей строки. Очень редки у него, например, такие неблагозвучные скопления согласных: "Посмотри, подруга, эльф твой". Напротив, ни у одного поэта не приходилось такого малого количества согласных на данное количество гласных. Главная особенность его стиха была именно та, что этот стих был не камень, но жидкость, текущая гласными звуками.

Иногда, но гораздо реже, стиху Блока случалось протекать по целому ряду о:

- И оглушонный и взволнованный вином, зарею и тобой...
- И томным взором острой боли...
- Сонное озеро города...
- Потом на рёбра гроба лёг...

Иногда по сплошному и:

Мы отошли и стали у кормила.  
Где мимо шли серебристые струи...

Отцвели завитки гиацинта...

Иногда по сплошному у:  
Идут, идут испуганные тучи...

Я смеюсь и крушу вековую сосну...

Случалось, что одна его строка протекала по звуку а, а другая, тоже вся от начала до конца, по звуку е:

Ты, как заря, невнятно догорала  
В его душе и пела обо мне.

И кто забудет то волнующее, переменяющее всю кровь впечатление, которое производил такой же звуковой перелив в "Незнакомке", когда после сплошного а в незабвенной строке:

Дыша духами и туманами

вдруг это а переходило в е:

И веют древними поверьями.

Почему-то эти прогрессии и регрессии гласных ощущались в его стихах сильнее, чем в каких-нибудь других до него. Но это было не простое сладкозвучие. Каждый звук был, повторяю, осердечен: и чего стоила бы, например, его строка о зловещем движении туч, если бы это зловещее движение туч не изображалось в ней многократно повторяемым у:  
Идут, идут испуганные тучи...

Музыкальная изобразительность его звуков была такова, что когда он, например, говорил о гармонике, его стих начинал звучать, как гармоника:

С ума сойду, сойду с ума,  
Безумствуя, люблю,  
Что вся ты - ночь, и вся ты - тьма,  
И вся ты - во хмелю.

Когда говорил о вьюге, его стих становился вьюгой, и, например, его "Снежная Маска" не стихи о вьюге, но вьюга. Вы могли не понимать в них ни слова, но чувствовали ветер и снег. Ему достаточно было сказать, что сердце - летящая птица, как его стих начинал лететь, и не передать словами этих куда-то несущихся, тревожных, крылатых стихов:  
Пойми же, я спутал, я спутал.

Инерция звукового мышления сказалась у Блока и в том, что он во время творчества часто мыслил чужими стихами, не отделяя чужих от своих, чувствуя чужие - своими, при чем воспроизводил не столько слова, сколько интонации и звуки. Звуковая впечатлительность его была такова, что он запоминал чужие стихи главным образом как некий музыкальный мотив, ощущал в них раньше всего - мелодию. У Пушкина, например, есть строка:  
Черты волшебницы прекрасной.

Блок бессознательно воспроизводил ее так:

Черты француженки прелестной,

даже не замечая, что это чужое. У Пушкина сказано:

Корме родного корабля.

У Блока:

Мечту родного корабля.

У Пушкина:

Я долго плакал пред тобой.

У Блока:

Я буду плакать о тебе.

У Пушкина:

Мария, бедная Мария.

У Блока:

Мария, нежная Мария.

и т. д., и т. д. Его стихи полны таких звуковых реминисценций. Тут и развенчанная тень, и путник запоздалый, и проч. Звуковые волны, которым он любил предаваться, несли его куда хотели - часто по чужому руслу. Порою он замечал, что воспроизводит чужое, и указывал в особом примечании, что такие-то сочетания слов принадлежат не ему, а Полонскому, Островскому, Влад. Соловьеву, что его строка:

Молчите, проклятые книги,

есть повторение майковской:

Молчите, проклятые струны!

что его строка:

Те баснословные года

есть повторение тютчевской:

В те баснословные года.

Но в большинстве случаев это происходило у него бессознательно, и когда, например, он писал:

Сомнительно молчали стекла...

он не заметил, что повторяет тютчевское:

Молчит сомнительно восток.

Эта пассивность звукового мышления сослужила ему, как мы ниже увидим, немалую службу в его позднейшей поэме "Двенадцать", где даны великолепные звуковые пародии на старинные романсы, частушки и народные песни. Он вообще усваивал чужое, как женщина: не только чужие звуки, но и чужой душевный тон, чужую манеру, чужие слова. В его пьесе "Незнакомка" один сидящий в кабаке российский пропойца именуется Гауптманом, а другой Верденон; оба они несомненные родственники того Фридриха Ницше, который в "Симфонии" Белого сидел на козлах в качестве московского кучера:

- Ницше тронул поводья...

- Гауптман сказал: шлюха она, ну и пусть шляется!

- Верлен сказал: каждому свое беспокойство.

И изображение мистиков, как шутов буйфонады, и многократное привлечение зари к тривиальнейшим темам - и многое другое уже являлось в "Симфонии" Белого. Но главное все же не в образах, а в звуковых интонациях. Не было, кажется, такой интонации, которой он не повторил бы (хоть мимолетно) в стихах; и когда в первом томе читаешь:

Ревную к божеству, кому песни слагаю,

Но песни слагаю - я не знаю, кому,

слышишь здесь не Блока, но Гиппиус. Когда читаешь про женщину, которая "от ложа пьяного желанья на колесах в рубашке поднимала руки ввысь", - говоришь: это Валерий Брюсов, "Конь Бледный". А вот Эмиль Верхарн, воспринятый через переводы Брюсова:

На серые камни ложилась дремота,

Но прялкой вилась городская забота,

Где храмы подъяты и выступы круты.

Такова была его восприимчивость к музыке, звучащей вокруг него.

## XII

Теперь, когда мы сказали о главном, о музыке Блока, можно сказать и о его стиле. Вначале это был метафорический стиль. Все образы были сплошными метафорами. Не было

строки без метафоры. Язык второго тома - особенно в первой его половине - был самый декадентский язык, каким когда-либо писали в России. Около 1905 года Блок вступил со своим декадентством в борьбу и через несколько лет победил. Но вначале смутность сонного сознания была так велика, что все сколько-нибудь четкие грани между отдельными ощущениями казались окончательно стертыми. Многие стихи были будто написаны спящим, краски еще не отделились от звуков, конкретное - от отвлеченного:

- Крики брошены горстями золотых монет.

- Хохочут волосы, хохочут ноги.

- Ландыш пел...

Зрительные образы так слились у Блока с слуховыми, слуховые с осязательными, что, например, о музыке у него говорилось, будто она обжигает:

- И музыка преобразила и обожгла твое лицо.

А о блеске говорилось, что он музыка:

- Я остался, таинственно светел, эту музыку блеска впивать.

Слово певучий прилагалось ко многому видимому. В пьесе "Незнакомка" некий салонный человек говорил:

- Неужели тело, его линии, его гармонические движения - сами по себе не поют так же, как звуки?

Здесь, как и во многом другом, Блок пародировал себя самого, потому что он сам ощущал женское тело певучим, и даже в позднейших стихах говорил:

- И песня ваших нежных плеч...

- Всех линий таянье и пенье...

И писал о певучем стане, певучем взоре, поющих глазах и т. д., и т. д.

Такое слияние несливаемых слов, свидетельствующее о слиянии несливаемых ощущений, называется в литературе синкретизмом.

Блок один из самых смелых синкретистов в России, особенно в тех стихах, которые вошли во второй его том. Там буйный разгул синкретических образов. Там есть и синие загадки, и белые слова, и голубой ветер, и синяя буря, и красный смех, и звучная тишина, и седой намек, и золоторунная грусть, и задумчивые болты, и жалобные руки, и т. д. У других эти словосочетания показались бы манерными выдумками, у него они - пережитое и прочувствованное, потому что органически связаны со всей его расплывчатой лирикой. Даже впечатления зноя и холода так неразрывно сливаются у него воедино, что безо всякого сопротивления принимаешь такие, казалось бы, противозаконные соединения слов, как снежный огонь, снежный костер, метельный пожар, и даже тот самый сложный синкретический образ, в котором он воплощает свою Снежную Деву:

Она была живой костер

Из снега и вина.

Слово снежный он вообще применял к самым неожиданным вещам. У него были и снежные нити, и снежная маска, и снежная мачта, и снежная пена, и снежная птица, и снежная кровь, и снежное вино, и снежный крест; у всякого другого поэта это была бы моветонная вычура, а у него, повторяю, это является одним из живых проявлений его дремотного стиля. Сюда же относятся такие метафоры:

Юность моя, как печальная ночь,

Бледным лучом упала на плиты,

Гасла, плелась и шарахалась прочь.

Сюда же относятся такие его образы, как: глаза цвели, она цвела, тишина цвела и т. д. Самый буйный разгул этих синкретических образов относится у него к 1905, 1906 годам и к началу 1907-го, потом понемногу его стиль проясняется, и уже в конце второго тома появляются классически-четкие пьесы: "О смерти", "Над озером", "В северном море" и пр. Третья книга стихов [\[360\]](#)

XIII

В этом синкретизме была своя правда и своя красота, но был великий грех: отъединенность. Поэт не стремился к общеобязательным образам и универсальным эпитетам. Он только и знал, что свои ощущения, только и верил, что им. Вообще самая непонятность его языка свидетельствовала о пренебрежении к людям. В сущности, его стихи о карлике, сидящем за ширмой, можно было применить к нему самому. Он, как и другие символисты в начале 1900-х годов, тоже скрывался за ширмой, отгородившись от всего человеческого, и поучительно наблюдать, как сейчас же после 1905 года он вместе с другими символистами стал эти ширмы раздвигать.

Чтобы от истины ходячей  
Всея стало больно и светло,

потому что, как ощутил он тогда, его душа заплесневела за ширмами:

В тайник души проникла плесень,  
Но надо плакать, петь, идти,  
Чтоб в рай моих заморских песен  
Открылись торные пути.

Он заговорил о "ходячих истинах" и "торных путях", потребовал общедоступного искусства - для всех. Он стал проповедником слияния с миром, и в пьесе "Песня Судьбы" (самой слабой из всех его пьес) призывал к слиянию с родиной. Это тяготение к обществу или, как тогда говорили, к соборности, сказалось раньше всего в его языке, который с этого времени перестал быть интимным и сделался доступен для всех. Всякая непонятность исчезла, слова стали математически-точными.

Поэт для немногих стал постепенно превращаться в поэта для всех.

Это произошло около 1908 или 1909 года, когда он окончательно приблизился к здешнему миру и сделался тем великим поэтом, каким мы знаем его по третьему тому, - потому что только в третьем томе он великий поэт. Не поэт такой-то школы, такого-то кружка, но Великий, Всероссийский, Всенародный Поэт. Этот том выше всего им написанного, хотя сам он, как и следовало ожидать больше всего любил свой первый том, а остальные называл "литературой".

Наступила осенняя ясность тридцатилетнего, сорокалетнего возраста. Если во втором томе был март, то в третьем сентябрь. К тридцати пяти годам своей жизни Блок овладел наконец всеми методами своего мастерства. Метафизическая ли, грубо ли житейская тема, частушка ли, поэма ли, сонет ли, - все стало одинаково доступно ему. В мире здешнем, как и в нездешнем, он стал полновластным хозяином. Препрежнее, женственно-пассивное непротивление звукам заменилось мужественной твердостью упорного мастера. Сравните, например, строгую композицию "Двенадцати" с бесформенной и рыхлой "Снежной Маской". Почти прекратилось засилье гласных, слишком увлажняющих стих, в стихе появились суровые и трезвые звуки. Та влага, которая так вольно текла во втором его томе, теперь введена в берега и почти вполне подчинилась поэту.

Серафим окончательно стал человеком.

#### XIV

В этом третьем томе у него появилось новое, прежде не бывшее, стариковское чувство, что все позади, все прошло, что он уже не живет, а доживает.

Если первый том был весь о будущем, то третий почти весь - о былом. Поэт часто именуется стариком, стареющим юношей, старым.

За окном, как тогда, огоньки,  
Милый друг, мы с тобой старики.  
Все, что было и бурь и невзгод,  
Позади. Что ж ты смотришь вперед?

Таков основной тон этой книги. Что-то было и навек ушло:

Замолкли ангельские трубы.

Немотствует дневная ночь.

Ангельское было, но его нет и не будет. А настоящее - ночь.

- Куда ни оглянись, глядит в пустые очи и провожает ночь.
- В опустошенный мозг ворвется только ночь, ворвется только ночь.
- Как будто ночь на всё проклятие простерла.
- Хочешь встать - и ночь.
- Ночь, как ночь, и улица пустынна.
- Ночь, как века...

Очень мало дней в этой книге. А если и упоминается день, то поэт именуется его "дневной ночью", "белой ночью", которая сама не знает, ночь она или день. Ощущение этой дневной черноты доходило у поэта до того, что даже солнечное сияние он называл тогда черным: - Всё будет чернее страшный свет.

Страшный свет не случайное, но постоянное его выражение. Только это он и знает о мире, что мир - страшный. Целый отдел в его книге называется "Страшный Мир".

- И мир - он страшен для меня.
- Забудь, забудь о страшном мире.
- Страшный мир, он для сердца тесен.
- Мне этот зал напомнил страшный мир.

И не было в мире такого явления, которого он не назвал бы страшным. Даже собственное поэтическое творчество опушало ему испуг. Даже объятия женщины казались ему страшными объятиями.

Этим страхом жизни порождены такие беспросветные стихотворения Блока, как "Пляска Смерти", "Ночь как ночь", "Ночь, улица, фонарь, аптека", "Жизнь моего приятеля", "Голос из хора", где воплотился самый черный пессимизм. Это время с 1908 по 1915 год было мрачной полосой его жизни. Религиозная натура, которой для того, чтобы жить, нужно было набожно любить и набожно верить, он вдруг окончательно понял, что любить ему нечего, и верить не во что. Прекрасная дама ушла. А без нее пустота. "Ты отошла, и я в пустыне" - таково с той поры его постоянное чувство. "И пустыней бесполезной душу бедную обстала прежде милая мне даль", ибо человек (по словам Достоевского) жив "только чувством соприкосновения своего таинственным мирам иным; если ослабевает или уничтожается в тебе сие чувство, то умирает и возвращенное в тебе. Тогда станешь к жизни равнодушен и даже возненавидишь ее", и полетишь, как камень зыбкий,

В сияющую пустоту.

Об этом периоде его бытия мог бы написать лишь Достоевский. Вообще Блок третьего тома есть в каждом своем слове герой Достоевского: бывший созерцатель Иного, вдруг утративший это Иное и с ужасом ощутивший себя в сонме нигилистов Ставровиных, Иванов Карамазовых и (даже иногда) Смердяковых, которым только и осталось, что петля, - Блок, как и Достоевский, требовал у всех и у себя самого религиозного оправдания жизни и не позволял себе ни на одно мгновение остаться без бога.

"Жизнь пуста", - твердил Блок. - "Жизнь пуста, безумна и бездонна"... - "Жизнь пустынна, бездонна, бездонна"... "Пустая вселенная глядит в нас мраком глаз".

Это ощущение мировой пустоты было свойственно в ту пору не ему одному. То была пора самоубийств, выразившаяся в литературе нигилистическим прославлением смерти.

Леонид Андреев был тогда самым любимым писателем: он только и писал, что о мировой пустоте, писал, что "в пустоте расстилали свои корни деревья и сами были пусты"; что "в пустоте, грозя призрачным падением, высились храмы, дворцы и дома и сами были пусты; - и в пустоте двигался спокойно человек, и сам был пуст и легок, как тень... и объятый пустотою и мраком безнадежно трепетал человек", - мудрено ли, что и Блока в ту пору стало все чаще преследовать это ощущение пустоты?

Тем пустыннее была для него мировая пустыня, что в ней не было даже людей. У людей, как мы видели, он сочувственно заметил только спины, ко всему же остальному отнесся безразлично. Персонажи его пьес и стихов были милы ему лишь постольку, поскольку они

не были людьми: Поэт и Голубой Звездочет в "Незнакомке", сама Незнакомка и проч. А поскольку люди были люди, они вызывали в нем гадливое чувство. Через все его пьесы - от "Балаганчика" до "Розы и Креста" - пронесется целые стада идиотов, которые блеют тошнотворные слова. В "Возмездии" он по-байроновски именовал человечество стадом баранов. Он был великий мастер изображать это стадо, которое у него везде и всегда одинаковое: в кабаке, в салоне, в средневековом замке, на всемирной промышленной выставке, во Дворце культуры, везде и всегда. Во Дворце культуры собраны высшие создания ума человеческого, но для Блока и там те же оргии человеческой глупости. Величайшие достижения прогресса для него такой же вздор, как и все остальное, и профессор так же глуп, как клоун. "Тупые, точно кукольные, люди!" говорит о них главный герой, и это не сатира, но боль. Злые обезьяны с вульгарными словами и жестами, "с вихляющимся задом и ногами, завернутыми в трубочки штанов"... "Серые виденья мокрой скуки"... "Хозяйка дура и супруг дурак", - какое было дело серафиму до их свадеб, торжеств, похорон? Люди только портят природу. Еще во втором томе Блок с великолепной надменностью трактовал человеческое стадо, испортившее ему морской берег:

Что сделали из берега морского  
Гуляющие модницы и франты?  
Наставили столов, дымят, жуют.  
Пьют лимонад. Потом бредут по пляжу,  
Угрюмо хохоча и заражая  
Соленый воздух сплетнями...

Это брезгливое чувство с годами только усиливалось в нем, и, например, в "Плясках Смерти" он называет людей просто "вздором" и повторяет в "Последнем напутствии", что человеческая глупость безысходна, величава, бесконечна, что в сущности она венец всему; и вслед за Рэскиным приравнивает большинство людей к низшим животным, утверждая, что им доступны только скотские чувства: страх, ненависть и вожделение. В своей последней статье "О призвании поэта" он пишет, что называться человеком - не особенно лестно: "Люди - дельцы и пошляки, духовная глубина которых безнадежно и прочно заслонена "заботами суетного света"". О вере в человеческий прогресс, в человечество, конечно, не могло быть и речи. Еще в 1907 году в своем диалоге "О любви, поэзии и государственной службе" он смеялся над прогрессом и так называемым культурным строительством.

И одно ему осталось в пустоте - это смех, тот кощунственный смех над любовью и верой, которым он смеялся еще в "Балаганчике". Но тогда в этом смехе было много лирической чарующей молодости. Теперь это жесткий смех опустошенного, не верящего в жизнь человека:

Оставь мне, жизнь, хоть смех беззубый,  
Чтоб в пустоте не изнемочь.

Из Новалиса он превратился в Гейне. Те обманы и приманки жизни, которые были озарены для него лучами нездешнего мира, теперь, когда эти лучи закатились, предстали пред ним во всей своей скелетной обнаженности, и все показалось смешным:

Что? Совесть? Правда? Жизнь? Какая это малость!

Ну, разве не смешно?

Смешно, - и Блок засмеялся. В русской литературе еще никогда не звучало такого печального смеха:

Что делать? Изверившись в счастье,  
От смеху мы сходим с ума,  
И, пьяные, с улицы смотрим,  
Как рушатся наши дома!

Об этом смехе Блок тогда же, в 1908 году, написал статью "Ирония". Эта статья - комментарий ко всему его тогдашнему творчеству. Там говорится об иронии, как о страшной болезни, проявляющейся в изнурительном смехе, который начинается с дьявольски-издевательской улыбки и кончается убийством и кощунством. "Я знаю людей, - писал Блок, - которые готовы задохнуться от смеха, сообщая, что умирает их мать, что они погибают с голоду, что изменила невеста. Человек хохочет, и не знаешь, выпьет ли он сейчас, расставшись со мною, уксусной эссенции, увижу ли его еще раз? И мне самому смешно, что этот самый человек, терзаемый смехом, повествующий о том, что он всеми унижен и всеми оставлен, - как бы отсутствует; будто не с ним я говорю, будто и нет этого человека, только хохочет передо мною его рот". "Самого меня ломает бес смеха; и меня самого уже нет. Нас обоих нет. Каждый из нас - только смех, оба мы - только нагло хохочущие рты". Если нет веры и любви - нет личности; человек становится нулем. Смеясь над своей любовью и верой, он уничтожает себя, он, как в водке, топит в этом разлагающем смехе "свою радость и свое отчаяние, себя и близких своих, свое творчество, свою жизнь и, наконец, свою смерть".

На всех устах застынет смех,  
Тоска небытия.

Этот смех есть смерть. И все восемь лет, с 1908 до 1916 года, Блок неустанно твердил, что он мертвый.

Сердце - крашенный мертвец,  
И, когда настал конец,  
Он нашел весьма банальной  
Смерть души своей печальной.

В ряде стихов он рассказывал, как, выдавая себя за живых, трупы ездят в автомобилях, присутствуют в судах и сенатах, пишат бумаги, стоят у аптек, увлекают за собой проституток. Замечательно, что около этого времени и другие наши большие писатели ввели в свои книги таких же непогребенных покойников, старающихся казаться живыми. Леонид Андреев написал "Елеазара", Федор Сологуб - "Навыи чары", Алексей Ремизов - "Жертву". Мертвечина преследовала Блока повсюду и не покинула его даже в Италии; в 1909 году, путешествуя по Северной Италии, он писал, например, что в Равенне - "дома и люди - все гроба", что в Венеции - "гондол безмолвные гроба", что во Флоренции у роз трупный запах. - "Гнилой морщиной гробовою искажены твои черты", - писал он, обращаясь к Флоренции.

Таковы стали его привычные образы. Тайновидец без тайны, боговидец без бога, он разорился вконец, и единственное чувство осталось ему - равнодушие:

О, как я был богат когда-то,  
Да все не стоит пятака:  
Вражда, любовь, молва и злато,  
А пуще - смертная тоска.

Даже любовь была бессильна воскресить его из этого гроба, потому что, если любовь не ведет к боговидению, она для него смерть и тоска. Если женщина не сочетает нас с Иными Мирами, она постылый автомат для удовольствий, тягостных и скоро приедающихся. То, что здесь называется объятьями страсти, есть унижительная, надоевшая гимнастика:

И та же ласка, те же речи,  
Постылый трепет жадных уст  
И примелькавшиеся плечи.

Это рабья повинность, которую мы осуждены исполнять поневоле, и в великолепном сонете "О, нет, я не хочу, чтобы пали мы с тобой" он два раза именуется любовные объятья - скукой: "прибой неизреченной скуки", "бездонной скуки ад". Эту inferнальную скуку любви он выражал не только в словах, но и в ритмах:



Что ж, целуй в помертвелые губы,  
Пояс печальный снимай!

покорно говорил он любимой, словно приговоренный к любви, и в самых звуках этих грустных анапестов чувствовалась скука раба. Что ж, целуй, ничего не поделаешь, нужно покорно совершать установленное, "что быть должно, то быть должно"; никто, кажется, еще не говорил о пыланиях страсти так оцепенело и понуро:

И был я в розовых цепях

У женщин много раз.

В страсти он стал чувствовать не столько огонь, сколько пепел: "И взгляд как уголь под золой", "зарывшись в пепел твой горящей головой". Словно весь осыпанный этим пеплом, он пишет такие серые, пепельного цвета, стихи, как "Унижение", "Седое утро", "Перед судом", где изображает именно тот пепел, который остается после горения страсти.

Безысходно-печальны плачущие стихи "Унижение", где он, с гадливостью переживая унижительную скуку любви, спрашивает: разве это любовь? Словно его обманули:

обещали небо и бога, а дали унылую грязь:

Разве это мы звали любовью?..

Разве так суждено меж людьми?

Всей фонетикой этих стихов он выражал безволие жертвы, обреченной на поругание и боль.

Разве рад я сегодняшней встрече?

Что ты ликом бела, словно плат?

Что в твои обнаженные плечи

Бьет огромный холодный закат?

Только губы с запекшейся кровью

На иконе твоей золотой

(Разве это мы звали любовью?)

Преломились безумной чертой.

Вот что такое любовь здесь у вас на земле! - изумлялся присужденный к объятьям, - человеческая ложь, земная жалость:

Ты знаешь ли, какая малость

Та человеческая ложь.

Та грустная земная жалость,

Что дикой страстью ты зовешь.

Жалость и порою презрение. - "Даже имя твое мне презренно", сказал он однажды, обращаясь к любимой, и, кажется, во всей мировой поэзии еще не звучало такое признание влюбленного:

Подойди, подползи, я ударю!

Воспевший Лучезарную бьет женщину - и бьет не от гнева, но от презрения к ней:

- Над лучшим созданием божьим изведаль я силу презренья, я палкой ударил ее.

Так он отнял у себя последнее: любовь. Теперь уже ему не нужно никаких небесных возлюбленных; любая трехрублевая дева уведет его за малую плату в зазвездную родину и покажет ему очарованный берег, ибо другого пути к очарованному берегу нет. Вместо религиозного экстаза - угар. Хорошо еще, что существует угар, угарная, пьяная страсть, все же она гонит обыденность. - "И страсти таинство свершая и поднимаясь над землей" - твердил он, цепляясь хоть за такую дешевую и общедоступную мистику. Пусть не Лучезарная, а ночная и земная, лишь бы унесла от земли:

И ты, земная, ты, ночная,

Опять уносишь от земли.

Унести от земли - это главное, а как, не все ли равно? И если тот "жгуче-синий простор", который так волновал Владимира Соловьева в церкви и в египетской пустыне, обозначается для Блока в ресторане –

В кабинете ресторана  
За бутылкою вина,

то ресторан и становится храмом. "Здесь ресторан, как храмы, светел, и храм открыт, как ресторан".

А о деве Марии он повествует в "Итальянских Стихах", что ее растлили монахи, что архангел Гавриил был ее любовником. Теперь в стихах, написанных на смерть младенца, он по-лермонтовски отрекается от бога, а в другом стихотворении говорит, что люди, ищущие бога, находят лишь дьявола.

Так без бога и без людей, без неба и без земли, он остался один в пустоте - только со страхом и смехом.

XV

Казалось, из этого гроба нет никаких воскресений. Утрата Прекрасной Дамы была для него утратой всего. Но замечательно, что именно из этой утраты, из этого смертного ужаса у него стал создаваться постепенно новый, еще более упоительный миф, в сущности та же Прекрасная Дама, - и все свои кощунства и отчаяния он воплотил в ее образе.

Когда все было утрачено им, и ему осталось лишь погибнуть, он именно из этой гибели создал себе новый восторг.

Еще в 1906 году, в пору "Балаганчика" и "Незнакомки", он смутно почувствовал, что есть такая святыня, которая как бы создана из бед и погубелей, которая тем и свята, что в ней никакого благолепия, никакого покоя, что вся она боль и тоска. Эта святыня - Россия. С тех пор он то забывал о ней, то возвращался к ней снова, - чувствуя, что ей одной подобает то веселое отчаянье гибели, которое охватило его. Еще в "Снежной Маске", в самый разгар своего декадентства, он почувствовал это веселое отчаянье гибели:

- Нет исхода из вьюг, и погибнуть мне весело.  
- Тайно сердце просит гибели...

С тех пор такие слова, как гибель, губительный, гибельный, особенно полюбились ему. Покуда он не ощущал своей русской погубительности, он был в нашей литературе чуть-чуть иностранец, и "Стихи о Прекрасной Даме" часто казались переводом с немецкого, несмотря на иконы, терема и царевен. Теперь, ощутив это веселое отчаянье гибели, он стал национальнейший поэт. Он полюбил свою гибель, создал из своей гибели культ.

- И вся неистовая радость грядущей гибели твоей! - написалось у него в 1910 году; всю свою поэзию он стал ощущать как некое евангелие гибели. "Есть в напевах твоих сокровенных роковая о гибели весть", - сказал он, обращаясь к своей Музе, и в стихотворении "Авиатор" воспел человека, который, возжаждав гибели, весело кинулся вниз в "губительном восторге самозабвения". "Губительный восторг самозабвения" стал для него постоянным соблазном; в целом ряде стихов он изобразил свою гибель - как нечто желанное и веселящее:

И нет моей завидней доли -  
В снегах забвенья догореть  
И на прибрежном снежном поле  
Под звонкой вьюгой умереть.

Это было написано еще в 1907 году, но тогда прозвучало слишком нарядно и чуть-чуть театрально, потому что едва ли тогда он ощущал эту тему во всей ее обнаженной отчаянности. Но вскоре он сказал о ней другими словами:

Уйду я в поле, в снег и в ночь,  
Забьюсь под куст ракитовый.

Эта собачья смерть под кустом, под забором так гармонировала с его тогдашним отчаянием, что он стал мечтать о ней чем дальше, тем чаще. В стихотворении "Друзьям" он повторил слово в слово:

Зарыться бы в свежем бурьяне,  
Забыться бы сном навсегда!

И нередко доходило до того, что он не только жаждал этой гибели, но даже гордился ею, как знаменьем своей богоизбранности:

Пускай я умру под забором, как пес,  
Пусть жизнь меня в землю втоптала, -  
Я верю: то бог меня снегом занес,  
То вьюга меня целовала!

Этот восторг гибели был почти всегда связан у него с ощущением ветра. Вообще с 1905 года, после болотного застоя и безветрия, у него в стихах сорвался ветер и дует с тех пор непрерывно, губительный, черный, отчаянный, в котором вся его веселая тоска.

Блок всегда был поэтом ветра и любил его больше солнца, но теперь в этом губительном ветре воплотилась для него Россия.

Прежде с ветром у него была связана страсть. Любить для него значило чувствовать ветер. Иногда сама любовь казалась ему ветром, ворвавшимся в сердце:

Есть времена, есть дни, когда  
Ворвется в сердце ветер снежный,  
И не спасет ни голос нежный,  
Ни безмятежный час труда.

И женщина, к которой он чувствовал страсть, была для него неотделима от ветра: Входит ветер, входит дева.

В "Снежной Маске" женщина, страсть и метель - нераздельны. Особенно заметно это слияние страсти и ветра в стихах, которые посвящены поцелуям. В них первое слово - о ветре; где целующие губы, там ветер:

- Снежный ветер... твоё дыханье... опьяненные губы мои...

- Как он в губы целовал... ветер ломится в окно...

- Огневые твои поцелуи... снежный ветер повеял нам в очи...

- Я знаю, что холоден ветер... мои опьяненные губы целуют в предсмертной тревоге холодные губы твои.

Его эротика была так связана с ветром, что порою поцелуи женщины казались ему поцелуями ветра:

Как ветер, ты целуешь жадно.

Даже для целования женского платья ему была необходима метель:

И целовать твой шлейф украдкой,

Когда метель поет, поет...

Перечисляя те радости, которые дает ему жизнь, он поминал наряду с поцелуями - ветер:

- Хочу, всегда хочу смотреть в глаза людские, и пить вино, и женщин целовать, и яростью желаний полнить вечер, когда жара мешает днем мечтать и песни петь! И слушать в мире ветер!

XVI

Этот-то столь обожаемый им ветер спас его от прижизненной смерти и наваял на него новый восторг, потому что наваял Россию. Если бы не было русского ветра, Россия так и осталась бы скрыта для Блока; но ведь, едва он ощутил ее ветер, вся она открылась ему.

Для него Россия - это ветер, ветер бродяг и бездомников. Бродяга, пьяный, идет умереть под забором, а ветер бьется в обледенелых кустах и воет над ним панихиды. Бродяга знает, что гибнет, ему и страшно, и весело, этот ветер ему сродни.

"Шоссейными путями нищей России, - писал Блок в "Золотом руне" в 1907 году, - идут, ковыляют, тащатся такие же нищие, с узлами и палками, неизвестно откуда, неизвестно куда... Голос вьюги вывел их из паучьих жилищ".

И через год в пьесе "Песня Судьбы" он изобразил такого же бродягу, которого "голос вьюги вывел из паучьего жилища":

- Меня позвал ветер... Я понял приказание ветра... Ветер открыл окно...

- Ветер, ветер! - говорит в этой пьесе женщина, символизирующая собою Россию. - Вы-то знаете, что такое ветер?

- Ветер, ветер! На ногах не стоит человек... Ветер, ветер: на всем божьем свете.

Без этого ощущения ветра для Блока не существует России:

- Ты стоишь под метелицей дикой, роковая, родная страна...

- Степь, да ветер, да ветер...

- Буйно заметает вьюга до крыши утлое жилье...

- Идут, идут испуганные тучи...

Таково его ощущение России: русский ветер, Россия и веселое отчаянье гибели слились в его стихах неразрывно, как будто в России весела только смерть.

Пьеса "Песня Судьбы" затем и написана, чтобы прославить Россию, как ветер и веселое отчаяние гибели. Прежде его милая была либо святая, либо падшая, либо судьба, либо смерть, теперь в этой пьесе она одновременно и святая, и падшая, и судьба, и смерть, потому что ее имя Россия. И всю свою нежность и набожность он отдает теперь этой новой жене:

О, Русь моя! Жена моя! До боли

Нам ясен долгий путь!

Наш путь - стрелой татарской древней воли

Пронзил нам грудь.

Наш путь - степной, наш путь - в тоске безбрежной,

В твоей тоске, о, Русь!

И даже мглы - ночной и зарубежной -

Я не боюсь.

Россия для него раньше всего - даль, простор, "путь", Заговорив о России, он чувствует себя путником, затерявшимся в погибельных, но любимых пространствах, и говорит, что даже в последнюю минуту, на смертном одре он вспомнит Россию как самое милое в жизни:

Нет... еще леса, поляны,

И проселки, и шоссе,

Наша русская дорога,

Наши русские туманы,

Наши шелесты в овсе.

Изумительно здесь это слово наши: наша дорога, наши туманы и даже наши шелесты.

Трудно далось Блоку это слово. Прежде ничего во всем мире не называл он нашим. Все в мире было для него чужое, ваше.

- В дни ваших свадеб, торжеств, похорон.

До сих пор самым близким было для него самое дальнее, теперь же наконец он нашел наше, свое:

- Да, и такой моя Россия...

- Русь моя, жизнь моя, вместе ль нам маяться?

Но он любит ее такую же двойною любовью, какою любил и других, не только не скрывая от себя ее мерзости, но, напротив, за эту мерзость и любя ее сильнее всего. Его Русь - разбойная, татарская Русь, Русь без удержу, хмеля, кощунства, отчаяния, Русь Фильки Морозова и Аполлона Григорьева, но с примесью той особенной, музыкальной, щемящей, понурой печали, без которой он не был бы Блоком. Даже здесь, даже в этих неистовствах, чувствовалась его золоторунная грусть. После девятьсот пятого года все стало русским у

Блока: его запойное пьянство, его тоскливый разврат, с тройками, цыганами и лихачами. Его лирический герой и в этом - герой Достоевского. С тех пор как он ощутил русский ветер, он стал поэтом плясок, неистовых троек, бешено летящих кобылиц:

- И летели тройки с гиком... - Тройка мчит меня со звоном... - Над бездонным провалом в вечность, задыхаясь, летит рысак...

И тем мучительнее были эти неистовства, что в них, даже в самых безумных, не слышалось ни криков, ни воплей. Даже в самых безумных мы чувствовали те же повисшие руки (без жестов), то же неподвижное лицо и ровный, слишком неподвижный голос. Но это делало их еще более зловещими.

## XVII

Едва он ощутил себя национальным поэтом, он полюбил слово дикий; Россия была мила ему именно дикостью, дисгармонией, хаосом.

- На пустынном просторе, на диком...

- В моей черной и дикой судьбе...

- Твои дикие, слабые руки... и т. д., и т. д., - без конца.

- Дикие песни. - Дикая сказка. - Дикая птица. - Дикая молва. - Дикий сплав миров. - Мир одичал и т. д.

- Как страшно всё, как дико! - восклицал он порою. Эта дикость привлекала его; он чувствовал в ней родное.

Первое же его стихотворение, посвященное Руси, было полно диких и пугающих образов: зарево, нож, ведьмы, кладбище, буйная вьюга и пр. Никакого благолепия: безумная, дикая Русь.

Где разноликие народы

Из края в край, из дола в дол

Ведут ночные хороводы

Под заревом горящих сел...

Где буйно замедает вьюга

До крыши - утлое жилье,

И девушка на злого друга

Под снегом точит лезвёе...

Где все пути и все распутья

Живой клюкой измождены,

И вихрь, свистящий в голых прутьях,

Поет преданья старины.

В этой дьявольщине, в этих заревах и вихрях может ли быть покой и уют? Покоя нет:

Покой нам только снится

Сквозь кровь и пыль.

Летит, летит степная кобылица

И мнет ковыль.

Не за то он любил свою Русь, что она благолепная, а за то, что она страшная и дикая.

Ничего не поймут в его патриотических стихотворениях те, которые станут искать в них благожелательных дум о благосостоянии России. Жалости к России он не знал:

Тебя жалеть я не умею

И крест свой бережно несю.

Какому хочешь чародею

Отдай разбойную красу!

Он принял эту разбойную Русь, как Голгофу. Русские самосожженцы, сжигающие себя ради Христа, были близки ему по восторгу страдания, по веселому отчаянию гибели; он поминал их в драме "Песня Судьбы" и в более поздних стихах. Даже в тех одах, где он набожно славил Россию, он твердил, что она разбойная, падшая, нищая. - Россия, нищая Россия... - О, нищая моя страна! - Так, я узнал в моей дремоте страны родимой нищету...

На русском Христе - рубище, русское небо создал убогий художник, русская почва скудна. ("Над скудной глиной желтого обрыва"... "Желтой глины скудные пласты"). Но если бы она была иною, он не воспел бы ее. Ему нужно было любить ее именно - нищую, униженную, дикую, хаотическую, несчастную, гибельную, потому что таким он ощущал и себя, потому что он всегда любил отчаянно, - сквозь ненависть, самопрезрение и боль. В сущности, он славил Россию за то, за что другие проклинали бы ее. Такова всегда была его любовь, претворяющая множество нет в одно да. Это особенно сказалось в том патриотическом стихотворении, написанном в начале войны, где он славил даже такую Россию, какой еще не славили поэты "Грешить бесстыдно, непробудно, счет потерять ночам и дням, и с головой, от хмеля трудной, пройти сторонкой в божий храм. Три раза преклониться долу, семь - осенить себя крестом, тайком к заплеванному полу горячим прикоснуться лбом.

Кладя в тарелку грошник медный, три да еще семь раз подряд поцеловать столетний, бедный и зацелованный оклад.

А воротясь домой, обмерить на тот же грош кого-нибудь, и пса голодного от двери, икнув, ногою отпихнуть.

И под лампадой у иконы пить чай, отщелкивая счет, потом переслунить купоны, пузатый отворив комод.

И на перины пуховые в тяжелом завалиться сне... - Да, и такой, моя Россия, ты всех краев дороже мне!"

Даже в такой скотоподобной России он чувствует хмель и святость и прощает ей перины и купоны. А если перины и купоны, значит, - всё, потому что Россия перин и купонов была единственная, которой до сих пор не прощали поэты.

## XVIII

### "Двенадцать"

В поэме "Двенадцать" он вывел Россию еще более падшую и опять повторил слово в слово:

Да, и такой, моя Россия,  
Ты всех краев дороже мне.

Тут такая вера в свой народ, в неотвратимость его высоких судеб, что человек и сквозь хаос видит красоту ослепительную. Странно, что никто до сих пор не воспринял "Двенадцати" как национальную поэму о России, как естественное завершение того цикла патриотических "Стихов о России", который ныне в его третьем томе носит название "Родина" и некогда был издан патриотическим журналом "*Отечество*".

Прежде чем думать об этих стихах или спорить о них, нужно просто послушать их, - вслушаться в их интонации, постигнуть их ритмическую, звуковую основу, которая У Блока главнее всего, потому что его ритмы сильнее его самого и говорят больше, чем он хотел бы сказать, - часто наперекор его воле.

И первое, что мы услышим, - русская, древняя, простонародная песня:

Ох, ты, горе-горькое!

Скука скучная,

Смертная!..

Выпью кровушку

За зазнобушку.

Чернобровушку.

И русский старинный романс:

Не слышно шуму городского,

Над невской башней тишина.

И русскую солдатскую частушку:

Эх, ты, горе-горькое,

Сладкое житье!

Рваное пальтишко,  
Австрийское ружье.

И какие национальные звуки в этих тягучих словах с ударением на четвертом слоге с конца (гипердактилическое):

Крутит, крутит черный ус.

Да покручивает,

Да пошучивает...

Катьку-дуру обнимает,

Заговаривает...

Ах ты, Катя, моя Катя,

Толстоморденькая.

Отнимите у этих стихов их национальную окраску, и они утратят свою силу, и от них ничего не останется, потому что это не окраска, а суть. И любовь, которая изображается в них, любовь Петьки и Катьки, есть та самая бедовая удаль, то хмельное разгулье, то восторженное упоение гибелью, в которых для Блока самая сущность России. Тут - даже в звуках - русский угар и безудерж:

- Ох, товарищи, родные,

Эту девку я любил.

Ночки черные, хмельные,

С этой девкой проводил...

- Из-за удали бедовой

В огневых ее очах,

Из-за родинки пунцовой

Возле правого плеча,

Загубил я, бестолковый,

Загубил я сгоряча... ах!

Недаром в этой поэме гуляет тот излюбленный Блоком отчаянный ветер, которым охвачены все его стихи о России. В поэме нет ни одного эпизода, который не был бы обвеян этим ветром, и какими русскими простонародными словами воспевается здесь этот ветер:

Разыгралась чтой-то вьюга:

Ой, вьюга, ой, вьюга!

Не видать совсем друг друга

За четыре за шага!

Снег воронкой завился,

Снег столбушкой поднялся.

В этом по-народному воспринятом ветре Блок уже давно ощутил революцию. Русскому поэту, который сказал о себе:

Я сердце вьюгой закрутил,

что же ему было и петь, как не родную ему революцию? Он уже давно, много лет, сам того не подозревая, был певцом революции - фантастической, национальной, русской, потому что, как мы видели, Россия, уже сама по себе, была для него революцией. И нынешнюю нашу революцию он принял лишь постольку, поскольку она воплотила в себе русскую народную бунтующую душу, ту самую, которую воспел, например, Достоевский. Остальные элементы революции остались ему чужды совершенно. Он только потому и поверил в нее, что ему показалось, будто в этой революции - Россия, будто эта революция - народная. Для него, как и для Достоевского, главный вопрос, с богом ли русская революция или против бога. И не дико ли, что никто из писавших о поэме "Двенадцать", - а о ней написаны сотни статей, - так и не догадался об этом? Читали ее без конца, спорили о ней до хрипоты, - и все-таки не поняли ни единого звука. Никто даже не подумал о том,

что для понимания этой поэмы нужно знать прежние произведения Блока, с которыми она органически связана.

Кричали, что в этой поэме Блок изменил себе, что это новый, неожиданный Блок, несколько не похожий на старого.

Ужасались: "Кто бы мог подумать, что рыцарь "Прекрасной Дамы", певец "Соловьинного Сада" опустится до такой низменной темы?"

Но мы, следившие за творчеством Блока с его первых шагов, знаем, что здесь не новый, а старый Блок и что тема "Двенадцати" есть его давнишняя, привычная тема.

В "Двенадцати" изображены: проститутка, лихач, кабак, - но мы знаем, что именно этот мир проституток, лихачей, кабаков давно уже близок Блоку. Он и сам давно Уже один из "Двенадцати". Эти люди давно уже его братья по вьюге. Если бы они были поэты, они написали бы то же, что он. Кровно, тысячью жил он связан со своими "Двенадцатью", и если бы даже хотел, не мог бы отречься от них, потому что в них для него воплотилась Россия. Ведь даже кощунство "Двенадцати", эти их постоянные возгласы: "Эх, эх, без креста!", "Пальнем-ка пулей в святую Русь!" - давнишнее занятие Блока, который со времен "Балаганчика" чувствует "роковую отраду в попираньи заветных святынь" и про музу свою говорит, что она "смеется над верой". Это кощунство он изображает опять-таки преувеличенно-национальными чертами. Его отпетый Петька, поножовщик, тоскуя по застреленной им Катьке, твердит:

Упокой, господи, душу рабы твоея.

И так упорно повторяет божье имя, что даже возмущает остальных, ибо они понимают, что дело, которое они делают, им нужно делать без бога, что о боге им нужно забыть, потому что у них руки в крови. Но в самой страстности их отречения от бога, в самой этой мысли, что бог не для них, есть жгучая религиозная память о боге, которая - по ощущению Блока - свойственна даже русским безбожникам, потому что только русский, отрекшись от бога, чувствует себя окаянным, и ни на миг не забудет, что он отрекся от бога. Этому Блока научил Достоевский. В безбожии для русского безбожника такая свобода, которой никакому сердцу не вынести: "все дозволено" и "ничего не жаль": - Свобода, свобода! Эх, эх, без креста! И когда эти двенадцать, встретив в каком-то переулке бродягу, сентиментально лобызают его: "эй, бедняга, подходи, поцелуемся", - они и этим для Блока родные, потому что он давно уже точно так же лобызался с бродягами, прославляя их, как избранных вьюги, "как шатунов, распятых у забора". Давно уже он проникся национальной эстетикой российского бродяжничества.

И даже то, что двенадцать говорят о попе, было когда-то сказано Блоком - в "Ямбах".

Даже нож, которым в "Двенадцати" Петруха убивает соперника, есть тот самый русский национальный нож, который давно уже неотделим для Блока от русской вьюги и русской любви, о котором Блок задолго до "Двенадцати" сказал в стихотворении "Русь":

И девушка на злого друга

Под снегом точит лезвё.

Словом, чем больше мы всматриваемся, тем яснее для нас тот многозначительный факт, что в нынешней интернациональной России великий национальный поэт воспел революцию национальную.

Блок никогда не говорил о России –

Ты знаешь край, где все обильем дышит.

Где реки льются чище серебра?

Или:

Русь, что выше и что ярче,

Что смелей и что святей?

Где сияет солнце жарче,

Где сиять ему милей?



Другой поэт, даже враждебный революции, попытался бы увидеть в ней хоть что-нибудь светлое, хоть одного героя или праведника, - Блоку это не нужно: он хочет любить революцию даже вопреки ее героям и праведникам, принять ее всю целиком даже в ее хаосе, потому что эта революция - русская.

Пусть эти двенадцать - громилы, полосующие женщин ножами, пусть он и сам говорит, что их место на каторге. ("На спину б надо бубновый туз"), но они для него святы, потому что озарены революцией.

На то он и Блок, чтобы преображать самое темное в святое. Разве прихорашивал он ту трактирную девку, которая открыла ему  
берег очарованный  
И очарованную даль.

Разве он скрыл от себя, что она пьяна и вульгарна? Разве он прихорашивал своего свиноподобного хама, когда захотел в его образе прославить Россию? То же случилось и здесь. Он преобразил, не прикрашивая. Пусть громилы, но и с ними правда, с ними вера, с ними Христос.

У Блока это не фраза, а пережитое и прочувствованное, потому что это выражено не только в словах, но и в ритмах. Только те, кто глухи к его ритмам, могут говорить, будто превращение этих хулиганов в апостолов и появление во главе их Иисуса Христа - есть ничем не оправданный, случайный эффект, органически не связанный с поэмой, будто Блок внезапно, ни с того, ни с сего, на последней странице, просто по капризу, подменил одних персонажей другими и неожиданно поставил во главе их Иисуса Христа.

Те же, кто вслушались в музыку этой поэмы, знают, что такое преобразование низменного в святое происходит не на последней странице, а с самого начала, с самого первого звука, потому что эта поэма, при всем своем вульгарном словаре и сюжете, по музыке своей торжественна и величава. Если это и частушка, то - сыгранная на грандиозном органе. С самых первых строк начинает звучать широкая оркестровая музыка с нарастающими лейтмотивами вьюга.

Все грубое тонет в ее пафосе, за всеми ее гнусными словами мы чувствуем широкие и светлые дали. Я уверен, что научный ритмико-музыкальный анализ мог бы вполне объективно установить это поглощение низменного сюжета возвышенным ритмом. Происходит непрерывное чудо. Вся поэма - хоть и народная по своему существу - обросла, словно плесенью, нынешним смердяковским жаргоном, но этот жаргон подчинен такой мощной мелодии, что почти перестает быть вульгарным, и даже такие слова, как "сукин сын", "паршивый", "стервец", "толстозадая", "падаль", "холера", "елекстрический", "керенка", "буржуй", - даже эти слова поглощаются ею и кажутся словами высокого гимна. Вырванные из текста они сами по себе очень вульгарны:

Он в шинелишке солдатской  
С физьномией дурацкой.

Но есть ли такая вульгарность, которой не могла бы преобразить в красоту магическая ритмика Блока? Этой ритмикой появление Христа подготовлено уже с первой страницы. Чуткие уже с первой страницы почувствовали, что этот гимн - о боге.

Но конечно, Блок не был бы Блоком, если бы в этой поэме не чувствовалось и второго какого-то смысла, противоположного первому. Простой, недвусложной любовью он не умел полюбить ни Прекрасную Даму, ни Незнакомку, ни родину, ни революцию. Всегда он любил ненавидя, и верил не веря, и поклонялся кощунству, и порою такая сложность бывала ему самому не под силу.

Часто он и сам не понимал, что такое у него написалось, анафема или осанна, и кто не помнит того томительного и напряженного вдумывания, с которым он говорил о "Двенадцати", спрашивая себя что это, и не умея ответить. Он внимательно вслушивался в чужие толкования этой поэмы словно ожидая, что найдется же кто-нибудь, кто объяснит ему, что она значит. Но дать ей одно какое-нибудь объяснение было нельзя, так как ее писал двойной человек, с двойственным восприятием мира. Эту поэму толковали по-

всякому и будут толковать еще тысячу раз, и всегда неверно, потому что в ее лирике слиты два чувства, обычно никогда не сливаемые. Тут и Марсельеза, и "Mein lieber Augustin" вместе. Но что же делать, если во всем своем творчестве он всегда сливал Марсельезу и Augustin'a, если эту толстоморденькую Катю он всегда ощущал одновременно и как тротуарную девку и как Деву Очарованных Далей, если Христос ему всегда являлся и Антихристом.

Его "Двенадцать" будут понятны лишь тому, кто сумеет вместить его двойное ощущение революции...

Обожание у Блока взяло верх, потому что вообще он был поэт обожания. Марсельеза у него всегда торжествовала над Augustin'ом. Всегда и в Незнакомке, и в стихах о России он начинал с омерзения для того, чтобы в конце появился Христос.

## XIX

В "Двенадцати" высший расцвет его творчества, которое - с начала до конца - было как бы приготовлением к этой поэме. Предчувствиями "Двенадцати" полна его изумительная поэма "Возмездие". Когда его оскорбляла злая цивилизация Европы, когда он вглядывался в "измученные спины" рабов, когда жизнь стегала его "грубою веревкою кнута", он неизменно тосковал о "Двенадцати". Скорее бы они пришли - и спасли! Что они придут, он не сомневался: слишком уж гадостен был для него старый мир и с каждым годом казался всё гадостнее. "Двенадцать" - поэма великого счастья, сбывшейся надежды: пришли долгожданные. Пусть они уроды и каторжные, они уничтожат "наполненные гнилью гроба", они зажгут тот пожар, о котором Блок тосковал столько лет:

Эй, встань и загорись, и жги!

Эй, подними свой верный молот,

Чтоб молнией живой расколот

Был мрак, где не видать ни зги!

Я назвал его поэму "Двенадцать" гениальной. Блок для моего поколения - величайший из ныне живущих поэтов. Вскоре это будет понято всеми.[\[361\]](#) Его темы огромны: бог, любовь, Россия. Его тоска вселенская: не о случайных, легко поправимых изъянах того или иного случайного быта, но о вечной и непоправимой беде бытия. Даже скука у него "скука мира". Даже смех у него - над вселенной.

И всегда, во всех его стихах, даже в самых слабых, чувствуется особенный, величавый, печальный, торжественный, благородный, лермонтовский, трагический тон, без которого его поэзия немислима. Даже цыганские песни, которые так часто звучат в его книгах, до неузнаваемости облагорожены у него этим величаво-трагическим тоном.

Было в нем тяжелое пламя печали. Именно тяжелое. Его душа была тяжела для него, он нес ее через силу - как тяжесть. В ней не было никакой портативности, легкости, мелочности. Если бы даже он захотел, он не мог бы говорить мелко о мелком, - но только об огромном и трагическом. Он был Лермонтов нашей эпохи. У него была та же тяжелая тяжба с миром, богом, собою, тот же роковой, демонический тон, та же тяжесть неумеющей приспособиться к миру души, давящей как бремя.

То, о чем он писал, казалось таким выстрадавшим, что, читая его, мы забывали следить за ухищрениями его мастерства.

Его изумительная техника изумительна именно тем, что она почти незаметна. Это у малых поэтов техника выпячивается на первое место, так что мы поневоле замечаем ее. Это про малого поэта мы говорим с восхищением: "Какой у него оригинальный прием!" - "Какое мастерство инструментовки!" - "Какая ловкая и смелая аллитерация!". Но у поэта великого, у Лермонтова или Блока, вся техника так органически спаяна с тем, что некогда называлось душой, что мы хоть и очарованы ею, но не подозреваем о ней. Мы читаем и говорим: "Там человек сгорел", а виртуозно он горел или нет, забываем и подумать об этом. "Там человек сгорел", такова тема Блока: как сгорает человек - от веры, от безверья, от отчаяния, от иронии, и, естественно, эти стихи о человеке, сжигаемом заживо, казались не просто стихами, - но болью. Для читателя это не просто произведения искусства, но

дневник о подлинно переживаемом. Блок и сам в автобиографии называет их своим дневником.

Но только по внешности это был мрачный дневник, а на деле - радостный, потому что Блок, несмотря на все свои мрачные темы, всегда был поэтом радости. В глубине глубин его поэзия есть именно радость - о жизни, о мире, о боге. Не верьте поэтам, когда они говорят, что они в пустоте: мир не может быть пуст для поэта. Поэт всегда говорит миру да, даже когда говорит ему нет. Творчество всегда есть приятие мира, в творчестве победа над иронией и смертью. Развенчивая жизнь, Блок все больше становился художником, то есть воспевателем жизни, и каждой строкой говорил:

Но трижды прекрасна жизнь.

И самая красота его творческой личности свидетельствовала, что жизнь прекрасна. Уже то, что, развенчивая любовь, он создал о развенчанной столько стихов, снова увенчало ее. Сколько бы он ни тяготился своим бытием, в нем жил художнический аппетит к бытию, который однажды заставил его воскликнуть:

О, я хочу безумно жить!

Все сущее - увековечить,

Безличное - вочеловечить,

Несбывшееся - воплотить!

Без этой жадности к жизни и творчеству он не был бы великим поэтом.

Хочу,

Всегда хочу смотреть в глаза людские,

И пить вино, и женщин целовать...

Среди самых мрачных стихов - вдруг, неожиданно - он признавался, что ему, как поэту, жизнь дорога даже в мимолетных своих мелочах, что ему сладостно чувствовать, как у него в жилах переливается певучая кровь, что его сердце радо радоваться и самой малой новизне.

Да, знаю я, что втайне - мир прекрасен.

(Я знал Тебя, Любовь).

И такова уж была двойственность Блока, что именно с той поры, как он возгласил, что мир пуст, он впервые стал наполнять его вещами и лицами. Именно с той поры, как мир явился ему во образе ночи, он впервые различил в этой ночи линии и краски окружающего. Как художник, он стал обладателем мира, именно когда утратил его. Его последний - третий - том, где столько предсмертного ужаса, был в то же время для него, как для художника, воскресением. Прежде мир был для него только сонное марево. Струилось, клубилось, а что - неизвестно, но именно теперь прояснилась окрестность, и он стал внимательным живописцем земного. Такие стихи его третьего тома, как "Авиатор", "На железной дороге", "Унижение", "Флоренция", "Петроградское небо" - полны отчетливых, зорко подмеченных образов. А во всяком поэтическом образе всегда - любованье миром. Любовью к точному и прочному слову, плотно облегающему каждую вещь, отмечены стихотворения третьего тома. Прежде он не мог бы создать таких незабываемо-определяющих образов, как "испуганные тучи", "величаявая глупость", "испепеляющие годы", "напрасных бешенство объятий", "столетний, бедный и зацелованный оклад". Прежде он не мог бы написать о скелете, что тот роется в чьем-то шкафу -

*Хозяйственно согнув скрипучие колени, -*

потому что прежде для таких пушкинских слов у него не хватало любви и внимания к конкретному миру.

Всего поразительнее то, что, обличая любовь, Блок по-прежнему остался ее религиозным певцом. Сколько бы он ни твердил, что Прекрасная Дама ушла от него навсегда ("Ты отошла, и я в пустыне"... "Ты в поля отошла без возврата"), она осталась при нем до

последнего часа, порою оскорбляемая, порою хвалимая - но вечно ощущаемая, как вестница мира иного, как "воспоминание смутное", как "предчувствие тайное", как слишком светлая мысль о какой-то другой стране. Такие стихи, как "Без слова мысль", "Есть минуты, когда не тревожит", свидетельствуют, что он по-прежнему остался боговидцем. В одном из самых углубленных своих стихотворений "Художник", где он, этап за этапом, изображает процесс своего художественного творчества, он повторяет под конец своей жизни, что творчество связано для него с ощущением мира иного, с освобождением от времени и смерти, но оно же не мешает его боговидению. А боговидение для него по-прежнему - главное. И в самые поздние, предсмертные годы, завершая свой творческий путь, он не раз возвращается к той же своей Лучезарной и видит ее даже яснее, чем прежде:

Но чем полет неукротимей,  
Чем ближе веянье конца,  
Тем лучезарнее, тем зримей  
Сияние Ее Лица.  
И сквозь кружение вихревое,  
Сынам отчаянья сквозя,  
Ведет, уводит в голубое  
Едва приметная стезя.

Снова голубое, как и в юности, та самая золотая лазурь, которая сияла ему в первоначальные годы. Он остался тот же серафим, что и прежде. Серафим несмотря ни на что. Падший и униженный, но серафим. Неверие только закалило его веру, кощунство только сделало ее человечнее. Оттого-то он так мучительно чувствовал мрак, что, в сущности, был светел и радостен. Под спудом в нем всегда таилась радость, и среди самых отчаянных стонов он написал в своих "Ямбах", что найдется же такой веселый читатель, который учует ее даже в его столах и скажет:

Простим угрюмство - разве это  
Сокрытый двигатель его?  
Он весь - дитя добра и света,  
Он весь - свободы торжество!

Именно таким и ощущает его наше поколение; несмотря на свои хаосы, мятели и кощунства, он бессознательно воспринимается всеми, как лучезарный и гармонически-радостный. Помимо его воли, в самых его горьких стихах есть неизреченная сладость. Даже когда в поэме "Соловьиный Сад" он сурово отрекается от Соловьиного Сада, от всех его нег и прохлад, от той, которую он там целовал, и возвращается в будни, на камни, к черной работе, к ослу, - даже это отречение от Соловьиного Сада звучит у него, как соловьиная песня.

Прославлением жизни, светлым прославлением любви светится его последняя трагедия "Роза и Крест", мудрейшее из всего им написанного.

Был рыцарь Бертран, он полюбил пустоту и служил пустоте, и отдал пустоте свою жизнь, и у Блока этот рыцарь пустоты есть единственный истинно человеческий образ.

Бертран любил, кого не стоило любить, и служил, кому не стоило служить, - и именно за это поэт наделил его такой красотой.

Та Прекрасная Дама, которой поклонялся Бертран, была вовсе не Прекрасная Дама, а мелкая, лживая, вульгарная тварь. Не Текла, но Фёкла. Блок настолько лишает ее ореола, что даже показывает, как для нее готовят слабительное. Она не стоит ни молитв, ни песен.

На Бертрана она не обращает внимания: у нее пошлый роман с пошляком.

Но Бертрану не нужно, чтобы она была Теклой, он и Фёкле поклоняется, как Текле:

Я коснуться не достоин  
Вашей розовой руки,

и благоговейно отдает ей свою жизнь, и помогает ее пошлому любовнику вскарабкаться в окно ее спальни и провести с нею ночь.

Смазливый мальчишка громко целуется с нею, а Бертран, умирая, стоит на страже у ее окна, чтобы никто не помешал им целоваться, и чувствует свое страдание, как счастье. Он счастлив своей жертвой Пустоте. Пусть его невеста - картонная, но сердце у него не картонное: человеческое, героическое сердце, преображающее своими ненужными жертвами Балаганчик мира в Храм. Мир не Балаганчик для Бертрана. Он побеждает мировую чепуху - своим бесцельным страданием, и замечательно, что слово бесцельный стало у Блока любимейшим:

- Людям будешь ты зовом бесцельным! - говорят в этой пьесе поэту.

- В путь роковой и бесцельный шумный зовет океан!

Нужно идти без цели и гибнуть без цели, потому что единственное наше оправдание - в гибели. Блок так и говорил: ты никуда не придешь, но иди; ты пропадешь, но иди:

Всюду беда и утраты,

Что тебя ждет впереди?

Ставь же свой парус косматый,

Меть свои крепкие латы

Знаком креста на груди.

В этом ставь же! - упрямый идеализм, идеализм назло всему, - Ибсен, Бранд, упоение отчаянием.

В сущности Блок всегда был Бертраном, но осознал это только теперь; если даже некого любить, будем любить, все равно кого и за что! Не в кого верить, но не верить нельзя.

Идти некуда, но будем идти. Будем жертвовать собою во имя чего бы то ни было, потому что только жертвами освящается жизнь. Нас не запугаешь бесцельностью:

Пускай Олимпийцы завистливым оком

Глядят на борьбу непреклонных сердец,

Кто, ратуя, пал, побежденный лишь роком,

Тот вырвал из рук их победный венец.

1921–1924

## Примечания

### 329

В. Зоргенфрей. Ал. Ал. Блок. - "Записки мечтателей", № 6, 1922, с. 149.

### 330

И вводя это слово в стихи, считал его - по-французски - двухсложным: "и сел бы прямо на тротуар". Слово шлагбаум было для него тоже двухсложным (см. "Незнакомку").

### 331

М. Бекетова. Александр Блок. "Алконост", Пг., 1922.

### 332

Речь идет о книге: Ал. Блок. Собр. соч., т. 7. Статьи. Берлин. "Алконост", 1922.- Примеч. составителя.

### 333

А. Блок. Собр. соч., т. 7, 1922, с 210.

### 334

А. Блок. Собр. соч., т. 7, 1922, с. 153.

### 335

М. А Бекетова. Александр Блок. "Алконост", Пг., 1922, с. 123.

### 336

Если бы я был свободен от эмоционального отношения к лирике Блока, я сказал бы, что даже в тех ненавистях, из которых сложилась у Блока любовь к революции, чувствовался представитель стародворянской культуры. Он ненавидел буржуазию, как ненавидел ее другой великий барин, Лев Толстой. Он называл "буржуев" уродами, свиньями, бестиями и посвятил им гневное стихотворение "Сытые", он обращался к ним с пренебрежительным словом:

Ты будешь доволен собой и женой.  
Своей конституцией куцой,  
А вот у поэта всемирный запой  
И мало ему конституций.

(1908)

Такою же барскою, толстовскою ненавистью ненавидел он интеллигенцию так называемого "культурного общества", противопоставляя ее лживому быту великую народную правду. "Интеллигент" всегда для него было словом ругательным. Заветная мысль его публицистики, - что проснувшийся народ испепелит этих блудливых витий. Но к дворянам его отношения были сложнее и богаче оттенками. Дворянскую чернь, т. е. бюрократию и придворную знать, он ненавидел так же, как Толстой, и называл ее подонками общества. Разгромы дворянских усадеб он считал праведной мезью народа за вековые преступления дворян. Но - прочитайте "Возмездие" - сколько там жалостливых элегических нот по отношению к умирающему барскому быту! Он знает, что история, осудившая этих людей на гибель, права, но сами люди все же родные ему.

### 337

Ср. в стихотворении первого тома: "Лишь там, в черте зари окровавленной" (1922, с. 37); в статье "Очаг" (1906); "Город окровавлен зарей" (т. VII, с. 17); в "Возмездии": "одной зарей окровавлённы" (с. 60).

### 338

Помню, в 1903 году, в поезде, один инженер Е., служивший под начальством Д. И. Менделеева в Палате Мер и Весов, говорил мне, своему случайному спутнику, что им, знающим Менделеева, больно, что дочь такого замечательного человека выходит замуж за "декадента". - "И добро бы он был Ж. Блок (фабрикант) или сын Ж. Блока, а то просто какой-то юродивый".

### 339

Часто он находил в них пророчества. Перелистывая со мною третью книгу своих стихов, он указал на стихи: "Как тяжело мертвецу среди людей" и сказал: "Оказывается, это я

писал о себе. Когда Я писал это, я и не думал, что это пророчество". То же говорил он и про книгу "Седое Утро": - "Я писал ее давно, но только теперь понимаю ее. Оказывается, она вся - о теперешнем".

### 340

Я тогда же записал его слова о "Двенадцати" и ручаюсь за их буквальную точность. В последнее время писали, будто Блок отрекся от "Двенадцати". Это вздор. Всякий раз, когда у него заходила речь об этой поэме с обывателями, с посторонними людьми, он считал своим долгом в самом начале беседы предупредить каждого, что он не изменил своих взглядов и не раскаивается в написании этих стихов. Он всегда любил эту поэму, любил слушать, как его жена, артистка Басаргина, декламирует ее с эстрады. Я спросил его, почему он сам никогда не читает ее вслух. Он сказал: "Не умею, а очень хотел бы". Если он о чем сожалел, то о своем стихотворном послании к Гиппиус, Начиавшемся словами: "женщина, безумная гордячка". "Там было одно такое слово, которое я теперь не люблю", - говорил он мне в марте 1921 года.

### 341

"Печать и революция", 1922, кн. I, с. 79

### 342

В приемной висело объявление о том, что каждый из умерших граждан Советской России "имеет право быть сожженным" в Государственном Крематориуме.

### 343

Примеч. Ал. Блока: "Перевод с греческого (впервые в русской поэзии)".

### 344

Эти строки основаны на известной поговорке, что по-итальянски можно говорить с женщинами, по-французски с королями, по-испански с богом, по-английски с лошадьми.

### 345

"Принципы художественного перевода" - брошюра, написанная мною совместно с Гумилевым и проф. Батюшковым. Блок принимал в ней большое участие.

### 346

Ал. Блок. Стихотворения. Книга первая (1898–1904): Ante Lucem. Стихи о Прекрасной Даме. Распутья. Пб., "Земля". 1918.

### 347

Максимилиан Волошин "Лики творчества".

### 348

Мне кажется, что эта тема внушена Блоку той страницей "Драматической Симфонии" Белого, где говорится, что некий философ, прочтя в "Критике чистого разума" о пространстве и времени, как априорных формах познания, стал придумывать, нельзя ли заставить себя ширмами, спрятавшись от времени и пространства (Андрей Белый. Собр. соч., т. IV, М., 1917, с. 148).

### 349

Даже в композиции стихов сказалось его тяготение к таинственности. Ср. напр. (в композиционном отношении) стихотворение "Я вырезал посох ив дуба" с родственным стихотворением Полонского "В дни ребячества я помню".

### 350

Там и здесь, вверху и внизу - эта система двойственных образов проходила через все его книги: "я чувствовал вверху незыблемое счастье, вокруг себя безжалостную ночь". Сначала это двоимирие он воплощал почти исключительно в образах света и тьмы, но потом нашел другие воплощения, иногда весьма причудливые, как например: "астрономия" и "гастрономия", "Текла" и "Фекла" и проч.

### 351

См. поэму "Первое свидание". - "Алконост", Пг., 1921.

### 352

"Золотое Руно", 1907, VI, статья "О лирике", с. 48.

### 353

Ал. Блок. Стихотворения. Книга вторая (1904–1908): Вступление. Пузыри земли. Ночная Фиалка. Разные стихотворения. Город. Снежная маска. Фаина. Вольные мысли. Пб., "Алконост", 1922.

### 354

В диалоге "О любви, поэзии и государственной службе". "Перевал". М., 1907, Кн. 6, с. 41.

### 355

Это уже из третьего тома, но, заговорив о двойственной эротике Блока, не хочу раздроблять эту тему.

### 356

Эта глава и следующая посвящены всем трем книгам Блока.

### 357

"И стан послушный скользнул в объятия мои", "синий плащ", "Лихач", "Скакун", "тройка", "вино". И постоянное обращение к женщине: "ты".



### 358

Конечно, и согласные были инструментованы у него мастерски, но это было именно мастерство, а не магия; вот, например, его г, изображающее топот толпы: "и прошли стопой тяжелой тело теплое топча"; или ст, пронизывающее целые стихи:

- Нет, мир бесстрастен, чист и пуст...

- Страстью, грустью, счастьем изойти...

Но это лишь предвзятый литературный прием, а не органическое свойство его дарования. Между тем как в гласных он весь.

### 359

И потому на фоне этого единственного звука особенно остро ощущается чужеродное е: жизнь прошумела, которое и выделено, как главная мысль строфы. Вообще этих проходящих через весь стих звуков а у Блока великое множество: Цветами дама убрала... Душа туманам предана... Цвела ночная тишина... Ты всегда мечтала, что сгорая... И мечта права, что нам лгала.

### 360

Ал. Блок. Стихотворения. Книга третья (1907–1916): Страшный мир. Возмездие. Ямбы. Итальянские стихи. Разные стихотворения. Арфы и скрипки. Кармен. Соловьиный сад. Родина. О чем поет ветер. Пб., "Алконост", 1921

### 361

Теперь, после его кончины, я радуюсь, что еще при его жизни произнес это ответственное слово. Весь этот отрывок был прочитан мною на "Вечере Александра Блока" в Петербурге в Большом Драматич. театре 25 апреля 1921 г.

Л. ТРОЦКИЙ. ЛИТЕРАТУРА И РЕВОЛЮЦИЯ. ЧАСТЬ I. СОВРЕМЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА<sup>28</sup>

**Юрий Боров**

## ЭСТЕТИКА ТРОЦКОГО

Любой школьник знает, что Сергея Есенина многие годы считали писателем-попутчиком, а то, что назвал его так Л. Д. Троцкий, известно только специалистам, потому что для большинства советских людей до самого последнего времени с этим именем, пожалуй что, ассоциировалась теория перманентной революции — не лучшее из его созданий.

Троцкий прожил яркую жизнь революционера и прожектера, полководца и партийного руководителя, фанатика и мечтателя о мировой революции, идеолога казарменного

---

<sup>28</sup> Впервые опубликовано: ИЗДАТЕЛЬСТВО «КРАСНАЯ НОВЬ» ГЛАВПОЛИТПРОСВЕТА МОСКВА \* 1923. Печатается по: Л. Троцкий. Литература и революция // [http://royallib.com/book/trotskiy\\_lev/literatura\\_i\\_revolyutsiya\\_pechataetsya\\_po\\_izd\\_1923\\_g.html](http://royallib.com/book/trotskiy_lev/literatura_i_revolyutsiya_pechataetsya_po_izd_1923_g.html)

социализма, борца против тирании Сталина и претендента на его место со всеми вытекающими из этого последствиями. В отличие от тех вождей, которым судьба уготовила тюрьму, Троцкому суждена была сума. Он умер в Мексике, в изгнании, от руки сталинского наемного убийцы. Предание говорит, что в этот смертный час кровь обогрела страницы рукописи последней его книги— книги о Сталине.

Осмысливать (или переосмысливать) политическое наследие Троцкого — дело историков. Я попробую дать самый общий и краткий анализ его эстетики.

Основной труд Троцкого по этой теме, «Литература и революция», опубликован в 1923 году и включает работы, написанные им в период с 1907 по 1923 год. Это собрание структурировано, но его части не вполне притерты друг к другу, и чувствуется что книга не писалась как единое произведение. Вместе с тем она обладает определенной целостностью. В ней все объединено яркой личностью автора и материалом эпохи. Книга стала библиографической редкостью, она входила в разряд запрещенной литературы. Что же таит в себе этот «запретный» теоретический плод и насколько он сладок?

В сочинении Троцкого мы встретим немало шаблонов, продиктованные классовым фанатизмом и пренебрежительным отношением к общечеловеческим ценностям в культуре, которые, впрочем, в отличие от некоторых позднейших партийных теоретиков, Троцкий все же признавал. И все-таки на его теоретическом сознании, ограничившемся усвоением идей Гегеля и Маркса и не прошедшем через эстетическую школу аристотелевской, платоновской, кантовской мысли, лежит печать вульгарного социологизма — этой пандемической болезни почти всей «р-р-революционной» критики и эстетики. В результате— Троцкий полагает исторически правомерным исключение из культуры и истории целых слоев русской интеллигенции: «...военное крушение режима надломило позвоночник междуреволюционному поколению интеллигенции» (с. 31). Насчет позвоночника, к сожалению, верно — он не мог выдержать огромную тяжесть пролетарской диктатуры. Однако именно это междуреволюционное поколение интеллигенции, о котором так язвительно пишет автор, дало русской культуре послеоктябрьские произведения А. Белого, А. Блока, О. Мандельштама, А. Ахматовой и создало русскую культуру зарубежья, хотя Троцкий излишне поспешно утверждал, что «эмигрантской литературы не существует».

Троцкий один из немногих наших партийных вождей, проявивших эрудицию в художественной культуре. Это преимущество объясняется отчасти культурным уровнем большинства из его партийных коллег-соперников. Вместе с тем он не был академическим исследователем. У него нет эстетического профессионализма, он не создавал эстетическую систему. В своей книге он выступает не как серьезный ученый, а как тенденциозный политик. Например, у Троцкого нет единого принципа членения литературного процесса: то он исходит из чисто политических характеристик («мужиковствующие», «попутчики» и т. д.), то из собственно художественных, беря за основу литературные направления (реализм, символизм, футуризм и т. д.).

Местами это сочинение скучно: мы все наслушались и наговорились до оскомины на тему классовости искусства и классовой борьбы. Местами — интересно: «Слушайте музыку

революции!» — этот призыв был близок и Блоку, и Маяковскому, и, читая Троцкого, ты его, кажется, слышишь.

«Литература и революция» имеет значение исторического источника и принадлежит прошлому и по системе взглядов, и по трактовкам литературных явлений. Вместе с тем в этих трактовках автор проявил известную эстетическую прозорливость и вкус. Так, Леонида Андреева он называет наиболее громкой, если не наиболее художественной, фигурой межреволюционной эпохи, он одним из первых отмечает высокую одаренность Анны Ахматовой. На страницах книги читатель найдет имена В. Розанова, С. Есенина, Н. Тихонова, Д. Мережковского, З. Гиппиус, М. Кузмина, Е. Замятина и многих других писателей, без которых нет истории отечественной литературы XX века. Здесь же встретятся и имена живописцев, и размышления об архитектуре, театре, живописи. Перед нами общеэстетические идеи, развиваемые на конкретном материале. При этом в соответствии с традициями отечественной эстетики, отражающими реальное значение литературы в русской художественной культуре, в основе рассуждений Троцкого лежит в первую очередь литературный материал.

Сегодня, когда завершился целый цикл исторического движения, дошедшего до критической точки, интересно и поучительно смотреть на его первые шаги. С исторической вершины последнего десятилетия века четко видно «потоков рождение и первое грозных обвалов движение». Какие обвалы провоцировал Троцкий своей эстетикой и критикой и какие культурные потоки взяли исток в его деятельности? Как его эстетику можно охарактеризовать, какое место в цепи культурных событий века ей можно определить? Автор книги оправдывает жестокую советскую цензуру, как направленную против «союза капитала с предрассудком». Все же насилие над культурой, порой творившееся в первые годы революции, воспринималось им как нормальное и необходимое, а Горького, который тогда пытался противостоять этому насилию, Троцкий малопочтительно называл «достолюбезным псаломщиком» (с. 34). В такого рода пассажах сегодня нам видится человек, который при слове «культура» хватается за маузер. И это видение реально, но оно еще не дает Троцкого во всей сложности его эстетической концепции.

Троцкий исходил из недостаточно широко, без общеэстетической базы понятого Маркса. Объективно он явился связующим звеном между дореволюционной марксистской искусствоведческой мыслью и вульгарно-социологическими теориями второй половины 30—начала 50-х годов. До публикации этого труда в исторической цепи развития советской эстетики не хватало звена между Плехановым, Ждановым и были не вполне ясны исторические истоки некоторых постулатов эстетики антипода и врага Троцкого — Сталина. Последний, нам представляется, питал к Троцкому такую ненависть, что приговорил его к смерти. И был к нему настолько равнодушен, что в первую годовщину революции назвал Троцкого ее творцом и потом многие годы перечитывал страницы его сочинений. Возможно, Троцкий внушал малообразованному и внутренне закрепощенному Сталину пиетет, зависть и желание быть на него похожим. Может быть, поэтому характерное сталинское словечко «низкопоклонство» мы находим на страницах данной книги?

Родственность эстетики Сталина — Жданова с эстетикой Троцкого — в примате вульгарно-социологического классового подхода к искусству над его пониманием в духе общечеловеческих ценностей, в поисках политического и идеологического эквивалента художественного содержания. Разница лишь в том, что Сталин более последовательно проводил в жизнь эти принципы, чем Троцкий, которому в некоторый плюс можно поставить благотворные отступления от последовательной идеологизации искусства в сторону эстетического видения собственно художественной ценности произведения. Именно это позволяло ему вопреки другим партийным деятелям 20-х и последующих лет увидеть в Сергее Есенине не хулиганствующего люмпена, а поэта или оценить высокую одаренность Ахматовой, о чем я уже упоминал.

И все же именно Троцкий заложил советскую традицию оценки художественных явлений не с эстетической, а с чисто политической точки зрения. Он дает политические, а не художественно-эстетические характеристики явлений искусства: «кадетство», «присоединившиеся», «попутчики» и т. д. В культуре есть почва — традиции, но не бывает удобрений — пегасы не производят навоза. Сократ, провозгласивший, что корзина с навозом прекрасна, если она полезна, в известном смысле был предтечей не только утилитаризма в эстетике, но и социологического продолжения утилитаризма в вульгарном классовом подходе, для которого полезно, нравственно, художественно то, что революционно, политически выгодно. Не пройдя через кантианскую рефлексию бескорыстности эстетического подхода к реальности, мысль Троцкого оказалась склонна к утилитаризму. Пройти же кантовскую школу эстетики мешала предвзятость. Он пишет: «От материализма и „позитивизма“, отчасти даже от марксизма, — через критическую философию (кантианство) — интеллигенция с начала столетия передвигалась к мистицизму» (с. 43).

Как бы то ни было, Сталин, Жданов и Троцкий в отношении к проблемам искусства «близнецы-братья». Если же отвечать на вопрос: «Кто более матери-истории ценен?», то можно сказать: эстетика Сталина сыграла более разрушительно-формирующую роль и наложила реальную печать на художественный процесс и потому, что своей примитивностью она была привлекательна для массы, и потому, что воплощалась в жизнь через могучую тоталитарную власть. С другой стороны, эстетика Троцкого имеет известные преимущества перед сталинской, так как она опирается на более широкий историко-культурный базис и на большую эрудицию ее создателя.

В плане собственно политики и культурной политики Троцкий выступает как истинный сталинист, а Сталин — как истинный троцкист. Обращают на себя внимание рассуждения Троцкого о роли революционного террора, безоговорочно одобрявшегося им как историческая необходимость. Эта историческая необходимость проявит себя крещендо и приведет к гибели и соратников, и противников Троцкого, и его самого, и многих не имевших к нему отношения людей. Сколько крестьян, рабочих, интеллигентов погибнет в этом огне! Наивно надеясь, что насилие не будет применяться в личных целях, Троцкий с фанатичной беспечностью, бездумной жестокостью и восторгом пишет: «Революция, применяющая страшный меч террора, сурово оберегает это свое государственное право: ей грозила бы неминуемая гибель, если бы средства террора стали пускаться в ход для личных целей. Уже в начале 18-го года революция расправилась с анархической

разнузданностью и вела беспощадную и победоносную борьбу с разлагающими методами партизанщины» (с. 101).

Теоретически невнятная идея Сталина о существовании буржуазных и социалистических наций и вычеркивание из состава народа его «врагов» предвосхищаются мыслями Троцкого о нации. Он разделяет нацию и видит национальное за «прогрессивным», «передовым», «классово-революционным», а другой половине в этом отказывает - «Варвар Петр был национальнее всего бородатого и разужоренного прошлого, что противостояло ему. Декабристы национальнее официальной государственности Николая I с ее крепостным мужиком, казенной иконой и штатным тараканом. Большевизм национальное монархической и иной эмиграции, Буденный национальное Врангеля, что бы ни говорили идеологи, мистики и поэты национальных экскрементов» (с. 82). Согласно Троцкому, в динамике своей национальное совпадает с классовым и во все критические эпохи нация сламывается на две половины, и национально то, что поднимает народ на более высокую хозяйственную и культурную ступень. С этим невозможно согласиться, ведь в том и суть гражданской войны, что по обе стороны линии фронта стоит один и тот же народ или те же народы, разделенные не по национальному, а по классовому принципу.

Рассуждения Троцкого часто напоминают сталинские характеристики исторических и культурных процессов. Сходство многих постулатов Сталина и Троцкого позволяет предположить, что их борьба была больше борьбой за личную власть, за личное пребывание у государственного руля, нежели борьбой за различный исторический и культурный путь развития.

Нередко Троцкий думает совсем по-сталински: кто не с нами — тот против нас, главное в искусстве содержание и политическая ориентация, а в сфере художественности, формы можно допустить и известные вольности. Так, художественная политика должна состоять в том, что все писатели оцениваются в соответствии с категорическим критерием; за революцию или против революции. В области же художественного самоопределения он готов предоставить писателям полную свободу. А разве не по-сталински звучит формулировочка «переплавка человека»? Какая же степень насилия огнем и ковкой в этом тезисе-образе?

Троцкий проявляет известную осторожность, формулируя принцип отношения партии к искусству. Некоторая осторожность даст себя знать вскоре и в известном постановлении партии по проблемам литературы (1925 год). Позже Сталин и Жданов отбросят эти относительно корректные принципы воздействия на искусство. Однако не следует идеализировать идею Троцкого о культурной политике: в ней есть и похвальное желание учесть специфику искусства, и жесткость, «мнущая тебя, подтягивая вожжи». Он пишет: «Есть области, где партия руководит непосредственно и повелительно. Есть области, где она контролирует и содействует. Есть области, где она только содействует. Есть, наконец, области, где она только ориентируется. Область искусства не такая, где партия призвана командовать. Она может и должна ограждать, содействовать и лишь косвенно — руководить. Она может и должна оказывать условный кредит своего доверия разным художественным группировкам, искренно стремящимся ближе подойти к революции, чтобы помочь ее художественному оформлению. И уж во всяком случае партия не может стать и не станет на позицию литературного кружка, борющегося, отчасти просто

конкурирующего с другими литературными кружками» (с. 170). В этих формулах, отражающих понимание проблем художественной политики партии, мысль Троцкого колеблется от признания необходимости известной терпимости в отношении искусства до настойчивого подчеркивания идеи о необходимости повседневного партийного вмешательства в художественный процесс. Другими словами, вместе с известным либерализмом он высказывает согласную с Лениным мысль о недопустимости самотека в литературном процессе. При этом Троцкий огрубляет и ужесточает требование вмешательства и доводит его до перманентности и постоянства: «Совершенно очевидно, что и в области искусства партия не может ни на один день придерживаться либерального принципа *laissez faire, laissez passer* (предоставьте вещам идти своим ходом)» (с. 172).

Ни на один день! Вот ведь как суров. И дорого будет стоить культуре эта суровость. Далее Троцкий пишет! «Дело ведь вовсе не так обстоит, что у партии есть по вопросам будущего искусства определенные и твердые решения, а некая группа саботирует их. Этого нет и в помине. Никаких готовых решений по вопросу о формах стихосложения, об эволюции театра, об обновлении литературного языка, так же как — в другой плоскости — у нее нет и не может быть готовых решений о лучшем удобрении, наиболее правильной организации транспорта и совершеннейшей системе пулемета».

Слава Богу, хотя бы «нет твердых решений»! Но они скоро появятся, и Троцкий это допускает. Анализ же его, суждений на фоне последующего исторического процесса может убедить нас в том, что, если никакая политическая организация не будет вмешиваться в художественный процесс, будет лучше и для политики, и для литературы. Чтобы понять это, художественной культуре нужно было пережить годы сталинского террора, кампании, по всяческой борьбе, доклады Жданова, опору Хрущева на «автоматчиков» в литературе, «бульдозерную» выставку и Манеж, годы брежневского застоя и лишений художников гражданства.

Эстетика Троцкого жила в нашем последующем литературном развитии. Так, состоявшаяся в конце 30-х годов в журнале «Литературный критик» полемика «вопрекистов» и «благодаристов», споривших о взаимоотношении мировоззрения и творчества писателя, была полемикой вокруг важных вульгарно-социологических постулатов эстетики, заданных Троцким.

С начала 30-х годов Троцкого не читали, не упоминали, но в памяти, в подсознании, в устной традиции без идентификации с социально-проклятым его именем жила как теоретический фольклор троцкистская эстетика, сформулированная им в «Литературе и революции». Это относится, в частности, и к категориальному аппарату критики, и к ее методологии. Однако не только многие теоретические и методологические идеи литературы, но и само литературоведческое осознание истории советской литературы и в его слабых, и в его ошибочных, и в некоторых положительных моментах до последних лет формировалось на литературных концепциях Троцкого и его оценках. Ведь прижизненные критические оценки произведений писателей накладывают печать на суждения последующих поколений, как Белинский наложил печать на всю литературу и литературную критику XIX века. Стереотипы современной оценки накладываются на позднейшие. Это общая закономерность. В соответствии с ней Троцкий принял участие в формировании наших взглядов на процесс развития советской литературы. Вычеркнутый

из жизни и из культуры своей родины, он жил в сознании ее идеологических руководителей не только в виде проклятой личности, но и в виде осевших на самое дно их сознания и даже подсознания троцкистских постулатов и установок. Троцкий один из немногих критиков того времени, кто охватил всю основную литературу эпохи, заложил и определил многое в последующих концепциях литературы. Он во многом определил и взгляды читающей публики.

Особое место в литературном процессе отводит Троцкий критике. Ее важнейшую задачу он видит в разложении индивидуальности художника (т. е. его искусства.—Ю. Б.) на составные элементы и обнаружение их соотношения. Критика, по Троцкому, ищет общее в душе читателя и в душе художника и на этой основе наводит мосты их взаимопонимания. Мостом от души к душе служит не неповторимое, а общее. Неповторимое познается через общее. Мост, который строит Троцкий от читателя к писателю, зиждется на вульгарных утилитарно-социологических опорах, на классовой принадлежности. При этом «социальный критерий не исключает, а идет рука об руку с формальной критикой, т. е. с техническим критерием мастерства» (с. 58).

Политический утилитаризм часто затмевает эстетическое сознание Троцкого; Он пишет: «...творчество Демьяна Бедного есть пролетарская и народная литература, т. е. литература, жизненно нужная пробужденному народу. Если это не „истинная“ поэзия, то нечто большее ее» (с. 167). Социальная польза произведения важнее его художественных достоинств — эта мысль Троцкого войдет в культурный обиход и дорого будет стоять нашей художественной культуре. Впрочем, трудно приписать первооткрытие этой мысли Троцкому. Этот социально-утилитарный взгляд на искусство в обстановке бесконечной борьбы десятки людей открывали для себя сами.

Руководствуясь вульгарно-социологическими инструментами сугубо классового анализа искусства, Троцкий находит антикрестьянские мотивы в творчестве А. Блока, Б. Пильняка, серапионов, имажинистов, футуристов (В. Хлебникова, А. Крученых, В. Каменского). Он полагает, что мужицкая основа нашей культуры — вернее бы сказать, бескультурности — обнаруживает все свое пассивное могущество. По мнению Троцкого, наша революция — это крестьянин, ставший пролетарием и на крестьянина опирающийся. Наше искусство — это интеллигент, колеблющийся между крестьянином и пролетарием. Эти литературно-критические представления нашли свое политическое воплощение в знаменитом сталинском определении интеллигенции как прослойки между классами.

В области литературоведческой методологии мысль Троцкого вращается между формализмом и вульгарным социологизмом и отдает предпочтение последнему. Он довольно поверхностно, но отчасти верно понимает формализм: «Объявив сущностью поэзии форму, эта школа свою задачу сводит к анализу (по существу описательному и полустатистическому) этимологических и синтаксических свойств поэтических произведений, подсчету повторяющихся гласных и согласных, слогов, эпитетов. Эта частичная работа, „не по чину“ называемая формалистами наукой поэзии или поэтикой, безусловно нужна и полезна, если понять ее частичный, черновой, служебно-подготовительный характер. Она может войти существенным элементом в технику поэтического ремесла, в его практическую рецептуру» (с. 131). Как мы видим, Троцкий не

отвергает формальный анализ произведения, но полагает, что это дополнительный, малозначимый его элемент, не осознавая того, что художник часто мыслит стилем, формой и художественность — это не только форма образной мысли, но и ее эстетическое содержание. Интересна у него и подборка цитат из формалистов, характеризующая их принципы: «Искусство всегда было вольно от жизни, и на цвете его никогда не отражался цвет флага над крепостью города» (В. Шкловский). «Установка на выражение, на словесную массу — „единственный, существенный для поэзии момент“» (Р. Якобсон. Новейшая русская поэзия). «Раз есть новая форма, следовательно, есть и новое содержание. Форма, таким образом, обуславливает содержание» (А. Крученых). «Поэзия есть оформление самоценного, „самовитого“, как говорит Хлебников, слова» (Р. Якобсон) (с. 132). Однако столь внимательно проштудировав формалистов, обнаружив их недостатки, Троцкий не смог полно увидеть их сильные стороны и понять, что художественность содержательна, семантически значима. Этого не смогла понять вся эстетика вульгарного социологизма.

Я уже подчеркивал некоторую эклектичность этой книги, сложенной из готовых и не предназначавшихся для построения единого здания материалов. Это сказывается и в том, что в главе о художественных направлениях литературы вклинивается глава о формализме как направлении в литературной критике. При этом Троцкий отдает себе отчет в масштабах этой школы: «...единственной теорией, которая на советской почве за эти годы противопоставляла себя марксизму, является, пожалуй, формальная теория искусства» (с. 130). Такое прямое противопоставление формализма марксизму Троцким позже будет усвоено литературным и политическим сознанием эпохи и позже при сталинском ужесточении культурной политики приведет к разгрому этой литературно-критической школы и ее методологии. Отвергнуты будут и все рациональные, все плодотворные моменты формальной методологии.

Троцкий склонен к аргументам «не из вежливых» и характеристикам жестким и грубым. Формальная школа характеризуется им как «недоносек идеализма в применении к вопросам искусства» (с. 145). По его мнению, на формалистах лежит печать скороспелого поповства. Для формалистов вначале было слово. А для Троцкого вначале было дело, и слово явилось за ним, как звуковая тень его.

Троцкий порой пытается преодолеть ее вульгарно-социологическую методологию. Особенно интересны его усилия в утверждении лояльного отношения партии к творчеству и в отвержении тематического экстремизма. Марксистское понимание объективной социальной зависимости искусства для Троцкого означает признание. Он утверждает общественную утилитарность искусства. В переводе на язык политики, это вовсе не означает стремления командовать искусством при помощи декретов или предписаний. Троцкий отрицает, что революционным является только то искусство, которое говорит о рабочем, и что большевики от поэтов требуют неперемненных описаний фабричной трубы.

Если подвести итог анализу установок Троцкого в области литературоведческой и искусствоведческой методологии, то можно сказать, что вульгарный социологизм он гибко и непоследовательно сочетал с элементами примитивно понятого формализма.



Методологическая ориентация на вульгарный социологизм приводит к тому, что классовое в рассуждениях Троцкого почти всегда превалирует над общечеловеческим. Между тем последнее и определяет суть искусства, его эстетическое отношение к реальности. Этим художественное сознание и отличается от политики. Для Троцкого художественное сознание есть разновидность политического сознания или способ иллюстрации последнего. Это становится традицией, а затем и позицией Жданова и Сталина. Всем этим я вовсе не хочу сказать, что виновник бед нашей культуры — Троцкий, и только он. Ему просто удалось наиболее остро и определенно выразить общую тенденцию массового сознания партийной среды и придать этой тенденции энергию исторического движения. Что же касается персональной ответственности за эти ошибочные противокультурные постулаты, то почти каждый из партийных современников Троцкого внес свой вклад в эти ошибки.

И все же Троцкому было дано прикоснуться к общечеловеческому, несмотря на все его классовые эзерсисы в эстетике. Он считал в корне неправильным противопоставление буржуазной культуре пролетарской культуры. Ее в дальнейшем вообще не будет, так как пролетарский режим — временный и переходный. Поэтому Троцкий считал, что исторический смысл и нравственное величие пролетарской революции в том, что она закладывает основы внеклассовой, первой подлинно человеческой культуры. Так, хотя бы в перспективе, Троцкий выходил на общечеловеческое.

Иногда в его положениях начинает проглядывать мысль о том, что диалектика индивидуального и общечеловеческого и национального в искусстве важнее классового. Однако прямолинейный социологизм дает себя знать на многих страницах его книги. Так, например, согласно Троцкому, только революционный перелом истории встряхивает индивидуальность, устанавливает другой угол лирического подхода к основным темам личной поэзии и тем самым спасает искусство от вечных перепевов.

Прогноз социального и художественного развития человечества Троцкий делает в духе своей теории перманентной революции. Он пророчит Европе и Америке десятилетия борьбы, участниками — героями и жертвами — которой будут люди не только его, Троцкого, но и следующего поколения. И соответственно революционным будет искусство этой эпохи.

Он против излишнего оптимизма в воззрениях на переход к социализму. Это будет, по его представлениям, эпоха социальной революции, которая продлится в мировом масштабе не месяцы, а годы и десятилетия, но «не века и тем более не тысячелетия». В этом процессе развития нового общества, по мнению Троцкого, наступит момент, после которого хозяйство, культурное строительство, искусство получат величайшую свободу движения вперед. Этот прогноз стал сбываться лишь через 70 лет после его изречения и вовсе не на тех основах, о которых говорилось.

Троцкому присущ исторический оптимизм, он уверен, что будущее лучше прошлого, так как оно вбирает в себя прошлое и поэтому «умнее и сильнее его» (с. 273). Будущее родины у него оптимистично, а иногда радужно. Россию он представляет как гигантское полотно, разработки которого хватит на века. С ее вершин и революционных кражей

берут начало истоки нового искусства, нового мироощущения, которые и через триста лет будут вскрывать эти истоки освобожденного человеческого духа.

То, что Троцкий признает известное значение общечеловеческого в художественной культуре, проявляется и в том, что главную задачу пролетарской интеллигенции на ближайшие годы он видит не в формировании абстракции новой культуры — при отсутствующем для нее пока еще фундаменте, а в конкретном культурничестве. Он считает, что необходимо систематическое, планомерное, критическое усвоение отсталыми массами элементов уже существующей культуры, что необходимо овладеть важнейшими элементами старой культуры, чтобы проложить дорогу новой.

Задачи Пролеткульта Троцкий не без некоторого резона стремится свести к борьбе за повышение культурного уровня рабочего класса. Троцкий справедливо критикует, совпадая в этом с Лениным, Пролеткульт за то, что тот стремился идти по разрушительному пути отвержения культуры прошлого и насаждения «искусственной и беспомощной новой классово-полноценной культуры». Впрочем, порой и Троцкому не чужды пролеткультовские нигилистические мотивы по отношению к культуре прошлого, хотя и не столь прямолинейные, как у истоковых пролеткультовцев. Он подчеркивает значение Пушкина для нынешней эпохи, считает, что пролетарскому писателю нужно приобщиться к литературной традиции и овладеть еще Пушкиным, впитать его в себя. Однако овладеть Пушкиным нужно, по Троцкому, лишь для того, чтобы «уже тем самым преодолеть его» (с. 106).

Отмечая ту стадию развития, которая присуща советскому искусству начала 20-х годов, он говорит, что она «не есть еще эпоха новой культуры, а только преддверие к ней» (с. 151) или даже подготовка к подготовке будущего социалистического искусства. По его мнению, в литературном процессе этой эпохи можно насчитать несколько пластов: 1) внеоктябрьская литература и примыкающий к ней футуризм как ответвление старой литературы; 2) советская мужиковствующая литература; 3) пролетарское искусство, которое еще проходит через ученичество и ассимилирует для нового класса старые достижения; 4) социалистическое искусство.

Как же применял Троцкий свою критическую методологию к проблемам художественной культуры?

Многие страницы его книги посвящены тому слою культуры, который он именуется внеоктябрьской литературой. Троцкий диагностирует реальный конфликт революции и интеллигенции, возникший в октябре 1917 года. Октябрь, согласно Троцкому, знаменовал «невозвратный провал» русской интеллигенции. Эта точка зрения на интеллигенцию глубоко укоренилась в партийной среде и обусловила многие беды и интеллигенции, и культуры, в конечном счете и партии.

Для Троцкого декаданс и символизм — процесс буржуазной индивидуализации личности, он сторонник ее коллективного бытия, опасного, как мы знаем это теперь, хунвейбиновскими последствиями для культуры. Индивидуализация есть необходимейший для личности процесс, без которого она становится безликой.

«Литература и революция» — некогда огненное, а ныне полуподозрительное сочетание слов. Однако, не проверив это словосочетание нашим современным опытом, мы рискуем ничего не понять в своей социальной истории и в истории культуры.

Движение Троцкого по истории культуры сопровождается знакомыми нам поисками классовых эквивалентов смысла произведения и классового фермента, питающего то или иное явление культуры. Троцкий пишет, что «старая наша литература и „культура“ были дворянской и бюрократической на крестьянской основе... Пройдя через народническое „опрошенство“, интеллигент-разночинец модернизовался, дифференцировался, индивидуализировался в буржуазном смысле. В этом историческая роль декадентства и символизма» (с. 24).

Конечно, искусство первых десятилетий не могло пройти мимо потрясений эпохи, не могла пройти мимо них и эстетика, пытавшаяся осмыслить это искусство. В этом обстоятельстве заключены корни многих особенностей эстетики Троцкого, которая исходила из того, что новое искусство может быть создано только теми, кто живет заодно со своей эпохой.

Троцкий не только создал политизированную и идеологизированную концепцию литературы, но и (критика— движущаяся эстетика!) воплотил ее в критическую деятельность. Например, он выступает как хлесткий полемист, дающий литературно-критические характеристики писателей и произведений в духе вульгарного социологизма. Так, по поводу Розанова Троцкий развязно пишет, что тот «был заведомой дрянью, трусом, приживальщиком, подлипалой. И это составляло суть его. Даровитость его была в пределах выражения этой сути» (с. 46). Однако Троцкий не ограничивается ругательно-эпитетной, ярлыковой формой критики. (Позже у Жданова крайняя литературно-критическая лексика станет единственным аргументом и инструментом.) Отдав дань этой форме и заложив ее прочную традицию, Троцкий переходит к вполне вразумительным аргументам, которые можно принимать или не принимать, но которые бросают на предмет анализа свой оригинальный свет: «Когда говорят о „гениальности“ Розанова, выдвигают главным образом его откровения в области пола... Австрийская психоаналитическая школа (Фрейд, Юнг, Альберт Адлер и др.) внесла неизмеримо больший вклад в вопрос о роли полового момента в формировании личного характера и общественного сознания... Даже и парадоксальнейшие из преувеличений Фрейда куда более значительны и плодотворны, чем размашистые догадки Розанова...» (с. 46). Троцкий критикует Розанова за то, что он во время дела Бейлиса доказывал употребление евреями в культовых обрядах христианской крови, а незадолго до смерти писал о евреях, как о «первой нации в мире». Такая характеристика, по мнению Троцкого, «немногим лучше бейлисиады, хоть и с другой стороны» (с. 47).

Сегодня Розанов, как и многие незаслуженно вычеркнутые из культуры ее деятели, наконец попал в поле зрения наших читателей. Соображения и критические возражения Троцкого будут играть роль в создании культурного поля восприятия этого сложного писателя. Столь же существенны и высказывания Троцкого о других возрождаемых или переосмысляемых ныне фигурах русской литературы XX века — И. Бунине, Д. Мережковском, З. Гиппиус, Н. Котляревском, И. Зайцеве, Е. Замятине и других. Впрочем, истины ради скажем, что читателю подчас нужна большая плюралистическая терпимость,

чтобы спокойно, как спорное мнение, читать такие характеристики: «Белый — покойник и ни в каком духе он не воскреснет» (с. 54).

Троцкий явился едва ли не первым историком советской литературы. Он считает, что между изживающим себя буржуазным и рождающимся новым искусством развивается переходное искусство, связанное с революцией, но не являющееся искусством революции. По мнению Троцкого, Борис Пильняк, Всеволод Иванов, Николай Тихонов, «серапионовы братья», Есенин, имажинисты, Клюев были бы невозможны — все вместе и каждый в отдельности — без революции. Литературный и общий духовный облик этих писателей создан революцией, и каждый из них по-своему приемлет ее.

Рассуждая о явлениях литературы, Троцкий мыслит не в эстетических, а в политических категориях и вносит в литературную критику на многие годы утвердившиеся в ней внеэстетические термины. В частности, определяя термин «попутчик» применительно к литературе, он считает, что общая черта всех попутчиков — их резкая отделенность от коммунизма, чуждость коммунистическим целям. Они через голову рабочего глядят с надеждой на мужика. «Относительно попутчика, — пишет Троцкий, — всегда возникает вопрос: до какой станции? Этого вопроса нельзя сейчас, однако, предрешить и в самой приблизительной степени» (с. 56). Жизнь ответила на этот вопрос трагедией. Та группа писателей, которая именовалась попутчиками, ехала не дальше станции «37-й год». Н. Клюев и Б. Пильняк погибли в застенках и лагерях. С. Есенин еще раньше покончил с собой. Н. Тихонов написал исторически ложную поэму «Киров с нами», Вс. Иванов — недостойную его пера повесть о Пархоменко и многие годы безмолвствовал. Распались как группа и изменились в своем творческом лице «серапионовы братья» и имажинисты. Они перестали существовать как литературное направление. Имажинист Н. Гумилев был расстрелян еще до выхода книги Троцкого.

Я уже упоминал, что эстетические постулаты Троцкого строятся преимущественно на литературном материале, но учитывают и другие виды искусства. Так, признавая даровитость и мастерство труппы Художественного театра и отвергая с точки зрения революционного утилитаризма «ныне ненужное» его искусство, он пишет} «Они не знают, куда девать свою высокую технику и себя самих. То, что совершается вокруг, им враждебно и уж во всяком случае чуждо. Подумать только: люди до сих пор живут в настроениях чеховского театра. „Три сестры“ и „Дядя Ваня“ в 1922 году! Чтоб переждать ненастье — не может ненастье длиться долго, — они ставили „Дочь мадам Анго“, которая помимо прочего давала возможность чуть-чуть пофрондировать против революционных властей... Теперь они показывают блазировавшимся европейцам и все оплачивающим американцам, какой прекрасный был у старой помещицы России вишневым сад и какие были тонкие и томные театры. Благородная, вымирающая каста ювелирного театра... Не сюда ли относится и даровитейшая Ахматова?» (с. 39.) Входит в круг размышлений Троцкого и живопись. Он рассуждает и здесь революционно-утилитарно: «...пишут „советские“ портреты, и пишут иногда большие художники. Опыт, техника — все налицо, только вот портреты непохожи. Почему бы? Потому, что у художника нет внутреннего интереса к тому, кого он пишет, нет духовного сродства и „изображает“ он русского или немецкого большевика, как писал в академии графин или брюкву, а пожалуй, и того нейтральнее.

Имен называть не к чему, ибо это целый слой. Присоединившиеся ни Полярный звезды с неба не снимут, ни беззвучного пороха не выдумают. Но они полезны, необходимы— пойдут навозом под новую культуру. А это вовсе не так мало» (с. 42). За этими внешнеэстетическими, социально-утилитарными рассуждениями Троцкого стоит антигуманная исторически глобальная идея: современное поколение живет для того, чтобы унавозить почву для счастливой жизни будущих поколений.

Конечно, Троцкий не создал целостной научной эстетической системы, но он создал политически прикладную эстетику, служившую целям направляющего воздействия партии на искусство. Именно этот тип эстетики (в новое время открытый Троцким и продолживший традиции нормативизма эстетики Буало и классицизма) послужил образчиком для ждановско-сталинских представлений об искусстве и их активных действий по надеванию на него ошейника с шипами. Однако эстетическая деятельность Троцкого не сводится к этому культурно-отрицательному результату. Он внес много существенного в исторически ограниченную, но давшую и свои положительные результаты вульгарно-социологическую, литературно-критическую методологию, сочетавшуюся у него с элементами формального подхода к искусству. При всех своих недостатках эта методология заостряла внимание на содержательной, художественно-концептуальной стороне искусства и послужила толчком к развитию нашего литературоведения. В поле противоречий «социологизм — формализм» развивались многие главнейшие литературно-критические школы XX века. И в этом смысле методологические концепции Троцкого сохранили свое историко-актуальное значение. Историю советской литературы, историю культурной политики партии в области литературы, историю методологических исканий отечественной и зарубежной критики, сам историко-литературный процесс века невозможно осмыслить полно и объемно без книги Троцкого «Литература и революция». Все это, можно надеяться, обусловит интерес современного читателя к публикуемому произведению Троцкого, отстоящему от нас на расстоянии почти в 70 лет.

Историко-культурное значение книги определяет и историко-культурный характер ее издания. Она предстает перед читателем в том виде, в котором появилась в 1923 году, без специальных комментариев и сопровождается этим предисловием, призванным определить современное значение этого сочинения и поставить его в определенный историко-культурный ряд.

В книге Л. Д. Троцкого «Литература и революция» орфография и пунктуация приведены в соответствие с современной нормой в тех случаях, когда это не противоречит особенностям стиля автора. После текста книги даны именные указатели, составленные П. В. Прониной.

## **ПРЕДИСЛОВИЕ**

*ХРИСТИАНУ ГЕОРГИЕВИЧУ РАКОВСКОМУ, БОРЦУ.  
ЧЕЛОВЕКУ.  
ДРУГУ.  
ПОСВЯЩАЮ ЭТУ КНИГУ.  
14 августа 1923 г.*

Место искусства можно определить таким схематическим рассуждением.

Если бы победивший пролетариат не создал своей армии, рабочее государство давно протянуло бы ноги и нам не приходилось бы размышлять сейчас ни над хозяйственными, ни тем более над идейно-культурными проблемами.

Если бы диктатура оказалась неспособной в ближайшие годы организовать хозяйство, обеспечивающее население хотя бы жизненным минимумом материальных благ, пролетарский режим неизбежно пошел бы прахом. Хозяйство сейчас — задача задач.

Но и успешное разрешение элементарных вопросов питания, одежды, отопления, даже грамотности, являясь величайшим общественным достижением, ни в коем случае не означало бы еще полной победы нового исторического принципа: социализма. Только движение вперед, на всенародной основе, научной мысли и развитие нового искусства знаменовали бы, что историческое зерно не только проросло стеблем, но и дало цветок. В этом смысле развитие искусства есть высшая проверка жизнеспособности и значительности каждой эпохи.

Культура питается соками хозяйства, и нужен материальный избыток, чтобы культура росла, усложнялась и утончалась. Буржуазия наша подчиняла себе литературу, и притом быстро, в тот период, когда стала уверенно и крепко богатеть. Пролетариат сможет подготовить создание новой, т. е. социалистической, культуры и литературы не лабораторным путем, на основе нынешней нашей нищеты, скудости и безграмотности, а широкими общественно-хозяйственными и культурными путями. Для искусства нужно довольство, нужен избыток. Нужно, чтобы жарче горели доменные печи, шибче вращались колеса, бойчее двигались челноки, лучше работали школы.

Старая наша литература и «культура» была дворянской и бюрократической, на крестьянской основе. Дворянин, в себе не сомневающийся, и кающийся дворянин наложили свою печать на значительнейшую полосу русской литературы. Потом на крестьянско-мещанской основе поднялся интеллигент-разночинец, который вписал свою главу в историю русской литературы. Пройдя через народническое «опрошенство», интеллигент-разночинец модернизовался, дифференцировался, индивидуализировался в буржуазном смысле. В этом историческая роль декадентства и символизма. Уже с начала столетия, особенно же с 1907–1908 гг., буржуазное перерождение интеллигенции и с ней литературы идет на всех парах. Война придает этому процессу патриотическое завершение.

Революция опрокидывает буржуазию, и этот решающий факт вторгается в литературу. Кристаллизовавшаяся по буржуазной оси литература рассыпается. Все, что осталось сколько-нибудь жизненного в области духовной работы и особенно литературы, пыталось и пытается найти новую ориентацию. Осью ее, за выходом буржуазии в тираж, является народ минус буржуазия. А что это такое? Прежде всего — крестьянство, отчасти мещанская масса города, а затем рабочие, поскольку возможно еще не выделять их из народно-мужицкой протоплазмы. Таков основной подход всех попутчиков. Таков покойник Блок, таковы живые и здравствующие: Пильняк, серапионы, имажинисты. Таковы в части своей даже и футуристы (Хлебников, Крученых, В. Каменский).

Мужицкая основа нашей культуры — вернее бы сказать бескультурности — обнаруживает все свое пассивное могущество.

Наша революция — это крестьянин, ставший пролетарием, на крестьянина опирающийся и намечающий путь. Наше искусство — это интеллигент, колеблющийся между крестьянином и пролетарием, неспособный органически слиться ни с тем, ни с другим, но по промежуточному своему положению, по связям своим более тяготеющий к мужику: стать мужиком не может, но может мужиковствовать. Между тем без руководителя-рабочего революции нет. Отсюда основное противоречие в самом подходе к теме. Можно даже сказать, что поэты и писатели нынешних остро-переломных годов отличаются друг от друга преимущественно тем, как они выбиваются из противоречия и чем заполняют провалы: один — мистикой, другой — романтикой, третий — осторожной уклончивостью, четвертый — все заглушающим криком. При всем разнообразии приемов преодоления существо противоречия одно и то же: порожденная буржуазным обществом отделенность умственного труда, в том числе и искусства, от физического, — тогда как революция явилась делом людей физического труда. Одной из конечных задач революции является полное преодоление разобщенности этих двух видов деятельности. В этом смысле, как и во всех остальных, задача создания нового искусства идет целиком по линии основных задач культурно-социалистического строительства.

Смешно, нелепо, до последней степени глупо притворяться, будто искусство может пройти мимо потрясений нынешней эпохи. События эти готовятся людьми, ими совершаются и на них же обрушиваются, меняя их самих. Искусство прямо и косвенно отражает жизнь людей, которые делают или переживают события. Это относится ко всему искусству, и самому монументальному, и самому интимному. Если бы природа, любовь, дружба не были связаны с социальным духом эпохи, лирика давно прекратила бы свое существование. Только глубокий перелом истории, т. е. классовая перегруппировка общества, встряхивает индивидуальность, устанавливает другой угол лирического подхода к основным темам личной поэзии и тем самым спасает искусство от вечных перепевов.

Но ведь «дух» эпохи действует незримо и независимо от субъективной воли? Как сказать... Конечно, в последнем счете, он отражается на всех. И на тех, которые его приемлют и воплощают, и на тех, кто безнадежно ему противоборствует, и на тех, кто пассивно пытается укрыться от него. Но пассивно укрывающиеся незаметно отмирают. Противоборствующие способны разве лишь оживить одной-другой запоздалой вспышкой старое искусство. Новое же искусство, которое проведет новые грани и расширит русло творчества, может быть создано только теми, кто живет заодно со своей эпохой. Если от сегодняшнего дня провести линию к будущему социалистическому искусству, то придется сказать, что сейчас мы проходим едва лишь через подготовку к подготовке.

В резких схематических чертах группировки нынешней нашей литературы таковы: Внеоктябрьская литература, от суворинских фельетонистов до тончайших лириков помещичьего суходола, отмирает вместе с классами, которым служила. В формально-генеалогическом смысле она является завершением старшей линии старой нашей литературы, сперва дворянской, а под конец буржуазной с начала до конца.

«Советская» мужиковствующая литература, формально, но уже с гораздо меньшей бесспорностью, генеалогию свою может вывести из славянофильских и народнических течений старой литературы. Конечно, и мужиковствующие — не непосредственно от мужика. Они немислимы были бы без предшествующей дворянско-буржуазной литературы, младшей линией которой они являются. Сейчас они себя перелицовывают соответственно новой социальной обстановке.

Футуризм представляет собою также бесспорное ответвление старой литературы. Но в пределах ее русский футуризм не успел развернуться и, достигнув необходимого буржуазного перерождения, получить официальное признание. Он оставался на богемской стадии, нормальной для каждого нового литературного течения в капиталистически-городских условиях, когда разразилась война и революция. Толкаемый событиями, футуризм направил свое развитие в новое, революционное русло. Пролетарского искусства тут не вышло и выйти, по самому существу дела, не могло. Футуризм, оставаясь во многом богемски-революционным ответвлением старого искусства, ближе, непосредственнее и активнее других течений входит в формирование нового искусства.

Как значительны бы ни были достижения отдельных пролетарских поэтов, в общем так называемое «пролетарское искусство» проходит через ученичество, рассеивая элементы художественной культуры вширь, ассимилируя новому классу, пока еще в лице очень тонкой прослойки, старые достижения и являясь в этом смысле одним из истоков будущего социалистического искусства.

В корне неправильно противопоставление буржуазной культуре и буржуазному искусству пролетарской культуры и пролетарского искусства. Этих последних вообще не будет, так как пролетарский режим — временный и переходный. Исторический смысл и нравственное величие пролетарской революции в том, что она залагает основы внеклассовой, первой подлинно человеческой культуры.

Наша политика в искусстве переходного периода может и должна быть направлена на то, чтобы облегчить разным художественным группировкам и течениям, ставшим на почву революции, подлинное усвоение ее исторического смысла и, ставя над всеми ими категорический критерий: за революцию или против революции, — предоставлять им в области художественного самоопределения полную свободу.

Революция находит в искусстве свое отражение, пока очень частичное, поскольку перестает быть для художников внешней катастрофой, поскольку цех поэтов и художников, старых и новых, срастается с живой тканью революции, научается воспринимать ее изнутри, а не со стороны.

Не скоро еще уляжется социальный водоворот. В Европе и в Америке предстоят десятилетия борьбы. Люди не только нашего, но и следующего поколения будут ее участниками, героями и жертвами. Искусство этой эпохи будет целиком под знаком революции. Этому искусству нужно новое сознание. Оно непримиримо прежде всего с мистицизмом, как открытым, так и переряженным в романтику, ибо революция исходит из той центральной идеи, что единственным хозяином должен стать коллективный человек и что пределы его могущества определяются лишь познанием естественных сил и умением использовать их. Оно непримиримо с пессимизмом, скептицизмом и всеми



другими видами духовной прострации. Оно реалистично, активно, исполнено действенного коллективизма и безграничной творческой веры в будущее...

\* \* \*

Главы, посвященные нынешней литературе и составляющие первую часть книги, были года два тому назад задуманы как предисловие к старым статьям, но работа разрослась во время летнего отдыха 22-го года. Не доведенная до конца, она пролежала до лета 23-го года. Нам пришлось значительно пополнить и переработать прошлогодние наброски на основании нового литературного материала. Но и сейчас они, конечно, очень далеки от законченности и полноты...

\* \* \*

Во второй части книги собраны статьи, охватывающие — без системы — межреволюционный период (1907–1914 гг.). Литературно-критические статьи, предшествовавшие революции 1905 г., я сюда не включил. По двум причинам: во-первых, это была другая эпоха, резко отличная, во-вторых, в самих статьях еще слишком много ученичества.

Статьи второй части захватывают, отнюдь не исчерпывая, период эгоистического перерождения, эстетического «утонышения», индивидуализирования, обуржуазивания интеллигенции. Из лаборатории межреволюционной эпохи «официальная» интеллигенция вышла такую, какую мы ее видим во время войны: буржуазно-патриотической — и во время революции: эгоистически-саботажной, безыдейно-ненавистнической, контрреволюционной.

Статьи, относящиеся к художественно-культурной жизни Запада, включены в книгу постольку, поскольку они служили той же цели: показать, в каком направлении шло идеологическое перерождение русской интеллигенции.

Связь между второй и первой частями книги та, что переходное, т. е. сегодняшнее, искусство всеми своими корнями уходит во вчерашний, дореволюционный день. И еще та связь, какая дается единством марксистской оценки автора.

В старых статьях, образующих вторую часть книги, есть немало строк, посвященных цензуре. Разумеется, строки эти дадут не одному враждебному революции критику повод показать советской власти язык. Чтобы не лишать господ критиков этой счастливой возможности, мы не вычеркнули ни одной такой строки, даже и в тех случаях, когда она явно способна натолкнуть на «симметрические» заключения по адресу Советской власти. Мы говорим в старых статьях о том, что царская цензура была поставлена на борьбу с силлогизмом. И это верно. Мы боролись за право силлогизма против цензуры. Силлогизм сам по себе — доказывали мы при этом — беспомощен. Вера во всемогущество

отвлеченной идеи наивна. Идея должна стать плотью, чтобы стать силой. Наоборот, социальная плоть, даже совершенно потерявшая свою идею, еще остается силой. Класс, исторически переживший себя, еще способен держаться годами и десятилетиями мощью своих учреждений, инерцией своего богатства и сознательной контрреволюционной стратегией. Мировая буржуазия является ныне таким пережившим себя классом, выступающим против нас во всеоружии средств обороны и нападения. Если она колеблется вкладывать капитал в советские концессии, то она ни на минуту не поколебалась бы вложить средства в газеты и издательства во всех концах революционной страны. Империализм во всем «демократическом» мире создал такую обстановку для газет (цены, условия кредита, подкуп и пр.), которая позволяет ему утверждать, что ни одна коммунистическая, т. е. независимая от империализма, газета не может выходить без материального содействия... Советской власти. Зато Стиннес в Германии, Херст в Америке имеют любую нужную им газету для любого употребления. Вот этого режима революция не может допустить. И у нас есть цензура, и очень жестокая. Она направлена не против силлогизма («силлогизмы» Керзона — Пуанкаре!), а против союза капитала с предрассудком. Вот почему мы не опасаемся исторических аналогий, на которые так тароваты дешевенькие демократы, ужасно недовольные, когда реакция бьет их по правой щеке, а революция по левой. Мы боролись за силлогизм против самодержавной цензуры, и мы были правы. Наш силлогизм оказался не бесплотным. Он отражал волю прогрессивного класса и вместе с этим классом победил. В тот день, когда пролетариат прочно победит в наиболее могущественных странах Запада, цензура революции исчезнет за ненадобностью...

Мы перепечатаем старые статьи без изменения — со всеми их цензурными условностями и недомолвками. Иначе пришлось бы переделывать иные статьи с начала до конца. Только в тех немногих, впрочем, случаях, где слишком очевидны изменения и сокращения, произведенные рукой редакции по цензурным соображениям, мы делали попытки приблизительного восстановления первоначального текста. В отдельных местах мы позволили себе не только сгладить стиль, но и сбавить тон в оценках, которые кажутся нам теперь чрезмерными, или устранить детали, которые были опровергнуты дальнейшим ходом развития того или другого писателя. Нужно, однако, сказать, что такого рода поправки сравнительно незначительны и касаются второстепенных моментов.

Л. Троцкий

19 сентября 1923 г.

## **Часть I**

### **СОВРЕМЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА**

#### **I. ВНЕОКТЯБРЬСКАЯ ЛИТЕРАТУРА**

**Отгородившиеся. — Неистовствующие. — «Островитяне». — Пенкосниматели. — «Присоединившиеся». — Мистицизм и канонизация Розанова**

Октябрьская революция опрокинула не правительство Керенского, а целый общественный режим, основанный на буржуазной собственности. Этот режим имел свою культуру и свою официальную литературу. Крушение режима не могло не стать — и стало — крушением дооктябрьской литературы.

Певчая птица поэзии, как и сова, птица мудрости, дает о себе знать только на закате солнца. Днем творятся дела, а в сумерки чувство и разум начинают отдавать себе отчет в совершенном. Идеалисты, и в том числе глуховатые и слеповатые последыши их, русские субъективисты, думали, что мир движется сознанием, критической мыслью, иначе сказать, что прогрессом заведует интеллигенция. На самом же деле во всей прошлой истории сознание только ковыляло за фактом, а ретроградное тупоумие профессиональной интеллигенции после опыта русской революции не нуждается в доказательствах. С полной ясностью этот закон наблюдается, как сказано, и в области искусства. Традиционное приравнение поэтов к пророкам может быть принято в том развесе смысле, что поэты отражают эпоху с таким же примерно запозданием, как и пророки. Если бывает, что иные пророки и поэты «опережают свое время», то это значит лишь, что они дали выражение известным потребностям общественного развития не с таким запозданием, как прочие их коллеги.

Для того чтобы по русской литературе конца прошлого — начала нынешнего столетия прошла предрассветная дрожь революционного «предчувствия», нужно было, чтобы история произвела в течение предшествовавших десятилетий глубочайшие изменения в хозяйственном фундаменте страны, в социальных группировках и в чувствах широких народных масс. Чтобы литературную авансцену заняли индивидуалисты, мистики и эпилептики, нужно было, чтобы революция 1905 г. разбилась о свои внутренние противоречия, Дурново разгромил рабочих в декабре, Столыпин разогнал две думы и создал третью. Райская птица Сирии поет после солнечного заката, тогда же, когда вылетает вещая сова. Целое поколение русской интеллигенции сложилось (или развратилось) на заполняющей межреволюционный промежуток (1907–1917 гг.) социальной попытке примирения между монархией, дворянством и буржуазией. Социальная обусловленность не значит непременно сознательная заинтересованность. Но интеллигенция и содержащий ее господствующий класс — сообщающиеся сосуды: закон равенства уровней применим и здесь. Старое интеллигентское радикальство и отщепенство, находившие в период русско-японской войны свое выражение в сплошь пораженческих настроениях интеллигенции, быстро исчезали под звездой 3 июня. Пользуясь метафизическими и поэтическими притираниями чуть не всех веков и народов и прибегнув к помощи отцов церкви, интеллигенция все откровеннее «самоопределялась», возвещая свою самоценность безотносительно к «народу». Крикливость этого естественного процесса обуржуазивания являлась своего рода мстостью за огорчения, которые доставил ей народ в 1905 г. своим упорством и непочтительностью. Тот, например, факт, что Леонид Андреев — наиболее громкая, если не наиболее глубокая художественная фигура межреволюционной эпохи — закончил орбиту свою в органе Протопопова — Амфитеатрова, является символическим в своем роде указанием на социальные источники андреевского символизма. Тут уже социальная обусловленность переходила в откровенную заинтересованность. Под эпидермой изысканнейшего

индивидуализма, неспешных мистических поисков, учтивой вселенской тоски отлагался жирок буржуазного примирения, и это сразу сказалось пошлейшими патриотическими виршами, когда «органическое» развитие третьеиюньского режима сотряслось катастрофой мировой свалки.

Испытание войны оказалось, однако, непосильным не только для третьеиюньской поэзии, но и для ее социальной основы: военное крушение режима надломило позвоночник междуреволюционному поколению интеллигенции. Леонид Андреев, чувствуя, как из-под ног исчезает казавшаяся столь устойчивой кочка, на которую опирался куполок его славы, с визгом, хрипом и пеной размахивал руками, пытаясь что-то спасти, что-то отстоять...

Несмотря на урок 1905 г., интеллигенция все еще таила в душе надежду восстановить свою духовную и политическую гегемонию над массами. Война укрепила ее в этих иллюзиях. Патриотическая идеология была тем психологическим цементом, которого, конечно, не могло дать «новое религиозное сознание», золотушное со дня рождения, и которого даже не стремился дать туманный символизм. Выросшая из войны и ее непосредственно замкнувшая демократическая революция дала сильнейший толчок — но уже на самый короткий срок — возрождению интеллигентского мессианизма. Март — последняя историческая вспышка. Догоравший фитиль зачалдил керенщиной...

Затем Октябрь, вежа, далеко выходящая из истории интеллигенции, но в то же время попутно отмечающая ее невозвратный провал. Но как раз в провале, придавленная к земле всеми грехами прошлого, она буйно забредила его величием. Мир опрокинулся в ее сознании окончательно: она — прирожденный представитель народа; у нее в руках рецептурная книга истории. Большевики орудуют китайским опиумом и латышским сапогом; держаться долго против народа нельзя... Новогодние тосты на тему «через год в Москве». Злое поглупение, маразм! Но не замедлило обнаружиться; против народа править действительно нельзя, а вот против эмигрантской интеллигенции можно, и даже с успехом, и при том совершенно независимо от того, о какой эмиграции идет речь — о внешней или внутренней.

Предреволюционная зыбь начала столетия, первая революция, не давшая победы, напряженное, но неустойчивое равновесие контрреволюции, извержение войны, мартовский пролог, октябрьская драма — все это тяжело и часто как таран било по интеллигентскому сознанию. Где тут было ассимилировать факты, претворять их в образы и находить для образов выражение в слове? Мы получили, правда, «Двенадцать» Блока и несколько произведений Маяковского. Это кое-что, намек, скромный задаток, но не уплата по счетам истории, даже не начало уплаты. Искусство обнаружило — как всегда в начале большой эпохи — ужасающую беспомощность. Невостребованные к священной жертве поэты оказались, как и полагается, ничтожней всех детей ничтожных мира. Символисты, парнасцы, акмеисты, которые проносились над социальными интересами и страстями не иначе, как бы на облаке, отыскиались в екатеринодарском Осваге или в штате дефензивы маршала Пилсудского. В стихах и прозе высокого врангелевского напряжения они предавали нас анафеме.

Более чуткие, а отчасти и более осторожные — замолкли. Мариетта Шагинян интересно рассказывает, как она в первые месяцы революции подвизалась на Дону в качестве

инструктора по ткацкому делу. Понадобилось не только отойти от письменного стола к ткацкому станку, но и от себя отойти, чтобы не потерять себя окончательно. Другие нырнули в пролеткульты, политпросветы, музеи и молчком отсиживались от самых трагических и грозных событий, какие когда-либо переживала земля. Годы революции стали годами почти полного поэтического безмолвия. И виноват в этом вовсе не Главбум. Ибо что не было напечатано тогда, могло бы быть напечатано теперь. И не непременно за революцию, но хотя бы и против нее. Заграничную литературу мы знаем: круглый нуль. Но и наша не дала еще ничего, что было бы адекватно эпохе.

\* \* \*

Литература после Октября хотела притвориться, что ничего особенного не произошло и что это вообще ее не касается. Но как-то вышло так, что Октябрь принялся хозяйничать в литературе, сортировать и тасовать ее, — и вовсе не только в административном, а еще в каком-то более глубоком смысле. Значительнейшая часть старой литературы оказалась, и не случайно, за рубежом, — и вот случилось так, что именно в литературном-то отношении эта часть и вышла в тираж. Существует ли Бунин? О Мережковском нельзя сказать, что его не стало, потому что его по существу никогда и не было. Или Куприн? Или Бальмонт? Или сам Чириков? Или, может быть, «Жар-птица», «Сполохи» и прочие издания, наиболее примечательной литературной чертой коих является сохранение твердого знака и буквы ять? Все это сплошь упражнения в книге жалоб на берлинской станции: очень долго не подают лошадей на Москву, и пассажиры выражаются. В провинциальнейших «Сполохах» художественное творчество представлено Немировичем-Данченко, Амфитеатовым, Чириковым, Первухиным и другими штатными покойниками, впрочем едва ли когда серьезно рождавшимися. Некоторые, довольно, впрочем, неясственные признаки жизни обнаруживает Алексей Толстой. Но за это-то он и отлучен от круговой поруки хранителей твердого знака и прочих отставной, с позволения сказать, козы барабанщиков.

Маленький практический урок социологии на тему о том, что нельзя обмануть историю! Ну, хорошо, насилие: земли отняли, фабрики отняли, банковские вклады отобрали, сейфы вскрыли, — а таланты, а идеи? Ведь эти-то невесомые ценности были вывезены за границу в угрожающем для русской «культуры» и особенно ее достолюбезного псаломщика, М. Горького, размере. Почему же из всего этого ничего не произошло? Почему это эмиграция не может назвать ни одного имени, ни одной книги, на которых стоило бы остановиться? Потому что нельзя обмануть историю и подлинную (не псаломщицкую) культуру. Октябрь вошел в судьбы русского народа как решающее событие, и всему придал свой смысл и свою оценку. Прошлое сразу отошло, поблекло и обвисло, и художественно оживить его можно только ретроспекцией от того же Октября. Кто вне октябрьских перспектив, тот опустошен насквозь и безнадежно. Оттого-то такими свищами ходят мудрецы и поэты, которые с этим «не согласны» или которых это «не касается». Им просто напросто нечего сказать. По этой, а не по иной причине эмигрантской литературы не существует. А на нет и суда нет.

В трупном разложении эмиграции довершился некий полированный тип пошвыстающего циника. Все течения и направления вошли к нему в кровь как дурная болезнь, которая иммунизировала его от всякой дальнейшей идейной заразы. Совсем законченно представлен этот тип нестесняющимся г. Ветлугиным. Может быть, кто-нибудь и знает, с чего он начал. Но это несущественно. Его книжки («Третья Россия», «Герои») свидетельствуют о том, что автор читал, видел и слышал разное и всякое и умеет водить по бумаге пером (*manier la plume*). Он начинает свою книжку почти что с элегии по погибшим тончайшим интеллигентским душам, а кончает одой вороватому мешочнику, какой явится, видите ли, хозяином будущей «Третьей России». И это уже будет настоящая Россия, на страже частной собственности, без поз, но зато богатеющая, беспощадная в жадности. Ветлугин, который был с белыми и отверг их, когда они провалились, предусмотрительно выдвигал свою кандидатуру в идеологи мешочнической России. В смысле определения собственного призвания это было метко. Только вот насчет третьей России... Так или иначе, но в четком стиле безошибочно слышится — увы червонный валет. Первая книжка писалась приблизительно в эпоху кронштадтских событий (1921 г.), и Ветлугин считал, что с Советской Россией покончено. Прошло небольшое число месяцев, расчеты не оправдались, и Ветлугин, если не ошибаемся, обретается ныне в сменовеховцах. Но это все равно; он радикально защищен цинизмом от идейных шатаний, даже от ренегатства. Прибавим еще, что попутно Ветлугин пишет маргариновый роман с наводящим на размышления заглавием: «Записки мерзавца»... И таких немало. Ветлугин лишь поярче. Они лгут даже бескорыстно, просто оттого, что утратили интерес различать правду от лжи. Может быть, они-то и являются подлинным отстоем второй России, которая дожидается третьей.

Полочкой повыше, но и побледнее будет г. Алданов. Он кадетистее и, стало быть, фарисеистее. Алданов принадлежит к тем будто бы умудренным, которые усвоили себе тон высшего скептицизма (не цинизма, о нет!). Отвергая прогресс, эти люди готовы принять ребяческую теорию Вико о повторении исторического круговорота. Нет вообще более суеверных людей, чем скептики. Алдановы не мистики в полном смысле слова, т. е. не имеют своей позитивной мифологии, но политический скептицизм создает для них повод рассматривать все политические явления под углом зрения вечности; это способствует особому стилю, с благороднейшей картавостью.

Алдановы почти что всерьез принимают свое величайшее превосходство над революционерами вообще, коммунистами в особенности. Им кажется, что мы не понимаем того, что они понимают, революция представляется им результатом того, что не вся интеллигенция прошла ту школу политического скептицизма и литературного стиля, которые составляют духовный капитал Алдановых.<sup>29</sup>

На эмигрантском досуге они пересчитали формальные и фактические противоречия в речах и заявлениях советских деятелей (а мыслимо ли без противоречий?), неправильно построенные фразы в передовицах «Правды» (а таких фраз, надо признаться, немало), — и в результате слово «глупость» (наша) в противопоставлении уму (ихнему) так и пестрит на написанных ими страницах. Правда, историю они проморгали, ничего не предвидели,

---

<sup>29</sup> См.: Алданов М. А. Огонь и дым,

власть утерjali, с нею и капиталы, но это объясняется уже разными причинами и главным образом — *entre nous* — хамским характером русского народа. Но превыше всего Алдановы считают себя стилистами — уже по тому одному, что превозмогли рыхлую фразу Милюкова и нагло-адвокатскую — Гессена. Стиль их, кокетливо-простой, без ударений и характера, как нельзя лучше приспособлен для литературного обихода людей, которым нечего сказать. Самодовлеющая манера разговора, независимо от материи его, эта светскость ума и стиля, какой недоставало нашей старой интеллигенции, вырабатывалась уже в межреволюционный период (1907–1914 гг.). А теперь дополнительно кое-что подсмотрели в Европе и пишут книжки: иронизируют, вспоминают, притворяются чуть-чуть зевающими, но из вежливости подавляющими зевком, цитируют на разных языках, делают скептические предсказания и тут же опровергают. Сперва это кажется занятым, потом скучным, под конец омерзительным. Шарлатанство бессильной фразы, книжное фланерство, духовное лакейство!

А лучше всего общие настроения Ветлугиных, Алдановых и прочих в любезной стихотворной форме выразил некий пребывающий в Париже дон Аминадо: И кто порукою, что верен идеал? Что станет человечеству привольно?! Где мера сущего?! Грядите, генерал!.. На десять лет! И мне, и вам — довольно!

Как видим, испанец не горд. «Грядите, генерал!» Генералы-то (и даже адмирал) грянули. Вот только разве что не дошли...

\* \* \*

И по ею сторону границ осталось немалое количество дооктябрьских писателей, родственных потусторонним, внутренних эмигрантов революции. Дооктябрьский — это у будущего историка культуры будет звучать так же тяжеловесно, как у нас «средневековый» в противовес новой истории. Октябрь совершенно всерьез показался большинству принципиальных сторонников дооктябрьской культуры нашествием гуннов, от которых нужно уходить в катакомбы с так называемыми «светильниками знания и веры». Однако эти укрывшиеся и отгородившиеся нового слова не сказали. Правда, «дооктябрьская» или «внеоктябрьская» литература в России значительнее эмигрантской. Но и она сплошь эпигонственна, поражена бледной немощью.

Сколько вышло за этот год стихотворных сборников, — на многих из них звучные имена, на мелких страничках короткие строки, и каждая из них неплоха, и они связаны в стихотворение, где немало искусства и есть даже отголосок когдатощнего чувства, — а все вместе сегодняшнему, пооктябрьскому человеку совершенно и целиком не нужно, как стеклярус — солдату на походе. Как бы увенчанием этой отрешенной литературы, этого тупика вышедших в тираж мыслей и чувств является плотный, прекрасно изданный сборник «Стрелец», где стихи, статьи и письма Сологуба, Розанова, Беленсона, Кузмина, Голлербаха и других напечатаны в количестве трехсот нумерованных экземпляров. Роман из римской жизни, письма об эротическом культе быка Аписа, статья о Софии земной и горней — триста нумерованных книг, — какая безнадежность, какое умирание! Лучше бы проклинали и неистовствовали: все-таки похоже на жизнь.

«И скоро в старый хлев ты будешь загнан палкой, народ, неуважающий святынь» (Гиппиус З., Последние стихи 1914—18 гг.). Это, конечно, не поэзия, но зато какая натуральная публицистика! Стремление декадентски-мистической поэтессы овладеть палкой (в ямбах-с!) — какой неподражаемый кусочек жизни. Когда Гиппиус грозит «народу» своими хлыстами «на века», то тут, конечно, преувеличение, если понимать в том смысле, что проклятия Гиппиус будут в течение столетий потрясать сердца, — но сквозь это вполне извинительное по обстоятельствам преувеличение вы ясно видите натуру: столь томную вчера еще питерскую барыню, столь украшенную талантами, столь либеральную, столь современную, — и вот, и вдруг эта преисполненная собственными утонченностями барыня увидела черную, вопиющую неблагодарность со стороны черни «в гвоздевых сапогах» и оскорбленная в самом своем святом в неистовый бабий визг (хотя и в ямбах) превращает свое бессильное остервекивание. И впрямь: если не потрясать, то интересовать будет этот визг, и, пожалуй, через сотню лет историк русской революции укажет пальцем, как гвоздевый сапог наступил на лирический мизинчик питерской барыни, которая немедленно же показала, какая под декадентским мистическим-эротическим-христианнейшей оболочкой скрывается натуральная собственническая ведьма. И вот этой натуральной ведьмистостью стихи Зинаиды Гиппиус возвышаются над другими, более совершенными, но «нейтральными», то есть мертвыми.

Когда среди таких столь ныне многочисленных «нейтральных» книжечек и книжонок попадает «Двор чудес» Ирины Одоевцевой, то вы уже почти готовы примириться с неправдой этой модернизированной романтики саламандр, рыцарей, летучих мышей и умершей луны во имя двух-трех пьес, отражающих жестокий советский быт. Тут баллада об извозчике, которого насмерть загнал вместе с его лошастью комиссар Зон, рассказ о солдате, который продавал соль с толченым стеклом, и, наконец, баллада о том, почему испортился в Петрограде водопровод. Узор комнатный, такой, который должен очень нравиться кузену Жоржу и тете Ане. Но все же есть хоть махонькое отражение жизни, а не просто запоздалый отголосок давно пропетых перепевов, занесенных во все энциклопедические словари. И мы готовы на минуту присоединиться к кузену Жоржу: «Очень, очень милые стихи. Продолжайте, mademoiselle!»

Речь идет не только о переживших Октябрь «стариках». Есть группа внеоктябрьских молодых беллетристов и поэтов. Не уверен в точности, насколько эти молодые молодые, но в предреволюционную и предвоенную эпоху они, во всяком случае, либо были начинающими, либо вовсе еще не начинали. Пишут они рассказы, повести, стихи, в которых с известным не очень индивидуальным мастерством изображают то, что полагалось не так давно, чтобы получить признание в тех пределах, в каких полагалось. Революция растоптала их надежды («гвоздевый сапог!»). По мере сил они притворяются, что ничего такого, в сущности, не было, и выражают это свое подшибленное высокомерие в не очень индивидуальных стишках и в прозе. Только время от времени они отводят душу показыванием небольшого и нетемпераментного кукиша в кармане.

Для всей этой группы метром является Замятин, художник «Островитян». Дело у него идет, собственно, об англичанах. Замятин знает их и изображает в ряде очерков неплохо, но в конце концов довольно внешне, как наблюдательный, даровитый и не очень к себе требовательный иностранец. Но под той же обложкой у него очерки о русских островитянах, об интеллигентах, которые живут на острове в чуждом и враждебном им



океане советской действительности. В этих своих очерках Замятин потоньше, но не глубже. В конце концов автор сам островной человек, и притом с маленького островка, куда он эмигрировал из нынешней России. И пишет ли Замятин о русских в Лондоне или об англичанах в Петрограде, сам он остается несомненным внутренним эмигрантом. По своему подтянутому стилю, в котором выражается особое писательское джентльменство (на границе снобизма), Замятин как бы создан для учительствования в кружках молодых, просвещенных и бесплодных островитян<sup>30</sup>.

Несомненнейшими островитянами является группа Художественного театра. Они не знают, куда девать свою высокую технику и себя самих. То, что совершается вокруг, им враждебно и уж во всяком случае чуждо. Подумать только: люди до сих пор живут в настроениях чеховского театра. «Три сестры» и «Дядя Ваня» в 1922 году! Чтоб переждать ненастье — не может ненастье длиться долго, — они ставили «Дочь мадам Анго», которая помимо прочего давала возможность чуть-чуть пофрондировать против революционных властей... Теперь они показывают блазировавшимся европейцам и все оплачивающим американцам, какой прекрасный был у старой помещицкой России вишневый сад и какие были тонкие и томные театры. Благородная, вымирающая каста ювелирного театра... Не сюда ли относится и даровитейшая Ахматова?

В «Цехе поэтов» собрались отменно просвещенные слагатели стихов, которые знают географию, отличают рококо от готики, объясняются на французском языке и в высшей степени привержены к культуре. Они считают — и вполне основательно, — что «наша культура есть еще младенческий, слабый лепет» (Георгий Адамович). Внешней полировкой их не подкупишь: «лоск не может заменить настоящей культуры» (Георгий Иванов). Вкус их достаточно точен, чтобы почувствовать, что Оскар Уайльд все-таки сноб, а не поэт, в чем нельзя с ними не согласиться. Они презирают тех, кто не ценит «школы, т. е. дисциплины, знания, стремления вперед», — а такой грех нам не чужд. Они прорабатывают свои стихи очень тщательно. Некоторым из них, например Оцупу, даже дан талант. Оцуп — поэт воспоминаний, сновидений и страхов. Он на каждом шагу проваливается в прошлое. «Счастье жизни» открывает ему только память. «Я даже место нахожу свое — поэта-зрителя и мещанина, спасающего свой живот от смерти», — говорит он с ласковой иронией над собою. Но и страх его никак не истерический, а почти что уравновешенный, страх владеющего собой европейца и, что прямо-таки утешительно, без мистических подергиваний, вполне культурный страх. Но отчего же пустоцветом прорастает их поэзия? Оттого, что они не творцы жизни, не участники в созидании ее чувств и настроений, а запоздалые пенкосниматели, эпигоны чужою кровью созданных культур. Они — образованные и даже изысканные имитаторы, начитанные, даже одаренные звукоподражатели, и не более того.

В свое время дворянин Версиров, под маской гражданина цивилизованного мира, был просвещеннейшим блюдолизом чужой культуры. У него был возвращенный в нескольких дворянских поколениях вкус. В Европе он чувствовал себя почти как дома. Со снисходительным или злым презрением глядел он на радикального семинариста, который

---

<sup>30</sup> После того как это было написано, я познакомился с группой поэтов, которые почему-то сами себя именуют «островитянами» (Тихонов и др.). Но у них-то как раз слышатся живые готы, по крайней мере у Тихонова, молодого, свежего, обещающего. Откуда же экзотическое наименование?

«категорьял» по Писареву, французские слова произносил с акцентом просвирни, а насчет манер... но о манерах уж лучше и не говорить. И тем не менее этот семинарист 60-х годов и его продолжатель-семидесятник были строителями русской культуры, — к тому времени, когда Версиров уже окончательно определился как бесплоднейший пенкосниматель.

Русское кадетство, запоздалый буржуазный либерализм начала XX века, насквозь проникнуто уважением и даже «благоговением» к культуре, к ее устойчивым основам, к ее стилю, к ее «аромату», а в балансе — круглый нуль. Смертьте ретроспективно то искреннейшее презрение, с каким кадеты со своих профессорско-адвокатско-писательско-культурных высот относились к большевизму, и сравните с тем презрением, какое история обнаружила к кадетству. В чем же дело? Да в том, что, как и у Версирова, только в переводе на буржуазно-профессорский язык, кадетская культурность оказалась всего-навсего запоздалым отражением чужих культур в поверхностной пленке русской общественности. Либерализм означал в истории Запада могущественное движение против небесных и земных авторитетов и в неистовствах революционной борьбы повышал материальную культуру и культуру духа. Франция, какую мы ее знаем со стороны ее бытовой культурности, законченных форм обходительности, этой в кровь народных масс всосавшейся вежливости, вышла такую из жаровни нескольких революций. Вот этот же «варварский» процесс сдвигов, потрясений, катастроф отложился и в нынешнем французском языке, с его сильными сторонами и слабостями, точностью и негибкостью, — и в стилях французского искусства. Чтобы снова сообщить гибкость и ковкость французскому языку, нужна — скажем мимоходом — новая большая революция (не в языке, а в обществе), и то же самое нужно, чтобы поднять французское искусство, столь консервативное при всех своих новшествах, на иную, высшую ступень.

Кадетство же наше, запоздавая имитация либерализма, пыталось снять с истории задаром пенку парламентаризма, культурной обходительности, уравновешенного искусства (на твердой базе прибыли и ренты). Подсмотреть европейские стили, индивидуально или в кружковом порядке, продумать их и даже в себя вобрать, чтобы затем в любом из этих стилей обнаружить, что сказать-то собственно и нечего, на такое хватает и Адамовича и Ирецкого и многих иных. Но ведь это не творчество культуры, а только пенкоснимательство.

Когда некий кадетский эстет, совершив большое путешествие в теплушке, потом об этом сквозь зубы рассказывал: как он, образованнейший европеец, с самыми лучшими вставными зубами и дотошным знанием балетной техники у египтян, был доведен хамской революцией до необходимости путешествовать со вшивыми мешочниками, — то у вас к горлу подвинчивало чувство физического отвращения к вставным зубам, балетной эстетике, вообще ко всей этой украденной по европейским прилавкам культурности, и возникало твердое убеждение, что самая последняя по счету вошь самого оголтелого мешочника в механике истории значительнее и, так сказать, необходимее этого насквозь прокультуренного и по всем радиусам бесплодного себялюбца.

В довоенную эпоху, т. е. прежде, чем культурные пенкосниматели встали на четвереньки и патриотически завывали, у нас стал вырабатываться газетный стиль. Правда, Милуков все еще пространно мямлил и вавилонил профессорско-думские передовицы, а его соредатор

Гессен сервировал самые лучшие образцы бракоразводного процесса. Но, в общем, отучались все-таки от традиционной отечественной разляпанности на почтенном постном масле «Русских Ведомостей». Этот маленький газетно-стилистический прогресс под Европу (оплаченный, к слову сказать, кровью 1905 г., от коей пошли партии и Дума) как бы бесследно утонул в волнах революции 1917 г. Зарубежные ныне кадеты, бракоразводные и иные, с величайшим злорадством указывают на литературную слабость советской печати. И действительно, пишем мы, в общем, плоховато, бесстыдно, подражательно, даже под «Русские Ведомости». Стало быть, регресс? Нет, только переход от пенкоснимательской подделки прогресса, от наемно-адвокатской дешевки, к величайшей культурной продвижке вперед целого народа, который — дайте чуть-чуть сроку! — создаст себе свой стиль и для газет, и для всего другого...

И еще об одной категории: *rallies*. Это термин из французской политики и означает присоединившихся. Так называли бывших роялистов, примирившихся с республикой. Они отказались от борьбы за короля, даже от надежд на него и лояльно перевели свой роялизм на республиканский язык. Вряд ли кто-нибудь из них написал бы Марсельезу, даже если б она не была написана раньше. Сомнительно также, чтоб они с энтузиазмом пели ее строфы против тиранов. Но присоединившиеся живут и дают жить другим. Таких *rallies* немало среди нынешних поэтов, художников, актеров... Они не клеветают, не проклинают, наоборот, приемлют, но, так сказать, в общих чертах и «не беря на себя ответственности», — где следует, дипломатично молчат или лояльно обходят, а в общем претерпевают и принимают, что называется, посильное участие. Это не сменовеховцы собственно — там все же своя идеология, — а просто замиренные обыватели от искусства, зауряд-службисты, иногда не бездарные. Таких *rallies* мы находим всюду, даже в портретной живописи: пишут «советские» портреты, и пишут иногда большие художники. Опыт, техника — все налицо, только вот портреты непохожи. Почему бы? Потому что у художника нет внутреннего интереса к тому, кого он пишет, нет духовного сродства и «изображает» он русского или немецкого большевика, как писал в академии графин или брюкву, а пожалуй, и того нейтральнее.

Имен называть не к чему, ибо это целый слой. Присоединившиеся ни Полярной звезды с неба не снимут, ни беззвучного пороха не выдумают. Но они полезны, необходимы — пойдут навозом под новую культуру. А это вовсе не так мало.

\* \* \*

Выхолощенность нынешнего внеоктябрьского искусства очень видна на судьбе интеллигентских религиозных исканий и находок, которые «оплодотворяли» господствовавшее течение дореволюционной литературы, символизм. Несколько слов об этом здесь сказать необходимо.

От материализма и «позитивизма», отчасти даже от марксизма — через критическую философию (кантианство) — интеллигенция с начала столетия передвигалась к мистицизму. В межреволюционные годы «новое религиозное сознание» мигало и чадило многими подслеповатыми огнями. Между тем сейчас, когда сдвинулась серьезно с места

глыба официального православия, комнатные мистики, чудившие каждый на свой лад, поджали хвосты: эти масштабы не по ним. Без содействия салонных пророков и журнальных святош из бывших марксистов, наоборот, при посильном их противодействии, волны революционного прибоя докатились до стен русской церкви, которая не знала реформации. Она оборонялась от истории жесткой неподвижностью форм, автоматической обрядностью и государственной силой. Сама она пред царским государством склонялась нижайше — и почти неизменно продержалась на несколько лет дольше своего самодержавного союзника и покровителя. Но очередь дошла и до нее. Обновленческое, сменовеховское направление в церкви есть запоздалая попытка бюрократизированной заранее буржуазной реформации под покровом приспособления к советскому государству. Политическая революция наша совершилась — да и то против воли буржуазии — всего за несколько месяцев до революции рабочего класса. Реформация церкви открылась лишь через четыре года после пролетарского переворота. Если «живая церковь» освящает социальную революцию, то это только в поисках покровительственной окраски. Пролетарской церкви не может быть. Церковная реформация преследует, по существу, буржуазные цели: освобождение церкви от средневековой сословной громоздкости, замену мимического ритуала и шаманства более индивидуализированным отношением к небесным чинам, словом, придание религии и церкви большей гибкости и приспособляемости. В первые четыре года церковь ограждала себя от пролетарской революции угрюмым оборонительным консерватизмом. Теперь она переходит на нэп. Если советский нэп есть сочетание социалистического хозяйства с капиталистическим, то нэп церковный есть буржуазная прививка к феодальному стволу. Признание диктатуры трудящихся диктуется, как сказано, законом мимичности.

Но раскачка векового здания церкви началась. Слева — у «живой церкви» есть свое левое крыло — поднимаются более радикальные голоса. Еще левее — радикальные секты. Наивный, только пробуждающийся рационализм взрыхляет почву для атеистических и материалистических семян. Настала эпоха больших потрясений и обвалов в этом царстве, которое объявляло себя не от мира сего. Где же «новое религиозное сознание»? Где пророки и реформаторы из питерских и московских литературных салонов и кружков? Где антропософия? Ни слуху ни духу... Бедные мистические гомеопаты чувствуют себя, как выкинутые на льдину комнатные коты в половодье. Похмелье первой революции породило их «новое религиозное сознание», вторая революция растоптала его.

Г. Бердяев, например, все еще обвиняет тех, кто не верит в бога и не заботится о загробной жизни, в буржуазности. Разве не потеха? Недолгое социал-демократическое прошлое оставило в распоряжении этого писателя словцо «буржуазность», которым он ныне и отбивается от советского антихриста. Беда-то, однако, в том, что русские рабочие не верят ни в чох, ни в сон, а буржуазия стала сплошь верующей — после того, как лишилась достояния. В том-то и состоит одно из многих неудобств революции, что она до последней степени обнажает социальные корни идеологии.

Так «новое религиозное сознание» и сошло на нет, весьма наследив, однако, в литературе. Целое поколение поэтов, принявших революцию 1905 года за ночь Ивана Купалы и ожегших деликатные крылья на ее костре, ввело небесную иерархию в свои ритмы. К ним примыкала межреволюционная молодежь. Но так как поэты, в силу дурной традиции, и раньше обращались в затруднительных обстоятельствах к нимфам, Пану, Марсу и Венере,

то под углом поэтической формы тут совершилась только национализация Олимпа. В конце концов Марс или святой Егорий — это смотря по тому: хорей или ямб. Но несомненно, что у многих, по крайней мере у некоторых, под этим скрывались свои переживания, — какие? — главным образом испуга. Потом пришла война, которая испуг интеллигенции растворила в общей горячечной тревоге. Затем явилась революция, которая испуг сгустила до паники. Чего ждать? К кому обратиться? К чему притулиться? Кроме святцев, ничего не оставалось. Разбалтывать новорелигиозную жидкость, дистиллировавшуюся до войны в бердяевских и иных аптечках, сейчас охотников немного: у кого мистические позывы, тот просто осеняет себя праотческим крестом. Революция стерла и смысла индивидуальную татуировку, вскрыв традиционное, родовое, воспринятое с молоком кормилицы и не разложенное критической мыслью по причине ее слабости и малодушия. В стихах почти безотлучно водворяется Христос. Самой ходкой тканью поэзии — в век механизированной текстильной индустрии — становится богородицын плат.

С недоумением читаешь большинство наших стихотворных сборников, особенно женских, — вот уж поистине где без бога ни до порога. Лирический круг Ахматовой, Цветаевой, Радловой и иных действительных и приблизительных поэтесс очень мал. Он охватывает самое поэтессу, неизвестного, в котелке или со шпорами, и непременно бога — без особых примет. Это очень удобное и портативное третье лицо, вполне комнатного воспитания, друг дома, выполняющий время от времени обязанности врача по женским недомоганиям. Как этот не молодой уже персонаж, обремененный личными, нередко весьма хлопотливыми поручениями Ахматовой, Цветаевой и других, умудряется еще в свободные часы заведовать судьбами вселенной — это просто-таки уму не постижимо. Для Шкапской, такой органической, биологической, такой гинекологической (Шкапская — талант неподдельный!), бог — нечто вроде свахи и повитухи, т. е. с атрибутами всемогущей салопницы. И если позволена будет нота субъективизма, мы охотно признаем, что этот широкозадый бабий бог хоть и не очень импозантен, но куда симпатичнее надзвездного парового цыпленка мистической философии.

Как не прийти в конце концов к выводу, что нормальная голова образованного филистера есть сорный ящик, куда история попутно сбрасывает шелуху и скорлупу своих одновременных достижений: тут и апокалипсис, и Вольтер, и Дарвин, и псалтырь, и сравнительная филология, и дважды два, и стеариновая свечка. Постыдная окрошка, более унижительная, чем пещерное невежество. «Царь природы», который непременно хочет «служить», виляя хвостом, и видит в этом голос «бессмертной души»! А на поверку так называемая душа представляет собою «орган» куда менее совершенный и гармоничный, чем желудок или печень, ибо у «бессмертной» много рудиментарных отростков и слепых мешков, куда набивается походя всякая застарелая дрянь, вызывающая то и дело зуд и духовные нарывы. Иногда они прорывают рифмованными строками; тогда это выдается за индивидуалистическую и мистическую поэзию и печатается аккуратненькими книжками.

\* \* \*

Но ни в чем, может быть, не обнаружилось с такой интимной убедительностью опустошение и гниение интеллигентского индивидуализма, как в повальной нынешней канонизации Розанова: «гениальный» философ, и провидец, и поэт, и мимоходом рыцарь духа. А между тем Розанов был заведомой дрянью, трусом, приживальщиком, подлипалой. И это составляло суть его. Даровитость его была в пределах выражения этой сути.

Когда говорят о «гениальности» Розанова, выдвигают главным образом его откровения в области пола. Но попробовал бы кто-нибудь из почитателей свести воедино и систематизировать то, что сказано Розановым на его приспособленном для недомолвок и двусмысленностей языке о влиянии пола на поэзию, религию, государственность, — получилось бы нечто весьма скудное и нимало не новое. Австрийская психоаналитическая школа (Фрейд, Юнг, Альберт Адлер и др.) внесла неизмеримо больший вклад в вопрос о роли полового момента в формировании личного характера и общественного сознания. Тут по существу дела и сравнивать нельзя. Даже и парадоксальнейшие преувеличения Фрейда куда более значительны и плодотворны, чем размашистые догадки Розанова, который сплошь сбивается на умышленное юродство и прямую болтовню, твердит зады и врет за двух.

И тем не менее должно признать, что не стыдящиеся славословить Розанова и склоняться перед ним внешние и внутренние эмигранты попадают в точку: в своем духовном приживальстве, в пресмыкательстве своем, в трусости своей Розанов только доводил до крайнего выражения их основные духовные черты, — трусость перед жизнью и трусость перед смертью.

Некий Виктор Ховин — теоретик футуризма, что ли? — удостоверяет, что подлая переметчивость Розанова проистекала из сложнейших и тончайших причин: если Розанов, забежав было в революцию (1905 г.), не покидая, впрочем, «Нового Времени», повернул затем вправо, то единственно потому, что испугался обнаруженной им сверхличной банальности; и если добежал до выполнения щегловитовских поручений по ритуалу, и если писал одновременно в «Новом Времени» в правом направлении, а в «Русском Слове», за псевдонимом, — в левом, и если, в качестве сводни, сманивал к Суворину молодых писателей, то единственно опять-таки от сложности и глубины душевной своей организации. Эта глуповатая и слюнявая апологетика была бы хоть чуть-чуть бдительнее, если бы Розанов приблизился к революции во время гонений на нее, чтобы затем отшатнуться от нее во время победы. Но вот чего уж с Розановым не бывало и быть не могло. Ходынскую катастрофу, как очистительную жертву, он воспевал в эпоху торжествующей победоносцевщины. Учредительное собрание и террор, все самое что ни на есть революционное, он принял в октябрьский период 1905 г., когда молодая революция, казалось, уложила правящих на обе лопатки. После 3 июня (1907 г.) он пел третьеиюньцев. В эпоху бейлисиады доказывал употребление евреями христианской крови. Незадолго до смерти писал со свойственным ему юродским кривлянием о евреях как о «первой нации в мире», что, конечно, немногим лучше бейлисиады, хоть и с другой стороны. Самое доподлинное в Розанове: перед силой всю жизнь червем вился. Червеобразный человек и писатель: извивающийся, скользкий, липкий, укорачивается и растягивается по мере нужды — и как червь, противен. Православную церковь Розанов бесцеремонно — разумеется, в своем кругу — называл навозной кучей. Но обрядности

держался (из трусости и на всякий случай), а помирать пришлось, пять раз причащался, тоже... на всякий случай. Он и с небом своим двурушничал, как с издателем и читателем.

Розанов продавал себя публично, за монету. И философия его таковская, к этому приспособленная. Точно так же и стиль его. Был он поэтом интерьерчика, квартиры со всеми удобствами. Глумясь над учителями и пророками, сам он неизменно учительствовал: главное в жизни — мягонькое, тепленькое, жирненькое, сладенькое. Интеллигенция в последние десятилетия быстро обуржуазивалась и очень тяготела к мягонькому и сладенькому, но в то же время стеснялась Розанова, как подрастающий буржуазный отпрыск стесняется разнузданной кокотки, которая свою Науку преподает публично. Но по существу-то Розанов всегда был ихним. А теперь, когда старые перегородки внутри «образованного» общества потеряли всякое значение, равно как и стыдливость, фигура Розанова принимает в их глазах титанические размеры. И они объединяются ныне в культе Розанова: тут и теоретики футуризма (Шкловский, Ховин), и Ремизов, и мечтатели-антропософы, и немечтательный Иосиф Гессен, и бывшие правые, и бывшие левые! «Осанна приживальщику! Он учил нас любить сладкое, а мы бредили буревестником и все потеряли. И вот мы оставлены историей — без сладкого...»

\* \* \*

Катастрофа, личная, как и общественная, всегда большая проверка, ибо необманно обнаруживает подлинные, а не показные связи, личные и общественные. Именно через Октябрь дооктябрьское искусство, которое стало почти сплошь противооктябрьским, обнаружило свою неразрывную связь с господствующими классами старой России. Это теперь так наглядно, что даже нет надобности прощупывать руками. В эмиграцию ушел помещик, капиталист, военный и штатский генерал, их адвокат и их поэт. И все они решили, что погибла культура. Конечно, поэт считал себя независимым от буржуа и даже вступал с ним в пререкание. Но когда вопрос оказался поставлен с революционной серьезностью, то поэт сразу обнаружил себя приживальщиком до мозга костей. Этот исторический урок по части «свободного» искусства развернулся параллельно с уроком по части всех других «свобод» демократии — той самой, которая подметала и подтирала за Юденичем... Искусство новой истории, индивидуальное и профессиональное, — в противоположность старому, народному, коллективному — выросло на избытке и досуге господствующих классов и остается на содержании у них. Элемент содержанства, почти неощутимый при непотревоженности общественных отношений, грубо выпер наружу, когда топор революции подрубил старые сваи.

Психология приживальства и содержанства вовсе не равнозначна покорности, учтивости и почтительности. Наоборот, она предполагает весьма резкие сцены, взрывы, расхождения, угрозы полным разрывом — но только угрозы. Фома Фомич Опискин, классический тип старого дворянского приживальщика «с психологией», почти всегда находился в — состоянии домашнего восстания. Но дальше гумна, помнится, не уходил. Это очень грубо, конечно, во всяком случае неучтиво сопоставлять Опискина с академиками и почти классиками; Буниным, Мережковским, Зинаидой Гиппиус, Н. Котляревским, Зайцевым, Замятиным и пр. Но из исторической песни слова не выкинешь.

Обнаружились приживальщиками и содержанцами. И если у одних эта черта получила более буйное проявление, то у большинства внутренних эмигрантов, отчасти по независящим условиям, а главным образом, надо думать, по группировке темпераментов, подрубленное под корень содержанство приняло уныло-тоскующий характер и сходит на нет в воспоминаниях и повторных переживаниях.

### А. Белый

В Белом межреволюционная (1905–1917 гг.), упадочная по настроениям и захвату, утончавшаяся по технике, индивидуалистическая, символическая, мистическая литература находит наиболее сгущенное свое выражение, и через Белого же она громче всего расширяется об Октябрь. Белый верит в магию слов; об нем позволительно сказать поэтому, что самый псевдоним его свидетельствует о его противоположности революции, ибо самая боевая эпоха революции прошла в борьбе красного с белым.

Воспоминания Белого о Блоке — поразительные по своей бессюжетной детальности и произвольной психологической мозаичности — заставляют удесятенно почувствовать, до какой степени это люди другой эпохи, другого мира, прошлой эпохи, невозвратного мира. Дело тут никак не в чередовании поколений — это люди нашего поколения, — а в социальном складе, в духовном типе, в исторических корнях. Для Белого «Россия — большой луг, зеленый, яснополянский, шахматовский» (Шахматове — имение Блока). В этом образе предреволюционной и революционной России, как зеленого луга, притом яснополянского и шахматовского — до какой степени тут глубока старорусская, помещичье-чиновничья, в лучшем случае тургеневски-гончаровская подоплека, и как это астрономически далеко от нас, и как хорошо, что далеко, и какой отсюда прыжок через века — к Октябрю!..

Бежин ли луг, или шахматовский, или яснополянский, или обломовский-это образ покоя и растительной гармонии. Корнями Белый в старом, но где взять старой гармонии?

Наоборот, у Белого-все потрясено, все перекошено и выбито из равновесия Яснополянский покой заменен у него не динамикой, а суетливым и суетным бегом на месте Мнимая динамичность Белого — только перепрыгивание и барахтание на кочках исчезающего, рассасывающегося старого быта. Его словесное кружение никуда не ведет. Нет в нем и намек на идейную революционность. По сердцевине своей это бытовой и духовный консерватор, утративший почву под ногами и отчаявшийся. «Записки мечтателя», журнал, вдохновляемый Белым, есть сочетание отчаявшегося бытовика, у которого печка дымит, и привыкшего к духовным радениям интеллигента, которому без шахматовского луга трудно даже о загробной жизни размечтаться. «Мечтатель» Белый — приземистый почвенник на подкладке из помещичье-бюрократической традиции, только описывающий большие круги вокруг себя самого.

Сорванный с бытовой оси индивидуалист, Белый хочет заменить собою весь мир, все построить из себя и через себя, открыть в себе самом все заново, — а произведения его, при всем различии их художественных ценностей, представляют собою неизменно поэтическую или спиритуалистическую возгонку старого быта. И оттого так несносны в



последнем счете эта подобострастная возня с собою, это обожествление самых заурядных фактов собственного духовного обихода — в наше время массы и скорости, действительно творящих новый мир... Если так богослужебно писать о встрече с Блоком, то как же писать о больших событиях, с которыми связаны судьбы народов?

В воспоминаниях Белого о младенчестве его («Котик Летаев») есть интересные психологические прозрения, не всегда художественно достоверные, нередко внутренне убедительные; но связь их друг с другом через оккультные рассуждения, мнимые глубины, нагромождения образов и слов изводит до крайности полной своей бесплодностью. Белый усиливается локтями и коленями протиснуться сквозь детскую душу в потусторонний мир. И следы локтей видны на всех страницах, а потустороннего мира нет как нет. Да и откуда бы, собственно, ему взяться?

Белый сам не так давно написал о себе — он всегда занят собою, рассказывает о себе, ходит вокруг себя, обнюхивает себя, обсасывает себя — несколько очень правильных мыслей: «Под моими теоретическими абстракциями „максимум“, быть может, таился осторожно нащупывающий почву минималист. Я ко всему подходил окольным путем, нащупывая почву издалека, гипотезой, намеком, методологическим обоснованием, оставаясь в выжидательной нерешительности»... («Воспоминания об Александре Блоке»). Называя максималистом Блока, Белый о себе самом прямо говорит, как о «меньшевике» (в духе святом, конечно, а не в политике). Эти слова могут показаться неожиданными под пером Мечтателя и Чудака (с прописных букв!); но в конце концов если столько говоришь о себе, то иногда скажешь и правду. Белый не «максималист», вот уж ни в малейшей степени, а несомненный «минималист», тоскующий и взыскующий осколок старого быта и его мироощущения в новой обстановке. И совершенно верно, что он ко всему подходит окольным путем. Весь его «Петербург» построен окольным методом. Оттого он и воспринимается как потуга. Даже там, где достигается художественный результат, т. е. когда в сознании читателя вырастает образ, результат этот оплачивается слишком дорогой ценой, так что после окольных путей, напряжений и потуг читатель не испытывает эстетического удовлетворения. Это все равно, как если бы вас в дом ввели через дымовую трубу, а, войдя, вы увидели бы, что есть дверь и что войти через нее куда проще.

Его ритмическая проза ужасна. Фраза повинуется не внутреннему движению образа, а внешней метрике, которая сперва вам кажется лишней, затем утомляет навязчивостью, под конец отравляет существование. Уже одно предчувствие того, что фраза закончится ритмически, вызывает острое раздражение, как ожидание повторного скрипа ставней во время бессонницы. С шагистикой ритма идет у Белого параллельно фетишизм слова. Что слово человеческое не только выражает понятие, но и имеет свою звуковую ценность, это совершенно бесспорно, и без такого отношения к слову не было бы поэзии, как, впрочем, и прозаического мастерства. Мы не собираемся также отрицать приписываемые Белому в этой области заслуги. Тем не менее самое полновесное и полнозвучное слово не может дать больше того, что в него вложено. Белый же ищет в слове, как пифагорейцы в числе, второго, особого, сокрытого, тайного смысла. Оттого он так часто загоняет себя в словесные тупики. Если вы перегнете средний палец через указательный и прощупаете предмет, то получите впечатление удвоенности, и если продолжите опыт, вам станет не по себе: вместо того чтобы правильно пользоваться осязанием, вы насилуете его, чтобы

обманывать себя. Вот такое впечатление от художественных приемов Белого: в них есть неизменно фальшивая усложненность.

Игра на созвучных словах, замена логической или психологической мотивации словесным изломом или акустической связью, характеризует застойное, по самой своей сути средневековое мышление. Белый тем судорожнее цепляется за слова, тем неистовее насилует их, чем туже приходится его косным понятиям в среде, преодолевшей косность. Сильнее всего Белый в тех случаях, когда пишет плотный старый быт. Его манера и там утомительна, но небесплодна: вы ясно видите, что — Белый сам от этого старого быта, плоть от плоти и дух от духа его, что он насквозь консервативен, пассивен, умерен и что ритмика и словесные подергивания — это только средства, при помощи которых сорвавшийся с бытовой оси Белый тщетно борется с пассивностью и трезвенностью в себе.

Во время войны Белый попал в последователи к немецкому мистiku Рудольфу Штейнеру, конечно, «доктору» — и дежурил в Швейцарии по ночам под куполом антропософского храма. Что такое антропософия? Интеллигентски-спиритуалистическая, на философских и поэтических цитатах взопревшая перелицовка христианства. Более точных данных сообщить не могу, так как Штейнера не читал и читать не собираюсь. Считаю себя вообще вправе не интересоваться «философскими» системами, выясняющими отличия хвостов веймарской и киевской ведьмы, поскольку не верю в ведьму вообще (если не считать упомянутой выше Зинаиды Гиппиус, в реальность коей верую безусловно, хотя о размерах хвоста ее не могу сообщить ничего определенного). Другое дело — Андрей Белый: если небесные дела для него самое значительное, то о них бы и благовествовать. Между тем Белый, который на что уж обстоятелен и о своем переезде через канал рассказывает так, будто собственными глазами наблюдал по крайней мере сцену в саду Гефсиманском, если не шестой день творения, — тот же Белый, как только дело доходит до его антропософии, становится кратким, беглым, предпочитая фигуру умолчания. Одно только и сообщает: «Не я, а Христос во мне Я», и еще: «в боге родимся, во Христе умираем, в святом духе возрождаемся». Это утешительно, но... тае-тае... не ясно. Популярнее Белый, однако, не выражается, очевидно, из довольно-таки основательного опасения впасть в богословскую конкретность, слишком уж соблазнительную: ибо материализм неизбежно подминает под себя всякое позитивное, «онтологическое» верование, образуемое не иначе как по образу и подобию материи, хотя бы и фантастически перекошенной. Если веруешь позитивно, объясни, из какого пера у ангелов крылья и из какой субстанции у ведьмы хвост? Из страха перед этими законнейшими вопросами господина спиритуалисты так утончают свою мистику, что в конце концов их астральное бытие становится замысловатым псевдонимом небытия. Тогда, снова испугавшись (незачем, в самом деле, было и огород городить!), они отшатываются назад, к катехизису. Так в колебаниях между неутешительной астральной пустотой и богословскими преискурантами и протекает духовное прозябание мистиков антропософского и вообще философского вероисповедания. Белый упорно, но тщетно маскирует пустоту акустической инструментровкой и насильственной метрикой. Белый пытался мистически вознестись над Октябрьской революцией и даже попутно усыновить ее, указав ей место среди прочих дел земных, которые, впрочем, для него в целом, по собственному его слову, «ерунда». Сорвавшись в этой своей попытке, — еще бы не

сорваться! — Белый ожесточился. Психологическая механика этого процесса так же проста, как анатомия картонного плясуна: несколько дырочек, несколько ниточек. Но из этих дырочек и ниточек у Белого выходит апокалипсис, не общий, а его собственный, Андрея Белого... «Дух правды меня заставляет сказать про свое отношение к социальной проблеме: „Да, знаете, как-то так... Хотите чаю?“ Что же, неужто и нет обывателя вовсе? Вот он: я — обыватель!» Бесвкусица? Да, натянутое гримасничанье, трезвенное юродство... И это пред лицом народа, переживающего революцию! В высокомернейшем предисловии к своей неэпопейной «Эпопее» Андрей Белый обличает нашу советскую эпоху, «ужасную для литератора, чувствующего свое призвание к огромным, монументальным полотнам». Его, монументалиста, влекут, видите ли, «к арене ежедневности», к расписыванию «бонбоньерочек». Можно ли, спрашивается, с большей грубостью опрокинуть и действительность и логику вниз головой? Это Белого-то революция отвлекает от полотен к бонбоньеркам! С необыкновеннейшими подробностями, захлебываясь не столько даже в деталях, сколько в словесной пене, рассказывает Белый, как его «под куполом Иоаннова Здания»... «овлажнили дождями словесности» (буквально!); как он узнавал «страну Живомыслия»; как «Иоанново Здание» стало для него «образом феоретических (!) путешествий». Пречистая и пресвятая галиматъя! При чтении ее каждая следующая страница кажется несносней предыдущей. Это самодовольное отыскивание психологических гнид, это мистическое предание их казни на ногте — не иначе, как «под куполом Иоаннова Здания», — эта чванная, напыщенная, с холодной позевотой сделанная трусливо-суеверная пачкотня, вот это выдается за «монументальное полотно»; а призыв повернуться лицом к тому, что совершается величайшей революцией в геологических пластах народной психологии, воспринимается как приглашение расписывать «бонбоньерочки». Это у нас-то, в Советской России, «бонбоньерочки»! Ну и бесвкусица же, ну и словесное же распутство! Да ведь как раз «Иоанново Здание», воздвигнутое в Швейцарии духовными фланерами и туристами, и есть безвкусная, докторски-немецкая бонбоньерка, начиненная «котиками» и всякими иными обсахаренными мухами. А вот Россия наша есть сейчас гигантское полотно, разработки которого хватит на века. Отсюда, с вершин наших революционных кряжей, берут начало истоки нового искусства, нового мироощущения, нового сцепления чувств, нового ритма мысли, нового устремления слова. И через 100, и через 200, и через 300 лет будут с великим эстетическим волнением обнаруживать и вскрывать эти истоки освобожденного человеческого духа и... и натолкнутся на «мечтателя», который отмахивался от «бонбоньерок» («бонбоньерок»!!!) революции и требовал (от нее же!!!) обеспечения за ним материальной возможности изображать, как он спасался в Швейцарии от войны, и как он, изо дня в день, ловил в бессмертной душе неких мелких насекомых и распластывал их на пальце — «под куполом Иоаннова Здания».

А в той же эпопее Белый заявляет: «Устои обычной действительности для меня — ерунда». И это перед лицом народа, который истекает кровью, чтобы передвинуть «устои обычной действительности». Ну, конечно, ни больше ни меньше: ерунда. А пайка требует — да не обычного, а для больших полотен, пропорционального. И негодует, что не торопятся преподнести. Казалось бы, стоит ли из-за пайка-с, из-за «ерунды»-с омрачать христианнейшее состояние духа? Ведь он не он, а Христос в нем. Ведь в святом духе воскреснет. Чего же тут-то, в нашей земной ерунде-то, на печатный лист размазывать

желчь по поводу недостаточности пайка? Антропософское благочестие освобождает не только от художественного вкуса, но и от общественной стыдливости.

Белый — покойник, и ни в каком духе он не воскреснет.

## II. ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОПУТЧИКИ РЕВОЛЮЦИИ

Внеоктябрьская литература в том виде, как она охарактеризована нами в первой главе, сейчас уже, в сущности, пройденная ступень. В первый период писатель активно противопоставлял себя Октябрю, отказывая всему связанному с революцией в художественном признании по тем же мотивам, по которым учитель отказывался учить детей октябрьской России. Внеоктябрьский характер литературы был, таким образом, не только выражением глубокой отчужденности двух миров, но и орудием активной политики, саботажем художников. Эта политика сама себя свела на нет: старая литература уже не столько не хочет, сколько не может.

Между буржуазным искусством, которое изживает себя в перепевах или в молчании, и новым искусством, которого еще нет, создается переходное искусство, более или менее органически связанное с революцией, но не являющееся в то же время искусством революции. Борис Пильняк, Всеволод Иванов, Николай Тихонов и «серапионовы братья», Есенин с группой имажинистов, отчасти Клюев были бы невозможны — все вместе и каждый в отдельности — без революции. Они это сами знают и не отрицают этого, не чувствуют потребности отрицать, а некоторые даже и провозглашают со всей настоятельностью, Это не литературные службисты, которые начинают понемножку «изображать» революцию. Это и не сменовеховцы, ибо там предполагается разрыв с прошлым, радикальная перемена фронта. Большинство перечисленных писателей очень молоды, от 20–30 лет. Никакого дореволюционного прошлого у них не было, разрывать им если и приходилось, то с пустяками. Литературный и вообще духовный облик их создан революцией, тем углом ее, который захватил их, и все они приемлют ее каждый по-своему. Но в этих индивидуальных приятнях есть у них у всех общая черта, которая резко отделяет их от коммунизма и всегда грозит противопоставить ему. Они не охватывают революции в целом, и им чужда ее коммунистическая цель. Они все более или менее склонны через голову рабочего глядеть с надеждой на мужика. Они не художники пролетарской революции, а ее художественные попутчики, в том смысле, в каком это слово употреблялось старой социал-демократией. Если внеоктябрьская (по существу противоктябрьская) литература есть умирающая литература буржуазно-помещичьей России, то литературное творчество «попутчиков» есть своего рода новое, советское народничество, без традиций старого народничества и — пока — без политических перспектив. Относительно попутчика всегда возникает вопрос: до какой станции? Этого вопроса нельзя сейчас, однако, предрешить и в самой приблизительной степени. Разрешение его зависит не только от субъективных свойств того или иного из попутчиков, но главным образом от объективного хода вещей в ближайшее десятилетие.

Однако в двойственности мироощущения попутчиков, порождающей беспокойную неуверенность в себе, — постоянная опасность, художественная и общественная в одно и

то же время. Блок эту морально-художественную раздвоенность чувствовал глубже других: он вообще был глубже. В воспоминаниях о нем Надежды Павлович есть такая фраза: «Большевики не мешают писать стихи, но они мешают чувствовать себя мастером... Мастер тот, кто ощущает стержень всего своего творчества и держит ритм в себе». В выражении мысли некоторая незаконченность, столь обычная для Блока, да и к тому же мы имеем здесь дело с воспоминаниями, которые, как известно, не всегда точны. Но внутренняя вероподобность и значительность этой фразы заставляют верить ей. Большевики мешают чувствовать себя мастером, ибо мастеру надо иметь ось, органическую, бесспорную, в себе, а большевики главную-то ось и передвинули. Никто из попутчиков революции — а попутчиком был и Блок, и попутчики составляют ныне очень важный отряд русской литературы — не несет стержня в себе, и именно поэтому мы имеем только подготовительный период новой литературы, только этюды, наброски и пробы пера — законченное мастерство, с уверенным стержнем в себе, еще впереди.

### **Николай Клюев**

Буржуазной поэзии конечно же не бывает, ибо поэзия — свободное искусство, а не служение классам'. Но вот Клюев, крестьянский поэт, и не только сам сознает это, но повторяет, подчеркивает, хвалится. Разница тут в том, что крестьянский поэт не чувствует внутреннего побуждения прикрывать свое лицо — не только от других, но прежде всего от себя самого. Крестьянство русское, веками угнетавшееся, стремившееся вверх, идейно одухотворявшееся в течение десятилетий народничеством, в тех немногих случаях, когда находило своего поэта, не внушало ему ни социального, ни художественного побуждения скрывать свой крестьянский облик: как в старину у Кольцова, так, и еще даже более, в последние годы у Клюева.

Именно на нем, на Клюеве, видим снова жизненную силу социального метода литературной критики. Говорят нам, что писатель начинается там, где начинается индивидуальность, а, стало быть, источник его творчества — неповторяемая его душа, а не класс. И верно, что без индивидуальности нет писателя. Но если индивидуальность поэта — и только — раскрывается в его творчестве, — к чему тогда истолкование искусства? К чему, скажем, литературная критика? Художник, если он действительный художник, о своей неповторимой индивидуальности скажет, во всяком случае, лучше, чем разбалтывающий его критик. Но дело-то в том, что если индивидуальность неповторяема, то это вовсе не значит, что она неразложима. Индивидуальность есть сочетание родового, национального, классового, временного, бытового, — именно в своеобразии сочетания, в пропорциях психохимической смеси и выражается индивидуальность. Одна из важнейших задач критики — разложить индивидуальность художника (т. е. его искусство) на составные элементы и обнаружить их соотношение. Этим критика приближает художника к читателю, у которого тоже ведь как-никак своя «неповторимая душа», только

От одного опытного и начитанного журналиста я получил по поводу этих строк громоподобное письмо с доказательствами классового характера литературы. Мой корреспондент принял саркастическую фразу в самом положительном смысле. Боюсь, не случилось бы этого и с другими: внимательных читателей на свете не так уж много. Посему вбиваю кол настоящего примечания с надписью; «Внимание, здесь ирония!» художественно не выраженная, не «избранная», но представляющая сочетание тех же видовых и родовых элементов, что и душа поэта. Вот и оказывается, что мостом от души к душе служит не неповторимое, а общее. Через общее только неповторимое и познается. Общее же определяется у человека наиболее глубокими и неотразимыми условиями, формирующими его «душу»: социальными условиями воспитания, существования, труда и общения. Социальные же условия, в историческом человеческом обществе, это прежде всего условия классовой принадлежности. Вот почему так плодотворен классовый критерий во всех областях идеологии, в том числе и в искусстве, и даже в искусстве особенно, ибо оно выражает нередко наиболее глубокие и потаенные социальные внушения. Разумеется, социальный критерий не исключает, а идет рука об руку с формальной критикой, т. е. с техническим критерием мастерства, который тоже, однако, индивидуальное проверяет общей единицей, ибо без сведения индивидуального к общему не было бы ни общения между людьми, ни мышления, ни поэзии.

Если отнять у Клюева его крестьянство, то его душа не то что окажется неприкаянной, а от нее вообще ничего не останется. Ибо индивидуальность Клюева находит себя в художественном выражении мужика, самостоятельного, сытого, избыточного, эгоистично-свободолюбивого. Всякий мужик есть мужик, но не всякий выразит себя. Мужик, сумевший на языке новой художественной техники выразить себя самого и самодовлеющий свой мир, или, иначе, мужик, пронесший свою мужичью душу через буржуазную выучку, есть индивидуальность крупная — и это Клюев.

Не всегда социальная основа художества так ярка и неоспорима. Но это только потому, как уже сказано, что большинство поэтов связано с эксплуататорскими классами, которые именно в силу своей эксплуататорской природы говорят о себе не то, что думают, и даже думают о себе не то, чем на самом деле являются. Однако же, несмотря на целую систему социально-психических трансмиссий, приводных ремней классового лицемерия, и в самой утонченной художественной перегонке можно открыть социальное естество. И без понимания его в воздухе повисает и художественная критика и история искусства.

Говорить о буржуазности той нашей литературы, которую мы назвали внеоктябрьской, вовсе не значит, следовательно, возводить поклеп на поэтов, которые-де служат искусству, а не буржуазии. Ибо где сказано, что нельзя служить буржуазии искусством? Как геологические обвалы вскрывают напластование земных пород, так обвалы социальные обнажают классовую природу искусства. Внеоктябрьское искусство потому и поражено смертельным бессилием, что на смерть поражены те классы, с которыми оно связано всем своим прошлым: вне буржуазно-помещичьего уклада, с его бытовым букетом, без тончайших внушений усадьбы и салона, это искусство не видит смысла жизни, чахнет, замирает, сходит на нет.

Клюев не мужиковствующий, не народник, он мужик (почти). Его духовный облик подлинно крестьянский, притом северокрестьянский. Клюев по-крестьянски

индивидуалистичен: он себе хозяин, он себе и поэт. Земля под ногами и солнце над головою. У крепкого хозяина запас хлеба в закроме, удойные коровы в хлеву, резные коньки на гребне кровли — хозяйское самосознание плотно и уверенно. Он любит похвалиться хозяйством, избытком и хозяйственной своей сметкой — так и Клюев талантом своим и поэтической ухваткой: похвалить себя также естественно, как отрыгнуть после обильной трапезы или перекрестить рот после позовоты. Клюев учился. Где и чему, не знаем, но распоряжается он знаниями, как начетчик и еще как скопидом. Крестьянин зажиточный, вывезя из города случайно телефонную трубку, укрепляет ее в красном углу, неподалеку от божницы. Так и Клюев Индией, Конго, Монбланом украшает красные углы своих стихов, а украшать Клюев любит. Простая скобленная дуга у хозяина бывает только от бедности или скарედности. У хорошего хозяина дуга с резьбою, расписная, в несколько красок. Клюев хороший стихотворный хозяин, наделенный избытком: у него везде резьба, киноварь, синель, позолота, коньки и более того: парча, атлас, серебро и всякие драгоценные камни. И все это блестит и играет на солнце, а если поразмыслить, то и солнце его же, клюевское, ибо на свете заправски существует лишь он, Клюев, его талант, земля его под ногами и солнце над головой.

Клюев — поэт замкнутого и в основе своей малоподвижного мира, но все же сильно изменившегося с 1861 г. Клюев не Кольцов: сто лет прошло недаром. Кольцов простоват, покорен, скромн. Клюев много сложнее, требовательней, затейливей, и новую стихотворную технику он вывез из города, как сосед вывез оттуда граммофон, но опять же поэтическую технику, как и географию Индии, Клюев привлекает только для того, чтобы украсить крестьянский сруб своей поэзии. У него много пестроты, иногда яркой и выразительной, иногда причудливой, иногда дешевой, мишурной — все это на устойчивой крестьянской закладке.

Стихи Клюева, как мысль его, как быт его, не динамичны. Для движения в клюевском стихе слишком много украшений, тяжеловесной парчи, камней самоцветных и всего прочего: двигаться надо с осторожностью во избежание поломки и ущерба. И, однако, Клюев принял революцию, которая есть величайшая динамика. Клюев принял ее не за себя одного, а вместе со всем крестьянством, и принял ее по-крестьянски же. Упразднением барской усадьбы Клюев доволен: «пусть о ней плачет Тургенев на полке». Но ведь революция — это прежде всего город: без города не было бы и упразднения дворянской усадьбы. Вот отсюда двойственность в отношении Клюева к революции; двойственность опять-таки не только клюевская, а общекрестьянская: города Клюев не любит, городской поэзии не признает. Очень поучительны дружески-вражеским тоном своим стихи его, в которых он убеждает поэта Кириллова отказаться от мысли о фабричной поэзии и прийти в его, клюевский, сосновый лес, единственный источник искусства. Об «индустриальных ритмах», о пролетарской поэзии, о самом принципе ее Клюев говорит с тем натуральным презрением, какое сквозит в устах каждого «крепкого» хозяина, когда он примеривается глазом к проповедующему социализм, бездомному городскому рабочему или еще того хуже — к стрекулисту. И когда Клюев благосклонно предлагает кузнецу прилечь на минуту на узорчатой мужицкой лавке, кажется, будто богатый и кряжистый олончанин милостиво подает краюху голодному потомственному питерскому пролетарию «в городском обноске на панельных стоптанных каблуках».

Клюев приемлет революцию, потому что она освобождает крестьянина, и поет ей много своих песен. По его революция без политической динамики, без исторической перспективы. Для Клюева это ярмарка или пышная свадьба, куда собираются с разных мест, опьяняются брагой и песней, объятиями и пляской, а затем возвращаются ко двору: своя земля под ногами и свое солнце над головой. Для других — республика, а для Клюева — Русь; для иных — социализм, а для него — Китеж-град. И он обещает через революцию рай, но рай этот только увеличенное и приукрашенное мужицкое царство; пшеничный, медвяный рай: птица певчая на узорчатом крыльце и солнце, светящееся в яшмах и алмазах. Не без сомнения допускает Клюев в мужицкий рай радио, и плечистый магнит, и электричество: и тут же оказывается, что электричество — это исполинский вол из мужицкой Калевалы и что меж рогов у него — яственный стол.

Клюев, очевидно, бывал в Питере во время революции, писал в «Красной Газете», брался с рабочими, но, как хозяин себе на уме, Клюев даже в те медовые дни так и этак прикидывал, не будет ли от этого всего ущерба его клюевскому хозяйству, то бишь искусству. Если Клюеву покажется, что в городе его не ценят, то он, Клюев, тут же обнаружит нрав и накинет цену своему пшеничному раю по сравнению с индустриальным адом. И если его в чем укорят, то он за словом в карман не полезет, противника обложит, себя похвалит крепко и убежденно. Еще недавно Клюев затеял стихотворную перебранку с Есениным, который решил надеть фрак и цилиндр, о чем и сообщил в стихах. Клюев увидел в этом измену мужицкому корню и бранчливо мылил младшему голову — ни дать ни взять богатый братан, выговаривающий брательнику, который вздумал жениться на городской шлюхе и записаться в голоштанники.

Клюев ревнив. Кто-то советовал ему отказаться от божественных словес. Клюев ударился в обиду: Видно, нет святых и злодеев Для индустриальных небес.

Неясно, верит он сам или не верит: бог у него вдруг харкает кровью, богородица за желтые боны отдает себя какому-то венгру. Все это выходит вроде богохульства, но выключить бога из своего обихода, разрушить красный угол, где на серебряных и золоченых окладах играет свет лампы, — на этакое разорение Клюев не согласен. Без лампы не будет полноты.

Когда Клюев «подспудным, мужицким стихом» поет Ленина, то очень не легко решить: Ленин это или... анти-Ленин? Двоемыслие, двоечувствие, двоесловие. А в основе всего двойственность мужика, лапотного Януса, одним лицом к прошлому, другим — к будущему. Клюев поднимается даже до песен в честь коммуны. Но это именно песни «в честь», величальные. «Не хочу коммуны без лежанки». А коммуна с лежанкой — не перестройка по разуму, с циркулем и угломером в руках, всех основ жизни, а все тот же мужицкий рай.

Золотые деревья

Свесят гроздьями созвучья,

Алконостами слова

Порассядутся на сучья.



## Медный кит

Вот поэтика Клюева целиком. Какая тут революция, борьба, динамика, устремление к новому? Тут покой, заколдованная неподвижность, сусальная сказочность, билибинщина: «алконостами слова порассядутся на сучья». Взглянуть на это любопытно, но жить в этой обстановке современному человеку нельзя.

Каков будет дальнейший путь Клюева: к революции или от нее? Скорее от революции: слишком уж он насыщен прошлым. Духовная замкнутость и эстетическая самобытность деревни, несмотря даже на временное ослабление города, явно на ущербе. На ущербе как будто и Клюев.

## С. Есенин

Есенин (и вся группа имажинистов — Мариенгоф, Шершеневич, Кусиков) стоит где-то на пересечении линий Клюева и Маяковского. Корни у Есенина деревенские, но не такие глубокие, как у Клюева. Есенин моложе. Поэтом стал он в эпоху уже разворошенной революцией деревни, разворошенной России. Клюев же целиком сложился в довоенные годы и если на войну и революцию откликнулся, то в пределах очень замкнутого своего консерватизма. Есенин не только моложе, но и гибче, пластичнее, открытее влияниям и возможностям. Уже и мужицкая подоплека его не та, что у Клюева: у Есенина нет клюевской солидности, угрюмой и напыщенной степенности. Есенин хвалится тем, что он озорник и хулиган. Правда, озорство его, даже чисто литературное («Исповедь»), не столь уж страшно. Но несомненно, что Есенин отразил на себе предреволюционный и революционный дух крестьянской молодежи, которую расшатка деревенского уклада толкала к озорству и к бесшабашности.

Город сказался на Есенине резче и острее, чем на Клюеве. Тут точка приложения для несомненных влияний футуризма. Есенин динамичнее, поскольку нервнее, гибче, восприимчивее к новому. Но имажинизм идет наперерез динамике. Самодовлеющее значение образа покупается за счет целого: части расчленяются и застывают.

Неправильно говорят, будто избыточная образность имажинистов вытекает из индивидуальных склонностей Есенина. На самом деле мы ту же черту находим и у Клюева. Его стих отягощен образностью еще более замкнутой и неподвижной. В основе своей это не индивидуальная, а крестьянская эстетика. Поэзия повторяющихся форм жизни мало подвижна в своих основах и ищет путей в сгущенной образности.

Так или иначе, но имажинизм до такой степени перегружен образами, что поэзия его кажется вячущей и потому медлительной в движении. Избыточность образов сама по себе вовсе не свидетельствует о творческой силе: наоборот, она может проистекать из технической незрелости поэта, застигнутого врасплох художественно непосильными для него событиями и чувствами. Поэт как бы захлебывается образами, а читатель испытывает то же нервное нетерпение — дотянуть поскорее до конца, — как при слушании заикающегося оратора. Имажинизм во всяком случае не литературная школа, от которой можно ждать серьезного развития. И запоздалое высокомерие Кусикова («Запад, на

который нам, имажинистам, чихать...») кажется курьезным и даже незанятым. Имажинизм разве лишь этапный пункт для нескольких поэтов молодого поколения, более или менее талантливых, но похожих друг на друга тем, что все они еще не перебрадили.

Попытка Есенина построить имажинистским методом крупное произведение оказалась в «Пугачеве» несостоятельной. И это несмотря на то, что автор украдкой изрядно-таки разгрузил свою вьючную образность. Диалогический характер «Пугачева» жестоко подвел поэта. Драма вообще наиболее прозрачная и потому наиболее непримиримая художественная форма: тут нет места для описательно-повествовательных заплата и лирической отсебятины. Диалогом Есенин и вывел себя на чистую воду. Емелька Пугачев, его враги и сподвижники — все сплошь имажинисты. А сам Пугачев с ног до головы Сергей Есенин: хочет быть страшным, но не может. Есенинский Пугачев сентиментальный романтик. Когда Есенин рекомендует себя почти что кровожадным хулиганом, то это забавно; когда же Пугачев изъясняется как отягощенный образами романтик, то это хуже. Имажинистский Пугачев немножко смехотворен.

Если имажинизм, почти не бывший, весь вышел, то Есенин еще впереди. Заграничным журналистам он объявляет себя левее большевиков. Это в порядке вещей и никого не пугает. Сейчас для Есенина, поэта, от которого — хоть он и левее нас, грешных, — все-таки пахнет средневековьем, начались «годы странствия». Вернется он не тем, что уехал. Но не будем загадывать: приедет, сам расскажет.

### **Серрапионовы братья. Всеволод Иванов. Ник. Никитин**

Серрапионовы братья это молодежь, которая живет еще выводком. Кой-кто из них не через литературу подошел к революции, а из революции выдвинулся в литературу. Именно потому, что краткую свою родословную они ведут от революции, у них, по крайней мере у некоторых, есть как бы внутренняя потребность отодвинуться от революции и обеспечить от ее общественных притязаний свободу своего творчества. Они как бы впервые почувствовали, что искусство имеет свои права. Художник Давид (у Н. Тихонова) увековечивает наряду с Маратом также и «руку убийцы патриота». Зачем? «Но так хорош блеск кости до локтя, темно-вишневой густотой обрызган». Серрапионы нередко отодвигаются от революции, вообще от современности, иногда даже от человека, пишут дрезденских студентов, библейских евреев, тигриц и собак. Все это производит пока впечатление поисков, этюдов, подготовки. Они всасывают в себя литературно-технические достижения дореволюционных школ, без чего вообще не может быть движения вперед. Общий их тон реалистический, но пока еще не сложившийся. Индивидуально оценивать серрапионовых братьев рано — по крайней мере в рамках этой работы. В целом они наряду со многими другими признаками знаменуют возрождение литературы — после трагического провала — на новых исторических основах. Почему мы относим их к попутчикам? Потому что они связаны с революцией; потому что эта связь еще очень бесформенна; потому что они еще очень молоды, и ничего определенного нельзя сказать об их завтрашнем дне.

Самой опасной чертой серапионов является щегольство беспринципностью. Это же вздор и тупоумие, — будто бывают художники «без тенденции», т. е. без определенного, хотя бы и неоформленного, не выраженного в политических терминах отношения к общественной жизни. Верно лишь то, что у большинства художников, в эпохи органические, отношение к жизни и к ее общественным формам слагается незаметным, молекулярным путем, почти без участия критического сознания: художник берет жизнь, как она ему дана, окрашивает свое к ней отношение в те или иные лирические тона, но считает ее в основах ее незыблемой, критически не подходит к ней— так же, как к солнечной системе. И этот его пассивный консерватизм составляет невидимую ось его творчества

Переломные эпохи не позволяют художнику роскоши автоматической и безответственной выработки общественного мирозерцания. А кто щеголяет этим, не искренно или без притворства, тот либо маскирует реакционную тенденцию, либо сбивается на общественное юродство, либо просто ходит в дурачках. Ученические упражнения, в духе рассказов Синебрюхова или повести Федина «Анна Тимофеевна», можно, конечно, дать, не задумываясь над общественно-художественными перспективами, но большой или просто значительной картины дать невозможно, да даже и на эскизах долго продержаться нельзя.

Мимоходом рожденные революцией, совсем еще молодые, едва из пеленок, беллетристы и поэты в поисках за своей художнической личностью пробуют оттолкнуться от революции, которая есть для них некоторым образом быт и среда, а им еще только нужно в этой среде найти свое я. Отсюда бутады в духе «искусства для искусства», которые кажутся серапионам чрезвычайно значительными и дерзостными, а в действительности являются, в самом лучшем случае, признаком роста и уж во всяком случае — свидетельством незрелости. Если серапионы оттолкнутся от революции окончательно, они сразу обнаружатся как второ- и третьестепенные эпигоны вышедших в тираж дореволюционных литературных школ. Баловать с историей нельзя. Здесь наказание вытекает непосредственно из преступления.

Всеволод Иванов — старший, наиболее заметный из серапионов, наиболее значительный и прочный. Он пишет революцию и только революцию, но исключительно мужицкую и окраинную, чалдонскую. Односторонность темы и сравнительная узость художественного захвата накладывают на свежие и яркие краски Иванова оттенок однообразия. Он очень стихийен в своих настроениях и в стихийности недостаточно разборчив и строг к себе. Он очень лиричен, и лиризм его бьет через край: автор слишком настойчиво дает себя чувствовать, слишком часто выступает самолично, слишком громко себя выражает, слишком решительно хлопает природу и людей по спине и бедрам... Пока в этом чувствуется молодая стихийность, это даже привлекательно, но есть большая опасность, что это превратится в манеру. По мере того как стихийность будет убывать, на смену ей должно идти расширение творческого захвата и повышение мастерства. А это возможно только при строгости к себе. Лиризм, который так согревает у Иванова и природу и диалог, должен стать подспудное, внутреннее, скрытнее, скупее в формах выражения... Фраза должна рождаться из фразы естественным давлением материи художества, без видимого содействия художника. Иванов учился на Горьком, и учился с пользой. Пусть же еще раз пройдет эту школу— на этот раз методом от обратного.

Сибирского мужика, казака, киргиза Иванов знает и понимает. На фоне восстаний, боев, пожаров и усмирений он очень хорошо показывает политическую безличность мужика при крепкой его социальной устойчивости. В качестве царского солдата молодой сибирский крестьянин поддерживает в России большевиков, а вернувшись в Сибирь, служит «Толчаку» против красных. Отец его, заскучавший зажиточный мужик, ищущий новой веры, незаметно и неожиданно для себя оказывается вожаком красных партизан. Вся семья разбивается. Деревня выжигается. Но чуть пронесется ураган, мужик метит в лесу деревья для сруба и снова строится. После шатаний в разные стороны Ванька-встанька норовит плотно усесться на свой свинцовый зад... Отдельные картины достигают у Иванова большой силы. Превосходны сцены «разговора» дальневосточных партизан с пленным американцем, пьяного повстанческого разгула, киргизских поисков «большого бога»... А в общем, хочет ли того Иванов или не хочет, но он показывает, что крестьянские восстания в «крестьянской» России еще не революция. Мужичий мятеж вспыхивает внезапно, от мелкой искры, разрозненно, нередко жестокий в своей беспомощности — и не видать, почему он вспыхнул, куда ведет? И никогда и ни в чем не победить бы разрозненному мужичьему бунту. В «Цветных Ветрах» дан намек на стержень крестьянского восстания в фигуре городского большевика Никитина, но смутно. Никитин у Иванова — загадочный осколок другого мира, и неясно, почему вокруг него вращается крестьянская стихия. Но зато от всех этих картин революции дальнего угла исходит непреложный вывод: в большом тигеле на жарком огне переплавляется национальный характер русского народа. И Ванька-встанька из тигеля выйдет уж не тем...

Хорошо бы в этом тигеле доспеть и Всеволоду Иванову.

\* \* \*

Из числа серапионов явно выдвинулся за последний год Никитин. Написанное им в 22-м году знаменует большой скачок вперед по сравнению с предшествующим годом. Но в этом быстром созревании есть что-то тревожащее, как в рано возмужавшем подростке. Тревогу возбуждает прежде всего явственная нота цинизма, которая свойственна в большей или меньшей степени почти всем молодым, но которая у Никитина принимает моментами особенно злокачественный характер. Дело тут не в грубых словах и не в натуралистических излишествах, — хотя излишество есть все-таки излишество, — а в особом, вызывающе упрощенном, будто бы реалистическом подходе к людям и событиям. Реализм — в широком смысле этого слова, т. е. в смысле художественного утверждения реального мира, с его плотью и кровью, но и с его волей и с его сознанием — реализм может быть разный. Если взять человека, даже не социального, а только психофизического, то подойти к нему можно по-разному: и сверху, со стороны головы, и снизу, и сбоку, и кругом обойти. Никитин подходит, точнее, подбирается... снизу. Оттого все перспективы человека получаются упрощенными, а иногда и отвратительными. Даровитая скороспелость Никитина придает этому подходцу особо зловещий характер: на этом пути тупик.

Под словесными непристойностями и натуралистическими дебошами скрывается, не у одного Никитина, безверие или потухание веры. Это поколение было захвачено большими

событиями без подготовки — политической, моральной и художественной. Устойчивого, а тем более консервативного в них ничего еще не было, и потому революция овладела ими легко. Но и крайне поверхностно, именно потому что легко. Их завертело, и они все — имажинисты, серапионы и пр. — хлыстовствовали, полусознательно исходя из убеждения, что фиговый листок есть главная эмблема старого мира. Очень поучительно, что не только в городской интеллигенции, но и в крестьянстве, и даже в рабочем классе то поколение, которое революция захватила подростком, является худшим: не революционным, а бесшабашным, с чертами анархического индивидуализма. Следующее поколение, поднявшееся уже под новым режимом, гораздо лучше: оно общественнее, дисциплинированнее, требовательнее к себе, жаждет знания, серьезно формируется. Именно эта молодежь хорошо сходится со «стариками», т. е. с теми, что сложились и окрепли до марта — октября и даже до 14-го года. Революционность серапионов, как и большинства попутчиков, гораздо больше связана с поколением, которое пришло слишком поздно, чтобы готовиться к революции, и слишком рано, чтобы воспитаться в ней. Подойдя к революции с мужицкого исподу и усвоив себе полухлыстовскую перспективу на события, попутчики должны испытывать тем большее разочарование, чем явственнее обнаруживается, что революция не радение, а замысел, организация, план, труд. Имажинист Мариенгоф, снимая шляпу, почтительно иронически прощается с революцией, которая ему (Мариенгофу т. е.) изменила. И Никитин в рассказе «Пелла», где лжеревolutionное хлыстовство находит наиболее завершенное выражение, кончает как бы без всякой внешней связи, но внутренне вполне мотивированно, скептическими словами, не столь кокетливыми, как у Мариенгофа, но никак не менее циническими: «Вы устали, а я уже бросил погоню... и нынче напрасно гнаться нам. Незачем! Не ищите мертвое место».

Мы уже это один раз слышали и очень твердо помним. Молодые беллетристики и стихослагатели, захваченные в 1905 г., почти такими же словами поворачивались затем к революции («фефела!»). Снявши перед незнакомкой шляпу в 7-м году, они всерьез вообразили, что свели с ней все счеты. А она вернулась во второй раз, и притом куда основательнее. Внезапных первых «любовников» 5-го года она застала преждевременными старцами, духовно облысевшими. Зато она — совсем, по совести говоря, о том не заботясь — вовлекла в свой круг (по самой его периферии и даже почти по касательной) новую поросль старого общества. Но и тут пришел свой 7-й год: в хронологии он называется 21—22-м. Даже Ходасевич получил право сделать по адресу революции «жест», потому что какая же это прекрасная незнакомка: торговка и только!

Правда, молодые готовы по разным поводам утверждать, что они и не думают рвать с революцией, что они ею созданы, что они вне революции немислимы и не мыслят себя. Но все это очень неопределенно и даже двусмысленно. Конечно, отделить себя от революции они не могут поскольку революция, хотя и торгующая, есть факт и даже быт. Быть вне революции — значит быть в эмиграции. Об этом, конечно, речи нет. Но кроме эмиграции заграничной есть и внутренняя. И путь к ней — отчужденность от революции. Кому незачем больше гнаться, тот и есть кандидат в духовные эмигранты. А это означает неизбежно и художественную смерть, ибо незачем же себя обманывать: привлекательность, свежесть, значительность молодых — вся от революции, к которой

они прикоснулись. Если это отнять, на свете станет несколькими Чириковыми больше — и только.

## Б. Пильняк

Пильняк — реалист и превосходный наблюдатель со свежим глазом и хорошим ухом. Люди и вещи не кажутся ему старыми, заношенными, все теми же, только приведенными революцией во временный беспорядок. Он берет их в их свежести и неповторяемости, т. е. живыми, а не мертвыми, и в беспорядке революции, который есть для него живой и основной факт, ищет опоры для своего художественного порядка.

В искусстве, как и в политике, — а в некоторых отношениях искусство приближается к политике, политика — к искусству, ибо то и другое — искусство, — «реалист» может глядеть только под ноги себе, замечать только препятствия, минусы, ухабы, прорванные сапоги, разбитую посуду. Тогда политика будет боязлива, уклончива, оппортунистична, а искусство — мелкотравчато, изъедено скептицизмом, эпизодично. Пильняк реалист. Вопрос только в масштабе его реализма. А нашему времени нужен большой масштаб.

Быт революции бивуачен. Личная жизнь, учреждения, методы, мысли, чувства — все чрезвычайно, временно, переходно, сознает свою временность и выражает ее сплошь да рядом даже в названии. Отсюда трудность художественного подхода. Бивуачность и эпизодичность имеют в себе элемент случайности, а случайность несет на себе клеймо незначительности. Революция, взятая в эпизодах своих, оказывается вдруг незначительной. Где же революция? В этом трудность. Преодолеет ее тот, кто поймет и прочувствует до дна внутренний смысл этой эпизодичности и откроет за нею историческую ось кристаллизации. «На что нам твердые дома, — говорили некогда раскольники, — ждем пришествия христового». Революция тоже не строит твердых домов, заменяя их переселениями, уплотнениями и бараками. Характер временного и барачного лежит на всех ее учреждениях. Но не потому, что она ждет пришествия христового, т. е. высшую свою цель противопоставляет материальному процессу жизненного строительства, а потому, наоборот, что она стремится, в непрерывных поисках и опытах, найти наилучшие способы для построения своего твердого дома. Все, что она делает, это эскизы, наброски, черновики на заданную тему. Их было и будет еще великое число. И неудачных много больше, чем тех, которые обещают удачу. Но все они проникнуты одной мыслью, одним исканием. Единое историческое задание одухотворяет их. Гвиу, Главбум не просто звукосочетания, в которых Пильняку слышатся завывания революционной стихии, — нет, это нарочитые, придуманные, сознательно сколоченные рабочие слова (как бывают рабочие гипотезы) для сознательного, преднамеренного, нарочитого строительства — с такой степенью нарочитости, какой еще не было на земле.

«Да, через сто, полтора лет люди будут тосковать о теперешней России, как о днях прекраснейшего проявления человеческого духа... А у меня вот башмак прорвался, и хочется за границей посидеть в ресторане, выпить виски» («Иван-да-Марья»). Подобно тому как поезду из теплушек за суматохой рук, ног, мешочников, вшей не заметен путь в две тысячи верст, говорит там же Пильняк, так из-за прорванных башмаков и всех вообще неуязок и тягот советского быта незаметен исторический перевал, совершенный именно в эти дни. «Моря и плоскогорья переместились! Ибо в России прекрасные муки рождения!

Ибо Россия — озонируется! Ибо в России— жизнь! Ибо половодьями мутна вода — от наземов! Это— я знаю. Но они видят — вшей в матерщине». Вопрос поставлен с хорошей отчетливостью. Они (ущемленные мещане, низложенные руководители, обиженные пророки, педанты, тупицы, профессиональные мечтатели) только и видят что вшей и грязь, тогда как есть еще сверх того муки рождения. Пильняк знает это. Может ли он ограничиваться стонами и судорогами, физиологическими эпизодами? Нет, он хочет дать почувствовать рождение. Это большая задача, но очень трудная. Хорошо, что Пильняк поставил ее себе. Но еще не пришло время сказать, что он разрешил ее.

Пильняк бессюжетен именно из боязни эпизодичности. Собственно, у него есть наметка как бы даже двух, трех и более сюжетов, которые вкривь и вкось продергиваются сквозь ткань повествования; но только наметка, и притом без того центрального, осевого значения, которое вообще принадлежит сюжету. Пильняк хочет показать нынешнюю жизнь в ее связи и движении, захватывает ее и так и этак, делая в разных местах поперечные и продольные разрезы, потому что она везде не та, что была. Сюжеты, вернее, сюжетные возможности, которые у него пересекаются, суть только наудачу взятые образцы жизни, ныне, заметим, несравненно более сюжетной, чем когда-либо. Но осью служат Пильняку не эти эпизодические, иногда анекдотические сюжеты... а что же? Здесь камень преткновения. Невидимой осью (земная ось тоже невидима) должна бы служить сама революция, вокруг которой и вертится вконец развороченный и хаотически перестраивающийся быт. Но для того чтобы читатель почувствовал эту ось, нужно, чтоб его прочувствовал сам автор и продумал заодно.

Когда Пильняк, неизвестно в кого метя, но попадая камнем в Замятиных и прочих островитян, говорит, что муравей не поймет красоты каменной бабы, ибо, переползая по ней, не увидит ничего, кроме мелких выступов и рытвин, то это метко и убийственно. Всякая большая эпоха — Реформация ли, Ренессанс, революция — должна восприниматься в целом, а не частями и частицами. Масса участвует в этих событиях непреодолимым социальным инстинктом. У единиц он возвышается на уровень обобщающего сознания. А духовные середнячки оказываются ни в тех, ни в сих, для массовидного восприятия слишком индивидуалистичны, до синтетического охвата не доросли. На их долю и остаются рытвины и выступы, о которые они набивают себе шишки, с философскими или эстетическими проклятиями. Как же обстоит на этот счет дело с самим Пильняком?

Пильняк очень метко и остро наблюдает осколочный быт наш; в этом сила его; он реалист. Сверх этого он знает и об этом своем знании заявляет, что Россия озонируется, что в ней и с ней происходят прекрасные муки рождения; что в суматохе вшей, брани, мешочников совершается величайший в истории перевал. Знает же это Пильняк, раз открыто заявляет. Но в том и беда, что только заявляет, как бы даже противопоставляя эти свои заверения живой и жестокой подлинности быта. Он не отвращается от революционной России, наоборот, приемлет и даже по-своему возвеличивает, но декларативно; художественно же оправдать не может, ибо идейно не охватывает. Оттого Пильняк так часто прорывает собственноручно ткань повествования, чтобы уже от своего имени связать поспешным узлом концы с концами, пояснить (кое-как), обобщить (из рук вон плохо), лирически окрасить (иногда прекрасно, но чаще всего — избыточно). Таких нарочитых авторских узлов у Пильняка навязано великое множество. И произведение

двоится: не то в нем невидимой осью — революция, не то слишком видимой осью — сам автор, неуверенно покачивающийся вокруг да около революции. Таков пока Пильняк.

В сюжетном смысле Пильняк провинциален. Он берет революцию в ее периферии, в ее задворках, в деревне и особенно в уездном городе. У него окуровская революция. Что же, и такой подход может быть жизненным, он в своем роде даже органичнее. Но нельзя застревать на периферии, нужно найти ось революции, которая не в деревне и не в уезде. Можно через Окуров подходить к революции, но нельзя иметь окурровский угол зрения на революцию.

Уездный съезд Советов, санный путь, — «товарищ, подсади!» — лапти, тулупы, очередь в Доме Советов: за хлебом, колбасой и махоркой... — Товарищи! Вы единственные хозяева съезда и уезда и революции. — Ох, касатка, мало ты даешь, все-таки! (это насчет колбасы). — Это будет последний и решительный бой! — Интернационал! Антанта! Всемирный капитализм!..

В этих обрывках разговоров, быта, речей, колбасы и гимна есть нечто от революции, живой ее кусок, схваченный острым глазом, но наспех, на лету, и как бы извне, со стороны. Не хватает чего-то, что внутренне связывало бы эти осколки: не хватает идеи нашей эпохи. Когда пишет Пильняк теплушку, то вы чувствуете мастера, будущего мастера, возможного будущего мастера... Но вы не получаете того разрешающего противоречия удовлетворения, которое есть высший признак художественного произведения. Недоумение остается и отчасти даже сгущается. Почему этот поезд? Почему эта теплушка? И что они везут в себе — от России и для России? Никто не требует от Пильняка исторического анализа теплушки в разрезе быта и в разрезе времени, тем более пророческих вещаний, к которым он сам так немотивированно склоняется. Но если бы Пильняк сам для себя понял теплушку, ее связь с ходом событий, это передалось бы и читателю. А сейчас вшивая теплушка движется неоправданной, и принявший ее Пильняк порождает недоумение.

Одна из позднейших работ Пильняка, «Метель», свидетельствует снова о том, какой это значительный писатель. Уездная бестолочь грязной обывательщины, издыхающей в обстановке революции, прозаическая суতোлка советских будней — и все это в окружении октябрьской метели — выступает у Пильняка не сплошной картиной, а рядом ярких пятен, метких силуэтов, убедительных набросков. Но общее впечатление все то же — тревожной двойственности.

«Ольга думала, что революция как метель и люди в ней как метелинки». Так же думает и сам Пильняк — не без влияния Блока, который брал революцию исключительно как стихию и, по характеру своего темперамента, как холодную — не как пожар, а как метель, — «и люди в ней как метелинки». Но если революция есть только всемогущество разнузданной стихии, играющей человеком, то откуда же тут «дни прекраснейшего проявления человеческого духа»? И если муки оправданы тем, что это муки рождения, то что же, собственно, рождается? Без ответа на это останутся прорванный башмак, вошь, кровь, метель, чертова чехарда, но не будет революции.

Так вот, знает ли Пильняк, что, собственно, в революционных муках рождается? Нет, не знает. Конечно, слышал (как не слышать!), но внутренне не верит Пильняк? не художник



революции, а только художественный попутчик ее. Станет ли ее художником? Не знаем. Но он не стал. Потомки будут говорить о «прекраснейших днях» человеческого духа. Прекрасно: но место самого Пильняка в этих днях? Смутно, туманно, двойственно. Не оттого ли Пильняк как бы дичится явлений и людей, которые строго определяют и осмысливают совершающееся? Пильняк обходит коммунистов, чаще всего — с уважением, чуть-чуть холодно, иногда с симпатией, но обходит. Вы почти не видите у Пильняка революционера-рабочего, и главное — глазами его автор не глядит и не умеет взглянуть на совершающееся. Между тем в «Голом годе» он глядит на жизнь глазами разных своих персонажей, тоже сплошь попутчиков революции. А вот еще одно знаменательнейшее явление: для художника 1918–1921 годов не существует Красной Армии. Как так? Прошлые годы революции были прежде всего годами войны. Кровь отхлынула от сердца страны к фронтам периферии и там обильно проливалась в течение нескольких лет. Энтузиазм, веру в будущее, самоотвержение свое, ясность мысли, волю свою рабочий авангард вкладывал в эти годы в Красную Армию. Столичная красногвардейская революция конца 17 начала 18-го года в борьбе за самосохранение перелилась в фронтовые дивизии и полки. Пильняк это проглядел. Красная Армия не существует для него. Оттого 19-й год для него только голый год.

Но должен же быть у Пильняка какой-нибудь ответ на вопрос: для чего все это? Должна же у него быть своя философия революции? Вот здесь-то и открывается наиболее тревожное обстоятельство: историческая философия Пильняка совершенно ретроградна; художественный попутчик революции рассуждает так, как если бы путь ее вел не вперед, а назад. Революция тем приемлема для Пильняка, что народна, а народна она тем, что сбрасывает Петра и возрождает XVII век. Выходит так революция тем национальна, что ретроградна.

«Голой год», главное произведение Пильняка, весь в этой двойственности. Метель, наговоры, поверья, лешие и живущие столетним быком сектанты, которым Петроград ни к чему, — это фон, грунт, основа. А с другой стороны, но уж мимоходом — «завод самовозродился» — самодеятельностью группы провинциальных рабочих! «это ли не поэма, стократ величавее воскресения Лазаря?»

Город в 1918–1919 годах расхищается, и Пильняк приветствует это, ибо вдруг оказывается, что и ему «Петроград ни к чему». А с другой стороны, опять-таки мимоходом — большевики, кожаные куртки: «из русской рыхлой, корявой народности — отбор. В кожаных куртках — не подмочишь. Так вот знаем, так вот хотим, так вот поставили — и баста». Между тем большевизм — продукт городской культуры. Без Петербурга никогда бы не совершиться этому отбору «из рыхлой народности». Колдовские обряды, народные песни, вековые слова. Это основа. Но и «Гвиу, Гау, Главбум, Гувуз! Ах, какая метель! Как метельно!.. Как хо-ро-шо!..» Хорошо-то хорошо, только концы с концами не сведены, а это уж не хорошо.

Россия и впрямь полна противоречий, и притом самых крайних: колдовской наговор и рядом Главбум. Литературные человечки презрительно морщатся по поводу терминологических новообразований, а Пильняк повторяет: «Гувуз, Главбум... Как хорошо!» В этих непривычных, временных словах — как временен бивуак, как временен костер на берегу реки (бивуак — не дом, костер — не очаг!) — Пильняк чувствует отражение

духа своего времени. «Как хо-ро-шо!» И впрямь хорошо, что Пильняк это чувствует (особенно если всерьез и надолго). Но как же быть с городом, которому революция, им же порожденная, нанесла столь тяжкий ущерб? Тут у Пильняка провал. Он ни умом, ни чувством своим не решил для себя, что выбрать в хаосе противоречий. А выбирать нужно. Революция пересекла время пополам. И хотя в сегодняшней России знахарский наговор живет рядом с Гвиу и Главбумом, но они живут не в одной исторической плоскости. Гвиу и Главбум, как ни несовершенны, тянут вперед, а наговор, как ни «народен», — мертвый груз истории. Хорош сектант Донат, кряжистый мужик, конокрад твердых правил (чаю не пьет). Ему-то Петербург, пожалуй, и не нужен. Хорош и большевик Архипов, который управляет уездом, а на рассвете зубрит иностранные слова по книжке, умен, тверд, говорит «энергично фукцировать» и, главное, сам «фукцирует» со всей энергией. Но революция-то в ком же из них? Донат — это неисторическая, «зеленая» Россия, непереваренный XVII век. Архипов же — XXI век, хоть и плохо знает иностранные слова. Если перетянет Донат и растащит этот степенный благочестивый конокрад обе столицы и чугунку, тогда конец революции и вместе с нею — России. Время рассечено на живую и мертвую половины, и надо выбирать живую. Не решается, колеблется в выборе Пильняк и для примирения приделывает большевику Архипову пугачевскую бороду. Но это уже бутафория. Мы Архипова видали: он бредется.

Знахарь Егорка говорит: «Россия сама себе умная. Немец — он умный, да ум-то у него дурак... „А Карла Марксов?“ — спрашивают. — Немец, говорю, а стало быть, дурак. — „А Ленин?“ — Ленин, говорю, из мужиков, большевик, а вы должно коммунысты...» За знахаря Егорку прячется Пильняк. И тот факт, что за большевиков он говорит открыто («отбор»), а против «коммуныстов» юридическим языком знахаря, вот это-то и тревожно. Ибо что у него внутреннее и глубже? Как бы на одной из станций не пересел попутчик во встречный поезд...

Художественная опасность тут непосредственно вытекает из политической. Растворение революции в мужичьем бунте и быте — если бы Пильняк на этом упорствовал — означало бы дальнейший сдвиг его художественных приемов в сторону упрощенности. И сейчас у Пильняка не картина революции, а только грунт и фон для нее. Грунт сделан смелой и хорошей рукой, но беда, если мастер решит, что грунт-то и есть картина. Октябрьская революция — это город, Петербург и Москва. «Революция продолжается», — роняет мимоходом Пильняк. Но ведь вся дальнейшая работа революции будет направлена на индустриализацию и модернизацию хозяйства, на уточнение приемов и методов строительства во всех областях, на искоренение идиотизма деревенской жизни, на усложнение и обогащение человеческой личности. Пролетарская революция может быть технически и культурно завершена и оправдана только через электрификацию, а не через возвращение к лучине, через материалистическую философию действенного оптимизма, а никак не через лесные суеверия и застойный фатализм. Беда, если Пильняк и впрямь захочет быть поэтом лучины с претензиями революционера! Тут не политический ущерб, конечно, — кому придет в голову тянуть Пильняка в политику, — а самая реальная и непосредственная художественная опасность. Ошибка в историческом подходе, а за ней фальшь мироощущения и кричащая двойственность, а отсюда — уклонение от важнейших сторон действительности, сведение всего к примитиву, к социальному варварству, дальнейшее огрубление изобразительных

приемов, натуралистические излишества, озорные, но не храбрые, ибо все же не доведенные до конца, а там, глядишь, и мистицизм или мистическое притворство (по паспорту романтика), т. е. уже полная и окончательная смерть.

Уже и сейчас Пильняк при любой okazji, особенно затруднительной, предъявляет паспорт романтика. Особенно когда ему случается не туманно и слегка двусмысленно, а вполне отчетливо проявить свое пристрастие революции, он сейчас же делает (по Андрею Белому) типографский уступ в несколько квадратов и совсем другим тоном заявляет: не забудьте, пожалуйста, что я романтик. Пьяным сплошь и рядом приходится изображать высшую солидность, но не так редки и трезвые, которые для выхода из затруднительного положения прикидываются выпившими. Не принадлежит ли Пильняк к их числу? И когда он настойчиво называет себя романтиком и просит, чтоб не забывали, — не говорит ли в нем испуганный реалист, которому не хватает кругозора? Революция вовсе не есть прорванный сапог плюс романтика. Искусство революции вовсе не в том, чтобы не видеть правды или усилием фантазии преобразовать — для себя, для собственного употребления — суровую реальность в пошлость «творимой легенды». Психология творимой легенды противоположна революции. Ею начиналась контрреволюционная эпоха после 1905 г., с мистикой и мистификацией.

Принять рабочую революцию во имя возвышающего обмана — значит не только отвергнуть, но и оклеветать ее. Все социальные иллюзии, какие только набредило человечество — в области религии, поэзии, права, морали, философии, — для того и служили, чтобы обмануть и связать угнетенных. Социалистическая революция срывает покровы иллюзий, «возвышающих», т. е. унижающих, обманов смывает (кровью) с реальности грим и в той мере сильна, в какой реалистична, целесообразна, стратегична, математична. Уж-ли же революция — вот эта, что перед нами, первая с тех пор, как земля завертелась, — нуждается в приправе из романтических отсебятин, как какое-нибудь кошачье мясо под рагу нуждается в «заячьем» соусе? Предоставьте это Белым: пусть дожевывают обывательскую кошатину под антропософическими соусами.

При всей значительности и свежести пильняковской манеры тревогу вызывает ее манерность, притом нередко подражательная. Совершенно непонятно, каким образом Пильняк мог попасть в художественную зависимость от Белого, и притом от худших сторон Белого? Навязчивый субъективизм, в виде повторяющихся зачастую сумбурных лирических вставок; быстрые и немотивированные литературные перебежки от бытового ультрареализма к каким-то неожиданным психофилософским вещаниям; расположение текста типографскими уступами; совершенно неуместные, по механической ассоциации притянутые цитаты, — все это не нужно, надоедливо и подражательно: черным по... Белому. Но Андрей Белый с хитрецей: он прикрывает лирической истерией прорехи своего учительства. Белый — антропософ, набрался мудрости у Рудольфа Штейнера, стоял на часах у немецко-мистического храма в Швейцарии, пил кофе и ел сосиски. И так как мистическая философия Белого скудна и жалка, то в его литературные приемы вошло для прикрытия наполовину искреннее (истерическое), наполовину сработанное по словарю шарлатанство, и чем дальше, тем больше. Но Пильняку-то это зачем? Или Пильняк тоже собирается преподавать нам трагически-утешительную философию искупления с шоколадом Гала Петер на закуску? Пильняк ведь берет мир в его телесности, и в этой телесности ценит его. Откуда же эта зависимость от Белого?

Очевидно, что и здесь, как в кривом зеркале, отражается внутренняя потребность Пильняка в синтетической картине. Пробелы в духовном охвате порождают слабость его к Белому, словесному декоратору духовных провалов. Но это для Пильняка дорога вниз. А как бы хорошо ему скинуть с себя полуштуговскую манеру русского штейнерьянца и двинуться выше, собственной дорогой.

Пильняк — писатель молодой, но все же не юноша. Он вошел в самый критический возраст. И большой опасностью тут является преждевременная, так сказать, скоропостижная маститость: еще не перестал быть подающим надежды, как уже стал оракулом. Пишет, как оракул: и по многозначительности, и по темноте, жречески намекает, учительствует, а ему надо учиться и учиться, ибо концы с концами у него не связаны не только общественно, но и художественно. Техника его неустойчива и неэкономна, голос ломается и срывается, подражательность бьет в глаза... Все это, может быть, и неизбежные болезни роста, но при одном условии: чтоб без маститости. Если же при ломком голосе самодовольство и учительство, то от бесславного конца не спасет и большой талант. Это и в дореволюционные времена было уделом многих наших подававших надежды, которые сразу окунались в маститость и захлебывались в ней. Пример Леонида Андреева надо бы ввести в хрестоматии для подающих надежды.

Талантлив Пильняк, но и трудности велики. Надо ему пожелать успеха.

### **Мужиковствующие**

Нельзя ни понять, ни принять, ни изобразить революцию, хотя бы частично, если не видеть ее в целом, с ее объективными историческими задачами, которые для руководящих сил движения становятся целями. Если этого нет, то нет оси, нет и революции, она распадается на эпизоды и анекдоты, героические или зловещие. Можно из них составить более или менее искусные картины, но нельзя воссоздать революции, и уж, конечно, нельзя примириться с нею: если небывалые жертвы ее и лишения бесцельны, тогда история — сумасшедший дом.

И Пильняк, и Всеволод Иванов, и Есенин как бы стремятся раствориться в водовороте, без размышлений и без ответственности. Растворяются же они не в том смысле, что их не видно — это было бы им не в упрек, а в хвалу, и этой хвалы они не заслужили; наоборот, их слишком видно: Пильняка — в его рисовке и манерности, Всеволода Иванова — в его захлебывающейся лиричности, Есенина — в его перегруженном «озорстве». Беда в том, что между ними и революцией, как материей их творчества, нет идейной дистанции, обеспечивающей художественную перспективу. И нежелание и неумение литературных попутчиков охватить революцию, сливаясь с нею, но не растворяясь в ней, взять ее не только как стихию, но и как целевой процесс, — вовсе не индивидуальная, а социальная черта. Большинство попутчиков принадлежит к мужиковствующим интеллигентам. Интеллигентское же приятие революции, с опорой на мужика, без юродства не живет. Оттого попутчики не революционеры, а юродствующие в революции. До тревоги неясно, с чем, собственно, они примиряются в ней — с тем ли, что она есть исходный пункт упорного движения вперед, или с тем, что она нас в некоторых отношениях двинула

назад, ибо есть факты обеих категорий. Мужик, как известно, попытался принять большевика и отвергнуть коммуниста. Это значило, по существу, что кулак, подмяная под себя середняка, пытался ограбить историю и революцию: прогнавши помещика, хотел растащить по частям город и повернуть жирный тыл государству. Петербург кулаку не нужен (по крайней мере для начала) и, если столица «пошла в лишаи» (Пильняк), то так ей и надо. Не только мужицкий напор на помещика — неизмеримо значительный, неопределимый по историческим последствиям, — но и напор мужика на город вошел необходимым элементом в революцию. Однако это еще не вся революция. Город живет и руководит. Если выкинуть город, т. е. отдать его на растерзание: экономическое — кулаку, художественное — Пильняку, то останется не революция, а бурный и кровавый попятный процесс. Крестьянская Россия, лишенная городского руководства, не то что не доберется до социализма, но не устоит на ногах и двух месяцев и поступит, в качестве навоза или торфа, на расточение к мировому империализму. Вопрос политики? Вопрос мирозерцания, следовательно, и вопрос большого искусства. И на этом вопросе надо остановиться.

Не так давно Чуковский поощрял Алексея Толстого к примирению — не то с революционной Россией, не то с Россией, несмотря на революцию. И главный довод у Чуковского был тот, что Россия все та же и что русский мужик ни икон своих, ни тараканов ни за какие исторические коврижки не отдаст. Чуковскому чудится за этой фразой, очевидно, какой-то большущий размах национального духа и свидетельство неискоренимости его... Опыт семинарского отца-эконома, выдававшего таракана в хлебе за изюмину, распространяется Чуковским на всю русскую культуру. Таракан, как «изюмина» национального духа! Какая это в действительности поганенькая национальная приниженность и какое презрение к живому народу! Добро бы сам Чуковский верил в иконы. Но нет, ибо не брал бы их, если б верил, за одну скобку с тараканами, хотя в деревенской избе таракан и впрямь охотно прячется за иконой. Но так как корнями своими Чуковский все же целиком в прошлом; а это прошлое, в свою очередь, держалось на мохом и суеверием обросшем мужике, то Чуковский и ставит между собой и революцией старого заиконного национального таракана в качестве примиряющего начала. Стыд и срам! Срам и стыд! Учились по книжкам (на шее у того же мужика), упражнялись в журналах, переживали разные «эпохи», создавали «направления», а когда всерьез пришла революция, то убежище для национального духа открыли в самом темном тараканьем углу мужицкой избы.

Чуковский только бесцеремоннее, но мужиковствующие сплошь загибают в сторону примитивного, тараканом отдающего национализма. Несомненно, что в самой революции совершаются процессы, которые с этим национализмом в разных точках соприкасаются. Хозяйственный упадок, усиление провинциализма, реванш лаптя над сапогом, брага и самогон — все это тянет (сейчас уж можно сказать: тянуло) назад, в глубь веков. А параллельно наблюдался и некоторый сознательный поворот к «народному» в литературе. Высокое развитие городской частушки у Блока («Двенадцать»), народнопесенные мотивы (у Ахматовой и много манернее — у Цветаевой), прилив областничества (В. Иванов), довольно механическое вкрапливание частушки, обряда и пр. в текст повествования у Пильняка — все это, несомненно, вызвано революцией, т. е. тем, что народная масса, как она есть, заняла собою передний план. Можно указать и другие проявления поворота к

«национальному», еще более мелкие, случайные и поверхностные. Например, в военной форме, наряду с френчем и отвратительными галифе, наблюдаем приближение к стрелецкому кафтану и шапке-богатырке. Хотя в других областях мода еще не обнаружилась за общей скудостью, но можно с известными основаниями полагать и там тяготение, не бог весть какое глубокое, к народным образцам: «мода», в широком смысле слова, у нас была иностранная и распространялась на имущие классы, полагая тем самым довольно резкий общественный водораздел. Выступление трудящихся, в качестве правящего класса, должно было неизбежно вызвать реакцию против заимствования буржуазных образцов в разных областях жизненного обихода.

Совершенно очевидно, что хозяйственный сдвиг к лаптям, самодельной лыковой веревке и самогону есть не социальная революция, а хозяйственная реакция, т. е. главная помеха революции. В области же сознательного поворота к прошлому и к «народному» наблюдаемые явления крайне зыбки и поверхностны. Было бы неосновательно ждать развития новой литературной формы из городской частушки или крестьянской песни: дальше «вкрапливания» дело тут вряд ли пойдет. Избыточные областные слова литература извергнет. Стрелецкий кафтан и сейчас уж порядочно интернационализирован по соображениям экономии в сукне. Национальное своеобразие нашего нового быта и нового искусства будет менее показным, но куда более глубоким и обнаружится лишь значительно позднее. По существу же революция означает окончательный разрыв народа с азиатчиной, с XVII столетием, со святой Русью, с иконами и тараканами; не возврат к допетровию, а, наоборот, приобщение всего народа к цивилизации и перестройка ее материальных основ в соответствии с интересами народа. Петровская эпоха была только одним из первых приступочков исторического восхождения к Октябрю и через Октябрь далее и выше. В этом смысле Блок заглянул глубже Пильняка. У Блока тенденция революции выражается в законченной частушечной формуле: «Пальнем-ка пулей в святую Русь, в кондовую, в избяную, в толстозадую!» Разрыв с XVII веком, с избяной Русью, является для мистика Блока святым делом, даже условием примирения с Христом. В этой архаической оболочке заключена та мысль, что самый этот разрыв не извне навязан, а есть результат национального развития и отвечает его глубочайшим запросам. Без этого разрыва загнил бы народ. Ту же мысль о национальном характере революции выражает интересное стихотворение Брюсова о старушках парках «в день крестильный, в октябре».

И на площади, — мне сказывали, — Там, где Кремль стоял, как цель, Нить разрезав, цепко связывали К пряже — свежую кудель.

Что же такое, собственно, это «национальное»? Тут приходится немножко зачитать по складам. Пушкин, который не верил в иконы и не жил с тараканами, не был национален. Не национален, разумеется, и Белинский. Да и еще кой-кого можно насчитать, даже не затрагивая современности. По Пильняку, национальное было в XVII веке. Петр антинационален. Выходит, что национально только то, что представляет мертвый груз развития, от чего дух движения отлетел, что проработано и пропущено через себя национальным организмом в прошлые века. Выходит, что национальны только экскременты истории. А по-нашему наоборот. Варвар Петр был национальное всего бородатого и разужоренного прошлого, что противостояло ему. Декабристы национальнее официальной государственности Николая I с ее крепостным мужиком, казенной иконой и

штатным тараканом. Большевизм национальное монархической и иной эмиграции, Буденный национальное Врангеля, что бы ни говорили идеологи, мистики и поэты национальных экскрементов. Жизнь и движение нации совершаются через противоречия, воплощенные в классах, партиях, группах. В динамике своей национальное совпадает с классовым. Во все критические, т. е. наиболее ответственные, эпохи своего развития нация сламывается на две половины — и национально то, что поднимает народ на более высокую хозяйственную и культурную ступень.

Революция вытекла из национальной «стихии», но это вовсе не значит, что в революции жизненно или национально только стихийное, как кажется поэтам, приобщившимся к революции.

Для Блока революция есть возмущенная стихия: «ветер, ветер — на всем божьем свете!» Всеволод Иванов почти не поднимается над крестьянской стихией. Для Пильняка революция — метель. Для Клюева, для Есенина — пугачевский и разинский бунты. Стихия, вихрь, пламя, водоворот, кружение. А Чуковский — тот самый, что готов мириться на таракане, — объявлял Октябрьскую революцию ненастоящей, потому что в ней мало пламени. И даже флегматик и сноб Замятин обнаружил у нашей революции недостаток температуры. Тут целая гамма: от трагедии до буффонады, но в основе все-таки и там и здесь пассивно-созерцательное, обывательски-романтическое отношение к революции как к разъяренной национальной стихии.

Но революция вовсе не только вихрь. Крестьянской революционной стихии отвечают Пугачев, Разин, отчасти Махно. Революционной стихии города отвечают Гапон, отчасти Хрусталев и даже Керенский. Это еще, однако, не революция, а только смута или суматоха на смуте, как керенщина. Революция же есть прежде всего борьба рабочего класса за власть, за утверждение власти, за преобразование общества. Она проходит через высочайшие свои кульминации, через острейшие пароксизмы кровавых схваток, но единой и неделимой она остается во всем своем течении — от первых робких истоков своих и до идеального заключительного момента, когда организованное революцией государство растворится в коммунистическом обществе.

Поэзия революции не в пулеметной стрельбе, и не в баррикадных боях, и не в героизме падающего, и не в торжестве победившего, ибо все эти моменты имеются и в войне насилия, — и там льется кровь, и даже обильнее, трещат пулеметы, есть победившие, есть победители. Пафос революции и поэзия ее в том, что новый революционный класс подчиняет себе все эти средства борьбы и, во имя новых целей, расширяющих и обогащающих человека, преобразующих нового человека, ведет борьбу со старым миром, падает, поднимается — до тех пор, пока не победит. Поэзия революции синтетична, ее нельзя разменять на мелкую монету для временного лирического обихода сочинителей сонетов. Поэзия революции не портативна — она в тяжеловесной борьбе рабочего класса, в росте его, в упорстве его, в его поражениях, в его повторных усилиях, в жестоких затратах энергии, оплачивающих каждую завоеванную пядь, в возрастающей отсюда воле и напряженности борьбы, в торжестве побед, но и в рассчитанных отступлениях и в выжидании, и в напоре, и в стихийном разливе массового возмущения, и в точном учете сил, и в шахматном ходе стратегии. Революция прорастает первой заводской тачкой, на которой ожесточившиеся рабы вывозят своего надсмотрщика; первой стачкой, которой

они отказывают хозяину в своих руках; первым подпольным кружком, где утопическая фантастика и революционный идеализм питаются из реальности социальных язв. Она протекает приливами и отливами, раскачиваемая ритмами экономической конъюнктуры, ее подъемами и кризисами. Тараном окровавленных тел она пробивает себе первый выход на арену эксплуататорской легальности, просовывает туда свои шупальца и даже придает им, если нужно, защитный цвет. Она строит профессиональные союзы, страховые кассы, кооперативы, кружки самообразования. Она проникает во вражеские парламенты, создает газеты, агитирует и в то же время ведет неутомимый отбор всему лучшему, неустрашимому, обреченному, что есть в рабочем классе, и строит свою партию. Стачка приводит чаще к поражению, чем к полупобеде; демонстрация отмечается новыми жертвами, новой кровью, — но все это зарубки в памяти класса, ими крепнет и закаляется союз отборных, партия революции.

Она действует не на пустой исторической арене и потому не вольна выбирать свои пути и сроки. С течением условий она оказывается вынужденной к решающим действиям прежде, чем получила возможность собрать для этого достаточно сил: это 1905 год. С высоты, куда ее возносит ее самоотверженное мужество и ясность целей, она обречена низвергнуться вниз за недостатком организованной поддержки масс. Плоды многолетних усилий вырваны из ее рук. Организация, только что казавшаяся всемогущей, разбита, раздроблена. Лучшее истреблено, заточено, разогнано, рассеяно. Кажется, что с ней покончено. И поэтики, патетически бряцавшие вокруг нее в минуту преходящего торжества, перестраивают свои лиры на пессимистический, мистический, эротический лад. Сам пролетариат кажется обескураженным и деморализованным. Но, в последнем счете, в его сознание въедается новая, важнейшая зарубка, от которой нет уже пути назад. И поражение становится ступенью к победе. Новые усилия со скрежетом зубов, новые жертвы — авангард шаг за шагом собирает свои рассеянные ряды, приобщает к себе лучшие элементы нового поколения, пробужденные разгромом старого. Обескровленная, но не побежденная резолюция живет в глухой ненависти подавленных и разобщенных рабочих кварталов и деревень. Она живет в ясном сознании немногочисленной, но уже испытанной старой гвардии, которая, не испугавшись поражения, берет его сейчас же на учет, анализирует, оценивает, взвешивает, определяет новые опорные пункты, вскрывает общую линию развития и намечает путь. Через пять лет после разгрома движение снова прорывается наружу весенней волной 1912 года. Из революций выросший материалистический метод, позволяющий учитывать силы, предвидеть изменения в них и в рамках этого предвидения направлять события, — есть высшее достижение революции и вместе с тем ее высшая поэзия. Стачная волна нарастает в непреодолимой планомерности, и под ней сразу чувствуется более глубокая база массы и опыта, чем в 1905 году. Но война, выросшая закономерно из того же предшествовавшего развития и тоже предвиденная, пересекает линию нарастающей революции. Национализм затопляет все; громящая военщина выражает волю нации; социализм кажется погребенным навсегда. Но как раз в момент крайнего видимого падения революция формулирует наиболее дерзкий свой прогноз: переход империалистской войны в гражданскую и захват власти рабочим классом. Под грохот артиллерийских тракторов по шоссе и под одинаковый на всех языках вой шовинизма революция собирает свои силы на дне траншей, на фабриках и в деревнях. Народные массы впервые схватывают с нестерпимой остротой внутреннюю связь исторических событий. Февраль 1917 года в России есть



крупная победа революции. И в то же время эта победа кажется уничтожающим осуждением революционных посягательств пролетариата как гибельных и безнадежных. Воцаряется эпоха Керенского, Церетели, революционно-патриотических полковников и поручиков, многословной, косоглазой, чадающей, глуповатой и подловатой черновщины.

О, блаженные лица молодых сельских учителей и новых волостных писарей под теноровые звуки Авксентьева! О, революционно-утробный хохот демократии, потом бешеный вой ее в ответ на речи «ничтожной кучки» большевиков! И однако же крушение бутафорского могущества «революционной демократии» было предопределено более глубоким соотношением сил, нарастающими настроениями масс, предвидением и действием революционного авангарда. И поэзия революции была не только в стихийном нарастании октябрьского приboя, но и в ясном сознании и в напряженной воле руководящей партии. В июле, когда нас разгромили, разогнали, заточили, объявили шпионами Гогенцоллернов, лишили огня и воды, когда пресса демократии навалила на нас могильные курганы клеветы, — мы чувствовали себя — в подполье и тюрьмах — победителями и хозяевами положения. В этой предопределенной динамике революции, в ее политической геометрии — высшая ее поэзия.

Октябрь пришел только как завершение и сразу же привел за собою необъятные новые задачи и неизмеримые трудности. Дальнейшая борьба требовала всего разнообразия методов и средств: и бешеного красногвардейского натиска, и выжидательно-уклончивой формулы «ни войны, ни мира», и временной капитуляции перед ультиматумом врага. Но и в Брест-Литовске, сперва отказывая Гогенцоллерну в мире, а затем подписывая его не прочитавши, партия революции чувствовала себя не побежденной, а завтрашней хозяйкой положения. Революционной логике событий она помогала своей дипломатической педагогией. Ноябрь 1918 года был ей ответом. Историческое предвидение не может, правда, иметь математической точности. В одном случае оно преувеличивает, в другом недооценивает. Но сознательная воля авангарда входит все более возрастающим фактором в механику сил, подготавливающих будущее. Ответственность революционной партии углубляется и усложняется. Партия проникает своими органами во всю толщу народа, прощупывает, оценивает, предугадывает, подготавливает, направляет. Правда, она отступает в этот период чаще, чем наступает. Но ее отступления не изменяют общей линии ее исторического действия. Это только эпизоды, излучины большого пути. Пэн «прозаичен»? Ну еще бы! Участие в родзянkinской Думе, подчинение председателскому звонку Чхеидзе и Дана в первом Совете, переговоры с фон Кюльманом в Брест-Литовске тоже не были привлекательны. Но полетели Родзянко и его Дума, опрокинуты Чхеидзе и Дан, фон Кюльман и его господин... Пришел нэп. Пришел и уйдет. Художник, для которого революция теряет свой аромат, не снеся ароматов Сухаревки, есть пустышка и дрянцо. Поэтом революции — при прочих необходимых данных — он станет тогда, когда научится охватывать ее в целом, оценивать ее поражения как ступени к победе, проникнет в планомерность ее отступлений и в напряженной подготовке сил в периоды отлива стихии сумеет найти неумирающий пафос революции и ее поэзию.

Октябрьская революция глубоко национальна, но это не только стихия, это также и академия нации. Искусству революции надо пройти через эту академию. И это очень трудный курс.

По крестьянской основе своей русская революция — уже в силу своих необъятных пространств и культурной чересполосицы — самая хаотическая и бесформенная из всех революций. Но по руководству своему, по методу ориентировки, по своей организации, по целям своим и задачам — она самая «правильная», самая продуманная и законченная из революций. В сочетании этих двух крайностей душа нашей революции, ее внутренний облик.

В своей книжке о футуристах Чуковский, у которого на языке то, что у более осторожных на уме, назвал по имени основной порок Октябрьской революции: «По внешности буйная, катастрофическая, а по существу — расчетливая, мозговая, себе на уме». Революцию только буйную, только катастрофическую они бы в конце концов признали и даже повели бы от нее, они или прямые их потомки, свою родословную, ибо революция не расчетливая и не мозговая никогда не довела бы дела до конца, т. е. до победы эксплуатируемых над эксплуататорами, и никогда не подорвала бы материальной базы под приживальческим искусством и приживальческой критикой. Во всех прежних революциях масса была и буйной и катастрофической, но расчетливой и себе на уме была за нее буржуазия, которая благодаря этому и пожинала плоды победы. Такую революцию, где массы проявляют энтузиазм, самоотвержение, но не политический расчет, господства эстетов, романтики, стихийники, мистики, вертлявые критики приняли бы без затруднений и канонизировали бы по твердо установленному романтическому ритуалу. Раздавленная рабочая революция нашла бы великодушное эстетическое признание со стороны того искусства, которое пришло бы в обозе победителя. Очень утешительная перспектива, что и говорить. Но мы предпочитаем победоносную революцию, хотя бы и лишенную художественного признания со стороны того искусства, которое пребывает в обозе побежденных.

Герцен сказал, что гегелево учение — алгебра революции. Это определение может быть с гораздо большим правом перенесено на марксизм. Материалистическая диалектика классово-борьбы — вот подлинная алгебра революции. На видимой внешним глазом арене — хаос, половодье, бесформенность и безбрежность. Но этот хаос учтен и смирян. Его этапы предвидены. Законность их чередования предвосхищена и замкнута в стальные формулы. В элементарном хаосе бездна слепоты. Но в руководящей политике зречность и бдительность. Революционная стратегия не бесформенна, как стихия, а закончена, как математическая формула. Впервые в истории мы видим революционную алгебру в действии.

Вот эта именно первостепенная черта, идущая не от деревни, а от промышленности, от города, от последнего слова его духовного развития — ясность, реалистичность, физическая сила мысли, беспощадная последовательность, отчетливость и твердость линий — эта основная черта Октябрьской революции чужда ее художественным попутчикам. И оттого они только попутчики. И это нужно сказать им — в интересах той же ясности и отчетливости линий революции.

### **Вкрадчивое сменовеховство**

Лежнев в журнале «Россия», который считался органом сменовеховцев, нападает со всей энергией, на какую способен, т. е. не очень большой, на сменовеховцев вообще. Не без основания обличает он их в запоздало-скороспелом славянофильстве. Действительно, на этот счет не без греха: стремление сменовеховцев породниться с революцией весьма похвально, но те идеологические костыли, которые им для этого понадобились, выглядят довольно-таки неуклюже. Казалось бы, неожиданный несколько поход Лежнева нужно бы только приветствовать. А на деле выходит не так. Сменовеховцы, беспомощно и неуклюже ковыляя, вывернув носки внутрь, как бы подходили к революции, а Лежнев бодро и молодежато отходит от нее еще дальше. Если его смущает запоздалое и не очень продуманное славянофильство Ключникова или Потехина, то не потому, что это славянофильство, а потому, что это идеология; ему же хочется освободиться от идеологии вообще. Он называет это: утвердить жизнь в ее правах.

Вся статья построена чрезвычайно дипломатично и по-своему продумана до конца. Автор ликвидирует революцию и с нею мимоходом то поколение, которое ее совершило. Строит он свою историческую философию так, как если бы дело шло о защите нового поколения, ныне формирующегося в Советской нашей России, против стариков — идеалистических демократов, доктринеров и проч., к которым г. Лежнев относит кадет, эсеров и меньшевиков. Но что это за новое поколение, которое он приемлет и берет под свое покровительство? Сперва кажется, что это то самое поколение, которое круто оборвало преемственность демократической идеологии со всеми ее фикциями, установило советский режим и, худо ли, хорошо ли, ведет революцию далее. Сперва так кажется — и Лежнев вызывает это представление с тонким психологическим расчетом: так легче войти в доверие читателя, чтобы прибрать его затем к рукам. Во второй части статьи поколений оказывается не два, а три: то, которое подготавливает революцию, но оказывается по общему правилу неспособным ее совершить; то, которое совершает ее — в ее «героической» и «разрушительной» работе; и третье — то, которое призвано не нарушить закон, но исполнить. Это новое поколение характеризуется несколько неопределенно, но тем более вкрадчиво: крепыши, строители без предрассудков, вообще без всего лишнего. А лишним г. Лежнев считает всякую вообще идеологию. Революция, видите ли, как и жизнь вообще, «творится, как река течет, как птица поет и совсем не телеологична сама по себе». Эта философская пошлость сопровождается однородными с ней кивками по адресу доктринеров революции, каковыми оказываются все и каждый, кто вооружен теоретической доктриной революции и видит перед ней определенную цель и творческие задания. Что это в самом деле значит, что жизнь не телеологична «сама по себе», а творится, как река течет? О какой жизни тут речь? Если о физиологическом обмене веществ, то это более или менее правильно, хотя и в этой области человек прибегает к телеологии, в форме кулинарного искусства, гигиены, медицины и проч.: в этом отличие его жизни от текущей реки. Но жизнь состоит еще из кое-чего, стоящего над физиологией. Так, труд человеческий, т. е. то именно, чем человек отличается от животного, насквозь телеологичен: вне целесообразно направленной затраты энергии нет труда. А труд занимает кое-какое место в человеческой жизни. Искусство, даже самое «чистое», насквозь телеологично, ибо, если оно отрывается от больших целей, хотя бы и неосознанных художником, оно вырождается в побрякушки. Политика есть воплощенная телеология. Революция же есть сгущенная политика, приведшая в движение многомиллионные массы. Как же революция возможна без телеологии?

И в связи с этим в высшей степени знаменательно отношение Лежнева к Пильняку. Этот последний объявляется Лежневым истинным художником, почти художественным творцом революции. «Он ее воспринял, пронес, несет в себе»... и проч. Напрасно обвиняют Пильняка в том, что для него революция растворяется в стихии. В этом-то и есть, как оказывается, сила художника. Пильняк «воспринял революцию не снаружи, а изнутри, дал ей динамику, вскрыл ее органическую природу». Что это значит: понять революцию изнутри? Казалось бы, что это значит взглянуть на нее глазами ее наибольшей динамической силы, рабочего класса, его сознательного авангарда. Что значит взглянуть на революцию извне? Казалось бы, увидеть в революции только стихию, незрячий процесс, метель, сутолоку фактов, людей, теней. Это и значит — взглянуть на нее извне. А именно так взглянул на нее Пильняк.

В отличие от нас, схематиков, Пильняк дал «художественный синтез России и революции». Но каким образом возможен «синтез» России и революции? Разве революция явилась извне или со стороны? Разве революция не есть историческое состояние России? Разве можно отделить, противопоставить Россию революции, а стало быть, и синтезировать их? Это все равно что говорить о синтезе человека с его возрастом, о синтезе женщины с ее родовым процессом. Откуда эта чудовищная комбинация слов и понятий? Да именно из подхода к революции извне, со стороны. Революция для них — происшествие гигантское, но неожиданное; Россия — не реальная, с ее прошлым и с тем будущим, которое было в нем заложено, — а та привычная, условная Россия, которая отложилась в их консервативном сознании, не мирится с революцией, которая на них обрушилась. И этим людям необходимо логическое и психологическое усилие и очень длительное, чтобы «синтезировать» Россию с революцией с наименьшим ущербом для своего душевного хозяйства.

Пильняк — в своих минусах, в своих слабостях — есть художник, как бы созданный для них. Отказ от революционной телеологии есть по существу дела низведение революции к преходящему мужицкому мятежу. В этом и состоит ведь продуманный или непродуманный подход к революции большинства тех писателей, которых мы назвали попутчиками. Пушкин сказал, что наше народное движение — это бунт, бессмысленный и жестокий. Конечно, это барское определение, но в своей барской ограниченности — глубокое и меткое. Пока революционное движение сохраняет крестьянский характер, оно «не телеологично», чтобы говорить, как Лежнев, или «бессмысленно», если предпочесть Пушкина. Крестьянство никогда не возвышалось самостоятельно в истории до обобщающих политических целей, и мужицкие движения приводили либо к пугачевщине и разинщине, неизменно подавлявшимся на протяжении всей истории, либо служили опорой для борьбы других классов. Чисто крестьянской революция не бывала никогда и нигде. Там, где крестьянство не находило руководителя, в лице ли буржуазной демократии, как в старых революциях, или пролетариата, как у нас, движение его наносило удары существующему режиму, потрясало его, но никогда не завершалось планомерным переворотом. Революционное крестьянство никогда не было способно создать государственной власти. В борьбе оно строило партизанские отряды, но никогда не возвышалось до централизованной революционной армии. Поэтому оно терпело поражения. Как знаменательно, что наши революционные поэты почти сплошь возвращаются вспять к Пугачеву и Разину! Василий Каменский поэт Разина, а Есенин —

Пугачева. Не то, конечно, плохо, что поэты вдохновляются этими драматическими моментами русской истории, а плохо и преступно то, что иначе они не умеют подойти к нынешней революции, растворяя ее тем в слепом мятеже, в стихийном восстании и вычеркивая сто — полтора столетия русской истории как не бывало. А «жизнь мужичья известная, — говорит Пильняк, — поесть, чтобы поработать, поработать, чтобы поесть, да, кроме того, родиться, родить да умереть». Конечно, это огрубление крестьянской жизни, однако огрубление художественно-законное. Но ведь что же такое наша революция, если не бешеное восстание против стихийного, бессмысленного, биологического автоматизма жизни, т. е. против мужицкого корня старой русской истории, против бесцельности ее (нетелеологичности), против ее «святой» идиотической каратаевщины — во имя сознательного, целесообразного, волевого и динамического начала жизни? Если это отнять от революции, то она не стоит тех свечей, которые при ней и ради нее сжигали, а ведь сжигались не только свечи.

Было бы, однако, клеветой не только на революцию, но и на мужика сказать, что пильняковская, а тем более лежневская точка зрения есть подлинный мужицкий подход к революции. Нет, великое наше историческое завоевание в том и состоит, что сам мужик неуклюже, по-медвежьи, с остановками и рецидивами, но отпластовывается от старого, безмысленного и бессмысленного быта и втягивается мало-помалу в сферу сознательного строительства. Еще десятки лет пройдут, пока каратаевщина будет выжжена без остатка. Но процесс этот уже начат, и начат хорошо. Точка зрения Лежнева не мужичья: это точка зрения интеллигента-обывателя, который прячется за спину вчерашнего мужика, ибо своей собственной сегодняшней спиной обнаруживать не хочется: очень уж... не художественна.

\* \* \*

### «Неоклассика»

Искусство, видите ли, есть пророчество, произведения искусств — воплощения предчувствий, и, стало быть, искусством революции является... дореволюционное искусство. В альманахе «Шиповник», насквозь проникнутом идейной реакцией, эта философия развивается Муратовым и А. Эфросом, каждым на свой лад, но с однородными выводами. Что война и революция подготовлялись и в материальных условиях, и в сознании классов — это совершенно бесспорно. Что эта подготовка отражалась разными путями в искусстве — также несомненно. Но это, во всяком случае, было предреволюционное искусство — преимущественно искусство предгрозового томления буржуазной интеллигенции. У нас же речь идет об искусстве революции, т. е. ею созданном, из нее черпающем свои новые «предчувствия» и ее, в свою очередь, питающем. Это искусство не позади, а впереди.

Футуристы и кубисты, почти безраздельно господствовавшие над довольно пустынным, впрочем, полем искусства первых годов революции, оказались вытесненными с первоначально захваченных ими позиций как потому, что у них не оказалось, да и не могло по самой сути оказаться достаточных ресурсов для разрешения их необъятных художественных проблем, так и силою одного уже... сокращения советского бюджета. И

вот мы слышим, что идет классика. Более того, мы слышим, что искусство классики и есть искусство революции. Еще того более: классика — «дитя и суть революции» (А. Эфрос). Это, конечно, очень отрадные ноты. Странно только, почему классика вспомнила о своем родстве с революцией лишь после четырехлетнего раздумья? Осторожность поистине — классическая... Но так ли уж верно, что «неоклассика» Ахматовой, Верховского, Леонида Гроссмана и Эфроса есть «дитя и суть революции»? Насчет «сути» это уж, конечно, хвачено сторяча. Но если неоклассика есть «дитя революции», то не в том же ли самом смысле, как и... нэп? Вопрос может показаться неожиданным и прямо-таки неуместным. А между тем он имеет свои законнейшие основания. Вейния нэпа встретили отклик на том берегу в виде «Смены вех», и мы услышали благоую весть: теоретики смены приемлют «суть» революции. Они хотят закрепить и упорядочить ее завоевания, их знамя — «революционный консерватизм» (см. у Ключникова). Для нас нэп есть излучина революционной траектории, которая общим своим устремлением идет вверх; для них излучина определяет по существу все направление траектории. Мы считаем, что исторический поезд только-только пришел в движение и что это его кратковременная остановка на станции, которая служит для того, чтобы набрать воды и поднять пары. Они же считают, что охранению подлежит именно порядок покоя, после того как беспорядок движения наконец приостановлен. Нэп породил смену вех, и нэп толкнул на открытие, что неоклассика есть «дитя революции». «Мы живы; в наших артериях — полный и здоровый пульс; его биение согласно с ритмами протекающего (!) дня; мы не потеряли сна и аппетита от того, что прошлое прошло...» Это очень хорошо сказано.<sup>31</sup> Может быть, даже немножко лучше, чем хотел сам автор. Дети революции, которые, видите ли, не потеряли аппетита от того, что прошлое прошло!.. Аппетитные дети, что и говорить. Но революция вовсе не так нетребовательна, чтобы признать своими тех поэтов, которые, несмотря на революцию, не потеряли сна и не убежали за границу. У Ахматовой есть сильные строки на эту тему: почему она не ушла к тем. И это очень хорошо, что не ушла. Но вряд ли сама Ахматова думает, что ее песни от революции, и автор манифеста неоклассики слишком спешит. Не потерять сна от революции — еще не значит постигнуть «суть». Верно, что футуризм не овладел революцией, но у него есть внутреннее устремление, в известном смысле параллельное ей. Лучшие из футуристов горели и, может быть, горят еще и сейчас. А неоклассика только... не теряет аппетита. Неоклассика очень похожа на поэзию смены вех, т. е. на молочную сестру нэпа.

И это в конце концов естественно. Если футуризм тяготел к хаотической динамике революции, пытаясь выразиться в хаотической динамике слов, то неоклассика выражает потребность в покое, устойчивых формах и правильных знаках препинания. На языке «Смены вех» это можно назвать... «революционным консерватизмом».

\* \* \*

**Мариетта Шагинян**

---

<sup>31</sup> См. сборник «Лирический круг. Страницы поэзии и критики». М., 1922 г. Кстати, обложка этого сборника, ведущего классику на смену кубизма, сделана в духе совершенно внятного кубизма.

Благожелательное и даже «сочувственное» отношение Шагинян к революции источником своим имеет, как теперь совершенно ясно, самое неревOLUTIONционное, азиатскипассивное, христиански-непротивленческое мирозерцание. Объяснительной запиской к нему служит недавно вышедший роман Шагинян «Своя судьба». Здесь все в психологии, притом в психологии трансцендентальной, корнями уходящей в религию. Характер «вообще», душа и дух, судьба нуменальная и судьба феноменальная, сплошь психологические загадки, а чтобы нагромождение их не показалось слишком чудовищным, роман развивается в санатории для душевнобольных. Превосходнейший профессор, проницательнейший психиатр, он же благороднейший муж и отец и необыкновеннейший христианин; жена попроще, но единство в покорности Христу с мужем полное; дочь пытается бунтовать, но затем распластывает себя во имя божье; молодой психиатр, от имени которого ведется рассказ, целиком под стать этой семье: проницательный, мягкий, благочестивый; техник со шведской фамилией, необыкновенно благородный, добрый, мудрый в простоте, всевыносящий, покорный богу; поп Леонид, необыкновенно проницательный, необыкновенно благостный и уж, разумеется, по профессии покорный богу. А вокруг них сумасшедшие и полусумасшедшие, на которых обнаруживается, с одной стороны, проницательность и глубина профессора, с другой стороны, необходимость покорствоваться богу, которому не удалось устроить мир без сумасшедших. Другой молодой психиатр, приехавший сюда атеистом, само собой разумеется, покорился богу. Герои рассуждают о том, признает ли профессор дьявола или же считает зло безличным, и склоняются к тому, чтобы обойтись без дьявола. На обложке показан: 1923 год, Москва — Петроград! Чудеса в решете, да и только!

Проницательные, добрые и благочестивые герои Шагинян порождают не сочувствие, а полное безразличие, переходящее моментами в тошноту. И это несмотря на то, что умный автор виден, несмотря на дешевый язык и очень уж провинциальный юмор. Уже в благочестивых и покорных фигурах Достоевского была фальшь, и чувствовалось, что они чужды автору и сделаны им как антитеза — в значительной мере по отношению к себе самому, ибо Достоевский был страстным и злобным во всем, в том числе и в вероломном своем христианстве. А Шагинян, по-видимому, действительно добра — комнатной добротой и только. И обилие своих познаний, и свою незаурядную психологическую проницательность она ввела в рамки комнатного мирозерцания. Она и сама это признает и открыто говорит об этом. Революция же — событие вовсе не комнатное. Оттого так вопиюще несоответствие фаталистического смирения Шагинян с духом и смыслом нашего времени. И от этого ее мудрейшие благочестивцы, извините за слово, воняют ханжеством.

В своем литературном дневнике Шагинян говорит о необходимости борьбы за культуру везде и всюду: если сморкаются в пятерню — учи употреблению платка. Это правильно и звучит бодрой нотой — особенно в наше время, когда основная толща народа впервые приступает к сознательному строительству культуры. Но непривыкший к платку (не было у него платка!) малограмотный пролетарий, который раз навсегда разделался с идиотизмом божественных повелений и ищет путей к постройке правильных людских отношений, бесконечно культурнее тех образованнейших реакционеров (обоего пола), которые философски сморкаются в мистический платок, усложняя этот мало эстетический

жест сложнейшими художественными ухищрениями и воровато-трусливыми заимствованиями у науки.

Шагинян антиреволюционна в самом своем существе. Ее фаталистический христианизм, ее комнатное безразличие ко всему некомнатному — вот что примиряет ее с революцией. Она просто пересаживается со своим ручным багажом и философски-художественным рукоделием из одного вагона в другой. Может быть, ей даже кажется, что она таким путем вернее всего сохраняет индивидуальность. Но только от этой индивидуальности не протянуто никакой нити вперед.

### Ш. А. БЛОК

Блок принадлежал целиком дооктябрьской литературе. Все порывы Блока — в мистический ли вихрь или в вихрь революционный — происходят не в безвоздушном пространстве, а в весьма плотной атмосфере старой русской дворянско-интеллигентской культуры. Символизм Блока был преображением этой близкой и в то же время отвратной среды. Символ есть обобщенный образ реальности. Лирика Блока романтична, символична, мистична, бесформенна, нереальна — но под собой она предполагает очень реальный быт, с определившимися формами и отношениями. Романтический символизм есть уход от быта только в смысле отвлечения от его конкретности, от индивидуальных черт и собственных имен; в основе же своей символизм есть метод преображения и вознесения быта. Звездно-метельная, бесформенная лирика Блока отражает определенную среду и эпоху, ее склад, ее уклад, ритм и вне этой эпохи повисает облачным пятном. Эта лирика не переживет своего времени и своего творца.

Блок принадлежал дооктябрьской литературе, но превозмог ее и вошел в сферу Октября «Двенадцатую», Поэтому он и займет особое место в будущей истории русского художественного творчества.

Нельзя позволять заслонять Блока тем мелким поэтическим и полупоэтическим бесам, которые увиваются вокруг его памяти, но до сих пор — о, благоговейные тупицы! — не могут понять, как это Блок, признававший огромный талант за Маяковским, откровенно звал над Гумилевым. Наиболее «чистый» из лириков, Блок не говорил о чистом искусстве и не ставил поэзии над жизнью. Наоборот, он признавал «нераздельность и неслиянность искусства, жизни и политики». «Я привык, — говорит Блок в предисловии к „Возмездию“, написанном в 1919 г., — сопоставлять факты из всех областей жизни, доступных моему глазу в данное время, и уверен, что все они вместе всегда создают один музыкальный аккорд». Это повыше, посильней и поглубже самодовлеющего эстетства, т. е. вранья о независимости искусства от общественной жизни.

Блок знал цену интеллигенции: «Я все-таки кровно связан с интеллигенцией, — говорил он, — а интеллигенция всегда была в нетях. Уж если я не пошел в революцию, то на войну и подавно идти не стоит». Блок не «пошел в революцию», но душевно равнялся по ней. Уже приближение 1905 года открыло Блоку фабрику (1903 г.), впервые подняв его творчество над лирическими туманностями. Первая революция пронзила его, оторвав от



индивидуалистического самодовольства и мистического квиетизма. Провал между двумя революциями ощущался Блоком как душевная пустота, бесцельность эпохи — как балаган, с клюквенным соком вместо крови. Блок писал об «истинном мистическом сумраке годов, предшествовавших первой революции», и об «неистинном мистическом похмелье, которое наступило вслед за нею» («Возмездие»). Ощущение пробуждения, движения, цели и смысла дала ему вторая революция. Блок не был поэтом революции. Погибая в тупой безвыходности предреволюционной жизни и ее искусства, Блок ухватился рукою за колесо революции. Плодом этого прикосновения явилась поэма «Двенадцать», самое значительное из произведений Блока, единственное, которое переживет века.

По собственным словам, Блок всю жизнь носил в себе хаос. Говорит он об этом так же бесформенно, как бесформенны вообще его мироощущение и лирика. Хаосом чувствовал он свою неспособность сочетать субъективное с объективным, свое настороженно-выжидательное безволие в эпоху, когда готовились, а затем и разразились величайшие потрясения. Во всех перевоплощениях Блок оставался подлинным декадентом, если брать это слово широко исторически, в смысле противопоставления упадочного индивидуализма индивидуализму буржуазного восхождения.

Тревожная хаотичность Блока тяготела к двум главным уклонам: мистическому и революционному. И на обоих уклонах не разрешалась до конца. Религия его была расплывчатой, зыбкой, не императивной — как его лирика. Революция, обрушившаяся на поэта каменным дождем фактов, геологическим обвалом событий, начисто не то что отрицала, а отодвигала, отметала дореволюционного Блока, исходившего в томлениях и предчувствиях. Нежную комариную нотку индивидуализма она заглушала ревущей и ухающей музыкой разрушения. И тут надо было выбирать. То есть комнатные поэтики могли, не выбирая, продолжать свое чириканье, прибавив к нему жалобы на тяжкий быт. Но Блоку, который заражался эпохой и переводил ее на свой внутренний язык, нужно было выбирать. И он выбрал, написав «Двенадцать».

Поэма эта есть, бесспорно, высшее достижение Блока. В основе — крик отчаяния за гибнущее прошлое, но крик отчаяния, который возвышается до надежды на будущее. Музыка грозных событий внушала Блоку: все, что ты доселе писал, не то; идут другие люди, несут другие сердца, им это не нужно; их победа над старым миром означает и победу над тобой, над твоей лирикой, которая была только предсмертным томлением старого мира... Блок услышал это и принял, — и так как тяжело было принять, и в своей революционной вере искал он помощи неверию своему, и хотел подкрепить и убедить себя, — то приятие революции выразил в наивозможно крайних образах, чтоб уж отрезать все мосты отступления. У Блока нет и тени попытки благочестиво посахарить переворот. Наоборот, он берет его в самых грубых — и только в грубых — его выражениях: стачка проституток, убийство Катюхи красногвардейцем, разгром буржуйских этажей... и говорит: приемлю, и вызывающе освящает все это благословением Христа — или, может быть, пытается спасти художественный образ Христа, подперев его революцией.

И все же «Двенадцать» — не поэма революции. Это лебединая песня индивидуалистического искусства, которое приобщилось к революции. И эта поэма останется. Сумеречная блоковская лирика уже ушла в прошлое и не вернется: не такие

совсем предстоят времена, — а «Двенадцать» останутся: злой ветер, плакат, Катька на снегу, революционный шаг и старый мир, как пес паршивый.

И то, что Блок написал «Двенадцать», и то, что он замолчал после «Двенадцати», перестав слышать музыку, вполне вытекает как из характера Блока, так и из той не очень обычной «музыки», какую он уловил в 18-м году. Судорожный и патетический разрыв со всем прошлым стал для поэта фатальным надрывом. Поддержать Блока — если отвлечься от происходивших в его организме разрушительных процессов — могло бы, может быть, только непрерывно нарастающее развитие событий революции, могущественная спираль потрясений, охватывающая весь мир. Но ход истории не приспособлен к психическим потребностям пронзенного революцией романтика. Чтобы держаться на временных отменях, нужен был иной закал, иная вера в революцию, — понимание ее закономерных ритмов, а не только хаотической музыки ее прилива. У Блока ничего этого не было и быть не могло. Руководителями революции выступали сплошь люди, ему чуждые по психическому складу и даже по обиходу своему. И оттого после «Двенадцати» он свернулся и замолчал. А те, с кем он всегда духовно жил, мудрецы и поэты, — те самые, что всегда оказываются «в нетях», — злобно и ненавистнически отвернулись от него. «Пса паршивого» простить не могли. Блоку перестали подавать руку, как предателю, и лишь после смерти «примирились» и стали доказывать, что в «Двенадцати» нет в сущности ничего неожиданного, что это вовсе не от Октября, а от старого Блока, что все элементы «Двенадцати» имеются в прошлом, и пусть большевики не воображают, что Блок — их. И действительно, нетрудно привести из Блока разных периодов слова, ритмы, созвучия, строфы, получившие свое развитие в «Двенадцати». Но можно найти у Блока-индивидуалиста и совсем иные ритмы и настроения; однако же сам-то Блок именно в 1918 г. нашел в себе (конечно, уж не на мостовой, а в себе!) изломанную музыку «Двенадцати». Для этого понадобилась мостовая Октября. Другие с этой мостовой бежали за границу или переселились на внутренние острова. Вот в чем суть, и вот чего Блоку не прощают!

Так — негодует все, что сыто, Тоскует сытость важных чрев: Ведь опрокинуто корыто, Встревожен их прогнивший хлев! А. Блок. Сытые

И все же «Двенадцать» не поэма революции. Ибо не в том же смысл революционной стихии (если говорить только о стихии), чтобы дать выход забившемуся в тупик индивидуализму. Внутренний смысл революции остается где-то за пределами поэмы, — она эксцентрична, в смысле механики, — и оттого увенчивает ее Блок Христом. Но Христос никак не от революции, а только от прошлого Блока.

Когда Айхенвальд, наиболее злобно, т. е. наиболее откровенно, выражающий буржуазное отношение к «Двенадцати», говорит, что «действия» героев Блока характеризуют «товарищей», то он целиком остается в пределах поставленной ему задачи: оболгать революцию. Красногвардеец из ревности убивает Катьку... Возможно это или невозможно? Вполне возможно. Но такого красногвардейца революционный трибунал, если бы настиг, приговорил бы к расстрелу. Революция, применяющая страшный меч террора, сурово оберегает это свое государственное право: ей грозила бы неминуемая гибель, если бы средства террора стали пускаться в ход для личных целей. Уже в начале

18-го года революция расправилась с анархической разнузданностью и вела беспощадную и победоносную борьбу с разлагающими методами партизанщины.

«Открывайте погреба, гуляет нынче голытьба». И это было. Но сколько кровавых столкновений происходило на этой почве между красногвардейцами и громилами! На знамени революции была написана трезвость. Революция, особенно в тот, наиболее напряженный, период была аскетична. Стало быть, Блок дает революцию, и уж, конечно, не работу ее руководящего авангарда, а сопутствующие ей явления, хотя и вызванные ею, но, по сути, направленные против нее. Поэт как бы хочет сказать, что и в этом он ее чувствует, ее размах, страшное потрясение сердец, пробуждение, дерзновение, риск, и что даже в этих отталкивающих бессмысленно-кровавых проявлениях преломляется ее дух, который для Блока есть дух вставшего на дыбы Христа.

Среди того, что написано о Блоке и о «Двенадцати», едва ли не самым несносным являются писания г-на Чуковского. Его книжка о Блоке не хуже других его книг: внешняя живость при неспособности привести хоть в какой-нибудь порядок свои мысли, клочкообразность изложения, какая-то куплетистость провинциальной газеты и в то же время тощее педантство, схематизация, построенная на внешних антитезах.<sup>32</sup> И всегда Чуковский открывает то, чего не заметил никто. В «Двенадцати» кто-то увидел поэму революции, той, которая произошла в Октябре? Ни боже мой. Чуковский сейчас все это разъяснит и тем самым окончательно примирит Блока с «общественным мнением». В «Двенадцати» прославлена не революция, а Россия, несмотря на революцию: «Тут упрямый национализм, который, не смущаясь ничем, хочет видеть святость даже в мерзости, если эта мерзость — Россия». Стало быть, Блок приемлет Россию, несмотря на революцию или, чтобы быть еще точнее, несмотря на мерзость революции? Выходит, что так. Это во всяком случае определено. Однако тут же оказывается, что Блок всегда (!) был певцом революции, «но не той революции, которая происходит теперь, а другой, национальной, русской...». Из огня да в полымя. Итак, Блок не Россию воспел в «Двенадцати», несмотря на революцию, а именно революцию, — но не ту, которая произошла, а иную, адрес которой доподлинно известен Чуковскому. Так у талантливого малого и сказано: «Революция, которую он пел, была не та революция, которая совершалась вокруг, а другая, подлинная, огненная». Но ведь пел-то он мерзость, как мы только что слышали, а вовсе не огневкость, и эту мерзость он пел потому, что она русская, а не потому, что она революционная. Теперь же мы узнаем, что он вовсе не с мерзостью подлинной революции примирился — только потому, что она русская, а восторженно пел революцию, по другую, подлинную и огненную, — только потому, что она направлена против существующей мерзости.

Ванька убивает Катьку из винтовки, которая ему дана его классом для защиты революции. Мы говорим: это попутно революции, но это не революция. Блок смыслом своей поэмы говорит: приемлю и это, ибо и здесь слышу динамику событий, музыку бури. Приходит истолкователь Чуковский и разъясняет: убийство Катьки Ванькой есть мерзость революции. Блок принимает Россию и с этой мерзостью потому, что это Россия. Но в то же время, воспевая убийство Катьки Ванькой и разгром етажей, Блок поет революцию, но

---

<sup>32</sup> Чуковский К. Книга об Александре Блоке.

не эту мерзостную, нынешнюю, действительную, русскую, а другую, подлинную, огненную. Адрес этой подлинной и огненной революции Чуковский нам сообщит как скоро, так сейчас...

Но если для Блока революцией является сама Россия, как она есть, то что означает «вития», который считает революцию предательством, что означает поп, идущий в сторонке, что означает «старый мир, как пес паршивый»? Что означают Деникин, Милюков, Чернов, эмиграция? Россия раскололась надвое — в этом и состоит революция. Блок одну половину назвал паршивым псом, а другую благословил теми благословениями, какие имелись в его распоряжении: стихом и Христом. А Чуковский все это объявляет простым недоразумением. Этакое шарлатанство слов, этакая непристойная неопрятность мысли, этакая душевная опустошенность, болтология, дешевая, дрянная, постыдная!

Конечно, Блок не наш. Но он рванулся к нам. Рванувшись, надорвался. Но плодом его порыва явилось самое значительное произведение нашей эпохи. Поэма «Двенадцать» останется навсегда.

#### **IV. ФУТУРИЗМ**

**Происхождение его. — Разрыв с прошлым. — Составные элементы русского футуризма. — Теоретические поиски и блуждания. — Творчество. — Маяковский. — Место футуризма**

Футуризм — явление европейское, и интересен он, между прочим, тем, что, вопреки учению о нем русской формальной школы, не замыкался в рамки художественной формы, а с самого начала, особенно в Италии, поставил себя в связь с явлениями политического и общественного порядка.

Футуризм явился отражением в искусстве той исторической полосы, которая началась в середине 1909–1910 годов и непосредственно влилась в мировую войну.

Капиталистическое человечество прошло через два десятилетия небывалого хозяйственного подъема, который опрокидывал старые представления о богатстве и могуществе, вырабатывал новые масштабы, новые критерии возможного и невозможного, толкал из-под спуда людей на новые дерзновения.

Между тем официальная общественность жила еще автоматизмом вчерашнего дня. Вооруженный мир при дипломатических заплатах, пустопорожняя парламентская стряпня, внешняя и внутренняя политика, основанная на системе предохранительных клапанов и тормозов, — все это тяготело и над поэзией, в то время как накопившееся в воздухе электричество предрекало большие разряды. Футуризм явился их «предчувствием» в искусстве.

И мы наблюдали явление, повторявшееся в истории не раз; страны отсталые, но обладающие известным уровнем духовной культуры, ярче и сильнее отражают в своей

идеологии достижения передовых стран. Так, немецкая мысль XVIII и XIX столетий отразила экономические достижения англичан, политические — французов. Так, футуризм наиболее яркое выражение свое получил не в Америке, не в Германии, а в Италии и в России.

За вычетом архитектуры, искусство опирается на технику лишь в самом последнем счете, т. е. поскольку она является основой всего вообще культурного строительства. Практическая зависимость искусства, особенно словесного, от материальной техники ничтожна. Поэму, воспевающую небоскребы, дирижабли и подводные лодки, можно создать в глуши Рязанской губернии на серой бумаге обломком карандаша. Чтобы зажечь свежее рязанское изображение, достаточно, если небоскребы, дирижабли, подводные лодки существуют в Америке. Человеческое слово — самый портативный из всех материалов.

Футуризм возник как изгиб буржуазного искусства и иначе возникнуть не мог. Его бурно оппозиционный характер нисколько этому не противоречит.

Интеллигенция крайне неоднородна. Каждая признанная школа есть вместе с тем хорошо оплачиваемая школа. Она возглавляется мандаринами со многими шариками. По общему правилу художественные мандарины доводят до высшей изощренности приемы своей школы, одновременно с тем, как расстреливают запасы ее пороха. Тогда какая-нибудь объективная перемена, политическая встряска, общественный сквознячок поднимают на ноги литературную богему, молодежь, призывного возраста гениев, которые проклятья по адресу сытой и пошлой буржуазной культуры соединяют обычно с затаенной мечтой о нескольких шариках, по возможности позлащенных.

Те исследователи, которые при определении социальной природы первоначального футуризма придают решающее значение его бурным протестам против буржуазного быта и искусства, просто недостаточно хорошо знают историю литературных течений. Французские романтики, а с ними и немецкие отзывались о буржуазной морали и мещанском быте не иначе как самыми последними словами. Сверх того, они носили длинные волосы, щеголяли зеленым цветом лица, а Теофиль Готье для окончательного посрамления буржуазии носил сенсационный красный жилет. Этому романтическому жилету, наводившему ужас на папенок и маменек, футуристская желтая кофта, несомненно, приходится внучатой племянницей. Как известно, из мятежных протестов, длинных волос и красного жилета романтики ничего потрясающего не воследовало, а буржуазное общественное мнение в конце концов благополучно усыновило господ романтиков и канонизировало их в школьных учебниках.

Чрезвычайно наивно противопоставлять динамичность итальянского футуризма и его симпатии к революции «упадочному» характеру буржуазии. Не следует представлять себе буржуазию в виде облезлой старой кошки. Нет, зверь империализма дерзок, гибок, когтист. Или забыт урок 1914 года? Для своей войны буржуазия использовала с величайшим размахом чувства и настроения, предназначенные по природе своей питать восстание. Во Франции война изображалась прямым завершением дела Великой революции. А разве воюющая буржуазия не устраивала действительно революций в других странах? В Италии интервенционистами (сторонниками вмешательства в войну)

были именно «революционеры»: республиканцы, масоны, социал-шовинисты, футуристы. Наконец, разве итальянский фашизм не пришел к власти «революционными» методами, приведя в движение массы, толпы, миллионы, закалив и вооружив их? Не случайно, не по недоразумению итальянский футуризм влился в поток фашизма, а вполне закономерно.<sup>33</sup>

Русский футуризм родился в обществе, которое проходило еще через свой антираспутинский приготовительный класс и готовилось к демократическому февралю. Уже это дало нашему футуризму преимущества. Он уловил смутные еще ритмы активности, действия, напора и разрушения. Борьбу за свое место под солнцем он вел резче и решительнее, а главное — шумнее, чем предшествовавшие ему школы, в соответствии со своим активистским мироощущением. Молодой футурист не шел, конечно, на фабрики и заводы, а громыхал по кафе, стучал кулаками по пюпитрам, надевал желтую кофту, красил скулы и неопределенно грозил кулаком.

Рабочая революция в России разразилась прежде, чем футуризм успел освободиться от своих ребячеств, желтых кофт, излишней горячности и стать официально признанной, т. е. политически обезвреженной и стилистически использованной, художественной школой. Захват власти пролетариатом застал футуризм еще в возрасте преследуемой группы. И уже из этого вытекал для футуризма толчок в сторону новых хозяев жизни, тем более что главные моменты футуристского мироощущения: неуважение к старым нормам и динамичность — чрезвычайно облегчили соприкосновение и сближение с революцией. Но черты своего социального происхождения от буржуазной богемы футуризм перенес и в новую стадию своего развития.

\* \* \*

В поступательном движении литературы футуризм не меньше продукт поэтического прошлого, чем всякая другая литературная школа современности. Сказать, что футуризм освободил творчество от тысячелетних пут буржуазности, как пишет т. Чужак, значит слишком дешево расценивать тысячелетия. Призыв футуристов порвать с прошлым, разделаться с Пушкиным, ликвидировать традицию и пр. имеет смысл, поскольку адресуется старой литературной касте, замкнутому кругу интеллигенции. Другими словами, поскольку футуристы заняты перепиливанием пуповины, связывающей их самих с орденом жрецов буржуазной литературной традиции.

Но бессодержательность этого призыва становится очевидной, как только переадресовать его пролетариату. Рабочему классу не нужно и невозможно порывать с литературной традицией, ибо он вовсе не в тисках ее. Он не знает старой литературы, ему нужно только приобщиться к ней, ему нужно только овладеть еще Пушкиным, впитать его в себя — и уже тем самым преодолеть его. Футуристский разрыв с прошлым есть в конце концов буря в замкнутом мире интеллигенции, которая выросла на Пушкине, Фете, Тютчеве,

---

<sup>33</sup> Мы печатаем в этой книге очень интересное и содержательное — при всей своей краткости — письмо т. Грамши, рисующее судьбы итальянского футуризма.

Брюсове, Бальмонте и Блоке и которая не потому «пассеистична», что заражена суеверным преклонением пред формами прошлого, а потому, что у нее нет за душой ничего такого, что требовало бы новых форм. Ей попросту нечего сказать. Она перепевает старые чувства слегка подновленными словами. Футуристы отпихнулись от нее — и хорошо сделали. Не нужно только технику своего отпихивания превращать в закон мирового развития.

В утрированном футуристском отвержении прошлого — богемский нигилизм, но не пролетарская революционность. Мы, марксисты, всегда жили в традиции и от этого, право же, не переставали быть революционерами. Традиции Парижской коммуны разрабатывались и переживались нами еще до первой нашей революции. Потом к ним прибавились традиции 1905 года, которыми мы питались, подготавливаясь ко второй революции. Еще далее вглубь мы связывали Коммуну с июньскими днями 48-го года и с Великой французской революцией. В области теории мы через Маркса опирались на Гегеля и на классиков английской экономики. Воспитываясь и вступив в борьбу в условиях органической эпохи, мы жили традициями революций. На наших глазах зарождалось не одно литературное направление, которое объявляло беспощадную борьбу «буржуазности» и считало нас половинчатыми. Как ветер возвращается на круги своя, так литературные революционеры и ниспровергатели традиций находили дорогу в академию. Для интеллигенции, и в том числе ее левого литературного крыла, Октябрьская революция была полным ниспровержением привычного мира — того самого, от которого она, время от времени, отталкивалась для новых школ и к которому она неизменно возвращалась. Наоборот, для нас революция была воплощением привычной для нас, внутренне проработанной традиции. Из мира, который мы отрицали теоретически и подкапывали практически, мы вошли в мир, с которым мы заранее освоились, как с традицией и как с предвидением. Вот откуда несовпадение психологических типов коммуниста — политического революционера и футуриста — формально революционного новатора. И вот откуда недоразумения между ними. Не в том беда, что футуризм «отрицает» священные интеллигентские традиции — наоборот! — а в том, что он не чувствует себя в революционной традиции. Мы вошли в революцию, а он обрушился в нее.

Но положение вовсе не безнадежно. Футуризм сейчас уже не вернется «на круги своя», ибо и кругов-то этих по-настоящему нет. И это немаленькое обстоятельство весьма облегчает футуризму возможность, перерождаясь, войти в новое искусство, — не в качестве всеопределяющего, но в качестве важного составного течения.

В русском футуризме есть несколько элементов, довольно-таки самостоятельных, отчасти противоречивых: известные филологические построения и догадки, в значительной мере проникнутые архаизмом (Хлебников, Крученых) и во всяком случае лежащие вне сферы поэзии; своя поэтика, т. е. свое учение о методах и приемах словесного творчества; своя философия искусства, даже целых две: формалистская (В. Шкловский) и устремленная к марксизму (Арватов, Чужак и др.); наконец — сама поэзия, живое творчество.

Литературного озорства самостоятельным элементом не вписываем так как оно обычно сочетается с одним из основных элементов. Когда Крученых говорит, что «дыр, бул, щыл» заключает в себе больше поэзии, чем весь Пушкин (или что-то в этом роде), то это нечто среднее между филологической поэтикой и — извиняемся — озорством дурного тона. В

более спокойном виде мысль Крученых может означать, что оркестровка стиха по ключу «дыр, бул, щыл» более свойственна структуре русского языка, его звуковому духу, чем пушкинская оркестровка, с подсознательной оглядкой на французский язык. Верно ли это или не верно, но совершенно очевидно, что «дыр, бул, щыл» вовсе не есть поэтический экстракт уже имеющихся в распоряжении футуризма достижений — значит, и сравнивать нечего. Вообще же говоря, не исключена возможность, что кто-нибудь напишет по этому музыкально-филологическому ключу стихи, которые будут выше пушкинских. Остается подождать.

Словотворчество Хлебникова и Крученых также лежит вне поэзии: это филология, вряд ли очень основательная, отчасти поэтика, но не поэзия. Совершенно неоспоримо, что язык живет и развивается, творя из себя новые слова и отбрасывая обветшалые. Но он это делает в общем крайне осторожно, расчетливо и в меру строгой необходимости. Каждая новая большая эпоха дает толчок языку. Он вбирает в себя сгоряча большое количество неологизмов, а затем производит своего рода перерегистрацию, изгоняя все лишнее и чужеродное. Когда Хлебников или Крученых создают от наличных корней и десять и сто новых производных слов, то эта работа может представлять известный филологический интерес, она может — в некоторой, очень скромной степени — облегчать движение живой, в том числе и поэтической, речи, предвещая эпоху более сознательного направления эволюции языка. Но сама эта работа, имея вспомогательный для искусства характер, остается за пределами поэзии.

Нет основания приходить в состояние благочестивой каталепсии при звуках заумной поэзии, которая похожа на словесно-музыкальные гаммы и экзерсисы, может быть, и полезные в тетрадах ученика, но не пригодные для эстрады; очевидно, во всяком случае, что попытка заменить поэзию экзерсисами «зауми» была бы удушением поэзии. Но по этому пути футуризм и не идет. Маяковский, бесспорный поэт, черпает, по общему правилу, из словаря Даля и лишь изредка из словаря Хлебникова и Крученых. Произвольные словообразования и неологизмы встречаются у Маяковского чем дальше, тем реже.

Вопросы, поставленные теоретиками Лефа: о взаимоотношении между искусством и машинной индустрией; об искусстве, которое не украшает жизнь, а формирует ее; о сознательном воздействии на развитие языка и систематическом словотворчестве; о биомеханике, как воспитании движений человека в духе высшей целесообразности и тем самым — красоты, — все эти вопросы крайне значительны и интересны в перспективе строительства социалистической культуры.

К несчастью, подход к этим вопросам окрашивается у Лефа в цвет утопического сектантства. Даже правильно намечая общую тенденцию развития в той или другой области искусства или быта, теоретики Лефа из исторического предвосхищения делают схему, рецептуру и противопоставляют ее тому, что есть. У них не оказывается моста к будущему. В этом отношении они напоминают анархистов, которые, предвосхищая будущее безвластие и противопоставляя схему его тому, что есть, сбрасывают с корабля современности (разумеется, только в собственном воображении) — государство, политику, парламент и еще кое-какие реальности. На практике они поэтому, едва высвободив хвост, увязают носом. Маяковский в сложно-рифмованных стихах доказывает



ненужность стихов и рифмы и обещает писать математическими формулами, хотя для этого существуют математики. Когда страстный искатель Мейерхольд, неистовый Виссарион сцены, наспех обучив еще слабых в диалоге актеров кое-каким полуритмическим движениям, выбрасывает это на сцену в качестве биомеханики, получается... выкидыш. Попытка выдернуть из будущего то, что может развиваться лишь как его неотторжимая часть, и наспех материализовать это частичное предвосхищение на сегодняшних еще голодных и холодных подмостках создает впечатление провинциального дилетантизма. А что может быть враждебнее новому искусству, как провинциальность и дилетантство!

Новая архитектура будет слагаться из двух моментов: новой задачи и новых технических способов овладения материалом, отчасти новым, отчасти старым. Новая задача: не храм, не замок, не особняк, а народный дом, массовая гостиница, общежитие, дом-коммуна, гигантских размеров школа. Материалы и способ их обработки будут определяться хозяйственным состоянием страны в тот момент, когда архитектура приступит к разрешению своих задач. Попытка выдернуть из будущего архитектурную конструкцию приводит лишь к более или менее остроумному личному произволу. Между тем новый стиль меньше всего мирится с личным произволом. Сами писатели Лефа правильно указывают, что новый стиль зарождается там, где машинная индустрия работает на безличного потребителя. Телефонный аппарат — кусочек нового стиля. Международные спальные вагоны, лестницы и станции подземной железной дороги, лифты — все это бесспорные элементы нового стиля, как, с другой стороны, — металлические мосты, крытые рынки, небоскребы, подъемные краны. Этим уже сказано, что вне практической задачи и непрерывной работы над ее разрешением нельзя создать новый архитектурный стиль. Попытки вывести стиль дедуктивным путем из природы пролетариата, из его коллективизма, активности, безбожия и пр. представляют собой чистейший идеализм и практически не дадут ничего, кроме замысловатых отсебятин, произвольного аллегоризма и все того же провинциального дилетантства<sup>34</sup>.

В наиболее обобщенном виде ошибка Лефа, по крайней мере части его теоретиков, встает перед нами, когда они ультимативно ставят требование о слиянии искусства с жизнью. Что отслоение искусства от других сторон общественной жизни явилось результатом классового расслоения общества; что самодовлеющий характер искусства есть оборотная сторона того факта, что искусство стало достоянием привилегированных; что дальнейшая эволюция искусства пойдет по пути возрастающего слияния его с жизнью, т. е. с производством, народными праздниками, коллективно-семейным бытом, — все это совершенно бесспорно. И хорошо, что Леф это понимает и разъясняет. Но плохо, когда на основании этого нынешнему искусству предъявляется краткосрочный ультиматум: перестать быть «станковым», а слиться с жизнью. Другими словами, поэты, художники, скульпторы, актеры должны перестать отображать и изображать, писать стихи, картины, лепить скульптуру, вести на подмостках диалоги, а должны внести свое искусство непосредственно в жизнь. Как? Куда? Через какие ворота? Разумеется, можно приветствовать всякую попытку внести возможно более ритма, звука, краски в народные

---

<sup>34</sup> Интересно и правильно ставит вопрос о социалистическом архитектурном стиле т. Циымер в № 3 «Вестника Социалистической академии». Досадно, что плох перевод.

праздники, собрания, шествия. Но нужно же иметь хоть немножечко исторического глазомера, чтобы понять, что от нынешней нашей хозяйственной и культурной нищеты до слияния искусства с бытом, т. е. до такого роста быта, когда он весь оформится искусством, еще несколько поколений ляжет костями. Худо ли, хорошо ли, но «станковое» искусство еще на многие годы будет орудием художественно-общественного воспитания масс и их эстетического наслаждения: не только живопись, но и лирика, роман, комедия, трагедия, скульптура, симфония. Из оппозиции к созерцательному, импрессионистскому буржуазному искусству последних десятилетий отрицать искусство как средство изображения, образного познания — значит поистине выбивать из рук строящего новое общество класса орудие величайшей важности. Искусство — говорят нам — не зеркало, а молот: оно не отражает, а преобразует. Но ныне и молотом владеть учатся и учат при помощи «зеркала», т. е. светочувствительной пластинки, которая запечатлевает все моменты движения. Фотография и кинематография, именно благодаря своей пассивно-точной изобразительности, становятся могучим воспитательным средством в области труда. Для того чтобы побриться, нельзя обойтись без зеркала. А как же перестроить себя, свой быт, не глядясь в «зеркало» литературы? Конечно, о зеркале тут можно говорить лишь очень условно. Никто не думает требовать от новой литературы зеркального бесстрастия. Чем глубже проникнется она стремлением преобразовать жизнь, тем значительнее и динамичнее сумеет «изображать» ее.

Что такое отрицание «переживаний», индивидуальной психики в литературе и на сцене? Это запоздалый, давно переживший себя протест левого крыла интеллигенции против пассивно-реалистической чеховщины и мечтательного символизма. Если переживания дяди Вани малость утратили свою свежесть, — а этот грех действительно случился, — то ведь не у одного же дяди Вани имеется внутренний мир. Каким образом, на каком основании и во имя чего искусство может повернуться к внутреннему миру нынешнего человека, который строит новый внешний мир и тем самым себя самого? Если искусство не поможет новому человеку воспитать себя, укрепить и утоньшить, то к чему такое искусство? А как же оно может организовать внутренний мир, если оно не проникнет в него и не воспроизведет его? Здесь футуризм просто долбит свои собственные зады, ставшие ныне прямо-таки реакционными.

То же самое и с бытом. Футуризм начал с протеста против искусства мелкотравчатых реалистических приживальщиков быта. Адвокат, студент, влюбчивая барыня, уездный чиновник, Передонов с их чувствами, радостями, горестями — в этом застойном миреке литература задыхалась и тупела. Но разве можно протест против бытового приживальщичества превращать в отторжение литературы от условий и форм жизни человеческой? Если футуристский протест против измельчавшего бытового реализма имел историческое оправдание, то именно постольку, поскольку подготавливал место новому художественному воссозданию быта: в его крушении и перестройке по новым кристаллизационным осям.

Любопытно, что, отрицая изображение быта как задачу искусства, Леф дает в качестве образца прозы «Непопутчицу» Брика. Что это, как не быт — хотя бы и в аспекте почти коммунистической «Биржевки»? Не в том беда, что коммунисты выведены тут не сплошь сахарными и не сплошь стальными, а в том, что между автором и той пошловатой средой, которую он изображает, не чувствуется ни вершка расстояния. А для того чтобы

искусство не только отражало, но и преображало, между художником и бытом, совершенно так же, как между революционером и политической действительностью, должна быть большая дистанция.

В ответ на критику, иногда, правда, более заезжательскую, чем убедительную, тов. Чужак выдвигает на первый план то соображение, что Леф находится в процессе непрерывных исканий. Несомненно, Леф больше ищет, чем нашел. Но это одно достаточно объясняет, почему партия никак не может канонизировать Леф или определенное его крыло, в качестве «коммунистического искусства», что ей настоятельно рекомендуется тем же Чужаком. Нельзя канонизировать поиски, как нельзя вооружать армию идеей нереализованного изобретения.

Но не значит ли все сказанное, что Леф стоит целиком и полностью на ложном пути и что нам с ним делать собственно нечего? Нет, не значит. Дело ведь вовсе не так обстоит, что у партии есть по вопросам будущего искусства определенные и твердые решения, а некая группа саботирует их. Этого нет и в помине. Никаких готовых решений по вопросу о формах стихосложения, об эволюции? театра, об обновлении литературного языка, об архитектурном стиле и пр. у партии нет и быть не может, — так же, как — в другой плоскости — у нее нет и не может быть готовых решений о лучшем удобрении, наиболее правильной организации транспорта и совершеннейшей системе пулемета. Но насчет пулемета, транспорта и удобрения практические решения нужны сейчас же. Как поступает партия? Она поручает определенным работникам войти в это дело, овладеть им и со своей стороны проверяет этих работников главным образом по практическим результатам их деятельности. В области искусства вопрос обстоит и проще, и сложнее. Поскольку дело идет о политическом использовании искусства или о недопущении такого использования со стороны врагов, у партии имеется достаточно опыта, чутья, решимости и средств. Но активное развитие искусства, борьба за новые его формальные достижения не составляют предмета прямых задач и забот партии. На такую работу она никого не делегирует. Между тем существует некая линия стыка между вопросами искусства, политики, техники и экономики. Проработка этих вопросов в их внутренней взаимозависимости необходима. Именно этой проработкой занимается группа Леф. Она много чудит, зарывается и — не в обиду будь сказано — теоретически привирает. Но, во-первых, разве в других областях, жизненно более насущных, мы не привирали (-ем)? Во-вторых, разве мы пробовали серьезно исправлять ошибки теоретического подхода или сектантские увлечения практического творчества? У нас нет основания сомневаться в том, что группа Леф искренно стремится работать в интересах социализма, глубоко интересуется вопросами искусства и хочет руководствоваться марксистским критерием. Почему же начинать с разрыва, а не с попытки воздействия и ассимиляции? Вопрос вовсе не стоит на острие ножа. Для проверки, внимательного воздействия и отбора у партии достаточно времени. Или у нас так много квалифицированных сил, что мы можем с легким сердцем швыряться ими? Но центр тяжести все-таки не в теоретической проработке вопросов нового искусства, а в поэтическом творчестве. Как же обстоит дело с футуристской художественной практикой, с ее исканиями и достижениями? Тут у нас еще меньше основания для торопливой нетерпимости.

Вряд ли теперь возможно начисто отрицать футуристские достижения в области искусства, особенно поэзии. За самыми небольшими изъятиями вся наша нынешняя поэзия прямо или косвенно подверглась воздействию футуризма. Влияние Маяковского на ряд пролетарских поэтов совершенно неоспоримо. Конструктивизм сделал тоже немалые завоевания, хотя и не совсем по той линии, которую себе намечал. Сплошь да рядом статьи о полном бесплодии и контрреволюционности футуризма печатаются под обложкой, сделанной рукой конструктивиста. В археофициальных изданиях наряду с убийственными оценками футуризма печатаются футуристические поэмы. Пролеткульт связан с футуристами рядом живых нитей. «Горн» редактируется теперь в достаточно ярко выраженном футуристском духе. Нет, конечно, основания преувеличивать значение этих фактов, так как они разворачиваются, как и подавляющее большинство группировок в нашем искусстве, в верхнем — довольно пока поверхностном — плане и очень слабо связаны с рабочими массами. Но было бы нелепо закрывать на эти факты глаза и третировать футуризм как шарлатанскую выдумку разлагающейся интеллигенции. Если даже завтрашний день и обнаружит, что ресурсы футуризма на исходе — а я это не считаю исключенным, — то сегодня они во всяком случае больше ресурсов тех течений, за счет которых футуризм распространяется.

Первоначальный русский футуризм был, как уже сказано, восстанием богемы, т. е. левого полупауперизованного крыла интеллигенции против замкнутой кастовой буржуазно-интеллигентской эстетики. Через оболочку поэтического мятежа сказывалось давление более глубоких социальных сил, самим футуризмом совершенно не осмысливавшихся. Борьба против старого поэтического словаря и синтаксиса, при всех своих богемских экстравагантностях, была прогрессивным восстанием против замкнутого словаря, искусственно отобранного, чтобы ничто лишнее не беспокоило, против смакующего жизнь через соломинку импрессионизма, против изолгавшегося в небесной пустоте символизма, зинаидогиппиусизма и всех прочих выжатых лимонов и обсосанных куриных лапок интеллигентски-либерально-мистического мирка. Если теперь окинуть оставленный позади период внимательным взглядом, то нельзя не признать, что работа футуристов в области слова была жизненной и прогрессивной. Не преувеличивая размеров произведенной ими «революции» в языке, нельзя не признать, что футуризм вытолкнул из поэзии многие опустошенные слова и выражения, вернул другим их полнокровие, а в некоторых случаях счастливо создал новые слова и обороты, вошедшие или входящие в поэтический словарь и способные обогатить живую речь. Это относится не только к слову, изолированно взятому, но и к месту его в ряду других слов, т. е. к синтаксису. В области словосочетания, как и в области словообразования, футуризм хватил, правда, куда дальше тех пределов, какие живой язык способен вместить. Но ведь то же случилось и с революцией: таков «грех» всякого живого движения. Конечно, у революции, у ее сознательного авангарда, самокритики побольше, чем у футуристского кружка, но зато и отпора извне он получил достаточно и, надо надеяться, получит еще. Излишества отпадают и отпадут, а основная очистительная и, несомненно, революционная работа в области поэтического языка останется.

Нельзя также не признать и не оценить прогрессивно творческой работы футуризма в области ритма и рифмы. Кто относится к этим вещам безразлично и терпит их только потому, что они завещаны от предков, тому, конечно, футуристские новшества только помеха, потому что они требуют затраты внимания. Можно поставить в связи с этим общий вопрос: нужны ли ритм и рифма вообще? Курьезно, что сам Маяковский время от времени доказывает — в стихах с очень сложными рифмами, — что рифма не нужна. Чисто логический подход вообще упраздняет вопрос о художественной форме. Судить об ней надо не рассудком, который не идет дальше формальной логики, а разумом, который включает в свой круг также и иррациональное, поскольку оно живо и жизненно. Поэзия есть дело не столько рациональное, сколько эмоциональное, и психика человеческая, впитавшая в себя биологические и социально-трудовые ритмы и ритмические узлы, ищет их идеализированного отображения в звуке, в песне, в художественном слове. Пока эта потребность жива, футуристские рифмы и ритмы, более гибкие, смелые и разнообразные, представляют несомненное и ценное завоевание. И оно пошло уже далеко за пределы чисто футуристской группировки.

Столь же неоспоримы завоевания футуристов в области инструментальной стиха. Нельзя забывать, что звук слова есть акустический аккомпанемент смысла. Если футуристы грешили и грешат пристрастием, иной раз чудовищным, в сторону звука против смысла, то эти увлечения, требующие, конечно, отпора, являются только «детской болезнью левизны», беснованием нового поэтического течения, по-новому, свежим ухом, почувствовавшего звук, против зализанного словесного рутинерства. Конечно, подавляющему большинству рабочего класса до этих вопросов сегодня еще дела нет. И авангарду рабочего класса в большинстве не до того — есть куда более неотложные задачи. Но ведь у нас есть и завтрашний день. Он потребует все более внимательного, точного, мастерского, артистического отношения к языку, основному орудию культуры, — не только в стихах, но и в прозе, и даже в прозе особенно. Слово никогда не покрывает точно понятия в той его конкретности, в которой человек берет это понятие в каждом данном случае. С другой стороны, слово, как звук, и слово, как начертание, влияют не только на ухо и глаз, но и на логику и на воображение. Мысль можно уточнить только тщательным подбором слов, их всесторонним, в том числе и акустическим, взвешиванием, их продуманным сочетанием. Тут тят-ляп не годится, нужны микрометрические инструменты. Рутинерство, предание, привычка и неряшливость должны и в этой области очистить место продуманной систематической работе. Одной своей стороной, лучшей, футуризм есть протест против тят-ляпства, этой могущественнейшей литературной школы, имеющей во всех областях очень влиятельных представителей.

В ненапечатанной еще работе т. Горлова, где дается неправильный, на мой взгляд, интернациональный генезис футуризма и где еще более неправильно, с нарушением исторических перспектив, футуризм отождествляется с пролетарской поэзией, очень вдумчиво и содержательно резюмированы в то же время художественно-формальные завоевания футуризма. Горлов правильно указывает, что выросшая из восстания против старой эстетики формальная «революция» футуризма отображает, по вертикали, восстание против застойного, прелого быта, эту эстетику породившего, и потому, естественно, закончилась у Маяковского, сильнейшего поэта школы, и его ближайших друзей восстанием против социального строя, породившего отвергнутый быт с его

отвергнутой эстетикой. Отсюда их органическая связь с Октябрем. Схема т. Горлова верна, но требует уточнения и ограничения. Верно, что новые слова и словосочетания, ритмы и рифмы, понадобились потому, что футуризм в своем восприятии мира перегруппировал явления и факты, установил, т. е. открыл, для себя новые между ними отношения, футуризм против мистики, против пассивного обоготворения природы, против аристократической и всякой иной лени, мечтательства, плаксивости, за технику, научную организацию, машину, план, волю, мужество, быстроту, точность, за вооруженного всеми этими качествами нового человека. Связь эстетического «восстания» с морально-бытовым дана непосредственно: и то и другое целиком и полностью входят в жизненный опыт активной, молодой, еще не прирученной части интеллигенции, левой творческой богемы. Возмущение против ограниченности и пошлости быта и — новый художественный стиль как средство дать этому возмущению выход и тем самым... ликвидировать его. В разных комбинациях, на разной исторической основе мы не раз наблюдали образование нового стиля (малого) из очередного интеллигентского возмущения. Тем дело и кончалось. Но на сей раз пролетарская революция подхватила футуризм на известной стадии его самоопределения и толкнула дальше. Футуристы стали коммунистами. Тем самым они вступили на почву более глубоких вопросов и отношений, далеко выходящих за пределы старого их мирка и органически не проработанных их психикой. Оттого футуристы, в том числе и Маяковский, художественно ел а бее всего в тех своих произведениях, где они законченнее всего как коммунисты. И причину не столько социальное происхождение, сколько духовное прошлое. Футуристы-поэты не владеют элементами коммунистического мирозерцания и мировосприятия достаточно органически, чтобы давать им органическое же выражение в слове: не вошло в кровь, что ли. Отсюда нередко художественные, по существу психологические провалы, ходульность, громыхание над пустотой. В своих наиболее революционно-обязующих произведениях футуризм становится уже стилизацией. Между тем у молодого Безыменского, который Столь многим обязан Маяковскому, художественное выражение коммунистического мироощущения более органично: Безыменский не пришел сложившимся поэтом к коммунизму, а духовно родился в нем.

Можно возразить — и не раз возражали, — что и программная пролетарская доктрина создавалась выходцами из буржуазно-демократической интеллигенции. Но тут есть разница, для данного вопроса решающая. Экономическая и историко-философская доктрина пролетариата состоит из элементов объективного познания. Если бы не универсально образованный доктор философии Маркс, а токарь Бебель, аскетически экономный в жизни и мысли, с умом острым, как резец, был создателем теории прибавочной ценности, он формулировал бы ее в труде более доступном, простом и одностороннем. Богатство и разнообразие мыслей, доводов, образов, цитат «Капитала», несомненно, обличают «интеллигентскую» оболочку великой книги. Но так как дело идет об объективном познании, то существо «Капитала» перешло к Бебелю, как его достояние, а за ним — к тысячам и миллионам пролетариев. В области поэзии мы имеем дело с образным мировосприятием, а не с научным миропознанием. Быт, личная обстановка, круг личного жизненного опыта оказывают поэтому определяющее влияние на художественное творчество. Переработка воспринятого с детских лет мира чувств посредством научно-программной ориентации — самая трудная внутренняя работа. Не всякий на нее способен. Оттого не мало на свете людей, которые мыслят как

революционеры, а чувствуют как мещане. Но оттого же в поэзии футуризма, даже отдавшего себя целиком революции, мы слышим больше богемскую, чем пролетарскую революционность.

Маяковский — большой или, по определению Блока, огромный талант. Он умеет поворачивать много раз виденные вещи под таким углом, что они кажутся новыми. Он владеет словом и словарем как смелый мастер, работающий по собственным законам, — независимо от того, нравится ли нам его мастерство или нет. Многие его образы, обороты, выражения вошли в литературу и останутся в ней, если не навсегда, то надолго. У него свое построение, свой образ, свой ритм, своя рифма.

Художественный замысел Маяковского почти всегда значителен, иногда грандиозен. Поэт вводит в свой круг и войну, и революцию, и рай, и ад. Маяковский враждебен мистике, ханжеству всех видов, эксплуатации человека человеком, — его симпатия целиком на стороне борющегося пролетариата. Жречества от искусства, по крайней мере жречества принципиального, в нем нет: наоборот, он готов целиком поставить свое творчество на службу революции.

Но в этом большом таланте, вернее, во всей творческой личности Маяковского нет необходимого соответствия между составными элементами, нет равновесия, хотя бы и динамического. Слабее всего Маяковский там, где требуются чувство меры и способность самокритики.

Приятие Маяковским революции естественнее, чем у кого бы то ни было из русских поэтов, так как выросло из всего его развития. Интеллигентских путей к революции много (не все доводят до цели) — и потому важно точнее определить и оценить личную линию Маяковского. Есть путь мужиковствующих интеллигентов, капризных попутчиков (о них уже был разговор); путь объективнейших мистиков, ищущих высшей «музыки» (А. Блок); путь сменовеховцев и просто примиренцев (Шкапская (?), Шагинян); рационалистов и эклектиков (Брюсов, Городецкий, та же Шагинян). Есть и еще пути, всех не перечислишь. Маяковский пришел наиболее коротким путем — мятежной преследуемой богемы. Революция для Маяковского — подлинное, несомненное, глубокое переживание, ибо своими громами и молниями она обрушилась на то, что Маяковский по-своему ненавидел, с чем не успел еще примириться, — и в этом сила его. Революционный индивидуализм Маяковского восторженно влился в пролетарскую революцию, но не слился с ней. Восприятие города, природы, всего мира у Маяковского в подсознательных истоках своих не рабочее, а богемское. Лысый фонарь, снимающий с улицы чулок, — один этот острый образ, чрезвычайно для Маяковского характерный, — освещает своим светом богемский урбанизм поэта лучше всяких рассуждений. Вызывающе цинический тон многих образов, особенно первой половины творчества, несет на себе слишком явственную печать артистического кабака, сигарного дыма и всего прочего.

Динамичность революции, ее суровое мужество гораздо ближе Маяковскому, чем массовидность ее героизма, чем коллективизм ее дел и переживаний. Как грек был антропоморфистом, наивно уподоблял себе силы природы, так наш поэт, Маякоморфист, заселяет самым собой площади, улицы и поля революции. Правда, крайности сходятся. Универсализация своего я стирает до известной степени грань индивидуальности и

приближает к коллективу — с другого конца. Но только до известной степени. Богемски-индивидуалистическое высокомерие — в противоположность не смирению, которого никто не требует, а глазомеру и чувству меры, которые необходимы, — проникает собою «все написанное Маяковским». Патетичность достигает у него нередко чрезвычайнейшей напряженности, но не всегда за этой напряженностью сила. Поэт слишком виден, — событиям и фактам дается слишком мало автономии, — не революция борется с препятствиями, а Маяковский атлетствует на арене слова и иногда делает поистине чудеса, но сплошь и рядом с героическим напряжением поднимает заведомо пустые гири.

О себе Маяковский говорит на каждом шагу в первом и третьем лице, то индивидуально, то растворяя себя в человеке. Чтобы поднять человека он возводит его в Маяковского. По отношению к величайшим явлениям истории он усваивает себе фамильярный тон. И это в его творчестве и самое невыносимое, и самое опасное. О ходулях или котурнах говорить не приходится: это слишком мизерные подпорки. Маяковский одной ногой стоит на Монблане, другой — на Эльбрусе. Голосом заглушает громы — мудрено ли, если он с историей запанибрата, с революцией — на «ты». Это и есть самое опасное, ибо при таких гигантских масштабах везде и во всем, при громоподобном орании (любимое слово поэта), при горизонте с Эльбруса и Монблана исчезают пропорции земных дел, и нельзя установить разницы между малым и большим. Оттого о своей любви, т. е. о самом интимном, Маяковский говорит так, как если бы дело шло о переселении народов. Но по этой же причине он не находит другого словаря для революции. Он всегда стреляет на пределе — а, как известно артиллеристу, такая стрельба дает наименьше попаданий и тяжелее всего отзывается на орудии.

Что гиперболизм отражает, в известном смысле, неистовство нашего времени, это бесспорно. Но в этом еще нет огульного художественного оправдания. Перекричать войну или революцию нельзя. А надорваться нетрудно. Чувство меры в искусстве то же, что реалистическое чутье в политике. Главный порок футуристской поэзии, даже в лучших ее достижениях, это отсутствие чувства меры: салонную меру она утратила, а площадной еще не нашла. А найти необходимо. Если форсировать свой голос на площади, то неизбежно будут хрипота и визгливые срывы, которые подорвут впечатление слова. Надо говорить тем голосом, который тебе дан от природы, а не другим, более громким, которого у тебя нет, — но голос-то при умении может быть использован полностью. Маяковский слишком часто кричит там, где следовало бы говорить: поэтому крик его там, где следует кричать, кажется недостаточным. Пафос поэта подсекается надрывом и хрипотой.

Отягощенные образы Маяковского, часто прекрасные сами по себе, столь же часто разлагают целое и парализуют движение. Поэт, по-видимому, сам чувствует это; недаром же он затосковал по другой крайности: по несродному поэзии языку «математических формул». Думается, что самодовлеющая образность, которую имажинизм роднит с футуризмом — крестьянствующему имажинизму она куда более к лицу! — корни свои имеет все в той же деревенской подоплеке нашей культуры. В ней неизмеримо больше от Василия Блаженного, чем от железобетонного моста. Но как бы там ни было с историко-культурным объяснением, факт таков, что в произведениях Маяковского больше всего не хватает движения. Это может показаться парадоксом, так как футуризм, казалось бы, весь основан на движении. Но здесь вступает в свои права неподкупная диалектика: избыток



стремительной образности приводит к покою. Чтобы движение воспринималось нами физически, а тем более художественно, оно должно находиться в соответствии с механикой нашего восприятия, с ритмом наших чувств. Художественное произведение должно давать наращение образа, идеи, настроения, завязки, интриги до максимума, а не швырять читателя из конца в конец, хотя бы и самыми изысканными тумачами боксерской образности. У Маяковского каждая фраза, каждый оборот, каждый образ хочет быть максимумом, пределом, вершиной. Оттого «вещь» в целом не имеет максимума. У зрителя такое чувство, как если бы его непрерывно заставляли растрачивать себя по частям, — целое ускользает от него. Подъем на гору труден, но он оправдывает себя. Ходьба по пересеченной местности дает не меньше усталости, но меньше радости. Произведения Маяковского не имеют вершины, они внутренне не дисциплинированы. Части не хотят подчиняться целому. Каждая хочет быть собою. Каждая разворачивает собственную динамику, не считаясь с волей целого. Оттого нет целого и нет его динамики. Футуристская работа над словом и образом еще не нашла синтетического воплощения.

«150.000.000» должно было быть поэмой революции. Но этого нет. В большом по замыслу произведении слабые стороны футуризма и его провалы настолько велики, что пожирают целое. Автор хотел дать эпос массовых страданий, массового героизма, безличной революции 150-миллионного Ивана. И автор не подписался: «Этой моей поэмы никто не сочинитель». Но эта условная, титулярная безличность ничего не меняет: поэма глубоко личная, индивидуалистическая и притом преимущественно в худом смысле: в ней слишком много немотивированного художественного произвола. Образы поэмы: «Вильсон, заплывший в сале», «В Чикаго у каждого жителя не менее генеральского чин», «Жрет Вильсон, наращивает жир, растут животы за этажем этажи» — и все в таком же роде. Эти образы простоваты и грубоваты, но это вовсе не массовые, не народные образы, во всяком случае не нынешней массы. Вильсона рабочий — тот, который станет читать поэму Маяковского — видал на снимке: Вильсон худощав, хотя, охотно верим, поглощает достаточное количество белков и жиров. Рабочий читал Синклера и знает, что в Чикаго кроме «генералов» есть еще рабочие боен. В немотивированно примитивных образах, несмотря на громыхающий гиперболизм, слышится даже присюсюкивание, то самое, каким иные взрослые говорят с детьми. Не простота валовой, оптовой народной фантазии глядит на нас из этих образов, а богемская дурачливость. У Вильсона лестница — «коль пешком пойдешь — или молодой, да и то дойдешь ли старый!» Иван наступает на Вильсона, происходит «чемпионат (!) всемирной классовой борьбы», причем у Вильсона «револьверы в четыре курка, сабля в семьдесят лезвий гнута», а у Ивана «рука и еще рука, да и та за пояс ткнута». Безоружный Иван с рукою за поясок против вооруженного револьверами басурманина — да ведь это же старый русский мотив! Не Илья ли Муромец перед нами? Или, может быть, Иванушка-дурачок, выступающий на босу ногу против хитрой немецкой механики? Вильсон ударил Ивана саблей: «на четыре версты прорез... а из раны вдруг человек полез», и далее в таком же роде. Ах, как неуместно, а главное, несерьезно звучит былинно-сказочный примитив, наспех приспособленный к чикагской механике и к классовой борьбе. По замыслу, должно быть титанично, а на самом деле, в лучшем случае, атлетично, да и атлетизм сомнительный, какой-то пародийный, с дутыми шарами. «Чемпионат всемирной классовой борьбы!» Чем-пио-нат! Самокритика, где ты? Чемпионат борьбы есть праздное зрелище, соединенное нередко с жульничеством. Ни

образ этот сюда не подходит, ни слово. Вместо действительного титанизма борьбы 150 миллионов — пародия былинно-циркового чемпионата. Пародия произвольная, но от этого не легче.

Немотивированные, т. е. внутренне не проработанные, образы пожирают идею без остатка и компрометируют ее, художественно и политически. Почему это Иван держит одну руку за поясом — против сабель и револьверов? Откуда такое презрение к технике? Что Иван вооружением слабее Вильсона, это верно. Но именно поэтому ему приходится действовать обеими руками. И если он не падает все же пораженным, то благодаря тому, что в Чикаго есть не только генералы, но и рабочие и что значительная часть их — против Вильсона, за Ивана. Вот этого-то в поэме и не видать. Гонясь за мнимой монументальностью образа, автор отсекает то, в чем заключается суть.

Наскоро и мимоходом, опять-таки немотивированно, автор раскалывает все мироздание на два класса: с одной стороны, плавающий в жире Вильсон, — с ним горностаи и бобры, крупные небесные светила, а с другой — Иван, с ним блузы и миллионы млечного пути. «К бобрам — декадентов всемирных строчки, к блузам — футуристов железные строки». Но в самой поэме хотя и немало сильных и метких строк, ярких образов и всякого вообще словесного богатства, но подлинно железных строк для блузников нет. Не хватает таланта? Нет. Не хватает нервами и мозгом проработанного образа революции, которому были бы подчинены приемы словесного мастерства. Автор атлетствует, подхватывая и пошвыривая то один образ, то другой. «Мы тебя доканаем, мир романтик!» — грозит Маяковский. Правильно. С обломовской и каратаевской романтикой надо кончать. Но как? «Стар — убивать, на пепельницы черепа!» Да ведь это же есть самая настоящая романтика, хотя бы и со знаком минус! Пепельницы из черепов и неудобны и негигиеничны. Да и свирепость все-таки... немотивированная. Давая черепным костям столь несвойственное употребление, поэт сам как бы опутан романтикой, во всяком случае не проработал еще своих образов, не свел их к единству. «Всех миров богатство прикарманьте!» Этим фамильярным тоном Маяковский говорит о социализме. Прикарманить — значит воровски сунуть в карман. Подходит ли это слово, когда дело идет об общественном присвоении земли и заводов? Убийственно не подходит. Автору эта вульгарность нужна, чтобы быть с социализмом и с революцией запанибрата. Но когда он фамильярно дает 150-миллионному Ивану «под микитки», то в результате не поэт вырастает до титанических размеров, а Иван сокращается до восьмой доли листа. Фамильярность вовсе не является выражением внутренней близости, нередко она является просто признаком политической или нравственной неряшливости. Внутренне проработанная связь с революцией исключала бы фамильярный тон, выдвинув то, что немцы называют: пафос дистанции.

В поэме есть яркие строки, смелые образы, слова-находки. Заключительный «мира торжественный реквием», пожалуй, самая сильная часть поэмы. Но вся вещь смертельно поражена: в ней нет внутреннего действия. Противоречия не сгущаются, чтобы потом разрешиться. Поэма о революции лишена движения! Образы живут разрозненно, сталкиваются, отскакивают друг от друга. Вражда образов не вырастает из исторической материи, а является результатом внутренней несогласованности революционного мироощущения. И тем не менее, когда дочитываешь — не без труда — поэму до конца, говоришь себе: если бы чувство меры и самокритика, из этих элементов могло бы

сложиться огромное произведение! Может быть, впрочем, и эти коренные недочеты объясняются не столько личными свойствами Маяковского, сколько условиями работы в замкнутом мире: ничто не отзывается так тяжело на способности самокритики и глазомере, как кружковщина.

В сатирических вещах Маяковского тоже не хватает углубленного проникновения в суть вещей и отношений. Сатира Маяковского бегла и поверхностна. Карикатуристу, чтобы стать значительным, недостаточно владеть карандашом; ему нужно насквозь знать и изнутри понимать тот мир, который он обличает. Салтыков хорошо знал бюрократию и дворянство! Приблизительная карикатура (а такую, увы, на 99 сотых является пока наша советская карикатура) похожа на пулю, которая на палец, а то и всего лишь на волосок пролетает мимо цели: почти что в точку, но все-таки мимо. Сатира Маяковского приблизительна: беглые наблюдения со стороны, иногда на палец, а иногда и на ладонь от цели. Маяковский всерьез полагает, что «смешное» можно отвлечь от материи его и свести к форме. В предисловии к сборнику своих сатир он дает даже «схему смеха». Если при чтении этой «схемы» что-либо способно вызвать улыбку... недоумения, так это то, что схема смеха абсолютно не смешна. Но даже если создать более счастливую «схему», чем это удалось сделать Маяковскому, то и тогда нисколько не исчезнет различие смеха, вызываемого сатирой, попадающей в цель, и хихикания от словесной щекотки.

Маяковский поднялся над выдвинувшей его богемой до чрезвычайно значительных творческих достижений. Но стержень, по которому он подымался, индивидуалистический. Поэт бунтует против той бытовой обстановки, материальной и моральной зависимости, в какую поставлена его жизнь и прежде всего его любовь; страдая и негодуя против хозяев жизни, лишивших его любимой женщины, он возвышается до призыва и предсказания революции, которая обрушится на голову общества, не дающего простору его, Маяковского, индивидуальности. В конце концов «Облако в штанах», поэма невоплощенной любви, есть художественно наиболее значительное, творчески наиболее смелое и обещающее произведение Маяковского. Трудно даже поверить, что вещь такой напряженной силы и формальной независимости написал юноша 22–23 лет! Его «Война и мир», «Мистерия Буфф» и «150.000.000» значительно слабее, именно потому, что Маяковский здесь выходит уже из своей индивидуальной орбиты и стремится направить себя по орбите революции. Можно только приветствовать эти усилия поэта, ибо другого пути для него вообще не существует: «Про это» есть возврат к теме личной любви, но представляет собою несколько шагов назад от «Облака», а не вперед. Только расширение захвата и углубление художественной емкости открывает возможность творческого равновесия на более высоком уровне. Но нельзя не видеть, что сознательный поворот на новый, по существу, общественно-творческий путь — очень трудное дело. Техника Маяковского за эти годы несомненно отточилась, но и шаблонизировалась. В «Мистерии Буфф» и в «150.000.000» наряду с прекрасными местами есть убийственные провалы, заполненные риторикой и словесной эквилибристикой. Той органичности, неподдельности, как в «Облаке», — того вопля из себя — мы уже не слышим. «Маяковский повторяется», — говорят одни, «Маяковский исписывается», — прибавляют другие, «Маяковский оказенился», — злорадствуют третьи. Так ли это? Мы не спешим с пессимистическими пророчествами — Маяковский уже не юноша, но еще молод. Не будем, однако, закрывать глаза на трудности пути. Той творческой непосредственности,

которая живым ключом бьет в «Облаке», уже не вернешь. Об этом, однако, жалеть не приходится. Молодая одаренность, бьющая фонтаном, в зрелые годы заменяется уверенным в себе мастерством, которое означает не только овладение словом, но и широкий жизненно-исторический охват, проникновение в механику живых сил, коллективных и личных, идей, темпераментов и страстей. С этим зрелым мастерством уже несовместимы общественный дилетантизм, горланство, недостаток самоуважения при утомительном бахвальстве, гениальничание с левой ноги и др. черты и приемы интеллигентского кабачка. (См. автобиографию Маяковского.) Если кризис поэта — а этот кризис бесспорен — разрешится в сторону мудрой зрелости, которая знает и частное и общее, тогда историк литературы скажет, что «Мистерия» и «150.000.000» были лишь неизбежными при повороте временными снижениями на пути к творческой вершине. Мы очень желаем, чтобы Маяковский дал будущему историку право на такую оценку.

При переломе руки или ноги кость, сухожилие, мышцы, сосуды, нервы и кожные покровы ломаются и рвутся вовсе не по одной линии и затем не одновременно срастаются и заживают. И при революционном переломе в жизни общества нет одновременности и симметрии процессов в идеологических покровах общества и в экономическом его костяке. Необходимые революции идеологические предпосылки слагаются до революции, а важнейшие идеологические последствия ее являются только значительно позже. Крайне несерьезно на основании формальных сопоставлений и аналогий устанавливать чуть ли не тождество футуризма и коммунизма и выводить отсюда, что футуризм это и есть пролетарское искусство. Такого рода претензию надо отвергнуть, что вовсе не означает уничижительного отношения к работе футуристов. В нашем представлении они входят необходимым звеном в процесс формирования новой, большой литературы. Но по отношению к ней они окажутся все же лишь значительным эпизодом. Чтобы убедиться в этом, надо только конкретнее, историчнее подойти к вопросу, футуристы по-своему правы, когда на упреки в недоступности их произведений массам отвечают: «Капитал» Маркса тоже недоступен. Конечно, массы культурно и эстетически не подготовлены и подниматься будут медленно. Но это лишь одна причина недоступности. Есть и другая: футуризм несет в себе, в своих приемах и формах, явственный след того мира, точнее, мирка, в котором он родился и из которого логикой вещей — психологически, а не логически — почти не выходит до сего дня. Совлечь с футуризма его интеллигентскую ипостась так же нелегко, как отделить форму от содержания. А если бы это удалось, то футуризм тем самым претерпел бы столь глубокое качественное перерождение, что перестал бы быть футуризмом. Это и произойдет, только не завтра. Но уже сегодня можно сказать с уверенностью, что многое в футуризме пойдет впрок, послужит к подъему и возрождению искусства — при условии, если футуризм будет на собственных ногах прокладывать себе дорогу, без попыток декретировать себя государственным путем, как было в начале революции. Новые формы должны открывать себе самостоятельно доступ в сознание передовых слоев рабочего класса по мере его культурного роста. Без упругой атмосферы сочувствия вокруг себя искусство не может ни жить, ни развиваться. На этом пути — а другого нет — предстоит процесс сложного взаимодействия. Культурным подъемом рабочего класса будут питаться и заражаться те новаторы, у которых действительно есть кое-что за пазухой. Манерность, неизбежно сопутствующая кружковщине, будет отпадать, из жизненных ростков появятся свежие формы для разрешения новых художественных задач. Этот процесс предполагает прежде всего

накопление материальной культуры, рост благосостояния, повышение техники. Другого пути нет. Нельзя же серьезно думать, что история просто консервирует футуристские труды и преподнесет их массе через многие годы, когда та созреет. Ведь это было бы чистейшим... пассаизмом. К тому еще не близкому времени, когда культурно-эстетическое воспитание трудящихся масс уничтожит зияющую пропасть между творческой интеллигенцией и народом, искусство будет выглядеть очень отлично от нынешнего. В его подготовке футуризм окажется одним из необходимых звеньев. Или этого уж так мало?

### **Письмо т. Грамши об итальянском футуризме**

Вот ответы на вопросы относительно итальянского футуристического движения, которые вы мне поставили.

Футуристическое движение в Италии после войны совершенно потеряло свои характерные особенности. Маринетти отдает движению чрезвычайно мало активности. Он женился и предпочитает посвящать свою энергию жене. В настоящее время в футуристическом движении принимают участие монархисты, коммунисты, республиканцы, фашисты. В Милане недавно основан политический еженедельник под заглавием «Il Principe», который поддерживает или пытается поддержать те же теории, какие проповедовал для Италии Макиавелли в «Чинквеченто», т. е. что состояние борьбы между местными партиями, которое ведет нацию к хаосу, может быть устранено абсолютным монархом, новым Цезарем Борджиа, который обезглавил бы всех руководителей борющихся партий. Журналом руководят два футуриста — Бруно Корра и Энрико Сеттимелли. Маринетти, хотя в 1920 г. был арестован в Риме во время патриотической демонстрации, за энергичнейшую речь против короля, сотрудничает в этом же еженедельнике.

Наиболее значительные элементы футуризма довоенного времени превратились в фашистов, за исключением Джованни Панини, который стал католиком и написал историю Христа. В период войны футуристы были наиболее упорными глашатаями «войны до победного конца» и империализма. Лишь один фашист, Альдо Паладзески, был против войны. Он порвал с движением и, хотя был одним из наиболее интересных писателей, кончил тем, что замолчал как литератор. Маринетти, который всегда в общем и целом восхвалял войну, опубликовал манифест, в котором доказывал, что война является единственным средством гигиены для мира. Он принимал участие в войне в качестве капитана отряда блиндированных автомобилей, и его последняя книга «Стальной альков» является восторженным гимном блиндированным автомобилям на войне. Маринетти написал брошюру «Помимо коммунизма», в которой излагает свои политические доктрины, если можно назвать доктринами фантазии этого человека, порою остроумные, всегда странные. Перед моим отъездом Туринская секция пролеткульта пригласила Маринетти на выставку футуристической живописи, чтобы на открытии объяснить рабочим, членам организации, ее значение. Маринетти очень охотно принял приглашение и после посещения выставки вместе с рабочими высказал свое удовольствие, что ему удалось убедиться в том, что рабочие гораздо лучше разбираются в вопросах

футуристического искусства, нежели буржуазия. Перед войной футуризм был очень популярен между рабочими. Журнал «Л'Ачербо» (упрямый), который имел тираж в 20000 экземпляров, на 5 расхотился среди рабочих. Во время многочисленных манифестаций футуристического искусства в театрах наиболее крупных городов Италии рабочие защищали футуристов против молодых людей — полуаристократии и буржуазии, — которые вступали с футуристами в драку.

Футуристической группы Маринетти больше не существует. Старый журнал Маринетти «Поэзия» ныне руководится неким Марио Десси, человеком без всякого значения, как интеллектуального, так и организационного. В южной Италии, особенно в Сицилии, выходят многочисленные футуристические журнальчики, которым Маринетти посылает статьи; но эти журналы издаются студентиками, считающими футуризмом незнание итальянской грамматики. Наиболее сильная ячейка среди футуристов — это художники. В Риме существует постоянная галерея футуристической живописи, организованная прогоревшим фотографом, неким Антоном Джулио Брагалья, агентом кинематографов и посредником театральных артистов. Из футуристических живописцев наиболее известным является Джоджио Балла. Д'Аннунцио о футуризме никогда не высказывался публично. Надо иметь в виду, что футуризм, при своем зарождении, имел отчетливый анти-д'аннунцианский характер: одна из первых книг Маринетти носит заглавие: «Les dieux s'en vont, et D'Annunzio reste» («Боги уходят, а Д'Аннунцио остается»). Хотя во время войны политические программы Маринетти и Д'Аннунцио во всем совпадали, футуристы оставались анти-д'аннунционистами. Они почти совершенно не интересовались вопросом фиумского движения, хотя потом принимали участие в демонстрациях.

Можно сказать, что после заключения мира футуристическое движение совершенно потеряло свой характерный образ и расплылось в различных течениях, созданных и оформившихся в результате сдвига эпохи войны. Молодая интеллигенция стала почти целиком реакционной. Рабочие, которые в футуризме видели элементы борьбы против старой итальянской академической культуры, застывшей, далекой от народных масс, ныне должны бороться с оружием в руках за свою свободу и мало интересуются старыми спорами. В больших промышленных центрах программа Пролеткульта, направленная на пробуждение творческого духа рабочих в области литературы и искусства, поглощает энергию тех, кто еще имеет желание и время заниматься этими проблемами.

Москва, 8 сентября 1922 г.

## **V. ФОРМАЛЬНАЯ ШКОЛА ПОЭЗИИ И МАРКСИЗМ**

Если не считать вялых отголосков дореволюционных идейных систем, то единственной теорией, которая на советской почве за эти годы противопоставляла себя марксизму, является, пожалуй, формальная теория искусства. Особливый парадокс заключается в том, что русский формализм тесно связал себя с русским футуризмом, и в то время, как последний более или менее капитулировал перед коммунизмом политически, формализм изо всех сил противопоставляет себя марксизму теоретически.

Виктор Шкловский — теоретик футуризма, в то же время глава формальной школы. По его теории, искусство всегда было творчеством самодовлеющих чистых форм, а футуризм это впервые осознал. Таким образом, футуризм есть первое в истории сознательное искусство, а формальная школа есть первая научная школа искусства. Усилиями Шкловского — заслуга не маленькая! — теория искусства, а отчасти и само искусство из состояния алхимии переведены наконец на положение химии. Провозвестник формальной школы, первый химик искусства, дает попутно несколько дружественных шлепков тем футуристам-согласателям, которые ищут мост к революции и пытаются его найти в теории исторического материализма. В таком мосте нет надобности: футуризм сам себе довлеет.

Остановиться на школе формализма приходится по двум причинам. Во-первых, ради нее самой: при всей поверхностности и реакционности формалистской теории искусства известная часть изыскательской работы формалистов вполне полезна. Во-вторых, ради футуризма: как ни неосновательны претензии футуристов на монопольное представительство нового искусства, но из процесса подготовки искусства будущего футуризма не выкинешь.

Что же такое формальная школа?

В таком виде, как она сейчас представлена Шкловским, Жирмунским, Jakobсоном и др., она есть прежде всего крайне заносчивый недоносок. Объявив сущностью поэзии форму, эта школа свою задачу сводит к анализу (по существу описательному и полустатистическому) этимологических и синтаксических свойств поэтических произведений, подсчету повторяющихся гласных и согласных, слогов, эпитетов. Эта частичная работа, «не по чину» называемая формалистами наукой поэзии или поэтикой, безусловно нужна и полезна, если понять ее частичный, черновой, служебно-подготовительный характер. Она может войти существенным элементом в технику поэтического ремесла, в его практическую рецептуру. Как для поэта, да и вообще писателя полезно, скажем, составлять для себя списки синонимов, увеличивая их число и тем раздвигая свою словесную клавиатуру, также полезно, а для поэта прямо-таки необходимо оценивать слово не только по его внутренней смысловой ассоциации, но и по его акустике, ибо от человека к человеку передается оно прежде всего акустически. Введенные в законные пределы методологические приемы формализма могут помочь выяснению художественно-психологических особенностей формы (ее экономность, стремительность, контрастность, гиперболичность и пр.). Отсюда, в свою очередь, открывается путь — один из путей — к мироощущению художника и облегчается подход ко вскрытию социальной обусловленности отдельного художника или целой художественной школы. Поскольку же мы имеем дело с сегодняшней, живой, еще развивающейся школой, прощупывание ее социальным зондом, выяснение ее классовых корней имеют в условиях нашей переходной эпохи непосредственное ориентирующее значение не только для читателя, но и для самой школы, в смысле ее самопознания, самоочищения, самонаправления.

Но сами формалисты не хотят мириться на вспомогательном служебно-техническом значении своих приемов — вроде того, какое статистика имеет для социальных наук или микроскоп — для биологических. Нет, они идут гораздо дальше: для них словесное

искусство полностью и окончательно замыкается словом, изобразительное — краской. Поэма есть сочетание звуков, картина — комбинация цветных пятен, законы искусства — это законы словесных сочетаний и комбинация цветных клякс. Социально-психологический подход, который для нас только и осмысливает микроскопическую и статистическую работу над словесным материалом, для формалистов уже алхимия.

«Искусство всегда было вольно от жизни, и на цвете его никогда не отражался цвет флага над крепостью города» (Шкловский). «Установка на выражение, на словесную массу — единственный, существенный для поэзии момент» (Р. Якобсон: Новейшая русская поэзия). «Раз есть новая форма, следовательно, есть и новое содержание. Форма, таким образом, обуславливает содержание» (Крученых). «Поэзия есть оформление самоценного, „самовитого“, как говорит Хлебников, слова» (Якобсон) и т. д.

Правда, итальянские футуристы искали в слове «орудие» выражения для века паровоза, пропеллера, электричества, радио и пр. Другими словами, они искали новой формы для нового содержания жизни. Но оказывается, что «это реформа в области репортажа, а не в области поэтического языка» (Якобсон). Иное дело русский футуризм: он доводит «установку на словесную массу» до конца. Для него форма обуславливает содержание.

Правда, Якобсон вынужден признать, что «ряд новых поэтических приемов находит себе применение (?) в урбанизме» (городской культуре). Но вывод его такой: «отсюда урбанистические стихи Маяковского и Хлебникова». Другими словами, не городская культура, поразившая глаз и ухо поэта или вконец перевоспитавшая их, внушила ему новую форму — новые образы, новые эпитеты, новый ритм, а, наоборот, новая форма, самопроизвольно («самовито») возникающая, заставила поэта искать подходящего материала и, между прочим, толкнула его в сторону города! Развитие «словесной массы» шло самопроизвольно от «Одиссеи» до «Облака в штанах»: лучина, восковая свеча, электрическая лампа тут ни при чем! Стоит лишь ясно формулировать эту точку зрения, чтобы ее поистине ребяческая несостоятельность ударила в глаза. Но Якобсон пытается настаивать: ведь у того же Маяковского, возражает он авансом, имеются и такие стихи: «Бросьте города, глупые люди». И теоретик формальной школы глубокомысленно рассуждает: «Что это — логическое противоречие?! Но пусть другие навязывают поэту мысли, высказанные в его произведениях. Инкриминировать поэту идеи, чувствования так же абсурдно, как поведение средневековой публики, избивавшей актера, игравшего Иуду...» И т. д.

Совершенно очевидно, что все это писал способнейший гимназист пятого класса, с очевиднейшим и вполне «самовитым» намерением «вставить перо» — «нашему учителю словесности, педанту известному». Вставлять перо наши отважные новаторы — мастера, а вот теоретически грамотно пользоваться своим пером они не умеют. Доказать это не так уж трудно.

Конечно же внушения города — трамвая, электричества, телеграфа, автомобиля, пропеллера, ночного кафе (особенно ночного кафе) — футуризм воспринял раньше, чем нашел свою новую форму. Урбанизм (городская культура) у него глубоко сидит в бессознательном, а эпитеты, этимология, синтаксис и ритм футуризма являются попыткой дать художественную форму новому духу городов, овладевшему сознанием. И если



Маяковский восклицает: «Бросьте города, глупые люди», то это же крик горожанина до мозга костей, причем горожанином-то он наиболее ярко и отчетливо обнаруживается вне города, когда «бросает город» — в качестве дачника. Совсем не в том дело, чтобы «инкриминировать» (словечко-то попадает пальцем в небо!) поэту высказываемые им мысли и чувства. Конечно, поэта делает поэтом только то, как он их высказывает. Но в конце концов поэт на языке им воспринятой или им самим создаваемой школы выполняет вне его лежащие задания. И это даже в том случае, если он ограничивается малым кругом лирики: личной любовью и личной смертью. Индивидуальные оттенки поэтической формы отвечают, разумеется, индивидуальному складу, но в то же время уживаются с эпигонством и рутинной как в области чувств, так и в способах их выражения. Новая художественная форма, взятая в крупном историческом масштабе, рождается как ответ на новые потребности. Не выходя из круга интимной лирики, можно сказать: между физиологией пола и стихотворением о любви пролегает сложная система передаточных механизмов психики, в которой есть индивидуальное, родовое и социальное. Родовой фундамент, сексуальная основа человека, изменяется медленно. Общественные формы любви изменяются быстрее. Они влияют на психическую надстройку любви, порождают новые оттенки и интонации, новые духовные запросы, потребность в новом словаре и тем самым предъявляют новые требования к поэзии. Материал для творчества поэт может найти только в своем социальном окружении, проводя новые толчки жизни через свое художественное сознание. Язык, измененный и усложненный городскими условиями, дает поэту новый словесный материал и внушает или облегчает ему новые приемы словосочетания для поэтического оформления новых мыслей или нового чувства, которое стремится прободать темную скорлупу бессознательного. Если бы не было изменений в психике, порождаемых изменением общественной среды, — не было бы движения в искусстве: люди продолжали бы из поколения в поколение удовлетворяться поэзией Библии или старых греков.

Но тогда — накидывается на нас философ формализма — дело идет всего-навсего о новой форме «в области репортажа, а не в области поэтического языка»? Ах, убил!.. Если угодно, поэзия и есть репортаж, только особого большого стиля.

Споры о «чистом искусстве» и об искусстве направленческом были уместны между либералами и народниками. Нам они не к лицу. Материалистическая диалектика выше этого: для нее искусство, под углом зрения объективного исторического процесса, всегда общественнослужебно, исторически-утилитарно: оно находит для темных и смутных настроений нужный им ритм слов, сближает мысль и чувство или противопоставляет их друг другу, обогащает духовный опыт лица и коллектива, утоньшает чувство, делает его гибче, отзывчивее, отзывнее, расширяет емкость мысли за счет не личным путем накопленного опыта, воспитывает индивидуальность, общественную группу, класс, нацию. И это совершенно независимо от того, выступает ли оно в данном своем течении под флагом «чистого» или открыто тенденциозного искусства. В нашем русском общественном развитии направленчество было знаменем интеллигенции, искавшей связи с народом. Бессильная, придавленная царизмом, без культурной среды, искавшая опоры в низах, интеллигенция стремилась доказать «народу», что только о нем и думает, им только и живет, что она его «ужасно, ужасно» любит и что точно так же, как идущие в народ народники готовы обходиться и без чистого белья, и без гребешка, и без зубной

щетки, так и в искусстве своей интеллигенция готова пожертвовать «ухищрениями» формы ради того, чтобы дать наиболее прямое и непосредственное выражение страданиям и надеждам угнетенных. Наоборот, для утверждавшейся буржуазии, которая не могла открыто предьявлять свою буржуазность и в то же время стремилась интеллигенцию удержать за собой, естественным знаменем явилось «чистое» искусство. Точка зрения марксизма далека от этих исторически обусловленных, но исторически же превзойденных направлений. В плоскости научного исследования марксизм одинаково уверенно ищет социальных корней как «чистого», так и направленного искусства. Он вовсе не «инкриминирует» поэту мысли или чувства, какие тот выражает, а ставит себе вопросы более глубокого значения: какому порядку чувств отвечает данная форма художественного произведения во всех ее особенностях? Какова социальная обусловленность этих мыслей и чувств? Какое место в историческом развитии общества, класса они занимают? И далее: каковы элементы литературного наследия, пошедшие на выработку новой формы? Под влиянием каких исторических толчков новые комплексы мыслей и чувств пробили скорлупу, отделяющую их от сферы поэтического сознания? Исследование может усложняться, детализироваться, индивидуализироваться, но основной осью его будет служебная в социальном процессе роль искусства.

У каждого класса есть своя меняющаяся во времени политика в искусстве, т. е. своя система предьявления искусству требований: меценатство дворов и гран-сеньеров, автоматическая работа спроса-предложения, дополняемая комбинированными способами индивидуального воздействия и пр. и пр. Социальная и даже персональная зависимость искусства не скрывалась, а искательно провозглашалась, доколе искусство сохраняло свой придворный характер. Более широкий, массовидный, анонимный характер утвердившейся буржуазии вел в общем и целом, с длительными отклонениями, к теории «чистого» искусства. В упомянутом уже направленчестве народнической интеллигенции также был свой классовый эгоизм: без народа интеллигенция не могла обосноваться, утвердиться и завоевать себе право на историческую роль. Но в условиях революционной борьбы ее классовый эгоизм выворачивался наизнанку, принимая на левом ее крыле форму высшего самоотвержения. Оттого-то интеллигенция не скрывала, а изо всех сил провозглашала направленчество, жертвуя нередко в искусстве самим искусством, как жертвовала многим другим.

Наше марксистское понимание объективной социальной зависимости и общественной утилитарности искусства, в переводе на язык политики, вовсе не означает стремления командовать искусством при помощи декретов или предписаний. Неверно, будто для нас новым или революционным является только то искусство, которое говорит о рабочем, и вздор, будто мы от поэтов требуем, чтобы они непременно описывали фабричную трубу или восстание против капитала! Разумеется, новое искусство органически не сможет не поставить в центре своего внимания борьбу пролетариата. Но плуг нового искусства вовсе не ограничен одними только занумерованными полосами— наоборот, он должен перепахать все поле вдоль и поперек. Самый малый круг личной лирики имеет неоспоримейшее право на существование в рамках нового искусства. Более того, новый человек не сформируется без новой лирики. Но чтобы создать ее, поэт сам должен почувствовать мир по-новому. Если над его объятием склоняется непременно Христос или сам Саваоф (как у Ахматовой, Цветаевой, Шкапской и др.), то уж один этот признак

свидетельствует о ветхости такой лирики, об ее общественной, а следовательно, и эстетической непригодности для нового человека. Даже там, где эта терминология не столько в переживаниях, сколько в словесных пережитках, она свидетельствует, по меньшей мере, о косности психики и уже этим вступает в противоречие с сознанием нового человека. Никто не ставит и не собирается ставить поэтам тематических заданий. Благоволите писать о чем вздумается! Но позвольте новому классу, считающему себя — с некоторым основанием — призванным строить новый мир, сказать вам в том или другом случае: если вы мироощущение Домостроя переводите на язык акмеизма, то это не делает вас новыми поэтами. Художественная форма в известных и очень широких пределах независима, но художник, творец этой формы, и зритель, наслаждающийся ею, не пустые аппараты для создания формы и восприятия ее, а живые люди с кристаллизованной психикой, представляющей некоторое, хотя и не всегда гармоническое единство. И вот эта психика их социально обусловлена. Творчество и восприятие художественных форм — одна из ее функций. И сколько бы ни мудрили формалисты, вся их незамысловатая концепция основана на игнорировании психического единства общественного человека, того самого, что творит или потребляет сотворенное.

Пролетариату нужно в искусстве выражение для того нового душевного склада, который в нем самом только-только формируется и который искусство должно помочь оформить. Это не наказ государства, а исторический критерий. Могущество его в его объективной исторической обусловленности. Его не обойдешь, из-под власти его не выскочишь.

Формальная школа как будто именно и стремится к объективизму. Литературно-критический произвол, оперирующий одними лишь вкусами и настроениями, ее возмущает, и не без основания. Она ищет точных признаков для классификации и оценки. Но в силу узости ее горизонта и поверхностности методов она сбивается прямо-таки на суеверия, подобно графологии или френологии. Эти две «школы» тоже имеют, как известно, своей задачей установить чисто объективные признаки для определения человеческого характера: число и закругленность завитушек почерка и особенности шишек на затылке. Надо полагать, что завитушки и шишки действительно находятся в известной связи с характером, но связь эта не непосредственная, и человеческий характер ею нимало не исчерпывается. Мнимый объективизм, опирающийся на случайные, второстепенные или просто недостаточные элементы вопроса, неизбежно приводит к худшему субъективизму, у формальной школы — к суеверию слов. Подсчитав прилагательные, взвесив строки и смерив рифмы, формалист либо молча останавливается с видом человека, не знающего, что ему самому с собой дальше делать, либо выбрасывает неожиданное обобщение, в котором на 5 процентов — формализма и на 95 процентов — самой некритической интуиции.

Формалисты не доводят, в сущности, своего подхода к искусству до логического конца. Если к процессу поэтического творчества относиться только как к комбинации звуков или слов и на этом пути искать разрешения всех задач поэзии, то единственная законченная формула «поэтики» будет такова: вооружившись Далем, создавать, путем алгебраических комбинаций и перестановок словесных элементов, все уже созданные и все еще не созданные поэтические произведения мира. Рассуждая «формально», к «Евгению Онегину» можно прийти двумя путями: либо подчиняя выбор словесных элементов предвзятой художественной идее (как у самого Пушкина), либо разрешая задачу

алгебраически. С той же «формальной» точки зрения второй путь вернее, так как не зависит от настроения, вдохновения и других шатких вещей и имеет еще и то преимущество, что на пути к «Евгению Онегину» обеспечивает несчетное число других великих произведений. Для этого нужна только бесконечность во времени, именуемая вечностью. Но так как человечество ею не располагает, а отдельные поэты тем более, то основной пружиной поэтического словосочетания останется по-прежнему предвзятая художественная идея, понимаемая в самом широком смысле: и как точная мысль, и как ярко выраженное чувство, личное и социальное, и как смутное настроение. Стремясь к художественной реализации, этот субъективный творческий клубок получает со стороны искомой формы новые раздражения и толчки и иногда целиком сдвигается на первоначально непредвиденный путь. Это значит лишь, что словесная форма не пассивный отпечаток предвзятой художественной идеи, а активный элемент, воздействующий на самый замысел. Но такого рода активное взаимоотношение — когда форма влияет на содержание, иногда в корне преобразуя его, — нам известно во всех областях общественной, да и биологической жизни. Это отнюдь не основание для отказа от дарвинизма и марксизма и для создания «формальной школы» в биологии и социологии.

В. Шкловский, который с наибольшей непринужденностью перепархивает от словесной крошки формализма к субъективнейшим оценкам, наиболее непримиримо относится вместе с тем к историко-материалистическому критерию искусства. В изданной им в Берлине книжке «Ход коня» он на протяжении трех маленьких страничек — краткость есть основное, во всяком случае бесспорное достоинство Шкловского — формулирует пять (не четыре и не шесть, а пять) исчерпывающих доводов против материалистических воззрений на искусство. Мы пройдемся по этим доводам, ибо поистине не вредно посмотреть и показать, какого рода мякина выдается за последнее слово научной мысли (с разнообразнейшими учеными ссылками все на тех же трех микроскопических страничках).

«Если бы быт и производственные отношения, — говорит Шкловский, — влияли на искусство, разве сюжеты не были бы прикреплены к тому месту, где они соответствовали этим отношениям? А ведь сюжеты бездомны». Ну а мотыльки? Ведь они, по Дарппну, тоже «соответствуют» определенным отношениям, а между тем порхают с места па место не хуже иного необремененного литератора.

Почему, собственно, марксизм должен обрекать сюжеты на крепостное состояние, попять нелегко. Тот факт, что разные народы и разные классы одного и того же народа пользуются одними и теми же сюжетами, свидетельствует лишь об ограниченности человеческого воображения и о стремлении человека во всяком своем творчестве, в том числе и художественном, к экономии сил. Каждый класс стремится в высшей мере использовать материальное и духовное наследство другого класса. Довод Шкловского можно бы без труда перенести в область самой производственной техники. Начиная с древних веков телега исторического человечества имела однородный сюжет: оси, колеса, дышло. Экипаж римского патриция был, однако, так же приспособлен к его вкусам и потребностям, как карета графа Орлова, снабженная некоторыми внутренними удобствами, приноровлена была к вкусам екатерининского фаворита. Телега русского мужика приспособлена к потребностям его хозяйства, к силам лошаденки и к свойствам

проселка. Автомобиль, являющийся бесспорным порождением новой техники, обнаруживает, однако, тот же «сюжет» — четыре колеса на двух осях. И тем не менее каждый раз, когда на русской дороге ночью крестьянская лошаденка шарахается в ужасе перед ослепившим ее прожектором автомобиля, в этом эпизоде находит свое выражение конфликт двух культур.

«Если бы быт выражался в новеллах, — так гласит второй аргумент, — то европейская наука не ломала бы головы, где — в Египте, Индии или Персии и когда создались новеллы 1001-й ночи». Сказать, что быт человека, в том числе и художника, т. е. условия его воспитания и жизни, находят выражение свое в его творчестве, вовсе не значит сказать, что это выражение имеет точный географический, этнографический или статистический характер. Не мудрено, если по некоторым новеллам трудно решить, создались ли они в Египте, Индии или Персии, ибо в социальных условиях этих стран слишком много общего, но именно тот факт, что европейская наука «ломает голову» над разрешением этого вопроса, на основании самих новелл, свидетельствует, что новеллы эти отражают быт, хотя и весьма преломление. Никто не может выскочить из себя. Даже в бреде сумасшедшего нет ничего, чего больной не получил бы ранее извне. Но было бы сумасшествием второго порядка принимать бред за точное отражение внешнего мира. Только опытный и вдумчивый психиатр, знающий прошлое больного, отыщет в тексте бреда преломленные и искаженные осколки реальности. Художественное творчество, конечно, не бред. Но это тоже преломление, видоизменение, преобразование реальности по особым законам искусства. Как бы фантастично ни было искусство, оно не имеет в своем распоряжении никакого другого материала, кроме того, какой ему дает наш мир трех измерений и более тесный мир классового общества. Даже когда художник творит рай или ад, он в своих фантазмагориях претворяет опыт собственной жизни, вплоть до неоплаченного счета квартирной хозяйки.

«Если бы сословные и классовые черты отлагались в искусстве, — продолжает Шкловский, — то разве было бы возможно, что великорусские сказки про барина те же, что и сказки про попа».

В сущности это перифраза первого довода. Почему, собственно, сказки про барина и про попа не могут быть одни и те же, и в каком смысле это противоречит марксизму? В воззваниях, которые пишутся заведомыми марксистами, нередко говорится о помещиках, капиталистах, попах, генералах и других эксплуататорах. Помещик, бесспорно, отличается от капиталиста, но бывают случаи, когда они берутся за одну скобку. Почему народному творчеству не брать в известных случаях за одну скобку барина и попа как представителей стоящих над ним, мужиком, и его, мужика, грабящих сословий? На плакатах Моора или Дени поп нередко стоит рядом с помещиком — без всякого ущерба для марксизма.

«Если бы этнографические черты отлагались в искусстве, — не унимается Шкловский, — то сказки про инородцев не были бы обратными, не рассказывались бы любым данным народом про другой соседний».

Час от часу не легче. Марксизм вовсе не утверждает самостоятельного характера этнографических черт. Наоборот, он выдвигает всеопределяющее значение природно-

хозяйственных условий в процессе формирования фольклора. Однородные условия развития пастушески-земледельческих, преимущественно крестьянских народов и однородный характер взаимного воздействия их друг на друга не могут не вести к созданию однородных сказок. При этом с точки зрения занимающего нас вопроса совершенно безразлично, зарождались ли родственные сюжеты самостоятельно у разных народов как отражение одинакового в своих основных чертах жизненного опыта, преломленного через однородную призму крестьянской фантазии, или же сказочные семена переносились попутным ветром с места на место, пуская ростки там, где почва оказывалась благоприятной. В действительности, вероятно, оба эти способа сочетались.

И наконец, — «почему сие неверно в-пятых» — Шкловский приводит в качестве отдельного аргумента конкретный сюжет похищения, который прошел через греческую комедию и дошел до Островского; другими словами, наш критик повторяет в индивидуализированном виде все тот же свой первый аргумент (как видим, и по части формальной логики дело обстоит у нашего формалиста не очень благополучно...). Да, сюжеты странствуют? от народа к народу, от класса к классу, даже от автора к автору. Это означает только, что человеческое воображение экономно. Новый класс не начинает творить всю культуру сначала, а вступает во владение прошлым, сортирует, перелицовывает, перегруппировывает его и уж на этом строит далее. Не будь этой утилизации «подержанного» гардероба веков, в историческом процессе не было бы вообще движения вперед. Если сюжет драмы Островского дошел до него от египтян через Грецию, то и та бумага, на которой Островский развивал свой сюжет, дошла до него, как развитие египетского папируса, через греческий пергамент. Возьмем еще более близкую аналогию: то обстоятельство, что в теоретическое сознание Шкловского крепко проникли критические приемы греческих софистов, чистых формалистов своего времени, нимало не изменяет того факта, что сам Шкловский — весьма живописный продукт определенной социальной среды и определенного времени.

Ниспровержение Шкловским в пяти пунктах марксизма чрезвычайно напоминает нам те статьи, которые в доброе старое время печатались в журнале «Православное Обозрение» против дарвинизма. Если бы учение о происхождении человека от обезьяны было правильно, писал лет тридцать — сорок тому назад ученый одесский епископ Никанор, то наши дедушки должны были бы иметь резко выраженные признаки хвоста или должны были бы помнить такие отличия у своих дедушек и бабушек. Во-вторых, как ведомо всем, от обезьян рождаются только обезьяны... В-пятых же, дарвинизм не верен еще и потому, что противоречит формализму... то бишь формальным постановлениям вселенских соборов. Преимущество ученого монаха заключалось, однако, в том, что он был откровенным «пассеистом» и ссылаясь на апостола Павла, а не на физику, химию и математику, как делает, походя, футурист Шкловский.

Что потребность в искусстве создается не экономическими условиями — это бесспорно. Но и потребность в питании создается не экономикой. Наоборот, потребность в еде и тепле создает экономику. Совершенно верно, что по одним лишь принципам марксизма никогда нельзя судить, отвергнуть или принять произведение искусства. Продукты художественного творчества должны в первую очередь судиться по своим собственным законам, т. е. по законам искусства. Но только марксизм способен объяснить, почему и

откуда в данную эпоху возникло данное направление в искусстве, т. е. кто и почему предъявил спрос на такие, а не на иные художественные формы.

Было бы ребячеством думать, будто каждый класс полностью и целиком из себя порождает свое искусство и, в частности, будто пролетариат способен создать новое искусство через замкнутые художественные семинарии, кружки, пролеткульты и пр. Вообще, творчество исторического человека есть преемственность. Каждый новый восходящий класс становится на плечи своих предшественников. Но это преемственность диалектическая, т. е. находящая себя путем внутренних отталкиваний и разрывов. Толчки в виде новых художественных потребностей спроса на новый литературный или живописный подход даются экономикой через новый класс или — меньше толчки — через новую установку того же класса — под влиянием роста его богатства, могущества культуры. Художественное творчество есть всегда сложная перелицовка старых форм под влиянием новых толчков, исходящих из области, лежащей вне самого художества. В этом широком смысле искусство служебно. Это не бесплотная стихия, сама себя питающая, а функция общественного человека, неразрывно связанная с бытом и укладом его. И как характерно — в смысле доведения каждого социального предрассудка до абсурда, — что Шкловский додумался до идеи абсолютной независимости искусства от социального уклада в такой период нашей русской истории, когда искусство, с большей обнаженностью, чем когда-либо, обнаружило свою духовную, бытовую и материальную зависимость от определенных общественных классов, подклассов и групп!

Материализм не отрицает значения формального момента — ни в логике, ни в праве, ни в искусстве. Как правовая система может и должна быть судит по ее внутренней логичности и согласованности, так и искусство может и должно быть судимо с точки зрения своих формальных достижений, ибо вне этих последних не может быть искусства. Однако юридическая теория, которая пытается установить независимость права от социальных условий, порочна в самой своей основе. Движущая сила — в экономике, в классовых противоречиях; право дает лишь оформленное и внутренне согласованное-выражение этим явлениям не в их индивидуальной исключительности, а в их общности, в их повторяемости и длительности. Как раз ныне мы с редкой в истории прозрачностью наблюдаем у себя самих, как делается новое право: не методами самодовлеющей дедукции, а приемами эмпирической примерки и прикройки к хозяйственным потребностям нового господствующего класса. Литература своими методами и приемами, которые корнями уходят в отдаленнейшее прошлое и представляют накопленный опыт словесного мастерства, дает выражение мыслям, чувствам, настроениям, воззрениям, надеждам своей эпохи и своего класса. Из этого не выскочишь. Да и нет, казалось бы, нужды высказывать — по крайней мере, тем, кто не обслуживает уже превзойденную эпоху и переживший себя класс.

Приемы формального анализа необходимы, но они недостаточны. Можно подсчитать аллитерации в народных пословицах, классифицировать метафоры, взять на учет число гласных и согласных в величальной песне — все это, несомненно, обогатит тем или иным наше познание народного творчества; но если не знать мужицкого севооборота и связанного с ним жизнеоборота, если не знать роли сохи и не справиться с бытовыми мужицкими святыми, т. е. в какое время года крестьянин женится и когда крестьянка рождает ребят, то мы будем в народном творчестве знать только шелуху его, а до ядра не

доберемся. Архитектурно-конструктивную схему Кельнского собора можно установить, только смирив основание и высоту его арок, определив три измерения его кораблей, размеры и размещение колонн и пр. и пр., но если мы не знаем, что такое средневековый город, что такое цех и что такое католическая церковь средневековья, то мы никогда не поймем Кельнского собора. Попытка освободить искусство от жизни, объявить его самодовлеющим мастерством, обездушивает и умерщвляет искусство. Самая потребность в такой операции есть безошибочный симптом идейного упадка.

Брошенная выше мимоходом аналогия с богословскими опровержениями дарвинизма может показаться читателю внешней и анекдотической. Конечно, не без того. Но тут есть и более глубокая связь. Сколько-нибудь начитанному марксисту теория формализма непременно напомнит знакомые перепевы очень старой философской мелодии. Юристы и моралисты (вспомним наугад немца Штаммлера и нашего субъективиста Михайловского) доказывали, что мораль и право уже по одному тому не могут определяться хозяйством, что само хозяйство немислимо вне юридических и этических норм. Правда, формалисты права и морали не доходили до признания полной независимости права и этики от хозяйства; они признавали некое сложное взаимоотношение «факторов», причем эти «факторы», воздействуя друг на друга, сохраняли качества самостоятельных субстанций, неизвестно откуда исходящих. Утверждение полной независимости эстетического «фактора» от воздействия социальных условий, па манер Шкловского, есть уже специфическая экстравагантность, тоже, впрочем, социально обусловленная: это эстетическая мания величия, в которой опрокинута на голову наша жесткая действительность. За вычетом этой особенности остается в построениях формалистов порочное методологическое тождество со всеми прочими видами идеализма. Для материалиста и религия, и право, и мораль, и искусство представляют собою отдельные стороны единого, в основах своих, процесса общественного развития. Отчленяясь от своей производственной основы, усложняясь, закрепляя и детализируя свои особенности, политика, религия, право, этика, эстетика остаются функциями социально-связанного человека и подчиняются законам его общественной организации. Идеалист же видит не единый процесс исторического развития, выдвигающий из себя необходимые органы и функции, а пересечение, сочетание или взаимодействие неких самодовлеющих начал — религиозных, политических, юридических, эстетических и этических субстанций, которые в собственном наименовании находят уже свое происхождение и объяснение. Гегелевский идеализм (диалектический) низлагает по-своему эти субстанции (они же вечные категории), сводя их к генетическому единству. Несмотря на то что это единство у Гегеля — абсолютный дух, прорастающий в процессе своего диалектического проявления разными «факторами», гегелевская система — не потому, что она идеалистична, а потому, что она диалектична, — дает не худшее в своем роде представление об исторической действительности, чем вывернутая наизнанку перчатка о руке человека. Что же касается формалистов (гениальнейший из них Кант), то они берут не динамику развития, а его поперечный разрез в день и час их собственного философского откровения. На разрезе они обнаруживают сложность и множественность своего объекта (не процесса, ибо они не мыслят процессами). Сложность они расчлениают и классифицируют. Элементам они дают названия, которые сейчас же превращаются в сущности, в под-абсолюты без рода, без племени: религия, политика, мораль, право, искусство... Тут уже не вывернутая наизнанку перчатка истории, а содранная с отдельных пальцев кожа, просушенная до



степени полной абстракции, причем рука истории оказывается продуктом «взаимодействия» большого, указательного, среднего и прочих «факторов». Эстетический «фактор» — это мизинец, меньший, но не менее любимый.

В области биологии витализм есть вариант того же самого фетишизирования отдельных сторон мирового процесса без понимания его внутренней обусловленности. Для надсоциальной, безначальной морали или эстетики, как и для надфизической, безначальной «жизненной силы», не хватает только... единого творца. Множественность самостоятельных «факторов», без начала и конца, является замаскированным многобожием. И если кантианский идеализм представляет собою, в историческом чередовании, перевод христианства на язык рационалистической философии, то, с другой стороны, все разветвления идеалистического формализма открыто или замаскированно тяготеют к богу как к причине причин. По сравнению с идеалистической олигархией дюжины под-абсолютов единый и личный творец является уже элементом порядка. Такова более глубокая связь формалистских опровержений марксизма с богословскими опровержениями дарвинизма.

Формальная школа есть геллертерски препарированный недоносок идеализма в применении к вопросам искусства. На формалистах лежит печать скороспелого поповства. Они иоанниты: для них «в начале было слово». А для нас в начале было дело. Слово явилось за ним как звуковая тень его.

## **VI. ПРОЛЕТАРСКАЯ КУЛЬТУРА И ПРОЛЕТАРСКОЕ ИСКУССТВО**

**Что такое пролетарская культура и мыслима ли она? — Культурные пути буржуазии и пролетариата. — Диктатура пролетариата, культура и культурничество. — Что такое пролетарская наука? — Поэты-рабочие и рабочий класс. — Декларация «Кузницы». — Космизм. — Демьян Бедный**

Каждый господствующий класс создает свою культуру и, следовательно, свое искусство. История знала рабовладельческие культуры Востока и классической древности, феодальную культуру европейского средневековья, буржуазную культуру, ныне владеющую миром. Отсюда уже как бы само собою вытекает, что и пролетариат должен создать свою культуру и свое искусство.

Вопрос, однако, далеко не так прост, как кажется с первого взгляда. Общество, в котором господствовали рабовладельцы, существовало в течение многих и многих столетий. Точно так же и феодализм. Буржуазная культура, если даже считать только со времени открытого и бурного ее проявления, т. е. с эпохи Возрождения, существует пять столетий, причем полного расцвета достигает не ранее XIX в., собственно второй его половины. Формирование новой культуры вокруг господствующего класса требует, как свидетельствует история, большого времени и достигает завершенности в эпоху, предшествующую политическому упадку класса.

Хватит ли у пролетариата попросту времени на создание «пролетарской» культуры? В отличие от режима рабовладельцев, феодалов, буржуа диктатуру свою пролетариат мыслит как кратковременную переходную эпоху. Когда мы хотим обличить слишком уж оптимистические воззрения на переход к социализму, мы напоминаем, что эпоха социальной революции будет длиться в мировом масштабе не месяцы, а годы и десятилетия — десятилетия, но не века и тем более не тысячелетия. Может ли пролетариат за это время создать новую культуру? Сомнения на этот счет тем более законны, что годы социальной революции будут годами ожесточенной борьбы классов, где разрушения займут больше места, чем новое строительство. Во всяком случае, главная энергия самого пролетариата будет направлена на завоевание власти, ее удержание, упрочение и применение во имя неотложнейших нужд существования и дальнейшей борьбы. Высшей напряженности и полного выявления своего классового существа пролетариат достигнет, однако, именно в эту революционную эпоху, вводящую в столь узкие пределы возможность планомерного культурного строительства. И наоборот: чем полнее будет новый режим обеспечен от политических и военных потрясений, чем благоприятнее будут условия для культурного творчества, тем более пролетариат будет растворяться в социалистическом общезитии, освобождаясь от своих классовых черт, т. е. переставая быть пролетариатом. Другими словами, в эпоху диктатуры о создании новой культуры, т. е. о строительстве величайшего исторического масштаба, не приходится говорить; а то ни с чем прошлым несравнимое культурное строительство, которое наступит, когда отпадет необходимость в железных тисках диктатуры, не будет уже иметь классового характера. Отсюда надлежит сделать тот общий вывод, что пролетарской культуры не только нет, но и не будет; и жалеть об этом поистине нет основания: пролетариат взял власть именно для того, чтобы навсегда покончить с классовой культурой и проложить пути для культуры человеческой. Мы об этом нередко как бы забываем.

Бесформенные разговоры насчет пролетарской культуры, по аналогии-антитезе с буржуазной, питаются крайне некритическим уподоблением исторических судеб пролетариата и буржуазии. Плоский, чисто либеральный метод формальных исторических аналогий не имеет ничего общего с марксизмом. Нет материальной аналогии в исторических орбитах буржуазии и рабочего класса.

Развитие буржуазной культуры началось за несколько столетий до того, как буржуазия путем ряда революций взяла в свои руки государственную власть. Еще когда буржуазия была полубесправным третьим сословием, она играла большую и все возрастающую роль во всех областях культурного строительства. Это с особенной отчетливостью можно проследить на архитектуре. Не сразу, не под ударом религиозного вдохновения строились готические церкви. Конструкция Кельнского собора, его архитектура, его скульптура резюмируют собою строительный опыт человечества с приспособлений пещерного жителя, сводя элементы этого опыта к новому стилю, выражающему культуру своей эпохи, т. е. в последнем счете ее социальную структуру и технику. Старая цеховая и гильдейская предбуржуазия была фактической строительницей готики. Развившись и укрепившись, т. е. разбогатев, буржуазия, уже сознательно и активно прошедшая через готику, создает свой собственный архитектурный стиль — уже не для церквей, а для своих домов-дворцов. Она опирается на завоевания готики, обращается к античности,

преимущественно к римской архитектуре, пользуется мавританской, подчиняет все это условиям и потребностям нового городского общежития и создает ренессанс (Италия — конец первой четверти XV столетия). Специалисты могут подсчитать и подсчитывают, какими элементами своими ренессанс обязан античности, какими готике и на какой стороне перевес. Во всяком случае, ренессанс начинается не ранее того момента, когда новый общественный класс, уже культурно насыщенный, чувствует себя достаточно сильным, чтобы выйти из-под ярма готической арки, взглянуть на готику и на то, что ей предшествовало, как на материал, и свободно подчинить своим строительно-художественным целям технические элементы прошлого. Это относится и ко всем остальным искусствам с той разницей, что вследствие большей своей гибкости, т. е. меньшей зависимости от утилитарной цели и материала, «свободные» искусства обнаруживают диалектику преодоления и чередования стилей не с такой каменной убедительностью.

Между Ренессансом и Реформацией, которые имели своей задачей создать для буржуазии более благоприятные условия идейного и политического существования в феодальном обществе, и между революцией, передавшей власть буржуазии (во Франции), проходит три-четыре столетия роста материального и идейного могущества буржуазии. Эпоха Великой французской революции и выросших из нее войн временно понижает материальный уровень культуры. Но после этого капиталистический режим утверждается как «естественный» и «вечный»...

Таким образом, основной процесс накопления элементов буржуазной культуры и их кристаллизации в стиль определялся социальными свойствами буржуазии, как имущего, эксплуататорского класса: она не только материально развивалась внутри феодального общества, многообразно переплетаясь с ним и стягивая к своим рукам богатство, но и привлекала на свою сторону интеллигенцию, создавая свои опорные культурные базы (школы, университеты, академии, газеты, журналы) задолго до того, как, во главе третьего-сословия, открыто овладела государством. Достаточно вспомнить, что германская буржуазия с ее несравненной технической, философской, научной и художественной культурой вплоть до 1918 г. оставляла власть в руках феодально-бюрократической касты и решилась, вернее, оказалась вынужденной взять власть непосредственно в свои руки лишь тогда, когда материальный остов германской культуры стал превращаться в черепки.

Но можно возразить: рабовладельческое искусство создавалось тысячелетиями, буржуазное — столетиями, почему же пролетарскому не создаваться десятилетиями? Технические основы жизни ныне совсем не те, а потому и темп другой. Это на вид как будто очень убедительное возражение скользит на деле мимо сути вопроса. Несомненно, что в развитии нового общества наступит момент, после которого хозяйство, культурное строительство, искусство получат величайшую свободу движения — вперед. О темпе его мы можем сейчас только фантазировать. В обществе, которое сбросило с себя щемящую, отупляющую заботу о хлебе насущном; где общественные рестораны готовят хорошо, здорово, вкусно и на выбор для всех; где общественные прачечные хорошо стирают хорошее белье — для всех; где дети сыты, здоровы, веселы — все дети — и поглощают основные элементы науки и искусства, как белок, воздух и солнечное тепло; где электричество и радио работают не кустарно, как ныне, а неистощимым водопадом

централизованной энергии, повинующимся плановой кнопке; где нет «лишних ртов»; где освобожденный эгоизм человека — могущественная сила! — целиком направляется на познание, преобразование и улучшение вселенной, — в таком обществе динамика культурного развития станет ни с чем прошлым несравнимой. Но это наступит только после длительного и тяжелого перевала, который весь еще почти впереди. Мы же говорим именно об эпохе перевала.

А разве наше нынешнее время не динамично? В высшей степени. Но динамичность его сосредоточивается в политике. И война и революция динамичны, но в огромной степени за счет техники и культуры. Правда, война вызвала длинный ряд технических изобретений. Но скудость, ею же порожденная, надолго отодвинула такое их практическое применение, при котором они могли бы революционизировать быт. Это относится к радио, к авиации, ко многим химическим открытиям. Революция со своей стороны залагает предпосылки для нового общества. Но она делает это методами старого общества; классовой борьбой, насилием, истреблением, разрушением. Если бы не пришла пролетарская революция, человечество задохнулось бы в своих противоречиях. Переворот спасает общество и культуру, но приемами жесточайшей хирургии. Все активные силы концентрируются в политике, в революционной борьбе — остальное отодвигается на второй план, а то, что мешает, безжалостно попирается. В этом процессе есть, конечно, свои частные приливы и отливы: военный коммунизм сменяется нэпом, который, в свою очередь, проходит разные стадии. Но в основе диктатура пролетариата не есть производственно-культурная организация нового общества, а революционно-боевой порядок борьбы за него. Забывать об этом нельзя. Историк будущего кульминацию старого общества отнесет, надо думать, ко 2 августа 1914 г., когда взбесившееся могущество буржуазной культуры полыхнуло на весь мир кровью и огнем империалистской войны. Начало новой истории человечества будет отнесено, надо полагать, к 7 ноября 1917 г. Основные этапы развития человечества будут, надо полагать, установлены примерно так: внеисторическая «история» первобытного человека; древняя история, движение которой шло на рабстве; средневековье — на крепостном труде; капитализм с вольнонаемной эксплуатацией и, наконец, социалистическое общество с его безболезненным, надо надеяться, переходом в безвластную коммуну. Во всяком случае, те 20–30— 50 лет, которые займет мировая пролетарская революция, войдут в историю как тягчайший перевал от одного строя к другому, но никоим образом не как самостоятельная эпоха пролетарской культуры.

Сейчас, в годы передышки, у нас, в Советской республике, могут на этот счет создаваться иллюзии. Вопросы культурничества поставлены нами в порядок дня. Мысленно протягивая линии сегодняшних наших забот в будущее на долгий ряд лет, можно додуматься до пролетарской культуры. Но на самом-то деле, как ни важно и жизненно необходимо наше культурничество, оно целиком стоит еще под знаком европейской и мировой революции. Мы по-прежнему солдаты на походе. У нас дневка. Надо выстирать рубаху, подстричь и причесать волосы и первым делом прочистить и смазать винтовку. Вся наша нынешняя хозяйственно-культурная работа есть не что иное, как приведение себя в некоторый порядок меж двух боев и походов. Главные бои впереди — и, может быть, не так уж далеко. Наша эпоха не есть еще эпоха новой культуры, а только

преддверие к ней. Нам в первую голову нужно государственно овладеть важнейшими элементами старой культуры, хотя бы в такой степени, чтобы проложить дорогу новой.

Это становится особенно ясно, если взять задачу, как и полагается, в ее интернациональном объеме. Пролетариат как был, так и остался неимущим классом. Этим самым поставлены были очень узкие пределы для приобщения его к тем элементам буржуазной культуры, которые навсегда вошли в инвентарь человечества. В известном смысле можно, правда, сказать, что и у пролетариата, по крайней мере европейского, была своя эпоха Реформации, преимущественно во второй половине XIX столетия, когда он, не покушаясь еще непосредственно на государственную власть, отвоевал для себя более благоприятные правовые условия развития в буржуазном режиме. Но, во-первых, на эпоху Реформации (парламентаризма и социальных реформ), совпадающей главным образом с периодом II Интернационала, история отпустила рабочему классу примерно столько десятилетий, сколько буржуазии — столетий. Во-вторых, пролетариат вовсе не становился в этот подготовительный период более богатым классом, не сосредоточивал в своих руках материального могущества, — наоборот, с социально-культурной точки зрения он становился все более обездоленным. Буржуазия пришла к власти во всеоружии культуры своего времени; пролетариат же приходит к власти только во всеоружии острой потребности овладеть культурой. Задача пролетариата, завоевавшего власть, состоит прежде всего в том, чтобы прибрать к рукам не ему ранее служивший аппарат культуры — промышленность, школы, издательства, прессу, театры и пр. — и через это открыть себе путь к культуре.

У нас, в России, эта задача усугубляется нищетой всей нашей культурной традиции и материальной разрушительностью событий последнего десятилетия. После завоевания власти и почти шести лет борьбы за ее сохранение II упрочение наш пролетариат вынужден все свои силы направлять на создание элементарнейших материальных предпосылок существования и собственного приобщения к азбуке культуры — азбуке в подлинном, буквенном смысле слова. Недаром же мы ставим себе задачей ввести поголовную грамотность к десятилетнему юбилею Советской власти.

Кто-нибудь, пожалуй, возразит, что я беру понятие пролетарской культуры слишком широко. Полной, развернутой культуры пролетариата действительно не будет, но все же рабочий класс, прежде чем раствориться в коммунистическом обществе, успеет наложить свой отпечаток на культуру. Такого рода возражение приходится прежде всего зарегистрировать как серьезное отступление от позиции пролетарской культуры. Что пролетариат за время диктатуры наложит на культуру свой отпечаток — бесспорно. Но отсюда еще очень далеко до пролетарской культуры, если понимать ее как развернутую и внутренне согласованную систему знания и умения во всех областях материального и духовного творчества. Одно то, что десятки миллионов людей впервые овладеют искусством чтения и письма и четырьмя правилами арифметики, станет само по себе новым культурным фактом, и притом огромным. Новая культура будет ведь по самому существу своему не аристократической, для привилегированного меньшинства, а массовой, всеобщей, народной. Количество и здесь перейдет в качество: вместе с ростом массовидности культуры будет повышаться ее уровень и изменяться весь ее облик. Но процесс этот развернется лишь в ряде исторических этапов. В меру успехов его будет

ослабевать классовая связь пролетариата, а следовательно, исчезать и почва для пролетарской культуры.

Но верхи класса? Идеиный его авангард? Нельзя ли сказать, что в этой хотя бы и узкой среде совершается уже сейчас развитие пролетарской культуры? Разве нет у нас Социалистической академии? Красных профессоров? Такой постановкой вопроса, очень отвлеченной, грешат некоторые. Дело понимается так, как если бы пролетарскую культуру можно было создавать лабораторным путем. На самом деле основная ткань культуры формируется по линиям взаимоотношений и взаимодействий между интеллигенцией класса и самим классом. Буржуазная культура — техническая, политическая, философская, художественная — вырабатывалась во взаимодействии буржуазии и ее изобретателей, вождей, мыслителей и поэтов. Читатель создал писателя, а писатель — читателя. В неизмеримо большей степени это должно быть отнесено к пролетариату, ибо его экономика, политика и культура могут строиться только на творческой самодеятельности масс. Главной задачей пролетарской интеллигенции в ближайшие годы является, однако, не абстракция новой культуры — при отсутствующем для нее пока еще фундаменте, — а конкретнейшее культурничество, т. е. систематическое, планомерное и, разумеется, критическое усвоение отсталым массам необходимейших элементов той культуры, которая уже есть. Нельзя создать классовую культуру за спиной класса. А чтобы строить ее совместно с классом, в тесном соотношении с его общим историческим подъемом, нужно... построить социализм, хотя бы вчерне. На пути к этому классовые черты общества будут не усиливаться, а, наоборот, расплываться, сходиться на нет — прямо пропорционально успехам революции. Освободительный смысл диктатуры пролетариата в том и состоит, что она является временным — кратковременным — средством расчистки пути и закладки основ внеклассового общества и на солидарности основанной культуры.

Чтобы конкретнее пояснить мысль о культурническом периоде в развитии рабочего класса, возьмем историческое чередование не классов, а поколений. Преемственность их выражается в том, что каждое из них — при развитии, а не упадке общества — присоединяет свой вклад к прежним накоплениям культуры. Но прежде чем сделать это, новое поколение проходит стаж ученичества. Оно усваивает наличную культуру, претворяя ее по-своему, более или менее отлично от старшего поколения. Это усвоение не есть еще творчество, т. е. создание новых культурных ценностей, а только предпосылка его. Сказанное может быть — в известных пределах — перенесено на судьбу поднимающихся к историческому творчеству трудящихся масс. Нужно лишь добавить, что, прежде чем пролетариат выйдет из стадии культурного ученичества, он перестанет быть пролетариатом. Напомним еще раз, что через культурное свое ученичество буржуазная верхушка третьего сословия прошла под крышей феодального общества; уже в недрах его она культурно превзошла старые правящие сословия и стала двигателем культуры прежде, чем пришла к власти. С пролетариатом вообще, с русским в особенности дело обстоит наоборот: он вынужден взять власть прежде, чем усвоит основные элементы буржуазной культуры; он вынужден опрокинуть буржуазное общество революционным насилием именно потому, что оно не дает ему доступа к культуре. Свой государственный аппарат рабочий класс стремится превратить в могущественный насос для насыщения культурной жажды народных масс. Это работа

неизмеримой исторической важности. Но тут нет еще создания особой пролетарской культуры, если не играть легко словами. Под именем «пролетарской культуры», «пролетарского искусства» и пр. в трех случаях примерно из десяти некритически фигурируют у нас культура и искусство грядущего коммунистического общества, в двух случаях из десяти — факты усвоения отдельными группами пролетариата отдельных элементов допролетарской культуры и, наконец, в пяти случаях из десяти — такая путаница понятий и слов, в которой уж вовсе ничего не разберешь.<sup>35</sup>

Вот свежий пример — один из сотни — явно неряшливого, некритического, опасного пользования термином «пролетарская культура»: «Экономический базис и соответствующая ему система надстроек, — пишет т. Сизов, — составляют культурную характеристику эпохи (феодалная, буржуазная, пролетарская)». Таким образом, пролетарская культурная эпоха берется здесь в том же плане, что и буржуазная. Но то, что здесь именуется пролетарской эпохой, есть только короткий переход от одной общественно-культурной системы к другой: от капитализма к социализму. Установлению буржуазного режима тоже предшествовала своя переходная эпоха, но в противоположность буржуазной революции, которая стремилась, и небезуспешно, увековечить господство буржуазии, пролетарская революция имеет своей целью ликвидировать существование пролетариата как класса по возможности в самый короткий срок. Длительность этого срока зависит непосредственно от успехов революции. Разве не чудовищно забывать об этом и ставить пролетарскую культурную эпоху в один ряд с феодальной и буржуазной?

Но если так, тогда выходит, что у нас нет и пролетарской науки? Нужели же мы не можем сказать, что теория исторического материализма и марксова критика политической экономии представляют собою неопределимые научные элементы пролетарской культуры?

Конечно, значение исторического Материализма и трудовой теории ценности неизмеримо как для классового вооружения пролетариата, так и для науки вообще. В одном «Коммунистическом Манифесте» больше подлинной науки, чем в целых библиотеках исторических и историко-философских профессорских компиляций, спекуляций и фальсификаций. Но можно ли сказать, что марксизм представляет собою продукт пролетарской культуры? И можно ли сказать, что мы уже действительно пользуемся марксизмом — не только для политически-боевых, но и для широконаучных задач?

Маркс и Энгельс вышли из рядов мелкобуржуазной демократии и воспитались, разумеется, на ее культуре, а не на культуре пролетариата. Если бы не было рабочего класса с его стачками, борьбой, страданиями и восстаниями, не было бы, разумеется, и научного коммунизма, ибо не было бы исторической потребности в нем. Но теория его сложилась целиком на основе буржуазной научной и политической культуры, хотя и объявила последней борьбу не на жизнь, а на смерть. Обобщающая мысль буржуазной демократии в лице ее самых смелых, честных и дальновзорких представителей поднимается — под ударами капиталистических противоречий — до гениального

---

<sup>35</sup> Горн... Книга 8-я. Статья «Пролетариат и наука». С. 90.

самоотрицания, вооруженного всем критическим арсеналом, подготовленным развитием буржуазной науки. Таково происхождение марксизма.

Пролетариат нашел в марксизме свой метод не сразу и до настоящего дня еще далеко не вполне. Этот метод служит ныне преимущественно, почти исключительно, для политических целей. Широкое познавательное применение и методологическое развитие диалектического материализма целиком впереди. Только в социалистическом обществе марксизм из одностороннего орудия политической борьбы станет методом научного творчества, важнейшим элементом и инструментом духовной культуры.

Что вся наука в большей или меньшей степени отражает тенденции господствующего класса — это бесспорно. Чем глубже наука примыкает к действенным задачам овладения природой (физика, химия, естествознание вообще), тем больше ее внеклассовый, общечеловеческий вклад. Чем глубже наука связана с социальной механикой эксплуатации (политическая экономия) или чем отвлеченнее она обобщает весь человеческий опыт (психология не в экспериментально-физиологическом, а в так называемом «философском» смысле), тем в большей мере она подчиняется классовому своекорыстию буржуазии, тем ничтожнее ее вклад в общую сумму человеческих знаний. В области экспериментальных наук существуют, в свою очередь, разные этажи научной добросовестности и объективности, в зависимости от размаха обобщений. Как общее правило буржуазные тенденции свободнее всего располагаются в горних сферах методологической философии, «миросозерцания». Нужна поэтому чистка научного здания снизу доверху или, вернее, сверху до низу, ибо начинать надо с верхних этажей. Но было бы наивностью полагать, что пролетариат, прежде чем применить унаследованную от буржуазии науку для социалистического строительства, должен всю ее критически переработать. Это почти то же, что сказать вместе с моралистами-утопистами: прежде чем строить новое общество, пролетариат должен подняться на высоту коммунистической морали. На самом деле пролетариат радикально перестроит мораль, как и науку, лишь после того, как построит, хотя бы вчерне, новое общество. Но не попадаем ли мы в заколдованный круг? Как строить новое общество при помощи старой науки и старой морали? А тут нужно ввести в дело немножечко диалектики, той самой, что у нас теперь столь неэкономно суют и в лирическую поэзию, и в канцелярское делопроизводство, и в щи, и в кашу. Известные опорные пункты, известные научные методы, освобождающие сознание из-под идейного ярма буржуазии, пролетарскому авангарду необходимы для самого приступа к работе; он их завоевывает, отчасти завоевал. Основной свой метод он проверил во многих боях в разной обстановке. Но отсюда еще очень далеко до пролетарской науки. Революционный класс не приостанавливает хода своей борьбы из-за того, что его партия не решила, принимать или нет гипотезу электронов и ионов, психоаналитическую теорию Фрейда, Нотогенезис биологов, новые математические откровения относительности и пр. Правда, после завоевания власти пролетариат получает значительно большую возможность овладения наукой и ее пересмотра. Но и здесь сказка скорее сказывается, чем делается. Пролетариат отнюдь не откладывает своего социалистического строительства до того времени, как его новые ученые, из которых многие еще бегают в коротких штанишках, проверят и прочистят все инструменты и каналы познания. Откидывая явно ненужное, ложное, реакционное, пролетариат пользуется в различных областях своего строительства



методами и выводами нынешней науки, беря их, по необходимости, с заключающимся в них процентом реакционно-классовой лигатуры. Практический результат в общем и целом оправдывает себя, ибо поставленная под контроль социалистической цели практика будет постепенно контролировать и отбирать теорию, ее методы и выводы. А тем временем подрастут и ученые, воспитавшиеся в новых условиях. Во всяком случае пролетариат должен будет довести свое социалистическое строительство до довольно большой высоты, т. е. до действительной материальной обеспеченности и культурной насыщенности общества, прежде чем сможет быть проведена генеральная чистка науки сверху до низу. Этим я вовсе ничего не хочу сказать против той марксистской критической работы, которую проводят или пытаются проводить уже кружковым или семинарским путем в разных областях. Работа эта необходима и плодотворна. Ее нужно всячески расширять и углублять. Но нужно же сохранять и марксистский глазомер в учете сегодняшнего удельного веса такого рода опытов и попыток в общем масштабе нашей исторической работы.

Исключается ли сказанным возможность появления из рядов пролетариата уже в период революционной диктатуры выдающихся ученых, изобретателей, драматургов, поэтов? Нисколько не исключается. Но было бы крайне легковесно давать имя пролетарской культуры хотя бы и очень ценным достижениям отдельных выходцев из рабочей среды. Нельзя понятие культуры разменивать на монету индивидуального обихода и определять успехи культуры класса по пролетарским паспортам отдельных изобретателей или поэтов. Культура есть органическая совокупность знания и умения, характеризующая все общество или, по крайней мере, его правящий класс. Она охватывает и проникает собою все области человеческого творчества, внося в них единство системы. Индивидуальные достижения поднимаются над этим уровнем, постепенно повышая его.

Есть ли такое органическое взаимоотношение между нынешней нашей пролетарской поэзией и культурным творчеством рабочего класса в целом? Совершенно очевидно, что нет. Отдельные рабочие или группы приобщаются к тому искусству, которое создано буржуазной интеллигенцией и пока еще довольно эклектически пользуются техникой его. Но ведь для того, чтобы выразить свой внутренний, пролетарский мир? В том-то и дело, что это далеко не так. Творчеству пролетарских поэтов не хватает органичности, которая дается только глубокой взаимосвязью искусства с состоянием и развитием культуры в целом. Это литературные произведения одаренных или талантливых пролетариев, но это не пролетарская литература. Может быть, это, однако, один из истоков ее?

Разумеется, в работе нынешних поколений обнаружится много зародышей, зачатков и истоков, от которых отдаленный кропотливый потомок проведет линии к разным секторам будущей культуры, подобно тому как нынешние историки искусства проводят линию от церковной мистерии к театру Ибсена или от живописи монахов — к импрессионизму и кубизму. В экономии искусства, как и в экономии природы, ничто не пропадает и все связано со всем. Но фактически, конкретно, жизненно нынешнее творчество поэтов, вышедших из пролетариата, развивается далеко еще не в том плане, в котором идет процесс подготовки условий для будущей социалистической культуры: процесс подъема масс.

Т. Дубовской очень огорчил и, кажется, изрядно восстановил против себя группу пролетарских поэтов своей статьей, в которой — наряду с сомнительными, на мой взгляд, мыслями — высказал ряд истин, хотя и горьковатых на вкус, но в основном неоспоримых<sup>36</sup>. Вывод т. Дубовского тот, что пролетарская поэзия не в «Кузнице», а в фабричных стенных газетах с их безымянными авторами. В этом выводе есть тоже правильная мысль, хотя и парадоксально выраженная. С таким же правом можно бы сказать, что пролетарские Шекспиры и Гете бегают сейчас где-то босиком в школу первой ступени. Несомненно, творчество заводских поэтов много органичнее, в смысле своей связи с жизнью, бытом и интересами рабочей массы. Но все же это не пролетарская литература, а лишь письменное выражение молекулярного процесса культурного подъема пролетариата. Мы уже объясняли выше, что это не одно и то же. Рабкоры, местные поэты, обличители выполняют великую культурную работу, разрыхляя почву и подготавливая ее для будущего посева. Но полноценная культурная и художественная жатва будет уже — к счастью! — социалистической, а не «пролетарской».

Т. Плетнев в интересной статье о «Пути пролетарской поэзии»<sup>37</sup> выдвигает ту мысль, что произведения пролетарских поэтов, независимо от своего художественного веса, значительны уже своей непосредственной связью с жизнью класса. На образцах пролетарского поэтического творчества Плетнев с достаточной убедительностью показывает изменения настроений рабочих поэтов в зависимости от общего хода жизни и борьбы пролетариата. Этим т. Плетнев доказывает бесспорно, что продукты пролетарской поэзии — не все, но многие — являются значительными культурно-историческими документами. Но это еще не значит, что они являются документами художественными. «Пусть эти стихи слабы, формально стары, безграмотны, если хотите, — говорит т. Плетнев, характеризуя одного из поэтов-рабочих, поднявшегося от молитвенных настроений к революционнобоевым, — но разве ими не отмечается путь роста пролетарского поэта?» Бесспорно, и слабые, и бесцветные, и даже безграмотные стихи могут отмечать путь политического роста поэта и класса и могут иметь неизмеримое культурно-симптоматическое значение. Но слабые, а тем более безграмотные стихи не образуют пролетарской поэзии, ибо не образуют поэзии вообще. Крайне знаменательно, что, проследившая политическую эволюцию рабочих-поэтов параллельно с революционным ростом класса, т. Плетнев справедливо усматривает у пролетарских писателей за последние годы, особенно с начала новой экономической политики, отрыв от класса. «Кризис пролетарской поэзии» — с одновременным уклоном к формальным задачам и к... обывательщине, объясняемой, по Плетневу, недостаточной политической подготовленностью поэтов и недостаточным к ним вниманием партии — привел к тому, что поэты «не выдержали колоссального нажима буржуазной идеологии и — поддались или поддаются». Объяснение явно недостаточное. Какой это такой у нас колоссальный нажим буржуазной идеологии;! Не надо преувеличивать. Не станем затевать спор о том, могла ли партия сделать для пролетарской поэзии больше, чем сделала, или не могла. Но этим все же вопрос об отсутствии у самой этой поэзии силы сопротивления не

---

<sup>36</sup> См.: Правда. 1923. 10 февраля.

<sup>37</sup> Горн. Книга 8-я.

исчерпывается, как и не возмещается недостаточная ее сила резкой «классовой» жестикующей (в стиле манифеста «Кузницы»). Суть-то вся в том, что в дореволюционную эпоху и в первый период революции пролетарские поэты относились к стихосложению не как к искусству, имеющему свои законы, а как к одному из способов пожаловаться на тяжкую участь или проявить свои революционные настроения. К поэзии как искусству и мастерству пролетарские поэты подошли лишь за последние годы, когда ослабело напряжение гражданской войны. Тут-то и оказалось, что в сфере искусства пролетариат не создал еще культурной среды, а у буржуазной интеллигенции такая среда, хорошая или худая, есть. Не в том суть, что партия, или верхи ее, «недостаточно помогли», а в том, что низы художественно не подготовлены; искусство же, как и наука, требует подготовки. Своя политическая культура у нашего пролетариата есть — в размерах, достаточных для обеспечения его диктатуры, — а художественной нет. Пока пролетарские поэты шли в общих боевых рядах, стихи их, как уже сказано, сохраняли значение революционных документов. Когда же перед поэтами встали вопросы мастерства и искусства, они вольно или невольно начали искать для себя новой среды. Тут, стало быть, не простой недосмотр, а более глубокая историческая обусловленность. Она вовсе не означает, однако, что вступившие в полосу кризиса рабочие-поэты сплошь погибли для пролетариата. Будем надеяться, что по крайней мере некоторые в этом кризисе окрепнут. Это опять-таки не значит, что уже нынешние группировки рабочих-поэтов призваны заложить незыблемые основы новой большой поэзии. Не похоже. По всей видимости это будет уделом дальнейших поколений, которым тоже еще предстоит проходить через свои кризисы, ибо идейно-культурных групповых и кружковых уклонений, шатаний и ошибок, в основе которых лежит недостаточная культурная зрелость класса, хватит еще надолго.

Одно лишь изучение литературной техники — необходимая и некороткая ступень. Резче всего техника выступает у того, кто не овладел ею. Относительно многих молодых пролетарских писателей можно с полным правом сказать, что не они владеют техникой, а техника — ими. Для одних, более одаренных, это только болезнь роста. Те же, которые не одолеют технику, так и будут казаться «неестественными», подражателями и даже кривляками. Но было бы чудовищно делать отсюда тот вывод, что техника буржуазного искусства рабочим не нужна. Между тем на это многие сбиваются. «Дайте, мол, нам хоть корявое, но свое, родное». Это фальшь и ложь. Корявое искусство не есть искусство и, следовательно, трудящимся не нужно. «Корявый» подходец, заключающий в себе, в сущности, добрую долю презрения к массе, очень знаменателен для особой породы политиканов, питающих органическое недоверие к силе класса и льстиво славословящих ему, когда «псе обстоит благополучно». Вслед за демагогами эту формулу мнимого пролетарского опрошения повторяют искренние простаки. Это не марксизм, а реакционное народничество, чуть-чуть подделанное под «пролетарскую» идеологию. Искусство для пролетариата не может быть искусством второго сорта. Учиться нужно, несмотря на то, что «учеба» — по необходимости у врагов — включает в себе свои опасности. Учиться нужно — и значение пролеткультовских, в частности, организаций должно измеряться не тем, с какой скоростью они создают новую литературу, а тем, в какой мере они содействуют повышению литературного уровня класса, начиная с его верхних слоев.

Тем и опасны такие термины, как «пролетарская литература», «пролетарская культура», что они фиктивно вдвигают культурное будущее в узкие рамки нынешнего дня, фальсифицируют перспективы, нарушают пропорции, искажают масштабы и культивируют опаснейшее кружковое высокомерие.

Но если отказаться от термина «пролетарская культура», как же быть с... Пролеткультом? Давайте условимся, что Пролеткульт означает пролетарское культурничество, т. е. упорную борьбу за повышение культурного уровня рабочего класса. Право же, значение Пролеткульта от такого истолкования не уменьшится ни на йоту.

\* \* \*

В своей уже упомянутой вскользь программной декларации пролетарские писатели «Кузницы» заявляют, что «стиль — это класс» и что поэтому социально чужеродные писатели не могут создать художественный стиль, отвечающий природе пролетариата. Отсюда как-то само собою вытекает, что именно группа «Кузницы», пролетарская по составу и по тенденции, творит пролетарское искусство.

«Стиль — это класс». Однако стиль вовсе не рождается с классом. Класс находит свой стиль чрезвычайно сложными путями. Как было бы просто, если бы можно было писателю, только потому что он верный своему классу пролетарий, стать на перекрестке и заявить: «Я емь стиль пролетариата!»

«Стиль — это класс», и не только в искусстве, но прежде всего в политике. А политика есть единственная область, где пролетариат действительно создал свой стиль. Но как? Совсем не простым силлогизмом: каждый класс имеет свой стиль; пролетариат — класс; он поручает такой-то пролетарской группе сформулировать свой политический стиль. Нет! Путь был куда сложнее. Выработка пролетарской политики шла через экономические стачки, борьбу за коалиции, через английских и французских утопистов, через участие рабочих в революционных боях под руководством буржуазной демократии, через «Манифест Коммунистической партии», через создание социал-демократии, которая, однако, ходом вещей подчинилась «стилю» других классов, через раскол социал-демократии и выделение коммунистов, через борьбу коммунистов за единый фронт и еще через ряд этапов, которые предстоят. Вся энергия пролетариата, остающаяся в его распоряжении за покрытием элементарных жизненных потребностей, шла и идет на выработку этого политического «стиля». В то время как у буржуазии исторический подъем происходил сравнительно равномерно во всех областях общественного существования: она богатела, организовывалась, образовывалась философски и эстетически и накопила навыки властвования, — у пролетариата как класса, экономически обездоленного, весь процесс самоопределения получает напряженно односторонний революционно-политический характер, достигая высшего своего выражения в коммунистической партии.

Если сравнивать художественное восхождение с политическим, то пришлось бы сказать, что в области искусства мы находимся сейчас примерно в том периоде, когда первые еще

беспомощные движения массы соприкасались с попытками построения интеллигенцией, включая и отдельных рабочих, утопических систем. Мы от души желаем поэтам «Кузницы» внести свою долю в создание будущего искусства, если не пролетарского, то социалистического. Но на нынешней архипервоначальной стадии этого процесса признавать за «Кузницей» монополию на выражение «пролетарского стиля» было бы непозволительной ошибкой. «Кузница» развертывает свою деятельность — по отношению к пролетариату — принципиально в том же плане, что и «Леф» и «Круг» и др. группировки, стремящиеся дать художественное выражение революции, и, по чистой совести, мы не знаем, какой из вкладов окажется крупнее. На многих пролетарских поэтах влияние футуризма, например, сказывается бесспорно. Талантливый Казин впитывает в себя элементы футуристской техники. Безыменский был бы невозможен без Маяковского, а Безыменский — надежда.

Декларация «Кузницы» чрезвычайно мрачными и резко обвинительными чертами изображает нынешнее положение в области искусства: «Нэп, как этап революции, оказался в окружении искусства, похожего на искусничество горилл». «На все это отпускаются средства... Белинских нет. Над пустыней искусства — сумерки. И мы возвышаем свой голос и поднимаем красный флаг...» И пр. и пр. О пролетарском искусстве говорится в терминах чрезвычайной приподнятости, даже напыщенности, отчасти как о будущем искусстве, отчасти как о настоящем: «Класс-монолит... творит искусство только по своему образу и подобию. Его особенный язык — многозвучный, многокрасочный, многообразный... способствует своей простотой, ясностью, точностью могуществу большого стиля». Но если все это так, то откуда же пустыня искусства и почему, собственно, над нею сумерки? Явное противоречие это может быть понято только так, что авторы декларации противопоставляют покровительствуемому советскому искусству — пустыне, окутанной сумерками, — пролетарское искусство «большого полотна, большого стиля», которое, однако, не пользуется необходимым признанием, так как «Белинских нет», а их заменяют «некоторые товарищи-публицисты из наших рядов, привыкшие дирижировать оглоблей». Рискую быть немножечко причисленным к ордену оглобли, должен, однако, сказать, что декларация «Кузницы» проникнута духом не классового мессианизма, а кружкового высокомерия. «Кузница» говорит о себе как об исключительной носительнице революционного искусства — совершенно такими же оборотами, какие в ходу у футуристов, имажинистов, серапионов и др. Где оно, товарищи, «искусство большого полотна, большого стиля, монументальное искусство»? Где оно, где? Как ни оценивать творчество отдельных поэтов пролетарского происхождения, — а здесь, конечно, нужна внимательная, строго индивидуализирующая критическая работа, — пролетарского искусства нет. Нельзя играть большими словами. Неверно, будто существует пролетарский стиль, притом большой, монументальный. Где? В чем? Поэты-пролетарии проходят школу ученичества, влияние на них других школ, прежде всего футуристской, можно, как сказано, установить, даже и не прибегая к микроскопическим методам формальной школы. Это не в укор, греха тут нет. Но монументальный пролетарский стиль не создается все же декларациями.

«Белинских нет», — жалуются наши авторы. Если бы нам нужно было юридическое доказательство того, что творчество «Кузницы» проникнуто настроениями интеллигентского замкнутого мирка, кружка, школки, мы нашли бы такую вещественную

улику в этой минорной фразе: «Белинских нет». Белинский тут взят, разумеется, не как лицо, а как представитель династии русских общественных критиков, вдохновителей и направителей старой литературы. Но нашим друзьям из «Кузницы» невдомек, что эта династия прекратилась как раз с того времени, как на политическую сцену вышла пролетарская масса. Одной своей стороной, и крайне существенной, Плеханов был марксистским Белинским, последним представителем этой благородной публицистической династии. Через литературу Белинские пробивали отдушину в общественность — в этом была их историческая роль. Литературная критика заменяла политику и готовила ее. Но то, что у Белинского и позднейших представителей радикально-публицистической критики было намеком, в наше время приняло октябрьскую плоть и кровь, стало советской действительностью. Если Белинский, Чернышевский, Добролюбов, Писарев, Михайловский, Плеханов были, каждый по-своему, общественными вдохновителями литературы и еще более — литературными вдохновителями зарождавшейся общественности, то разве теперь вся наша общественность своей политикой, прессой, собраниями, учреждениями не является достаточной истолковательницей своих собственных путей? Всю нашу общественность мы взяли под прожектор, все этапы нашей борьбы освещены светом марксизма, каждое учреждение критически выстукивается со всех сторон. В этих условиях вздыхать о Белинских — значит обнаруживать — увы! увы! — интеллигентски-кружковую отрешенность, совершенно в стиле (отнюдь не монументальном) какого-нибудь благочестивейшего левонароднического Иванова-Разумника. «Белинских нет». Но ведь Белинский был не литературным критиком, а общественным вождем своей эпохи. И если бы живого Виссариона перенести в наше время, он был бы, вероятно, — не скроем и этого от «Кузницы» — членом... Политбюро. И может быть, даже пустил бы в ход неистовую оглоблю.

Ведь жаловался же он, что ему по природе надо бы рывкать шакалом, а приходится издавать мелодичные звуки...

\* \* \*

Отнюдь не случайно кружковая поэзия, в стремлении преодолеть свою отрешенность, ударяется в пресную романтику «космизма». Мысль тут приблизительно та, чтобы весь мир чувствовать как некое единство и себя — его активной частью, с перспективой повелевания в дальнейшем не одной только землей, но и всем космосом. Все это, конечно, очень великолепно и ужасно как размашисто. Были мы курские и калуцкие, недавно отвоевали всю Россию, идем ко всемирной революции. Но нам ли задерживаться на рубежах «планетарности»? Давайте зараз набьем пролетарский обруч на бочку вселенной. Чего проще? Дело знакомое: шапками закидаем!

Космизм кажется или может казаться чрезвычайно смелым, сильным, революционным, пролетарским. Но на самом деле в космизме есть элементы почти что дезертирства от сложных и для искусства тяжких дел земных — в межзвездные сферы. Тем самым космизм совершенно неожиданно оказывается родствен мистицизму. Ибо перевести царство звезд в свое художественное мироощущение, да еще не только созерцательно, а в

каком-то волевым порядке — задача довольно-таки замысловатая, даже независимо от степени знакомства с астрономией, — во всяком случае, задача не неотложная... И выходит: не потому поэты становятся космистами, что население Млечного Пути властно стучится к ним, требуя ответа, а потому, что земные вопросы, столь трудно поддающиеся художественной обработке, порождают попытки скачка в потусторонний мир. Однако недостаточно назваться космистом, чтобы хватать звезды с неба. Тем более что межзвездных пустот во вселенной много больше, чем звезд. Как бы эта сомнительная тенденция затыкать провалы мировоззрения и художественного творчества тонкой материей межзвездных пространств не привела кое-кого из космистов к самой тончайшей из материй, к святому духу, в коем и без того много поэтических покойничков упокоивается.

Силки и петли, раскинутые перед пролетарскими поэтами, тем опаснее, что поэты эти сплошь молодые, иные еле выходят из юношеского возраста. К поэзии пробудила их в большинстве победоносная революция. Но вошли они в нее людьми несложившимися — их понесло на крыльях стихийности, ураганности, вихря... Но этого примитивного хмеля хватило в конце концов, и вполне буржуазные писатели, чтобы расплатиться затем за него реакционно-мистическим и всяким иным похмельем. Настоящие трудности и подлинные испытания начались тогда, когда ритм революции замедлился, объективные перспективы стали более туманными и уже нельзя было просто плыть по волнам, захлебываясь и пуская вдохновенные пузыри, а понадобилось оглядываться, окапываться, оценивать обстановку. Вот тут-то и появилось искушение: с разбегу да в космос! А земля? Как для мистиков, она может оказаться и для космистов простым трамплином.

Революционным поэтам нашей эпохи нужен большой закал — и закал нравственный здесь более, чем где бы то ни было, неотделим от умственного. Нужно устойчивое, упругое, фактами насыщенное действенное мирозерцание и с ним связанное художественное мироощущение. Для того, чтобы не только по газетному понять, но настоящим образом воспринять, до дна прочувствовать тот отрезок времени, в каком мы живем, нужно знать прошлое человечества, жизнь его, труд, борьбу, надежды, падения и достижения. Хорошая вещь астрономия и космогония! Но прежде всего нужно знать человеческую историю и сегодняшнюю жизнь в ее различных законах и в ее образной и личной конкретности.

\* \* \*

Любопытно, что сочинители отвлеченных формул пролетарской поэзии проходят обычно мимо поэта, который больше, чем кто бы то ни было, имеет право на звание поэта революционной России. Определение его тенденций, его социальной подоплеки не требует сложных критических методов: Демьян весь тут, из одного куска. Это не поэт, приблизившийся к революции, снизошедший до нее, принявший ее; это большевик поэтического рода оружия. И в этом исключительная сила Демьяна. Революция для него не материал для творчества, а высшая инстанция, которая его самого поставила на пост. Его творчество общественно-служебно не только в так называемом последнем счете, как все искусство, но и субъективно, в сознании самого поэта. И так с первых дней его

исторической службы Он врос в партию, рос с нею, проходил разные фазы ее развития, учился думать и чувствовать с классом изо дня в день, и этот мир — мыслей и чувств в концентрированном виде возвращать на языке стиха, басенно-лукавого, песенно-унывного, частушечно-удалого, негодующего, призывного. В его гневе и ненависти нет ничего дилетантского: он ненавидит хорошо отстоявшейся ненавистью самой революционной в мире партии. У него есть вещи большой силы И законченного мастерства, но есть немало газетного, будничного, второстепенного. Демьян творит ведь не Б тех редких случаях, когда Аполлон требует к священной жертве, а изо дня в день, когда призывают события и... Центральный Комитет. Но взятое в целом творчество его представляет явление совершенно небывалое, единственное в своем роде. И те поэтики разных школок, которые не прочь пофыркать по поводу Демьяна, — газетный-де фельетонист! — пусть пороются в своей памяти и найдут другого поэта, который своим стихом так непосредственно и действенно влиял бы на массы — и какие массы? — рабочие, крестьянские, красноармейские, многомиллионные, — и когда? — в величайшую из эпох.

Новых форм Демьян не искал. Он даже подчеркнуто пользуется старыми канонизированными формами. Но они воскресают и возрождаются у него как несравненный передаточный механизм большевистского мира идей. Демьян не создал и не создаст школы: его самого создала школа, именуемая РКП, для надобностей большой эпохи, которая не повторится. Если отвлечься от метафизического понимания пролетарской культуры, а подойти к делу под углом зрения того, что пролетариат читает, что нужно ему, что захватывает его, что побуждает его к действию, что повышает его культурный уровень и тем самым подготавливает условия для нового искусства, то творчество Демьяна Бедного есть пролетарская и народная литература, т. е. литература, жизненно нужная пробужденному народу. Если это не «истинная» поэзия, то нечто большее ее.

Не последний человек в истории — Фердинанд Лассаль писал некогда Марксу — Энгельсу в Лондон: «Как охотно я оставил бы ненаписанным то, что я знаю, лишь бы осуществить часть того, что я умею». Демьян мог бы в духе этих слов сказать о себе: «Охотно предоставляю другим в новых, более сложных формах писать о революции, чтобы самому в старых формах писать — для революции».

## **VII. ПАРТИЙНАЯ ПОЛИТИКА В ИСКУССТВЕ**

Некоторые марксисты-литераторы усвоили себе архизаезжательские приемы в отношении к футуристам, серапионам, имажинистам и вообще попутчикам, всем вместе и каждому в отдельности. Особенно входит почему-то в моду травля Пильняка, в чем упражняются также и футуристы. Несомненно, что некоторыми своими особенностями Пильняк способен вызывать раздражение: слишком много легкости в больших вопросах, слишком



много рисовки, слишком много лиризма, приготавливаемого в ступе... Но Пильняк превосходно показал угол уездно-крестьянской революции, показал мешочнический поезд, — мы увидели их благодаря Пильняку несравненно ярче, осязательнее, чем до него. А Всеволод Иванов? Разве после его «Партизан», «Бронепоезда», «Голубых песков» — со всеми их конструктивными грехами, срывающимся стилем, даже олеографичностью — мы не узнали, не почувствовали Россию лучше — в ее необъятности, этнографической пестроте, отсталости, размахе? Может быть, и впрямь это образное познание можно заменить футуристическим гиперболизмом, или монотонным воспеванием трансмиссий, или газетными статейками, изо дня в день комбинирующими в разном порядке те же триста слов? Выкиньте мысленно из нашего обихода Пильняка и Всеволода Иванова — и мы окажемся на некоторую дробь беднее... Организаторы похода против попутчиков — похода без достаточной заботы о перспективах и пропорциях — избрали одной из мишеней также и... тов. Воронского, редактора «Красной Нови» и руководителя издательством «Круг», в качестве потатчика и почти соучастника. Мы думаем, что тов. Воронский выполняет — по поручению партии — большую литературно-культурную работу и что, право же, куда легче в статейке — с птичьего дуазо — декретировать коммунистическое искусство, чем участвовать в кропотливой его подготовке.

Формально наши заезжатели продолжают линию, взятую когда-то (в 1908 г.) сборниками «Распад». Но надо же все-таки понять и оценить различие исторической обстановки и некоторую происшедшую с тех пор передвижку в соотношении сил! Тогда мы были разбитой подпольной партией. Революция отступала, контрреволюция, столыпинская и анархо-мистическая, напирала по всей линии, в самой партии интеллигенция играла еще непропорционально большую роль, причем интеллигентские группировки разных партийных окрасок представляли собой сообщающиеся сосуды. В этих условиях идейная самооборона требовала бешеного отпора литературным настроениям похмелья.

Сейчас происходит процесс совсем иного, в основном — противоположного порядка. Закон социального тяготения (в сторону господствующего класса), определяющий в последнем счете линию творчества интеллигенции, действует ныне в нашу пользу. И с этим нужно уметь сообразовать политику в области искусства.

Неверно, будто искусство революции может быть создано только рабочими. Именно потому, что революция рабочая, она — не повторяя уж сказанного ранее — слишком мало рабочих сил освобождает для искусства. В эпоху французской революции величайшие произведения, прямо или косвенно отражавшие ее, творились не французскими художниками, а немецкими, английскими и др. Та национальная буржуазия, которая непосредственно совершала переворот, не могла выделить достаточно сил, чтобы воспроизводить и запечатлевать его. Тем более — пролетариат, у которого есть культура политическая, но очень мало художественной. Интеллигенция, помимо преимуществ своей формальной квалификации, обладает еще одиозной привилегией пассивной политической позиции, с большей или меньшей степенью враждебности или доброжелательства к октябрьскому перевороту. Не мудрено, что эта созерцательная интеллигенция больше могла дать и дает в области художественного отражения революции — хотя и с кривизной, — чем пролетариат, который ее совершал. Мы очень хорошо знаем политическую ограниченность, неустойчивость, ненадежность попутчиков. Но если мы выкинем Пильняка с его «Голым годом», серапионов с Всеволодом

Ивановым, Тихоновым и Полонской, Маяковского, Есенина, так что же, собственно, останется, кроме еще неоплаченных векселей под будущую пролетарскую литературу? Тем более, что и Демьян Бедный, которого ни в попутчики не зачислишь, ни из революционной песни, надемся, не выкинешь, не может быть приобщен к пролетарской литературе, понимаемой в духе манифеста «Кузницы». Что же останется?..

Значит, партия, в полном противоречии со всей своей природой, занимает в области искусства чисто эклектическую позицию? Этот довод, на вид столь победоносный, на самом деле крайне наивен. Марксистский метод дает возможность оценить условия развития нового искусства, следить за всеми истоками его, содействовать наиболее прогрессивным из них критическим освещением путей, но не более того. Пути свои искусство должно проделать на собственных ногах. Методы марксизма — не методы искусства. Партия руководит пролетариатом, но не историческим процессом. Есть области, где партия руководит непосредственно и повелительно. Есть области, где она контролирует и содействует. Есть области, где она только содействует. Есть, наконец, области, где она только ориентируется. Область искусства не такая, где партия призвана командовать. Она может и должна ограждать, содействовать и лишь косвенно — руководить. Она может и должна оказывать условный кредит своего доверия разным художественным группировкам, искренно стремящимся ближе подойти к революции, чтобы помочь ее художественному оформлению. И уж во всяком случае партия не может стать и не станет на позицию литературного кружка, борющегося, отчасти просто конкурирующего с другими литературными кружками. Партия стоит на страже исторических интересов класса в целом. Сознательно и шаг за шагом подготавливая предпосылки новой культуры и тем самым нового искусства, она относится к литературным попутчикам не как к конкурентам рабочих писателей, а как к помощникам рабочего класса, действительным или возможным, в строительстве величайшего размаха. Понимая эпизодичность литературных группировок переходной эпохи, она оценивает их не с точки зрения индивидуальных классовых паспортов господ литераторов, а с точки зрения того места, которое эти группировки занимают или могут занять в подготовке социалистической культуры. Если сегодня место данной группировки определить еще нельзя, то партия, как партия, благожелательно и внимательно... подождет. Отдельные критики или просто читатели могут отдавать свои симпатии авансом той или другой группировке. Партия в целом, охраняющая исторические интересы класса, должна быть объективней и мудрей. Ее осторожность не может не быть двусторонней: если партия не ставит программного штампа на «Кузнице» потому только, что в ней пишут рабочие, то она и не отталкивает авансом ни одной литературной группировки, хотя бы и интеллигентской, поскольку та стремится подойти к революции и помочь укрепить один из ее стыков — стык всегда слабое место! — между городом и деревней, между партией и беспартийными, между интеллигенцией и рабочими.

Не означает ли, однако, такая политика, что у партии окажется со стороны искусства незащищенный фланг? Сказать так — значило бы сильно преувеличить: явно ядовитым, разлагающим тенденциям искусства партия дает отпор, руководясь политическим критерием. Верно, однако, что фланг искусства менее защищен, чем фронт политики. Но разве не так же обстоит дело со стороны науки? Что скажут метафизики чисто пролетарской науки по поводу теории относительности? Примирима она с материализмом

или нет? Решен ли этот вопрос? Где, когда и кем? Что работы нашего физиолога Павлова целиком идут по линии материализма, это ясно и профану. Но что сказать по поводу психоаналитической теории Фрейда? Примирима ли она с материализмом, как думает, например, т. Радек (и я вместе с ним), или же враждебна ему? Тот же вопрос относится к новым теориям о строении атома и пр. и пр. Было бы прекрасно, если бы нашелся ученый, способный охватить эти новые обобщения методологически и ввести их в контекст диалектически-материалистического воззрения на мир; тем самым он дал бы взаимопроверку новых теорий и углубил бы диалектический метод. Но я очень опасаясь, что эта работа — не в порядке газетных или журнальных статей, а в порядке научно-философской вехи, как «Происхождение видов» и «Капитал», — будет произведена не сегодня и не завтра, или, лучше сказать, если даже и будет произведена сегодня, то веха-книга рискует остаться неразрезанной до наступления тех дней, когда пролетариат сможет разоружиться.

Однако ведь и культурничество, т. е. усвоение азбуки допролетарской культуры, предполагает критику, отбор, классовый критерий? Еще бы! Но это критерий политический, а не отвлеченно-культурный. Политический критерий совпадает с культурным лишь в том широком смысле, что революция подготавливает условия новой культуры. Но это вовсе не значит, что такое совпадение обеспечено в каждом отдельном случае. Если революция вправе, когда нужно, разрушать мосты и художественные памятники, то тем более она не остановится перед тем, чтобы наложить свою руку на любое течение искусства, которое, при всех своих формальных достижениях, грозит внесением разложения в революционную среду или враждебным противопоставлением друг другу внутренних сил революции: пролетариата, крестьянства, интеллигенции. Критерий наш — отчетливо политический, повелительный и нетерпимый. Но именно поэтому он должен ясно очерчивать пределы своего действия. Чтобы выразиться еще отчетливее, скажу: при бдительной революционной цензуре — широкая и гибкая политика в области искусства, чуждая кружкового злопыхательства.

Совершенно очевидно, что и в области искусства партия не может ни на один день придерживаться либерального принципа *laissez faire, laissez passer* (предоставьте вещам идти своим ходом). Весь вопрос только в том, с какого пункта начинается вмешательство и где его пределы; в каких случаях — между чем и чем — партия обязана делать выбор. И этот вопрос вовсе не так прост, как хотят думать теоретики Лефа, глашатаи пролетарской литературы и заезжатели.

Цели, задачи и методы рабочего класса в хозяйстве несравненно более конкретны, определены и теоретически разработаны, чем в искусстве. Тем не менее после кратковременной попытки централистическим методом строить хозяйство, партия увидела себя вынужденной допустить параллельное существование различных и даже борющихся друг с другом хозяйственных типов: тут и организованная в тресты общегосударственная промышленность, и предприятия местного значения, и сдача в аренду, и концессионные предприятия, и частновладельческие, и кооперация, и индивидуальное крестьянское хозяйство, и кустарная мастерская, и коллективы и пр. Основной курс государства — на централизованное социалистическое хозяйство. Но эта общая тенденция включает в себя для данного периода всемерную поддержку

крестьянского хозяйства и кустаря. Без этого курс на крупную социалистическую промышленность становится безжизненной абстракцией.

Республика наша есть союз рабочих, крестьян и мелкобуржуазной по происхождению интеллигенции — под руководством коммунистической партии. Из этого социального сочетания, при условии подъема техники и культуры, должно через ряд этапов развиваться коммунистическое общество. Ясно, что крестьянство и интеллигенция пойдут к коммунизму не теми путями, что рабочие. Без отражения в искусстве пути их не останутся. Та интеллигенция, которая не связала своей судьбы безраздельно с пролетариатом, не-коммунистическая интеллигенция, т. е. подавляющее большинство ее, за отсутствием, вернее, крайней слабостью буржуазной опоры ищет ее в крестьянстве. Пока что этот процесс имеет чисто подготовительный, больше символический характер и выражается в идеализации мужицкой революционной стихии (задним числом). Своеобразное новонародничество характерно для всех попутчиков. В дальнейшем, с ростом в деревне школ и читателей, связь этого искусства с крестьянством может стать более органической. Одновременно крестьянство будет выдвигать свою собственную творческую интеллигенцию. Крестьянский подход — в хозяйстве, в политике, в искусстве — более примитивен, более ограничен, более эгоистичен, чем пролетарский. Но этот крестьянский подход существует — притом очень надолго и весьма всерьез. И если художник, подходящий к жизни под крестьянским, чаще всего под интеллигентски-крестьянским углом зрения, проникнут мыслью о необходимости и жизненности союза рабочих и крестьян, то его творчество, при необходимых прочих условиях, будет исторически прогрессивным. Методами художественного воздействия оно будет скреплять необходимое историческое сотрудничество деревни с городом. Продвижение крестьянства к социализму образует процесс глубокий, содержательный, многообразный, красочный, — и есть все основания думать, что художественное творчество, которое будет находиться под непосредственными внушениями этого процесса, внесет в искусство ценные главы.

Наоборот, тот подход, который противопоставляет органическую, вековую, цельную, «национальную» деревню вертопраху-городу, исторически реакционен; искусство, вытекающее отсюда, враждебно пролетариату, несовместимо с развитием и обречено на вырождение. Можно думать, что и в формальном смысле оно неспособно уже дать ничего, кроме перепевов и воспоминаний.

У Клюева, имажинистов, серапиопов, Пильняка, даже у футуристов: Хлебникова, Крученых, Каменского — есть мужицкая подоплека, у одних более, у других менее сознательная, у одних органическая, у других же, в сущности, буржуазная подоплека, переведенная на мужицкий язык. Отношение к пролетариату наименее двойственное у футуристов. У серапионов, имажинистов, Пильняка там и сям уклон в сторону оппозиции пролетариату — по крайней мере, до недавнего прошлого. Все эти группировки отражают в крайне преломленном виде умонастроение деревни эпохи продовольственной разверстки. В те годы интеллигенция скрывалась от голода по деревням и там накапливала свои впечатления. В своем искусстве она подвела им довольно-таки двусмысленный итог. Но итог этот надо рассматривать не иначе как в обрамлении периода, заверщенного кронштадтским мятежом. Сейчас в крестьянстве значительный поворот. Он обозначился и на интеллигенции и может сказаться, даже должен, на творчестве мужиковствующих

попутчиков. Отчасти уже сказывается. В этих группировках будут идти внутренние бои, расколы, новые образования под действием социальных толчков. За всем этим надо следить очень внимательно и критически. Партия, которая претендует, не без некоторого, надемся, основания, на идейную гегемонию, не вправе отделяться в этом вопросе дешевеньким чистоплюйством.

Но разве чисто пролетарское искусство широкого охвата не может художественно освещать и питать также и движение крестьянства к социализму? Конечно, «может» — так же как государственная электрическая станция «может» освещать и питать своей энергией крестьянскую избу, хлев, мельницу. Нужно только иметь эту электрическую станцию и от нее провода в деревню. Тогда, кстати, не будет и опасности антагонизма между промышленностью и сельским хозяйством. Но ведь нет еще этих проводов. Нет и самой электрической станции. Пролетарского искусства нет. Искусству с пролетарской ориентацией, включая сюда группировки рабочих поэтов и коммунистов-футуристов, до художественного охвата запросов города и деревни немногим ближе, чем, скажем, советской промышленности до разрешения универсальных хозяйственных задач.

Но если даже оставить в стороне крестьянство, — а как его оставишь в стороне? — то окажется, что и с пролетариатом, коренным классом советского общества, дело обстоит совсем не так просто, как это выходит на страницах «Лефа». Когда футуристы предлагают выкинуть за борт старую индивидуалистическую литературу, и не только потому, что она формально устарела, но и потому — довод для нас, грешных, — что она противоречит коллективистской природе пролетариата, то они обнаруживают весьма-таки недостаточное понимание диалектической природы противоречия индивидуализма и коллективизма. Абстрактной истины нет. Индивидуализм индивидуализму рознь. От избытка индивидуализма часть дореволюционной интеллигенции бросилась в мистику, другая часть отпихнулась по хаотически-футуристской линии и, подхваченная революцией, — к чести своей — приблизилась к пролетариату. Но когда эти приблизившиеся переносят индивидуалистическую оскомину в своих зубах на пролетариат, они оказываются немножко повинны в эгоцентризме, т. е. в предельном индивидуализме. Беда ведь в том, что рядовому пролетарию не хватает как раз этого самого качества. В массе своей пролетарская личность недостаточно оформилась и дифференцировалась. Самым ценным содержанием того культурного подъема, у порога которого мы сейчас стоим, будет именно повышение объективной квалификации и субъективного самосознания индивидуальности. Думать, что буржуазная художественная литература способна пробить бреши в классовой солидарности, наивно. То, что рабочий возьмет у Шекспира, у Гете, у Пушкина, у Достоевского, это прежде всего более сложное представление о человеческой личности, ее страстях и чувствах, он глубже и острее поймет ее психические силы, роль в ней бессознательного и пр. В итоге он станет богаче. Горький первой поры проникнут был романтически-босяцким индивидуализмом. Между тем он питал весеннюю революционность пролетариата накануне 1905 г., ибо содействовал пробуждению личности в том классе, где, раз пробужденная, она ищет связи с другой пробужденной личностью. Пролетариат нуждается в художественном питании и воспитании, но нельзя же думать, что пролетариат — глина, которую художники, отошедшие и здравствующие, лепят по образу и подобию своему.

Духовно, а следовательно, и художественно, очень чуткий пролетариат эстетически не воспитан. Вряд ли есть законные основания думать, будто он может просто начать с того, на чем остановилась накануне катастрофы буржуазная интеллигенция. Как индивид в своем развитии из зародыша повторяет — биологически и психически — историю своего вида и отчасти всего животного царства, так, до известной степени, новый класс, в огромном своем большинстве только недавно вышедший из внеисторического почти бытия, не может не повторить на себе всей истории художественной культуры. Он не может приступить к построению культуры нового стиля, не вобрав в себя и не ассимилировав элементы старых культур. Это ни в каком случае не означает необходимости медленного и систематического прохождения, со ступеньки на ступеньку, всей прошлой истории искусства. Процесс усвоения и претворения, поскольку дело идет не о биологическом индивиде, а о социальном классе, имеет гораздо более свободный и сознательный характер. Но без обращения к важнейшим вехам прошлого для нового класса нет движения вперед.

Левый фланг старого искусства, из-под которого революция выбила социальную базу с такой решительностью, как никогда в истории, вынужден, в борьбе за сохранение непрерывности художественной культуры, искать опоры в пролетариате или, по крайней мере, в формирующейся вокруг него новой общественности. Со своей стороны пролетариат, пользуясь положением господствующего класса, стремится и начинает приобщаться к искусству вообще, подготавливая для него базу небывалого могущества. В этом смысле верно, что заводские стенные газеты представляют собою необходимейшую, хотя еще и очень отдаленную предпосылку будущей новой литературы. Но никто, конечно, не скажет: на всем остальном ставим крест до тех пор, пока пролетариат не поднимается от стенных газет до самостоятельного художественного мастерства. Непрерывность творческой традиции нужна и пролетариату. Он осуществляет ее сейчас не столько непосредственно, сколько косвенно, через буржуазную творческую интеллигенцию, которая более или менее тяготеет к нему или хочет пригреться под его боком и которую он в одной ее части терпит, в другой — поддерживает, в третьей — полуусыновляет, в четвертой — и вовсе ассимилирует. Вот этой сложностью процесса, его внутренней множественностью, и определяется политика коммунистической партии в области искусства. Свести эту политику к одной формуле, которая была бы короче воробьиного носа, нельзя. Но это и не обязательно вовсе.

## **VIII. ИСКУССТВО РЕВОЛЮЦИИ И СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО**

**Социалистический застой или высшая динамика? — «Реализм» революционного искусства. — Советская комедия — Старая и новая трагедия. — Искусство, техника и природа. — Перековка человека**

(Несомненное и предполагаемое)

Когда говорят об искусстве революции, то имеют в виду художественные явления двоякого рода: с одной стороны, произведения, тематически, сюжетно отражающие революцию; с другой стороны, произведения, не связанные с революцией по теме, но проникнутые ею насквозь, окрашенные новым, из революции вышедшим сознанием. Совершенно очевидно, что это — явления, лежащие или, по крайней мере, могущие лежать в совершенно различных плоскостях. Алексей Толстой в своем «Хождении по мукам» изображает эпоху войны и революции; но это — яснополянская школа, ее угол зрения, ее подход, лишь в неизмеримо меньшем масштабе. А в применении к событиям величайшего масштаба это только жестче напоминает, что Ясная Поляна была, но давно вышла. Когда же молодой поэт Тихонов пишет не о революции, а о мелочной лавочке — о революции он как бы стесняется писать (еще или уже?), — он с такой свежей и страстной силой воспринимает и передает ее косную неподвижность, как это может сделать только поэт, созданный динамикой новой эпохи. Если, таким образом, произведения о революции и искусство революции не одно и то же, то у них есть все же своя линия соприкосновения. Художники, созданные революцией, не могут не захотеть сказать о революции. А с другой стороны, искусство, которое сильно захочет сказать о революции, неизбежно откинет яснополянский подход, как графский, так и лапотный.

Искусства революции еще нет, но есть элементы этого искусства, есть намеки, попытки и, главное, есть революционный человек, который по образу своему формирует новое поколение и которому это искусство все более нужно. Сколько времени потребуется, чтобы оно неоспоримо обнаружило себя? Тут гадать очень трудно, ибо процесс этот невесомый, неподдающийся исчислению, а мы в определении сроков даже и более материальных общественных процессов вынуждены ограничиваться гаданиями. Но почему бы этому искусству, его первой большой волне, не прийти и вскоре, как искусству того молодого поколения, которое родилось в революции и несет ее на себе вперед?

Искусство революции, которое неизбежно отражает все противоречия переходной общественности, не нужно смешивать с социалистическим искусством, для которого еще не создана база. С другой стороны, нельзя забывать, что социалистическое искусство вырастет из искусства переходной эпохи.

Настаивая на таком различии, мы руководимся отнюдь не какими-либо педантическими соображениями схемы. Недаром же Энгельс называл социалистическую революцию прыжком из царства необходимости в царство свободы. Сама революция не есть еще «царство свободы». Наоборот, в ней черты «необходимости» достигают крайнего развития. Если социализм упраздняет классовые антагонизмы вместе с классами, то революция доводит классовую борьбу до высшего напряжения. В эпоху революции та литература нужна и прогрессивна, которая содействует сплочению трудящихся в борьбе против эксплуататоров. Революционная литература не может не быть проникнута духом социальной ненависти, который в эпоху пролетарской диктатуры является творческим фактором в руках истории. При социализме основой общества явится солидарность. Вся литература, все искусство будут настроены по другому камертону. Те чувства, которые мы, революционеры, теперь часто затрудняемся назвать по имени — до такой степени эти имена затасканы ханжами и пошляками: бескорыстная дружба, любовь к ближнему, сердечное участие — будут звучать могучими аккордами в социалистической поэзии.

Не грозит ли, однако, как опасаются нищезанцы, избыток солидарности вырождением человека в сентиментально-пассивное стадное существо? Ни в какой степени. Могучая сила соревнования, которая в буржуазном обществе имела характер рыночной конкуренции, не исчезнет при социалистическом строе, а, говоря языком психоаналитики, сублимируется, т. е. примет более высокую и плодотворную форму: станет борьбой за свое мнение, за свой проект, за свой вкус. По мере устранения политической борьбы — а во внеклассовом обществе ее не будет — освобожденные страсти будут направляться по руслу техники, строительства, включая сюда и искусство, которое, конечно, обобщится, возмужает, закалится и станет высшей формой совершенствующегося жизнестроительства во всех областях, а не только «красивой» сбоку припекой.

Все сферы жизни: обработка земли, планировка человеческих поселений, создание театров, методы общественного воспитания детей, разрешение научных проблем, создание нового стиля — будут захватывать всех и каждого за живое. Люди будут делиться на «партии» по вопросам о новом гигантском канале, о распределении оазисов в Сахаре, — будет и такой вопрос, — о регулировке погоды и климата, о новом театре, о химической гипотезе, о двух борющихся течениях в музыке, о лучшей системе спорта. Эти группировки не будут отравлены никаким классовым или-кастовым своекорыстием. Все будут одинаково заинтересованы в успехах целого. Борьба будет иметь чисто идейный характер. В ней не будет погони за барышом, низости, предательства, подкупа, всего того, что составляет душу «соревнования» в классовом обществе. Но это несколько не помешает борьбе быть захватывающей, драматической, страстной. А так как в социалистическом обществе все вопросы — в том числе и те, которые ранее разрешались стихийно и автоматически (быт) или же находились в ведении особых жреческих каст (искусство) — станут достоянием всех, то можно с уверенностью сказать, что для коллективных интересов и страстей и индивидуального соревнования будет широчайшее поле и безграничное число поводов. Искусство не будет, следовательно, испытывать недостатка в тех разрядах общественной нервной энергии, в тех коллективно-психических толчках, которые заставляют создавать новые художественные направления и сменять стили. Эстетические школы будут, в свою очередь, группировать вокруг себя свои «партии», т. е. группировки темпераментов, вкусов, умонастроений. В этой бескорыстной и напряженной борьбе на все повышающемся фундаменте культуры будет расти и шлифоваться по всем граням человеческая личность со своим бесценным основным свойством: ничем достигнутым не удовлетворяться. Поистине у нас нет основания опасаться ни усыпления личности, ни оскудения искусства в социалистическом обществе.

Каким из старых терминов можно окрестить искусство революции? Т. Осинский писал как-то, что оно будет реалистическим. В этом есть правильная и значительная мысль. Но нужно условиться насчет понятия, чтобы не впасть в недоумение.

Наиболее совершенный художественный реализм совпадает у нас с «золотым» веком литературы, с дворянской ее классикой.

Период направленного тематизма, когда о произведении судили преимущественно по общественным намерениям автора, совпадает с эпохой, когда пробуждающаяся интеллигенция ищет путей к общественному действию и стремится к связи с «народом» против старого режима. Декадентство и символизм, выступившие в противовес



господствовавшему до них «реализму», соответствуют эпохе, когда интеллигенция, обособляясь от народа, обоготворяя свои собственные переживания и фактически подчиняясь буржуазии, стремилась психологически и эстетически не раствориться в ней. Символизм призывал на помощь этому делу небеса.

Довоенный футуризм знаменовал попытку на индивидуалистическом пути вырвать себя из прострации символизма и найти личный стержень в безличных завоеваниях материальной культуры.

Такова грубая логика чередования больших периодов в развитии русской литературы. Каждое из направлений заключало в себе определенное общественно-групповое мироощущение, которое накладывало свою печать на темы произведений, на их сюжет, на выбор среды, действующих лиц и пр. и пр. Понятие содержания сближается не с сюжетом в формальном смысле слова, а с общественным заданием. Эпоха, класс и его мироощущение выражаются в бессюжетной лирике так же, как и в социальном романе.

Далее идет вопрос о форме. Эта последняя — в известных пределах — развивается по своим собственным законам, как всякая техника. Каждая новая литературная школа — если это действительно школа, а не произвольный отросток — вытекает из всего предшествующего развития, из наличного уже мастерства слова и красок, отпихивается от уже достигнутого берега для новых завоеваний у стихии.

Развитие и тут идет диалектически; новое художественное направление отрицает предшествующее: почему? Очевидно, каким-то мыслям и чувствам тесно в рамках старых приемов. Но в то же время в старом, уже отвердевшем искусстве новые настроения находят такие элементы, которые могут при дальнейшем развитии дать им надлежащее выражение, — поднимается знамя восстания против «старого» в целом — во имя некоторых его элементов, подлежащих развитию. Каждая литературная школа потенциально заключалась в прошлом и каждая развивалась, враждебно отталкиваясь от прошлого. Соотношение между формой и содержанием (под последним следует разуметь не просто «тему», а живой комплекс настроений и идей, ищущих художественного выражения) определяется тем, что новая форма открывается, провозглашается и развивается именно под давлением внутренней потребности, коллективно-психологического запроса, который, как и вся человеческая психология, имеет свои социальные корни.

Этим объясняется двоякость каждого литературного направления: оно вносит нечто в технику творчества, повышая (или понижая) общий уровень мастерства; с другой стороны, в своей исторической конкретности оно дает выражение определенным, в последнем счете классовым запросам. Говорим: классовым, но это значит и индивидуальным, — через индивидуум говорит его класс. Это значит и национальным, ибо дух нации определяется классом, который господствует в ней и тем самым подчиняет себе ее литературу.

Возьмем символизм. Что под этим понимать: искусство символического перевоплощения действительности, как формальный метод художественного творчества? Или же то символическое направление, носителями которого были Блок, Сологуб и др.? Символ не выдуман русским символизмом. Последний, пожалуй, только более кровно привил его

организму модернизированного русского языка. В этом смысле грядущее искусство, по каким бы путям оно ни пошло, не захочет отказаться от формального наследства символизма. Но живой русский символизм таких-то и таких-то годов пользовался символом для определенного общественного задания. Какого? Предшествовавшее символизму декадентство искало разрешения всех художественных вопросов в бокале переживаний личности: пол, смерть и пр., — и даже почти без прочего: пол, смерть. Оно не могло в короткий срок не исчерпать себя. Отсюда потребность — тоже не без общественных толчков — найти высшую санкцию своим запросам, чувствам, настроениям и тем самым обогатить и приподнять их. Символизм, который из образа сделал не просто художественный прием, а символ веры, явился для интеллигенции художественным мостом к мистицизму. В этом не абстрактно-формальном, а конкретно-общественном смысле символизм был не просто приемом техники художества, а бегством интеллигенции от реальности, построением ею нездешнего мира, художественным воспитанием самодовлеющего мечтательства, созерцательности, пассивности. В Блоке открываем модернизированного Жуковского! И старые марксистские сборники и памфлеты (1908-го и следующих годов) на тему «литературного распада», как бы грубоваты и угловаты ни были они в иных своих обобщениях и как бы иногда ни сбивались на вселенскую смазь, давали несравненно более значительный и правильный общественно-литературный диагноз и прогноз, чем, например, тов. Чужак, который раньше многих марксистов задумался над вопросами формы, внимательнее других к ней относился, но, подпадая под влияние очередных художественных направлений, видел в них этапы накопления пролетарской культуры, а не этапы возраставшей отчужденности интеллигенции от народных масс.

Что же теперь понимать под реализмом? В разные эпохи реализм давал выражение чувствам и запросам разных общественных групп и притом довольно различными приемами. Каждый из этих реализмов подлежит особому общественно-литературному определению и особой формально-литературной оценке. Что общего в них? Некоторая и немаловажная черта мироощущения: тяга к жизни, как она есть, не уклонение от действительности, а художественное ее приятие, активный интерес к ней, в ее конкретной устойчивости или изменчивости, стремление эту жизнь — либо представить, как она есть, либо возвести в перл создания, либо оправдать, либо обвинить, либо сфотографировать, либо обобщить, либо символизировать, — но именно вот эту жизнь, трех наших измерений, как достаточную, полноценную и самоценную материю творчества. В таком широком философском, а не школьно-литературном смысле можно с уверенностью сказать, что новое искусство будет реалистично. Революции с мистикой не жить. Если то, что Пильняк, имажинисты и иные называют своей романтикой, есть — как можно опасаться — робко пытающаяся под иным наименованием утвердиться мистика, — то революции с романтикой не жить. Это не доктринерство, а непреодолимый психологический расчет. Не может быть в наши дни портативной, кокетливой мистики «между прочим», вроде комнатной собачки. Наше время топором рубит. (До дна развороченная, бурная, жестокая жизнь говорит: «Мне нужен художник однолюб. Как ты зацепишь и ухватишь меня, какие ты пустишь в ход орудия и инструменты, созданные развитием искусства, это я предоставляю тебе, твоему темпераменту, твоему гению. Но ты меня пойми, какую я есть, и прими, какую я становлюсь, и вне меня нет для тебя ничего».)

Это означает: реалистический монизм в смысле мироотношения, а не «реализм» в смысле традиционного арсенала литературной школы. Наоборот: новому художнику понадобятся все приемы и методы, созданные прошлым, и еще какие-то дополнительные для того, чтобы охватить новую жизнь. И это не будет художественная эклектика, ибо единство творчества дается активным мироощущением.

\* \* \*

В 18-м и 19-м гг. на фронтах не редкость было встретить воинскую часть, движение которой открывалось конной разведкой и замыкалось телегами с артистами, артистками, декорациями и всяческим реквизитом. Место искусства вообще — в обозе исторического движения. При резких переменах на наших фронтах телеги с актерами и декорациями оказывались нередко в затруднительном положении, не зная, куда податься. Попадали и к белым. Не менее затруднительно положение всего искусства, застигнутого резкой переменой на историческом фронте.

Особенно тяжело пришлось театру, который уже совершенно не знает, куда податься и что «выявлять». И замечательно, что у театра, у этого, может быть, консервативнейшего из видов искусства, теоретики чрезвычайно радикальные. Известно, что самое революционное сословие в Союзе Советских Республик — это сословие театральных рецензентов. Следовало бы из них, при первой революционной оказии на Западе или Востоке, создать особый боевой отряд левтеревцов (левых театральных рецензентов). Когда театры ставят «Дочь мадам Анго», «Смерть Тарелкина», «Турандот», «Рогоносца», то тут еще почтенные левтерецы терпят.

Но когда дело дошло до пьесы Мартинэ, они почти сплошь стали на дыбы (еще прежде, чем Мейерхольд поставил «Земля дыбом»). Пьеса патриотична. Мартинэ — пацифист! А один даже выразился так: «Для нас все это вчерашний день и потому интереса не представляет». Вот за этой самой левизной ужасающее скрывается мещанство и ни на грошик революционности. Если начать, так сказать, с политического паспорта, то Мартинэ был революционером и интернационалистом, в то время как многие из нынешних представителей левейшего сословия еще даже и не нюхали благодати левизны. А затем, что это, собственно, значит: пьеса Мартинэ для нас — вчерашний день? Разве французская революция уже совершилась? Уже победила? Или же для нас революция Франции — не самостоятельная историческая драма, а только скучноватое повторение того, что было у нас? Под этой левизной скрывается, помимо всего прочего, пошлейшая национальная ограниченность. Что в пьесе Мартинэ есть длинноты, что она более литературное произведение, чем сценическое (вряд ли автор вообще ожидал постановки своей пьесы на сцене), — это бесспорно. Но эти недостатки отступили бы на задний план, если бы театр взял пьесу в ее национально-исторической конкретности, т. е. не как схематизацию вставшей дыбом земли, а как драму французского пролетариата на определенном перевале его большого пути. Перенесение действия из исторической среды в отвлеченную конструктивистскую есть в данном случае уход от революции — реальной, подлинной, той, которая упорно развивается, передвигаясь из страны в страну, и которая

поэтому некоторым псевдореволюционным мещанам кажется скучным повторением пройденного.

Я не знаю, нужна ли нам сейчас на сцене биомеханика, т. е. в порядке ли она исторической неотложности. Зато я ни сколько не сомневаюсь, — если позволено будет говорить в этих субъективных терминах, — что нашему театру до зарезу необходим свежий революционно-бытовой репертуар и в первую голову советская комедия. Нам нужны свой «Недоросль», свое «Горе от ума», свой «Ревизор». Но новая инсценировка трех старых комедий не пародийно-карнавальная перелицовка их на советский лад — хотя и это жизненнее 99 сотых нашего репертуара, — нет, нам нужна просто-напросто советская комедия нравов, смеющаяся и негодующая. Я нарочно беру термины старых учебников словесности и нисколько не боюсь обвинений в задопытстве, ибо новый класс, новый быт, новые пороки, новое тупоумие требуют, чтобы их вывели из безмолвия, и, когда это свершится, мы получим новое театральное искусство, ибо без новых приемов не воспроизведешь нового тупоумия. Сколько новых недорослей трепетно ждут своего воплощения на сцене, сколько рассеяно горя от ума или от умничания, — и как бы хорошо, если бы по советскому полю прошелся театральный ревизор. Не ссылайтесь, пожалуйста, на театральную цензуру, ибо это неправда. Разумеется, если ваша комедия захочет сказать: «Вот до чего нас довели, — назад к старому любезному дворянскому гнезду», — то цензура такую комедию прихлопнет и поступит правильно. Если же комедия ваша скажет: «Вот, строим новую жизнь, а сколько у нас кругом и старого и нового свинства, подлости, хамства, — давайте выметать», — то цензура не помешает, а если где-либо помешает, то по глупости, и против такой цензуры будем бороться вместе.

В тех немногих случаях, когда мне доводилось глядеть на сцену, вежливо зевая в рукав, чтобы никого не обидеть, больше всего отпечатлелось в памяти, как живо зрительная зала подхватывает всякий, даже ничтожный намек на сегодняшнюю жизнь. Любопытнее всего это наблюдается на опереточных реставрациях Художественного театра, уснащенных кокетливо шипами и шипиками (нет розы без шипов!). И тогда приходило в голову: если не доросли мы еще до комедии, создали бы хоть общественно-бытовое обозрение!

Конечно, конечно, конечно, в будущем театр может быть выйдет из четырех стен, растворится в массовой жизни, которая вся подчинится ритмам биомеханики и пр., и пр, и пр. Но это все-таки «футуризм», т. е. музыка отдаленного будущего, а ведь между прошлым, которым питается театр, и отдаленным будущим есть настоящее, в котором мы живем. Хорошо бы между пассаизмом и футуризмом дать на театральных подмостках место... презентизму. Подадим, читатель, голос за это течение! От одной хорошей советской комедии театр воспрянет на несколько лет, а там, глядишь, появится и трагедия, недаром почитающаяся высоким родом словесного искусства.

\* \* \*

Может ли, однако, наша безбожная эпоха создать монументальное искусство? — спрашивают иные мистики, готовые принять и революцию — под условием, чтоб она обеспечила им загробное существование. Самая монументальная форма словесного

искусства — трагедия. Классическая древность трагедию выводила из мифа. Без глубокой, проникающей и осмысливающей жизнь веры в рок нет античной трагедии.

Монументальное средневековое искусство опять-таки объединено христианским мифом, осмысливавшим не только храмы и мистерии, но и все жизненные отношения.

Монументальное искусство только и возможно было — в те эпохи — при единстве религиозного восприятия жизни и активного в ней участия. Если устранено религиозное верование — не смутные, мистические урчания современной интеллигентской души, а подлинная религия, с богом, небесным законодательством, церковной иерархией, — то жизнь оголена и нет места высшей коллизии: героя и рока, греха и искупления. С этой стороны подбирается к искусству небезызвестный мистик Степун в статье «О трагедии и современности». Он исходит как бы из потребностей самого искусства, соблазняет новым монументальным творчеством, показывает в перспективе возрождение трагедии и в заключение требует: во имя искусства — покорись и поклонись силам небесным. В построении Степуна есть вкрадчивая логика: автору на самом-то деле нужна не трагедия, — ибо что такое законы трагедии перед законодательством небес? Он хочет лишь поймать нашу эпоху за мизинец трагической эстетики, чтобы завладеть всею рукой. Это чисто иезуитский подход. Но с диалектической точки зрения построение Степуна формально и поверхностно. Оно игнорирует материальную, историческую основу, на которой вырастают последовательно античная драма, искусство готики и должно вырасти новое искусство.

Вера в неотступный рок отражала узкий предел, в который упирался античный человек, с ясной мыслью, но с бедной техникой. Он еще не смел поставить себе задачей покорение природы в нынешнем масштабе — и она нависала над ним как рок. Ограниченность и неподвижность технических средств, голос крови, болезнь, смерть — все, что ограничивает человека и жестокими ударами не позволяет ему «зазнаваться», есть рок. Трагичность была заложена в противоречие между пробужденным миром сознания и косной ограниченностью средств. Миф не создал этой трагедии, а только давал ей выражение на образном языке человеческого детства.

В средние века спиритуалистическая взятка искупления и вся вообще система двойного счета, земного и небесного, вытекающая из двоедушия религии, особенно исторического, т. е. действительного христианства, не создавали противоречий жизни, а только отражали их и фиктивно разрешали. Преодолевая возраставшие противоречия, средневековое общество переводило вексель на сына божия: господствующие подписывали, церковная иерархия выступала поручителем, угнетенные собирались учсть в потустороннем мире.

Буржуазное общество атомизировало человеческие отношения, придав им небывалую гибкость и подвижность. Примитивная цельность сознания как основа монументального религиозного искусства исчезла вместе с примитивными экономическими отношениями. Религия приняла через реформацию индивидуалистический характер. Религиозные символы искусства оторвались от небесной пуповины и, опрокинувшись на голову, стали искать опоры в зыбкой мистике индивидуального сознания.

В трагедиях Шекспира, которые были бы немислимы без реформации, античный рок и средневековые страсти христовы вытесняются индивидуальными человеческими страстями: любовью, ревностью, мстительной жадностью, душевной расколотостью. Но в

каждой из драм Шекспира личная страсть доведена до такой степени напряжения, когда она перерастает человека, становится сверхличной, превращается в своего рода рок. Таковы ревность Отелло, честолюбие Макбета, жадность Шейлока, любовь Ромео и Джульетты, высокомерие Кориолана, душевная качка Гамлета. Трагедия Шекспира индивидуалистична и в этом смысле не так общезначима, как царь Эдип, выражавший общенародное сознание. Тем не менее Шекспир — огромный шаг вперед, а не назад по сравнению с Эсхилом. Искусство Шекспира человечнее. Во всяком случае новой трагедии, где распоряжается бог, а человек покорствуется, мы не примем. Да ее никто и не напишет.

Атомизируя отношения, буржуазное общество в эпоху своего восхождения имело большую цель, которая называлась освобождением личности. Из этого выросли драмы Шекспира и «Фауст» Гете. Человек ставит себя центром вселенной и тем самым — искусства. Темы этой хватили на века. В сущности, вся новая литература была ее разработкой. Но первоначальная цель — освобождение личности, ее квалификация — блекла и отодвигалась в область новой обездушенной мифологии по мере того, как внутренняя несостоятельность буржуазного общества вскрывалась через его невыносимые противоречия.

Столкновение личного со сверхличным возможно, однако, не только на религиозной основе и не только на основе перерастающей человека человеческой страсти. Сверхличное есть прежде всего общественное. До тех пор пока человек не овладел своей общественной организацией, она возвышается над ним как рок. Отбрасывает ли она от себя при этом религиозную тень или нет, это, во всяком случае, обстоятельство второго порядка, которое обуславливается степенью беспомощности человека. Борьба Бабефа за коммунизм в обществе, которое для этого не созрело, была борьбой античного героя с роком. Судьба Бабефа имеет все черты истинной трагедии, как и судьба тех Гракхов, по имени которых Бабеф себя назвал.

Трагедия замкнутых личных страстей слишком пресна для нашего времени. Но почему? Потому что мы живем в эпоху страстей социальных. Трагедия нашей эпохи есть столкновение личности с коллективом, или столкновение двух враждебных коллективов через личность. Наше время есть снова время больших целей. В этом печать его. Но грандиозность этих целей в том-то и состоит, что человек стремится освободить себя от мистического и всякого идейного тумана, перестроить свое общество и себя самого по плану, который им самим создан. Это, конечно, покрупнее ребяческой игры древних, которая была к лицу их детскому возрасту, или монашеского бреда средних веков, или высокомерия индивидуализма, который отрывает личность от коллектива, а затем, быстро исчерпав ее до дна, сталкивает ее в пустоту пессимизма или же снова опрокидывает ее на четвереньки перед подновленным быком Аписом.

Трагедия потому является высокой формой литературы, что предполагает героическую напряженность устремлений, предельность целей, конфликтов и страданий. С этой стороны Степун прав в характеристике незначительности нашего «канунного», как он выражается, искусства, т. е. того, которое предшествовало войне и революции.

Буржуазное общество, индивидуализм, реформация, шекспировская драма, великая революция не оставили места для трагического смысла целей, поставленных извне: большая цель должна пройти через сознание народа или ведущего народ класса, чтобы подвигнуть на героизм и создать почву для великих чувств, одухотворяющих трагедию. Царская война, задачи которой не проникали в сознание, порождала только вирши, а рядом струйками протекала индивидуалистическая поэзия, не возвышаясь до объективного и не образуя большого искусства.

Декадентство и символизм со всеми ответвлениями— с точки зрения исторического подъема искусства как общественной формы — были только пробами пера, упражнениями в мастерстве, настройкой инструментов. «Канун» был в искусстве эпохой без целей. У кого цели были, тем было не до искусства. Ныне надо большие цели провести чрез искусство. Успеет ли искусство революции дать «высокую» революционную трагедию, предвидеть трудно. Но социалистическое искусство возродит трагедию. И, конечно, без бога. Новое искусство будет безбожным искусством. Оно возродит также и комедию, потому что новый человек захочет смеяться. Оно даст новую жизнь роману. Оно даст все права лирике, потому что новый человек будет любить лучше и сильнее, чем любили старые люди, и будет задумываться над вопросами рождения и смерти. Новое искусство возродит все старые формы, созданные развитием творческого духа. Разложение и распад этих форм вовсе не имеет абсолютного значения, т. е. не означает их абсолютной несовместимости с духом нового времени. Нужно только, чтобы поэт новой эпохи передумал человеческие думы, перечувствовал человеческие чувства по-новому.

За эти годы больше всего пострадала архитектура, и не только у нас: старые здания постепенно разрушались, новые не строились. Отсюда жилищный кризис во всем мире. Возобновив работы после войны, люди направляли свои усилия прежде всего на наиболее необходимые предметы потребления и лишь затем на восстановление основного оборудования и на домостроительство. В последнем счете разрушительная эпоха войн и революций даст могущественнейший толчок архитектуре — в том примерно смысле, в каком пожар 1812 г. способствовал (действительно ведь способствовал!) украшению Москвы. В России для разрушения было меньше культурного материала, чем в других странах, разрушалось больше, чем в других странах, а строить нам неизмеримо труднее, чем другим странам. Неудивительно, если нам за эти годы было не до архитектуры, монументальнейшего из искусств.

Сейчас мы понемножку начинаем починять мостовые, восстанавливать канализационные трубы, достраивать оставленные нам в наследство недостроенные дома — только начинаем. Сельскохозяйственную выставку мы создали из дерева. Строительство крупного масштаба все еще приходится откладывать. Авторы гигантских проектов, в духе Татлина, поневоле получают дополнительную передышку на предмет новых размышлений, исправлений или радикального пересмотра. Не нужно себе, конечно, представлять дело так, будто мы собираемся в течение десятилетий еще штопать старые мостовые и дома. В этом процессе, как и во всех других, имеются как периоды штопки, медлительной подготовки и накопления сил, так и периоды быстрого подъема. Чуть обозначится избыток, за покрытием наиболее неотложных и острых жизненных нужд, как Советское государство поставит в порядок дня вопрос о гигантских сооружениях, в которых найдет свое монументальное воплощение дух нашей эпохи. Что Татлин в своем

проекте отбросил национальные стили, аллегорическую скульптуру, лепку, вензеля, завитушки и хвостики, попытавшись подчинить весь замысел правильному конструктивному использованию материала, — в этом он, безусловно, прав. Такова конструкция машин, архитектура мостов и крытых рынков — не со вчерашнего дня. Прав ли, однако, Татлин в том, что является его личной выдумкой: вращающиеся куб, пирамида и цилиндр из стекла, — это ему еще придется доказать. Худо это или хорошо, но обстоятельства предоставляют ему время на подбор аргументов.

Мопассан ненавидел башню Эйфеля, в чем никто не обязан ему подражать. Но несомненно, что башня Эйфеля производит двойственное впечатление: она привлекает технической простотой форм и в то же время отталкивает — бесцельностью. В ней есть внутреннее противоречие: крайне целесообразное с точки зрения высокой постройки использование материала, — но для чего? Это не здание, а упражнение. В настоящее время Эйфелева башня служит, как известно, радиостанцией. Это осмысливает ее, делает эстетически более целостней. Хотя, если бы башня с самого начала строилась для радиостанции, она достигла бы, вероятно, большей целесообразности формы и, следовательно, большей художественной законченности.

Проект памятника Татлина представляется с этой точки зрения гораздо менее удовлетворяющим. Целью основного строения является размещение стеклянных помещений для заседаний мирового совнаркома, Коммунистического Интернационала и пр. Но подпорки и устои, которые охватывают и поддерживают стеклянный цилиндр и пирамиду — только для этого и служат, — так громоздки и тяжеловесны, что кажутся неубранными лесами постройки. Вы не понимаете, зачем они нужны. Вам отвечают: чтобы поддерживать вращающийся цилиндр, в котором будут заседания. Вы возражаете: но заседания не непременно должны быть в цилиндре и цилиндр не обязан вращаться. Помню, в детстве я видел деревянный храм, построенный в пивной бутылке. Это поразило мое воображение, и тогда я не спрашивал себя зачем? Татлин идет противоположным путем: стеклянную бутылку для всемирного совнаркома он хочет вделать в спиральный железобетонный храм. Но ныне я не могу воздержаться от вопроса: зачем? Точнее: мы бы приняли, вероятно, и цилиндр и его вращение, если бы это было связано с простотой и легкостью конструкции, т. е. если бы приспособления для вращения не подавляли достижения. Не можем мы также согласиться с теми доводами, которые приводятся, чтобы разъяснить нам художественный смысл скульптуры, скажем, Якова Липшица. Скульптура должна потерять свою фиктивную независимость, которая означала для нее прозябание на задворках жизни или в музейных кладбищах, и должна возродить свою связь с архитектурой в некотором высшем единстве. В этом широком смысле скульптура должна получить утилитарное назначение. Прекрасно. Но совершенно не видно, как с этими идеями подойти к скульптуре Липшица. На фотографическом снимке перед нами несколько пересекающихся плоскостей, которые можно принять за условную схематизацию сидящего человека со струнным инструментом в руках. Нам говорят: если это сегодня и не утилитарно, зато «целесообразно». В каком смысле? Чтобы судить о целесообразности, надо знать цель. Когда же размышляешь над целесообразностью и возможной утилитарностью этих многочисленных пересекающихся плоскостей и угловатых форм и выступов, то приходишь к выводу, что скульптуру можно было в крайнем случае превратить в вешалку. Но опять-таки если бы автор поставил себе задачей



создать скульптурную вешалку, то, вероятно, нашел бы для этого более целесообразные формы. Во всяком случае рекомендуется не отливать такую вешалку в гипсе.

Остается предположить, что скульптура Липшица, как и речетворчество Крученых, есть просто технические упражнения мастерства, гаммы, пассажи и экзерсисы словесной и скульптурной музыки будущего. Но тогда не надо выдавать экзерсисы за музыку. Лучше всего не выпускать их из мастерской и не показывать фотографам.

\* \* \*

Нет никакого сомнения, что в будущем — и чем дальше, тем больше — такого рода монументальные задачи, как новая планировка городов-садов, планы образцовых домов, железных дорог и портов, — будут захватывать за живое не только инженеров-архитекторов, участников конкурса, но и широкие народные массы. Муравьиное нагромождение кварталов и улиц: по кирпичику, незаметно, из рода в род, заменится титаническим построением городов-деревень, по карте и с циркулем. Вокруг этого циркуля пойдут истинно народные группировки за и против, своеобразные технико-строительные партии будущего, с агитацией, со страстями, митингами, голосованиями. В этой борьбе архитектура будет снова, но уже на более высокой ступени насыщаться дыханием массовых чувств и настроений, а человечество будет воспитывать себя пластически, т. е. привыкать смотреть на мир, как на покорную глину для лепки все более совершенных жизненных форм. Стена между искусством и промышленностью падет. Будущий большой стиль будет не украшающим, но формирующим. В этом футуристы правы. Было бы, однако, ошибочно истолковывать это как ликвидацию искусства, как самоустранение его перед техникой. В применении к перочинному ножу сочетание искусства с техникой может идти по двум основным линиям: искусство украшает нож, изображая на его ручке слона, премированную красавицу или башню Эйфеля; либо же искусство помогает технике найти для ножа «идеальную» форму, т. е. такую, которая наиболее отвечает материалу и назначению ножа. Думать, что такая задача может быть разрешена чисто техническими средствами, неправильно, ибо задание и материал оставляют поле открытым для бесчисленного количества вариантов. Для создания «идеального» ножа необходимы — помимо знания свойств материала и приемов обработки — воображение и вкус. В полном соответствии со всей тенденцией индустриальной культуры, мы считаем, что художественное воображение в сфере производства материальных предметов будет направлено на выработку идеальной формы вещи как вещи, а не на украшение ее, в качестве эстетической премии к самому предмету. Если это верно относительно перочинного ножа, то тем более — относительно платья, мебели, театров и городов. Это вовсе не должно означать непременно ликвидацию «станкового» искусства, даже и в отдаленном будущем. Но на передний план все же выдвинется, по-видимому, непосредственное сотрудничество искусства со всеми отраслями техники.

Означает ли это, что промышленность всосет в себя искусство или же что искусство поднимет промышленность к себе на Олимп? Отвечать на этот вопрос можно и так и этак, в зависимости от того, подходим ли мы со стороны промышленности или со стороны

искусства. Но в объективном итоге разницы между тем и другим ответом нет. Оба означают гигантское расширение сферы и не менее гигантское повышение художественной квалификации промышленности, причем под последней мы разумеем здесь всю без изъятия производственную деятельность человека: земледелие, механизированное и электрифицированное, станет частью той же промышленности.

Но не только между искусством и производством, — одновременно падет стена между искусством и природой. Не в том, жан-жаковском, смысле, что искусство приблизится к естественному состоянию, а в том, наоборот, что природа станет «искусственнее». Нынешнее расположение гор и рек, полей и лугов, степей, лесов и морских берегов никак нельзя назвать окончательным. Кое-какие изменения, и не малые, в картину природы человек уже внес; но это лишь ученические опыты в сравнении с тем, что будет. Если вера только обещала двигать горами, то техника, которая ничего не берет «на веру», действительно способна срывать и перемещать горы. До сих пор это делалось в целях промышленных (шахты) или транспортных (туннели); в будущем это будет делаться в несравненно более широком масштабе по соображениям общего производственно-художественного плана. Человек займется перерегистрацией гор и рек и вообще будет серьезно, и не раз, исправлять природу. В конце концов он перестроит землю если не по образу и подобию своему, то по своему вкусу. У нас нет никакого основания опасаться, что этот вкус будет плох.

Ревнивый, исподлобья глядящий Клюев в споре с Маяковским заявляет, что «песнотворцу не пристало радеть о кранах подъемных», и что «в сердечных домнах (а не в иных каких) выплавится жизни багряное золото». В этот спор вмешался Иванов-Разумник: народник, прошедший через левоэсерство, — этим все сказано. Поэзию молота и машины, от лица коих выступает будто бы Маяковский, Иванов-Разумник объявляет проходящим эпизодом, а поэзию «нерукотворной земли» — «вечной поэзией мира». Земля и машина противопоставляются друг другу, как вечный источник поэзии — временному, и уж, конечно, имманентный идеалист, остороженький, постненький полумистик Разумник отдает предпочтение вечному перед временным. Но на самом-то деле этот дуализм земли и машины фальшив: противопоставить можно отсталой крестьянской пашне пшеничную фабрику, плантаторскую или социалистическую. Поэзия земли не вечна, а изменчива, и запел человек членораздельные песни лишь с тех пор, как поставил между собой и землю орудия и инструменты, первые простейшие машины. Без сохи, без серпа и косы нет Кольцова. Значит ли это, что земля с сохой имеет преимущество вечности над землей с электроплугом?.. Новый человек, который себя только теперь проектирует и осуществляет, не противопоставит, как Клюев, а за ним Разумник, тетеревиному току и осетровым мережам подъемных кранов и парового молота. Социалистический человек хочет и будет командовать природой во всем ее объеме, с тетеревами и осетрами, через машину. Он укажет, где быть горам, а где расступиться. Изменит направление рек и создаст правила для океанов. Идеалистическим простачкам может показаться, что это будет скучно, — на то они и простачки. Конечно, это не значит, что весь земной шар будет разграфлен на клетки, что леса превратятся в парки и огороды. Останутся, вероятно, и глушь, и лес, и тетерева, и тигры, но там, где им укажет быть человек. И он сделает это так складно, что тигр даже не заметит подъемного крана и не заскучает, а будет жить, как жил в первобытные времена. Машина не противостоит земле. Машина есть орудие

современного человека во всех областях жизни. Нынешний город преходящ. Но он не растворится в старой деревне. Наоборот, в основном деревня поднимется до города. В этом главная задача. Город преходящ, но он знаменует будущее и указывает ему путь. А нынешняя деревня — вся в прошлом. Оттого ее эстетика кажется архаичной, из музея народного искусства.

Из эпохи гражданской войны человечество выйдет обедневшим, со страшными разрушениями — даже и без помощи землетрясений, вроде японского. Стремление победить нужду, голод, недостаток во всех его видах, т. е. покорить природу, станет господствующей тенденцией на ряд десятилетий. Страсть к лучшим сторонам американизма будет сопутствовать первому этапу каждого молодого социалистического общества. Пассивное любование природой уйдет из искусства. Техника станет гораздо более могучей вдохновительницей художественного творчества. А позже само противоречие техники и природы разрешится в более высоком синтезе.

\* \* \*

О чем отдельные энтузиасты не всегда складно мечтают ныне — по части театрализации быта и ритмизации самого человека, — хорошо и плотно укладывается в эту перспективу. Рационализируя, т. е. пропитав сознанием и подчинив замыслу свой хозяйственный строй, человек камня на камне не оставит в нынешнем косном, насквозь прогнившем домашнем своем быту. Заботы питания и воспитания, могильным камнем лежащие на нынешней семье, снимутся с нее и станут предметом общественной инициативы и неистощимого коллективного творчества. Женщина выйдет наконец из полурабского состояния. Наряду с техникой педагогика — в широком смысле психофизического формирования новых поколений — станет царицей общественной мысли. Педагогические системы будут спланировать вокруг себя могущественные «партии». Социально-воспитательные опыты и соревнование разных методов получат размах, о котором ныне нельзя и помышлять. Коммунистический быт будет слагаться не слепо, как коралловые рифы, а строиться сознательно, проверяться мыслью, направляться и исправляться. Перестав быть стихийным, быт перестанет быть и застойным. Человек, который научится перемещать реки и горы, воздвигать народные дворцы на вершине Монблана и на дне Атлантики, сумеет уж, конечно, придать своему быту не только богатство, яркость, напряженность, но и высшую динамичность. Едва сложившись, оболочка быта будет лопаться под напором новых технико-культурных изобретений и достижений. Жизнь будущего не будет однообразной.

Более того. Человек примется наконец всерьез гармонизировать себя самого. Он поставит себе задачей ввести в движение своих собственных органов — при труде, при ходьбе, при игре — высшую отчетливость, целесообразность, экономию и тем самым красоту. Он захочет овладеть полубессознательными, а затем и бессознательными процессами в собственном организме: дыханием, кровообращением, пищеварением, оплодотворением — и, в необходимых пределах, подчинит их контролю разума и воли. Жизнь, даже чисто физиологическая, станет коллективно-экспериментальной. Человеческий род, застывший homo sapiens, снова поступит в радикальную переработку и станет — под собственными

пальцами — объектом сложнейших методов искусственного отбора и психофизической тренировки. Это целиком лежит на линии развития. Человек сперва изгонял темную стихию из производства и идеологии, вытесняя варварскую рутину научной техникой и религию — наукой. Он изгнал затем бессознательное из политики, опрокинув монархию и сословность демократией, рационалистическим парламентаризмом, а затем насквозь прозрачной советской диктатурой. Наиболее тяжело засела слепая стихия в экономических отношениях, — но и оттуда человек вышибает ее социалистической организацией хозяйства. Этим делается возможной коренная перестройка традиционного семейного уклада. Наконец, в наиболее глубоком и темном углу бессознательного, стихийного, подпочвенного затаилась природа самого человека. Не ясно ли, что сюда будут направлены величайшие усилия исследующей мысли и творческой инициативы? Не для того же род человеческий перестанет ползать на карачках перед богом, царями и капиталом, чтобы покорно склониться перед темными законами наследственности и слепого полового отбора! Освобожденный человек захочет достигнуть большего равновесия в работе своих органов, более равномерного развития и изнашивания своих тканей, чтобы уже этим одним ввести страх смерти в пределы целесообразной реакции организма на опасность, ибо не может быть сомнения в том, что именно крайняя дисгармоничность человека — анатомическая, физиологическая, — чрезвычайная неравномерность развития и изнашивания органов и тканей придают жизненному инстинкту ущемленную, болезненную, истерическую форму страха смерти, затемняющего разум и питающего глупые и унижительные фантазии о загробном существовании.

Человек поставит себе целью овладеть собственными чувствами, поднять инстинкты на вершину сознательности, сделать их прозрачными, протянуть провода воли в подспудное и подпольное и тем самым поднять себя на новую ступень — создать более высокий общественно-биологический тип, если угодно — сверхчеловека.

До каких пределов самоуправляемости доведет себя человек будущего — это так же трудно предсказать, как и те высоты, до каких он доведет свою технику. Общественное строительство и психофизическое самовоспитание станут двумя сторонами одного и того же процесса. Искусства — словесное, театральное, изобразительное, музыкальное, архитектурное — дадут этому процессу прекрасную форму. Вернее сказать: та оболочка, в которую будет облекать себя процесс культурного строительства и самовоспитания коммунистического человека, разовьет до предельной мощности все жизненные элементы нынешних искусств. Человек станет несравненно сильнее, умнее, тоньше. Его тело — гармоничнее, движения ритмичнее, голос музыкальнее, формы быта приобретут динамическую театральность. Средний человеческий тип поднимется до уровня Аристотеля, Гете, Маркса. Над этим кряжем будут подниматься новые вершины.

## ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА

### АЛЕКСАНДР БЛОК. ДВЕНАДЦАТЬ

Поэма

1

Черный вечер.  
Белый снег.  
Ветер, ветер!  
На ногах не стоит человек.  
Ветер, ветер -  
На всем божьем свете!

Завивает ветер  
Белый снежок.  
Под снежком - ледок.  
Скользко, тяжело,  
Всякий ходок  
Скользит - ах, бедняжка!

От здания к зданию  
Протянут канат.  
На канате - плакат:  
"Вся власть Учредительному Собранию!"  
Старушка убивается - плачет,  
Никак не поймет, что значит,  
На что такой плакат,  
Такой огромный лоскут?  
Сколько бы вышло портянок для ребят,  
А всякий - раздет, разут...  
Старушка, как курица,  
Кой-как перемотнулась через сугроб.  
- Ох, Матушка-Заступница!  
- Ох, большевики загонят в гроб!

Ветер хлесткий!  
Не отстает и мороз!  
И буржуй на перекрестке  
В воротник упрятал нос.

А это кто? - Длинные волосы  
И говорит вполголоса:  
- Предатели!  
- Погибла Россия! -  
Должно быть, писатель -  
Вития...

А вон и долгополый -  
Сторонкой - за сугроб...  
Что' нынче невеселый,  
Товарищ поп?

Помнишь, как бывало  
Брюхом шел вперед,  
И крестом сияло  
Брюхо на народ?..

Вон барыня в каракуле  
К другой подвернулась:  
- Ужь мы плакали, плакали...  
Поскользнулась  
И - бац - растянулась!

Ай, ай!  
Тяни, подымай!

Ветер веселый  
И зол и рад.  
Крутит подолы,  
Прохожих косит,  
Рвет, мнет и носит  
Большой плакат:  
"Вся власть Учредительному Собранию"...  
И слова доносит:

...И у нас было собрание...  
...Вот в этом здании...  
...Обсудили -  
Постановили:  
На время - десять, на' ночь - двадцать пять...  
...И меньше - ни с кого не брать...  
...Пойдем спать...

Поздний вечер.  
Пустеет улица.  
Один бродяга  
Сутулится,  
Да свищет ветер...

Эй, бедняга!  
Подходи -  
Поцелуемся...

Хлеба!  
Что впереди?  
Проходи!

Черное, черное небо.

Злоба, грустная злоба  
Кипит в груди...  
Черная злоба, святая злоба...

Товарищ! Гляди

В оба!

2

Гуляет ветер, порхает снег.  
Идут двенадцать человек.

Винтовок черные ремни,  
Кругом - огни, огни, огни...

В зубах - цыгарка, примят картуз,  
На спину б надо бубновый туз!

Свобода, свобода,  
Эх, эх, без креста!

Тра-та-та!

Холодно, товарищ, холодно!

- А Ванька с Катькой - в кабаке...

- У ей керенки есть в чулке!

- Ванюшка сам теперь богат...

- Был Ванька наш, а стал солдат!

- Ну, Ванька, сукин сын, буржуй,  
Мою, попробуй, поцелуй!

Свобода, свобода,  
Эх, эх, без креста!  
Катька с Ванькой занята -  
Чем, чем занята?..

Тра-та-та!

Кругом - огни, огни, огни...  
Оплечь - ружейные ремни...

Революционный держите шаг!  
Неугомонный не дремлет враг!

Товарищ, винтовку держи, не трусь!  
Пальнем-ка пулей в Святую Русь -

В кондовую,  
В избяную,  
В толстозадую!

Эх, эх, без креста!

3

Как пошли наши ребята  
В красной гвардии служить -  
В красной гвардии служить -  
Буйну голову сложить!

Эх ты, горе-горькое,  
Сладкое житье!  
Рваное пальтишко,  
Австрийское ружье!

Мы на горе всем буржуям  
Мировой пожар раздуем,  
Мировой пожар в крови -  
Господи, благослови!

4

Снег крутит, лихач кричит,  
Ванька с Катюшкой летит -  
Электрический фонарик  
На оглобелях...  
Ах, ах, пади!..

Он в шинелишке солдатской  
С физиономией дурацкой  
Крутит, крутит черный ус,  
Да покручивает,  
Да пошучивает...

Вот так Ванька - он плечист!  
Вот так Ванька - он речист!  
Катюшку-дуру обнимает,  
Заговаривает...

Запрокинулась лицом,  
Зубки блещут жемчугом...  
Ах ты, Катя, моя Катя,  
Толстоморденькая...

5



У тебя на шее, Катя,  
Шрам не зажил от ножа.  
У тебя под грудью, Катя,  
Та царапина свежа!

Эх, эх, попляши!  
Больно ножки хороши!

В кружевном белье ходила -  
Походи-ка, походи!  
С офицерами блудила -  
Поблуди-ка, поблуди!

Эх, эх, поблуди!  
Сердце ёкнуло в груди!

Помнишь, Катя, офицера -  
Не ушел он от ножа...  
Аль не вспомнила, холера?  
Али память не свежа?

Эх, эх, освежи,  
Спать с собою положи!

Гетры серые носила,  
Шоколад Миньон жрала,  
С юнкерьем гулять ходила -  
С солдатьем теперь пошла?

Эх, эх, согреши!  
Будет легче для души!

6

...Опять навстречу несется вскачь,  
Летит, вопит, орет лихач...

Стой, стой! Андрюха, помогай!  
Петруха, сзади забегай!..

Трах-тарарах-тах-тах-тах-тах!  
Вскрутился к небу снежный прах!..

Лихач - и с Ванькой - наутек...  
Еще разок! Взводи курок!..

Трах-тарарах! Ты будешь знать,  
.....

Как с девочкой чужой гулять!..

Утек, подлец! Ужо, постой,  
Расправлюсь завтра я с тобой!

А Катька где? - Мертва, мертва!  
Простреленная голова!

Что', Катька, рада? - Ни гу-гу...  
Лежи ты, падаль, на снегу!..

Революционный держите шаг!  
Неугомонный не дремлет враг!

7

И опять идут двенадцать,  
За плечами - ружьца.  
Лишь у бедного убийцы  
Не видать совсем лица...

Всё быстрее и быстрее  
Уторапливает шаг.  
Замотал платок на шее -  
Не оправиться никак...

- Что, товарищ, ты не весел?  
- Что, дружок, оторопел?  
- Что, Петруха, нос повесил,  
Или Катьку пожалел?

- Ох, товарищ, родные,  
Эту девку я любил...  
Ночки черные, хмельные  
С этой девкой проводил...

- Из-за удали бедовой  
В огневых ее очах,  
Из-за родники пунцовой  
Возле правого плеча,  
Загубил я, бестолковый,  
Загубил я сгоряча... ах!

- Ишь, стервец, завел шарманку,  
Что ты, Петька, баба, что ль?  
- Верно, душу наизнанку  
Вздумал вывернуть? Изволь!  
- Поддержи свою осанку!  
- Над собой держи контроль!

- Не такое нынче время,  
Чтобы нянчиться с тобой!  
Потяжеле будет бремя  
Нам, товарищ дорогой!

- И Петруха замедляет  
Торопливые шаги...

Он головку вскидывает,  
Он опять повеселел...

Эх, эх!  
Позабавиться не грех!

Запирайте этажи,  
Нынче будут грабежи!

Отмыкайте погреба -  
Гуляет нынче голытьба!

8

Ох ты, горе-горькое!  
Скука скучная,  
Смертная!

Ужь я времячко  
Проведу, проведу...

Ужь я темячко  
Почешу, почешу...

Ужь я семячки  
Полущу, полущу...

Ужь я ножичком  
Полосну, полосну!..

Ты лети, буржуй, воробышком!  
Выпью кровушку  
За зазнобушку,  
Чернобровушку...

Упокой, господи, душу рабы твоея...

Скучно!

9

Не слышно шуму городского,  
Над невской башней тишина,  
И больше нет городского -  
Гуляй, ребята, без вина!

Стоит буржуй на перекрестке  
И в воротник упрятал нос.  
А рядом жметесь шерстью жесткой  
Поджавший хвост паршивый пес.

Стоит буржуй, как пес голодный,  
Стоит безмолвный, как вопрос.  
И старый мир, как пес безродный,  
Стоит за ним, поджавши хвост.

10

Разыгралась чтой-то вьюга,  
Ой, вьюга', ой, вьюга'!  
Не видать совсем друг друга  
За четыре за шага!

Снег воронкой завился,  
Снег столбушкой поднялся...

- Ох, пурга какая, спасе!  
- Петька! Эй, не завирайся!  
От чего тебя упас  
Золотой иконостас?  
Бессознательный ты, право,  
Рассуди, подумай здраво -  
Али руки не в крови  
Из-за Катькиной любви?  
- Шаг держи революционный!  
Близок враг неугомонный!

Вперед, вперед, вперед,  
Рабочий народ!

11

...И идут без имени святого

Все двенадцать - вдаль.  
Ко всему готовы,  
Ничего не жаль...

Их винтовочки стальные  
На незримого врага...  
В переулочки глухие,  
Где одна пылит пурга...  
Да в сугробы пуховые -  
Не утянешь сапога...

В очи бьется  
Красный флаг.

Раздается  
Мерный шаг.

Вот - проснется  
Лютый враг...

И вьюга' пылит им в очи  
Дни и ночи  
Напролет...

Вперед, вперед,  
Рабочий народ!

12

...Вдаль идут державным шагом...  
- Кто еще там? Выходи!  
Это - ветер с красным флагом  
Разыгрался впереди...

Впереди - сугроб холодный,  
- Кто в сугробе - выходи!..  
Только нищий пес голодный  
Ковыляет позади...

- Отвяжись ты, шелудивый,  
Я штыком пощекочу!  
Старый мир, как пес паршивый,  
Провались - поколочу!

...Скалит зубы - волк голодный -  
Хвост поджал - не отстает -  
Пес холодный - пес безродный...  
- Эй, откликнись, кто идет?

- Кто там машет красным флагом?  
- Приглядишься-ка, эка тьма!  
- Кто там ходит беглым шагом,  
Хоронясь за все дома?

- Все равно, тебя добуду,  
Лучше сдайся мне живьем!  
- Эй, товарищ, будет худо,  
Выходи, стрелять начнем!

Трах-тах-тах! - И только эхо  
Откликается в домах...  
Только вьюга долгим смехом  
Заливается в снегах...

Трах-тах-тах!  
Трах-тах-тах...

... Так идут державным шагом,  
Позади - голодный пес,  
Впереди - с кровавым флагом,  
И за вьюгой невидим,  
И от пули невредим,  
Нежной поступью надвьюжной,  
Снежной россыпью жемчужной,  
В белом венчике из роз -  
Впереди - Иисус Христос.

Январь 1918

## **А.БЛОК. СКИФЫ**

Панмонголизм! Хоть имя дико,  
Но мне ласкает слух оно.  
*Владимир Соловьев*

Миллионы - вас. Нас - тьмы, и тьмы, и тьмы.  
Попробуйте, сразитесь с нами!  
Да, скифы - мы! Да, азиаты - мы,  
С раскосыми и жадными очами!

Для вас - века, для нас - единый час.  
Мы, как послушные холопы,  
Держали щит меж двух враждебных рас  
Монголов и Европы!

Века, века ваш старый горн ковал  
И заглушал грома' лавины,  
И дикой сказкой был для вас провал

И Лиссабона, и Мессины!

Вы сотни лет глядели на Восток,  
Копя и плавая наши перлы,  
И вы, глумясь, считали только срок,  
Когда наставить пушек жерла!

Вот - срок настал. Крылами бьет беда,  
И каждый день обиды множит,  
И день придет - не будет и следа  
От ваших Пестумов, быть может!

О старый мир! Пока ты не погиб,  
Пока томишься мукой сладкой,  
Остановись, премудрый, как Эдип,  
Пред Сфинксом с древнею загадкой!

Россия - Сфинкс! Ликуя и скорбя,  
И обливаясь черной кровью,  
Она глядит, глядит, глядит в тебя  
И с ненавистью, и с любовью!..

Да, так любить, как любит наша кровь,  
Никто из вас давно не любит!  
Забыли вы, что в мире есть любовь,  
Которая и жжет, и губит!

Мы любим всё - и жар холодных числ,  
И дар божественных видений,  
Нам внятно всё - и острый галльский смысл,  
И сумрачный германский гений...

Мы помним всё - парижских улиц ад,  
И венецьянские прохлады,  
Лимонных роц далекий аромат,  
И Кельна дымные громады...

Мы любим плоть - и вкус ее, и цвет,  
И душный, смертный плоти запах...  
Виновны ль мы, коль хрустнет ваш скелет  
В тяжелых, нежных наших лапах?

Привыкли мы, хватая под уздцы

Играющих коней ретивых,  
Ломать коням тяжелые крестцы  
И умирять рабынь строптивых...

Придите к нам! От ужасов войны  
Придите в мирные объятия!  
Пока не поздно - старый меч в ножны,  
Товарищи! Мы станем - братья!

А если нет - нам нечего терять,  
И нам доступно вероломство!  
Века, века - вас будет проклинять  
Больное позднее потомство!

Мы широко по дебрям и лесам  
Перед Европою пригожей  
Расступимся! Мы обернемся к вам  
Своею азиатской рожей!

Идите все, идите на Урал!  
Мы очищаем место бою  
Стальных машин, где дышит интеграл,  
С монгольской дикою ордою!

Но сами мы - отныне вам не щит,  
Отныне в бой не вступим сами,  
Мы поглядим, как смертный бой кипит,  
Своими узкими глазами.

Не сдвинемся, когда свирепый гунн  
В карманах трупов будет шарить,  
Жечь города, и в церковь гнать табун,  
И мясо белых братьев жарить!..

В последний раз - опомнись, старый мир!  
На братский пир труда и мира,  
В последний раз на светлый братский пир  
Сзывает варварская лира!

30 января 1918

**Е. ЗАМЯТИН. ВЕЛИКИЙ АССЕНИЗАТОР**

Впервые: Дело народа. 1918. 21 июня (подпись: Мих. Платонов).



Губернаторы русские все были прирожденные поэты. У всякого, кроме его канцелярского дела, было еще дело для души: кто насаждал в губернии вольнопожарные дружины; кто заводил оркестры во всех городских садах и бульварах; кто -- американские мостовые Мак-Адамса; кто -- столовые и больницы для бесхозных собак. И в губернии, где скакали в солнечно-сияющих касках вольнопожарные дружины, -- непременно развороченные мостовые и грязища; в губернии, где кормили и лечили бесхозных собак, -- непременно дохли от голода люди по градам и весям. Такое уж дело поэзия: берет всего человека, и ежели для него поэзия в собачьих больницах -- плевать ему на весь мир, кроме собачьих больниц.

Для одного такого прирожденного поэта-губернатора была поэзия в ассенизации. Приехал, по канцелярии пробежал мимоходом. Доклады разные слушал -- так себе слушал: в одно ухо вошло -- в другое вышло.

Кончил доклады -- вырос мой губернатор, выпрямился: Наполеон, глаза сверкают.

-- А что у вас, позвольте спросить, сделано по ассенизации?

Господи, что же: бочки -- как бочки, золотари -- как золотари. Что же тут может быть?

-- Как что может быть?

И прочитал Великий Ассенизатор лекцию... не лекцию -- поэму об ассенизации. В ассенизации все, и от ней все качества. Поставить ассенизацию на должную высоту -- и не будет славнее губернии...

И начались казенные реформы. Были выписаны из Ливерпуля патентованные стальные бочки Годкинса, ассенизационные помпы Вартангтона. Заведена была для золотарей особая форма: с кожаным круглым фартучком, кожаными рукавицами и кожаной шапочкой. И в светлые ночи запоздавший гуляка мог лицезреть самого Великого Ассенизатора в круглом кожаном фартучке, вдохновенно мчавшегося на патентованной бочке Годкинса...

Великий Ассенизатор, как и все поэты, ради своей поэзии был самоотвержен. И скоро пошел от него такой дух, что чиновники, не совсем безносые, переводились подальше -- губернаторша уехала к родителям, губернаторский дом опустел. Но Великий Ассенизатор неукоснительно и самоотверженно продолжал свое дело.

Городовые, тюремные надзиратели и делающие карьеру молодые люди -- все были записаны (добровольно, конечно) в добровольный обоз. И по ночам мчались на патентованных бочках.

В Великую Среду, когда к Пасхе производилась по губернаторскому распоряжению чистка со сбором всех сил: городских, тюремных надзирателей и молодых людей, -- арестанты из губернского острога все до единого очень спокойно ушли. А на Фоминой неделе ушли Великого Ассенизатора.

Впрочем, кому неизвестно, что оставные губернаторы не пропадают, а возрождаются, как птица Феникс из пепла? Великий Ассенизатор, великий ассенизационный поэт получил теперь в управление не губернию, а Россию.

И вот снова -- все в ассенизации. Патентованные бочки Годкинса гремят по России, по полям, по людям: что поля и люди перед великой задачей патентованного ассенизационного обоза? Самоотверженный ассенизатор все глубже пропитывается запахом ассенизационного материала, и все слышней знакомый дух охранки и жандарма. Но Великий Ассенизатор по чем попало -- по-прежнему мчится на бочке, в круглом кожаном фартучке и в кожаных рукавицах.

Спору нет: ассенизация нужна. И может быть, был исторически нужен России сумасшедший ассенизационный поэт. И может быть, кое-что из нелепых дел Великого Ассенизатора войдет не только в юмористические истории <империи> Российской.

Но сумасшедшие ассенизационные помпы слепы: мобилизацией для Гражданской войны выкачиваются последние соки из голодных рабочих; высасываются из слабых остатки веры в возможность устроить жизнь без пришествия варягов.

И все нестерпимей несет от ассенизаторов знакомым жандармско-охранным букетом -- и все, не совсем безносые, бегут вон, зажавши остатки носов.  
Для Великого Ассенизатора близка Фомина неделя.

21/8 июня 1918

## В. ЗАЗУБРИН. ДВА МИРА<sup>38</sup>

*Роман-хроника «Два мира» известного сибирского писателя В. Я. Зазубрина (1895 – 1938) посвящен событиям гражданской войны в Сибири, когда Красная Армия и партизаны Тасеевской республики, отстаивая завоевания революции, громили колчаковские банды и утверждали Советскую власть.*

*В романе ярко, достоверно и самобытно показаны картины освобождения Сибири от белогвардейщины; столкновение «двух миров» – старого и нового. Роман впервые был опубликован в 1921 году и является первым большим произведением советской литературы, получившим высокую оценку В. И. Ленина и М. Горького.*

### 1. КОГОТЬ

Земля вздрагивала.

Тела орудий, круто задрав кверху дула, коротко и быстро метали желтые, сверкающие снопы огня. Тайга с шумящим треском и грохотом широко разносила гул выстрелов, долго, визгливо и раскатисто звенела стальным воем снарядов, лопавшихся далеко на улицах, на земле и над крышами Широкого.

Прислуга на батарее, молодые краснощекие, скуластые солдаты, работали с буднично спокойными лицами, изредка равнодушно ругались, перебрасываясь грубой шуткой. Противник был не страшен: он не имел артиллерии. Сидевший на наблюдательном пункте поручик Громов в бинокль, не отрываясь, следил за селом и часто кричал в трубку телефона короткие, холодные слова команды. Ветра не было. Сухой, горячий воздух висел над тайгой, напитываясь запахом душистой смолы, игольчатой зелени и пороховым дымом. На дереве сидеть было неудобно и жарко. Ноги у офицера затекли, руки устали держать тяжелый бинокль. Толстые губы, с подстриженными черными усами, засохли и потрескались. Фуражка надвинулась на самый лоб, из-под козырька текли теплые, липкие струйки пота, грязными каплями висли на сухом, горбатом носу, на гладко выбритом четырехугольном подбородке, капали на зеленый френч.

Мертвые стеклянные глаза бинокля, поблескивая, сверлили зеленую даль большой таежной поляны, на которой скучилось Широкое, бегали по улицам села, щупали густую цепь противника, лежащую у покотины.

– Прицел!.. Трубка!..

Толстые губы дергались, и по тонкому стальному нерву телефона бежали отрывистые фразы, слова, цифры, полные скрытого смысла.

---

<sup>38</sup> Печатается по: В. Зазубрин. Два мира // [http://royallib.com/book/zazubrin\\_vladimir/dva\\_mira.html](http://royallib.com/book/zazubrin_vladimir/dva_mira.html)

– Прицел!.. Трубка!.. – повторял телефонист на батарее.

– Прицел!.. Трубка!.. – кричали бегающие у орудий солдаты в грязных гимнастерках, с расстегнутыми воротами и красными погонами на плечах.

– Готово!

– Первое!.. Второе!.. Третье!..

Орудия судорожно подпрыгивали, давясь, с болью, оглушающе харкали и плевались длинными кусками огня и раскаленными, воющими ступками стали. Верхушки деревьев гнулись, как от ветра.

– Прицел!.. Трубка!.. – кричала натянутая жила телефона.

Спокойно поблескивал черный бинокль. Послушно, с точностью заведенного механизма, солдаты щелкали замками, совали в орудия снаряды, стреляли.

На опушке тайги стоял сухой треск ломающегося валежника. Серо-зеленая цепь белых вела частую стрельбу из винтовок, четко стучала длинными очередями пулеметом. Партизаны, окопавшись у самой поскотины Широкого, молчали. Вооруженные более чем наполовину дробовиками, почти не имея патронов, они берегли каждую пулю, не стреляли, выжидая, пока противник подойдет ближе и можно будет бить его, беря на мушку, без промаха. Пули со свистом сочно впивались в жерди и колья поскотины, зарывались в черные бугорки окопов, тысячами визгливых сверл буравили воздух. Бойцы лежали сосредоточенно, спокойно. Глубокие складки залегли у каждого между бровей, и глаза, потемнев, резко чернели на напряженных, чуть побледневших лицах. Когда в цепи пуля задевала кого-нибудь и слышался стон или крик, то все молча обертывались в сторону раненого и быстрыми, тревожными взглядами следили, как возились с ним санитары.

Снаряды рвались далеко за цепью, в селе. Белые облачка шрапнели клубились над Широким, и тяжелый дождь крупными каплями картечи с треском низал дощатые крыши, дырявил заборы, ворота, звенел осколками выбитых стекол. На улицах в прыгающих, крутящихся столбах черной пыли огненными красными лоскутами рвались гранаты. Ключья огня вспыхивали, и тухли спереди и сзади десятка запоздалых подвод, спешивших к северному концу села. Поручик Громов не мог взять верного прицела. Крестьянские телеги, тяжело скрипя, медленно ползли между домов, трещавших от взрывов. На возах в беспорядке, наспех высоко были навалены сундуки, самовары, цветные половики, подушки, на самом верху металась и громко плакали ребятишки, охали, крестились, всхлипывали женщины.

Гранаты давали или перелет, или недолет. Шрапнель рвалась слишком высоко, и ее пули, ослабев, сыпались на обоз, никому не причиняя вреда. Круглый кусок горячего свинца упал на беленькую головку семилетнего Васи Жаркова. Мальчик вскрикнул, испуганные большие черные глаза, широко раскрывшись, остановились. На полные розовые щеки брызнули искрящиеся капли слез.

– Мамка, больна! Ай-яй! – Вася заплакал, схватился за голову.

Полная женщина в белом платке, с вытянувшимся землисто-серым лицом прижала к себе дрожащего сына.

– Матушка-владычица, богородица пресвятая, спаси и помилуй нас, – громко, навзрыд причитала мать.

Старики с трясущимися коленями широко шагали возле возов, дергались поминутно всем телом в сторону от рвущихся снарядов, подгоняли храпевших и бившихся лошадей.

Поручик Громов стал нервничать. Его бесило, что семьи партизан безнаказанно уходили из села. Офицер менял прицел, промахивался, раздраженно ерзал на сучке, ругался.

Граната с воем лопнула в самой середине обоза. Задние колеса телеги Жарковых прыгнули вверх. Мать и сын, молча, не вскрикнув, свалились, обнявшись, на дорогу. Рядом тяжело рухнула большая туша лошади с оторванной головой. Пыль вокруг убитых сразу стала красной.

Черный бинокль радостно дернулся в руках Громова и, блеснув на солнце, остановился, стал ощупывать теплую кучу костей и мяса. Офицер с легким волнением весело уронил в трубку:

– Хорошо! Два патрона! Беглый огонь!

Бах-бах! Бах-бах! Бах-бах! Бах-бах! – быстро бросила батарея восемь снарядов. Разбитые телеги сгрудились в кучу; лошади, издыхая, дергали ногами; с вырванными животами, оторванными ногами и руками, с разбитыми черепами валялись люди. Кто-то стонал. Мертвые руки Жарковой сжимали маленькую головку Васи. Русые, пушистые волосы ребенка слиплись, стали красными. Головки убитых детей среди груды разломанных телег, дохлых лошадей, мертвых и раненых людей пестрели нежными цветками голубеньких, черных, синих глазенок, сверкающих еще не высохшими слезами.

Красное пятно росло, расплзлось по дороге.

Батарея перенесла огонь. На улицах стало тихо. Дома молча смотрели черными слепыми дырами выбитых окон. Едва приметный, легкий парок струился над убитыми. Крестьяне сидели с семьями в подпольях.

Снаряды стали рваться над поскотиной. Белая цепь, усиленно треща винтовками и пулеметами, поползла вперед. Партизаны молчали. Лохматая голова е вьющимися черными волосами, в фуражке набок поднялась над окопчиком.

– Товарищи, без моей команды не стрелять! – отчетливо и резко прозвенел голос отца Васи Жаркова.

Энергичный, изогнутый подбородок командира повернулся вправо и влево, глаза быстро и внимательно скользнули по цепи. Партизаны, слегка повертываясь на бок, передавали приказание вождя.

– Передача! Без команды не стрелять! Без команды не стрелять!

Пестрая цепь повозилась немного, стрелки осмотрели затворы у винтовок и бердан, курки у шомполок и централок и опять затаились.

Белые, не встречая сопротивления, продвигались быстро. Офицеры стояли в цепи во весь рост, громко командовали. Батарея перестала стрелять, боясь задеть своих. Не дойдя до противника шагов полтораста, белые поднялись, бросились в атаку.

– Ура-а-а! Ура-а-а! Ура-а-а! – громче всех ревел высокий, худой командир батальона и, поднимая в руке большой черный кольт, бежал впереди цепи. Жарков встал, метнул быстрый взгляд на клочок луга, отделявший партизан от белых, коротко бросил:

– С колена! Крой!

Зеленые гимнастерки, черные, синие, белые рубахи, серые деревенские самотканые кафтаны, шляпы, фуражки, шапки поднялись с земли. Четко щелкнули затворы, мягко хрустнули курки.

– Тр-рр-а-а-а-х! Ба-ба-бааах! Рррах! – разноголосо и гулко хлестнул залп.

Длинноногий командир батальона уронил кольт, согнулся дугой, упал лицом в траву и завизжал. Целый заряд ржавых гвоздей и толченого чугуна угодил ему в живот. В белой цепи, сомкнувшейся полти вплотную, зазияли огромные дыры. Неподвижная, твердая как камень, темная линия красных ударила снова из сотен ружей. Едкий, рвущий визг свинца и железа стегнул еще раз атакующих. Редкие, расстроенные кучки белых повернули назад, побежали к тайге. На лугу стонали раненые, громко визжал и катался по траве командир батальона с разорванным животом.

– Ложись, – удержал Жарков свою цепь, порывавшуюся преследовать отступавших.

Белые снова пустили артиллерию, под ее прикрытием стали спешно подтягивать резервы.

Красные лежали спокойно, отдыхая от напряженных минут атаки. Белые оправились и привели в порядок свои части только к вечеру, но боя не завязывали. Командир карательного отряда полковник Орлов решил наступать на Широкое ночью. Как только стемнело, Жарков, сняв с позиции своих стрелков, повел их в село. На улицах было безлюдно и тихо. Раненых подобрали. Только темная куча убитых лежала на месте. Около пахло горелыми тряпками, порохом и кровью. Жарков еще в цепи узнал о смерти жены и ребенка. Усилием воли он удержал самообладание и теперь, торопясь, обходил, не останавливаясь, разбитый обоз. Минуты были дороги. Белые могли окружить. Беззвучно ступая в мягких броднях, угрюмо опустив головы, молча оставляли партизаны Широкое.

Около двенадцати часов ночи белые сразу открыли по всей линии пулеметный и ружейный огонь. Ответа не было. Наученные днем, красильниковцы двигались вперед медленно, осторожно. В атаку поднялись и пошли нерешительно, шагом, часто стреляя на ходу. Огненная петля с двух сторон охватила молчавшее село. Крикнули «ура» и побежали уже у самой поскотины. Шумно топая, паля из винтовок, с ревом ворвались в тихие улицы. Задыхаясь, наткнулись на остаток обоза, спугнули мертвый покой убитых, кучей затоптались на месте. Луна осветила два ряда домов с темными дырами окон. Из обломков, валяющихся среди дороги, смотрели на победителей опухшие, перекошенные

смертью, почерневшие лица женщин, стариков и маленькие личики детских трупиков, подернувшиеся пылью. Старик Федотов, выставив вперед острый клин седой бороды, широко оскалив зубы, колот толпу тусклым взглядом мертвых глаз.

Толстый полупьяный поручик Нагибин брезгливо морщился и, широко растопырив ноги, разглядывал убитых. Заметил детей, жену и сына Жаркова.

– Со щенятами, значит. Всех угробили. Правильно, поручик Громов. О-д-о-б-р-я-ю.

Офицер повернулся к толпившимся сзади солдатам.

– Стана-а-вись!

– Становись! Стройся! Третий эскадрон! Первая рота! – кричали по селу офицеры.

Нагибин стал выстраивать свою роту. Отряд собирался в одно место.

Полковник Орлов с эскадронам гусар в конном строю и батареей въехал в Широкое. На главной улице стояли стройные шеренги солдат. Лиц в тени нельзя было разобрать. Концы штыков маленькими звездочками поблескивали па лупе, искрящейся цепочкой связывали томные колонны отряда.

Капитан Глыбин поскакал навстречу Орлову, прижимая руку к козырьку.

– Смирна-а! Гаспада офицеры!

Орлов круто осадил свою белую кобылу, тонкие ноги ее дрогнули, жирный круп подался назад.

– Здорово, молодцы!

– Здравей желай, гсдин полковник!

– Поздравляю вас с победой! Спасибо за службу!

– Рады стараться, гсдин полковник!

Дружный ответ красильниковцев прокатился по селу. В дальнем конце улицы эхо дважды повторило: «Рады! Рады!» – и все затихло.

Белые блестящие погоны полковника и кривая казачья шашка, вся в серебре, отливали голубоватым светом. Высокая кобыла беспокойно перебирала тонкими ногами, фыркала нежными, розовыми ноздрями, поводила ушами, косила глаза на кучу убитых. Орлов, слегка пригибаясь к луке, щекотал шпорой бок лошади, заставляя ее подойти ближе, наступить на труп.

– Дура, испугалась. Вот так боевой конь, – улыбаясь, обертывался полковник к адъютанту.

Мертвецы молчали. Жаркова лежала ничком, лица ее не было видно. Вася спрятал свою голову у нее на груди. Старуха Николаевна перегнулась через сундук, черные щеки ее и открытый рот резко выделялись на белой подушке. Окровавленная, разбитая голова Прасковьи Долгушиной тяжело давила живот трехлетнего Пети Комарова, лежавшего с

широко раскинутыми ручонками около большого самовара. Из-под опрокинутой телеги торчали желтые босые ноги Степаниды Харитоновой, на ее груди, придавленный острым углом ящика, застыл шестимесячный ребенок.

Темное облако закрыло луну. Блестящая цепочка штыков, погоны полковника и его пашка потухли. Черная лопата бороды Орлова поднялась кверху. Офицер несколько секунд смотрел на небо.

– До рассвета еще часа два, – вслух подумал он и, нагнувшись с седла к солдатам, крикнул: – Господа, до утра село в нашем распоряжении. К восходу солнца чтобы здесь не осталось ни одного большевика!

Темные колонны зашевелились, колыхаясь, стали пропадать в темноте.

Орлов со штабом отряда расположился в доме священника. Толстая попадьа, с простоватым широким лицом, гладко причесанная, в длинном сером платье, накрывала на стол. Денщик полковника из походного сундука вынимал бутылки с водкой и коньяком. Орлов со скучающим лицом, позевывая, слушал своего помощника капитана Глыбина. Глыбин говорил что-то о сторожевом охранении, о большевиках, об убитых и раненых солдатах. Полковник едва схватывал обрывки фраз, концы мыслей. Сегодня он весь день провел на жаре, в седле, основательно устал. Его взгляд, тяжелый, подернутый налетом безразличия, следил за пухлыми руками попадьи, ловко расставлявшей на чистой скатерти тарелки с солеными грибами, огурцами, с ворохами белоснежного хлеба, сдобных шанег, сметаны. Орлов взял большой, холодный, сочный груздь, помял его немного во рту и жадно проглотил. Налил чарку водки, выпил и опять потянулся к грибам.

– Пейте, капитан!

Глыбин оборвал деловой разговор, басом кашлянул в кулак, пододвинул к себе рюмку. Черное, давно не бритое лицо капитана с жирными, трясущимися щеками расплылось в довольную улыбку. Глаза растянулись узкими щелочками. Жесткие усы оттопырились.

На улицах кучками бродили солдаты. Кованные железом приклады винтовок с треском стучали в двери темных, молчаливых домов. Высокий рыжий фельдфебель из роты Нагибина со своим шурином, маленьким, кривоногим, унтер-офицером, и двумя солдатами ломился в ворота Николая Чубукова.

– Отпирай, сволочь! Перестреляю всех. Язви вас в душу.

Ворота под напором четырех мужиков трещали, скрипели. Хозяин дома выскочил на двор.

– Погодите маленько, братцы, я мигом открою, – голос Чубукова от страха дрожал и обрывался.

– Какие мы тебе, большевику-собаке, братцы, – орал фельдфебель.

– А я знаю рази, хто ж вы? – оправдывался хозяин, распахивая ворота.

– Вот знай теперь, кто мы!

Круглый, тяжелый кулак унтер-офицера стукнул в подбородок старика. Чубуков щелкнул зубами и замолчал. Фельдфебель, широко распахивая дверь, первый вломился в избу.

– Большевики есть? – стукнула о пол винтовка.

Посуда зазвенела на полке. Проснулся и заплакал ребенок. Молодая женщина, бледнея, затрясла люльку, хотела запеть, но голос у нее осекся, язык тяжело завяз во рту. Старуха, жена Чубукова, вышла из-за печки.

– Господь с вами, ребятушки, какие у нас большевики.

– А это кто? Чья жена? Партизанка?

– Что вы, господа, какая там партизанка. Дочь она моя, а зять здесь же, дома, никакой он не партизан, не большевик, – робко говорила сзади Чубукова.

Мужик с черной бородой, в потертой гимнастерке без погон слез с полатей.

– Я, господа, не большевик, я солдат-фронтовик, георгиевский кавалер, ефлейтур.

– Ага! Ну, а жена-то у тебя все-таки большевичка! Фельдфебель нагло засмеялся, оскалив ряд кривых черных зубов. Зять Чубукова попробовал было ухмыльнуться, но у него только скривились губы, лицо побледнело, на глазах навернулись слезы. Фельдфебель шагнул к женщине, оторвал ее руку от люльки и потянул к себе. Женщина взвизгнула, заплакала, стала вырываться.

– Не дело задумали, господин, – загородил дорогу чернобородый.

– Дело не дело, не твое дело, – крикнул унтер и больно ткнул в лицо ефрейтору дулом нагана.

Фельдфебель тащил рыдавшую женщину в сени. Ребенок звонко плакал.

– Господин, что же это такое? Матушка пресвятая заступница.

Старушка упала на колени, с отчаянием стала креститься па передний угол, кланяться низко до полу. Чубуков тяжело сел на постель. Серые, большие глаза старика были полны тоски и отчаяния. В сенях на полу слышался глухой шум возни.

– Вася, помоги! Ой, не могу я! Вася, не дай опозорить!

Фельдфебель злобно ругался и затыкал разорванной кофтой рот женщины. Чернобородый метнулся к выходу. Унтер-офицер развернулся и сильно стукнул его револьвером по щеке. Мужик со стоном упал на пол. Дуло нагана воткнулось ему в рот.

– Только пошевелинься, сокрушу!

– Толкачев, иди-ка поддержи ее, не дается, сука, – позвал рыжий из сеней.

Молодой солдат с тупым, равнодушным лицом, громыхнув винтовкой, вышел за дверь. Чернобородый рычал и громко всхлипывал, катаясь по полу. Старуха молилась. Ребенок взвизгивал охрипшим голосом.



Несколько солдат ворвались в школу. Молоденькая учительница с белокурой головой и большими голубыми глазами встретила красильниковцев на пороге.

– Что вам нужно, господа?

Глаза девушки смотрели с недоумением и страхом. Восемнадцатилетний доброволец Костя Жестиков, быстро схватив учительницу за руки, громко поцеловал. Солдаты захохотали. Жестиков нагнулся немного и, быстрым движением разрывая юбку девушки, повалил ее на пол.

– Стой! Что здесь такое?

В школу забежал поручик Нагибин. Доброволец бросил учительницу, вскочил с пола. Поручик увидел на секунду белое, нагое тело девушки, разорванное платье, огромные, полные ужаса глаза.

– Вон отсюда! – Офицер затопал ногами. Солдаты неохотно повернулись к двери, стали выходить. Учительница с трудом поднялась и, пошатываясь, пошла в другую комнату. Перед глазами офицера снова манящей белизной блеснуло нагое женское белое тело.

– Подождите, куда же вы?

Учительница ускорила шаги, почти побежала. Сильное, дурманящее, хмельное желание наполнило мозг Нагибина. Он быстро догнал девушку и, не слыша ее отчаянного крика, жадно схватил за талию. Теплота обнаженной кожи пахнула в лицо поручику.

Гибкое, как ветка, тело забилося в крепких руках мужчины.

Солдаты в соседней комнате разломали прикладами и штыками сундучок с вещами учительницы. Костя Жестиков, топчя сапогами подушку в чистой наволочке и белое одеяло, сброшенное с постели, шарил руками под матрасом.

– Нет ли у нее оружия, у стервы, – ворчал доброволец.

Солдаты, разломав сундук, смеясь выбрасывали на пол женское белье.

– Ишь, Нагибин-то наш, хорош гусь, нечего сказать. Нам не дал, а сам взялся, брат.

Ни черта, ребята, останется и нам, – утешал Костя, сбрасывая с этажерки книги.

По улице свистели пули, хлопали выстрелы. Солдаты по малейшему подозрению стреляли в первого встречного. В домах плакали женщины, трещали разламываемые сундуки, скрипели засовы амбаров и кладовок.

Победители расправлялись.

К Орлову через каждые десять-пятнадцать минут приводили арестованных, заподозренных в большевизме. Полковник сильно охмелел. Разбираться долго ему не хотелось. После двух-трех вопросов он свирепо тарасил пьяные глаза, рычал:

– Большевики, мерзавцы! Отправить их в Москву!

Арестованных выводили на двор и, быстро раздевая, рубили шашками. С одной из последних партий привели женщин. Попадья, плакавшая в углу, подошла к Орлову.

– Господин полковник, это не большевички, я знаю.

– Молчать! Я лучше знаю, кто они. Мои молодцы зря не арестуют. Может быть, ты сама большевичка? А? Я почему знаю?

Попадья испуганно попятилась и вышла в другую комнату. Полковник посмотрел на плачущих женщин, махнул рукой.

– В Москву!

На дворе, пока их зарубали, они боролись, визжали, кусали гусарам руки. Полковник и Глыбин пили коньяк. Четырехугольники окон стали светлеть. Кончая последнюю бутылку, Орлов крикнул вестового.

– Шарафутдин, позови мне начальника комендантской команды.

Прапорщик Скрылев явился быстро и, вытянувшись, остановился в дверях. Произведен он был недавно, с новым положением своим еще не освоился, перед полковником трепетал больше, чем всякий рядовой.

– Скрылев, кажется, рассвет близко?

– Так точно, господин полковник, уже светает.

– Гм-м! Зажигайте село.

Полковник сказал это спокойно, как будто дело шло о кучке старого хлама, а не о богатом Широком, о том самом Широком, в котором были две начальные школы, одна высшая начальная, библиотека в десять тысяч томов, народный дом и лесопилка. Попадья упала в ноги офицеру:

– Господин полковник, не разоряйте нас, не губите. Щеки попадья тряслись, она ловила грязные сапоги Орлова и целовала их. Лампадка перед иконой Христа потухла и зачатила. Полковник встал. В комнате было почти совсем светло.

– Шарафутдин, коня!

Капитан Глыбин, адъютант, корнет Полозов и еще несколько офицеров, пивших с полковником, звеня шпорами, пошли к выходу. Садясь на лошадь, Орлов приказал адъютанту:

– Корнет, передайте Скрылеву, чтобы тушить не давал. Всех, кто будет мешать поджогу или спасать свое имущество, расстреливать на месте.

Учительница очнулась. Лежала она на полу совершенно голая. Рядом валялись лохмотья ее разорванного платья, окурки. Пол был истоптан десятками ног, заплыван зеленой, зловонной слюной. Небольшой квадратный листок бумаги с портретом какого-то офицера

привлек ее внимание. Девушка приподнялась на локте и, не отдавая себе отчета, не приходя вполне в сознание, стала читать текст, помещенный под литографией

## **К НАСЕЛЕНИЮ РОССИИ**

18-го ноября 1918 года Временное Правительство распалось. Совет Министров принял всю полноту власти и передал ее мне – Адмиралу Русского Флота – Александру Колчак.

Тело учительницы было все в синяках, кровоподтеках. Грудь ломило. Голова еле держалась. Мозг работал слабо. Девушка еще не чувствовала всей глубины ужаса своего положения, не отрываясь, быстро читала, не понимая содержания прочитанного.

Принял крест этой власти в исключительно трудных условиях гражданской войны и полного расстройтва государственной жизни, объявляю:

Я не пойду ни по пути реакции, ни по гибельному пути партийности. Главной своей целью ставлю создание боеспособной армии, победу над большевизмом и установление законности и правопорядка, дабы народ мог беспрепятственно избрать себе образ правления, который ни пожелает, и осуществить великие идеи Свободы, ныне провозглашенные по всему миру.

Призываю вас, граждане, к единению, к борьбе с большевизмом, к труду и жертвам.

Верховный правитель адмирал КОЛЧАК 18 ноября 1918 г. Омск.

Подпись под манифестом была слитографирована с оригинала. Девушка задрожала, увидев хищный росчерк начальной буквы фамилии диктатора. Верхний крючок острым концом загибался над всей строчкой и на конце его брызги чернил были похожи на почерневшие, засохшие капельки крови. Черный коготь стал расти, краснеть, кровь потекла с него ручейками. С листка бумаги он забрался в голову девушки, вонзился в мозг, раздирающей, острой болью наполнил оскорбленное тело. Учительница захохотала, вскочила на ноги. Коготь проколол ей череп, проткнул потолок, крышу школы, остроконечной дугой седого дыма загнулся над селом. Школа начинала загораться. Девушка ничего не видела. Острый, кровавый, коготь проколол насквозь, едкой болью рвал грудь, живот и голову. Комната стала наполняться дымом. Учительница с хохотом и воем бегала из угла в угол, сбрасывала с полок библиотеки книги, махала руками. Коготь выколол ей глаза. Слепая, она упала на груды книг, корчась от жару, хватала и рвала толстые тома Толстого. Село было все в огне. Огромный столб черного дыма ветер гнул в сторону, и он похож был на хищный коготь – росчерк начальной буквы страшной фамилии.

## **2. МЫ ОФИЦЕРЫ**

В притоне китайской, японской, еврейской и русской спекуляции, в городе, где кровавый диктатор Сибири изготовлял свои деньги, где процветали два питомника и рассадника контрреволюции – два военных училища, – сегодня было особенно весело. Сегодня колчаковцы ликовали. Сегодня состоялся выпуск из обоих военных училищ. Более полутысячи юнкеров было произведено в офицеры. Большинство произведенных были старые юнкера, сбежавшиеся к гостеприимному и хлебосольному адмиралу со всех концов России. Тут были гордые Павловы, «тонные», спесивые тверцы и елисаветградцы, «шморгонцы», владимирцы, лихие рубаки – юнкера царской сотни – и славные сподвижники атамана Семенова. Были среди выпущенных и невоенные, шпаки, шляпы, полтинники, гробы, как называли их кадеты, считавшие себя военными с пеленок. Шпаки были большей частью из студентов-белоподкладочников. Почти все они – военные по призванию, военные со дня рождения и военные случайные – одни открыто и смело, другие молча, в мечтах стремились к одним идеалам, верили в старых, несокрушимых китов черносотенного мирозерцания – в православие, самодержавие и русскую народность. Людей, настроенных оппозиционно к существовавшему в Сибири порядку, среди юнкеров почти не было. Надежные бойцы вливались в армию. Было чему радоваться контрреволюционерам.

Город ожил.

Улицы, кабачки, рестораны, кафе и бульвар на берегу Ангары в этот день пестрели группами нарядных офицеров. Синие, красные, черные, с лампасами, с кантами галифе и бриджи, английские френчи, тонкие шевровые сапожки на высоких каблучках, большие белые кокарды, лихо примятые фуражки, звон шпор, бряцание оружия, золото новеньких погон. Золото, золото, блеск без конца. Шутки, смех. Медовые месяцы контрреволюции.

Компания вновь произведенных расположилась в небольшом ресторане на бульваре. Миниатюрные рюмочки были полны тягучего, сладкого и крепкого бенедиктина. В чашках дымилось черное кофе. Настроение у всех было приподнятое. Безусый подпоручик Петин бил себя в грудь кулаком и тонким срывающимся голосом кричал:

– Я офицер! Я офицер! Ха, ха, ха!

Потягивая маленькими глотками кофе, пожилой студент Колпаков рассуждал:

– Да, подпоручик – это хорошо. Две звездочки. Не капитан с гвоздем, прапорщика несчастный. Подпоручик – настоящий офицер.

Все смеялись, громко разговаривали, стараясь перебить друг друга. Каждому хотелось высказаться, поделиться чувством какой-то особенной радости, так знакомой людям, только что выдержавшим долгий и трудный экзамен. Никто не отдавал себе отчета в том, что через несколько дней или недель все они могут очутиться на фронте, стать лицом к лицу со смертью. Фронт был далеко, о нем мало думали. Все были пьяны сознанием своей самостоятельности и независимости.

Прежде чем стать офицерами, десять месяцев провели юнкера в стенах военного училища. Десять месяцев пробыли они в тисках страшной, железной дисциплины. Юнкер был тем козлом отпущения, на котором многие офицеры срывали свою злость, вознаграждали себя за все неприятности, какие им приходилось получать в солдатской среде. Солдаты держали себя довольно свободно: перед офицерами не дрожали и не тянулись так, как при старом режиме. Офицерам хотелось видеть армию во всем блеске прежней царской палочной дисциплины, и что им не удавалось ввести в ротях, батальонах, то они с особым рвением насаждали в степенях военных училищ. Что невозможно требовать с солдата, то легко взыскать с юнкера. Юнкер должен быть образцом исполнительности, аккуратности, дисциплинированности. Юнкер – это идеальный солдат-автомат. Юнкер – это будущий офицер. Придирки и капризы офицеров, «цуканье» начальства из юнкеров – все должен был вынести на своих плечах питомец военного училища.

Десять месяцев учебы, муштры и цука. Для многих они не прошли даром, многие совершенно обезличились, стали блестящими, шлифованными, послушными винтиками жестокого механизма армии.

Подпоручик Мотовилов хлопал по плечу Петина и смеялся раскатисто-громко, сверкая крепкими, здоровыми, белыми зубами.

– Андрюшка, ты подумай только, мы – офицеры. Ха, ха, ха! Мы – офицеры. Раньше были разные господа фельдфебели, полковники Ивановы, перед которыми нужно было тянуться, а теперь – к черту всех! Сами с усами!

Петин обнял Мотовилова за талию.

Нам и дня ведь не осталось

Производства ожидать

С высоты аэроплана

На все теперь нам начихать.

Оба смеялись, смеялись долго, до слез, как школьники. Вспомнили своего ротного командира, полковника Иванова, прозванного Нудой за его нудный характер, за нудную, бестолковую муштровку, которой он изводил юнкеров, за его привычку всегда говорить: «Ну-да, ну-да, таким образом».

– Андрюшка, помнишь, как Нуда мою лошадь заставлял пешком ходить? Ха, ха, ха!

Петин улыбнулся.

– Чего ты мелешь, Борис? Как это лошадь пешком?

– Не мелю, а факт, это было. Не помню, чего-то сделал я на маневрах. Нуда решил наказать меня. Подлетает он ко мне и орет: «Ну-да, ну-да, Мотовилов, таким образом, вы пойдете пешком». Помнишь, он спешил юнкеров в наказание? Я говорю: «А как же, мол, лошадь, господин полковник? Кому ее сдать?» А он, балда, подумал и говорит: «А-а-а, таким образом, вы пешком и лошадь ваша пешком».

Офицеры смеялись. Тягучими, хмельными струйками лился ликер и, смешиваясь с крепким, горячим кофе, сильно туманил головы. В ресторане стало тесно и скучно.

– Господа офицеры, предлагаю сделать перебежку в направлении на «Летучую мышь», – поднялся Колпаков.

Загремели шашки, зазвенели шпоры, зашумели отодвигаемые стулья. Мелкими, ровными шажками подбежал лакей и, почтительно вытянувшись, остановился. Петин небрежно бросил на стол несколько тысячных билетов.

– Сдачи не нужно. Возьми себе! Лакей отвесил глубокий поклон.

Смеркалось уже, когда шумная компания офицеров пришла в шантан. Окна зрительного зала были завешены плотными, темными шторами. Горело электричество. На сцене, кривляясь, визжала шансонетка:

Когда чехи Волгу брали,

Вспомни, что было

Комиссары удирали –

Наверно, забыла

Зрители ревели, в пьяном восторге аплодировали. Толстые, короткие, волосатые пальцы, в тяжелых золотых кольцах комкали бумажки, небрежно бросали на сцену. Зал был полон. Лысые головы. Красные шеи. Шляпы с широкими полями и яркими перьями. Фуражки с офицерскими кокардами. Золотые, серебряные погоны. Глаза слипшиеся, мутные, с жирным блеском. Обрюзгшие, слюнявые кончики губ. Спирт. Пудра. Табак. Пот. Офицеры разместились за одним из свободных столиков. Потребовали вина. К столу подошла цыганка-хористка с лукавыми глазами.

– Офицерики, молоденькие, золотенькие, угостите шоколадом.

Черный кавказец Рагимов взял хористку за руки, усадил рядом с собой на стул.

– Садысь, садысь, дюща мой. Канфет будэт. Ходы на мой квартир, все будэт.

– Нет, нет, на квартиру нельзя!

Цыганка затрясла кудрями. Подошла старуха, мать хористки.

– Подпоручики, сахарные, медовые, золотые, положите рублик серебряный на ручку, всю правду скажу, всем поворожу.

Петин порылся в портмоне, отыскал серебряный полтинник, бросил его цыганке.

– Голубчик ясный, офицерик молоденький, добренький, счастливый ты. Второй раз уж надеваешь золотые погоны.

– Верно, я старый юнкер. При Керенском носил погоны, большевики сняли, теперь опять надел.

– Второй раз одел, второй раз и снимешь!

Петин побледнел. Злая усмешка мелькнула в глазах цыганки.

– То есть как сниму?

– А так и снимешь. Попадешь к красным в плен, снимешь, солдатом назовешься. Потом убежишь от них. Чего испугался? Говорю, счастливый ты.

Подпоручик успокоился, дал цыганке розовую бумажку. Офицеры пили. Мотовилов глядел на хористку масляными глазами, напевал вполголоса, покачиваясь на стуле:

По обычаю петроградскому

И московскому

Мы не можем жить без шампанского

И без табора, без цыганского.

Молодая цыганка пила коньяк, громко щелкала языком, щурила глаза, закусывая лимоном. К офицерскому столу начали подсаживаться накрашенные дамы, бесцеремонно требовать фрукты, вино, конфеты. Подпоручики принимали всех. Шансонетка визжала:

Костюм английский,

Погон российский,

Табак японский,

Правитель омский.

Пьяными голосами, вразброд весь зал орал:

Ах, шарабан мой, Шарабан.

А я мальчишка Шарлатан.

Спекулянт-китаец кричал на картавом, ломаном языке:

– Это халасо! Халоса песнь! Англии крстюма, японсока лузья, наса тавала. Шипка халасо! Луска капитана одна неможна большевик ломайла. Все помогайла большевик ломайла.

Недалеко от офицеров, в полутемном углу, за маленьким столиком пили ликер худой, желчный штабс-капитан из контрразведки и тучный спекулянт. Штабс-капитан был раздражен. Его сухие, тонкие губы дергались, кривились под острым носом, глаза вспыхивали нетерпеливыми огоньками.

– Да говорите же вы коротко, толком, что вы имеете мне предложить? Не тяните ради бога!

Спекулянт, не торопясь, спокойно пил вино, излагал свои соображения.

– Я вам говорю, что с сахаром у нас дело не выйдет. Нет расчета. Японцы и семеновцы в этом отношении непобедимые конкуренты. Посудите сами, куда нам тут соваться, когда в каждом японском эшелоне или у любого семеновца цена на сахар ровно в два раза ниже объявленной омским правительством. Вы ведь отлично знаете, что они никакой монополии не признают, торгуют, как заблагорассудится.

– Ну, что же вы предлагаете?

– Я уже говорил вам, что самое удобное это будет сахарин. Вы, капитан, на этом деле заработаете ровно миллион. Поняли? Миллион. Ха, ха, ха!..

Мясистым рот широко раскрылся, глаза потонули в жирных лучистых складочках кожи. Живот трепыхался, как студень.

– Ха-ха-ха! Недурно, господин капитан? Идет? А?

– Ваши условия? В чем выразится мое участие?

– О, очень немного, капитан. Капитан даст нам только маленькую бумажку от своего авторитетного учреждения, и все. Очень немного, капитан.

Табак густыми клубами вис над головами. Тапер барабанил на пианино. В зале стоял гул. Подвыпившие гости шумели. Хлопали пробки. Офицеры пили бутылку за бутылкой. Колпаков встал, поднял бокал.

– Господа, выпьем за нашу победу. Выпьем за разгром Совдепии, за то время, когда на обломках коммунизма, на развалинах комиссародержавия мы воздвигнем царство свободы, законности и порядка. Да здравствует Великая Единая Россия! Ура!

– Ура! – крикнули Рагимов и Иванов и подняли свои бокалы.

По лицу Мотовилова пробежала тень.

– Не люблю я, Михаил Венедиктович, ваших завиральных идей и всего этого либерального словоблудия. Какое там к черту царство свободы! Кричите царство Романовых, и кончено. Вот это дело, я понимаю.

– Не будем спорить!

Колпаков махнул рукой, стал пить. Рагимов шептался с Петиним, бросая на дам жадные, откровенные взгляды.

– Валяй, валяй, какого черта, – кивал головой Петин.

Рагимов встал, быстро выхватил шашку, рубанул по электрическому проводу. Свет погас. За столом поднялась возня. Дамы визжали притворно испуганными голосами. Скатерть сползла со стола, зазвенела разбитая посуда. Буфетчик волновался за стойкой, нетерпеливо крича кому-то:

– Ах, давайте же скорее свечи! Да где у нас свечи, черт возьми?



По телефону был вызван дежурный офицер из управления коменданта. Подпоручиков переписали, составили протокол. Потом у дверей встали солдаты. Начался повальный обыск, осмотр документов. Тех, у кого не оказывалось удостоверений личности, офицер отводил в сторону и, пошептавшись, отпускал, шурша кредитками. Молодые офицеры из «Летучей мыши» выбрались утром совершенно пьяные. Дорогой шумели, орали печени, останавливали извозчиков, стреляли в воздух. У Колпакова был недурной баритон.

Мне все равно –

Коньяк или сивуха.

К напиткам я уже привык давно.

Мне все равно.

Мальчик Петин пытался поддержать:

Готов напиться и свалиться –

Мне все равно.

Тонкий голосок перешел в бас и сорвался.

Мне все равно –

Тесак иль сабля.

Нашивки пусть другим даются,

А подпоручики напьются.

Колпаков, Мотовилов, Рагимов, Иванов пели, идя по середине скверной мостовой, покачиваясь и спотыкаясь в выбоинах.

– А плоховато мы все-таки, господа, обмываем погоны, – оборвал песню Мотовилов.

– Эх, вот старший брат у меня в Павлондии<sup>39</sup> кончал. Вот где они ночку так ночку устроили офицерскую.

– Черт возьми, а у нас ведь и ночи-то офицерской не было, – отозвался Петин.

– Да, все это как-то скоропалительно случилось. Мы ждали производства через два месяца, а тут вдруг телеграмма – в подпоручики, готово дело. Э, какое у нас училище: ни традиции, ни обстановки, казарма, солдафонщина. Ах, Павлондия, Павлондия!

Мотовилов с завистью стал рассказывать, какие офицерские ночи устраивались в Павловском училище.

– Вы знаете, господа, это делается так. Сегодня, скажем, вечером начальство заседает, обсуждается вопрос о производстве в офицеры такого-то выпуска юнкеров. А юнкера,

---

<sup>39</sup> В Павловском военном училище в Петрограде

завтрашние подпоручики, в эту же ночь встают и, надев полное офицерское снаряжение на нижние белье, босиком, под звуки своего оркестра, торжественно, церемониальным маршем обходят училище, дефилируют и по коридору офицерских квартир. Училищные дамы, ничего, любили подсматривать из-за занавесок в щели приоткрытых дверей, любовались на молодцов. Когда обойдут все училище, возвращаются в роты, тут уж начинается потеха. Младшему курсу перпендикуляры восстанавливают – кровати на спинки со спящими ставят. Расправляются со шпаками. Морду кому ваксой начистят, кого в желоб умывальника шарахнут и ошпарят ледяной водой, кого просто поколотят. Тут уж никто не подступайся. Стон стоит. Офицеры гуляют. А в кавалерийском, в Николаевском, так там еще интереснее. В Павлондии фельдфебеля в своих кальсонах маршируют, а там вахмистры в дамских панталончиках, со шпорами на босую ногу.

Мимо проезжали три извозчика. Офицерам надоело идти пешком.

– Стой! – крикнул Петин.

Извозчики хлестнули лошадей, хотели ускакать,

– Пиу, пиу! – взвизгнули два револьвера. Извозчики испуганно остановились.

– Сволочи, офицеров не хотят везти. – Тяжело сажился в пролетку Мотовилов.

– Пошел! Через все иерусалимско-жидовские улицы, на Петрушинскую гору!

На улицах было уже совсем светло. У казармы N-ского сибирского полка стоял дневальный.

– Остановись! Стой! – закричал Мотовилов. Извозчики встали. Офицер выскочил из экипажа, подбежал к солдату:

– Ты почему это, сукин сын, честь не отдаешь? А? Не видишь, мерзавец, офицеры едут!

Солдат дернулся всем телом назад, стукнулся от сильного тычка в зубы головой об стену.

– Доложи своему взводному командиру, что подпоручик Мотовилов тебе в морду дал. Понял?

– Так точно, понял!

Глаза солдата горели огненной ненавистью, рука у козырька дрожала.

### ***3. МОЛЕБЕН***

Красные языки хищного зверя лизали Широкое. Черный дым затянул все улицы. С треском обрушивались постройки. Скот ревел, мычал, метался в пылающих дворах. Разбитые телеги среди села горели ярко, как сухая лучина. Убитые вспухли от жара, дымясь и шипя, корчились. Глаза у Васи Жаркова вылезли из орбит, выпятились сваренными, слепыми белками. Русая головка совсем почернела. От желтых босых ног

Степаниды Харитоновой остались черные головни. Борода у Федотова сгорела, лицо стало круглым, как сковорода, щеки лопнули, мертвая кровь кипела в рубцах горелого мяса. Крестьяне огромной толпой со стоном и слезами топтались беспомощно за селом. Женщины и дети громко плакали.

Полковник Орлов со штабом стоял за поскотиной и смотрел на пожар. Спокойно, развалившись в седле, говорил, ни к кому не обращаясь.

– Да, иного пути нет. Верховный правитель прав, говоря, что большевизм нужно выжечь каленым железом, как язву. Адмирал прав, давая нашему атаману полномочия спалить, стереть с лица земли, в случае надобности, всю эту губернию.

Молодой гусар, с погонями вольноопределяющегося, подскочил к Орлову, подал ему небольшой клочок бумаги. Полковник пробежал донесение своего помощника:

Аллюр... Медвежье. 9 час. 30 минут пополудни... Доношу, что Медвежье занято нами без боя. По показаниям местных жителей, красных у них нет и не было. Сторожевое охранение мною... Разведка в направлении.

Капитан Глыбин.

– Отлично! Господа, новость! Белая кобыла круто повернулась.

– Медвежье занято нами без боя. Красные удрали. Лошадь полковника засемила тонкими ногами, танцуя пошла по дороге на Медвежье. Штаб отряда и эскадрон с трехцветным знаменем двинулись за командиром. Копыта четко били пыльную дорогу. Серые качающиеся столбы взметывались следом, долго клубились в воздухе. Ехавший в последних рядах Костя Жестиков оглянулся назад. Толпа крестьян молча, долгими, тяжелыми взглядами провожала всадников. Полковник нетерпеливо поднял лошадь на галоп. Пыль поднялась выше, целой тучей. Толпа исчезла, только зарево и дым пожара были видны ясно.

Въезжая в Медвежье, Орлов подозвал к себе адъютанта.

– Корнет, немедленно прикажите собрать все село на площадь. Оповестите народ, что сейчас будет отслужен благодарственный молебен по случаю победы над бандами красных.

Полковник со штабом остановился в школе. Штабные офицеры и канцелярия заняли все классы и квартиру учительниц. Учительницы запротестовали, стали просить Орлова не выселять их. Полковник нагло улыбался и возражал, шепелявя, скандируя и кривляясь:

– Скажите пжальста, они не могут спать где-нибудь в коридоре, на полу. В них, видите ли, течет три капли благородной крови. Хе, хе, хе! Хотя, впрочем, я человек добрый, если вам будет жестко...

Полковник сказал сальность.

– Не правда ли, корнет? – обратился он к адъютанту.

Адъютант вытянулся, щелкнул шпорами, почтительно улыбнулся.

– Так точно, господин полковник!

– Разговор кончен, вопрос решен, – обернулся полковник к учительницам. – Вас я выселяю, можете поместиться у сторожихи. Школу определенно закрываю. Во-первых, потому, что она нужна мне для канцелярии, квартир; во-вторых, я полагаю, что детей разной красной дряни учить грамоте не стоит. Ведь она им годится, когда они подрастут, только для того, чтобы писать прокламации, разводить антиправительственную пропаганду, это неинтересно нам. Итак, я кончил. Вон отсюда!

Учительницы пошли к дверям.

– Виноват, одну минутку, – снова обратился к ним Орлов. – С завтрашнего дня вы готовите мне обед, понятно?

– Нет, не понятно, – ответила невысокая, крепкая Ольга Ивановна.

– Обед готовить мы вам не обязаны и не будем!

– Ну, конечно, конечно, разве можно сделать что-нибудь для честного защитника родины? Разве можно сварить обед старому офицеру? Вот какому-нибудь красному негодяю, своему любовнику, вы, пожалуй бы, все сделали, не только обед, но и ужин бы состряпали, а после ужина...

Полковник снова сказал гадость. Ольга Ивановна побледнела.

– Я попрошу «благородного» полковника быть повежливее! – запальчиво бросила она ему.

Полковник расхохотался:

– Корнет, корнет, ха, ха, ха! Слышите? Эта вот учителка, эта мужичка, хамка, ха, ха, ха, учит меня вежливости, меня, дворянина, полковника, воспитанника кадетского корпуса. Ха, ха, ха! Да вы, оказывается, оригинальная штучка! Ну-ка, я вас посмотрю поближе.

Он вскочил со стула, хотел схватить учительницу за талию. Ольга Ивановна сделала шаг назад, подняла руку.

– Еще одно движение и вы получите по физиономии. Полковник покраснел, злоба мелькнула у него на лице. Но он моментально овладел собой, улыбнулся с деланной любезностью.

– Ой, ой, какие мы сердитые! Мы, оказывается, кусаемся?

И вдруг снова стал серьезным.

– Ну-с, медмуазели, или как вас там, шутки в сторону. Больше уговаривать вас я не намерен. Приказываю вам завтра же приготовить мне обед. Не приготовите – выпорю. А теперь – марш на место!

Полковник принадлежал к числу тех офицеров, которые работали в армии не за страх, а за совесть. Он был ослеплен ненавистью к красным, его жестокость не знала рамок. Он принялся искоренять большевиков со всем рвением фанатика-черносотенца.

Почти все село собралось на площади. Женщины, дети, старики, старухи, взрослые и молодежь. Красильниковцы оцепили площадь, загородили выходы пулеметами. Звонили колокола, несло молитвенное пение; священник набожно и истово крестился, поднимая глаза к небу, просил у бога ниспослания мира всему миру и многолетия верховному правителю. Народ пугливой толпой колыхался на площади. Предчувствие чего-то страшного и неотвратимого томило массу. Многие плакали. Полковник, опираясь на эфес кривой сабли, простоял почти весь молебен па коленях. Свита не отставала от начальства, Люди в блестящих мундирах, с золотыми и серебряными погонами, вооруженные до зубов, тщательно крестились. После молебна полковник встал на сиденье своего экипажа.

– Мужики! Разговаривать долго с вами я не буду. Говорить нам не о чем. Вы знаете хорошо, что я – верный слуга отечества, враг изменников и грабителей – большевиков. Среди вас много есть этих извергов рода человеческого, не признающих ни бога, ни правителя. С ними я и думаю сейчас же расправиться.

Лица вытянулись. Глаза резко обозначились сотнями черных больших точек на бледно-сером лице толпы. Безотчетный, смертельный страх колыхнул массу. Люди попятились назад. Предостерегающе щелкнули шатуны пулеметов. Пулеметчики заняли места у машин. Площадь застыла. Полковник улыбнулся, зычно бросил:

– Спасибо, молодцы-пулеметчики!

– Рады стараться, господин полковник!

– Что, боитесь, каналы? – заорал Орлов на толпу, – видно, совесть-то у вас не совсем чиста. На колени, прохвосты, все на колени, сию же минуту!

Многоликая пестрая масса женщин, детей и мужчин потемнела, с плачем и стоном опустили на колени. Платочки, шапки, фуражки закачались на минуту и остановились. Площадь снова стала мертвой, тихой.

– Шапки долой!

Головы обнажились. Сотни рук мелькнули. Легкая рябь, как на воде, наморщила разноцветные ряды медвежинцев.

– Первый эскадрон, ко мне! – скомандовал полковник.

Гусары в пешем строю змейкой проползли через толпу, выстроились в две шеренги. Винтовки метнулись в руках. Черные, круглые отверстия стволов качнулись, двумя рядами повисли перед лицом толпы.

– Сознавайтесь, кто из вас большевики? Кто из вас помогал красным? Кто сочувствует им?

Толпа молчала.

– Честные люди, к вам обращаюсь: укажите негодяев, им не место среди вас.

С тяжелой одышкой человека, страдающего ожирением, прижимая рукой крест к груди, высокий, упитанный отец Кипарисов подошел к Орлову.

– Я вам, господин полковник, всех их сейчас укажу. Вот они все у меня переписаны.

Священник достал из кармана длинный лоскут бумаги. Толпа стала совсем черной, пригнулась тяжело к земле.

– Иванов, Непомнящих, Стародубцев, Белых. Этих двух первых, вот чего – расстрелять, а этих двух, вот чего – пока только можно выпороть.

Кипарисов читал долго, обстоятельно, пояснял, кого нужно расстрелять, а кого только выпороть. Толстый кривой палец в широком черном рукаве размеренно поднимался и опускался. По его указанию, гусары бросались в толпу, вырывали из нее поодиночке, по два, кучками. Площадь колыхалась, глухо стонала. Лавочник Иван Иванович Жогин протискался к полковнику.

– Господин полковник, разрешите доложить, – и, не дожидаясь ответа, боясь, что его не станут слушать, быстро заговорил:

– Батюшка забыл еще четырех большевиков указать вам.

– Кровопивец! – крикнул кто-то в толпе. Жогин обернулся.

– Ага, это ты, Бурхетьев? Знаю тебя, большевика, и твоих товарищей: Степанова, Галкина и Чернова.

Всех четверых схватили. Полковник кивнул адъютанту.

– Корнет, прошу приступить.

– Слушаюсь, господин полковник!

Бледных, с запекшимися, перекошенными губами, поставили у каменной церковной ограды. Их было сорок девять. Против них развернулся веер красных погон, круглых кокард. Черные дыры винтовок двумя рядами, покачиваясь, щупали головы и груди приговоренных.

– Господин полковник, разрешите начинать?

– Пжальста, – небрежно бросил Орлов.

– По красной рвани пальба эскадром, эскадрон... Площадь взвизгнула, застонала. Лица стали белыми, как платочки на головах женщин.

– Подождите, подождите, корнет! – остановил полковник.

– Уж очень вы скоро. Прямо без пересадки да и на тот свет. Надо дать им время подумать. Может быть, и раскается кто? В свое оправдание еще кого не укажет ли?

Белая стена камня, белая полоса лиц, пригвожденная черными точками глаз. Неподвижно молчали. Лишь один не выдержал, старик Грушин, застонал:

– Кончайте скорее, палачи.

Лопнула белая полоса. Выпал белый камень, пришипленный двумя черными пятнами. Жена партизана Ватюкова забилась, рыдая, на земле.

– Приколоть ее, – махнул рукой адъютант. Черная, тонкая, граненая железка разорвала в горле женщины предсмертный крик.

– Мамку закололи, – завизжал в толпе ребенок.

– Не визжи, поросенок, подрастешь, и тебя приколем, – прикрикнул на него Орлов.

Площадь умерла. Людей не было. На карнизах церкви возились и ворковали голуби, чирикали воробьи. Живые были только они. Солнце остановилось. Жгло нещадно. Сотни голов наполнились расплавленным металлом. Отяжелели, распухли. В глазах прыгали огненные брызги.

– Ну-с, видимо, желающих раскаяться нет? Закоренелые негодяи все. Корнет, продолжайте.

Что-то дернуло коленопреклоненную площадь. Оборвалось что-то. Пригнулись еще. Лица были почти у земли.

– Товарищи большевики, смирна-а-а, равнение на пули, но тот свет карьером ма-а-арш!

Шашка, тонко свистнув, сверкнула. Черные круглые дырки винтовок, все два ряда, желтыми огоньками загорелись, стукнули. Полоса белых камней, на стене из белого камня, рассыпалась, рухнула на землю. Расстрелянные подпрыгнули. Упали навзничь. Полковника душил смех.

– Молодец, корнет, молодец, тонный парень, тонняга, корнет. Ха, ха, ха! На тот свет карьером... Ха, ха, ха! К Владимиру тебя, к Владимиру с мечами и бантом представлю, каналью.

– Покорнейше благодарю, господин полковник!

Залп опрокинул толпу на землю. Женщины судорожно бились, рыдали. Старики, старухи молились. Мужики стонали. Молодежь сжимала кулаки, кусала губы. Орлов взглянул на площадь. Ткнул пальцем.

– Ребята, вот этой молодой девке десять порций. Погорячей, шомполами. Пусть помнит лихих гусар атамана Красильникова.

Серая пыль площади. Белые пятна. Живые, полуголые. Свист. Железные прутья. Кровавые рубцы. Кровь. Красное мясо. Колокольный звон лгал. Радости не было. У церковной ограды дергались ноги. Рука крючила пальцы. Белые камни вспотели. Красный пот глядел полосами, брызгами, каплями. Мертвых было сорок девять. Окровавленных

шестьдесят. Но были выпороты все. Уничтожены, растоптаны. Пестрая толпа с болью еле встала, зашаталась. А колокол все лгал.

#### **4. НЕЖНЫЕ ПАЛЬЧИКИ**

Слезы росы еще не высохли на белых астрах, сорванных утром. Крупные капли прозрачной влаги падали с умирающих цветов на полированную крышку рояля, рассыпались сверкающей пылью. Высокая хрустальная ваза светилась льдистыми, гранеными краями. Тонкие, длинные, нежные пальцы с розовыми ногтями едва касались клавиш. Звонкие струйки звуков скатывались с черных массивных ножек, волнами расплескивались по сияющему паркету большой светлой гостиной. Мягкие кресла, диван с суровыми, прямыми спинками мореного дуба, тяжелые, темные рамы картин были неподвижны. Барановский, сдерживая дыхание, напряженно застыл на низком бархатном пуфе. Татьяна Владимировна импровизировала. Ее глаза, большие, темно-синие, мерцали вдохновением. Матовое, бледное лицо с тонким прямым носом и высоким лбом было слегка приподнято. Густые, темные волосы высокой прической запрокидывали назад всю голову. Офицер смотрел на девушку, любовался и с тоской думал, что он сегодня с ней последний раз. Завтра нужно было ехать на фронт. Последний раз. Может быть, никогда больше они не встретятся. Татьяна Владимировна встала, полузакрыв глаза, устало протянула Барановскому руки. Подпоручик вскочил с пуфа и стал медленно, осторожно прикасаясь губами, целовать тонкие, немного похолодевшие пальцы.

– Татьяна Владимировна, я не хочу уезжать от вас.

Черные, широко разрезанные глаза офицера были влажны. Пухлые, еще не оформившиеся губы сложились в кислую гримасу.

– Милый мальчик!

Взгляд девушки ласкал подпоручика теплыми, синими лучами. В соседней комнате, в столовой, гремели посудой. Накрывали к завтраку.

– Но ведь я же не могу без вас! Поймите, не могу. Я застрелюсь.

Татьяна Владимировна посмотрела на офицера пристально, серьезно,

– Иван Николаевич, не будьте ребенком. Вам уже двадцать лет. Вы должны ехать.

– Почему я должен, а не кто-нибудь другой?

– Все должны, Иван Николаевич, и вы, и другой, и третий. Если бы все остались дома, то тогда красные ведь не замедлили бы пожаловать сюда и со всеми нами расправиться.

Но почему же я именно должен, когда я так люблю вас?

Татьяна Владимировна пожала плечами, улыбнулась.

– Ребенок. Совсем ребенок!



Вошел лакей.

– Кушать подано.

В столовой за столом сидели отец Татьяны Владимировны, старик профессор, и молодой человек, худосочный, угреватый, с мутными оловянными глазами, в студенческой тужурке. Остроконечный клинышек седой бороды, лысина, пенсне профессора приподнялись.

– Здравствуйте, Иван Николаевич. А это наш знакомый, Алексей Евгеньевич Востриков, студент института восточных языков.

Барановский пожал маленькую сухую руку профессора и еле дотронулся до липкой, холодной ладони Вострикова. Профессор с Востриковым вели разговор о русской торговле и промышленности, о причинах их упадка.

– Все-таки, Алексей Евгеньевич, я не могу согласиться с вами, что в ближайшее время нам нельзя рассчитывать на полный пуск всех фабрик.

Барановский и Татьяна Владимировна сели рядом.

– Напрасно, профессор. Вы слишком оптимистически смотрите на вещи. Скажите, разве в условиях ожесточенной гражданской войны можно рассчитывать на что-нибудь серьезное в этом деле?

– Безусловно, нет! Но ведь Советская Россия скоро прекратит свое существование.

Востриков иронически улыбнулся.

– Нет, профессор, до этого еще далеко. Конечно, я уверен, что рано или поздно Совдепия падет, но пока, пока мы воюем, следовательно, нужно жить и вести хозяйство, приспособляясь к обстановке борьбы.

– То есть, ставя точку над *i*, вы, Алексей Евгеньевич, утверждаете, что торговли сейчас, в полном смысле этого слова, быть не может, будет только спекуляция. Промышленность крупная, фабричная не пойдет, будет процветать мелкое кустарничество.

– Вот именно, большего пока что мы не сможем. Я вам скажу из личного опыта, надеюсь, вы можете мне верить, как порядочному спекулянту.

Барановский с удивлением поднял глаза на Вострикова. Профессор улыбнулся.

– Не удивляйтесь, поручик, – поймал студент мысли офицера. – Я самый настоящий спекулянт. Вы смотрите – студенческая тужурка? Это для виду. Я только на бумаге студент Владивостокского института восточных языков. Правда, я кончил гимназию с золотой медалью, но учиться сейчас и некогда, и невыгодно. Я студенческие документы использую только для свободного проезда от Иркутска до Владивостока и обратно. Я даже, если хотите, из тех же соображений и, кроме того, чтобы освободиться от военной службы, выправил себе монгольский паспорт.

Барановский засмеялся. Востриков, улыбаясь, говорил:

– Вот и смейтесь, любуйтесь – перед вами монгольский подданный, студент института восточных языков, человек, которого никто не смеет побеспокоить и который преблагополучно делает оборот в два миллиона рублей в день.

Профессор счел долгом пояснить офицеру:

– Вы, Иван Николаевич, не верьте ему. Алексей Евгеньевич – человек чересчур резкий и откровенный, страдающий привычкой все немного преувеличивать. Никакой он не спекулянт, а просто великолепный коммерсант, и все.

Востриков смотрел на Барановского мутным, прицеливающимся, взвешивающим взглядом старого торгаша, тряс головой.

– Нет, поручик, я хочу сказать вам всю правду. Вы вчера только училище кончили, полны, следовательно, самого пустого мальчишеского обалдения и глупой радости. Вы сейчас все в розовом свете себе представляете. Так вот, знайте, что торговли у нас нет, крупного, порядочного товарообмена нет, есть только мелкие спекулятивные сделки, есть крупные аферы, которыми не брезгают даже министры, вот и все.

Профессор с укором качал головой.

– Вы едете на фронт, так вот знайте, что до тех нор, пока большевизм не будет сметен, стерт с лица земли, везде, вот даже здесь, в белой Сибири, будет чувствоваться его разлагающее влияние. Старые основы нравственности и законности поколеблены. Люди начинают терять границы добра и зла. Да, даже здесь, у нас, где ведется борьба за восстановление России, большевизм чувствуется.

– В этом я согласен с вами, Алексей Евгеньевич, – закивала бородка профессора.

– Кровавый, страшный призрак коммунизма, ставшие над Россией, на все бросает свои мрачные, зловещий тени. Красный ужас лишает людей рассудка. Вы правы, люди теряют границы дозволенного и недозволенного. Мы являемся свидетелями небывалой, неслыханной духовной прострации.

Нет, вы подумайте только, поручик, какая у нас может быть сейчас торговля, товарообмен, как может наладиться хозяйственный аппарат, когда у нас что ни шаг, то верховный правитель, атаман; каждый требует у тебя: «Дай». Каждый за малейшее ослушание карает, как изменника, – кого, чего, чему – неизвестно. Гм, торговля, промышленность. – Востриков желчно засмеялся. – Разве я могу получить хоть вагон товара без толкача? Никогда. Я должен ехать сам с своим грузом и толкать, проталкивать его через каждую станцию. Японцам дай, семеновцам дай. Железнодорожникам, до стрелочника включительно, дай. Не дашь, не поедешь. Тысячу рогаток поставят. А семеновцы так просто товар заберут. Каждый раз едешь и не знаешь, довезешь или нет? Разоришься или наживешь? Но когда я прорвусь через все преграды, привезу товар на место, тут уж, извините, процентик я наложу не по мирному времени. Я рискую, я и беру. Сто, двести процентов мне мало, я накладываю четыреста, восемьсот, тысячу. Я вздуваю цену до последней возможности.

– Но ведь это же не... не... хорошо, – Барановский хотел сказать нечестно, но не мог.

– Зачем вы так делаете? – наивно спросил он спекулянта.

Востриков расхохотался:

– Ну и дитятко же вы, голубчик. «Нехорошо!» Поймите, что я коммерсант со дня рождения, по натуре коммерсант. И если нельзя сейчас, как говорится, честно торговать, так будем спекулировать. Будем приспособливаться. Не сидеть же сложа руки, когда дело к тебе само лезет.

Профессор закурил сигару. Барановский сидел, беспокойно поглядывая на Татьяну Владимировну. Ему не хотелось поддерживать разговор с Востриковым, он мечтал провести последние часы перед отъездом наедине с любимой девушкой. Офицер нервно вертелся на стуле. Сыр ему казался пресным, масло горьким, кофе недостаточно крепким. Часы на стене отчетливо и гулко пробили два. Офицеру скоро нужно было уходить. Татьяна Владимировна заметила его тоскливый, беспокойный взгляд.

– Вам, Иван Николаевич, кажется, уходить скоро? Пойдемте в сад. Я хочу показать вам в последний раз наши цветы.

Подпоручик покраснел, смутился, вскочил со стула, чуть не опрокинул свой стакан. В саду Татьяна Владимировна усадила Барановского на широкий зеленый диван перед большой круглой клумбой.

– Иван Николаевич, я хочу поговорить с вами серьезно.

– Ради бога, я всегда готов вас слушать.

– Вы должны не только слушать меня, но и слушаться.

– Слушаюсь, Татьяна Владимировна, слушаюсь.

– Если вы хотите, чтобы ваша Таня была счастлива – идите на войну. Вернитесь оттуда или живым, или мертвым, но героем. Идите, если не хотите, чтобы грязные солдатские сапоги затоптали наш чудесный паркет. Если хотите, чтобы мы жили покойно, с необходимыми для всякого культурного человека удобствами, а не были бы сжаты в одну комнату, в кухню, как свиньи, уплотнены, как сельди в бочке, – идите! Если хотите, чтобы ваш кумир был одет достойным образом, в тонкие, нежные ткани, чтобы на его ножках были такие же башмачки, – идите!

Татьяна Владимировна выставила острый кончик лакированной туфельки.

– Иван Николаевич, вы человек интеллигентный, нам дорого, несомненно, все, что создано веками работы поколений, веками работы мысли лучших людей, нам дорога наша культура. Ради спасения всего этого и должны поставить на карту свою жизнь. Торжество большевизма – это торжество отвратительного, хамского солдатского сапога. Если вы не хотите жить в коммунистическом стадище баранов, равных в своем ничтожестве и тупоумии, если вы стоите за власть немногих, по мудрых, культурных, то идите на фронт без колебаний. Помните, что там, где в жизни мечется огромное, полновластное стадо зверей, там нет свободы, там нет красоты, там вонь хлева или конюшни, баранья тупость и бестолковое топтанье на месте. Нет, надо покончить с этим

немедленно. Этот бараний топот доносится и сюда. Запах скотского навоза коммунистических стойл пробирается к нам, и люди, нахватавшись его, делаются зверями, начинают думать только о крови, о сытой добыче.

Татьяна Владимировна говорила горячо. В ее голосе звучали потки гнева и глубочайшей веры в свою правоту. Барановский взял ее за руки. Девушка посмотрела ему в глаза.

– Вы любите эти руки? Вы хотите, чтобы они остались такими же нежными? Хотите, чтобы эти пальчики пахли духами, а не салом кухонных тряпок? Хотите?

Барановский молча целовал руки Татьяны Владимировны, жадно вдыхал аромат тонких духов и нежной женской кожи.

– Прощайте, Иван Николаевич, вам время идти. Девушка взяла офицера за голову, провела рукой по его щетинистой прическе, посмотрела в большие черные глаза, на пухлые губы со жгутиком пушка под мясистым носом, на ямочку подбородка и тихо, долгим поцелуем, прижалась к его лбу.

– Идите. Профессору я передам поклон. Барановский, опустив голову, роняя на песок дорожки крупные слезы, пошел к калитке.

– Подождите, дайте на минутку мне вашу шашку. Подпоручик остановился, с недоумением посмотрел на девушку, неловко вытащил из ножен сверкающий клинок. Татьяна Владимировна на секунду быстро прикоснулась губами к черной рукоятке.

– Видите, я поцеловала ваш меч. Не опустите его, не продайте. Я буду вашей женой, когда вы с ним вернетесь из завоеванной Москвы.

Домой в казармы, на Петрушинскую гору, Барановский шел быстро, не глядя под ноги, спотыкаясь на скверных, деревянных тротуарах.левой рукой офицер держал дорогой теперь эфес шашки, правую прижимал к лицу и с тоской вдыхал едва уловимый, тонкий аромат молодого женского тела и духов, оставшийся от прикосновений нежных пальцев с розовыми, шлифованными ногтями.

## **5. ПОБЕДЯТ ЛЮДИ**

На другой день офицерский эшелон отправлялся на фронт. Проводить уезжающих пришли родные, знакомые. Прибыл с блестящей свитой командующий войсками округа, приехали управляющий губернией, городской голова, пришли офицеры, бывшие воспитатели окончивших училище. Проводы были торжественные. Представители власти выступали с речами. Командующий округом, пожилой генерал, говорил старые, избитые слова о долге перед родиной, о чести мундира. В заключение провозгласил «ура» за здоровье «обожаемого» вождя армии, адмирала Колчака. Офицеры, вымуштрованные за

десять месяцев, собаку съевшие на ответах начальству, рывкнули дружное и громкое «ура». Оркестр заиграл гимн «Коль славен наш господь в Сионе<sup>40</sup>».

Головы обнажились. После командующего выступал управляющий губернией правый социалист-революционер Ветров. Ветров говорил долго о правах мелкого собственника – крестьянина, о правах гражданина свободной Республики, поправных «накипью социализма» – большевиками. Прилипал на защиту родины от гуннов двадцатого века, клялся, оставаясь в тылу, не покладая рук бороться с красной крамолой. Речь кончил, как и генерал, здравницей за диктатора. Офицеры, как по команде, деревянными, казенными голосами прокричали три раза «ура». Вместо городского головы, кадета Ковалева, выступил представитель городского самоуправления маленький, щупленький меньшевик Прошивкин. Он начал свой монолог торжественным заявлением о том, что меньшевики бдительно стоят на страже завоеваний революции и интересов рабочего класса, что они, меньшевики, давно бы привели пролетариат к полному освобождению, если бы не большевики, отодвигающие приход желанной свободы своими социалистическими экспериментами. Чем дольше говорил Прошивкин, тем больше вдохновлялся.

– Господа офицеры, – кричал он, – вы идете на славный подвиг! Вы идете на борьбу с комиссародержавием! Вы обнажаете свой меч против двуединой монархии Ленина и Троцкого, этих предателей рабочего класса. Выше головы, господа офицеры.

Сотни белых кокард, золотых и защитных погон заискрились. Офицеры улыбались откровенно насмешливо, рассматривая худенькую, тщедушную фигурку оратора.

– Да преисполнятся сердца ваши гордым сознанием того, что вы идете за правое дело, за торжество идей равенства и братства, за освобождение трудящихся от большевистской каторги. Ура!

– Ура! Ура! Ура! – послушно кричали офицеры. Погоны поблескивали на солнце. Некоторые с усталыми, скучающими лицами морщились, ворчали, что они вовсе не намерены драться за какую-то свободу.

Представитель местного купечества Кулагин начал играть напыщенными фразами.

– Доблестные защитники родины, с отеческой скорбью благословляем мы вас на тяжкий подвиг ратный. Идите, дети, и отомстите за поруганную честь святой Руси. Матери, жены и сестры ваши со слезами надежды провожают вас на последний решительный бой с подлым и коварным врагом. Они будут ждать вас обратно победителями. Знайте, дорогие дети, если не устоите вы против супостата, погибнет Россия. На поругание и разграбление интернациональным бродягам предадут большевики добро наше, родину нашу, многострадальную Русь.

Подпоручику Петину надоели речи, он вышел из строя, пробрался через густую толпу провожающих на свободный конец перрона. К нему подошла его знакомая институтка Тоня Бантикова.

---

<sup>40</sup> «Коль Славен...» при Колчаке считался национальным гимном

– Это вам, Андрюша, от меня, – сказала она, подавая офицеру букет белых роз. – Вы такой герой, такой храбрый: едете драться с большевиками и не боитесь.

Институтка смотрела на подпоручика ясными, восхищенными глазами.

– Вы победите их? Да?

Петин улыбнулся и, пощипывая верхнюю губу, говорил, что ничего страшного в большевиках нет, что скоро их, вероятно, совсем разобьют.

– Ах, вот хорошо-то будет, – оживилась Тоня. – Тогда я не буду бояться по ночам. А то мне все снится, что большевики идут, страшные такие. Наша классная дама говорила, что они страшные. Правда, Андрюша, что они убивают даже детей и девушек?

Петин теребил голую губу, не зная, что ответить Тоне.

– Гм, гм, возможно, что и так, от них всего можно ждать.

– Ах, какой ужас! – институтка молитвенно сложила руки, подняла глаза к небу.

Кулагин кончил:

– Идите с богом, защитники наши, знайте, что мы, оставаясь здесь, ничего не пожалеем для блага родины. Заложим жен и детей, распродадим имения наши, но не сдадимся супостату. Ура!

– Ура! Ура! Ура!

Толпа всколыхнулась, зашумела. Оратор слез с табурета. Стекла вокзала были подернуты серым налетом пыли. На стенах штукатурка обвалилась. Платформа, черная, асфальтовая, лежала под ногами, закиданная клочками бумаги, окурками, ореховой шелухой. Офицеры, утомленные длинными речами, еле подняли глаза на старика профессора с длинными седыми бровями, и пенсне, с бородкой клинышком, забравшегося на табурет. Профессор взглянул на блестящую, дисциплинированную толпу офицеров, покорным, внимательным кольцом окружавшую импровизированную трибуну.

– Милые дети! – голос старика с теплой лаской и силой скользнул по сердцам.

Глаза профессора, отца Татьяны Владимировны, осветились доброй улыбкой, лохматые брови приподнялись, мелкие складочки наморщили лоб.

– Милые дети, позвольте в заключение и мне, старику, только что вырвавшемуся из большевистской неволы и, рассказать вам о тех, с кем вы едете воевать. Позвольте мне, как отцу, как деду, умудренному опытом, Предостеречь вас, поставить в известность о той огромной, страшной опасности, которая нависла сейчас не только над нашей родиной, но и над всем миром.

В голосе оратора звучала влекущая, ласковая сила. Солнце осветило пыльные окна станционного здания, засверкало на блестящих погонах, заискрилось в оживившихся глазах слушателей. Паровоз, шипя и гроыхая, поставил около перрона длинный состав.

– Дни страшного суда истории над народами Европы завершились суровым и жестоким приговором: великая европейская война закончилась полным их провалом и посрамлением. Обе воюющие стороны повторяли, что их задача – дать мир миру и сделать войну на будущее время невозможной. Мысль явно утопическая, потому что из войны ничего, кроме войны, родиться не может. Великая европейская война была с самого начала проявлением зоологического начала в человечестве, и гуманитарные мечты – только прикрасою. Теперь прикрасы облетели, а сущность осталась. И вот мы видим, что только что окончившаяся мировая война таит в себе зародыши великого множества новых войн, маленьких и больших. Народы начинают новую борьбу за раздел добычи, доставшейся после победы над Германией и ее союзниками. Но вся эта новая борьба народов ничто в сравнении с той беспощадной, междоусобной войной, которая началась в России и грозит вспыхнуть во всех странах мира. Логическое завершение войны «до победного конца» не есть всеобщий мир, а именно – это перенесение войны вовнутрь государств, в каждый город, в каждую деревню, в самый интимный мир человеческой семьи. В современных событиях перед нами разворачивается картина всеобщего массового безумия. Миром овладели зоологические страсти. Роковые противоречия всемирной культуры встали перед нами во весь свой рост. Все народы в мире боятся опасности, угрожающей от других народов, и вооружаются друг перед другом, готовятся к новым войнам. Боясь войны, готовят почву для нее. Отсюда то психологическое настроение, из которого выросли все ужасы войны междоусобной. Веками изживали христианские народы противоречие. Они исповедовали заповеди любви, но только для домашнего употребления, внутри государства, а рядом с этим в международных отношениях следовали морали каннибалов. В конце концов душа не выдерживает этих противоречий. Можно ли допускать, чтобы человек был кровожадным тигром по ту сторону границы, и в то же время требовать, чтобы он был кротким агнцем по сю сторону? Это психологически невозможно. И вот мы видим, что мировая война, разнуздавшая зверя в международных отношениях, тем самым подготовила его вторжение и в отношения внутренние. Это доказывается всеми современными переживаниями.

Офицеры стали переглядываться. Речь профессора начинала казаться им подозрительной. Но оратор поспешил рассеять их сомнения очень удобоваримыми выводами о большевизме и зверях-большевиках.

– Достаточно послушать рассказы солдат, вернувшихся с войны, чтобы понять, как и почему эти люди превратились в кровожадных большевиков. Война воспитала их в мысли, что по отношению к врагу все позволено, и послужила для них школой холодной, расчетливой жестокости: убийство стало для них делом легким и обычным. И как только массы поверили, что враг не вне, а внутри государства, весь обычный кодекс войны стал применяться к этому внутреннему врагу. Избиение «буржуев» и офицеров, грабительские реквизиции «по праву войны» стали делом повседневным. Война разнуздала зверя в человеке. Отсюда и происходит тот груз, который увлекает современные государства в бездну. Отсюда – неудержимое влечение современных народов к большевизму. Все катятся к нему, словно по наклонной плоскости, мало того, способствуют его успехам своими действиями. В итоге за последние годы все в мире делалось и делается в пользу большевиков. Как будто для них народы вооружились, для них вели мировую войну, а теперь заключают тот жестокий грабительский мир, который может быть только им

полезен. Большевизм не есть что-то случайное и внешнее, это какая-то роковая болезнь, которая таится в крови народов. И мы видим, какая. В большевизме стал явным тот «образ звериный», который уже задолго до войны жил в душе народов, вынашивался всею жизнью современного государства. Тут перед нами обнажается провал мировой культуры. Веками работала она над человеческим обществом и все-таки потерпела жестокую неудачу в самом главном: человек остался все тем же хищником, каким он был в доисторическую эпоху, но при этом хищником во всеоружии средств современной техники. Взаимные отношения народов продолжают покоиться на кровавом принципе борьбы за существование. У кого сильнее челюсть, тот и прав. Человек-тигр, вот тип, который приобрел во многих странах преобладающее значение, захватил власть (вспомним Троцкого, Дзержинского). В этом и заключается торжество большевизма. Большевизм – Немезида современной культуры, обнажение таившейся в ней темной силы зла. Сознательное отречение от духа – вот что составляет сущность большевизма и вообще современного духовного склада человеческого общества. Материализм торжествует везде. Он же привел человечество к мировой войне. В Совдепии материализм приобрел значение догмата веры. Неудивительно, что поэтому большевики не могли удержаться на точке зрения религиозной свободы, лицемерно ими проповедуемой. Подлинное отношение большевиков к религии выражается не в равнодушии, а в ненависти, в расстрелах, издевательствах и мучениях священников, ибо самое существо большевизма есть активная вражда против духа. Этой же враждой обуславливается отрицание всяких духовных связей общезжития. Самые национальные отличия между людьми, по мнению большевиков, призрачны именно потому, что это отличия духовные. Реальны, существенны, с их точки зрения, только отличия материальные, экономические. Большевики на свете признают только две нации – буржуазию и пролетариат.

Профессор стал излагать сущность классовой борьбы. Офицеры стояли, как изваяния. Никто не пошевелился, не проронил слова. Горячая, содержательная речь оратора захватывала безраздельно общее внимание.

– В большевистском общежитии нравственные и правовые нормы заменяются просто-напросто массовым аппетитом.

Профессор перешел к характеристике отношений между классами в Советской России.

– Повальный грабеж и море пролитой крови, массовые казни «буржуев» и воспрещение приобретать целый ряд предметов первой необходимости тем, кто не стоит на «советской платформе». Недаром Ленин сказал, что тот, кто не полезен Советской Республике, может умирать. Невольно вспоминается апокалиптический зверь: «И он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их или на чело их; и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет сие начертание или имя зверя, или число имени его». Есть что-то сатанинское в том оплевании человеческого достоинства, в том низведении человека до скотского уровня, которое составляет характерную черту большевизма. Выбросить за борт всякие духовные начала, построить жизнь на чисто материалистических началах, разрушить нацию, семью, церковь – вот программа наших врагов, врагов общечеловеческой мировой культуры. Царство большевиков не человеческое, а звериное. Но восторжествует ли звериное начало в человечестве? Вот вопрос, на который мы



должны ответить, и мы отвечаем, что нет, нет и нет, тысячу раз нет. Большевизм возник и вырос в мировую величину на почве всеобщего падения нравов. Освобождение от него поэтому возможно только путем духовного подъема. Угасание духа было тесно связано с возрастанием материального благосостояния человеческого общества. Теперь всеобщее обнищание, разруха, голод способствуют пробуждению духовной жизни людей. Обещанный большевиками рай земной оказался звуком пустым. Обманутые массы, обобранные, разоренные, измученные террором, бросились в тоске на поиски утраченных духовных святынь. Люди массами пошли в церковь. Мы, господа, в тылу у большевиков одерживаем изо дня в день крупнейшие победы. Говорят, что никогда еще Москва не видела таких крестных ходов, как в настоящее время. Мы живем в эпоху великих мировых контрастов. С одной стороны, сам сатана сорвался с цепи. А с другой стороны, на борьбу с разнуздавшейся силой зла мобилизовались все духовные силы, какие есть в человеческой душе. В дни глубочайшей скорби и ужаса рождается в мир высшая красота духовного подвига. В церковь вновь показывается забытый миром лик Христов. Опять, как в языческом Риме, льется кровь мучеников. Сотни служителей церкви сложили и кладут свои головы на плахах большевистских чрезычаек. В то самое время, когда большевистское общественное строение разлагается, те духовные связи, которыми раньше держалась Россия, начинают восстанавливаться. Церковь – вот где побеждается классовая разнь; для нее нет ни буржуа, ни пролетария. Там человек чувствует себя поднятым на высоту сверхклассового мира. В церкви вы увидите и рабочую блузу, и пиджак, и шляпу, и ситцевый платок – все густо перемешано. Вот где можно увидеть единый русский народ, который, казалось, погиб в особенно острые дни гражданской войны. Народное самосознание оживет в этом духовном общении всех классов, в нем русский человек снова находит утраченную родину. Теперь вопрос ставится ребром: что восторжествует в мире – человеческое или звериное? История дает нам ясный ответ. Человечество может быть спасено только через подъем в высшую надчеловеческую сферу. Как только человеческая жизнь сдвигается с своих религиозных основ, она тотчас утрачивает все специфически человеческое и роковым образом подпадает темной власти звериного царства. Человек не есть высшее в мире существо. Он выражает собою не тот конец, куда мир стремится, а только серединную ступень мирового подъема. И вот оказывается, что на этой серединной ступени остановиться нельзя. Человек должен сочетаться или с богом, или со зверем. Он должен или пережить себя, подняться над звездами, или провалиться в пропасть, утратив свое отличие от всего, что на земле ползает и пресмыкается. На свете есть две бездны, те самые, о которых некогда говорил Достоевский, и среднего пути нет между ними. Все народы мира должны решить ясно и определенно, к которой из двух они хотят принадлежать. Перед человечеством теперь только два пути – путь звериного царства, путь смерти, куда большевизм увлекает мир, и другой путь, куда поворачивается теперь русское народное самосознание, есть путь воскресения. Когда весь мир еще находится под угрозой прихода большевистского звериного царства, наша родина выходит из него, поднимается в лучезарный мир истины, добра и человечности. Да будет благословен ваш тернистый путь, милые дети! Смело на подвиг! Победа будет за людьми! За нами!

Профессор кончил, устало поправил пенсне. Толпа стояла несколько секунд завороженная. Целый поток аплодисментов залил перрон.

– Bravo! Bravo! – кричали офицеры.

– Гимн!

Оркестр заиграл «Коль славен». Все сняли фуражки.

Станционный сторож два раза ударил в колокол. Матери стали крестить сыновей. Поцелуи, объятия. Женщины плакали. Офицеры садились в поезд. Пестрое лицо толпы металось у длинной красной змеи эшелона, потемнев, беспокоясь. Высокий черноусый Мотовилов стал на площадку вагона, поднял руку. Толпа примолкла, обернулась к подпоручику.

– Господа, от имени всех уезжающих приношу глубокую благодарность за то внимание, какое было оказано нам сейчас. Говорить много я не буду. Нет. Я позволю себе только вспомнить здесь слова незабвенного генерала Лавра Георгиевича Корнилова, сказанные им во время революции. Вот они: «Довольно слов, господа, мы слишком много говорим. Довольно!»

Раздался третий звонок, паровоз резко свистнул, и поезд плавно двинулся вперед.

– Bravo! Bravo! Правильно! Ура! Ура! Ура! – кричали провожающие.

Мелькали фуражки, шляпы, зонтики, платочки. Тоня шла рядом с площадкой, на которой стоял Петин.

– Андрюша, когда вы убьете первого большевика, то снимите у него с фуражки красную звезду и пришлите мне на память. С германской войны Кока мне каску привез, я была очень рада. Ведь интересно иметь какую-нибудь вещь врага. Не забудете, Андрюша?

– Нет, Тонечка, не забуду. Обязательно пришлю. Поезд пошел быстрее.

– До свидания, Тонечка, до свидания, – офицер посылал смутившейся институтке воздушные поцелуи.

Через несколько секунд станция и перрон с пестрой толпой скрылись из виду. Паровоз развил скорость полного хода. Мимо, навстречу, бежали красные вагоны с запасных путей, низенькие домишки пригорода, зеленые поля.

Дорога была опасная. Красные партизаны часто пускали воинские поезда под откос, делали набеги на станции. Офицерам выдали винтовки, и они во все время пути поочередно дежурили на остановках, боясь нападений. Ехали весело, вина и закусок было много. В некоторых вагонах пьянство стояло непробудное. Сразу как-то все почувствовали, что приближается что-то страшное и огромное, перед чем стушевываются, меркнут все мелочи дня. Поезд быстро катился на запад.

– Теперь ничего не нужно делать, не нужно думать, пей и пой, – говорил Колпаков и гибким баритоном с искорками искреннего чувства запевал:

Приюты науки опустели,

Студенты готовы в поход.

Так за отчизну к заветной цели

Пусть каждый с верою идет.

Искренность Колпакова подкупала офицеров, и все они настраивались грустно, задумчиво, всем им начинало казаться, что они идут защищать действительно дорогую и близкую их сердцу отчизну от какого-то злого и страшного врага. Хор пел:

Теперь же грозный час борьбы настал, настал,

Коварный враг на нас напал, напал.

И каждому, кто Руси сын, кто Руси сын,

То путь на бой с врагом один, один.

Социалист-революционер подпоручик Иванов мечтательно смотрел в даль убежавших лесов и оврагов.

– Какие хорошие слова. Приюты науки... Студенты... За отчизну... За свободную отчизну с Учредительным Собранием...

Мотовилов презрительно плюнул и поморщился:

– Учредилка. Социалисты паршивые. Свобода. Русскому народу нагайку, а не свободу нужно. Жандармов побольше да Царя-батюшку. В этом все наше спасение.

– В насилии нет спасения. Штыками не заставишь думать иначе. Самая хорошая идея кажется пустой или вредной, если ее навязывают. Пусть народ сам изберет себе образ правления. Навязывать же ему царя или совдепы – одинаково пагубно для дела возрождения России.

Мотовилов стал бестолково спорить, ругаться. Иванов замолчал, он вспомнил, что Мотовилов воспитанник кадетского корпуса, что кадета логикой не убедишь... Мотовилов, довольный тем, что за ним осталось последнее слово, начал петь, приплясывая:

Как Россию погубить?

У Керенского спросить.

Офицеры подтягивали бессмысленный припев:

Журавель, журавель, журавель,

Журавушка молодой.

Из другого вагона несло нецензурное Алла-вер-ды, и далеко в конце поезда сильный тенор хорунжего Брызгалова звенел под звук колес:

Если б гимназистки в мишени превратились,

Тогда бы юнкера стрелять в них научились.

Весь вагон ревел, подхватывая ухарский припев юнкерской песни:

Всегда, всегда с полночи до утра,

С вечера до вечера и снова до утра.

Маленький, кривоногий Никитин, высоко подняв руку, дирижировал:

Эх, тумба, тумба, тумба,

Мадрид и Лиссабон.

Тумба, тумба, тумба,

Сапог и граммофон.

Громкие песни с гиканьем и свистом, смешиваясь с грохотом поезда, наполняли тайгу целым потоком быстро бегущих звуков, тревожили жителей станционных поселков. На остановках вокруг эшелона собирались кучки любопытных. Офицеры заигрывали с молодыми деревенскими девками, хвалились, что скоро разобьют большевиков. Дым и пыль столбами крутились за эшеленом. Как на экране, мелькали станции. На станции Тайшет офицеры остановились на перроне, удивленные неожиданным зрелищем: между двух телеграфных столбов с перекладиной висели три трупа. Двое мужчин в нижнем белье и молодая девушка с длинными русыми косами, в коричневой юбочке. В Тайшете стояли чешский и румынский эшелоны. Комендант станции, молодой чех, крутя в руках щегольский стек, объяснял офицерам:

– Это трех большевик. Двух повешен за ломанию рельсы, а барышня телеграфистка за то, что опоздала с передачей важной телеграмм.

Легкий ветерок играл косами телеграфистки, трепал коричневое платье, покачивал тела повешенных. Лица казненных были спокойны, только девушка в предсмертной муке нахмурила брови и сильно прикусила язык, который резким черным пятном торчал изо рта. Мотовилов был в восторге. Он смотрел сияющим взглядом то на чеха, то на висельников.

– Вот это я понимаю, молодцы чехи, пощады не дают красной сволочи.

Чех самодовольно улыбнулся.

– Ми чех, ми не руск, ми воюем честна. Руск арме плох, он бежит от красных, бежит к красным.

Мотовилов горячо возражал:

– Нет, господин капитан, вы ошибаетесь. Не вся русская армия и русские офицеры плохи. Не спорю, есть среди нас скоты – «афицера», прапорье несчастное, те, пожалуй, бегут, те главнокомандующими и у красных служат. Но есть среди нас и настоящие офицеры, они не побегут. Разве наш Красильников плох?

Чех засмеялся, стоявший рядом с ним румынский офицер щелкнул языком:

– О, Красильникоф-то карош, карош! Комендант покачивал головой.

– Мало руск карош, руск народ свинья неблагодаренный. Чех его освобождаль, чех большевик прогнать, а руск отступает теперь. В России все плох. Порядок нет. Солдаты – большевики. Женщин руск развратный, з нашими чехами эшелонами ездят.

Долго чешский капитан говорил о недостатках России. Офицеры угрюмо молчали. В душе у многих поднималось горькое чувство обиды. Возражать боялись. Дежурный по станции пошел к паровозу с «путевкой». С чувством облегчения бросились подпоручики в вагоны. Колпаков мрачно смотрел в угол, ероша волосы. Потом взял бутылку водки, со злобой ударил по дну рукой, выбил пробку и налил себе огромную кружку.

Поезд тронулся.

## **6. ВСЕ ПОЙДЕМ**

В стороне от железной дороги, в тайге, кипела своя жизнь. Партизаны спешно укрепляли Пчелино. Густой туман сырым, серым одеялом закутывал пустые улицы, дворы. Острые железные лопаты со скрипом рвали мягкий зеленый травяной ковер, разостланный вокруг всего села. Говорили шепотом. Вырытую землю осторожно накладывали длинным, черным валом. Дозоры подозрительно щупали мокрую траву, раздвигали кусты, тыкались о деревья.

Красное знамя, потемнев, тяжелыми складками повисло над входом в школу. В большом классе на кафедре горел жировик. Пятна света налипли на лицо Григория Жаркова. Вместо глаз у него темнели впадины. Подбородок стал шире. У секретаря волосы торчали спутанной кучей. За партами стеснилось собрание представителей боевых отрядов, местных крестьян и шахтеров из Светлоозерного. Жировик красноватыми клиньями распарывал комнату. Глаза, щеки, носы, освещенные на мгновенье, наливались кровью и снова чернели. Говорил бородатый шахтер Мотыгин.

– Товарищи, ток што мы кончили германску войну, поспихали к чертям всех бар, как они к нам с новой войной лезут. Сказано было, чтобы без аннексиев и контрибуциев, а им не по нутру. Видишь ли ты, долги старые получить захотелось. Поперек горла, значит, им советская-то власть встала. Не хочется им, чтобы рабочие и крестьяне сами собой управляли, охота повластвовать, барскую свою спесь показать.

Собрание слушало. Шахтер вспыхнул, загорелся, заговорил часто и сбивчиво.

– Нет, не быть тому! Не дадимся, товарищи! Отстоим советскую власть,

– Не дадимся! Отстоим!

– Они хотят, товарищи, опять нас в окопы, опять сравить с кем-нибудь, чтобы нашими руками жар загребать.

– Не пойдем! Не желаем! Долой войну!

– Коли не желаем, товарищи, так всем надо, всем, как одному, за оружие браться.

– Все! Все пойдем! С вилами! С кулаками!

– У белых гадов оружия хватит – отыдем.

Мотыгин замолчал. В классе стало тихо. Красноватые клинья резали толпу.

– А, мож, есть промеж нас, товарищи, трусы? Мож, кому бела власть лучше кажется?

Клинья погасли. Жировик замигал тускло, с дрожью. Голова шахтера темным комом расплылась, пропала в темноте. Темнота загрохотала.

– Не дело говоришь, Мотыгин. Говори, да не завирайся! Бела власть! Широкое спалили! Дочку изнасиловали! Нас разорили! Попадью с ребенком зарубили! Жену прикололи. Все Медвежье перепороли! Девочек всех опозорили! Ни старому, ни малому от них пощады нет! Бела власть! Бела власть! Грабеж! Убийство! Хуже старого режима! Где жить будем? Жить как? Унистожить! Унистожить гадов! Шомполами порют. Вешают! Унистожить всех до единого! Пощады никому не давать! Унистожить! Унистожить! Унистожить! Все пойдем!

Винтовки стучали тяжелыми прикладами. Пол и парты скрипели. Стало совсем тесно. Мотыгин сел. Старик Чубуков вышел из толпы.

– Товарищи, нечего нам тут сумлеваться, есть промеж нас трусы или нет.

Шум прекратился.

– Мы все знаем, что с белыми гадами жить нельзя. Теперь все знаем. Неделю тому назад я не знал еще, я думал, коли я никого не трогаю, так и меня никто не тронет, ан вышло совсем не то. Дочь родную... – старик затрясся, побледнел, – дочь родную на глазах у матери, у отца, у мужа изнасиловали. Все мы были дома. Слышали, видели, а сделать ничего не могли, потому их сила. Что мы двое с зятем можем? У зятя, окромя того, в ту же ночь сестренку Машу, четырнадцатилетнюю девочку, замучили звери. Теперь мы вот оба здесь, и старуха с нами. Дочки-то нет: замучили изверги. Теперь я говорю, что и силен Колчак, а мир сильнее его. Миром мы не одного такого уберем. Мир – сила. Мир все может. Надо только всем крестьянам пояснять как следует. Пусть слепых не будет. Пусть все узнают, что белые банды вытворяют, что они сделают с нами, коли власть свою удержат.

– Правильно! Правильно!

Чубукова сменил бывший священник из Широкого Иван Воскресенский. Он был без рясы, коротко острижен, с шомпольной одностволкой за плечами. Собрание смотрело на него, немного недоумевая. Воскресенский почувствовал это.

– Дорогие товарищи, не удивляйтесь, что ваш пастырь духовный крест сменил на ружье. Когда-то Христос, кроткий и любвеобильный, взял плеть, чтобы изгнать торгующих из храма. Я простой, грешный человек и больше терпеть не могу. Не могу я больше говорить о смирении, о всепрощающей любви.

Темнота застыла. Каплями масла на раскаленную плиту падали слова Воскресенского. Чад острой ненависти к белым застилал глаза, захватывал дыхание. Бывший священник был наружно спокоен, но говорил со сдержанным волнением и силой.

– Не могу, когда вижу, как телом и кровью Христа отцы Кипарисовы торгуют, как они его именем истязают и распинают целые села. Палачи жену мою и ребенка шашками зарубили за то, что осмелилась противиться поджогу. Да разве я могу после этого оставаться там служить молебны о даровании побед и многолетия убийцам моего ребенка и жены? Разве я могу смириться? Нет, я хочу мстить. Я думаю, что моя месть – святая месть. Моя месть пусть сольется с вашей. Я все силы свои, все знания отдам на общее дело борьбы. Мы все здесь сошлись одинаковые – у каждого есть замученные, убитые родные, близкие. Товарищи, клянусь вам, что я не выпущу из рук оружия до тех пор, пока не будет уничтожен последний из этих гадов. Поклянемся все, товарищи, что мы будем мстить до конца, до победы. Терпеть больше нельзя. Если мы не положим предела бесчинствам этих вампиров, они в крови утопят всех трудящихся, загонят нас в кабалу темного рабства. Не будем рабами, не дадимся в когти новоявленным рабовладельцам!

– Не дадимся! Клянемся! Все клянемся!

Черные руки трясли винтовками, шомполами и берданами.

– Клянемся! – кое-кто поднимал пальцы, сложенные как для присяги.

– Клянемся!

Сердца слились в один огненный комок. Зубы заскрипели.

– Наступать надо! Нечего дожидаться! Вперед! Бить их, гадов! Наступать! Чего ждать! Наступать! Наступать!

Председатель встал, стукнул кулаком.

– Товарищи, внимание!

Жировик стал тухнуть. Черная толпа затихла.

– Всем галдеть зря нечего. Сейчас товарищ Суровцев обскажет вам все, что нужно. Прочтет приказ Военно-Революционного районного штаба, тогда увидите, как и кому нужно действовать.

Высокий, сутуловатый Суровцев с копной густых кудрявых волос длинной темной тенью заслонила гаснущий огонек жировика.

– Товарищи, я думаю, нам нечего говорить о том, что мы согласны или не согласны воевать с белыми. Я думаю, что каждому из нас ясно и понятно, что вопрос борьбы с этими палачами есть вопрос жизни и смерти. Мы живем и будем жить постольку, поскольку ведем и будем вести борьбу. Теперь не может быть речи о какой-нибудь капитуляции, мире.

– Мир будет, когда этих гадов не будет!

– Товарищи, к порядку!

Жарков привстал со стула. Винтовки сердито стукнули.

– Борьба может закончиться только поражением одной из сторон, поражением, а следовательно, и ее полным уничтожением. И на самом деле, как я могу помириться с негодяем, изнасиловавшим мою сестру, засекшим мою мать, заколовшим мою жену, повесившим моего брата, расстрелявшим моих детей. Мира быть не может.

– Смерть гадам!

– Товарищи! – Жарков покачал головой. – Мы должны бороться, боремся и будем бороться.

– До конца! До победы! Осиновый кол им, гадам, в могилу!

– И вот районный штаб поставил своей ближайшей задачей организовать борьбу более правильно, планомерно, в больших размерах, в более широком масштабе. Силы живой, бойцов, у нас хоть отбавляй. Мы получаем подкрепления каждый день. Каждая новая расправа красильниковцев, их новый налет на какую-нибудь деревню, село гонит оттуда в наши ряды десятки лучших людей. Сегодня перед вами выступал старик Чубуков, он будет активным борцом, он только что понял, что нейтральным в этой борьбе остаться нельзя, что нужно примкнуть либо к людям, либо к человекоподобным зверям. Нет сомнения, что скоро все крестьяне нашего уезда решат вопрос о войне точно так же, как решил его Чубуков. Итак, нам нужно позаботиться, чтобы влить в определенные формы, рамки разрастающееся восстание против золотопогонных убийц и мародеров. Нужно позаботиться, чтобы семьи бойцов, которые вынуждены следовать за нашими отрядами, были поставлены в хорошие условия, чтобы им были обеспечены и хлеб, и кров. Наконец, нужно позаботиться, чтобы и вся наша армия ни в чем не нуждалась, и в первую голову в оружии и патронах.

– Вот это дело! Правильно!

Темнота всколыхнулась. Суровцев, народный учитель-самоучка, бывший политический каторжанин, пользовался среди партизан большой популярностью и авторитетом.

– Районный штаб, товарищи, в своем последнем приказе по войскам Таежного повстанческого района предлагает в целях, только что мною указанных, следующее...

Суровцев говорил спокойно, твердо, отчеканивая каждое слово, каждую букву:

– Первое. Батальонам Мотыгина и Черепкова развернуться в полки трехбатальонного состава и именоваться: первому – 1-м Таежным полком, второму – 2-м Медвежинским; командирами остаются командиры батальонов. Отрядам Сапранкова, Силантьева и Вавилова слиться в 3-й Пчелинский полк под командой товарища Силантьева. Конные отряды Ватюкова и Кренца свести в отдельный кавалерийский дивизион. Командование возлагается на товарища Кренца. Комендантской команде штаба развернуться в запасный учебный батальон, выделив из своего состава новую комендантскую команду, команду связи и саперную команду. Командование возлагается на товарища Гагина. Из всех не



имеющих оружия и небоеспособных беженцев составить рабочую дружину под начальством товарища Неизвестных.

Второе. Выделить немедленно из действующих частей всех специалистов – слесарей, токарей, механиков – и поручить им организацию мастерской для литья и точки пуль, снаряжения патронов, изготовления ручных гранат и починки оружия.

Третье. Создать при штабе агитационный отдел, на который возложить помимо устной агитации в нашей армии, среди местного населения и в рядах противника, в его тылу, издание листовок и газеты, используя для этого имеющиеся две пишущие машинки. Руководство отделом поручить товарищам Суровцеву и Воскресенскому.

Четвертое. Создать Совет Народного Хозяйства, в распоряжение которого передать все запасы обмундирования, снаряжения, вооружения, продовольствия и перевозочные средства. На него же возлагается обязанность снабжения армии всем необходимым, вплоть до огнеприпасов. Ему поручается открытие полевого госпиталя и летучки и устройство и обеспечение семей бойцов и беженцев. Председателем Совета Народного Хозяйства назначается товарищ Говориков.

Жировик потух. Запахло горелым салом и копотью. Тень Суровцева пропала в темноте. Суровцев продолжал развивать планы штаба. Перед собранием развевалась картина стройной, большой, крепкой организации.

За селом дозоры наткнулись на противника. В тайге коротко вспыхнули и зашумели выстрелы.

Тра! Трах! Та! Та!

Трах! Бух! Бах! – ответили дробовики партизан.

Трах! Та! Та! Та! Та! Трах!

Партизаны замолчали, залегли, послали в село донесение... Белые дальше идти не решились, окопались, подтянули цепи почти на линию дозоров. Из школы молча, быстро лился широкий живой поток. Наскоро строились. Тревожно чернели длинные стволы шомполок, острые стрелки штыков. Беззвучно прошли по мягкому, пыльному, длинному половику, затоптали зеленый ковер, залегли за черным валом. Без выстрела, широко раскрытыми глазами искали в потемках других, неизвестных, волнующих своей близостью и молчанием.

На заре у белых за цепью гроыхнуло. Снаряд провизжал в свежем туманном воздухе и ткнулся в землю не разорвавшись. Жарков верхом на лошади стоял у крайней избы, разглядывал тонкую линию окопчиков противника. Выдвигающий механизм работал плохо, в одной половине бинокля стекла были выбиты пулей. Жарков, зажмуривая глаз, морщился. Пчелино с трех сторон густыми цепями охватывали чехи, румыны и итальянцы. Партизан смотрел в бинокль и не понимал, почему белые нарядились в широкополые мягкие шляпы. В патронные двуколки у итальянцев были впряжены ослы. Жарков засмеялся.

– Ну, на ишаках<sup>41</sup> да в шляпах в бой заехали – много не навоюют.

Подъехали Кренц и Мотыгин.

– Смотрите-ка, друзья, белые-то как принарядились. Бинобль перешел к Кренцу.

– Это итальянцы, – сказал он.

– Ага, союзнички, значит, пожаловали, – мрачно улыбнулся Мотыгин.

– Ну что ж, милости просим. Не обессудьте, господа хорошие. Чем богаты, тем и рады. Встретим, как можем.

– Вот что, Кренц, – Жарков повернулся к командиру конного дивизиона, – захай-ка ты им в тыл да пугни как следует, посчитай шляпы у этой ишачей команды.

У белых опять громынуло. Легкое облачко шрапнели, крутясь, со свистом, серым кудрявым барашком повисло над краем села.

## **7. «ПАПАНЯ ПЛЯСИТ И ДЛАЗНИТСЯ»**

Борьба разгоралась. Красные партизаны от неорганизованных, разрозненных выступлений и набегов маленькими отрядами перешли к действиям крупными боевыми соединениями, вели планомерные наступления, маневры, захватывали станции железных дорог, портили пути сообщения в глубоком тылу у врага, спускали под откос воинские поезда противника, устойчиво держали фронт, занимая подолгу целые волости, близко подходили к городам. Многочисленные, но трусливые отряды русских и иностранных белогвардейцев преследовали партизан нерешительно, в тайгу далеко заходить боялись, предпочитая срывать свою злобу на мирном населении, старались запугать всех свирепыми приказами, дикими расправами и массовыми публичными казнями беззащитных, безоружных людей.

На улицах Медвежьего был расклеен приказ атамана Красильникова:

«За последнее время в деревнях и селах губернии большевики усилили свою преступную деятельность, пытаясь подорвать в народе веру в великое будущее России, стараясь склонить население на сторону предавшей родину советской власти. Безобразные факты, чинимые большевиками, – крушение поездов, убийство лиц администрации – все это заставляет отвергнуть те общие моральные принципы, которые применимы к врагу на войне. Тюрьмы полны жожаками и семьями этих убийц. Начальникам гарнизонов вверенного мне района приказываю содержащихся в тюрьмах большевиков, разбойников и ихних родственников считать заложниками. О каждом факте, подобном вышеуказанному, доносить мне и за каждое преступление, совершенное в данном районе, расстреливать из местных заложников от 3-х до 20-ти человек. Все села и деревни,

---

<sup>41</sup> Ишак – осел

независимо от величины и количества населения, в коих будут обнаружены большевики, будут сожжены и уничтожены, имущество конфисковано. Села и деревни, в коих население само выступит против большевиков и будет их изгонять, будут не тронуты. В сожженных селах и деревнях женщины, дети и старики, неспособные носить оружие, получают правительственную помощь и приют.

Медвежинцы, проходя мимо белых лоскутков бумаги, косились со страхом, угрюмо роняли головы. В селе, кроме отряда полковника Орлова, стояли итальянцы, румыны и чехи. В итальянском штабе было два представителя французских войск – красивый, седоусый полковник и молоденький, почти мальчик, лейтенант.

В день боя под Пчелиным Орлов сидел на квартире у француза полковника. Офицеры пили кофе. Француз хвалил Сибирь, говорил, что она нравится ему своеобразной, суровой, дикой красотой, уверял, что если Франция вздумает прислать сюда свои дивизии, то он первый изъявит желание служить в одной из них, никогда не подумает о переводе на родину. Орлов, хорошо владевший французским языком, отвечал, что в Сибири действительно много своеобразной прелести, но находил ее страной некультурной, населенной темными, невежественными крестьянами, живя с которыми изо дня в день вместе можно огрубеть. Кофе было крепкое, сливки густые и свежие. Белые калачи и шаньги благоухали на столе запахом только что испеченного хлеба. Собеседники ели с аппетитом. Разговор с Сибири перешел па сибирских женщин. Француз спрашивал Орлова, правда ли, что, по рассказам русских же, в Сибири птицы без голоса и женщины без сердца. Орлов смеялся и рассказывал о своих многочисленных романтических интрижках с сибирячками, уверял, что сибирские женщины гораздо интереснее российских. Француз жадно посматривал на полное, покрасневшее лицо хозяйской дочери Кати, возившейся у русской печки, намекал Орлову, что сегодня дома из хозяев никого, кроме девушки, нет, что он очень этим доволен. Орлов не понимал деликатных намеков коллеги, продолжал беспечно болтать. Француз нервно дергал длинные седые усы. Глаза его, большие, черные, с пушистыми ресницами, со скукой останавливались на лопате бороды Орлова, покрываясь влажным блеском, скользили по крепкой фигуре Кати.

– Она прекрасна, эта дикарка.

Француз встал, возбужденно прошелся по комнате, круто, решительно повернулся на каблуках, остановился перед Орловым.

– Полковник, оставьте меня с ней вдвоем. Вы понимаете... Вы понимаете... Я хочу, я хочу... Это ничего, я думаю? – француз дрожал. – Ведь она же настоящая дикарка. Вы понимаете, я хочу, я хочу... Это ничего, я надеюсь. Я очень извиняюсь... Но...

Орлов вскочил со стула, угодливо заулыбался, затряс бородой:

– Пожалуйста, пожалуйста, полковник. Ради бога, не извиняйтесь. Будьте как дома.

Оба полковника шелкали шпорами, раскланивались.

– Мы, русские, на это смотрим проще, без всякой философии. Желаю успеха. До свидания. Вас никто не беспокоит.

Орлов скрылся за дверью. Француз подошел к Кате, схватил ее за талию. Девушка сердито отшвырнула его руку.

– Ну, ты, мусью, не балуй у меня!

Глаза офицера стали совсем масляными, прищурились, рот полураскрылся, с красной нижней губы потянулась блестящая, тонкая, вонючая нитка слюны.

– Прелестная дикарка, ты понимаешь, я хочу тебя поцеловать.

Катя подняла к самому носу француза круглый, полный кулак.

– Только сунься, старый черт, образина басурманская!

Француз обеими руками обнял девушку.

– Прелестная дикарка, я хочу... Твердый как камень кулак ткнул полковника в глаз, в губы, в ухо. В голове француза зашумело, из носа потекла кровь. Катя со злобой совала кремнистый кулак в гладкую, холеную физиономию.

Полковник Орлов шел к себе в школу. На главной улице, перед домом Кузьмы Незнамова, толпился народ. Во дворе громко плакали ребятишки, с воем рыдали женщины. Чехи вытаскивали от Незнамовых столы, стулья, шубы, сундуки, грузили на высокие зеленые фуры. Вся семья Кузьмы – жена, двое ребятишек и старуха мать, всхлипывая, дрожали на крыльце. Сам Кузьма стоял на дворе бледный, без шапки, с иссеченным в кровь лицом. Чешский офицер показывал плеткой на заржавленную берданку, найденную в подполье, и кричал:

– Сознайсь, ты есть большевик? Сознайсь, все равно повесим.

– Вот хоть сейчас убейте, не большевик я. Берданку, это точно – спрятал, но для охоты, а не для чего-нибудь такого.

Чех поднял руку, плеть изогнулась. Кривой, кровавый рубец вспыхнул на лице Кузьмы.

– На вот тебе, сволочь.

– Хоть убейте, не большевик я.

– Сволочь!

Лицо вспухло, окровавилось. Незнамов упал на землю. Жена плакала навзрыд. Старуха тряслась, как в лихорадке, по лицу у нее текли крупные слезы. Трехлетний Петя и пятилетняя Маша смотрели широко раскрытыми глазенками. Два чеха солдата стали привязывать короткую петлю к колодезному журавлю. Десяток любопытных со страхом жались в воротах. Глаза, округленные боязнь, чернели неподвижными зрачками. Корнет Полозов и французский лейтенант спокойно наблюдали за истязанием.

Лейтенант, играя моноклем, говорил Полозову:

– Мы не разрушаем, не идем против русских народных обычаев. Ведь нагайка и виселица – это в русском духе. Конечно, во Франции это могло бы показаться устарелым, но здесь таковы нравы, таковы обычаи. С русскими нужно бороться по-русски.

Корнет любезно улыбнулся и спешил уверить лейтенанта:

– О да, вы правы, лейтенант. С большевиками, с этими дикими зверями, можно говорить только их языком.

Обессиленного Кузьму подвели к журавлю, надели на шею петлю. Костя Жестиков, случайно бывший во дворе, подбежал к виселице.

– Стойте, господа, я провожу его на тот свет. Доброволец прыгнул на спину Незнамову, схватился за шею. Чехи со смехом быстро подняли обоих на воздух. Кузьма высунул огромный синий язык, вытаращил глаза, лицо у него почернело, ноги задрыгали, руки схватились за веревку. Жестиков, повернув к зрителям покрасневшее от напряжения лицо, кричал:

– Последний крик моды, господа, танец повешенного. Спешите видеть, господа.

Жена зашаталась, упала на колени.

– Палачи, будьте вы прокляты!

Голос женщины с отчаянием разрезал онемевший двор. Петя показывал маленькой ручонкой на страшную пару, качающуюся в воздухе, и, улыбаясь, говорил Маше:

– Папаня плясит и длазнится.

Маша смотрела серьезно и не могла понять, что делает отец и почему плачет мать.

– Всыпать ей! – крикнул офицер.

Женщину стащили с высокого крыльца, ткнули лицом в землю. Один чех сел ей на голову, двое схватили за ноги. Толстый, с широким, тупым подбородком унтер-офицер жирными белыми пальцами брезгливо поднял у женщины юбку. Два рослых солдата в новеньких гимнастерках и кепи, похожих на петушиные гребешки, с двух сторон рванули нагайками женское тело. Кровь брызнула с первых ударов. Нагайки стучали, как цепи. Голоса у Незнамовой не было. Она глухо хрипела. Ребятишки плакали. Старуха стояла, разинув рот, слезы у ней бежали непрерывно. Лейтенант подошел ближе, нагнулся немного, взглянул в монокль на окровавленный, вздрагивающий зад женщины.

– Я думаю, что если бы мы привезли сюда гильотину, то русский народ возмутился бы, подумал бы, что мы навязываем ему силой свою культуру. Национальное самолюбие было бы оскорблено этим. Но мы же ведь ничего не делаем здесь такого, что не соответствовало бы русскому духу, обычаям, нравам. Правда, корнет?

– О да, о да, действия иностранных войск безупречны.

Полозов почтительно изгибался, заискивающе смотрел в глаза лейтенанту. Черный, кудрявый пудель француза крутился под ногами, вилял хвостом, взвизгивал. Незнамова вынули из петли. Костя ткнул его шашкой в висок.

– Чтобы не раздышался, мерзавец.

Жестиков вытер шашку о брюки повешенного. С соседнего двора привели женщину с серым лицом и черными губами. Чех конвоир что-то забормотал офицеру. Офицер выслушал, махнул рукой. Женщину подвели к петле. Товарищ Жестикова, Ника Пестиков, в беленькой рубашке с красными погонами вольноопределяющегося, подошел к приговоренной.

– Теперь моя очередь кататься, – засмеялся он Косте.

Костя улыбнулся.

– Валяй.

Новая пара поднялась вверх. У женщины лопнули связки шейных позвонков. Она умерла мгновенно. Пестиков кричал сверху:

– Снимай, эта не пляшет. Не из веселых попалась. Зрачки десятков глаз неподвижно застыли. Лица стали каменными, их точно покрыли штукатуркой. Незнамова потеряла сознание. Ее все пороли. Кусочек запекшейся густой крови упал на белый, крахмальный обшлаг сорочки лейтенанта. Француз скривил гладко выбритую губу, длинным, заостренным ногтем стал соскабливать красное пятно. Пятно расплылось шире. Офицер запачкал палец, раздраженно дернул маленькой головой в высоком кепи, повернулся, пошел со двора, кивнул корнету.

– Троцкий, Троцкий, поди сюда! Поди сюда! – позвал француз свою собаку.

– Поди сюда, Троцкий, скверный пес! Поди сюда, скверное животное!

Пудель вилял хвостом, прыгал на задних лапах.

– Троцкий, ты не убежишь к своим в тайгу? Нет, Троцкий?

Собака терлась о сапоги, визжала, мешала офицеру.

– Пойдем, пойдем!

По улице ехали зеленые фуры, нагруженные доверху крестьянским скарбом. Чехи вывозили в город конфискованное имущество большевиков и их родственников, заподозренных в большевизме. Медвежинцы молча смотрели из окон. С другого конца села навстречу чешским фурам скрипели телеги с ранеными итальянцами из-под Пчелина.

## **8. Я НАДЕЮСЬ НА ВАС**

Офицерский эшелон шел без задержек. Через несколько дней он был в Новониколаевске. Новониколаевский вокзал перенес офицеров в настоящее Царство Польское. Конфедератки, белые султаны блестящих гусар, малиновые околыши, белые орлы. Звон шпор смешивался с шипящей польской речью. Польские солдаты и офицеры держались вызывающе, чувствовали себя полновластными хозяевами.

Молодые подпоручики лихо откозыряли седоусому поляку полковнику. Полковник не ответил на приветствие.

– Скотина, – не выдержал Барановский.

Гусар, звеня шпорами, волоча кривую саблю, прошел мимо русских офицеров, внимательно оглядел их, сильно наступил Барановскому на ногу. Барановский вскипел:

– Гусар! Послушайте, гусар! – закричал он. – Что за безобразие? Чему вас учат? Вы не только не приветствуете русского офицера, но даже не трудитесь извиниться перед ним, когда наступаете ему на ногу.

Гусар остановился, обернулся к говорившему, смерил его презрительным взглядом.

– Цо? Честь? Ха, ха, ха! – круто повернулся, загремел саблей по перрону.

– Ян, Ян, чекай, – остановил он своего товарища.

Офицеры видели, как гусар насмешливыми глазами показывал на них, и до их слуха из шипящего потока фраз долетали отдельные слова.

– Руске быдло... Пся крев... Руске быдло...

Офицеры возмущались и смотрели на поляков с нескрываемой злобой. Даже довольный всем Мотовилов ругался:

– Черт знает что такое! Как держит себя эта зазнавшаяся польская шляхта. И посмотрите, как одеты они, ведь на них шикарнейшее офицерское сукно.

Поезд шел. По дороге попадались польские, чешские, румынские, итальянские, сербские, французские, английские, американские эшелоны. Офицеры ворчали.

– Наприглашали всякой рвани в Россию и думают, что хорошо сделали. А эти разные французишки только пьянствуют тут, дерут в три горла да всякое барахло сбывают нам. В тылу их сколько хочешь, а на фронте ни одного не найдешь. Герои тоже, ловкачи крестьян пороть да баб насиловать.

Приехали в Омск. В столице белой Сибири эшелон задержался. Здесь должно было произойти распределение вновь произведенных по армиям и группам. Деньги почти у всех вышли, и офицеры со скучающими лицами бродили по пыльным улицам. Подпоручиков раздражало засилье иностранной военщины в городе. Особенно много было американцев и японцев, главным образом офицеров. Японцы в мундирах цвета хаки, фуражках с красным околышем и золотой звездой вместо кокарды держались с видом снисходительных победителей. Американцы по вечерам запруживали улицы и

бесцеремонно приставали с любезностями положительно ко всем женщинам, проходящим без мужчин.

Омск был переполнен русскими и иностранными войсками и беженцами. По городу носились военные автомобили под всевозможными национальными флагами. Учебные заведения были наполовину закрыты, помещения их обращены в казармы и квартиры для беженцев. В городе свободных квартир не было, а беженцы все прибывали. Беженцы ехали на лошадях, на пароходах, в поездах. Непрерывным потоком заливали они Омск и, переполнив центр города, растекались по окраинам, по окрестностям. Бежали главным образом люди имущие и все, кого связывали с белыми общие интересы, – семьи офицеров, чиновники и их семьи, духовенство, торговцы, промышленники, спекулянты, помещики и деревенские кулаки. Правительство относилось к беженцам покровительственно, но многого для них сделать, конечно, не могло, не могло даже удовлетворить всех квартирами, и люди располагались в палатках на городских площадях, бульварах, останавливались около самого Омска и жили под открытым небом. Правительственная и «независимая» черносотенная печать подняла большой шум по поводу наплыва беженцев в столицу Сибири.

– Вот, смотрите, смотрите, колеблющиеся, малoverные, – великая волна народная катится с запада.

Тысячи людей, побросав свои родные гнезда, разорившись, идут на восток, идут с женами, детьми. Что же заставляет их принять тяжкий крест скитальцев? – злорадно спрашивали газеты и, захлебываясь от радости, кричали:

– Благодетели всех трудящихся – большевики, кровавый призрак коммунизма – вот что гонит их.

– Пусть замолчат теперь писаки слева, что народные массы отошли от нас, – торжествовали публицисты его высокопревосходительства.

– Вот он, народ, измученный, ограбленный, идет за нами, идет, моля бога о даровании победы доблестной армии нашей. Она одна только сможет вернуть ему его родные пепелища.

И, впадая в пафос, поднимали глаза к небу, били себя в грудь кулаками:

– Как Моисей вывел из Египта народ свой и привел его в землю обетованную, так и ты, славный адмирал, спасешь людей этих, выведешь народ свой на путь счастья и благоденствия. Исторические дни. Совершается великий поход народа.

Заручившись благословением и одобрением печати, колчаковские администраторы чинили суд и расправу. Рабочий класс был весь целиком взят под подозрение. На рабочих смотрели как на предателей, готовых каждую минуту поднять знамя мятежа. Контрразведка купалась в крови запоротых и расстрелянных. Глухое недовольство поднималось в мощной толще рабочих масс. Рос и креп революционный дух пролетариата, и его ропот, часто открытый и грозный, тревожил покой диктатора. Офицеры, ездившие из эшелона со станции в город, нередко ловили на себе острые, ненавидящие взгляды засаленных блуз и курток...



За день до отъезда из Омска молодых офицеров принял сам Колчак. Прием состоялся во дворе особняка, занимаемого адмиралом на набережной Иртыша. К выстроившимся офицерам четкой, легкой походкой вышел сутуловатый, бритый господин в английском костюме, с русским Георгием на груди и адмиральскими погонами. Типичный морской волк. Морщинистое, энергичное лицо, горбатый нос и угловатый, выдающийся подбородок. Офицеры застыли. Руки замерли у козырьков.

– Господа офицеры, поздравляю вас с производством, – с легким старческим прищептыванием обратился Колчак к подпоручикам.

– Надеюсь, что вы окажетесь достойными носить славный мундир русского Офицера. Вы идете на фронт. Знайте, вы идете драться за воссоздание Великой Единой России. Я, приняв тяжелое бремя власти, еще раз повторяю вам, что не пойду по пути реакции, но не пойду и по гибельной дороге партийности. Мое дело воссоздать Великую Единую Россию во главе с правитель...

Адмирал закашлялся, замахал рукой.

– ...с правительством по выбору народа. В этом огромном деле надеюсь на вашу помощь. Наша молодая армия сейчас находится в тяжелом положении, она отступает, не умея делать этого. Отступить, господа, труднее, чем наступать. Я надеюсь, что вы, пробывшие в училищах около года, поможете армии своими знаниями, которые у вас, несомненно, есть. Я надеюсь на вас, господа. Постарайтесь!

Диктатор приложил руку к козырьку, легко шагая, исчез в дверях своего дома. Золотые погоны, белые кокарды, шашки колыхнулись.

– Рады стараться, ваше высокопревосходительство! Уставшие, холодные руки с трудом опустились вниз.

Егерь с зелеными погонами стоял у чугунной ограды на часах. Ворота распахнулись, выпустили офицеров. Караульный унтер-офицер внимательно осмотрел большой замок. Егерь стоял неподвижно. Черная решетка легла от ограды на двор.

## ***9. БРАТ НА БРАТА***

У-у-у-у! У-у-у-у! У-у-у-у! – глухо и раскатисто вздыхали тяжелые орудия. Офицеры на подводах ехали в штаб дивизии. Подводчик Мотовилова при каждом выстреле пугливо охал, вздыхал, крестился:

– О господи, страсти какие, как гром ровно. Сила какая, господи, господи!

Мотовилов, улыбаясь, говорил подводчику: Это наши красным морду бьют.

Подводчик близорукими, прищуренными, старческими глазами смотрел вдаль.

– Кто же ее знает, каки наши, каки чужи. По мне все наши, все мы люди, все крещены, все русски. И чего деремса, бог весть. Выдумали каких-то красных да белых и дерутся.

Мотовилов злобно смотрел на старика.

– Сибирь проклятая, им все равно, им все свои. Не видали они еще красных-то, вот и говорят так. Сволочь!

Офицер с досадой плюнул, закурил папироску. Дорога была ровная, гладкая, накатанная после недавних дождей. Черной лентой прорезала она тучные луга, пашни и покотины. Урожай был хороший. Хлеб жиром отливал на солнце. Мотовилов смотрел на огромные сибирские поля, вспоминал знакомые деревни, так резко отличавшиеся от российских своими большими, светлыми избами, крытыми железом, и недоумевал, почему сибиряки, народ зажиточный, по своему имущественному положению и интересам близко стоящие к помещику, собственнику, так враждебно настроены против белых. Добрые сибирские лошаденки бежали ровной, быстрой рысью. Ходок, полный сена, мягко покачивал. Расслабляющая, ленивая истома овладела седоком. Мотовилов так и не мог сосредоточиться на интересовавшем его вопросе, не находил ответа. На берегу большого круглого озера показалось село.

– Вот и Щучье, – сказал подводчик.

Мотовилов молча сосал папироску. Въехали в село, встреченные дружным лаем десятка собак всех пород и возрастов, проехали две-три улицы и остановились на площади среди села, перед большим домом с красным флагом у крыльца. Офицеры недоумевающе переглянулись. Колпаков слегка побледнел.

– Что за черт! Да они нас к красным привезли?

В окно высунулась большая черная борода с проседью, лохматая голова и плечо с погоном полковника.

– Нет, господа офицеры, ошибаетесь. Не к красным, а к белым, да еще к каким.

Голова скрылась. Из окна слышался громкий, раскатистый хохот. Подпоручики облегченно вздохнули и пошли в штаб представляться. Борода оказалась принадлежащей полковнику Мочалову, начальнику дивизии. Полковник Мочалов, человек весьма веселый, встретил вновь прибывших, как старых знакомых.

– Ха, ха? ха! – хохотал он, вставая навстречу смущенным подпоручикам.

– Так к красным, говорите, попали? Ха, ха, ха!

Ах вы, колчενята, колчενята молодые! Сидели вы в тылу и ничего не знали. Не слышали вы, видно, что наша N-ская добровольческая дивизия дерется под красным знаменем, дерется не за что-нибудь, а за Учредительское Собрание, за свободу, за революцию. Ха, ха, ха! – раскатывался полковник.

Лица у многих вытянулись от удивления, только один Иванов улыбался. Начальник дивизии смотрел на смущенные, недоумевающие лица офицеров и снова раскатывался взрывами смеха.

– Ха, ха, ха! Капитан, – обратился он к своему начальнику штаба, – посмотрите на этих юнцов. А? Какова заквасочка-то? Из молодых, да ранние. Едва красную тряпочку увидели, как уже и стоп, в тупик стали. Вот они какие, колченята-то! Это не наши веселые прапорочки, керенки, это что-то такого особенного, с перчиком.

Мочалов помолчал немного, затянулся несколько раз из короткой английской трубочки, сделался серьезным.

– Ну-с, шутки в сторону, господа. Предупреждаю вас, что наша дивизия несколько отличается от других частей и своим составом и дисциплиной. Наша дивизия состоит почти исключительно из рабочих-добровольцев N-ского завода. Знаете такой на Урале? Ну-с вот, рабочие восстали против красных потому, что некоторые комиссары принялись насаждать социализм с револьвером и нагайкой в руках, а плоды земные распределяли так, что было заметно, как пухли от них комиссарские карманы. Ну, а тут еще эсеры подлили масла в огонь со моей агитацией за Учредилку, вот наши N-цы и поднялись. Итак, господа, наши добровольцы воюют за свободу, за Учредительное Собрание, поэтому в строю они держатся свободно. Дисциплину как беспрекословное подчинение единой воле начальника они признают только в бою. Вне боя они с вами, как с товарищами, как с братьями будут обращаться. Не обижайтесь на это. Зато уж будьте покойны: в бою они вас не выдадут, за шиворот к красным не потащат.

– Капитан, – снова обратился Мочалов к начальнику штаба, – всех их в первый N-ский полк.

Капитан молча наклонил голову.

В тот же день офицеры явились в полк. Солдаты встретили молодых офицеров тепло и радушно. Сразу же окружили их тесным кольцом. Начались расспросы о том, как идут дела в тылу, скоро ли придут на помощь союзники. На свои силы как будто не надеялись. Жаловались, что другие части, особенно из мобилизованных сибиряков, всегда подводят в бою, всегда приходится из-за них отступать.

– Мы деремся, деремся, наступаем, гоним красных, – говорил рыжебородый пожилой солдат, – а смотришь, сибиряки паршивые побежали у тебя на фланге, ну, приходится и нам отступать.

– Командиров у нас вот тоже мало, – начал молодой унтер-офицер. – Чего же у нас ротами фельдфебеля да ундера командуют. А что ундер может? Все уже не то, что настоящий офицер. Образованность много значит. Мы вот теперь вам рады, как братьям родным.

Бородатые, усатые, добродушные лица улыбались, утвердительно кивали головами. Рыжебородый добавил:

– Что верно, то верно. Офицера нам нужны. Потому – специальность. Скажем, как мастер на заводе али фабрике, так и офицер в бою.

Офицеры чувствовали себя легко среди тесной толпы солдат. Всем им казалось, что они с этими людьми знакомы уже давно. Мотовилов размяк. Долго и ласково смотрел он на рыжебородого, потом положил ему руку на плечо, спросил:

– А ну скажи, дядя, ты ведь женат, наверно, и детишки есть?

Рыжебородый удивленно немного приподнял брови:

– Как же, и жена, и трое ребят есть. Вместе воюем. Жена во втором разряде ездит.

– Да ну? – удивился офицер.

– Вы что, господин поручик, удивляетесь? – вмешался унтер-офицер. – У нас все почти что так на войну выехали, со всем семейством. Как в бою, так врозь, а как в резерв отойдем, так и вместе. Тут у нас и блины, и оладьи пойдут. И бельишко помоют бабы, и починят. У нас в дивизии насчет этого хорошо. У нас как одна семья все живут. Жалко только – мало уж нас старых Н-цев-то осталось.

– Ну, а из-за чего воевать-то пошли?

Лица оживились. Глаза вспыхнули гневом. Заговорили все сразу. Шумно, перебивая друг друга, стали доказывать, что не воевать с красными нельзя, что жизнь при них невозможна. Говорили горячо, бестолково. Офицеры молча слушали, улыбались. Из всего бурного потока слов они поняли ясно и определенно, что Н-цы знают, за что воюют, что воевать вместе с ними хорошо, безопасно. Разошлись Н-цы поздно вечером возбужденные, с растревоженными воспоминаниями о доме, о родном заводе, где родились и выросли, откуда пришлось уйти и куда так сильно тянуло.

Молодой, безусый пермяк Фома, вестовой подпоручика Барановского, ждал своего командира у костра. Барановский пришел веселый, оживленный.

– Ну, как живем, Фомушка? – громко крикнул он и сел к костру.

Фома встал, взял под козырек.

– Да садись, садись, чего там, – сказал офицер.

– Ничего, господин поручик, – улыбаясь, сел Фома. – Вот картошки вам сварил. Не хотите ли покушать?

Вестовой поставил перед Барановским котелок дымящегося, ароматного картофеля.

– Молодец, Фомушка. Ну давай, брат, вместе. Бери ложку!

Фома из вежливости было отказался, но потом стал усердно помогать своему командиру. Котелок быстро опустел.

– Эх, чайку бы теперь, – вслух подумал Барановский.

Фома засмеялся.

– Чай готов, господин поручик!

– Ну да ты, брат, настоящее сокровище, а не вестовой.

– Вот я и ягодки к чайку набрал, – добавил Фома, подавая офицеру большую кружку костяники.

После картофеля жажда была сильная, и чай, подкисленный ягодой, казался особенно вкусным. Барановский медленно тянул из кружки горячую влагу и пристально смотрел в потухающий костер. Вестовой заметил взгляд командира, повернулся к костру, посмотрел на тухнущие головни.

Поглядите, господин поручик, как на бой похоже.

– Что, Фомушка, на бой похоже? – не понял офицер.

– Да вот костер этот. Ночью эдак бывает. Как угольки, горят выстрелы и, как угольки, тухнут. Офицер посмотрел в глаза солдату.

– Ты доброволец, Фомушка?

– Конечно, доброволец, господин поручик.

– Почему конечно, Фомушка?

– Да как же, у нас весь завод пошел против красных. Потому они декались над нами, как звери.

– Как декались?

– Очень просто, грабеж полный производили. Скотину отбирали, хлеб, сено, ульи разбивали да мед не только лопали в три горла, а и телеги свои им смазывали. Разве это не деканье?

Фома заговорил быстро, сердито посматривая на Барановского, как бы досадуя на то, что офицер до сей поры не знает таких простых вещей.

– Так ты из-за этого и пошел добровольцем?

– А то как же, вот и пошел. Разве можно им, разбойникам, власть давать, они со свету сживут. А брат-то у меня комиссар, – неожиданно вспомнил вестовой. – Комиссаром в Петрограде служит, как узнал он, что я с белыми ушел, так домой письмо прислал, что Фома, дескать, мол, не брат мне больше, а враг нутренней.

Барановский вспомнил, что у него на Волге остался семнадцатилетний брат и мать, что брата теперь, наверное, мобилизовали, и что, возможно, он встретится с ним в бою.

– Фомушка, а ты не боишься с братом в бою встретиться?

Фома добродушно улыбнулся.

– Чего бояться, господин поручик? Какой он мне брат? Враг он, враг и есть, и не заметишь, как убьешь.

Барановский вздрогнул. В памяти всплыл образ высокого мальчика, нежного, ласкового брата Коли. «Враги?.. Нет, никогда Коля ему не будет врагом. Это немыслимо».

– Фомушка, а у меня тоже есть брат у красных.

– Ну вот, оба мы одинаковые. Значит, брат на брата, – равнодушно как-то сказал Фома и позевнул.

– Спать надо, господин поручик, – добавил он совсем уже сонным голосом.

Барановский покорно лег на приготовленную постель из сена. Фома поместился рядом. Лес тихо шумел верхушками. Солдаты давно уже спали. На дальнем конце поляны, у груды тухнувших углей, стоял дневальный. Серая шинель его, темная сзади и на плечах, спереди была облита багровым жаром. Тонкой, кровавой паутиной поблескивали штыки винтовок, составленных в козлы. Ночь была темная и холодная. Облака черными, мохнатыми клубами плыли по небу. В голове офицера роились и медленно, как тяжелые тучи, тянулись мрачные мысли. Он никак не мог помириться с тем, что нежный брат Коля – враг ему, что, может быть, завтра он с перекошенным от злобы лицом будет пускать в него пулю за пулей. Сырой холод сибирской ночи забирался Вод шинель, ледяными, влажными лапами хватался за грудь. Барановскому не спалось.

– Фома, – толкнул он вестового, – а может быть, мы завтра в бою с братьями встретимся?

Фома уже спал и долго не мог понять вопроса, мычал в ответ и сонно переспрашивал:

– А? Что? Как? – пока наконец понял и ответил спокойно: – Все может быть.

Багрово-красная полоса света показалась на востоке, когда Барановский стал тяжело забываться. Засыпая, он, видел в кровавом тумане рассвета искаженное злобой лицо брата Коли, и мысль, неясная и смутная, как сумрак зари, бродила в мозгу:

«Враги. Братья – враги! Брат на брата!»

## ***10. ДОЛОЙ ВОЙНУ***

Утром полк встал на позицию. Подпоручик Барановский со своей ротой был поставлен для охранения правого фланга полка в небольшом лесочке. Часов в десять утра, когда солнце было уже высоко, красные повели наступление по всему участку N-ской дивизии. Наступили медленно, нерешительно, осторожно нащупывали противника, старались обнаружить его слабые места. С их стороны работала легкая батарея, посылавшая редкие очереди шрапнели. Наступающие цепи были далеко, стреляли редко, перебегали целыми отделениями и взводами. Во время их перебежек белые усиливали огонь, и пулеметы выпускали небольшие очереди. Барановский сидел в лесу около небольшого пня и чутко прислушивался к начинавшейся музыке боя. Легкий ветерок тянул вдоль фронта, и свист пуль от этого был особенно мелодичен. Он совершенно не походил на обычный визгливый звук полета пули. Пули летели редко, и похоже было на то, что какие-то маленькие птички с нежным посвистыванием пролетают над головой. Иногда они летели поодиночке, иногда быстро проносились целыми стайками. Барановский слушал и улыбался, потом вдруг сам заметил свою улыбку и подумал: «Вот она, смерть-то, какой красивой, певучей иногда бывает. Так, пожалуй, и умрешь смеясь. Залетит эдакая певунья в висок, и крышка. Останется от жизни человека только несколько строк в очередном

номере газеты, что, мол, вот подпоручик такой-то, пал в бою тогда-то, под деревней такой-то, и все».

Цепи наступающих медленно, но упорно приближались. Перестрелка усиливалась. Часто и нервно стали строчить пулеметы. Заработала белая артиллерия. Снаряды с визгом и воем летели через головы пехоты, глухо лопались над цепями противника. Красная батарея начала нащупывать белую. Белая стала отвечать. Завязалась артиллерийская дуэль. Пехота смеялась. Солдаты, улыбаясь, говорили:

– Слава те господи, артиллерия с артиллерией сцепилась. Пускай друг другу ребра ломают, только бы нас не шевелили.

Мотовилов ходил сзади цепи своей роты и считал разрывы снарядов.

Ба-бах! Ба-бах! Ба-бах! – стреляла белая.

Мотовилов загибал четыре пальца и прислушивался. Через некоторый промежуток времени слышался характерный звук разрывов:

Пуф! Пуф! Пуф! Пуф!

Офицер разгибал все четыре пальца и, смеясь, кричал:

– Слышали, ребята, как наши-то наворачивают? Все четыре лопнули. Хороши английские подарки. Это тебе не социалистические, по восемь часов деланные.

Мотовилов был почему-то убежден, что в Советской России все работают только восемь часов в день, он думал даже, что и красные части дежурят в первой линии не более восьми часов в сутки.

Ба-бах! Ба-бах! Ба-бах! Ба-бах! – отвечала красная.

Мотовилов настораживался.

– Ага, тоже четыре. А ну-ка, сколько лопнет?

– Пуф-виуж! Пуф-виуж! П! П! – падали снаряды красных.

– Эге, скудно, товарищи, – орал офицер, – только два. Скудно! Скудно!

– Бах! Бах! Бах! Бах! – неожиданно слева часто заговорила вторая белая, и тут же правее, позади нее, ухнуло первое орудие тяжелой мортирной.

– Б-у-у-х! Буль, буль, буль! – басисто булькая и визжа, пролетел шестидюймовый, глухо рывкнув, лопнул на том берегу реки, поднял облака черного дыма и пыли. Красная батарея замолчала. Н-цы кричали:

– Красным жара! Не по вкусу гостинцы-то пришлись?

Красная батарея, нащупанная противником, занимала новую позицию. Медленно, одиночными перебежками ползли вперед красные цепи. Н-цы открыли частый огонь. Пулеметы трещали без умолку. Барановский сидел у пня, смотрел в спину дремавшего

перед ним стрелка. Ему казалось, что стоит он на большом городском дворе, а кругом на домах сидят кровельщики и со всей силой бьют молотками по раскаленному полуденным солнцем железу крыш.

– Трах! Грах! Грох! Грох! – гремели кровельщики. Воздух делался нестерпимо горячим, душным. Тело нервно вздрагивало. Руки покрывались липкой испариной. Во рту сохло. Сердце пугливо, неровными скачками колотилось в груди. Барановский сделал несколько глотков из фляжки. Вода была теплая, пахла болотом. Офицер поморщился. Стрелки спокойно лежали в цепи. Одни курили, повернувшись вверх животом, другие сладко дремали, положив головы на винтовки, некоторые совсем спали, некоторые вели между собою тихие беседы. Рыжебородый, пуская колечки махорки, говорил молодому отделенному:

– Вот что хошь делай, Ваня, хошь трусом меня называй, хошь как, а не могу я перед боем успокоиться. Ведь не впервой уж, кажись бы, ан нет. Сердце замирает, екает. Жена чего-то мерещится, детишки. Все думаю – убьет. Ох, боюсь, Ваня. Пожить еще охота.

Отделенный позевывал:

– Ничаво, Петрович, это только до первого выстрела, а там все забудешь.

– Что верно, то верно, парень. Как зашумит, зачертит это вокруг тебя, так все забудешь. В бою я ни о чем не думаю. Правда, правда! Вот только намеднись под Зюзиным, как бежали мы в атаку, так мальчонка ихний попался на поле, доброволец, шибко раненный. Лежит он этак и жалостливо стонет. А на глазах слезы. Ох, маленько у меня сердце захолонуло. Сын ведь он мне, думаю. Ах, совсем ведь мальчонка был. Помер, наверно.

Рыжебородый тяжело вздохнул. Рота бездействовала, была укрыта от взоров противника. Смутное предчувствие близкого боя томило молодого офицера. Безотчетная тоска сжимала грудь, колола сердце. Леденящий холодок пробежал по спине. Нервы натянулись. День был облачный, серенький, прохладный, а подпоручику казалось, что погода невыносимо жаркая и, день душный, как перед грозой. Неожиданно появился Фома с котелком горячего супа:

– Господин поручик, обедать пора. До нас еще не скоро дело дойдет, подзаправиться не мешает.

Фома стоял перед офицером с котелком и куском хлеба в руках, смотрел на него живыми узенькими глазами. Напряженность одиночества разорвалась. Спокойствие вестового моментально передалось офицеру. Плотная, крепкая фигура вестового как бы говорила офицеру, что бояться, в сущности, нечего, что жить нужно всегда и везде не унывая, что всякие страхи и печаль только причиняют лишние страдания. Барановскому стало немного стыдно, что он малодушничал, пока сидел один,

– А ну, давай, Фомушка, похлебаем супчику. Спасибо тебе, родной, за заботу твою.

Вернулось спокойствие, появился аппетит. Суп казался очень вкусным. Подъехал ординарец с приказанием от командира батальона. Офицер быстро прочел з небольшой клочок бумаги, молча кивнул головой. Солдаты в цепи беспокойно завозились. Спавшие



проснулись. С тревогой смотрели на командира. Цепь угадывала, что приказание получено боевое. Толстый, белобрысый взводный первого взвода, доброволец Благодатное, судорожно позевывал. Нервно тряс головой.

– Ах ты, господи, когда это кончится? В германску три года отбрыкал и тут опять другой год. А ведь есть, которые сидят в тылу и пороха не нюхали. А-а-а бр! – взводный еще раз позевнул.

– Бррр! Ааа! Скучна!

– Сейчас наступать, видна, пойдём? – спросил Благодатнова молодой сибиряк, несколько дней только служивший в N-ском полку.

– Н-да, а-а-а, по-видимости што так. Фу ты, провалиться бы тебе, весь рот зевота разодрала!

Взводный утер рукавом заслезившиеся глаза.

– Значит, дома побываю. Наше село-то вон видать. Всего десять верст.

– Побываешь, коли красных вышибем. Стрелки стали вставать из окопчиков, мочиться. Мочилась почти вся рота. Барановский торопил:

– Скорей, скорей, ребята, оправляйтесь! Время не ждет.

Рота змейкой поползла на опушку. Позиция Барановским была выбрана удачно – наступающие попали под жестокий фланговый огонь его роты. Красные заколебались, цепи их немного смешались, малодушные побежали назад. Электрический ток пронесся по цепи белых, и вся она, без команды, движимая стихийным порывом, вскочила, заревела:

– Ура-а-а!

Красные молча поднялись и побежали. Сейчас же перед бегущими появились на лошадях командиры, комиссары. Блеснули револьверы. Цепь остановилась, повернулась к атакующим. Белые не добежали до красных шагов тридцать. Остановились. Дышали тяжело. Колючий забор штыков застыл. Бледные щеки, небритые подбородки. Холодный пот капал на гимнастерки. Глаза, удивленные и тревожные, хватали противника, прыгали, метались, ждали удара. Через минуту должно было случиться огромное, важное. Нужно было только сдвинуться с мертвой точки. Отодрать от земли прилипшие свинцовые ноги. Кинуться вперед. В горле колючим комком взяли храпящие вздохи. Барановскому казалось, что он слышит глухой стук сердец и шум крови, быстрыми струйками бегущей под кожей.

«Сердца – это машины, – думал офицер. – Вот они стучат: тук, тук, тук, тук, и кровь, как вода по трубам, послушно бежит по телу. Вот сейчас штыки вонзятся в живое мясо, – молниями метались мысли Барановского, и, как водопроводные трубы, лопнут жилы, потоками хлынет на траву горячая красная кровь».

Секунды. Молчание. Неподвижность.

– Товарищи, вперед! Ура! – рыжая лошадь комиссара бросилась, уколота шпорами.

Острый колющий забор рассыпался. Белые дрогнули, побежали. Жириновский бежал со своей ротой и удивлялся своему спокойствию. Бежал он ровно, не торопясь, как на ученьи, с поразительной ясностью видел напряженные лица солдат и офицеров. А когда мимо него, сопя, задыхаясь и путаясь в длинной шашке, пробежал сломя голову толстый капитан, командир батальона, то ему даже стало смешно. Сзади хлестало дружное «ура» красных и крики:

– Кавалерию вперед! Белые банды бегут! Кавалерию вперед!

Тысячи ног тяжело топали по полю. Красные остановились. И сейчас же воздух наполнился резким свистом и жужжанием пуль. Некоторые из бегущих стали торопливо, ничком, падать на землю. Валяясь, стонали, кричали:

– Братцы, ранило! Не оставьте! Санитар! Санитар! Раненых подбирать было некогда. Командиры вскочили на лошадей.

– Ст-о-о-ой! Ст-о-о-ой! Ст-о-ой! Нагайки. Сочно, со свистом рассыпались шлепки

ударов. По лицам, по плечам. Бегущие остановились, залегли. Вспыхнула перестрелка. Стреляли, дыша жаждой уничтожения дрогнувшего врага. Отвечали, мстя за унизительное бегство. Раненые, брошенные дорогой, попали под перекрестный огонь. На них никто не обращал внимания. Они лежали среди поля, отчаянно, но тщетно моля о помощи, глухо стелая от боли. Некоторые из них пытались выползти из сферы огня, но пули быстро находили их, и они затихали, спокойно вытягивались на мягкой отаве... Другие старались спрятать хоть голову за бугорок, беспокойно шарили вокруг себя, ища закрытия, и вдруг перевертывались на спину, широко раскидывали руки, делались неподвижными. С обеих сторон заработала артиллерия. Поток расплавленного, огненного металла залил поле. Тяжело дыша, задыхаясь от напряжения и усталости, стрелки зарывались в землю. Лица запылились, стали совсем черными, пот испестрил их грязными, длинными полосами. Поле сражения стало похоже на огромный, грохочущий, огнеликий завод с тысячами черных рабочих, борющихся со жгучей массой боя, пытающихся овладеть ей, отлить ее в свою форму, выковать из нее оружие победы. С визгом и воем налетали на цепь снаряды и то рвались в воздухе, осыпая людей сотнями пуль, то зарывались в землю и лопались там, разлетаясь на мелкие осколки, сметали все на своем пути, рвали в клочья живое человеческое мясо, дробили кости. Барановский лежал сзади своей роты, крепко стиснув зубы, широко раскрыв глаза. Все тело его дрожало мелкой нервной дрожью, протестуя, крича всеми мускулами о том, что оно хочет еще жить, что ему противно это поле, где смерть гуляет так свободно.

– Виужжж! П! П! П! Виуу! – лопалась шрапнель.

– Сиу! Сиу! Сиу! Сиу! – сплошной массой летели пулеметные пули.

– Дзиу! Дзиу! Диу! Диу! – прорезали их свист отдельные винтовочные. Многоликое, мечущееся, огнедышащее чудище носилось по цепи, скрежетало злобно зубами, свистело, визжало, гремело. С шипением, храпом и ревом набрасывалось на людей, острыми стальными когтями рвало их беззащитные тела. Одному запустило стальной коготь в

грудь – человек схватился за рану, низко уронил голову, изо рта у него полилась кровавая пена; другого рвануло за бок, распоролo огромную зияющую дыру; кого-то стукнуло всем кулаком по голове, и от нее осталась сплюснутая красная масса; кому-то тяжело наступило на ноги, хрустнули кости, лопнули жилы, и кровь ручейками потекла на траву. Огромный, огненный, желтый глаз блеснул рядом с офицером, рывкнула страшная пасть, впиалась стрелку в живот железом зубов, распорола его и, обливая подпоручика кровью, засыпая землей, бросила на него труп. Барановский поспешно столкнулся с себя убитого, отполз в сторону, посмотрел назад. По всему лугу от первой линии раненые шли, хромя, одни или поддерживаемые товарищами, лежали на носилках торопливо идущих санитаров. За ними по траве тянулись красные полосы и пятна крови, и их зеленые гимнастерки и штаны пестрели яркими кровавыми заплатами. Стоны изуродованных людей жалобными нотками вливались в шум сражения, больными, режущими аккордами звенели на туго натянутых струнах нервов. Рыча, ревя, воя, грохоча, носилось по первой линии. Иногда оно неожиданно широко размахивалось своей железной лапой, притыкало к земле раненого, ползущего далеко за цепью, или валило санитаров с носилками, обращая их в одну секунду в мертвую кучу костей и мяса. Люди с напряженными, серьезными лицами рылись в земле, стреляли, бегали, подтаскивали патроны, переползали из одного окопчика в другой. Барановскому представлялось, что все они делают какую-то огромную и важную работу, трудятся в поте лица, до изнеможения. Офицер думал, что так и должно быть, что нужно именно так работать, чтобы спасти себя от неумолимого, бездушного чудовища. Смерть не обращала внимания на копошащихся в земле людей, давила их, как муравьев, и с безумством расточителя била драгоценные хрупкие чаши, рвала живые человеческие жилы, расплескивала по полю красное вино.

Мысли стали путаться в голове молодого офицера, под крышечкой черепа десяток кузнецов стучал молотками, кроваво-серый туман застилал глаза. Минутами он не видел ни зеленого луга, на котором шел бой, ни своей роты. При каждом выстреле, разрыве снаряда его тело вздрагивало, трепетало, как струна чуткого музыкального инструмента. Добровольцы дрались со злым упорством. Энергичный, горячий натиск красных вызвал ответный сплоченный отпор.

– Ни черта, они не собьют нас, – ворчал Благодатнов.

– Не на сибиряков напоролись. Ошибутся товарищи.

Молодому рябому Кулагину прострелило плечо. Передавая патроны и винтовку соседу по окопчику, раненый говорил:

– Ну, смотри, Пивоваров, чтобы я из лазарета прямо домой попал. Не подгадь, дружок, набей за меня морду товарищам.

Пивоваров, спеша, собирал патроны.

– Счастливый ты, в лазарет пойдешь, отдохнешь. Эх, скорее бы кончить канитель эту.

– Конечно, кончить надо. Поднажмите, и готово дело. Наступать надо.

Белая цепь раскаленной, искрящейся стальной полосой жгла волны красных. Бой длился весь день. Огонь стал затихать, сделался редким, вялым только к вечеру. Стальная полоса

начала остывать, изредка вспыхивала кое-где острыми язычками огня. Остывая, твердела еще больше. Красные, поняв, что попали на стойкую, сильную часть, перенесли свое внимание на соседнюю Сибирскую дивизию, состоящую сплошь из мобилизованной молодежи. Необстрелянные солдаты стреляли плохо, нерешительно, резко, почти не причиняя вреда наступающим. Высокий комиссар в черной кожаной куртке поднялся в цепи, стал кричать сибирякам:

– Товарищи, перестаньте стрелять, что мы друг друга бить будем? Разве мы не братья родные? Разве нам интересна эта бойня? За кого вы деретесь, товарищи? За тех, что стоят сзади вас с нагайками?

Сибиряки прекратили огонь, подняли головы, стали прислушиваться.

– Часто начинай! Часто начинай! – истерично кричал какой-то ротный командир.

Рота молчала. Офицер выхватил револьвер, начал и упор расстреливать своих стрелков. Солдат на левом фланге повернулся в сторону командира, прицелился и убил его наповал.

– Товарищи, идите к нам. Довольно крови. Тащите своих золотопогонников сюда, мы им найдем место.

Комиссар шел свободно к белым, за ним медленно подтягивалась красная цепь. Молоденький, черноусый прапорщик приложил к плечу длинный маузер и выстрелил. Вся цепь обернулась на короткий хлопок. Пуля изорвала рукав тужурки комиссара. Сибиряки, как один, вскочили, подхватили под руки офицеров, пошли навстречу красным. Молоденький прапорщик валялся вверх лицом, дрыгал ногами, гимнастерка на проколоте груди у него сразу намокла, покраснела. Началось братание. Безудержная радость закружила головы. Войны небыло. Вопрос был решен легко и быстро. Врагов не было. Не было смерти. Одним порывом, одним ударом жизнь взяла верх, сотни людей вспыхнули одним желанием. Глаза горели. Огромная зеленая толпа, смеясь, обнялась, возбужденная, радостная хлынула в сторону N-цев.

– Товарищи, к нам! Довольно крови! Долой войну!

Острая, дрожащая злоба угрюмым молчанием накрыла окопы N-цев. Пулеметчики застыли у пулеметов. Новые друзья густой толпой шли к N-цам. Сухой, резкий крик команды внезапно прорезал молчание:

– Первый пулемет, огонь!

И весь полк, не дожидаясь своих командиров, по этой команде открыл яростную стрельбу пачками. Сразу затрещали все пулеметы, и свинец ручьями полился на людей, шедших к таким же людям с братским приветом мира. Испуганно шарахнулась назад толпа, люди в животном страхе побежали, давя друг друга, накалываясь на свои же штыки, падая, путаясь в кучах раненых и убитых. Огненным потоком лился свинец, и под его губительными струями покорно и беспомощно ложились десятки тел, и люди в страшных муках судорожно корчились и кричали дикими голосами. Барановский, ошеломленный расстрелом толпы солдат, шедшей с мирными предложениями, совершенно растерялся и стоял сзади своей роты, не зная, что делать. В глубине его души кто-то настойчиво

твердил, что это – подлость, зверство, что так делать было нечестно, и вместе с тем кто-то другой ехидно спрашивал:

– Ну, хорошо, их не расстреляли бы? Тогда что с вами они, господа офицерики, сделали бы? А?

Офицер не находил ответа и нервно тер себе рукой лоб. Бой затих совершенно. Братавшиеся были почти все перебиты. Несколько человек попало в плен, и только небольшая кучка успела отойти в сторону своих вторых линий. Среди захваченных в плен оказался командир красной роты, отрекомендовавшийся Мотовилову бывшим царским офицером. Мотовилов с усмешкой спрашивал пленного:

– Ну и что же этим вы хотите сказать? Вы думаете, что это оправдывает вас, говорит в вашу пользу?

– Я полагаю, вы понимаете, что я не мог не служить в Красной Армии, так как был мобилизован как военный специалист, – защищался красный командир.

Мотовилов закурил папироску и, не торопясь отстегнув крышку кобуры, вынул наган.

– Если вы офицер, тем хуже для вас, вы совершили величайшую подлость, пойдя против своих же братьев-офицеров, вы своими знаниями способствовали созданию Красной Армии. Этого мы вам никогда не простим и такую сволочь будем уничтожать беспощадно.

Брови у пленного дернулись, черными изогнутыми жгутами мелькнули на лбу. Рот раскрылся. Беспомощно махнули руки. Бледное пятно лица упало на траву. В волосах загорелась кровавая звездочка. Мотовилов опустил дымящийся револьвер. Остальные пленные, раздетые донага, с дрожью жались друг к другу. Только два китайца бесстрастно смотрели куда-то выше головы офицера.

– Ты кто? – теплый ствол нагана ткнулся в желтую грудь.

– Наша, советский ходя.

– Сколько получаешь?

– Путунде. Не понимай, – китаец тряс черной щетиной жестких волос.

– Сколько офицеров расстрелял, сволочь?

– Путунде. Советский ходя, путунде!

Мотовилов широко размахнулся, ударил китайца по лицу. Быстро обернулся к другому, ткнул в зубы. Глаза китайцев снова стали бесстрастными, лица окаменели. У одного из носа капала кровь.

– Ну что, достукались, сибирячки?

Мотовилов злорадно разглядывал неудачных перебежчиков.

– Сейчас я вас расстреляю. Пленные покачнулись, побледнели.

– Я не сибиряк, господин офицер. Я давно в Красной Армии. Меня не надо расстреливать. Я хочу в плен!

Голый человек с рыжими усами сделал шаг вперед.

– Я тебя не спрашиваю, хочешь ты или нет. Расстреляю, и все.

– Не имеете права: я пленный.

– Взводный второго взвода!

– Я!

Пожилой унтер-офицер подошел к подпоручику.

– Покажи вот этой сволочи, какие она имеет права.

– Всех, господин поручик, сразу? – угадывая намерения командира, спросил взводный.

– Ясно, как апельсин, всех!

Семь стрелков встали против пленных. Щелкнули затворы. Стукнул короткий залп. Один китаец присел и захохотал. Его рука попала в мозги убитого товарища. Сумасшедший поднял на ладони серо-красный сгусток, вывалившийся из разбитой головы. Кровь текла у него по пальцам, капала на траву. Рядом цвели яркими красными маками расколотые черепа красноармейцев. Китаец покачивался всем туловищем вправо и влево и тихо, не опуская руки с куском мозга, хихикал:

– Хи, хи, хи! Хи, хи, хи!

– Вот гадина, еще хитрит, прячется, приседает тутока! – Взводный резким, прямым ударом приклада разбил узкий лоб под щетиной жестких, иссиня-черных волос. Помешавшийся опрокинулся навзничь, вытянулся, лицо у него залилось кровью.

## ***11. СЫН НА ОТЦА***

Высокий комиссар в кожаной куртке, уцелевший от пуль N-цев, сидел за столом в большой избе и допрашивал пленного офицера.

– Ваша фамилия и чин?

– Подпоручик Бритоусов.

– Вы какой дивизии?

– 4-й Уфимской стрелковой, генерала Корнилова,

– Полка?

– 15-го стрелкового Михайловского.

Комиссар обернулся к своему секретарю.

– Товарищ Климов, дайте мне именные списки 4-й дивизии.

Секретарь подал толстую тетрадь. Комиссар стал быстро перелистывать.

– 13-й Уфимский... 14-й Уфимский... 15-й Михайловский, так, есть. Командир полка полковник Егоров... Второй батальон – поручик Ситников... Третий батальон – капитан Каргашин... Вы какого батальона-то?

Офицер стоял бледный. Ноги у него незаметно тряслись мелкой, нервной дрожью, спина и плечи под английским френчем с вырванными погонами согнулись. Он был поражен осведомленностью красных.

– Я второй роты, первого...

– Ага, вот, есть, Бритоусов, говорите?

– Да.

– Совершенно верно, Бритоусов Евгений Николаевич, командир второй роты, подпоручик. Правильно.

Офицер качнулся всем телом, оперся рукой о стол, блестящим остановившимся взглядом уставился на комиссара.

– Послушайте, – губы у него пересохли, – послушайте, к чему вся эта комедия, весь этот допрос? Я давно уже приготовился, расстреливайте. Только об одном прошу, если в вас есть хоть капля сострадания к человеку, которого судьба случайно сделала вашим врагом, не мучьте ради бога. Убивайте скорее.

Комиссар засмеялся. Бритоусов из белого стал черным.

– Ну что же, смейтесь, я в ваших руках. Мучьте, истязайте, большего от вас ждать, конечно, не приходится, Наслаждайтесь муками вашей жертвы.

Комиссар перестал улыбаться.

– Подождите, что вы разнервничались, чего вы выдумываете? Я вовсе не намерен вас расстреливать.

– Наконец, это подло. Одной рукой подписывать смертный приговор человеку, а другой делать любезные жесты. Это недостойно человека.

Пленному не хватало воздуха. Моллов встал, большие черные усы с опущенными концами делали его сердитым и суровым.

– Ну, прошу немного повежливее. Сначала узнайте все как следует, а потом уж брюзжите, хнычьте. Не меряйте, господин белогвардеец, всех на свой аршин. Не думайте, пожалуйста, что если вы расстреливаете всех коммунистов, то и мы делаем то же с офицерами. Вот вы теперь имеете возможность на собственной шкуре убедиться, что это не так. Вы будете отправлены в тыл. Не скрою, вас пропустят через фильтр, через

чистилище – Особый Отдел, и если не будет установлено, что ваши лапки запачканы кровью, что вы принимали участие в карательных экспедициях, расстрелах, то вы получите все права гражданина Советской Республики, даже больше, вы будете приняты на службу в Красную Армию, где, если захотите, сможете отдать долг рабочим и крестьянам, искупить свою вину перед трудящимися.

Офицер не верил ни одному слову комиссара. Он овладел собой, стоял с гордым, надменным лицом.

– Вы кончили?

– Кончил, – ответил Молов и сел на стул.

– Кончайте же как следует, прикажите вашим китайцам поставить меня поскорее к стенке.

Молов засмеялся.

– Ну, вы, видимо, господин хороший, не в своем уме маленько. Вижу, вас не убедишь. Сейчас я вас отправлю в штаб дивизии. Климов, скажи, чтобы нарядили двух конвоиров.

Секретарь вышел.

– Теперь последний вопрос. Скажите, что бы вы сделали со мной, если бы я вот, комиссар полка, токарь петроградский, Василий Молов, коммунист, попал к вам?

Бритоусов злобно щурил глаза.

– Сделали бы то же, что вы делаете со всеми офицерами, конечно, только звезды бы не стали вам вырезать на руках, как вы нам погоны. Гвоздей бы тоже не стали вгонять в плечи. Молов весело возразил:

– Это хорошо, если бы со мной сделали то же, что я с вами.

Конвой вошел, и офицера увели. Молов взглянул на часы и стал стелить себе постель. Спать хотелось сильно.

За селом черным стальным канатом протянулась по зеленому лугу красная цепь. В полуверсте от нее, на самом берегу Тобола, лежали полевые караулы. Густой туман стоял над рекой, сырой, колеблющейся стеной разделял врагов. У красных и у белых было темно и тихо в первой линии. Лишь далеко, в тылу, у тех и других пылали яркие костры. Части, стоящие в резерве, грелись у огня, кипятили чай. Семеро красноармейцев, полевой караул Минского полка, шепотом разговаривали, сидя в небольшой лощинке. Спирька Хлебников, шестнадцатилетний доброволец, повернувшись спиной к противнику и накрыв голову шинелью, сосал сигарку.

– Ты, черт озорной, докуришься, влепят тебе пулю в харю.

Лицо Спирьки, худое, грязное, с маленькими синими глазами, ставшими черными в потемках, покрывалось медно-красным налетом. Тонкий острый нос покраснел. Сигарка шипела подмоченным табаком.



– Ничаво. Ен не увидит. Я под шинелкой.

– Смотри, дьявол, из-за тебя всем попадет.

– Ничаво. Колчака таперь спит, ему за день-то ого-го как насыпали, сколь верст рысью прогнали.

– Похоже, не устоять Колчаку?

Длинная шинель, рваные сапоги, фуражка, смятая блином, повернулись на спину. Дым махорки дразнил весь караул. Спирька самоуверенно мотнул головой. С конца сигарки посыпались искры.

– Знамо дело, не устоять. Кишка тонка у буржуя, вот што.

– Деникин вот только здорово прет.

– Ни черта, и Деникина спихнем в Черное море чай пить.

Серая, мочальная борода устало ткнулась в колени.

– Домой бы, товарищи, скорей.

Сигарка пыхнула в бороду запахом горелой бумаги и табаку, потухла.

– Домой, мать твою за ногу. Ступай садись на крылец, встречай гостей. Придут к тебе стары господа, по головке погладят.

Спирька отхаркнулся, плюнул.

– Ты что, борода, землицу-то помещичью небось прибрал к рукам?

– Я што, мы всем миром. Без земли нельзя, пропадешь.

– Всем миром. Ну и не рыпайся, коли без земли, говоришь, пропадем. Колчак али Деникин тоже за землю и слободу воюют, только для себя, а не для нас. Ну, а нам таперь доводится самим за себя стоять, вот что.

Черные, засаленные брюки в высоких сапогах и лоснящаяся от грязи кепка завозились около Спирьки.

– Мы Колчака видали. Перво-наперво, как пожаловал он к нам, так семьсот человек прямо на месте, в мастерских, к стенке поставил. Пускай кто хочет с ним живет, милуется, а мы не согласны.

Штыки зацепились, стукнули.

– Эй, товарищи, легче с винтовками-то.

– Для чего же было революцию подымать?

– Раз уж взялись поставить свою власть, так и крышка, воюй, пока из последнего буржуя душу вынешь. Борода тяжело вздохнула, потянулась:

– Шестой год, товарищи, воюю.

– Хошь шесть, хошь двадцать шесть, а войну кончить нельзя. Кончим, когда всех господ прикончим. Поторопишься, хуже будет. Опять, идола, явятся, на шею сядут. Тут хоть за себя воюем, штобы останний раз, значит, и крышка. Больше штоб никаких воинов не было.

Борода уткнулась в землю, засопела.

– Это правильно, они завладают властью, опять с германцем али с кем грызться начнут.

– Так и знай.

– Слюни, товарищи, неча распускать. Буржуев, попов,– генералов, сухопутных адмиралов надо поскорее в бутылку загнать. Тут, товарищи, дело ясное: или они нас, или мы их – мира быть не может. Волк с овцой не уживутся.

– У меня отец с буржуями сбежал. Попадись он мне, не спущу, потому эта война на уничтожение. Кто кого.

– Врешь, Спирька, рука не подыметя на отца-то!

Спирька задорно поднял голову.

– Не подыметя, как же. Ежели он, старый черт, на старости лет добровольцем попер, так што я на него смотреть буду. С добровольцем разговор короткий: бултых, и готово.

Борода, вздрагивая, храпела. Рванный сапог из-под длинной шинели оскалил зубы. У Спирьки лицо потемнело. Засаленные брюки зябко вздрагивали. В карауле стало тихо. В глубоком тылу у белых загорелась на горизонте красная полоса, узкая и бледная, она разрасталась, делалась ярче.

Огненный шар выкатился из-за земли, разорвал на реке серую занавеску. Спирька чихнул, выполз из ложины. На другом берегу стояли во весь рост два офицера, махали белыми платками. Караул поднялся на ноги, протирая глаза и кашляя, уставился на белых. Мотовилов говорил Петину:

– Сейчас я их возьму на пушку.

Офицер громко крикнул через реку:

– Здорово, минцы!

– Здравствуй, здравствуй, погон атласный! – сипло ответила лоснящаяся кепка над смуглым треугольником помятого сном лица.

– Здравствуй, здравствуй, – передразнил Мотовилов. – Разве так по-военному отвечают? Не видите, что ли, что с вами подпоручик разговаривает?

Красные засмеялись, дружно рывкнули:

– Здравия желаем, господин поручик!

– Ну вот, это дело, видать, что минцы народ вежливый.

– Да уж минцы лицом в грязь не ударят. Го-го-го!

Мотовилов злорадно улыбнулся.

– Ну, конечно, Минский полк, 27-я дивизия, всегда против нас. Интересно, где 26-я? Сейчас попробую, не клюнет ли?

– Эй, друзья, а как товарищ Гончаров<sup>42</sup> себя чувствует?

– Так он не наш.

– Знаю, что не ваш, а 26-й, да, может быть, вы недавно видели его?

– Видели, как не видать; Вчера в Ключах встретились.

– Ага, штаб 26-й вчера был в Ключах, рядом, значит, и эта обретается. Отлично, – говорил вполголоса Мотовилов.

– Ну, а что товарища Грюнштейна<sup>43</sup> давно не слышать?

– О, Грюнштейн теперь шишка большая!

– Хватит, ясно, как апельсин, 26-я и 27-я дивизии 5-й Армии. Можно донесение писать.

– Что, господа офицеры, сегодня не воюем? – спросили красные.

Петин тонким голосом крикнул:

– А что, разве вам охота подраться? Я сейчас прикажу открыть огонь.

Минцы замахали руками.

– Нет, нет, сегодня можно и отдохнуть.

Офицеры пошли к своим цепям. На берегу вышел из кустов белый караул. Враги стояли некоторое время молча. Широкоплечий унтер-офицер с черной бородой хлопнул рукой себя по боку.

– Спиридон, мерзавец, это ты?

Спирька сразу узнал отца.

– Я, тятя, я!

Красные и белые, с глазами, разгоревшимися от любопытства, смотрели на отца с сыном.

– Это, значит, на отца сынок руку поднял? А? Ты ведь доброволец, щенок?

---

<sup>42</sup> Военный комиссар 26-й дивизии

<sup>43</sup> Член Революционного Военного Совета 5-й Армии

– Добровolec, тятя!

– Я его дома оставил, думал, матери по хозяйству поможет, а он вон што, против отца пошел!

– Не я, тятя, супротив вас пошел, а вы супротив меня, супротив всего народу с офицерем сбежали, в холуи к ним записались!

Отец вскипел:

– Ты поговори у меня еще, молокосос! Сию же минуту переходи сюда! Бросай винтовку!

Спирька засмеялся, потрепал себя рукой пониже живота:

– А вот этого не хошь, тятя? Хо-хо-хо!

– Го-го-го! Ловко, Спирька, отца угощаешь! – загоготали красные.

Чернобородый задыхался от гнева:

– Проклян, Спиридон, опомнись!

– Нам на ваше проклятье начихать, тятя!

Отец высоко поднял руку:

– Не сын ты мне больше! Проклят ты, проклят во веки...

– А ведь не пальнешь в тятку-то, Спирька, чать жалко.

Кровь бросилась в лицо Спиридону. Он вспомнил, как отец всегда с базара привозил ему пряники, вспомнил, как тот мальчишкой часто таскал его на руках, учил ездить на лошади, провожал с ребятами в ночное.

– Добровolec он, за буржуев, не отец он мне. Проклял он меня. Не отец так не отец.

Спиридон для чего-то старался заранее мысленно оправдать себя. Сын быстро щелкнул затвором, стал на колени и выстрелил. Пуля сшибла у отца фуражку. Отец трясущимися руками поднял свою винтовку, ответил сыну. Красные и белые молча наблюдали за борьбой. Чернобородый совсем растерялся, стрелял не целясь, винтовка плясала у него в руках.

– Сынок, – бормотал он, досылая патрон, – сынок, хорош сынок...

Спиридон с четвертой пули распорол отцу бок. Унтер-офицер вскрикнул, комком свернулся на земле. К раненому подбежали санитары.

– Будь проклят ты, отцеубийца. Отцеубийца проклят, проклят, хрфлфрихррр...

Кровь пенилась в горле и во рту Хлебникова. Спиридон с остервенением стрелял в санитаров, поднимавших отца на носилки. Красные отняли у него винтовку.

– Стой, дьявол, из-за тебя бой еще подыметя.

Братание и разговоры шли по всей линии на участке N-ской дивизии. Белые, смеясь, кричали красным:

– Как, неприятели, переводчиков нам не нужно, и так сговоримся?

Красные гоготали, орали в ответ:

– Мать вашу не замать, отца вашего не трогать, сговоримся чать!

Толстяк Благодатнов стоял, засунув руки в карманы брюк.

– Земляки, какой губернии? – кричали в другом месте.

– Московской!

– А вы?

– Мы-то?

– Да!

– Мы Вятской!

– Так и знал, что либо Вятской, либо Пермской. Самые колчаковские губернии!

– Товарищи, айда к нам!

– Нашли дураков!

– Валите к нам!

– У вас хлеба нетука!

– Хватит! Сибирь заберем, хватит!

– Не подавитесь, товарищи!

– Ни черта, скоро на Ишим подштанники стирать вас погоним!

Молодой комиссар батальона пытался распропагандировать белых.

– Товарищи, за что вы воюете? – спрашивал он. Звук его голоса громко раскатывался по воде.

– Воюем, чтобы всех комиссаров переколотить!

– Что вам комиссары плохого сделали?

– Грабители!

– Кого они ограбили?

– Всех разорили! Житья от них нет! Война из-за них!

– Почитайте-ка вот наши книжки! – красноармеец, засучив штаны, полез в воду.

– А вы посмотрите наши!

Навстречу ему спустился с крутого берега худой татарин. Тобол в этом месте был очень мелок. Враги сошлись на несколько сажен, перекинулись свертками газет и брошюр. На реке стоял разноголосый раскатистый шум. Сотни людей кричали одновременно.

Полковник Мочалов разрешил N-цам разговаривать с красными, вполне полагаясь на них, как на добровольцев. Полковник питал некоторые надежды на разложение частей противника. Но, увидев, что толку из всего этого крика выходит мало, он приказал прекратить братание. Две батареи неожиданно рывкнули сзади, тучки шрапнели брызнули на красных свинцовым дождем.

– Что, буржуи, словом не берет, давай железом!

Красные быстро легли в окопы.

– Не пройдет номер, господа хорошие, мордочки вам набьем! Набьем белым гадам!

Белые солдаты неохотно открыли огонь из винтовок. Братание всколыхнуло у многих воспоминания о германском фронте, соблазн немедленного окончания войны был очень велик. Тобол гремел, стучал, свистел. Бой начался.

Несколько шрапнелей залетели в село. Хозяева квартиры Молова бросились прятаться в голбец<sup>44</sup>. Молов с Климовым пили чай.

Женщины заплакали, стали кричать.

– Господи, когда это кончится? Всех нас перебьют. Господи, господа, мужа в германску войну убили, теперь нас с ребятишками прикончат.

– Ничего, ничего, хозяйюшка, сидите спокойно, сюда не достанет.

Люк в подполье не был закрыт, женщина кричала оттуда:

– Ох, товарищи, всем уж эта война надоела. Неужто вам все воевать охота?

Молов и Климов улыбнулись.

– Из-за того и воюем, что война надоела. Последний раз, хозяйюшка, воюем, чтобы всякую войну уничтожить.

– Ох, не пойму я чего-то! Войну кончить хотите, а сами воюете. По-нашему, чтоб войну кончить, так замиренье надо сделать.

– Нет, хозяйюшка, с Колчаком нельзя замириться. Он не захочет.

– Кто вас тут разберет? Белы вот стояли, говорили, что вы не хотите замиренья. Комиссары, мол, не хотят.

---

<sup>44</sup> подполье

– Белые врут, хозяйюшка, вот разобьем мы их, тогда увидишь, что мы правду говорили. Войны не будет больше.

Седой старик крестился и вздыхал в подполье:

– Дай вам бог, дай бог, ребятушки! Дай бог!

Вошел вестовой красноармеец, в зеленой гимнастерке и рыжих деревенских штанах, со звездой на рукаве и фуражке.

– Товарищ Молов, там пополнение пришло, может, говорить чего будете? Хотя все добровольцы.

Молов заторопился со стаканом.

– Обязательно, обязательно надо побеседовать. Я сейчас. Пусть подождут на площади.

На площади, в холодке под березами, обступавшими церковь, расположилось пополнение, сплошь добровольцы: челябинские рабочие и крестьяне окрестных сел и деревень.

Добровольцы не были обмундированы. Черные, промасленные кепки и куртки мешались с серыми и коричневыми кафтанами. Винтовки и подсумки были у всех.

Молов подъехал на лошади и, не слезая с седла, обратился к добровольцам с небольшой речью:

– Дорогие товарищи, я не буду утомлять вас разговором о том, за что и во имя чего мы воюем. Я думаю, это вам давно известно.

Тон был взят верный. Куртки, шляпы, кепки, кафтаны зашевелились.

– Кабы не было известно, не пошли бы! Добровольцы мы!

Концы тяжелых черных усов комиссара приподнялись, по лицу, сверкнув в глазах, пробежала улыбка.

– Я это знаю, товарищи, и приветствую вас, приветствую ваше желание скорее покончить с одним из свирепых палачей рабочего класса и крестьянства, с новым сибирским царем – Колчаком.

За селом перестрелка усиливалась.

– Товарищи, сейчас мы пойдем в бой, так знайте, что враг уже смертельно ранен. Его сопротивление – сопротивление издыхающего зверя, бьющегося в предсмертных судорогах.

Добровольцы стояли спокойно, молча слушали комиссара. Рыжий, крепкий Коммунист Молова скреб левой ногой, качал мордой, дергая поводом руку седока.

– Вот, товарищи, у меня в руках рапорт белого офицера, перехваченный нами. Некоторые места из него я прочту вам, и вы увидите, что я прав, что дела у белых из рук вон плохи.

Молов вытащил из полевой сумки клочок бумаги, стал читать:

– Наша дивизия, несомненно, больна. – Это, товарищи, пишет начальник штаба белой дивизии, капитан Колесников, – пояснил комиссар слушателям. – При текущих условиях жизни она не только не оздоровится, может угрожать полным истреблением офицерского состава. Причины, разлагающие ее, коренятся в следующем:

1) Несомненно, в рядах полков свили свои гнезда умелые работники советской власти, которые ведут за собой идейно всю маломыслящую массу. Арест и расстрел якобы главарей весьма сомнителен в том смысле, что расстреляны главари, а не просто наиболее решительные и смелые из проникнутых духом большевиков.

2) Громадный некомплект офицеров.

3) Почти полное отсутствие добровольцев.

4) Необходимость ставить по избам ведет к разложению частей.

5) Работа контрразведки не только не полезна, но даже вредна, ибо она дает солдатам знать, что за ними следят. Прапоры, поставленные во главе полковых пунктов, безграмотны в деле разведки, агентов нет, руководить некому, денег нет.

6) Егерский батальон – опора дивизии – не вооружен, не обмундирован.

7) Люди одеты оборванцами, без признаков формы.

8) Занятия носят характер нудный, утомительный. Знаменитые «беседы» никуда не годятся.

9) Литература и пресса убоги и совершенно не соответствуют ни духу солдата, ни его пониманию, ни укладу жизни. Сразу видно, что пишет барин. Нет умения поднять дух, развеселить и доказать. Жалкие номера газет приходят разрозненными, недостаточными, непонятными по стилю. Нет руководств по воспитанию духа а сейчас дух – все.

10) Порка кустанайцев в массовых размерах повела к массовым переходам на сторону красных.

11) Население совершенно не принимается в расчет, и наезды гастролеров, порющих беременных баб до выкидышей за то, что у них мужья красноармейцы, решительно ничего не добиваются, кроме озлобления и подготовки к встрече красных, а между тем в домах этого населения стоят солдаты, все видят, все слышат и думают.

– Хитер, собака, тонко чует. Валяй, валяй, товарищ военком, дальше. Занятно! – высокий рабочий крутил головой.

– Не мешай, слушай! – закричали на него.

Заработала красная батарея. Наблюдатель метался по колокольне, кричал в трубку телефона. Молотов стал читать громче.

12) Духовенство далеко и не видно его непосредственного воздействия.

– Попы рясы, видно, подобрали, да тю-лю-лю, – не унимался рабочий.



– Да помолчи ты, черт, – сосед дернул резонера за рукав.

13) Пропаганды с нашей стороны и агитации никакой. Сводится все к отбытию номера и полному бездействию, с одной стороны, в то время, когда все пылает, горит и полно злобы и мести, с другой стороны, заливает не только части, но и весь район своей вызывающей, но понятной народу литературой.

– Дальше, товарищи, этот капитан предлагает своему начальству ряд мер к устранению всех перечисленных недостатков; вот наиболее интересные из них:

- 1) Для борьбы с агитацией большевиков во главе дивизионной контрразведки должен быть поставлен старый, опытный офицер-жандарм.
- 2) Влить в полки добровольцев, не жалеть денег на их вербовку и увеличенный по сравнению с мобилизованными оклад жалованья.
- 3) Сеть контрразведки должна быть не только в полках, но и во всем районе расположения частей.
- 4) Привлечь к шпионажу женщин и вообще местное население.
- 5) Немилосердное истребление главарей; после порки отправлять на фронт не следует.
- 6) Уничтожать деревню полностью в случае сопротивления или выступления, но не пороть. Порка – это полумера.
- 7) Открыть полевые суды с неумолимыми законами.
- 8) Конфисковать имущество красноармейцев.

– Ну и так далее, товарищи, все в том же духе. Как видите, все сводится к жандармской слежке, расстрелам, конфискации, сожжению и истреблению целых деревень и сел. Политика мудрая!

Черные усы насмешливо приподнялись.

– Нам остается только приветствовать откровенность капитана Колесникова. Чем прямолинейнее будут действовать эти господа, чем яснее они выявят свои хищные рожи, тем скорее трудящиеся, рабочие и крестьяне поймут, что не бороться с белыми нельзя, поймут, что торжество этих гадов принесет с собой все прелести каторжного, крепостного, палочного режима. Дела плохи, товарищи, у белых. Большинство рабочих и крестьян уже раскусили Колчака, поняли, что он за фрукт, и переходят на нашу сторону массами. В тылу у диктатора восстания. Тайга горит огнем партизанских фронтов и республик. Еще напор, дружное усилие, и мы опрокинем белую гадину, свалим ее в мусорную яму.

Шрапнель стала рваться над колокольней. К комиссару подъехал командир полка с адъютантом.

– Вы скоро кончите, товарищ Молов? Добровольцы беспокойно посматривали на белые облачка, клубами таявшие высоко над золотым крестом.

– Получен приказ выступить на первую линию. Моллов повернулся к командиру:

– Я кончил, Николай Иванович, кончил. Можете вести полк. Сейчас я только раздам вот им литературу.

Комиссар отстегнул от седла тюк газет и листовок.

– Вот, товарищи, берите эти штучки, они не менее важны, чем ручные гранаты. Они для всех хороши. Белых взрывают, разлагают, своих подогревают, спаивают в одно стальное. Берите, читайте, бросайте по избам, при случае пускайте в ряды белых.

Красноармейцы распихивали по карманам номера армейской газеты «Красный Стрелок», торопливо пробегали листовки с яркими, смелыми призывами к борьбе, к строительству новой жизни. Обоснованная, короткая, но горячая речь комиссара зажгла сердца добровольцев. Огненной лавой влилось пополнение в поредевшие ряды полка, внесло в них свое оживление, сразу накалило, подняло дух.

– Товарищи, вперед!

Командир полка повел полк на выстрелы. Сильные волей ощутили прилив новых сил, бодро, твердо пошли за командиром и комиссаром, ехавшими перед полком. Малодушные и уставшие резче почувствовали свое бессилие. Так огонь плавит металл и сжигает шлак и сор. Винтовки с заостренными штыками рвали воздух. Пестрый, раскаленный поток мускулов, нервов, пороха и свинца катился по узкой улице. Зелень, луга метнулись в глаза, сверкнула сияющая полоса Тобола.

– От середины в цепь!

Голос командира звучал уверенно и властно. Сомнений быть не могло. Полк послушно развернулся, длинной цепочкой опоясал луг у края деревни. Белые батареи заторопились, застучали, как кузнецы молотами. Шрапнель, визгливо злясь, закувыркалась над головами красных бойцов.

– Цепь, вперед!

Может быть, не все шли охотно в бой, может быть, даже коммунисты, но каждый чувствовал на себе тяжесть силы, огромной, давящей, толкающей вперед робкие ноги, силы всего многомиллионного коллектива, проснувшегося, поднявшегося на борьбу пролетариата, силы всех угнетенных и эксплуатируемых масс. Огромное, неумолимое поступательное движение колосса коллектива втягивало в крутящийся водоворот борьбы не только золото и драгоценные камни, но и щебень, и мусор, грозя раздавить изменников и малодушных.

Цепь железными, пылающими волнами катилась по лугу.

## ***12. ПОЧЕМУ ОНИ ЗЛЯТСЯ?***

Солнце уже садилось, когда со стороны красных показались густые цепи и несколько батарей одновременно открыли беглый огонь по белым. Красные шли уверенно, смело. Барановский не заметил, как цепь противника быстро накатила на его роту. Офицер с удивлением смотрел на наступающих. Подпоручик Барановский только вторые сутки был в первой линии и к концу дня стал плохо разбираться во всем происходящем вокруг, почти потерял способность критиковать свои действия. Рота молчала, ожидая приказаний командира. Многие солдаты с недоумением оглядывались на молодого офицера, удивлялись, почему он не приказывает стрелять. Красные наступали с сильным ружейным и пулеметным, огнем. Перебегали поодиночке. Огромная рука тянулась к окопам N-цев, упруго дрожала всеми мускулами. Цепь наступающих приближалась. Барановский стоял за цепью и смотрел то на красных, то поднимал голову кверху и наблюдал, как падали с верхушек деревьев сбитые пулями ветки и листья, сыпалась кора. Одна пуля, тонко пропев, впиалась в большую сосну, совсем близко от левой щеки офицера. Подпоручику показалось, что кто-то горячо и быстро дохнул ему в лицо. Он вздрогнул, перевел свой взгляд на цепь противника. Она была совсем уже близко. Офицер видел, как люди в зеленых гимнастерках, в черных рубахах и брюках навыпуск, в рыжих деревенских шляпах и фуражках со звездами на околышах заряжают винтовки, работают затворами, прицеливаются, пускают в его роту пулю за пулей.

«Стреляют. В нас стреляют, – думал Барановский, и почему-то это ему казалось очень странным. – Ведь они такие же люди. Ну вот совсем как мои солдаты», – носилось у него в голове. И он стоял, глубоко засунув руки в карманы шинели, напряженно вглядывался в лица наступающих, искал в душе ответа на мучительный вопрос, почему люди с такой злобой бьют людей. Что-то связывало волю офицера, он никак не мог отдать приказание стрелять. Взводный офицер, пожилой прапорщик, подбежал к нему.

– Господин поручик, разрешите открыть огонь. Противник совсем рядом!

Барановский точно проснулся.

– Ах, огонь, да, да, огонь, – растерянно забормотал он.

Прапорщик побежал к своему взводу, на ходу крикнул:

– Часто начинай!

Рота открыла огонь. И опять Барановскому показалось, что кровельщики заколотили молотками по крышам, а воздух стал душным и тяжелым, как на фабрике или заводе, вблизи машин, больших, стучащих, горячих, дышащих огнем.

Наступающие кузнецы стучали молотками, раздували огонь, в неудержимом порыве шли вперед.

– Ура-а-а!... Ура-а-а!.. А-а-а!

Рука загибалась, сталью мускулов охватывала, жала N-цев. Дрожащий, звонкий голос сквозь треск выстрелов прорвался с правого фланга:

– Взводный! Обходят нас! Обходят!

Цепь сорвалась и побежала. Барановский в оцепенении стоял на месте, смотрел, как бежали на него наступающие с винтовками наперевес и с лицами, перекошенными злобой. Подпоручик опять спрашивал себя и удивлялся: «Почему они так злятся? Откуда такая злоба?»

– Коли! Коли его – офицер! – донеслось до слуха Барановского, и совсем близко от себя он увидел двух красноармейцев, с тонкими, как жала, штыками. Точно кто повернул офицера кругом, толкнул в спину, и он побежал легко и быстро, как молодой олень, совершенно не чуя под собою ног. Сзади, в вечерних сумерках, вспыхивали выстрелы, и пули жужжали близко-близко от лица, обдавая его быстрым, коротким, горячим дыханием. Барановский бежал и видел, как впереди него и слева и справа мелькали темные фигуры солдат его роты, видел, как днем, что многие из них торопливо падали на землю, дрыгали ногами, махали руками или валялись как снопы и сразу застывали в мертвой неподвижности. Как сотни дятлов, налетели на лес пули и долбили деревья острыми металлическими носами, и визжали, и свистели тысячами голосов в буйном вихре уничтожения. В чаще кустов завяз раненый и кричал непрерывно тонким голосом, полным ужаса смерти:

– Братцы, не оставьте! Не оставьте!

### ***13. ВО ИМЯ ГРЯДУЩЕГО***

Маленькие окна, смотревшие на задний двор, подернулись серой пылью. Высокая помойка черным грязным ящиком загораживала их наполовину. В комнате было почти темно. У печки, на лавке, плакала сгорбленная фигура. Худые, согнутые плечи дрожали под рваной рыжей шалью. Слезы мочили синюю облезлую юбку.

– Ты, Анна, зря не реви. Я тебе прямо скажу, толку не будет. Раз решено, что уйду, значит, уйду.

– Что ты, сбесился, что ли, на старости лет? Что ты делаешь с нами? Как мы жить будем?

– Посobie дадут.

– Что мне твое пособие. А как убьют, так что мне в пособии-то толку?

– Сын подрастет, кормить будет, да и советская власть не оставит, обеспечит на всю жизнь.

Русые волосы Вольнобаева, почерневшие от копоти, торчащим пучком падали ему на брови. Корявые руки с сухими пальцами нервно сжимали колени.

– Пойми ты, не могу я не идти. На собрании первый орал, что все пойдем, а теперь вдруг в кусты спрячусь. Никогда!

Женщина всхлипывала, утиралась кончиками головного платка.

– Всю германскую войну с мальчишкой одна-одинешенька мучилась, еле дождалась тебя, каменного. И теперь вот опять, – голова женщины бессильно тряслась, – носу не успел показать домой, бежишь. Подумай ты, бесчувственный, зачем пойдешь? Кто тебя тянет? Ну, в германскую мобилизовался, ничего не сделаешь. А тут что? Ведь никто не тащит. Сам лезешь.

– Замолчи, дура, ни черта ты не понимаешь!

– Папа, не ходи на войну.

Митя подошел к отцу, опустил головку. Большие глаза ребенка блестели слезами. Рабочий прижал к себе сына, обожженной, грубой рукой стал ласкать. Мать плакала. В вечерних сумерках комната совсем утонула. Окна двумя тусклыми квадратами прорезали черную стену.

– Нельзя, сынок, не иди. Все, кто может, должны идти.

– Папа, не ходи, тебя убьют.

– Может быть, и не убьют, сынок, а идти нужно. Ты, может быть, не поймешь меня, но я скажу тебе, родной, что мы, рабочие, должны идти, чтобы в будущем, по крайней мере хоть детям нашим, вам вот, жилось лучше. Ну посмотри, сынок, как жили мы до сих пор. Всегда впроголодь, день и ночь на работе. Квартира – вот подвал этот. Захвораешь, как собаку выгонят, рассчитают. Теперь счастье улыбнулось нам. Мы захватили власть, и мы должны ее удержать и укрепить.

Жесткая рука Вольнобаева задевала за мягкие волосы Мити.

– Мы, сынок, зла никому не желаем. Мы и воюем-то только потому, что господа заводчики и фабриканты не захотели помириться со своим новым положением разоренных богачей. Мы хотим, Митя, так жизнь устроить, чтобы все были довольны, все были богаты, у всех было всего вдоволь. Мы хотим, чтобы все жили в больших, светлых, просторных комнатах, домах, чтобы люди работали не восемнадцать часов в сутки, чтобы они свое свободное время могли бы провести по-человечески. – Жена стала всхлипывать совсем тихо. Митя слушал отца, не отрываясь, смотрел в маленькое пыльное окно.

– Если мы разобьем всех наших врагов, то я смогу быть спокойным, сынок, за твою судьбу. Я буду знать тогда, что ты не станешь надрываться на фабрике с утра до ночи. Нет. Ты пойдешь учиться. Двери школы будут для тебя открыты.

Мальчик забыл, для чего он подошел к отцу, его детское воображение было возбуждено мечтами взрослого человека.

– Папа, у меня будет много книг? И с картинками?

– Много, сынок, много, всяких, и с картинками, и без картинок.

– Ах, это очень интересно.

– Да, да, сынок, еще немного, и мы будем хозяевами жизни. Мы пойдем, мы, старики, пойдем умрем, чтобы вам только, детки, жилось хорошо.

Вольнобаев вздохнул. Мать заплакала громко. Митя надул губки.

– Зачем ты, папа, хочешь умирать? Не надо.

– Да я и не хочу, сынок, я так это, к слову пришлось.

– Я с Митей на рельсы лягу. Коли поедешь, так через нас переедешь.

Вольнобаев встал, тяжело ступая, подошел к жене.

– Анна, не дури, много терпела, немного-то уж подожди. Вернусь, не пожалеешь, что съездил. Перестань реветь сию же минуту. Надо собрать кое-что в дорогу.

Утром рано пришли несколько товарищей Вольнобаева, записавшихся вместе с ним добровольцами на фронт. В комнате стало шумно и тесно.

– Ну што, Вольнобаиха, ревешь, поди? – спрашивал низкий, широкоплечий Трубин.

– Хорошо тебе, лешему, зубы-то скалить, коли у тебя ни кола ни двора, ни жены – никого нет.

– Може, у меня тоже кто есть, да што?

– Ничего, нечего лясы-то точить. Людям слезы, а ему смех.

– Очень даже это глупо с вашей стороны, товарищ Вольнобаева, плакать. Другая бы на вашем месте радовалась, что муж у нее такой герой.

Трубин ударил по плечу Вольнобаева, завязывавшего дорожный мешок:

– Эх, Степа, не понимают нас бабы. Нет у них этого кругозора, широты-то нет. Дальше своей юбки ничего не видят. Эх-хе-хе!

– Да, далеко еще до того времени, когда нас все поймут!

Степан с усилием стягивал веревки.

– А понять должны ведь, Степа. Когда-нибудь поймут, оценят. Не все же на нас будут плевать да дураками крестить. Правда, Степан?

Рыжий Мельников бурчал в угол:

– Нечего спрашивать, и так ясно. В настоящем мы боремся, нас многие не понимают, даже вот жены и те, но будущее наше. – Кудрявый Клочков сел на лавку.

– Стоит ли, товарищи, говорить о том, понимают нас или нет. Пусть кто как хочет, так и смотрит на нас. Мы свое дело знаем и доведем его до конца.

– Да.

– Непременно.

– Или умрем, или победим.

– Нет, мы победим. Мы будем жить. Мы будем счастливы. Мы боремся за лучшее будущее.

Вольнобаев кончил сборы, разогнул спину, потянулся.

– Два мира, товарищи, сошлись в смертельной схватке. Сомнений нет: победит новый. Мы, мы, товарищи.

Рабочий подошел к сыну, еще не встававшему с постели:

– Ну, прощай, сынок. Будь здоров, жди отца. Приеду, вернусь – заживем с тобой на славу. Ты в школу будешь ходить по утрам, я на работу, а вечером читать вместе будем, в театр пойдем, в клуб. Идет?

– А книг привезешь, папа?

– О сынок, книг будет много, каких только хочешь.

– Я хочу, папа, учиться паровозы делать.

– Хорошо, сынок, приеду – всему научимся. Все будем делать. Делать нам много надо, родной. Мир весь, жизнь всю заново построить. Ну, прощай, подрастешь, все поймешь.

Вольнобаев поцеловал мальчика в губы. Рабочие стали выходить из комнаты, затопали по лестнице.

– Прощай, Анна! Провожать не ходи, лишние слезы.

Анна прижалась к мужу:

– Степа, отпиши поскорее, пропиши, где будешь, да на побывку приезжай.

Женщина говорила слабым, упавшим голосом, она примирилась за ночь с неизбежностью разлуки, будущими днями томительной неизвестности за судьбу близкого человека.

Город еще спал. Крепкий стук сапог будил утреннюю тишину улиц. Черные фигуры добровольцев с мешками за плечами толпой шли к сборному пункту. Лица были строги и серьезны. Глаза уверенно смотрели на дорогу. На стенах домов, на заборах белели листики. Черные строчки горели огнем. Звали к бою. Последнему, страшному, неизбежному и освобождающему. Добровольцы пошли в ногу. Сомкнулись плотней. Город спал. Из темных щелей полуоткрытых окон на улицу лился вонючий воздух спален, грязного белья и нечистот. Клочков шел и, улыбаясь, шурился на красный кусок неба.

– Там восток?

– Восток.

– Мы туда.

– Он будет наш.

– Мы победим! Клочков обернулся назад, сверкнул рядом белых зубов.

– А хорошо, товарищи, эдак идти. Мне петь хочется и стихи писать. Душа вот прямо рвется, дрожит. Хорошо!

Доброволец глубоко вздохнул. Солнце всходило.

#### ***14. ГЕНЕРАЛЫ И ПОЛКОВНИКИ-КОММУНИСТЫ***

После ряда крупных боев на участке N-ской дивизии наступило затишье. Люди отдыхали. Первый N-ский полк стоял в дивизионном резерве. Мотовилов с Барановским лежали на солнце около винтовок, составленных в козлы. Фома на костре кипятил чай. Саженьях в двухстах от офицеров плотное кольцо солдат окружило аэроплан, у которого возился авиатор француз.

– Я, Иван, в германскую войну вольнопером служил, видал виды, но скажу тебе прямо, что так гадко, как здесь, я себя никогда там не чувствовал, так у меня нервы еще не трепались, – говорил Мотовилов. – Обстановка этой войны – сплошной кошмар. Черт знает что такое – вступаешь в бой и не знаешь, кто у тебя сосед справа, кто слева. Нет уверенности, что там устойчиво, что тебя не обойдут. Хорошо, если из штаба сообщат хоть об одном соседе. Ну, а о другом-то мы сами догадаемся. Как только скажут, что сосед справа неизвестен, уж так и знай, либо Николай угодник, либо красные.

Аэроплан плавно поднялся вверх, разорвав кольцо солдат, треща мотором, полетел в сторону первой линии. Барановский молча курил, смотрел на облака, серыми клочками пуха плывшими по небу.

– Вообще ничего в этой войне нет похожего на ту. Артиллерии мало, о позиционной борьбе и речи нет, техника вообще слаба, но страху гораздо больше. Я никогда, например, в германскую войну не боялся попасть в плен, а тут холодею от одной мысли только засыпаться к красным. Какая тут к черту техника, обученность солдат, когда и мы, и комиссары во время боя стоим в цепи, расхаживаем, даже на лошадях ездим, и ничего. Попадают в нас очень редко. Нервность какая-то чувствуется у всех, стойкости почти никакой, панике все поддаются очень легко. Нет, тут в этой войне не оружие играет первую роль, а что-то другое, какие-то непонятные для меня духовные причины. Все теперешние наши победы и поражения построены на чем-то внутреннем, неуловимом. Я прямо даже затрудняюсь объяснить, что это такое. Почему мы иногда бежим после двух-трех минут перестрелки и другой раз держимся днями в самой отвратительной обстановке? Помнишь, под Шелеповым три дня в болоте лежали под каким обстрелом?

Барановский не ответил. Фома снял котелок, стал разливать чай. Пили долго, молча. Мотовилов клал себе в кружку сахар по несколько кусков. Аэроплан вернулся из разведки, с треском опустился на прежнее место. От нечего делать офицеры побрели к нему. Француз снял теплую шапку, стоял с открытой головой и, поправляя пенсне, рассказывал на ломаном языке обступившим его солдатам о своих впечатлениях во время полета:

– Видите пуль, пуль. Красный пуль!



Летчик показывал на крылья своей стальной птицы, сплошь изрешеченные пулями.

– Жаль гранат не взял. Револьвер пук, пук!

Пухлая белая рука француза трясла черный браунинг с закопченным стволом. Агитатор вытащил из рукоятки пустую обойму.

– Все пуль пук, пук. Красных пук, пук. Жаль, жаль гранат не было. Много красный, можно было пук, пук.

Барановский брезгливо опустил концы губ.

– Не люблю я этих французов. Каждый из них приехал с собственным аэропланом, приехал, как на охоту, дикарей русских пострелять. Черт знает что такое. Видишь, его послали возвания раскидывать на фронте, а он увлекся, стрелять стал из револьвера. Жалеет, что гранат не было, гадина упитанная. Не перевариваю этих жуиров, искателей приключений, охотников за черепами.

– Нечего здесь философствовать, Иван, по-моему, чем больше с нашей стороны дерется, тем лучше. А как и кто, не все ли равно.

Солдаты разглядывали машину, щупали круглые дырки в тонких пленках крепких крыльев.

В обед офицеры поехали в штаб дивизии на доклад пленного командира красной бригады. По приказанию Мочалова, пленный информировал офицеров о строительстве Красной Армии, об условиях, жизни в тылу, в Советской России. Эти вопросы живо интересовали офицеров, и каждый с нетерпением ждал очереди своей группы. Ездили на доклад по несколько человек, группами, так как всех нельзя было снять из части. Мотовилов ехал с Барановским в одном ходке, на собственной лошади, захваченной его ротой в последнем бою. Мотовилов ехал и злорадствовал:

– Вот, воображаю, порядочки-то у красных. Вот уж, наверно, балаган-то развели товарищи.

– Не думаю, – неопределенно возражал Барановский.

– Чего там, не думаю, – сердился Мотовилов, – забыл разве? Не жили, что ли, мы при них в 17-м году?

– Теперь не 17-й, а 19-й, Борис.

– Все равно, один черт. Я думаю, что и в 19-м году кашевар не сможет командовать полком, а волостной писарь вести дипломатическую переписку с соседними державами.

– Не знаю, – задумчиво тянул Барановский. Мотовилов разозлился.

– Это черт знает на что похоже, Иван. Неужели ты думаешь, что эти сиволапые всему выучились за два года? Разве я когда-нибудь поверю тому, что можно в два года выучиться командовать армией и управлять огромной страной? Ерунда! Никогда этого не может быть!

Офицер злобно ткнул кулаком в спину своего вестового, сидевшего на козлах.

– Куда ты, олух, едешь? Я же тебе приказывал к школе, а ты к попову дому поехал, болван.

Кучер сделал небольшой круг на площади и остановился у дверей школы.

Докладчик, пожилой полковник, уже пришел и стоял за кафедрой, сверкая новенькими золотыми погонами.

– Скотина, уже успел нацепить два просвета, – ворчал Мотовилов, садясь за парту, и мысленно продолжал: «Я бы ему, мерзавцу, никогда не позволил погоны надеть. Пускай носил бы свои красные тряпки, чтобы видели все, что он за птица. Я бы ему красную звезду в пол-аршина на спину нашил и заставил бы так ходить».

Докладчик начал:

– Господа офицеры, прежде чем приступить к развитию моей сегодняшней темы – Советская Россия и Красная Армия, – должен предупредить вас, что я даром слова не обладаю, а потому прошу задавать мне вопросы обо всем том, что я пропущу или не сумею передать связно.

– Заправляет Петра Кириллова Зеленого: «Говорить не умею!» – поди насобачился на митингах-то в Совдепии, – язвил вполголоса Мотовилов.

– Ну-с, мы, конечно, здесь, господа, одни, без свидетелей, и стесняться не будем. Смело вскроем наши недостатки, разберемся в них, проведем небольшую параллель между нами и ими, – полковник показал рукой на запад. – Должен сказать, господа, что воюете вы скверно. Уж я подставлял, подставлял вам свои фланги, думаю, пускай потреплют товарищей. Нет, как нарочно, с вашей стороны полнейшая бездеятельность. Тогда я плюнул и просто один, со штабом, приехал к вам.

– Врешь, – довольно громко сказал Петин.

– Однако, не обижайтесь, господа. Это я сказал только потому, что хотел пояснить вам, как ваш покорный слуга попал из Совдепии в Сибирь.

Полковник слегка наклонил голову и приложил руку к груди. Аудитория молчала.

– Начнем с главного. Вся Советская Россия объявлена осажденным военным лагерем, а раз так, то вся жизнь в стране регулируется строжайшей железной дисциплиной. (Офицеры обменивались недоумевающими взглядами). Не удивляйтесь, господа, – заметил докладчик, – Советская Россия совсем не то, что знали вы в 17-м году. Из хаоса разрушения на обломках старого теперь воздвигается новое здание государственного порядка. И надо отдать дань должного нашим противникам-большевикам: в деле государственного строительства они преуспевают. Единая руководящая идея кладется ими в основу всей жизни Республики, все для победы над буржуазией и разрухой, все для борьбы. В этом они, пожалуй, похожи на немцев, которые в свое время говорили: «Все для отечества, все для кайзера». Если хотите, господа, они и проводят в жизнь, осуществляют свои идеи с немецкой методичностью и упорством. В этом отношении

отличаются особенно коммунисты, которые стали теперь совершенно непохожими на прежнего русского человека с ленцой и почесыванием затылка. Работа, работа и работа – вот их лозунг! Страна – военный лагерь, ну, а в лагере ведь живут солдаты, следовательно, в Советской России все граждане – солдаты, только не боевой армии, а трудовой. Так они и называются: солдаты или работники Великой Армии Труда.

– Скажите, полковник, – перебил докладчика какой-то капитан, – трудовая армия разбита так же, как и красная, на роты, батальоны?

– Как вам сказать, не совсем так. Трудящиеся там организованы в профессиональные союзы, и вот эти-то профессиональные союзы считаются такими ротами, батальонами, бригадами, которые выполняют разные боевые задачи на трудовом фронте.

– Значит, профессиональные союзы есть вторая советская армия теперь? – спросил опять капитан.

– Вот именно так. Да, да это верно, – подтвердил полковник. – Профессиональные союзы теперь являются экономическим фундаментом Республики. Все они выполняют определенные задачи центра, так что работа по изготовлению разного рода продуктов носит строго организованный характер. Все производство организовано в общегосударственном масштабе и регулируется, конечно, с одной стороны, потребностями Республики, а с другой – наличностью запасов топлива, сырья, рабочей силы. В последние трех там большой недостаток. Но все же, поскольку имеется в их распоряжении всего этого, постольку там и идет работа. Фабрики пущены. Не все, правда, и не полным ходом, но все же прежней безалаберности в этой области нет. Ни о какой товарищеской дележке фабричных механизмов, как то наблюдалось в 17-м, начале 18-го годов, и помину нет. Митинговый большевизм уже изжил себя. Самое важное, господа, то, что производство организовано у них, конечно, не вполне еще, но уже во всяком случае оно в крепких руках государственной власти. Я считаю, господа, огромным завоеванием и победой красных тот факт, что промышленность, производство в Советской России в целом не пали и не падают. И если не двигаются вперед, то удерживаются от гибели главным образом за счет трудового героизма масс, за счет повышения их сознательности. Когда адмирал Колчак был по ту сторону Урала, а генерал Деникин развивал свое наступление, Советская Россия буквально варилась в собственном соку: ни топлива, ни хлеба, ни сырья не было, и все же красные отбили наступление и с юга, и с востока, и с севера. Сделали это они потому, что на их стороне были трудовые массы, потому, что к тому времени у них было так или иначе налажено производство и распределение и организован, отлично организован, аппарат государственной власти. Да, господа, у красных теперь, несомненно, есть сильный, недурно организованный государственный аппарат, промышленность и армия. На последнем вопросе, вопросе о Красной Армии, ее организации я останавливаюсь подробнее.

Офицеры сидели, внимательно слушая, и не знали, верить или не верить полковнику. Многим из них казалось невероятным, чтобы в Совдепии мог быть какой-нибудь порядок, а тем более дисциплина, да еще трудовая.

– Для борьбы с разрухой у Советской России есть трудовая армия, для борьбы с буржуазией, выражаясь модно, с Антантой, – Красная Армия. Красная Армия, как и

трудовая армия, спаяна железной дисциплиной, причем дисциплина там не только, как говорится, сверху, но и снизу. Командирам, комиссарам в бою и в строю беспрекословное подчинение, за слушание или умышленное неисполнение приказа, невыполнение боевой задачи – тягчайшая кара, вплоть до расстрела. Кроме того, неисполнительного, неаккуратного красноармейца тянут свои же товарищи. Здесь нужно отметить роль коммунистов: они именно, организованные в ротные ячейки, и являются такими сознательными воинами, которые тянут за собой всю красноармейскую массу, налаживают эту дисциплину снизу. Красная Армия тем и отличается от всех других, что в ней дисциплина не только сверху, внешняя, но и внутренняя, снизу, сознательная. Дисциплинированность масс в армии наших врагов создается общими усилиями командного состава и самих красноармейцев, и основывается она не только на насильственных мерах воздействия, но и на поднятии культурного уровня солдат. В Красной Армии организован, как нигде, аппарат по политическому воспитанию солдатской массы, по поднятию ее сознательности. Государство затрачивает на культурно-просветительную и политическую работу в армии огромные средства. Красная Армия вся оплетена сетью политических и просветительных организаций, учреждений с громадным кадром работников. Прежде чем пустить стрелка в цепь, красные обрабатывают его, обучают не только военному делу, но и политической грамоте. Воспитание солдат там сводится к тому, чтобы каждый из них, когда ему будут командовать направо, налево или вперед, не только бы слепо выполнял приказания командира, но был бы убежден, знал бы твердо, что ему нужно именно идти туда, а не сюда. Красные так воспитывают своих солдат, что когда им скажут о назначении их на фронт, о выступлении на позицию, то каждый знает, что туда идти ему нужно, что идти и драться он обязан и не за страх только, а и за совесть. В этом огромная, страшная сила Красной Армии.

Полковник, человек военный до мозга костей, говоря о сильной и организованной армии, невольно любовался ей, от этого речь его делалась живей, начинала захватывать слушателей. В школьном классе было тихо. Все с напряженным и все возрастающим вниманием следили за докладом.

– Для культурно-просветительной работы в армии красные мобилизовали лучших работников, стянули лучшие партийные силы. Для постановки же чисто технической, военной стороны дела привлечены специалисты старой школы. Почти весь наш генеральный штаб теперь работает в Красной Армии.

– Прохвосты! Продажные шкуры! – закричало несколько голосов с мест.

Полковник немного смутился, покраснел, опустил голову, стал искать в карманах портсигар.

– Все специалисты великолепно обеспечены, в их распоряжении удобные и большие квартиры, выезды, прислуга, им платят огромные оклады. Для привлечения их к работе красные не скупятся на расходы.

– Покупают подлецов, как продажных тварей, – опять крикнул кто-то с места.

– Но есть, господа, и среди военспецов, как их называют красные, среди военных специалистов, люди, работающие в армии не из-за материальных выгод, не из страха, а по убеждению, есть среди них и настоящие коммунисты, члены Российской Коммунистической партии.

– Ерунда. Не может быть. Полковники, генералы – коммунисты! Ха, ха, ха! – заволновались, зашумели слушатели.

– Негодяи, предатели, от них всего можно ждать. Пошли в Красную Армию – полезут и в партию. До чего мы дожили! Генералы без погон, члены партии большевиков и дерутся против таких же генералов, дерутся за власть, за торжество этой серой скотинки. Боже мой, боже мой!

Подполковник Иванищев схватился руками за голову, обращаясь к докладчику, стал извиняться:

– Виноват, полковник, перебил вас, но, знаете, сил нет слушать, когда говорят о таком подлом предательстве.

Докладчик закурил папиросу и молча, как бы соглашаясь с говорившим, кивал головой.

– Опыт старых специалистов широко используется красными. Они заставляют их не только работать непосредственно в армии, но и создавать кадр новых красных специалистов и командиров. Красные военные училища, или школы командного состава и красная академия генерального штаба там работают всюду. Нужно сказать, господа, что в деле организации и строительства армии красные оказались на высоте своего положения. Широта размаха, предприимчивость, поощрение всякой разумной инициативы в какой бы то ни было области – вот отличительные черты наших противников. Куда бы вы ни взглянули, господа, какую бы область их работы ни взяли – везде вы поражаетесь грандиозностью и глубиной замысла.

– Ну, а скажите, господин полковник, – поднялся Мотовилов, – кашевары у красных командуют полками?

Полковник улыбнулся.

– С этим дело обстоит так: выборность командного состава отменена в армии, так что красноармейцы, если бы и хотели видеть своего кашевара в роли командира полка, не могли бы этого сделать, так как назначают на такие должности людей, знающих военное дело. Но, однако, это не исключает совершенно возможности вчерашнему кашевару стать начальником дивизии. И в Красной Армии есть несколько теперь уже славных имен командиров, выдвинувшихся своей талантливостью из рядов солдатской массы. Здесь красные занимают совершенно правильную позицию: с одной стороны, дают возможность талантам, самородкам применить свои силы, а с другой – создают кадр командиров и работников путем обучения в школах, на курсах.

– А офицеры жида есть у красных? – полюбопытствовал подпоручик Петин.

– Командиры евреи, конечно, есть, их даже очень много. Евреи, господа, в Красной Армии – большая сила. Нам пора уже забыть старые анекдоты, что евреи стреляют из

кривых ружей. Я вам скажу, господа, по личному опыту, что евреи очень серьезные враги, дельные, энергичные, смелые. Когда, например, у меня комиссар был русский, я чувствовал себя ничего. Мы с ним сжились, свыклись, официальностей у нас никаких не было. Откровенно говоря, я его заставлял частенько под свою дудочку поплясывать. Но потом его сменили за слабохарактерность – так, кажется, было мотивировано смещение. Его убрали, а ко мне прислали жида, этот прямо задушил меня, буквально не спускал с меня глаз, я шагу не мог сделать без его ведома.

В класс вошел начальник штаба и, извинившись перед докладчиком, передал офицерам приказание начальника дивизии немедленно отправиться в полк, так как было получено распоряжение сегодня же к вечеру перейти в наступление. Офицеры неохотно встали. Докладчик, сходя с кафедры, напомнил слушателям:

– Не забывают, господа, что теперь на фронте вы имеете дело не с бандой товарищей, а с хорошо организованной армией. У красных теперь, повторяю и подчеркиваю, есть государство и армия.

На крыльце офицеры немного задержались, окружив полковника, задавали ему вопросы:

– Скажите, вот мы теперь имеем дело с серьезным врагом, ну, а как же бороться с ним? И неужели в Совдепии все обстоит так благополучно, как говорите вы? – спрашивал полковник Иванищев.

– Далеко нет, господа, – отвечал докладчик. – Я и не говорю этого, вернее, я не успел поговорить об этом с вами. Разве можно обойти молчанием то обстоятельство, что у красных с голода животы подводит? Или, например, разве не благодатная почва для нашей агитации незаглохшие собственнические инстинкты советского крестьянина? Много можно, господа, найти в Советской России такого, за что легко уцепиться и начать борьбу. У меня, собственно говоря, даже разработан небольшой план борьбы с красными в их тылу, но, к сожалению, я не имею времени его вам развить пошире, поговорить на эту тему.

Офицеры стали садиться на лошадей. Мотовилов опять ехал вместе с Барановским.

– Полковник этот просто-напросто красный шпион, провокатор, подсланный к нам. Я бы его, мерзавца, после доклада сейчас же повесил. Черт знает, что за медные лбы сидят у нас в штабах. Не понимаю. Явного шпиона пускают так свободно гулять да еще позволяют ему разводить агитацию.

– Ну, ты, Борис, уж очень подозрителен и нетерпим. Нужно же иметь смелость, наконец, чтобы оценить врага по достоинству. Недооценка противника – скверная вещь, – возразил Барановский.

Ехали шагом, дорога была скверная, колеса вязли в грязи по ступицу. Шел мелкий дождь, и лошадь с трудом вывозила из огромных выбоин тяжелый ходок. Офицеры замолчали. Барановский смотрел на водяные пузыри, вскакивавшие в лужицах от ударов дождевых капель, и думал о том, что услышал сейчас в школе, что так глубоко врезалось в память.

– Я всю эту интеллигенцию, все офицерье, которое работает у красных, истребил бы поголовно. Предатели. Не будь их, мы давно бы загнали обратно в хлевы послушное и бестолковое стадо большевиков. Негодяи! – Мотовилов плюнул и злобно выругался. – Ну, погоняй, олух царя небесного, – закричал он на кучера.

## ***15. ЯРКИЕ ЛОСКУТКИ***

Ночью пошли в наступление. Барановский за время своего пребывания на фронте втянулся в боевую и походную жизнь, привык не рассуждая идти в огонь и воду, привык обходиться без бани, без чистого белья, без теплой комнаты, привык спать днем и бодрствовать ночью и обедать утром, на заре, перестал замечать копошащихся в платье и белье насекомых, заводившихся даже под погонами. Подпоручик спокойно шел сзади густой цепи своей роты по картофельному полю. В голове мыслей не было, думать не хотелось, какое-то тупое равнодушие, покорность скотины, которую гонят на убой, овладели офицером. Он шел, заранее зная, что через несколько минут произойдет встреча с противником, что скоро заблестят огоньки выстрелов, засвистят пули, и люди будут со злобной яростью кидаться друг на друга, кто-нибудь кого-нибудь погонит, разобьет, бой утихнет, а потом разбитый получит подкрепление и снова кинется на победителя, снова загорится перестрелка, и так каждый день. Так было все время до сегодня, и Барановский был убежден, что так будет до тех пор, пока его ранят или убьют.

– Хоть бы скорее стукнуло, и баста, – вслух сказал офицер.

Роты Мотовилова и Барановского соприкасались флангами. Мотовилов, идя совсем недалеко от Барановского, услышал сказанную им фразу.

– Да, это ты верно сказал, Ваня. Царапнуло бы по ноге и отлично. Я согласен хоть с раздроблением кости. Все равно. Поехал бы тогда на восток лечиться, пришел бы в училище и точно бы прошелся на костылях перед бывшим начальством.

Два офицера шли в темноте и долго вслух мечтали о том, как бы получить ранение и уехать в тыл отдохнуть. Деревня, занятая противником, была уже близко. Мотовилов замолчал и быстро пошел на другой фланг своей роты. Цепь пошла тише, осторожней. Щелкнули затворы. Ноги стали заплетаться через борозды. Испуганно и гулко треснули выстрелы красных секретов, за ними предостерегающе захлопали полевые караулы. Застучали макленки. Огоньки заблестели по полю, яркой, светящейся цепью рассыпались вдоль деревни. Белые остановились, залегли, брызнули, засверкали тысячами ответных огоньков. С басистым рокотом и ревом ухнул в деревню первый снаряд и сразу же поджег какую-то избу. Яркие языки лизнули крышу, метнулись вверх, осветили улицу багровым, мятущимся светом. Заревели коровы, заблеяли овцы, и люди засуетились, заметались в страхе. Снаряды стали сыпаться очередями, разворачивая, поджигая все новые и новые дома. Пожар усилился, деревня пылала, как большой костер, а по сторонам от нее вправо и влево вспыхивали огоньки выстрелов, и казалось, что это мелкие угольки летят с треском с пожарища, огненным дождем рассыпаются по полю. Без звука, без крика встали белые цепи и пошли в атаку, как верные псы зубами, защелкали пулеметы и, высунув свои

горящие, длинные языки, жадно лизали темноту ночи. Точно ветер налетел на длинную цепь светящихся угольков, начал тушить их и разбрасывать по сторонам. Люди, тяжело топая, бежали вслед за летящими, перепутавшимися, смешавшимися в кучу угольками. Ветер сердито ревел и разметывал по полю целые головни огня. Стали рваться ручные гранаты. Деревня была взята. Рота Мотовилова захватила в плен комиссара полка, в одну минуту раздела его донага, вывернула все карманы.

– Иван, Иван, – кричал на ходу Мотовилов, – мои-то ничего себе кусочек подцепили – комиссара, денег николаевских здоровущую пачку вытащили, кожаное обмундирование сняли, браунинг, бинокль.

Барановский спешил за цепью: нужно было быстро захватить и соседнюю деревушку.

– А куда самого комиссара-то дели? – закричал он.

– Черт их знает, не то живого, не то мертвого, видел только, как они его в горящую избу шарахнули.

Следующая деревушка была взята коротким, быстрым ударом. Красные, не ожидая такой стремительности наступления, беспечно спали в избах. Рота Барановского ворвалась в улицу первой. Офицер, едва поспевая за стрелками, видел, как они бросали в окна гранаты, забегали в дома и оттуда слышался дикий визг, точно там резали свиней. Солдаты Барановского, заскакывая в избы, принимали на штыки красноармейцев, прыгавших в одном белье с полатей, с печек и валили их окровавленные тела кучами на пол, под ноги обезумевших от ужаса женщин и детей. Некоторые красные выбегали на улицу, но в белом нижнем белье их хорошо было видно и их кололи десятками. Улица была захвачена N-цами с двух концов. Застигнутые врасплох, люди металась через заборы, плетни, но быстрые, тонкие жала штыков догоняли их, и они висли белыми тенями на изгородях, падали на дорогу. Пройдя деревню, остановились на ее западной окраине, окопались. Барановский приказал своему полуротному собрать сведения о количестве выбывших из строя, а сам лег около плетня, думая немного уснуть. К нему подошел высокий, широкоплечий стрелок Черноусов:

– Вот так жара, г-н поручик, красным-то была. Я сам семерых в одной избе только приколол. Забежал я, значит, а они тамоко еще спят, потом как начали с полатей прыгать, а я их на штык, на штык. Одного в пузо кольнул, так на всю избу зашипел дух-то из него. «Пшшш», – представил Черноусов, как он выпускал из красноармейца дух. – А хозяйка-то визжит, батюшки мои, ребятишки орут, а я их валю, я их валю, как свиней, в кучу, на пол. Ну и потеха!

Солдат махнул рукой, стал закуривать.

– Не кури, – запретил Барановский. – Заметят, так будешь знать, как ночью в цепи курить.

Справа неожиданно звонко хлестнул огненный жгут. В несколько мгновений фланг N-цев был смят. Цепь метнулась влево, запуталась, прижатая к плетню, вынуждена была принять стремительный штыковой удар противника. Зарево пожара красным пологом трепалось в небе. Барановский, выбегая перед ротой навстречу врагу, вдруг увидел на плечах атакующих яркие лоскуты красных погон.



– Что за дьявольщина? Свои? – молнией метнулась мысль в голове офицера.

Он хотел крикнуть, остановить свою цепь, разъяснить всем, что здесь недоразумение, что свои сейчас начнут истреблять своих. Голоса не было, он слабым стоном, хрипло, вылетел из груди и сейчас же, никем не замеченный, был растоптан, заглушен ревом бойцов:

– Ура! Ура! А-а-а!

Подпоручик видел, как офицеры и солдаты с той и другой стороны с яркими лоскутами погон на плечах бежали друг на друга, как сумасшедшие, с широко раскрытыми, слепыми глазами. Тяжелый сапог больно рванул за волосы на затылке. Подпоручик с усилием приподнялся на локтях. Голова ныла. Цепи сошлись. Винтовки трещали, ломались в руках от встречных ударов. Штыки с хрустом прокалывали грудные клетки, с шипением распарывали животы. Смертельно раненные с воем валились на землю. Мнимые враги узнали друг друга только через несколько минут после жестокой схватки. Когда цепь Н-цев снова легла у плетня, многих стрелков в ротях не хватало. Мотовилов получил Царапину штыком в левую щеку. Сидя рядом с Барановским, он ругался и прижимал платком горящий шрам.

– Вот тебе и связь. Черт знает что такое. Кавардак.

Барановский лежал и, думая о кровавой стычке, вспоминал слова своего лектора по тактике:

– Внешние знаки отличия, форма, господа, в глазах малокультурной солдатской массы имеет огромное значение. Разные яркие лоскутки, тряпочки, галунные нашивки в виде погон, петлиц, кантов, шнурков, ордена, кокарды, звезды влекут к себе сердца серых мужичков. Мы должны воспитать солдат в духе любви и преклонения перед этими побрякушками. Мы должны убедить солдата, что только в его полку, лучшем полку из всей армии, есть красные петлицы с черным или белым кантом. Мы должны убедить его, что он счастливее, если носит на штанах золотой галунный кант. И верьте, господа, если мы убедим его в этом, если сумеем заставить поверить нам, то в бою, на войне этот солдат за эти яркие лоскутки сложит без рассуждений свою голову, докажет, что его полк – лучший полк, единственный по доблести в армии, ибо он носит петлицы с черным кантом. Фетишизм живет в душе народа, это, господа, надо учесть и использовать широко и полно.

«Яркие лоскуты! – мысленно повторял подпоручик. – Яркие лоскуты! И из-за них, надев их, люди глупеют. Есть что-то в этом индюшиное, безмозглое. Но какая жестокая и верная теория. Яркие лоскутки, а за них жизнь!».

Перед рассветом разведчики привели двух пленных. Один левой рукой поддерживал правую с отрубленной кистью, у другого во все лицо красным ртом зияла сабельная рана, и кровь, смешиваясь с грязью, текла на гимнастерку. Оба они были мокры до костей и выпачканы в глине.

– Откуда это вы достали таких? – спросил Мотовилов.

– Из озера вытащили, господин поручик. Идем, слышим стон в тростнике. Мы цап – и поймали их. Говорят, что от казаков спрятались. Казаки их, значит, недорубили.

Мотовилов брезгливо смотрел на пленных.

– Ребята, – обратился он к ним, – может быть, вас пристрелить лучше? Чего вам мучиться?

Не то от холода, не то от страха молча дрожали красные и жались друг к другу.

– Вы еще молчите, мерзавцы, не хотите отвечать офицеру, я вот вам сейчас!

Мотовилов стал отстегивать крышку кобуры револьвера. Один побледнел так, что даже сквозь слой грязи было видно, другой с рассеченным лицом, совсем еще мальчик, заплакал.

– Ну, ну, испугался, щенок, – засмеялся офицер и, повернувшись к разведчикам, приказал:  
– Тащите эту дрянь в штаб полка.

Когда пленных увели, Мотовилов, стоя возле Барановского, возмущался, что казаки так скверно рубят.

– Не могли, черти, насмерть-то зарубить, упустили двух мерзавцев.

Фома ворчал недовольно:

– Стоит их в плен брать. Тоже, христосики смиренные, в слезы пустились, а как в окопе лежали, так только стукоток, поди, стоял, как отщелкивали нашего брата. Нет, мы вот это три дня на один полк ихний лезли, никак взять не могли, а как обошли их да заграбастали с фланку, так они все лапки подняли, мы, мол, братцы, давно к вам хотели перебежать. Сволочь! – Фома плюнул. – Конечно, мы их всех перекололи!

На рассвете разведка донесла, что красные густыми цепями приближаются к деревне.

– А много их? – спросил капитан, командир батальона.

– Видимо-невидимо, господин капитан, – не задумываясь, ответил разведчик.

Солдаты в цепи подняли зайца и, смеясь, как ребятишки, бегали за ним. Черноусое показал Мотовилову на высокие столбы пыли, стоявшие далеко в стороне красных.

– Смотрите, господин поручик, как копоть-то коптит у красных. Лезервы, похоже, подводят. Полезут, наверно, здорово.

Солдат разыгравшихся с трудом удалось уложить в окопчики, привести полк в боевую готовность. По цепи было передано приказание приготовиться.

Красные не заставили себя долго ждать, двумя большими цепями пошли они на деревушку, занятую Н-цами. Капитан посмотрел в бинокль.

– Ого! – сказал он, обращаясь к стрелкам, – много в кожаных куртках есть, видно, коммунисты. Смотри, ребята, тужурки не портить, целясь под козырек.

И, постояв немного, скомандовал:

– Тридцать! Редко начина-а-ай!

– Тридцать! Тридцать! Редко начинай! – передавали стрелки по цепи команду.

## ***16. ВСЕМУ МИРУ ИЛИ ТЕБЕ***

Гнет атамановщины в районе Медвежьего, Пчелина и Широкого становился с каждым днем все сильнее. Порки, расстрелы чередовались с виселицами, конфискациями и сожжением целых сел и деревень. Жизнь в местах расположения иностранных войск и группы атамана Красильникова стала опасной самому безобидному, чуждому всякой политики землеробу. Все крестьянство подозревало в сочувствии и содействии большевикам. Суда и следствия не существовало, их заменяло усмотрение начальства. Голословный оговор, анонимный донос или подозрение являлись достаточным основанием для приговора к смерти десятков людей.

Крестьяне бросали свои хозяйства, дома и с семьями уходили в тайгу, пополняли партизанские отряды. Остающиеся дома были запуганы до последней степени, до потери рассудка и здравого смысла.

В трех верстах от Медвежьего, в Черемшановке, на кладбище толпился народ. На краю большой, только что вырытой могилы стояли шесть мужчин и женщина, приговоренные к расстрелу. Отделение чехов заряжало винтовки. Коренастый рыжебородый мужик в белой рубашке, с усилием шевеля холодными, синими губами, говорил чешскому офицеру:

– Господин офицер, как же это вы так меня прямо без суда и следствия и в яму. Ведь понапрасну вы это. Надо обследовать бы сначала. Зачем губить человека? Мы думаем, таких прав нет, чтобы, значит, без суда и следствия, и готово дело.

Чех презрительно щурил глаза с белыми ресницами, надменно поднимал лицо.

– Ми – чешский комендант, ми имеем право повесить, расстрелять, арестовать.

Толпа, облепившая соседние могилы, стояла тихо, мигая черными, испуганными, неподвижными глазами. Жена рыжебородого, Дарья Непомнящих, сидела на зеленой могиле с грудным ребенком. Стоять она не могла, ноги у нее дрожали и подкашивались. Плакать она перестала. Слез не было.

– Ну, прощайся! Сейчас будем расстрелять! Приговоренные закивали головами. Родные бросились к ним.

– Нельзя! Офицер поднял руку:

– Не разрешается. Можно сдалека. Все равно! Женщина упала на колени, била себя в грудь.

– Господин офицер, последний разок дайте у мужа на груди поплакать. Ой-ой-ой! Как жить я буду, сиротинушка! Соколик ты мой ясный, Петенька. Разнесчастный мой ты, Петенька! Ой, ой, ой!

Лицо чеха стало раздраженно-холодным, нетерпеливая гримаса дернула розовые губы.

– Довольн! Нельзя! Ми начинаим!

Ребенок на руках у Дарьи проснулся, разбуженный криком матери, заплакал. Рыжебородый потерял жену из виду. Черные дырки винтовок ударили его по глазам. Солнце померкло. Мужик ослеп. Лица родных, толпу он перестал видеть. Могила за спиной стала глубже, шире, дышала сыростью. Осужденная женщина шумно вздохнула, захватила полную грудь воздуха. Тяжелый запах земли закружил ей голову. Она покачнулась. Брат, стоявший рядом, нежно обнял ее, поддержал и, целуя в похолодевшую щеку, тихо сказал:

– Держись, Маша! Вдвоем не страшно. Мужчина говорил ласково, но глаза его уже были мертвы, блестели острым стеклянным налетом, зрачки расширились и остановились. Офицер что-то шептал солдатам, показывая глазами на женщину, те кивали головами. Белая перчатка поднялась над фуражкой чеха. Приговоренные одновременно, медленно, с усилием, точно их кто потянул за шеи, подняли лица, уперлись тяжелыми взглядами в тонкую чистую руку в рукаве с белым обшлагом. Перчатка шевелила на ветру пустыми пальцами. Дула винтовок вздрогнули, расплылись в одну огромную черную дыру. Острый огненный нож сверкнул из железного мрака, проткнул грудь шестерых. Сбросили в яму руки и ноги, слабые, как плеть, и головы, закинувшиеся на спину. Женщина едва удержалась на ногах, присела на корточки и, опираясь о землю руками, ртом хватала воздух, как рыба, вытащенная на берег. Чех подошел к ней.

– Видель, сволочь! Больше не будешь бунтовать? Иди, сука, домой и расскажи всем, что большевиком быть плохо есть!

Женщина не поняла ни одного слова. Толпа опустила плечи. Кое-кто сел на землю. Головы валились на грудь. Дарья лежала без сознания. Ребенок плакал:

– Ааа! Уаа! Ааа! Ааа!

– Где есть старост? – крикнул офицер.

– Я здесь! – седая борода Кадушкина тряслась от страха.

– Закопайте этих разбойников. Хоронить родным не давайт. Ми проверим после!

Чехи торопились. Закинули винтовки за плечи. Сели на лошадей.

– Ми проверим, если хоть одного не будет в яме, то все село будет сожжен.

Офицер скомандовал по-чешски. Кавалеристы подняли сразу лошадей на рысь. Толпа шагнула на две стороны, дала дорогу.

Молчание сковало людей. В стороне Пчелина шел бой. Глухое ворчанье орудий раскатывалось по земле. Крестьяне вздохнули

– Чего же, ребята, зарывать надо!

Кадушкин мял в руках фуражку. Подойти к яме, заглянуть в нее было страшно и тяжело. Лопаты торчали на черном бугре, глубоко воткнутые в рыхлую землю еще расстрелянными. Перед смертью чехи заставили их вырыть себе могилу. Рыжебородый, раненный в бок, поднялся, сел. Теперь он хорошо видел окровавленные лица мертвых товарищей.

– Братцы, помогите!

Толпа вздрогнула, метнулась к яме, нагнулась над ней.

– Петя, милый, ты жив!

Радость надежды легко подняла женщину с земли.

– Братцы, выручите! О-о-о-х!

Кадушкина трясло.

– Михал Михалыч, надо веревки достать, вытащить мужика-то моего. Сам он, однако, не в силах будет вылезть.

Кадушкин молча жевал беззубым ртом. В подслеповатых глазах его пряталось что-то хитрое и трусливое. Мужики о чем-то задумались, не двигались с места, молчали. Лица слились в одно белое пятно. Мысль беспощадная куском льда залегла в голове толпы. Лбы покрылись холодным потом. Петр, истекая кровью, згбко вздрагивал. Толстая, жирная глиста, разрезанная лопатой, крутилась у него на сапоге. Раненый старался не смотреть на нее, но она упорно лезла в глаза, росла, извиваясь толстым жгутом. Молчание и неподвижность толпы заледенили воздух. Стало холодно, как зимой. Дарья посмотрела кругом, сердце у нее упало, заколотилось, в ушах зазвенело, она поняла:

– Что вы, звери, опомнитесь! – закричала женщина и задохнулась.

Толпа, единодушная в своем решении, серая, безглазая, навалилась ей на грудь. Тишина треснула, как льдина.

– Рассуди, Дарья, всему миру, всей деревне пропадать или ему одному? Чехи узнают, не помилуют за это.

– Ироды, звери, креста на вас нет!

Дарья уронила ребенка, грудью упала на землю.

– Кидайте и меня к нему, зарывайте вместе.

– Михал Михалыч, вы чего это? Неужто меня живьем зарыть хотите?.

Рубаха рыжебородого густо намокла кровью, губы совсем почернели. Староста развел руками:

– Уж гляди сам, Петра, что с тобой делать? Отпустить тебя – всем пропасть. Подумай сам, всему миру али тебе пропадать?

Нижняя губа у Петра задергалась, слезы потекли на бороду. Он с тоской обвел взглядом черные стены ямы, поднял лицо кверху. Седая борода старосты тряслась над могилой. Мужики стояли угрюмые, твердые, неумолимые, как камни. Теплый, дурманящий запах свежей крови стеснял дыхание. В яме было душно. Рана горела. Голова кружилась у Петра. Держал он ее с усилием и, несмотря на жару и духоту, дрожал, тихо шелкая зубами. Ребенка подняла и отошла с ним в сторону соседка Непомнящих. Мертвые в могиле лежали спокойно. Земля под ними стала теплой и мокрой. Кровь текла ручейками из разодранных спин и затылков. Лица вытянулись, пожелтели.

– О-о-о-х! Как же быть? Я бы в тайгу ушел.

– Зря городишь, Петра! Из-за тебя всем пропадать, что ли? Стыдно тебе, Петра! Пострадай за мир! Пострадай, Петра! Пострадай! Мы бабу твою не оставим!

Толпа кричала, волновалась засыпала словами раненого, как комьями земли.

– Ироды, палачи!

Дарья исступленно взвизгивала, рвала на себе кофту, каталась по земле. Петр окоченел от холода. Небо в узкой щели ямы потемнело. Яма стала тесной. Сырые, черные стены сдвинулись, сжались.

– О-о-о-х! Воля ваша. Дайте хоть напиток последний раз. Горячего бы. Чайку бы.

Петр был побежден. Сопротивление одного, беззащитного человека, хватающегося за жизнь, было сломлено упорством толпы.

– Это можно, сейчас, мы сейчас, – засуетился староста.

Кадушкина успокоило согласие Петра, он старался убедить себя в душе, что иначе поступить нельзя, что они делают правильно, если даже сам обреченный на смерть соглашается с ними.

– Ребята, там кто-нибудь сбегайте за кипятком. Николай Козлов, свояк Петра, живший рядом с кладбищем, принес туес горячего чая.

– На, Петра. Эх, сердешный, за што страдаешь? И то што у меня самовар баба согрела.

Николай с участием смотрел на свояка, качал головой. Петр пил долго, медленно, маленькими глотками. Женщины крестились в толпе и шептали:

– Господи, пошли ему царство небесное. Мученику за нас, грешных. Господи, прости ему все согрешения вольные и невольные!

Петр напился, со стоном подал туес обратно. Николай нагнулся, встал с коленей.

– Петя, не надо! В тайгу пойдём! Не хочу я!

– Замолчи, Дарья! – староста сердито посмотрел на женщину. – И так немоготу, а она тут верещит еще. Смотри, народ-то как потерянный стоит.

Глиста вертелась, издыхая. Из толстого разрезанного куса червя размазывалась по сапогу грязная, липкая жидкость. Петр закрыл лицо руками, зарыдал.

– За-за-за-ры-ры-ры-ва-а-а-айте!

– Ты, Петра, ляг, ляг, ничком. Оно лучше так, без мучений задавит.

Кадушкин трясущимися руками выдергивал из земли лопату. Петр ткнулся в живот мертвеца. Мужики засуетились, не глядя вниз, отвертываясь друг от друга, опустив головы, торопливо стали сталкивать в могилу сырую, рыхлую землю.

– Надо, ребятушки, утапывать, утапывать. Он так кончится без мучений.

Староста спрыгнул в яму, закиданную менее чем наполовину. Петр, задыхаясь, приподнялся под землей. Кадушкин едва удержался на ногах, ухватился за край могилы. Несколько мужиков стали топтать легкую землю. Петр бился в предсмертных судорогах. Земля слегка колебалась под ногами могильщиков. Что-то белое, не то палец, не то кусок рубахи, торчало среди черных комьев. Кадушкин отвернулся, полез наверх.

– Давайте еще, ребятушки, подсыплем землицы!

Белое утонуло в черном. Толпа быстро, почти бегом пошла с кладбища. Смотреть ни на что не хотелось. Собаки, лаявшие из-под ворот, и куры, рывшиеся в пыли улицы, знали все. Стены домов, темные от времени, щели в заборах, сучки в них, вывалившиеся белыми круглыми дырками, кочки на дороге, клочки пыльной травы кучей лезли в глаза. Раньше их не замечали. Люди торопились. Надо было поскорее спрятаться. Забиться домой, запереться на все затворы.

Дарья изорвала на себе всю кофту, растрепала волосы, ползала на четвереньках, выла и разрывала руками засыпанную и притоптанную яму. В глазах у нее стояли мужики с лопатами. Земля под мужиками тряслась, и они прыгали с ноги на ногу, широко раскинув руки, стараясь сохранить равновесие.

– Петя, я сейчас! Я тебя отрою!

Женщина скребла землю и выла, протяжно, с безнадежной тоской:

– Отрою-ю-ю! Ю-ю-ю! У-у-у-!

## ***17. ПИЛИ, ПИЛИ***

Осажденные в Пчелине партизаны не выдержали соединенного натиска итальянцев, чехов, румын и красильниковцев. Отражая ежедневно бешеные атаки белых, они израсходовали почти все патроны и вынуждены были отдать село, после четырнадцати дней отчаянной борьбы отступить в тайгу.

Конная разведка белых быстро проскакала по всему селу, закружилась на околице. Пешие дозоры заползли в улицы, осмотрели все переулки, обшарили дворы. С музыкой и песнями, четырьмя пестрыми колоннами вошли победители в пустое Пчелино. Почти все крестьяне ушли с партизанами. Дома остались старики, старухи, ребятишки и люди, вконец запуганные белым террором или, в силу своих личных интересов, сочувствующие им. Офицеры ехали верхом на лошадях впереди своих частей. На углах было расклеено воззвание Агитационного Отдела Революционного Военного районного таежного штаба повстанцев. Полковник француз на породистой лошади подъехал к белому листку, стал читать:

## **К КРЕСТЬЯНАМ И РАБОЧИМ ТАЕЖНОГО РАЙОНА**

Товарищи крестьяне и рабочие! Враги трудящихся, белые разбойники, цепляясь перед скорым концом за свою власть, выдумывают всякие способы, чтобы посеять в наших рядах смуту, продлить братоубийственную войну. Они обманывают вас, говоря, что воюют за восстановление какого-то порядка в стране. Они нагло лгут, эти кровососы, когда говорят, что большевики уничтожают всех поголовно, без разбора. Они сотнями пудов рассылают повсюду свою литературу, в ней они пишут о несуществующих зверствах большевиков.

Нет, не мы убийцы, а те, кто стремится к праздной и веселой жизни, кто хочет быть паразитом, – это Колчак со своей наемной сволочью. Он со своими министрами при вступлении на свой колчаковский престол сказал, что не пойдет по пути реакции, а будет заботиться о благе народа. Но вы все, товарищи, увидели теперь, к какому бедствию привела нас власть зверя Колчака. Вы все узнали, что Колчак – кровопийца, грабитель и низкий человечиска. Он принес нам разрушение. Он растоптал права трудового народа. Он посеял между нами вражду и разделил нас, трудящихся, на два враждебных лагеря. Он натравил брата на брата, отца на сына и сына на отца. Он и все его звери, генералы и офицеры, повесили, расстреляли, заповороли, зарубили десятки тысяч невинных людей, даже беззащитных женщин. Они, прикрываясь различными названиями – реквизицией, контрибуцией, – открыто и беззастенчиво производили грабеж. Этими зверями сожжены тысячи сел и деревень, разграблены у крестьян деньги и сельскохозяйственные машины, вещи, мебель, одежда. Все это эти мерзавцы делали сознательно. Не могли они, паразиты, не знать, что с разорением крестьянского населения уничтожается народное богатство и разоряется сама страна. Армия, именующая себя защитницей народных прав, расхищает народное достояние. Пьяное, распутное офицерство на народные деньги шьет себе щегольские костюмы, нацепляет на себя золотые погоны. Награбленные и снятые с расстрелянных одежды надевают на продажных развратниц своего круга.

Зверствам белогвардейцев нет конца. Не удовлетворяясь расстрелами, они придумывают самые ужасные казни. Рубят шашками, вешают, забивают нагайками, шомполами, колют штыками, топят в воде, изнуряют голодом. Ведя на казнь осужденного, глумятся над ним. Издеваются над трупами. Вешают на воротах, на колодезных журавлях.



На место казни матерей приводят осиротелых детей и на глазах у них проделывают самые отвратительные зверства. Грабя крестьянское имущество, они ненужные для себя вещи рвут, ломают, разбрасывают по улицам. В домах разбивают окна, раскидывают крыши, разрушают печи, портят мебель, жгут книги и библиотеки, уничтожают все необходимые школьные принадлежности, разрушают сцены народных домов. Это проделывают люди, которые взяли на себя якобы роль возродителей России. Звери, хулиганы, тунеядцы, кровососы – вот им название, и никакого другого названия для них нет. А продажные шкуры, попы, змеиным ядом лжи разжигают среди солдат человеконенавистнические страсти и, служа в церквах молебны о даровании победы этим палачам, именуют всю колчаковскую свору христоролюбивым воинством.

Воззвание было склеено из двух кусков. Нижняя часть, написанная на другой машинке, другим шрифтом, была кое-где порвана, некоторые строчки стерлись. Француз нагнулся ниже, с усилием разобрал слово за словом, краснел и бледнел от злости.

Бороться с этими гадами нам сейчас тяжело, трудно. Но знайте, товарищи рабочие и крестьяне, что рано или поздно победа будет в наших руках. Мы не одни, товарищи. С запада белых гонит Рабоче-Крестьянская Красная Армия (она уже захватила Челябинск). Во всем мире рабочие и крестьяне поднимаются на борьбу со своими поработителями. И хотя колчаковская сволочь и пишет, что беспорядок, гражданская война только у нас в России, а везде, мол, тишь да гладь, но мы знаем (белогвардейские газеты проговариваются иногда), что революционное движение сейчас разгорается во всех странах. Мы знаем, что скоро чехи, румыны, итальянцы и другая продажная иностранная сволочь будет увезена из России, т. к. у них на родине, как они говорят, появилась, язва большевизма. Кроме того, господа культурные убийцы и грабители никак не могут разделить распятой ими Германии, готовы из-за добычи вцепиться друг другу в горло. Близится час, когда Социальная Революция во всем мире сбросит в помойную яму истории всех этих негодяев и палачей трудящихся, шарлатанов, паразитов нашего труда – Колчаков, Клемансо, Асквитов, Вильсонов.

Долой эту международную сволочь!

Товарищи крестьяне и рабочие, вы знаете, что из себя представляют эти звери в образе людей! Вы хорошо познакомились с идеями, которые проповедует колчаковская банда, и с ее деяниями. Жить с ними нельзя. Теперь вопрос ставится ребром: или мы – трудящиеся, или они – паразиты? Кто-нибудь из нас должен быть уничтожен. Если вы все это поняли, товарищи, то встаньте все, как один, на борьбу с этими кровопийцами, сомкнитесь в крепкие ряды и своей мощной богатырской силой мозолистой руки сметите навсегда гнет этих тунеядцев.

Довольно рабства и насилия!

Покажите, что вы не рабы, что вы не дадите себя угнетать, что вы сумеете отстоять свои права и человеческое достоинство. Докажите своим вековым угнетателям, вампирам, что вы имеете одинаковое право на жизнь. Докажите им, мерзавцам, что вы родные дети жизни, а не пасынки ее. Довольно им наслаждаться жизнью, в довольстве и неге

проводить ее. Заставим их, товарищи, трудиться, как и мы трудились. Пусть узнают, паразиты, как тяжела доля трудового народа.  
Долой угнетателей и дармоедов! Да здравствуют мозолистые руки!  
Да здравствует Таежная Социалистическая Федеративная Советская Республика!  
Да здравствует Советская Власть!  
Агит. Отд. при Революционном Военном штабе повстанческих войск Таежного района.

Полковник поморщился, обернулся к адъютанту и, показывая рукой на воззвание, приказал:

– Lieutenant, arrachez cet e merde! Je n'ais pas tout compris, mais probablement, quelque chose de hardi et outragent.<sup>45</sup>

Адъютант маленькой рукой, затянутой в кожаную перчатку, попытался сорвать листок. Воззвание было приклеено прочно, не поддавалось усилиям офицера. Лейтенант сделал несколько нетерпеливых движений, занозил себе два пальца, разорвал перчатку.

– Que diable t'emporte!<sup>46</sup>

Шашка вылетела из ножен. Воззвание было вырублено, искрошено в клочки с деревом вместе.

В селе белые задержались не более двух часов. Передохнули, напились чаю и снова бросились преследовать отступавших партизан. Полковник Орлов в своем донесении Красильникову писал перед выступлением из Пчелина, что он двигается на север ликвидировать деморализованные и рассеянные по тайге банды большевиков. Французы – седоусый полковник и молоденький лейтенант – ехали с итальянским штабом отряда сзади всей колонны в новеньком рессорном экипаже на резиновом ходу. Ноздри полковника раздувались от удовольствия, глаза блестели. Он жадно дышал свежим, душистым воздухом тайги. Сосны, пихты, ели, кедры махали зелеными лапами над головами офицеров.

– Quelle excellence! Quelle beaute!<sup>47</sup>

Полковник оглядывал от корня до вершины вековые стройные стволы таежных красавцев.

– Quelle richesse! Quelle richesse!<sup>48</sup>

---

<sup>45</sup> Лейтенант, сорвите эту гадость! Я не все понял, но, кажется, что-то дерзкое и оскорбительное.

<sup>46</sup> Черт тебя возьми!

<sup>47</sup> Какая прелесть! Какая красота!

<sup>48</sup> Какое богатство! Какое богатство!

Адъютант утвердительно кивал головой, поправляя пенсне, свалившееся с носа от сильных толчков на выбоинах и корнях в глубокой колее дороги.

Маневрами больших масс противника у партизан были отрезаны все пути отступления. Они были прижаты к стене девственной, непроходимой тайги. Сотни телег с семьями, гурты скота, обоз раненых и больных, подводы с продовольствием и огнеприпасами, конный дивизион Кренца, все три полка, учебный запасный батальон, комендантская команда, команда связи, саперная команда собрались в одном месте на зеленой таежной поляне. Штаб стоял охваченный плотным кольцом стрелков. Положение создалось тяжелое. Необходимо было немедленно принять определенное решение. Люди молча, опустив головы, думали. Жарков, закусив губу и наморщив лоб, смотрел режущим, неподвижным взглядом в лица бойцов. На поляне было почти тихо. Ребятишки только нарушали угрюмое безмолвие, и коровы мычали жалобно, протяжно, как на пожаре. Малодушной мысли о плене не было ни у кого. Огненной ненависти к белым, казалось, хватило бы для того, чтобы выжечь на своем пути всю тайгу, пойти на самые страшные жертвы и лишения, биться до последнего патрона, до последнего целого штыка и живого бойца, но не сдаться.

Трое конных разведчиков подъехали к Жаркову с донесением, что белые в пяти верстах колонной движутся следом за отходящим заслоном 1-го Таежного полка. Жарков тряхнул головой, выпрямился. Близость врага заставила усиленно заработать мысль, сердце быстрее погнало по жилам кровь. Мускулы напряглись. Он уже знал, что нужно делать. Он отчетливо представил себе план предстоящего боя и дальнейшего отхода.

– Товарищи, – голос вождя звенел, – белые гады гонятся за нами, они недалеко.

Бабы стали унимать ребятишек, мужики, толкаясь, столпились вокруг штаба, бойцы-партизаны стояли плечо к плечу, задевая друг друга ружьями.

– Сейчас нужно будет приготовить им встречу! Ружья застучали, толпа колыхнулась, зажженная опасностью.

– Все равно пропадать! Пусть сунутся! Мы готовы!

Мы им еще покажем!

Жарков замахал рукой:

– Товарищи, без рассуждения. Я вас не спрашиваю, готовы вы али нет. Партизан должен быть завсегда готов. Кто ежели не готов али не желает, тот не партизан, ему не место промеж нас! 1-му Таежному полку немедленно выступить навстречу своему заслону и, соединившись с ним, остановить белогвардейцев на линии Сохатинного колка. 3-му Пчелинскому вдоль всей этой поляны, вон тама, – Жарков показал рукой, – приступить к рубке засеки и рытью окопов. 2-му Медвежинскому – батальон на правый фланк, позадь Таежного, два батальона – на левый фланк. Кренц, тебе задача: во что бы то ни стало забраться в тыл гадам и захватить у них патронов. Без патронов пропадем. Учебникам, комендантской и беженцам пилить и рубить тайгу в направлении на Чистую. Рубите не больно широко, так, чтоб телеге проехать. Пилить и рубить без останова, попеременно и день, и ночь. Пропилим, уйдем на Чисту, на плотях спустимся к Черной горе. Не

пропилим, придется все побросать. Без продуктов да без обоза не навоюешь много. Ну, валите, ребята! Время нет!

Таежный полк выстроился, тремя змейками пополз вперед, щупая конными и пешими дозорами молчаливую тайгу. Поляна зашевелилась. Люди принялись за работу. Все хорошо знали железную руку Жаркова, знали, что он не пощадит изменника, но и знали, что зря приказывать и делать он также не будет. Первый топор, сочно таянув, впился в сосну. Его поддержал целый десяток других. Звонко зашипели пилы. Тайга наполнилась шумом и стуком. Бабы и девки растаскивали бурелом. Медвежинский полк валит верхушками на поляну огромные деревья. Саперы сейчас же заостривали сучья, оплетали их колючей проволокой. Жарков сам промерил ширину поляны.

– Две тысячи шагов. Здорово. Запомним, – мысленно рассуждал партизан, становясь на опушке.

Таежный полк подошел к Сохатинскому колку, когда заслон, уже окопавшись на нем, ждал приближения белых. Мотыгин положил весь полк в цепь.

Белые шли беспечно, как победители. Орлов не допускал мысли о серьезном столкновении с красными. Цепь партизан перехватывала узкую дорогу, по которой шла колонна красильниковцев. Мотыгин, спрятав бойцов в тайге, без выстрела пропустил конный дозор противника, потом, как только он проехал, сомкнул цепь и ветретил белых метким, неожиданным залпом. Орлов не растерялся, нагайкой стал разгонять в цепь солдат, струсивших и побежавших толпой.

– Стой, сволочь! Запорю! В цепь! – ревел полковник.

– Пара красных наскочила, а они уже в штаны напустили! Господа офицеры, по местам! – Успокаивающе щелкнули первые выстрелы. Белые оправились. Стали вытаскивать раненых.

– Часто начинай! – приказал Орлов. Защелкали пачками. На самой дороге, обозлившись, запел пулемет. Партизаны уткнулись головами в окопчики, не стреляли.

Полковник и лейтенант, услышав стрельбу, недоумевающе переглянулись, стали прислушиваться. Кучер остановил лошадь. К экипажу подошел офицер-итальянец.

Кренц с одним эскадром выехал во фланг иностранному отряду.

– Смотрите, товарищи, – шептал он кавалеристам, – наши с женами, детишками тайгу руками рвут, а эта сволочь в ланде раскатывается.

Партизаны вытащили из ножен клинки. На молодое, безусое лицо командира легла черная тень, он подался всем туловищем вперед, воткнул шпоры в бока лошади.

– Ура-а-а!

Среди сучьев, темной зелени и желтых стволов сверкнули блестящие, острые языки стали. Французы и итальянцы не успели ничего понять. К лейтенанту на колени упало кепи полковника, сброшенное с головы ударом шашки вместе с крышкой черепа. Адъютант

удивился, что кепи, светло-синее всегда, вдруг стало красным. В следующее мгновение сам он, взмахнув руками, уронил голову под колеса, ткнулся обрубком шеи кучеру в спину, облил кровью весь экипаж. Итальянец метнулся в сторону, но у него сейчас же разорвалась шляпа, вывернулась красной, теплой подкладкой. Весь отряд итальянцев был деморализован. Солдаты, бросая винтовки, бестолково метались от кавалеристов. Короткие накидки у них раздувались за плечами, шляпы падали. Партизаны секли итальянцев, как капусту. Менее чем в минуту колонна была разогнана, перерублена. Кренц не позволил снимать обмундирование с убитых, торопил бойцов. Захватив около сорока цинков патронов, два пулемета, десятка три винтовок, партизаны бросились обратно. Подошедшие к месту налета румыны открыли вслед им огонь. Кавалеристы ускакали, потеряв троих ранеными и одного убитым.

Черный кудрявый пудель закрутился у трупа своего хозяина, взвизгивая, стал лизать мертвые, похолодевшие, пухлые руки...

Мотыгин, услышав перестрелку в тылу у белых, понял, что Кренц благополучно заехал в хвост наступающим. Предприимчивый партизан моментально учел моральное значение нападения кавалеристов, решил использовать некоторое замешательство красильниковцев.

– Товарищи, вперед! Ура-а-а!

Мотыгин первый бросился в атаку. Белые побежали. Партизаны огнем в спину вырвали у них из цепи несколько десятков солдат, подобрали винтовки убитых, сняли с них подсумки, обмундирование, сапоги и снова отошли на свои позиции к Сохатинскому колку.

Беженцы и партизаны учебного батальона с шумом и грохотом врезались в тайгу.

– Товарищи, пили! Пили! На фронте бой! Патронов у нас мало! Скорее! Скорей!

Старики, женщины, парни и девушки и взрослые мужчины работали с ожесточением. Вековая, твердая как камень лиственница сопротивлялась больше всех. Широкоголовые кедры, глухо стоная, ложились под ноги, кланялись пышными шапками. С треском падали сосны и ели. Благоухая ароматом смолы, подкашивались пихты. Живое огненное сверло впивалось в душистое, желто-зеленое тело тайги, рвало его, прорезая широкую прямую борозду.

– Пили, товарищи! Пили!

У корней в зеленоватом полумраке бился пестрый клубок. Дарья Непомнящих пилила со стариком Чубуковым. Ребенок у нее умер.

– Устала, поди, Дарья?

Чубуков остановил пилу, вытер рукавом потное лицо.

– Какой там устала. Пилить надо, дедушка. Всех они нас, ироды, в землю закопают, коли не уйдем.

Дарья нагнулась, сморщившись, проглотила слезы. Пила зазвенела. Деревья трещали, падая, разгоняли людей в стороны, грохочущим ревом прощались с живыми братьями, недорубленные вздрагивали всем стволом, трясли иглами.

– Пили, товарищи! Пили!

Орлов был взбешен неудачей. Собрав свою цепь и дав немного отдохнуть солдатам, он бросился в контратаку. Партизаны, как и всегда, подпустили белых на близкое расстояние, сильным огнем остановили их, заставили лечь, окопаться. Красильниковцы стреляли пачками до сумерек. Ночью Жарков приказал Таежному полку оставить позицию, отойти в резерв. Сторожевое охранение выставил 3-й Пчелинский полк, он же занял укрепленные окопы вдоль всей поляны. Медвежинцы, напившись чаю, принялись за прорубку дороги. Стрелки, сменившиеся из первой линии, легли спать. Костры горели ярко. Коровьи и лошадиные морды, жевавшие траву, стали медно-красными, тяжелыми. Женщины, которым нельзя было отойти от ребяташек, готовили ужин на весь отряд. Высокими, качающимися тенями наклонялись они над огнем, мешали длинными ложками в больших котлах и ведрах. Несколько собачонок жадно ловили носами запах разваривающегося мяса, жались к кострам. В чаще тайги треск и грохот не умолкал. Саперы по пояс в ледяной родниковой воде и вязкой тине настилали гати и мостки через таежные ручьи, болотца и речушки. В темноте, на ощупь, люди расчищали себе дорогу.

Чубуков не успел вовремя отбежать в сторону, срезанное дерево, свалившись, вывихнуло ему ногу. Старика унесли к обозу. Дарья бросила пилу, с саперами лазила по воде, помогала укладывать бревна. Ночью пилили медленнее, осторожнее... Прежде чем свалить дерево, кричали:

– Берегись!

Ждали, пока все отойдут, переспрашивали, повторяли предостережение. Жарков, с трудом вытаскивая из тины бродни, ходил вокруг саперов, давал указания, распоряжался, помогал выкатывать длинные стволы только что срубленных деревьев. Людей видно не было. В темноте стоял острый запах пота. Стук топоров и свист пил напоминал фабричный шум машин. Казалось, что в самой гуще дикого леса полным ходом работает большой завод с потушенными огнями. Ни окон, ни здания разглядеть было нельзя. Деревья падали.

– Товарищи, пили! Пили! – Жарков кричал, сквозь гром работы подбадривал бойцов.

– К утру, товарищи, поляну-то очистить надо?

В тайге далеко и на поляне другой Жарков, невидимый, огромный и властный, раскатисто повторял:

– Пили, товарищи! Пили!

Все мысли сосредоточивались на одном:

– Пропилить! Пропилить!

– Товарищи, пили!

Сверло с грохотом впивалось в разбуженную тайгу. Узкая полоска новой дороги росла. Завод стучал, звенел. Потом пахло сильнее, чем смолой.

К рассвету весь обоз, подвода за подводой, осторожно заполз в узкую щель просеки. На поляне остались черные головни потухших костров. Скот, зажатый между телег, ревел, срывался в воду с мокрых, скользких бревен мостков. Женщины жались с ребятишками на возах. Комары миллионами набрасывались на беглецов. Впереди пилили. Тайга медленно расступалась, давала дорогу. Жарков с командиром Пчелинского полка задержался на поляне.

– Смотри, Силантьев, держись до последу. Если станет невтерпеж, вздумаешь отступить – предупреди.

– Об этом не думайте, товарищ Жарков, постоим, как сила возьмет.

– Нам чтобы враспloch с пилами да с топорами не влопаться.

– Не сомневайтесь.

– Ну, смотри, брат, не подгадь. Счастливо тебе.

Жарков повернул лошадь, поехал к обозу. Со стороны Сохатинского колка трещали выстрелы. Полевые караулы партизан встречали разведчиков белых. Весь день красильниковцы небольшими разведывательными партиями путались по тайге. Кучки партизан из засады нападали на них, обращали в бегство. Ночь прошла спокойно. Но работа не останавливалась. Узкая щель раздирала тайгу, наполнялась людьми и животными, кипела шумным, горячим потоком.

– Пили! Пили!

Пчелинцев сменили медвежинцы. Черепков промерил поляну, наставил кое-где вешки, думая бить наверняка, прицел назначать сразу безошибочно. Полевые караулы и маленькие засады были сняты. Партизаны залегли за укрепленной засекой в окопах.

Гусар в красной бескозырке осторожно подъехал к краю поляны, остановив лошадь, всматривался в темную чашу. Партизаны зашевелились, приподняли головы.

– Товарищ Черепков, дозвольте уконтрамить его, – шептал молодой парень Петр Быстров.

В зеленой тени глаза Петра светились, безусое, круглое лицо напряженно вытянулось.

– Погоди, ближе подъедет.

Гусар нерешительно тронул шпорами бока лошади. За ним выехали еще двое. Ехали шагом, озираясь по сторонам, часто оглядывались. Красные бескозырки яркими пятнами качались над головами пегих лошадей.

– Трах! Трах! Трах! – почти одновременно хлопнули три винтовки.

Две лошади упали. Одна грудью, другая села на зад, свернулась набок, забила ногами. Третья сбросила мертвого всадника, захрапела, побежала к партизанам. Ее поймали. Красные блины шлепнулись на траву. Один гусар, прихрамывая, бросил винтовку и шашку, заковылял назад.

– Трах!

Гусар лег, махнул руками, затих. Быстров и человек пять партизан побежали подбирать оружие, снимать седла с убитых лошадей, обмундирование с гусар. С другого конца поляны злобно рывкнул залп. Опушка зашумела, защелкала. Красные побежали обратно. Длинная, ровная цепь, стреляя на ходу, вышла из-за деревьев. Не получая ответа, белые шли нервно, торопливо. Они благополучно миновали вешки на тысячу шестьсот шагов, тысячу двести, восемьсот.

– Приготовиться!

Кривой сучок с пучком соломы. Шестьсот.

– Пулемет, огонь!

Животы стало рвать. Красильниковцы, подгибая колени к подбородку, кувыркались на землю.

– Часто начинай!

Цепь рвалась, путалась. Залегла. Сзади подползала резервная, густая, еще не обстрелянная. В иглах сваленных деревьев клубился пороховой дым, мешал. Сотни глаз зорко вглядывались, беззвучно, одновременно, ровно мигали. За спиной у партизан грохот не ослабевал. Топоры стучали, как пулеметы. Пилы со свистом грызли толстые стволы. Рубахи и кофты промокли потом насквозь.

– Пили, товарищи! Пили!

Пули залетали в обоз. Ранило корову. Ветки, сбитые сверху, падали на головы. От телег с патронами протянулась к первой линии длинная цепь. Несколько человек, сидя на возах, заряжали патроны для бердан и централок. Вперед шли тяжелые, с порохом и кусками свинца, холодные. Назад передавали легкие, горячие, пустые, пахнущие дымом. Дарья ползла от окопчика к окопчику, собирала стреляные гильзы. Жены бойцов подтаскивали цинки, раздавали пачки винтовочных патронов. Ранило Кузьму Черных, Степана Белкина, Ивана Корнева, Пустомятова, Ватюкова, Лукина. Их несли, и за ними по узкой дороге алела узкая полоска крови.

– Траах! Баррах! Бах! Тах! Та, та, та! Та, та, та! Упругая красная цепь отталкивала белую обратно.

Как оспа, изъели окопчики зеленое лицо поляны.

– Цепь, вперед! Ура!

– Та, та, та! Та, та, та! Брах! Бах! Тах! Трах! Запутались в засеке, повисли на проволоке, забились, как мухи в тенетах.



– Та, та, та! Та, та, та! Трах! Трах! Трах!

– Товарищи, пили! Пили!

Побежали назад. Задохнулись, упали на траву, расползлись по черным ямкам.

– Бах! Бах! Уррр! Виужжж! Баххх!

– Эге, артиллерию пустили! – Черепков наморщил лоб.

– Товарищи, без приказа не отступить!

На проволоке, на сучьях мотались мертвые. Белые стали убирать убитых и раненых. Гранаты пыхали огнем, раскидывали, разламывали засеку. Проволока рвалась и висла клочьями. Дым мешал.

– Та, та, та! Та, та, та!

Надо бы торопиться. В первой линии стало душно, воздуху не доставало. Щель редела. Коровы мычали. Лошади бились, храпели, ржали. С топорами, с пилами люди ползали под корнями.

– Пили! Пили!

– Ура! А-а-а!

– Врешь, наколешься! Черепков стоял в цепи во весь рост.

– Крой, товарищи! Чаще! Чаще!

– Трах! Бах! Ва! Бах! Та, та, та!

– Так их! Еще разок сбегайте, господа, до ветра! Белые снова отошли. Артиллерия стальными кулаками стучала по земле, разгребала сучья.

Ночью ползком стали красться к разрушенной засеке. Далеко в тайге с грохотом рухнула последняя сосна. Жаркий, потный клубок выкатился на реку.

– Пропилили! Пропилили!

Засека молчала, безлюдная, покорная. Орлов топал ногами, плевался. Раненых и убитых у него было более пятисот человек.

– Сбежали, трусы, прохвосты! Подлецы! Только из-за угла воюют! Прохвосты!

Идти дальше было опасно. Белые легли в окопчики партизан, стали перекидывать насыпи на другую сторону.

– Пропилили! Пропилили!

В холодные чернила реки скатывались длинные толстые стволы таежных старожилов. Несколько плотов к утру подняли всю Таежную Республику с армией и, тихо покачивая, понесли вниз по течению, к Черной горе. Вода в реке стала красной как кровь. Заря

разгоралась. Повязки на раненых намокли, покраснели. Убитые, двадцать три человека, лежали серьезные и спокойные за свою судьбу. Их везли схоронить, как героев. На поругание врагам они отданы не были. Мертвецы были довольны. Воздух свежий, душистый, легко поднимал грудь.

– Пропилили! Пропилили!

Коровы и лошади с тревогой косились на воду круглыми большими глазами. Ребятишки спали как мертвые. Взрослые дремали или храпели. Командиры бодрствовали. Работали рулевые. Плоты плыли.

Пятеро конных, оставшихся на берегу, гуськом пробирались через тайгу на юг, к железной дороге; забравшись поглуше, лошадей стреножили. Дремали по очереди.

– Если поезд спустим, расстреляют наших баб-то, Семен? Заложники ведь они.

– Расстреляют.

– У меня отца расстреляют.

– Ну и пусть, хоть всех родных, по крайней мере будем знать, что за нас их убили, за наше дело.

– Спустим.

– Решено.

Дальше тронулись вечером. Совсем в темноте уже нащупали чуть блестящие стальные жилы. Будочник трясся от страха. Ключи отдал сразу. Наскоро развинтили два длинных звена. Отъехали, стали ждать. Стальная кровь тихо, но четко забилась в мертвых, порванных жилах.

– Тук! Тук! Тук! Тук!

Два красных глаза неслись под уклон. Черный, огромный, с хохотом подпрыгнул на одной ноге, его длинный хвост огненными пятнами скрутился в кольцо. Черный кувыркнулся, зарыл глаза в землю, подавился хохотом, шипя лопнул и сразу онемел. Хвост только у него слабо дышал, шевелился и стонал. Убитых и раненых было много. Пятеро повернули коней на север.

На Черной горе пылали костры. В котлах и ведрах кипел чай из брусничника и березового корня. Хлеба не было. Совет Народного Хозяйства выдал всем по полфунта муки. Детям роздали остатки сахара и рису. Под навесами из коры и в таких же шалашах спали раненые. Жарков стоял на самой верхушке каменной лысины, вглядывался в темноту. Он ждал возвращения пятерых. Гора огненной шишкой вздулась среди черной тайги. Чистая внизу о чем-то говорила с камнями.

***18. ПРОСПИТСЯ – ОПЯТЬ БУДЕТ ПОДПОРУЧИК БАРАНОВСКИЙ***

N-ская дивизия отошла на две недели в резерв. N-цы расположились в большом селе Утином на берегу двух длинных, кривых озер, поросших тростником, по ту сторону которых сейчас же за поскотиной стояла небольшая березовая роща, а левее ее стелились сочные зеленые ковры лугов. Озера были полны диких уток и всякой болотной дичи, а в роще, как овцы, бегали зайцы и черные косачи спокойно сидели на березах. Офицеры немедленно по приходе в Утиное принялись за охоту. Лес, луга, озера огласились раскатистыми выстрелами. Любителей было много, и все с жаром взялись за охоту, привлекаемые обилием дичи. Солдаты обратили свое внимание в другую сторону – принялись за рыболовство, доставали у крестьян сети и по целым дням лазили по озерам, ловя золотистых жирных карасей. Люди посолдней, семейные, интересовались больше скромными домашними удовольствиями – топили бани, целыми часами парились в них со всем семейством, а потом сидели в светлых и просторных горницах домовитых сибиряков и подолгу пили горячий душистый чай. Сидели за чаем с особенным наслаждением, так как на столе ласково шипел большой, сверкающий медью самовар, а любимую китайскую травку можно было пить из блюдечка, не торопясь, что ярко напоминало дом и недавнюю мирную жизнь. Бабы принялись за стирку, штопанье, чинку. По утрам суетились у печек, разводя стряпню. Ротные кухни ремонтировались, и продукты солдатам выдавались на руки. Готовить приходилось самим. Продуктов давалось много, вволю, да к тому же и в селе можно было достать что угодно по очень сходным ценам. Хозяева продавали все, что могли. Было из чего постряпать бабам, и они старались вовсю. Солдаты, сытые и отдохнувшие, ходили, как именинники. Молодежь совместно с местными парнями и девушками устраивала вечеринки, и звуки гармоники и веселых песен оглашали Утиное с вечера до рассвета. Было начало августа, ночи становились сырыми, холодными. N-цы стали поговаривать о теплом белье. Начальник хозяйственной части вернулся из Омска как раз вовремя, привез английское обмундирование на весь полк. Обтрепавшиеся N-цы получили шерстяные английские френчи, брюки, теплое белье, носки, вязанные американские фуфайки, шарфы, шлемы, перчатки и толстые суконные шинели. Оделись и принялись хохотать. Люди не узнавали друг друга: все стали похожи на англичан. Когда какая-нибудь рота, одетая во все английское, выстраивалась и лица, как и всегда в строю, теряли свои характерные черты, то со стороны нельзя было разобрать, англичане это стоят или русские. Фома тоже оделся во все английское, и Барановский хохотал над ним до упаду, глядя на его неуклюжую фигуру и типичное русское лицо с вздернутым мясистым носом.

– Фомушка, да ты настоящий англичанин. Я теперь тебя буду звать Томом. Какой ты Фома? Ты Том, настоящий Том.

Фомушка хорошенько не понимал, что говорил командир, но обмундирование ему ужасно нравилось, и он довольно улыбался. N-цы, получив вещи, очень удивлялись, что за границей так хорошо одевают солдат.

Молодой татарин Валиулин, из роты Мотовилова, с кучей полученного обмундирования бежал по улице и чуть не сшиб с ног командира, шедшего ему навстречу с подпоручиком Колпаковым.

– Валиулин, это что? – сердито крикнул Мотовилов, с его языка готово было сорваться жестокое «Два наряда», но лицо солдата сияло такой добродушной улыбкой, что офицер тоже улыбнулся.

– Уй, гаспадын паручик, виноват. Мы вас не видал. Моя сирдца рад стал, бульна харошь мундированья получал.

– Ну, иди, – отпустил его Мотовилов.

– Черт их знает, как дети маленькие: дай им игрушку, и они все забудут. Забудут о том, что сегодня они получают щегольский английский костюм, а завтра их в этом же костюме и за этот именно костюм погонят, как баранов, на фронт, где, может быть, в первом же бою их изорвет снарядом в клочья вместе с их новеньким френчем, – рассуждал Колпаков.

– Ничего, – отвечал Мотовилов, – это хорошо. Чем темнее масса, тем лучше. Чем охотнее идет она на разные такие приманки, тем выгоднее для нас. Ну что же, отдадим мы англичанам за эти френчи сколько-нибудь золота, и ладно, зато будем знать, что наш солдат доволен, а раз доволен, то он и дерется хорошо. Это главное. Солдата нужно только одеть и накормить, и он пойдет. Он пойдет и завоюет нам власть. Ради этого не стоит жалеть кучи золота или чего-нибудь в этом роде. Да-с.

Офицеры замолчали, закурили, пошли до ближайшего угла и повернули влево, решив зайти к Барановскому, вспомнив, что он вчера ходил на охоту и что у него, наверное, будет жареная дичь. Офицеры не ошиблись. Барановский охотился вчера весьма удачно, вернулся домой с хорошим полем. Сегодня он сам возился у печки, зажаривая дичь. Молодой офицер обладал недурными познаниями в области кулинарии и при случае был не прочь блеснуть ими.

– Ага, пришли. Ну вот и отлично. А я за вами хотел уж Фомушку посылать, – встретил хозяин гостей.

– Хочу сегодня именины свои справлять. Обед закатил министерский.

– Да ты разве именинник? – удивились пришедшие.

Барановский засмеялся.

– Да нет, я именинник буду еще в декабре, да черт его знает, где в то время будешь, а пока есть возможность, так надо оправить.

– Молодец, молодец, Ваня, – заревел Мотовилов.

– Руку, именинник. Со днем ангела тебя. Чего там ждать, когда праздник придет, у нас, у людей военных, коли есть чего жрать, так и праздник. Это здорово ты, Иваган, придумал. Правильно. Одобряю.

Сзади Барановского стояла хозяйка дома и с ласковой улыбкой смотрела на суетившегося у печки офицера.

– Что, хозяйюшка, хорош повар-то? – лукаво подмигнул Колпаков.

Хозяйка, молодая вдова, стыдливо закрылась кончиками головного платка, покраснела.

– Да уж чего и говорить, не повар, а золото. А уж знает-то все до тонкости, что, как и куда. Ох, гляжу я, не похожи вы на белых-то, – вдруг неожиданно добавила она.

– Почему не похожи? – засмеялись офицеры.

– Да уж чего там, знаю я белых. Стояли у нас и полковники, и капитаны, так к ним не подступишься. Слова не скажут тебе путем, все как-то срыву да грубо. Сами уж чтоб чего сделать, боже упаси, все денщиков заставляют. А вы что: и с народом разговариваете, а они вон и стряпают сами.

– Ну, хозяйюшка, нам до капитанов-то еще далеко.

– Нет, уж не говорите, и солдаты у вас ласковые, обходительные, и порядок у вас есть. Зря не делаете вы. Ну вот в точности как у красных.

– Что ты сказала? – нахмурился Мотовилов.

– Говорю, мол, на красных вы похожи. Они у нас неделю стояли, так очень хорошие люди. Ну, а ваши-то есть не дай бог.

Хозяйка махнула рукой. Мотовилов сердито молчал.

Колпаков заметил:

– Правду, видно, говорил полковник-то пленный, что красные теперь не те, что раньше, у них теперь порядок, дисциплина. От этого-то их мирное население и встречает хорошо.

– Ну проходите, проходите в переднюю, я сейчас кончу, – обратился к офицерам Барановский.

Подпоручики прошли в переднюю половину избы и сели на широкий деревянный диван. Вскоре после их прихода прибежал веселый, возбужденный Петин и с порога еще закричал:

– Господа, новость. N-цы вчера чуть было самого Тухачевского не поймали.

Офицеры оживились. Мотовилов не расслышал как следует, ему показалось, Петин сказал, что Тухачевский захвачен в плен. Как пружина, вскочил он с дивана, схватил пришедшего за руки, начал трясти его изо всей силы и, захлебываясь от радости, засыпал вопросами.

– Где? Когда? Кто? Как?

– Говорю тебе, вчера перебежал один красноармеец к N-цам, ну и сказал им, что Тухачевский в Михайловке. N-цы, как звери, бросились в наступление, совместно с казачьим полком прорвали в два счета фронт, отрезали с тылу Михайловку, а Тухачевский у них под носом на автомобиле проскочил.

– Фу, черт, – разочарованно вздохнул Мотовилов. – Так, его, значит, не захватили?

– Конечно, нет.

– Ну, это, брат, неинтересно.

– Тебе, может быть, и неинтересно, а Н-цы и сейчас не могут успокоиться, жалеют, что не пришлось им с самого Тухачевского обмундирование содрать.

Колпаков пускал колечки дыма.

– Забавная эта традиция у нас в армии, господа: как попался красный в плен – крышка, до ниточки обнимают всего. Оставят буквально почти в чем мать родила. Зимой ли, летом – все равно, тут хоть мороз-размороз будь. Точно по принципу Крылова: с волками иначе не делать мировой, как снявши шкуру с них долой.

Мотовилов возразил:

– Это не забавно, а целесообразно. Обмундирования мало, значит, его нужно отнять у врага.

Пришел новый знакомый, однополчанин штабс-капитан Капустин, очень веселый человек, имевший недурной тенорок и умевший порядочно играть на гитаре. Пришел еще кое-кто из молодежи, не было только подпоручика Иванова: ему пуля раздробила ногу, и он уехал в лазарет. Перед обедом разговорились о положении дел на фронте. Кто-то сообщил, что у Деникина все обстоит как нельзя лучше, что он уже в трехстах верстах от Москвы. Мотовилов говорил:

– Хорошо бы, господа, попасть к Деникину. У него ведь армия не нашей чета, добровольческая. Вот там бы можно было повоевать.

Барановский с обедом отличился. Меню было очень разнообразное. Прежде всего с графином хорошей водки была подана холодная закуска – поросенок со сметаной и хреном, студень и соленые грибы. Когда гости пропустили по «маленькой», был подан пирог с рисом и курицей. После пирога появился настоящий малороссийский борщ. Борщ сменили жареные тетерева, утки, заяц и жирный домашний гусь. После жаркого был подан пудинг и кофе. Все было приготовлено, как в первом классе ресторана. Офицеры после однообразных щей и каши, которыми потчевали их ежедневно денщики, были в восторге от такого разнообразия блюд и хвалили наперебой искусство Барановского. Барановский, как настоящий именинник, был героем дня. Отпив с полстакана кофе, штабс-капитан Капустин сделал дурашливо-плачущее лицо, взял гитару и, слегка тренькая на ней, тонким, жалобным тенорком запел:

Эх, заварили чехи кашу,

Провоевали Волгу нашу.

Офицеры, возбужденные несколькими рюмками водки, затянули припев:

Ах, шарабан мой,

Щарабан,

Денег не будет,

Тебя продам.

Барановский замахал руками.

– Да бросьте вы, господа, этот «Шарабан». Только и знают, что орут эту белиберду.

Русски с русскими воюют,

А чехи сахаром торгуют.

Не унимался Капустин:

Ах, шарабан мой,

Шарабан,

А я, мальчишка,

Вечно пьян.

– Антон Павлович, – с укором посмотрел на него Барановский.

– Ну, ладно, ладно, не буду. Коли хозяин не велит, так быть по сему. Не любите, значит, вы белогвардейское творчество. «Шарабан»-то ведь во времена белогвардейщины на Волге создан.

Капустин тряхнул кудрями, закинул голову назад, лихо пробежал рукой по струнам, крикнул:

– Не хотите белогвардейскую, так вот вам пермскую, народную:

Д'наша горкя,

Д'ваша горкя,

Только разница одна.

Кто мою Матаню тронет,

Тот отведает ножа.

– У-у-ух-ты!

Все засмеялись. Капустин замолчал и с серьезным видом стал допивать стакан. Колпаков развалился на стуле и, сладко затягиваясь папиросой, стал вслух вспоминать то время, когда он беззаботным ветрогоном, студентом юридического факультета, носился по Казани.

– Хорошее это время было, господа, когда я учился в университете. Учиться я начал осенью шестнадцатого, а в марте семнадцатого вы ведь знаете, какую радость пришлось пережить.

Колпаков был кадет и немного либеральничал. Мотовилов, Петин и другие офицеры, настроенные монархически, засмеялись.

– Радость, действительно. Нечего сказать. Балаган такой на всю Россию господа социалисты подняли, такой порядок навели, что хоть святых выноси.

– Ну, господа, не будем спорить. Вы – монархисты, а я ка-де, и в этом мы никогда не сойдемся.

– Как вы сказали? Ка-ве-де? – пошутил Капустин.

– Ка-де, – серьезно повторил Колпаков. – Да, я ка-де, вы монархисты, и все мы делаем одно общее дело, дело освобождения России от ига большевизма. Вот та платформа, на которой мы пока сходимся.

– А я вот только одну партию и признаю – ка-ве-де, – продолжал смеяться штабс-капитан.

Колпаков пристально посмотрел на Капустина.

– Так вы, капитан, сами, значит, живете так – куда ветер дует?

– Именно. Именно так. Как это вы угадали? – закривлялся офицер.

Колпаков серьезно смотрел ему в глаза. Капустин схватил гитару:

На Кавказе между гор

Есть одна долина.

Что ты смотришь на меня?

Я не мандолина.

Колпаков расхохотался:

– С вами не сговоришь.

– Нет, господа, а все-таки, становясь на объективную точку зрения... – начал он опять.

– Брось ты свои умствования революционные, – перебил его Петин. – Начнет это бесконечное «с объективной точки зрения», субъективно смотря на дело, анализируя весь пройденный нами путь и синтезируя все сделанные нами пакости, и пойдет, и пойдет. Давайте лучше споем. Правда, капитан?

– Я всегда готов, – отозвался Капустин. Прапорщик Гвоздь предложил спеть малороссийскую.

Все согласились. Гвоздь начал:

Гей вы, хлопцы, добри молодци,

Чого смутни, не весели?

Хиба в шинкарки мало горилки,



Пива и меду не стало?

Офицеры дружно поддержали:

Повни чары всим нальвайте,

Щоб через винця льлося!

Щоб наша доля нас не цуралась,

Щоб лучче в свити жилося!

Песня понравилась всем, и все пели охотно. Каждый в глубине души чувствовал, что доля его незавидная, что всех их жизнь порядочно пощипала. Долго в избе лились грустные звуки мотива и, мягко вторя им, звенела гитара. Хозяйка стояла в дверях передней, не спускала с Барановского глаз, часто смахивала с своих длинных ресниц блестящие слезинки. Фомушка подал на стол кипящий самовар, поставил банку варенья, положил несколько плиток шоколада и коробку карамели.

– Откуда у тебя, Ваня, такое богатство? – спросил Колпаков.

– Как откуда? Да сегодня же подарки получили. Омские дамы послали сладости, а Колчак по две смены белья. Начхоз когда выдавал, то говорил, что Колчак это лично от себя офицерам шлет.

– Ну, наш батальон не получал еще, значит, – сообразил офицер.

Офицеры, смеясь, стали садиться к столу.

– Я хочу, господа, все-таки сказать несколько слов о том, что мирная жизнь лучше, интересней боевой.

Все молчали, занятые чаепитием. Видя, что никто не возражает, Колпаков продолжал:

– Ну что, сидел бы вот я теперь дома с хорошей книгой или свежей газетой, шипел бы около меня самоварчик, и в ус бы я не дул. Пожалуй, ничего бы и жениться. Жил бы себе мирно, тихо, не признавал бы никаких командиров, никаких приказов по полку. Знал бы я, что я Михаил Венедиктович Колпаков, и баста. А то вот теперь выпекли из меня подпоручика, дали роту и лишили вольной волюшки.

Мотовилов потянулся за карамелькой, презрительно бросил:

– Эх, Михаил, попом бы тебе быть, а не офицером.

Колпаков не обиделся.

– Пожалуй, я бы не прочь, хоть сейчас, попом, дьяконом, чертом, кем угодно готов быть, только не офицером. Ох, тяжелы эти погоны золотые. Да и что они дают в конце концов? Вот ты офицер, командир роты, в снег, в грязь, в непогодь, в дождь шлепаешь по лужам с ротой. Валяешься в мокрой грязи, зарываешься, как крот, в землю, подставляешь свою башку каждый день под все виды огня и каждый день имеешь девяносто девять и девять сотых за то, что тебя ухлопают или изуродуют. А главное, будь всегда на высоте своего

положения, будь каким-то сверхчеловеком: ты и струсить не моги, ты устать не смей и ошибиться тебе нельзя, потому что солдаты на тебя смотрят, с тебя пример берут, а начальство тебя дерет как сидорову козу опять-таки потому, что ты офицер. Завидная доля, нечего сказать!

Многие в душе соглашались с Колпаковым, понимали его. Многих офицеров тяготила та страшная служебная зависимость младшего от старшего, та сугубая субординация, с которой приходилось сталкиваться каждый день, в условиях которой нужно было жить. К тому же походная и боевая жизнь с ее длительными переходами пешком, по грязи или снегу, днем и ночью, без пищи, без воды, без смены белья не привлекала никого. Многие с удовольствием мечтали о теплой, светлой комнате, о стакане чая в кругу родной семьи, о чистом белье, о спокойном, нормальном сне. Штабс-капитан Капустин задумчиво помешивал ложечкой в стакане и говорил о том, как хорошо теперь у них на Волге:

– К осени Волга у нас полноводной делается. Право так, спокойно она, как дородная красавица, идет между берегов. С берегов леса да горы смотрятся в ее глубокие очи, приветливо кивают своими верхушками могучие дубы, развесистые белые березы и широкие, кряжистые, как купцы, вязы, и осина серебристая при виде ее дрожит и трепещет всеми своими листочками. Колпаков засмеялся:

– Вы чего это, капитан, в лирику пустились? Кажется, гоголевский Днепр перефразируете? – Капустин взглянул на него ласковыми, добрыми глазами.

– Разве? Э, ей-богу, это нечаянно. Это у меня от души, господа, вырвалось. Должен вам сказать, господа, что я хотя и штабс-капитан, но человек не военный и не злой я, нет. Нет у меня этого драчливого задора военного. Противна мне война и всякая военщина. Служил я раньше преподавателем естественных наук в женской гимназии и реальном, никогда я политикой не интересовался, зоология для меня была интересней всяких социологий, политических экономий и историй революционных движений. Знал я только букашек да мошек, ездил на охоту. Занимался препарированием всякой всячины. Грешил немного геологией. Есть у меня в этой области даже работа. Жил себе человек тихо, мирно. А тут вдруг этот чешский переворот, и забрали меня, голубчика, за то, что я имел несчастье в германскую войну школу прапорщиков кончить и штабс-капитаном стать. Я было это по-обывательски нейтралитетом хотел отговориться, ссылаясь, что эта война просто, мол, за власть. Пригрозили расстрелом. И вот пошел я на войну. Но даю вам честное слово, господа, что пошел я без всякой злобы на большевиков, не знал я их, да и сейчас не знаю и сейчас не понимаю, за что, собственно, мы деремся. Деремея мы под красным флагом, кричим о какой-то свободе. Красные тоже говорят, что революцию спасают. Ничего не разберешь. А как вспомнишь Волгу, свой кабинет, свои работы, так и хочется сказать: пошли вы все к черту с вашими большевиками, меньшевиками и революциями. Дела мне нет до вас. Не мешайте работать.

Капустин замолчал, стал торопливо закуривать. Ноздри его слегка раздувались, глаза были серьезны, горели огоньками возбуждения. Мотовилов мерил капитана презрительным взглядом и, обращаясь к Петину и другим своим единомышленникам, заговорил, подчеркивая и отчеканивая каждое слово;

– Вот тебе и славные Н-цы, каковы, господа, в недурную компанию мы попали? Полюбуйтесь, пожалуйста, не угодно ли: вот господин Колпаков, либерал до мозга костей, имеющий намерение сменить офицерский мундир на поповскую рясу и спрятаться от страшных большевиков за юбку своей попадьи; вот штабс-капитан, друг букашек, таракашек и сам божий бычок, до сего времени не знающий, за что он воюет, и в простоте душевной думающий, что с красными можно столкнуться о мире.

Капустин побледнел, выронил папиросу. Волнуясь и задыхаясь, он остановил Мотовилова:

– Послушайте, подпоручик, какое вы имеете право так издеваться над людьми, чем вы, собственно, лучше нас, в чем ваше преимущество? Кто это вам позволил обливать всех презрением?

Мотовилов нагло улыбнулся.

– Кто позволил? Вот это мило. Презирать вас я имею полное право, ибо я сознательно и убежденно веду борьбу с красными, борюсь с ними, как с разрушителями государства, как с продавцами России. Я иду на смертный бой за воссоздание Великой Единой России во главе с самодержавным монархом. – Мотовилов закурил. – Да, с самодержавным непременно, и таким, какого еще не было раньше. Я верю, что только он воссоздаст армию и поставит офицерство на должную высоту. Вот что дает мне право презирать вас, шпаков, позволяет мне плевать в ваши заячьи душонки. Эх вы, крохоборы, дальше своего носа ничего не видящие.

Офицер встал, глаза его сверкали гневом, грудь поднималась порывисто и часто, он сердито бросил окурок, заходил по комнате.

– Правильно, Мотовилов, правильно, крой полтинников, – загудели его единомышленники.

Что-то тяжелое и напряженное повисло в комнате. Недавние собутыльники разделились на два враждебных лагеря. Офицеры, ранее, до отхода в резерв, связанные общими боевыми задачами, думавшие только об отдыхе и еде, еще ладили между собой. В училище тоже все были спаяны железной дисциплиной, о политике почти не говорили, побаивались друг друга. Теперь же каждый почувствовал себя более или менее самостоятельно, к тому же несколько рюмок вина развязали языки. Барановский в училище молчал и считался весьма исполнительным и надежным юнкером. В полку он тоже себя ничем не проявлял, был как все – офицер как офицер. Но, будучи человеком не глупым и чутким, он переживал в душе за последнее время сильную ломку. Судя по докладу пленного командира бригады, по рассказам местных жителей, по литературе, оставляемой красными в деревнях, у него складывалось весьма хорошее мнение о Советской России. В его воображении не раз вставал образ титана пролетария, рвущего свои оковы в неудержимом, всеокрушающем порыве к освобождению, вышедшего на защиту своих прав с винтовкой и молотом в руках. Не столько умом, ясно и определенно, сколько в душе, смутно, он начинал чувствовать, что правда на стороне красных. Что никто другой, а именно они борются за освобождение всего человечества от ига войн, рабства и насилия. С каждым днем приглядываясь к тому, как ведут себя белые на фронте,

судя об их поведении в тылу по рассказам крестьян, он приходил к убеждению, что их дело, дело армии Колчака, – неправо дело. Ему начинало казаться, что Колчак только пока лицемерно лжет, говоря, что ведет борьбу за власть народа, за Учредительное Собрание, им же разогнанное в Уфе. Чем дольше Барановский служил в белой армии, тем больше убеждался, что белые просто-напросто хотят залить кровью, закидать трупами ту огромную трещину, которая появилась на жирном чреве золотого истукана – идола старого, подлого мира, мира лжи, насилий и угнетения. Мотовилов был неприятно удивлен, когда Барановский, всегда такой вежливый и стоворчивый, подошел к нему и, смело смотря в глаза, с нервной дрожью в голосе спросил:

– Ну, скажи, Борис, скажи ты, считающий себя человеком, а не букашкой, думающий, что у тебя большая человеческая, а не звериная душонка, где правда твоей жизни? На что опираешься ты, когда говоришь с таким презрением и злобой о красных или о людях, не желающих ввязываться в гражданскую войну? Скажи?

– И ты, Брут?

– Ну, Борис, я никогда не считал тебя своим другом.

– Ах так. Что же, я скажу, пожалуй.

Мотовилов стал медленно закуривать, стараясь выиграть время для того, чтобы обдумать лучше ответ.

– Так вот, видишь ли, по моему мнению, в жизни торжествует только сила. Не верю я и не интересуюсь никакими правдами в жизни. По-моему, где сила, там и всякая ваша правда. Торжествует всегда только сильный. Это основной закон жизни. Ну вот, голубчик, я и думаю, что сила-то, а значит, говоря по-вашему, и правда-то на нашей стороне, ибо нас поддерживает вся культурная Европа. К нашим услугам все усовершенствования и открытия науки, с нами лучшая европейская интеллигенция, у нас огромные запасы необходимых продуктов, а главное, хлеба. Армия наша дисциплинирована, вооружена до зубов. Наши снаряды не советским чета. Наши солдаты идут в бой, зная, что жить с красными нельзя. Конечно, эту дрянь, сибиряков, я не считаю, – оговорился офицер. – А там банда, а не армия, которую гонит в бой кучка комиссаров-проходимцев. А вооружение их, а обмундирование? А тыл, где люди пухнут с голоду? Э, да что говорить. Это всем известно. Кроме того, я думаю, что русский народ монархичен по своей натуре. Без идола ему не обойтись. Ему обязательно надо кому-нибудь поклоняться и чтобы его кто-нибудь порол нагайкой.

Барановский громко засмеялся.

– Ну, Боря, хоть и большая у тебя душа, как ты думаешь, а умишко-то куриный. Сказать, что русскому народу, тому самому народу, который вот уже два года ведет жестокую борьбу со всем миром, который разбивает одного генерала за другим, сбрасывает в море разных союзников, сказать, что этому народу нужны царь и нагайка, по меньшей мере смешно. Сказать, что Красная Армия банда – клевета. И ты сам знаешь, что Красная Армия теперь имеет дисциплину лучше нашей, что она организована не хуже, может быть, даже лучше любой европейской армии. Что она сильна, это ты испытал на своей

шее: слава богу, с Волги-то она нас в Сибирь загнала. Нет, брат, там не кучка комиссаров-проходимцев, а настоящие вожди. У нас посмотришь, кто во главе дел, – старые чинуши, отжившие свой век. Ни мысли у них яркой и живой, ни творческой инициативы. Жизнь бежит вперед, а они пытаются загнать ее в старые рамки. Она не слушается, хлещет половодьем через берега и плотины, а старцы дрожат и бессильно разводят руками. Совсем не то там. Там, брат, широта размаха, планы грандиозные и дела великие. Ты говоришь, что с нами европейская интеллигенция, т. е. опять-таки люди, насквозь проникнутые рутинерством, люди, которые могут строить новое только на старый лад. А у красных теперь весь богатый запас революционной и творческой энергии народа получил свободный выход и приложение. Да у них и интеллигенция есть, только своя. Нет, брат, сила на их стороне, и посмотришь, разобьют они нас.

Мотовилов презрительно молчал. Петин вызывающе смотрел на говорившего.

– Так вам, Иван Николаевич, осталось только к красным перебежать, ведь вы же форменный большевик.

– И перебегу, – с силой и злобой ответил Барановский, круто повернулся и вышел из избы.

Колпаков спокойно констатировал:

– Пьян как сапожник, и больше ничего. Проспится и опять будет подпоручик Барановский.

Барановский прошел в огород и, прислонявшись к изгороди, стал смотреть на кривые блестящие стекла озер. Грудь его дышала глубоко и ровно, и весь он был полон легкой радостью. Ему было приятно, что он наконец смело и прямо бросил людям в лицо свои мысли. Он чувствовал себя внутренне удовлетворенным. «Как хорошо в глаза сказать правду, резко так сказать, как ножом обрезать», – подумал офицер.

Сзади послышались шаги. Барановский обернулся. Спотыкаясь и торопясь, шла к нему хозяйка. Подошла, остановилась и молча опустила голову.

– Вы что, Настенька? – Барановский привык к ней и звал ее просто по имени.

– Да я вот за вас испугалась. Сердитый вы такой выбежали из горницы. Думаю, как бы не сделал чего с собой.

Хозяйка стояла, не поднимая головы, она была без платка, луна хорошо освещала ее русые, пышные волосы. Барановский смотрел на нее, вспоминая, что у нее хорошие, ласковые голубые глаза, чистое, бледное лицо, яркие губы и маленький, немного вздернутый нос. И вся она не была похожа на грубых деревенских женщин, было в ней что-то хрупкое, нежное. Офицер сделал шаг в ее сторону, и она, вздрогнув, вдруг порывисто обняла его, прижалась к его груди. Барановский осторожно отвел ее голову и крепко поцеловал в губы...

Гости посидели немного после ухода Барановского, потом поднялись все сразу и, громко разговаривая, стуча сапогами, стали расходиться.

## 19. НИЧЕГО НЕ ПРОИЗОШЛО

№-ская дивизия обратила на себя внимание диктатора, он верно оценил ее как одну из лучших и надежнейших частей. №-ской дивизии верховным правителем было пожаловано георгиевское знамя и срок стоянки в резерве продлен еще на полмесяца. По случаю такого радостного события, как получение георгиевского знамени, в дивизии был устроен праздник. Почти все офицеры и солдаты принимали эту награду как должное, были весьма довольны и польщены. Некоторые же смотрели на это дело совершенно с другой стороны. Барановский был из числа тех, которые посмеивались в душе над хитростью Колчака, так ловко сменившего у №-ской дивизии ненавистное красное знамя на полосатое, желто-черное, георгиевское. Злые языки говорили, что если бы у №-цев было белое знамя, то адмирал, пожалуй, и не надумал бы наградить их георгиевским, а тут уж волей-неволей пришлось, так как нельзя же было терпеть дольше, чтобы в армии его высокопревосходительства было проклятое красное знамя, этот символ борьбы раба за свое освобождение. Праздник прошел оживленно, весело не потому, конечно, что солдаты были особенно рады высокой награде, а потому, что всем была известна приятная новость о продлении срока стоянки в резерве. После всех церемоний, богослужения, парада и дефилирования церемониальным маршем №-цы получили армейские подарки – сигареты, какао, рыбные консервы и консервированные сосиски. Какао было получено в больших банках, для выдачи его рассыпали в бумагу, и от этого произошло немало курьезных недоразумений. Некоторые солдаты, не попробовав и не узнав, что это им выдали, приняли какао за перец, высыпали его в суп, а потом ходили и жаловались, что у американцев ужасно скверный перец без запаха и совсем не горький.

Расходились с парада с песнями. Мотовилов и Барановский, отправив свои роты с помощниками, стояли на углу главной улицы, смотрели на проходившие мимо части дивизии. Татарский батальон пел по-своему. Песня татар была похожа на ворчание большого зверя. Временами она переходила в злобный шепот, затихала и вдруг разрасталась в рев, звенела сталью кривых мечей и кинжалов.

Афисер погон кайса<sup>49</sup>

Больше Барановский с Мотовиловым не могли ничего понять. Слова сливались в сплошную тарабарщину.

Ал-а-ла-ла-ла-ла-ла!

– Вот у этих не сорвешься, брат. Хорошо дерутся. Мотовилов разглядывал скуластые, широкие лица солдат.

– Ну, тоже аллаяров<sup>50</sup>

– Меньше, чем в чисто русских частях.

---

<sup>49</sup> Офицер погоны надел

<sup>50</sup> Аллаяр – ругательное слово для татарина. Дословно перевести – разбитый бог.

Учебная команда шла редким, широким шагом. Концы штыков стояли над головами солдат ровной щетиной.

Калинушку ломала, ломала, ломала, ломала. Чубарики чубчи ломала.

Учебники ногу держали хорошо. Ряды их не гнулись. Дистанция между отделениями была отрезана, как по мерке.

...ломала, ломала, ломала.

Было что-то широкое в этой песне, спокойное и ленивое. Барановский стоял, слушал, и в его воображении встали залитые солнцем тучные заволжские степи, необъятные поля спелой пшеницы и тишина над всем этим простором. Тихо, жарко, нет мыслей и желаний.

...бросала, бросала, бросала, бросала.

Первая рота третьего батальона шла со своей песней.

Вдоль по линии Кавказа,

Там сизой орел летал,

Православный генерал...

Мотив был немного смешной, прерывистый. Стрелки пели заикаясь, спотыкаясь на каждом слоге.

В-д-о-л-ь по лини-и-и-и Кав-каза

Легкая пыль поднималась из-под ног роты. Солнце грело сильно. Барановский снял фуражку и задумался, слушая четкий шаг, старые, знакомые слова песни. Он почувствовал себя перенесенным в обстановку мирного времени. Ему начинало казаться, что он не в Утином, в сорока верстах от фронта, а где-то далеко в тылу, что вообще даже нет войны, ни красных, ни белых.

Правосла-а-авный генера-а-ал

Нам такой приказ давал.

«Ничего не произошло. Ни революции, ни войны, ничего нет», – думал офицер. Мотовилов говорил:

– Приятно, Иван, все-таки посмотреть на наших добровольцев. Дисциплина, порядок. И всем им это нравится. Ведь они и восстание-то подняли за порядок. Их борьба – это бунт против анархии. Мне почему-то хочется сравнить наши части и шатию Керенского. Помнишь?

На солнце ничем не сверкая,

В оружьи какой теперь толк?

По улицам пыль поднимая,

Идет наш сознательный полк.

Мотовилов восстанавливал в памяти пародию на песню гусар.

Марш вперед, трубят в поход,

Вольные солдаты.

Звук лихой зовет нас в бой, –

Не пойдем, ребята.

– Сволочь! Надо было переложить этот всероссийский кавардак. Как метко все-таки, Иван, здесь схвачены яркие черты керенщины. Это – самый ее сок, душа. Не пойдем, ребята. Что нам родина, честь нации. Все к черту, все пустяки. Слава богу, больше этого нет и не будет. Хорошо. Любо посмотреть.

Мимо шла комендантская команда.

Права-а-аславный генер-а-а-а-л.

На другой день после праздника зашел к Барановскому за деньгами местный кузнец, ковавший ему лошадь. Барановский с Фомой и Настей сидели за столом и пили чай. Офицер предложил кузнецу стакан чаю. Кузнец был очень удивлен таким приемом и стал отказываться, называя Барановского «ваше благородие». Барановский смеялся, говоря, что родился ничуть не благороднее его, а просто, как и все.

– Брось ты это, дядя, а зови-ка меня просто Иваном Николаевичем.

Кузнец недоверчиво крутил головой.

– Да ты чего, Никифор, ломаешься? – сказала Настя. – Садись, выпей стаканчик. Он у нас простой. Садись!

Она перевела свои сияющие лаской глаза на офицера. Никифор положил шапку, перекрестился на передний угол и нерешительно сел на край стула. Настя налила ему чаю в чашку с золотыми разводами и надписью «В день ангела» и подвинула крынку густого, жирного молока. Барановский, указывая на мешочек с сахаром, предложил гостю:

– Пожалуйста, с сахаром.

Кузнец махнул рукой.

– Мы уж отвыкли от него, спасибо. Забыли уж когда и пили-то с ним.

– Ну вот теперь попейте.

Никифор налил чай на блюдечко и стал пить, откусывая сахар маленькими, чуть не микроскопическими кусочками. Выпил чашку и, подавая ее Насте, вспомнил:

– А я, однако, наврал вам насчет сахару-то. Ведь недавно я пил с ним. Вот как красны-то у нас были, так угощали.



Барановский обрадовался.

– Как у вас тут, интересно, красные жили? Расскажите, что они говорили про нас, про войну, вообще, какие у них порядки?

Никифор замялся, начал говорить общие фразы:

– Известно, чего говорили, как уж враги, так, значит, враги.

Настя резко обернулась к кузнецу:

– Ты, Никифор, не мнись, а говори толком, что, как и чего. Не гляди на него, что он в погонах, он хоть и офицер, а вовсе не белый.

Фома, ничего не знавший о той перемене взглядов, какая произошла у Барановского в последнее время, не подозревавший о его близости с Настей, фыркнул и опрокинув свой стакан, закатился долгим смехом. Ему было очень смешно, что Настя называла его командира не белым. Он смеялся над глупостью деревенской бабы.

– А ты, Фома, не фыркай. Не понимаешь ничего и молчи. Ишь, раскатился, – прикрикнула на него Настя.

Фома, видя, что командир молчит, не поддерживает его, не останавливает хозяйку, немного обиделся:

– Конечно, вы много понимаете. Вам сверху-то видней.

Фома закурил и вышел на улицу. Никифор молча дул в блюдечко. Настя опять обернулась к нему:

– Слышишь, Никифор, нечего сопеть-то. С тобой, «как с человеком, хотят поговорить, а ты, как медведь – молчишь.

– Я тебе, Иван Николаевич, прямо скажу, – обратилась она к Барановскому, – этот кузнец у нас первеющий большевик в селе. Сейчас он, видишь, христосиком прикинулся и на икону крестится и тебя вашим благородием называет, а послушал бы ты, как он этих ваших благородий-то прохватывал. О красных порядках он очень даже хорошо знает и все может тебе рассказать.

Кузнец перестал пить чай, побледнел и заспешил с оправданиями:

– Ты что, Настасья, белены, что ли, объелась, какой же я большевик? Неужто вы бабьей болтовне доверите, ваше благородие?

Барановский стал успокаивать его, говоря, что никакого значения словам Насте он не придает и что ему безразлично, кто он – большевик или нет, а ему важно только и интересно познакомиться с порядками у красных.

Долго говорил офицер, стараясь осторожно подойти поближе к кузнецу, вызвать его на откровенность. Никифор, видя, что офицер не арестовывает его, не кричит, не ругает, а говорит ласково, тихо, стал успокаиваться. И Настя опять принялась убеждать его, чтобы

не боялся, смеясь уверяла, что белены она не объелась. Никифор неуверенно начал говорить. Скажет слова два, помолчит, выпьет блюдечко чаю, опять заговорит. Барановский умело поддерживал разговор, и мало-помалу кузнец увлекся, принялся с жаром рассказывать офицеру о всем, что пришлось ему увидеть и услышать у красных.

– Там, я вам скажу, порядок так порядок, – горячился Никифер. – Уж этого баловства никакого нет. Чтобы там крестьянина обидеть, даром что взять, боже упаси. А если какой найдется охальник, так сейчас его к стенке. Очень строго насчет этого. Ну, с командирами они как с товарищами обращаются, так и называют – товарищ командир. Но уж в строю, командир как командир. Приказал, и кончено. Насчет обмундирования у них не больно важно. Супротив вашего им далеко. У вас, посмотришь, солдаты как купцы одеты, и подарки им, и всякая такая штука. Хоть сегодня я посмотрел: на празднике чего только не надали им. Сразу видать, что у вас богачи, миллионщики делом-то всем ворочают, хотят народ-то, задобрить, подкупить, чтобы он значит, за них стоял. У красных насчет этого потуже. Правда, харч у них хороший, но до вашего далеко, потому у них за спиной голодная Рассея, там ведь тоже всех накормить надо. А насчет всего прочего взять-то им негде, потому там все бедняки дерутся и управляют государством-то сами рабочие и крестьяне. Известно, нашему брату откуда взять такое богатство? Может, когда война кончится, наладится работа на фабриках, и все будет, а пока что туговато, – обстоятельно объяснял кузнец. – Дерутся они, значит, за освобождение этой самой пролетарии от буржуазии. Хотят жизнь по-новому устроить. Барановский слушал внимательно.

– А скажите подробнее, как они это хотят жизнь-то по-новому устроить?

Никифор многозначительно поднял палец кверху:

– О, это у них очень умственно, планно так разработано. Только не все они так-то говорят, а есть у них партийные, коммунисты, так вот они все сказывают насчет этой коммунии, новой-то жизни. Говорят, дескать, мол, между людьми не должно быть никаких войн, ссор и боев. Все, мол, должны жить в мире, а пока, дескать, существует всякая собственность, то будет существовать зависть, а раз зависть, то и вражда, и брань, и драки. Каждому ведь захочется иметь больше да лучше. А они вот и хотят собственность-то уничтожить, сделать всех вроде как бы пролетариатами, а имущество разное – землю, скот, фабрики, заводы – все сделать общественными. Оно так умственно и выходит: и будто нет у меня ничего своего и есть все, потому я имею право всем с общего, так сказать, котла пользоваться. И никому не завидно, потому все равны и у всех все поровну есть. А коли недород какой случится, коли хлеба не будет, то уж у всех его не будет, а не то что раньше: один с голоду пухнет, а другой от обжорства жиреет.

– Ну, а как они работать-то думают, скажем, хоть на фабрике? Как прибыль делить думают?

– У них прибыли этой, значит, никакой нет, а есть только материал, который изготавливают, и уж этот-то материал и делят всем. А работают все сообща, всем обществом, коммунией-то, значит, и сообща всем пользуются. И много, говорят, в Рассей этих у них коммунии развелось и живут, сказывали, согласно все, как одна семья, потому распорядок весь умственно, планно сделан.

Барановский смотрел на смуглое, со следами копоти лицо кузнеца, на его серые, умные глаза, слушал его голос, сильный, звучащий нотками непоколебимой веры в новую жизнь, в «коммунию», и в его пылком воображении раскрывались грандиозные картины жизни нового прекрасного мира.

Кузнец ушел. Настя принялась убирать со стола. Барановский сидел в глубокой задумчивости, разбираясь в массе мыслей, возбужденных отрывочными рассказами Никифора. Офицер теперь представлял себе более ясно, что красные идут за определенную идею, за осуществление идеалов социализма, и сейчас же, делая сопоставление, разбираясь в том, за что дерутся белые, Барановский не находил подходящего ответа. Слишком разнокалиберен был состав как белой армии, так и вообще людей, в той или иной степени причастных к борьбе с красными. Одни думали, что идут за революцию, какую – неизвестно, другие шли определенно за реставрацию монархии, третьи – черт знает за что, четвертые – просто потому, что их силой гнали в бой, потому что не разбирались, на кого поднимают руку. Барановский всем существом своим чувствовал, что больше он не в силах идти на фронт, и ломал себе голову, как бы избавиться от скверной роли, навязанной ему судьбой, руководителя, инструктора убийства, истребления себе подобных. Подошла Настя, села рядом, положила ему голову на плечо. Он обнял ее.

– Милый, не ходи ты на войну, – начала Настя, – убьют тебя там. Да и за кого ты пойдешь драться? За что? А с кем? Ведь ты сам говоришь, что у красных порядки хорошие. Не ходи, дорогой ты мой, останься у меня. У нас мужики народ дружный, спрячем тебя, никто не найдет. А как красные придут, вот ты и свободен будешь.

– Я давно об этом думал, Настя. У меня даже хранится приказ Троцкого, где он говорит, чтобы всех белых перебежчиков принимали и делили бы с ними хлеб-соль. Там у него есть такая фраза: «Увидев, на чьей стороне правда и сила, не только солдаты Колчака, но и многие из его офицеров будут честно работать в Советской Республике». И вот я думаю бежать к красным и боюсь. Ведь и ваши-то крестьяне, пожалуй, чего доброго, выдадут, если здесь остаться?

– Голову даю на отсечение – не выдадут. Барановский задумался, горько улыбнулся.

– А ты думаешь, красные-то меня так и примут с распростертыми объятиями? Как же. Троцкий-то пишет хорошо, а как масса-то красноармейская думает? Скажут, золотопогонник, и поставят к забору.

Настя молчала, и слезинки быстро капали у нее из глаз. Она сильно привязалась к Барановскому, полюбила его: он был первый у нее в жизни мужчина, который подошел к ней по-человечески. Ей нравились его мягкость и доброта. Настя никак не могла понять, за что бы красные могли расстрелять Барановского, когда он такой хороший и совершенно не похож на белого. Барановский, мучимый сомнениями, начал ходить из угла в угол. Настя сидела, низко уронив голову, и плакала. Барановский в сотый раз мысленно повторял, что против красных он идти не может. Но где выход? Сдаться в плен – опасно. Сбежать и от красных, и от белых, но куда? Барановский нервно хватался за голову и бегал по комнате. Для молодого офицера наступили мучительные дни сомнений и колебаний.

Время летело быстро. Срок отдыха дивизии близился к концу. Офицеры в полку развлекались как могли. Ко многим из них приехали жены, вызванные телеграммами. В местной школе часто устраивались семейные вечера с танцами, картами и выпивкой. Скуки ради флиртовали все отчаянно. Подпоручик Петин был удостоен высоким вниманием самой супруги командира полка. Молодой офицер ходил, как обалделый, опьяненный своим успехом. О своей победе Петин рассказывал в среде товарищей с бахвальством мальчишки, примешивая к этому и некоторую долю серьезных соображений материального характера. Зеленый подпоручик мечтал уже об аксельбантах адъютанта и весьма недвусмысленно намекал, что его, пожалуй, скоро представят в поручики. Офицеры завидовали ему и злились и мстили тем, что во всеуслышание говорили о его связи с Ларисой Львовной, женой командира полка. Но не одна Лариса Львовна стала предметом злых сплетен и нападок досужих болтунов. С женами других офицеров обстояло не лучше. Жена командира восьмой роты была замечена в весьма вольной позе с командиром второго батальона. Жена командира второго батальона часто уединялась с командиром первого батальона. Командир восьмой роты почему-то перестал охотиться, а в рошу стал ходить с женой начальника хозяйственной части, и так далее в этом роде. Сложная любовная интрига переплела весь полк. Люди, не интересовавшиеся любовными утехами, подвизавшиеся на зеленом поле, в объятиях зеленого змия, не раз, сидя за картами, говорили, что за время этой стоянки в резерве в полку все стали родными. Все происходившее в полку не ускользало от внимания местных жителей, крестьян, и они, посмеиваясь, говорили о том, как весело и беззаботно живут господа, и очень удивлялись, что они отбивают друг у друга жен.

– Точно нарочно, сговоримшись, все это они делают, – недоумевали мужики.

– Один ахвицер отбил у другого жену, ан, смотришь, и у няво-то своя с другими улетела. Чудеса!

Кузнец Никифор, сердитый и черный, стоял среди кучки односельчан и говорил, что никакой в этом потехи нет, а что крестьянину даже противно смотреть на все эти гадости.

– Ты целый день горб гни, а они только пьянствуют, баб друг у друга воруют да хлеб переводят, а откуда они берут его? С чьего поля? Все с нас, дураков. Эх, так бы я их всех. У-у-у!

Никифор сжал кулаки и грозил в сторону школы, откуда неслись звуки веселых танцев.

Срок отдыха истек, и дивизию потребовали на фронт. В день выступления из Утиног Н-цев подняли до рассвета. Ночь была холодная, ветреная, шел мелкий, затяжной осенний дождь. На улицах нога вязла в липкой и жидкой грязи. Люди зябко кутались в поднятые воротники шинелей. Мотовилов со своей компанией стоял на крыльце ротной канцелярии, дожидаясь, пока фельдфебель выстроит роту. Оделся он немного щеголевато, легко, не по сезону, холод пробирал его, но он был в хорошем настроении и, чтобы согреться, мелко приплясывал на крыльце, подпевая себе вполголоса:

Кто народу дал свободу?

Кто его вывел из тюрьмы?

Остальные офицеры тоже прыгали с ноги на ногу.

Солдатики, ваши братики

Московские шулера.

Кто с кухарками флиртует?

Кто их жарко так целует? –

продолжал Мотовилов.

– Первый батальон, смирна-а-а, господа офицеры! – заревел батальонный. Офицеры вытянулись.

– Господа офицеры! Здорово, лихие N-цы, – поздоровался командир полка.

Сонными голосами, вразброд ответили N-цы. Настя не вышла на улицу провожать Барановского, боясь, что ее слезы заметят односельчане. Они простились дома. Настя, глухо рыдая, припала лицом к окну, не сводила глаз с темного силуэта офицера. Она видела сквозь тяжелую муть рассвета, как Фома подвел ему лошадь, как он сел в седло. В ушах ее долго звенели последние его слова: «Девятая рота, шагом марш!» А в глазах мелькали сгорбившиеся, озябшие фигуры солдат, тяжело шагающих по вязкой и глубокой грязи улицы.

## ***20. НЕ БЕСПОКОЙСЯ, МИЛОЧКА***

На улицах под ногами, как в отхожем месте, расплываясь, чавкала липкая, жидкая грязь. Круглыми, мутными, вонючими плевками серели лужи. Небо, забросанное скомканной грязной бумагой, мокрыми тряпками, нестиранным, рваным бельем, слезилось, роняло вниз холодные нити мертвой слюны. Было скользко и холодно. Толпа на тротуарах двигалась тихо, осторожно ступая, засучив концы брюк, высоко подняв юбки, засунув руки в карманы, спрятавшись в воротники, надвинув шляпы. На заборах, в витринах магазинов плакали, кисли от дождя белые бумажки:

Братья христиане! Настал час, когда мы должны спросить себя, идем ли мы с Христом или против него?

Толпа, слепая, озябшая, ползла мимо, не замечая.

Кто с большевиками или помогает им, тот снимает с себя крест и идет против Христа и церкви его.

Они шли. Почти все с крестами. На золотых цепочках, на серебряных, на шнурках. Но не все ли равно? На фронте положение было безнадежное. Ну, безнадежное, ну и что же? К чему кресты, Христы? Не поможет. Нет. Все равно. Закрытые шляпами, зонтиками, они не хотели думать. Все равно. В дождь хорошо сидеть у огня. Под теплым одеялом. Дремать.

Если мы – христиане, то не страшны нам большевики, как не страшны бесы силе креста. Позорно христианину, осененному силой креста, бояться силы бесовской.

Позор. Зачем же? Нет, это не нам. Зачем бегут с фронта. Это им. Бесы. Сила бесовская. У камина светло. Не страшно. Везде перед иконами лампы неугасимые. Не страшно. Холодно. Скучно. Только.

Не сумев защитить Родины, защитим хотя бы семьи наши. Для сего образуем дружины креста.

Злоба трясет мелкой дрожью. Сколько. Проклятый Брест. И опять. Опять. Они бегут. Неужели новый позор? Не пускать их. Наставить кругом пулеметы. Загородить трусам дорогу. Семьи. Разрушают уют. Загадят комнаты. На улицу выкинут. Холодно. Скользко. Нас не будет. Уничтожат всех. Кафе манили их. Там тепло, уютно.

Родина-мать изнывает в крови и страданиях. Ножи палачей повисли над ней... Руки убийц терзают ее и хотят стереть самое имя «Россия». Будут немцы, китайцы, французы, – России и русских не будет.

Стена кусками роняла размокшую бумагу. Ветер подхватывал черно-белые кружева воззваний, тискал в грязь, швырял на тротуары. Вывески скрипели. Недалеко стучал завод. Сотня рабочих чинила пулеметы. Люди в погонах, с винтовками стояли у них за спиной.

Спешите же в наш стан, в русский стан, стан демократии.

Толпа ползла. Из ресторана пахло жареным мясом. Бифштекс с кровью очень вкусен. В подвале, забившись в угол, грызла руки жена Иванова. Его вчера расстреляли на дворе завода. По подозрению.

Нас ждут там, ждут как спасителей. И мы должны идти.

Брызги грязи липли на сапоги, на короткие английские шинели. Винтовки с ложами из черного ореха резали плечи. Огромные вещевые мешки и сотни патронов гнули к земле. Скользко и сыро. Песня пугалась, обмазанная грязью, глохла.

Эту войну не мы начали, а большевики. Они и погибнут.

В кафе хорошо. Фронт еще далеко. Ну и хорошо. Там голодают. В далеком красном, там. Пусть. Не умеют жить. Мы умеем. Мы все можем. Мы накормим всех. Не хотят, не надо. Будем смеяться.

Живем сытее вас, спокойнее вас, хотя у вас всякие усовершенствования – Совнархозы, Центроспички, Комбеды, только вот есть вам нечего.

Сцепщик, трусливо озираясь, нырял под вагоны. Черные руки с усилием накидывали тяжелые цепи. Красные вагоны прыгали, покачивались. Из окон и дверей хохотали. Сильно несло спиртом. Визжали женщины. Добровольцы уходили на фронт.

Правы советские газеты, говорящие, что в России в смертной схватке встретились два мира. Два мира, мир справедливости и мир измены и хулиганства, мир христианский и

мир антихриста, мир адмирала Колчака и мир шляпного торговца Лейбы Троцкого-Бронштейна.

Колокола говорили нежно, едва слышно. Ладан застилал глаза.

– Господу помолимся!

Живот у батюшки был круглый. Риза блестела золотом. Ветер не унимался. Белые лохмотья трепались на стенах.

Что большевики обещали и что дали:

Обещали: Дали:

Мир Гражданскую войну

Натравили рабочих на крестьян

Волю Двухединую монархию

Ленина и Троцкого

Хлеб Голод

Большевики обманули. Мы не обманем. Мы все дадим.

Стремясь обеспечить крестьян землей на началах законных и справедливых, Правительство с полной решительностью заявляет, что впредь никакие самовольные захваты ни казенных, ни общественных, ни частновладельческих земель допускаться не будут и все нарушители чужих земельных прав будут предаваться законному суду.

Лошади были сытые, зады у них лоснились. Широкая спина кучера мягко покачивалась. Бутовы ехали на вокзал.

– Ты, Шурочка, не беспокойся. Поездка в Японию обеспечит нас на всю жизнь.

– Митя, я не беспокоюсь, но зачем это сейчас? Ведь мы сыты – и хорошо. Лучше быть вместе теперь. Смотри, все бегут из Омска. Я боюсь, что ты не успеешь вернуться. Они придут. Ах, это ужасно.

– Не беспокойся, милочка. Их отгонят. Я вернусь. Все будет хорошо. Не беспокойся, милочка..

Рессоры плавно опускали и поднимали экипаж. У вокзала стояла вереница пролеток, телег, тарантасов. Уезжающих на Восток было много. На запасных путях беженцы жгли костры. Грязное белье на небе набухло. Вода текла с него ручьями. По улицам было трудно идти. Скользко. Холодно. Платформа черная блестела. На больших ресницах Бутовой висели горячие капельки. Не дождь. Слезы.

– Не беспокойся, милочка.

## **21. ПОКАТИЛИСЬ ВНИЗ**

Стоял октябрь.

Голые белоствольные березы беспомощно гнулись под напорами сильного осеннего ветра. Легкие первые снежинки кружились в воздухе, тихо ложились на озябшую землю. Иногда ветер разрывал тонкие снежные одежды земли, обнажая его грудь, сплошь покрытую багрянцем опавших листьев, а людям, измученным долгими боями, грязным и дрожащим от холода, казалось, что из-под снега огромными яркими пятнами выступает пролитая ими кровь и молчаливо напоминает об изуродованной, загаженной человеком жизни. С каждым днем снег становился все глубже, с каждым днем он все плотнее закрывал израненное, изорванное снарядами и пулями тело земли. Стоял октябрь, фатально счастливый для красных месяц. В этом году они опять, как и в прошлых двух, в октябре были победителями. На фронте дела белых становились все хуже и хуже. В старых добровольческих полках, основательно потрепавшихся в боях, чувствовались упадок духа и усталость. Молодые сибирские части были настроены враждебно по отношению к правительству Колчака и не только уклонялись от боев, но даже перебежали на сторону красных целыми ротами, батальонами. Финансовые операции, закон о земле, карательная политика сибирского правительства, умело использованные красными в целях агитации, делали свое дело.

Наступление от Петропавловска до Кургана и захват берега Тобола были последним успехом белых, последней предсмертной судорогой армии Колчака. На Тоболе, получив смертельный удар, белая армия начала безостановочное, беспорядочное отступление. Отступление без всякого нажима со стороны противника, который едва поспевал за отходящими. Отход армий прикрывался незначительными, бутафорскими арьергардными боями. Каждому, от рядового до генерала, было ясно, что дело проиграно, что армия Колчака скоро прекратит свое существование. Не понимал, видимо, этого только один генерал Сахаров, который предложил Колчаку организовать защиту Омска, настаивая на том, что столица Сибири не должна быть сдана. Колчак согласился. Конечно, ничего из этой затеи не вышло, и Омск был сдан почти без боя теми самыми образцовыми егерскими частями, на которые так надеялся диктатор. Взятие Омска нанесло последний сокрушительный удар армии Колчака. Грозный призрак коммунизма стал в Сибири реальным воплощением дня. С запада наступала на белых крепнущая с каждым днем Красная Армия, с севера, юга и востока наседали на них, перегораживая путь отступления, красные партизаны. Местные жители без принуждения не давали отступающим ни крошки хлеба, ни фунта мяса, ни одной подводы. Белая армия заматалась, как зверь в капкане.

Тяжкий молот классовых противоречий разбивал в куски разлагающееся тело белогвардейщины, тысячами разил белых, гнал их безостановочно. Красная Армия наступала, побеждала, брала одну губернию за другой. И чувствовалось, что берет верх она не численным превосходством, не техническим преобладанием. Было что-то в ее железном марше страшное и неотвратимое, как судьба, что-то необъяснимое, но огромное и властное, вселявшее панику в ряды белых.



Белая армия расплзлась по всем швам и соединениям. Оборвалась связь между корпусами, несогласованно действовали дивизии, полки отрывались десятками и растекались поротно, повзводно или просто кучками. Дисциплина совершенно пала. Никто никого не слушался, никого не признавал, каждый действовал по своему усмотрению и за свой страх. Начался массовый переход на сторону красных. Сдавались поодиночке и целыми частями. Сдавались, таща с собой громадные запасы обмундирования, снаряжения, боевых припасов, продовольствия. Не желавшие сдаваться, вернее, боявшиеся сдать, отходили в глубь страны. Отступали главным образом офицеры и добровольцы и люди, просто захваченные потоком движения, шедшие по инерции.

После Омска можно было отступать только по одной дороге, на которой сошлись и смешались все части когда-то хорошо организованной армии. Тут шли каппелевцы, ижевцы, уфимцы, действовавшие в последнее время на левом фланге армии; с ними в одном потоке откатывались воткинцы, оперировавшие ранее на правом фланге, тут был и какой-то степной корпус, и прифронтовые полки, и тыловые части, управления, учреждения, эвакуировавшиеся за недостатком вагонов на лошадях; тут же отходили только что прибывшие на фронт добровольческие дружины святого креста и полумесяца, бежали и жалкие остатки сибирских дивизий, таявшие с каждым днем, так как солдаты сибиряки отходили только до родных сел, где и оставались. К отступавшей массе военных примешивались волны беженцев, ехавших с войсками на Восток. Казенные фургоны, орудия, зарядные ящики, сани, кошевки, телеги, верховые лошади, солдаты, офицеры, женщины, дети, чиновники гражданских учреждений, полки кавалерии, гурты скота, обозы подводчиков – местных жителей, казачьи части – все смешалось в одну массу и в хаотическом беспорядке стремительно откатывалось на Восток. Широкой черной лентой ползла волна отступающих, пожирая и уничтожая все на своем пути. На десятки верст вправо и влево от железной дороги, по главному тракту и небольшим проселочным дорогам, деревни, села, заимки, города были битком набиты белыми. Армия как организованная боевая и хозяйственная единица перестала существовать, но масса людей, входивших в ее состав, осталась, нуждаясь по-прежнему в пище, одежде, перевозочных средствах. Огромную дезорганизованную массу людей, конечно, некому было кормить, снабжать всем необходимым, и она, голодная и холодная, подгоняемая сильным врагом, свирепела, как зверь, жадно накидывалась на города, села, деревни, заимки, громила склады обмундирования, вина, продовольственные магазины, тащила с крестьянских полей последнюю охапку сена, соломы, выгребала из амбаров и кладовок местных жителей все запасы муки, зерна, картофеля, масла, убивала массами крестьянский скот, птицу, жгла на своих кострах все, что можно было, обрекая остающееся на местах население на голод и холод. По ночам огромное багровое зарево стояло на всем пути отдыха бывшей армии Колчака – то люди, не захватившие квартир, вынужденные ночевать на снегу, жгли костры, прячась около них от жестоких сибирских морозов. Среди отступавших начались массовые заболевания тифом. Целые обозы в сотни подвод с больными и обмороженными тянулись в города. Лазареты не в силах были принять всех, и масса больных бросалась на дорогах в санях или просто на снегу, где смерть быстро и верно излечивала их, раз и навсегда освобождала от всех страданий. Фуража не хватало, и загнанные и голодные лошади сотнями падали на дороге. Трупы замерзших людей идохлых лошадей, как страшные вехи, обозначали путь отступления. Точно смертоносный

смерч несся на Восток, крутясь по городам и селам, оставляя после себя ужас смерти и разрушения, устилая свой путь трупами людей и животных, черными полосами пожарищ.

На остановках, во время ночевок, теснота была невероятная. Люди набивались в избы так, что в них буквально можно было только стоять. Холодные и усталые солдаты, ища защиты от ветра и снега, забивались в хлева, амбары, конюшни, располагались на гумнах, у зародов сена или соломы. Самые несчастливые, приехавшие позднее всех в деревню, отпрягали лошадей на улице, раскладывали большие костры и тут же спали в санях, тесно прижавшись друг к другу.

Барановский, Мотовилов и Колпаков с остатками своих рот оторвались от полка и ехали вместе, составив, по выражению Колпакова, «ударно удирающий» батальон. Барановский ехал, занятый своими мыслями, ни во что не вмешиваясь, с каким-то безучастием и покорностью подчиняясь распоряжениям энергичного Мотовилова, фактически ставшего командиром всех трех сведенных рот, потому что и Колпаков, человек с ленцой, с удовольствием свалил с себя все хозяйственные заботы. Ударно удирающему батальону не везло: он третьи сутки ночевал на улице. Запасы продовольствия истощились. Хлеба не было, мяса тоже, оставалось только несколько бочек масла, которое люди грызли на морозе с луком, захваченным на одной из хохлацких заимок. С последней остановки Мотовилов выехал злой и угрюмый, с твердым намерением во что бы то ни стало захватить в следующей деревне квартиру и в тепле хорошенько выспаться. Мотовилов ехал и мысленно рассуждал о том, как надо жить, и приходил к своему старому выводу, что нужно брать все силой, что живет только сильный. Ему вспоминалась только что оставленная деревня, где они и могли бы втиснуться кое-как в избы, но солдаты не пустили их, и они вынуждены были ночевать на морозе. Офицер краснел от одного воспоминания о том унижении, какое пришлось им пережить на последней остановке. Иззябшие и голодные, после шестидесятиверстного дневного перехода, они стали просить каких-то солдат, занявших избы, пустить их погреться. Из избы в ответ на вежливое «пожалуйста» офицеров раздалась грубая площадная ругань и крики:

– Много вас тут найдется, катитесь дальше! Самим сесть негде!

Один пьяный, с оборванными погонами, в английской шинели, вышел из избы, и, громко икая и покачиваясь, глядя на офицеров мутными глазами, дыша им в лица винным перегаром, засмеялся:

– Что, господа офицеры, плохи дела-то? Не пускают. Н-да-с, прошли золотые денечки. Теперь мы все равны. Все бегунцами стали. Ик, ик! Все бегунцы. Н-да... ик, ик!

Солдат сильно покачнулся и, чтобы не упасть, схватился руками за угол избы, закинул голову назад, попытался запеть, но у него из горла вырвался прерывистый, заглушенный вой, и весь он, лохматый и грязный, был похож на дикого зверя. Замолчав, пьяный выпрямился и, обращаясь к офицерам, продекламировал:

Офицерик без погон,

Вспомни, что было.

Мотовилов молча размахнулся и сильно ударил пьяного кулаком в ухо, тот без звука рухнул на снег, потеряв сознание. Офицеры вышли со двора. Барановский с нервно подергивающимся лицом спрашивал:

– Ну зачем это, Борис? Зачем?

– Дурак ты, – коротко ответил Мотовилов. Теперь, сидя в санях и вспоминая эту сцену, офицер со злобой думал о «серой скотине». После нескольких часов езды Мотовилов остановил свой батальон на вершине холма, у подошвы которого стояло село. С холма хорошо было видно, что село кишит людьми и обозами.

Свободных квартир в нем, несомненно, не было. Офицер подошел к саням с пулеметом и твердым, властным голосом приказал пулеметчику:

– Снимай пулемет. Ставь на дорогу.

Кольт зачернел на снегу, вытянув свое дуло в сторону села.

– Заряжай! – командовал Мотовилов. – Церковь видишь? – спрашивал он пулеметчика. – По вершине креста, с рассеиванием, – продолжал командовать Мотовилов. – Пулемет, очередь!

Двадцать пять пуль со свистом пролетели над селом, и сердитый стук пулемета разнесся по всем улицам. В селе поднялась суматоха. Люди, измотавшиеся вконец за долгое отступление, не разбираясь ни в чем, услышав только стрельбу, решили, что подошли красные, в панике метнулись из села. Обозы сплелись в запутанный клубок, сгрудились на узких улицах в несколько рядов, не могли разъехаться, выехать в поле. Мотовилов, смеясь, наблюдал в бинокль, изредка выпуская из пулемета небольшие очереди. Обозники рубили построжки и гужи, садились на лошадей и удирали верхом, бросая сани со всяким добром. Минут в пятнадцать село было очищено совершенно, и Мотовилов въехал в него с батальоном, приказав людям набрать из брошенных обозов необходимые продукты и вещи поценней. Солдаты, обрадованные легкой добычей, со смехом принялись за разборку брошенного, хваля находчивость своего командира. Жадный и запасливый каптенармус из роты Колпакова бегал между саней и, задыхаясь, кричал солдатам:

– Ребята, ничего не бросай. Там если чай или что, тащи. Масла тоже надо взять. Лошадей достанем. В дороге все годится.

Офицеры заняли один из лучших домов. Мотовилов с видом победителя сидел в переднем углу. На столе дымилось большое блюдо разогретых мясных консервов, брошенных какими-то штабными. Фомушка трясся от душившего его смеха, вскрывая банку забытых консервированных фруктов.

– Ты что, Фомушка? – устало спросил Барановский.

– Да как же, господин поручик, тутока за версту кто-то в небо палит, а тысячи людей бегут. Ну и трусы, – раскатывался и фыркал вестовой.

Трофеи превзошли все ожидания. Взято было масло, мясо, консервы, сахар, чай, мука, крупа, рис, овес, полвоза валенок, десяток полушубков, белье. Н-цы в этот день

основательно поужинали и в теплых избах расположились спать. Но к утру стали подходить новые обозы, и людей в избы налезло опять так много, что на рассвете офицеры едва выбрались из квартиры, с трудом шагая по груде человеческих тел, лежащих на полу в тяжелом забытьи. Ехать по большой дороге не было никакой возможности. Обозы шли по ней в четыре ряда, сплошным потоком, растянувшись на десятки, а может быть, и сотни верст. Движение было крайне медленное. Впереди идущие то и дело останавливались, задерживая из-за какой-нибудь поломки саней или порчи сбруи тянувшийся сзади хвост на несколько верст. Люди стояли, злобно ругаясь и крича:

– Ну, понужай там, понужай!

Мотовилов решительно повернул со своим батальоном влево, заметив небольшую полевую дорожку, и к концу дня весьма удачно вывел его на глухую, брошенную хозяином немцем богатую заимку. Обозов на заимке было мало. Большая рабочая казарма с нарами была свободна, батальон разместился в ней. В казарме была плита с двумя вмазанными в нее котлами и русская печь. Н-цы пришли в восторг от таких удобств. Солдаты шутили, отогреваясь в теплом помещении.

– Вот, ребята, повезет так повезет. Вторую ночь под крышей ночуем, – говорил кто-то, залезая на верхние нары.

Вестовые и несколько солдат отправились за дровами. Вернулись они, таща части разломанных фур, телег и даже принесли шикарное дышло от какого-то экипажа, покрытое черным лаком. Вестовой Мотовилова принес пару хороших венских стульев и несколько гравюр, снятых им со стены в доме хозяина.

– Это для чего? – спросил его Мотовилов.

– На разжигу, господин поручик. Лучины нет, – простодушно объяснил вестовой и принялся небольшим топориком рубить спинку стула.

Мотовилов махнул рукой:

– Валяй, ребята, жги, руби, только красным не оставляй.

Колпаков с глубокомысленным видом счел долгом присоединиться к мнению коллеги.

– Правильно, Борис Иванович, правильно. Помните, Кутузов, оступая, жег все на своем пути, чтобы французам не досталось? Безусловно, мы должны поступать так же. На войне как на войне!

Полотно гравюр с масляной краской и сухие ножки стульев горели хорошо. Дрова быстро разгорались и, потрескивая, стали бросать в казарму полосы мятущегося, желтого. света. Фома явился после всех, сгибаясь под тяжестью большого мешка. Офицеры встретили его спрашивающими, любопытными взглядами. Вестовой подошел к огню и вытряхнул из мешка окровавленных гусей, индеек, кур, уток.

– Bravo, Фома. Хо-хо-хо! Ого-го! – загоготал довольный Мотовилов, щупая жирную, откормленную птицу.

– Где это ты словчил, молодчага? Фома вытирал рукавом нос:

– На дворе тутока, господин поручик. Смотрю, солдаты откуда-то гусей да пырышек тащат. Я подследил. Оказывается, из хлевушка такого, особенно для птицы устроен. Я туда, а там птицы этой видимо-невидимо. Ножик был при мне, я и давай полосовать. Чать красным не оставлять? – закончил вестовой.

– Верно, Фомушка, однако, ты куда логичнее своего командира рассуждаешь, – заметил Колпаков.

Мотовилов повернулся к нарам.

– Ребята, тут гусей и индюшек до черта. Кто хочет, вали, режь. Сейчас их в котел и гусиный суп на весь батальон сварганим. А ты, Фома, не зевай, тащи еще. Годится в дороге, – вполголоса приказал он вестовому.

Фома схватил мешок и побежал из казармы, а за ним десятка полтора солдат. Немного спустя они поодиночке возвратились, таща гусей, кур, уток. Фома вернулся опять с полным мешком, но принес одних только индеек.

– Эти скуснее всех, – объяснил он.

Несколько солдат с хохотом втащили в казарму отчаянно визжавшую большую породистую свинью, повалили ее около печи и тут же всадили ей в горло длинный японский штык. Потом притащили и зарезали шесть поросят. Мотовилов только одобрительно гоготал, поощряя солдат.

– Вали, вали, ребята. Не все же нам лук без хлеба жрать. Пора и мясцом побаловаться.

Вестовые суетились у огня. Фома жарил пару индеек, а другие двое пекли блины. Несколько гусей были быстро ощипаны и брошены в котел. К полуночи по казарме распространился вкусный запах супа и жаркого. Ужин был готов. Прежде чем подать на стол индеек, Фома куда-то исчез и вернулся через несколько минут с двумя стеклянными банками в руках. В одной была маринованная свекла, в другой брусничное варенье.

– К жареному, господин поручик, – сказал он и засмеялся.

– Ну и сокровище у тебя вестовой, Ваня. Кладовую взломает, семь замков сшибет, а достанет все для своего барина.

Барановский молча ложился на нары.

– А ужинать-то, господин поручик? – спросил Фома.

– Я не хочу, Фомушка, – тихо ответил офицер и закрылся шубой. – Я спать хочу.

Фомушка немного обиделся.

– Ну, господин поручик, я старался, старался для вас, а вы спать.

Мотовилов с аппетитом ел индейку, жалея, что нет его приятеля Петина, убитого в последних боях, который так любил покушать.

Утром при выстраивании батальона Мотовилову бросилась в глаза фигура его фельдфебеля, важно сидевшего в санях на мягком кресле, обитом малиновым плюшем.

– Где достал?

– У немца, господин поручик. Все равно пропадет, – как бы оправдываясь, ответил фельдфебель.

Мотовилов добродушно засмеялся:

– Ничего, ничего, это хорошо. Смотри только не слети. Вон какую каланчу соорудил.

Обоз тронулся, держась стороной от главного тракта. Вечером приехали в небольшую деревушку. На этот раз в избу попали только офицеры. Солдатам пришлось разместиться в хлеве и конюшне вместе со скотом хозяина. Изба была полна народу. Люди стояли, сидели, лежали на скамьях, на полу, толкая и давя друг друга. В более лучших условиях находилась компания офицеров-артиллеристов, сидевших за столом с батареей бутылок и игравших в карты. Вся семья хозяев – муж, жена, старуха бабушка и несколько ребятишек забились на полати и печь. Хозяйка сидела на краю печи с грудным ребенком на руках.

– Здравствуй, хозяйюшка, – с трудом пробиваясь к столу, сказал Барановский. – Чем угощать будешь гостей непрошенных?

Хозяйка, запуганная голодными озлобленными людьми, лезущими в избу без конца и счета днем и ночью и требовавшими с нее каждый день хлеба, молока, муки, не поняла шутки офицера, заплакала.

– Батюшка мой, да какие же у нас угошенья? Ведь вот третью неделю войско идет бесперечь, бесперечь, – причитала она сквозь слезы.

– Все у нас посьели. Хлебушко весь повыгребли. Двух коровушек зарезали. Овечек всех взяли. Ой-ой-ой! – рыдала женщина. – Самих, видишь, на печь затолкали, и больше места нам нету. В избе ступить негде. А на печке мы от жару пропадаем. Каждый солдат, как придет, так печку затапливает и лепешки стряпает. Того и гляди изба сгорит. Ребеночек один от жару помер. Ой-ой-ой, горе наше горькое.

– Да ты чего это, хозяйюшка, расплакалась, ведь я пошутил, – успокаивал ее Барановский.

Бородатый мужик слез с полатей на печь и заговорил с каким-то отчаянием:

– Какие теперь шутки, господин офицер. Нас они, шутки-то эти, как ножом по сердцу режут. Вы подумайте только, как жить-то? Чего я весной делать буду, коли у меня последнюю лошадь взяли? А мне вон одра хромого раненого подкинули. Разве это хорошо, господин офицер?

Барановский смущенно опустил голову, не зная, что сказать крестьянину.

Мотовилов злобно цедил слова:

– Н-и-ч-е-г-о! Придут красные, ваши избавители, которых вы ждете, как манны небесной, и все вам дадут. Они вас облагодетельствуют. Подождите уж немного, сибирячки милые.

– Нам все равно, что красны, что белы, только бы жить дали. А ведь это, сами видите, господа офицеры, не жизнь, а каторга. Как варнак какой на печи день и ночь жарюсь. Хозяйка и от печи отступилась – все солдаты стряпают, а нам времени нет, да и не из чего. Все забрали.

Мужик тяжело вздохнул и смахнул рукавом горькую слезу. Мотовилов не унимался:

– Вон что, он на печи садит, да жалуется, а люди недели на морозе, да молчат.

– Борис, оставь, как тебе не стыдно, – упрекал Мотовилова Барановский.

– Коллеги, чего вы там слезливые антимонии с хозяевами развели? Есть о чем говорить. Все они хнычут, а поищи как следует, у них все найдется, только припрятано хорошо. Садитесь-ка лучше к нам. Сыграем по маленькой, – пригласил офицеров какой-то пожилой капитан.

– Бог вам судья, – сказал мужик и опять полез на полати.

Колпаков и Мотовилов сейчас же согласились, сели к столу. Барановский поколебался минуту и, решив наконец, что азартная игра развлечет его, присоединился к играющим. Банк метал молоденький поручик с черненькими усиками. Банкомет метал удачно, убил порядочно карт. Дошла очередь до Барановского. Офицер закурил и, не глядя на кучу денег, сказал:

– Все.

Руки банкомета дрогнули. Он дал карту и проиграл. Банк перешел к Барановскому. Ему сильно повезло. Бумажки, шурша, непрерывно текли к нему. Многие офицеры основательно проигрались, волновались, бледнели и усиленно пили спирт. Барановский не пил, только курил папироску за папироской. Играл он небрежно, равнодушно, игра не захватывала его. В клубах табачного дыма тусклыми пятнами мелькали лица игроков. Банкомет не следил за партнерами, и проигравшийся в пух молоденький поручик с черненькими усиками несколько раз как бы по рассеянности не ставил своих проигрышей. Некоторые проиграли все свои деньги, но игру не бросали, думая отыграться. На столе появились золотые монеты, часы, портсигары. Барановский бил карту за картой. Около него уже стояла порядочная пирамидка золота и звонко тикали массивные серебряные часы. Фомушка стоял сзади Барановского, жадными, блестящими глазами смотрел на стол, дрожа от радости. За несколько месяцев службы он привязался к своему командиру, даже больше, питал к нему какую-то особую нежность, как к младшему беззащитному брату. Барановский с своей непрактичностью и мягкостью характера возбуждал в Фоме жалость, и ему было всегда приятно заботиться об этом большом ребенке. Фома ни на минуту не забывал, что молодой подпоручик был первым офицером, заглянувшим ему в душу и согревшим ее теплом ласки и участия. Стоя за спиной Барановского, он и радовался его выигрышу, и боялся, как бы он не проигрался под конец. Счастье не покидало молодого офицера, он выигрывал неизменно. Капитан, пригласивший офицеров играть, поднялся со скамьи.

– Ну, последняя ставка. Или пан, или пропал, но больше играть не буду. Ставлю своего вороного, если выиграю, то вы мне платите тридцать пять тысяч николаевскими. Идет?

– Идет, – вяло отозвался Барановский и дал карты. Капитан на секунду потерял самообладание, сильно стукнул кулаком по столу. Жировик упал набок, горящее сало потекло на бумажки, подожгло их. Все, кроме самого банкмета, бросились тушить. Когда огонь был снова зажжен, то от банка осталось очень мало, исчез куда-то и серебряный портсигар с золотой монограммой. Барановский брезгливо поморщился и встал.

– Я кончил, господа.

– Как? Почему? Обыграл всех, да и уходить? – не сдержался черноусый.

Барановский смерил его взглядом и спросил:

– Сколько вы проиграли, поручик?

– Семнадцать тысяч.

– Получите.

Офицер швырнул на стол пачку кредиток. Поручик, не смущаясь, опустил их в карман, насмешливо поблагодарив:

– Мерси.

Игра кончилась. Капитан, пошептавшись с своими коллегами, вышел на двор, а за ним вестовой стал выносить вещи. Барановский слышал, как заскрипели ворота, захрустел снег под санями. Капитан пожалел своего вороного. Барановский смеялся. Ему противна была жадность людей и их трусость, с которой они цеплялись за деньги, не брезгуя даже кражей. Мотовилов и Колпаков, проигравшиеся вдребезги, сидели с бледными, осунувшимися лицами. Барановский сел с ними рядом. Офицер был в хорошем настроении. Ему было приятно от сознания того, что он своей удачной игрой заставил подрожать человеческие душонки. Барановскому всегда везло в картах, и он любил иногда поиграть в блестящей компании своих товарищей по оружию, любил вытащить из-за брони мундиров их души, потрогать за самые больные места, усилить жажду приобретения и, вдруг прекратив игру, уйти, оставив всех со скверным чувством проигравшихся скупцов.

– Ну, что, дюша любезный, продулся? – дурашливо спросил Барановский Колпакова.

– Ни копейки, все спустил. Башка трещит ужасно. Спирт скверный попал. Жар во всем теле, горю, как в огне, – ответил Колпаков.

– Нишаво. Твоя сколько проиграл?

– Около сорока тысяч, Иван Николаевич.

– А твоя не обидится, когда моя твоя деньги отдавал обратно?

Колпаков молчал. Мотовилов, сильно захмелевший, пытался улыбнуться.

– Я не обиделся бы, Ваня, если бы ты вернул мне мои тридцать тысяч.

Колпаков решительно тряхнул головой:



– Какого черта в самом деле, что за счеты между своими? Ну, поиграли, немного кровь порасшевелили, и будет. Я согласен!

Барановский обрадовался:

– Ну вот, ну вот и отлично.

И стал быстро считать деньги. Фомушка с разочарованием вздохнул и вышел на двор кипятить чай. Духа на шипящие, сырые щепки костра, он думал о своем командире и никак не мог понять, зачем тот отдал свой выигрыш обратно.

«Ведь если бы они его обыграли, так небось не подумали бы, все бы до копейки сорвали», – мелькало у него в голове.

Воздух в избе был полон удушающего, сгущенного зловония, шедшего от грязных, кишасих паразитами, спящих людей. Табачный дым висел под потолком облаками. Старуха на полатах задыхалась в едких клубах махорки, кашляла и стонала. Громко плакал ребенок. Солдаты храпели на полу. Некоторые бредили. Офицеры кое-как напились чаю и тронулись в путь до рассвета. Оставаться дольше в избе не было сил. Когда вестовые стали выносить вещи, хозяйка обратилась к офицерам с просьбой:

– Господа офицеры, посмотрите вон того солдатика, что лежит на постели. Он никак помер? Все метался да колобродил сильно, а теперь чего-то затих?

Барановский положил руку на лоб солдату и сейчас же отдернул ее. Неприятное ощущение холода трупа заставило его вздрогнуть.

– Умер. Фомушка, вынесите его на двор. – Хозяйка перекрестилась.

– Царство ему небесное. Мать, поди, старуха осталась. Ох-хо-хо!

Уходя, Барановский сунул в руку хозяйке несколько золотых. Женщина раскрыла рот от удивления.

Колпаков жаловался на сильное недомогание. Температура у него была страшно высокая. Мотовилов, пощупав лоб и пульс больного, безнадежно махнул рукой.

«Тиф», – подумал он.

Больного положили на одни сани с захворавшим татаринном Валиулиным и сдали их на попечение санитару. Мороз стоял крепкий, с легким ветром. Было холодно. Больные то металась в жару, то дрожали, синяя от озноба.

Мотовилов подошел к их саням.

– Уй, господин поручик, холодна, – жаловался Валиулин.

Офицер пообещал татарину достать шубу. Навстречу порожняком шел обоз подводчиков, возвращавшийся домой. Подводчики сидели спиной к ветру, закутавшись в теплые дохи и тулупы.

– Обоз, сто-о-ой! – заорал Мотовилов и вытащил наган. Первый подводчик сразу остановил лошадей и, бросив вожжи, соскочил с саней, встал на колени, умолял офицера не задерживать их.

– Господин офицер, вторую неделю как из дома, лошади пристали, сами которые сутки голодом. Сделайте божеску милость, отпустите.

– Встань, дурак. На кой черт ты мне нужен, – сказал Мотовилов. – Мне доха твоя только нужна. Живо раздевайся.

Мужик заплакал.

– Господин офицер, сделайте божескую милость, не обижайте, последняя. Ребятишки, жена... – бессвязно лепетал подводчик, щелкая зубами от страха.

Офицер направил на него револьвер:

– Снимай! Застрелю, как собаку!

Крестьянин со стоном встал:

– О господи, да что же это такое? – снял и бросил на дорогу свою доху.

– Ну, а вы что стоите? – налетел Мотовилов на толпившихся сзади подводчиков. – Раздевайтесь сию же минуту!

Высокий худой старик с большой бородой упал на колени:

– Ваше высокоблагородие, явите такую милость, не обижайте меня, старика. Замерзну ведь я без шубы-то, не доеду. Пожалейте моих сирот внучат, у них ни отца, ни матери.

– Без разговоров раздевайся, старый черт, чалдон проклятый. Не привыкать тебе к морозу-то.

Старик покорно снял тулуп. Остальные крестьяне молча, с мрачными лицами, снимали шубы и бросали на снег. Фельдфебель Мотовилова соскочил с своего кресла и быстро стал распрягать у одного из подводчиков лошадь.

– Что вы делаете? Креста на вас нет. Совсем людей разоряете! – закричал мужик.

– Замолчи! – прикрикнул на него фельдфебель и стал припрягать его лошадь себе в пристяжку.

– Вестовому Колпакова понравились крепкие сани старика, и он забрал их под офицерские вещи, оставив хозяину полуразвалившиеся дровни. Старик стоял среди дороги и разводил руками.

– Боже мой, что же это такое делается?

– Шагом ма-а-арш! – скомандовал Мотовилов, и батальон пошел дальше.

К рассвету обозы стали скапливаться на дороге, быстро образовалось несколько рядов. Движение сделалось неравномерным. Обозы то медленно ползли сплошной вереницей, то

разрывались, останавливались или летели вскачь, стараясь обогнать друг друга. Приблизительно около полудня обозы остановились, Мотовилов покричал, покричал обычное в таких случаях:

– Понужай, понужай! – и заснул. Валиулин и Колпаков, покрытые дохами, метались в бреду. Татарин был более спокоен, он только-кричал:

– Тыганда, шрапнель! Кувала! Кувала! – Его, видимо, давили воспоминания о последних боях с поспешными отходами с позиций. Офицер бредил атаками. Он выскакивал из саней, кидался в сторону с дороги, увязая по пояс в снегу, и, махая руками, командовал:

– Восьмая рота, за мной! Ура! Ура!

Когда его укладывали опять в сани, то он просил у какой-то Лели «маленький-маленький кусочек ласки» или со слезами на глазах декламировал:

Я ребенок больной,

Я так ласки хочу.

Потом снова начинал звать свою роту, снова кричал «ура» и выскакивал из саней под крепкую ругань санитар, которому надоело вытаскивать его из снега.

– У, дьявол, хоть бы сдох, что ли, скорей, – ворчал санитар.

Младший офицер, прапорщик Гвоздь, пошел вперед узнать, где и от чего произошла задержка. Оказалось, что верстах в двух впереди был большой овраг с единственным узеньким мостиком. Обозы подошли к нему в три ряда. Подошедшие первыми спорили, какому ряду идти вперед. Прапорщик Гвоздь вмешался в общий спор, защищая интересы своего ряда. Слово за слово спор стал разгораться, какой-то солдат толкнул прапорщика в грудь, пытаясь въехать на мост. Горячий Гвоздь не выдержал, выхватил револьвер и застрелил солдата. Товарищ убитого быстро сорвал с плеча винтовку и выстрелом в упор размозжил офицеру голову. Кто-то воспользовался суматохой и въехал на мост.

– Понужай, понужай! – заорали тронувшиеся обозники.

Другие ряды попытались задержать счастливых, но было уже поздно. Обоз пошел. На убитых никто не обратил внимания, и они так и остались лежать в снегу, около самого берега оврага. Мотовилов проснулся, когда мост был уже пройден. Офицер оглянулся назад, пересчитал свои подводки и спросил фельдфебеля:

– Фельдфебель, кажется, у нас чего-то маловато стало и подвод и людей?

– А как же, – ответил фельдфебель, – конечно, меньше. Почти что в каждой деревне одного, а то двух оставляем – то больных, то мертвых, то замерзших.

– Отчего это мрут так?

– Все больше от тифа, господин поручик.

– Да, да, тиф, тиф! Скверная штука тиф. – Офицер зевнул и устало опустил голову.

## 22. АГА! АГА!

На внутреннем фронте, так же как и на внешнем, белые терпели поражение за поражением. Партизаны заняли район в несколько волостей. В Пчелине над зданием школы развевался красный флаг с инициалами – Т.С.Ф.С.Р. Пчелино играло роль всего повстанческого района, всей Таежной Социалистической Федеративной Советской Республики. Село было обращено в укрепленный лагерь. Глубокие окопы двумя поясами охватывали его со всех сторон. Далеко впереди за ними, на широких полянах, на дорогах сплошной лентой лежали кверху зубьями бороны, запорошенные снегом. Тонкой паутиной путалась колючая проволока. Бугры и покатоги на подступах к позициям были утоптаны, залиты водой, заморожены. В темные прорезы бойниц смотрели толстые, зеленые максимы, черные, поджарые, ребристые кольты. Из оконца большого блиндажа, выходящего на Медвежинский тракт, торчало широкое горло самодельной железной пушки – гордости 1-го Таежного полка.

За время с отхода на Черную гору в организации управления Республикой и армией произошло много перемен. Вместо прежнего Военно-Революционного районного штаба был избран главнокомандующий, который единолично разрешал все споры оперативного, боевого характера. Остальные дела перешли к созданному на выборных началах из представителей бойцов и мирного населения Армейскому Совету. Был организован государственный контроль – контрольно-ревизионная комиссия. Таежный район военных действий стал называться Северным Таежным фронтом.

Острая нужда в обмундировании, оружии и огнеприпасах заставила партизан наладить и пустить в ход свои мастерские и химическую лабораторию. В Пчелине работали полным ходом швальня, шубная мастерская, изготавливавшая полушубки и собачьи дохи, сапожная, пимокатная, шорная, кожевенный и солеваренный заводы и, наконец, химическая лаборатория и починочная оружейная мастерская. В лаборатории снаряжались патроны, изготавливались ручные гранаты, фугасы, подрывные снаряды для порчи мостов и линии железной дороги. Недостаток командиров побудил организовать инструкторскую школу, которая работала очень успешно второй месяц. Заведовал школой перебежчик, колчаковский прапорщик. В армии было уже много пулеметов, захваченных у белых. Для более правильного и удобного использования их сформировалась пулеметная команда. Школы грамоты, имевшиеся в селах, входивших в состав республики, были открыты, учителя все взяты на учет и в порядке трудовой повинности обязаны вести занятия. При совете работал военно-революционный трибунал. В ротах, батальонах и в полках существовали свои суды. Больница и лазарет содержались в порядке, несмотря на то что врач и два фельдшера с половиной медикаментов перебежали к белым. Агитационный отдел фронта вел усиленную агитацию среди крестьян, звал к немедленному свержению власти Колчака. Отделом регулярно выпускалась газета «Военные Известия Северного Таежного фронта», в которой помимо воззваний давались определенные сводки о положении дел на фронте и сообщения о событиях и настроениях в тылу у белых и в их армии. Армия и беженцы были на полном иждивении Совета Народного Хозяйства, который снабжал всех продовольствием, одеждой, обувью и медикаментами. Совет же

Народного Хозяйства закупал через своих агентов в тылу у белых оружие, патроны, порох, свинец, медикаменты, бумагу, перевязочные средства. Денежный фонд республики был довольно велик, составил он из добровольных пожертвований и внутреннего займа, выпущены были так называемые товарищеские заемные письма. Фуражные и продовольственные запасы составлялись частью также из пожертвований, частью с помощью реквизиции у богатого населения или просто захватывались, отбивались в боях у врага. Вся черная тыловая работа – рытье окопов, постройка укреплений, заготовка топлива – велась пленными белогвардейцами, содержащимися в концентрационном лагере.

В школе шло очередное заседание Армейского Совета.

Место секретаря занимал Воскресенский. Говорил председательствовавший Жарков.

– Товарищи, сейчас мы получили радостную весть.

Жарков немного волновался, говорил с усилием. Лицо его освещалось нервным возбуждением. Кулаки, сжатые, он медленно поднимал и опускал. Бритый, помолодевший Воскресенский улыбался, смотря на плотные, ровные ряды голов насторожившихся партизан.

– Разбойничье гнездо разорено. Белое воронье разлетелось. Паук Колчак бежал. Омск взят Красной Армией.

Стены затрещали, звонко вскрикнули стекла в окнах, пол заколебался.

– Ура! Да здравствует советская власть!

– Да здравствует Красная Армия!

– Смерть палачам! Колчачишка не убежит! Поймаем! Попадется, кровосос! Ура! Ура! Попадется!

Делегаты сорвались с мест, опрокидывая скамьи, толкаясь, столпились около стола президиума, махали руками.

– На журавец его, паука, плясать заставить! Неделю шомполами пороть! Мост через Чистую взорвать надо! Поймать убивца! Поймать! Ловить! Не упустить! Рассказывай подробней! Как их, гадов, поколотили!

Крепкие кулаки Жаркова бессильно разжались, стучать он больше не мог.

– Товарищи, к порядку! К порядку! Председатель поднял обе руки:

– Товарищи, послушайте. Есть еще новости! Товарищи!

Волна покатила обратно. Ликующий порыв массы, стиснутый стенами тесного класса, стал задыхаться, глхнуть. Делегаты, громко разговаривая, рассаживались по местам.

– Товарищи, прекратите разговоры! Внимание! Собрание затихло.

– Час окончательной победы близок. Еще немного, и мы войдем в город, в притон кровопийцы Красильникова.

– Правильно!

– Буржуйские банды бегут, сами не зная куда. Они, товарищи, совсем бессильны. Железное кольцо советских войск сжимает их, душит. Вся Сибирь восстала. Колчаковская сволочь еще удерживает за собой железную дорогу.

– Сшибить их с линии!

– Удрать им, конечно, нужно. И вот они, гады, ухватились за последнее средство: распускают по селам и деревням свои подлые воззвания «К беженцам», «Призыв к женщине», надеются, видно, что крестьяне забудут, значит, ихнее мародерство, порки и виселицы, развесят уши.

– Ошибутся господа! Ошибутся! Правильно!

– Вот что они пишут, товарищи: «Погибнет Россия, погибнете и вы. Погибнут ваши мужья, дети и отцы. Они будут ими расстреляны». Это, значит, нами. «В лучшем случае будут рабами большевиков».

– Рабами не рабами, а заставим, гадов, исправить все, што они испакостили! Поработают, белоручки!

– Если палачи заговорили уж так, кинулись защиты и помощи у баб искать, дело их, значит, конченное. Скоро всем им амба будет.

– Правильно! Амба! Амба!

Делегаты не могли сидеть спокойно, не могли оставаться только слушателями. Радость близкой и окончательной победы волновала сердца. Воскресенский смотрел на партизан серыми, ласковыми, близорукими глазами. На душе у него было тихо, светло и немного грустно. Жену и ребенка он не забыл еще. Жарков овладел и собой и собранием, говорил уверенно, не торопясь.

– «Родина гибнет» – пишут гады в своих газетах. На это мы отвечаем им, что у рабоче-крестьянского класса, угнетенного и измученного разбойничьим правительством, родины нет, слово «отечество» нужно только вам для прикрытия разных темных делишек. Для нас родина – весь мир, и скоро мы восстанем во всем мире против буржуазии. Мы в германскую войну сумели через окопы и проволоку сговориться с немецкими товарищами, сговоримся и теперь с заграничными братьями.

– Правильно!

– Сговоримся и раздавим вас, гадов, никуда вы от суда народного не убежите.

– Врут, голубчики! Не убегут! Переловим!

– Гады, гады, вы даже умереть-то не умеете по-человечески: подыхая, стараетесь отравить нас своей ложью. Нет, никакого снисхождения вы не заслуживаете, вас проклиняет весь род человеческий.

– Палачи! Кровопийцы! Паразиты!

– Последняя твердыня буржуев – Омск пал. Белым волкам теперь остается только разбежаться по лесам, скрываться. Наша святая обязанность вылавливать их и уничтожать без пощады.

– Уничтожить! Уничтожить всех! Пощады нет им! Они нас не щадили!

– Товарищи, тише! Слушайте, товарищи, теперь еще одну новость.

Собрание притихло, снова насторожилось.

– Белые живоглоты не только думают одурачить нас своими воззваниями, но они еще имеют нахальство оскорблять нашу честь партизан своими мирными предложениями. Колчаковская власть из губернии обратилась к нашей республике с мирной нотой.

– Чего? Как? Ты не врешь?

Жарков нахмурился.

– Я не думаю шутить, товарищи, на заседании. Вот сейчас товарищ Воскресенский, как секретарь, значит, огласит вам эту ноту.

– Мир! Ха! Ха! Ха! Хе! Хе! Ого! Го! Го! Ого! Ха! Ха! Ха! Мир! Нашли дураков! Ха! Ха! Ха! Когда бежать некуда, так и мир! К стене буржуев прижали! Пардона запросили! Ха! Ха! Ха! Читай, Воскресенский! Читай! Ха! Ха! Ха!

Воскресенский встал со стула, поднял в руках большой лист. Насмешливая улыбка двумя складочками залегла у партизана по обоим концам губ. Глаза, опущенные вниз, смеялись. Делегаты перестали шуметь.

– «К повстанцам Таежной Социалистической Федеративной Советской Республики», – начал Воскресенский.

– Не кой-как, к республике. Ну, вали, вали!

С каждой выпущенной пулей народное богатство России уменьшается по-теперешнему на десять рублей. С каждой загубленной жизнью земля лишается своего пахаря, завод лишается своего работника, школа своего учителя, семья своего кормильца, государство теряет своего гражданина.

– Хорошо поет, не знай, где сядет! Лицемеры! Прохвосты!

Суровцев, сидевший у окна,, положив на подоконник записную книжку, набрасывал проект ответа белым:

В разорении страны, прежде всего, виновато так называемое Сибирское Правительство с своей спекулятивной финансовой

вакханалией и карательной политикой, политикой истребления лучших, активнейших своих граждан, сожжения и уничтожения целых областей.

Мы прекрасно понимаем, из какого источника протекают ваши крокодиловы слезы о «загубленной жизни», о «бедном пахаре», о «рабочем, лишенном работы», о «страждущем учителе» и т. д.

Воскресенский читал следующий пункт ноты:

Чем дальше идет братоубийственная борьба, тем она жесточе, тем больше мы, русские, обескровим нашу мать Родину, тем большее историческое преступление мы свершаем против своего государства, против самих себя.

Партизаны молчали. Рука Суровцева быстро бегала по бумаге.

Не вам говорить об «историческом преступлении». Вы кощунствуете, ссылаясь на историю, вы не можете представить себе ее иначе, как в виде продажной женщины, которую можно использовать за медный грош. Что же касается государства, то у трудящихся свой государственный идеал, идеал Советской Республики, но не ваш растленный идеал государства-паразита и денежного мешка.

Все наши неурядицы и междоусобицы только радуют наших иностранных врагов. Да и наши заграничные «друзья» от нашей внутренней распри только выигрывают: мы у них покупаем обмундирование, снаряжение. Каждый день борьбы разрушает все больше нашу промышленность, и мы в будущем вынуждены будем сдавать за бесценок за границу наши продукты, чтобы получить оттуда гнилую сарпинку и другие низкопробные фабрикатy.

Да, международные шакалы не прочь поживиться, половить рыбку в кровавой луже, точно так же, как и наши отечественные «благодетели». Крокодиловы слезы и показной страх за разрушение промышленности – все это ваше либерально-поповское кликушество никого не обманет, ибо всем известно, что в разрушении промышленности виноваты вы, затеявшие гражданскую войну.

Чем дальше тянется кровавая распря между нами, русскими, тем Россия ниже опускается в глазах других народов, и когда-то гордое слово – русский, вызывает теперь у наших врагов и «друзей» улыбку презрения.

В этом пункте красноречиво замалчиваются такие явления, как сожжение сел, деревень, грабеж крестьянского имущества, издевательство над личностью крестьянина, закапывание живыми, зарывание насмерть, смерть на виселице, расстрел женщин и детей и тому подобные расправы колчаковских правителей. Кто же является в этом кровавом споре обвиняемым во всех злодействах, о которых умалчивает ваша пресловутая юстиция? Имейте мужество, не виляя, дать прямой ответ на эти вопросы. Эти вопросы – вопросы сфинкса, и вы на них не можете ответить, и потому вы должны быть пожраны сфинксом революции. Воистину своим молчанием вы вырываете себе могилу.



Чем дольше продолжается кровавый пир, тем дальше мы отходим от намеченных революцией идеалов равенства, братства, свободы, тем дольше мы тормозим созыв истинного хозяина русской земли – Учредительного Собрания.

– Ха! Ха! Ха! Куда метнул! Это Красильников с Орловым, что ли, будут всех нагайками в Учредилку загонять! Равенство! Свобода! Ха! Ха! Ха! Это на журавце, в петле свобода-то? Ха! Ха! Ха!

Воскресенский ждал, пока перестанут шуметь.

Суровцев писал:

История показывает, что буржуазия неоднократно топтала ею же выдвинутые великие идеалы равенства и братства, как только рабочие пытаются осуществить их полностью на практике. Русская буржуазия в лице, с позволения сказать, своего Сибирского Правительства идет по стопам западной буржуазии, которая во имя равенства, братства, законности и порядка расстреляла десятки тысяч парижских коммунаров в 1871 году. Культурные звери, до каких пор вы будете кощунствовать, произнося эти слова? И это после того, как вы создали миллионы мучеников, кровь которых вопиет о мщениях. Ха... Учредительное Собрание... Мы прекрасно видим вашу удочку, мы не караси-идеалисты, чтобы добровольно идти на вашу сковородку. Не обманете.

Воскресенский выпил стакан воды.

– Много гады написали, слюной, товарищ Воскресенский, не истеки.

Партизан улыбнулся, махнул рукой. Насмешливые складочки залегли глубже.

Хищные волки рыскают в поле и гложут трупы лучших сынов России, черные вороны клюют их глаза.

– Колчак со своими бандитами!

С каждой новой жертвой, с каждым новым убийством все больше ожесточается сердце людей. Люди тоже становятся хищными зверями, преступниками, в силу этого исторического рока и наряду с нашим экономическим обнищанием открывается неизмеримая бездна нашего морального падения.

Русские люди, очнитесь!

Прервем язык ружейных выстрелов. Год междоусобной распри нас ни к чему не привел и не приведет. Взаимно оружием друг друга мы не убедим и не уничтожим, а только обессилим на радость наших иноземных «друзей» и врагов.

– Эге, прослабило буржуя! Напустил в штанишки! Ага! Не убедим! Ага, сдаешься, сволочь! Нет, мы тебя убедим! Мы тебя уничтожим! Мы тебя убедим, коли ты с нами заговорил так! Сволочь! Ага! Ага! Ага!

Собрание качнулось всем телом вперед. Заостренные злобой глаза массы впились в бумагу в руке Воскресенского. Воскресенский почувствовал тяжелый взгляд собрания.

Прилив гнева и ненависти передался и ему. Насмешливые складочки растянулись в нервную гримасу. Лицо немного побледнело. Глаза стали серьезными.

Поищем путей более разумных, чтобы сказать друг другу, чего мы хотим. Приступим к мирному улаживанию нашего семейного спора. Поговорим как люди, а не как звери, о наших задачах, о наших целях. Может быть, мы и не так далеки друг от друга в наших стремлениях, есть возможность объединения, сплочения всех вокруг непартийных программ и лозунгов во имя великой идеи воссоздания великой демократической России через Учредительное Собрание. Взаимно мы должны быть снисходительны друг к другу и друг друга не судить.

Злоба сжимала грудь массы, мешала дышать.

– Ага! Ага! Ага! Чует кошка, чье мясо съела! К стенке вас всех, палачей! К стенке! Ага! Ага!

Суровцев писал листок за листком, стараясь кончить скорее. Воскресенского он не слушал, так как перед ним лежала копия ноты.

Здесь говорится об улаживании нашего семейного спора. И тут лицемерие автора ноты, представителя колчаковского правительства, достигает геркулесовых столбов! Г. Бондарь не настолько наивен; мы полагаем, что он изучил социальные науки во Франции; знаем также, что он участвовал в вооруженном восстании в Красноярске в декабре 1905 года, знаем его, что он был убежденным террористом. Следовательно, он прекрасно знает, что революционный пролетариат и трудовое крестьянство, с одной стороны, и буржуазия – с другой, такая же семья, как сожительство волка с овцой. И тем не менее ему приходится лгать на каждом шагу, глубокомысленно толкуя о нашем «семейном споре». Поклонник колчаковского кнудодержавия, мы вам не верим. Ренегат, вы слишком низко пали. Вы предлагаете нам говорить о наших задачах и целях. Наша задача и цели, как небо от земли, далеки от ваших грабительских целей и задач, и объединение на этой почве да еще вокруг так называемых непартийных лозунгов и программ представляет из себя жалкую уловку.

Суровцев заторопился. Из-под карандаша побежали крупные кривые буквы:

Что касается до Великой Демократической России, то она осуществится только через труп Колчака. Мы должны быть снисходительны друг к другу, друг друга строго не судить... Что за жалкие слова. В этих словах видна ваша фигура пресмыкающегося гада, который молит о пощаде. И это вы мечтаете о пощаде после того, как вы сами же подписали смертный приговор. И это вы делаете попытку войти в мирные переговоры после всех сделанных вами чудовищных злодеяний, перед которыми бледнеют ужасы средневековья. Поздно. Будьте прокляты!

Воскресенский начал предпоследний пункт:

Уже командующий войсками округа объявил полную амнистию, полную безнаказанность всем повстанцам, добровольно сложившим оружие. Можете верить в искренность и высокие побудительные причины этого шага.

– Довольно! Это оскорбление! Довольно! Долой белых гадов! Мерзавцы! Мы не позволим марать честь партизан гнусными предложениями. Они ответят у нас за это! – разгневанная масса зашумела. Дальше читать не стали. Вынесено было постановление поручить написать ответ агитационному отделу. Перешли к очередному вопросу порядка дня. На трибуну вышел чернобородый Сапранков. В последнем бою он был ранен в левую руку, носил ее на белой повязке. Волосы на голове у него, давно не мытые, смятые малахаем, торчали во все стороны, вились уздами. Лицо обветренное отливало бронзой.

– Товарищи, теперь аккурат настало время, когда нам надобно сурьезно подумать об установлении строгого порядка в нашей армии. Все может статься, что скоро нам придется схлестнуться с белыми гадами в последний раз, схлестнуться, значит, начистую, до сшиба. Или мы их, или они нас. Мы уже знаем, что подходят к нашей местности сильные ихние добровольческие дивизии.

– Правильно, Сапранков, надо подвинтить гайки!

– Товарищи, к порядку. Ораторов прошу не перебивать.

Жарков внимательно посмотрел на собрание.

– Наша армия, товарищи, армия восставшего народа, сильна тогда, когда она дисциплинирована, значит. Наша Республика устоит от напора разбойников, если все мелкие штабы, еще кое-где орудующие самостоятельно, подчинятся нашему главнокомандующему товарищу Мотыгину. Вот мое мнение. Акромя того. Да. Самогонку, значит, долой, чтобы ни один из нас и ни-ни, никогда ни в одном бы глазу не был. Мы, таежные, должны заявить, что с пьяным работать не будем и не желаем погибнуть в пьяном состоянии. Пусть напивается до омерзения банда белых разбойников, но нам, истинным бойцам за свободу, стыдно и преступно делать то, что делает банда разбойников Колчака. Мы должны быть примером в глазах трудового народа и защищать свободу с трезвой головой. Всякое хулиганство надо вывести из нашей среды. За самовольство, за аресты, обыски, расстрелы без разрешения и приговора трибунала стрелять, как собак. Крестьян обижать мы не должны, и таких хулиганов, которые бы нашлись у нас, мы должны уничтожить. А теперь у нас это может быть, потому што мы теперь победители и к нам налезло много и дерьма.

Горячие, дружные аплодисменты проводили Сапранкова на место. Вопросы, затронутые партизаном, были очень важны. Преступный элемент, идущий обычно по ветру, за последнее время в связи с успехами красных стал усиленно пролезать в ряды идейных борцов.

Лохматые папахи, малахаи, стриженные головы, усатые, бородатые, бритые и безусые задумались. Жарков молчал. Воскресенский заносил в протокол предложение Сапранкова, сильно наклонившись над бумагой. Суровцев черкал что-то у себя в записной книжке, ерошил волосы.

В селе мастерские работали. Из трубы лаборатории летели искры. Топился свинец. В оружейной звонко стучали молотки и зубила, визжало сверло. Десятка два пленных белых

солдат пилили дрова во дворе пимокатной. В избе, занятой агитационным отделом, щелкала машинка. Широкий белый лист гнулся через резиновый вал.

Омск пал. Деморализованные банды белых бегут.

.....

Долой подлое колчаковское самодержавие! Долой негодяев, убийц, грабителей, палачей!  
Долой буржуазию!

Да здравствует Всемирная Революция!

Да здравствует Интернационал и Всемирная Советская Республика!

Война до победного конца над белым дьяволом, до полного уничтожения буржуазии всего мира!

Вперед, товарищи, не выпускать оружия из рук!

На кожевнном заводе вынимали из зольников кожи. Совет думал.

### **23. ЗЛОЙ СТАРИК**

Эпидемия тифа усиливалась. Истощенные, измученные тяжелым отступлением люди валялись под ударами болезни, как мухи. Лекарств не было. Лазареты, летучки, околотки перестали работать. Заботиться о больных и раненых никто не хотел, так как каждый думал только о себе, каждый думал только о том, как бы выбраться целым и невредимым из страшного потока пьяных, грязных, вшивых, больных, озверевших людей. Смердящие зловонием гниющих ран, кишачие паразитами люди в слепом безумии бежали на Восток.

Барановский захворал возвратным тифом и ехал то в полном сознании, то бредил целыми сутками. Мотовилов остался совсем один. Закутавшись в доху, он часами неподвижно сидел в санях, угрюмо смотря на бесконечную дорогу. Скверные мысли вертелись в голове офицера. Иногда у него являлось острое, раздражающее желание взять револьвер, приложить холодное дуло к виску и сразу перестать думать, чувствовать, жить. Рука тянулась к деревянной рукоятке нагана и, едва коснувшись ее, отскакивала в сторону, как обожженная. Мотовилов вздрагивал, легкий холодок знобящими мелкими волнами пробегал по телу. В воображении всплывали картины смерти. Офицеру было особенно противно, что с него, когда он умрет, снимут теплую доху, полушубок, обмундирование, может быть, даже и белье и самого, голого, беспомощного бросят на снег или стащат в яму и наскоро забросают мерзлыми большими комьями земли, которые своими острыми, угловатыми краями врежутся в него и раздавят своей тяжестью, расплюснут, как лепешку.

«Не хочу», – мысленно говорил Мотовилов и тоскливо взглядывался в темнеющую даль зимнего вечера.

Деревни еще не было видно, но она была уже близко; офицер угадывал это по тому особенному нервному беспокойству, которое вдруг овладело всеми едущими. Мотовилов подозвал Фому:

– Фомушка, не зевай. Насчет квартиры постарайся.

– Никак нет, не прозеваем, господин поручик.

Вестовой быстро стал обходить и обгонять подводы, торопясь попасть на головные сани. Въехали в деревню. Фома успел найти квартиру. Быстро завернул он свой обоз в первый переулочек и, остановившись у первой угольной избы, стал приглашать Мотовилова осмотреть помещение. Мотовилов пошел. Фома, провожая его, говорил:

– Она, хвартера-то, ничаво, только упокойница тутока есть.

Задняя половина избы была забита солдатами, сидевшими плотной массой на полу. Воздух, спертый и тяжелый, пропитанный едким табачным дымом, с непривычки захватывал дыхание. Кто-то курил, и огонек сигарки освещал вспышками света рыжие усы и кончик носа. Скрипела люлька, и женский голос тянул заунывную, однообразную песню:

– А-а-а-а-а-а!

– Затворяй дверь. Холодно. О-о-о-й, о-о-о-й. Холодно, – заныл больной солдат, едва офицер с вестовым вошли на порог.

Фома открыл дверь в горницу. В переднем углу на высокой скамье без гроба лежала мертвая старуха. Прерывистый, дрожащий свет лампадки освещал строгое восковое лицо со сжатыми губами и заострившимся носом. Один глаз покойницы был закрыт, другой сверлил вошедших неподвижной острой черной точкой своего зрачка. Мотовилов отвел взгляд в сторону. Горница была пуста. Никому, видимо, не нравилось соседство со старухой.

– Ни черта, – сказал офицер вестовому. – Тащи сюда Колпакова и Барановского.

– Холодно, холодно. О-о-о-й, ох, ох, – застонал опять больной.

Барановский был в сознании. С усилием передвигая ноги, вошел он в избу, опираясь на руку вестового. Колпаков лежал в беспамятстве. Его внесли на руках. В горницу стали набираться солдаты. Зябко ежась от холода, тихо садились они на пол, плотно прижимаясь друг к другу. Фома принес банку наполовину отогретых консервов и кусок грязного, закопченного хлеба.

– Извините, господин поручик, закоптил хлеб-то маленько. Дров нет, на навозе да на соломе разогревал.

Мотовилов махнул рукой. В избе кроме двухспальной кровати с кучей спавших на ней ребяташек и скамьи, занятой покойницей, ничего не было. Офицер посмотрел кругом, ища места, где бы можно было поужинать. Мертвая старуха была невысокого роста, конец длинной скамьи, на которой она лежала, оставался свободным. Мотовилов решительно

поставил банку на скамью, вынул складную вилку и принялся закусывать, стараясь не смотреть на новые остроконечные чулки старухи.

– Ваня, а ты не хочешь поесть? – спросил он Барановского.

Барановский молчал, вглядываясь равнодушным взглядом в лицо покойницы.

– Все сдохнем, – глухо сказал он.

– Они не хотят, господин поручик. Я предлагал им. Кушайте одни, – ответил за Барановского Фома.

Колпаков плакал в бреду, как мальчик.

– Иван Иванович, за что вы мне двойку поставили? – умоляющим голосом, всхлипывая, спрашивал больной. – Ведь я же знаю все наречия на ять.

Колпаков бормотал, как школьник, хорошо выученный урок:

– Возле, ныне, подле, после, где, отменно, вне, совсем, вдвойне, втройне, вчерне, наедине. Иван Иваныч, я и на е знаю, поставьте мне три, ну хоть с минусом. Иван Иваныч, – молил больной офицер. – Вовсе, прежде, еще, крайне, втуне, вообще. Коренные слова знаю, знаю, – вдруг весело закричал Колпаков и зачастил: – Белый, бледный, бедный бес побежал за редькой в лес... Ой, папа, не бей! Я не останусь на второй год. Я выдержу переэкзаменовки.

Больной снова заплакал. Мотовилов молча ел. Бред Колпакова напомнил ему то время, когда он учился в кадетском корпусе. Офицер вспомнил, как блестящим кадетом с погонами вица щеголял он на институтских балах, кружа голову наивным, доверчивым институткам.

«Фу, черт, в такой-то дыре бал вспомнил», – подумал Мотовилов, отгоняя от себя неожиданные воспоминания.

Колпаков приподнялся на полу, сел и блуждающим взглядом обвел комнату. Заметив покойницу, больной вздрогнул, с ужасом отшатнулся и закричал дико, громко:

– Я жив, я жив. Зачем меня с мертвецами положили? Ха-ха-ха, – истерически захохотал он. – Хороши друзья, живого человека схоронили. Я живой, а они меня в одну яму с мертвецом столкнули. Не хочу я умирать. Возьмите меня отсюда. Жить! Жить!

Фома стал успокаивать больного. Офицер, не умолкая, истерично кричал:

– Жить! Жить! Жить!

Разбуженные криком, проснулись, завозились на полу солдаты, заплакал ребенок. Заскрипела люлька:

– А-а-а-а-а-а!

Мотовилов раздраженно нахмурил брови.

– Фома, сию же минуту с Иваном вытащите эту старуху на двор.

Хозяйка, услышав приказание офицера, перестала качать люльку, слезла с печи:

– Что вы делаете? Крещены вы аль нет? Мертвому и то покою не даете, – запротестовала женщина.

Офицер посмотрел на нее долгим, тяжелым взглядом. Хозяйка как-то сразу замолчала, глаза у нее испуганно раскрылись.

Старуху вынесли на двор, положили около избы, прямо на снег. Колпаков успокоился, пошарил вокруг себя руками, нащупал горячее лицо спящего солдата и, ложась, улыбнулся.

– Живой. И я живой.

Мотовилов лег на освободившуюся скамью. Ночью шел снег с ветром. Старуху почти всю занесло. Из-под сугроба торчали только ее ноги в остроконечных чулках, острый нос и замерзший глаз. Мотовилов утром, выходя из избы, взглянул на мертвую и отвернулся, потом дорогой у него все стояли в глазах чулки с острыми носками и космы седых волос, как пудрой, пересыпанные снегом. Офицер ехал и считал, сколько верст осталось еще до Читы. Считал долго, путался, забывая расстояния от одного города до другого. К счету верст примешивался счет пройденных деревень, городов, счет убитых и раненых однополчан. Погода была теплая. Нежно ложились на лицо мягкие снежинки. Мотовилов стал дремать. Проснулся он, когда было уже совсем темно. Батальон подходил к большому селу, пылавшему багровым заревом десятков костров. Улицы села были забиты обозами. Люди черными, мятущимися тенями мелькали на ярком фоне огненных языков. Н-цы с трудом проехали по главной улице и остановились на площади, сплошь загроможденной санями, лошадьми, орудиями. Площадь была вся в огнях. Сотни людей копошились у костров, готовили ужин, чай, таяли снег, грелись, закуривали, дремали. Мотовилов остановился с батальоном в нерешительности среди площади у самой церкви.

К вечеру стало подмораживать, подул холодный ветер. Ночевать на улице не хотелось. Ехать дальше не было сил, да и надежды на то, что в следующей деревне будут квартиры. Церковь была не заперта, внутри ее мерцал огонь. Мотовилов вошел, снял шапку. Старый дьячок гнусаво читал псалтырь над двумя покойниками. Несколько свеч дрожащими, прыгающими бликами играли на позолоте иконостаса, освещая суровые лица святых.

– Вскую шаташася языцы и людие поучашася тщетным, – бормотал дьячок.

Офицер подошел к нему:

– Скажите, отче, как у вас тут, в церкви, переночевать можно? Случалось, ночевали здесь наши?

Дьячок остановился и, поправляя очки, сказал:

– Случалось, клали здесь раненых.

– Ну вот, так и мы, значит, с больными остановимся.

Дьячок не ответил, уткнулся в псалтырь.

– Отступите от меня все делающие беззаконие... – точно упреком Мотовилову звучали строки псалма.

Офицер постоял немного, посмотрел на спокойные лица покойников, сам не зная для чего перекрестился. Выйдя к своим, приказал заехать в церковную ограду.

– Кашевары, живо ужин. Кто свободен, заходи в церковь. Фома, тащите больных и вещи.

Офицер вернулся в храм. Прошел вдоль стен, осмотрел все углы – мебели не было. Зашел в алтарь, чиркнул спичку: за престолом стояли два широких дивана, два кресла и стол для просвирок.

– Отлично, здесь и расположимся, – решил Мотовилов.

Фома с Иваном внесли Барановского.

– Сюда, сюда, Фомушка. И его и Колпакова на диваны положите. Здесь вот, – офицер отворил правую дверь алтаря.

Стали входить солдаты, большинство не снимало шапок. За долгий путь люди перестали разбираться в том, где они останавливаются, важно было только попасть в теплый угол. Шаги вошедших глухо стучали под сводами храма. Трепетали, колебались огоньки свеч. Неприветливо смотрели сверху темные лица икон. Дьячок перестал читать, обернулся назад и, укоризненно покачивая головой, прогнусил:

– Шапки-то снять бы надо, господа. Не в кабак ведь пришли.

Солдаты сконфузились, неловко стали снимать папахи, креститься. Мотовилов вынул из чемодана свечку.

– Господин поручик, печку бы затопить надо, да дров нет, – обратился к нему Фома.

Офицер задумался.

– Вот что, Фомушка, – решительно сказал он. – Там около входа есть свечной ящик и стойка. Бери топор и руби их. Вот тебе и дрова, а будет мало, так вот эти книги сожжем.

Мотовилов показал на большую кучу книг, сложенных в углу алтаря. Фома заработал топором, подняв страшный треск и грохот в церкви. Дьячок взглянул на солдата, всплеснул руками и побежал в алтарь:

– Господин офицер, что вы делаете? Храм божий рушите.

Мотовилов посмотрел на тщедушного рыжего человека в черном подряснике.

– Ах ты, кутейник, блинохват паршивый, тоже еще учить меня хочешь, чего мне делать. Брысь отсюда!

Дьячок, испуганно крестясь, вышел из алтаря, Фома затопил печь. Бойкие язычки огня быстро лизали полированные сухие доски.



– А ну-ка, Фомушка, прибавь книжечек-то. Светлее будет.

Вестовой стал тискать в печь псалтыри, часословы, молитвенники, старые поминания. Мотовилов подвинул кресло к самой печке и, грея ноги, стал наблюдать за огнем. Какая-то книга развернулась и, корчась от жару, смотрела на офицера черным узором своих строк.

– Древле убо ел несущих создавый мя и образом твоим божественным почтый, преступлением же заповеди паки мя возвративый в землю, от нея же взят бых... – читал Мотовилов в горящей книге.

«Это как же понимать? – соображал офицер. – Значит, сдохнешь, сгниешь и обратишься в землю. Так, это правильно, но до этого еще далеко. Нужно еще пожить».

Фома принес ужин. Мотовилов сел к столу. Кто-то с силой хлопнул входной дверью и застучал по полу мерзлыми сапогами. В алтарь вошла женская фигура, закутанная в оленью шубу.

– Здравствуйте, офицерик, – обратилась она к Мотовилову и, снимая с головы длинноухий сибирский малахай, бойко заговорила, как старая знакомая:

– А мы ехали, ехали, перемерзли все. Думали в селе где-нибудь остановиться – все занято. Смотрим, в церкви огонь и люди ходят, ну и мы сюда. А я вот, видите, как бабочка, к вам прямо в алтарь на огонек и залетела.

Женщина села в свободное кресло и засмеялась, сверкая большими блестящими глазами.

– Как, не обожгусь тут я у вас, не опалю около огонька-то вашего свои крылышки?

Что-то лукавое бродило по лицу незнакомки. Мотовилов вскочил с кресла.

– Ах, черт возьми, да вы не из робких, видно. Разрешите представиться, – офицер сделал легкий поклон и подал руку.

– Подпоручик Мотовилов.

Маленькая, крепкая ручка ответила:

– Сестра милосердия Воронцова.

– Ваше имя?

– Антонина Викторовна.

– Великолепно, Антонина Викторовна, значит, мы ужинаем вдвоем?

– У вас ужин? Отлично. А у меня есть вино. Я сейчас.

Воронцова вышла на амвон и закричала сильным грудным голосом на всю церковь:

– Николай, Николай, вы здесь?

– Здесь, – ответил сильный бас.

– Принесите мою корзинку сюда да вносите скорей больных.

Барановский начал бредить:

– Таня, на вашем платье кровь. Таня, Таня, смотрите, каждый ваш шаг, каждое движение оставляет за собой кровавые следы. Что такое, вы вся в крови? А ваши ручки? Боже мой, вы убили кого-то? Таня, Таня, что вы наделали?

Воронцова вернулась.

– Кто это звал меня? – спросила она.

– Это больной в бреду. Не вас, а Таню.

– А, больной. Ну, а вы не больной?

– Нет, – сказал Мотовилов и засмеялся.

– Так чего же вы стоите, как соляной столб? Помогите мне раздеться.

Мотовилов засуетился, стал снимать с Воронцовой шубу и, заметив ее красивые золотистые волосы, пропел вполголоса:

Люблю я женщин рыжих,

Нахальных и бесстыжих.

Антонина Викторовна выскользнула из мехов и погрозила офицеру. Мотовилов ловко поймал ее руку и поцеловал. Вестовой внес в алтарь корзинку. Воронцова вынула из нее большой флакон прозрачной жидкости, показала ее Мотовилову.

– Это *spiritus vini cum formalini*. Поняли! Винный спирт с формалином. Чистого нет. Ну, да и этот не вреден. От формалина только легкая застопорка сердечных клапанов может быть, и все.

Сели за стол. Захлопали входные двери: вносили больных. В церкви стало шумно. Дьячок перестал обертываться и возмущаться, ровным, гнусавым голосом читал псалтырь. Церковь стала наполняться. Входили все новые и новые люди. На полу уже негде было ступить. Дьячка стиснули со всех сторон спящие, больные солдаты. Люди черной копошащейся массой лежали на полу. Кое-кто курил. Больные кашляли, плевались, бредили, металась в жару, вызывая злобную ругань и тычки здоровых соседей. Здоровые, раненые – все смешалось в одну огромную, стонущую, хрипящую, харкающую, бормочущую, зловонную грудку тел. Равнодушно сверху смотрели каменные лица святых. Гнусавыми волнами носились стихи псалмов:

– Дал еси веселие в сердце моем, от плода пшеницы, вина и елея.

Мотовилов с Воронцовой пили спирт.

– По-моему, Борис Иванович, нам вовсе незачем ехать к Семенову, – говорила Воронцова.

– Нам нужно, не доходя до Нижнеудинска, повернуть на Белогорье и уйти в Монголию, а

оттуда в Китай, а там – и поминай как звали. Что Семенов, пустяки, его тоже разобьют, – убеждала сестра офицера.

Мотовилов соглашался, так как в глубине души у него давно созрело желание уехать за границу, избавиться от тяжелой обязанности подставлять свой лоб под пули.

– Но только за границей нужно золото, золото и золото. Иначе пропадешь, – продолжала развивать свои планы Воронцова.

– А где его взять?

Какая-то мысль блеснула в глазах офицера. Он встал, стукнул себя по лбу.

– Эврика! Фома!

Фома дремал на коврике около царских врат.

– Фомушка, убери с престола все чаши и крест ко мне в чемодан, а то большевики придут, осквернят. Когда будем наступать, тогда привезем попу обратно.

Вестовой раскрыл большой кожаный чемодан и сложил в него все золото с престола. Дьячок читал:

– Яко несть во устех их истины, сердце их суетно, гроб отверст, гортань их, языки своими льщаху...

Воронцова смотрела на Мотовилова и смеялась:

– А вы не глупый малый. Только к чему лгать и стесняться? По-моему, вестовому вы просто могли сказать, что, мол, на это нам молиться теперь не годится, пора уж горшки покрывать или объяснили бы ему, что раньше у вас был бог, вы ему верили, по крайней мере делали вид, что верите, прикрывали им все свои дела и делишки. Имели вы тогда успех, били красных, ну, а если теперь они вас разгромили, так, значит, бога нет, или обманул он просто-напросто вас и тех, кого вы его именем посылали в бой. Обманул старикашка, ну и, конечно, прекратить с ним всякие сношения, отобрать у него все имущество, как у обанкротившегося должника.

Мотовилов возражал:

– Мы ведь еще в Монголию-то не уехали, значит, пока что бог нам нужен. Вот перевалим через границу, тогда уже все пошлем к черту.

– Нет, по-моему, никогда не стоит стесняться своих мыслей и чувств. Вот оттого, что мы много скрываем друг от друга, лжем, загромождаем себе жизнь всякими условностями, она у нас и складывается часто скучно, скверно.

Воронцова медленно выпила рюмку разведенного спирта.

– Нужно быть всегда откровенным, прямым, смелым. А условности все долой, к черту.

Сестра шаловливо потрянула головой и запела:

Захочу – полюблю,

Захочу – разлюблю,

Я над сердцем вольна.

Глаза Антонины Викторовны сверкнули плутоватыми огоньками. Женщина дышала сильно и часто. Мотовилов чувствовал близость ее разгоряченного тела, вздрагивал от возбуждения.

– Вот, Борис Иванович, насчет этих условностей возьмем такой пример. Сидите вы сейчас и смотрите на меня, как баран на новые ворота. Я знаю, вы с удовольствием заключили бы меня в свои объятия, но не решаетесь, мешает что-то. Я вот не такая. Я хочу сейчас сесть к вам на колени и сяду.

Воронцова быстро встала и, обняв Мотовилова, села к нему на колени.

– Ну что, испугались?

Глаза сестры горели, резко очерченные губы были совсем рядом с усами офицера. Она тяжело дышала. Мотовилов крепко прижал к себе Воронцову и стал целовать.

– Жизнь коротка. Нас могут завтра же убить, как бродячих собак, – задыхаясь, говорила она. – Живите ж, пока живется. Берите жизнь.

Мотовилов встал и понес Антонину Викторовну в боковой пустой и темный алтарь. Барановский вскочил с дивана, пробежал по алтарю, упал в дверях на колени. Вся церковь полна была стонами и бредом больных. Офицер сжал кулаки, поднял кверху руки и, грозя иконе бога-отца, закричал:

– Ты видишь? Видишь наши муки, злой старик? Как глуп я был, когда верил в милость и доброту твою. Страдания людей тебе отрада? Нет, не верю я в тебя. Ты бог лжи, насилия, обмана. Ты бог инквизиторов, садистов, палачей, грабителей, убийц. Ты их покровитель и защитник.

Офицер заскрипел зубами, зарыдал.

– Будет. Поцарствовал ты, довольно. Будет. Гибнут создавшие тебя, погибнешь с ними и ты.

Барановский ничком без чувств упал на пол.

– Запрягай! – приказывал кому-то тифозный.

– Понужай, понужай! – торопился кто-то в другом углу.

Татарин в большой черной папахе кидался на стену и в ужасе визжал тонким надтреснутым голосом:

– Кувала! Кувала!

Колпаков кричал из алтаря:

– Господа, за что? За что?

Равнодушно, молча темнели лики святых, освещенные трепетными огоньками свеч. Дьячок монотонно гнусил псалтырь:

– Гу-гу-гу-гу-гу...

Вся церковь металась в безумии бреда. Седой старик с высоты купола бесстрастным взглядом смотрел на муки людей.

## **24. ОПЯТЬ СТАРИК**

Колпаков умер, и его бросили на одной из остановок в тех же санях, в которых он ехал больной. Хоронить было некогда. Тиф гулял по рядам белых, укладывая их в могилы тысячами. Ехать становилось чем дальше, тем труднее. Угрюмыми, молчаливыми стенами стояла тайга по обеим сторонам узкого пути бегущих, скрывая в своей глуши отряды красных партизан, часто нападавших на отходящие обозы. Большая армия потеряла всякую способность к сопротивлению. Люди были так панически настроены, что стоило только прогреметь несколькими выстрелами, чтобы создать полнейшую растерянность среди оступающих. Едва услышав стрельбу, обозы кидались вскачь, но скверная дорога быстро утомляла лошадей, подводы насакивали друг на друга, запутывались, образовалась пробка. Недолго думая, обозники рубили гужи, садились верхом и скакали без оглядки. Батальон Мотовилова таял с каждым днем. У него осталось всего сорок штыков. Мотовилов стал мрачным, раздражительным. Ему казалось, что солдаты не по болезни остаются в каждой деревне, а просто потому, что не хотят идти дальше.

«Если я растеряю в конце концов всех людей, то будет скверно. Один до Монголии не доберешься», – думал офицер и сейчас же, стараясь отогнать от себя дурные мысли, подзывал кого-нибудь из солдат и заводил разговор:

– Ну, скажи, Черноусов, ты красным не думаешь сдать? А?

– Что вы, господин поручик, – возмущался солдат, – за кого вы меня принимаете? Чай, мы добровольцы. Что нам, что вам – конец один будет, коли к красным попадем. Знаем мы их приказы-то. Мобилизованные – по домам, офицеры и добровольцы – по гробам. Нет, уж мы к Семенову, а нет, так пулю сам себе в лоб пушу.

Мотовилов успокаивался и говорил солдату, что при встрече с партизанами теряться не нужно, что нужно отбиваться до последнего патрона.

– Да уж будьте благонадежны, господин поручик. Наши не сплешают, чать не впервой нам.

Ночь начинала покрывать тайгу темно-синим, почти черным покровом, усыпанным яркими мерцающими огнями звезд. Обозы еле ползли в один ряд узкой дорогой, часто останавливаясь, стояли на одном месте по нескольку часов. Лошади с трудом то выбирались из огромных выбоин с тяжело нагруженными санями, то снова ныряли,

скрывались в них вместе с дугой. Батальон шел непрерывно четвертые сутки, останавливаясь только для кормежки лошадей. За четверо суток прошли всего сорок верст. До деревни оставалось верст двадцать. Утомленные люди засыпали на санях, и Мотовилу приходилось следить, чтобы какой-нибудь подводчик не уснул, не разорвал бы обоз, так как лошади без кнута не шли и, едва их переставали подгонять, останавливались.

– Господин поручик, вы бы отдохнули, легли. Я останусь за вас, – сказал фельдфебель Мотовилу.

Мотовилов как-то сразу почувствовал страшную усталость.

– Спасибо, фельдфебель, останься. Я уже вторые сутки не сплю.

Офицер лег в сани, накрылся тулупом и забылся тревожным, кошмарным сном. Ему снилось, что в тайге поднялась сильная буря. Ураган носится между деревьев, с грохотом и треском валит их в снег и ревет, то густо и глухо раскатываясь по земле, то со свистом летя по вершинам. Тайга ожила, заговорила тысячами голосов, засверкала сотнями горящих волчьих глаз. Мотовилу казалось, что волки бегают вокруг обоза, сверкают своими огненными глазами, воют протяжно и резко, щелкают зубами. Потом офицер увидел, что и его солдаты стали, точно волки, сверкать глазами, а фельдфебель завыл отрывисто и громко. Лошади захрапели, понеслись, не разбирая дороги, во весь опор. Офицер проснулся, открыл глаза и увидел, что обоз, сгрудившись в одну кучу, стоит среди большой таежной поляны, а кругом в тайге вспыхивают огоньки выстрелов, пули свистят над мечущимися тенями людей, с чмоканьем хлопаются в сани. Фельдфебель звонким голосом командовал:

– Батальон, пли! Батальон, пли!

Как волчьи зубы, щелкали затворы. По концам винтовок бегали яркие желтые огоньки, похожие на сверкающие глаза хищного зверя. Кто-то кричал отчаянно:

– Понужай, понужай, братцы!

Слышались голоса:

– Товарищи, сдаемся! Не стреляй!

Стонали раненые. Гул выстрелов, громкие крики людей, храп загнанных и раненых лошадей смешивались в сплошной рев и вой. Со стороны тайги огоньки приближались, вспыхивали чаще. На снегу зачернели длинные тени всадников. Как мельничные крылья, махали их руки, рассыпая всюду холодную сталь ударов, и без звука, без стопа падали под их тяжестью темные фигуры с поднятыми кверху руками. Черная тайга в суровом молчании смотрела на людей, двумя высокими стенами огораживая дорогу с обеих сторон. Зажатые в узком лесном коридоре, металась в ужасе люди, вязли в глубоком снегу, падали, сраженные пулями. Вестовой, думая, что Мотовилов еще спит, тряс его за плечо:

– Господин поручик, проснитесь, красные. Проснитесь!

Мотовилов вскочил с саней.

«Живой не сдамся, но уж и их, чертей, поколочу. Надо дорожке продать свою жизнь», – вихрем неслись у него в голове мысли.

Барановский был в сознании, чувство смертельной опасности стеснило ему грудь, откуда-то набрались силы, он встал с саней. Мотовилов бежал мимо него к фельдфебелю.

– Боря, надо бросать все и отступать. Ведь нас прикончат, – крикнул ему Барановский.

– Сейчас, сейчас, Ваня, – не останавливаясь, ответил тот.

Батальон, отстреливаясь, удачно ушел от плена, потеряв несколько человек убитыми и ранеными, бросив обоз. После боя Мотовилов пересчитал людей. В строю осталось двадцать девять. Барановский снова впал в беспамятство, и Фома нес его с другим вестовым на носилках, наскоро связанных из сосновых веток. По разбитой дороге идти было очень трудно. Солдаты выбивались из сил, а Фома еле передвигал ноги. Шли тихо, с остановками. Сидя на снегу, подолгу курили.

– Ну и жара была нам, господин поручик, – говорил Черноусов, попыхивая сигаркой.

– Да и сейчас не холодно, – пошутил кто-то в толпе, снимая со взмокшей головы папаху.

– Надо лошадей доставать, господин поручик, Пешком пропадем.

Мотовилов соглашался:

– Непременно лошадей. Утром же достанем. Покурили, отдохнули, пошли. Сделали еще версты три и остановились. Двигаться дальше не было сил. Разложили костер. Люди набирали в котелки снег и вешали их над огнем. Жажда мучила всех. У запасливого Фомы в боковой сумке нашлось фунта два муки, из которой он немедленно начал стряпать заваруху. Мотовилов съел несколько ложек пресного мучного киселя и махнул рукой:

– Ну ее к черту, заваруху эту. Преснятина противная.

«Надо идти дальше. Деревня недалеко», – подумал офицер и вслух сказал: – Ребята, до деревни недалеко. Идти надо!

Фома с другим вестовым спеша доели заваруху и снова взялись за носилки. Батальон пошел. Покачиваясь от усталости, как пьяные, вошли Н-цы в деревню. Рассвет был близок. Обозы начинали выходить из деревни. Н-цы заняли только что освободившийся овин, разложили в нем три костра. Овин был большой и круглый, с высокой крышей, продырявленной посредине. Дым клубами выходил через отверстие, седой пеленой закрывая начинавший светлеть темно-синий звездный свод неба. Измученные люди тремя клубками свернулись вокруг костров. Разгоряченные утомительным переходом по разбитой дороге и глубокому снегу, мокрые от пота, солдаты спали как убитые. Не спалось только одному командиру, да Барановский громко разговаривал в бреду. Отогревшиеся паразиты зашевелились под потной рубашкой у Мотовилова; его тело горело от их укусов, как обожженное крапивой. Офицер вертелся с боку на бок, чесался, никак не мог заснуть. Барановский говорил кому-то:

– Вы знаете Японию! Это дивная страна. Страна восходящего солнца. Как красиво – восходящего солнца. Там солнце яркое-яркое, ласковое. Япония – счастливая земля. Солнце заливает ее теплом и светом, а безбрежный океан, шумя и волнуясь, дышит на нее свежей прохладой. Солнце, море, цветы, вечно зеленые деревья. Как хорошо там. Боря, ведь мы уедем в Японию? – не приходя в сознание, спрашивал Барановский.

Мотовилов услышал последнюю фразу и, подкладывая в тухнувший костер дрова, ворчал:

– Да, да, приезжай в Японию. Там тебе рады. Сейчас оседлают, верхом на шею сядут и возить себя заставят. Там тебе покажут кузькину мать. Куда все твои цветочки, лепесточки полетят. Папу, маму позабудешь, как звали.

Костры догорали. Через отверстие в крыше, в щели стен заглядывал слабый свет. Ночь уходила, бросая последние багровые отблески тухнувших углей на плотную груду спящих солдат. Барановский бредил:

– Настенька, я не останусь у тебя. Убьют меня красные. Скажут: золотопогонник – и к забору... Ну, прощай, прощай, Настенька, надо к роте идти, – торопился больной.

Помолчав минуту, Барановский приподнялся, сел на носилках и, грустными глазами смотря на костры, говорил. И нельзя было понять, бредит он или находится в сознании.

– Жизнь уходит. Я чувствую. Я вижу, Борис, как какая-то туманная, легкая завеса отделяет меня от всех вас. Я умру скоро. Как жаль, ведь я так еще молод... Двадцать лет... Боже мой, и уже смерть. И сколько нас таких, молодых и сильных, лишенных радости жизни, думающих только о ней, костлявой. Уйди, проклятая!

Мотовилов подошел к больному, ласково погладил его по голове:

– Не волнуйся, Ванечка, ляг. Какая там смерть? Ты поправишься. Экий молодец умирать собрался. Мы еще повоюем.

– Нет, Боря, не беспокойся, я наполовину уже нездешний. Ты говоришь, воевать? – лицо больного передернулось нервной гримасой. – Нет, нет, не хочу я больше этого ужаса. Не хочу смотреть, как люди рвут людей на клочья. Как рычат они противно А кровь, кровь. Захлебываются все...

– Ванечка, успокойся. Ну, чего это ты?

Мотовилов с ласковой настойчивостью попытался положить Барановского на спину. Больной раздраженно задергал плечами.

– Не хочу лежать. Подожди, скоро лягу навсегда.

Офицер приложил руку к глазам, как бы закрываясь от солнца.

– Ага, Свистунов едет, – и громко на весь овин закричал: – Ординарец, лошадь командиру батальона! Боря, скажи, где здесь дорога в Японию?

– Не знаю, Ванечка.



– Ах ты, господи, да кто же знает, где дорога? Ведь вот сколько их, все путаются, перемешиваются. Не разберешь, какая же в Японию, – и, обращаясь к какой-то хозяйке, говорит: – Хозяюшка, скажи, милая, как от вашей Крутоярки проехать в Японию? Где у вас тут дорога? Хозяюшка, а ты молочка дашь нам к чаю?

– Ничего не понимаю, все дороги в одну сторону – плачущим голосом жаловался больной.

– Ох, боже мой, за что такие страдания? У, злой старик, ты издыхаешь. Тебе досадно, что мы молоды, что мы жить хотим, и ты загнал нас в этот хлев и мучаешь. Сам подымаешь, так и всех других погубить хочешь. – Злая улыбка кривила губы Барановского. – Нет, старый дьявол, не погубить тебе людей. Ты сдохнешь, а мы будем жить. Хозяюшка, да скоро, что ли, ты молока-то дашь? – больной устало закрыл глаза и лег. Проснулся Фома и, почесываясь, стал греть у огня озябший бок.

– Фомушка, пожрать бы чего, – нерешительно сказал Мотовилов.

– У нас ничего нет, господин поручик, пойду вот схожу на улицу, обозов много стоит, может быть, выпрошу чего у каптеров.

Вестовой надвинул шапку на уши и тяжелой походкой неотдохнувшего человека пошел к выходу. Костры почти совсем потухли. На улице было светло. Солдаты зябко жались друг к другу, вертелись с боку на бок, чесались. Некоторые, продрогнув, вскакивали, начинали плясать. Фома вернулся злой, с пустыми руками.

– Ни один черт крошки хлеба не дал.

– Ты еще молод, Фома. Поучись-ка вот у меня, – смеялся молодой отделенный, замешивая в котле тесто. Фома обернулся к нему.

– Ты где это взял?

– Ха-ха-ха! Взял. Гусь ты, Фома. Рази нашему брату можно брать так?

– А што у сибиряка не взять? Они все за красных.

– Ну нет, брат, воровать я не согласен. Я купил за два оглядка. Ха-ха-ха!

– Где? – любопытствовал Фома.

– Тамока, поди поищи, – неопределенно махнув рукой, посоветовал отделенный и, вытащив из огня раскаленный камень, стал наливать на него жидкое тесто. Сняв две первых лепешки, он предложил их Мотовилову, тот с радостью взял и стал есть полусырое тесто, подгоревшее с одного бока. До двух часов дня просидели Н-цы в овине. Кое-кто наворовал картошки, муки, масла. Кое-как поели. Перед выступлением из деревни Фома разыскал у хозяина спрятанную лошадь и сани, приспособил все это для перевозки своего больного командира. Хозяин, надеясь, что лошадь ему вернут, если он поедет с подводой, оделся и вышел из избы. За ним с кучей ребятишек вышла и хозяйка.

– Ты нам не нужен, – сказал Мотовилов.

– Господин офицер, а как же лошаденку-то мне отдадите? – заискивающе спросил крестьянин.

– Лошадь я у тебя реквизирую за то, что ты ее прятал, думая лишить нашу армию одной лишней подводы, то есть, короче говоря, ты прохвост, большевик и действуешь в их пользу.

– Барин, пожалейте ребятишек малых, не берите сивку, – заголосила баба и, упав на колени, хватала офицера за полы шубы. Вслед за матерью заплакали и ребятишки.

Мужик ухватился за повод и кричал:

– Как хотите, господин офицер, хоть убейте, лошадь не отдам, последняя. Разоряете совсем ведь.

Мотовилов был взбешен сопротивлением. Грубо оттолкнув ползающую на коленях женщину, он подбежал к крестьянину и со всего размаху ударил его нагайкой по лицу. Мужик схватился руками за глаза, взвизгнул и упал на снег.

– Батюшки, глаза выхлыснули? – закричала женщина и бросилась к мужу.

Батальон пошел. Оглядываясь назад, Мотовилов видел, как на крик хозяйки выскочили соседи и несколько баб принялись громко выть, причитая. Верстах в трех от деревни дорога поворачивала сначала вправо, потом влево, образуя нечто вроде большого колена. Командир решил, что самое лучшее будет напасть на обоз в месте сгиба дороги, так как тогда задние и передние подводы за поворотами ничего не будут видеть и, услышав стрельбу, постараются удрать. Мотовилов расположил батальон за ближайшими деревьями и стал пропускать обозы, выбирая наиболее подходящие для нападения. После нескольких десятков минут ожидания с засадой поравнялись подводы беженцев на шикарных лошадях и остатки какого-то штаба или штабной канцелярии. Пули взвизгнули над головами беженцев. Мотовилов с револьвером выскочил из-за деревьев.

– Ура! Сдавайтесь! Сдавайтесь!

Черноусов схватил под уздцы высокого тонконового вороного.

Н-цы черным кольцом облепили обоз.

– Сдавайтесь!

Пожилой полковник с рыжей бородкой клинышком, в большой белой папахе дрожащей рукой отстегивал крышку кобуры.

– Жорж, скорее убей нас!

Жена полковника прижимала к себе семилетнего сына. Глаза женщины с ужасом перебежали от цепи Н-цев на руку мужа. Блестящий никелированный браунинг мягко стукнул у виска. Длинная шуба и длинноухая шапка откинулись в сторону, свалились из саней. Револьвер опять стукнул. Мальчик не успел заплакать, скатился под сиденье. Рыжая бородка острым клинышком поднялась кверху, папаха слетела. Полковник перегнулся на спинке кошевки. Остальные сдались. Победитель развязно предложил пленникам выйти из саней. Люди, дрожащие от страха, молча повиновались. Женщины плакали. Офицер начал сортировать вещи своих жертв. В снег полетели чемоданы с

бельем, ящики с посудой, пишущие машинки, канцелярские книги, бумаги. Оставлено было только съестное. Разгрузив обоз, Мотовилов приказал переложить Барановского в другие сани.

– Вот вам две подводы под вещи.

Офицер взглянул на кучку дрожащих пленников, нагло оскалил зубы:

– Расстреливать мы вас не будем.

Дорога впереди очистилась. Мотовилов повел батальон рысью.

## ***25. У НАС МАЛО ПАТРОНОВ***

Снег белой искрящейся накипью садился на зеленые иглы деревьев, пенясь, стекал по корявым темно-красным стволам, пушистыми, легкими клубами расплзался под корнями. Холодные, мягкие потоки заливали тайгу и кривую узкую дорогу. Раненых убрали. Замерзшая кровь рассыпалась пунцовыми лепестками мертвых цветов. Убитые лежали кучкой. Поручик Нагибин и прапорщик Скрылев с синими, помертвевшими каменными лицами медленно раздевались. Семеро партизан, опершись на винтовки, ждали. Черная доха Петра Быстрова серебрилась инеем.

Длинные усы Ватюкова побелели от мороза. Тяжелые широкие шубы делали людей похожими на неуклюжие обрубки. Нагибин, скрывая трусливую, произвольную щелкающую дрожь зубов, снимал с себя английский френч с потертыми суконными погонями. Скрылев, прыгая на одной ноге, стаскивал брюки. У обоих офицеров кальсоны внизу были завязаны тонкими тесемочками. Оба полуголые, еще теплые, пахнущие потом, согнувшись, долго возились с ними. Партизаны молча ждали. Быстров стал складывать в сани офицерские костюмы, теплые бешметы на кенгуровом меху, белье. Нагибин, совсем голый, переминался с ноги на ногу, дул в замерзшие руки. Скрылев тер себе уши.

– Ну, натешились, товарищи? Кончайте.

Поручик глазами рвал на клочья спокойных, неумолимых врагов, тяжелыми мохнатыми глыбами окаменевших в пяти шагах. Синие щеки и носы офицеров покрылись белыми пятнами. Скрылев не в силах был больше удерживать нижнюю челюсть, рот у него широко раскрылся, зубы щелкали. Под ногами у офицера, в снегу, дымясь теплым паром, желтела круглая воронка.

– У нас патронов мало. Стрелять мы вас не будем. Белый кусок ваты упал с усов Ватюкова.

– Бегите к своим. Добегете, ваше счастье. Не добегете, не взыщите.

Офицеры повернулись. Оба с трудом вытащили ноги из снега, побежали. И Скрылеву и Нагибину казалось, что бегут они страшно быстро, ветер свистел у них в ушах. Деревья мелькали мимо, валились набок. Партизаны наблюдали. Босые ноги высоко отскакивали

от снега, как от раскаленной плиты. Толстый кулак, обросший колючей щетиной, воткнулся Нагибину в горло. Крутая снежная гора выросла перед офицером, опрокинулась на него, повалила навзничь. Скрылев свернулся калачиком рядом. Кулак раздирал легкие. Ничего, кроме снега, офицеры не видели. Снег засыпал их.

– Готовы, как мух сварило.

Партизаны сели в сани, поехали в село. Навстречу ползли две санитарные подводы.

– Как, товарищи, раненых, поди, нет больше?

– Нет, убитые только остались. Все равно подбирать надо.

– Конечно, надо. Сейчас подберем, костер уже готов.

Лошади остановились у кучи мертвецов. Партизаны, тяжело ступая по рыхлому снегу, путаясь в дохах, поднимали убитых за ноги и за руки, бросали в широкие розвальни. Стукнувшись затылком о мерзлую мертвую голову Пестикова, Костя Жестиков пришел в сознание, приподнялся.

– Господа, скорее меня в лазарет. Я доброволец. Я сильно ранен. Скорее, господа, а то нас бандиты накроют.

Старик Чубуков переглянулся с зятем.

– Слышь, живой доброволец.

– Какие бандиты? – притворившись, с нотками безразличия спросил Чубуков.

– Известно какие, красные партизаны.

– Ну, брат, до них далеко. Их угнали и не видать.

– Угнали, это хорошо. Только скорее, господа, а то я истеку кровью.

Жестиков оживился, поднял воротник, засунул руки в рукава. Ранен он был в бедро. Кровь промочила у него все брюки, натекла в валенки.

– Сейчас, сейчас, мы вас за полчаса доставим. Партизаны сели в сани, дернули вожжи. Кругленькие мускулистые минусинки пошли мелкой рысцей. Зять Чубукова сидел рядом с Жестиковым. Черная борода партизана тряслась, на лицо добровольцу падали с нее холодные мокрые комья снега.

– Давно вы эдак добровольцем-то воюете?

– С самого первого дня переворота. Да до переворота я еще в офицерской организации состоял.

– Гм... Награды, поди, имеете?

– Нет, у нас полковник скуп на этот счет. Хотя меня все-таки представили к «Георгию».

– Ага, ишь ты!.. Гярой, значит!

Жестиков самодовольно улыбнулся; бедро заныло, доброволец поморщился.

– Да, я повоевал. Свой долг исполнил, теперь и отдохнуть имею право.

– Конечно, конечно. Обязательно отдохнуть. Партизан отвернул в сторону лицо, загоревшееся злобой. Жестиков болтал без умолку:

– Пусть кто другой повоюет так, как я. Красная сволочь долго будет помнить господина вольноопределяющегося Константина Жестикова. Широкинцы уж наверняка меня не забудут. Ах, и почертили мы там. Девочка какая мне попалась!..

К горлу партизана что-то подкатилось, не своим глухим голосом он спросил добровольца:

– Это в Широком-то?

– Да.

– Какая?

– Совсем, знаешь ли, молоденькая, лет пятнадцати, четырнадцати, не больше. Невиненькая еще была. Как ее звали?

Жестиков задумался на минуту:

– Да, Маша, Маша Летягина.

Партизан задрожал, услышав имя своей сестры.

– Мы ее с Пестиковым в курятнике прижали. Она там пряталась. Потеха. Кур всех перепугали. Девчонка наша ревет. Я говорю ей: ложись, мол, добром, а она разливается, она разливается. Но, однако, сразу поняла, в чем дело, говорит мне: «Дяденька, я еще маленькая». А Пестиков, чудак такой, он всегда с шутками да прибаутками, отвечает ей: «Ничего, ничего, Маша, расти, пока я штаны расстегиваю». Хи-хи-хи!

Жестиков тихо засмеялся, схватился за рану.

– Ох, нельзя смеяться-то, больно.

Партизан размахнулся и тяжело стукнул раненого по зубам.

– Заткни свою глотку, погань!

– Ты чего это?

Жестиков еще не понимал, в чем дело.

– На каком основании?

Партизан плюнул ему в глаза, бросил вожжи.

– Вот тебе, гаду, основания! Вот тебе основания! Вот тебе партизанское спасибо!

Жесткие кулаки в косматых шубенках заходили по лицу красильниковца.

– Партизаны, а-а-а, карауул!

Жестиков подавился обломками своих зубов.

– На вот тебе, сволочь!

Чубуков остановил лошадь. Летягин, черный от гнева, топтал Жестикова ногами.'

– Ты чего это, Иван?

– Тятя, он ведь Маньку-то нашу изнасильничал. Жестиков снова потерял сознание.

– Ну?

– Сам расхвастался, гад.

Иван, тяжело дыша, соскочил с саней.

– Никак околел? Айда, Иван. Время неча терять.

– Айда!

Партизаны погнали лошадей. Лицо у Жестикова стало плоским, как доска. Небольшой нос был сломан и сплюснут. Кровь дымилась и, капая с избитого, мерзла коралловыми гроздьями на воротнике, на спине мертвого Пестикова. Желтые, с полураскрытыми ртами тряслись убитые. Летягин еще раз плюнул на Жестикова. Дорога круто повернула влево, расплзлась широкой белой плешью поляны. Убитых уже жгли. Огромный костер пылал недалеко от дороги. Трупы были сложены слоями. Слой дров, слой тел. Лежащие на самом верху крючились от жару. Над зубчатой огненной короной поднимались темные руки, ноги, обуглившиеся головы мелькали, скрывались в огне. Черный дым тяжелым, ровным столбом качался над костром. Трое партизан с длинными железными рычагами ходили вокруг огня, подправляли разваливающиеся плахи. Чубуков с Летягиным остановили лошадей. Стали раздевать Жестикова. Один отошел от костра, принялся стаскивать с убитых валенки. Тесть с зятем подтащили добровольца к костру, приподняли за руки и за ноги, раскачали, забросили на верх горящих тел.

– Гоп!

Летягин крикнул, стал оттирать снегом руки, запачканные кровью.

– Товарищи, подсобите мне. Одному не управиться, застыли здорово.

Пожилой, рыжеусый партизан снял шапку, тяжело вздохнул. Около него чернела куча валенок, полушубков. Жестиков очнулся, хватил полные легкие дыму, подпрыгнул, хотел встать, но бедро у него было разбито, он смог только приподняться на четвереньки.

– В-и-и-у-у-у-й!

Свиной визг тонким, едким ударом кнута метнулся в тайгу, завяз в густой безмолвной чаще.

– Эх, живой попал! – Партизан бросил кочергу, вытащил из-за пазухи длинный, тяжелый «Смит».

– Чего человеку мучиться.

– Не тронь.

Черный, высокий Летягин отвел руку товарища.

– У тебя что, патронов много, что ли? По падали не стреляют. Заслужил он этого. Сдохнет и так!

«Смит» нерешительно ткнулся за пояс. Не сильно, но отчетливо щелкнув, у Жестикова лопнули глаза. Волосы добровольца пылали, скипаясь в черную, вонючую пену. Язык огня, лизавший голову, был похож на яркий ночной колпак с острым концом и мохнатой дымчатой кисточкой наверху. Раскаленные щипцы разодрали живот и грудь. Жестиков скрючился кольцом, ткнулся в угли. Чубуков с Летягиным постояли немного молча, пошли помогать рыжеусому раздевать убитых.

– Еще бы чернозубого этого, рыжего дьявола поймать, который жану-то опозорил, – вслух подумал Летягин.

Потом они еще два раза ездили за трупами, снимали с них все до нитки, голых кидали в огонь. Привезли и бросили туда же замерзших Нагибина и Скрылева. Дрова подкладывали всю ночь. Трупы горели ровным синим огнем, почти не давая дыму.

– Ишь, как горит человек. Ровно керосин али спирт.

Партизаны курили, сидя на снегу. По черным сгоревшим человеческим головням бегали тихие синие огоньки. Снег кругом был залит прыгающими пятнами синьки и крови. Тайга, совсем непроглядная, темным валом обложила поляну. Мороз залазил партизанам под дохи, толкал их ближе к костру.

Утром в селе ударил колокол. Большой, тяжелый, широкогорлый. Ему ответил маленький, тонкоголосый. Вся колокольня заговорила грустно, тихо. Медные вздохи разбудили тайгу.

– Что это такое? Будто в Пчелине попа не было, а звон. Да никак похоронный? Кого-то хотят честь-честью проводить на тот свет. Но где взяли попа?

Чубуков недоумевал, разводил руками. Костер еще горел.

В комнате Агитационного Отдела Жарков спорил с Воскресенским:

– Слышишь, звонят, – говорил Жарков, – и ты должен будешь сейчас пойти в церковь, надеть ризу, отпеть семерых наших партизан и окрестить двух ребятишек у беженцев. Это уж ты как хочешь, а сделать должен.

Воскресенский раздраженно пожимал плечами:

– Я не понимаю, зачем эта комедия? Разве я для того снимал с себя сан, чтобы опять здесь восстановить его. Нет, я не хочу.

– А я тебе говорю, что ты должен. Меня старики еще вчера просили, чтобы, значит, все устроить по-христиански. Я согласился. Пойми, Воскресенский, что сознательных большевиков у нас не больно много, а попутчиков случайных сколько хочешь, их у нас сила, на них держимся. Ничего не попишешь, приходится им угождать.

– Как это все-таки противно.

– Потерпи, Иван Анисимович, соединимся с Красной Армией, тогда не станем и со стариками считаться.

В комнату вошла старуха просвирня, стала креститься на передний угол.

– Здравствуйте, крещены которы. Здорово живете.

– Здравствуй, матушка.

– Ну, который из вас батюшка-то, сказывайте? Воскресенский слегка покраснел.

– Я, а что?

– Ждут вас уж в церкви-то. Покойничков принесли. Пожалуйте.

Жарков, смеясь, отвернулся к окну.

– Иди, Иван Анисимыч.

Воскресенский махнул рукой, стал одевать доху. Церковь была полна. Партизан боком прошел через толпу, скрылся в алтаре. Золотая твердая риза сидела неловко, мешком. Воскресенский уже отвык от неудобных одежд духовного пастыря. Яркие большие кресты из толстой ткани смешно лезли в глаза. Стриженный, бритый, скорее похожий на католического ксендза, чем на православного священника, Иван Анисимович вышел на амвон, перекрестился, перекрестил народ.

– Во имя отца и сына и святого духа.

Толпа поклонилась, вздохнула, замахала руками. Отпевание началось. Убитые лежали в белых сосновых гробах.

– Со святыми упокой, Христе, души усопших рабов твоих.

Родные погибших плакали, клали земные поклоны. На улице развернутым фронтом, с красными знаменами выстроились две роты. Одна Таежного, другая Медвежинского полка. Воскресенский незаметно для себя вошел в роль священника, служил не торопясь, молитвы читал внятно, с чувством. Старики и старухи, за долгое время скитаний по тайге стосковавшиеся по церкви, стояли довольные, с ласковыми, прояснившимися глазами. Скорбными, дрожащими вздохами падали в сердце толпы слова молитвы.

– И сотвори им в-е-е-чную па-а-а-а-мять! Люди опустили на колени, с плачем молили:

– Сотвори им в-е-е-е-чную п-а-а-а-мять.

Когда гробы были вынесены на паперть, партизаны запели:



Вы жертвою пали в борьбе роковой

Любви беззаветной к народу... В

ы отдали все, что могли, за него...

Старики и старухи крестились, всхлипывали:

Со святыми упокой, Христе, души усопших рабов твоих.

Нет, они не были рабами. Красные продырявленные пулями знамена отрицательно трясли своими полотнами: нет, нет. Партизаны, сжимая винтовки, снимали шапки.

О павшие братья, мы молимся вам...

Кольхнувшись, убитые пошли в последний поход. На кладбище Воскресенский вышел из церкви без ризы, в коротком меховом пиджаке и папахе. Поправил револьвер на широком ремне, быстро зашагал, догоняя похоронную процессию.

## **26. ЭТО**

В деревнях, заимках, селах Таежного района белые создали тысячи мучеников. Кровавый посев давал красные всходы. Партизанское движение росло, крепло, ширилось. Крестьяне и рабочие, внешне спокойные и покорные, в сердцах носили огонь ненависти и жажды мести. Красный гнев клокотал палящей лавой. Красное было розлито всюду. Красной полосой легла на белый стан Таежная Республика. Красные точки и пятна сочувствующих и помогающих партизанам кишели в тылу у белых, в их рядах. Каждый шаг белогвардейцев, верный и неверный, тайный и явный, был известен партизанам. Крестьяне, женщины, старики, подростки, девушки добровольно осведомляли красных о всем, что творилось у белых, умело, незаметно разлагали их ряды, привлекали на свою сторону мобилизованных, обманутых.

В рождественский сочельник, перед рассветом, от Медвежьего к тайге по чистому полю, поскрипывая лыжами, быстро скользили двое. Среднего роста, крепкий, широкоплечий, с длинной серебряной бородой, в малахае и белой дохе – Федор Федорович Черняков и высокий, костлявый, бритый, с короткими, обкусанными, торчащими щетиной усами, в рыжем телячьем пиджаке и таком же картузе – Никифор Семенович Карапузов. Старики гнулись под тяжестью больших мешков, привязанных за спиной. Они везли партизанам медикаменты, купленные в городе. Лыжи глубоко уходили в снег, нападавший за ночь. Идти было трудно. Под теплыми мехами на спине и на груди у лыжников рубахи отсырели от пота.

– Закурить бы надо, Федор Федорыч, – остановился Карапузов.

– Оно бы, конечно, хорошо, Никифор Семеныч, да как бы не заметили нас?

– Ну, в этаку темень да рань. Поди, спят все без задних ног.

Карапузов вытащил из-за пазухи короткую самодельную трубку. Черняков достал кисет. Сбоку в темноте фыркнула лошадь. Старики вздрогнули, насторожились. На дороге отчетливо хрустели конские копыта, едва слышно брякало оружие. Несколько красных точек, покачиваясь, плыло к тайге.

– Смотри, курят. Ведь это орловские молодцы в разведку поехали, – шептал Черняков.

Разъезд гусар шагом шел по дороге на Пчелино. Корнет Завистовский, безусый восемнадцатилетний мальчик, опустил голову и, развалиясь в седле, мурлыкал под нос:

Свое мы дело совершили –

Сибирь Советов лишена...

Молодой офицер перед выездом из села выпил немного спирту, был весел. Новенькая, мягкая, длиннополая черная барнаулка грела хорошо. Косматая тресковая папаха закрывала оба уха.

– Так и есть, они.

– Давай дернем в сторону с версту и прямо Пчелинским логом ударимся на спаленную сосну.

Старики спрятали табак, повернули влево. Лыжи хрустнули, тихо взвизгивая, заскользили по белому пушистому ковру. В сумерках рассвета долго, осторожно шли по тайге. Задевая за сучья, роняли вниз чистые белые хлопья. У разбитой, опаленной молнией сосны остановились, сняли с плеч мешки, закурили. Между деревьев медленно светало.

– Ну, однако, пора стучать.

Черняков выдернул из-за пояса топор, стал редко, с силой бить им по сухому стволу. Ударив десять раз, остановился. В тайге шумело эхо. Затрещал бурелом.

– Что это, медведь, что ли? – спросил Карапузов.

– Какой теперь медведь. Медведь лежит. Карапузов сконфуженно махнул рукой.

– Фу, смолол. Хотя, мож, его спугнули? Иль, мож, это зюбрь<sup>51</sup>?

– Нет, зюбрь не так ходит. Зюбря не услышишь. Он идет – только хруп, хруп. Шагов пяток сделает, да и встанет, послушает и опять – хруп, хруп. А этот вон как трещит. Сохатый<sup>52</sup>, окромя некому.

Черняков опять застучал. Треск стал глуше, затихая, удалялся.

– Тяп-шшш! Тяп-шшш! Тяп-шшш!

---

<sup>51</sup> Изюбрь, или марал (благородный олень)

<sup>52</sup> Сохатый – лось

Тайга просыпалась. Где-то далеко слабо отозвались:

– Тяп! Тяп!

Старик перестал стучать.

– Ага, десять тоже, – сосчитал он удары.

– Наши. Сейчас будут.

Черняков засунул топор опять за пояс, сел на сваленное дерево. Карапузов вытирал рукавом вспотевший лоб.

– Здорово мы с тобой, Федор Федорыч, отмахали.

– Да, подходя.

В чаще замелькали пестрые лохматые дохи. Несколько партизан бесшумно на лыжах подбежали к старикам.

– Здорово, товарищи!

– Здравствуйте!

– Ну, чего принесли, старички?

– Лекарства кое-какого, товарищи. Бинтов маленько.

– Дело хорошее.

Ватюков разглаживал свои длинные усы. Быстрое нагнулся, стал ощупывать мешки. Доха у партизана распахнулась, среди меха сверкнула золотом гимнастерка, расшитая выпуклыми крестами.

– Это чего у тебя, Петра?

Черняков смотрел на необыкновенный костюм партизана. Быстрое засмеялся.

– Риза отца Кипарисова. Мы его на позапрошлой неделе уконтрамили<sup>53</sup>. Ну, добру не пропадать же. Я сшил себе гимнастерку. Крепкая штука, долго проносится.

Парень, улыбаясь, оправлял пояс, показывал старикам свою обновку.

– Чего банды поговаривают насчет войны? – спросил Ватюков.

Карапузов оживленно заговорил:

– Мне Пашка сказывал, вы знаете его, сын-то мой, что мобилизованные ждут только удобного случая, чтобы перебежать. Дела бандитов совсем плохи. Красная Армия близко. Гибель свою они уже чувят. Куируются здорово. В городе ихних беженцев полно. Офицеры свои семьи за границу, на Восток отправляют.

---

<sup>53</sup> Уконтрамить – убить

Гусары возвращались из разведки. Дорогой красильниковцы часто грелись из фляг со спиртом, ехали с песней:

Марш вперед, друзья, в поход,

Штурмовые роты.

Впереди вас слава ждет,

Сзади пулеметы.

Партизаны слышали, примолкли.

– Надо щелкнуть петушков красноголовых<sup>54</sup>.

Ватюков стал распоряжаться:

– Черемных и Панкратов, вы берите мешки и в Пчелино. А мы на них. С двух сторон надо охватить. Вали, Быстров, заходи сзади. Я спереду. Возьми себе четверых. Остальные со мной.

Небольшой отряд разорвался надвое, лавой брызнул в разные стороны, с легким скрипом скрылся за высокой желтой стеной тайги. Черемных и Панкратов навалили себе мешки на плечи.

– Вы, товарищи, передайте там от нас Жаркову-то с Мотыгиным, чтобы не сомневались, наступали бы на Медвежье, мы поддержим. Силешки у белых почти уже, можно сказать, и не осталось. Видимость одна только, – говорил Черняков.

– Обязательно! Уже это бесприменно будет передано. Конечно, наступать надо, кончать гадов.

Партизаны повернули лыжи назад, к Пчелину, на старый след.

– Ну, прощайте, товарищи. Счастливо вам!

Черняков и Карпузов постояли немного на месте, проводили взглядами две фигуры с мешками на спинах.

– Пойдем восвояси, Федор Федорыч.

– Пойдем, – старики тихо пошли домой.

Обходя кучи бурелома, оглядываясь в сторону дороги, останавливаясь, прислушивались, затаив дыхание.

– Трах! Трах! Тах! Тарарах!

Лыжники свалили лошадь у гусар, ранили одного и одного убили. Путь был отрезан. Красильниковцы метнулись обратно. Корнет Завистовский едва владел собой. Страх,

---

<sup>54</sup> Красильниковцы-гусары носили красные бескозырки

холодный, тяжелый, задавил офицера. Быстров с четырьмя вылетел из чащи, перегородил дорогу.

– Трах! Трах!

И спереди и сзади. И в затылок и в лоб.

– Пиу! Пиу!

Лыжников была небольшая кучка. Но казалось, что их страшно много, что вся тайга кишит ими. Гусары остановили лошадей. Завистовский уронил повод.

– Сдавайся! Сдавайся!

Партизаны легко и быстро двигали лыжами, винтовки держали наготове.

– Слезай с коней! Бросай оружие!

Высокая черная лука казачьего седла мелькнула в последний раз перед глазами офицера. Соскочив с лошади, он стал отстегивать португую, солдаты снимали из-за плеч винтовки, клали их на дорогу. Лыжники схватили лошадей под уздцы, отвели в сторону. Гусары, скучившись, встали нерешительно, опустив руки.

– Добровольцы есть?

Пестрые дохи угрожающе стали рядом, вплотную. Красильниковцы молчали, сухо щелкнули затворы, винтовки уткнулись в головы пленных.

– Ну?

– Мы все мобилизованные. Один корнет доброволец.

– Ага!

Партизаны переглянулись.

– Солдаты, отойди к сторонке.

Гусары отошли вправо. Офицер остался один лицом к лицу с врагами. Завистовский стоял с трудом. Ноги ныли, дрожали. Корнет не мог понять, от страха это или от усталости.

– Раздевайся! Будет, погулял в погонах!

Сердце провалилось куда-то, перестало биться. Мохнатые дохи растопырились, заслонили собой солнце, дорогу и тайгу.

– Я замерзну, братцы. Холодно, не надо.

Дохи оцетинились, зашевелились, засмеялись.

– Черт с тобой, замерзай. Нам ты не нужен, нам шуба да обмундирование твое нужны.

Завистовский с трудом понял наивность своей просьбы. Но умирать не хотелось. Старуха мать встала перед глазами как живая. Он – единственный сын, он – последняя надежда. Без него она не выживет, не перенесет тяжесть утраты.

– Товарищи, у меня мама. У нее больше никого нет. Пощадите!

Офицер говорил глухим, задушенным, срывающимся голосом, с усилием поворачивал во рту сухой язык. Злая усмешка тронула лица партизан.

– Ты когда ставил к стенке моего отца, не спрашивал, однако, сколько у него сыновей?

Завистовский готов был расплакаться. Твердость и спокойная ненависть красных давили его.

– Нечего лясы точить, раздевайся.

Корнет не двигался с места, лицо у него стало темно-синим. Ватюков раздраженно теребил свои усы.

– Ну, долго тебя, золотопогонника, просить? Раздевайся, а то сами начнем сдирать, хуже будет.

Последняя искорка надежды потухла где-то на дороге под лохматыми унтами<sup>55</sup> партизан.

– Слышишь, мол?

– Я сейчас, сейчас, товарищи, я сам.

А жить хотелось страстно. Тайга стояла молчаливая, спокойная. Ровной лентой стелилась узкая дорога. И лица партизан были самые обыкновенные. Ничего особенного вообще не было. Все было как и всегда. Но зачем-то нужно умирать. Жизнь стала вдруг в несколько секунд красивой, влекущей. Выходило так, что раньше ее как будто не было, не замечалась она. Зато теперь она стала дорога, необходима. Смерть казалась глупой, никому не нужной, страшной. Избежать ее очень просто. Вот стоит только этому длинноусому сказать пару слов, и он будет жить, его не расстреляют.

– Товарищи...

– Лучше не скули. Сказано раздевайся, и кончено. Пестрые дохи недовольно, сердито переминались с ноги на ногу. Умирать не хотелось. Все протестовало против смерти. Оттянуть хоть на сколько минут.

– В последний раз, товарищи, дайте покурить.

– Кури.

Ноги больше не могли стоять. Офицер тяжело всем задом сел в снег. Вытащил портсигар. Лошади лизали снег. От них шел легкий пар, с острым запахом конского навоза и пота.

---

<sup>55</sup> Унты – меховые сапоги.

– Только поскорей поворачивайся.

Завистовский закурил. Вот и дым самый обыкновенный, и табак такой же, как час тому назад, когда не было еще этой необходимости умирать, папироса только очень коротка. Догорит и придется... Нет, это нелепость какая-то. Всего только восемнадцать лет! Зачем же смерть? Надо подумать. Между бровей закладываются две глубокие морщинки. Глаза напряженно смотрят на красную точку на конце папиросы. Она приближается к мундштуку с каждой затяжкой. Значит, и та неотвратимая, ужасная тоже? А если не затягиваться? Дохам скучно. Папироса все дымится.

– Ну, ты чего же, курить так кури, а нет так нет.

– Последний раз, товарищи, дайте покурить как следует.

Ну что им стоит каких-нибудь пять минут. Прожить еще пять минут – огромное счастье. Надо следить за папироской, чтобы сильно не разгоралась. Табак очень сух. Горит быстро, страшно быстро. Дохи обозлились.

– Ну, тебя, видно, не дожدهшься. Бросай папироску! Голова офицера свалилась на левое плечо. Держать ее тяжело. Руки повисли. Спина согнулась. Мускулы раскисли. Папироска выпала изо рта, зашипев в снегу, потухла.

– Раздевайся!

Неужели все кончено? Пленные гусары отвертывались к лошадям. Но как это случилось? Почему нужно было сегодня ехать в разведку? А мама, мама-то как? Острый нож колет сердце, грудь. Едкие, огненные слезы капаят на снег. Мама! Мама!

– Товарищи, у меня мама. Мамочка. Пощадите, Христа ради.

Руки хотят подняться и не могут. Голова совсем не слушается. Как хорошо плакать. Все-таки легче.

– Товарищи, мамочка, мамочка. Милые товарищи, дорогие, славные. Ну миленькие, родные, простите. Я у вас конюхом буду, за лошадьми ходить. Я лакеем буду, сапоги стану вам чистить. Милые, пощадите. Ведь у меня мамочка. Ма-а-а-моч-ка!

Зачем это так дергается все тело? Отчего так больно грудь и щиплет глаза?

– Фу, черт, измотал совсем.

Доха рассердилась вконец. Человека убить нелегко и так, а он ревет еще. Надо скорее. Иначе рука не поднимется. Может быть, мерещиться потом будет. Без команды приподнялись винтовки. Офицер заметил. Глаза залило совсем чем-то красным. И это сейчас. Сейчас случится это. Это. Осталось только оно это. За ним неизвестно что. Самое страшное, пока это еще не произошло. Когда это будет, то ничего, легко станет. Главное – перешагнуть это. Страшно. Зачем это? Надо жить. Жить! Долой это! Сил нет. Нет слов. Язык сухой, сладкий.

– Товарищи, простите. Не надо это. Товарищи милые, как же мамочка-то? Миленькие, простите.

Затворы шелкнули. Винтовки равнодушно, слепо тыкались перед глазами, покачивались едва заметно. Сейчас будет это. Еще секунда, и все кончено. Это.

– Мамочка! Ма-а-м-а-м-о-ч...

– Пли!

Черная барнаулка покраснела. Колени поднялись кверху, дергались. Раздевать не стали. Там, где только что произошло это, быть тяжело. Лучше не смотреть, уйти скорее. Сегодня это было не как всегда. Дорога стала очень узкой, тесной. Идти по ней свободно было нельзя. Друг друга задевали, толкали. Тут еще пленные мешаются, напоминают о нем. Лучше бы уж всех. Лыжи сняли. Они стучали очень громко, подкатывались под ноги. Мешали. Для чего их на веревках тащить за собой? Если бросить? Мешают страшно. И тайга почему-то очень молчаливая. Мертвая, совсем мертвая. Там прячется это. Это за каждым деревом. Как надоело это.

– Скорее бы кончилась война. Опротивело.

Ватников морщился, плевал в сторону, тряс головой.

– У-у-у! Тьфу! Гадость!

– Ну, этого мальчишку долго не забудешь. Быстров прибавил шаг.

– Конечно, мать у всех мать.

Дорога с глубокими колеями затрудняла движение. Партизаны спотыкались. Почему-то было очень скверно на душе у всех. Это было и раньше, но не так сильно и остро. А теперь это давило.

## ***27. СЕГОДНЯ МЫ ВСЕ РАВНЫ***

Окна Медвежинской школы были ярко освещены. На улицу пробивались сквозь двойные рамы глухие звуки пианино. В светлых четырехугольных пятнах мелькали силуэты танцующих. У полковника Орлова были гости. Сегодня к нему приехали из города несколько офицеров в обществе двух сильно накрашенных дам. Обе были вдовы офицеров одного из сибирских полков, недавно убитых. Фамилий их никто как следует не знал. Все звали их по имени и отчеству. Одну, курносую блондинку среднего роста, с большим ртом и узкими глазами, в зеленом платье, – Людмилой Николаевной. Другую – высокую, полную, с пунцовыми губами, правильным носом, подкрашенными карими глазами и пышной прической завитых каштановых волос, – Верой Владимировной. Легкое светлое бальное платье открывало у нее наполовину грудь и руки до плеч. В большом классе было тесно. Адьютант играл на пианино. Подвыпивший полковник развязно шутил с дамами, танцевал, преувеличенно громко стуча каблуками и звеня шпорами. Нетанцующие офицеры разделились на две группы, разместившись за столами по разным углам комнаты. У сидевших в дальнем правом углу около стола, уставленного бутылками спирта, вина и закусками, лица покраснели и вспотели, воротники мундиров и



френчей были расстегнуты. Бритый, белобрысый ротмистр Шварц старался перекричать пианино, стук и шмыганье ног танцующих.

Эх вы, братцы, смело вперед!

В нас начальники дух воспитали,

И Совдеп нам теперь нипочем.

Офицеры вторили нестройно, вразброд, пьяными голосами:

Уж не раз мы его побивали

И опять в пух и прах разобьем.

Полковник закричал с другого конца комнаты:

– Господа офицеры, к черту патриотические песни и политику. Сегодня мы будем жить только для себя. Довольно, надо когда-нибудь и отдохнуть! Корнет, матчиш!

Скучающие звуки вырвались из-под клавиш. Орлов схватил Веру Владимировну, канканируя, понесся с ней по комнате. Вера Владимировна вертела задом, трясла грудью, откидываясь всем телом назад, прыгала на носках, наклонялась вперед, высоко поднимала ноги, извивалась в руках офицера, выкрикивала тяжело дыша:

Матчиш я танцевала

С одним нахалом

В отдельном кабинете

Под одеялом...

Офицеры перестали петь, разговаривать, блестящими сузившимися глазами ощупывали тонкие ноги женщины в ажурных чулках, ловили взглядами белые кружева ее белья.

Совершенно пьяный сотник<sup>56</sup> Раннев вытащил из кобуры револьвер. Ему надоела смуглая физиономия Пушкина в темной массивной раме. Пуля попала в угол портрета, разбила стекло. Офицеры подняли стрелявшего на смех.

– Попал пальцем в небо! Ковыряй дальше!

Безусый юнец, хорунжий<sup>57</sup> Брызгалов, бросил презрительный взгляд в сторону Раннева, выхватил свой маленький браунинг, всадил пулю поэту между бровей.

Брызгалову аплодировали, пили за его здоровье. Осмеянный сотник, наморщив лоб, встал, подошел к пианино, медленно вытянул из ножен шашку, со злобой рубанул по крышке инструмента. Полозов толкнул в бок офицера.

---

<sup>56</sup> Сотник – казачий поручик

<sup>57</sup> Хорунжий – казачий подпоручик

– Ты чего это, черт, с ума спятил? Пошел отсюда.

Патруль, встревоженный выстрелами в школе, пришел узнать, в чем дело. Шарафутдин в передней успокоил солдат.

– Нищаво, эта гаспадын афицера мал-мало шутка давал.

Патруль ушел. Адъютант играл без отдыха. Людмила Николаевна и Вера Владимировна с легкостью бабочек порхали из рук одного офицера к другому. Отдыхать во время небольших перерывов дамам не давали на стульях, мужчины бесцеремонно сажали их к себе на колени. Они не сопротивлялись, смеясь, трепали офицерам прически, усы и бороды. Ротмистр Шварц, покачиваясь, волоча за собой блестящую никелированную саблю, подошел к полковнику.

– Какого черта, полковник, у вас так мало дам? Две каких-то пигалицы, и только. Нельзя ли...

– Ладно, ладно, – перебил Орлов. – Сейчас будут.

– Адъютант, корнет, женщин нам, женщин!

Адъютант закричал:

– Шарафутдин, киль мында<sup>58</sup>.

– Я, гаспадын карнет.

– Ханым бар?<sup>59</sup>

Шарафутдин плутовато улыбнулся. Острые черные глаза татарина заблестели в узких жирных щелочках. Толстые масляные губы раздвинулись.

– Бар<sup>60</sup>, гаспадын карнет.

– Бираля<sup>61</sup>.

Группа более трезвых офицеров в левом углу класса играла в железку. Среди них был один невоенный, заводчик, беженец с Урала, приехавший из города, Веревкин Сидор Поликарпович. Заводчик приехал в отряд Орлова со всем имуществом, погруженным на восьми возах. В городе оставаться дальше становилось опасно, положение белых было безнадежное. В поезд, в один из эшелонов, уходивших на Восток, Веревкин не сумел попасть, ехать на лошадях самостоятельно побоялся, решил присоединиться к отряду полковника Орлова, своего старого знакомого. Играл Сидор Поликарпович не торопясь,

---

<sup>58</sup> Поди сюда

<sup>59</sup> Женщины есть?

<sup>60</sup> Есть

<sup>61</sup> Давай

спокойно, с сожалением вздыхая, говорил об убытках, причиненных ему войной, удивлялся, почему погибло в России дело Колчака.

– Ведь правительство адмирала совершенно правильно опиралось на мелкого собственника. Оно великолепно защищало интересы частного землевладения, вообще частной собственности. Не понимаю, чего еще, какую еще власть нужно сибирякам? Ведь здесь же совсем нет этого знаменитого российского пролетаризировавшегося бесштанного крестьянства. Здесь все мужики крепкие, скопидомы, хорошие хозяева. И вот, поди же ты, идут против нас.

– Каналья стал народ, измельчал, оподлился, распустился. Забыто все: и религия, и уважение к власти, ко всякой, какой угодно, даже к советской, – говорил Глыбин.

– Вы думаете, у красных лучше? Все один черт. Никто никого не признает. Бей, громи, грабь и всех и вся. Вот чем, вот какими интересами живет теперь русский народ. Анархия, полнейшая анархия кругом.

– Мое, – открывая карты, сказал Веревкин.

– У вас сколько? – полюбопытствовал Глыбин. Веревкин показал.

– Ага! Берите.

– Но ведь нужны же какие-нибудь рамки, берега для разбушевавшейся стихии анархического разгрома, мятежа. Ведь в этом диком потоке разрушения и взаимного истребления в конце концов может сгнуться и самая идея воссоздания России, и сам народ, ослепленный красной ложью, утопит не только нас, но и себя.

Сидор Поликарпович пристальным, спрашивающим взглядом обводил партнеров, разглаживая широкую русую бороду, поправляя на правой стороне груди университетский значок.

– Неужели уж нет больше надежды на то, что власть останется в наших руках? Неужели все вы, господа, все наше многострадальное офицерство должны будете до конца жизни влачить жалкое существование изгнанников? А Красильников, ведь это историческая фигура, неужели и он?

Глыбин неопределенно протянул ответ:

– Да, Красильников – личность.

Веревкин оживился. Вокруг мясистого носа Сидора Поликарповича засветились ласковые складочки, коричневатые мешочки дряблой кожи под выцветшими-голубыми глазами стали меньше, наморщились.

– По-моему, господа, Красильников является наиболее яркой, красочной фигурой, наиболее видным представителем вашей славной офицерской семьи, – говорил Веревкин. Офицеры молча брали и бросали карты, двигали кучки бумажек.

– Простите, господа, я не хочу преуменьшать достоинств каждого из вас и умалять ваши заслуги перед родиной, по-моему, все вы в большей или меньшей степени являетесь его

подобием, так сказать, его разновидностью. Красильников, по-моему, идеальный русский офицер, он соединяет в себе широту русского размаха с европейской методичностью и чисто азиатской жестокостью и беспощадностью, которые именно так нужны в деле искоренения большевизма.

– Черт знает, опять бита!

Глыбин швырнул пачку кредиток.

– Сколько?

– Ваша.

Игра шла. Слушали Веревкина рассеянно. Сидор Поликарпович любил поговорить.

– Атаман – художник своего дела. Он не чинит просто суд и расправу, а рисует картину страшного суда здесь, на земле, над всеми непокорными, бунтующимися. Возьмите его публичные казни, его танец повешенных, когда десятки людей сразу, по одной команде, взвиваются высоко над крышами домов и начинают, вися на журавцах, выделывать ногами всевозможные па, а тут же рядом согнано все село, стоит коленопреклоненное и смотрит. Жены, матери, отцы, дети повешенных – все тут. Атаман сам ходит в толпе, приказывает всем смотреть на казнь. Тех же, кто проявляет недостаточно внимательности или, по его мнению, нуждается во вразумлении, растягивают, порют шомполами и нагайками. И так часами длится экзекуция, а Красильников ходит тут же и, как лектор световыми картинками, демонстрирует свои беседы с народом живыми сценками из злосчастной судьбы большевиков. В наше время, когда нравственность и религия приходят в упадок, нужно именно такими сильнодействующими средствами внедрять их в сознание масс. Нужно заставить эту серую скотинку хоть чего-нибудь бояться, хоть кого-нибудь признавать. Красильников это отлично понимает, учитывает, а так как он человек с железными нервами и волей, то немедленно проводит все это в жизнь.

Лицо Веревкина сияло восхищенной улыбкой, точно кровавый атаман стоял сейчас здесь, и он любовался им.

– А его рабочая политика? Ах, это восторг! Мы уже давно, кажется со времен Лены, не получали со стороны правительства такой активной поддержки, какую имеем теперь в лице атамана. На заводах, фабриках, в шахтах он церемонится еще меньше, чем в деревнях. Там разговор короткий. Малейшее подозрение: большевик – за горло, на землю и пулю в лоб.

Офицерам надоели рассуждения Веревкина. Каждому из них все это было уже давно известно, да к тому же они не особенно интересовались отвлеченными вопросами внутренней политики. Их кругозор не выходил за пределы мелких, будничных интересов дня, дальше вопросов о повышениях, перемещениях по службе, чинов, орденов и других мелких выгод они не шли. Пожилой худосочный прапорщик Лихачев надтреснутым голосом тянул скучный и вялый разговор о том, что он при Керенском уже был прапором, в гражданскую войну дважды ранен, а все еще прапор. Его перебивал поручик Громов:

– Э, чего вы там скулите, керенка несчастная, я вот по крайней мере николаевский поручик и сейчас все поручик. Но я горжусь этим. У меня чин настоящий, царский. Тогда ведь не так-то легко было достучаться до поручика. А теперь что – из мальчишек полковников наделали. Не хочу я этого, не надо мне ваших чинов.

Капитан Глыбин бубнил басом себе в кулак:

– У меня вот ни одного крестишки нет, если не считать паршивенького Станиславишку. За бой под Чишмами, когда мы Уфу захватили, командир полка обещал мне клюкву<sup>62</sup>, да так подлые штабные душонки и запихали под сукно мое представление.

Шарафутдин появился в дверях и, подмигивая корнету, манил его пальцем. Корнет подошел к нему.

– Гаспадын карнет, есть три баб, только ревит бульна. Ристованный баб. Красноармейский баб, – зашептал денщик.

– Ни черта, Шарафутдинушка, тащи их сюда, мы их живо утешим.

Шарафутдин с другим денщиком Мустафиным стали тащить за руки и подталкивать в спины трех молодых женщин.

– Ходы, ходы, гаспадын офицера мал-мала играть будут. Вудка вам дадут. Бульна ревить не нады. Якши<sup>63</sup> будет.

Женщины плакали, закрывали лица концами головных платков. Ротмистр Шварц вскочил со стула.

– Ага, красноармеечки, женушки партизанские, добро пожаловать. Вот мы вас сейчас обратим в христианскую веру. Вы у нас живо белогвардейками станете.

В соседней комнате что-то трещало, звенели разбитые стекла, шуршала бумага. Мрачный сотник Раннев рубил шкафы школьной библиотеки и рвал книжки. Жажда разрушения овладела офицером. Оскорбленное самолюбие искало выхода. Руки горели.

– Шарафутдин, Мустафин, холуйня проклятая, где вы? – кричал Раннев.

Молодое красивое лицо с небольшими усиками было перекошено злобой.

– Нате вам бумаги на сигарки.

Он выбрасывал с полок книги, топтал их, рвал и кричал:

– Берите, холуи, годится покурить.

Несколько офицеров подошли к арестованным женам партизан.

---

<sup>62</sup> Орден Анны 4-й степени

<sup>63</sup> Хорошо

– Ну, чего вы, молодухи, расхныкались. Ведь не страшнее же мы ваших волков красных?

– Чего с ними долго разговаривать! – заорал Орлов, – Господа офицеры, не будьте бабами! Энергичней, господа! Жизни больше! Не стесняйтесь! Сегодня здесь нет начальства. Сегодня мы все равны! Да здравствует свобода!

Шварц схватил полную женщину в коричневом платье, стал искать у нее застёжки. Лихачев бросил карты, подбежал к худенькой, невысокой, в красной кофточке. Глыбин уцепился за широкую черную юбку.

– Раздевать их!

Женщины визжали, отбивались.

– Матушки, позор какой! Матушки! Ой! Ой! Ой!

Орлов бросился к Вере Владимировне.

– Я сама, сама, вы еще платье разорвете.

Женщина быстро расстегнула все кнопки у кофточки, сбросила легкую ткань под ноги. Орлов трясущимися руками стал расшнуровывать у нее корсет. Людмила Николаевна, совершенно голая, вскочила на стол. Жены партизан, рыдая, катались по полу, стараясь закрыть свою наготу изорванными юбками.

– Господа офицеры, от имени женщин заявляю протест. Свобода так свобода! Равенство так равенство! Вы должны сейчас же сбросить свои тленные одежды!

– Правильно! Пррравильно! Bravo! Bravo!

Офицеры с ревом срывали с себя мундиры, расстегивались. Верекин с замаслившимся помутневшим взглядом нерешительно теребил себя за ворот рубахи.

– Матушки! Ой! Ай! Ай! Ой! У-у-у-у! У-у-у! Жирный живот полковника белой, трясущейся массой вывалился из-за тугого широкого пояса брюк. Женщин было меньше, чем мужчин. Вокруг каждой закрутился горячий, потный клубок голых тел, дрожащих, с перекошенными похотью лицами, с полураскрытыми слюнявыми ртами, усатыми, бритыми, бородатыми, безусыми.

– Женщин мало!

– Женщин!

– Нам не хватает!

Вера Владимировна вырвалась из самой середины голой толпы, со смехом побежала от погнавшего за ней Орлова. Наглое белое тело с округленными упругими формами мелькало по комнате, туманило мысль, наполняя всех мужчин одним страстным, непреодолимым желанием. Орлов в одних носках, тяжело топая, наскочил животом на стол, опрокинув посуду, со звоном упал на пол. Веру Владимировну схватил Полозов.

Людмилу Николаевну возил на себе ротмистр Шварц. Босые ноги женщины торчали впереди голой груди кавалериста.

– Мало женщин!

– Ой! Ой! Ой! У-у-у! Помогите!

– Здесь живут четыре учительки!

– К ним! Взять их! – Десяток ног затопал по коридору. Голые, мокрые от пота навалились на запертую дверь. Дверь упруго тряслась, трещала. С этажерки посыпались книги. Ольга Ивановна решительно схватила со стола подсвечник, выбила стекла в обеих рамах. Царапая и режа руки, учительницы вылезли на улицу. Дверь с дрожью рухнула на пол пустой комнаты. Из разбитого окна клубами валил холодный пар. В классе кричал полковник:

– Господа, это безобразие! Надо организовать вечер! Господа! Господа!

Голые, со спутавшимися волосами люди оглохли. Орлов схватил шашку и, махая острым клинком, набросился на клубок белых червей. Темные и рыжие пятна шерсти на животах, на головах путались в глазах полковника.

– Зарублю! Смирна! Сволочь! Смирна! Сверкающая сталь, обернувшись боком, сыпала на горячие тела холодный горох ударов.

– Смирна, сволочь!

Живот у Орлова трясся жидким студнем, волосатая грудь дышала с шумом. Крепкая, обросшая шерстью рука поднималась и опускалась, как шестерня.

– Смирна, сволочь!

– Ой! Ой! Ой! У-у-у... Позор какой! А-а-а!

## **28. «УФИМЬСКОЙ СТРЕЛЬКА»**

Серо-свинцовая муть рассвета плавала в воздухе. Село спало. Снег мягкими, мокрыми хлопьями падал сверху. Было тепло и тихо. Ночной дозор остановился на кладбище. Солдаты, прислонившись к ограде, курили, разговаривали вполголоса. Высокий рябой уфимский татарин говорил молодому сибиряку Павлу Карапузову:

– Слышна, брат, красный бульна близка подходит.

Абтраган<sup>64</sup>.

---

<sup>64</sup> Боюсь

– Чего ты плетешь, Махмед? Какой абтраган? За что меня красные бить будут, если я насильно мобилизованный? Да я только до первого боя, сам к ним перебегу.

Махмед недоверчиво крутил головой, сосал сигарку,

– Уфимьской стрелька красный не берет плен. Уфимьской стрелька абтраган.

Карапузов убежденно возражал: – Возьмут, брат, красные возьмут.

– Уй, красный Рассею бирал, Сибирь забират, как жить с ним?

Вспышки сигарки освещали рябое скуластое лицо татарина с черными щетинистыми усами.

– Муй брат китайска поход ходил – тирпил, японска война ходил – тирпил, германска война с сыном ходил, лошадам отдавал – тирпил, ну русской свабод никак, говорит, тирпить невозможно. Эта красный свабод сапсим всех разорял.

Молодое пухлое лицо Карапузова насмешливо улыбалось.

– Зря ты, Махмед, говоришь. Красные только буржуев разоряют. Буржуям они, верно, спуску не дают. Конечно, если у тебя брат буржуй, так ему красных не нужно, для него они плохи. А тебе что? Ты буржуй, что ли? Нет ведь?

– Уй, брат, боюсь красных, абтраган.

– Чудак ты, Махмед, по-твоему выходит, белые лучше для тебя?

– Мы белый не видал, не знаем. Белый у нас мало стоял, отступал.

– То-то и дело-то, кабы ты знал их, так тогда не говорил бы так.

Недалеко раздался сухой, короткий треск, точно кто-то быстро стал ломать ветки деревьев.

– Диу, дзиу, джиу, дзиу, – запели над головами говоривших пули.

– Эге, это наши, – сказал Карапузов.

– Какуй наши, то красный.

– Ну да, красные; вот я и говорю, наши. Ты думаешь, белы, что ли, наши? На кой черт сдались мне эти кровопивцы? Язвы их душу!

Торопливо, захлебываясь, застучал белый пулемет. Ему вторил частый, беспорядочный огонь винтовок. Сзади деревни глухо и тревожно ухнуло дважды дежурное орудие, и снаряды с воем и визгом полетели в серую мглу предрассветных сумерек.

– Дзиу, дзиу, диу, диу, – редко, но уверенно свистели пули красных.

Два орудия белых изредка посылали из-за деревни свои снаряды, но в их вое и визге было больше жалобных, плачущих ноток, чем злобы и силы. Ружейно-пулеметная стрельба не



ослабевала. Бой разгорался. Карапузов забрался на кладбищенскую изгородь, долго взглядываясь в мутную даль зимнего утра, вертел головой, прислушивался к звукам боя.

– Махмед, айда к красным, – прыгнул он на землю.

– Уй, боюсь, брат. Абтраган.

Лицо у Махмеда вытянулось, глаза со страхом прятались в землю, голова опустилась. Карапузов схватил татарина за рукав, с усилием потянул к себе.

– Айда, Махмед, ты ведь не буржуй. Чего тебе красных бояться? Айда!

Щеки Карапузова, полные, розовые, круглыми пятнами стояли перед уфимцем.

– Мулла наш бульна пугал красным. Присяг бирал с нас.

– Ну, черт с тобой, «уфимский стрелка», шары твои дурацкие, язви тебя.

Сибиряк плюнул. Снял с винтовки японский штык, отточенный на конце, не торопясь срезал себе погоны.

– К черту, довольно!

Две зеленых тряпочки полетели в снег.

– Ай! Ай! Ай!

Татарин хлопал себя по боку, качал головой.

– Ай! Ай!

Снова примкнутый штык мягко щелкнул пружиной. Не взглянув на рябого, Карапузов закинул за плечи винтовку, пошел в сторону усиливавшейся перестрелки.

## ***29. НИ ЧЕРТА***

Хорунжий Брызгалов и поручик Ивин стояли с эскадронам в резерве. Брызгалов тянул из фляжки спирт, морщился, кричал. Разговаривали о первых восстаниях против советской власти.

– Смотрю я, господин поручик, на здешний народ, на сибиряков, и думаю, что сволочь здесь сидит на сволочи. Все большевики. Тут пули жди и спереди и сзади. Эх, вот в наших казачьих областях, там совсем не то. Казаки народ дружный. Взять хоть наших уральцев. Они за крест и бороду стояли. Все старoverы, все бородачи, как один. А дрались как? Голыми руками броневики у красных крали. Рубились как? Боже мой, как ворвутся, так все метут, как метлой, – и старого, и малого, и комиссаров, и рядовых, и врачей, и сестер, и подводчиков.

– Бросьте вы, пожалуйста, кошку свою хвалить. Знаем мы этих станичников. Герои тоже, в тылу, за спиной у пехоты, а как на фронте набьют им морду, так они так пятки смазывают, так маштачков подхлестывают, что только пыль столбом летит.

Брызгалов недовольно дернул губами, но возражать не стал.

– Пришлось мне в самый переворот, во время свержения советской власти, – быть в О. Какой подъем там был, какое единение. Казалось, что проклятой революции пришел совсем конец. Мы, юнкера, прямо уверены были, что никаких больше учредилок и советов не будет, а будет Его Императорское Величество, и баста.

Ивин ядовито улыбнулся.

– Какое хорошее это было время, с каким увлечением лупили мы эту красную рвань. Патронов у нас было мало, так больше шашками рубили. Или поставишь целую шеренгу в затылок, выровняешь почище да первому в лоб и ахнешь, а пуля так всю шеренгу и снижет. Забавно.

Брызгалов сделал несколько глотков из фляжки.

– Казни и наказания у нас обставлялись с особенной торжественностью. Мы старались придать им характер справедливого суда народного. Для этого население всегда оповещалось, неофициально правда, что «сегодня состоится казнь большевика такого-то». Помню, очень интересно прошла казнь бывшего заведующего народным образованием, какого-то студента. Вывели его из тюрьмы ночью. Народу собралось масса. Конвоиры – конные казаки с факелами; как только вывели его, так сейчас же и раздели, совсем донага. Повели.

Брызгалов закурил. Несколько раз затянулся.

– Да, повели, а толпа плюет ему в лицо, кидает в него камнями. Один камень, видно, здорово стукнул его по голове, он упал. Казаки его сейчас же в нагайки взяли да стали слегка шашками подкалывать. Живо встал, пошел. Толпа все свирепеет. Факелы зловеще освещают лица. Страшно даже стало. Один какой-то гражданин хватил студента тростью по переносице. Он опять упал. Казаки опять давай стегать нагайками, подкалывать шашками – не встает. Тогда один факельщик взял, да и положил ему горящий факел пониже живота. Шерстью паленой запахло, мясом горелым. Вскочил, брат, моментально и пошел. Однако уже стал качаться, как пьяный. Но куда он ни качнется, его встречают острые концы шашек. Он вправо – его колют. Он влево – его колют.

Шел он так, шел, весь кровью облился, как краснокожий индеец стал. Упал. Ему опять факел приложили. Нет, не встал, только ногами задрывал, как лягушка, когда через нее ток пропускают. Жгли, жгли, кололи, пороли – не встает. Мясом только сильней запахло. Я уже хотел пристрелить его, как вдруг толпа с ревом кинулась и буквально растоптала, разнесла его на клочки. После в небольшой ящик сложили кучу грязного мяса и костей.

– Молокосос вы, батенька, порядочный. Такие-то вот типы, как вы, в своем свехусердии и создали большевизм у нас в тылу, все дело-то и провалили, – презрительно сказал Ивин.

Брызгалов обиделся:

– Да, рассказывайте. Эти-то молокососы в то время, когда вы философствовали да сидели сложа руки, всю революционную дрянь-то и вывели. Мы пощады никому не давали, не только большевикам, комиссарам, но и просто советским служащим. Мы рассуждали так: раз служил у красных, значит, помогал им, а раз так, то башку долой. Рубили всех: машинисток, конторщиков, рассыльных. Всех в одну кучу, как капусту.

– Ну вот, теперь и жните, что посеяли.

– А что же очень нос-то на квинту вешать? – задорно поднял голову хорунжий.

– Ну, разобьют нас? Ну что же. Сам себе пулю пуцу в лоб, и ладно. По крайней мере буду знать, что не даром жил, кое-что для родины сделал.

– За это вы не беспокойтесь. Наше поражение давно предreshено. Мы не сумели использовать восставших волжан, уральцев, уфимцев. Мы забыли, что все они восстали против красных потому только, что за людьми не разглядели идеи, приняли разных уголовных преступников, проходимцев, пролезших к власти, за подлинных сеятелей идей большевизма. Казалось, нам нужно бы учесть это. Мы должны были понять, что массы идут защищать нас по недоразумению. Мы должны были быть очень хитрыми и осторожными, чтобы дурачить их до конца, уверять и делать вид, что идем защищать какую-то свободу. Но мы поступили совсем иначе. Мы вообразили себя победителями, распоясались и начали насиловать и грабить в тылу жен, сестер, отцов, матерей и братьев тех самых солдат, которые на фронте по своему недомыслию защищали наши шкуры и карман.

В первой линии огонь усиливался.

– Э, да что говорить, чепухи, безобразия, недомыслия у нас хоть отбавляй. Ведь вот, к слову сказать, наш закон о земле прямо-таки политическая глупость. Красные его у себя полностью перепечатавали и кричали во всю ивановскую, что вот, мол, товарищи, смотрите, за что белые воюют. А наши финансовые операции? Позор!

Офицер махнул рукой. Брызгалов молчал, с тревогой прислушиваясь к перестрелке. Ему казалось, что огонь белых начал ослабевать, стал совершенно беспорядочным.

Наблюдатель, сидевший на дереве, соскочил вниз.

– Господин поручик, так что красные с правого фланка обошли наших, а пяхота, которая была у нас на фланке, по своим же жарит. Наши бегут.

Нервная гримаса скривила лицо Ивина.

– По коням! Садись! – Брызгалов допивал фляжку.

– Ни черта, мы их сейчас сомнем.

Ивин неохотно выехал вперед эскадрона.

– Шагом маарш!

Эскадрон стал подтягиваться к месту боя. Выехали на опушку. Красные были хозяевами положения. Их пулеметы дождем обсыпали отходящие цепи белых. Цепи партизан продвинулись значительно вперед, и эскадрон выехал им как раз во фланг.

– Шашки вон! – машинально как-то командовал Ивин.

– Ура-а-а! – первый закричал Брызгалов, сильно хлестнул нагайкой своего вороного.

Эскадрон бросился в атаку. До вражеских цепей ему нужно было проскакать с полверсты по снежной равнине. Красные заметили гусар, встретили их дружными залпами. Первыми же пулями, Брызгалов был убит. Взмахнув руками, он свалился с седла, но нога у него увязла в стремени, и вороной, испуганно храпя, поволок его в сторону красных. Под Ивиным ранило лошадь, она свалилась набок, придавив ему ноги, и он никак не мог из-под нее выбраться. Расстояние между темной, плотной цепью красных и лавой эскадрона сокращалось медленно. Снег оказался очень глубоким. Лошади гусар вязли по брюхо. Ряды атакующих редели заметно. Не дойдя до противника, эскадрон повернул обратно. Атака не удалась. Ивин видел, как в лесу последним скрылся толстый вахмистр. Офицер приложил револьвер к виску, нажал гашетку. Дернувшись в сторону, голова поручика расцвела алым цветком маленькой кровавой ранки. Лицо стало одного цвета со снегом. Лошадь храпела, харкала кровью, но встать не могла.

### **30. ВИЛЫ**

Медвежье враждебно насторожилось, высыпав на улицы, ждало. Крестьяне кучками прислушивались к приближающейся перестрелке, открыто иронизировали над отходящими обозами белых.

– Что, господа хорошие, пограбили, да и будет. Пора и восвояси. Пятки смазываете. А кто платить-то за вас будет? А?

Обозники угрюмо молчали, торопливо подгоняли лошадей, со страхом оглядывались назад. Полубатарей передвинулась дальше за деревню, открыла по наступающим беглый огонь.

– Виууужжж! Виууужжж! – неслась над селом шрапнель за шрапнелью, и немного спустя, в полутора верстах, за околицей появлялись белые облачка дыма, слышался звук, похожий на громкий плевок.

– П! П! П!

По улице проехали подводы с ранеными. Окровавленные солдаты, наскоро перевязанные, металась в санях, стоня и вскрикивая при каждом толчке. Старухи вздыхали, охали, крестились. Толпа сосредоточенно молчала. Люди знали, что многие или даже большинство раненых были насильно загнаны на фронт.

– Та-та-та-та-та, тах, та, тах-тах, – задыхался где-то близко максим, точно нервный, уставший человек дышал часто и пугливо, отмахивался бессильной рукой от наседавшего врага.

– Бум, бум, бум, бум, бум, – баском вторил ему кольт.

– Бум, бум, бум, бум, – редко стучал пулемет, и похоже было на то, что кто-то тонет в глубком пруду и, поднимаясь со дна, глухо лопаются на поверхности большие пузыри.

– Бум, бум, бум.

– Трах, трах, трах, – ломали сухие ветки винтовки.

– Диу, диу, диу, – звонко в морозном воздухе пели пули.

– Наша берет, скоро белым амба будет, – сказали в толпе.

Настроение крестьян поднималось. Лица становились возбужденнее. В руках у некоторых появились пистонные ружья, вилы, топоры, заржавленные клинки, вытащенные из-под спуда.

Шарафутдин на трех подводах вез полковничье имущество.

– Ребята, чего это мы орловского холуя отпускать будем с нашим же добром? Бей его!

Молодой парень вскинул к плечу одностволку. Грянул выстрел, и Шарафутдин, схватившись руками за окровавленное лицо, упал с саней.

Путаясь в длинных шинелях, по селу бежали пять гусар, самовольно оставившие поле сражения. Крестьяне задержали их, отобрали патроны и винтовки.

– Ура! Ура! Ура-а-а-а!

– Наши пошли в атаку, – закричал старик Черняков.

– Ребята, которые с вилами, к воротам становись, а которые с ружьями – на заплоты. Не дадим сбежать белым гадам.

Как солдаты командира, слушались крестьяне Чернякова. Улица опустела, затаилась выжидая. Цепи белых дрогнули, смешались и в беспорядке, почти не останавливаясь, побежали к селу. Полковник Орлов носился среди бегущих на своей белой кобыле и хлестал нагайкой гусар направо и налево.

– Гусары, пехота вы вонючая, а не гусары! Стой! Стой! Застрелю! – орал он.

– Господа офицеры, что вы делаете? Куда бежите, как бабы?

Никто не слушал его. Солдаты и офицеры в животном страхе бежали по улице, бросая винтовки, патроны.

– Бах, бах, – загремели дробовики из-за заплотов.

– Ура! – закричал Черняков и выскочил из ворот с длинными вилами. Путь отступления был отрезан. Бегущие остановились. Две людские стены сошлись вплотную и сцепились в последней смертельной схватке. Вилы были длиннее винтовок. Крестьяне валили орловцев как снопы. Яркое зимнее солнце выглянуло из-за туч. На конце улицы засверкали клинки конных партизан. Отчетливо заалели красные банты, ленты и знамя. Судьба штыкового боя решилась в несколько секунд. Белые, смятые с двух сторон, были уничтожены. Бело-желтый ковер улицы запачкался красными пятнами. Полковника Орлова захватили живым. Партизан снимал с него револьвер и шашку. Белая кобыла полковника валялась поперек дороги, судорожно дергая тонкими длинными ногами; из живота ее, пропоротого вилами, двумя ручьями бежала кровь, большим пятном расплываясь по снегу. За конным дивизионом Кренца по тракту стала входить пехота. Впереди шел 2-й Медвежинский полк, левее его и сзади по проселку двигался 1-й Таежный, 3-й Пчелинский подходил резервом сзади всех. Председатель Армейского Совета Жарков и главнокомандующий Северным Таежным фронтом Мотыгин ехали верхом вместе с первыми цепями. Со стороны Светлоозерного ползла черная масса восставших шахтеров. Шахтеры шли с красными знаменами, вооруженные винтовками, самодельными пиками, вилами, дробовиками. Легкораненые с красными мокрыми повязками на головах, на руках шли в строю. Шахтеры, партизаны и крестьяне Медвежьего тремя бурлящими волнами сшиблись на середине села, заплескались, зашумели. Хмельная радость освобождения разлилась по избам. Все Медвежье высыпало на улицы. Женщины, дети, старики, старухи, взрослые и подростки, парни и девушки. От радости плакали. Смеялись, целовались, жали друг другу руки. Убитые валялись под ногами. На них не обращали внимания. Через мертвых шагали, наступали им на руки, на ноги, на лица. Спотыкались, попадая валенками в мягкие, еще теплые животы. День был яркий, солнечный. Снег сверкал на улицах и домах Медвежьего.

### ***31. КОСТЕР ПОТУХ***

Избенка была построена из тонкого теса и горбылей. Ветер лез в нее со всех сторон через широкие щели. Пол заменяла утрамбованная земля. Окна, наполовину выбитые, замерзли, облипли снегом. Мотовилов стоял в раздумье на пороге.

– Нет, здесь холоднее, чем просто у костра, – решил он.

– Фомушка, ломайте эту хибарку и в огонь. Разложим костер побольше, тепло будет. Видишь, постройка-то какая дрянная, в ней только, значит, летом жили.

Барановский лежал в санях, невнятно бредил. Фома с Иваном сняли с петель дверь, вырвали рамы, разобрали небольшое крыльцо, изрубили все в щепки, разложили костер. В темноте, мимо по дороге, звонко скрипели полозья. Обозы лентой шли не останавливаясь. Н-цы отпрягли лошадей, набросали им снопов овсяной соломы, взятой тут же из огромного зарода. Солдаты улеглись плотным кольцом вокруг огня. Мотовилов, отворачивая лицо от жара, грел руки. Красные отблески обливали пальцы кровью. Дрожащие кровавые пятна пачкали шинели и полушубки Н-цев, лица и шапки. На огонь

вышла из темноты длинная лошадиная морда с двумя оглоблями. Подъехал верховой, с трудом слез на снег, прихрамывая подошел к костру.

– Кто здесь старший, господа?

Мотовилов спрятал руки в рукава, обернулся к говорившему, прищурившись стал вглядываться в его лицо.

– Я старший, а что?

– Разрешите мне переночевать у вашего костра?

Мотовилов кивнул на своих солдат.

– Смотрите, сколько у нас народу. Негде.

– Ради бога, как-нибудь. Я офицер. У меня жена вон в санях лежит, после тифа. Двое детей.

– Ведь вы же видите, что у нас нет места, – немного раздраженно ответил Мотовилов.

В темноте заплакал ребенок. Незнакомый офицер неожиданно встал на колени, заговорил, сдерживая дрожь отчаяния:

– Умоляю вас ради бога, заклинаю всем святым, позвольте остаться у огня. Мы закочнели. Ребятишки совсем замерзают. В последней деревне никто, никто... – голос оборвался, офицер задрожал, – никто не пустил нас в избу. Боже мой, мы четвертые сутки под открытым небом, измучились вконец. Умоляю вас!

Мотовилов быстро встал.

– Что вы, что вы делаете? Встаньте сию же минуту. Оставайтесь, как-нибудь потеснимся. Где ваши дети?

Длинный черный тулуп и белая папаха с усилием поднялись с колен.

– Вот.

Дети, два трехлетних мальчика-близнеца, закутанные в меха, были втиснуты в большие переметные сумы, притороченные к седлу. Мотовилов помог офицеру снять их со спины лошади. Детей и женщину положили к самому огню. Мальчики плакали.

– Молочка. Е-е-есть.

– Сейчас, сейчас, детки, – суетился около них отец.

– Коля, молоко в передке саней, в большом мешке. Офицер стал раскалывать над котелком большой мерзлый круг молока.

В легких санках, с кучером на козлах, остановился у костра какой-то полковник.

– Какая часть? – громко крикнул он, не вылезая из саней.

Черноусов не торопясь ответил:

– 1-й N-ский полк.

– Сию же минуту очистите эту заимку, костер можете не тушить, – приказал полковник.

– Что-о-о? – сразу разозлился Мотовилов. – На каком основании? Кто вы такой?

– Я начальник У-ской дивизии. Сейчас подходят наши боевые части. Здесь будет первая линия. Красные совсем рядом. Ваш чин? – в свою очередь спросил полковник.

– Подпоручик.

– Так вот, подпоручик, потрудитесь немедленно исполнить мое приказание, иначе я вас арестую.

Мотовилов рассвирепел совершенно. Он не верил ни одному слову полковника. Он сразу догадался, что его хотят взять на испуг, воспользоваться хорошим, большим костром и заимкой, полной корма и хлеба.

– Хоть ты и полковник, а мерзавец, – отрезал подпоручик.

Полковник вскочил, подбежал к Мотовилову, задыхаясь от гнева.

– Молокосос, я сейчас прикажу тебя расстрелять за невыполнение боевого приказания. Ты ответишь за оскорбление штаб-офицера.

Мотовилов злорадно расхохотался.

– Ха! ха! ха! Расстрелять! Ловчила какой нашелся. Дураков ищешь? На пушку взять хочешь? Не на таких напал.

Полковник затопал ногами.

– Замолчи! Вон отсюда сию же минуту. Мотовилов отчетливо сделал шаг вперед, размахнулся, ударил начальника дивизии по лицу.

– Вот тебе, прохвосту, боевой приказ!

Полковник качнулся всем телом вправо, едва удержался на ногах. Подпоручик ловко вновь ударил его, ткнул ногой в живот, сшиб под себя. Нагнувшись, с силой ударил лежащего в зубы и в нос.

– Подлец!

Полковник уткнулся лицом в снег, заплакал громко, навзрыд, слезами обиды и бессильной злобы. Обмануть не удалось.

– Набаловались, изнежились, негодяи, в штабах сидя, так теперь и в тайге намереваются за чужой счет устроить свою особу.

Полковник, вздрагивая, выл, как побитая собака. В темноте его не было видно. Обозы скрепели, невидимые, но живые и шумные.



– Пулеметчики, не отставай! – кричал кто-то.

– Не растягивайся! Подтянись! Не отставай, пулеметчики!

Полковник плакал. Кучер подошел к нему, нагнулся.

– Господин полковник, вставайте, поедем дальше. Женщина грела в котелке молоко, разговаривала с мужем.

– Коля, когда же будет конец этому кошмару? Будет ли когда-нибудь конец этой тайге?

Офицер тер снегом себе щеки.

– Не знаю. Будет, конечно.

– Но выберемся ли мы? Ведь мы буквально докатились до последней черты. Ну смотри, что это такое? Подпоручик бьет полковника. Вчера нас обобрали свои же казаки. На ночевках в деревнях из квартир друг друга штыками выбрасывают!

– Да, – неопределенно и равнодушно соглашался офицер.

Женщина мешала ложкой мерзлые комья молока.

– Ужас, смерть кругом. Красные – смерть. Свои – грабеж, смерть. Крестьяне – тоже смерть. Ты слышал, что здесь на днях в Ильинском, ночью, сонных наших солдат целую роту мужики топорами прямо у себя в избах зарубили?

– Слышал, – все с тем же безразличием отвечал офицер.

Женщина только что вышла из лазарета одного из ближайших оставленных городов. Ехала с мужем всего несколько сот верст, в обстановке страшного зимнего отхода – без квартир, почти без каких бы то ни было средств, без всякого порядка – еще не привыкла. Все поражало ее. Молчать ей было тяжело. Мотовилов вмешался в разговор.

– Вы, мадам, давно так едете?

Женщина обернулась к подпоручику. Мотовилов увидел лицо, красное с одной стороны, освещенное костром, темное – с другой. Получалось впечатление, что физиономия ее разрезана надвое. Красная, освещенная сторона, слегка обмороженная, сильно опухла.

– Нет, я с Новониколаевска только. Но довольно и этого. Ах, какой ужас, какой ужас! Вы знаете, что творилось при отходе из Новониколаевска?

Женщина обрадовалась новому собеседнику.

– Там разбили винный склад. Спирт был спущен в Обь. В прорубях он плавал толстым слоем поверх воды. Его растаскивали ведрами. Казаки напоили в прорубях лошадей, перепились сами. По улицам эта орава ехала с песнями, с руганью. Лошади у них лезли на тротуары, не слушались поводов, сталкивались с встречными проезжими. Казаки громили магазины, грабили частные квартиры. Офицеров своих эти негодяи перебили, обвинив их в проигрыше войны, даже в самом ее возникновении. Ах, кошмар!

Женщина затрясла головой. Мотовилов курил длинную, грубую деревенскую трубку.

– Ну, я давно привык к этим фокусам казачков. Я вам скажу, что казаки, что жидаы – один черт, самый подлый в мире народ. Как пограбить, на чужбинку проехать – они тут как тут. До расплаты же только коснись, сейчас в кусты – я не я и лошадь не моя. Во время первых восстаний против советской власти они впереди – пороли, рубили, вешали, истязали, а как дело обертывается в другую сторону, так офицерам руки вяжут и к красным с повинной, с поклоном. Негодяи. Помню, проходили через ихние станицы, придираются на каждом шагу. Сучка брошенного не возьми у них – сейчас в станичное управление, к атаману, мародерство, мол. А как сами идут мужицкими деревнями, так стон стоит от грабежа. Сволочь. Настоящие жидаы, трусливые, как зайцы, и блудливые, как кошки.

Подъехало еще несколько саней. Завозились с распряжкой. Полный офицер среднего роста в английской шинели подошел к костру.

– Господа, разрешите у вас одну головню взять на разжигу?

Мотовилов позволил. Офицер нагнулся через лежащих солдат, железной лопаткой подхватил пылающий кусок дерева. Пара углей упала на шинель Фоме. Вестовой завозился, быстро смахнул угли с задымившейся материи.

Стрелки зябко прятали уши в воротники.

– Черт вас тут носит.

Над тайгой свистел ветер. Иглы деревьев звенели, как струны. Мороз был сильный. Отец и мать поили сыновей разогретым молоком. Дети, голодные, пили жадно, чмокая губами, кашляя, обливаясь теплой, вкусной жидкостью.

– Исцо, мама, исцо, – маленький человечек, закутанный с головы до ног, тянулся крохотными ручонками в пушистых рукавичках.

– Пей, пей, сынок.

Накормленные горячим, согрешившись и молоком и у огня, ребятишки быстро уснули на меховом одеяле около груды горящих головешек. Мать с отцом сидели рядом. Женщина положила голову мужу на плечо. Глаза у обоих, усталые, широко раскрытые, почти неподвижные, казались мертвыми. Лица были раскалены докрасна яркими отблесками костра.

– Колик, милый Колик, надо скорее уехать куда-нибудь от этого кровавого безумия. Ведь есть же счастливые страны, где не льется кровь, где люди остались людьми, где живут мирно и тихо. Колик, я думаю, в Японии хорошо?

– Вероятно, – вяло согласился мужчина.

– Мы бы могли там устроиться. Я бы стала, оба мы стали бы работать. Хорошо. Там очень много солнца и море, говорят, ласковое, теплое.

– Вопрос весь в том, удастся ли выехать отсюда? Боюсь, что нас догонят красные или захватят партизаны.

– Нет, нет, я не хочу.

Женщина обняла офицера, прижалась ближе.

– Плен – смерть для моего Колика. У меня возьмут мою радость, мое счастье. Ведь если Мамонтову<sup>65</sup> попадешься, растерзает. Нет, нет, это невозможно. Лучше смерть, чем плен.

– Да, смерть лучше. Во всяком случае, она ничуть не хуже, чем жизнь, вот эта наша, теперешняя.

Ребенок всхлипывал во сне. Слова любви и ласки в нежном голосе женщины, маленькие дети среди озлобленных, грубых, холодных, вшивых, грязных солдат и офицеров походили на цветы, распустившиеся на навозе.

– Колик, ты знаешь, сегодня какая ночь? Какое число?

– Нет. Я не различаю теперь дней. Все одинаковы.

– Сегодня Новый год.

– Вон что, – офицер с горечью усмехнулся.

– Новый год.

– Знаешь, говорят, что кто как встретит новый год, так и проживет его. Скверная примета. Колик, неужели это будет продолжаться еще целый год?

– Все равно.

Офицер стал дремать. Женщина не спускала больших остановившихся глаз с огня. У соседей с костром дело не ладилось, он не разгорался. Офицер в английской шинели снова подошел к Н-цам, стал греть над огнем большой каравай белого хлеба, надетый на штык. Мотовилкову не спалось, он скучал.

– Вы какой части? – спросил подпоручик незнакомого.

– Ага! Аа-ах! – Мотовилов громко зевнул. Скуки ради задал праздный вопрос:

– Ну, каково настроеньице у вас, коллега?

Английская шинель живо вертелась около огня, поворачивала хлеб.

– Представьте себе, несмотря на все, я чувствую себя превосходно. У меня появилась твердая уверенность, что наша неудача только временная.

Мотовилов, удивленный, поднял голову.

---

<sup>65</sup> Один из крупных вождей алтайских партизан

– Ну? – недоверчиво переспросил он.

– Да, да, я не шучу. Я даю голову на отсечение, что через полгода, много через год, милые сибирячки, так ратующие сейчас за красных, пойдут против них, с нами. Надо было нам давно пустить коммунистов в Сибирь. Без боев, сохранив армию, по крайней мере добровольческие части, отойти к границам Монголии и выждать там, пока здесь чалдонье познакомилось бы с разверсткой, с разными совдепскими монополиями. Вот это было бы дело.

– Ну, а потом что?

– Потом известно что, сибирячки, познакомившись с советскими порядками, стали бы восставать, а мы бы стали наступать. Сибирячки-то ведь наши в душе-то, они только заблудились маленько. Вот тогда мы уж Сибирь захватили бы окончательно. Она бы послужила нам несокрушимой опорной базой для дальнейшей борьбы с Совдепией и по ту сторону Урала.

– Ну, а теперь?

– Теперь тоже ничего. Положение хоть и скверное, но не безнадежное. Мы сделаем то же самое, но только с меньшим количеством людей, но зато с наиболее стойкими. Мы подождем где-нибудь в Монголии. А отступая, будем пакостить красным елико возможно. Разрушим и железную дорогу, и фабрики, и заводы. Должен вам сказать, у меня, как у подрывника, сердце радуется, как посмотришь, что мы за линию оставляем за собой. Ни одного живого моста. Ни большого, ни маленького. Снимаем стрелки. Жезловые аппараты. Телеграф. Телефон. Все к черту. Посмотрите, в эшелонах на платформах драгоценнейшие части уральских заводов. Везем и их. Туго придется, взорвем. Не отдадим обратно. Я уверен, что мы так разгромим все на своем пути, что красные в десять лет не поправят. – Офицер снял хлеб со штыка, стал пробовать его.

– Вот это-то нам только и нужно. Разверстка, разруха как свалится на шею тугоуму сибиряку, как уцепят его за горло железной петлей, тогда он вззоет. Тут-то мы и явимся. Чего, мол, господа хорошие, хотите: нас грешных, нас, которые спасут вас, или комиссаров с голодной смертью вкупе. Выбирайте.

– А ведь это идея.

– Еще бы. Погодите, будет и на нашей улице праздник.

Английская шинель пошла к своим, пропала в темноте. Обозы скрипели непрерывно.

– Не отставай, братцы!

– Не растягивайся!

– Понужай! Понужай!

Мотовилов заснул. Ночью мороз окреп. Ветер, не утихая, лез людям за воротники, в худые валенки, холодные сапоги, больно дергал за уши, за носы, хватался за щеки. Спали

Н-цы плохо. Костер все время поддерживали. Утром проснулись разбуженные ружейной трескотней, поднявшейся впереди, на дороге. Обоз остановился, метнулся обратно.

– Трах! Трах! Трах! Шшш! Шшш! – шумело эхо.

«Пустяки, никаких красных не может быть. Свои же, наверное», – подумал Мотовилов.

Ребятишки плакали. Кончики маленьких носиков и щечки у них почернели. Вчера отец с матерью не заметили белых пятен, не оттерли. За ночь у костра в тепле началась гангрена. Муж и жена с тоской смотрели на детей. Женщина со страхом оглядывалась в сторону беспорядочной, нервной перестрелки.

– Трах! Шшш! Шшш! Трах!

Мотовилов с Фомой лопатами кидали горящие головни на стог соломы и на огромный зарод немолоченного хлеба. Хлеб вспыхнул, как порох. Барановский приподнялся в санях.

– Что такое? Что ты делаешь, Борис?

– Жгу хлеб, – коротко бросил офицер, торопясь с лопатой углей к избенке.

– Зачем это? Кому это нужно? Мотовилов злобно огрызнулся:

– Пошел к черту! Нужно для дела нашей победы. Для всей России. Сожгу тысяч пять пудов пшеницы, по крайней мере пять тысяч коммунистов на месяц останутся без хлеба. Вот что.

– Какая ерунда! Дикость! У меня мать там. Может быть, ей из этого чего-нибудь достанется.

– Сопляк, замолчи. Слюнтяй! Лежи!

Н-цы запрягали лошадей с быстротой пожарных. Муж и жена несколько секунд молча смотрели друг другу в глаза. У офицера тряслись губы. У женщины быстро капали слезы. Ребятишки плакали.

– Уа! Ааа! Больна! Мама! Уа! Уа!

Мать зарыдав, упала ничком в снег. Отец стремительно, с отчаянием выхватил револьвер, быстро нагнулся, поднял за воротник маленького, толстенького человечка, сорвал с него мягкую козью шапочку, отвернулся.

– Папа! Уа! Ага! Уа!

Ножонки в крохотных валеночках болтались в воздухе. Черный ствол, смазанный маслом, едва не выскользнул из дрожащей руки. Рукоятка по самый курок воткнулась в русую головку. Под рукой хрустнула тонкая корочка льда. Только вода потекла теплая и красная. Другого поднять не смог. Сил уже не было. Стукнул в лобик прямо на одеяле, на снегу. Хрустнула еще одна корочка. Ноги не слушались. Пришлось стать на колени. К жене подползти на четвереньках. Рука плясала. Рукоятка, намазанная теплым, густым и липким, прыгала в ледяных пальцах.

Чтобы не промахнуться, воткнул дуло в прическу. Опалил затылок. Снег покраснел. Но не мог же он сразу кругом стать таким красным. Наверно, он всегда был таким, и из туч, сверху, сыпались красные хлопья. Странно, что этого никто не замечал раньше. Высокая мушка завязла в волосах. Вырвал с усилием. После выстрела ствол все-таки был очень холодный. В висок не хотелось. Офицер распахнул шубу, поднял гимнастерку и рубаху, грязную, в серых, ползающих точках. Грудью накололся на маленький кусочек никелированного свинца. Удивительного в этом не было ничего. Н-цы видели побольше. Хлеб и солома пылали. Избенка загоралась. Впереди красных не было. Морской батальон напал на сотню казаков, отобрал лошадей. Только и всего. Дорога стала чистой, пустой. Когда уезжали, где-то в селе били в набат. Далеко стояло, трепыхалось, зарево. По привычке немного волновались. Набат с детства был знаком. Навстречу шли крестьяне. Пешком. Лошадей у них отобрали. Может быть, они подошли, заезженные. Сани на себе не потащишь. Но подреза – ценная вещь. Крестьяне тащили длинные, толстые железки. Было немного смешно. Кругом миллионы. А они чудачки с копейками. Не растаются. Скопидомы.

У заимки вокруг другого потухшего соседнего костра все спали. Заснули навсегда. Костер потух давно. Английская шинель лежала, прижавшись к плюшевой дамской шубе. Черный плюшевый бок истлел. Случайный уголь. Дыра была большая, широкая. Темные, землистые отмороженные пальцы торчали из ощерившегося сапога. Не нужно спать. Не давать тухнуть костру. Ведь валенки были худые. Шинель вовсе не теплая. И шуба.

Н-цы ехали спокойно, шагом. Слева тянулась проволока телефона. На повороте ее держали два голых замерзших красноармейца, воткнутые ногами в снег. На одном богатырка краснела звездой.

– Ага, хоть мертвого, мерзавца, заставили служить в белой армии.

Мороз был очень сильный. Ветер не меньше.

– Карр! Карр!

Пара черных камней упала около потухшего костра.

– Каррр!

Один, поумнее, сел ребенку на голову. Теплый мозг легко глотается. Другой долбил глаза плюшевой шубы с котиковой шапочкой и горностаевой оторочкой. Глаза уже замерзли. Зато мозг как сейчас с плиты. Уж очень его много. И вкусен, вкусен. А сочен как. Красная подливка текла через черные, жесткие зазубрины клюва. Чугунная птица спешила, давилась. Черные лохмотья закружились в воздухе.

– Карррр! Карррр!

Хватит всем. А костер совсем потух. Давно. Давно уж потух.

### **32. МЫ – ОБЛОМКИ СТАРОГО**

На линии железной дороги у белых дела обстояли не лучше, чем в тайге. Весь путь, как мог только видеть глаз, был забит эшелонами, войсками, штабами, беженцами, продовольствием, интендантским имуществом, снаряжением, вооружением. По обеим сторонам рельсов, прямо на снегу, кучами валялось новое английское обмундирование в соломенной упаковке: белье, валенки, зимние английские шинели на меху, с воротниками. Вороха обмундирования и белья перемешивались с горами ящиков с патронами, снарядами. Тут же валялись автомобили, аэропланы, орудия, туши мяса, мешки муки, сахару, бочки масла и трупы расстрелянных арестантов, которых некому и некогда было конвоировать, и их просто без суда и следствия убивали в вагонах, выбрасывали на полотно дороги.

Н-цы, выйдя к железной дороге, принялись за нагрузку своего обоза. Грузили исключительно продовольствие, а обмундирование и белье сменяли тут же, забегая для переодевания по два, по три человека в будку стрелочника. Через несколько минут грязных, оборвавшихся Н-цев нельзя было узнать. Все надели новенькие меховые шинели, папахи, теплые малахай, сменили белье, валенки, шаровары, френчи. Оделись как с иголки. Каптенармус роты Колпакова, увязывая большой воз, смотрел на дорогу и думал, что хорошо бы было все это добро свезти к себе домой, сложить в амбары, кладовки, запереть на замок, а потом понемногу, не торопясь, расходовать.

«На всю бы жизнь хватило. И работать бы не надо, – мысленно высчитывал он. – Одного масла-то на сколько верст раскидано».

Завязав воз, жадный каптенармус побежал к эшелонам, рассчитывая найти там чего-нибудь поценнее. Но сколько он ни открывал брошенных вагонов, из каждого на него смотрели десятки замерзших стеклянных глаз мертвых солдат. Больные или раненые, они были оставлены в нетопленных товарных вагонах.

– Эх, народу-то сколько померло, – спокойно сказал каптенармус и повернулся к своему обозу.

Подъехали к станции. Мотовилов пошел в первый класс. Платформа была завалена трупами замерзших больных и раненых. Убирать их было некому, и они так и лежали, никому не нужные, всеми забытые. На концах платформы снег намел целые сугробы, и из-под них кое-где торчали руки, ноги или головы мертвецов. Тут же бродили и живые люди. Много было женщин в дорогих шубах и дохах, детей. На первом пути стоял огромный эшелон с беженцами. На кострах, рядом с вагонами, кипятились чайники и котелки. Офицер шел, иногда перешагивая через трупы, валяющиеся по дороге. Шел, не удивляясь, спокойно думал, что в жизни всегда приходится шагать через трупы мертвых, замученных, павших в жестокой борьбе за существование. В зале первого класса была та же картина, с той только разницей, что там на полу были еще и живые люди, лежавшие вперемежку с мертвыми. Пол, диваны, стулья, столы, буфетная стойка были покрыты сплошной серой массой людей, копошившихся в страшной грязи, съедаемых паразитами. Все чесались, стонали, охали, курили, кашляли, плевали. Воздух был пропитан смрадом заживо гниющих тел и экскрементов тут же испражняющихся больных. Какой-то тифозный бредил:

– Красные, красные! Бежим! Бежим!

Офицер остановился в дверях. Ему хотелось получить сведения о городе. Поискав глазами, к кому бы обратиться, Мотовилов тронул за плечо сидящего недалеко от входа на диване офицера в погонах капитана. Капитан качнулся всем телом вперед, стукнулся лицом об стол и диким исступленным голосом стал молить о помощи:

– Братцы, помогите, смерть пришла. Смерть. Смерть. Смерть! – хрипло вырывалось из груди больного.

Мотовилов почувствовал себя нехорошо. Усатый человек с отупевшим мутным взглядом, в фуражке железнодорожника, прошел мимо офицера.

– Послушайте, послушайте, – обрадовался тот живому человеку. Ему хотелось спросить о городе, но с языка сорвалось совсем другое.

– Что это у вас здесь такое?

– Сами видите, – равнодушно ответил железнодорожник.

Мотовилов догнал его:

– Скажите, почему это эшелоны все с паровозами под парами и стоят на месте? Почему бросают с поездов ценное имущество, патроны?

Железнодорожник разнервничался. Вопросы офицера показались ему наивными.

– Да что вы, с неба что ли свалились?

– Нет, я из тайги выехал, – немного обидевшись, поправил Мотовилов.

– Стоят, потому что идти некуда. Весь путь забит до Иркутска. Бросают вещи, потому что шкуры свои спасают. Услышат где-нибудь стрельбу и, не разбираясь что, как, почему, выскакивают из эшелона, бегут на несколько верст вперед. Увидят, что стоит поезд груженный под парами, что перед ним, может быть, верст на десять путь свободен, ну сейчас же выкидывают все из него, садятся сами, а машиниста заставляют ехать. Так вот и двигаются вперед, раскидывают свое добро.

– Едем в город, – сказал командир, подходя к своему батальону.

Выехали на тракт. По тракту бесконечной лентой тянулись подводы с больными. Мотовилов хотел переждать, пока пройдут все они, насчитал двести подвод и плюнул.

– Въезжай в середину, – приказал он своему кучеру.

Обоз больных был разорван. Санитары ругались, хотели силой выкинуть N-цев обратно, но те взяли за винтовки, и безоружные люди уступили вооруженным. Мотовилов ехал впереди батальона. Перед глазами у него надоедливо мелькало лицо мертвеца, сидящего на последних санях. Мертвый солдат сидел спиной к лошади, высоко подняв голову, смотрел на небо стеклянными глазами, улыбался. Мотовилов отвертывался от неприятного соседа, но что-то тянуло глаза в его сторону, и офицер снова начинал смотреть на мертвеца. Подпоручика раздражало постоянное выражение лица трупа. Когда



бы он ни взглянул на него, тот улыбался. Офицер подолгу вглядывался в лицо замерзшего – неизменная улыбка не сходила с мертвых губ. Мотовилов стал нервничать.

«Ну чего он смеется? Неужели ему было весело умирать? О чем он думал, когда испускал последний вздох?» – спрашивал себя офицер.

– Санитар, – крикнул Мотовилов, – у тебя умер один. Выбрось его. Лошадям легче будет,

Санитар взглянул на труп, вскочил в сани и с усилием столкнул его на дорогу. Мертвец перестал улыбаться. Голова его глубоко ушла в снег. Мотовилов вздохнул с облегчением. Потом он видел, как санитары осматривали сани и сбрасывали в снег еще теплые тела. Дорога по обеим сторонам чернела пятнами людских и конских трупов, грудями разломанных саней и фургонов.

Было уже темно, когда Н-цы приехали в город. На улице щелкали винтовочные выстрелы. Стреляли пьяные солдаты. Со стороны винного склада несея гул. Мотовилов решил запастись спиртом. У винного склада шумела пьяная толпа погромщиков, состоявшая из солдат и местных подонков. Офицер тщетно пытался пробраться в помещение склада, упругая масса тел отбрасывала его назад, как пробку.

– Батальон, в ружье, – скомандовал Мотовилов.

Заработали приклады. Дорога в склад была расчищена. Весь пол склада завален был бутылками и четвертями с водкой. Мотовилов ходил по ворохам вина, разыскивая спирт, но его почти весь растащили. Офицер нашел всего только две бутылки. В подвал набивались непрерывно. В бутылках рылись жадно, как собаки в падали. Друг на друга косились, ругались. Каждый хотел набрать больше. Погромщики орали около склада, накидывались на выходящих из подвала с вином, отнимали у них бутылки, вступая из-за добычи в драку, пускали в ход все, что попадалось под руку. Два солдата сцепились из-за спирта со злобной руганью. Один из них, пониже ростом, размахнулся выхваченной бутылкой и ударил своего противника по щеке. Разбитое стекло глубоко врезалось в лицо высокому, и кровь со спиртом потекла на шинель.

– На вот тебе, орясина долговязая. Не тебе и не мне. Никому не обидно, – крикнул маленький и стал энергично прокладывать себе дорогу в склад.

Рев толпы смешивался со звоном разбитой посуды и редкими хлопками выстрелов. Люди, как озверелые, лезли в двери склада.

– Ну ребята, довольно, – крикнул Мотовилов и, вытащив револьвер, пошел к выходу.

Пьяные, перекошенные физиономии, торопливо шарахались от черного длинного нагана, давали дорогу. Набрав вина, Мотовилов повернул к центру города, думая найти там квартиру. Навстречу попадались местные жители, сгибавшиеся под тяжестью тюков с обмундированием, везшие на салазках бочки с маслом, мануфактуру.

– Господин поручик, надо взять матерьялов, годится дорогой-то на хлеб менять, – напомнил командиру Фома.

– Верно, Фомушка. Молодец! Как приедем в деревню, да разложим там товары красные, так все девки, бабы наши будут. Айда, ребята, гони к интендантскому.

Мотовилов успел уже выпить, поэтому был весел. Около интендантского склада бурлила толпа громил, пьяных жаждой наживы. Особенно старались местные жители, надрывавшиеся под тяжестью награбленного. Мотовилов сам не пошел в склад, послал туда каптенармуса и фельдфебеля с солдатами. Какая-то старуха еле волокла по снегу несколько связанных вместе кусков сукна.

– Ой, батюшка, помоги на спину поднять, – обратилась она к офицеру.

Голос старухи дрожал и срывался. Дышала она тяжело.

– Ой, замучилась, еле вытащила. Ребятишки у меня, у дочери, голые. Ой, нужда, одеть нечего.

Мотовилов засмеялся:

– Ай да бабуся, тащи, тащи. Это дело хорошее. По крайней мере красным не останется. А ну, давай я помогу тебе!

Офицер легко положил увесистый тюк старухе на спину. Старуха пригнулась совсем к земле и тихо пошла по улице, благодаря за помощь.

– Ну, спасибо тебе, батюшка, дай бог тебе доброго здоровья.

Каптенармус сиял. Мануфактуры в складе было много, и он брал для батальона, на выбор, лучшие материи.

Н-цы складывали себе в сани куски тонкого сукна, диагонали, цинделевского сатинета, батиста, бумазеи и шелка. Солдаты сверх шинелей надели новенькие непромокаемые плащи, попавшиеся им в этом же складе.

– Эх, только при отступлении оделись как следует. Что раньше бывало!.. На фронте оборванцами ходили. Когда мы через Белу переправлялись, красные так и команду подавали: «По оборванцам часто начинай», – вспомнил Фома.

– А все оттого, что измена кругом. Видишь ты, добро какое в складах держали, а нам чего давали? Английское обмундирование только в Утином выдали. Вон уж когда, – рассуждал вестовой.

Нагрузив мануфактуры, батальон пошел искать себе квартиры. Расположились в большом доме богатого купца, бежавшего на Восток. Дом был брошен на прислугу. Мотовилов в шубе и в валенках прошел прямо в гостиную, не раздеваясь сел в мягкое кресло. Фома положил Барановского в соседней комнате на широкий турецкий диван, заботливо укрыв дохами.

– Фомушка, – увидел его Мотовилов, – в разведку насчет всего этого и прочего. Чтобы ужин был на ять.

– Слушаюсь, господин поручик.

Вошел фельдфебель почти пьяный и, приложив руку к виску, хотя и был без шапки, доложил:

– Так што, господин поручик, там две барыни-беженки и офицер с ними, просятся ночевать. Ух, одна барыня и хороша!

Фельдфебель, сладко зажмурившись, затряс головой. Мотовилов обрадовался.

– Проси, проси скорей.

Офицер оказался однокашником Мотовилова, это был кавказец Рагимов. Старые знакомые заключили друг друга в объятия.

– Ну, как живем, дюша мой? – спрашивал Рагимов, отряхивая снег с папахи.

– Да, стой, – спохватился он, – забыл тебе представить моих дам. Эта вот Амалия Карловна фон Бодэ, жена капитана генерального штаба, – говорил Рагимов, подводя Мотовилова к полной блондинке. – А это Александра Павловна Бутова, супруга некоего фабриканта, в Японию преблагополучно удравшего. Прошу любить и жаловать!

Мотовилов расшаркался. Дамы, решив привести в порядок свои туалеты, удалились в соседнюю комнату. Офицеры остались вдвоем. Рагимов снял шубу.

– Да ты уже поручик? – удивился Мотовилов. – И, кажется, георгиевский кавалер? – дрогнувшим голосом спросил он. В его душе зашевелилось неприятное чувство зависти.

– Как же, как же, дюша мой. Я у красных батареею отнял. Ну, Колчак нам звезда третий давал и крест. Мы человек кавказский, резать много любим. Отчаянный народ!

Рагимов самодовольно щелкнул языком. Мотовилова мучила зависть. Ему было досадно, что он, сын гвардии полковника, кадет, окончивший корпус виц-унтер-офицером, а училище старшим португеем, служивший в славной N-ской дивизии, ничего не имеет, а вот выскочка Рагимов успел и чин и «Георгия» схватить.

«Хоть бы мне «Владимира» иметь и то хорошо. Шикарный крестик, красный, как кровь, с мечами и черно-малиновым бантом», – бродили у него в голове честолюбивые мысли.

– Ну, а это что за дамы с тобой? – Мотовилов перевел разговор на другую тему.

– Одна – Амалия Карловна, жена нашего начальника штаба, моя любовница. Другая – Александра Павловна, брошенная своим мужем жена, особа скучающая. Можешь заняться ей. Познакомился я с ними потому, что ехали в одном эшелоне, даже в одном вагоне. Ехали мы так, ехали, да в один прекрасный день красные кавалеристы наскочили на нас. Конечно, можно бы было отстреляться. Мужчины у нас в эшелоне и военные, и не военные – все были вооружены. Ну, выскочили мы из эшелона, постреляли, постреляли, смотрим, а наши купчики и другие удирающие субчики уже пятки смазывают. Пришлось и нам. Хорошо, деревня была близко. В первом же дворе я достал подводу да вот с дамами-то и ускакал. Ну, вот тебе и все, – закончил Рагимов.

Вошел Фома.

– Так что, господин поручик, достал кое-чего.

– Где, Фомушка?

– Варенье у хозяев нашлось, да мы еще тут съездили с Иваном на Большую улицу, там солдаты магазины разбили, так мы конфет набрали, вина сладкого, меду, сыру, колбасы.

– Молодец, Фома. Назначаю тебя старшим вестовым.

– Покорнейше благодарю, господин поручик.

– А ты почему думаешь, что вино-то сладкое?

– Да мы попробовали маленько, – ухмылялся Фома.

– Ну, ладно. Теперь пулей, Фомушка, в кухню и насчет ужина.

Вошли дамы. Завязался общий разговор. Говорили на тему о том, куда ехать и стоит ли вообще дальше ехать. Фома накрывал на стол. Рагимов говорил, что дальше он не поедет, что он останется здесь и сдастся красным. Мотовилов удивился:

– Как, ты, поручил, георгиевский кавалер, хочешь сдаться в плен?

– Э, дюша мой, довольно. Мы воевали. Честно рэзали. Наша не бэрет. Пойдем к тем, чья берет.

– Но ведь это же подло, Рагимов. Это недостойно офицера.

– К чему громкие слова, Борис, «подло, нечестно, непатриотично». Помнишь, ты в училище еще развивал теории о том, что жить будет только сильный, что жизнь – борьба. Ну вот я и борюсь за свою шкуру, но не как все, с красивыми фразами долга перед родиной или революцией, под гром литавров, с развевающимися знаменами. Нет, я более откровенен. По-моему, и родина, и революция – просто красивая ложь, которой люди прикрывают свои шкурные интересы. Уж так люди устроены, что какую бы подлость они ни сделали, всегда найдут себе оправдание. Капиталист гнет рабочих в бараний рог, выжимает из них пот и кровь, а сам кричит, что это он делает для блага родины, во имя закона и порядка, которые он сам сочинил и установил для обеспечения своего кармана. Большевики объявили священную войну буржуазии всего мира и кричат, что подняли знамя социальной революции. К черту знамена и революции! Не лучше ли просто сказать: идем душить буржуев, потому что если мы их не передушим, то они одних из нас с кашей слопают, а из других масло будут пахтать. Я, брат, не буржуй и не пролетарий. Я – среднее. И для меня безразлично: у буржуя служить или у пролетария, у белых, у красных, у черных, у зеленых. Я буду работать одинаково добросовестно и черту и богу, лишь бы платили хорошо да предоставили соответствующие жизненные удобства. Я торгую своими знаниями. В них все нуждаются – и красные, и белые. Служил я у белых, был поручиком, носил погон с тремя звездами, был командиром батальона. Теперь белой армии скоро не будет. Я перейду к красным, нашью себе три квадратика и тоже буду командовать батальоном. Раньше я лупил красных, и, как видишь, хорошо лупил (Рагимов показал на свой беленький крестик). Теперь я буду лупить белых. Хорошо буду лупить. Попадись ты мне в бою, не пощажу.

– Ты какое-то чудовище, Рагимов.

– Э, опять громкие фразы. Я тебе говорю, что меня совершенно не интересует то, кто будет мне платить, лишь бы платили. Мне безразлично, кто сидит на троне: царь в короне или Ленин в кепке.

Дамы со скучающими лицами едва поддерживали разговор. Обе они были настроены непримиримо. Фон Бодэ трясла своей маленькой головкой и говорила, что она никогда не согласится жить в Советской России.

– Я не плебейка. Я получила хорошее воспитание. Я не могу жить с этими мужиками. Я не могу себе представить, как пережила бы я этот ужас унижения, когда вас насильно заставляют работать. Заставляют делать самую грязную работу. Фи!

Немка безразлично передернула плечами.

– Да, да, в Совдепии так, – подтвердила Бутова. – Там заставляют работать поголовно всех. Да и к тому же отбирают все ваше имущество, накопленное и приобретенное вами с таким трудом. Нет, благодарю покорно, нищей быть, с сумой ходить я не намерена. И меня просто удивляет, как это мосье Рагимов думает, что он хорошо будет жить у красных.

Мотовилов, заметив, что дамы скучают, стал угощать их вином. Дамы оживились и весьма охотно взялись за рюмочки с кюрасо. Бутова томно смотрела на Мотовилова и говорила, что она ужасно скучает, что ее мучит одиночество, что она потеряла надежду увидеть своего мужа. Офицер усиленно наливал ей в рюмку крепкое вино и говорил общие утешительные фразы о том, что скоро все переменится, что скоро придут японцы и от большевиков только мокро останется. Говорил, что вообще не стоит много думать, а надо жить просто, без рассуждений, и если случится среди месяцев тоски и скуки веселый день, хорошая встреча, то надо использовать их всюю.

– Счастье так мимолетно, так коротко. Его нужно ловить, – убеждал Мотовилов.

Бутова смотрела на смуглое, энергичное лицо офицера, на его крутой, упрямый лоб и думала:

«А он недурен и не глуп».

Рагимов пил жадно, наливая себе рюмку за рюмкой английской горькой. Амалия Карловна подняла бокал:

Да здравствует веселье,

Да здравствует вино,

Кто пьет его с похмелья,

Тот делает умно!

Барановский пришел в сознание.

– Фомушка, где ты? – позвал он вестового. Мотовилов услышал, подошел к больному.

– Ну что, Ваня, лучше тебе? Больной отрицательно покачал головой.

– Ты не встанешь к столу? У нас Рагимов. Сегодня встретились случайно.

– А, Рагимов, – безразлично как-то вспомнил Барановский и добавил: – Нет, не могу. Слабость, сил совсем нет. Ты лучше дай мне сюда чего-нибудь поесть.

– Фома, – крикнул Мотовилов и, когда вестовой вошел, сказал: – Дай своему командиру поесть.

Фома обрадовался.

– Вы очкнулись, господин поручик? – обратился он к Барановскому.

Офицер слабо улыбнулся:

– Очкнулся, Фомушка, очкнулся.

– Ну, слава богу, сейчас я вам дам поесть.

Мотовилов налил большую рюмку мадеры и сам принес ее больному.

– Выпей, Ваня, лучше будет.

Барановский выпил и попросил еще. Фомушка поставил перед больным тарелку бульона, сухари и бутерброд с сыром и маслом. Барановский поел с аппетитом. Ослабевшее сердце, поддержанное двумя рюмками мадеры, заработало сильнее.

– Фомушка, сядь около меня, – попросил офицер. Вестовой сел.

– Ну, расскажи, Фомушка, чего нового есть у вас?

– Хорошего мало, господин поручик. Все едем. Отступаем. О японцах чего-то не слышать, а до Семенова вряд ли дойдем. Говорят, что Красноярск занят красными партизанами и будто бы белых на их сторону много перешло и все они вместе задерживают и разоружают обозы.

– Чем скорее, тем лучше, Фомушка. Ну, попадем к красным, что-нибудь одно: либо расстреляют, либо в тюрьму посадят. По крайней мере будем знать, что все кончено, что завтра ехать никуда не нужно, что за тобой никто не гонится.

– Господин поручик, а за что же мы воевали? Неужто все труды наши прахом пойдут и нам придется красным подчиняться? Да разве с ними уживешься?

– Уживешься, Фомушка. С настоящими красными уживешься. Ты, Фомушка, не видел еще их, хороших-то. У вас на заводе были не красные, а так, дрянь разная, которую они потом сами и расстреляли. Настоящие красные – люди нового мира и никогда старому, прогнившему не победить их. Мы с тобой – обломки старого, мы люди обреченные, конченные. Мы неизбежно должны погибнуть и погибнем. Да, Фомушка, были у вас на

заводе какие-то негодяи, выдавали себя за красных, обижали вас. Вы их прогнали легко и быстро, а пришли настоящие красные и погнали вас. Нет, не победить нам.

Фома огорченно говорил:

– Вы говорите: мы – старый мир, а мы вовсе не за старый режим шли, мы за Учредительное Собрание, за народную власть.

Барановский улыбнулся. Амалия Карловна пела:

Пускай умрем мы.

Эко диво!

Ведь умирали раньше нас.

Жизнь так превратна.

Так бурлива,

Что смерти жди ты каждый час.

Мотовилов, Рагимов и Александра Павловна вторили:

Нальем, друзья, бокалы полнее,

И будем мы так чаще пить.

С вином ведь кровь кипит сильнее,

С вином нам как-то легче жить.

– Вот в том-то и дело, Фомушка, что красное знамя-то у вас было, да вам его Колчак на полосатое, георгиевское сменил. Восстали-то вы за народную власть, а стали защищать не народную, а адмиральскую. Обманули вас, Фомушка. Вашими руками чужие дяденьки для себя каштаны из костра вытаскивали.

– Что же делать нам, господин поручик? Воевать не за что, бежать некуда, в плен не возьмут, – со слезами в голосе говорил вестовой.

– Поедем дальше, Фомушка, а там будь что будет.

Рагимов был почти пьян. Тяжело ворочая языком, он говорил Мотовилову:

– Да, Борис, живут и побеждают только сильные. Я иду к сильным. Белая армия летит в пропасть – скатертью дорога. Со своей стороны я не прочь дать ей пинка под спину, чтобы заслужить расположение победителей. Я держусь принципа: падающего толкни.

Мотовилов не слушал, занятый флиртом с Бутовой. Рагимов встал со стула и, стуча себе в грудь кулаком, декламировал:

Я комиссар,

В груди пожар!

Я комиссар,

В груди пожар!

Бутова была пьяна. Мотовилов, сидя рядом с ней, обнимал ее за талию и целовал долгими, горячими поцелуями высокую белую грудь, полуобнаженную глубоким вырезом кофточки. Александра Павловна смеялась и трепала офицера за волосы.

– Нехороший шалун. Что он делает? – как маленькому ребенку, говорила она Мотовилову.

Амалия Карловна смотрела на Рагимова горящими, зовущими глазами. Рагимов сел и начал расстегивать у нее кофточку. В комнате стало душно.

### ***33. ЛУЧШЕ Я САМ СЕБЯ***

Стекла зазвенели в окнах.

Мотовилов проснулся. Бутова, разметавшись, спокойно спала на диване. Предутренний свет, смотревший в окна, серыми пятнами освещал ее усталое лицо с большими черными кругами у глаз. Одежда свалилось со спящей, и она лежала раздетая, в белой ночной сорочке без рукавов, с большим вырезом на груди. Мотовилов сел на постели. Белый мрамор рук и груди Бутовой красиво оттенялся локонами иссиня-черных кудрей. Офицер, привстав с постели, нагнулся, хотел поцеловать высокую, упругую грудь женщины, но вдруг быстро выпрямился, задрожал от брезгливости. По белой атласной коже Бутовой, по ее кружевной сорочке, медленно ползали жирные грязно-серые насекомые. Стрельба в городе усиливалась. Мотовилов прислушался и уловил привычным ухом характерную двухстороннюю трескотню винтовок.

– Восстание, – вслух сказал он и встал.

Барановский кричал:

– Фомушка, запрягайте скорей.

Вскочив с дивана и потеряв сознание, забормотал в бреду:

– Япония! Япония! Ура! Мы спасены! Япония! Япония!

Мотовилов с презрением посмотрел в сторону больного.

– Как противны мне такие людишки, как презираю я этих мягкотелых неженков. Они палец о палец не ударят, все философствуют. То нехорошо, это нехорошо, это подло.

Мотовилов, по-ихнему, грабитель, мародер, а сами преспокойно кушают награбленное им. Красные, по-ихнему, хороши, но перебежать на их сторону открыто и смело они боятся или, может быть, просто рассуждают, что, мол, плыви мой челн по воле волн. И живут ведь так, плавают без руля и без ветрил по бурливому океану жизни, сами не зная, что им нужно. Ведь вот прохвост Рагимов знает, что ему нужно. Я тоже знаю, что мне нужно. А он что? А они что? – обернулся офицер к Барановскому. – Живые трупы. Разве победишь



с ними? Разве они способны бороться? Будь они прокляты, эти мягкотелые нытики. В общем, черт с ними.

Мотовилов был нетрезв, мысль его работала скачками.

– Как жаль, что все так скверно кончилось. Красноярск в руках красных партизан. Вся Сибирь горит огнем восстаний. Путь отступления отрезан. Ну что же, конец так конец. Уж лучше я сам себя убью, чем эта сволочь.

Офицер вытащил револьвер. Бутова взвизгнула и полуодетая побежала из комнаты.

Все плыло, как в тумане, перед глазами подпоручика. В голове надоедливо вертелось четверостишие:

Каждый, жизнь целуя в губы,

Должен должное платить

И без жалоб, стиснув зубы.

Должен молча уходить.

«Мой отец, гвардии полковник Мотовилов, честно сложил свою голову за веру, царя и отечество на полях Галиции. Сын гвардии полковника Мотовилова, подпоручик Мотовилов, хочет быть достойным своего отца. Подпоручик Мотовилов в плен не сдастся, сапоги у красной жидовни лизать не будет. Предоставляю сделать это вам, подпоручик Барановский, когда партизаны схватят вас, как куренка, за шиворот».

Офицер злобно засмеялся, подошел к больному, грубо толкнул его ногой в бок.

– Смотри, ты, размазня. Старая гвардия умирает, но не сдается.

Мотовилов вложил дуло револьвера себе в рот. Холодная железка стукнула по зубам. Язык брезгливо дернулся, лизнув масляную смазку. Серо-красный сгусток мозга и крови прилип к стене.

Н-цы под командой фельдфебеля уходили из города. Фома был очень удивлен, когда увидел в толпе восставших поручика с «Георгием», но уже без погон и креста, с красным бантом во всю грудь. Рагимов носился по пестрой толпе солдат и рабочих, командовал, распоряжался, стрелял в отступавших Н-цев, кричал:

– Товарищи, смелее! Вперед! Белые банды бегут.

Н-цы, погоня лошадей, отстреливаясь, выскочили из города. Фоме пуля пробила мякоть ноги, пониже колена. Он сидел на санях рядом с Барановским и перевязывал себе рану. Ехали быстро. Как страшные вехи, трупы солдат и лошадей чернели на пути отступления. С боковых дорог выходили на тракт все новые и новые бесконечные вереницы обозов. Подул ветерок, поднимая столбы мелкого, легкого снега. Стало холодней. Н-цы закутались в воротники своих шинелей. Снег начал падать и сверху. Обозы шли. Тайга молчала.

### **34. ЕСТЬ У НАС ЛЕГЕНДЫ, СКАЗКИ**

Красные вагоны, обклеенные снежной бумагой, молчали. Ветер, присвистывая, белой метлой скреб полотно дороги, заметал, путал блестящие нитки рельсов.

Черный паровоз нахватал полные глаза легкой, холодной пыли. Отфыркивался. Железная рука семафора загораживала путь. Красный, с закопченной головой, курил из огромной трубки, пуская клубы дыма, зяб в двух верстах от станции.

Генерального штаба генерал-майор Ватагин хорошо знал, что если чехи его возьмут в свой эшелон, то он спасен. Генерал шел к длинному составу пешком, через снежное поле, вяз по пояс, задыхался, потел. Усталости не было. Смерть сильнее. Она пожаром полыхала за спиной. Ватагин не думал о месте в жаркой теплушке. Огромное счастье попасть на тормоз. Руки в рваных перчатках вцепились в холодное железо. Высокие ступеньки четко встали перед лицом. Сейчас. Нет. Белый, мохнатый загородил дорогу.

– Куда! Нельзя!

– Ради бога.

– Пшоль!

– Я генерального штаба. Я генерал.

– Генерал, зачем бежишь? Боишься драться, русск свинья. Тебе бы чех все делал. Пшоль!

– Красные рядом! Спасите! Умоляю! Христа ради. Над головой изогнулась черная короткая змея.

– Нагайкой хочишь?

– А-а-а! А-а-а!

– Пшоль!

Снег оказался очень жестким. Больно стукнул по затылку. Хотя это неважно. Лежать можно было свободно. Генерал вытянулся вдоль рельсов вверх лицом. Белый, мохнатый чех на тормозе ничего не видел. Паровоз только фыркал, отплевывался и курил. Острая бритва раскаленной железкой покраснела вдоль длинного бока поезда, колющими искрами брызнула в тонкие доски. Обожгла. Тараканами от света метнулись наружу. Свинцовый кипяток свистнул над головами, ошпарил. Корчиться стали, кувыраться. В плен взяли только раненых. Много было женщин. Они хотели с мужьями уехать в Чехию. Разбирать некогда.

Спирька Хлебников стал обшаривать карманы. Клочков полез в вагон. Красноармейцы раздевали убитых. Вольнобаев покачивал головой.

– Эх, бабья-то сколько наклали.

Женщины лежали все вместе, кучей. Их было не меньше сотни. Чехи заторопились домой. С русскими не считались. Отбирали у них паровозы, выкидывали из поездов. Что русские? Красные ведь тоже русские и белые русские. Русские с русскими разберутся. Скорее. Домой. Бежали на Восток, путались в стальной паутине дороги, вязли в снегу. Нет времени отойти спокойно. Красные молнии мечутся по бокам. И впереди. Да, они уже далеко впереди. Может быть, придется пойти на соглашение. Поклониться есть чем. Бросить красным подачку. Его, самого главного. Он со своим поездом задыхается тут же. Вот хорошо. Его. Надо иметь в виду.

Богдана Павлу сменил новый консул, доктор Гире. Дальновидный. Начал заигрывать с земцами. А его что? Его надо придерживать на всякий случай. И пускать вперед и не пускать.

Он волновался. Весь эшелон его нервничал. Вызывали чехов для объяснений. Они были любезны, но отвечали уклончиво.

В столовой салон-вагона он говорил с майором Вейроста.

– Майор, я прошу вас не задерживать мой поезд. Говорят, что красные близко. Дамы нервничают. Надеюсь, не задержите.

Чех предупредительно улыбался, кивал головой.

– Конечно, я сделаю все, что в моей власти.

Колчак сердился, но был бессилен.

– Но, майор, это не ответ. Я прошу вас сказать мне определенно, когда будет отправлен наш поезд?

Дамы готовы были расплакаться. Они сидели за столом. Тут же. Майор Вейроста повертывал холеное лицо к нему, к присутствующим. Немного странно, что ему не верили. Разве чешский офицер будет лгать.

– Не беспокойтесь, ваш поезд будет отправлен при первой возможности.

У Колчака бритое лицо, распаханное летами, седеющая голова. Сухие, крепкие пальцы комкали салфетку. Взгляд тяжело упал на жирную белую щеку майора.

– А, наконец, я не понимаю вас. Тогда говорите прямо, что надежды на наше немедленное отправление нет. Так?

Вейроста верен себе. Точно исполняет предписание своего начальства.

– Мы сделаем все возможное.

Больше терпеть невозможно. Чех просто издевается.

Диктатор горд. Едва кивнул майору. Обед оставил. Вышел. Заперся в своем куце. Тяжелые плюшевые диваны мешали. Душно. Неужели конец? Власть, конечно, ушла из рук. Но жизнь? И она разве? Адмирал видел смерть не раз. Та была бледная, белая.

Встречал ее спокойно. Не тронула. Теперь другая. Красная. Страшна. Как раньше не замечал, что она неизбежна. Ее не прогонишь. С кем? Кто поможет? Порядка не было. Людей нет и не было. Никто не слушался. Всякий свое. О России не думали. О себе. Только. Ну кто, кто они? На пружинах мягко. Глаза надо закрыть. Вот, можно вспомнить...

Атаман Анненков не хотел даже дать сведений, сколько у него штыков. Грубый. Не вы мне дали их, не вам и считать. Партизанщина. И сейчас тоже. Чехи о себе. Железнодорожники требуют взятку. Давал много. Обещают. Потом обманывают. Не отправляют. Эшелон стоит. Никто не слушается... Рядом кто стоял? Иван Михайлович. Мальчик с виду, в душе черный. Сил много. Но авантюрист... Пепеляев, Виктор Николаевич. Также еще у кадетов в цека. Недалек, ограничен, хотя и прямолинеен... Вологодский, старая шляпа... Старынкевич, хитрый иуда. Продал свою партию с Областной Думой и Уфимское совещание. За власть отдаст все. И себя. Россию, безусловно... Георгий Ганс... Кто его знает, не то целует он, не то яду сыплет тебе в стакан... Тольберг... Проныра... Людей нет. Зачем было ввязываться в это дело? Хорошо, один откажется, другой откажется. Кому-нибудь надо же Россию спасти. Наконец, это нечестно. Ну, вот и пошел. Ввязался.

За окном плясала метель. Мерзлыми космами жестких волос шлепала по стеклу. Смеркалось. Ехидная рожа Гайды. Нет покоя.

«Да, ваше высокопревосходительство, уметь управлять кораблем – это еще не значит уметь управлять всей Россией».

И вот хватило наглости у человека. Прямо в глаза так и вылепил. Хотя немного он прав. Сделать многого не сумели. Взять, например, Осведверх. Агитация. Кому она на руку только? Да. Лучше, безусловно, не думать об этом. На этот случай хорошо профессор Болдырев. О философии хорошо толкует. Одному страшно. Бархатные мягкие диваны давят. Как могильные плиты. Воздуха совсем нет. И теснота ужасная.

Пришел профессор. Зажгли огонь. Метель все равно пялила в окно свою белую рожу и косматую гриву. Ну ее. Профессор вздумал тоже говорить об этом. Какой несносный. Не просили же его об этом. Остановить неловко. Говорит.

– Положение нашей армии таково, что не только на победу – надежды нет на простую остановку фронта. Мы в полосе заговоров и восстаний. Но эсеры не выступают, потому что они одни бессильны. Опасны они тем, что могут войти в соглашение с чехами, которым анархия мешает эвакуироваться. Эсеры и меньшевики не страшны, только их участие в оппозиции плюс для красных и минус для правительства. Кадеты бессильны. Промышленники и биржевики откололись и раскололись. Одних отталкивает непримиримость по отношению к Семенову, других – политика по отношению к японо-русским делам. А кольцо восстаний все суживается. Города и земства открыто говорят о борьбе. Настроение военных паническое. Настроение обывателя равнодушно-озлобленное.

Довольно об этом. Есть мысли, которые живут вне времени и пространства. Чистые мысли. Жить надо ими. Этого касаться не надо.

В столовой старуха Рор говорила с полной брюнеткой:

– Я не понимаю, почему они так ненавидят нас? Почему они гонят нас, почему отобрали у нас дома, все имущество? Ведь это же грабеж. Все, что мы имели, досталось нам с мужем от моего отца после его смерти. Отец приобрел все честным трудом. Я не понимаю, в чем моя вина перед ними. За всю жизнь я никому не сделала зла. Я со всеми была вежлива и даже прислуге никогда не говорила ты. Я всегда участвовала во всех благотворительных базарах в пользу бедных.

Старуха с негодованием пожимала плечами. Брюнетка соглашалась:

– Ах, это ужасно, ужасно. И вы знаете, эти звери не щадят никого. Они не считаются с тем, сделали ли вы им что плохое или нет.

– Ужасно! Ужасно!

По бокам дороги, вдоль всей линии, ползли обозы. Больные, здоровые, раненые, живые и мертвые. Вшивые, голодные.

– Нет, лучше не будем говорить об этом. Мне хочется закрыть все шторы, чтобы не видеть этого кошмара, этих мук нашей бедной армии.

Брюнетка закрыла лицо руками. Пальцы атласные, с кольцами. Сквозь них не видно.

– Да, да, не будем говорить об этом. Может быть, даст бог, все устроится.

Ротмистр Беков всегда выручал. Веселый человек. Кавказский. Огонь. Кинжал в серебре. Пояс. Строен. Ловок. Патроны на груди. Глаза огромные, черные. Нос хорош. Усы. Зубы – две пластинки. Белые-белые. Сапожки мягкие. Ноги быстрые, легкие.

Эх, есть у нас легенды, сказки, сказки.

Обычай наш кавказский, кавказский.

Прыгает ротмистр по ковру. Машет кинжалом. Гнет тонкую талию.

Есть у нас легенды, сказки, сказки.

Он уже плывет. Едва ступает. Кинжал сверкает. Выхватил другой. Поменьше. Сталь звенит.

Есть у нас легенды, сказки, сказки.

Дамы улыбались. И старуха красавица Рор и брюнетка. И женщина в лисьем горжете с двухлетней девочкой. Их много было там. Это было уж ночью. Обозы остановились, жгли костры. Мерзли у огня. Вши ужасно надоели. Назойливое зарево кровью мочило шторы. Нечего обращать внимание. Думать не надо. У костров грызли черствый, мерзлый хлеб. Спали сидя. К чему все это? Когда «есть у нас легенды, сказки».

Ротмистр устал. Девочка попросила апельсин. Офицер бросился к себе в купе. У него много апельсинов. Он умеет доставать. У чехов.

– Тебе очистить?

– Я сама.

– Ну, ну.

– Шоколаду, может быть, хочешь, крошка?

– Хочу.

– На вот, кушай.

Сам вышел проститься. Он был очень вежлив. Адмиральские погоны совсем еще новенькие. Орлы на них черные. И куртка черная. По-английски любил он говорить. Знал хорошо.

– Покойной ночи.

Очень мило. Обязательно чего-нибудь добавит. Какое-нибудь пожелание.

– Бог поможет – все будет хорошо.

Говорил так. Думал иначе. О чехах, о чехах. Ненавидел их он.

«Чехи на фронт не пойдут, хоть плати им платиной вместо золота, потому что они, во-первых, сволочь и трусы, во-вторых, достаточно награбили и дорожат своей шкурой, торопятся домой. Голове тяжело. Уснуть, пожалуй. Думать не стоит».

– Покойной ночи.

Шторы в окнах плотно закрыты. Полусвет. Тепло. Уютно. Чисто. Почему-то только вот обитые бархатом диваны давят, как могильные плиты. Ничего подобного в действительности нет, конечно. Это только так кажется. А кровь в окнах? Об этом не надо говорить. Не надо замечать. Ротмистр очень мил. Неутомим.

Есть у нас легенды, сказки, сказки.

Обычай наш кавказский, кавказский.

Может быть, там, за линией, в стороне, на морозе, никого и нет. Никто, может быть, и не замерз, не умер. Ах, зачем об этом думать. Бог даст, все устроится. Мы отступаем. Мы слабее красных. Не в силе он, а в правде. Да, мы правы. Да. Опять об этом же. Как бы избавиться, не думать. Очень просто. Вино есть великолепное. И ротмистр мил, мил бесконечно. Он уже откупорил бутылку. Пьем. Дам много и офицеров. Все штабные. Отчего не провести время. Пьем.

Так жили.

А красные уже далеко забежали вперед. Диктатору доложили, что в Иркутске почти Совдеп. Узнали об этом днем. Он бросил беседу с Болдыревым. О философии. Вышел в салон. Приложил руку к козырьку.

– Господа офицеры, благодарю вас за службу. Вы свободны. Кто хочет, может идти к новому правительству, кто хочет, пусть остается и разделит со мной мою участь.

Смерти он никогда не боялся. Теперь привык и к красной. Был очень спокоен и тверд.

Железная дорога не артерия. Она вена. Артерии сбоку, в стороне. В вене черная, отработанная, почти гнилая кровь. В артериях чистая, свежая, горячая, красная. Била потоками, кипела.

Так было.

### ***35. ВЕЗЕМ ПОЖАР***

Покраснела зеленая шаль тайги. Покраснело толстое снежное одеяло на земле. Покраснели кудрявые, серо-белые овчины на небе. Красная стена загородила дорогу. Красный ужас морозом сжал сердца бегущих. Ткнувшись в красное, несокрушимое, обозы сгрудились, сдались, покорные, жалкие в своем бессилии.

Н-цы с длинной кишкой подвод приплелись в город, занятый партизанами, тупые, равнодушные ко всему, без сопротивления положили оружие. Барановский с Фомой попали в лазарет.

Красное победило.

По белой России забили красные ручьи. Тонкими струйками бежали они по проселкам, в реки сливались на больших дорогах, шумели и хлестали половодьем на трактах, на железной линии.

Заместитель Молова Давид Гаммершляг, командир роты Степан Вольнобаев и красноармеец Андрей Клочков шли рядом, впереди полка. Сзади на головных санях играло с ветром красное знамя. Все были в желтых полушубках, шапках с ушами и валенках. У Клочкова на шее мотался огромный алый шарф. Двое молча улыбались. Было чему. Третью тысячу верст шли без отдыха, без поражений. Клочков оглядывался на пегого мерина в первых санях. Запах пота и навоза напоминал о тихом, родном. Красноармеец, невнятно бормоча, ткал канву стиха.

Двигай, пеганый, скоро

Пройдет метель,

Остались далеко горы,

Бредет апрель.

Клочков был поэт.

Очистится небо ясным,

Не будет тьмы.

Далеко покровом Красным

Уедем мы.

– Ты чего, Андрей, бормочешь?

Красный шарф трепался на ветру.

– Хорошо, Степа. Помнишь Челябинск? Так же шли. На Восток. Теперь он наш. Жалко, Трубина убили. Хорошо.

Сильней упирай шипами –  
Несется пар,  
Вывертывай лед кусками, –  
Везем пожар.<sup>66</sup>

– Степа, сибиряки, наверно, и не чувят, какой грохот поднимем мы у них тут со своим приходом.

Немного тяжеловатый, полный, белокурый, с пушистыми светлыми усами Вольнобаев, высокий, сухой, рыжий, горбоносый Гаммершляг не отвечали. Слова не нужны. Был мороз, снег хрустел под ногами полка, под полозьями саней. Пар валил от лошадей. Красный N-ский полк подходил к Медвежьему.

Звоном колокольным ударило при входе в улицу. Золото икон и хоругвей блеснуло навстречу. Пирогам, шаньгам, свежим хлебом запахло. Широко расступились дома. Огромная толпа на площади. В середине зачем-то черный с крестом Мефодий Автократов. И звон. Ведь тогда тоже был звон. Тогда он лгал. А теперь? Разве радовался? Опрокинуть все это. Залить своим. Теснее ряды. Лица тверды и суровы. Снег хрустит.

Вставай, проклятьем заклеименный...

Проснитесь, вставайте. Не надо его с крестом.

Весь мир насилья мы разрушим

До основанья...

В ногу. Все как один. Лица зарумянились ветром. Знамена кричат. Красный шарф Ключкова протестует.

Мы наш, мы новый мир построим...

Кто они? Что несут на штыках? Что написано у них на знаменах?

С Интернационалом

Воспрянет род людской.

---

<sup>66</sup> Стихи поэта-рабочего А. Шульгина



С Интернационалом

Воспрянет род людской.

А Он? Есть Он? Колокол лезет со своей болтовней, напоминает о Нем. Чепуха. Долой Его!  
Нет Его! Куда Ему против нас. Не верим мы!

Никто не даст нам избавленья –

Ни бог, ни царь и ни герой...

Но как же все-таки? Родные вы, близкие, ждали вас. Только понять невозможно. Никогда не слышали. Слушайте, слушайте нашу песнь:

Добьемся мы освобожденья

Своей лишь собственной рукой...

Иных путей нет. Сомнений быть не должно. Так поют угнетенные рабы во всем мире. Так поем мы, освободившиеся. И верим. Убеждены:

С Интернационалом

Воспрянет род людской.

С Интернационалом

Воспрянет род людской.

Только. Да. Разве это не так? Не видите? Вот он, Интернационал. Мы. Мы. Смотрите. Гаммершляг – бывший военнопленный немецкий еврей. Вольнобаев – русский столяр. Ключков – кузнец наш. Он поэт. Вот у него какой красный шарф. Рядом товарищ Ван Ю-ко, желтолицый, косоглазый. Косу остриг. Черный, упрямый, красногубый Сегеш – мадьяр. Бледный, белый, высокий, широкий Смалькайс – латыш. Курносватый Петров. Интернационал. Мы. Мы.

Наконец он замолчал. Язык его повис холодной сосулькой в широкой круглой дыре. Ушел и он, черный, с крестом. Золото икон скрылось. Красные знамена торжествовали.

– Ура! Да здравствует Красная Армия!

– Да здравствуют красные партизаны! Да здравствует Советская Сибирь!

– Ура! Ура! Ура!

Наконец-то они пришли. Нет больше белых. Нет Таежной Республики. Вся Сибирь – Социалистическая Федеративная Советская Республика. Толпа с радостным любопытством разглядывала красноармейцев.

Штаб таежного фронта давно уже стоял в городе. В Медвежьем случайно был Суровцев. Ревком поручил ему выступить с первым словом приветствия. Партизан вышел на трибуну.

– Товарищи, мы, красные партизаны Сибири, с чистой совестью приветствуем вас. В то время, когда вы шли от берегов Волги, мы здесь не сидели сложа руки. Перед кровавым диктатором голов покорно не склонили. Мы ушли в глушь тайги, как смогли, организовались там и бросили гордый вызов шайке палачей трудящихся, душителей революции. И мы боролись с ними, уничтожали их без пощады.

– Правильно! Смерть белым гадам! Правильно.

Партизаны и крестьяне были единодушны в своем негодующем приговоре над вчерашними хозяевами страны.

– Смерть гадам!

Толпа закачалась, потемнела, взволнованная воспоминаниями.

– Теперь, когда вы здесь, когда мы соединились, раздавив общими усилиями белую гадину, мы приветствуем вас, как своих старших товарищей и соратников. Мы знаем, что за годы борьбы вы окрепли, закалились, приобрели огромный опыт и знания. Мы знаем, что теперь Красная Армия сильна, что теперь нам не страшны никакие враги. Но если кто осмелится вновь встать против нас, если найдутся у нас новые враги, то на борьбу с ними, на борьбу до конца красные партизаны готовы выступить хоть сейчас.

– Правильно! Готовы! Нет пощады буржуйам! Все пойдем!

– Да здравствует Красная Армия!

– Ура! Ура! Ура!

Красноармейцы улыбались.

– Да здравствует единая Красная Армия рабочих и крестьян!

С ответной речью выступил Гаммершляг. Говорил по-русски он совершенно свободно, с едва уловимым акцентом.

– Товарищи партизаны, рабочие и крестьяне Сибири, мы приветствуем вас, как стойких защитников власти трудящихся. Ваши заслуги перед революцией неопределимы. Вы сумели понять истинный смысл событий. Вы не дали обмануть себя ни сладкоречивым меньшевикам, ни эсерам. Вы не подчинились кровавому диктатору. Вы правильно поняли характер Октябрьской революции как революции пролетарской. Глубоко верно вы решили, что начавшаяся война двух классов – буржуазии и пролетариата – не может кончиться ранее того, как одна из сторон будет сломлена, побеждена. Вы не пошли на соглашение со своими угнетателями. В глубоком тылу у врага, почти без оружия, без средств, вы подняли знамя восстания, вступив в неравную борьбу с вооруженными до зубов культурными зверями. В неравной схватке вы не уступили врагу ни пяди, вы с честью выполнили до конца свой долг революционера. История не забудет ваш труд и вашу кровь.

Партизаны стояли довольные.

– Но знайте, товарищи, борьба еще не кончена. Наш враг – буржуазия, многоголовая страшная гадина, когда ей разможат одну хищную пасть, она щелкает зубами другой, ей другую – она третьей.

– Сокрушим! Посшибам!

– Колчак уничтожен, Деникин разбит, но враги есть еще. Мы уверены, что буржуазия еще не раз попытается задушить нас вооруженной рукой. Еще не одного Колчака и не двух Деникиных придется нам разбить.

– Разобьем!

– До тех пор, пока рабочие и крестьяне других стран будут бездействовать, будут покорно гнуть спины под властью капиталистов, мы должны быть готовы каждую минуту отразить нападение мировых хищников. Пока пожар коммунистической революции не охватит весь земной шар, пока власть не перейдет в руки пролетариата, трудящихся во всем мире, мы должны иметь сильную армию. Она есть у нас. Наша рабоче-крестьянская Красная Армия – угроза всему буржуазному миру. Вам, товарищи, остается только влиться в нее, пополнить ее ряды. Честь вам и место, герои-партизаны, в рядах славной Красной Армии.

– Мы готовы! Пусть только хоть один буржуй зашевелится! – поднялся старик Черняков, снял шапку, тряхнул серебром кудрей. – Товарищи, да рази мы, да рази я... (старик волновался, не вполне владел собой). Да никогда! Чтобы, значит, опять под этими гадами жить. Двух сыновей шомполами заporоли.

На глазах Чернякова заблестели слезы, голос задрожал:

– Двух сыновей до смерти. Почти у каждого, однако, ведь так. Сколько сирот понаделали белые гады, сколько народу погубили. Товарищи, мы все, все пойдем. Уж, значит, чтоб до конца. Мы знаем, что пока эти кровососы живы, так нам и жизнь не в жизнь.

Черняков разволновался, не мог больше говорить, махнул рукой. Слушатели поддержали оратора дружными аплодисментами и криками:

– Верно, дедушка! Верно!

Чернякова на трибуне сменил сутуловатый, черноусый шахтер Коптев.

– Нет угла такого! Всю Россию окровянили! Гады!

– Товарищи, нам, побывавшим под властью Колчака, нечего говорить о необходимости борьбы с буржуазией. Убеждать нас не надо. Мы на своей шее вынесли весь гнет белогвардейщины и знаем теперь отлично, что может рабочему дать власть разных атаманов и генералов. Нельзя спокойно говорить об этих кровопийцах.

Шахтер сжал кулаки, нахмурил брови, сделал паузу.

– Что они наделали, мерзавцы. Ведь всю страну залили кровью. Сколько погибло народу. Сколько заporото, повешено, засечено. Нет той деревни, того города, завода, фабрики, копей, где бы не было замученных ими. Я не знаю, есть ли хоть одна семья в Сибири, в которой не было бы жертв золотопогонных негодяев, сиятельных убийц. Моя жена, когда

меня арестовали, пошла с двумя ребятами к палачу в золотых погонах просить о моем освобождении. А он, негодяй, зверь, он ее...

Коптев согнулся. Усы тряслись и губы прыгали.

– Он ее при ребятах, при ребятах изнасиловал. Обезумевшая, она бросилась из комнаты, а в сенях ее сгреб денщик. И он тоже. Холуй, гадина пресмыкающаяся, он тоже, как и его барин, тут же в сенях, на полу, на глазах у детей. А ребята стояли и плакали. Мать-то с ума сошла потом, а дочка семилетняя мне все рассказала, когда меня, выпоротого, отпустили из тюрьмы. Пожалуй, расскажи об этом в обществе благородных негодяев – не поверят. Как же можно, они – люди культурные. Ух, эту культуру ихнюю...

Рабочий потряс кулаками, стиснул зубы.

– Эту культуру я бы всю истер в порошок. Эту культуру, которая дает право вылощенному хлыщу насиловать наших жен, а нас самих пороть, вешать, стрелять без счета и конца. Нет уж, довольно, будет. Попили они нашей кровушки, эти звери культурные.

– Будет! Будет! Довольно с них!

– Шахтеры Светлоозерного не выпустят винтовок из своих рук, пока где-нибудь будет жив еще хоть один такой негодяй. По первому зову советской власти мы готовы вступить в ряды нашей Красной Армии.

– Хоть сейчас! Идем!

На трибуну снова вошел Черняков, от имени ревкома объявил митинг закрытым, пригласил красноармейцев обедать.

– Вы, товарищи, наголодались там, в Росеи-то, а у нас хлеба хватит. Заходите, товарищи, в любой дом.

Площадь стала пустеть. Хозяйки выходили из домов, наперебой приглашали к себе красноармейцев. Толпа, растекаясь по улицам, уводила с собой гостей. Широко распахивали избы двери, встречали теплым, ласковым запахом мягкого хлеба, мясных щей, жареных поросят и гусей.

– К нам, товарищи!

– К нам, к нам!

Спирька Хлебников тяжело ввалился в светлую просторную горницу. Шапку не снял. Сел в передний угол. Бросил на стол черный длинный револьвер и кошелек, распухший от золота. У чехов взял. У генерала Ватагина.

– Хозяйка, я хулиган. Корми меня – заплачу.

– Что ты, батюшка, зачем нам деньги. Мы рады вам и так.

Старуха кланялась.

– Не спрашиваем мы, кто рад нам али нет. Мы идем. Я хулиган. Не дают – беру. Дают – плачу. Гони, хозяйка, все на стол.

Клочков на своей квартире встретился с беженцами. Испуганные, они забились в угол избы, со страхом смотрели на красноармейцев. У них было трое ребят. Клочков принес из саней фунтов пять сахару, полведра масла, мешок рису. По дороге насобирали. У белых отняли.

– Берите, товарищи, это все народное.

Беженцы отказывались. Клочков настаивал. Увидел, что дети плохо обуты, приташил им маленькие валеночки. В брошенном эшелоне подобрал.

В других избах красноармейцы раздавали хозяевам мануфактуру, чай, спички, обувь. Всего было много. Некуда девать. Сани ломались.

– Берите, товарищи, это все народное.

К чему все это. Мир весь завоевали. Мир наш. А тряпки – чепуха. Их не надо лишних. Они взяты белыми у этих же крестьян.

– Берите, товарищи, это все ваше, народное.

Четверо – Ван Ю-ко, Смалькайс, Сегеш, Петров – сидели вместе. Хозяева суетились у стола. Накрывали скатертью. Чай подали со сметанными шаньгами, с творогом, с маслом, с топленым молоком. Гуся жирного, огромного распластали в жаровне. Хлеба снежно-белого горку набросали. Блинчики, легкие, нежные, горячей стопкой поставили.

– Кушайте, товарищи.

### **36. КРОВЬ КРОВЬЮ**

Бегущие остановились. Некуда было бежать. Измученные, обмороженные, раненые, больные прятались в лазареты. Набивались теснее, чем селедка в бочке. Копошились, как черви в язвах, падали. Вместе клали. По трое – на две койки. По двое – на одну. На нары, под нары, на пол в проходах, в коридорах без тюфяков, матрацев, на тонкую соломенную подстилку. Белых. Красных. Офицеров. Комиссаров. Солдат. Красноармейцев. Мобилизованных. Добровольцев.

Окна были выбиты. Пар холодными клубами лез. Его тряпками затыкали. Все равно лез. Мерзлая морда, седобородая, седоусая, щерилась на стеклах. Холодно. Карболка. Йодоформ. Гнилые раны. Испражнения. Испарина. Лампочек мало. Темно. Врачи и сестры ходили спотыкаясь через больных и от усталости. Спать некогда. С верхних нар падали вши врачам на головы, за воротники, сестрам за пазухи, ползали под ногами, на халатах. Захворал – ложись. Сваливали в кучу. Все одинаковы. Все в сером. Коротко острижены.

Выздоровливали мало. Умирали каждый день, каждую ночь сотнями. Нет – тысячами в яму.

На нижних нарах ничего не видно. Гнилой кровью только несло. Стонал каппелевец с отмороженными ногами, отвалившимися по колени. Барановский с Моловым лежали рядом под одним одеялом. Выздоровливали. Бредили иногда. По ночам поднималась температура. У Молова борода. У Барановского черный, мягкий пушок на щеках. Оба похуевшие. Глаза большие. Больные на ты. Смешно иначе. На одной постели. Разговаривали сутками. Спорили. Усталые, забывались. Отдыхали. И снова. Говорили. Говорили. Никого не замечали. Нужно было много выяснить. Сошлись с разных полюсов. Молов не разговаривал – учил, пророчествовал. Он верил глубоко. Убежден был. Барановский слабо сопротивлялся. Хватался за осколки, склеивал, собирал. Ничего не выходило.

Было это днем или ночью – все равно. Стены отсырели, плакали. С потолка капали слезы. В окнах черные заплаты. Больные, кажется, спали. Дежурные санитары и сиделки ходили, боролись с дремотой. Лампочки еле горели. Молов сидел на нарах, поджав ноги. Барановский лежал около и не видел комиссара. Голос Молова стучал в темноте топором. Барановский придавлен. Топор стучит, но он не согласен. Надо протестовать.

– Новый мессия... хм... палач твой мессия. Не хочу... Довольно крови. Слышишь, довольно. Ты слушаешь?

В потемках не видно. Голос отвечает;

– Слушаю, говори.

– Когда я был еще у белых, я говорил, что вы, красные, люди нового мира, что вы несете с собой счастье освобождения и мира всему человечеству. Я всегда вас противопоставлял белым, думая, что вы действительно борцы за светлую идею всемирного братства и равенства народов. Я всегда вспоминал вас, когда видел у нас какую-нибудь мерзкую жестокость.

Барановский говорил торопясь. С мысли на мысль скакал. Надо все сказать. Накопилось много.

– Ведь в белых ничего уже не осталось человеческого. Я с ужасом в душе давно уже отвернулся от них, понял, что ихнее дело – черное дело. Я сдавался в плен с надеждой, что у вас этого нет, что я попаду совсем в другой мир, где не будут греметь залпы по безоружным, поставленным к стенке, где не будет порок, виселиц, где будет порядок, мир и тишина. Ведь крестьяне так хвалили вас. И вдруг теперь я слышу, что ты говоришь, как о своем идеале, о каком-то звере, кровожадном и мстительном. Боже мой, как тяжело, какая мука.

Офицер стонал. Крови видел много. Она давит. Она преследует.

– Где же люди? Куда они девались? Есть на земле хоть уголок, где бы не лилось это страшное, красное, теплое, липкое? Неужели все думают только о борьбе и мести? Нет, довольно крови.

Молов молчал. Палата бредила. Кровь гнила.

– О-о-о-х!

Нельзя понять. Кто это? Один, двое или все?

– О-о-о-х!

– О-о-о-х!

– Сестрица милая, поцелуй меня.

Просит в бреду. Не знает, что ноги у него отвалились. Отмерзли. Разлагаются.

– Поцелуй, сестрица!

– О-о-о-х!

Конечно, не один так стонал. Не сочтешь, сколько.

– О-о-о-х!

– Комиссар, ты слышишь? Тебе мало этого? Ты хочешь еще? Без конца хочешь мучить людей, мстить им, бить их? Ты крови хочешь? Слушай, слушай.

– Милая, приласкай, поцелуй. Сестрица!

– О-о-о-х!

– Слышишь, комиссар, это не один он, больной, просит ласки. Его устами – все человечество, уставшее, измученное. Довольно крови, черных убийств. Ласки дай людям, если ты новый мессия.

– О-о-о-х!

Теперь его очередь. Смеялся и негодовал.

– Кто виноват в этом? Кто свалил сюда эту кучу обезумевших, изуродованных, больных людей? Кто обратил их из жизнерадостных, живых в гниющие трупы?

Отвечать не давал.

– Вы, гнилые, гниющие, распространяющие трупную отраву, заражающие других. Вы, которые не можете жить без убийств и войн. Вы, лицемерно хныкающие о любви к ближнему. Вы все сделали это. И ты хочешь, чтобы мы, в октябре вышедшие на дорогу счастья всего человечества, на борьбу за немедленное прекращение всех войн, за мир всего мира, на баррикады для последнего и страшного боя с вами, вековыми угнетателями, рабовладельцами, ты хочешь, чтобы мы были снисходительны к вам, виновникам всех бедствий наших, всего кошмара капиталистического «рая». Нет. Никогда. Своих палачей мы миловать не будем. Они нас в щеку, мы их в другую, за горло, на землю и колено им в грудь. Что же ты думаешь, мы простим ваших карателей, тех самых, которые насильничали наших жен, сестер, матерей, пороли, вешали отцов, братьев? Нет. Палачей, инквизиторов нам не надо. Палач, раз став им, никем другим быть не

может. Каратель уже не человек, он зверь кровожадный, правда, только одетый в щегольский европейский костюм, сшитый по последней моде. Куда их? В яму. Иначе они будут мешать нам строить новое, прекрасное. Во имя светлого грядущего, во имя избавления от страданий вот всех этих несчастных, во имя прекращения раз и навсегда всех войн и установления действительного братства народов да здравствует священная война с буржуазией, да здравствует красный террор. Я за кровь. Я за Чека, за ее очистительную, железную метлу.

Комиссар горел. На нижних нарах стало жарко. Его горячее дыхание все слышали. Шевелились. Ловили жадно. Говори. Говори. Где выход? Где избавление? Надоело страдать. Довольно мук. Довольно крови.

– О-о-о-х!

– Ты говоришь, довольно крови. Согласен, довольно крови. И для того, чтобы она не лилась из всех трудящихся, из нас, надо выпустить ее из буржуазии. Понял? Нужно уничтожить класс капиталистов, уничтожить все классы, создать общество бесклассовое. Только тогда не будет крови и тюрем.

Барановский потрясен. Уничтожить целый класс. Всех. И Татьяну Владимировну. И профессора. И его мать. И Колю, брата. За что? За то, что они думают иначе. Кому они сделали плохо? Разве Таня убила кого-нибудь? Это ее-то нежные пальчики? Клевета. Зверство. Бесчеловечно.

– Ты, комиссар, всех считающий зверями, сам не замечаешь на себе шкуры тигра? Чем виноваты люди, что они плохо воспитаны, что они заблуждаются? Их научить надо, поддержать, показать настоящий путь к миру и счастью всех, всей вселенной.

– Ха-ха-ха!

Разве можно смеяться в лазарете. Испугались больные. Белые задрожали. Кто это хохочет?

– О-о-о-х!

– Ха-ха-ха! Учить? Вас учить! Ха-ха-ха! Мы, рабочие, должны просвещать вас, интеллигентов. Нет, учить вас нечему, вы сами отлично знаете. Купить вас – да, это еще можно. Купить ваши знания. Заставить работать на нас, это мы можем. И мы делали так. Здесь ваша трусость и жажда наживы прямо пропорциональны вашей высокой образованности. Гнилые людишки, вы даже свои классовые интересы не можете как следует отстаивать. Каждый из вас по отдельности и весь ваш класс в целом – гниль. И мы в этой гнили выбираем кое-что, используем частью как удобрение для посева будущего, частью как вспомогательный материал для постройки нового. Ты ведь знаешь, что в нашей армии старые царские офицеры. Из них найдется не так-то много искренне желающих нам добра. Но мы заставили их работать. Расстреливая, устрашая одних, подкупая других, мы добились того, что они даже у вас в тылу работали в нашу пользу. Ты помнишь встречу с капитаном Вишняковым? Помнишь, в Утином? Ведь он наш шпион.



Барановский не дышал. Только дрожал. Смертный приговор давит.

– И вас всех белогвардейцев мы используем. Мы соберем, свалим вас в кучи, в подвалы Чека и особых отделов и опытными руками отберем еще годных, еще не совсем сгнивших. Карателей, безусловно, безоговорочно в яму. Остальных возьмем. И заставим работать. И, может быть, со скрежетом зубовным, но вы, господа, будете служить у нас, нам работать, на нас, для нас. Да!

Белым тяжело. Не Барановскому только. Всем. Единая, страдающая. Огромная палата раскололась пополам. Половина затряслась. Перед могилой. Молов беспощаден. Роет. Роет. Глубже. Бьет. По головам. По головам. Не словами. Топором.

– О-о-о-х!

– Выучить, воспитать. К черту ваше учение и воспитание, вашу культуру. Разве можно учить одному и делать другое. Возлюби ближнего своего, как самого себя. Не убий – это затеявая многолетнюю-то бойню. Лицемеры. У вас все так. Вы кричите одно, а делаете совсем другое. Вы до революции со вздохами и закатыванием глаз пели: «Весь мир насилия мы разрушим до основания», а когда пришлось на деле его разрушить, когда с заступом могильщика явился тот, кто и должен закопать старый мир, уничтожить его, вы испугались, захныкали, сложили лапки и затоптались на месте. Как бы, мол, не погибла культура. Октябрьская революция вскрыла вашу подлинную, трусливую, подлую душонку. Идеино вы обанкротились: всем теперь видно ваше духовное убожество. Культура, культурные люди... С тех пор, как началась империалистическая бойня с ее сорокадвухсантиметровой артиллерией, с удушливыми газами, с разгромом музеев, памятников искусства, созданных десятилетиями, столетиями мирного труда, с ее уничтожением, сожжением целых областей и истреблением миллионов человеческих жизней, с тех пор, как вы благословили все это, назвав войной за мир всего мира, о какой культуре будете еще бормотать, о каком воспитании, образовании? За последнее время вы учили молодежь только одному – искусству убийства. Только. И вы хотите продолжать и в дальнейшем двигать жизнь по этой своей «культурной» дороге, по дороге вашего «прогресса»? Нет, довольно. Больше мы вам этого не позволим.

Барановский неподвижен. Возражать нельзя. В груди комиссара огонь клокочет. Больные, раненые слушали, сдерживали стоны.

– Культура... Вы думаете, если мы пришли чумазые, грязные, с фабрик, заводов, с полей, так сейчас и распластаетесь перед нами, перед вашей образованностью. Так и так, мол, господа хорошие, благодетели наши, народ мы темный, поучите нас, поуправляйте нашей свободной страной. Ошибаетесь, голубчики. Мы пришли, мы совершили величайшую в мире революцию не для того, чтобы смотреть, как чужие дяденьки нашим именем будут вершить судьбу миллионов нам подобных вчерашних рабов. Нет, мы сами себе хозяева, хозяева жизни. Мы все возьмем сами. Мы пришли и разберемся в созданных вами культурных ценностях, мы переоценим их и возьмем лишь то, что действительно ценно. Все остальное в помойку.

– Ты варвар, вандал.

– Называй как хочешь. Нам это не помешает разрыть до основания, до самых сокровенных глубин весь ваш мир, перестроить его заново. Варвар. А что же, по-твоему, мы должны в полной целостности, невредимости оставить все ваши подлые порядки? Никогда. Разве мы можем терпеть дольше, чтобы фабрикант по-прежнему жирел, еле таскал брюхо, а рабочий был бы тощ, как комар, и в тридцать лет выглядел стариком. Или, может быть, ты скажешь, что вообще рабочего и крестьянина не надо допускать к управлению государством, так как они темны и необразованны? Может быть, ты найдешь более удобным оставить крестьян по-старому без земли и сохранить за ними право работать не менее любой ломовой клячи?

Барановский сердится. Почему комиссар так груб и узок? Не об этом он хотел говорить. Не о том, кто будет владеть землей, кто управлять государством. Это его мало интересует. Ему хочется выяснить вопрос о ценностях иного порядка и об интеллигенции. Комиссар не останавливался.

– Мы люди дела, труда прежде всего, мы думаем, что каждый обязан завоевать себе право на жизнь работой. Живет и будет жить теперь только тот, кто трудится. С этой именно точки зрения мы и будем оценивать все живое наследство, оставленное нам старым строем, то есть каждого гражданина в отдельности.

– Значит, меня вы уничтожите?

– Почему?

– Белые мне противны. Вас я не понимаю. Ошибся в вас. Не сумею жить у вас. Я лишний.

Молову смешно.

– Лишний. Лишние люди. Нет, у нас не будет таких. Мы всем найдем работу. Лишние люди... Какая это на самом деле глупость. Кругом дела угол непочатый, а тут находятся господа, которые не знают, куда девать свой досуг. И ведь было у вас так. Столетиями шло так, что в огромной богатейшей стране, где на каждом шагу – только копни – клад, где ступить негде, чтобы не попасть на золото, были люди голодные и безработные. И вместе с тем были сытые и праздные, ничего не делающие, тоскующие сами не зная о чем, не знающие, куда девать свой досуг, интересничающие своей праздностью, меланхолическим, скучающим взглядом, показной разочарованностью. Я говорю о людях в плащах Чайльд-Гарольда, о всех этих Онегиных, Печориных и ихних братцах родных Рудиных, Неждановых. Вот здесь-то и сказала подлость и непригодность вашего общественного устройства. Они лишние, им делать нечего, потому что кто-то за них все делает. Кто-то кормит их, обувает, одевает, катает на рысаках. Кто-то, работая день и ночь, создает им огромный досуг. Теперь мы говорим: довольно! Мы смеемся над вами, срываем с вас плащи поэтической лени и говорим: не трудящийся да не ест. Врете, господа белоручки, возьметесь за ум, за дело, если кушать захочется. Да, лишних людей у нас не будет, мы всем найдем работу, всех выучим и заставим работать.

Комиссар закашлялся. От каппелевца несло гнилью. Гнили многие. Барановский не возражал. Мысли запутались. Растерялись. Он собирал их.

– О-о-о-х!

– Настало время разрушить, растереть в порошок созданный вами порядок жизни. Иначе человечество обречено на вырождение. При капиталистическом строе ведь вырождаются все классы. Буржуазия – от праздности и обжорства, рабочий класс и крестьянство – от чрезмерной работы и недоедания. Интеллигенция, чувствуя свою зависимость от правящего класса капиталистов, – фактически приказчик толстосумов, – воспитанная в ваших школах, где вытравлялось все оригинальное, талантливое, ноет, погружается в безнадежную тоску, делается дряблой, безвольной, ни на что не годной... Гнилые люди. Вы гниете все вместе и каждый по отдельности. Родится новое, молодое поколение, получая от отцов целиком богатейшее наследство – неумение жить, алчность к наживе, непреоборимую склонность к безделью. Единицы из вас с предпринимательской творческой инициативой. Все остальные – гниль, гниль физическая и духовная.

Палата бредила или нет. Слышно не было. Никто как будто не стонал. Но слушали. Жадно. Все. Моллов не говорил. Разил.

– Буржуазия, интеллигенция вырождаются не только физически, но и нравственно. Рабочий класс и крестьянство главным образом и почти исключительно – физически.

Моллов остановился. Перевел дыхание.

– Спроси тебя, где же выход? Как спасти хоть часть человечества, здоровую часть его – трудящихся? Как предотвратить их дальнейшее не только физическое, но неизбежно и нравственное вырождение. Ты, конечно, захнычешь об образовании, воспитании. Мы же говорим, что выход один – сокрушающим молотом революции разбить в прах весь ваш прежний, подлый порядок, капиталистический строй и создать свой, новый, где не будет ни рабов, ни господ, где будут все равны, где не будет предоставлено возможности одним жиреть за счет других. Долой ваш старый, гнилой мир, мир насилия и угнетения... Довольно вам, гнилым, пакостить жизнь, топтать в грязь ее лучшие цветы, отравлять своим дыханием падали чистый воздух. Довольно. Мы пришли уничтожить вас.

Барановский сопротивлялся. Слабо. Сил нет. К борьбе не способен. Испугался. Умирать не хочется. Комиссар страшен. В его голосе коса смерти. Звенит.

– Но зачем же всех уничтожать? Чем я виноват, что меня мобилизовал Колчак, что я родился в семье генерала, а не рабочего. За что же меня убивать?

Моллов смеялся. Но и в смехе острая сталь.

– Чудак, да мы и не думаем уничтожать вас всех физически, каждого лишать жизни. Не такие уж мы кровожадные, как тебе кажется. Мы убиваем только тех, кто лезет сам на нас с ножом. Вообще же всех наших классовых врагов, людей, враждебных нам только по убеждению, мы уничтожаем, если так можно выразиться, экономически. Только. То есть отнимаем у них фабрики, заводы, землю, дома, лишаем их возможности жить за счет эксплуатации чужого труда. Заставляем их стать гражданами трудовой Республики. Нужно тебе сказать, что, совершая Октябрьский переворот, мы не думали вводить смертную казнь. Помнишь, мы безнаказанно отпустили юнкеров Керенского, сопротивлявшихся нам, и членов Временного правительства. Но раз вы сами, господа, снова полезли на нас со всех сторон, то уж извините.

Барановскому скучно. Все это кровь. Все о крови. Борьба. Без конца. Надоело. Не хочет он драться. Не хочет войны. Ему отдохнуть. Комиссар остановился.

А гнилью все пахло. И стонали, стонали, бредили.

– О-о-о-х!

– Зачем белую сволочь выше меня положили? Я старый красноармеец, меня под нары, а белого гада на нары. Я его сброшу. Я его сброшу. Я – старый красноармеец.

– Сестра, чего он, гад, льет на меня сверху?

– Сестра! Сестрица! О-о-о-х!

– Какой я белый? Мобилизовал Колчак. Что поделаешь.

Темно. Ничего не видно. Слышно только, льется с верхних нар. Капает. Теплое, зловонное. Люди не помнят, не знают. Где они. Встать не могут. Тиф. Барановский спит. Бормочет:

– Татьяна Владимировна, паркет затоптан. Затоптан. Мама, я у красных. Я с тобой, Настенька, я приеду к тебе, Настенька, ты слышишь? Комиссар, у тебя всегда в груди пожар? Комиссар?

– О-о-о-х!

Трое красных и четверо белых плачут. Лежат рядом. Бредят или нет? Темно. Не поймешь.

– За что дрались? Зачем дрались? О-о-о-х! Карболкой воняет, йодоформом, испражнениями.

Рядом с комиссаром тепло. У него пожар. Огонь. Одеяло только узко и коротко. Трудно под одним. Холодно. Ближе. Ближе надо. Обнялись. И белые. И красные.

– О-о-о-х!

Ни дня, ни ночи не было. Было только тяжело всем. Страдали все. Седой шерился на стеклах окон. На нарах люди.

– О-о-о-х!

Барановский спал долго. Встал, наверное, утром. Стекла замазались красным. Был, кажется, рассвет. Подошел к окну. Ноги дрожали. Ухватился за подоконник. Сестра положила руку на плечо. Взглянула в глаза ласково.

– Поправляемся?

Голос. Нет, не голос. Музыка. Ведь она родная. С ней хорошо.

– Сестрица, возьмите в конторе мои деньги и купите мне шоколаду. Не откажите, милая.

– На ваши деньги коробку спичек не купишь, их аннулировали.

Барановскому страшно немного.

– А как же я без денег-то? Куда я пойду? Да и с деньгами-то. Я боюсь. Совсем ведь другой мир. Я ничего не знаю в нем.

Женский голос успокаивает:

– Бояться нечего, устройтесь отлично. Будете служить в Красной Армии. Я тоже чужая у красных. Они у меня мужа расстреляли. А ничего, вот видите – служу. Замолчали. Смотрят в окно. Белая, седобородая, седоусая рожа покраснела. Обоим грустно. Отчего? Не знают. Но и хорошо.

Сестру позвал больной. Белые и красные зябли, жались друг к другу.

– О-о-о-х!

Между теплыми, еще живыми, лежали холодные, мертвые. Неподвижных, застывших выносили на носилках. На мороз. Живые боялись. Как бы их. По ошибке.

– Я живой, сестрица. Живой.

– Живой, живой. Скоро гулять пойдешь. Выпей бульона.

Рука теплая, как у матери. Гладит по голове. Святая. Молиться хочется на нее. Молов бредил. Он еще болен.

– Мы вас выметем красными метлами. Выметем. Метут. Метут.

Барановскому тяжело. Одиночество. И эта неизвестность. Что там? За стеклами. Ледяная штора закрывает это там. Там новое. Красное. Офицер, почти касаясь губами, задышал на мерзлоту. Медленно протаяла щелочка. Ослабевшим пальцем с длинным ногтем расцарапал шире. Прижался большим черным глазом с густыми ресницами. За окном, на дворе лазарета, бродили полудохлые одры, валялись сломанные сани. Остатки белых обозов. Одров кормить нечем. И некому. Они ели свои испражнения и дохли тут же на дворе. Издыхая, ржали. Там же ходили люди с красным на шапках, на рукавах, на груди. Красный флаг кричал на соседнем корпусе. Офицеру жутко. Красное с непривычки волнуется. Но глаз не отрывает от щелки.

Недалеко, в другом городе, диктатор Сибири последний раз взглянул на черные дырки винтовок. Красный полог закрыл его навсегда. По всей стране красными топорами стучали залпы. Кровь за кровь. Кровь кровью. Железные метлы Чека и особых отделов мели, как сор, в свои подвалы. Беспомощных, обезоруженных карателей и палачей, вчерашних хозяев. Вчерашние рабы, униженные, растоптанные, иссеченные нагайками и шомполами, перепоротые розгами «поборниками человечности, справедливости и порядка», поднялись. Огнем лечили раны. Смывали, кровь кровью.

## **Послесловие**

Жить в Красной Армии. Я тоже чужая у красных. Они у меня мужа расстреляли. А ничего, вот видите – служу. Замолчали. Смотрят в окно. Белая, седобородая, седоусая рожа покраснела. Обоим грустно. Отчего? Не знают. Но и хорошо.

Сестру позвал больной. Белые и красные зябли, жались друг к другу.

– О-о-о-х!

Между теплыми, еще живыми, лежали холодные, мертвые. Неподвижных, застывших выносили на носилках. На мороз. Живые боялись. Как бы их. По ошибке.

– Я живой, сестрица. Живой.

– Живой, живой. Скоро гулять пойдешь. Выпей бульона.

Рука теплая, как у матери. Гладит по голове. Святая. Молиться хочется на нее. Молов бредил. Он еще болен.

– Мы вас выметем красными метлами. Выметем. Метут. Метут.

Барановскому тяжело. Одиночество. И эта неизвестность. Что там? За стеклами. Ледяная штора закрывает это там. Там новое. Красное. Офицер, почти касаясь губами, задышал на мерзлоту. Медленно протаяла щелочка. Ослабевшим пальцем с длинным ногтем расцарапал шире. Прижался большим черным глазом с густыми ресницами. За окном, на дворе лазарета, бродили полудохлые одры, валялись сломанные сани. Остатки белых обозов. Одров кормить нечем. И некому. Они ели свои испражнения и дохли тут же на дворе. Издыхая, ржали. Там же ходили люди с красным на шапках, на рукавах, на груди. Красный флаг кричал на соседнем корпусе. Офицеру жутко. Красное с непривычки волнует. Но глаз не отрывает от щелки.

Недалеко, в другом городе, диктатор Сибири последний раз взглянул на черные дырки винтовок. Красный полог закрыл его навсегда. По всей стране красными топорами стучали залпы. Кровь за кровь. Кровь кровью. Железные метлы Чека и особых отделов мели, как сор, в свои подвалы. Беспомощных, обезоруженных карателей и палачей, вчерашних хозяев. Вчерашние рабы, униженные, растоптанные, иссеченные нагайками и шомполами, перепоротые розгами «поборниками человечности, справедливости и порядка», поднялись. Огнем лечили раны. Смывали, кровь кровью.

### ***ЗАЧИНАТЕЛЬ СОВЕТСКОГО РОМАНА***

Советская литература накопила немало художественных ценностей. К ним относятся и «Два мира» – первый советский роман, написанный сибирским писателем Владимиром Яковлевичем Зазубриным.

Книга Владимира Зазубрина вышла в свет в 1921 году. Она была издана в Иркутске к четвертой годовщине Октябрьской революции в походной военной типографии Политуправлением 5-й Армии и Восточно-сибирским военным округом, или, как тогда говорили, Пуармом 5 и ВСВО. «Два мира» явились по существу одним из первых в советской литературе художественных произведений о гражданской войне, написанных по неостывшим следам только что отгремевших событий. В литературе тогда не было ни «Разгрома», ни «Чапаева», ни «Железного потока», ни «Тихого Дона». Тема революции и

гражданской войны лишь начинала завоевывать права гражданства и почти целиком исчерпывалась поэмой А. Блока «Двенадцать», рассказами и повестями Вс. Иванова «Партизаны», И. Касаткина «Лесные братья», П. Низового «Крыло птицы».

Талантливая и беспощадно правдивая книга В. Зазубрина сразу же привлекла к себе всеобщее внимание. Старейшин советский писатель Борис Лавренев вспоминает: «Я помню, с каким волнением и радостью мы, молодые, не имеющие еще опыта искатели, встречали в те дни первые цветы нашей литературы. Помню, как в Политуправлении Туркфронта в 1921 году был до дыр зачитан всеми работниками первый (кстати, незаслуженно забытый) советский роман В. Зазубрина «Два мира».<sup>67</sup>

В одном из первых печатных откликов роман справедливо был признан «живой панорамой классовой смертельной схватки», первой попыткой «использования агитационной мощи художественной литературы». Отмечая у автора «незаурядный талант художника», рецензент далее указывал, что, несмотря на отдельные недостатки – импрессионизм письма, элементы натурализма, плакатность и пр., – Зазубрину удалось создать «хорошую и нужную книгу», нарисовать «широкую, в общем правдивую, порой захватывающую картину из великой борьбы двух миров в Сибири, создать живые памятники этой борьбе».<sup>68</sup>

Глубокое сочувствие и живой отклик нашел роман в красноармейской среде. Солдаты, командиры и политработники Красной Армии были первыми читателями книги В. Зазубрина. «Два мира» зачитывались до дыр, вызвали десятки инсценировок на красноармейских и рабочих сценах. Печатный орган Политуправления Красной Армии журнал «Политработник», No 2 за 1922 год посвятил первому роману о борьбе с колчаковщиной восторженную статью, назвав книгу «яркой картиной колчаковского режима и борьбы с ним партизан», картиной, написанной «молодым, но сильным талантом». «Политработник» писал: «Книгу надо читать всем. Ее надо прочитать каждому красноармейцу, каждому рабочему и крестьянину. Ее надо перевести на все языки и как клеймящий документ бросить буржуазии, смеющейся твердить о культуре и гуманности».<sup>69</sup> Не менее высокую оценку встретила книга сразу же после своего появления в печати и у А. В. Луначарского. Последний буквально через несколько месяцев после ее выхода в свет обратился к автору со специальным письмом, в котором он писал об «огромном удовольствии», доставленном ему чтением романа. А. В. Луначарский с присущей ему энергией сразу же решил написать на «Два мира» рецензию для журнала «Печать и революция», он же предложил редактору «Красной нови» А. Воронскому перепечатать роман в ближайших номерах журнала и одновременно ознакомил с ним В. И. Ленина. «Я, – писал А. В. Луначарский, – сообщил роман, как очень любопытную эпопею, В. И. Ленину, который его прочитал, но мнения его пока не знаю; когда узнаю – напишу Вам».

---

<sup>67</sup> Борис Лавренев. На новой ступени, «Литературная газета», 1957, No 123

<sup>68</sup> В. Правдухин. Зазубрин В. «Два мира», «Сибирские огни», 1922, No 1, с. 166 – 168.

<sup>69</sup> Цит. по кн. В. Зазубрин. Два мира, 4-е изд., Новосибирск, 1928, с. 9.

С точки зрения самого Луначарского, «Два мира» «чрезвычайно удавшееся» произведение. По его мнению, роман излишне перегружен ужасами, хотя, возможно, это и оправданно, так как «он отражает столь полные ужаса события». Революция, по Луначарскому, должна быть показана в литературе во всей своей неприкрытой правде, ее события не следует обергивать в «золотые бумажки». Эти события сами по себе должны агитировать и убеждать. «Мы, конечно, – заявляет он, – имеем полное право говорить всю правду. Вы это и делаете. Для душ сильных, революционных или склоняющихся к революции роман будет крепким призывом». Автор письма признается, что в «художественном отношении есть блестящие главы и страницы». <sup>70</sup>

В. И. Ленин, ознакомившись через Луначарского с романом «Два мира», отозвался о них, по словам А. М. Горького, следующим образом: «Очень страшная, жуткая книга, конечно, не роман, но хорошая, нужная книга». <sup>71</sup>

Эта «хорошая, нужная книга» в середине двадцатых годов вызвала плодотворную и оживленную дискуссию как среди рядовых читателей, так и в прессе. Особенно интересна подборка высказываний о романе «Два мира» крестьян одной из сибирских коммун, сделанная сельским учителем А. Топоровым и опубликованная в первом номере журнала «Сибирские огни» за 1928 год. А. Топоров читал его коммунарам вечерами глубокой осенью 1927 года (с 22 ноября по 5 декабря). Судя по многочисленным высказываниям слушателей, роман этот произвел на них колоссальное, потрясающее впечатление». <sup>72</sup>

Коммунары после длительной и бурной дискуссии пришли к единодушному выводу о том, что «Два мира» – «широчайшая и жуткая художественная история колчаковщины в Сибири. Это лучшая из всех известных нам книг, изображающих белый террор в нашем крае в 1918 – 1919 годах и всенародный мятеж против Колчака». По словам А. Топорова, «никакое другое произведение современной художественной литературы, прочитанное и разобранные в нашей аудитории, не зажгло у нас столько озлобления и ненависти против угнетателей трудового народа, сколько вызвали их «Два мира».

Рассказав о том, как жадно воспринимался коммунарами роман, насыщенный «незаурядной» художественной мощью, увлекательностью фабулы, все пронизывающей «страстью революционной романтики», А. Топоров замечает: «Во время читки «Двух миров» порой мне казалось, что я не читал, а бросал в публику стрелы. Так многочисленны и дружны были ответные взрывы восклицаний коммунаров».

Материалы обсуждения романа, собранные и опубликованные А. Топоровым, воочию свидетельствовали о той колоссальной впечатляющей силе воздействия, которое оказывала книга Зазубрина на рядового массового читателя. Не случайно А. М. Горький советовал напечатать эти выступления крестьян в виде послесловия к «Двум мирам», рассматривая их как «эхо, мощно отозвавшееся на голос автора», как «подлинный глас

---

<sup>70</sup> Там же

<sup>71</sup> А. М. Горький. Предисловие к кн. Владимира Зазубрина «Два мира», ГИХЛ, М., 1935, с. 3.

<sup>72</sup> А. Топоров. Деревня о современной художественной литературе, «Сибирские огни», 1928, No 1.



народа». <sup>73</sup> Волнующая своей неприкрашенной и страшной правдой о деградации старого мира, книга В. Зазубрина не могла оставить к себе равнодушным не только рядового читателя, но и журналистские круги того времени. О нем писал А. Воронский в своей статье «О мудрой точке» в альманахе «Наши дни» <sup>74</sup> и, наконец, с подробным анализом «Двух миров» мы встречаемся в статье Ф. И. Тихменева, опубликованной во втором номере журнала «Сибирские огни» за 1928 год. Тихменев сумел очень верно и тонко уловить и оценить историческое и обусловленное временем художественное своеобразие романа, его острую идейную направленность в тот период, когда борьба еще по существу продолжалась. Критик прав, когда он пишет: «Борьба еще не остыла, и роман начинался, как снаряд. И выпущен этот снаряд Пуармом 5, тем самым, который только что вышел на бруствер окопов и железной логикой мысли крушил врагов, еще не сокрушенных его железом. «Два мира» – это литературный кирпич революции, вложенный в советское здание в нужный момент гражданской войны» <sup>75</sup>.

Напомнив о том, что 1921 год, год выхода в свет романа, был для Сибири годом разгрома кулацких восстаний, критик справедливо замечает, что автор «не мог вынашивать и ждать», так как необходимо было наиболее оперативно в наглядной и убедительно простой форме содействовать победе революции в новых обострившихся условиях. На страницах книги чувствуется горячее дыхание революции, на них сохранились, по образному выражению критика, оттиски ее жестких и корявых пальцев, нетерпеливо перевертывавших еще не совсем дописанные страницы. И, несомненно, оправданным оказался в отношении романа В. Зазубрина исторический прогноз Ф. И. Тихменева, высказавшего в своей статье следующую справедливую мысль: «И чем далее отодвигается от нас героическая, но «страшная» эпоха, тем с большей охотой читает и будет читать жуткую книгу родов революции новый советский читатель. Как глубоко верное отображение колчаковщины, она на сто процентов выполнила и выполнит для него свою историческую социальную роль». <sup>76</sup>

Одним из страстных пропагандистов и почитателей «Двух миров» был А. М. Горький. Еще в 1928 году он настойчиво советовал молодежи познакомиться с романом Зазубрина. «Очень советую вам, товарищи, – писал он, – читать книгу писателя Зазубрина «Два мира»: в этой книге он удивительно правдиво изобразил дикую расправу белогвардейцев с крестьянами Сибири». <sup>77</sup>

К талантливому и яркому произведению В. Зазубрина А. М. Горький обращался неоднократно в своих печатных выступлениях, письмах, речах и т. д. Так, в 1930 году, говоря о достижениях молодой советской литературы, он сетовал на то, что наша критика

---

<sup>73</sup> М. Горький. Предисловие к кн. Владимира Зазубрина «Два мира», ГИХЛ, М., 1935, с. 3.

<sup>74</sup> Альманах «Наши дни» 1925, No 5.

<sup>75</sup> «Сибирские огни», 1928, No 2, с. 214.

<sup>76</sup> «Сибирские огни», 1928, No 2, с. 214

<sup>77</sup> М. Горький. Собр. соч. в 30 томах, т. 24, М., 1963, с. 464

не дала еще должной и необходимой как с художественной, так и с идейной стороны оценки произведениям, посвященным гражданской войне, книгам, написанным на этом «героическом и трагическом материале». Он прямо заявлял: «Надолго останутся в новой истории литературы яркие работы Всеволода Иванова, Зазубрина, Фадеева, Михаила Алексева, Юрия Либединского, Шолохова и десятков других авторов, – вместе они дали широкую, правдивую и талантливейшую картину гражданской войны». <sup>78</sup>

В другой раз, снова возвращаясь к мысли о необходимости хорошо знать историю гражданской войны, хорошо знать о подвиге народа и его жертвах во имя свободы, он опять-таки напомнил о «талантливости и красоте» таких книг, как «Тихий Дон» М. Шолохова, «Хождение по мукам» А. Толстого, «Большевики» М. Алексева, «Два мира» Зазубрина, заметив, что некоторые из этих произведений «еще недостаточно высоко оценены» <sup>79</sup>. Для Горького В. Зазубрин неизменно оставался «весьма даровитым писателем, успешно и усердно работающим над собой» <sup>80</sup>, чей роман «Два мира» «всегда должен быть на книжном рынке». В одном из писем к Р. Роллану Горький охарактеризовал автора «Двух миров» как «очень талантливого молодого литератора» <sup>81</sup>.

Великий пролетарский писатель не ограничился приведенными нами высказываниями. Он сопроводил книгу сибирского писателя своим весьма сочувственным предисловием, в котором писал: «В 21-м году я видел эту книгу на столе В. И. Ленина:

– Очень страшная, жуткая книга, конечно, не роман, но хорошая, нужная книга.

Мне тоже кажется, что социальная полезность книги этой значительна и совершенно неоспорима. Написал ее человек весьма даровитый» <sup>82</sup>.

Мы сознательно привели здесь целый ряд фактов, свидетельствующих прежде всего о том поистине огромном познавательном и воспитательном значении, какое приобрела тотчас же после первого своего появления в печати книга Владимира Зазубрина. К сожалению, в сороковые, пятидесятые годы как сам роман, так и его автор были незаслуженно забыты, забыты настолько, что современный читатель и особенно молодежь не имеют ни малейшего представления о «Двух мирах» – первом крупном художественном произведении о гражданской войне, о бесчеловечных зверствах колчаковщины и героической борьбе народа.

Напомнить читателю о заслугах одного из литераторов старшего поколения, одного из зачинателей советской литературы, чей роман и поныне обжигает сердца суровой,

---

<sup>78</sup> М. Горький. Собр. соч., т. 25, с. 253

<sup>79</sup> М. Горький. Собр. соч., т. 30, с. 135

<sup>80</sup> М. Горький. Собр. соч., т. 27, с. 267

<sup>81</sup> М. Горький. Собр. соч., т. 30, с. 87

<sup>82</sup> М. Горький. Предисловие к кн. Владимира Зазубрина «Два мира». ГИХЛ. М, 1935. с. 3

волнующей правдой, живо воскрешая героическое прошлое нашей родины, мы и ставим своей целью.

Владимир Яковлевич Зазубрин (настоящая его фамилия Зубцов) родился в 1895 году на Волге, в семье железнодорожного служащего. Учился будущий писатель в реальном училище. Юношей в 1916 году он был схвачен и арестован царской охранкой за участие в революционном движении. В тюрьме Зазубрин начинает вести дневник, мечтает серьезно заняться литературой, он обдумывает и вынашивает замысел крупного произведения, надеясь написать роман. В эти же годы им был послан «как-то даже рассказ в одну из «Правд», но его не пропустила цензура»<sup>83</sup>.

В период гражданской войны в Сибири Зазубрин был мобилизован в армию Колчака, откуда ему вскоре удалось бежать и перейти на сторону Красной Армии. В 1921 году он вступил в Коммунистическую партию. В это время появляется в печати его первое крупное произведение – роман «Два мира». Как вспоминал впоследствии сам писатель, трудиться над книгой приходилось в редкие минуты отдыха, урывая время от изнурительной журналистской работы – Зазубрин тогда был армейским политработником, он редактировал ежедневную красноармейскую газету, издававшуюся Пуармом 5, «Красный стрелок».

Гораздо позже, уже в 1928 году, автор «Двух миров», говоря о себе в третьем лице, живо воспроизвел ту атмосферу, в которой создавался первый советский роман. «Конечно, в гражданскую войну и в годы военного коммунизма, – рассказывает он, – некогда было писать. Но в 1920 году, очнувшись после трех недель тифозного бреда, мой товарищ в тифозном же бараке взялся за перо. В 1921 году он издал свой первый роман. Гонораров тогда еще не было. Тем не менее ему выдали в качестве премии 5 000 000 рублей. Пять миллионов рублей! Мой товарищ не был особенно расчетливым человеком, он не положил денег в сберкассу или на свой текущий счет, а истратил их сразу же все на дрова, купил три воза настоящих березовых дров. Помню, мы с ним жарко натопили комнату, и он немедленно же сел за новый роман».<sup>84</sup>

С 1923 по 1928 год Зазубрин был секретарем журнала «Сибирские огни» и одним из ведущих руководителей Сибирского Союза писателей, в создании и организации которого он принимал активнейшее участие. Вообще следует заметить, что ему принадлежит немалая заслуга в собирании художественных сил Сибири, в поддержке талантливой писательской молодежи.

В своем докладе, посвященном пятилетию «Сибирских огней», художник в красочной и образной, речи нарисовал правдивую картину становления сибирской советской литературы. Живо и непринужденно рассказал он о том, как вокруг литературного костра, зажженного «Сибирскими огнями», собирались талантливые люди из разных уголков

---

<sup>83</sup> В. Зазубрин. Заметки о ремесле, «Сибирские огни». 1928, No 2, с. 243

<sup>84</sup> В. Зазубрин. Заметки о ремесле, «Сибирские огни», 1928, No 2, с. 243

обширного края, как на этот притягательный огонек шли Вс. Иванов, А. Караваева, Л. Сейфуллина, В. Итин, Г. Пушкарев и др.<sup>85</sup>

На базе «Сибирских огней» возник в марте 1926 года Сибирский Союз писателей, насчитывавший в своих рядах свыше сотни литераторов, положивших в основу своей работы известную резолюцию ЦК ВКП(б) «О политике партии в области художественной литературы». Будучи одним из вдохновителей Союза, В. Зазубрин повел страстную, непримиримую борьбу за единство и консолидацию сил сибирской советской литературы, против всяких проявлений групповщины в литературной среде. Он был ярким врагом «сектантов» от литературы, последовательно и настойчиво боролся за здоровые формы литературной организации, за «нормальные отношения» между литераторами. Он с горечью и гневом говорил о том, что «писатели нередко растрачивали силы в бесполезной групповой борьбе», вместо того чтобы всецело отдаться творческой работе<sup>86</sup>. Блестящий и талантливый полемист, В. Зазубрин не раз отбивал злопыхательские нападки на молодую литературу Сибири всевозможных рапповских критиков и ортодоксов типа Родова. Он по праву гордился тем, что «Сибирские огни» и Сибирский Союз писателей много сделали для культурного роста Сибири, хорошо сознавая, что литература здесь – «явление большого культурного порядка»<sup>87</sup>. Полемизируя со своими литературными противниками, писатель от лица многих сибирских литераторов имел все основания заявить: «...Скромные маленькие крупинки в общее дело строительства литературы мы все же вносили, вносим и будем вносить»<sup>88</sup>.

Много сделал В. Зазубрин не только по собиранию разрозненных сил литературы Сибири, но и для повышения ее уровня, идейно-художественного мастерства. Он оказывал большое влияние на развитие литературы и непосредственно как художник слова, автор прославленного романа «Два мира», и как вдумчивый критик и товарищ по профессии. Старейшая советская писательница Лидия Сейфуллина, вспоминая о своей начальной писательской учебе, о поисках своего места в литературе, рассказывает: «Роман В. Зазубрина «Два мира» произвел на меня огромное впечатление»<sup>89</sup>. (К слову сказать, Л. Сейфуллина, одна из первых организаторов «Сибирских огней», много сделала наряду с Правдухиным и другими, чтобы привлечь В. Зазубрина к работе в только что организованном журнале).

Прекрасно понимая общественную роль литературы и искусства, высокое назначение художника слова, В. Зазубрин неустанно призывал собратьев по перу к совершенствованию своего мастерства, идейной четкости и ясности. «Стиль, – говорил он,

---

<sup>85</sup> В. Зазубрин. Проза «Сибирских огней», «Сибирские огни», 1927, No2, с. 185 – 201

<sup>86</sup> В. Зазубрин. Писатели и Октябрь в Сибири, «Сибирские огни». 1927, No 6, с. 186

<sup>87</sup> Там же, с. 190

<sup>88</sup> Там же

<sup>89</sup> Лидия Сейфуллина. Памятное, пятилетие, «Сибирские огни». 1927, No 1, с. 218

вспоминая крылатое изречение Бюффона, – это не только человек, но эпоха»<sup>90</sup>. Писать, по его словам, нужно «просто и мудро», добиваясь предельной ясности и лаконичности. Романы и повести надо строить так, чтобы они были «достойными и страны, и эпохи»<sup>91</sup>. А это можно сделать только тогда, когда проникнешься духом своей родины, когда органически впитаешь в себя идеи века, идеи пролетарской революции и социализма. Напоминая о том, что нигде в мире писатели не окружены таким вниманием и заботой правительства и народа, как у нас в СССР, художник требовал от сибирского писателя, чтобы его книга цвела «всей гаммой цветов Сибири»<sup>92</sup>.

Задачи современной литературы он видел «в бескорыстном служении делу Октябрьской революции»<sup>93</sup>. По его мнению, писатель не может быть нейтральным в ожесточенной идеологической борьбе эпохи. Место художника или в лагере революции или же в стане ее врагов. Он полностью разделял ленинский лозунг, выдвинутый еще в годы гражданской войны: кто не с нами, тот против нас. «Преступление, – говорит писатель, – именно сейчас быть безучастным»<sup>94</sup>. В идеях ленинизма, в идеях пролетарской революции В. Зазубрин видел неиссякаемый источник творческого вдохновения. «Наш писатель – боец и строитель», – говорит он в другом месте<sup>95</sup>. Автор «Двух миров» сурово критиковал тех писателей, которые за нэпманскими буднями, за этим «мелководьем» не видели революционной перспективы, утратили непосредственное чувство нового. Он не одобрял тех, кто склонен был «преувеличивать обмельчание дня» и «принимать его за обмельчание революции»<sup>96</sup>. В. Зазубрин не раз сетовал на то, что в литературе Сибири не нашел еще своего должного воплощения подлинный герой современности – образ коммуниста, не нашла своего яркого отражения и роль Коммунистической партии. Идеал положительного героя для него был воплощен в образе В. И. Ленина. Ссылаясь на известные воспоминания А. М. Горького о Ленине, он замечает: «Вот такого коммуниста – многогранного, живого, с его «адски трудной деятельностью» у нас еще в литературе, товарищи, нет»<sup>97</sup>. Явно недостаточно, по его мнению, было уделено внимания в литературе и Красной Армии, заслужившей более пристальное к себе отношение со стороны художников слова.

---

<sup>90</sup> В. Зазубрин. Литературная пушнина, «Сибирские огни», 1927, No 1, с. 212

<sup>91</sup> «Сибирские огни», 1927, No 2, с. 201

<sup>92</sup> Там же, с. 187

<sup>93</sup> «Сибирские огни», 1927, No 6, с. 191

<sup>94</sup> Там же

<sup>95</sup> В. Зазубрин. Литературная пушнина, «Сибирские огни», 1927. No 1, с. 209

<sup>96</sup> В. Зазубрин. Проза «Сибирских огней», «Сибирские огни», 1927. No 2, с. 200

<sup>97</sup> В. Зазубрин. Проза «Сибирских огней», «Сибирские огни», 1927, No 2, с. 200

Примечательно и то, что В. Зазубрин уже в двадцатые годы настойчиво добивался от литературы расширения ее кругозора, усиления ее интернациональных связей. Он призывал сибирских писателей вспомнить о «ближайших соседях» – Индии, Китае, Монголии, Тибете и других странах Азии, где зреет колоссальная революционная энергия; именно здесь настоящий художник может найти неиссякаемый материал и «широчайшие возможности для творчества»<sup>98</sup>.

Наконец, важно указать в духовном облике писателя и на такую его черту, как сознание величайшей ответственности художника перед человечеством за судьбы мира. Отмечая в своем юбилейном докладе, посвященном десятилетию Октября, что сибирские писатели единодушны в своей готовности встать на защиту СССР, когда это будет нужно, В. Зазубрин четко и ясно заявил: «Мы... единодушны в искреннем желании отстаивать мир, до последней возможности бороться с теми, кто его хочет нарушить»<sup>99</sup>. Это высказывание тем более необходимо отметить, что оно было сделано в тот момент, когда внешняя и внутренняя реакции активизировали свою деятельность, когда образовался единый антисоветский фронт от Керзона до Троцкого.

До самозабвения влюбленный в жизнь, страстный рыболов и охотник, В. Зазубрин был человеком темпераментным и необыкновенно общительным. Личные и литературные связи его огромны. Он любил выступать с докладами о литературе, с чтением своих произведений в рабочих и красноармейских клубах. В новосибирской печати середины и конца двадцатых годов нередко можно было встретить сообщения такого рода: «В клубе Н-ской дивизии ГПУ с докладом «Чека и ГПУ в литературе» выступил т. Зазубрин, впервые прочитавший отрывки из нового своего романа «Щепка»<sup>100</sup>, или: «С докладами на литературных вечерах у красноармейцев выступали В. Зазубрин и В. Итин»<sup>101</sup>.

В 1927 году Зазубрин участвовал в работе XV партсъезда, о котором он оставил чрезвычайно интересные эскизные зарисовки.

Его заметки о съезде написаны рукою вдумчивого и наблюдательного художника. Живые человеческие характеры, бытовые, неповторимые детали метко схвачены писателем в беглых, но выразительных зарисовках Петровского, Ворошилова, Буденного, Орджоникидзе, Рудзутака, Феликса Кона, Литвинова и других делегатов съезда. Он справедливо полагал, что литератору необходимо быть на съезде партии, так как «Съезд – это колоссальный аккумулятор энергии масс», где «собирается коллективный опыт масс»<sup>102</sup>.

---

<sup>98</sup> Там же

<sup>99</sup> Зазубрин. Писатели и Октябрь, «Сибирские огни», 1927, No 6, с. 187

<sup>100</sup> См. заметку «Писатели у красноармейцев», «Сибирские огни», 1928. No 2. с. 267

<sup>101</sup> Там же, с. 268

<sup>102</sup> В. Зазубрин. Заметки о ремесле, «Сибирские огни», 1928, No 2, с. 246, 250

Художнику особенно было приятно отметить, что на этом историческом съезде, наметившем перспективы первой пятилетки, взявшем курс на коллективизацию сельского хозяйства, билась вечно живая ленинская мысль, чувствовалась его воля. Создавалось «впечатление, – говорит писатель, – будто он несколько минут тому назад выступал и сейчас куда-то ушел»<sup>103</sup>. Зазубрин признавался, анализируя свои впечатления от съезда: «Мне как-то хорошо от сознания того, что вся эта многотысячная толпа – люди одной партии и единой воли»<sup>104</sup>.

В конце 20-х годов Зазубрин, будучи председателем Сибирского Союза писателей и одним из редакторов «Сибирских огней», поддерживает оживленную связь с А. М. Горьким. В то время как отдельные сибирские литераторы из троцкистской группы «Настоящее» обливали грязью и клеветой великого пролетарского писателя, Зазубрин и его товарищи посвящают Горькому специальный номер «Сибирских огней», в котором публикуются приветственные статьи и воспоминания о крупнейшем пролетарском художнике В. Итина, Г. Вяткина, поздравительные телеграммы, письма самого А. М. Горького и другие материалы.

В приветственной статье, открывающей горьковский номер журнала, Зазубрин с большой теплотой и признательностью говорит о Горьком как «мужественном бойце, ласковом, внимательном друге и товарище», как человеку, которому «многим обязана» литература Сибири. «Молодая литература Сибири, – пишет он, – никогда не забудет нужных, правдивых, ободряющих слов М. Горького, сказанных ей вовремя»<sup>105</sup>.

Большая общественная и журналистская работа отнимала у писателя массу времени, необходимого для интенсивного творческого труда. Но огонь творчества никогда не угасал в Зазубрине. В двадцатые годы он много и упорно работал над романом о чекистах. Идея нового произведения зародилась у него после знакомства и последующих бесед с одним из работников ГПУ. «Когда он мне рассказал, – говорит писатель, – о своей тягчайшей работе, я понял, что напал на нетронутые золотые россыпи материала»<sup>106</sup>.

Роман этот под названием «Щепка» создавался на тихой маленькой улочке, напоминающей деревенскую своими низенькими домиками с крепкими воротами и ставнями, засыпанными снегом. Но любимому произведению Зазубрина, потребовавшему от художника более пяти лет напряженнейшего труда, так и ни суждено было увидеть свет. Книга осталась незавершенной в рукописи, и не случайно. Дело в том, что В. Зазубрина как художника всегда отличала острота в постановке наиболее болезненных вопросов, но эти болезненные вопросы писатель подчас освещал в искаженном свете, не находя правильного их разрешения. Показательны в данном случае его произведения,

---

<sup>103</sup> Там же, с. 248

<sup>104</sup> Там же, с. 247

<sup>105</sup> В. Зазубрин. Максим Горький, «Сибирские огни», 1928, N 2, с. 4

<sup>106</sup> В. Зазубрин. Заметки о ремесле, «Сибирские огни», 1928, N 2, с. 243

написанные еще до романа «Щепка» – «Общежитие» и «Бледная правда». Обе эти вещи были опубликованы на страницах «Сибирских огней» в 1923 году.

Путь В. Зазубрина в литературе был сложным и противоречивым. Художник мечтал сделать, говоря его словами, хоть скромную, маленькую, но свою зазубринку на огромной шкале культурных завоеваний Октября. Он лелеял мечту написать книгу «о простых вещах и простых людях», книгу, где не было бы крови и ужасов. Ему была знакома величайшая радость художника, завершившего свое творение, которое заставит читателя жить его радостями, болеть его болью. «Мы бываем, – говорит он, – самыми счастливыми людьми на всей земле, когда ставим последнюю точку на последней странице своей новой книги и когда видим, что рука читателя, ее читающего, радостно вздрагивает и на лбу у него мелькают облачка раздумья»<sup>107</sup>.

На долю Зазубрина такое счастье, если не считать романа «Два мира», выпадало скупое и редко. В конце 1928 года он вынужден был покинуть Новосибирск и перебраться в Москву. В Новосибирске вокруг писателя была создана «настоященцами» болезненная и нездоровая обстановка, его стали травить, исключили из Союза Сибирских писателей, в организацию которого он вложил столько труда и энергии. До 1937 года Зазубрин заведовал одним из отделов журнала «Колхозник». В начале 30-х годов им был опубликован новый роман «Горы». Однако и этот последний труд писателя мало что прибавил к славе автора «Двух миров». В нашей большой литературе В. Зазубрин остался творцом первого советского романа, выдержавшего в свое время за сравнительно короткий срок 10 изданий.

«Два мира» явились первым непосредственным откликом на события, которые еще не успели отойти в прошлое и стать историей. Роман вышел в то время, когда, по словам писателя, «автор и все его художественные «корреспонденты» буквально еще не успели износить ботинок, в которых они месили липкую и теплую грязь полей сражения»<sup>108</sup>.

Указанное обстоятельство наложило неизгладимый отпечаток на все произведения В. Зазубрина, обусловило его идейно-художественное своеобразие. Приступая к работе над книгой, автор поставил перед собою вполне определенную задачу – «дать красноармейской массе просто и понятно написанную вещь о борьбе «двух миров» и использовать агитационную мощь художественного слова»<sup>109</sup>.

Такое вполне осознанное стремление к использованию «агитационной мощи художественного слова» обусловило и известную поспешность в обработке материала, притом основная работа в газете отнимала массу времени, и поэтому книга вышла до некоторой степени, по мнению писателя, сырой и незавершенной. На страницах романа постоянно чувствуется рука как художника, так и политработника, которые «не всегда были в ладу», иногда в нем политработник брал верх над художником, отчего

---

<sup>107</sup> В. Зазубрин. Заметки о ремесле. «Сибирские огни», 1928, No 2, с. 246

<sup>108</sup> В. Зазубрин. Предисловие к четвертому изданию. Два мира, Новосибирск, 1928, с. 6

<sup>109</sup> Там же, с. 6



художественная сторона работы подчас страдала. Но, как справедливо полагал еще в 1923 году писатель, книга и в своем первоначальном виде «сможет дать... некоторое представление о колчаковщине в Сибири»<sup>110</sup>. Позднее автор сознательно отказался от каких бы то ни было исправлений текста, считая, и не без основания, что «нельзя исправлять записей, сделанных по свежей памяти и по рассказам очевидцев», не успевших еще износить тех башмаков, в которых они шагали по полям сражений.

Таким образом, роман В. Зазубрина не просто художественное произведение, а одновременно и взволнованный, страстный, написанный кровью сердца живой человеческий документ, возникший по горячим следам и оставленный потомству одним из непосредственных участников изображаемых событий.

Книга, посвященная показу героической борьбы трудового народа с бандитскими ордами Колчака, стойкости и самоотверженности простых русских людей, была адресована писателем сотням и тысячам безвестных героев гражданской войны. Не случайно роману «Два мира» предпослано волнующее и торжественное посвящение. Уже само это торжественно-приподнятое, необычайное посвящение сразу же вводит читателя в атмосферу книги – атмосферу грозную, трагическую и героическую в своей основе.

«Два мира», названные автором романом, по существу не укладываются в традиционное представление о романе. Напрасно мы стали бы здесь искать сюжетные линии и их развитие, художественную разработку тех или иных характеров в нашем обычном представлении. Книга В. Зазубрина скорее своеобразная хроника, где развитие действия соотносено с развитием больших исторических событий в их календарной последовательности. Логика развития характеров, сюжета у него подчинена другой логике – железной и неумолимой логике классовой борьбы в ее наивысшем выражении. Его роман представляет из себя по существу множество интенсивно нагнетаемых и, как правило, страшных кровавых сцен, внешне как будто мало связанных друг с другом; иногда их без ущерба для развития сюжета можно даже поменять местами. Но эти разрозненные сцены и эпизоды сцементированы единым идейным замыслом, общей направленностью книги, воскрешающей правду о колчаковщине, правду о нелегком торжестве революции и ее героических участниках и творцах. В итоге причудливая художественная мозаика воссоздает цельную и яркую картину гражданской войны в Сибири, где отдельные эпизоды воспринимаются как части единого в своей композиционной завершенности художественного полотна, грандиозной художественной панорамы.

Повествование в книге В. Зазубрина все время идет на контрастах, читатель постоянно ощущает эти два взаимоисключающих потока – борьбу двух миров – революции и контрреволюции, народа и его поработителей. Вместе с тем в изображении лагеря контрреволюции художник в свою очередь не скупится на контрастные, часто прямолинейно-плакатные краски, настойчиво выявляя разницу между разглагольствованиями колчаковцев о гуманности, свободе, культуре, цивилизации и пр. и их внутренней, настоящей сущностью. В нашей литературе мало найдется книг, в которых

---

<sup>110</sup> В. Зазубрин. Предисловие ко второму изданию. Два мира, Новосибирск, 1928, с. 6

разоблачение зверств белогвардейщицы было бы дано с такой обнаженной, потрясающей душу правдой. Издевательства, насилия, расстрелы, повешение, закапывание живьем, грабеж, поджоги целых деревень, массовые порки, убийство стариков и малолетних, необузданные, дикие пьяные оргии, торговля родиной, мародерство и беззастенчивая спекуляция, полная моральная деградация – вот те страшные вехи, которые оставили на пути своего следования Колчак и его сатрапы, вот что подметил в сибирской белогвардейщине зоркий взгляд художника и разоблачение чего составляет, пожалуй, наиболее сильную сторону его книги.

Уже буквально с первых же страниц романа перед читателем возникает фигура толстогоблого поручика Громова с гладко выбритым четырехугольным подбородком, фигура человека, который методично, с дьявольским хладнокровием расстреливает деревенских беженцев – стариков, женщин, ребятишек. «Разбитые телеги сгрудились в кучу; лошади, издыхая, дергали ногами; с вырванными животами, оторванными руками и ногами, с разбитыми черепами валялись люди. Кто-то стонал. Мертвые руки Жарковой сжимали маленькую головку Васи. Русые пушистые волосы ребенка слиплись, стали красными. Головки убитых детей среди груды разломанных телег, дохлых лошадей, мертвых и раненых людей пестрели нежными цветками голубеньких, черных, синих глазенок, сверкающих еще не высохшими слезами».

С беспощадным реализмом, зачастую переходящим в натуралистически-обнаженное изображение нечеловеческих жестокостей, художник рисует кровавую вакханалию белогвардейских карателей – красильниковцев, анненковцев и других. С особой тщательностью в романе выписаны «подвиги» полковника-карателя Орлова и его банды. Вот на глазах стариков родителей, в присутствии мужа и детей насилуют молодую крестьянку, вот измываются над девочкой-подростком, вот солдатня врывается к девушке-учительнице и оскверняет ее, вот избивают старика и т. д. – все в том же духе. Первая глава, носящая символическое название «Коготь», заканчивается характерным идейно-художественным штрихом: избитая, опозоренная и обесчещенная учительница, очнувшись, замечает на затоптанном и заплеванном полу воззвание адмирала Колчака к населению России, воззвание, в котором незадачливый адмирал обещает народу помочь «осуществить великие идеи свободы», заявляя, что он, Колчак, не пойдет «ни по пути реакции, ни по гибельному пути партийности», клянется установить в стране «законность и правопорядок». На этот лживый манифест «верховного правителя Сибири» упал зловещий отблеск пожарищ, насилий и пыток, чудовищного кровопролития. Писатель нашел точный и верный фокус, позволивший ему раскрыть в истинном свете драматизм происходящего, которое является своего рода прологом и выразительным комментарием к этому манифесту. Он нашел и в чисто художественном плане верную и выразительную психологическую деталь. Обезумевшей от надругательств девушке хищный росчерк слитографированной фамилии омского диктатора с разбрызганными каплями чернил представляется когтем с почерневшими, засохшими капельками крови; этот зловещий черный коготь хищника постепенно в ее затуманенном сознании «стал расти, краснеть, кровь потекла с него ручейками».

Огнем и мечом истребляет полковник Орлов непокорное крестьянство Сибири, выжигая и уничтожая целые селения, оставляя после себя обугренные кровью пепелища. Автор говорит о нем: «Полковник принадлежит к числу тех офицеров, которые работали в армии

не за страх, а за совесть. Он был ослеплен ненавистью к красным, его жестокость не знала рамок. Он принялся искоренять большевизм со всем рвением фанатика-черносотенца».

Но, возможно, Орлов – исключение, патологическое уродство? История гражданской войны свидетельствует как раз об обратном. Образы кровавых белых карателей запечатлены и в художественной литературе, и в многочисленных документах эпохи.

Типичность образа Орлова нагляднее и ярче всего проявляется при сопоставлении его с обликом других персонажей из белогвардейского лагеря, нарисованных писателем. Перед читателем, как в калейдоскопе, проходят защитники старого мира всех мастей. Роднит их одно – звериная, зоологическая ненависть к восставшему народу, сближает единственное заветное желание – поскорее вернуть свои прежние привилегии. Эти затаенные мечты все время прорываются наружу у героев Зазубрина. И о том, что писатель здесь опять-таки не погрешил против исторической правды, говорят стихи утонченной в прошлом поэтессы – декадентки Зинаиды Гиппиус, заявившей в годы революции: «Скоро в старый хлев ты будешь загнан палкой, народ, не уважающий святынь». Чувства, испытываемые Зинаидой Гиппиус к народу, близки и понятны белогвардейцам, изображенным Зазубриным.

Кто же они, эти почитатели и хранители «святынь»? Это спекулянты и колчаковские офицеры, вступающие с ними в сделку, это бежавшие от советской власти под крылышко Колчака профессора, лицемерно произносящие длинные речи о гуманности и одновременно под покровом своего словоблудия скрывающие ту же зоологическую ненависть к народу, который они в минуту откровенности призывают беспощадно уничтожать, профессора, отводящие душу в дружеских беседах с теми же спекулянтами; кадеты, меньшевики, эсеры и пр., и пр. Выразительную галерею этих типов дополняют бывшие фабриканты, заводчики и военные «союзнички» России по первой мировой войне – французы, американцы, англичане, итальянцы, не говоря уже о поляках и особенно чехах. В ряде сцен романа живо воспроизведены расправы интервентов над мирным населением. Так, в главе «Победят люди» автор, приведя длинную краснобайскую речь профессора о победе человека над зверем, речь, обращенную к отъезжающим на фронт офицерам, переносит читателя на станцию Тайшет, где расквартированы были чешский и румынский эшелоны, и первое, что видит читатель, – это самодовольно улыбающийся чешский комендант, стоящий возле трех повешенных. В другой раз он заставляет читателя пережить всю сцену казни, учиненной чешскими офицерами без суда и следствия над группой крестьян. Не уступают чехам в мародерстве, насилиях и жестокостях и французы, и американцы, и японцы, не говоря уже о колчаковцах, продавших свою родину иностранным интервентам. С наибольшей художественной силой и убедительностью автором разработан образ подпоручика Мотовилова – потомственного кадрового офицера. Подпоручик Мотовилов такой же убежденный фанатик черносотенного толка, как и полковник Орлов. Мотовилов не скрывает своих махрово-монархических убеждений. Он грубо обрывает офицера Колпакова, когда тот заговорил о «великой России, свободе, законности и порядке». Ему противно это «либеральное словоблудие». «Какое там к черту царство свободы! – заявляет Мотовилов. – Кричите царство Романовых, и кончено. Вот это дело, я понимаю». Ему ничего не стоит ударить по лицу солдата, старика крестьянина. Мотовилова восхищает расправа чехов над его же соотечественниками. Он презирает всякие человеческие чувства, особенно ему ненавистна

жалость. Подпоручик признает только право сильного. В действительности это приводило к оправданию беззакония, открытого бандитизма, толкало на грабежи и убийства.

Под стать Мотовилову и какой-нибудь Костя Жестиков, садистски наслаждающийся жестокостями, насилующий малолетних, убивающий и губящий десятки жизней. Не лучше их и беспринципный Рагимов, которому безразлично, на чьей стороне правда. Он готов служить, по его словам, «и черту, и богу, лишь бы платили хорошо».

Своеобразное место в «Двух мирах» занимает фигура офицера-подпоручика Барановского. В отличие от Мотовилова его разьедают сомнения в правильности избранного им пути.

Уходя на фронт, Барановский выслушивает напутствия любимой им девушки – нарядной и изнеженной дочери профессора. Татьяна Владимировна настолько ослеплена ненавистью к красным, к большевикам, что, не задумываясь, готова пожертвовать жизнью любимого человека ради спасения своего благополучия. Народ для нее – «стадище баранов». Она стоит за власть немногих, но «мудрых, культурных людей».

Непосредственное общение с людьми типа Мотовилова, долгие размышления над происходящим постепенно убеждают Барановского в совершенной им трагической ошибке. Он чувствует себя чужим среди белых и вместе с тем не решается, боясь, как офицер, гнева народного, смело и решительно перейти на сторону красных. И только в пылу опьянения он с горечью высказывает свои затаенные мысли.

Белая идея оказалась кровавой, античеловеческой идеей. Не случайно возникает перед больным Барановским в его бредовых видениях образ некогда любимой им женщины, обогрванной кровью невинных жертв.

Потрясающее впечатление оставляют картины, изображающие отступление и деморализацию колчаковской армии. Вся гниль, вся нечисть, все звериное и скотское, что несло в себе белое движение, теперь всплыло на поверхность, стало разлагаться и смердеть. Даже природа, окружающая разваливающуюся армию Колчака, утратила всю свою прелесть и краски. Бывшие хозяева России не только внутренне опустошены, разбиты, но они не нужны и враждебны всему окружающему.

Этому агонизирующему, страшному старому миру в романе противостоит нарождающийся новый мир. Художник и здесь не погрешил против правды. Он не замалчивает в своих героях недостатков, порой жестокости, рецидивов собственнической психологии и пр. Особенно это сказалось в главе «Всеми миру или тебе», где крестьяне, предводительствуемые хитрым и трусливым старостой, из-за боязни расправы заживо закапывают в могилу одного из своих односельчан.

Пробуждение к активной борьбе многомиллионного сибирского крестьянства, широта и размах партизанского движения встают перед читателем в ряде колоритных и живописных сцен романа. На всенародную борьбу за правое дело поднимаются не только крестьяне, так или иначе пострадавшие от колчаковской тирании, но и отдельные представители господствующих классов, решивших, подобно бывшему священнику Воскресенскому, навеки связать свою судьбу с судьбой родины и родного народа.

Постепенно начинают прозревать и рядовые колчаковцы, особенно те из них, кто насильственно был призван в белую армию, – тысячи обманутых эсерствующей и меньшевистской демагогией представителей трудящихся.

Нелегко и сложен путь этих простых русских людей, совершивших трагическую ошибку, к постижению правды.

Значительное место в романе занимают образы партизан, картины возмущения и гнева народного. Правда, справедливость требует отметить, что в художественном отношении образы партизан, особенно руководителей, таких, как комиссар Моллов, командир Жарков и других, разработаны значительно бледнее и схематичнее, чем представителей противоположного лагеря. Художнику в изображении партизанского движения более удалось так называемые массовые сцены – сцены собраний партизан, сцены боев. Особенно выразительно сделана глава «Пили, пили...», ярко передающая все напряжение и остроту схватки горстки партизан с вооруженным и многочисленным противником. Весь драматизм положения партизанского отряда, прижатого к непроходимой тайге, героическое прокладывание под постоянным огнем противника дороги через сплошную стену леса оставляют у читателя сильное и неизгладимое впечатление, воскрешая в памяти аналогичную сцену из «Разгрома» А. Фадеева.

Атмосферу эпохи живо передает в романе и необычная манера повествования. Часто автор не высказывает своего прямого, непосредственного отношения к происходящему. Создается впечатление, что он только бесстрастно фиксирует события, предоставляя читателю самому делать вывод. Но этот объективизм художника мнимый, кажущийся. Весь пафос книги, расположение светотеней в ней направлены на утверждение правды революции, ее неизбежного торжества.

Художественное своеобразие книги ярко проявляется и в ее языке, во всем стилистическом строе. Колоритно выписанные рукою художника сцены и картины перемежаются частыми публицистическими комментариями.

Время врывается в повествование многочисленными частушками, песнями: и революционными, и народными, и офицерскими, и открыто белогвардейскими. Вот некоторые из них: «Русски с русскими воюют, а чехи сахаром торгуют». Или знаменитые частушки, которые с визгом исполняет шансонетка в одном из колчаковских кафешантанов: «Костюм английский, Погон российский, Табак японский, Правитель Омский».

Колорит эпохи оживает не только в песнях и частушках, но и в многочисленных приказах, воззваниях и указах белогвардейских генералов и атаманов, которыми автор обильно уснащает свое повествование. Следует заметить, что введение в художественный текст деловых документов только усиливает цельность впечатления, острее оттеняя правду изображаемого.

Своеобразна и авторская манера строить фразу, особенно при изображении массовых сцен. Эта манера роднит В. Зазубрина с нашей литературой начала двадцатых годов, когда многие молодые писатели – и Лавренев, и Фадеев, и др. – прошли через так называемую рубленую прозу. Определенную дань отдал этому и автор «Двух миров», для стиля

которого характерна короткая, рубленая фраза. «Звоном колокольным ударило при входе в улицу. Золото икон и хоругвей блеснуло навстречу. Пирогами, шаньгами, свежим хлебом запахло. Широко расступились дома. Огромная толпа на площади. В середине зачем-то черный с крестом Мефодий Автократов. И звон. Ведь тогда тоже был звон. Тогда он лгал. А теперь? Рачве радовался? Опрокинуть все это. Залить своим. Теснее ряды. Лица тверды и суровы. Снег хрустит».

Таким образом, в стилевом, композиционном и сюжетном отношении роман «Два мира» представляет из себя сложный сплав различных и, на первый взгляд, разнородных элементов, где рубленая проза перемежается ярко выраженной публицистикой, живая зарисовка сменяется пространной речью или столь же пространным спором, как в конце романа спор между Моловым и Барановским, задорная частушка – революционным гимном, документ приказа или инструкции – массовой сценой, картины истязаний и расстрелов – сценами митингов и собраний, необузданными оргиями, эпизодами сражений, панического бегства и т. д., и т. д. И вместе с тем эта кажущаяся пестрота подчинена общему идейному замыслу – дать наглядную картину гражданской войны и разгрома колчаковщины в Сибири.

С этой важнейшей задачей художник, как видим, справился прекрасно. Он создал поистине новаторское произведение, впервые с такой полнотой изобразившее участие широких народных масс в революции. Поэтому с полным правом автор «Двух миров», анализируя свой собственный писательский опыт и опыт своих товарищей по перу, мог позднее сказать: «Революция научила нас писать по-новому. Она научила нас оперировать массами, заставила писать по принципу «смещения планов»<sup>111</sup>.

Книга В. Зазубрина – явление не только историческое. Она и в наши дни звучит необычайно современно. Это не только правдивый рассказ о рождении нового мира, о подлинно народном характере Октябрьской революции, но и гневный протест художника против «прелестей» буржуазной «свободы», порядков и нравов «свободного мира». Его роман наглядно показывает, что несут с собой белые знамена контрреволюции.

Рассказывая о виденном и пережитом, писатель вскрывает истоки народного гнева против поработителей. В одном месте романа он пишет: «Гнет атамановщины в районе Медвежьего, Пчелина и Широкого становился с каждым днем все сильнее. Порки, расстрелы чередовались с виселицами, конфискациями и сжиганием целых сел и деревень. Жизнь в местах расположения иностранных войск и группы атамана Красильникова стала опасной самому безобидному, чуждому всякой политики землеробу. Все крестьянство подозревалось в сочувствии и содействии большевикам. Суда и следствия не существовало, их заменяло усмотрение начальства. Голословный оговор, анонимный донос или подозрение являлись достаточным основанием для приговора к смерти десятков людей. Крестьяне бросали свои хозяйства, дома и с семьями уходили в тайгу, пополняли партизанские отряды. Остающиеся дома были запуганы до последней степени, до потери рассудка и здравого смысла».

---

<sup>111</sup> В. Зазубрин. Писатели и Октябрь в Сибири, «Сибирские огни», 1927, № 6, с. 185

В главе «Все пойдем» художник свои наблюдения и размышления переплавил в волнующую картину народного гнева, его перехода от пассивности к активной борьбе с ненавистным врагом.

Так «Два мира» В. Зазубрина из волнующего документа героической эпохи превращаются в обвинительный и беспощадный приговор миру насилия и лжи, миру реакции и контрреволюции.

Первоначально роман был задуман как своеобразная трилогия, в которой «Два мира» должны были составить первую часть. В 1922 году писатель опубликовал на страницах журнала «Сибирские огни» отрывки из второй и третьей книг задуманной им эпопеи. В этих отрывках он рассказал об установлении советской власти в районах, освобожденных от Колчака, о налаживании хозяйственной и культурной жизни, о первых попытках создания крестьянских коммун. Из них же мы узнаем о дальнейшей судьбе отдельных персонажей «Двух миров», в частности о трагической и нелепой гибели подпоручика Барановского, погибающего случайно, по недоразумению, вместе с другими пленными белогвардейцами. Об этом рассказано в главе с характерным названием «Под колесами».

Подпоручик Барановский с его поисками справедливости, неизжитыми иллюзиями абстрактного буржуазного гуманизма пал жертвой собственных противоречий, оказался под колесами неумолимой в своем ходе истории.

В главе «Чудо» из третьей части романа художник поведал о том, как в новых условиях, в условиях окончательной победы народа, классовая борьба принимает новые формы, как замаскировавшиеся враги прибегают к скрытым, изощренным и не менее жестоким приемам борьбы с советской властью. В главе «Чудо» снова появляется зловещая фигура, эпизодически мелькавшая на страницах «Двух миров», попа Автократова с его неистребимой ненавистью к победителям.

Как известно, писатель в дальнейшем отказался от продолжения своей книги, очевидно полагая, что главное им уже было сделано в «Двух мирах».

Роман В. Зазубрина останется в нашей литературе как первая серьезная попытка осмысления художником событий большого исторического значения, как яркая и волнующая страничка гражданской войны и одновременно как один из первых опытов, первых шагов в становлении советской прозы. Книга В. Зазубрина доносит до нас живое, горячее дыхание героической эпохи. Она и поныне учит революционной бдительности, ненависти к врагам родины, уважению и любви к великому русскому народу и его славным революционным традициям, его духовной мощи, здоровью, красоте и силе.

(В. Трушкин)

## В. ЗАЗУБРИН. ЩЕПКА<sup>112</sup>

На дворе затопали стальные ноги грузовиков. По всему каменному дому дрожь.

На третьем этаже на столе у Срубова звякнули медные крышечки чернильниц. Срубов побледнел. Члены Коллегии и следователь торопливо закурили. Каждый за дымящую занавесочку. А глаза в пол.

В подпале отец Василий поднял над головой нагрудный крест.

- Братья и сестры, помолимся в последний час.

Темно-зеленая ряса, живот, расплывшийся книзу, череп лысый, круглый-просвирка заплесневевшая. Стал в угол. С нар, шурша, сползали черные тени. К полу припали со стоном.

В другом углу, синяя, хрипел поручик Снежницкий. Короткой петлей из подтяжек его душил прапорщик Скачков. Офицер торопился - боялся, не заметили бы. Повертывался к двери широкой спиной. Голову Снежницкого зажимал между колен. И тянул. Для себя у него был приготовлен острый осколок от бутылки.

А автомобили стучали на дворе. И все в трехэтажном каменном доме знали, что подали их для вывозки трупов.

Жирной, волосатой змеей выгнулась из широкого рукава рука с крестом. Поднимались от пола бледные лица. Мертвые, тухнущие глаза лезли из орбит, слезились. Отчетливо видели крест немногие. Некоторые только узкую, серебряную пластинку. Несколько человек - сверкающую звезду. Остальные-пустоту черную. У священника язык лип к небу, к губам. Губы лиловые, холодные.

- Во имя отца и сына...

На серых стенах серый пот. В углах белые ажурные кружева мерзлоты.

Листьями опавшими шелестели по полу слова молитв. Метались люди. Были они в холодном поту, как и стены. Но дрожали. А стены неподвижны - в них несокрушимая твердость камня.

На коменданте красная фуражка, красные галифе, темно-синяя гимнастерка, коричневая английская португепя через плечо, кривой маузер без кобуры, сверкающие сапоги. У него бритое румяное лицо куклы из окна парикмахерской. Вошел он в кабинет совершенно бесшумно. В дверях вытянулся, застыл.

Срубов чуть приподнял голову.

- Готово? Комендант ответил коротко, громко, почти крикнул:

- Готово.

---

<sup>112</sup> Впервые опубликовано в 1923 году. Печатается по: В. Зазубрин. Щепка  
[//http://royallib.com/book/zazubrin\\_v/shchepka.html](http://royallib.com/book/zazubrin_v/shchepka.html)



И снова замер. Только глаза с колющими точками зрачков, с острым стеклянным блеском были беспокойны.

У Срубова и у других, сидевших в кабинете, глаза такие же - и стеклянные, и сверкающие, и остротревожные.

- Выводите первую пятерку. Я сейчас.

Не торопясь набил трубку. Прощаясь, жал руки и глядел в сторону.

Моргунов не подал руки.

- Я с вами- посмотреть.

Он первый раз в Чека. Срубов помолчал, поморщился. Надел черный полушубок, длинноухую рыжую шапку. В коридоре закурил. Высокий грузный Моргунов в тулупе и папахе сутулился сзади. На потолке огненные волдыри ламп. Срубов потянул шапку за уши. Закрыв лоб и наполовину глаза. Смотрел под ноги. Серые деревянные квадратики паркета. Их нанизали на ниточку и тянули. Они ползли Срубову под ноги, и он сам, не зная для чего, быстро считал:

- ...Три... семь... пятнадцать... двадцать один...

На полу серые, на стенах белые - вывески отделов. Не смотрел, но видел. Они тоже на ниточке.

...Секретно-оперативный... контрревол... вход воспр... бандитизм... преступл...

Отсчитал шестьдесят семь серых, сбился. Остановился, повернул назад. Раздраженно посмотрел на рыжие усы Моргунова. А когда понял,- сдвинул брови, махнул рукой. Застучал каблуками вперед. Мысленно твердил: "...Манти-менты... санти-менты... санти..."

Злился, но не мог отвязаться.

- ...Санти-менты... менты-санти...

На площади лестницы часовой. И сзади этот зритель, свидетель ненужный. Срубову противно, что на него смотрят, что так светло. А тут ступеньки. И опять пошло.

- ...Два... четыре... пять... Площадка пустая. Снова:

- ...Одна... две... восемь...

Второй этаж. Новый часовой. Мимо, боком.

Еще ступеньки.

Еще.

Последний часовой. Скорее. Дверь. Двор. Снег. Светлее, чем в коридоре.

И тут штыки. Целый частокол. И Моргунов, бестактный, лепится к левому рукаву, вяжется с разговором.

Отец Василий все с поднятым крестом. Приговоренные около него на коленях. Пытались петь хором. Но пел каждый отдельно.

- Со свя-ты-ми упо-ок-о-о-о...

Женщин только пять. А мужских голосов не слышно. Страх туго набил стальные обручи на грудные клетки, на глотки и давил. Мужчины тонко, прерывисто скрипели:

- Со свя-ты-ми... свят-ты-ми...

Комендант тоже надел полушубок. Только желтый. В подвал спустился с белым листом-списком.

Тяжелым засовом громынула дверь.

У певших нет языков. Полны рты горячего песку. С колен встать все не смогли. Ползком в углы, на нары, под нары. Стадо овец. Визг только кошачий. Священник, прислонясь к стене, тихо заикался:

- ... упо-по-по-о-о...

И громко портил воздух.

Комендант замахал бумагой. Голос у него сырой, гнетущий - земля. Назвал пять фамилий-задавил, засыпал. Нет сил двинуться с места. Воздух стал как в растревоженной выгребной яме. Комендант брезгливо зажал нос.

Длинноусый есаул подошел, спросил:

- Куда нас?

Все знали-на расстрел. Но приговора не слышали. Хотели окончательно, точно. Неизвестность хуже.

Комендант суров, серьезен. Так вот прямо, не краснея, не смущаясь, глаза в глаза уставил и заявил:

- В Омск.

Есаул хихикнул, присел.

- Подземной дорогой?

Полковнику Никитину тоже смешно. Согнул широкую гвардейскую спину и в бороду:

- Хи-хи...

И не видел, что из-под него и из-под соседа генерала Треухова ползли по нарам топкие струйки. На полу от них болотца и пар.

Пятерых повели. Дверь плотно загородила выход. Лязгнул люк во двор. Шум автомобилей яснее. И был похож он на стук комьев мерзлой земли в железную дверь подвала. Запертым показалось, что их заживо засыпают.

- Ту-ту-ту-ту-ту. Фр-ту-ту. Фр-ту-ту.

Капитан Боженко встал у стены. Подбоченился. Голову поднял. Под потолком слабенькая лампочка. Капитан подмигнул ей.

- Меня, брат, не найдут.

И на четвереньках под нары.

Из угла поручик Снежницкий показывал всем синий мертвый язык. От коменданта Скачков его спрятал. А себе горло не перерезал. Вертел в руках стекло и не решался.

Маленький огненный волдырек на потолке неожиданно лопнул. Гной из него черной смолой всем в глаза. Тьма. В темноте не страх-отчаяние. Сидеть и ждать невозможно. Но стены, стены. Кирпичный пол. Ползком с визгом по нему. Ногтями, зубами в сырые камни.

Срубову и пяти выведенным показалось, что узкий снежный двор накаленный добела металлический зал. Медленно вращаясь на дне трехэтажного каменного колодца, зал захватил людей и сбросил в люк другого подвала на противоположном конце двора. В узком горле винтовой лестницы у двоиххватило дыхание, закружились головы-упали. Остальных троих сбили с ног. На земляной пол скатились кучей.

Второй подвал без нар изогнут печатной буквой Г. В коротком крючке каменной буквы, далеко от входа, мрак. В длинном хвосте - день. Лампы сильнее через каждые пять шагов. На полу все бугорки, ямки видны. Никогда не спрятаться. Стены кирпичными скалами сошлись вплотную, спаялись острыми четкими углами. Сверху навалилась каменная пустобрюхая глыба потолка. Не убежать. Кроме того, конвоиры-сзади, спереди, с боков. Винтовки, шашки, револьверы, красные, красные звезды. Железа, оружия больше, чем людей.

"Стенка" белела на границе светлого хвоста и неосвещенного изгиба. Пять дверей, сорванных с петель, были приставлены к кирпичной скале. Около пять чекистов. В руках большие револьверы. Курки - черные знаки вопросов-взведены.

Комендант остановил приговоренных, приказал:

- Раздеться.

Приказание, как удар. У всех пятерых дернулись и подогнулись колени. А Срубов почувствовал, что приказание коменданта относится и к нему. Бессознательно расстегнул полушубок. И в то же время рассудок убеждал, что это вздор, что он предгубчека и должен руководить расстрелом. Овладел собой с усилием. Посмотрел на коменданта, на других чекистов-никто не обращал на него внимания.

Приговоренные раздевались дрожащими руками. Пальцы, похолодевшие, не слушались, не гнулись. Пуговицы, крючки не расстегивались. Пугались шнурки, завязки. Комендант грыз папиросу, торопил:

- Живей, живей.

У одного завязла в рубахе голова, и он не спешил ее высвободить. Раздеться первым никто не хотел. Косились друг на друга, медлили. А хорунжий Кашин совсем не раздевался. Сидел скорчившись, обняв колени. Смотрел отупело в одну точку на носок своего порыжевшего порванного сапога. К нему подошел Ефим Соломин. Револьвер в правой руке за спиной. Левоу погладил по голове. Кашин вздрогнул, удивленно раскрыл рот, а глаза на чекиста.

- Че призадумался, дорогой мой? Аль спужался? А рукоу все по волосам. Говорит тихо, нараспев.

- Не бойсь, не бойсь, дорогой. Смертушка твоя еще далече. Страшного покудова ще нету-ка. Дай-ка я те пособлю курточку снять.

И ласково и твердо-уверенно левоу рукоу расстегивает у офицера френч.

- Не бойсь, дорогой мой. Теперь рукавчик сымем. Каши" раскис. Руки растопырил покорно, безвольно. По лицу у него слезы. Но он не замечал их. Соломин совсем овладел им.

-Теперь штаники. Ниче, ниче, дорогой мой.

Глаза у Соломина честные, голубые. Лицо скуластое, открытое. Грязноватые мочала на подбородке и на верхней губе редкой бахромой. Раздевал он Кашина как заботливый санитар больного.

- Подштаннички...

Срубов ясно до боли чувствовал всю безвыходность положения приговоренных. Ему казалось, что высшая мера насилья не в самом расстреле, а в этом раздевании. Из белья на голую землю. Раздетому среди одетых. Унижение предельное. Гнет ожидания смерти усиливался будничностью обстановки. Грязный пол, пыльные стены, подвал. А может быть, каждый из них мечтал быть председателем Учредительного

собрания? Может быть, первым министром реставрированной монархии в России? Может быть, самым императором? Срубов тоже мечтал стать Народным Комиссаром не только в РСФСР, но даже и МСФСР. И Срубову показалось, что сейчас вместе с ними будут расстреливать и его. Холод тонкими иглами колол спину. Руки теребили портупею, жесткую бороду.

Голый костлявый человек стоял, поблескивая пенсне. Он первым разделся. Комендант показал ему на нос:

- Снимите.

Голый немного наклонился к коменданту, улыбнулся. Срубов увидел тонкое интеллигентное лицо, умный взгляд и русую бородку.

- А как же тогда я? Ведь я тогда и стенки не увижу.

В вопросе, в улыбке наивное, детское. У Срубова мысль: никто никого и не собирается расстреливать. А чекисты захохотали. Комендант выронил папиросу.

- Вы славный парень, черт возьми. Ну ничего, мы вас подведем. А пенсне-то все-таки снимите.

Другой, тучный, с черной шерстью на груди, тяжелым басом:

- Я хочу дать последнее показание.

Комендант обернулся к Срубову. Срубов подошел ближе. Вынул записную книжку. Записывать стал не вдумываясь в смысл показания, не критикуя его. Был рад отсрочке решительного момента. А толстый врал, путался, тянул.

- Около леска, между речкой и болотом, в кустах... Говорил, что отряд белых, в котором он служил, закопал где-то много золота. Никто из чекистов ему не верил. Все знали, что он только старается выиграть время. В конце концов приговоренный предложил отдалить его расстрел, взять его проводником, и он укажет, где зарыто золото.

Срубов положил записную книжку в карман. Комендант, смеясь, хлопнул голого по плечу:

- Брось, дядя, вола крутить. Становись.

Разделись уже все. От холода терли руки. Переступали на месте босыми ногами. Белье и одежда пестрой кучей. Комендант сделал рукой жест-пригласил.

- Становитесь.

Тучный в черной шерсти завыл, захлебнулся слезами. Уголовный бандит с тупым, равнодушным лицом подошел к одной из дверей. Кривые волосатые ноги с огромными плоскими ступнями расставил широко, устойчиво. Сухоногий ротмистр из карательного отряда крикнул:

- Да здравствует советская власть!

С револьвером против него широконосый, широколицый, бритый Ванька Мудыня. Махнул перед ротмистром жилистым татуированным матросским кулаком. И с сонным плевком через зубы, с усмешкой:

- Не кричи-не помилуем.

Коммунист, приговоренный за взяточничество, опустил круглую стриженую голову, в землю глухо сказал:

- Простите, товарищи.

А веселый с русой бородкой, уже без пенсне, и тут всех рассмешил.

Стал, скроил глупенькую рожицу.

- Вот они какие, двери-то на тот свет-без петель. Теперь буду знать.

И опять Срубов подумал, что их не будут расстреливать. А комендант, все смеясь, приказал:

- Повернитесь. Приговоренные не поняли.

- Лицом к стенке повернитесь, я к вам спиной.

Срубов знал, что, как только они станут повертываться, пятеро чекистов одновременно вскинут револьверы и в упор каждому выстрелят в затылок.

Пока наконец голые поняли, чего хотят от них одетые, Срубов успел набить и закурить потухшую трубку. Сейчас повернутся и - конец. Лица у конвоиров, у коменданта, у чекистов с револьверами, у Срубова одинаковы-напряженно-бледные. Только Соломин стоял совершенно спокойно. Лицо у него озабочено не более, чем то нужно для обыденной, будничной работы. Срубов глаза в трубку, на огонек. А все-таки заметил, как Моргунов, бледный, ртом хватал воздух, отвертывался. Но какая-то сила тянула его в сторону пяти голых, и он кривил на них лицо, глаза. Огонек в трубке вздрогнул. Больно стукнуло в уши. Белые сырые туши мяса рухнули на пол. Чекисты с дымящимися револьверами быстро отбежали назад и сейчас же щелкнули курками. У расстрелянных в судорогах дергались ноги. Тучный с звонким визгом вздохнул в последний раз. Срубов подумал: "Есть душа или нет? Может быть, это душа с визгом выходит?"

Двое в серых шинелях ловко надевали трупам на ноги петли, отволакивали их в темный загиб подвала. Двое таких же лопатами копали землю, забрасывали дымящиеся ручейки крови. Соломин, заткнув за пояс револьвер, сортировал белье расстрелянных. Старательно складывал кальсоны с кальсонами, рубашки с рубашками, а верхнее платье отдельно.

В следующей пятерке был поп. Он не владел собой. Еле тащил толстое тело на коротких ножках и тонко дребезжал:

- Святой боже, святой крепкий...

Глаза у него лезли из орбит. Срубов вспомнил, как мать стряпала из теста жаворонков, вставляла им из изюма глаза. Голова попа походила на голову жаворонка, вынутого из печи с глазами-изюминками, надувшимися от жару. Отец Василий упал на колени:

- Братцы, родимые, не погубите...

А для Срубова он уже не человек-тесто, жаворонки из теста. Нисколько не жаль такого. Сердце затвердело злобой. Четко бросил сквозь зубы:

- Перестань ныть, божья дудка. Москва слезам не верит. Его грубая твердость толчок и другим чекистам. Мудыня крутил сигарку:

- Дать ему пинка в корму-замолчит.

Высокий, вихляющийся Семен Худоногов и низкий, квадратный, кривоногий Алексей Боже схватили попа, свалили, стали раздевать, он опять затащил, задрезжал стеклом в разохшейся раме:

- Святой боже, святой крепкий... Ефим Соломин остановил:

- Не трожьте батюшку. Он сам разденется.

Поп замолчал - мутные глаза на Соломина. Худоногов и Боже отошли.

- Братцы, не раздевайте меня. Священников полагается хоронить в облачении.

Соломин ласков.

- В лопотине-то те, дорогой мой, чижеле. Лопотина, она тянет. Поп лежал на земле. Соломин сидел над ним на корточках, подобрал на колени полы длинной серой шинели, расстегивал у него черный

репсовый подрясник.

- Оно это нече, дорогой мой, что раздеем. Вот надоть бы тебя ще в баньке попарить. Когда человек чистый да назначищенный, тожно ему лекше и помирать. Чичас, чичас всю эту бахтерму долой с тебя. Ты у меня тожно, как птаха, крылышки расправишь.

У священника тонкое полотняное белье. Соломин бережно развязал тесемки у щиколоток.

- В лопотине тока убийцы убивают. А мы не убиваем, а казим. А казнь, дорогой мой, дело великая.

Один офицер попросил закурить. Комендант дал. Офицер закурил и стаскивая брови, спокойно шурился от дыма.

- Нашим расстрелом транспорта не наладите, продовольственного вопроса не разрешите.

Срубов услышал и разозлился еще больше.

Двое других раздевались, как в предбаннике, смеясь, болтали о пустяках, казалось, ничего не замечали, не видели и видеть не хотели. Срубов внимательно посмотрел на них и понял, что это только маскарад - глаза у обоих были мертвые, расширенные от ужаса. Пятая, женщина, -крестьянка, раздевшись, спокойно перекрестилась и стала пол револьвер.

А с папирской, рассердивший Срубова, не захотел повертываться спиной.

- Я прошу стрелять меня в лоб.

Срубов его обрезал:

- Системы нарушить не могу-стреляем только в затылок. Приказываю повернуться.

У голого офицера воля слабее. Повернулся. Увидел в дереве двери массу дырочек. И ему захотелось стать маленькой, маленькой мушкой, проскользнуть в одну из этих дырок, спрятаться, а потом найти в подвале какую-нибудь шелку и вылететь на волю. (В армии Колчака он мечтал кончить службу командиром корпуса - полным генералом.) И вдруг та дырка, которую он облюбовал себе, стала огромной дырой. Офицер легко прыгнул в нее и умер. Зрачок у него в правом открытом глазу был такой же широкий и неровный, как новая дырка в двери от пули, пробившей ему голову.

У отца Василия живот-тесто, вывалившееся из квашни на пол. (Отец Василий никогда не думал стать архиереем. Но протодьяконом рассчитывал.)

За ноги веревками потащили и этих в темный загиб. Все они-каждый по-своему-мечтали жить и кем-то быть. Но стоит ли об атом говорить, когда от каждого из них осталось только по три, по четыре пуда парного мяса?

Следующую пятерку не приводили, пока не была засыпана кровь и не убраны трупы. Чекисты крутили сигарки.

- Ефим, как жаба, ты завсегда веньгаешься с ними? - квадратный Боже спрашивал. Соломин тер пальцем под носом.

- А че их дражнить и на них златься? Враг он когды не пойманный. А тутока скотина он бессловесная. А дома, когды по крестьянству приходилось побойку делать, так завсегда с лаской. Подойдешь, погладишь, стой, Буренка, стой. Тожно она и стоит. А мне того и надо, половчая потом-то.

Расстреливали пятеро-Ефим Соломин, Ванька Мудыня, Семен Худоногов, Алексей Боже, Наум Непомнящих. Из них никто не заметил, что в последней пятерке была женщина. Все видели только пять парных окровавленных туш мяса.

Трое стреляли как автоматы. И глаза у них были пустые, с мертвым стеклянистым блеском. Все, что они делали в подвале, делали почти произвольно. Ждали, пока приговоренные разденутся, встанут, механически поднимали револьверы, стреляли, отбегали назад, заменяли расстрелянные обоймы заряженными. Ждали, когда уберут трупы и приведут новых. Только когда осужденные кричали, сопротивлялись, у троих кровь пенилась жгучей злобой. Тогда они матерились, лезли с кулаками, с рукоятками револьверов. И тогда, поднимая револьверы к затылкам голых, чувствовали в руках, в груди холодную дрожь. Это от страха за промах, за ранение. Нужно было убить наповал. И если недобитый визжал, харкал, плевался кровью, то становилось душно в подвале, хотелось уйти и напиться до потери сознания. Но не было сил. Кто-то огромный, властный заставлял торопливо поднимать руку и приканчивать раненого.

Так стреляли Ванька Мудыня, Семен Худоногов, Наум Непомнящих.

Один Ефим Соломин чувствовал себя свободно и легко. Он знал твердо, что расстреливать белогвардейцев так же необходимо, как необходимо резать скот. И как не мог он злиться на корову, покорно подставляющую ему шею для ножа, так не чувствовал злобы и по отношению к приговоренным, повертывавшимся к нему открытыми затылками. Но не было у него и жалости к расстреливаемым. Соломин знал, что они враги революции. А революции он служил охотно, добросовестно, как хорошему хозяину. Он не стрелял, а работал.

(В конце концов для нее не важно, кто и как стрелял. Ей нужно только уничтожить своих врагов.)

После четвертой пятерки Срубов перестал различать лица, фигуры приговоренных, слышать их крики, стоны. Дым от табаку, от револьверов, пар от крови и дыханья-дурнящий туман. Мелькали белые тела, корчились в предсмертных судорогах. Живые ползали на коленях, молили. Срубов молчал, смотрел и курил. Оттаскивали в сторону



расстрелянных. Присыпали кровь землей. Раздевшиеся живые сменяли раздетых мертвых. Пятерка за пятеркой.

В темном конце подвала чекист ловил петли, спускавшиеся в люк, надевал их на шеи расстрелянных, кричал сверху:

- Тащи!

Трупы с мотающимися руками и ногами поднимались к потолку, исчезали. А в подвал вели и вели живых, от страха испражняющихся себе в белье, от страха потеющих, от страха плачущих. И топали, топали стальные ноги грузовиков. Глухими вздохами из подземелья во двор...

Тащили. Тащили.

Подошел комендант.

- Машина, товарищ Срубов. Завод механический.

Срубов кивнул головой и вспомнил снопоогненный зал двора. Вертится зал, перекидывает людей из подвала в подвал. А во всем доме огни, машины стучат. Сотни людей заняты круглые сутки. И тут rrr-ax-rr-rrr-ax. С гулким лязгом, с хрустом буравят черепа автоматические сверла. Брызжут красные непрогорающие опилки. Смазочная мазь летит кровяными сгустками мозга. (Бурят или буравят ведь не только землю, когда хотят рыть артезианский колодец или найти нефть. Иногда ведь приходится проходить целые толщи камня, жилы руд, чтобы добуриться или добуравиться до чистой земли, необходимо пройти стальными сверлами костяные пласти черепок, кашеобразные трясины мозгов, отвести в сточные трубы и ямы гейзеры крови.) Кровью парной, потом едким человеческим, испражнениями пышет подвал. И туман, туман, дым. Лампочки с усилием таращат с потолка слепнущие огненные глаза. Холодной испариной мокнут стены. В лихорадке бьется земляной пол. Желто-красный, клейкий, вонючий студень стоит под ногами. Воздух отяжелел от свинца. Трудно дышать. Завод.

- Rrr-ax-rrr-rrr-ax! Тащили.

- А-ах-и-и. В-и-н-и!

- Имею ценное показание. Прекратите расстрел.

Трах-ах-рр.

Тащили.

- Ну, раздевайся. Раздевайся. Становись. Повернись.

- А-а-а-а. О-о-о.

Р-а-ахах.

Тащили.

- Да здравствует государь император. Стреляй, красная сволочь. Господи, помилуй. Долой коммунистов. Пощадите. Пострелял и вас, краснорожие.

Rrr-rrr.

Тащили.

- Невинно погибаю. У-у-у.

- Брось.

Rrr.

Тащили.

Умоля-я-ю.

Rrr-у-у-xxx.

Тащили.

Ванька Мудыня, Семен Худоногов, Наум Непомнящих мертвенно-бледные, устало расстегивающие полушубки с рукавами, покрасневшими от крови. Алексей Боже с белками глаз, воспаленными кровавым возбуждением, с лицом, забрызганным кровью, с желтыми зубами в красном оскале губ, в черной копоты усов. Ефим Соломин с деловитостью, серьезной и невозмутимой, трущий под курносый носом, сбрасывающий с усов и бороды кровавые запекшиеся сгустки, поправляющий захватанный козырек, оторвавшийся наполовину от зеленой фуражки с красной звездой. (Но разве интересно Ей это? Ей необходимо только заставить убивать одних, приказывать умирать другим. Только. И чекисты, и Срубов, и приговоренные одинаково были ничтожными пешками, маленькими винтиками в этом стихийном беге заводского механизма. На этом заводе уголь и пар-Ее гневная сила, хозяйка здесь Она - жестокая и прекрасная.) И Срубов, закутанный в черный мех полушубка, в рыжий мех шапки, в серый дым незатухающей трубки, почувствовал Ее дыхание. И от ощущения близости той новой напряженной энергии рванул мускулы, натянул жилы, быстрее погнал кровь. Для Нее и в Ее интересах Срубов готов на все. Для Нее и убийство-радость. И если нужно будет, то он не колеблясь сам станет лепить пули в затылки приговоренных. Пусть хоть один чекист попробует струсить, отступить,- он сейчас же уложит его на месте. Срубов полон радостной решимости.

Для Нее и ради Нее.

Но случались растопорки. Молодой красавец гвардеец не хотел раздеваться. Кривил топки аристократические губы, иронизировал:

- Я привык, чтобы меня раздевали холоуи. Сам не буду. Наум Непомнящих злобно ткнул его в грудь дулом нагана.

- Раздевайся, гад.

- Дайте холоуя.

Непомнящих и Худоногов схватили упрямого за ноги, свалили. Рядом почти без чувств генерал Треухов. Хрипел, задыхался, молил. В горле у него шипело, словно вода уходила в раскаленный песок. Его тоже пришлось раздевать. Соломин плевался, отвергивался, когда стаскивал штаны с красными лампасами.

Тьфу! Не продыхнешь. Белье-то како обгадил.

Гвардеец, раздетый, стал, сложил руки на груди и ни шагу. Заявил с гордостью:

- Не буду перед всякой мразью вертеться. Стреляй в грудь русского офицера.

Отхаркнулся и Худоногову в глаза. Худоногов в бешенстве сунул в губы офицеру длинный ствол маузера и, ломая белую пластинку стиснутых зубов, выстрелил. Офицер упал навзничь, беспомощно дернув головой и махнув руками. В судорогах тело заиграло мраморными мускулами атлета. Срубову на одну минуту стало жаль красавца. Однажды ему было также жаль кровного могучего жеребца, бившегося на улице с переломленной ногой. Худоногов рукавом стирал с лица плевков. Срубов ему строго:

- Не нервничать.

И властно и раздраженно:

- Следующую пятерку. Живо. Распустили слюни.

Из пятерки остались две женщины и прапорщик Скачков. Он так и не перерезал себе горла. И уже голый все держал в руках маленький осколок стекла.

Полногрудая вислозадая дама с высокой прической дрожала, не хотела идти к "стенке". Соломин взял ее под руку:

- Не бойсь, дорогая моя. Не бойсь, красавица моя. Мы тебе ничо не сделаем. Вишь, туто-ка друга баба.

Голая женщина уступила одетому мужчине, С дрожью в холеных

ногах, тонких у щиколоток, ступала по теплой липкой слизи пола. Соломин вел ее осторожно с лицом озабоченным.

Другая-высокая блондинка. Распущенными волосами прикрылась до колен. Глаза у нее синие. Брови густые, темные. Она совсем детским голосом и немного заикаясь:

- Если бы вы зн-знали, товарищи... жить, жить как хочется...

И синевой глубокой на всех льет. Чекисты не поднимают револьверы. У каждого глаза - угли. А от сердца к ногам ноющая, сладкая истома. Молчал комендант. Неподвижно стояли пятеро с закопченными револьверами. А глаза у всех неотрывно на все. Стало тихо. Испарина капала с потолка. Об пол разбивалась с мягким стуком.

Запах крови, парного мяса будил в Срубове звериное, земляное. Схватить, сжать эту синеглазую. Когтями, зубами впиться в нее. Захлебнуться в соленом красном угаре... Но Та, которую любил Срубов, которой сулил, была здесь же. (Хотя, конечно, какое бы то ни

было противопоставление, сравнение Ее с синеглазой невысказано, абсурдно.) А потому - решительно два шага вперед. Из кармана черный браунинг. И прямо между темных дуг бровей, в белый лоб никелированную пулю. Женщина всем телом осела вниз, вытянувшись на полу. На лбу, на русых волосах змейкой закрутились кровавые кораллы. Срубов не опускал руки. Скачков - в висок. Полногрудая рядом без чувств. Над ней нагнулся Соломин и толстой пулей сорвал крышку черепа с пышной прической.

Браунинг в карман. Отошел назад. В темном конце подвала трупы друг на друга лезли к потолку. Кровь от них в светлый конец ручейками. Уставший Срубов видел целую красную реку. В дурманящем тумане все покраснело. Все, кроме трупов. Те белые. На потолке красные лампы. Чекисты во всем красном. А в руках у них не револьверы - топоры. Трупы не падают-березы белоствольные валятся. Упруги тела берез. Упорно сопротивляется в них жизнь. Рубят их-они гнутся, трещат, долго не падают, а падая, хрустят со стоном. На земле дрожат умирающими сучьями. Сбрасывают чекисты белые бревна в красную реку. В реке вяжут в плоты. А сами рубят, рубят. Искры огненные от ударов.

Окровавленными зубами пены грызет кирпичные берега красная река. Вереницей плывут белоствольные плоты. Каждый из пяти бревен. На каждом пять чекистов. С плота на плот перепрыгивает Срубов, распоряжается, командует.

А потом, когда ночь, измученная красной бессонницей, с красными воспаленными глазами, задрожала предутренней дрожью, кровавые волны реки зажглись ослепительным светом. Красная кровь вспыхнула сверкающей огненной лавой. И не пол трясся в лихорадке-земля колебалась. Извергаясь, грохотал вулкан.

Трр-ах-ррр-ух-ррр.

Размыты, разрушены стены подвала. Затоплены двор, улицы, город. Жгучая лава льется и льется. На недостижимую высоту выброшен Срубов огненными волнами. Слепит глаза светлый, сияющий простор. Но нет в сердце страха и колебаний. Твердо, с поднятой головой стоит Срубов в громе землетрясения, жадно вглядывается В даль. В голове только одна мысль-о Ней.

II

Бледной лихорадкой лихорадило луну. И от лихорадки, и от мороза дрожала луна мелкой дрожью. И дрожащей, прозрачно искристой дымкой вокруг нее ее дыхание. Над землей оно сгушалось облаками грязноватой ваты, на земле дымилась парным молоком.

На дворе в молоке тумана рядами горбились зябко-синие снежные сугробы. В синем снегу, лохмотьями налипшем на подоконники, лохмотьями свисавшем с крыш, посинели промерзшие белые трехэтажные многоглазые стены.

И в бледной лихорадке торопливости лица двоих в разных желтых (ночь, впрочем, и черных) полушубках, стоящих на грузовике, опускающих в черную глотку подвала петли веревок, ждущих с согнутыми спинами, с вытянутыми вперед руками.

Подвал издыхает или кашляет:

- Тащи-т-и-и.

И выдохнутые или выплюнутые из дымящейся глотки мокроты или слюной тягучей, кроваво-сине-желтой, теплой тянутся на веревках трупы. Как по мокроте, по слюне, ходили по ним, топтали их, размазывая по грузовику. Потом, когда выше бортов начали горбиться спины трупов, стынущие и синеющие, как горбы сугробов, тогда брезентом, серым, как туман, накрывали грузовик. И стальными ногами топал и глубоко увязал в синем снегу, ломая спины сгорбившихся сугробов, и хрусте снежных костей, в лязге железа, в фыркающей одышке мотора, в кроваво-черном поту нефти и крови грузовик уходил за ворота. Шел серый в сером тумане на кладбище, сотрясая улицы, дома, поднимая с кроватей всезнающих обывателей. К замерзшим стеклам притыкались, плющились заспанные носы. И в дрожании коленок, в дроже кроватей, в позвякивании посуды и окон заспанные загноившиеся глаза раскрылись от страха, заспанные вонючие рты шептали бессильно-злобно, испуганно:

- Чека... Из Чека... Чека свой товар вывозит...

И на дворе тоже ногами (только не стальными, а живыми, человеческими, при этом сильно уставшими) ломали с хрустом синие горбы сугробов-Срубов, Соломин, Мудыня, Боже, Непомнящих, Худоногов, комендант, двое с лопатами и конвоиры (конвоирам уже некого было конвоировать). Соломин шел со Срубовым рядом. Остальные сзади. У Соломина кровь на правом рукаве шинели, на правой стороне груди, на правой щеке-в лунном свете, как сажа. Говорил он голосом упавшим, но бодрым, говорил, как говорят люди, сделавшие большую, трудную, но важную и полезную работу.

- Каб того высокого, красивого, в рот-то которого стреляли, да спарить с синеглазой - ладный бы плод дали.

Срубов посмотрел на него. Соломин говорил спокойно, деловито разводил руками. Срубов подумал: "О ком это он?" Но понял, что о людях. Усталыми глазами заметил только, что у чекиста на левой руке связка крестиков, образков, ладанок. Спросил машинально:

- Зачем тебе их, Ефим? Тот светло улыбнулся.

- Ребятишкам играть, товарищ Срубов. Игрушек нонче не купишь. Нету-ка их.

Срубов вспомнил, что у него есть сын Юрий, Юрасик, Юхасик. Сзади со смехом матерились. Вспоминали расстрелянных.

- Поп-то расписался... А генерал-то... Срубов устало зевнул. Обернулся бледный.

- Таких веселых, как в пенсиях, завсегда лекше бить. А уж которы воют...

Это Наум Непомнящих. Боже и согласен и нет.

Говорили с удалью, с лихо поднятыми головами.

Усталый мозг напрягся с усилием. Срубов понял, что все это напускное, показное. Все смертельно устало. Головы задирали потому, что они, свинцовые, не держались прямо. И матерщина только чтоб подбодриться. Всплыло в памяти иностранное слово-допинг.

До кабинета Срубов шел очень долго. В кабинете заперся. Повернул ключ и внимательно посмотрел на дверную ручку-чистая, не испачкана. Оглядел у лампы руки- крот; не было. Сел в кресло и сейчас же вскочил, нагнулся к сиденью-тоже чистое. Крови не было ни на полушубке, ни на шапке. Открыл несгораемый шкаф. Из-за бумаг вытащил четверть спирта. Налил ровно половину чайного стакана. Развел отварной водой из графина. Болтал замутненную жидкость перед огнем. Напряженно оглядывался через стекло-красного

ничего не было. Жидкость постепенно стала прозрачной. Поднес стакан ко рту и опять в памяти -допинг.

Только когда выпил и прошелся по кабинету-заметил, что от двери к столу, от стола к шкафу и обратно к двери его следы шли красной пунктирной линией, замыкавшейся в остроугольный треугольник.

И сейчас же с письменного стола нахально стала плясать бронза безделушек, стальной диван брезгливо поднял тонкие гнутые ножки. Маркс на стене выпятил белую грудь сорочки. Увидел - разозлился.

- Белые сорочки, товарищ Маркс, черт бы вас побрал. Со злобой, с болью схватил четверть, стакан, тяжело подошел к дивану. "Ишь жметесь, аристократ. На вот тебе". Нарочно сапоги не снял. Растянулся и каблуками в ручку. На пепельно голубой обивке грязь, кровь и снежная мокрота. Четверть, стакан рядом на пол поставил. А самому хочется с головой в реку, в море и все, все смыть. Уже лежа еще полстакана в рот жгучего, неразведенного. И в мозгу, пьянящем от спирта, от подвального угара, от усталости, от бессонницы почти пьяные, почти бессвязные мысли:

- Почему, собственно, белая сорочка Маркса?

Ведь одни из них-поумереннее и полиберальнее-хотели сделать Ей аборт, другие-порезоннее и порешительнее-кесарево сечение. И самые активные, самые черные пытались убить и Ее и ребенка. И разве не сделали так во Франции, где Ее, бабу, великую, здоровую, плодотворную, обесплодили, вырядили в бархат, в бриллианты, в золото, обратили в ничтожную, безвольную содержанку.

Потом, что такое колчаковская контрреволюция? Это небольшая комната, в которой мало воздуха и много табачного дыма, водочного перегара, вонючего человеческого пота, в которой письменный стол весь в бумагах-чистых и исписанных, в бутылках-пустых и непечатых со спиртом, с водкой, в нагайках - ременных, резиновых, проволочных, резиново-проволочно-свинцовых, в револьверах, в бубутах, в шашках, в гранатах. Нагайки, револьверы, гранаты, винтовки, бубуты и на стенах и на полу, и на людях, сидящих за столом и спящих под ним и около него. Во время допроса вся комната пьяная или с похмелья набрасывается на допрашиваемого с ремнями, с резинами, с проволокой,

со свинцом, с железом, с порожними бутылками, рвет его тело на клочья, порет в кровь, ревет десятками глоток, тычет десятками пальцев с угрозой на дула винтовок.

Колчаковская контрразведка-еще другая комната. В той письменный стол в зеленом сукне и бумагах. За столом капитан или полковник с надушенными усами, всегда вежливый, всегда деликатный-тушит папиросы о физиономии допрашиваемых и подписывает смертные приговоры.

Ну, вот вам и белая сорочка Маркса, безгливый диван, чопорная чистота безделушек на столе.

Ну да, да, да, да, да... Да... Да... Да... Но... Но и но...

Сладко пуле-в лоб зверя. Но червя раздавить? Когда их сотни, тысячи хрустят под ногами и кровавый гной брызжет на сапоги, на руки, на лицо.

А Она не идея. Она-живой организм. Она-великая беременная баба. Она баба, которая вынашивает своего ребенка, которая должна родить.

Да... Да... Да...

Но для воспитанных на римских тогах и православных рясах Она, конечно, бесплотная, бесплодная богиня с мертвыми античными или библейскими чертами лица в античной или библейской хламиде. Иногда даже на революционных знаменах и плакатах Ее так изображают.

Но для меня Она-баба беременная, русская широкозадая, в рваной, заплатах, грязной, вшивой холщовой рубахе. И я люблю Ее такую, какая Она есть, подлинную, живую, не выдуманную. Люблю за то, что в Ее жилах, огромных, как реки, пылающая кровавая лапа, что в Ее кишках здоровое урчание, как раскаты грома, что Ее желудок варит, как доменная печь, что биение Ее сердца, как подземные удары вулкана, что Она думает великую думу матери о зачатом, но еще не рожденном ребенке. И пот Она трясет свою рубашку, соскребает с нее и с тела вшей, червей и других паразитов-много их присосалось-в подпалы, в подвалы. И вот мы должны, и вот я должен, должен, должен их давить, давить, давить. И вот гной из них, гной, гной. И вот опять белая сорочка Маркса. А с улицы к окну липнет ледяная рожа мороза, ломит раму. И за окном термометр, на который раньше смотрел купец Иннокентий Пшеницын, падает до минус сорока семи Р.

В кабинете Иннокентия Пшеницына, теперь Срубова, мутный рассвет. Но дом Иннокентия Пшеницына, теперь Губчека, не знает, не замечает рассветов, сумерек, ночей, дней-стучит машинками, шелестит бумагой, шаркает десятками ног, хлопает дверьми, не ложится, не спит круглые сутки.

И в подвалах No 3, 2, 1, где у Иннокентия Пшеницына хранились головы сыру, головы сахару, колбасы, вино, консервы, теперь другое. В No 3 в полутьме на полках, заменяющих нары, головами сыра-голова арестованных, колбасами -колбасы рук и ног. Как между головами сыра, как между колбасами, осторожно, воровито шмыгают рыжие жирные крысы с длинными голыми хвостами. Арестованные забылись чуткой дрожащей дремотой. Чуткой дрожью усов, ноздрей, зорким блеском глаз щупают крысы воздух,

безошибочно определяют уснувших более крепко, грызут у них обувь. У подследственной Неведомской отъели мех с высоких теплых галош.

И крысы же в подвале No 1, где уже убраны трупы, с визгом, с писком в драку, лижут, выгрызают из земляного пола человечесю кровь. И языки их острые, маленькие, красные, жадные, как языки огня. И зубы у них острые, маленькие, белые, крепче камня, крепче бетона.

Нет крыс только в подвале No 2. В No 2 не расстреливают и не держат долго арестованных, туда сажают только на несколько часов перед расстрелом.

И в сыром тумане мороза, в мути рассвета на белом трехэтажном доме красными пятнами вывеска - черным по красному написано: "Губернская Чрезвычайная Комиссия". Ниже в скобках лаконичнее, понятнее (Губчека). А раньше золотом по черному: "Вино. Гастрономия. Бакалея. Иннокентий Пшеницын".

Над домом бархатное, тяжелое, набухшее кровью красное знамя брызжет по ветру кровавыми брызгами обтрепаншейся бахромы и кистей.

И, сотрясая улицы, дома и кладбище, везет чекистов с железными лопатами последний серый грузовик в кроваво-черном поту крови и нефти. Когда он, входя в белый подъезд, топает тяжелыми стальными ногами, белый каменный трехэтажный дом дрожит,

### III

Ночами белый каменный трехэтажный дом с красивым флагом на крыше, с красной вывеской на стене, с красными звездами на шапках часовых вглядывался в город голодными блестящими четырехугольными глазами окон, щерил заледеневшие зубы чугунных решетчатых ворот, хватал, жевал охапками арестованных, глотал их каменными глотками подвалов, переваривал в каменном брюхе и мокротой, слюной, потом, экскрементами выплевывал, выхаркивал, выбрасывал на улицу. И к рассвету усталый, позевывая со скрипом чугунных зубов и челюстей, высовывал из подворотни красные языки крови.

Утрами тухли, чернели четырехугольные глаза окон, ярче загоралась кровь флага, вывески, звезды на шапках часовых, ярче кровавые языки из подворотни, лизавшие тротуар, дорогу, ноги дрожащих прохожих. Утрами белый дом навязчивей, настойчивей металлическими щупальцами проводов щупал по городу дома с пестрыми вывесками советских учреждений.

- Говорят из Губчека. Немедленно сообщите... Из Губчека. В течение двадцати четырех часов представьте... Губчека предлагает срочно, под личную ответственность... Сегодня же до окончания занятий дайте объяснение Губчека... Губчека требует...

И так всем. И все дома с пестрыми вывесками советских учреждений, большие и маленькие, каменные и деревянные, растопыривали черные уши телефонных трубок, слушали внимательно, торопливо. И делали так, как требовала Чека - немедленно, сейчас/ко, в двадцать четыре часа, до окончания занятий.



А в Губчека-люди, вооруженные винтовками, стояли на каждой площадке, в каждом коридоре, у каждой двери и по дворе, люди в кожаных куртках, в суконных гимнастерках, френчах, вооруженные револьверами, сидели за столами с бумагами, бегали с портфелями по комнатам, барышни, ничем не вооруженные, красивые и дурные, хорошо и плохо одетые, трещали на машинках, уполномоченные, агенты, красноармейцы батальона ВЧК курили, разговаривали в дыму комендантской, прислуга из столовой на подносе разносила по отделам жидкий чай в рыжих глиняных стаканах с конфетами из ржаной муки и патоки, посетители в рваных шубах (в Чека всегда ходили в рванье. У кого не было своего-доставали у знакомых) робко брали пропуски, свидетели нетерпеливо ждали допроса, те и другие боялись из посетителей, из свидетелей превратиться в обвиняемых и арестованных.

Утрами в кабинете на столе у Срубова серая горка пакетов. Конверты разные-белые, желтые, из газетной бумаги, из старых архивных дел. На адресах лихой канцелярский почерк с завитушками, с росчерком, безграмотные каракули, нервная интеллигентская вязь, старательно выведенные дамские колечки, ровные квадратики шрифта печатных машинок. Срубов быстро рвал конверты.

- Не мешало бы Губчека обратить внимание... Открыто две жены. Подрыв авторитета партии... Доброжелатель.

- Я, как идейный коммунист, не могу... возмутительное явление:

некоторые посетители говорят прислуге-барышня, душечка, тогда как теперь советская власть и полагается не иначе, как товарищ, и вы, как... Необходимо, кому ведать сие надлежит...

Срубов набил трубку. Удобнее уселся в кресле. Пакет с надписью "совершенно секретно", "в собственные руки". Газетная бумага. Разорвал.

"Я нашел вотку в 3-ай роты командер белай Гат..."

Дальше на белом листе писчей бумаги рассуждения о том, что сделал в Сибири Колчак и что делает советская власть. В самом конце вывод: "...и поетому ево (командира роты) непрямено унистожит, а он мешаит дела обиденения рабочих и хрестьяноф, запричаит промеж крастно армейциф товарищетская рука пожатию. Врит политрук Паттыкин."

Срубов морщился, сосал трубку.

Акварелью на слоновой бумаге черный могильный бугорок, в бугорок воткнут кол. Внизу надпись: "Смерть кровопийцам чекистам..."

Брезгливо поджал губы, бросил в корзину.

"Товарищ председатель, я хочу с вами познакомиться, потому что чекисты очень завлекательны. Ходят все в кожаных френчах с бархатными воротниками, на боку завсегда револьверы. Очень храбрые, а на грудях красные звезды... Я буду вас ожидать..."

Срубов захохотал, высыпал трубку на сукно стола. Бросил письмо, стал смахивать горящий табак. В дверь постучали. Не дожидаясь разрешения, вошел Алексей Боже.

Положил большие красные руки на край стола, неморгающими красными глазами уставился на Срубова. Спросил твердо, спокойно:

- Севодни будем?

Срубов понял, но почему-то переспросил:

- Что?

- Контрабошить.

- А что?

Четырехугольное плоское скулистое лицо Боже недовольно дернулось, шевельнулись черные сросшиеся брови, белки глаз совсем покраснели.

- Сам" знаете.

Срубив знал. Знал, что старого крестьянина с весны тянет на пашню, что старый рабочий скучает о заводе, что старый чиновник быстро чахнет в отставке, что некоторые старые чекисты болезненно томятся, когда долго не имеют возможности расстрелять или присутствовать при расстрелах. Знал, что профессия кладет неизгладимый отпечаток на каждого человека, вырабатывает особые профессиональные (свойственные только данной профессии) черты характера, до известной степени обуславливает духовные запросы, наклонности и даже физические потребности. А Боже - старый чекист, и в Чека он был всегда только исполнителем-расстреливателем.

- Могуты нет никакой, товарищ Срубов. Втора неделя идет без дела. Напьюсь, что хотите делайте.

И Боже, четырехугольный, квадратный, с толстой шеей и низким лбом, беспомощно топтался на месте, не сводил со Срубова воспаленных красных глаз.

У Срубова мысль о Ней. Она уничтожает врагов. Но и они Ее ранят. Ведь Ее кровь, кровь из Ее раны этот Боже. А кровь, вышедшая из раны, неизбежно чернеет, загнивает, гибнет. Человек, обративший средство в цель, сбивается с Ее дороги, гибнет, разлагается. Ведь она ничтожна, но и велика только на Ее пути, с Ней. Без Нее, вне Ее она только ничтожна. И нет у Срубова жалости к Боже, нет сочувствия.

- Напьешься - в подвал спущу.

Без стука в дверь, без разрешения войти, вошел раскачивающейся походкой матроса Ванька Мудыня, стал у стола рядом с Боже.

- Вызывали. Явился.

А в глаза не смотрит - обижен.

- Пьешь, Ванька?

- Пью.

- В подвал посажу.

Щеки у Мудыни вспыхнули, как от пощечины. Руки нервно обдергивали черную матросскую тужурку. В голосе боль обиды.

- Несправедливо эдак, товарищ Срубов. Я с первого дня советской власти. А тут с белогвардейцами в одну яму.

- Не пей.

Срубов холоден, равнодушен. Мудыня часто заморгал, скривил толстые губы.

- Вот хоть сейчас к стенке ставьте-не могу. Тысячу человек расстрелял-ничего, не пил. А как брата укокал, так и пить зачал. Мерещится он мне. Я ему-становись, мой Андрюша, а он-Ваньша, браток, на колени... Эх... Кажну ночь мерещится...

Срубову нехорошо. Мысли комками, лоскутами, узлами, обрывками. Путаница. Ничего не разберешь. Ванька пьет. Боже пьет, сам пьет. Почему им нельзя? (Ну да, престиж Чека. Они почти открыто. Да. Потом, вообще, имеет ли права Она? И что знает Она? А, Она? И пот взаимоотношения, роль нрава. Хаос. Хаос. Замахал руками.)

- Идите, плите. Нельзя же только так открыто.

А когда дверь закрылась, уткнулся в письмо, чтобы не думать, не думать, не думать.

"Я человек центральный, но... тем более он ответственным работником... Керосин необходим Республике... и выменивать полпуда картошки на два фунта керосина для личного удовольствия..."

И одни за другим поплыли заявления о двух фунтах соли, фунте хлеба, полфунте сахару, десяти фунтах муки, трех гвоздях, пары подошв, дюжины иголок, которые кто-либо у кого-либо выменял, купил (тогда как теперь советская власть и разрешается все приобретать только по ордерам с соответствующими подписями, за печатью, с надлежащего разрешения). А если все это было получено по ордеру, то указывалось на незаконность выписки самого ордера, неправильность выдачи.

Три-четыре дельных указания - контрразведчик скрывается под чужой фамилией, систематически расхищается пушнина со склада Губсопнархоза, каратель пролез в партию. И опять доброжелатели, зрячие, видящие, нейтральные, посторонние, независимые. В шорохе бумаги-угодливый шепоток. Они любили "довести до сведения кого следует". Они подобострастно брали Срубова за рукав, тащили его к своей спальне, показывали содержимое ночных горшков (может быть, человек пьяный был и, может быть, доктора могут исследовать и установить). Они трясли перед ним грязное белье свое, чужое, своих родных, родственников, знакомых. Как мыши, они проникали в чужие погреба, подполья, кладовки, забирались в помойки., и все время заискивающе улыбались или корчили рожи благородных блюстителей нравственности и все кивали головками и спрашивали:

- А как, по-вашему, это? А как это? А? Ничего? Не пахнет контрреволюцией? А вот посмотрите сюда? А вот здесь подозрительно. Нет? А?

В конце концов они спокойно отходили в сторону и равнодушно заявляли, что это их не касается, что их нравственный долг только довести до сведения того, кому "ведать сие надлежит".

Срубов наискось красным карандашом накладывал резолюции. Подписывался размашисто двумя буквами А. С. Рвал пакеты. Читал нетерпеливо, быстро, через строчку. На его имя приходили больше анонимки, пустячные мелкие заявления добровольных осведомителей. Серьезные сведения, донесения секретных агентов - непосредственно в агентурное отделение товарищу Яну Пепелу.

Срубов не кончил. Надоело. Встал. По кабинету крупными шагами из угла в угол. Трубка потухла, а он грыз ее, тянул. Липкая грязь раздражала тело. Срубов передернул плечами. Расстегнул ворот гимнастерки. Нижняя рубашка совершенно чистая. Вчера только надел после ванны. Все чистое и сам чистый. Но ощущение грязи не проходило.

Дорогой письменный стол с роскошным мраморным чернильным прибором. Удобные богатые кресла. Новые обои на стенах. Холодная, сверкающая чванная чистота. И Срубову неловко в своем кабинете.

Подошел к окну. По улице шли и ехали. Шли суетливые совработники с портфелями, хозяйки с корзинами, разношерстные люди с мешками и без мешков. Ехали только люди с портфелями и люди с красными звездами на фуражках, на рукавах. Тащились между тротуарами дорогой с нагруженными санками советские кони-люди.

Через всю эту движущуюся улицу от его кабинета тянулись сотни чутких нервов-проводов. У него сотни добровольных осведомителей, штат постоянных секретных агентов и вместе с каждым из них он подглядывает, подслушивает, хитрит. Он постоянно в курсе чужих мыслей, намерений, поступков. Он спускается до интересов спекулянта, бандита, контрреволюционера. И туда, где люди напакостят, наносят грязь, обязан он протянуть свои руки и вычистить. В мозгу по букве вылезло и кривой лестницей вытянулось иностранное слово (они за последнее время вязалась к нему) а-с-с-е-н-и-з-а-т-о-р. Срубов даже усмехнулся. Ассенизатор революции. Конечно, он с людьми дела почти не имел, только с отбросами. Они ведь произвели переоценку ценностей. Ценное раньше-теперь стало бесценным, ненужным. Там, где работали честно живые люди, ему нечего было делать. Его обязанность вылавливать в кроваво-мутной реке революции самую дрянь, сор, отбросы, предупреждать загрязнение, отравление Ее чистых подпочвенных родников. И длинное это слово так и осталось в голове.

...Мудыня, Боже-оба закаленные фронтовики, верные, истинные товарищи. У обоих ордена Красного Знамени. Иван Никитич Смирнов знал их еще по восточному фронту и про них именно он сказал: "С такими мы будем умирать..." Но водка? А сам? И какое значение все мы-я, Мудыня, Боже, ну все, все... Да, какое значение имеем все мы для Нее?

И это письмо отца. Два дня как получил, а все в голове. Не свои, конечно, мысли у отца... Представь, что ты сам возводишь здание судьбы человеческой с целью осчастливить людей, дать им мир и покой, но для этого необходимо замучить всего только одно крохотное созданище, на слезах его основать это здание. Согласился бы ты быть архитектором? Я, отец твой, отвечаю-нет, никогда, а ты... Ты думаешь на миллионах

замученных, расстрелянных, уничтоженных воздвигнуть здание человеческого счастья... Ошибаешься... Откажется будущее человечество от "счастья", на крови людской созданного...

Нетерпеливо кашлянул нетерпеливый Ян Пепел, Срубов вздрогнул. К столу подошел, в кресло сел, пригласил сесть Пепела машинально. Слушал и не слышал того, что говорил Пепел. Смотрел на него пустыми отсутствующими глазами.

Когда Пепел сказал, что было нужно, и поднялся, Срубов спросил:

- Вы никогда, товарищ Пепел, не задумываетесь над вопросом террора? Вам когда-нибудь было жаль расстрелянных, вернее, расстреливаемых?

Пепел в черной кожаной тужурке, в черных кожаных брюках, в черном широком обруче ремня, в черных высоких начищенных сапогах, выбритый, причесанный, посмотрел на Срубова упрямыми, холодными голубыми глазами. И свой тонкий с горбинкой правильный нос, четкий четырехугольный подбородок кверху. Кулак левой руки из кармана булыжником. Широкая ладонь правой на кобуре револьвера.

- Я есть рабочий, ви есть интеллигент. У меня есть ненависть, у вас есть философий.

Больше ничего не сказал. Не любил отвлеченных разговоров. Вырос на заводе. Десять лет над головой, под ногами змеями шипели ремни, скрипели зубы резцов, кружил голову крутящийся бег колеса. Некогда разговаривать. Поспевай повертывайся. Скуп стал на слова. Но приобрел ценную быстроту взгляда. Перенес в душу железное упорство машины. С завода ушел на войну, а с войны-в революцию на службу к Ней. Но рабочим остался. И на службе, в кабинете слышал шипящее ползанье приводных ремней, щелканье зубчатых колес жизни. В кабинете, как в мастерской, за столом, как за станком. Писал безграмотно, но быстро. Стружками летела бумага с его стола на стол машинистки. Трещал звонок телефона, хватал трубку. Одно ухо слушает, другое контролирует стук машинки. Перебой, остановка - кричит:

- Ну, пошла, пошла машина. Живо! И в телефон кричит:

- Карошо. Слушаю.

На ходу распоряжения агентам, на ходу два-три слова посетителям. Быстро, быстро. Некогда сидеть, много думать у машины. На полном ходу завод.

Вот и сейчас, после Срубова. у себя посетителя схватил глазами как клещами, в кресло усадил -в тиски сжал. И пошел, потел вопросами, как молотками.

- Что? Благонадежность? Карошо. А советвласть сочувствуете? Вполне? Карошо. Но будем логичны до конца...

И Пепел написал на бумаге то, чего не хотел сказать при машинистке.

"Кто сочувствует советвласти, тот должен ее помогать давать. Будите у нас секретный осведомитель?"

Посетитель оглушен, бормочет полуотказ, полусогласие. А Пепел уже его заносит в список. Сует ему написанный на машинке лист-инструкцию секретным осведомителям.

- Согласны? Карошо. Прочтите. Дадим благонадежность. Конечно, он ему и не думает доверять, как не доверяет десяткам других сотрудников. И работу каждого из них он обязательно проверяет, контролирует. За два с лишком года работы в Чека у него выработалась привычка никому не верить.

А в кабинет к Срубову шмыгающими, липнувшими шажками, кланяясь, приседая, улыбаясь, заполз полковник Крутаев. Обрюзгший, седоусый, лысый, в потертой офицерской шинели, сел по одну сторону стола.

Срубов по другую.

- Я вам еще из тюрьмы писал, товарищ Срубов, о своих давнишних симпатиях к советской власти.

Полковник непринужденно закинул ногу на ногу.

- Я утверждал и утверждаю, что в моем лице вы приобретаете ценнейшего сотрудника и преданнейшего идейного коммуниста.

Срубову хотелось плюнуть в лицо Крутаеву, надавать пощечин, растоптать его. Сдерживался, грыз усы, забирал в рот бороду. Молчал, слушал.

Крутаев слащавой улыбкой растянул дряблые губы, вытащил из кармана серебряный портсигар.

- Разрешите? А вы?

Полковник привстал, с раскрытым портсигаром потянулся через стол. Срубов отказался.

- Сегодня я вам докажу это, идейный товарищ Срубов и проникательнейший предгубчека.

Срубов молчал. Крутаев руку в боковой карман шинели.

- Полюбуйтесь на молодчика.

Подал визитную фотографическую карточку. Одутловатое, интересное лицо, погоны капитана. Владимир с мечами и бантом.

- Ну?

- Брат моей жены. Срубов пожал плечами.

- В чем же дело?

- А его фамилия, любезнейший товарищ Срубов.

- Кто он?

- Клименко. Капитан Клименко-начальник контрразведки армии. Срубов не дал кончить.

- Клименко?

Крутаев доволен. Старческие тухнувшие глаза замаслились хитрой улыбкой.

- Видите, можно сказать, родного брата не щажу. Срубов записал подробный адрес Клименко. Фамилию, под которой он скрывался.

Уходя, Крутаев небрежно бросил:

- Да, уважаемый товарищ Срубов, дайте мне двести рублей.

- Зачем?

- В возмещение расходов на приобретение карточки.

- Ведь вы же ее у себя дома взяли.

- Нет, у знакомых.

- У знакомых купили?

Крутаев закашлялся. Кашлял долго. На лбу у него надулись синие жилы. Толстый лоб побагровел. Глаза заслезились, покраснели. У Срубова руки на мраморном пресс-папье. В голове-поднять, размахнуться и полковнику в висок. Тот, наконец, прокашлялся.

- Помилуйте, товарищ Срубов, у прислуги купил. Ровно за двести рублей.

Бросил на стол две сторублевки. Крутаев взял и подал руку. Срубов показал глазами на стену: "РУКОПОЖАТИЯ ОТМЕНЕНЫ".

Крутаев опять слащаво растянул губы. Расшаркался в низком поклоне. Стоптанными галошами, прилипая к полу, зашмыгал к двери. А Срубову все хотелось запустить ему в сгорбленную спину пресс-папье.

В раскрытую дверь из коридора шум разговора и топот - чекисты шли в столовую обедать.

Вечером было заседание комячейки. Мудыня и Боже, полупьяные, сидели, бессмысленно улыбались. Соломин, только что вернувшийся с обыска, сосредоточенно тер под носом, слушал внимательно. Ян Пепел сидел с обычной маской серого безразличия на лице.

Ежедневно хитря, обманывая и боясь быть обманутым, он научился убирать с лица малейшее отражение своих переживаний, мыслей. Срубов курил трубку, скучал.

Докладчик - политработник из батальона ВЧК, безусый парень говорил о программе РКП в жилищном вопросе.

Рядом в читальне беспартийные красноармейцы из батальона ВЧК играют в шашки, шелестят газетами, курят. А переводчица Губчека Ванда Клембровская играет на пианино. Красноармейцы прислушиваются, качают головами.

- Не поймешь, чего бренчит.

Звуки каплями дождя в стену, в потолок, глухой капелью по лестницам. Срубову кажется, что идет дождь. Дождь пробивает крышу, потолок, тысячами всплесков стучит по полу.

Вспомнил Левитана, Чехова, Достоевского. И удивился: почему? И, уже уходя с собрания, понял: Клембровская играла из Скрябина.

#### IV

Руки прятали дрожь в тонких складках платья. Полуопущенные ресницы закрывали беспокойный блеск глаз. Но не могла скрыть Валентина тяжелого дыхания и лица в холодной пудре испуга.

А на полу раскрыты чемоданы. На кровати выглаженное белье четырехугольными стопочками. Комод разинул пустые ящики. Замки в них ощерились плоскими зубами.

- Андрей, эти ночи, когда ты приходишь домой бледный, с запахом спирта и на платье у тебя кровь... Нет, это ужасно. Я не могу,- Валентина не справилась с волнением. Голос ломался. Срубов показал на спящего ребенка:

- Тише.

Сел на подоконник, спиной к свету. На алом золоте стекол размазалась черная тень лохматой головы и угловатых плеч.

- Андрюша... Когда-то такой близкий и понятный... А теперь вечно замкнутый в себе, вечно в маске... Чужой... Андрюша,- сделала движение в сторону мужа. Неуклюже, боком опустилась на кровать. Белую стопку белья свалила на пол. Схватила за железную спинку. Голову опустила на руки. Нет, не могу. С тех пор, как ты стал служить в этом ужасном учреждении, я боюсь тебя...

Андрей не отозвался.

- У тебя огромная', прямо неограниченная власть, и ты... Мне стыдно, что я жена...

Не договорила. Андрей быстро вытащил серебряный портсигар. Мундштуком папиросы стукнул о крышку с силой, раздраженно. Закурил.

- Ну, договаривай.

В стенных часах после каждого удара маятника хрипела пружина, точно кто шел по деревянному тротуару, четко стучал каблуками здоровой ноги, а другую, больную, шаркая, подволакивал. Маленький Юрка сопел на своей высокой постельке. Валентина молчала. Стекла в окнах стали серыми с желтым налетом. Комод, кровати, чемоданы и корзины оплыли темным опухолями. По углам нависли мягкие драпри теней, комната утратила определенность своих линий, расплывчато округлилась. Андрей видел только огненную точку своей папиросы

Другая такая же тыкалась ему в сердце, и сердце обожженное болело.

- Молчишь? Ну так я скажу. Тебе стыдно, что разная обывательская сволочинка считает твоего мужа палачом. Да?

Валентина вздрогнула. Голову подняла. Увидела острый красивый глаз папиросы. Отвернулась.



Андрей, не потушив, бросил окурок. Глаз закололо маленькой огненной булавкой с полу. Закололо больно, как и у Андрея сердце. Валентина закрыла лицо ладонями.

- Не обыватели только... Коммунисты некоторые...

И с отчаянием, с усилием, еле слышно последний довод:

- И мне надоело сидеть с Юркой на одном пайке. Другие умеют, а ты предгубчека и не можешь...

Андрей сапогом тяжело придавил папиросу. Возмутился. Захотелось наговорить грубостей, захотелось унижить, оплевать ее, оплевавшую и унижившую своей близостью. Срубову стало до боли стыдно, что он женат на какой-то ограниченной мещанке, духовно совершенно чуждой ему. Щелкнул выключателем. Чемоданы, вороха вещей, случайно сваленных в одну комнату. И сами так же. Потому чужие. Сдержался. промолчал. Стал припоминать первую встречу с Валентиной. Что повлекло его к этой слабенькой некрасивой мещанке? Да, да, она унизила его, оскорбила своей близостью потому, что она выдала себя совсем не за ту, какой была в действительности. Она искусно улавливала его мысли, желания, искусно повторяла их, выдавая за свои. Но разве потому только сходятся с женщиной, что ее убеждения, ее мысли тождественны убеждениям и мыслям того, кто с ней сходитя? Пятый год вместе. Какая-то нелепость. Ведь было вот что-то еще, что повлекло к ней"? И это что-то есть еще и сейчас, когда она уже решила окончательно уйти от него. Что было это что-то. Срубов не мог объяснить себе.

- Так ты, значит, уезжаешь навсегда?

- Навсегда, Андрей,

И в голосе даже, в выражении лица-твердость. Никогда ранее не замечал.

- Ну что ж, вольному воля. Мир велик. Ты встретила человека, и я встречу...

А самому больно. Отчего больно? Оттого, что уцелело это что-то по отношению к Валентине? Сын. Он общий. Обоим родной. И еще обида. Палач. Не слово - бич. Нестерпимо, жгуче больно от него. Душа нахлестана им в рубцы. Революция обязывает. Да. Революционер должен гордиться, что он выполнил свой долг до конца. Да. Но слово, слово. Вот забиться бы куда-нибудь под кровать, в гардероб. Пусть никто не видит. И самому чтоб-никого.

V

Срубов видел Ее каждый день в лохмотьях двух цветов - красных и серых. И Срубов думал.

Для воспитанных на лживом пафосе буржуазных резолюций-Она красная и в красном. Нет. Одним красным Ее не охарактеризуешь. Огонь восстаний, кровь жертв, призыв к борьбе-красный цвет. Соленый пот рабочих будней, голод, нищета, призыв к труду-серый цвет. Она красно-серая. И наше- Красное Знамя-ошибка, неточность, недоговоренность, самообольщение. К нему должна быть пришта серая полоса. Или, может быть, его все надо сделать серым. И на сером красную звезду. Пусть не обманывается никто, не создает

себе. иллюзий. Меньше иллюзий-меньше ошибок и разочарований. Трезвее, вернее взгляд.

И еще думал:

- Разве не захватано, не затаскано это красное знамя, как затаскано, захватано слово социал-демократ? Разве не поднимали его. не прятались за ним палачи пролетариата и его революции? Разве оно не было над Таврическим и Зимним дворцами, над зданием самарского Комуча? Не под ним разве дралась колчаковская дивизия? А Гайдеман, Вандервальде, Керенский...

Срубов был бойцом, товарищем и самым обыкновенным человеком с большими черными человечьими глазами. А глазам человечьим надо красного и серого, им нужно красок и света. Иначе затоскуют, потускнеют.

У Срубова каждый день-красное, серое, серое, красное, красно-серое. Разве не серое и красное-обыски-разрытый нафталиновый уют сундуков, спугнутая тишина чужих квартир, реквизиции, конфискации, аресты и испуганные перекошенные лица, грязные вереницы арестованных, слезы, просьбы, расстрелы-расколотые черепа, дымящиеся кучки мозгов, кровь. Оттого и ходил в кино, любил балет. Потому через день после ухода жены и сидел в театре на гастролях новой балерины.

В театре ведь не только оркестр, рампа, сцена. Театр-еще и зрители. А когда оркестр запоздал, сцена закрыта, то зрителям нечего делать. И зрители-сотни глаз, десятки биноклей, лорнетов разглядывали Срубова. Куда ни обернется Срубов-блестящие кружочки стекол и глаз, глаз, глаз. От люстры, от биноклей, от лорнетов, от глаз - лучи. Их фокус-Срубов. А по партеру, по ложам, по галерке волнами ветерка еле уловимым шепотом:

- ...Предгубчека... Хозяин губподвала... Губпалач... Красный жандарм... Советский охранник... Первый грабитель...

Нервничает Срубов, бледнеет, вертится на стуле, толкает в рот бороду, жует усы. И глаза его, простые человечьи глаза, которым нужны краски и свет, темнеют, наливаются злобой. И мозг его усталый требует отдыха, напрягается стрелами, мечет мысли.

"Бесплатные зрители советского театра. Советские служащие. Знаю я вас. Наполовину потертые английские френчи с вырванными погонами. Наполовину бывшие барыни в заштопанных платьях и грязных, мятых горжетах. Шушукаетесь. Глазки тарашите. Шарахаетесь, как от чумы. Подлые душонки. А доносы друг на друга пишете? С выражением своей лояльнейшей лояльности распинаетесь на целых писчих листах. Гады. Знаю, знаю, есть среди вас и пролезшие в партию коммунистички. Есть и так называемые социалисты. Многие яз вас с восторженным подвыванием пели и поют-мечь беспощадная всем супостатам... Мщение и смерть... Бей, губи их, злодеев проклятых. Кровью мы наших врагов обагрим. И, сволочи, сторонятся, сторонитесь чекистов. Чекисты-второй сорт. О подлецы, о лицемеры, подлые белоручки, в книге, в газете теоретически вы не против террора, признаете его необходимость, а чекиста, осуществляющего признанную вами теорию, презираете. Вы скажете-враг обезоружен.

Пока он жив - он не обезоружен. Его главное оружие - голова. Это уже доказано не раз. Краснов, юнкера, бывшие у нас в руках и не уничтоженные нами. Вы окружаете ореолом героизма террористов, социалистов-революционеров. Разве Сазонов, Калшев, Балмашев не такие же палачи? Конечно, они делали это на фоне красивой декорации с пафосом, в порыве. А у нас это будничное дело, работа. А работы-то вы более всего боитесь. Мы проделываем огромную черновую, черную, грязную работу. О, вы не любите чернорабочих черного труда. Вы любите чистоту везде и во всем, вплоть до клозета. А от ассенизатора, чистящего его, вы отвертываетесь с презрением. Вы любите бифштекс с кровью. И мясник для вас ругательное слово. Ведь все вы, от черносотенца до социалиста, оправдываете существование смертной казни. А палача сторонитесь, изображаете его всегда звероподобным Малютой. О палаче вы всегда говорите с отвращением. Но я говорю вам, сволочи, что мы, палачи, имеем право на уважение..."

Но до начала так и не досидел, вскочил, потел к выходу. Глаза, бинокли, лорнетты с боков, в спину, в лицо. Не заметил, что громко сказал-сволочи. И плюнул.

Домой пришел бледный, с дергающимся лицом. Старуха в черном платье и платке, открывавшая дверь, пылливо-ласково посмотрела в глаза:

- Ты болен, Андрюша?

У Срубова бессильно опущены плечи. Взглянул на мать тяжелым измученным взглядом, глазами, которым не дали красок и света, которые потускнели, затосковали.

- Я устал, мама.

На кровать лег сейчас же. Мать гремела в столовой посудой. Собирала ужин. Но Срубову хотелось только спать.

Видит Срубов во сне огромную машину. Много людей на ней. Главные машинисты на командных местах, наверху, переводят рычаги, крутят колеса, не отрываясь смотрят в даль. Иногда они перегибаются через перила мостков, машут руками, кричат что-то работающим ниже и все показывают вперед. Нижние грузят топливо, качают поду, бегают с масленками. Все они черные от копоти и худы. И в самом низу, у колес, вертятся блестящие диски-ножи. Около них сослуживцы Срубова-чекисты. Вращаются диски в кровавой массе. Срубов приглядывается - черви. Колоннами ползут на машину, мягкие красные черви, грозят засорить, попортить ее механизм. Ножи их режут, режут. Сырое красное тесто валится под колеса, втапывается в землю. Чекисты не отходят от ножей. Мясом пахнет около них. Не может только понять Срубов, почему не сырым, а жареным.

И вдруг черви обратились в коров. А головы у них человечесьи. Коровы с человеческими головами, как черви, - ползут, ползут. Автоматические диски-ножи не успевают резать. Чекисты их вручную тычут ножами в затылки. И валится, валится под машину красное тесто. У одной коровы глаза синие-синие. Хвост-золотая коса девичья. Лезет по Срубову. Срубов ее между глаз. Нож увяз. Из раны кровью, мясом жареным так и пахнуло в лицо. Срубову душно. Он задыхается.

На столике возле кровати в тарелке две котлеты. Рядом вилка, кусок хлеба и стакан молока. Мать не добудилась, оставила. Срубов проснулся, кричит:

- Мама, мама, зачем ты мне поставила мясо? Старуха спит, не слышит.

- Мама!

Против постели трюмо. В нем бледное лицо с острым носом. Огромные испуганные глаза. Всклокоченные волосы, борода. Срубову страшно пошевелиться. Двойник из зеркала следит за ним, повторяет все его движения. И он, как ребенок, зовет:

- Мама, мама.

Спит, не слышит. Тихо в доме. Шаркает больная нога маятника. Хрипят часы. Срубов холодеет, примерзает к постели. Двойник напротив. Безумный взгляд настороже. Он караулит. Срубов хочет снова позвать мать. Нет сил повернуть языком. Голоса нет. Только тот, другой, в зеркале беззвучно шевелит губами,

## VI

Товарищ Срубова по гимназии, университету и по партийному подполью Исаак Кац, член Коллегии Губчека, подписал смертный приговор отцу Срубова, доктору медицины Павлу Петровичу Срубову, тому самому Павлу Петровичу, московскому чернобородому доктору в золотых очках, который пригодишнику гимназистика Каца шутя трепал за рыжие вихры и звал Икон и которого . Кац звал Павлом Петровичем.

И перед расстрелом, раздеваясь в сырой духоте подвала, Павел Петрович говорил Кацу:

- Ика, передан Андрею, что я умер без злобы на него и на тебя. Я знаю, что люди способны ослепляться какой-либо идеей настолько, что

перестают здраво мыслить, отличать черное от белого. Большевизм- это временное болезненное явление, припадок бешенства, в который впало сейчас большинство русского народа.

Голый чернобородый доктор наклонил набок голову в вороненом серебре волос, снял очки в золотой оправе, отдал коменданту. Потер рука об руку, шагнул к Кацу.

- А теперь, Ика, позволь пожать твою руку. И Кац не мог не подать руки доктору Срубову, глаза которого были, как всегда, ласковы, голос которого, как всегда, был бархатно мягок.

- Желая тебе скорейшего выздоровления. Поверь мне как старому доктору, поверь так, как верил гимназистом, когда я лечил тебя от скарлатины, что твоя болезнь, болезнь всего русского народа, безусловно, излечима и со временем исчезнет бесследно и навсегда. Навсегда, ибо в переболевшем организме вырабатывается достаточное количество антивещества. Прощай.

И доктор Срубов, боясь потерять самообладание, отвернулся, торопливо, сгорбившись, пошел к "стенке".

А член Коллегии Губчека Исаак Кац, который был обязан сегодня присутствовать при расстрелах, едва удержался от желания убежать из подвала.

И в ночь расстрела доктора медицины Павла Петровича Срубова член Коллегии Губчека Исаак Кац телеграммой был переведен на ту же должность Члена Коллегии Губчека в другой город, в тот, где работал Андрей Срубов. И в первый же день своего приезда Исаак Кац сидел на квартире у Андрея Срубова и пил с Андреем Срубовым кофе. А мать Срубова, бледная старуха с черными глазами, в черном платье и в черном платке, варила кофе, вызывала сына из столовой и в темной прихожей шепотом говорила:

- Андрюша, Ика Кац расстрелял твоего папу, и ты сидишь с ним за одним столом.

Андрей Срубов ладонями рук ласково касался лица матери, шептал:

- Милая моя мамочка, мамунечка, об этом не надо говорить, не надо думать. Дай нам еще по стакану кофе.

И сам не хотел говорить, не хотел думать. Но Ика Кац считал неудобным не говорить и говорил. Говорил, помешивая, позвякивая ложечкой в стакане, внимательно разглядывал свою руку, красноватую в рыжих волосах, в синих жилах, опуская рыжую кудрявую голову, наклоняясь над дымящимся кофе, вдыхая его запах-крепкий, резкий, мешающийся с мягким запахом кипящего молока.

- Никак нельзя было не расстрелять. Старик организовал общество идейной борьбы с большевизмом-ОИБ. Мечтал о таких "оибках" по всей Сибири, хотел объединить в них распыленные силы интеллигенции, настроенной антисоветски. Во время следствия он их звал оибистами...

Говорил, а лица не поднимал от стакана. Срубов слушал, медленно набивал трубку, не смотрел на Каца, чувствуя, что ему не хочется говорить, что говорит он только из вежливости. Срубов убеждал себя, что расстрел отца был необходим, что он как коммунист-революционер должен согласиться с этим безоговорочно, безропотно. А глаза тянуло к руке, красными короткими пальцами сжимавшей стакан с коричневой жидкостью, к руке, подписавшей смертный приговор отцу. И, с улыбкой натянутой, фальшивой, с усилием тяжелым разжимая губы, сказал:

- Знаешь, Ика, когда один простодушный чекист на допросе спросил Колчака, сколько и за что вы расстреляли, Колчак ответил: "Мы с вами, господа, кажется, люди взрослые, давайте поговорим о чем-нибудь более серьезном". Понял?

- Хорошо, не будем говорить.

Срубова передернуло оттого, что Кац так быстро согласился с ним, что на его лице, бритом, красном, мясистом, с крючковатым острым носом, в его глазах, зеленых, выпуклых, было деревянное безразличие. И когда Кац замолчал, стал пять, громко глотая, у Срубова мысли быстро-быстро, одна за другой. Мысли как оправдание. Перед кем? Может быть перед Ней, может быть, перед самим собою. В глазах Срубова боль и стыд, и желание, страстное, непреодолимое-оправдываться. И если нет смелости вслух, то хотя бы про себя, мысленно оправдываться, оправдываться, оправдываться.

"Я знаю твердо, каждый человек, следовательно, и мой отец,-мясо, кости, кровь. Я знаю, труп расстрелянного-мясо, кости, кровь. Но почему страх? Почему я стал бояться ходить в

подвал? Почему я таращу глаза на руку Каца? Потому что свобода есть бесстрашие. Потому что быть свободным значит, прежде всего, быть бесстрашным. Потому что я еще не свободен вполне. Но я не виноват. Свобода и власть после столетий рабства-штуки не легкие. Китайке изуродованные ноги разбинтуй-падать начнет, на четвереньках наползается, пока научится по-человечьи ходить, разовьет свои культяпки. Дерзаний-то, замыслов-то, порывов-то у нее, может быть, океан, а культяпки мешают. Культяпки эти, несомненно, и у Наполеона были, и у Смердякова. И у кого из нас не изуродованные ноги? Учиться, упражняться тут, пожалуй, мало переродиться надо, кожей другой обрасти".

Кац кончил пить. Не опуская стакана, вслух подумал или сказал Срубову:

- Конечно, что говорить, плакать, философствовать. Каждый из нас, пожалуй, может и хныкать. Но класс в целом неумолим, тверд и жесток. Класс в целом никогда не останавливается над трупом - перешагнет. И если мы с тобой рассиропимся, то и через нас перешагнут.

А в это время в Губчека, в подвале No 3 дрожь коленок, тряска рук, щелканье зубов ста двенадцати человек. И комендант, у которого из-под толстого полушубка красные галифе, у которого розовое бритое лицо и в руках белый лист-список, приказывает ста двенадцати арестованным собираться и выходить с вещами. И дрожь, и тряска, и пересыхание глоток, и слезы, и вздохи, и стоны именно оттого, что приказано выходить с вещами. Сто двенадцать участвовали в восстании против советской власти, захвачены с оружием в руках и знают, что их всех расстреляют, думают, если выводят с вещами-выводят на расстрел. И вот сто двенадцать в черных, рыжих овчинах, пахучих шубах, полушубках, в пестрых собачьих, оленьих, козловых, телячьих дохах, пиджаках, в лохматых папахах, в длинноухих малахаях, в расшитых унтах, в простых катанках, сложив горой вещи в просторной комендантской, идут из подвала, из сырости, из мрака, от крыс, от колебаемых и сырых полок, от страха, от томления предсмертного, от дней полузабытья, от ночей бессонницы, идут в зрительный зал клуба Губчека и батальона ВЧК по светлым широким мраморным ступеням лестниц, по площадкам, на которых часовые, как изваянья, а воздух насыщен электрическим светом, нагрет сухим дыханием калориферов. Длинный, пестрый, стоголовый пахучий зверь с мягким шумом катанок и унтов послушно прополз за комендантом в третий этаж, пестрой шкурой накрыл все стулья зрительного зала.

На красном полотнище занавеса сцены надпись: "ОБМАНУТЫМ КРЕСТЬЯНАМ СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ НЕ МСТИТ".

По складам, с трудом разобрали и с затаенной радостной надеждой вздохнули, зашевелились, зашептали. Но в зеленых гирляндах сосновых веток по стенам другие надписи, страшные, пугающие, противоречащие:

"СМЕРТЬ ВРАГАМ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ". "СМЕРТЬ АНТАНТЕ И ЕЕ СЛУГАМ".

На пестрой шкуре дрожь, от дрожи складки. И шепот громче, взволнованнее.

- Сме-е-ерть... См... сме-сме-рть... сме-сме-смерть... В зале запах пота, заношенного белья, портянок, кислых овчин, махорки. Комендант приказал открыть форточку. И пестрый лохматый зверь жадно раздул ноздри, захватил полную грудь свежей сырости тающего снега, крепкого хмеля первого холодного пота земли. Беспokoйно, с тоской завозился зверь, затрещали, закрипели стулья. Потянуло здорового, сильного к земле, захотелось впитаться в ее черную грудь, припасть к ней большим, потным, мокрым, на работе взмокнувшим телом.

И Срубов и Кац, когда вошли в залу, увидели на лицах, в глазах арестованных крестьян серую тоску, поняли, что от безделья, от подвальной духоты, от тягостного ожидания смерти, что по земле, по работе она. Срубов быстро, упругими широкими шагами вышел на подмостки сцены. Высокий, в черной коже брюк и куртки, чернобородый, черноволосый, с револьвером на боку, на красном фоне занавеса, он стал как отлитый из чугуна. Смело посмотрел в глаза укрощенному, пестрому сильному зверю. Первое словo-обращение сказал с радостью укротителя, уверенного в победе:

- Товарищи...

Негромко, медленно, чуть нараспев. Как погладил по упрямой жесткой шерсти. Вызвал легкую щекочущую дрожь во всей пестрой шкуре. Как укротитель, спокойно открывающий клетку укрощенного зверя, Срубов спокойно объявил:

- Через час вы будете освобождены.

Радостью огненной, сверкающей блеснули сто двенадцать пар глаз. Взволнованно, радостно зарычал пестрый зверь. А из форточки непрерывным потоком хмель тающего снега. Сильнее, шире раздуваются ноздри, кружит головы весенний угар. И Срубов захмелел от хмельного дыхания близкой весны, от хмельной звериной радости ста двенадцати человек. Расперли грудь большие, набухшие радостью огненные клубы слов. Рассыпались солнечным, слепящим дождем искр по пестрой шкуре зверя, шелкая, подпаливая шерсть, забегали колющими красными, синими, зелеными огоньками.

- Товарищи, Революция-не разверстка, не расстрелы, не Чека. В море огня мелькнула черпая обуглившаяся фигура расстрелянного отца и исчезла, сгорела.

- Революция - братство трудящихся.

После концерта, спектакля освобожденный пестрый зверь с довольным ворчанием, с топотом, сотнями ног побежал в раскрытые ворота на улицу.

И радостью, беспричинной хмельной звериной радостью жизни опьянели чекисты. И в ту ночь невиданное увидел белый трехэтажный каменный дом с красным флагом, с красной вывеской, с часовыми у ворот и дверей.

Вышли за ворота с хохотом, с громкими криками сотрудники Губчека. Предгубчека мальчишкой забежал вперед, схватил горсть снега, смял и Ваньке Мудыне н рожу. Ванька захлебнулся смехом, взвизгнул.

- Я вам сейчас, товарищ Срубов, председательскую залеплю. Мудыню поддержал мрачный Боже. Срубову сразу в спину и шею два белых холодных комка. Срубов в кучу

чекистов еще ком, и чекисты, как школьники, выскочившие на большую перемену на улицу, с визгом принялись лупиться снегом. Ком снега-ком смеха. Смех-снег. И радость неподдельная, беспричинная, хмельная, звериная радость жизни.

Срубова облепили, выбелили с головы до ног. Попало в лицо и неприкосновенным лицам - часовым.

Простились, разошлись усталые с мокротой за воротниками, с мокрыми покрасневшими горящими руками и щеками.

Срубов на углу пожал руку Каца, посмотрел на него прояснившимися, блестящими черными глазами.

- До свидания, Ика. Все хорошо, Ика. Революция-это жизнь. Да здравствует Революция, Ика.

И дома Срубов с аппетитом поужинал. И, вставая из-за стола, схватил печальную, черную женщину-мать, закружился с ней по комнате. Мать вырывалась, не знала, сердиться ей или смеяться, кричала, задыхаясь от бешеных туров неожиданного вальса.

- Андрей, ты с ума сошел. Пусти, Андрей... Срубов смеялся.

- Все хорошо, мамочка. Да здравствует Революция, мамочка!

## VII

Допрашиваемый посредине кабинета. Яркий свет ему в глаза. Сзади него, с боков-мрак. Впереди, лицом к лицу,-Срубов. Допрашиваемый видит только Срубова и двух конвоиров на границе освещаемого куска пола.

Срубов работал с бумагами. На допрашиваемого никакого внимания. Не смотрел даже. А тот волнуется, тербит хилые, едва пробивающиеся усики. Готовится к ответам. Со Срубова не спускает глаз. Ждет, что он сейчас начнет спрашивать. Напрасно. Пять минут-молчание. Десять. Пятнадцать. Закрадывается сомнение, будет ли допрос. Может быть, его вызвали просто для объявления постановления об освобождении? Мысли о свободе легки, радостны.

И вдруг неожиданно:

- Ваше имя, отчество, фамилия?

Спросил и головы не поднял. Будто бы и не он. Все бумаги перекладывает с места на место. Допрашиваемый вздрогнул, ответил. Срубов и не подумал записать. Но все-таки вопрос задан. Допрос начался, Надо говорить ответы.

Пять минут-тишина. И опять:

- Ваше имя, отчество, фамилия?

Допрашиваемый растерялся. Он рассчитывал на другой вопрос. Запнувшись, ответил. Стал успокаивать себя. Ничего нет особенного, если переспросили. Новая пауза.



- Ваше имя, отчество, фамилия?

Это уже удар молота. Допрашиваемый обескуражен. А Срубов делает вид, что ничего не замечает.

И еще пауза. И еще вопрос:

- Ваше имя, отчество, фамилия?

Допрашиваемый обессилен, раскис. Не может собраться с мыслями. Сидит он на табуретке без спинки. От стены далеко. Да и стену не видно. Мрак рыхлый. Ни к чему не прислониться. И этот свет в глаза. Винтовки конвойных. Срубов, наконец, поднимает голову. Давит тяжелым взглядом. Вопросов не задает. Рассказывает, в какой части служил допрашиваемый, где она стояла, какие выполняла задания, кто был командиром. Говорит Срубов уверенно, как по послужному списку читает. Допрашиваемый молчит, головой кивает. Он в руках Срубова.

Нужно подписать протокол. Не читая, дрожащей рукой, выводит свою фамилию. И только отдавая длинный лист обратно, осознает страшный смысл случившегося-собственноручно подписал себе смертный приговор. Заключительная фраза протокола дает полное право Коллегии Губчека приговорить к высшей мере наказания.

...участвовал в расстрелах, порках, истязаниях красноармейцев и крестьян, участвовал в поджогах сел и деревень.

Срубов прячет бумагу в портфель. Небрежно бросает:

- Следующего.

А об этом ни слова. Что был он, что нет. Срубов не любит слабых, легко сдающихся. Ему нравились встречи с ловкими, смелыми противниками, с врагом до конца.

Допрашиваемый ломает руки.

- Умоляю, пощадите. Я буду вашим агентом, я выдам вам всех... Срубов даже не взглянул. И только конвойным еще раз. настойчиво:

- Следующего, следующего.

После допроса этого жидкоусого в душе" брезгливая дрожь. Точно мокрицу раздавил.

Следующий капитан-артиллерист. Открытое лицо, прямой, уверенный взгляд расположили. Сразу заговорил. Долго у белых служили? С самого начала.

-- Артиллерист? Артиллерист.

Вы под Ахлабинным не участвовали в бою? Как же, был.

- Это ваша батарея возле деревни в лесу стояла?

- Моя.

- Ха-ха-ха-ха!..

Срубов расстегивает френч, нижнюю рубашку. Капитан удивлен. Срубов хохочет, оголяет правое плечо.

- Смотрите, вот вы мне как залепили.

На плече три розовых глубоких рубца. Плечо ссохшееся:

- Я под Ахлабинным ранен шрапнелью. Тогда комиссаром полка был.

Капитан волнуется. Крутит длинные усы. Смотрит в пол. А Срубов ему совсем как старому знакомому.

- Ничего, это в открытом бою.

Долго не допрашивал. В списке разыскиваемых капитана не было. Подписал постановление об освобождении. Расставаясь, обменялись долгими, пристальными, простыми человеческими взглядами.

Остался один, закурил, улыбнулся и на память в карманный блокнот записал фамилию капитана.

А в соседней комнате возня. Заглушенный крик. Срубов прислушался. Крик снова. Кричащий рот-худая бочка. Жмут обручи пальцы. Вода в щели. Между пальцев крик.

Срубов в коридор.

К двери.

ДЕЖУРНЫЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ

Заперто.

Застучал, руки больно.

Револьвером.

- Товарищ Иванов, откройте! Взломаю.

Не то выломал, не то Иванов открыл.

Черный турецкий диван. На нем подследственная Новодомская. Белые, голые ноги. Белые клочки кружев. Белое белье. И лицо. Уже обморок.

А Иванов красный, мокро-потный.

И через полчаса арестованный Иванов и Новодомская в кабинете Срубова. У левой стены рядом в креслах. Оба бледные. Глаза большие, черные. У правой на диване, на стульях все ответственные работники. Френчи, гимнастерки защитные, кожаные тужурки, брюки разноцветные. И черные, и красные, и зеленые.

Курили все. За дымом лица серые, мутные.

Срубов посередине за столом. В руке большой карандаш. Говорил и черкал.

- Отчего не изнасиловать, если ее все равно расстреляют? Какой соблазн для рабьей душонки.

Новодомской нехорошо. Холодные кожаные ручки сжала похолодевшими руками.

- Позволено стрелять-позволено и насиловать. Все позволено... И если каждый Иванов?..

Взглянул и направо и налево. Молчали все. Посасывали серые папироски.

- Нет, не все позволено. Позволено то, что позволено. Сломал карандаш. С силой бросил на стол. Вскочил, выпятил лохматую черную бороду.

- Иначе не революция, а поповщина. Не террор, а пакостничанье. Опять взял карандаш.

- Революция -это не то, что моя левая нога хочет. Революция... Черкнул карандашом.

- Во-первых...

И медленно, с расстановкой:

- Ор-га-ни-зо-ван-ность. Помолчал.

- Во-вторых...

Опять черкнул. И также:

- Пла-но-мер-ность, в-третьих...

Порвал бумагу. - Ра-а-счет.

Вышел из-за стола. Ходит по кабинету. Бородой направо, бородой налево. Жмет к стенам. И руками все поднимает с пола и кладет кирпич, другой, целый ряд. Вывел фундамент. Цементом его. Стены, крышу, трубы. Корпус огромного завода.

- Революция-завод механический.

Каждой машине, каждому винтику свое.

А стихия? Стихия - пар, не зажатый в котел, электричество, грозой гуляющее по земле.

Революция начинает свое поступательное движение с момента захвата стихии в железные рамки порядка, целесообразности. Электричество тогда электричество, когда оно в стальной сетке проводов. Пар тогда пар, когда он в котле.

Завод заработал. В него. Ходит между машинами, тычет пальцами.

- Вот наша. Чем работает? Гневом масс, организованным в целях самозащиты...

Крепкими железными плиточками, одна к одной в головах слушателей мысли Срубова.

Кончил, остановился перед комендантом, сдвинул брови, постоял и совершенно твердо (голос не допускает возражений):

- Сейчас же расстреляйте обоих. Его первого. Пусть она убедится. Чекисты с шумом сразу встали. Вышли, не оглядываясь, молча. Только Пепел обернулся в дверях и бросил твердо, как Срубов:

- Это есть правильно. Революция-никакой филозофий. У Иванова голова на грудь. Раскрылся рот. Всегда ходил прямо, а тут закосолапил. Новодомская чуть вскрикнула. Лицо у нее из алебастра. Ничком на пол, без чувств. Срубов заметил ее рваные высокие теплые галоши (крысы изъели в подвале.)

Взглянул на часы, потянулся, подошел к телефону, позвонил:

- Мама, ты? Я иду домой.

За последнее время Срубов стал бояться темноты. К его приходу мать зажгла огонь во всех комнатах.

### VIII

Срубов видел диво - Белый и Красный ткали серую паутину будней.

Его, Срубова, будней.

Белый тянул паутину от учреждения к учреждению, от штаба к штабу, клал узкие, крепкие петли вокруг бывшего трехэтажного каменного дома, стягивая концы в одно место, за город, в гнилой домишко караульщика губземотдельских огородов. Белый плел паутину ночами, по темным задворкам, по глухим переулкам, прятался от Красного, думал, что Красный не видит, не знает.

Красный вил паутинную сетку параллельно сетке Белого-нить в нить, узел в узел, петлю в петлю, но концы стягивал в другое место- в белый трехэтажный каменный дом. Красный вил и днем и ночью, не прерывал работу ни на минуту. Прятался от Белого, был уверен, что Белый не видит, не знает.

У Белого и у Красного напряженная торопливость работы, у каждого надежда на крепость своей паутины, расчет своей паутиной опутать, порвать паутину другого.

А именно в торопливости, напряженности, настороженности-в близкой путанице паутины своей и чужой-будни Срубова. Не спать неделями или спать, не раздеваясь, на стуле за столом, на столе, в санях, в седле, в автомобиле, в нагоне, на тормозе, есть всухомятку, на ходу, принять, встретить, опросить, проинструктировать десятки агентов, прочесть, написать, подписать сотни бумаг, еле держать голову, еле таскать ноги от усталости - будни. И так вот, не раздеваясь, засыпая за столом в кресле или ложась на час, на два на диван, в непрерывной грязной лавине людей, в белых горах бумаги, в сине-серых облаках табачного дыма Срубов работал восьмью сутками. (Вообще же служба в Чека красно-серое, серо-красное. Красный и Белый, Белый и Красный. И бесконечная путаница паутины- третий год.)

И вот когда все приготовления сделаны, все распоряжения отданы, паутина чужая прочно оплетена паутиной своей, когда сотрудники с ордерами, с мандатами посланы куда следует и сделают все, как следует и когда следует, когда в белом трехэтажном доме тихо

и пусто (только в нижнем этаже оставлена рота батальона ВЧК), когда в ночь с восьмого на девятое нужно ждать результатов горячечной работы последней недели, когда до начала облавы, обысков, арестов осталось ровно два часа, когда хочется спать, глаза красны-раскрыты на столе папку черного сафьяна и одним пальцем рыться в стопках бумажных клочков, обрывков, перечитывать клочки, обрывки мыслей, подпирать рукой тяжелую голову, зевать, курить.

Большой лист графленой бумаги.

"Во Франции были гильотина, публичные казни. У нас подвал. Казнь негласная. Публичные казни окружают смерть преступника, даже самого грозного, ореолом мученичества, героизма. Публичные казни агитируют, дают нравственную силу врагу. Публичные казни оставляют родственникам и близким труп, могилу, последние слова, последнюю волю, точную дату смерти. Казненный как бы не уничтожается совсем.

Казнь негласная, в подвале, без всяких внешних эффектов, без объявления приговора, внезапная, действует на врагов подавляюще. Огромная, беспощадная, всевидящая машина неожиданно хватает свои жертвы и перемальвает, как в мясорубке. После казни нет точного дня смерти, нет последних слов, нет трупа, нет даже могилы. Пустота. Враг уничтожен совершенно."

Бланк-председатель Губернской Чрезвычайной Комиссии по борьбе с контр... Далее вырван неровный лоскут. На уцелевшей полоске записано:

"I. В 9 ч. в. свидание с Арутьевым.

2. Спросить завхоза, почему в этом м-це выдали тухлое сало.

3. Завтра общегородское собрание.

4. Юрасику на штанишки и чего-нибудь сладкого".

Подписанный протокол обыска. На чистом конце синим карандашом: "Террор необходимо организовать так, чтобы работа палача-исполнителя почти ничем не отличалась от работы вождя-теоретика. Один сказал-террор необходим, другой нажал кнопку автомата-расстреливателя. Главное, чтобы не видеть крови.

В будущем "просвещенное" человеческое общество будет освобождаться от лишних или преступных членов с помощью газов, кислот, электричества, смертоносных бактерий. Тогда не будет подвалов и "кровожадных" чекистов. Господа ученые, с ученым видом, совершенно бесстрашно будут погружать живых людей в огромные колбы, реторты и с помощью всевозможных соединений, реакций, перегонок начнут обращать их в вакуум, и вазелин, в смазочное масло.

О, когда эти мудрые химики откроют для блага человечества свои лаборатории, тогда не нужны будут палачи, не будет убийства, войн. Исчезнет и слово "жестокость". Останутся одни только химические реакции и эксперименты..." Из блокнота.

1. Сдать в газету приказ о регистрации нарезного оружия.

2. Посоветоваться с Начосо.

3. Мысли о терроре систематически записывать. Когда будет время-написать книгу.

4. Поговорить с профессором Беспалых об электронах.

Обрывок глянцевиной бумаги для черчения. Чертеж автомата-расстреливателя.

На внутренней стороне использованного пакета мелко красными чернилами:

"Наша работа чрезвычайно тяжела. Недаром чаще учреждение носит название чрезвычайной комиссии. Бесспорно, и не все чекисты люди чрезвычайные. Однажды высокопоставленный приятель сказал мне, что чекист, расстрелявший пятьдесят контрреволюционеров, достоин быть расстрелянным пятьдесят первым. Очень мило. Выходит, так-мы люди первого сорта, мы теоретически находим террор необходимым. Хорошо. Примерно получается такая картина-существуют насекомые-вредители хлебных злаков. И есть у них враги-такие же насекомые. Ученые-агрономы напускают вторых на первых. Вторые пожирают первых. Хлебец целиком попадает в руки агрономов. А несчастные истребители больше не нужны и к числу спокойно кушающих белые булочки причислены быть не могут",

Но если голова тяжела, глаза красны и сон свинцом наваливается на плечи, на спину - сложить, закрыть черную папку грудью, лицом, бородой на нее и спать, спать, спать.

А за окнами в синем мраке шмыгающий топот ног, хруст льдинок невидимых лужиц, гул голосов, шорох толпы, гудящие волны идущих к заутрене. На соборной колокольне колокол, самый большой и старейший, серо-зеленый от старости, черным железным языком лениво лизал медные серо-зеленые губы, ворчал: "О-о-о-мим-о-о-омим-о-о-омим..."

В кабинете табак, духота, яркий свет электрической люстры и дрожь непрерывная, звонкая дрожь молоточка телефонного звонка. К Срубову в оба уха ползли металлические мухи: "Ж-ж-ж-др-р-р-др-р-р-ж-ж-ж..."

Добились своего-разбудили. Голова еще тяжелей, веки слиплись. Горько, сухо во рту. Но мысль сразу верная, ясная-началось.

И началось. Левая рука не отпускает трубку от уха. По телефону донесения, по телефону-распоряжения. На столе карта города. Глаза на ней. Правая рука ставит крестики над захваченными районами, конспиративными квадратами, складами оружия, рвет, сечет короткими косыми черточками тонкую запутанную паутину Белого. У Срубова на губах горькая, ироническая усмешка.

Над городом сырая синь ночи, огни иллюминированных церквей, ликующий пасхальный звон, шуршащие шаги толп, поцелуи, христосование. Христос воскрес! И над городом с горькой усмешкой, со злыми глазами стоит Она-оборванная, полуголодная, властно, тяжело, босой ногой наступает на сусальную радость христосующихся, на белые сладкие пирамидки творога и куличей. Потухли горшки, плошки на церковных карнизах, заглох звон, затих шорох шагов, топот сбежавших, спрятавшихся по домам. Над городом молчание, напряженная тишина, жуть, и в черной синеве весенней ночи синева Ее зорких гневных глаз.

Срубов не усидел в кабинете. Отозвал с облавы Каца, усадил в свое кресло и на автомобиле помчался по городу. Торжествующим ревом с фырканием, сверкая глазами фонарей, заметался по улицам сильный стальной зверь. Но Белого не было. Белый забился на задворки, в темные углы, в подполье.

Остался в памяти арест главара организации-караульщика губземотдельских огородов Ивана Никифоровича Чиркалова, бывшего колчаковского полковника Чудаева. Полковник держался гордо, спокойно. Не утерпел, съязвил:

- Христос воскрес, господин полковник. И, сажая к себе в автомобиль, добавил:

- Эх, огородник, сажал редьку-вырос хрен.

Чудаев молчал, натягивая на глаза фуражку. Испуганные дамы в нарядных платьях, мужчины в сюртуках, сорочках. Соломин невозмутимо спокойный, шмыгающий носом, разрывающий нафталиновый покой сундуков.

- Сказывайте, сколь вас буржуев. Кажинному по шубе оставим. Лишки заберем.

И еще, когда осматривал кучи отобранного оружия, гордо, радостно забилося сердце, крепкая красная сила разлилась по всем мускулам.

Остальное-ночь, день, улицы, улицы, цепочки, цепи патрулей, ветер в ушах, запах бензина, дрожь сиденья автомобиля, хлопанье дверцы, слабость в ногах, шум, тяжесть в голове, резь в глазах, квартиры, комнаты, углы, кровати, люди-бодрствующие, со следами бессонницы на серых лицах, заспанные, удивленные, спящие, испуганные, чекисты, красноармейцы, винтовки, гранаты, револьверы, табак, махорка и серо-красное, красно-серое и Белый, Красный и Красный, Белый. И после ночи, дня и еще ночи нужно было принимать посетителей, родственников арестованных.

Просили все больше об освобождении. Срубов внимателен и равнодушен. Сидит он, хотя и в кресле, но на огромной высоте, ему совершенно не видно лиц, фигур посетителей. Двигаются какие-то маленькие черные точки - и все.

Старуха просит за сына, плачет.

- Пожалейте, единственный...

Падает на колени, щеки в слезах, мокрые. Утирается концом головного платка. Срубову кажется ее лицо не больше булавочной головки. Кланяется старуха в ноги. Опускает, поднимает голову-светлеет, темнеет электрический шарик булавки. Звук голоса едва долетел до слуха:

- Единственный.

Но что он может сказать ей? Враг всегда враг-семейный или одинокий-безразлично. И не все ли равно-одной точкой больше или меньше.

Сегодня для Срубова нет людей. Он даже забыл об их существовании. Просьбы не волнуют, не трогают. Отказывать легко.

- Нам нет дела, единственный он у вас или нет. Виноват- расстреляем.

Одна булабочная головка исчезла, другая вылезла.

- Единственный кормилец, муж... пять человек детей.

Старая история. И этой так же.

Семейное положение не принимается в расчет.

Булавка краснеет, бледнеет. Лицо Срубова, неподвижно каменное, мертвенно-бледное, приводит ее в ужас.

Выходят, выходят черные точки-булавки. Со всеми одинаков Срубов-неумолимо жесток, холоден.

Одна точка придвинулась близко, близко к столу. И когда снова отошла, на столе осталась маленькая темная кучка. Срубов медленно сообразил-взятку сунул. Не спускаясь со своей недостижимой высоты, бросил в трубку телефона несколько слов-ледышек. Точка почернела от испуга, бестолково залепетала:

- Вы не берете. Другие ваши берут. Случалось...

- Следствие выяснит, кто у вас брал. Расстреляем и бравших к вас.

Были и еще посетители-все такие же точки, булабочные головки. Во все время приема чувствовал себя очень легко-на высоте непомерной. Немного только озяб. От этого, вероятно, каменной белизной покрылось лицо.

Родные, родственники, близкие могли, конечно, униженно просить, дрожать, плакать, стоять в очереди с бедными узелками передач, передавать арестованным сладкие пасхи, сдобные куличи, крашенные яйца-белый трехэтажный каменный дом неумолим, тверд. Жесток, строго справедлив, как часовой механизм и его стрелки.

Родные могли еще приходиться со сдобным и сладким, когда арестованные, сфотографированные с меловым номером на груди, уже прошли свой путь из подвала No 3 в тюрьму, из тюрьмы связанными в подвал No 2, из него в No 1 и, следовательно, на кладбище, когда на дворе в помойке дымились черновики их дел, уже сданных в архив (черновики, обрывки, выметенные за день из отделов, в Губчека всегда жглись), когда желтые, жирные, голохвостые крысы огрызали крепкими зубами, острыми красными язычками вылизали их кровь.

Белый трехэтажный каменный дом с красным флагом, с красной вывеской, с часовыми равнодушно скалил чугунные зубы ворот, высовывал из подворотни красные кровяные языки в белой слюне известки (в теплое время кровь, натекающую с автомобилей, увозящих трупы, всегда присыпали известью). Он не знает горя ни тех, кто работает в нем, ни тех, кого приводят в него, ни тех, кто приходит к нему.

IX



На заседании Коллегии окончательно выяснилась такая схема белогвардейской организации:

Группа А-пятнадцать пятерок, активнейшие строевые колчаковские офицеры, главным образом из числа служащих советских учреждений. Ее задача взять партшколу и артсклад. Группа Б-десять пятерок, бывшие офицеры, бывшие торговцы, мелкие предприниматели, лавочники, служащие в солдатах, несколько человек из комсостава Красной Армии. Задача-взять телеграф, телефонную станцию, Губисполком. Группа В-семь пятерок, сброд. Задача-вокзал.

После захвата назначенных пунктов и выделения достаточного количества постов для их охраны, соединение всех групп, ставка на переход некоторых красноармейских частей, атака Губчека, бой с войсками, верными советской власти.

Организация, кроме тридцати двух пятерок, имела много сочувствующих, помогающих, исполняющих вторые роли.

На заседании Коллегии Срубов чувствует себя очень хорошо. Он на огромной высоте. А люди-где-то далеко, далеко внизу. И с высоты именно он увидел, как на ладони, всю хитрую путаницу паутины Белого, разорвал ее. Срубов полон гордого сознания своей силы.

Следователь докладывает:

- ...активный член организации, его задачей...

Слушали все внимательно. В кабинете совершенно тихо. У Каца насморк. Слышно, как он сдержанно сопит. Прерывисто мигает электрическая лампочка.

Следователь кончил. Молчит, смотрит на Срубова. Срубов ему вопрос:

- Ваше заключение?

Следователь трет руку об руку, поводит плечами, ежится:

- Полагаю, высшую меру наказания. Срубов кивает головой. И ко всем:

- Имеется предложение-расстрелять. Возражения? Вопросы? Моргунов покраснел, макнул усы в стакан с чаем.

- Ну, конечно.

- Стрельнули, значит?

Срубову весело. Кац, сморкаясь, подтвердил:

- Стрельнули.

- Следующего.

Следователь проводит рукой по черной щетине волос, начинает новый доклад.

- Поставщиком оружия для организации являлся...

- Этого как, товарищи?

Кац опустил голову, полез в карман за носовым платком. Пепел сосредоточенно закурил. Моргунов задумчиво помешивал ложечкой в стакане чай. Казалось, что никто ничего не слышал. Срубов помолчал. Потом громко решительно сказал за всех:

- Принято.

Фамилии, фамилии, фамилии, чины, должности и звания. Один раз Моргунов возразил, стал доказывать:

- По-моему, этот человек не виноват... Срубов его остановил решительно и злобно:

- Ну, вы, миндаля сахарный, замолчите. Чека есть орудие классовой расправы. Поняли? Если расправы, так, значит, - не суд. Персональная ответственность для нас имеет значение безусловное, но не такое, как для обычного суда или Ревтрибунала. Для нас важнее всего социальное положение, классовая принадлежность. И только.

Ян Пепел, энергично подняв сжатые кулаки, поддержал Срубова.

- Революция-никакой философии. Расстрелять. Кац тоже высказался за расстрел и стал усиленно сморкаться. Срубов на огромной высоте. Страха, жестокости, непозволенного - нет. А разговоры о нравственном и безнравственном, моральном и аморальном - чепуха, предрассудки. Хотя для людишек-булавочек весь этот хлам необходим. Но ему, Срубову, к чему? Ему важно не допустить восстания этих булабочек. Как, каким способом-безразлично.

И одновременно Срубов думает, что это не так. Не все позволено. Есть границы всему. Но как не перейти ее? Как удержаться на ней?

Бледнело лицо. Между бровей складки. Срубов не слушал докладчика-следователя. Думал, как остановиться на предельной точке дозволенного. И где она? На чем-то очень остром стоял одной ногой, другой и руками пытался сохранить равновесие. Удавалось с трудом. И только, кажется, уже к концу заседания обеими ногами стал устойчиво, твердо. Очень обрадовался, нашел способ удержаться на предельной черте. Все зависит, оказывается, от остроконечной, трехгранной пирамидки. Ее, конечно, присутствие и обнаружил у себя в мозгу. Она железной твердости и чистоты. Ее состав - исключительно критикующие и контролирующие электроны. Улыбаясь, погладил себя по голове. Волосы прижал поплотнее к черепу, чтобы не выскочила драгоценная пирамидка. Успокоился.

Под протоколом подписался первым. Четко, крупными кольцами с нажимом подписал Срубов, от "о" протянул тонкую ниточку и прикрепил ее к концу толстой длинной палки, заменившей букву "в". Вся подпись-кусочек перекрученной деревянной стружки, нацепленной на кол. Члены коллегии на секунду замешкались. Каждый ждал, что кто-нибудь другой первый возьмет перо.

Ян Пепел решительно схватил ручку Срубова. Против слова "Члены" быстро нацарапал-Ян Пепел.

Срубов мрачно сдвинул брови. От белого листа протокола в лицо холод снежной ямы. Живому неприятно у могилы. Она чужая. Но она под ногами. Между фамилией последнего приговоренного и подписью Срубова-один сантиметр. Сантиметром выше-и он в числе смертников. Срубов даже подумал, что машинистка при переписке может ошибиться, поставить его в ряд с теми.

А когда собрались расходиться, внимание привлек стриженный затылок Каца. Невольно пошутил:

Какой у тебя, Ика, шикарный офицерский затылок-крутой, широкий. Не промахнешься.

Кац побледнел, нахмурился. Срубову неловко. Не глядя друг на друга,

не простившись, вышли в коридор.

Последний лист бумаги (последние вспышки гаснущего рассудка), положенный Срубовым в черную папку, был мятый, неровно оторванный, с кривыми узловатыми синими жилами строк.

"Если расстреливать всю Чиркаловскую-Чулаевскую организацию пятерками в подвале, потребовалось бы много времени. Чтобы ускорить, вывел больше половины за город. Сразу всех раздели, поставили на краю канавы-могилы. Боже просил разрешения разграфить (зарубить шашками)-отказали. Стреляли сразу десять человек из револьверов в затылки. Некоторые приговоренные от страха садились на край канавы, свешивали в нее ноги. Некоторые плакали, молились, просили пощадить, пытались бежать. Картина обычная. Но кругом была конная цепь. Кавалеристы не выпустили ни одного-порубили. Крутаев выл, требовал меня-"Позовите товарища Срубова! Имею ценные показания. Приостановите расстрел. Я еще пригожусь вам. Я идейный коммунист". И когда я подошел к нему, он не узнал меня, бессмысленно таращил глаза, ревел-"Позовите товарища Срубова!" Все-таки пришлось расстрелять его. Обнаружилось у него уж слишком кровавое прошлое, надоели заявления на него, да к тому же, все, что мог дать нам, он дал.

Но все же меня поразило, привело в восторг большинство этих людей. Видимо, Революция выучила даже умирать с достоинством. Помню, еще мальчишкой я читал, как в японскую войну казаки заставили хунхузов рыть могилы, сажали их на край и поочередно, поодиночке отрубали им головы. Меня восхищало это восточное спокойствие, невозмутимость, с которым ожидали смертельного удара. И теперь я прямо залюбовался, когда освещенная луной длинная шеренга голых людей застыла в совершенном безмолвии и спокойствии, как неживая, как ряд гипсовых алебастровых статуй. Особенно твердо держались женщины. И надо сказать, что, как правило, женщины умирают лучше мужчин.

Из ямы кто-то закричал: "Товарищи, добейте!" Соломин спрыгнул в яму на трупы, долго ходил по ним, переворачивал, добивал. Стрелять было все-таки плохо. Ночь была хотя и лунная, но облачная.

Когда луна осветила окровавленные лица расстрелянных, лица трупов, я почему-то подумал о своей смерти. Умерли они-умрешь и ты. Закон земли жесток, прост-родись,

роди, умирай. И я подумал о человеке-неужели он, сверлящий глазами телескопов эфир вселенной, рвущий границы земли, роющийся в пыли веков, читающий иероглифы, жадно хватающийся за настоящее, дерзко метнувшийся в будущее, он, завоевавший землю, воду, воздух, неужели он никогда не будет бессмертен? Жить, работать, любить, ненавидеть, страдать, учиться, накопить массу опыта, знаний и потом стать зловонной падалью... Нелепость...

Возвращались мы с восходом солнца. Проходя к автомобилю, я наступил ногой на муравейник. Десятки муравьев впились мне в сапоги. Я ехал и думал: козявка и та вступает в смертельный бой за право жить, есть, родить. Козявка козявке грызет горло. А мы вот философствуем, нагромодили разных отвлеченных теорий и мучаемся. Пепел говорит: "Революция-никакой философии". А я без "философии" ни шагу. Неужели это только так и есть... родись, роди, умри?"

## XI

Потом была койка в клиниках для нервнобольных. Был двухмесячный отпуск. Было смещение с должности предгубчека. Была тоска по ребенку. Был длительный запой. Много было за несколько месяцев.

И вот теперь этот допрос. Срубов худой, желтый, под глазами синие дуги. Кожаный костюм надет прямо на кости. Тела, мускулов нет. Дыхание прерывистое, хриплое.

А допрашивает Кац. Лицо у него-круглый чайник. Нос-дудочка острая, опущенная вниз. Хочется встать и с силой ткнуть большим пальцем в ненавистную дудочку, заткнуть ее. И ведь сидит, начальство из себя разыгрывает за его же столом. Ручку белую слоновой кости схватил красной лапой, в чернилах всю вымазал. А допрос-пытка. Да хотя бы уж допрашивал. Куда там-лекцию читает: авторитет партии, престиж Чека. И все дудочкой кверху, кверху, как в самое сердце сует ее, ковыряет.

Рвет Срубов бороду. Зубы стискивает. Глазами огненными, ненавидящими Каца хватает. По жилам обида кислотой серной. Жжет, вертит. Не выдержал. Вскочил и бородой на него:

- Понял ты, дрянь, что я кровью служил Революции, я все ей отдал, и теперь лимон выжать. И мне нужен сок. Понял, сок алкоголя, если крови не стало.

На мгновенье Кац, следовательно, предгубчека, обратился в прежнего Ику. Посмотрел на Срубова ласковыми большими глазами.

- Андрей, зачем ты сердишься? Я знаю, ты хорошо служил Ей. Но ведь ты не выдержал?

И оттого, что Кац боролся с Икой, оттого, что это было, больно, с болью сморщившись, сказал:

- Ну, поставь себя на мое место. Ну, скажи, что я должен делать, когда ты стал позорить Ее, ронять Ее достоинство?

Срубов махнул рукой и по кабинету. Кости хрустят в коленях. Громко шуршали кожаные штаны. На Каца не смотрит. Стоит ли обращать внимание на это ничтожество? Перед ним

встала Она - любовница великая и жадная. Ей отдал лучшие годы жизни. Больше - жизнь целиком. Все взяла-душу, кровь и силы. И нищего, обобранного отшвырнула. Ей, ненасытной, нравятся только молодые, здоровые, полнокровные. Лимон выжатый не нужен более. Обьедки в мусорную яму. Сколько позади Ее на пройденном пути валяется таких, выпитых, обессилевших, никому не нужных. Видит Срубов ясно Ее, жестокую и светлую. Проклятия, горечь разочарования комком жгучим в лицо Ей хочет бросить. Но руки опускаются. Бессилен язык. Видит Срубов, что Она сама-нищая, в крови и лохмотьях. Она бедна, потому и жестокая.

Но инвалид, обьедок еще жив и жить хочет. А мусорщик с метлой уже пришел. Вон сидит-дудочка кверху. Нет, он не хочет в яму. Его решили уничтожить. Не удастся. Он сумеет скрыться. Не найдут. Жить, жить... Пусть остается на столе фуражка. С хитрой ядовитой улыбкой к Кацу:

- Гражданин предгубчека, я еще не арестован? Разрешите мне выйти в клозет?

И в дверь. И по коридору почти бегом. А Кац, ставший опять Кацем, предгубчека, краснеет от стыда за минутную слабость. С силой крутит ручку телефона, справляется у начальника тюрьмы, есть ли свободная одиночка. Закуривает, ждет Срубова, твердо, спокойно подписывает постановление об его аресте.

Но Срубов уже на улице. На тротуарах людно и тесно. По середине дороги длинные костлявые ноги разбрасывал широко. Руками махал. Волосы на ветру торчком в разные стороны. Любопытные останавливались и показывали пальцами. Ничего не видел. Помнил только, что надо бежать. Несколько раз сворачивал за углы. Названия улиц, номера домов не играли роли. Важно было только скрыться. Задышался, падал, вставал и снова дальше. Хлопали, открывались какие-то двери. Росла надежда, что побег удастся. Не догонят...

И вдруг неожиданно, как несчастье, черная непроницаемая стена загородила дорогу. А за спиной двойник. Он, оказывается, гнался все время следом. Не оглядывался-не видел. Теперь он доволен-догнал. Вон ртом хватает воздух, как рыба, и рожу кривит.

Срубов не понимал, что он у себя на квартире стоит перед трюмо.

Страха перед двойником не было на этот раз. Моментально решил его уничтожить. Топор от печки сам прыгнул в руки. Со всего размаха двойника по лицу. Насквозь-от правого глаза к мочке левого уха. А он, дурак, в последнюю секунду еще засмеялся, захохотал. Так с хохотом и рассыпался по полу сверкающими кусками.

Один враг уничтожен. Теперь стена. Напрасно воображают поставить его к ней. Расстрелять его никому не удастся. Он обманет всех. Пусть думают, что он раздевается, а он ее топором. Прорубит и убежит.

Сзади в дверях бледное испуганное лицо матери.

- Андрюша, Андрюша.

Осыпалась штукатурка. Желтый бок бревна. Щепки летят. Еще и еще сильнее. Топор соскочил с топорщица. Черт с ним. Зубы-то на что. Зубами, когтями прогрызет, процарапает и убежит.

- Андрей Павлович, Андрей Павлович, что вы делаете? Кто это тянет его за плечи. Надо посмотреть. Может быть, двойник опять поднялся с полу. Не насмерть его значит убил. Срубов пристально смотрит в глаза маленькому коренастому черноусому человеку. Ага, квартирант Сорокин. Обывателишка, в собесе служит. Надо держать себя с достоинством, подальше от этой дряни. Гордо поднял голову:

- Прошу, во-первых, не фамильярничать, не прикасаться ко мне грязными ручишками. Во-вторых, запомните, я коммунист и христианских имен, разных Андреев блаженных и Василиев первозванных или как там... Ну да, не признаю. Если вам угодно обращаться ко мне, то пожалуйста - мое имя Лимон...

Отчего-то сразу устал. Голова кружится. Сил нет. Угорел, что ли? Проехать бы на автомобиле за город. Пожалуй, надо ПОП|ЧУИТЬ этого обывателишку. Оказывается, согласен, даже рад. И мать тоже тут, улыбается, головой кивает.

- Прокатись, Андрюша, прокатись, родной.

В прихожей разрешил надеть на себя пальто. На голову самое легкое кепи. Чем легче, тем лучше. В дверях обернулся. Мать что-то плачет. Вся дрожит, трясется.

- Мама, не забудь сегодня Юрику на завтрак котлетку... Ничего не ответила, плачет. Автомобиль двигался почему то не бензином, а конной тягой. Да и тащила его какая-то заморенная клячонка. Ну, все равно. Главное, чтобы сидеть. И Сорокин ничего, можно даже поговорить с ним.

- Сорокин, вы знаете, я ведь с механического завода. Рабочий. Двадцать четыре часа в сутки.

Все-таки сидеть трудно. Может быть, можно лечь? Надо спросить.

- Сорокин, кровать далеко? Я смертельно устал.

Ну и тип этот Сорокин. Чурбан с глазами. Молчит. Плохой кавалер- за талию сгреб, как медведь.

Из-за угла люди с оркестром, с развернутым красным знаменем. Оркестр молчит. Резкий, четкий стук ног.

В глазах Срубова красное знамя расплывается красным туманом. Стук ног-стук топоров на плотях (он никогда не забудет его). Срубову кажется, что он снова плывет по кровавой реке. Только не на плоту он. Он оторвался и щепкой одинокой качается на волнах. А плоты мимо, обгоняют его. Вдоль берегов многоэтажные корабли. Смешно немного Срубову, что сотни едущих, работающих на них с плотными красными лицами, с надувшимися напряженными жилами поднимают к небу длинные, длинные карандаши труб, чертят дымом каракульки на небесной голубой бумаге. Совсем дети. Те ведь всегда в тетрадках каракульки выводят.

Туман зловонный над рекой. Нависли крутые каменным берега. Русалка с синими глазами, покачиваясь, плывет навстречу. На золотистых волосах у нее красная коралловая диадема. Ведьма лохматая, полногрудая, широкозадая с ней рядом. Леший толстый в черной шерсти по воде, как по земле, идет. Из воды руки, ноги, головы почерневшие, полуразложившиеся, как коряги, как пни, полосы женщин переплелись, как водоросли. Срубов бледнеет, глаза не закрываются от ужаса. Хочет кричать-язык примерз к зубам.

А плоты вес мимо, мимо... Вереницей многоэтажные корабли. Оркестр поравнялся с пролеткой Срубова. Загремел. Срубов схватился руками за голову. Для него ни стук ног, ни бой барабанов, ни рев труб-земля затряслась, загрохотал, низвергаясь, вулкан, ослепила огненная кровавая лава, посыпался на голову, на мозг черный горячий пепел. И вот, сгибаясь под тяжестью жгучей черной массы, наваливающейся на спину, на плечи, на голову, закрывая руками мозг от черных ожогов, Срубов все же видит, что вытекающая из огнедышащего кратера узкая кроваво-мутная у истоков река к середине делается все шире, светлей, чище и в устье разливается сверкающим простором, разливается в безбрежный солнечный океан.

Плоты мимо, мимо корабли. Срубов собирает последние силы, стряхивает с плеч черную тяжесть, кидается к ближнему многоэтажному великану. Но гладки, скользки борты. Не за что уцепиться. Срубов соскочил с пролетки, упал на мостовой, машет руками, хочет плыть, хочет кричать и только хрипит:

- Я... я... я...

А на спине, на плечах, на голове, на мозгу черный пепел жгучей черной горой давит, жжет, жжет, давит.

И в тот же день.

Красноармейцы батальона ВЧК играли в клубе в шашки, играли, щелкали орехи, слушали, как Ванда Клембовская играла на пианино "непонятное".

Ефим Соломин на митинге говорил с высокого ящика.

- Товарищи, наша партия Рэ-Ка-Пы, паши учителя Маркса и Ленина-пшеница отборна, сортирована. Мы коммунисты-ничо себе сродна пшеничка. Ну, беспартийные-охвостье, мякина. Беспартийный-он понимает, чо куда? Никогда. По яво убивцы и Чека мол одно убийство. По яво и Ванька убиват, Митька убиват. А рази он понимает, что ни Ванька, ни Митька, а мир, что не убивство, а казнь-дела мирская...

А Ее с битого стекла заговоров, со стрихнина саботажа рвало кровью и пухло Ее брюхо (по библейски-чрево) от материнства, от голода. И, израненная, окровавленная своей и вражьей кровью (разве не Ее кровь-Срубов, Кац, Боже, Мудыня), оборванная, в серо-красных лохмотьях, во вшивой грубой рубахе, крепко стояла Она босыми ногами на великой равнине, смотрела на мир зоркими гневными глазами.

( Предисловие было написано для предполагавшегося издания повести в 1923 г. Но повесть не была напечатана, поэтому и предисловие не увидело свет (Прим. Изд.).

1923 г.

## **В. ЗАЗУБРИН. ОБЩЕЖИТИЕ**

### **Страничка первая**

#### **Дом № 35**

Он - голубой и с мезонином. Стоит на углу Октябрьской и Коммунистической улиц. Ранее принадлежал вдове статского советника Обкладовой. Теперь - национализован. Занят общежитием сотрудников Губисполкома.

От прежней хозяйки в доме остались широкие, деревянные кровати, кожаные кресла и диваны, кривоногие столы и тюлевые занавесочки на окнах (не на всех), туи и олеандры на подоконниках и едва уловимый запах залежавшегося старого платья, нафталина, ладана.

Больше ничего.

Живут в доме новые люди - сотрудники Губисполкома. На доме нет соответствующей вывески. Но есть другая, около входных дверей, эмалевая, массивная, как белая каменная плита:

**Доктор  
Лазарь Исаакович  
ЗИЛЬБЕРШТЕЙН  
Кожные и венерические**

Часы приема ранее были указаны. Теперь заклеены серой бумагой. Вывеска видна издалека. Даже ночью.

Комнаты в доме все пронумерованы.

#### ***Комната № 1***

Это мезонин.

Занимает его советский поп-баба - завзагсом (заведующая отделом записей актов гражданского состояния) - Зинаида Иосифовна Спинек.

Зинаида Иосифовна Спинек лежит с Петром Петровичем Крутиковым. Постель широкая, матрац мягкий, пружинный, одеяло теплое. Огненным пузырем дует, ворчит за кроватью железное раскаленное брюхо кривоногой печки. В комнате тепло, темно, тихо.

За окнами, с шелестом черных мокрых юбок, идет ночь. Черная ночь идет за город, за реку, на черные мокрые безмолвные просторы полей. За поля каждый день уходит солнце, там запад, и туда же каждые сутки уходит ночь.

Ночь идет пятая в октябре.



Петр Петрович Крутиков зевает, говорит вполголоса:

- Хорошо бы мне, Зинушка, перебраться к вам в общежитие.

Зинаида Иосифовна Спинек тоже зевает и говорит тоже вполголоса.

- Нельзя вам, Петя, вы служите в Губторге. Наше общежитие только для сотрудников Губисполкома.

(Спинек меняла мужчин часто и поэтому даже в постели говорила всем вы).

Спинек и Крутиков хотят спать. Шуршит шелковое, стеганое, двуспальное одеяло. Четко щелкают пружины матраца - Зинаида Иосифовна и Петр Петрович укладываются уютнее.

В комнате тихо, тепло, темно.

Спинек и Крутиков тихо засыпают.

### *Комната № 2*

Внизу, первая направо от входной двери, против кухни.

Над столом светлая груша электрической лампочки. На столе краюшка черного хлеба, хлебные крошки, кусок вареного мяса, раскрытая книга Бухарина - "Исторический материализм". Над книгой лохматая льняная голова, широкое красное лицо с мягким бесцветным пухом на верхней губе. Но не Бухарин в голове лектора Губпартшколы товарища Русакова. Товарищ Русаков думает, что Анна Павловна Скурихина, ухаживавшая за ним во время его долгой болезни, его соседка по комнате и жена его начальника - женщина необыкновенная. Вот уже две недели, как почувствовал товарищ Русаков, что жить без Анны Павловны он не может.

Но товарища Русакова от Анны Павловны отделяет толстая капитальная перегородка и муж.

### *Комната № 3*

Рядом с комнатой товарища Русакова. Анна Павловна, только что освободившаяся из объятий мужа, разводит в большой стеклянной кружке квасцы. (Ей кто-то сказал, что если с квасцами, то детей не будет.)

Вениамин Иннокентьевич Скурихин - коммунист, завхоз Губпартшколы, человек дисциплинированный, аккуратный, чистоплотный, много читавший по гигиене, человек безусловно образованный (хотя и учился в духовной семинарии), — стоит в одних тиковых полосатых кальсонах перед умывальником и тщательно намыливает руки.

В комнате полумрак. Электрическая лампочка обвязана тонкой черной тряпкой.

На маленькой беленькой постельке спит семилетняя Милочка. Косичка у Милочки на подушке - тонким черным хвостиком зверька.

Вениамин Иннокентьевич долго мылится, моется, долго обтирается мохнатым полотенцем. Упруго шагает по мягкому ковру к постели. Жена уже лежит. Вениамин Иннокентьевич молча ложится рядом и через минуту храпит.

Жена лежит с открытыми глазами. Жена с тоской думает, что утром это будет опять. За восемь лет у нее были одни роды и каждый год не менее трех аборт. Анна Павловна отдыхала только тогда, когда у мужа бывали любовницы.

Анна Павловна тихо приподнимается на одной руке, другой достает из-под матраца маленькую иконку. Анна Павловна отвертывается от мужа к стене, горячими пальцами сжимает иконку, прижимается к ней горячими губами, мочит ее солеными слезами, шепчет:

- Господи, помоги мне. Господи, пошли моему мужу сильную любовницу. Господи, облегчи.

Вениамин Иннокентьевич спит крепко. Беспокойно мечется во сне Милочка. Крутится на белой подушке тоненький черненький хвостик зверушки. В комнате полумрак и шуршащее тиканье маятника.

Анна Павловна молится, уткнув лицо в щель между постелью и стеной.

#### *Комната № 4*

В ней темно. Одеяло у Вишняковых, как и у Спинок, двухспальное, стеганое. Но не шелковое и очень старое. Подкладка у одеяла продралась, грязная вата лезет ключьями. От одеяла пахнет потом, застарелой постелью.

В черной щели между одеялом и простыней, в ключьях грязной ваты лежат два холодных тела - мужа и жены Вишняковых. Где-то рядом в тьме комнаты сопят трехлетний Гоша и четырехлетний Гоша.

Вишняковы лежат час, два. Ворочаются с бока на бок, задевают друг друга боками, руками, ногами. Наконец, лицо Вишнякова перекашивает брезгливая, сладострастная гримаса.

Сон подходит медленно, медленно начинает наталкивать в череп грязную вату. Рыхлые серые ключья делаются упругими, давят мозг. Сознание гаснет.

Вишняковы спят.

#### *Комната № 5*

Две, собственно. Но под одним номером. Живет в них доктор Лазарь Исаакович Зильберштейн с женой Бертой Людвиговной. Одна комната у доктора - спальня. Другая кабинет и приемная.

В спальне две кровати. На одной спит Берта Людвиговна. Доктор сидит в кабинете.

Доктор уже несколько лет работает над половым вопросом. На столе у него белые вороха анкет. Глаза доктора, черные большие, вспыхивают сухими огоньками сосредоточенной мысли.

Левая рука крутит острый клинышек волос на подбородке. Волосяные кольца блестящими пружинками свешиваются на лоб. Быстро, как ткацкий станок, снует по бумаге перо.

Испытывают... Женщины... Мужчины...  
Удовольствие...  
Равнодушие...  
Отвращение...  
Различно...

Доктор делает сводки.

Идеалы...  
Женщины... Мужчины.  
Брак...  
Длительно любовные...  
Случайное сближение...  
Проституция...

Бегают челнок-перо. В белую бумажную основу вплетаются черные нити строк. Дрожат, свешиваются на лоб кольцевые блестящие пружинки волос. В глазах сухие огоньки мысли.

Лампа горит ярко. Доктор работает долго.

### *Кухня*

По стенам и за печкой шуршат тараканы. На широкой деревянной лавке спит прислуга Спинек - Паша. В темноте белеют голые, мускулистые руки, закинута за голову. Пахнет около Паши черным хлебом и луком.

На печке в квашне сопит и вздыхает тесто.

### *Коридор*

Тьма. Пахнет уборной, аптекой, пеленками, ладаном. Слышно, как у Вишняковых плачет ребенок.

**Страничка вторая**

Ночь не всегда уходит. Часто она просто переодевается, снимает с себя черное платье.

Ночь не ушла. Ночь заспанным, серым лицом в белой рубашке прижимается к окнам голубого дома с мезонином.

В доме ходят женщины в белых ночных рубашках, с бледными мятыми лицами. Лохматые мужчины фыркают у умывальников.

Раньше всех встает Паша.

Паша задирает юбку выше толстых мускулистых икр, засучивает рукава, моет кухню.

Когда Паша еще моет кухню и из комнат еще никто не выходит - коридором, бесшумно, на носках прошмыгивает маленький кругленький Крутиков.

На службу первым уходит Зильберштейн. Высокий, прямой, в широкополой шляпе, в длинном пальто громко стучит по коридору сапогами и палкой, с силой хлопает дверью.

Федя Русаков жжется жестяной кружкой, пьет чай с черным хлебом и маслом. Уходя, кричит в раскрытую дверь кухни:

- С добрым утром, Паша!

Паша улыбается во весь рот, закрывает глаза широкой ладонью. Но отвечает громко:

- С добрым утром, товарищ Русаков!

Голоса Русакова и Паши по сонному, застоявшемуся воздуху дома - свежим утренним холодком. Русаков шлепает по мостовой железом солдатских ботинок. Паша громыкает ведром. Половая тряпка, скрученная тугим жгутом, скрипит. Руки и лицо Паши красны от напряжения.

Спинек, розовая, моется до пояса. Обтирается одеколоном. Перед зеркалом долго расчесывает золотистые волосы, красит губы, пудрится, подводит синим карандашом синие блеклые глаза.

Вишняков медленно тянет через зубы теплый чай. Вера Николаевна непричесанная, грузная, в грязном капоте, сидит за самоваром. Вишнякову противна жена, ее руки с пухлыми, негнушимися пальцами и черными каемками ногтей.

Дети дерутся в углу за кроватью. Четырехлетний черненький Гоша тянет за вихор трехлетнего беленького Тошу. Тоша ревет. Гоша визжит.

Кровать смята. Одеяло и простыня серой кучей.

Вишняков морщится.

- Неужели нельзя до чая?

Щеки Веры Николаевны трясутся, краснеют.

- За вами за всеми не наприбираешься! Вас трое, а я одна.

Вишняков вскакивает.

- Дура! Я служу. Должно же быть разделение работы. Наконец, мне просто некогда.

У Веры Николаевны сильнее трясутся щеки, мутнеют глаза.

- Ну, найди себе умную!

Вишняков срывает с вешалки шинель.

- Дура!

Дверь захлопывается и тихо, со скрипом, приоткрывается.

Вера Николаевна торопливо щелкает ключом. Ребятишки хватают ее за ноги. Вера Николаевна дрожит, сдерживает слезы. Но из мутных глаз текут по щекам теплые потоки.

Скурихин, выбритый, причесанный, в новеньком выглаженном коричневом френче, в черных галифе, в вычищенных сапогах высовывается в коридор.

- Нюша! Нюшоночка! Чаю, чаю скорей!

Анна Павловна в кухне гремит самоварной трубой.

Лошадь Скурихину уже подана.

Дома остаются: Паша, Вера Николаевна, Анна Павловна и Берта Людвиговна. Четыре женщины в одной кухне.

Конечно, им тесно.

У Паши перекисает. У Веры Николаевны пригорает. У Анны Павловны не проваривается. У Берты Людвиговны бежит. У всех кипит, шипит, плещется, чадит.

В одной кухне в клубах пара, дыма, копоти четыре женщины. А вот Анна Павловна думает, что Вера Николаевна страшная грязнуха. Вера Николаевна думает, что Берта Людвиговна невыносимо груба. Берта Людвиговна думает, что Анна Павловна и Вера Николаевна совершенно бестактны. Паша проклинает всех трех - ей совсем негде поставить кастрюлю с супом.

Горшки, чугушки, кастрюльки, баночки, кадочки, кружечки, квашонки камнями несутся в чадном, горячем, шипящем потоке с плиты в печку, из печки на стол, на лавки, с лавок, со стола на печку, из печки снова в печку, на плиту. Горшочно-чугунно-кастрюльный поток гремит в кухне, захлестывает, затирает четырех женщин. Женщины машут руками, толкают камни-горшки, защищаются.

И для того, чтобы пообедать восьми взрослым и троим детям, четыре женщины должны плыть полдня.

Четыре женщины, как веслами, работают ухватами, сковородниками, кочергами, хлебными лопатами, в чаду, в дыму, в пару плывут потные, засаленные.

Сизо-серый туман ест глаза. На окнах мутные потеки. В кухне полумрак и огненная красноязыкая пасть печки.

А в комнатах - неубранные постели, невынесенные горшки, неметеные, невымытые полы. Нужно идти в комнаты и на потные руки, шеи, лица, головы собрать пыль с мебели и полов. И еще нужно обязательно до обеда взять корыто, наложить в него грязного белья, распарить его кипятком и в кислом пару растирать, растереть в кровь руки, еще раз раскалить лицо и голову.

Каждый день печка, плита, корыто и утюг выжигают, выпаривают со щек женщин румянец, тусклят краски глаз. Усталые женщины подают усталым мужчинам обед.

Единственная женщина, освобожденная от работы в кухне, из всех живущих в общежитии, — Спинек. С 10 утра до 4 дня сидит Спинек в своем отделе в Губисполкоме. В большие, толстые книги она записывает вступающих в брак, родившихся, умирающих.

В большом городе идет большая жизнь. Тысячи людей рождаются, женятся, рождают, умирают. И все они (кроме умерших и новорожденных) должны являться в Губисполком к Зине Спинек, заявлять ей о своем желании жениться, сообщать, что у них родился ребенок или умерли старики родители. Спинек серьезная, в синем платье с глухим высоким воротником сухо, но подробно расспрашивает каждого о его происхождении, роде занятий, возрасте, имени и фамилии. Спинек знает, кто, когда и на ком женился, знает, кто, когда и у кого умер, кто, когда и у кого родился. Но ей не интересно это, ей надоели чужие радости и горе. И идущим к ней не всегда хочется говорить, что у них родился ребенок, что они любят друг друга.

Но так устроена жизнь, что все совершающееся в ней должно быть записано в книгах.

Доктор Зильберштейн в своей больнице тоже ведет книги. Доктор Зильберштейн отмечает, сколько каждый день у людей в большом городе проваливается носов, изъедается глоток, гниет мышц и костей. Доктор записывает, сколько больных лечится, сколько умирает. Как и Спинек, Зильберштейн расспрашивает каждого о происхождении, профессии, возрасте, имени, отчестве и фамилии.

Город большой. В городе тысячи людей и тысячи из них записаны в книгах доктора Зильберштейна.

Доктор Зильберштейн из книг делает выборки, сводки и составляет таблицы.

### **Влияние Революции на половое чувство**

У женщин... У мужчин...  
Оставила без изменений...  
Усилила... Ослабила...

### **Влияние Революции на рост венерических заболеваний**

И чем больше идет людей к доктору Зильберштейну, тем длиннее у него колонки цифр и числа из двузначных, трехзначных вырастают в четырехзначные, и тем увереннее, тверже ходит доктор, выше держит голову. Каждый день доктор все больше убеждается в правоте своих гипотез.

Гипотезы доктора Зильберштейна таковы:

- 1) Человечеству грозит всеобщее заражение сифилисом и, следовательно, вырождение.
- 2) Спасти от вырождения человечество может только полным уничтожением семьи (этого главного рассадника венерических болезней), функции мужа и жены должны отпасть. Оплодотворение должно быть только искусственным.
- 3) Общество, в лице ученых специалистов, и только общество, правомочно решать вопросы зачатий и рождений. Здоровье человечества слишком опустошено, разорено всевозможными болезнями, чтобы можно было допускать такую роскошь, как беременность по личному желанию.
- 4) Человечество будет спасено, если ученые будут производить отбор здоровых женщин и искусственно оплодотворять их.

Доктор Зильберштейн пишет книгу, которая должна указать человечеству правильный путь. Доктор Зильберштейн, кроме почти законченной гениальной книги, имеет еще прекрасную жену. Жена доктора вполне разделяет убеждения мужа. Муж и жена Зильберштейны давно, по взаимному соглашению, не выполняют функций мужа и жены. (Хотя у Берты Людвиговны есть любовник - Скурихин; но Лазарь Исаакович этого не знает).

Доктор Зильберштейн и его жена вполне счастливые люди.

Лектор Губпартшколы Вишняков счастлив только когда стоит за кафедрой, когда перед ним сотни голов курсантов, когда к нему из самых дальних углов аудитории белой веревочкой тянутся бумажки вопросов.

Скажите, пожалуйста, товарищ лектор, в будущем будет ликвидирована любовь?

Если не будет брака, то опять женщина попадет в орудие производств?

Поясните, отчего ребенок зарождается внутри женщины, а не мужчины?

При коммунизме будет собственность на жену?

Товарищ Вишняков, могут коммунисты иметь двух или трех жен зараз?

Могут ли быть дети без соприкосновения мужчины и женщины, т.е. искусственно?

Будут ли женщины в конце замужними или всеобщими?

Вишняков читает о коммунизме. Всю ненависть к семье, семейной жизни вкладывает Вишняков в свои лекции. О грядущем обществе говорит как о бесклассовом, как о бессемейном. Разворошенная, взбудораженная слушает аудитория.

После лекции в коридоре Вишнякова останавливает Скурихин.

- Слушал я тебя, Вишняков. Зря ты все это. Чепуховый это вопрос, ненужный. Кому делать нечего - пожалуй, можно. После занятий набрать сочувствующих и наяривать. А на лекциях зря.

Скурихин человек занятый. Много не разговаривает. Вишняков не успевает возразить. Скурихин уже в другом конце коридора.

Скурихин останавливает какого-то курсанта. Голос у Скурихина звонкий, властный. На горбачом носу блестит золотое пенсне.

В угловой аудитории Федя Русаков кончает лекцию об историческом материализме и думает, что сегодня обязательно надо объясниться с Анной Павловной.

Обедают в общежитии все в один час. После обеда часто ходят на собрания, на лекции, на доклады. На лекциях, на докладах, на собраниях говорят о постройке большой красивой просторной жизни.

### **Страничка третья**

Скурихин поднимается наверх к Спинек. Спинек сидит в широком кресле, в свободном пестреньком платьице с открытой шеей. Скурихин берет вялую полную холодноватую руку, медленно подносит к губам.

- Зинаида Иосифовна, вы любите Крутикова?

У Спинек дергаются брови. Спинек отвертывается.

- Нет, не люблю.

Скурихин блестит пенсне, глазами, зубами, иссиня-черными, гладко причесанными волосами.

- Тогда я не понимаю...

Спинек смотрит в сторону. Глаза у нее немного косят. Спинек говорит равнодушно-спокойно:

- Должна же я с кем-нибудь жить.

Скурихин берет стул, садится рядом со Спинек.

- Зинаида Иосифовна, но ведь дрянь же этот Крутиков, тряпка серая.



- Да, дрянь.

Скурихин пододвигается ближе, заглядывает в глаза.

- Вы знаете меня, Зинаида Иосифовна?

Спинек улыбается, смотрит выше головы Скурихина.

- Вы умный...

Скурихин снова берет руку Спинек. Пальцы Скурихина горячи. Блеск серых глаз, усиленный блеском пенсне, становится напряженнее и острее. Скурихин с усилием выдавливает через стиснутые зубы:

- Прогоните Крутикова.

Спинек привыкла, что сильный мужчина всегда сменяет слабого, сильнейший сильного. Спинек говорит безразличным ровным голосом:

- Хорошо.

Скурихин обнимает Спинек, целует. Спинек не убирает губ, но губы ее неподвижны, глаза пусты. Скурихин прижимается к женщине. Спинек спокойно отводит руки Скурихина.

- Вениамин Иннокентиевич, я больна.

Скурихин встает, минуту возбужденно шагает из угла в угол.

- Зинаида Иосифовна, я приду через три дня. Хорошо?

Грудь у Скурихина поднимается высоко и быстро. Спинек встает, чертит пальцами по клеенке стола, смотрит в пол.

- Хорошо.

Скурихин идет к жене доктора Зильберштейна. Доктора Зильберштейна нет дома. Доктор Зильберштейн совершает очередную вечернюю прогулку. Берта Людвиговна и Скурихин ложатся на постель доктора Зильберштейна.

Федя Русаков сидит с женой Скурихина, смотрит на нее влюбленными глазами.

Анна Павловна штопает мужу чулки.

Паша гремит в кухне посудой, поет:

**Уважала, уважала, уваженье не берег...**

Вишняков начерно набрасывает статью для "Коммуниста".

"...Любовь при непрерывной, длительной совместной жизни в одной комнате, спанье в одной постели быстро испарится.

Что может быть отвратительнее нашей супружеской спальни?

Мопассан прав - брак есть обмен дурными настроениями днем и дурными запахами ночью.

Разве женщина может чувствовать что-либо, кроме отвращения к мужчине, который поработил ее, заставил быть орудием наслаждения? Любви нет при таких условиях. Здесь только гнусное насилие и скотство. Скотство двойное, сугубое, если и женщина, по привычке спариваться с Иваном или с Петром, спаривается с ним изо дня в день холодно, как машина. К черту такой брак, когда женщина отдается в силу заключенного договора! Отдается вяло, без страсти, и рождаются чахлые ползающие создания... Жалкое машинное производство.

Такой брак подлость, насилие, скотство, разврат и обман. Обман, если люди с плохо скрываемым отвращением все же опять вместе. Современная супружеская постель - эшафот, на котором после долгих мук гибнет лучшее человеческое чувство - любовь.

Мы развращены. Природа не создала нас такими. (Звери не наслаждаются, а рожают. Звери не лакомятся, а питаются).

Мы сами своим подлым устройством жизни обратили добро во зло. Нам природа дала женщину-мать, женщину-друга, сестру, а мы обратили ее в рабу и проститутку. Органы, данные нам для продолжения рода, мы обратили в орудия разврата и наслаждения. И природа жестоко наказала нас за это рядом страшных и гадких болезней.

Современные отношения между мужчиной и женщиной имеют корни в далеком прошлом, они тянутся к Библии, к Домострою, к Своду Законов Российской Империи и желтому билету проститутки..."

Вишняков на минуту кладет перо. Жена сидит за другим концом стола, хрустит блестящими ножницами, кроит ребятишкам рубашки. Вишнякову кажется, что глаза ее, большие, карие, похожи на глаза заезженной больной лошади.

#### **Страничка четвертая**

Скурихин, на всякий случай, не рвет окончательно с женой доктора Зильберштейна. Жена доктора Зильберштейна беременна.

Скурихин идет к Спинок. Анна Павловна слышит, как скрипит лестница мезонина, вздыхает облегченно.

- Слава богу!

Федя Русаков рядом с Анной Павловной сидит на низкой табуреточке. Голубые глаза Феде большие, кажутся еще больше оттого, что он смотрит на Анну Павловну снизу вверх.

- Анна Павловна, вы помните, как я тогда лежал в тифу...

Анна Павловна наклоняется к Феде. У нее усталые светло-карие глаза матери, говорящей с ребенком.

- Помню, Федя. Вы тогда были очень милым большим беспомощным ребенком.

Русаков кладет лохматую голову на острые колени Анны Павловны. Голос Русакова делается глуше.

- Анна Павловны, я очень одинок.

Анна Павловна шершавой рукой медленно ворошит волосы Русакова, молчит.

В кухне гремит посуда. Паша поет.

За стеной Вишняковы пьют чай. Дети спят. В комнате тихо. Вера Николаевна пьет из блюдечка, сопит. (У нее насморк.)

Говорить Вишняковым не о чем. Чай пьют молча. Вишняков с ненавистью смотрит на жену.

Обе комнаты доктора Зильберштейна закрыты, заперты. Берта Людвиговна лежит на постели, на снежно-чистой простыне. Лазарь Исаакович стоит перед ней в белом больничном халате.

- Берта, ты должна быть счастлива, что судьбе было угодно избрать тебя для такого высокого назначения.

Доктор Зильберштейн настроен торжественно.

- Я сейчас произведу над тобой опыт, который решит судьбу всего человечества.

Берта Людвиговна спокойно смотрит на мужа выпуклыми глазами.

- Я счастлива, Лазарь. Я благодарю судьбу, давшую мне такого мужа.

Доктор Зильберштейн гремит на столе колбами, пробирками, стеклянными трубочками, наклоняется над женой.

Русаков глубже прячет лицо в коленях Анны Павловны.

Анна Павловна обеими руками поднимает голову Русакова, целует его в лоб. Голубые прозрачные глаза Русакова темнеют, делаются синими. Русаков встает на колени, тянется к Анне Павловне, целует ее в губы. Русаков тяжело дышит. Его поцелуй горяч. Анна Павловна вздрагивает.

- Федя, не надо. Федя, уйдите.

Русаков грузно встает. Стоит, покорно опустив руки. Анна Павловна дрожит. В глазах у Анны Павловны страх и что-то еще, что коробит Русакова.

- Федя, прошу вас, уйдите, мне надо побыть одной.

Русаков молча, тяжело ступая, уходит, медленно притворяет дверь. Анна Павловна долго сидит, положив руки на колени, опустив голову. Потом берет бумагу, ручку и начинает писать.

"Федя, я хочу Вам сказать о том, как много прекрасных, чистых, глубоких, захватывающих переживаний дало мне общение с Вами.

Я никогда не забуду ночей, проведенных у Вашей постели, когда я, потрясенная до глубины души Вашим бредом, готова была кричать от ужаса, мне казалось, что вся сумма человеческого горя придавила меня.

Чувство бесконечной нежности охватывало меня, когда Вы, как ребенок, тянулись ко мне руками, когда Вы в бессознательном состоянии прислушивались к моим нежным словам, поддаваясь ласке, успокаивались.

Весь не растроченный запас материнских чувств нашел выход. Вы были для меня милым, бесконечно дорогим ребенком. Не буду говорить о той радости, том удовлетворении, какое дало мне Ваше выздоровление. А потом начались наши беседы. Я узнала наслаждение, какое дает возможность касаться душою души другого. Как люблю я Вашу большую душу.

Не сумею передать того прекрасного весеннего, что звучало в моей душе. Мое чувство было таким ярким, таким радостным. Ни тени ревности, ни жажды обладания не было в нем. От всего низкого, узкого было оно чисто. Какое счастье открыть в своей душе возможности, о которых не знал...

Но сегодня...

До сегодня, милый Федя, я думала, что люблю Вас полно и глубоко и что мы сможем дать друг другу светлое...

Я буду откровенна, Федя. Сегодня я поняла с особенной остротой и ясностью, что нам надо разойтись. Женщиной для Вас я быть не могу. Я ограблена, Федя. Физическая близость с мужчиной мне противна. Мой муж искалечил меня... Оставьте меня, милый. Я буду помнить и любить вас далекого. Когда мне станет душно среди людской пошлости, мелочности, подлости, душа затоскует о человеке, я вспомню Вас. Когда холодное жуткое одиночество, как ледяная пустыня, обступит меня, я вспомню, как Вы нежно и чутко подошли ко мне со словами ласки и участия.

Целую Ваш умный лоб.

*Анна "*

Анна Павловна прячет письмо под кофточку, на груди, ждет удобного момента, чтобы передать Русакову.

И Русаков не может откладывать объяснения до следующего дня. Русаков не знает, будет ли завтра Анна Павловна одна. Русаков тоже пишет.

Двое людей, отделенные перегородкой в четверть аршина толщины, пишут друг другу письма, ловят друг друга в коридоре, торопливо суют в горячие руки маленькие бумажные клочки.

## Маленькая страничка

"Что можно написать на этом клочке. Язык слов слишком беден для выражения лучших и интимных чувств. Нужно быть большим художником слова, чтобы читатель тебя понял и почувствовал всю гамму чувств, тебя переполняющих.

Я часто задаю себе вопрос, какая сила рождает это чувство - любовь? Из каких неисповедимых источников она появляется, хватается человека за сердце и ворочает им, превращает его в мягкое послушное тесто?

Мне иногда бывает очень тяжело. И тогда мне хочется, чтобы в моей руке была Ваша, и тогда мне все было бы нипочем. Как было бы хорошо, не говоря ни слова, с закрытыми глазами, держась за Вашу руку, идти по какому-нибудь полю и молчать, молчать, молчать.

Вы разбудили во мне скрытую жажду радости. Целуя Вас, я чувствовал, что пью эту радость большими жадными глотками, как будто я прошел целую пустыню.

На наших встречах не легло ни тени неискренности и деланности. Все это было так просто, как будто это было всегда.

Встреча с Вами мне дана в награду за какое-то хорошее дело или как компенсация за возможное ожидающее меня несчастье.

Анна Павловна, я не могу вздыхать и томиться, не хочу лгать Вашему мужу, я хочу живой радости свидания и близости. Если Вы любите меня, то мы должны сказать об этом открыто. Вы должны разойтись с мужем. Скажите мне прямо и просто - да или нет?

Ваш Федор".

## Страничка пятая

Живущие в общежитии и уходящие из него на день днем делают большое нужное дело

Скурихин читает нужные лекции, делает нужные доклады, пишет в газете нужные статьи.

Вишняков и Русаков читают не менее нужные лекции, делают доклады. Вишняков пишет не только в газете, но и в журнале.

Спинек на службе считается добросовестной толковой работницей. Спинек нужна в Губисполкоме.

Доктор Зильберштейн, неоспоримо, необходимый, нужный работник. Доктор Зильберштейн человек с огромной инициативой. Доктор Зильберштейн не только

предохраняет носы живущих в городе от проваливания, но и делает новые, вместо провалившихся. Кроме того, он пишет гениальную книгу, производит опыты над своей женой и ходит в губком РКП и губком РКСМ с предложением ввести принудительный еженедельный осмотр. И доктор Зильберштейн очень огорчается, когда его предложения отвергают оба губкома. Доктор Зильберштейн совершенно не понимает, почему партия так ревниво оберегает своих членов от всяких идеологических влияний и совершенно игнорирует опасность влияний физических, половых.

Скурихин, Вишняков, Русаков, Спинец, доктор Зильберштейн днем, несомненно, нужные люди. А ночью? Разве доктор Зильберштейн откажется идти на другой конец города к больному? И разве коммунисты Скурихин, Вишняков, Русаков не схватят винтовки и не прибегут на площадь по первой партийной тревоге? Или Спинец откажется от дежурства в Губисполкоме?

Конечно, доктор Зильберштейн пойдет к больному. Скурихин, Вишняков, Русаков пойдут с винтовками на Советскую площадь. Все пойдут - когда вызовут.

Но если никуда не вызывают и за окнами с шелестом черных мокрых юбок шлепает по грязи черная ночь? Если двухспальные стеганые одеяла грязны и в комнатах пахнет нафталином, старым залежавшимся грязным бельем и лампадным маслом. Тогда - каждый делает, что хочет и как хочет.

Ночь скрипит железом крыши. Скрипит лестница мезонина. Вишняков поднимается к Спинец. Жена Вишнякова провожает мужа злобным взглядом в приотворенную дверь.

- К шлюхе пошел, коммунист идейный.

Вишняков стучит в дверь к Спинец. Спинец закидывает руки за голову и идет к двери. Вишняков входит неуклюжий, в тяжелых солдатских сапогах, в потертом английском френче. От Вишнякова пахнет дегтем. Спинец в белом платье, с короткими широкими рукавами, напудренная стоит перед Вишняковым. Вишняков видит ровный алебастр рук женщины, обнаженных до плеч, тугий сверток золотых волос на голове. Спинец улыбается, декламирует:

Ветер проникнул в замочную скважину  
и сказал - "приходи!"  
Дверь тихонько распахнулась  
и сказала - "иди"...

Вишняков опускает глаза, не знает, куда девать длинные руки.

- Это ваш девиз?

Спинец кладет обе руки на плечи Вишнякова. Глаза Спинец косоватые, блеклые, пусты, смотрят в сторону.

- Виктор Алексеевич, последнее время я много думала о вас.

Вишняков краснеет, неловко поводит плечами. Спинек опускает руки, садится. Вишняков рад, что может спрятать под столом свои сапоги и заплатанные брюки. Лицо у Вишнякова худое, с острыми углами скул. Нос неправильный, большой. Глаза узкие, черные. Черные подстриженные усы. Вишняков некрасив. Вишняков знает, что стыдного в этом ничего нет. Но ему все-таки стыдно. Вишняков трет переносицу, закрывает рукой нос. Спинек крутит на пальце золотое обручальное кольцо. Брови ее дергаются. Вишняков не может поймать ее взгляда.

И вот, если внизу в темной комнате под стеганым, рваным, засаленным одеялом лежит усталая жена и глаза ее - глаза заезженной лошади. Если в доме тихо, так что слышно, как медленно, с монотонным бульканьем стекает с крыши вода. Если рядом сидит золотоволосая, синеглазая, бледная женщина и платье ее бело и легко. Тогда человек думает о чуде, и тогда он смел, красив.

Взгляды Спинек и Вишнякова на минуту встречаются. Вишняков нагибается к Спинек через стол и, не давая глазам женщины ускользнуть в сторону, говорит с силой:

- Вам нужен ребенок. Вы думали об этом?

Спинек бросает небрежно, рассеянно:

- Да.

Мужчина ласков. Глаза его смотрят прямо. Его голос тверд.

Женщина знала много мужчин... Ни один не спрашивал, чего она хочет. Все заявляли только о том, чего они хотят. Этот первый спросил, чего хочет она.

В доме тихо. Тихо, молча сидит большой мужчина, внимательно смотрит в глаза. И женщина, у которой было много мужчин, но которая всегда была одинокой, начинает мечтать о чуде.

Спинек говорит уверенно, радостно, и темная пустота ее глаз заливается блестящей влагой.

- Я хочу ребенка.

Скрипят внизу ставни. Снизу начинает скрипеть лестница. Без стука в дверь входит Скурихин. Вишняков нервно дергается на стуле, встает. В этот момент он ненавидит Скурихина. Глубоко под крышкой черепа просыпается тысячелетнее, голое, волосатое. Ноги делаются по-звериному упруги. Хочется на упругих звериных лапах подойти к Скурихину, зарычать, заскрипеть зубами и лапой, мощной, тяжелой, схватить за горло.

Вишняков, теребя короткую черную щетину на голове, идет к двери.

Спинек остается со Скурихиным. Скурихин хочет ее обнять. Спинек толкает Скурихина. Скурихин удивлен.

- В чем дело? Почему?

Спинек отходит к окну. Глаза ее опять пусты. Она смотрит на город, на реку, на поля. Ничего не видит. Небрежно отвечает:

- Так, ни почему.

Скурихин краснеет, как от пощечины. Он самолюбив. Но все же спрашивает:

- Совсем?

Спинек не обертывается.

- Да, совсем.

Спинек первый раз отказывает мужчине. Она чувствует себя необычайно сильной. Спинек думает о ребенке. Она уже видит его, ласкает.

Скурихин, багровый, круто повертывается, скрипит лестницей. Скурихин идет в кухню, запирает за собой дверь. Паша сопротивляется растерянно. Скурихин зажимает ей рот, кладет на лавку.

Доктор Зильберштейн стучит по коридору сапогами и палкой. Доктор Зильберштейн идет на очередную прогулку. На улице он широким вздохом набирает полную грудь черного сырого воздуха и думает, что жизнь прекрасна. Сегодня он узнал, что его опыт блестяще удался, у него жена беременна. Доктор Зильберштейн окончательно убежден в своей гениальности. Доктор Зильберштейн счастлив.

## **Страничка шестая**

Мокрый белый снег падает на черную мокрую площадь. Вишняков идет со службы. На площади красные флаги. И оттого, что сыплется снег, флаги краснее.

За все пять лет Революции Вишняков в первый раз остро и полно чувствует живую улыбку красных флагов. Вишняков улыбается снегу, флагам, насвистывает, насвистывая, входит в дом.

Жена усталая встает с кровати, смотрит большими злыми глазами заезженной лошади.

- Свистишь? Доволен? Бросилась на шею шлюха. На каждого кидается.

Вишняков подходит к жене, тихо берет ее за руку, смотрит в лицо.

- Зачем ты так говоришь о женщине? Почему ты не скажешь, что мужчина бросается на каждую? Ведь ты же женщина.

После обеда Спинек играет на пианино. Вишняков сидит рядом.



Платье на Спинек синее, новое. Новая материя блестит. Блестят синие глаза Спинек. Золотом отливают волосы. Светится матовая белизна рук, шеи, лица. Снежные квадратики клавиш сверкают под пальцами.

Мимо окна летят тяжелые мокрые снежинки. (Снег идет первый в эту осень.) С крыш течет. Но крыши белы.

Вишнякову кажется, что и музыка Спинек белая - белые прозрачные звучащие кристаллы. И белая радость в груди у Вишнякова.

Спинек устало откидывается на спинку стула. Вишняков берет ее руку, целует

- Вам нужно работать, Зина. У вас талант.

Спинек молчит. Глаза ее снова пусты.

Вишняков тянется к Спинек, смотрит внимательно, ласково.

- Когда я слышу твою игру, Зина, мое чувство к тебе делается глубже, тоньше. Меня как-то особенно окрыляет сознание, что ты – талант.

У Спинек дергаются брови. Но лицо неподвижно. Голос спокоен, холоден. Спинек говорит - бросает серые, бесцветные камешки - слова.

- Да? Разве? Почему?

Вишняков встает, начинает ходить из угла в угол.

- Ведь мы всегда в любимой женщине ищем что-то особенное. Какое же счастье любить ту, у которой, как у тебя, есть это особенное! Зинусь, ведь ты - талант... Может быть, больше.

Спинек как не слышит. Спинек думает о своем.

- Виктор Алексеевич, но у вас ведь жена, семья... И всегда мужчины говорят каждой женщине, что она особенная, необыкновенная, что они первый раз такую видят и любят первый раз с такой силой.

Вишняков морщится, молчит, хватается за голову, быстрее кружится по комнате.

- А почему вы равнодушны к своей жене, к своим детям? Ведь это будет то же самое.

Вишняков быстро подходит к стулу, садится, стучит кулаком по крышке пианино. Глаза Вишнякова черны и злы.

- Есть такие слова "хочу" и "должен". Я любил свою жену. Потом я перестал любить жену. Но механическая близость сохранилась. Родился ребенок, другой. Я уже должен их любить.

Вишняков хватается Спинек за руку, говорит, стискивая зубы:

- Пойми, что я люблю тебя.

Спинек неподвижна, холодна. Сколько мужчин говорили ей это слово - люблю. Сколько мужчин целовали ее, целовали ее губы, глаза, лоб, голову, руки, грудь, все, все тело. Все зацеловано, захватано, все было, повторялось и повторяется вновь.

- Виктор Алексеевич, так все и всегда говорят.

Вишняков вскакивает.

- И Скурихин?

Вишняков ревнует Спинек ко всем мужчинам, бывшим у нее до него. (Ведь каждый мужчина хочет быть первым, единственным, неповторимым. Каждая женщина хочет стать первой и последней.)

Спинек дергает бровями.

- Да, вроде этого...

- У-у-у. Проклятье!

Вишняков рычит, бежит, сжимает кулаки.

Спинек встает, улыбается, поправляет прическу.

- Виктор Алексеевич, пойдете на бульвар. Вам нужно успокоиться.

Частая чугунная решетка бульвара - длинная черная расческа в снежной седой голове. Снег, неглубокий, мокрый, тает.

Следы Вишнякова и Спинек черны и четки. На бульваре пусто.

Бульвар на берегу реки. Река чугунно-черная.

В беседке темно. Хотя пол в снегу.

На твердом, деревянном полу обжигающий белый холод снега и жгущий, белый жар упругого тела женщины.

- Милая.

- Я твоя милая?

- Первый раз сказала - ты.

Мимо беседки беззвучно пролетает большая белая птица. Крылья и голова у птицы круглые. Птица пушистым снежным шаром летит над чугунной чернотой реки.

Но когда идут домой - Спинек снова говорит "вы", снова холодна, замкнута. Спинек недоверчиво думает, что он, как все. Спинек не хочет выделять Вишнякова. Выделить, полюбить - отдать не только тело. А он уйдет, как и все. Будет больно. Не надо.

Спинек твердеет, идет с поднятой головой, со стиснутыми зубами.

Вишняков берет под руку, заглядывает в глаза.

- Зинусь, почему ты такая холодная, чужая?

Спинек говорит глухо:

- Так, ни почему.

- Ты любишь меня, Зинусь?

Спинек отвечает так, как отвечала многим мужчинам:

- Ну, да, я вас люблю. Вы мне нравитесь.

Но в глазах у нее пусто. И эта пустота пугает Вишнякова.

Подходят к дому. Снег почти стаял. На улице темно.

Расходятся как чужие. Рука Спинек холодна, безжизненна. Вишняков входит в комнату. Комната кажется ему совсем черной.

### **Страничка седьмая**

Вишняков сидит за столом, дома. Вишняков знает, что у Спинек гости. Но Вишнякову необходимо немедленно говорить со Спинек. И Вишняков пишет.

"Я пишу Вам... Разве любовь может быть без писем?"

За окном снег. Снег сыплется с серого неба, мешается с серым дымом города, падает на серые крыши, заборы, землю. Белое на сером быстро становится серым. Серое, серое, серое.

Нет радости - подлинной, зимней, сверкающей, снежной.

Зима. Зима всегда - белое слепящее веселье, бодрящая сила.

Сыплется снег. Бесчисленные снежинки совершают свой неизменный путь от облаков до земли. На серое, на черно-серое падает белое. И серое, черно-серое, грязное, затоптанное делается чистым искристо-белым, хмельно-радостным, неповторяемо новым.

Путь снежинок предопределен веками, в нем неизбежное, неотвратимое, извечное. Неизбежно белому упасть на черное, дать черному белую сверкающую радость и по исполнении положенных сроков - оплодотворить и умереть, уступить место новому, зеленому.

Нет еще подлинной слепящей зимней радости в наших отношениях. (Зимнее - верное, крепкое, ясное.) Дни наших встреч - снежинки. Чистые, белые снежинки еще падают на серое, чужое, еще мешаются с серым дымом прошлого. Но неотвратим, белокрепок лет снега времени. Еще немного, и белый снег завалит, забелит, засеребрит все осеннее, прошлое. (Осеннее ведь всегда прошлое. Осенью всегда думают о прошедшей весне или лете).

Я вижу эти дни - зимние, верные, крепкие, ясные. Ты в сумерках будешь лежать и слушать монотонное ворчание огня в железной

кривоногой печке. Ты будешь ждать меня большая, сильная, ласковая.

Я буду приходить вечером. Мы закроем двери. Красная ласковая теплая печка будет беззлобно ворчать у нас в ногах. В окна мы увидим звездное небо и снежные сине-белые сверкающие просторы полей.

Белы, крепки, чисты будут наши тела и горячи, как снег. (Ведь снег не студит, а жжет.)

Снежинки - дни наших встреч.

Будет падать снег времени. Будет расти большое, снежное, слепящее, зимнее чувство. (Помни - зимнее, всегда верное, крепкое, ясное)

Я убежден, будет у нас белая, большая, неповторимая радость.

И это будет не простая побелка старой, закопченной комнаты. Нет. Пусть вновь потемнеют стены нашей комнатки, пусть местами обвалится штукатурка, пусть в дыры обвалов, иногда помимо нашей воли, выглянет прошлое. Пусть. Оно будет мертво. Умрет и старая, серая, молчаливая комната. Новое, живое, маленькое существо огласит ее звонким торжествующим криком. Новое, живое маленькое одним криком перестроит заново всю комнату, в новые большие окна покажет нам, что мир велик, что жизнь прекрасна, что лучшее в ней - любовь. И счастливые, мы будем тогда вспоминать синее, звездное, зимнее небо, снежно-белые просторы полей, ворчанье раскаленной печки, тишину нашей белой комнаты, немую радостную муку наших тел, бившихся в страстном творческом поцелуе.

Пусть идет снег времени. Пусть совершают свой путь снежинки - дни наших встреч.

Я знаю, все проходит, умирает. Умрут, растают снежинки - дни наших встреч. Но черно-серая земля разлуки не будет голой. Новое, живое, маленькое существо будет бегать по ней, радостно кричать о торжестве жизни, о ее бессмертии.

Снег падает. Падают снежинки-дни.

Жду, когда настанет день, в который мы встретимся, и тела наши будут телами богов, творящих мир. Верю, что наш поцелуй будет бессмертен.

*Твой В. "*

К столу подходит жена. Вишняков краснеет, закрывает красным листом промокательной бумаги белый листок письма. Жена кривит губы. Щеки у нее трясутся. В глазах слезы.

- Прячешь? Зинке письмо пишешь?

Вишняков нервно вытаскивает белый листок, складывает вдвое, прячет в карман. Голос у него дрожит.

- Да, Зине.

Жена бледнеет, грузная, в широком капоте тяжело садится на стул. Стул хрустит.

- С несколькими бабами путаешься.

Вишняков вскакивает, срывает с вешалки шинель. Жена громко сморкается, всхлипывает, закрывает лицо носовым платком. Большое полное тело женщины студнем дрожит на стуле. Стул скрипит.

Вишнякову противна жена. Вишняков стоит у дверей. Дергает себя за рукав, морщится.

В Губпартшколе, в лекторской комнате, Вишняков пишет второе письмо Спинек. Первое лежит у него в кармане. Вишняков решает передать оба вместе. Не писать Спинек он не может. Видеться со Спинек, писать ей стало для него потребностью.

"Еще хочу я сказать тебе о боли своей за тебя.

Ты подумала, что я стану относиться или отношусь к тебе с безразличностью после того, как узнаю или узнал, что ты была близка с X, У и др.

Как мне было тяжело, как была ты несправедлива.

Л. Андреев говорил: "Купивший женщину - зверь".

Я добавляю:

- Обокравший женщину - зверь вдвойне.

Зина, сколько обкрадывали тебя. И как всех их я ненавижу. Они приходили к тебе с лестью и ложью. Уходили удовлетворенные, с зевками скуки, бросали имя твое под ноги улице, как окурки, как шелуху съеденного ореха. Улица топтала, трепала твое имя. А они сыто посмеивались, щурились звериными глазками, подмигивали тебе вслед, шептались по секрету приятелям:

- Знаете, эта... Она недурна в постели... только есть у нее недостаток...

Бросить имя женщины улице - значит, более чем обокрасть ее - надругаться над нею.

Тебя обкрадывали, над тобой надругались люди. Тебя обокрала и природа. И вот к тебе именно такой подхожу я с величайшей болью и любовью. Тело твое оскорбленное беру, как святыню. Хочу, чтоб любовь моя была так же чиста, как чисты и ты и тело твое, очищенное огнем жадности материнства. Нет, нет, не к тебе с безразличностью подхожу, а к ним, их презираю. Если бы мог я вырвать грязный, липкий, длинный, черный язык улицы, я бы вырвал и бросил бы тебе его под ноги.

Растопчи!

Но что я говорю тебе? Разве мы вместе уже не топчем его?

В окно на меня смотрит яркое, но ясное солнце. Ясно у меня на душе. И еще раз я говорю тебе это нестираемое, ясное слово - "люблю".

## **Страничка восьмая**

В городе - Рабочий Дворец. В Рабочем Дворце ставят "Травиату". В городе говорят о "Травиате".

И поэтому, вероятно, в Губпартшколе, в перерыве между лекциями, Скурихин спрашивает Вишнякова:

- Вишняков, ты знаешь, как по-русски "Травиата"?

Вишняков прислушивается к далекому жужжанию невидимого самолета. Смотрит на белые крыши домов. Думает о себе и Зине. Вишнякову хочется взять Зину под руку и идти с ней по длинным кривым улицам города, чувствовать теплоту ее тела, слушать бодрое неумолкаемое жужжание самолета. Вишняков отвечает рассеянно:

- Нет, не знаю.

Скурихин не знает, зачем спрашивает Вишнякова. И, не зная, зачем и для чего, начинает объяснять:

- Травиата - значит, падшая...

Вишняков смотрит на Скурихина узкими, черными, ненавидящими глазами. Вишняков ревнует Скурихина к Спинек с особенной силой. Скурихин слишком близко. Скурихин всегда может встретиться со Спинек. Может быть, они и встречаются. Вишнякову тяжело жить со Скурихиным в одном доме, встречаться на службе.

В городе ставят "Травиату". В городе говорят о "Травиате". В городе насвистывают, напевают из "Травиаты".

"Травиата (падшая, заблудшая)".

Зина нашла нужным поставить скобки и перевести.

"...Когда долго протягиваешь руки в пустое пространство, то делаешь это робко или небрежно. Робко, если все-таки на что-то надеешься. Небрежно, если ничего не ждешь.

Иногда сбываются и очень маленькие надежды.

Из пустого пространства начинает светиться свет. Он всегда бывает зловещим, потому что скоро гаснет, а когда гаснет - не оставляет после себя ничего.

Этот свет дает очень кратковременную и очень зловещую радость. Радость, потому что свет всегда оставляет за собой пустое пространство.

Такова радость людей, озаренных северным сиянием.

Вот они залиты кровью, вот они пламенеют и вот уже опять ничего - льды, льды, пустыня, пустыня...

В тело женщины природой вложено очень много сил. Она тратит их на деторождение. В теле бесплодной женщины их скопится слишком много, они не душат, они ее обременяют, они гасят ее сознание - она все время чувствует свое тело.

Бывают минуты, когда отягощенное сознание хочет погаснуть, чтобы не помнить, не знать, не стать потом светлым, ясным и легким.

Бывают минуты, когда сознание не хочет быть ни светлым, ни ясным, ни легким, ни темным, ни отягощенным, когда оно ищет только забвения пустого, темного пространства, когда оно хочет раствориться и погаснуть совсем в зловещей, кровавой, пламенеющей радости забвения.

И бывают минуты, нет, долгие дни и годы, когда оно гаснет и не

возрождается и живет полумертвым.

Я хочу освобождения сознания, оно должно быть освобождено от тела, тело должно выполнять свои законы, оно должно родить.

Но сознание требует не только своего завершения, оно хочет своего продления и ему не все равно, от кого родит тело.

Мне никогда еще ни от кого не хотелось родить: не потому, чтобы я вообще хотела не этого, и не потому, чтоб я не думала об этом, и не потому, чтоб я никого не любила.

Сознание хотело своего продолжения не вниз, не по горизонтали, а вверх.

Но от вас я хочу ребенка.

Люблю ли я вас? Вы сливаетесь для меня с самым ценным - это больше. Я боюсь вас. Вы для меня перелом всей жизни. Вы сами чувствуете и говорите это. Вы та ступень, выше которой мне не ступить и на которую я еще не ступила и, может быть, не ступлю.

Да, я травиата. На этот путь меня толкнула природа, и на этот же путь я вступила сама.

Я не хочу оправдания. Но я не хочу быть травиатой. Я устала от зловещей, гнетущей радости льдов. Не нужно черно-красного. Дайте маленькое, зеленое, как обещали".

## Страничка девятая

Спинец идет к доктору Зильберштейну. Вишняков остается в ее комнате.

Доктор Зильберштейн осматривает Спинец долго и тщательно. Спинец неловко лежать на жесткой кушетке. Спинец стыдно, что у нее голый живот, что доктор Зильберштейн внимательно рассматривает его и спокойно мнет сухими холодными пальцами.

Когда Спинец одевается, доктор моет руки и говорит:

- Маленькая операция, и у вас будет ребенок. Но, скажите, вы хотите сойтись с мужчиной?

Спинец удивлена, смущена. Спинец молчит, краснеет. Доктор Зильберштейн сухо блестит черными глазами. На лбу у него дрожат черные пружинки волос.

- Вы можете иметь ребенка без мужчины Я открыл способ...

Спинец решительно отказывается.

- Это, может быть, и очень добродетельно, доктор, но и очень скучно.

За дверь Спинец фыркает. На лестнице звонко хохочет. В комнате кладет руки на плечи Вишнякова и хохочет, хохочет.

Доктор Зильберштейн слышит смех в мезонине. Но доктор Зильберштейн уверен, что его открытие перевернет мир. Доктор Зильберштейн даже не сердится на Спинек. Он только медленно говорит:

- О, вы еще придете к доктору Зильберштейну!

И спокойно погружается в работу.

Спинек играет на пианино. Вишняков ходит по комнате, мечтает:

- Ребенок должен быть гениален. Мать талантлива, мать - музыкант, отец талантливый оратор и журналист...

Вишняков подходит к Спинек, целует ее волосы. Спинек улыбается, подставляет губы. Вишняков берет обеими руками золотую голову, целует губы, лоб, глаза...

Дома Вишняков совершенно не замечает жену. Работает Вишняков много и радостно.

В общежитии почти все счастливы.

Счастлив Вишняков. Счастлива Спинек. Счастлива Берта Людвиговна. Счастлив доктор Зильберштейн. Счастлива Паша (Паша беременна). Счастлив Скурихин (физически Паша ему нравится больше, чем Спинек).

Несчастливы только трое.

Анна Павловна, порвавшая с Федей. Федя, отвергнутый Анной Павловной. И Вера Николаевна.

Но пахнет в общежитии по-старому - ночными горшками, нафталином, грязным бельем, ладаном.

### **Страничка последняя**

В общежитии четыре беременных женщины - Берта Людвиговна, Вера Николаевна, Паша и Спинек.

Три из них каждый день на кухне. От этого в кухне еще теснее. И женщины ругаются больше.

Освобождена от кухонной работы и, следовательно, от ругани одна Спинек.

Спинек, счастливая, розовая, стоит перед зеркалом. Спинек часто часами стоит, сидит или лежит и смотрит на свой живот. Иногда она видит, как бьется в нем ребенок. Спинек уже любит своего ребенка, ночами видит его во сне. В Спинек проснулось тысячелетнее, самочье.

Вишнякова Спинек зовет Виктором, думает о нем всегда с нежностью.



Он для нее первый, единственный и неповторимый.

Спинек счастлива.

В окнах теплые желтые полосы солнца. Рот форточки открыт. Комната глотает свежую, холодную сырость. Спинек слышит глухой стук капли. Снег тает.

Утро идет двадцать первое в марте.

И вот, случайно раскрыв рот, Спинек видит, что за белым снегом зубов, в мясе десен, на языке у нее такие же темные воронки и темные пятна, как на улице в сугробах тающего снега.

Спинек несколько секунд сидит с опущенными руками, с полуоткрытым ртом, с глазами, выдавленными из орбит и расширенными ужасом.

Спинек бежит на лестницу, истерично хохочет, кричит:

- Виктор! Виктор! Ха-ха-ха!

Вишняков выбегает из своей комнаты полуодетый, в туфлях, бежит наверх. Вера Николаевна смотрит вслед мужу, видит Спинек, хватается за сердце, бледнея, бессильно садится прямо на пол у порога. Из кухни высовывается красное лицо Паши. Паша скалит зубы, фыркает. Доктор Зильберштейн, уже вышедший на службу, обертывается у дверей, пожимает плечами.

Спинек хватается удивленного Вишнякова за руки, хохочет.

Глаза Спинек полны слез. Слезы текут по щекам женщины, по груди, кружочками блестят на полу.

- Ха-ха-ха! Нас обокрали.

Вишняков думает, что у Спинек ночью были воровы.

- Что украли? Когда? Успокойся.

Спинек хохочет громче, тяжело падает на пол. Вишняков поднимает ее, кладет на кровать.

- Ви-тя... Милый... Ха-ха!..

Стискивая зубы, давя смех истерики, Спинек кричит:

- Сифилис!

Лицо у Вишнякова делается серым. Голос хрипл и глух.

- Когда, от кого заразилась?

- Не зз-ннаю...

У Спинек щелкают зубы. Тело дрожит.

Мужчина и женщина долго молчат. У Спинек тело в холодном поту. Холодный пот на лбу у Вишнякова.

Скрипит лестница. Дверь широко распахивается. Задыхаясь, входит Вера Николаевна. Лицо у Веры Николаевны совершенно белое.

- Шлюха! Развратник!

Вишняков устало поднимает голову, морщится, машет рукой.

- Оставь, теперь все равно. У нас у всех сифилис.

В Губпартшколе, в перерыве между лекциями, Вишняков подходит к Скурихину. Вишняков улыбается. Но голос у него дрожит.

- Товарищ Скурихин, помните, вы спрашивали меня, как сказать по-русски - травиата?

Скурихин просматривает конспект лекции. Скурихин отвечает неохотно.

- Ну?

Вишняков говорит шепотом:

- А теперь я вас спрошу, как будет по-русски люес? Не смешивайте с пулеметом Люеса. Хотя это дырявит не хуже пулемета.

- Ну?

- У Спинек сифилис.

Скурихин не пошел на лекцию, уехал домой.

Вечером в общежитии воют и рвут на себе волосы - Вера Николаевна, Анна Павловна и Паша. Берта Людвиговна ничего не знает.

Спинек тихо плачет. Вишняков сидит рядом. Мужчина и женщина медленно глядят черную рукоятку браунинга.

Но застрелиться никто не смог.

Доктор Зильберштейн делает аборт Вере Николаевне, Спинек и Паше. Спинек, Паша, Вера Николаевна, Анна Павловна, Вишняков, Скурихин ходят на уколы к доктору Зильберштейну. Доктор Зильберштейн торжествующе думает:

"О, вы скоро убедитесь в верности и необходимости моего открытия. О, вы придете ко мне".

Доктор Зильберштейн совершенно не знает, что его жена больна, что он слишком поздно произвел над ней свой опыт. Скурихин не решается сказать правду Берте Людвиговне.

Дни идут.

Спинек, Вишняковы, Скурихины думают сменить квартиры. Но квартир нет. И все живут вместе, в одном общежитии.

Утром мужчины и Спинек уходят на службу. Женщины ходят с бледными, мятыми лицами, не причесанные, не одетые, стряпают, убирают комнаты. Обедают все в один час. Вечерами ходят на лекции, на доклады, на собрания и... на уколы к доктору Зильберштейну. И белой могильной плитой на дверях общежития - массивная эмалевая вывеска.

**Доктор  
Лазарь Исаакович  
ЗИЛЬБЕРШТЕЙН  
Кожные и венерические**

Приговоренные к смерти, запертые в одной камере, всегда откровенны, дружны.

Поэтому, вероятно, Вишняков заходит вечером к Скурихину. Скурихин лежит на постели. Анна Павловна у стола штопает мужу носки.

Вишняков ложится рядом со Скурихиным. Вишняков говорит первый:

- Но ведь мы же работали, Веня? Я дважды ранен в войне с Колчаком.

Скурихин соглашается.

- Да, мы работали и работаем. Я заведую хозяйством Губпартшколы и читаю лекции.

Вишняков вздыхает.

- Но ведь это ужасно, Веня?

Скурихин смотрит через окно на небо, на звезды.

- При всякой работе полагается некий процентик на амортизацию. Вот мы с тобой и попали в этот процентик при работе по перестройке общества.

На дворе, на улице тает снег. Снег почернел, покрылся язвами проталин. Невидимые теплые потоки ведут разрушительную работу. С крыш глухо сползают снежные пласты. Стучит капель. Звенят, ломаются ледяные сосульки.

Скурихин повертывается на бок, кладет руку на грудь Вишнякову.

- А Зильберштейн все-таки дурак. Не с того бока начинает.

На кровати лежат долго. Лица людей серы, как снег весной. Черными проталинами в весеннем снегу - черные дыры глаз и рта. Вишняков щупает переносицу.

- Веня, тепло ест снег, ломает лед. Может быть, и наши тела так же ест, ломает болезнь? Может, мы не слышим только, как разваливаются наши кости.

Вишняков опять щупает переносицу.

Спинек играет на пианино, громко смеется. Она не одна. У нее гость - новый управдел Губисполкома.

Спинек спрашивает его:

- Скажите, какие билеты будут выдавать советским проституткам - желтые или красные?

Управдел удивлен, поднимает мохнатые брови. Спинек хохочет.

Но все же в общежитии есть счастливые.

Берта Людвиговна, беременная, не знающая о своей болезни. Доктор Зильберштейн, ничего не знающий. И Федя.

К Феде ходит черноглазая, черноволосая, кудрявая, краснотубая курсантка Катя Комиссарова. Федя и Катя хохочут, гремят стульями, возятся, когда общежитие уже спит. У Феде долго в комнате горит огонь.

На улице в весеннем тумане голубой дом с мезонином округляется, делается темным. Голубой дом с мезонином похож на яблоко. Освещенное окно Фединой комнаты - румяное пятнышко.

## **Отрывок**

В Губпартшколе вечер воспоминаний. В аудитории электричество. Аудитория полна.

Вишняков бледный, с синими кругами под глазами, стоит за кафедрой, мнет бумажку — план доклада.

Голос Вишнякова срывается Руки дрожат, лоб в холодном поту.

— Товарищи, мы сейчас вспоминали страшные зверские расправы самодержавия. Но я хочу сказать о еще более страшном. Старое буржуазное общество оставило нам кошмарное наследие - венерические болезни. Венерические болезни, товарищи, зло социальное, явление социального характера.

Курсанты молчат, слушают.

— Я вам хочу сказать, товарищи, как можно заразиться сифилисом, как я им заразился.

Аудитория улыбается. Сотни глаз светятся смехом. Вишняков бледнеет еще больше. Колени у него дрожат. Вишняков надрывно выкрикивает:

— Товарищи, это очень страшно. Необходимо отнестись серьезно.

Аудитория — головы, головы, головы, русые, черные, стриженные наголо, подстриженные, с прическами, лица розовые, красные, смуглые, бледные — пестрый кусок материи.

Глаза — ниточки блестящего, цветного бисера. Губы — красные лоскутки в красном вишневом соку.

В улыбке блестит бисер глаз, набухают кровью лоскутки губ. Смех с шелестом с угла на угол трясет пестрый кусок материи.

Аудитория не понимает Вишнякова, ей не страшно — она здорова.

Вишняков опускает голову, плечи, теряет нить мысли. Вишняков с опущенной головой, с согнутой спиной, с бессильно оттопыренным задом, держится обеими руками за кафедру. Он похож на искривленное графическое изображение процента.

Расшитый искристым бисером глаз и красными лоскутками губ шелестит, колыхается волнами пестрый кусок материи.

## **П. БЛЯХИН. КРАСНЫЕ ДЯВОЛЯТА<sup>113</sup>**

### **ОТ АВТОРА**

Юные друзья мои, читатели! Повесть «Красные дьяволята» была написана мною в 1921 году в вагоне-теплушке по дороге из Костромы в Баку. Вместо трех дней я ехал ровно месяц. На самодельном столике наготове лежал маузер...

Гражданская война подходила к концу, но грабежи и налеты бандитских шаек на поезда и продбазы продолжались. Нам не раз приходилось по тревоге хвататься за оружие и выскакивать из вагона. Поезда часто останавливались: не хватало топлива для паровозов, и пассажиры сами помогали добывать дрова, уголь. Страна изнемогала от голода, разрухи и болезней. Но советский народ терпеливо переносил все невзгоды и героически сражался с остатками интервентов и контрреволюции. Вместе со старшим поколением билась за власть Советов и наша молодежь, юноши и девушки и даже дети-подростки. Сотнями и тысячами шли они добровольцами в ряды Красной Армии, показывая образцы невиданной храбрости и любви к Родине.

В 1920 году я не раз встречался с такими орлятами. Об их отваге и самоотверженности рассказывали поистине чудеса.

О боевых делах и приключениях тройки юных героев, прозванных «красными дьяволятами», я и написал свою первую повесть. Она была издана в Баку в 1922 году. Это была одна из первых книг о гражданской войне, кровавый след которой еще не успел остыть. Наши юные читатели горячо приняли книгу.

В 1923 году вышел в свет кинофильм «Красные дьяволята», поставленный в Грузии по моей повести и сценарию режиссером И.Перестиани.

---

<sup>113</sup> Печатается по: П. Бляхин. Красные дьяволята // [http://royallib.com/book/blyahin\\_pavel/krasnie\\_dyavolyata.html](http://royallib.com/book/blyahin_pavel/krasnie_dyavolyata.html)

Советские зрители, особенно молодежь и дети, встретили фильм с восторгом и немедленно отозвались сотнями писем на имя командарма Первой Конной армии С.М. Буденного с просьбами принять их Добровольцами, как «красных дьяволят». Многие просили товарища Буденного сообщить им и точные адреса этой тройки. В некоторых клубах появились группы «красных дьяволят».

В свое время кое-кто упрекал меня в том, что боевые дела и приключения «красных дьяволят» порой кажутся невероятными и непосильными для таких юнцов (16-17 лет). Но вот двадцать лет спустя, в годы Великой Отечественной войны, я опять встретил «дьяволенка» нового поколения — это Вася Бобков. Васе пятнадцать лет. Он в форме солдата. Через плечо автомат. На груди орден Красной Звезды. Вася Бобков — отличный стрелок и храбрый воин. Он не раз ходил в разведку. В бою заменял при случае пулеметчика. Мог быть и хорошим наводчиком орудия. На его счету было двадцать пять убитых гитлеровцев! Ну, разве этот юный вояка не мог быть четвертым «дьяволенком» в моей повести?! А сколько таких пареньков было на разных фронтах Великой Отечественной войны!

Правда, в повести есть элементы некоторой фантастики и преувеличений, но они выражают героические настроения нашей молодежи, готовой положить и жизнь свою за дело коммунизма, за счастье народа.

## НАБЕГ

Темная южная ночь тихо таяла. Бледнели и гасли звезды. За черной полосой леса розовел восток. Словно огромная чаша горячего борща, курилась туманами жирная украинская земля. Приближалось утро.

Но село Яблонное все еще спало крепким мужицким сном. Дремал даже старик-сторож, стоя у дверей церкви с колотушкой под мышкой. Вокруг все было тихо и спокойно, как в доброе старое время. Только неугомонные петухи певуче перекликались из конца в конец беспечного села.

Ой, не спать бы вам в эту ночь, мужики!..

На опушке леса на горячем вороном коне появился маленький всадник в мохнатой папахе, заломленной на затылок. Приподнявшись на стременах, он, как вор, огляделся по сторонам. Хищное лицо его с черными колючими глазками настороженно вытянулось, ноздри раздулись, словно у хорька, почуявшего дичь. Он вдруг выхватил шашку и со свистом рубанул ею воздух.

— Гей, за мной, хлопцы!

Из леса тотчас вылетел отряд конников и, веером рассыпавшись по широкому полю, ринулся на село.

Тяжело загудела земля. Стаи испуганных птиц взвились к небу.

Церковный сторож уронил колотушку и в страхе перекрестился:

— Що такэ, матерь божья? Ратуйтэ, православные!..

Но уже было поздно: стреляя на скаку, лавина всадников с диким воем и свистом неслась по улицам злосчастливого села. Захваченные врасплох селяне в панике выбежали из хат и тут же

падали, сраженные пулями или зарубленные шашками. Бандиты не щадили ни стариков, ни женщин, ни детей.

— Бей! — бабьим голосом визжал маленький всадник, размахивая шашкой.

Бандиты врываются во дворы и хаты, грабят пожитки, свертывают головы гусям и курам, угоняют овец и коров.

Но, странное дело, хаты кулаков и деревенских богачей налетчики не трогали. Не тронули и дом священника отца Павсикакия.

Вскоре пламя пожарища озарило страшную картину разгрома.

Верный своему долгу, старик-сторож поднялся на колокольню и ударил в набат.

Маленький всадник, видимо, атаман шайки, помчался к церкви. За ним скакали длинный, как жердь, бандит с помятым цилиндром на голове и мрачный рябой детина с обрезом за спиной...

Набат гудел, усиливая тревогу, призывая на помощь...

В церкви уже орудовали грабители: они рвали на части парчовые ризы, обдирали золотые иконы, набивали сумки церковной утварью.

Атаман шайки на всем скаку ворвался в распахнутые настежь двери храма.

— Вон! Сто чертив вашему батьку! — заорал он, награждая своих соратников ударами плети. — Вон, а то рубать буду!

Ворча и ругаясь, бандиты бежали к выходам.

В алтаре из-под престола выскочил перепуганный насмерть священник. С крестом в руках он подбежал к атаману и приложился к его ноге, как к иконе:

— Отец родной... батька наш... дай тебе боже доброго здоровья! Спас дом божий...

— Но-но, нечего мед разливать, — проворчал атаман, поворачивая коня к выходу. — Своих попов мы не трогаем, пригодятся.

Поп чуть не захлебнулся от восторга и преданности;

— Да боже ж мий!.. Да я... да мы...

— Ну и баста! — отрезал бандит. Шутя хлестнул попа плетью по спине и вылетел из церкви.

Поп почесал ушибленное место, истово перекрестился.

— Слава тебе, господи, слава тебе!.. Вот, собака!

Набат внезапно оборвался...

Два бандита с трудом оторвали старика-сторожа от колокола, схватили его за ноги и за руки, бросили с колокольни. Он упал под ноги вороного коня. Конь шархнул в сторону, едва не выбив из седла атамана.

Глянув на убитого старика, он расхохотался;

— Что, дозвонился, старый пес?

В этот момент к атаману подлетел крайне встревоженный конник:

— Беда, батько, — у Совета перепалка! Голова незаможников <sup>114</sup> отстреливается — Ванька Недоля!

Атаман взвыл:

— Живьем, живьем взять! Шкуру спущу!..

Осажденные толпой, отец и сын Недоля стреляли из окон дома. Трое убитых уже валялись у крыльца. Решив, что взять сельсовет штурмом не удастся, бандиты обложили здание соломой и подожгли.

Когда к месту боя прискакал атаман, сельсовет уже был объят пламенем со всех сторон.

Через несколько минут дверь дома распахнулась, и вместе с клубом дыма на крыльцо выскочил могучий старик с винтовкой в правой руке. Левой он поддерживал тяжело раненного сына-матроса.

Шайка встретила их торжествующим ревом, лавой окружив крыльцо.

— Живьем, живьем взять! — завизжал атаман. — Я им Покажу Советскую владу <sup>115</sup>!..

Взяв винтовку за конец ствола и действуя ею, как дубиной, грозный старик двинулся прямо на толпу. Бандиты и страхе расступились по обе стороны.

— Сдавайся, старый черт! — ревели они, пятась от старика.

Матрос тяжело опирался на руку отца, с трудом передвигал ноги. Лицо его было залито кровью.

Первый смельчак, попытавшийся приблизиться к старику, грохнулся на землю с разбитой головой.

Рев усилился, но круг стал шире.

По знаку атамана рябой бандит заехал сзади и прямо с седла метнул шашку в спину старика. Тот упал навзничь:

— Да здравствует власть Советов!

Упал и матрос.

Шайка ринулась на беззащитных уже бойцов.

— Назад, хлопцы! — приказал атаман. — Матроса взять в лес, а с отцом я сам поговорю...

Бандиты неохотно расступились. Атаман спрыгнул с седла, подошел к истекающим кровью пленникам. Старик лежал неподвижно, как мертвый, не выпуская из рук винтовки.

— Подох, собака! — зло прошипел атаман. — А то бы я показал тебе незаможных селян...

---

<sup>114</sup> Председатель Комитета деревенской бедноты

<sup>115</sup> власть



Вдруг откуда-то сверху два камня со свистом пронеслись в воздухе. Один камень больно царапнул щеку атамана, а другой попал в холку вороного коня. В то же время на другом конце села раздались испуганные крики;

— Партизаны! Партизаны!..

Бандиты поспешно вскочили на коней и, стреляя куда попало, понеслись вон из села.

По приказанию атамана рябой бандит поднял матроса на седло и умчался вслед за шайкой в лес.

Вскоре село опустело. На улицах валялись только Трупы убитых, да бегали взад и вперед перепуганные овцы.

С крыши ближайшего к сельсовету дома проворно селились двое ребят и с криком бросились к могучему старику, лежавшему посередине дороги, у сгоревшего здания сельсовета:

— Ой, батька наш, батька!

## **ДВЕ МАСКИ**

Страна Советов пылала в огне гражданской войны. Со всех сторон к сердцу России — Москве — двигались многочисленные орды контрреволюции, С востока, севера и юга угрожали иностранные интервенты, снабжавшие белые армии оружием и продовольствием. В Крыму засел Врангель, войска которого прорывались на Украину, в район Екатеринославщины.

А здесь, в тылу молодой Красной Армии, бесчинствовали кулацкие шайки, возглавляемые разными батьками и атаманами.

Городские рабочие и деревенская беднота самоотверженно боролись за Советскую власть, помогали Красной Армии и нашим партизанам всем, чем могли. Сотни и тысячи молодых добровольцев пополняли ряды славных бойцов за дело свободы и социализма.

В эти грозные годы, в кольце врагов, советскому народу жилось тяжело, голодно и холодно. После войны промышленность была разрушена, поля не засеяны, хлеба не хватало даже для снабжения Красной Армии. Деревенские кулаки-богатеи прятали свой хлеб и продукты в ямах и потаенных местах, занимались спекуляцией и жестоко грабили городское население, спускавшее за хлеб и картошку последние пожитки.

В те дни, к которым относится действие нашей повести, такое же положение было и в городе Екатеринославе.

В Гуляй-Поле и по всей Екатеринославской губернии разгуливали и грабили мирных жителей банды знаменитого на Украине батьки Махно. Действуя в тылу Красной Армии, эти банды приносили неисчислимый вред советскому народу: устраивали еврейские погромы, грабили базы снабжения, убивали советских работников, особенно большевиков и красных партизан. Деревенские богачи и буржуи всячески помогали им в борьбе против Советской власти. Они хотели вернуть старый режим, царя и помещиков.

Был вечер. На густо-красном горизонте тяжело громоздились и лезли к зениту грозные тучи. По широкому шляху из Екатеринослава длинной вереницей тянулись мужицкие телеги и тачанки.

Они возвращались с большого воскресного базара. На возах громоздились пустые кадучки и макитры <sup>116</sup>, кухонная посуда, граммофонные трубы, зеркала и ведра, столы и стулья — словом, все, что можно было выменять у голодающих горожан за хлеб, молоко и картошку.

Крестьяне явно спешили домой. Не желая остаться в одиночестве, задние возчики усердно нахлестывали и понукали криками своих коней:

— Та ну, швидче, ковурый!

— Гей, Петро! Чи здыхае твоя кобыляка, чи шо?

— Трохым, геть со шляху, чого став, бач, лис близко!

Грозовые сумерки уже ползли по земле, окутывая дорогу зловещим полумраком.

Подъезжая к лесу, мужики незаметно вытаскивали из-под соломы короткие куцаки <sup>117</sup>, иные нащупывали за пазухой револьверы, готовили ножи. Они явно чего-то опасались, со страхом поглядывая на темные овраги и в сторону леса.

Только одна расписная тачанка, запряженная парой коней и нагруженная до отказа разным барахлом, не торопясь катилась в хвосте обоза. На ее задке, увязанное веревками, гулко громыхало старое пианино.

Лениво пошевелявая вожжами, конями правил здоровенный мужичище, с красным заплывшим лицом и толстой золотой цепочкой на рыхлом брюхе.

Рядом, словно курица на яйцах, сидела его жена. С первого взгляда было ясно, что это почтенные и богатые люди,

Вероятно, по случаю выгодной спекуляции мужик изрядно выпил и теперь беспечно насвистывал украинские песенки. Это очень беспокоило его жинку, которая то и дело тыкала «чоловика» кулаком в спину:

— Та ну, красный пес, гони швидче! Бач, як тэмно?!

— Тэмно? А нехай соби тэмно, — невозмутимо отвечал «красный пес» и не думал торопиться, — мини що: дорогу я знаю, село знаю, ворота знаю — усе знаю. Хиба ж я пьян, чи шо? Бач, у мэнэ яка цидуля е?

Пьяный кулак выразительно шлепнул ладонью по пустой кубышке, из которой торчала ручка нагана;

— Хлоп, и в голове дырка.

Жинка разъярилась еще больше:

— Вот дурна дитына! Хиба ж ты не чув, що тут сам Махно гуляе? Гони, кажу, швидче!..

— Батько Махно? — живо отозвался мужик. — А нехай соби гуляе, дай ему боже... Вин же на радяньску владу идэ, щоб ий кишки повытягло!

---

<sup>116</sup> большая глиняная квашня

<sup>117</sup> винтовка с обрезанным дулом, обрез

И кулак разразился забористой бранью по адресу Советской власти. Наругавшись вдоволь, он вдруг бросил вожжи, смачно шлепнул ручищей-по жирной спине своей жинки:

— А хошь, Олена, я для батьки Махно «Боже царя» спою? Хошь? Ей-богу, спою и на музыке натрынькаю...

Мужик повернулся к пианино и лихо забарабанил кулаками по крышке:

— Бо-о-о-же, царя храни, сильный дер...

— Стой!

— Стой!..

— Руки вверх! — внезапно загремело над ухом кулака. И его кони в мгновение ока оказались свернутыми в обочину, а перед глазами блеснуло черное дуло револьвера. — Оружие и деньги! — грозно крикнул незнакомец, направляя пистолет в лоб кулаку.

В ужасе воздев руки к небу, мужик растерянно забормотал:

— Деньги?.. Яки деньги?.. — Но, глянув в лицо грабителя, он вдруг увидел красную маску, разрисованную белыми полосками и черными пятнами.

— О, боже ж мий! Нэчиста сила! — взревел суеверный мужик, мешком падая на свою половину.

А перепуганная Олена уже лежала ничком, спрятав голову в большую макитру с остатками сметаны.

У тачанки появился еще один грабитель в такой же страшной маске.

— Да они совсем окачурились от страха, — сказал первый, опуская дуло пистолета. — А ну-ка, обыщи их, Овод!

Второй грабитель проворно обшарил воз и кулака.

— Есть оружие, брат Следопыт! — радостно крикнул он, выхватывая из кубышки наган.

— Даешь поход! — отозвался грабитель, названный Следопытом, и тотчас спрыгнул с колеса тачанки.

Две красные маски мгновенно исчезли в ближайшем овраге, а перепуганная чета еще долго лежала на месте, боясь шелохнуться. Наконец мужик осторожно приподнял голову и огляделся по сторонам. Вокруг все было тихо.

— Дэ ж воны? — изумился он, крестясь. — Мабуть наваждение було, чи оборотень який? Дывись, Олена!..

И только теперь мужик заметил, что на плечах его жинки, вместо головы, торчала огромная макитра:

— Олена! Гей, Олена! Та дэ ж твоя дурна голова? Ты сказылась, чи шо?..

Услышав знакомый голос, Олена медленно подняла голову вместе с макитрой. По ее груди и шее стекала сметана.

Мужик невольно расхохотался;

— Бачтэ, яка штука!

Олена с трудом стащила свой нелепый колпак. Но, увидев хохочущего мужа, она побагровела от ярости и с такой силой трахнула его макитрой по голове, что черепки разлетелись во все стороны.

— Жинку чуть не заризали, а вин регоче, рыжий сатана!

Однако, опомнившись, они оба сразу схватились за вожжи и, нахлестывая коней, понеслись по шляху, прочь от страшного места.

## **КТО ОНИ?**

Глухая ночь спустила на мир свой черный полог. Вдали угрожающе ворчал гром, вспыхивали белые молнии, словно от страха, трепетали вершины дубов...

Но что это?..

Далеко над лесом пролетела красная горящая искра, за ней другая, третья... В темной чаще заиграли языки пламени.

Кто же дерзнул зажечь огонь в этом угрюмом лесу в такую тревожную ночь и так далеко от жилых селений?..

У костра под могучим дубом сидели на корточках уже знакомые нам грабители в страшных масках.

— Слушай, брат Следопыт, — сказал один, подбрасывая сухие сучья в огонь, — для чего ты крикнул: «Оружие и деньги!», когда нам нужно было только оружие? Мы же не грабители.

Второй засмеялся:

— А так страшнее. Видал, как кулак глаза выкатил? Я думал, он лопнет от страха. Военная хитрость, брат Овод.

— Ну, нет, это он твоего пистолета испугался...

— Да, пистолет лихой, — согласился тот, кого звали Следопытом, и бросил в огонь большой черный «пистолет», дубовый ствол которого походил на детскую пушку.

Овод снял маску. Она оказалась простой красной тряпкой, разукрашенной белилами и ваксой, с двумя дырками для глаз.

— Не пора ли, брат, начать совет вождей? — спросил он, засовывая револьвер за пояс штанов. — В поход мы, кажись, готовы.

— Ну, что ж, начинать так начинать, — ответил Следопыт и тоже сорвал с лица маску.

При колеблющемся свете костра теперь уже можно было разглядеть безусые лица двух подростков, ничуть не похожих на лесных грабителей. Один из них, названный Следопытом, был одет в красную рубашку, подпоясан простой веревочкой. На ногах большие, видимо, отцовские, сапоги. Крепкий, широкий в плечах и груди, он казался сильным не по летам. Рыжие волосы буйными вихрами торчали во все стороны, а живые серые глаза смотрели дерзко и весело.

Второй паренек был, видимо, слабее первого, но ловкий и гибкий, как лоза. Черные волосы то и дело сползали на его высокий, умный лоб, заставляя частенько встряхивать головой. Мягкое красивое лицо и особенно светлая улыбка годились бы скорее для девушки, чем для парня с револьвером за поясом. Одет он был так же, как Следопыт, обут в опорки на босу ногу.

Следопыт, не торопясь, вытащил из-за голенища сапога длинную резиновую кишку с трубкой на конце.

— Для начала выкурим трубку мира, брат Овод, — важно сказал он, набивая трубку чем-то вроде табака.

Овод молча кивнул головой.

Следопыт закурил. Выпустил первый клуб дыма и так закашлялся, что на глазах выступили слезы.

— Тьфу ты, пакость какая! Аж в нос шибануло!

— Ничего не поделаешь, — отозвался Овод, — таков порядок в совете вождей. Твое слово, брат Следопыт...

Следопыт вытер глаза рукавом рубахи и начал:

— Слушай, брат Овод. Одиннадцать лун тому назад Черный Шакал вырыл томагавк войны, а проклятая Голубая Лисица разоряет наши родные вигвамы и села. Бледнолицые собаки не щадят ни жен, ни детей наших и даже стариков предают лютой смерти у столба пыток. Не пора ли и нам взяться за томагавки? Или мы трусливые бабы, что сидим дома у костров мира? Смерть бледнолицым собакам!

Оратор грозно потряс кулаком в воздухе и передал конец кишки своему приятелю. Тот в свою очередь глотнул дыму и тоже закашлялся.

— Голубая Лисица замучила нашего брата Федю у столба пыток, — сказал он. — Мы должны разыскать ее хоть на дне моря, заковать в железные цепи и отправить на суд Великого Вождя краснокожих...

— Ой, нет, сначала мы всыпем ему пятьдесят горячих, а потом уж и в цепи, — перебил Следопыт. — Я обещал батьке...

— Можно и так, — согласился Овод. — Значит, завтра в поход?

— Урра-а, в поход! — подхватил Следопыт и, совсем как мальчишка, перевернулся через голову, ударив каблуками сапог по костру.

Сноп золотых искр взвился к небу, осветив на мгновение и дуб, и полянку, и юных вояк. А затем тьма стала еще гуще и ночь чернее.

Так неожиданно закончился совет вождей... Однако пусть читатель не думает, что все это лишь простая игра юных фантазеров «в индейцев» или еще что-нибудь в таком же роде. Не всякому понятное решение совета вождей явилось началом таких дел и приключений, что они составят все содержание нашей повести. А впрочем, вернемся немного назад и расскажем, как эти ребята задумали свой поход и что их толкнуло на отчаянный трюк с красными масками...

## **КРАСНЫЕ ДЬЯВОЛЯТА**

Отец наших героев Иван Недоля жил в селе Яблонном на Украине. Все его имение состояло из старой лакомившейся хатенки да худой сивой кобылы. Зимой он ходил на заработки, а летом ковырялся на своем жалком клочке земли и батрачил у деревенских кулаков. В 1914 году он вместе со старшим сыном Федором ушел на войну бить немца.

Домой Недоля вернулся уже после Октябрьской революции. Он пришел на село в рваной шинели, заметно прихрамывая на левую ногу, но с винтовкой в руках. На его широченной груди сияли два георгиевских креста, а за пазухой лежала пачка большевистских газет и первые декреты Советской власти о земле и мире. С этого дня Иван стал самым горячим большевистским агитатором на селе.

— Земля — народу! — кричал он на сельских сходках, Потрясая винтовкой. — Хлеб — Красной Армии! Смерть — белякам и буржуям!..

В разгар гражданской войны на Украине он организовал Комитет незаможных селян и крепко взял в переделку кулаков-мироедов.

Федор попал на флот.

Семья Ивана — жена и двое ребят-близнецов — по-прежнему ютилась в кособокой хатенке. Ребята — Дуняша и Мишка — старались быть похожими на отца и на свой лад помогали ему в борьбе за власть Советов.

Гражданская война разбила село на два враждебных лагеря: на бедняков и кулаков, на красных и белых, на тех, кто за Советскую власть и против нее,

Дети бедноты и кулачества тоже разделились на две партии и отчаянно воевали между собой, шли «стенка на стенку».

Мишка и Дуняша чуть не каждый день возвращались домой, покрытые синяками.

Старушка мать плакала. Отец посмеивался:

— Так-так, хлопцы, значит, вам опять всыпали?

— Всыпали своими боками, — хмуро отвечал Мишка. — Мы им тоже наклюкали, дай боже...

— А кто ж это вас разукрасил так?

— Кулачье разное да Митька Косой — попов сын.

— А вы что? Пятки казали?

Мишка вспыхивал от обиды:

— Ну, это ты брось, батька, я им такие фонари наставил!

— И я тоже, — подхватывала Дуняша, показывая отцу рваную кофточку, — мы вместе бьем их...

— За что ж вы воюете, хлопцы мои? — продолжал допрашивать отец уже серьезно.

— А они нас «красными дьяволятами» обзывают. Ну, мы и... того, в кулаки их...

— А потом они Советскую власть ругают и тебя тоже.

Отец был доволен:

— Молодцы, ребята! За Советскую власть всем беднякам биться надо! И «красные дьяволята» — хорошая кличка, лишь бы не белые...

Мать горестно всплескивала руками:

— Что ж ты делаешь, старый, дети в крови приходят, а он еще нахваливает!

Но «дети» давно уже решили воевать за Советскую власть по-настоящему, с оружием в руках, как взрослые. Под руководством отца они изучали военный строй, ружейные приемы, стрельбу из винтовки и револьвера.

К великому удовольствию Ивана, в стрельбе Мишка скоро превзошел его. Из револьвера на десять шагов он попадал в яблоко, а из винтовки почти не знал промаха. Неплохо «рубал» он и старенькой шашкой, одним махом срезая голову «белогвардейцу», слепленному из глины. Но из всех военных дел Мишке больше всего нравилась разведка. Всерьез готовясь к этому делу, он исползал на животе окрестности села, порвал все свои штаны и рубашки, по голым стволам лазил на вершины самых высоких сосен, часами сидел там, «выслеживая врага» и корректируя воображаемый огонь Красной Армии

Дерзко поправ обычаи своего пола, Дуняша мало в чем уступала своему брату и была с ним неразлучна, как тень.

Ребята помогали и матери по хозяйству: ходили в лес за дровами и хворостом, таскали воду с реки, обрабатывали огород, чистили картошку... Впрочем, кроме картошки, у Недоли ничего и не было. Хлеб пополам с мякиной и лебедой они получали из сельсовета по осьмушке на человека да изредка по фунту муки через Комитет незаможных селян.

Так же, как отец, ребята не унывали. Они свято верили в светлое будущее трудящихся, в окончательную победу Советской власти и всей душой любили Владимира Ильича Ленина, о котором так много рассказывали им отец и брат Федор. Ленин представлялся им как добрый отец всего трудового народа, как великий вождь и чудо-богатырь земли русской. Недаром между собой они называли его Великим Вождем краснокожих воинов...

У брата и сестры были две страсти; война и книги. Читали они запоем все, что подвертывалось под руку. Но больше всего любили книги о боевых подвигах и приключениях, о путешествиях за моря и океаны, о героической борьбе краснокожих индейцев Америки за свою свободу и независимость.

Любимыми героями Мишки были «последний из могикан» — Ункас и старый охотник — Следопыт. А так как Следопыт был замечательным разведчиком, Мишка присвоил себе и его кличку.

Дуняша долго не могла найти для себя подходящего имени. Но однажды сельский учитель, охотно снабжавший их книгами, подарил Дуняше чудесный роман Войнич «Овод». Ребята прочитали его залпом и были потрясены необыкновенным мужеством и самоотверженностью Овода. На истрепанные страницы, где описывалась трагическая смерть Овода, не раз падали горькие слезы Дуняши, а Мишка отворачивался в сторону, подозрительно посапывая носом. Как настоящий мужчина, он старался скрывать свою слабость.

Чтение этой книги закончилось тем, что Дуняша дала Мишке клятву быть такой же самоотверженной, как Овод, и так же, как он, мужественно встретить смерть, если придется

погибнуть в борьбе за власть Советов, за свободу. Мишка торжественно одобрил клятву сестры и тут же назвал ее Оводом.

В сознании ребят современные события и герои гражданской войны так причудливо переплетались с книжными образами, что они уже и сами не знали, где кончается чудесная сказка и вымысел, а где начинается подлинная суровая жизнь. В разговорах между собою они создали даже свой особый язык, заимствованный у индейцев Фенимора Купера и Майн Рида, понятный только им одним. Красноармейцев они называли краснокожими воинами, белых контрреволюционеров бледнолицыми собаками. Белогвардейский генерал Врангель получил кличку Черного Шакала, бандита Махно окрестили именем злого и коварного апаха — Голубой Лисицей. Знаменитый командарм Первой Конной армии Буденный носил у них имя храброго предводителя одного из индейских племен — Красного Оленя и т.п. А Ленина, как мы уже говорили, иначе и не называли, как Великий Вождь краснокожих воинов: в их представлении это была высшая степень любви и уважения.

Время шло. Гражданская война разгоралась. Ребята продолжали готовиться к боевым делам и уже стали осаждать своего батьку просьбами отпустить их добровольцами в армию краснокожих воинов. Разумеется, они войдут под начало только самого Красного Оленя, то есть Буденного. В то время слава Первой Конной уже гремела по всей России, заражая сердца молодежи жаждой подвига.

Отец одобрительно посмеивался, но все же советовал ребятам подрасти еще немного, а потом уж...

Дуняша и Мишка ждали этого дня с величайшим нетерпением. Но тут случилось событие, сразу опрокинувшее все их надежды и планы. С фронта неожиданно прибыл старший брат — матрос Федор, чтобы организовать на селе заготовку хлеба для Красной Армии. Отец, как председатель Комитета незаможных селян, пришел ему на помощь и при содействии бедноты стал выкачивать у богатеев-кулаков припрятанный хлеб.

И вот в тот день, когда продотряд выехал в соседнюю деревню и в Яблонном не осталось никого из вооруженных, в село ворвалась уже известная читателю банда и учинила кровавый разгром. Это была одна из шаек злейшего врага Советской власти — батьки Махно. Тогда они увезли раненого Федора в лес и там замучили насмерть.

Получив тяжелую рану в спину, отец наших героев все же оправился и через два месяца встал на ноги. Его хатенка сгорела. Иван Недоля устроил свою семью у знакомого рабочего в городе Екатеринославе, а сам решил уйти к красным партизанам.

Прощаясь с Мишкой, отец сказал:

— Вот что, сынок, если я сам не встречу и не убью Махно, то постарайся разыскать его хоть ты и всыпь ему таких горячих, чтобы он вовек не забыл нашей деревни...

Неизвестно, шутил ли отец или говорил всерьез, но Мишка гневно блеснул глазами и сурово ответил:

— Не бойся, батька, это ему даром не пройдет. Я найду его хоть под землей! Скажи только, сколько ему всыпать?

Отец невольно улыбнулся:

— Да влепи хоть полсотни, и то будет добре.



— И я с Мишкой пойду! — вмешалась Дуняша, бросаясь на шею отцу. — Махно замучил нашего Федю.

Напоминание о смерти старшего сына передернуло старика. Он расцеловал детей и плачущую жену, смахнул с ресницы тяжелую слезу и быстро вышел вон, прихватив винтовку.

С тех пор отец как в воду канул — ни слуху ни духу. Все думали, что он погиб. Только жена не хотела верить и ждала его домой изо дня в день, полная тоски и горя.

После ухода отца ребята решили, что они уже достаточно выросли и вполне готовы для боевых дел (а как же, ведь им уже перевалило за пятнадцать лет!). Одна беда — у них не было оружия. Винтовку и револьвер забрал отец, а старенькая шашка в расчет не принималась. «Не оружие, а бабье веретено», — уверял Мишка. Как же быть? После долгих споров и обсуждений ребята решили отобрать оружие у какого-нибудь кулака или бандита, а потом двинуться в «поход». Как и чем закончилась эта попытка, читатель уже знает из предыдущей главы.

Костер на полянке догорал. Ребята сидели под дубом, обсуждая разные детали предстоящей военной кампании.

В первую очередь они решили пробраться в лагерь Красного Оленя — Буденного, недельку-другую повоевать с бледнолицыми собаками, поработать для практики разведчиками, а потом уж направиться на поиски проклятой Голубой Лисицы, то есть Махно, и разделаться с ним по-своему.

Как видно, ребята затеяли нешуточное дело. Они свято верили, что все пойдет как по маслу и врагам революции несдобровать! Жаль только, что им не удалось достать пару хороших маузеров, с которыми, по их мнению, можно было победить весь мир: шутка ли — двенадцать пуль в одной обойме! Да вот нехорошо еще, что старуха мать одна остается дома. Захиреет с горя.

— Тяжело будет нашей матке-то, — грустно заметил Овод, вытирая полую рубахи заплаканные глаза, — не выдержит она голодухи, зачахнет без нас...

— Не зачахнет, — сурово возразил Следопыт, чувствуя, что и сам вот-вот разревется. — Экая ты беспонятливая, война-то ведь не кухня, не с горшками драться. Солдаты всегда уходят, а матери остаются...

— Да я что же, я ничего... Я говорю только, что тяжело будет старухе, — оправдывался Овод, стараясь приободриться.

— Значит, завтра чуть свет в поход?

— Уже сегодня. Вишь, светает.

— Руку, товарищ!..

Ребята крепко обнялись. А затем дали клятвенное обещание всегда быть вместе, не оставлять друг друга в беде и биться за власть Советов не на жизнь, а на смерть.

Сидя плечом к плечу и продолжая мечтать о будущих подвигах и приключениях на красном фронте, они незаметно задремали.

Костер давно погас... Ночная тьма поднялась к небу, черные тучи рассеялись, и огненные мечи восходящего солнца торжественно возвестили спящему миру: «Пора вставать, идет утро!...»

## У КРАСНОГО ОЛЕНЯ

На берегу извилистой речонки, по оврагам и деревушкам, раскинулся лагерь Конной армии Буденного. После многодневного утомительного марша бойцы и кони отдыхали. Впрочем, этот отдых был вынужденным: на пути конницы встретились сильные части белогвардейской пехоты, окопавшейся вдоль опушки леса с артиллерией и пулеметами.

Штаб армии расположился в крестьянской хате на окраине села. На крыльце стояли два буденовца с винтовками — это охрана. В штаб то и дело пробегали ординарцы с донесениями или с приказами, выскакивали обратно, садились на коней и неслись прочь.

В хате за большим столом, склонившись над полевой картой, сидели сам Буденный и могучий седовласый полковник с пышными и длинными усами, похожий на гоголевского Тараса Бульбу.

— Так вы говорите, полковник, что фланг противника — самое слабое место? — спросил Буденный, скосив глаза на старого казака.

— Эге ж, — коротко ответил тот, тряхнув чубом. — Ось тут такая низина, по которой можно ударить в конном строю. — Он ткнул пальцем в отметку на карте.

Буденный усмехнулся:

— А вот здесь, на холмике, стоят «максимки» и могут порезать твоих коней, как коса траву.

Полковник почесал в затылке:

— Ось тут?.. Могут поризать... Як же буде?..

— Ударим в лоб, — решил Буденный, — вот по этой долине.

Полковник удивился:

— В лоб? Ни, так не можно.

— В лоб! — повторил Буденный, вставая. — Это слишком дерзко, зато неожиданно для врага. А для конницы внезапный удар — половина победы. Ваш полк махнет первым перед рассветом. Еще раз пошлите разведку...

— В лоб так в лоб, — спокойно согласился полковник и, вынув из кармана коротенькую трубку, стал набивать ее махоркой.

В дверь кто-то постучал.

— Войдите! — крикнул Буденный.

Дверь распахнулась, и бравый казак, взяв под козырек, вытянулся в струнку у входа.

— Ты что, Гарбузенко?

— Шпиенов привели, товарищ командующий.

— Шпионов? Вот кстати. Где ж вы их схватили? — живо спросил Буденный.

— В лесу, около речки.

— А почему вы думаете, что это шпионы?

— Да вони дюже подозрительны: кажут, шукалы Буденного, и такое балакают, що не дай боже. Мабуть, вони пьяны, чи шо, — отвечал, переходя на украинский язык, красноармеец,

— Вы обыскали их?

— А то як же!

— Что ж нашли?

— Та оцю книжку та наган.

— Хорошо, давайте их сюда.

— Слухаю! — буденовец повернулся на каблуках и, приоткрыв дверь, позвал: — Гей, Петро, тяги их до командира!

В палатку, подталкиваемые сзади, вкатились два старичка с длинными бородами неопределенного цвета. Один походил на деда мороза, слепого детскими руками: низенький, квадратный, с всклокоченной бородой, немного съехавшей набок; второй был тощий и прямой, как палка. Старички подошли к столу и с любопытством стали оглядывать палатку.

На столе рядом с картой лежал маузер.

При виде оружия квадратный старичок живо толкнул в бок тощего, шепнув вполголоса:

— Гляди-ка, маузер!

— Маузер, — тоже шепотом ответил тот, сделав еще шаг к столу.

Полковник, зорко следивший за каждым их движением, быстро схватил маузер и чему-то ухмыльнулся.

Окинув старичков пытливым взглядом, Буденный оперся подбородком на эфес своей сабли и сухо спросил:

— Вы откуда, старики, пожаловали в наши края?

— Мы-то? — переспросил квадратный старичок, оправляя бороденку. — А кому какое дело? Мы ж не такие дурни, чтобы всякому болтать, как и что.

Буденный изумленно вскинул брови:

— Вот это номер!.. Вас же арестовали около самого штаба!..

— А ну что ж, — отрезал старичок. — мы пробирались к Красному Оленю, а нас и цапнули эти чудаки...

— Что за вздор, какой олень?

— Красный.

Тощий старичок дернул квадратного за рукав и на ухо шепнул:

— Они же не знают!..

— И верно! — спохватился квадратный. — Мы, значит, к Буденному шли и вот — влопались.

— Ну так говорите, что вам нужно от него. Я и есть Буденный.

Старички ахнули в один голос:

— Сам Буденный?

— А ведь похож! Ей-богу, он! — обрадовался квадратный, подталкивая вперед тощего. — Ну, валай, рассказывай, брат Овод, а то я опять наверчу что-нибудь.

Тощий старичок подвинулся ближе к Буденному:

— Вы на нас не сердитесь, товарищ Буденный. Мы, вот я и мой братень Следопыт, то есть Мишка, из села Яблонного, а батька наш Иван Недоля ушел в партизаны, брата Федора замучили бандиты Голубой Лисицы, значит Махно, а мы с Мишкой решили вступить добровольцами к вам...

— В ряды краснокожих воинов, — вставил квадратный старичок.

— Не перебивай, пожалуйста, — отмахнулся тощий и продолжал:

— Под вашей командой мы хотим немного попрактиковаться в военных делах...

— Побить бледнолицых собак, — опять не утерпел квадратный, — а потом разыщем проклятую Голубую Лисицу и всыпем ей полсотни горячих. Пусть знает, гадюка, как села жечь! Во!..

— Вы что-нибудь понимаете здесь, полковник? — сердито спросил Буденный. — Красный Олень, бледнолицые собаки. Голубая Лисица... Что за тарабарщина такая?..

Овод хотел уже разъяснить, в чем дело, но тут старый буденовец подошел к старичкам и, вдруг схватив их за бороды, дернул вниз:

— Бачтэ, яка кумедия!

И перед изумленными взорами красных конников и Буденного во всей красе предстали наши герои — Следопыт и Овод. Все прыснули со смеху, а за ними рассмеялись и ребята.

— Это еще что за фокусы?! — прикрикнул Буденный.

Ребята сразу притихли, не совсем понимая, почему сердится Красный Олень, когда все получилось так великолепно.

— Никакого тут фокуса нет, — робко возразил Овод, — мы это для отвода глаз прицепили и вот явились к вам...

— А на что вы мне нужны? — отрезал Буденный. — У вас еще молоко на губах не обсохло, а вы воевать задумали.

— Как, на что? — удивился Следопыт, выступая вперед. — А кто вам Голубую Лисицу поймают?..

— И потом, иметь такого разведчика, как Следопыт, — вовсе не худо, — поддержал Овод. — Он может проползти на пузе хоть двадцать верст, а шашкой рубает не хуже любого казака.

Мишка сердито фыркнул и задрал голову вверх.

Буденный не выдержал:

— Вот забавные хлопцы! Куда ж мы их денем, полковник?

— Принять на службу и отдать под мою команду, — невозмутимо посоветовал полковник, — а я их прощупаю.

— Хорошо, пусть будет по-вашему, — согласился Буденный. — Только проверьте сначала, что это за сорванцы такие.

— Слухаю! Гайда за мной, хлопцы!

— А где ж наше оружие? — спросил Мишка. — Мы его в бою взяли...

— Возвратить! — коротко бросил Буденный, снова наклоняясь над картой.

По-военному отдав честь Буденному, ребята вышли вслед за полковником.

## Ю-Ю

Был уже вечер, и на голубом небе одна за другой зажигались звезды.

Ребята шли по деревне, полные радости и надежд, — они станут буденовцами!

Мишка старался идти в ногу с полковником, который молча посмеивался, наблюдая за юнцами. Мимо них то и дело проносились верховые. Во дворах ржали и фыркали кони. Порой слышался лязг штыка или шашки, окрики патрульных, лихая песня. Там и сям горели костры, вокруг которых сидели на корточках воины в ожидании ужина. Лагерь глухо рокотал и гудел, словно гигантский улей.

По пути ребята увидели несколько хат, снесенных до основания артиллерийским огнем. Только черные остовы труб и печей зловеще торчали среди кучи развалин, производя жуткое впечатление.

У наших героев невольно сжались сердца: вот она где, настоящая-то война! Вот они, настоящие красные бойцы и тот самый фронт, куда тянуло их с такой неодолимой силой!

Пройдя развалины, Мишка и Дуняша увидели кучку деревенских ребят. Они шумели и над кем-то громко смеялись. Центром внимания оказался молодой китаец с буденовкой на голове, который старался выбраться из толпы.

— Ходя! Ходя! Косолапый ходя! — кричали озорники, дергая его за полу длинной шинели. А когда китаец поворачивался, чтобы схватить обидчика, они с хохотом отскакивали прочь.

Желтое лицо китайца посерело от гнева. Он яростно метался в куче озорников.

Овод возмутился издевательством над китайцем и тотчас шепнул что-то на ухо Мишке.

— Есть, дать взбучку! — ответил Мишка. И не успел полковник сообразить, в чем дело, как наши приятели с криком «ура» врезались в толпу ребят, раздавая удары направо и налево. От быстроты и неожиданности натиска толпа в испуге разлетелась в разные стороны.

Опрокинув двух-трех озорников, Мишка и Овод подбежали к китайцу и в воинственной позе стали по бокам.

— Прочь, бледнолицые собаки! — крикнул Мишка, выхватывая револьвер. — Не будь я Следопыт, если не влеплю кому-нибудь пулю в лоб! А ну, подходи, кто желает!..

Желающих не оказалось...

— Молодцы, хлопцы! — смеясь, похвалил старый казак. — Быть вам буденовцами! Ведь это кулацкое отродье напало на Ю-ю.

— Рады стараться, товарищ полковник! — по-военному гаркнули ребята.

Прижимая руки к груди, китаец низко кланялся своим заступникам и почтительно лопотал:

— Спасибо, капитана!.. Караша, капитана, моя твоя товалиса!

Он схватил руку Мишки и крепко встряхнул ее в знак дружбы и преданности. Потом резко обернулся вслед убежавшим озорникам и погрозил кулаком:

— Твоя шайтан! Моя твоя бить будет!

— Как тебя звать, товарищ? — спросил Овод, в свою очередь пожимая руку китайцу.

— Моя звать Ю-ю, товалиса, Ю-ю...

Из разговора с полковником выяснилось, что Ю-ю давно уже находился в армии Буденного, исполняя различные поручения штаба полка, а иногда бывая и в разведке. До прихода в армию он работал в китайской прачечной в Москве, потом был акробатом в цирке и даже уличным фокусником при старом шарманщике. Гражданская война пробудила в нем страстное желание покинуть свою неблагодарную работу и броситься в огонь кровавых событий. Он смутно понимал, что борьба русских крестьян и рабочих за Советскую власть есть дело всех угнетенных, и стихийно потянулся к красным, под знамена свободы и революции.

По просьбе наших ребят полковник согласился устроить их всех вместе и взять под свое покровительство. Задорные юнцы сразу полюбили суровому воину, известному среди буденовцев под кличкой Деда. Особенно понравился ему Овод, поразительно похожий на его красавца сына, сложившего голову в борьбе с белобандитами.

Все направились к хате, занимаемой полковником.

— Следуй за нами! — приказал Мишка Ю-ю. — Теперь ты будешь моим оруженосцем.

— Слюхай, капитана! — охотно отозвался Ю-ю, взяв под козырек.

Вскоре все четверо уже сидели за большим столом в хате полковника.

— Ну-с, хлопцы, что ж мы будем делать? — начал полковник, попыхивая трубкой и оглядывая своих гостей.

— Воевать! — решительно отрезал Мишка. — А пока не худо бы поесть досыта...

— Мы уже пять дней одними сухарями пробавлялись, — подтвердил и Овод, стараясь смягчить слишком прямой ответ Мишки.

— Добре, хлопцы, можно и поснидать.

На столе вскоре появился незатейливый солдатский ужин, который голодные ребята мигом уничтожили.

На первый случай судьба им улыбнулась, и все устраивалось так, как мечталось. Было решено, что некоторое время они «попрактикуются» в военном деле, поучатся у опытных красноармейцев, как держать себя в бою, как ходить в разведку, ухаживать за конями и прочее.

На другой день ребятам уже выдали старенькое военное обмундирование и короткие драгунские винтовки. Правда, все это было немножко великовато и смешно топорщилось во все стороны, но юнцы сразу почувствовали себя настоящими боевыми буденовцами, готовыми идти в огонь и воду. Теперь они были уверены, что обещание, данное отцу, будет скоро выполнено.

Оглядев себя в боевом наряде, Мишка уверенно сказал Оводу:

— Теперь берегись, Голубая Лисица, душу вытрясем! Во!..

— Не говори «гоп», пока не перескочишь! — охладил пыл Мишки более благоразумный Овод. Однако и он не мог предвидеть, какие трудности и беды ждут их на пути к заветной цели.

Так началась боевая жизнь юных фантазеров.

## **В ОГНЕННОМ КОЛЬЦЕ**

В суровой, полной опасностей и лишений обстановке время летело незаметно. Прошла неприятная, мокрая, с непролазной грязью осень 1919 года. Прошла и страшная зима с ее лютыми морозами и почти непрерывными боями против многочисленных полчищ белых, наседавших со всех сторон, проникших до Орла и Воронежа. Это были самые критические дни гражданской войны, когда Конная армия под командованием бывшего унтер-офицера самоучки Буденного разгромила два корпуса белых генералов Мамонтова и Шкуро, шесть лучших конных кубанских корпусов генерала Павлова, очистила от белых весь Дон, Кубань, Северный Кавказ, проделала воистину легендарный тысячеверстный переход до Киева, захваченного белополяками, а по пути беспощадно уничтожала бандитские шайки Махно и других «батьков».

Невозможно описать все героические подвиги Конной армии в эти памятные дни и нельзя представить себе те бедствия и трудности, которые пришлось ей пережить и преодолеть. Это не столько битвы с врагами, сколько голод и жуткие морозы, паразиты и болезни, невылазная грязь и бездорожье.

Все это видели и перенесли наши юные герои. Правда, они заметно похудели и загубели, обтянулись их лица, руки стали жесткими, но зато они закалились телом и духом, окрепли, возмужали. Теперь они поняли, что война — это не только славные подвиги, но и бесконечно трудное и страшное дело, требующее много сил, ума, железной стойкости и самоотверженной любви к своей Родине.

За эти дни все трое не раз участвовали в боях, ходили в разведку с опытными буденовцами, научились прекрасно владеть конями и ухаживать за ними. Их боевые успехи, выносливость и отвага поражали даже старых вояк. А полковник души в них не чаял и всякий раз, когда начинались бои, дрожал за жизнь ребят, словно это были его собственные дети.

Теперь Конная армия проходила по украинской земле, где бесчинствовали банды Махно, и в Мишке снова вспыхнула надежда разыскать и поймать Голубую Лисицу. Но, перед тем как отправиться на поиски, ребята решили добиться от полковника самостоятельного поручения,

чтобы проверить свои силы и способности как разведчиков. Дед долго упирался, но, наконец, уступил и обещал при первом же случае удовлетворить их желание. Такой «случай» не заставил себя долго ждать.

Однажды полк Деда получил приказ выбить противника из небольшого леса на левом фланге Конной армии. Перед наступлением надо было основательно прощупать позиции белых глубокой разведкой, чтобы нанести удар в наиболее уязвимое место. И вот одновременно с группой опытных разведчиков полковник, скрепя сердце, решил отправить в самостоятельную разведку и нашу тройку.

— Только смотрите, хлопцы, зря не храбритесь, — напутствовал их Дед, — ходите так, чтобы вас даже заяц не слышал. Разнюхайте, где там у них пушки стоят, где пулеметы, да подсчитайте их, а мимоходом гляньте, не прячется ли где белая конница, и живо назад...

Получив боевое задание, друзья, по установившемуся обычаю, немножко поспорили, как его лучше выполнить. В качестве Следопыта Мишка, естественно, принял командование первой самостоятельной разведкой, тем более, что он обладал каким-то особенным нюхом и удивительной способностью быстро ориентироваться в обстановке и применяться к местности.

За час до рассвета, в сопровождении неутомимого и преданного Ю-ю, друзья отправились в путь, вооруженные с головы до ног. Кроме винтовок и револьверов, каждый имел по нескольку ручных гранат.

Все живое спало крепким предутренним сном. Даже хищные ночные птицы редко нарушали покой природы, беззвучно пролетая над головами разведчиков и мгновенно исчезая во мраке. Густой туман, словно седые космы старой ведьмы, тянулся по сырой земле и кустарникам, мутной пеленой заволакивал лес, скрывал овраги и рытвины, превращал все вокруг в клубящуюся пустыню, полную загадок и страха. За каждым кустом, в каждой яме и рытвине, казалось, притаился кто-то враждебный, подстерегающий красных разведчиков. Но Следопыт отважно шагал впереди с наганом наготове. Не отставая ни на шаг, за ним шел Овод, а сзади с «карабаем» в руках скользил, как тень, Ю-ю. Его пояс был весь увешан гранатами.

В таком порядке без всяких приключений ребята прошли последние караулы и посты нашего расположения и вскоре оказались между двумя неприятельскими армиями.

Пройдя таким же смелым, уверенным шагом еще с полверсты, Мишка вдруг остановился. Овод тотчас ткнулся носом в его затылок, а Ю-ю налетел на Овода.

— Тихо! — приказал Мишка. — Садись!

Ю-ю и Овод тотчас опустились на сырую траву.

Мишка осмотрелся по сторонам, проверил направление и стал искать ориентир, по которому можно было бы двигаться дальше, без риска заплутаться.

Вокруг простиралась голая степь, кое-где пересеченная оврагами. Вдали виднелся какой-то темный холм, за ним тянулась полоса леса. Мишка решил идти прямо на этот холм, а оттуда наметить новый ориентир.

— Ложись и следуй за мной! — шепотом скомандовал Мишка.

Все трое припнулись к земле и беззвучно, как настоящие пластуны, поползли друг за другом.



Время от времени Мишка останавливался, приподнимая голову, и острым взглядом озирал окрестности. Видимо, подражая своему герою Следопыту, он изредка падал на траву и, приложив ухо к земле, чутко ловил все звуки и шорохи, стараясь угадать их источник.

Овод в точности копировал Мишку, а Ю-ю просто ложился на живот и терпеливо ждал дальнейшей команды. Он полагал, что его дело — точно и быстро исполнять приказания, а об остальном должен заботиться его бесстрашный «капитана», в таланты которого он верил свято и нерушимо.

Но все было тихо и сумрачно.

Таинственный холм, до которого добрались, наконец, разведчики, оказался большой купой деревьев и кустарника. Дальше виднелся лес, а перед ним предполагалась первая линия обороны противника.

— Передохнем, — тихо скомандовал Мишка, скользнув, как ящерица, в кустарник.

Так же бесшумно за ним прошмыгнули остальные.

Осторожный Мишка тщательно обследовал ближайшие кусты и, наткнувшись на большую яму, решил расположиться в ней.

Разведчики еще не успели занять «позиции», как Мишка, чуть слышно шикнув, припал ухом к земле.

Все притаились в яме, с замиранием сердца ловя звуки. Однако ни Ю-ю, ни Овод не слышали ничего подозрительного. С легким шумом перелетали с ветки на ветку певчие птицы. Где-то далеко трещал коростель, из глубины леса доносилось страстное воркование горлинки.

Через минуту Мишка поднял голову:

— Нишкни, ребята! Я слышу какой-то подозрительный шорох, — он указал в сторону леса, — а потом что-то стукнуло, будто железка о железку задела. На всякий случай приготовьтесь к делу.

Овод и Ю-ю расположились справа и слева от своего командира, положив карабины на край ямы и приготовив гранаты.

Мишка неподвижно лежал на животе, всматриваясь в гущу тумана. Вдруг он проворно схватил карабин и снова скомандовал:

— Готовьсь к бою! Без команды не стрелять!

Овод прильнул щекой к холодному ложу. Ю-ю, как Будда сидевший на дне ямы, невозмутимо положил руку на затвор «карабая». Ни один мускул не дрогнул на его желтом лице. Только в щелках глаз блеснул опасный огонек.

Непонятный шорох приближался к яме. У притаившихся ребят пробежал по коже неприятный холодок, жутью сжимались сердца.

Что бы это значило?

Но вот справа от ямы, в трех-четырех шагах от ребят, вынырнула из тумана серая фигура солдата с винтовкой в руке. Стараясь не шуметь, солдат быстро полз на животе. За ним тускло блеснул штык, другой, третий...

Разведчики не успели еще сообразить, в чем дело, как все исчезло в тумане, словно это были призраки. И опять стало тихо.

— Как это понимать? — прошептал Овод на ухо Следопыту.

— Очень просто, — зло ответил Мишка. — Мы опоздали с наступлением. Бледнолицые собаки предупредили нас. Это прошла первая цепь. Вот так влипли в историю! — Следопыт в затруднении почесал затылок.

Когда создавалось запутанное положение, Овод обычно находился скорее и нередко выручал из беды. Так случилось и на этот раз.

— Вот что, брат Следопыт, — тихо сказал он, — во что бы то ни стало мы должны предупредить наших, предупредить сию же минуту, иначе наш полк разгромят бледнолицые собаки.

Следопыт сердито фыркнул:

— Это и я знаю. Но как предупредить — вот вопрос? Впереди идет цепь, за ней ползет другая, а потом...

— А вот как, — возразил Овод, — я и Ю-ю останемся здесь и, как только вторая цепь пройдет мимо нас, ударим вслед огнем из карабинов и пуганем гранатами... И тут начнется такой тарарам...

— Ну, а дальше что? — нетерпеливо перебил Следопыт.

— Дальше ты сию же секунду поползешь за первой цепью, во время паники проскользнешь к нашим и...

— Есть! — отрезал Следопыт, хватая карабин. — Принимай команду, Овод, и действуй...

И он мгновенно исчез вслед за цепью неприятельских солдат.

Ю-ю хотя и плохо понял, о чем говорили его друзья, сохранял полное спокойствие, ожидая приказаний нового начальника.

Вскоре появилась вторая цепь белых.

Овод приказал Ю-ю открыть огонь по левому флангу, а сам ударил по правому.

— Трах-тах-тах! — внезапно прокатился залп из двух карабинов, сразу разорвав тишину и как бы пробудив спящую землю.

— Бах! Б-бах!..

Несколько беляков справа и слева с воем завертели на земле. Вторая цепь, не ожидавшая нападения сзади, в ужасе заметалась, не понимая, кто и откуда стреляет.

Беглым огнем выпустив по обойме, Овод и Ю-ю засыпали бегущих солдат гранатами.

Услышав пальбу и взрывы позади себя, первая цепь сразу остановилась. Солдаты решили, что обойдены красными с тыла, в панике повернули назад и открыли беспорядочный огонь по второй цепи белых. Те начали отстреливаться, отходить обратно к лесу.

Началась невообразимая паника. В густом тумане люди бестолково носились взад и вперед, сталкивались, били друг друга, стреляли в упор белые в белых, катались по земле. Там и здесь злобно лязгали штыки, сверкали шашки, слышались предсмертные стоны и крики.

Бегущих беляков Овод и Ю-ю встречали гранатами.

Через пару минут обе цепи прокатились обратно к лесу, сея панику в глубине неприятельского расположения.

Овод тотчас сообразил, что путь свободен, и дал знак Ю-ю прекратить пальбу и следовать за собой. Ребята бегом помчались в обратный путь.

Вскоре отряд буденовцев ураганом налетел на белых и окончательно смял их ряды. Потом с шашками наголо ринулась уже целая лава конников.

— Ура! — крикнул Овод. — Следопыт сделал свое дело...

— Караша капитана! — одобрил и Ю-ю, высоко подбросив вверх свой карабин и ловко поймав его за ствол.

Вдали тяжело загромыхали пушки, затрещали пулеметы. Лес опоясался огнем, пылью и дымом.

Буденовцы заняли позиции противника, разбив два полка белых, захватив пленных и богатый обоз.

К полудню боевая тревога улеглась окончательно. Полк начал готовиться к дальнейшему походу. Наши друзья остались целы и невредимы. Только фуражка Следопыта оказалась простреленной в двух местах, да Ю-ю получил пулевую царапину в ногу, на что он плюнул самым пренебрежительным образом.

Старый полковник с гордостью рассказал бойцам о первом подвиге юных разведчиков.

Буденовцы тотчас разыскали ребят, с криками «ура» подняли на руки и так лихо «качнули», что едва не вытрясли их внутренности.

Вечером ребят позвали в штаб.

Широко улыбаясь, их встретил сам Буденный и каждому в отдельности крепко пожал руку.

— Молодцы, казаки! — и, обращаясь к полковнику, спросил вполголоса: — Чем бы наградить этих орлят?

— А мы награды не требуем, — ответил за всех Овод, вытянув руки по швам, — мы за Советскую власть стараемся, товарищ командующий.

Полковник просиял:

— Бачтэ, яки мои хлопцы?

Похвалив ребят за преданность Советской власти, Буденный многозначительно заметил:

— Но, я полагаю, вы не откажетесь получить по маузеру?

— Вот это дело! — воскликнул Следопыт. — Какой же буденовец откажется от порядочного оружия!

Таким образом, давняя мечта юных вояк осуществилась: все трое получили по маузеру. Впрочем, Ю-ю отказался, полагая, что лучше «карабая» оружия не бывает.

Эти события еще выше подняли авторитет наших героев. Они стали получать задания все более важные и ответственные.

Однажды буденовцы заметили, что их любимая тройка куда-то скрылась. Проходили дни, а ребята не возвращались. В разведку, что ли, ушли?..

На вопросы любопытных полковник только покачивал головой да хитро ухмылялся:

— Откуда мне знать?

Куда же, в самом деле, пропали молодые разведчики?

## **ШПИОН**

Темной ночью по глухим лесным тропам и дорогам двигались черные фигуры вооруженных всадников. Лишь изредка фыркали боевые кони, да поскрипывали на ухабах плохо подмазанные тачанки, нагруженные оружием и съестными припасами. Видимо, чего-то опасаясь, люди говорили и даже переругивались вполголоса, сердито шикали друг на друга.

Отряд остановился в глубине леса и быстро раскинулся лагерем на большой круглой поляне, примыкавшей к обрывистому оврагу.

Вокруг, словно на страже, стояли могучие дубы. Посредине поляны возникла холщовая палатка для командира. Всадники спешили и расположились прямо на земле, под кустами и деревьями. Костров не зажигали.

У входа в палатку стояли двое с шашками наголо.

— Слышь, Перепечко, — полушепотом заговорил один, обращаясь к соседу, — сегодня наш батько зол, як черт.

— Будешь зол, коли половина войска зарублена красными, — отозвался Перепечко.

— Балакають, що у нас измена появилася, або шпиен який.

— Мабуть, и так. Вони так швидко налетели, що сам батько еле ноги унис...

— Тс-с-с! Вот он идет!..

Мимо часовых с толстым портфелем в руке быстрыми семенящими шажками прошел маленький человек в черной мохнатой папахе, надвинутой на лоб. Вслед за ним, согнувшись вдвое, полез в палатку длинноногий, как аист, бандит с цилиндром на голове.

Войдя в палатку, батька сердито швырнул портфель под ноги часового, стоявшего около черного знамени:

— Стеречь, как маму! Иначе — душа вон, и баста!

Часовой ловко подхватил портфель, сунул его в железный сундук и снова вытянулся у знамени с шашкой на плече.

Бандит в измятом цилиндре проворно сел за походный стол и тотчас вынул карандаш и толстую записную книжку:

— Я слушаю, батько, диктуйте...

— Пшел к чертям! — огрызнулся батька, шагая взад и вперед по палатке с плетью в руке. — Ты, скотина, мой адъютант и не видишь, что у тебя делается под носом.

— А что у меня там делается, батько? — испуганно спросил адъютант, шмыгнув пальцем по верхней губе.

— А то, что в нашем войске засел шпион, сто чертив твоему батьку!..

— Шпион?! — всполошился адъютант. — Быть того не может! У нас хлопцы все на подбор...

— Цыть, когда я говорю! — прикрикнул Махно бросая на стол скомканную бумажку. — Накануне разгрома у меня пропала важная депеша, а на ее месте я нашел вот эту чепуху.

Адъютант проворно развернул бумажку и прочитал вполголоса: «Берегись, коварная Лисица! Твой лохматый скальп скоро украсит вигвам Великого Вождя краснокожих воинов. Мы тебе покажем, как села жечь, бандитская морда! За красных дьяволят — Следопыт».

— Что за дьявольщина такая! — развел руками адъютант. — Значит, за нами в самом деле кто-то следит и доносит красным о каждом движении. А ты уверен, батько, вон в том казачке, что охраняет нашу казну? — кивнув в сторону часового, прошептал адъютант на ухо атаману.

— Цыть, Голопуз! — оборвал его Махно. — Этот мальчишка — сын убитого красными старшины и предан нам, как собака.

— Молчу, молчу! — осекся Голопуз, захлопывая рот ладонью. — Я ж только соображаю...

Махно остановился посредине палатки и, по-наполеоновски сложив на груди руки, приказал:

— Пиши, адъютант!

Голопуз поспешно схватил карандаш.

— Атаману Черняку от батьки Махно братский привет, — начал диктовать атаман, ощупывая свои карманы. — Слухай, Черняк: живо собирай свое войско и ровно к пяти часам утра будь у Чертова дуба, да хорошенько сховайся. Ударим сразу с двух сторон!..

— Однако где же его донесение? — вдруг оборвал себя Махно, продолжая обшаривать карманы...

— Ах, вот оно! Ишь ты, забыл, куда засунул.

Махно выхватил из заднего кармана брюк маленькую бумажку и вдруг побледнел, в ужасе выкатив глаза.

— Эт-то что такое?.. Эт-то ж не то?!

Трясушимися руками он расправил бумажку и вполголоса прочитал: «Сегодня ночью атаман Черняк будет разбит красными. На днях получишь хорошую баню и ты, проклятая Лисица, не будь я Следопыт»...

— Опять он, сатана бесхвостый! — неистово заорал взбешенный бандит. — Шкуру спущу! Засеку насмерть и баста!

И Махно так хватил плетью по столу, что Голопуз подскочил, как ужаленный, выронив из рук карандаш и тетрадку.

— Как попала ко мне в карман эта пакость?! Я вас научу охранять своего атамана, прохвосты! Вон, глиста поганая!..

Голопуз ринулся к выходу. Махно толкнул его ногой в спину и сам выскочил из палатки.

Когда палатка опустела, казачок осторожно шагнул к выходу и, чуть-чуть приподняв уголок полотнища, выглянул наружу.

Вокруг было спокойно. Часовые стояли на месте.

Двигаясь, как тень, казачок вернулся к знамени, проворно открыл железный сундук и, вынув портфель Махно, сунул его в свою сумку:

— Теперь пора тикать. Кажется, этот длинный журавль что-то пронюхал.

Схватив бумажку, казачок быстро набросал записку: «До скорого свидания, грозный атаман. Как ни вертись, а от нас не уйдешь, грабитель. По поручению Следопыта — Овод — Мельниченко».

Заранее радуясь предстоящему бешенству бандита, Овод свернул записку треугольником и положил в железный сундук — пусть повеселится!

Костры давно уже погасли. Часовые сладко дремали.

Весь лагерь спал крепким сном.

Бесшумно шагая между спящими бандитами, Овод благополучно пересек поляну и по узкой тропке направился в глубину леса. Здесь он без труда нашел тачанку атамана и, смело подойдя к караульному, сказал:

— Слушай, Сероштан, оседлай живее пару лучших коней: батька требует.

— Чего там седлать, — лениво отозвался казак, — два коня у нас всегда наготове, вон они под дубом стоят.

Бандит хорошо знал махновского казачка и, ничего не подозревая, неторопливо отвязал коней и передал их Оводу.

— Бери и тикай!

Овод мигом вскочил в седло, взял второго коня за повод и шагом поехал в сторону лагеря. Зная пароль, он без особого риска миновал последнюю стражу и вскоре исчез в лесной глуши...

Сероштан между тем возвратился к тачанке, раза два зевнул, позавидовал тем, кто спал, и предался воспоминаниям...

Но как Овод очутился в «казачках» у самого Махно — вот вопрос? К сожалению, сейчас уже нет времени для ответа. Оводу дорога каждая секунда. Его вот-вот могут хватиться и, конечно, пошлют погоню...

## ПОГОНЯ

Проехав шагом около полуверсты и выбравшись на знакомую дорогу, Овод пустил коней крупной рысью. Вот уже близко опушка леса, меж деревьев просвечивает небо. Овод натянул поводья и, осмотревшись по сторонам, крикнул, подражая филину.

В ответ из лесной глуши зловеще закаркал ворон. через минуту у самой морды лошади, словно из земли, вырос Следопыт, а за ним появился и Ю-ю с карабином в руках. При виде Овода он широко и радостно улыбнулся.

Лошади в испуге шарахнулись в сторону, едва не сбросив седока.

— Экий ты, леший, как кошка ходишь, — рассмеялся Овод, бросая повод второй лошади Следопыту. — Принимай скорее, и марш!

— Что, погоня? — хладнокровно спросил Мишка, одним махом вскакивая в седло.

— Погони еще нет, но она будет. Голубая Лисица в таком бешенстве, что перебьет всю свою банду, если мы не будем пойманы.

— Тогда летим. Садись за мной, Ю-ю.

— Караша, капитана, — тихо отозвался Ю-ю, вскакивая на круп коня позади Мишки.

— За мной, — скомандовал Мишка, взмахнув плетью.

Горячие кони помчались по дороге, взметая вихри пыли.

Лес вскоре кончился. Впереди извилистой лентой тянулся сердитый Днепр.

Беглецы круто повернули вверх, по течению, к известному им броду. По расчетам Мишки, до него оставалось пять-шесть верст, не более. И, если им удастся благополучно перебраться на ту сторону реки, дело будет выиграно, там уже недалеко до военной зоны красных.

Быстроногие махновские кони понравились Мишке, и он на скаку крикнул Оводу:

— Если увидишь Голубую Лисицу, передай ей спасибо за хороший подарок!

Овод рассмеялся:

— Я оставил ей благодарственную записку, будет довольна!

Над Днепром поднялась огромная багровая луна.

— Эка вынесло тебя не вовремя, — сердито проворчал Мишка, стегнув коня, — за десять верст заметят!

В ушах засвистел ветер, из-под копыт лихих коней сыпались искры. Но вскоре Мишка замедлил бег и стал искать груды камней, обозначающую брод.

Луна, как назло, спряталась за облако, и густая тьма сразу окутала реку.

Не заметив брода, ребята промчались еще с версту вдоль берега. Но вдруг Мишка так круто осадил лошадь, что она взвилась на дыбы, а Овод оказался на десяток шагов впереди.

— Что случилось? — тревожно спросил он, равняясь с Мишкой.

— Тихо! — Мишка прислушался. — Погоня!

А луна, словно издеваясь над ребятами, во всей красе снова выплыла из-за облака, заливая Днепр и все вокруг чудесным сиянием.

— Вон брод! — радостно вскрикнул Мишка, показывая на знакомую кучу камней, мимо которой они промчались в темноте. Но позади уже слышался топот многочисленных копыт, а через мгновение ребята увидели бешено мчавшийся отряд бандитов. Скакать дальше вдоль берега не имело смысла: рано или поздно нагонят. Единственный выход — первыми перейти брод и попытаться задержать погоню. Все это Мишка сообразил в одну секунду и отдал команду:

— Сыпь до брода!..

Беглецы вихрем промчались навстречу врагам и, круто повернув коней, ринулись в воду.

Заметив ребят, махновцы пронзительно взвизгнули и тоже устремились к броду. Однако беглецы уже были на том берегу.

Вылетев из воды на кручу, Мишка отчаянно свистнул и дал шпоры коню:

— Вперед, буденовцы!

Но в этот момент махновцы с седел дали залп по беглецам.

Обе лошади грохнулись на землю, отбросив в сторону своих седоков.

— Вот когда мы влопались! — сердито проворчал Мишка, вскакивая на ноги и хватаясь за маузер.

— Ну, нет, — возразил Овод, — мы еще посмотрим. Во всяком случае, махновские бумаги мы должны спасти во что бы то ни стало

Во всем подражая Мишке, Ю-ю спокойно снял с плеч свой «карабай». Он редко принимал участие в обсуждении обстановки, но действовал всегда решительно и мужественно, точно выполняя любое приказание командира.

— Ложись, и за мной! — скомандовал Мишка.

Он прополз шагов пятьдесят вдоль берега и залег за огромным камнем. Ю-ю и Овод последовали его примеру.

— Так как же быть с бумагами? — спросил Следопыт, лежа на животе и зорко наблюдая за противником.

Овод снял сумку с плеча и, передавая ее Ю-ю, сказал:

— Эту сумку Ю-ю немедленно доставит нашим, а мы задержим бандитов у переправы.

— Да, ты прав, всем спастись не удастся, — тотчас согласился Следопыт. — Но не лучше ли тебе самому пойти с бумагами, а мы с Ю-ю дадим бой...

— Нет-нет! — решительно перебил Овод. — Ведь мы дали клятву не покидать друг друга в беде... а беда уже надвигается, — и он кивнул головой в сторону брода.



Махновцы заметили свалившихся коней, дали по ним еще три-четыре залпа и смело пустились в реку, идя по два в ряд.

Мишка пожал руку Оводу и приказал Ю-ю немедленно отправляться в путь:

— Умри, но сумку доставь нашему полковнику или самому Буденному!

— Слюхай, капитана! — Ю-ю с некоторым колебанием взял таинственную сумку. Он понял, что ему велят оставить своих друзей в самый опасный момент, когда его «карабай» мог бы пригодиться. Но приказ есть приказ. Козырнув командиру и поклонившись Оводу, он молча перебросил сумку через плечо и быстро пополз прочь от берега.

Проводив Ю-ю теплым взглядом. Овод вздохнул:

— Какой он славный товарищ... Прощай, дорогой!..

— Ну-ну, — нахмурился Следопыт, — рано прощаться. Готовься к бою, видишь — идут!

Первая пара махновцев была уже на середине реки. Мишка насчитал шесть пар «с хвостиком», значит, тринадцать здоровенных бандитов против двух буденовцев.

— Пора начинать музыку, — сказал Мишка, прицеливаясь, — надо снять первую пару: ты правого, я левого... Пли!..

Гулкий залп прокатился над рекой.

Оба махновца свалились в воду. Раздался крик. Бандиты сразу остановились, открыв беглый огонь по мертвым коням, за которыми, как им казалось, спрятались беглецы,

Маневр Мишки оказался удачным. В то время как махновцы один за другим падали с седел, ребята, невредимы, лежали за камнем.

Потеряв еще двух убитыми, бандиты в панике повернули обратно.

— Ослы! — заметил Мишка, выпуская им вслед одну пулю за другой. — Им надо было переть напролом, потерь было бы столько же, а нас бы, конечно, пристукнули.

— Не беспокойся, Мишук, мы, кажется, и так не уйдем: гляди-ка, что там творится.

На помощь бандитам примчался еще один отряд. Он сразу спешился и вместе с остатками первого отряда открыл по невидимым юнцам ожесточенную стрельбу, осыпая градом свинца большой отрезок берега. Пули запели и над камнем, скрывавшим ребят. Они не отвечали.

— Да, пожалуй, ты прав, — признался Мишка, — пешком нам не уйти: впереди — голая степь, а наши кони на том свете... А тут еще эта дурища светит во все лопатки!

Он сердито погрозил кулаком в небо, по которому величаво и медленно катилась луна.

Обстрел вскоре прекратился. Бандиты снова сели на коней и редкой цепью двинулись через переправу.

— Теперь они уже перейдут реку, как пить дать, — проговорил Мишка. — Ну, начинай, брат...

И буденовцы опять открыли огонь по бандитам. Однако те не остановились, а только пришпорили коней и вскоре выбрались на берег. Здесь они выхватили шашки и с диким воем устремились к трупам коней. Бандиты надеялись захватить там отчаянных юнцов.

— А ловко мы их надули! — засмеялся Мишка, словно не понимая опасности. — Кажется, штук семь отправили раков ловить.

Бандиты покружились вокруг мертвых коней, а потом рассыпались в разные стороны в поисках притаившихся ребят. Часть ринулась к камню.

Друзья поняли, что смерть или постыдный плен неизбежны. Овод порывисто поцеловал Мишку:

— Прощай, братишка мой, умрем вместе.

— Зачем умирать, мы еще подеремся, — ответил Мишка, закладывая последнюю обойму в маузер. — За Советскую власть!.. За Ленина! Пли!

Двое бандитов, близко подскакавших к камню, слетели с седел. Испуганные кони шарахнулись прочь, волоча по камням своих хозяев.

Беглецы были обнаружены.

С торжествующим ревом махновцы, сверкая шашками, всей ордой двинулись на двух подростков.

Овод еще раз обнял своего храброго брата и приставил дуло маузера к сердцу.

— Прощай!..

Все это произошло так быстро и неожиданно, что Следопыт успел лишь подхватить свою сестру на руки, уронив маузер. Разъяренная банда махновцев обрушилась на безоружных, нанося им удары, кто чем мог...

— Стой, хлопцы! — спохватился командир отряда, вспомнив, что ему приказано поймать и доставить беглецов живьем.

С большим трудом ему удалось разогнать взбесившихся головорезов и прорваться к ребятам. Они лежали неподвижно, как мертвые, залитые кровью, в растерзанных одеждах.

— Собакам собачья смерть! — злобно проворчал рябой бандит. — Однако кто же из них шпион? Они оба так изувечены, что и разобрать трудно.

— Взять обоих! — приказал командир. — Но сначала отберите портфель с бумагами.

Бандиты осмотрели сумку Следопыта, со всех сторон ощупали Овода, но никаких бумаг не нашли.

— Бумаг нет.

— Как, нет? — растерянно пролепетал командир. — Ну, быть беде: батька всем нам шкуру спустит.

Рассыпавшись вдоль берега, махновцы осмотрели седла мертвых коней, каждый камень, каждый кустик, но бумаги исчезли.

Рябой бандит обмыл лица ребят водой и только тогда опознал Овода — Мельниченко. Командир велел везти его с особой осторожностью, на случай, если он окажется жив.

— А что делать с этим щенком? — спросил рябой, свирепо толкнув сапогом безжизненное тело Мишки. — Приколоть, что ли, на всякий случай?

— Взять и его в лагерь, а там разберем.

И отряд махновцев отправился в обратный путь, захватив пленников.

Рябой грубо бросил Следопыта поперек седла и медленно двинулся вслед за бандой. Изредка поглядывая на бледное лицо юноши, он злобно ворчал:

— Я тебя довезу, гадюка!

Переехав брод, он незаметно отстал от отряда и, наконец, остановился на крутом обрыве. Слез с лошади и, сбросив беспомощного Мишку на землю, раздел его догола:

— Я тебе покажу, красная собака, как махновцев бить!

С этими словами бандит схватил голого Мишку на руки и, раскачав, бросил с обрыва в кипящие буруны.

— Катись, дьяволенок!

И, словно желая проверить, куда упало тело, бандит нагнулся над обрывом и глянул вниз...

В то же мгновение какая-то черная фигура беззвучно выросла за его спиной. В воздухе сверкнул кинжал, и бандит свалился в Днепр вслед за своей жертвой.

## **КТО СКОРЕЕ**

Оставив своих друзей, Ю-ю торопливо полз к молодому дубку, одиноко стоявшему у проселочной дороги, в стороне от реки. На его спине болталась сумка с махновскими бумагами. Время от времени Ю-ю останавливался, осторожно приподнимал голову, оглядывался назад. Его мучило сознание, что пришлось покинуть товарищей в такую страшную минуту. А он так привязался к ним, что ради спасения отважного «капитана» и его удивительной сестренки готов был положить свою голову.

Да, Ю-ю случайно открыл их тайну и теперь смотрел на Дуняшу с глубочайшим уважением и восторгом. Однако китайчонок ни единым движением не выдавал своих чувств, оставаясь с виду все таким же невозмутимо спокойным и молчаливым. И вот он вынужден уходить, оставив на растерзание бандитам своих славных соратников.

— Никараша, капитана, никараша, — укоризненно шептал он, покачивая головой. — Зачем такое?.. Ай, никараша...

Добравшись до дубка, он прилег под ним и стал наблюдать за ходом боя. Он видел, как падали в воду махновцы и в какой панике они бросились обратно, к берегу.

— Маладца капитана! — одобрил Ю-Ю.

Но каков был его ужас, когда второй отряд, невзирая на меткие пули друзей, все-таки перебрался через реку и всей массой набросился на ребят.

Ю-ю мгновенно вскочил на ноги и хотел уже бежать на помощь друзьям, но сумка с бумагами свалилась с плеча, напомнив о суровом приказе Следопыта — доставить ее во что бы то ни стало полковнику.

Ю-ю был в отчаянии. А когда на его глазах началось дикое избиение ребят; он в бессильном гневе разорвал свою гимнастерку и, потрясая карабином, кричал по адресу махновцев:

— Собака! Бандит! Мой карабай на твой башка стреляй будет!..

К счастью, за шумом свалки криков Ю-ю никто не слышал. Вскоре он увидел, как неподвижные тела его товарищей были брошены в седла и вся банда отправилась в обратный путь.

Ю-ю понял, что его верные друзья и защитники погибли. Сердце бедного юноши сжалось от тоски и горя. Захлебываясь от рыданий, он упал на траву и долго и горько жаловался кому-то на свою жестокую судьбу.

— Ай, капитана, мой карош капитана! — повторял он, катаясь по земле. — Пропал наш Овод!.. Совсем пропал!.. Зачем остался Ю-ю?..

Ю-ю казалось, что вместе с друзьями погас последний луч, который так тепло согревал его душу. Но вдруг, пораженный какой-то новой мыслью, Ю-ю ударил себя ладонью по лбу и вскочил на ноги.

— Ай, никараша мой башка! — С этими словами он схватил свой карабин и бегом пустился к броду.

Пока командир был жив, Ю-ю считал невозможным нарушить его приказ, но теперь он убит, и ему уже все равно, дойдет бумага немедленно или немножко позже... А главное, надо узнать о дальнейшей судьбе товарищей, быть может, кто-нибудь жив еще, и тогда...

Рискуя каждую минуту сорваться в бурную пучину или попасться на глаза бандитам, Ю-ю с трудом перебрался через брод и издали последовал за отрядом. Вскоре он заметил, что один из махновцев почему-то задержался у обрыва и слез с коня. Ю-ю тоже остановился, спрятавшись за куст.

Бандит снял с седла безжизненное тело и, положив его на землю, присел на корточки. Ю-ю подполз ближе и осторожно приподнял голову. В предутренних сумерках он смутно видел, как бандит сорвал с человека одежду и, приподняв обнаженное тело на руки, подошел к самому краю обрыва. Вот он качнул его и бросил в Днепр. Ю-ю весь содрогнулся: ему показалось, что в воздухе промелькнула всклокоченная голова Мишки.

Выхватив кинжал, Ю-ю одним прыжком очутился за спиной бандита, а через мгновение тот, пораженный насмерть, уже летел вслед за своей жертвой. Ю-ю глянул с обрыва. Внизу пенились и ревели волны, разбиваясь об отвесную скалу.

Ю-ю бегом спустился к берегу и, внимательно оглядывая каждый камень, пошел вдоль излучины вниз по течению. Здесь река, сделав крутой поворот, катилась спокойно. Поиски не дали результатов: на пути встречались только голые камни, скатанные водой. Ю-ю тяжело опустился на землю и, полный отчаяния, уставился неподвижным взглядом в темные воды Днепра.

Что делать?

Но вдруг ему почудилось, что кто-то тихо стонет вблизи. Он живо вскочил на ноги и осмотрелся по сторонам — никого нет... Через секунду стон повторился, казалось, он шел из самой глубины реки.

По спине суеверного Ю-ю пробежал холодок: уж не утопленник ли подает голос?

Преодолевая страх, Ю-ю подошел к самой воде и за большим серым камнем увидел чье-то голое тело, омываемое волнами. Мокрая голова лежала на мелкой гальке, лицом вверх. До слуха онемевшего на месте Ю-ю донесся шепот:

— Овод... где Овод?..

Дрожа от волнения, Ю-ю бросился в воду, схватил Мишку на руки и, выйдя на берег, осторожно уложат его на песок.

— Мой тавалиса... мой капитана, — радостно лопотал он, насухо вытирая друга.

Мишка постепенно приходил в себя. Наконец он приподнял голову и мутными глазами уставился в лицо Ю-ю, видимо, не узнавая его:

— Где Овод?.. Где Дуняша? — еле слышно спросил он.

Ю-ю беспомощно развел руками:

— Моя не знай, капитана, бандит пришел, взял...

Следопыт долго не мог понять, что с ним случилось, где он находится и почему он голый. Только острая боль в раненой ноге вдруг напомнила ему о расправе бандитов и самоубийстве Овода. Он вспомнил, как нежно обняла его Дуняша, прощаясь перед смертью, как она приставила дуло маузера к своей груди, но дальше все пропадало в тумане. Какой-то вой, крики, страшный удар в голову...

В первое мгновение ему захотелось плакать от сознания своего бессилия. Но мысль о том, что Овод захвачен в плен и, быть может, еще жив, и ждет его помощи, заставила Мишку собрать последние силы. С трудом приподнявшись на локте, он стал расспрашивать Ю-ю обо всем, что он видел.

Из короткого рассказа китайца Мишка узнал только, что их долго били, потом бросили на коней и увезли через Днепр, а жив ли Овод — неизвестно...

Глаза Следопыта вспыхнули гневом. Надо не плакать, а действовать! Если Овод не умер, проклятый Махно предаст его таким пыткам, каких не выдержит даже взрослый человек, а ведь она еще девочка...

При помощи Ю-ю Следопыт поднялся на ноги, осмотрелся и тщательно ощупал свои ребра и голову — кажется, все цело.

— Вот идиоты! — заметил он. — Двадцать ослов не могли одного Мишку убить!.. Вот только нога что-то того... Далеко не убежишь...

Покрытая ранами правая нога Мишки опухала. Ю-ю тотчас разорвал свою рубашку и ловко перевязал ногу. Но при новой попытке двинуть раненой ногой Следопыт побледнел и свалился на руки Ю-ю. Тот подхватил его и понес к оставленной бандитом лошади.

Придя в себя и увидев перед носом морду коня, Мишка изумился:

— А это что за привидение?

Ю-ю скупно рассказал о стычке.

— Молодец, Ю-ю! — похвалил Следопыт своего славного оруженосца.

Ю-ю счастливо улыбнулся и подал Мишке его одежду, сорванную бандитом. Мишка оделся.

Но как быть дальше? Гнаться сейчас за Оводом — дело совершенно безнадежное, тем более, что каждую минуту бандиты могли хватиться отставшего махновца и начать поиски. Идти пешком не давала больная нога...

Немного подумав, Следопыт решительно скомандовал:

— На коня!

Преодолевая мучительную боль, при помощи Ю-ю Следопыт взобрался в седло. Ю-ю уселся за его спиной.

— Ну, а теперь вперед! — приказал Мишка. — Загони коня, но доставь меня к нашему полковнику живым или мертвым. Если буду кричать, не обращай внимания. Только держи крепче и не давай падать.

— Есть, капитана! — Ю-ю понял, что от быстроты бега зависит жизнь несчастной Дуняши, попавшей в руки свирепых бандитов. Он изо всей силы хлестнул и без того горячего коня плетью. Тот бешено рванулся вперед. Мишка скрипнул зубами от боли. И они лихим карьером понеслись вдоль Днепра к броду.

Луна бледнела. Ночная тьма быстро таяла, отступая в лесную глушь.

Далеко за Днепром вихрилась пыль. словно стрела, выпущенная из лука, боевой конь летел навстречу ветру, раздувая ноздри. левой рукой Ю-ю поддерживал Мишку, правой нахлестывал коня и пронзительно кричал на всю степь:

— Га-га-ааа!..

## **НЕЧИСТАЯ СИЛА**

В то время как наши друзья мчались в лагерь Буденного, батько Махно нервно бегал по поляне. Он был взбешен до последней степени: какой-то молокосос так ловко водил за нос грозного атамана, что его банда дважды подряд оказалась жестоко битой. Это ли не конфуз! На сей раз мнимый сын старшины Мельниченко захватил важную переписку Махно с атаманами других банд и план общего наступления на Екатеринослав. Если беглец не будет пойман и бумаги попадут к красным, провал этой кампании неизбежен.

Махно, как волк в клетке, носился взад и вперед, до крови кусая губы. Он ждал бумаг. Наконец до его слуха донесся топот коней.

— Скорей позвать есаула! — нетерпеливо крикнул Махно, хлестнув по цилиндру подвернувшегося адъютанта.

— Я здесь, батько!

И молодой командир отряда вытянулся перед Махно, взяв под козырек.

— Бумаги! Подай бумаги! — потребовал атаман, протягивая руку.

— Бумаг нет, — дрожа всем телом, ответил побелевший есаул.

— Что ты сказал? Не-е-ет?! — неистово заревел атаман. — Запорю насмерть! Семь шкур спущу, мерзавец!..

Вспыхнув от гнева и незаслуженной обиды, есаул дерзко Ответил:

— Забываешься, батько! Я дворянин и не позволю орать на меня!

— Цыть, мальчишка! Взять его!..

На крик Махно явился мрачный одноглазый бандит с толстой плетью за поясом — палач банды. Он мигом скрутил есаулу руки назад и, как щенка, потащил в лес.

— Всыпать ему сто горячих! — крикнул вслед Махно.

Вскоре из леса послышался свист плетей, яростные проклятия и угрозы есаула.

Один из бандитов принес на руках окровавленного Овода и бросил его к ногам атамана, как победный трофей экспедиции.

При виде неподвижного тела мнимого Мельниченко Махно снова вспылел:

— Как, убит? Я ж приказал доставить живьем!

— Хиба ж я знаю? Може, сдох, а може, и живой, — спокойно возразил бандит, — я ж не дохтур...

— Та-а-ак, — зловеще протянул Махно, разглядывая бледное лицо Овода, — если этот змееныш окажется мертвым, половину вашего отряда вздерну на деревья.

— Та воны ж настоящие дьяволята, трясця их матэри! — оправдываясь, выругался бандит. — Двое щенят семерых казаков угробили та трех поранили.

Этот неприятный сюрприз заставил Махно подскочить на месте и разразиться такой забористой бранью, что даже у выдавших виды бандитов глаза полезли на лоб.

— А где же второй щенок? — спросил Махно, немного отдышавшись. — Ты говоришь, их было двое.

— Того Сероштан вез. Гей, Сероштан, тyani к батьке своего шибеника!

На крик никто не отозвался.

Каково же было изумление всей банды, когда стало известно, что и Сероштан и пленник бесследно пропали.

— Вот нечистая сила! — в страхе ворчали суеверные махновцы, не знали, чем объяснить таинственное исчезновение. — Мабуть, то переворотень був який, чи шо...

А Махно настолько растерялся, что велел немедленно связать и без того неподвижного Овода и под усиленной охраной отправить на новую стоянку. Хитрый бандит понял, что пропажа бумаг и неизвестного мальчишки может привести к неожиданному нападению, и решил тотчас переменить место.

Вскоре вся шайка мчалась по тайным тропам и дорогам в указанный атаманом район.

## ТЯЖКОЕ ИСПЫТАНИЕ

Овод очнулся в какой-то темной конуре. Снаружи слышался непонятный рокот. Открыв глаза и озирая мокрые, покрытые плесенью стены, он долго не мог сообразить, что с ним произошло. Но постепенно мысли Овода прояснились. Он понял, что каким-то чудом уцелел в страшной свалке у переправы и теперь, видно, находится в плену у лютого атамана: от него уж не будет пощады. Жалко, не удалось покончить с собой. В горячке боя он забыл вложить в револьвер новую обойму и упал не от собственной пули, а от удара бандита.

Овода охватила тревога за брата. Где он? Жив ли? Может быть, и он в плену? Тогда их обоих ждет лютая пытка и смерть на виселице.

Овод содрогнулся. Он хорошо понимал, что ему предстоят такие страшные муки, каких, быть может, не знал и действительный Овод, прекрасный образ которого встал теперь перед ним. Да, он постарается умереть так же мужественно, без слез и мольбы о пощаде. Ведь он умирает за Советскую власть, за ту власть, которая принесет свободу и счастье всем беднякам его милой Родины... И Мишке, и Ю-ю... Если они еще живы.

Вдруг огромная лягушка прыгнула на голые ноги Овода. Он испуганно метнулся в сторону и, пронзенный с головы до ног мучительной болью, снова потерял сознание.

Очнувшись, Овод снова не мог понять, что же еще случилось? Может быть, это сон? А может быть, это... свобода? Весь забинтованный и отмытый от крови, он лежал на чистой постели в белой уютной комнатке. Как вестник жизни и счастья, светлый луч утреннего солнца падал из маленького окна на глиняный пол. Ну, конечно, это свобода. Он у своих.

Открылась дверь. В комнату вошла высокая стройная девушка и ласково склонилась над Оводом:

— Не хочешь ли пить, солдатик? — спросила она, подавая кружку с холодной водой.

Дрожащими губами Овод жадно припал к кружке, чувствуя, как вместе с водой в его тело вливаются новые силы.

— Где я? — еле слышно спросил он, словно боясь спугнуть чудесное видение.

— Ты у друга, — так же тихо ответила девушка, глядя на Овода теплыми карими глазами. — Но дальше не спрашивай: я не в силах помочь тебе...

Только теперь Овод услышал уже знакомый ему странный рокот за окном: значит, он находится в том же месте и в тех же руках.

Вдруг дверь с шумом распахнулась, и на пороге появился сам батька Махно в сопровождении одноглазого бандита.

Злой, тусклый глаз палача заставил Овода содрогнуться: он вдруг ясно понял, что его раны перевязаны лишь для того, чтобы вернуть его к жизни на новые муки, а может быть, и на смерть.

— Прощу оставить нас, красавица, — вежливо поклонившись девушке, сказал Махно.

Бросив тоскливый взгляд в сторону Овода, девушка молча вышла.



Атаман сел на широкую дубовую скамью около Овода и молча оглядел его с головы до пят: так смотрит сытый кот на пойманную мышь.

Сняв с плеча кожаную сумку, одноглазый бросил ее в угол и молча встал у двери.

В сумке что-то зазвенело...

— Итак, — зловеще спокойным тоном начал Махно, — с кем я имею удовольствие разговаривать? Надо полагать, не с Мельниченко?

— Нет, я дочь бедняка-крестьянина из села Яблонного, которое сожгла ваша банда, — просто ответила девушка, решив выдержать испытание до конца.

Махно, словно ужаленный, вскочил на ноги:

— Как!? Ты... ты... девчонка?! И ты осмелилась проникнуть в мой штаб? А знаешь ли ты, что ждет тебя за шпионаж?

— Пытка и смерть, — спокойно ответила Дуняша.

— Ты не ошиблась, гадюка. У нашего одноглазого дьявола давно уже не было работы.

Дуняша невольно глянула на палача. Отвратительно ухмыляясь, он сидел на корточках и корявыми, как клешни, руками рылся в кожаной сумке. Его сверлящий глаз тускло поблескивал. У Дуняши упало сердце. Но она тотчас взяла себя в руки и отвернулась к стене.

— Ну, так вот что, подлая девчонка, — снова заговорил Махно, хватая Овода за волосы и поворачивая лицом к себе. — Если ты хочешь быть повешенной сразу без особых хлопот и неприятностей, сейчас же сообщи нам, куда делись украденные тобой бумаги и тот мальчишка, который был вместе с тобой.

— Как? — вскричала девушка. — Следопыт бежал?!

Дуняша ликовала: Мишка жив, на свободе!.. Теперь она готова на любые муки...

Услышав ненавистное имя Следопыта, Махно понял, что его бандиты упустили самого главного врага шайки. Он задрожал от ярости:

— Отвечай, звереныш, иначе из твоей спины вырежут кожу для моих сапог!

— Да что ж тут отвечать! — воскликнула девушка. — Ваши бумаги в надежных руках, а где теперь Следопыт, спроси у ветра в поле...

Лицо Махно позеленело.

— А... ты еще смеешься, змея! Эй, кривой черт, поучи-ка ее, как надо отвечать атаману... Только смотри не зарежь насмерть, а то сам угодишь в Черную балку.

— Слухаю, батько. Я буду дергать по ниточке, так что не умрет даже муха, а толк будет...

Привычным движением палач подхватил Дуняшу на руки и, положив на скамью, захлестнул широкими ремнями. Потом, не торопясь, вынул из своей страшной сумки острый блестящий клинок странно изогнутой формы.

— От этой штуки и не такие щенки выли, — ворчал палач, хватая девушку за кисть руки.

Дуняша закрыла глаза...

Махно быстро отошел к окну и закурил папиросу. Жадно затягиваясь и выпуская изо рта кольца дыма, он следил за каждым движением крабьих рук палача. Тяжкие муки беззащитной жертвы, видимо, доставляли ему наслаждение. Его серое лицо подергивалось судорогой, на тонких губах застыла кривая усмешка.

Время шло. Пытка продолжалась. Палач глухо ворчал, изрыгая проклятия. Но ни единого звука, ни слова мольбы о пощаде не услышал Махно от девушки. Только побелевшее лицо ее покрылось холодным потом, да искусанные губы залились кровью...

— Довольно! — прохрипел пораженный стойкостью девушки Махно. — Пшел вон!

Он боялся, что Дуняша умрет, не открыв своей тайны.

Ворча, как побитый пес, одноглазый отошел.

Дуняша очнулась и, тяжело вздохнув, застонала от невыносимой боли...

Махно довольно улыбнулся:

— Ну, что, красный дьяволенок, будешь отвечать батьке Махно?..

— Буду, — еле слышно ответила девушка.

— Вот и добре, — похвалил бандит. — Если ты честно ответишь на мои вопросы и расскажешь, где теперь находится штаб Буденного, ты будешь помилована. Катись ко всем чертям... и баста!..

Дуняша с трудом повернула голову, тяжело глянула в испитое лицо мучителя и твердо сказала:

— Убей меня, но своих братьев я не выдам бандиту!

В то же мгновение над головой Дуняши сверкнула шашка взбешенного Махно.

— Стойте! Стойте! — раздался вдруг испуганный крик, и девушка, которая поила Овода, бросилась в ноги Махно: — Пощадите! Пощадите его, милый атаман, — умоляла она, хватая за руки обезумевшего от ярости бандита.

Описав над Дуняшей кривую, шашка медленно опустилась и ткнулась концом в пол.

Мрачное лицо Махно прояснилось. Он торопливо поднял девушку за плечи и, заглянув ей в глаза, сказал:

— Хорошо, моя красавица. Ты дашь мне выкуп, и я помилую эту дерзкую девчонку...

— Что вы сказали? Это — девчонка?! — гневно сверкнув глазами, воскликнула девушка. — Неужто грозный атаман воюет с такими младенцами?!

Махно снова потемнел:

— Я уже сказал, что дарую ей милость: она будет просто повешена, как военный шпион... и баста! — Он сделал знак палачу: — На Черную балку!

— О, какой же ты зверь! — простонала девушка, загораживая Дуняшу. — Нет-нет! Я не дам ее!..

— Не плачь, сестра, — прошептала Дуняша, — мне смерть не страшна. Я умираю за святое дело. Прощай!

Девушка прильнула губами к тонкой бессильной руке Дуняши, залилась слезами.

Палач грубо оттолкнул ее, схватил пленницу на руки и понес из комнаты...

Дверь за ними захлопнулась, как крышка гроба.

## **В ЧЕРНОЙ БАЛКЕ**

Теплый летний день тихо угасал. Ветерок приносил из степи крепкий аромат трав. Невозмутимый покой царил над миром.

Но люди-звери продолжали творить свое злое дело. На дне глубокого темного оврага, именуемого Черной балкой, под корявым сучком обожженного молнией дуба лежал бедный Овод. Из мрачной глубины балки он видел только кусочек угасающего неба, и его душа тоскливо тянулась вверх, в эту синюю даль, полную красоты.

И впервые за всю свою боевую жизнь стойкий и крепкий Овод почувствовал себя маленькой, беззащитной девочкой, попавшей в неумолимое колесо кровавой войны, и вот теперь, сию минуту, она будет безжалостно раздавлена вдали от родных мест, на дне черной ямы. А ведь она желала народу добра и счастья. Она мечтала о том, чтобы знамя Советов засияло над миром, возвещая всем угнетенным зарю свободы и братства... Как чудесно заживут бедняки, когда придет этот желанный час!

И, забыв на мгновение о неотвратимой казни, Дуняша счастливо улыбнулась, вспомнив милого своего Мишку и верного друга Ю-ю с его неразлучным «карабаем». Вспомнила и живо представила себе их безутешное горе, когда дойдет до них весть о ее смерти. А что будет с доброй их матерью, которая ждет не дождется своих дорогих птенцов?!

И тяжкие слезы сами собой покатались по исхудавшим щекам измученной девушки. Ей так страстно хотелось жить.

— Ну, пора, — словно сквозь сон услышала она пропитой голос, — надо спешить...

И огромная туша склонилась к расprostертой на земле Дуняше. Одноглазый палач продел ее голову в веревочную петлю. Потом она увидела, как конец веревки перекинули через сук. Сук был заметно потерт посредине.

«Знать, не меня одну вешали здесь проклятые бандиты», — гневно подумала она, машинально поправляя петлю, съехавшую на подбородок. И только теперь Дуняша остро почувствовала, что ее минуты сочтены, что она никогда больше не увидит ни знойного летнего солнца, ни голубого неба, ни пестрых пахучих цветов, ни верных друзей. Ее сердце сжалось предсмертной тоской и сознанием полного бессилия.

Никакой надежды на спасение не было. Помощник палача — плюгавый низкорослый бандит — лениво переваливаясь с ноги на ногу, уже подходил к своей жертве... А через минуту мертвое тело будет одиноко качаться над этой ужасной ямой, слетятся хищные птицы и...

— Крppp! Крppp! — донеслось до ее слуха зловещее карканье ворона.

Услышав знакомый сигнал, девушка встрепенулась и, как эхо, отозвалась криком филина.

Палач отпрянул:

— Что это? С ума, что ль, она спятила?..

— Мабуть, и так, — спокойно отозвался помощник, поднимая руку, чтобы достать конец веревки, перекинутой через сук.

Дуняша подняла голову и глянула в направлении звука. Но вокруг никого не было, только на противоположной стороне оврага что-то серое шмыгнуло в кустах, слегка шелохнув ветку.

«Что ж это? Неужели вороны уже слетаются к оврагу в предчувствии легкой добычи?» — тоскливо подумала Дуняша, вновь поднимая глаза к небу, где уже загорались бледные звезды.

— Прощайте, звезды! — тихо прошептала Дуняша. — Приласкайте за меня рыжего Мишку, поцелуйте Ю-ю...

— Та ну же, тягни! — сердито крикнул палач. — Какого дьявола канителишься, каракатица!

Помощник лениво подпрыгнул, но конец веревки повис так высоко, что он коснулся его только концом пальца.

— А, будь ты проклята, змеюка! С ней и перед смертью морока...

Он подпрыгнул еще раз:

— Ну вот и готово!..

Веревка стала натягиваться...

Дуняша в ужасе закрыла глаза. Крик ворона повторился. Дуняша, собрав все силы, резким движением сбросила с головы петлю.

От неожиданности тянувший за веревку подручный палача потерял равновесие и свалился.

В то же мгновение в вечернем воздухе прокатился залп из двух карабинов, и оба злодея, пронзенные пулями, завертелись ужами в предсмертной агонии.

Не успела Дуняша прийти в себя, как кто-то уже крепко обнимал ее и покрывал лицо поцелуями.

— Дуняша, милая Дуняша!.. Жива!.. Да очнись же, это я, Мишка!..

Девушка обвила руками кудлатую голову брата. Она еще не верила своим глазам.

Но кривой палач лежал неподвижно под дубком. Его подручного Ю-ю проворно сваливал в ту самую яму, которая была приготовлена для Дуняши.

Поняв наконец, что она спасена от лихой смерти, Дуняша прильнула головой к широкой груди Следопыта и залилась горячими радостными слезами.

Потом она позвала к себе верного Ю-ю и крепко расцеловала его, благодаря за спасение и помощь.

Растроганный Ю-ю, не знавший никогда ласки, встал на колени перед лежавшей девушкой и, сложив на груди руки, молча поклонился ей до земли. В эту минуту он готов был ради нее отдать себя на растерзание, пойти на самую лютую казнь. Но бедный язык Ю-ю ничего не мог выразить,

и только черные блестящие глаза его подернулись влагой, и какой-то комок подкатил к горлу. Он быстро поднялся и, схватив труп палача за ноги, поволок его к яме...

— Брось эту погань! — сердито буркнул Мишка. — Пусть их вороны хоронят. Нам пора в путь!..

— Да-да! — подхватила Дуняша. — Возьмите меня скорее отсюда, а то бандиты могут хватиться!..

Мишка лукаво улыбнулся и, посмотрев на часы, сказал:

— Не бойся, Овод, через полчаса здесь заварится такая каша, что им будет не до нас.

— Что за каша?

— Да ничего особенного, я привел с собой десятка три добровольцев, которые согласились потрепать махновскую шайку... А теперь марш, марш в дорогу!

— Но как вы меня возьмете, ведь я еще не могу ходить?

— Не беспокойся, это уже наше дело. Ну что, Ю-ю, готово?

— Есть, капитана! — отозвался Ю-ю, подавая носилки, сделанные им из ветвей того дуба, на котором махновские бандиты хотели повесить Овода.

Осторожно уложив больную, наши герои медленно пошли по дну оврага, прочь от страшного места.

На этот раз ночь им благоприятствовала: небо сердито хмурилось, угрожая дождем.

Овраг кончился.

Следопыт тихонько свистнул. Из-за темной купы ближайших деревьев появился буденовец с винтовкой в руках:

— Несете, хлопцы?

— Несем.

— Жив ли?

— Жив.

— Вот будет рад наш Дед! Давай скорей на тачанку.

Красноармеец подошел к носилкам, радостно поздоровался с Оводом и вместе с Ю-ю понес его к тачанке.

— Сено положено? — спросил Следопыт.

— Целый ворох.

— Тогда едем!

Овод и Мишка, у которого еще побаливала нога, устроились на тачанке, а неутомимый Ю-ю и боец, взяв винтовки на ремень, пошли следом.

Проехав верст семь-восемь по глухим местам, они услышали позади себя отчаянную ружейную трескотню.

— Ну, началась потеха! — радостно потирая руки, воскликнул Мишка. — Дальше мы можем ехать спокойно. Голубая Лисица решит, что она попала в капкан, и даст тягу к старому лесу, где им знакома каждая тропинка.

И действительно, вскоре перестрелка стала затихать, удаляясь, а затем и совсем прекратилась.

Дорогой Мишка подробно рассказывал Оводу, как он с помощью Ю-ю вырвался из лап бандитов, как они мчались в полк Деда, как проследили потом шайку Махно и разыскали, наконец, Черную балку...

А Овод особенно подробно рассказал о девушке, осмелившейся заступиться за него перед зверем Махно.

— А где это было? — заинтересовался Следопыт.

— На водяной мельнице. Я узнала об этом, когда палач вынес меня из комнаты.

Следопыт в раздумье почесал затылок:

— Так ты говоришь, девушка назвала себя твоим другом?

— Назвала...

— А Махно обругала зверем?

— Зверем.

— И тот не убил ее?

— Нет, даже назвал ее милой красавицей.

— Гм... странная штука. Тут что-то есть этакое, — нахмутив лоб, изрек Мишка, — А девка все-таки молодчага. И смазливая, говоришь?..

— Как в сказке, — улыбаясь, ответил Овод.

— Ишь ты...

Путники незаметно продвигались вперед и к восходу солнца уже нагнали свой полк.

Трудно себе представить радость и удивление старого полковника и буденовцев, когда они услышали о возвращении уже похороненного всеми Овода. Узнав подробности о попытке и геройском поведении Овода, его пришел навестить сам Буденный. А вскоре он послал рапорт высшему командованию с просьбой о награждении орденами наших героев.

На другой день Конная армия Буденного всеокрушающей силой двинулась вперед, очищая от врагов советскую землю. К великому огорчению Деда, Овод был еще так слаб, что его пришлось оставить в ближайшем госпитале, а вместе с ним остались, конечно, и его друзья — Следопыт и Ю-ю.

Расставаясь с ребятами, старый полковник обнял и расцеловал каждого по очереди.

— Берегите себя, хлопцы, — наказывал он, моргая покрасневшими глазами, — зря на рожон не лезьте и бейте беляков с умом. Я вас в партизанский отряд сдам. Нас уж вы не догоните...

Любимый буденовский полк ушел вместе с армией, ушел и Дед...

И опять трое юных бойцов-разведчиков закружились в кипящем котле кровавой войны.

А пока три друга ищут свое место в строю, расскажем читателю, как Овод попал в штаб Махно.

Во время одной из стычек буденовцев с махновскими бандитами Овод заметил на поле боя тяжелораненого деревенского парня: он горько плакал над трупом старого бандита. Парень был без оружия, в крестьянской одежде. На вид он казался не старше Овода. Из допроса в штабе полка выяснилось, что это сын убитого старшины Мельниченко, верного друга и соратника Махно. Он возглавлял одну из его шаяк, которая и была уничтожена буденовцами. Уцелел только этот парень. По его словам, отец впервые взял его с собой, с тем, чтобы передать самому Махно в качестве ординарца. По документам и письмам, найденным в кармане старого Мельниченко, рассказ парня подтвердился.

Такой случай Овод решил немедленно использовать и, посоветовавшись с друзьями, составил план действий. Нарядившись в одежду пленного парня, с документами отца явиться к Махно под именем сына убитого старшины, втереться к нему в доверие и остаться при штабе. Мишка и Ю-ю будут держать связь с полком и доставлять добытые сведения.

С некоторым сомнением и неохотой полковник одобрил план красных дьяволят.

Вскоре наши разведчики проследили банду Махно. Переодетый Овод, «весь в слезах» и проклиная красных, явился к атаману. Он просил принять его в банду, чтобы отомстить буденовцам за смерть отца.

Весть о разгроме шайки Мельниченко разъярила Махно, но просьбу его «сына» он решил удовлетворить, а в знак согласия ожег его плетью и приказал зачислить казачком при своей особе.

Скрипнув зубами, Овод стерпел «ласку» бандита и поклялся отплатить ему сторицей. А как он выполнил свою клятву, читатель уже знает.

## **ТАИНСТВЕННЫЙ АВТОМОБИЛЬ**

Через десять дней после описанных событий, глубокой ночью, по дороге из города выехал большой красный автомобиль. Он был изрешечен пулями, осколками снарядов, но летел, как буря, поднимая облака пыли и наполняя безбрежную степь тревожным гулом. Вслед за ним мчался отряд вооруженных всадников.

В автомобиле сидели трое военных в кожаных куртках. Один из них, небольшого роста, широкоплечий, поместился на откидной скамеечке, держа наготове маузер и зорко вглядываясь в темноту ночи. Двое за его спиной тихо переговаривались между собой:

— Признаться, я очень опасаясь засады.

— Да. Я тоже думаю, что надо быть начеку...

— В самом деле: никому не известный бандит вызывает на свидание командира красных партизан, обещая помощь против Махно. Согласитесь, что все это очень странно и пахнет провокацией.

— На всякий случай за нами следует полуэскадрон надежных рубак...

— Это, конечно, хорошо. Впрочем, неожиданного нападения я не боюсь: с нами едет такой разведчик, о котором говорят, что он чует махновца за сто верст...

Путники смолкли. И только глухой рокот мотора да отдаленный гул лошадиных копыт нарушали тишину ночи.

Вдали показались черные контуры леса. Автомобиль спустился в ложбинку.

— Стойте, — сказал невысокий военный, приподнимаясь с сиденья.

Автомобиль остановился.

— Что случилось, товарищ?

— Надо прощупать овраг перед опушкой. Ждите сигнала: если завоюет волк, немедленно мчитесь обратно и верните отряд, а если все будет благополучно, я дам знать лично...

Говоривший бесшумно выскочил из автомобиля и сразу исчез, словно нырнул в черную воду.

— Вот дьяволенок! — воскликнул один из оставшихся военных. — Пропал, как кузнечик в траве...

— Я даже не успел заметить, в какую сторону этот парень направился...

— Недаром он носит кличку Следопыта...

— Говорят, у него есть сотрудники и такие же ловкие, как он.

— Да. И я очень доволен, что согласился принять их в наш полк. Эти отчаянные ребята так ненавидят Махно, что готовы искать его хоть на дне моря.

Беседа была прервана прибытием конного отряда.

— Приготовьтесь к бою и стойте в этой ложбине, — приказал командир красных партизан, выходя из машины.

Прошло еще минут сорок в напряженном ожидании...

— Все в порядке! — сообщил Следопыт, бесшумно вырастая за спиной командира, вздрогнувшего от неожиданности. — Садись, ребята!

Наши друзья — Овод и Ю-ю вскочили вслед за Мишкой в машину.

— Вот так штука! — удивился командир. — Да вы же настоящие невидимки!

— Вперед!

Оставив конных в засаде, автомобиль помчался к опушке леса. Из оврага навстречу им, держа руку на эфесе шашки, вышел человек в полувоенной одежде.

— Это он, — шепнул Следопыт на ухо командиру.



Автомобиль остановился. Нащупав пистолет, командир выскочил из машины и пошел к человеку.

— Я весь к вашим услугам, командир. Если угодно, я бы мог...

— Вы меня извините, — перебил командир партизан, — но вашему слову мы не можем довериться без достаточных оснований. Согласитесь сами, что есаулы не так часто изменяют своим атаманам...

— Вы правы, конечно, но, к сожалению, никаких доказательств сейчас я не могу вам представить. Вы можете проверить меня только на деле.

— Каким образом?..

— Я могу хоть сейчас дать вам самые точные сведения о предстоящих операциях шайки Махно, и вы можете разгромить ее в любое время. Меня же оставьте в качестве заложника, а в случае предательства расстреляйте, вот и все...

— Хорошо, — согласился, наконец, осторожный командир. — Вы можете сейчас поехать со мной в город?

— Нет, этого не следует делать. Завтра утром я должен быть у Махно на приеме и освобожусь лишь часам к десяти.

— В таком случае я жду вас завтра к двенадцати часам дня.

Условившись о месте встречи, они быстро разошлись.

Усаживаясь в автомобиль, командир вдруг заметил отсутствие Следопыта:

— А куда делся ваш старший?

— Пошел проследить есаула, — ответил Овод, вместе с Ю-ю вылезая из машины, — а кстати, проведать что-нибудь о расположении банды.

— Как? Он опять полез в пасть Махно? — удивился командир. Овод улыбнулся:

— Не беспокойтесь, товарищ командир, Следопыта не так-то легко скушать.

— А вы едете с нами?

— Никак нет.. Мы с Ю-ю подождем его здесь, а завтра вечером, когда ваш полк двинется против Махно, мы будем на месте...

— Почему вы думаете, что мы выступим именно завтра? — спросил командир, не зная, чем объяснить уверенность Овода.

— А потому, что завтра шайка попытается разгромить продовольственную базу Красной Армии в Н-ском, и вы сделаете большую оплошность, если не предотвратите удара.

— Соображение верное, — согласился командир, — однако зачем нам связываться с этим подозрительным есаулом, если вы сами так хорошо осведомлены о замыслах шайки?

— Он может сообщить ценные подробности, нам еще не известные... Ну, мы уходим, товарищ командир. До свидания!.. За мной, Ю-ю!

— Есть, товалиса!

Ребята исчезли.

В сопровождении конного отряда красный автомобиль помчался обратно. Надо было немедленно готовить генеральный бой с многочисленной бандой Махно.

В партизанский отряд знаменитого командира Николы Цибули ребята попали без особых затруднений. Как только Овод покинул госпиталь, их приняли с большой охотой, ибо слава о подвигах тройки дьяволят уже вышла за пределы буденовской армии. А рекомендации старого полковника еще более подняли авторитет юных разведчиков. Они были счастливы, когда узнали, что полк Цибули получил приказ от высшего командования разгромить шайку Махно. Втайне надеясь поймать самого атамана и свести с ним свои счеты, ребята принимали горячее участие в розысках шайки и подготовке к решающему бою.

В ожидании Следопыта Ю-ю и Овод просидели в овраге до самого утра. Их начала уже одолевать тревога, Но карканье ворона, раздавшееся поблизости, возвестило о благополучном возвращении Мишки.

По установившейся традиции ребята ничем не обнаружили своих опасений и любопытства. Усевшись на траве по обеим сторонам Следопыта, они разложили перед ним немудреную закуску. Покончив с едой, Следопыт рассказал друзьям о результатах своей экспедиции в лагерь Махно. Есаул действительно вернулся в шайку, которая расположилась за лесным массивом, в большом селении. По некоторым признакам и по подслушанным разговорам Следопыт вывел заключение, что в банде назревает раскол. Часть махновских соратников была недовольна чересчур «самодержавным» поведением Махно, который расправлялся с ними, как хотел, по любому поводу нередко засекая насмерть наиболее строптивых. Недовольны были бандиты и несправедливым распределением награбленного добра. Но наибольшее раздражение вызвали последние неудачи шайки и явная бесплодность всех попыток подорвать Советскую власть на Украине. Часть молодых махновцев поговаривала даже о переходе на сторону красных. Расправа Махно с есаулом подлила масла в огонь.

— Мне кажется, что при первой же серьезной стычке с красными часть банды покинет Махно, — заметил Следопыт, кончая рассказ. — Особенно, если увидит в наших рядах есаула...

С этими словами разведчик растянулся под деревом, решив передохнуть до восхода солнца.

— А Голубую Лисицу я все-таки высеку, — пробормотал он, уже засыпая.

Овод прилег рядом с Мишкой, а Ю-ю, как обычно, поджал под себя ноги и уселся у изголовья своих друзей с «карабаем» наготове. Он ни на минуту не смыкал глаз. Его взгляд подолгу останавливался на спокойном лице Дуняши. Острые глаза Ю-ю теплели, губы расплывались в счастливую улыбку. Он еще не отдавал себе отчета в том, как горячо и чисто любит эту девушку. Но, если спросить его, что есть в мире самого дорогого и прекрасного, он назвал бы Дуняшу.

## **РАЗГРОМ**

Под вечер следующего дня конный отряд красных партизан Цибули в полном вооружении, с двумя батареями полевых пушек вышел из города и быстрым маршем направился к местечку вблизи продовольственной базы.

Наши разведчики давно уже были на месте предстоящего сражения и нетерпеливо ждали прибытия полка партизан.

Обычно спокойный и сдержанный. Следопыт на этот раз нервничал. Сегодня он надеялся встретиться с Голубой Лисицей лицом к лицу и рассчитаться с ней за отца и брата, за сожженную деревню, за грабежи и убийства. Он то и дело осматривал своего боевого коня, проверял маузер и небольшую, но острую, как бритва, шашку. Рядом с ним в полной боевой готовности крепко сидел в седле невозмутимый Ю-ю. Он держал наготове свой «карабай». Овода Мишка отослал в санитарный отряд полка.

Наконец долгожданный час настал.

В сумерки партизаны прибыли на место и расположились вдоль опушки леса, укрываясь в тени деревьев.

В эту ночь Махно решил неожиданным наскоком ударить на Н-скую базу, разгромить ее и взорвать ближайший мост через реку. Это нарушило бы связь тыла с действующими против Врангеля частями Красной Армии. Он хорошо знал, что крупных воинских соединений поблизости не было и, следовательно, подмоги база вовремя не получит. Хитрый бандит действовал наверняка, заранее торжествуя победу.

Предупредив базу о грозящей опасности, командир партизан Цибуля решил укрыть свой отряд в ближайшем перелеске и в конном строю ударить в тыл махновцам.

После полуночи взволнованный Следопыт донес Цибуле, что банда Махно численностью примерно в восемьсот сабель выступила из дубовой рощи. Она шла налегке, без пулеметов и пушек, не ожидая большого сопротивления.

Цибуля задумался:

— Так, та-аак... У них восемьсот, у нас триста, да пулеметы, да пушечки, да удар в затылок... Как думаешь, Иван, побьем врага?

— Побьем так, что пух и перья полетят! — отозвался могучий всадник, выдвигаясь вперед.

Следопыт оглянулся на знакомый голос и обмер на месте:

— Батька!

Иван рванулся к Следопыту, едва не опрокинув командира:

— Мишка! Сынок!..

И помощник командира, не сходя с седла, обнял знаменитого разведчика — Следопыта. Но радоваться свиданию было некогда.

— По ко-ооня-аам! — разнеслась команда.

Через минуту весь отряд стоял в напряженном ожидании, готовый по первому сигналу двинуться на врага.

Мимо опушки промчалась батарея, потом все стихло, словно вокруг было мертвое поле.

Отец и сын встали рядом.

— Ты, сынок, держись за мной с левой руки и не отставай, — предупредил Иван, в глубине души боявшийся за жизнь Мишки. Он понимал, что бой предстоит нешуточный.

Мишка задорно тряхнул головой:

— Не бойсь, батька, мы тоже не лыком шиты!.. А ты, друг Ю-ю, держись слева от меня да гляди, чтобы я тебя не зашиб ненароком...

— Слюхай, капитана! — живо отозвался Ю-ю, тотчас выполняя приказание Следопыта.

Тяжелый гул сотен лошадиных копыт и звериный рев бандитов разорвали тишину. Выскочив из леса, шайка ураганом неслась по широкому полю прямо на базу. Махновцы были уверены, что захваченная врасплох охрана базы будет смята одним ударом, а там — разгром и богатая пожива...

Но вскоре сгоравшие от нетерпения партизаны услышали дружный залп из винтовок, треск пулеметов и беглый огонь орудий, бивших навстречу банде прямой наводкой.

Встречный огневой удар оказался таким сокрушительным, что первые ряды нападающих — и кони, и всадники — пали, как сраженные молнией, загородив путь задним. Грозный вой махновцев перешел в неистовые вопли, в стоны и проклятия.

Нетерпение Мишки и всех партизан, притаившихся в засаде, достигло высшего напряжения.

Вдруг над лесом с треском разорвалась красная ракета. Канонада сразу замолкла, будто кто-то незримый одним махом заткнул огненные глотки пушек, пулеметов и ружей.

— Карьером, марш, ма-а-арш! — скомандовал Цибуля, подняв шашку над головой...

И во фланг отступающей орде махновцев, уже расстроенной метким огнем, ринулись партизаны. Их удар был так внезапен и страшен, что шайка Махно мгновенно оказалась смятой и, завывая от ужаса, бросилась врассыпную.

В предрассветном сумраке, словно зарницы, сверкали сотни сабель, сыпались удары, падали сраженные люди, дико ржали, вздымаясь на дыбы, озверевшие кони, трескали выстрелы.

Впереди всех, рассыпая удары направо и налево, мчались трое — отец с сыном и Ю-ю. Они искали Махно.

В горячке боя Ю-ю в первые же минуты оторвался от своего «капитана» и дрался в одиночку, действуя своим «карабаем», как палицей.

— Вот он! — крикнул вдруг Иван и, пришпорив коня, помчался наперерез большой группе, скакавшей к лесу.

Мишка взвизгнул и врезался в самую гущу бандитов, сшибая их грудью своего скакуна. Кольцо бандитов дрогнуло, на мгновение расступилось и пропустило Ивана и Мишку.

— Вот где ты, собака! — крикнул Иван, взмахнув шашкой над головой скакавшего Махно. Но в то же мгновение сбоку налетел всадник, и рука Ивана вместе с шашкой покатила на землю. Махно в страхе пригнулся и еще сильнее пришпорил коня.

Выстрелом Мишка снял с седла бандита, изуродовавшего отца, и возобновил погоню за атаманом, но подходящий момент был уже упущен: бандиты окружили Махно и плотной толпой неслись к лесу.

Увлеченный погоней, Мишка не заметил, что он один скачет за добрым десятком махновцев, размахивая своей маленькой шашкой.

Это вскоре заметили и бандиты. Внезапно повернув коней, они окружили Следопыта, и прежде чем Мишка успел сообразить, что случилось, его шашка со звоном отлетела прочь.

— Взять живьем! — раздался чей-то властный голос.

Стиснутый с обеих сторон конями и обезоруженный, Мишка, помимо воли, мчался вперед.

«Вот так штука! — думал он. — Хотел поймать Лисицу, и сам попал ей в зубы».

Увлекая за собой Мишку, банда скрылась в глубине леса.

## **В ЛАПАХ МАХНО**

В селе Яблонном сегодня было необычайно шумно и весело. Десятки пьяных с бутылками самогона в руках шатались по улицам, горланя песни. В кулацких хатах шел пир горой, тут и там закипали ругань и драки. Что за диво? Никакого праздника, даже самого маленького, в этот день не было, а кутили так, словно праздновали «Николу зимнего». Странно было и то, что ворота бедняцких хат были закрыты, а их хозяева старались не попадаться на глаза гулякам.

Но самый богатый пир был у первого кулака на селе Митро Забубенко, куда собралась вся местная знать: бывший урядник Нечипорук, церковный староста, трое самых богатых кулаков, старый мельник и поп Павсикакий. А вперемешку с ними на широких скамьях и в креслах сидели пестро одетые гости. Хозяева усердно накачивали их самогоном.

В центре всеобщего внимания был щуплый мужичонка с хмурым, отекившим от пьянки лицом и острым взглядом маленьких черных глаз.

Развалившись в переднем углу, он задрал ноги на край дубового стола и пил водку стакан за стаканом, как воду. Хмель, видимо, его не брал. Через головы собутыльников он смотрел в потолок и зло ворчал:

— Будь я проклят, если когда-нибудь попадался так глупо в ловушку!.. Это опять его проделка!.. Семь шкур спущу!

Он хлестнул плеткой по столу, разрезав пополам жирную кулебяку и опрокинув графин с самогоном.

Рядом с переодетым Махно (а вы уже, конечно, догадались, что это был он) сидел на конце скамейки старый мельник. Он с хитрецей поглядывал на соседа и шептал ему на ухо:

— Да что вы сердитесь, атаман. Вы еще не раз порубаете красных... А теперь бы отдохнуть малость, к нам на мельницу заглянуть.

Махно встрепенулся:

— А что? Ждет Катюха?

— Да боже мой! Ночи не спит.

— А ты не брешешь, старый пес? Коли правда, озолочу!.. Если соврал, попробуешь, чем это пахнет. — Махно сунул плеть под самый нос мельнику. Тот в испуге отшатнулся.

Махно развеселился и заверещал на всю хату:

— Гей, Голопуз, где тот шенок, что скакал за нами, как бешеный?

— Вин туточки, батько! — живо отозвался Голопуз, с трудом поднимаясь из-за стола. — В чулане лежит до твоего приказу...

— Тащи его сюда, каналью!

— Слухаю, батько!

В глазах Махно забегали злые огоньки.

— Посмотрим, что он запоеет здесь...

Гости расступились. Связанного Следопыта вывели на середину хаты и поставили перед атаманом.

Прекратив пирушку, все с интересом оглядывали его с головы до пят, как заморскую диковинку. Мишка был в потрепанном красноармейском обмундировании.

— Эй ты, сопляк, — начал атаман, не меняя позы, — кой черт тебя гнал за нами? На виселицу захотел?..

— Если я сопляк, то ты свинья, которую посадили за стол, а она и ноги на стол, — спокойно отрезал Мишка, с любопытством оглядывая странное сборище.

— Цыть, кутенок! Я — Махно! — гаркнул бандит, думая запугать пленника.

Мишка, только теперь узнавший Махно, побелел от гнева:

— Благодарю бога, что мои руки связаны, а то бы я показал тебе, как села жечь, бандитская харя!

Зная бешеный нрав Махно, гости ждали расправы.

Но пьяный бандит неожиданно расхохотался:

— Вот так гусь! А ну-ка, развяжите ему руки...

Удивленного Мишку мигом освободили от веревок. Он не торопясь стал растирать затекшие руки и только теперь, заметил, что окружавшие его «мужики» были вооружены револьверами, шашками, кинжалами. «Переодетая банда», — сообразил Следопыт.

— Ну, что ж ты не казнишь Махно? — усмехаясь, спросил бандит, кладя руку на эфес шашки. — Трусишь, каналья?

Мишка вспыхнул:

— Ты сам трус и разбойник, по которому давно виселица плачет!

Махно выхватил пистолет и, выстрелив через голову Мишки, зло усмехнулся:

— Вот это я понимаю, сам стоит под виселицей и нам же угрожает. Что с ним делать, хлопцы?..

— Повесить на первом суку, — отозвался чей-то голос.

— Зачем вешать, — возразил другой, — парубок дюжий, не робкого десятка. Нехай переходит к нам.

— Эй, малец, — крикнул третий бандит, — иди на службу к батько Махно. Удалим ребятам у нас хорошо живется.

Мишка гордо выпрямился и ударил себя кулаком в грудь:

— Я буденовец и грабить с вами народ не желаю. А Махно я выпорю при первом удобном случае...

От такой дерзости даже выдавший виды Махно на минуту опешил. А потом заорал:

— А ну, Битюк, всыпь ему полсотни горячих и повесь за ногу на ворота!.. И баста! Пусть знает, как разговаривать с атаманом.

Мишка побелел от ярости и очертя голову бросился на Махно, пытаясь схватить его за горло.

— Стой, тигра лютая!.. — Бандит, названный Битюком, схватил Мишку за ворот и потащил к порогу.

— Вот змеиное отродье, — сердито проворчал Махно, — увеличить ему порцию вдвое!

— Слухаю, батько!

— Ну, берегись, мохнатый черт! — уже стоя на пороге, кричал Мишка. — Я тебя еще найду!

Битюк толкнул его в спину:

— Катись, шибеник!

Но Мишка дал ему такую «сдачу» кулаком в бок, что казак охнул, согнувшись пополам...

Махно опять расхохотался:

— А лихо дерется петушок! Он, пожалуй, побьет твоего дурня, Битюк?..

— Ни, не побьет, — ответил казак, с трудом разгибаясь и снова хватая Мишку. — Я ему сейчас шкуру сдеру.

— Стой! Шкуру потом, — приказал пьяный Махно, — зови сюда свое отродье!..

Битюк сердито толкнул Мишку обратно к столу, а сам выскочил из хаты.

Предвкушая какую-то веселую забаву, бандиты освободили место посередине хаты и взяли Мишку в кольцо.

— Поглядим, каков ты есть в кулаке!..

— Где ему, Битюк в бараний рог его скрутит!

— А може, и нет...

Мишка настороженно озирался. У ближайшего бандита за поясом он заметил пистолет и решил при случае воспользоваться им для обороны. Нет, теперь уж он живым в руки не дастся!

— А ну, дай дорогу! — раздался окрик с порога.

Бандиты расступились, и перед Мишкой очутился здоровенный верзила лет восемнадцати. На голове копна растрепанных волос, нос картошкой. Он встал посредине хаты, неуклюже переминаясь с ноги на ногу.

Атаман, видимо, решил повеселиться и потешить свою побитую банду.

— Ша, хлопцы! — он еще раз хлестнул по столу плетью.

Все притихли.

Махно обратился к верзиле:

— Видишь этого чижика, Битюк?

— Бачу, — ответил парень, поворачиваясь лицом к Мишке.

— А побить его можешь?

— Кого?.. Цего?..

— Ну да, на кулаки взять!

— А на що? — удивился верзила. — Вин же воробушек.

Банда разразилась хохотом.

Мишка вспыхнул от обиды:

— Но-но, ворона, не очень задирай! В другом месте я б тебе показал «воробушка»...

— Так бей его, Битюк! — взвизгнул Махно, — Это ж буденовец!

Бандиты дружно заулюлюкали:

— Дай ему трепку!

— Ату его!

— Ну што ж, могу, — согласился молодой Битюк, не торопясь снимая куртку и засучивая рукава рубахи.

Мишка заложил руки за спину:

— А я не желаю! Что я вам — цирк?..

Махно вскочил:

— Дерись, звереныш! Если ты побьешь Битюка, катись на все четыре стороны!.. И баста!

— А ты не брешешь? — усомнился Мишка.

— Что-оо? — взбеленился Махно. — Слово атамана свято, как у господ бога. Начинай, Битюк!..

— Ладно, коли так, — отозвался Мишка, вставая в боевую позицию, — только как будем драться — по правилам бокса или куда попало?..



— Бокса? — верзила вытаращил глаза, — Яка бокса? Та я ж тебя и без боксы пришибу, як червя. — Он сделал шаг вперед.

— А ну, давай, верблюд! — подзадоривал Мишка, спокойно стоя на месте. — Попробуй пришибить буденовца!

— Бей его, Битюк! — завывли бандиты, плотной стеной окружая бойцов. — Цель в ухо!..

Битюк сжал свой огромный кулачище и размахнулся изо всей силы... Мишка мгновенно пригнулся, кулак просвистел в воздухе, верзила пошатнулся и, получив крепкий удар в челюсть, отлетел в сторону.

— Получай задаток, кабан! — крикнул Мишка.

Бандиты ахнули:

— Вот так звезданул петушок!

— Давай, давай, Битюк!

— Катай его!

Разъяренный Битюк в бешенстве бросился на Мишку, нанося беспорядочные удары куда попало. Ловко отражая нападение, Мишка с поразительной быстротой бил противника по рукам, заставляя его плясать вокруг себя, как медведя на цепочке.

Махно и бандиты хохотали от удовольствия, свистом и криками подбадривая Битюка.

Но тот, уже избитый в кровь, вторично отскочил от Мишки, задыхаясь от бессильной ярости.

— Ну, я ж тебя убью, собака! — прохрипел Битюк и, наклонив мохнатую голову, быком ринулся на Мишку, направляя удар в живот.

Но Мишка, как кошка, отпрыгнул в сторону и с такой силой трахнул Битюка кулаком по затылку, что тот всей тушей грохнулся на пол и забороздил носом.

Бандиты взвыли.

Не дав противнику опомниться, Мишка вскочил ему на спину и придавил коленом шею:

— Ну что, верблюд, сдаешься, или еще наддать?..

— Та вже ж, шоб твои очи повылазили! — прохрипел Битюк.

— То-то же, вперед буденовцев не трогай!

И, толкнув Битюка ногой в зад, Мишка направился к выходу:

— До скорого свидания, разбойники!

Но Битюк-отец загородил ему дорогу:

— Куда прешь?..

— Как, куда? Ваш батька обещал мне свободу, если я побью твоего дурня.

На лице Махно появилась злорадная усмешка:

— Верно, Битюк, дай ему сотню хороших плетей и пусть уходит, если сможет... И баста!

Смертельно оскорбленный, Мишка бросился на казака с пистолетом и попытался выхватить у него оружие. Но Битюк-отец успел перехватить Следопыта и поволок его во двор.

Здесь Мишка увидел картину, достойную времен Тараса Бульбы.

Посредине двора красовалась поставленная «на попа» бочка с выбитым дном. Вдребезги пьяные бандиты, кто чем мог, черпали из нее самогон и, запрокинув головы, пили, пока не валились с ног. Трое уже спали, развалившись посредине двора. Один отчаянно отплясывал гопака под губную гармошку. Другие во всю силу легких горланили песни.

В конце двора стоял большой сарай, около которого весело фыркали две верховые лошади гнедой масти и одна черная, как вороново крыло. Прислонившись спиной к запертой двери сарая, тяжело дремал сторож, вероятно, тоже пьяный. Сюда-то и привел Битюк Следопыта.

— Эй, Петро, отчини дверь, — потребовал Битюк, толкнув ногой сторожа.

Сторож недовольно пробурчал что-то себе под нос, с трудом нашел карман и, вынув ключ, начал возиться у замка.

— Вот проклятая дирка! — ругался сторож, тыкая ключом мимо замка. — Засорилась, чи шо?

Пока пьяный сторож возился с замком, Мишка огляделся и заметил, что в десятке шагов от сарая в высоком заборе не хватает одной доски.

Сторож продолжал канителиться с замком, ругая на чем свет стоит неуловимую «дирку».

Битюк, крепко державший за руку Мишку, разозлился:

— Да ну, пьяная морда, дай сюда ключ!

Оттолкнув плечом сторожа, Битюк схватил правой рукой ключ, тем самым освободив одну руку Мишки. А через мгновение он уже опрокинулся на спину, получив страшный удар в челюсть.

Одним прыжком Мишка очутился около вороной лошади, которую давно уже держал на примете. Вскочить в седло и дать шпоры коню для него было делом одной секунды. И прежде чем Битюк очухался и поднял крик, он уже мчался к забору, боясь только, как бы конь не задел ногами за доску. Но лошадь, словно птица, распласталась в воздухе, и, чуть коснувшись земли по ту сторону забора, понеслась дальше.

Повернувшись на лету, Мишка крикнул бандитам:

— Гей, вороны, вспоминайте Следопыта!

Вслед беглецу раздались беспорядочные выстрелы и отчаянные вопли Битюка. Но пули свистели мимо.

Когда Махно узнал, что в его руках был знаменитый Следопыт, удравший на его собственном скакуне, бандит пришел в неопишемую ярость. Он тут же, на глазах пьяной толпы, пристрелил сторожа, приказал запороть насмерть злосчастного Битюка, а в заключение так стукнул по шее попавшего под руку попа, что Павсикакий отлетел на целую сажень, с треском ударившись в забор.

О погоне не могло быть и речи; все знали, что коней, равных по силе бега махновскому, не найти по всей Украине.

## ГДЕ СЛЕДОПЫТ?

Ю-ю и Овод не знали, чем объяснить исчезновение Следопыта. Вместе с сестрами и санитарями они обошли поле брани, осмотрели всех убитых и раненых, но Следопыта не нашли.

Куда он мог деваться?

Продолжая поиски, наши герои отошли далеко от центра боя и почти у самого леса увидели кучу человеческих тел и двух мертвых коней. Какой богатырь бился здесь, окруженный врагами?! Еле уловимый стон донесся до их слуха. Они бросились на голос: не Мишка ли?

В центре кучи, придавленный мертвым конем, лежал партизан могучего сложения, с красной лентой на шапке. Он был весь залит кровью, только смертельно бледное бородатое лицо его казалось чистым, словно умытым. В левой руке он держал длинную, почерневшую от крови шашку, а правая была обрублена по самое плечо. Вокруг партизана валялись трупы бандитов, рассеченные богатырской рукой.

Овод кинулся к партизану и встал на колени.

Партизан медленно открыл голубые глаза. Секунду смотрели они друг на друга, не узнавая...

— Дуняша? — прошептал вдруг партизан дрогнувшим голосом. — Ты?

Дуняша вскрикнула:

— Отец! Что они с тобой сделали? — припала к отцу и заплакала.

Иван тяжело вздохнул:

— Ничего, дочка, я тоже порубал их довольно... Прощай, моя голубушка... Умираю... за власть нашу...

— Нет, нет, папаня, ты не умрешь! — воскликнула Дуняша, выхватывая из сумки бинты. — Я перевяжу тебя...

— Поздно, — еле слышно прошептал Иван, закрывая глаза. — Обними за меня мать и Мишку... Бейтесь и вы за лучшую долю... за Советы...

С воинскими почестями похоронили Ивана Недолу в большой братской могиле, на зеленом холме, у самой кромки дубового леса.

А Следопыта все не было...

Получив отпуск из отряда и запасшись провизией, Ю-ю и Овод отправились на поиски своего вожака.

Но где его искать?

По словам Ю-ю, Мишка умчался вслед за Махно к опушке леса, а что было дальше, он не видел. Овод решил направиться в лес, хотя надежда на встречу была очень слабой. Он знал, что лес тот тянется далеко на восток, что именно в его темных дебрях бродили когда-то махновцы и что на его северной окраине раскинулось родное село Яблонное.

Взяв направление на север, ребята углубились в лес. Сначала они шли по следам банды, бежавшей с поля боя. След был хорошо виден: взбитая копытами коней земля, поломанные сучья и ветки деревьев, ключья разорванной одежды. Но вскоре следы разделились и пошли в разные стороны.

Куда ж направиться?..

Был уже поздний вечер, когда ребята вышли на широкую поляну. Здесь Овод решил устроить привал до утра: утро вечера мудренее...

Расположившись под кустом, разведчики вытащили из сумок еду, но есть не могли. Потеря отца и брата тяжело поразила Овода, а Ю-ю страдал за пропавшего «капитана» и глубоко сочувствовал горю Дуняши. Все же он не терял бдительности и, зорко озираясь по сторонам, держал карабин наготове.

Вдруг из глубины леса, с противоположного края поляны, вылетел растрепанный всадник, без фуражки, в порванной куртке, с окровавленным лицом. Он мчался прямо на ребят.

Ю-ю мгновенно вскинул к плечу карабин:

— Стой, стреляй будет!..

— Стой! — повторил и Овод, поднимая маузер.

Всадник с такой силой осадил над кустом вороного коня, что тот взвился на дыбы. А через секунду он уже был на земле и с криком: «Здорово, орлы!» — кинулся в объятия Ю-ю и Овода. Это был Мишка.

— Ты весь в крови, брат Следопыт, — встревожился Овод. — Что случилось?

— Чепуха! Лицо поцарапал, когда скакал лесом. Эх, и конь лихой! Как ветер несется!

Весть о гибели отца поразила Мишку в самое сердце. Но он не заплакал, нет. Он крепко обнял своих друзей и, как бы давая клятву, произнес:

— Жив не буду, а бандита поймаю!

## **ОХОТА ЗА ГОЛУБОЙ ЛИСИЦЕЙ**

День был ясный, голубой. Солнце ласково припекало, но в воздухе веяло прохладой. В селе Яблонном было тихо и спокойно: от вчерашней гульбы не осталось и следа. Крестьяне были заняты своим делом. Только два плохо одетых мужичка бесцельно бродили по улицам, мимоходом заглядывали во дворы, болтали с прохожими. Если бы кто-нибудь следил за ними, он бы заметил, что странные мужички с особой осторожностью и любопытством обошли вокруг дома, где прошлой ночью кутил Махно, потом осмотрели двор попа Павсикакия и, видимо, чем-то раздосадованные, медленно пошли в конец села. Здесь они наткнулись на сожженную хату, от которой остались только развалины печи да черная труба.

Мужички остановились, сняв шапки.

— Вот наша хата, — печально сказал один, тяжело вздохнув.

— Ничего, — ответил другой, — когда прикончим белых, построим новую. А подлую Лисицу мы все-таки найдем, не будь я Следопыт...

Да, это были наши герои. Оставив Ю-ю с вороным конем в гуще леса, они решили побывать в своем селе. Следопыт надеялся застать всю банду на месте, но Махно и след простыл.

Из разговоров с крестьянами ничего определенного выяснить тоже не удалось. Одни говорили, что «батько» ушел вербовать новое «войско» на Гуляй-Поле, другие уверяли, что он махнул «под Херсон», третьи полагали, что Махно заболел и скрывается где-нибудь «у своих», а большинство сердито отнекивалось:

— А на черта вин мини здався!

Словом, след Махно затерялся.

— Настоящая лисица!.. — ворчал Мишка. — А все-таки мы его найдем!

До вечера они обошли еще одну соседнюю деревню, но и там не нашли конца ниточки, по которой можно было бы добраться до Махно.

Волей-неволей к ночи им пришлось вернуться в лес, к Ю-ю. Мишка был раздосадован неудачей, но поиски решил продолжать.

— А не сходить ли нам к Черной балке, где банда стояла лагерем? — предложил он. — Ведь Махно ушел не один...

— Нет, нет! — запротестовал Овод, содрогнувшись от ужаса. — Подальше от этих проклятых мест!

— Тиха, капитана! — прошептал вдруг Ю-ю, поднимая руку. — Там буль-буль есть... Зачем такое?..

Он указал в глубину леса. Все замолкли, напряженно прислушиваясь.

— Верно, — сказал Следопыт, — там что-то курлыкает, вроде как тетерев бурчит...

Овод усомнился:

— Нет, не похоже... Может, ветер шумит?

— Какой там ветер, — отмахнулся Мишка, — сейчас такая тишь, ни один лист не шелохнется. Во всяком случае, проверим. У меня здесь что-то наклевывается, — он покрутил пальцем вокруг лба. — За мной, ребята!

Мишка смело пошел вперед, за ним направился Овод, а Ю-ю, как всегда, замыкал шествие, ведя коня под уздцы. Местность постепенно понижалась, лес становился гуще, дохнуло холодком и сыростью. Вскоре? Мишка остановился и, подождав своих соратников, сердито фыркнул:

— Ерунда! Зря мы сюда свернули — это речонка урчит по оврагу.

— Речонка?..

Овод прислушался и вдруг схватил за руку Следопыта:

— Ой, ребята, да ведь это же мельница шумит!

— Водяная мельница? — живо отозвался Следопыт. — Уж не та ли, в которой тебя мучили?

Овод побледнел:

— Может, и та...

Следопыт хлопнул себя по лбу:

— Ну и дурак я!

— Почему? — удивился встревоженный Овод.

— Ведь эту девушку Махно называл милой красавицей?

— Называл. Ну так что?

— И он по ее просьбе не отрубил тебе голову?

— Не отрубил.

— И сам поднял девушку с колен?

— Сам...

— Да что ж ты предлагаешь?

— Я-то? — Мишка в затруднении почесал затылок. — Пошли дальше! Только тихо, как мыши. А ты, Ю-ю, немножко отстань и веди коня... Да накрой ему морду курткой, чтобы не фыркал!..

— Есть, капитана! — охотно отозвался Ю-ю.

— Ты куда это? — шепотом спросил Овод.

— На мельницу...

— Зачем?

— Авось что-нибудь выйдет... Ты говоришь, девушка назвалась твоим другом?

— Да. Она так меня называла.

— Замечательно... Пошли, пока не стемнело.

Следопыт пригнулся, раздвинул ветки кустарника и бесшумно нырнул в чащу. Овод и Ю-ю последовали за ним в прежнем порядке.

Прислушиваясь к шуму воды, они шли довольно долго вдоль какой-то низины, заросшей дубовым кустарником и ивняком. Потом спустились в извилистый овражек, по дну которого бежал ручей. Вначале им казалось, что мельница должна быть где-то совсем близко, но рокот воды то резко усиливался, то неожиданно затихал и нарастал снова.

Мишка начинал сердиться. С каждой минутой ускорял шаг. Овод едва поспевал за ним, но даже и не подумал просить передышку. Он ни в чем не хотел отставать от брата. Что же касается Ю-ю, то

о нем можно было не беспокоиться. Он мог с одинаковой скоростью шагать хоть целые сутки без передышки и никогда, не терял своего неизменного спокойствия и выдержки.

— Тсс! Кажется, совсем близко, — прошептал Следопыт,

Гул водяной мельницы доносился совершенно отчетливо.

— Ждите меня здесь, а я пойду посмотрю, что там делается, — сказал Следопыт и исчез во тьме.

Мишка шел по узкой тропе, она вскоре вывела его из леса. Перед ним лежала обширная поляна, на склоне которой прилепилась маленькая деревушка.

Взяв маузер наизготовку, Следопыт направился в деревню. Но его предосторожность оказалась напрасной; деревня точно вымерла. Нигде ни единой души, ни одного огонька в хатах, ни одной собаки во дворах — ничего живого. Только ветерок печально посвистывал в разбитых окнах. Настороженно прислушиваясь и заглядывая во все дворы, Мишка беспрепятственно прошел деревню.

Где-то пропел петух...

— Странно, — подумал Мишка, — людей нет, а петух остался.

За околицей он остановился и осмотрелся по сторонам. Вдали из мрака ночи блеснул огонек.

— Ага, кто-то есть!..

Следопыт смело направился на огонек, который манил его в темную низину, где урчала речонка. Идти пришлось недолго. Внизу, у самой кромки берега, поросшего густым кустарником, показалось какое-то неуклюжее черное здание,

— Мельница! — обрадовался Следопыт.

Подойдя ближе, он заметил небольшое оконце, закрытое толстой ставней. Из щели струилась желтая полоска света. Следопыт ползком направился к окну. Миновав небольшую открытую площадку, он тихо поднялся на ноги и заглянул в щель.

На широкой скамье понуро сидела молодая девушка. Бледное худое лицо ее скупо освещал огонек лампочки, подчеркивая бездонную глубину карих глаз и густые соболиные брови. Длинная коса черной змеей сползала с плеч.

— Она! — прошептал Мишка, дрогнув от радости.

Девушка сидела неподвижно, в глубокой задумчивости.

Мишка невольно залюбовался ею и позабыл, зачем он сюда явился. На длинных ресницах девушки блеснула слезинка и медленно скатилась на руку.

О чем она плакала? Тоска ли одиночества грызла ее сердце, погиб где-нибудь ее милый, или кулак-отец измывается над нею?..

Мишка хотел было отойти от окна, но тут скрипнула дверь, и в комнату вошел старик, запорошенный мучной пылью.

Девушка вздрогнула и подняла голову.

— Все хныкаешь? — сказал старик, останавливаясь перед нею, — Или не нравится добрый молодец?

— Оставь меня, отец! — резко ответила девушка, — Ты хочешь погубить меня.

Мельник захихикал:

— Кого ж тебе еще нужно? Может, принца ждешь или графа? Сюда и ворон-то редко залетает...

— Никого мне не нужно... Но идти на поругание этому зверю не хочу! — Девушка закрыла лицо руками и заплакала.

Маленькие выцветшие глаза мельника блеснули из-под нависших мохнатых бровей:

— Эй, не дури, Катюха! Не нам с тобой рассуждать об этом. Он теперь сила и богат. — Старик пошарил за пазухой, вынул кожаный кошель и высыпал на стол с десяток золотых монет.

— Вот они! Самые настоящие, царские! А ты ревешь, дурища. В шелках ходить будешь.

— Не нужно мне его проклятого золота — оно в крови! — Девушка в гневе отшвырнула монеты и выскочила из комнаты.

Старик трясущимися руками собрал золотые, шамкая беззубым ртом, опять ссыпал их в кошель и сунул за пазуху.

Мишка отскочил от окна и двинулся в обратный путь. Он понял, что мельник против воли дочери хочет выдать ее замуж за какого-то богача. Хорошо бы помочь ей выпутаться из беды! Но как? Надо поговорить с Оводом. В таких мудреных делах он лучше разберется. Как-никак, а он тоже — девушка...

Размышляя таким образом, Следопыт возвратился в лес.

## **В МУЧНОМ МЕШКЕ**

В то время, когда Следопыт спешил к лесу, на противоположном конце дереvушки показался всадник. Он, видимо, тоже торопился и бешено нахлестывал плетью покрытого потом и пеной коня.

— Вперед, вперед, старая кляча!

Всадник рванул поводья и, едва не свалив покрытого пеной коня, спрыгнул на землю около мельницы. Подбежав к тяжелой двери, он постучал в нее три раза рукояткой пистолета.

В ответ раздался старческий кашель, и дверь тотчас отворилась.

Униженно кланяясь гостю, мельник повел его в ту комнату, где недавно сидела девушка, так поразившая Следопыта своей красотой.

— Минуточку обождите, одну минуточку, — залебезил старик, усаживая незнакомца, — она сейчас явится.

Гость хлопнул мельника по плечу:



— Ну, как? Согласилась? Иль все еще упирается? Боится меня?..

— Зачем же бояться, хе-хе, такого красавца и вдруг бояться?.. Ждет не дождется, даже во сне видела... Браги не хотите ли с дороги? Или винца хорошего?

— Можно, можно, — благосклонно согласился гость.

Старик живо принес бутылку вина и кувшин с брагой. Потом подошел к внутренней стене комнаты и тихонько стукнул корявым пальцем.

Гость насторожился...

После долгой паузы дверь снова скрипнула и на пороге появилась дочь мельника. При виде гостя она в страхе отшатнулась и растерянно остановилась на месте.

— Что ж ты не здороваешься, Катюшенька? Или язык отнялся от радости? — ласково засюсюкал старик и, незаметно ущипнув дочь за руку, зло прошипел ей на ухо: — Смотри, дурища, изведу!..

Девушка вздрогнула и чуть слышно поздоровалась с гостем:

— Добрый вечер!

— Здравствуй, здравствуй, красавица! — Незнакомец взял девушку за руку и усадил рядом с собой на скамью.

— Я насчет закуски побегу, а вы здесь поворкуйте...

Семеня ногами и продолжая хихикать, старик скрылся за дверью.

Гость и хозяйка с минуту молчали. Явная холодность красавицы смущала незнакомца; он не знал, с чего начать разговор, а она не поднимала головы,

Однако грубая натура взяла свое: он вдруг схватил девушку за плечи, с силой рванул к себе и поцеловал.

Задрожав от страха и отвращения, девушка отскочила в сторону:

— Не трогайте меня! Ради бога, пощадите!..

Гость на минуту смутился. Потом сердито спросил:

— Зачем же старик брал деньги? Разве я плохо наградил его? Вот получи и ты, красотка! — небрежным движением он бросил на стол кожаный кошелек, который тяжело звякнул.

— Нет! Нет! — в ужасе вскрикнула девушка. — Возьмите ваше нечистое золото, только сжальтесь надо мной и уходите.

Гость хитро прищурил маленькие колючие глазки и вынул из кармана бархатную коробочку.

— А как тебе эта штучка нравится? — В руках гостя сверкнуло богатое ожерелье.

Девушка отступила еще дальше:

— Не возьму ни за что на свете!

— Так что ж тебе нужно, черт возьми! — вспылил гость. — Или забыла, с кем разговариваешь? Да знаешь ли ты, что любая красавица Украины с радостью станет женой батьки Махно!

— Я все хорошо знаю, — предчувствуя беду и бледнея, возразила девушка, — но я не могу отдать свою руку бандиту,

Махно позеленел от ярости:

— Молчать, подлая тварь! Да я тебя раздавлю, как змею, и баста! — он схватил ее за косу...

Девушка вскрикнула и без чувств повалилась наземь.

— Ладно! — зло прошипел он. — Не хотела покориться добровольно, возьмем силой...

С полумертвой девушкой на руках Махно вышел наружу и скорым шагом направился к лошади.

Чья-то легкая тень беззвучно отскочила от окна, притаившись в кустах.

Махно благополучно дошел до коня. Уложил девушку поперек седла, и стал развязывать уздечку.

За спиной бандита внезапно появились две фигуры. В то же мгновение на его голову упал широкий мешок и сразу опустился до пят. Прежде чем Махно успел сообразить, что случилось, и выхватить шашку, он уже лежал на земле, крепко скрученный веревками, задыхаясь в мучном мешке.

— Вот это лихо! — воскликнул знакомый атаману голос. — Теперь уж ты не уйдешь, бандитская харя! Возьми его, Ю-ю!

— Есть, капитана!

Махно почувствовал, как чьи-то сильные руки схватили его за ноги и, как тушу барана, потащили вниз по мокрой траве.

Овод и Следопыт осторожно сняли девушку с седла и, опустив на землю, стали приводить в чувство.

Между тем Ю-ю дотянул мешок до вороного коня, стоявшего внизу у речонки, и швырнул под куст.

Махно слышал, как рядом с ним стукнул о землю приклад карабина и все смолкло. Хитрый бандит решил попробовать подкупить своего стража:

— Эй, парень! — глухо, сквозь мешок заговорил он. — Развяжи веревки и заработаешь пять золотых.

— Моя нет! — коротко отозвался Ю-ю.

— Бери десять!

— Моя нет...

— Пятьдесят!

— Пошла на черт! — отрезал страж.

— Хочешь тысячу, мошенник? — поторопился набавить Махно, полагая, что против такой суммы никто не устоит.

Ю-ю смачно плюнул:

— Тыфу на твой тыща!

— О, черта твоему батьку! — выругался Махно. — Чего ж ты хочешь, дурак?

— Дурак мешок сел!

Махно разъярился:

— Берегись, собака! Если ты меня не выпустишь, мои молодцы снимут с тебя семь шкур. И баста!  
Я — сам Махно!

Ю-ю засмеялся:

— Мой знал, кого мешок тащил. А твой молчать, шайтан! — и Ю-ю так сунул бандита прикладом, что тот охнул и сразу смолк.

Вскоре пришли и остальные: Мишка, Овод и дочь мельника — Катюша.

— Я повезу Катюшу, а ты возьмешь в седло мешок с бандюгой, — опять услышал странно знакомый голос Махно. — Ю-ю придется пешком пробежаться.

— Есть, капитана! — весело отозвался Ю-ю. — Мой не отстанет.

— Умоляю вас, бежим скорее! — в страхе просила дочь мельника.

— Нужно торопиться, друзья, — поддержал Овод, — скоро утро.

Жуткий холодок пробежал по спине бандита: ему почудилось, будто он слышит голос той самой девушки, которая была повешена в Черной балке по его приказанию. Нет, этого быть не может — мертвые не воскресают!

Разговор продолжался:

— Ты, Овод, поезжай пока шагом, а мы с Ю-ю останемся на минуту здесь, — приказал Мишка.

— А в чем дело? — спросил Овод, подсаживая на седло дочку мельника.

— Ничего особенного, надо старый должок отдать...

Овод с девушкой уехали вперед.

Следопыт взял плеть и, подойдя к мешку, слегка ткнул его носком сапога:

— Ну-ка, Ю-ю, поверни его тыквой кверху.

— Есть, капитана! — с удовольствием отозвался Ю-ю, выполняя приказание.

— А теперь считай до пятидесяти, да смотри не сбейся...

Вряд ли надо рассказывать, с каким удовольствием принимал надменный атаман порцию горячих. Мишка старался изо всех сил:

— Не грабь народ! Не трожь красных дьяволят! Не лезь к буденовцам!..

Бандит заскрипел зубами и разразился такой забористой бранью, что Ю-ю впервые расхохотался от всей души. А Мишка продолжал всыпать.

На тридцатом шлепке Мишка услышал крик Овода:

— Скорей по коням!..

С большим сожалением Мишка прекратил экзекуцию:

— Ладно. Двадцать штук досыплю на месте.

## ПОДАРОК РЕСПУБЛИКЕ

В городе Е. было необыкновенно оживленно и шумно. К главной площади по всем улицам и переулкам двигались потоки людей. На площади стоял уже знакомый нам отряд красных партизан в полном боевом снаряжении. Сегодня он уходил на фронт бить Врангеля. Рабочие организации и граждане города провожали партизан с красными знаменами, песнями и музыкой.

Залитая потоками яркого солнца и красным заревом многочисленных знамен, площадь горела и бурлила. Людское море колыхалось вокруг высокой, наскоро сбитой трибуны.

Митинг был в разгаре.

Говорил рабочий рельсопрокатного завода:

— Советская власть, товарищи, в опасности! Черный ворон — Врангель — все еще сидит в Крыму. Если мы не сбросим его в море, он опять полезет на Украину, а за ним, глядишь, и буржуй вернется, и помещик, и прочие белые гады. Не бывать тому, товарищи!

— Бей Врангеля! — кричала в ответ толпа.

— Вот и я тоже говорю, — продолжал оратор. — Партия зовет нас под ружье! Сам Ленин зовет! Все за оружие, товарищи! Смерть буржуйам! Урра-аа!

— Урра-ааа! — загремело над площадью, и громкое эхо разнеслось по всему городу.

Вслед за рабочим на трибуну поднялся командир партизанского отряда Цибуля, перепопоясанный патронными лентами.

В заключение своей горячей речи Цибуля дал клятву, что его полк не вернется назад до тех пор, пока ни одного беляка не останется на родной земле. Он упомянул также и о полном разгроме маховских банд и выразил сожаление, что сам Махно все еще не пойман...

Но вдруг Цибуля прервал свою речь на полуслове.

В облаках пыли к площади во весь опор мчался вороной конь с двумя всадниками. С развевающейся по ветру косой впереди сидела девушка, которую поддерживал сзади рыжий парень в изодранной одежде. Далеко позади скакал еще один всадник с большим мешком поперек седла, а на диво всем, придерживаясь одной рукой за стремя, рядом с конем стремительно бежал буденовец.

Партизаны на всякий случай приготовились к бою. Толпа затихла. А когда приблизился вороной конь, она поспешно, раздвинулась, очищая, дорогу.

Рыжик всадник осадил коня у самой трибуны и крикнул с седла:

— Здравствуйте, товарищи!

Цибуля и партизаны увидели отчаянного Следопыта живым и невредимым!

За ним подоспел и Овод с таинственным мешком поперек седла, с неутомимым Ю-ю у стремени.

Знаменитых разведчиков встретили криками «ура». Все трое оказались в могучих объятиях друзей и товарищей.

Сам командир сбежал с трибуны и помог неизвестной девушке сойти на землю. Мишка вытянулся в струнку и громко отрапортовал:

— Дозвольте доложить: поиск проведен успешно. Мы привезли подарок Советской республике!

Цибуля улыбнулся:

— Уж не эту ли красу-царевну вы считаете подарком?

— Никак нет! Наш подарок почище будет! — Следопыт подмигнул своим друзьям.

— Где же он? — удивился Цибуля. — Я не вижу.

— В мешке сидит!

— В мешке?!

Все окружающие прыснули со смеху. Предвкушая что-то необыкновенное, народ тесным кольцом окружил разведчиков.

Командир приказал:

— В таком случае тащите ваш подарок на трибуну.

— Есть тащить на трибуну! — отозвался Следопыт. — А ну-ка, Ю-ю, отвяжи мешок!

Ю-ю мигом исполнил приказание, ловко взвалил странный мешок на плечи и понес на трибуну. За ним поднялись разведчики и командир Цибуля.

Следопыт скомандовал:

— Бросай подарок на середину!

— Есть, капитана! — Ю-ю весело улыбнулся и швырнул мешок на пол.

Мешок громко крикнул, потом зашевелился и вдруг сам собою стал подниматься.

Старушка, стоявшая рядом с трибуной, шарахнулась в сторону:

— Мать пречиста, мешок встает!..

Глухо ворча, мешок действительно встал.

Командир вспылил:

— Это еще что за шутки, медвежонка, что ли, приволокли?

— Зачем медвежонка, тут целый медведь, — невозмутимо ответил Следопыт, развязывая узел.

Любопытство толпы нарастало. Передние ряды вплотную придвинулись к трибуне, а задние полезли на плечи соседей.

Наконец таинственный мешок раскрылся и медленно пополз вниз.

Следопыт отрапортовал Цибуле:

— Вот он — подарок! Получайте, товарищ командир!

И перед изумленными взорами народа предстал какой-то немудрящий человечешка с поднятыми дыбом волосами, весь покрытый мучной пылью, растрепанный и жалкий.

— Это еще что за птица? — спросил командир, не узнавая злого врага Украины.

— Это изменник родины, бандит и грабитель — батька Махно!

Толпа ахнула:

— Махно! Махно! — как ветер, пронеслось по рядам. — Смерть бандиту!..

Махно узнал не только Следопыта, но и Овода, недавно повешенного им в Черной балке...

— Что за наваждение такое? — прохрипел он, пятась назад. — Опять эта проклятая девчонка!

— Да-да! Это — я! — ответил Овод, подходя ближе. — Иногда и мертвые воскресают, чтобы отомстить живым...

Бандит в ужасе озирался по сторонам. Ему казалось, что он сошел с ума и теперь бредит дикими нелепыми образами: воскресшая девушка, партизаны, толпы народа, сотни знамен, шум и крики — настоящий кошмар!..

Командир пожал руки всем разведчикам и обратился к народу:

— Товарищи! Наши славные разведчики и в самом деле привезли ценный подарок Советской России: они захватили в плен одного из самых гнусных бандитов — атамана кулацкой банды Махно. Хвала и честь юным героям!..

— Урра-ааа! — загремело над площадью.

Махно готов был растерзать всех на мелкие кусочки, но мог только скрежетать зубами в бессильной ярости и злобе. А тут еще стояла дочь мельника и смотрела на его жалкую фигуру, насмешливо улыбаясь...

На трибуну вошел буденовец и передал Цибуле какую-то коробку.

— Все три здесь? — тихо спросил тот.

— Так точно, товарищ командир!

Цибуля поднял руку, призывая к порядку.

Сотни глаз впились в командира.

— Товарищи! — торжественным тоном начал он. — Я счастлив всенародно заявить здесь, что Коммунистическая партия и Советская власть высоко оценили боевые заслуги и самоотверженность наших отважных разведчиков. Разрешите от имени Республики вручить этим славным героям заслуженные награды...

Цибуля медленно вынул из коробки три блестящих ордена и поднял их над головой.

Долго сдерживаемое напряжение толпы прорвалось. Ураган рукоплесканий и криков «ура» рванулся к небу. Над головами замелькали платки, полетели вверх шапки, а ребяташки, словно стая грачей, посыпались со всех столбов и заборов.

Каждый старался протолкнуться вперед, к трибуне, и хоть одним глазком посмотреть на отчаянных буденовцев, сумевших посадить в мешок самого батьку Махно. Но, кажется, больше всех радовалась дочка мельника, которая давно уже стояла на трибуне, не сводя глаз со своего спасителя — Следопыта.

А когда командир собственноручно приколот к его широкой груди орден Боевого Красного Знамени, Катюша не выдержала и на глазах толпы расцеловала смущенного Мишку.

Нет, Дуняша не решилась поцеловать Ю-ю, но девушка так крепко пожимала ему руки, так нежно поздравляла его с чудесной наградой, что на глазах их верного друга выступили слезы — слезы невыразимого счастья.

## **В. ШКЛОВСКИЙ. ZOO, или Письма не о любви<sup>118</sup>**

(перв. изд. – 1923)

Человек один идет по льду, вокруг него туман. Ему кажется, что он идет прямо. Ветер разгонит туман: человек видит цель, видит свои следы.

---

<sup>118</sup> Послесловие редакции. Жизнь и творчество автора «ZOO» — тема отдельной публикации. Здесь же мы вынуждены ограничиться лишь краткими сведениями из его биографии: Шкловский Виктор Борисович (1893—1984), русский литературовед, критик, теоретик литературы, прозаик, журналист, сценарист, теоретик кино. Родился 12 (24) января 1893 года в Санкт-Петербурге. 23 декабря 1913 года в литературно-артистическом кабаре «Бродячая собака» Шкловский прочел доклад «Место футуризма в истории языка», из которого выросла затем концепция развития литературы, разрабатываемая им в течение жизни. Осенью 1914-го, вскоре после начала Первой мировой войны, он уходит добровольцем в армию. Впоследствии напряженная научная работа не помешала Шкловскому принять самое активное участие в февральской революции 1917 года. Георгиевский крест 4-й степени Виктор Шкловский получил из рук Л.Г. Корнилова. Резкое неприятие большевизма заставило Шкловского сблизиться с правыми эсерами. Он принимает активное участие в антисоветском заговоре, в частности, в подготовке переворота. Позже отправляется в Киев, где участвует в неудачной попытке свержения гетмана Скоропадского. В начале 1919-го Шкловский возвращается в Петроград. Этому обстоятельству немало способствовало то, что партия эсеров, руководство которой призвало к отказу от вооруженного сопротивления, была амнистирована. Тем не менее, 4 марта 1922 года, возвращаясь ночью домой, он заметил, что окна его и соседней комнат освещены. Без вещей, с одними санками, на которых вез дрова, он отправился к знакомым. Прожив в Петрограде еще десять дней, Шкловский по льду Финского залива бежит в Финляндию. Его жена, взятая в качестве заложницы, находится некоторое время в заключении. В эмиграции, с конца 1922 года Виктор Шкловский начинает хлопотать о возвращении на родину. Значение Шкловского для русской культуры трудно переоценить. Умер В.Б. Шкловский 5 декабря 1984 года в Москве. Печатается по: <http://www.marie-olshansky.ru/ct/zoo.shtml>

Оказывается — льдина плыла и поворачивалась: след спутан в узел — человек заблудился.

Я хотел честно жить и решать, не уклоняться от трудного, но запутал свой путь. Ошибаясь и плутая, я очутился в эмиграции, в Берлине.

История эта рассказана мною в книге «Сентиментальное путешествие», которая у нас два раза издана; сейчас ее не переиздаю.

Все это было в 1922 году. За границей я тосковал; через год по хлопотам Горького и Маяковского мне удалось вернуться на родину.

Книга, которую вы сейчас прочтете, написана в Берлине, у нас она издается в четвертый раз.

1965

## ТРИ ПРЕДИСЛОВИЯ

### ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ

Книжка эта написана следующим образом.

Первоначально я задумал дать ряд очерков русского Берлина, потом показалось интересным связать эти очерки какой-нибудь общей темой. Взял «Зверинец» («Zoo») — заглавие книги уже родилось, но оно не связало кусков. Пришла мысль сделать из них что-то вроде романа в письмах.

Для романа в письмах необходима мотивировка — почему именно люди должны переписываться. Обычная мотивировка — любовь и разлучники. Я взял эту мотивировку в ее частном случае: письма пишутся любящим человеком к женщине, у которой нет для него времени. Тут мне понадобилась новая деталь: так как основной материал книги не любовный, то я ввел запрещение писать о любви. Получилось то, что я выразил в подзаголовке, — «Письма не о любви».

Тут книжка начала писать себя сама, она потребовала связи материала, то есть любовно-лирической линии и линии описательной. Покорный воле судьбы и материала, я связал эти вещи сравнением: все описания оказались тогда метафорами любви.

Это обычный прием для эротических вещей: в них отрицается ряд реальный и утверждается ряд метафорический.

Сравните с «Заветными сказками».

Берлин, 5 марта 1923 года



## ВТОРОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ К СТАРОЙ КНИГЕ

Мое прошлое — ты было.

Были утренние тротуары берлинских улиц.

Базары, осыпанные белыми лепестками цветущих яблонь.

Ветки яблонь стояли на длинных базарных столах в ведрах.

Позднее, летом, были розы на длинных ветках, — вероятно, это вьющиеся розы.

Орхидеи стояли в цветочном магазине на Унтер-ден-Линден, и я их никогда не покупал. Был беден. Покупал розы — вместо хлеба.

Давно унесли отрезанное от сердца. Мне только жалко того прошлого: прошлого человека.

Я оставил его (прежнего себя) в этой книге, как оставляли в прежних романах на необитаемом острове провинившегося матроса.

Живи виноватый: здесь тепло. Я не могу тебя перевоспитать. Сиди, смотри на закат. Письма, которых не было в первом издании, были действительно написаны тобою, но ты их тогда не послал.

1924. Ленинград

## ТРЕТЬЕ ПРЕДИСЛОВИЕ

Мне семьдесят лет. Душа моя лежит передо мною.

Она уже изнасилась на сгибах.

Та книга ее согнула тогда. Я ее выпрямил.

Сгибали душу смерти друзей. Война. Споры.

Ошибки. Обиды. Кино. И старость, которая все же пришла. Мне легче, что я не знаю мест, по которым ты ходишь, не знаю твоих новых друзей, старых деревьев около твоей мельницы.

Память разошлась кругами. Круги дошли до каменного берега. Прошлого нет.

К берегу ушли круги, кольца любви.

Не сяду у моря, не буду ждать погоды, не позову свою рыбку с золотыми веснушками.

Не сяду ночью у моря, не буду черпать воду старой коричневой фетровой шляпой.

Не скажу: «Отдай мне, море, кольца».

Уже и ночи я дождался. Убраны с неба непонятные звезды.

Одна Венера, заглавная звезда вечера и утра, вернулась в небо. Верен любви: люблю другую.

Утром, в час, когда уже можно отличить белую нитку от голубой, я говорю слово — Любовь.

Солнце вылилось в небо.

Утру песни не бывает конца, только мы уходим.

Посмотрим по книге, как по воде, на каких перевалах бывало сердце, сколько от прошлого осталось крови и гордости, называемых лиризмом.

1963 год. Москва

P.S. Аля уже несколько десятилетий французская писательница, прославленная своей прозой и стихами, ей посвященными.

ЭПИГРАФ

ЗВЕРИНЕЦ

О, Сад, Сад!

Где железо подобно отцу, напоминающему братьям, что они братья, и останавливающему кровопролитную схватку.

Где немцы ходят пить пиво.

А красотки продавать тело.

Где орлы сидят, подобны вечности, оконченной сегодняшним, еще лишенным вечера днем.

Где верблюд знает разгадку Буддизма и затаил ужимку Китая.

Где олень лишь испуг, цветущий широким камнем.

Где наряды людей баскующие.

А немцы цветут здоровьем.

Где черный взор лебедя, который весь подобен зиме, а клюв — осенней рощице, немного осторожен для него самого.

Где синий красивейшина роняет долу хвост, подобный видимой с Павдинского камня Сибири, когда по золоту пала и зелени леса брошена синяя сеть от облаков, и все это разнообразно оттенено от неровностей почвы.

Где обезьяны разнообразно сердятся и выказывают концы туловища.

Где слоны, кривляясь, как кривляются во время землетрясения горы, просят у ребенка поесть, влагая древний смысл в правду: есть, хоууа! поесть бы! и приседают, точно просят милостыню.

Где медведи проворно влезают вверх и смотрят вниз, ожидая приказания сторожа.

Где нетопыри висят подобно сердцу современного русского.

Где грудь сокола напоминает перистые тучи перед грозой.

Где низкая птица влачит за собой закат, со всеми углями его пожара.

Где в лице тигра, обрамленном белой бородой и с глазами пожилого мусульманина, мы чтим первого магометанина и читаем сущность Ислама.

Где мы начинаем думать, что веры — затихающие струи волн, разбег которых — виды.

И что на свете потому так много зверей, что они умеют по-разному видеть бога...

Где полдневный пушечный выстрел заставляет орлов смотреть на небо, ожидая грозы.

Где орлы падают с высоких насестов, как кумиры во время землетрясения с храмов и крыш зданий...

Где утки одной породы поднимают единодушный крик после короткого дождя, точно служба благодарственный молебен утиному — имеет ли оно ноги и клюв — божеству.

Где пепельно-серебряные цесарки имеют вид казанских сирот.

Где в малайском медведе я отказываюсь узнать сосеверянина и открываю спрятавшегося монгола.

Где волки выражают готовность и преданность.

Где, войдя в душную обитель попугаев, я осыпаем единодушными приветствиями «дюрьяк!».

Где толстый блестящий морж машет, как усталая красавица, скользкой черной веерообразной ногой и после прыгает в воду, а когда он вскатывается снова на помост, на его жирном, грузном теле показывается с колючей щетиной и гладким лбом голова Ницше.

Где челюсть у белой черноглазой возвышенной ламы и у плоскорогого буйвола движется ровно направо и налево, как жизнь страны с народным представительством и ответственным перед ним правительством — желанный рай столь многих!

Где носорог носит в бело-красных глазах неугасимую ярость низверженного царя и один из всех зверей не скрывает своего презрения к людям, как к восстанию рабов. И в нем затаен Иоанн Грозный.

Где чайки с длинным клювом и холодным голубым, точно окруженным очками, глазом имеют вид международных дельцов, чему мы находим подтверждение в искусстве, с которым они похищают брошенную тюленям еду.

Где, вспоминая, что русские величали своих искусных полководцев именем сокола, и вспоминая, что глаз казака и этой птицы один и тот же, мы начинаем знать, кто были учителя русских в военном деле.

Где слоны забыли свои трубные крики и издают крик, точно жалуются на расстройство. Может быть, видя нас слишком ничтожными, они начинают находить признаком хорошего вкуса издавать ничтожные звуки? Не знаю.

Где в зверях погибают какие-то прекрасные возможности, как вписанное в Часослов Слово Полку Игореву.

ВелимирХлебников  
СадокСудей1-й  
1909 г.

ПОСВЯЩАЮ

Эльзе Триоле

И ДАЮ КНИГЕ ИМЯ

ТРЕТЬЯ ЭЛОИЗА

•

ПИСЬМО  
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ

Оно написано всем, всем, всем.  
Тема письма: вещи переделывают человека.

Если бы я имел второй костюм, то никогда не знал бы горя.

Придя домой, переодеться, подтянуться — достаточно, чтобы изменить себя.

Женщины пользуются этим несколько раз в день. Что бы вы ни говорили женщине, добивайтесь ответа сейчас же; иначе она примет горячую ванну, переменит платье, и все нужно начинать говорить сначала.

Переодевшись, они даже забывают жесты.

Я очень советую вам добиваться от женщины немедленного ответа.

Иначе вам придется часто стоять растерянным перед новым неожиданным словом.

Синтаксиса в жизни женщины почти нет.

Мужчину же изменяет его ремесло.

Орудие не только продолжает руку человека, но и само продолжается в нем.

Говорят, что слепой локализует чувство осязания на конце своей палки.

К своей обуви я не испытываю особенной привязанности, но все же она продолжение меня, это часть меня.

Ведь уже тросточка меняла гимназиста и была ему запрещена.

Искренней обезьяна на ветке, но ветка тоже влияет на психологию.

Психология же коровы, идущей по скользкому льду, вошла в поговорку.

Больше всего меняет человека машина.

Лев Толстой в «Войне и мире» рассказывает, как робкий и незаметный артиллерист Тушин во время боя оказывается в новом мире, созданном его артиллерией.

«Вследствие этого страшного гула, шума, потребности внимания и деятельности, Тушин не испытывал ни малейшего неприятного чувства страха... Напротив, ему становилось все веселее и веселее...

Из-за оглушающих со всех сторон звуков своих орудий, из-за свиста и ударов снарядов неприятелей, из-за вида вспотевшей, покрасневшейся, торопящейся около орудий прислуги, из-за вида крови людей и лошадей, из-за вида дымок неприятеля на той стороне (после которых всякий раз прилетало ядро и било в землю, в человека, в орудие или в лошадь), — из-за вида этих предметов у него в голове установился свой фантастический мир, который составлял его наслаждение в эту минуту... Сам он представлялся себе огромного роста, мощным мужчиной, который обеими руками швыряет французам ядро».

Пулеметчик и контрабасист — продолжение своих инструментов.

Подземная железная дорога, подъемные краны и автомобили — протезы человечества.

Случилось так, что мне пришлось провести несколько лет среди шоферов.

Шоферы изменяются сообразно количеству сил в моторах, на которых они ездят.

Мотор свыше сорока лошадиных сил уже уничтожает старую мораль.

Быстрота отделяет шофера от человечества.

Включи мотор, дай газ — и ты ушел уже из пространства, а время как будто изменяется только указателем скорости.

Автомобиль может дать на шоссе свыше ста километров в час.

Но к чему такая быстрота?

Она нужна только бегущему или преследующему.

Мотор тянет человека к тому, что справедливо называется преступлением.

К счастью, русский шофер обычно хороший работник.

Он ездит по дорогам, напоминающим волны, чинит машину в степи, когда мороз и бензин леденят руки. Но вместе с тем шофер не рабочий; на машине он одинок.

Его машина опьяняет его, быстрота опьяняет, выносит из жизни.

Не забудем о заслугах автомобиля перед революцией.

Не сразу Волынский полк решился выйти из казарм.

Русские полки бунтовали обычно стоя.

Декабристы были разбиты на месте.

Волынцы оставили казармы, но были в нерешительности. Навстречу выходили другие.

Полки сходились и останавливались.

Но уже били камнями в двери гаражей, и рабочие на захваченных трубящих машинах вылетали в город.

Вы пеной выплеснули революцию в город, о автомобилях.

Революция включила скорость и поехала.

Гнулись рессоры, гнулись крылья машин, машины металась по городу, и там, где их было две, казалось, что их было восемь.

Я люблю автомобили.

Тогда раскачалась вся страна. Революция перешла через пенный период и ушла пешком на фронт.

Оружие делает человека храбрее.

Лошадь обращает его в кавалериста.

Вещи делают с человеком то, что он из них делает. Скорость требует цели.

Вещи растут вокруг нас, — их сейчас в десять или в сто раз больше, чем двести лет тому назад.

Человечество владеет ими, отдельный человек — нет.

Нужно личное овладение тайной машин, нужен новый романтизм, чтобы они не выбрасывали людей на поворотах из жизни.

Я сейчас растерян, потому что этот асфальт, натертый шинами автомобилей, эти световые рекламы и женщины, хорошо одетые, — все это изменяет меня. Я здесь не такой, какой был, и кажется, я здесь нехороший.

## ПИСЬМО ПЕРВОЕ

Написано оно женщиной к ее сестре в Москву из Берлина. Сестра ее очень красивая, с сияющими глазами. Дано письмо как вступление. Слушайте женский спокойный голос.

На новой квартире я ужилась. Подозреваю, что хозяйка у меня из ex-веселящихся, соответственно и характер у нее не злобный и не придирчивый. Разговаривают в моих краях только по-немецки; откуда ни идешь, приходится пробираться под двенадцатью железными мостами. Такое место это, что без особой нужды не заедешь. Знакомые с Унтер-ден-Линден по дороге заходить не будут!

При мне состоят все те же, поста не покидают. Тот, третий, ко мне окончательно пришился. Почитаю его своим самым крупным орденом, хотя влюбчивость его мне известна. Пишет мне каждый день по письму и по два, сам мне их приносит, послушно садится рядом и ждет, пока я их прочту.

Первый все еще посылает цветы, но грустнеет. Второй, которому ты меня неосторожно поручила, продолжает настаивать на том, что любит. Взамен требует, чтобы со всеми своими неприятностями обращалась к нему. Такой хитрый.

Автомобильная такса сейчас умножается в 5000 раз.

Несмотря на покойное житье здесь — тоскую по Лондону. По одиночеству, размеренной жизни, работе с утра до вечера, ванне и танцам с благообразными юношами. Здесь я от этого отвыкла. И слишком много горя кругом, чтобы об этом можно было хоть на минуту забыть.

Пиши скорее про все свои дела. Целую тебя, милую, самую красивую, спасибо еще раз за любовь и ласку.

Аля

3 февраля 1923 г.

## ПИСЬМО ВТОРОЕ

О любви, ревности, телефоне и о стадиях любви.  
Кончается оно замечанием относительно походки русских.

Дорогая Аля!

Я уже два дня не вижу тебя.

Звоню. Телефон пищит, я слышу, что наступил на кого-то.

Дозваниваюсь, — ты занята днем, вечером.

Еще раз пишу. Я очень люблю тебя.

Ты город, в котором я живу, ты название месяца и дня.

Плыву, соленный и тяжелый от слез, почти не высовываясь из воды.

Кажется, скоро потону, но и там, под водою, куда не звонит телефон и не доходят слухи, где нельзя встретить тебя, я буду тебя любить.

Я люблю тебя, Аля, а ты заставляешь меня висеть на подножке твоей жизни.

У меня стынут руки.

Я не ревнив к людям, я ревнив к твоему времени.

Я не могу не видеть тебя. Ну что мне делать, когда любовь нельзя ничем заменить?

Ты не знаешь веса вещей. Все люди равны перед тобой, как перед господом. Ну что же мне делать?

Я очень люблю тебя.

Сперва меня клонило к тебе, как клонит сон в вагоне голову пассажира на плечо соседа.

Потом я загляделся на тебя.

Знаю твой рот, твои губы.

Я намотал на мысль о тебе всю свою жизнь. Я верю, что ты не чужой человек, — ну, посмотри в мою сторону.

Я напугал тебя своею любовью; когда, вначале, я был еще весел, я больше тебе нравился. Это от России, дорогая. У нас тяжелая походка. Но в России я был крепок, а здесь начал плакать.

4 февраля

## ПИСЬМО ТРЕТЬЕ

Алино же второе.  
В нем Аля просит не писать ей о любви. Письмо усталое.

Милый, родной. Не пиши мне о любви. Не надо.

Я очень устала. У меня, как ты сам говорил, сбита холка. Нас разъединяет с тобой быт. Я не люблю тебя и не буду любить. Я боюсь твоей любви, ты когда-нибудь оскорбишь меня за то, что сейчас так любишь. Не стони так страшно, ты для меня все же свой. Не пугай меня! Ты меня так хорошо знаешь, а сам делаешь все, чтобы испугать меня, оттолкнуть от себя. Может быть, твоя любовь и большая, но она не радостная.



Ты нужен мне, ты умеешь вызвать меня из себя самой.

Не пиши мне только о своей любви. Не устраивай мне диких сцен по телефону. Не свирепей. Ты умеешь отравлять мне дни. Мне нужна свобода, чтобы никто даже не смел меня спрашивать ни о чем. А ты требуешь от меня всего моего времени. Будь легким, а не то в любви ты сорвешься. А ты с каждым днем все грустней. Тебе нужно ехать в санаторий, мой дорогой.

Пишу в кровати, оттого что вчера танцевала. Сейчас пойду в ванну. Может быть, сегодня увидимся.

Аля

5 февраля

#### ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ

О холоде, предательстве Петра, о Велимире Хлебникове и его гибели.  
О надписи на его кресте. Здесь же говорится: о любви Хлебникова,  
о жестокости нелюбящих, о гвоздях, о чаше  
и о всей человеческой культуре, построенной по пути к любви.

Я не буду писать о любви, я буду писать только о погоде.

Погода сегодня в Берлине хорошая.

Синее небо и солнце выше домов. Солнце смотрит прямо в пансион Марцан, в комнату Айхенвальда.

Я живу в другой стороне квартиры.

На улице хорошо и свежо.

Снега в Берлине в этом году почти не было.

Сегодня 5 февраля... Все не о любви.

Хожу в осеннем пальто, а если бы настал мороз, то пришлось бы называть это пальто зимним.

Не люблю мороза и даже холода.

Из-за холода отрекся апостол Петр от Христа. Ночь была свежая, и он подходил к костру, а у костра было общественное мнение, слуги спрашивали Петра о Христе, а Петр отрекался.

Пел петух.

Холода в Палестине не сильны. Там, наверное, даже теплее, чем в Берлине.

Если бы та ночь была теплая, Петр остался бы во тьме, петух пел бы зря, как все петухи, а в евангелии не было бы иронии.

Хорошо, что Христос не был распят в России: климат у нас континентальный, морозы с бураном; толпами пришли бы ученики Иисуса на перекрестке к кострам и стали бы в очередь, чтобы отречься.

Прости меня, Велимир Хлебников, за то, что я греюсь у огня чужих редакций. За то, что я издаю свою, а не твою книжку. Климат, учитель, у нас континентальный.

Лисицы имеют свои норы, арестанту дают койку, нож ночует в ножнах, ты же не имел куда приклонить свою голову.

В утопии, которую ты написал для журнала «Взят», есть среди прочих фантазий одна — каждый человек имеет право на комнату в любом городе.

Правда, в утопии сказано, что человек должен иметь стеклянную комнату, но думаю, что Велимир согласился бы и на простую.

Умер Хлебников, и какой-то пыльный человек в «Литературных записках» вялым языком сказал что-то о «неудачнике»<sup>1</sup>.

На кладбище на могильном кресте написал художник Митурич:

«Велимир Хлебников — Председатель Земного Шара».

Вот и нашлось помещение для странника, не стеклянное, правда.

Вряд ли ты, Велимир, захотел бы воскреснуть, чтобы снова скитаться.

А над другим крестом было написано: «Иисус Христос царь иудейский».

Трудно тебе было ходить по степям и то служить солдатом, то сторожить ночью склады, то, полупленником, в Харькове участвовать в шумном выступлении имажинистов.

Прости нас за себя и за других.

За то, что мы греемся у чужих костров.

Прежде думалось, что Хлебников сам не замечает, как он живет, что рукава его рубашки разорваны до плеч, решетка кровати не покрыта тюфяком, что рукописи, которыми он набивает наволочку, потеряны. Но перед смертью Хлебников вспоминал о своих рукописях.

Умирал он ужасно. От заражения крови.

Кровать его обставили цветами.

Поблизости не было доктора, была только женщина-врач, но женщину он не подпустил к себе.

Вспоминаю о старом.

Дело было в Куоккале уже осенью, когда ночи темны.

Зимой встречал Хлебникова в доме одного архитектора.

Дом богатый, мебель из карельской березы, хозяин белый, с черной бородой и умный. У него — дочери. Сюда ходил Хлебников. Хозяин читал его стихи и понимал. Хлебников похож был на больную птицу, недовольную тем, что на нее смотрят.

Такой птицей сидел он, с опущенными крыльями, в старом сюртуке, и смотрел на дочь хозяина.

Он приносил ей цветы и читал ей свои вещи.

Отрекался от них всех, кроме «Девьего бога».

Спрашивал ее, как писать.

Дело было в Куоккале, осенью.

Хлебников жил там рядом с Кульбиным и Иваном Пуни.

Я приехал туда, разыскал Хлебникова и сказал ему, что девушка вышла замуж за архитектора, помощника отца.

Дело было такое простое.

В такую беду попадают многие. Жизнь прилажена хорошо, как несессер, но мы все не можем найти в нем своего места. Жизнь примеривает нас друг к другу и смеется, когда мы тянемся к тому, кто нас не любит. Все это просто — как почтовые марки.

Волны в заливе были тоже простые.

Они и сейчас такие. Волны были как ребристое оцинкованное железо. На таком железе стирают. Облака были шерстяные. Хлебников мне сказал:

— Вы знаете, что нанесли мне рану?

Знал.

— Скажите, что им нужно? Что нужно женщинам от нас? Чего они хотят? Я сделал бы все. Я записал бы иначе. Может быть, нужна слава?

Море было простое. В дачах спали люди.

Что я мог ответить на это Моление о Чаше?

Пейте, друзья, пейте, великие и малые, горькую чашу любви! Здесь никому ничего не надо. Вход только по контрамаркам. И быть жестоким легко, нужно только не любить. Любовь тоже не понимает ни по-арамейски, ни по-русски. Она как гвозди, которыми пробивают.

Оленю годятся в борьбе его рога, соловей поет не даром, но наши книги нам не пригодятся. Обида неизлечима.

А нам остаются желтые стены домов, освещенные солнцем, наши книги и вся нами по пути к любви построенная человеческая культура.

И завет быть легким.

А если очень больно?

Переведи все в космический масштаб, возьми сердце в зубы, пиши книгу.

Но где та, которая любит меня?

Я вижу ее во сне, и беру за руки, и называю именем Люси, синеглазым капитаном моей жизни, и падаю в обмороке к ее ногам, и выпадаю из сна.

<sup>1</sup> (это Горнфельд)

ПИСЬМО ПЯТОЕ,

содержащее описание Ремизова Алексея Михайловича и его способа носить воду на четвертый этаж бутылками. Здесь же описаны быт и нравы великого обезьяньего ордена. Сюда же я вставил теоретические замечания о роли личного элемента как материала в искусстве.

Ты знаешь, у обезьяньего царя Асыки — Алексея Ремизова — опять неприятности: его выселяют из квартиры.

Не дают спокойно пожить человеку, как он хочет. Зимой в 1919 году жил Ремизов в Петербурге, а водопровод в его доме взял да и лопнул.

Всякий человек растерялся бы. Но Ремизов собрал у всех знакомых бутылки, маленькие аптекарские, винные и всякие другие, какие попались. Построил он их ротой в комнате на ковре, потом брал по две и бежал по лестнице вниз за водой. При таком способе воду нужно носить для каждого дня неделю.

Очень неудобно, но — забавно!

Жизнь Ремизова, — он сам ее построил, собственноручно, — очень неудобная, но забавная.

Росту он малого, волос имеет густой и одним большим вихром-ежиком. Сутулится, а губы красные-красные. Нос курносый, и все — нарочно.

А паспорт весь исписан обезьяньими знаками. Еще до того, как лопнул водопровод, ушел Ремизов от людей, — он уже заранее знал, что они за птицы, — и пошел к великому обезьяньему народу.

Обезьяний орден придуман Ремизовым по типу русского масонства. Был в нем Блок, сейчас Кузмин состоит музыкантом Великой и вольной обезьяньей палаты, а Гржебин — тот кум обезьяний и в этом ордене состоит в чине и звании зауряд-князя, это на голодное и военное время.

И я принят в этот обезьяний заговор, чин дал себе сам «короткохвостый обезьяненок». Хвост я себе сбрил сам, перед тем как уйти в Красную Армию в Херсоне. Так как ты зауряд-иностранка и твои чемоданы не знают, что владелицу их вскормила сибирячка, румяная Стеша, то нужно сказать тебе еще и то, что обезьяний народ имеет настоящего царя. Заслуженного.

У Ремизова есть жена, очень русская, очень русая, крупная, Серафима Павловна Ремизова-Довгелло; она в Берлине как негр какой-нибудь в Москве времен Алексея Михайловича, царя, такая она белая и русская.

Сам Ремизов тоже Алексей Михайлович. Говорил он мне раз:

— Не могу я больше начать роман: «Иван Иванович сидел за столом».

Так как я тебя уважаю, то вот тебе открытие тайны.

Как корова съедает траву, так съедаются литературные темы, вынашиваются и стираются приемы.

Писатель не может быть землепашцем: он кочевник и со своим стадом и женой переходит на новую траву. Наше обезьянье великое войско живет, как киплингоская кошка на крышах — «сама по себе».

Вы ходите в платьях, и день идет у вас за днем; в убийстве и в любви вы традиционны. Обезьянье войско не ночует там, где обедало, и не пьет утреннего чая там, где спало. Оно всегда без квартиры.

Их дело — создание новых вещей. Ремизов сейчас хочет создать книгу без сюжета, без судьбы человека, положенной в основу композиции. Он пишет то книгу, составленную из кусков, — это «Россия в письменах», это книга из обрывков книг, то книгу, наращенную на письма Розанова.

Нельзя писать книгу по-старому. Это знает Белый, хорошо знал Розанов, знает Горький, когда не думает о синтезах, и знаю я, короткохвостый обезьяненок.

Мы ввели в нашу работу интимное, названное по имени и отчеству из-за той же необходимости нового материала в искусстве. Соломон Каплун в новом рассказе Ремизова, Мария Федоровна Андреева в плаче его над Блоком — необходимость литературной формы.

Обезьянье войско несет свою службу. Ходом коня наискось я пересек твою жизнь, как это было и есть — ты знаешь; но, Алик, ты попадешь в мою книгу, как Исаак на костре, сложенном Авраамом. А знаешь ли, Алик, что лишнее «а» в имя Авраама бог дал ему из великой любви? Лишний звук показался хорошим подарком даже для бога.

Знаешь ли ты это, Алик?

Впрочем, ты не будешь жертвой, это я обменной жертвой, барашком, впутался рогами в кустарник.

Комната Ремизова вся в куколках, в чертиках, а Ремизов сидит и шипит на всех «тише, — хозяйка» и поднимает палец. Он не боится хозяйки — он играет.

Тягостен вольным обезьянам путь по тротуарам, жизнь чужая. Женщины человеческие непонятны. Быт человеческий — страшный, тупой, косный, не гибкий.

Мы быт превращаем в анекдоты.

Строим между миром и собою маленькие собственные мирки-зверинцы.

Мы хотим свободы.

Ремизов живет в жизни методами искусства.

Кончаю писать, мне нужно бежать в кондитерскую за тортом. Сейчас ко мне придет кто-то, потом нужно нести торт, потом еще зайти к кому-то, потом искать денег, продавать книгу, разговаривать с молодыми писателями. Ничего, в обезьяньем хозяйстве все пригодится. Вавилонское столпотворение для нас понятней парламента, обиды нам есть где записывать, розы и морозы у нас ходят в паре, потому что — рифмы.

Я не отдам своего ремесла писателя, своей вольной дороги по крышам за европейский костюм, чищенные сапоги, высокую валюту, даже за Алю.

## ПИСЬМО ШЕСТОЕ

О тоске и плене нашего прародителя. Кончается письмо запоздавшим предложением начать издавать для него газету.

Звери в клетках Zoo не выглядят слишком несчастными.

Они даже родят детенышей.

Львят выращивали кормилицы-собаки, и львята не знали о своем высоком происхождении.

День и ночь мечутся в клетках гиены.

Все четыре лапы гиены поставлены у нее как-то очень близко к тазу.

Скучают взрослые львы.

Тигры ходят вдоль прутьев клетки.

Шуршат своей кожей слоны.

Очень красивы ламы. У них теплое, шерстяное платье и голова легкая. Похожи на тебя.

На зиму все закрыто.

С точки зрения зверей это не большая перемена.

Остался аквариум.

В голубой воде, освещенной электричеством и похожей на лимонад, плавают рыбы. А за некоторыми стеклами совсем страшно. Сидит деревцо с белыми ветками и тихо шевелит

ими. Зачем было создавать в мире такую тоску? Человекообразную обезьяну не продали, а поместили в верхнем этаже аквариума. Ты сильно занята, так сильно занята, что у меня все время теперь свободно. Хожу в аквариум.

Он не нужен мне. Зоо пригодилось бы мне для параллелизмов.

Обезьяна, Аля, приблизительно моего роста, но шире в плечах, сгорблена и длиннорука. Не выглядит, что она сидит в клетке.

Несмотря на шерсть и нос, как будто сломанный, она производит на меня впечатление арестанта.

И клетка — не клетка, а тюрьма.

Клетка двойная, а между решетками, не помню, ходит или не ходит часовой? Скучает обезьян (он мужчина) целый день. В три ему дают есть. Он ест с тарелки. Иногда после этого он занимается скучным обезьяньим делом. Обидно и стыдно это. К нему относишься как к человеку, а он бесстыден.

В остальное время лазит обезьян по клетке, косясь на публику. Сомневаюсь, имеем ли мы право держать этого своего дальнего родственника без суда в тюрьме. И где его консул?

Скучает небось обезьян без дела. Люди ему кажутся злыми духами. И целый день скучает этот бедный иностранец во внутреннем Зоо.

Для него не выпускают даже газеты.

P.S. Обезьян умер.

## ПИСЬМО СЕДЬМОЕ

с благодарностью за цветы, присланные с письмом.  
Это третье Алино письмо.

И пишу тебе письмо. Милый татарчонок, спасибо за цветы.

Комната вся надушена и продушена, спать не шла, так было жалко от них уйти.

В этой нелепой комнате с колоннами, оружием, совой я чувствую себя дома.

Мне принадлежит в ней тепло, запах и тишина.

Я унесу их, как отражение в зеркале; уйдешь — и нет их, вернулась, взглянула — они опять тут.

И не веришь, что только тобою они живут в зеркале.

Больше всего мне сейчас хочется, чтобы было лето, чтобы всего, что было, — не было.

Чтобы я была молодая и крепкая.

Тогда бы из смеси крокодила с ребенком остался бы только ребенок, и я была бы счастлива.

Я не роковая женщина, я — Аля, розовая и пухлая.

Вот и все.

Целую, сплю.

Аля

## ПИСЬМО ВОСЬМОЕ

О трех делах, мне порученных, о вопросе «любишь?», о моем разводящем, о том, как сделан Дон-Кихот; потом письмо переходит в речь о великом русском писателе и кончается мыслью о сроке моей службы.

Ты дала мне два дела:

1) не звонить к тебе, 2) не видеть тебя.

И теперь я занятой человек.

Есть еще третье дело: не думать о тебе. Но его ты мне не поручала.

Ты сама иногда спрашиваешь меня: «любишь?»

Тогда я знаю, что происходит проверка постов. Отвечаю с прилежанием солдата инженерных войск, плохо знающего гарнизонный устав:

«Пост номер третий, номер не знаю наверное, место поста — у телефона и на улицах от Gedächtniskirche до мостов на Jorckstrasse, не дальше. Обязанности: любить, не встречаться, не писать писем. И помнить, как сделан Дон-Кихот».

Дон-Кихот сделан в тюрьме по ошибке. Пародийный герой был использован Сервантесом не только для совершения карикатурных подвигов, но и для произнесения мудрых речей. Сама знаешь, господин разводящий, что нужно куда-нибудь послать свои письма. Дон-Кихот получил мудрость в подарок, больше некому было быть мудрым в романе; от сочетания мудрости и безумия родился тип Дон-Кихота.

Многое я мог бы еще рассказать, но вижу чуть скругленную спину и концы маленького собольего палантина. Ты надеваешь его так, чтобы закрыть горло.

Я не могу уйти, оставить пост.

Разводящий уходит легко и быстро, изредка останавливаясь у магазинов.

Смотрит сквозь стекло на туфли с острыми носками, на длинные дамские перчатки, на черные шелковые рубашки с белой каемкой, как дети смотрят сквозь стекло магазина на большую красивую куклу.

Я так смотрю на Алю.



Солнце встает все выше и выше, как у Сервантеса: «оно растопило бы мозги бедного гидальго, если бы они у него были».

Солнце стоит у меня над головой.

А я не боюсь, я знаю, как сделать Дон-Кихота.

Он крепко сделан.

Смеяться же будет тот, кто всех сильнее.

Книга будет смеяться.

И вот, пока я держу свой пост у телефона и трогаю его рукой, как кошка лапой слишком горячее молоко, вставлю в своего Дон-Кихота еще одну мудрую речь. По Берлину ходит большой человек. Я знаком с ним, несколько раз даже обменивался с ним по ошибке кашне.

Когда он говорит, то совершенно неожиданно переходит от спокойного голоса к шаманскому воплю.

Такого шамана раз привезли в Москву, в Исторический музей. Имея за собой вековую шаманскую культуру, шаман не смутился. Взял бубен и шаманил перед профессорами, видел духов и упал в экстазе.

А потом уехал в Сибирь шаманить уже не при профессорах.

В человеке, о котором я говорю, экстаз живет как на квартире, а не на даче. И в углу комнаты лежит, в кожаный чемодан завязанный, вихрь.

Фамилия его Андрей Белый.

В миру — Борис Николаевич Бугаев.

Профессорский сын.

Уэллс всегда описывает жизнь так, что видно, как вещи руководят человеком.

Вещи переродили человека, машина особенно.

Человек сейчас умеет только их заводить, а там они идут дальше сами. Идут, идут и давят человека.

С наукой дело обстоит совсем серьезно.

Необходимость разума и необходимость в природе разошлись.

Был верх и низ, было время, была материя.

Сейчас ничего нет. В мире царит метод.

Человек придумал метод.

М е т о д.

Метод ушел из дому и начал жить сам.

«Пища богов» найдена, но мы ее не едим.

Вещи и самые сложные из всех вещей — науки — ходят по земле.

Как заставить их работать на нас?

И нужно ли?

Будем лучше строить бесполезные и необозримые, но новые вещи.

В искусстве метод тоже ходит отдельно.

Человек, пишущий большую вещь, — как шофер на трехсотсильной машине, которая как будто сама тащит его на стену. Про такие машины говорят шоферы: «Она тебя разнесет».

Много раз смотрел я на Андрея Белого — Бориса Бугаева — и думал, что он почти робкий, предупредительно согласный со всем человек.

Вокруг темного лица седыми кажутся полуседые волосы. Тело, очевидно, крепкое.

Видишь, как рукава заполнены руками.

Глаза прорезаны с угловатостью.

Метод Андрея Белого — очень сильный, непонятный для него самого.

Начал писать Андрей Белый, я думаю, шутя.

Шуткой была и «Симфония».

Слова были поставлены рядом со словами, но не по-обычному художник увидел их. Отпала шутка, возник метод.

Наконец, он нашел даже имя для мотивировки.

Имя это — антропософия.

Антропософия — вещь небольшая и созданная для сведения концов.

При Екатерине строили Исаакиевский собор, а при Павле свели своды кирпичом, не считаясь с пропорциями.

Только чтобы не беспокоиться.

И знать — собор кончен.

Сейчас любителей загибать параллельные линии и сводить концы с концами очень много.

Антропософия — очень неподходящее слово для сегодняшнего дня.

Силовые линии пересекаются сейчас не в нас.

Построение нового мира даже скорее сейчас зрелище для нас, чем наше дело.

В ступенчатых «Записках чудака», в которых разум поэта-прозаика бродит и стремится, но не видит, в неудачном, но очень значительном «Котике Летаеве» Андрей Белый создает несколько плоскостей. Одна крепка, почти реальна, другие ходят по ней и являются как бы ее теньями, причем источников света много, но кажется, что вот те многие плоскости реальны, а эта крайняя случайна. Реальности души нет ни в той, ни в других, есть метод, способ располагать вещи рядами.

Вот мудрая речь, которой я занимаю себя на посту. Стою, скучаю, как молодой солдат, считаю прохожих. Ласковыми словами уговариваю себя:

— Потерпи, думай о чем-нибудь другом, о других больших и несчастных людях. А в любви нет обиды. И завтра, может быть, опять придет разводный.

А срок моего караула?

Срока нет — я попал вдоль службы.

#### ПИСЬМО ДЕВЯТОЕ

Об одном берлинском наводнении; по существу дела все письмо представляет собою реализацию метафоры: в нем автор пытается быть легким и веселым, но я наверное знаю, что в следующем письме он сорвется.

Какой ветер, Алик! Какой ветер!

В такой ветер в Питере вода прибывает, Алик.

В эти дни бьют в Петропавловской крепости каждые четверть часа куранты, но никто их не слушает.

Считают пушки.

Пушки стреляют. Раз. Раз, два. Раз, два, три...

Одиннадцать раз.

Наводнение.

Теплый ветер, прорываясь к Питеру, несет к нему по Неве воду.

Я рад. А вода все прибывает. А ветер на улице, Алик, мой ветер, весенний наш, питерский!

Вода на прибыли.

Она затопила весь Берлин, и поезд унтергрунда всплыл в туннеле дохлым угрем, вверх брюхом.

Она вымыла из аквариума всех рыб и крокодилов.

Крокодилы плывут, не проснулись, только скулят, что холодно, а вода поднимается по лестнице.

Одиннадцать футов. Она у тебя в комнате. В Алину комнату вода входит тихо: на лестнице воде негде раскачаться. Но в комнате воду встречают Алины туфли. Дальше — пьеса.

Туфли. Зачем вы пришли? Алик спит! (Они тебя тоже любят.)

Вода (тихим голосом). Одиннадцать футов, госпожи туфли! Берлин весь всплыл вверх брюхом, одни тысячемарковые бумажки видны на волнах. Мы — реализации метафоры. Скажите Але, что она снова на острове, ее дом опоясан Оползлом.

Туфли. Не шутите! Аля спит. Глупая высокая вода! Аля устала. Але нужны не цветы, а запах цветов. Але от любви нужен только запах любви и нежность. Больше ничем нельзя грузить ее плечи.

Вода. О госпожи мои Алины туфли! Одиннадцать футов. Вода на прибыли. Пушки стреляют. Теплый ветер прорывается сюда и не пускает нас в море. Теплый ветер настоящей любви. Одиннадцать футов. Ветер так силен, что деревья лежат на земле.

Туфли. О вода на чужую мельницу. Нехорошо пользоваться в любви правом сильного!

Вода. Правом сильной любви?

Туфли. Даже правом сильной любви. Да. Не мучь ее силой. Ей не нужна даже жизнь. Она, моя Алик, любит танец за то, что это тень любви. Люби Алю, а не свою любовь.

И вода уходит назад, тяжело таща по полу портфель с корректурами. Когда вода уходит, туфли говорят одна другой:

— Ох уж эти мне литераторы!

Туфли не злые, но их пара, а две женщины, стоя рядом друг с другом так долго, не могут не сплетничать.

Это письмо я написал и переписал. Теперь я буду в честь твою все переписывать.

Так бог зарегистрировал радугу в честь «Всемирного потопа».

## ПИСЬМО ДЕСЯТОЕ

О женщине, выбирающей платье, и о вещах, имеющих руки.

Тут записано одно недоразумение с фраками. Но главное содержание письма — это рассказ о том, как раз в шляпе Петра Богатырева завелась керенка, как он умел не плакать в Москве и как заплакал в пражском ресторане.

Итак, я пишу о чужой культуре и чужой женщине.

Женщина, может быть, и не совсем чужая.

Я не жалуясь на тебя, Аля. Только ты — очень женщина.

Ты говоришь: «Когда очень долго хочется какого-нибудь платья, то потом не стоит и покупать — как будто поносила и сносила наизусть».

В магазине же женщина, несомненно, флиртует с вещами, ей все нравится.

Психология это европейская.

Конечно, сама вещь виновата, если она не умеет становиться любимой.

Особенно вещи, имеющие руки.

Но каждый солдат в своем ранце носит свое поражение.

На поле битвы, убитый, он только узнает свою судьбу.

Мы не умеем быть легкими.

Жена Ивана Грекова, знаменитого хирурга, обиделась на меня и Мишу Слонимского за то, что мы пришли к ней на вечер во френчах и валенках. Остальные были во фраках.

Разгадка нашей невежливости была простая: у тех были старые фраки: фрак долго не стареет и может пережить революцию. А мы фраков никогда не носили. Носили сперва гимназические и студенческие пальто, а потом солдатские шинели и френчи, перешитые из этих шинелей. Мы не знали иного быта, кроме быта войны и революции. Она может нас обидеть, но мы из нее уйти не сможем.

Магазинная психология нам чужда, мы привыкли к немногим вещам, лишнее отдаем или продаем. Наши жены носили мешки, и размер ноги у них увеличивался на один номер.

Европа нас разбивает, мы горячимся в ней и принимаем все всерьез. Ты знаешь белокурого Петра Богатырева. Глаза у него голубые, рост маленький, брюки короткие; брюки бывают особенно коротки у коротконогих. Ботинки Богатырева не зашнурованы.

По улицам он то идет медленно на цыпочках, то бегаёт наискось зайцем, — не говорит, а галдит.

Этот эксцентрик родился в семье цехового, в селе Покровском, на Волге. За умение хорошо декламировать попал в гимназию. Кончил. Пошел в университет филологом и здесь занялся теорией анекдотов.

Пишет Богатырев много и потом теряет рукописи.

В голодной Москве Богатырев не знал, что он живет плохо. Жил, писал, халтурил, как и все, но не злобно.

Шел Богатырев вечером по сугробам Москвы из театра домой, устал, снял шапку, вытирает лоб.

И вдруг в шляпе завелась керенка.

Оглянулся, видит — какой-то военспец уходит.

Погнался.

— Товарищ, мне не нужно.

— Да вы не стесняйтесь, возьмите.

Богатырев не взял, но не обиделся.

Никто нас не может обидеть, потому что мы работаем.

Никто нас не может сделать смешными, потому что мы работаем.

Никто нас не может сделать смешными, потому что мы знаем свою цену.

А нашу любовь, любовь людей, никогда не носивших фраков, никто из женщин, не носивших вместе с нами тяжесть нашей жизни, не может понять.

Богатырев читал по институтам, собирая революционный фольклор, дружил с Романом Яacobсоном.

Когда Роман уехал в Прагу, онб выписал к себе Богатырева.

Приехал Богатырев, брюки короткие, ботинки не зашнурованы, в чемодане одни рукописи т рваные бумаги, и все спутано так, что нельзя сказать, где исследование и где штаны.

Покупал Богатырев сахар, держал его в карманах и ел, одним словом, пытался удержать русский быт.

Но Роман, со своими узкими ногами, рыжей и голубоглазой головой, любил Европу.

Он похож действительно на твоего брата.

Роман повел Богатырева в ресторан: сидел Петр среди неисцарапанных стен, среди разной еды, вин, женщин. Заплакал.

Он не выдержал. Нас размораживает этот быт.

Нам этого не нужно. Впрочем, для создания параллелизмов годится все.

Петр написал книжку «Чешский кукольный и русский народный театр», потом приехал в Берлин, а я издал эту книжку, потому что ты так занята, что у меня много свободного времени. И еще потому, что я умею работать.

Богатырев же сшил себе три костюма, ходит же в каком-то четвертом, — очевидно национальном, московском.

Сейчас он выдерживает даже «Прагер-Диле».

А заплакал он не из сентиментальности, а так, как плачет стекло в комнате, которую затопили после долгого промежутка.

## ПИСЬМО ОДИННАДЦАТОЕ

Оно написано, очевидно, в ответ на замечание, — сделанное, вероятно, по телефону, так как в деле не сохранилось никаких письменных следов его, — относительно манеры есть и содержит в себе также отрицание факта необходимости носить брюки со складкой. Все письмо снабжено библейскими параллелями.

Клянусь тебе — брюки не должны иметь складки.

Брюки носят, чтобы не было холодно.

Спроси у Серапионов.

Наклоняться над пищей, может быть, и в самом деле нехорошо.

Ты говоришь о нас, что мы не умеем есть.

Мы слишком низко наклоняемся к тарелкам, а не несем пищу к себе.

Что же, будем удивляться друг на друга.

Многое для меня удивительно в этой стране, где брюки должны иметь спереди складку; те, кто бедней, кладут на ночь брюки свои под матрац.

В русской литературе этот способ известен, он применяется — у Куприна — профессиональными нищими из благородных.

Сердит меня здешний быт!

Так сердился Левин («Анна Каренина»), когда увидал, что в доме варят варенья не по левинскому способу, а по способу семьи Кити.

Когда судья Гедеон собирал партизанский отряд для нападения на филистимлян, то он прежде всего отправил домой всех семейных.

Потом ангел божий велел привести всех оставшихся воинов к реке и взять в бой только тех, кто пьет воду из горсти, а не наклоняется к ней и не лакает, как собака.

Неужели мы плохие воины?

Ведь, кажется, когда здесь рушится все, рушится скоро, это мы уйдем по двое с винтовками за плечами, с патронами в карманах штанов (без складки), уйдем, отстреливаясь из-за заборов от кавалерии, обратно в Россию.

Но над тарелками лучше не наклоняться.

Страшен суд судом Гедеона! Что, если он не возьмет нас в свое войско!

Библия любопытно повторяется.

Однажды разбили евреи филистимлян. Те бежали, бежали по двое, спасаясь, через реку.

Евреи поставили у брода патрули.

Филистимлянина от еврея тогда было отличить трудно: и те и другие, вероятно, были голые.

Патруль спрашивал пробежавших: «Скажи слово шабелес».

Но филистимляне не умели говорить «ш», они говорили «сабелес».

Тогда их убивали.

На Украине видал я раз мальчика-еврея. Он не мог без дрожи смотреть на кукурузу.

Рассказал мне:

Когда на Украине убивали, то часто нужно было проверить, еврей ли убиваемый.

Ему говорили: «Скажи кукуруза».

Еврей иногда говорил: «кукуруза».

Его убивали.

ПИСЬМО ДВЕНАДЦАТОЕ,

написанное между шестью и десятью часами утра.

Изобилие времени сделало письмо длинным. В нем три части.

Важно же в нем только упоминание о том, что женщины в берлинском ночном притоне умеют держать вилку.

Шесть часов утра.

За окном, на Kaiserallee, еще темно.

К тебе позвонить можно в половине одиннадцатого.

Четыре с половиной часа, а потом еще двадцать пустых часов, между ними твой голос.

Постыла мне моя комната. Не мил мне мой письменный стол, на котором я пишу письма только тебе.

Сиюю влюбленный, как телеграфист.

Хорошо было бы завести гитару и петь.

Поговори хоть ты со мной,  
Подруга семиструнная,  
Душа полна такой тоской,  
А ночь такая лунная.



Нужно писать халтуру. Рекламную фильму для мотоциклеток.

Мысли о тебе, о мотоциклетке, об автомобиле путаются в моей голове.

Буду писать письмо. Фильма подождет.

Я пишу тебе каждую ночь, рву потом и бросаю в корзину. Письма оживают, срстаются, и я их снова пишу.

Ты получаешь все, что я написал.

В твоей корзинке для сломанных игрушек первый тот, который подарил тебе, прощаясь, красные цветы. Ты позвонила к нему и поблагодарила; и тот, кто подарил тебе янтарный амулет, и тот, от которого ты радостно приняла из стальной проволоки сплетенную маленькую дамскую сумочку.

Твоя повадка однообразна: веселая встреча, цветы, любовь мужчины, которая всегда запаздывает, как всасывание свежего газа в цилиндр автомобиля.

Мужчина начинает любить через день после того, как он сказал «люблю».

Поэтому не нужно говорить этого слова.

Любовь все растет, человек загорается, а тебе уже разонравилось.

В технике автомобиля это зовется опережением выпуска.

Только я, разорванный как письмо, все вылезаю из корзинки для твоих сломанных игрушек. Я переживу еще десяток твоих увлечений, днем тырываешь меня, а ночью я оживаю, как письма.

Вот еще нет утра, а я уже на страже.

Окно на улицу открыто.

Автомобили тоже проснулись или еще не легли спать.

Аль, Аль, Эль, — кричат они: им хочется выговорить твое имя.

Сижу в комнате моей болезни, думаю о тебе, об автомобилях. Так смешней.

Ты повернула мою жизнь, как червячный винт шестеренку.

Шестеренка же не может повернуть руля. В технике это называется: необратимая передача. Необратима моя судьба.

Только время, как поют в одесской блатной песне, придуманной Лившицем, принадлежит мне: я могу делить ожидание на часы, на минуты, могу считать их. Жду, жду. Жалко, нет гитары.

Чего бы мне ждать? Буду ждать солнца. Солнце встанет часов в восемь. Осветит Kaiserallee, и улица станет похожа па Каменноостровский проспект.

На Каменноостровском в Петербурге стояла та гимназия, которую я окончил.

Год был какой-нибудь, но, кажется, 1913-й. Мы были абитуриентами гимназии. Мы сильно хотели кончить гимназию и выкатиться на улицу, кувыркаясь как деревянный обруч.

Воздух был наполнен желаниями, они плыли над Каменноостровским, перьями, крыльями. Облака были перистые.

Мы хотели скорее поймать жизнь. Но слов не знали, думали, что женщину можно взять, как вещь за ручки.

Горячими или холодными руками хватались за жизнь.

Хотели узнать любовь под разными номерами. Перерезали на гимназических вечерах провода, а если заболели серьезно, то охотно стрелялись, как будто хотели узнать еще один номер. К этим смертям была привычка. Мы были morituri, что значит долженствующие умереть.

Morituri хотели только попробовать еще один номер.

Нет, лучше сидеть в комнате, не спать в шесть часов утра, в семь пойти на базар за цветами. Лучше всю жизнь прожить под гитару.

Странные в Берлине притоны. Попал я в Nachtlokal.

Комната обыкновенная, на стенах висят фотографии.

Пахнет кухней. Пианино играет заглушенно. Скрипач пиликает на странной скрипке с вырезанными насквозь деками. Публика молчаливо пьяна. Выходит голая женщина в черных чулках и танцует, неумело разводя руками; потом выходит другая, без чулок.

Не знал, кто сидит в комнате кроме нас. Скрипач обходит столики, собирает деньги. Подходит к сидящему в углу мрачно пьяному человеку. Тот говорит ему что-то.

Скрипач берет свою безгрудую скрипку, и в воздухе повисает тоненькая-тоненькая «Боже, царя храни». Давно я не слышал этого гимна.

Женщина станцевала свое, надела готовое, довольно нарядное платье и сидит за соседним столиком, ест что-то.

— Смотри, она умеет держать даже вилку, — сказал мне Богатырев.

Умение есть было у нас модным вопросом.

Пошли домой. В передней подает пальто какая-то женщина. Отдавая номерок, всматриваюсь ей в лицо. Это она сейчас танцевала в чулках. Все устроено очень портативно и, вероятно, на семейных началах. Разврата же, по всей вероятности, нет. Есть люди со словами и без слов. Люди со словами не уходят, и, поверь мне, я счастливо прожил свою жизнь.

Без слов нельзя ничего достать со дна.

Светлеет, мне незачем кончать писать. Время принадлежит мне. Лившиц прав.

На части расплозлось мое бессонное письмо. Свяжем, прежде чем порвать.

В богумильской легенде бог хочет достать песок со дна моря.

Но бог не хочет нырять под воду. Он посылает черта и наказывает ему: «Когда будешь брать, говори — не я беру, а бог берет».

Нырнул черт на самое дно, докрутился до дна, схватился за песок и говорит: «Не бог берет, а я беру».

Самолюбивый черт.

Не дается песок. Выплыл черт синим.

Опять посылает его бог в воду.

Доплыл черт до дна, скребет песок когтями, говорит:

«Не бог берет — я беру».

Не дается песок. Выплыл черт, задыхаясь. В третий раз посылает его бог в воду.

В сказке все делается до трех раз.

Видит черт — податься ему некуда.

Не захотел он портить сюжета. Заплакал, может быть, и нырнул. Доплыл до дна и

сказал: «Не я беру, — бог берет». Взял песок и выплыл. А бог из песка, взятого со дна чертом по божьему повелению, создал человека.

Расхотелось дальше писать. Не нужны мне письма. Не нужна мне гитара. И мне все равно, похожа или не похожа моя любовь на необратимую передачу.

Мне все равно. Я знаю: ты не положишь даже моего письма в коробку на правой стороне твоего стола.

## ПИСЬМО ТРИНАДЦАТОЕ

Оно написано в Россию; из него ясно, что автор страдает навязчивой идеей. В письме говорится о том, как трудно даже после открытия Эйнштейна жить, не занимая ни времени, ни пространства. Кончается письмо выражением негодования на неправильность употребления местоимения «мы» в Берлине.

Дорогие друзья, почему вы так мало пишете мне?

Неужели вынули вы меня из своего сердца?

Спасите меня от людей-теней, от людей, выпряженных из оглобель, от ржавчины, от всей жизни, которая говорит мне одно:

«Живи, но не занимай у меня ни времени, ни места».

И еще говорит:

«Вот тебе день и вот тебе ночь, а ты живи в промежутках. Только утром и вечером не приходи».

Друзья мои, братья! До чего неправильно, что я здесь!

Идите все на улицу, на Невский, просите, требуйте, чтобы мне разрешили вернуться.

Во избежание неприятностей, можно ехать по Невскому в трамвае.

А сами держитесь за землю, друзья.

Я связан с Берлином, но если бы мне сказали: «Можешь вернуться», — я, клянусь Оползлом, пошел бы домой, не обернувшись, не взявши рукописей. Не позвонив по телефону.

Мне запретили звонить.

Что вы пишете сейчас?

Починен ли провал мостовой на Морской, против Дома искусства?

Лучше мертвым лечь в эту яму, чтобы исправить дорогу для русских грузовых автомобилей, чем жить бесполезно.

А автомобилей в Петербурге много?

Как издаетесь вы?

Мы издаем довольно много.

Только здесь «мы» — смешное слово.

Одна женщина звонила мне по телефону. Я был болен.

Поговорили. Сказал, что сижу дома.

А она мне говорит, уже вешая трубку:

«Мы сегодня идем в театр».

Так как я только что с ней говорил, то не понял:

«Кто же мы? Я болен».

До чего неверно! Мы — это я и еще кто-нибудь.

В России «мы» крепче.

## ПИСЬМО ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ

Об Иване Пуни и жене его, Ксане Богуславской.

О том, как любит художник и как нужно любить художника,  
о друзьях Пуни и о том, как рождаются книги и картины.

Содержание письма дидактическое.

Трудно даже в письмах, даже через черную бумажную полумаску, одетую мной на тебя,  
трудно даже во сне видеть мне твое лицо.

Женщина без мастерства, чем ты занимаешь свое время? Ну разве хорошо, Аля, отнимать  
хлеб у людей и отдавать собакам?

Ведь они собаки, халтурщики и собаки.

Берлин опоясан для меня твоим именем.

Не доходят вести из мира.

А Ксана Богуславская-Пуни больна дифтеритной ангиной. Бедная девочка, бедная  
художница и жена художника! Я внимательно смотрел на нее и ее мужа до встречи с  
тобой.

Ваню Пуни знаю уже десять лет, с «Трамвая В» — это название выставки.

Он никогда не видит ничего кругом, хотя не влюблен, он, кажется, никого не любит и  
умеет не тянуться к людям, а рассеянно принимать их.

У него одна печальная любовь — к картинам. Как я не сумел радостно любить тебя, так  
Пуни нерадостно любит на всю жизнь искусство.

Ты никогда не будешь права передо мной, потому что не имеешь ни мастерства, ни  
любви, и если есть нравственность, то она не может охранять того, кто сам так силен.

Зачем быть правым человеку, который каждый миг может сказать мне: «Я не просила тебя  
любить меня» и отложить меня в сторону?

Не удивляйся, что я кричу, когда ты не делаешь мне больно.

Через тебя я узнал принцип относительности. Представь себе Гулливера у великанов:  
держит его великанша в руке, — чуть-чуть, почти не держит, а просто забыла выпустить,  
а вот сейчас выпустит, и кричит в ужасе бедный Гулливер, звонит по телефону — не  
бросай меня!

Иван Пуни влюблен в свои картины; печально он смотрит на судьбы искусства, для него  
все не просто, и он не уверен в любви завтрашнего дня.

Раз ночью пришел я к нему с Романом Якобсоном, Карлом Эйнштейном, Богатыревым,  
еще с кем-то.

Час или два было, не помню; Пуни еще работал в своей мастерской. На полу, на стульях,  
на кровати лежали тюбики красок.

Он принял нас без радости, без изумления, как будто мы — пассажиры, а его комната — вагон.

Мы говорили друг с другом о многом, все о горьком.

Ели картошку, которую брали из угля. Пуни дал сало, сварил картошку, но не заметил нас. Он смотрел печально и внимательно на картину.

А раз я видел его хохочущим перед своей картиной; он может смеяться над конструкцией, как над остротой.

Ксана Богуславская — жена художника и художница.

Она неплохой, хотя и сладкий, художник сама, скорее даже хороший, потому что сладость ее сознательна, — это прием, а не слезы.

И самое прекрасное в ней то, что она влюблена в картины своего мужа. Ревнует один вариант к другому, волнуется из-за того, что будет дальше.

А чтобы жить, художнику нужно халтурить. От халтуры же болят физически плечи. Настоящих же картин нельзя продать, или, вернее, прежде чем их признают, нужно долго-долго терпеть. Мы часто шутили называли дом Пуни «святое семейство», а иногда — «торговый дом с ограниченной ответственностью». А семейство между тем действительно святое: если все перевести с берлинского языка на древний, то получается бегство в Египет, причем Ксана будет Иосифом, Пуни — матерью, а картина — младенцем.

Трудно жить всякому, любящему женщину или свое ремесло.

К Пуни ходят друзья: белокурый немец Фриг с красивой женой, латыш Карл Залит, шумный, как африканский христианин IV века, Арнольд Дзеркал, молчаливый, похожий на шведа, огромный, хорошо одетый, сильный и непонятный для меня. Бывает еще там Руди Беллинг, французского типа немец, скульптор, по сложению похожий на кузнечика; это по его моделям сделаны экспрессионистические манекены в окнах Берлина.

Все эти люди, когда смотрят картины, спокойны и тихи. А Ксана глядит на холсты влюбленными глазами. Пуни много работал все время.

Картины едят его. Работать так трудно!

А вещи рождаются, как дети.

Их начинают весело, весело и не постыдно, носят трудно, рожают больно, а живут они потом горько.

## ПИСЬМО ПЯТНАДЦАТОЕ

Алино же четвертое, о том, что она ничего не хочет.

Милый, сижу на твоём нелюбимом диване и чувствую, что очень хорошо, когда тепло, удобно и ничего не болит.

У всех вещей сдержанно-молчаливый вид хорошо воспитанных людей.

Цветы же прямо говорят: мы знаем, но не скажем, — а что они знают — неизвестно!

Куча книг, которые я могу читать и не читаю, телефон, в который я могу говорить и не говорю, рояль, на котором я могу играть и не играю, люди, с которыми я могу встречаться и не встречаюсь, и ты, которого я должна была бы любить и не люблю.

А без книг, без цветов, без рояля, без тебя, родной и милый, как бы я плакала.

Свернулась я сейчас калачиком и, как истая женщина Востока, созерцаю:

Слежу за глупым повторяющимся узором печки, нелепо подражаю чайнику — одну руку в бок, другую выгибаю, как носик, — и радуюсь, что так похоже, щурю глаза на отчего-то дрожащий куст белой азалии.

Ни о чем не мечтаю, не думаю.

Милый, я тебя не обижаю, пожалуйста, не думай, что я тебя обижаю. Я чувствую, что начинаю казаться тебе самоуверенной; нет, я знаю, что я никуда не гожусь, не стоит на этом настаивать.

Покупки лежат нераспакованные на столе. Еще очень недавно я пришла бы домой и разделась бы, чтобы померить новую ночную рубашку, а сейчас она лежит завернутой в бумагу.

Аля

## ПИСЬМО ШЕСТНАДЦАТОЕ

В нем развивается замечание Али о трансатлантических пароходах, говорится о танцах на палубе, автомобилях, Борисе Пастернаке, московском Доме печати и о нашей судьбе.

Ты мне хорошо рассказывала про трансатлантический пароход. Ведь я для твоих слов — копилка. Ты рассказывала, что на таком пароходе все время чувствуешь, как он тянет. Не движение само, а именно тягу, ход и потенцию хода. Для автомобилиста это понятно. Автомобили тянут все по-разному. Хорошая машина очень приятно упирает в твою спину, как бы ладонью, толкает тебя. Главная прелесть хорошей машины — характер ее тяги, характер нарастания силы. Ощущение, похожее на нарастание голоса. Очень приятно нарастает голос-тяга «фиата». Нажимаешь педаль газа, а машина в восторге несет тебя. Бывают машины, берущие сильно, но жестко, особенно помню одну такую: шестидесятисильный «митчель». Все ощущения на автомобиле другие: чувствуешь тягу и покой или тягу и тоску. Но все на основе ощущения упирающегося в тебя движения.

Трансатлантический пароход я не видел. Но люблю его и понимаю. Должно быть, очень хорошо танцевать на полу, который идет, целоваться и думать, когда мысли немножко отстают от движения, как сердце при опускании лифта.

Это похоже на мысли под музыку, но лучше. Похоже на разговор Долохова («Война и мир») под пение «Ах, вы сени, мои сени!» — когда он не смог поссориться с товарищем.

Рождается новый мир, новые ощущения, еще не все их замечают. Нашу землю тянет куда-то на буксире. Твоя сестра сидела как-то и Доме печати в Москве. Было, вероятно,

холодно, много газетного народа. Она же сидела с Пастернаком, Борисом. Он говорил как обыкновенно, слова бросал кучной толпой то в одну, то в другую сторону, и самое главное не было сказано. Самое главное слово.

А сам Пастернак был таким хорошим, что я его сейчас опишу. У него голова в форме яйцеобразного камня, плотная, крепкая, грудь широкая, глаза карие. Марина Цветаева говорит, что Пастернак похож одновременно на араба и на его лошадь. Пастернак всегда куда-то рвется, но не истерически, а тянет, как сильная и горячая лошадь. Он ходит, а ему хочется нестись, далеко вперед выбрасывая ноги. Пастернак сказал твоей сестре после многих непонятных слов:

— Вы знаете, мы как на пароходе.

Этот человек чувствовал среди людей, одетых в пальто, жующих бутерброды у стойки Дома печати, тягу истории. Он чувствует движение, его стихи прекрасны своей тягой, строчки их рвутся и не могут улечься, как стальные прутья, набегают друг на друга, как вагоны внезапно заторможенного поезда. Хорошие стихи.

В Берлине Пастернак тревожен. Человек он западной культуры, по крайней мере ее понимает, жил и раньше в Германии, с ним сейчас молодая, хорошая жена, — он же очень тревожен. Не из попытки закруглить письмо скажу, мне кажется, что он чувствует среди нас отсутствие тяги. Мы беженцы, — нет, мы не беженцы, мы выбеженцы, а сейчас сидельцы.

Пока что.

Никуда не едет русский Берлин. У него нет судьбы.

Никакой тяги.

Как отчетливо я это чувствую. Может быть, тебя привлекают чужие люди, англичане, американцы, может быть, тебе скучно с нами, потому что ты тоже чувствуешь это. У тех людей есть механическая тяга, тяга трансатлантического парохода, на палубе которого хорошо танцевать джимми. Мы теряем своих женщин. Нужно уже думать о себе. Мы, мужчины, двигатели внутреннего сгорания, наше дело бурлачить. Для палубы у нас нет бальных башмаков.

## ПИСЬМО СЕМНАДЦАТОЕ

О неизбежности и предсказанности развязки. В ожидании ее корреспондент пишет сперва о Гамбурге, потом о сереньком, в полоску, Дрездене и, наконец, о городе готовых домов — Берлине; дальше речь идет о кольце, через которое продеты все мысли автора, о ночном пути его под двенадцатью железными мостами и о встрече. И еще о том, что слова бесполезны.

Совершенно спутался, Аля! Видишь ли, в чем дело: я одновременно с письмами к тебе пишу книгу. И то, что в книге, и то, что в жизни, спуталось совершенно. Помнишь, я писал тебе про Андрея Белого и про метод? В любви есть свои методы, своя логика ходов, без меня и без нас установленная. Я произнес слово любви и пустил дело в ход. Началась игра. Где любовь, где книга, я уже не знаю. Игра развивается. На третьем или четвертом



печатном листе я получу свои шах и мат. Начало уже сыграно. Никто не может изменить развязки.

Трагические концы, минимум — разбитое сердце, предсказаны романом в письмах.

А пока расскажу только для себя о месте, где происходит действие.

Берлин трудно описать.

Если описывать Гамбург, то можно сказать что-то о чайках над каналами, о магазинах, о домах, наклонившихся над каналами, о всем, что принято рисовать.

Когда въезжаешь в свободный порт города Гамбурга, то раздвигаются шлюзы как занавес. Театральный эффект. Громадное водяное поле, кланяющиеся подъемные краны, черные черпаки, набирающие из пароходов в рот уголь. Челюсти у них откидываются сразу в обе стороны, как у крокодилов. Высокие, вышиной в выстрел из нагана, решетчатые подъемники портального типа. Плавучие элеваторы, которые могут высосать за день до 35 000 пудов зерна. Подплыть к такому сосуну и сказать: «Дорогой товарищ, высоси из меня, пожалуйста, 35 000 любовных чертей, которые завелись в душе».

Или попросить самый большой кран, чтобы он поднял меня за шиворот и показал запруженную шлюзами Эльбу, много железа, пароходы, перед которыми автомобили — только блохи. И чтобы сказал мне паровой кран: «Смотри, сентиментальный щенок, на железо, поднятое дыбом. Не хорошо ныть и плакать, а если не можешь жить, то всунь свою голову в железный угольный черпак, чтобы ее откусило».

Правильно!

Гамбург описать можно.

Если описывать Дрезден, то, конечно, работы будет больше. Но есть выход, к которому в новой русской литературе часто прибегают.

Возьмем какую-нибудь деталь Дрездена, — например, то, что автомобили в нем чистенькие и обиты внутри серой материей в полоску.

Дальше все так просто, как для подъемного крана поднять одну тонну.

Нужно уверять, что Дрезден весь серенький в полоску, и Эльба — полоска на сереньком, и дома серенькие, и Сикстинская Мадонна серенькая в полоску. Вряд ли это будет правильно, но зато убедительно и очень хорошего тона.

Серенького в полоску.

Но трудно описать Берлин. Его не ухватишь.

Русские живут, как известно, в Берлине вокруг Zoo.

Известность этого факта нерадостна.

Во время войны говорили: «Как известно, немцы весной обыкновенно наступают». Как будто немцы наступают, как весна.

Русские ходят в Берлине вокруг Старой кирки, как мухи летают вокруг люстры. И как на люстре висит бумажный шарик для мух, так на этой кирке прикреплен над крестом странный колючий орех.

Улицы, видные с высоты этого ореха, широкие. Дома одинаковые, как чемоданы. По улицам ходят дамы в котиковых пальто и в тяжелых кожаных ботах, а среди них ты в мышинном пальто, отделанном котиком.

По улицам ходят спекулянты в шершавых пальто и русские профессора попарно, заложив руки с зонтиком за спину. Трамваев много, но ездить на них по городу незачем, так как везде город одинаков. Дворцы из магазина готовых дворцов. Памятники — как сервизы. Мы никуда не ездим, живем кучей среди немцев, как озеро среди берегов.

Зимы нет. Снег то выпадает, то тает.

В сырости и в поражении ржавеет железная Германия, и ржавчиной срастаемся, ржавея вместе с ней, нежелезные мы.

На Kleiststrasse, против дома, где живет Иван Пуни, стоит дом, где живет Елена Феррари.

У нее лицо фарфоровое, а ресницы большие и оттягивают веки.

Она может ими хлопать, как дверцами несгораемых шкафов.

Между этими двумя знаменитыми домами вылетает унтергруд из-под земли и с воем лезет па помост.

Поезд бежит из вокзала на Wittenbergplatz, взвывая как тяжелый снаряд на подъеме.

Дальше поезд проскакивает за красной киркой, а кирки так похожи в Берлине друг на друга, что мы их различаем только по улицам, на которых они стоят.

Проскакивает поезд за красной киркой через пролом дома, как через триумфальную арку.

Дальше идет форум всех берлинских поездов, Gleisdreieck. Для русских, живущих среди немцев, как среди берегов, Gleisdreieck — пересадка.

Отсюда поезд бежит на Leipzigerplatz и на другие площади, где нищие продают спички и спокойно лежат покрытые попонками собаки — поводыри слепых.

Всхлипывают шарманки, они не играют ни «Ach, mein lieber Augustin», ни «Deutschland, Deutschland über alles», они просто стонут. Это механический стон Берлина.

Если не поехать на площади, а выйти из пустых ворот Gleisdreieck, то не увидишь ни немцев, ни профессоров, ни шиберов.

Кругом, по крышам длинных желтых зданий, идут пути, пути идут по земле, по высоким железным помостам, пересекают железные помосты, проходя по другим помостам, еще более высоким.

Тысячи огней, фонарей, стрелок, железные шары на трех ногах, семафоры, кругом семафоры.

Тоска, эмигрантская любовь и трамвай № 164 завели меня сюда, я долго ходил по мостикам над путями, которые перекрещиваются здесь, как перекрещиваются нити шали, проводимой через кольцо.

Это кольцо — Берлин.

Это кольцо для моих мыслей — твое имя.

Я возвращался часто ночью от тебя и проходил под двенадцатью железными мостами.

Идешь, поешь. Думаешь, почему к железному сердцу Германии — Gleisdreieck — и к железным воротам Гамбурга жизнь дает только готовые вещи — дома, как чемоданы, трамваи, на которых некуда ехать. Иду, возвращаясь.

Иду дорогой под двенадцатью железными мостами.

Иди далеко. На углу Postdamerstrasse каждую ночь вижу все одну и ту же проститутку в красной шляпе.

Она напевает что-то, увидя меня, потом говорит на непонятном мне языке.

Иду мимо, мне далеко.

Что делать, товарищ в красной шляпе!

На свете много разных зверей, и все они по-своему славят и хулят бога.

Ты ныряешь на дно морское без слов и выносишь со дна моря один песок, текучий, как грязь.

А я имею много слов, имею силу, но та, которой я говорю все слова, — иностранка.

## ПИСЬМО ВОСЕМНАДЦАТОЕ

О японце Тарацуки, и его любви к Маше. О горестном сходстве людей всех цветов. О Фузияме. В конце письма — упрек.

Я очень сентиментален, Аля. Это потому, что я живу всерьез. Может быть, весь мир сентиментален. Тот мир, адрес которого я знаю. Он не танцует фокстрота.

Был у меня в России в 1913 году ученик, японец. Фамилия его была Тарацуки.

Служил он секретарей в японском посольстве.

А в квартире, где он жил, была горничная Маша из города Сольцы. В Машу влюбились — дворники, жильцы, почтальон, солдаты.

А ей ничего не было надо. У нее уже была в Сольцах дочка шести лет, которая звала маму дурой.

В комнате Тарацуки было тепло. Я часто сидел рядом с ним и читал ему Толстого.

Всегда читал слишком быстро.

Лицо Тарацуки и мое лицо отражались в зеркале, висящем на стене.

У меня лицо все время меняется, его лицо было неподвижно, как будто оно было покрыто не кожей, а скорлупой.

Мне казалось, что из нас двоих — человек, вероятно, только один.

Его мир был для меня без адреса.

Тарацуки влюбился в Машу. Она смеялась, взвизгивала, когда рассказывала об этом.

Он провожал ее, когда она гуляла с белой собачкой. Тарацуки любил ее 1914, 1915, 1916, 1917, 1918 год.

Пять лет.

Раз он пришел к Маше и сказал ей:

— Послушай, Маша. У меня есть бабушка, она живет на большой горе Фузияме, в саду. Она очень знатная и любит меня, и еще бегают в том саду любимая белая обезьяна.

(Не удивляйтесь стилю Тарацуки — это ведь я учил его русскому языку.)

— Недавно белая обезьяна убежала от бабушки.

Бабушка писала мне об этом.

А я ответил, что люблю девушку по имени Маша и прошу разрешения на брак. Я хотел, чтобы ты была принята в семье.

Бабушка ответила, что обезьяна уже вернулась, что, она очень рада и согласна на брак.

Но Маше было очень смешно, что у Тарацуки есть желтая бабушка на Фузияме.

Она смеялась и ничего не хотела.

Потом наступила революция.

Тарацуки разыскал Машу, которая была без места, и стал снова просить ее:

— Маша, здесь ничего не понимают. Это не пройдет так, здесь будет много крови.

Едем ко мне в Японию.

Революция продолжалась.

Тарацуки позвал Машу в посольство. Вещи в посольстве упаковывались. Маша пошла.

Там их принял посол и торопливо сказал:

— Барышня, вы не понимаете, что делаете, — ваш жених богатый и знатный человек, его бабушка согласна.

Подумайте, не упускайте счастья.

Маша не ответила ничего.

А когда они вышли на улицу, то она ответила своему японцу: «Я никуда не поеду» — и поцеловала его в стриженую голову.

Тарацуки явился к ней еще раз. Он был очень грустен. Он говорил:

— Милая Маша. Если ты не едешь, то подари мне маленькую белую собачку, с которой гуляешь.

Так как был голод и собаку уже нечем было кормить, то Маша ее подарила.

Последнее письмо Тарацуки было из Владивостока. Вот что было в письме:

«Я привез сюда твою собаку и скоро поеду с ней дальше, у вас будет очень тяжело для тебя, я жду ответа, напиши, и я приеду за тобой».

Но едва успело дойти письмо, как железная дорога порвалась в сотнях мест.

А Маша все равно не ответила бы. Она осталась.

Ее по-прежнему любили все. Революции она не боялась, потому что у нее не было знатной желтой бабушки.

Она работает сейчас на заводе «Военно-санитарных заготовлений», — кажется, так.

Когда она вспоминает японца, то жалеет его.

Ее все любят. Она настоящая женщина, она как трава, у нее как будто нет имени, нет самолюбия, она живет не замечая себя.

Мне тоже жаль японца.

И я думаю о том, что я напрасно смотрел в зеркало и неправильно замечал, что я и японец — разные.

Он очень похож на меня, этот японец.

Не думаю, что это будет способствовать укреплению военного могущества его страны.

А ты — не Маша.

На твоем небе вместо звезд — твой адрес. Впрочем, все это не так хорошо, как жалобно.

ПРЕДИСЛОВИЕ  
К ПИСЬМУ ДЕВЯТНАДЦАТОМУ

Алиному, об аспиристине, селедке с картошкой, телефоне, любовной инерции, англичанине-танцоре и о кормилице Стеше. В предисловии подробно объяснено, почему само Алино письмо не нужно читать.

Письмо Алино лучшее во всей книге. Но не читайте его сейчас. Пропустите и прочтите, уже окончив книгу. Я объясню вам сейчас, почему это нужно сделать.

Я сам не прочел его в свое время. Поцеловал, пробежал отдельные кусочки, но оно было написано карандашом, и я не прочел.

Сейчас объясню почему. Я — глухарь. То есть я клепал в жизни котлы, придерживая клещами изнутри заклепки. В ушах гром. Вижу, как шевелятся у людей губы, но ничего не слышу. Меня оглушило жизнью — глухие же люди очень замкнуты.

Прочел Алино письмо только недавно, 10 марта, уже дописав книгу. Читал четыре часа. Письмо прежде всего очень хорошо написано. Честное слово, я его не писал. В нем настоящая правда про любовную инерцию и еще одна ненаписанная правда об инерции несчастья.

Мне за границей нужно было сломиться, и я нашел себе ломающую любовь. И уже не глядел на женщину и сразу пришел к ней с тем, что она меня не любит. Я не говорю, что иначе она меня бы полюбила. Но все было предопределено. Это письмо нарушает схему о двух культурах потому, что женщина, написавшая так про Стешу, — своя.

Итак, дорогие друзья, не читайте этого письма, Я нарочно поэтому перечеркиваю его красным. Чтобы вы не ошиблись.

Как композиционно понять это письмо? Ведь оно все же вставлено?

Но скажите, на какого черта вам нужна композиция? А если нужна — извольте! Для иронии произведения необходима двойная разгадка действия, обычно она дается понижающим способом, в «Евгении Онегине», например, фразой: «Уж не пародия ли он?»

Я даю в своей книге вторую повышающую разгадку женщины, к которой писал, и вторую разгадку себя самого.

Я — глухой.

Если вы поверите в мое композиционное разъяснение, то вам придется поверить и в то, что я сам написал Алино письмо к себе.

Я не советую верить... Оно Алино.

Впрочем, вы вообще ничего не поймете, так как все выброшено в корректуру.

ПИСЬМО ДЕВЯТНАДЦАТОЕ,

Которое не надо читать. Оно написано Алей, когда она заболела, бумага для письма попала линованная, а письмо самое лучшее во всей книге, но его не надо читать, поэтому оно перечеркнуто.

О чем можно писать на этой ученической бумаге?

Только не считай ошибок и не ставь баллов. Сжевала три аспирина, выпила удивительно количество разных горячих вещей, гуляла по квартире босиком в шубе, разговаривала с кем-то по телефону, ела селедку с картошкой, долго ничего не делала, а теперь пишу тебе.

К этой женщине, когда она тебе позвонила, ты прибежал рысцой. Кокет или гадость, или то и другое вместе!

Если бы ты был женщиной, то мой так называемый Вертхейм оказался бы мелочной лавочкой рядом с твоим предприятием. Но твоя любовная инерция меня немного пугает. Прямо жутко. Ты кричишь, раздражаешься на собственный голос и еще пуще кричишь. А ну как ты по инерции объяснишься в любви чему-нибудь совершенно неподходящему? Не злись только.

Сшей себе новый костюм, и чтобы было шесть рубашек — три в стирке, три у тебя, галстук я тебе подарю, чисти сапоги.

А со мной говори о книгах, я буду стоять на задних лапках совсем вертикально и слушаться.

Теперь буду спать. Неужели я заболею и завтра не смогу танцевать?

Такой хороший англичанин и танцор (два равноценных достоинства). Неужели заболею?

Такой холод. Мне нужны ботики или автомобиль.

Заложить душу дьяволу? Может быть, и не худо в закладе.

Вчера целый день думала о моей кормилице Стеше.

Я вот думаю и уезжаю в обратную сторону на трамвае, — потом плачу.

Я больше похожа на Стешу, чем на маму. Стеша белая и розовая, полная, хохотунья, совершенно незлобивая и любит мужской пол. Оттого не раз была кормилицей.

Каждый раз, как в Воспитательный идти, приходила к папе — денег нет.

Папа ее ругает, что она с того негодяя не взяла.

— Бог с ним, барин!

Меня она любит, как дочь родную. Двухмесячную кормила меня щами и как-то отравила, сама наевшись косточек от вишневого варенья, которое варили на даче. Когда я подросла, приходила ко мне с гостинцами, стояла и говорила «вы»; когда народ уходил, садилась со мной чай пить и говорила «ты». Когда я совсем большая выросла, стала я понимать ее веселый нрав. «У моей барыни подруга живет, не пойму я — ровно как монашки!» А сама хохочет и такая вся теплая, Стешей от нее пахнет, как в ее деревянном сундуке, когда она крышку поднимает: ситцем и яблоками. Нос кверху, глазки хитрые.

Кухарка считала, что ко мне ходит слишком много молодых людей, и думала, что за прикрытой дверью происходят безобразия. «Что ты, — говорит, — Стеша, ты вот, говорят, незаконного ребенка прижила, а разве они себя до этого доводят!»

Как-то служила она в очень богатом доме. В доме случилась кража.

Как всегда, Стеша к папе в слезах, что ее в участок волокут.

Папа ее спрашивает:

— А ты где была, когда кража случилась?

— В Ново-Девичьем монастыре, у монашки в гостях.

— Вот ты и скажи, тебя и отпустят.

— Что вы, барин, монашку в такое дело путать!

Так и не сказала ни за что, сидела в тюрьме сколько-то, потом воры нашлись, и ее выпустили.

Зато, когда после революции мама ее уговаривала идти голосовать, она сказала, что после этой истории с серебряными ложками ее в участок калачом не заманишь.

На мою свадьбу ей давно-давно было обещано шелковое платье.

Так она его и не получила...

Даже сон прошел, так я ее люблю, Стешу.

Целую, милый, только бы не разболеться.

Аля

За что я на тебя со Стешей обрушилась?

ПИСЬМО КОРОТКОЕ ДВАДЦАТОЕ

Пусть ты другим пишешь синие письма, я люблю тебя, Аля!

ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ ПЕРВОЕ

Алино пятое. В этом письме пишется об острове Таити, на котором совсем нехорошо.

На острове пароходики пахнут газOLIном, и это опять нехорошо.

Этот остров слишком далекий, чтобы его любить.

Он остается далеким, даже когда живешь на нем.

В письме рассказывается еще о лошади по имени Танюша и ее отплытии на остров Мореа. От Таити до этого острова полтора часа езды.

Милый!

О Таити я вспоминать люблю, но рассказываю неохотно. Мама всегда говорила, что я неинтеллигентно отношусь к событиям и окружающему миру: я не знаю, сколько на Таити жителей, белых и черных, сколько километров в окружности, какой высоты горы. Меня просто тянет обратно к милому острову, фантастическому морю. Вода синяя, как цветные чернила, коралловый риф опоясывает остров; со знакомым шумом разбиваются о



риффы волны, и пена образует гигантский белый невянувший венчик; белый цветочек — тиарэ — за ухом темного улыбающегося лица и ваниль без усталости пахнут; крабы бочком шныряют по берегу; солнце садится за Мореа. Это я знаю, вижу, ощущаю.

Впрочем, речь не о том; я хотела рассказать тебе о Танюше. Андрей подарил мне маленькую лошадку. Назло экватору, температуре и кокосовым орехам, я назвала ее Танюшей. Очень была довольна, когда старый черный Тапу звал ее «Танюса». Ходила я за ней сама, чистила, кормила и поила. Она тоже ко мне хорошо относилась. Приходила к террасе за бананами и легонько ржала. Когда Танюша отъелась и стала блестящая и красивая, характер ее круто изменился: не желала, чтобы на нее сажались, а как сядешь, начинает вертеться и так и сяк, пятится, все равно, что бы за ней ни было — вода, колючий забор, люди. А потом и совсем убежала в глубь острова — ищи ее! Андрея как раз не было, он часто уезжал осматривать другие острова. А у моей спальни было пять дверей и окно! Все настезь! Ночи на Таити такие беззвучные, насыщенные, такие яркие, что сами черные ни за что ночью от дома не отойдут. Я боялась до одурения, до слез. Наконец догадались перед дверью положить Тапу. Как раз после побега Танюши я всю ночь проплакала. Я часто плакала в те времена. Тапу услышал и думал, что я боюсь — муж придет и будет бить меня за то, что лошадь пропала. Наутро говорит: «Ты не плачь, я Танюсу найду, и твой танае (муж) ничего не узнает». Разослал во все стороны веселых черных мальчишек, и Танюшу водворили на место.

Когда приехал Андрей и узнал про побег, то сейчас же и продал ее. Он относился к лошадям как к людям и нашел, что она выказала такую черную неблагодарность, которую потерпеть нельзя. Танюшу погрузили на пароходик и увезли к англичанину на Мореа. Как ее, верно, качало, бедную!

Ты пишешь обо мне — для себя, я пишу о себе — для тебя.

Аля

## ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ ВТОРОЕ,

неожиданное и, по-моему, совершенно лишнее. Содержание этого письма, очевидно, убежало из другой книги того же автора, но, может быть, это письмо показалось необходимым составителю книги для разнообразия. Письмо это разошлось с письмом о Таити.

Пришлось мне быть недавно в театре «Scala». Это на Lutherstrasse. Номера были разные: акробат кувыркался на шесте, поставленном на плече другого акробата, две гимнастки так быстро вертелись на трапециях, что снизу казалось, что они обратились в зеленые вазы, тени же от них, падающие на занавес, все время оставались человеческими. Такую большую программу не уложить в одну фразу. Был там еще отвратительного вида человек, который сперва делал партерную гимнастику, взяв в зубы двухпудовую гирию, а потом зубами поднимал с полу, схватив за спинку, три или четыре тяжелых, связанных вместе стула. Мне, человеку с зубами очень плохими, это не понравилось.

Веселей всего смотрелись велосипедисты: они кружились по сцене, поставив дыбом свои велосипеды, на одном заднем колесе и в конце концов уехали за кулисы, сев на какие-то круги, уехали не торопясь, да еще трубили все в трубы.

Тому Сойеру это бы очень понравилось.

Балалаечники потом играли.

Танцевали русские актеры.

Художник-моменталист рисовал разные карикатуры.

Нарисовал спекулянта, а потом пририсовал к нему решетку.

Меня поразила в этом *variété* полная несвязанность его программы.

Есть два отношения к искусству.

Первое характерно тем, что произведение рассматривается как окно в мир.

Словами, образами хотят выразить то, что лежит за словами и образами. Художники такого типа заслуживают имени переводчиков.

Другой вид отношения к искусству — это рассматривать его как мир самостоятельно существующих вещей.

Слова, отношения слов, мысли, ирония мыслей, их несовпадение и являются содержанием искусства. Если искусство можно сравнить с окном, то только с нарисованным.

Сложные произведения искусства обычно являются результатом комбинаций и взаимодействий прежде существовавших, более простых и, в частности, меньших по размеру произведений.

Роман состоит из кусков — новелл.

Пьеса состоит из слов, острот, движений, комбинаций движений и слов, из сценических положений. Для Шекспира удачная острота актера — самоцель, а не средство обрисовать тип.

Личность героя в первоначальном романе — способ соединения частей. В процессе изменения произведений искусства интерес переносится на соединительные части.

Психологическая мотивировка, правдоподобность смены положений начинают интересовать больше, чем удачность связанных моментов. Появляются психологический роман и драма и психологическое восприятие старых драм и романов.

Это объясняется, вероятно, тем, что «моменты» к этому времени изношены.

Следующая стадия в искусстве — это изнашивание психологической мотивировки.

Приходится изменять, «остранять» ее.

Любопытен в этом отношении роман Стендаля «Красное и черное», в котором герой действует насилуя себя, как бы назло самому себе; у него психологическая мотивировка действия противопоставлена действию.

Герой действует по романтически-авантюрной схеме, а мыслит по-своему.

У Льва Толстого психология подбирается героями к поступкам.

Достоевский противопоставляет психологию действующих лиц их моральной и социальной значимости.

Роман развивается в темпе уголовно-полицейском, а психология дана в масштабе философском.

Наконец все противопоставления исчерпываются.

Тогда остается одно — перейти на «моменты», разорвать соединения, ставшие рубцовой тканью.

Самое живое в современном искусстве — это сборник статей и театр *variété*, исходящий из интересности отдельных моментов, а не из момента соединения. Нечто подобное замечалось во вставных номерах водевиля.

Но в театрах такого рода виден уже новый момент, момент соединения частей.

В одном чешском театре, такого же дивертисментного типа, как «Scala», мне пришлось видеть еще один прием, кажется применяемый уже давно в цирках. Экцентрик в конце программы показывает все номера, пародируя и разоблачая их. Например, фокусы он демонстрирует, стоя спиной к публике, которая видит, куда пропадает исчезнувшая карта.

Немецкие театры находятся в этом отношении на очень низкой ступени развития.

Более интересный случай представляет из себя книга, которую я сейчас пишу. Зовут ее «Zoo», «Письма не о любви» или «Третья Элоиза»; в ней отдельные моменты соединены тем, что все связано с историей любви человека к одной женщине. Эта книга — попытка уйти из рамок обыкновенного романа.

Пишу я книгу для тебя, и писать мне ее физически больно.

## ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЕ

Ответ на письмо о Таити. Начинается воспоминаниями. Вспоминается январь, письмо же написано в середине февраля. Но воспоминания кажутся уже недостоверными. Век пара, электричества и джимми ускорил темп жизни. Письмо кончается попыткой написать посвящение, последние абзацы письма даны как опыт патетического стиля. Так их и рассматривайте. (Второе письмо в тот же день)

Ты написала о себе для меня.

Ты можешь улыбнуться для меня, обедать для меня или прийти для меня куда-нибудь с кем-нибудь. Я ничего не могу сделать для тебя.

Ты, наверное, не помнишь слов, которые ты мне написала на листке записной книжки.

Если бы они были правдой на одну только минуту, если бы ты их забыла, то я тоже смог бы писать о себе для тебя или хоть о тебе для тебя.

Но книжка потеряна, и письма нельзя предъявить ко взысканию.

Прости, Аля, что слово «любовь» опять голым вылезло в моем письме. Я устал писать не о любви. В моих письмах все время чужие люди, как при встречах с тобой, втроем, вчетвером, а иногда и в целом хоре.

Отпусти на свободу мои слова, Аля, чтобы они смогли прийти к тебе.

Разрешите мне писать о любви.

Но не стоит плакать, я ведь сам веселый и легкий, как летний зонтик.

Письмо твое хорошее. У тебя верный голос — ты не фальцетируешь.

Мне немножко даже завидно.

Ты была на Таити, и тебе, кроме того, легче писать.

Ты не знаешь — и это хорошо, — что многие слова запрещены.

Запрещены слова о цветах. Запрещена весна. Вообще все хорошие слова пребывают в обмороке.

Мне надоели умное и ирония.

Твое письмо вызвало у меня зависть.

Как мне хочется просто описывать предметы, как будто никогда не было литературы и поэтому можно писать литературно.

Хорошо еще было бы написать длинными фразами что-нибудь вроде: «Чуден Днепр при тихой погоде».

Я тоже хочу написать о «невянущем», — нет, лучше о «неувядающем» венке.

Буду писать о венках, а разгон возьму с твоего письма.

Аля, я не могу удержать слов!

Я люблю тебя. С восторгом, с цимбалами.

Это — слова.

Ты загнала мою любовь в телефонную трубку. Это я говорю.

А слова говорят: «Она — единственный остров для тебя и твоей жизни. От нее нет тебе возврата. Только вокруг нее море имеет цвет».

И говорим мы вместе.

Женщина, не допустившая меня до себя! Пускай ляжет у твоего порога, как черный Гапу, моя книга! Но она белая. Нет, иначе. Не нужно упрека. Любимая! Пускай окружит моя

книга твое имя, ляжет вокруг пего белым, широким, немеркнувшим, невянувшим, неувядающим венком.

ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЕ,

нерадостное, чем оно не отличается от других писем. В нем говорится о немцах, которые умеют умирать, о женщинах, которых ми теряем, о Марке Шагале, об умении держать вилку и значении провинциализма в истории искусства.

Ты чувствуешь себя связанной с культурным миром.

С которым, Аля? — их много.

Каждая страна имеет свою культуру, и ее нельзя взять иностранцу.

У меня болит сердце за Петербург, я думаю о его мостовых, а ты не можешь вернуться к России, ты любишь Францию, но не умрешь от тоски по ней.

Ты — человек слишком общеевропейской культуры.

Если бы автомобиль ничего не весил, он не мог бы ехать, тяжесть дает опору его колесам.

Я не писал бы этого тебе, если бы не любил.

Но мучай меня тем, что я для тебя ничего не вешу, мир вокруг Али не имеет веса.

У Богатырева рядом на квартире отравилась газом немецкая семья. Мать оставила записку: «На свете нет места немецкому труженику».

Немцы, мне стыдно, что я не могу помочь вам!

Аля, прости мне мою нерадостную любовь; скажи, на каком языке скажешь ты последнее слово, умирая?

Я говорю тебе разные заговоры, сравниваю тебя со всеми. Говорят, что в психоз люди уходят сознательно, как в монастырь. Легче вообразить себя собакой, чем жить человеком.

Хочется мне разорвать на куски и по городу разбросать то, что люблю.

Не умею.

Раз собрались мы недавно в ателье.

В комнате были петербуржцы и москвичи.

Кто-то заговорил о визах. Рассказывают, что прежде, год, два тому назад, русские говорили друг с другом о паспортах так же охотно, как замужняя женщина о родах.

Как-то разговорились и в этот раз. Мужчины — те больше были совсем без паспортов, живут, потому что прижились.

Но женщины!

Француженки, швейцарки, албанки (честное слово), итальянки, чешки — и все-все всерьез и надолго.

Обидно для мужчин растратить своих женщин. Воображаю, что было в Константинополе!

Страшно видеть похожие судьбы. Наша любовь, наши браки, бегства — только мотивировки.

Теряем мы себя, становимся соединительной тканью.

А в искусстве нужно местное, живое, дифференцированное (вот так слово для письма!).

Мы потеряем мастерство, как теряем женщин.

Ты чувствуешь себя связанной с культурой, знаешь, что у тебя хороший вкус, а я люблю вещи другого вкуса. Люблю Марка Шагала.

Марка Шагала я видел в Петербурге. Похожий, как мне показалось, на Н.Н. Евреинова, он был вылитый парикмахер из маленького местечка.

Перламутровые пуговицы на цветном жилете. Это человек до смешного плохого тона.

Краски своего костюма и свой местечковый романтизм он переносит на картины.

Он в картинах не европеец, а витебец.

Марк Шагал не принадлежит к «культурному миру».

Он родился в Витебске, маленьком, провинциальном городишке.

Позже, во время революции, напух Витебск, в нем была большая художественная школа. В то время часто напухал то один, то другой город: то Киев, то Феодосия, то Тифлис, раз даже одно село на Волге — Марксштадт — напухло философской академией.

Так вот, витебские мальчишки все рисуют, как Шагал, и это ему в похвалу, он сумел быть в Париже и Питере витебцем.

Хорошо уметь держать вилку, хотя в Европе это умеет делать и барышня из *Nachtlokal*'я. Еще лучше знать, какую обувь надевать к смокингу и какие запонки вдеть в шелковую рубашку. Для меня эти знания мало применимы.

Но я помню, что в Европе все — европейцы по праву рождения.

Но в искусстве нужен собственный запах, и запахом француза пахнет только француз.

Тут мыслью о спасении мира не поможешь.

Полезно введение провинциализма, переименование его с традиционным искусством. «Балалаечники», «Карусель» и прочее плохо тем, что все это подделывает русский провинциализм.

Это сбивает людей. Мешает будущей работе. Картинам, романам.

А хорошо писать — трудно, это всегда говорили мне друзья.

Жить по-настоящему больно.

В этом ты мне помогаешь.

## ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ ПЯТОЕ

О весне, «Prager Diele», Эренбурге, трубках, о времени, которое идет, губах, которые обновляются, и о сердце, которое истрепывается, в то время, как с чужих губ только слезает краска. О моем сердце.

Уже градусов семь тепла. Осеннее пальто обратилось в весеннее. Зима проходит, и что бы ни случилось, меня не заставят перетерпеть эту зиму сначала.

Будем верить в свое возвращение. Весна приходит.

Ты мне сказала, что у тебя весной такое впечатление, как будто ты что-то потеряла или забыла и не можешь вспомнить что.

Весною в Петербурге я ходил по набережным в черной накидке. Там белые ночи, а солнце встает, когда мосты еще не наведены. Я много находил на набережных. А ты не найдешь, ты только сумела заметить потерю. Иные набережные у Берлина. Они тоже хороши. Хорошо по берегу каналов ходить в рабочие кварталы.

Там расширяются местами каналы в тихие гавани, и подъемные краны нависают над водой. Как деревья. Там, у Hallesches Tor, еще дальше места, где ты живешь, стоит круглая башня газовых заводов, как у нас на Обводном. К тем башням, когда мне было восемнадцать лет, я провожал любимую каждый день. Очень красивы каналы и тогда, когда по берегу их идет высокий помост железной городской дороги.

Я уже вспоминаю, что потерял.

Слава богу, весна.

Из «Prager Diele» вынесут на улицу столики, и Илья Эренбург увидит небо.

Илья Эренбург ходит по улицам Берлина, как ходил по Парижу и прочим городам, где есть эмигранты, согнувшись, как будто ищет на земле то, что потерял. Впрочем, это неверное сравнение — не согнуто тело в поясице, а только нагнута голова и скруглена спина. Серое пальто, кожаное кепи. Голова совсем молодая. У него три профессии: 1) курить трубку, 2) быть скептиком, сидеть в кафе и издавать «Вещь», 3) писать «Хулио Хуренито».

Последнее по времени «Хулио Хуренито» называется «Трест Д. Е.». От Эренбурга исходят лучи, лучи эти носят разные фамилии, примета у них та, что они курят трубки. Лучи эти наполняют кафе.

В углу кафе сидит сам учитель и показывает искусство курить трубку, писать романы и принимать мир и мороженое со скептицизмом.

Природа щедро одарила Эренбурга — у него есть советский паспорт.

Живет он с этим паспортом за границей. И тысячи виз.

Я не знаю, какой писатель Илья Эренбург.

Старые вещи нехороши.

О «Хулио Хуренито» хочется думать. Это очень газетная вещь, фельетон с сюжетом, условные типы людей и сам старый Эренбург с молитвой; старая поэзия взята как условный тип.

Роман разворачивается по «Кандиду» Вольтера, правда, с меньшим сюжетным разнообразием.

В «Кандиде» хорошо сюжетное кольцо: пока ищут Кунигунду, она живет со всеми и стареет. Герою достается старуха, вспоминающая о нежной коже болгарина.

Этот сюжет, вернее — критическая установка на то, что «время идет» и измены совершаются, обрабатывался уже Боккаччо. Там женщина-невеста переходит из рук в руки и наконец достается своему мужу, с уверениями в девственности.

А по дороге она узнала не одни только руки. Эта новелла кончается знаменитой фразой о том, что губы не убывают, а только обновляются от поцелуев.

Но ничего, я скоро вспомню то, что забыл. У Эренбурга есть своя ирония, рассказы и романы его не для елизаветинского шрифта. В нем хорошо то, что он не продолжает традиций великой русской литературы и предпочитает писать, «плохие вещи».

Прежде я сердился на Эренбурга за то, что он, обратившись из еврейского католика или славянофила в европейского конструктивиста, не забыл прошлого.

Из Савла он не стал Павлом. Он Павел Савлович и издает «Звериное тепло».

Он не только газетный работник, умеющий собрать в роман чужие мысли, но и почти художник, чувствующий противоречие старой гуманной культуры и нового мира, который строится сейчас машиной.

Меня же из всех противоречий огорчает то, что пока губы обновляются — сердце треплется и то, что забыто, истрепывается вместе с ним, неузнанное.

ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ ШЕСТОЕ,

О маске, аккумуляторных моторах, длине капота мотора «испана суиза», вообще о двигателях внутреннего сгорания и о том, что автомобиль «испана суиза» носил бы кольца в ушах, если бы был человеком. Как автомобилист, скажу: письмо наполнено тихой яростью и клеветой.

Сегодня проснулся среди ночи. Разбудила меня непонятность предмета, находящегося в моих руках.

Предмет оказался черной бумажной маской, а я сам посредине комнаты.



Очевидно, для меня хорошо было бы поехать в санаторий.

О любви же говорить мне вредно.

Поговорим об автомобилях.

Грустно ездить на такси!

Самое грустное ехать в электрическом моторе. У него не бьется сердце, он заряжен, наполнен тяжелыми аккумуляторами, но разрядятся пластины — и он станет.

Много машин завел я на своем веку, иногда они сами ударили меня обратным ударом; много людей поднял я на работу.

Иногда и в Берлине хочется завести мотор, с которым не может справиться шофер, раза два так делал, но на третий раз ошибся самым обидным образом.

Подошел заводить, а мотор электрический, у него радиатор поддельный и ручки, конечно, нет. Как завести машину, у которой нет сердца, которая не заводится? А вид у нее фальшивый: вроде пристяжной манишки и манжет; устроен спереди капот, будто бы для мотора, а там небось тряпки.

Притворяются двигателями внутреннего сгорания.

Бедная русская эмиграция!

У нее не бьется сердце.

В Берлине нельзя, невежливо говорить на улицах громко по-русски. Ведь сами немцы почти шепчут.

Живи, но молчи.

Мертвым аккумуляторным автомобилем, без шума и надежды, слоняйся по городу.

Раскручивай, затаив дыхание, то, что имел, а раскрутив, умри.

Мы заряжены в России, а здесь только крутимся, крутимся и скоро станем.

Свинцовые листы аккумуляторов обратятся в одну только тяжесть.

Кислота станет кисленькой.

Кисленькой тяжестью пахнут русские берлинские газеты.

Кисленькие и тяжелые слова я написал.

Поговорим лучше об автомобильных марках.

Тебе нравится «испана суиза»?

Напрасно! Не выдавай себя.

Ты любишь дорогие вещи и найдешь в магазине самое дорогое, если даже спутать ночью все этикетки цен. «Испана суиза»? Плохая машина. Честная, благородная машина с верным ходом, на которой шофер сидит боком, щеголяя своим бессилием, — это «мерседес», «бенц», «фиат», «делоне-бельвиль», «паккард», «рено», «делаж» и очень дорогой, но серьезный «рольс-ройс», обладающий необыкновенно гибким ходом.

У всех этих машин конструкция корпуса выявляет строение мотора и передачи и, кроме того, рассчитана на наименьшее сопротивление воздуха. Гоночные машины обыкновенно имеют длинные носы, высокие спереди; это объясняется тем, что именно такая форма, при большой скорости, дает наименьшее сопротивление среды. Ведь ты замечала, Аля, что птица летит вперед не острым хвостом, а широкой грудью?

Длина капота мотора объясняется, конечно, количеством цилиндров двигателя (4, 6, реже 8, 12) и их диаметром. Публика привыкла к долгоносим машинам. «Испана суиза» — машина с длинным ходом, то есть у нее большое расстояние между нижней и верхней мертвой точкой.

Это машина высокооборотная, форсированная, так сказать — нанюхавшаяся кокаина. Ее мотор высокий и узкий.

Это ее частное дело.

Но капот машины длинный.

Таким образом, «испана суиза» маскируется своим капотом, у нее чуть ли не аршин расстояния между радиатором и мотором. Этот аршин лжи, оставленный для снобов, этот аршин нарушения конструкции меня приводит в ярость.

Если я буду тебя ненавидеть, если я смогу спеть когда-нибудь:

Пропадайте те дорожки,  
По которым я ходил! —

то я отправлю память о тебе не к чертям, а, именно в эту пустоту в «испане суизе».

Твоя «испана суиза» дорогая, но ерундовая.

На нее часто ставят кароссери с откидывающимися набор сиденьями вместо дверки. Должно нравиться альфонсам.

У нее неприличный наклон руля и были бы кольца в ушах, если бы она была человеком. У твоей «испаны суизы» радиатор не на месте, она ходит в прицепных манжетах. Она никогда не будет любить тебя. Все это для меня интересней судеб русской эмиграции. Впрочем, у «испаны суизы» есть свой рекорд на большую дистанцию по гористой местности.

## ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЕ

О принципе относительности, и немце с кольцами в ушах.  
Тут же приводится сказка о мышонке, превращенном в девушку.

Разве может быть экзотичным человек, который носит кольца в ушах?

Правда, только на маскарадах.

И брюки щегольские, но слишком широкие для человека, который себя уважает. А на улице — бобровую шапку.

А ты тянешься к нему снизу вверх!

Что делать, Аля, от тебя узнаю я принцип относительности.

Впрочем, вот сказка.

Отшельник превратил мышь, которую он полюбил, — странная любовь, но чего не сделаешь от одиночества и Берлине, — в девушку.

Девушка отшельника не любила. Он ревновал ее.

Она ему говорила: «Так вот какая твоя любовь».

Девушка еще говорила: «Я хочу свободы прежде всего. И лучше уходи».

Отшельник позвонил ей по телефону и сказал; «Сегодня хороший день!»

Девушка сказала: «Я еще не оделась».

Отшельник сказал: «Я подожду. Поедем, я буду сопровождать тебя по магазинам».

Покупала девушка.

Потом вывез ее отшельник за город, в Ванзее.

Солнце еще было в небе.

Хотя магазинов много.

Он сказал: «Хочешь быть женой солнца?»

В то время на солнце набежало облако.

Девушка сказала: «Облако могущественней».

Отшельник был сговорчив, особенно с девушкой.

Он сказал: «Хочешь, облако будет твоим мужем?»

В этот момент ветер отогнал облако.

Девушка сказала: «Ветер могущественней».

Отшельник начал сердиться.

Телефон испортил его нервы.

Он закричал: «Я сосватаю тебе ветер!»

Девушка обиженно отвечала: «Мне не нужен ветер, мне тепло и не дует. Я закрыта от ветра этой горой. Гора могущественней».

Отшельник понял, что женщины в магазинах всегда долго выбирают и девушка думает, что она в магазине. Он ответил терпеливо, как приказчик: «Изволь гору!»

Лицо девушки в это время просияло. Она стала совсем веселая.

Отшельнику показалось даже, что он счастлив.

Она указала ему пальчиком па низ горы и сказала: «Смотри!»

Отшельник ничего не видел.

«Как он красив, как он могуществен, он сильнее горы, вот существо моего быта, как он одет!»

«Кто же?» — спросил отшельник.

«Мышонок, милый отшельник! — сказала девушка. — Он прогрыз гору, посмотри, он уже любит меня».

«Здорово, — сказал отшельник, — этого ты на самом деле полюбишь; ну хорошо, что ты не влюбилась хоть в человека из оперетки».

И он поцеловал девушку-мышь в ее розовые уши и отпустил ее, дав ей мышиный паспорт. С этим паспортом, кстати, прописывают во всех странах.

Не сердись за мышь.

Сердце истыкано медными пуговицами, как куртка мальчика в лифте.

Оно за день тысячу раз подымается и тысячу раз падает.

Оно как мышь, разлинованная мышеловкой.

Люблю тебя — как любит солнце. Как любят ветер. Как любят горы.

Как любят: навек.

ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЕ,

с жалобой на то, что горе слишком коротко. Он требователен не по силам.

Горя ему уже хватит на носовой платок.

Кроме этого, в письме дан вариант известной сказки.

Письмо это не было записано, а невысказанные слова становятся мыслью.

Клянусь тебе... я скоро кончу свой роман.

Женщина, не отвечающая мне!

Ты загнала мою любовь в телефонную трубку.

Мое горе приходит ко мне и сидит со мной за одним столом.

Я разговариваю с ним.

А доктор говорит, что у меня нормальное кровяное давление и моя галлюцинация — только литературное явление.

Горе приходит ко мне. Я говорю с ним и внутренне подсчитываю листы.

Кажется, только три листа.

Какое короткое горе.

Нужно было бы завести другое — в международном масштабе.

А могло бы случиться иначе.

Я не сумел.

Я сумел только, как ты приказала, завести шесть рубашек.

«Три у меня, три в стирке».

Мне нужно было сломиться, и я нашел себе ломающую любовь; кончаю, я это тебе уже писал.

Человек точил нож о камень. Ему не нужен камень, хотя он и наклоняется к нему.

Это из Толстого.

У него длинней написано и лучше.

В моей судьбе все было предопределено.

Но могло быть и иначе.

Я дам вторую развязку роману.

Это будет из Андерсена.

Это то, что могло случиться.

Жил принц.

У него было две драгоценности: роза, выросшая на могиле его матери, и соловей, который пел так сладко, что можно было забыть свою собственную душу.

Он полюбил принцессу из соседнего королевства и послал ей:

1) розу,

2) соловья.

Розу принцесса подарила инструктору скетинг-ринга, а соловей умер у нее на третий день: он не выдержал запаха одеколона и пудры.

Дальше Андерсен рассказывает все неправильно.

Принц не переоделся вовсе свинопасом.

Он занял деньги, купил шелковые носки и туфли с острыми носками.

Один день учился улыбаться, два — молчать и три месяца привыкал к запаху пудры.

Он подарил принцессе:

1) трещотку, под которую можно было танцевать шимми,

2) какую-то игрушку, которая сплетничала, — вероятно, книжку с посвящением.

Принцесса действительно его целовала.

Ночь, в которую принцесса пришла к принцу, была действительно черная, дождливая.

Принцесса постучалась уверенно.

Принц скатился по перилам: ему каждую ночь казалось, что стучат, и кататься по перилам он научился в совершенстве.

Он открыл дверь, и (скажу для кубизма) ветер выбросил в четырехугольник дождь призмой и зонтик шаровым сектором.

Принц сразу узнал зонтик.

Он поклонился ниже своих ног (ведь он стоял на пороге) и сказал:

«Войдите, принцесса, в свой дом».

Она вошла; был дождь.

Она так устала, что шла по лестнице, не закрыв даже зонтика.

Принц посадил ее перед камином, разжег огонь, накрыл на стол и хотел бежать. Он хотел подарить ей:

1) розу,

2) соловья.

Принц был рассеян.

Вот тогда-то и засмеялась жареная рыба.

Жареная рыба смеется в восточных сказках. Подробности я сообщу в своих других книгах.

В европейской литературе, насколько мне известно, она засмеялась первый раз у меня.

Она смеется тогда, когда видит, что кто-то подарил свое сердце вместо трещотки.

В этот раз она смеялась до упаду, хлопала хвостом и брызгала соусом.

«Принц, — сказала она, — зачем ты портишь чужие сказки?»

«Андерсен оклеветал меня, — ответил принц.

Дом мой и мое сердце принадлежат принцессе!

Тот, кого любят, никогда не бывает виновен.

А ты лежи смирно и не брызгайся соусом, потому что принцесса тебя будет сейчас есть».

«Ты съеден сам, о жареный принц», — сказала рыба.

Так сказала она и умерла во второй раз, от скуки: она не любила принцессу.

И вот вторая возможная развязка романа.

Принцесса живет в одном доме с принцем, потому что в городе очень мало свободных квартир.

Принц сделался игрушечным мастером: он чинит граммофоны и делает трещотки, под которые можно танцевать шимми.

Принцесса живет в его доме.

Но живет она с другими.

Оказывается, из одной точки можно опустить на прямую несколько перпендикуляров.

Все это можно понять, или хорошо зная неевклидовскую геометрию, или дойдя до того, когда каламбур так мало смешит человека, как язва в желудке.

Все это — «как».

Все мои письма о том, «как» я люблю тебя.

## ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТОЕ

Алино последнее. В нем Аля пишет о том, как нужно писать любовные письма. Это письмо кончается свирепой фразой: «Брось писать о том, как, как, как ты меня любишь, потому что на третьем «как» я начинаю думать о постороннем». Автор книги искренне желает своим читателям никогда не получать таких писем.

Ты нарушаешь уговор.

Ты пишешь мне по два письма в день. Писем набралось много.

Я наполнила ящик письменного стола, запрудила карманы и сумочку.

Ты говоришь, что знаешь, как сделан Дон-Кихот, но любовного письма ты сделать не можешь.

И ты все злеешь и злеешь.

А когда пишешь любовно, ты захлебываешься в лирике и пускаешь пузыри... (пишу тебе в «Юге» чинно, одиноко, ожидая шницеля).

В литературе я понимаю мало, хотя ты льстец и утверждаешь, что я понимаю не хуже тебя; в письмах же о любви я знаю толк. Недаром же ты говоришь, что, войдя в какое-нибудь учреждение, я сразу знаю, что к чему и кто с кем.

Ты пишешь о себе, а когда обо мне, то упрекаешь.

Любовных писем не пишут для собственного удовольствия, как настоящий любовник не о себе думает в любви.

Ты под разными предлогами пишешь все о том же.

Брось писать о том, как, как, как ты меня любишь, потому что на третьем «как» я начинаю думать о постороннем.

## ПИСЬМО ТРИДЦАТОЕ

и последнее. Оно адресовано во ВЦИК.

В нем опять говорится о двенадцати железных мостах.

Это письмо заключает в себе просьбу о разрешении вернуться в Россию.

Заявление во ВЦИК СССР.

Я не могу жить в Берлине.

Всем бытом, всеми навыками я связан с сегодняшней Россией. Умею работать только для нее.

Неправильно, что я живу в Берлине.

Революция переродила меня, без нее мне нечем дышать. Здесь можно только задыхаться.

Горька, как пыль карбида, берлинская тоска. Не удивляйтесь, что я пишу это письмо после писем к женщине.

Я вовсе не ввязываю в дело любовной истории.

Женщины, к которой я писал, не было никогда. Может быть, была другая, хороший товарищ и друг мой, с которой я не сумел сговориться. Аля — это реализация метафоры.



Я придумал женщину и любовь для книги о непонимании, о чужих людях, о чужой земле. Я хочу в Россию.

Все, что было — прошло, молодость и самоуверенность сняты с меня двенадцатью железными мостами. Я поднимаю руку и сдаюсь.

Впустите в Россию меня и весь мой нехитрый багаж: шесть рубашек (три у меня, три в стирке), желтые сапоги, по ошибке начищенные черной ваксой, и синие старые брюки, на которых я тщетно пытался нагладить складку.

Примечания к текстам некоторых писем

Письмо четвертое

Юлий Айхенвальд (1872—1928), литературовед, литературный и театральный критик, публицист, переводчик, мемуарист, философ. В сентябре 1922 г. после ареста и сидения на Лубянке был выслан за границу вместе со многими учеными и писателями. Погиб в результате несчастного случая, попав под трамвай, 17 декабря 1928 года в Берлине.

Кульбин Николай Иванович (1868—1917), художник, представитель русского авангарда, исследователь рентгеновских лучей, автор ряда научных трудов, учебников, изобретений, обладал универсальным синтезирующим складом мышления.

«Это Горнфельд». Речь идет о некрологе на смерть Хлебникова, принадлежащем, вероятно, перу А.Г. Горнфельда и опубликованном в третьем номере журнала «Литературные записки» за 1922 г.

Письмо пятое

Алексей Михайлович Ремизов (1877—1957), писатель, основатель шуточного тайного литературного общества «Обезьянья Великая и Вольная Палата» («Обезвелволпал»). В 1919 году подвергся кратковременному аресту по делу левых эсеров. С 1921 года в эмиграции.

Михаил Кузмин, поэт серебряного века. Три года Кузмин учился в Петербургской консерватории у И.А. Римского-Корсакова; музыка осталась одним из главных его увлечений.

Письмо десятое

Михаил Леонидович Слонимский (1897—1972), русский советский писатель. Именно у Слонимского начали собираться члены литературной группы «Серапионовы братья» (в некоторых ранних источниках он указывал, что ему принадлежит также и название группы).

Петр Григорьевич Богатырев (1893—1971), филолог и педагог. В 1922 году был командирован в Чехословакию, где прожил до 1939 года, совмещая научную работу с преподаванием в Братиславском университете. Петру Богатыреву принадлежит перевод на русский язык «Похождений бравого солдата Швейка» Ярослава Гашека.

Роман Осипович Якобсон (1896—1982), русский лингвист. В 1920 году был одним из организаторов Пражского лингвистического кружка. Вынужденный эмигрировать в 1939

году, Роман Якобсон в 1941-м переехал в США, преподавал в Гарвардском университете, работал в Массачусетском технологическом институте. Первой значительной работой Якобсона было исследование особенностей языка поэта-футуриста Велимира Хлебникова.

#### Письмо одиннадцатое

«Серрапионовы братья» — литературная группа, существовавшая в Петрограде-Ленинграде в 1920-х годах. История «Серрапионовых братьев» недостаточно изучена, некоторые события известны лишь по мемуарным свидетельствам, кое-что навсегда утрачено. Многие «серрапионы» стали впоследствии классиками советской литературы. Первое заседание «Серрапионовых братьев» состоялось 1 февраля 1921 года. Огромную роль сыграл в истории группы Виктор Шкловский. Его статья «Серрапионовы братья» (1921) оказалась первым упоминанием о «серрапионах» в печати.

#### Письмо тринадцатое

ОПОЯЗ (название которого расшифровывается по одним источникам как общество изучения поэтического языка, а по другим — как общество изучения теории поэтического языка) — полупоформальный научный кружок, созданный около 1916 года группой теоретиков и историков литературы. Манифестом ОПОЯЗа можно считать ранние работы Шкловского «Воскрешение слова» (1914) и «Искусство как прием» (1917), в которых резко критиковался подход к искусству (и литературе, в частности) как к «системе образов» и выдвигался тезис об искусстве как сумме приемов художника («формальный метод в литературоведении»).

#### Письмо четырнадцатое

Иван Альбертович Пуни (1894—1956), русский художник, представитель авангарда первой половины 20 века. Эмигрировал, уйдя вместе с женой по льду Финского залива в Куоккалу. В 1920—1922 годах жил в Берлине, с 1923 го — в Париже.

Ксения Леонидовна Богуславская (1892—1972) — живописец, график, театральный художник, дизайнер, поэтесса. С 1913 года — замужем за И.А. Пуни. Их квартира и мастерская на 6-м этаже дома 1/56 по Гатчинской улице в Санкт-Петербурге, где они жили с 1913 по 1915 год, была своеобразным «салоном», местом встреч художников и поэтов, авангардистов и футуристов.

Карл Эйнштейн (нем. Carl (Karl) Einstein), 1885—1940, немецкий поэт и прозаик, племянник Альберта Эйнштейна. В 1936—1938 гг. участвовал в гражданской войне в Испании на стороне Республики. При невозможности эмигрировать из Франции, оккупированной гитлеровскими войсками, во франкистскую Испанию, куда путь ему был закрыт, покончил с собой на французско-испанской границе (повесился).

Зале (Залит) Карл Фрицевич (1888—1942), скульптор.

О романе и его авторе читайте в нашей [второй](#) публикации — «Ave Шкловский, ave Виктор! Formalituri te salutant!»

Мария О.

Текст романа «ZOO или Письма не о любви» публикуется по изданию: Виктор Шкловский «Жили-Были»—Москва.—1966.—«Советский писатель»

и не предназначен для коммерческого распространения и использования. Оформление публикации максимально приближено к оригиналу книги.

## **И.БАБЕЛЬ. НОВЫЙ БЫТ**

(опубликовано в “Новой жизни”, 1918)

Мы в сыром полутемном сарае. Косаренко нарезывает ножичком картофель. Толстоногая босая девка поднимает запотевшее веснущатое лицо, взваливает на спину мешок с рассадой и выходит. Мы идем вслед за нею.

Полдень - синий в своей ослепительности - звучит тишиной зноя. На сияющих припухлостях белых облаков легко вычерчиваются овалы ласточкиного полета. Цветники и дорожки - жадно поглощенные шепчущейся травой - обведены со строгой остротою.

Проворной рукой девка прячет картофель в развороченной земле. Склонив голову набок, Косаренко ловит тонкими губами усмешку. Мелкие тени летают по сухой коже, наполняя желтоватое лицо неприметной дрожью морщинок, светлый глаз задумчиво сощурился, рассеянно трогая цветы, траву, бревно сбоку...

- Стрелковый Царской фамилии полк от нас неподалеку стоял, - шепчет Косаренко в мою сторону. - Там, кроме князей, никого и не увидишь... Сухих, гвардии полковник был, с царем учился, наш полк ему и дали, как флигель-адъютанта получил - маленько от долгов оправился, не из богатых был...

Косаренко уже успел рассказать мне о великих князьях, об Скоропадском, бывшем его генерале, о сражениях, в которых погибла русская гвардия...

Мы сидим на скамейке, украшенной Амуром, пузатым и улыбчивым. На фронте легкого здания сияет позолота надписи: Лейб-Гвардии Финляндского полка офицерское собрание. Мозаика цветных стекол забита досками, сквозь щели виден светлый зал, стены его покрыты живописью, в углу свалена резная белая мебель.

- Товарищ, - говорит Косаренке толстоногая девка, - делегат насчет грядки говорил, я грядку-то посадила...

Девка уходит. Мясистая спина ее туго обтянута кофтой, крепкие соски упруго ходят под ситцем, оттопыриваясь дрожжащими холмиками. В руках девки - пустой мешок кажет солнцу черные дыры.

Пустошь представляла из себя лагерь Финляндского полка. Теперь земля принадлежит Красной армии. На пустоши решили развести огород, для этого из полка послали десять красноармейцев. О посланных этих мне сказали так:

- Они ленивы, привередливы, наглы и болтливы. Они не умеют, не хотят и не будут работать. Мы отослали их обратно и взяли наемных рабочих.

Полк насчитывает в своей среде тысячу здоровых, бездельных юношей, едящих и болтающих.

Огород этой тысячи обрабатывается двумя заморенными чухонцами, равнодушными, как смерть, и несколькими девушками петербургских окраин.

Им платят по 11 рублей в сутки, они получают фунт хлеба в день, над ними поставлен агроном. Заглядывая в глаза, агроном говорит всем навещающим его:

- Мы все разрушали, теперь стройка началась, хоть с изъями, да стройка, на будущей неделе сорок коров купим...

Сказав про коров - агроном отскакивает, потом медленно приближается и вдруг - бормочет на ухо свистящим злым шепотом:

- Беда. Людей нет. Беда.

Я в поле. Земля треснула от тепла. Надо мной солнце. Подле меня коровы, не красноармейские, настоящие. Я счастлив, брожу точно соглядатай, втыкаю сапоги в рассыпающуюся землю.

Чухонцы, подпрыгивая, ходят за плугом.

Из десяти красноармейцев остался всего один. Он боронит. Борона ездит в неумелых и растерянных руках, лошади бегут, зубья легонько взрывают почву только с поверхности.

Красноармеец - мужик с хитринкой. Вместе с остальными хотели отправить в город и его. Он воспротивился - харчи хороши показались и жизнь привольная.

Теперь он бегаёт за скучающими лошадьми, за кувыркающейся бороной и, вспотевший, но важный, выпучив глаза, кричит мне яростно:

- Сторонись...

А девушки - те обливают грядки, работают неспешно, отдыхают, обняв колени в колодку, и лукавым певучим шепотом перебрасывают друг дружке бесстыдную городскую песню.

- Я на десять фунтов поправилась, - шныряя глазками, говорит одна из них, горбатенькая, с мелким сероватым личиком, - отсюда на Гребецкую в мастерскую не побежишь... Кабы всегда казенная служба в деревне была, я, может, и молоко б тогда для ребенка пустила...

Час шабаша. Солнце высоко. Стены белы. Мухи жужжат лениво. Мы лежим с Косаренкой на примятой траве.

Девки, закинув на плечи лопаты, не спеша идут с огорода. Чухонец, дымя трубкой, распрягает лошадь, поводя водянистыми светлыми глазами. Красноармеец спит на солнцепеке, выбросив вбок обутую в лапоть ногу и приоткрыв перекошенный черный рот.

Тишина. Задумчиво уставившись в землю, Косаренко шепчет небыстрые слова:

- Я двадцать два года в фельдфебелях был, мне уж удивляться нечему: а скажу вам, что не сознаю я себя - сон или настоящее? Был я у них в казарме - занятий нету, дрыхнут, на полу селедки, дрянь, щи разлитые... Долго ли продержимся?

Немигающие глазки устремлены на меня.

- Не знаю, Косаренко, надо б долго...

- Делать-то не с кем. Гляди!

Я гляжу. Чухонец распряг лошадей, присел на пень, бедными движениями поправляет портянки, красноармеец спит, пустынный двор облит белым зноем, длинные ряды конюшен стоят заколоченные.

Далеко от нас, на фронто́не легкого здания, сияет позолота слов: лейб-гвардия... офицерское собрание... Рядом со мной похрапывает Косаренко. Он забыл уж, о чем говорил. Солнце сморило его.

## **И.БАБЕЛЬ. МОЗАИКА**

(опубликовано в "Новой жизни", 1918)

В воскресенье - день праздника и весны - товарищ Шпицберг говорил речь в залах Зимнего дворца.

Он озаглавил ее: "Всепрощающая личность Христа и блевотина анафемы христианства".

Бога товарищ Шпицберг называет - господин Бог, священника - попом, попистом и чаще всего - пузистом (от слова - пузо).

Он именует все религии - лавочка шарлатанов и эксплуататоров, поносит пап римских, епископов, архиепископов, иудейских раввинов и даже тибетского далай-ламу, "эскременты которого одураченная тибетская демократия считает целебным снадобьем".

В отдельном углу зала сидит служитель. Он брит, худ и спокоен. Вокруг него кучка людей - бабы, рабочие, довольные жизнью, бездельные солдаты. Служитель рассказывает о Керенском, о бомбах, рвавшихся под полами, о министрах, прижатых к гладким стенам гулких и сумрачных коридоров, о пухе, выпущенном из подушек Александра II-го и Марии Феодоровны.

Рассказ прервала старушка. Она спросила:

- Где, батюшка, здесь речь говорят?

- Антихрист в Николаевской зале, - равнодушно ответил служитель.

Солдат, стоявший неподалеку, рассмеялся.

- В зале - антихрист, а ты здесь растабарываешь...

- Я не боюсь, - так же равнодушно, как и в первый раз, ответил служитель, - я с ним день и ночь живу.

- Весело живешь, значит...

- Нет, - сказал служитель, подняв на солдата выцветшие глаза, - невесело живу. Скучно с ним.

И старик уныло рассказал улыбающемуся народу, что его черт - куцый и пугливый, ходит в калошах и тайком портит гимназисток.

Старику не дали договорить. Его увели сослуживцы, объявив, что он после октября "маненько тронулся".

Я отошел в раздумьи. Вот здесь - старик видел царя, бунт, кровь, смерть, пух из царских подушек. И пришел к старику антихрист. И только и нашел черт дела на земле, что мечтать о гимназистках, таясь от адмиралтейского подрайона.

Скучные у нас черти.

Проповедь Шпицберга об убиении господина Бога явно не имеет успеха. Слушают вяло, хлопают жидко.

Не то происходило неделю тому назад, после такой же беседы, заключавшей в себе "слова краткие, но антирелигиозные". Четыре человека тогда отличились - церковный староста, щуплый псаломщик, отставной полковник в феске и тучный лавочник из Гостиного. Они подступили к кафедре. За ними двинулась толпа женщин и угрожающе молчавших приказчиков.

Псаломщик начал елейно:

- Надобно, друзья, помолиться.

А кончил шепотком:

- Не все дремлют, друзья. У гробницы отца Иоанна мы дали нынче клятвенное обещание. Организуйтесь, друзья, в своих приходах.

Сошедши, псаломщик добавил, от злобы прикрыв глаза и вздрагивая всем телом:

- До чего все хитро устроено, друзья.

О раввинах, о раввинах-то никто словечка не проронит...

Тогда загремел голос церковного старосты:

- Они убили дух русской армии.

Полковник в феске кричал: "не позволим", лавочник тупо и оглушающе вопил: "жулики", растрепанные, простоволосые женщины жались к тихонько усмехавшимся батюшкам, лектора прогнали с возвышения, двух рабочих красногвардейцев, израненных под Псковом, прижали к стене. Один из них кричал, потрясая кулаком:

- Мы игру-то вашу видим. В Колпине вечерню до двух часов ночи служат. Поп службу новую выдумал, митинг в церкви выдумал... Мы купола-то тряхнем...

- Не тряхнешь, проклятый, - глухим голосом ответила женщина, отступила и перекрестилась.

Во время пассивности в Казанском соборе народ стоит с возжженными свечами. Дыхание людское колеблет желтое, малое горячее пламя. Высокий храм наполнен людьми от края до края. Служба идет необычайно долгая. Духовенство в сверкающих митрах проходит по церкви. За Распятием искусно расположенные электрические огни. Чудится, что Распятый простерт в густой синеве звездного неба.

Священник в проповеди говорит о святом лике, вновь склонившемся набок от невыносимой боли, об оплевании, о задушении, о поругании святыни, совершаемом темными, "не ведающими, что творят". Слова проповеди скорбны, неясны, значительны. "Припадайте к церкви, к последнему оплоту нашему, ибо он не изменит".

У дверей храма молится старушонка. Она ласково говорит мне:

- Хор-то каково поет, службы какие пошли... В прошлое воскресенье митрополит служил... Никогда благолепия такого не было... Рабочие с завода нашего, и те в церковь ходят... Устал народ, измаялся в беспокойствии, а в церкви тишина, пение, отдохнешь...

## **И.БАБЕЛЬ. О ГРУЗИНЕ, КЕРЕНКЕ И ГЕНЕРАЛЬСКОЙ ДОЧКЕ (Нечто современное)**

(опубликовано в "Новой жизни", 1918)

Два печальных грузина навещают ресторацию Пальмира. Один из них стар, другой молод. Молодого зовут Ованес.

Дела плохи. Чай подают жидкий. Молодой смотрит на русских женщин. Любитель. Старик смотрит на музыкальную машину. Старику грустно, но тепло.

Молодой обнюхивает обстоятельства.

Обнюхал. Молодой надевает национальный костюм, кривую шашку и мягкие кавказские сапоги.

Горизонты проясняются. В ресторации Пальмира молодому предлагают изюм и миндаль. Ованес покупает. Знакомая из государственного контроля варит на дому гузинаки.

Товар приносит барыш.

Идут дни и недели. У Ованеса на Моховой лавка восточных сладостей.

У Ованеса лавка на Невском. Услуживающий ему мальчик Петька щеголяет в сияющих новых калошах. Знакомым прислугам Ованес не кланяется, а козыряет. Домовому старосте на именины подносится не что иное, как шоколадный торт. Все уважают Ованеса.

В то же время живет на Кирочной генерал Орлов. Его сосед - отставной фельдшер Бурышкин.

В институте, когда дочь Орлова - Галичка - переходила из третьего класса во второй, императрица поцеловала ее в щеку. Родные и знакомые думали, что Галичка выйдет за инженера путей сообщения. У Галички стройная и тонкая нога, обтянутая замшевым башмачком.

Фельдшер Бурышкин состоит на службе при всех режимах. Бурышкин начеку. Он носит вату в ушах и в то же время смазные сапоги. Придраться нельзя.

Придрались. Бурышкин изгнан. Много свободного времени. Заметил весну. Пишет прошение. Почерк красивый.

Удар среди ясного неба; Галичка переходит на жительство к Ованесу.

Генералу так грустно, что он заводит дружбу с Бурышкиным. Провизии мало. Управа выдала кету. С дочерью не встречается.

Однажды утром, проснувшись, генерал подумал: все тюфяки, большевики - настоящие люди. Подумал и заснул снова, довольный своими мыслями.

Галичка сидит у Ованеса за кассой. Подруги из института служат у нее в лавке продавщицами. Очень весело. От публики нет отбоя. Магазин совсем как у Абрикосова. Публику все презирают. Подруг зовут Лида и Шурик. Шурик очень веселая, наставляет рога подпоручику. Галичка затеяла ежедневные горячие завтраки. В министерстве продовольствия, где она служила раньше, служащие всегда устраивали горячие завтраки на кооперативных началах.

Генерал задумывается чаще.

Генерал примиряется с дочерью. Генерал каждый день ест шоколад. Галичка нежна и хороша необыкновенно. Ованес завел себе николаевскую шинель. Генерал удивляется тому, что никогда не интересовался грузинами. Генерал изучает историю Грузии и кавказские походы. Бурышкин забыт.

Городская управа выдала кету. Пенсию заплатили керенками.

Весна. Галичка с отцом проезжают по Невскому в экипаже. Бурышкин бродит в рассуждении - чего бы поесть. Хлеба нет. Старику обидно.

Бурышкин решает купить гузнаки для умерщвления аппетита.

Лавка Ованеса полна народа. Фельдшер стоит в хвосте. Лида и Шурик

презирают его. Генерал рассказывает Ованесу анекдоты и хохочет. Грузин снисходительно улыбается. Бурышкин в ничтожестве.

Ованес не хочет дать фельдшеру сдачи с керенки. А у Ованеса есть мелочь.

- Декрет насчет сдачи читали? - спрашивает Бурышкин.
- Наплевал я на декреты, - отвечает грузин.
- Нет у меня мелочи, - шепчет Бурышкин.
- Коли нету - отдавай гузинаки.
- А в Красную Армию не хочешь.
- Наплевал я на Красную Армию.
- Ага!

Бурышкин в штабе. Бурышкин рассказывает. Комиссар отряжает 50 человек. Отряд в лавке. Шурик в обмороке. Побледневший генерал трясущейся рукой с достоинством водружает пенсне.

Обыск у Ованеса. Найдены: мука, крупа, сахар, золото в слитках, шведские кроны, сухие яйца "Эгго", подошвенная кожа, рисовый крахмал, старинные монеты, игральные карты и парфюмерия "Модерн". Все кончено.

Ованес сидит. По ночам ему снится, что ничего не случилось, что он находится в ресторации Пальмира и смотрит на женщин.

Бурышкин исполнен энергии. Он - свидетель.

Аборт у Галички прошел благополучно. Она слаба и нежна. Муж Шурика поступил инструктором в Красную Армию, участвовал в каких-то боях на внутреннем фронте, получает фунт хлеба в день, очень весел. Вернулся с нехорошей болезнью. Шурик лечится у дорогого врача и капризничает. Подпоручик говорит, что теперь все больны.

Генерал сводит знакомство с провизором Лейбзоном. Генерал ослаб, исхудал. Ему начинает нравиться еврейская предприимчивость.

Не оправившуюся от болезни Галичку навещает Лида. Она подурнела, служит секретаршей в Смольном, на нее очень действует весна. Она говорит, что женщине трудно устроиться теперь. Железные дороги не действуют, нельзя поехать в деревню.

## **В. ВЕРЕСАЕВ. В ТУПИКЕ<sup>119</sup>**

И ангелы в толпе презренной этой  
Замешаны. В великой той борьбе,  
Какую вел господь со князем скверны,

---

<sup>119</sup>Впервые отрывки из романа опубликованы в "Южном альманахе", Симферополь, 1922, кн. 1; в журналах: "Красная новь", 1922, № 4, 5; "Петроград", 1923, № 1; "На вахте", Грозный, 1924, № 6; в сб. "Революционная проза", № 1, Киев, 1924. Полностью - в кн.: "Недра". Литературно-художественные сборники. М., 1923, кн. 1 и 2; 1924, кн. 3. Написано в 1920 - 1923 годах.



Они остались - сами по себе.  
На бога не восстали, но и верны  
Ему не пребывали. Небо их  
Отринуло, и ад не принял серный,  
Не видя чести для себя в таких.  
Данте. "Ад", III. 37 - 42.

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Жил старик со своею старухой  
У самого синего моря...

В бурю белогривые волны подкатывались почти под самую террасу белого домика с черепичною крышею и зелеными ставнями. В домике жил на покое, с женой и дочерью, старый врач-земец Иван Ильич Сартанов, постоянный участник

пироговских съездов. Врачам русским хорошо была знакома его высокая, худая фигура в косоворотке под пиджаком, с седыми волосами до плеч и некурчавящеюся бородою, как он бочком пробирался на съезде к кафедре, читал статистику смертных казней и в заключение вносил проект резкой резолюции, как с места вскакивал полицейский пристав и закрывал собрание, не дав ему дочитать до конца. Во время войны он стал было подводить на съезде статистику убитых и раненых на фронте, обронил слово "бойня" и очутился в Бутырках. Год назад, уже при Советской власти, он выступил в обществе врачей своей губернии с безоглядною, как всегда, речью против большевистских расстрелов. Чрезвычайка его арестовала и отправила в Москву с двумя спекулянтами и черносотенцем-генералом. По дороге Иван Ильич вспомнил молодость, как два раза бегал из сибирской ссылки, ночью на тихом ходу соскочил с поезда и скрылся. Друзья добыли ему фальшивый паспорт, и он, с большими приключениями, перебрался в Крым.

Бешено дул февральский норд-ост, потому Иван Ильич рубил дрова в сарае. Суетливо заглянула в сарай Анна Ивановна, с корзинкой в руке.

- Иван Ильич, я иду в потребилку, а Катя стирает белье. Брось рубить, пойди, заправь борщ. Возьми на полке ложку муки, размешай в полстакане воды, - холодной только, не горячей! - потом влей в борщ, дай раз вскипеть и поставь в духовку. Понял? Через полчаса будем обедать, как только ворочусь.

Она беспокойно заглянула в истомленное его лицо и поспешно пошла к калитке.

Иван Ильич направился в кухню, долго копался на полке в мешочках, размешал муку и поставил борщ на плиту. Вошла Катя с большим тазом выполосканного в море белья. Засученные по локоть тонкие девческие руки были красны от холода, глаза упоенно блестели.

- Смотри, папа, как белье выстирала.

Иван Ильич со страхом глядел на закипавшую кастрюлю.

- Да, да! Очень хорошо... Погоди, как бы не убежало!..

- Да не убежит. Посмотри! - Она развернула перед ним простыню. - Как снег под солнцем! Подумать можно, жавелевой водой стираю! Ну, теперь могу сказать, умею стирать. Скажи же, - правда, хорошо?

- Ну, хорошо, конечно!

- Я нашла секрет, как стирать. И как мало мыла берет!

- Охота класть на это столько сил. Побелее, посерее, - не все равно!

- Ну, уж нет! Делать, так по-настоящему делать... Как снег у нас на горах! Ах, как интересно!.. Ну-у, как ты мало восхищаешься!

- Погоди! Закипело!

Он озабоченно снял кастрюлю с плиты и поставил в духовку. Катя с одушевлением говорила:

- Я тебе объясню, в чем дело. Совсем не нужно сразу стирать. Сначала нужно положить белье в холодную воду, чтоб вся засохшая грязь отмокла. Потом отжать, промылить хорошенько, налить водой и поставить кипеть...

- Ну, матушка, я этого не пойму... Нужно идти дрова рубить.

- И все, больше ничего! Немножко только протереть... Ужасно интересно! Пойду вешать.

Иван Ильич побрел в сарай, опять взялся за дрова. Движенья его были неуверенные, размах руки слабый. Расколел полено-другое, - и в изнеможении опустит топор, и тяжело дышит, полуоткрыв беззубый рот.

Донесся крик Кати:

- Папа, обедать! Мама пришла.

Иван Ильич взвалил на плечи вязанку дров и с бодрым видом вошел в кухню. Анна Ивановна сидела на табуретке с бессильно свисшими плечами, но при входе Ивана Ильича выпрямилась. Он свалил дрова в угол.

- Ну, что, достала керосину?

- Нету в потребилке. Даром только прошлась. И муки нету.

Катя поставила на стол борщ. Анна Ивановна подняла крышку, заглянула в кастрюлю и обомлела.

- Чего ты туда насыпал?

Иван Ильич обеспокоенно ответил:

- Как чего? Муки, как ты сказала.

- Ах, ты, боже мой! Так и есть!.. - Она зачерпнула борщ разливательной ложкой и раздраженно опустила ее назад. - Ты туда картофельной муки всыпал, получился кисель... Как ребенок малый, ничего нельзя ему доверить.

- Да что ты? Неужто картофельной? - Иван Ильич сконфузился.

- Как же ты не видел, что картофельная мука?

- Я вижу, белая мука, а какая, - кто ее знает! Ну, ничего! Ведь все питательные вещества остались. Дай-ка, попробую. Ну, вот. Очень даже вкусно.

Анна Ивановна, чтоб овладеть собою, стала раскладывать на плите дрова для просушки. Катя жадно ела и, откусывая хлеб, говорила:

- Хлеб-то зато какой вкусный! Настоящий пшеничный, и ешь, сколько хочешь. А помните, в Пожарске какой выдавали: по полфунта в день, с соломой, наполовину из конопляных жмыхов!

Поели постного борща и мерзлой, противно-сладкой вареной картошки без масла, потом стали пить чай, - отвар головок шиповника; пили без сахара. После несытной еды и тяжелой работы хотелось сладкого. Каждый старался показать, что пьет с удовольствием, но в теле было глухое раздражение и тоска.

Анна Ивановна обеспокоенно сказала:

- А Глухарь Тимофей опять не пришел крышу чинить. Третий раз обманывает, что же это будет, как дожди пойдут!..

Катя вдруг рассмеялась.

- Господа, помните прежние времена, как, бывало, все ужасались на жизнь студентов? Бедные студенты! Питаются только чаем и колбасой! Представьте себе ясно: настоящий китайский чай, сахар, как снег под морозным солнцем, французская булка румяная, розовые ломтики колбасы с белым шпиком... Бедные, бедные студенты!

Все рассмеялись. Уж очень, правда, смешно было вспомнить и сравнить. Стало весело, и раздражение ослабело. Катя, смакуя, продолжала:

- Или, помните, калоши студенческие? Тусклые потрескавшиеся, с маленькой только дырочкой на одной пятке! Вы подумайте: калоши! Домой не приносишь лепешек грязи, чулки сухие и только чуть мокро в одной пятке!.. Правда, бедные студенты?

Наружная дверь без стука открылась, вошла в кухню миловидная девушка в теплом платке, с нежным румянцем, чудесными, чистыми глазами и большим хищным ртом.

- Добрый день!

- А, Уляша!.. Садитесь, попейте чайку.

Девушка поставила на стол две бутылки молока, покраснела и села на табуретку. Иван Ильич, расхаживая по кухоньке, спросил:

- Ну, что хорошенького слышали про большевиков? Где они сейчас?

- Вы, чай, лучше знаете.

- Откуда же нам знать?

- Вчера почта из города проезжала, ямщик сказывал, - в Джанкое.

Иван Ильич захохотал.

- Ого! Быстро они у вас шагают!.. Что же, ждут их на деревне?

Уляша промолчала и с неопределенною улыбкою взглянула в угол.

- Большевиков-то у вас, должно быть, не мало.

- Кто ж их знает... - Она застенчиво улыбнулась и вдруг: - Да все большевики!

- Вот как?

- И папаша большевик, и все наши большевики.

- И вы тоже?

- Ну, да.

- А что такое большевизм?

- Сами знаете.

- Нет, не знаю. Каждый по-своему говорит.

- Представляетесь.

- Ну, все-таки, - что же такое большевизм?

Уляша помолчала.

- Дачи грабить.

- Что?!

- Дачи ваши грабить.

Иван Ильич громко захохотал на всю кухню.

- Точно и верно определила. Молодец Уляша!

Катя сказала:

- Вот, Уляша, вы говорите, что и вы большевичка. Что же, и вы пойдете, например, нас грабить?

- Все пойдут. Уж теперь сговариваются. Отказываться никому не позволят. А нам что ж свое терять?

- Почему же именно дачников грабить?

- Они богатые.

- А мужики у вас в деревне не богатые? Вон, Албантов осенью одного вина продал на сто двадцать тысяч. Сами же вы говорили, что у каждого мужика спрятано керенок на двадцать - тридцать тысяч. И все у них есть, всякая скотина. Где же нам, дачникам, до них?

- Нет, мужики не считаются богатыми.

- Да почему же? Вон, у вашего отца - две лошади, две коровы, гуси, свинья, десятка два барашков... Да вы бы дня, например, не стали есть так,

как мы едим. Теперь только мужики у нас и богаты.

- Мы работаем. А дачники все лето на берегу лежат голые, да цветы по горам собирают.

Катя возмутилась. Она стала говорить об интеллигентном труде, о тяжести его. Потом стала объяснять, что большевики хотят лишить людей возможности эксплуатировать друг друга, для этого сделать достоянием трудящихся землю и орудия производства, а не то, чтоб одни грабили других.

Возмутился Иван Ильич и напал на Катю.

- Это ты о социализме говоришь, а не о большевизме. Зачем ты тогда уехала из Совдепии?.. Нет, Уляша, большевизм именно в том, как вы говорите: грабь, хватай, что увидишь, не упускай своего! Брось работать и бездельничай. И только о себе самом думай.

Уляша выпила чай, сказала "спасибо" и встала.

- Папаша велел сказать, что с завтрашнего дня молоко по три рубля кварта.

Анна Ивановна всплеснула руками.

- Да что ты, Уляша, говоришь! Было полтора и вдруг три рубля, вдвое дороже!

- И потом больше не велел вам носить, сами ходите. Много, говорит, время уходит.

Иван Ильич решительно сказал:

- Ну, нечего тогда разговаривать. Столько платить не можем. Не надо. Пейте сами.

Глаза Уляши стали серьезными, она значительно ответила:

- Мы сейчас молока не пьем: великий пост.

Иван Ильич захохотал.

- Молоко пить нельзя, а людей грабить можно! Нет, Уляша, вы просто прелесть!

- В город будем возить сметану, творог.

- Ну, и возите себе.

Уляша застенчиво улыбнулась, покраснела и сказала:

- До свиданья вам!

- До свиданья.

Катя протянула печально:

- Значит, и без молока!

Иван Ильич сердито накинулся на нее:

- Я не понимаю, с чего ты вдруг вздумала защищать пред нею большевизм. Удивительно своевременно!

- Пусть же она знает, что такое большевизм в идее.

- "В идее!.." Чрезвычайки, расстрелы, разжигание самых хамских инстинктов - и идея!

Они стали спорить, сердясь и раздражаясь. Иван Ильич махнул рукою и ушел в спальню.

Лег на постель и стал читать газету. В обычном старом стиле сообщалось о доблестных добровольческих частях, что они, "исполняя заранее намеченный план", отступили на восемьдесят верст назад; приводилось интервью с главноначальствующим Крыма, что Крыму большевистская опасность безусловно не

грозит; сообщалось, что Троцкий убит возмущившимися войсками, что по всей России идут крестьянские восстания, что в Кремле всегда стоит наготове аэроплан для бегства Ленина. Ничему этому не верилось, но все-таки приятно было читать.

Из деревни за Иваном Ильичом приехал на линейке красавец-болгарин: жена его только что родила к истекает кровью. Иван Ильич поехал. У роженицы задержался послед. Иван Ильич остановил кровотечение, провозился часа полтора. На прощание болгарин, стыдливо улыбаясь, протянул Ивану Ильичу бумажку и сказал:

- Вот примите малость!

Домой Иван Ильич воротился в сумерках. Катя спросила:

- Сколько тебе заплатили?

Он усмехнулся.

- Вот какая хозяйственная стала! Все сейчас же о деньге!

- Нет, серьезно, - сколько?

Иван Ильич неохотно ответил:

- Три рубля.

Катя ахнула.

- А фунт хлеба стоит семьдесят пять копеек! Значит, четыре фунта хлеба, гривенник на прежние деньги! Да как же ему не совестно! Ведь это Албантовы, первые богачи в деревне, они осенью одного вина продали на сто двадцать тысяч. Как же ты его не пристыдил, что так врачу не платят?

Иван Ильич решительно и серьезно ответил:

- Этим не торгуют и об этом не торгуются. Оставим.

- Да, выгодно для них! Сами за бутылку молока полтора рубля берут, а доктору платят трешницу. Вот где настоящие эксплуататоры!

- Марфа, Марфа! О многом печешься! - вздохнул Иван Ильич и пошел к себе.

Начиналась самая трудная пора дня. Керосину не было, и освещались деревянным маслом: в чайном стакане с маслом плавал пробочный поплавок с фитильком. Получался свет, как от лампадки. Нельзя было ни читать, ни работать. Анна Ивановна вязала у стола, сдвинув брови и подняв на лоб очки. Когда-то она была революционеркой, но давно уже стала обыкновенной старушкой; остались от прежнего большие круглые очки, и то еще, что она не верила в бога. Иван Ильич медленно расхаживал по узкой спальне, кипит от вынужденного бездействия. В железной печке полыхали дровешки, от нее шел душный жар. По крыше шумел злобный норд-ост, море в бешенстве бросало на берег грохочущие волны. Катя убралась с посудой и ушла в бывшую комнату для

прислуги за кухней, где она теперь жила зиму. Там, не жалея глаз, она села с книгой к своей коптилке.

Вечером пили в кухне чай. Снаружи в кухонную дверь постучались. Иван Ильич отпер.

- А-а, профессор!

Вошел профессор с женой, - знаменитый академик Дмитриевский, плотный и высокий, с огромной головой. Его работы по физике были широко известны за границу. Несколько лет назад он открыл способ опреснения морской воды силой

солнечной энергии и работал над удешевлением этого способа. Но все сложные аппараты остались в России, а он второй год проживал на своей крымской даче, паял мужикам посуду и готовил для потребиловки жестяные коптилки. Кроме того, впрочем, два раза в неделю ездил в город и читал в народном университете лекции по физике. Среди рабочих они пользовались большой популярностью.

Сочным, жизнерадостным голосом, наполнившим всю кухню, профессор сказал:

- Ну, погодка! Еле дошли до вас. Ветер еще сильнее стал, с ног сшибает. Мокреть какая-то падает и сейчас же замерзает... Gruss aus Russland!\*

---

\* Привет из России! (нем.)

Он счищал ледяшки с седой бороды и усов. Профессорша скорбно вздохнула.

- Да, Gruss aus Russland! Так и представляется: холод, все жмутся в дымных, закопченных комнатах, грызут хлеб с соломой и ждут обысков.

Катя сняла со стола самовар и поставила на пол к печке.

- Садитесь, сейчас самовар подогрею.

- Не надо, мы уж пили.

- Все равно, мне нужен кипяток, отрубил заварить для поросенка.

Профессорша села на табуретку возле плиты.

- А у меня горе какое, Анна Ивановна! Весь день сегодня плакала...

Представьте себе, любимое мое кольцо с бриллиантом, свадебный подарок мужа, - пропало сегодня.

- Что вы говорите, Наталья Сергеевна? Ведь вы же его никогда с пальца не снимали!

- Да... Так странно! - Наталья Сергеевна машинально оглянулась и понизила голос. - Вы знаете княгиню Андожскую?

- Это, что у Бубликова живет, красавица такая?

- Да. Ее мужа, морского офицера, во время революции матросы сожгли в топке парового котла, все их имения конфискованы. Живет она с маленькой дочкой и старухой матерью у Бубликова, все, что было, распродала, он ее гонит из комнаты, что не платит. Ужасно несчастная. Так вот пришла она сегодня утром к нам, я тесто месила. Увидела кольцо и пришла в восторг. "Как, - говорит, - можно с ним тесто месить! Ведь пачкается кольцо, портится!" - "Боюсь, - говорю, - потерять, очень дорого мне это кольцо". Ну, все-таки убедила меня, сняла я и положила на туалет. Через четверть часа она ушла, а после обеда хватилась я кольца - нету. Весь туалет обыскали, все отодвигали, - нету. Когда княгиня была, муж в столовой мыл пол, он видел, что княгиня подошла к туалету и странно как-то стояла... Только вы, пожалуйста, никому этого не говорите! - испугалась Наталья Сергеевна.

- Может быть, кто другой взял?

- Никого решительно не было больше. Я ей написала письмо, завтра утром пошлю. Уж не знаю... Пишу: вы для шутки взяли мое кольцо, чтоб напугать меня, зная, как оно мне дорого. Пошутили, и будет. Будьте добры прислать назад.

Катя взволнованно воскликнула:

- Да нет, это не может быть! Такая изящная на вид, отпечаток такой глубокой аристократической культуры!

- Тяжелое происшествие! - поморщился профессор.

- Господи, как мы все зачерствели! Ясно, погибает с голоду человек!

Наталья Сергеевна сочувственно вздохнула и, занятая своими заботами, продолжала:

- А вы слышали, у Агаповых вчера ночью выбили стекла. У священника на днях кухню подожгли. Чуют мужики, что большевики близко... Господи, что же это будет! Так я боюсь, так боюсь! Двое мы на даче с мужем, одни, он - старик. Делай с нами, что хочешь.

Катя нетерпеливо закусила губу и стала подкладывать в самовар угля. Она

не выносила этого ноющего, тревожного тона профессорши, с вечными страхами за будущее, с нежеланием скрывать от других свои горести и опасения. Разве теперь можно так?

Профессор обратился к Ивану Ильичу:

- Заметили вы, как деревня опустела? Вся молодежь ушла в горы. Это - ответ деревни на мобилизацию краевого правительства. Ни один не явился. Говорят, пришлют чеченцев из дикой дивизии для экзекуции, решено прибегнуть к самым суровым мерам.

Иван Ильич захохотал.

- Это - добровольческая армия!

- Да-а... Дело с каждым днем усложняется. Говорят, на днях в деревне были большевистские агитаторы, собрали сход и объявили, чтобы никто не являлся на призыв, что красные войска уже подходят к Перекопу и через две недели будут здесь. А в городе я вчера слышал, когда на лекцию ездил: парходные команды в Феодосии бастуют, требуют власти советам; в Севастополе

портовые рабочие отказались разгружать грузы, предназначенные для добровольческой армии, и вынесли резолюцию, что нужно не ждать прихода большевиков, а самим начать борьбу. Агитаторы так везде и кишат.

Анна Ивановна взволнованно сказала:

- Ведь ждали, в Феодосии должен был высадиться греческий десант!

- Да, но высадился он в Константинополе. Там революция, правительство бежало.

- Господи, что это творится в мире! - с отчаянием сказала Наталья Сергеевна. - Неужели союзники бросят нас на произвол! Говорят, французы оставили Одессу... Я все об одном думаю: придут большевики в Крым, - что тогда будет с Митей?

Иван Ильич расхаживал по кухонке. Он угрюмо сказал:

- Охота ему была идти в добровольцы!

- Так ведь вы же знаете его: человек совершенно аполитический. Ему бы только сидеть в кабинете со своими греческими книгами, на уме у него только элевсинские мистерии, кабиры какие-то. Объявили призыв, - что же мне, говорит, - скрываться, жить нелегально? Я на это неспособен.

У Кати стало неестественное лицо, когда Наталья Сергеевна заговорила о сыне. Она равнодушно спросила:

- Давно он вам не писал?

- Давно. И все в боях. Так за него сердце болит!

Сильный стук раздался в кухню. Блеснули золотые погоны, молодой голос оживленно сказал:

- Мир вам! Здравствуйте! Папа и мама не у вас?

- Митя!!

Все вскочили и бросились навстречу.

Бритый, с тонким и обветренным лицом, с улыбающимися про себя губами, Дмитрий сидел за столом, жадно ел и пил, и рассказывал, с жадною радостью оглядывая всех.

Их полк отвели на отдых в Джанкой, он обогнал свой эшелон и приехал, завтра обязательно нужно ехать назад. Он останавливал взгляд на Кате и быстро отводил его. Наталья Сергеевна сидела рядом и с ненасытною любовью смотрела на него.

- Ну, что у вас там, как? Рассказывай.

- А вы знаете, оказывается, у вас тут в тылу работают "товарищи".

Сейчас, когда я к вам ехал, погоня была. Контрразведка накрыла шайку в одной

даче на Кадыкое. Съезд какой-то подпольный. И двое совсем мимо меня пробежали через дорогу в горы. Я вовремя не догадался. Только когда наших увидел из-за поворота, понял. Все-таки пару пуль послал им вдогонку, одного товарища, кажется, задел - дольше побежал, припадая на ногу.

Катя приглядывалась к Дмитрию. Что-то в кем появилось новое: он загрубел, движения стали резче и развязнее, и он так просто рассказывал о своем участии в этой охоте на людей.

Иван Ильич засмеялся.

- Ого, какой вояка стал!

Профессор поспешно спросил:

- Как дела у вас в армии?

- Знаешь, папа, смешно, но это так: мы там меньше знаем, чем вы здесь.

- Нет, я не про то. Какое в армии политическое настроение? За что вы, собственно, сражаетесь?

Дмитрий неохотно ответил:

- Розно. Есть части, совершенно черносотенные, только о том и мечтают, чтобы воротить старое - например, сводно-гвардейский полк, высший командный состав. Но офицерская молодежь, особенно некадровая, почти сплошь за учредительное собрание.

Иван Ильич захохотал своим раскатистым смехом.

- И вы верите, что вас не проведут на мякине, как наивных воробушков?

Дмитрий слабо и виновато улыбнулся. Катя размешивала деревянной ложкой заваренные кипятком отруби. Он спросил:

- Что это вы, Катя, мастерите?

- Месиво для поросенка. Сейчас пойду кормить. - Она надела пальто, повязалась платком. - Хотите посмотреть поросенка моего?

- Пойдемте! Давайте, я миску понесу... Мама, мы сейчас.

- Только оденься, холодно.

Ветер шумно пронесся сквозь дикие оливы вдоль проволочной ограды и бешено бил в стену дачи. Над морем поднимался печальный, ущербный месяц. Земля была в ледяной коре, и из блестящей этой коры торчали темные былки прошлогодней травы.

Катя с Дмитрием зашли по ту сторону дачи. Под лестницу на мезонин был чуланчик, из него несло взволнованное хрюканье и повизгивание.

- Давайте миску. - Катя отперла дверь и исчезла с мискою в темноте чулана. Послышался ее смеющийся голос: - Погоди, дурачок!.. Ах, ты, господи! Миску опрокинешь!.. Пошел прочь! Ну, ешь!

Она вышла из чулана. Дмитрий протянул ей обе руки.

- Ну, Катя, здравствуйте!

И крепко пожимал ей руки, и смотрел в похорошевшее лицо.

- Рассказывайте, Катя, как вы тут живете.

- Как живу. Я всегда хорошо живу. Может, надоест, а сейчас очень интересно все. Вот поросенок этот, - сколько нового, неожиданного, я и не думала, что свиньи такие умные. Наседка уж сидит на яйцах. В стирке я нашла новый способ. И еще очень интересно в кухне готовить. Вы знаете, - если слушать, у всех вещей свои голоса. Каждая кастрюля на плите, каждая сковорода имеет свой звук. Я, не глядя, слышу, когда закипает молоко, когда каша густеет. Очень интересно в этом шипенье и клокотанье ловить чуть слышные живые голоса. И новые кушанья выдумывать. Не видишь времени.

Дни,



как стрелки: проносятся - жжик, и падают.

Дмитрий смотрел на нее говорящими глазами и улыбался.

- Смотрю я на вас, и мне вспоминается Паскаль. Он говорит, что мысль наша всегда обращена к прошедшему и будущему, а о настоящем мы никогда не думаем, и поэтому никогда не живем, - только все надеемся жить... А вот вы это умеете, - из всего извлекать настоящее. Как это редко!

- Ну, Дмитрий, это все пустяки. Расскажите про себя. Правду. Что у вас?

- Что у нас... Катя, так скверно, так скверно, что хуже и нельзя! Нигде никаких решительно корней, народ относится к нам враждебно, весь пропитан большевистской злобой, совершенно одичал, звериные стали глаза и звериные алчные лапы, - только рвать, забирать себе все, что увидят. И сам тоже звереешь. Кругом кровь, грязь без конца. И в каком-то далеком прошлом представляется, - лампа с зеленым абажуром, Эсхил, Гераклит, несравненный мой Эрвин Роде, Виламовиц. И кажется, - никогда уже, никогда это никому не будет нужно. Происходит новое нашествие варваров. Ведь, по существу, это война против культуры, против всех высших духовных ценностей. Вместо науки - публицистика "Правды", вместо поэзии - Демьян Бедный, вместо живописи - толстопузые попы и звероподобные генералы на плакатах.

- Дмитрий, нельзя так. Это же временное.

- Временное? А культура гибнет, кругом всё разрушают, жгут, разваливают. Что мне до того, что в свое время пришло Возрождение? А Венера-то Милосская - без рук, фидиевы скульптуры безголовые, от Архилоха, Сафо, Гераклита остались одни клочья. А главное, и в народ я теперь потерял всякую веру. Теперь он открыл свой подлинный лик, - тупой, алчный, жестокий. Какой беспросветный душевный цинизм, какая безустойность! В самое дорогое, в самое для него заветное наплевали в лицо, - в бога его! А он заломил козырек, посвистывает и лушит семечки. Что теперь когда-нибудь скажут его душе Рублев, Васнецов, Нестеров?

Растрепанные тучи мчались по небу, бесшумные и стремительные. Ветер, как взбесившаяся хищная птица, налетал из-за угла, толкал обоих в спину и начинал яростно трепать оледенелые ветки акаций и тополей.

- Холодно вам, Дмитрий? А правда, не хочется уходить?

- Ничего, пусть холодно.

- Вот что. Пойдем на террасу. Она на юг, там тихо.

Стульев не было на террасе, был только большой садовый стол. На столе кучами лежала мерзлая земля, черепки разбитых садовых горшков, путаная мочала. Шум ветра был меньше слышен, но зато море грохотало. Под студено-зеленоватым лунным светом белые водяные горы вырастали, казалось, перед самой террасой и вдруг проваливались куда-то.

- Дмитрий, зачем вы все-таки идете вместе с ними? Неужели вы не чувствуете, за что борются ваши?

Дмитрий озлобленно ответил:

- За что бы ни боролись! С кем угодно, только против этих мерзавцев!..

Ох, Катя, вы их тут не знаете, в своем далеке. Если бы увидели своими глазами, - прокляли бы жизнь, прокляли бы все на свете... - Он взволнованно замолчал. - Я никому не хотел рассказывать, - ну, вам расскажу. Только не говорите никому. Я тут привез Агаповым кой-какие вещички их убитого сына Марка. Он убит, да. Но как... Под Татаркой был у нас бой. Впереди матросы шли на нас, в кожаных куртках, - сомкнутой колонной, по германскому образцу. Нужно отдать справедливость, - как львы, шли под пулеметным огнем. К вечеру разбили нас и погнали. Ротный наш командир упал с простреленной ногою, махнул нам рукой и устроил себе смерть под музыку.

- Это что такое?

- Ручную гранату под голову, дернуть капсулю и трах!.. Это у нас называется смерть под музыку. Чтоб живым не попасться в их руки... Рассеялись мы во все стороны. Едет в тачанке мужчина мещанистого вида. Револьвер ему ко лбу, снял с него пиджак, брюки, переделся и побежал балкою.

Катя вздрогнула.

- Вот вы еще чем можете возмущаться! - улыбнулся Дмитрий. - Вижу, тащится Марк, на руке несет другую свою руку, раздробленную в локте. Повел его. Уж ночь. Вдали лай собак, огни. Осторожно подходим, вдруг: "Стой! Кто идет?" Взяли нас, повели. Железнодорожный полустанок, весь зал набит матросами. Огромный, толстый матрос, - я бы под мышку подошел ему, - подходит ко мне: "Кто такой?" - Мещанин, говорю, мелитопольский. Вижу, раненый человек, повел его, не знаю, кто таков. - "А-а, - говорит, - ваше благородие!" Развернулся и кулаком Марка в ухо.

- Раненого?

- Раненого. Пошел он летать под кулаками и пинками по всему залу. Перебитая рука мотается, вопль, - понимаете, животный вопль зверя, которого забивают насмерть...

Катя глухо застонала.

- Не надо!

Дмитрий беспощадно продолжал:

- Скоро замолк, а тело все летает из конца в конец. Тяжелыми сапогами с размаху в лицо, хохот, грубые шуточки... Толстый ко мне: "Ну-ка, товарищ, пойдти сюда!" Руку мне за пазуху. Нащупал во внутреннем кармане жилетки бумажник, вытаскивает. А там удостоверение мое, - поручик Дмитревский. Развернулся наотмашь, и дальше я ничего не помню... Очнулся в комнатке кассира, в окошечко билетной кассы из зала свет. Лежит рядом Марк с раздутым, черным лицом, со стеклянными глазами, уж не дышит. Ощупываю себя.

Тело ноет, но кости целы. Вдали выстрелы, все ближе. Пулемет затрещал, звенят разбитые стекла. Суматоха, матросы попадали на пол. - "Это недоразумение! Свои!" Комиссар к телефону. Вдруг - "ура!" Нет, не "свои"... Граната ручная в залу, матросы поскакали в окна, выстрелы, лампа упала и потухла. Открывается дверь, входят двое в нашу комнатку, один нажал кнопку электрического фонарика карманного, свет упал на его рукав, - череп с перекрещенными мечами. Марковцы!.. Я хотел крикнуть, и только мог застонать. Они назад. - "Господа! Тут еще товарищи!" Я собрал все силы, крикнул: "свои! свои!" И опять потерял сознание.

Он замолчал. Катя вздрагивала короткими толчками всего тела.

Ветер завыл и с шумом пронесся поверху. Чудовищные волны лезли на берег, шипели пеною, разбивались с гулким, металлическим звоном и, задохнувшись, ползли назад.

- И вот теперь, Катя, подумайте...

- Не надо говорить... - Катя блуждала вокруг глазами. - Что это за звон кругом? Такой нежный-нежный?

Дмитрий с недоумением смотрел на нее.

- Я не слышу. Море гудит.

Катя настойчиво сказала.

- Нет, другой какой-то звон. Стекланный, особенный.

- А ведь правда.

- Ах, вот что! Это ветки оледенелые звенят... Как странно!

Они подошли к перилам. Ледяшки, облепившие ветки акаций, стучались под ветром друг о друга, и мелодический, тихий, хрустальный звон стоял в воздухе, независимый от медного рева моря.

- Пойдем, - сказала Катя.

Они пошли. За домом рев моря стал глуше, и яснее раздавался по всему саду таинственный, нежный хрустальный звон.

Катя остановилась.

- Дмитрий! - Она, задыхаясь, смотрела на него. - Митя! Милый мой! Так вот что тебе приходится там...

Она вдруг охватила его шею руками и крепко поцеловала.

- Катя!

Девушка припала к его плечу, он заглядывал в ее румяное от холода, небывало-прекрасное лицо и целовал в губы, в глаза.

Катя, спеша, развешивала по веревкам между деревьями сверкающее белизною рваное белье. С запада дул теплый, сухой ветер; земля, голые ветки кустов, деревьев, все было мокро, черно, и сверкало под солнцем. Только в углах тускло поблескивала еще ледяная кора, сдавливавшая у корня бурые былки.

Пришел, наконец, штукатур Тимофей Глухарь с сыном Мишкой. Иван Ильич сговорился с ним.

- Ладно, пятьдесят рублей. Только уж хорошенько все замажьте, перемените, где нужно, черепицы. Года два, говорите, простоит крыша?

- И пять простоит, ручаюсь вам... Где известка? Мишка, пойдем.

Они замешивали известку. Иван Ильич спросил:

- Вы, говорят, большевик?

Тимофей поспешно ответил:

- Какой я большевик, что вы! Хулиганье это, мошенники, - слава богу, нагляделись на них.

- А ведь вы были в революционном комитете при первом большевизме.

- Заставили идти, что ж было делать? Не пошел бы - на мушку. А мне своя жизнь дорога.

Иван Ильич обрадовался и стал рассказывать о большевистских зверствах в России, о карательных экспедициях в деревнях, о подавлении свободы мысли среди рабочих, о падении производительности труда, о всеобщем бездельничестве.

Глухарь поддакивал.

- Это действительно! Да, конечно! Разве наш народ на всех станет работать! Каждый только и норовит для себя урвать.

Парень Мишка с неопределенною усмешкой слушал.

Катя развесила белье и поспешила к Дмитревским.

Профессорша пекла на дорогу Дмитрию коржики, профессор в кабинете готовился к лекции.

- А где Дмитрий?

- Дрова колет в сарае, сейчас придет. - Наталья Сергеевна почему-то сильно волновалась. - А вы знаете, мы вчера с Митей засиделись до пяти часов утра.

В дверь постучались. Срывающийся женский голос спросил:

- Можно войти?

Наталья Сергеевна побледнела.

- Княгиня. Вы знаете, я ей утром письмо-таки послала. Ах, боже мой!..

Можно, можно!

Растерянно улыбаясь, она суетливо пошла к двери. Княгиня вошла, - с огромными, широко открытыми глазами, с не улыбающимся лицом.

- Наталья Сергеевна! Я сейчас получила ваше странное письмо... Как вам это могло прийти в голову? Да разве бы я позволила себе так шутить с вами?.. Хорошо ли вы везде искали?

- Кажется, все переглядела.

- Ведь вы, я помню, на туалет кольцо положили. Отодвигали вы туалет?

Наталья Сергеевна поспешно ответила:

- Нет.

- Позвольте, я посмотрю.

Княгиня стала отодвигать туалет. Наталья Сергеевна продолжала сидеть на месте.

- Ну, так и есть! Вот же оно! У плинтуса лежало, среди сора.

Она поднялась и протянула кольцо.

- Ах, так вот, где было... Да. Да.

Наталья Сергеевна взяла кольцо, избегая смотреть княгине в глаза. И та тоже не смотрела. И говорила облегченно:

- Ну вот! Слава богу! Я так рада... И как вы могли подумать, что я стала бы с вами так шутить. Не хватало бы, чтобы вы меня в краже заподозрили! - весело засмеялась она.

- Что вы, княгиня! - всполошилась Наталья Сергеевна.

Княгиня посидела немножко и ушла. Из кабинета вышел профессор и остановился на пороге. Молчали. Катя спросила:

- А вы смотрели за туалетом?

Наталья Сергеевна заговорщицки ответила:

- Все, все пересмотрела! Несколько раз отодвигала. И сору-то там никакого уж не было, я все вымела. А она так сразу и нашла!

Профессор поморщился и пошел обратно к себе в кабинет. Вошел с террасы Дмитрий.

- Ну, мама, дров наколот тебе на целый месяц. А-а, Катя!.. Мама, мы сейчас пройдемся, мне нужно отнести Агаповым вещи Марка.

- Скорей только возвращайтесь. Через полчаса завтрак будет готов.

Катя с Дмитрием вышли. Дмитрий сказал:

- Забыл я топор в дровяном сарае. Зайдем, я возьму.

В сарае Дмитрий обнял Катю и стал крепко целовать. Она стыдливо выпросталась и умоляюще сказала:

- Не надо!

- Ну, Катя...

- Вот сколько ты дров наколот!.. Где же топор?

- Э, топор! Его вовсе тут и нету.

Дмитрий крепко сжимал Кате руки и светлыми глазами смотрел на нее. Она сверкнула, быстро поцеловала его и решительно двинулась к выходу.

- Пойдем!

Они пошли вдоль пляжа. Зелено-голубые волны с набегающим шумом падали на песок, солнце, солнце было везде, земля быстро обсыхала, и теплый золотой ветер ласкал щеки.

Катя просунула руку под локоть Дмитрия и сказала:

- Вот что, Митя! Что ты вчера рассказал про себя, про Марка, - это что-то такое огромное, - как будто все эти горы вдруг сдвинулись с места и несутся на нас. Я всю ночь думала. Это и есть настоящая война. Если люди могут друг друга убивать, все жечь, разрушать снарядами, то пред чем можно

тут остановиться? Так уж много нарушено, что остальное пустяки. А когда идут рыцарства и всякие красные кресты, это значит, что такие войны изжили себя и что люди сражаются за ненужное. И знаешь, мне начинает казаться: когда победитель бережно перевязывает врагу раны, которые сам же нанес, - это еще ужаснее, глупее и позорнее, чем добить его, потому что как же он тогда мог колоть, рубить живого человека? Настоящая война может быть только в злобе и ненависти, а тогда все понятно и оправдательно.

Дмитрий слушал с серьезным лицом, с улыбающимися для себя тонкими губами.

- Это оригинально.

- Нет, это правда. И вот, Митя... Те матросы, - они били, но знали, что и их будут бить и расстреливать. У них есть злоба, какая нужна для такой войны. Они убеждены, что вы - "наемники буржуазии" и сражаетесь за то, чтобы оставались генералы и господа. А ты, Митя, - скажи мне по-настоящему: из-за чего ты идешь на все эти ужасы и жестокости? Неужели только потому, что они такие дикие?

В глазах Дмитрия мелькнули страдание и растерянность, как всегда при таких разговорах.

- Это, Катя, сложный вопрос.

- Ничего не сложный.

Дмитрий украдкой оглянулся, поднес Катину руку к губам и шепотом сказал:

- Зачем, зачем теперь об этом говорить? Катя! Так у нас мало времени, - давай забудем обо всем. Когда мы опять свидимся! А мы будем ворошить то, чего все равно не изменить... Вот дача Агаповых. Зайдем.

- Я с какой стати? Не хочу я к ним. Я тебя здесь подожду.

- Ну, хорошо. Только отдам, и сейчас.

Он ушел. Садовник вскапывал клумбы у широкой террасы. Маленькая, сухая Гуриенко-Домашевская стояла у калитки своей виллы и сердито кричала на человека, сидевшего на скамеечке у пляжа.

- Пьянчужка несчастный! Тут тебе не кабак! Думаешь, большевики близко, так и нахальничаешь! Подожди, пока твои большевики подойдут!

Человек на скамейке отругивался. Катя узнала пьяницу столяра Капралова, сторожа Мурзановской дачи. Гуриенко ушла. Катя подошла к нему.

- Чего это она?

- Хе-хе! Ч-чертово окно! Пошел, говорит, прочь отсюда, мужик! Не смей тут петь, мне беспокойство!.. Да разве я у тебя? Я на бережку сижу, никого не трогаю... Какая язвенная! Сижу вот и пою!..

Мой полштоф в кармане светит,  
Рюмки гаснут на носу,  
Ночью нас никто не встретит,  
Мы проспимся на мосту...

Ты, говорит, большевик! Нет, говорю, я не большевик. А все-таки, когда большевики придут, - ей-богу, голову тебе проломлю!

- А вы не большевик?

- Нет, не большевик! Когда в летошнем году экономию Бреверна разносили, я им прямо объяснил: то ли вы большевики, то ли жулики, - неизвестно. Тащит важный, что попало, - кто плуг, кто кабанчика; зеркала бьют. Это, я говорю, народное достояние, разве так можно? Вот дайте мне бутылочку винца, - очень опохмелиться хочется. "Ишь, - говорят, - какой смирный!" Да-а... А вы что

такое делаете? За это они меня теперь ненавидят... Жизнь разломали, - как ее теперь налаживать? И с той, и с другой стороны идет русский народ. Братское дело! Брат на брата, товарищ на товарища!

Глаза у него были умные и серьезные, тою интеллигентною серьезностью, при которой странно звучало: "каждый" и "в летошнем году". Катя из глубины души сказала:

- Ах, Капралов, зачем вы пьете!

- Гм! Как пью, - все видят. А как работаю - никто не замечает!

- Катерина Ивановна!

К ним бежала от дачи Ася Агапова.

- Катерина Ивановна! Мы арестовали Дмитрия Николаевича, не выпускаем его, пока не выпьет кофе. А он рвется к вам, совесть его мучит, и кофе останавливается в горле. Сжальтесь над ним, зайдите к нам!

Была она хорошенькая и вся сверкала, - глазами, улыбкою, открытою шейкою. Катя увидела, что не отделаешься, и встала. Капралов, когда она с ним прощалась, придержал ее руку.

- А только все-таки имейте в виду: будет народное одоление. Все равно, как мошкара поперла. Нет сильнее мошки, потому, - ее много. А буржуазии - горстка. И никогда ей теперь не одолеть. Проснулся народ и больше не заснет.

У Агаповых было чисто, уютно и тепло, паркет блестел. На белой скатерти ароматно дымился сверкающий кофейник, стояло сливочное масло, сыр, сардинки,

коньяк. Деревенский слесарь Гребенкин вставлял стекла в разбитые окна.

Катя со всеми поздоровалась, подошла и к Гребенкину, протянула ему руку.

- Александр Васильевич, вы разве и стекольщик? Ведь вы же слесарь?

Гребенкин, с впалую грудью, исподлобья взглянул обрадованными глазами и развязным от стеснения голосом ответил:

- Я на все руки мастер: и слесарь, и стекольщик, и огородник, и спекулянт.

- Екатерина Ивановна, садитесь кофе пить, - позвала г-жа Агапова.

Катя почувствовала, - всем стало враждебно-смешно, что она поздоровалась с Гребенкиным за руку.

Г-жа Агапова рассказывала Дмитрию, как ночью кто-то выбил у них на даче стекла, как ограбили по соседству богатого помещика Бреверна.

- До чего дошло! До чего дошло! А как мы все радовались революции! Я сама ходила в феврале с красным бантом...

Муж ее, невысокий, с остриженной под машинку головою и коротко подрезанными усами, курил сигару и ласково улыбался.

- Ну, что же, ну, говорите нам прямо: как у вас дела в армии? - допрашивала Агапова. - Сумеете вы нас защитить или нет?

Дмитрий посмеивался.

- Сумеем!

Чухоточный адвокат Мириманов, - у него была в поселке дачка, и он по праздникам наезжал из города отдохнуть, - покосился на стекольщика и знающим голосом тихо сказал:

- Скоро уж не будет надобности вас защищать.

- Почему?

Мириманов посмеивался своими умными глазами.

- Скоро все так переменится, что вы даже не ожидаете. - Он помолчал. - Ленин уже два месяца ведет тайные переговоры с великим князем Борисом

Владимировичем. Будет инсценирован государственный переворот. Идеиные  
вожаки

большевизма заблаговременно исчезнут, а всех скомпрометированных  
прохвостов

оставят на расправу, чтобы окружить большевизм мученическим ореолом и уйти с  
честью. Ленин, Троцкий и другие получают пожизненную пенсию по пятьдесят  
тысяч рублей золотом и обязуются уехать в Америку.

- Дай-то бог! - вздохнула Агапова. - Там с ними уж легче будет  
управиться.

Борис, племянник Мириманова, шушукался с Асей. Лицо у него было  
бледное, а глаза томные и странно-красивые. Барышни Агаповы сверкали тем  
особенным оживлением, какое бывает у девушек только в присутствии молодых  
мужчин. Они изящно были одеты, и красивые девические шеи белели в вырезах  
платьев. Глаза их, когда случайно останавливались на Кате, вдруг гасли и  
становились тайно-скупающими и малолюдящими.

Катя решительно отказалась от кофе, - потому что она была голодна,  
потому что ей очень хотелось всего этого вкусного после мерзлой картошки и  
чаю из шиповника. Дмитрий сидел с Майей, сестрой Аси, они с увлечением  
говорили о несравненной красоте православного богослужения. Майя смотрела  
медленными, задумчивыми глазами Магдалины, под взглядом которых так  
хорошо  
говорится.

Ася села за рояль и стала петь. Все песни ее были какие-то особенные,  
тайно-дразнящие и волнующие. Пела об ягуаровых пледах и упоительно  
мчащихся

авто, о лиловом негре из Сан-Франциско, о какой-то мадам Люлю, о сладких  
тайнах, скрытых в ласковом угаре шуршащего шелка, и обжигающе-призывен  
был  
припев:

Мадам Люлю,  
Я вас люблю!  
Ей шепчут страстно и знойно...

Остро вспыхивали брильянты в серьгах Аси. И была дурманящая,  
сладострастно-ластящая красота в ее песнях. И только мешал шум стекольщика  
и его чахоточный, как будто намеренно-громкий кашель.

И сверкало солнце. И мягко качались за окнами малахитово-зеленые волны.  
На Катю музыка всегда действовала странно: охватывало сладкое, безвольное  
безумие, и душа опьяненно качалась на колдовских волнах, без сил и без  
желания бороться с ними.

Подшел Дмитрий. От него слегка пахло дорогим коньяком. Он сказал  
извиняющимся голосом:

- Пять минут еще посидим и уйдем. Знаешь, после бивачной жизни так  
приятна эта чистота, блеск, эти оживленные лица...

Старик Агапов тоже подошел.

- Странно, знаете, слушать... Девочка, с ее чистой душой, совсем сама  
не понимает, что поет. Вон, послушайте-ка!

И, благодушно улыбаясь, он потирал руки.

Ах где же вы, мой маленький креольчик,  
Мой смуглый принц с Антильских островов.

Мой маленький китайский колокольчик,  
Изящный, как духи, как песенка без слов?  
Такой беспомощный, как дикий одуванчик...

Гребенкин прервал пение намеренно-громким, ни с чем не считающимся голосом:

- Хозяин, эти стекла коротки, - наставить кусок, или есть у вас стекла побольше?

Агапов, мягко улыбаясь, подошел к нему.

- Нет, побольше нету. Уж наставьте, ничего не поделаешь.

Потом, как-то странно нараспев, читал стихи Борис, племянник Мириманова. И стихи все были такие же, говорившие о легком, бездумном веселье, праздной и богатой жизни, утонченно-сладострастном соприкосновении мужчин и женщин.

В группе девушек нервных, в остром обществе дамском,  
Я трагедию жизни претворю в грезе-фарс.  
Ананасы в шампанском, ананасы в шампанском!..

Голос красиво и гибко пел, и баюкал на мелодических стихах. Катя вдруг отдала себе отчет, почему у этого Бориса глаза так странно-красивы и томны: они были искусно подведены снизу тонкою черною черточкой.

Катя с Дмитрием уходили. Барышни убеждали его отложить отъезд до завтра.

- Нынче именины Гуриенко-Домашевской, вечером все будут у нее. Она будет играть; Белозеров, наверно, придет, будет петь.

- Нельзя. Сегодня вечером должен быть в полку.

Они вышли. Катя жадно дышала морским ветром, с души смывалась колдовская красота баюкающей музыки. Она вздрагивала плечами и повторяла:

- Какая гадость! Какая гадость!

Дмитрий удивленно спросил:

- Что гадость?

- Все! Все! Почему гниль может быть такой красивой и душистой? Как будто парфюмерный магазин, где все дорогие духи разбились и пролились, и кружится голова, и не хочется уходить, и вдруг - солнце, ветер, простор... Ах, как хорошо!

Дмитрий слушал с улыбающимися про себя губами. В голове приятно кружилось от коньяку, сверкали пред глазами зовущие девичьи улыбки, было сладкое ощущение покоя и уюта.

- И за них-то вот бороться! Как она спрашивала: "сумеете вы нас защитить?" А тебе не хочется, когда ты смотришь на них, чтоб все это взлетело к черту, чтоб развалилась эта ароматно-гнилая жизнь?

Дмитрию хотелось закрыть душу от рвавшегося в нее из Кати буйно-злобного вихря, и не чувствовалось способности защищать эту жизнь, к которой, однако, в нем не было ненависти. Он взял в руки Катину руку и устало улыбнулся:

- Катя! Мне так ничего не хочется! Так не хочется! Одного только хочется: чтоб был мне какой-нибудь тихий уголок, чтоб никто не тревожил, и чтоб переводить Прокла.

Блажен, кто посетил сей мир  
В его минуты роковые...



Не пожелал бы я никому этого блаженства!

- Неужели же тебе не интересно сейчас жить?

- Совсем не интересно. Гораздо интереснее было бы изучать все это, как давно минувшее.

Катя впиалась в него пристальным, изучающим взглядом, от которого ему стало неловко.

- За что я полюбила тебя? - спросила она, как будто саму себя. И вдруг увидела его бесконечно-усталое лицо, умный, прекрасно сформированный лоб, что-то детски-беспомощное во всей фигуре, - и горячий, матерински-нежный огонек вспыхнул в душе.

Они шли, тесно под руку, по песку вдоль накатывавшихся волн. Дмитрий, с раскрывшейся душой, говорил:

- ...какая-то полная атрофия активности. Там, где нужно мыслить, изучать, искать, у меня энергия неистощимая. Но где в жизни хоть шаг нужно сделать самостоятельный, меня отчаяние охватывает, и сама жизнь становится скучной, грубой и темной...

- Что же это такое?

- Как, что такое?

- Вы же ничего не сделали. Как было, так и есть.

- А это что? Тут какая щель была, ай забыли? Везде, где нужно, подмазали. Что вы такое выдумываете!

- Ну, вот, посмотрите: даже небо сквозь щель видно.

- Так эта щель вбок идет. Будьте покойны, в нее вода не зальется, ручаюсь вам. Если хоть капля протечет, вы за мною пошлите, я вмиг заделаю.

- Ну, вот сейчас вмиг и заделайте.

- Ах-х ты господи! Ведь вот народ! Чтоб этих щелей не было, всю крышу надо перекрывать, я же вам сказывал.

- Вы мне сказывали, что крыша пять лет простоит.

Мишка, как молодой петушок, учащийся петь, сказал:

- Нешто по крыше такой можно лазать? Две черепицы примажешь, а вместо того десять подавишь.

- Э, Мишка, пойдем! Не надо нам ваших пятидесяти рублей. Рады прижать рабочего человека. Эксплуататоры!

- Ваших мне пятидесяти рублей не нужно...

Катя прервала отца.

- И правильно! Конечно, не нужно давать. Сами же они видят, что ничего не сделали.

- Не сделали! Для хозяйского глаза все мало. За грош рады всю кровь высосать из рабочего человека!

Иван Ильич с отвращением молчал и доставал деньги.

- Да зачем же, папа, ты даешь? Пусть суд установит, - стоит эта работа пятьдесят рублей?

- Э, пусть его совесть это устанавливает!

Иван Ильич, не глядя на Глухаря, протянул деньги. Глухарь сунул их в карман и ласково сказал:

- Если печечку занадобится поправить, или потолок заштукатурить, вы пришлите. Мы это тоже можем. До свидания!

Катя напала на отца: как можно было давать деньги за такую работу! Пусть бы в суд подавал!

- Катенька! Смотреть противно! Ну его к черту, только бы с глаз долой!  
- Ах, эти интеллигенты наши мяклые! На казнь пойдет - не дрогнет. А что несправедливо назовут эксплуататором, - нет, уж лучше что угодно! Пусть лучше первый жулик обирает средь бела дня, как дурачка!..

Катя порывисто повернулась и пошла в дом.

Гуриенко-Домашевская, известная пианистка, была именинница. Маленькая и сухая, с огромными черными глазами, она с привычно преувеличенным радушием

артистки встречала гостей и каждому говорила приятное.

Сидели в просторной, богато обставленной зале и пили чай. Стол освещался двумя кухонными лампочками со стеклами. Чай разливался настоящий.

На дне двух хрустальных сахарниц лежало по горсточке очень мелко наколотого сахара. Было вволю хлеба и сыра брынзы, пахнувшего немытыми овцами.

Стояло

десяток бутылок кислого болгарского вина.

С горько-юмористическою хвастливостью хозяйка говорила:

- Вы посмотрите только, вы посмотрите, господа: какое царское освещение! Какие яства! И чай - настоящий! И даже сахар к нему! Роскошь-то какая... Нужно же перед голодной смертью попировать, как следует, вовсю!

И в голосе ее было: да, я, знаменитая артистка, имя которой встречается во всяком энциклопедическом словаре - вот как я принуждена жить, и вот что ожидает меня по чьей-то чудовищной несправедливости.

- Не правда ли? Нужно благодарить бога. То ли еще бывает! Певец Беркутов умер в Петрограде от голода, скрипач Менчинский повесился в Москве... Буду и я ждать, что мне готовит судьба...

Возле Кати сидел молчаливый инженер Заброда, с светло-голубыми глазами и длинной шеей чахоточного. Специальности своей он не любил и пятый год на грошевом жалованье работал бухгалтером в деревенском кооперативе. Через Катю

он наклонился к Ивану Ильичу и сипло спросил вполголоса:

- Вы получили приглашение на организационное собрание отдельного кооператива дачников?

- Да. В чем тут дело?

- Я хотел об этом сговориться с вами. Гуриенко-Домашевская, Агапов и другие задумали основать дачный кооператив, чтоб отделиться от деревни. Мотивируют тем, что крестьяне неохотно пропускают в правление интеллигенцию

и закупают только то, что нужно им самим.

- И верно! - подтвердила Катя. - Мука и ячмень, например, у них у самих есть, они их в потребилке и не держат, а мы нигде не можем достать.

Заброда сурово поглядел на нее.

- Можно их убеждать. Но отделиться - значит загубить деревенский кооператив.

Иван Ильич решительно сказал:

- Не годится!

- И потом: как же интеллигенцию не пропускают? Председатель правления - Белозеров.

- Ах, Белозеров ваш, - воскликнула Катя. - Певец он, конечно, великолепный. Но не нравится он мне. Ищет популярности и во всем поддакивает

мужикам. А у самого почему-то всегда все есть, - и мука, и сахар, и керосин. А мы ничего не можем достать.

Местный дачевладелец, о.Златоверховников, с наперсным крестом на георгиевской ленте, рассказывал о большевиках. Он был полковым священником

в

одной из добровольческих частей и на неделю приехал к себе отдохнуть. Большой, крепкий, с крупными чертами лица, он говорил четким, крепким басом. Недавно под Мелитополем большевики распяли на церковных дверях священника, а

в алтаре устроили пирушку с девками. Священник был старик, уважаемый всею паствою. "Товарищи" приставили к нему караул и никого не подпускали. Он пять дней висел на гвоздях и умер от жажды.

Катя засмеялась.

- По крайней мере, раз пятьдесят я уже слышала про этого распятого священника и девок в алтаре, и всё в разных городах.

О.Златоверховников замолчал и внимательно поглядел на Катю.

- Удивительного ничего нет. Во многих городах они это и делают.

И отвернулся. Заброда наклонился к Кате.

- Вы при нем поосторожнее. Он - "даровой сотрудник", в постоянных сношениях с контрразведкой. Доносы написал на полдеревни. Я ему руки не подаю.

Катя прикусила язык. Она заметила, что и все говорили при нем с опаскою.

О.Златоверховников продолжал рассказывать.

- Только удивляться приходится, какое это дикое зверье. Хуже зверья! Кончен, например, бой. Обыкновенно у всех в это время только одно желание: отдохнуть. А они первым делом бросаются раскапывать могилы наших и начинают

ругаться над трупами. Находят на это силы! А уж про раненых что и говорить!

Адвокат Мириманов, со своею знающею улыбкою, заставлявшею всех ему верить, рассказал, что недавно в Москве предполагался съезд Коминтерна. Пред открытием заграничных рабочих-делегатов пригласили на банкет. Фрукты, цветы зимою, шампанское. Декорированные комиссарши. Рабочие поглядели...

"Россия

ваша погибает от голода и холода, вы выдаете рабочим по полфунта хлеба с соломою, а сами пьете шампанское! Теперь мы знаем, что такое ваш коммунизм". И уехали обратно.

И много все рассказывали.

Как всегда, очень поздно пришел Белозеров, артист государственных театров. Бритый, с желтоватым лицом, с пышными, мелко вьющимися волосами.

Его встретили радостными приветствиями. Добродушно и сдержанно улыбаясь, он

здоровался. Барышни восторженно смотрели на него.

Хозяйка спросила:

- Вы сегодня из города. Что новенького?

Белозеров взглянул на о.Златоверховникова.

- Вот, батюшка, наверно, больше осведомлен. В городе потрухивают, слухи самые фантастические. Должно быть, так, беспричинные?

О.Златоверховников сказал веско:

- Работа агитаторов большевистских. Дела очень прочны. Вся паника оттого, что войска отступили к Перекопу. Но Перекоп, это - Фермопилы, один

полк легко может задержать целую армию. А Деникин тем временем совершает перегруппировку войск.

Белозеров принял из рук хозяйки стакан чаю и подсел к красавице княгине Андожской. Сейчас же, как мухи каплю сиропа, его кольцом обвели дамы.

О.Златоверховников протиснулся и ушел. Белозеров проводил его глазами и потом сказал встревоженно:

- Дела, господа, очень плохи. Не сегодня-завтра большевики будут по эту сторону Перекопа. В городе паника. Сорок банкиров и фабрикантов наняли за двести тысяч отдельный пароход и собираются уезжать.

Гуриенко-Домашевская желчно засмеялась.

- То-то, должно быть, наш большевик деревенский радуется, Афанасий Ханов! Опять его пора приходит... Одного я не понимаю: как его добровольцы не повесят? При первом большевизме был комиссаром уезда, а спокойно расхаживает себе на воле, и никто его не трогает.

Профессор Дмитревский сказал:

- Это прекраснейший человек. И очень интересный, с ищущей душой.

Хозяйка низко поклонилась Дмитревскому.

- Очень вас благодарю, профессор, за эту прекрасную душу! Когда был комиссаром, встречает меня: "мы вашу дачу, Антонина Павловна, реквизируем под народный дом". - Прекрасно! - говорю. - А свой двухэтажный дом в деревне вы подо что реквизируете?

- И свой бы дом реквизировал. Вы знаете, ведь он нижний этаж его отдал под кооператив даром, ничего за это не берет.

- Это верно, - подтвердил Заброта.

- Пусть свое отдает! А какое же он имеет право распоряжаться моим? Я тоже тяжелым трудом нажила свою дачу. Никого не эксплуатировала, все зарабатывала вот этими руками!

Жена профессора вздохнула.

- Да. Другие вот уезжают. А нам приходится тут сидеть и ждать.

Агапов, скромно сидевший с сигарой в уголке дивана, вдруг сказал, ласково улыбаясь:

- Ничего не поделаешь: придется сидеть и ждать. Нужно же сказать правду: идет истинно народная власть. И пусть приходят, я рад. Хоть какой-нибудь порядок.

Все удивленно молчали. Хозяйка, подняв брови, глядела на Агапова.

- Раньше вы, Михаил Михайлович, иначе говорили... Вот как отберут у вас большевики ваш миллион, который вы из Москвы привезли, тогда узнаете, какой порядок.

- Какой миллион? - Агапов весело засмеялся про себя. - Я бога благодарил, что удалось провезти сорок тысяч. А говорю я с высшей точки. Рад я, не рад, а признать нужно, что только у большевиков настоящая сила.

Белозеров настороженно прислушивался. Профессор Дмитревский своим громким, полным голосом сказал:

- Да, печально это, но я с Михаилом Михайловичем вполне согласен. Широкие народные массы за большевиков, - это неоспоримо.

Иван Ильич вскипел:

- Та-ак-с!.. И отсюда выходит, - идти большевикам навстречу? Приветствовать их приход? Если широкие народные массы за еврейский погром, то прикажете мне идти с ними, бить жидов?

Профессор мягко возразил:

- Я этого не говорю. Но борьба с ними бессмысленна и не имеет под собою

почвы. Добровольцы выкидывают против них затрепанные, испачканные грязью

знамена, и народ к белым откровенно враждебен. Сейчас же только эти две силы и есть. Надо же нам, истинным демократам и социалистам, честно взглянуть правде в глаза, как бы она тяжела ни была.

Заброда неодобрительно замычал. Закипел ярый спор между Иваном Ильичом и профессором. Агапов поддерживал профессора. Мириманов молча слушал, едко

улыбаясь про себя. Хозяйка и остальные гости были за Ивана Ильича, но, от их поддержки, спор все время сбивался с колеи: у них была только неистовая злоба к большевикам, сквозь которую откровенно пробивалась ненависть к пробудившемуся народу и страх за потерю привычных удобств и выгод.

Как только спор стал принимать острый характер, и в колючих глазах хозяйки забегали недобрые огоньки, профессор искусно замял разговор и стал просить хозяйку сыграть.

Гуриенко-Домашевская погасила огоньки в глазах и ласково улыбнулась.

- Ну, как хозяйка, уж начну первая. А потом будем просить спеть Владимира Ивановича.

Гуриенко села за рояль. Она играла Бетховена, Шопена. Большие глаза ее засветились загоревшимся изнутри светом и стали прекрасными. И вдруг все злобное, придавленное, испуганное стало таять в людях и испаряться. В полутемной зале засияла строгая, величавая красота.

Кате бросилась в глаза княгиня Андожская. Она грустно сидела, опустив голову на руку, - изящная, с отпечатком тонкой, многовековой культуры в лице и движениях. Но чисто вымытая шея пестрела красными точками от блошиных укусов; красивые руки были красны, в черных трещинках; спереди во рту не хватало одного зуба. И это кольцо! Это кольцо! Как последняя горничная... Пройдет еще полгода, - и вся многовековая культура сползет с нее, как румяна под дождем, станет она вульгарною, лживою, с жадно приглядывающимися исподтишка глазами, - такую, каких она раньше так презирала и чьими трудами создавалось благородное ее изящество. Лежит прекрасная лилия, вырванная с корнем, и уж не будет ей жизни, и другие какие-то цветы зацветут на развороченной почве... А возле Белозерова сидели барышни Агаповы. Их еще не коснулось лихолетье: бриллианты в ушах, белые ручки, изящные платья... А они, - они тоже уже назад? Или выплывут из моря, куда их сбросит налетающий вихрь, и опять воротятся со своими лиловыми неграми и томно-сладострастными креольчиками?

Гуриенко заиграла "Осеннюю песню" Чайковского. Затасканная мелодия под ее пальцами стала новой, хватающею за душу. Липовые аллеи. Желтые листья медленно падают. *Les sanglots longs des violons de l'automne\**. И медленно идет прекрасный призрак прошлого, прижав пальцы к глазам.

---

\* Долгие рыдания осенних скрипок (франц.).

Княгиня низко опустила голову, плечи ее стали тихонько вздрагивать. Катя быстро пересела к ней.

- Ну, княгиня, не надо!.. Я давно на вас смотрю... Нужно стать выше судьбы, нужно бодро нести все, что бы ни послала жизнь...

Она взяла в руки ее руку и стала нежно гладить. Княгиня удивленно взглянула, - они были едва знакомы, - и вдруг порывисто сжала в ответ руку Кати. И молчала, сдерживая вздрагивания груди, и крепко пожимала Катину руку.

Ни сна, ни отдыха измученной душе,  
Мне ночь не шлет отрады и забвенья -

запел Белозеров.

Это был какой-то пир: пел Белозеров, опять играла Гуриенко-Домашевская; потом пели дуэтом Белозеров с княгиней. Гости сели за ужин радостные и возрожденные, сближенные. И уж не хотелось говорить о большевиках и ссориться из-за них. Звучал легкий смех, шутки. Вкусным казалось скверное болгарское вино, пахнувшее уксусом. У Ивана Ильича шумело в голове, он то и дело подливал себе вина, смеялся и говорил все громче. И все грустнее смотрела Анна Ивановна, все беспокойнее Катя.

Расходились. Иван Ильич, с включенными волосами, жарко жал руки Домашевской и Белозерову.

- Спасибо вам, мои хорошие! Встряхнули душу красотой. Легче стало дышать!

Было тихо, тепло. Ущербный месяц стоял высоко над горами. Впереди по шоссе шли Анна Ивановна и Катя с княгиней, за ними сзади - Иван Ильич, Белозеров и Заброта. Иван Ильич громко говорил, размахивая руками.

У канавки шоссе, близ телеграфного столба, густой кучкой сидели женщины в черных одеждах, охватив колени руками. Месяц освещал молодые овальные лица

с черными бровями. Катя вгляделась и удивилась.

- Смотрите! Да ведь это наши деревенские! Васса, Дока! Вы это? Чего вы тут сидите?

Женщины молчали. Наконец одна сказала:

- Дикая орда идет из города.

- Какая дикая орда?

- Один болгарин наш прискакал, подал весть: всех девок себе забирают.

- Да что это за дикая орда?

Деловито вмешался Иван Ильич:

- Не понимаешь! погоди, я сейчас разберу... Это дикая дивизия значит, чеченцы. Правильно?

- Ну, да.

- Вы-то чего же, красавицы, испугались?

- Наши у фонтана стерегут. Как дадут весть, в горы побежим, в сады.

Иван Ильич захохотал пьяным смехом.

- Да не за вами они идут, дурочки! Они парней идут ловить, что на мобилизацию не явились. Им лучше скажите, чтоб в горы утекали!

Девушки молчали.

- Ну, ну! Сидите уж! Оно, конечно, все-таки вернее и вам уйти...

Сидите, девочки мои хорошие!

Пошли дальше. Иван Ильич вздохнул.

- Эх, хорошо бы выпить теперь! Как следует! Так, чтобы этот однобокий дурак на небе заплясал.

- Выпить сейчас хорошо, - согласился Белозеров. - Знаете, что? Зайдем ко мне. У меня вино есть. Хорошее! Барзак, старый.

- Да неужто?! Благодетель! Вот это так штука!.. Нюра, Катя! - закричал он. - Вы дойдите одни до дому, - ничего, тут недалеко. А мы к маэстро на часок зайдем, по пьяному делу.

Белозеров жил совсем один в маленькой уютной дачке недалеко от шоссе. Месяц светил в большие окна, в углу блестел кабинетный рояль. Белозеров зажег на столе две толстых стеариновых свечи. Осветилась над роялем полированная ореховая рама с Вагнером в берете.

Иван Ильич удивился.

- Ого! Вот буржуй! Как живет! И свечи есть.

Белозеров лихо подмигнул.

- В Петрограде еще запаса, давно. Я человек коммерческий. Покупал у кондукторов по двадцать пять копеек фунт. Столько напас, что перед отъездом с полпуда знакомым распродал по два рубля за фунт.

- Ловко! - расхохотался Иван Ильич. - Слышишь, хохол? - обратился он к Заброе. - Знакомым по два рубля, а незнакомым, наверно, рубликов по пяти. Вот они где, спекулянты-то!.. Ты, брат, у меня смотри! - погрозил он Белозерову пальцем. - Певец ты божественный, но душа у тебя... по-до-зрительная! Я тебя насквозь вижу!

Белозеров кисло улыбнулся и пошел за вином.

Уж несколько опорожненных бутылок стояло на столе. Свет месяца передвинулся с валика турецкого дивана на паркет. Иван Ильич говорил. Он рассказывал о бурной своей молодости, о Желябове и Александре Михайловне, о Вере Фигнер, об огромном идеалистическом подъеме, который тогда был в революционной интеллигенции.

- И вот теперь все разбито, все затоптано! Что пред этим прежние поражения! За самыми черными тучами, за самыми слякотными туманами чувствовалось вечно живое, жаркое солнце революции. А теперь замутилось солнце и гаснет, мы морально разбиты, революция заплевана, стала прибыльным ремеслом хама, сладострастной утехой садиста. И на это все смотреть, это все видеть - и стоять, сложив руки на груди, и сознавать, что нечего тебе тут делать. И что нет тебе места...

Дрожащею рукою он налил в стакан вина и жадно отхлебнул.

- А что они с народом сделали, - с великим, прекрасным русским народом! Вытравили совесть, вырвали душу, в жадного грабителя превратили, и звериное сердце вложили в грудь.

Иван Ильич поколебался и вдруг решительно махнул рукою.

- Ну, уж все равно! Расскажу вам, что со мною случилось, как сюда ехал... На маленькой станции неожиданно двинулся наш поезд, я прицепился на ходу к первому попавшемуся вагону, вишу на руках и только одним носком опираюсь на подножку. На ступеньках и площадке солдаты, мужики. Никто не двинулся. Ледяной ветер бьет навстречу вдоль вагонов, стынут руки, нога немеет. А наверху - равнодушные лица, глаза смотрят на тебя и как будто не видят, шелуха семечек летит в лицо. "Товарищи, - говорю, - сдвиньтесь хоть немножко, дайте хоть другой ногой на подножку стать. Я только до первой остановки, там в свой вагон перейду"... Молчат, лущат семечки. Кажется, начини кто на их глазах живого потрошить человека, они так же будут равнодушно глядеть и шелуху выплевывать на ветер... И проскочила у меня мысль: вот для кого я всю жизнь мыкался по тюрьмам и ссылкам, вот для кого терпел измывательства станковых и околоточных... Вышел, наконец, какой-то человек из вагона, крикнул: "Не видите, что ли, человек замерзает на ветру, сейчас сорвется? Сукины вы дети, подвиньтесь, дайте место!" И чуть-чуть только пришлось двинуться, - один коленкой шевельнул, другой плечом повернулся, - и так оказалось легко взойти на площадку! А правду скажу: еще бы минута, - и в самом деле сорвался бы, и уж самому хотелось пустить руки и полететь под колеса... К черту жизнь, когда такое может делаться! О, друзья

мои! Друга мои милые! Год уж прошел, а все горит у меня эта рана!

Он опустил лохматую голову на локоть; плечи, дергаясь, поднимались и опускались.

Белозеров молча сел к роялю, взял несколько аккордов и запел:

О, Волга-мать, река моя родная!  
Течешь ты в Каспий, горюшка не зная.

Иван Ильич изумленно поднял голову.

- Что это? Это наша старая волжская песня, студенческая... Откуда вы ее знаете? Вы разве с Волги сами?

- С Волги. Не мешайте, - строго сказал Белозеров.

О, Волга-мать, река моя родная!  
Течешь ты в Каспий, горюшка не зная,  
А за волной, волной твоей свободной,  
Несется стон, великий стон народный...

Речные просторы чувствовались в голосе, и молодая печаль, и молодая, жаркая ненависть, какою горят только сердца, сжечь себя готовые в жертвенном подвиге. Иван Ильич жадно слушал с полуоткрытым, как у ребенка, ртом.

Ты все несешь, плоты и пароходы.  
Что ж не несешь сынам своим свободы?  
Тебе простор, тебе гулять приволье,  
А нам нужда, и труд, и подневолье...

Иван Ильич рыдал. Долго рыдал. Потом поднял смоченное слезами лицо и ударил кулаком по столу.

- Да! И все-таки... Все-таки, - верю в русский народ! Верю! Вынес он самодержавие, - вынесет и большевизм! И будет прежний великий наш, великодушный народ, учитель наш в добре и правде! В вечной народной правде!..

Покачиваясь и поддерживая друг друга, шли они с Забродой по шоссе. Красный полумесяц уходил за горы. С севера дул холодный ветер. Иван Ильич, с развевающимися волосами, - шапку он забыл у Белозерова, - грезил кому-то кулаком навстречу ветру и кричал громовым голосом, звучавшим на весь поселок:

- Палачи русского народа!!

Вошедши в кухню, он натолкнулся в темноте на составленные стулья, - кто-то на них спал. Голос Кати сказал:

- Папа, это я.

- Чего ты тут улеглась?

- Леонид у нас.

- Леонид? Что ему тут нужно, подлецу?

- Тише, он в моей комнате спит. Приехал, говорит, поведать, отдохнуть.

- Знаю я, зачем он приехал... Приятный сюрприз!

Ворча, он ушел к себе в спальню.

Проснулся Иван Ильич поздно. Долго кашлял, отхаркивался, кряхтел. Голову кружило, под сердцем шевелилась тошнотная муть. Весеннее солнце



светило в щели ставень. В кухне звякали чайные ложечки, слышался веселый смех Кати, голос Леонида. Иван Ильич умылся. Угрюмо вошел в кухню, угрюмо ответил на приветствие Леонида, не подавая руки.

Катя оживленно болтала, наливала Леониду чай, подкладывала брынзы.

- Ешь! Как ты похудел! И даже седины в волосах. Это в двадцать восемь лет!

Иван Ильич, - мрачный, с измятой бородой, - пил чай в молчале.

Катя взяла с холодной плиты миску с ячменным месивом.

- Подожди минутку, сейчас поросенку дам поесть, приду.

И ушла. Иван Ильич хмуро спросил:

- Ты из Совдепии?

- Да.

- Зачем приехал?

- Вас проведать. Отдохнуть. Устал.

Иван Ильич приглядывался к нему: по-прежнему в темных волосах - ярко-седой клок над левым виском; добродушные глаза, добродушный голос, но губы решительные и недобрые.

Воротилась Катя. Она очистила кухонный стол, выложила из кошелки семь цыплят и стала их кормить рубленым яйцом.

- Вчера вылупились. Посмотри, какие.

- Прелесть!

- Правда, как будто пушистые желтые яички на ножках? И такие серьезные, серьезные!

Леонид взял цыпленка, закрыл его ладонями и стал нежно на него дышать.

- Ты знаешь, я решила в этом году завести полсотни кур. Будем жить куриным хозяйством. Противно смотреть на дачников, - стонут, ноют, распродают последние простыни, а сидят сложа руки. Будем иметь по несколько десятков яиц в день. Сами будем есть, на молоко менять, продавать в городе. Смотри: сейчас десяток яиц стоит 8 - 10 рублей...

Ивану Ильичу было досадно, что Катя с таким увлечением посвящает в свои хозяйственные мечты этого чужого ей по духу человека. Он видел, с какой открытою усмешкою слушает Леонид, - с добродушною усмешкою взрослого над

пустяковою болтовнею ребенка. А Катя ничего не замечала и с увлечением продолжала говорить. Иван Ильич ушел к себе и лег на кровать.

- Еще я кабанчика откармливаю, осенью зарежем, - на всю зиму колбасы будут, ветчина, сало. А какие умные свиньи! Вот я никогда раньше не думала. Одно из самых умных животных... Хочешь, я тебе свое хозяйство покажу?

Леонид вскочил на ноги.

- Покажи.

Лицо его сморщилось от неожиданной боли, но он поспешил разгладить морщины.

- И хозяйство твое, и вообще всю вашу дачку. Ведь я ее еще не видел.

Они вышли в сад. Леонид слегка прихрамывал. Солнце сверкало и грело. Сад был просторен, гол, но травка уже зеленела. На миндальных деревьях розовели набухшие бутоны. Сквозь ветки темнело море, огромное и синее.

Катя выпустила из чулана под лестницей поросенка. Он очумело выскочил, радостным карьером сделал несколько кругов, потом сразу остановился и, похрюкивая, стал щипать молодую травку.

- Смотри, какой жирный и большой! И знаешь, что я заметила? Что свиньи - очень чистоплотные животные. В грязь они лезут потому же, почему мы умываемся. Грязь засохнет и задушит на ней всех вшей, блох. А потом

отскребет грязь об угол или ствол, - и чистенькая, как вымытая. И только нежная розовая кожа просвечивает сквозь щетину... Как все интересно, куда ни посмотришь!

Леонид жадно глядел на море.

- Хорошо у вас тут!

И вдруг он засмеялся неожиданно прорвавшимся, внутренним смехом.

- Странно! Какое у вас здесь тихое, мирное житие! А жизнь клокочет, как в вулкане... Пойдем, покажи дачку.

Он брезгливо оглядел поросенка и, прихрамывая, пошел к террасе.

- Отчего ты хромаешь?

- Так... Телега опрокинулась, когда сюда ехал. Ушиб ногу. Пустяки.

Но Катя женским своим взглядом заметила неумело наложенную заплату на левом бедре и замытую кровь у ее краев.

- А это что? Вот ты зачем у меня вчера иголку брал... Ленка, что-то тут...

Она с любовью и с просьбой заглянула ему в глаза. Леонид сердито нахмурился.

- Вот пристала! Оставь ты меня, пожалуйста! Нежности эти бабы...

Катя вздрогнула. Вдруг она вспомнила рассказ Дмитрия, как он стрелял по двоим, убегавшим от контрразведки, и как ранил одного в ногу.

Дача, кроме маленькой комнаты и кухни с каморкой, где Сартановы жили зимою, имела еще три больших летних комнаты.

- Славная дачка! - В углах губ Леонида задрожала дразнящая улыбка. -

Когда мы будем здесь, мы ее реквизируем под клуб коммунистической молодежи.

- А вы скоро будете здесь?

- Недельки через две, не позже.

Катя жадно спросила:

- Встречал ты за это время Веру?

- Встречал много раз. Она в Петрограде работает, в женотделе. Чудесная работница. - Он насмешливо улыбнулся. - А дядя к ней по-прежнему?

Катя грустно ответила:

- По-прежнему. Говорит, что Вера для него умерла. Мы при нем никогда не говорим про нее, сейчас же у него делается такое беспощадное лицо...

Расскажи подробно, - что она, как?

После обеда Катя стала гладить белье, а Леонид ушел в горы.

Воротился он в сумерки, с большим букетом подснежников, и установил его в стеклянной банке посреди кухонного стола. Сели пить чай. Иван Ильич по-прежнему недоброжелательно поглядывал на Леонида. Он спросил:

- Ну, что? Как дела у вас? По-старому, - арестовываете, расстреливаете?

Леонид сдержанно улыбнулся.

- Кого нужно, арестовываем и расстреливаем.

- А многих нужно?

- Многих. Контрреволюция так и шипит, так и высматривает, куда бы ужалить.

- Да, многих, многих! Всех, кто не большевик. Значит, почти весь русский народ. Много еще работы предстоит.

- Трудового народа мы не трогаем, его мы убеждаем, и знаем, что он постепенно весь перейдет к нам. А буржуазия, - да, с нею церемониться мы не станем, она с нами никогда не пойдет, и разговаривать мы с нею не будем, а будем уничтожать.

- Уничтожать? Я что-то не пойму. Как же, - физически уничтожать?

- Да хоть бы и физически. Не ликвидируешь их, - уйдут к Колчаку, к

Деникину и будут сражаться против нас.

Катя ахнула.

- Леонид, что ты говоришь? Для марксизма важно уничтожение тех условий, при которых возможна буржуазия, а не физическое ее уничтожение... Какая гадость!

Леонид пренебрежительно взглянул на нее.

- Э, милая моя! С чистенькими ручками революции делать нельзя.

Марксизм, это прежде всего - диалектика, для каждого момента он вырабатывает свои методы действия.

- Но погоди, - сказал Иван Ильич. - Ведь вы сами при Керенском боролись против смертной казни, вы Церетели называли палачом. И я помню, я сам читал в газетах твою речь в Могилеве: ты от лица пролетариата заявлял солдатам, что совесть пролетариата не мирится и никогда не примирится со смертной казнью. Единственный раз, когда я тебе готов был рукоплескать. И что же теперь?

Леонид изумленно пожал плечами.

- Удивительно! Мы уж совсем на разных языках говорим... Ну, да! Тогда речь шла о казни солдат, мужественно отказывавшихся участвовать в преступной империалистической бойне. А теперь речь о предателях, вонзающих нож в спину революции.

- Но ведь ты говорил - пролетариат никогда не примирится со смертной казнью, в принципе!

- Полноте, дядя! Может, и говорил. Что ж из того! Тогда это был выгодный агитационный прием.

Катя гадливо вздрогнула. Иван Ильич схватился за грудь, прижал руки к сердцу и, закусив губу, шатающимся шагом заходил по кухне.

- Предали революцию! - с тоской воскликнул он. - Предали безнадежно и безвозвратно!

Леонид насмешливо блеснул глазами.

- Да неужели вы, дядя, не понимаете, что революция - не миндальный пряник, что она всегда делается так? Неужели вы никогда ничего не читали про великую французскую революцию, не слышали про ее великанов, - Марата, Робеспьера, Сен-Жюста или хотя бы про вашего мелкобуржуазного Дантона?

Они

тоже не миндальные пряники пекли, а про них вы не говорите, что они предали революцию... Ну, хорошо, мы предали. А вы, верные ее знаменосцы, - вы-то где же? Нас много, за нами стихия, а вы, - сколько вас?

- Вас много, потому что хамов много.

- Допустим. А вы, чистенькие, безупречные, - что вы делаете в это великое время? Вы, - я не знаю, может быть, вы за добровольцев?

- Нет, брат, избавь от этой чести!

- А тогда что же? Кто с вами? И что вы хотите делать? Сложить руки на груди, вздыхать о погибшей революции и негодовать? Разводить курочек и поросяточек? Кто в такие эпохи не находит себе дела, тех история выбрасывает на задний двор. "Хамы" делают революцию, льют потоками чужую кровь, - да! Но еще больше льют свою собственную. А благородные интеллигенты, "истинные" революционеры, только смотрят и негодуют!..

Иван Ильич ходил и молчал. Потом вдруг круто остановился перед Леонидом и спросил:

- Скажи, пожалуйста, для чего ты сюда приехал?

- Я уже вам говорил: отдохнуть.

- Зачем же тебе было ехать для этого сюда, пробираться через фронт,

подвергаться опасностям? Ведь для "усталых советских работников" отдых у вас создается просто: выгони буржуя из его особняка, помещика из усадьбы - и отдыхай себе вволю от казней, от сысков, от пыток, от карательных экспедиций, - набирайся сил на новые революционные подвиги!

Леонид, улыбаясь про себя, молча отхлебывал из кружки чай. Иван Ильич тяжелым взглядом смотрел на него.

- А скажи, пожалуйста: если бы кто-нибудь приехал и остановился у тебя, кто, - ты верно знаешь, - всею душою против большевиков, и кто, ты подозреваешь, приехал работать против них, - что бы ты сделал?

Леонид взглянул вызывающе смеющимися глазами.

- Станный вопрос. Конечно, дал бы знать в чрезвычайку. Она бы мигом с ним разделалась.

- Донес бы, значит?

- И глазом бы не моргнул.

Иван Ильич тяжело дышал и смотрел на него. Лицо его краснело, в душе поднимался вихрь. Стараясь овладеть собою, он медленно и спокойно сказал:

- Вот что, голубчик! Я не доносчик, и в жизнь свою никогда доносчиком не был. И на тебя не донесу. Но... уходи, милый мой, от нас сейчас же.

Катя порывисто двинулась, но ничего не сказала. Леонид, не допив стакана, с неопределенною улыбкою встал и медленно вышел. Слышно было, как

он в Катиной каморке зажег спичкою коптилку, как укладывал свои вещи. Все молчали.

Анна Ивановна нерешительно сказала:

- До утра бы оставить его, пусть переночует. Куда он пойдет, на ночь глядя?

- Нет!! - бешено крикнул Иван Ильич. Лицо его стало темным, как чугунок. - Сейчас же вон! Доносчик, палач, - не позволю поганить нашего дома! Иначе сам уйду! Так вы все и знайте!

Он зашагал по кухне и вдруг качнулся, как сильно пьяный. Анна Ивановна побледнела, Катя вскочила и подбежала к нему. Он отстранил ее рукою.

- Не-ет!.. Нужна, господа, хоть какая-нибудь брезгливость! Вы самого Иуду готовы в постельку уложить и укрыть тепленьким одеяльцем!.. Не-ет!..

Вошел Леонид с котомкою за плечами.

- Палку свою я, кажется, здесь оставил.

Он взял в углу палку. Глаза его смотрели кротко, в них было то хорошее, покорное и грустное, что Катя знала в нем в часы преследований и несчастий в былые времена. У ней сжалось сердце.

- Куда ты пойдешь?

- Наших тут везде много, приют найду где угодно. До свидания! - мягко сказал он.

- Погоди, Леня!

Катя быстро отрезала половину большого хлеба и подала ему.

- Э, дурочка, на что мне! Ведь у самих муки мало.

- Ну, ну, бери!

Он взял и вышел. Все молчали.

Муж и жена, с очумелыми глазами, полными отчаяния и усталости. С утренней зари до поздней ночи оба беспомощно трепались в колесе домашнего хозяйства, неумелые и растерянные. Пилили вдвоем дрова тупою пилою с обломанными зубьями и злобно ссорились. Он колот поленья зазубренным

топором, то и дело соскакивавшим с топорича. Она доила корову, которой смертельно боялась.

Корова брыкалась, ей связывали ноги. Жена опасливо доила, каждую минуту готовая отскочить, а муж стоял перед мордой коровы, косился на рога, грозил толстой палкой и свирепо все время кричал. И были у коровы такие же ошалелые глаза, как у хозяев.

Ложились поздно ночью, - никак не успевали управиться раньше, а к пяти утра нужно было вставать доить корову. Хоть бы раз выспаться всласть, - это было их высшим блаженством, о котором не смели и мечтать. И результатом чудовищной работы, выматывавшей все силы, было, что этот день, слава богу, кое-как сыты.

Катя помнила их два года назад. Счастливая, милая семья на уютной своей дачке, с детками, нарядными и воспитанными. Он тогда служил акцизным ревизором в Курске. У нее - пушистые, золотые волосы вокруг веселого личика. Теперь - лицо старухи, на голове слежавшаяся собачья шерсть, движения вульгарные. Распущенные грязные ребята с мокрыми носами, копоть и сор в комнатах, неубранные постели, невынесенная ночная посуда. И бешеные, злобные ссоры весь день.

- Катерина Ивановна, вы гладите свое белье?

- Конечно.

Она с торжеством посмотрела на мужа.

- Что?

- "Что"! Совершенно бессмысленная трата сил. Нелепое щегольство, когда и без того погибаем от работы.

- "Щегольство"! Катерина Ивановна, посмотрите на меня, - правда, какая щеголиха? Ха-ха-ха!.. И то хуже кухарки всякой.

- Здравствуйте! Как живете?

- Плохо, конечно. Вещи распродают, - этим питаюсь. А вы?

- Все вещи распродал. Вору.

- Распродам - тоже останется воровать.

По-крымски медленно надвигалась весна. Высокое солнце лило на землю нетерпеливый жар, но остывшее море перехватывало его и пускало в воздух острый холодок. Неспешно набухали почки акаций и тополей. Миндальные деревья, как повенчанные невесты, медленно сбрасывали свой воздушно-белый наряд и одевались в плотные зеленые платья. Скворцы черными четками усаживались к вечеру на холодеющие телеграфные проволоки, упоенно блеяли козлятами, квакали лягушками, свистели, как чабаны. Без северной тревоги и томления шла весна.

А в людях тревога. "Идут? Не идут?" Никто ничего не знал. Но чувствовалось, - что-то надвигается, что-то ломается и трещит... Свирепее и безудержнее становились реквизиции, разнузданнее войска. На дорогах казаки отнимали у мужиков муку и вино, забирали хороших лошадей и оставляли взамен

своих, загнанных и охромевших. В городе офицеры сводно-гвардейского полка ворвались в тюрьму, вывели тридцать бандитов и большевистских комиссаров и расстреляли их на берегу моря. Богатые люди выезжали на пароходах в Новороссийск, Батум, Константинополь.

Смелее становился народный говор и ропот. Дерзче грабежи в экономиях и

дачных поселках. Чаще поджоги. Безбоязненное уклонения от мобилизации. В потребиловке Агапов и Белозеров, осторожно оглядываясь, говорили, что добровольцы, собственно, обманули народ, и что истинно народную власть могут дать только большевики.

Привезли, наконец, муку в потребиловку. Сартановы уж неделю сидели без хлеба и ели разваренные кукурузные зерна. Катя пришла получить муку.

В прохладной лавке с пустыми полками народу было много. Сидели, крутили папиросы, пыхали зажигалками. Желтели защитные куртки парней призывного возраста, воротившихся из гор. Болгарин Иван Клинчев, приехавший из города, рассказал, что на базаре цена на муку сильно упала: буржуи бегут, везут на пароходы все свои запасы, а дрягили, вместо того, чтобы грузить, волокут муку на базар.

Штукатур Тимофей Глухарь злобно сказал:

- Ишь, сволочь какая! Народ с голодудохнет, а они муку увозят!

Толстая болгарка с черными, как сажа, бровями спросила продавщицу Маню:

- Сколько катушка стоит?

- Сорок рублей.

- Господи, что же это!

Глухарь отозвался:

- Дай, большевики придут, - сорок копеек будет стоить. Они все это спекулянтство уничтожат.

Катя, со всегдашнею своею привычкою говорить, что в душе, удивленно поглядела на него.

- Тимофей! Как же вы совсем еще недавно говорили, что вы против большевиков?

- А вам желается, чтоб у нас кадеты остались? Хе-хе! Не-ет! Довольно!

Поездили на наших шеях!

- Я вам не говорила, что мне желательно.

- Еще бы теперь говорить! Вы теперь затаились. Чуете, что дело ваше плохо.

Осторожные болгары с молчаливою усмешкой поглядывали на Катю. Русские злорадно стали глумиться над добровольцами и ругать их. Веселый парень в солдатской рубашке без пояса запел:

Пароходик идет, вода кольцами,  
Будем рыбу кормить добровольцами!

Катя стала с чеком в очередь. Толстая болгарка подошла и стала перед нею.

- Послушайте. Марина, не видите, - очередь? Что же вы вперед заходите?

- Мне некогда.

- И мне тоже некогда.

- Подождете. Что вам делать? Мы работаем, а вы на берегу голые лежите.

Кругом засмеялись. Подвыпивший столяр Капралов вдруг грозно спросил болгарку:

- А кому какая польза, что ты работаешь? Кабы вы на общественную пользу работали, то было бы дело. А вы зерно в ямы зарываете, подушки набиваете керенками, - "работаем"! Сколько подушек набила? А приду к тебе, мучицы попрошу для ребят, скажешь: нету!

Он властно отстранил болгарку и обратился к Кате:

- Становитесь, барышня, в свою очередь. А твое вот где место. Ее отец хороший человек.

Болгары шурились и молча смотрели в стороны. Толстая болгарка не так уж уверенно возразила:

- А мы нешто плохие?

- Вы не хорошие и не плохие. Он за народное дело в тюрьме сидел, бедных даром лечит, а к вашему порогу подойдет бедный, - "доченька, погляди, там под крыльцом корочка горелая валялась, собака ее не хочет есть, - подай убогому человеку!" Ваше название - "файдасыз"\*!.. Дай, большевики придут, - они вам ваши подушки порастрясут!

---

\* Великолепное татарское слово, значит оно: "человек, полезный только для самого себя". Так в Крыму татары называют болгар. (Прим. В.Вересаева.)

Катя получила полтора пуда муки и волоком вытащила мешок наружу.

По шоссе в порожних телегах ехали мужики. Катя подбежала и стала просить подвезти ее с мешком за плату к поселку, за версту. Первый мужик оглядел ее, ничего не ответил и проехал мимо. Второй засмеялся, сказал: "двести рублей!" (В то время сто рублей брали до города, за двадцать верст.)

Из потребиловки мужик, с рыжеватой бородой и красными, обтянутыми скулами, вынес свои покупки и стал укладывать в телегу. Катя быстро спросила:

- Вы по шоссе поедете, мимо поселка?

Мужик, не оглядываясь, пробурчал:

- Нечего мне с тобой. Проходи!

Деревенские, сидевшие на скамеечке у потребиловки, засмеялись. Парень Левченко, с одутловатым, в прыщах, лицом, в солдатской шинели, сказал:

- Тащи-ка на своем хребте. Ноне на это чужих хребтов не полагается.

Катя вспыхнула.

- Знаете, что? Когда на почте неграмотный человек просит меня написать ему адрес на письме, - я не смеюсь над ним, потому что знаю: он не умеет писать, а я умею. А мешок поднять у меня нет силы. Не хотите помочь - ваше дело. Но как же вам не стыдно смеяться?

Сидевшие на скамейке молчали. Левченко улыбался нехорошою улыбкою. Мужик в телеге удивленно взглянул на Катю и вдруг сказал:

- Садитесь.

И сам положил ее мешок в телегу.

Они затряслись по шоссе. Катя усаживалась на своем мешке и радостно говорила:

- Ну, вот, видите: все-таки, все-таки люди добрее и лучше, чем кажутся! Ведь вот стало же вам совестно! Но скажите, - почему все теперь стали такие жестокие?

Мужик улыбнулся хорошею мужицкою улыбкою.

- Верно. Осатанел народ.

- Но почему же?

Он подумал, но не нашел ответа. Пошевелил плечами и стегнул кнутом лошадь.

Легкий ветерок дул с залитых солнцем гор, пахло фиалками. Мужик разговорился. Он был из соседней степной деревни. Рассказал он, как после ограбления экономии Бреверна к ним в деревню поставили постоем казаков.

- Корми их, пои. Всѣ берут, на что ни взглянут - полушубок, валенки.

Сколько кабанчиков порезали, гусей, курей, что вина выпили. Девочек за груди хватают, и не могли им ничего сказать, - сейчас за пашку. А мы чем виноваты? "К вам, - говорят, - след от колес ведет из экономии". Может, и из наших

кто. Мало ли с войны солдат воротилось. Да ведь он оказываться не станет; если что своровал, схоронит. А к ответу всех поставили. Нашего брата, как хочешь, обижай. У зятя моего в Бараколе кадеты стали лошадь отымать, он не дает. "Я, говорит, через нее хлеб кушаю". - "Ну, вот покушай!" И из ливарвера ему в лоб. Бросили в канаву и уехали. Старики в город пошли жаловаться, все расписали, как было. Те опять приехали: "Вы, говорят, жаловались?" - "Мы". Отхлестали нагайками и - ходу!

Катя в беспомощном негодовании оглядывала сверкавшие солнцем дали.

- Да это и большевики не хуже!

- Кто их знает. Нам все одно. Царь ли, Ленин ли, - только бы порядок был и покой. Совсем житья не стало.

Мужик слегка подхлестывал кнутом лошадь. Несло от него чем-то светлым, тихим и крепким, что всегда чувлось Кате в мужиках сквозь их жадность, жестокость и грубость.

Подъехали к калитке дачи. Мужик внес мешок и отказался взять деньги.

Керосиновая лампочка тускло освещала пыльные выступы камней в подвале. Отдушины были завешаны дерюгами. Ася месила лопатой известку, Агапов, в фартуке, клал поперечную стенку, Майя подавала камни. Из-за стенки выглядывали ящики, мешки с мукою, бочонки.

Говорили шепотом.

- А золото я вот в эту щель вмазываю. Запомните, девочки! Вот, зеленый камушек, на высоте моего роста.

Вывели стенку под самый свод. Завалили ее старыми ящиками, пустыми бочками. Затрусили пол сором. Выходили из подвала поодиночке, зорко вглядываясь в глухую темноту ночи.

У профессора пили чай. Он сегодня ездил в город читать свои лекции в народном университете, и Катя забежала узнать новости. Профессор был заметно взволнован. Наталья Сергеевна сидела за самоваром бледная, с застывшим от горя лицом.

- Добровольцы по всем дорогам уходят в Феодосию, а оттуда в Керчь. В городе полная анархия. Офицеры все забирают в магазинах, не платя, солдаты врываются в квартиры и грабят. Говорят, собираются устроить резню в тюрьмах. Рабочие уже выбрали тайный революционный комитет, чтобы взять власть в свои руки.

Наталья Сергеевна сказала:

- У нас сейчас стирает девушка с деревни, рассказывала: в Насыпное заночевали два офицера, - их ночью убили, раздели догола, и трупы увезли куда-то.

С террасы вбежала девушка-прачка, хлопнула зазвеневшею стеклянною дверью, крикнула на бегу: "Кадеты идут!" и в ужасе пробежала в кухню.

Вышли на террасу. С горы по дороге спускался высокий молодой офицер с лентой патронов через плечо, в очень высоких сапогах со шпорами... В руке у него была винтовка, из-за пояса торчали две деревянные ручки ручных гранат. На горе, на оранжевом фоне заходившего солнца, чернела казенная двуколка и еще две фигуры с винтовками.

- Скажите, здесь живет профессор Дмитревский?

- Это я.

- Вам письмо от вашего сына.

- Очень вам благодарен, поручик... Не зайдете ли выпить стакан чаю?

- Благодарю вас, меня товарищи ждут.



- Так ведите и их.

Офицер конфузливо улыбнулся.

- Ну, спасибо. Сейчас приведу.

Двуколка, нагруженная большим бочонком, спустилась с горы. Высокий взошел на террасу еще с двумя офицерами. Их усадили пить чай. Профессор и Наталья Сергеевна жадно стали читать письмо.

- Вам записочка от Мити, - сказал профессор Кате.

Записка была написана наскоро, взволнованным почерком. Митя писал, что их полк экстренно двинули к Керчи, что навряд ли скоро придется увидеться. "Катя, милая моя девушка! Навряд ли и вообще уж когда-нибудь увидимся. Прощай, не поминай лихом!"

Профессор спросил офицеров:

- Как положение?

Офицер в гусарской фуражке, с рыжими, подстриженными снизу усами, ответил:

- Обычное маневрирование. Из стратегических соображений войска передвигаются к Керчи.

Высокий усмехнулся, поколебался и вдруг махнул рукою.

- Какие там стратегические соображения! Просто гонят нас большевики. Да и гнать-то, в сущности, некого. Армии больше не существует, расползлась по швам и без швов, как интендантские сапоги. И надеяться больше не на кого. Союзники от нас отступились, французы отдали большевикам Одессу...

Гусар сумрачно покосился на него.

- Вы не профессиональный военный, поэтому все вам и кажется так страшно. Во всякой войне бывают колебания в ту и другую сторону. Вот соберемся с силами, подойдут пополнения - и погоним красных, как стадо овец, вот увидите. Их только раз разбить, а дальше работа будет уж только нам, кавалерии.

Третий, очень молодой артиллерист-прапорщик, смуглый, с родинкою на щеке и с серьезными глазами, сдержанно возразил:

- С таким командным составом никого не разобьем.

Высокий с негодованием воскликнул:

- Ох, уж этот командный состав!.. Совсем, как при царе: бездарность на бездарности, штабы кишат франтами-бездельниками, которые и носа не кажут на фронт. Воровство грандиозное, наши солдаты сидят в окопах в рваных шинелишках, в худых сапогах, а в тылу идет распродажа обмундирования, все мужики в деревнях ходят в английских френчах и американских башмаках. В ресторанах шампанское потоками, миллионы летят, как рубли... А мы что делали на фронте? Вместо того, чтобы защищать перешеек - ведь сами говорят: Фермопилы - бросили нас далеко на север, три тысячи против пятнадцати тысяч красных, для того, видите ли, чтобы соединиться у Дебальцева с Деникиным. Ну, конечно, разбили нас и отбросили... А теперь транспорт наших крымцев пришел к Деникину, - он их не принял: вы, говорит, убежали от большевиков, вы мне не нужны.

Профессор встал.

- Извините, вы мне позволите написать письмецо сыну?

Он ушел с женою. Катя, без кажущейся связи с разговором, сказала:

- На днях я ехала с одним мужиком из соседней деревни, он мне рассказывал: добровольцы отобрали у его зятя лошадь, последнюю, а когда он стал противиться, его застрелили.

Гусар враждебно смотрел на нее.

- Да ведь это все сказки! Как вы им верите!

Высокий устало отозвался:

- Нет, так бывает.

- Да ведь это же хуже большевиков!

- Мы хуже и есть. Недавно перестреляли из пулеметов сто двадцать красно-зеленых в каменоломнях. Они сдались, побросали винтовки, выкинули белый флаг. А мы их пулеметами.

- Сдавшихся!

- А они не так?

- Ну, и как на душе у вас?

Высокий усмехнулся.

- Ничего. Привыкли. Умом, конечно, понимаю, что нехорошо.

Замолчали. Катя сказала:

- Или вот еще, тот же мужик рассказывал. У нас тут недавно ограбили помещика Бреверна, к ним поставили казаков, и они ограбили мужиков. Одежду отбирали, припасы, вино.

Гусар тяжелым взглядом посмотрел на Катю. Она почувствовала, что он уж ненавидит ее всеми силами души.

- А как с ними иначе? Мы раздеты, голодаем, а они сыты, в тепле; продавать ничего не хотят, набивают подушки керенками...

Катя весело всплеснула руками.

- Да большевики совсем так же рассуждают о буржуях! Вот потеха!

Гусар прикусил губу. Прапорщик-артиллерист с родинкой тихо сказал:

- Если двадцатого числа не получим жалованья, придется и нам жить разбоем.

Высокий усмехнулся.

- А теперь не разбоем живем? Вон бочку вина везем, - заплатили мы за него?

Гусар заговорил взволнованно:

- Вы говорите - в сдавшихся стреляли. С немцами, с австрийцами мы были рыцари. А против большевиков мне совесть моя разрешает все! Меня пьяные матросы били по щекам, плевали в лицо, сорвали с меня погоны, Владимира с мечами. На моих глазах расстреливали моих товарищей. В родовой нашей усадьбе хозяевами расхаживают мужики, рвут фамильные портреты, плюют на паркет, барабанят на рояли бездарный свой интернационал. Жена моя нищенствует в уездном городишке... Расстреливать буду, жечь, пытать, - все! И с восторгом! Развалили армию, отдали Россию жидам. Без рук, без ног останусь, - поползу, зубами буду стрелять!

Высокий задумчиво курил папиросу.

- У меня такой ненависти к большевикам нету. Но я человек деятельный, сидеть в такое время, сложа руки, не мог. А выбор только один: либо большевики, либо добровольцы. И я колебался. Но когда в Петрограде, за покушение на Ленина, расстреляли пятьсот ни в чем не повинных заложников, я почувствовал, что с этими людьми идти не могу. И я пошел к тем, кто говорил, что за свободу и учредительное собрание. Но у большинства оказалось не так, до народа им нет никакого дела. А народ ко всем нам враждебен, тому, что говорим, не верит, и всех нас ненавидит. Выходить можем только по несколько человек вместе, вооруженными. Вон на днях где-то тут поблизости, на греческих хуторах, нашли голые трупы двух офицеров... Буржуазия на нас молится, но ни кровью своею, ни деньгами поддержать не хочет.

Катя воскликнула:

- Зачем же вы тогда остаетесь?!

Гусар быстро поднял голову.

- То есть как это?

Высокий безнадежно махнул рукою.

- Нет, уж не уйти. Да и куда? Буду тянуть до конца. А разобьют окончательно, - поеду в Америку ботинки чистить. Теперь ко всему привык. - Он показал свои мозолистые руки. - У меня своего - вот только эти сапоги. Имущество не громоздкое.

Мальчик-артиллерист с родинкою сказал:

- Что окончательно разобьют, я не верю. Пройдет же этот угар, народ поймет, что Россия, которую он же с такими муками создавал, не пустой звук. Нужно только продержаться, пока народ не отрезвеет.

- Мы недавно расстреляли двух офицеров, которые собирались уйти, - сказал гусар.

Вошел профессор с письмом.

- А вы, Екатерина Ивановна, не напишете Мите?

- Нет.

Офицеры стали прощаться. Профессор предлагал им остаться переночевать, но они отказались. Гусар и артиллерист пошли взнуздывать лошадь. Высокий задержался на террасе с Катю.

- Вы знаете, такой ужас, такой кошмар! - говорил он. - Как мы до сих пор не сошли с ума!

Катя украдкой быстро оглянулась и вдруг решительно спросила:

- Скажите, вы хороши с Дмитрием Николаевичем?

- Да.

- Тогда вот что. Уговорите его, чтобы он ушел. И уходите сами. Как можно все это выносить за дело, в которое не веришь!

Офицер медленно покачал головой.

- Нет, ничего не стану говорить.

И, не прощаясь, пошел к двуколке.

Колеса загремели по каменистой дороге. В сухих сумерках из-за мыса поднимался красный месяц. Профессор взволнованно шагал по террасе, Наталья Сергеевна плакала. Катя горящими глазами глядела вдаль.

- Господи, какие у этого рыжего глаза! Какие пустые дырки! - Она нервно повела плечами. - Ой, какие тяжелые глаза! Да, он и попытаться будет, и застрелит, если кто уйдет, - все!

Профессор растерянно усмехнулся.

- Положение! Проваливаться куда-то в преисподнюю за дело совершенно чужое!

- Я завтра отправлюсь к нему, уговорю его уйти, - сказала Катя.

Профессор изумился.

- Что вы говорите! На фронт! Да кто вас пропустит? И как вы доберетесь туда?

Наталья Сергеевна радостно слушала.

- Попробуюсь. Чего захочу, я всегда достигаю. Нельзя, нельзя ему там оставаться!

Они говорили долго и горячо. Губы Дмитрия не улыбались всегдашней его тайною улыбкою, глубоко в глазах была просветленная печаль и серьезность. Катя страстно старалась вложить в его безвольную душу все напряжение своей воли, но чувствовала, - крепкая стенка огораживает его душу, и этой стенки она не может пробить.

А он держал в руках руку Кати, с тихою любовью смотрел на ее

почерневшее от солнца лицо, осунувшееся от трудной дороги, на пыльные волосы...

- Катя, может быть, не хорошо прямо говорить тебе все, что сейчас в душе...

- Нет, именно все скажи, именно все!

- Да, я все-таки скажу... Вот, ты мне говоришь: уйди. Скажем, я пошел бы на эту гадость, - бросить товарищей в беде. Ну, а дальше? Куда уйти с тобою? Ведь красные меня либо расстреляют, либо мобилизуют, и я должен буду пойти с ними. Или скрываться, прятаться? Где? До каких пор? Папа тоже вот неуверенно говорит: "уйди". А когда спрошу: "куда?" - он начинает бегать глазами... Ужас в том, что выбора нет никакого. Либо с теми, либо с этими. А кто в промежутке... Да и ты сама. Тебя никто не будет заставлять, а тебе разве легче? Разве, с твоею активной натурой, ты сможешь удовлетвориться тем, чтобы говорить обеим сторонам: "уйдите!" - уходите, и больше ничего!

Катя заломила руки. На это нечего было возразить. И туго натянутая воля, стремившаяся бросить в жизнь действенный поступок, оборвалась, как надрезанная тетива.

Они сидели на скамеечке под распускающимися тополями, у крыльца белого домика немца-колониста. Над приазовскими степями голубело бодрое утро, частые темно-синие волны быстро бежали из морской дали к берегу. По деревне синели дымки бивачных костров, и приятно пахло гарью.

Подошел солдат и сказал:

- Господин поручик!

- Да, да! Я сейчас!

Дмитрий быстро встал.

- Тебе, Митя, нужно идти. Прощай.

- Я тебя провожу до околицы. Мне все равно в ту сторону идти.

За низкими сараями артиллеристы торопливо устанавливали орудия с длинными хоботами. Солдаты пробивали в глиняных оградах бойницы. К деревне

крупной рысью подъезжал отряд лохматых казаков, лошади играли. И везде солнце сверкало, и была бодрящая прохлада утра, и кипела взволнованная работа, и таинственно бухали в туманной дали редкие орудийные выстрелы. Скоро тут закрутится сверкающая смерть. Лица всех были сосредоточены, серьезны - и как прекрасны!

Дмитрий сказал:

- "Уйти". Уйти можно только... в царство теней. Когда уж слишком ясно почувствуешь, что и здесь ты все равно только безжизненная тень ненужной сейчас жизни...

Катя жадно глядела кругом и вдруг воскликнула страстно:

- Если бы я могла остаться тут вместо тебя!

Дмитрий потихоньку пожал ее руку и умиленно прошептал:

- Спасибо тебе.

Катя удивленно взглянула на него.

Катя сидела у фонтана под горой и закусывала. Ноги горели от долгой ходьбы, полуденное солнце жгло лицо. Дороги были необычно пусты, нигде не встретила она ни одной телеги. Безлюдная тишина настороженно прислушивалась, тревожно ждала чего-то. Даже ветер не решался шевельнуться. И странно было, что все-таки шмели жужжат в зацветающих кустах дикой сливы и что по дороге

беззаботно бегают милые птички посорянки, похожие на хохлатых жаворонков.

С горы спускалась линейка. Подъехала к фонтану. Высокий болгарин сошел, чтобы попоить лошадей. Катя с удивлением и радостью узнала Афанасия Ханова. И он ее тоже узнал.

- Барышня, что это вы? Куда в такое время собрались?

- Я домой иду. А вы из города?

Ханов не ответил. Разнуздal лошадей перед корытом. Потом сказал:

- Не годится сейчас ходить по дорогам. Садитесь, подвезу.

- Ах, спасибо! Так устала!

Попоили лошадей, поехали в гору, - по плохой дороге с торчащими в колеях белыми камнями. Катю давно интересовал Афанасий Ханов. Он был комиссаром уезда при первом большевизме в Крыму, его ругали дачники, но и в самых ругательствах чувствовался оттенок уважения. И у него были прекрасные черные глаза, внимательно прислушивающиеся к идущим в душу впечатлениям жизни.

У Кати был свой особенный бессознательный подход к людям. Она сама по-детски говорила всегда то, что думает и чувствует, и к душе другого человека подходила сразу, вплотную, без всяких условностей. Это удивляло - и часто налаживало на откровенность. Ханов незаметно разговорился по душе и стал рассказывать о себе.

- Раньше я, понимаете, торговал. Стою за прилавком, деньги сами в руки плывут. Двухэтажный дом себе построил - вон, где потребилка сейчас. А в мыслях все думается: не то это! Скучно как-то сердцу. Прикрыл, понимаете, дело, опять поворотился в мужики. Труднее стало жить, а в душе получилась легкость. А раньше, бывало, мужики виноград дают, а я скупаю вино и продаю, сам ничего не работаю. "Дураки, - думаю, - как же не видите, что из вас кровь сосут?" У меня в саду абрикосы, груши, персики, а сквозь забор, понимаете, ребятишки сапожника - до чего жадно смотрят! И я тогда понял, что это - права неправильные, что все это нужно ликвидировать. Вон Бреверн в коляске ездит, спит до двух часов дня, а у него тысячи десятин земли. Как это можно терпеть? И когда мне все это большевики объяснили, я сразу и понял.

- Афанасий! Да ведь это же совсем еще не большевизм. Это социализм, за это и мы. Ведь вы в прошлом году сами были комиссаром, вы видели, как людей грабили, резали, как издевались над ними. Разве кто думал о справедливом строе? Каждый тащил себе. Что из этого может выйти?

В ясных глазах Ханова мелькнула растерянность, как у человека, который с великим трудом утвердился среди болота на кочке и его вдруг хотят с нее столкнуть.

- Да нет, я, собственно... Я, пожалуй, сам не большевик... Я понимаю, что рано все делать. В социализм, понимаете, идти - нужно, чтоб руки были так. - Он вытянул вперед раскрытые ладони, как бы все отдавая. - А у нас - так. - Он жадно прижал стиснутые кулаки к груди.

Катя радостно засмеялась.

- Вот именно! А они этого кровью хотят достигнуть и грязью. Два года назад солдаты продавали на базаре в Феодосии привезенных из Трапезунда турчанок, - помните, по две керенки брали за женщину? А сегодня они - большевики, насаждают "справедливый трудовой строй". И вы можете с ними идти!

Ханов с любопытством спросил:

- Ну, а с кем идти? С кадетами?

- Зачем же с кадетами? Нужно свое образовать, соединиться всем, кто вправду за справедливость и свободу.

- Ну, хорошо. А вы вот: ваш батюшка на каторге был, вы в тюрьме сидели. Отчего же не соединяетесь?

Катя измученно засмеялась.

- Вот и давайте соединяться... Господи, что это?!

Через низкие ограды садов, пригнувшись, скакали всадники в папахах, трещали выстрелы, от хуторов бежали женщины и дети. Дорогу пересек черный, крючконосый человек с безумным лицом, за ним промчались два чеченца с волчьими глазами. Один нагнал его и ударил шашкой по чернокудрявой голове, человек покатился в овраг. Из окон убогих греческих хат летел скарб, на дворах шныряли гибкие фигуры горцев. Они увязывали узлы, навьючивали на лошадей. От двух хат на горе черными клубами валил дым.

И еще Катя увидела: старуха с растрепанными волосами, пронзительно крича, цеплялась за чеченца, а он тащил на руках в хату прелестную полуобнаженную девочку. В воздухе бились золотисто-смуглые руки, и выгибалась девическая грудь.

- Господи! Да что же это!

Катя хотела соскочить с линейки и броситься усовещивать чеченца. Ханов крепко охватил ее рукою и сильно ударил кнутом по лошадям. Они понесли под гору.

По дороге поспешно шел старик татарин с подстриженными усами, бледный и взволнованный. Катя крикнула ему:

- Слушайте, вы не знаете, что это там, из-за чего?

- Дикая езда приезжал. Греков порубал.

- За что? Садитесь к нам, расскажите. Ханов, можно?

Они поехали. Татарин сообщил, что недавно в соседней русской деревне мужики убили двух заночевавших офицеров, а трупы подбросили на хутора к грекам... Из города послали чеченцев для экзекуции.

Вечером Катя одиноко сидела на скамеечке у пляжа и горящими глазами смотрела в вольную даль моря. Крепкий лед, оковывавший ее душу, давал странные, пугавшие ее трещины. Она вспомнила, как ее охватило страстное желание остаться там, где люди, среди бодрящей прохлады утра, собирались бороться и умирать. И она спрашивала себя: если бы она верила в их дело, - отступила ли бы она от него из-за тех злодейств, какие сегодня видела?

Было везде тихо, тихо. Как перед грозой, когда листья замрут, и даже пыль прижимается к земле. Дороги были пустынные, шоссе как вымерло. Стояла страстная неделя. Дни медленно проплывали - безветренные, сумрачные и теплые. На северо-востоке все время слышались в тишине глухие буханья. Одни говорили, - большевики обстреливают город, другие, - что это добровольцы взрывают за бухтою артиллерийские склады.

Дачники были в смятении. Болгары тоже чувствовали себя тревожно. Кучки бедноты стояли на деревенской улице и вполголоса переговаривались. По слухам, в соседней русской деревне уже образовался революционный комитет, туда приезжали большевистские агитаторы и говорили, чтобы не было погромов, что все - достояние государства. Крестьяне наносили им вина, хлеба, яиц, сала и отказались взять деньги.

В страстную пятницу Анна Ивановна ходила в потребиловку и принесла известие, что в кофейне Авраамиди сидит восемь большевистских разведчиков с винтовками.

Перед обедом Иван Ильич, в кожаных опорках и грязной, заплатах рубашке, копал у себя на огороде грядки. Вдруг до него донесся надменно-повелительный голос:

- Эй, ты! Поди сюда!

Иван Ильич изумленно поднял голову. За проволочную ограду, сквозь нераспустившиеся ветки дикой маслины, виднелся на великолепной лошади всадник с офицерской кокардой, с карабином за плечами.

- Ну!! Живо!

Иван Ильич негодуя смотрел. Офицер сорвал с плеч винтовку и прицелился. Закусив губу, Иван Ильич медленно пошел к ограде. На шоссе были еще два всадника с винтовками.

- Что это за деревня? - Голос у офицера был взволнованный и решительный.

- Это не деревня, а дачный поселок Арматлук. Деревня там, за холмом.

Офицер разглядел лицо Ивана Ильича, увидел его очки и сразу стал вежлив.

- Скажите, пожалуйста, большая деревня?

- Большая.

- А жители кто?

- Больше болгары.

- Очень вам благодарен.

В этом надменном окрике и неожиданном переходе к вежливости и к "вы" только из-за очков Иван Ильич вдруг остро почувствовал тот старый, брезгливо огородившийся от народа мир, который был ему так ненавистен.

Офицер приложил руку к козырьку и вместе со своими спутниками медленно двинулся по шоссе к деревне. У поворота они остановились, долго разговаривали, поглядывая вперед, потом двинулись дальше. Иван Ильич в колебании смотрел им вслед. Они скрылись за холмом.

Иван Ильич трясущимися руками взялся за лопату. Вдруг за холмом затрещали выстрелы, послышалась частая дробь подков по шоссе. Пригнувшись к

шеям лошадей, всадники карьером скакали назад. Офицер держал повод в правой руке, из левого плеча его текла кровь.

Настало светлое воскресенье. Из-за моря встало яркое солнечное утро, синее небо сверкало. Добровольцы исчезли, - без шума, без грома исчезли, растаяли неслышно, как туман под солнцем. По шоссе непрерывную вереницею катились линейки и тачанки, на них густо сидели мужские фигуры в красных повязках, с винтовками. Молодежь, выкопав из земли запрятанные еще при немцах винтовки, отовсюду шла и ехала записываться в красную армию. По всей степи ярко цвели тюльпаны, алые, как свежая кровь. И повсюду горели букеты этих тюльпанов - в руках, в петлицах, на фуражках.

Промчался от города автомобиль с развевающимся красным флагом. На повороте шоссе автомобиль запыхтел, быстро заработал поршнями и остановился, окутавшись синим дымком. Поднялся с сиденья человек и стал громко говорить в толпу. Замелькали в воздухе белые листки воззваний, против ветра донесся восторженный крик: "ура!" Автомобиль помчался дальше.

Катя стояла у калитки сада и жадно смотрела на шоссе. Катилась мимо огромная, ликующая река, кипящая общим подъемом, а она одиноко стояла на берегу, чуждая и враждебная этому подъему. Вспомнились ей февральские дни в Москве, - как тогда было иначе! Как тогда билось сердце в один такт с

огромным всенародным сердцем, как сладок был свист пуль над ухом на Каменном

мосту, как незабываем этот подъем над обыденною, маленькою жизнью! И все, о чем так светло грезилось, - все это рухнуло, развалилось, все утонуло в трясине кровавой грязи...

Катя пошла в свою каморку за кухнею, села к открытому окну. Теплый ветерок слабо шевелил ее волосы. В саду, как невинные невесты, цвели белым своим цветом абрикосы. Чтобы отвлечься от того, что было в душе, Катя стала брать одну книгу за другою. Но, как с человеком, у которого нарываяет палец, все время случается так, что он ушибается о предметы как раз этим пальцем, - так было теперь и с Катей.

Открыла "Жизнь Иисуса" Ренана и через две страницы натолкнулась:

"Есть люди, которые сожалеют, что французская революция несколько раз выходила из границ и что ее не совершили мудрые и умеренные люди. Не будем прикладывать наших маленьких программ рассудительных мещан к этим чрезвычайным движениям, стоящим столь высоко над нашим ростом. Контраст между идеалом и печальною действительностью всегда будет создавать в человечестве мятежи против холодного разума, считаемые посредственными людьми за безумие, - до того дня, когда эти восстания восторжествуют. Тогда те, кто сражался против них, первые признают в них высокий ум".

Открыла Герцена "С того берега":

"Или вы не видите новых христиан, идущих разрушать? Они готовы. Они, как лава, тяжело шевелятся под землею, внутри города. Когда настанет их час, - Геркуланум и Помпея исчезнут, правый и виноватый погибнут рядом. Это будет не суд, не расправа, а катаклизм, переворот... Эта лава, эти варвары, этот новый мир, эти назареи, идущие покончить дряхлое и бессильное и расчистить место свежему и новому, ближе, нежели вы думаете".

Катя глубоко задумалась. Она ведь все это читала совсем недавно, - как же она не восприняла тогда, не почувствовала того, что написано так ясно и так страшно определенно?.. "Правый и виновный погибнут рядом, это будет не суд, не расправа, а катаклизм. Они ближе, нежели вы думаете"... И вот они пришли, - пришли именно такими, какими все их предвидели, принесли то, о чем сама она мечтала всю свою сознательную жизнь. А она стоит, чуждая им, и нет у нее в сердце ничего, кроме ужаса и брезгливого омерзения.

Под окном хрюкнул поросенок. Он подошел к миске с водою, попил немного, поддел миску пятаком и опрокинул ее. Катя вышла, почесала носком башмака брюхо поросенку. Он поспешно лег, вытянул ножки с копытцами и замер. Катя задумчиво водила носком по его розовому брюху с выступами сосков, а он лежал, закрыв глаза, и изредка блаженно похрюкивал. Куры обступили Катю и поглядывали на нее в ожидании корма.

Кате вдруг стало смешно. Ей представилось: все, что кругом, - как будто это тихая подводная пещерка глубоко-глубоко в море. Там, наверху, сшибаются вихри, чудовищные волны с ревом бросаются на небо, земля сотрясается, валятся скалы, поросшие вековым мохом, зловеще ползет по склонам огненная лава, - а тут, в пещерке, мирно плавают маленькие козявочки, копошатся в иле, сосут водоросли. И что сама она такая же маленькая козявочка. Ахнет в дно подземный удар, расколет пещерку, бросит в нее шипящую лаву, - козявочки опрокинутся на спину, подожмут лапки, удивятся и умрут.

Вечером к Ивану Ильичу пришел профессор Дмитревский. Он был слегка взволнован, и глаза его бегали.

- Пришел к вам посоветоваться. Сейчас на автомобиле приезжал ко мне из города представитель военно-революционного комитета, сообщил, что рабочие



наметили меня кандидатом в комиссары народного просвещения. Спрашивал, пойду

ли я. Что вы об этом думаете?

Иван Ильич расхохотался.

- А возможно просвещение, когда свободную мысль душат, когда издаваться могут только казенные газеты?

Профессор поспешно ответил:

- Я сказал, что подумаю, но что, во всяком случае, необходимое условие - свобода слова и печати, что иначе я просвещения не мыслю. Они заявили, что в принципе со мною совершенно согласны, что меры против печати принимаются только ввиду военного положения. Уверяли, что теперь большевики

совсем не те, как в прошлом году, что они дорожат сотрудничеством интеллигенции. Через два два обещались приехать за ответом.

- И вы им верите? - смеялся Иван Ильич. - Мало они всех обманывали!

Заспорили жестоко. Катя энергически поддерживала профессора и доказывала, что нужно идти работать с большевиками. Иван Ильич с негодованием воскликнул:

- И ты - ты тоже бы пошла?

- Не пошла бы, а прямо и определенно пойду... Николай Елпидифорович, возьмите меня в свой комиссариат.

Профессор очень обрадовался. Он умиленно сказал:

- Славная вы девушка, Екатерина Ивановна! Если бы вы знали, как вы мне много даете!

Иван Ильич, ошеломленный, смотрел на Катю.

- Ты... ты вправду пойдешь?

- Обязательно!

Глубоко в глазах Ивана Ильича сверкнул тот же темный, сурово-беспощадный огонь, каким они загорались при упоминании о Вере. Он сгорбился и, волоча ноги, пошел к себе в спальню.

Приказ, за подписью коменданта Седого, объявлял, что, ввиду военного положения, гражданам запрещается выходить после девяти часов вечера. Замерло в поселке. Нигде не видно было огней. Тихо мерцала над горою ясная Венера, чуть шумел в темноте прибой. Из деревни доносились пьяные песни.

Была глухая ночь. На даче Агаповых все спали тревожным, прислушивающимся сном. В дверь террасы раздался осторожный стук. Потом еще.

Агапов, трясущимися руками запахивая халат, подошел к двери и хриплым голосом спросил:

- Кто там?

Голос их кухарки, - кухня стояла отдельно от дома, - ответил:

- Барин, это я. Телеграмму почтальон принес.

Агапов отпер. Отстранив кухарку, в дверь быстро вошли три солдата с винтовками. Один, высокий, властно спросил:

- Ты - купец Агапов?

- Я.

Ноги затопали, три дула быстро вскинулись и уставились ему в грудь. Свеча в руке Агапова запрыгала.

- Погодите... Товарищи! В чем дело?

- Контрибуция на тебя наложена. Пять тысяч рублей.

Агапов ласково улыбнулся.

- Контрибуция? Превосходно. Раз наложена, то я что же? Я ничего возразить не могу... Сейчас вам вынесу.

Он торопливо вышел в дверь направо. Бледная кухарка тяжело вздыхала. Солдаты смотрели на блестящий паркет, на большой черный рояль. Высокий подошел к двери налево и открыл ее. За ним оба другие пошли. На потолке висел розовый фонарь. Девушка, с обнаженными руками и плечами, приподнявшись на постели, испуганно прислушивалась. Она вскрикнула и закрылась одеялом. Из темноты соседней комнаты женский голос спросил:

- Ася, что это ты?

- Что вам нужно? - спросила Ася.

Солдаты, не отвечая, стояли посреди комнаты и с жадным любопытством оглядывали бледные шелка кушеток, снимки с Беклина на стенах, кружева больших подушек вокруг черноволосой девичьей головки. Вдыхали розовый сумрак, пропитанный нежным ароматом.

В дверях ласково зажурчал голос Агапова:

- Товарищи, вот вам деньги. Пожалуйста в зал. Вы не беспокойтесь, тут вам делать нечего.

Из-за него выглядывала его жена, бледная, в ночной кофте.

Высокий коротко сказал:

- Обыск нужно сделать.

- Вы чего же ищете?

Солдат подумал.

- Оружие.

Он подошел к туалету и стал выдвигать ящички. Нашел два футляра с колечками и опустил колечки в карман. Венецианское зеркало туалета с невиданною четкостью отразило его лицо. Он выпрямился и подправил черные свои усики; заглянул в зеркало и другой солдат, совсем молодой. Его Агапов с удивлением вдруг узнал. Это был Мишка, сын штукатура Глухаря. И третьего он узнал - прыщеватого, с опухлым лицом: тоже деревенский, Левченко.

Глухарь взял со столика, около кровати, золотые часики.

- Борька, вот еще.

Высокий подошел. Он оглядел покрытую одеялом девушку.

- Что это у тебя на руке? Покажь.

Ася робко протянула нагую руку с гладким золотым браслетом.

- Сымай.

Она сняла и подала.

- Слазь с кровати. Обыск нужно сделать. Может, у тебя оружие под тюфяком.

Девушка растерянно приподнялась, закрываясь одеялом.

- Ну, ну, слазий!

Он сдернул одеяло. Как в горячем сне, был в глазах розовый, душистый сумрак, и белые девические плечи, и колеблющийся батист рубашки, гладкий на выпуклостях. Кружило голову от сладкого ощущения власти и нарушаемой запретности, и от выпитого вина, и от женской наготы. Мать закутала Асю одеялом. Из соседней комнаты вышла, наскоро одетая, Майя. Обе девушки сидели на кушетке, испуганные и прекрасные. Солдаты скидывали с их постелей белые простыни и тюфяки, полные тепла молодых тел, шарили в комодах и шкапах.

Потом они вышли в залу. Высокий сказал:

- До утра никому не выходить. И про все молчать. Коли станете рассказывать, воротимся и всех постреляем.

Они ушли, оставив дверь террасы настежь. Агапов запер дверь. Взмолвленные, долго все сидели в Асиной спальне и обменивались впечатлениями. Кухарка рассказывала, как солдаты наставили на нее винтовки и принудили сказать про телеграмму. Валялись на полу затоптанные сапогами простыни, тонкий аромат духов мешался с запахом застарелого пота и винного перегара. Уже стало светать, когда все разошлись и легли спать.

Опять в дверь террасы раздался стук, - на этот раз сильный и властный.

В спальне девушек голос с отчаянием сказал:

- Господи, когда же конец!

Вошли солдаты с винтовками и впереди - командир с револьвером у пояса.

- Оружие есть у вас? Бинокли, велосипеды? Военное обмундирование?

Агапов бледно и ласково улыбнулся.

- Этого ничего нету, товарищи. А золото, какое было, и наложенную контрибуцию сегодня ночью ваши уже взяли.

Командир, с седым клоком в темных волосах, удивленно поднял брови.

- Наши? Какую контрибуцию?

- Не знаю-с. Взыскали пять тысяч.

Командир закусил губу.

- Я сейчас велю выстроить перед вами весь наш отряд. Укажите, кто это сделал.

- Из вашего ли отряда, не знаю. Солдаты, но только здешние, деревенские.

- Кто такие?

- Извините, дал им слово их не называть.

- Все равно, назовете.

- Претензий на них я не имею.

- Я вас про это не спрашиваю. Потрудитесь назвать, кто такие.

Агапов огорченно улыбнулся и развел руками.

- Не могу-с!

- Товарищи, нарежьте в саду розог и снимите с него пиджак. Будем вас сечь, пока не назовете.

- Ну, это зачем же-с!.. Коли так, то, конечно... Глухарь Михайло, сын штукатура, и Левченко Игнат, недавно воротился из австрийского плена. Третьего не знаю, не здешний, - высокий, с черными усиками, товарищи называли его Борька.

- Хорошо. Сейчас сделаем у них обыск. К двенадцати часам приходите в ревком.

И, не делая обыска, они ушли.

Катя встала с солнцем. Выпустила и покормила кур. Роса блестела на листьях и траве. По затуманенной глади моря бегали под солнцем и ныряли тусклые красно-золотые змейки. По подъемам Кара-Агача клубились облака, но острая вершина его твердо темнела над розовым туманом.

Давно так сладко и так крепко Катя не спала, как в эту ночь. Тяжелый камень, много месяцев несознательно давивший душу, вчера вдруг сдвинулся, и душа, - помятая, слежавшаяся, - блаженно расправлялась, недоумевающая и не веря свободе. Жадно дышала грудь крепким морским воздухом, солнце пело и звенело в душе. С Катей это часто бывало: вдруг как будто совсем другими стали глаза, все обычное, примелькавшееся встало пред ними, как только что возникшее чудо. Она неподвижно стояла среди сада и в остолбенении смотрела.

Медленно ступала по траве около колодца невиданно огромная и красивая

птица с огненно-красной шеей, с пышным хвостом, отливавшим зеленою чернью...

Петух? Это - "просто" петух? Миллионы лет, в муках, трудах и борьбе, создавалась из первобытной слизи эта сверкающая красота, - и вот шагает по траве простой петух, и никто не чувствует, во что обошелся он жизни и какой он чудесно-необычайный... Из косной земли выползло что-то гибкое, ярко-зеленое, живое, и светится под солнцем кустами барбариса. В тысячевековый миг с чудовищными усилиями слились друг с другом мертвые частицы, - и весело перебегает через шоссе осознавшая себя жизнь, забывшая о заплаченных судьбе невероятных своих страданиях. Смеется смуглое личико, тонкий стан качается, качаются на коромысле ведра, и сверкающие капли падают с них на дорогу.

Калитка протяжно скрипнула. С шоссе входили в сад два солдата с винтовками, с красными перевязями на рукавах. Катя весело спросила:

- Вам чего, господа?

- Оружие есть у вас?

- Нету.

Солдаты направились к дому. Не стучась, вошли в кухню. Иван Ильич умывался у раковины, Анна Ивановна поджаривала на сковородке кашу.

Когда

солдаты вошли с Катей, Иван Ильич повернул к ним свое лицо с мокрой бородой, Анна Ивановна побледнела. Иван Ильич спросил:

- Что скажете, граждане?

Враждебно глядя, один из солдат, с белыми бровями и усиками на загорелом лице, сказал:

- Пришли обыск сделать. Оружие есть у вас? Если бинокли есть, велосипеды, одежда военная, - должны выдать.

Иван Ильич брезгливо повел на них глазами.

- Обыскивайте.

И стал вытираться полотенцем.

Солдаты неуверенно оглядели закопченную кухню, заглянули в убогую Катину каморку, потом пошли в спальню. Было грязно, бедно. Белоусый для виду приподнял за угол тюфяк неубранной постели.

- Ну, что же! Нету ничего, - обратился он к товарищу.

Катя рассмеялась. Ей милы были их конфузливые лица и неуверенность.

- Да разве так обыскивают? Так вы ничего не найдете. У нас тут под тюфяком спрятано три пулемета.

- Нет, что ж!.. Сразу видать, что ничего нету.

Они пошли назад в кухню. Катя сказала:

- Садитесь, попьем чайку.

Солдаты удивились, переглянулись и со смущенною улыбкою ответили:

- Ну, спасибо. Сегодня ничего еще не пили, не ели.

Они поставили винтовки свои в угол.

Пили из кружек горячей настой шиповника, закусывая хлебом. Катя жадно расспрашивала. Белоусый, с посверкивающим улыбкою загорелым лицом, рассказывал:

- Мы составили свой партизанский отряд, дали клятву беспощадной борьбы и железной дисциплины. Командир у нас лихой, - товарищ Седой. Сознательный человек. Всем беспонятным дает понятие.

- А сами вы кто?

- Мы рабочие, из города.

- Отчего же вы такой загорелый?

- В горах уж целый месяц, - на ветру, на солнце. Ушли от кадетов, сорганизовались, чтоб начать у них в тылу партизанскую борьбу, а тут как раз наши подошли от Перекопа.

- Вы сами тоже, значит, большевики?

Он с удивлением поглядел на Катю.

- Ну, да!

Иван Ильич спросил:

- А что такое большевизм?

Солдат с готовностью стал объяснять:

- Большевизм, это - за рабочую власть. Чтоб вся власть была у рабочих и крестьян. Сделать справедливый трудовой строй.

- И крестьянам чтоб была власть? Почему же вы тогда против Учредительного собрания? Крестьян и рабочих в России море, а буржуазии - горсточка. Что кому помешало бы, если бы в Учредительном собрании был десяток представителей от буржуазии? А между тем тогда всем было бы видно, что это всенародная воля, и всякий бы пред нею преклонился.

Солдат улыбнулся.

- Я вам сейчас все это объясню вполне полноправно. Мужик - темный, его всякий поп проведет и всякий кулак. А мы, рабочий класс, его в обиду не дадим, не позволим обмануть.

- Напрасно вы думаете, что наш мужик такой дурачок. И напрасно думаете, что у него нет своих интересов, отличных от интересов рабочего класса...

- Ваня! - позвала из спальни Анна Ивановна.

Иван Ильич пошел к ней. Анна Ивановна шепотом накинулась на него.

- Ваня, да что же ты это? Арестуют они тебя, - а там вдруг откроется, что ты бежал из России. Ведь вот какой неугомонный!

- Э, ч-черт! - Иван Ильич махнул рукою и лег на постель.

Солдат с любопытством спрашивал Катю:

- А вы за кого стоите?

- Я стою за социализм, за уничтожение эксплуатации капиталом трудящихся. Только я, не верю, что сейчас в России рабочие могут взять в руки власть. Они для этого слишком неподготовлены, и сама Россия экономически совершенно еще не готова для социализма. Маркс доказал, что социализм возможен только в стране с развитою крупною капиталистическою промышленностью.

Солдаты с недоумением смотрели на нее, и лица их становились все более настороженными. И все больше сама Катя чувствовала, что для них сейчас, при данном положении, то, что вытекало из ее слов, было еще более нежизненно, чем тот утопический социализм, о котором она говорила.

Белоусый поднял брови, подумал и сказал:

- Вы говорите, вы за рабочих. Так как же теперь? Мы, значит, власть взяли, - и отдать ее назад буржуазии, чтоб она развивала эту самую промышленность?

- Отдавайте, не отдавайте, а она все равно власть себе заберет. Или Россия совсем развалится.

Другой красноармеец - желто-бледный, с черной бородкой - резко спросил:

- А скажите - вот эта дачка, - ваша, собственная?

- Ну... Ну, да, наша! Но что же это меняет?

Он встал, взял из угла винтовку и пренебрежительно ответил:

- Ничего... Спасибо за угощение.

Они пошли из кухни. Катя провожала их до калитки. С черной бородкой сказал:

- Вот, брат Алеха, дело-то какое выходит, а? Пойдем-ка в город, поищем буржуев - может, какие еще остались. Отдадим им винтовки свои, - виноваты, мол, ваше степенство, получайте власть назад!

Катя радостно смеялась.

- И все-таки, все-таки я очень рада, товарищи, что видела вас. Вы действительно товарищи, вас я так могу называть... А то - хулиганы, грабители, обвешались золотыми цепочками, брильянты на пальцах, у мужика в вагоне отбирают последний мешок муки, и все - "товарищи".

По шоссе проходил красноармеец с винтовкой. Он крикнул:

- Гришка, Алешка! В двенадцать часов собирайтесь к ревкому! Бандитов судить.

Катя тоже пошла к двенадцати часам.

На площади, перед сельским правлением, выстроился отряд красноармейцев с винтовками, толпились болгары в черном, дачники. Взволнованный Тимофей Глухарь, штукатур, то входил, то выходил из ревкома. В толпе Катя заметила бледное лицо толстой, рыхлой Глухарихи, румяное личико Уляши. Солнце жгло, ветер трепал красный флаг над крыльцом, гнал по площади бумажки и былки соломы.

Из ревкома вывели под конвоем Мишку Глухаря и Левченко, с оторопелыми, недоумевающими глазами. Следом решительным шагом вышел командир отряда, в

блестящих, лакированных сапогах и офицерском френче. Катя с изумлением узнала Леонида. С ним вместе вышли Афанасий Ханов, председатель временного ревкома, и еще один болгарин, кряжистый и плотный, член ревкома.

Леонид остановился у перил крыльца и привычно громким, далеко слышным голосом заговорил:

- Товарищи! Героическим усилием рабочих и крестьян в Крыму свергнута власть белогвардейских бандитов. Золотопогонные сынки помещиков и фабрикантов соединились в так называемую добровольческую армию, чтоб удушить

рабочий народ и отобрать у него обратно свои поместья и фабрики. Рабоче-крестьянская Красная Армия раздавила гнездо этих гадов. От нас не будет пощады никому, кто жил чужим трудом, кто сосал кровь из трудящихся. Мы

выгоним их из роскошных дворцов и вилл, обложим беспощадной контрибуцией,

отберем съестные припасы и одежду, заставим возвратить все награбленное...

Слова были затасканные и выдохшиеся, но от грозного блеска его глаз, от бурных интонаций голоса они оживали и становились значительными. Леонид продолжал:

- Но, товарищи, это не значит, что наша Советская Социалистическая Республика разрешает любому желающему грабить всякого встречного буржуа и

набивать себе карманы его добром. Все имущество буржуазии принадлежит республике трудящихся, помните это! Только она будет отбирать у них имущество, чтоб по справедливости разделить между нуждающимися... Между тем

сегодня ночью три человека, - два из них - вот они, третий скрылся, - записавшись вчера вечером в Красную Армию, ночью сделали налет на поселок, взыскали в свою пользу контрибуцию с гражданина Агапова, награбили у него золотых вещей, белья, даже женских рубашек. При обыске мы нашли у них эти

вещи...

Солдаты с загорающимся негодованием слушали. И было это опять не от слов, а от грозного возмущения, каким горели слова, от гипнотического заражения ощущением неслыханной позорности совершенного.

- Гражданин Агапов! Расскажите, как было дело.

Выступил Агапов, с приплюснутым спортсменским картузиком на голове. Сладко и виновато улыбаясь, он рассказал, как его грабили, всячески смягчая подробности, и прибавил, что злобы не имеет и просит простить обвиняемых.

Леонид обратился к болгарам:

- Вы, товарищи, имеете что-нибудь против гражданина Агапова?

Из толпы неохотно ответили:

- Что ж иметь... Дачник как дачник.

Леонид вызвал барышень Агаповых. Ася, с вспыхнувшими злобою красивыми

глазами, указала на Мишку Глухаря:

- Вот этот взял у меня со стола золотые часики.

Агапов растерянными горящими глазами старался удержать дочь, но она нарочно не смотрела на него. Вдруг старик Глухарь резко спросил:

- А скажи, где твой брат?

Ася смутилась.

- Какой брат?

- Какой-ой!.. Не знаешь? Ну-ка, подумай!

- Мы о нем уж полгода не имеем вестей.

- Ишь ты как! Не имеешь! Ну, а я имею. Он в кадетях служил офицером.

- Это мы исследуем, - зловеще сказал Леонид и обратился к арестованным:

- Что вы скажете?

Парни в один голос ответили:

- Пьяны были, товарищ начальник! Ничего не помним. Мы думали, что Борька Матвеев по приказу действует.

Леонид сурово оглядел их.

- Вы этого не могли думать. Всем записавшимся в наш отряд я вчера вечером ясно сказал, что грабить мы не позволяем... Товарищи! - обратился он к своему отряду. - Наша красная рабоче-крестьянская армия - не белогвардейский сброд, в ней нет места бандиту, мы боремся для всемирной революции, а не для того, чтоб набивать себе карманы приятными разными вещичками. Эти люди вчера только вступили в ряды красной армии и первым же их

шагом было идти грабить. Больше опозорить красную армию они не могли!

И как будто стальная молния пронизала напоенный солнцем воздух:

- Я предлагаю им наказание: расстрел!

Толпа глухо охнула. Арестованные побледнели и затряслись. Короткий стон выделился из гула. Глухариха с мертвенно-бледным лицом и закрытыми глазами валилась на руки соседок.

Леонид обратился к своему отряду:

- Как вы, товарищи?

- Расстрел! - пронеслось по рядам, и защелкали затворы винтовок.

Крестьянская толпа взволнованно гудела. Выделился голос:

- Не надо расстрела. Выпороть довольно...

- Выпороть! - подхватила толпа.

Леонид помолчал.

- Хорошо. Предлагаю пятьдесят розог...

- Много!

- Ну, двадцать пять. Больше разговаривать нечего... Товарищи, нарежьте розог!

Выступил Агапов.

- Прошу слова... Я бы предложил для светлого праздника совсем их простить. Они это сделали по неосознанности, сами теперь жалеют, а мы на них зла не имеем.

Леонид резко оборвал его:

- Приговор уже произнесен!

Красноармейцы шли от огорода с нарезанными прутьями. Парни трясущимися руками стягивали через головы рубашки.

Со смутным чувством омерзения и торжества Катя то взглядывала, то отворачивалась. Белели спины, мелькали прутья, слышались мальчишеские жалобные вопли. Уляша, вытянув голову, жадно и удивленно смотрела через плечи мужиков. Нервно смеясь, Катя подошла к ней.

- Ну что, Уляша, большевизм, это - дачи грабить?

Уляша застенчиво улыбнулась и опустила глаза. Катя, сквозь стыд, сквозь гадливую дрожь душевную, упоенно торжествовала, - торжествовала широкою радостью освобождения от душевных запретов, радостью выхода на открывающуюся

дорогу. И меж бараньих шапок и черных свит она опять видела белые спины в красных полосах, и вздрагивала от отвращения, и отворачивалась.

Громко раздался в тишине голос Леонида:

- Теперь вы будете отправлены на фронт, в передовую линию, и там, в боях за рабочее дело, искупите свою вину. Я верю, что скоро мы опять сможем назвать вас нашими товарищами... - А третьего мы все равно отыщем, и ему будет расстрел... Товарищи! - обратился он к толпе. - Мы сегодня уходим. Красная армия освободила вас от гнета ваших эксплуататоров, помещиков и хозяев. Стройте же новую, трудовую жизнь, справедливую и красивую!

Потом выступил Афанасий Ханов. Он говорил путанно, сбиваясь, но прекрасные черные глаза горели одушевлением, и Катя прочла в них блеск той же освобождающей радости, которая пылала в ее душе.

- Товарищи! Вы сейчас, значит, слышали, что вам объяснил товарищ Седой. И он говорил правильно... Теперь, понимаете, у нас трудовая власть и, конечно, Советы трудящихся... Значит, ясно, мы должны организовать и, конечно, устроить правильно большое дело... Чтобы не было у нас, понимаете, богатых эксплуататоров и бедных людей...

Катя шла домой коротким путем, через перевал, отделявший деревню от поселка. Открывалась с перевала голубая бухта, красивые мысы выбегали далеко в море. Белые дачи как будто замерли в ожидании надвигающегося вихря. Смущенно стояла изящная вилла Агаповых, потерявшая уверенную свою красоту.

Кате вдруг вспомнилось:

Я трагедию жизни претворю в грезо-фарс...

Подведенные девичьи глаза, маленький креольчик и лиловый негр из Сан-Франциско... И грубая, мутно-бурлящая новая жизнь, чудовищною волною подлинных трагедий взмывшая над этой тихой, ароматно-гнилою заводью.

Толстый слой льда, оковывавший душу Кати, растрескался, и шел бурный ледоход, полный радостного шума и весеннего счастья самоосвобождения.



Около двух часов дня в автомобиле с красным флагом по шоссе пронеслись матросы. А в четвертом часу к Ивану Ильичу пришел худенький, впалогрудый почтальон с кумачным бантиком на груди, с огромной берданкой и передал приказ ревкома явиться к четырем часам в сельское правление.

- Зачем?

- Не знаю. Приказано собраться всем взрослым мужчинам из... - Он конфузливо улыбнулся: - из буржуазии. Кто не придет - на расстрел.

Иван Ильич захохотал.

- Вот так, вы меня возьмете и застрелите?

Почтальон виновато улыбнулся.

- Значит, и пожалуйста.

Катя пошла вместе с отцом. В сельском правлении собралось много дачников. Сидели неподвижно, с широко открытыми глазами, и изредка перекидывались словами. Были тут и ласково улыбающийся Агапов, и маленький,

как будто из шаров составленный, владелец гостиницы Бубликов. В углу сидел семидесятилетний о.Воздвиженский, с темным лицом, и тяжело, с хрипом дышал. Афанасий Ханов, бледный и взволнованный, то входил в комнату, то выходил.

Иван Ильич спросил его:

- Чего это вы нас сюда согнали?

- Не знаю. Комендант Сычев приказал. Он сейчас приедет из Эски-Керыма.

Вошел артист Белозеров, с пышным красным бантом, с неподвижным и торжественным лицом. В руках у него была бумажка и карандаш. С ним вошел студент Вася Ханов, племянник Афанасия, красивый мальчик-болгарин с черными бровями.

Белозеров сел к закапанному чернилами столу.

- Граждане! Прошу вас поочередно подходить к столу, я должен всех вас переписать.

Иван Ильич громко спросил:

- А позвольте узнать, с кем мы имеем дело?

- Член ревкома, - коротко ответил Белозеров, не глядя на Ивана Ильича.

Всех переписали.

Прошел час, другой. Комендант не приезжал. Собранные покорно ждали. Только Иван Ильич возмущенно ходил большими шагами по комнате. Когда вошел

Ханов, он сердито спросил:

- Послушайте, господин, долго вы нас тут будете держать?

Ханов сконфуженно пожал плечами.

- Пойду, еще позвоню по телефону.

Позвонил в Эски-Керым. Комендант-матрос ответил:

- Всем ждать! Приеду.

Солнце склонялось к горам. Местные парни с винтовками сидели у входа и курили. Никого из мужчин не выпускали. Катя вышла на крыльцо. На шоссе слабо

пыхтел автомобиль, в нем сидел военный в суконном шлеме с красной звездой, бритый. Перед автомобилем, в почтительной позе, стоял Белозеров. Военный говорил:

- Белозеров, артист государственных театров? Как же, как же! Я вас слышал в Петрограде... А это что там за народ?

- Буржуев собрали, по приказу товарища коменданта.

- А-а! - зловеще протянул военный. - Ну, до свидания! Очень приятно

таких людей встречать в наших рядах.

Он благосклонно протянул руку Белозерову. Автомобиль мягко сорвался и поплыл по шоссе. Белозеров пошел к крыльцу. Катя пристально смотрела на него. Белозеров поспешил согнать с лица остатки почтительно-радостной улыбки.

Еще час прошел. Звенел телефон в соседней комнате. Темнело. В правление вошли Ханов и Белозеров.

Белозеров, с серьезным и непроницаемым лицом, сказал:

- Граждане! Я должен объявить вам печальную весть... А впрочем - для многих может быть и радостную, - поправился он. - Вы тоже имеете возможность послужить делу революции. Вы отправляетесь на фронт рыть окопы для нашей доблестной красной армии.

Все молчали. Стало тихо. Слышно было только хрипящее дыхание о.Воздвиженского.

Иван Ильич резко и властно сказал:

- На окопные работы, по советскому декрету, отправляются мужчины только до пятидесяти лет, здоровые. А здесь есть больные, старики.

Белозеров и Ханов недоуменно переглянулись. Опять пошли к телефону. Воротились. Белозеров объявил:

- Все мужчины, без всяких исключений! Больные и старые, - все равно. Все должны отправиться сегодня ночью. Предлагаю вам, граждане, к одиннадцати часам ночи собраться к кофейне Авраими. Должны явиться все записанные, под страхом революционной ответственности.

И он вышел. Катя налетела на Ханова.

- Как же так? Что это за распоряжение нелепое?

Ханов растерянно поежился.

- Сычев по телефону велел всех представить. Больных хоть на койках тащить. Если кого оставим, весь ревком на мушку.

- Да поймите, как же больной на койке будет рыть окопы? Вот, например, батюшка Воздвиженский. Ведь вы же сами понимаете, - нелепость!

И вдруг с холодным, усталым ужасом чей-то женский голос произнес:

- Господи! Их везут расстрелять!

Трепет пробежал по всем. Бледный Ханов вышел. Взволнованно стали расходиться.

Иван Ильич с Катей воротились домой. Был уже девятый час вечера. Анна Ивановна торопливо собирала белье и еду. Когда Иван Ильич вышел в спальню, она растерянно взглянула на Катю и сказала:

- Леонид объявит там, что Иван Ильич бежал из России от чрезвычайки.

Катя нетерпеливо воскликнула:

- Ах, мама, ну что за вздор говоришь!

Вошел Иван Ильич, они замолчали. Катя, спеша, зашивала у коптилки продранную в локте фуфайку отца. Иван Ильич ходил по кухне посвистывая, но в глазах его, иногда неподвижно останавливавшихся, была упорная тайная дума. Катя всегда ждала в будущем самого лучшего, но теперь вдруг ей пришла в голову мысль: ведь правда, начнут там разбираться, - узнают и без Леонида про Ивана Ильича. У нее захолонуло в душе. Все скрывали друг от друга ужас, тайно подавливавший сердце.

Только что поужинали, опять явился почтальон с винтовкой и уже сурово сказал:

- Что же не идете? Все уж собрались, вас ждут. Приказано вас привести.

Катя властно ответила:

- Можете идти. Мы сейчас выходим.

Почтальон помялся, сказал: "Поскорее велели!" - и ушел.

Оделись. Катя взяла саквояж. Иван Ильич остановился у двери:

- Ну, Анечка, тут простимся!

Он мягко улыбнулся беззубым ртом и раскрыл объятия жене. Анна Ивановна всхлипнула и припала к нему.

- Старенькая моя! - умиленно сказал он, и гладил рукою ее волосы.

Потом лицо его стало серьезным и прислушивающимся, он снял с пальца обручальное кольцо и протянул жене. Анна Ивановна отшатнулась.

- Ваня, что это ты!.. Зачем мне твое кольцо? Ведь это... Это только у покойников берут!

С тихою улыбкою Иван Ильич ответил:

- Может быть, так надо!

И они опять прильнули друг к другу.

- Ну, идем! - весело сказал Иван Ильич.

У кофейни стояло несколько мажар. Старуха жена и дочь поддерживали под руки тяжело хрипящего о.Воздвиженского, сидевшего на ступеньке крыльца. Маленький и толстый Бубликов, с узелком в руке, блуждал глазами и откровенно дрожал. С бледною ласковостью улыбался Агапов рядом с хорошенькими своими

дочерьми. Болгары сумрачно толпились вокруг и молчали. Яркие звезды сверкали в небе. Вдали своим отдельным, чуждо ласковым шумом шумело в темноте море.

Секретарь ревкома Вася Ханов, с заплаканными глазами, отмечал по списку отправляемых. И вдруг у всех еще крепче стала мысль, что везут на расстрел.

Густо усадили арестованных в мажары. Рядом с возницами село по милиционеру с винтовкой. Подошел подвыпивший, как всегда, столяр Капралов. Поглядел, покрутил головой.

- Гм! Советская Федеративная Республика!

У крыльца была суета.

- Доктор, помогите! - позвали Ивана Ильича.

Старик священник лежал в обмороке.

- Скорее, граждане! - торопил Афанасий Ханов.

Иван Ильич осмотрел больного, пощупал пульс и суровым, не допускающим возражений голосом громко сказал:

- Гражданин Ханов! Этого больного нужно оставить, его нельзя везти.

Афанасий Ханов истерически крикнул:

- Что это такое? Прошу вас не рассуждать, товарищ доктор. Вас никто не спрашивает! Поднимите его, положите в мажару! - приказал он болгарам.

- Я вас предупреждаю, гражданин Ханов, что больной не вынесет дороги. Ответственность я возлагаю на вашу совесть!

- Не ваше дело! Прошу не разговаривать! - взволнованно кричал Ханов.

Священника положили в подводу. Капралов смотрел, сложив руки на груди.

- Гм! Федеративная Республика!

Мажары двинулись. Женщины рыдали. Только Анна Ивановна смотрела вслед

скрипевшим подводам, поджав губы, без слезинки, - она привыкла к непрерывным

бедам, сыпавшимся на мужа всю его жизнь.

Болгары тихо переговаривались.

- Запьянствовал комендант в Эски-Керыме, потому сам не приехал.

- Это Васька Сыч, комендант-то! Я его сразу признал. До войны известный вор был в порту, а теперь гляди, - комендант, на машине ездит.

Кате не позволили ехать с отцом. Она бросилась в деревню, узнала, что

ночью едет в город закупщик кооператива, устроилась с ним. Выехали они глухою ночью. Из моря вылез огромный, блестящий Скорпион и сидел в небе, поджав хвост. На перевале подул холодный ветер. Восток побледнел. За мостом подвода обогнала ряд мажар, густо усаженных арестованными с соседних дачных поселков. Молодые люди в изящных шляпах; толстый старик еврей с глазами навывкате и отвисшей губою; сизолицый отставной полковник. Сзади - линейка с пьяными красноармейцами. На шоссе откосах в глубокой предрассветной дреме кивали головками красные и желтые тюльпаны. Взошло солнце. Внизу, у бухты, голубел город, окутанный дымкою, сверкали кресты церквей, серели острые стрелки минаретов.

От возвращавшихся болгар-подводчиков Катя узнала, куда отвезли арестованных. По набережной тянулись дворцы табачных фабрикантов-миллионеров. Среди них белел огромный особняк с воздушными шпицами, похожий на дворец Гарун-аль-Рашида в сказках. Над чугунными решетчатыми воротами развевался красный флаг. Два часовых с винтовками отгоняли толпу женщин, теснившихся к решетке.

Сбоку дома солдаты выводили из подвалов арестованных, кричали на них, ругали матерными словами:

- Стройся вдоль стенки! В затылок!.. Куда прешь, борода? Вот я тебе, ай не знаешь? А еще генерал!

Солдат замахнулся прикладом на худощавого, сгорбленного генерала с седой бородой.

Толстая дама в шляпке сказала упавшим голосом!

- К стенке строят, расстреливать будут!

Мастеровой в отрепанном пиджаке возразил тоном опытного человека:

- Нет, в два ряда строят. Значит, не на расстрел.

Другая дама униженно говорила часовому:

- Вы мне позвольте только пальто передать мужу. Подняли его ночью, в одном пиджаке увезли, - как же он там, в окопах...

- А прикладом в спину хочешь?

Катя вскипела.

- Почему вы ей говорите "ты"?! Мы вам "вы" говорим. Советская власть это отменила, чтобы гражданам говорить "ты"! Это только в царское время так становые да урядники разговаривали с людьми.

Солдат с удивлением оглядел ее.

- А за решетку хочешь? Вот я тебя сейчас в подвал отправлю.

- Нет, не отправите, не имеете права.

От ее решительного тона он замолчал и отвернулся.

Нервная дама в пенсне приставала к другому часовому:

- Но ведь мой муж - советский служащий, доктор. Вот документы. Дайте же мне пройти.

- Нельзя, товарищ!

- Его же расстреляют!

Часовой успокоительно сказал:

- Нет, только в окопы пошлют. Вон инструмент раздают... Ничего, пуцай поработают в окопах.

- Да ведь он больной совсем!

Мастеровой в пиджаке враждебно возразил:

- "Больной". Что ж, что больной, за вас там даже безрукие сражаются, кровь свою проливают.

Подкатил автомобиль, развевались по ветру гвардейские желто-оранжевые ленточки матросских фуражек.

- Комендант!.. Сычев!

- Который?

- Вон тот, рыжий.

Дама в пенсне кинулась к нему.

- Товарищ комендант! Мой муж арестован, а он советский служащий, вот документы.

- К черту ступай! - Комендант отмахнулся и с другими матросами вошел в ворота.

Катя видела сквозь решетку, как его обступили арестованные. Комендант кричал, закинув голову и тряся кулаком, сыпал ругательствами. Катя поняла, что он совершенно пьян и ничего не станет слушать.

- Гнать всех в окопы! Никаких разговоров! - крикнул матрос и по мраморным ступеням вошел в парадный подъезд.

В толпе арестованных Катя увидела высокую фигуру отца с седыми косицами, падающими на плечи. Ворота открылись, вышла первая партия, окруженная солдатами со штыками. Шел, с лопатой на плече, седобородый генерал, два священника. Агапов прошел в своем спортсменском картузике. Молодой горбоносый караим с матовым, холеным лицом, в модном костюме, нес на

левом плече кирку, а в правой руке держал объемистый чемоданчик желтой кожи. Партия повернула по набережной влево.

Подкатил к воротам другой автомобиль, вышло трое военных. В одном из них Катя узнала Леонида.

- Леонид!

Он удивился.

- Катя! Ты как здесь?

- Папу забрали, гонят на окопные работы.

- Что за нелепость! Ведь ему шестьдесят пять лет.

- И не только его. Посмотри, какие старики там, есть совсем больные...

Священник Воздвиженский...

Леонид, не слушая дальше, прошел в подъезд.

Через минуту вышел красноармеец, выкликнул Ивана Ильича. Катя видела сквозь решетку, как отец спорил с ним, как тот сердился и на чем-то настаивал. Подошел другой солдат и взял Ивана Ильича за рукав. Иван Ильич выдернул руку.

- Э, черт! Еще разговаривать с тобой!

Солдат крепко схватил Ивана Ильича за руку под плечом, вывел за ворота и толкнул в спину.

- Ступай!

От толчка Иван Ильич пробежал несколько шагов поперек панели. Катя бросилась к нему.

- В чем дело?

Иван Ильич, не глядя на нее, быстро шагал вдоль набережной. Катя побежала за ним.

- В чем дело? Папа, что они с тобой?

Он остановился.

- Это что? Твои хлопоты? По протекции освободили? Через "товарища Леонида"? С какой стати мне одному уходить? Не благодарю тебя.

- Ну, папа... Погоди...

- Старик Воздвиженский умер ночью у нас в подвале.

Катя ахнула.

Загудела сзади сирена. Леонид со спутниками ехал на автомобиле. Катя

остановила его.

- Леонид, одного только папу освободили. А там много еще стариков, больных. Священника Воздвиженского забрали совсем больного, он у них ночью умер в подвале.

Спутники Леонида насмешливо смотрели на Катю. Леонид нетерпеливо нахмурился.

- Освободили тебе его, чего же еще?

- А других? А за то, что комендант этот больного священника велел забрать, умирающего, и он умер?.. Это декрет запрещает. Неужели он не ответит?

- Извини, мне некогда... Товарищ шофер, можно ехать.

Через несколько дней почти все арестованные воротились домой. Командующий фронтом отправил их обратно, заявив: "На что мне эта рухлядь?"

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

В Отделе, народного образования, - сокращенно: "Отнаробраз", - работа была ключом. Профессор Дмитревский, оказалось, был еще и прекрасным организатором. Комиссаром его не утвердили, - он был не коммунист. Комиссаром был юный студент-математик, не пытавшийся проявлять своей

власти

и конфузливо уступивший руководство Дмитревскому. Официально Дмитревский

числился членом коллегии.

Он привлек к работе лучших местных педагогов и деятелей народного университета. Вводилось в школы трудовое начало, организовались вечерние курсы и рабочие клубы, расширена программа народного университета, намечалась сеть подвижных библиотек по уезду, увеличение числа школ. Педагоги сначала настороженно следили за начинаниями профессора: они ждали, что командовать над ними поставят школьных сторожей и ломовых извозчиков. Увидели, что не так, и охотно взялись за работу. Катю Дмитревский сделал своим секретарем. Ей много приходилось принимать рабочих, крестьян, и весело было иметь с ними дело.

И весело было, что смело ломались все застывшие формы школьного дела, что выносились из школ иконы, что баричи-гимназисты сами мыли полы в классах, что на гимназических партах стали появляться фабричные ребяташки. И хорошо было, что Дмитревский умел устранить из всего этого всякий оттенок измывательства. Он сам посещал школы, беседовал с учениками, объяснял им, что не нужно стыдиться физического труда, что религия - это частное дело каждого, что предметам одного религиозного культа не место в школах, где для совместного обучения сходятся люди самых разнообразных вероисповеданий.

Дмитревский умел выбирать людей. Делами Отдела управлял бывший банковский служащий Гольдберг. Молодой, смуглый, с сверкающими зубами и смеющимися глазами; внутри его как будто была заложена тугая, никогда не ослабевающая пружина. Все он умел устроить, все умел добыть. Раньше всех других отделов выцарапывал жалованье для служащих, организовал совместное получение хлебного пайка, добывал удобные помещения для клубов и библиотек, охранные грамоты для теснимых ученых и художников. Самые трудные дела поручал ему Дмитревский.

- Ну, что?

- Есть! - отвечал он, плутовски смеясь глазами.

Среди милых, но пассивных и мяклых русских сотрудников он был как крутящийся волчок среди неподвижных кукол. И когда его звали:

- Арон Моисеич! - он весь взвизывался и, вместо "что?", спрашивал:

- Ради бога?

Приехал из Арматлука артист Белозеров и предложил свои услуги по организации подотдела театра и искусств. Ревком дорожил именами и с радостью принял его предложение. Белозеров немедленно реквизирует только что достроенный театр частного предпринимателя, хотя театры в Крыму в то время не реквизировались. Наробраз делал объявления: "предлагается гражданам", - Белозеров в своей области выпускал "приказы" и грозил расстрелом саботажникам, которые не зарегистрируют в Отделе своих музыкальных инструментов. Он быстро перезнакомился и сошелся со всеми влиятельными лицами; бывал у них на дому, пел им, пил с ними и сразу приобрел самое привилегированное положение. Заявил, что его зовут в Симферополь на крупнейший оклад, и ревком, не в пример прочим, назначил ему шестнадцать тысяч в месяц, когда все комиссары получали жалования по одной-две тысячи. Получал он какими-то способами и вино, и сахар, и мясо. Занимал две роскошные комнаты с ванной в реквизированном особняке. И он говорил:

- По душе я всегда был коммунистом.

Кате отвели номер в гостинице "Астория". Была это лучшая гостиница города, но теперь она смотрела грустно и неприветливо. Коридоры без ковров, заплыванные, белевшие окурками; никто их не подметал. Горничные и коридорные

целый день либо валялись на своих кроватях, либо играли в домино. Никто из них не знал, оставят ли их, какое им будет жалование. Самовары рядком стояли на лавке, - грязно-зеленые, в белых полосах. На звонки из номеров никто не шел. Постояльцы кричали, бранились. Прислуга лениво отвечала:

- Кричи не кричи, а паном все равно не будешь!

Жили в гостинице советские служащие, останавливались приезжавшие из уезда делегаты, красноармейцы и матросы с фронта. До поздней ночи громко разговаривали, кричали и пели в коридорах, входили, не стучась, в чужие номера. То и дело происходили в номерах кражи. По мягким креслам ползали вши.

Катя встретила на улице с адвокатом Миримановым. По-всегдашнему изящно одетый, в крахмальных манжетах и воротничке. Кате понравилось, что он не старается теперь, как все, одеваться попроще. Он спросил, где она живет.

- Ради бога, переезжайте ко мне! Вы мне сделаете огромное одолжение. А то начнут уплотнять, нагонят "товарищей"... Я вам дам прекрасную комнату.

Огляделся и, понизив голос, сказал:

- Объясните мне, пожалуйста, - что же это кругом делается? Всё портят, ломают, загаживают. Ни в чем никакого творчества, какое-то сладострастное разрушение всего, что попадает на глаза. И какое топтание личности, какое неуважение к человеку!.. С гуннами вздумали устраивать социалистический рай!

Еще больше понизил голос и сказал, смеясь умными своими глазами:

- Хорошее недавно словцо сказал Ленин в интимном кругу: "Мы давно уже умерли, только нас некому похоронить". Единственная умная голова среди них.

Катя перебралась к Миримановым.

Жизнь катилась, шумя и бурля, - дикая, жестокая и жуткая, сбросившая с душ все сдержки, разнуздавшая самые темные страсти.

В одной из верхних квартир дома Мириманова жил бывший городской голова Гавриленко, а у него занимала комнату фельдшерица Сорокина, служившая в госпитале. Она иногда забегала по вечерам к Кате. Рассказывала, что в госпитале назначили главным врачом ротного фельдшера, что председателем комитета служащих состоит старший санитар Швабрин. Врачей он перевел в подвальные помещения, а их квартиры заселил низшими служащими. Врача-

хирурга заставил мыть полы в операционной. Больные лежат без призора, сиделки уходят с дежурства, когда хотят. Врачи не смеют им ничего сказать.

Была эта Сорокина худенькая, безгрудая, с узким тазом, и вся душа ее была в ее больных. Вот что еще она рассказывала, - и беспомощный ужас стоял в бледных глазах.

- Недавно в тюремную палату к нам перевели из особого отдела одного генерала с крупозным воспалением легких. Смирный такой старичок, тихий. Швабрин этот так и ест его глазами. Молчит, ничего не говорит, а смотрит, - как будто тот у него сына зарезал. Как у волка глаза горят, - злые, острые. И вчера мне рассказал генерал: Швабрин по ночам приходит - и бьет его!.. Вы подумайте: больного, слабого старика!

Для Кати ужасы жизни были эгоистически непереносимы, если смотреть на них, сложа руки, и перекипать душою в бессильном негодовании. Она кинулась отыскивать Леонида. Нашла. Он только что приехал с фронта. Злой был и усталый. Раздраженно выслушал Катю и грубо ответил:

- Эту твою фельдшерицу нужно бы арестовать и отправить в чрезвычайку, чтоб не распространяла таких клевет. Ясное дело, - больной бредит.

Но Катя видела, - в усталом взгляде его мелькнуло растерянное отчаяние, и она поняла: просто они не в силах обуздать того потока злодейства и душевной разнузданности, в котором неслась вышедшая из берегов жизнь.

А через день утром опять пришла Сорокина. И вся дрожала крупною дрожью, и губы прыгали. И рассказала: ночью она зашла в палату, где помещался генерал, видит: лежит он на полу мертвый, с синим лицом и раскинутыми руками. Она бросилась к дежурному врачу. Пришли с ним, - труп лежит на постели, руки сложены на груди. Синее лицо с прикушенным языком, темные пятна на шее. И Швабрин пришел, - глаза бегают. Дежурный врач отказался подписать свидетельство о смерти, - говорит, нужно сделать вскрытие. А главный врач, фельдшер этот: "Чего тут вскрывать, дело ясное. Давайте, я сам подпишу".

Объявили регистрацию офицеров. Приказ заканчивался так: "Кто не зарегистрируется в указанный срок, объявляется вне закона и будет убит на месте".

Пришел к Миримановым их племянник Борис Долинский, - тот юноша с подведенными глазами, который тогда пел у Агаповых красивые стихи об ананасах в шампанском. Мириманов сурово глядел на его растерянное лицо с глазами пойманного на шалости мальчишки.

- Что ж, брат, этого нужно было ждать. Не хотел сражаться вместе с нашими, не хотел с ними уходить, - теперь послужишь у красных, если совесть позволяет.

- Так ведь у меня же, правда, туберкулез легких. Они не возьмут.



- Процесс пустяковый, ты сам знаешь. И отсрочку-то на год тебе дали только благодаря протекции генерала Холодова.

Борис истерически плакал.

- Ну, что же... Ну, ведь и ваш же Николай тоже в красной армии...

Мириманов сердито сверкнул глазами.

- Во-первых, я этого точно не знаю. А во-вторых, если он действительно там, то уж никак не для того, чтобы способствовать торжеству "рабоче-крестьянской власти".

- Мама говорит, - пойти, зарегистрироваться.

- Конечно, что ж теперь делать. В горы ты не уйдешь.

Катя после службы зашла пообедать в советскую столовую. Столовая помещалась в нижнем этаже той же "Астории", в бывшем ресторане гостиницы. Столики были без скатертей, у немых зеркальных окон сохли в кадках давно не поливаемые, пыльные пальмы. Заплеванный, в окурках, паркет. Обед каждый приносил себе сам, становясь в очередь.

Сидели за столиками люди в пиджаках и в косоворотках, красноармейцы, советские барышни. Прошел между столиками молодой человек в кожаной куртке,

с револьвером в желтой кобуре. Его Катя уже несколько раз встречала и, не зная, возненавидела всею душой. Был он бритый, с огромною нижнею челюстью

и

придавленным лбом, из-под лба выползали раскосые глаза, смотревшие зловеще и высокомерно. Катя поскорей отвела от него глаза, - он вызывал в ней безотчетный, гадливо-темный ужас, как змея.

- Товарищи, можно сесть к вашему столику?

- Пошалоста!

Это были два немецких солдата, их каски с копьевидными верхушками стояли на столе. Катя со своею тарелкою супа села к столику. И сейчас же стала жадно по-немецки спрашивать солдат, - кто они, как сюда попали, почему.

Тот, который отозвался на ее вопрос, - высокий и крепкий красавец с веселыми глазами, - рассказывал: он - спартаковец, был арестован немецким командованием за антимилитаристскую пропаганду в войсках; несколько раз его подвешивали на столбе, били. Перед уходом немцев из Крыма он бежал из-под караула.

Немец засмеялся и любовно ткнул товарища локтем в бок.

- Вот с этим парнем (mit diesem Kerl)! Он был моим караульным. Сбил его с пути истинного; изменил он кайзеру, забыл честь германского воина.

Товарищ его, с большими рыжими усами, стыдливо улыбался.

Первый с восторгом стал говорить о русских: во всемирной истории не бывало такого случая, - в первый раз не фразами одними, а делом люди пошли против войны, свергли биржевиков, которые бросили трудящихся друг на друга. И борьбу в стороны заменили борьбою вверх.

- А мы? Как ребята, мы дали затуманить себе головы нашим руководителям. Мы, дескать, не пойдем, - а вдруг те все-таки пойдут? Разве так можно было рассуждать? Все равно, как при атаке: я брошусь вперед, а вдруг остальные не двинутся с места? Каждый бросайся вперед и верь, что и другие бросятся. Только так и можно дело делать. И что теперь получилось? Цвет нации истреблен, накопленные богатства расточены, а победитель тклет паутинку и налаживается, чтоб прикинуть и пить из нас остатки крови. Конец Германии!

- А если бы вы победили, вы то же бы самое сделали с Францией.

- Ну, да (ja wohl)! В этом и ужас. Создавали культуру, науку, покоряли природу, - и все для того, чтобы превратить Европу в дикую пустыню, и людей - в зверей. Какой позор (welcher Unfug)! И вдруг русские: не хотим! Довольно! Molodtzi gebiata! И с любовью он оглядывал красноармейцев за соседним столиком, евших с заломленными на затылок фуражками.

В квартиру к Мириманову вселили десять солдат. Они водворились в кабинете Мириманова, выходявшем на садовую террасу, и в комнате рядом.

Лежали в грязных сапогах на турецких диванах. Закоптелые свои котелки ставили прямо на сукно письменного стола, на нем же и обедали, заливая сукно борщом. Жена Мириманова, Любовь Алексеевна, - полная дама с золотыми зубами, - хотела поставить им простой стол, - они не позволили. Солдаты ничего не делали круглые сутки, но пола никогда не мели. Дрова кололи на террасе, разбивая цветные плиточки мозаичного пола; а спуститься пять ступенек, - и можно было колоть на земле. За нуждой ходили в саду под окнами. Пробовал их убеждать Мириманов, пробовала Катя, - они слушали, не глядя, как будто не с ними говорили, с predetermined нежеланием что-нибудь делать, о чем просят буржуи.

Вечером Катя готовила себе в саду ужин на жаровне. На дорожке три красноармейца развели костер и кипятили в чайнике воду. Двое сидели рядом с Катей на скамейке. Молодой матрос, брюнет с огненными глазами, присев на корточки, колот тесаком выломанные из ограды тесины.

Он опустил тесак и сказал:

- А на кой они нам черт, ваши образованные? Только то и делали, что за грудки нас хватали. Миллион народу, каждый расскажет, как измывались над ним. А теперь, - "я, - говорит, - образованный!" - А кто тебе дал образование? - "Отец". - А отец, значит, нас грабил, если тебе мог дать образование, значит, и ты грабитель!

- Дело не в том. А без просвещения, без культуры вы никогда не создадите социализма.

- Мы вашу буржуазную культуру попираем ногами.

- Вы, товарищ, повторяете чужие слова, а сами их не понимаете. Вот у вас винтовки, пулеметы. Это дала буржуазная культура. Бросьте их, сделайте себе каменные топоры, как наши далекие предки. В комнатах у вас, - как загажено все, как заплевано, никогда вы их не метете. А буржуазная культура говорит, что от этой грязи разводятся вши, чахотка, сыпной тиф. К нам войдете, - никогда даже не поздороваетесь, шапки не снимете.

- А вам так нужно: "Ах, милосливая государыня! Наше вам нижайшее! Позвольте ручку поцеловать!" - Солдаты на скамейке засмеялись. - Прошло времечко!

- Нет, нужно только, чтоб вы сказали: "Здравствуйте!" Чтоб видно было, что вы по-человечески относитесь.

- Никакого человечества! Борьба классов! Весь вред - от буржуазного элементу. Как ужа вилами, прижать - и растерзать! Почему до сих пор социализму нету? От них! Саботажничают, Антанту призывают! Всю эту сволочь

нужно истребить, и чтоб осталась одна святость!

- Много у вас святости останется при такой кровожадности! Вот потому-то, что у вас почти все такие, социализма вы и не сможете устроить.

- Что?! - Матрос вскочил на ноги и с тесаком ринулся на Катю. - Не

устроим?! - Он остановился перед нею и стал бить себя кулаком в грудь. -  
Поверьте мне, товарищ! Вот, отрубите мне голову тесаком: через три недели во  
всем мире будет социальная революция, а через два месяца везде будет  
социализм. Формальный! Без всякого соглашательского капитализму!.. Что? Не  
верите?!

Катя смеялась.

- Конечно, не верю.

- А говорите, тоже социалистка! - Матрос с изумлением оглядел ее. -  
Какая же вы социалистка?

Сгущались сумерки. В темноте взволнованно вспыхивал огонек папироски во  
рту матроса. Он мало слушал Катю и только повторял беспощадно:

- Растерзать их всех, шкуры спустить и повесить на фонарях! Пусть все  
видят! Уничтожить! Вот как с офицером было! Попищали они у нас, как погоны  
мы с них срывали, да в море бросали с палубы вместе с погонами ихними! А то  
в топку прямо, - пожарься!

Позже Катя часто припоминала тот кровавый хмель ненависти, который  
гудел в эти годы во всех головах и, казалось, вдруг обнаружил звериную  
сущность человека. И спрашивала себя через несколько лет: куда же девались  
эти миллионы звероподобных существ, захлебывавшихся от бурной злобы и  
жажды  
крови?

Солдат на скамейке, скуластый парень с добродушным лицом, не торопясь,  
рассказывал:

- Мы на фронте только в газетах прочли, что погоны снимают, - не стали  
и приказа ждать, прямо офицера за погоны: "Ты что, сукин сын, погоны  
нацепил?" Если ливарвер найдем, штык в брюхо. Сигнали всех офицеров в одно  
место, велели погоны скидать. Иные плачут, - умора!

И другой отозвался, бородатый:

- Да, изменение большое тогда пошло. Раньше, бывало: "Ваше  
высокопревосходительство!", "Ваше благородие!", "Рад стараться!". А тут  
командиру корпуса: "Ну-ка, товарищ, дай-ка прикурить". Не даст, - в ухо!

А матрос взволнованно говорил:

- Теперь у нас разговор короткий: труд! И больше ничего! Не трудящийся да  
не ест! Не хочешь работать, - к черту ступай! А как раньше бывало: руки  
белые, миллиарды десятин у него, в коляске развалился, кучер с павлиньими  
перьями, а мужик на него работает, да горелую корку жует!

- Вы говорите - труд. А я вот смотрю - меньше всех трудитесь сейчас как  
раз вы все. Я даже не могу понять: как не скучно так бездельничать!

Матрос опять ринулся на Катю, сумасшедше сверкая глазами.

- Что?! Бездельничаем?.. Вчера на субботнике вот как работали! До  
кровавых мозолей! Дрова пилили... Смотрите, руки какие! А вы что говорите!

Катя взглянула и вдруг расхохоталась. Схватила матроса за руку и  
потащила к костру.

- Слушайте, да что же это такое?! Ну-ка, ну-ка! Господи, какие нежные,  
барские ручки! Белые, мягкие, и два кровавых волдырика на них!.. Посмотрите  
мои.

Она протянула ладони, покрытые плотными, желтыми мозолями. Матрос  
skonфузился и спрятал руку.

- Нет, нет, дайте мне посмотреть! Что же это такое? Я такие ручки  
только в прежнее время у барышень видела, которые всегда в перчатках... Если  
сейчас людей сортировать по мозолистым рукам, то вас в первую очередь надо  
на мушку!.. Ха-ха-ха!

Скуластый солдат враждебно возразил:

- Мы сейчас кровь проливаем.

- "Кровь"... Вы - армия трудящихся. Глядя на вас, все мы должны уважать труд, а все только говорят: "Вот бездельники! еще больше, чем прежние офицеры!" У них тоже такие вот ручки белые были, как у вас. И они тоже говорили: "Мы кровь проливаем, потому бездельничаем".

- Вскипел, что ли, чайник?.. С разговорами вашими...

Матрос стал подкладывать щепки в костерик. Катя беззвучно смеялась про себя.

Продолжали разговаривать. Матрос сделался смирнее и уже не кидался на Катю с тесаком.

Она спросила:

- А скажите, много вы на своем веку убили людей?

Матрос улыбнулся.

- Штучку эту видите? - Он хлопнул рукою по револьверу у пояса, вынул его и стал вертеть в руках. - Много бы она могла вам порассказать!

Катя с тоскою воскликнула:

- И неужели, неужели никогда совесть вас не мучит!

- С чего? А они как? Попадись к ним, - тоже разговаривать мало станут.

- И никогда вам не снятся те, кого вы убили?

Он не ответил. Замолчали. На меркнувшем западе, меж пирамидальных акаций, ярче сверкала Венера.

- Вы раньше крестьянином были?

- Крестьянствовал.

Катя тихо сказала:

- Ну, а так: не думается вам иногда? Вот бы все это поскорее кончилось, воротиться домой. Звезда на вечернем небе, пруд, скотина с луга идет домой... Нива своя, волны золотые идут по ржи...

Матрос поморщился и сказал:

- Эх! Никогда этого, думается, уж не будет!.. Зверем стал.

Потом подбодрился, взял себя в руки и другим голосом сказал:

- Своей нивы теперь не будет полагаться. Сознательность пойдет. Везде будет коммуна. Какой смысл? Каждый на своем клочке ковыряется, без солидарности. Будет общий труд, товарищество, общественная нива, и все, как один человек, будут выходить с косами.

Бородатый солдат, больше все молчавший, вдруг вскочил на ноги, взволнованно подошел к матросу.

- Вот! Бей меня тесаком по шее! Руби голову долой! Я десять лет свиней пас! Понимаешь ты это дело?

- Ну, свиней пас? Что понимать? - пренебрежительно спросил матрос.

- Десять лет свиней пас у барина! Сейчас у нас пять десятин на отрубе.

Руби голову, а не отдам вам! На, - вымай тесак свой, руби!

- Вот дура! - Матрос растерянно взглянул на него. - Пьян!

- Нет, не пьян. И пусть Николай Второй опять будет!

К Мириманову пришла повестка: временным революционным комитетом на него

налагается контрибуция в сорок тысяч рублей; деньги должны быть внесены в двадцать четыре часа; если не будут внесены к сроку. С гражданином Миримановым будет поступлено со всею революционной строгостью.

Мириманов изумился: деньги его лежали в банке, а на днях только было

объявлено, что все вклады в банках конфискуются. Он пошел объясняться в ревком. Долго спорили, торговались. Наконец, спустили ему до пятнадцати тысяч. Мириманов внес.

Вдруг через два дня новая повестка: внести дополнительные двадцать пять тысяч. Мириманов опять пошел и решил добиться свидания с самим председателем

ревкома Искандером. Воротился домой часов через шесть, бледный от подавляемого бешенства, гадливо вздрагивающий.

- Кричал на меня, как пьяный, топал ногами. "Все мы знаем, что вы золото лопатами загребали! Если не внесете - сгною в подвале!" - Он обратился к Кате: - Ну, объясните мне: вклады конфискованы, продавать вещи запрещено, дом теперь не мой, - откуда же прикажете достать денег? Все, что было, отдали им. А ты знаешь, кто этот Искандер? - спросил он жену. - Приказчик из универсального магазина Оганджанца и К№, я его помню, в мануфактурном отделении торговал, - молодой армяшка с низким лбом... И какой себе псевдоним взял, паршивец! Наверно, и не слыхал про Герцена.

Заплатить было нечем. Назавтра пришли милиционеры и увели Мириманова. Любовь Алексеевна проводила его до ворот Особого отдела. Дальше ее не пустили. Но она видела решетчатые отдушины подвалов, где сидели заключенные,

в отдушины несло сырым и спертым холодом. А толпившиеся у ворот родственники

сообщили ей, что заключенные спят на голом цементном полу.

Любовь Алексеевна истерически рыдала, сверкая золотом зубов, и говорила Кате:

- Ведь у него туберкулез легких! Его подвал убьет в одну неделю!

- Подайте прошение в ревком, укажите, что он тяжело болен. Не может же быть, чтоб на это не обратили внимания! Завтра же подайте.

- Екатерина Ивановна, пойдите со мной!

Назавтра они пошли.

Записывала на прием барышня с подведенными глазами, слушавшая высокомерно и нетерпеливо. Четыре часа ждали очереди в темном коридоре. Хвост продвигался вперед очень медленно, потому что приходили рабочие и их пропускали не в очередь. Наконец, вошли.

В просторном кабинете стиля модерн, за большим письменным столом с богатыми принадлежностями, сидел бритый человек. Катя сразу узнала неприятного юношу с массивной нижней челюстью, которого она видела в советской столовой. Так это и был Искандер! Но тут, вблизи, она увидела, что он не такой уже мальчик, что ему лет за тридцать.

Искандер молча взглянул на золотые зубы Любви Алексеевны странными своими глазами, как будто разошедшимися в стороны под придавленным лбом. Любовь Алексеевна протянула ему прошение и, волнуясь, стала говорить.

Он слушал, читал бумагу и кивал головою.

- Угу!.. Да... Так...

И все сочувственнее кивал головою.

- Хорошо. Все, что возможно, будет сделано. Не волнуйтесь.

Взял чернильный карандаш и на углу прошения стал писать.

- Вот. Пойдите, отдайте бумагу управляющему делами. По коридору вторая дверь направо.

Любовь Алексеевна растерялась от радости.

- Спасибо вам!.. Большое, большое вам спасибо, товарищ Искандер!

- Не стоит, сударыня. Это наш долг.

Они вышли. Любовь Алексеевна восторженно говорила:

- Смотрите, какой милый! Совсем не такой, как о нем говорили. Что он написал?

На площадке лестницы они стали читать. Любовь Алексеевна вздрогнула.

- Господи! Да что же это? Екатерина Ивановна, что же это здесь...

На прошении крупным, размашистым почерком было написано:

"Оставить эту нахальную бумагу без последствий. Держать в подвале, пока не внесет до копейки. А сдохнет, беда не велика".

Милиционер у двери в кабинет не хотел их впустить. Катя властно сказала:

- Да мы сейчас тут были, нам два слова.

Председатель ревкома разговаривал с толстой, заплаканною женщиной. Он взглянул на них, и Катя прочла в его глазах скрытно блеснувшее, острое наслаждение. Любовь Алексеевна подошла.

- Товарищ Искандер!.. Что же это, недоразумение? Вы издеваетесь надо мной...

Искандер вскочил с потемневшими глазами и топнул ногою.

- Вон!! Как вы смели сюда войти?

Катя вмешалась.

- Да послушайте! Поймите же: откуда им взять денег, если деньги были в банке, а из банка не выдают!

- Где хотите, доставайте! Нам хорошо известно, как он зарабатывал! Тысячи загребал. Юрисконсульт был у самых крупных фабрикантов; рабочих

засаживал в тюрьмы. Пусть теперь сам посидит. Я вас заставлю распотрошить ваши подушки! Сегодня же переведу его в карцер, - будет сидеть, пока все не внесете.

Катя в бешенстве спросила:

- Скажите, пожалуйста, кому можно на вас жаловаться?

Искандер изумленно поднял брови, поглядел на нее и с наслаждением ответил:

- Можете телеграмму послать Ленину... Товарищ Григорьев!

В дверях появился милиционер.

- Чего вы сюда впустили этих? Гоните их вон!

Они вышли. Когда спускались по широкой лестнице, Любовь Алексеевна вдруг дернула Катю за рукав и покатила по мраморным ступенькам вниз.

Мучительный был день. Катя не пошла на службу и осталась с Любовью Алексеевной. Мириманова была как сумасшедшая, вырывалась из Катиних рук, билась растрепанною головою о стену и проклинала себя, что ухудшила положение мужа.

Только поздно ночью она заснула тяжелым, летаргическим сном. То и дело как будто кто-то другой рыдал в ней смутным, словно из другого мира звучащим рыданием.

На заре в прихожей зазвенели сильные, настойчивые звонки. Любовь Алексеевна со стоном проснулась и вскочила. Катя отперла.

Вошло четверо - двое мужчин и две женщины.

- Что вам нужно?

Один, высокий, с револьвером у пояса, властно спросил:

- Кто живет в этой квартире?
- Тут много живет...
- Рабочие или из буржуазии?
- В тех двух комнатах живут красноармейцы... Я - советская служащая...
- Вон в тех двух? Хорошо... Товарищи, сюда!

Они вошли в комнату Любви Алексеевны. Женщины подошли к комодам и стали выдвигать ящики. Высокий с револьвером стоял среди комнаты. Другой мужчина, по виду рабочий, нерешительно толкся на месте.

С револьвером сказал:

- Товарищ, что ж вы? - Он повел рукой вокруг. - Выбирайте, берите себе, что приглянется. Вот, откройте сундук этот.

Рабочий мялся. Катя спросила:

- Скажите, что это? Обыск?

- Изъятие излишков у буржуазии. Товарищ, пойдите-ка сюда!

Мужчина с револьвером открыл сундук.

- Вот, шуба меховая. Я думаю, пригодится вам?

Любовь Алексеевна, в кофточке, сидела на постели с бессильно свисшими, полными плечами и безучастно смотрела.

Рабочий конфузливо вынул шубу, отряхнул ее от нафталина и нерешительно оглядел. Женщины жадно выкладывали на диван стопочки батистовых женских

рубашек и кальсон, шелковые чулки и пикейные юбки.

Одна, постарше, с желто-худым лицом работницы табачной фабрики, спросила нерешительно:

- Товарищ, а зеркало можно взять?

- Берите, берите, товарищ, чего стесняетесь? Видите, сколько зеркал. На что им столько! По три смены белья оставьте, а остальное все берите.

У женщины разгорались глаза. Младшая взяла с туалета две черепаховых гребенки, коробку с пудрой, блестящие ножницы.

Мужчина с револьвером обратился к рабочему, все еще в нерешительности смотревшему на шубу.

- Ну, товарищ, чего ж вы? Берите, нечего думать. Шуба теплая, буржуйская. Великолепно будет греть и пролетарское тело!

Любовь Алексеевна сказала:

- Послушайте, вы говорите, - изъятие излишков. Это единственная шуба моего мужа.

- А где ваш муж?

- Он... он сейчас арестован за невзнос контрибуции...

- Та-ак... - Мужчина усмехнулся. - Берите, товарищ! Ему в тюрьме и без шубы будет тепло.

Любовь Алексеевна уткнулась головой в подушку.

- Господи!.. Господи, господи! Когда же смерть? Когда же, когда же смерть!

Она рыдала в подушку, колыхаясь всем своим телом.

Женщины, с неприятными, жадными и преодолевающими стыд лицами, поспешно, как воровки, увязывали узлы. Рабочий вдруг махнул рукою, положил шубу обратно в сундук и молча пошел к выходу.

Через день Катя читала в газете "Красный Пролетарий".

## "ПОХОД НАШИХ РАБОЧИХ НА БУРЖУАЗИЮ"

22-го апреля состоялось торжественное заседание конференции Завкомов и Комслужей и разных комиссий при Завкомах. Зал театра "Иллюзион" был

переполнен. Собралось свыше 800 рабочих и работниц. Раньше были обсуждены некоторые нерассмотренные вопросы конференции, как-то Собес и жилищный вопрос. В обоих докладах ясно вырисовывалась необходимость принять срочные решительные меры по отношению к буржуазии и облегчению участи рабочих.

После

этого был заслушан доклад тов. Маргулиеса о революционном движении на западе.

С внеочередным заявлением выступил предревком товарищ Искандер, который предложил революционные слова претворить в действия и эту же ночью произвести первое нападение на буржуазию для изъятия излишков.

Гром аплодисментов и несмолкаемые радостные клики всего собрания были показателем того, что предложение любимого вождя нашло пролетарский отклик

у

всех делегатов собрания.

Вопрос не вызвал споров. Он был слишком ясен, он был слишком понятен, слишком бесспорен!

Загорелись глаза у пролетариев, понасупились брови, сжались невольно в кулаки мозолистые руки. Уж мы покажем.

Предстояло просидеть в театре до пяти часов утра с тем, чтобы на рассвете двинуться на работу. Время пробежало весьма быстро. Члены союза "Всерабис" сколотили на скорую руку концерт, и зал начал жить небывало интенсивною жизнью. Знаменитый артист Белозеров затянул родную нашу "Дубинушку". Мощный голос певца звучал истинно революционным подъемом,

и

дружно подхватила рабочая масса припев. Все слились в один общий коллектив, спаянный великим огнем революционно-пролетарского гнева. Сцена не

оставалась

ни на минуту пустой. К двум часам ночи уже не было нужды в артистах-профессионалах.

Раскачалась рабочая масса. Один за другим вылезали на сцену простые рабочие и нехитрым языком, не смущаясь, рассказывали анекдоты, декламировали

стихи.

К пяти часам утра коммунисты уже разбились на районы и на тройки, чтобы руководить отрядами. Очередь была за рабочей конференцией.

Весело, толкая друг друга, перекидываясь шутками, выходила группа за группой рабочих на соединение с коммунистами в поход на буржуазию.

- Петь можно? - спросил у меня один рабочий.

- Не стоит, - ответил я.

- Чего бояться, ведь мы же рабочие! - возразил он, полный мощного сознания силы рабочего класса.

Спартак".

Любовь Алексеевна где-то достала двадцать пять тысяч и внесла в ревком. Мириманова выпустили.

В отделе Наробраза работа шла полным и ладным ходом. Открывались новые школы, библиотеки, студии, устраивались концерты и популярные лекции.

Однажды Дмитревский, когда остался у себя в кабинете один с Катю,



пожал плечами и сдержанно усмехнулся.

- Все это, конечно, очень хорошо. Но ведь для того, чтоб такую огромную программу провести в жизнь, нужны средства богатейшего государства. Программы намечают широчайшие, а средств не дают. Народным учителям мы до

сих пор не заплатили жалованья. Дело мы развертываем, а чем будем платить?

Приехал из Арматлука столяр Капралов, - его выбрали заведовать местным отделом народного образования. Он был трезв, и еще больше Катю поражало несоответствие его простонародных выражений с умными, странно-интеллигентными глазами. Профессор и Катя долго беседовали с ним, наметили втроем открытие рабоче-крестьянского клуба, дома ребенка, школы грамоты. Капралов расспрашивал, что у них по народному образованию делается в городе, на лету ловил всякую мысль, и толковать с ним было одно удовольствие.

Он сообщил, между прочим, что несколько барышень-дачниц хотят открыть частную школу. Болгары охотно соглашаются платить, потому что программа предполагается много шире программы народной школы; особенно почему-то их

прельщает, что дети их будут учиться французскому языку.

Дмитревский ответил:

- Мысль хорошая. Но только одно необходимое условие: школа должна быть бесплатной.

- Ну, где ж бесплатно! Барышни с голоду помирают. А болгары платить могут, они богатые.

- Все равно. По декретам, обучение всякого рода должно производиться совершенно бесплатно.

- Вы, значит, можете нам такую школу устроить бесплатно?

- Нет, у нас на это нет средств.

Капралов внимательно смотрел на него, и в глазах зажглись смеющиеся огоньки.

- Так как же?

Катя, с удивлением слушавшая профессора, вмешалась:

- Но ведь сами же они соглашаются платить! А без платы ничего не выйдет. И хорошее культурное начинание заглохнет.

Глаза Дмитревского смотрели растерянно, но тем решительнее он ответил:

- Бедняки платить не в состоянии. И получится опять привилегированная школа. Пусть тогда общество сложится, платит от себя.

- Ну! Не знаете, что ли, наших мужичков. У кого детей нет, или учить не желает, - разве согласится платить?

- Тогда не могу разрешить.

В первый раз Катя повздорила с Дмитревским. Но он остался при своем.

В сумерках шла Катя через приморский сквер. Душно было, горячая пыль неподвижно висела в воздухе. От загаженной, с оторванными досками, ротонды, где в прежние времена играла музыка, шел тяжкий, отшатывающий запах: там уже

третий день смердела в кустах дохлая собака с оскаленными зубами, и никто ее не прибирал. Поломанные кусты, затоптанная трава. И от домов за сквером тянуло давно не чищенными помойными ямами и отхожими местами. Хотелось вон

из города, наверх в горы, где не загажена людьми земля, где плавают в

темноте чистые ароматы цветущих трав.

По узкому переулку, мимо грязных, облупившихся домиков, Катя поднималась в гору. И вдруг из сумрака выплыло навстречу ужасное лицо; кроваво-красные ямы вместо глаз, лоб черный, а под глазами по всему лицу - вьевшиеся в кожу черно-синие пятнышки от взорвавшегося снаряда. Человек в солдатской шинели шел, подняв лицо вверх, как всегда слепые, и держался рукою за плечо скучливо смотревшего мальчика-поводыря; свободный рукав болтался вместо другой руки.

Катя, широко раскрыв глаза, долго смотрела ему вслед. И вдруг прибойною волною взметнулась из души неистовая злоба. Господи, господи, да что же это?! Сотни тысяч, миллионы понаделали таких калек. Всюду, во всех странах мира, ковыляют и тащатся они, - слепые, безногие, безрукие, с отравленными легкими. И все ведь такие молодые были, крепкие, такие нужные для жизни... Зачем? И что делать, чтоб этого больше не было? Что может быть такого, через что нельзя было бы перешагнуть для этого?

Катя быстро шла вверх по переулку.

Ничего такого нет! Все допустимо. Все, что только возможно! И слава, - да, да, - и слава, привет тем, кто с яростною решительностью ринулся против этого великого мирового преступления! Вспомнился немец-солдат в "Астории", и как с любовью он оглядывал красноармейцев с заломленными на затылок фуражками.

Были до сих пор для Кати расхлябанные, опустившиеся люди, в которых свобода развязала притаившийся в душе страх за свою шкуру, были "взбунтовавшиеся рабы" с психологией дикарей: "до нашей саратовской деревни им, все одно, не дойти!" А, может быть, - может быть, это не все? Может быть, не только это? И что-то еще во всем этом было, - непознаваемое, глубоко скрытое, - великое безумие, которым творится история и пролагаются новые пути в ней?

По безумным блуждая дорогам,  
Нам безумец открыл Новый Свет,  
Нам безумец дал Новый Завет, -  
Потому что безумец был богом!

Катя шла по горной дороге, среди виноградников, и смеялась. Да, эти разнузданные толпы, лущившие семечки под грохот разваливающейся родины, - может быть, они бросили в темный мир новый пылающий факел, который осветит

заблудившимся народам выход на дорогу.

На повороте лежал большой белый камень. За день он набрал много солнечного жару и был теплый, как печка. Катя села.

Внизу, вокруг дымно-голубой бухты, в пыльной дымке лежал город, а наверху было просторное, зеленовато-светящееся небо, металлическим блеском сверкал молодой месяц, и, мигая, загоралась вечерняя звезда. Там внизу, - какая красота в этой дымке, в этих куполах и минаретах, в светящихся под закатом белых виллах и дворцах! А под ротондой, с обнаженными ребрами стропил, гниет дохлая собака, и тянется по улицам кислая вонь от выгребных ям, и пыль в воздухе, и облупившиеся стены домов. Там ли была она права, судя о городе, или здесь, на высоте?

Быстрые мысли бежали через голову, и образы проносились, - жуткие, темные. Генерал с синим лицом, и сумасшедше насканивающий матрос с тесаком,

и бритый человек с темно-сладострастным взглядом из-под придавленного лба. И мужики еще вспомнились, расхищавшие помещичьи усадьбы. Она видела в России

эти отвратительные разгромы. Не люди, а жадное зверье, с одной меркою для себя и с иною меркою - для других. А с высоты, - с высоты, может быть, не так? Может быть, еще что-то, более широкое и важное? И, может быть даже, - великая, благословенная правда и полное оправдание?

Из верхнего этажа дома Мириманова, - там было две барских квартиры, - вдруг выселили жильцов: доктора по венерическим болезням Вайнштейна и бывшего городского голову Гавриленко. Велели в полчаса очистить квартиры и ничего не позволили взять с собою, ни мебели, ни посуды, - только по три смены белья и из верхней одежды, что на себе.

- Куда ж нам выселяться?

- Нам какое дело? Куда хотите.

Бледный Вайнштейн, вдруг вдвое потолстевший, - он надел на себя белья и одежды, сколько налезло, - ушел с многочисленной семьей к родственникам своим в пригород. Старик Гавриленко растерянно сидел с женою у Ми-риманова.

- Но скажите, пожалуйста, ведь все-таки, - какая же nibудь нужна законность. Ну, выселили, - предоставьте хоть чуланчик какой!

Мириманов процедил сквозь зубы:

- "Революционное правосознание!"

- Я одного не понимаю: зачем такое изысканное бесчеловечие? Как будто нарочно всех хотят восстановить против себя.

Жена Гавриленки рыдала.

- Где жить и чем жить? Все там осталось, продавать даже будет нечего. Была бы помоложе, хоть бы в хор пошла к Белозерову. А теперь и голоса никакого не осталось.

Она кончила консерваторию и до замужества с большим когда-то успехом выступала в московской опере.

К вечеру в квартиры наверху вселилось шесть рабочих семей. И по всему городу стояли стоны и слезы. Очищено было около ста буржуазных квартир.

Длинные очереди Гавриленко простаивал в жилищном отделе, наконец добирался. Ему грубо отвечали:

- Записали вас, - чего же еще! Дойдет до вас очередь, получите комнату.

Гавриленко, корректный и вежливый, возражал:

- Но ведь меня из моей квартиры выселили, я остался на улице. В буквальном смысле. Куда же мне деться?

- У нас коммунисты, ответственные работники, ночуют в коридорах гостиниц и ждут угла по неделям.

Выселили и фельдшерницу Сорокину, жившую у Гавриленки. Катя предложила

ей поселиться с нею в комнате. Но в домовом комитете потребовали ордера из жилотдела. А в жилищном отделе Сорокиной сказали, что Катя сама должна прийти в отдел и лично заявить о своем согласии.

- Господи, какая формалистика! Целый день терять! Ну, дешево у них время!

Однако пошла. Простояли с Сорокиной длиннейшую очередь, добрались.

Черноволосая барышня с матовым лицом и противно-красными, карминовыми губами

нетерпеливо слушала, глядя в сторону.

- Ничего нельзя сделать. К вам вселят по ордеру жилищного отдела.

Катя остолбенела.

- Позвольте! В праве же я выбрать сожительницу себе по вкусу! И ведь тут же вчера нам сказали, что я должна только заявить о своем согласии.

- Не знаю, кто вам сказал.

Сорокина поспешно объяснила:

- Сказал товарищ Зайдберг, заведующий жилотделом.

- Ну, и идите к нему.

- Куда?

Барышня перелистывала бумаги.

- Товарищ, куда к нему пройти?

- Что?

- Куда пройти к товарищу Зайдбергу?

- Ах, господи! Комната ЛЬ 8.

В коридоре они встретили доктора Вайнштейна. Он с довольным лицом шел к выходу. Катя спросила:

- Получили ордер?

- Да.

- Как?

Вайнштейн втянул голову в плечи, поднял ладони, улыбнулся лукаво и прошел к выходу. Катя с Сорокиной вошли в комнату ЛЬ 8.

Щеголевато одетый молодой человек, горбоносый и бритый, с большим, самодовольно извивающимся ртом, весело болтал с двумя хорошенькими барышнями.

- Надежда Васильевна, Роза Моисеевна определенно говорит, что видела вас вчера вечером на бульваре с очень интересным молодым человеком...

Они болтали и как будто не замечали вошедших. Катя и Сорокина ждали. Катя, наконец, сказала раздраженно:

- Послушайте, будьте добры нас отпустить. Мне на службу надо.

Лицо молодого человека стало строгим, нижняя губа пренебрежительно отвисла.

- В чем дело?

Катя объяснила.

- Ничего не могу сделать. Вы подлежите ответственности, что сами занимаете комнату, в которой могут жить двое, и не заявили об этом в отдел. Поселят к вам того, кому я дам ордер.

Сорокина упавшим голосом сказала:

- Но, товарищ Зайдберг, ведь вы же вчера сами сказали, что требуется только личное согласие того, к кому вселяются.

- Ничего подобного я не говорил. Не могу вас вселить. Я обязан действовать по закону.

- В чем же закон?

- В чем я скажу... Я извиняюсь, мне некогда. Ничего для вас не могу сделать.

Катя в бешенстве смотрела на него. Бестолочь и унижения сегодняшнего дня огненным спиртом ударили ей в голову. Она пошла к двери и громко сказала:

- Когда же кончится это хамское царство!

Молодой человек вскочил.

- Что вы сказали?!. Товарищи, вы слышали, что она сказала?

Катя, пьяная от бешенства, остановилась.

- Не слышали? Так я повторяю. Когда же кончится у нас это царство хамов!

- Надежда Васильевна! Кликните из коридора милиционера... Прошу вас, гражданин, не уходите. Я обязан вас задержать.

Вошел милиционер с винтовкой. Молодой человек говорил по телефону:

- Особый отдел?.. Пожалуйста, начальника. Просит заведующий жилотделом... Товарищ Королицкий? Я сейчас отправлю к вам белогвардейку, занимается контрреволюционной пропагандой... Что? Хорошо. И свидетелей? Хорошо.

Он стал писать.

- Вы не отпираетесь, что сказали: "когда же кончится это хамское царство?"

- Не отпираюсь и еще раз повторяю.

- Товарищ милиционер, подпишитесь и вы свидетелем, вы слышали. С этой бумагой отведете ее в Особотдел.

Милиционер с винтовкою повел Катю по улицам.

В комнате сидел человек в защитной куртке, с револьвером. Недобро поджав губы, он мельком равнодушно оглядел Катю, как хозяин скотобойного двора - приведенную телушку.

- Вы занимались контрреволюционной агитацией?

Катя усмехнулась.

- Странно было бы заниматься такой агитацией пред большевиками.

Особник неожиданно ударил кулаком по столу.

- Чего смеешься, белогвардейка паршивая! Пропаганду разводишь в городе! Я тебе покажу!

Катя побледнела и выпрямилась.

- Если вы со мною будете так разговаривать, я вам слова не отвечу на ваши вопросы.

Он внимательно оглядел ее.

- Ого! Видна птичка по полету. В камеру Б! - распорядился он.

Это был подвал с двумя узкими отдушинами, забранными решеткою. Мебели не было. Стоял только небольшой некрашенный стол. Когда глаза привыкли к темноте, Катя увидела сидящих на полу возле стен несколько женщин. Она спросила с удивлением:

- Скажите, а коек здесь не полагается?

Седая женщина с одутловатым лицом ответила:

- Нет.

- Так как же?

- На полу. Что тут есть, - у каждого свое, доставлено из дому. Садитесь ко мне.

Катя подошла к двери и стала стучать. Грубый голос спросил:

- Что надо?

- Откройте, мне нужно вам сказать.

Дверь открыл солдат с винтовкой.

- Ну? что такое?

- Скажите, где же мне тут спать? Где присесть?

Солдат изумился.

- Где хочешь.

- Как же мне? На голом каменном полу? Дома даже не знают о моем аресте,

у меня ничего нету. Дайте мне хоть голую койку.

- Не полагается.

- Как это может быть? Тогда позовите ко мне начальника.

- Пошел он к тебе!

- Потрудитесь не говорить мне "ты"! - вскипела Катя.

Солдат долго поглядел на Катю и надвинулся на нее.

- Будешь тут бунтоваться, я тебя скоро сокращу... Пошла!

Он толкнул ее в плечо и запер дверь.

Катя в беспомощном бешенстве оглядывалась.

Есть за весь день ничего не дали. Хлеб выписывали с утра, и она могла получить только завтра. Приютила Катю на своем одеяле та седая женщина, с которой она говорила.

Голодная и разбитая впечатлениями, Катя всю ночь не спала. В душе всплескивалась злоба. Через одеяло от цементного пола шел тяжелый холод, тело горело от наползавших вшей. И мелькало пред глазами бритое, горбоносое лицо с надменно отвисшею нижнею губою. Рядом слабо стонала сквозь сон старуха.

Два дня прошло. Любовь Алексеевна узнала от Сорокиной об аресте и принесла для Кати подушку, одеяло и тюфячок.

В камере сидело пять женщин. Жена и дочь бежавшего начальника уездной милиции при белых. Две дамы, на которых донесла их прислуга, что они ругали большевиков. И седая женщина с одутловатым лицом, приютившая Катю в первую

ночь, - жена директора одного из частных банков. С нею случилась странная история. Однажды, в отсутствие мужа, к ней пришли два молодых человека, отозвали ее в отдельную комнату и сообщили, что они - офицеры, что большевики их разыскивают для расстрела, и умоляли дать им приют на сутки.

- А лица такие неприятные, глаза бегают... Но что было делать?

Откажешь, а их расстреляют! Всю жизнь потом никуда не денешься от совести...

Провела я их в комнату, - вдруг в дом комендант, матрос этот, Сычев, с ним еще матросы. "Офицеров прятать?" Обругал, избил по щекам, арестовали. Вторую неделю сижу. И недавно, когда на допрос водили, заметила я на дворе одного из тех двух. Ходит на свободе, как будто свой здесь человек.

День тянулся в полумраке, ночь - в темноте. Света не давали. Кате вспомнились древние, - раньше казалось, навсегда минувшие, - времена, когда людей бросали в каменные ямы, и странною представлялась какая-нибудь забота о них. Вспомнился когда-то читанный рассказ Лескова "Аскалонский злодей" и Иродова темница в рассказе. Все совсем так.

Жена директора банка тяжело стонала по ночам от ревматизма. Лица у всех были бело-серые, платья грязные, живые от вшей. Голод, бессветие, дурной воздух. В душах неизбежно жили ужас и отчаяние.

Катя узнала от товарок по заключению, что их камера, Б, - "сомнительная". Из нее переводят либо в камеру А - к выпуску, либо в камеру В - для расстрела. На днях расстреляли двух девушек-учительниц за саботаж и контрреволюционную пропаганду. Катя жадно расспрашивала про них днем, а ночью бледные их тени реяли пред нею в темноте.

Позвали к допросу. Когда Катя входила в просторную комнату особняка, где ждал допрос, ее вдруг стала трепать такая дрожь, и так забилося сердце,

что Катя пришла в отчаяние.

Сидело за столом трое, один из них - тот, который на нее тогда стучал кулаком. Сидевший в середине, бритый, спросил:

- Ваше имя, фамилия?

Катя сказала.

- Вы родственница товарища Сартанова-Седого?

- Это к делу не относится! - резко оборвала Катя.

Бритый внимательно поглядел. Тот, прежний, неподвижным взглядом уставился на Катю, и в тяжелых глазах его был уже предрешенный приговор. Третий, широкоскулый, в матросской фуражке, с смеющимся про себя любопытством приглядывался к взволнованному лицу Кати, так странно не соответствовавшему ее резкому тону.

- Бывшее звание ваше?

- Дворянка, - с вызовом ответила Катя. И задышалась, и прижимала руку к сердцу.

Бритый успокаивающе сказал:

- Да вы не волнуйтесь, дело пустяковое.

Катя с презрением возразила:

- Я вовсе не от допроса вашего волнуюсь.

Бритый предложил рассказать, как было дело. Допрашивал мягко и не враждебно. Катя все рассказала и прибавила, что в "хамском царстве" вовсе не раскаивается, что этот Зайдберг, правда, держался, как хам.

- И я думаю, вы на моем месте, если бы испытали все эти издевательства, тоже сказали бы так.

Бритый улыбнулся тонкими своими губами.

- Ну, я бы выразился осторожнее: назвал бы хамом его, если бы стоил, а не говорил бы вообще о хамском царстве... Можно увести, - обратился он к страже.

Катя еще больше заволновалась.

- Я имею сделать заявление.

- Пожалуйста.

- Вот какое заявление...

И вдруг она перестала дрожать, в душе стало радостно и твердо.

- Я сидела в царских тюрьмах, меня допрашивали царские жандармы. И никогда я не видела такого зверского отношения к заключенным, такого топтания человеческой личности, как у вас... Я сижу в камере подследственных, дела их еще не рассмотрены, может быть они еще даже с вашей точки зрения окажутся невинными. А находятся они в условиях, в которых при царском режиме не жили и каторжники. У тех хоть нары были, им хоть солому давали, им хоть позволяли дышать иногда чистым воздухом. А вы бросаете ваших пленников в темные подвалы, люди лежат на холодном каменном полу, вы их морите голодом. Тюремщики обращаются с ними, как с рабами, кричат на них, говорят им "ты". Неужели же вас ни разу не поинтересовало зайти и посмотреть, как вот здесь, под полом, под вами, живут люди, которых вы лишили свободы?.. И потом. Вы вот выявляете мою вину, - а почему вы не стараетесь выяснить, что ее вызвало? Почему не арестовываете людей вроде этого Зайдберга или вашего Искандера? Они своими действиями гораздо больше подрывают авторитет вашей власти, чем всякие контрреволюционные пропаганды.

Катя все высказала, что у нее накопилось. И когда ее вели назад в тюрьму, в душе было удовлетворение и блаженная тишина.

Рассказала о допросе, и что она им сказала. И вдруг все кругом замерли в тяжелом молчании. Смотрели на нее и ничего не говорили. И в молчании этом Катя почувствовала холодное дыхание пришедшей за нею смерти. Но в душе все-таки было прежнее радостное успокоение и задорный вызов. Открылась дверь, солдат с револьвером крикнул:

- Сартанова! Собирай вещи. Через час к выпуску.

Так говорили, и когда на волю выпускали, и когда уводили на казнь. Вчера выпустили одну из дам, сидевших по доносу прислуги: все писали письма, чтобы передать с нею на волю. Теперь никто. И украдкою все с соболезнованием и ужасом поглядывали на Катю. Ясно было, - все они понимают, что ее переводят в страшную камеру В.

Кате стало весело, и смех неудержимо забился в груди: да неужели это, правда, смерть? И неужели бывает так смешно умирать? Она хохотала, острела, рассказывала смешные вещи. И что-то легкое было во всем теле, поднимавшее от земли, и с смеющимся интересом она ждала: десяток сильных мужчин окружит ее;

поведут куда-то, наставят ружья на нее. И им не будет стыдно...

Но оказалось, выпустили на волю. Дома Катя узнала, что за нее сильно хлопотал профессор Дмитревский. Особенный эффект на них произвело, что она - двоюродная сестра Седого. Сообщили ей также, что приходил жилищный контролер и взял ее комнату на учет.

Домовым комитетам было объявлено: кто первого мая не украсит своего дома красными флагами, будет предан суду ревтрибунала. Гражданам предписывалось, под страхом строжайшей революционной ответственности, представить в ревком всю имеющуюся красную материю. Бухгалтер отдела с скрытою улыбкою сообщил Кате, что на табачной фабрике вывешено объявление

завкома о поголовном участии в манифестации. Кто не пойдет, будет объявлен врагом пролетариата.

В отделе был получен церемониал манифестации. Дмитревский суетился и напоминал сотрудникам, чтоб ровно к десяти часам все собрались в отдел, а оттуда все вместе двинутся к сборному пункту у фонтана Орам-Тимура (теперь - фонтан Карла Либкнехта). Он рассматривал с художниками знамена и плакаты.

Катя спросила:

- Нужно обязательно участвовать на демонстрации?

- Обязательно!

- А я не пойду. Противно. По принуждению.

Дмитревский растерянно взглянул на нее.

- Конечно, насильно вас никто не станет заставлять. Но желательно, чтоб отдел был представлен полностью.

Белозеров кипуче работал. В театре готовились к постановке "Ткачи", оркестры разучивали революционные марши, инструкторы по пению обучали по фабрикам хоры рабочих.



Катя пошла часам к одиннадцати посмотреть. На панелях в ожидании густо стояли зрители. Катя была уверена, что народу на демонстрации будет позорно мало, и в душе ей хотелось этого.

Был чудесный солнечный день, за деревьями сквера сверкало море. Вдали могуче загремел оркестр. Интернационал. Промчался на автомобиле Белозеров с огромным красным бантом на груди.

Музыка приближалась. Заалели под солнцем развевающиеся знамена, плескались красные флаги на домах.

Старый учитель гимназии, - Катя его однажды видела у Миримановых, - вполголоса говорил соседу:

- Людям одеться не во что, а тысячи аршин материи тратят на флаги и знамена!

За музыкой слышен был хор человеческих голосов. Медленно колыхаясь, надвигались темные массы людей, над ними качались плакаты и знамена.

Маленький мальчик с одушевлением говорил:

- Мама! Мама! Гляди! Вон - они идут! С флагами.

- Значит, крестный ход ихний.

- Осади назад!

Милиционеры грубо оттесняли зрителей винтовками на тротуары. Катя вспомнила прежние первомайские демонстрации и жертвенный огонь мученичества

в глазах участников. Никто тогда не расчищал перед ними дороги, и Белозеров бы тогда не обучал рабочих хоров.

Шли мимо ряды красноармейцев с винтовками на плечах, с красными перевязями на руках. Катя увидела в рядах знакомых немцев в касках. Могучие мужские голоса пели, сливаясь с оркестром:

Весь мир насилья мы разроем  
До основанья, а затем  
Мы наш, мы новый мир построим!  
Кто был ничем, тот будет всем.

И шли ряды. Рабочие в пиджаках, работницы в светлых платьях, советские служащие, кокетливые барышни на высоких каблучках, с колеблющею походкою.

Проплывали плакаты на длинных палках:

Да здравствует международная социальная революция!  
Да здравствует книга в руках пролетариата!

- В первый раз слышу, чтоб кто-нибудь желал здоровья книге!

Да здравствует братство трудящихся! Нет ни русских, ни евреев, ни татар, ни немцев! Есть братья-рабочие и враги-капиталисты!

У Кати начинала колыхаться и подъемно звенеть душа от торжественно-боевого темпа музыки, от алого плеска знамен, блеска солнца, от токов, шедших от этой массы людей. Всё шли, шли мимо; обрывки песен выплескивались из живого потока:

Мы потеряем лишь оковы,  
Но завоюем целый мир!

Людские волны укатывались к площади, и новые надвигались.

Вперед, друзья! Идем все вместе,  
Рука с рукой, и мысль одна!  
Кто скажет буре: "Стой на месте!"  
Чья власть на свете так сильна?

Задержка какая-то впереди, процессия остановилась. Худощавый рабочий средних лет, державший палку от плаката, отер пот с лысеющей головы, довольно улыбнулся, поглядел вперед, назад.

- Бог даст, одолеет рабочий класс капитал, тогда будет хорошо!

У Кати больно защемило в душе. Вспомнились гнусные подвалы и безвинные люди в них с опухлыми лицами, раскосые глаза Искандера, тлеющие темно-красным огнем... Не может же этот не знать обо всем! А если знает, - как может смотреть так благодушно и радостно?

Опять двинулись. Плакат:

Женщины Востока! Вы были рабынями мужчин, теперь вы стали свободными людьми! Дружно на общую работу для счастья трудящихся!

Шли рядом татарки, всё молодые, в низких фиолетовых бархатных шапочках, сверкавших позументами и золотом. Ярче позументов сверкали прелестные глаза на овальных лицах. Как будто из мрачных задних комнат только что выпустили этих черноглазых девушек и женщин на вольный воздух, и они упоенно оглядывали залитый солнцем прекрасный мир.

Море голов и лес знамен на Генуэзской площади (теперь - площадь Урицкого). Трибуна, обтянутая красным сукном, с зелеными ветвями мимоз.

Один

за другим всходили ораторы. Воздух был насыщен радостным электричеством победного торжествования. Катя видела вокруг жадно прислушивающиеся лица, празднично светящиеся глаза. И как будто не отдельные души были в людях: одна общая душа, большая, как море, торжествовала какое-то великое достижение. Иногда Катю втягивало и уносило с собою это общее настроение - и потом вдруг отшатывало: столько злобы и ненависти было в несшихся призывах. Зачем? Зачем теперь? Неужели и так не слишком много этой ненужной злобы? Почему ни одного призыва к благородству и великодушию победителей?

Выступил Леонид. Его речь понравилась Кате. Ругнул буржуев, империалистов и стал говорить о новом строе, где будет счастье, и свобода, и красота, и прекрасные люди будут жить на прекрасной земле. И опять Катю поразило: волновали душу не слова его, а странно звучащая в них музыка настроения и крепкой веры.

А потом над трибуной появилась огромная седая голова профессора Дмитревского. В последнее время Катя морщилась от некоторых его поступков, ей казалось, - слишком он приспособляется, слишком не прямо ходит. Но тут он ее умилил. Ни одного злобного призыва. Он говорил о науке и ее великой, творческой роли в жизни. Чувствовалось, что наука для него - светлая, благодатная богиня, что она все может сделать, и что для нее он пожертвует всем.

Дрогнувшим от волнения голосом профессор закончил так:

- Товарищи! Бывают моменты в истории, когда насилие, может быть,

необходимо. Но истинный социализм может быть насажден в мире не винтовкой, не штыком, а только наукою и широким просвещением трудящихся масс!

Катя шла на службу и встретила на улице с профессором Дмитревским. Он взволнованно держал в руке газету.

- Вот. Читали? О Первомайском празднике?

- Нет.

- Прочтите.

В отчете, подписанном "Спартак", заключительные слова речи профессора были изложены вот как:

"Товарищи! Помните: в условиях переживаемого момента социализм сумеет насадиться не прекраснотелой болтовней мягкотелых соглашателей, а только беспощадной винтовкой и штыком в мозолистой руке рабочего!"

Профессор в бешенстве воскликнул:

- Что же это? Я иду в редакцию. Пойдемте вместе.

В грязной комнатке, заваленной стопами бумаги, пахло керосином от типографского мотора и скипидаром. Суровый господин в золотых очках, услышав

имя профессора, расцвел, почтительно усадил его и сочувственно выслушал.

- Это Спартак отчет давал... Спартак! Поди-ка сюда!

Медленною походкою из соседней комнаты вошел болезненный молодой человек с ленивою, добродушною усмешкою, пережевывая кусок хлеба с сыром... Катя изумилась: так вот какой этот Спартак!

Он слушал профессора, улыбаясь сконфуженною улыбкою.

- Я очень извиняюсь... Значит, я не расслышал. Но теперь что же можно сделать? Что написано пером, того не вырубишь и топором.

- Ну, уж нет, товарищ, извините! Вырубайте хоть топором, а я так оставить этого не могу.

С доброю своею улыбкою Спартак убеждающе возразил:

- А не все вам равно, профессор?

Катю дрожь омерзения охватила. О, да! Ему, этому писаке, - ему все равно! И с этою доброю улыбкою...

- Я категорически требую, чтобы напечатано было мое письмо в редакцию. Вот оно. Здесь только восстановлено то, что я действительно сказал.

Они в замешательстве прочли. Редактор в золотых очках помолчал и сказал:

- Да, конечно, это полное ваше право. Но завтрашний номер, воскресный, уже сверстан, в понедельник газета не выходит. Так что, к сожалению, сможем поместить только во вторник... А кстати, профессор: не можете ли вы нам давать время от времени популярно-научные статьи, доступные пониманию рабочей массы? Мы собираемся расширить нашу газету.

- Об этом может быть речь, когда появится опровержение.

Профессор с Катей вышли. Катя воскликнула:

- Не напечатают! Вот увидите!

- Нет, это не может быть.

- Да как же им напечатать? "Не штыком, а просвещением". Когда они именно проповедуют, что штыком. - Катя засмеялась. - И очутились вы, Николай Елпидифорович, в их компании!

Во вторник письмо не появилось, и редактор по телефону очень извинялся. Потом оказалось, метранпаж затерял заметку. Редактор просил непременно

прислать новую и опять очень извинялся. Наконец, оказалось, - времени прошло уже столько, что решительно не имело смысла печатать: все давно уже забыли и о самом-то празднике.

У подъезда "Астории" стояла телега, нагруженная печеным хлебом, а на горячих хлебах лежал враспяжку ломовой извозчик. Мимо равнодушно проходили люди. Катя, пораженная, остановилась.

- Товарищ! Да что же вы такое делаете? Ведь вы весь хлеб примяли, посмотрите, что с ним стало!

Ломовик лениво оглядел ее.

- А тебе что?

- Как что? Ведь этот хлеб люди будут есть. Вы подумайте, - выдают сейчас по полфунта в день. И вот, вместо хорошего хлеба, получают они слежавшуюся замазку, да еще испачканную вашими сапогами.

Ломовой зевнул и стал крутить папиросу.

- Съедят и так.

Катя стала говорить об общественной солидарности, что теперь больше, чем когда-нибудь, нужно думать и заботиться друг о друге, что теперь, когда нет хозяев, каждый сам обязан следить, чтобы все делалось хорошо и добросовестно.

Ломовик усмехнулся.

- Э! - Повернулся на другой бок и стал чиркать зажигалкой, гаснувшей под ветром.

У крыльца стоял в каске тот немец, с которым Катя недавно обедала. Они переглянулись. Немец покрутил головою, улыбнулся и, как бы отвечая на что-то Кате, сказал:

- Nein, es wird bei Ihnen nicht gehen (Нет, дело у вас не пойдет)!

А у Миримановых происходило что-то странное. Вечером, когда темнело, приходили поодиночке то гимназист, то настороженно глядящая барышня, то просто одетый человек с интеллигентным лицом. Мириманов удалялся с пришедшим в глубину сада, они долго беседовали в темноте, и потом посетитель, крадучись, уходил.

Катя иногда встречалась с Леонидом. Она рассказывала ему о своих впечатлениях, хотела докопаться, как он относится ко всему происходящему. Леонид либо отвечал шуточками, либо, с пренебрежительно-задирающею усмешкою, одобрял все, о чем рассказывала Катя.

- И это, по-твоему, допустимо? Это хорошо?

- Великолепно! Так и надо! Революция, матушка! Ее в лайковых перчатках делать нельзя. Наденешь, - все равно, сейчас же раздерутся.

А когда Катя попадала в слишком чувствительное место, Леонид становился резок и начинал говорить каким-то особенным тоном, - как будто говорил на митинге, - не для Кати, а для невидимой, сочувствующей толпы, которая должна облить Катю презрением и негодованием. И они враждебно расходились.

Катя, как всегда, старалась дорыться до самого дна души, - что там у человека, под внешними словами? Было это под вечер. Они сидели в виноградной беседке, в конце миримановского сада. И Катя спрашивала:

- Ну, как же, - неужели у вас на душе совершенно спокойно? Вот, жили здесь люди, их выбросили на улицу, даже вещей своих не позволили взять, - и вселили вас. И вы живете в чужих квартирах, пользуетесь чужими вещами, гуляете вот по чужому саду, как по своему, и даже не спросите себя: куда же тем было деться?

Он, покашливая, отвечал равнодушно:

- Девайся, куда хочешь, - нам какое дело? Они о нас думали когда?.. В летошнем году жил я на Джигитской улице. Хорошая комната была, сухая, окна на солнце. Четыре семейства нас жило в квартире. Вдруг хозяин: "Очистить квартиру!" Спекулянту одному приглянулась квартирка. Куда деваться? Сами знаете, как сейчас с квартирами. Уж как молили хозяина. И прибавку давали. Да разве против спекулянта вытянешь? У него деньга горячая. Еле нашел себе в пригороде комнату, - сырая, в подвале, до того уж вредная! А у меня грудь уж тогда больная была. В один год здоровье свое сгубил на отделку.

Глаза его на худом лице загорелись.

- Пройдешься мимо, - отделал себе спекулянт квартиру нашу, живет в ней один с женой да с дочкой. Шторы, арматура блестит, пальмы у окон. И не признаешь квартирку. Вот какие права были! Богат человек, - и пожалуйста, живите трое в пяти комнатах. Значит, - спальня там, детская, столовая, - на все своя комната. А рабочий человек и в подвале проживет, в одной закутке с женой да с пятью ребятишками, - ему что? Ну, а теперь власть наша, и права другие пошли. На то не смотрят, что богатый человек.

- Так неужели можно брать пример со спекулянтов? Они жестоки, бесчувственны, - и вы тоже хотите быть такими же?

- Вселил бы я его в свой подвал, поглядел бы, как бы он там жил с дочкою своею, в кудряшках да с голенькими коленками! Идешь с завода в подвал свой проклятый, поглядишь на такие вот окна зеркальные. Ишь, роскошничают! "Погоди, - думаешь, - сломаем вам рога!" Вот и дождались, - сломали! А что вещи, говорите, чужие, да квартира чужая, - так мы этого не считаем.

- Не в этом суть. Изменяйте прежние отношения, стройте новые. Но мне всегда думалось: рабочий класс строит новый мир, в котором всем было бы хорошо. А вы так: чтоб тем, кому было плохо, было хорошо, а тем, кому хорошо было, было бы плохо. Для чего это? Будьте благородны и великодушны, не унижайте себя мщением. Помните, что это тоже люди.

- Люди! Волки, а не люди. А волки, их и нужно понимать, как волков. Вон, в первый большевизм было: арестовали большевики тридцать фабрикантов и

банкиров, посадили в подвал. Наш союз металлистов поручился за них, заставил выпустить. А при немцах устроили мы концерт в пользу безработных металлистов, пришли в союз фабрикантов, а они нам - двадцать пять рублей пожертвовали. Вот какие милостивые! А мы-то, дураки, их жалели! Таких, как вы, слушались. Поумнели теперь. Тех слушаем, что вправду за нас... Нет, овцам с волками в мире не жить никогда: нужно волчьи зубы себе растить.

И Катя не могла достучаться до того, что ей было нужно. Не злоба тут была, как у того матроса, а глубоко сидящее отношение именно, как к волкам. Чего злобиться на волков? Но призывы Кати к благородству и великодушию звучали для ее собеседника так же, как если бы Катя говорила ему, что волкам в лесу холодно, что у них есть маленькие волчята, которых нужно пожалеть.

И все рассказы Кати о зверствах и несправедливостях в отношении к буржуазии он слушал с глубочайшим равнодушием: так вот слушали бы век назад русские, если бы им рассказывали о страданиях, которые испытывали французы при отступлении от Москвы.

Катя устало спросила:

- Вы сами, значит, коммунист?

- Ну, конечно.

- И много у вас на заводе коммунистов?

- Коммунистов не так, чтоб много. А много сочувствующих и склоняющихся.

Склонить всякого легко, только поговорить с ним. Ты что, имеешь какую на заводе собственность? А у себя дома имеешь? Койку, да пару табуреток? А дом у тебя есть свой? Будет когда? - Никогда. - Ну, вот, значит, ты и коммунист.

Катя шла по набережной и вдруг встретила - с Зайдбергом, - с начальником жилотдела, который ее отправил в тюрьму. Такой же щеголеватый, с тем же самодовольно извивающимся, большим ртом и с видом победителя. Катя покраснела от ненависти. Он тоже узнал ее, губа его высокомерно отвисла, и он прошел мимо.

- Эй, ты! - раздался с улицы повелительный окрик. Ехало три всадника на великолепных лошадях; на левой стороне груди были большие черно-красные банты.

- Что скажете, товарищи? - отозвался Зайдберг.

- Где тут у вас продовольственный комиссариат?

- Вот сейчас поедете по переулку наверх, потом повернете вправо...

- Веди, покажи.

Зайдберг холодно ответил:

- Я извиняюсь, товарищи. Я ответственный советский работник, и мне некогда.

Панель зазвенела под подковами, усатый всадник наскочил на Зайдберга и замахнулся нагайкой.

- Веди, сукин сын! Разговаривать еще будешь? Живо!

- Но позвольте, товарищи, я вам...

- Ну!!

Нагайка взвилась над его головой. Лицо Зайдберга пожелтело, губа уныло отвисла. Он слабо пожал плечом и повернул со всадниками в переулок.

И везде на улицах Кате стали попадаться такие всадники. У всех были чудесные лошади, и на груди - пышные черно-красные банты.

Это вступил в город отряд махновцев. Советская власть радушно встретила пришедших союзников, отвела им лучшие казармы. Они слушали приветственные

речи, но глаза смотрели загадочно. Однажды, когда с балкона ревкома тов. Маргулиес говорил горячую речь выстроившимся в два ряда всадникам, один из них, пьяный, выхватил ручную гранату и хотел бросить на балкон. Товарищи его удержали.

В городе участились грабежи. Махновцы вламывались в квартиры и забирали все, что попадалось на глаза.

Под вечер Катя стирала в конце сада. На жаровне в тазу кипело белье. Любовь Алексеевна крикнула с террасы:

- Екатерина Ивановна! Вас спрашивают.

По аллее из пирамидальных акаций шла, щурясь от заходящего солнца, высокая бледная девушка. Катя остолбенела, не веря глазам. Девушка шла с улыбающимся лицом, и с взволнованным ожиданием глядя на Катю.

- Вера!!

Все забыв, с мокрыми, мыльными руками, Катя бурно бросилась ее целовать.

Они смеялись, плакали. Сели на скамейку, задавали друг другу вопросы, и опять начинали целоваться.

- Как ты сюда попала?

- Из центра послали нас в Крым, целую партию ответственных работников... А ты работаешь с нами?

- Да, в Наробразе.

- Как я рада!

Вера жадно расспрашивала про отца, про мать. И, поколебавшись, спросила:

- Захотят они меня видеть?

- Мама, - конечно. А папа... - Катя печально опустила голову. - Он о тебе никогда не говорит и уходит, когда мы говорим. Он не захочет.

Вера страдающе прикусила губу.

- А маму мы, лучше всего, устроим, чтобы сюда приехала. Ты где будешь жить?

- Еще не знаю. Пока остановилась в "Астории".

- Ой, в "Астории"!.. Перебирайся ко мне.

Вера ужасно обрадовалась.

- Вот хорошо, Катюшка!

- Только вот что: в жилищном отделе сказали, что мне не позволят выбрать сожительницу, а пришлют сами. На днях был жилищный контролер...

Вера спокойно усмехнулась.

- Не беспокойся, пропишут без всяких разговоров. Я скажу по телефону.

- А ты знаешь, что со мною там было? - Катя, волнуясь, рассказала о своем столкновении с начальником Жилотдела, и о том, как прорвалась "хамским царством", и как сидела в подвале.

Лицо Веры стало холодным.

- Какой у тебя, Катя, жаргон вырабатывается! Совсем, как у "объединенных дворян". Из-за того, что с тобою так поступили в Жилотделе, неужели вообще можно говорить о хамском царстве?

Катя замолчала и изумленно глядела на Веру.

- Из всего, что я тебе рассказала, тебя только это возмутило!.. Ну, а как он поступил? Как этих несчастных женщин гноят в темном подвале? Да и только ли это!

Катя рассказала о резолюции Искандера на прошении Миримановой, о генерале, задушенном в больнице санитаром. Глаза Веры как будто задернулись непроницаемою внутреннею пленкою.

- Да ведь с этим генералом, может быть, вовсе и не так. Кто видел, что его задушил санитар? Показалось со страху этой твоей фельдшерице. Столько сейчас везде сплетен про нас!

Катя враждебно возразила:

- Но почему же ты заранее, ничего не зная, утверждаешь, что ничего такого не было? Ну, а эта гнусная резолюция Искандера? Ее-то я уж сама видела, сама читала. Это уж факт!

- Ну, а по существу-то, - ведь он оказался прав в конце концов, деньги они внесли. А потом: отдельные эксцессы, конечно, всегда возможны...

- Отдельные? Эх, Вера! А что ваши пленники валяются в подвалах на каменном полу, в темноте, без прогулок, - это тоже отдельный эксцесс?

- Нет, это, конечно, нехорошо... Но ведь власть только что утвердилась. Конечно, всё сразу не успевают организовать, недочетов много. Первые недели всегда самые ужасные и совершенно анархичные. Вот теперь с нами приехал новый предревком, он понемножку все наладит.

Катя пристально поглядела Вере в глаза и круто замолчала. Вера, такая прямая и честная, - и это влияние, это казенное стремление оправдать, во что бы то ни стало!..

Она сняла с жаровни таз и стала готовить ужин.

Ужинали, пили чай. Перестали говорить о том, что их разъединяло, и опять явилась сестринская близость. Легли спать в одну постель, - Катю поразило, какое у Веры рваное белье, - и долго еще тихо разговаривали в темноте.

Назавтра Вера с убогим узелком своего имущества перебралась к Кате. Ордер в Жилотделе она без всякого труда получила вне очереди.

Вечером Вера, между прочим, сказала Кате:

- Да, знаешь, сегодня Корсаков, предревком новый, осмотрел помещения арестованных. Верно, - даже топчанов нет, прогулок не дают. Вообще, настоящая, как ты говоришь, Иродова тюрьма. Такое безобразие! Сместил начальника тюрьмы и отдал его под суд.

- Ты ему все рассказала?

- Ну да.

- О, Верка, значит, с тобою еще можно жить! А я вчера вынесла впечатление, что тебе до всего этого и дела нет.

На одном из запасных путей узловой станции стоял вагон штаба красной бригады. Был поздний вечер воскресенья. Из станционного поселка доносились пьяные песни. В вагоне было темно, только в одном из купе, за свечкой, сидел у стола начальник штаба и писал служебные телеграммы.

Смеющийся женский голос спросил у входа:

- Товарищ Храбров, вы здесь?

Начальник штаба нахмурился.

- Здесь.

Вошла дама с подведенными слегка глазами, с полным бюстом. Храбров неохотно поздоровался. Она значительно пожала ему руку и с веселым упреком воскликнула:

- И не поцелует руки! А еще бывший офицер!

- Я и офицером не целовал дамам рук, а теперь и подавно. - И сухо спросил: - Отчего вы до сих пор не уехали? Ведь литерату я вам выдал.

- Опоздала. Пошла на вокзал выпить, - ужасно хотелось лимонаду!

Ничего нет на станции, даже стакана воды не могла раздобыть. Вы ведь знаете, какая у нас везде бестолочь. Воротилась, - поезд ушел. Как саранча, идем мы, и все кругом разрушаем, портим, загаживаем, и ничего не создаем.

- Вы говорите, вы - жена коммуниста, ответственного работника. Могли бы шире смотреть, поверх этих мелочей.

Она вздохнула.

- Да, когда от этих мелочей жить невозможно!.. Ну, вы меня не приглашаете есть, а я все-таки сяду.



Дама села и закурила папироску. Ногу она положила на ногу, и из-под короткой юбки видна была до половины голени красивая нога в телесно-розовом чулке и туфельке с высоким каблучком. От дамы пахло духами, в разрезе белого платья виднелись смуглые выпуклости груди, и в Храброва шло от нее раздражающее электричество женщины, тянущейся к любви и ждущей ее.

- А вы все сидите, все работаете. Вчера поздно-поздно ночью я видела огонек в вашем вагоне... - И с нежным, ласковым упреком она сказала, понизив голос: - Зачем вы так выматываете себя на работе?

- Вы больше, чем кто другой, можете это понимать. Время такое, когда приходится работать по двадцать часов в сутки.

- Ну, да... - Она молча смотрела на него большими черными глазами и вдруг тихонько сказала: - Никогда, никогда я не поверю, чтобы вы, правда, по внутреннему убеждению, так работали для них.

- Для них? Марья Александровна, я не ослышался? Для них, а не для - "нас"?

Дама загадочно засмеялась, посмотрела горячим взглядом и медленно ответила:

- Ну, если вам так хочется... "для нас"...

Храбров вдруг решительно встал, засунул руки в карманы и сказал:

- Люся! Довольно!

Дама отшатнулась.

- Какая... Люся? Я - Мария Александровна.

- Вы - Люся Гренерт. Не узнаете меня? Коля Мириманов. В одно время учились в Екатеринославе. Вы были такою славною гимназисточкою, с такими чудесными, ясными глазами... И вот - стали шпионкой.

- Коля? - Она в испуге смотрела на него.

- Стыдно, барыня!

Дама медленно опустила голову и закрыла лицо руками. Плечи ее стали вздрагивать. Она заплакала.

- Как же я вас не узнала?... Да, верно: я ихняя шпионка... Послушайте меня.

Она робко огляделась.

- Да, они меня заставили сделаться шпионкой. В Харькове мой муж, подполковник, был арестован, сидел у них в чека полгода, меня не допускали. Сказали, что его расстреляют, и предложили пойти к ним на службу. Трое детей, есть нечего было, все реквизировали, из квартиры выгнали... Боже мой, скажите, что мне было делать!

- Что угодно! Умереть, предоставить мужа его судьбе, а на это не идти.

- Да, правда! И вот мне за это казнь. Вы знаете... Мне все-таки с тех пор ни разу не дали свидания с ним, и все время высылают с разными поручениями из Харькова. И я боюсь даже подумать... Душу мою они сделали грязной тряпкой, а его - все-таки расстреляли!.. О, если это зерно, я им тогда покажу!

И, как в бреду, она быстро зашептала, испуганно оглядываясь:

- Я завтра утром уеду. Я, конечно, нарочно не уезжала до сих пор... И я вам все скажу. За вами очень следят, ни одному слову не верьте, что вам говорят. Главный политком, Седой, он вам верит, а другой, латыш этот, Крогер, - он и в особом отделе, - он все время настаивает, что вас нужно расстрелять. Он-то меня к вам и подослал... И я боюсь его, - в ужасе шептала она, - он ни перед чем не остановится...

Снаружи вагона послышались мужские голоса, отдались шаги по приступочкам, в коридоре заговорили.

Дама побледнела и поспешно поднялась. Вошли политкомы Седой и Крогер, и с ними, - командир бригады, бывший прапорщик, с туповатым лицом.

Когда дама проходила мимо них к выходу, Крогер значительно переглянулся с нею. Седой оглядел ее с тайною брезгливостью.

Поздоровались. Седой сказал, посмеиваясь:

- Вот вы в какой приятной компании проводите вечера!

Храбров раздраженно обратился к Крогеру:

- Товарищ Крогер, уберите вы, пожалуйста, отсюда эту дамочку. Говорит, нечаянно тут застряла, я ей выдал литературу, а она все тут вертится. Я ей сказал, что больше не буду ее принимать, и велел гнать ее от вагона.

Крогер молча сел.

- И потом, вот что я хотел вас просить. У меня решительно не хватает времени на все. Отчего бы вашим помощникам не шифровать служебных телеграмм?

Это и для них полезно, - они, таким образом, все время будут в курсе наших самых даже мелких распоряжений...

Крогер поглаживал свои густые, белесые усы и украдкой приглядывался к нему серыми, как сталь, глазами. Он ответил медленно:

- Да, это я вам хотел сам приказать.

Они просидели часа два.

В автомобиле, по дороге к городу, Леонид с раздражением спросил:

- Да какие же у вас данные? Работает, как лошадь, все на нем держится.

Комбриг говорит, что без него окажется, как без рук.

- Значит, сам комбриг никуда не годится. Если бы я имел данные, я бы его арестовал без разговоров. А только я вижу: не из наших он. Зачем так много работает? Не по совести он у нас.

- Конечно. Спец, как спец. Следить нужно.

Крогер упрямо возразил:

- Арестовать нужно.

Позднюю ночью Храбров, усталый, вышел из вагона. Достал блестящую металлическую коробочку, жадно втянул в нос щепоть белого порошку; потом закурил и медленно стал ходить вдоль поезда. По небу бежали черные тучи, дул сухой норд-ост, дышавший горячим простором среднеазиатских степей; по неметенному песку крутились бумажки; жестянки из-под консервов со звоном стучались в темноте о рельсы.

Недалеко от стрелки темнела фигура с винтовкою за спиною. Храбров взгляделся и узнал своего ординарца, оренбургского казака Пищальникова.

- Товарищ Пищальников, это вы?

- Я, товарищ начальник.

- Чего это вы не спите?

- Не спится что-то. Все о доме думаю.

- Вы разве не добровольно пошли?

- Нет, по мобилизации взяли... Как скажете, товарищ начальник, скоро всему этому будет окончание?

- Не знаю, товарищ. Должно быть, долго еще нам с вами придется манежиться. Больно уж напористы белые.

Казак помолчал и вдруг сказал:

- Ваше благородие!

Храбров вздрогнул.

- Что вы, товарищ, с ума сошли?

- Никак нет... Дозвольте вас спросить, ваше благородие: неужто вы по совести пошли служить этой сволочи?

- Да я тебя арестовать велю! Ты с ума сошел!

- Никак нет... А только вот вам крест, - казак снял фуражку и широко, медленно перекрестился, - вы не от души им служите, нехристям этим.

Все время начеку, все время внутренне поджавшийся, Храбров хотел на него грозно закричать и затопать ногами. Но так из души вырвались слова казака, так он перекрестился, что Храбров шагнул к нему вплотную, заглянул пристально в бородатое его лицо и хриплым шепотом спросил:

- Крест у тебя на шее есть?

- Есть.

- Покажи.

Казак молча расстегнул ворот и вытянул за шнурок небольшой медный крестик. Храбров ощупал его, оглядел.

- Ну, я тебе верю, Пищальников. Чувствую, что тебе можно верить.

Казак радостно ответил:

- Так точно, ваше благородие!

- Хочешь России послужить?

- Что прикажете, все сделаю. Рад стараться.

- Хорошо. Скоро ты мне понадобишься. А сейчас разойдемся. Не нужно, чтобы нас видели вместе.

В субботу Леонид по делам ехал на автомобиле в Эски-Керым. Катя попросила захватить ее до Арматлука: ей хотелось сообщить отцу с матерью о приезде Веры и выяснить возможность их свидания. Дмитревский поручил ей кстати ознакомиться с работой местного Наробраза.

После обеда выкатили они из города еще с одним товарищем. Длинный, с изможденным, бритым лицом, он сидел в уголке сидения, кутаясь в пальто, хоть было жарко.

Мчалась машина, жаркий ветер дул навстречу и шевелил волосы, в прорывах гор мелькало лазурное море. И смывалась с души чадная муть, осевшая от впечатлений последнего месяца, и заполнялась она золотым звоном солнца, каким дрожал кругом сверкающий воздух.

В степи шел сенокос, трещали косилки, по дорогам скрипели мажары с сеном. От канонады на фронте по всему Крыму лили в апреле дожди, урожай пришел небывалый.

Спутники Кати вполголоса разговаривали между собой, обрывая фразы, чтоб она не поняла, о чем они говорят. Фамилия товарища была Израэльсон, а псевдоним - Горелов. Его горбоносый профиль в пенсне качался с колыханием машины. Иногда он улыбался милою, застенчивою улыбкою, короткая верхняя губа

открывала длинные четырехугольные зубы, цвета старой слоновой кости. Катя чувствовала, что он обречен смерти, и ясно видела весь его череп под кожей, такой же гладкий, желтовато-блестящий, как зубы.

По обрывкам фраз Катя понимала, о чем они говорят, и ей было смешно; они скрывали то, что все в городе прекрасно знали, - что в центральный совет рабочих профсоюзов прошли меньшевики и беспартийные. Когда разговор кончился, она, как всегда, срыву сказала:

- На днях у нас на пленуме в Наробразе выступил представитель совета профсоюзов. Вот была речь! Как будто свежим ветром пахнуло в накуренную комнату.

Леонид пренебрежительно спросил:

- Что ж он у вас такое говорил?

- Говорил о диктатуре пролетариата, что они выгоняют жителей из квартир, снимают с них ботинки, и что в этом вся их диктатура. А что прежде всего нужно стать диктатором над самим собой, что рабочие должны заставить всех преклониться пред своей нравственной высотой, пред своим уважением к творческому труду.

Леонид переглянулся с Гореловым и засмеялся.

- Вот интеллигентщина!

Лицо его стало неприятным и колючим.

- И говорил еще, что рабочий класс в самый ответственный момент своей истории лишен права свободно думать, читать, искать.

Леонид прервал ее:

- Интересно, - какого он цеха?

- Иглы.

- Ну, так! Значит, портной. Не мастерок ли? Они сейчас великолепно зарабатывают на общей разрухе, спекулируют мануфактурой, под видом родственничков набирают подмастерьев и эксплуатируют их совсем, как раньше.

- Само-собой! Раз не ваш, значит - спекулянт и буржуй!

- Скажите, пожалуйста, чем всего больше озабочен! Что буржуазию выселяют из ее роскошных особняков и отводят их под народные дома, под пролетарские школы и приюты! Какая трогательная заботливость!.. Вообще, необходимо обривизовать все эти выборы. Дело очень темное.

- Темное, несомненно, - отозвался Горелов и мягко обратился к Кате: - В провинции сейчас это то и дело наблюдается: более достаточные рабочие мелкобуржуазного склада пользуются темнотой истинно пролетарской массы и ловят ее на свои удочки.

- Ничего! Скоро просветим! - сказал Леонид. - Кто сам босой, тот не будет плакать над ботинками, снятыми с богача.

- А наденет их и будет измываться над разутым.

Леонид задирающе усмехнулся.

- Конечно!

- А у тебя у самого очень хорошие сапоги.

Леонид оглядел свою ногу, подтянул лакированное голенище и, дразня, спросил:

- Правда, недурные сапожки?

Под колесами выстрелило, машина остановилась. Шофер слез и стал переменять камеру.

Качаясь в седлах, мимо проскакали два всадника с винтовками за плечами. Через несколько минут, догоняя их, еще один промчался карьером, пригнувшись к луке и с пьяной беспощадностью сеча лошадь нагайкою.

Леонид глядел им вслед.

- Махновцы. Рассыпались по окрестностям и грабят, сволочь этакая. Когда мы от этих бандитов избавимся!

Поехали дальше. Через несколько верст лопнула другая шина. Шофер осмотрел и сердито сказал:

- Нельзя ехать, камер больше нету. Чиненые-перечиненые дают, так лохмотьями и расползаются.

Дошли пешком до ближайшей деревни. Леонид предъявил в ревкоме свои бумаги и потребовал лошадей. Дежурный член ревкома, солдат с рыжими усами, долго разбирал бумаги, скреб в затылке, потом заявил, что лошадей нету: крестьяне заняты уборкою сена. Леонид грозно сказал, чтоб сейчас же была подана линейка. Солдат вздохнул и обратился к милиционеру, расхлябанно сидевшему с винтовкою на стуле.

- Гриша, сейчас Софронов проехал из степи с сеном. Скажи, чтоб дал лошадей. Станет упираться, арестуй.

Милиционер ушел, за ним ушел и солдат. В комнате было тихо, мухи бились о пыльные стекла запертых окон. На великолепном письменном столе с залитым чернилами бордовым сукном стояла чернильная склянка с затычкой из газетной бумаги. По стенам висели портреты и воззвания.

Горелов, уткнув бритый подбородок в поднятый воротник пальто, дремал в углу под портретом Урицкого. Желтели в полуоткрытом рту длинные зубы.

Катя вышла на крыльцо. По горячей пыли дороги бродили куры, с сверкавшей солнцем степи несло сосредоточенное жужжание косилок.

Леонид

тоже вышел, закурил о зажигалку и умиленно сказал:

- Вот человек - Горелов этот! В чем душа держится, зимою перенес жесточайшую цингу; язва желудка у него, катар. Нужно было молоко пить, а он питался похлебкою из мерзлой картошки. Отправили его в Крым на поправку, он и тут сейчас же запрягся в работу. Если бы ты знала, - какой работник чудесный, какой организатор!..

Через полчаса подъехала линейка. На козлах сидел мужик с войлочной-лохматой бородой, с озлобленным лицом.

Поехали дальше. Запыленное красное солнце спускалось к степи. Опять скрипели мажары с сеном, у края шоссе, по откосам, остро жвыкали косы запотелых мужиков, в степи стрекотали косилки. Группами или в одиночку скакали к городу махновцы, упитанные и пьяные.

Леонид спросил возницу:

- Здорово вашего брата обижают махновцы?

Мужик краем глаза поглядел на него и неохотно ответил:

- Мужика всякий обижает...

И отвернулся к лошадям. Помолчал, потом опять поглядел на Леонида.

- Войдет в хату, - сейчас, значит, бац из винтовки в потолок! Жарь ему баба куренка, готовь яичницу. Вина ему поставь, ячменю отсыпь для коня. Все берет, что только увидит. Особенно до вина ярые.

Проехала подвода, тяжело нагруженная бочонками вина, узлами. Вокруг нее гарцевали два махновца. Третий, пьяный, спал на узлах, с свесившеюся через грядку ногою, а лошадь его была привязана к задку. Возница татарин, с угрюмым лицом, бережно, для виду, подхлестывал перегруженных кляч.

Леонид засмеялся.

- Какие вы близорукие, обыватели российские! - обратился он к Кате. - Не умеете вы нас ценить. Кабы не мы, по всей матушке-Руси шныряли бы вот эти такие шайки махновцев, петлюровцев, григорьевцев, как в смутное время или в тридцатилетнюю войну. И конца бы их царству не было.

- Вот, и при вас шныряют, а вы смиренько смотрите.

- Погляди, шныряют ли у нас в России. Дай нашим сюда подтянуться, увидишь, долго ли будут шнырять.

Катя кивнула на мужика.

- Он не только про махновцев говорил. Сказал - всякий мужика обижает.

Леонид потянулся и зевнул.

Они ехали по мягкой дороге рядом с шоссе. Шоссе внизу делало крутой изгиб вокруг оврага. За кучею щебня, как раз на изгибе шоссе, вздымался странный темный шар. Мужик завистливо поглядел и пощелкал языком:

- Ка-кого коня загнали!

Лежала великолепная кавалерийская лошадь с вздутым животом, с далеко закинутою головою; меж оскаленных зубов длинно высунулся прикушенный

фиолетовый язык, остеклевшие глаза вылезли из орбит.

- Загнал с пьяных глаз, мерзавец! - с отвращением сказал Леонид.

Проехали. Катя еще раз оглянулась на лошадь. По ту сторону оврага, над откосом шоссе, солдат с винтовкою махал им рукою и что-то кричал, чего за стуком колес не было слышно. Вдруг он присел на колено и стал целиться в линейку. Катя закричала:

- Смотрите, что он делает!

- Тпруэ!

Мужик испуганно натянул вожжи. Линейка стала.

Солдат ленивою походкою, не спеша, шел к ним, с винтовкою в левой руке, с нагайкою в правой. Был он лохматый, здоровенный, с картузом на затылке, с красным лицом. Подошел и с пьяною серьезностью коротко сказал:

- Ваши документы!

На груди его был большой черно-красный бант.

Леонид с уверенностью человека, имеющего хорошие документы, небрежно протянул ему бумажку. Махновец стал разбирать.

- По-ли-ти-чес-кий комис-сар... - Он уставился на Леонида. - Советчик?

Не годится документ.

Леонид насмешливо спросил:

- Почему?

- Мы на вашу советскую власть плюем. Нам эти документы ни к чему.

- А для чего вам, товарищ, документы? По какому праву вы их требуете?

- Плюем на вашу власть. Мы только батьку Махно одного знаем. Он нам приказал: "Бей жидов, спасай Россию!". Приехали к вам сюда порядок сделать. Обучить всех правильным понятиям... - Он озорным взглядом оглядел Леонида и, как заученно-привычный лозунг, сказал: - Бей белых, пока не покраснеют, бей красных, пока не почернеют... Ты кто?

Леонид резко ответил:

- Я тебе показал документ, знаешь, кто я, - чего еще спрашиваешь!

- Молчи!.. - Он замахнулся на Леонида нагайкой. - Кто ты?

Леонид пожал плечами.

- Кто! Ну, коммунист.

- Нет, кто ты?

Катя рассмеялась.

- Да неужто ж сами не видите? Русский, русский! Не еврей!

Широкая рожа солдата расплылась в улыбку.

- Хе-хе!.. Верно!.. А ты, - он уставил на нее палец, - ты жидовка!

- Вот так так! Я двоюродная сестра его!

- Сестра!.. Знаем, что за сестры! Повидали их на войне. - И извивающимися гадюками поползли в воздухе циничные, грязно-оскорбительные догадки.

Потом он сказал:

- Слезайте все долой!.. Слышь, земляк! Конь у меня занедужил, вон лежит. Повезешь в город.

Мужик сердито ответил:

- Дохлый твой конь, ай не видишь? Куда его везть!

- Отойдет. Поворачивай!

- Да что вы, товарищ!.. Разве линейка подымет лошадь? Вон мажара, чего ж вам лучше!

Навстречу ехала пустая мажара, в ней сидели два грека. Они согнулись и глядели в сторону. Махновец властно сказал:

- Стой!

Греки притворились, что не слышат, и продолжали ехать. Махновец деловито упер приклад в бедро и выстрелил в небо. Греки моментально остановились. Он, не спеша, отдернул затвор и опустил винтовку.

- Слезай!

Греки слезли.

- Кто такие?

- Крестьяне, товарищ. За сеном едем.

- Вина не везете?

- Поглядите сами, пустая арба... Можно ехать?

Махновец отрицательно мотнул головой и повернулся к вознице линейки.

- Ты мне ручаешься за них?

Мужик усмехнулся в войлочную свою бороду.

- За кого такое?

- Вот за этих. - Он указал на пассажиров.

- Я-то что тут? По наряду взяли меня. Кто такие, - почему я знаю.

- Ты мне за них отвечаешь. Ежели что, - на мушку тебя.

Странно было Кате. Пять мужчин окружало его, а он, один против всех, командовал над ними и измывался, и винтовка беззаботно висела за плечами.

Махновец опять повернулся к грекам.

- Вон конь мой лежит. Подъезжайте, подберем его... В город свезете.

Старший из греков поспешно ответил:

- У нас лошади слабые, не вытянут.

Катя быстро наклонилась к Леониду и шепотом спросила:

- Неужели у тебя нет револьвера?

- Ч-черт! Такая глупость! Забыл.

Глаза Кати потаенно блеснули, и в ответ им сверкнуло в душе Леонида. Он слегка побледнел и слез с линейки, разминая ноги.

Махновец в колебании оглядывал линейку. Ему хотелось еще поозорничать, но он не знал, как.

Горелов, сгорбившись и уткнувшись подбородком в воротник, все время неподвижно сидел на той стороне линейки, спиной к махновцу. Вдруг взгляд махновца остановился на его горбоносом, изжелта бледном профиле.

- Ты... - зловеще протянул махновец. - Поди-ка сюда, жидовская харя! -

И спокойной рукою он взялся за револьвер у пояса.

Катя быстро переглянулась с Леонидом. И дальше все замелькало, сливаясь, как спицы в закрутившемся колесе. Леонид охватил сзади махновца, властно крикнул: "Товарищи, вяжите его!" - и бросил на землю. Катя соскочила с линейки, а мужик, втянув голову в плечи, изо всей силы хлестнул кнутом по лошадям. Горелов на ходу спрыгнул, неловко взмахнул руками и кувыркнулся в канаву. Греки вскочили в мажару и погнались по дороге в другую сторону.

Махновец бился под Леонидом, но Катя сразу почувствовала, что он гораздо сильнее, - ее поразили его крепкие, круглые плечи. Рука с револьвером моталась в воздухе над Леонидом и старалась повернуть револьвер на него. Не умом соображая, а какою-то властной, взмывшею из души находчивостью, Катя схватила руку с револьвером, - на длинных ногах неуклюже подбежал Горелов, - и всю грудь навалилась на руку. Рука бешено дернулась, проехала выступающими частями револьвера по Катиной щеке и опять взвилась в воздух. Махновец изогнулся, сбросил с себя Леонида, в упор выстрелил в набегавшего Горелова и подмял под себя Леонида. Рука с револьвером упиралась в землю. Катя схватила валяющуюся на земле винтовку с оборванной перевязью, изо всей силы ударила прикладом по руке. Револьвер вывалился. Она подняла,

беспомощно оглядела его. Попробовала поднять курок, - не подается.

- Товарищ Горелов! Револьвер, стреляйте! Я не знаю, как выстрелить!

Горелов, в окровавленном пальто, лежал на дороге, закинув голову, и хрипел. Мелькнула в глаза далекая линейка на шоссе, - она мчалась в гору, мужик испуганно оглядывался и сек кнутом лошадей. Махновец душил Леонида.

Катя завизжала, с бурным разбегом налетела, охватила руками голову махновца и вместе с ним упала наземь. Локоть его больно ударил ее с размаху в нижнюю часть живота, но ее руки судорожной, мертвой хваткой продолжали сжимать плотную, лохматую, крутящуюся голову. Выстрел раздался где-то за спиной, голова в руках глухо застонала, еще выстрел.

- Бросай! - задыхаясь, крикнул Леонид.

Катя вскочила. Махновец, с раздробленным коленом, с простреленным животом, пытался подняться, ерзал по земле руками и ругался матерными словами. Леонид выстрелил ему прямо в широкое, скуластое лицо. Он дернулся, как будто ожегся выстрелом, и, сникнув, повалился боком на землю.

- А Горелов где?

Горелов неподвижно лежал с открытыми, без блеска, глазами, с тем неожиданным, чуждым выражением, которое накладывается на лицо смертью.

И

ярко желтели оскаленные, длинные зубы.

Вдруг Катя испуганно крикнула:

- Смотри!

Солнце уже село, и вдали, из-за горба шоссе, на красном фоне зари вырастали, подпрыгивая, два черных силуэта всадников с винтовками.

- Махновцы! Удирать! - хрипло сказал Леонид. - погоди! Придется отстреливаться.

Он снял с убитого подсумок с патронами, взял винтовку, револьвер.

- Айда!.. Только бы до гор добраться... Пока еще подъедут, разберут, в чем дело. Не беги, пока на виду.

Не спеша, они сошли к мосту, спустились в овраг и побежали по бело-каменистому руслу вверх. Овраг мелел и круто сворачивал в сторону. Они выбрались из него и по отлогому скату быстро пошли вверх, к горам, среди кустов цветущего шиповника и корявых диких слив. Из-за куста они оглянулись и замерли: на шоссе, возле трупов, была уже целая куча всадников, они размахивали руками, указывали в их сторону. Вдоль оврага скакало несколько человек.

- Бежим! - коротко бросил Леонид.

Пригнувшись, они побежали меж кустов к горам. Тонко, по-осиному жужжа, над головами пронеслась пуля, и долетел звук выстрела. Путь пересекал овраг, они перебрались через него. Вскоре другой.

Катя крикнула, смеясь:

- Смотри, как хорошо! Ведь это им загораживает дорогу. Либо придется слезать с лошадей, либо в обход ехать!

Скакало по откосу уже человек пятнадцать, и на скаку стреляли. Слышались выстрелы, но свиста пуль не было. Поднималась гора, с поперечными, параллельными друг другу овечьими тропками.

- Ну, только бы по ней взобраться, - тут цель для них хорошая, а там лучше будет... Не трусь, Катя!

- Дурак ты, Леонидка! - отозвалась Катя, - так чуждо совался его призыв в тот радостно-огненный вихрь, в котором крутилась ее душа.

Они карабкались в гору, цепляясь за колючие плети цветущих каперсов. И теперь вдруг кругом защелкало по камням, запылилось по сухой земле. Катя с



жадным любопытством оглянулась. Всадники, спешившись, спускались в поперечный овраг, другие стреляли с колена.

Гребень горы с алыми маками. Большие камни. По эту сторону оврага два маховца садились на коней. Леонид бросился за камень и прицелился. Катя, с отколовшейся, растрепанной косой, с исцарапанной револьвером щекою, стояла, забывшись, во весь рост и упоенно смотрела. Струистый огонь, уверенный, резкий треск. Один из маховцев схватился за ногу и опустился наземь.

Леонид сердито крикнул:

- Дура, ложись же! Чего стоишь!

Еще раз он выстрелил, еще, и они побежали. За гребнем горы тянулось широкое ущелье, густо заросшее лесом...

Темнело. Катя с Леонидом сидели под нависшим камнем, за струисто-ветвистыми кустами непроглядной дерезы. По лесу трещали шальные выстрелы маховцев, иногда совсем близко слышался их говор и ругательства.

Леонид спросил шепотом:

- Что это у тебя?

Рукав Катиной кофточки был густо смочен кровью, капли крови чернели на ее серой юбке. В сумерках глаза Леонида засветились теплой лаской.

- Ну, с боевым крещением! Ранена... Снимай кофточку.

- Ерунда какая! Что это? Я ничего и не почувствовала.

- Снимай.

Стаскивая рукав, Катя почувствовала в руке боль. Стыдясь своих нагих рук и плеч, она взглянула на руку. Выше локтевого сгиба, в измазанной кровью коже, чернела маленькая дырка, такая же была на противоположной стороне руки. Катя засмеялась, а сама побледнела, глаза стали бледно-серыми, и она, склонившись головою, в бесчувствии упала на траву.

Туман редел в голове. Непонятно было, откуда слабость в теле, откуда хлопанье пастушьего кнута по лесу. И вдруг все вспомнилось. Вспомнился взблеск выстрела перед усатым, широким лицом, животно-оскаленные желтые зубы - Горелова? или лошади с прикушенным языком? Но сразу же потом - радостный свист пуль, упоение бега меж кустов, гребень горы и скачущие всадники... И такой позорный конец всего!

Рука была перевязана носовым платком, и френч Леонида накинута на грудь. По лесу гулко раздавались еще мужские голоса, трещали кусты под ногами лошадей. Но уже много дальше. Иногда, словно удар пастушьего кнута, перекашивался по лесу выстрел.

Катя сконфуженно поднялась и медленно начала надевать кофточку.

- Какая нелепость! С чего это я?

Леонид сидел в одной рубашке, заправленной в брюки, и курил, пряча огонек в ладонь. Он заботливо оглядел Катю и мягко улыбнулся.

- Ничего, это бывает. Важно не распускаться, когда нужно. По закону, девице полагается хлопаться в обморок в минуту самой опасности, а мужчине, отбивая удары, взваливать драгоценную ношу на лук седла... А с тобою можно дела делать. Молодец девка!

Красный свет восходящего месяца бросал на камни сквозь листья ясеня неподвижно-черные узоры. Тихо было.

Леонид спросил:

- Ты через горы знаешь дорогу в Арматлук? На шоссе разумнее не выходить.

- Приблизительно знаю. Это - ущелье Гуяр-Бах, тут перевал должен быть

около Кара-Агача... Пройдем.

Катя быстро встала.

- Погоди, дурочка, не спеши. Дай махновцам уйти.

Она опять села. В логове их под скалою было уютно, темно и необычно. Гибкие ветви цветущей дерезы светлели перед глазами, как ниспадающие струи фонтана. И все вокруг было необычно и по-особенному прекрасно. Белели большие камни странной формы, не всегдашне мутен и тепел был красный свет месяца, и никогда еще не было в мире такой тишины.

Леонид положил руку на Катину руку и крепко пожал ее сверху.

- Спасибо тебе, Катюшка! Кабы не ты сегодня, кормить бы мне собою крымских ваших червей... Жалко, что ты не наша. Нам такие нужны.

Катя редко теперь видела его таким, - когда он бросал свой развязный, задирающе-пренебрежительный тон и становился простым, искренним. Горячо задрожало в душе родное, тянущееся к нему чувство, как в те времена, когда он неожиданно являлся к ним из подполья, - исхудалый, нервный, - и гимназисточка-подросток жадно слушала его рассказы и толкование жизни.

- Если бы вы были другие! - вырвалось у нее.

Леонид помолчал и тихо сказал:

- Не можем мы быть другими.

- Но отчего же, отчего? Пойми, Леня, для меня это смертельный вопрос...

Зачем вы эту грязь разводите вокруг себя, эту кровь? Это хамство, это измывательство над людьми? Ведь такого циничного надругательства над жизнью

никогда еще, нигде не было! Вы так все обставили, что только хамы и карьеристы могут к вам идти, и те, кому власть, как вино. И все человеческие слова отскакивают от вас, как вот если камушки бросать в эту скалу.

Он слабо усмехался и бил веточкой по голенищу сапога.

- Удивительные вы люди! Разве мы можем такие слова впускать себе в душу? Как ты не понимаешь? Все кругом до самого основания изменилось, прежние отношения сломались, душа должна перестроиться на какой-то совсем новой морали... Или уже нельзя будет жить.

- Говори так, Ленька! Говори так! Не переходи на всегдашний тон.

Господи, какой он тяжелый! Как будто все время в маске человек!

- Вы как смотрите? Была хорошая, чистая, светлая жизнь, и ей только не давали развиваться давившие ее мерзавцы. Мерзавцев убрали, - и вот все пошло бы хорошо и гладко, да вмешались на беду эти подлые большевики и все вам испортили. Милая моя, ведь это же взрыв был, - взрыв огромных подземных сил, где вся грязь полетела вверх, пепел перегорелый, вонь, смрад, - но и огонь очищающий, и лава полилась расплавленная. Подумай, какие человеческие силы могли бы это удержать?

- А вы не удерживали, а, напротив, разжигали.

- Конечно. И нужно было, чтоб огонь ударил в небо и чтоб лава полилась по миру. А что грязь и смрад, - так что же делать! Неужели ты думаешь, что, если бы все от нас зависело, мы не действовали бы иначе? Дисциплинированные, железные рабочие батальоны, пылающие самоотверженною любовью к будущему

миру, обдуманная, планомерная реорганизация строя на новых началах... Эх, да смешно говорить! Ей-богу, как будто институтки в белых пелериночках, - и разговаривай с ними серьезно!

- Нет, вы эту грязь именно разводите, вы нарочно играете на самых подлых, эгоистических инстинктах, стараетесь разжечь их, а не боретесь с ними. Вы вперед забегаете, вы хуже тех, к кому приноравливаетесь.

- Погоди. Пойдем. Не ночь же всю сидеть.

- Ну! Только что разговорились... Ну, что ж, ну, и ночь просидим!

Леонид надел куртку, поднял с земли винтовку и вышел из кустов.

- Тихо. Уехали... Ночь-то какая!

Месяц поднялся меж гор над ущельем и стал серебряным. Внизу чернел лес. Впереди крутыми своими утесами уходил в небо могучий Кара-Агач. Катя оглядывала местность.

- Тут где-то сейчас горная дорога должна быть через перевал...

Они осторожно шли, оглядываясь и прислушиваясь. Но тишина в лесу стояла забытая, и бояться было нечего. Выбрались на горную, слабо наезженную дорогу. Кудрявые кусты орешника бросали на траву черные тени. Как очень давнишнее, Катя вспомнила взлохмаченно-потную, крутящуюся голову в своих руках, огонь выстрела перед побледневшим лицом. Лет пять-шесть назад смирный

мужик ходил за плугом по своему полю, косил пшеницу. Думал ли он тогда, что кровавым хозяином пройдет по городам и селам и, пьяный, сложит под пулей голову на большой дороге?

Леонид заговорил:

- Ты одного не понимаешь. Подготовительная, начальная стадия революции и сама революция - две совсем разные вещи. Там самоотвержение, высокий идеализм, чистый, молодой порыв. Таковы были девятисотые годы с первой революцией нашей. Но тогда шли десятки, - ну, сотни тысяч. А теперь поперли миллионы. Некультурные, дикие, озлобленные. Не за человечество они идут, не за лучшее будущее, а за себя, - просто за самих себя, - полные злобы, мести, жадности. Но ведь ты марксистка, как же ты этого не учиываешь? В этом-то и сила всякой настоящей революции. Пойми ты, что старая психология идейного нашего революционера-интеллигента здесь не только не нужна, а вредна, опасна... Ну, вот ты, например. Ты работала для революции, в тюрьмах сидела, в ссылке была. Потому, что ты видела, что рабочие, крестьяне угнетены, страдают, - и ты возмущалась. Очень все хорошо, и честь тебе. Но теперь угнетены буржуазия, интеллигенция, ты возмущаешься за них. Конечно, по-человечеству сказать, все - люди, и не виноваты буржуи, что родились буржуями. И вот, ты двоишься. Источник, из которого шло твое революционное настроение, потек по другому направлению. А мы идем за рабочих не потому, что они какие-то лучшие люди. Такие же! А потому, что классовый эгоизм толкает их на разрушение всяких классов и на создание нового мира. И со старую меркою подходить тут нельзя. Вот почему наша милая, отзывчивая интеллигенция со своею чистенькою моралью оказалась не у дел.

- Да, спасибо вам за вашу новую мораль! Ведь самодержавие, - само самодержавие, с вами сравнить, было гуманно и благородно. Как жандармы были вежливы, какими гарантиями тогда обставлялись даже административные расправы, как стыдились они сами смертных казней! Какой простор давали мысли, критике... Разве бы могло им даже в голову прийти за убийство Александра Второго или Столыпина расстрелять по тюрьмам сотни революционеров, совершенно непричастных к убийству?.. Гадины вы! Руку вам подашь, - хочется вымыть ее!

Она вздрогнула и повела плечами.

Леонид сдвинул брови и резко сказал:

- Вот тут-то мы и начинаем говорить на разных языках. Для нас вопрос только один, первый и последний: нужно это для революции? Нужно. И нечего тогда разговаривать. И какие страшные слова вы ни употребляйте, вы нас не смутите. Казнь, так казнь, шпион, так шпион, удушение свободы, так удушение.

Провокация нужна? И пред провокацией не остановимся. А эксцессы... Эксцессы мы очень бы рады и сами искоренить. Понятно, что у чекиста, в его страшной работе, голова легко пьянеет от власти и крови. Вы только не знаете, сколько из них самих попадает у нас под расстрел. Но чтобы на этом основании устыдиться и уничтожить чрезвычайки, и с закрытыми глазами ходить среди заговоров и покушений на революционную власть, ну, нет-с! Плохо рассчитали! Мы не такие дурачки, и на удочку вашу не попадемся!

Опять, как обычно, в голосе его зазвучали митинговые ноты, когда он, как будто, говорил не для собеседника, а для невидимой, сочувственной ему толпы. И как обычно, между ними запрыгали враждебные, колющие искорки.

Катя замолчала. Ей хотелось продолжать разговор в прежнем созвучном тоне, но настроенность у обоих исчезла. Она огорченно опустила голову. И оттого, что она не возражала, что на девической щеке чернели запекшиеся царапины от револьвера, Леониду сделалось стыдно, и опять она стала ему близка и мила. Он поднял брови, почесал в затылке, дружественно просунул руку под ее локоть и смущенно сказал:

- Ну, ничего!.. Ночь-то какая, посмотри.

Катя все время бессознательно чувствовала эту ночь. Справа тянулись крутые обрывы Кара-Агача, в лунном тумане они казались совсем близкими. И казалось под лунным светом, - какие-то там на горе огромные порталы, стройные колонны, величественные входы невиданно-большого храма. Опять стало просто.

Леонид держал ее под локоть, и они шли рядом. Он заговорил по-прежнему хорошо:

- Помнишь, утром, на площади у вас в Атматлуке, когда мы судили за грабеж ваших парней, записавшихся в красную армию? Неужели же, ты думаешь,

не хотелось бы мне, чтобы все у нас были такие, как тогдашний мой отряд из рабочих, - горячие, серьезные, дисциплинированные?.. И вот, - что кругом делается! Грабежи, пьянство, притесняют всех одинаково; мужики с каким нас встречали восторгом, а теперь начинают ненавидеть. Даже махновскую эту сволочь мы вынуждены до времени терпеть. Ведь большинство у нас - люди деклассированные, развращенные империалистической войной, отвыкшие от труда,

привыкшие к грабежу и крови, притом раздетые и голодные. Сразу их не перевоспитаешь. Только медленно, идя вместе с ними, мы постепенно сможем их организовать. И, конечно, приходится совершенно перестроить свою душу. Я помню октябрьские дни в Москве. Теперь смешно вспомнить: как мы, интеллигенты, были тогда мягкосердечны, как боялись пролить лишнюю каплю крови, как стыдились всякого лишнего оружейного выстрела, чтобы, упаси боже, не задеть Василия Блаженного или Ивана Великого. А солдатам нашим это было совершенно непонятно, и они, конечно, были правы... Что с тех пор каждому из нас пришлось видеть, переиспытать!

Кате стало неприятно, что рука Леонида касается ее локтя.

- погоди! На минутку!

Она высвободила руку, наклонилась к кусту, сорвала под ним две веточки цветущего шпорника. И усердно стала их нюхать.

- Ну! Ну! - жадно сказала она. - Дальше!

- Ну, вот... - Леонид шел, качая в руке винтовку. - В банкирском особняке, где я сейчас живу, попалось мне недавно "Преступление и наказание" Достоевского. Полкниги солдаты повывдрали на сигарки... Стал я читать. Смешно

было. "Посмею? Не посмею?" Сидит интеллигентик и копается в душе. С какой-то совсем другой планеты человек. Ну, вот сегодня, с махновцем этим... Ты первого человека в жизни убила?

Катя вздрогнула от неожиданно так заданного вопроса.

- Ну! Как ты говоришь...

- Как говорю... Да, мы с тобой убили. - Он лукаво глядел на нее и улыбался.

Катя тоскливо повела плечами.

- Ну, да.

- А, может быть, его не стоило убивать.

- Мне тоже думается.

- Что он за револьвер взялся на Горелова, - так можно было разговорить.

С пьяным русским человеком это легко, только шуточка вовремя. Не то, что с латышом, например, - эти звереют в хмелю. А мы убили. И вот ты долгие годы будешь задавать себе вопрос: "Права ты была? Не права?"... А я... Есть мне время об этом думать! Какая-то огромная, совершенно бессознательная жизнь в коллективе. Сегодня он, завтра я. Так все это неважно! Важно, что земля трясется, что гнилье рушится, что все, о чем вы говорите: "поосторожнее, да не сразу!" - все летит к черту. Ведь по всей Европе от нас идут подземные удары, бьют снизу в просторы летаргической Азии. Все ворошится, просыпается. Придавленные чувствуют, что все они - одна огромная, братская стихия, что нет никаких разъединяющих Христосов, Будд, Аллахов, нет каких-то священных Франций, Германий, Индий, Китаев, что все это обман. Один только вечный, священный, неразрывный объединитель - Труд... И думать о каком-то махновце убитом, о том, что нас убьют, о ботинках, снятых с барина, о том, что мы рот зажимаем трусам и предателям, которые все это хотят остановить. "Поосторожнее, да помирнее, да чтобы не обидеть кого, да слишком рано еще"... И это тогда, когда все силы мировые нужно напрячь, когда все в том, чтобы дружно вскочили все сразу.

Катя усердно нюхала цветы. Справа в лунной дымке все тянулись обрывистые утесы, как порталы и колонны. В своем волнении и своей тоске Катя не могла отвлечься, сделать усилие сбросить обман зрения. И было у ней живое ощущение не диких скал, а бесконечно огромного храма нечеловеческих размеров.

С вершины перевала открылась туманная, голубая под луной арматлукская бухта меж выбегающих мысов, в поселке краснели огоньки.

- Вот это поселок ваш?

- Да.

- Выбрались. - Леонид опять взял Катю под руку. - Катя, мы больше никогда так не будем говорить. Мы чужие. Ты считаешь меня жестоким, а моя трагедия - что во мне слишком мало стали. Ты хорошая девчурка, и мне не хочется, чтоб мы были врагами. Знай, что мне часто бывает очень тяжело, иногда кажется - не хватит сил все это выдерживать. Не случайность, что среди нас так много морфинистов и кокаинистов. И очень много в условиях работы, что калечит душу. Не стоим мы на высоте. Но выбора нет. Вспомни иногда об этом, когда слишком захлестнет тебя ненависть.

Катя опять высвободила руку и бросила цветы наземь. И задышалась, и слезы звенели в голосе, когда она сказала:

- Да, мы чужие... Мне припоминается, я читала у Лиссагарэ. Один версальский офицер, во время расстрела коммунаров, воскликнул: "нужно иметь очень твердые политические убеждения, чтоб выдерживать душою то, что мы делаем!" Но вот что обидно, о чем плакать хочется... Когда вас свергнут,

когда вы даже сами сгинете на месте от своей бездарности и бессмысленной жестокости, - и тогда сиянием вас окружит история, и вы ярко, призывною звездой будете светить над всем миром, и всё вам простят! Что хотите, делайте, омохнатьтесь до полной потери человеческого подобия, - всё простят! И даже ничему не захотят верить... Где же, где же справедливость!

Леонид тихонько посмеивался. Они молча стали спускаться с перевала.

Фитилек в стакане с маслом тускло освещал милую, знакомую, закоптелую кухню. Катя, с голыми руками и плечами, сидела на табуретке и одушевленно рассказывала о схватке с махновцами, а Иван Ильич перевязывал ей простреленную руку. Анна Ивановна ахала и любовно смотрела на Катю в круглые

свои очки, - в глазах Ивана Ильича были холод и отчуждение.

Катя оделась.

- Да, еще вот что. Вера приехала из России, работает у нас в городе.

Анна Ивановна радостно всплеснула руками.

- Да что ты?

Иван Ильич потемнел, в глазах его мелькнул обычный беспощадный огонек. Он прошелся по кухоньке и с сдержанною, недоброю усмешкою спросил:

- Что же, в чрезвычайке служит?

- Ах, оставь ты, папа! - раздраженно отозвалась Катя.

Он молча заходил по кухне. Анна Ивановна жадно расспрашивала про Веру.

Иван Ильич сказал:

- Когда она была учительницей на донецком руднике, она публично не подала руки врачу, присутствовавшему при смертной казни; ее тогда уволили за это и выслали из донецкого края. Что же, и теперь она не подает руки людям, причастным к казням?

- Ну, папа, я не хочу с тобой об этом говорить... Видеть ее ты, конечно, не желаешь?

- Откровенно говорю: не желал бы.

- Ну, мама, мы с тобой в понедельник поедem в город, ты с ней там увидишься.

Сели ужинать. Иван Ильич, сурово нахмурившись, ел молча.

Катя с удивлением спросила:

- А вы всё в кухне живете и в маленькой комнатке? Отчего не перебираетесь на летнюю половину?

Анна Ивановна измученно вздохнула.

- Там солдаты-пограничники живут. С мезонина глядят в подзорную трубу на море. Уж такое мне горе с ними! Воруют кур, колят на щепки балясины от террасы, рубят столбы проволочной ограды. Что стоит сходить в горы, набрать хворосту? Ведь круглые сутки ничего не делают. Ходит же Иван Ильич. Нет, лень. Вчера две табуретки сожгли.

Катя вскипела.

- Так нужно начальнику их заявить!

- Он говорит: представьте с поличным, я такого расстреляю. И ведь, правда, расстреляет. За табуретку!

Скудный был ужин. Очень скудный, - маисовая каша без масла. Хлеба не было.

Анна Ивановна сообщала местные новости.

Ревком состоял из Афанасия Ханова и еще трех мужиков болгар. Агапов, - представь себе, Агапов! - стал заявлять, что это не настоящий ревком, что в

нем не представлена местная беднота. Приехала из города чрезвычайная тройка, сменила ревком. Ханова, как коммуниста, оставили, но намылили ему голову за мягкость. Назначили в ревком Гребенкина и Тимофея Глухаря. Теперь главная там сила - Гребенкин. Свирепствует всюду. И первым делом дачу Агапова занял под ревком, а Агапова выселил. Вот тебе и подслужился Агапов! Гребенкин на даче Яновича, где был сторожем, занял три лучших комнаты, завладел всей одеждой, хранившейся в сундуках. У деревенских богачей, Албантовых и Стамовых, отобрал коров, лошадей, и роздал бедным мужикам. Дает мужикам ордера на мебель и посуду дачников, на белье.

Ивана Ильича новый ревкома, в порядке трудовой повинности, обязал лечить безвозмездно все местное население. За это ему выдается из ревкома по два фунта муки в неделю.

- И какие мужики требовательные стали, настойчивые! Таскают то и дело, по самым пустяковым поводам, и непременно, чтоб сейчас пришел! Нарыв на пальце у него, и Иван Ильич, старик, должен тащиться к нему, - сам ни за что не придет. Сытые, отъевшиеся, - и даже не спросят себя; чем же мы-то живем? А у самих всегда - и сало на столе, и катык, и барашек жареный.

Иван Ильич примирительно сказал:

- Ну, все-таки... Вот вчера Цырулиева дала бутылку молока.

- Первый, кажется, случай. Да! Раз еще как-то фунт брынзы дали... На днях пьяный вломился к нам Тимофей Глухарь, орал: "Эксплуататоры! Я вам покажу! Если хоть одна жалоба на тебя будет от мужиков, засажу в подвал на две недели!" И вдруг потребовал, чтобы Иван Ильич записался в коммунисты. - "Отчего, - говорит, - не желаете? Значит, вы сочувствуете белогвардейцам"... Сам в новеньком пиджаке и брюках, - реквизирует у Галицкого, помнишь, у шоссе его дачка? Акцизный контролер из Курска.

Пришел инженер Заброта, бухгалтер деревенского кооператива, - длинный, с большим кадыком на чахоточной шее. Увидел Катю, нахмурился.

Поколебавшись,

неохотно подал ей руку и сейчас же отвернулся: он не прощал ей, что она пошла служить к большевикам.

Медленно курил он толстую крученку из плохого табаку и сиплым голосом своим рассказывал: кооператив закрыт, весь товар взят на учет и вот уже месяц лежит без движения. Деревня без мануфактуры, без обуви, без керосина и спичек. И никакие представления не помогают. Один ответ: ждать распоряжений! Им хорошо, у самих всего в избытке. Спешить некуда!

Водянисто-голубые глаза его светились суровой ненавистью.

- Я не могу понять, - что это? Уверенность ли в безграничном терпении русского народа, или выражение полного отчаяния от сознания своего банкротства?

Катя возразила:

- Не знаю. Что-то неуловимое, мне непонятное, - но другое что-то, что дает им силу. Страшную, неодолимую силу. А помимо их - либо махновщина, в основе еще более ужасная, либо денкининщина, возвращение к старому.

- А теперь уже не воротились к старому? Все, как прежде, только в еще более российских формах. Для народа разницы нет, измываются ли над ним становые с урядниками, или комиссары с Гребенкиными... То же рабство, та же тупая реакция.

- Нет! Все-таки тут революция, самая настоящая. А не реакция.

Заброта пренебрежительно оглядел ее.

- Смертные казни, подавление самодеятельности, удушение печати... Вот так революция!

И отвернулся.

Жарким золотым светом смеется воздух, соленым простором дышит темно-синее море, зовущий аромат льется от белых акаций.

Дачка на шоссе. Муж и жена. И по-прежнему очумелые глаза, полные отчаяния. И по-прежнему бешеная, неумелая работа по хозяйству с зари до поздней ночи. У них отобрали лучшую одежду, наложили контрибуцию в три тысячи рублей. Уплатить было нечем, и пришлось продать корову. И, хотя уже не было коровы, с них требовали семь фунтов масляного продналага.

Он - с ввалившимися, неподвижными глазами. У нее, вместо золотистого ореола волос, - слежавшаяся собачья шерсть. И ненавидящие, злобные друг к другу лица.

- Екатерина Ивановна! Объясните вы ей, пожалуйста: ведь можно кормить маленьких цыплят пшенной крупой, не варя ее.

- По-моему, можно. Я просто крупую кормила.

- Вот видишь. И так погибаем от работы, а она: нет, это вредно для цыплят, нужно им варить кашу!

Катя пошла на деревню отыскать Капралова, и еще - купить чего-нибудь съестного для своих. Ее удивило: повсюду на крестьянских дворах клубился черный дым, слышался визг свиней, атели кровавые туши. Встретилась ей Уляша. Чудесные, светлые глаза и застенчивая улыбка на хищных губах. Катя спросила:

- Что это, праздник какой скоро, что ли? Почему везде свиней колют?

- Нет, праздника нету. А только... Слышно, по одной свинье позволяют держать каждому, остатних будут отбирать.

- Так вы всех лишних спешите зарезать!

- Ну да!

- Это к лету-то! Кто же летом свиней колет? - Катя засмеялась. - Ну, что, Уляша, нравится вам большевизм?

Уляша застенчиво улыбнулась и взглянула в сторону.

- Нет. Что же это делают! Кому охота работать, если все отбирают. Цену объявляют пустяковую, "по твердой цене", и все верно лишнее отдай им. Вино забрали, уж не знаем, работать ли виноградники, или бросить. Люди все время в разгоне по нарядам, а нужно сено возить.

- Зато земля теперь ваша. И вещи у дачников для вас отбирают.

- Вещи - что! Их и купить можно. А за землю мы Бреверну не так уж много платили. И в городе хорошо торговали. А теперь торговлю прекратили... Только и ждем, что авось прогонят их.

Катя хохотала.

- Нет, продажного ничего нету.

- Ну, брынзы, может быть, муки? Хоть сала, - ведь вот, вы свинью колете.

- А на что нам деньги? Ничего на них не купишь. Да и не надобно нам. Все теперь есть. Это раньше было: вы ели, а мы смотрели. А теперь мы будем есть, а вы - посмотрите. Хе-хе-хе!

- Вот так - шоссе идет, а так, на горке, хата стоит. В отдельности от



хуторков. И все люди, что в хате жили, от тихва перемерли. Не знаю, дезинфекцию сделали ли, нет ли. Хату на замок заперли, запечатали. Шел ночью прохожий один, видит, - огонек. Подошел к хате. В окошке лампа горит. Постучался, не отвечают. На двери замок висит, печать. Подивился он. Дело летнее, переночевал на воле. Утром зашел в хуторки. Его там угостили, а, может, по нынешнему времени, и за деньги купил, - уж не могу сказать. Поел. Спрашивает: "Кто это там на горке живет?" - Никого нету, пустая хата. - "Как так пустая? Там огонь горел".

Стали мужики вспоминать, - верно, по ночам огонь горит. Оказался тут камманист один. Винтовку взял, наган, влез в окошко и в печку спрятался. Думали, - не зеленые ли по ночам собираются?

Только полночь пробило, вдруг лампа на столе сама собою зажглась. Сидят два старичка и разговаривают. Один, - борода длинная, как полагается: саваофская; у другого кучерявенькая. Сидят и разговаривают, - вообще, значит, разговаривают о жизни, об ее продолжении. Один говорит: "Нет, Никола, не хватает терпения моего. Всех хочу уничтожить". А другой ему: "Подожди, потерпи еще немножко. Может, переменится все, одумаются люди, получше станут. Тихомирье придет".

Ну, на этом и сговорились. Первый и говорит, головы не поворачивая: "Михаил, вылезай!"

А камманиста Михаилом звали. Притулился он в печке, думает, - не к нему. А старичок опять: "Вылезай, Михаил, мы ведь знаем, что ты в печке".

Нечего делать, вылез.

- Вот. Будешь ты тут стоять, пока не придет изменение.

И врос он в землю по пояс.

Утром другие камманисты пришли, стали откапывать. Никакая кирка не берет. Так до сих пор и стоит середь хаты, в земле по пояс. Комиссия приезжала из Симферополя, опять откапывали, думали, - не белогвардейская ли пропаганда. Ничего подобного. Все записали, как было, Ленину послали телеграмму.

Под ярким солнцем над бывшей кофейнею Аврамиди развевался новенький красный флаг и желтела вывеска! "Рабоче-крестьянский клуб". В раскрытые окна неся громкий голос оратора.

Катя зашла. За стойкою с огромным обзеленевшим самоваром грустно стоял бывший владелец кофейни, толстый грек Аврамиди. Было много болгар. Они сидели на скамейках у стен и за столиками, молча слушали. Перед стойкою к ним держал речь приземистый человек с кривыми ногами, в защитной куртке. Глаза у него были выпученные, зубы темные и кривые. Питомец темных подвалов,

не знавший в детстве ни солнца, ни чистого воздуха.

- Товарищи! Вы должны понимать, что теперь у нас социализм, все должны помогать друг другу. Вы вот говорите: мануфактуры нету, инструменту нету. Как же рабочий может работать, как он может заготавливать вам товар, ежели у него нет хлеба? Вы должны доставлять им хлеб, чтоб учредилось братство трудящихся. Вы - им, они - вам. Вам добыли землю, мы прогнали помещиков и отдали вам...

Он говорил громким, привычным к речам голосом, все время делал по два шага то в одну сторону, то в другую и махал кулаком, как будто вколачивал гвозди.

- Товарищи! У нас теперь есть всякие отделы: отдел народного хозяйства,

отдел социального обеспечения, - просто сказать; собес, - отдел народного просвещения. Неужели это не ясно? Все устроено по-социалистически, для трудового народа. Раньше, при царе Николке, попы вас учили: а да бе, а как буквы в склады сложить, тому не учили. Учили, как нужно на пузо эпитрахиль спускать, как нарукавники надевать, а настоящему понятию не учили. А теперь вам дается образование настоящее, социалистическое. Все это нужно понимать. И нужно работать сообща, все, как один человек. Товарищи! Социал-предатели, меньшевики и эсеры, подкупленные буржуазией, наущают вас не давать хлеба советской республике, запрягивать его в ямы, чтобы голодом взять советскую власть и все поворотить на старое. Ну, только это напрасно! Если меж вас есть такие кулацкие элементы, которые за контрреволюцию, то железная рука пролетариата заставит их переменить свои понятия. Мы люди дошлые, глаза у нас острые. Под какие ометы не закапывайте зерно, мы везде сыщем. И тогда такому кулаку будет плохо!

Болгары слушали с непроницаемыми лицами, медленно мигали и молчали.

Ревком помещался в агаповской даче. На бельведере развевался большой красный флаг. Крестьянские телеги стояли в саду. Привязанные к деревьям лошади объедали и обламывали кусты. Клумбы цветника были затоптаны. В зале на заплыванном паркете толпились мужики, красноармейцы. Рояля не было. - его перевезли в клуб. Агапов с семьею ютился в гостинице Бубликова.

В бывшей Асиной спальне сидел за письменным столом Афанасий Ханов. Он радостно поздоровался с Катей.

- Проведать приехали? Ну, как у вас в городе работа идет?

Катя спросила, не будет ли сегодня или завтра утром подводы в город, чтобы ей поехать с матерью.

- Я сам на заре еду, и со мной еще товарищ один. Приходите в ревком, прихватчу вас.

Каждую минуту его отрывали. Вошли два солдата с винтовками, протянули измятый клочок бумаги.

- Вина? Не могу товарищи, отпустить. Только по записке коменданта.

- Что нам комендант! Нам указ только командир полка. Вот записка его.

- Что за записка! Даже без печати... Поймите, товарищи, ведь это народное достояние, вино у нас на учете, не могу я его раздавать.

- Да много ли мы просим? Дайте ведра два, и ладно!

- Не могу, - понимаете?

Солдат в фуражке артиллериста сказал:

- Всего двое нас, потому и разговариваем. Дай, вдесятером придем, тогда разговор будет другой.

Они ушли, угрожающе ворча. Ханов измученно потирал лоб ладонью.

- Понимаете, вот каждый день так. В четверг пришли к складу, милиционеров наших на мушку, вышибли дверь погреба и увезли, понимаете, целую бочку. Ведь вот какой народ!

Пришел столяр Капралов. Катя обрадовалась.

- А я как раз вас ищу.

Капралов не был пьян, умное лицо его было серьезно, без пьяно-юмористических огоньков.

- Меня прислал Отдел узнать, как у вас тут идет работа.

- Вот хорошо, что приехали. О многом нужно потолковать.

Вошел Гребенкин и сел за стол. Капралов сказал ему:

- Сашка, на завтра нужно двух барышень пригласить, сделать перепись

безграмотным.

Гребенкин усмехнулся.

- "Пригласи-ить"? Ишь, какие нежности! Мобилизуем. Вот, две девицы агаповские без дела шляются. Их пошлем.

Катя удивилась.

- Зачем же насильно заставлять? Наверно, много найдется желающих и по доброй воле. Все ведь голодные.

- Спрашивать их еще, - "желаете ли?" Го-го!

- Двух мало, - заметил Капралов. - Запасную еще наметь, - может, какая больна окажется.

- Больна-а? - Гребенкин грозно нахмурил брови. - Нам тогда скажи. Мигом вылечим.

Капралов с одушевлением и волнением рассказывал Кате, что сегодня в зале Бубликовской гостиницы у него идет первый концерт-митинг. Будет декламировать кой-кто из дачников, княгиня Андожская будет петь и агаповская барышня. Просил он Гуриенко-Домашевскую, она тоже согласилась.

- Да будет тебе! Вот человек! - возмутился Гребенкин. - "Просил", "согласилась"... Обязана идти без разговоров! Не те времена.

Катя вскипела.

- Какое хамство! Зачем вам, Гребенкин, нужны эти измывательства над людьми? Непременно власть свою показать! Как урядники в старые времена. Какая гадость! Гуриенко-Домашевская знаменита на всю Россию.

В колючих исподлобья глазах Гребенкина мелькнула мягкая, слегка сконфуженная усмешка. Ханов лениво сказал:

- Он озорничает. Что вы его слушаете.

- Ничего не озорничаю. "На всю Россию"... Сколько лет тут живет, - почему же ни разу не собралась мужикам поиграть? Заплати ей пять целковых с рыла, тогда пожалуйста! Вон какую себе дачу выстроила... Всех теперь заставим работать на народ, на простых людей!

И чувствовалось, как от своих слов он сам разжигался злобою.

Тихонько вошел Агапов, - осунувшейся, но по-всегдашнему ласково улыбаясь. При входе он снял свой картузик. Гребенкин грубо сказал:

- У нас тут богов никаких нет, наденьте шапку.

- Нет, я к тому... Жарко-с! - Агапов обратился к Ханову. - Получил я повестку от ревкома, - завтра идти в лес дрова рубить.

Глаза Гребенкина злорадно загорелись. Он удивленно сказал:

- Ну, да. Отчего же вам дровец не порубить?

- Помилуйте, мои годы не те!

- Как не те? Те самые. Вам сорок девять лет, - до пятидесяти мы всех мобилизуем на общественные работы. Мужиков гоним. - отчего же вас нельзя?

- Я понимаю, я не о том... Конечно, трудовая повинность, общественные обязанности... Да сердце-то у меня, изволите видеть, больное.

- Сердце у вас от жиру больное. Моцион вам очень даже будет полезен.

- Я вам представлю свидетельство врача.

Ханов сказал:

- Ну, что ж, назначим комиссию, пусть доктор освидетельствует.

- Ерунда! - отрезал Гребенкин. - Знаем мы эти свидетельства! Всякую чухотку пропишут, если попросить. Нечего, гражданин, разговаривать. Не явитесь завтра, - в подвал вас отправлю.

Катя вспомнила, как два месяца назад Гребенкин вставлял здесь стекла. Висели на стенах чудесные снимки Беклина, в полированных рамах из красного дерева; на бледно-зеленой шелковой кушетке сидел грузный болгарин,

заведовавший нарядом подвод. Агапов помялся и вышел.

Оратор пришел, которого Катя слушала в клубе. Он бросил на стол фуражку и отер потную голову.

- Ну, народец у вас! Добром дела с ним не сделаешь. Чую, что без молодцов моих не обойдется.

- Не обойдется, - подтвердил Гребенкин. - Хлеба у всех, сколько угодно. Позакопали в землю и прибедняются.

Ханов примирительно возразил:

- Ну, оставь! Кто закопал, а кто и вправду бедный.

- Ты молчи! Кулак! Все родственники тебе, сватья да кумовья. Вот ты их и покрываешь.

- Ах, оставь ты, Сашка!

Катя обратилась к Капралову:

- Пойдемте?

Они вышли. Совсем другой был Капралов, - никогда его Катя таким не видала: светлый, сосредоточенный.

- Я вас не узнаю, Капралов. Какой-то вы совсем новый. Пить вы бросили, что ли?

- Бросил. Не до того.

Пошли в библиотеку, - в ней помещался отдел народного образования. За столом сидела секретарша Отдела и библиотекарша Конкордия Дмитриевна, дочь

священника Воздвиженского. Катя подробно стала знакомиться с делами. Был уже

открыт клуб, дом ребенка, школа грамоты. Капралов просил устроить присылку из города лекторов по общеобразовательным предметам и режиссера для организации любительских спектаклей.

- Сцену мы уже устроили. Неделю целую я работал, даже будку суфлерскую приделал, - хороша вышла будочка!

И еще сильнее Катю поразили умные, интеллигентные глаза Капралова, при которых странно звучали его простонародные выражения.

Он спросил:

- Как у вас в городе с книгами? Отбирают их у буржуазии?

- Забирают из квартир бежавших. У остальных только регистрируют.

- А как вы скажете? Хочу у дачников отобрать книги, не стану на вас смотреть.

- Вот уж вы какой большевик стали, Капралов. А не противно вам это?

- Чего противно? У дачников вон сколько книг в шкапах, да на этажерках.

Лежат без пользы, пылятся. А у нас в библиотеке одна "Нива" да "Вокруг света".

- Вы подумайте, Капралов, кто же тогда станет покупать себе книгу, если ее у него каждую минуту могут отобрать?

- Ну, когда другие времена будут... А сейчас нужно отобрать. Что ж народу читать?

В обеденном зале Бубликовской гостиницы рядами стояли скамейки, в глубине была сооружена сцена с занавесом; и надпись на нем: "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" Густо валила публика, - деревенские, больше молодежь, пограничники-солдаты. Капралов, взволнованный и радостный, распоряжался. Катю он провел в первый ряд, где уже сидело начальство, - Ханов, Гребенкин, Глухарь, все с женами своими. Но Катя отказалась и села в глубине залы,

вместе с Конкордией Дмитриевной. Ей было интересно быть в гуще зрителей.

Не хватало мест. Толпа заполнила проходы. Лущили семечки и ждали с нетерпеливым любопытством. И странно было видеть новую эту публику здесь, где раньше обедали за столиками чопорные и разодетые курортные гости.

Третий звонок. Сопrotивляясь и цепляясь за непослушную проволоку, стал раздвигаться занавес. И застрял на половине. В зале засмеялись. Выскочил Капралов и отдернул до конца. Внизу, скрытая суфлерскою будкою, горела яркая лампа-молния. На эстраду вышел давешний оратор.

- Товарищи! Рабоче-крестьянская армия выгнала из Крыма белогвардейскую нечисть. Теперь у нас везде власть трудящихся... Товарищи! Революция начинается везде! В Венгрии утвердилась власть советов, тоже и в Персии. В Германии революция. Мировой пролетариат поднял голову и ринулся на борьбу со своими угнетателями-капиталистами...

Он опять делал в стоптанных своих сапогах два шага то в одну, то в другую сторону, и все время как будто вколачивал кулаком гвозди. Лицо его, с ярко освещенным подбородком и затененным лбом, выглядело необычно, по-концертному.

Говорил он о жестокой борьбе, какую приходится вести советской власти на всех фронтах, о необходимости поддержать ее, ругал меньшевиков и эсеров, предавших революцию.

Местная молодежь слушала жадно, вытянув головы. Привычные красноармейцы равнодушно глазели по сторонам и ждали того интересного, что будет дальше.

Оратор кончил возгласами в честь всемирной пролетарской революции, советской власти и ее вождей. Красноармейцы затаили:

Вставай, проклятьем заклейменный,  
Весь мир голодных и рабов!

Зрители нестройно подхватили. Оратор оглядел зал грозными глазами и зычно крикнул:

- Встать!! Шапки долой!!

Катя возмущенно проговорила:

- Господи, что это! Совсем, как в прежние времена с "Боже, царя храни"!

- Вы что же, Манечка, не встаете? Слышите: "вставай, проклятьем заклейменный".

- Мы не клейменные.

- Как это так, не клейменные? В песнях всегда правильно говорится. Вы - проклятьем заклейменная.

- Ничего подобного!

Потом Ханов говорил, сбиваясь, трудно находя слова, но с горячим одушевлением. А потом выступил Капралов и спокойно, не волнуясь, стал говорить простым, беседующим тоном:

- ...Вы подумайте, товарищи. Без умственности мы далеко не уйдем. Вот ты на косилке выехал ячмень косить, говоришь: "Мы работаем, а они что делают? Только книжки читают!" Ну-ка, а погляди на косилку свою: ты, что ли, ее выдумал? Хватит у тебя на это мозгов твоих? В нее, брат, мозгу-то этого самого вон сколько положено! Не нашего с тобою мозгу. Вот ты это и помни. И спасибо тому скажи, кто этакую умственную штуку выдумал. А не то, чтобы над книжками смеяться. Сам за книжку возмись, не гляди, что борода у тебя снегом запорошена. Иди к нам в школу грамоты, учись, иди в библиотеку к

нам, книжки читай. Только тогда мы силу возьмем, когда станем умные. Правильно сказали великие писатели Шекспир и Михайлов-Шеллер, что сила народа - в его просвещении...

Для чего-то задернули занавес и опять отдернули.

На эстраду вышла княгиня Андожская со свертком нот, за нею - Майя. Майя села за рояль, а княгиня выступила на авансцену. И у нее тоже лицо от освещения снизу было особенное, концертное.

Конкордия Дмитриевна шепнула Кате:

- Славный этот Капралов наш. Выхлопотал у ревкома для всех исполнителей по десять фунтов муки и по фунту сахару, Гребенкин противился, хотел даром заставить, но Капралов с Хановым настояли. И вы знаете, Бубликов недавно хотел выгнать княгиню из своей гостиницы за то, что денег не платит за номер. Дурень какой, - в нынешнее-то время! Ханов посадил его за это на два дня в подвал. Успокоился.

Княгиня, бледная от волнения и, - Кате показалось, - от унижения, суровыми глазами смотрела поверх толпы. Тихо, понемногу нарастая, зарокотали аккорды. Княгиня запела:

Бурный поток, чаща лесов,  
Голые скалы - мой приют...

Она спела. Господи, что началось! Как будто с грохотом посыпалась с потолка штукатурка, - такие крепкие затрещали рукоплескания. Бешено кричали: "Браво! Браво! Бис!" И когда она вышла раскланяться, - опять: "Браво! Андожская!" И красноармеец какой-то упоенно крикнул: "ур-ра!!!"

Княгиня сдержанно кланялась, и слабая улыбка появилась на губах, и в прекрасных глазах блеснула удивленная радость.

Она опять запела. И еще несколько песен спела. Буйный восторг, несшийся от толпы, как на волне, поднял ее высоко вверх. Глаза вдохновенно горели, голос окреп. Он наполнил всю залу, и бился о стены, и - могучий, радостный, - как будто пытался их растолкнуть.

Зал ревел и гремел. Катя бросилась за кулисы. Княгиня, с новым лицом, сидела в плетеном кресле. Восхищенный Капралов топтался вокруг. Гуриенко-Домашевская говорила:

- Прелестно, княгиня, восхитительно! Никогда вы так не пели!

Катя, задыхаясь от радости и душивших ее слез, горячо жала обеими руками руку княгини.

- Скажите! Ну, скажите мне! Разве такое что-нибудь вы испытывали прежде, когда пели в ваших салонах, когда это у вас было от безделья? Какую вы целину затронули! Разве вы не чувствуете, что вы сейчас делали огромное дело, что никогда они вам этого не забудут?

Зал шумел. Княгиня остановившимися, прислушивающимися к себе глазами глядела на Катю.

- Никогда, никогда вы этого и сами не забудете! Правда?

Княгиня повела головою и коротко, с неулыбающимися глазами, вдруг сказала:

- Позвольте вас поцеловать.

И крепко поцеловала Катю.

Вечер прошел великолепно. Капралов торжествовал и ходил именинником. Декламировали из Некрасова, Бальмонта; пела Ася, княгиня спела с нею дуэт из "Пиковой Дамы". И еще даже больше, чем Андожская, зал захватила Гуриенко-Домашевская за роялем.

- Друзья мои! - обращалась она к зрителям, чтобы не говорить слова "товарищи". С тепло светящимися, восторженными глазами, подробно объясняла содержание каждой пьесы, которую собиралась играть, и потом играла.

Труднее всего увлечь простую публику игрою на рояле, но огромный талант Домашевской одолел трудность.

В заключение она, вместе с Майей, сыграла в четыре руки пятую симфонию Бетховена. Душу зрителей, незаметно для них, стали изнутри окатывать светлые воздушно легкие волны, и скоро огромный, сверкающий океан бурно заплескался по залу, взметываясь вверх, спадая и опять вздымаясь, и качая на себе зачарованные души. Катя видела полуоткрытые рты, слышала тишину без сморканий и кашля. И казалось ей, - это плещется древний, древний, первобытный океан, когда души не были еще так отгорожены друг от друга, а легко сливались в одну общую, радостно-подвижную душу.

Выехали из Арматлука рано утром, когда алое солнце только-только выглянуло из-за моря и уставший за ночь месяц, побледнев, уходил за горы в лиловую мглу. В тихом воздухе стояла сухая, безросная прохлада, и пахло сеном.

Ехали на линейке Афанасий Ханов, вчерашний оратор Желтов и Катя с матерью. Вез их болгарин Петр Гаштов.

Желтов, добродушно улыбаясь, говорил:

- Да, кряжистые мужички у вас! Никакой их пропагандой не прошибешь. Придется нам тут поработать. Вот Гребенкин у вас в ревкоме парень, видно, дельный. Его возьмем в помощь.

Катя сказала:

- Я не совсем понимаю. Вы весь хлеб отбираете у мужиков?

- Ну, да. Не весь, а называется - хлебные излишки.

- Платите вы им?

- Конечно, платим. По твердым ценам.

- По твердым! Да что ж там, пустяки! Семьдесят рублей за пуд пшеницы, а она сейчас две с половиной, три тысячи стоит.

Желтов настороженно оглядел Катю и резко спросил:

- А вы хотите, чтобы мы по спекулятивным ценам платили? Чтобы кулаки наживались на рабочем голоде?

Катя кротко возразила:

- Вовсе я ничего не хочу, я вас только спрашиваю. И мне интересно вот что: получит он от вас семьдесят рублей за пуд, - что же он за эти деньги купит? Катушка ниток стоит сорок рублей. Не хватит и на две катушки.

Гаштов с козел отозвался:

- Теперь за катушку уж пятьдесят пять просят.

- Ну, да, это конечно... Правильнее было бы товарообмен. А только что ж делать, если нет товару! Рабочие в городах без хлеба сидят, - какая же может быть работа? И сейчас нам не до катушек, приходится для фронта работать, империалисты напирают со всех сторон. Неужели не ясно? Такое время, всем нужно терпеть. Не до наживы. Приходится силком отбирать, если не хотят отдавать добром.

- Да, видела я год назад, как сюда ехала! Мужик из Новгородской губернии. Продал последнюю коровенку, купил в Сызрани два мешка муки, а в Туле продовольственный отряд все у него отобрал. "С чем, - говорит, - я теперь домой поеду?" И тут же, у всех на глазах, бросился под поезд. Худой, изголодавшийся... Господи, что было! - взволнованно воскликнула Катя.

Гаштов, повернув лицо от козел, жадно слушал. У Ханова глаза стали растерянные. Анна Ивановна испуганно дергала Катю за рукав.

- Таких мы жалеем. А монополии хлебной никак нельзя отменить. Сейчас спекулянтство пойдет. Вы поймите: революция! Неужели не ясно? Как в осажденной крепости! - Желтов начинал сердиться. - Вы тех вините, кто антанту призвал, Деникиных и Колчаков вините, да! Рябушинских. Они хотят костлявой рукой голода задушить революцию, а социал-предатели им подпевают

и мужиков против нас восстанавливают... А кто им землю отдал? Ну-ка, товарищ, скажи, - землю вам Деникин отдал или нет?

- Землю-то, это, действительно...

- Вот видишь! Землю вы себе сохранить желаете, а кто вам ее отдал? Рабочий! А как о том, чтоб его поддержать, - наше дело сторона! Вот почему название вам - кулаки!

Ханов оживился и сказал:

- Понимаешь ты теперь, Петро? Я же вам всегда то самое говорю. Что нужно на общую пользу думать, а не только что для себя.

Гаштов молчал и бережно похлестывал лошадей.

Желтов продолжал:

- Мужиков мы жалеем. Временем приходится их прижать, да душою мы за них. А вот социал-предатели эти, наймиты буржуазии, что везде агитацию ведут, - эту всю сволочь надобно уничтожить без разговору. Таким - колено на грудь и нож в живот!

- Вот в том-то и слабость ваша...

- Чтоб не смущали народ! Без всяких разговоров, - в город! Пожалуйте в Особый Отдел!

Было ясно, что он это о ней. У Кати на душе стало дерзко-весело и спокойно-спокойно.

- В этом и слабость ваша. Вместо того, чтоб убеждать, - колено на грудь и нож в живот. Двое вас тут мужчин против меня одной, - а какие у вас доводы? Нож в живот, пожалуйста в Особый Отдел!

Желтов поспешно сказал:

- Я не о вас.

- Как же не обо мне? Конечно, обо мне. Да и все равно, про кого бы ни было. Вот я вчера слушала вас в клубе. Вы думаете, вы убедили мужиков? Конечно, нет. А почему? Они слушали и молчали. Попробуй вам кто возразить, вы бы сейчас: "Кулацкий элемент! Контрреволюционер! Колено на грудь! В Особый Отдел!" Они и молчат, и все ваши слова сыпятся мимо.

- Детские слова говорите! Миролюбие какое-то! Толкуют же вам, - революция! Неужели не ясно? Никакого миролюбия!

- Я и не говорю про миролюбие. Боритесь. Пусть враги боятся вас, пусть ненавидят. Но чтоб уважали вас, чтоб чувствовали, насколько вы выше их.

- А разве это не уважительная картина? Вот, приехал я к ним позавчера: на берегу у моря дом, на доме красный флаг, а в доме всю ночь при огоньке работают два коммуниста, - он вот, и Гребенкин. А кругом все злобятся, ненавистничают, камень щупают за пазухой. Или как красная армия наша кровь проливает на фронте...

- Неужели же это теперь кого-нибудь убедит? Будет вам, товарищ! Кровь свою и белые проливают. И средневековые рыцари-разбойники были очень храбры, и всякий бандит храбр.

Анна Ивановна в отчаянии наставила на Катю круглые свои очки и еще раз



дернула ее за рукав. Желтов спросил:

- Чего же вам надо?

- Вот чего. Когда ввели в Петербурге классовый паек, то рабочие Балтийского судостроительного завода отказались получать увеличенный паек, они вынесли резолюцию: когда все кругом одинаково гибнут от голода, стыдно одним получать больше, чем другие. Вот это истинный героизм, истинное благородство! Таким людям я поверю, что они борются за правду и справедливость. Но это один-единственный раз было, только один! А вообще, - что кругом делается! Раньше одна была белая кость, - дворянин, теперь другая стала, - рабочий.

Вдруг Ханов взволнованно соскочил с линейки и пошел рядом с нею.

- Не хочу с вами ехать, не хочу вас слушать! Вы, может быть, не контрреволюционерка, но вы опаснее самых вредных агитаторов! Я во всем согласен с товарищем. Таким нужно колено на грудь!

- И нож в живот, Ханов?

- Оставьте меня, я не хочу с вами разговаривать!

Он быстро пошел в гору, обгоняя медленно тащившуюся линейку.

Когда он на перевале сел обратно в линейку, Желтов и Катя беседовали дружелюбно и мирно. Желтов раздумчиво говорил:

- А все-таки таких, как вы, нужно бы... Уж не знаю, что бы...

Расстрелять не за что, а вред большой... У вас образование, нам трудно с вами. Дай вот, образование отнимем у вас, себе возьмем, - тогда вы против меня ничего не сможете сказать, как теперь я против вас.

Вера прибежала со службы повидаться с матерью. Без слов обе бросились друг другу в объятия, целовались, глядели друг на друга и опять целовались. Вера сказала:

- Мамочка! Постарела ты как!

Обнялись, и вдруг горько заплакали. Сидели и плакали.

- Ну, а ты как? - Анна Ивановна утирала глаза и жадно разглядывала Веру. - Бледная, худая... Ведь вам теперь хорошо живется, коммунистам. А ты еще хуже стала.

Вера осторожно расспрашивала про отца. Анна Ивановна опасливо покосилась на открытое окно.

- Ты ведь знаешь, - он бежал из России от чрезвычайки. Как ты скажешь, - не арестуют его ваши за побег?

- Тут же никто про это не знает.

- Но объясни ты мне, Верочка, - за что? Неужели человек не имеет права действовать по совести, говорить то, что думает? Ведь вы говорите, теперь социализм...

У Веры глаза стали непроглядными, она прикусила губу.

- Мамочка, время такое. Потом, конечно, все это отменят.

Она убежала к себе на службу, - шла какая-то конференция.

Вечером все вместе сидели за самоваром, ужинали. Разговаривали особенными, домашними словами, вспоминали милые мелочи прошлого, смеялись.

Анна Ивановна сказала:

- А ты все такая же. И не подумает никто, что большевичка.

Родной разговор, и поющий самовар, и мама в круглых очках, покрывающая чайник полотенцем. И теплый ветерок в окна. И странно было Кате: все такое милое, всегдашнее, а они - такие разные, разделенные; папа далеко, с

непрощающими глазами, и непроглядные глаза у Веры, смотрящие в сторону.

Анна Ивановна пересмотрела белье Веры и ахнула: пара заплата рубашек, дырявые полотенца.

- А говорят, у вас, большевиков, ни в чем нет недостатка!

Села чинить.

Ночью у Кати сильно заболела голова, и грустный трепет побежал по телу. К утру она лежала в жару, в простреленной руке была саднящая боль, вокруг ранки - ощущение странного напряжения.

Вера устроила Анне Ивановне обратный проезд Катя хотела встать, чтоб проводить ее, но Вера не позволила, и Катя осталась в постели.

К вечеру температура была сорок. В полусознании Катя слышала голос Веры и еще чей-то другой женский голос, незнакомый.

Видела незнакомое лицо с чудесными глазами, лучившимися, как два прожектора. И ласково-твердый голос говорил:

- Повернитесь, Катерина Ивановна... Вот так, довольно.

И мягкие белые руки мазали больную ее руку коричневой мазью и ловко бинтовали ее.

Утром Катя с удивлением спросила Веру:

- Что это, сон был? Мне казалось вчера, - кто-то нежный и ласковый ухаживал за мною и глаза как вечерние звезды.

- Нет, правда. Это Надежда Александровна Корсакова, врач.

- Что за Корсакова?

- Жена нового председателя ревкома... Катюшка, а только как же ты мне не сказала, что ты ранена! Только сегодня Леонид приехал из Эски-Керыма и рассказал про твои подвиги. Милая моя девочка! Какая же ты молодец!

Катя покраснела и засмеялась.

- А что у меня такое?

- Рожь вокруг раны.

Катя прохворала дней шесть. Заходил проводить профессор Дмитревский с женой, однажды заехал Леонид. Каждый день приходила Корсакова. И приход ее вносил в душу свет и тишину. Она была высокая, плотная и некрасивая. Но глаза, когда загорались чудесным своим светом, вдруг освещали все лицо и делали его прекрасным. И мил был ее неожиданный, вдруг вырывавшийся из глубины груди смех. Катя, видимо, очень ей понравилась. Надежда Александровна несколько раз вспоминала про ее схватку с махновцем и шутила, что следовало бы ей дать орден Красного Знамени.

- А случай этот, с махновцем, - сообщила Надежда Александровна, - внес большую смуту в отношения, и без того напряженные. Махновцы рассказывают, что советские жида-комиссары поймали на дороге их товарища и зверски замучили: разбили прикладом кисть руки, прострелили живот, колени, и в конце концов убили выстрелом в рот; улика налицо - на дороге остался труп одного жида-комиссара, которого, защищаясь, убил махновец. Теперь они держатся еще более вызывающе, открыто ведут агитацию против евреев и советской власти, а войск в городе мало, и они это знают.

Катя сказала:

- Вот самые страшные для вас враги! Какие против них лозунги могут выдвинуть большевики? Грабь все, что увидишь, измывайся над буржуями, - это и их лозунги. А они еще говорят, что не нужно у мужиков отбирать хлеб, и что следует избивать жидов. С этим согласится и всякий ваш красноармеец.

Надежда Александровна переглянулась с Верой и засмеялась изнутри

вырвавшимся смехом.

- Екатерина Ивановна, какой вздор! Ну, где вы видели таких красноармейцев? Вы повторяете эти скверные интеллигентские сплетни... Как не надоест! Видели бы вы их в деле! Я много работала на фронте, в госпиталях, на перевязочных пунктах. Какое горение души, какой настоящий революционный пыл!

Ее глаза засветились умилением и восторгом.

- Ведь это все больше рабочие, добровольно пошедшие на лишения, на увечье и смерть. Голодные, разутые, раздетые, - как львы, дерутся целыми неделями. А у вас представление, - шайки разбойников, идущих набивать себе карманы. Эх, Екатерина Ивановна!..

В сумерках в город вступили два пехотных полка с тайным назначением.

Поздно ночью в саду у себя, в виноградной беседке, сидел, покашливая, старик Мириманов, и с ним - военный с офицерской выправкой, с пятиконечной звездой на околыше фуражки. Шептались, оглядываясь. Старик Мириманов рассказывал о своих злоключениях, а военный слушал, мрачно горя глазами.

Старик сказал:

- Ну, я рад, что ты жив-здоров. Тому, что ты на их сторону перешел, я никогда не верил... Дай тебе бог!

Он с умилением перекрестил сына, всхлипнул и крепко его поцеловал. Украдкой подошла Любовь Алексеевна, села рядом на скамейку. Военный спросил:

- А Боря где?

- На службе у них. В военном комиссариате, что-то делает в регистрационном отделе.

- Почему не ушел с нашими?

Старик презрительно махнул рукой. Любовь Алексеевна оправдываясь стала объяснять:

- Ведь ему по болезни дана была отсрочка на год. Он надеялся, что и красные его не возьмут.

Военный сурово слушал, ударяя стеклом по голенищу сапога.

- "Трусоват был Ваня бедный"...

- Впрочем, кой-какие сведения иногда нам дает. Только очень боится.

Товарищ Седой с нетерпением говорил:

- Это, наконец, скучно! Командир бригады - форменный остолоп; единственное достоинство, - что коммунист; а при отсутствии других достоинств это - недостаток. Обезоружить и сплавить махновцев удалось только благодаря тактичности и находчивости Храброва. С огромной инициативой, бешено храбр. Недаром солдаты прозвали его "Храбров". И командующий фронтом

тоже настаивает, чтоб отдать бригаду Храброву.

Крогер упрямо повторил:

- Он нас предаст.

- Данные?

- Если бы были данные, я бы его прямо расстрелял.

Леонид смеялся.

- У нас с вами - сказка про белого бычка!.. На то вы и политком, -

наблюдайте за ним.

- Я наблюдаю.

В воскресенье вечером Катя пошла с Верой к Корсаковым. Надежда Александровна встретила ее с ярко засветившимися прожекторами глаз и крепко расцеловала. Мужу своему она сказала:

- Вот, Михаил! Девушка, про которую я тебе рассказывала: голыми руками одолела вооруженного до зубов махновца. Достояна ордена Красного Знамени.

- Слышал, слышал... Мы ее назначим начальницей партизанского отряда. В тыл Деникину отправим, на Кубань... Юрка, хочешь к этой девушке в партизанский отряд поступить?

Мальчик, лениво жевавший ветчину, оглядел Катю и скептически протянул:

- Ну-у...

- Не годится?

Надежда Александровна засмеялась.

- Партизаны на машинах не ездят. А ему бы только на автомобиле кататься, - один интерес.

- Как это? Ты ведь коммунист, Юрка?

- Ну да.

- Так в порядке партийной дисциплины. Без разговоров.

- Ну-у!..

Звонок. Вкатился толстый человек.

- Товарищ Корсаков, на десять минут разговорцу!

Надежда Александровна возмутилась.

- Да что это, товарищ Климушкин! Ведь каждый день видите в ревкоме. Дайте человеку хоть в воскресенье поужинать спокойно.

- Ну, ну... Ваше превосходительство, не сердчайте. Пять минут всего.

Был он с живыми, умно-смеющимися глазами, с равномерной, пухлой полнотой, какую полнеют люди, сразу прекратившие привычную физическую

работу. Бритый, и только под носом рыжел маленький, смешной треугольничек волос. Катю покорило, что вошел он, не сняв фуражки.

Протянул руку Корсакову. Корсаков пожал, оглядел его и покачал головою.

- До чего его разносит! И чего ты такой толстый? Компрометируешь советскую власть. Как тебя на митинга выпускать?

- Чтой-то, брат, сам не пойму. Толстею не судом.

- Идите скорей, кончайте ваши дела.

- Ну, ну... В одну минуту!

Они ушли в кабинет. Поговорили. Климушкин ушел, не оставшись ужинать.

Надежда Александровна, смеясь, стала про него рассказывать. Бывший молотобоец, теперь комиссар юстиции. Работник удивительный. - Вот, действительно, толст неприлично, но даже и это у него как-то мило. Поразительная способность сразу схватить дело, сразу ориентироваться в нем и выдвинуть самое важное. Это, я заметила, специально - пролетарская черта. Интеллигент возьмется: что? как? да почему? А он по намеку ловит. И инстинктом берет правильную пролетарскую линию. Спецы-юрисконсульты из сил

выбиваются, чтоб оплести его буржуазною своей "законностью", а он ее рвет, как паутину, ни в чем не отклоняется от своего пути.

Корсаков лениво сказал:

- Сановничества много стало. Удивительно, как портит людей положение. С

Джигитской улицы пять минут ему ходьбы до ревкома, - ни за что не пойдет пешком, обязательно вызывает машину. Уж ниже его достоинства. Нет каких-то устоев.

Надежда Александровна враждебно взглянула и спросила с насмешкою:

- Как у вас, интеллигентов?

- А ты не интеллигентка?.. Да, у идейных интеллигентов. Эти как-то прочнее, не так легко голова кружится. Отдельные люди там, пожалуй, крепче и цельнее. Но средний тип, в массах, - менее устойчивы, легче злоупотребляют властью. С просителями грубы и презрительны, с ревизуемым сядут ужинать, от самогончику не откажутся... Ну, да пройдет со временем. Закваска, все-таки, прочная.

- Вот буржуазная психология! А я как раз заметила наоборот; именно интеллигенты при первой же возможности возвращаются к своим прежним барским привычкам... Да вот, ты же первый. Постоянно - то тебе невкусно за столом, того не хочется...

Корсаков зевнул и лег на короткий сундук около буфета, лицом кверху, ногами упираясь в пол.

- У старых работников это еще ничего, - школа есть, - сказал он. - А вот у новых, недавних, - черт их знает, на чем душу свою будут строить. Мы воспитание получали в тюрьмах, на каторге, под нагайками казаков. А теперешние? В реквизированных особняках, в автомобилях, в бесконтрольной власти над людьми...

Надежда Александровна вставила:

- В кровавых боях на фронтах...

- Да, в боях... Но нам не только защищаться, - ах, черт возьми, - нам нужно и созидать. Бои, это - пустышки. И быки испанские в боях великолепны, а социализма с ними не создашь.

Кате нравилось, что Корсаков говорит прямо, что думает, - не то, что Надежда Александровна или Вера. И когда говорилось так, без казенного самохвальства, с сознанием чудовищной огромности и трудности встающих задач,

ей приемлемее становились их стремления.

Надежда Александровна раздраженно возражала Корсакову - долго и убедительно. Он молча слушал, закрыв глаза, вытянув туловище на сундуке, запрокинув лицо к потолку. Катю поразило, какое его лицо усталое и бледное. Бородка торчала кверху, рот был полуоткрыт, как у мертвеца. Легкий храп забороздил воздух.

Надежда Александровна тихонько засмеялась.

- Смотрите, спит!

Вера шепнула:

- Как низко голова лежит. Подушку бы подложить.

- Нет, разбудим тогда.

Замолчали. От тишины Корсаков проснулся, быстро поднялся на сундуке и потряхнул головою. Взглянул на часы.

- Пора ехать.

- Куда еще?

- Военком просил на заседание. Вздремнул, теперь освежился.

И уехал. Надежда Александровна сказала:

- Теперь до поздней ночи. И потом до света будет сидеть в кабинете за бумагами. И так изо дня в день. Спит часа три-четыре. А сердце больное... Ну, а ты, партизан, иди-ка спать! - обратилась она к сыну.

Вера спросила:

- На скрипке он теперь продолжает играть?

- Где там! Со времени революции и в руки не брал.

- А помнишь в ссылке, в Верховенске? На именинах Хуторева. Белая ночь в раскрытые окна. И вы трио составили, - Engellied\*. Хуторев на гитаре вместо пианино, Михаил Тихонович на скрипке, а ты пела.

---

\* Ангельская песня (нем.). Имеется в виду "Серенада" Г. Браги.

Покойной ночи, мама!

Меня тот звук манит с собой...

Правда, ангельская песня! Как будто с неба звуки неслись. Петров сидел в уголке и вдруг захлопал. И я, - так глупо: реву, захлебываюсь; вышла из избы, чтобы вам не мешать. Бледные звезды на зеленоватом небе, черные сосны...

Ясные лучи ударили из зрачков Надежды Александровны.

- Да, бывают такие минуты. Вдруг все заполнится такую красотой, все вдруг станут такие близкие.

- А Хуторев сам. Помнишь, он тогда читал стихи. Мы собрались проститься с ним, пред его бегством. Я тогда в первый раз услышала эти стихи. Как к осужденному на смерть приходит священник и уговаривает его покаяться. Тот отвечает, что каяться ему не в чем. Священник настаивает. И вот осужденный в его присутствии начинает свое покаяние:

Прости, господь, что бедных и голодных

Я горячо, как братьев, полюбил!

Прости, господь, что вечное добро

Я не считал бессмысленною сказкой!..

Все замолчали. Вера из глубины души вдруг сказала:

- Как тогда было хорошо!

Надежда Александровна отозвалась:

- Хорошо!

Катя взволновано заглянула Вере в глаза.

- Да, Вера? Да? Правда? Правда, тогда лучше было? Лучше было в жалкой избенке, на опушке тайги, чем в этом дворце на берегу Крыма?

Вера виновато улыбнулась.

- Лучше.

Надежда Александровна засмеялась своим изнутри вырывающимся смехом.

- Дай бог, значит, чтобы Колчак с Деникиным победили и опять нас отправили туда! Только не отправят, - просто повесят.

Катя спросила:

- А удалось Хутореву этому бежать?

Надежда Александровна ответила:

- Да...

И тяжелое легло молчание. Катя пытливо заглядывала в не смотрящие на нее глаза.

- Ну? Ну? А дальше? Что с ним было дальше?

- В прошлом году расстрелян. За участие в мятеже левых эсеров.

Мириманов смотрел своими умными, смеющимися глазами и, покашливая, спрашивал Катю:

- Вот, вы видите с ними, имеете возможность их наблюдать. Замечают они хоть что-нибудь, что творится кругом, отдают себе в этом отчет? Магазины и базары закрыли, торговлю запретили, а сами выдают по полфунта невыпеченного хлеба. Как же, по их представлению, могут питаться люди, которые не получают комиссарских пайков?.. Сейчас в море пошла камса. Улов небывалый, - а рыбакам запрещено продавать рыбу в частные руки, - все полностью должны представлять в продовольственный комиссариат. Везде рыбные

инспектора, контролеры с воинскими отрядами. Привезли из уезда в продком полторы тысячи пудов рыбы, а соли не припасли. Вся рыба сгнила, теперь ее потихоньку закапывают в землю, чтобы не видел народ. А подходят все новые обозы. Что с ними делать, - не знают. Какая, подумаешь, мудреная загадка! Пятилетний ребенок ответит: продавать! Нет, нарушится принцип!.. Вы только подумайте: голод, разруха, каждый фунт пищи важен, - а они гноят тысячи пудов! И думают, что народ ничего не видит, что можно его накормить митинговой болтовней! Послушайте-ка, что народ говорит о них на базаре. Все поголовно против них, большевистский дурман рассеялся окончательно. Спасибо им! Сами поработали над этим успешнее самых ярых своих врагов.

Он улыбнулся и достал из жилетного кармана клочок бумажки.

- На днях у ихнего Маркса я прочел чудесную заметку, - как раз к современному положению. Послушайте: "Корабль, нагруженный глупцами, быть

может, и продержится некоторое время, предоставленный воле ветра, но будет неизбежно настигнут своею судьбою, именно потому, что глупцы об этом не думают". Только, - глупцы ли? Екатерина Ивановна, поверьте мне: это не глупость и не безумие. Это - сознательная дезорганизаторская работа по чьей-то сторонней указке.

Шмыгающей походкою шла по набережной женщина с воровато глядящими

исподлобья глазами, с жидкою шишечкою волос на макушке. Наклонилась, подняла

на панели дно разбитой бутылки с острыми зубцами, оглянулась настороженно и бросила через каменные перила в море.

Катя смотрела.

- Зачем вы это?

Женщина улыбнулась, и вдруг все ее лицо осветилось удивительно милою улыбкою.

- Наступит кто, - еще ногу себе напорет.

Так это по нынешнему времени показалось Кате необычным, - чтоб кто-нибудь подумал о других. Вечером она рассказала Вере. Вера рассмеялась.

- Как она выглядит? С крошечной пуговкой на макушке, ходит, как летучая мышь летит?

- Да, да!

- Это Настасья Петровна наша.

Вера рассказала: работница табачной фабрики, двое детей, муж пьяница, дрягиль, здоровенный мужик, жестоко бил ее и детей, пропивал не только свой, но и ее заработок. Сообщили им об этом в Женотдел, Вера пошла к ней, убедила подать прошение о разводе. Народный суд развел их, детей оставил ей, а его

выселил из квартиры вон, к его безмерному изумлению и ее столь же безмерной радости. Теперь она стала восторженной коммунисткой, - кто бы, - говорит, - стал раньше думать о моем горе, кто бы такие законы поставил? Вера взяла ее к себе в Женотдел.

- Ты, Катя, все вертишься в среде шипящих, и у тебя соответственный взгляд на все. Рабочей среды ты совсем не знаешь. Если бы ты подошла ближе, пригляделась бы, - сколько бы увидела прекрасного! Есть еще у нас в отделе одна татарка молодая, Мурэ. Как будто божественное откровение ее осенило и перевернуло всю жизнь. Великолепная вырабатывается агитаторша, татары в злобе, а татарки слушают, как посланницу с неба... Вот что. Завтра Настасья Петровна в первый раз делает работницам своей фабрики доклад о делегатском собрании, на которое она была ими делегирована. Хочешь, пойдешь?

- Хочу, конечно.

- Говорить она, вероятно, совсем не умеет, не знаю, как у нее выйдет.

Но все-таки помотришь всех.

Назавтра пошли. В конторе фабрики собралось работниц пятьдесят.

Настасья Петровна испуганно смотрела исподлобья бегающими глазами, краснела,

вдруг освещалась милою своею улыбкою.

Председательствовавшая Вера сказала:

- Ну, товарищ Синюшина, расскажите нам, что вы слышали на делегатском собрании.

- Ой, товарищ Сартанова, боюсь я! Как же это я? Я никогда доклада не делала.

- Вы и не делайте доклада. Просто расскажите товарищам, что там было.

Вы мне сказали, вам очень понравилась речь товарища Маргулиеса. Что он говорил?

- Уж не знаю, право, как...

Одна старая работница увещающе сказала:

- Что ты, Настя, право? Чай, тут все свои. Чего бояться?

Настасья Петровна покраснела, набралась духу.

- Ну, вот так. Говорил, что революция, - это все равно, как ребеночек.

Сперва-наперво - так, бог весть, что; не разберешь даже, то ли человек, то ли зверюшка какая. Вот, как выкидыши бывают. Все даже пугаются. А потом понемножку образуется. На свет родится, так уж видно всякому, что вправду маленький человек. Потом глазками начинает смотреть, сознательность приходит. Потом головку станет подымать, а там уж и ходить начнет. Вот все говорят: непорядки всякие, бестолочь, голод, ничего большевики не умеют наладить. Это все равно, что ребеночку новорожденному говорить: почему не ходишь?

- Ишь, хорошо как!

- Ведь верно, девушки!

Настасья Петровна воодушевилась.

- Все, говорит, помаленечку придет, нужно только всем стараться сообща.

Все ведь нужно совсем по-новому устраивать, никогда еще ни в каких странах этого не бывало, чтоб рабочие сами собой управлялись, разве легко с непривычки?

Вошел рабочий, поглядел с усмешечкой.

- Бабе собрание?

Вера сказала:

- Товарищ, уходите, пожалуйста, не мешайте.

- Я что ж? Я только послушать.



- Нет, нет, ступайте.

- Уходи, Шабров, чего тебе тут?

Он усмехнулся, ушел. Настасья Петровна поискала растерянные мысли, нашла и продолжала:

- Потом, значит, объяснил, что такое будут большевики, что такое разные другие. Большевики говорят: нужно нахрапом брать, иначе нельзя. Ну, правда, убивства, обиды всякие, а нужно сразу утвердить, чтоб никакого не было разговору. А другие, - уж как им прозвание, позабыла, - "предатели", что ли? - они, значит, всего опасаются: чтобы понемножку все, да чтобы кому не было обиды, да чтоб поладить со всеми, да чтоб буржуи не озлобились. А буржуазия пользуется, только и глядит, чтоб все назад отобрать, и о том не думает, чтоб нас не обидеть.

Работницы шумно и одушевленно обменивались впечатлениями.

- Уж вот хорошо ты, Настя, объяснила! Как на ладошке.

Вера, улыбаясь, сказала:

- Ну, видите, и доклад сделали, и ничего в этом нет страшного.

Настасья Петровна сияла улыбкою, оправляла растрепавшуюся на макушке шишечку и с гордостью повторяла:

- Я сейчас доклад делала.

Как кузнечики, стучали наперебой пишущие машинки. Тк-тк! Тк-тк-тк-тк!  
Дзинь! Трррр... Тк-тк-тк!

- Мой муж пропал без вести. Я вышла за другого.

- Да что вы? И давно пропал?

- Два месяца.

- Почему же вы думаете, что пропал?

- А писем не пишет.

Тк-тк! Тк-тк-тк!..

- Ну, а если вдруг воротится?

- Что ж мне было делать? Я молодая. Мне без мужчины скучно.

Крутился вихрь, - какая-то сумасшедшая смесь гордо провозглашаемых прав и небывалого унижения личности... Мелькали клочья растерзанных понятий о собственности, тени обесцененных человеческих жизней, осмеянные образы обезображенных христов и богородиц, призывы к братству и ненависти, обрывки разорванных брачных цепей, выброшенные яти и еры, спутавшиеся числа календарных стилей.

Иван Ильич стоял среди закоптелой своей кухонки, скрестив на груди руки, с презрительным лицом. Чадила копилка. Люди во френчах и матросских бушлатах перетряхивали тюфяки, поднимали половицы, складывали в портфель бумаги и письма. Прислонившись к плите, бледный Афанасий Ханов смотрел, не принимая участия в обыске.

Бритый человек с револьвером сказал:

- По предписанию чрезвычайной комиссии из Москвы вы арестованы, гражданин.

Иван Ильич ответил устало:

- И слава богу. Мне надоела ваша большая тюрьма. Ведите в малую.

В черной толпе вооруженных людей его повели через темный сад, среди благоухания белых акаций. Загромыхал по шоссе грузовик. Меж винтовок и солдатских фуражек затряслась на звездном небе широкополая шляпа Ивана Ильича. Анна Ивановна неподвижно стояла у раскрытой калитки и смотрела вслед.

Надежда Александровна, взволнованная, прибежала к Вере и сообщила об аресте Ивана Ильича. Глаза ее светились нежною ласкою и участием.

- По предписанию из Москвы. Михаил мне сейчас сказал по телефону. Сам только что узнал.

Вера, страшно бледная, молчала с неподвижным лицом. Катя рванулась: нужно было действовать. Надежда Александровна сказала:

- Приходите вечером. Михаил все узнает, расскажет.

Вечером они пошли. Корсаков развод руками.

- Ну, что тут можно сделать! "Вы агитировали против смертной казни?" - "Агитировал, и всегда буду агитировать".

Надежда Александровна нетерпеливо повела плечами.

- Какая окостенелость взглядов! Как он, право, не может понять!

Корсаков сказал Кате:

- Единственно, что могу сделать, это поместить его в возможно сносные условия. Велю дать вам свидание. Уговорите его, чтоб он, по крайней мере, держался не так вызывающе и презрительно. Сам себе подписывает приговор. Время сейчас грозное.

В том же особняке, куда Катю водили на допрос, где она сидела в подвале, ей дали свидание с отцом. Ввели Ивана Ильича в комнату и оставили их одних. В раскрытые окна несло просторным запахом моря и водорослей, лиловые гроздья глициний, свешиваясь с мрамора оконных притолок, четко вылеплялись на горячей сини неба.

Иван Ильич с суровыми глазами говорил:

- Вы все, нынешние, даже самые хорошие, так привыкли к постоянным компромиссам с совестью, что у нас уже почти нет общего языка.

- Да нет, папа, погоди! При чем компромисс? Не задирай их только.

- Катя! Меня спрашивают: "Вы против смертных казней, производимых советскою властью?" А я буду вилять, уклоняться от ответа? Это ты называешь - не задирай!.. Я тут всего третий день. И столько насмотрелся, что стыдно становится жить. Да, Катя, стыдно жить становится!.. Каждый день по несколько человек уводят на расстрел, большинство совершенно даже не знает, в чем их вина. А Вера с ними, а ты водишь с ними компанию...

Когда свидание кончилось, Иван Ильич обнял Катю, поцеловал и сказал:

- Катя, я тебя прошу: не ходи ко мне больше на свидания. Мне с тобою тяжело.

- Спички шведские, головки советские! Пять минут вонь, потом огонь!

- Друзья, друзья! А что же хлеба не покупаете? Не забывайте! Вот хлеб свежий!

- Сколько-о? С ума сошел!..

Налетала милиция, торговцы, оглядываясь, бежали с лотками, рысью катили тележки, вскачь уносились на грохочущих телегах. Продавцов и покупателей

вели под конвоем в милицию, конфисковали товар.

Все равно, что гроза налетевшая. Или наводнение. Непонятное, но неотвратимое. А через полчаса опять:

- Спички шведские...

- Креста нету на тебе! Сто рублей картошка!

- Бери, гражданин, не ходи дальше! Дешевле нигде не найдешь.

Воротишься, - за эту цену не отдам.

Средь пыли и солнца, средь базарных выкриков и поросычьего визга - странная, долгая трель:

- А-а-а-а...

- Вот любительский табачок! Покуривай, мужичок!

A-a-ah!.. E strano poter il viso suo veder!

Ah!.. Mi posso guardar, mi posso rimirar...

Di', sei tu? Marguerita! Di', sei tu?..\*

---

\* А-а-ах!.. Странно смотреть на себя!

Ах!.. Могу взглянуть на себя и любоваться собой...

Ты ли это? Маргарита! Ты ли это?.. (итал.) - фрагмент арии Маргариты из оперы Ш.Гуно "Фауст".

Старая женщина в отрепанном пальто, в деревянных сандалиях, пела, высоко подняв голову, мучительно-стыдящимися глазами глядя поверх толпы. Видно, была красавица, чувствовался хороший когда-то голос и хорошая школа. И вдруг Катя узнала: жена бывшего городского головы Гавриленки, которых тогда выселили от Миримановых.

Катя съежилась, - не глядя, сунула ей в руку все деньги, какие были, и побежала прочь.

В горах, в недоступных лесных чащах, скрывались зеленые. Они перехватывали продовольственные обозы, обстреливали из засады проезжающие автомобили. По вечерам делали налеты на поселки и деревни, забирали припасы, бросали на дорогах изрешеченные пулями трупы захваченных комиссаров. Между тем войск на фронте было мало, снимать их на борьбу с партизанами было невозможно.

Везде чувствовалась организованная, предательская работа. Два раза загадочно загоралось близ артиллерийских складов. На баштанах около железнодорожного пути арестовали поденщика; руки у него были в мозолях, но забредший железнодорожный ремонтный рабочий заметил, что он перед едою моет

руки, и это выдало его. Оказался офицер. Расстреляли. Однако через пять дней, на утренней заре, был взорван железнодорожный мост на семнадцатой версте.

Надежда Александровна зашла к Вере переговорить об устройстве дня работниц. (Она заведовала отделом агитпропаганды). Потом пили чай. Надежда Александровна взволнованно говорила:

- Весь наш Особый Отдел нужно бы расстрелять. Вялый, никакой инициативы. Арестовывает случайно попавшихся, но совершенно не умеет поставить широкой разведывательной работы. Теперь, впрочем, все переменится. Скоро приезжает Воронько.

Катя ахнула.

- Воронько?! Тот, знаменитый?

- Да.

- Г-господи, какой ужас!

Надежда Александровна удивленно взглянула на Катю. Вера была бледна.

- Почему ужас?

- Этот зверь?.. И тут польется кровь реками, как на Подолии, на Киевщине!

Надежда Александровна веско и раздельно сказала:

- Это один из самых прекрасных и самых замечательных людей, каких я когда-нибудь встречала... Вот белогвардейская оценка! - Она засмеялась и обратилась к Вере: - Ты знаешь, недавно в заграничных газетах был помещен его портрет с подписью: "Начальник Ч.К.Воронько, палач Украины". Если бы увидели его, - хорош палач!

Катя враждебно возразила:

- Для вас он, конечно, не палач. Вот если бы он ваших отцов и детей отправлял на расстрел, вы бы другими глазами смотрели... Ну, скажите мне: сама вы, - такая, какая вы есть, - пошли бы вы в чрезвычайку?

Надежда Александровна в изумлении глядела на Катю.

- Конечно! Какой тут может быть разговор!.. Нет, положительно, нужно бы всем коммунистам по очереди работать в чрезвычайных комиссиях, чтобы все видели, как мы относимся к этой работе.

- И вы не знаете, - скажите, что, правда, не знаете, - какие сладострастные убийцы-садисты вырабатываются в ваших чрезвычайках. Вон, рассказывают про здешнего особника, Белянкина... А был, наверно, хорошим рабочим.

Глаза Надежды Александровны стали очень маленькими, темными и колючими.

- Да, бывают, я это хорошо знаю. Но только, - уж извините, не из рабочих. В Курске, пред нашим отъездом сюда, Михаил хотел освободить одного арестованного, - никаких данных против него. А чекист, потрясая руками: "они всю жизнь нас давили, расстреливали нашего брата-рабочего. И его расстрелять!" Михаилу он показался подозрительным. Велел навести справки. Оказалось, - бывший жандармский офицер. Расстреляли.

Когда Надежда Александровна ушла, Катя сказала, мрачно глядя в окно:

- Если я случайно где-нибудь с этим Воронько встречу, я ему не подам руки!

На скамейке под окном, облокотившись о спинку, неподвижно сидел Мириманов и как будто дремал.

С Надеждой Александровной при каждой новой встрече отношения Кати портились все больше. Надежда Александровна не могла с нею говорить без раздражения. Вопросы, которые Катя ставила с обычною своею прямою, были для Надежды Александровны, как докучливо-нудное жужжание мухи, бьющейся в пыльной паутине.

Катя заметила: все человечество резко делилось для нее на три расы. Первая - пролетариат; это была божественно-лучезарная и божественно-безупречная порода людей, полная мощи, благородства и вещаго понимания жизни. Вторая - люди ее партии: тесная семья дорогих товарищей, занятых важным, единственно нужным для жизни делом. И третья - все остальное: злобно-хлюпающая слякоть, только и думающая, чтобы залить свою

зловонною жижею светлое пламя революции. Насколько было возможно, она сторонилась их с брезгливым чувством. Все их слова и дела были для нее сознательной ложью, саботажем и подкопом под революцию.

В революцию она была влюблена, как иная жена бывает влюблена в своего мужа: в нем все хорошо, у него не может быть ошибок и недостатков, малейший отрицательный отзыв о нем воспринимается ею, как обжигающее душу оскорбление.

Катя говорила ей:

- Смотрите, все кругом рассказывают: ваш жилищный отдел, - это сплошное гнездо взяточников, за деньги можно получить какую угодно квартиру, без взятки никогда не получишь ничего.

Острые гвозди маленьких глазок злобно устремлялись на Катю.

- Докажите!

И странно было: черные эти гвоздики, - неужели это те же огромные окна, из которых, как из прожекторов, лились снопы такого чудесного света?

- Надежда Александровна, как же это может доказать частный человек? А для власти, если только она захочет исследовать, это не составит никакого труда.

- Извините, Катерина Ивановна. Власти некогда заниматься обывательскими сплетнями.

А Корсаков, ее муж, Кате нравился все больше. Он ясно видел всю творившуюся бестолочь, жестокость, невозможность справиться с чудовищными

злоупотреблениями и некультурностью носителей власти. В официальных выступлениях держался, как будто ничего этого нет, но в частных разговорах откровенно признавал все. Он крепко верил в конечную цель, в общую правильность намеченного пути, но это не мешало ему признавать, что путь идет через густейшую чашу стихийных нелепостей и самых ребяческих ошибок.

Когда Катя говорила с Надеждой Александровной или когда читала газеты, у нее было впечатление: пришли, похваляясь, самонадеянные, тупые, не видящие живой жизни люди, разжигают в массах самые темные инстинкты и, опираясь на них, пытаются строить жизнь по своим сумасшедшим схемам, а к этим людям со всех сторон спешат примазаться ловкие пройдохи, думающие только о власти и своих выгодах.

Когда Катя разговаривала с Корсаковым, ей представлялась картина: хрупкая ладья несется по течению в бешеном, стихийном потоке, среди шипящей пены и острых порогов, а сидящие в ладье со смертельными усилиями только следят, чтобы ладья не опрокинулась, не дала течи, не налетела на подводную скалу. И верят, что, в конце концов, выплывут на широкую, светлую реку. А толчки, перекатывающиеся волны, треск бортов, - все это было естественно и неизбежно.

С Корсаковым у Надежды Александровны были постоянные столкновения. Корсаков говорил, устало потягиваясь и потирая ладони меж сжатых колен:

- Нелепость очевидная: с нашей неорганизованностью мы совершенно не в силах держать в своих руках все производство и всю торговлю. На дворах заводов образовались кладбища национализированных машин, - ржавеют под дождем,

расхищаются. Частная торговля просачивается через все поры...

Надежда Александровна ядовито возражала:

- Значит, опять разрешить частную торговлю, вернуть фабрики хозяевам?

- Да, что-то тут нужно сделать... Рано или поздно придется ввести

какие-то коррективы.

Надежда Александровна в негодовании вскакивала из-за стола.

- И это говорит коммунист! Положительно, таких людей надо бы выбрасывать из партии и расстреливать!

Корсаков посмеивался.

- И даже расстреливать?

- Да, и расстреливать.

Два раза Анна Ивановна приезжала на свидание с Иваном Ильичом. А потом произошло вот что.

Восемь солдат проходило через Арматлук. Узнали они, что есть склад вина, дали в зубы охранявшему склад милиционеру-почтальону, прикладами сбили

замок, добыли вина и стали на горке пить. Подпили. Остановили проезжавшую по шоссе порожнюю линейку и велели извозчику-греку катать их. Все восьмеро взвалились на линейку и в сумерках долго носились вскачь по улицам дачного поселка с гиканьем и песнями. А потом стали стрелять в цель по собакам на дворах. Пьяные заснули в степи за поселком. Грек уехал.

А утром Люба, дочь соседнего сторожа, увидела на дворе Сартановской дачи, перед свиною закуткою, труп Анны Ивановны. Около нее лежала миска с разлившимся хлебовом для поросенка. В левом боку была пулевая рана.

Дали по телефону знать в город, на следующий день приехали Катя с Верой. Смотрели они на спокойное, прекрасное в смерти лицо матери, - странное без круглых очков, такое милое и невозвратное. И горько плакали, и с ужасом думали, что будет с отцом, когда он узнает. Видела Катя арестованных солдат, бледных от похмелья и испуга, - испуга только за себя, а не за сделанное. Их гнали в город на расстрел. И все это было ненужно, и кому от этого стало бы легче? Во рту как будто был тошнотный вкус крови, а в душе - тупой ужас пред жизнью.

За время, пока дача была без призора, исчез поросенок, раскрави кур. В кухне высадили окно, выломали из печки духовку и бак.

Гостей собралось много. Было сегодня рождение Корсакова, кстати воскресенье, и все обрадовались случаю передохнуть от чудовищной работы, беззаботно поприрадовать.

Белозеров, в заношенной куртке защитного цвета, положил ладонь на рояль, лицо его стало серьезно и строго. Разговоры затихли. Он дал знак аккомпаниатору.

Перед воеводой молча он стоит.  
Голову потупил, сумрачно глядит.  
С плеч могучих сняли бархатный кафтан,  
Кровь струится тихо из широких ран,  
Скован по рукам он, скован по ногам...

Как всегда, когда Катя слушала Белозерова, ее поразила колдовская сила, преображающая художника в минуты творчества. Мрачно-насмешливый взгляд исподлобья, дикая энергия, кроваво-веселая игра и чужими жизнями, и своею. Все муки, все пытки - за один торжествующий удар в душу победителя-врага.

А еще певал я в домике твоём;  
Запивал я песни все твоим вином;  
Заедал я чарку хозяйскою едой;  
Целовался сладко - да с твоей женой!!.

Где в своей душе берет он все, - этот дрянной человечешко с угодливою, мещански приобретательскою натурою? Как может лупоглазый кролик преобразаться в самого подлинного тигра?.. Даже не посмел надеть своего смокинга, - к приходу большевиков нарочно раздобыл эту демократическую куртку.

На цыпочках вошел в залу седоватый человек в золотых очках. Корсаков приветливо кивнул ему головою. Он огляделся и тихонько сел на свободный стул подле Кати.

Белозерову хлопали восторженно, он еще пел. "Нас венчали не в церкви", "Не шуми ты, мать-дубравушка". Кате стало смешно: песни всё были разбойничьи; очевидно, - самый, думает, подходящий репертуар для теперешних его слушателей.

Корсаков лениво сказал:

- Спойте: "В двенадцать часов по ночам встает император из гроба".

Белозеров недоуменно взглянул и ответил с сожалением:

- Я этих нот не захватил.

Вдруг электричество мигнуло и разом во всех лампочках погасло. Из темноты выскочили лунно-голубые четырехугольники окон.

- Пробка перегорела.

- Нет, во всем городе темнота.

- Дежурный у доски заснул на станции. Сейчас опять зажжется.

Но не зажигалось. Электричество вообще работало капризно. Надежда Александровна пошла раздобывать свечей. Гости разговаривали и пересмеивались в темноте.

Искусственно-глубоким басом кто-то сказал:

- Товарища Корсакова в круг! Советский анекдотик!

Все засмеялись, подхватили, стали вызывать.

Корсаков помолчал и спросил:

- "Путешествие русского за границу" - не слышали?

- Нет. Валяйте.

Прежний бас:

- Вонмем!

Корсаков стал рассказывать.

- Гражданин Советской республики, отстояв тридцать семь очередей, получил заграничный паспорт и поехал в Берлин. На пограничной немецкой станции получил билет, - бегом на запасный путь, где формировался поезд, и с чемоданчиком своим на крышу вагона. Подали поезд к перрону. Кондуктор смотрит: "Господин, вы что там? Слезайте!" - "Ничего, товарищ, я так всегда езжу, я привык!" - "У нас так нельзя, идите в вагон". - "Видите ли, товарищ, у меня нет права на проезд ни в штабном поезде, ни в поезде В.Ч.К." - "Да билет-то есть у вас?" - "Вот он, вот он, билет". - "Так идите в вагон". Гражданин почесал за ухом, слез, вошел в вагон, - пулею в уборную и заперся. Стучатся. "Некуда, некуда, товарищ! Тут двадцать человек сидит!" Поезд пошел, пассажиры толкаются в уборную, - заперто. Пришел кондуктор. "Эй, мейн герр\*! Вы там долго будете сидеть?" - "До Берлина!" - "До Берлина? Вот странная болезнь!"

---

\* господин (от нем. mein Herr).

Сидевший рядом с Катей господин прыснул от смеха.

- Кондуктор отпер дверь своим ключом. "Так, господин, нельзя. Иногда уступайте место и другим".

Рассказал Корсаков, как обыватель приехал в Берлин, как напрасно разыскивал Жилотдел, как приехал в гостиницу. Таинственно отзывает швейцара. - "Дело, товарищ, вот в чем: мне нужно переночевать. Так, где-нибудь! Я не прихотлив. Вот, хоть здесь, под лестницей, куда сор заматают. Я вам за это заплачу двести марок". - "Да пожалуйста в номер. У нас самый лучший номер стоит семьдесят марок". - "Суть, видите ли, в том, что я поздно приехал, Жилотдел был уже заперт, и у меня нет ордера..."

После многих приключений в Берлине, обывателя в конце концов посадили в железную клетку и над нею написали:

Р.С.Ф.С.Р.

(редкий случай феноменального сумасшествия расы)

Вошла Надежда Александровна с двумя зажженными кухонными лампочками и раздраженно сказала:

- Все с белогвардейскими своими анекдотами!

Толстый Климушкин закатило хохотал. Господин рядом с Катей смеялся детским, неостанавливающимся смехом, каким смеются серьезные люди, у себя не

имеющие смешного. Надежда Александровна с упреком взглянула на него.

- И вы тоже!

Господин вытирал под очками слезы.

- Очень, очень остроумно!

Он понравился Кате, она с ним заговорила. Серьезно и хорошо он отвечал на такие вопросы, на которые другие либо раздражались, либо отвечали задирающе-насмешливо.

Он говорил, выпуская сквозь усы дым из трубки:

- ...Это с самого начала можно было предвидеть, и логика вещей, естественно, привела к этому. Только подумать, - в свое время у нас в руках находились и Краснов, и Деникин, и Корнилов. Краснов, арестованный, был у нас в Смольном, - и его отпустили на свободу под честное слово, что не пойдет против нас. И сколько потом понапрасну пролилось из-за этого рабочей крови!.. Враги внутри еще страшнее. Принимают лояльный вид, а тайно саботируют всякое наше начинание, дезорганизуют все, что могут, и в критический момент перебрасываются к нашим врагам.

В полумраке Катя видела серьезные глаза под высоким и очень крутым лбом, поблескивала золотая оправа очков, седоватые усы были в середине желто-рыжие от табачного дыма. Обычного вида интеллигент, только держался он странно прямо, совсем не сутулясь.

Катя сказала:

- Ну, хорошо. Это бы все еще можно, - если не принять, то понять. Но ведь арестовывают и уничтожают часто совершенно невинных, по одному подозрению, даже без всякого подозрения, просто так.

- Бесспорно. Но тут лучше погубить десять невинных, чем упустить одного



виновного. А главное, - важна эта атмосфера ужаса, грозящая ответственность за самое отдаленное касательство. Это и есть террор... Бесследное исчезновение в подвалах, без эффектных публичных казней и торжественных последних слов. Не бояться этого всего способны только идейные, непреклонные люди, а таких среди наших врагов очень мало. Без массы же они бессильны. А обывательская масса при таких условиях не посмеет даже шевельнуться, будет бояться навлечь на себя даже неосновательное подозрение.

Со смутным ужасом Катя глядела в поблескивавшие в полумраке очки над нависшим лбом. А собеседнику ее она, видимо, нравилась, - нравились ее жадные к правде глаза, безоглядная страстность искания в голосе. Он говорил - хорошим, серьезным тоном старшего товарища:

- В тех невиданно трудных условиях, в которых революция борется за свое существование, это единственный путь. Путь страшный, работа тяжелая. Нужен совсем особый склад характера: чтоб спокойно, без надсады, идти через все, не сойти с ума, - и чтоб не опьяняться кровью, властью, бесконтрольностью. И обычно, к сожалению, так большинство и кончает: либо сходят с ума, либо рано-поздно сами попадают под расстрел.

Катя тряхнула головою, чтобы сбросить наваливавшуюся тяжесть.

- Ах, нет!.. Господи! Вот я чего не понимаю. Я слышу по голосу, я вижу, - вы идейный, убежденный человек. И вот - вы, Надежда Александровна, Седой... Вы все так легко об этом говорите, потому что для вас это теория; делается это где-то там, вне поля вашей деятельности. Ну, скажите, - ну, если бы вам, самому вам, пришлось бы... Как ваша фамилия?

- Воронько.

Катя отшатнулась.

- Во... Воронько?!

- Да.

Как ребенок, Катя в ужаснувшемся изумлении раскрыла рот и неподвижно глядела на Воронько.

Он улыбнулся про себя.

- Вы думали, - у меня не только руки, но даже губы в крови?

Катя молча продолжала смотреть. Обычное лицо русского интеллигента вдруг стало таинственно-страшным, единственным в своей небывалости. Она растерянно сказала:

- Я ничего не понимаю...

Подошел Корсаков и заговорил с Воронько.

Шумно ужинали, смеялись. Пили пиво и коньяк. Воронько молчаливо сидел, - прямой, с серьезными, глядящими в себя глазами, с нависшим на очки крутым лбом. Такая обычная, седенькая, слегка растрепанная борода... Сколько сотен, может быть, тысяч жизней на его совести! А все так просто, по-товарищески, разговаривают с ним, и он смотрит так спокойно... Катя искала в этих глазах за очками скрытой, сладострастной жестокости, - не было. Не было и "великой тайной грусти".

Дома Катя ушла одна в сад. Верхушки кипарисов и пирамидальных акаций острыми языками черного пламени тянулись к ярким звездам, дрожавшим мелкою дрожью.

Это спокойствие и бессмущаемость перед тем, что он делает... И ведь, может быть, у него где-то в России есть дети, он их ласкает. Что это? Что это? Как ни старалась, она не могла соединить своего впечатления от него с тем, что о нем знала. И теперь она готова была считать вероятным, что про

него с обычным своим умилением рассказывала Надежда Александровна, - что он

живет бедняком и аскетом, обедает вместе с солдатами своей чеки, личной жизни совсем не знает. Перед революцией он пять лет провел в каторжной тюрьме.

Но как, - как может быть он таким? Катя быстро ходила по дорожкам сада, сжав ладонями щеки и глядя вверх, на дрожавшие меж черных ветвей огромные звезды.

И вдруг Кате пришла мысль: мораль, всякая мораль, в самых глубоких ее устоях, - не есть ли она нечто временное, служебное, - совсем то же, что, например, гипотеза в науке? Перестала служить для жизни, как ее кто понимает, - и вон ее! Вон все, что раньше казалось незыблемым, без чего человек не был человеком?

В сущности, и до сих пор, - разве это всегда не было так? Вот, совсем недавно. Заманить тысячи людей в засаду и, не сморгнув, перебить их из дальнобойных орудий. Двинуть на окопы неожиданные, неведомые врагу танки и,

как косилкою, начисто выкосить людскую ниву пулеметами. Возмущаться ядовитыми газами, а потом сказать: "Вы так, - ну, и мы так!" И возвращаться в орденах, слышать восторженные приветственные клики, видеть свои портреты в газетах, считать себя героем, исключительно хорошим человеком. Держать на коленях сына, смотреть в его восторженные глаза и рассказывать о своих злодействах. К этому привыкли, так делают все. И человеку поэтому не стыдно. Только поэтому?

Утром, лежа в постели, Катя сказала Вере:

- Папу освободят, я теперь убеждена. Я сегодня пойду к Вороньке.

Вера, с неподвижным лицом, повела головою и глухо ответила:

- Он не освободит.

- Освободит, увидишь. Страшно иметь дело с Искандерами, с Белянкиными.

А Воронько поймет, что папа за человек. С ним можно говорить человеческим языком.

Пошла. Трудно было добиться свидания. Воронько никаких посетителей лично не принимал. Но Катя сумела проникнуть к нему.

Воронько внимательно выслушал.

- Нет. Он закоренелый контрреволюционер, освободить нельзя. Мы имеем сведения от местных рабочих, что он при белых энергично агитировал против советской власти.

Катя изумилась.

- От местных рабочих? Каких рабочих?

И вдруг вспомнила: наверно, Тимофей Глухарь, который чинил у них крышу.

- Впрочем, если ваш батюшка согласится дать подписку, что не будет агитировать против смертной казни и советской власти, и если за него поручатся в этом отношении ваша сестра и товарищ Седой, - я его освобожу.

И в спокойных, невраждебных глазах его за золотыми очками Катя увидела, что решений своих этот человек не меняет. Она сказала упавшим голосом:

- Он такой подписки не даст.

- Я знаю. Я ему уж предлагал.

- Товарищ Воронько! - Голос Кати зазвенел. - Вы отлично понимаете, что папа не контрреволюционер, а самый настоящий революционер, что он восстает не против революции, а только против ваших методов.

- Важны не его взгляды на революцию, а его действия.

- Господи! Что ж вы с ним сделаете?

Воронько глядел так же серьезно и бесстрастно, только чаще, чем нужно, совал в рот мундштук трубки и сжатыми губами пропускал дым сквозь закопченные усы.

- Если тут все будет благополучно, и сообщение наладится, отправим в Москву... Вот, товарищ Сарганова, все, что могу вам сказать.

И он указал на плакат:

Не задерживайте лишними разговорами.

Кончив свое дело, уходите.

Катя открыла было рот, - сжала зубы, пошла к двери. Нечаянно наткнулась плечом на косяк. Вышла.

По коридору навстречу вели под конвоем арестованного. Катя рассеянно взглянула, прошла мимо. И вдруг остановилась. До сознания дошло отпечатавшееся в глазах горбоносое лицо с большим, извивающимся ртом, с выкатившимися белками глаз, в которых был животный ужас... Зайдберг! Начальник Жилотдела, который тогда Катю отправил в подвал. Она глядела вслед. Его ввели в кабинет Вороньки.

Давно-давно уже не было спокойного сна и светлых снов. Тяжелые кошмары приходили по ночам и давили Кате грудь, и душной подушкой наваливались на лицо.

Матрос с тесаком бросался на толстого буржуя без лица и, присев на корточки, тукал его по голове, и он рассыпался лучинками. Надежда Александровна, сияя лучемерными прожекторами глаз, быстро и однообразно твердила: "Расстрелять! Расстрелять!" Лежал, раскинув руки, задушенный генерал, и это был вовсе не генерал, а мама, со спокойным, странным без очков лицом. И молодая женщина с накрашенными губами тянула в нос: "Мой муж

пропал без вести, - уж два месяца от него нет писем".

Катя очнулась и быстро села на постели. Сердце стучало тяжелыми, медленными толчками. За незавешенными окнами чуть брезжил туманный рассвет.

Глухо, таинственно и грустно в монастыре на горе ударил колокол. Еще удар и еще, - мерно один за другим. Сосредоточенно гудя, звуки медленно плыли сквозь серую муть. И были в них что-то важное, организующее. И умершее. И чувствовалось, - ничего уж они теперь не могут организовать. И серый, мутный хаос вокруг, и нет оформливающей силы.

Вера во сне стонала, потом вдруг заплакала протяжно, всхлипываяще. Вздогнула и замолчала, и закутала одеялом голову. Должно быть, проснулась от собственного плача.

Катя тихонько позвала:

- Вера!

Не откликнулась. И грустно, уединенно звучал в тумане далекий колокол.

Надежда Александровна встретила Катю словами:

- Ну, Екатерина Ивановна, радуйтесь! Вы оказались правы. В Жилотделе раскрылись злоупотребления чудовищные, взятки брали все, кому не лень.

Сегодня утром, по приказу Вороньки, расстреляли весь Жилотдел в полном составе. Ордера аннулированы, назначена общая их проверка.

Катя натопорщилась, как еж.

- Чего ж мне радоваться? Когда власть бесконтрольна, когда некому жаловаться, и никто не знает своих прав, - всякие другие будут такими же.

Звонок. Быстрыми шагами вошел в столовую человек в защитной куртке. Не здороваясь, хлопнул ладонью по скатерти, оглядел стол.

- Самовар? Хорошо. Сыр? Масло? Больше ничего не надо. Коньяк есть?

Надежда Александровна засмеялась.

- Кажется, есть. Посмотрю в буфете.

- Великолепно. На стол! Лорд-мэр дома?

- У себя в кабинете.

- Очень хорошо. Четверть часа разговору. Потом сюда к вам. Через полчаса в уезд... Тук-тук!

Он исчез в дверях кабинета. Надежда Александровна, смеясь, переглядывалась с Верой.

- Так всегда. Как вихрь. Три дня назад приехал из Симферополя, - и все в Продотделе закрутилось и закипело. Вот увидишь, неделя всего пройдет, - и вагоны хлеба вырастут, как из земли.

Катя спросила:

- Кто это?

- Губпродком, комиссар продовольствия. Колесников. Удивительный человек. Вот энергия! Всегда на ходу. Когда спит, - никто не знает. Весь живет в деле. Понимаете, как будто все время пьян своим делом.

Вера сдержанно заметила:

- Да, энергичный. Я с ним зимой работала в Тамбовской губернии. Только не нравится он мне. Жестокий невероятно. Мужиков десятками расстреливал. И так равнодушно, деловито, - как будто баранов.

Надежда Александровна выставляла из буфета коньяк, холодное мясо, винегрет.

- А зато его уезд по количеству представленного хлеба оказался первым в России.

- Да... А все-таки... И себе самому ни в чем не отказывает. И коньяк у него всегда, и всего вдоволь. Совестно было приходиться к нему. И потом: через каждые полгода новая жена.

- Конечно, это всё... Но я не знаю. Сколько гляжу, - все больше убеждаюсь, что общественная нравственность и нравственность личная очень редко совпадают. По-видимому, это - две совершенно различные области. И как бы он мог так работать, если бы ел хлеб с соломой? А потом, - если нужно, то он может и целыми днями ничего не есть, спать под кустом на дожде.

Вошли Колесников и Корсаков, продолжая разговаривать. Колесников быстро сел, взял бутылку с коньяком, посмотрел на этикетку.

- Мартель, три звездочки. Очень хорошо.

Налил большую рюмку, выпил и жадно стал есть. И еще выпил. Корсаков пить отказался. Из желтой склянки он зачерпнул ложечку белых крупинок и проглотил.

- Что это?

- Глицерофосфат.

- Чтоб умным быть?

- Да.

- Помогает. В прошлом году сахару не было, я с глицерофосфатом чай пил. Так все на улицах пугались, - до того было умное лицо!

Надежда Александровна сияющими глазами смотрела и смеялась, радуясь на него. В раскрытых окнах было темно, и поблескивали молнии.

- Поскорее прекратил. А то еще за интеллигента российского примут.

Катя встрепелась.

- А что же бы тут было плохого, если бы приняли за интеллигента?

Колесников стал ругать интеллигенцию. Катя сцепилась с ним. Как можно так относиться к интеллигенции! Ее обратили в каких-то париев, она погибает от голода и холода, - погибает вся умственная сила страны. Недавно профессор Дмитревский получил из Петербурга письмо. Знаменитый историк, академик Зябрев, чтоб не умереть с голоду, продал всю свою библиотеку за два пуда муки. Воротился домой, увидел пустые библиотечные полки - и повесился тут же в кабинете... И моральный уровень нашей революции так низок, так мало в ней благородства именно потому, что она оттолкнула от себя интеллигенцию.

Надежда Александровна скучливо поморщилась.

- Господи! Эти интеллигентские разговоры без конца!

Колесников смеющимися глазами с любопытством оглядел Катю: как, мол, сюда такая залетела? Он налил еще рюмку, выпил.

- Ну, барышня, давайте языками потрепем. Для дивертисменту. Что за моральный уровень такой у интеллигенции вашей? Прогнившая труха, а не уровень. Старые заслюнявленные словца. В помойку выкинуть эти окурки. Чистота души. На кой она кому нужна? Любовь к страждущим братьям... Чепуха! Долг народу... Ч-чепуха! Сочувствие народное, "глас народный". Наплевать!

- И на сочувствие народное?!

- Наплевать!

- И на сочувствие рабочих?

- Если за нами не идут, - наплевать! И их устраним. Заставим идти за собою. Не доросли, линии не видят, а нам из-за того на месте топтаться? Давать им разводиться меньшевистскую слякоть?

Он протянул руку к бутылке. Надежда Александровна придержала бутылку.

- Смотрите: гроза, дождь так и льет. Вы все-таки хотите ехать?

- Через две минуты.

- Тогда не дам вам больше пить.

Он ладонью отрезал бутылку от Надежды Александровны.

- Никогда не бываю пьян. Когда до грозящей точки, - противно становится вино.

Выпил рюмку.

- Вот, барышня хорошая. Усвойте. Интеллигенция ваша нам ни к чему. Только две нужны категории: бывшие кадровые офицеры, - боевики, фронтовики, вот с этим! - Он потряс сжатым кулаком. - Да еще инженеры. Не ваши интеллигенты мягкие, а инженеры американского типа, чтобы умели дело делать, не сантименты разводиться. А до профессорских штанов нам нет дела.

- Каких штанов?

- Ну, книг, что ли!

Он встал.

- Еду! - Подошел к буфету, открыл. - Ого! Еще целая бутылка коньяку.

Реквизирую.

Лил южный дождь, грохотал гром. В бурную темноту уносился ухающий стон автомобильной сирены.

## ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Медленно извиваясь, по городу расползались глухие слухи. Замирали на время, приникали к земле - и опять поднимали голову, и ползли быстрее, смелее, будя тревогу в одних, надежду - в других.

Рассказывали: на севере Петроград в руках Юденича, и он уже подходит к Твери; добровольцы взяли Синельниково и Харьков; махновцы перешли на сторону

Деникина. Советские газеты сообщали, что Деникин овладел Донецким бассейном.

Военный комиссар Ворошилов докладывал на съезде, что разбойничьи банды Григорьева рассеяны по лесам, но "идейное кулацкое ядро" кристаллизуется и представляет серьезную опасность. Передавали, что григорьевцы вовсе не рассеяны, - напротив: Григорьев идет к Перекопу на соединение с Махно, его лозунги: власть свободно избранным советам, отмена хлебной монополии и коммун, истребление евреев. Посланные навстречу красные войска перешли на его сторону. Советская власть в панике, на фронте полный развал, дисциплины никакой, солдаты пьянствуют и дезертируют.

Катя встретила на улице певца Белозерова.

- Владимир Иванович, вы слышали? Говорят, дела большевиков плоховаты.

- И вы верите! Какой вздор! И кто эти слухи распространяет! Сейчас мне это самое говорил и Семенов, член коллегии земотдела. Буду сегодня в ревкоме, спрошу тамошних моих приятелей.

Возвращаясь со службы, Катя опять встретила Белозерова. Он шел, обняв каждую рукою по десятифунтовой банке, - одну с медом, другую с абрикосовым вареньем; через плечо висел окорок. Катя рассмеялась.

- Что это у вас?

- Сегодня утром на вилле Бенардаки открыли две замурованные комнаты. Полны были золотой и серебряной посудой, мануфактурой, всевозможными припасами. Садовник донес. Вот, снабдили меня в ревкоме.

- А что вам сказали насчет общего положения дел?

- Вздор, конечно. Я так и думал. Работа провокаторов. Дела великолепны. Спросили меня: "Кто эти слухи распространяет?". Я сказал про Семенова. "Как фамилия? Семенов? А вот мы его запишем и покорнейше попросим!"

- Да неужели вы назвали фамилию?

Белозеров удивился.

- А что?

- Владимир Иванович, ведь это у порядочных людей называется доносом! Неужели вам не стыдно?

- А зачем они подрывают авторитет советской власти? Так им и надо!

Ездил Белозеров в Арматлук, - отвезти кой-какие принакопленные запасы и проверить сохранность своей дачи, огражденной всякого рода очень грозными бумажками. Дача охранялась специальным милиционером от ревкома.

В деревне тоже только и было разговору, что об уходе большевиков. Белозеров вывесил на дверях ревкома грозное объявление, что, мол, до сведения моего дошло о провокационных слухах, распространяемых злонамеренными лицами... Рабоче-крестьянская власть установилась в Крыму навсегда... распространители злостных слухов будут караться революционным трибуналом расстрелом на месте...

Неизвестно, в качестве кого подписал Белозеров это свое объявление. Он был только заведующим подотделом театра в Наробразе.

А слухи в городе становились настойчивее, тревога - ощутительнее. Шли повальные обыски. Произвели обыск и у Мириманова. Но, как всегда при повальных обысках, обыск был спешный и поверхностный. По ночам голубой

луч прожектора пытливо шарил по морю и по горам над городом. Рассказывали, что в море были замечены миноноски, что им сигнализировали из садов на горах. Из уезда с береговых пунктов тоже доносили о появлении разведочных судов и о сигнализации с гор. Передавали, что на севере Крым вот-вот будет отрезан.

Профессор Дмитревский волновался и был задумчив. Катя расспрашивала Веру, - что слышно? Вера поспешно отвечала, что все идет хорошо. Но чувствовалось, - опять надвигается буря.

Рабочие, поселенные в верхнем этаже дома Мириманова, с угрюмыми лицами спешно укладывались и уносили куда-то свои вещи.

В сумерках к Мириманову приходил бородатый казак с красною звездю на околыше. Катя уж и раньше несколько раз видела его. Через полчаса Мириманов ушел из дому и эту ночь не ночевал дома.

На краю города, в стороне от шоссе, стоит грязное двухэтажное здание с маленькими окнами в решетках. Поздним вечером к железным воротам подкатил

автомобиль, из него вышли двое военных и прошли в контору. В темной конторе чадила коптилка, вооруженные солдаты пили вино, пели песни.

Один из военных властным голосом спросил:

- Комендант тюрьмы здесь?

Сидевший за столом матрос неохотно отозвался:

- Я комендант.

Военный отвел его в угол и на ухо спросил:

- Приказ, товарищ, получен вами?

- Получен. Сейчас ведем.

- Вот что. У вас тут есть арестант, подлежащий отправке в Москву.

Доктор Сарганов. Нам нужно лично быть убежденными, что он больше... не будет опасен. Распорядитесь, чтобы его привели.

Матрос благодушно улыбнулся.

- Не хотите ли еще кого? Хоть десяточек берите. Хватит на всех.

- Нет, нужно только его. - Он обратился к своему спутнику. - Товарищ

Чанг, вы примете арестанта, а я подожду в машине.

Спутник-китаец ответил:

- Халясо.

Первый военный ждал в автомобиле, усевшись на сиденье рядом с шофером, впереди. Китаец вышел из ворот с Иваном Ильичом. Руки Ивана Ильича были связаны позади веревкою. Он сильно оброс и шел, почему-то прихрамывая. Китаец сел рядом с ним.

Военный на переднем сиденье коротко шепнул шоферу:

- В штаб Духонина.

Машина заворчала, плавно сорвалась с места и покатила к шоссе. Там свернула влево от города и помчалась в горы.

Иван Ильич удивленно огляделся.

- Куда вы меня везете?

Китаец не ответил. Иван Ильич выпрямил спину, глубоко вздохнул и поглядел на теплый, сухой сумрак, окутывавший придорожные кусты, на яркие

звезды над горами. И еще раз он глубоко вздохнул, потом откинулся на спинку сиденья, опустил голову и больше ее уж не поднимал.

Машина мчалась по шоссе, среди тихого аромата лесных трав. Все молчали. Военный, сидевший рядом с шофером, вдруг сказал:

- Стой!

Остановились над лесистым откосом, отгороженным от шоссе рядом столбиков.

- Вы проедете дальше, - там можно будет повернуть машину.

И слез. Китаец тоже вышел и велел выйти Ивану Ильичу. Первый военный побледнел и срывающимся шепотом сказал на ухо китайцу:

- Я сам. Садись обратно в машину.

Китаец бесстрастно моргнул узенькими глазными щелками и полез назад.

Автомобиль покатило дальше. Внизу, где мягкая дорога впадала в шоссе, он повернул и, не спеша, двинулся обратно. Остановился над откосом, дал призывный гудок. Как бы в ответ, внизу, под черными купами ясеней, коротко ударил револьверный выстрел. Из кустов вышел военный, вкладывая в кобуру большой револьвер Кольта, молча сел в автомобиль рядом с китайцем.

Машина помчалась к городу.

Через полчаса после отъезда автомобиля от тюрьмы железные ворота широко распахнулись, вышла большая толпа людей, окруженная вооруженными солдатами.

Жители татарской слободки, еще не спавшие, слышали за окнами взволнованные мужские голоса, женский плач, пьяную матерную ругань, удалявшиеся по направлению к свалкам. Старик татарин, вышедший к калитке посмотреть, через четверть часа услышал в темноте за свалками далекие вопли, сухие ружейные залпы, перемежающиеся отдельными выстрелами. Прорезал тишину

безумный, зверино-предсмертный вопль, оборвавшийся выстрелом, и все стихло.

Улицы были пустынные. Ходили патрули вооруженных рабочих. В учреждениях

висели объявления о вздорных слухах, злобно распространяемых провокаторами, и приказывалось всем служащим быть на местах. Однако почти никто не явился.

Катя нагнала на улице Белозерова. С желтым, спавшимся лицом, он тащил огромный узел с вещами.

Катя смотрела смеющимися глазами.

- Ну, что, Владимир Иванович, - провокационные слухи?

Белозеров покрутил головой.

- Плохо дело.

- Куда это вы?

- В советской квартире оставаться неудобно. Перебираюсь к знакомым на частную.

Кате захотелось его подразнить.

- А ведь, пожалуй, придется вам дать ответ в кой-каких ваших действиях.

Он еще больше пожелтел, в глазах прополз унылый испуг.

- Собственно, что ж я такого делал? - Потом покрутил головою и бледно улыбнулся. - А ведь, чего доброго, - повесят!

- Ну, не повесят. Споете им из "Жизни за царя": "Чую правду".

У крыльца военного комиссариата стояла кучка красноармейцев. Один



насмешливо спросил Белозерова!

- Что, товарищ, на дачу перебираетесь?

- Да, знаете, - на прежней воздух что-то плох стал.

В толпе засмеялись. Сзади до них донеслось:

- Пулю бы ему в спину!

Белозеров свернул в переулок.

На набережной просто одетая женщина, по виду прислуга, подбежала к парню с винтовкой и крикнула:

- Патруль! Останови эту женщину! Она контрреволюционерка!

Хорошо одетая дама спешила уйти в боковую улицу.

- Держи, а то уйдет!

Милиционер побежал за дамой и схватил ее за руку.

- Что вам надо?

- Она сейчас пропаганду пушала. Говорила, что слава, мол, богу, большевиков гонют. Грабителями называла большевиков.

- Что вы... Оставьте меня... Чего вы меня хватаете?

- Ты что говорила?

- Ничего я не говорила... Спрашивала только, правда ли, что большевики уходят из города.

- Ишь, какая теперь смиренная стала! Нет, ты говорила: туда им и дорога, сволочи поганой. Придут доброволы, они вам всем покажут, как нас обижать... Веди ее, патруль! Я в свидетелях.

Парень с обеими женщинами пошел к Особому отделу.

На бульваре, у постамента снятого памятника Александру Второму, Катя встретила Мириманова. Он спросил глухим голосом:

- Вы слышали, что они сегодня ночью сделали?

- Что?

- Расстреляли всех заложников и политических арестованных. Вывели из тюрьмы и расстреляли за свалками.

- Что вы говорите?!

- Там уж целая толпа родственников.

- Господи! Да ведь в тюрьму, наверно, и папу перевели!..

Катя бросилась прочь. Вбежала в Женотдел. В загаженных комнатах был беспорядок, бумаги валялись на полу, служащих не было. В дальней комнате Вера с Настасьей Петровной и татаркою Мурэ жгли в комнате бумаги. Вера исхудала за несколько часов, впалые щеки были бескровны.

- Вера! Скорей, пойди сюда!

Они вышли в пустую комнату.

- Ты знаешь, что сегодня ночью... Говорят, ночью расстреляли всех, кто в тюрьме.

Вера, прикусив губу, ответила:

- Да. Расстреляли. Увезти невозможно, а оставить - значит освободить.

Опять пойдут против нас.

- Расстреляли! Всех! Значит, и папу!.. Господи! И это тоже нужно было для революции? Честного, благородного, непреклонного! Ни пятнышка на всем человеке!

Катя прорвалась рыданиями.

- Проклятье вашей революции, которая привлекает к себе только подлецов и хамов и уничтожает всех благородных! И ты, - ты тоже с этими палачами! А ведь раньше ты руку отказалась подать доктору только за то, что он присутствовал при казни!.. Вера, Верочка! Что же это такое случилось?

- Ну, Катя!..

- Что такое случилось? Верочка, да неужели же это возможно?

По бледным щекам Веры непроизвольно лились слезы, но лицо было неподвижно и строго. Катя сказала:

- Пойдем, посмотрим трупы. Может, отыщем папу.

- Пойдем.

Ивана Ильича среди трупов не оказалось.

Под вечер в комнату к ним поспешно вошла Надежда Александровна.

- Вера, едем. Машина у крыльца, наши ждут... Что это с тобою?

Вера безучастно спросила:

- Куда едем?

Надежда Александровна удивилась.

- Как куда? В Джанкой. Приказ - немедленно эвакуироваться всем ответственным работникам, ты же знаешь. Воинским частям тоже приказ, - как можно скорее уходить с позиций.

- Да, да... - Вера повела глазами, словно стараясь что-то припомнить. -

Да. Захватите других товарищей.

- Ты с ума сошла, Вера! Обязательно должна и ты ехать. Что же тогда партийная дисциплина?

- Конечно, я еду. За мною обещал заехать Леонид. Я его жду.

- Ну, это другое дело. Только не задержитесь. Деникинцы высадились в Трехъякорной бухте и идут наперерез железной дороги. Может быть, уже отрезали нас.

- Да, конечно...

Надежда Александровна пристально вглядывалась в Веру. Ее поразили ясный, радостный свет, сиявший на ее лице, и страдальчески сжатые губы.

- Вера, чего ты, право? Всегда же бывают неудачи. Приходится отдать Крым. Вообще это была ошибка, не следовало его сейчас занимать, Троцкий определенно это заявил.

- Да, это верно.

- Ну, пока!

Глаза Надежды Александровны вспыхнули светлыми прожекторами, с мягко-материнской нежностью она обняла Веру, заглянула ей близко в глаза и крепко поцеловала. И еще раз с сомнением заглянула ей в глаза. Потом с усмешкою обратилась к Кате:

- До свиданья! Вы, наверно, рады, что возвращаются белые. Но недолго им тут быть!

Катя с ненавистью взглянула на нее и ничего не ответила.

- Значит, на повороте, у оврага, где разбитое дерево...

- Так точно!

Они стояли близко друг от друга и, глядя в стороны, говорили вполголоса. Пищальников продолжал седлать лошадей, а Храбров вышел из сарая и жадно закурил.

Спешно грузились на дворе фурманки. По улице проезжали орудия. Над крыльцом в вечерних сумерках еще трепыхался красный флаг. Из помещения штаба вышел Крогер и холодно сказал:

- Нужно спешить, пока месяц не взошел. Едем.

- Едем. Лошадей седлают... Товарищ Мохов, через час вы выступите по

маршруту, не дожидаясь нас. Мы выезжаем на позиции, пойдём вместе с полками.

- Хорошо, товарищ Храбров, - отозвался начальник штаба.

Пищальников вывел из сарая трех оседланных лошадей.

Храбров и Крогер, а сзади них Пищальников поехали крупной рысью через безлюдную деревню, разрушенную артиллерийским огнем. Выехали в степь.

Запад

слабо светился зеленоватым светом, и под ним черным казался простор некошеной степи. Впереди, за позициями, изредка бухали далекие пушечные выстрелы белых. Степь опьяненно дышала ароматами цветущих трав, за

канавкой

комками чернели полевые пионы.

Ехали молча. Лошадь Пищальникова горячилась, прыгала, то насакивала сзади почти на круп лошади Крогера, то отставала, и Пищальников ругался на нее.

- Застоялся, Ирод!.. У, чума тебя возьми!..

Уродливою массою зачернелась над оврагом разбитая снарядам ветла, с надломившимся, поникшим к земле стволом. Опять лошадь Пищальникова наскочила

сзади на лошадь Крогера. Быстрым движением Пищальников выхватил шашку, сжал

коленями бока лошади и, наклонившись, с тяжелым размахом ударил Крогера по голове. Крогер охнул, повалился на гриву, и еще раз Пищальников полоснул его наискось по затылку.

Лошадь скакала, изогнув шею, на боку ее висел вниз головою Крогер, запутавшийся в поводьях и стремянах, а рядом, нагнувшись, скакал Пищальников и старался схватить лошадь за узду.

Слезли с коней. Храбров коротко сказал:

- Стащи его в овраг.

В овраге, под кустом тальника, Храбров обшарил карманы латыша, вытащил у него печать и жестяную коробочку с чернильною подушкой. Засветил карманный

электрический фонарик и приложил печати к заготовленным заранее бумагам. Пищальников обтирал с шашки кровь о потник крогеровой лошади.

- Ну, вот, Пищальников. Скачи на позиции, отдай по бумаге каждому из командиров и приезжай назад. Буду ждать там подальше, в овраге... Спустишься в овраг, свистни.

- Слушаю, ваше благородие!

Пищальников радостно поскакал, а Храбров с двумя лошадьми пошел в глубь оврага.

Тихо было. Над степью поднялся красный, ущербный месяц. Привязанные к кусту лошади объедали листву, и слышно было их крепкое жевание. В росистой траве светились мирным своим светом светляки. Храбров сидел на откосе и курил.

С дороги донесся осторожный свист. Храбров откликнулся. Продираясь сквозь кусты, подошел Пищальников, ведя на поводу лошадь, и доложил:

- Выступают.

Они сидели и прислушивались. Долго сидели. Месяц поднялся выше.

Глухой, медленный топот ног донесся от дороги и сдержанный говор. Пищальников выполз на край оврага и наблюдал из-под пушистого куста тамариска. Все новые проходили толпы, с тем же темным топотом.

Пищальников сошел вниз.

- Все прошли. Дорога пустая.

Храбров вскочил.

- Ну, Пищальников...

Они поглядели друг на друга, - вдруг обнялись и крепко поцеловались.

- Едем!.. Погоди.

Храбров снял с околыша пятиконечную звезду, бросил ее наземь и растоптал каблуком.

Потом вырезал в орешнике палку и привязал к ней в виде флага свой носовой платок.

Жадно дыша степным воздухом, они скакали к опустевшим окопам, навстречу свободе.

Солнца еще не было видно за горами, но небо сияло розовато-золотистым светом, и угасавший месяц белым облачком стоял над острой вершиной Кара-Агача. Дикая горы были вокруг, туманы тяжелыми темно-лиловыми облаками

лежали на далеких отрогах. В ущелье была тишина.

Командир полка, бывший ефрейтор царской службы, спросил:

- Это - ущелье Гяур-Бах? Верно?

Красноармеец, с белыми усиками на бронзовом лице, ответил:

- Верно, верно! Говорю вам, места эти мы хорошо знаем, весною, как в партизанах были, все эти горы исходили вдоль и поперек.

Командир полка и политком со скрытым недоумением перечитывали приказ. Командир озабоченно оглядывал широкое ущелье с каменистым руслом ручейка,

крутые обрывы скал по бокам. Впереди, на отроге горы, чернел лес, в двигавшихся клубах розовевшего тумана мелькали шедшие к опушке серые фигуры

разведчиков.

Лица солдат были серые от бессонной ночи и пыли. Солдат с белыми усиками радостно говорил:

- Места знакомые. Помнишь, Гриша, весною из того самого леска мы обоз с провиантом отбили у белых.

Другой солдат, с черной бородкой на желтовато-бледном лице, отозвался:

- Как не помнить! С голоду там подыхали в горах. - Он засмеялся. - Как ты тогда на муку-то налетел? Увидал, братцы, муку, затрусился весь. Ну ее горстями в рот совать! Роба вся белая, как у мельника. Потеха!

Белоусый зевнул продрогшим зевком и потопал ногами.

- Хорошо бы теперь в открытую подраться. Надоело в окопах сидеть.

Теплый ветерок дул от невидимого моря. Далеко где-то бухали пушечные выстрелы.

- Стой, где же это пушки стреляют? Вот так штука! Неужто уж в Крыму белые?

- Не иначе, как в Эски-Керыме стрельба.

- Ишь, св-волочи... Высадку, что ли, сделали?

Смутная тревога пронеслась по рядам. Лица стали серьезны, глаза внимательно оглядывали горы.

Показалось солнце. Зазолотившиеся клубы тумана, как настигнутые воры, стремглав катились по скатам вверх, бесшумно перекатывались через кусты, срывались с вершин и уносились в сверкающую синь.

Вдруг в лесу гулко раздались выстрелы. Под гору, пригнувшись, бежали назад разведчики, один, подстреленный, упал и закувыркался с винтовкою. Охнул и со стоном опустился наземь чернобородый. Лес ожил и загудел выстрелами.

Ничего нельзя было понять. Валились вокруг убитые и раненые, люди метались, ища прикрития. Лес быстро и мерно тикал невидимыми пулеметами, трещал залпами. Командир, задыхаясь, крикнул:

- Товарищи! Засада!.. Рассыпайся! Назад к шашше!

Бежали, пригнувшись. Припадали за камнями, отстреливались и перебежали дальше. Чернобородый, опираясь прикладом в землю, с выпученными глазами прыгал на одной ноге.

Вдруг на противоположной стороне, у входа в ущелье, на выступе горы замелькали цепи. Стройные фигуры юнкеров перебежали, стреляя, от куста к кусту. Двое устанавливали за большим камнем пулемет.

Держась за окровавленную голову, командир крикнул с веселым отчаянием:

- Вперед, товарищи! Пробивайся к шашше!.. Да здравствует трудовая власть!

И, шатаясь, побежал. Белоусый, потрясая винтовкою, обогнал его. - Ура!

- Ур-ра-а!!!

Солдаты бурно побежали в гору на юнкеров. А в спину, из леса, частым грозвым дождем сыпались пули; люди, дергаясь в судорогах, катились с откосов. Из глубины ущелья скакали казаки.

Город отрезан!

Это на следующий день все повторяли. Большинство ответственных работников успело ночью проскочить на автомобилях (железнодорожный мост накануне опять был взорван кем-то), но некоторые попали в руки белых. Войска с позиций прошли мимо города и тоже успели выйти из кольца. Только два полка, на основании каких-то странных распоряжений из штаба бригады, ушли куда-то в сторону, в горы. Там они попали в засаду и были истреблены до последнего человека. Небольшой отряд засел в каменоломнях, в шести верстах от города, и собирался защищаться. Рабочая молодежь из города маленькими группками пробиралась тоже в каменоломни, но по дороге туда, рассказывали, уже рыскали разезды кубанских казаков.

Утром Вера поспешно связала в узелок немногочисленные свои пожитки.

Лицо ее было окаменевшее, но глаза светились освобождающею душу радостью.

И

вся она странно светилась. Катя с изумлением глядела на нее.

- Куда ты?

- Ну, куда! К товарищам, конечно. В каменоломни.

- Вера, да что ты?!

Катя хотела начать ее убеждать, но слова не дошли до губ, когда она почувствовала душою это блаженное свечение Вериного лица: как будто радость пришла, освобождавшая от всех раздумий и мук, и впереди ждало что-то несомненное и бесконечно светлое.

Катя впиалась глазами в лицо Веры, и, задыхаясь, спросила:

- Вера... Мы больше не увидимся?

- Отчего же? Не знаю... Все может быть.

Катя зарыдала и охватила руками шею Веры.

- Вера! Прости меня!

- За что? Девочка моя, да что ты? За что простить?

- Ты знаешь, ты знаешь!.. Но я не могла удержаться, слишком больно было за папу... Господи! И ты, - ты тоже уходишь!

Она плакала жалобным детским плачем. Вера гладила ее по голове.

В шестом часу вечера в город без сопротивления вошли кубанские казаки и стали биваком на базаре.

Утром Катя вышла на улицу. Блестели золотые погоны. Повсюду появились господа в крахмальных воротничках, изящно одетые дамы. И странно было: откуда у них это после всех реквизиций?

На стенах были расклеены большие афиши:

Сегодня, 12 июня 1919 года,  
в пользу доблестной Добровольческой армии  
в Городском театре  
дан будет спектакль  
с участием артиста Государственных театров  
В.И.БЕЛОЗЕРОВА.

Сообщалось, что пойдет пьеса "В старые годы" с участием лучших сил труппы и что затем выступит В.И.Белозеров в любимейших номерах своего репертуара.

Из вестибюля театра взволнованно выходили актеры. К Кате подошла премьерша театра, Борина-Струйская, с красивым и нервным лицом.

- Читали вы афишу?

- Да.

- Представьте себе, мы все тоже узнали об этом спектакле только сегодня из афиши. Вчера вечером Белозеров явился к коменданту города и от лица труппы заявил, что мы желаем дать спектакль в пользу добровольцев... Мы не большевики. Но как же это можно? На днях только получили жалованье от большевиков, а сегодня - играть в пользу добровольцев! Сейчас был в театре Белозеров, мы на него. А он: "Хорошо! Не хотите, - ваше дело. Поеду к коменданту, заявлю, что труппа отказывается играть в этом спектакле"... Каков подлец! Ну, что же нам делать? Приходится играть. Каждому своя шкура дорога.

В "Астории" играла музыка. На панели перед рестораном, под парусиновым навесом, за столиками с белоснежными скатертями, сидели офицеры, штатские, дамы. Пальмы стояли умытые. Сновали официанты с ласковыми и радостными лицами. Звякала посуда, горело в стаканчиках вино.

Из ресторана вышел Белозеров с довольным, успокоенным лицом, в свежем летнем костюме. Увидел Катю, дрогнул и вежливо, низко поклонился. Катя с холодным удивлением оглядела его и отвернулась.

Молодой хорунжий-кубанец вежливо разговаривал с Миримановым.

- Уверяю вас, вам же будет удобнее, если полковник поселится у вас. Он и двое нас, адъютантов, и уж никто больше не будет вас тревожить. Знаете, первые дни всякие бывают неприятности. А у нас вы будете себя чувствовать, как у Христа за пазухой.

Через два часа они приехали. Полковник поселился в кабинете, адъютанты в соседней комнате. Обедали они в столовой.

Долго, до поздней ночи, в столовой гудели голоса, приходили и уходили люди, то и дело хлопала дверь. Мириманова это заинтересовало. Он вошел в столовую, как будто, чтобы взять графин.

Полковник пил вино. На столе стояли бутылки. Адъютант писал в большой

тетради, а перед ним лежала груда золотых колец, браслетов, часов, серебряных ложек. Входили казаки с красными лицами и клали на стол драгоценности.

- А-а, господин хозяин!

Полковник радушно вытянул руки в его направлении.

- Присаживайтесь. Могу предложить стаканчик винца?

Мириманов сел.

- Что это у вас тут на столе?

- Это? Военная добыча.

Мириманов удивленно смотрел.

- Какая военная добыча?

Полковник переглянулся с адъютантом и засмеялся, как при наивном вопросе ребенка.

- Ну! Какая!.. Вы что же думаете, казаки наши не хотят пить-есть?.. Но вы поглядите, какая "организованность"! "Товарищи" бы позавидовали. Не каждый сам для себя, а в громаду несут, в полковой фонд.

Мириманов задумчиво поглаживал усы.

- А вы не думаете, полковник, что это может раздражать население, возбуждать его против добровольческой армии?

- Да ведь мы не так, как махновцы: те с пальцами отрезают кольца, а мы снимаем. И больше все у жидков.

Ночью, среди притаившейся тишины, изредка слышались вдалеке крики "караул!" и одиночные ружейные выстрелы.

Жители прятались по домам. Казаки вламывались в квартиры, брали все, что приглянется. Передавали, что по занятии города им три дня разрешается грабить. На Джигитской улице подвыпившие офицеры зарубили шашками двух проходивших евреев.

Шли обыски и аресты. В большом количестве появились доносчики-любители и указывали на "сочувствующих". К Кате забежала фельдшерица Сорокина, с замершим ужасом в глазах, и рассказала: перед табачной фабрикой Бенардаки повешено на фонарных столбах пять рабочих, бывших членов фабричного комитета. Их вчера еще повесили, и она сейчас проходила, - все еще висят, голые по пояс, спины в темных полосах.

Арестовали и профессора Дмитревского. Жена его, Наталья Сергеевна, пришла в контрразведку. Ротмистр с взлохмаченными усиками, очень напоминавший прежних жандармских ротмистров, встретил ее сурово.

- Нет, ему никакого снисхождения не будет. Можно еще простить учителя какого-нибудь, который с голоду пошел к ним на службу. Но он, - тайный советник! - и связался с этими негодями!

- Но ведь он заведовал просвещением. Он не большевик, он смотрит, что самое убийственное оружие против большевиков, как и против самодержавия, - просвещение. Он пошел к ним, как шел раньше к самодержавию.

Ротмистр покоробился при таком упоминании о самодержавии. Он резко ответил:

- Вы, госпожа Дмитревская, этими фразами нас не убедите. У нас против него есть такой один документик...

И он развернул перед нею газету "Красный пролетарий" с отчетом о первомайском празднике.

- Вот что он говорил, ваш поклонник просвещения! "Социализм сумеет

насадиться только беспощадной винтовкой и штыком в мозолистой руке рабочего".

Наталья Сергеевна побледнела.

- Тут его слова извращены, он говорил совсем другое!

- Ну, конечно! Что ж вам еще на это возразить.

Наталья Сергеевна указывала, сколько людей спас Дмитревский от расстрела и тюрьмы своими хлопотами.

- Это, сударыня, нас очень мало трогает. Чем больше компрометировали бы себя большевики, тем для нас было бы выгоднее.

Само же европейское имя Дмитревского, видимо, ничего не говорило ротмистру. Большевики ценили крупных деятелей науки и искусства, относились к ним подчеркнуто бережно. Здесь же Дмитревский был только тайный советник.

Катя бросилась к Гольдбергу, бывшему управляющему делами их отдела. Оба они развили чисто электрическую деятельность. Катя написала заявление, где, как свидетельница, рассказывала об извращении газетным отчетом речи профессора, об их совместном посещении редакции. Гольдберг отыскал несколько

других свидетелей, слышавших речь и согласившихся дать показания.

Расшевелил

учительский союз, союз деятелей науки и искусства, убедил их подать заявление с ходатайством за Дмитревского как европейского ученого, гордость русской науки. Собирал под ходатайством подписи и у именитых граждан.

Бывший

городской голова Гавриленко охотно подписался. Катя обратилась к Мириманову. Мириманов отрицательно помотал головою и ответил:

- Нет, извините, - не подпишу. Зачем он к ним пошел? Сама себя раба бьет...

- Но ведь вы же знаете, как он корректно все время держался, как он всегда...

- Екатерина Ивановна! Все мы отлично понимаем, для чего он пошел к большевикам: спасался от издевательств, сберегал дачу свою от разгрома. И для этого выбрасывал иконы из школ, говорил демагогические речи... Должен был знать, на что идет.

Депутация шла по коридору "Европейской гостиницы", занятой управлением командования. Были в депутации председатели учительского союза, союза деятелей науки и искусств, городской голова Гавриленко, Катя с Гольдбергом.

Вызвали адъютанта.

- Нам нужно видеть коменданта города. Вы нам назначили прийти сегодня в пять часов.

- Пожалуйста, немножко подождите. Его еще нет.

В ожидании, они медленно расхаживали по коридору с стоявшими у дверей часовыми-кубанцами. В глубине коридора показался сухощавый казачий офицер.

Он вдруг остановился перед молодым казаком-часовым и сказал:

- Здравствуй!

Казак ответил:

- Здравия желаю, господин есаул!

- Что? Не слышу!

Казак подтянулся и громко повторил:

- Здравия желаю, господин есаул!



- Не слышу, черт твою мать дери!!!.. Как руки держишь, с-сукин сын?!!

Часовой вытянул руки по швам и гаркнул на весь коридор:

- Здравия желаю, господин есаул!!

Офицер постоял, молча погрозил пальцем перед его носом и вошел в номер.

Катя в изумлении спросила казака:

- Неужели у вас и теперь офицеры так разговаривают с солдатами?

Часовой, сконфуженно улыбаясь, покрутил головою.

- Он так всегда с молодыми казаками. Хочет, чтоб мы были казаки, а не бабы. Он хороший, мы его любим.

Оказалось, это и есть комендант. Но адъютант попросил еще немножко подождать. Ждали долго. За дверью номера слышались грозные, раскатывающиеся

крики, робкий голос что-то отвечал.

Катя опять вызвала адъютанта. Он вышел растерянный.

- Господа! Вот что я вам скажу: утро вечера мудренее. Придите лучше завтра.

Катя настаивала.

- Завтра, завтра приходите. Сейчас не совсем удобно. Прошу вас, уходите!

И он исчез в номере. За дверью слышался шум, грозные выкрики. Подошел Гольдберг.

- Мне сейчас сказали: комендант пьян, и лучше его сегодня не тревожить.

Дверь стремительно распахнулась. В коридор, шатаясь, выскочил молодой офицер в коричневом френче. Он крикнул, всхлипывая:

- Посмотрите, что они со мной делают!

Рука держалась за расшибленные зубы, из перебитого носа лилась кровь, пуговицы френча были оборваны. Часовые втокнули его обратно в номер. Катя узнала Бориса Долинского, племянника Мириманова.

Опять за дверью зарокотали пьяно-грозные выкрики:

- Руки по швам, мерзавец! Большевикам проданся! А еще офицер!

Вышел адъютант.

- Потрудитесь уйти. Сказал же я вам!

Катя крикнула:

- Господи! Вы там избиваете человека!

Часовые выпроводили их вон.

Катя шла по улице и дрожала мелкою внутреннею дрожью. И вдруг ей вспомнились подведенные глаза Бориса, его кокетливо поющий голос:

В группе девушек нервных, в остром обществе дамском,  
Я трагедию жизни претворю в грезо-фарс...

Навстречу, под руку с офицером в блестящих погонах, шел, весело болтая, певец Белозеров.

На стенах и каменных заборах висели объявления новой власти. Не приказы большевиков - грозные, безоглядные и прямо говорящие. Скользко, увилено сообщалось о твердом намерении идти навстречу "действительным" нуждам рабочих, о необходимости "справедливого" удовлетворения земельной нужды крестьян. И чувствовалось, - это говорят чужие люди с камнем за пазухой, готовые уступить только то, чего никак нельзя удержать, - и все отобрать назад, как только это будет возможно.

Мириманов, довольно посмеиваясь, писал в суд исковое прошение о взыскании с рабочих, живших в его доме, квартирной платы и убытков за побитые стекла, испорченные водопроводные краны. Вселились обратно Гавриленко и доктор Вайнштейн. Мириманов предложил им свои безвозмездные услуги по отобранию у рабочих унесенных ими вещей. Гавриленко поморщился и отказался. Вайнштейн лукаво улыбнулся, поднял ладони и ответил:

- Нет, бог с ними! Что с возу упало, то пропало. Разве я знаю, что будет опять через два месяца?

Загорелый, оживленный и радостный, Дмитрий сидел у Кати, с жадною любовью оглядывал ее и рассказывал:

- В народных массах совершился несомненный перелом, большевизм изживается. В Купянске жители встретили нас на коленях, с колокольным звоном. Когда полки наши выступали из Кубани, состав их был двести - триста человек, а в Украину они вступают в составе по пять, по шесть тысяч.

Крестьяне массами записываются в добровольцы. В Харькове рабочие настроены

резко антибольшевистски, не позволили большевикам эвакуировать заводы. Вот увидишь, через два месяца мы будем в Москве.

Катя устало слушала.

- А не кажется вам, Дмитрий, что вы все время вдеваете толстую нитку в узенькое игольное ушко, и все силы на это кладете? Не кажется вам, что ваша нитка никогда в это ушко не пройдет?

Дмитрий дрогнул и удивленно взглянул на Катю.

- "Вам"? Катя, ты сказала - "вам"?

Она сказала "вам", но не заметила этого. Покраснела и с усилием стала говорить "ты".

Когда через полчаса ушел Дмитрий, оба почувствовали, что ничего между ними нет.

Из Арматлука пришла в город Конкордия Дмитриевна, дочь священника Воздвиженского, и сообщила Кате, что Иван Ильич дома, у себя на даче. Уже с неделю дома, пришел пешком, рано утром. Только он очень болен, все лежит. И совсем без призора.

Катя, сумасшедшая от радости, расспрашивала, что случилось с отцом, как он попал домой.

- Не знаю. Он ничего не рассказывает.

Катя в полчаса собралась и пошла в Арматлук.

Пришла она под вечер. В спальне своей лежал Иван Ильич со страшно исхудалым, темным лицом и запавшими глазами. Он слабо и радостно улыбнулся

навстречу Кате, и улыбался все время, когда она, рыдая, целовала его руку.

С трудом, на каждой фразе останавливаясь, он рассказал, как его вывели из тюрьмы и повезли на автомобиле в горы, как ссадили на дороге и как военный повел его под откос в кусты.

- Ну, думаю, конец! Вдруг он говорит: "Дядя, не бойтесь ничего, это я".

Вглядываясь в темноте: "Леонид! Ты?" - "Тише! Идите скорей!". Спустились под откос, он развязал мне руки. Наверху зашумел приближающийся автомобиль,

загудел призывной гудок. - "Не пугайтесь, - говорит, - я сейчас выстрелю. С час посидите тут, а потом идите к себе, в Арматлук. В город не показывайтесь, пока мы еще здесь". Выстрелил из револьвера в кусты и пошел наверх.

Иван Ильич помолчал, потом спросил:

- А с другими что сделали?

- Всех расстреляли ночью за свалками.

Про Анну Ивановну они не говорили. Катя спросила:

- А что с тобою?

- Не знаю... Сначала думал, - ревматизм. Холодно было в подвале и сыро.

Сильнейшие боли в колене, - в одном, потом появились в другом. И слабость бесконечная, все бы лежал, лежал. По бедрам красные точки, как от блошиных укусов. А вчера посмотрел, - багровые и желто-голубые пятна на бедрах... Ясное дело, - цинга. Только странно, что на деснах ничего. Но так бывает. Это все пустяки.

Он устал говорить и закрыл глаза.

- Ты что-нибудь ел сегодня?

- Да, да, ел. Старуха Воздвиженская принесла супу.

- Я сейчас что-нибудь приготовлю.

Катя пошла в кухню. Плита была снята, духовой шкаф и котел выломаны, виднелись закоптелые кирпичи. В комнатах, где жили солдаты, с диванов и кресел была срезана материя, голые пружины торчали из мочалы. Разбитые окна, грязь.

Столбы проволочной ограды были срублены, по неогороженному саду бродили коровы. Объеденные фруктовые деревья и виноградник, затоптанные гряды огорода. В пустом курятнике белел давно высохший куриный помет, пусто было в чуланчике под лестницею, где жил поросенок.

Кате вдруг со смехом пришло в голову:

...мы старый мир разроем  
До основанья, а затем...

Она вяло побрела в кухню.

За поселком, под шоссевым мостом, чабаны нашли труп застреленного татарина. Спина его была исполосована стальными шомполами. Узнали председателя ревкома соседней татарской деревни. Сгубил его георгиевский его крест, который он нацепил, чтобы умиловить белых. Накануне вечером казаки, гнавшие арестованных в город, пили вино в кофейне Авраамиди. Урядник бил татарина по щекам и говорил:

- Этакую грязь разводил, - а еще крест носишь!

И сговаривались между собою:

- Всем по двадцать пять шомполов вкатим по дороге, а этого прямо в канаву.

Арестовали в саду во время работы Афанасия Ханова. Арестовали почему-то и Капралова, увезли обоих в город. Гребенкин скрылся. Тимофей Глухарь тоже скрывался, а вечером, в сумерках, бегал по дачам и просил более мягкосердечных дачников подписать бумагу, что они от него обиды не имели. Почтительно кланялся, стоял без шапки.

Агапов, ласково и торжествующе улыбаясь, ходил с милиционером по крестьянским хатам и отбирал свою мебель, посуду и белье. Вечерами же писал

в контрразведку длинный доклад с характеристикой всех дачников и крестьян. Бубликов немедленно высадил из квартиры княгиню Андожскую. Все комнаты своей гостиницы он сдал наехавшим постояльцам. Круглая голова его, остриженная под полевой номер, сияла, как арбуз, облитый прованским маслом.

Откуда их столько появилось? Было непонятно. По пляжу и по горам гуляли дамы в белых платьях и господа в панамах, на теннисных площадках летали мячи, на песке у моря жарились под солнцем белые тела, тела плескались в голубых волнах.

Урожай выдался колоссальный. По шоссе с утренней зари до полной темноты скрипели мажары с ячменем, почерневшие от солнца мужики проезжали из степи с косилками, проходили с косами. Они поглядывали на берег, белевший телами, в негодующем изумлении разводили руками и говорили:

- А они, - они опять голые на песке лежат!

В женскую камеру городской тюрьмы, позвякивая шпорами, вошли два офицера, за ними - начальник тюрьмы и солдаты. Молодой офицер выкликнул по списку!

- Сарганова!

Вера отозвалась. Офицер постарше спросил:

- Это которая?

- Что по дороге в каменоломни поймана, господин полковник. Сама заявляет, что коммунистка.

Вызвали еще четырех работниц. Полковник громко сказал:

- Этих пятерых. Завтра утром на тех же свалках, где они сами расстреливали. Перевести в камеру номер семь.

Начальник тюрьмы почтительно наклонился к нему.

- Там мужчины, господин полковник.

- Что ж из того! Вы их этим не удивите. Привыкли ночи спать с мужчинами. Только веселей будет напоследок. У них это просто.

Спутники засмеялись.

В тесной камере ЛЬ 7 народу было много. Вера села на край грязных нар. В воздухе висела тяжело задумавшаяся тишина ожидаемой смерти. Только в углу всхлипывал отрыдавшийся женский голос.

Рядом с Верой, с ногами на нарах, сидел высокий мужчина в кожаных болгарских туфлях-пасталах, - сидел, упершись локтями в колени и положив голову на руки. Вера осторожно положила ему ладонь на плечо. Он поднял голову и чуждо оглядел ее прекрасными черными глазами.

- Товарищ, не нужно падать духом.

Он поспешно ответил:

- Нет, я, понимаете, ничего... Так только, задумался...

- У вас семья есть, дети?

- Да. Только я не об этом.

Он помолчал, внимательно поглядел на Веру.

- Вы, товарищ, коммунистка?

- Да. А вы?

- Я, понимаете, тоже коммунист. А только... Фамилия ваша как будет?

- Сарганова.

- Сарганова? У нас в поселке дачном доктор один есть, тоже Сарганов фамилия.

Вера быстро спросила:

- Вы из Арматлука?

- Да.

- Где сейчас доктор Сарганов?

- Дома. Его было арестовали, а в последний день, видно, выпустили.

Только теперь он дома.

Вера задыхалась.

- Верно?

- Ну да. Сам его видел.

Он с удивлением глядел на Веру. Она прижалась головою к столбу нар и беззвучно рыдала, закрыв глаза руками. А когда опять взглянула на него, лицо было светлое и радостное.

- А вы родственница ему?

- Это отец мой... Ну, да! - Она овладела собой.

- Хороший человек. И дочка его, Катерина Ивановна, - тоже хорошая.

Очень она интересно, понимаете, о жизни всегда разговаривает. Выходит, - сестрица вам. А вы вот коммунистка. У меня на этот счет мысли всякие.

- Какие мысли?

Он помолчал.

- Вообще, - насчет жизни... Вот, говорим мы, - чтобы всем хорошо стало.

А делаем так, что все еще хуже. Я вот был председателем ревкома. Сколько всяких делал зверств! А из города приезжают, кричат: "Что ты их жалеешь? Какой ты коммунист! Ты, видно, кулацкого элементу!" Мужиков всех разобидели, они нас ненавидют. А я ведь сам мужик. И с интеллигенцией тоже, - как бы ее поприжать да поиздеваться над нею. Батюшку вашего в тюрьму потащили, - за что? Понимаете, сам его арестовывал, а потом неделю целую во сне видел.

- Слушайте, товарищ... Как ваша фамилия?

- Ханов.

- Слушайте, товарищ Ханов. Что вы говорите, - это все и мне так близко!

Скажите мне, - вы раньше когда-нибудь читали Евангелие?

- Читал. Я раньше и Толстова много читал, даже жить было по нем начал.

Да как-то у него все это... Не получил я покою.

- Так вот, в Евангелии есть: "кто хочет душу свою спасти, тот погубит ее". Пришло такое время, что нельзя думать о чистоте своей души, об ее спокойствии. С этим - как бы все было легко! Вы только подумайте: ну, что - лишения, смерть? Какие пустяки! Правда, как все это было бы легко? Разве вас сейчас смерть мучает, которая вас ждет? Я вижу: вас мучает, что перед вами смерть, а позади - кровь и грязь, грязь, в которой вы все время купались.

Ханов изумленно глядел на Веру.

- Как вы это узнали?.. Да, да. Понимаете, - вот, как вы сказали, - в грязи купался!

- Вот. В том и ужас, что другого пути нет. Миром, добром, любовью ничего нельзя добиться. Нужно идти через грязь и кровь, хотя бы сердце разорвалось. И только помнить, во имя чего идешь. А вы помнили, - иначе бы все это вас не мучило. И нужно помнить, и не нужно делать бессмысленных жестокостей, как многие у нас. Потому что голова кружилась от власти и безнаказанности. А смерть, - ну, что же, что смерть!

Стали подходить другие осужденные.

Вера говорила, и все жадно слушали. Вера говорила: они гибнут за то,

чтоб была новая, никогда еще в мире не бывавшая жизнь, где не будет рабов и голодных, повелителей и угнетателей. В борьбе за великую эту цель они гибнут, потому что не хотели думать об одних себе, не хотели терпеть и сидеть, сложа руки. Они умрут, но кровь их прольется за хорошее дело; они умрут, но дело это не умрет, а пойдет все дальше и дальше.

На замасленном столе тускло чадила одинокая коптилка. В спертую вонь камеры сквозь решетчатое окно чуть веяло свежим воздухом, пахнувшим горными цветами.

Красавец брюнет с огненными глазами, в матросской куртке, спросил:

- А как скажете, товарищ, - скоро социализм придет?

Вера почувствовала, какой нужен ответ.

- Теперь скоро. В Германии революция, в Венгрии уже установилась советская власть, везде рабочие поднимаются.

- Через два месяца будет?

- Ну, не через два... - Вера поглядела на него и улыбнулась. - Через два-три года.

- Это ничего. Столько можно подождать. - Матрос радостно засмеялся. - То-то они так злобятся: чуют, что кончено их дело!

Рабочий в пиджаке, с умными, смеющимися глазами, отозвался:

- И ничего не кончено. Не выйдет у нас никакого социализму. Не такой народ.

Ханов нетерпеливо отмахнулся.

- Ну, ты, Капралов, - всегда вот так!

Матрос, сверкая глазами, ринулся на него.

- Как не выйдет?!

- Не выйдет. Не будет ничего. Не справится народ. Больно работать не любит. Только когда для себя. И опять прихлопнут вас буржуи, как перепелок сеткой.

Вера с удивлением смотрела на него.

- За что же вы сюда попали?

Ханов засмеялся.

- Он у дачников книжки отбирал для общественной библиотеки, а они на него и показали. Вот и попал в загон, как козел меж барашков.

Спорили, шутили, смеялись. Засиделись до поздней ночи и улеглись спать, не думая о завтрашнем, и спали крепко.

Толпа людей рыла за свалками ров, - в него должны были лечь их трупы. Мужчины били в твердую почву кирками, женщины и старики выбрасывали лопатами

землю. Лица были землистые, люди дрожали от утреннего холода и волнения. Вокруг кольцом стояли казаки с наведенными винтовками.

Солнце вставало над туманным морем. Офицер сидел на камне, чертил ножнами шашки по песку и с удивлением приглядывался к одной из работавших. Она все время смеялась, шутила, подбадривала товарищей. Не подъем и не шутки дивили офицера, - это ему приходилось видеть. Дивило его, что ни следа волнения или надсады не видно было на лице девушки. Лицо сияло рвущейся из души, торжествующею радостью, как будто она готовилась к великому празднику, к счастливейшей минуте своей жизни.

Девушка выпрямилась, блаженно взглянула на синевшее под солнцем море,

на город под ногами, сверкавший в дымке золотыми крестами и белыми стенами вилл. И глубоко вдохнула ветер. Рядом привычными, мужицкими взмахами работал

киркою высокий болгарин в светло-зеленых пасталах.

- Товарищ Ханов, правда, как хорошо?

На всю жизнь в памяти офицера осталось ее лицо. Он не мог бы сказать, красиво ли было это лицо, и все-таки такой красоты он никогда больше не видел.

Офицер ощерил зубы под подстриженными темными усиками и встал.

- Стройся! Спиной ко рву!

Ханов ревниво отстранил ставшего подле Веры Капралова, расправил широкую свою грудь и восторженно вздохнул. Никогда не знала его душа такой странно-легкой, блаженной радости, как сейчас, под направленными на грудь дулами. Он запел, и другие подхватили:

Вставай, проклятьем заклеянный.

Весь мир голодных и рабов...

Матрос, горя глазами, тряс кулаком в воздухе:

- Да здравствует советская власть! Да здравствует социализм! Не долго уж вам, проклятые!..

Офицер бешено крикнул:

- Пли!!

Дачка на шоссе. Муж и жена. И по-прежнему очумелые глаза, полные отчаяния. И по-прежнему бешеная, неумелая работа по хозяйству с зари до поздней ночи. Он - с ввалившимися щеками, с глазами, как у быка, которого ударили обухом меж рогов. У нее, вместо золотистого ореола волос, - слежавшаяся собачья шерсть, бегающие глаза исподлобья, как у затырканной кухарки. И ненавидящие, злобные друг к другу лица.

- Не стану я поливать абрикосов! Понимаешь ты это? И так погибаем от работы. Не до абрикосов!

- Ты-то погибаешь? Барином живешь, все на меня свалил. Ну, что ж делать, придется мне и абрикосы поливать.

- Ну, да послушай же, наконец, Лидочка! Сообрази хоть немножко...

- Ах, оставь! Все, все на меня рад свалить! Клещом каким-то, паразитом настоящим впился в меня и сосет все силы, все соки... Да еще зудит с утра до вечера. О, жизнь проклятая!

Четыре подводки перед кофейнею. Деревенские парни с красными от вина лицами. Заливались гармониками.

Катя спросила:

- Вы - мобилизованные?

Парень, свесившимися через грядку сапогами, ответил с усмешкою:

- Ну да, значит, - мобилизованные.

- Воевать едете?

- Нет, не воевать.

- А что же?

Парень помолчал.

- Мир вам привезти.

- Как же это?

- А вот так. Будет воевать, надоело. Через месяц придем к вам назад с красными флагами и вот этак мир вам принесем. - Он расставил ладони, как будто держал в них большой, хрупкий шар. - И будет спокойствие.

- Я не пойму. К большевикам перейдете?

- Зачем? Нет. А просто, значит, принесем мир. Чего нам воевать со своими? Вот у меня двух братьев большевики взяли, с собою угнали, а меня сюда гонят. И у всех так. Кому эта война нужна? Просто, сговоримся и уйдем.

В один ясный вечер, когда уже отзвенели цикады, и лиловые тени всползали на выбегающие мысы, и, в преднощной дремоте, с тихим плеском ложились волны на теплый песок, - Иван Ильич лежал на террасе, а возле него сидела Катя, плакала и жалующимся, детским голосом говорила:

- Мне больше не хочется жить! Зачем? Опять в этой разоренной дырке сколачивать щепочку со щепочкой, кур разводить, кормить поросенка... Не хочу! Из-за чего биться, из-за чего выматывать силы?

Иван Ильич ясными глазами смотрел на тускневшее, жемчужное море. Он медленно сказал:

- Жить хорошо, когда впереди крепкая цель, а так... Жизнь изжита, впереди - ничего. Революция превратилась в грязь. Те ли одолеют, другие ли, - и победа не радостна, и поражение не горько. Ешь собака собаку, а последнюю черт съест. И еще чернее реакция придет, чем прежде.

- Господи, как я устала! Наверно, так земля устанет в свой последний день!

Иван Ильич положил исхудалую руку на ее руку, загорелую и загорелую, тихо улыбнулся и вдруг сказал:

- Давай умрем.

Катя вздрогнула, выпрямилась и впиалась глазами в его глаза.

- Убить себя? - Она вскочила. - У меня мелькала эта мысль... Нет, ни за что! Сдаться, убежать! Забиться в угол и там умереть, как отравленная крыса!.. Ни за что! Какая скупость к жизни, какая убогость!.. Нет, я хочу умереть, но чтоб бороться! Пусть меня пилами режут пополам, пусть сдирают кожу, но только, чтоб не было бегства!

Иван Ильич тихонько плакал и целовал ее руку.

- А за что бороться... Девочка моя, как я тебе завидую! Если бы я был молод!

Она в ответ целовала его седую, растрепанную голову, и слезы лились по щекам.

- Милый мой, любимый!.. Честность твоя, благородство твое, любовь твоя к народу, - ничего, ничего это никому не нужно!

И Катя увидела, - ясный свет был в глазах Ивана Ильича, и все лицо светилось, как у Веры в последний день.

Гуще становились сумерки. Зеленая вечерняя звезда ярко горела меж скал. Особенная, редкая тишина лежала над поселком, и четко слышен был лай собачонки на деревне. Они долго сидели вместе, пожимали друг другу руки и молчали. Иван Ильич пошел спать. Катя тоже легла, но не могла заснуть. Душа металась, и тосковала, и беззвучно плакала.

Катя встала, на голое тело надела легкое платье из чадры и босиком вышла в сад. Тихо было и сухо, мягкий воздух ласково принимал к голым рукам и плечам. Как тихо! Как тихо!.. Месяц закрылся небольшим облачком, долина оделась сумраком, а горы кругом светились голубовато-серебристым светом.



Вдали ярко забелела стена дачи, - одной, потом другой. Опять осветилась долина и засияла тем же сухим, серебристым светом, а тень уходила через горы вдаль. В черных кустах сирени трещали сверчки.

Катя похоронила Ивана Ильича, распродала мебель, лишние вещи, и однажды утром, ни с кем не простившись, уехала из поселка, неизвестно куда.

1920-1923

## ПРИМЕЧАНИЯ

### В ТУПИКЕ

Впервые отрывки из романа опубликованы в "Южном альманахе", Симферополь, 1922, кн. 1; в журналах: "Красная новь", 1922, ЛЬ 4, 5; "Петроград", 1923, ЛЬ 1; "На вахте", Грозный, 1924, ЛЬ 6; в сб. "Революционная проза", ЛЬ 1, Киев, 1924. Полностью - в кн.: "Недра". Литературно-художественные сборники. М., 1923, кн. 1 и 2; 1924, кн. 3. Написано в 1920 - 1923 годах.

Работе В.Вересаева над крупными произведениями обычно предшествовали многолетние размышления, находившие отражение либо в дневниковых записях, либо в его очерках и публицистике. Так было и с романом "В тупике". Через несколько месяцев после Февральской революции 1917 года писатель выпустил почти одновременно три небольшие брошюры - "Бей его! (О самосудах)", "Наплевать! (Борьба за право)", "Темный пожар (О свободе слова)". В них отмечены многие мотивы будущего романа. Сочувствуя развернувшемуся революционным событиям, помогая им не только словом, но и делом как председатель художественно-просветительной комиссии при Московском совете рабочих депутатов, В.Вересаев вместе с тем был очень обеспокоен, что свободу "темная часть народа поняла так: всякий делай, что хочешь, законов никаких не надо исполнять. Такое мнение очень опасно для свободы и революции".

Прокатившаяся по Москве волна самосудов толпы чревата, по мнению писателя, самыми опасными последствиями. "...Жизнь человеческая - вещь драгоценная, и к ней нужно относиться очень бережно". "Пролитая кровь" "начинает пьянить голову", "пятнает и калечит" людям толпы "душу совсем так же, как всякому палачу" ("Бей его!")

Без законов, без твердого права нет и не может быть демократического государства. Это - первая забота революции. "Трудно жить в стране, где люди вяло и равнодушно смотрят на попрание своих прав" ("Наплевать!").

Закон должен запрещать несправедливость, но не душить свободу, так как она обязательное условие истинного человеческого существования. "Свободный гражданин понимает, как необходима для страны свобода слова, он всеми силами стоит за эту свободу и не позволяет нарушать ее, даже когда запрещают говорить то, чему сам он не сочувствует. Он понимает, что, если сегодня запрещают говорить другому, то завтра могут запретить говорить и ему самому. Поэтому он требует, чтобы всякий имел право говорить то, что он думает. Этим-то именно гражданин свободной страны и отличается от жителя страны рабской. Всякий раб, конечно, желает свободы слова для себя и для тех мыслей, которым он сочувствует. Но раз сам он почует за собою силу, то

сейчас же начинает преследовать других за неприятные ему мысли с такою же свирепостью, с какою раньше другие преследовали его самого. Приходится признать, что мы в России еще очень плохо понимаем настоящую свободу слова. Мы то и дело грубо нарушаем ее и даже сами не замечаем этого и воображаем, что стоим за свободу... Мы слишком еще рабы... Зачинается на Руси темный подземный пожар, - пожар злобной ненависти ко всякому чужому мнению:

люди

стремятся зажать друг другу рот, скрутить, сократить, не дать пикнуть... С этим пожаром необходимо дружно бороться..." ("Темный пожар").

Потребовалось три года, чтобы эти мысли писателя начали принимать форму романа. В.Вересаев приступил к работе над ним в Крыму, где жил с сентября 1918 г. по октябрь 1921 г. на своей даче в Коктебеле, недалеко от Феодосии. По свидетельству писателя, в романе нашли отражение события Гражданской войны, которые он наблюдал тогда в Крыму. Арматлук - это Коктебель; изображенный в романе город - Феодосия. Многие персонажи имели реальных прототипов. Так, В.М.Нольде, племянница и литературный секретарь В.Вересаева, свидетельствует: "Катя напоминает Наташу из повести "Без дороги", может быть потому, что прототипом и той, и другой героини в значительной степени была Мария Гермогеновна - жена писателя" (В.М.Нольде "Вересаев", Тула, 1986, стр. 131). Об Н.А.Марксе, многие черты которого воспроизведены в образе академика Дмитревского, упоминалось в предисловии к настоящему тому. Прототипом пианистки Гуриенко-Домашевской была артистка Московского Большого театра М.А.Дейша-Сионицкая, имевшая дачу в Коктебеле.

О жизни В.Вересаева в Крыму так вспоминал И.Эренбург: "...Викентию Викентьевичу было трудно; несколько поддерживала его врачебная практика... В окрестных деревнях свирепствовал сыпняк... Платили ему яйцами или салом. Был у него велосипед, а вот одежда сносилась. У меня оказался странный предмет - ночная рубашка доктора Козинцева, подаренная мне еще в Киеве. Мы ее поднесли Викентию Викентьевичу, в ней на велосипеде он объезжал больных... Я с ним подолгу беседовал. Прежде я знал некоторые его книги и думал, что он человек рассудочный, прямолинейный, а он обожал искусство, переводил древнегреческих поэтов, страдал от грубости и примитивизма. Конечно, в борьбе против белогвардейцев все его симпатии были на стороне Москвы, но многого он не понимал и не принимал. Потом я прочитал его роман "В тупике", где он рассказывал о жизни русской интеллигенции в первые годы революции. Я нашел мысли Викентия Викентьевича, вложенные в уста то ученого-демократа, то его дочери-большевички". (И.Г.Эренбург. Собр. соч. в 9-ти томах, т. 8, М., 1966, стр. 306 - 307).

Несмотря на тяжелые условия жизни, В.Вересаев много занимался литературным трудом: помимо работы над романом, в эти годы им написаны пьеса "В священном лесу", рассказ "Состязание". Активно помогал он и установлению в Крыму Советской власти. В апреле - июне 1919 года, когда восточный Крым был в руках большевиков, В.Вересаев работал членом коллегии Феодосийского наробраза, заведовал отделом литературы и искусства.

Заканчивал роман В.Вересаев уже по возвращении в Москву. Его очень тревожила возможность прохождения "В тупике" через цензуру. О событиях, которые способствовали публикации романа, он рассказал в сохранившейся мемуарной зарисовке, написанной в 1938 г. и недавно опубликованной в журнале "Огонек" (1988, Лб 30):

"Я кончал свой роман "В тупике". Он должен был печататься в альманахе

"Недра". Возможность прохождения романа сквозь цензуру вызывала большие опасения. Редактор издательства "Недра" Н.С.Ангарский имел какие-то служебные отношения к тогдашнему заместителю председателя Совнаркома Л.Б.Каменеву. В декабре месяце 1922 года Ангарский обратился к Каменеву с просьбой, нельзя ли было устроить у него чтение моего романа.

- А, вот и прекрасно! - сказал Каменев. - Первое января - день у всех свободный. Пригласим кое-кого и послушаем!

Первого января я с женой приехал в Кремль к Каменеву. Понемножку собирался народ, мне в большинстве совершенно незнакомый. Роман написан в виде отдельных сцен, можно сказать - в стиле blanc et noir\*: как мне говорил один партиец, за одни сцены меня следовало посадить в подвал, а за другие предложить в партию.

---

\* белое и черное (франц.).

Начал я читать. Стратегический мой план был такой: сначала подберу сцены наиболее острые в цензурном отношении, а потом в компенсацию им прочту ряд сцен противоположного характера. Читал около часа. Обращаюсь к Каменеву:

- Может быть, можно сделать перерыв?

Каменев смущенно спросил:

- А вы долго собираетесь еще читать?

- Около часа.

- Нет, это совершенно невозможно. Тут еще товарищи Шор, Эрлих и Крейн что-нибудь сыграют нам, а потом сядем ужинать. Почитайте нам еще минут десять, а за ужином поговорим о прочитанном.

Нечего делать. Постарался подобрать для окончания несколько наиболее ярких в положительном смысле сцен, но все-таки в общем получилось такое преобладание темных сцен над светлыми, что дело мне представилось совершенно погибшим. Кончил. Жена сидела как приговоренная к смерти. Подошел смущенный Ангарский.

- Викентий Викентьевич, что же это такое?

Я стал расспрашивать Ангарского, кто здесь присутствует.

- Вот этот - Дзержинский, вот - Сталин, вот - Куйбышев, Сокольников, Курский.

Одним словом, почти весь тогдашний Совнарком, без Ленина, Троцкого, Луначарского. Были еще Воронский, Д.Бедный, П.С.Коган, окулист профессор Авербах и другие.

Поиграли Шор, Эрлих и Крейн. Сели ужинать. Началось обсуждение прочитанного. На меня яро напали. Говорили, что я совершенно не понимаю смысла революции, рисую ее с обывательской точки зрения. Нагромождаю непропорционально отрицательные явления и т.п.

Каменев говорил:

- Удивительное дело, как современные беллетристы любят изображать действия ЧК. Почему они не изображают подвигов на фронте гражданской войны, строительства, а предпочитают лживые измышления о якобы зверствах ЧК.

Раскатывали жестоко. Между прочим, Д.Бедный с насмешкой стал говорить об русской интеллигенции и прибавил:

- Недавно мне говорил Ив.Дм.Сытин: "Много этой сопливой интеллигенции толклось у меня в передней, когда я издавал "Русское слово".

Забегая вперед, скажу, что я в своем заключительном слове сказал Д.Бедному:

- Что же касается той "сопливой интеллигенции", о которой говорил товарищ Д.Бедный, то я отвечу ему вот что: товарищ Демьян, если вы хотите судить о достоинстве женщины, то не обращайтесь за экспертизой к содержателю публичного дома. Уверяю вас, информация его будет очень односторонняя. Вот Сытин говорит об интеллигенции, которая толклась у него в передней. Соответствующая интеллигенция у него и толклась. А вот я вам скажу, что сам этот Сытин толкался у меня в передней, приглашая сотрудничать у себя в "Русском слове", и никакого результата не добился. И так было, конечно, не со мной одним.

Точно не помню, кто еще что говорил. Помню, еще очень сильно нападал профессор П.С.Коган. Говорили еще многие другие. Потом взял слово Сталин. Он в общем отнесся к роману одобрительно, сказал, что Государственному издательству издавать такой роман, конечно, неудобно, но, вообще говоря, издать его следует. После этого горячую защитительную речь сказал Ф.Э.Дзержинский.

- Я, товарищи, совершенно не понимаю, что тут говорят. Вересаев - признанный бытописатель русской интеллигенции. И в этом новом своем романе он очень точно, правдиво и объективно рисует как ту интеллигенцию, которая пошла с нами, так и ту, которая пошла против нас. Что касается упрека в том, что он будто бы клеветает на ЧК, то, товарищи, между нами - то ли еще бывало!

На меня он произвел впечатление чарующее. За ужином я сидел рядом с ним. Он меня между прочим спросил:

- А скажите, пожалуйста, где сейчас находится этот Искандер, о котором вы пишете?

В моем романе был выведен председатель ревкома, садически жестокий армянин, взявший себе псевдоним "Искандер". Я ответил, что после прихода белых Искандер бежал из Феодосии в Карасубазар. Но его выследили дашнаки и застрелили из револьверов при выходе из парикмахерской, куда он зашел с целью преобразить свою наружность. Когда меня это спрашивал Дзержинский, глаза его блеснули так холодно и грозно, что я почувствовал, что плохо пришлось бы этому Искандеру, если б он был жив.

Между прочим, я его спросил, для чего было проделано в Крыму то, что мне пришлось видеть там, помнится, в 1920 году. Когда после Перекопа красные овладели Крымом, было объявлено во всеобщее сведение, что пролетариат великодушен, что теперь, когда борьба кончена, предоставляется белым выбор: кто хочет, может уехать из РСФСР, кто хочет, может остаться работать с Советской властью. Мне редко приходилось видеть такое чувство всеобщего облегчения, как после этого объявления: молодое белое офицерство, состоявшее преимущественно из студенчества, отнюдь не черносотенное, логикой вещей загнанное в борьбу с большевиками, за которыми они не сумели разглядеть широчайших народных трудовых масс, давно уже тяготилось своею ролью и с отчаянием чувствовало, что пошло по ложной дороге, но что выхода на другую дорогу ему нет. И вот вдруг этот выход открывался, выход к честной работе в родной стране.

Вскоре после этого предложено было всем офицерам явиться на регистрацию и объявлялось, те, кто на регистрацию не явится, будут находиться вне закона и могут быть убиты на месте. Офицеры явились на перерегистрацию. И началась бессмысленная кровавая бойня. Всех являвшихся арестовывали, по ночам выводили за город и там расстреливали из пулеметов. Так были уничтожены тысячи людей. Я спрашивал Дзержинского, для чего все это было сделано? Он ответил:

- Видите ли, тут была сделана очень крупная ошибка. Крым был основным

гнездом белогвардейщины. И чтобы разорить это гнездо, мы послали туда товарищей с совершенно исключительными полномочиями. Но мы никак не могли думать, что они так используют эти полномочия.

Я спросил:

- Вы имеете в виду Пятакова? (Всем было известно, что во главе этой расправы стояла так называемая "пятаковская тройка": Пятаков, Землячка и Бела Кун.)

Дзержинский уклончиво ответил:

- Нет, не Пятакова.

Он не сказал, кого, во из неясных его ответов, я вывел заключение, что он имел в виду Бела Куна.

Рассказывал он кое-что про себя. Между прочим, рассказал с усмешкой, что во время империалистической войны он содержался в Варшавской каторжной тюрьме; перед сдачей Варшавы немцам его перевели в Орловский централ. "Если бы знали, то, пожалуй, не так бы старались увезти к себе".

Он на меня произвел впечатление глубоко убежденного и хорошего человека. Роман мой в это время еще не был окончен. И когда я там во второй часта выводил председателя ЧК Воронько, я думал о Дзержинском.

Этот вечер сыграл решающую роль в появлении моего романа на свет. Когда в Главлите ознакомились с романом, там расхохотались и сказали:

- И вы могли думать, что мы разрешим такую контрреволюцию?

- Успокойтесь. Политбюро почти в полном составе слушало этот роман и одобрило к печати.

Каждое новое издание романа снова задерживалось Главлитом, в каждый раз требовалось новое вмешательство свыше, чтобы пропустить роман. Однако последнее издание его - кажется, 1929 года - было уже порядком пощипано цензурой, а потом уже издавать его оказалось невозможным.

Между прочим. По поводу английского перевода романа "Times" писала: "Говорили, что в СССР нет свободы печати; мы же из предисловия романа с удивлением узнали, что автор - не эмигрант, не сидит в советской тюрьме, а благополучно живет и здравствует в Москве".

Отзывы в прессе о романе были разноречивы. Часть критиков оценила его резко отрицательно. П.Жуков в заметке "Писательский тупик" иронизировал: "Это не роман... но автор - в тупике... Типичное провинциальное обозрение из "толстого" дореволюционного журнала. Без конца, без финала", "отголосок... всех сплетен", "нехудожественный роман", ""В тупике" - вчерашний день русской литературы" ("Жизнь искусства", 1924, ЛЬ 3). Мысль об архаичности романа, его отгороженности от актуальных проблем эпохи развивал и Ю.Тынянов:

"...При всем напряжении фантазии трудно представить себе, чтобы шло дело о современности... вы все время чувствуете себя в небольшом, уютном кузове идейного романа 90-х годов. Герои очень много говорят и любят плакать" ("Литература сегодня" - "Русский современник", 1924, ЛЬ 1). "...Как случилось, - спрашивал В.Вешнев, - что В.В.Вересаев, связавший свою судьбу с трудовой демократической интеллигенцией, оказался в эпоху пролетарской революции "в тупике"?" И на поставленный вопрос критик отвечал так: "В.В.Вересаева можно определить, как художника марксистской интеллигенции", но "симпатии его с самого начала и до конца на стороне меньшевистского крыла русских марксистов", он примыкал к той интеллигенции, которая "обладала двумя органическими пороками: предрасположенностью к безжизненной отвлеченности, неумением применить марксистскую диалектику на практике и непониманием, незнанием трудовых масс, несмотря на то, что вела

революционную работу среди этих масс" ("В.В.Вересаев в русской общественности". - "Известия", 1925, 6 декабря). Высказывалось даже мнение, что В.Вересаевым сознательно "искажена действительность", в силу чего кровавые беззакония, чинившиеся белогвардейцами в Крыму, приписаны красным

(Б.Горянов. "Об "объективной" литературе". - "Книга и революция", 1929, Лб 1).

Однако большинство из непринявших роман критиков полагали, что дело не в злонамеренности автора, - просто "его душа не опалена знойным ветром революции" (заметка без названия О.Леонидова в "Политработнике", 1922, Лб 8 - 9), и, хотя он не эмигрировал, а остался на родине и "пытается сопутствовать революции", он "все-таки не свой, а чужой", так как "не слился", "не сросся" с революцией (Я.Окунев. "Братья - писатели". - "Журналист", 1923, Лб 7).

Это в целом негативное отношение к роману оспаривали его горячие сторонники, которых тоже было немало. "В потоках стихов и прозы" В.Львов-Рогачевский отметил три "струи": "С одной стороны, агит-стихи и полит-проза, героический романтизм и голый идеологизм боевой партийной литературы", "с другой стороны, беспозвоночный, беспрограммный, безлозунговый натурализм" и "наконец, третьи пытаются подняться на историческую высоту и осмыслить, уяснить огромный сдвиг, пережитый Россией", - яркий пример этому роман "В тупике". "Только такой писатель, как Вересаев, за которым давно уже упрочилась репутация объективного и правдивого историка революционной общественности, мог подойти к острой и сложной теме о российской интеллигенции пред лицом революционных событий". В романе "говорится впервые о том, что у всех накопело и наболело", при этом он написан "с классической простотой" ("Наши дни в современной литературе". - "Пламя", 1923, Лб 2). "В тупике" - "более чем художественнопроизведение: это документ эпохи" (В.Львов-Рогачевский "Беллетристика наших дней". - "Корабль", 1923, Лб 1 - 2), на основании которого "у читателя складывается твердое убеждение в безнадежности и полной обреченности самого дела контрреволюции" (Н.Ангарский. "В.Вересаев и русская интеллигенция". - "Известия", 1925, 29 ноября). Высокие художественные качества романа отмечали многие рецензенты, особо выделяя мастерское изображение таких персонажей, как Иван Ильич, Катя, Дмитревский, Андожская, Ульяша, Белозеров, Вера, Ханов, "молчаливой фигуры стекольщика", лирических сцен Кати и Дмитрия, вечера в доме Агаповых.

Но все же в критике тех лет преобладало более сдержанное отношение к роману, хотя в общем скорее одобрительное. Отмечалось, что В.Вересаев вновь предстает "Нестором русской интеллигенции", который объективно "отразил в своих произведениях все "узловые" моменты "интеллигентской истории" последних двадцати пяти лет" (Вяч. Полонский. "Интеллигенция и революция в романе В.В.Вересаева ("В тупике)"). - "Печать и революция", 1924. кн. первая). При этом подчеркивался явно сочувственный взгляд В.Вересаева на революцию, что отличало его от многих собратьев по перу: "Старые русские писатели, наши маститые: Ив.Шмелев, Сергеев-Ценский, Ив.Бунин и даже Максим Горький слишком остро пережили разгром старого... Только один Вересаев, историк нашей революционной общественности, продолжал идти в ногу с наиболее активной частью революционной интеллигенции" (Там же). Но ему мешало стремление к "неограниченной объективности", "местами доходящей не только до карикатурности, но и памфлета... Плохи белые, но еще хуже красные. Плохи красные, но как будто еще хуже белые" (Ник.Смирнов. "По журналам и альманахам". - "Известия", 1924, 24 февраля). Однако за этой кажущейся

объективностью "просвечивает довольно явственно" "сочувствие писателя к людям в тупике". Поэтому в центре авторского внимания оказались не большевики, не революционно настроенные рабочие, а меньшевичка Катя и народник Иван Ильич: "Вересаев повествует, главным образом, об эсеровско-меньшевистствующей интеллигенции" (А.Воронский. "Литературные отклики. В тисках". - "Правда", 1922, 20 декабря). "Вересаев хотел быть объективным", но, "изображая своих героев, зашедших в тупик, он смотрел на революцию их глазами, в редких случаях, как художник, подымаясь над ними... Мы не упрекаем Вересаева в умышленно злобном изображении революции. Он явносимпатизирует последней... "В тупике" - роман не только посвященный интеллигенции, но и написанный "интеллигентом". В.В.Вересаев неотделим от его героев; он - один из тех многих, которые "на бога не восстали, но и верны ему не пребывали", "колеблясь между приятием революции и ее осуждением..." (Вяч.Полонский. "Интеллигенция и революция в романе В.В.Вересаева ("В тупике)"). - "Печать и революция", 1924, кн. первая). Все это не дает основания рассматривать роман как широкое полотно о революции и Гражданской войне - "оставим за романом место художественного документа о распаде и перерождении старой, либеральной и "право-социалистической" интеллигенции. В этом его ценность" (Ник.Смирнов. "По журналам и альманахам". - "Известия", 1924, 24 февраля).

Эта часть критики, сожалевшая, что В.Вересаев не проникся в полной мере идеями большевизма, спорила с писателем как раз с тех позиций, которые, по его мнению, способны привести революцию к краху. Не существует "абсолютной ценности человеческой личности вообще" как нет и "общечеловеческой самодовлеющей морали", утверждал А.Воронский. Это "мыльные пузыри", они "лопнули" в революционном "урагане"; "благо революции превыше всего; все хорошо, что целесообразно, что ведет к победе" ("Литературные отклики. В тисках". - "Правда", 1922, 20 декабря). "Жестокость, грубость, аморализм", - вторил Вяч.Полонский. - без этого "революции не бывает и быть не может. Если хочешь принять революцию - прими ее со светлыми идеалами и с кровавым путем, который к идеалам этим ведет ("Интеллигенция и революция в романе В.В.Вересаева ("В тупике)"). - "Печать и революция", 1924, кн. первая).

Своего рода подведением итогов этой дискуссии стала статья А.Лежнева о первом десятилетии советской литературы, где критик констатировал: "Одно только произведение, вышедшее из "недр" старой литературы, сумело в те годы привлечь всеобщее внимание, стать "событием" - "В тупике" В.Вересаева" ("Художественная литература". - "Печать и революция", 1927, Лб 7). А в наши дни, когда оглядываются на пройденный русской литературой путь, значительность романа кажется еще большей. Крупный советский историк В.Логинов в диалоге с критиком А.Егоровым, опубликованном 28 октября 1987 года в "Литературной газете", говорил: "...О трагедии интеллигента в революции, о поисках выхода рассказал Алексей Толстой в "Хождении по мукам".

Я бы поставил рядом (а то и выше) роман Викентия Вересаева "В тупике". Изданный в двадцатых годах, он заслуживает того, чтобы жить сегодня".

После первой публикации в сборниках "Недра" роман издавался еще восемь раз.

В силу того, что, по свидетельству В.Вересаева, последнее прижизненное издание романа "В тупике" (1931, а не 1929 года, как ошибочно указал писатель в воспоминаниях) было сильно "пощипано цензурой", его текст печатается по предпоследнему изданию: В.В.Вересаев. Полн. собр. соч., т. IX.

М., 1930.  
Ю.Фохт-Бабушкин

## Л. СЕЙФУЛИНА. ПРАВОНАРУШИТЕЛИ

Впервые опубликован в журнале "Сибирские огни" (Новониколаевск), 1922, № 2.

1

Его поймали на станции. Он у торговок съестные продукты скупал.

Привычный арест встретил весело.

Подмигнул серому человеку с винтовкой и спросил:

- Куда поведешь, товарищ, в ргучеку или губчеку?

Тот даже сплюнул.

- Ну,-дошлый! Все, видать, прошел.

Водили и в ортчека. Потом отвели в губчека.

В комендантской губчека спокойно посидел на полу в ожидании очереди. При допросе отвечал охотно и весело.

- Как зовут?

- Григорий Иванович Песков.

- Какой губернии? - брезгливо и невнятно спрашивал комендант.

- Дальний. Поди-ка и дорогу туды теперь не найду. Иваново-вознесенский.

- Как же ты в Сибирь попал?

- Эта какая Сибирь! Я и подале побывал.

Сказал - и гордо оглядел присутствующих.

- Да каким чертом тебя сюда из Иваново-Вознесенска принесло?

Степенно поправил:

- Не чертом, а поездом.

На дружный хохот солдат и человека, скрипевшего что-то пером на бумаге, ответил только солидным плевком на пол.

- Поездом, товарищ, привезли. Мериканцы.

Детей питерских с учителем сюда на поправку вывезли. Красный Крест, что ли, ихний. Это дело не мое. Ну, словом, мериканцы. Ленин им, што ль, за нас заплатил: подкормите, дескать. Ну а тут Колчак. Которые дальше уехали, которые померли, я в приют попал да в деревню убег.

- Что ты там делал?

- У попа в работниках служил. Ты не гляди, что я худячий. Я, брат, на работу спорый!

- Ну а добровольцем ты у Колчака служил?

- Служил. Только убег.

- Как же ты в добровольцы попал?

- Как красны пришли, все побегли, и я с ими побег. Ну, никому меня не надо, я добровольцем вступил.

- Что же ты от красных бежал? Боялся, что ли?

- Ну, боялся... Какой страх? Я сам красной партии. А все бегут, и я побег.

Солдаты снова дружно загрохотали. Комендант прикрикнул на них и приказал:

- Обыскать.



Так же охотно дал себя обыскать. Привычно поднял руки вверх. Весело поблескивали на желтом детском лице большие серые глаза. Точно блики солнечные - все скрашивали. И замороженное помятое яичико, и взъерошенную, цвета грязной соломы, вшивую голову. У мальчишки отобрали большую сумму денег, поминанье с посеребренными крышками, фунт чаю и несколько аршин мануфактуры в котомке.

- Деньги-то ты где набрал?

- Которые украл, которые па торговле нажил.

- Чем же ты торговал?

- Сигаретками, папиросами, а то слимоню што, так этим

- Ну, хахаль! - подивился комендант. - Родители-то у тебя где?

- Папашку в ерманску войну убили, мамашка других детей народила. Да с новым-то и с детьми за хлебом куды-то уехали, а меня в мериканский поезд пристроили.

И снова ясным сиянием глаз встретил тусклый взор коменданта. Тот головой покачал. Хотел сказать: "Пропаций". Но свет глаз Тришкиных остановил. Усмехнулся и подбородок почесал.

- Что ж ты у Колчака делал?

- Ничего. Записался да убег.

- Так ты красной партии? - вспомнил комендант.

- Краснай. Дозвольте прикурить.

- Бить бы тебя за куренье-то. На, прикуривай. Сколько лет тебе?

- Четырнадцатый, в Григория-святителя пошел.

- Святителей-то знаешь? А поминанье зачем у тебя?

- Папашку записывал. Узнает - на небе-то легче будет.

Мать забыла, а Гришка помнит.

- А ты думаешь, на небе?

- Ну а где? Душе-то где-нибудь болтаться надо. Из тела-то человеческого вышла.

Комендант снова потускнел.

- Ну, будет! Задержать тебя придется.

- В тюрьму? Ладно. Кормлют у вас плоховато... Ну, ладно.

Посидим. До свиданьица.

Гришку долго вспоминали в чеке.

Из тюрьмы его скоро вызвала комиссия по делам несовершеннолетних. В комиссии ему показалось хуже, чем в губчека.

Там народ веселый. Смеялись. А тут все жалели, да и доктор мучил долго.

- И чего человек старается? - дивился Гришка. - И башку всю размерил, и пальцы.

Либо подгонял под кого? Ищут, видно, с такой-то башкой...

Нехорошо тоже голого долго разглядывал. В бане чисто отмыли, а доктор так глядел, что показалось Гришке: тело грязное. Потом про стыдное стал расспрашивать. Нехорошо. Видал Гришка много и сам баловался. А говорить про это не надо.

Тошнотно вспоминать. И баловаться больше неохота. Когда от доктора выходил, лицо было красное и глаза будто потускнели.

Разбередил очкастый.

По вечерам в приюте с малолетними преступниками был опять весел. Пищу одобрил.

- Это, брат, тебе не советский брандахлыст в столовой. Молока дали. Каша сладкая.

Мясинки в супу. Ладно.

Ночью плохо было. Мальчишки возились, и "учитель" покрикивал. Чем-то доктора напомнил. Гришка долго уснуть не мог.

Дивился:

- Ишь ты! От подушки, видать, отвык. Мешает.

И всю ночь в полуяви, в полусне протосковал. То мать виделась. Голову гребнем чешет и говорит:

- Растешь, Гришенька, растешь, сыночек! Большой вырастешь, отдохнем. Денег заработаешь, отца с мамкой успокоишь... Родненький ты мой!

И целует.

Чудно! Глаза открыты, и лампочка в потолке светит. Знает:

детский дом. Никакой тут матери нет. А на щеке чутется: поцеловала. И заплакать охота. Но крикнул, как большой, плач задержал и на другой бок повернулся. А потом доктор чудился.

Про баб вспоминал. Опять тошнотно стало. Опять защемило.

Молиться хотел, да "отчу" не вспомнил. А больше молитвы не знал. Так всю ночь и промаялся.

Пошли день за днем. Жить бы ничего, да скучно больно.

Утром накормят и в большую залу поведут. Когда читают. Да все про скучное. Один был мальчик хороший, другой плохой...

Дать бы ему подзатыльник, хорошему-то! А то еще учительши ходили:

- Давайте, дети, попоем и поиграем. Ну, становитесь в круг.

Ну и встанут. В зале с девушками вместе. Девчата вихляются и все одно поют: про елочку да про зайчика, про каравай.

А то еще руками вот этак разводят и головой то на один бок, то на другой.

Где гнутся над омутом лозы...

Спервоначально смешно было, а потом надоело. Башка-то ведь тоже не казенная. Качаешь ей, качаешь, да и надоест. Лучше всего был "Интернационал"! Хорошее слово, непонятное. И на больших похоже. Это, брат, тебе не про елочку!

Вставай, проклятьем заклеименный...

Хорошо! А тоже надоело. Каждый день велют петь. Сам-то, когда захотел, попел. А когда и не надо. Все-таки за "Интернационал" Жорже корявому морду набил. Из буржуев Жоржа.

Тетя какая-то ему пирожки носит. Так вот говорит раз Жоржа Гришке:

- Надо петь: весь мир жидов и жиденят.

А Гришка красной партии. Знает: и жиды люди. Это Советскую власть ими дрызнят. Ну и набил морду Жорже. С тех пор скучно стало. За советскую власть заступился, а старшая тетя Зина и Константин Степаныч хулиганом обозвали. Аукак белье казенное пропало, их троих допрашивали. Троих, воры которые были. Гришка дивился:

- Дурьи башки! Чего я тут воровать стану? Кормят пока хорошо. Что, что воры? Сам украдешь, коли есть нечего будет.

Вот сбегу, тогда украду.

Крепла мысль: сбежать. Скучно, главное дело. Мастерству обещали учить не учат. Говорят, инструменту нет. А эту "пликацию" из бумаги-то вырезывать надоело. Которую нарезал и сплел, всю в уборную на стенке налепил и карандашом подписал: "Тут тебе и место сия аптека для облегченья человека Григорий Песков".

Писать-то плохо писал, коряво, а тут ясно вывел. С того дня невзлюбили его воспитатели. И не надо. Этому рыжему, Константину Степанычу, только бы на гитаре играть да карточки снимать. Всех на карточки переснимал, угрястый! Злой. Драться не смеет, а глазами, как змея, жалит. Глядит на всех - чисто нюхает: что ты есть за человек. Сам в комнате в форточку курит, а ребятам говорит:

- Курить человеку правильному не полагается.

Куренье - дело плевое. Вот сколько не курил. Отвык, и не тянет. А как заведет Константин Степаныч музыку про куренье да начнет вынюхивать и допрашивать, кто курил, - охота задымить папироску. А тетя Зинд всех голубчиками зовет. По го-4 ловке гладит. Липкая. Самой неохота, а гладит. И разговорами душу мотает.

- Это нехорошо; голубчик! Тебя пригрели, одели, это ценить надо, миленький. Пуговицы все застегивать надо и головку чесать. Ты уже большой. Хочешь, я тебе книжечку почитаю?

А ты порисуй.

Ведьма медовая! Опять же анкетами замаяла. Каждый день пишут ребята, что любят, чего не любят, чего хотят и какая книжка понравилась. И тут Гришка ее обозлил. В последний раз ни на какие вопросы отвечать не стал, а написал:

"Анкетов никаких нилюблю и нижалаю".

Побелела даже вся. А засмеялась тихонечко, губы в комочек собрала и протяжно так да тоненько вывела:

- У-у, а я тебя не люблю! Такой мальчик строптивый.

Ну и не люби. Жоржу своего люби. Тот все пуговицы застегивает, и листочек разлинует, и на все вопросы, как требуется, отвечает. А как спиной повернется, непристойное ей показывает.

Девчонки все пакость. У тети Зины научились тоненькими голосами говорить и лебезят, лебезят. А потихоньку с мальчишками охальничают. Манька с копей - ничего. Песни жалостные поет и книжку читать любит. Но и с ней Гришка не разговаривает. Бойтся. Нагляделся на девчонок-то и не любит их. Никого Гришка не любит. И опротивело все: и спальни с одинаковыми одеялами, и столовая с новыми деревянными столами. Бежать!

В монастыре детский их дом был. За высокими стенами. И у ворот часовой стоял. Гришка рассуждал:

- Правильно. Правонарушители мы. Так и пишемся - малолетние правонарушители. Важно! По-простому сказать, воры, острожники, а по-грамотному - пра-ва-на-ру-шители.

Это название нравилось так же, как "Интернационал".

Гришка гордился им и часовым у ворот. Но теперь часовой мешал. Удрать охота.

Весна пришла. На двор как выйдешь, тоска возьмет. Ноздри, как у собаки, задвигаются, и лететь охота. Солнышко подобрело и хорошо греет. Снег мягким стал. Канавки уже нарыли, и вода в них под тоненьким, тоненьким ледочком. Сани по дороге уж не скрипят, а шебаршат. Лошадь копытами не стук-стук, а чвакчвак... Веточки у деревьев голые, тоненькие, а радостные.

Осенью на них желтые мертвые листья трепыхались, а зимой снег. Теперь все сбросили. Легонькие стали, чисто расправились после хвори. Дышат не надыхатся. У неба пить просят. Мальчишки за оградой целый день по улице криком и визгом весну славят. Ой, удрать охота!. На дворе хорошо, когда по-своему играть дают. А как с учителями хороводы да каравай - неохота.

В лапту можно.

Монашки во дворе жили. Стеснили их, а выселить еще не выселили. И утром и вечером скорбно гудел колокол. Черные тени из закутков своих выходили и плавно, точно плыли, двигались к церкви. Она в углу двора была и входом главным на улицу выходила. Шли монашки молодые и старые, но все точно неживые двигались. Не так, как днем по двору или в пекарне сутились. Тогда на баб живых ходили, с ребятами ругались и визжали. А ребята их дразнили. В колодец плевали, а один раз в церковь дверь открыли и

прокричали:

- Ленин... Сафнарком!

Монашки в губнаробраз жаловались. С тех пор война пошла.

Веселее жить стало.

II

Все жаднее пила весна снег. В церкви дверь открывали.

Солнца хлебнувший воздух сумрачные своды освежал. Врывался он пьяный и вольный. А из церкви на двор выносился с великопостным скорбным воплем людей. С плачем о чертоге, в который войти не дано. Монашки чаще проплывали тенями к церкви. Дольше кричали богу в угаре покаянном. И эти бесшумные черные тени на светлом лице весны, и песнопенья великопостные, и будоражливый гомон весенней улицы совсем смутили Гришку. Воспитатели были довольны. Покорился он всякой науке. Смирно сидел часами. Глаза только пустые- стали.

А Гришка жил в себе Ночами просыпался и думал о воле. Убежать было трудно. Шестеро старших игуменью обокрали и бежали. Но их поймали. А они бунтовать. Парни уж. Усы пробиваются. На работы их в лагерь сдали. А за остальными следить строже стали. Часового, агента чеки и воспитателей прибавили.

Но случай помог.

Война детей с монашками все разгоралась. В тоскливой череде дней стычки с ними были самое яркое. Ими жили в праздном своем заточении. А тут еще пятьдесят человек тюрьма доставила. Необходимо было выселить монахинь. Освободили для них большой двухэтажный дом за рекой. Близко к окраине города. Предложили переехать. Монахини покорно приняли решение власти. Только выпросили церковью монастырской пользоваться. Но потихоньку каждая жалобу свою излипа.

По утрам поодаль от высокой монастырской стены останавливалась крестьянская подвода. Иные дни - две-три. С видом виноватым, съезжившись, пробирались к воротам монастыря мужики и бабы. Просительно, ласково говорили с часовыми, юркали в калитку. Двор встречал их отзвуками чуждой новой суеты.

В воздухе звенели слова: "товарищ", "детдом", "правонарушители".. Исконная монастырская жизнь пугливо таилась в глубине. Минуя звонкоголосых и молчаливых, с готовым вопросом в детских глазах, шли в задние малые домики. Там встречали их лики святых и тонкие умильные голоса. Вот этим дающим тайную лепту излили душу монахини. Игуменья под бумагами подписывалась: настоятельница трудовой коммуны монашеской, смиренная Евстолия На собраниях в церкви монастырской, совместно с верующими, уговаривала: "всякая власть от бога".

Но и она не стерпела. Знакомому мирянину Астафьеву, который раньше два кинематографа имел, на монастырь хорошо жертвовал, а теперь в губсоюзе служил и бога опять же не забывая, поскорбела:

- От храма божьего отрывают.

И побежали вестовщицы по домам, где бога не забыли.

- Монахинь выселяют!

- Театры в монастыре будут...

- С икон ризы снимают...

- С престола из церкви все председателю губчека на квартиру свезли.

- Мать-игуменью в чеке пытали.

Из домов вест крылатая на базар, что на площади рядом с монастырем, перекинулась. В день, для переезда назначенный, бабы на подводах крестились. Одна, в тревоге, - за капусту три тысячи недополучила. Охая, мешала возгласы к богу с бабьей бранью,

визгливой и бестолковой:

- Матушка, царица небесная, троеручица! Что же это, холеры на их нет... сует деньги, а сам дирака! Коммунист лешачий!.. Жидово племя! Микола-милосливый... Молитвы, вишь, помешали... Чисто черти, ладана боятся. Невесты Христовы, матушки наши... да куда же пойдут? Задави их горой, ироды, антихристово семя!.. А, на-кося. Только глянула: был человек, нету человека... Ну, да я помню рожу твою пучеглазую! Придико еще... Лихоманка собачая!..

Мужики языка не распускали, но с базара, торг закончив, не уехали. Ближе к монастырю лошадемок подвинули.

Подали подводы для монашек. Большие ворота открыли. Часовые около них встали. И, точно проводом тайным, весть передалась. Сразу разноцветной волной прилила толпа. Зорко глянула из-под черного клобука мать Евстолия. И в воротах остановилась, высокая и важная. Не спеша повернулась к иконе, над воротами прибитой. Наземь в поклоне склонилась. Бабы в толпе захлюпали. А игуменья у подводы своей еще на все четыре стороны поясные поклоны отвесила. Лицо у ней, как на старой иконе. Строгое. Черными тенями двинулись за ней монахини. Как игуменья сделала, все повторили. Четкие в синем воздухе весеннем, черные фигуры рождали печаль. Метнулась одна баба к монашкам с воплем звенящим:

- Матушки наши! Молитвенницы! Простите, Христа ради!

За ней другая. Еще звонче крикнула:

- Куды гонют вас от храма божьего?

Третья прямо в ноги лошади игумниной. И петуха из рук выпустила.

- На нас не посетуйте! Богу не пожальтесь!

Заголосили истошным воем. Отозвались десятки режущих женских воплей. С улиц на плач прохожие метнулись. Конный солдат с пакетом на всем скаку лошадь остановил. Застыл в любопытстве. Торговка Филатова тележку с пирожками бросила.

К нему ринулась:

- За что над верой Христовой ругаетесь? Покарат!.. Дай срок, покарат!

Задвигалась толпа. Визги женские всколыхнули. Загудели мужчины:

- Не дадим монастырь на разгром!

- Кому монашки помешали? Кого трогали?

Юркий и седеакий учитель бывшего духовного училища, староста церковный, к подводам вынырнул. Задрезжал старческий выкрик:

- Где же свобода вероисповедания? Свобода вероисповедания, правительством разрешенная, где?

Толпу подхлестнул:

- Правое нет!

- Ленину жалобу послать!

- Произвол местных властей!

- Богоотступники! В жидовскую синагогу никого не поселили. Жиды, хриstopродавцы!

- Ага! Да! В мечеть да в костел не пошли! В православный монастырь подзаборников поселили. В православный... Ни в чей...

А "подзаборники" шумной ватагой уж со двора высыпали.

Круглыми глазами всех оглядывали. Весельем скандала упивались. Под ноги, как щенки бестолковые, всем совались. Гришка про тоску и побег забыл. Сияли серые глаза, и головенка с восторгом из стороны в сторону покачивалась.

Чудно!.. Бабы орут, у мужиков морды красные. А монашки чисто куклы черные на

пружинах. Туды-суды кланяются. Губы поджали.

- Ишь, изобиделись!

И, набрав воздуха в легкие, полный задором бунтующим, Гришка около игуменьи прокричал; - Сволочь чернохвостая!

Диким концертом бабы отозвались:

- Над матушками пашенок ругается!

- Молитвенницу нашу материт!

Смяли бы Гришку. Но часовой его за шиворот схватил.

К стене монастырской отбросил. А сам только очухался. На скандал загляделся было.

Другой тоже оправился и во двор крикнул:

- По телефону скажите! Наряд нужно!

Но шум уж разнесся по городу. С разных концов мчались конные.

- Расходись... Расходись...

- Граждане, которы не монастырски, назад подайтесь...

Назад!..

Монашка одна визгнула и наземь кинулась. Конный к ней метнулся:

- Подсадьте матушку на подводу... Под бочок, под бочок берись. Клади... Гражданка игуменьина, на подводу пожалуйте.

Подмогните! Проводите!

Смешливый стекольщик, в толпе застрявший, загоготал; - Ишь ты! Ухажер военный подсыпался.

Живо подхватили:

- Гы-гы... Га-га... И монашкам хотится с кавалерами-та.

- Хотится с ухажерами пройтиться... Ха-ха-ха...

- Лешаки-окаянные. Хайло-то распустили. Матушки наши!

Печальницы!..

- Ы-ы-ы... Еще на копеечку, тетенька, поголоси, советску десятку отвалою...

- Охальники! Кобели проклятые]

- Ах, не выражайтесь, пожалуйста. Пойдем, Маня.

- Гы-гы-гы... "Пойдем, Маня". Фу-ты; ну-ты, ножки гнуты... Юбка клош, карман на боку... Барышни-сударышни!

- Глянь-ка, глянь-ка, монашки добро укладывают.

- Ишь, стервы, вышли с узелками. Убогие! А позади сундуки тащат.

- У игуменьи в подполье чугуна с золотом нашли.

- Сто аршин мануфактуры!

- Какие мученицы, подумаешь! Не на улицу выгоняют. Молиться и поститься и там можно. Правда, Вася?

- Я, как коммунист, губисполком одобряю.

- А я не коммунист, но тут я их понимаю. Детей девать некуда. П-а-нимаю.

- Знамо, околевать ребятам-то, што ли? Им тут покои да послушницы, а дети под заборами.

- Которы сироты... В пролубь их, што ли?

- Ну-ну, расходись... Граждане, граждане! Осадите!

Монашки юбки подобрали. Суетливо вещи укладывали.

Иконописность свою потеряли. Толпа гудела. Сочувствие монашкам в разговорах сгасло. Гришка от стены тихонько отделился и в толпу шмыгнул.

III

Вот один мужик на станции про себя рассказывал, сколько ему по разным городам

шманяться пришлось. И говорит: "Планида у меня такая беспокойная". Гришка тогда засмеялся. Со всеми вместе, а не понял. А теперь вспомнил, к себе применил:

- Планида у меня беспокойная.

Сейчас, к слову сказать, ребятам там "бутенброты" с чаем дают, а Гришка по улице ходит да слушает, как в животе урчит. Назад туда неохота все-таки. Да брюхо-то несговорное.

День протерпит, два, а там и замает человека. И припасы - ау!

Все изничтожили. Шестеро их на кладбище прячется. Пятерых Гришка сыскал, которые склад губнаробразовский с кучером обворовали да из приемника сбежали. Ну, на кладбище на ночевки пристроились. Деньги у тех-то были, да и Гришка с себя рубаху да штаны верхние продал. Пальто казенное на худенькое сменял. Придачу дали. Все проели. Днем по городу канючили без опаски. Кому надо искать? Новых ребят каждый день приводят. Разве на плохого человека попадешь, привяжется.

- Кто ты есть? Откуда?

А хороший пройдет себе по своим делам, куда ему полагается. И не посмотрит!

Нынче день плохой выдался. Гришка у советской столовой стоял, никто билетика не дал. В детской, когда без карточек, с тарелок доедать дают, а нынче погнали. "Рабкрину" какую-то ждут. В один дом сунулся.

- Подайте, Христа ради... Отца на войне убили, мамка от тифу в больнице померла. Взашей вытолкали.

- Иди, - говорят, - у комиссаров своих проси. Развели вас, пусть кормят.

Дивится Гришка.

- Дак нешто нас комиссары развели? Отцы да матерья.

А к им подбросили. Ну, дак, говори с дураками! А есть охота.

Столовые уже закрывают. Эх ты, незадача какая вышла!

С горя дал башкиренку - тоже у столовой стоял - по уху, а тот ловкий. Кулаком в живот. Охнул, отдохнул да дальше пошел.

- Товарищ... дайте на хлеб...

- Пшел с дороги. Сколько развелось, и мор не берет.

- Ишь, пошел, порфельчиком помахивает! Скупяга толстозадая!

Мальчишка папиросами торгует, к нему подошел:

- Почем десяток?

- Проваливай, шпана! Эдаки папиросы не тебе курить.

Гришка глаза прищурил:

- Ох, какой зазнаистый! А може, у меня десять тыщ есть.

- Есть у тебя десять тыщ, других омманывай. Ну-ка, покажи!

- Стану я всякому показывать. Може, и побольше было.

- Ёьли да сплыли. Проходи, проходи, а то в морду дам!

- А ну, дай!

- И дам!

- А ну, попробуй!

- А попробую!

Встали посреди панели и друг на друга насакивают. А туг барыню какую-то нанесло:

- Это что такое? Ты торгуешь, мальчик?

А у того папироски-то в ящике в руке. Сдуру-то и сунься:

- Высшего сорту. Сколько? Десяток?

А она его за рукав:

- Пойдем-ка в милицию. Приказ о детской спекуляции читал? Неграмотный? К

родителям сходим.

Тот упирается, а она тащит. А Гришка, понятно, драть. Чуть не влопался. Ладно, баба сырая, а то обоих бы захватила. Ну, денек!

- А денек уж сгасал. Печальным, серым стало небо. Одна полоска веселая, розовая осталась. Да не греет. Люди в дома заспешили. Ветер злее задул.

Путаются ноги одна за другую, а делать нечего. Поплелся на кладбище. Между вокзалом и городом, на пустыре оно. Стенами каменными огорожено, а калитка не запирается. Деревья на нем сейчас от ветру скрипят. И снег не весь растаял. Студеные ночи бывают. Но в яме у них, в углу меж двух стен, потеплее. Два раза осмелели: костер жгли. Но часто нельзя. Дознаются.

Пришел Гришка со вздохом, а там радость ждала. Ребята пищу "настреляли" и Гришке оставили. Две девчонки от сытости песню тихонько заиграли. А они, мальчишек четверо, друг другу про день свой рассказывали. В яме сидели плотно. Тесно, а лучше. Теплее, да и по ночам не страшно. А то ночью на кладбище жуть сходила. Когда ветер шумит и темно - лучше.

А когда месяц на небо выпялится и тихо кругом - страшнее.

Далеко собаки пролают. Там, где живые. А здесь тихо. Одно слово могила. Чудится, затаился кто-то и рот зажал, чтобы не дышать, а сам смотрит. Из ямы выглянешь, кресты месяц освещает. Все кресты да памятники стоят прямо, застыли. Тоже будто затаились, а грозят. Сегодня ночь темная, ветренная. Ветром живую жизнь от города доносит. Васька конопатый, как сытый, всегда рассказывает. И нынче начал. Девчонки тоже замолчали, слушать стали.

Разговор зашел, что, бывает, живых хоронят. Васька и рассказ повел:

- А вот я вам, товарищи; расскажу, какой случай был.

В одном городе... Ну, дак вот, барышня одна так-то... Не го реалистка, не то емназистка... Пришла ето домой да "ах"... да

"ах, папаша, ах, мамаша, помираю". Дрык-брык, да на пол упанула. Мамашка ето к ней, папаша к ей, а она "помираю да помираю". Ну, канешно, сичас за дохтуром. Дохтура привезли.

Вот так и так, господин дохтур, помирать хочет. Дохтур ее вызволять. Ну, канешно, и квасом и шиколатом, а она, "нет, нет, помираю". Дрыг-брык, и не дышит. Ну дохтур уехал, канешно.

Маменька это повыла, повыла, да в гроб ее обрядили. Ну и схоронили. Вот эдак же на кладбище. Она, канешно, там лежала, лежала да давай шебаршиться. Слушает сторож, шебаршится!

Слушал, слушал да к отцу с матерью барышниньщ. Они людей понабрали, могилку разрыли, а она уж вдругорядь померла, канешно. А, видать, шебаршилась. Ножку одну вот эдак под себя подвернула. И говорит тогда дохтур: с ей был листаргический сон. И в газете так пропечатали. Я тогда маманьке с папанькой своим приказал: меня не хороните, пока я не прокисну и не протухну. Да-а.

Ребята слушали, затаив дыхание. А как кончил, Полька-дура завыла: "Боюсь".

Гришка ее урезонивая:

- Дура, чего воешь? Набрехал все Васька.

А Васька божится:

- Ей-тк), лопни мои глаза, в газете было пропечатано. Не то реалистка, не то емназистка.

Петька-старшой, сам парнишка, - ровесник Гришкин, а строгий. Командир здесь. Он прикрикнул:



- Реви, реви, кобыла. Сторож услышит, он те пострашнее Васышного покажет. А ты, пустобрех, заткнись!

Васька обозлился:

- Ишь ты! "Заткнись"! Я, што ль, в газетах печатал? А вот как дам тебе бляблю хорошую, так поверишь.

В это время в лесу: бах-бах! За стеной кладбищенский лес сразу начинался.

Дети затихли.

- Стреляют, - прошептала Анютка.

Тихо сказала, но страха в голосе уж не было. Не в первый раз они выстрелы слышали.

Гришка в темноте деловито брови нахмурил.

- Это которых на расстрел. Контрреволюционеров.

- А пошто? - Полька пискнула.

Петька отозвался:

- Вот дура. Который раз тебе говорю: супротив советской власти которые.

Завозился молчаливый Антропка:

- А я боюсь, когда человека стреляют. Больно.

А в лесу опять: бах-бах! Затаились. Слушали с любопытством. Мертвых боялись, а смерти еще не знали. И не пугала мука тех, в кого бахали. Антропка только задрожал. Он войну в своем селе видал. У него сердце в комочек захватило. И тоскливо, слезы проглотив, тихонько сказал:

- В тюрьму бы их лучше.

Петька презрительно сплюнул:

- А который подлец бесконечный, сам сколько поубивал.

Его как?..

- А в тюрьму его...

- А он убежит, да опять убьет.

- А солдатом к нему приставить, он не убежит...

- А он солдатом убьет.

- А у него ривольверту нету, не убьет...

Крыл Петьку. Подумал - и сказал только:

- Ты дурак, Антропка!

А Гришка ничего не говорил, а думал:

"Как в их стреляют, жмурят они глаза али нет?"

И увидал вдруг словно: жмурят. Сердце, как у Антропки, защемило.

Затихли выстрелы. Дети выжидали: не будет ли еще? Не дождались. Пришел сон, веки смежил и всякие мысли отвел.

Антропка только во сне взвизгивал тихонько.

Утром, как солнышко обогрело, все стало живым и радостным. Тьма скрылась и тоску с собой унесла. За стеной кладбищенской в губчека и в расстрел играли. Петька председателем губчека был. В одной руке будто бы револьвер держал, а в другой из пулемета стрелял. Пбльку с Анюткой расстрелять водили.

Антропка с Гришкой расстреливали. Гришка весело командовал:

- Глаза жмурьте! Жмурьте глаза!..

В звонких детских криках не было ни кощунства, ни жути, ни гнева. Они в простоте жизнь больших воспроизводили. А солнышко грело жарко. Будто лаской своей обещало: новую игру еще придумают, эту забудут.

День веселый удался. Парижскую коммуноу праздновали.

В детской столовой без карточек кормили. Кладбищенские жильцы в близкую очередь

попали и покормились. А потом по улицам с народом за красными флагами ходили. "Интернационал" пели. На площадях ящики высокие красным обтянули. На них коммунисты руками размахивали и про Парижскую коммуну что-то кричали. Один Гришке больше всего поглянулся.

Большой да кудлатый, орластый. Далеко слышно! По ящику бегают, патлами трясет, а потом как по стенке ящика ударит кулаком:

- Шапки долой! Буду говорить о мучениках коммуны!

Здорово и внятно рявкнул. Гришка слова запомнил, а потом сам в толпе кричал:

- Шапки долой, буду говорить о мучениках коммуны!

Около бабы какой-то закричал, она ему затрещину влепила:

- Свинонок, вопит без ума! Кака така коммуна-то - не знает, а орет!

Гришка голову, где влетело, погладил и дальше радостный помчался. Как не знает? Знает. Коммуна - это у коммунистов, а Парижеска .. Город такой есть. За Москвой где-то. Слышал еще в детском доме: "большой город Париж, в его приедешь - угоришь". Нет, Гришка, брат, знает. Снова в буйном восторге заорал:

Сваею собственной рукой!

Народ опять остановился. Не то баба, не то барыня на ящике тоненьким голоском визжала. Что - не разберешь, а смотреть на нее смешно. Расходуется. Гришка ее тоже тоненьким голоском передразнил: и-ти-ти-ти! И дальше пошел. А из толпы пьяненький выскочил.

Пальто чистое, и шапка с ушами длинными набок, а на груди бант красный прилеплен. Худенький, щербатенький и глазом косит. А сам руками машет и орет:

- Товарищи, прошу вас анракинуть капитал!

Его за пальтишко хозяйка его, видно, ухватила, а он рвется к "ящику":

- Убедительно прошу вас апракинуть капитал!

Подлетели к нему два конных и под ручки подхватили.

В толпе захохотали:

- Вот те опрокинул капитал!

- И чем натрескался? - завистливо удивился хриплый бас.

Гришке новая радость. К кладбищу с криком звонким летел:

- Товарищи, прошу вас опрокинуть капитал!

Однажды ночью кладбище оцепили. Крупного кого-то искали, а нашли Гришкину коммуну. И в призрачный час предрассветный, спотыкаясь спросонок, плелись малолетние правонарушители знакомым путем. Усталые красноармейцы ругались, но не били.

#### IV

После ночной отсидки опять в наробраз повели. Партию в пятнадцать человек. Три милиционера провожали. Старший всю дорогу кашлял, плевался и ребят отчитывал:

- Ну, какие из вас люди вырастут, как вы сызмальства под конвоем? Навоз вы, одно слово!

- И на что вас рожали? Тьфу. Ну ты, голомызай, не веньгай! Биз тебе тошно.

А башкиренок косоглазый не понимал по-русски. Визжал и бежать хотел. Рябоватый милиционер ему винтовкой погрозил, потом аа длинную рубаху взял и за нее за собой тащил. Тюбетейка в грязь упала. Старший поднял и набекрень ему ее нахлобучил. А башкиренок рвался в сторону и кричал. Неподвижным оставалось скуластое желтое личико, крик был скрипучий, но монотонный.

- Ига кайттырга ты-лэ-эм! (домой хочу).

Ворчал старший в ответ:

- Катырга, катырга... Знамо, каторга. И вам, и нам с вами.

А ты не скрипи! Коли тебе жизнь определила каторгу, скрипи не скрипи толк один. Навоз, как есть навоз! Не скули!

А башкиренок скулил. Как щенок, на которого люди впопыхах наступили.

Проходящие на ребят оглядывались. Седой господин, с воротником и в нынешний теплый день поднятым, остановился. Головой покачал и громко сказал:

- Безобразие! Детей с винтовками провожают. Били, верно, малайку-то?

Старший к нему дернулся:

- А жалостливый, дык возьми к себе! Каждый день таскаем. Жалеете, а кормить не жалаете?

Господин возмутился. Дети дальше брели.

В наробразе, известно, в комнату по делам несовершеннолетних. А там уж на полу сидят. Старенький делопроизводитель в бумагах заплутался. Мается и листочки со стола на пол роняет.

Барышня с челкой завитой в шкафу роется. Другая, постарше, со стеклышками на носу, шнурочек со стеклышек тербит и сердится:

- В губисполком всех отправлю. Куда хотят, пусть девают!

Что это...

А в дверь еще с ребятами. Всякими. И в казенной одежде, и в одном белье, и в ремушках разных.

В приемник Гришкину партию отправили. Там сказали:

- Некуда. Не примем.

Назад привели. Старший сопровождающий плюнул и ушел.

Двое других сигарки завернули и на пол на корточки присели отдохнуть. Гришку замутило. И от голода, и от воздуха в комнате тяжелого. А больше от тоски. На пол сел, мутными глазами в потолок уставился, крепко губы сжал. Лицо стало скорбным и старым. А в комнату бритый, долгоносый, с губами тонкими вошел. На голове, острой кверху, кепка приплюснута была на самые глаза. Ступал твердо. Точно каждым шагом землю вдавливал. И башмаки, чисто лапы звериные, вытоптались. Как вошел, на стул плюхнулся. И стул тоже в пол вдавил.

- Што? Навертываете? Все с бумажечками, с бумажечками? В печку все эти бумажки надо. А ты, башкурдистан, чего воешь? Автономию просишь?

Глаза узкие щурил и тонкие губы кривил. Над всем смеялся.

Как говорил, руки все тер ладонями одна о другую, ежился, ноги до колен руками разглаживал. ВесЪ трепыхался. Смирно ни минуты не сидел. Каждый сустав у него точно ходу просил.

Дела.

- Подождите, товарищ Мартынов, - затянула жалостно старшая барышня. Всегда вы с шумом. Вот голова кругом идет. Куда их девать?

- Сортиры чистить, землю рыть... Куда? Место найдется.

Эй ты, арба башкирская. Долго еще проскрипишь?

И похоже передразнил: - - И гы-гы-гы...

У башкиренка глаза высохли. Губы в усмешку растянулись.

И скрип свой прекратил.

- Ну, так, барышни, как? Все бумажечки, бумажечки? По инструкции, с анкеточками?

И опять ладони одна о другую.

- Десять этих барахольщиков я у вас возьму. Десять могу.

- А вот хорошо, товарищ Мартынов, - обрадовалась старшая. - Мы вам сейчас отберем.

Тут есть такие, у которых дела уж рассмотрены.

- Я сам отберу. У меня своя анкета.

И к ребятам со стулом повернулся. На белобрысого высокого мальчишку взглядом уперся:

- Эй, ты, белесый! Воровать хорошо умеешь?

Тот скраснел и затормошился:

- Меня занапрасну забрали. Это Федька Пятков украл, - а я...

- Врать хорошо умеешь. А драться любишь? Врукопашную или с ножиком?

- Нет, я не дерусь.

- Не дерешься? Дурак. А ты што прозеленел?

Это Гришке он.

Гришка глянул, как он на стуле вертелся и руки одна об Другую скоро, скоро шваркал, и засмеялся. Вспомнил:

"Обезьяну эдакую беспокойную в зверинце видал. Похоже.

И руки длинные, и мордой чисто дразнится".

- Что смешно? Рожа-то что у тебя зеленая?

Гришка носом шмыгнул и в ответ:

- Прозеленеешь. Не пимши, не емши с утра тут!

- Не привык разве без еды?

- Привыкать, привыкашь, а все брюхо ноет.

- Из тюрьмы, што ль бежал?

- Какая тюрьма? Я малолетний. Из монастыря бежал.

- Пострижку уж делали? Это, друг, у них не монастырь,, а меди-ко-пе-да-го-гический городок зовется. Сукины дети - придумают? Што же ты бежал?

- А так. Неохота там.

Старшая барышня ученые глаза сделала и сказала:

- Дефективный. Очевидно, категория - бродяжников.

- Вот и под пункт тебя подвели. Умные! А звать тебя как?

- Песков Григорий.

- Ага. Ну, так, Григорий Песков. В тюрьме, говоришь, не сидел?

- Как не сидеть! Сидел. Сколь раз. А только так теперь не полагается. Малолетних правонарушителей устроили.

Захохотал негромко, нутром, и лицо человеческое стало - не обезьянье.

- Слышите, товарищ Шидловская, правонарушителей устроили? Ха-ха-ха. Сортиры чистить будешь?

- Дух от их нехороший. А надо, так буду.

- Ну, ладно. Со мной поедешь.

- Куда?

- Там увидишь.

- Скушно будет - убегу. И через часовых убегу, - со злым задором Гришка кинул.

- У нас часовых нет. Беги. А плохой будешь, так и сами вышибем. Под задницу коленкой! Нам барахла не надо. Этого беру.

И других ребят с усмешкой выпрашивать стал. Смирных да ласковых не брал. Трех девчонок отобрал, шесть мальчишек да башкиренка скрипучего.

- Через три дня на вокзал приходите, а завтра здесь ждите.

Для тела покрышку найдем.

- Так ведь их надо куда-нибудь устроить, товарищ Мартынов, на эти дни. Нельзя же их без надзора.

- Как же! Гувернантку им с французским языком приставить надо. Парле франсе, Григорий Песков!

Почти все ребята засмеялись. Даже башкиренок. Морду больно хорошо скроил Мартынов.

- Вы всегда с шуточками, товарищ Мартынов. Даже раздражает! Вы не понимаете, что они сплошь дефективные...

- Как не понять! Наркомпрос разъяснил в инструкциях все как следует. Накормить их, барышня, надо да на работу, камни ворочать! Ну, вот что, которых отобрал, пойдете продукты получать!

- Ну, слушайте, это же безобразие! Надо же список хоть на них составить, потом выяснить, куда их на эти дни определить, охрану вызвать, чтоб до места проводить.

- Насчет списка наворачивайте, как хотите, если писать больно любите. А охрану не надо. Я их к себе на квартиру возьму. Аида продукты получать!

- Да ведь они у вас все разбегутся!

- Убегут, в дураках останутся. Опять в ваш медико-педагогический монастырь попадут. Пишите список. Ребята, сейчас за вами приду, пойду снабжение пощупаю.

На ходу мазнул рукой Гришку по голове и ушел. Гришке отчего-то радостно стало. Длинная рука ласково по голове прошла. И подумал Гришка:

"Этот ничего. Мужик стоящий".

Никто из десяти не убежал. Не три дня, а неделю прожили с Мартыновым в его маленькой комнате под вздохи квартирной хозяйки. Но вздохи эти слышали только в первый день, когда к вечеру пришли. В остальные дни возвращались поздно. Ко сну сразу. Целые дни гонял их Мартынов за получениями во все концы города. В одном месте посуду достал, в другом - мануфактуру, в третьем - крупу. Потом в теплушку грузили ящики со стеклом. С кучером Николаем на заимку за коровами ездили. Отовсюду собирал в колонию, как хозяин домовитый, Мартынов. Лазейку нашел во все склады, для других замкнутые наглухо. У председателя губчека, к улучшению жизни детей свыше приспособленного, в кабинете часы стенные для колонии снял. И все на ходу потирал ладони одна о другую. Над всеми посмеивался. На ребят покрикивал:

- Эй вы, барахольщики, что брюхо распустили. Навертывайте, наворачивайте. Башкурдистан, с Николаем воду носи!

Скот напоить надо.

И понимал башкиренок русскую речь по жестам живым Летел во двор с гортанным криком.

Гришка ожил. Главное дело - весело. Сколько народу за день переглядишь.

Высыхает уже земля. От деревьев дух сладкий, весенний пошел. Солнце тороватое стало. Почти весь день греет. Дождик, если пойдет, так радостный. Только умоет, и опять допустит солнышко все обсушить.

Бегать легко! В первый же день, как из наробраза вышли, в парикмахерскую их Мартынов повел. Головы всем обрили наголо. Даже девчонкам. Потом в бане отмылись и в штаны короткие обрядились. И девчонки. Чудно! А ничего, привыкли.

Одежда легкая. И не хочешь, да скачешь в ней. Штаны до колен, рубашки без воротников и рукавов.

Дорога вся в колонию была для Гришки - как первый сои чудесный.

В двух теплушках ехали. Худых коров и лошадей вместе с собой везли. На остановках убирали за ними. Воду носили. Широко расставив ноги, Мартынов воду качал. На ребят покрикивал. Во время хода поезда с ребятами про них разговаривал.

Не расспрашивал, а все сами про себя наперебой ему рассказали. Гришке он сказал:

- Родителей нет - это, друг, хорошо. Родители - барахло!  
Мать юбкой над сыном трясет, сын бездельник выходит. Родили - и ладно. Сам живи.  
- Да, а милиционер говорит: вы - как навоз.  
- Навоз - хорошо. От навоза - хлеб хороший будет. Ну, ну, друзья, коров на этой остановке подоим. Молоко пить будем.

Молоко - это хорошо.

Мяса не ел, над ребятами смеялся:

- Барбосом закусываете? Зажваривайте, зажваривайте.

Гришка визжал от восторга:

- Это говядина, не собачатина!

- Все равно. Один черт. Барбос! Вот молоко хорошо. Это, друзья, хорошо!

В одной теплушке Мартынов верховодил, в другой - кучер Николай. Вот и вся охрана. Ребята менялись. То одни с Мартыновым ехали, то другие. Сами очередь установили, какой пролет кому с кем ехать. На душистом сене валялись. Песни пели, кто какую знал и хотел. Лучшее всего у башкиренка вышло. Слова непонятные, не запомнишь. А похоже, что выходило:

Ай дын бинды дынды бинды.

Ай дын бинды дынды бинды.

Чудно! Пять раз пропел. Ребята просили. Глаза закрывает, ножки под себя крест-накрест, качается и поет. Хорошо! Еще пять раз Гришка слушать готов.

В широко открытые двери теплушки вольный ветер степной, духовитый врывается. И буйную радость с собой приносит. Гришка криком, визгом, прыжками восторг свой в степь посылал.

Для него мчится этот поезд. Для него паровик ревет. Первый раз так почувал: все Гришкино, все для него! И кричал в открытую дверь во всю силу легких:

- У-гу-гу-гу-гу!..

Вечером, когда кругом прохлада легла и тихоньким быть захотелось, молоко пили. Теплое парное молоко. Сами надоили.

Ух и молоко! Да разве расскажешь? Первый сон чудесный разве расскажешь? Ну, как расскажешь, как сами лошадей из вагонов выводили, сами телеги запрягали? Как темной ночью по лесу незнакомому ехали. И сладкой жутью лес обнимал. Как в сказке!

У

Гришка через озеро громким голосом горы спрашивал:

- Кто была первая дева?

Горы отвечали:

- Ева-а!

Смеялся Гришка:

- Ишь ты, каменюги, разговаривают.

И снова, грудь воздухом подбодрив, орал:

- Хозяин дома-а?

Горы сообщали гулко и раскатисто:

- ...Ома-а!

- Эха это называется. Ха-ар-ашо!

Во всем здесь жилки живые трепещут. Все на Гришкин еов ответ шлет. Не в городе. Там собачонка лаять может, а молчком норовит укусить. Дома не подхватят голос человеческий.

Радостно на камне стоять. Солнце еще раскалиться не успело, а камень теплый.

Вчерашнее тепло за ночь не растерял.

Волны на камень несутся. Ровным голосом тянут:

- У-у-у-х... у-у-у... у-х.

Одна большая нарастет. Разбахвалится. Голоса всех прежних покроет и раскатится.

- У-ух-ху-ху-у-у!..

И Гришкины босые ноги обольет.- Они все в царапинах от камней и кустарников. Как солнышко обсушивать начнет - саднит. А хорошо!

- Дери, матушка-вода, отмывай.

Штанишки короткие долой. Рубах не носят мальчишки в жаркие дни. И в воду.

Охватила, прильнула, и опять кричать охота. С волнами, с небом, с лесом, с горами, с птицами, зверями и человеками говорить.

- Го-го-го-го!

А с горы ребячий отклик несется:

- Песк-о-ов! Гришка-ка горласт-а-а-й!

И трое, по пояс голые, в штанишках коротких, с горы несутся. Ногами камни с крутого спуска сбивают. Впереди всех Тайчинов. Башкиренок, с которым вместе Гришка сюда приехал.

Голову набок и, как лошадь степная, ржет. Потом прыжком, по-звериному легким, с последнего уступа к Гришке на берег.

- Рожка трубить скоро нада! Зачим пирвый драл? Работать ни будишь, исть рази будишь?

- А я-то не работал? Магомет прилипучий! Ране всех воду из бочки носил, молоко мерил. Ты глаза-то не разлепил?

- Ну латна, Латна. Аида, башкой мыряй, глядеть хочу.

А сам уже в воде. Радостно визжал. Гришка послушно на песок выбежал. На руки вниз головой стал, в воздухе ловко перевернулся. И в воду головой.

Тайчинов восторгом захлебнулся:

- Баш...кой мырят! Башкой! Уй-уй-уй!..

Синеглазый полячонок Войцеховский тоже "башкой мырнул". Белым, будто хрупким, а сильным тельцем в воздухе сверкнул.

Степенно в воде пофыркивал крепкий плечистый хохол Надточий и вдруг басисто рывкнул:

- Ого-го-го! Оце ж так озеро! Всем озерам озеро-о!

Озеро хорошее. Нынче синее, радостное. А когда с утра дыбом встает. Сердится и белой пеной отплевывается. А само серым станет. И всегда шумит. Морю шумом не уступит. Когда тихое, чуть не до дна всю жизнь озерскую разглядеть дает.

Какие-то тут приезжали со снарядами всякими. Озеро вдоль и поперек мерили. Ребят с собой в лодку по очереди брали. Так вот эти говорили по-ученому: вода в нем радиоактивная. Ребята с гордостью друг другу передавали:

- В нашем озере вода радиоактивная.

Большое озеро. Как РТЗ лесу выйдешь к нему, широко и вольно сразу станет. Берега горами вздыбились - горами высокими, лесистыми. Облакам грозят. Но озеро не теснят. В чаще горной вольно колышется чистое. И лес озеру радуется. Березки кланяются. Сосны и ели смолистый запах шлют. В лесу дома-дачи прячутся. А которые близко на берег выпялились.

На крутизне надбережной семь дач красуются. Колония детская. Отошла подальше от деревни и других дач.

Веселый берег у колонистов. У пристани четыре лодки качаются. И лучше всех белая

парусная "Диана". На палках двух высоких холстина надписью яркой манит:

"Трудом и знанием побеждена стихия".

Любил Гришка эту надпись. Как на лодке в пристань возвращался, всегда громко читал.

"Побеждена стихия". Во-о!

Слово-то какое! Стихия. И не объяснишь, а как услышишь - богатырем охота стать. И озеро - стихия. Оттого и шумит.

Весь берег каемкой разноцветной у воды украсился. Круглыми серыми и белыми камешками и песком золотым на солнце. В одном месте из лесу большой старый пенёк выступил. Дети на нем голову старика в красной шапке разрисовали. Красками разными. И глядит пенёк, как живое лицо стариковское. Только бородой белой не трясет. А то прямо живой! Вон, с берега глядит.

А на круче, как зверюга лесной, только без шерсти, голоногий Мартынов. Тоже в коротких штанах, как ребята, и в сетке редкой до пояса. Шел и камни на круче вдавливал. Издали гудел:

- Эй, вы! Интернационал чумазый! Проплескались? Будить других пора. Скорее! У меня чтоб - хны!..

Четверо мальчишек на разные голоса отозвались:

- Хны!.. Хды!.. Хны!.. Сергей Михалыч, хны!..

Никто в колонии не знал, что это слово значит. А у Мартынова оно все. Хны - хорошо, хны - плохо. Хны - быстро и ловко. Что хочешь. И только в колонии Гришка от него это слово услышал. В городе не говорил. Это мартыновское здешнее слово. Для своих.

Гришка первым в кухню примчался. Сегодня Гришкина компания дежурит. Восемь человек. Четыре девочки на террасе сейчас хлеб раскладывают. Ух и обед сегодня будет! Вчера сговорились кашу манную по-новому сварить. С тыквой. Сами ребята готовили, сами и обед придумывали. Состязались дежурные компании каждый день. Кто лучше накормит. Хлеб не навыкли еще печь. Пекарка была. А остальное все сами.

Дров-то вон гора на день наготовлена! С вечера рубили. Гришка лихо и скоро колот. Мартынов увидал, рощу скроил и руки потер.

- Ага, Песков - хны!

Весь вечер Гришка похвале радовался.

Ну, сейчас все готово. Молоко, кипяток. Хлеб девчата разложили.

И певуче, но властно запел рожок!

- Ту-ру-ру-туру-ру-туру.

Берег скоро усыпало. Разноголосые, разноголовые, синеглазые, черноглазые - всякие. Мылись, плескались, барахтались.

Крякали, ухали мальчишки на своем купальном месте. У пристани девочки купались. Визжали тонко, пронзительно. Но были стриженные, легкие в прыжках. На мальчишек походили.

Второй раз запел рожок.

С озера гомон в дачи хлынул. Девчонки белыми безрукавками замелькали. Голые торсы мальчишек солнцем золотились.

Мчались все на террасу-столовую, как на приступ.

Махонькая черноголовка-девочка прозвенела из толпы!

- Дежурные, чай пить идем.

Гришка, в сером халате кухонном, с террасы-закричал!

- Эй, эй!.. Я стих составил. Слушай-ти-и:

Рожок поет, Чай пить зовет!.



Надточий в ответ рявкнул;  
- Не чай, а кофю...  
Мартынов тут как тут. Морду скроил и, как дьякон в церкви, пробасил!  
- Я без чаю не скучаю, кофю в брюхо наливаю. Графья, не хотите ли кофею?  
Смех волной все кругом покрыл. А Мартынов уж на дворе у склада.  
- Кто луки разбросал? Хны! Эй, раззявы, прислужников нет. Петруха ФеДяхин, ты вчера в ночное ездил? Еще йто?  
Опять скачки устраивали?  
Расставив ноги, В землю у склада врос. Завхоз около него тонкие губы поджимал.  
Жаловался.

- Кучеров не велите нанимать. Николай все в отъезде больше. А это какие хозяева?  
Перепортят весь скот. Одна слава, что работники!

- Работники - барахло! Научатся. Песков, чего иноходцем с кипятком скачешь? Не видишь, из чайника льется. Хны!

А Песков Анну Сергеевну увидал. Идет высокая, беленькая, тихонькая. На ребят уголком рта дергает, Это улыбка такая у ней.

Ничего и никого Гришка раньше не любил. Все все равно.

А в колонии всех полюбил. Анну Сергеевну больше всех. Как солнышко она. Горы, озеро, лес - хорошо! А солнышко лучше всего. Почему она солнышко? Так. Не знал Гришка. Только, как посмотрит, все кругом краше станет. Как вместе дежурили, таз с помоями с ней, как икону, нес. Мартынов два раза заметил. Крякнул.

"Растет, мерзавец!" - подумал и "хны" сердито сказал.

Но потом пригляделся. Весна у Гришки. Здоровая, чистая.

Нет хватанья и мути во взглядах. Вся короста шелудивая, от прежних скитаний, отсохла. Нет следов. Здоров. И прояснился.

- Григорий Песков, хны!

Смотрел и за другими зорко. Были с девчонками взгляды нежные. Лысяева Нюрой-большой ребята поддразнивали, но не было мутного вожеления, рано созревшего. К девчонкам привыкли. Прикосновения не обжигали. Не было того, что в городах в детских домах часто случалось. Сам дивился.

- Вот она мать-природа и труд! Вылечили. Сколько город на этих детей налепил нечистот. Отмылись. Как надо, как здоровое растут. - Морду скроил, по ногам себя ударил и мыслью закончил: "В свое время хороший приплод дадут".

Терраса широкая гудела. Вся колония здесь. И дети, и воспитатели, и кучер с пекаркой, и прачка со швеей. Взрослых не сразу найдешь. Девять их только в колонии - и сотня детей.

После чаю все в разные стороны партиями рассыпались.

Одна партия в лес грибы собирать на зиму отправилась. Лошадь с телегой тихо по дороге шла. Ребята в траве кувыркались.

Тоненький, легкий, стройной сосенке родня, татарчонок впереди дорогу на грибное место указывал. Первый ходок в колонии.

Все места знал. На ночевку в лес один раз за семь верст ходили; одеяла забыли. Сбежал - одеяла принес. Потом целый день с охотником вприпрыжку без усталости ходил. И сейчас шел, точно крылья за спиной помогали. Вдруг остановился и закричал:

- Место! Аида!

За работу принялись.

Другая партия на лодке с песнями отплыла. На тот берег за рябиной ярко-красной. Еще мороз не, хватил ее. На сушку набрать надо. Озеро у берегов шумит, а посредине ни

складочки. Ну, день сегодня!

Гришка в третьей партии. С большими самими, версты за три на ферму, с песнями пошли. Мартынов с ними. Новую дачу отвоевал. Поместье целое. Там постройка шла. Колонисты сарай строили, ямы копали, доски возили, камни таскали, кирками камень долбили. Упорно.

Ноги на работе в кровь избивали, а радость не сгасала от боли. Там Мартынов придумал оранжерею на зиму устроить.

В наробразе смеялись:

- Электрификацию в своей колонии не затеваете ли?

Посмеивался, руки потирал, а заявлял твердо:

- Затеваяю. Электрическую машину на зиму поставлю.

Дружно над ним издевались. А машину из губернского города, действительно, привез.

В наробразе дивились;

- Ну, хват!

А ребята говорили:

- Мартынов, это - хны!

И когда Мартынов рассказывал, как колония на всю окрестность засветит, как разбросает три, десять, двадцать таких колоний кругом, дети верили. И по-другому смеялись. От радости. Как смеются, когда дух захватывает.

Гришка думал:

"Всяких людей видал, а этакого нет. Рвач!"

Дети в колонии всякие были. И от родителей бедных взятые. С копей. И сироты из детских домов. И правонарушители, как Гришка. Только хилых и больных Мартынов не брал...

...Ходу здоровым! Вор, мошенник - давайте. Коли тело здо1 ровое, выправится.

Не все выправлялись. Где-то прочно внутри заседала гниль.

Томились в обстановке достойного труда. Отставали в работе, хмуро смотрели после. Кроил гримасу Мартынов и в город назад их отправлял.

Воспитателей много назад угнал.

- Инструкции пишите - это у вас хорошо выходит.

Барышня одна беленькая, красивенькая приезжала. Рисо ванью обучать хотела. Все цветочки рисовала ц платочки на голове по-разному повязывала. Один раз после бани повязала, на икону похоже.

Гришка, как увидел, громко запел:

- Богородице деву радуйся!

И прозвали ее "богородицей". А если оденется, как все воспитательницы, в штаны широкие и рубашку, то на шее золотая цепочка с побрякушкой болтается, на руке браслет. Ребятам смешно. Ехать куда подальше соберутся, все спрашивает:

- А дождя не будет?

Тайчинов визжал:

- У-уй... Страшна! Размокнит.

Ходить долго не могла. Раскисала. Один раз устала и ребят попросила нести себя. А ребятам что? Руки сплели, посадили.

А она улыбки, как подарочки, во все стороны.

Мартынов увидел и рявкнул:

- Николай! Утром на станцию Клавдию Петровну увезешь.

Ее в город надо срочно доставить.

И увезли.

До обеда все в разных местах работали. После обеда в колонии. Кто белье себе стирал, кто двор убирал, кто с плотниками работал. Работу свою кончив, в библиотеку шли. Книжки читали. Но читающих мало было. Не тянула книга. Еще мертвыми слова книжные казались. Картинки любили смотреть.

В шахматы и в шашки резались. Перед вечером до темноты играли ойоло Дома культуры. Так дача называлась, в которой библиотека и зал собраний были. Играли в баскетбол, в городки, в лапту. После ужина пели. Иногда рассказы слушали. Иногда плясали. Пели Гришкин любимый "Интернационал" и русские песни проголосные.

У одного воспитателя голос хороший был. И у Нюры-большой. Ух и пели! У Гришки в горле щипало и мурашки по телу ходили. Рассказы были хорошие и похуже. Слушать не заставляли. Гришка один рассказ больше всех любил. Как целое государство от голода на новые земли пошло. В горах крупных поселилось; и был у них стрелок один. Яблоко с головы у сына сшиб. Вильгельмом Теллем звали. Ух, хорошо! Кабы, говорит, не сшиб - другая стрела для Тебя припасена. Это правителю он. Вроде царя который.

И казалось Гришке, что все это в их горах было, где колония. И озеро тут... Все похоже. Из книжек тоже читали. Про Тараса Бульбу больно хорошо.

Но сам Гришка, как и большинство ребят, читать не любил.

Живая жизнь книжку заслоняла. После ужина время минутой одной пролетало. И хоть уставали за день, но, когда кричал Мартынов: "Спать, спать", - уходить не хотелось. Но он, посмеиваясь и руки потирая, выталкивал всех из Дома культуры.

По дачам рассыпались. На постель сразу плюхались. И сразу сон слетал. Легкий, без видений печальных. И тут мальчишки охальничали спервоначалу. А теперь не видал Гришка. Главное дело - целый день не присядешь. Постель сразу успокоит.

А лето день за днем на нитку нанизывает. И конец скоро его нитке. Солнышко сдавать стало. Занедужило. Погреет, погреет да и отдыхать прячется. Паутинки меж деревьев затрепетали. Листья перед смертью позолотой стали покрываться.

О мартыновской колонии разговоры пошли. Из города смотреть приезжали. Не хвалили.

Одна комиссия сказала:

- Образовательной работы нет. Слишком много тяжелого физического труда. Вредно в этом возрасте.

Мартынов дергался, руки потирал и похохатывал:

- А вам бы для картиночки только работать? Дальше танцуйте, дальше от нас. Здесь свое образование. Зима придет, за книгу засядут. Сейчас некогда. Работать надо, чтоб зимой не сдохнуть. Зимой детские дома закроете, а мы выживем. Больных у меня видали? Хны!

Московская одна баба, худая, рыжая, приезжала. Подкормиться послали, а между прочим по делу. Все везде нюхала и губы поджимала:

- Здесь морально-дефективные есть. С ними работы отдельной не ведется.

Мартынов по ляжкам себя хлопал и опять смеялся:

- Вы книжечку об этом напишите. Нам на подтирку пригодится.

И вдруг свирепел:

- Воров из города привез. Где замки у нас? Только на складах. А ключи у кого? У воров этих самых. Что пропало? На ночь в швейной открытой всю мануфактуру оставляем. Что пропало? Ни двери, ни ворота не запираются. Сторож - собачонка Михрютка одна. Вон правонарушитель Григорий Песков.

Всю Сибирь исколесил. Весь матерный лексикон изучил. А теперь приглядитесь. Хоть в помойку вашу его отпустить - не страшно. Правонарушителей у меня много. Укажите

которые!

Ну, ну. То-то! Хны!

Пожимала плечами москвичка.

- С родителями вы очень грубы. Бедные матери повидаться придут, а вы через день их гоните.

По ляжкам себя хлопал и весело соглашался:

- Это - да. Матерей не люблю! Барахоят тут. А ребятам барахолить некогда. Да и сами они с ними не сидят. "Ах, мамашенька...", "Ах, сыночек". Это, товарищ-мадам, можно, когда гнидой живешь. А сейчас работай, сам себя спасай! Хны!

Губы надула и уехала московская. Ее тоже на работу потянули было.

В полуверсте от колонии дачи здравотделом заняты были.

Курорт. Отдыхать советских служащих присылали. Барыни жир нагуливали.

Приходили и по колонии прогуливаться с кавалерами. Мартынов раз стерпел, два стерпел. Потом один раз из кухни в халате белом с поварешкой выскочил. Дежурил в этот день. И давай чесать:

- Что, бульвары тут для вас? Мадамы, не желаете ли посуду помыть? Нет? Так в калитку пожалуйте. Проваливайте!

Барахольничать тут нечего. Жалуйтесь, жалуйтесь. В Совнарком телеграмму пошлите. Хны!

Еле калитку нашли.

А ребята картинку потом нарисовали. Забор свой решетчатый. На заборе у калитки Мартынов в образе медведя ревет.

Внизу Михрютка лает. И подпись:

"Нельзя ли для прогулок подальше выбрать закоулок".

Сам Мартынов всегда в поисках. Книжек не читал, не рассказывал. Некогда было. Накрутит в колонии и в город за мукой едет. Потом лесу для колонии достает. Все в свой муравейник тащит. Затворки герметические для печек печники потребовали. К зиме колония готовилась. Нет затворок. Пошел сам с Николаем в пустых дачах у здравотдела вывернул. Начальство курортное в губернию жаловалось: дачи пустые, но ремонтировать будем, а он стащил. К ремонту здравотдел уже год готовился.

Мартынов бумажку из города получил.

- Хны!

И бумажку изорвал. Что с ним поделаешь?

Осень свою нитку до середины допряла. Березы облетели.

Бор глухим, сумрачным стал. Насупилось небо. Злобно плакало проливным дождем. Озеро больше не синело. Прочернело и с ревом береца било. Птицы улетели. Волка на пашне видели. В дачах печки протапливать стали. Мальчишки штаны длинные надели, девчонки - юбки. Курорт опустел. С гор ветер злой подуя. В дачах пустых гулял. В колонии в крыши злобно бил.

Сорвать хотел.

И не только дождь и хмаль с осенью пришли. Голод поближе к колонии придвинулся. Мартынов из города злой приехал.

Своем "хны" не ласкал, а ругался.

На собранье детям сказал:

- Сколько есть муки, на месяц должно хватить.

Хозяйственная комиссия подсчитала и паек определила: без четверти фунт хлеба. Мяса не стало. Рыба из озера поддерживала. Но трудно- пришлось ребятам. Работа тяжелая. Пашню пахали. Места мало было для пашни. Пни в лесу корчевали.

На ферме работу заканчивали. Техник приехал электричество налаживать. Обрадовались, усталъ забьгаи, Гришка про Америку недавно услышал, а теперь глазами засиял:

- Товарищи, на ферме у нас новая земля. Это - Америка.

А в старой колонии Европа. Вот так ух!

И ребята подхватили:

- Аида в Европу! Кто в Америке сегодня ночует? Чей черед?

Партиями с техником на ночь по очереди оставались. Вечерами одеяла стегали. И мальчики, и девочки. Надо было спешить. Вату поздно достали. Вторую швею привезли. Но швеи одежду верхнюю шили.

А ветер с гор все свирепел. С воем злобным в окна швырялся, выл в трубах. Скоро выстывали печи. Дров много надо нарубить и привезти. Сугробы лягут, не-проберешься.

Деревня близко от колонии была. Совсем сникла. В деревне и: летом хлеба не хватало. Ягодами, грибами, картошкой кормились. Картошка не уродилась. В хлебт"ору прибавлять стали. Ребятишки голодные в колонию прибежали стайками. Как воробьи за крошками. Детский дом в деревне был. Заморились там ребята. И летом было - не как в колонии, а теперь смерть дохнула. Мальчишек из детского дома у завхоза курортного во дворе поймали. Мясо украли.

Мартынов колонистам рассказал.

Гришка затрепетал. Глаза помутнели и стал просить:

- К нам их, в колонию!

Собранием постановили своим отделением считать этот детский дом. Хлеб и на них распределить. По полфунту пришлось на каждого. Хозяева были еще плохие. Летом что запасли, подъели. Грибов совсем мало осталось. Картошку поздно выкопали. Половину деревня украла. Огород мало дал. Из города ничего! Крупа кончилась. Щеки у ребят поблекли и втянулись.

Уставали, раньше спать расходились. Но смех еще часто звучал.

Мартынов посмеивался еще и командовал:

- Пояса потуже! Чемоданы подтяните. Хны!

Но реже морды кроил и часто на станцию ездил. Ночью одно озеро разбушевалось. С гулом тоскливым о камни билось.

Потом злобой вскипело и раскатывалось:

- У-ух... Уу-ух. У-уф!

Ветер стены рвал. Разбить хотел. В трубе гудел: вышибу-у, вышибу-у. Когда стихал, вой доносился. Волки или собаки голодные? Электричество еще не провели. К стеклам темная ночь прилипла и дачи мраком жутким затопила. Дети уснуть не могли. Разговор тоже все обрывался. Слушали, как стены трещали и озеро выло. Будто горы разорвать хотело. И веет, кто близко, проклятье посылало.

Гришка покрутил головой:

- Стихия.

Но богатырем стать уж не думал. Вся колония маленькой, хрупкой представилась. И всеми забытой. Одни, в горах. А кто-то за стенами плачет, грозит, воем похоронным отпевает.

Отчего сегодня у всех такая жуть? Тайчинов с тоской сказал:

- Смирть близко гулят.

Входная дверь хлопнула. Все вздрогнули. Войцеховский крикнул испуганно. Но Цоступь тяжелая успокоила.

Гришка радостно встретил:

- Сергей Михалыч?

- Я!

И в спальню вошел. Гришка у двери спал. На его кровать тяжело вдавился.

- Не спите еще. Разговорчиками занимаетесь? Хны!

У Гришки жуть прошла. И другие мальчишки радостно завозились.

- Сейчас уснем! Я, Песков, за всех ручаюсь. Мигом уснем!

А Мартынов устало сказал:

- Дело табак, Григорий Песков. Дело - хны!

- А што?

Тайчинов с кровати к Мартынову скакнул. Все завозились.

- Телеграмма из губоно. Велят вас в город в детские дома свозить. Продуктов нам не дадут. А сами ведь - хны. Не прокормимся.

Взвился Гришка:

- Сергей Михалыч, тут подохну, не пойду. Недарма тоска сегодня!

Затрясся весь и головой в колени Мартынову. Никогда Мартынов не обнимал и не целовал детей. Когда видел, девочки обнимаются, ворчал:

- Сантименты!

А тут рукой Гришку к себе прижал, и его дрожь самому будто передалась. Дернулся на кровати тревожно. Загалдели ребята:

- Зачем в город? Помирать - дак тут!

- Корой прокормимся!

- А там чем кормить будут?

- Не налезай, Васька! Тут колония лопается, а он в ухо.

- Сергей Михалыч, не позволяйте!

И все загудели на разные голоса:

- Тут останемся! Никуда не поедем!

- Да-да, други... И девчонки сейчас. Плакали, а тоже говорили. Тут надо все обмозговать. Хны! Сами знаете, работа, а еды мало. Помереть - не померем, а изведемся.

Надточный успокоительно забасил:

- Хибаж до новины не дотягнэм? Дотягнэм. Пашня у нас своя.

Гришка в руку Мартынову вцепился:

- Я, Сергей Михалыч, через день есть буду. Пропади я пропадом, коли каждый день!

И вдруг все детские нотки в голосе поблекли. Точно сразу взрослым стал и с глубокой тоской протянул:

- Не отдавай нас опять в правонарушители.

Глянул Мартынов ему прямо в глаза, не увидел, а почувал в них страшную человеческую скорбь. Дернулся, морду скроил, руки потер и сказал:

- Не отдам.

*Впервые опубликован в журнале "Сибирские огни" (Новониколаевск), 1922, № 2.  
Печатается по изданию: Сейфуллина Л. Н. Собр. соч. в 4-х т.т. 1. М.. Художественная литература, 1968.*

## БОРИС ПИЛЬНЯК. МАТЬ СЫРА-ЗЕМЛЯ<sup>120</sup>

Посв. А. С. Яковлеву

Крестьянин сельца Кадом Степан Климков пошел в лес у Йвового Ключа воровать корье, залез на дуб и - сорвался с дерева, повис на сучьях, головою вниз, зацепился за сук оборками от лаптей; у него от прилива крови к голове лопнули оба глаза. Ночью полесчик Егор доставил лесокрада в лесничество, доложил Некульеву, что привел "гражданина самовольного порубщика." Лесничий Некульев приказал отпустить Степана Климкова. Климков стоял в темноте, руки по швам, босой (оборки перерезал Егор, когда стаскивал Климкова с дуба, и лапти свалились по дороге). Климков покойно сказал:

- Мне бы провожатого, господин товарищ, глаза те вытекли у меня, без остачи.

Некульев наклонился к мужику, увидел дремучую бороду, - то место, где были глаза, уже стянулось в две мертвые щелочки, и из ушей и из носа текла кровь.

Климков, остался ночевать в лесничестве; спать легли в сторожке у Кузи. Кузя, лесник и сказочник, рассказывал сказку про трех попов, про обедни, про умного мужика Илью Иваныча: про его жену Аннушку и пьяницу Ванюшу. Ночь была июньская и лунная. Волга под горой безмолствовала. Ночью приходил старец Игнат из пещеры, за которым бегал пастух Минька, старец определил, что глаз Степану Климкову не вернуть - ни молитвой, ни заговором, - но надо прикладывать подорожник, "чтобы не вытекли мозги." -

- - ...Главный герой этого рассказа о лесе и мужиках (кроме лесничего Антона Ивановича Некульева, кроме кожевенницы Арины-Ирины - Сергеевны Арсеньевой, кроме лета, оврагов, свистов и посвистов) - главный герой волченка, маленький волченка Никита, как назвала его Ирина Сергеевна Арсеньева, эта прекрасная женщина, так нелепо погибшая и мерившая - этим волченком - погибшим за шкуру - столь многое. Он, этот волченка, был куплен за несколько копеек в Тетюшах - подлинных, а не в тетюшиных, с маленькой буквы, на Волге, в Казанской губернии, весной. На пароходной конторке его продавал мальчишка, его никто не покупал, он лежал в корзинке. И его купила Ирина Сергеевна.

Он только-только научился открывать глаза, его шкурка цветом походила на черный листовой табак, от него разило псиной, - она взяла его к себе за пазуху, пригрела у своей груди. Это ей пришло на мысль сравнить цвет его шерсти с табаком, - он маленький, меньше чем котенок, дурманил ее, как табак, прекрасной таинственностью. Мальчишка, продавший волченка, рассказал, что его нашли в лесу на поляне, - мальчишки пошли в лес за птичьими яйцами и набрали на волчий выводок (волчата были еще слепыми), пять волченковых братишек умерли от голода, он один остался жив. - Волченка не мог лакать. Ирина Сергеевна отстала от парохода, достала в Тетюшах - по мандату - соску, такую, какими кормят грудных детей, - и кормила волченка из этой соски, - она шептала волченку, когда кормила его:

- Ешь, глупыш мой, - соси, Никита, - расти!

---

<sup>120</sup> Повесть впервые опубликована в 1925 году в 4-м номере журнала «Круг». Печатается по: <http://readr.su/boris-pilnyak-mat-sira-zemlya.html>

Она научилась часами - матерински - говорить с волченком. Волченоч был дик, он пугался Ирины Сергеевны, он залезал в темные углы, поджимал под себя пушистый свой хвостик, - и черные его сторожкие глаза сосредоточенным блеском всегда стерегли оттуда, из темноты, каждое движение рук и глаз Ирины Сергеевны, - и когда глаза их встречались, - глаза волченка, не мигающие, становились особенно чужими - смотрели с этой трехугольной головы двумя умными блестящими пуговицами, - но весь треугольник головы, состоящий из острой пасти и черных тоже острых ушей, - был глуп, никак не страшный. И от волченка страшно пахло псиной, все прокисло его духом. -

- - Есть в волжской природе - Саратовских, Самарских плесов - какая то пожухлость. Волга - древний русский водный путь - текла простором, одиночеством, дикостями. Июлем на горах пожухла трава пахнет полынью, блестит под луной кремень, пылятся, натруживаются ноги, - и листья на дубах и на кленах тверды, как жестяные, сосну не рассадить силой, успокаивает лишь татарский нектен, нет цветов, и костры на горах - не смешаете их со сполохами - видны с Волги на десятки верст, сквозь пыль Астраханской мги. И тогда известно, что пыль рождена - кузнечиками, июньским кузнечиковым стрекотом. Справа - горы в лесах, за горами - степи, слева - займища, за займищами степи. Вдали во мгле за Волгой видны не русские колокольни: это немецкие "колонки".

Когда то, кажется император Павел, дал князю Кадомскому дарственную грамоту, где императорской рукой было написано:

- ..... "Приедешь, Ваше Сиятельство, на Волгу в гор. В., там в тридцати верстах есть гора Медынская, взойдешь, Ваше Сиятельство, на эту гору и все, что глаз Вашего Сиятельства увидит - твое - -" - на Волге, в степных уже местах, на горах и по островам, на семьдесят верст по берегу, возникли Медынские леса, возрос строевой - сосновый - лес, дубы, клены, вязы, - заросли, пуши, рамень, сажены - двадцать семь тысяч десятин. У Медынской горы в лощине стал княжий дом, оторопел девятьсот семнадцатым годом. Ничего, кроме лесных сторожек, да кордонов, в лесах не было, деревни и села отодвинулись от лесов, посторонились лесам и князю. - Лесничий Некульев так писал друзьям в губком о дороге к нему: - "... парходом надо добраться до села Вязовы; в Вязовах надо найти - или полесчика Кузьму Егорова Цыпина, и он протрясет шестнадцать верст на телеге, по лесам, по горам и буеракам, - или рыбака Василия Иванова Старкова (надо спрашивать Васятку-Рыбака), и он отвезет - на себе - вверх по Волге двенадцать верст. Это врут, что только в Китае ездят на людях: в наших местах это тоже практикуется, - Старков впряжется в лямку, сын его сядет к рулю, ты в лодку, - и бичевой, как триста лет назад, на себе, по очереди, они дотянут тебя до лесничества. Он же, Старков, если его спросить: - "сколько у вас в Вязовах коммунистов?" - ответит: - "коммунистов у нас мало, у нас все больше народ, коммунистов токмо два двора." - А если добиваться дальше, кто же собственно этот народ? - он скажет: - "народ - знамо: народ. Народ в роде, как бы, большевики." - -

Леса стояли безмолвны, пожухли, в ночи. - Но если-б было такое большое ухо, которое слышало бы на десятки верст, - в лесном шорохе и шелесте в ночи, оно услышало бы многие трески падающих деревьев, спиленных воровски, дзеньканье пил, разговоры в лощинах, на горах, в пещерах и шалашах самогонщиков и дезертиров, шаги и окрики, и пальба в небо полесчиков и лесников, посвисты и пересвисты, и совиный крик, и людской крик, и стоны битых, и топоты копыт. Ночами далеко видны лесные костры, и если эти костры люди зажгли в лощине, - далеко по росе стелется дым, - страшны ночные костры, и страшные были рассказываются около ночных российских костров. Волки далеко обходят костры. - Дни в лесах - в июле - всегда просторны, и пахнут леса татарским нектеном. - Лесные люди - лесничие, полесчики, объезчики, лесники - убежденнейше



убеждены, что весь человеческий мир разделен на них, лесничих, полесчиков и лесников и на "граждан самовольных порубщиков." -

- Был бодрый солнечный день, когда лесничий Антон Некульев, бодрый и веселый человек, разыскал в Вязовах полесчика Кузьму Цыпина, рассказал ему, что он новый лесничий, что он коммунист, что на пароходе была теснотища чертова, что ему надо в сельский совет, что ночью ему надо в Медынь, что Ленин, чорт подери, - башка! Он не говорил о том, что за ним едет еще шестнадцатеро мастеровых, чтобы не дать разграбить леса, ибо эти леса играли решающую роль в пароходном движении по Волге, - что дан ему и его шестнадцатерым мандат расправляться вплоть до расстрелов. - В сельском совете, в тишине и покойствии, сидели председатель и секретарь, пили самогон и закусывали соминой, - председатель велел секретарю подать третий стакан Некульеву. - Цыпин слушал и смотрел все обстоятельно; утром еще, как только приехал Некульев, по кордонам послал в Медынь эстафету, чтобы выехал Кузя за новым лесничим, - слова "эстафета" и "кордон" застряли в лесном лексиконе от княжеских времен. Цыпин слушал Некульева обстоятельно, но, будучи страстным охотником, в ответ рассказывал о тетеревах, о лисицах, о двустволках, - рассказал, впрочем, как убили мужики предшественника лесничего: убили в доме, выпороли ему кишки, кишками связали по рукам и по ногам, - все стремились всунуть в рояль, но не всунули, и вместе с роялем сбросили с обрыва к Волге, - рояль и до сих пор висит на обрыве, застрял в тальнике; - а охота в тех местах царская, - ежели, например, покорыститься травить лису в январе, когда она голодает, можно в зиму набрать шкур штук сто, - только, конечно, не дело это для ружейного охотника, - наоборот, позор. - Кузя приехал на шарабана, где передние колеса были заменены тележными, а задние остались на резине. Кузя выстроился во фронт, руки по швам, зарпортовал - честь имею явиться... - Некульев подал ему руку, хлопнул по плечу. Кузя сказал:

- Честь имею доложить, так что, лучше нам заночевать здесь, а то глянь - пришибут еще ночью, которые порубщики. Честь имею, так что народ стал прямо сволочь, одно безобразие.

Цыпин оказался иного мнения о положении вещей. Рассуждал:

- Это чтобы товарища Антона Ивановича Некульева тронуть? - Да он сам коммунист, большевик. Теперь леса наши. Это - чтобы тронуть? - Да я вас до Иванова ключа провожу, по степу поедем, в объезд. У Антона Ивановича наган, у тебя - винтовка, у меня - винтовка, сыну велю итти вперед, двухстволку дам. Да мы их всех перестреляем! Это чтобы большевиков трогать, - на то он и приехал, что леса наши. Теперь бери сколько хошь, без воровства, по закону.

Степи в июле удушливы, томит стрекот кузнечиков и пахнет полынью. Все время мигали зарницы. Спустились с горы, проехали овраг, проехали мимо ветрянок, и кругом полегла степь, испоконная как века. Поехали в объезд. Цыпин скоро заснул, Кузя мурлыкал себе под нос. Было очень темно и тихо, только трещали кузнечики. Снова спустились в балку и слышно стало, как пицат, посвистывают неподалеку сурки, - Кузя слез с шарабана, повел лошадь под уздцы, сказал, что сурки своими норами всю дорогу изрыли, чего доброго лошадь ногу сломает. Выехали на гору и увидели, как далеко в степи, на горах, над Волгой в безмолвии разорвалось небо молнией, - грома не докатилось. - "Гроза будет," - сонно сказал Цыпин. - И опять распахнулось небо, также безмолвно, только теперь слева, над степями подлинными. Лошадь побежала рысью, сухой чернозем разносил топот копыт и тархтение колес гулко, - показалось, что кузнечики стихли, - и огромная половина неба, от востока до запада порвалась беззвучно, открыла свои бесконечности,

рядом с дорогой склонили подсолнечники тяжелые свои головы, - и тогда по степи прокатились далекие огромные дроги грома, стало очень душно. Молнии вспыхивали уже бесчисленно, все небо рвалось молниями в лоскутья и все небо стало кегельбаном, чтобы веселым стихиям катать кегли грома. Цыпин проснулся, сказал: "Надо-ть, Кузя, к пастухам ехать, в землянке дождь пересидим, мокнуть никак не охота."

Гроза, просторы, громы, молнии - показались Некульеву необычайной радостью, на все дни бытия его в лесах запомнилась ему эта ночь, - этак хорошо иной раз в молодости перекричать грозу, покричать вместе с громами! - До пастушьей землянки не успели доехать: заметался по степи ветер во все стороны, молнии метались и громы гремели со всех сторон, - дождь окатил шагах в ста от землянки и вымочил сразу, до нитки. Чернозем на тропке к землянке расползся в миг, ручей потек в землянку. Крикнул кто-то испуганно: - "Какой черт еще тут ходит?" - Лошадь у плетня стала покорно. Некульев в ярком молнийном свете нацелился, как шагнуть к землянке, - и в кромешном дождевом мраке покатился в лужу. В громах услышал рядом разговор: - "Ты Потап? Это я, Цыпин." "Спички у нас вымокли. Тебя, что на охоту понесло, что ли?" "Не, барина везу, коммуниста, нового лесничего." - Опять разорвалось молнией небо, мимо пробежал мальченка в землянку, - сказал, проваливаясь вместе с землянкой во мрак: - "Тятянь, опять волки пришли, стая. Тама лошадь чужая стоит, чужая, возле ней!" Кузя остался сидеть у лошади под шарабаном, - Цыпин и Некульев с ружьями, старик пастух с палкой, пошли к лошади. Лошадь нашли влезшую на плетень, она храпела, а Кузя стоял стяхивая с себя грязь, часто-часто и плаксиво подматершинивая. - "Сел под шарабан, как светанет молонька, каак маханет сивый на плетень, - как только затылок цел остался?!" "Дурак, это волки!" - "Нну?" - Стащили с плетня лошадь, заменили лопнувшую чересседелку веревкой. Решили ехать дальше. Поехали. Дорогу сразу развезло, текли ручьи. Спустились в овражек. Сказал Цыпин: - "Ты, Кузя, мостом не ездь, лошадь ногу сломат. Тута у моста, - пояснил он Некульеву, - барина-князя мужики убили." По овражку мчал ручей, дождь прошел, гроза уходила, молнии и громы стали реже. Стали подниматься из овражка, ноги у лошади поползли по грязи, расползлись, - слезли. Стали подталкивать шарабан, - влезли на пол-горы и вновь поползли вниз, все вместе, и лошадь, и шарабан, и люди; лошадь упала, пришлось выпрягать. Полыхнула молния и увидели - наверху на краю овражка, шагах в десяти рядком, сидела стая волков. Сказал Цыпин: - "Надо-ть тащить телегу, ночевать здесь нельзя, волки замают." - Вывели сначала наверх лошадь, потом вытащили шарабан. - Некульеву все время было очень весело.

Дождь прошел. Въехали во мрак, и шелесты, и запахи, и в брызги с ветвей - в лес. Цыпин слез, отстал, пошел в сторожку к приятелю. Некульев недоумевал, как это в этом сыром и пахучем мраке, где ничего не видно, хоть глаз выткни, разбирается Кузя и не путает дорогу. Кузя был молчалив.

- Когда князя-барина мужики порешили убить, - этот самый Цыпин пришел ко князю Кадомскому и говорит: - "Так и так, уехать вам надо, громить вас будут, порешили мужики убить." - Князь лакею. - "Приказать заложить тройку!" - А Цыпин ему: - "Лошадей, ваше сиятельство, дать вам нельзя, мы не позволим." - Князь заметался, вроде прасола нарядился, сапоги у купца взял, картуз и на шею красный платок, - жена шаль надела. Вышли они ночью, потихоньку, - а у мосточка им навстречу Цыпин: - "Так и так, ваше сиятельство, на чаек с вашей милости, что упредил." - Дал ему князь монету, рубль серебром, - и кто убил князя - неизвестно.

Кузя замолчал. Некульев тоже молчал. Ехали шагом в кромешном мраке. Изредка горели на земле ивановские червячки.

- А то вот еще, кстати сказать, жил в одном селе мужик, очень умный, хозяйственный мужик, звали, скажем, Илья Иванович, - начал не спеша и напевно Кузя. - А у него была жена красавица, молодуха, и жена мужу верная, звать - Аннушка. А село было большое и в ем, заметьте, три церкви разным богам... И вот пошла Аннушка к обедне, а кстати сказать, в каждой церкви обедни начинались в разное время. Идет Аннушка, а навстречу ей поп: - "Так и так, здравствуй, Аннушка", - а потом в сторонку: - "Так и так, Аннушка, как бы нам встретиться вечером, на зорьке?" - "Чтой-то вы, батюшка?" - ему Аннушка, да шасть от него, прямо в другую церкву. А навстречу ей другой поп: - "Так и так, здравствуй, Аннушка!" - и опять в сторону: - "Так и так Аннушка, не антиресуешся ли ты со мной переночевать?"

- Ты это про что говоришь-то? - спросил недоуменно Некульев.

- А это я сказку рассказываю, - очень все любят, как я рассказываю.

- - И еще был бодрый солнечный день, - день, который благостным солнцем вышел из сырого мрака степной грозовой ночи, когда до одури пахло и лесною, и земною, - благодатью. Легкие бухнули, как рубка от воды, хорошо пахнет, когда неклёны топятя солнцем. Оторопелый белый дом ящерками и осколками стекол грелся на солнце, и с виноградника на террасе, едва лишь коснуться его, зрелые падали капли дождя. Волга над обрывом плавила солнце, нельзя было смотреть. Если вставить рамы, привинтить дверные ручки, вмазать отдушники и дверцы к печам, застлать растащенный паркет новым полом, - дом будет попрежнему исправен, все пустяки! - И из дальних комнат, глухо отчеканивая потолочным эхо шаги, в комнату, где на наружной двери была вывеска - "контора", - вышел бодрый человек в синей косоворотке, в охотничьих сапогах, - красавец, колецудрый, молодой. Пенснэ перед глазами сидели как влитые, - совсем не так, как непокорствовали волосы. В конторе, скучной как вся бухгалтерия земного шара, на чертежном столе лежали планы и карты, и на другом - зеленое сукно было залито чернилами и стеарипом многих ночей и писак, - и солнце в окна несло бодрость всего земного шара. Навстречу Некульеву шагнул Кузя. Руки по швам, - и был Кузя босоног, в синих суконных жандармских штанах и бесцветной от времени рубахе, не подпоясанный и с растегнутым воротом, и были у Кузи огромные бурые - страшные - усы, делавшие доброе его круглое лицо никак не страшным, а глуповатым. Кузя сказал:

- Честь имею доложить, там объездчики пришли, мужики, - лесокрадов объездчики доставили. А еще спрашивает вас женщина. - Допустить?

- Пускай всех.

- Честь имею доложить, старый лесничий со всеми вот в это окошко говорили, специально на этот случай велено в стене дыру сделать.

- Пускай всех.

На несколько минут в конторе был митинг, ввалили мужики; - кто из них был пойман на порубке, кто пришел ходоком - разобрать возможности не было; объездчики выстроились по-солдатски, в ряд, с винтовками. Загалдели мужики миролюбиво, но сторожко: - "Леса теперь наши, сами хозява!" "Как ты товарищ сам коммунист, - желаю пилить в Мокром буераке, как он Кадомский!" - "Немцы из-за Волги, - ежели на нашу сторону в леса поедут, все ноги переломаем!.." - "Татары вот тоже либо мордва." - "Ты, товарищ-барин, рассуди толком, - мы пилили и желаем продать в Саратов по сходной цене!" - Сказал Некульев весело: - "Дурака, товарищи, ломать нечего и нечего дураками прикидываться.

Что я коммунист, - это верно, а грабить лесов я не дам. И сами вы знаете, что это не дело, а орать я тоже умею, глотка здоровая." - Рядом с Некульевым стал мужик, босиком, в армяке, в руках держал меховую шапку, - Некульев сказал: - "Ну что ты шапку ломаешь, как не стыдно, надень!" - Мужик смутился, шмыгнул глазами, поспешил надеть, сдернул, злобно ответил: - "Чай здесь изба, образа висят!.." - Попарно, не спеша и покойно вошли в комнату шестеро, немцы, все в жилетах, но оборванцы, как и русские. - "Können Sie deutsch sprechen?" - спросил немец. - Мужики загалдели о немцах, - вон, наши леса! - Некульев сел на стол, вытянул вперед ноги, покачался на столе, заговорил деловито: - "Товарищи, вы садитесь на окнах, что ли, - давайте говорить толком. Тут вот арестованные есть, так я их отпущу, и пилы и топоры верну - не в этом дело. А лесов без толку пилить нельзя, посудите сами" - - и заговорил о вещах, ясных ему, как выеденные яйца. - Мужики и немцы ушли молча, многие к концу разговора шапки, все же, понадевали, последним сказал Некульев дружески: - "Делать я, товарищи, буду, как необходимо, и сделаю, что надо, - а вы как хотите!.." Некульев любил быть "без дураков".

Кузя выстроился во фронт, сказал:

- Честь имею доложить, - яишек вы не хотите ли, либо молока? У самих у нас нету, - Маряша в колонку к немцам сплават. -

- Мне вообще надо с твоей женой поговорить, чтобы кормила меня, - давайте есть вместе. Яиц купите. -

И было солнечное утро, и был бодр и красив молодостью и бодростью Некульев, и стоял босой, руки по швам глупорожий Кузя, - когда вошла в контору прекраснейшая женщина, Арина Арсеньева, кожевенница. Конторское зеленое сукно было закапано многими стеаринами и чернилами.

- "Мне надо получить у вас ордер на корье. Драть корье мы будем своими силами. Вот мандат, - корье мне нужно для шихановских кожевенных заводов" - и на мандате вправо вверх "пролетарии всех стран, соединяйтесь!", - и на документах, на членской книжке - прекрасные обоим слова Российская Коммунистическая Партия. - "Ваш предшественник убит? - князь убит?" - "Мужики кругом в настоящей в крестьянской войне с лесами." Разговор их был длинен, странен и - бодр, бодр как бодрость всего солнца. - У одного - там где-то, лесной институт в Германии, Российские заводы и заводские поселки, быть революционером - это профессия, в заводских казармах, в коридорах тусклые огни, и так сладок сон в тот час, когда стучит по комарам будило ("вставайте, вставайте, - на смену, - гудок прогудел!") - а мир прекрасен, мир солнечен, потому что - через лесной институт, через окопы на Нароче - от детства на Урале, от книг в картонных переплетах (долины под горою, - а за горою, в дебрях, где кажется и не был человек, медведи и монахи в землянке) - твердая воля и твердая вера в прекрасность мира - "без дураков": - это у Некульева, - и все шахматно верно и здесь, в Медынах, и там в Москве, и в Галле, и в Париже, и в Лондоне, и на Уральских заводах. - И у нее: - Волга, Поволжские степи, Заволжье, забор на краю села, - по ту сторону забора разбойные степи и путины, по эту - чаны с дубящейся кожей и трупный запах кож и дубья - и этот запах даже в доме, даже от воскресных пирогов, пухлых, как перина, и от перин, как в праздник пироги, и ладан матери (мать умерла, когда было тринадцать лет и надо было мать заменить по хозяйству и научиться кожевенному делу) и, отец, как бычья дубленая кожа из чана, и часы с кукушкой, и домовая за печкой, и черти, - и тринадцати лет в третьем классе гимназии - уже оформилась под коричневым платьицем грудь, - и обильно возросла к семнадцати заволжская красавица девушка-женщина; Петербург и курсы встретили туманной

прямолинейностью, но туманы были низки как потолки дома, и на Шестнадцатой Линии в студенческой не надо было изводить клопов, - но все же потолки после них - дома, когда умер отец - показались еще ниже, душными, закопченными, домового за печкой уже не было, а запах кож напомнил таинственное детство; - она вошла в дом - как луна в ночь, старший приказчик - бульдогом - принес просаленные бухгалтерские книги, а жандармы прикатали крысами, шарили, шуршали, - ни с домом, ни с бухгалтерией, ни с крысами примириться нельзя, никогда, кричать громко право дала красота, и тюремные корридоры стали Петербургскою прямолинейностью, где луну никогда и никак не потушишь: это у Арины Арсеньевой, - и тоже все шахматно верно и кожевенные заводы (ими пахнет детство) нужны для Красной армии, их необходимо пустить. Годы у женщин сменяют солнечность лунностью: семнадцати-летняя обильность к тридцати годам - тяжелое вино, когда все время было не до вин. - "И эти места, и леса, все Поволжье я знаю доподлинно."  
- -

На солнце от зелени виноградников свет зеленоват, расправляется воздух, - Некульев заметил: О зеленом свете такие стали синие венки на белках Арины, а зрачки уходят в пропасть - и показалось, что из глаз запахло дубленой кожей. - В контору вошли трое: мужик, баба, паренек-подросток. Мужик неуверенно сказал:

- Честь имею явиться, второй после Кузи лесничий, с одиннадцатого кордону. Егор Нефедов. А это моя жена, Катя. А это сын, Васятка.

Лесника перебила жена, заговорила обиженно: - "Ты, барин, Кузе сказал, что с Маряшей исть хочешь. Как хотишь, твоя барская воля, а то можно и у нас, не хуже чай Маряшки. Мы избу строим, муж мой маломощный, грызь у него, мы из Кадом. - Как хотишь, твоя барская воля. У Маряшки ведь трое малолеток, мал-мала меньше, а нас всего трое." - Катя подобрала губы, руки уперла в боки, воинственно выжидая. - Некульев молча по очереди пожал всем руку, сказал: "Ступайте с богом, буду знать." - И Арина Арсеньева заметила в солнце: синяя бритая кожа скул и подбородка Некульева - тверда, крепка. Арина сказала тихо, с горечью:

- Вы знаете, когда "влазины" бывают, - влазины, это так называется новоселье, - ведь до сих пор крестьяне у нас вперед себя пускают в избу петуха и кошку, а потом уже идут люди и надо - по поверью - входить ночью в полнолуние. Ночью же и скотину перегоняют. И до рассвета в ту ночь хозяйка-баба голая дом обегает три раза. Это все для домового делается. -

Глава первая - Ночи, дни.

Спросить о лесе Маряшу, Катяшу, Кузю, Егора - расскажут.

- В лесах по суземам и раменьям живет леший - ляд. Стоят леса темные от земли до неба, - и не оберешься всевозможных Маряшиных фактов. - Неоделимой стеной стоят синеющие леса. Человек по раменьям с трудом пробирается, в чаще все замирает и глохнет. Здесь, рядом с молодой порослью, стоят засохшие дубы и ели, чтобы свалиться на землю, приглушить и покрыться гребяною парчею мхов. И в июльский полдень здесь сумрачно и сыро. Здесь даже птица редко прокричит, - если же со степей найдет ветер, тогда старцы - дубы трутся друг о друга, скрипят, сыпят гнилыми ветвями, трухой. - Кузе, Маряше, Катяше, Егору - здесь страшно, ничтожно, одиноко, бессильно, мурашки бегут по спинам. На раменьях издревле поселился тот чорт, который называется лядом, и Кузя рассказывал даже про видимость черта: красивый кушак, левая пола кафтана запахнута на правую, а не на левую; левый лапоть надет на правую ногу, а правый на левую; глаза

горят как угли, а сам весь состоит из мхов и еловых шишек; видеть же ляда можно, если посмотреть через правое лошадиное ухо.

Белый дом в долине у Медынской горы днями стоял тихо, в зелени, прохладный, как пруд. Ночами дом шалел: напряженным Некульевским глазам - на глаза попадалась - битая мебель, корки порванных книг, всякая ерунда. На террасе в мусорном хламе Некульев нашел песочные часы, - песок из одной стеклянной колбы перетекал в другую каждые пять минут, лунными ночами поблескивало зеленовато стекло колб; днями Некульев забывал об этих песочных часах, но ночами многие пяти-минутки он тратил на них; Некульев любил быть без дураков, он не замечал, что у него - помимо сознания и воли - каждый шорох в доме, каждый глупый мышинный пробег - покрывает гусиной кожей спину, и появилась привычка не спать ночами, бодрость никогда не покидала, но все казалось кто-то - не то третий, не то седьмой какой-то, и каждая ночь была как все. Была луна и под горой на воде ломались сотни лун, дом немотствовал, деревья у дома стояли серебрянными, расположилась тишина, в которой слышны лишь совы. Лунный свет бороздил паркет в зале. Окна Некульев тщательно закрыл, но в окнах не было стекол. Три двери в зале Некульев задвинул мебельной рухлядью и подпер дрекольем. У одной из дверей стоял диван, и Некульев лежал на нем. На стуле рядом висел наган в расстегнутой кобуре, к дивану в ногах была прислонена винтовка. На диване лежало большое здоровое красивое тело, вот то, что глупо покрывается от каждого шороха гусиной кожей. Некульев покойно знал, что у Ивового ключа стерегут лес Кандин и Коньков, двое мастеровых, и они твердые ребята, мазу не дадут. А горами пешком не пройдешь, не то чтобы приехать на телеге, если же проберутся сюда, то секретной дверью, оставшейся от помещика-князя и случайно найденной, он пройдет в подвал, а оттуда под землей в овраг, а там - ищи, свечи!.. - Лампенка горела, чтобы отвести глаза, в правом крыле дома, где окна были тщательно завешаны. - Луна заглядывала в окна, в дом, где все было разбито. Некульев поднялся с дивана, взял револьвер, отодвинул кол от двери и пошел темными комнатами, еще неуверенно, ибо плохо привык к дому, - на кухне он попил у ведра воды и вернулся обратно; в дверях прислушался к дому, не заметив, что тело покрылось гусиной кожей, - подпер дверь колом; - и опять отпер поспешно: когда брал ведро, положил на подоконник револьвер, забыл его, поспешно пошел назад. На окне в зале в пыльном лунном свете лежали песочные часы, - Некульев стал пересыпать песок, склонил кудрявую голову к мутно стеклянным колбам.

И тогда - неожиданно застучали в окно там, где была лампа, - неуверенный голос окликнул: - "Эй, кто тама, выходите. Милиционер требует!" Некульев ловкой кошкой взял винтовку, бесшумно выглянул в разбитое окно: стоял на луне у дома с багром в руках паренек, осматривался кругом, в тишину. Некульев покойно сказал: - "Ты кто такой?" - Паренек обрадованно заговорил: - "Иди, тебя требует милиционер!" - "Ты почему с багром?" "А это я от собак. Собак-от негути? - Милиционер на берегу, в лодке!"

Парнишка, Кузя и Некульев (эти двое с винтовками) по обрыву спустились к Волге. У берега стояли три дощаника. По берегу ходил милиционер с наганом и саблей в руках и с винтовкой за плечами. Милиционер закричал:

- Вы что-же, черти, спите, когда лес воруют?! - Я ездил ловить самогонщиков, два дощаника поймал, три дня ловлю, не спал, еду сейчас мимо Мокрой горы, а с горы с самой верхушки, смотрю, летят вниз бревна, - лесокрады работают, а вы спите! Я сам бы поймал лесокрадов, да вишь у меня только два понятых, а остальные самогонщики с поличным, - уйду - разбегутся. Сорок ведер самогонки везу, три дня не спал... Так прямо с верхушки и сигают, и на воде два пустых дощаника!..

Милиционер влез в лодку, скомандовал самогонщикам, - мужики впряглись в лямку, потащили бичевой дащаный караван, безмолвно. Милиционер покрикивал и поводил дулом револьвера. Луна светила безмолвно и сотни лун кололись на воде. Горы и Волга немотствовали. Дощаники скрылись за косой. Кузя привел двух лошадей, одна под седлом, другая с мешком сена на спине. - Кузя, Некульев лесными тропками, горами, молча, с винтовками на перевес, помчали к Мокрой горе. Лошадей оставили в Мокрой Балке, - вышли к Волге; Волга, горы, тишина, - прокричал сыч, посыпался под ногами гравий, пахнуло полынью откуда-то, - тишина, - и на горе затрещало дерево, сорвалось с вершины, покатило вниз под обрыв, потащило за собой камни. Кузя и Некульев пошли под обрывом, - в тальнике увязли два дощаника, один уже наваленный бревнами, еще сорвалось с вершины бревно, - и сейчас же рядом в десяти шагах негромко свистнул человек, а другой свистнул на горе, и третий свистнул, - и мир замер. И тогда одиноко на горе раскололся винтовочный выстрел. Кузя присел за камень, - Некульев толкнул его - вперед - коленом, перезамкнул замок винтовки и - твердо пошел к дощаникам, - толкнул на воду пустой и навалился, чтобы столкнуть нагруженный, - сверху выстрелили из винтовки, - пуля шлепнулась в воду. "Кузьма! иди, толкай!" - на отвесе, наверху красный вспыхнул огонек, лопнул выстрел, шлепнулась пуля. По огоньку - сейчас же - выстрелил Некульев, и с горы закричали: "Ой, что ты делаешь, лешай! - Не трожь дощаники!"

Некульев сказал:

- Кузя, чаль, толкай веслом, иди на руль, гони от берега, а то подстрелят!

Луна потекла с весла. С берега кричали: "Барин, касатик, прости Христа ради, отдай дощаники!"

Некульев сказал:

- Эй, черт, лошадей как бы не украли!

Кузя ответил:

- Пошто, - мы сейчас их возьмем. Бояться теперь нечего. Мужик охолонул, мужика теперь страх взял.

Подплыли к Мокрой Балке, к дощанику - трое подошли мужики, - вязовские, в слезах, один из них с винтовкой, - замолили о дощаниках. Некульев молчал, смотрел в сторону. Кузя - тоже молча пошел в балку, привел лошадей, впрег их в лямку, - тогда строго заявил: "Лес воровать, сволоча!?! Садись в дощаник, под арест! Там разберут, как леса воровать!.."

Мужики повалились на колени. Некульев недовольно шепнул:

- На что их брать? Куда мы их денем? - Ничего, пострадать не вредно!

Лошади шли берегом по щебню медленно. Горы и Волга замерли в тишине, но луны уже не было: за Волгой в широчайших просторах назревало красным - пред днем - небо, похолодело в рассвете, села на рубашке роса.

- Сказочку вам не рассказать ли? - спросил Кузя.

Дощаники с лесом завели за косу под Медынской горой, привязали крепко. - (Через два дня - ночью - эти дощаники исчезли, их кто-то украл.)

И опять в ночи задубасили в окна, - "Антон Иванович, - товарищ лесничий, - Некульев, - скорей вставай!" - и дом зашумел боцами, шорохами, шопотами, свечи и зажигалки закачали потолки, - "у Красного Лога - потому как ты коммунист, мужики из Кадом - всем сходом с попом поехали пилить дрова - по всем кордонам эстафеты даны - полесчика Илюхина мужики связали, отправили на съезжую!" - У конного двора, против людской избы стоят взмыленные лошади, так крепко пахнет конским потом (Некульеву от детства сладостен этот запах), - яркая звезда зацепилась за вершину горы (какая это звезда?) и рядом под деревом горит Иванов червячек. Кузя вывел лошадей, - но ему лошади не досталось и он побежал пешком.

- Ягор, ты винтовку-то пока повези, чего тащить-то? - На лошадях и карьером в горы, в лес, - "эх черт! все просеки заросли! глаз еще выхлестнешь!"

Лес стоит черен, безмолвен, на вершинах гор воздух сух, пылен, пахнет жухлой травой, - в лощинах сыро, холодновато, ползет туман, в лощинах кричат незнакомые какие-то птицы - ("эх, прекрасны волжские ночи!"). Конским потом пахнет крепко, лошади дорогу знают.

- Эх, и сволочь же мужичишки. Ведь не столько попользуются сколько повалят и намнут! - Сознательности в мужике нет никакой! - Илюхина мужики связали, как разбойника, увезли в село, а жену с ребятами заперли в сторожке, приставили караул, - сын Ванятка подлез в подпол, там собака нору прорыла, норой - на двор, да к Конькову. А то бы не дознались. И так кажинную ночь стерегись!

Верховых догнал Кузя, бежал рысью, сказал Егору:

- Ягорушка, теперь ты побежишь, а я поеду, отдохну малость.

Егор слез с лошади, побежал за верховыми. Кузя поудобнее размял мешок на лошади, уселся, отдышался, сказал весело:

- Вот бы теперь хоровую грянуть, как разбойники! - И свистнул в темноту леса длинным разбойничьим посвистом, захлопала крыльями рядом во мраке большая какая-то птица.

...На опушке Красного Лога редкою цепью залегли полесчики еще с вечера. В зеленую стену леса, в квадраты лесных просек, в лощину меж гор уходила дорога. Было все очень просто. Солнце село за степь, - отбыла та минута, когда - на минуту - и деревья, и травы, и земля, и небо, и птицы - затихают в безмолвии, синие пошли полосы по земле - из леса на опушку вылетела сова, пролетела безмолвно, и тогда прокричала в лесу первая ночная птица. И тогда далеко в степи, на перевале, увиделся в пыли мужичий обоз. Но его прикрыла ночь, и только через час докатились до опушки несложные тархтенья и скрипы деревянных российских обозов. Потом пыль уперлась в лес, скрипы колес, тархтенья ободьев, конские храпы, человечьи шопоты, плач грудного ребенка, - стали рядом, уперлись в лес. Два древних дуба у проселка на просеке - у самого корня подпилены, только-только толкнуть - упадут, завалят, запрудят дорогу.

Тогда из мрака строгий объездничий окрик:

- Э-эй! Кадомские! мужики! Не дело, верти назад!

И тогда от обоза - сразу - сотнеголосый ор и хохот, слов не понять и непонятно - люди-ли кричат иль лошади и люди заржали в перекрик друг другу, - и обоз ползет все дальше. Тогда - два смельчака, мастеровые, коммунисты, Кандин и Коньков - последнее усилие,



храбрость, ловкость валят на дорогу колоды древних двух дубов, и судорожно бабахнули два выстрела по небу. От мужичьего стана - бессмысленно, по лесу - полетели наганье, винтовочные, дробовые перестрелы. Пол обоза стало, лошади полезли на задки телег. - "Сворачивай!" - "верти назад!" - "Пали!" - "Касатики, вы бабу задавили!" - "Попа, попа держи!" - Лес темен, непонятен, - на просеке лошадь не своротишь, лошади шарахаются от деревьев, от выстрелов, оглобли упираются в стволы, трещат на пнях колеса. - "Да лошадь, лошадь не замайте! хомут порвешь, ты, сволочь!" - Непонятно, кто стреляет и зачем?

К рассвету прискакал Некульев. У опушки горел костер. У костра сидели полесчики, пели двое из них тягучую песню. Валялась у костра куча винтовок. На полянке стояли понуро телеги и лошади. Стояли в сторонке под стражей мужики, бабы, подростки и поп. Рассвет разгорался над лесом. Невеселое было зрелище тихого становища. - Некульеву пошел навстречу Кандин, вместе с ним приехавший оберегать леса, отвел в сторону, расстроено и шепотом заговорил:

- Получилась ерунда. Вы понимаете, мы преградили дорогу, свалили два дуба, думали телег штук пять арестовать, отделили их дубами. Для острастки я выстрелил. Больше мы не выпустили ни одного патрона. Стреляли сами мужики, убили мальчика и лошадь, одну лошадь раздавили. Когда началась ерунда, я думал удалиться по добру по здорову, чтобы мужики разобрались сами собой, чтобы наши концы в воду, - но тут уже не было возможности сдержать наших ребят, начали ловить, арестовывать, отбирать оружие...

У Некульева в руке был наган, он сказал растерянно:

- Фу ты, чорт, какая ерунда!

Мужики повалили к Некульеву, повалились в ноги, замолили:

- Барин, кормилец, касатик! - Отпусти Христа ради. - Больше никогда не будем, научены горьким опытом!

Некульев заорал, - должно быть злобно:

- Встать сию же минуту! Чорт бы вас побрал, товарищи! Ведь русским языком сказано - лесов грабить не дам, ни за что! - и недоуменно, должно быть, - а вы тут вот человека убили, эх!.. где мальченка?!. - Все село телеги перепортило, эх!

- Отпусти Христа ради! - Больше никогда не будем!..

- Да ступайте пожалуйста - человека от этого не вернешь, - поймите вы Христа ради, что хочу я быть с вами по-товарищески! - и злобно, - а если кто из вас меня еще хоть раз назовет барином или шапку при мне с головы стащит, - расстреляю! - Идите пожалуйста куда хотите.

Коньков, тоже приехавший с Некульевым, спросил - со злобой к Некульеву:

- А попа?!

- Что попа?

- Попа никак нельзя отпускать! Его негодяя, надо в губернскую чеку отослать!

Некульев сказал безразлично:

- Ну что же, шлите!

- Чтобы его мерзавца там расстреляли!

Солнце поднялось над деревьями, благостное было утро, и невеселое было зрелище дикого становища.

И опять была ночь. Безмолствовал дом. Некульев подошел к окну, стоял, смотрел во мрак. И тогда рядом в кустах - Некульев увидел - вспыхнул винтовочный огонек, раскатился выстрел и четко чекнулась в потолок пуля, посыпалась известка. - Стреляли по Некульеву.

И было бодрое солнечное утро, был воскресный день. Некульев был в конторе. Приводили двух самогонщиков, Егор тащил на загорбке самогонный чан. - Приехал из Вязовов Цыпин, передал бумагу из сельского Совета, "в виду постановки вопроса об улегулировке леса, немедленно явиться для доклада тов. Некульеву." - Цыпин был избран председателем сельского совета. - Некульев поехал, ехали степью, слушали сусликов; Цыпин рассказывал про охоту, был покоен, медлителен, деловит. - И потом, когда Некульев вспоминал этот день, он знал, что это был самый страшный день в его жизни, и от самой страшной - самосудной - смерти, когда его разорвали-б на куски, когда оторвали-б руки, голову, ноги, - его спасла только глупая случайность - человеческая глупость. - В степи удушьем пищали суслики. В селе на площади перед церковью и пред Советом толпились парни и девки, и яро наяривал в присядку паренек - босой, но в шпорах; Некульева шпоры эти поразили, - он слез с телеги, чтобы внимательно рассмотреть: - да, именно шпоры на босых пятках, и лицо у парня неглупое. А в Совете ждали Некульева мужики. Мужики были пьяны. В Совете нечем было дышать. В Совете стала тишина. Некульев не слышал даже мух. К столу вместе с ним прошел Цыпин, - и Некульев увидел, что лицо Цыпина, бывшее всю дорогу медлительным и миролюбивым, стало хитрым и злобным. Заговорил Цыпин:

- Чего там, мужики! Собрание открыто! Вот он, - приехал! А еще коммунист! Пушай, говорит, что знает...

Некульев ощупал в кармане револьвер, вспомнились шпоры, шпоры спутали мысль. Некульев заговорил:

- В чем дело, товарищи? Вы меня вытребовали, чтобы я сделал доклад.

- Ляса таперь наши, жалам их по закону разделить по душам...

Перебили:

- По дворам!

Заорали:

- Нет, по душам!

- Нет, по дворам!

- Нет, говорю, по душам!

- Да что с им говорить, ребята! Бей лесничего своим судом!

Некульев кричал:

- Товарищи! Вы меня вытребовали, чтобы я сделал доклад... Страна наша степная, лесов у нас мало. У нас, товарищи, гражданская война, вы что помещиков желаете?! Если леса все вырубить, их в сорок лет не поправишь. Леса валить надо с толком, по плану. У нас, товарищи, гражданская война, уголь от нас отрезан. Эти леса держат весь юго-восток России. Вы - помещиков желаете?! Лесов воровать я не дам. -

- Мужики! Теперь все наше! Пушай даст ответ, почему Кадомские могут воровать, а мы нет?! Откуда он взялся на нашу голову?!

- Жалам своего лесничего избрать!

- Бей его, робята, своим судом!

Некульев запомнил навсегда эти дикие, пьяные глаза, полезшие ненавистно на него. Он понял тогда, как пахнет толпа кровью, хотя крови и не было. - - Некульев кричал почти весело:

- Товарищи, к чорту, тронуть себя я не дам, - вот наган, сначала лягут шестеро, а потом я сам себя уложу! - Некульев придвинул к себе стол, стал в углу за столом с наганом в руке. Толпа подперла к столу.

Завопил Цыпин:

- Минька, беги за берданкой, - посмотрим, кто кого подстрельнет!

- Стрели его, Цыпин, своим судом.

Некульев закричал:

- Товарищи, черти, дайте говорить!

Толпа подтвердила:

- Пушай говорит!

- Что же вы - враги сами себе? Я вот вам расскажу. Давайте толком обсудим, меня вы убьете, что толку?.. Вы вот садитесь на места, я сяду, поговорим... - - Некульев в тот день говорил обо всем, - о лесах, о древонасаждениях, о коммунистах, о Москве, о Брюсселе, о том, как строятся паровозы, о Ленине, - он говорил обо всем, потому что, когда он говорил, мужики утихали, но как только он замолкал, начинали орать мужики о том, что - что, мол, говорить, бей его своим судом! - И у Некульева начинала кружиться от запаха крови голова. Цыпин давно уже стоял в дверях с берданкой. День сменился стриженными сумерками. Мужики уходили, приходили вновь, толпа пьянела. Некульев знал, что уйти ему некуда, что его убьют, и много раз, когда пересыхало в горле, надо было делать страшные усилия, чтобы побороть гордость, не крикнуть, не послать всех к черту, не пойти под кулаки и продолжать - говорить, говорить обо всем, что влезет в голову. - Некульева спасла случайность. В дом ввалилась компания "союза фронтовиков", молодежь, пьяным пьяна, с гармонией, их коновод - должно быть председатель - влез на

стол около Некульева, он был бос, но со шпорами, - он осмотрел презрительно толпу и заговорил авторитетно:

- Старики! Вам судить лесничего, товарища Некульева, нельзя! Его судить должны мы, фронтовики. Вон - Рыбин орет боле всех, а отсиживал он у лесничего в холодной или нет!? Нет! Судить могут только те, которые попадались на порубках, а которые не попадались - катись отсели на легком катере. А то голыми руками хотят лес забрать! Как мы попадались на порубках ему в холодную, - леса нам и в первую очередь и нам его судить. А Цыпина судить вместе с им, как он ему первый помощник и сам леший!

Стрижиный вечер сменился уже кузнечиковой ночью. - Парень был пьян, около него стояли, тоже пьяные, его друзья. Тогда пошел ор, гвалт: "Вре!" - "Правильно!" - "Бей их!" - "Цыпина лови, старого чорта!" - И тогда началась свальная драка, полетели на стороны бороды, скулы, синяки, запыхтел тяжелый кулачный ор. - Некульева забыли. Некульев, очень медленно, совсем точно он недвижим, полушаг в полушаг, подобрался к окну и - стремительно кошкой бросился в окно. - Никогда так быстро, так стремительно - бессмысленно - не бегал Некульев: он вспомнил, осознал себя только на заре, в степи, в удушливом сусличном писке. -

(В сельском совете, за дракой, не заметили, как исчезнул Некульев, и в тот вечер баба Груня, жена рыбака Старкова, а на утро уже много баб говорили, что видели самим глазами - вот провалиться на этом месте, если врут - как потемнел Некульев, натужился, налились глаза кровью, пошла изо рта пена, выросли во рту клыки, стал Некульев черен в роде чернозема, - натужился - и провалился сквозь землю, колдун.)

И такой был случай с Некульевым. Опять, как десяток раз, примчал объездчик, сообщил, что немцы из-за Волги на дощаниках поплыли на Зеленый Остров пилить дрова. Некульев со своими молодцами на своем дощанике поплыл спасать леса. Зеленый Остров был велик, причалили и высадились лесные люди незаметно, - был бодрый день, - пошли к немцам, чтобы уговорить, - но немцы встретили лесных людей правильной военной атакой. Некульев дал приказ стрелять, - от немцев та-та-такнул пулемет, и немцы двинулись навстречу организованнейшей цепью, немцы наступали по всем военным правилам. И Некульев и его отряд остались вскоре без патронов и стали перед дилеммой - или сдаться или убежать на дощанике, - но дощаник был очень хорошей мишенью для пулемета, - лесники заверили, что, если немец разозлится, он ничего не пожалеет. - Их немцы взяли в плен. Немцы отпустили пленников, но забрали с собой за Волгу, кроме лесов, дощаник и Некульева. - Некульев пробыл у немцев в плену пять дней. Его - по непонятным для него причинам - выкупил Вязовский сельский Совет во главе с Цыпиным (Цыпин и приезжал за Волгу в качестве парламентаря.) - Пассажирский пароход на всю эту округу останавливался только в Вязовах, - вязовские мужики заявили немцам, что, - ежели не отпустят они Некульева, - не будут пускать они немцев на свою сторону, как попадется немец - убьют; необходимо было немцам справлять на пароход масло, мясо, яйца, - немцы Некульева отпустили. -

Глава вторая. - Ночи, письма и постановления.

Вечером пришел Кандин, привел порубщика; порубщик залез на дерево, драл лыко, оборвался, зацепился оборками от лаптей за сучья, повис, у него вытекли глаза. Некульев приказал отпустить порубщика. Мужик стоял в темноте, руки по швам, босой, покойно сказал: - "Мне бы провожатого, господин-товарищ, - глаза-те у меня вытекли." Некульев наклонился к мужику, увидел дремучую бороду, пустые глазницы уже затянулись; шапку мужик держал в руках, - и Некульеву стало тошно, повернулся, пошел в дом. - Дом был

чужд, враждебен: в этом доме убили князя, в этом доме убили его, Некульева, предшественника, - дом был враждебен этим лесам и степи; Некульеву надо было жить здесь. Опять была луна, и кололись под горой на воде сотни лун. Некульев стал у окна, пересыпал песочные часы, - отбросил часы от себя - и они разбились, рассыпался песок... - Когда бывали досуги, Некульев забирался в одиночестве на вершину Медынской горы, на лысый утес, разжигал там костер, и думал, сидя у костра; оттуда широко было видно Волгу и заволжье, и там горько пахло полынью. Некульев вышел из дому, прошел усадьбой - у людской избы на пороге сидели Маряша и Катяша, на земле около них Егор и Кузя, и сидел на стуле широкоплечий мужичище, не по летнему в кафтане и в лаптях с белыми обмотками. - Некульев вернулся с горы поздно.

У людской избы было мирно. Луна поблескивала в навозе перед избой. За избой вверх к лесам шла гора, заросшая орешником и неклёном, - Маряша все время прислушивалась к колокольчику в орешнике, чтобы не зашла далеко корова. Дверь в избу была открыта и там стонал ослепший мужик. Кузя встал с полена, лег на навоз перед порогом, стал продолжать сказку.

- ... ну вот, шасть Аннушка - да прямо в третью церкву, а ей навстречу третий поп: - "Так и так, здравствуй, Аннушка", - а потом в сторону: - "Не желаешь ли ты со мной провести время те-на-те?" - Так Аннушке и не пришлось побывать у обедни, пришла домой и плачет, кстати сказать, от стыда. Неминуемо - заметьте - рассказала мужу. А муж Илья Иваныч, человек рассудительный, говорит: - "Иди в церкву, жди как поп от обедни пойдет и сейчас ему говори, чтобы, значит, приходил половина десятого. А второму попу, чтобы к десяти, а третьему - и так и далее. А сама помалкивай." - Пошла Аннушка, поп идет из церкви: - "Ну, как же, Аннушка, насчет зорьки?" - "Приходите, батюшка, вечером в половине десятого, муж к куму уйдет, пьяный напьется." - И второй поп навстречу: - "Ну, как же, Аннушка, насчет переночевать?" - Ну, она, как муж, и так и далее... Пришел вечер, а была, кстати сказать, зима лютая, крещенские морозы. Пришел поп, бороду расправил, перекрестился на красный угол, вынает заметьте - из-за пазухи бутылку, белая головка. - "Ну, говорит, самоварчик давай поскорее, селедочку, да спать." - А она ему: - "Чтой-то вы, батюшка, ночь-то длинная, наспимся, попитайтесь чайком", - ну, кстати сказать, то да се, семеро на одном колесе. Только что поп разомлел, рядом уселся, руку за пазуху к ей засунул, - стук-стук в окно. Ну, Аннушка всполошилась - "ахти, мол, муж!" - Поп под лавку было сунулся, не влезает, кряхтит, испугался. А Аннушка говорит, как муж велел: - "Уж и не знаю, куда спрятать? - Вот нешто на подоловке муж новый ларь делает, - в ларь полезай". - Спрятался первый поп, а на его место второй пришел, тоже водки принес, белая головка. И только он рукой за пазуху, - стук-стук в окно. - Ну и второй поп в ларе на первом попу оказался, лежат друг на друга шепчутся, щипаются, ругаются. А как третий поп начал подвальяживать - стук в калитку, - муж кричит, вроде выпимши - "жена, отворяй!" Так три попа и оказались друг на друге. Муж, заметьте, Илья Иваныч, в избу вошел, спрашивает жену, шепчет: - "В ларе?" Аннушка отвечает: - "В ларе!" - Ну тут муж, Илья Иваныч, как пьяный, в кураж вошел. - "Жена, говорит, желаю я новый ларь на мороз в амбар поставить, овес пересыпать!" - Полез на подоловку. Илья Иваныч так рассудил, заметьте, что отнесет он попов на мороз, запрет в амбаре,

попы там на холоду померзнут денек, холод свое возьмет, взбунтуются попы, амбар сломают, побегут, как очумелые, всему селу потеха. Однако, вышло совсем наоборот, не до смеху: стал он тащить ларь с подоловки, попы жирные, девяти-пудовые, - не осилил Илья Иваныч, полетел ларь вниз по лестнице. Да так угодил ларь, что ткнулись все попы головами и померли сразу!.. Да... - Кузя достал кисет, сел на корточки, стал скручивать собачку, заклеивая тщательно газетину языком, - собрался было дальше рассказывать.

Луна зацепилась за гору. Колокольчик коровы загремел рядом, мирно, корова жевала жвачку. Мимо прошел Некульев, пошел в гору, к обрыву. Замолчали, проводили молча глазами - Некульева, пока он не скрылся во мраке. Сказал шепотом Егорушка:

- Гля, - пошел, Антон-от! Опять пошел - отправился. Костры сжигать... Груня Вязовская, знающая бабочка, баит - колдун и колдун. Я ходил, подозревал: наломает сухостою, костер разведет, ляжет возле, щеки упрет и - гляит, гляит на огонь, глаза страшные, и стекла на носу-те, горят как угли, - а сам травинку жуёт... Очень страшно!.. А то встанет к костру спиной, у самого яру, руки назад заложит и стоит, стоит, смотрит за Волгу, как только не оборвется. Ну, меня страх взял, я ползком, ползком, до просеки, да бегом домой. Гляжу потом, идет домой, вроде, как ничего.

- И к бабе своей ездит, - сказал Кузя. - Приедет, сейчас в степь гулять, за руки возьмутся. И тоже, заметьте, костер раскладывать... Пошли они раз к рощице, я спрятался, а они сели - ну, в двух шагах от меня, никак не дале, двинуться мне невозможно, а меня мошка жигат. Начали они про коммуны говорить, поцеловались раз, очень благородно, терпят, - а мне нет никакого терпенья, а двинуться никак нельзя, я и говорю: - "Извините меня, Антон Иванович, мошка заела!" - Она как вскочит, на него "это что такое?" - Сердито так. - Мне он ничего не сказал, как бы и не было...

- Надо-ть идтить часы стоять, - пойду я, до-свиданьица, - сказал старик в кафтане.

- И то ступай с богом, спать надо-ть, - отозвалась Маряша и зевнула.

Кузя высек искру, запалил трут, раскурил сигарку, осветились его кошачьи усы. - "Так, стало-ть, кстати сказать, мужику в смысле глаз помочь никак невозможно?" - строго спросил он, - "ни молитвой, ни заговором?"

- Помочь ему никак нельзя, леший глаза вылупил. Надо-ть подорожником прикладывать, чтобы мозги не вытекли, - сказал старик. - Прощевайте! старик поднялся, пошел не спеша, с батогом в руке вниз к Волге, светлели из-под кафтана белые обмотки и лапти.

Вслед ему крикнула Катяша: - "Отец Игнат, ты, баю, зайди, у моего бычка бельма на глазах, полечи!"

Заговорил напевно Кузя: - "Да-а, вот, кстати сказать, выходит, хотел Илья Иванович над попами потешаться, а вышло совсем наоборот..."

- Я тебе яичек принесла, Маряш, - сказала, перебивая Кузю, Катяша. Для барина. Ты почем ему носишь?

- По сорок пять.

- Я за двадцать у немцев взяла. Потом сочтемся.

- У тебя, Ягорушка, как в смысле хлеба? - спросил Кузя.

- Хлеба у нас нет, все на избу истратили. Мужик лесу теперь не берет, - сам ворует. В смысле хлеба - табак. Вот брату моему в городе повезло, прямо сказать, счастье привалило. Приходит к нему со станции свояк, говорит: - "Вот тебе сорок пудов хлеба, продай за меня на базаре, отблагодарю, - а мне продавать никак некогда." Ну, брат согласился, продал всю муку, деньги в бочку, в яму, - осталось всего три пуда. Тут его и

сцапали, брата-то, - милиция. Мука-то выходит ворованная, со станции. Ну, брата в холодную. - "Где вся мука?" - "Не знаю." - "Где взял муку?" "На базаре, у кого - не припомню." Так на этом и уперся, как бык в ворота, свояка не выдал, три недели в тюрьме держали, все допрашивали, потом, конечно, отпустили. Свояк было к нему подкатился, - а он на него: "Ах ты, пятая нога, ворованным торговать?! В ноги кланяйся, что не выдал!" - "А деньги?" - "Все, брат, отобрали, бога надо благодарить, что шкура цела осталась..." - Свояк так и ушел ни с чем, даже благодарил брата, самогон выставял... А брат с этих денег пошел и пошел, торговлю открыл, в галошах ходит, - прямо с неба свалилось счастье, - Егор помолчал. - Яйца у меня в картузе, восемь штук, - возьми, Маряш.

- Лесничий, кстати сказать, как приехал, - прямо все масло да яйца, хлеб ест без оглядки, с собой привез. И все примечает, все примечает, глаз очень вострый, заметьте, - сказал Кузя.

- И ист, и ист, все сметану, да масло, да яйца, - прямо господская жизнь! - оживленно заговорила Маряша. - Крупы привез грешенной, отродясь не видала, у нас не сеют, - варила, себе отсыпала, ребята ели, как сахар, облизывались. И исподнее велит стирать с мылом, неделю проносит и скинет, совсем чистое, - а с мылом!.. Я посуду мыла, а он бает - "Вы ее с мылом мойте", - а я ему: - "что-е-те мыло, баю, у нас почитатца поганым!.."

В избе вдруг полетело с дребезгом ведро, пискнул раздавленный ципленок, закудахтала курица, - на пороге появился мужик, тот, что ослеп, - с протянутыми вперед руками, в белой рубашке, залитой кровью, - бородатая голова была запрокинута вверх, мертвых глазниц не было видно, руки шарили бессмысленно. - Мужик заорал визгливо, в неистовой боли и злобе:

- Глазыньки, глазыньки мои отдайте! Глазыньки мои острые!.. - упал вперед, в навоз, споткнувшись о порог.

- Вперед лыка не дери, - успокоительно сказал Кузя. - Видишь отца звали, сказал, ничего не выйдет.

Бабы и Кузя потащили мужика обратно в избу. Егорушка отходил несколько шагов от избы, к амбару, к обрыву, помочиться, вернулся, раздумчиво сказал: - "Потух костер-от, идет, значит, назад. Спать надо-ть", зевнул и перекрестил рот. - "Отдай тогда яички, сочтемся." - Егор и Катяша пошли к себе на другой конец усадьбы, в сторожку. Кузя в людской зажег самодельную свечу, снял картуз; - побежали по столу тараканы. На постели на нарах стонал мужик. На печи спали дети. Висела посреди комнаты люлька. Кузя из печки достал чугунок. Картошка была холодная, насыпал на стол горку соли (таракан подбежал, понюхал, медленно отошел), - стал есть картошку, кожу с картошки не снимал. Потом лег, как был, на пол против печки. Маряша тоже поела картошки, сняла платье, осталась в рубашке, сшитой из мешка, распустила волосы, качнула люльку, - кинула рядом с Кузей его овчинную куртку, дунула на свечу и, почесываясь и вздыхая, легла рядом с Кузей. Вскоре в люльке заплакал ребенок, - в невероятной позе, задрав вверх ногу, ногою стала Маряша качать люльку - и, качая, спала. Прокричал мирно в коридоре петух.

На утро и у Кузи и у Егорушки были свои дела. Маряша встала со светом, доила корову, бегали по двору за ней ее трое детей, мытые последний раз год назад и с огромными пузами; шестилетняя старшая - единственная говорившая - Женька, тащила мать за подол, кричала - "тря-ря-ря, тяття, тяття" - просила молока. Корова переходила, молока давала мало, - Маряша молока детям не дала, поставила его на погреб. Потом Маряша сидела на

террасе у большого дома, подкарауливала, скучая, когда проснется лесничий, гнала от себя детей, чтобы не шумели. Лесничий, бодрый, вышел на солнышко, пошел на Волгу купаться. Лесничий поздоровался с Маряшей, Маряша хихикнула, голову опустила долу, руку засунула за кофту, - и со свирепым лицом - "кыш вы, озари!" - стремительно побежала в людскую, потащила на террасу самовар, потом с погреба отнесла кринку с молоком и в подоле - восемь штук яиц. Проходила мимо с ведрами Катяша, сказала ядовито и с завистью: - "Старайси? Спать с собой скоро положит!" - Маряша огрызнулась: - "Ну-к что ж, - мене, а не тебе!" Было Маряше всего года двадцать три, но выглядела она сорокалетней, высока и худа была, как палка, - Катяша же была низка, ширококостна, вся в морщинах, как дождевой гриб, как и подобало ей быть в ее тридцать пять лет.

Кузя поутру ушел в лес, винтовку на веревочке вниз дулом повесил на плечо, руки спрятал в карманы, шел не спеша, без дороги, ему одному знакомыми тропинками, посматривал степенно по сторонам. Спустился в овраг, влез на гору, зашел в места совсем забытые и заброшенные, глухо росли здесь дубы и клены, подрастал орешник, - стал спускаться по обрыву, цепляясь за кусты, посыпался пыльный щебень. Нашел в старой листве змеиную выползину, змеиную кожу, подобрал ее, расправил, положил в картуз за подкладку, - картуз надел набекрень. Прошел еще четверть версты по обрыву и пришел к пещере. Кузя окликнул: - "Есть что ли кто? Андрей, Васятка?" - Вышел парень, сказал: - "Отец на Волгу пошел, сейчас придет". Кузя сел на землю около пещеры, закурил, парень вернулся в пещеру, сказал оттуда: - "Может хочешь стаканчик свеженькой?" - Кузя ответил: "Не." - Замолчали, из пещеры душно пахло сивухой. Минут через десять из-под горы пришел мужик, с бородой в аршин. Кузя сказал: - "Варите? Хлеб у меня весь вышел, ни муки, ни зерна. Достань мне, кстати сказать, пудика два. Потом Егор влазины исправлять будет, нужен ему самогон, самый лучший. Доставь. Лесничий после обеда на корье поедет, на обдирку, а потом к бабе своей завернет. В это время и снорови, отдашь Маряше." Поговорили о делах, о дороговизне, о качестве самогона. Распрощались. Вышел из пещеры парень; сказал: - "Кузь, дай бабахнуть!" - Кузя передал ему винтовку, ответил: - "Пальни!" Парень выстрелил, - отец покачал сокрушенно головой, сказал: - "В дизеках ведь ходит, Василий-то..."

На обратном пути Кузя заходил в Липовую долину на пчельник к Игнату, покурили. Игнат, по прозвищу Арендатель, сидел на пне и рассуждал о странностях бытия: - "Например, раз, сижу вот на этом самом пне, а мне чижик с дерева говорит: - пить тебе сегодня водку!" Я ему отвечаю: - ну, что, мол, ты глупость говоришь, кака еще така водка?.. - Ан, вышло по его: пришел вечером кум и принес самогонки!.. Птица - она премудрость божия. Или, например, раз, твой новый барин; зашел я к нему, разговорились; - я его спрашиваю, как он понимает, при венчании вокруг наложь посолонь надо ходить или против солнца? А он мне в ответ: - ежели, говорит, в таком деле с солнцем надо считаться, то придется стоять на одном месте и чтобы наложь вокруг тебя носили; потому как солнце в небе неподвижно, а вертится земля. - Отпалил, да-а! А я ему: - А как же, например, раз Иисус Навин, выходит, землю остановил, а не солнце?.. И все это пошло от Куперника. Этого Куперника на костре сожгли; мало, я-бы его по кусочкам, по косточкам, изрезал бы, своими руками... А табак - это верно, чортова трава. Я тут посадил себе самосадки, для курева, две колоды меда пришлось выкинуть"...

Уже совсем дома, у самой усадьбы Кузя напал на полянку со щавелем, лег на землю, исползал брюхом всю полянку, ел щавель. Дома Маряша дала мурцовки. Поел и пошел чистить лошадь, выскреб, обмыл, стал запрягать в дрожки. Вышел из дома Некульев, - поехали в леса.



Катяша и Егорушка на селе строили новый дом. Постройка была кончена, оставалось отправить влазины и освятить. Давно уже Егорушка изготовил из княжеского шкафа - из красного дерева - кивот, - и с самого утра, подоив корову, Катяша занималась его уборкой. Непонятно, как у нее имелись этикетки пивоваренного завода "Пиво Сокол на Волге", с золотым соколом по середине, - Катяша расклеивала их по кивоту, по красному дереву, вдоль и поперек, и вверх ногами, потому что грамотной она не была. И у Егорушки, и у Катяши был праздник - влазины; Некульев дал Егору отпуск на неделю. Утром же Егорушка и Катяша ходили к Игнату на пчельник узнавать свою судьбу. Игнат изводил их страхом. Игнат сидел в избе на конике, - на Егорушку и Катяшу даже не взглянул, только рукой махнул, - садитесь, мол. Между ног у себя Игнат поставил глиняный печной горшок, стал смотреть в него и говорить, - не весть что. Плюнул направо, налево, в Катяшу (та утерлась покорно), и началось у Игната лицо корчиться судорогами. Потом встал из-за стола и пошел в чулан, поманил молча Егора и Катяшу; там было темно и душно, и удушливо пахло медом и пересохшей травой. Игнат взял с полки две церковные свечи, взял за руки Егора и повернул его на месте три раза, посолонь, - поставил его сзади себя, перегнулся вперед и начал замысловато скручивать свечи, - одну свечу дал Егору, другую - Катяше: сам же стал что-то поспешно бормотать; затем свечи опять отобрал себе, сложил обе вместе, взял руками за концы, уцепился зубами за середину, ощерились зубы, перекошилось лицо, - и Егорушка и Катяша безмолвствовали в благоговейном ужасе, - Игнат зашипел, заревел, заскрежетал зубами, глаза - так показалось в темноте и Егорушке и Катяше - налились кровью, закричал: "Согни его судорогой, вверх тормашками, вверх ногами. Расшиби его на семьсот семьдесят семь кусочков, вытяни у него жилу живота на тридцать три сажени." - Потом Игнат совершенно покойно объяснил, что жить "в новом доме" они будут хорошо, сытно, проживут долго, сноха будет черноволосая, и будет только одно несчастье "через темное число дней, ночей и месяцев", - ослепнет бычок, придется пустить его на мясо. - Катяша и Егорушка шли домой радостные, дружные, чуть подавленные чудесами, - свечи Игнат им отдал и научил, что с ними делать: в новом доме подойти к воротному столбу, зажечь там свечу и попать столб, а потом с зажженной свечей пойти в избу, прилепить там свечу к косяку и так три ночи подряд, и так сноровить, чтобы последний раз сгорели свечи до-гла и потухли-б сразу, - первые же два раза тушить свечи левой рукой, обязательно большим и четвертым пальцами, - и чтобы не ошибиться, а то отпадут пальцы. - Некульев уже уехал, когда вернулись Катяша и Егор, принесли Егору ведро самогону. Егор стал запрягать лошадь, Катяша задержалась, замешкалась со сборами, наклеивала на кивот - "пиво Сокол на Волге", "пиво Сокол на Волге". Егорушка от нечего делать ходил в барский дом, зашел в комнату, где поселился Некульев, потрогал его постель, прилег на нее, примериваясь; на столе лежали недоеденная сметана и в коробке из под монпансье сахарный песок, - слюнил палец и тыкал им сначала в сметану, потом в сахар, - потом облизывал палец; на окне лежали зубной порошок, щетка, бритва: Егорушка задержался тут надолго, - попробовал порошок, пожевал его и выплюнул, помотав недоуменно головой, - взял зеркальце и зубной щеткой разгладил себе бороду и усы; - лежала около зеркальца безопасная бритва, рассыпаны были ножички, - Егорушка все их осмотрел, пересчитал, выбрал, какой похуже, и спрятал его себе в карман; в конторе Егорушка сел за письменный стол Некульева, сделал строгое лицо, оперся о ручки кресла, расставив локти и сказал: - "Ну что, которые там, лесокрады! - Выходи!.." - - В семейных отношениях Егорушки главенствовала Катяша; - вскоре перед их избой стоял воз; были на возу и кивот "в соколах на Волге", и поломанное кресло с золоченой спинкой, и две корзинки - одна с черным петухом (вымененным у Маряши), другая с черным котом (прибереженным еще с весны; кот и петух нужны были для влазин), - и сундук с Катяшиным - еще от девичества - добром; - и на самом верху воза сидела сама Катяша, уже подвыпившая самогону, она махала красным платочком, приплясывала сидя, орала "саратовскую", - "шарабан мой, шарабан"... Маряша с детишками стояла рядом с возом, смотрела восхищенно и

завистливо; Катяша смолкла, покрестилась, покрестились и Егор, и Маряша, и дети, Катяша сказала: - "Трогай с богом!" Попросила Маряшу: - "За скотиной ты посмотри, Игнат придет наведаться, покажи!.." - Поехали, Егор пошел с вожжами пешим, опять завизжала Катяша: - "Шарабан мой, американка, а я девчонка-а шарлатанка!.." - -

При Некульеве единственное было собрание Рабочкома. Собрали его хорошие ребята, мастеровые-коммунисты, Кандин и Коньков. Собрание было назначено на завтра, но многие съехались с вечера, - дальним пришлось проехать верст по сорок. Вечером в парке на крокетной площадке разложили костер, варили картошку и рыбу. У Некульева собирались на "подторжье", чтобы столкнуться перед торгом Рабочкома, - кто потолковее и кто коммунисты. Коньков был хмур и решителен, Кандин хотел быть терпеливым; говорили о революции, о лесах и - о воровстве, о гомерическом воровстве в лесах, - говорили тихо, сидели тесным кругом, со свечей, в зале, Некульев лежал на диване; - сказал тоскливо Коньков: - "Расстреливать надо, товарищи, - и первым делом наших, чтобы была остратка. Что получается, - мы воюем с мужиками, а кто похитрее из мужиков - идет к знакомому леснику, потолкует, сунет пудишко, - и лесник отпускает ему, что только тот захочет, - получается, товарищи, одно лицемерие и чистое безобразие. Простите, товарищи, признаюсь: привязался ко мне шиханский мужик, - дай ему лесу на избу, - день, другой, - я сижусь голодный, а он и самогону, и белой, - я так ему морду избил, что отвезли в больницу, - не стерпел." - Ответил Кандин: - "Я морды бил, прямо, скажу, не раз, хорошего в этом мало. Обратное, надо рассудить: - получает лесник жалование, на хлеб перевести, - полтора целковых; на это не проживешь, воровать надо, - ты смотри, как живут, свиньи у бар чище жили. В лесном деле нужна статистика: установить норму, чтобы больше ее не воровали, и виду не показывать, что замечаешь, потому - воруют от нужды. А если больше ворует, - значит, от озорства, - тогда, обратно, можно расстрелять. Святых нет, - а дело делать надо!" - Говорили о Рабочкоме. - Рабочком создать необходимо было, чтобы связать всех круговой порукой. Некульев молчал и слушал, свеча освещала только диван, - ни Коньков, ни Кандин не знали, как повести на утро заседание Рабочкома, чтобы не оторваться от всех остальных лесных людей. - В парке запели песню и стихли, Некульев пошталным, в парк. У костра сидели люди, все оборванцы, все одетые по разному, все с винтовками. Против огня лежал Кузя, подпер щеки ладонями, смотрел в огонь и рассказывал сказку. Кричало на деревьях всполошенное костром воронье. Некульев присел к огню, стал слушать.

... - И выходит, кстати сказать, хотел Илья Иваныч посмеяться над попами, а вышло наоборот. Открыл Илья Иваныч ларь - лежат три попа друг на друге и все мертвые, и холодеют уже на морозе. Испугался Илья Иваныч, отнес попов в амбар, разложил рядышком, - пришел в избу, сел к столу, думает, а самого, заметьте, цыганский пот прошибат... Ну, только Илья Иваныч очень был умный, посидел часик у стола, подумал и - хлоп себя по лбу! Пошел в амбар, попы уже заковчели, - взял одного попа, поставил его около клетки, облил водой, на попе сосульки повисли. Пошел Илья Иваныч тогда в трактир и, заметьте, прихватил с собой бутылочку, которую поп не допил, там гармошка играт, народ сидит, - и у прилавка, кстати сказать, сидит пьяница Ванюша, ждет, как бы ему поднесли. Илья Иваныч к Ванюше: - "Пей!" - дал ему бутылку. Ванюша выпил, пьяный стал, - ему Илья Иваныч и говорит: - "Дал бы еще, да некогда. Надо иттить, - ко мне, вишь, утопленник пришел на двор, - надо его в прорубь на Волгу отнести." - Ну, Ванюша вцепился: - "Давай я отнесу, только угости!" - А это самое и надобно было Илье Иванычу, говорит нехотя: - "Ну уж коли что, из-за дружбы, - отнесешь, придешь, в избу, угощу!" - Ванюша прямо бегом побег. - "Где утопленник?" - "Вона!" - Ванюша попа схватил, на плечо и прямо к воротам, - а Илья Иваныч к нему: - "Да ты погоди, надо его в мешок положить, а то народ напугаешь." - Положили, заметьте, в мешок, Ванюша понес, а Илья Иваныч второго попа из амбара выставил, облил водой, ждет. Прибегает Ванюша, прямо в

избу: - "Ну, где выпивка?" А ему Илья Иваныч: - "Нет, брат, погоди, плохо ты его отнес, слова не сказал, - он опять вернулся." - "Кто?" - "Утопленник." - "Где?" Вышли на двор. Стоит поп у клетки. Ванюша глаза вытаращил, рассердился: - "Ах ты такой сякой, не слушаться!" - схватил второго попа и побег к проруби, - а Илья Иваныч ему в след: - "Ты как будешь его в воду совать, скажи - упокой, господи его душу, - он и не пойдет!" - Это, чтобы помолиться, все-таки, за попа. - Только Ванюша со двора, - Илья Иваныч третьего попа и, - прибегает Ванюша, - а Илья Иваныч ему выговаривает: - "Эх ты, Ванюша! Не можешь утопленника унести, - ведь опять вернулся. Придется мне уж с тобой пойтить, чтобы концы в воду. Неси, а я позадь пойду, посмотрю, как ты там управляешься." - Отнесли третьего попа, посмотрел Илья Иваныч, - спускает попов в воду Ванюша как следует, успокоился и говорит: - "Ну, все-таки, ты Ванюша потрудился, пойдём - угощу!" - Да так его напоил, что у Ванюши всю память отшибло, забыл как утопленников таскал. Так что про попов и не дознались, куда их черти дели. - Вот и сказке конец, а мене венец, - сказал Кузя.

Некульев отошел от костра, пошел во мрак, обогнул усадьбу, - пошел на гору, к обрыву, подумать, побыть одному... -

Утром, на той же крокетной площадке, где многие так у костра и ночевали, собралось человек семьдесят лесников и полесчиков. Под липой поставили стол, принесли скамьи - но многие лежали и на травке вокруг площадки. Костер не потухал. Винтовки составили - по военному - в козлы. Избрали президиум.

От этого собрания остался нижеследующий протокол:

СЛУШАЛИ: 1. Доклад тов. Конькова о Международном положении\*1.

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Принять к сведению.

СЛУШАЛИ: 2. Доклад тов. Кандина о плане работ Рабочкома.

а) Культурно-просветительная работа.

б) Средства Рабочкома и расходные статьи.

ПОСТАНОВИЛИ: 2. В виду разбросанности лесных людей по лесам, Культкомиссии не избирать\*2; выписать на каждую сторожку по газете, расходы 1) канцелярские принадлежности, 2) подвода в город, 3) суточные.

СЛУШАЛИ: 3. Предложение тов. Конькова отчислить от зарплаты в фонд по устройению памятника революции в Москве.

ПОСТАНОВИЛИ: 3. Отчислить однодневный заработок.

СЛУШАЛИ: 4. Донесение Председателя Кадомского Сельсовета Нефедова о том, что в расчетных ведомостях по 27 кордону были вымышленные фамилии, за которых получал объездчик Сарычев. - Сарычев предъявил вышеупомянутые ведомости и указал, что правильность их заверена печатью и подписью Предсельсовета Нефедова, написавшего вышеозначенные донесения.

ПОСТАНОВИЛИ: 4. В виду неясности вопросов и несообразности донесения на самого себя - направить дело к доследованию, отослав копию в Угрозыск.

СЛУШАЛИ: 5. Дело о племенном быке, съеденном объездчиком и лесниками с 7 кордона; из Племхоза был взят плембык за круговой порукой, - бык был убит и съеден, а в Племхоз был направлен акт, что бык умер от сибирки.

ПОСТАНОВИЛИ: 5. В виду незаконного поступка с быком, с лесников Стулова, Сеницына и Шавелкина и объездчика Усачева удерживать ежемесячно 3-х дневный заработок и направлять его в кассу Племхоза. \_\_\_\_\_

\*1 В докладе Коньков сделал ошибку, указав, что Европа и Россия - географически в разных материках.

\*2 Выяснилось, что половина лесников безграмотны, Кузя шептал, голосуя, Егорушке: - "Ничего, выкурим!"

СЛУШАЛИ: 6. Пожелание лесника тов. Сошкина не делать общих собраний по воскресеньям\*3.

ПОСТАНОВИЛИ: 6. Утвердить.

СЛУШАЛИ: 7. Предложение объездчика Сарычева о вступлении всех сразу в РКП.

ПОСТАНОВИЛИ: 7. Оставить вопрос открытым\*4.

Первое письмо, которое написал Некульев с Медыньских гор, было такое, - он не закончил его: -

"... у черта на куличках, где нет почты ближе как в шестнадцати верстах, а железной дороги - в ста, - в проклятом доме над Волгой, в доме, который проклятье помещиков перенес и на меня, - в жаре и делах, по истине чертовщинных! - Живу я робинзоном, сплю без простыней, ем сырые яйца и молоко, без варева, хожу полуголый. Кругом меня дичь, срам, мерзость. Ближайшее село от нас - 16 верст, но под обрывом идет - "великий водный путь", и я часто толкую с теми, кто бичевой идет по Волге, таких очень много, каждый день проходит добрые десятка два дощаников, часто около нас отдыхают и варят уху; - так вот дней пять тому назад тащил бичевой мужик свою жену, привязанную к дощанику; он мне сообщил, что в его жену вселилось три черта, один под сердце, другой в "станову жилу", третий - под мышку - а верстах в ста от нас есть замечательный знахарь, который чертей может изгонять - так вот он к нему и везет жену; вчера он возвращался обратно, в ляме шла уже его жена, а он барствовал на дощанике, - сообщил, что черти изгнаны. - Тема этого письма - люди, с которыми я живу, - это два лесника с женами и детьми. Один из них построил себе избу из краденого \_\_\_\_\_

\*3 Встал тогда на собрании с травки босой паренек в армяке и сказал, волнуясь: - "Я так думаю, товарищи, мы, выходит, пожелаем, чтобы собрание Рабочкома не делали в воскресенье, потому, как граждане самовольные порубщики в будни все в поле на работе, их там не поймашь, - а в воскресенье они сидят дома, тут их и ловить с милицией."

\*4 Товарищ Кандин тогда говорил, что вопрос вступления в РКП - вопрос совести каждого, - Сарычев обиделся на него, - говорил: - "...а если вы думаете, что Кадомский Васька Нефедов, председатель, доносчик, правду на меня наплел, - так он сам первый жулик, а которые фамилии были подписаны - так они люди странные, теперь уехали домой, на Ветлугу." - - леса, который он же призван охранять, и обставил ее обломками

мебели из усадьбы, - но это не главное, а главное то, что прежде чем вселиться в избу, он пускал туда черную кошку и петуха, а под печку клал краюху хлеба с солью - для домового, а жена его - голая - обегала дом, чтобы "отворотить глаз". У него заболел бычок, заслезились глаза, - ветеринар уж не так далеко, в Вязовах, - но он позвал местного знахаря (этот знахарь, мужик - арендатор пчельника, приходил раза два ко мне поговорить, - я и не полагал, что он колдун, - мужик, как мужик, только чуть похитрее, грамотен и болтает что-то про Коперника), - так знахарь бычка осмотрел, нашептал что-то, снял какую-то пленку с глаз у бычка, посыпал солью, - и бычок ослеп; тогда Катяша, жена Егора, достала "змеиной выползины", высушила, истолкла в порошок и этой змеиной выползиной - лечит бычка, присыпает ему ослепшие уже глаза. Жену второго лесника зовут Маряшей; сначала я ее звал Машей, - она сказала мне: - "И что-е-те как вы зовете мене? Мене все зовут Маряшей!" - Детей у нее трое, лет ей 23, - моей "жисти" она завидует до слюней: - "и-и-ии, и все те с маслом, и молока сколько душа жалат!" - - Детям своим молока она не дает, продает мне: мне противно, но я знаю, - если я не буду брать у нее, то умру с голоду, ибо вечно так голодать, как они, не умею, - а она молоко оставит на масло и творог - и все равно продаст. Маряша ни разу не была в городе, в своем уездном городе, в тридцати верстах; она ни разу до меня не видела гречневой крупы - "у нас такой не сеют!" - и сразу же украла у меня добрую половину для детей; у нее в живых трое детей, которые ходят голыми, еще двое померли, ей 23, и у нее уже женская какая-то болезнь, про которую охотно рассказывает всем ее муж Кузя, - и ни одного ребенка не принимала у нее даже... знахарка-баба: сама родила, сама резала пуповину, сама мыла за собою кровь, отсылая мужа на этот случай в лес. Дикарство, ужас, - черт знает, что такое! - Ко мне отношение такое. - Вчера приходил немец из-за Волги, предложил масла; я спросил, - почему?

- "Как раньше брали, по 25." - - А с меня Маряша и Кузя, и Катяша брали по шестидесяти. У меня лопнуло терпенье, я позвал Маряшу и Катяшу и сказал им - как им не стыдно, ведь вижу я, как они обманывают и обворовывают меня на каждом шагу и на каждой мелочи, - ведь я же по-товарищески и по-хорошему держу себя с ними и буду вынужден считать их за воровок и не уважать, - этакое лирическое нравоучение прочел им. Не сморгнули. - "Мы по нарощку за то, нарочно мы, то-есть!.."

"А к обеду в этот день вдруг стерлядку мне: - "это мы тебе в подарок!" - Послал я их к черту со стерлядками. Я для них - барин и больше ничего, - я не пашу, мою белье с мылом, делаю непонятные им вещи, читаю, живу в барском доме, стало быть, - барин; заставляю я ходить их на четвереньках - пойдут, заставляю вылизать пол - вылизут, и сделают это на 50% из-за рабственного страха, а на 50 - из-за того, что - может барину это и всерьез надо, ибо многое из того, что делаю я, им кажется столь же нелепым, как и лизание полов, - сделают все что угодно, - но у меня выработалась привычка все время быть так, чтобы за спиной у меня никого не было, ибо я не знаю, не покажется ли в данную минуту Катяше или Кузе необходимым сунуть мне в спину нож: быть может это излишняя осторожность, ибо они на меня смотрят, как на дойную корову, и я слышал, как Катяша с завистью говорила, что меня "бог послал" Маряше, ибо Маряша, ставя мне самовар и убирая мою комнату и контору, имеет полное право и возможность, одобренные Катяшей, систематически обворовывать меня!.. Да, так, а я - честный коммунист. Я не понимаю, как наши мужики понимают честь, ведь должна же она у них быть. Они живут, ничего не понимая, и вот Егор строит новую избу по всем знахарским правилам, когда идет мировая революция!.. - Это весь народ, который я вижу вокруг себя, но кроме них есть еще невидимый - это те сотни, а может и тысячи, которые вокруг меня растаскивают леса, с которыми я борюсь не на живот, а на смерть. У меня такое ощущение, что все вокруг меня воры, вор на воре сидит, не понимаю, как не воруют друг друга, - хоть, впрочем, забыл, - я же сам был украден немцами и они держали меня спрятанным в темном чулане!.. Да, так.

Дети у Маряши ходят голыми, потому что нечего надеть, и все они в жесточайшей часотке, - сначала я стал было столоваться вместе с Кузей, но мне было тошнотворно от грязи и - было стыдно есть при детях, потому что они голодны, не едят даже вдоволь хлеба и картошки, - а мясо, там масло, яиц никогда не видят... А вот Мишка - пастух, который с нами говорит на коровьем, не похожем на человеческий, языке, по-человечески говорит с трудом, - нашел в лесу землянку, уже развалившуюся в овраге, в глуши, - землянка в гору вросла, - и в землянке полуистлевшая псалтирь, спасался, должно быть, какой-то праведник: интересно знать, мыло он признавал поганым или святым?.. А знахарю - "Арендателю" чижик предсказывает, когда он будет пить самогонку. А сам пастух Минька знаменит тем, что в прошлом году, еще до меня, в его стаде у коровы родился телок с человеческой головой, - телка этого бабы убили, и молва решила, что отцом телка является Минька: быть этого, конечно, не могло, - но что Минька, который с коровами лучше говорит, чем с людьми, мог вожделеть к коровам - это пусть лежит на его совести"...

- - Некульев не дописал тогда этого письма. Он сел писать его вечером, вернувшись с горы, где раскладывал костер, и просидел за столом до поздней ночи. Писал в конторе, горели на столе две свечи, текли стеарином, - лили на зеленое сукно стеарин ко многим другим стеариновым ночам на сукне, в этом доме, горьком, как табачный мед. И вдруг, Некульев почувствовал, что вся кожа его в мурашках, - первый раз осознал эти привычные мурашки, - поспешно ощупал револьвер, - вскочил из-за стола, схватил револьвер, чтобы стрелять, - и тогда в контору вошел Коньков, с револьвером в руке, весь в пыли, с лицом, землистым от пыли. Коньков сказал:

- Товарищ Антон! Илья Кандин - убит мужиками, на порубке. В Кадомы, в Вязовы, в Белоконь пришли разведочные военные отряды, установить нельзя, белые или красные. Мужики бунтуют! -

Глава третья. - О матери сырой земле и о прекрасной любви.

Расспросить мужиков о матери сырой-земле, - слушать человеку уставшему, - станут перед человеком страхи, черти и та земная тяга, та земная сыть, которой, если-б нашел ее богатырь Микула, повернул бы он мир. Мужики - старики, старухи, - расскажут, что горы и овраги накопили огромные черти, такие, каких теперь уже нет, своими рогами - в то самое время, когда гнали их архангелы из рая. Мать сыра-земля, как любовь и пол, тайна, на которую разделила - она же мать сыра-земля - человека, мужчину и женщину, - манит смертельно, мужики целуют землю сыновне, носят в ладонках, приговаривают ей, заговаривают - любовь и ненависть, солнце и день. Матерью сырою-землей - как смертью и любовью - клянутся мужики. Мать сыру-землю - опаживают заговорами, и тогда, в ночи запрягается в соху вместо лошади голая вдова, все познавшая, а правят сохой две голые девки, у которых земля и мир впереди. Женщине быть - матерью сырой-землей. - А сама мать сыра-земля - поля, леса, болота, перелески, горы, дали, годы, ночи, дни, метели, грозы, покой. - - Мать сыру-землю можно иль проклинать, иль любить.

У Некульева был большой труд. Юго-восток отрывали донцы и уральцы, из Пензы к Казани шли чехи, Волгу сщемили, щемили. Волгу спасали Медыни. У Мокрых Балок, в Починках, у Островов, на Залоггах, - в десятках мест грузились баржи с дровами, лесами, осмиреками, двенашниками, тесами. И в ночи, и в дни приходили издыхающие пароходы, - ночами сыпали пароходы гейзеры искр, - брали дрова, свою жизнь, чтобы шлепать по зарям и водам лопастями колес, пугая дали. Из Саратова, из Самары, из уездов, из степных городов - приезжали отряды людей с пилами, тех, чья воля была победить и не умереть, рабочие, профессора, студенты, курсистки, учительницы, матери, врачи,

молодые и старые, мужчины и женщины, - шли в леса, пилили леса, сбивали себе руки, колени, кровавые набивали мозоли, тупыми пилами боролись за жизнь - жгли ночами костры и пели голодные песни, спали в лесах на траве, плакали и проклинали ночи и мир, - и все же приходили пароходы, хрипели дровяным дымом, профессора становились за кочегаров, профессорские пиджаки маслелись, как рабочие блузы. - Некульев был тут, там, мчал туда, верхом на гнедой княжеской лошади, сзади Некульева на хромом меринке ковылял Кузя: все, что делалось, необходимо было - во что бы то ни стало, и Кузя помахивал часто наганом. -

... Была ночь. Некульев не дописал тогда письма, свечи запечатлевали новую стеаринную быль на зеленом конторском сукне. И тогда в комнату вошел Коньков с револьвером в руке, весь в пыли, с лицом землистым от пыли, и Коньков сказал шепотом, как заговорщик: - "Товарищ Антон! Илья Кандин убит мужиками на порубке. В Кадомы, Вязовы, Белоконь пришли разведочные отряды, установить нельзя, белые или красные. Мужики бунтуют!" - - Тогда Конькова Некульев встретил в гусином страхе - с револьвером в руках, и он опустил револьвер, сел беспомощно на стол, чтобы помолчать минуту о смерти товарища. - Но тогда оба они крепко сжали ручки револьверов, тесно сдвинувшись друг к другу: за окном зашелестел десяток притаенных шагов, перезамкнулись затворы винтовок, и в миг в дверях и в окнах возникли черные точки винтовочных дул, - и в комнату вошел матрос, покойно, деловито, револьвер у него не был вынут из кобуры. - "Товарищи, ни с места. Руки вверх, товарищи. - Документы!" - "Вы коммунист, товарищ?" - "Вы арестованы. Вы поедете с нами на пароход". - Земля сворачивала уже в осень и ночь была черна, и волжские просторы повеяли сырою неприязнью. У лодки во мраке были бабы, и прощались с ними, как прощаются новобранцы, Егорушка и Кузя. Пыхтели во мраке пароходы, но на пароходах не было огня. Сели, поплыли. Кузя подсел к Некульеву: - "Это что же, расстреливать нас везут?" - Помолчал. - "Я так полагаю, я все-таки босой, прыгну я в воду и уплыву"... - Крикнул матрос: - "Не шептаться!" - "А ты куда нас везешь, за то?" - огрызнулся Кузя. - "Там узнаешь, куда." - Ткнулись о пароходный борт, - "Прими конец", - "Чаль!" - Пароход гудел человеческими голосами. Некульев выбрался на палубу первым. - "Веди в рубку!" - В рубке толпились вооруженные люди, у одних пояс, как у индейцев перьями, был завешен ручными гранатами, другие были просто подпоясаны пулеметными лентами, махорка валила с ног. - И выяснилось: седьмой революционный крестьянский полк потерял начальника штаба, а он единственный на пароходе умел читать по-немецки, а военную карту заменяла карта из немецкого атласа; карта лежала в рубке на столе - вверх ногами; седьмой крестьянский полк шел бить казаков, чтобы прорваться к Астрахани, - и чем дальше шел по карте, тем получалось непонятней; Некульев карту положил как надо, - с ним спорили, не доверяя; а потом всю ночь сидел Некульев со штабистами - матросами, уча их, как читать русские слова, написанные латинским шрифтом; матросы поняли легко, повесили на стенку лист, где латинский алфавит был переведен на русский. Рассвет пришел выцветшими стекляшками, Некульев был отпущен; Коньков сказал, что он останется на пароходе; Егорушка и Кузя спали у трубы, Некульев растолкал их. -

- - И когда шлюпка отчалила уже от парохода, за горой разорвался пушечный выстрел, и вода около шлюпки в грохоте бешено рванулась к небу. Это обстреливали казаки, пошедшие вперед, навстречу к седьмому (и первому и двадцатому) революционному крестьянскому полку имени матроса Чаплыгина. -

... Такие люди, как Некульев, - стыдливы в любви; - они целомудренны и правдивы всюду. Иногда, во имя политики и во имя жизни они лгут, - это не есть ложь и лицемерие, но есть военная хитрость, - с собою они целомудренно - чисты и прямолинейны и строги. - Тогда, в первый Медынский день, все солнце ввалилось в контору, и было очень бодро, - и

потом, через немногие дни, в той же лунной неделе, в лунной и росной мути, Некульев сказал - всем солнцем и всем прекраснейшим человеческим - "люблю, люблю!" - чтобы в этой любви были только солнце и человек: тогда пьяно пахло липами и была красная луна, и они выходили из лесу к полям, где Арина с рабочими драла корье - драла с живых деревьев живую кору, чтобы дубить ей мертвую кожу. - У Арины Арсеньевой было детство, пропахшее пирогами, которое она хотела выпрямить в прямолинейность, - и она возростала обильно - матерью сырой-землей - как тюльпанная (только две недели по весне) степь, - кожевенница Арина Арсеньева, прекрасная женщина. Дом был прежний, но дни были иные, очень просторные, и не было ни приказчиков, ни бухгалтеров, ни отца, ни матери. Надо было работать во что бы то ни стало. Надо было все перекраивать. Дом был тот же, но из дома исчезли пироги, и там, где раньше была столовая (вот чтобы эти пироги есть) стояли нары рабочих, и для Арины остались мезонин, чемодан, корзина с книгами, кровать, стол, винтовка, образцы кож, и в углу жил волченоч (о волченке потом...). Но за домом и за заборами - дом стоял на краю села - была степь по прежнему, жухлая, одиночащая, в увалах и балках, такая памятная лунными ночами еще с детства. А каждая женщина - мать. Надо было на тарантасе мчать в леса на обдирку корья; надо было мчать в город в совнархоз и там ругаться; надо было лезть на всяческие рожны на митингах в селе, на совещаниях в городе; надо было говорить о голье, о бахтарме, о дерме, о золении, о дублинии, об обдирке, обсышке, о шакше (сиречь птичьим помете), - и надо было иной раз рабочих обложить - в чем пес не лакал, таким матом, чтоб даже сами скорняки уважили; за забором стояли низкие бараки, рядами стояли чаны для промывки и зазолки, сзади пристроена была боенка, строились бараки для мыловаренного и клеевого заводов, стоял амбарушка, где рушили в пыль лошадиные кости: надо было все перестраивать, делать заново и по-новому. Надо было носить пиджак по-мужски, револьвер на ремне, - и сапоги надо было шить на заказ: мала была ножка! И не надо - не надо было склоняться вечерами над волченком, смотреть ему в глаза, нежные слова говорить ему, и вдыхать его - горький лесной запах! - И вот в солнечный бодрый день - всею матерью сырой-землей, подступавшей к горлу, - полюбила, полюбила! - И тогда, в той же лунной неделе, в лунной и росной мути, когда Некульев сказал - "люблю, люблю", - остались только луна, только мать сыра-земля, и она отдалась ему - девушка-женщина в тридцать лет, отдав все, что собрано было за эти тридцать весен. - Он, Некульев, приезжал к ней вечерами и приходил наверх в мезонин; иногда ее не было дома, тогда, дожидаясь, он рылся в чуждых ему книгах о кожевенном деле и пытался играть с волченком; но волченоч был враждебен ему: волченоч забивался в угол, съеживался и оттуда смотрели чужие, немигающие, абсолютно-осторожные два глаза, следящие за каждым движением, ничего не опускающие, - и волченоч скалил бессильную маленькую свою морду, и от волченка гнусно пахло псиной, кислым, недостойным человека... Входила Арина, и Некульеву каждый раз казалось, что это входит солнце, и он слепнул в счастье. Некульев не замечал, что всегда она кормила его вкусными вещами, ветчиной, свиной, и очень часто были или пухлые пироги, или сдобные пышки, которые Арина - удосуживалась, все же! - пекла сама. Некульев не замечал, что весь этот дом, даже пироги, пропахли странным, непонятным ему запахом, - кожей, что-ли. - Потом Некульев и Арина шли в степь, спускались в балку, где наверху склоняли головы солнц подсолнухов, а внизу пересвистывались и замирали неподвижно, стражами сурки, поднимались на другую сторону балки, - и были там в местах совершенно первобытных, где не проходили даже татарские орды. Арина отдавалась Некульеву всею матерью сырой-землей, - Некульев думал, что в руках его солнце. - У них не было влазин с черным петухом и с черной кошкой (хотя и было полнолуние) - потому, что у них были любовь и счастье.

И это счастье расколотилось вдребезги, как вдребезги бьют глиняную посуду на деревенских мужичьих свадьбах. - Некульев понял запах Арины и пересилить его не мог.



Некульев приехал днем. В мезонине был только волченочек. У заводских ворот сидел сторож, старик, он сказал: - "Лошадей часотошных пригнали из армии, дохлых, порченных, - пошла туда Арина Сергевна." - Некульев пошел по заводу, прошел мимо громоздких протухших чанов, побрезговал зайти в бараки, калиткой вышел на другой двор, - и там увидел. - - На дворе стояло штук сорок совершенно измызганных лошадей, без шерсти, слепых, обезноживших (когда лошади "безножат", тогда ноги их как дуги), лошади походили на ужасных нищих старух, лошади сбились в безумии в табун, головами внутрь - хвостов у лошадей не было, и были лишь серые чешуйчатые репицы на месте хвостов, которые судорожно дрожали. И тут же, за низким заборчиком, убивали лошадей, одну за другой, отрывая каждую насильно от табуна. Открылись воротца туда, на бойню, - четверо вталкивали в ворота противящуюся лошадь, один из них ломал репицу хвоста, вынуждая лошадь итти убиваться, - вышла из ворот Арина, ударила поленом лошадь по шее, лошадь качнулась от удара и пошла вперед. Арина была в окровавленном фартуке и в кожаных штанах. Некульев побежал к воротам. Когда он взбежал туда, лошадь уже лежала на земле, дергались судорожно ноги, сползли с зубов мертвые губы и язык был зажат в зубах вместе с желтой слюной, и двое рабочих уже хлопотали над лошадью, распарывая - живую еще - кожу; сломанная репица лошади торчала вверх. Некульев крикнул: - "Арина, что вы делаете?!" - Арина заговорила деловито, но очень поспешно, так показалось Некульеву: - "Кожа идет на обделку, жировые вещества идут на мыло, белками мы откармливаем свиней. Сухожилия и кости идут на клееварню. Потом кости размалываются для удобрения почвы. У нас все используется." Руки Арины были в крови, земля залита была кровью, - рабочие обдирали лошадь, другие конские трупы валялись уже ободранные, - лошадь подвесили за ноги, на блоке, к виселице. Некульев понял: здесь пахнет так же, как всегда от Арины, и он почувствовал, что горло его сжала тошнотная судорога. Некульев приложил руку ко рту, точно хотел рукою зажать рвоту, повернулся и молча пошел вон, за заборы, в степь. Некульев был целомудрен в любви. Он был всегда бодр и любил быть "без дураков" - в степи он шел как дурак, без картуза, который забыл в мезонине у волченка. Больше Некульев не видел Арины. -

Леса лежали затаенно, безмолвно, - по суземам и раменьям (говорил Кузя) жил леший, - горели в ночах костры, недобрые огни. Если бы было такое большое ухо - оно услышало бы как перекликаются дозорные, как валяются деревья, миллионы поленьев (чтобы топить Волгу и революцию), услышало бы свисты, посвисты, пересвисты, окрики и крики. - Лежала в лесах мать сыра-земля. - - Был рассвет, когда над лесами полетели ядра, чтобы ядрами ставить правду. - Некульев прошел в дом, позвал за собой Кузьму и Егора, сказал, став за стол:

- Товарищи. Я ухожу от вас, в Красную Армию. Поступайте как знаете. Если хотите, идемте со мной.

Кузя помолчал. Спросил Егора: - "Ты как понимаешь, Ягорушка?" - Егор ответил: - "Мне нельзя иттить, я избу новую построил, никак к примеру нельзя, все растащить, - я лучше в деревню уеду." - Кузя за обоих ответил - руки по швам:

- Честь имею доложить, так что мы остаемся при лесах!

Некульев сел к столу, сказал: - "Ступайте, что останется от меня, разделите по-ровну, я уйду только с винтовкой. Кузьма, приходи через час, я дам тебе письма, отвезешь." - Кузьма и Егор вышли. Над домом разорвался снаряд.

Некульев написал на клочке, поспешно:

"В Губком. - Товарищи, я покидаю леса. Я спешу, потому что около идет бой. Я уйду в Красную армию, но это не конец, - я хочу работать, только не с землей, чтобы черти ее прокляли: пошлите меня на завод. Работать надо, необходимо."

"Ирине Сергеевне Арсеньевой. - Арина, прости меня. Я был честен - и с тобой, и с собой. Прощай, прости навсегда, ты научила меня быть революционером."

.....

О волченке.

Была безлунная ночь. Шел мелкий дождик. Ирина шла из степи, прошла селом, слушала, как воют на селе собаки, село замерло в безмолвии и мраке. Вошла во двор, прошла мимо чанов, никто не повстречался, - поднялась в свой мезонин. Прислушалась к тишине - рядом здесь в комнате дышал волчонок. Зажгла свечу, склонилась над волчком, зашептала: - "Милый мой, звереныш, ну, пойдись ко мне!.." - Волчонок забился в угол, сидел на задних лапах, поджал под себя пушистый свой хвост и черные его глаза стерегли каждое движение рук и глаз Ирины. И когда глаза их встретились, глаза волченка, не мигающие, стали особенно чужие, враждебными навсегда. Ирина нашла волченка еще слепым, она кормила его из соски, она нянчилась с ним как с ребенком, она часами сидела над ним, перешептывая ему все нежные слова, какие знала от матери, - волчонок рос у нее на руках, стал лакать с блюдца, стал самостоятельно есть, - но навсегда волчонок чувствовал себя врагом Ирины. Приручить его возможности не было; и чем больше волчонок рос, тем враждебнее и чужее был он с Ириной, он убегал от ее рук, он перестал при ней есть, - они часами сидели друг перед другом, между ними была его миска, она знала - он был голоден, она умоляла его нежнейшими словами - "ешь, ешь, голубчик, - ну ешь-же, все равно я не уйду отсюда!" - волчонок следил своими стекляшками глаз за ее глазами и руками, и был неподвижен, не смотрел на миску, - пока не уходила она, тогда он поспешно съедал все до дна; он ворчал и скалился, когда она протягивала руку; он был врагом навсегда, приручить его возможности не было; Ирина много раз замечала, что наедине волчонок живет очень благодушно, своими собственными интересами: он бегал по комнате, изучал и обнюхивал вещи, грелся на солнце, ловил мух, благодушествовал, задирает вверх ноги, - но как только входила она, он вбирался в свой угол, и оттуда смотрели два черных абсолютно-внимательных глаза. - Ирина поставила свечу на полу, и села против волка на корточки, сказала - говорила: - "милый мой, звереныш, Никитушка, - ну, пойдись ко мне, - у тебя ведь нет мамы, я приласкаю тебя на руках!" Свеча коптила, мигала, - мир был ограничен - мир Ирины и волченка - спинкой кровати, стеной, печкой, и потолок уже не был виден, потому что коптила свеча и потому что обе пары глаз смотрели друг в друга. Ирина протянула руку, чтобы погладить волченка - и волчонок бросился на эту руку, бросился в смерть, страшной ненавистью, - впился зубами в пальцы, упал в злобе, не разжимая челюстей; - Ирина отдернула руку, волчонок повис на зубах, - на руке, - волчонок сорвался с руки, срывая мясо с пальцев, ударился о кровать, - и сейчас же по-прежнему сел волчонок в углу и оттуда смотрела пара немигающих его абсолютно-внимательных зрачков, точно ничего не было. И Ирина горько заплакала - не от боли, не от крови, стекавшей с руки: заплакала от одиночества, от обиды, от бессилия - как ни люби волка, он глядит в лес, Ирина была бессильна перед инстинктом - вот перед маленьким вонючим, пушистым комком лесных, звериных инстинктов, что сейчас засел за кроватью, - и перед теми инстинктами, что жили в ней, правили ей, - что посылали ее сейчас в дождь, в степь, плакать на том увале, где отдавалась она Некульеву; - и в бессилии, обиде, одиночестве (чем больше любила она волченка, тем злее был он с ней) больно ударила она волченка по голове, по глазам и упала в слезах на постель, в одиночестве, в несчастье. Свеча осталась около волченка. -

Тогда в окно полетел камень, посыпалось стекло, - и за окном крикнул подавленный голос:

- Товарищ Арсеньева! Беги! Что ты глядишь, все уж ушли, - казаки в селе, скорей! - Айда в леса!

и за окном послышался поспешный топот копыт - от села к степи, к лесам. -

...Степь в осени блекнет сразу, сразу заволакивается степь просторною серой тоской. Утро пришло в дождевой измороси, неумытое, очень тоскливое. Мимо разбитых заводских ворот проехал с песнями конный казачий отряд. Из ворот выехали три казака и слились с остальными, никто не слышал, как рассказывали казаки о прекрасной бабе-коммунистке, доставшейся им на случайную ночь... А у заводских разбитых ворот, когда стихла песня, опять стала тишина. - На дворе на заводе, стояли чаны, пропахшие мертвой кожей и дубьем, и в средний чан был воткнут кол и на кол была посажена Ирина - Арина Сергеевна Арсеньева. Она была раздета до-нога. Кол был воткнут между ног; ноги были привязаны к колу. Лицо ее - красавицы - было безобразно от ужаса, глаза вылезли из орбит. Она была жива. Она умерла к вечеру. Никто за весь день не зашел на заводской двор.

Кузя опоздал к Арине с письмом Некульева. Он пришел ночью. Дом и двор были отперты, никого не было. Он пробрался в мезонин, зажег спичку, здесь было все разгромлено. В углу за кроватью стоял на полу подсвечник с недогоревшей свечей и смотрели из за подсвечника два волчьих глаза. Кузя зажег свечу, осмотрел внимательно комнату, поковырял на полу следы крови, сказал вслух, сам себе: - "Убили, что-ли? Либо подранили, - и тут громили, значит, черти!" - Потом остановил свое внимание на волченке, осмотрел, усмехнулся, сказал: - "А говорили, что волчонок, ччудакии! Это лиса!" - Кузя собрал все вещи в комнате, завернул их в одеяло, перевязал веревкой, - взял с постели простыню, спокойно ухватил за шиворот лисенка, закутал его, - взвалил узлы на спину, потушил свечу, подсвечник засунул в карман, и пошел вон из комнаты.

Вскоре Кузя шел лесом. Лес был безмолвен, черен, тих. Некульев удивлялся бы, как Кузя не выткнет себе во мраке глаз. Кузя шел кратчайшим путем, горами, тропками, - о лешем он не думал, но и не посвистывал. Узлы тащить было тяжело.

Кузю, должно быть, поразила история с волченком, потому что он по многу раз рассказывал Егору, и Маряше, и Катяше: - "А говорили, что волчонок, ччудаки, а это - лиса! У волченка хвост как полено, а у этого на конце черна кисть, и, заметьте, - уши черные. Конечно, где господам про это знать: это даже не каждый охотник отличит, а я знаю!"

По осени, к снегам уже сомнения не было, что этот волчонок оказался лисой. Кузя лисенка убил, освежевал и из его шкуры сшил себе треух. -

Москва, 20 ноября 1924 г.  
Поварская, 26, 8.

В. КАВЕРИН

Памяти Льва Лунца.

I.

В дни, когда республика, сжатая гражданской войной, голодом, блокадой, начала, наконец, распрямлять плечи, изменяя на географической карте линию своих очертаний, в Петрограде, который только что остыл от схватки с мятежным Кронштадтом, на Лиговке, единственной улице, до сих пор сохранившей в неприкосновенности свои знаменитые притоны, из дома, принадлежавшего когда-то барону Фредериксу, министру царского двора, где живут главным образом учительницы музыки и иностранных языков, те самые, что по праздничным дням носят на груди часики, приколотые золотой булавкой, из антресолей, которыми зовется в этом доме второй этаж, 12-го сентября, в 9 часов утра, ушла и не вернулась обратно стенографистка Екатерина Ивановна Молотова.

-----

В доме барона Фредерикса много круговых коридоров, и у каждого коридора есть свой представитель.

В пределах своего коридора, коридорный представитель является верховной властью. За труд, который несет верховная власть, она пользуется, кроме почета, каким-нибудь значительным удобством - отдельным чуланчиком на замке или своим собственным ключом от выходной двери.

Когда извозчик едет на Старо-Невский, то как бы он ни был пьян, колеса его пролетки никогда не вертятся по направлению к Адмиралтейству. Мировой порядок никому не позволит исчезнуть из комнаты, из дома, из улицы, из города, так, чтобы этого никто не заметил.

Поэтому представитель коридора, в котором жила стенографистка Молотова, через четыре дня после того, как она ушла и не вернулась обратно, заявил о странном происшествии управдому. Управдом, которого все в доме называли Кузьмич, - пропитый до костей человек с сизыми усами, - закурил трубку.

Спустя четверть часа он для чего-то заглянул в домовую книгу, сплюнул, обругал свою хозяйку и, наконец, сообщил об исчезновении стенографистки в милицию.

Еще через два-три дня в дом барона Фредерикса явился участковый надзиратель, чтобы на месте выяснить все обстоятельства, которые могли служить причиной незаконного события.

Он допросил соседок по комнате Екатерины Молотовой. Одна из них оказалась старушкой, торговавшей всякой рухлядью на Мальцовском рынке и называвшей себя кружевницей.

Она поминутно смеялась в свой сухонький кулачок, была глуховата, носила очки на носу и на голове малиновый чепчик.

Другая была проституткой, по прозвищу "Кораблик".

Из показаний старушки в малиновом чепчике выяснилось:

1. Что Екатерина Молотова жила одна, сильно нуждалась и служила стенографисткой в одном из петроградских государственных учреждений.

---

<sup>121</sup> Детективная повесть В. Каверина «Конец хазы» впервые опубликована в 1925 году. Печатается по: В. Каверин. Конец хазы // [http://modernlib.ru/books/kaverin\\_veniamin/konec\\_hazi/](http://modernlib.ru/books/kaverin_veniamin/konec_hazi/)

2. Что никто ее, стенографистку Молотову, не посещал, кроме какого-то высокого человека в кожаной куртке и в желтых сапогах со шпорами, который был у нее раза два-три за несколько дней до ее исчезновения.

3. Была ли она с этим человеком в каких-либо близких отношениях неизвестно, но в последнее свое посещение высокий человек со шпорами стенографистку Молотову, прощаясь, поцеловал и передал ей письмо.

Это свидетельница видела собственными глазами и об этом в тот же вечер сообщила даже по секрету своей знакомой Анне Власьевне Лопуховой, учительнице музыки, которая живет в первом этаже, в 17 номере.

4. Бывала ли где-либо Екатерина Молотова и где бывала преимущественно, об этом свидетельница ничего решительного сказать не могла.

Проститутка, по прозвищу "Кораблик", показала, что Молотова имела характер угрюмый и необщительный, что она много курила (по целым дням не выпускала папиросы изо рта), что по ночам она часто бредила (так что "Кораблик" даже просыпалась от крика), но что за всем тем она никого не марьяжила и хоть была хороша лицом, но вела себя как законная елдочка и по вечерам никуда не бегала.

Участковый надзиратель, чувствуя неловкость, придержал шашку, задал еще два-три вопроса, но больше ничего не узнал.

Тогда он решил (и с этим согласились все присутствовавшие), что стенографистка Молотова покончила самоубийством.

Этим решением еще неокрепшего ума молодого участкового надзирателя петроградская милиция закончила розыски пропавшей стенографистки.

Только старушка в малиновом чепчике не была вполне уверена в том, что ее бывшая соседка уже отправилась туда, где ее не сумеет найти никакой уголовный розыск.

Она запомнила на допросе одно незначительное обстоятельство, которое, может быть, дало бы кое-что в руки участкового надзирателя.

На другой день после исчезновения Екатерины Ивановны Молотовой старушка в малиновом чепчике нашла у дверей ее комнаты письмо. Она нацепила очки на нос и прочла это письмо.

Письмо гласило:

"Многоуважаемая Екатерина Ивановна,

Александр Леонтьевич говорил мне, что вы Нуждаетесь в постоянная работа, которая максимально обеспечила Бы вашу жизнь. Для дел Нашего союза, имеющих скоро расширяться в Значительной степени, необходима стенографистка. Если вы ничего не имеете против Подобное предложение, то передайте о вашем согласии Александру Леонтьевичу и Благоволите в четверг 13-го зайти по адресу, который он сообщит вам. Уважаемый вами С. Карабчинский".

П.

Был второй час ночи. Пинета спал, уткнувшись лицом в подушку и по-детски свернувшись в клубочек.

Он чуть слышно посапывал и спал спокойно, хотя уже неделю ничего не ел, кроме хлеба, который уже не рассыпался на ладони от неудачной примеси и международной блокады. Этот хлеб он получил от булочника на Петроградской стороне за то, что нарисовал ему вместо вывески большую французскую булку, которая вышла такой пышной, что так и хотелось ткнуть ее пальцем.

Последнее время он только тем и зарабатывал, что рисовал вывески для мелких лавочников на Петроградской стороне и Васильевском острове. Но с каждым днем заказы таяли.

Республика, вместо того, чтобы помочь Пинете, обложила вывески особым налогом, и французская булка, нарисованная неделю тому назад, была его последней работой. Он съел эту последнюю булку и спал, уткнувшись лицом в подушку и по-детски свернувшись в клубочек.

Ему приснилась отличная рисовая каша с маслом; каша пыхтела и лопалась, и каждая дырочка тотчас же наполнялась прозрачным маслом. Он облизнулся и открыл уже было рот, но в эту самую минуту кто-то открыл дверь его комнаты и зажег спичку.

Спичка вспыхнула и погасла.

Пинета вздохнул во сне, открыл глаза и приподнялся на локте.

- Одну минуту, - сказал человек, открывший дверь.

Новая спичка вспыхнула, осветила снизу небритый подбородок и погасла.

- А, черт! - сказал человек с небритым подбородком. - Сашка, зажги же одну спичку, не горит!

- В чем дело?

Кроме изодранных брюк, рубахи, которую не на что было сменить, старых полотен и алюминиевого лекала, сохранившегося от того времени, когда Пинета был в институте гражданских инженеров, ему нечего было терять. Поэтому он нисколько не испугался, зевнул и сел на постели.

Вошедший зажег, наконец, спичку, отыскал электрический выключатель и повернул стерженек: лампочка не загорелась.

- Там лампочки нет, - объяснил Пинета, - да вы скажите толком, что вам нужно?

- Фонарь остался в машине, - сказал с досадой второй человек, тот, которого называли Сашкой; он каждую минуту зажигал новую спичку и она горела до тех пор, пока не начинала жечь пальцы.

- Сашка, сходи за фонарем, - сказал первый. - Не беспокойтесь, инженер, мы пришли к вам по делу.

- Обыск, - подумал Пинета, - или воров. Вернее обыск.

Он совсем успокоился, еще раз потянулся и сбросил одеяло на пол.

Дверь снова отворилась, и при свете фонаря Пинета, наконец, рассмотрел своих посетителей.

Первый был толстый еврей, небольшого роста. У него были пухлые губы и брезгливый еврейский нос; на голове сидела кожаная фуражка, сплюснутая в блин. Такие фуражки носили когда-то в западных губерниях еврей-рыбники. И в самом деле, от него как будто пахло немного свежей рыбой.

Второй - высокий белокурый человек, с глазами, похожими на оловянные бляхи, был как будто выструган перочинным ножом и притерт, как стеклянная пробка.

Он был одет по-военному, в кителе, на плечах которого остались еще дырочки от погон, с портупеей через плечо, и напоминал гвардейского офицера.

- Вашу старушку мы заперли в комнате, инженер, и только что из уважения к вам не затемнили ее, честное слово? - сказал рыбник.

- Что же вам от меня нужно? - повторил Пинета.

- Нам нужно от вас прямо пустяков, - сказал рыбник, садясь на стул и устраиваясь на нем со всеми удобствами, - но из этих пустяков мы с вами найдем кой-чего интересного.

- Сидеть! - вдруг крикнул он, увидев, что Пинета протянул руку к своим брюкам, висевшим на спинке кровати.

Пинета опустил руку и посмотрел на него с удивлением.

Рыбник вытащил браунинг и, вскинув рукой, отвел предохранитель.

- Да какого чорта вам от меня нужно? - взбесился Пинета. - Вы хотите, чтобы я говорил с вами в подштанниках? Говорите прямо и уберите, пожалуйста, револьвер.

Рыбник сунул револьвер в карман и назвал себя.

- Шмерл Турецкий Барабан, - сказал он так, как будто не сомневался в том, что Пинете известно это имя, - а это мой товарищ, Саша Барин.

Высокий посмотрел на Пинету равнодушно.

- Воры, - решил наконец Пинета.

- Дело заключается в том, - продолжал человек, назвавший себя Турецким Барабаном, - нам известно, что вы, инженер Пинета, хороший специалист по своему делу. Каждый человек имеет свою специальность; так вот ваша специальность понадобится нам на некоторое время.

- Вам понадобится моя специальность? - переспросил Пинета. - Очень рад! Это любопытно.

- Поэтому складывайте ваш чемодан - только самое необходимое - и едем.

- Это чрезвычайно любопытно! А скажите... вам в каком же роде понадобится моя специальность?

- Барабан, довольно болтовни, - сказал белокурый человек, представленный Пинете, как Саша Барин. - Обо всем вы узнаете на месте, - сурово сказал он, обратившись к Пинете. - Одевайтесь.

- Не тревожьтесь, - добавил Барабан. - Оставь его, Сашка. Спокойствие! Терпение! Вы можете быть совершенно спокойны за вашу судьбу. - Вашу хозяйку мы сейчас же выпустим. - Напишите бедной старушке пару слов: не нужно заставлять ее искать вас понапрасну. - Сашка, дай ему кусочек бумаги!

Барин подошел к столу и, не оборачиваясь к Пинете спиной, вырвал из блокнота, лежащего на столе, лист клетчатой бумаги.

- Наденьтесь! - сказал Барабан, - мы напишем ей маленькое письмо, вашей старушке.

Пинета натянул брюки, послушно сел к столу и взял в руки карандаш.

- Пишите, - сказал Барабан. - Дорогая моя старушка... - Как ее зовут?

- Марья Александровна.

- Тогда лучше так: дорогая Марья Александровна! Я уезжаю на шесть-семь дней в провинцию. Не беспокойтесь за мое отсутствие. До свиданья. Ваш Пинета. - Написали?

Пинета повернулся к нему, чуть-чуть улыбаясь.

- Ну, написал.

- Теперь, пожалуйста, укладывайте ваш чемодан и торопитесь, честное слово!

Пинета немного подумал, звонко хлопнул себя по лбу и чему-то рассмеялся.

- Так вот оно в чем дело!

Он вытащил из-под кровати корзину, бросил в нее подушку, одеяло, полфунта махорки, несколько карандашей и алюминиевое лекало, - это было все, что у него осталось.

- Очень любопытно, в самом деле, - сказал он, надевая серую блузу, запачканную краской, - как это вы так ловко догадались о моей специальности?

Барин хмуро посмотрел на него и указал на дверь рукою, вооруженной револьвером.

- Идите.

Они спустились по лестнице и вышли на улицу. Под ногами хрустел осенний лед на подмерзших лужах. Растерянная луна, как поплавок, ныряла в косматых облаках.

За углом стоял автомобиль, и Барабан сказал, прикрывая за собою дверцу:

- Это дело стоит работы. Ого, это дело большого масштаба!

Первое время они ехали молча. С 10-й линии Васильевского острова автомобиль повернул на Университетскую набережную и, глотая торцы, помчался к Биржевому мосту.

Барин вертел в руках папироску; Пинета уставился на него.

- Я забыл дома папиросы, - сказал он, заложив ногу на ногу. - Я надеюсь, что в том месте, куда вы меня везете, я найду достаточное количество папирос?

Барин вытащил из кармана золотой портсигар, на котором толпились монограммы, эмалевые слоны, мухи, и молча протянул его Пинете.

Пинета закурил, пощелкал языком и понюхал дым.

- Ничего себе. Я, впрочем, предпочитаю южные табаки.

- Ага, - равнодушно ответил Сашка Барин.

Автомобиль оставил за собой Биржевой мост, свернул на Александровский проспект и полетел по проспекту Карла Либкнехта.

Под разбросанным светом луны, которая металась в облаках, не зная куда деваться, вставали рядом с деревянными домишками, более приличными уездным городам, пустыри, почерневшая зелень и огромные серые стены домов, каждая с каким-нибудь одним узким окном, которое светилось высоко, под самой крышей.

Барабан приподнялся и задвинул маленькие занавески на окнах. Полоски света, проскользнувшие сквозь щели, пробежали по груди и ногам Пинеты.

Пинете вдруг стало весело. Он осторожно притушил о каблук догоравшую папиросу и сказал, немного приподнявшись, оборотясь к Сашке Барину:

- У меня на голове есть, знаете ли, любопытная шишка.

Автомобиль подпрыгнул и он на секунду прервал свое неожиданное сообщение.

- То-есть я хочу сказать, что у меня на голове есть шишка, из-за которой я по наследственности страдаю острым любопытством. Например, сейчас мне очень хочется узнать, кто же вы, чорт вас возьми, такие?

Сашка Барин скосил на него глаза и закурил новую папиросу.

- Мы - налетчики, - объяснил он довольно равнодушно.

- Мы - организаторы, - поправил Барабан, - вы ничего не потеряете от знакомства с нами, инженер.

Машина повернула куда-то в переулок и стала сильно подбрасывать на ухабах.

- А вот еще вопрос, - сказал Пинета. - На какого дьявола понадобился вам инженер Пинета?

- Завтра мы с вами будем иметь об этом деловой разговор. Вы нам нужны по одному коммерческому делу, по делу большого масштаба.

Больше никто не сказал ни слова; Пинета начинал уже подремывать, забившись в самый угол автомобиля, и рисовая каша с маслом в огромной суповой миске снова начала пыхтеть и лопаться перед ним, как вдруг машина вздрогнула и остановилась перед полуразрушенным домом.

Барин выскочил из автомобиля; Пинета вылез вслед за ним и огляделся.

Они были на пустынной улице, которая почти ничем на улице не походила; это был, должно быть, самый конец одной из захолустных улиц Петроградской стороны.

Пинета перебрал в уме улицы, выходившие на проспект Карла Либкнехта.



- Мы на Лахтинской - или, скорее всего, мы на Бармалеевой.

Пустырь, перед которым остановилась машина, был когда-то трехэтажным домом; перед ним был разбит небольшой садик, обнесенный решеткой. Прямо напротив пустыря стояло ободранное деревянное строение, походившее на сторожевую будку.

Шагах в двухстах от пустыря приземистыми деревянными домами кончалась улица.

Пинета взглянул на своих спутников: Барабан остался в автомобиле, наставлял своего молчаливого товарища и о чем-то советовался с шоффером. До Пинеты долетело только одно слово, сказанное, видимо, шофферу:

- На гопу!

Автомобиль заворчал, вздрогнул и, сорвавшись с места, полетел обратно.

Сашка Барин подошел к Пинете и положил руку ему на плечо.

- Пройдите в ворота.

Они прошли на двор, покрытый кирпичами и размокшей штукатуркой, превратившейся в кашу из песка и извести, миновали арку и вышли во второй двор; в глубине двора стоял небольшой флигель с крытым подъездом; двери его были заколочены наглухо и подъезд засыпан расколовшимся кирпичом.

Они обогнули флигель.

- Вот сюда, - сказал Сашка Барин, указывая рукою на каменную лестницу, которая вела вниз, в подвал.

Пинета послушно спустился по лестнице. В подвале пахло какой-то прелой сыростью и было почти темно.

Барин зажег фонарь.

- Идите, - сказал он, подталкивая Пинету рукою, - там лестница.

Они поднялись по винтовой лестнице. Лестница вела во второй этаж, к двери, обитой черной клеенкой.

Барин постучал, и почти в ту же самую минуту из-за двери послышался неторопливый голос:

- Кто там?

- Отвори, Маня.

Женщина в пальто, наскоро наброшенном на плечи, отворила им дверь и, придерживая пальто рукой, отступила немного в сторону, чтобы пропустить вошедших.

Они вошли в кухню, довольно чисто прибранную.

- Что нового? - спросила женщина в пальто, поправляя волосы, упавшие ей на глаза.

- Ничего.

- Что же, Барин, останешься или нет?

Барин, не отвечая, провел Пинету по коридору, отворил ключом дверь в полутемную комнату и сказал, поворачиваясь к нему:

- Здесь вы будете жить пока. Попробуйте бежать - хуже будет.

Пинета остался один. Он поставил свою корзину под кровать и снова засмеялся чему-то. Начинало светать. Узкое окно маячило в утреннем свете.

Пинета стянул сапоги и одетый лег на кровать; он долго припоминал одно слово, которое вертелось у него на языке и которое он никак не мог произнести. Наконец вспомнил и сказал про себя, набрасывая на ноги одеяло:

- Хаза!

Ш.

Гражданская война, грохотавшая по России пулеметами от Баку до Кольского полуострова, не пощадила этого города, построенного на слиянии двух рек и обнесенного каменной стеною, которую в свое время с большим упорством долбил каменными ядрами Стефан Баторий.

Через реку был переброшен мост. Тотчас за мостом начиналась площадь осенью на ней тонули неосторожные дети; за площадью важно шли железные ряды, старинные здания с каменными навесами вдоль фасада, за железными рядами снова площадь, на которой толпились когда-то стекольные магазины.

Стекла плохо выдерживают революцию, и в стекольных магазинах были выбиты стекла. За площадью стремительно скатывалась вниз улица; где-то за садами эта улица ударялась в тюрьму, походившую на четырехугольный каменный сундук.

В тюрьме - коридоры и камеры, в камере под номером 212 солдатская кровать, решетка, огромная, как небо, параша и политический арестант Сергей Травин, который все послал к чорту и спал целые дни, завернувшись с головой в одеяло.

"Пещера Лейхтвейса" была единственной книгой, ходившей среди заключенных. Кроме Лейхтвейса, из рук в руки передавались буквари и полное собрание сочинений Смайльса - остаток тюремной библиотеки.

Смайльса особенно любили читать старые, проржавленные до костей уголовные; они учились жить по Смайльсу.

Сергей предпочитал "Пещеру Лейхтвейса".

Утром после равнодушного звонка открывалась дверь, и молодой смотритель в кожаных штанах, с рязанским лицом, вставлял нос в отверстие двери.

- Один?

- Один.

Нос ухмылялся, сверял тождество Сергея Травина с цифрой, начертанной мелом над дверным глазком, и удалялся, грохоча каблуками.

Сергей вскакивал, натягивал штаны и бежал по коридору за кипятком.

В коридоре было свежо, камень охлаждал босые ноги. У чанов с кипятком толпились, переругиваясь, арестанты.

После чая и уборки, за время которой самый опытный курильщик не успел бы выкурить папиросы, он снова бросался на кровать и лежал до полудня. В полдень рязанский нос и равнодушный звонок объявляли о прогулке.

Арестантский дворик был черным экраном, на котором перед Сергеем Травиным стремительно летели сентябрь, осеннее солнце и небо.

Прогулка кончалась через десять минут; потом снова окно, решетка, кровать, параша и арестант Сергей Травин, который все послал к чорту и спал целые дни, завернувшись с головой в одеяло.

В 10 часов вечера он прочитывал одну страницу "Пещеры Лейхтвейса". Каждая перевернутая страница означала новый день. Он читал таким образом 156 страницу, в ней говорилось о том, что несчастная графиня Клэр попала, наконец, в пещеру благородного и злополучного Лейхтвейса, и сам Лейхтвейс плакал на этой странице горькими слезами. Он оплакивал свою погибшую жизнь.

Так проходили дни; коридорный был хохлом с сизыми усами, он говорил Сергею:

- Ой, ты ж сгнешь так, матери твоей сын, помяни мое слово!

Хохол был прав: так бы оно и случилось, если бы на 162 странице Сергей не получил письма. Это письмо заставило его совершить несколько поступков, свойственных

Лейхтвейсу: он дважды громко захохотал, до кости прокусил руку, рассадил голову в кровь о дверной косяк и сделал несколько тысяч лишних шагов по комнате.

Письмо, подписанное Екатериной Молотовой, в кратких фразах извещало его о том, что Екатерина Молотова исполняет обещание, данное ею когда-то, уведомить его, Сергея Травина, о ее намерении с ним расстаться, просит не поминать ее лихом, никогда и нигде ее не искать и посылает ему пару теплого белья, гимнастерку и полфунта светлого табака. На этом оканчивалось письмо; в коротеньком постскриптуме добавлялась просьба о том, чтобы он, Сергей Травин, поберег себя, не слишком огорчился и не вздумал кого-либо, кроме нее, винить во всем, что произошло.

В этот день Сергей так и не уснул ни на одну минуту - он шагал по камере и обдумывал план побега.

Тюрьму он знал плохо; ему известно было, что большой тюремный двор с трех сторон замыкался зданиями и с одной стороны стеною; у входа в тюремный двор ему запомнилась полосатая николаевская будка, а в глубине двора, у входа в главный корпус, - полуразбитая часовня.

В первые дни заключения Сергей, как всякий арестант, обдумал десятки разных планов побега; среди них были планы с переодеванием и гримом, план с оболыщением сестры милосердия в тюремной больнице; каждый из них удался бы разве только Лейхтвейсу, и то при отсутствии часовых.

Наконец, был план, над которым всерьез задумывался не один Сергей Травин.

За стеною большого тюремного двора протекала река, в которой по целым дням барахтались мальчишки и бабы полоскали белье.

По мудрой мысли -ого губернатора барона Адлерберга, при котором строилась тюрьма, "стены означенной должны быть омываемы водами реки -овы, дабы уподобленная крепости святых Петра и Павла, в столице нашей Санкт-Петербурге, городская тюрьма наша истинным и устрашающим оплотом справедливого правосудия служила".

К ночи Сергей решил воспользоваться услугой, которую ему оказывал барон Адлерберг. С этим он заснул, и ему приснился человек с длинным, как адмиралтейская игла, носом. Этот человек грозил ему пальцем и сверкал глазами. Сергей схватил его за адмиралтейскую иглу и проснулся.

Он подбежал к окну. На дворе было пасмурно и, должно быть, дул ветер. Он увидел стену, которую, согласно проекта барона, омывала река, и уборную, открытую сверху, без дверей, заставленную широкой доскою. В уборной сидел орлом конвойный, он держал винтовку одной рукой.

Таково было положение дел в сентябре 16 числа, в тот день, когда Сергей Травин, политический арестант, задумал побег по плану барона Адлерберга.

-----

На другой день на прогулке он разыскал Ветрилу, тюремного истопника из уголовных. Ветрила был с головы до ног пропитан керосином, носил роскошные горемыкинские бакенбарды, и его история была не сложнее мировой истории или даже несколько проще ее.

Сергей показал ему глазами на здание, прилегавшее к тюремной стене.

Это был цейхгауз, в котором держали теперь, кроме арестантского обмундирования, также керосин и дрова.

Ветрила посмотрел на цейхгауз, на всякий случай мигнул и погладил бакенбарды.

- Понял? - спросил Сергей.

Ветрила упомянул о матери.

- Самое главное - привязать к трубе веревку, оттуда на стену и...

Ветрила немного подумал, посмотрел на Сергея недоверчиво и свернул козью ножку.

Они поговорили еще десять минут, и на следующий день Сергей Травин окончательно решил освободить камеру 212 от арестанта, который или спал 24 часа в сутки или с точностью машины Эмери читал героическую "Пещеру Лейхтвейса".

В этот день Ветрила, с опасностью для жизни и карьеры, замотал веревку вокруг трубы цейхгауза.

Потом он крикнул и смылся, как смывается пятно с клеенки.

Вместо него появился другой, новый Ветрила, от которого уже не пахло керосином; он был чуть повыше ростом и носил не горемыкинские, но скорее свойственные норвежским писателям бакенбарды.

Новый Ветрила с ленивым видом пошел к цейхгаузу, сплюнул, подтянул штаны и, войдя, плотно закрыл за собой дверь.

За дверью он сразу вырос на ладонь, посмотрел в замочную скважину и, сдерживая дыхание, поднялся на чердак.

Две крысы, каждая величиной с детскую голову, сидели на разбитом рундуке и мигали глазами.

Ветрила, потерявший на лестнице одну бакенбарду, просунул голову сквозь чердачное окно и вылез на крышу.

Крыша трещала под ногами, как нанятая.

Он ползком добрался до трубы, размотал веревку и, выставив свое второе лицо в небо, стал спускаться по глухой стене цейхгауза.

На другой стороне реки стояли пустые рыбные лавки; вверх по реке за мостом плыла задрипанная баржонка.

Сергей измерил на-глаз, сколько придется плыть до другого берега, и выпустил из рук веревку.

-----

Изорванное полотно болталось на высокой палке и летело в небо.

Огромный косматый мужик в клетчатых штанах и дырявом пиджаке сидел на корточках, равнодушно тер Сергею спину, сгибал и разгибал руки и ноги, бил кулаком в грудь.

- Беглый? - вдруг спросил он, увидев, что Сергей открыл глаза.

Сергей промычал что-то.

- Значит, ты - беглый арестант.

Мужик оставил, наконец, Сергея в покое, сел на какой-то чурбан и подтянул на высокой палке веревку.

Сергей попытался приподняться на локте, но не мог, - локоть скользил на мокрых досках.

- А вот что ты мне скажи, - продолжал мужик, - какой ты есть арестант политический или уголовный? Если ты политический, так я тебя в сей же час обратно в воду брошу.

- Уголовный, - пробормотал Сергей.

- Уголовный? - вдруг обрадовался мужик. - Да ну? Вот это здорово! Я сам уголовный! Я, брат, при царском режиме шесть лет в арестантских сидел! Как же! Если ты уголовный, так что же ты лежишь, как под иконой? Вставай, Иван, чай пить будем!

Сергей с трудом приподнялся и сел, уцепившись рукой за канат, привязанный к палке. Он был босой, штаны изорвались, рубаха висела лохмотьями на плечах.

Мужик посмотрел по сторонам, схватил его под мышки и поставил на ноги; у Сергея потемнело в глазах.

- Это твое счастье, - сказал мужик, - что сегодня со мной моей бабы нет. Она бы тебе всыпала ядрицы!

Он вытащил из кармана целую доску кирпичного чая, отломал кусок, раскрошил его на огромной ладони и бросил в чайник.

Сергей, наконец, пришел в себя и отдышался.

- Послушай, дядя, - пробормотал он, - продай мне пиджак и достань где-нибудь штаны и шапку.

- Как же я могу продать тебе свой пиджак? - обиделся мужик. - Ах ты, сволочь этакая! А если этот пиджак у меня самая парадная одежда? Штаны, изволь, могу тебе продать! Штаны есть запасные.

Сергей покачался на одном месте и опять лег.

- Рубаху...

- Что ж тебе рубаха, - снова сказал мужик, - если ты в одной рубахе под забором замерзнешь, все равно, как курица. Покупай пиджак!

Сергей встряхнулся, провел руками по лицу, несколько раз с шумом втянул в себя воздух и встал.

К вечеру того же дня, одетый в пиджак, через который легче всего было увидеть небо, и в клетчатые штаны, на которых легче всего было играть в шашки, Сергей, обойдя город кругом, добрался до вокзала.

Никто не задержал его.

Он остановился у паровоза, стоявшего недалеко от вокзала, и спросил у черного, как театральные негры, машиниста о том, когда отходит поезд в Петроград.

Машинист сплюнул на руки, растер слюну и показал на длинный ряд вагонов, еще не прицепленных, должно быть, к паровозу.

- В 11 ночи!..

-----

IV.

К длинной плеяде имен славных архитекторов, строивших город, прибавилось еще одно. Это имя столько раз гремело пулеметами гражданской войны, столько раз летело к небу с раскрашенными плакатами, столько раз заставляло гореть одни сердца и каменеть другие, столько тысяч людей отправило гулять по чужедальним морям и столько тысяч по таким отдаленным странам, откуда даже дошлый еврей не найдет обратной дороги, - что нет нужды называть его.

У этого нового архитектора, который предпочитает строить памятники, заводы, электрические станции, - были жесткие руки. Он перетрясал города, а так как города наполнены домами, то наиболее дряхлые из них смялись и осели вниз, уступая жестокому напору. Дома рассыпались на кирпичи, из кирпичей складывали печки, а кирпичные печки, как известно, держат тепло гораздо лучше жестяных времянок.

Зимой кирпичи примерзали и их вырубали топором.

Не только стекла, но и старики плохо выдерживают революцию, - стекла рушились, а старики умирали от огорчений.

В ослепшем доме жить - страшно; у слепой стены, где еще так недавно важно обсуждались по вечерам политические события, где ребятишки играли в палочку-

скакалочку и бросались мячами, - теперь случайный пешеход делал все, что полагается делать в пустынном месте случайному пешеходу.

Крысы бежали с гибнущего корабля, и водосточные трубы убеждались в близкой кончине мира.

Милиция огораживала дом старыми двуногими кроватями или другой дрянью как могилы огораживают решеткой.

Вода заливала подвалы, дом за год старел на 20 лет, начинал походить на проститутку, и это подрывало его окончательно.

Ему ничего больше не оставалось, как рассыпаться своим кирпичным телом, он умирал, нужно полагать, без сознания.

Но не каждый дом умирал без всякого сопротивления.

Были дома, построенные с расчетом на тысячелетие, - они, старые вандейцы, уступили только фасаду руке, потрясающей город.

Вот в таких домах и начиналась настоящая жизнь.

-----

Пинета проснулся. Он раскрыл глаза, которые никак не хотели раскрываться, и сел на постели. В первую минуту он не мог вспомнить, что произошло с ним накануне, потом вспомнил, вскочил, натянул сапоги и принялся осматривать свое новое жилище.

Комната, в которую его проводил человек по прозвищу Сашка Барин, была когда-то, повидимому, кладовой. В таких комнатах в старинных барских домах хранили варенье и всякие сушеные фрукты. Возле дверей висела некрашенная кухонная полка. Где-то под потолком маячило узкое окно.

Пинета встал на спинку кровати, подскочил и, уцепившись руками за подоконник, посмотрел через стекло. Окно выходило в коридор.

Он соскочил с грохотом. Несколько кусочков штукатурки упали на пол, и он тотчас же глазами отыскал место, откуда они вывалились: на противоположной от окна стене была когда-то проделана дыра для переносной печки.

Не успел он сдвинуть с места небольшой стол, стоявший в углу, чтобы добраться до этой дыры, соединявшей его, быть может, с потустенным миром, как дверь в его кладовую отворилась. Вошел толстый маленький человек в приплюснутой кожаной фуражке, тот самый, который накануне вечером назвал себя Турецким Барабаном.

- Извиняюсь! - сказал он входя и протягивая Пинете короткую руку, которая как будто еще минуту тому назад держала леща или жирного налима.

- Пожалуйста! - весело ответил Пинета, пожимая руку.

Барабан сел на стул и вытащил из кармана затасканный кожаный портсигар.

- Курите! Или вы кажется еще не завтракали? Сейчас же прикажу подать вам завтрак!

Пинета с достоинством выпятил губы, сел на кровать и заложил ногу за ногу.

- (Ага, значит будут кормить...)

- К завтраку я предпочитаю тартинки.

- Тартинков у нас, извиняюсь, нет! - ответил Барабан.

Он постучал в стену кулаком и крикнул: - Маня!

Никто ему не ответил.

- Она спит, - объяснил Барабан. - Маня!..

- Паскудство! - вдруг заорал он таким голосом, что Пинета вздрогнул и посмотрел на него с удивлением.

Барабан подождал немного, вскочил и, подойдя к двери, сказал на этот раз почему-то совершенно тихим голосом и без всякого выражения: - Маня.

Маня Экономка была единственным человеком, жившим в хазе постоянно. Она носила кружевные переднички, закалывала на груди белоснежную пелеринку и была самой спокойной и чувствительной женщиной на свете. Налетчики ее уважали.

- Маня, подайте инженеру чай и булки и сходите мне за парой пива... Нет, возьмите две пары пива!

- Вчера вы интересовались узнать, инженер, - начал он, обратившись к Пинете, - кто мы такие, чем занимаемся и вообще все междрумения нашего дела?

- Поговорим после завтрака о наших междрумениях, - отвечал Пинета серьезно.

Барабан почувствовал, что над ним шутят, побагровел и хлопнул себя по коленке:

- Довольно! - закричал он, хватаясь за задний карман брюк, - ты еще не знаешь с кем ты говоришь, елд, малява!

Тут же он погладил себя по жилету и пробормотал:

- Спокойствие! Терпение!

- (Ах, чорт его возьми, с ним, пожалуй, и шутить нельзя!)

Некоторое время они сидели молча.

Маня Экономка принесла пару французских булок, холодный чай и четыре бутылки пива. Она посмотрела на Пинету с любопытством, поправила свою кружевную пелеринку и вышла.

Пинета поставил на колени чай и, не глядя на Барабана, принялся уписывать за обе щеки французскую булку.

- Мы, конечно, понимаем, - начал тот снова, слегка наклонившись всем телом вперед и даже притрагиваясь рукой к плечу Пинеты, - что мы должны кой-чего объяснить вам из нашего дела.

Пинета дожевывал булку и залпом выпил чай.

- Объясните.

- Дело, видите ли, обстоит в следующем: мы не какая-нибудь шпана, которая по ночам глушит втемную случайных прохожих, мы также не простые маравихеры, то-есть различные воры по разнообразным специальностям. Инженер, мы не фармазонщики, не городушники, мы также не простые налетчики! Мы - организаторы и берем дела только большого масштаба. Я не говорю, что у каждого человека есть свое прошлое и настоящее по хорошему мокрому делу, но это только средство, инженер, и больше ничего.

Барабан замолчал и с удовольствием откинулся на спинку стула, как бы отдыхая после своей утомительной речи.

- Что же касается дела, которое мы собираемся предложить вам, то дело обстоит в следующем: нам требуется некоторая подработка по сейфам. Откровенно говоря, мы не взяли кассиров не потому, что это рискованная работа, и не потому, что не нашелся подходящий шитвис! Очень просто: по нашим сведениям кассирам не справиться с сейфами госбанка!

Пинета широко открыл глаза и привстал с кровати.

- С сейфами госбанка?

- Ну да, с сейфами госбанка! То-есть, иначе говоря, у нас нет хорошего специалиста, который бы быстро и безопасно в какие-нибудь полчаса открыл сейфы госбанка. Все остальное для нас - пха, инженер!

- Вот так штука, - сообразил Пинета, - теперь я начинаю понимать, почему меня увезли... Сказать - не сказать, сказать - не сказать, сказать - не сказать?.. Не сказать!

- Ну, что вы мне скажете?

- Так значит, - сказал Пинета, отдуваясь, как будто бы он только что решил трудную задачу, - дело в сейфах госбанка?

- Именно! - подтвердил Барабан, - дело именно в сейфах госбанка.

- Стало быть, - продолжал Пинета, - вы решили, что я - лучший специалист по сталелитейному делу и увезли меня для того, чтобы я устроил вам все технические приспособления для взлома сейфов госбанка?

- О, вы попали в самую точку!

Пинета почувствовал себя так, как будто заново начал жить.

- Отлично! Я не понимаю только, для чего вам было везти меня сюда! Об этом мы могли бы сговориться на моей квартире.

- Это мне начинает нравиться, - сказал Барабан, похлопывая его по коленке, - к сожалению, до сих пор мы не знали вас, инженер Пинета, - в следующий раз мы будем просто предупреждать вас в письменной форме, ха, ха, ха!

Он откинулся на спинку кресла, взвизгнул и закатился хохотать до слез, отмахиваясь обеими руками и вздрагивая круглым, как футбольный мяч, животом.

Пинета терпеливо подождал, когда он кончит.

- Я знаком приблизительно с устройством сейфов госбанка. Они построены по образцу... по образцу... - Пинета задумался на мгновение - по образцу ливерпульских сейфов!

- Да, да, - подтвердил Барабан, все еще колыхаясь от смеха и вытирая носовым платком заплаканные глаза, - кажется именно по образцу ливерпульских.

- Так вы полагаете, - начал снова Пинета, - что для этой работы мне потребуются какие-нибудь предварительные приготовления?

- Полагаю ли я так? - переспросил Барабан. - Не очень. Откровенно говоря, я совсем не специалист по кассирному делу. Может быть, вы справитесь со всем с этим на месте!

- А когда вы думаете начать самое-то дело?

Барабан посмеялся про себя и посмотрел на Пинету с иронией:

- Оставьте эти пустяки, инженер. О чем вы спрашиваете меня? Мы же не дети, честное слово! Мы же организаторы. Лучше скажите мне, сколько дней вам нужно на подработку?

Пинета задумался.

- Мне нужно дней 5 - 6, - ответил он и подумал: черт возьми, это что же я делаю! - и тотчас ответил себе - все равно, не умирать же с голода.

- Но мне необходимо знать, - продолжал он, - во-первых, расположение электрической сети госбанка, во-вторых...

- Отлично, - отвечал Барабан, хлопнув его по коленке, - эти сведения мы вам доставим немедля.

- Во-вторых, - продолжал Пинета, - будьте добры купить... - Он остановился на мгновение и быстро закончил: 15 аршин лучшего гуперовского провода и катушку этого, как его... Румкопфа.

- Как фамилия?

- Рум... Румкорфа, - твердо повторил Пинета.

- И 15 аршин гуперовского провода?

- Да, и ни в коем случае не меньше 15 аршин.

- Будет сделано.



- Это покамест все, - закончил Пинета, - а потом посмотрим.

- Все! - закричал Барабан. - Отлично. Это же Запад! Инженер Пинета. Что значит специалист!

Он откупорил бутылку пива и первому налил Пинете. Потом, перевернув бутылку вверх дном, он доверху наполнил свой стакан.

- За дело! - сказал он, мигая глазами, - за дело большого масштаба!

Они чокнулись.

Но Барабан выпил не сразу. Сперва он выпятил губы и, чуть-чуть прищурившись, долго дул на пузырьчатую пену, стекавшую по граненому стеклу. Потом он слегка подался вперед, поджимая живот, и с любовью посмотрел пиво на свет. Наконец, положив руку на грудь, он сразу отхлебнул из стакана.

И пиво, похожее на жидкий янтарь, отчаявшись в спасении, само полетело в рот Барабана.

-----

Дыра от переносной печки - четырехугольный след, оставленный 18-м и 19-м годом, оказалась дверью в потустенный мир.

Едва только Барабан ушел, как Пинета приставил стол к стене, на которой сохранился этот след, взобрался на стол, уцепился за сломанный кирпич, торчавший из стены боком, и взглянул в потустенный мир.

Он увидел довольно большую комнату в два окна с закоптелым потолком и обрывками обоев на стенах. В комнате не было никакой мебели; кухонный стол стоял между окон; в углу, наискось от наблюдательного пункта Пинеты, стояла кровать.

Скосив глаза насколько было возможно, Пинета увидел на кровати женские ноги в черных чулках и черных же парусиновых туфлях.

Пинета никогда не тяготел к монашескому образу жизни и был достаточно опытен, чтобы верно определить возраст обладательницы парусиновых туфель; нельзя сказать, чтобы он был недоволен соседством. Однако же он не был уверен в том, что его соседка не принадлежит к союзу налетчиков, переселившим его накануне ночью с Васильевского Острова на Петроградскую сторону, и поэтому не решился окликнуть ее.

Больше он ничего не открыл на горизонте потустенного мира.

Он соскочил со стола и принялся ходить по комнате с твердым намерением обдумать план действий, который должен был доставить ему превосходство над налетчиками.

Через несколько минут он уселся за стол, оперся на него локтями и заснул, уронив голову в руки.

Ему приснился Сашка Барин с его вежливым орлиноносым профилем гвардейского офицера.

- Я еду в южную Америку, - сказал он Сашке Барину, - мне очень нравится, что в южной Америке восход и заход начинаются одновременно.

- Поезжайте лучше на Стрелку, - отвечал Сашка Барин.

Он закурил, и дым поплыл вокруг Пинеты кругами.

- Зачем вы меня увезли? - спрашивал Пинета, тщетно стараясь понять, что это говорит он - Пинета.

- Как зачем? - отвечал Сашка Барин, - да для того, чтобы ограбили этого ювелира!

- Какого ювелира? Ювелира Костоправа или Перчика?

- Уж это все равно какого. Лучше, знаете ли, Костоправа.

- Костоправа, так Костоправа, - сказал Пинета. Он махнул рукой и проснулся.

Еще не раскрывая глаз, он услышал голос Барабана.

- Он с нею, в той комнате, рядом, - подумал Пинета.

Барабан сдержанным голосом уговаривал в чем-то свою собеседницу.

Пинета попытался вслушаться в то, что он говорил, и при первых же словах, которые он услышал, откинулся на спинку стула и открыл рот от удивления.

Барабан говорил о том, что он скучает, что всякая работа стала ему нипочем, что он не может жить без той, которой он это говорил.

- Катя, что же вы ничего не скажете мне, Катя?

Пинета приподнял голову и услышал, как женщина отвечала голосом, которому с трудом давалось спокойствие и твердость, что она скорее выбросится в окно, чем согласится на то, что ей предлагают, требовала, чтобы ее выпустили из этой ловушки сию же минуту, и соглашалась продолжать разговор только при одном условии:

- Скажите мне, участвовал ли в этом деле Александр Леонтьевич или нет?

Пинета снял сапоги, встал из-за стола и бесшумно занял прежний наблюдательный пункт, оставшийся от тяжелых времен 18-го и 19-го года.

На этот раз он увидел в соседней комнате девушку лет 22-х, которая сидела на кровати, продев руку сквозь железные прутья кроватной спинки, с силой сжимая эти прутья, и грызла зубами недокуренную папиросу.

Недалеко от нее спиной к Пинете стоял человек, в котором Пинета без всякого труда узнал Турецкого Барабана.

Пинета услышал продолжение разговора:

- Фролов, ого! Вы не знаете еще, что это за воловер!

Девушка откусила мокрый конец папиросы и принялась крутить из него шарик. Пальцы у нее дрожали.

- Вы все лжете о деньгах!

- Чтобы я так жил, как все - чистая правда! - отвечал Барабан. Он для убедительности даже пристукнул себя кулаком в грудь.

- Он не получал от вас никаких денег за это. Просто разлюбил... - Девушка еще раз с металлическим стуком откусила конец папиросы... - И больше ничего!

- Ей-богу, - сказал Барабан, - и такого мерзавца разве можно любить? Это же просто подлец, честное слово!

- (Экая жалость! - подумал Пинета, - что же он от нее хочет, старый пес?)

- Разве он стоит вашей любви, это паскудство? - убеждал Барабан. - Он уже теперь гуляет с другой. Ха, разве он помнит о вас, Катя?

Пинета видел, как крупные капли пота выступили у него на шее. Барабан как будто немного растерялся, сделал шаг вперед и схватил девушку за руку.

- Как вы смеете!

Она свободной рукой ударила его по лицу, вырвалась и убежала на противоположный конец комнаты. Теперь Пинета мог бы дотронуться до нее рукою.

Барабан побагровел и с яростью ударил кулаком о спинку кровати.

- Разобью! - вдруг закричал он хриплым голосом, размахивая рукою.

Пинета с грохотом соскочил со своего наблюдательного пункта. Все стихло в соседней комнате.

Только дверь распахнулась с шумом и снова захлопнулась.

Спустя несколько минут Пинета снова заглянул в дыру для времянки: его соседка горько плакала, взявшись обеими руками за голову.

- Не плачьте, - сказал Пинета, - тише. Мы с вами удерем отсюда, честное слово, не стоит плакать.

-----

V.

Вокзал плавно подкатился к поезду, вздрогнул и остановился неподвижно...

Пар последний раз с хрипом прокатился меж колес и задохся.

Люди пачками выбрасывались на платформу, кричали, целовались, бранились и тащили узлы, чемоданы, корзины к выходу. У выхода стоял контролер с лицом Бонапарта.

Контролер проверял билеты с таким видом, как будто занимался делом государственной важности.

Сергей соскочил с подножки и пошел вдоль платформы к паровозу.

Фуражка с истрепанным козырьком лезла ему на глаза; он был серый, как крот, и походил на человека, который потерял что-то до крайности необходимое и теперь ищет без конца, хоть и знает, что никогда уже не найдет.

Дойдя до паровоза, он остановился и задумался, потирая рукою лоб.

Из-под паровоза проворно вылез черный, весь в копоти и смазочном масле, мальчишка.

Мальчишка чистил паровоз, гладил его по тупому носу, протирал замусоренные глаза; он выгибался как акробат, чтобы достать до самых укромных мест, балансировал на одной ноге уж больше из озорства, чем по прямой необходимости. Рожа его сияла черным блеском. Он увидел Сергея и заорал, размахивая тряпкой:

- Эй, шпана, чего уставился!

Сергей посмотрел на него ничего не понимающими глазами.

- Скажите, пожалуйста, мальчик, как отсюда пройти на 1-ую роту?

Мальчишка вместо ответа залез в какую-то дыру и оттуда выставил Сергею отлакированный зад.

Сергей вдруг хлопнул себя по лбу.

- Да что же это я! Нужно итти, бежать, искать Фролова!

Он всунул билет Бонапарту и быстро выбежал на улицу. Рикши смотрели на него с презрением. Начинался дождь.

Сергей поднял ворот пиджака, насадил по самые уши фуражку и отправился по Измайловскому проспекту. Измайловский проспект был гол и мрачен.

Полотна бродячих ларьков намокли, посерели, старухи, которые со времени основания города торгуют на Измайловском проспекте, тоже намокли, повесили сморщенные носы и засмолили короткие трубочки.

У одной из них, тотчас за мостом, Сергей купил пачку папирос, сунул ее мимо кармана и прошел дальше.

Старуха выползла из-под своего навеса, равнодушно посмотрела ему вслед и положила папиросы обратно.

Спустя четверть часа он добрался до 1-ой роты, отыскал дом под номером 32 и постучал в дверь, на которой было написано смолою "дворницкая".

Сонный дворник объяснил ему, что прежде Фролов жил в пятнадцатой квартире, а теперь переехал в двенадцатую квартиру, первый подъезд налево, третий этаж.

Сергей поднялся по лестнице и дернул за звонок.

- Что нужно?

- Отворите пожалуйста. Здесь живет товарищ Фролов?

- Здесь.

Унылый мастеровой с мандаринскими усами впустил его в кухню.

- Могу я его увидеть?

- По коридору вторая дверь, - хмуро отозвался мастеровой, - еще не встал, должно быть. Сергей рванул ручку двери и вошел в комнату.

Высокий человек в синих жандармских штанах со штрипками лежал на постели, уткнувшись лицом в подушку. В комнате стоял тугой запах табака, селедок и еще какой-то дряни.

Сергей подошел к нему и ударил его по плечу.

- Вставай!

Фролов перевернулся на другой бок; Сергей потащил его за руку и посадил, подбросив под спину подушку.

- Что? Кто это? Чорт возьми! Ты! Сергей!

Он торопливо соскочил с постели и натянул на ноги высокие желтые сапоги со шпорами.

- Очень рад тебя видеть. Чорт возьми! Ты свободен?

- Свободен.

Сергей подошел к нему вплотную и сказал, притопнув ногой от нетерпения:

- Идем! Вот что, послушай... У меня нет с собой этого... револьвера. Не можешь ли ты достать пару револьверов, таких, чтобы не давали осечки?

Фролов опустил глаза и почему-то подтянул пояс.

- На чорта тебе револьверы?

- На чорта мне револьверы! Нужно! Послушай, у тебя ведь всегда были револьверы.

- Изволь.

Фролов сунул руку под подушку ("у него револьвер наготове", - подумал Сергей) и вытащил оттуда браунинг.

- Бери, но только... Сергей, ты что - бежал из тюрьмы?

- Не твое дело.

- Да ты скажи, может быть, тебя спрятать нужно?

- К чорту! - закричал бешеным голосом Сергей, - едем!.. Или тебе нужно этих... как там, секундантов?

Фролов с треском сел на стул, вытянул ноги и захохотал так, что Сергей даже испугался немного.

- Ты что, со мной стреляться вздумал? Ты с ума сошел, честное слово! Послушай, теперь на дуэлях не дерутся. Ну, едем, чорт с тобой!

Фролов вдруг посмотрел на него и принял серьезный вид.

- Сергей, ты наверное жрать хочешь?

- Едем!

- Ну, заладил - едем, едем. Поедем через час, над нами не каплет. Пожри немного, а то промахнешься. Разве голодному можно на дуэль... Что ты!

Фролов вдруг захлопотал, зажег где-то за стеной примус, достал стаканы, заварил чай и через несколько минут принес яичницу.

Сергей ел с жадностью.

Фролов сидел против него на кровати, пощелкивал по сапогам откуда-то взявшейся тросточкой и курил толстую папиросу.

- (Неужели убежал из тюрьмы? Из-за... Не может быть! Из-за девчонки?.. Знает...)

- Ты что, ко мне прямо с вокзала?

- Не твое дело, откуда!

- Чудак, да я просто так спросил.

Фролов потушил папиросу о каблук, посмотрел на Сергея исподлобья и задумался на одну минуту.

- Сергей, я тебя давно не видел. Никак с 18-го года. Расскажи же, чортов сын, как ты жил? Сергей кончил есть и, не отвечая, схватился за фуражку.

- Поедешь ты или нет, говори прямо?

Фролов тоже вскочил и остановился перед ним, придвинувшись к нему вплотную.

Теперь он смотрел на него с ненавистью, сжав зубы.

- А ты думаешь, я испугался, мать твою так! Едем!

Он выдвинул ящик стола, взял второй револьвер и зарядил его новой обоймой.

Оба спустились по лестнице, сторонясь друг друга.

Фролов крикнул извозчика:

- На Острова!

-----

Ехали молча. Фролов, дымя папиросой, глядел на серые стены домов, вдоль улиц, которые вдруг открывались за каждым углом, читал вывески: "Продукты питания", кафэ "Кавказский уголок".

На одной вывеске, висевшей криво, он прочел только одно слово "качества".

Фролов засмеялся, повторил про себя это слово и с испугом обернулся к Сергею.

- Не слышал ли...

Сергей сидел, забившись в самый угол пролетки. Он снял фуражку и много раз проводил рукой по голове, как будто с усилием припоминая что-то. Время от времени он машинально расписывался у себя на колене - С. Травин - С. Травин С. Травин и ладонью в ту же минуту как бы стирал эту подпись.

Мимо них потянулись какие-то красные здания, стало совсем пусто, снова пошел дождь.

С. Травин обернулся к А. Фролову и сказал, сжимая рукою браунинг:

- Можно здесь.

- Что ты, совсем с ума сошел. Где же ты здесь стреляться будешь? Скоро приедем.

Он ткнул извозчика в спину.

- Подгони, дядя.

Дождь усилился. Извозчик вытащил откуда-то из-под сиденья кожаный фартук, накинул его себе на спину и погнал лошадь во всю мочь.

Красные здания вскоре остались позади, мимо полетели какие-то деревянные домишки с огородами, наконец пролетка перекатилась через мост и поехала по лесной дороге.

- Здесь, - сказал Фролов.

Оба одновременно соскочили с пролетки.

- Ты нас здесь подожди, дядя, - сказал Фролов.

- Да долго ли ждать-то?

- Недолго... Или вот что.. поезжай-ка с богом, я тебе заплачу.

Они отправились по узенькой тропинке вглубь леса.

Желтые листья падали на них и ложились под ноги. Мокрые сучья задевали по лицу.

Деревья редели.

Наконец Фролов остановился и обернулся к Сергею.

- На сколько шагов?

- На сколько хочешь. На 10 шагов.

- До результата?

- До результата.

Фролов обломал толстую ветку и от дерева до дерева провел барьер. Потом сделал 10 шагов по направлению к Сергею.

Он сосчитал громко до десяти и суковатой палкой провел барьер противника.

- Кому первому стрелять? - спросил Сергей.

- Стреляй ты, если хочешь. Твоя выдумка.

- Ты вызван; стало быть, первый выстрел за тобой.

- Иди ты к чортовой матери.

Фролов вытащил из кармана коробку спичек, взял две спички и надломил одну из них.

- Целая - первый выстрел.

Сергей с закрытыми глазами нащупал спичечную головку, быстро вытащил спичку и открыл глаза.

- Целая, - сказал Фролов чуть-чуть хрипловатым голосом. - Нужно написать записки, что ли?

- Какие записки?

- "Прошу в моей смерти..."

- Ах да! У тебя есть бумага и карандаш?

- Есть.

Сергей быстро написал на клочке бумаги: "Прошу в моей смерти никого не винить. Сергей Травин".

Фролов сделал то же самое.

Они сошлись и, не глядя один на другого, молча показали друг другу свои записки.

- Стрелять по команде "три", - сказал Фролов, - осмотри браунинг, не выронил ли ты дорогой обойму?

Сергей посмотрел на него в упор: Фролов был бледен, на скулах у него играли жесткие желваки.

- Фролов, ты... Неужели ты не знаешь, за что?

- Знаю. Из-за твоей девочки. Становись к барьеру. Считаю... Раз...

Сергей остановился на черте, медленно наводя на него револьвер.

- Два...

Фролов почти отвернулся от Сергея, согнутой правой рукой защищая корпус.

- Три.

Сергей нажал курок. Раздался сухой и легкий треск, и ветка над головой Фролова треснула и надломилась. Кусочек коры сорвался с дерева и упал к его ногам.

- Мимо...

Фролов повернулся к Сергею всем телом и с силой раздвинул, как будто связанные губы.

- Теперь ты считай, - сказал он.

Сергей для чего-то переложил револьвер в левую руку.

- Раз... два... три!

Одновременно с коротким револьверным треском он почувствовал в левом плече боль, как будто от пореза перочинным ножом.

Он невольно вскрикнул, просунул руку под пиджак и дотронулся до порезанного места.

Рука была в крови.

Фролов сунул револьвер в карман и сделал шаг по направлению к Сергею.

- Ничего нет, - сказал Сергей, побледнев и сжав кулаки. - Становись к барьеру. Я стреляю. Считаю.

Фролов пожал плечами и вернулся обратно.

- Я буду считать, - сказал он, - но только... Может быть... А, впрочем, пустяки. Считаю: раз...

Сергей поднял браунинг и с ужасным напряжением принялся целить между глаз противника.

- Два...

Он вдруг изменил решение и начал водить револьвером по всему телу Фролова. Он направлял браунинг на живот и видел, как живот втягивался под черным дулом, он направлял браунинг на грудь, и грудь падала с напряженным вздохом. Наконец, он вернулся к исходной точке: револьвер усталился между глаз и остановился неподвижно.

- Три!

Сергей нажал курок.

Фролов сделал шаг вперед, взмахнул обеими руками, как будто отмахиваясь от чего-то, и упал лицом вниз, в мокрые листья, в землю.

Ноги его в высоких желтых сапогах со шпорами вздрогнули, подогнулись и вновь выпрямились, чтобы не сгибаться больше.

Сергей бросил браунинг в траву, подбежал к нему и перевернул тело: пуля попала в левый глаз - на месте глаза была кроваво-белесая ямка.

Он поднялся с колен и несколько минут стоял над убитым неподвижно, сдвинув брови, как будто стараясь уверить себя в том, что все это - дуэль и смерть Фролова - произошло на самом деле.

Где-то далеко на дороге загромыхала телега.

Сергей снова бросился к мертвецу и принялся расстегивать на нем френч.

Френч никак не расстегивался.

Наконец, расстегнулся, и Сергей вытащил из бокового кармана записную книжку, карандаш и бумажник. Бумажник был набит продовольственными карточками и вырезками из газет.

В записной книжке Сергей нашел три письма.

Первое письмо было набросано на клочке бумаги.

Сергей прочел:

"...Сенька вчера купил со шкар четыре паутинки. Если можешь, дядя, пришли мне липку. Сижу под жабами на Олене. Не скажись дома, дядя, брось своих бланкетов, задай винта до времени. Скажи Барабану, что на прошлой неделе раздербанили без меня. Жара, дядя. Здравствуй..."

Сергей не понял ни одного слова, сунул обрывок бумаги в карман и развернул второе письмо. С первого взгляда он узнал почерк Екатерины Ивановны. Екатерина Ивановна писала Фролову, что ждала его накануне до поздней ночи, упрекала в том, что вот уже третий раз он ее обманул, звала его к себе, обещала рассказать о том, как она теперь плохо спит по ночам, о том, какие глупые сны ей снятся про Фролова, как будто бы он стал хромать и лицом похудел ужасно.

Сергей с ненавистью посмотрел на склоненную голову Фролова. Труп свесил голову на грудь, ноги раздвинулись, царапая землю; он равнодушно косил на Сергея выбитым глазом.

Сергей отвернулся от него и огляделся вокруг: никого не было поблизости, солнце скользило между стволами почерневших берез и полосами ложилось на примятую траву лужайки.

Он старательно, с какой-то особенной аккуратностью сложил пополам письмо Екатерины Ивановны и положил его в боковой карман пиджака. Третье письмо было написано затейливым почерком, с завитушками, пристежками и множеством больших букв, которыми начиналось чуть ли не каждое слово. Сергей прочел:

"Уважаемый Павел Михайлович.

Некоторые затруднительные Обстоятельства заставляют Меня просить вас не отказать в нижеследующей Просьбе. Будьте добры 23-го июля сего года в 7 часов Вечера положить на крайнее Левое окно Грибовского пустыря, что на Песочной улице, 1025 р. 65 к. золотом в Запечатанном конверте. Извиняюсь за некоторую Назойливость, которого трудно избежать в Подобного рода Делах.

Позвольте также Уведомить Вас, что в случае которого конверта на месте Не окажется, то Мы никак не можем, к искреннему Сожаления, поручиться за вашу Драгоценную жизнь. В случае Же, если вы доведете вышеуказанную Мысль до сведения мильтонов, то Мы никак не ручаемся за Жизнь И вашей Глубокоуважаемой Супруги.

С почтением Турецкий Барабан."

На конверте было написано красным карандашом: "Дяде - для передачи по Назначения". Внизу за подписью стояла печать.

Сергей взгляделся в печать: это была церковная печать церкви Гавриила архангела.

Он снова огляделся вокруг, отыскал глазами небольшой пенек, поросший мхом, и уселся на этот пенек, схватившись руками за голову и напрасно стараясь собрать разбегающиеся мысли.

- Так значит Фролов... вор... или нет, скорее... этот... как называется... налетчик.

- Но если он - налетчик, если она была с ним, так значит... так значит... так значит... Не может быть.

Он стал ходить по лужайке, заложив руки за спину, в одной руке крепко сжимая записную книжку Фролова.

- Так где же она? - сказал он сам себе, остановившись в раздумьи и потирая рукою нахмуренный лоб.

Раскрытый бумажник, лежавший на траве, возле труп, обратил на себя его внимание. Он поднял бумажник, сунул его в карман френча, снова застегнул френч, стер линии, служившие барьером, снова положил труп Фролова лицом вниз, в землю, отыскал брошенный в траве браунинг.

С силой разжимая пальцы руки, уже начинающей коченеть, он вложил в нее револьвер, достал бумажник и, собирая в строку танцующие перед глазами буквы, снова прочел о том, что Фролов в своей смерти просит никого не винить.

Тут только он заметил, что все время не выпускает из рук записной книжки Фролова.

Он заглянул в эту записную книжку, прочел на оборотной стороне переплета кроваво-красную подпись "Memento mori" и увидел под надписью плохо нарисованный череп с двумя костями.

Он подумал немного, хотел было положить книжку туда, откуда он ее взял, но вместо этого положил ее в карман своих шашечных штанов.

Никого не было видно кругом: он опустил ворот пиджака, нахлобучил на уши фуражку и зашагал между деревьев на городскую дорогу.

VI.

Особым распоряжением все дома были вновь учтены и перенумерованы.



На месте угловатого фонаря с резными номерами появился фонарь, похожий на китайский веер.

Но учет миновал пустыри и полуразрушенные здания. Таким образом хазы выпали из учета, из нумерации, из города. Они превратились в самостоятельные республиканские государства, неподведомственные Откомхозу.

За полуразрушенным фасадом засел бунт против нумерации и порядка.

Этот бунт был снабжен липой, удостоверяющей личность республиканца.

Нельзя решиться на большое дело без делового разговора. Мелкая шпана уговаривается на Васильевском - в "Олене", в Свечном переулке, в гопах, разбросанных по всему городу.

Но мастера своего дела скрываются в хазу, единственное место, где честный налетчик может сговориться о деле, пить, спать и даже любить, не кладя ногана под подушку.

В хазе совещаются, обсуждают планы на работу, пропивают друзей, идущих на жару - на опасное дело.

Ненумерованный бунт, скрывшийся за полуразрушенным фасадом, часто бывал штабом бродячей армии налетчиков; штаб руководил борьбой и давал боевые задания.

Было время, когда хороший налетчик еще не поддавался регистрации.

Эти времена теперь вспоминают мертвецы, расстрелянные порядком, и у них дрожат истлевшие сердца, и кости ударяются одна о другую.

-----

- Уважаемые компаньоны! Наше последнее дело потребовало неотложно быстрое совещание, больше того, нужно уже ускорять всю механацию, пора!

Шмерка Турецкий Барабан ударил кулаком о стол и побагровел от гнева.

- Вы уже знаете, что этот проклятый жиган Васька Туз сгорел из-за какой-то говенной покупки. В чем дело? Почему нарушают работу, вы - горлопаны, вы прават-доценты! Разве так работают, разве работают на стороне, когда вас ждет дело большого масштаба? Что же вы молчите? Отвечайте!

Никто не отвечал; все молчали; каждый работал на стороне.

Барабан продолжал, успокаиваясь:

- Но не в том-то дело. Подработки происходят, как нужно. Вчера мы увезли инженера Барин, расскажи об инженере.

Сашка Барин поднял голову - узенькая красная полоска от высокого воротника кителя осталась у него на подбородке. Он медлительно отложил в сторону недокуренную папироску и начал:

- Инженера Пинету мы увезли для подработки по сейфам. Барабан наколол его как хорошего специалиста. Вчера Барабан говорил с ним, и он обещал сделать все, что надо; он берется приготовить в 5 - 6 дней, если ему доставят все, что нужно для работы. На мой взгляд этот инженер может оказать нам услуги насчет телефонной станции.

Барин замолчал, снова всунул в рот папироску и достал из кармана зажигалку.

- Аз эр из клуг, бин их шейн\*1, - сказал Барабан с презрением, - эту предпоследнюю пусть он оставит для нас. На это мы справимся без инженера Пинеты. Пятак, что нового у тебя? Сенька Пятак был франтоватый мальчишка лет 22-х. Он носил черные усики, вздернутые кверху, и ходил в брюках с таким клешем, что нога болталась в нем, как язык в колоколе. Веселый в пивушке, в кильдиге, на любой работе, он терялся на этих собраниях, которые устраивал Турецкий Барабан. Турецкий Барабан всегда любил торжественность и парламентаризм.

Пятак кратко отчитался в своей работе: он сказал не больше 25 слов, из которых ясно было, что все, порученное ему на прошлой неделе, он выполнил, что на телефонную станцию пробраться может когда угодно, что телефонистка Маруся третий день на него тарашится и "старается для него маркоташками".

- Дело идет на лад! - объявил Барабан и застучал волосатым кулаком в стену.

- Маня, дай нам пива.

- Дело идет на лад! - повторил он через несколько минут, расплескивая по столу пиво. - Студент, что нового у тебя?

В самом углу комнаты сидел обтрепанный человек в изодранном пальто с каракулевым воротничком и в новенькой студенческой фуражке. Он был прозван Володей-Студентом за то, что во время работы всегда носил студенческую форму.

- Ничего нового. Работаю по-прежнему. Сарга кончилась.

- Сарга кончилась! - передразнил тот, - каждый день у тебя сарга кончается!

Володя-Студент обиделся, почему-то снял фуражку и привстал со стула.

- Да что ты, смеешься что ли? А нужно мне вкручивать баки сторожам. Нужно поить-то их или нет? Попробуй-ка, приценись к самогонке.

- Хорошо, об этом мы с вами переговорим после, Студент. Вы тут кой-чего протрепали с вашей самыркой. Так не работают, имейте это в виду.

Володя-Студент окончательно обиделся, сплюнул на пол и принялся свертывать огромную козью ножку.

- Отличное дело, протрепал. Если я протрепал, так пусть с ними хоть Пятак возится.

- Молчать, Студент! - Барабан побагровел и стукнул по столу так, что пивные стаканы со звоном ударились один о другой. - Кто тут балабес, ты или я? Ты забыл, что такое хевра, сволочь, паскудство!

---

\*1 Если он умен, то я красив.

Барабан вдруг успокоился, выпил пива и сказал, с важностью выдвигая вперед нижнюю губу:

- Да, это верно. Деньги нужны. Сколько у меня еще есть? У меня еще есть на пару пива! Значит что? Значит нужно работать.

Он помолчал с минуту и продолжал, проливая пиво на жилет, который как будто пережил на своем веку всю мировую историю.

- Но ни в коем случае не итти на это самим. Нужно пустить шпану. Вы знаете, о чем я говорю? Я говорю о двух адресах: во-первых, ювелир Пергамент на Садовой, во-вторых... Пятак знает во-вторых.

- На Бассейной, что ли? - пробормотал Пятак, который решительно ничего не знал ни о первом, ни о втором адресе.

- Нет, не на Бассейной, а на Мильонной. У кого? У одного непача. Это нужно будет сделать в течение ближайшей недели. Саша и Пятак, это вы возьмете в свои руки.

- Об этом нужно сговориться со шпаной, - снова повторил он.

Пятак вдруг вскочил и с жалостным видом хлопнул себя кулаком в грудь.

- Мать твою так, Барабан, да не филонь ты, говори толком! Есть работа, что ли? Навели тебя? На Мильонной?

- В чем дело? Ну да, нужно сделать работу по двум адресам.

Он снова перечислил эти адреса, загибая на правой руке сперва один, потом другой палец.

- Во-первых, с ювелиром Пергаментом на Садовой, во-вторых с одним непачом на Мильонной.

Пятак внезапно успокоился и снова молча уселся на то же место.

- Между прочим, - сказал Барабан, поднеся руку ко лбу и как будто вспомнив о чем-то, - я предлагаю прежде всего почтить вставаньем память Александра Фролова, по прозвищу Дядя. Покойный был нашим дорогим другом, умер в расцвете своей плодотворной деятельности. Сколько раз я говорил ему: "Дядя, оставь носиться с часами, брось свои любовные приключения, будь честным работником, Дядя". Теперь его нашли со шпалером в граблях. Конечно, его погубила женщина. На нем ничего не нашли. Вечная тебе память, дорогой товарищ.

Барабан снова пролил пиво на живот, но на этот раз старательно вытер жилет огромным носовым платком.

- Еще хорошо, что не зашухеровался со своим бабьем, - заметил Пятак, тоже интеллигент, малява!

- Пятак, оставьте интеллигенцию в покое! - вскричал Барабан, - я учился на раввина, я всегда был интеллигент, и интеллигенция тут не при чем. Интеллигенция, это - Европа, это...

Барабан со звоном поставил бокал на стол.

- Оставьте, Пятак, это грызет мне сердце.

Пятак, смущенный, вытащил коробку папирос с изображением негритенка и принялся закуривать.

- Собрание кончено, - сказал Барабан. - Почему не пришел Гриша?

- Он, кажется, на работе, - отвечал Барин, - третьего дня я видел его в Олене. Говорил, что все идет удачно.

- Собрание кончено, - повторил Барабан, - можно итти. Не засыпьте хазы. Студент, завтра ты получишь, сколько тебе нужно. Саша, ты можешь остаться со мной на одну минуту? Пятак и Володя-Студент ушли.

Сашка Барин сидел, заложив ногу за ногу, опустив голову на грудь и блестя точным, как теорема, пробормом.

Барабан подсел к нему и спросил, легонько прихлопнув его по коленке.

- Ну, что ты мне скажешь, Саша Барин?

- Относительно чего? - ответил тот, равнодушно покачивая ногою.

- Не притворяйся, Саша. Я говорю про девочку.

- Девочка скучает.

- Саша, ты помнишь, что ты мне обещал?

- Помню. Да что мне с ней делать, если она о вас слышать не хочет?

Шмерка Турецкий Барабан встал, снова начиная багроветь.

- Приткну! - вдруг сказал он, с бешенством сжимая в кулаки короткие пальцы. - Накрою, как последнюю биксу. Она меня еще узнает.

- Не стоит беситься, Барабан. Дай ей шпалер, она сама себя сложит. Лучше пошли к ней Маню-Экономку. Может быть ее Маня уговорит? Чего она тебе далась, Барабан, - не пойму, честное слово!

Барабан сел в кресло и вытащил из заднего кармана брюк трубку. Он долго и старательно набивал ее, стараясь не просыпать табак на колени, наконец закурил и сказал, полубернувшись к Сашке Барину.

- Не будем больше об этом говорить. Ты должен меня понять, Саша!

## VII.

Сергей Травин шел по Лиговке в изодранном пиджаке и нахлобученной на самые уши фуражке, немного покачиваясь из стороны в сторону и, как солдат, махая в такт шагам одной рукою. Другая болталась в грязном платке, подвязанном под самую шею. Он шел вдоль забора, заплатанного ржавой жестью. Двое рабочих сидели друг против друга на деревянных чурбанах и пилили трамвайный рельс, поминутно поливая рассеченную сталь кислотой.

Сергей остановился возле них и долго с бессмысленным вниманием смотрел, как они работали.

Один рабочий был еще мальчик, лет 16-ти, другой - старик с бабьим лицом, в изодранной кондукторской фуражке.

- Ну и что же? - сказал Сергей, сам не ожидая, что он сейчас что-то скажет, - ну и ни черта вам не перепилить, пожалуй.

Рабочие молча продолжали свое дело, попеременно наклоняясь друг к другу размеренными движениями; они походили на игрушку - кузнеца и медведя, ударяющих по деревянной наковальне своими деревянными молотками.

Сергей повернулся и пошел дальше, растерянно блуждая по улице глазами.

Заплатанный жестью забор сменился обшарпанным домом. У подъезда два безобидных каменных льва скалили зубы. Над львами висел кусок картона, на котором был нарисован сапог со свернутым набок голенищем.

- Принимаю заказы. Сапожник Морев, - прочел Сергей.

Он еще раз почти неслышно повторил все это про себя, как будто с тем, чтобы непременно запомнить.

- Сапожник Морев. Именно Морев.

Он поднял брови, прошел несколько шагов, остановился, отправился дальше, пересек Обводный канал, и вдруг снова остановился, хлопнув себя по лбу и вспомнив, наконец, что ему напомнила эта фамилия.

- Вот оно в чем дело. Memento mori! Череп с костями. Где она, эта записная книжка?

Он принялся пересматривать карманы пиджака, вытащил письма, сунул их обратно и, наконец, нашел записную книжку Фролова - маленькую тетрадку, переплетенную в кожаный переплет.

Он оглянулся вокруг, повернулся к мосту и, облокотившись о перила, принялся читать записную книжку; он читал с напряженным вниманием, не пропуская ни одной строки.

Он прочел:

"1. Любовь бывает только раз в жизни.

Де-Бальзак.

2. "На прошлой неделе работали с Сашей на Песках. Купили бинбер, Саша хотел отнать для Кораблика - не дал. Бинбер продали в Олене на блат.

3. Я звал тебя, но ты не оглянулась.

Я слезы лил, но ты не снизошла,

Ты в синий плащ печально завернулась,

В сырую ночь ты, Манечка, ушла!

Сергей перевернул страницу: дальше шли какие-то рисунки. Двое людей с револьверами за поясом несли в руках знамя; на знамени было написано печатными буквами:

"Манечка, дай сыграть,

Дай на шпалер двадцать пять".

На следующей странице Сергей прочел стихотворение "Под душистою веткой сирени".

За стихотворением шла краткая заметка:

"Сегодня, 27-го июня, Пятак записал на Елагином какого-то брица. Смылся".

Вслед за заметкой Сергей прочел длинную выписку из какого-то переводного романа:

"Дорогая Антуанетта. Я хочу одним словом рассеять все твои страхи. Слушай: если я тебя брошу, я буду достоин тысячи смертей. Отдайся мне окончательно. Я дам тебе право меня убить, если я изменю. Я сам напишу эту бумагу, в которой изложу некоторые мотивы, по которым будут вынуждены меня убить; я объявлю также мои последние распоряжения. Ты будешь владеть этим завещанием, каковое узаконит мою смерть, и можешь, таким образом, отомстить мне, не боясь ни людей, ни бога".

Далее без всякого перехода следовало замечание:

"Буй сработал перацію на Васильевском. Купил порт."

Бурей жизнь моя изрыта,  
Дух исканий помертвел,  
Хлещет смерть и в ней сокрытый  
Жизни налетчика предел.

\* \* \*

Слышу возглас похоронный.

Росхлись, мазы! И вперед!

Рвите грудь мою вороны,

Пусть будет все наоборот!

\* \* \*

Разошлись больные нервы

Пред работой на беду.

Жизнь моя! Милашка - стерва!

Я на мокрое иду!..

Сергей вдруг отступил на шаг и, размахнувшись, швырнул записную книжку в Обводный канал.

Потом он оборотился и пошел дальше по Лиговке, немного покачиваясь из стороны в сторону и, как солдат, махая в такт шагам здоровой рукой.

-----

Старушке в малиновом чепчике, той самой, что называла себя кружевницей, выдался счастливый день: во-первых, она нашла серебряное колечко с затейливой буквой М, во-вторых, ее соседка, известная злыдня, сегодня ошпарила себе руку.

Поэтому старушка в чепчике сидела на ступеньках четвертого подъезда дома Фредерикса, рассматривала затейливую букву на колечке, смеялась в кулачок и мурлыкала про себя:

- Пусть Новый год

С собой несет

Игры, подарки,

хотя Новый год по справедливости должен был принести старушке в чепчике три аршина земли на Смоленском кладбище.

Так она пела и грелась на солнце, когда Сергей Травин, растерянно поглядывая вокруг себя глазами, на которые лучше всего было одеть синие консервы, подошел и молча остановился перед нею.

Старушка хотя и заметила странные глаза человека с подвязанной рукой и в нахлобученной на самые уши фуражке, но ничего не сказала и продолжала мурлыкать свою песенку.

- Не знаете ли вы, - спросил Сергей, обратив, наконец, вращающиеся глаза на старушку в чепчике, - где здесь живет Молотова, Екатерина Ивановна?

Старушка прервала перечисление предметов, которые она хотела бы получить на Новый год, и отвечала:

- Молотовой нет.

- Как нет? Она не живет здесь?

- Живет-то живет, да сейчас нет.

- Ничего, я подожду ее. Какой номер ее комнаты?

- Она ушла, - сказала старушка в чепчике, начиная смеяться в кулачок, третью неделю не приходит.

Сергей затряс головой и схватил ее за руку.

- Как третью неделю? Уехала? Одна? Да говорите же, что же вы молчите!

- Ушла, не уехала, - повторила старушка в чепчике, смотря на Сергея с удовольствием, - ушла и не вернулась обратно. Надо полагать, пропала окончательно.

- Не оставила ли она чего-нибудь? Записки или адреса?

- Ничего она нам не оставила. Кто ж ее знает? Девица одинокая, - ушла да и не вернулась.

- А все-таки может быть... что-нибудь осталось?

- А остался от нее шиш, - сказала убежденно старушка в чепчике, - примус один, да и тот сломанный.

- А все-таки - позвольте мне пройти в ее комнату. Или там уже кто-нибудь другой живет?

- Никто не живет. Пустая комната.

Старушка в чепчике встала, вытащила откуда-то из-под юбки ключ и молча показала его Сергею.

Они вошли в подъезд и поднялись по лестнице.

- Будет темно, - сказала старушка в чепчике, - держитесь рукой за стены.

Они свернули за угол и несколько минут в полной темноте кружились по лабиринтам дома Фредерикса. Наконец старушка в чепчике остановилась перед одной из дверей, выходящих в круговой корридор, и вставила ключ в замок.

- Вот здесь она и живет.

Сергей остановился на пороге и с напряженным вниманием оглядел комнату Екатерины Ивановны.

Комната имела такой вид, как будто хозяйка ее с минуты на минуту должна была вернуться.

На ночном столике лежала открытая книга, подушки на кровати были смяты и одеяло отброшено; штора окна была отдернута наполовину.

Сергей вошел в комнату.

- Может быть вы разрешите, - сказал он тихим голосом, - посмотреть здесь ее письма, книги?

- Пожалуйста, посмотрите, - сказала старушка в чепчике, - а только ничего не найдете.

Он подошел к маленькому письменному столу, на котором в беспорядке разбросаны были книги, взялся за корешок, потряс над столом каждую из них, в надежде, что откуда-нибудь выпадет письмо или записка, и ничего не нашел; тогда он попытался выдвинуть

ящик стола. Ящик легко выдвинулся; он был полон всякой рухлядью - тряпочками, лентами, даже соломенная шляпа была затиснута куда-то в самый угол.

Но среди рухляди стали попадаться бумаги. Тогда он сразу высыпал все, что было в ящике, на стол и наткнулся на связку писем, перевязанных простой тонкой веревкою. Едва только он развернул одно из них, как его поразила до странности знакомый почерк. Он взглянул на подпись, прочел: "твой Сергей", с размаху швырнул письма на стол, повернулся и пошел к двери.

- Я ничего не нашел здесь, бабушка, спасибо вам.

Старушка подошла к нему поближе.

- А вы Екатерине Ивановне будете брат или другой родственник? Я вижу, что вы очень интересуетесь ее судьбою.

Она посмеялась в кулачок и продолжала:

- Я вам могу все рассказать, если хотите. За один раз тридцать копеек.

- Как это тридцать копеек?

- Меньше никак, никак не могу.

- За какой же один раз?

- За одно гаданье. Я очень, очень гадаю на картах.

- Нет, бабушка, спасибо за услугу.

Сергей сунул ей какие-то деньги и вышел; но не успел он отойти и десяти шагов по коридору, как старушка позвала его обратно.

- Молодой человек!

- Что вам, бабушка?

- Нужно уж вам сказать: на другой день, как ушла Екатерина Ивановна, я нашла в ее комнате письмецо. Должно быть она его уходя-то и обронила. Вот это письмецо у меня имеется.

Старушка снова полезла куда-то под юбку и вытащила оттуда небольшое письмо, без печатей и марок, переданное, должно быть, из рук в руки.

Сергей молча взял у нее письмо и пробежал его глазами: это было предложение поступить на службу в какой-то союз в качестве стенографистки. Имя Фролова попадалось в письме два раза.

Сергей прочел до конца и вдруг вскинулся как бешеный.

Он в одну минуту вывернул карманы своего пиджака, отыскал среди бумаг, взятых у Фролова, письмо с вымогательством 1025 рублей от какого-то Павла Михайловича и его глубокоуважаемой супруги и принялся сравнивать оба письма с быстротой, от которой строки металась и прыгали в глазах.

Оба письма были написаны одною рукой.

- Они ее утащили, мерзавцы! - проворчал он, серый, как крот, от ярости.

Сунув все бумаги в карман, он повернулся и вышел.

Старушка в чепчике проводила его внимательным взглядом, снова посмеялась в кулачок и вернулась на свое место.

У нее сегодня счастливый день: во-первых, человек с подвязанной рукой дал ей много денег, во-вторых, она нашла серебряное колечко с буквой М, а в-третьих, ее соседка, известная злыдня, до локтя ошпарила себе руку.

VIII.

- Клей!

- Да ну? Посый?

- Не посы! так я бы с тобой говорить не стал!

- Врешь!

Сашка Барин нахмурился.

- Я с тобой в пустяках работал?

- Ну, ну. На сдюку, что ли?

- Я с тобой не на сдюку работал?

- А как шевелишь, на сколько дело ворочает? На скирю стеклянных будет?

- Поднимай выше.

- На чикву?

Барин покачал головой и с большим вниманием начал рассматривать свои ногти.

- На пинжу? На сколько же, чорт побери?.. Неужто...

Барин наклонился к нему через стол:

- На лондру стеклянных!

Тетинька открыл рот, стукнул зубами:

- Труба! А где?

- Где? - это я тебе скажу на Бармалеевой. Один ювелир...

- Ну как, идет?

Тетинька замолчал и стал задумчиво сощелкивать с колен хлебные крошки.

- Жара!

- Подо мной без жары еще не работали.

- Погоди, Сашка. Мы подумаем!

- Кто это мы?

- Да я со Жгутом!

- Я твоего Жгута дожидаться не буду. Будешь работать, так приходи сегодня вечером на Бармалееву. Нет, так...

Сашка Барин прошел к дверям и у самых дверей столкнулся с вертлявым мальчишкой.

Мальчишка носил длинную кавалерийскую шинель и в руке держал тросточку.

- Вот и Жгут!

Жгут, не здороваясь, пошел к столу, сбросил фуражку и выплюнул из рта папиросу.

- Слышали, братишки?.. Гришка Савельев засыпался.

Барин вернулся, закурил и сел, положив ногу на ногу.

- На квартире! Пришли и взяли. Лягнул кто-то... Теперь плохо, пожалуй, стенку дадут.

Жгут побегал по комнате, хлопнул себя по лбу и закричал:

- А про Кольку Матроса слышали? Я его вчера в Народном доме встретил; он открыто признал - хвастал, е... его в душу мать. Говорил, что всех продаст.

Жгут подошел к Сашке Барину.

- Не скажись дома, Сашка, он ведь про вашу хевру знает!

- Ничего не знает. Воловер.

- Он говорил, что скоро начальником бригады будет, меня звал на службу в угрозыск.

Тетинька выругался по матери, Сашка Барин равнодушно посмотрел на Жгута своими оловянными бляхами.

- Жгут, - сказал Тетинька, - есть работа. Барабан нахлил.

- Малье!

- Если малье, так сегодня вечером приходи на Бармалееву. Там договоримся. Дело посое.

Барин кивнул головой и вышел.



- Аристократ, конечно, и сволочь, - сказал Тетинька, подмигнув глазом на двери, - но фартовый же парнишка, ничего не скажешь, честное слово.

-----

Пустьри, хазы, ночлежные дома города, 200 лет летящего чорт его знает куда своими проспектами, иногда поднимаются на стременах. Наступает время работы для фартовых мазов, у которых руки соскучились по хорошей пушке. Шпана, до сих пор мирно щелкавшая с подругами семечки на проспектах Петроградской стороны и Васильевского Острова, катавшаяся на американских горах в саду Народного дома, проводившая вечера в пивных с гармонистами или в кино, где неутомимый аппарат заставлял американок нежного сложения подвергаться смертельной опасности и быть спасенными Гарри Пилем, любимым героем папиросников, - теперь оставляет своим подругам беспечную жизнь. Зато в гопах в такие дни закипает работа: в закоулочных каморках, отделенных одна от другой дощатыми перегородками барыги, скупают натыренный slam, наводчики торгуют клеем, домушники, городушники, фармазонщики раздербанивают свою добычу. Гопа гудит до самого рассвета, и если бы ювелир Пергамент в такую ночь встал с постели и провел два часа на Свечном переулке, так он соорудил бы целый арсенал под прилавком своего магазина.

Первым со скучающим видом вошел Барин. За ним Тетинька и Жгут.

Барин вытащил ноган и приблизился к прилавку. За прилавком стоял пожилой еврей, который, судя по внешнему виду, верил в бога и аккуратно платил налоги.

- Ключ!

Из второй комнаты, в глубине магазина, выбежал молодой человек с пробором.

Он зашел было за прилавок, потер руки, поклонился, но тут же увидел ноган Сашки Барина и побледнел так, как будто ему за это хорошо заплатили.

- Ключ!

Пожилый еврей затрясся, замигал глазами, ущипнул себя за подбородок и опустил руку в карман пиджака.

Жгут перевернул на стеклянной двери дощечку с надписью: "Закрето".

Ключ с трудом влез в замочную скважину и отказался повернуться.

- Не запирается! Не тот ключ!

Сашка Барин оборотился к двери, и тогда пожилой еврей, верящий в бога, сорвался с места. Серебряная вилка полетела в окно и воткнулась в подоконник.

- А, шут те дери! - заорал Тетинька, вытаскивая револьвер, - выходи из-за прилавка, сволочь!

- Зекс! - сказал Барин.

Он подошел к хозяину и приставил ноган к животу, на котором болталась цепь с брелоками.

- Последний раз говорю, дадите ключ или нет?

Рука вторично опустилась в карман, и на этот раз ключ повернулся дважды.

- Теперь пройдите, пожалуйста, в соседнюю комнату, - вежливо заметил Барин.

Молодой человек с пробором открыл рот и окаменел; Тетинька дал ему пинка, он завизжал поросенком и, механически шагая, отправился в соседнюю комнату.

Пожилый еврей уже сидел там, закрыв лицо руками, качался из стороны в сторону и говорил по-еврейски.

Тетинька утвердился на пороге с револьвером в руках и начал утешать своих пленников.

- Ничего, ребята! Тут ни хрена не поделаешь, бывает! Дело наживное. Очистили - и никаких двадцать. А вы еще вилкой бросаетесь, сволочи! Рази можно?

- Не мои вещи, не мои вещи, - бормотал еврей.

- А рази можно чужими вещами торговать? Что ты!

Барин быстро и аккуратно укладывал драгоценности в небольшой чемодан. Жгут набивал карманы часами и кольцами; через несколько минут он тикал с головы до ног на разные лады.

- Готово.

Барин остановился на пороге соседней комнаты.

- Ложитесь!

- Ложитесь, вам же лучше будет, малявые! - подтвердил Тетинька.

Молодой человек с пробором вскочил и лег на пол с таким видом, как будто это доставляло ему большое удовольствие.

- Лицом вниз!

Пожилой еврей со стоном грохнулся на пол.

- Кажется, того... - сказал Тетинька.

- Если вы закричите или поднимитесь с пола раньше, чем через полчаса, сказал Барин, - так... Впрочем вставайте, чорт с вами, и помогите вашему старику! Он, кажется, умирает. Человек с пробором впал в транс и только тихо посапывал.

- Ну, шут с ними! - сказал Тетинька, - айда!

Они вышли, закрыли за собой дверь и заставили ее конторкой.

Жгут завертывал в клочок бумаги часовые инструменты, стекла.

- Жгут, ты засыплешься из-за этой дряни! Айда!

Ключ повернулся в замке сперва изнутри, потом снаружи.

Первым вышел Жгут. За ним Тетинька и Барин.

На углу они постояли немного, закурили, поговорили о погоде и разошлись в разные стороны.

IX.

На углу Рыбацкой улицы, против пустыря, на котором все собаки Петроградской стороны познают радость жизни, стоит ресторан Прянова.

В этот ресторан каждую ночь приходят с дамами военморы в удивительных штанах, лавочники в пиджаках и косоворотках и просто так неизвестные люди. Эти люди предпочитают носить пальто с кушаком и фуражку с золотыми шнурами, надвинутую на глаза или сброшенную на затылок.

Если никому неизвестный человек, как всякий человек, хорошо знает все, что было вчера, то он никогда не уверен в том, что его ожидает сегодня. Поэтому в карманах его пальто на всякий случай лежат еще 2 - 3 шапки: беспечная кепка, строгий красноармейский шишак и хладнокровная, как уголовный кодекс, панама.

Военморы тащат из кармана бутылочку, пьют ерша и, полные морского достоинства, до поздней ночи играют на бильярде.

Лавочники скромно слушают музыку и терпеливо, подолгу выбирают подходящую для короткой встречи подругу.

Просто так неизвестные люди садятся по-двое, по-трое где-нибудь в уголку и говорят о том, что Васька Туз сгорел, а Соколов продает, о том, что Седому посчастливилось найти посую хазовку на Васильевском и что лягавые ходят за Паном Валетом Шашковским.

Внизу на улице возле ресторана Прянова гуляют барышни в цветных платочках, повязанных по самые глаза. Они гуляют от одного кинематографа до другого, от Молнии до Томаса Эдиссона и обратно, лушат семечки, рассматривают снимки боевика в 24-х частях, поставленные под стекло витрины, скучают и ищут друга на час, на ночь, на год, на целую вечность.

К полуночи, когда гаснут кинематографические огни, проспект Карла Либкнехта погружается в темноту, - только ресторан Прянова еще сверкает, шумит, волнуется, и бильярдные игроки гулкими, как револьверный выстрел, ударами пугают кошек, уже сменивших собак и подобно собакам испытывающих на заброшенном пустыре живейшее из жизненных наслаждений.

Тогда начинается жаркая работа для милиционеров. Посетители Пряновского ресторана, нагрузившись вволю, начинают сомневаться в реальности и целесообразности всей вселенной: они начинают крушить все вокруг, и иная барышня из сил выбивается, чтобы спасти ночь, уговорить буйного друга и увести его от беспощадного, как мировой закон, мильтона.

-----

Сергей Травин бродил по городу.

Он искал в ночлежных домах, в пивных, в самых глухих притонах, человека, имя которого - С. Карабчинский - стояло в письме, полученном от старушки в малиновом чепчике и прозвищем которого - Турецкий Барабан - было подписано письмо за церковной печатью. Любой агент сказал бы, что у него губа не дура, потому что за этим же самым человеком в течение года безуспешно охотился уголовный розыск по делам, перед которыми похищение какой-то стенографистки было пустою шуткой.

Сергея не знала шпана.

Его считали, не без оснований, за лягавого, и при появлении его в гопках на Обводном канале, на Свечном 11, - тотчас умолкали или начинали говорить о достоинствах Кораблика перед Машкой Корявой, о погоде, о кинематографе, о политике, притворяясь либо простыми папиросниками, либо молчаливыми служащими трамвайного парка. Однажды в чайной на Лиговке Сергей рискнул показать какому-то клешнику, с которым разговорился по-дружески и вместе пил чай, письмо за подписью Турецкого Барабана. Клешник внимательно прочел письмо и посмотрел на Сергея, чуть-чуть сдвинув брови:

- Чего?.. Наводишь?

- Я хочу узнать, не скажете ли вы мне, где найти этого самого человека, который подписал письмо?

Клешник вскочил и, ни слова не говоря, побежал к двери.

Уходя, он обернулся к Сергею и сказал, скривив рот и грозя ему кулаком:

- Что же ты, лявва, думаешь, что я своих продавать буду?..

Как-то ночью Сергей забрел в ресторан Прянова, поднялся наверх и сел за стол, прямо напротив зеркала.

Из зеркала на него посмотрело лицо, которое он не узнал и которое стоило продать за николаевские деньги.

Он пересел за другой столик и спросил пива.

Ресторан был полон.

Под картиной, изображающей не то сосновый лес осенью, не то гибель Помпеи, расположилась компания подгулявших торговцев, которыми распоряжался толстый, багровый человек с обвислыми усами.

Багровый человек одновременно ругал официантов, шутил с барышнями и с удивительным искусством подсвистывал струнному оркестру.

Недалеко от них, за круглым столиком, сидели трое парнишек лет по 15-ти, задававших форсу и игравших под больших.

Один из них, заложив ногу на ногу, каждую минуту кричал струнному оркестру:

- Наяривай, наяривай! - и открывал, круглый как яйцо, глаз.

Двое других спорили друг с другом о достоинствах какой-то Лельки Зобастенькой, курили без конца и беспрестанно пили пиво.

Говорили все разом, и смешанный говор изредка прорезывала мелодия знаменитой "мамы".

Веселенькие цветочки прыгали на обоях, с золоченых карнизов спускались какие-то кудрявые гардины, на стене, прямо напротив Сергея, было прибито объявление:

"Согласно постановления администрации

Сквернословие воспрещается.

С виновных в таковом будет взиматься штраф".

Внизу в уголку было приписано мелкими буквами:

"Коли так, так и чорт с вами".

Сергей приглядывался к своим соседям.

Рядом с ним сидели два молчаливых посетителя, которые, не обращая никакого внимания на все, что происходило вокруг, спокойно тянули пиво, изредка обмениваясь друг с другом двумя-тремя словами.

Оба курили: один, степенный, лет 35-ти, курил трубку; другой, одетый под военмора, в фуражке с щегольским козырьком, держал в руках сигаретку.

Сергей допил свое пиво и пересел поближе к соседям.

- Разрешите, - сказал он, вытащив из коробки папиросу и наклоняясь с папиросой в руках к тому, что курил сигарету.

Тот молча дал Сергею прикурить.

- Вы позволите мне здесь посидеть, - сказал Сергей, - там, знаете ли, ужасно бьет в уши оркестр.

Человек с трубкой едва заметно показал на него глазами своему товарищу.

- Пожалуйста, садитесь.

Некоторое время все трое молча тянули пиво.

Подгулявший торговец с отвислыми усами держал за жилетку какого-то маленького человечка и кричал во весь голос:

- Нет, ты мне скажи, если я к твоей жене приду, она мне что?.. она мне даст или не даст?

Вот ты, например, на железной дороге производишь хищения! Так по этому поводу она должна мне дать или не должна?

Куривший трубку прижал пальцем потемневший пепел и спросил, обратившись к товарищу:

- Этого как фамилия, не знаешь?

- Этот с Ситного, мучной лабаз на углу Саблинской, - ответил тот.

- А вы как, тоже торговлей занимаетесь? - спросил Сергей.

Старший чуть-чуть повел глазами, постучал пальцем по столу и отвечал:

- М-да. Торгуем. Мебельщики.

- (Знаем мы, какие вы мебельщики, - подумал Сергей.)

- Как теперь торговля идет? Теперь многие возвращаются обратно в Петроград, должно быть снова обзаводятся мебелью?

Старший пососал трубку и ответил спокойно:

- М-да. Ничего. Не горим. Хотя покамест больше покупаем.

Младший чуть-чуть не захлебнулся пивом, поставил стакан на стол и взял в рот немного соленого гороха.

"Принимают меня за агента", - подумал Сергей.

Он перегнулся через стол и спросил словами, которые усвоил себе во время своих скитаний по петроградским кабакам:

- А клея нет?

Старший вынул трубку изо рта.

- Как?

- А клея, спрашиваю, не предвидится?

- Это что же такое значит клей? - спросил старший с таким видом, как будто ему сказали что-то даже оскорбительное, пожалуй, - клей нужно не у мебельщиков, а у москательщиков спрашивать.

"Не дается, - снова подумал Сергей, - принимает за агента".

Старший подозвал официанта, расплатился и поднялся со стула, пыхтя трубкой; младший мигом вскочил и насмешливо раскланялся с Сергеем.

Сергей остался сидеть, следя за ними глазами; оба прошли в соседнюю комнату - в бильярдную.

На столе лежали пивные бутылки, какой-то гарнир на жестяной тарелочке, блюдечко с горохом.

Сергей заплатил за пиво; встал из-за стола с намереньем уйти от Прянова; в одно мгновенье ему опротивели веселенькие цветочки на обоях, струнный оркестр, багровый человек с отвислыми усами.

Однако, не успел он сделать и двух шагов, как кто-то хлопнул его по плечу:

- Ну, дружок, что заработали сегодня?

Он обернулся: перед ним стояла девушка лет 22-х, в клетчатой мужской кепке, надвинутой низко на лоб. В руке она держала тросточку и похлопывала ею по высоким красным ботинкам с острыми каблучками.

- Ну, одолжите папироску!

Девушка села на стул и потянула его за рукав.

- Садитесь.

Сергей послушно уселся.

- Я давно на вас смотрю, у вас, миленький, очень симпатичные глаза. Что ж это вы такой скучный? Выпейте лучше пива, чем скучать!

- Одну минуту, - сказал Сергей, - не знаете ли вы случайно, кто это вот тот высокий с трубкой, там, около окна, видите, выходит из бильярдной?

- Вот тот? Это один такой человек.

- Какой это такой человек?

- Ну да! А вам зачем это знать нужно, а?

- Просто так. А кто же он такой, этот человек?

Девушка перегнулась к нему через стол и спросила шопотом:

- А вы кто? Лягавый? Скажите мне, я никому не скажу.

- Нет, я не лягавый.

Сергей заказал пива, вытащил коробку с папиросами и предложил закурить.

Девушка взяла две папироски, одну закурила сейчас же, другую положила куда-то за козырек своей кепки. Она не сидела на месте, вертелась, вскакивала каждую минуту и смотрела в зеркало, выставив вперед подбородок.

- А как вас зовут, барышня?

- Сушка.

Она засмеялась, села рядом с ним и заложила ногу за ногу. Коротенькая, потрепанная юбочка задернулась, и маленькая нога в высоком красном ботинке открылась до колена.

- Пейте, пожалуйста, пиво, - сказал Сергей.

- Мерси.

Она отпила немного, поставила бокал на стол.

Оркестр гремел, затихал, гремел снова и все чаще плакал о том, что плохо жить без пальто и без теплого платочка, когда настанут зимние холода, столь чувствительные в нашей северной столице.

- Вот теперь у нас плохой оркестр играет, - говорила Сушка, следя глазами за длинным скрипачом, который извивался как ярмарочный змей вместе со своей скрипкой, - а вот весной играл маэстро Фриде, так многие из-за одного оркестра приходили.

Она увидела, что Сергей смотрит мимо нее, куда-то поверх клетчатой кепки, в зеркало, мимо зеркала на золоченые карнизы, мимо карнизов в темные оконные стекла.

- Скажите, миленький, почему вы такой скучный? Вы мне скажите, я и раньше заметила, что вы скучали.

- Нет, какой же я скучный, я веселый, - сказал Сергей, - пейте, пожалуйста. Так вы значит здесь часто бываете?

- Ну что же - пейте, да пейте! Расскажите мне лучше причину.

- Какую причину?

- Экой же вы неговорчивый! Ну, дайте мне вашу руку, - я умею гадать по линиям рук. Сейчас расскажу все, что с вами случилось.

Она взяла руку Сергея и деловито запыхтела папироской.

- Я у одной хиромантки когда-то служила в горничных, вот она меня и выучила. Ой, какая у вас нехорошая рука.

- Почему же нехорошая?

- Потому что у вас линия жизни непервоначальная.

- Как это так - непервоначальная?

- Мне вас даже жаль, миленький, вам что-то очень не везет последнее время.

Сергей вдруг вскочил и отнял у нее руку.

- Ну ладно, довольно.

Сушка тоже встала и, небрежно похлопывая тросточкой по своей истрепанной юбочке, подняла голову и лукаво заглянула ему в лицо.

- Брось, не скучай по ней, фартицер! Я тоже топиться хотела, когда меня мой студент бросил. И ничего. Видишь, до сих пор гуляю!

Сергей отступил на шаг и посмотрел на нее с таким видом, как будто перед ним стояла не проститутка Сушка, а доктор тайной магии Бадмаев или граф Калиостро.

- Откуда вы знаете, что она меня бросила?

- А что, правда или нет?

- Правда.

- Хм, откуда знаю? А ты думаешь, фартицер, что вас мало таких шляется?

Сергей молча уселся против нее.

- Знаете что, барышня, бросим этот разговор, выпьем лучше пива. Или может быть портвейну?

Сушка пыхтела папироской и напевала сквозь зубы:

Мальчик девочку любил

И до дому проводил,

И у самого крыльца

Ланца дрица а ца ца!

Вот идет девятый номер.

На площадке кто-то помер.

Тянут за нос мертвеца,

Ланца дрица а ца ца!

Сергей пил портвейн из стакана. Он один выпил почти всю бутылку - цветочки на обоях вдруг врезались в глаза с удивительной отчетливостью, потом сплелись, расплелись и свернулись.

Скрипач с бешенством встряхивал белокурыми волосами, летел за смычком и ни с чем возвращался обратно.

- Слушайте, барышня... - Сергей для убедительности даже стукнул себя кулаком в грудь. -

Не в том, понимаете ли дело, что бросила... Я бы, может быть, и сам ее бросил... Если бы...

А, долго рассказывать! Пейте лучше портвейн.

Он опустил голову на грудь и закрыл глаза.

- А теперь, когда я его...

Он сжал кулаки с такой силой, что ногти врезались в ладони.

- Да я бы сразу ее забыл, если бы я ей все сказал! А я не могу сказать, потому что она пропала!

Сушка поставила локти на стол и слушала его с вниманием.

- Куда же она пропала?

- Неизвестно куда. Никаких следов. Пропала, как дым.

- Выпейте теперь сельтерской, - посоветовала Сушка.

- Послушайте, барышня... я вам одну вещь покажу... А вы мне скажите, что эта вещь означает; то-есть не вещь, собственно говоря, а письмо. Самое настоящее письмо и подписано, знаете ли..... Нет, не скажу.

Он оглянулся вокруг себя, внезапно начиная трезветь.

- Или вот что... пойдете куданибудь отсюда и там... я вам его покажу.

Сушка кивнула головой.

- Идет. Только, знаете что... я сперва выйду, а вы потом расплатитесь. Я вас внизу на улице подожду.

Она встала, чуть-чуть покачиваясь, прошла между столиков, мимоходом заглянула в бильярдную, как будто ища кого-то глазами, но тотчас же отвернулась и начала спускаться по лестнице.

Сергей подозвал официанта, расплатился и, держась руками за все, что попадалось по пути, добрался до выхода.

Спускаясь по лестнице, он увидел, что Сушка отворяет выходную дверь.

Он спустился вслед за нею и на последних ступеньках вплотную столкнулся с давешним человеком в фуражке с лакированным козырьком, одетым под военмора.

Человек, на которого он наткнулся, воротился назад, посмотрел на Сушку, которая спешила перебежать улицу, приподнимая короткую юбочку, потом на Сергея, сплюнул сквозь зубы, заложил руки в щегольские штаны и присвистнул каким-то особенным свистом.

Х.

"19 сентября в 1 час дня в больнице Жертв Революции скончался агент уголовного розыска Н. И. Рюхин, который несколько дней тому назад был ранен налетчиком в одном из домов Фурштадтской улицы.

- Этого, кажется, Пятак накрыл!

Смерть последовала после операции извлечения из области живота агента Рюхина застрывшей там пули. Незаметный герой умер на своем служебном посту, его сразила пуля этого негодяя-бандита.

Покойный Н. И. Рюхин определенно отличался особым усердием в исполнении возложенных на него оперативных заданий.

Не пора ли взять в железные рукавицы эту паразитарную братию?"

Сашка Барин бросил газету на окно и, не слушая о чем говорил, картавя, Турецкий Барабан, закурил папиросу и задумался.

Он был недоволен: с тех пор, как Барабан замарьяжил эту девчонку, дела идут все хуже и хуже.

Хевра начинает трещать, Пятак работает на стороне, дело с госбанком загнивает.

Напрасно не отдали на сдюку последнюю работу - было чисто сделано. Нужно сплавить девчонку, или Барабан потеряет последний форс.

- Уважаемые компаньоны! Рыхта для госбанка должна была потребовать достаточное время. Мы сделали подработки, как нужно.

- В чем раньше было дело? Дело раньше было в том, чтобы найти хороший шитвис, но, во-первых, сейчас нельзя подобрать хороших кассиров. Откровенно говоря: мальчиком нельзя же открыть сейф. Тогда я сказал, что я недаром учился на раввина. Мы будем работать по новейшей системе, за нашей спиной - Запад.

Шмерка вытер вспотевший лоб платком и продолжал:

- Я сказал: пусть нам дорого встанет такая лаборатория, не нужно забывать, что нас ждет дело большого масштаба. Хевра не проиграет от такой постановки дела.

Пятак сидел против него с растерянным видом. Его клонило ко сну, и он с трудом раздвигал слеплявшиеся веки.

- Компаньоны! - продолжал Барабан, закладывая пальцы за пуговицы своего жилета. - Сработать госбанк, это не портняжить с дубовой иглой, компаньоны. Для этого нужно иметь под рукой - цивилизацию!

- Я говорю! - меня не интересуют бумаги, которые завтра будут - пха, и которые вы можете достать, наставив шпалер на лоб. Нам нужно рыжевье! Нам нужна наховирка! Подавайте нам звонкую монету!

- Ладно, отлично, - равнодушно сказал Барин, - на какой день мы назначим работу?

- Мы назначим работу на пятницу, - в четверг в госбанк будут сданы деньги кожтреста. Они пролежат только один день, - это мне известно досконально.

- Послушай, Барабан, - Барин говорил медленно, ровным голосом, - ты уже истратил деньги, которые получил от меня и Тетиньки за ювелира на Садовой?

- В чем дело? - спросил Барабан, - тебе нужны деньги, Сашка? Или, быть может, ты сам хочешь вести работу?



- Я спрашиваю, - спокойно повторил тот, - истратил ли ты деньги, которые мы передали тебе на прошлой неделе?

- Я не истратил эти деньги! - передразнил Барабан, - а как ты думаешь, откуда я знаю, что в четверг в госбанке будут деньги из кожтреста и где именно они будут лежать? Это стоит денег или нет? Мне нужно платить кожтресту или нет? Меня критикуют, а? Мне не доверяет хевра!

Пятак, наконец, отогнал сон, раздвинул слипшиеся веки и соскочил с окна.

Он заложил руки в щеголеватые штаны и прошелся по комнате.

- Какого рожна тебе нужно от него, Сашка? - сказал он со злобою, - чего ты пялишь на него лупетки, сволочь? Он плохо работает, Барабан? А в прошлом году, когда ты уговорил штымпа, он тебя не выручил? Ему бабки для дела, он после отчитается во что пошло, а ты хевру поганишь, жиган! А еще фэй называется!

Барин чуть-чуть побледнел, медленно поднялся со стула и вдруг, подпрыгнув, одной рукой схватил Пятака за ворот его матросской блузы, другой ударил его в лицо.

Кровь брызнула из рассеченной скулы.

Пятак, оскалив зубы, кинулся на него, но тут же остановился на мгновенье, чтобы вытащить из-за пояса нож.

Барабан сорвался с места и бросился между ними.

- Довольно, - закричал он с гневом, - довольно этих глупостей! Ха! Это еще новое дело!

Пятак отошел в сторону, пряча нож. Он вытирал рукою кровь на разбитой скуле. Минуту спустя он вышел и тотчас же вернулся снова с папиросой в зубах.

Барин медленно опустился на стул.

- Мы делаем дело! - объявил Барабан, садясь на прежнее место. Спокойствие! Терпение!

Барин, я отчитаюсь перед хеврой, когда угодно! Пятак, я не нуждаюсь в адвокатах! Я сам знаю, что я делаю, и то, что я делаю, не могут изменить ни мои защитники ни мои прокуроры! Баста, на этом покамест оставим пустяки, недостойные серьезных людей!

Он помолчал несколько минут.

- Дело обстоит в следующем, - продолжал он, - я остановился на пятнице. Да, именно в пятницу! В четверг мой инженер, между прочим, также закончит все приготовления.

Барабан замолчал, потемнел и как будто только теперь обиделся на подозрения Сашки Барина.

- Вот, если угодно, - сказал он с обидой в голосе, - отличный случай. Вы хотите реабилитации? Вы получите ее! Я вам докажу, Барин, могут ли в моих делах быть какие-либо междруметии? Я больше не хочу полагаться на одного меня. Пусть сам инженер расскажет о том, как он сделал это! Я его выдумал, этого инженера, и пожалуйста, отлично, проверяйте меня!

Он выбежал в коридор и спустя несколько минут вернулся с Пинетой.

Пинета был бледен, но весел. Он с комической важностью вошел в комнату и отвесил каждому из налетчиков в отдельности низкий поклон.

- Очень рад вторично с вами встретиться, - сказал он, протягивая Барину руку, - необыкновенно рад! Живешь-живешь один одинешенек и вдруг встречаешь знакомого, даже хорошо знакомого человека.

Барин посмотрел на него с удивлением, но, впрочем, с неожиданным для него радушием пожал протянутую руку.

- Пинета, - громко сказал Пинета, подходя к Пятаку.

Пятак нехотя ухмыльнулся, схватил руку, смутился и принялся закуривать.

Пинета был настроен очень весело. Барабан не успел еще начать демонстрацию своей блестящей выдумки, как Пинета подсел к нему совсем близко и по-приятельски хлопнул его по коленке.

- Ну, а ты как поживаешь, старичок?

Барабан молча снял с колена руку Пинеты, посмотрел на него внушительно и начал:

- Я уже говорил вам об инженере Пинете - лучшем специалисте по сталелитейному делу.

Пинета кивнул головой с одобрением.

- Действительно - лучший специалист в России!

- Мы пригласили инженера для того, чтобы он сделал нам в моментально то, что даже хороший шитвис не сделает в два часа с половиной. И он берется это сделать, как человек, понимающий, что такое есть настоящее дело.

- Я берусь это сделать в моментально, честное слово! - весело подтвердил Пинета.

- Прошу не перебивать, - продолжал Барабан, - сейчас он расскажет нам свой проект, но это, конечно, это же мой проект - проект вскрытия Ливерпульских сейфов в госбанке.

Он оборотился к Пинете с покровительственным видом:

- Говорите, инженер, не стесняйтесь!

Пинета встал и снова отвесил низкий поклон налетчикам.

Он вдруг стиснул зубы, сжал руки в кулаки и перестал смеяться.

- За 25 лет, которые я прожил, - начал он, делая шаг вперед и подходя к Барабану ближе, - я встречал очень много бездельников, которые притворялись настоящими людьми. Но такого макового бездельника, как вот этот толстый еврей, я не встречал ни разу.

- Он сошел с ума, - спокойно определил Барабан. - Бедняга, у него наверное есть старые родители.

- Вы думаете, что вы налетчики? - закричал Пинета, потрясая сжатыми кулаками: - Портачи!

Барабан откинулся немного назад и посмотрел на Пинету серьезно.

- Что вы хотите этим сказать?

- Портачи! - повторил Пинета с удовольствием. - Вы думаете, что вы увезли инженера Пинету, Михаила Натановича?

- Именно так, - подтвердил Барабан.

- Портачи! - в третий раз повторил Пинета, - вы увезли художника Пинету. Инженер Пинета - мой дядя - в прошлом году умер!

Все замолчали. Пятак было засмеялся, но тотчас же умолк и только свистнул от удивления.

- Инженер Пинета в прошлом году умер? - переспросил Барабан. - Что значит умер?

- Умер, как все умирают, - так это и называется; если бы вы тогда меня не увезли, так и я бы пожалуй умер. От голода.

- Он сошел с ума, - закричал Барабан, - гоните его! Этого не может быть! Не может быть, чтобы инженер умер!

Барин встал и не торопясь подошел к Барабану. Он наклонился к нему через стол, спокойно следя, как краска сбегала с лица, которое стиралось перед ним, как мел стирается губкой, и сказал, опустив углы губ и всматриваясь в Барабана с презрением:

- Эх ты... задница овечья!

Барабан, не поднимая головы, блеснул исподлобья глазами, снова побагровел, вытащил из заднего кармана револьвер и с силой, которой от него нельзя было ожидать, вдруг ударил Пинету в лоб рукояткой револьвера.

Пинета взмахнул руками и без крика свалился на пол. Тогда Барабан сорвался с места, с яростью закричал и ударил Пинету ногой в лицо.

И этот новый удар как будто сбросил с рук Барабана веревку. Он схватил табурет и принялся с размаху бить им по телу, которое под каждым новым ударом послушно отбрасывалось назад.

Он топтал Пинету ногами и бил по лицу до тех пор, покамест лицо не превратилось в красный блин с закрытыми глазами.

Тогда Пятак схватил его за руку и сказал, становясь так, чтобы защитить Пинету от новых ударов:

- Будет!

И схватив Пинету под мышки, он вытащил его из комнаты, проволочил через коридор и с помощью Мани-Экономки уложил на кровать.

- Его Барабан измордовал, - ответил он на расспросы Мани, - ты за ним тут походи, пожалуйста; он будет настоящий фай, помяни мое слово!

Он вернулся обратно и, еще не дойдя до комнаты, в которой так неожиданно был разыгран Турецкий Барабан, услышал горячий разговор. Он сразу же узнал ровный и вежливый голос Сашки Барина.

- О чем тут говорить? Ясно, конечно, что дело не в этом Пинете. Дело в том, что за последнее время ты склевался и потерял голову. Твое личное дело, Барабан, возиться со всякими девчонками, но чтобы это не касалось работы! Или чорт с тобой, бросай хевру и открывай гопу на Обводном.

Пятак засмеялся и отворил двери.

Барин попрежнему сидел на том же самом месте; он забросил ногу за ногу, курил и при каждом слове кривил гладкие, как бы отполированные губы. Барабан стоял перед ним, потупив голову, как нашаливший мальчик; он весь обвис, утомился и посерел.

- Я у тебя тогда спрашивал, какого дьявола нам нужен этот инженер? Когда мы приехали, я на лестнице спросил, - знаешь ли ты человека, которого нам нужно взять? -

"Цивилизация, современная техника, Запад!" - вдруг передразнил он хрипловатым картавым голосом, расставив немного ноги и закинув голову совершенно так, как это делал Барабан, - "меня не интересуют бумаги, давайте нам наховирку и звонкую монету!"

Пятак подошел к нему сзади, дернул за рукав и глазами показал на Шмерку Турецкого Барабана.

Тот все еще не поднимал головы, но снова начал багроветь, почему-то начиная со лба, на котором выступили крупные капли пота.

Барин взгляделся в него, замолчал и принялся тащить из кармана своих офицерских брюк портсигар.

Барабан перевел затрудненное дыхание и поднял голову. Он был почти спокоен.

- Ладно, довольно разговоров, - сказал он, поглядев на обоих налетчиков так, как будто ничего не случилось.

- Работа назначена в пятницу?

Он стукнул кулаком по столу и закончил:

- Так значит работа будет сделана в пятницу!

XI.

Сушка жила на Васильевском Острове, на -ом переулке, у старой финки Кайнулайнен.

Это была старая высохшая финка, которой ничего не платили за комнаты, даже не уговаривались о плате и только удивлялись тому, что хотя она вовсе ничего не ест, но живет и даже страдает желудком.

Финка не жаловалась, не плакала, но каждый день писала по-фински открытки и опускала их в почтовый ящик, из которого уже более 2-х лет не вынимались письма...

Сергей шел за Сушкой, чуть пошатываясь, прищуривая то один, то другой глаз так, чтобы свет от фонаря разлетелся тонкими стрелами, и внезапно раскрывал глаза так, чтобы фонарь снова повис над улицей неподвижным и тяжелым шаром.

- Чорт меня возьми, куда я иду за этой шмарой? Мне нужно скрываться, уйти в нору, в подворотню, в землю.

Он взял свою спутницу под руку и заглянул в лицо. Сушка шла, опустив голову, похлопывая тросточкой по своей ветхой юбчонке.

- Сушка! Как тебя зовут?

- А тебе на что это знать, миленький?

- А кто это тебя окрестил Сушкой?

- Мой типошничек.

Какая-то густая сырость вдруг поползла Сергею за ворот пиджака, спустилась по спине и разошлась по всему телу. Он задрожал, поднял ворот и заложил руки в рукава.

- Бр... холодно. Что же это такое типошничек?

- Ну пойдем, пойдем, тут мильтоны шляются.

Они прошли освещенные улицы, - тротуары почернели, дома слились в огромные сплошные ящики с беспомощными, мигающими окнами.

- Может быть, за мной следят? - Может быть, кто-нибудь идет за мной - (он обернулся) - а сейчас спрятался вот там, вот в той подворотне?

- Вот уж никак бы я не поверила, - сказала Сушка, - что есть такой человек, который не знает, что такое типошник.

- Да ты мне скажи, что это такое?

Сушка замедлила шаги и притянула его поближе.

- Это мой... зуктер. - Ну, понимаешь?

- Зуктер? Зуктер так зуктер, шут с ним. А хороший он у тебя?

- У меня?

Сушка остановилась перед каким-то поганеньким задрипанным домишкой и застучала в ворота.

- У меня, брат, зуктер - прямо знаменитый человек. Его весь Петроград знает.

- А как его зовут?

Завиожал замок, и заспанный дворник впустил их во двор.

- Сюда, сюда, - говорила Сушка, таща его за рукав.

Они поднялись по лестнице, и Кайнулайнен впустила их в кухню.

Сергей поднес руку к лицу; ему вдруг невыносимо, до дрожи захотелось спать. Он зевнул с содраганьем и спросил почти про себя, с усилием разнимая слипшиеся глаза:

- Чем же он знаменит, твой зуктер?

- Эка дался тебе мой зуктер! Он.... ну.... ну, мебельщик.

Они были уже в комнате, когда Сергей услышал это слово, сказанное минуту тому назад. Он вскинул брови, и тут же перед ним возникли кудрявые гардины, жестяные тарелочки, одесская мама и голос человека, курившего трубку:

- М-да. Торгуем... Мебельщики.

Он схватил Сушку за руки.

- Как? Что ты говоришь? Мебельщик?

Сушка, наконец, рассердилась на него.

- А тебе что за дело? - спросила она, вырывая руки и глядя на него сердито, - ты что, подрядился, что ли, допрашивать? Лягавый ты, что ли?

Сергей опомнился.

- Послушай, Сушка... Я хотел показать тебе письмо.

Он расстегнул пиджак, вытащил письмо, найденное им на мертвом Фролове, и, перегнув пополам, показал Сушке печать церкви Гавриила архангела.

Сушка нахмурила брови, вытащила изо рта папироску, немного побледнела и сказала, приглядевшись к печати и забрасывая ногу на ногу.

- Ну, а чем ты мне докажешь, что ты не лягавый?

Сергей посмотрел на нее с отчаяньем. Он сел на кровать и опустил голову на руки.

- Ну, слушай, я тебе расскажу... чорт с ним, все равно, только бы отыскать ее...

Сушка вскочила, принесла разбитое блюдечко вместо пепельницы, сунула в него окуроч, закурила новую папироску и приготовилась слушать.

Сергей сразу начал говорить, говорить, говорить безостановочно, - шагая по комнате.

Он говорил как будто читая по книге, забывая о том, что Сушка и не знает вовсе того, о чем он ей говорил, ходил из угла в угол, останавливаясь, чтобы взмахнуть рукой, и снова начиная ходить.

- Не в том дело, не в том дело, что прислала письмо, - ну, что же, я и правда когда-то просил известить, сказать! Не в том дело, что ушла к другому, все равно к кому, даже к нему, к Фролову, к налетчику, как я это неделю тому узнал, а то, что он ее продал, понимаешь ли, продал?

- Лягавый! Лягавый! Да какой же я лягавый, когда мне самому скрываться надо; я - арестант, политический арестант, меня может быть по всей России ищут, - ну, не убьют, конечно, но ведь ищут, чтобы арестовать! И арестуют в ту же минуту...

Он остановился и поглядел куда-то поверх лица Сушки на стену, как будто там, на серой исцарапанной стене, находилось то самое, - человек, предмет или даже слово, которое было ему нужнее всего в эту минуту.

- Подожди, как ты назвал, Фролов, что ли?

- Ну да, Фролов, налетчик, понимаешь, нашел у него в записной книжке (и в книжке тоже есть, - видно, наверное, несомненно, что он - налетчик), нашел три письма, одно от нее, другое через Фролова какому-то человеку, письмо с шантажом. Вот оно, это самое, что я показывал, - с печатью. Ну, может быть, не налетчик, все равно, вор, грабитель. Или убийца? Наверное, наверное убийца.

Он остановился и взмахнул рукой, как бы отбросив Сушке в лицо последнюю, фразу.

- Чем же, чорт возьми, я докажу тебе, что я не лягавый? Ах да, хорошо, я покажу письма!

Он принялся рыться в боковом кармане своего пиджака, выбросил на стол грудку каких-то затрепанных бумажек, нашел письмо Екатерины Ивановны, то самое, которое он получил от нее в тюрьме, и положил его перед Сушкой.

Сушка развернула письмо, но не стала читать, а продолжала слушать.

- Что же мне было делать? - говорил Сергей, безостановочно шагая по комнате, - должен был приехать, непременно должен. Просила не беспокоиться, побережь себя, не винить... Кого не винить? Ее? Я ее ни в чем винить не буду, только бы найти, чтобы сказать, объяснить, да нет, хоть ничего не сказать, а только увидеть, узнать, что она жива.

Сушка все еще не читала письма, облокотилась на стол и задумалась, потирая рукою лоб, собранный в мелкие морщины.

- Я знаю, что продал, именно продал, - снова заговорил Сергей, - потому что нашел у нее письмо, понимаешь, подняла какая-то старуха у дверей, в коридоре; в нем он, Фролов, два раза упоминается и должен был сообщить адрес. Он должен сообщить адрес! Это не спроста, что именно он. Почему же в письме не указан адрес? Вот, прочти, кем подписано, посмотри фамилию, не знаешь?

Сергей сел, снова вскочил и начал оттягивать ворот рубахи, который вдруг почему-то показался ему невероятно узким.

- Послушай, фартцер, - да подбодрись, не склевайся, найдется, - заметил ты того, что встретился с тобой у Прянова в подъезде? Я видела, что ты встретился с ним, когда я перебежала улицу. Вот он и есть мой типошник. Он из той хевры, от которой письмо, то, с печатью, понимаешь? Это одна хевра, одна, понимаешь? Да я тебе сейчас ничего говорить не буду... Я все узнаю, что нужно.

Сушка откусила и сплюнула мокрый конец папиросы, покусала ногти и снова задумалась.

- Ну да! И еще у меня в той хевре подруга есть, зовут Маней, Маней Экономкой. Она тоже скажет, что знает. Но прямо скажу тебе, фартцер, что это трудное дело. Одно слово: Барабан!

- Барабан? Ну да, Барабан подписал письмо. Одним почерком написаны оба, и то, с шантажом, и к ней, - один человек писал, потому-то я и догадался. Его-то именно я и ищу целую неделю. Кто он, где его найти, ты его знаешь?

Сушка задумчиво постукивала пальцами по папиросной коробке.

- Ну, знаю. Вот что, фартцер! Приходи ко мне в четверг, часов в 10 вечера. Но прежде... Подожди, у тебя мать есть?

- Нет, у меня...

- Что?

- Никого нет! Один! А зачем?..

- Никого, ни сестры, ни брата?

- Никого, она только и была; да нет, не в том, видишь ли, дело...

- Ну, ладно, бог с тобой. Я тебе и так поверю. А ведь бывают такие накатчики, я-то не встречала, но знаю, что бывают; наговорит с три короба, письма пишет, а потом...

Сергей как-то сразу осел, утомился, побледнел. Он снова присел на диван, не слушая, что говорила Сушка, согнулся и даже закачался от невероятного желания уснуть, даже не уснуть, а хотя бы закрыть глаза, ничего не видеть и не слышать.

Сушка еще не кончила рассказывать ему о том, какие уловки иной раз подкатывают лягавые, как он уже спал, уткнувшись головой в спинку дивана и беспомощно бросив руки вдоль согнувшегося тела.

Сушка прервала себя на полуслове, встала, заглянула ему в лицо и два раза прошла по комнате, прищуривая глаза и как будто примеряясь к чему-то.

- Маня Экономка - свой человек. Маня поможет, не выдаст, но Пятак?.. Ох, если узнает Пятак.

Она еще раз поглядела на Сергея.

- Жалко все-таки! - и поправила свесившуюся на пол руку.

Потом она разделась, вскочила в одной рубашке, бросила на Сергея какое-то изодранное пальто с торчащей во все стороны подкладкой, закурила папиросу и, наконец, улеглась в постель, закрывшись с головой одеялом.

## ХII.

До выполнения задуманного дела хороший налетчик ничего не пьет... Он по опыту знает, что на работу нужно идти с ясной головой, чтобы в случае опасности не растеряться и спокойно встретить все, что может встретить человек, который никогда не опускает предохранителя на браунинге и которому нечего терять, кроме жизни, а жизнь для хорошего налетчика продана наперед, он почти всегда уверен в том, что когда-нибудь попадетсЯ.

Вот почему он может сгореть, но никогда не потеряет голову и не упустит случая задорого продать свою жизнь, за которую ни один человек, кроме верной марухи, не даст ломаного пятака старой императорской чеканки.

Но на этот раз Шмерка Турецкий Барабан изменил своему обыкновению.

Он пил и с ним вся хевра пила в трактире "Олень" на Васильевском Острове.

Они сидели за столом в малине, небольшой комнате в два окна, которая обычно служила для уговора о работе и где содержатель "Оленя" принимал особо важных посетителей, которые по особым причинам предпочитали малину Шпалерке или стене, к которой идут налево.

В малине стояла мягкая мебель и были раскрашены стены.

На одной стене грациозно сплетались три грации, пожилые уже женщины с суровым выражением на лицах. Эти грации в причинных местах были еще раз подмалеваны посетителями малины.

На другой стене катилась пивная бочка, на которой сидел толстый, весь в складках иностранец, опрокинувший в рот кружку с пенистым пивом.

Обычно, из опасения, чтобы не накрыл угрозыск, рядом с малиной в узеньком полутемном коридорчике стоял на стреме трактирный мальчишка. Теперь не было никого. Барабан, который любил пить на свободе, снял мальчишку с его поста и отворил двери настежь.

- Хевра пьет, и пусть весь "Олень" знает об этом!

За круглым столом, накрытым скатертью с княжеской меткой, на котором стояли графины с водкой, ветчина, зажаренная так, что звонко хрустела на зубах, швейцарский сыр с дырками величиной с голубиное яйцо и маринованные грибы, круглые и скользкие как рыбий глаз, - сидели Барабан, Сашка Барин, Володя Студент и барышни.

За стеною в трактирной зале был слышен шум, стук посуды, глухой говор, гармонисты разливались и ревели Клавочку, кто-то хохотал, свистел и топал ногами.

Здесь, в малине, пили почти молча, как будто делали важное дело, которое нельзя было нарушать пустыми разговорами.

Даже барышни приумолкли; впрочем, они были как будто только для того, чтобы не нарушать обычаев "Оленя".

Барабан сосредоточенно пил водку. Он был не брит и с коммерческим видом закладывал свои толстые пальцы за проймы жилета.

Сашка Барин, надевший для пьяного дня черный офицерский галстук, молча оглядывал круглый стол своими оловянными бляхами.

К полуночи пришел Пятак, как всегда одетый под военмора.

С его приходом все мигом изменилось.

- Ха, братишки! - заорал он, - выпиваете? Я тоже, если говорить правду, выпил. Но только я больше через маруху пью, а вы чего? Ну ладно, коли так, так налейте и мне...

- Пфа, - он покрутил головой и объяснил одним словом: - Марафет.

Барышни облепили Пятака. Он целовал одну, подталкивал другую и хватал за разные чувствительные места третью. Наконец, веселый и пьяный, добрался до стола и сел, положив ноги на соседний стул.

- Что же это вы молчите, братишки, а? - снова заорал он. - Девочки, танцовать! Где Горбун? Горбун, сукин сын! Позовите мне Горбуна! Моментально на месте устроим Народный дом.

Одна из барышень опрометью выбежала из комнаты искать Горбуна.

Горбуном звали любимца публики, здешнего Оленевского исполнителя чувствительных романсов.

- Ого, он хочет устроить здесь Народный дом, - сказал Барабан, - это предприятие. Пятак, эй, возьми меня в компанию!

- Становись, - кричал Пятак, - Володя Студент, становись, устроим качели!

Он двинул Володю Студента плечом, стал к нему спиной и крепко сплел его руки со своими.

- А ну, кто кого перекачает? Начинай. Раз!

И Пятак присел к земле с такой силой, что Володя Студент взлетел на воздух.

В следующую минуту он сделал то же самое, и теперь Пятак в свою очередь, болтая ногами в воздухе, изобразил качели Народного дома.

- Ррраз! - сказал Пятак.

- Два! - отвечал Володя Студент.

- Ррраз!

- Два!

- Ррраз!

- Два!

Так они поднимали друг друга до тех пор, покамест Володя Студент охнул и в полном изнеможении потребовал водки.

Пятак бросился на диван и отер пот, который катился у него по лицу градом.

- Перекачал!..

В это время, покачиваясь, с важностью, которая так свойственна всем горбунам, в комнату медленно вошел любимец Оленевской публики, маленький человек в длинном сюртуке с огромным горбом спереди и сзади и с волосатыми, как у обезьяны, руками.

Вслед за ним вошел огромный человек с цитрой, который как будто несколько стеснялся своего высокого роста. Это был аккомпаниатор Горбуна и его бессменный товарищ.

- А, Горбун пришел! - заорал Сенька Пятак, отнимая ото рта графин с водкой и ставя его на стол почему-то с большими предосторожностями.

- Номер второй! Горбун, исполняй "Черную розу"!

Горбун заложил руку за борт сюртука, отставил ногу назад и стал таким образом в позу.

Он для чего-то вытер платком руки, слегка поклонился и начал не петь, а говорить романс глухим, сдавленным, трагическим голосом.

Хевра слушала. Барабан сложил руки на животе, приподнял голову и моргал от удовольствия глазами.

- Черную розу - блему печали

При встрече последней тебе я принес,

говорил Горбун, с некоторой хищностью раздувая ноздри:

- Полны предчувствий, мы оба молчали,

Так плакать хотелось, но не было слез!



Он опустил голову, сложил руки на груди и замолчал с видом приговоренного к смерти; но тут же подался вперед, с отчаянием поглядел на всех присутствующих и продолжал:

- Помнишь, когда ты другого любила...

Пятак, который успел заснуть на диване, внезапно проснулся от какого-то слова, произнесенного с шипеньем, и потребовал другой жанр.

- Стой! - крикнул он, - я дальше и без тебя знаю. Братишки, пусть он нам споет "Мы со Пскова два громилы!"

- Как это два громилы? - спросил Горбун тонким голосом, совсем не тем, которым он говорил свой романс, - что вы?

- А что?

- Разве мы можем исполнить такой романс? Что ты на это скажешь, Христиан Иваныч? Большой человек с цитрой крикнул "нет" таким голосом, как будто он взял хитрую ноту, по которой настраивал свою цитру, и снова замолчал.

- Не хотите? - грозно заорал Пятак, вскакивая с дивана, - не хотите, блошники? Так и х... с вами, мы сами споем! Братишки, покажем ему, как нужно петь хорошие песни! Девочки, подтягивай! Начинай!

Он поставил одну ногу на стол, приложил руку к груди и затянул высоким голосом:

- Мы со Пскова два громилы

Дим дирим дим, дим!

У обоих толсты рыла

Дим дирим дим дим!

Мы по хазовкам гуляли

Дра ла фор, дра ла ла!

И обначки очищали

И м ха!

Через несколько минут вся хевра, даже Турецкий Барабан, пела так, что в малине дрожали стены.

- Вот мы к хазовке подплыли

Дим дирим дим, дим!

И гвоздем замок открыли

Дим дирим дим, дим!

Там находим двух красоток

Дра ла фор, дра ла ла!

С ними разговор короток

И м ха!

Только Сашка Барин, пересевший от стола на диван, курил и молчал, поджимая губы.

К нему подседа было барышня в высоких ярко-красных ботинках, с черной ленточкой на лбу, но он оттолкнул ее и продолжал молча следить за Пятаком, который, разойдясь во всю, вскочил на стол и, размахивая руками, дирижировал своим хором.

Барабан с тревогой посматривал на Барина:

- Ой, Сашка имеет зуб к Пятаку!

- Вот мы входим в ресторан

Дим дирим дим, дим!

Ванька сразу бух в карман

Дим дирим дим, дим!

Бока рыжие срубил

Дра ла фор, дра ла ла!  
Портсигара два купил  
И м ха!  
- Эй, буфетчик старина,  
Дим дирим дим, дим!  
Наливай-ка, брат, вина  
Дим дирим дим, дим!  
Вот мы пили, вот мы ели  
Дра ла фор, дра ла ла!  
Через час опять сгорели  
И м ха!

Пятак заливался во-всю, на шее у него трепетал кадык, он обнял двух барышень и вдруг, вложив два пальца в рот, свистнул так, что у всей хевры зазвенело в ушах, а барышни бросились от него врассыпную.

- Стой! - кричал Пятак уже хрипнувшим голосом, - шабаш! Кто гуляет? Хевра гуляет! Где хозяин? Давай еще номера! Танго! Хевра, братишки! Пускай нам дают танго! Народный дом! Барышни! Угощаю! Поднимите руки, кто еще не шамал?

Он позвал трактирного мальчишку, велел ему накрыть отдельный стол для барышень и повалился на диван в изнеможении.

Минуту спустя он уже расталкивал Турецкого Барабана, который внезапно впал в задумчивое и созерцательное настроение, лил пиво в фуражку Володи Студента и старался, чтобы одна из девочек изобразила собою перекидные качели Народного дома. Из коридорчика, соединявшего малину с трактирной залой, появились, взамен Горбуна и его товарища, два новых артиста.

Это были знаменитые Оленевские тангисты - Джек и Лилит - оба одетые в черное с нарочитой, прямо щегольской скромностью; он - в гладкой блузе с глубоким мозжухинским воротом, она - в простом кружевном платье с воланами и длинными рукавами.

- Тангуйте, - кричал Пятак, - аргентинское танго! Мандолину! На мой счет! Лопайте, барышни!

Из толпы, теснившейся в узком коридоре, вытолкнули худощавого человека с бойким хохолком на голове и мандолиной под мышкой.

Музыкант сел, ударил по струнам косточкой, и тангисты, почти не касаясь друг друга, приподняв головы и глядя друг другу в глаза, сделали несколько шагов по комнате, поворотились обратно, расстались, и Джек склонился перед своей подругой с удивительной для "Оленя" скромностью.

Барабан все еще с тревогой следил за Сашкой Баринном.

- Ой, будет плохо Пятаку! Загнивает хевра.

- Будет! - кричал Пятак. - Теперь я! Теперь мой номер! Сушка! Барышни, позовите Сушку! Сейчас мы с ней исполним свое танго!

- Эй ты, смерть ходячая, - кричал он Джеку, - ты думаешь, я хуже тебя танцую! Сейчас мы, шут те дери, исполним такой танец... Сушка! Да где же она? Я же с ней пришел! Девочки!

Девочки почему-то молчали. Музыкант последний раз ударил косточкой по струнам и закончил танго.

Среди полной тишины Барин встал со своего места и медленно, ничуть не торопясь, подошел к Пятаку.

- Тю-тю, - вдруг сказал он, подмигнув одним глазом.

Пятак уставился на него с недоумением.

- Чего?

- Сушка-то тю-тю! - пояснил Барин, - другого кота нашла!

Должно быть об этом в "Олене" говорили уже давно, потому что едва эти слова были произнесены, как все закричали разом.

Барышни пересмеивались, Володя Студент засвистал, музыкант с хохолком почему-то ударил по струнам.

- Что ты сказал?! - Пятак вдруг протрезвел, сделал шаг вперед и схватил Барина за руки.

- Я сказал, что Сушка твоя тю-тю. С другим котом гуляет!

- Псира!

Пятак отступил назад, нащупывая в заднем кармане штанов револьвер. Девушки с визгом посыпались от него. Барабан вскочил, готовый вступить в драку.

- Оставь пушку! - спокойно сказал Барин, - это все знают. Что, марушечки, я правду говорю?

- Стой, не отвечай! - бешено закричал Пятак. - Если правда... Я сам! Я сам узнаю!

Он быстро сунул револьвер в карман, повернулся и выбежал из малины. Никто его не удерживал. Он пробежал трактирную залу и, бормоча что-то про себя, спустился по лестнице.

Он ушел, и все понемногу разбрелись из малины. Ушли артисты, изображавшие Народный дом, разбежались понемногу девочки, и за круглым столом остались только Турецкий Барабан, Сашка Барин и Володя Студент.

- Сволочь ты, Сашка, - сказал Барабан, - сволочь и паскудство. Ну к чему разыграл Пятака? Ведь перед работой пьем, перед делом большого масштаба пьем, мазы. Барин ничего не ответил.

Пили почти молча, как будто делали важное дело, которое нельзя было нарушать хохотом и пустыми разговорами.

Хевра пила и думала о том, что на-завтра нужно заряжать револьверы, что можно сгореть, но нельзя потерять голову, что нужно стараться задорого продать свою жизнь, за которую ни один человек, кроме верной марухи, не даст ломаного пятака старой императорской чеканки.

ХIII.

Было еще не так поздно, часов 11 или 12 ночи, когда Пятак выбежал из "Оленя". Вокруг "Оленя" стояли извозчики, на углу пьяный, ласковый матрос объяснял милиционеру, который крепко держал его за руки, устройство военно-морских судов, вокруг них собралась толпа папиросников.

Папиросники гоготали.

Пятак выбежал из трактира без шапки и вспомнил об этом только у третьего от 7-ой линии квартала, и то потому только, что стал накапывать дождь.

Пройдя несколько, он повернул в переулок. Он шел теперь, заложив руки в карманы штанов, посвистывая.

Баба, закутанная в изодранный зипун, с палкой в руках стояла у подворотни.

Пятак прошел мимо бабы и остановился посреди двора, подняв вверх голову.

Прямо над головой было небо, на котором плавало какое-то грязное белье, гонимое осенним ветром, под небом - крыша, под крышей слева от водосточной трубы - окно Сушки.

Пятак выругался: окно было освещено.

- Возвратилась, стерва!

Он отыскал за углом, рядом с помойной ямой, вход (где-то высоко горела угольная лампочка, которая догорала и никак не могла догореть) и поднялся по лестнице.

Финка Кайнулайнен отворила ему двери, сообщила, что у Сушки гости, и ушла, оставив Пятака в такой темноте, что, кажется, ее можно было схватить руками.

Он чиркнул спичкой. Спичка осветила коридор, который лучше было не освещать, обиделась и погасла.

Пятак зажег другую и отыскал комнату Сушки: тоненькая полоска света проходила между дверью и полом.

Он приложился ухом к замочной скважине и ничего не увидел: либо скважина была заложена бумагой, либо кто-то сидел очень близко к двери.

Зато он услышал разговор, который постарался запомнить.

- Ты мостик через Карповку знаешь, у газового завода? Ну, Бармалееву знаешь?

- Бармалеева? Это за Подрезовой?

- Там на углу возле мостика ты подожди. Я с Маней уговорилась, понимаешь. С подругой, которая в той хазе живет. Она тоже жалеет.

- Послушай, - заговорил мужской голос, - а что же... а как ты скажешь про меня?.. Скажи, что знакомый, или... Или нет, скажи - Сергей Травин, она знает, кто я и все про меня...

- Да пустяки! Не все ли равно, кто? Небось, сама убежит, как стреляная.

Кто-то прошелся по комнате, и Пятак снова приложился глазом к замочной скважине: он увидел широкую мужскую руку, схватившуюся за спинку стула.

- Только бы удалось, только бы удалось, чорт возьми. А там я... Послушай, Сушка, а тебе за это?..

- На углу Бармалеевой, мать твою так, - вдруг сообразил Пятак, - на углу Бармалеевой?

Он скрипнул зубами.

- На Бармалееву хазу капает, стерва!

Мужская рука снялась с замочной скважины, и Пятак увидел Сушку: она стояла перед комодом, над которым висело небольшое зеркалаще, и надевала свою полосатую кепку.

- Боюсь я одного человека, - услышал Пятак, - да что же с вами, шибзиками, поделаешь?

Надо уже вам помочь!..

Пятак в темноте передернул плечами и подкрутил острые черные усики.

- Ну, погоди же, псир! - подумал он, ощупывая нож за поясом, на котором держались его матросские штаны, - узнаешь ты, какво продавать мазов.

- Ну, теперь айда!

- А что если... она не захочет итти, когда узнает, что это я ее буду ждать... Может быть, не говорить имени, - сказать просто: один из друзей или...

- Эй, склевался ты, фартисер! Да подбодришь же! Ничего не скажу, скажу свой человек, и никаких двадцать.

Пятак услышал короткий стук повернутого выключателя. Только что он успел отскочить и, отбежав подальше по коридору, спрятаться за каким-то не то чуланчиком, не то сортиром, как Сушка вместе со своим собеседником вышла из комнаты. Пятак подождал

две-три минуты, вылез из-за своего прикрытия, добрался до кухонной лестницы и благополучно миновал выгребную яму.

На улице под первым же фонарем он узнал в спутнике Сушки того самого человека, которого несколько дней тому назад встретил с нею в ресторане Прянова. Он вспомнил Барина и как будто снова услышал медленный и насмешливый голос:

- Сушка-то тю-тю! Другого кота нашла!

- Да ведь какого кота! Не простого... - Пятак сжал кулаки, - а лягавого.

Шел мелкий промозглый дождишка. Почти никого уже не было на улицах. Бородатые, с палками в руках, сторожа перед каждым домом вырастали из мокрого тротуара.

Сушка со своим спутником свернули на набережную Невы.

Пятак прятался за углы, в подворотни, в подъезды и шел за ними.

- Сушка продает Бармалееву хазу?! Убью лявру, своими руками убью!

Биржевой мост внезапно открылся во всю длину, как будто кто-то взял его двумя руками за фонари и разом вытянул за два передние фонаря до Зоологического переуллка.

Пятак перебежал от Биржи на другую сторону и спрятался в тень, отбрасываемую маяком: он четко различил на мосту две фигуры, под светом фонаря отбросившие длинные тени на деревянный тротуар.

В ту же минуту эти темные фигуры сорвались с места и побежали так, как будто кто-то с оружием в руках гнался за ними.

Пятак выбежал на мост.

Едва только он прошел несколько шагов, как услышал тяжелый, прерывистый звук цепей.

- Мост! А! Мост поднимают!

Те, за которыми он следил, перешли мост и стали спускаться к набережной с той стороны Невы.

Он побежал бегом, но не успел пробежать и 20 шагов, как увидел, что деревянная часть моста медленно начинает подниматься.

Он остановился на одну секунду, но тут же с бешенством притопнул ногой и снова пустился бежать. Цепи скрипели, и с каждым оборотом машины мост начинал пухнуть и коробить деревянную спину.

Он, наконец, добежал до пролета, которым оканчивался разорванный на-двое мост.

Под ним скрипели цепи и видны были какие-то железные уступы, оси и визжащие блоки; еще ниже смутно блестела белесая, подслеповатая вода. Пятак остановился еще на одно короткое мгновение, увидел вдалеке темные фигуры, которые вступили уже в свет фонарей, где-то на Кронверкском проспекте, и перевел дыханье.

В следующее мгновенье он, как будто сбрасывая всю свою силу в напряженные ноги, уже летел вниз. Перед ним неясно мелькнули темные очертанья машин и светлая полоса воды; он упал на носки, едва удержался на ногах и несколько мгновений простоял неподвижно, взявшись рукой за голову и только чуть-чуть покачиваясь из стороны в сторону.

Потом он потащил было из кармана смятую папиросную коробку, нашел окурочек, сунул его в рот и поискал спичек.

Спичек не нашлось; он выругался, выплюнул окурочек и побежал по мосту бегом.

Сушка и ее спутник шли вдоль Народного дома. Немного погодя они свернули на Сытнинскую площадь, и больше у Пятака не оставалось никаких сомнений.

- Продала! А, хоть бы встретить кого-нибудь на Белозерской. Хоть бы Барабан знал!

Он никак не мог обдумать, что нужно делать, как предупредить эту неожиданную опасность; когда прошли Белозерскую и он не встретил никого из мазов, он решил действовать своими силами.

Покамест он остановился в подворотне где-то за Малым проспектом, пощупал, на месте ли нож, быстро пересмотрел обойму браунинга и поднял предохранитель; он не знал, с кем ему придется иметь дело.

- У лягавого наверное не одна пушка в пальте!

Он потуже затянул ремень на штанах, сунул браунинг в карман и вышел из подворотни: Сушка одна перебежала улицу.

- Ах, мать твою так, уходишь!

Он, больше не остерегаясь, бросился за ней.

Сушка быстро шла по Бармалеевой. У фонаря она остановилась, закурила папиросу и пошла дальше. Она напевала Клавочку.

- Он сел на лавочку

И вспомнил Клавочку,

Ее глаза и ротик, как магнит,

Как ножкой топает,

Как много лопают,

Как стул под Клавочкой жалобно трещит!

Пятак вдруг остановился.

- Я тут хляю за ней, а он тем временем... Ах, курва, да что же это я!

Он бросился назад.

Никого не было на пустынной, как будто вычумленной улице.

Чернели полуразвалившиеся стены на пустырях. Дождь перестал, и сквозь разорванные тучи снова начала высовывать свой синий рог луна. Шагах в двухстах на проспекте Карла Либкнехта дребезжала на мокрых камнях пролетка.

Пятак пробежал до Малого и остановился; он знал, что тот, кого он искал, ждет Сушку где-нибудь недалеко. Он несколько раз прошел туда и обратно, заглядывал во все углы, во все подворотни. Никого не было.

Тогда он побежал назад, к Бармалеевой хазе.

Не успел он добраться до полуразрушенной решетки, которая окружала пустырь, как увидел, что Сушка воротилась обратно.

Он заметил, что она переделалась, сменила свою полосатую кепку на длинную шаль и шла как-то несмело, поминутно оглядываясь и ища кого-то глазами.

Пятак отошел в сторону и остановился у деревянного домишки, похожего на сторожевую будку. Справа от него виден был мост через Карповку.

Пятак вжал голову в плечи, передернул плечами и достал нож.

Женщина минуту постояла возле хазовой решетки, точно поджидая кого-то; все движения ее стали как-то неуверенны и несмелы.

Несколько минут она оставалась на том же месте, потом быстро перебежала дорогу и пошла по Бармалеевой.

Пятак пропустил ее мимо себя, вышел из-за своей засады, догнал двумя шагами, взмахнул рукой и, внезапно оскалив зубы, ударил ее ножом в спину между лопаток...

-----

Сергей остался ждать во дворе полуразрушенного дома на Малом проспекте.

Он присел на груду камней, возле какой-то канавы, пролежавшей тотчас же за разбитой стеною.

Беловатый рассыпчатый кирпич, бесшумно раздававшийся под ногою, покрывал двор. Сергей сидел перед надтреснутой стеною с темно-серыми пятнами, походившими на театральные рожи с изогнутыми ртами.

Какие-то пустяки все лезли в голову; очень явственно стучало сердце.

Он долго тер голову, стараясь вспомнить что-то необходимое, нужное сию минуту, без всякого замедления.

Это необходимое было лицо Екатерины Ивановны, которое вылетело у него из головы, из глаз и ушло куда-то, откуда его вернуть было невозможно.

Вместо лица Екатерины Ивановны все лезли на глаза театральные рожи.

Снова пошел дождь. Он снял свою фуражку, и маленький, протертый сквозь сито дождь с уверенностью и как бы с чувством собственного достоинства стал падать на голову, круглую и костяную, как бильярдный шар.

Прошло минут двадцать, как ушла Сушка.

Надоело ждать; он вскочил и принялся ходить по двору, заглядывая в темные стекла, топчя осколки стекла, разбитый кирпич.

Заброшенный сарай скривился на сторону, дверь повисла на одной петле. Сергей толкнул ее ногой, и она проскрипела ржавым басом.

Прошло еще с полчаса. Он, наконец, потерял терпение и выглянул из пустыря: никого не было видно.

Он прошел через ворота, загнул за угол и вышел на Бармалееву.

Шагов за 20 он различил темную фигуру какого-то человека; издавек он принял его за матроса.

Человек шел по другой стороне улицы, заложив руки в штаны и как будто высматривая кого-то.

Он был без шапки, ворот матросской блузы был приподнят и должно быть зашпилен булавкой.

- Уж не меня ли он высматривает?

Человек в матросской блузе остановился в тени деревянного строения, которым кончалась Бармалеева улица. Немного погодя из-за решетки, окружавшей пустырь, на другой стороне улицы показалась женщина в длинной шали, накинута на голову.

Человек в блузе пропустил ее мимо, сделал шаг за нею.

Еще минута, и Сергею показалось, что его голова оторвалась от тела и, как бы взбесившись, полетела по воздуху. Он услышал отчаянный женский крик, который он узнал и от которого у него ушло, провалилось, упало, чорт его знает куда, сердце.

Он бросился бежать и, еще не добежав, увидел, что матрос наклонился над женщиной, закутанной в шаль, и качал головой, как будто с сожалением:

- Ах, так это ж не она, не Сушка!

В следующую минуту матрос исчез, как будто растаял в воздухе.

Сергей добежал и ничком повалился на землю. Еще прежде чем добежать, он знал почти наверное, что женщина, лежавшая лицом вниз возле сторожевой будки, была Екатерина Ивановна.

XIV.

Рот был сжат и казался узким, как карандашная линия, глаза открыты и в них еще стояли слезы - все это Сергей разглядел под светом луны, выставившей на несколько минут свои рога из-под изодранных облаков.

Он вскочил на ноги и с бешенством царапнул себя по лицу руками.

- Помогите!!

Тут же он как будто испугался своего громкого голоса, снова стал на колени и принялся для чего-то поддерживать руками запрокинутую голову Екатерины Ивановны.

Голова легко перекатывалась в руках, и через несколько минут стало казаться, что она отделилась от тела.

Он снова вскочил и с испугом огляделся вокруг себя; но тут же он как будто позабыл все, что случилось, озабоченно потер лоб и прошелся так, как бы раздумывая, туда и обратно, от одного дома до другого.

- Помогите, - сказал он еще раз и вдруг бросился к Екатерине Ивановне, схватил ее, поднял на руках и понес, крепко прижимая к себе.

Он прошел, спотыкаясь и с трудом ступая потяжелевшими ногами, не более десяти шагов, как увидел высокого человека в полупальто, которое в темноте казалось женской юбкой, одетой на плечи.

Человек стоял у телеграфного столба и с нерешительным видом глядел на Сергея.

- Помогите!

Человек в полупальто повернулся и бросился бежать опростею. На углу Малого он трусливо поглядел назад и исчез.

- Да как же это, чорт возьми! Что же делать?

Сергей присел на тумбу, не выпуская из рук негибкого тела, которое вдруг показалось ему похожим на куклу.

- И голова вертелась в руках совершенно как у куклы. И глаза...

Он произнес эти слова вслух и испугался этого.

- Что ж, я с ума схожу, - ведь нужно же помочь; ведь ранили, должно быть кровь идет!

Он осторожно ощупал грудь, руки, лицо, провел рукой по спине и вдруг вскрикнул и вытащил руку.

Рука была в крови, на кончиках пальцев остались следы крови.

- Только бы донести, чтобы помочь, перевязать, остановить кровь!

Он снова вскочил и на этот раз бегом пустился бежать по Бармалеевой.

Улица зашаталась, покатила вниз, дома как сломанные декорации накренились над ним, крыши заслонили небо.

Он добрался, наконец, до проспекта Карла Либкнехта, и здесь под первым же фонарем снова заглянул в лицо Екатерины Ивановны.

Лицо внезапно показалось ему отвратительным - нижняя челюсть отвалилась, слюна залила подбородок, один глаз закрылся.

Он положил тело на землю, возле тумбы, и увидел, что весь испачкался кровью, - повсюду, на груди, на руках, даже как будто на подбородке были темные пятна. Он порылся в карманах, вытащил заскорузлый платок и принялся старательно вытирать руки.

Пятна сразу отошли, затерлись.

- Помогите же, чорт возьми, ведь нужно перевязать, сейчас же, немедленно.

Откуда-то из-за угла выплыл милиционер.

- В чем дело, гражданин?

Сергей молча вытирал руки и, оттянув край пиджака, смотрел, есть ли на нем пятна.



- В чем дело, гражданин?

- Да нет, ну, в чем же дело?.. - отвечал Сергей.

- Гражданин, в чем дело, что с этой гражданкой?

- Я не успел добежать, понимаете, как тот в матросской блузе... Я кричал, да никого не было. Один встретился было...

Милиционер быстро нагнулся к Екатерине Ивановне, дотронулся до нее рукой.

- Мертвая, что ли?

Он выпрямился, испуганно схватился рукой за кобуру, болтавшуюся у него на поясе и пронзительно свиснул.

- Да нет же, какая мертвая! Ранили, нужно помочь, перевязать, у вас должен же быть бинт под рукой, дежурный бинт, понимаете?

Второй милиционер подбежал к ним с угла Лахтинской и остановился, придерживая рукой шапку.

- Этого надо в дежурку... Мертвая.

Первый милиционер посмотрел на Сергея и взял его за плечо.

- Извозчик!

Сергей пошатнулся и попытался снять с плеча руку милиционера.

- В дежурку? Зачем, в какую дежурку? Чудаки, вы думаете, - это я? Поймите вы, что кто-то в блузе, я не успел добежать, как он... А я уже не мог помочь, ведь я же нес ее на себе, не мог даже поддержать голову.

Милиционер посадил его в пролетку. Он сел и продолжал говорить с горячностью.

- Карпухин, эту придется должно быть в Петропавловскую, - сказал милиционер.

- Поезжай, - добавил он и ткнул извозчика локтем в спину.

- Стойте, - а как же она? - закричал Сергей. - Поймите же вы, чорт возьми, что нужно перевязать рану!

- Сидите смирно, гражданин, - отвечал милиционер.

Сергей закинул голову, вытянул голову и закрыл глаза.

- Оружие есть? - вдруг спросил милиционер.

- Ни о чем я с вами не буду говорить, - раздраженно сказал Сергей, - если вы могли оставить без всякой помощи... Куда вы меня везете?

- Оружие есть? - с испугом повторил милиционер.

Он вытащил револьвер одной рукой, а другой мельком ощупал одежду Сергея.

- А-вввв, - вдруг завыл Сергей, - не везите меня, говорю вам, это тот, в матросской блузе...

Разве я стал бы... Да я ее искал по всему городу...

Извозчик остановился.

Милиционер вытолкнул Сергея и сам соскочил с пролетки.

- Идите вперед!

Они поднялись по лестнице и прошли через полутемный, захарканый коридор.

В коридоре Сергею, как час тому назад у Сушки, вдруг нестерпимо захотелось спать. Он потянулся, зевнул.

- Да вить ни продавали ничиво, - сказал из угла чей-то густой голос, ничиво, ни капильки, вить гли sibя гнали, исключительно гли sibя, ей-богу.

Милиционер оставил Сергея в коридоре и сам скрылся за дверь.

- А что до того, что гражданину Коврину, так вить кливита, ей-богу все кливита, - продолжал голос, - гражданин Коврин, он и непьющий, он совсем у бабки покупал, он же сволочь, ей-богу. Он рази может так пить?

Милиционер вернулся снова, взял Сергея за плечо и молча втолкнул его в комнату. Комната была какая-то клоповая, задрипанная и вся увешанная инструкциями и приказами.

За столом сидел участковый надзиратель, небольшой, коренастый, похожий немного на калмыка, впрочем, с вежливым и даже участливым лицом.

Он писал что-то с деловым видом, старательно выводя буквы.

Сергей прочел вверх ногами.

- Протокол.

Участковый надзиратель поднял на него глаза и спокойно промолвил:

- Как ваша фамилия, гражданин?

- Да нет же, не в том дело, как фамилия. Ведь убили ее, понимаете! Или нет, еще может быть и не убили!

Сергей вдруг взволновался и двинулся куда-то; но не успел он и на шаг отойти от стола, как участковый надзиратель повторил:

- Как фамилия?

- Травин.

Сергей побледнел и ударил себя в лоб рукой. - Что я сделал! Ведь Травин же, в самом деле Травин!

Но тут же он добавил, как будто назвать имя было совершенно неизбежно, когда названа фамилия.

- Сергей. Сергей Травин.

- Сергей Травин, так, - промолвил надзиратель. - Документы имеются?

- Документы. Да нет, у меня и не может быть никаких документов. Ведь я...

- (Только бы не сказать, не сказать, не сказать, что бежал, что скрываюсь).

- Что вы?

- Нет, ничего.

Надзиратель медленно отложил ручку в сторону, отодвинул от себя протокол и уставился на Сергея с вниманием.

- Травин? Сергей Травин?

Он помолчал с минуту.

- Ну, хорошо. Так значит документов у вас не имеется. Так. А как зовут женщину, у трупа которой вы были задержаны?

Слово "труп" показалось Сергею похожим на деревянную круглую колотушку, которой разбивают мясо.

- Труп! Да нет же! Я, еще когда ехали на извозчике, хотел сказать, что бывают такие случаи, что оживляют, понимаете ли, оживляют! Каким-то образом сжимают в руке сердце и оно начинает биться.

- К сожалению, труп, - вежливо сказал участковый надзиратель, - так как же зовут эту женщину?

- Молотова, Екатерина Ивановна.

- Молотова, Екатерина Ивановна, - записал надзиратель, - какая профессия и сколько лет?

- Не знаю сколько. Стенографистка.

- Стенографистка, отлично; а где же она проживает, вам известно?

- Да ее украли, понимаете? Продали ее этому Барабану! То-есть я не уверен, что именно ему, именно Барабану, но думаю да, думаю, что ему!

Надзиратель вскочил и во все глаза посмотрел на Сергея.

- Ба-ра-ба-ну! Какому Барабану?

- Ну да, Барабану! Он налетчик, вы должны были знать это имя! Я хотел даже одно время обратиться к вам, но...

Надзиратель сел с треском и, разбрызгивая чернила, с ужасной быстротой принялся писать что-то.

Через минуту он снова обратился к Сергею, стараясь говорить вразумительно и спокойно.

- Гражданин, успокойтесь. Успокойтесь, гражданин! Скажите мне, известно ли вам местопребывание этого человека, которого вы назвали Барабаном?

- Известно! Впрочем нет! Не совсем известно. Должно быть где-то на Бармалеевой. За Малым проспектом. Там у них эта... как называется?... Ну же!... Да! Хаза.

Надзиратель снова подскочил.

- Хаза?!

- Ну да, хаза! Там они держали ее, понимаете ли, ее, Екатерину Ивановну. Я искал ее по городу больше недели, бегал по притонам, по ночлежным домам, наконец нашел, должен был увидеть, увести с собой, и вот... Вы знаете ли, я еще не успел добежать, как он подошел к ней, два шага не больше, и ударил в спину.

- Кто он?

- Не знаю, кто! Какой-то в матросской блузе, ворот зашпилен.

- Подождите... (Надзиратель снова принялся выводить аккуратные буквы). Так... искал стенографистку Молотову... так... подбежал человек, одетый, по показаниям задержанного, в матросскую блузу, и ударил в спину...

- Каким оружием ударил?

- Не знаю. Вся спина... в крови.

- А откуда же вам известно, что эта женщина была задержана у себя налетчиком Барабаном?

- Откуда известно? Да из письма же! Из письма, которое я нашел у ней в комнате, в доме Фредерикса!

- Где? Так! В доме Фредерикса! Имеется у вас это письмо?

В эту самую минуту Сергей вспомнил, что письмо, которое он взял у старушки из дома Фредерикса, подписано фамилией Карабчинского, а вовсе не прозвищем Барабан.

- Имеется у вас это письмо?

- Н... нет. Я его оставил...

- Где?

- Дома.

- Позвольте узнать, - участковый надзиратель ласково наклонился к нему, где вы имеете местопребывание? Я прошлый раз позабыл об этом спросить.

- Я? Я тут остановился... на Литейном.

- Так. На Литейном. Номер дома позвольте?

- Номер дома? - Сергей назвал первую попавшуюся цифру - двадцать три.

- Литейный двадцать три, - с готовностью, как бы подтвердил, надзиратель. Он пересмотрел протокол: - Значит вы показали, что разыскивали эту самую стенографистку, и, наконец, узнали, что она находится в помещении, занимаемом Барабаном на Бармалеевой улице. Так. А от кого же вы это узнали?

Сергей вдруг посмотрел на него со злобой.

- Послушайте, оставьте меня! Я совсем разбит, я больше не могу, честное слово, не могу выдержать. Кроме того, я не скажу вам, от кого я это узнал. Я дал честное слово.

- Нет, вы не волнуйтесь, пожалуйста, - сказал надзиратель, - может быть вы курите? Разрешите, я вам предложу папироску. Так. Значит дали честное слово. Так и запишем: дал честное слово.

Он немного помолчал и потом продолжал спрашивать, сам закуривая папиросу.

- А где же вы были в момент совершения убийства?

- Я? Недалеко! Шагах может быть в двадцати, не больше. Я ждал ее, понимаете ли, один человек устроил это, чтобы она вышла, ну бежала, что ли, оттуда, из хазы, ночью. А меня оставили ждать на углу Малого.

- Так, так, так. Стало быть эта самая хаза-то по Бармалеевой за Малым. Запишем... гражданин Травин... Травин, экая знакомая фамилия... н-ну, ладно, так... Травин показал, что в момент совершения убийства он находился в двадцати шагах, на углу Малого проспекта... А вам и видеть его так же случилось?

- Кого?

- Да этого самого Барабана?

- Да нет же. Я же говорил, что из письма, только из письма о нем знаю.

- А других прозвищ, кроме Барабана, не знаете?

- Знаю, кажется, его фамилию... Там было еще одно письмо... впрочем нет, просто говорили, что фамилия Карабчинский.

- Карабчинский?

Участковый надзиратель даже потемнел, кровь прилила к лицу.

Он вскочил и выбежал в соседнюю комнату.

- Оперативный отряд! Да! Кутумова! Да, да!

Сергей посмотрел на стол, заваленный бумагами, на стены в клоповых запятых. Позади него, засунув руку за пояс, стоял и тарачил сонные глаза молодой безусый милиционер.

- Много, да, да, много, опасный налетчик, - говорил в соседней комнате надзиратель... - а это уже как вам будет удобнее, товарищ! Проверьте да, разумеется, проверьте, потому что сведения случайные.

Он вернулся и снова сел за стол.

- Так. Отлично. А вот, между прочим, вы упомянули о том, что эта самая стенографистка, которую убили, каким же образом она попала на Бармалееву улицу?

Сергей отвел глаза от клоповой стены, встрепенулся и снова начал говорить, говорить, с убедительными жестами наклоняясь через стол к участковому надзирателю.

- Как это каким образом? Не знаю. В том письме, которое я достал, только приглашение занять место, понимаете ли, место стенографистки, ведь она стенографистка отличная, ну и это письмо подписано Карабчинским. Я потому и стал догадываться, что ее украли, понимаете, ведь она к себе домой не являлась больше двух недель, и это там, на Лиговке, в милиции должно быть известно.

- Так. Вероятно известно. А вы как же, гражданин Травин, давно уже живете в Петрограде или приехали только для того, чтобы разыскать эту стенографистку?

- Я? да нет, я... приехал сюда. Я не живу здесь постоянно.

- А где же вы проживаете постоянно?

Сергей замолчал. Надзиратель постучал косточками пальцев по столу и повторил вопрос.

- Я приехал из Тамбова, - сказал, наконец, Сергей, - да, из Тамбова.

- Ах, из Тамбова? Так. Запишем: из Тамбова. А какого числа вы приехали?

- Недели две или три, не знаю. Да не все ли равно, какого числа, вот вы спрашиваете о пустяках, а я мог бы пока помочь раненой.

- Убитая уже отправлена в Петропавловскую больницу, - сказал надзиратель, - вы можете быть на этот счет совершенно спокойны, гражданин Травин! Ах да! Травин, именно Травин!

Он пощипал складки между бровями и задумался, как будто стараясь припомнить что-то. Сергей посмотрел на него в упор, и вдруг ему снова показалось, что его голова полетела по воздуху, а тело падает к ногам безусого милиционера.

Надзиратель встал и прошелся по комнате туда и назад.

- Поди-ка, позови ко мне товарища Поппе, - сказал он милиционеру.

Тот вышел и через минуту явился с маленьким человечком в штатском платье.

- Товарищ Поппе, у вас имеется сообщение П-ого Гепеу о задержании бежавшего отсюда арестанта?

- Да-с, - отвечал маленький человек в штатском.

Сергей закрыл глаза: все рухнуло, он стоял в каком-то необыкновенно узком коридоре и дрожащими руками держался за трещину в стене, за клоповую запяную на обоях.

- Товарищ Поппе, - снова спросил надзиратель, - вы не помните, как фамилия этого арестанта?

- Нет-с, никак не припомню сейчас, - отвечал человек в штатском.

- Так будьте добры, разыщите-ка мне эту бумажку и принесите сюда.

Надзиратель снова закурил и принялся снимать со своей форменной куртки пылинки, волоски.

- Так вы приехали из Тамбова? М-гм. А как же случилось, что с вами нет никаких документов?

Сергей даже и не слышал, о чем его спрашивали.

- А чем же вы занимались в Тамбове?

Человечек в штатском принес бумажку и подал ее через стол квартальному надзирателю.

- Мыг, ымыг, мыни, мыним, - прочел тот, - так... предлагается вам... Сергея Травина... мыгы, мыгым, мыгым - так, задержать...

- И подписи, - сказал он, значительно поглядев на Сергея, - и надлежащие подписи. Так значит...

Он замолчал на мгновенье.

- Так значит, вы арестованы. Ничего не могу поделать. М-да. Это вы самый и есть бежавший арестант. Что вы на это скажете?

Сергей отвернулся от него.

- Ничего вы мне на это не скажете, - с удовлетворением сказал надзиратель, - а ведь оригинальный, честное слово, оригинальный случай!

XV.

- К сожалению, - сказал приказчик, ласково глядя на Пинету, - вам придется переменить голову. У нас нет ни одной фуражки, которая подходила бы к вашей голове.

- Мама, неужели придется переменить голову? - спросил Пинета.

- Здесь нет ничего такого экстраординарного, - отвечала мама, - мне известны даже такие случаи, когда меняли не только голову... но и другое. Да, да, нечего смеяться, - и другое.

На улицах огромные каменные тумбы и свет снизу, через какие-то особенные стеклянные решетки.

Мама вела Пинету за руку по улицам, в небе качалась круглая голова, похожая на ярмарочные воздушные шары.

Снова магазин.

- Будьте так добры, гражданин, - сказала мама, почему-то раздувая ноздри, - подходящую голову. Видите ли, дорос до седых волос и теперь не подходит фуражка.

"До каких седых волос? - подумал Пинета, - я же вчера, я же третьего дня родился".

Приказчик принес голову какого-то турка или перса. Голова походила на утиное яйцо.

- Вот, пожалуйста, подходящего размера.

- Да, это подходящего размера, - определила мама.

- Мама, как же это, ведь это какой-то турок! Не могу же я в самом деле менять голову на голову какого-то грязного турка!

- Никакие не турки, - отвечала мама, - пожалуйста, заверните мне эту голову.

- Прекрасная голова, - заверил приказчик, - голова масседуан, агратан, за пять копеек с бархатом. Вы будете довольны, уверяю вас!

Снова улицы, улицы, улицы.

"В чем же, чорт возьми, дело, - подумал Пинета, - зачем же менять голову! Чорта с три, ведь можно же переменить фуражку".

Улицы исчезли. Потолок и узкое окно мелькнули перед ним, и он снова закрыл глаза.

Кто-то постучал в двери: раз, два, три!

- Войдите! - закричал Пинета хриплым со сна голосом.

Он провел рукой по лбу и, наконец, очнулся.

- Кто там! Войдите!

Никто не входил. Пинета прислушался: стучали в соседнюю дверь.

Должно быть никто не открывал, потому что спустя несколько минут Пинета услышал мужской голос.

- Откройте же. Откройте же, наконец!

- Это Барабан, - догадался Пинета.

- На одну минуту, - говорил Барабан, - для делового разговора, честное слово, для делового разговора.

- Да откроешь ты или нет, стерва! - вдруг заорал он, разозлившись.

Пинета снова закрыл глаза; его как будто качало из стороны в сторону; сквозь сон он слышал, как дверь трещала под ударами.

- Ее здесь нет! - закричал Барабан. - Убежала? Выпустили? Хамы, разбойники!

Перед Пинетой вырезалось четкими буквами - убежала.

Он тихонько повторил про себя - убежала, - попытался приподняться и сесть на постели, но снова со стоном упал назад и как будто ушел в темную комнату без окон и дверей, куда уж никак не мог проникнуть даже громкий человеческий голос.

Второй раз Пинета очнулся часов в 6 утра. Кто-то камнем бросил в стену его комнаты.

Немного погодя тот же звук повторился с большей силой.

- Стреляют, что ли?

Он сполз с постели и, держась руками за все, что попадалось на пути, добрался до двери, хотел постучать, но потерял равновесие и свалился на пол.

Тут же на полу он от боли с силой вытянул ногу; нога пришлась прямо в дверь, и дверь отворилась.

"Забыли запереть, - подумал Пинета, - должно быть все разбежались".

Он прополз несколько шагов по коридору и добрался до соседней комнаты, той, которую раньше занимала его соседка.

И здесь дверь была отперта. Пинета встал, держась за стены, добрался до окна и расплюснул нос о стекло.

Он увидел во дворе человека, который лежал на земле, за грудой камней.  
На нем была шинель с красным воротником и фуражка с красным околышем.  
Воротник и околыш в одну минуту объяснили Пинете положение дел.  
Человек поднимал вверх голову и старательно целился из винтовки по нему, Пинете.  
Раз! - и стекло разлетелось со звоном.  
Пинета шатаясь отошел в сторону и сел на стул.  
Разбитое стекло еще долго звенело у него в ушах каким-то особенным звоном...

-----  
Часов в 6 утра Пятак вбежал во двор, бросился в подвал, влетел вверх по лестнице и плотно задвинул за собой тяжелый засов.

Он остановился посреди кухни и выругался по матери.

- Мильтоны! Мильтоны идут. Вставайте!

Маня Экономка стояла перед ним в одной рубашке и тряслась от страха.

- Барабан здесь? Да говори же ты, сволочь! Барабан!!

Пятак выскочил в коридор и лицом к лицу столкнулся с Барабаном.

- Где? Откуда идут?

- С Большого! Чуть не сгорел! Поздно! С Газовой заложили!

Барабан хмуро посмотрел на него и сложил было губы, чтобы свистнуть.

- Стой! А с Карповки?

- Чорт его знает, Карповку! Окружают!

Барабан свистнул.

Он свистнул не напрасно; дом, в котором находилась хаза, стоял в самом конце Бармалеевой улицы.

Слева можно было уйти по Газовой, справа по набережной Карповки; если оба выхода были заложены, оставалось пробираться через пустыри на -ый переулок. Барабан выбросил из кармана кожаный портсигар и с яростью схватил папиросу зубами.

- Маня, - сказал он, - Маня, беги через пустыри на переулок. Посмотри, есть ли там мильтоны и бегом возвращайся назад. Что у нас есть?

- А! - закричал он вдруг, ударяя по столу рукой с такой силой, что вся рука налилась кровью. - У нас мало... У нас мало патронов!

Он замолчал и оглядел всех, кто был в комнате. Барин, только что вставший с постели, одетый как всегда так, что ни один крючок его офицерского кителя не оставался незастегнутым, был немного бледнее, чем обычно.

Он чему-то улыбался и крутил толстую, как шпингалет, папиросу.

Пятак, отдышавшись, прилаживал к окну оторванный ставень.

Володя Студент стоял отвернувшись, пристально разглядывая какую-то царапину на руке.

- Ну, - сказал Барабан, сжимая руки так, что на ладонях остались овальные следы от ногтей. - Ну! Теперь выбирать! Теперь уже выбирать! Что же? Отстреливаться или сдаваться?

Барин поднял глаза и с презрением пыхнул папироской.

Пятак заложил руки в штаны и выругался.

Студент обернулся, двинулся было куда-то, но остался на месте.

- Значит, - сказал Шмерка и замолчал. Он глубоко вздохнул и вытащил из кармана револьвер.

- Пятак, ты будешь стоять справа, там, где лежит этот мальчишка! Барин и я - в столовой.

- Студент, ты, - Барабан схватил его за руку и дернул к себе. - Да ободришь, малява! - Ты стреляй из кухни.

- Ну! - повторил он, - что она не приходит, эта стерва?

- Ну!

Пятак отодвинул ставню и заглянул в окно.

- Идут.

Еще через две минуты в дверь застучали.

- Отворите! Милиция!

Пятак длинно и мастерски выругался.

Барабан подошел к самой двери и крикнул:

- Уходите вон, хамы!

-----

Пинета все покачивался на стуле из стороны в сторону.

Он качался с закрытыми глазами, как мусульмане, когда они творят свой намаз.

Он был сильно избит, руки и ноги горели, как будто их со всех сторон облепили горчичниками, в голове звенело.

Кто-то закричал позади него:

- А, фай, здравствуй! Ну что, отдышался?

Пятак подбежал к окну, глянул и отскочил назад в ту же минуту.

- Вот тебе, баунька, и Юрьев день, - проворчал он, - чуть ли не целую бригаду притащили, бездельники!

- Это вы о чем... говорите? - пробормотал Пинета.

Он говорил как будто про себя, но Пятак услышал и обернулся.

- Что брат!! Амба! Амба, братишка! Пой отходную! Гореть!

И в подтверждение того, что дело - амба, что придется гореть, пуля с треском ударила в оконную раму.

- Шалишь, лярва, - яростно ворчал Пятак, тоже как будто про себя, - не дадимся, елды! Не возьмешь!

Он схватил с кровати подушку и заткнул ею еще раньше выбитое пулей окно.

Бережно вытащив из кармана обойму от браунинга, он принялся вщелкивать в нее патроны.

Набив обойму, Пятак стал на колени перед окном и приподнял снизу подушку.

Подоконник служил ему опорой, он просунул браунинг между подушкой и рамой и начал ту работу, которую каждый налетчик считает нужным выполнить перед смертью.

Пинета творил свой намаз и думал: "Бригада... Наверное, угрозыск".

Он написал на стуле - угрозыск - и прочел назад - ксызоргу.

- А налетчиков? Один, два, три, много четыре. Плохо!

Пятак отстреливался; глаза у него заблестели, волосы свалились на лоб; он стрелял из браунинга; запасный ноган торчал у него из кармана штанов.

"Плохо, - думал Пинета, - убьют! Вот сволочи! Бригада! Все на одного, один на всех!"

Он кое-как встал, подошел к Пятаку сзади и положил руку на плечо:

- Послушай, - сказал Пинета довольно тихим голосом, - дай-ка мне второй револьвер!

Чорта ли они на нас целой бригадой нападают!

Пятак обернулся к нему и рассмеялся, несмотря на то, что пули били вокруг него в стену одна за другой.

- Фай, честное слово, - вдруг весело закричал он, - я говорил, что фартовый парнишка!



Пуля со звоном ударила в раму, и новое, верхнее стекло посыпалось в комнату.

Пятак отбежал, вытащил из кармана ноган и протянул его Пинете.

- Помогай, братишка! Да что уж, все равно! Х... на кон, братишка, тут и он - Антон! Гореть!

Пинета заглянул во двор; теперь уже не один, а человек двенадцать в фуражках с красным околышем залегли за камнями, в пустыре, недалеко от остатков кафельной печи, которая как будто молилась день и ночь, подняв к небу обломки труб, похожие на руки.

Только винтовки и фуражки кое-где торчали из-за камней.

Высокий человек в овальной шофферской шапке бегал между ними, распорядясь должно быть осадой хазы.

Пинета долго целил в этого человека из своего ногана, но ноган отказывался повиноваться.

Он нажимал курок по-всякому - и указательным, и средним пальцем, и двумя пальцами сразу, - ноган не стрелял, до тех пор покамест Пятак не крикнул, что нужно прежде отвести курок. Пинета отвел курок и снова прицелился в овальную шофферскую шапку. Рука у него дрожала, он никак не мог навести мушку; наконец навел. Человек в овальной шапке перевернулся на одном месте, упал, тотчас же вскочил и остановился неподвижно, как будто его тут же вбили ногами в землю. Потом снова упал.

Один из милиционеров выполз из своей засады, схватил его за плечи и, опрокинув на себя, потащил в сторону.

На месте шофферской шапки через 2 - 3 минуты появился человек в полной форме милиционера с портупеей через плечо.

- Их тут сколько угодно и еще два, - пробормотал со злобой Пятак.

Пинета в недоумении сел на стул и опустил вниз руку с ноганом.

Кусок штукатурки упал на него и с головы до ног засыпал высохшей известью.

Он озабоченно почистил платье и снова подошел к окну.

- Эй, поберегись, братишка! - крикнул Пятак.

Последние остатки стекол посыпались в комнату.

- Залпом стреляют, бездельники!

Пятак вытянул из браунинга пустую обойму и снова начал набивать ее патронами, которые он тащил теперь прямо из кармана штанов.

Набив обойму, он вывернул карман и яростно сплюнул.

- Пропало наше дело, братишка! - крикнул он Пинете. - Во, брат! - он повертел в руке обойму, - последняя!

- Наплевать, отобьемся, - отвечал Пинета, не вставая, впрочем, со стула и даже не поднимая руки с ноганом. Все это - и маленькие люди, спрятавшиеся на дворе за грудой камней, и свист пуль, и воронки на стенах, и Пятак, вщелкивающий патроны в обойму, - казалось ему какой-то игрою - в хоккей или другой игрой с замысловатым названием, которое он никак не мог припомнить.

- Хо-хо! - закричал Пятак с восхищением, - отобьемся? Ого! Вот так парнишка!

Отобьемся, говоришь? Отобьемся, так отобьемся!

Тут же он со злобой скривил губы, быстрым движеньем подтянул штаны и огляделся вокруг себя почти с отчаяньем; бежать было некуда.

Оставалось одно: снова стать на колени перед окном, просунуть браунинг между подушкой и рамой и до последнего патрона делать ту работу, которую каждый хороший

налетчик считает нужным сделать, прежде чем сгореть и закурить свою последнюю папиросу.

-----  
Барабан и Сашка Барин отстреливались от мильтонов со стороны Бармалеевой.

Комната, которую Барабан назвал столовой, ничем не напоминала столовую; даже обеденного стола в ней не было.

На дверях висели изодранные суконные портьеры, в углу стояла кирпичная печка, рядом с нею разбитый рояль, на почерневшем от дыма потолке было написано зонтиком или палкой "Лохматкин хляет", у окна, немного отступая вдоль по стене, Барабан и Сашка Барин с двумя ноганами и одной винтовкой держалась против отряда милиции.

Внизу, за обломками решетки, когда-то окружавшей дом, засели два десятка людей с винтовками, которые могли стрелять с утра до вечера и до нового утра непрерывно.

Они курили, смеялись и не торопясь играли свою игру, в которой им вперед отдавалось 24 фигуры. У них были жены, дети и до 12-ти часов свободного времени ежедневно.

Против них с третьего этажа с двумя ноганами и одной винтовкой защищали себя двое людей, у которых не было ни жен, ни детей и на всю остальную жизнь оставалось очень мало, не более трех часов времени, которое измерялось количеством патронов, а не часовой стрелкой.

Барабан был спокоен так, как будто еще не прошли далекие времена, когда он готовился быть раввином, как будто он сидел за столом в пятницу, а не отстреливался от целого отряда милиции.

Время от времени он задумывался и начинал напевать про себя какую-то еврейскую песню.

Он напевал:

Хацкеле, Хацкеле,

Шпил мир а казацкеле

Ун хочь анореме.

А би а хвацке!

В этом месте он стрелял, внимательно вглядывался, как будто желая увидеть, достиг ли его выстрел цели, и продолжал петь, качая головой:

Орем из нит гут,

Орем из нит гут

Ло мир зих нит шемен

Мит ейгенер блут!

Он заглянул в окно и закричал Барину, который в ту минуту прицелился, выбрав чей-то неосторожный околыш для своего ногана:

- Стой, Сашка!

Барин опустил руку, и оба услышали довольно звонкий голос, который кричал снизу, должно быть из-за решетки, служившей прикрытием для осаждавших.

- Прекратите стрельбу! С вами хотят говорить!

- Ого! - сказал Барабан, - с нами хотят говорить? Что такого хорошего скажут нам мильтоны, а?

Он крикнул чуть-чуть охрипшим, но веселым голосом:

- Ну, говорите, мы вас слушаем, вояки!

- Прекратите стрельбу! С вами будут говорить! - кричал тот же голос.

Должно быть он кричал уже давно, потому что еще трижды повторил ту же самую фразу, прежде чем кричавший услышал голос Барабана:

- Ну, ну, довольно уже кричать! Мы не стреляем... Халло, мы вас слушаем! вдруг заорал он совсем развеселившись.

- Пятнадцать минут на то, чтобы сдать оружие, - долетел до них уже другой, хрипловатый, но твердый голос. - Если вы сдадитесь добровольно, то будете согласно законам отданы под суд, в случае дальнейшего сопротивления вы будете расстреляны на месте.

Сопротивление бесполезно! Сдавайтесь!

- Они нам обещают так много, - сказал Барабан, - что можно лопнуть, только представляя себе это удовольствие! Что ты на это скажешь, Сашка?

Барин оборотился к нему и так скривил губы, что не оставалось никаких сомнений в том, как он относится к предложению осаждавших.

- Болтовня! - коротко сказал он, перевернув несколько раз барабан револьвера и пересматривая пустые гнезда. Шмерка вдруг задумался.

- Послушай, Саша, а может быть до суда удастся...

- Нам ничего больше не удастся!

- Так значит...

Шмерка снова остановился, но тут же подбежал к окну и с силой ударил кулаком по оголенной раме.

- Слушайте вы, герои! Что вы хотите от нас? Вы хотите, чтобы мы сдали вам оружие? У нас так много оружия, что вам не увезти его на двенадцати автомобилях!

- Отданы под суд, - вдруг передразнил он, - ваши законы! По этим законам мой сын, если бы у меня был сын, уже семь лет читал бы по мне кадыш! По этим законам я уже двадцать раз отправился бы налево! Что касается до того, что мы будем расстреляны на месте, то вы можете быть, таки да, уверены, что кое-кто из вас отправится вместе с нами.

Он обернулся к Сашке Барину и улыбнулся ему лицом, которое стоило закрыть обеими руками.

Но в ту же минуту он снова оборотился к окну и закричал, топнув ногой и ударяя кулаком по подоконнику:

- Гов-ня-ки!

-----

Пятак расстрелял последнюю обойму. Он вскочил с колен, рукавом вытер запотевшее от напряжения лицо и обратился к Пинете:

- Ну, братишка, ты что-то сдрейфил. Отдай-ка мне ноган.

И он несколько раз перевернул барабан револьвера, который Пинета молча отдал ему: в ногане застряли еще две пули.

Пятак вышел из комнаты и притворил за собой двери.

В кухне, с револьвером в руках, валялся Володя Студент, который был годен теперь только на то, чтобы пугать ворон на огороде. Глаза застеклились и видели такую посую хазу, которую не откроет ни один лягавый, даже съевший собаку на своем деле.

Он защищался до последнего патрона. Револьвер был пуст.

Пятак оттащил его в сторону и, несмотря на то, что пули начали уже ударять вокруг него в стены, сел у окна и положил голову на руки.

Так он сидел минут десять, до тех пор покамест его как будто подтолкнул кто-то в подбородок. Он поднял голову: по двору вдоль стены шли, крадучись, двое милиционеров

с винтовками в руках; один поднял голову, присел и шмыгнул в подъезд. (Подъезд вел на черную лестницу.)

Другой остановился, махнул рукой товарищам, которые толпились за углом под аркой.

Еще двое вышли из-за угла и, прижимаясь к стене, стали переходить двор.

Пятак посмотрел на пустые гнезда своего револьвера и скрипнул зубами.

Он выбежал из кухни в коридор и крикнул:

- Барабан, с кухни хляют!

Потом осторожно подкрался к двери, медленно, без скрипа отодвинул засов, на цыпочках отошел в сторону от двери и остановился в выемке, где висели кухонные тряпки и всякая дрянь.

Ждать пришлось недолго: через несколько минут он услышал на лестнице шаги.

Дверь отворилась, в кухню просунулись сперва винтовка, потом лицо человека, честно зарабатывающего свои 44 рубля в месяц.

Лицо обвело кухню глазами, посмотрело на Володю Студента и внезапно рванулось к двери.

Пятак выждал минуту, когда милиционер повернулся к нему спиной, выстрелил и бросился вниз по лестнице. Он свалил ударом ноги в чувствительное место другого милиционера, встретившегося ему внизу у выходной двери и выбежал во двор.

Со всех сторон, из подворотни, из-за угла, из второго двора вдруг выплыли и двинулись на него люди с винтовками.

Он выстрелил наугад и молча побежал к воротам. Уже в самых воротах на него напали, сбили с ног и прикладом винтовки вышибли из него всякую способность что-либо соображать и вместе с этой способностью мысль о том, что в его ногане не осталось больше ни одного патрона.

Он очнулся на извозчике с окровавленным лицом и скрученными на спине руками. По обеим сторонам его сидели милиционеры; оба внимательно следили за каждым движением Пятака.

На улицах начиналось движение, бегали трамваи, розовые арбузники раскладывали свои тележки.

Пятак помотал головой и сплюнул.

- Э-эх, мать твою в сердце, сгорел!

-----

Шмерка Турецкий Барабан больше не просил Хацкеле о том, чтобы тот сыграл ему веселую песню, и стрелял теперь из винтовки. Сашка Барин с пустым ноганом, который годился теперь только на то, чтобы забивать им гвозди, бродил по комнате и обсуждал план действий. План был прост, как карандаш.

- Барабан, - сказал он, останавливаясь и закладывая руки за спину, - стой, довольно стрелять!

Барабан обернулся к нему.

- Можно смыться?

- Э, брось, какое там смыться! Дай винтовку!

- Закуриваешь?

- Н-нет, - неопределенно ответил Сашка Барин и взял винтовку.

Он еще немного побродил по комнате, постучал прикладом об пол, заглянул в дуло.

Винтовка весила 11 фунтов и была той самой дальнобойной винтовкой системы Бердана, о которой узнает каждый новобранец на вторую неделю своей службы.

Он поднял эту дальнобойную систему и щелкнул затвором.

Барабан подошел к нему и положил руку на плечо.

- Сашка!

- Э, брось, - медленно отвечал тот, - что ты, в самом деле, филонишь?

Он поставил винтовку между ног, как будто собираясь встать на караул перед Барабаном и немного присел для того, чтобы дуло пришлось как раз между кадыком и подбородком.

Барабан отвернулся, его затрясло, ударило в пот. Барин потянул руку вниз, ощупал затвор, потом ухватился за курок.

В ту же минуту комната задышала шумом и оборвалась в бездну. Перед самым его лицом с ужасным шумом разорвался маленький ослепительный шарик, похожий на глаз.

Кто-то сверху ударил по голове, и боль от удара волнами прошла по телу, сдавила грудь и пробкой заткнула горло...

Он лежал, грянувшись лицом об пол и подобрав под себя винтовку.

Барабан опустил голову; у него перехватило горло, и он не мог проглотить слюны, которая, как склизкая глиста, двигалась под высохшим языком. Он присел на пол и начал тащить из-под трупа винтовку.

Пятак закричал что-то из коридора, немного погодя выстрелили совсем близко, за стеной, - он даже не обернулся к двери.

Винтовка была крепко зажата посиневшими пальцами. В ней застряли еще два патрона.

Он постоял, подумал, выронил винтовку из рук, подошел к окну и повалился животом на подоконник.

На дворе суетились, бегали туда и назад милиционеры.

Барабан посмотрел вниз, рыгнул и засмеялся.

- Халло! - крикнул он, размахивая руками. - Хазейрим! Берите меня! Целуйте меня под хвост! Теперь я вижу...

Он перевалился через подоконник, как толстая жаба слетел вниз и упал на кучу мусора возле помойной ямы.

Здесь он открыл глаза, увидел небо, землю, пять револьверов, поискал в кармане портсигар и dokonчил свою мысль.

- Теперь я вижу, что может быть лучше всего, если бы я таки стал раввином!

## **КЫРГЫЗСКАЯ ПЕЧАТЬ ПОСЛЕ ОКТЯБРЯ**

### **(историческая справка)**

Если обратиться к истории, то в Киргизии Советская власть была установлена в конце 1917- начале 1918 гг. Она вошла в состав Туркестанской АССР, образовавшейся в апреле-мае 1918 года. До конца 1920 года Киргизия, как и весь Туркестан, оказалась в огне гражданской войны. Затем молодая республика приступила к восстановлению разрушенной экономики, созданию новых форм общественной жизни, большое внимание уделялось вопросам культуры. Однако если в учреждениях Туркестанской АССР создавались самостоятельные узбекский,

туркменский отделы, то для казахов и кыргызов подобные учреждения были общими и назывались “казахско-кыргызскими”. В Ташкенте, а затем и в Верном был открыт казахско-кыргызский институт просвещения. А журналы и газеты “Жас кайрат”, “Тилши” выходили на казахско-кыргызском языке.

В октябре 1924 года в результате национального размежевания Средней Азии была образована Кыргызская автономная область в составе РСФСР, которая в феврале 1926 года преобразовалась в Автономную республику. Все это способствовало консолидации кыргызского народа в нацию, социальному и культурному развитию. Важную роль в этом процессе играла печать.

7 ноября 1924 года вышло первое периодическое печатное издание на кыргызском языке – газета «Эркин-Тоо». Трудно переоценить значение этого события в становлении и развитии национальной культуры. Первыми журналистами страны стали политические и общественные деятели, представители науки и культуры тех лет. Первым редактором газеты был Осмонкул Алиев, в последующем работавший народным комиссаром просвещения Кирг. АССР.. На страницах первой кыргызской газеты «Эркин-Тоо» печатались С. Карачев, К. Тыныстанов, И. Арабаев, М. Элебаев, Т. Джлолдошев, и др. В подготовке к печати первых номеров газеты активное участие принимали киргизские студенты, обучавшиеся тогда в учебных заведениях Ташкента А. Токомбаев, Х. Карасаев.

Заголовок первого номера «Эркин-Тоо» гласил, что газета, рожденная седьмой годовщиной Великой Октябрьской революции, является «ядром киргизского государства». А в обращении к читателям, подчеркивается, что роль газеты важна именно сейчас, когда кыргызский народ получил автономию. Причем газета обещала читателям, что будет писать не только о деятельности правительства, но и будет сообщать правительству о положении народа. Создатели считали, что газета должна стать орудием борьбы с темным, невежественным миром, который, по их мнению, со всех сторон окружает простой киргизский народ. А сообщения о деятельности мирового, российского, среднеазиатского рабоче-крестьянского движения должны были стать, своего рода, методическими указаниями для кыргызских бедняков и дехкан.

В статье «Эркин-Тоо. Кыргызский народ» И. Арабаев ученый-просветитель, автор нового кыргызского алфавита на основе арабской графики, пишет, что так сложилась жизнь народа, что у кыргызов на первом месте «свобода», а на втором «горы». Но сколько пришлось пережить народу ради этой свободы и ради этих гор. Он не указывает на какие-то конкретные события, а лишь описывает перенесенные народом страдания и у читателя постепенно

складывается картина тяжелого, временами трагического прошлого кыргызского народа. А теперь рабоче-крестьянское правительство и коммунистическая партия отдает в народные руки эти долгожданные «свободу и горы». И. Арабаев спрашивает у читателей, какое будущее у народа, у которого нет свободы и нет гор, и призывает народ следовать за путеводителем новой жизни газетой «Эркин-Тоо».

В своих выступлениях «День великого октября» и «Об учении и народных школах» С. Карачев, один из основателей кыргызской профессиональной прозы, первый ответственный секретарь газеты «Эркин-Тоо», напоминает, что Великая октябрьская революция дала «угнетенным народам свободу, судьба народа в его собственных руках и в этот момент весь кыргызский народ должен в едином потоке устремиться к учению и знаниям. Молодые люди, учившиеся в таких городах как Алма-Ата, Ташкент обучают детей в школах, открывающихся в каждом селе. Нас радуют любые народные начинания в деле просвещения». Но автор подчеркивает, что «мы еще далеки от намеченного». Так он пишет об отсутствии элементарных условий в школах, что многие из них построенные «силой революции» и сделанные кое-как и до сегодняшнего дня остаются хлевом («ат-кепе»). Сыдык Карачев с сожалением пишет, что нет тех, кто мог бы рассказать народу о пользе учения, нет людей, способных повести за собой, заинтересовать и изменить отношение простых людей к учению. Он открыто пишет о равнодушии руководителей сельских исполкомов и комитетов. Под школы отводятся зачастую заброшенные здания без крыши и если есть окна, то нет стекол, пни и кирпичи вместо парт и стульев. Карачев обращается к читателям с предложением, которое актуально и в наши дни: «расходы на тои, поминки, скачки, которые бытуют в народе, надо использовать в деле образования». Главной силой способной изменить ситуацию он считает молодых людей, выходцев из народа, получивших образование в учебных заведениях Алма-Аты и Ташкента: «Ваш долг быть в каждом деле впереди и показывать дорогу простому народу». И напоминает: «проявил халатность в деле образования сегодня, а завтра твоя участь хуже, чем у скотины на продажу!». Именно поэтому С. Карачев считает, что если для советского правительства вопросы учения, обучения являются третьоочередным «полем битвы», то для самого народа это первоочередное «поле для возделывания». Завершает статью призыв – направить всю решимость, смелость и ресурсы на образование.

Положение женщины в кыргызском обществе и вопросы их обучения также волновали авторов и создателей газеты «Эркин-Тоо». Так в редакционной статье «О равенстве женщин» отмечается, что если не уделять должного внимания решению этого вопроса, мы «не сможем ступить даже на последнюю ступень культуры». А надежды на изменения в жизни кыргызских

девушек: возможность учиться, выбрать профессию и мужа, связаны с новым руководством области и коммунистической партией.

Как видим, основоположники отечественной журналистики считали главной задачей печати – донести до народа, что после перенесенных бед и страданий, он обрел свою государственность, дальнейшая судьба народа в его собственных руках и только образование поможет сохранить наследие Октября. Каждая строчка в первой кыргызской газете «Эркин-Тоо» это призыв – участвовать в строительстве нового государства и новой жизни, а «успех строительства зависит от каждого».

### **ЭШЕНААЛЫ АРАБАЙ УУЛУ**

*Ишеналы Арабаев (1882–1933) – известный кыргызский ученый-просветитель, один из ярких представителей национальной интеллигенции. Однако попав в 1920-х годах в оппозицию официальному курсу государственного строительства, он был отстранен от активной политической деятельности и необоснованно репрессирован.*

*Наряду с просветительской деятельностью И. Арабаев занимается и политикой. В 1918 г. он возглавляет Пишпекский филиал партии «Алаш», оказывающей благотворительную помощь беженцам-кыргызам, возвращавшимся из Китая на родину. В 1920 г. И. Арабаев с другими кыргызскими представителями обращается с письмом «К товарищу Ленину лично», в котором сообщает о бедственном положении кыргызов горных уездов и просит уделить особое внимание беженцам. В 1921 г. он – делегат 1-го съезда союза «Кошчи». В 1922 г. И. Арабаев был в Москве на IX Всероссийском съезде Советов. С 1922 г. он – зам. председателя Семиреченского союза «Кошчи», один из инициаторов создания самостоятельной Горной области кыргызов. В 1924 г. – председатель академического центра Кара-Киргизской области.*

*Дополненное и переработанное учебное пособие И. Арабаева по кыргызскому языку переиздается в 1925 г. В период борьбы за ликвидацию неграмотности большую роль сыграл его букварь для взрослых. В те же годы он создает учебные пособия для начальных классов по арифметике, природоведению, переводит на кыргызский язык начальный курс географии, значительное количество общественно-политической литературы, в том числе несколько работ В. И. Ленина. И. Арабаев был одним из инициаторов и авторов заявления так называемой «тридцатки» – первого серьезного документа, противостоящего официальному курсу укрепления всевластия партаппарата. В 1925 г. этот документ был направлен в ЦК РКП(б), Средазбюро и Киргизский обком партии. Ответом на заявление «тридцатки» явилось исключение лидеров из партии и освобождение их от руководящей работы. И. Арабаев, имевший опыт преподавания в Среднеазиатском университете, остался работать рядовым преподавателем в республиканской совпартиколле и в медтехникуме. В 1933 г. он был арестован и обвинен в участии в политическом деле «Социал-туранской партии». 10 мая 1933 г. погиб в застенках ГПУ в Ташкенте. Лишь 9 июля 1958 г. И. Арабаев был реабилитирован.*

### **ЭШЕНААЛЫ АРАБАЙ УУЛУ. ЭРКИН-ТОО (КЫРГЫЗ КАЛКЫ)**



Канча жүз жылдан бери калк катарына кире албай асман айрырарлык жер кату болуп, жалгыз сыйынганы кара кылары тоо болуп, жайыкка чыкса жан жанындагы күчтүү улуттар канды суудай агызып, эркеги кул, катыны тул болуп келгени ар кимге анык белгилүү.

Ошол көргөн зордук-зоосбулуктардын арасында али күнчө маданияттан ыраак калып, батырап анан ошол учу кыйры жок башы асманга жеткен аркайган тоолордун арасына кирип баш калкалап эркин осүп ээси суйлоп келген. Тизилген берметтей болгон, кыркаар тартып катарлашкан калың тоолордун арасында туулуп, ошол тоолордун арасында аркар-кулжа, эчки-текелер менен бирге даң салып, чөптүн, гүлүн, жыгачтын, бүрүн, суунун тунугун, жаратылыш сыйлыгын кучкан кыргыз калкы сен элең... дегидей осуп, далагай тартып, бириң адырда, бириң шабырда, кайсың тоодо, кай бироо зоодо болуп, тондоосун осуп, тойос суйлоп же бир абдан чоң кысымчылыкта баш кошбосоң, же болбосо бир ашатыкта баш кошуп бири-бири менен аша үндөшө албай келген эл элең.

Кыздын ойну болгондо боз балдар эң мурун ошол “Эркин-тоо”дон баштап ырдоочу эле .

Эркин-тоо, эркин-тоо, эркин-тоо,  
Эркин-тоого мен чыксам,  
Эл карааны көрүнбөйт  
Көлдө жаткан көп өрдөк  
Ылаачын тийсе бөлүнбөйт.

Касабада кар жатат,  
Ботосу менен нар жатат,  
Жеңеси менен кыз жатат,  
Жеңесин өпсө жез татыйт  
Кызын өпсө алма шекер бал татыйт.

Мындын башка эң жакшы деп, макталган алардын баарында эркиндик тоо жөнүнөн келет.

Мындан чыкты кыргыздын көңүлүнчө эн кызык туюлуп, көзүнө эң сонун көрүнгөн нерсе эң мурун “эркиндик” экинчиси “тоо” экени. Ошол эркиндик хам “тоо”суна жөн койбос улам бир күчтүрөөгү келип мазасын алып, эң аягында, кече келип зулум(николай)дын колуна түшүп, баягы эркиндик өнүп, тоо жөргөмүштүн түрүнө түшкөн чынында чырмалып, торлонуп кайран “эркиндик менен тоо” чыркырап төбөсү... сүйгөнүн сагынып, саргарып атын айтып ырдаган боз балдарга кыргыздын колго карматпай турган сулуу кыздарды ийилип мойнун созуп бетинен оптюрюп, азоо жылкыдай үркүп назданган сулуулардын боюн эритип, мончоктой бетинен оптүүгө күргүштөгөн эркиндик менен баягы тоо.

Эркиндикти сүйө эринен айрылганда колдо бар күчүн жыйнап аны кайтарып алууга тырышчу эркиндикке чыгуу үчүн эң азиз болгон жынын аябай ошонун колуна курбан боло жалпы жараталыштын эң чоң бурчу экени белгилүү. Кыргыз калкы болсо,

ошол “эркиндик” ошол “тоо” тууралы канча кызыл уук болгон канча кызыл канын агызып кыргынга учурап башы-баян, аягы саян балгон. Кызыл кыргын болушуп качып ата-бабадан, катын-эрден айрылып ичинен чыккан азиз мерсентин азыкка сатып эмдигиче тыбыша албай жүргөнү да ошол “эркиндик” ошол “тоо”нун азабы. “Тоо” сүйүү кыргыз негиздүү тиричилиги ошол “тоо”до болгондугу. Кыргыздын эң чоң жомогунда (Манаста) айтылган:

Карагай калың талы көп,

Карарып жаткан малы көп

Кара малдан тоо көп

Карды салык бээ көп.

Калайынан күмүш көп

Кара эгинден күрүч көп.

Боз коёндон түлкү көп.

Ыйлагандан күлкү көп.

Бакасы иттей чуулаган,

Балыгы тайдай туйлаган.

Мына мынды көрсөтүлгөн кыргыздын эмгекчилеринин эмгегин кандай чарбага сиңирүүгө керек экени кыскасы кыргыз “тоо”суна эмгекчилер турган кыргыз эмгекчилеринин мунсуз кыла турган негиздүү чарбасын мына ушул кыска сүйдүм сөз менен түшүндүрүп кеткен.

Мындан көрүндү кыргыз эмгекчилери жыгаччылык, чарбачылык, кенчилик, дыйканчылык, аңчылык жери тоо болгондуктан тоонун карды саалык деп жакшы ат туудура турган жагы жылкынын асылын жакшыландыруу керек экенин көрсөтүп кеткен. Жанакы кыргыздын укурук тийбеген азоо тайдай туйлаган сулуу кыздырынан өдө боюн балкытып “эрк”менен “тоо”ну издегенде эңкейип мойнун буруп аркардай бетин тозо бергени анан ошол кыргыз тиричилигинин тиреги болгон “тоо”догу түгөнбөс байлыктар.

Ал эми кеммунист партиясы майданга чыгып, кеңеш өкмөтүн көрүп бүтүн дунуйо эмгекчилерине өзүлбөс силин жүргүзүп барк, эркке чындап ураан чакырыгында көбөөлдөп чыккан балыктай кыргыз кор-курдагы көзүн жылтыратып көбчүлүк ураанына кошулду. Мынакей кедей өкмөтү кеммунист партиясы “кыргыз сен дагы бир уруу журтсуң” деп баягы сагынып, саргарып күткөн, , канча ирет каныңды төккөн баягы тордолгон “эркиндик менен тоонду” колуңа берип...?

Кыргыз кедейлери эркке чыктың эл бол, эсинди жыйнап энчилеш табынды тоодой аркасын, күндөй жарыгын тийгизип олтурат.

Мына ушу максаттарды калың кара кыргыз калкына сиңирүү жана да калк катары билим берип маданиятка жакындаштыруу, жогорку айткан жалпы жеңге кичүүлөргө

жүгүртүлгөн талабыңды бекем кармап, нык жабышуу үчүн кыскасы азыркы жарык заманга ылайыктуу журт болуу үчүн эң биринчи шарт кезит, кыргыз-кыргыз болгондон бери өз тилинде журнал, кезит дегенди көрбөй ары жети түтүн ааламдагы бери чети өз журтунун арасындагы тиричилик, саясат, маданияттан кабарсыз караңгыда калган мына эми эркин –тоо өзүнчө өкмөт болуп энчисине баягы “тоо”суу тийген соң кемунистун кеңештин жолун тиричилик, саясат, маданиятка чылым-билимден кабардар болуп эмгекчилик табын таанысын деп мына бу кезитти чыгарып олтурат. Бул кезиттин атын баягы көңүлдүү элжиреткен “эркин” менен “тоо”ну эриктүү койулду. Ал эми кыргыздын эмгекчилери качантан бери жоголгон эригин сагынып “сейнек” болуп “кукук” деп самырдай какшаган, жоголгон эркине кошулуп колуна тийди. Бек карма! Бул эркин-тоо үчүн төгүлгөн жаптарың, сатылган баштарың, ажыраган теңдериң, кыйратылган сөөктөрүң, эрдериң кул болгон катындарың күң болгон бек карма кыргыз бек карма!

Каз аяба жаныңды! Жумша аяба малыңды! Бул эрик менен тоо жок болгондо билбейсиңби алыңды! Бек карма кыргыз бек карма! Кемунист кедей!

Жашың менен карыңар ар жагы кыргыз эркин тоону алыңар!

Баягыда жоготуп таппай жүргөн маалыңар бек кыргыз бек карма!

Кембагап менен кедейге келген дөөлөт конгон бак жан аябай белсенип күрөшөр керек. Ошончолук жарагың мына эркин тоо. Белиң талса сүйүнөр таягың мына эркин тоо. Бек карма кургуз бек карма!

Мына журт мындай эң чоң жолбашчыңыз боло турган жагыңды көздө.

Эркин-тоо ары чети бүтүн дүнүйө эмгекчилердин бери чети жалпы россия топурагында болгон эмгекчилеринин эң чоң улуу күнү болгон 7- октябрь куну Сиздерге белек кылып чыгарып олтурат.

Жашасын бүтүн дүнүйө эмгекчилери деп жолду бек чаап кедейликтен куткарып, эркек чыгырган жолдош Лениндин жолу жашасын эмгек негизинде курулган эрктүү кыргыз облусу.

Эшенаалы Арабай уулу

## **СЫДЫК КАРАЧЕВ**

*Сыдык Карачев (1900-1937) – прозаик, поэт, журналист. С 1918 по 1920 г. служил в рядах Красной армии, принимал участие в ликвидации Бухарского эмирата. В 1921-1923 гг. учился в Ташкентском военном училище им. В.И. Ленина. В 1923 году работал в организации “Союз коичу” (“Союз батраков”) в городе Караколе. Ответственный секретарь газеты “Эркин-Тоо”. Работал литсотрудником, а затем редактором Киргосиздата.*

*С. Карачев начал свой творческий путь как поэт и прозаик, пишущий на татарском и казахском языках. В газетах “Комек” и “Ак жол”, в журналах “Шолпон”, “Жас кайрат”, “Аел тендиги”, с 1918 по 1924 г. было опубликовано около тридцати*

*стихотворений несколько рассказов, множество публицистических статей и театральных заметок С. Карачева. В них изображается тяжёлая жизнь кыргызского народа в прошлом и те изменения, которые принесла власть Советов. В каждом публицистическом выступлении он призывает кыргызский народ к овладению знаниями.*

*Выступления С. Карачева в “Эркин-Тоо” это своего рода «программные статьи» редакции.*

## **СЫДЫК КАРАЧЕВ. УУЛУ ОКТЯБРЬ КҮНҮ<sup>122</sup>**

Бүгүнкү күн, ач көз залиим байлар, ак сөөктөр, капиталистер, генералдардын иш башынан куулуп, барса калбес сапарга айдалып аягы асманга келген кези.

Бүгүнкү күн эче жүз жылдардан бери кедей кембагалдар табын кулдукта караңгылык, надандыкта мал ордуна айдап кул ордуна иштетип доорон сүргөн арам тамак, кан ичелердин түбөлүк жоголуп жерге жеткен куну... Жарды-жалчы кедейлердин камкору жолбашчысы аркылуу жолдош Лениндин Кызыл туу кармап “бүтүн дүнүйө эмгекчилери бириккиле” деп уран салып жер дүнүйө жаңырткан күнү...

Кедей кембагалдардын аззатык, тендик эркиндик алып кол-аягы бийлөдөн бошоп жарыкчылыкта туура жолго аяк баскан күнү...

Эзилген, жнчылган эркисиз журттардын өз тизгинин өз колуна тийип араларында тегиздик туугандык ыйамы күчөгөн күнү...

Сайда саны жок кумда изи жок “болуп саргарып камыккан, зарыкан күн чыгыш улуттарынын бай манаптар колонизатор, кулактардын зордугунан кулдугунан бошонуп журт катарына кошулган күнү...

Бул биздин кымбатту ардактуу Октябрыбыздын жети жылдык улуу майрамы! Мындан алты-жети жылдар илгери, 1917 жылы февраль айына дейде россия мамлекети зоо артагыраак кара журок-таш Романовдар тукуму бийлеп келди. Булар эзелден бери тарта кедей кембагалдар табын кысып, эзип, жаркчылык жүзүн көргөзбөй караңгылык наадандыкта кармады. Падышанын берген буйругу буйрук болуп, эч бир чек койулбастан, бузулбастан иш жүзүнө орундалып турду.

Өз сөзүн сөз кылуу, өз сөзүн ишке ашыруу үчүн ар вакта иш башына байлар манаптар, ак сөөктөр, чоң курсактардан койду. Аларды ар жерде ар кайда колдоп, курматтап кедейлердин канын сүлүктөй соруп турууга жиберди. Кедейлер байдан көргөн кордугун сүйлөп арыз кылып барганда падыша төрөлөрү, улуктары кедейдин арызын кулагына илбей, байдын сөзүн сүйлөп, байдын ырын ырдап байкуш кедейди тергеп, тилдеп айдап чыгарчу.

Мыны минтип шору каткан кедей, маңдай тери-таман акысына ээболбой арыз бергени үчүн жоопкер болуп сасык түрмөлөрдө саргарып жатчу. Бай-манаптар “ак-

---

<sup>122</sup> Печатається по: *Эркин-Тоо, 1924 №1. (расшифровка Акматовой Ш.).*

падыша”нын аркасында жыргап-куунап, кылбаган бузуктук, кылбаган ....<sup>123</sup> калтырбай эмгекчил калктын мойнуна минип комузуна бийлетип дооран сүрдү.

Падыша өкмөтүнүн диниди урматтап, динди жактагандыгына таянып поптор, молдо, эшен, кожолор эмгекчилердин олдум талдым дегенде тапкан бирин экин пулдарын алдап карындарына толтурду.

Алда кайдагы эски бузук фатыфарлар менен караңгы элдин көзүн будалап заман окусу, заман билим, деген жемиштерди уу кылып көрсөтүп кедей табынын наадандык билимсиздигине, эзилишине себепкер болду.

Түркүстан шекилдүү жерлерди колония жасап алып, анда жашаган элдерди ынтымак-ырашкерин кошпой; араларына салкындык, душмандык салып бири-бирөө менен талаштырып, эрегиштирип, митаамдык саясатын жүргүздү. Россиядагы орус дыйкандардын жерин помещиктерге тартып берип аларды ач-жыланач эче миң чакырымдан түркстанга, сибирге көчүрдү. Түркүстандын жакшы жерлеринин баарына озунун ач көз пейли пас колонизатор, кулактарын толтурду. Кыргыз, казак өндөнгөн элдерди “өлсөң өл, тирилсең тирил” деп тоо-таштын арасына айдады.

1914-жылы бүтүн дүнүйө капиталистеринин урушуна кошулуп дын үчүн буйуму урап” канча миллион жумушкер, дыйкан балдарынын кандары чачылып кырылууна себепкер болгон ушул “ак падыша”нын акмак өкмөтү болгон. Аягында 1917 –жылы февраль айында төңкөрү болуп падыша таж-тактысынан айрылып күлү көккө сапырылды. Бирок мамлекетти ала өгүз желмогуздай кайтадан өз колуна алып, кедей-кембагал, жумушкерлер табын алдап кайтадан эски заң, эски жосунга салууга ойлошту, байлар тарабын, жактап аларды көтөрмөлөөгө киришти. Таттуу тилдүүлөрдүн алдап соологонуна абыдан бышыгып маш болгон жумушкерлер бу жолу алардын баарысын түбөлүгүн түз кылып өкмөт башынан айдап ишти өз колуна алды.

Ушинтип кызыл тууну көтөргөн кызыл каарман жумушкерлер октябрь төңкөрүшүн жасашты.

Мына ошонтип, октябрь төңкөрүшү кедей, эмгекчилерди өз жасымышын тиричилигин кем-кетигин өзү чече турган кеңештер өкмөтүн дүнүйөгө келтирди, жерсиз, суусуз какшап жүргөн кедейлерди жердүү кылды. Аларды жерге олтургузуп бузулуп иштен чыккан чарвасын түзүшкө, оор турмушун жеңилдетип көркөм жолго коюга себепкер болду. Наадандык караңгычылык кесепети менен укуксуз, эриксиз болгон аялдар эркектер менен тепе-тен тендик алып, ургаачылардын эркек колунда куурчак эмес, кара башыл адам баласы экендиги иш жүзүнө баарыга билдирип олтурат.

Окуу турсун окуунун жыты жетпеген элдердин баарына телегейин текши кылып окуу, билим өнөр таркатып, күч кайратын аябай, окуу журттарын салдырып атат. Кедей кембагалалдарды сабатсыздыгын жоготуп, аларды саясаттан кабардар кылып тап сезимин күчөйтүп, өкмөткө партияга жакындатып жатат. Октябрь төңкөрүшү түптүгөлү менен сактап жарды жалчы кедейлер табын коргой турган улут кызыл аскерин түзүшүнө кең жол мүмкүндүк берип олтурат. Кедейлер ач, жыланач калбасын деп калаа менен талааны бир бирөнө байланыштырып жакындатып, жай соодагер, кызыл кулактарды кагып

---

<sup>123</sup> В расшифровке стоит (?).

чыгаруунун чарасына киришти. Аягында ар бир журттун өз тагдырын өз колуна берип; өз тиричилигин өзү табууга жарыкка чыгып эркин тоо дем алууга, улуттар тендигин жүзөгө чыгаруу үчүн улут мамлекеттерин жасоого тендик берди.

Мына булардын баарысы да Октябрь төнкөрүшүнүн кедей кембагал эзилген шордууларга берген жемиши. Кондурган багыты...

Жашасын, эзилген журттарды азаттыка чыгарган ортокчулдар партиясы!

Жашасын, 3-интернационал!

Жашасын, жолдош Ленин чапкан жолу, осуяттары!

Жашасын, эмгекчилердин урматтуу улуу күнү Октябрь майрамы!

С.К.

### **С. КАРАЧЕВ. ОКУУ ХАМ ЭЛ МЕКТЕПТЕРИ**<sup>124</sup>

Биздин кыргыз-казак калкы эче жүз жылдрадан бери көчмөнүү турмуш менен мал багып, мал өөрчүтүп өмүр сүргөн. Отуруктуу турмуш буларда такыр жок болгондуктан ар качан малына жайлуу, ыктуу, чөптүү жер издеп бир орундан экинчи орунга которулуп бир жерде турук албастан көчүп жүрүшкө туура келген.

Мурунку увакта жер сууга өзү ээ өзү бий болгон кыргыз-казак калкы тилеген жерине көчүп, жайлап, малын багып, этин жеп эркин тибигаттын жайылган талааларында эриктүү тоолорунда кам-кайгы жок, эрке турмуш менен эрке өскөн.

Бир чети көчмөн, бир чети мал багуу менен тиричилик кылып күн өткөргөн кыргыз-казак дароо эле окуу жолуна кирип билимге жармашып кете албаган тиричилик жагы менен табийгат тарабынан эч кандай кысуу көрбөгөн кыргыз-казак калкы окуу окутуу иштерине чын ниети менен шымаланып кирүүгө мойну жар бербей кымызын ичип, ырын ырдап, малын багып күнүн өткөрө берген.

Качан туркстанды орустар алып, жер-суу тарылып колдон күч-кубат дөөлөт эрк кетип мурдуна суу жеткен кезде бул калктын көздөрү азыраак ачылган.

Окууга аз да болсо киришип, илимге азыраак көзүнүн кыйыгын салып чети белиин карана баштаган падышалык сайасаты жергиликтүү калктарды кандай да болсо караңгычылыкта, надандыкта кармоо болгондуктан окуу окутуу иштери көңүлдөгүдөй болуп тамыр жайа албай илгерилей албастан аксагандын үстүнө аксап келди.

Залим Неколай падышалык сүргөн кезде кыргыз-казак арасында жаңы тартиптүү окуу таралып кай бир жерлерде татар мугалимдерди окутуп жүргөндүгүн сезип татарларды мугалимдик кылууда таптакыр тыйды.

Аларга кыргыз-казак ичинде окутууга руксат бербей жолдоруна каша кармады.

Калыкты агартуу-көгөртүү ордуна түркстан улуттары арасында мисионерлик иштин илгери сүрүп алда-кайдагы “динди” таркатуу камына киришти.

Улуу октябр төнкөрүшү болуп баары эзилген журттарга эркиндик өз тагдырын өз колуна тийген заманда биздин кыргыз калкы жалпы-жайык окууга умтулуп окуу журттарына агылды.

---

<sup>124</sup> Печатається по: *Эркин-Тоо, 1924 №2(расшифровка Акматовой Ш.).*

Алма-Ата, Ташкент шекилдүү шарлардын ичиндеги окуу орундарына Ала-Тоо аразында айласы кетип окууга суусап жүргөн кыргыз жаштарды төлдө жер-жерлерде болсо айыл сайын мектептер ачылып мектептер салынып журт окуу ишине тыштырмагы менен жабышкандай болду. Кай, кайда болсо да кыймылдап кызуу, жандуу сүрөттө билимге жармашып, агартуу ишине киришип жаткан элди көргөндө эрктүү, эриксиз сүйүү турган элек.

Бирок окуу иштери биздин арабызда мыктоо, негиздөө орун алып көнүлдөгүдөй болуп санаган-санаага жеткен жок.

Окуу-окуту иштери кеңештер өкмөтүнүн 3-катарындагы майданы болсо, эл арасында анчалык тамыр жайып өрдөп илгери баса алган жок деп айтсак жанылышкан болбойбуз.

Караңгычылык, нандандык арасында анкоо өсүп ар жактан чоңдук кордук көрүп, маданият жүзүнөн караганда айбан катарында саналган кыргыз калкы ушу кезге чейин окуу жагынан барча журттан кийин калып олтурат. Жер-жердеги мектептер төңкөрүш эпкинине менен салынып, чала-була жасалып бул күнгө дейре “ат кепе” болуп жатат. Ал мектептерди түзөтүп, жазатып ишке ашыра турган эл жок.

Элге окуунун кымбатын пайдасын бере турган жемиштерин сүйлөп элди окууга кызыктырып оңдой турган ак жүрөк азаматтар, жол башчыларыбыз жок.

Эл ичиндеги мектептердин аты быр саны жок.

Айагы барып селсполком, селком кошчулардын башчыларына “мектебинер барбы?” “окуу иштеринер кандай түрдө?” деп сурасаң мектепибиз салынып жатат, балдар окуп аткансыйт” деп кош көңүл жооп менен ыраазы кылат.

Мектебин барып өз көзүң менен көрсөң ыйлогоо да күлүүгө да билбей аң-таң каласың. “Мектеп” деп арнап атап койгону үстү жабылбай, устундары жетишпей эшигинин бир жагы болсо бир жагы жок, тизген кирпичтери жаан-чачын менен урап атам замандан калган күмбөздү эске түшүрүп көңүл айнытат.

Кай бир айылдарда андай эмес, мектеп бар. Балдар чуулдап окуп жатканын көрөсүң. Бирок мунда дакей, жетпеген жерлери чачтан көп.

Мектеп үйүнүн ичине кирсек асты тактайсыз, чаң-топурак, терезеси болсо да айнеги жок, каршы-терши шамал болуп мектептин ичине куйун ойнойт. Балдар олтура турган парта жок, дөңгөч кирпич.

Кыштын кырчылдаган катуу суугунда ушу чыдай албай тиши-тишине тийип “Акыйнек” айтып олтуруп окуган окуу ою анда окуучу окутуучуданда келе турган пайда баарыга маалим болсо керек.

Кеңештер өкмөтүнүн жол башчысы, тоскоочусу ортокчулдай партиясы тендик-тегиздик уранын жер дүнүйөгө чачып эзилген күн чыгыш улуттарын азаттыкка чыгарып оз жазмышын оз колуна тапшырып олтурат. Улуттар азаттыгын жузого чыгырып ишке ашып олтурган кезде биз баштакыдай окуу-окутуу иштерибизге салкын карап салактык кылсак эч вакытта эл катарына кошулуп байгеге аралаша албайбыз.

Эл арасындагы азаматтар, кызматкерлер куру сөз, жыйрак уулданы баштап ушу баштан калың кара журтка окуунун пайдасын түшүндүрүп мектептерди аякка бастыруунун камын көрүү керек.

Окусуз, билинсиз адам баласынын дүнүйөдө жашашы мүмкүн эместигин чогулуштарда айрым-ачык далилидер менен сүрөттө жарийа кылып уру токтом эмес жандуу иш кылдыруу барыбыздын мойнубуздагы аткара турган бурчубуз. Биздин окуу калк агартуу жумушубуз бул куйдо барганда биз сайасы чарба кожолугу жактан бүгүн

болбосо эртең башкаларга дем болуп “байакы-байакы бай кожонун байагы” болуп каларыбызда талаш жок

Кыргыз калкы ичинде болуп келе жаткан той-аш, ат чабыш, жорбо сыйактуу иштерди окуу жолуна окуу пайдасына жумшоо керек.

Ошолордон түшкөн пайданы мектеп жолуна сарп кылып “эски кумбос” болуп аткан мектептерди күлүп турган окуу журтуна айландырууга барак ак жүрөк адал ниеттүү азаматтар жалпы-жайык умтулуп, жеңди шымаланып ишке киришүү тийиш.

Кыргыз ортокчул азаматтары!

Ар жерде, ар иште жол башчылык кылып, жол көрсөтүп, караңгылык чоңдугун журт үстүнөн жоготуу силердин милдетинер.

Окуу иштери жаткан-турган чагыңарда да эске алып элге мектеп ачууга түзөтүүгө, окууну биринчи кезектеги аткара турган карызы экендигин көрсөтүүнү унутпагыла! Бай кайрат, бай үмүт-тилек силерде!

Келечектеги жаш өспүрүм жаш муундарга аларга, бир олго болордук иш көрсөтүп жол чаап кетүү силердин карызыңар.

Жаш муундар алдында эмне кылдыңар? дегенде жеген ашыңарды актап адам баласы сыйактуу турмуш менен турганыңарды адалдап кызарып-татарбастан кыла турган ишиңер иш жүзүндө көрсөткүлө!

Заман окуу заманы...

Окуу ишине салактык кылсаң эртенки күндө “Анжыйанга” айдаган малдан жаман экениңди унутпа!

Бар кайрат, күч-кубат, мал-жан окууга жумшалсын!

Карач.

## КАТЫН-КЫЗДАР ТЕҢДИГИ<sup>125</sup>

Улуу октябр өзгөрүшү теңдик жемишин күн чыгыштагы эзилген калкка чачылганда, биздин кыргыз катын-кыздар, тезек терип жүрүп теңдик энчисинен куру калган окшойт себеби: мурунку эски заманда калк малга сатылып өз теңине тийе албай шору кайнап келген кыргыз катын-кыздары эле.

Октябр өзгөрүшү берген теңдик энчи биздин катын-кыздарыбызга эл катары тийген болсо, калың малдын тамырына балта чабылып, катын-кыз сата турган жармаңке эбак таркап кетер эле.

Катын-кыздар баасы күндөн күн артылып кыздуу кишилер кыр ашып бара жатат. Кыздын аты кыз эмес кырк жылкы болуп кыздарын малга эсеп кыла турган болду.

Мындай кыз базары көтөрүлүп олтурса, колунда түгү жок кедей шордуулары кандай кайдан алса болот. Жана кыргыз ичиндеги мектептерде бир жүз бала окуса ичинде кыз балдардан бирөө да жок. Улуттар арасында эң артта калып караңгылык каптап калган кашкарлык (уйгур) агайындардын катын-кыздары да теңдик энчисинен тең алып олтургандыгы ачык көрүнө турат. Маселен: Ташкенттеги ар бир мектептерде бетиндеги пардасын таштап окуп жүргөн кашкарлык туугандардын катын-кыздары көрүнөт.

Жана алар Орто Азия топурагындагы эзилген катын-кыздырды караңгылык пердесинен куткаруу камына киришип ташкендеги чыгып турган кезиттерге жазып тургандыгы кезит окуган азаматтарга белгилүү чыгар. Ташкенттеги окуп жүргөн

<sup>125</sup> Печатається по: *Эркин-Тоо, 1924 №2(расшифровка Акматовой Ш.).*



талапкер чамасындагы кыргыз балдарынын ичинде кыргыз кыздарынан окуп бирөө да жүргөнү жок. Эми бул эмнени көргөзөт?

Бул кыргыз катын-кыздарына теңдик тийбегендикти хам кыз баланы эркек баласындай көрбөгөндүктүү көргөзөт.

Мурунку заманда кызды 10-14 жашка чыгарып карадалы кылып берген кыргыз, эми 14-15 жаштагы жаш кыздан көктөйүндө соолтуп “буудайдын барар жери тегирмен, кыз деген буйлалаган төө”деп дагы бир нече макал, үгүттөрдү айтып, алдап соолоп бечераны аткарып берет. Өзүбүздүн бир мүчөбүз болгон катын-кыздарыбызды, мындай көз менен карап жүрө берсек, жакында эл болуп маданиятка жакындап аяк баса албайбыз. Кыргызды-да өзүнчө бир улут деп кеңеш өкмөтү таанып бул да эл болуп журт катарына барсын деп эриктүү облуст кылып олтурганда, катын-кыздар теңдигине жакшылап көз салбасак маданияттын эң аякы баскычында баса албайбыз.

Эми окуган үстөл башындагы кыргыз азаматтарынын алды жактан үмүтү тилеги болсо, өзүнүн карындашын болгон катын-кыздыры теңдигине чыны менен көз салар.

Артыкча жол башчыбыз болгон кемунист картийасы чарасына киришер деп ишенебиз.

## ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА

### АЛДАШ МОЛДО

*Среди акынов-письменников начала XX века следует отметить творчество Алдаша Молдо Жээникеева (1876-1930). Часть рукописного наследия автора была опубликована на кыргызском языке в 1990-е годы. Произведений Алдаша Молдо отличает “...историческая достоверность описываемых событий и лиц, отсутствие вымысла и аллегорических образов. Такое качество присуще всем без исключения произведениям акына. Отсюда и особенность их языка и стиля – открытость и прямота, название вещей своим именем. Вот, к примеру, названия некоторых ... его произведений: “1912-жылы болгон бир окуя” (“Событие, имевшее место в 1912 году”), “1913-1914-жылдардагы хуторлор тууралуу (“О хуторах 1913-1914 годов”), “1916-жылкы үркүндүн алдында” (“В канун бегства в 1916 году”), “Алтын шаар” (название города в Китае), “Көл баяны” (Рассказ об Иссык-Куле)” и т.д.*

*Установка на правду, поэтика факта непосредственно выражена поэтом в одном из его произведений: “Жазбадым жалган, буруусун, Жаздым анык, дурусун” (“не писал я лжи и того, чего не было, а писал то, что в действительности имело место”)<sup>126</sup>.*

*Современники акына знакомились с его произведениями как устно, так и в рукописных текстах. Х. Карасаев вспоминал, что в детстве знал “Үркүн” наизусть, а у его дедушки еще в Китае поэма была в рукописи.*

*“Үркүн” одно из первых произведений, в котором автор разъясняет слушателям и читателям значение для кыргызского народа установления Советской власти и обращается к соотечественникам, находящимся на чужбине, с призывом вернуться на Родину:*

*Кең Ысык-Көл, Жети-Суу,*

<sup>126</sup> Эркебаев А. Малоизученные страницы истории киргизской литературы. Б.: «ЖЭКА» ЛТД, 1999. – С. 137.

*Киндик кескен жериме,  
Уруяттын маанисин,  
Түшүндүр бириң бириңе,  
Көчпөй бирөө калбасын,  
Жардамдаш ага-униңе*

*Кысылгандан сатпасын  
Кысталып катын –балсын.*

*Калса уулуң кул болот  
Кызың калса күң болот*

## **АЛДАШ МОЛДО ҮРКҮН (ОТРЫВОК)**

Алдаш Молдо мен атым,  
Акундук менин санатым.  
Алсам колго калемди  
Замананын сапатын  
Жаза салмай адатым

Жакшы менен жаманын,  
Жашап турган адамын  
Баян кылып газалга  
Жаза салган адатым

Кулак сал сөзгө агайын,  
Аз гана көңүл ачайын.  
Уккула кары-жашыңар  
Үркүп келдик Алты-Шаар,  
Кайран эл карып болдуңар,  
Кайгы зарга толдуңар.  
Кыштан чыгаар үйүң жоок  
Кыш чилдеде тондуңар

Уккан жалган, көргөн – чын,  
Кедейлер алсыз, байлар тың.  
Соодагерлер кутурду  
Буттап сатып апийим

<...> Ак-суунун казий, муфтусу,  
Аябай кылды чоңдукту.  
Нафисине кул тартып,

Казий, муфту мунафык<sup>127</sup>  
Булар шариятты будалап,  
Динге да кылат зордукту.  
Амбалдын лийин бурмалап,  
Абийри кеткен кызталак,  
Акыры уылды кордукту.

Окуп көрсөм гезитин,  
Шаңзун-ажун бегимдин.  
Кулатып падша залимин  
Бөлкөндүк (полковник) жандыралысын.  
Битирбор, Маскөө эллине  
Тийиптир күндөй жарыгы.  
Урияты чыгып Лениндин.  
Ишенгиле эл-журтум,  
Төгүнү жок кебимдин.

<...> Алдаш Молдо апенден  
Алды колго каламын  
Журт иеси агайын,  
Барыңа жаздым саламым.

Жаздан калбай кетели,  
Жөө-жалаңдап жетели,  
Кең Ысык-Көл, Жети-Суу,  
Киндик кескен жериме.  
Уруяттын маанисин,  
Түшүндүр бириң бириңе,  
Көчпөй бирөө калбасын,  
Жардамдаш ага-иниңе

Кысылгандан сатпасын  
Кысталып катын –балсын.

Калса уулуң кул болот  
Кызың калса күң болот  
Өмүр бою тукумуң,  
Башына түшкөн түңөрүп,  
Капкараңгы түн болот.  
Азамат дегин Ленинди,  
Ааламга аты билинди,  
Уруятын узартса,  
Көзүн ачат элинин.  
Тушоосун чечет илимдин,  
Чачат журтка билимин.  
Падыша залим Николай  
Балакет баскан иттер – ай!

---

<sup>127</sup> Акмак, бузуку

Билимге качан тең кылды?  
Артыкча биздин кыргызды.  
Бирине бирин жем кылды  
Бүркүт кылып болушту.  
Биргоборун (Приговорун) кылдырып,  
Боорубуз мене жылдырып.  
Алып койду зордуктап  
Атадан калган конушту.

Ушул жерден кыскарттым  
Уруят заман баянын.  
Сөзүм бүтгү тамамат,  
Дуга кылып кой жайгын.  
Кудайга жаны аманат,  
Уруятты чыгарган,  
Узун болсун өмүрү,  
Узарсын Ленин азамат!

#### **К. ТЫНЫСТАНОВ.**

*Тыныстанов Касым (1901-1938) – ученый языковед, поэт, драматург, общественный деятель, профессор. В 1924 году был секретарем, председателем отдела Академического центра Туркестанской АССР, в 1925 году был редактором первой кыргызской газеты “Эркин-Тоо”. С 1927 по 1930 гг. – комисср народного просвещения Киргизской АССР. Тыныстанов принимал активное участие в разработке кыргызской национальной письменности, в деле перехода с арабского алфавита на латинский, а затем на русский. Создал первые учебники по кыргызскому языку. Репрессирован в 1938 году.*

*Первые стихи К. Тыныстанова начали появляться в начале 1920-х гг. в Ташкенте на страницах казахских газет и журналов. В 1925 году они под названием “Сборник стихов Касыма” вышли отдельной книгой в Москве. В сборник вошли тридцать два оригинальных стихотворения (пейзажная и интимная лирика, революционно-агитационные стихи), один перевод (“Стрекоза и муравей” И. Крылова) и большая поэма “Джаныл Мырза”. Как пишет известный отечественный литературовед С. Джигитов “Творчество К. Тыныстанова представляло собой значительное явление в истории киргизской словесности. Оно в первую очередь отличалось своей новизной мировосприятия, образного выражения, стихосложения. Тыныстанов - литературный первопроходец, заставивший киргизскую речь впервые заговорить довольно необычным образом, достаточно свежо, экспрессивно, красиво».*

*Поэма “Жаныл Мырза” основана на сюжете популярного кыргызского дастана, повествующего о драматической судьбе девушки-воина, вождя. Но не смотря на фольклорные истоки сюжета поэма беспорно явление письменной, профессиональной авторской поэзии. В отличие от других вариантов эпоса поэма К. Тыныстанова заканчивается смертью героини. Поэзия Тыныстанова оказала влияние на творчество многих молодых поэтов тех лет, как вспоминает писатель Т. Сыдыкбеков «...все, кто умел читать, знали стихи Тыныстанова, носили сборник с собой. Молодежь его стихи знала наизусть...»*

*В сентябре 2001 года прошла международная научная конференция, посвященная 100-летию К. Тыныстанова. Изданный к юбилею “Сборник стихов Касыма” воссоздает по содержанию издание 1925 года. На русский язык произведения поэта перевели известные отечественные ученые и переводчики В.И. Шаповалов и М.А. Рудов.*

## **К. ТЫНЫСТАНОВ. СЕГОДНЯ<sup>128</sup>**

Лик солнца блестит сегодня.  
Исчезла ночь сегодня.  
Кровавое, не издавшее ни звука, лишенное воздуха,  
Тревожное время прошло сегодня.

Задуманные цели исполнились сегодня.  
Каждому воздана своя доля сегодня.  
Радуетса и трудящийся, некогда истекавший кровью,  
Природа склоняет свою голову сегодня.

Растения, все живое, радуется сегодня,  
Беспощадное черное сердце растерзано,  
И те, кто кипел многие годы в крови,  
В здравии увидят друг друга сегодня.

Из капкана вырвались трудящиеся сегодня,  
Топором свалили знамена врага сегодня.  
Все объединившись, издав победные кличи,  
В согласии стоят у красного знамени сегодня.

Проснувшись, каждый удивляется сегодня:  
“Откуда радость пришла к нам сегодня?”  
Красное знамя блестит и словно говорит:  
“Трудящиеся, праздник сегодня, праздник сегодня”.

Товарищи, поднимайте знамя, шагайте вперед,  
Не лежите без дела дома, а на народ равняйтесь.  
Есть слово, которое оставили почтенные старики:  
«Тот, кто будет в стороне от народа, не дойдет далеко!»

1920

## **К. ТЫНЫСТАНОВ. СПРОСИ-КА, ДРУГ МОЙ, СПРОСИ!**

Сорока летит, стрекочет,  
Где молодые - не знает,  
Или сказать не хочет,

---

<sup>128</sup> Тыныстанов К. Сборник стихов Касыма. – М.: Центриздат народов СССР, 1925. – 111 С.( на кирг. яз). В сборник вошли стихи К. Тыныстанова, написанные в начале 1920-х годов в Ташкенте на страницах казахских газет и журналов. Печатается по: Эркебаев А. Малоизученные страницы истории киргизской литературы. Б.: «ЖЭКА» ЛТД, 1999. – С 161-162.

Или подачки желает,  
А может быть знает до срока,  
Проклятая эта сорока?  
Что с ними могло случиться? -  
Спроси-ка, мой друг, спроси-ка!  
Летит сорока, кружится,  
Сама сдурела от крика.  
Трещит, не смолкая, сорока,  
Скрывает что-то, пройдоха.  
А ветер сказку слагает,  
Кольшут высокие травы,  
Свистит, рыдает, играет,  
Устраивает забавы.  
Но в сказке его, однако,  
О молодежи нет знака.  
Такой вот чудесный ветер!  
Спроси же, мой друг, спроси же,  
Что у него на примете,  
Что им забавником, движет?  
Не выдает о молодежи,  
Сказку плетет похоже.  
Медь бубенцов прозвучала-  
Пришел караван усталый.  
В пути ему предстояло  
Узнать обо всем не мало,  
И караванчики были  
В далеких землях и ближе.  
О чем они там говорили?  
Спроси же, мой друг, спроси же!  
Что караванчики знают,  
О чем расскажут они нам? –  
Не видели, - отвечают, -  
Мы были в мире пустынном.  
Зимою на перевале  
Бредут вереницей люди.  
Куда беглецов загнали?  
Что с ними, бедными, будет?  
Зимой высоту такую  
Не каждый может осилить.  
О чем беглецы толкуют?  
Спроси же, мой друг, спроси их!  
Быть может на перевале  
Они молодых видали  
Шли с ними, может быть, рядом,  
Спросить у беженцев надо.  
Где наши сверстники, друг мой?  
Скажи не молчи, подумай.  
Они в Урумчи попали?  
Слух есть, что там их видали.  
Доходят вести оттуда,  
Что сверстникам нашим худо.  
Скажи или ты скрываешь  
К тебе дошедшие вести?  
Не спрашивай, друг, узнаешь, -  
И сердце замрет на месте.  
Я вижу, и ты страдаешь,  
Скажи, как есть, честь по чести.

Как темная ночь, их доля,  
Там на чужбине рыдают,  
Томятся они в неволе  
Вернуться домой мечтают.  
Возлюбленных разлучили,  
В рабов юнцов обратили.  
Проклятье! Сколько страданья  
Выпало юным в изгнанье!  
Не слушай, мой друг, не надо!  
Их мучают там безбожно.  
Чтоб описать муки ада,  
Слов подыскать невозможно.  
Услышишь, и страшно станет.  
В лед сердце, как от мороза.  
Вот так же от стужи вянет  
Во цвете нежная роза.  
От юных мы ждем рожденья  
Грядущего поколенья,  
Неужто они погибнут?  
Конца страданья не видно.  
Что слышно, примут ли власти  
В судьбе несчастных участие?  
Спроси, мой друг, не робея,  
Спроси, мой друг, поскорее

## **К. ТЫНЫСТАНОВ. ДЖАНЫЛ МЫРЗА**

Поэма

Далек тот век...  
На прошлое взгляни -  
То были удивительные дни,  
И коль старик под перебор комуза  
Вспомянет их, то сердца не вини.  
Подкрутит деревянные колки,  
И вырвется струна из-под руки,  
И слитно вспомнят голос и движенье  
Печаль и боль забывшейся строки.  
Струна звенит -  
Словно река шумит,

Певец заплачет - сердце защежит,  
Пусть это даже каменное сердце,  
Его печаль немая истомит.  
Те дни...  
Кто смог тогда их оценить,  
А оценив - сберечь и сохранить?  
Увы, спохватываемся случайно,  
Но ни вернуть не можем, ни забыть.  
И если так, зачем лицом поник  
И над комузом плачешь ты, старик,  
Зачем трех струн безудержные слезы?  
Истаял век и нам оставил - миг.  
И коль не оценили годы те,  
Как воспитаем юных в чистоте? -  
Пусть прошлое сердца соединяет

В его невоплотившейся мечте.  
Коль не умеем прошлое почтить,  
Как сможем мы грядущему простить?  
Струна комуза,  
Ты - воспоминанье,  
Нас всех соединяющая нить.  
Нет уж тех дней и не с чем их сравнить,  
Нет уж тех дней и их не вернуть,  
И я - лишь путник, что испугнул, как птицу,  
Людскую память -  
Чтобы вновь забыть...

## 1

Настанет осень, тьмой тесня живых,  
Поблекнет зелень - и весь мир притих,  
Дыханье стужи испугает землю.  
Нет ничего длинней часов ночных,  
И в эти ночи постигаешь ты,  
Как он нелегок - груз твоей мечты.  
Почудится комуз, и затрепещешь:  
Мелодия - в безмолвье пустоты.  
А музыка далекая - легка,  
Донеслась она издалека,  
Она тебе неспешно все расскажет,  
Что было скрыто в смутные века.  
И вздрогнешь ты - и прошлое опять  
Придет к тебе, не даст спокойно спать,  
И вспыхнувшая кровь набухнет в жилах.  
И вновь захочет грудь твоя дышать.  
И сон ушел, и мрак ночной угрюм,  
И ты во власти невеселых дум,  
Тревога обессиливает душу  
И вновь ответа не находит ум.  
И спят пространства, скованные льдом,  
И луч рассвета не заглянет в дом.  
А где же голос дальнего комуза?  
И вновь ответа не находит ум.  
И спят пространства, скованные льдом,  
И луч рассвета не заглянет в дом.  
А где же голос дальнего комуза,  
Что звал меня и разлучил со сном?..  
Я встал и вышел. В вышине луна  
Туманом осени заслонена  
И грустный отсвет лунного тумана  
Вокруг подчеркивает тишина.  
Речные камни светятся в ночи,  
Река - вся из серебряной парчи,  
И волчий след, сплетаясь с лисьим следом,  
Уходит в даль, где теплые ключи.  
Я шел на звук комуза - грустный звук,  
Не ведая, на север ли, на юг,  
И оказался на базаре людном,



Где шел народ, теснясь за кругом круг.  
Сидел старик с комузом в стороне,  
Был худ, оборван. Словно в полусне,  
Он пенью в такт покачивался тихо:  
Узнал я песню, что приснилась мне.  
Он нищим выглядел издалика,  
Но не лежало перед ним платка  
Для подаянья. Он лишь пел негромко –  
И песнь была печальна и горька.  
На торжище божились и клялись,  
В моем сознание день и ночь слились –  
Кто я, где дом мой, как сюда попал я? –  
Но песнь звала в неведомую высь.  
Игры не прерывая, старец встал  
И прочь побрел, и будто бы не звал  
Меня — но силой властной влекомый,  
Пошел за ним я и догнал.  
Мы шли недолго - сразу, в стороне  
Присели молча.  
Обратясь ко мне,  
Старик спросил, хочу ли я услышать  
Его рассказ.  
Кивнул я в тишине.  
- Не лгу я песней.  
Средь людских забот  
Мне не нужны богатства, юрты, скот,  
Я людям ложь не выдаю за правду,  
И кто не верит - пусть уходит тот.  
В плену былого, я пою о том,  
Что прежде было, в веке золотом,  
А сколько было вправду золотого,  
Кто знает? - это все в пережитом.  
У прошлого в грядущем смысл двойной.  
Кто шепчет: юность, миг цветущий мой!  
Кто вспоминает прожитое счастье...  
Но есть у прошлого и смысл иной.  
Увы, воспоминанья вороша,  
О чем болит, кровоточит душа? –  
Две чаши на весах бегущей жизни,  
Что взвесит память, горький суд верша?  
Кто глух душою, тот не тратит сил.  
Поведать обо всем не хватит сил,  
Быть может, сам комуз расскажет лучше,  
Коль мой рассказ покажется уныл.  
Кто хочет знать, как век ушедший жил,  
Как человек, судьбу нашедший, жил,  
Пусть, жаждущий к источнику приникнет:  
Запой комуз, напомни о Джаныл!..  
Старик насвай достал из кушака  
И пальцами коснулся струн слегка,  
Как будто приласкал их.  
Нежный рокот

Озерных волн пришел издалека,  
Луна из туч рванулась на простор  
Потоком золотым по склонам гор,  
И под его рукой по-человечьи  
Вздыхнул комуз  
И начал разговор.

## 2

- Пока века неслышимые шли,  
О, Ала-Тоо, кто в твоей дали  
По вечным звездам вольно вел кочевья,  
Чьи тропы по просторам пролегли?  
Кто спланивал примером свой народ? –  
Земля цвела, приумножая скот,  
И коль все жили в счастье и довольстве,  
Что ж на вершины пал холодный лед?  
Покуда ветер меж вершин гулял  
И вольный люд легко его вдыхал,  
Кто мудро и неспешно жизнь киргизов  
Хранит от бед, берег и направлял?  
И коль вы были, мудрецы, тогда,  
Зачем же вы ушли, отцы, тогда? –  
С уходом вашим снегом на вершинах  
Застыла рек бессмертная вода.  
Коль мудрых биев, зная, вспомним мы,  
То среди них Тагая вспомним мы,  
Он жил давно, но в памяти народа  
Он жив и ныне, светоч среди тьмы.  
Он мудрым был и мудрости учил,  
Он добрым был - и мир его почтил.  
Тюльку и Учуге - его потомки.  
Сказав о них, мы вспомним о Джаныл.  
О, кто - непозабытые - они?..  
Как далеки промчавшиеся дни,  
Как скоротечен бег их - бег куланов,  
Мгновенью промелькнувшему сродни!  
Что сказал тогда смеющийся смельчак?  
Пыл состязанья, праздный гул атак,  
Равнялся юный на батыров славных,  
Героем жаждал стать и так и сак.  
Два кровных брата - Учуге с Тюльку –  
Коней осаживали на скаку,  
Смелы в бою и веселы с друзьями.  
Чего б желать им на своем веку? –  
В них молодость и сила разлита,  
Но подступила зрелости черта.  
Кому-то улыбается удача,  
Но чья-то не сбывается мечта.  
... Пришла весна, и кочевать пора,  
Семья Тюльку готовится с утра,

Все собрано, навьючены верблюды,  
Разносит ветер пепел от костра.  
В отъезде муж, жене - всех торопить,  
Чтобы в пути чего не позабыть,  
Но с умыслом или захлопотавшись,  
Свекровь в седло забыла посадить.  
Хранить обычай - старших уважать,  
Им честь за их заслуги воздавать,  
Родителям во всем повиноваться —  
Есть в этом истинная благодать.  
Родился сын - собой горда жена,  
Но чтить тот род всегда она должна,  
Куда была просватана и замуж,  
Обычаю согласно, отдана...  
С восходом люди тронулись к горам.  
Подобна пестрой ленте, зрима нам  
Неспешного кочевья вереница,  
Вокруг разноголосье, смех и гам,  
Идут гурты, отары, табуны  
В плену пьянящих запахов весны,  
Звенит ответно бляенью и ржанью  
Посуда, что набита в курджуны.  
Тюльку лишь к вечеру сумел догнать  
Кочевку.  
И заголосила мать:  
- Гони сноху и отбери ребенка,  
Чтобы меня не смела оскорблять!  
Не стал доискиваться всех причин  
И проводил жену послушный сын,  
Обычаю он грустно подчинился,  
Хоть понимал - останется один.  
Осиротел Тынай, сынок Тюльку,  
Он к матери святому молоку  
Теперь вовек привыкнуть не сумеет,  
Не прикоснется мать к его виску.  
А сам Тюльку стал хмурым, помрачнел.  
Жениться вновь не стал - не захотел,  
Перегорело молодое сердце.  
И каждый, кто встречал его, - жалел.  
Прошло два года.  
Новая весна  
Пришла в наш мир надеждами полна,  
И на ущелий молодую зелень  
Упала солнце юного волна.  
Ах, к осени осыплются цветы,  
Ручьи иссякнут, выцветут мечты —  
Узри, о человек, в картине этой  
Бессмысленность всегдашней суеты.  
Тюльку все так же мрачен и суров,  
Порой не скажет за день и двух слов,  
И взор его тяжел и равнодушен.  
Тревожились в аиле: нездоров!

Что ж он так занедужил, затужил,  
Неужто бобылем прожить решил?..  
Но сам Тюльку вдруг понял с удивлением,  
Что думает все время о Джаныл!  
«Джаныл - вот бы на ком жениться мне,  
Умчать ее однажды на коне,  
Украсть жену, в обычаях киргизов,  
И жить в любви в родимой стороне.  
Но если не смогу ее украсть,  
Уж лучше мне в бою бесславно пасть!  
Неужто ханша юная Какшаала  
Отвергнет страсть, предпочитая власть!..»  
Созвал он приближенных. Сели так:  
Здесь - Учуче, Атакозу, Чубак,  
А на почетном месте - Предсказатель,  
Мудрец, вперявший взор в предвечный мрак  
(Его послал к Тюльку хан Шырдакбек),  
И им Тюльку открылся: - Человек  
Один не может жить, душа устанет  
И сократится жизни краткий век.  
- В твои тревоги сердцем погружен,  
Вчера, Тюльку, я видел вещий сон, -  
Откликнулся негромко Предсказатель, -  
И вот скажу я, что поведал он:  
Неколебима юная Джаныл,  
Но некто есть, один на целом свете,  
Кто б и такое сердце покорил.  
Нет трусу выхода, коль дух в огне,  
Для храбреца - нет выхода вдвойне,  
И поклялись батыры кровной клятвой  
Идти в набег к далекой стороне,  
Где камни с гор несет седой Какшаал,  
Где стойбища уйгуров среди скал,  
Где юную владычицу Какшаала  
Боготворили все - и стар, и мал.  
Заточены мечи и стрелы их,  
И в полдень и в ночи - пределы их,  
Доспехи медным солнцем обжигают  
И не сдержат руке коней лихих.  
Вот, четверо, они пустились в путь,  
Что будет дальше - знал ли кто-нибудь,  
Дошла ли весть о них к Какшаальским высям?  
Звени, комуз, о прошлом не забудь!  
... Кто ты, Джаныл? Твой лик во мгле седой  
Доселе полон давнею бедой:  
На свете не было судьбы печальней,  
На свете девы не было такой.  
Всех удалью беспечной веселя,  
Джаныл прекрасна, как сама земля,  
Где род ее от века вел кочевья,  
Судьбу о лучшей жизни не моля.  
Воительница! Трон ей ни к чему,

Жизнь женская - ни сердцу, ни уму,  
Мужской характер, ум - остер и зорок,  
Мырза - ее назвали потому.  
Установленьям предков вопреки,  
Она и одевалась по-мужски,  
Ее друзья - лишь беркут да борзая,  
Лук, стрел колчан и юные деньки.  
За нею ехали издалека,  
К Джаныл тянулась не одна рука,  
Иные захватить ее пытались,  
Но был готов отпор для чужака.  
И тот, кто полонить ее хотел,  
И тот, кто полюбить ее хотел.  
Узнали слишком поздно: нет спасенья  
От хищных, тонких, оперенных стрел.  
Одной свободы жаждала она,  
Блаженным одиночеством полна.  
В стрельбе из лука не было ей равных!  
Вот так-то - не ребенок, не жена -  
Она жила в придуманном раю  
И не желала жизнь менять свою  
В те дни, когда решил Тюльку с друзьями  
Невесту отыскать в чужом краю.  
... В тот день Джаныл охотилась вдали,  
Борзая впереди неслась в пыли,  
Летели стрелы в пустоте простора,  
Любую цель они настичь могли.  
К ее аилу дерзостью полны,  
Скакали смельчаки - хитры, сильны.  
Вернувшись к вечеру,  
Джаныл узнала;  
Пришли враги, угнали табуны.  
Ночь свой покров взметнула над землей,  
Но лук с натянутою тетивой  
Джаныл из цепких рук не выпускала,  
Когда гнала коня в простор ночной.  
Борзая молча мчалась впереди,  
Внезапно родилось в ее груди  
Короткое тревожное рычанье.  
Поводья брошены - конец пути.  
Вот спешила и, привязав коня,  
Вгляделась в ночь, в багровый плеск огня,  
Где у костра сидел Тюльку с друзьями,  
Все - на ладони, как при свете дня.  
Кипел казан. И в черной глубине  
Оврага, в тальниках, на самом дне  
Захваченный табун дремотно пасся.  
Джаныл на все смотрела в тишине.  
Их - четверо. Но взор остановив  
Лишь на одном Тюльку, она призыв  
Неведомого чувства ощутила,  
И защемило сердце: он - красив!

Но тут тайган, учуяв кровь, завыл,  
К огню метнулся.  
- Это пес Джаныл! –  
Вскричал Тюльку.  
В ответ запели стрелы,  
И каждый павший - навсегда застыл.  
Любовь, ты - пламя адского костра,  
Любовь — лиса, коварна и быстра,  
Что опытного беркута обманет.

Любовь, ты - ветер, вспыхнувший с утра,  
Он веет, властный, неостановим...  
Любовь - мираж, волнующийся дым.  
Одновременно близкий и далекий,  
Твой свет недостижим, непостижим.  
Лежат джигиты на ковре травы.  
Земля, соскучась по людской крови,  
Пьет жадно, как вампир, ее по капле:  
Вот - молодые, сильные! - мертвы...  
Джаныл очнулась.  
Медленно сошла  
По склону вниз - и молча замерла,  
Над умирающим Тюльку склонилась  
И прошептала, словно позвала:  
- Мой милый, женщина я, признаюсь,  
Я этой слабости своей боюсь,  
Я женщина - но я вас победила,  
Ты слышишь? - победила!  
Что за грусть  
Быть беззащитной на своем веку -  
Скажи, об этом думал ты, Тюльку?  
Вот как мы встретились...  
Теперь - расстаться? -  
И потянулась к острому клинку.  
И отрешенно к камню подошла,  
Клинок, заплакав, к горлу поднесла,  
Почувствовала вдруг, что умирает,  
В слезах затихла, словно умерла...  
Ночь таяла.  
Край неба посветлел.  
Костер стал пеплом возле мертвых тел.  
О смерти, о любви невоплощенной  
Печально ветер утренний запел.  
Но солнца луч, прорвавшись, заблистал  
И ветер вновь вздохнул и замолчал –  
И вытер слезы на лице прекрасном.  
И верный конь копытом застучал.  
Умолкла скорбь.  
И вздрогнула Джаныл,  
И поскакала молча в свой аил.  
Лежат в овраге четверо джигитов,  
Кто их воспел,  
Кто их похоронил?..

### 3

Минувшее, ты - ветер: был - и стих.  
Минувшее, ты - мгла глубин морских.  
Ты словно праздник, за которым — будни.  
Минувшее, кто твой предел постиг?  
Минувшее, тень сказочного дня,  
Что вспыхивал, иной судьбой маня.  
Минувшее, непрожитое счастье,  
Угасший отблеск вещего огня...  
Печалюсь о судьбе моей земли,  
Печалюсь о героях, что ушли,  
О древних песнях и о вольных людях  
Печалюсь: след от них исчез вдали.  
Печалюсь о забытых мудрецах,  
Чей правый суд нам памятен в веках,  
Печалюсь - ибо маревом забвенья  
Наш застлан взор, и свет померк в глазах.  
Где ты, непогребенная любовь?  
Убитым небо - их последний кров,  
Могильщики их грифы да вороны,  
Что каркают: большая будет кровь!  
Копья Тюльку безглавое древко  
К седлу приторочив,  
Недалеко  
Ходили соплеменники за вестью,  
Стяг, символ скорби реет высоко.  
А дни бегут, разматываясь в год,  
И смерть Тюльку покоя не дает.  
Пытались мстить, но скоро возвращались,  
Терпя потери, угоняя скот.  
В степях Таласа с кличем боевым  
«Киргизы и казахи, отомстим!»,  
Все чаще о судьбе Тюльку с друзьями  
Роптал народ, и шли вожди за ним.  
Но час настал, и зазвучало: месть! -  
И всадников вокруг не перечесть,  
И ханы, чье обличье - власть и мудрость,  
Танке и Шырдакбек сегодня здесь.  
Совет родов решил: да будет так,  
Коль Учуге, Атакозу, Чубак  
И сам Тюльку, погибнув на чужбине,  
Не отмщены - пусть ждет расплаты враг.  
Кто в силах удержать копьё в руках,  
Кто в силах робость одолеть и страх,  
Кому Джаныл деянье ненавистно,  
Кто родичей непогребенный прах  
Забыть не может - все здесь, взметены,  
Видением побед возбуждены,  
Торопятся на битву, как на праздник,  
Спеша на смерть, не зная зла войны.  
Стреноженные кони на лугу,

Принюхиваясь, фыркают во мглу,  
А молодые воины храбрытся:  
Вот бы сейчас ударить по врагу!  
Поодаль же, собравшись на холме,  
Отцы родов беседуют во тьме,  
Чураются они братоубийства:  
Как быть? - у всех лишь это на уме.  
Хмур и печален Предсказатель был,  
Иного средства наказать Джаныл  
Не знал, и значит, от кровопролитья  
Род оскорбленный не отговорил.  
Тогда решил он съездить в те места  
И выведать, чего же ждут уйгуты,  
И крепко ли их заперты врата.  
Он, исходивший вдоль и поперек  
Все земли предков, сам себя обрек  
На трудное и хлопотное дело,  
Он знал, что будет, полон был тревог.  
Хан Шырдакбек его благословил,  
Народ Тюльку его благодарил,  
И выехал поспешно Предсказатель  
Разведать, что творится у Джаныл.  
В поездке был он скор, как обещал,  
Вернулся, все увидев,  
Рассказал,  
Что на земле уйгуров все спокойно.  
И войско поднялось - как пенный вал!..  
И за аилом двинулся аил,  
Хан Шырдакбек в седле неспешен был,  
Он видел все.  
А рядом с ханом ехал  
Джаныл любимец - мальчуган Адыл.  
Отрядами на юг войска пошли,  
С таласской, чуйской двинулись земли,  
Сияли копья, бердыши и луки,  
Ряды сливались длинные в пыли.  
И среди воинов один ли был,  
Кто не мечтал бы захватить Джаныл,  
Кто, между тем, при этом о добыче,  
Откинувшись в седле, не говорил?..  
Все ближе осень.  
Хмурые сырты  
Печальной сединою налиты,  
Иссякли реки - выпило их лето,  
И облетели первые кусты.  
Изъела пыль ковры зеленых трав.  
В безводье обойдясь без переправ,  
Отряды скорой рысью друг за другом  
Пришли к Какшаал, коней не потеряв.  
Привал, за ним полдневный переход.  
Что там -  
Джаныл с уйгурским войском ждет?



Посоветались.  
Молвил Предсказатель,  
Кому что делать, чей за кем черед:  
- На три отряда все разделены.  
Пусть первый под покровом тишины,  
Чтобы ослабить конницу уйгуров,  
К утру угонит все их табуны.  
В ущелье узком пусть второй отряд  
Расположится скрытно -  
Из засад  
Он бросится, когда войдут в теснину  
Уйгуры, нас тесня за рядом ряд.  
А третий -  
Бой начнет, врага маня.  
Когда Джаныл прорвется из огня,  
Абыл, сынок,  
Бросайся из засады -  
Пошли отряды.  
По тропе своей  
Шел каждый, как велел им Предсказатель.  
Все ниже солнце, тени все длинней.  
Абыл галопом скачет в свой отряд,  
Глаза подростка радостно горят:  
Сам схватит он Джаныл -  
Вот это подвиг! -  
И все о нем тогда заговорят.  
Когда совсем был маленьким Адыл,  
Однажды на коленях у Джаныл  
Сидел - он помнит.  
И Джаныл сказала:  
- Как этот мир печален и уныл.  
Ты, мальчик, вижу, вырастешь - оплот  
Сородичей, и будет горд народ  
Тобой -  
Но сторожит тебя погибель...  
Адыл запомнил тот далекий год.  
Стемнело.  
Скрыла мгла второй отряд.  
Как ночь темна,  
Как зорек ее взгляд! -  
И, задремав, бойцы, казалось, слышат:  
О них негромко скалы говорят.  
В вершинах елей ветер зашумел,  
Мрак отступать, как будто, не хотел,  
Но край небес окрасился зарницей -  
Как будто кровью алой заалел.  
На берегу Какшаала начат бой  
И пылью все охвачено седой,  
Отбит и угнан в спеть табун уйгуров,  
Стоят бойцы - стена перед стеной,  
Так сходятся - однажды на веку...  
Но вот в рядах сородичей Тюльку

Как вздох: -  
Джаныл Мырза! –  
Она - прекрасна,  
Летит, пуская стрелы на скаку!  
И дрогнула воинственная рать,  
Вниз по ущелью стала отступать -  
Все уже стены скал,  
Джаныл все ближе,  
Все сбилось в кучу, где своих искать?  
Вдруг - всадник! -  
И стремительно Абыл  
Хватает под уздцы коня Джаныл.  
Все замерло.  
Джаныл клинок взметнула!..  
И прынул иноходец.  
И застыл.  
Что ж дрогнула, Джаныл, рука твоя –  
Иль дрогнула, Джаныл, душа твоя? –  
Да, это мальчик, тот, кому погибель  
Ты предсказала, грусти не тая.  
И выпал лук из рук.  
И спала злость.  
И что-то в сердце вдруг оборвалось,  
Джаныл клинок, не глядя, уронила  
И прошептала только:  
- Не сбылось...  
Так, славой прежнею озарена,  
Джаныл была врагами пленена  
И старому седому богатею  
Навечно как рабыня отдана,  
Ушли войска, похоронив своих,  
Дележ добычи вдалеке затих.  
И только ветер над Какшаальским кряжем  
Печально пел  
О павших и живых...

#### 4

Что если барса, жившего в снегах  
Вблизи вершин, парящих в облаках,  
Пленить и заточить навеки в клетку? —  
Не выжил бы и медленно зачах:  
Живя в неволе, заперт на засов,  
Он вечно б слышал гул родных лесов,  
Ему б шумели ветры, пели реки  
На тысячу свободных голосов...  
Так и Джаныл.  
От мест родных вдали  
Ей шорохи и шепоты земли,  
Напев комуза, горный гром лавины  
Звучали ясно, из ума не шли.  
Тюльку ей снился,  
И во сне она

Слова любви шептала - все, сполна,  
Все, что не довелось ему услышать.  
А годы шли - за осенью весна...  
Джаныл тюрьмой казалось все вокруг.  
А рядом жили, не изведав мук,  
И шумно жизни радовались люди.  
Таков наш мир,  
Иного нет, мой друг.  
О празднестве однажды весть пришла,  
На пышный той аилы позвала,  
Все взволновались: пусть на состязанье  
Джаныл покажет, какова была!  
Пришел об этом ей сказать Адыл,  
Почтительно он голову склонил:  
Джене, народ мечтает вас увидеть  
Как средоточье ловкости и сил.  
Пусть юные поучатся у вас,  
Джигиты с вас пускай не сводят глаз,  
Вы на ристалище всем покажите,  
Что луч великой славы не погас!  
Рабыня я.  
Но ею не была,  
Своей рукой победы я брала.  
Взяв в плен меня, ты думал: победитель! -  
Жалея, я удар не нанесла,  
В тебе предугадала жожака  
И вещая не поднялась рука.  
Я думала, меня убьют как жертву -  
Смерть лучше. Жизнь в неволе так горька...  
Адыл, отговори их!  
Видишь сам -  
Я узница,  
Я взора к небесам  
Не поднимаю.  
Но глотну свободы -  
И снова в плен загнать себя не дам.  
Коль на коне — судьба не прекословь,  
Не удержать - не то прольется кровь!..  
Нет, пусть уж дни свои окончу в клетке,  
Где сгинет жизнь, как сгинула любовь.  
- Тигрица грозная, Джаныл Мырза,  
Тебе ль по-женски опускать глаза? -  
Сядь на коня и победи батыров,  
Своим явленьем храброму грозя!  
С себя одежды плена совлеки —  
Уж лучше сгинуть от чужой руки,  
Ведь слепнут не от каждого удара,  
А побеждают - судьбам вопреки.  
- Ну что ж, меня никто не подчинил,  
Жизнь не согнула, мир не изменил,  
И как бы сам тот мир ни изменился,  
Всегда я буду прежнею Джаныл.

Где конь мой серый? - приведите мне,  
Где лук и стрелы? - принесите мне,  
И сколько бы вас ни было,  
Узнайте,  
Кто я, Джаныл, когда я на коне!..

## 5

Как вы прекрасны, пастбища в цвету,  
Где ветер ветру шепчет на лету  
Напев, которым вольные киргизы  
Земли родной творили красоту!..  
Прослышав, что Джаныл на той придет,  
Издали уже валил народ,  
Хотелось всем красу ее увидеть  
И удали отчаянной оплот.  
Шли слухи, что она решит бежать,  
И вмиг, ее готовые догнать,  
Коней своих джигиты горячили,  
Вот-вот огонь готов был запыхать.  
Ревет толпа.  
Вдруг, сразу - тишина:  
Джаныл!..  
И появляется она,  
Под нею пляшет серый иноходец,  
Как лед, ее улыбка холодна.  
Как в прежние промчавшиеся дни,  
Очей пылают черные огни,  
Чернь тонких стрел и серебро булата  
И кованое золото брони.  
Круг зрителей все ближе, все тесней.  
Вдохнула дева, все вдохнули с ней:  
- Адыл, неужто прошлое вернулось?  
Кайни, подбрось повыше тебетей!  
Едва взлетела кунья шапка ввысь,  
За нею стрелы черные взвились –  
Пятнадцать раз лишь тетива пропела,  
И возгласы в молчании слились.  
Цель на лету поймав, как шерсти клок,  
«Надень!» - швырнула.  
Тот надеть не смог.  
Взглянул Адыл, а тебетей - без верха,  
Остался только куний ободок.  
Джаныл, я вновь тобою побежден! -  
Адыл воскликнул.  
Повод бросил он  
Как знак покорности - себе на шею.  
Вокруг народ, молчал, заморожен.  
Кайни, прощай.  
Далек мой долгий путь,  
Теперь с него мне жизнь не повернуть, -  
Джаныл сказала, голос не повисив,

Коня успев лишь бешено хлестнуть.  
Сквозь замершие толпы мчит она  
Все дальше - навсегда, озарена  
Каким-то неземным прощальным светом.  
Людская расступается стена.  
Жаль, не сразились, - хвастуны ворчат.  
Жаль, девкой отпустили, и не взял  
В залог наследник этой храброй крови, -  
Так вслед постарше люди говорят.  
... Кто разлучен с родимую землей,  
С народом, где он возрастал душой,  
О них не вспомнит?.. Родина залечит  
Любую боль - когда она с тобой.  
Летит Джаныл, как птица от беды,  
И вот –  
Какшаал, свет гор и плеск воды!  
Но что это?! -  
На вымершем безлюдье  
Пожарищ давних черные следы.,.  
Уйгуров с их возлюбленной земли,  
Где жили и любили, скот пасти,  
Где кочевала радость без опаски,  
Напав, китайцы в рабство увели.  
Народ и так войной ослаблен был,  
Измучен, разорен, ограблен был –  
И вот лишь Кур-гора белеет голо.  
Где ж ты была, защитница Джаныл?  
Увидев это, как не умереть?  
Раскаяньем по сердцу хлещет плеть,  
Уже не сердце это - пепелище,  
Гудит бездомный ветер над хребтом,  
Поет и плачет горько об одном,  
Кто умер от любви, кто жив в разлуке,  
Чье имя позабудется потом.  
Земля, где вольной юности полна,  
Жила беспечно, радостно она,  
Не приняла ее и не узнала,  
Ограблена, навек оскорблена.  
Идет к оврагу медленно Джаныл,  
Где смертный жар уже давно остыл.  
Четыре черепа лежат, оскалась,  
Но кто из них  
Ее любимым был?  
Встав на колени, смотрит: нет примет.  
Где ты, Тюльку?  
Где юность, давний след?  
Но одинаково мертвы глазницы,  
В их пустоте глумливой - ей ответ.  
И давит зной,  
И жизнь - отчуждена,  
Бессмысленна, забыта, не нужна.  
И зрение, и слух ослабевают

От боли. Но слабеет и она.  
Клинок Тюльку, хранимый все года,  
Джаныл достала.  
Сталь его седа.  
И медленно она заговорила:  
- Одной не жить мне, знаю, никогда,  
К чему свобода, коль такой ценой,  
Любовью, видно, крепок свет земной.  
Прости, Тюльку, я жизнью расплатилась.  
Я женщина.  
И я теперь с тобой...

\*\*\*

Зеленый дол на кладбище похож.  
Белеют кости, и ржавеет нож.  
Земля, вампир, сыта чужою кровью,  
Ты память душ ушедших не тревожь!  
Живую кровь земля охотно пьет,  
Над мертвыми за веком век идет,  
И ветер их молитвой отпевает,  
Но, видно, никогда не отпоет.  
Ах, жизнь...  
Мгновенный прошлого полет  
На будущее света не прольет,  
Но все же вспомним, братья, предков наших  
Вольнолюбивый, радостный народ.  
И вспомним, как судьбой осуждена,  
Была в народе этом рождена  
Джаныл Мырза -  
Воительница - дева,  
Чья жизнь была прекрасна и страшна...

## А.ТОКОМБАЕВ

*Аалы Токомбаев (1904-1988) – патриарх кыргызской советской поэзии. Он создал на кыргызском языке поэтические произведения различных жанров: агитационные марши, послания, сонеты, элегии, сатиры, поэмы и роман в стихах «Кровавые годы». Ведущее место в творчестве поэта занимает политическая лирика.*

*Его стихотворение «Время приходы Октября» (в некоторых источниках «Эпоха Октября») было опубликовано в первом номере газеты «Эркин-Тоо». Аалы Токомбаев был тогда двадцатилетним учащимся Среднеазиатского Коммунистического университета (САКУ). Эта публикация во многом определила дальнейший творческий путь поэта...*

### А.ТОКОМБАЕВ. ОКТЯБРДЫН КЕЛГЕН КЕЗИ<sup>129</sup>

Октябр күлүмсүрөп келген кези,  
Энчисин өз-өзүнө берген кези,  
Мурунку көргөн душмандарды  
Ичинен момундарын терген кези.

---

<sup>129</sup> Печатается по: *Эркин-Тоо, 1924 №1.* (расшифровка Акматовой Ш.).

Бул күндө октябрдын ийчи кези,  
Кедейге кызыл желек тийчи кези,  
Колуна курал-жабдык алып кедей  
Ак төрөнү төшүнөн тилген кези.

Бул күндө өңчөй кедей чыккан кези,  
«Теңдик» деп «тегизсиз» деп жыккан кези;  
Кошулуп андан мындан эмгекчилер,  
Жыйналып кызыл тууга аккан кези.

Бул айда теңдик кадам баскан кези  
Жан кыйып кызыл канды чачкан кези;  
Куйругу некалайдын алсызданып,  
Кылчактап артын карап качкан кези.

Ал күндө душманыбыз шашкан кези,  
Ачылып кедей орун баскан кези,  
«Тилексиз капиталды жок кылам» деп,  
Кедейлер душман көрүн казган кези.

Душманын кедей бүгүн баскан кези,  
Үрөйү залымдердин качкан кези,  
Көз жайнап, жүрөк кайнап эмгекчилдер,  
Уранын туш-тушунан чачкан кези.

Лениндин берип кеткен белеги бар,  
Тапшырган кедейлерге желеги бар;  
Ачык жол айкындатып алып кеткен  
Артында ленинизм тереги бар.

Кедей тап Лениндин айткан сөзүн,  
Үйрөнүп билбегендин ачтың көзүн,  
Тезенип Ленинизм терегине,  
Ачылсын күң көкүрөк жайык төшүн.

Жашасын, Лениндин түзгөн жолу,  
Жоголсун караңгынын курган тору,  
Жолуна октябрдын кедей түшүп,  
Жетишсин муратына созгон колу...

А. Токомбаев. САКУ